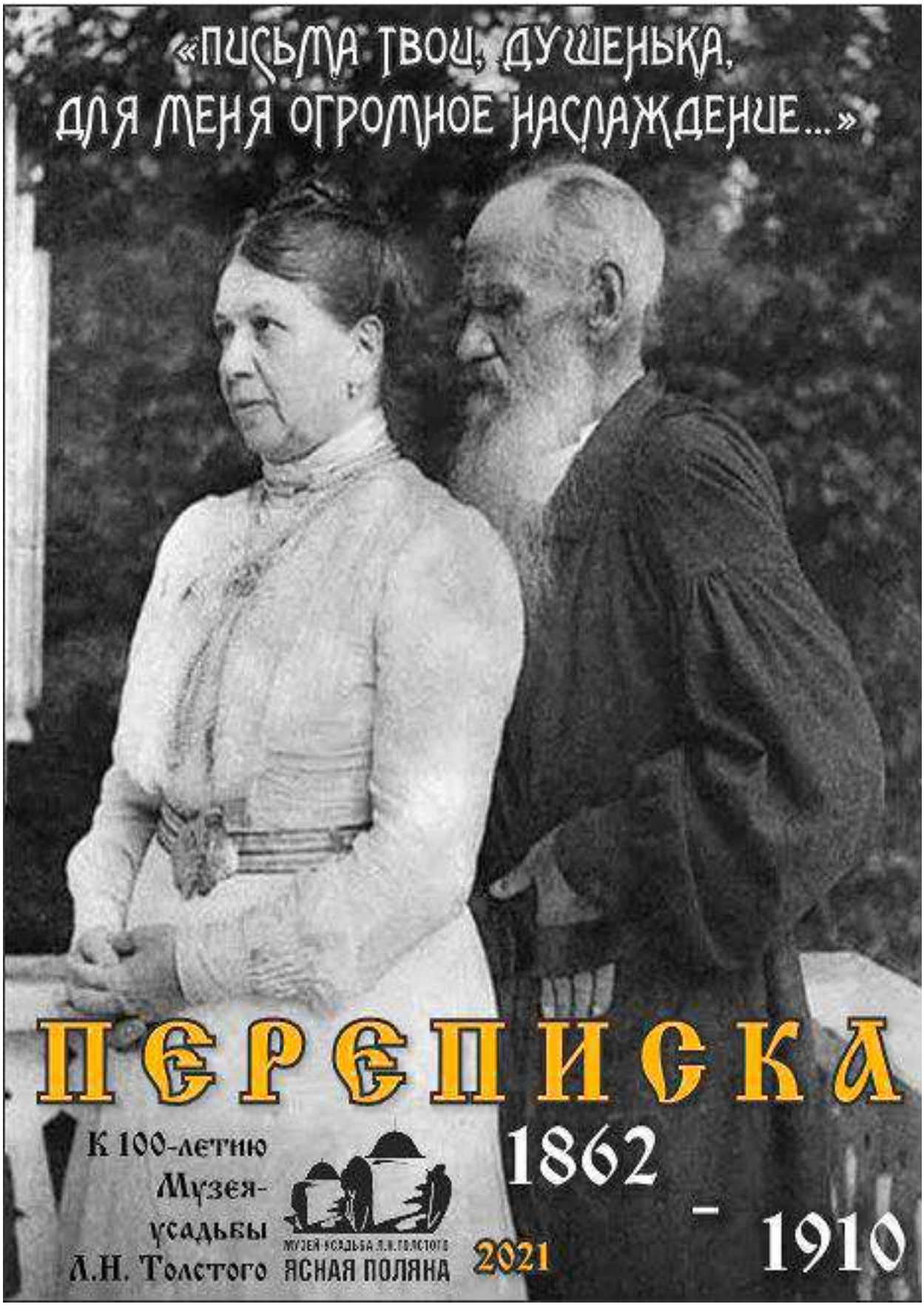
НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ



Да Воскреснет Лев,
и да умудрятся
Враждующие с Истиной слова его –
Слова Христова и Божия.

Аминь.

СЛОВО СОСТАВИТЕЛЯ

Ниже мы предлагаем вниманию читателя продолжительное и увлекательное интеллектуальное путешествие по отобранным нами материалам из огромного, хронологически почти полувекового, эпистолярного наследия одной из самых знаменитых, выдающихся семейных пар в человеческой истории — Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых.

Для Толстого, начиная с отрочества и кончая последними днями жизни, эпистолярный жанр, то есть писание писем, отвечавшее его потребности в общении с внешним миром, с самыми разными людьми, являлось настоятельной необходимостью. Он писал письма везде, куда бы ни забрасывала его судьба: в своей Ясной Поляне и станице Старогладковской, в Казани и осаждённом Севастополе, в траншее на реке Бельбек и в степной кибитке под Самарой, в Нижнем Новгороде и Тифлисе, в Москве и Петербурге, в Париже и Лондоне, Брюсселе и Женеве и т.д. Отправлялись эти «записки» в близкие и весьма отдалённые географические точки мира, самым разным адресатам.

Среди корреспондентов Толстого не только члены семьи, друзья, соседи, сослуживцы, но люди совсем незнакомые, очень разные по общественному положению, рангу и занятиям: он находился в переписке с писателями, маститыми и начинающими, с издателями и редакторами журналов и газет, с художниками и композиторами, актерами и режиссерами, академиками и студентами, педагогами и гимназистами, помещиками и фабрикантами, министрами и преследуемыми сектантами, всесильными царедворцами и бесправными крестьянами, властвующими самодержцами и ссыльными революционерами. Весьма обширна и многообразна долголетняя иностранная почта писателя. Всего же им написано свыше 10000 писем, занявших в его полном собрании сочинений 31 том. При этом число ненайденных писем достаточно велико.

Переписка *семейная и интимная*: с женой, С. А. Толстой, детьми, ближайшими друзьями — занимает, конечно, особое место в этой огромной

эпистолярной литературе, как своим обилием, так и содержанием и особенной диалоговой структурой (во многих случаях подразумевавшей ожидаемый ответ). Общее число писем и телеграмм, написанных Л. Н. Толстым жене и опубликованных в Полном собрании сочинений — 839 документов. В самом полном собрании писем Софьи Андреевны, редчайшей книге изд. «Academia» 1936 г. – всего 443 письма. Конечно, это не окончательное число, ибо многие письма, отрывки из писем Льва Николаевича отыскивались и после давней их «юбилейной» публикации. С другой стороны, редакция сборника писем С. А. Толстой, без какого-либо объяснения, исключила из публикации многие письма жены Л. Н. Толстого. На момент публикации книги (февраль-июль 1936 г.) было известно более 660 писем Софьи Андреевны мужу. Сейчас эта цифра ещё выше… Необходимо новое и полное издание её писем, вместе с *некоторыми* изъятыми в 1936 г. и с обнаруженными и опубликованными позднее, во множестве научных статей и книг, с современным научным комментарием — но такого сводного издания пока ещё нет. Эта ситуация вызывает сожаление, но не критична для нас. Ставя задачей не столько текстовую полноту публикаций, сколько подробную картину внешней и духовной биографий супругов Толстых, их отношений в разные времена совместной жизни, мы полагаем достаточно репрезентативной выборку только на основании тт. 83 и 84 Юбилейного издания сочинений Л. Н. Толстого и сборника 1936 г. писем С. А. Толстой.

Примечательно, что среди последних писем, написанных Толстым в известной нам земной его жизни выделяется довольно хорошо известная небольшая переписка с членами семьи, и, напротив, самое раннее дошедшее до нас письмо Толстого адресовано «тётиньке» Т. А. Ёргольской (1792 - 1874), датируется 20 июля 1840 года, и написано оно двенадцатилетним сиротой Львом, которому эта троюродная родственница заменила родителей, в первую очередь — маму…

Это письмо «тётиньке» открывает самый ранний из выделяемых исследователями *эпистолярных циклов*, образовывавшихся в результате длительного и регулярного диалога Л. Н. Толстого с тем или иным корреспондентом. Несомненными *вершинами* по значению научному, духовному и общепознавательному являются циклы переписки Льва Николаевича с А. А. Толстой, с В. Г. Чертковым и, конечно, с С. А. Толстой. При этом переписка с Александрой Андреевной давно (впервые в 1911 г.) опубликована. За Черткова учёные браться опасаются по некоторым соображениям цензуры и очень понятному страху из-за риска для личной карьеры и репутации — в особенности в теперешней России. А вот отсутствие публикаций относительно (в сравнении с письмами Черткова) “невинной” переписки Сони и Льва — явление особо несправедливое и даже непонятное: если в переписке с приближённым «другом» Лев Николаевич доверчиво и ис-

кренне выражал свои «мысль всечеловеческую», «народную» и «религиозную», то есть мысли довольно нецензурные и опасные для публичного презентования в России (а Чертков в этом же плане — уже полностью и радикально нецензурен), то в письмах к Софье Андреевне, а в особенности в её ответах мужу, выразилась вполне цензурная (и даже «трендовая», т.е. особенно востребованная и модная, в современной России) «мысль семейная», равно как и психология личности в её развитии — восходящая к распорядкам дня и «правилам» юношеского Дневника Л. Н. Толстого и девичьим мечтаниям юной Sophie. Такая публикация не опасна для российского исследователя и при этом способна и увлечь, и стать полезной для читателя.

Мы попытаемся своими силами уменьшить эту, обозначенную нами, несправедливость.

* * * * *

Все письма, которые будут представлены ниже, уже публиковались в книжных изданиях и теоретически всегда были доступны *заинтересованному* читателю — как правило, из числа специалистов, имевших доступ к закрытым и раритетным изданиям. Письма Л. Н. Толстого к жене были опубликованы в составе упомянутых нами выше тт. 83 и 84 Полного (Юбилейного) собрания сочинений, вышедших в свет тиражом 10 тысяч экз. примерно 70 лет тому назад. Что же касается писем С. А. Толстой… наиболее полным их сводом является до сей поры то самое, уже названное нами, «академическое» их издание, подписанное в печать 27 февраля 1936 г., по особому дозволению сталинского Главлита, с тиражом в 5 300 экз. — то есть, преимущественно для спецхранов научных библиотек, для поднадзорного чтения узкими специалистами…

Конечно, в наши дни всю эту, сугубо физическую, искусственно поддерживавшуюся в СССР труднодоступность источниковых публикаций почти полностью уничтожила сеть интернет. Как минимум на двух прекрасных сетевых ресурсах (http://feb-web.ru/feb/tolstoy/default.asp и http://tolstoy-lit.ru/) читатель, недолго потрудившись, отыщет большинство из прежде публиковавшихся в книжных изданиях писем обоих участников переписки, но… как и прежде, *порознь*, и без научного комментария, могущего дать целостное представление о письмах Сони и Льва именно как личном и иногда интимном *диалоге*. Публикация писем С. А. и Л. Н. Толстых именно как *переписки* является, таким образом, давно назревшей научной и просветительской задачей.

Начало публикации Переписки положила сама С. А. Толстая. В 1913 г. она сама подготовила к печати и издала письма к ней Льва Николаевича.

Ни одного своего встречного письма Софья Андреевна в этом издании не поместила. Издание вышло ощутимо односторонним: не слышится голоса самой Софьи Андреевны. Вследствие этого многие реплики и фразы писем Толстого остаются неясными, непонятными. Об этом рецензенты писали так в своё время: «Правда (тайна отношений Толстого к жене) вскрыта только с одной стороны: в сборнике нет писем графини Толстой к мужу. Тех самых писем, которые Толстой называет «маленькими свиданиями»; тех писем, по которым Толстой, «как по термометру», следил «за нравственной температурой семьи», — поднялась или упала... Для опубликования их, вероятно, «ещё не настало время» (газ. «Русское слово», 8 сент. 1913 г.).

Как сама Софья Андреевна расценивала свои письма к Льву Николаевичу, можно видеть из двух её писем к дочери Татьяне Львовне 1914 г. В первом письме, от 16 января, С. А. Толстая писала: «Занимаюсь я всё тем же, — переписываю теперь свои письма к мужу; печатать не буду, но если что из них понадобится для печати и для биографии папа́, то будет для этой цели готовый экземпляр. Печатать целиком их никогда не надо: неинтересные для публики подробности семейные, детские; но есть кое-что и интересное». В другом письме, от 6 февраля, она писала: «Я рада, что затеяла переписывать свои письма к папа́ точно всё опять переживаю, хотя много было тяжёлого с болезнями и смертями детей, с переменчивостью взглядов и настроений папа́; но и счастья было много от нашей несомненно большой взаимной любви» (Цит. по: *Попов П.С. С.А. Толстая и её письма // Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому. М., Academia. 1936. (Предисловие.) С. XIV - XV*).

Мы не поддерживаем такой недооценки женой Толстого значения в её переписке писем *повседневно-бытовых*. Недаром среди прозвищ, дававшихся ей мужу, было и: «тонкокожий». Чуткое, любящее, «львиное» сердце, высокая чувствительность (музыка могла вызвать у Толстого ощущения физической боли) и острейший ум — непременные «атрибуты» личности, особенно ранимой именно в быту и повседневной семейной жизни, особенно нуждающейся в том комфорте, который десятки лет стремилась дать Толстому его жена. Как же обойти молчанием подробности этой жизни?

* * * * *

Однажды, в письме 17 августа 1851 г.), Лев Николаевич признался Т. А. Ёргольской: «Вы мне говорили несколько раз, что вы пишете письма набело; беру с вас пример, но мне это не даётся так, как вам, и часто мне приходится, перечтя письмо, его разрывать. Но не из ложного стыда — орфографическая ошибка, клякса, дурной оборот речи меня не смущают; но я не могу добиться того, чтобы управлять своим пером и своими мыслями.

Вот только что я разорвал доконченное к вам письмо, в котором я наговорил то, чего не хотел, а что хотел сказать, того не сказал» *(59, 114 – 115. Оригинал на французском яз.*).

Это сближает молодого Льва с совершенно ещё малышкой в том году, будущей женой его, Софьей Андреевной Толстой. Воспитанница культурного московского семейства, она так же, как и муж, с юных лет вела дневники, пробовала перо в художественных работах, и — не просто писала письма, а совершенствовала именно *эпистолярное искусство*. Знакомясь с источниковыми материалами личного происхождения С. А. Толстой — не только письмами, но и дневником её и мемуарами, к цитированию которых мы прибегнем в комментариях — читатель заметит, насколько совершенно мастерство эпистолярного стиля этой выдающейся женщины: даже и поздний дневник её, не говоря о мемуарах, кажется, имеет адресатов. **Эти адресаты — мы**. Это — *письма к потомкам* жены Толстого, желавшей до самой кончины многое объяснить и, по возможности, в чём-то *оправдаться*... Попытки таких оправданий делают пространные (рукописных 7 тетрадей) мемуары и дневник жены Толстого весьма неверными путеводителями в изучении биографий и личных отношений супругов. Хватает, однако, проблем и с Л. Н. Толстым и его, всё-таки более объективным, Дневником: обширной автобиографии Лев Николаевич не оставил, Дневник вёл с перерывами, многие записи делая, не в пример гладкому стилю жены, весьма лапидарно. Но то, что нашло выражение в Дневнике Толстого и письмах супругов — может в ряде случаев быть подтверждено другими, более объективными, источниками (которыми мы будем пользоваться в наших комментариях к письмам), тогда как многие мрачные страницы Соничкиных писем и дневника — иные, *независимые* источники в большинстве случаев не подтверждают, а иногда и прямо опровергают.

Великолепное наблюдение о разнице дневниковых и прочих, в том числе эпистолярных и иных письменных свидетельств делает в недавней своей книге молодая московская толстовед Д. Н. Еремеева:

«Обычно мы пишем дневник в грустные минуты, когда хочется жаловаться на мир и людей, в то время как в счастливые дни нам некогда что-то писать, мы просто живём» *(Еремеева Д. Граф Лев Толстой. М., 2017. С. 52).*

Быть может, это наблюдение особенно точно для *женских дневников* — и, возьмём шире, для таких женских *мемуаров*, как относительно недавно (2014 г.) опубликованная наконец в полном виде книга «Моя жизнь» С.А. Толстой?

Подобное наблюдение приводит и П. С. Попов, автор Предисловия к изданию писем С. А. Толстой 1936 г. Он выражает протест против, как ему представляется, «мифа» о том, «что С. А. Толстая была камнем на шее Тол-

стого, что трагедия ухода Толстого тесно связана с «нестерпимым» характером его жены. Опубликованные дневники С. А. Толстой, писавшиеся в моменты припадков меланхолии Софьи Андреевны, как будто подтверждают данную концепцию; во всяком случае — если ими неосторожно пользоваться. Но дневники — документ односторонний, далеко не всё в них можно брать за чистую монету: ведь это плод одиноких, часто болезненных раздумий. Письма Софьи Андреевны к мужу в этом отношении — гораздо более объективный источник для характеристики их взаимоотношений. Письма действительно характеризуют, чем жили совместно муж с женой» *(Попов П.С. С.А. Толстая и её письма // Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому. М., Academia. 1936. (Предисловие.) С. XIV).*

Конечно, выразившийся в этой статье крайний вывод исследователя о «невиновности» С. А. Толстой в семейной трагедии Толстого — совершенно несправедлив, хотя явление такой статьи сразу после смерти в том же 1936 г. В. Г. Черткова («отличившегося» неприязненным противостоянием всем защитникам памяти Софьи Андреевны и законных интересов семейства Толстых) вполне закономерно в диалектике научного осмысления переписки и личных отношений супругов. Тем более, что П. С. Попов, как можно видеть в приведённой цитате, приписывает жене Толстого только *припадки меланхолии*, тогда как наблюдения членов семьи и выводы психиатров атрибутировали совершавшиеся с нею припадки несколько иначе… Знакомясь с перепиской Толстых, наш читатель убедится, что, к несчастью, и *письма* С. А. Толстой не раз оказывались «плодом одиноких, болезненных раздумий».

С другой стороны, мы намерены убедить читателя в том, что описаний по-настоящему счастливых часов и дней, уравновешивающих мемуарные и *дневниковые* мрачные весточки из прошлого семьи Толстых значительно больше именно в письмах супругов, в особенности — в письмах более уравновешенного эмоционально Л. Н. Толстого. Публикация переписки супругов, именно как *переписки, эпистолярного диалога* — многополезна не только как собственно научная задача, но и в деле противостояния многим мифам дилетантского и досуже-обывательского происхождения, искажающим картину жизни семьи в её подлинном историко-биографическом и духовно-биографическом содержании.

«Ещё покойный Венгеров, предпринимая (несостоявшееся) полное собрание сочинений Толстого в издательстве Брокгауза и Ефрона, привлекал к этому делу С. А. Толстую, стремясь извлечь из её материалов данные для определения писательского быта Толстого. Венгеров был прав, обращаясь к С. А. Толстой и её письмам: они прямо дают ответ на поставленный вопрос» *(Там же).*

Кстати, в книжечке Д. Н. Еремеевой, на той же странице, где приведено процитированное нами выше точное её наблюдение, мы находим один из

таких же стойких мифов, вкравшихся в её научно-популярное исследование. Она настаивает, что дневниковые записи оба супруга делали «друг для друга», в расчёте на то, что «супруг прочтёт их». Такое правило, как мы покажем в начале нашей книги, молодые супруги завели, но... вряд ли оно коснулось *всех* дневниковых записей Сони и Льва. Их письменный диалог быстро переместился именно в *переписку*, сделавшуюся непременной почти при каждом, сколько-нибудь длительном отъезде из-под семейного крова одного из супругов. Многие письма очень пространны и информативны даже для нас, не имеющих возможности участвовать как слушатели в устных беседах Сони и Льва. С другой стороны, давно *в полном виде* опубликованный Дневник Л. Н. Толстого свидетельствует о безусловно личном характере большинства делавшихся в нём записей. Взаимные чтения совершались (а Дневник Л. Н. Толстого в последние годы его жизни стал даже *слишком* публичным), но... зачастую спустя годы и годы после того, как в дневники были внесены читаемые записи. Таким образом, дневники не столь оперативно транслировали чувства и мысли каждого из супругов, как личные беседы и *письма*. Надеемся, мы убедили читателя в бесценности именно этого источника — почти неизвестной за пределами узкого круга толстоведов Переписки Л. Н. и С. А. Толстых.

Так в путь, читатель! Памятных встреч тебе! Увлекательных приключений! **Радостных открытий!**

Роман Алтухов.
Ясная Поляна, июль 2019 г.

Приложение.

ОТРЫВКИ ИЗ СТАТЬИ П.С. ПОПОВА «ПИСЬМА С.А. ТОЛСТОЙ» *(1936)*

«**В** каких же чертах рисуется нам взаимоотношение С. А. Толстой с мужем по предлагаемой переписке? Уже первые письма свидетельствуют о том, как Толстая переломила себя, входя в связи с своим замужеством в новое положение хозяйки-помещицы и матери. Она была вырвана из другой среды и окружения. Семейство её родителей — семья врача-интеллигента, жившего в скудных материальных условиях. Об обстановке, в которой была воспитана Толстая, хорошо свидетельствуют следующие слова Льва Николаевича:

«Семейство Берсов жило, как живёт самая обыкновенная чиновничья семья, как не стала бы жить теперь. Вся квартира состояла из одного какого-то коридора, дверь с лестницы вела прямо в столовую, кабинет самого владыки был — негде повернуться, барышни спали на каких-то пыльных, просиженных диванах... Теперь это было бы немыслимо. Немыслимо, чтобы к доктору больные ходили по животрепещущей лестнице, чтобы в комнате висела люстра, о которую мог задеть головой даже среднего роста человек, так что больной, если не провалится на лестнице, то непременно расшибёт себе голову о люстру — всё это теперь считается невозможным, а это-то и есть роскошь» (записано со слов Толстого в дневнике педагога Ивакина под 11 августа 1885 г.).

Софья Андреевна вышла замуж, когда ей только что минуло 18 лет; не имея опыта, она должна была привыкать к новым условиям жизни. Первые письма показывают, каким трудом сопровождался уход за первенцем; самый ребенок был очень слабый и болезненный. Вскоре после его рождения у Толстой открылась грудница, она не могла кормить сама. Лев Николаевич протестовал против приглашения кормилицы. Отцу Толстой с трудом удалось доказать, что в этом нет ничего противоестественного и дурного. Однако этот эпизод послужил первым поводом для размолвки. Естественно при таком положении вещей, что материнские заботы выступают на первый план в начале переписки. Тем не менее роль жены-матери с первых лет давалась Софье Андреевне сравнительно легко. Как свидетельствует её сестра, Софья Андреевна, ещё будучи девушкой, мечтала о детях. Гораздо труднее было С. А. Толстой наладить деятельность хозяйки, между тем это было необходимо в первую очередь, — в 1860-х гг. Толстой со всею страстностью, свойственной его натуре, отдавался заботам о процветании хозяйства своей любимой Ясной Поляны. Софья Андреевна подчинилась требованиям мужа и тренировала себя, вырабатывая навыки хозяйки именья. Письма конца 1864 г. свидетельствуют, как Софье Андреевне приходилось вникать во все детали хозяйства. Она писала Льву Николаевичу 5 декабря 1864 г.: «А кто такая была Соничка Берс в Кремле, уж осталось одно только предание, а её уж и помину нет. Мне хочется теперь дойти до идеала моего хорошей хозяйки. Главное деятельной и способной на всё, не говоря уже о заботах о детях, которые явились сами собой, без всяких усилий».

Письма первых двух десятилетий показывают, что жизнь супругов вначале протекала в общем миролюбиво и в большой сердечной близости. Жарким чувством наполнено каждое из писем С. А. Толстой. «А я то тебя как люблю! Голубчик милый», отвечает Толстой на такие послания жены. «Всеми любовями» перекликаются они в переписке. Толстая задыхается от счастья, получив записку от мужа с дороги. Она перечитывает его письма по двадцать раз, а он в свою очередь хочет утаить от других письмо жены, чтобы не осквернить сокровища, — «они не поймут, и не поняли».

О том, как ценила Толстая общение со своим мужем, свидетельствуют следующие строки из письма от 13 июня 1871 г.: «во всём этом шуме, без тебя всё равно, как без души. Ты один умеешь на всё и во всё вложить поэзию, прелесть, и возвести всё на какую-то высоту. Это впрочем, я так чувствую; для меня всё мёртво без тебя. Я только без тебя то люблю, что ты любишь, и часто сбиваюсь, сама ли я что люблю или только мне нравится что-нибудь оттого, что ты это любишь». Но не только Толстой был нужен жене: и она оказывала ему существенную моральную поддержку; в ответ на его пессимистическое письмо она так подбадривающе писала 9 декабря 1864 г.: «Лёва милый, как мне грустно про роман твой. Что это ты со всех сторон оплошал. Везде тебе грустно и не ладится. И зачем ты унываешь, зачем падаешь духом... Нет, Лёвочка, напрасно. Вот как приедешь к нам... и пойдём мы с тобой на порошу и будем няньчить своих деток, и ты мне начнёшь опять с весёлым лицом рассказывать свои планы писанья, у тебя пройдёт вся ипохондрия твоя».

Но наряду с этим подбадривающим тоном и лаской любовной поддержки с самого начала переписки пробивается и другая струя, это — болезненная мнительность Софьи Толстой. Она прорывается и в чрезмерных опасениях по поводу состояния здоровья детей, и в боязни всяких мнимых злоключений во время отлучек мужа, и в придавании значения разным житейским пустякам, а иногда и приметам. Такова она была по природному предрасположению, заложенному в силу наследственности. Неуравновешенностью страдали и её родители — это подмечал Лев Николаевич в своих ответных письмах к жене; он писал: «Андрей Евстафьевич постоянно жалуется на свою болезнь, хандрит, он мнителен»; «Любовь Александровна ужасно похожа на тебя. Даже нехорошие черты у вас одинаковые. Я слушаю иногда, как она с уверенностью начинает говорить то, чего не знает и утверждать положительно и преувеличивать — и узнаю тебя».

Сестра Толстой засвидетельствовала о Софье Андреевне: «Она имела очень живой характер с лёгким оттенком сантиментальности, которая легко переходила в грусть. Соня никогда не отдавалась полному веселью или счастью, чем баловала ее юная жизнь в первые годы замужества. Она как будто не доверяла счастью, не умела его взять и всецело пользоваться им... Эта черта её характера осталась на всю жизнь. Отец знал в ней эту черту характера и говорил: «бедная Соничка никогда не будет счастлива» («Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», I, 43). Подмечала эту черту за собой и сама Софья Андреевна. 12 ноября 1883 г. она писала мужу: «так как я особенная мастерица грустить, то я опять до слез грустила о том, что прошло, чем бывало тяготилась и что теперь стало мило и дорого».

При таких неблагоприятных психофизиологических предпосылках, определявших эмоциональную жизнь Толстой, особенно тяжело семье Толстых пришлось переживать то, что обусловливалось многогранностью гения Толстого. Толстой был натурой непрестанно ищущей. К 1880 г., как

известно, преломился путь его духовного развития, — он готов был заклеймить и разрушить те семейные устои, которые за 15 лет до этого налаживал с такой энергией. В этот раз Толстая уже не пошла за ним. Она писала в своём дневнике 3 июля 1887 г. так:

«На столе у меня розы и резеда, сейчас мы будем обедать чудесный обед, погода мягкая, тёплая, после грозы, — кругом дети милые — сейчас Андрюша старательно обивал свои стулья в детскую, потом придёт ласковый и любимый Лёвочка — и вот моя жизнь, в которой я наслаждаюсь сознательно и за которую благодарю Бога. Во всём этом я нашла благо и счастье. И вот я переписываю статью Лёвочки «О жизни и смерти», и он указывает совсем на иное благо. Когда я была молода, очень молода, еще до замужества — я помню, что я стремилась всей душой к тому благу — самоотречения полнейшего и жизни для других, стремилась даже к аскетизму. Но судьба мне послала семью — я жила для неё и вдруг теперь я должна признаться, что это было что-то не то, что это не была жизнь. Додумаюсь ли я когда до этого?».

Если вообще матери трудно бросить то гнездо, которое свито долгой любовью и естественной нежностью к детям, то Софье Андреевне тут мешали ещё особые обстоятельства; при своей мнительности она опасалась политических преследований в связи с смелыми выступлениями мужа. Но в своей идеологической борьбе против новых взглядов Толстого Софья Андреевна далеко не всегда обнаруживала только непонимание или неуступчивость. Часто она тут же, не успев оторвать глаз от новых его писаний и по свежим следам его только что произнесённых слов и задуманных начинаний, метко определяла, в чём слабость его позиций. Её письма являются живым памятником её наблюдений над жизнью и деятельностью Льва Николаевича, наблюдений, отличавшихся постоянством точек зрения и определённостью оценок. Во вторую половину жизни Толстого Софья Андреевна иначе расценивала его творчество, нежели он сам, и упорно отстаивала свой взгляд на него как мирового писателя. Считая, что отвлечённая мысль не его дело, она писала так в марте 1882 г.: «Каким радостным чувством меня вдруг охватило, когда прочла, что ты хочешь писать опять в поэтическом роде. Ты почувствовал то, чего я давно жду и желаю. Вот в чем спасенье, радость; вот на чем мы с тобой опять соединимся, что утешит тебя и осветит нашу жизнь» (то же в письме от 29 октября 1884 г.). Толстая — горячая поклонница художественных писаний мужа.

[...] Имея свой устойчивый взгляд на творчество мужа, она, не заискивая перед ним, не скрывала своего мнения, а это в окружении Толстого не осмеливался делать никто.

Другая область, в которой Толстая расходилась с мнением мужа — это вопрос о воспитании детей. На попечении Софьи Андреевны оказалось громадное семейство. Через её руки прошло воспитание семерых сыновей (из них двое умерли детьми). Вначале совместно с мужем было решено,

что для того, чтобы дать образование детям, нужно жить в городе, затем Толстой стал говорить, что в городе жить бесполезно, даже вредно, что университетское образование ничего не даёт, что лучше не иметь высшего образования вовсе, а жить в деревне и т. д. В его переписке с женой и детьми, где дискутируются все эти вопросы, мы не находим конкретных решений или определённого руководства Толстого с принятой им точки зрения. С 1880 г. он *не вмешивался* в образование и воспитание детей, лишь изредка метко и остроумно вышучивая слабые стороны различных систем образования, иногда мягко внушая и подчас резко бичуя. Общество православной России, фактически отрицавшее драгоценное для «позднего» Толстого учение Христа, не выработало никаких собственно *христианских* практических приёмов или хотя бы идеалов для семейного воспитания; так что, в сущности, трудно было решить, как следовало бы приняться за дело с точки зрения новых взглядов Толстого. Толстой-воспитатель будто «парализовал» сам себя... Всё бремя воспитания детей и наблюдения за ходом их ученья пало на Софью Андреевну. Обычно оставаясь с детьми одна в городе, она чувствовала всю беспомощность своего положения и всю невозможность воспитательного воздействия на детей, отличавшихся большой порывистостью и недисциплинированностью, при которых мужская рука была совершенно необходима.

В письмах Толстой из Москвы всех почти годов последних двух десятилетий прошлого века слышится тревога по поводу неприезда мужа в город и боязнь, что ей не справиться с детьми. Когда положение становилось безвыходным, то ее письма наполнялись упрёками и жалобами на то, что она одна не в силах совладать. Печатаемая переписка Толстой с мужем ясно показывает, что сама Толстая в сущности очень тяготилась оборотной стороной городской жизни.

[...] В то же время, происходя из интеллигентной городской среды, Софья Толстая тяготела к культуре города. [...] Толстую влекла городская жизнь с точки зрения той пользы, которую она могла принести семье и другим, тех удовольствий, которых она была лишена в деревне, и той работы, которую она всегда готова была выполнять, — работы как домашней, так интеллектуальной и общественной.

Эта дочь обрусевшего немца-лютеранина была *практиком*. Практичность и неутомимость её деятельности сквозят через строчки всех её писем к мужу. Под этим углом зрения для неё была приемлема и деревенская жизнь. [...] Толстая органически не могла переносить бездеятельности. Она считала, что, взявшись за дело, нельзя на полдороге его бросать. В жизни она не строила воздушных замков, не идеализировала действительности и старалась воспринимать всех людей в том их конкретном обличье, которое не маскирует людских недостатков <*и в этом тоже очень сблизилась с мужем! – Р. А.*>. [...] Она всегда была готова помочь людям, когда

видела реальную нужду, и считала, что вопрос этот очень простой, материальный, и что следует помогать не словами, не нравоучениями, а делом. Бессердечие, отсутствие отзывчивости её органически возмущали, и то, что её задевало за живое — всегда побуждало к деятельности.

[...] Практицизм С. А. Толстой не мешал ей, однако, самой отдаваться умственным интересам. Если она и протестовала против «идей» или «принципов», то прежде всего тех, которые В. Джэмс называл «тугими» — односторонних, исключающих всё остальное, требовательных и ищущих покорности себе. Она писала в дневнике 27 декабря 1890 г.: «Я вдруг почувствовала возможность, помимо подавляющей проповеди Лёвочки, воспрянуть духом и создать свой собственный духовный мир». Это она писала по поводу Рода, которого она в то время с увлечением читала. В настоящих письмах читатель найдет отзвуки чтения Софьей Толстой философов: Сенеки, Амиеля, Вл. Соловьёва, Ницше; она переводит книгу о Франциске Ассизском; с интересом она слушает чтение профессора Грота по философии и подробно излагает в письме к Толстому содержание этой лекции. Все области искусств вызывали в ней интерес; она хорошо знала многих писателей и поэтов. В ряде её писем идёт речь о картинных выставках и отдельных полотнах; она живо интересуется музыкой и театром. Она сама рисует, играет на рояле, занимается фотографией, любит цветники, посадки деревьев, тонко ценит природу, наслаждается ею и находит в ней успокоение.

Но Софье Андреевне не суждено было дожить до конца жизни Толстого в роли более или менее устойчивой и достойной жены великого писателя. Она израсходовала себя, и сил её не хватило. Организм не выдержал. У С. А. Толстой было 15 беременностей <при этом, судя по медицинским сведениям, ей уже сер. 1860-х в принципе беременность должна бы быть противопоказана. – *Р. А.*>. Последние беременности явно были не под силу и тяготили её. В год кормления последнего любимого ребёнка Толстой уже не хватало здоровья выполнять свои материнские обязанности.

[...] Софья Андреевна находилась в полном одиночестве и тяжёлом моральном положении в отношении своей болезни, связанной с критическим возрастом. Единственным близким человеком, с которым она делилась всеми своими заветными думами и сомнениями, кроме мужа, была её сестра Т. А. Кузминская, но с 1893 г. та перестала жить в Ясной Поляне по летам, и прежняя связь с ней сестры постепенно порвалась. А в силу того, что Софья Андреевна была самым активным человеком в доме, все всегда рассчитывали на неё, как на энергичную поддержку, и все окружающие с недостаточной чуткостью относились к её собственному положению и даже не подозревали о её страданиях и сомнениях. Последний удар был нанесён смертью любимого сына Ванички <зимой 1895 г.>. Его смерть она перенесла тихо, с большим достоинством и моральной самоотверженностью но затем наступил срыв.

Современные физиологи хорошо знают, что происходит с резко ослабленной нервной системой. Начинают растормаживаться все условные рефлексы или вообще исчезают все ранее выработанные навыки — таково состояние организма при наличии «сверхсильных раздражителей». Неврозы человека сопровождаются головными болями, постоянными унылыми, подавленными, нерадостными состояниями и раздражительной слабостью, непорядками со стороны половой жизни, рядом навязчивых мыслей и навязчивых страхов. У истериков симптомы более сложные. Организм недостаточно выносливый погибает под воздействием этих сверхсильных раздражителей, выносливая по существу натура находит себе какую-нибудь «отдушину». Природа Толстой оказалась крепкой, выносливой. Сверхсильные раздражители не сломили её организма, но подточили его.

В последние годы её совместной жизни с мужем мы замечаем у неё и известное снижение в духовной сфере (тщеславие, мелочность), и чрезмерную раздражительность, и ряд навязчивых идей.

[...] Порождением болезненности Софьи Андреевны являются также её писания последних лет. Дневники ей постоянно служили исходом в её тяжёлых приступах и припадках меланхолии, — отсюда их несдержанный, мрачный характер, постоянные нарекания на других, в особенности на Льва Николаевича, с проявлением большого тщеславия и навязчивым желанием самооправдания. Эти дневники С. А. Толстой, представляющие тяжёлый материал для чтения, поставленные особняком без соответствующего анализа, дают уродливое и фальшивое представление о её личности <и поэтому активно используются в современной путинской России околонаучными спекулянтами, в особенности в публикациях интернета. – *Р. А.*>.

Плодом искривления в сторону выявления совершенно чуждых тенденций, говорящих о каком-то срыве, является её старческое увлечение композитором Танеевым, о котором она неоднократно упоминает в своих письмах конца 1890-х гг. Чтобы залечить раны от утраты Ванички, Толстая стала отдаваться музыкальным впечатлениям, стала усиленно посещать концерты и начала вновь учиться фортепианной игре. В письмах последних пятнадцати лет мы находим многочисленные отзвуки её музыкальных интересов, — сами по себе они дают любопытную картину жизни музыкальной Москвы. Но увлечение на этой почве музыкантом Танеевым, хотя подчас и приносило ей успокоение, на самом деле переживалось ею очень тяжело и ненормально. Она писала в своем дневнике под 18 июля 1897 г.: «Знаю я это именно болезненное чувство, когда от любви не освещается, а меркнет божий мир, когда это дурно, нельзя — а изменить нет сил». В другом месте читаем: «Как войду в свою комнату, опять охватывает меня какая-то злая таинственность моего внутреннего состояния, хочется плакать, хочется видеть того человека, который составляет теперь ту центральную

точку моего безумия, постыдного, не своевременного, — но, да не поднимется ничья рука на меня, потому что я мучительно исстрадалась и боюсь за себя. А надо жить, надо беречь мужа, детей, надо не выдавать, не показывать своего безумия, и не видеть того, кого болезненно любишь» (дневниковая запись под 10 марта 1903 г.).

Навязчивый рой нареканий по адресу Льва Николаевича и самооправданий в отношении себя, заглушающий в дневниках Софьи Андреевны подчас интересные и меткие её определения слабых сторон деятельности Толстого — чувствуется также и в письмах Софьи Андреевны к нему, правда в гораздо меньшей степени, но всё это не колеблет представления о её любви и привязанности к Толстому, которые сопровождали взаимоотношения Толстой с её мужем при всех её самых острых разногласиях с ним и при всей её болезненной ненависти к некоторым сторонам личной его жизни и его друзей.

[...] О прочности эмоциональной связи между Толстым и Софьей Андреевной лучше всего свидетельствуют следующие его два отзыва. Проводив свою жену в 1891 г., он писал ей через день (8 мая) в Москву: «Ты уезжала, мне показалось, грустная и нездоровая: седые волосы твои трогательно трепались по ветру» (ПЖ, стр. 353). А при других проводах Софьи Андреевны Лев Николаевич написал 25 октября 1895 г.: «Сейчас уехала Соня с Сашей. Она сидела уже в коляске, и мне стало страшно жалко её; не то, что она уезжает, а жалко ее, ее душу. И сейчас жалко так, что насилу удерживаю слезы. Мне жалко то, что ей тяжело, грустно, одиноко. У ней я один, за которого она держится, и в глубине души она боится, что я не люблю её, не люблю её, как могу любить всей душой и что причина этого — наша разница взглядов на жизнь. И она думает, что я не люблю ее за то, что она не пришла ко мне. Не думай этого. Ещё больше люблю тебя, всю понимаю и знаю, что не могла, не могла притти ко мне и оттого осталась одинока. Но ты не одинока. Я с тобой, я такою, какая ты есть, люблю тебя и люблю до конца так, как больше любить нельзя».

Этим проникновенным и в высшей степени любовным отношением Толстого к жене долгие годы поддерживалась связь между Львом Николаевичем и Софьей Андреевной, несмотря на разность убеждений. Софья Андреевна подчас колебалась, падала духом, но она не могла не чувствовать этого любовного отношения со стороны мужа. Когда же она перестала владеть собой, когда ее навязчивые идеи и напряженное нервное состояние взяли верх и она, отдавшись болезни, начала превращать жизнь в муку себе и другим и, прежде всего, Льву Николаевичу, Софья Андреевна еще более мучительно почувствовала, что своим истерическим состоянием она губит все, — но она не вольна была в себе. Вопрос о завещании, в силу желания Льва Николаевича сделать свои писания достоянием всех и не отдавать их в собственность отдельных лиц — начиная с той же С. А. Толстой — еще больше волновал ее, и она совсем вышла из своей колеи. Положение

Толстого стало невыносимым. И он ушел из дома, не желая больше жить под одним кровом с Софьей Андреевной (об этом подробнее в примечаниях к письмам 1910 г.). Хотя Толстой давно лелеял мечту об уходе из условий той социальной жизни, которая его не удовлетворяла по существу, все же ближайшим поводом была она, Софья Андреевна — этого она не могла не чувствовать и не сознавать. Мучительная мысль, что она сама, своими руками разрушила то единение, которым она дорожила, как главным достоянием своей жизни, подкосила окончательно Софью Андреевну и обусловила как попытку самоубийства, так и другие эксцессы с её стороны.

Известно, что Толстой умер вскоре после ухода, не повидавшись и не примирившись с женой. Но тут С. А. Толстая поборола себя. Страсти понемногу успокоились. Софья Андреевна дряхлела, но мир постепенно водворился в её душе, и она скончалась в 1919 г. успокоенная, кроткая, помирившись со всеми...»

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ПРЕДЫСТОРИЯ
(1862 г.)

Эпистолярное наследие четы Толстых в относительно доступном для массового читателя виде представлено в наши дни только письмами Л. Н. Толстого и отрывками из писем к нему жены в тт. 83 - 84 Полного (юбилейного) 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого. Оно восходит к 1862 году, но первые письма Л. Н. Толстого – жениха, а не супруга – ещё не имеют характера *обмена* посланиями или хотя бы письменного отклика на них одного из адресатов: со стороны Софьи Андреевны и семейства мы видим только поздравительное послание ко дню рождения Льва. Со стороны Льва Николаевича – три письма, прямо не связанных с этим поздравительным посланием, два из которых – интимно-личные, а одно из них, к тому же, не было Толстым отправлено.

В какой-то степени и эти послания можно относить к грядущей переписке – такой, в которой «между строк» выражалось больше, нежели в тексте: то, что можно дать почувствовать при личном общении, но что затруднительно выудить из чернильницы и доверить бумаге. То, чему скромно служило перо – имело своим увенчанием уже точно *пером неописуемое*.

Письма Толстого 1862 г. будущей жене и семейству Берсов частенько цитируются в связи с темой его женитьбы. Письмо от 9 сентября 1862 г., *первое* в великой Переписке письмо к — будущей ещё — жене Льва Николаевича Толстого, очень популярно, как, впрочем, и события в биографиях Сон и Льва, к которым имеет это письмо касательство. Вот их, по возможности сокращённое, изложение, которое берём из научной Биографии Л. Н. Толстого.

«В последних числах июля 1862 года, живя в Москве и находясь в взволнованном и возбуждённом состоянии после произведённого у него обыска, Толстой старался забыться и рассеяться в обществе своих знакомых. Он стал чаще бывать у Берсов, живших в то время на даче в Покровском-Стрешневе, в двенадцати верстах от Москвы.

В начале августа, когда Толстой уже уехал в Ясную Поляну, Л. А. Берс вместе с тремя дочерьми и младшим сыном Володей собралась навестить своего отца А. М. Исленьева, жившего в своём имении Ивицы Тульской губернии Одоевского уезда. По дороге она решила заехать в Ясную Поляну, отстоявшую от Ивиц в пятидесяти верстах. Поводом к такому заезду было, по словам С. А. Толстой, желание её матери повидаться с другом своего детства М. Н. Толстой, гостившей в то время у брата. Но, кроме этого, несомненно, решение Л. А.

Берс было вызвано также и тем вниманием, которое Толстой оказывал её дочерям.

В Ясной Поляне Берсы пробыли двое суток.

Софья Андреевна в своих воспоминаниях рассказывает, как она поздно вечером, сидя на балконе яснополянского дома, любовалась открывавшимся перед нею чудесным видом; как приходил к ней Лев Николаевич и в разговоре сказал ей: «Какая вы вся ясная, простая»; как он помогал приготовлять для неё постель в комнате «под сводами».

На другой день Толстой устроил пикник в лесу Засека.

[...] По-видимому, приезд в Ясную Поляну семьи Берсов и особенно Софьи Андреевны имел для Толстого решающее значение в вопросе о женитьбе.

[...] Из Ясной Поляны Берсы уехали в Ивицы. На следующий день туда же явился и Толстой.

<К сожалению, Н. Н. Гусев не установил точно, *какой* это был день. В «Летописи жизни и творчества Л. Н. Толстого» обозначено лишь, что было это «после 7 августа». – *Р. А.*>

Здесь произошло объяснение Льва Николаевича с Софьей Андреевной при помощи начальных букв нескольких слов, описанное впоследствии в «Анне Карениной».

Вечером, оставшись вдвоем с Софьей Андреевной в той комнате, где перед тем происходила игра в карты и стоял покрытый зелёным сукном ломберный стол, Лев Николаевич предложил Софье Андреевне прочесть то, что он напишет мелом на столе одними начальными буквами.

[...] Текст этой фразы приведён Толстым в его письме к Софье Андреевне от 14 сентября.

Софья Андреевна *поняла*, и тут же написала ему ответ также одними начальными буквами, но содержание этого ответа исчезло из её памяти.

[...] С. А. Толстая в своих воспоминаниях рассказывает, что Лев Николаевич в тот же вечер написал ей начальными буквами ещё две фразы («В Вашем семействе существует ложный взгляд на меня и вашу сестру Лизу. Защитите меня вы с вашей сестрой Танечкой»), но это, как кажется, ошибка её памяти, опровергаемая письмами к ней Толстого от 9 и 14 сентября и его записью в дневнике от 28 августа, делающими этот эпизод хронологически не вполне ясным (очевидно, Толстой написал эти фразы начальными буквами 28 августа).

“Взволнованная и счастливая, я ушла спать”, — вспоминала Софья Андреевна. Её старшая сестра Лиза, мечтавшая о замужестве со

Львом Николаевичем, видя его отношение к Соне, была очень расстроена.

На другой день Толстой уехал, взявши с Л. А. Берс слово, что на обратном пути она ещё раз заедет в Ясную Поляну.

Л. А. Берс обещание выполнила, но на этот раз Берсы пробыли в Ясной Поляне совсем недолго. Толстой вместе с ними в том же экипаже отправился в Москву.

В Москву Толстой приехал, по-видимому, 21 августа. Он снял небольшую квартиру у какого-то немца-сапожника. Здесь он занялся работой над двумя статьями для «Ясной Поляны».

[…] Но не литературно-педагогические работы были главным делом, ради которого Толстой жил в Москве. Главным делом его было выяснение своих отношений с Софьей Андреевной.

Семейство Берсов продолжало жить на даче в Покровском-Стрешневе, и Толстой стал часто бывать у них. Чувствуя необходимость разобраться в своих отношениях к заинтересовавшей его девушке, Толстой возобновляет оставленный им дневник и ведёт его почти ежедневно. В первой после возобновления дневника записи 23 августа он пишет: “Ночевал у Берсов. Ребёнок! Похоже! А путаница большая. О, коли бы выбраться на ясное и честное кресло!”
Вспоминая, очевидно, свои прежние увлечения, из которых ни одно не было достаточно глубоким, он далее пишет: “Я боюсь себя: что ежели и это — желанье любви, а не любовь? Я стараюсь глядеть только на её слабые стороны, и всё-таки оно. Ребёнок! Похоже”.

На следующий день: “Встал здоров с особенно светлой головой, писалось хорошо, но содержанье бедно. Потом так грустно, как давно не было. Нет у меня друзей, нет! Я один. Были друзья, когда я служил мамону, и нет, когда служу правде”.

А друзья ему особенно необходимы были теперь, когда решался важнейший вопрос его жизни.

26 августа: “Пошёл к Берсам пешком, покойно, уютно. Девичий хохот. С. нехороша, вульгарна была, но занимает. Дала прочесть повесть. Что за энергия правды и простоты. Её мучает неясность. Всё я читал без замиранья, без признака ревности или зависти…”.

Повесть, о которой здесь говорится, была написана Софьей Андреевной, когда ей было 16 лет. В повести изображались все три сестры Берс и их мать, а также и Толстой под именем князя Дублицкого, причём отмечалась “необычайно непривлекательная наружность» и “переменчивость суждений” князя. Повесть была сожжена Софьей Андреевной перед выходом замуж.

[…] В день своего рождения, 28 августа, когда ему минуло 34 года, Толстой “встал с привычкой грусти”. […] В этот день Берсы прислали

ему “букеты писем и цветов”. Поздравление прислали все взрослые члены семьи Берсов: отец, мать, старший сын и все три дочери. <Ниже, в соответственном месте, мы вернёмся к этому эпизоду. – *Р. А.*>

Далее в дневнике Толстого под тем же числом записано: “Написал напрасно буквами С<он>е”. Запись эту можно понять только в том смысле, что Толстой вновь написал Софье Андреевне что-то одними начальными буквами слов. Какие были эти слова — разъяснено в письме Толстого к Софье Андреевне от 9 сентября.

В этот день Толстой провёл “приятный вечер у Тютчевых”. Потом “сладкая, успокоительная ночь”. Записав это, Толстой вновь внушает себе: “Скверная рожа, не думай о браке, твоё призванье другое, и дано зато много”.

Но и это самовнушение не подействовало. На другой день он записывает: “Не любовь, как прежде, не ревность, не сожаление даже, а похоже, а что-то сладкое — немножко надежда (которой не должно быть). Свинья. Немножко как сожаленье и грусть. Но чудная ночь и хорошее, сладкое чувство. Заставила разбирать письмо. Я смутился. Она тоже”. Здесь говорится, по-видимому, о словах, написанных Толстым 28 августа, одними начальными буквами. Запись заканчивается словами: “Грустно, но хорошо. Машенька говорит: «Ты всё ждёшь». Как не ждать”.

30 августа. “Дурак, не про тебя писано, а все-таки влюблён... Ночевал у них, не спалось, и всё она. «Вы не любили?» она говорит, и мне так смешно и радостно”.

31 августа. “И утром то же сладкое чувство и полнота любовной жизни”.

Он отправляется к Тютчевым. Дочери Тютчева, в том числе и Екатерина Фёдоровна, которая раньше нравилась Толстому, теперь вызывают в нём раздражение. “Заскорузлые синие чулки, — пишет он. — Как мне на них гадко. Кто-то заговорил, и мне показался её голос... [...] Я не могу уехать теперь — вот что”.

[...] Тётушке Татьяне Александровне <Ёргольской> он пишет, что через неделю вернётся в Ясную Поляну, и объясняет, что живёт в Москве для того, чтобы выпустить два номера своего журнала.

На следующий день Толстой не пошёл к Берсам, а в дневнике своём записал: “Нынче один дома, и как-то просторно обдумывается собственное положение. Надо ждать. Дублицкий, не суйся там, где молодость, поэзия, красота, любовь... Вздор: монастырь, труд, вот твоё дело, с высоты которого можешь спокойно и радостно смотреть на чужую любовь и счастие, — и я был в этом монастыре, и опять вернусь. Да”.

Запись заканчивается неожиданным признанием: “Неискренен дневник. Arrière pensée [задняя мысль], что она у меня, подле меня будет сидеть и читать, и..... и это для неё”.

[...] На другой день, 8 сентября, Толстой «пошел-таки к Берсам к обеду. Андрей Евстафьевич в своей комнате, как будто я что украл, — записывает далее Толстой, — С. отворила, как будто похудела. Ничего нет в ней для меня того, что всегда было и есть в других — условно-поэтического и привлекательного, а неотразимо тянет... Ночью гуляли».

То, что доктор Берс обходился с Толстым так, как будто он что “украл” у него, объясняется тем, что, по словам Софьи Андреевны, отец её “сердился, что Лев Николаевич, посещая так часто наш дом, не делал предложения старшей дочери... Положение в доме было натянутое и серьёзное”. В записи дневника от 8 февраля 1893 года Софья Андреевна давала иное объяснение недружелюбного отношения её отца к Толстому: он ревновал его к своей жене.

“Она краснеет и волнуется. О, Дублицкий, не мечтай! — записывает Толстой 9 сентября. — Начал работать и не могу. Вместо работы написал ей письмо, которое не пошлю. Уехать из Москвы *не могу, не могу*. Пишу без задней мысли, для себя, и никаких планов стараюсь не делать. Мне кажется, что я в Москве уже год. До трёх часов не спал. Как 16-летний мальчик, мечтал и мучился”.

Письмо, написанное Софье Андреевне 9 сентября, Толстой передал ей уже после женитьбы; оно сохранилось в её архиве» *(Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М., 1957. С. 567 - 573)*.

Вот в целости текст этого письма по тому 83 Полного (юбилейного) собрания сочинений Л. Н. Толстого:

«Софья Андревна!

Мне стыдно и больно, что я вас втянул в фальшь, которой вы не можете переносить и которую вам не следует терпеть. Вот обещанные разъяснения. Ложный взгляд вашего семейства на меня состоит в том, что я влюблён, или que je fais la cour [*фр.* что я ухаживаю] в вашу сестру Лизу. Это совершенно несправедливо. Ваша повесть сидит у меня в голове потому, что в ней я узнал себя Дублицким и ясно убедился в том, что я к несчастью забываю слишком часто, что я, дядя Лявон, старый, необычайно непривлекательный чорт, который должен один упорно и серьёзно работать над тем, что ему дано от Бога, а не думать о другом счастьи, кроме сознания исполненного дела.

Второе разъяснение — слова, написанные в Ивицах, след. или в роде того. Смысл тот. Я бываю мрачен, глядя именно на вас, потому что ваша молодость напоминает мне слишком живо мою старость и невозможность счастия. — Это было написано тоже до чтения повести, которая и вследствие тех поэтических *отличных* требований молодости, и вследствии узнания себя в Дублицком, совершенно отрезвила меня, так что я вспоминаю повесть и вас не только без сожаления или прошедшей зависти к П[оливанову]. или будущей зависти к тому, кого вы полюбите, но радостно, спокойно, как смотришь на детей, которых любишь.

Одно грустно, что я вообще напутал и сам запутался у вас в семействе, и что потому мне надо лишить себя лучшего наслаждения, которое я давно не испытывал, — бывать у вас.

А впрочем, — вы честный человек, с вами лгать нельзя.

<«Здесь вычеркнуто шесть строк, так что нельзя прочесть». – *Примеч. С. А. Толстой.*>

Я Дублицкой, но только жениться на женщине так, потому что надо же жену — я не могу. Я требую ужасного, — невозможного от женитьбы. Я требую, чтоб меня любили так же, как я могу любить. Но это невозможно.

Л. Толстой.

Я перестану ездить к вам, защитите меня вы с Таничкой» *(83, 3 – 4)*.

Упомянутый в письме Поливанов — это тогдашний жених Сони, Митрофан Андреевич Поливанов (1842 — 1913). Об его знакомстве с семьёй Берсов Т. А. Кузминская рассказывает: «С переездом в Москву жизнь стала приятнее. Субботы вносили большое оживление. Приезжали кадеты — Саша <Александр Андреевич Берс, старший брат Софьи Андреевны. – *Р. А.*> и его новый знакомый, которого товарищем его нельзя было назвать: он был тремя годами старше брата. М. А. Поливанов был товарищ покойного сына деда Исленьева, и дедушка нам его привез в первый раз, а потом уже Поливанов всегда приезжал к нам в отпуск, проводил у нас и праздники, и лето. Это был высокий, белокурый юноша, умный, милый, вполне порядочный. Он был сын Костромских помещиков. Мы навсегда сохранили с ним хорошие отношения» *(Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1959. С. 59)*. В главе «Наши юные увлечения» Т. А. Кузминская рассказывает: «Поливанов чаще стал бывать у нас, он проводил в корпусе последний год. Я замечала,

что уже давно он был неравнодушен к Соне. Любовь эта была вызвана её участливостью к нему. Он был одинок, наш дом был для него как бы родным. Соня участливо относилась к нему, когда его постигло горе. Одна сестра его умерла. Другая, восемнадцати лет, пошла в монастырь. Соня утешала его, как умела. Беседовала с ним, играла ему его любимые арии из оперы и сочувствовала ему, когда у него бывали неприятности по <кадетскому> корпусу. Поливанов сильно привязался к ней. Я стала замечать, что как будто и Соня стала к нему неравнодушна» *(Там же. С. 74 - 75)*. По оконча-нии корпуса Поливанов «уехал в Петербург для поступления в академию. После своего отъезда он оставил в семье нашей пустое место и, когда приезжал из корпуса один брат, у меня щемило сердце. Соня втихомолку плакала о нём, скрывая своё чувство к нему, хотя, конечно, все в доме знали об их обоюдном увлечении и смотрели на это, как на самое обыкновенное дело» *(Там же. С. 83 - 84)*. После разговора с Софьей Андреевной в связи с её новым чувством к Толстому Татьяна Андреевна размышляла ночью: «А Поливанов? — думала я, — ведь он ей сделал предложение, она согласилась, но он сказал, что она свободна и не связана словом» (Там же. С. 91). В своём дневнике, в записи на 8 октября 1862 г., первой записи после замужества, С. А. Толстая сформулировала так: «Любя свои мечты, я сделала П[оливанова] приложением к ним» *(Толстая С.А. Дневник. М., 1978. - Том 1. С. 37**. [Далее ссылки на это изд.: ДСАТ – 1, 2 + № стр.])*.

Письмо 9 сентября, повторим, не было отправлено. Толстой написал и отправил 14 сентября другое письмо — предложение, письмо-признание в любви, на которое Софья Андреевна и дала свой самый главный в жизни – хотя и не письменный – ответ. Конечно, мы не можем обойти его вниманием, и продолжаем этим письмом Предысторию великой Переписки супругов.

Вот история, неразрывно связанная с письмом, по мемуарам Т. А. Кузминской:

«Мы переехали в Москву. Первые дни прошли в устройстве и раскладке.

Наступило 16-е сентября, канун именин матери и Сони. 17 сентября обыкновенно бывало днём много народа, а вечером родные и близкие.

Лев Николаевич пришёл к нам 16-го, после обеда. Я заметила, что он был не такой, как всегда. Что-то волновало его. То он садился за

рояль и, не доиграв начатого, вставал и ходил по комнате, то подходил к Соне и звал её играть в четыре руки, а когда она садилась за рояль, говорил:

— Лучше так посидим.

И они сидели за роялем, и Соня тихо наигрывала вальс "Il bacio", разучивая аккомпанемент для пения.

Я видела и чувствовала, что сегодня должно произойти что-то значительное, но не была уверена, окончится ли это его отъездом или предложением.

Я проходила мимо зала, когда Соня окликнула меня:

— Таня, попробуй спеть вальс, я, кажется, выучила аккомпанемент.

Мне казалось, что к Соне перешло беспокойное состояние духа Льва Николаевича, и оно тяготило её. Я согласилась петь вальс и стала, по обыкновению, среди залы.

Нетвёрдой рукой вела Соня аккомпанемент, Лев Николаевич сидел около неё. Мне казалось, что он был недоволен, что сестра заставила меня петь. Я заметила это по неприятному выражению его лица.

Я была в голосе и, не обращая на это внимания, продолжала петь, увлекаясь грацией этого вальса.

Соня сбилась. Лев Николаевич, незаметно, как бы скользя, занял её место и, продолжая аккомпанемент, сразу придал моему голосу и словам вальса жизнь. Я уже ничего не замечала, ни его выражения лица, ни замешательства сестры, всецело отдалась прелести этих звуков, и, дойдя до финала, где так страстно выражен призыв и прощение, я решительно вскинула высокую ноту, чем и кончился вальс.

— *Как* вы нынче поёте, — сказал взволнованным голосом Лев Николаевич.

Мне была приятна эта похвала, мне удалось рассеять его неудовольствие, хотя я и не старалась это сделать. Музыкальное настроение является не по заказу, а особенно в пении, куда вкладываешь частицу души своей.

Позднее уже я узнала, что, аккомпанируя мне в этот вечер, Лев Николаевич загадал: "Ежели она возьмёт хорошо эту финальную высокую ноту, то надо сегодня же передать письмо (он не раз приносил с собой письмо, написанное сестре). Если возьмёт плохо — не передавать".

Лев Николаевич вообще имел привычку загадывать на пасьянсах и различных мелочах о том, "как ему поступить?" или "что будет?".

Меня позвали делать чай.

Через несколько времени я видела, как Соня, с письмом в руке, быстро прошла вниз в нашу комнату. Через несколько мгновений за ней тихо, как бы нерешительно, последовала и Лиза.

"Боже мой! — думала я, — она помешает Соне". А в чём? Я ещё не отдавала себе отчёта. "Она будет плакать, если это предложение".

Я бросила разливать чай и побежала за Лизой.

Я не ошиблась. Лиза только что спустилась вниз и стучалась в дверь нашей комнаты, которую заперла за собой Соня.

— Соня! — почти кричала она. — Отвори дверь, отвори сейчас! Мне нужно видеть тебя…

Дверь приотворилась.

— Соня, что le comte пишет тебе? Говори!

Соня молчала, держа в руках недочитанное письмо.

— Говори сейчас, что le comte пишет тебе! — повелительным голосом почти кричала Лиза.

По её голосу я видела, что она была страшно возбуждена и взволнована; такой я никогда ещё не видела её.

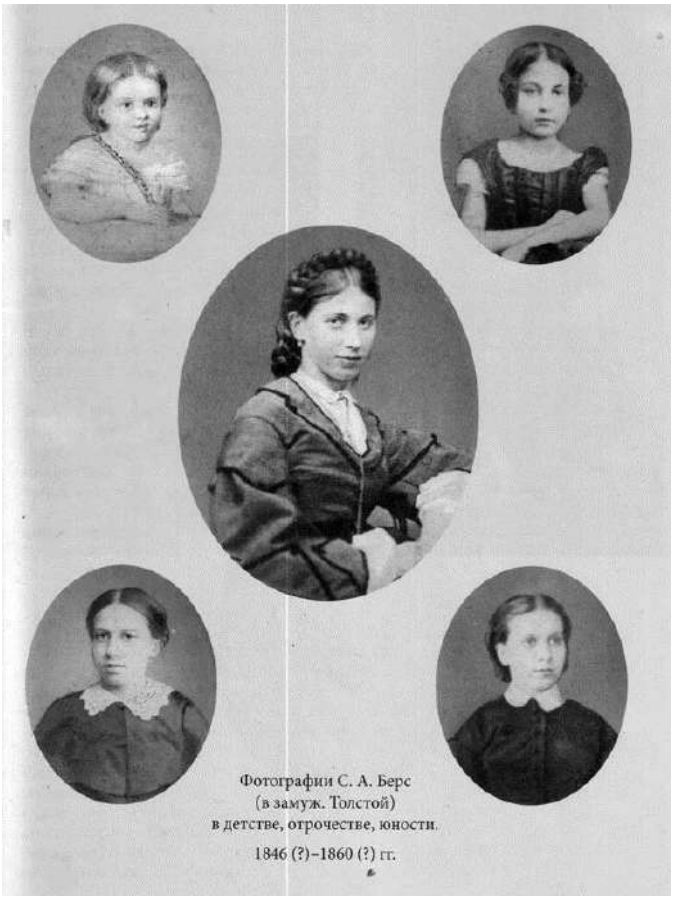
— Il m'a fait la proposition (*фр.* Он мне сделал предложение), — отвечала тихо Соня, видимо испугавшись состояния Лизы и переживая, вместе с тем, те счастливые минуты спокойного удовлетворения, которое может дать только взаимная любовь.

— Откажись! — кричала Лиза. — Откажись сейчас! — в её голосе слышалось рыдание.

Соня молчала» *(Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1959. С. 131- 133).*

Конечно же, она не отказала Льву Николаевичу, и старшей сестре пришлось смириться с утратой… некоторых собственных иллюзий.

Приводим теперь полный текст письма и ещё ряд необходимых пояснений к нему.



Фотографии С. А. Берс
(в замуж. Толстой)
в детстве, отрочестве, юности.
1846 (?)–1860 (?) гг.

«Софья Андревна!

Мне становится невыносимо. Три недели я каждый день говорю: нынче всё скажу, и ухожу с той же тоской, раскаяньем, страхом и счастьем в душе. И каждую ночь, как и теперь, я перебираю прошлое, мучаюсь и говорю: зачем я не сказал, и как, и что бы я сказал. Я беру с собой это письмо, чтобы отдать его вам, ежели опять мне нельзя или не достанет духу сказать вам всё.

Ложный взгляд вашего семейства на меня состоит в том, как мне кажется, что я влюблён в вашу сестру Лизу. *Это несправедливо. Повесть ваша засела у меня в голове*, оттого что, прочтя её, я убедился в том, что мне, Дублицкому, не пристало мечтать о счастии, что ваши *отличные*, поэтические требования любви… что я не завидовал и не буду завидовать тому, кого вы полюбите. Мне казалось, что я могу радоваться на вас, как на детей.

В Ивицах я писал: *Ваше присутствие слишком живо напоминает мне мою старость и невозможность счастия, и именно вы…*

Но и тогда, и после я лгал перед собой. Ещё тогда я бы мог оборвать всё и опять пойти в свой монастырь одинокого труда и увлеченья делом. Теперь я ничего не могу, а чувствую, что я напутал у вас в семействе, что простые, дорогие отношения с вами, как с другом,

честным человеком — потеряны. А я не могу уехать и не смею остаться. Вы, честный человек, руку на сердце, — *не торопясь, ради Бога не торопясь*, скажите, что мне делать. Чему посмеёшься, тому поработаешь. Я бы помер со смеху, ежели бы месяц тому назад мне сказали, что можно мучаться так, как я мучаюсь, и счастливо мучаюсь, это время. Скажите, как *честный человек*, — хотите ли вы быть моей женой? Только ежели от всей души, смело вы можете сказать да, а то лучше скажите нет, ежели есть в вас тень сомненья в себе.

Ради Бога спросите себя хорошо.

Мне страшно будет услышать нет, но я его предвижу и найду в себе силы снести; но ежели никогда мужем я не буду любимым так, как я люблю, это будет ужасней» *(83, 16 – 17)*.

Ни в этом письме, ни в огромной массе последующих за ним посланий Толстой не обозначил точной даты и времени написания – чем создал немало неудобств и добавил уйму трудов исследователям. Но именно *это* письмо можно датировать ночью с 13 на 14-ое сентября уверенно, благодаря дневниковой записи Толстого: «4-й час ночи. Я написал ей письмо и отдам завтра, т. е. нынче 14-го» *(48, 45*). По понятным причинам, это письмо Толстого было для Сонички всегда одним из самых значительных и любимых – как и предварившие его дневниковые запись Толстого от 12 и 13-го:

«*12 сентября*. Я влюблён, как не верил, чтобы можно было любить. Я сумасшедший, я застрелюсь, ежели это так продолжится. Был у них вечер. Она прелестна во всех отношениях. А я отвратительный Дублицкий. Надо было прежде беречься. Теперь уже я не могу остановиться. Дублицкой, пускай, но я прекрасен любовью. — Да. Завтра пойду к ним утром. […] Господи, помоги мне.

13 сентября. Ничего не было. […] Каждый день я думаю, что нельзя больше страдать и вместе быть счастливым, и каждый день я становлюсь безумнее. Опять вышел с тоской, раскаянием и счастьем в душе. Завтра пойду, как встану и всё скажу или застрелюсь» *(48, 44 - 45)*.

Справедливости ради нужно отметить, что слово «застрелюсь» было Толстым тогда же зачёркнуто.

Готовя в 1910-х книжную публикацию писем Толстого к ней, Софья Андреевна, не в пример мужу много лет заботившаяся об удобствах для будущих исследователей, пометила на конверте письма: «Предложение Лёвочки 16-го сентября 1862 года. Москва» (то есть письмо было передано робевшим женихом далеко не сразу после его

написания), а к самому письму сделала такое примечание: «Предложение было написано на четвёртой части листа простой белой бумаги, уже помятой и несвежей. Передано это было вечером в спальне (с перегородкой) моей матери. Жили мы тогда на казённой квартире в Кремле, в доме возле Троицких ворот» *(83, 17)*.

Л. Н. Толстой-жених.
1862 г. Москва.
Фотография М. Б. Тулинова

С. А. Берс-невеста.
1862 г. Москва.
Фотография М. Б. Тулинова

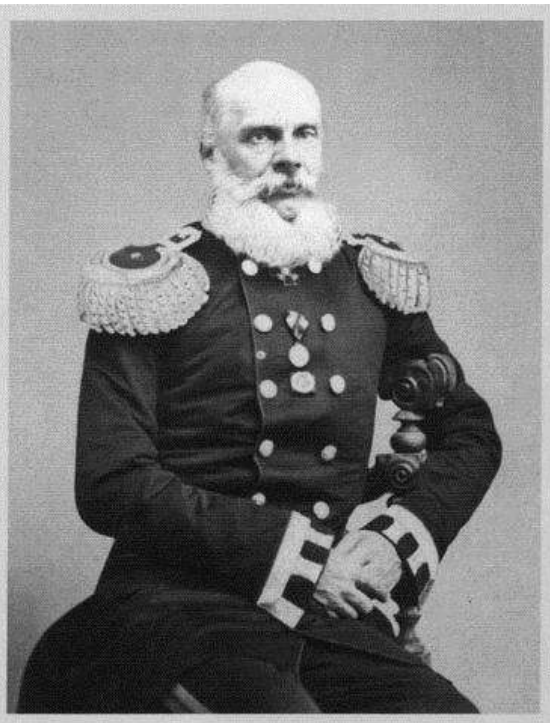
Тогда же, в 1912 году, Софья Андреевна набросала в своём дневнике черновые воспоминания о женитьбе Толстого, те самые, на которые ссылается биограф Толстого Н. Н. Гусев:

«16-го сентября в субботу, вечером, приехали кадеты: мой брат Саша и его товарищи.... Лев Николаевич весь этот день провёл у нас, и, выбрав от посторонних глаз минутку, вызвал меня в комнату моей матери, где никого в то время не было.

— Я хотел с вами поговорить, — начал он, — но не мог. Вот письмо, которое я уже несколько дней ношу в кармане. Прочтите его. Я буду здесь ждать вашего ответа.

Я схватила письмо и стремительно бросилась бежать вниз, в нашу общую, девичью комнату, где мы жили все три сестры. [...] Письмо это я хорошенько не прочла сразу, а пробежала глазами до слов: «Хотите ли быть моей женой». И уже хотела вернуться наверх, к Льву Николаевичу с утвердительным ответом, как встретила в дверях сестру Лизу, которая спросила меня: «Ну что?» — Le comte m'a fait la proposition [*фр.* граф мне сделал предложение], — отвечала я ей быстро. Вошла моя мать и сразу поняла, в чём дело. Взяв меня решительно за плечи и повернув к двери, она сказала:

— Поди к нему и скажи ему свой ответ.



А. Е. Берс,
отец С. А. Толстой.
Конец 1850-х — нач. 1860-х гг. (?)

Л. А. Берс (урожд. Ислявина),
мать С. А. Толстой.
1860 г. (?) Москва

Точно на крыльях, с страшной быстротой вбежала я на лестницу, промелькнула мимо столовой, гостиной и вбежала в комнату матери. Лев Николаевич стоял, прислонившись к стене, в углу комнаты и ждал меня. Я подошла к нему, и он взял меня за обе руки.

— Ну, что? — спросил он.

— Разумеется, да, — отвечала я.

Через несколько минут весь дом знал о случившемся, и все стали нас поздравлять» *(ДСАТ - 1. С. 488 – 489).*

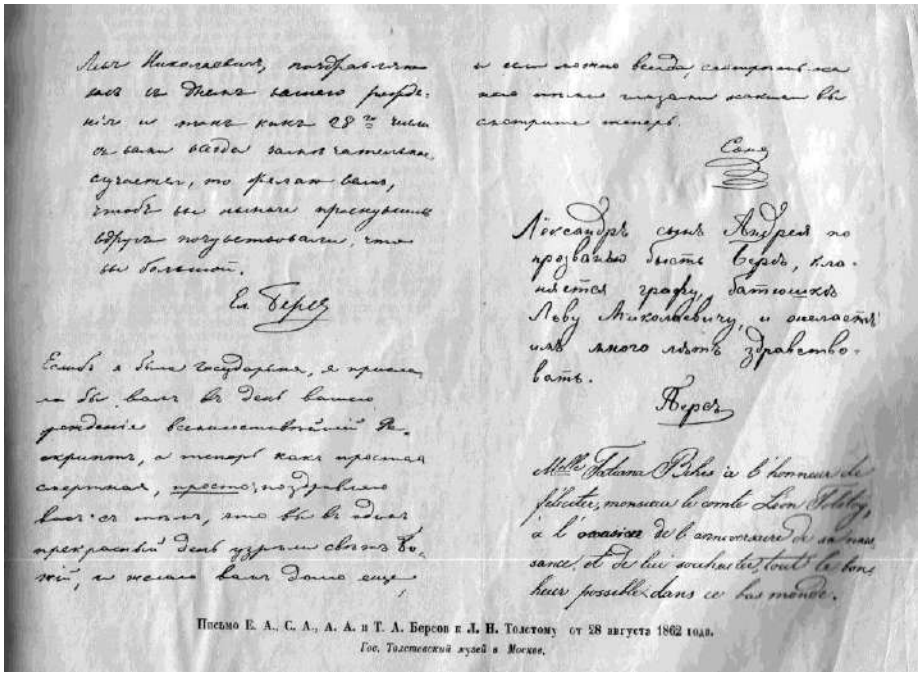
В свою очередь, *этот* ответ Сони на его письмо был для Льва Николаевича, без сомнения, самым памятным и счастливым – так что мы никак не могли обойти вниманием и такого, устного, продолжения переписки.

* * * * *

Гораздо реже приводится в литературе краткое, и, кажется, единственное до замужества послание юной Сонички молодому Льву, имевшее вот такую, изложенную в её мемуарах, предысторию:

«Помню раз, мы были все очень веселы и в игривом настроении. Я всё говорила одну и ту же глупость: «Когда я буду Государыней, я сделаю то-то», или когда я буду Государыней, я прикажу то-то» [...]. У балкона стоял кабриолет моего отца, из которого только что выпрягли лошадь. Я села в кабриолет и кричу: «Когда я буду Государыней, я буду кататься в таких кабриолетах!» Лев Николаевич схватил оглобли и вместо лошади рысью повез меня говоря: «Вот я буду катать свою Государыню» *(Толстая С.А. Моя жизнь. М., 2014. Том 1. – С. 59 – 60* ***[Далее ссылки на это издание сокр.: МЖ – 1,2.]*** *).*

И, вспоминая этот летний весёлый бедлам, Соня, вместе с другими членами семьи Берсов поздравляя 28 августа с днём рождения своего премногосимпатичнейшего Льва, отписала ему из Покровского-Стрешнева шутливо, вот так:



Письмо Е. А., С. А., А. А. и Т. А. Берсов к Л. Н. Толстому от 28 августа 1862 года.
Гос. Толстовский музей в Москве.

«Если б я была Государыня, я прислала бы вам в день вашего рождения Всемилостивейший Рескрипт, а теперь, как простая смертная, *просто* поздравляю вас с тем, что вы в один прекрасный день увидели свет Божий, и желаю вам долго ещё, и если можно всегда, смотреть на него теми глазами, какими вы смотрите теперь.

С о н я».

(Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому. – М., 1936. – С. 3. ***В дальнейшем при ссылке на это издание будем использовать сокращение: "ПСТ" – "Письма Софьи Толстой"****. – Р. А.).*

К счастью Соничкину, её пожелание сбылось на многие десятилетия их семейной жизни: Лев Николаевич ещё очень долго продолжал смотреть на мир глазами наивного, обманутого мирской ложью безбожника. «Мир» юной Сони и её городского зажиточного и интеллигентного семейства на время очаровал молодого супруга. В небольшой записке, написанной для жены во второй половине октября при неизвестных обстоятельствах, связанных с получением в Ясной Поляне каких-то писем из Москвы, от родных Сони, которые она дала Льву Николаевичу прочесть, он писал об этом так:

«Я ужасно наслаждался, читая все эти письма. И читал *с тобой*. Читай и ты *со мной*. Какие все славные, милые. Все твои. Лучше твой мир, чем мой, поганый, с работниками» *(83, 18)*.

Но Толстой сумел взять реванш и у этого, обманувшего его ненадолго, мира в последние три десятилетия жизни своей – годы христианского исповедничества и общественного служения!

Конец Предыстории

Л. Н. Толстой. 1862 г. Ясная Поляна.
Автофотопортрет.
На бланке автограф С. А. Толстой: «1862 г. Сам себя снял»

С. А. Толстая, урожденная Берс. 1862 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
(1863 - 1871)

Эпизод Первый
«ЛЕВОЧКА ВСЕ ВРЕТ»
(1863 г.)

Началом супружеского диалогового эпистолярного общения Л. Н. и С. А. Толстых следует считать 29 января 1863 года, когда молодая жена вписала в личный свой дневник следующие жалобные строки:

«Жизнь здесь, в Кремле, мне тягостна, оттого что отзывается то тягостное чувство бездействия и бесцельной жизни, как бывало в девичье время. И всё, что я вообразила себе замужем долгом и целью, улетучилось с тех пор, как Лёвочка мне дал почувствовать, что нельзя удовольствоваться одною жизнью семейною и женою или мужем, а надо что-нибудь ещё, постороннее дело» *(ДСАТ – 1. С. 49-50).*

Молодой супруг, которому Софья дала прочесть эту запись, сделал к ней решительную приписку:

«Ничего не надо, кроме тебя. Лёвочка всё врёт» *(Там же. С. 50).*

Соня Толстая в1863 г.

Такой же характер ответа на доверенную ему женой дневниковую запись носит и следующее за этим послание Льва Николаевича, вписанное в её дневник между записями 3 и 17 августа. Записи июля-

августа в дневнике жены открыли супругу и физическую её немощь (связанную с кормлением грудью родившегося первенца, Серёжи), и её моральную потребность в поддержке, понимании.

И Толстой делает следующую приписку – второй ответ на дневниковые, но не сокрытые от него записи – фактически послания к нему прелестной и любимой Sophie:

«Соня, прости меня, я теперь только знаю, что я виноват и как я виноват. Бывают дни, когда живёшь как будто не нашей волей, а подчиняешься какому-то внешнему непреодолимому закону. Такой я был эти дни насчёт тебя и кто же *[1 неразобр.]* — я. А я думал всегда, что у меня много недостатков и есть одна десятая часть чувства и великодушия.

Я был груб и жесток и к кому же? К одному существу, которое дало мне лучшее счастье жизни и которое одно любит меня. Соня, я знаю, что это не забывается и не прощается; но я больше тебя знаю и понимаю всю подлость свою, Соня, голубчик, я виноват, но я гадок *[1 неразобр.]* во мне есть отличный человек, который иногда спит. Ты его люби и не укоряй, Соня» *(83, 19 - 20).*

Но кто́ тот кающийся, кто пишет Соне эти строки? Ещё далёкий от религиозной христианской веры, к которой придёт через полтора десятилетия, развращённый аристократ, уже преуспевший писатель, в голове которого как раз зреет план Того Самого Романа «из эпохи 1812 года», да к тому же – отец только что родившегося первенца, сына!

И он сам обличает свою неуважительную к Соне неискренность самодовольного мужчины, когда, поддавшись новому изменению настроения – *зачёркивает* тут же волнистой линией вписанные в дневник жены «покаянные» строки. Софье Андреевне не оставалось ничего, кроме как констатировать в виде поздней приписки:

«Это написал Лёвочка, прощение просил у меня. Но потом за что-то рассердился и всё вычеркнул. Это была эпоха моей страшной грудницы, болезни грудей, *я не могла* кормить Серёжу, и это его сердило. Неужели я *не хотела,* это было тогда моё главное сильнейшее желание. Я стоила этих нескольких строк нежности и раскаяния с его стороны, но в новую минуту сердца на меня он лишил их меня, прежде чем я их прочла» *(ДСАТ – 1. С. 60).*

Судя по записи, сделанной Толстым в личном Дневнике 5 августа, Соня, действительно, была достойна менее субъективного, эгоистического отношения, нежели то, которое явил ей в эти дни Лев:

«Её характер портится с каждым днём, я узнаю в ней и Полиньку и Машиньку с ворчаньем и озлобленными колокольчиками. Правда, что это бывает в то время, как ей хуже; но несправедливость и спокойный эгоизм пугают и мучают меня. Она же слыхала от кого-то и затвердила, что мужья не любят больных жён, и вследствие этого успокоилась в своей правоте. Или она никогда не любила меня, а обманывалась. Я пересмотрел её дневник — затаённая злоба на меня дышит из-под слов нежности. В жизни часто тоже. — Если это так, и всё это с её стороны ошибка — то это ужасно. Отдать всё — не холостую кутёжную жизнь у Дюссо и метресок, как другие женившиеся, а всю поэзию любви, мысли и деятельности народной променять на поэзию семейного очага, эгоизма ко всему, кроме к своей семье, и на место всего получить заботы кабака, детской присыпки, варенья, с ворчаньем и без всего, что освещает семейную жизнь, без любви и семейного тихого и гордого счастья. А только порывы нежности, поцелуев и т. д. Мне ужасно тяжело, я ещё не верю, но тогда бы я не болен, не расстроен был целый день — напротив. С утра я прихожу счастливый, весёлый, и вижу *графиню*, которая гневается и которой девка Душка расчёсывает волосики <…> и я, как отпаренный, боюсь всего и вижу, что только там, где я один, мне хорошо и поэтично. Мне дают поцелуи, по привычке нежные, и начинается придиранье к Душке, к тётиньке, к Тане, ко мне, ко всем, и я не могу переносить этого спокойно, потому что всё это не просто дурно, но ужасно, в сравнении с тем, что я желаю. […] А малейший проблеск понимания и чувства, и я опять весь счастлив и верю, что она понимает вещи, как и я. Верится тому, чего сильно желаешь. — И я доволен тем, что только меня мучают. И та же черта, как у Машиньки, какой-то болезненной и капризной самоуверенности и покорности своей мнимой несчастной судьбе.

Уже 1 ночи, я не могу спать, ещё меньше идти спать в её комнату с тем чувством, которое давит меня, а она постонет, когда её слышут, а теперь спокойно храпит. Проснётся и в полной уверенности, что я несправедлив, и что она несчастная жертва моих переменчивых фантазий — кормить, ходить за ребёнком. Даже родитель того же мнения. Я не дал ей читать своего дневника, но не пишу всего. Ужаснее всего то, что я должен молчать… Говорить с ней теперь нельзя, а может быть ещё всё бы объяснилось. Нет, она не любила и не любит меня. Мне это мало жалко теперь, но за что было меня так больно обманывать» *(48, 56 - 57)*.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Второй.
СО́СКИ, ДА СОСКИ́, ДА ОЗЕРО ТОСКИ
(1864 г.)

Продолжение переписки Софьи и Льва – или начало её в «традиционной» форме обмена именно письмами – связано уже с 1864 годом, с недолгой (с 22 по 26 или 27 апреля) отлучкой Толстого – по хозяйственным вопросам, в Пирогово, усадьбу брата Сергея и сестры Марии.

Поездка Толстого в Пирогово стояла в связи с пребыванием М. Н. Толстой и С. Н. Толстого за границей: Толстой на время их отсутствия взял на себя заботы об их имениях и денежных делах. Письмо, в основном, посвящено именно хозяйству Пирогово и впечатлениям от усадьбы Толстого. С жизнью семейной и женой связаны только несколько строк:

«…Потом меня в ухе шумело и стало грустно о тебе (о Серёже меньшом я ещё не жалею), и нашёл страх, что я тебя оставил; потом заснул и видел во сне разные лица из моего романа. […] Вот что, пожалуйста, ты без меня не попускайся, как тебя в это втягивает Таня, а действуй, как бывало в эти дни, когда ты сходишь к Мышке <служанка, одна из крестьянок Ясной Поляны. – *Р. А.*> и играешь на фортепиянах и только Серёжа отрывает тебя. (Ежели Серёжа будет нездоров, пришли ко мне сейчас нарочного.) Я прошу не сидеть, а ходить, для того что иначе (я имею дерзость думать) тебе будет грустнее без меня» *(63, 28 - 29).*

Ответ же Софьи Андреевны на это аристократично-эгоистическое послание, от 23 – 24 апреля, был отнюдь не «дежурным» и не «хозяйственным» и заслуживает быть приведённым полностью:

«[1864 г. Апреля] 23 вечером *[Я. П.]*

Я также аккуратно и хорошо хотела описать тебе всё, что было в эти полтора дня у нас и с нами, но вдруг Серёжа стал хрипеть, ему заложило грудь, и на меня нашёл такой страх, я по обыкновению начинаю теряться и бояться. А без тебя ещё страшнее и хуже. Употреблю все средства против простуды, Бог даст не опасно. А ужасно, ужасно трудно мне и грустно, и страшно без тебя. Теперь он спит, а я беру на себя и всё тебе описываю. — Вчера, как ты уехал, я себя выдержала и не плакала. Но вдруг у меня будто бы стало очень много

дела, я хлопотала бегала, суетилась, хотя нынче, спроси, что я делала, — я не знаю. Больше возилась с Серёжей и с рук его почти не спускала. Гулять не ходила, а вечером вязала. Когда же пришла в свою комнату и хотела, было, ложиться, так мне вдруг стало скучно, что я просидела два часа, писала, да не пошло́, плакала, и всю ночь потом почти не спала. А когда заснула, всё видела какие-то страшные сны и пугалась и просыпалась. В пять часов Дора нас разбудила. Таня (она спала в гостиной) встала, оделась и выпустила её на цепи. Но опять та же возня с собаками, и Дорку принесла Таня на руках. Потом её заперли и увезли в Москву только в одиннадцать часов, тоже возились долго, от собак не могли отбиться.

Хотя я с пяти часов опять спала плохо, но встала в одиннадцать часов как будто я больна, так дурно мне было. Серёжа был и весел, и здоров, и мил. За чаем я узнала, что Николай болен и не может даже готовить. Я пошла в кухню и простряпала всё утро. В кухню Таня принесла мне твоё письмо. Я так обрадовалась, что меня всю в жар бросило. Я читала и просто задыхалась от радости. В самом деле, точно ты давно уж уехал. Всё, что ты про Серёжу мне писал, так во мне отозвалось, что всё плакать хотела, и вдруг так я его полюбила, тоже и мне его жалко стало. Я очень рада твоему намерению писать, — мы ни о чём не переговорили, мне не хотелось говорить тогда, потому что и так тяжело было расставаться. А теперь писать грустно, и я всё избегаю назвать тебя по имени, потому что как будто говоришь с тобой, а тебя нет, и ещё скучнее. Вслед за твоим письмом привезли письма с почты: от С. Горсткиной, от Анеточки, от Ислави́на и Серёжи. Последние посылаю тебе. Верно письмо Серёжи на тебя подействует хорошо. Я ему так обрадовалась, что сказать тебе не могу. Всё-таки нравственно ему лучше, и я нынче как-то так раздражена, что всё очень принимаю к сердцу. Не сердись, что мы распечатали. Это письмо было радостно для всех и потому только я не раскаиваюсь, и, если тебе неприятно, то раскаиваюсь и прошу прощения. — Серёжа кашляет очень дурно; я совсем начинаю унывать и завтра пошлю и за доктором и к тебе, если ему не будет лучше.

24. После обеда.

У нас всё просветлело, и меня мучает, что ты едешь и ужасно беспокоишься о нас всех. Я тебе скоро всё лично буду рассказывать, и пишу, чтоб время прошло скорее и всё-таки как будто говорю с тобой. Что это только было вчера, я вспомнить не могу! Совершенно неожиданно, сидим за чаем, вдруг Серёжа закашлял, я встала, посмотрела, мне показалось, что ничего особенного. Потом всё пошло

сильнее; я писала, услыхала опять кашель, пошла в детскую и тут его начало душить. С первых минут я совсем растерялась, не помню даже ничего об окружающих. Он кашлял как из бочки и задыхался, но я скоро опомнилась, хотя всё плакала. Одно знаю, что было очень серьёзно и верно опасно, и все, особенно Таня и Татьяна Александровна, очень испугались. Хочется мне похвастаться, что я хорошо распорядилась, и, если ты скажешь, что дурно, то я верно с тобой соглашусь. Я послала за Иваном Ивановичем и просила его немедленно ехать к Шмигаро, а, если он не поедет, то привезти какого бы то ни было доктора, и кроме того велела позвать к себе Кондратия. А Дуняше велела сделать маленький горчишник и припарки, о которых напомнил Кёллер. (Он, по-видимому, принимал большое участие.) Дала Серёже масла касторового, положила горчицу. Если б ты только видел, как он был жалок. Плакал, задыхался, горчица его щипала; он сучил ножками и хватался всё за мои волоса, серьги, воротник, точно он в меня влезть хотел или просил, чтоб его спасли. Я всё держала его на руках, и чем больше он мучился, тем живее мне представлялись его щелчки, его любовь ко мне, все его мины и я думала, что он умрёт. Вспомнила ещё, что ты бы отнял его у меня и сердился бы на меня, а я бы отдала Бог знает что, чтоб ты всё-таки был со мной. Думая о смерти Серёжи, мне ещё стало страшнее без тебя. Ты не можешь вообразить этого чувства осиротелости, которое я испытываю без тебя и испытала, особенно вчера с больным Серёжей. Я стала придумывать, как бы скорее тебе дать знать. Пришёл Кондратий, оказалось, что верхом он проездит сутки и даже больше; к тому же у него не оказалось вида, а то я его хотела послать на перекладной. Таня говорит: «пошли Алексея». Он согласился, и вот моё распоряжение. Слава Богу, что напрасно послали; хуже бы, если б не напрасно. А ты мне ужасно нужен, я так измучилась и отдохнуть не с кем. Таня и тётенька Татьяна Александровна были ужасно милы. Их любящие натуры высказались вполне. Таня всё бегала: по дворне, к работникам, распоряжалась от моего имени, не спала всю ночь, только часа три, и помогала во всём, хотя сама дрожала и плакала от страха, а Татьяна Александровна была и бодра, и добра, и своим настоящим участием меня просто поддерживала. А очень мы все перепугались. Тётеньку Полину я не видала; она объелась и спала всю ночь препокойно, только ходила в палатку и отпивалась мятой. Прости за грубость и злость на неё.

После горчишников и масла Серёжа заснул, но дышал страшно всю ночь. Я продолжала класть ему припарки и он проспал всю ночь распелёнутый, такой трогательный и милый, в самых милых детских

позах. Тётенька Татьяна Александровна и я, мы à la lettre [*фр.* буквально] ни минуты не заснули. Я всё его сторожила, как бы он не задохнулся, а тётенька всё навещала. Никто и не раздевался. Ещё я растёрла его тёплым маслом, но не могла никак добиться, чтоб он спотел. Как много я передумала в эту ночь, как любила тебя, как я хорошо понимала и чувствовала, какой ты отличный и как я тебя люблю. Лежала я на кушетке и всё прислушивалась, не едет ли доктор. Несколько раз я сбега́ла на крыльцо посмотреть не едет ли доктор и всякий раз Кёллер выходил из кабинета и спрашивал: Wie geht der Kleine?». [*нем.* «Как чувствует себя малыш?»] Он тоже не раздевался и не тушил свечи. В пятом часу явился Иван Иванович и с ним какой-то толстый белокурый доктор. Доктора я проводила в детскую и спросила, кто это у Ивана Ивановича. Оказалось, что Шмигаро не поехал, а что это Виганд. И то заманили его насилу. Он всё отговаривался, что у нас лечит Шмигаро и что он не поедет. Виганд дал Серёже в три приёма 85 антимониальных капель, поставил не к груди, как мы, — а к спинке горчицу и дал сыроп, который очень помогает от кашля. Опять я ужасно мучилась: бедный Серёжа страшно метался; его тошнило, рвало, он всё лежал у меня на плече и хватался за меня. Как жалок был, ты вообразить не можешь! Но душить его перестало, дышал он всё лучше и лучше и заснул совсем покойно. Мы все до одной души собрались пить чай, было совсем светло и шесть часов. Все успокоились, я видела, что прошла опасность, но всё меня мучил его кашель и дыханье, и до сих пор я не совсем покойна. Ел он хорошо, спал порядочно и слабило хорошо. А его нежность ко мне сводит меня совсем с ума. Мне всё хочется плакать, да и нервы расстроены, может быть, оттого. Он похудел и стал ещё больше похож на тебя. Тебя я не вижу и мне всё хочется в его личике увидать твои черты и найти сходство. Когда уехал доктор, я легла и спала часа полтора в детской. Всё мне представлялось в тумане, и ночь прошедшая, и природа вся, и люди; — ты знаешь, как после бессонной ночи, а когда я думала о тебе, то ужасная пустота, скука и всё, кажется, как будто не для меня, что я умерла и что только здоровье Серёжи и ты опять меня оживят. И до сих пор это чувство. Серёже делалось всё лучше и лучше, тётенька спала, Таня бегала везде: и в сад, и ещё куда-то, а я всё у Серёжи, и всё с самыми радостными, но тревожными мыслями о тебе. Часа в три мы все опомнились, умылись, оделись; Кёллер поехал в Тулу, Серёжа уж стал играть и смеяться и я села есть. Потом опять в детской; любовь Серёжи ко мне, меня так и тянет к нему. В четыре с половиной часа обедали, а потом, с моего позволения, Иван Иванович с сыном и Таня поехали верхом кататься. Они и третьего дня ездили ловить

лошадей крестьянских на наших лугах, но ничего не поймали. Я пошла нынче после обеда к Мышке и опять я для всего мёртвая, как будто. Погода была чудесная, всего часа полтора, особенно ярко блестела на солнце трава, мне это в глаза бросилось. Мышки дома не было; я вернулась домой и встретила Ивана Ивановича, Таню и Анатоля. Таня была блестяща просто. В бархатной курточке, в своей шляпке с пёстрыми пёрышками, беленькая, свеженькая, — прелесть. Немножко завидно было и я подумала, что и ты ею поразишься, страшно немножко стало. А я дурная с измятым лицом, жалкая, чересчур не элегантная пешеходка. — Дома, пока Серёжа спал, пописала, потом он оторвал меня, потом я опять писала и пишу до сих пор. Его кладут спать, я отпущу няню, и сама продежурю до твоего приезда. Я жду тебя непременно нынче в ночь. Приедешь ли? Я не дождусь, кажется, тебя, а как хочется увидаться скорее с тобой» *(ПСТ. С. 6 - 9).*

По этому письму Софьи Андреевны, в сопоставлении с хозяйственно-эгоистическим – Льва, видно уже, сколь непростая судьба ожидала супругов. Сколь сильна в юной Сониччке была потребность *обладания и принадлежности*, повседневной *заботы* — столь же ярко молодой Лев являл собой тип *искателя свободы*, любителя уединиться для собственной эмоциональной и интеллектуальной жизни… даже куда-нибудь сбежать! Его отъезд — «присмотреть за имением» — не был так остро необходим, как он сам был необходим юной своей жене, оставленной с больным ребёнком в безалаберном своём, львином-толстовском доме, пусть уже не вовсе чужом для Сони, но таком, к которому «нормальному», обыкновенному человеку нужно было *долго* и непросто привыкать.

Непрост и чреват драмами с детства был и характер Софьи Андреевны. Об одной из значительнейших, судьбоносных его черт пишет в своих мемуарах сестра её, Татьяна Андреевна Берс, в замужестве Кузминская:

«Соня была здоровая, румяная девочка с тёмно-карими большими глазами и тёмной косой. Она имела очень живой характер с лёгким оттенком сентиментальности, которая легко переходила в грусть.

Соня никогда не отдавалась полному веселью или счастью, чем баловала её юная жизнь и первые годы замужества. Она как будто не доверяла счастью, не умела его взять и всецело пользоваться им. Ей все казалось, что сейчас что-нибудь помешает ему или что-нибудь другое должно прийти, чтобы счастье было полное.

Эта черта её характера осталась у неё на всю жизнь. Она сама сознавала в себе эту черту и писала мне в одном из своих писем:

“И видна ты с этим удивительным, завидным даром находить веселье во всём и во всех; не то, что я, которая, напротив, в веселье и счастье умеет найти «грустное»”.

Отец знал в ней эту черту характера и говорил: “Бедная Сонюшка никогда не будет вполне счастлива”» *(Кузминская Т.А. Моя жизнь Дома и в Ясной Поляне. Тула, 1959. С. 53).*

Предлагаем нашему читателю, по поводу этого отрывка – “завязать узелок” в памяти: так значительно проявят себя описанные в нём акцентуации характера жены Толстого в её как устном, так и эпистолярном общении с ним.

КОНЕЦ ВТОРОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Третий.
КОМУ – РОЖОК ОХОТНИЧИЙ, А КОМУ-ТО...
(1864 г., окончание)

Переписка супругов продолжилась в августе 1864-го, когда Лев Николаевич поехал на охоту в Чернский уезд Тульской губ. Сперва он заехал к брату в Пирогово, а оттуда, через Чернь – в своё имение Никольское-Вяземское. Пребывая в Черни, 9 августа, уже натешившись охотой и общением с грубоватыми мужичка́ми и друзьями-помещиками, он наконец берётся за писание писем. К жене в тот день написаны целых два. В первом, помимо подробностей охоты, есть такие значительные личные строки:

«Нынче встал, все спят, и вот достал тетрадь какую-то и пишу к Соне, без которой мне жить плохо.

Вчера я возвращался в Пирогово с мыслью, что я нынче еду назад в Ясную; так мне стало страшно за тебя и Сережу, которого видел во сне. […] Испортился я совсем. Ты говоришь, я забуду. Ни минуты, особенно с людьми. На охоте я забываю, помню об одном дупеле, но с людьми при всяком столкновении, слове я вспоминаю о тебе, и всё мне хочется сказать тебе то, что я никому, кроме тебя, не могу сказать. Нынче я буду в Никольском, завтра пробуду весь день, и,

должно быть, больше никуда не поеду, и послезавтра вернусь» *(83, 37 - 38)*.

Начало второго его письма 9 августа, из Черни, служит ответом на утраченное письмо С. А. Толстой, дату которого теперь установить затруднительно:

«А я-то тебя как люблю! Голубчик, милый.

Всю дорогу ехал до Черни и думал: нет, непременно произойдёт какая-нибудь путаница с письмами и я не получу в Черни. Приезжаю, и бывший прикащик Томаса — такое милое лицо у этого прикащика — говорит: а вы не изволили получить письма? Нет. А я так проголодался, занялся супом, что ещё не спросил. Какое письмо милое, и ты милая.

Я спокоен, и по письму вижу, что ты не в весёлом, но в очень хорошем состоянии» *(Там же. С. 40)*.

Толстой, как мы сказали, отвечает здесь на какое-то письмо Софьи Андреевны, текст которого, однако, нам неизвестен.

Вероятно, Софья Андреевна выразила в утраченном письме своё желание скорее увидеться с мужем, но Толстой всё-таки вознамерился продолжить до 11 августа охотиться, а также осмотреть доходное имение, о чём пишет, будто оправдываясь, жене:

«В Никольское не ехать и вернуться к тебе, как я хотел, было совестно и притом нужно, а удовольствия без тебя для меня быть не может, кроме охоты. Охоты же у Киреевского и Фета быть не может. Я обдумал это теперь. Что ежели бы мне ехать к Киреевскому, то надо бы списаться и приехать к его выезду. Я не отменяю срок 15 числа, а только сам постараюсь приехать раньше. Теперь 7 часов, я в Черни. Стало быть, в Никольском только с завтрашнего дня. И надо же осмотреть наконец и узнать хорошенько это именье, которого я не знаю и не видел, несмотря на то, что 5-й год им живу» *(Там же)*.

Прибыв 10 августа в Никольское, Лев Николаевич сразу получил любимый свой писательский подарок: историю трагической гибели двоих людей. Пережив от августовских мух и полученных впечатлений бессонную ночь, он рассказывает весь ужастик жене в следующем письме, писанном 10 или 11 августа:

«Баба скотница упустила бадью в колодезь на конном дворе. Колодезь всего12 аршин Села на палку и велела себя спустить мужику.

Мужик староста, пчеловод, единственный мне знакомый и милый в Никольском. Баба слезла вниз и упала с палки. Мужик староста велел себя спустить. Долез до половины, упал с палки вниз. Побежали за народом, вытащили через полчаса, оба мёртвые. В колодце было всего 3 четверти воды. Вчера хоронили» *(83, 43)*.

Как известно, этот случай Лев Николаевич поведал потом в «Азбуке», в рассказе «Вредный воздух».

Компанию на охоте и в Никольском Толстому составили помещики Николай Киреевский, Сергей Нарышкин и, конечно, верный Фет, о проделках которых Толстой так же расписывает жене в вышеизложенных письмах, а так же следующем, последнем перед возвращением в Ясную Поляну, письме от 11 (или утра 12-го) августа, в котором сообщал, что планирует выехать утром же 12-го, «и к вечеру почувствую твой арбуз <Соня снова была беременна. - *Р.А.*> и увижу твоё лицо милое» *(Там же. С. 45)*.

Теперь обратим внимание на два ответных письма Софьи Андреевны, писанные в ответ на привезённое ей 10-го с почты сестрой Татьяной вышепроцитированное нами письмо Л.Н. Толстого от 9 августа.

Вот первое из писем, 10 августа:

«Боюсь, что письмо это не дойдёт уже до тебя; ты, может быть, уж будешь возвращаться; но всё-таки пусть лучше пропадёт, чем не писать, когда всё-таки, может быть, и получишь. Весёлого мало: Серёжа всё нездоров. Удивляюсь я его бессоннице. Вечером до двенадцати часов не спит, а потом всю ночь вскрикивает и плачет. По вечерам оглядывается, всё что-то высматривает и всё издаёт те звуки, которые он произносит при виде лошадей. Понос продолжается по семь раз в сутки и очень жидко. Нынче, верно, была боль в животе, потому что он очень кричал и ножками сучил. Я покуда только грею ему припарки и больше ничего. Тётеньке <Т. А. Ёргольской. – *Р. А.*> я вчера обрадовалась больше, чем сама думала. Так она меня хорошо, добродушно и ласково встретила и видно, что искренно. Что это за горе мне будет, когда её не будет на свете. Я её очень люблю. […]

Твоё письмо меня так обрадовало, что передать тебе не могу. Они приехали в ту самую минуту, как я садилась за свой одинокий обед. Я его побежала читать в свою комнату, и даже стыдно было, — всё время от радости смеялась. Уж сколько раз я его перечитывала! Мне тебя даже не жалко, что ты *испортился*, так я рада, что ты меня всё

помнил и что я тебе недоставала. А домой тебя не вызываю, я рада, что нынешний раз я не выхожу из себя от скуки и страха насчёт Серёжи, и рада, что ты из Пирогова не приехал домой. Раз расстались, надо уж сделать дело, чтоб не расставаться во второй раз. Жаль, что опоздал на охоту, а то бы ты повеселился. <…> Серёжа сейчас встал и ещё слабило уже в пятый раз, а теперь только половина двенадцатого. Я ему всё грею припарки. Когда Серёжа спит, я нигде себе места не нахожу, так и тянет всё к тебе, и всё я тебя жду, как будто ты только ушёл не надолго. Серёжа очень скучен нынче, не знаю, от погоды это или от того, что ему хуже. У нас проливной дождь, но, кажется, не надолго. Я немного удивилась, что ты так поздно выехал в Никольское; ведь это было на третий день после твоего отъезда из Ясной. Жаль, что тебе даже не было весело. <…> Первую жертву я сыну сделала, что не поехала с тобой. Мне теперь весело думать о том, как бы мы с тобой вдвоём, совсем одни куда-нибудь поехали пожить, как молодые. Но теперь это уж кончено, никогда этого не будет. Серёжа меня ужасно измучил своей продолжительной болезнью. Просто не даёт отдохнуть даже. Всё понос, понос и понос! Я уверена, что я просто не умею его воспитывать, но что же мне делать! Когда ты что-нибудь решительное говоришь на счёт его, я как будто сержусь, а в душе ужасно рада и дорожу всем, что ты говоришь. И теперь, верно, ты что-нибудь сказал бы дельное, а я теряюсь и не знаю, на что решиться. Я очень часто думаю и не могу себе объяснить, какое чувство имеешь ты к Серёже. Уж верно не такое, какое я, — как любишь ты его? У меня всё только страх и сожаление к нему. Я не могу вообразить себе, что завтра, может быть, ты приедешь. Это было бы очень хорошо, да плохо я на это надеюсь. До вчерашнего твоего письма меня всё мучило, что последнее время между нами была какая-то холодность, особенно с твоей стороны, и даже неловкость, но письмо твоё так просто, так хорошо, что все эти мысли прошли. Мне вчера так всё опять показалось весело, после твоего письма. И время, прожитое без тебя, сократилось, и болезнь Серёжи как будто не стала так опасна, и всё, всё стало лучше, как будто ты сам побывал дома. Я говорю с твоей стороны, а с моей я такие тебе сделала две неприятности, что теперь и стыдно, и ужасно грустно вспомнить. Чем больше я с тобой живу, тем тяжелее мне делается всякая гадость, которую я тебе сделаю. Я всё бы писала тебе, да боюсь опоздать, почта отойдёт; и потому цалую тебя покуда, и уж больше не жди от меня письма; всё равно оно тебя не застанет, пожалуй. А если ты не приедешь завтра в ночь, я ещё беспокоиться не буду, только с 15-го начну беспокоиться. Прощай, милый, может быть, мне привезут нынче от тебя письмо. Если ты не

приедешь и поехал к Фету и напишешь, что вернёшься не прежде 15-го, я тебе ещё напишу в среду. Не получишь, так не беспокойся» *(ПСТ. С. 15 - 17).*

И вдогонку – летит к Толстому ещё одно «одиноко-тоскующее» письмо молодой жены. По всей видимости, в момент его написания (11 августа, «вторник вечером») на руках Софьи Андреевны было только два первых (от 9 августа) из четырёх представленных нами выше писем Л. Н. Толстого. Новых значимых событий совершиться не успело, да и настроение Софьи – всё то же:

«Мне нынче что-то так взгрустнулось, милый Лёвочка, вся моя бодрость пропала, и так захотелось скорей, скорей увидаться с тобой. Это всё сделало твоё милое письмо, твоя ко мне любовь и то, что нам всё делается лучше и лучше жить на свете вместе. Мне грустно стало, что ты ещё не скоро воротишься; к тому же Серёжа мой всё нездоров, а причина тому та, что корова больна. У ней так болят ноги, что она даже ходить не может. Но всё это случается как будто нарочно. Он так хорошо стал поправляться; надо же такое несчастье. Ходит он без боли [...] но очень жидко и часто. Спал нынче хорошо и ест порядочно. Нынче весь день гуляет, потому что погода чудесная, тепло и тихо. Мой день провела я вот как: встала, как и все дни, в восемь часов, спала первую ночь отлично, потому что Серёжа спал хорошо; потом послала в Ясенки Таню. Она привезла мне твоё письмо, а я всё утро убирала все книги, твои и наши, перетёрла их все, вымыла полки и очень устала. Это до моих родов я убираю их в последний раз; работа не лёгкая. Потом вообще на меня нашёл дух порядка и я *всё* стала убирать. До обеда рисовала и идёт очень плохо, но на этот раз хочу выдержать характер и кончить начатое. Обедала ровно в четыре часа. Дворецкий наш очень исправен, мы тоже. Потом я гуляла с Серёжей и была по всем садам. <...> Теперь я буду брать скоро ванну, а ложусь я в десятом часу, потому что вечера без тебя и Серёжи очень грустны и длинны. [...]

Тётенька наша всё похаживает по дорожкам с зонтиком и всё хочется ей съесть: и персики, и петуха, и яблоки. Она очень в хорошем духе и добра. А нынче так трогательно рассказывала про старину, про смерть всех близких ей, и, знаешь, как всегда — голос у ней немного дрожал и она была в таком трогательном волнении. Я покуда рисовала, а Таня тоже слушала. Лёва, милый, кабы ты скорей приехал. Я уже мечтаю, не застанет ли тебя это письмо в Черни, на возвратном пути. Я не поняла, что это значит, *что я не думаю ехать к*

Фету и Киреевскому <…> Ну, прощай, завтра утром напишу ещё и пошлю это письмо. Цалую тебя, милый» *(ПСТ. С. 20, 23).*

Всё те же две психологические тенденции видим мы в этих письмах: с одной стороны – спокойная, зрелая, но временами очень эгоистическая независимость мужа, с другой же – внутренняя самонедостаточность, суетливость, страхи и жажда постоянного обладания, неотступного сопутничества – со стороны жены. И та, и другая целокупности черт характеров обоих супругов могут иметь своих и критиков, и симпатантов (в случае Софьи Андреевны – скорее, романтически настроенных симпатанток) но стоит вновь подчеркнуть, что они утяжеляли отношения мужа и жены Толстых с первых дней совместной жизни и послужили углублению раскола в дальнейшем.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ЭПИЗОДА

С. А. Толстая. *Тула. 1864 – 1865 гг.*

Эпизод Четвертый.
РУКА И ВиМ

Следующий значительный эпизод переписки молодых супругов относится к ноябрю-декабрю того же 1864-го года. Ему предшествовали не многие события в жизни яснополянского семейства и творческой жизни Л.Н. Толстого, итог которым он подводит сам в единственной в 1864 году дневниковой записи от 16 сентября:

«Скоро год, как я не писал в эту книгу. И год хороший. Отношения наши с Соней утвердились, упрочились. Мы любим, т. е. дороже друг для друга всех других людей на свете, и мы ясно смотрим друг на друга. Нет тайн, и ни за что не совестно. Я начал с тех пор роман, написал листов 10 печатных, но теперь нахожусь в периоде поправления и переделывания. — Мучительно. Педагогические интересы ушли далеко. Сын очень мало близок мне» *(48, 58)*.

Словцу: «мучительно» не очень стоит тут доверять. Слишком сквозит “между строк” типичная мужская, самячья и аристократская самоудовлетворённость: и своими творческими успехами, и налаженным хозяйством, и подрастающим первенцем-сыном, и выдрессированной женой…

И, дабы венчать свой «успешный» год типично по-мужски: извращённой потехой насилия, кровопролития, упоением властью над жизнью и смертью живых существ – 26 сентября Толстой выезжает на рыжей кобыле к соседу, помещику Александру Николаевичу Бибикову, в его имение Телятинки, дабы вместе с дружком, «повеселее», провести «традиционную» осеннюю охоту.

Но на этот раз самодовольному мучителю молодой жены и матери и убийце живых существ не пофартило: в живых остался, но и то, что такое настоящее «мучительно» — слава Богу, испытал сполна!

Дело было так. С Толстым на охоту отправились две борзые собаки, которые вскоре учуяли зайца, погнались за ним, и безумец, с криками «ату его!», тут же ринулся вскачь за собаками. Лошадка угодила ногой в водомоину. Но её Господь берёг: седок свалился с неё раньше её самой, и лошадка упала мягко, на него, а потом убежала, не получив повреждений. А вот господин барин-помещик и убивец зверушек — вывихнул себе при падении правую руку. Страдая от самой ужасной боли, с трудом («почти ползком», как передавала потом в воспоминаниях жена), он воротился на шоссе. К его счастью, мимо проезжал яснополянский мужик, который и подбросил его до деревни. Боясь напугать беременную жену, Толстой воспретил везти

его сразу в усадебный дом. Позвали деревенскую мастерицу костоправного дела, бабку Акулину, которая тут же, шутя, вправила дуралею его многоценную писательскую длань. Но, конечно, не доверяя, как цивилизованный человек, деревенскому шарлатанству, Лев Николаевич велел призвать «на всякий случай» городского доктора.

Соня, как потом вспоминала, чуяла неладное, волновалась. У неё пропал аппетит, и она всё время выбегала на крыльцо. Наконец, мать её, гостившая как раз в доме Толстого, прибежала к дочери с уже ожидавшимся ею неприятным известием. Вместе с мамой Соня бросилась в избу, где застала как раз тульского «профи», уже упоминавшегося выше Шмигаро, на пару с дюжим фельдшером. Отругав Толстого за доверие бабкам-костоправкам, тот, с решительностью средневекового палача, взялся за свою весьма чёрную работу:

«Зрелище в избе, когда я отворила дверь, было ужасное. Лев Николаевич, по пояс обнажённый, сидел среди избы, двое мужиков его держали, доктор с фельдшером грубо и неумело старались поставить на место руку, а Лев Николаевич кричал громко от сильных страданий» *(Толстая С.А. МЖ - 1. С. 124).*

Отняв мужа у мучителей, жена и мать свезли недотёпу охотничка к родным пенатам…

«Всю ночь он мучительно-громко стонал, — вспоминает далее Софья Андреевна, — Я сидела с ним, и он иногда, сидя, засыпал, както положив голову ко мне на плечо» *(Там же).*

Утром в дом полуживого, обезумевшего от страданий помещика был призван другой тульский доктор, некто Преображенский: один из тех, кто, за хорошую мзду, ездит именно в такие дома, а не в деревенские избы. «Приехав, он умело и быстро, под хлороформом вправил Льву Николаевичу руку и спокойно забинтовал её так, что боли сразу стали гораздо легче» *(Там же. С. 124 - 125).*

Через несколько дней, 4 октября, отстрадать “своё, бабье”, пришлось и Соничке: у неё родилась долгожданная девочка, названная Таней. На этот раз мать смогла удовлетворить мужнины претензии — кормить ребёнка своей грудью…

Ситуация осложнялась тем, что Шмигаро с подельником, «вправляя» Толстому руку, сделали ему сложный перелом, который очень медленно заживал. Ничего не поняв и не научившись, аристократический безбожник (держа ружьё, по-видимому, одной здоровой рукой), продолжал выходить на охоту – теперь преимущественно на птичек… «И вот в один *прекрасный* день, — вспоминает Софья Андреевна, — он сделал неловкое движение и сбил руку с места. […] После этого рука совсем перестала подниматься, худела и не заживала» *(Там же. С. 125. Выделение наше. – Р.А.).* Звать снова тульского

доктора Преображенского, да краснеть, объясняя, какой он неуёмный фанат охоты — Толстому было стыдно. И он решает совместить жизненно и творчески необходимое: выезжает в Москву с целью сбора архивных материалов для нового романа, и, конечно, для лечения руки у лучших (во всяком случае, самых дорогих) московских хирургов. Легко догадаться, что местом проживания была определена семья Берсов — Софьи Андреевны.

21 ноября состоялся отъезд, которому предшествовала взаимная договорённость: слать весточки друг другу, по возможности, всякий день.

Первое из «костоправной» серии писем Софья пишет вдогонку мужу — в 10 ч. вечера 22 ноября, отсылая его по «родному» московскому адресу, которого муж ещё в те часы не достиг. Оно не длинно, но интересно и информативно, приводим его полностью, с необходимыми пояснениями.

«22 ноября. Воскресение. 10 ч. вечера [Я. П.]

Только что уложила свою девочку, милый Лёвочка, и теперь засела писать тебе, пока не засну над письмом. Девочка что-то очень бунтовала, а у мальчика сильный понос нынче, т. е. шесть раз, хотя он ночь спал очень хорошо. Может быть это к лучшему, а впрочем очень грустно всё-таки. Оспа начинает краснеть, но оспы я не боюсь. Вот тебе рапорт о твоих собственных детях, больше о них сказать нечего. Теперь спят, как херувимчики, а няня на лежаночке пьёт чай <*старушка Татьяна Филипповна, нянчившая ещё маленького Льва… - Р. А.*>. Как-то тебя застанет это письмо? Хорошего я ожидаю мало, дай Бог тебе только силы всё получше перенесть. Завтра посылаю за телеграммой к Серёже и на телеграфную станцию; жаль, что мы не условились, куда ты пошлёшь телеграмму. Лёва, голубчик, пожалуйста, пиши мне всю истинную правду; я знаю, что после восьми недель очень трудно и больно, и, пожалуй, опасно вправлять вывих, но надеюсь, что всё-таки кончится всё хорошо. Ты о нас не думай, а, главное, думай о себе, лечись хорошенько, может быть в Петербурге есть специалисты лучше, чем в Москве. Теперь верно ты уже приехал, если карета довезла исправно и не сломалась нигде. То-то Берсы наши тебе рады были. Я совсем переношусь к вам с тех пор, как воображаю тебя уже не в дороге, а в Кремле. И легче мне стало, не так грустно. Вот как ты уехал нынче, пришла я к деткам и как посмотрела в кроватки, так и прошло то маленькое чувство досады

на них, которое испытывала, когда прощалась с тобой. Девочка сейчас же проснулась и я долго сидела, кормила её и всё думала о том, что я очень счастливая, благодаря тебе и что ты мне много хорошего внушил. Спала я очень дурно на этой кушетке, а утром ушла наверх, где стало так скучно, что я заснуть не могла. Машенька <сестра, М.Н. Толстая, гостившая тогда со своими детьми в Ясной Поляне. – *Р.А.*> переходить ко мне не хочет. Мысль, что везде дует, в двери и окна, так глубоко вкоренилась в неё, что ей кажется, что в мою дверь дует, а у ней зубы болят. Пусть делают, как хотят, а ей было бы удобнее. Об отъезде она, слава Богу, не говорит. Я очень рада, и боюсь, что она оттого уедет, что ей неудобно. Дети <М.Н. Толстой. – *Р.А.*> сегодня целый день смотрели картины и приходили в восхищение, а я нынче весь день писала <Да, уже *то самое*, «войну и мир» в черновиках; *прекрасное*, кстати сказать, лекарство от стресса! – *Р.А.*>; надеюсь скоро кончить, и пользуюсь просто всякой секундой времени, чтоб написать хоть одно слово, — всё подвигается. Как кончу, — перешлю немедленно. Хотела я тебе напомнить, что ты сам говорил. Не читай никому своего романа, никому, кто может быть судьёй тебе. Помни, что тебя уже не раз сбивали, а теперь дело серьёзное, кто-нибудь скажет глупость, а ты к сердцу примешь. Если тебе что понадобится переписать, дай мамаше, она славный писарь, да и охотно будет писать. Что́ Таня, заботится ли она о тебе? Как иногда страшно подумать, ка́к ты далёк от нас и ка́к много может теперь быть с тобой разных неприятностей.

[…] Я хочу начать гулять. Постоянная сидячая жизнь в детской, в духоте меня совсем притупила и нравственно и физически. Нынче я почувствовала себя такою вялою, притупленною и так захотелось мне чистого воздуха, что я, несмотря на эту морозную, ясную, бесснежную погоду, начну ходить гулять. Надо освежиться и поднять нервы. А то, пожалуй, без тебя опустишься и труднее будет переносить своё одиночество.

Вчерашний вечер и наше с тобой прощанье, — твой отъезд, всё это мне представляется теперь как сон, такая я сама-то была сонная и в неестественном, напряжённом состоянии. А как нам хорошо было последнее время, так счастливо, так дружно, надо же было такое горе. Грустно без тебя ужасно и всё приходит в голову: его нет, так к чему всё это? Зачем надо всё также обедать, зачем так же печи топятся и все суетятся и такое же солнце яркое и та же тётенька, и Зефироты, и всё. Я нынче весь день внизу, писала изо всех сил и это рассеивает» *(ПСТ. С. 24 – 26. Конец письма утрачен).*

С «тётенькой» Ёргольской думается, всем всё памятно и ясно… А вот про «зефиротов» стоит сказать пару слов. Так в доме Льва Николаевича называли девочек М. Н. Толстой — Варю и Лизу. Название это, вероятнее всего, литературного происхождения. В газете «Северная пчела» 1861 г., № 75 от 1 апреля был напечатан шуточный фельетон «Зефироты», в котором описывались странные существа — полулюди, полуптицы, появившиеся в Северной Америке. Автором этого анонимного фельетона был кн. В. Одоевский. Но С. А. Толстая несколько иначе рассказывала о происхождении этого прозвища. Она пишет в воспоминаниях:

«…К нам иногда приезжала из монастыря старая монахиня, крестная мать Марии Николаевны – Марья Герасимовна, и любила рассказывать необыкновенные истории. И вот она раз говорит нам: “Прилетели какие-то не то птицы, не то дельфины, в газетах написано, и от них будут разные бедствия. Животные эти называются Зефиротами”.

И вот Лев Николаевич раз смотрит на меня и сестру мою и говорит, шутя, конечно: “Жили, жили мы без вас, без тебя и Сони, с тётенькой и Натальей Петровной, а прилетели вы, как Зефироты, и весь дом поставили вверх дном”.

А потом, когда приехали Варя с Лизой, он и их назвал Зефиротами и говорил, что прилетела новая пара их. Так и пошло это прозвище всем нам надолго» *(МЖ – 1. С. 136).*

* * * * *

Много воды утекло и событий совершилось до того дня 27 ноября, когда Толстой получил это письмо от жены и тут же ответил на него…

Доехав 23-го и успев тут же переговорить с докторами, Толстой шлёт жене успокоительную телеграмму:

«Попов Басов завтра приедут править сказали запущено трудно опасного нет попробовать надо. Тотчас телеграфирую завтра. Толстой» *(83, 48).*

Но, как видно из Соничкиного ответа, как и того, что написала она его тотчас по получении телеграммы, поздним вечером того же дня, известие отнюдь не успокоило её:

«Сейчас получила твою телеграмму, милый мой Лёва. Ужасно она меня встревожила, но я ждала всего дурного. Бедный, милый мой,

что тебе приходится терпеть; пишу тебе, а у самой так сердце и замирает при мысли, что ещё будет завтра, как то справят, перенесёшь ли ты эту операцию довольно сносно. А хлороформ меня ужасно пугает. Не знаю, как я переживу эту ночь и завтрашний день. В голове и на душе Бог знает что. Я-то тебе жалуюсь, вместо того, чтоб ободрять тебя. Да теперь, как получишь письмо, верно уж всё будет кончено. А как кончено? Не могу себе вообразить без ужаса этой картины, которая уже была здесь. Хлороформ, и доктора, ломающие руку, и ты бледный, с страдальческим лицом. Господи! кабы всё это могло хорошо кончиться. Лёвочка милый, ради Бога ничего от меня не скрывайте, я всё способна перенесть, но пишите мне чаще и подробнее. [...] Всё перечитываю твою телеграмму. Больше всего меня смущает слово: попробуем. Легко сказать. Стало быть, надежды мало» *(Из ПСТ изъято. Цит. по: 83, 48 - 49).*

Перед нами «великолепная» иллюстрация того, как Софья Андреевна умела запугать, «накрутить» себя, создать в своём сознании установку на «негатив», неприязнь к кому-чему-л., ненависть или (как здесь) – на *страхи* грядущих *измышленных, ещё ничем не явивших себя,* бед. Она будто напрашивается на дальнейшие утешения от мужа, но тому пока нечем утешить её…

Данную картину может быть и «любящей», но однозначно контрпродуктивной психической акцентуации жены Толстого, можно дополнить дышащей страхами и тоской записью в дневнике Софьи Андреевны от 3 ноября 1864 г.:

«Странное чувство, посреди моей счастливой обстановки постоянная тоска, страх и постоянная мысль о смерти Лёвы. И всё усиливается это чувство с каждым днём. Нынче ночью и все ночи такой страх, такое горе, нынче я плакала, сидя с девочкой, и ясно мне делалось, как он умрёт, и вся картина его смерти представлялась. Это чувство началось с того дня, как он вывихнул себе руку. Я вдруг поняла возможность потерять его и с тех пор только о том и думаю. [...] Я бы уж желала, чтоб случилось скорее что-нибудь, потому что, наверное, случится, я это чувствую. Заботы о детях и забавы Серёжей меня иногда развлекают, а в душе нет радостного чувства ни к чему, как будто пропало всё моё веселье. Часто предчувствовала я прежде дурное, недружелюбное чувство Лёвы ко мне; может быть, и теперь он чувствует ко мне тихую ненависть» *(ДСАТ – 1. С. 67).*

24-го операция была отложена из-за дурацкого (религиозного) праздника – т.н. «Екатеринина дня», о чём и сообщает Толстой в новой телеграмме жене *(83, 49)*. Получив её вечером 24-го, она снова пишет ему письмо – вероятно, сходное по настроению с предшествующим. Текстом его мы не располагаем.

Только 27-го вечером Софья Андреевна получила первое подробное, обстоятельно всё разъясняющее, письмо Л.Н. Толстого от 24-го. Вот оно:

«Опять вечер, у Тане <Т.А. Берс. – *Р.А.*> на столе пишу тебе, приехав из театра. Уж мне кажется, что я не мог бы заснуть, не написав тебе. Всё, что делаю днём, всё думаю: вот это напишу Соне. Попов vaguement [*фр.* неопределённо] сказал мне вчера, чрез Петю, <*Пётр Андреевич Берс* (1849—1910), брат Софьи Андреевны. – *Р. А.*> на моё письмо, чтобы я приезжал в ½10 в больницу. Я думал, что он согласится делать в тот же день операцию, сговорившись с Басовым, но оказалось, что Екатеринин день у них праздник, и он только хотел показать меня своему ассистенту, а делать операцию решительно отказался до завтра. Ассистент его, который знает больше его, и он сам опять сказали то же, что шансов удачи очень мало. Приехав домой, я рассказал Андрею Евстафьевичу; он стал мне представлять резоны, что править не надо (Любовь Александровна <*Любовь Александровна Берс* (1826 – 1886), урожд. Ислявина. Мать Софьи Андреевны. – *Р. А.*> того же мнения). Стали мне представлять примеры Трифоновны с невправленной ногой и хорошо ходящей, мужика охотника в Покровском с невправленным вывихом руки и действующим ею, так, что я в самом деле пришёл в нерешительность, тем более тяжёлую, что 3-й день уже всё в ней, и я уже, было, так хорошо решился, что утром хотел непременно сделать операцию и для того брал с собой Алексея. <*Алексей Степанович Орехов* (ум. 1882 г.), камердинер, позднее приказчик в Ясной Поляне. – *Р. А.*> Андрей Евстафьевич уверял и доказывал, что рука, хотя и не на месте, всё будет улучшаться и улучшаться и месяцев через 6 дойдёт до совершенной свободы движений. Чтобы выдти из самого скверного состояния нерешительности, я придумал следующее: послать за Анке <*Николай Богданович Анке* (1803—1872), приятель А. Е. Берса. – *Р. А.*> и просить его, чтобы он со мной вместе поехал к Иноземцову и спросить у Иноземцова, что как бы он посоветовал своему хорошему приятелю, находящемуся в моём положении: делать или не делать операцию. Написали к Анке, я между тем сел писать и чувствую себя нынче вообще хорошо. Написал лист недурно. <«Роман «Война и

мир». – *прим. С. А. Толстой*> Приехал доктор, гимнаст, который ежедневно мнёт живот Андрею Евстафьевичу, показали ему руку. Он сказал, что не понимает, что хотят делать хирурги, что у него были случаи хуже моего, и совершенно получали владение, и уверял, что в 6 месяцов, делая гимнастику по его наставлениям, я могу получить все движения руки. Он повертел руку, и я почти уверен, что он прав. Несмотря на то, раз положивши, я всё оставался в намерении исполнить то, что посоветует незаинтересованный авторитет, как Иноземцев.

[…] Пасмурно в Кремле. Что за странность Любовь Александровна и Андрей Евстафьевич любят друг друга, и оба как будто взяли себе целью жизни раздражать друг друга из всяких пустяков, портить себе жизнь и всем окружающим, особенно дочерям. Эта атмосфера раздраженья так тяжела даже для посторонних. Верно, что бы ни было, у нас так не будет, милая душенька моя Соня, с своими грудями кормящая за ширмами, какою я тебя всегда вижу. За обедом и всё после обеда придирки, раздраженье с обеих сторон, что всё страшно, всё неловко. Собрались в театр смотреть новую комедию Островского «Шутники», но так как Анке отвечал, что приедет вечером, отложили, опять после столкновения между родителями.

Приехал Анке и отсоветовал обращаться за советом к Иноземцову, и советовал обратиться к Рудинскому, главному доктору военного госпиталя, который по его словам знает дело больше Попова и Басова.

[…] Любовь Александровна с барышнями уехала в театр, и я поехал за ними. Я застал конец 2-го действия. Из деревни всегда мне покажется всё дико, ломаньем и фальшью, но приглядишься, и опять нравится. Комедия трогательна, даже слишком. […] Я сам добрый нынче вечером, и все мне кажутся добрыми. Приехав, поужинали, и я в кротком и добром расположении, но с страхом за тебя и за всю детскую, иду спать. Ещё нет от тебя письма. Ежели что дурно, телеграфируй пожалуйста, и телеграфируй до тех пор, пока не будет лучше. Прощай, душа, и двух недель не проживу здесь.

24 ноября» *(83, 49 - 51)*.

Без сомнения, Лев Николаевич слишком радужно смотрит в этом письме на свои перспективы: как лечения руки без операции, так, главное, и мирной семейной жизни с «дорогой Сонечкой» — воспитанницей, плоть от плоти и дух от духа, как раз этой, неприятно поразившей его недружелюбием, раздражительностью семейки Берсов!

К 25-му Лев Николаевич успел проконсультироваться с рядом хороших московских докторов: Поповым, Басовым, «незаинтересованным» Иноземцевым, и, наконец, с хирургом Рудинским. По совету последнего, как сообщает Толстой жене в телеграмме от 25-го, он решил на тот момент руку заново «не ломать», не оперировать, ограничившись терапевтическим воздействием *(83, 54)*.

Верная уговору, не дождавшись изложенного нами выше письма, но успев получить все телеграммы, жена шлёт мужу послания и в среду 25-го, и в четверг, 26 ноября. Все они писаны вечером: очевидно, в тщетном дневном ожидании подробных вестей…

В первом из них, большей частью малоинтересном, выразились всё то же негативное жизневосприятие Софьи Андреевны – в её оценках состояния здоровья и перспектив лечения травмированного мужа:

«Конечно, приятно мне, что ты избегаешь больших страданий и опасности даже, но грустно также, что уж кончено; ни прежней силы, ни мускулов, ни свободных движений, ничего не будет» *(ПСТ. С. 29)*.

«Изюминкой» же в просоленной слезами разлуки и страхов эпистолярной “стряпне” жены Толстого стала положительная, остроумная, но на тот момент довольно дерзкая, с советами, критика содержания переписываемых ею в эти дни черновиков «Войны и мира»:

«Как хорошо всё, что ты мне оставил списывать. Как мне нравится вся княжна Марья! Так её и видишь. И такой славный, симпатичный характер. Я тебе всё буду критиковать. — Князь Андрей, по-моему, всё ещё не ясен. Не знаешь, что он за человек. Если он умён, то как же он не понимает и не может растолковать себе свои отношения с женой. Старый князь очень тоже хорош. Но мне первый, которым ты был недоволен, нравился больше. Я уж из того составила себе в голове идеал, который не подходит к теперешнему князю. Сцена отъезда князя Андрея — очень хорошо, и с образом княжны Марьи — отлично. Мне было такое удовольствие это списывать.

Пишешь ли ты в Москве? Был ли у Каткова? На счёт денежных дел скажу тебе, что оттисками не бери. Все, кто получает «Русский вестник», не купят книжки, а это большая часть людей денежных, которые выписывают журнал. Лучше погоди, может, сам напечатаешь» *(Там же. С. 31)*.

С особенным удовольствием Софья Андреевна фиксирует в своих воспоминаниях, что муж воспоследовал её совету печатать роман не в журналах, а отдельной книгой *(МЖ – 1. С. 133).*

В послании от 25 ноября Софья Андреевна обещала так же отправить следующее письмо вместе с переписанным материалом к роману. И, видимо, поработала в последующие сутки на славу: уже поздним вечером 26-го она отсылает в Москву переписанные ею начисто черновые листы в сопровождении такого письма:

«Вот, Лёвочка мой друг, посылаю тебе моё списыванье и прошу извинения, что ленилась и мало переписывала. Теперь жаль, что кончила; мне это было развлечение, тем более, что ты мне сказал в день отъезда: «ты мне помощница». Я и рада бы писать с утра до ночи и помогать тебе. Писала сегодня с Серёжей к папа́, что оспа у Серёжи fils [сына] не принялась, а теперь посмотрела и, кажется, на здоровой ручке принялась, наверное, и на больной тоже, кажется.

Иван сейчас приехал из Тулы и не привёз писем от вас. Это меня очень огорчило.

Пишите мне, голубчики, это меня бы очень утешало. Завтра, Лёвочка, кроим клеёнку и всё примеряем и пригоняем. Купили сегодня войлок, 6 руб. с. стоило, очень дорого, и краски на флинтусы. Столяр велел.

Что твоя рука, милый мой Лёва? Лечишься ли ты? Принесла ли тебе московская поездка хоть малейшую пользу? Господи, как бы я желала с тобой повидаться, поговорить, посидеть с тобой. Что ты делаешь в Москве, где бываешь, кого видишь. Ужасно, сколько дней только по нескольку слов знаю о тебе, а подробностей никаких, и до сих пор писем нет. Лёвочка, на всякий случай пишу тебе на другой стороне реэстер, что нам нужно из Москвы, если можно, то попроси Таню и мама́ купить. — О себе нечего тебе говорить; ты знаешь меня, знаешь, как я люблю тебя и что мне скучно без тебя» *(ПСТ. С. 32 - 33).*

На письме Л.Н. Толстого от 25 ноября *(83, 55 – 57: № 24)* мы так же не будем долго задерживаться: оно, в свою очередь, малоинтересно, большею частью сводясь к подробному расписыванию посещения Толстым врачей, ложно обнадёживших его в тот день возможностью вылечить правую руку без новой болезненной операции. Со свойственной мужчинам бытовой глупостью и трусостью, Толстой хватается за этот, его же денежками проплаченный, обман. Воспрянув духом, он снова пишет роман, попутно критикуя «наскучившее» ему

светское окружение: Сухотина, Оболенского, Берса-отца… Достаётся и «дурацкой» скучной пьесе в театре, и сестре жены Татьяне с её пеньем… Под конец письма жене Толстой рапортует: «До сих пор я только и был озабочен, что своей рукой; теперь, когда это дело решено, я завтра добьюсь ответа от Каткова <*Михаил Никифорович Катков* (1818—1887), ред. журн. «Русский вестник», куда Толстой отдавал в печать первую часть своего романа «Война и мир». – *Р. А.*> и или у него или отдельной книжкой начну печатать. Матерьялов я много достал здесь. […] Прощай, милый друг. Завтра, может, ещё припишу, а теперь 11-й час, и устал очень; я всё после обеда делал гимнастику своей рукой» *(Там же. С. 57).*

Как видим, Софья Андреевна несколько преувеличила своё влияние на писательские планы мужа в ту пору, и вариант с публикацией романа отдельным изданием тот обдумывал в то же время независимо от её советов… В следующем письме, от 27 ноября *(83, 58 – 60: № 25),* он признаётся, что не решается издавать сам из-за хлопот с типографией и цензурой.

Вот наиболее интересная часть этого письма, ответ Толстого на письмо от 22 ноября:

«За обедом позвонили, газеты; Таня всё сбегала, позвонили другой раз — твоё письмо. Просили у меня все читать, но мне жалко было давать его. Оно слишком хорошо, и они не поймут, и не поняли. На меня же оно подействовало, как хорошая музыка и весело, и грустно, и приятно — плакать хочется. Какая ты умница, что пишешь, чтобы я никому не давал читать романа; ежели бы даже это было не умно, я бы исполнил потому, что ты хочешь» *(83, 59).*

И “на закуску”, с тем же чувством затаённого мальчишеского превосходства и тщеславия:

«Чем больше я сталкиваюсь с людьми теперь, выросши большой, я убеждаюсь, что я совсем особенный человек, и отличаюсь только тем, что нет во мне прежнего тщеславия и мальчишества, которое редко кого оставляет» *(Там же. С. 60).*

Самое главное: что обман лечения гимнастикой рассеялся, что руку всё-таки будут ломать хирурги А.П. Попов и Ф.Е. Гаак – Толстой не сообщил. Об этом Софья узнала в день операции (28 ноября – не

случайно, «счастливая» цифра, по поверью Толстого!) от отца, А.Е. Берса.

Примечательный «театральный» факт, так же отмеченный Толстым в письме: накануне «дня икс», «памятного 28-го», он снова посещает Большой театр, где попадает на представление итальянской труппой замечательной оперы Россини «Моисей» (в СССР её чаще именовали «Зора», а в наши дни – «Моисей в Египте»). Ему «было очень приятно и от музыки, и от вида различных господ и дам», которые для него «всё типы». Тогда самыми актуальными типами, без сомнения, были те герои оперы итальянского классика, которые были представлены его соотечественниками на сцене. Вероятно, именно под впечатлением от оперы Толстой и решается на довольно болезненную и рискованную операцию руки…

Т. А. Кузминская, сестра Сони, так описала операцию в своих мемуарах: «Операцию делали в спальне матери, предварительно очистив комнату. Отцом были приглашены три хирурга: Попов, Нечаев и его помощник Гаак. […] Лев Николаевич очень спокойно приступил к операции, но не мог заснуть от хлороформа. Возились долго. Наконец, он вскочил с кресла, бледный, с открытыми блуждающими глазами; откинув от себя мешочек с хлороформом, он в бреду закричал на всю комнату: “Друзья мои, жить так нельзя… Я думаю… Я решил…” — он не договорил. Его посадили в кресло, подливая ещё хлороформ. Он стал окончательно засыпать. Сидел передо мной мертвец, а не Лев Николаевич. Вдруг он страшно изменился в лице и затих. Двое служащих, по указанию Попова, тянули из всех сил руку Льва Николаевича, пока не выломали неправильно сросшуюся кость. Это было очень страшно. Мне казалось, что без хлороформа операция эта была бы немыслима. Меня охватил страх, что вот он сейчас проснется. Но нет, — когда рука безжизненно повисла, Попов ловко и сильно как бы вдвинул её в плечо. Я как сейчас вижу всё это, такое сильное впечатление произвела на меня эта операция […]. Когда он очнулся, то пожаловался на боль в руке. Я просидела с ним весь вечер. Он страдал от тошноты — следствие хлороформа — и долго мучался ею. Когда же он через два-три дня писал Соне про операцию, он не упоминал о своих страданиях. Я спросила его: — Ты скрываешь это от неё? — Да нет, да я не особенно страдал. Я думал, будет хуже» (*Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1959. С. 319 - 320).*

Лишь на следующий день, 29 ноября, несчастный Лев, оклемавшийся от звериной дозы хлороформа, сообщает жене об успехе операции: сначала телеграммой *(83, 61: № 26),* а затем и письмом *(83,*

62 - 65: № 27), которое, по абсолютной невозможности писания, Толстой продиктовал той же самой, так переживавшей за него, сестре Софьиной, Татьяне Берс. Сама Таня от себя приписала следующее, небезынтересное:

«Как обещала, так и сажусь тебе давать отчёт об Лёвочки, милая Соня, ночь он провёл очень хорошо, как и не ожидали, а сегодня утром приехал помощник и перевязал ему руку, говорит, что она чуть-чуть не на месте, но всё-таки будет ей владеть хорошо, потом приехал Попов, сказал тоже самое, а Лёвочка слава Богу и ходит и очень бодр духом, только что тебе ещё рукой не пишет, поживёт здесь, оправится и приедет к тебе в лучшем виде.

Прощай, друг мой, целую тебя. Славочка, <Вячеслав Андреевич Берс (1861—1907), младший брат С. А. Толстой. – *Р.А.*> Лёвочка говорит, очень мил, и самовар, который ты называла *алалай,* называет *фономарь*, и разводя ручонками кричит: что это не несут фономарь».

Толстой же, со своей стороны, рассказывает, как, деля время между театром, книжными лавками и посещением докторов, самостоятельно принял решение дать руку на операцию:

«Бояться хлороформа и операции мне было даже совестно думать, не смотря на то, что ты обо мне такого низкого мнения; неприятно мне было остаться без руки немного для себя, но право больше для тебя, особенно после разговора с Таней, который меня ещё больше в этом убедил. Я шёл наверное на то, что не исправят; но делал это, чтобы избавить себя от своих же упрёков в будущем, и сам удивлялся, как мог разными Анками, Вендрихами и толками дать сбить себя до того, что потерял почти целую неделю. […] Операцию тебе описала Таня, которая обо всем могла иметь большее понятие, чем я; я знаю только, что не чувствовал никакого страха перед операцией и чувствовал боль после неё, которая скоро прошла от холодных компресов. Ухаживали и ухаживают за мной так, что желать нечего, и только совестно; но, не смотря на всё, вчера с расстроенными нервами после хлороформа, особенно после твоих писем, которые пришли четверть часа после операции, я Бог знает как хотел, чтобы ты тут была, не для того, чтобы ты что-нибудь сделала, а только для того, чтобы ты тут была. Боль утихла очень скоро, и к вечеру было только неловко и скверно от оставшегося во мне хлороформа. В этот вечер мне всё хотелось ходить и как можно больше делать. Я послал Петю за книгами к Ешевскому. […]

Ночь провёл хорошо, и нынче утром помощник Попова, Гак, приехал, перевязал, сказал следующее: Положение руки стало много лучше, но на линию всё-таки выдалась вперёд плечевая кость, и что надо предполагать, что буду владеть рукой свободно, хотя немного не совсем так, как левой. [...] Папа говорит, что он плакал, читая твои письма ко мне; я едва удерживался, чтобы не делать того же самого. Сейчас получил ваш большой пакет. Прощай, пиши и посылай в Тулу за моими письмами каждый день. Воздерживаюсь от разных вещей, которые хотел бы написать о тебе самой и детях, оттого что эти вещи надо самому говорить и писать, а диктовать неловко.

Целую милых Зефиротов, и Машеньку, и Серёжу, который, надеюсь, у вас, так как ты купила вина, и прошу и надеюсь на Серёжу и Машеньку, что если что неблагополучное у нас случится, они меня сейчас известят телеграммой [...]. Тётеньке целую ручки, которые подымаются; теперь я не могу видеть и говорить о руке, не думая о том, что она хорошо подымается.

Целую тебя в детской, за ширмами, в сером капоте» *(83, 63 - 65).*

Упоминание Л.Н. Толстым о покупке вина для брата Сергея относится к сведениям из письма С.А. Толстой от 28 ноября, полным текстом которого мы не располагаем. В соответствующем месте его рассказывается следующее:

«Серёжа всё ворчит, что вина нет; я, было, купила, да он в два дня выпил две бутылки наливки и одну марсалы, не считая водки. Я очень удивлялась. Как не быть геморрою, разве это здоро́во? На третий день вина не хватило, и он был очень недоволен. Что смешно, что он серьёзно сердится, что мы не пьём и не держим вина»» *(Цит. по: 83, 67).*

О продаже в «Русский вестник» Каткова первой части романа Толстой в том же своём письме 29 ноября рассказывает так:

«Забыл, было, описать свидание с Любимовым перед “Зорой”, он приехал от Каткова и, опять слюняво смеясь, объявил, что Катков согласен на все мои условия, и дурацкий торг этот кончился, то есть я им отдал по 300 р. за лист первую часть романа, которую он [с] собою и увёз, но когда мой porte-feuille запустел и слюнявый Любимов понёс рукописи, мне стало грустно, именно оттого, за что ты сердишься, что нельзя больше переправлять и сделать ещё лучше» *(Там же. С. 63).*

Милыми и прекрасными подробностями семейной жизни в яркой, образной подаче Софьи Андреевны наполнено её ответное письмо, написанное вечером 30 ноября – сразу после получения вышеприведённого, хорошего, доброго и радующего письма мужа. Оно настолько сочно-замечательно, что было бы оплошностью не привести его здесь целиком:

«Вчера не писала тебе, милый друг мой Лёвочка, и что-то так неловко на душе, точно я, как бывало, маленькая, Богу не помолюсь. Вчера уже поздно вечером привезли мне твоё письмо, грустное, неприятное, и вчера же получила самую приятную и утешительную телеграмму, что рука на месте и ты здоров. Ну, слава Богу, мне, признаюсь, немного неприятно было, что ты останешься убогий, именно с той точки зрения, что это твоё существование немного бы отравило и испортило. Но я до того удивилась, что рассказать не могу. Особенно после письма, в котором ты с такими подробностями пишешь о том, как править нельзя, как уже пустое пространство заросло хрящом и мускулы приведены в паралличное состояние и проч. Что побудило тебя править руку? Кто советовал тебе, как правили? Не скоро узнаю я всё это. Давали ли тебе хлороформу? Завтра посылаю в Тулу *за* — и *с* письмом. Но ещё описания, как тебя чинили и правили, быть не может. Спасибо, душенька, что посылал мне такие частые и правдивые телеграммы. Вижу, что ты помнишь обо мне и понимаешь, как мне дорого знать всё, что до тебя касается. Это бы мне и писать не надо. Лёвочка, письмо твоё от 25-го мне очень было грустно. О руке-то уж теперь прошло, а Таню, бедную, мне ужасно жаль. Видно она только и дышет, что у нас, а там душно ей. Да, кремлёвским воздухом дышать теперь тяжело, особенно таким лёгким, как у Тани. Ей только бы теперь веселиться, развернуться. Два раза молод не будешь. Мне её ужасно жаль. Утешай её, Лёва, и зови к нам на лето непременно. Отчего ты, глупый, скучаешь? Я уже писала тебе, чтобы ты рассеивался, нарочно старайся веселиться, а то что же, кой веки раз уехал, и то скучаешь. Я очень рада, что тебе пишется. Это всегда для меня радость. Готовь, готовь мне работы. Я уже соскучилась без переписывания.

Вот нынче-то у нас возня была, Лёвочка. Вообрази, вчера явился поп, просит меня и Машеньку крестить. Мы уж отвёртывались, отговаривались, — нет же, не отделались. Он решился привезти мальчика сюда и нынче явились: Константин Иванович, Василий Иванович <*В. И. Карницкий* (1831—1881), священник при Кочаковской церкви близ Ясной Поляны. Учил «закону божию» детей Л.Н. Толстого. – *Р. А.*>, Василий Давыдыч, старик < В. Д. Можайский (1792 -

?). Крестил Льва Николаевича в 1828 г. – *Р. А.*>. Мы крестили в две пары. Я с молодым попом, Машенька с Василием Давыдычем. Привёз нам поп две полбутылки шампанского, пироги, наливку, рыбу, икру и угощал нас, кумушек. Такая была комедия. Маленького своего сына он привёз, который, бедный, бегал, бегал, не знал к кому обратиться, опрундыкался и разревелся. Всё бы это ничего, но нынче же утром я решилась наконец, так как надо же когда-нибудь, начать обивать клеёнку. Мы и переносились всё утро из детской в мою комнату. Всё почти перенесли, комнату внизу опростали совершенно. Здесь, в спальной устроились очень хорошо, и теперь я пишу перед своим туалетом, и херувимчики спят. Ну, вот, в самую то переноску и приехали попы с попёнком. Дети кричат, девочку надо кормить, попёнок кричит — опрундыкался, Серёжа кричит, оттого, что дети кричат, а тут: “елицы во Христа крещаеши»... и шампанское и “как прикажете клеёнку кроить”, и “чай кушать пожалуйте”. Совсем голову потеряла, но всё сошло с рук хорошо. Войлок обили совсем, клеёнку совсем скроили, Иван уже шьёт. Будет так хорошо, что чудо.

Главное-то я и не пишу тебе, что у Серёжи понос прошёл совершенно, жару тоже почти нет, и вообще ему гораздо лучше, но сыпь, на руке особенно, и на лице и везде ужасно усилилась и обезобразила его. Мокнет, чешется, просто страсть. Спит он очень плохо, ночь почти напролёт кричит без устали. Совсем уходил нас с няней. Девочка моя цветуща здоровьем и красотой, и полнотой. Чудо, какая растёт. Дай Бог, чтоб не испортилась. Но в развитии плоха. Ничего не понимает ещё, и успехов без тебя не сделала. А Серёжа вместо того, чтоб начать ходить, вовсе теперь ослаб и не в состоянии даже ходить около стульев.

Похвастала было, что понос прекратился у Серёжи, а к вечеру ему стало опять хуже.

Сейчас приехал большой Серёжа и привёз мне твоё письмо, мой милый голубчик Лёва. Все истории о руке остались в прошедшем, — но я всё-таки ужасно обрадовалась, и так хорошо мне стало от твоего письма. Только бедная Таня, очень мне за неё грустно, и жаль её; она много отравляет мою жизнь, потому что я её очень люблю. После тебя и детей, её и мама́ люблю больше всего.

Теперь совестно мне стало, милый друг мой, что я не всякий день писала тебе, а пропустила два раза. Это не лень, а совестно всякий день было в Тулу гонять. Когда воротишься ты? ничего-то я про тебя не знаю. Отчего не пишешь ты мне, где бываешь? Как приняли тебя у Сушковых, что говорили, весело ли было. Мне так всё это инте-

ресно. Насчёт своих сочинений и вообще всего, спасибо, что послушал меня. А писем моих лучше не давай. Ещё как посмотрят, и мне неловко будет писать; тебе-то и дурно, и хорошо, а всё ловко; ты и осудишь, так так и быть, а от них я уже отстала. Так, кое-что прочесть можно, а всего не давай. Теперь ты сбинтован, писать не можешь, уж я не увижу твоего милого, крупного, сжатого почерка. Когда-то я твою милую рожу увижу и расцалую. Я без тебя ещё больше зарылась в детской, тем более, что Серёжа теперь у няни с рук не сходит, и девочка исключительно на моём попечении.

Вчера, Лёвочка, я сделала маленькую extravagance [экстравагантность, сумасбродство]. После обеда собрались мы с Лизой (Варе и Машеньке нельзя) гулять. Пошли на скотный двор сначала; видела я в первый раз твоего бычка Па́шковского. Чудо, как хорош, вылитый английский бык. Какая серьёзная, беспристрастная физиономия, какой сытый, и чудесно сложен. Копыловского глядела; он вовсе плох. Худой, кашляет, совсем не вырос, лохматый. Английские свинки пресмешные: толстенькие, коротенькие, идут — и все суставчики и мускулы, обтянутые жиром, вытягиваются, съёживаются и трясутся. Свиньи, которых откармливают, уже до того жирны, что вставать не могут, особенно старая свинья. Всё очень сыто и хорошо. Ну и потом вдруг мы с ней расхрабрились и отправились в мелкий Заказ, оттуда низом к броду, кругом, потом на гору, и мимо Чепыжа домой. Шли так скоро, как будто нас ветер нёс, и всё болтали. Уже совсем смерклось, немного жутко, а хорошо было. Я стала очень сильна, нисколько не устала. А природа такая жалкая стала. Всё голо, пусто, кое-где снежок; не осень и не зима, а что-то печальное, неопределённое. Лиза всё понимала, в ней поэзия есть; так хорошо она говорила и любовалась за́секой и природой, и тоже ей было немного жутко. Домой пришли, уже было совсем тёмно. Щёки разгорелись, захотелось спать, а тут детки мои разгулялись, привезли телеграмму, письма, пошло всё другое. Из мира поэзии в житейские дела. От Саши и я получила письмо. Всё жалуется на свою жизнь и судьбу. Что это, как они все, мои-то, разладились. Серёжа большой очень весел, едет в Пирогово завтра утром. Я опять засела дома. Вчера напилась холодного квасу и нынче горло разболелось. А я, было, так охотно разгулялась. Пороши у нас ещё не было, Серёжа ждёт её. Видно, что ему дома стало веселее, чем прежде, но что сказал Алексей Тане, — и похожего нет.

Что, милый Лёвочка, любишь ли ты меня в Москве? Вдруг приедешь ко мне и скажешь, что я ошибался. Иногда, признаюсь, приходит в голову и ревность, и мысли, что ты разлюбишь, но большею частью я покойна. Но рука твоя, — это для меня какая-то загадка.

Отчего вдруг вздумалось тебе её править, после всего, что говорили доктора. Правда ли, что всё благополучно? Я всё ещё не желаю, чтобы ты приехал, пока мы не устроимся совершенно, и здоровьем, и комнатами. Теперь я хриплю, Серёжа чешется и понос; у Вареньки тоже болит горло и голова, вот поздоровеем все, и ты, и мы, тогда и заживём веселее. Что рука? Я в таком ещё до сих пор волнении, что, как и зачем правили руку? Ну прощай, друг мой милый. Моё удовольствие кончено, я уже не буду получать от тебя собственно писем. Ты опять убогий. А Таню очень, очень прошу, чтоб она о тебе мне писала, как ты будешь себя чувствовать и как ты поживаешь. И о себе также пускай мне душу изливает. Прощай, душенька, цалую тебя. Если с тобой что будет, телеграфируй мне опять.

Твоя Соня» *(ПСТ. С. 33 - 36)*.

Упоминаемый в письма Софьи Андреевны безымянный поп — типичный представитель российской православной церкви во все времена. Имя ему – Константин Иванович Пашковский (1823 - ?), сын дьячка и выпускник Тульской духовной семинарии; с 1860 по 1876 гг. – сотрудник церкви при Кочаковском погосте близ Ясной Поляны. В своей автобиографии С. А. Толстая аттестовала его так: «всегда почти пьяный и очень глупый». По свидетельству яснополянца И. И. Кандаурова, яснополянские старики помнили, как однажды Пашковский шёл со свя́том по деревне и, увидав игру в бабки, прицелился, и крестом, который был у него в руках, подбил сложенные бабки. Этот идиот известен ещё тем, что крестил первого сына Льва Николаевича, Серёжу, и, будучи по обыкновению в нетрезвом состоянии, чуть не потопил его в купели.

Кстати, о свиньях. В письме упоминаются английские свинки, заведённые тогда в хозяйстве Льва Николаевича. Толстой одно время очень увлекался свиноводством. Около 25-26 июля 1865 г. он писал А. Е. Берсу в Москву о покупке японских свиней, причём прибавил: «Я на днях видел у Шатилова пару таких свиней и чувствую, для меня не может быть счастья в жизни до тех пор, пока не буду иметь таких же» *(61, 97)*. Кончилось декоративное свиноводство в Ясной Поляне очень печально: в отсутствие Толстого некий пьющий мужик, которому было поручено кормить зверушек, намеренно заморил их голодом – видимо, позавидовав сытой и трезвой свинской жизни.

Следующие два письма Софьи Андреевны так же наполнены подробностями яснополянской жизни, и уже малоинтересны, так как

не являются непосредственными откликами на послания Л.Н. Толстого (письмо от 2 декабря мы приводим ниже в связи с реакцией на него Л. Н. Толстого). Следующим таким откликом стало её письмо от 3 декабря 1864 года, которому, однако, предшествовали письма от Льва Николаевича, всё ещё остававшегося в Москве. Он продолжает лечить руку, собирать материалы для романа «1805 год» (будущий «Война и мир»), пытается и писать, диктуя новые страницы Елизавете Андреевне Берс, а так же, как видно из его письма от 1 декабря – перечитывает присланные женой переписанные начисто главы романа.

Вот некоторые выдержки из этого письма:

«От Лёвочки.

Здоровье очень хорошо, но главный предмет, рука остаётся под сомнением. Сейчас был доктор, перевязал в третий раз после операции, не позволяет делать ни малейшего движения, обещает, что буду владеть рукою, но признаётся, что хотя кость и в лучшем положении против прежнего, но всё не на месте. Совесть моя спокойна; я всё попробовал, что можно было, и уж так надоело и говорить, и думать о ней.

Теперь отчёт о моей жизни [...]. Как в житье нашем оказалось, что нам дома не надо, а достаточно одной детской, так и в жизни, с тех пор, как вырос большой, вижу, что никого не нужно, кроме пяти-6-ти человек самых близких людей. [...] Я всё шучу, а у тебя что делается? После твоего большова конверта <От 26 ноября, с переписанными листами черновика романа. – *Р. А.*> я ничего не получал, и грустно очень становится иногда без тебя: тем более, что эти два дня не пишется. Я вчера объяснял Тане, почему мне легче переносить разлуку с тобой, чем бы это могло быть, если бы у меня не было писания. Вместе с тобой и детьми (я чувствую однако здесь, что я их ещё мало люблю), у меня есть постоянная любовь или забота о моём деле писания. Ежели бы этого не было, я чувствую, что я бы не мог решительно пробыть дня без тебя, ты это верно понимаешь, потому что то, что для меня писание, для тебя должны быть дети. [...] Я всегда податлив на похвалу, и твоя похвала характера княжны Марьи меня очень порадовала, но нынче я перечёл всё присланное тобою, и мне показалось всё это очень гадко, и я почувствовал лишение руки; хотел поправить кое-что, перемарать — и не мог; вообще разочаровался нынче на счёт своего таланта, тем более, что вчера диктовал Лизе ужасную ерунду. Я знаю, что это только временное настроение, которое пройдёт, может быть оттого, что нервы не

окрепли после хлороформа и вообще не в нормальном состоянии от тугой перевязки на груди. Впрочем ты не думай, чтобы я был нездоров; я ем и сплю хорошо, и завтра непременно пройдусь или проедусь, чтобы подышать чистым воздухом. Впрочем нынешний день я тебе ещё не описывал; да и ничего, ровно ничего не было, читал давно забытую гоголевскую исповедь <«Авторская исповедь», написанная Н. В. Гоголем по поводу его «Выбранных мест из переписки с друзьями» (1847 г.). - *Р. А.*> и французские mémoires, да с Славочкой <Вячеслав Андреевич Берс (1861 - 1907). – *Р. А.*> играл, он очень, очень мил. Всё просит рассказать казку (сказку), и я ему рассказываю, что мальчик съел 7 огурцев, и вся. И он повторяет: мама́, лил, бил один мальчик, съел 7 огурцев, ха-ха-ха. […]

Ну, прощай, милый мой друг, страшно писать вздор, может, тебе не до этого; надеюсь, тревоги твои обо мне теперь уже прошли.

Целую всех. В записке ты забыла чай, я его куплю; остальное всё купит мама. Брамапутров приторговал и привезу с собой. Деньги, если получу теперь за роман, отдам Берсам. Что Яков <Цветков. Мужик охотник, помогавший Толстому при выездах. – *Р. А.*>, какой дурак, что убежал из больницы; не переставайте следить за ним. Что делается с скотиной? Нет ли падежа? Не унывает ли Анна Петровна <скотница у Толстых. - *Р. А.*>? не занялась ли слишком свадьбой дочери, <Евдокия, по кличке «Душка». Горничная у Толстых. – *Р. А.*> подбодри её, чтобы поила и кормила хорошенько телят и свиней, и старосту, чтобы, главное, скотина была исправна, а то и в 2 недели можно всё испортить, всё, что сделано в год. Прощай, голубчик, поди гулять, смотреть зайчии следы с Зефиротами и каждый день посылай в Тулу и пиши мне» *(83, 67 – 70).*

На следующий день Толстой получил письмо Софьи от 28 ноября, огорчившее его известиями о болезни детей. Об этом Танюша Берс записывает под его диктовку такой ответ для его жены и своей сестры:

«Милая моя Соня, ныньче вечером получил твоё огорчительное письмо и ни о чём другом не могу писать и думать, как о том, что у вас делается. Я тебя и ночью всё во сне видел и всего боюсь за вас; главное не ослабевай, не приходи в отчаяние, согревай живот, не давай лекарств, но привези доктора, непременно привези, хоть не для того, чтобы давать его лекарств, но для того, чтобы надеяться и услышать его успокоения; я знаю, как это нужно, пошли непременно, но всё же поздно будет, теперь уже прошло 4 дня. Я скоро приеду, не могу жить без тебя, но я не поеду теперь, пока не узнаю,

чем кончился понос, который меня мучит. Оспа ничего, это и все наши сказали. Когда думаю о том, что может случиться, то находит ужас, и потому стараюсь не думать. Одно, что утешает меня, это то, что по всему тону письма твоего видно, ты не в духе, и я утешаю себя мыслью, что ты сама себе преувеличиваешь и потому невольно мне» *(83, 72).*

О писании романа Толстой сообщает, что «совсем расплывается» вследствие обилия уже собранного материала, и пока «ничего не пишется» *(Там же. с. 73).*

А вот эти двадцать девять слов были кое-как, нетвёрдой рукой, вписаны в письмо самим Львом Николаевичем:

«Прощай, моя милая, душечка, голубчик. Не могу диктовать всего. Я тебя так сильно всеми любовями люблю всё это время. Милый мой друг. И чем больше люблю, тем больше боюсь» *(Там же).*

Ответом на это письмо Толстого было письмо Софьи Андреевны от 5 декабря, которому, однако, предшествовало её же письмо от 3 декабря, текст которого мы приводим ниже, в соответствующем месте. Письмо от 5-го, а также следующее за ним («розовое», как назвал его Толстой) адресат получил с запозданием, только 9 декабря.

Вот её послание от 3 декабря, частично являющееся ответом на вышеприведённые письма мужа от 29 ноября и 1 декабря:

«Половину письма напишу теперь пораньше, потому что вечером нынче дела много. И ванна, и переноска. Хочу нынче вечером переходить вниз опять, потому что уже сейчас будет готово, а здесь детям холодно. Какой пол вышел чудесный, просто прелесть. Другую половину письма напишу тебе по получении письма. Уж нынче я надеюсь непременно получить известие о тебе, мой милый Лёва, а то уж слишком было бы грустно. Сегодня я опять совсем здорова, и зуб прошёл совершенно, только всё немного охрипла. Серёжа всё ещё плох. Слабит его не часто, но совершенно как вода, и очень бело. Ясно, что молоко, которое он сосёт, проходит насквозь, не перевариваясь. Что всего хуже, что мальчику второй год, и в нём просто ни кровинки, и ручки постоянно холодные. Нынешний раз я не так отчаиваюсь как бывало, потому что он довольно весел, играет, кушает и спит порядочно. Пишу всё подробно тебе, мой милый друг Лёва, потому что это меня очень занимает, и ещё для того, чтоб уж ты ни о чём не беспокоился, а знал бы всю истинную правду. — Нынче утром встала, вижу пороша, ночью шёл снег; я непременно решилась отправиться с собаками и с Лизой, конечно, пешком. Но не

успели напиться чаю, как пошёл снег; так и остались. Теперь к вечеру́ Лиза, бедная, расклеилась. У ней болит голова, ей тошно и железа́ распухли. Так я и осталась без товарища. Когда ты, мой милый товарищ, приедешь опять к нам? Не могу представить себе, что это будет за счастие, когда я тебя опять увижу, милый мой голубчик. Какой ты? В воскресение будет две недели, что ты уехал, а кажется, что прошло уже два года. Так я и не знаю, как твоё здоровье после операции, только телеграмма была утешительная, что здоров и рука на месте. Не испортилось ли что с тех пор. Я всё соображаю, когда можешь ты приехать? Если нужно бинтовать две недели, стало быть ближе этого срока тебе нельзя будет пуститься в дорогу. Кажется ведь только одни сутки езды, а ни ты ко мне, ни я к тебе приехать не можем. Ты девочки нашей не узнаешь, так она выросла и переменилась. Понимать ещё ничего не в состоянии, и всё-таки славная и миленькая.

Как то ты ночь провёл после операции. Мучился ли ты и кто за тобой ходил. Как я всё подробно о тебе всё передумала, и сколько раз страшно становилось за тебя. Слава Богу, что ты взял Алексея с тобой, а то плохо бы было с чужими людьми.

11 часов вечера.

Сейчас получила два пакета за раз твоих, Таниных и папа´ писем, и вообрази, сидя в ванне читала их. Хоть бы ты ещё когда-нибудь вздумал подиктовать Тане; с таким наслаждением читала я писанное твоим слогом, хотя и не твоей рукой. На счёт руки не совсем ещё утешительно, потому что не совсем ещё она на месте. Наверное ли только, что лучше? А мне-то как грустно стало, Лёвочка, что Любимов унёс твою первую часть <романа «1805 год». – *Р. А.*>. И так хорошо, а вдруг ещё бы лучше. То бранила, бранила, зачем поправляешь, а теперь самой жаль стало, что продал. Ужасно, свои мысли, чувства, свой талант, просто даже душу продал! Ей-богу, очень жаль, пока не будет совсем напечатано и не оценят порядочные люди. Всё про именины вы хорошо описали, и в день операции суматохи было не мало. Я, читая, совсем перенеслась в ваш мир. А мне теперь мой, яснополянский, — милее. Видно гнездо, которое сам совьёшь, лучше того, из которого вылетишь. Ещё долго не увижу я тебя, мой милый Лёвочка. Всё думаю про себя: дай, Господи, полегче перенесть, дай, Господи, силы побольше. Знаешь, со дня на день всё больше слабею, особенно, как получу письма, да на меня тобой пахнёт, так сделается грустно, такой сиротой я себя вдруг почувствую. А жаль, что не ты мне пишешь. Твои первые письма такие были унылые, что-то не хорошие. Ни одно меня не подбодрило, ни одно не

прибавило силы легче перенесть разлуку с тобой. Лёвочка, любишь ли ты всё ещё меня? Это страшнее всего. Признаюсь, я не думала, что так долго ты должен будешь прожить в Москве. Ужасно досадно, что потерял целую неделю; целую неделю напрасно разлучались.

Лёвочка, береги свою руку, хоть уж не напрасно теперь прошло всё это. — Я нынче к вечеру опять уныла. У Серёжи желудок совершенно не варит. Ей богу, не дошло бы это с его бесконечными поносами до паралича в желудке. Ведь ни на что не жалуется, ест, но так и проходит пища насквозь, не перевариваясь. Пожалуйста, спроси папа´, что делать. Я тебе даю честное слово, что если будет плохо, я телеграфирую, а вы телеграфируйте, что делать. А покуда ещё ничего. Может быть и так пройдёт. — Я удивилась твоей бодрости при операции. Слава Богу, что всё так прошло. Теперь, как ждать и желать больше нечего, я жду и желаю тебя видеть изо всех сил. Мы перешли в детскую, устроились немного иначе, но очень хорошо. Я очень устала от ванны и переноски, и потому больше не пишу тебе. Прощай, мой милый, девочка кричит, Серёжа тоже. Хотела ей дать соску, чтоб ещё пописать, да ей это не нравится. Жаль, что не можешь ты писать мне, это меня много бы оживило и утешило. А всё-таки не спеши, голубчик, — береги себя.

Твоя Соня.

3 декабря. Четверг, вечер» *(ПСТ. С. 39 - 44).*

Теперь – снова в Москву, к Толстому… С 4 по 7 декабря он пишет жене уже каждый день… точнее — не пишет а диктует письма, ибо рука его ещё не способна к письму…

4-го декабря пишутся сразу *два* послания. Из первого, большую часть которого Т. А. Берс написала от своего имени, мы узнаём, что Толстой (вместе с ней, А.М. Исленьевым и Е.А. Берс) уже во второй раз смотрел в Малом театре комедию Островского «Шутники», и она ему «очень понравилась». Доктора приходят к нему перебинтовывать руку и запрещают пока ехать домой *(83, 76).*

От имени Толстого в письмо внесено только несколько строк:

«Соня милая моя, совсем я без тебя расстроился, ни спокойствия, ни решительности, ни деятельности никаких, а всё оттого, что без тебя я теряю «équilibre», [*фр.* равновесие] всё равно, как всё время на одной ноге стоишь» *(Там же, с. 77).*

Этого же дня второе письмо начинается с рассказа Льва Николаевича о посещении им Ивана Сергеевича Аксакова (1823 - 1886), с которым, как и с некоторыми другими представителями кружка славянофилов, он в 1860-х на время сблизился. Целью визита было получение от Аксакова для нового романа сведений об Австрии. Аксаков тогда переправил его за информацией к только что воротившемуся из Австрии профессору Нилу Александровичу Попову (1833 - 1891). О готовящемся романе Толстой сообщает жене, что «ничего не писал всё это время», «но многое себе приготовил» и ещё приготовит *(83, 79).*

В связи с посещением Аксакова Толстой вспоминает прежний визит к нему, в феврале 1864 г., который, как пишет Толстой, обращаясь к жене, «стоил тебе стольких слёз и мне такого раскаяния» *(Там же. С. 77).*

Вот запись об этом событии самой Софьи Андреевны:

«В предыдущую нашу с Львом Николаевичем поездку в Москву он пошёл вечером к Ив. Сер. Аксакову и обещал заехать за мной в Кремль <на квартиру её родителей. – *Р. А.*>, чтоб вместе возвратиться домой. Заговорившись у Аксакова, Л. Н. до 4-х часов ночи не приезжал, и я сильно забеспокоилась, плакала и представляла себе всякие несчастные случаи с Л. Н.» *(Цит. по: 83, 79).*

В книге «Моя жизнь» она вспоминает об этом же так:

«Мать моя меня утешала, но потом сама беспокоилась и хотела уже через полицию искать Льва Николаевича по Москве. Наконец я иду одна домой, в 4 часа ночи; помню, с каким ужасом я проходила тёмные Троицкие ворота, потом дала городовому один рубль и просила меня проводить до Кисловки, где мы тогда жили.

Оказалось, что Лев Николаевич так увлёкся разговорами у Аксакова, что забыл и час поздний, и меня» *(МЖ – 1. С. 124).*

Толстой же, с самодовольством любимого мужа, вспоминал своё чувство, когда он подъехал к дому, и она, обрадованная, выскочила ему навстречу *(83, 77).*

И вот такое кстати припомнил:

«И сейчас опять же Аксаков так живо напомнил мне то прекрасное время, когда ты в Покровском сидела с Нилом Поповым на приступочке, и я, притворяясь, что мне ничего, изо всех сил ревновал тебя, и любил, только совсем иначе, чем теперь» *(Там же. С. 78).*

Эти воспоминания относятся к последним «девичьим» (до замужества) прекрасным летним дням, которые семья Берсов по обыкновению проводила на даче в селе Покровском-Стрешневе (и Толстой, как мы помним, был с ними). Вот раз с соседней дачи, в деревне Иваньково, и заявился в гости к ним профессор истории Нил Попов. «Он был забавен, остроумен, — вспоминает в мемуарах Софья Андреевна, — беспрестанно шутил и играл по вечерам с нами в карты, в короли. Я никогда не любила карт и во всю свою жизнь так и не играла почти никогда в карты. Только потому я иногда садилась играть, что все играли и мне делалось одиноко и скучно одной. <Вспомним тут кстати недоброе осуждение в дневнике 1910 г. уже психически больной Софьей Андреевной своего старца-мужа за эту относительно невинную забаву, которой она тогда уже и сама охотно предавалась, дабы дать «отдых глазам», и даже гадала на картах. См. *ДСАТ – 2.* С. 164 – 165, 184 – 185, 190 и др. – *Р. А.*> Так было и тогда: Попов был грузный, флегматичный, белокурый человек, не любивший много двигаться, и вот он-то нас и втянул в игру. Его ежедневные посещения наконец стали подозрительны, и я поняла, что должна с ним быть осторожна. Он мне не нравился, и я не любила его; но чувство властвования над серьёзным, зрелым человеком – мне нравилось. Сестру Таню он называл «карамелькой», ей тогда было 15 лет. С Лизой он скучал, а со мной у него был какой-то особенный, бережный и серьёзный тон и старанье как можно больше быть со мной, хотя я и убегала часто от него.

Впоследствии он говорил, что мечтал на мне жениться, но что “Толстой у меня из-под носа невесту взял”. Кто так выражается, не мог бы меня *взять*, это наверное» *(МЖ – 1. С. 58).*

Последнее замечание в письме Толстого связано так же и с описываемым им ниже разговором о любви с подругой Софьи, состоявшемся днём ранее в театре:

«…Я ей внушал, чтоб она не боялась, что её счастье пройдёт, и что они будут меньше любить друг друга; что всё больше и больше любишь, только иначе; этим-то и премудро устроено; а любить всё одинаким образом, надоело бы» *(83, 78).*

О себе, своём настроении он сообщает жене следующее:

«Два дня сряду получаю письма от тебя и потому спокоен и весел. <Вероятнее всего, речь здесь о письмах С. А. Толстой от 30 ноября и 1 декабря. – *Р. А.*> […] …Ведь как, кажется, теперь я был бы счастлив с тобою; а приедешь, пожалуй будем ссориться из-за какого-нибудь горошку. Но теперь верно не будем» *(Там же).*

Наконец, о посещении докторов и лечении правой руки:

«Нынче утром был у Иноземцева. Он сначала мне сказал, что вывиха нет никакого, а что у меня внутренняя болезнь, которую он открыл, посмотрев в увеличительное стекло на мой язык; потом сказал, чтоб я носил хирургическую повязку, а потом сказал, чтоб ещё раз попробовать править. Он совсем сумашедший. Вернувшись домой, застал Вендриха; этот сказал, чтоб отнюдь не носить повязки. Вот и рассуждай. В 2 часа приехал Нечаев и сказал, что править решительно невозможно, а посоветовал распариванье в бане, мази и лёгкая повязка под мышку, уверяя, что этим способом может почти исправиться; вообще обещал, что буду почти владеть рукой; так как его средства все безвредные, то я на них остановился и сейчас иду в ванну. Я сам надеюсь, что буду ещё в силах тебя носить на правой руке и дать тукманку правой рукой тому, кто тебя обидит» *(Там же. С. 78 - 79).*

Это бодрое и лирическое одновременно настроение продолжает и следующее, от 6 декабря, письмо Толстого, служащее ответом на Сонино, от 2 декабря, «в дурном духе написанное», но всё-таки послужившее мужу «радостью и успокоением».

Вот, по порядку, текст письма С. А. Толстой от 2 декабря:

«Ждала, ждала из Тулы Ивана Ивановича, который должен был привезти письмо, так и не дождалась, и села писать тебе, милый друг мой Лёва. Нынче такой что-то скучный день. У Серёжи опять понос, девочка что то весь день кричит, а у меня болит зуб, и горло, и голова. Я вся распростудилась. Вот что значит восемь недель сидеть дома, а потом выйти на зимний воздух. Гулять, видно, надо подождать, жаль, так приятно было гулять. Как только немного легче станет, опять унывать не буду. Нынче целый день всё думала с какою-то грустью и нежностью о тебе. Вспоминала, как ты обо мне

всегда заботился, когда у меня что болело, сам грел для меня припарки, растирал опотельдоком горло, а теперь осиротела, и пожалеть-то некому, я и молчу, пожаловаться некому, если что и больно. Как твоё нездоровье? Право, этот Иван Иванович очень поступает неделикатно. Взял Барабана [лошадь], два дня пропадает и не везёт мне, главное, письма. Дай Бог, милый мой голубчик, чтоб ты был теперь здоров, это так важно и нужно для работы твоей, для меня, для детей, для всего решительно. Я всё думаю, хорошо ли тебе, что у тебя на душе, о чём думаешь. Уходит ли тебя Таня? Я на нее надеюсь, она такая добрая и славная. Бедная, я и о ней много думаю. Нынче мне тебе и рассказать-то ничего нет интересного. Хожу целый день как шальная от зубной боли. Вечером одолел народ к Николину дню, денег просят. Отказывать не могу, очень просят, а финансовые дела плохи, так что-то много выходит денег. Староста пришёл как к хозяйке ко мне доложить, что сани все изъездились, и надо купить новые, а кожи какие-то продать. Я в этом ровно ничего не знаю и не понимаю, и ужасно боюсь распоряжаться. Ещё говорит он, что барды часто не бывает, завод ломается, я только сказала, чтоб он смотрел хорошенько, чтоб поили скотину, а умнее ничего не выдумала. Внизу у нас работают, пол обтягивают. Завтра будет готово, а я опять перейду вниз в субботу, с детьми. Здесь им холодно. Пол чудо как вышел хорош. Только столяр меня всё злит, такой глупый, и болтун, и ленивый. Уж я его как лошадь целый день погоняю, чтоб он работал и не разговаривал. Нынче ночью шёл снег, немного. Верно была пороша; так жаль, что я не могла гулять, а то пошла бы искать зайцев. Вчера Дракон, Дора и Веселый выгнали зайца в лесу, ужасно визжали, но я так и не видала зайца. — Чем же ты теперь занимаешься, милый Лёвочка? Верно нашёл писаря и диктуешь ему, если только рука не очень болит и если ты сам весь здоров. А у меня-то нет теперь работы, сижу и себя обшиваю теперь, чтобы к твоему приезду быть опять свободной и списывать тебе. Нынче не в состоянии много писать тебе, потому что болит зуб довольно сильно. По своему расположению духа совсем бы не следовало писать тебе, да ты велел всякий день, непременно; теперь и прощай мне и дурные письма. А нынче я чувствую, что пишу тебе дурное письмо, которое тебе будет неприятно. Только я не сердитая нынче, а так, грустно, больно, скучно без тебя. Всё стараюсь о тебе меньше думать, а то всякий раз как очень задумаюсь, непременно перейду на мысль, что если б в карете, да с Таней, так ничего бы и к тебе съездить. Только ты этого не бойся, я такого сумасшедшего поступка не сделаю, мало ли что в голове бродит. И ты не спеши домой, это я тебя очень прошу;

не береди своей руки, а то теперь, когда разбередишь её, уж вправить нельзя будет. Что делать, много терпели, теперь осталось ещё немножко. А это всё была прегрустная и неприятная история.....

Иван Иванович всё не возвращается,.... видно, я уже не дождусь его нынче. Какой он, право, гадкий! Прощай, друг мой милый; целую тебя крепко в кусочки на руках, и в макушку. Будь осторожен, здоров и весел, а меня всё помни и люби. Иван Иванович вернулся, а писем нет. Это очень, очень грустно. Что, душенька, милый мой Лёва, не пишете вы мне чаще? Я получила три письма от тебя и одно от Тани, а написала вдвое. Ну, Бог с вами, теперь кончаю письмо. Очень скучно, что нет от тебя известий, такой нынче несчастный день. Твоя Соня» *(Цит. по: 83, 82 – 83).*

И вот отрывок ответа Л. Н. Толстого от 6 декабря – слова успокоения и любви:

«Издалека я тебя даже и такою люблю, да и вблизи тоже, другою я тебя не могу представить, как с твоими изменениями живости и нежности и изредка того состояния, в котором ты писала письмо, которое изредка находит на тебя и которое я отношу всегда к физическим причинам, за что ты на меня всегда сердишься. Такое же бывает твоё расположение духа, когда ты вдруг вздумаешь ревновать, как, помнишь, незадолго перед моим отъездом» *(Там же. С. 80).*

И обещает, что скоро воротится: «через неделю верно буду уж с тобой вместе переноситься из детской на верх. [...] С завтрашнего дня намерен твёрдо ходить в струне, хоть не писать, а переделать здесь все нужные дела. В понедельник, вторник и среду взять по ванне, призвать Нечаева, спросить его, что он может теперь сделать и наставление на будущее. В четверг и пятницу остаться и в субботу ехать, чтоб в воскресенье обнять тебя, милую, хоть левой рукой, но обнять и целовать, целовать» *(Там же. С. 80 - 81).*

Следующее по хронологии, от 5 декабря, письмо Софьи Андреевны с новостями из яснополянской жизни Толстой в своём ответе 10 декабря назвал «большим». Писалось оно отчасти днём 5-го, отчасти – вечером, после получения Софьей Андреевной письма мужа от 2 декабря, того самого, в котором 29 слов он сумел нацарапать больной рукой сам…

Вот содержание «большого» письма, полученного Толстым в один день с предшествующим, 9 декабря:

«Сейчас пришла домой, целое утро ходила по хозяйству. Вот тебе подробный отчёт. Сначала отправилась я к овцам. Там всё хорошо очень, все по местам: молодые, старые, бараны, валухи, всё это по особенным загородкам. У молодых нашла только я две старые овцы; немец <*скотник*> говорил, что они были плохи, и он хотел их поправить. Корм был, чисто там очень. Видела твоего Рамбульетовского барана; он чудо как хорош, сыт, и шерсть прекрасная. Я немцу говорила, чтоб он старался, он уверял, что очень старается и, кажется, действительно, хорошо. Английские свинки у него очень сыты и хороши, я их даже сама руками пробовала. — Затем я отправилась к Анне Петровне <Анна Петровна Банникова служила продолжительное время скотницей у Толстых. – *Р. А.*>. Ну, тут очень плохо. Телята, особенно три бычка так худы, что все рёбра видны. Бычки, которых надо было поить одним молоком, щипят сено, которое разбросано и топчется под ногами. Я ей сделала серьёзный выговор; она была очень сконфужена и даже разговаривала не так хорошо. Бычков молочных я велела привязать, чтоб они не допускались до сена, велела лучше поить, подобрать сено. Но я думаю, что бычки уже испорчены и мясо их не будет так бело и хорошо. Затем я отправилась к свиньям. По-моему, свиньи очень сыты — жирны, но корма у них тоже я не нашла. Анна Петровна уверяла, что уже кормила их, и нельзя же поминутно, чтоб был корм. Копыловский бычок тоже плох. Она при мне дала ему немного овса, а сено было раскидано по всей закутке, и он топтал его ногами. И за это я сделала выговор. Па́шковский бычок очень сыт и хорош. А какой красавец, — прелесть. У больной коровы была, она уже ест хорошо, и ей лучше. Больше больных нет, все здоровы. У коров четвёртый день нет барды, завод стоит и Анна Петровна уверяет, что они оттого спали с тела. Действительно, при мне поили коров; только что нальют воды, а она и замёрзнет. У коров чисто, солома только овсяная валялась, я велела её загрести, — да сено привезённое валялось кое-как у ворот. У лошадей не была, потому что Кондратий уехал за водой, да я и не понимаю ничего. Очень понравилась мне тёлочка Копыловская, прелесть как мила. Ну, потом я пошла по своему птичьему хозяйству. Это тебе не интересно: скажу тебе только, что у меня уже больше недели несутся две курицы, приезжай кушать свежие яички. Нынче вообще, я в тоне настоящей хозяйки, и уже перестаю конфузиться и поддаваться разговорам разных Анн Петровн. Забыла я сказать, что Анна Петровна уверяла, будто телята худы оттого, что у них понос. Но это её же вина. Отчего бы быть поносу, если они в тёплой избе и поятся тёплым молоком. Ещё Анна Петровна говорила, что коровы не пьют воды потому, что она из пруда очень воняет. Не

знаю, умно ли, нет ли, но я велела возить из Воронки. Если и не умно, так недолго, Бог даст опять пойдёт завод. Верно, прочтя всю эту хозяйственную болтовню, ты будешь надо мной смеяться, скажешь: “вот какой дельной представляется”. Я таки признаюсь, что немного и придаю себе важности, но всё-таки стала кое-что понимать, благодаря моим прогулкам с тобой по конюшням, варкам, скотным, и проч. Ну, теперь о хозяйстве, — *вся.*

Вечером.

Серёжа всё болен и слаб. Понос продолжается и меня часто приводит в отчаяние. Решительно слабит его водой. Так жидко и дурно. Похудел он ужасно, все рёбра видны. Я всё терплю, терплю и не знаю, когда уже будет конец. А жаль мне, что ты детей мало любишь; мне они так дороги и милы. А если так, то я тебе ничего о них рассказывать не буду. Какие они и что новенького. Жаль только, что Серёжа не ходит к твоему приезду. Какая это для меня эпоха — твоё отсутствие. Но грустная эпоха. А ты теперь, милый Лёва, в каком мире живёшь. Мы поменялись: я — в твоём, ты — в моём. А кто такая была Соничка Берс в Кремле, уж осталось одно только предание, а её уж и помину нет. Мне хочется теперь дойти до идеала моего хорошей хозяйки, главное, деятельной и способной на всё, не говоря уже о заботах о детях, которые явились сами собой, безо всяких усилий. Дочка моя совершенно покуда такая, о какой я мечтала. Такого ребёнка я и желала: здоровенького, крепинького, покойного и моего питомца. Мне с ней нет никаких хлопот. Серёжа в настоящую минуту на полу, около меня играет, и всё ложится лицом к клеёнке. Она холодит ему золотуху на щечках, и он всё переменяет место, где нагреется. Сначала, Лёвочка, мне всё казалось, что вот-вот ты войдёшь, а теперь я приуныла, и уже не жду тебя, а в душе ноет, ноет. В другой раз, может быть, я уже не решусь с тобой расстаться, мой милый друг. Намучаешься, а за что? Нынче посидела я и наверху с Машенькой и детьми. Мы говорили грустно. Лиза всё больна, у ней головокружение. Машенька очень тревожится. Нет, не жилица она России, а ещё менее — деревни. Да и то, сказать правду, будь мы в городе, рука твоя была бы уж давно совсем здорова, а теперь, как не рассуждай, а всё грустно, что есть эта неправильность в тебе. Ты всё говоришь; «для тебя мне главное хочется, чтоб рука была вправлена». Отчего для меня? Я тебя от этого меньше любить не буду, а, напротив — больше. Лёвочка сейчас приходил садовник и велел тебе написать, чтоб ты купил семян:

Дыни ананасной большой.

Дыни черноморской большой.
Дыни бухарской.
Огурцов ¼ ф., полуголландских.

Спасибо тебе за брамапутров, я им очень рада. Боюсь только, что бабка моя их поморит. Я думаю взять их в кухню. Они скорее занесутся и будут сытее. Серёжа всё ползает по полу, такое ему раздолье, а у меня сердце радуется. Одно только, — не очень гладко натянули они клеёнку, кое-где складки. Ровно целый кусок нетронутый остался. Вот лишние 5 р. с. Что с ним делать? Когда-нибудь пригодится. — Нынче вечером, вообрази, слышу пенье. Это Наталья Петровна, Машенька, дети развеселились и за чаем стали петь гимн Марьи Герасимовны: «своим духом утешаюсь ...» и проч. Мне нельзя было, жаль, с ними побыть, девочку укладывала, да вот тебе, моему милому, пишу. Это уже моё удовольствие. Хотя уже восемь часов, но ещё из Тулы не возвращались и письма ещё нет.

Сейчас привезли твоё письмо, милый мой Лёва. Вот счастие-то мне было читать твои каракульки, написанные больной рукою. *Всеми любовями*, а я то уж не знаю, какими я тебя люблю любовями, да всегда воздерживаюсь говорить о них, потому что ты когда-то сказал: «зачем говорить; об этом не говорят». О Серёже ты очень встревожился, мне жаль теперь, хотя я и не преувеличивала. За доктором не посылала и не пошлю ещё, пока совсем худо не будет. А теперь всё-таки немного лучше и он ползает, играет, ест. Уж я телеграфировала бы, конечно, неужели оставляла бы тебя в неизвестности. Не спеши, друг мой милый, еще увидимся, а руку, главное, береги; потом раскаиваться будешь. — Что это тебе не пишется? Как это жаль. А всё это гадкий хлороформ. И тот раз нервы расстроились, вспомни, и ты тоже разочаровывался в себе и был иногда мрачен, и сомневался в себе. Не поддавайся нервам, милый мой Лёвочка, они тебя надувают. А талант твой не тебе ценить и не пропал же он вдруг теперь, а это хлороформ всё дело испортил. Погоди немножко, всё это придёт. А не пишется — будем смотреть на свинок, овец, коров и брамапутров, которых ты привезёшь; будем на порошу ходить и наслаждаться природой; будем читать вслух и возиться с детьми. Теперь опять всё покажется ново. Ты *повеселился* в Москве. Я не унывала до сих пор, напротив, я сама себе удивляюсь, что была так бодра. Должна признаться, что хотя мне Серёжа не меньше дорог и мил, но много значит, что есть ещё ребёнок, это много поддерживает. Теперь няня держит её на руках, она смеётся и махает ручон-

ками. Лёвочка, милый, когда-то я тебя увижу, друг мой. Совсем другая жизнь пойдёт тогда. А рука, рука, — просто беда. Лучше б маленький Оболенский за Таней ухаживал, она ему скорее парочка, а Лиза такая серьёзная, да и старше его. Зови его к нам, если он милый. Таню очень благодарю за то, что пишет мне за тебя, и цалую её, душечку. Лёва, нынче целый день только и знаю, что даю рабочим и поденным записки на вино. Завтра праздник, пойду опять по хозяйству. И денег выдаю, заняла у Машеньки 100 р. с., а то больше негде было взять. Даю оттого, что отказать нельзя, а думаю, всё равно должны Машеньке или рабочим людям.

Ну, Лёва голубчик, прощай. Целый день пишу тебе это письмо. Зато уж длинное какое. Прилагаю письмо Серёжки к Алексею. Я так смеялась, когда он с своей улыбкой принес мне и просил переслать. Он очень хорошо расправляется, мы даже не очень замечаем отсутствие Алексея. Прощай; всё бы писала да писала. Да спать пора; еще дочку надо покормить. Я сплю на полу, посреди комнаты и мне очень хорошо. Цалую тебя, милый, и люблю так, как ты, может быть, уж и не можешь любить меня. Письма твои перечитывала двадцать раз, спасибо, что пишешь всякий день.

Сейчас приехал Серёжа, я его не увижу, потому что раздета и должна кормить» *(ПСТ.* С. 44 - 47).

До 9 декабря Толстым было послано ещё два письма — оба 7-го числа, в ответ на её письмо от 3-го. Ничего внешне замечательного, впрочем, в последние дни этого московского визита с писателем не происходит. Он очень занят: готовит для Каткова рукопись первой половины первой части нового романа (вплоть до сцены смерти графа Безухова).

Вот самые значительные фрагменты первого из писем 7 декабря *(83, № 33, с. 84 - 87)*:

«Помни, душенька, что я расчитываю на то, что ты тотчас известишь меня, ежели с Серёжей будет нехорошо. У него должен быть желудочный катар» *(Там же. С. 84).*

«Вчера утром читал английской роман автора Авроры Флойд. Я купил 10 частей этих английских не читанных ещё мною романов и мечтаю о том, чтобы читать их с тобою. Вот бы ты с Лизой занималась по-английски» *(Там же. С. 85).*

«…Я должен, несмотря на ревнивый характер жены, для очищения совести сознаться в ужасном поступке с Анночкой. <Горничная в доме Берсов. – *Р. А.*> Снимая фрак, я размахнул рукой в то время, как она проходила, и [В подлиннике *зачёркнуто*: трону…] рукой попал прямо в её грудь. Я вижу, какую ты сделаешь мне знакомую брезгливую мину… […] Для очищения совести я хочу распаренную руку показать Нечаеву» *(Там же. С. 85)*.

«От Каткова и Любимова не получаю ответа и рукописи, и мне досадно, а вместе с тем ехать к Каткову не хочется. В архиве почти ничего нет для меня полезного. А нынче поеду в Чертковскую и Румянцовскую библиотеку» *(Там же)*.

Далее, в том же письме — очень значительное психологическое наблюдение Л. Н. Толстого о супруге и её родне, Берсах «чёрных» и «белых»:

«Я пишу в кабинете, и передо мной твои портреты в 4-х возрастах. Голубчик мой, Соня. Какая ты умница во всём том, о чём ты захочешь подумать. От этого то я и говорю, что у тебя равнодушие к умственным интересам, а не только не ограниченность, а ум, и большой ум. И это у всех вас, мне особенно симпатичных, чёрных Берсах. Есть Берсы чёрные — Любовь Александровна, ты, Таня; и белые — остальные. У чёрных ум спит, — они могут, но не хотят, и от этого у них уверенность, иногда некстати, и такт. А спит у них ум оттого, что они сильно любят, а ещё и от того, что родоначальница чёрных Берсов была неразвита, т. е. Любовь Александровна. У белых же Берсов участие большое к умственным интересам, но ум слабый и мелкой. Саша пёстрый, полубелый. Славочка на тебя похож, и я его люблю. Воспитанье его с угощением и баловством мне кое в чём не нравится, но он верно будет славный малый. Один Стёпа, я боюсь, ещё доставит всем нам много горя. Он и сам дурен отчего-то, а воспитанье его ещё хуже его.

С.А. Берс,
брат С. А. Толстой

Ты, как хорошая жена, думаешь о муже, как о себе, и я помню, как ты мне сказала, что моё всё военное и историческое, о котором я так стараюсь, выйдет плохо, а хорошо будет другое — семейное, характеры, психологическое. Это так правда, как нельзя больше. И я помню, как ты мне сказала это, и всю тебя так помню. И, как Тане, мне хочется закричать: мама, я хочу в Ясную, я хочу Соню. Начал писать тебе не в духе, а кончаю совсем другим человеком. Душа моя милая. Только ты меня люби, как я тебя, и всё мне нипочём, и всё прекрасно. Прощай, пора идти по делам» *(83, 86 - 87)*.

Приводим полностью второе письмо 7 декабря Толстого к жене.

«Писал тебе утром и пишу ещё вечером. Нынче не было письма. Что-то с тобой делается? Чем ближе приходит время, когда я увижу тебя, тем мне страшнее становится.

Всё кажется, что в эту длинную разлуку с тобой что-нибудь случится. И приходят такие мысли, в которых и тебе совестно признаться. Нынче с утра я был в струне. Только написал тебе письмо, сейчас пошёл со двора, в Чертковскую библиотеку, и там пробыл часа три за книгами, очень для меня нужными, и за портретами Генералов, которые мне были очень полезны. Там мне сказали, что у графа Уварова есть переписка его дяди, командовавшего корпусом в 1805 году, поехал к нему, но не застал дома, предмет же мой прежний, мне сказали, что принимает, но я, разумеется, не вошёл, потому что мне скучно бы было и тебе, может быть неприятно. Дома все по старому. Лиза не переставая работает: от немецкого перевода к английскому уроку, от английского к уроку с детьми; я право любуюсь на неё. Таня нет-нет и заплачет; и жалко, и досадно на неё смотреть, больше жалко. Мы счастливы, мужчины. Ежели мы любим, то можем действовать; а ей надо терпеть или забывать, а она ни того, ни другого не умеет.

После обеда продиктовал немножко Лизе военную сцену, хотя и без связи, но не дурно. И только было расписался, как меня оторвали ехать в баню. Потом читал английской роман, написал записочку Бартеневу, <*Пётр Иванович Бартенев* (1829—1912), историк и библиограф, был библиотекарем Чертковской библиотеки с 1859 г. – *Р. А.*> и тебе пишу один. Все уже разошлись спать.

Завтра намерен идти в Румянцовскую публичную библиотеку, а вечером дома и писать. Ежели не будет завтра послания от Каткова, то намерен после обеда съездить к нему и взять рукопись. Как ты мила, что поняла моё чувство, отдавая рукопись. Вот такие черты

для меня самые главные и лучшие доказательства твоей хорошей любви ко мне.

Любовь Александровна нынче говорит с своей грубоватой простотой, что как только ты приедешь домой, так Соня забеременит, несмотря на то, что кормит. Это будет очень грустно, но я боюсь, что это будет правда. Так страстно я желаю тебя видеть. — Вижу твоё лицо, как ты скажешь — гадости и т. д. Странный сон я видел про тебя. Ты утонула и опять ожила. Рука всё в том же положении, в повязке не болит, и я надеюсь на лучшее, и, по правде сказать, не думаю о ней, когда сам здоров, а когда не в духе, тогда мне кажется, что это большое лишение. Прощай, душенька, милая, ещё надо написать Ивану Ивановичу <Орлову, управляющему.> Ещё 5 дней…» *(83, 88 - 89).*

Одновременно с мужем, этим же вечером 7 декабря, такое же любовное и ласковое письмо пишет ему и молодая жена. Работа с рукописями мужа *уже* отражается на стиле и слоге в эпистолярной речи Софьи. Перед нами – одно из первых писем её, которое не только информативно и искренне, но настолько прекрасно и задушевностью, и лиризмом, и психологической глубиной, что место его – не в пыльном семейном архиве, а, скорее, в ***романе в письмах*** (популярный в XIX столетии художественный жанр) или – чрез предание рифме – в шедевре замечательного поэта. Даже грубо-материальные подробности яснополянской жизни и издержки лексики – только оттеняют главное и прекраснейшее в нём.

Приводим, разумеется, полный текст.

«Сижу у тебя в кабинете, пишу и пла́чу. Плачу о своём счастье, о тебе, что тебя нет; вспоминаю всё своё прошедшее, плачу о том, что Машенька заиграла что-то, и музыка, которую я так давно не слыхала, разом вывела меня из моей сферы, детской, пелёнок, детей, из которой я давно не выходила ни на один шаг, и перенесла куда-то далеко, где всё другое. Мне даже страшно стало, я в себе давно заглушила все эти струнки, которые болели и чувствовались при звуках музыки, при виде природы, и при всём, чего ты не видел во мне, за что иногда тебе было досадно. А в эту минуту я всё чувствую, и мне и больно и хорошо. Лучше не надо всего этого нам, матерям и хозяйкам. Если б ты видел, как я теперь плачу, ты бы удивился, потому что я сама не знаю, о чём. Я всегда раскаивалась, что мало во мне понимания всего хорошего, а теперь, в эту минуту, я желаю, чтобы никогда не пробуждалось во мне это чувство, которое тебе —

поэту и писателю — нужно, а мне — матери и хозяйке — только больно, потому что отдаваться ему я не могу и не должна. — Лёвочка, когда увидимся, никогда не спрашивай меня, что со мной было и о чём я плакала; теперь я всё тебе могу сказать, а тогда мне будет стыдно. Теперь я слушаю музыку, у меня все нервы подняты, я люблю тебя ужасно, я вижу как заходит красиво солнце в твоих окнах, Шуберта мелодии, к которым я бывала так равнодушна, теперь переворачивают всю мою душу, и я не могу удержаться, чтоб не плакать самыми горькими слезами, хотя и хорошо. Лёвочка милый, ты будешь надо мной смеяться, скажешь, что я сошла с ума. Сейчас зажгут свечи, меня позовут кормить, я увижу, как дурно марается Серёжа, и всё моё настроение пройдёт разом, как будто ничего со мной не было. — Машенька стоит в спальне у окна, я сейчас прошла мимо, и сморкается. Мне кажется, что и она плачет. Что с нами сделалось? Я к ней не подошла, но мне показалось. — Оглядываю всё твой кабинет, и всё припоминаю, как ты у ружейного шкапа одевался на охоту, как Дора прыгала и радовалась около тебя, как сидел у стола и писал, и я приду, со страхом отворю дверь, взгляну, не мешаю ли я тебе, и ты видишь, что я робею, и скажешь: войди. А мне только того и хотелось. Вспоминаю, как ты больной лежал на диване; вспоминаю тяжёлые ночи, проведённые тобой после вывиха, и Агафью Михайловну на полу, дремлющую в полусвете, <*Агафья Михайловна* (1808 – 1896) — крепостная горничная Пелагеи Николаевны Толстой, бабки Льва Николаевича. – *Р. А.*> — и так мне грустно, что и сказать тебе не могу. Не приведи Бог ещё раз расстаться. Вот это настоящее испытание. Ещё почти неделю я не увижу тебя, мой милый голубчик. Нынче посылала в Тулу Серёжку, он привёз мне два письма, одно от Тани, другое — твоё, <письмо от 4 декабря. – *Р. А.*> где всё воспоминания о прошлом. Будто уж нам не будет никогда хорошо, что мы только всё вспоминаем; то-то, что теперь то нам грустно и очень плохо жить на свете. О твоей руке я и говорить не могу без особенного огорчения. Сколько было хлопот, горя, и что вышло? Всё то же. По всему вижу, что операция отняла много время, прибавила много страданий и тебе, и мне, а пользы вышло мало. Всего больше боюсь, что ты бы не стал хандрить оттого, что рука твоя не будет так хорошо владеть, как прежде. Захочешь сделать то да другое, а рука не двигается хорошенько, вот и унывать начнёшь. А теперь тебе кажется, что хорошо дома, в Ясной Поляне, а приедешь, поживёшь, я опять тебе надоем; и поносы, и дети, — всё покажется скучно. Кстати о Серёже скажу тебе, что понос всё продолжается безо всяких перемен уже несколько дней. Он весел, но слаб и худ. Девочка благополучна, но нынче весь день плохо спит и

беспокоится, что у меня отнимает много времени. Несмотря на то, успела нынче прочесть в новом «Русском вестнике» глупейшую повесть: «Дочь управляющего» <авторства некоего “N”> и начало английского романа «Армадель» <Уилки Коллинза>, который меня очень заинтересовал, так что я провела приятный час времени. Удивительно, что столько английских писателей, и все очень интересны, а у нас всё пишут какие-то N глупейшие повести. «Наш общий друг» всё ещё я не читала дальше, потому что отдала Серёже. — Лёва, вообрази, друг мой, какое горе. Няня ходила на вечеринку к Анне Петровне и, возвращаясь, упала, и у ней хрупнула ужасно кость ноги; теперь в полчаса страшно распухла щиколка, она очень страдает, не знаю, что делать. Кладем холодные компрессы, а завтра пошлю за доктором. Наступать она может, но с большой болью. Я не унываю, за меня не беспокойся; я здорова, сильна, и всё могу сделать. Лиза тоже больна, кажется желудочной лихорадкой. Мы посылаем за доктором Вигандом, а теперь ей правит ногу та самая бабка, которая правила тебе. Если будет плохо, пошлю за Преображенским. Как не ругай их, а без них не обойдёшься. Девочка у меня на руках, а я спешу писать тебе, мой милый друг. Видишь, я ничего от тебя не скрываю, а ты будь благоразумен, не беспокойся слишком, и не езди домой, если доктора запрещают. Если будет что-нибудь очень плохо, я тебе телеграфирую. Надеюсь что у няни просто ушиб и опухоль жилы, оттого, что ведь она может, хотя с болью, ступать на ногу. Вот несчастное время то! Только не достает, чтобы я свихнулась. А я молодцом. Вчера поболело горло, а нынче и то прошло. Бабка говорит, что у няни вывих, это очень прискорбно. Прощай, друг милый, теперь мне дела прибавится вдвое, и я буду меньше тебе писать. Цалую тебя крепко. Что это на нас какие напасти. Серёжа, к несчастию, ни к кому больной не идет. Придётся ей лежать и укачивать его на руках. Я буду его подавать ей. Обо мне не беспокойся, я слажу отлично с помощью Душки и Дуняши. — Бабка сейчас правила, няня уверяет, что ей много стало легче, и перестала стонать. Может быть просто ушиб и легче от холодной воды с камфарным спиртом, которые мы ей прикладывали. Что ты? Что твоя несчастная рука? Воображаю, как ты ещё похудел. Цалую милую Таню за то, что она тебя так соблюдает и за то, что, я и ты, мы её любим. Про мама́ и говорить нечего. Я ей не пишу оттого, что слишком много хотела бы ей сказать, она и так знает, как я её люблю, и ты это знаешь. Лёва милый, правда, что пока мы с тобой любим друг друга, всё можно перенесть, на всё хватит силы.

Твоя Соня» *(ПСТ. С. 49 - 51).*

К 9 декабря в Ясной получают письмо Л.Н. Толстого от 6-го, где он называет недельный срок для своего возвращения. Ободрённая, Софья вечером того же дня отвечает письмом, которое станет последним в представляемой нами здесь их переписке 1864 г.

Представляем полный текст письма С. А. Толстой к супругу от 9 декабря.

«Милый мой друг Лёвочка, наконец утешительное, радостное письмо, что ты приедешь. Как я давно ждала этого и боялась вызывать тебя. Почти наверно знаю, что письмо это не застанет уже тебя, но пишу на всякий случай. Лёва, мой милый, что это ты как духом упал; как тебе не стыдно, голубчик мой, это на тебя не похоже. Всё пройдёт, всё это следствие хлороформа, — я это предвидела и говорила об этом с Серёжей. Твои нервы все расстроены, а некому утешить тебя; народ такой там живёт всё грустный, не бодрый. Бедные они все, бедная Таня, мамá. Кажется всех бы взяла в свой мир детей, моего счастливого intérieur, [*фр.* интимного обихода] где играет забавный Серёжа с двумя дудками в руках, и блестит глазёнками моя Танюша, и где мне так хорошо и приятно, и легко живётся, — когда только ещё ты тут. А без тебя всё пусто, и трудно, и грустно. Я ужасно раскаиваюсь, что писала тебе письма в дурном духе. По крайней мере не обманывала тебя. Какая была, такая и тебе явилась. А право, Лёва, я не жалуюсь, но иногда спишь ночь только пять часов и меньше, и весь день голова кругом идёт, особенно как у детей была оспа, а у Серёжи понос. Теперь всё слава Богу; дети здоровы, ноге няниной лучше, пиявки ставили, Серёжа почти всё с Душкой, и я её сменяю, а няня исполняет все дела сидячие, т. е. нянчит девочку, укачивает Серёжу и проч. Живём понемногу. Лёва, милый, как мне грустно про роман твой. Что это ты со всех сторон оплошал. Везде тебе грустно и не ладится. И зачем ты унываешь, зачем падаешь духом. Неужели сил нет подняться. Вспомни, как ты радовался на свой роман, как ты всё хорошо обдумывал, и вдруг теперь не нравится. Нет, Лёвочка, напрасно. Вот как приедешь к нам, да вместо грязного, каменного Кремлёвского дома, увидишь наш Чепыж, освещённый ярким солнцем и поле, усаженное смородиной, малиной и проч., и вспомнишь всю нашу счастливую жизнь, и пойдём мы с тобой на порошу, и будем нянчать своих деток, и ты мне начнёшь опять с весёлым лицом рассказывать свои планы писанья, у тебя пройдёт вся ипохондрия твоя, ты почувствуешь, как

улетучится весь хлороформ из тебя, и нервы успокоятся, и всё пойдёт хорошо. О руке я успокоилась более, чем прежде, может быть она и будет подниматься совсем хорошо. Скучно ждать, и как-нибудь сократим время. Ты будешь мне диктовать, мысли опять придут; стрелять нельзя, — ну это так и быть. У нас, Лёва милый, не поладили что-то дети вечером, и я провозилась, так что пожалуй, не успею тебе много написать. Вообрази, Лёвочка, нынче явился ко мне наниматься карлик, один р. с. в месяц, в помощники к повару. Он ужасно мал и безобразен. Я думаю, что не оставлю его, он неприятен, но такой жалкий и старательный. Берётся колоть дрова на весь дом; стало быть это заменит подённого. Как мне нынче было досадно. Говорят, что староста <Василий Ермилович Зябрев, помощник управляющего по имению. – *Р. А.*> отправил пастуха Якова, говоря, что и без него народу много. В хозяйстве всё идёт понемногу. Завтра будет барда, пойдёт завод. Телята всё в ужасном положении.

Ну, никуда не годный мой муж, но милый и которого я ужасно люблю, теперь я совсем ожила, когда знаю, когда ты приедешь. Как я буду ждать тебя целый день, и постараюсь быть сама здорова, и чтоб дети были здоровы, и чтоб всё было благополучно. А ты, мой бедный, убогий, милый, не унывай, ради Бога, будь бодр, — какая я дура, все мои утешения напрасны, теперь поздно, и я так мало утешала тебя в своих письмах, и пожалуй ещё меньше буду утешать при свидании. Только я так рада тебе буду. Грустно у вас там в Кремле, плохо. А я-то счастливая, какую мне Бог судьбу послал. Только несчастная рука. Лёва, милый, прощай, у дочки животик болит, и нянчить некому; я и так пишу урывочками, и спешу ужасно. Да теперь скоро увидимся, голубчик, друг мой. Уж поздно, детей [никак] не уложим, и сама почти не гляжу глазами. Если застанет тебя это письмо, то одно прошу тебя, ради Бога не падай духом. Я, бывало, так любила, когда ты говорил, что это значит хандра — пустяки. О нас не беспокойся, одна Лиза только нездорова, но на ногах, у ней страшная болезнь во рту. Няня дня через два, три, верно, пойдёт молодцом. Ну, прощай, и так девочку бросила, чтоб писать тебе. Машенька ужасно мнительна и с ума сходит о Лизе, а доктор сказал, что ничего нет. Цалую тебя, покуда ещё будто бы, но скоро в самом деле. Что ты мало пишешь о мама´? Когда-то я их всех увижу. Мне без тебя приходило раза два такое желание увидеть всех своих кремлёвских, и даже грустно делалось» *(ПСТ. С. 52 - 54).*

Наконец, последние два письма из Москвы от Л. Н. Толстого — ответы на письма Софьи от 5, 6 и 7 декабря.

«1864 г. Декабря 10. Москва.

Два дня не писал тебе, Соня, т. е. пропустил один день. Нынче пишу рано утром с тем, чтобы попало на почту до 12-ти. Не писал же я от того, что, избаловавшись 4-мя днями сряду, в которые регулярно мне приносили твои письма, я, не получая их два дня, был очень неспокоен и всякой день уезжая из дома, думал: а вот-вот без меня принесут телеграмму с каким-нибудь ужасным известием. Вчера получил вдруг два твоих письма: большое и розовое. <От 5 и от 6 декабря. – *Р. А.*> Оба письма очень хорошие, и я опять ожил духом, и мне верится, что опять счастливо и скоро увижу тебя, а именно: после послезавтра. Дел, дотянув до отъезда, у меня набралось пропасть. И к Каткову, и к Попову, и покупки, и книги. Можешь себе представить, свинья Катков 2 недели держал рукопись <и> не читал её, и просил подождать до вечера; я нынче поеду к нему и обругаю его. Третьего дня и вчера я понемногу писал, диктуя то Тане, то Лизе, и чувствую себя в хорошем духе. Руке становится лучше, и подаёт мне хорошие надежды. Нынче увижу Попова, Гака и Нечаева, с тем чтобы они сказали мне последнее слово перед отъездом. Чай купил 2-х сортов, опять по прошлогоднему. — Твоё хозяйство отлично. Всё, что сделала, хорошо. И то, чтобы возить воду из Воронки, одна из тех хозяйственных вещей, которые очень трудны и очень просты. Вот я приеду, погоди же ты, Анна Петровна, уж я не раз нарушу её спокойствие и чай. — Что это с милой Лизой? Надеюсь, она уж здорова, и Машенька успокоилась. Вчера были в Гильом-Телле. <В Большом театре на опере Россини «Вильгельм Телль». – *Р. А.*> Я был в духе понимать и наслаждаться 2 первых акта, а потом устал. — Так Серёжа к клеёнке лице прикладывает и агу кричит, посмотрю я.

Ты меня так удивила, объявив, что ты спишь на полу; <из страха выронить во сне из рук ребёнка. – *Р. А.*> но Любовь Александровна сказала, что и она так спала, и я понял. Я и люблю, и не люблю, когда ты подражаешь ей. Я желал бы, чтоб ты была такая же существенно хорошая, как она; но хочется, чтоб ты была (как оно и есть) более тонкой работы и с бо̀льшими умственными интересами. Оно так и есть.

После послезавтра, на клеёнчатом полу в детской обойму тебя, тонкую, быструю, милую мою жену. — Надо ехать

10 декабря» *(83, 90 - 91)*.

Сестра Татьяна сделала для Сони в этом письме Толстого небольшую приписку своей рукой:

«И я хочу написать тебе кое-что, милая Соня, вот Лёвочка едет в субботу и просит, чтобы ты в воскресенье выслала лошадей в Тулу. Как это мне всё хочется, чтобы радоваться за тебя, что у вас опять в Ясной весело, живо будет, а так сделается невольно грустно, что я далеко от всех ваших радостей и живостей буду. Лёвочка мне много сократил эти три недели» *(Там же. С. 92)*.

В последнем же, 11 декабря, письме, Толстой рассказывает о трёх «радостях»: 1) об успехе в выздоровлении руки; 2) об успехе у слушателей (А. М. Жемчужников и И. С. Аксаков), которым Толстой читал первые шесть глав своего романа, и в сговоре с Катковым о его публиковании в «Русском вестнике» (300 руб. за лист); наконец, 3) о радости от письма Софьи Андреевны от 7 декабря:

«Душа моя, я радуюсь твоим слезам, понимаю их, люблю их очень, очень, очень. Только страшно, не примешивается ли к ним сожаленье, и не мог ли я сделать, чтоб не было этого сожаленья. Грустно, что о Серёже всё ты не пишешь, что понос прошёл. Не говори и не думай, что я их не люблю. Одно из главных желаний моих, чтоб Серёжа был совсем здоров. Больше я бы ничего не попросил бы у волшебницы. А я не люблю их в сравнении с тем, как я тебя люблю. […]

Как хорошо, когда мы опять увидимся, и я увижу твоё особенное радостное лицо, которое так хорошо делается в эти минуты. […]» *(83, 92 - 93)*.

КОНЕЦ ЧЕТВЕРТОГО ЭПИЗОДА

С.А. Толстая
с детьми Таней и Серёжей. *1866 г.*

Эпизод 5.
ЛЕВ ВЫХОДИТ НА ОХОТУ
(Год 1865-й)

Писем 1865 года у супругов не много, и, к сожалению, они не столь, как более ранние, информативны в отношении как биографии и творчества Льва Николаевича, так и, в частности, его отношений с женой.

По счастью, жизнь Толстого с семьёй в годы написания романа «Война и мир» не только детальнейшее изучена биографами писателя, но и отразилась в ряде аспектов в дневниках, которые в этом году вели оба супруга.

Не считая двух записок жене, датируемых приблизительно мартом – апрелем *(см. 83: 96; №№ 37 и 38),* в основном письма Толстого к Софье Андреевне относятся к маю-августу 1865 г., когда он и его семья выезжали из Ясной Поляны. Тексты писем Софьи Андреевны, которыми мы располагаем – все от июля 1865-го… Что же совершилось наиболее значительного во внешней биографии Толстого за месяцы, прошедшие со времени прежнего Эпизода его Переписки с женой?

В самом начале года, 3-го января, Толстой посылает М. Н. Каткову рукопись конца первой части (всего 28 глав) «1805 года» (будущий роман «Война и мир»), содержащую описание жизни семьи Болконских в Лысых Горах. До конца зимы писатель обдумывает вторую и дальнейшие части своего романа и пишет черновую версию второй части. В марте вторая часть активно пишется. В доме между тем тяжело перебаливает старший сын Толстого Сергей, а 10 апреля в Дневнике Толстого появляется запись и о собственной его болезни… После этого, к сожалению, Толстой прекращает вести Дневник до 19 сентября 1865 г.

Произошло и ещё одно событие, имевшее неприятные, едва не трагические, последствия. Получил развитие ещё прежде начавшийся роман между Сергеем Николаевичем Толстым и Татьяной Берс…

В середине мая внимание Толстого отвлекают тревожные слухи о возможности неурожая и крестьянских бунтов в России. Он лично решает навестить имения родственников Пирогово, Никольское-Вяземское и Покровское для наблюдения над ситуацией с хозяйствами и урожаем. 18 мая Толстой *со всей семьёй*, а также сестрой жены

Татьяной и своей сестрой Марией с её детьми выезжает в имение Пирогово. Обустроив семью, он отправляется на самостоятельные хозяйственные рекогносцировки в сёла Покровское и Сергиевское (ныне это г. Плавск в Тульской обл.). Из Сергиевского 19 мая он отправляет жене безответное письмо с описанием деревенского несчастья:

«До Сергиевского ехал я по ужасной погоде. Об этом жарком, удушающем ветре вы не можете себе представить. Мне сделалось страшно, что я задохнусь. Кроме пыли, в воздухе был дым, который я почувствовал, 6 вёрст не доезжая Сергиевского.

Пошёл дождь и холодный ветер, я заехал в избу, отдышался и узнал, что Сергиевское горит. Я приехал, пожар ещё был во всём разгаре, но дальше не распространялся, потому что ветер стих. Сгорело больше 50 домов на этой и той стороне реки. 4 трупа сгоревших уж найдено, а не досчитываются ещё человек 6 детей и взрослых. Сапожник с женой найдены сгоревшими под печкою, куда они забились от страху. Я теперь жалею, что я не посмотрел. — Черёмушкин <богач-торговец. – *Р. А.*> не сгорел; за дом от него остановилось. Я застал у его ворот толпу народа пьяного и пьющего водку, которую он им подносил. Пьяных пропасть по всему селу, так что общее зрелище больше гадкое, чем жалкое» *(83, 97)*.

20-го мая Толстой навестил друга детства Дмитрия Алексеевича Дьякова (1823 – 1891) в его имении Черемошне, о чём известил жену во втором безответном письме *(Там же. С. 98 – 99)*. Это тот самый прекрасный Димочка Дьяков, который, по признанию Льва Николаевича в Дневнике от 29 ноября 1851 года, вызывал в нём, вместе с рядом других красивых мужчин, понятное и естественное половое влечение и желание плотской интимной связи: «…Я никогда не забуду ночи, когда мы с ним ехали из Пирогова, и мне хотелось, завернувшись под полостью, его целовать и плакать. Было в этом чувстве и сладострастие…». Среди других любовников названы Сабуров, виолончелист Зыбин, Оболенский, Блюмсфельд, Ислявин…, но Толстой тут же признаётся: «Из всех этих людей я продолжаю любить только Дьякова» *(46, 237 - 238)*.

Где-то после 21-го Толстой возвращается в Ясную Поляну.

Наконец, с 28 июня по 25 июля Толстые с сестрой жены, Татьяной Берс, проживают в имении Никольском-Вяземском, а с 25 июля – в Покровском. Из Покровского Л. Н. Толстой выезжает с визитами всё к тому же Д. А. Дьякову, а вместе с ним – в роскошнейшее имение

И. Н. Шатилова, в огромной библиотеке которого Толстой ищет газетные материалы по 1812-му году. А от Шатилова, официально за тем же самым – историческими материалами для романа – Толстой выезжает 26 июля в орловское имение Воин, к Петру Петровичу Новосильцеву (1797 - 1869).

* * * * *

Но оставим теперь ненадолго Льва Николаевича наедине с этим старым тайным советником и камергером, знатоком литературы и покровителем многих её авторов… Обратимся к некоторым записям супружеских дневников этого же года. У Софьи Андреевны дневник, без сомнения, информативней. Толстой в 1865-м вносит в свой Дневник преимущественно краткие, даже лапидарные записи о внешних событиях. Соничка же, как мы уже сказали, – быстро учится на переписываемых ею рукописях мужа. Дневник её постепенно превращается в тот подкупающе-интимный «роман в письмах потомству», которым останется уже до конца… Вряд ли уже в те годы жена Толстого не задумывалась, что и *её*, жены писателя, письма и дневниковые записи могут привлечь внимание будущих поколений.

Итак, вот лишь некоторые характеристические отрывки из её дневника (где возможно – будем дополнять их немногочисленными в этом году и отрывочными записями из Дневника Льва Николаевича).

25 февраля.

«Я так часто бываю одна с своими мыслями, что невольно является потребность писать журнал. Мне иногда тяжело, а нынче так кажется хорошо жить с своими мыслями одной и никому ничего о них не говорить. И чего-чего не перебродит в голове. Вчера Лёвочка говорил, что чувствует себя молодым, и я так хорошо поняла его. Теперь здоровая, не беременная, я до того часто бываю в этом состоянии, что страшно делается. Но он сказал, что чувство этой молодости значит: *«Я всё могу»*. А я *всё хочу* и *могу*. Но когда пройдёт это чувство и явятся мысли, рассудок, я вижу, что хотеть нечего и что я ничего не могу, как только нянчить, есть, пить, спать, любить мужа и детей, что есть всё, в сущности, счастие, но отчего мне всегда делается грустно, как вчера, и я начинаю плакать. […] Он никогда теперь не бывает весел, часто я раздражаю его, писание его занимает, но не радует. […] Лёвочка удивительный, ему всё, всё равно; это ужасная мудрость и даже добродетель.

Дети – это моё самое большое счастие. Когда я одна, я делаюсь гадка сама себе, а дети возбуждают во мне всевозможные лучшие чувства. [...] С детьми я уже *не молода*, мне спокойно и хорошо» *(ДСАТ- 1. С. 68).*

В дальнейших записях Сони эта экзальтированность интеллектуальной и психологической несамостоятельности только нарастает.

Запись *6 марта* ужасна:

«Серёжа болен. Вся я как во сне. [...] Лёвочка молодой, бодрый, с силой воли, занимается и независимый. Чувствую, что он – жизнь, сила; а я только червяк, который ползает и точит его. [...] С Лёвочкой последний *надрез* чувствуется сильно. Жду, сама виновата, и боюсь ждать; ну как никогда не воротится его нежность ко мне. Во мне благоговение к нему, но сама так низко упала, что сама чувствую, как иногда хочется придраться к его слабости» *(Там же. С. 68 - 69).*

В мемуарах Софья Андреевна разъясняет мысль о «надрезе», попутно оправдывая своё поведение в отношении мужа, следующим образом:

«Раз он мне высказал мудрую мысль по поводу наших ссор, которую я помнила всю нашу жизнь и другим часто сообщала. Он сравнивал двух супругов с двумя половинками листа белой бумаги. Начни сверху их надрывать или надрезать, ещё, ещё... и две половинки разъединятся совсем.

Так и при ссорах: каждая ссора делает этот надрез в чистых и цельных, хороших отношениях супругов. Надо беречь эти отношения и не давать разрываться.

Трудно мне было обуздать себя, я была вспыльчива, ревнива, страстна. Сколько раз после вспышки я приходила к Льву Николаевичу, целовала его руки, плакала и просила прощения.

В его характере этой черты не было. Гордый и знающий себе цену, он, кажется, во всей своей жизни сказал мне только раз «прости», но часто даже просто не пожалеет меня, когда почему-нибудь обидел меня или замучил какой-нибудь работой. Странно, что он даже не поощрял меня никогда ни в чём, не похвалил никогда ни за что. В молодости это вызывало во мне убеждение, что я такое ничтожное, неумелое, глупое создание, что я всё делаю дурно. С годами это огорчало меня, к старости же я осудила мужа за это отношение» *(МЖ – 1. С. 144 - 145).*

Осудила... И приговорила к многолетним мукам и смерти вне родного дома – добавим от себя.

Толстой между тем 7 марта записал: «Соня была больна. Серёжа <сын> очень болен, кашляет. – Я его начинаю очень любить. Совсем новое чувство» *(48, 59)*.

Но по следующим записям жены никак нельзя сказать, что она совершенно «выздоровела» от тех настроений, которые Толстой по привычке приписал физическому недомоганию:

8 марта.

«Серёжа поправляется, болезнь прошла. Лёва очень хорош, весел, но ко мне холоден и равнодушен. Боюсь сказать *не любит*. […] Я стала думать, не ходит ли он к А. […] Пора бы его знать. Разве могло бы быть это спокойствие, и непринуждённость, и неискренность» *(ДСАТ – 1. С. 69)*.

«А.» здесь – без сомнения, Аксинья Александровна Базыкина (1836 - 1920), пышнотелая яснополянская красавица-крестьянка, бабёнка самого жизнерадостного поведения, с которой у Льва Николаевича был до свадьбы с Соней сладчайший интим и «незаконный» красавец сын Тимоша.

Аксинья Базыкина (в центре) с дочерью и внучкой.
Конец XIX или начало XX века.

9 марта.

«У меня насморк, я гадка, жалка. […] Лёвочку я боюсь. Он так часто замечать всё, что во мне дурно. Я начинаю думать, что во мне очень мало хорошего» *(ДСАТ – 1. С. 69 - 70)*.

Напомним: до официального диагностирования психиатром признаков паранойи у Софьи Андреевны – ещё целых 45 лет… Но в 1910 г. Толстой знал, с *чем* имеет дело (хотя и не было ему от этого легче),

в 1865-м же – только записал 9 марта в Дневнике следующее: «С Соней мы холодны что-то, жду спокойно, что пройдёт» *(48, 59).*

И, наконец, *11 марта:*
«С Соней мы опять хорошо» *(Там же).*

Но это он так решил для себя – после ласк и поцелуев, подаренных ей 10-го *(ДСАТ – 1. С. 70).* А ей опять, уже 16-го марта, «головная боль мешает что-нибудь делать» и – «несносный тик». 20 марта – «лихорадка и ужасная боль в голове» *(Там же. С. 71).* Эти признаки развивавшегося заболевания станут её спутниками на долгие годы. Кроме того – вот такой злой бред о муже, связанный с чтением критики на его повесть «Казаки»:

«Перед Лёвочкой чувствую себя, как чумная собака. […] Мне больно, я пропала для него. […] …Я – граница всему, а жизнь, любовь, молодость, всё это было для казачек и других женщин. Дети ужасно меня привязали к себе. Я вся отдалась детям. […] Лёвочкой любуюсь, — он весел, силён умом и здоровьем. Ужасное чувство видеть себя униженной. Мои все ресурсы орудия, чтоб стать с ним наравне, — это дети, энергия, молодость и здоровая, хорошая жена. Теперь я для него – чумная собака» *(Там же. С. 71 - 72).*

Тяжелейшая нагрузка работы и депрессивное состояние жены наконец повлияли и на Толстого. 10 апреля он упоминает в Дневнике о собственной болезни, и кстати тут же прибавляет: «Соню очень люблю и нам *так* хорошо!» *(48, 62).*

Картина очевидна. Депрессию в связи с поиском своей жизненной стези в молодом возрасте пережили оба супруга. Правда, Толстой тогда — ещё не был женат… Именно этому периоду поиска и обретения себя в творчестве принадлежит его известное стихотворение от 20 ноября 1854 г, странно перекликающееся с дневниковыми и мемуарными жалобами Софьи Андреевны:

Когда же, когда наконец перестану
Без цели и страсти свой век проводить,
И в сердце глубокую чувствовать рану
И средства не знать как её заживить?
Кто сделал ту рану, лишь ведает Бог
Но мучит меня от рожденья
Грядущей ничтожности горький залог,
Томящая грусть и сомненья *(1, 302).*

Радует, что этот лермонтовский, запоздало-юношеский бред уже не характерен для зрелого Толстого 1860-х, но удручает, что им наполнены даже старческие дневник и мемуары его «спутницы жизни». Обратим внимание: Толстой взывает к *себе* и упрекает *только себя*…

Очень некстати ударом по болезненно-нежной психике Софьи Андреевны стал отказ брата Толстого Сергея от брака с её сестрой Таней. «Серёжа обманул Таню. Он поступил как самый подлый человек. […] А были уже 12 дней жених и невеста, целовались, и он её уверял и говорил ей пошлости и строил планы. Кругом подлец» — безапелляционно выводит она в дневнике под 12 июня, т.е. уже живя в Никольском *(ДСАТ – 1. С. 74).* На деле всё было чуть-чуть иначе: Таня Берс сама отказала Сергею, когда узнала, что он планирует продолжить сожительство с цыганкой Машей Шишкиной, недавно родившей ему дочь. Сергей принял отказ и деликатно прекратил посещения Ясной Поляны. Толстой в письме брату справедливо охарактеризовал его поступок как «великодушный» и «высокий» *(61, 87).*

* * * * *

Теперь – непосредственно к переписке супругов 1865-го года. Мы оставили Толстого в имении Воин Мценского уезда Орловской губернии – в гостях у ходячего архивариуса и кладезя меморатов эпохи Александра I, старика Новосильцева. Вырвавшись только после 2-х

часов пополудни из гостеприимных объятий архиразговорчивого хозяина, Толстой отправляет жене вот такое небольшое письмо-отчёт:

«Соня! По этому ты можешь видеть, откуда я пишу. Приехал вчера поздно к Новосильцевым и всеми неправдами не мог уехать раньше нынешнего дня, 2-го часа. — Старик заговорил меня своими анекдотами и рассказами из моего доброго, старого времени 12 года. Сын же <Иван Петрович Новосильцев (1827 – 1890). – *Р. А.*> замучил меня, показывая своё хозяйство. [...] Всё для изящества и тщеславия: парки, беседки, пруды, point de vue, [разные виды,] и очень хорошо. Но Ясная лучше. И можешь себе представить, вид его хозяйства побудил меня к тому, что ты любишь и желаешь, подчистить в Ясной. Нынче Бог знает когда приеду, но поеду, не останавливаясь. Лошадей отпускаю отсюда, потому что Барабан <лошадиное фамилие. – *Р. А.*> захворал. В Орле всё куплю.

Я рад, что этот день меня развлекли, а то дорóгой мне уже становилось за тебя страшно и грустно. Смешно сказать: как выехал, так почувствовал, как страшно тебя оставлять. — Прощай, душенька, будь паинька и пиши. Пётр Петрович тут ходит, пока я пишу, мешает, и говорит: «mettez moi aux pieds de la Comtesse», [*фр.* поверг-ните меня к стопам графини,] и т. д.

Прощай.

Л. Толстой» *(83, 101).*

«Паинька» меж тем приглашения не ждала, и уже – несколькими часами раньше в этот же день – написала мужу *встречное* письмо такого вот содержания:

«27 июля 1865 г. 12 часов дня. [Покровское.]

Милый Лёвочка, всё хорошо и благополучно. Серёжа так же, как вчера; у меня зуб прошёл. Теперь мы все вместе сидели в доме, и Машенька рассказывала своё грустное прошедшее с мужем <М. Н. Толстая оставила мужа, Валериана Толстого, который “изменял” жене и сожительствовал с девицей Е. Гольцевой, от которой имел двух дочерей и сына. – *Р. А.*>. Как-то особенно грустно и больно было вчера, когда ты уехал. Ради Бога береги своё здоровье. У меня из головы не выходит твой шум в ухе и твоя боль в желудке. Пиши мне главное о здоровье. — Вечером вчера приехала Фиоточка <Хиония Александровна Дельвиг, урожд. Чапкина. Подружка М. Н. Толстой.

– *Р. А.*>. Она очень милая и я подумала, что невозможно опошлеть около такого простого и чистого существа. Мы с ней сидели больше в бане у детей. Она так хорошо их забавляла, что они оба её пустить не хотели, так и лезут к ней на руки. Из этого я больше заключила, что она прекрасная женщина. Кругленький барон <А. А. Дельвиг, муж Хионии. – *Р. А.*> пока пел с Таней и аккомпанировал ей на фортепиано. Он очень хорошо играет на гитаре, особенно трепак. Мне нынче так показалось страшно спать одной, что я положила на твоё место девочку, и опять буду спать с ней. Она такая покойная, и так приятно слышать около себя дыханье маленького существа.

Таня большая поёт и я всё её слушаю, и мыслей не соберу писать тебе. Только под музыку ещё скучнее без тебя, и ещё яснее представляется, как ты вчера вечером отъехал, и я осталась одна. А нынче послушала рассказы Машиньки о её несчастиях, и совестно стало за свои маленькие горести перед таким большим несчастием. А мне теперь кажется самым большим горем, что тебя нет.

Лёвочка, завтра поеду к баронам, они очень звали, и буду помнить всё время твои родительские наставления. А на счёт *полосканья во-время сердца*, я нынче утром уже употребила это средство, и очень рада. Сейчас идём купаться, а Машинька поедет нынче к Сухотиным <соседи М. Н. Толстой. – *Р. А.*>. Я ещё не бралась за переписыванье, но постараюсь всё исполнить. Прощай, Лёвочка милый; нынче нечего ещё писать. Так ещё мало времени прошло, к несчастью, с тех пор, как ты уехал. Завтра, может быть, не буду писать, а пошлю послезавтра. Не знаю ещё и это письмо с кем пошлю.

Соня» *(ПСТ. С. 55 – 56. Выделение в тексте наше. – Р. А.)*.

Здесь обращает на себя внимание явно метафорическое, образное выражение: *«полоскание сердца»*, которое Толстой заповедал «во-время» совершать жене. Вероятнее всего, речь о том, чтобы не «накручивать» себя, а держать в руках и в спокойствии. Биограф Л.Н. Толстого Н.Н. Гусев приводит по этому поводу суждение древнего мудреца, без сомнения, бывшее известным Толстому:

«Если рассердишься, то прежде чем что-нибудь сказать, возьми в рот воды и подержи её некоторое время, тогда успокоишься» *(Гусев Н.Н. Указ. соч. – С. 641)*.

Это *встречное* письмо. Письмо же мужа от 27-го Софья получила только на следующий день, 28-го, и вечером этого же дня ответила на него:

«Сейчас только приехала я от Дельвигов, милый друг мой Лёва. Я провела там только два часа, ездила в тележке с Павлом <предположительно это кучер М. Н. Толстой. – *Р. А.*>, совершенно независимо от всех. Ничего не могу тебе рассказать о их вечере и гостях. Провинциальный сброд, с бледными барышнями, с провинциальным львом в русском бархатном казакине и чёрных пу-де-суа <шёлковых с вышивкой. – *Р. А.*> панталонах. Совсем не весело и не смешно. Petits jeux [фр. игры] скучные, шутки кавалеров глупые и не смешные; варенья разных сортов на блюдечках, старички играли в карты и дети мелькают кое-где и кое-когда в пёстрых платьицах и панталончиках с оборочками. Только милы очень сами хозяева, т. е. весёлая и, действительно, удивительно простая Фиоточка и сам барон. Добродушные и, в самом деле, с отсутствием всякого тщеславия. Я нарочно искала его в чём-нибудь, и не нашла. Машенька в их обществе в большом почёте, и меня очень фетировали <чествовали>. Мне и не хотелось ехать, так страшно оставлять было детей хоть на два часа. Впрочем они благополучны и здоровы. Только Серёжа всё охрип; я удивляюсь, что не проходит.

Что же я ничего не пишу тебе о том, что нынче я получила утром твоё милое письмо, милое оттого, что ты меня тоже пожалел оставлять, и что не мне одной было так больно и грустно, когда ты уезжал. Я этому очень обрадовалась, и письмо твоё было такой радостью нынешнего дня, что я его везде с собой таскала и перечитывала. Я не удивилась, что ты у Новосильцовых задержался, рада, что ты отдохнул и рассеился. Где бы ты ни был, и что бы ты ни делал, я всему буду рада, только бы ты был главное здоров, а потом весел. А ты ничего не написал мне о желудке и о шуме в ухе. Барабан теперь опять поправляется и стал есть корм, а то ты его таки уходил порядочно. Хочу тебе написать, что мы делали вчера и нынче, да не припомню хорошенько. Вчера только помню, что занимались утром вышиваньем и бисером, потом купались два раза и ели много крыжовнику. А вечером Машенька уехала к Сухотиным, а мы вчетвером, самая-то молодёжь, всё разговаривали, были в поэтическом расположении духа, и припоминали девочкам своё детство и молодость первую, и рассказывали кое-что. Потом приехала Машенька, и видно уж такой был вечер à confidences, [фр. откровенностей] девочки ушли спать, а она мне и Тане подробно рассказала свой роман с Тургеневым <они познакомились в октябре 1854 г. – *Р. А.*> и свой заграничный роман. Мы разошлись очень поздно, и я потом долго не могла спать, всё ты мне вполовину во сне, а вполовину наяву мерещился, и как будто указывал в угол, где мелькали огоньки, и говорил: «гляди, гляди…». Так было страшно и одиноко. Только девочка,

которая спит со мною, утешала меня и радовала своим присутствием.

Нынче встала так поздно и голова так болела. Я всё утро одевала и устраивала Машеньку и барышень в гости. Кому бантик, кому серьги, кого причесать. Они поехали рано, к обеду, а я всё время часов до шести тебе списывала и подвинулась таки вперёд порядочно. В шесть встали дети, и я с ними обедала в доме. Мне с ними было так весело и хорошо. Серёжа так ел аппетитно, и такой был милый. Уже почти в восемь я поехала к баронам. Завтра утром посылаю это письмо, а от тебя, верно, еще не будет. У баронов разные господа о тебе спрашивали, о твоем писательстве. «Туда же лезут рассуждать», — подумала я несколько раз. А всё-таки, Бог знает от кого, а мне приятно, когда говорят о тебе и хвалят. Милый мой Лёвочка, где-то ты теперь? Я всё думала, что настоящие охотничьи дни, тепло и дождик моросит. Дай Бог, чтобы тебе было хорошо и весело. Прощай, цалую тебя, душенька. Пиши мне чаще, пожалуйста» *(ПСТ*. С. 56 - 57).

В тот же день 27-го, уже из Орла, Толстой отправляет жене ещё одно коротенькое письмецо, в котором оповещает о том, что направляется в имение Шаблыкино (Карачевский у. Орловской губ.) к своему многолетнему товарищу по охотничьим забавам – Киреевскому, с которым планирует пробыть до конца июля. Завершается письмо грустной ноткой: «Никогда мы перед разлукой не были так равнодушны, как этот раз, и потому мне всё об тебе щемит. Прощай, душенька» *(83, 103)*.

В ответном письме от 29-го Софья Андреевна спешит взбодрить и утешить мужа:

«Никак не ожидала я себе такого счастия, милый мой Лёвочка, что ты пришлёшь мне ещё письмо. Только нынче встала, Душка подаёт мне маленькое письмецо; я удивилась от кого бы это, и вдруг опять от тебя. Плохо, что здоровье твоё всё нехорошо, ты не поверишь, как я мучаюсь постоянно о твоём здоровье. Опять мне стало приятно, что ты обо мне всё думаешь; только с чего ты взял, что мы были равнодушны друг к другу перед разлукой. Я не была равнодушна, мне было грустно, что ты едешь, и главное едешь больной. А твоё равнодушие я считала за желчное, нездоровое расположение, в котором ничто не мило и ничто не трогает. Хорошо бы, кабы ты приехал раньше, но я боюсь просить тебя; тебе, может быть, будет весело,

а мне не надо быть эгоисткой. А ещё неделя до срока, до пятого числа.

Вообрази, целый день, как кто едет, смотрю в окно, не катки ли, не ты ли, может быть, соскучился и едешь назад. Но это так, глупая фантазия. В каком ты нынче состоянии, нашёл ли Киреевского? А дни всё тёплые, хорошие, и для охоты хороши; жаль, если пропадают в поисках и погоне за Киреевским. А я всякий вечер считаю, слава Богу, ещё день прошёл, а на сон грядущий тебе пишу. Нынче опять мы встали очень поздно, моя девочка, которая со мной неразлучна, вдруг ночью села возле меня и начинает — ма, ма, ма, а в комнате уже свеча была потушена, я так удивилась. Так и провозилась я с ней до трёх часов почти ночи. Она была такая весёлая и оживлённая. Потом пили в доме кофе, рассказывали друг другу о приключениях и торжественном дне у баронов. До купанья я всё списывала, но дело идёт тихо. Начну списывать, то дети помешают, то мухи кусали ужасно, а то станет интересно и я читаю дальше, и начинаю думать и судить сама себе о всех лицах и действиях твоего романа. Мне очень Долохов нравится. Но я чувствую себя всё-таки действительно пошлой, читающей публикой. Купаться мы ходили все, даже мои дети. Серёжа смеялся, а девочка всё кричала — ма, ма, ма, и лезла ко мне в воду. После обеда мы все были в саду на ягодах, а потом я велела закладывать в тележку Барабана и поехала с Серёжей кататься просто по полю, по гладенькой дорожке. Сначала он был очень весел, мы ему дали возжи и он погонял лошадь, кричал тпрр, показывал на Павла, смеялся и говорил: Па. А потом вдруг заснул. Когда приехали домой, он опять отправился гулять, я его катала по саду в тачке, ему это очень нравилось, и он закатывался от радости. Сейчас пили чай, а теперь, как кончу письмо, сяду ещё списывать. Вот и весь мой нынешний день. Все прочие члены нашего общества, приблизительно, проводят время также. Все здоровы и дети тоже. Серёжина хрипота всё не проходит. Ты велел писать подробнее, вот тебе всё до мельчайших подробностей. Ты мне только завещал не сердиться; ну так на этот счёт будь покоен, я в самом ровном, спокойном, но грустном без тебя расположении духа. Как будто нарочно, без тебя стараешься быть лучше. А это не нарочно, а просто так, занята мыслью, что тебя нет, что как ты, и где, и благополучен ли, и скоро ли приедешь, что всё другое почти не трогает и не может волновать. — Ты бы, верно, если бы видел меня, сказал, как всегда говоришь, с особенным ударением: «не объясняй, не объясняй». А мне тебе, милый мой Лёва, всё хочется и рассказывать и объяснять. Лёвочка, пиши мне подлиннее письма, если время будет; хоть несколько минут в день будет счастливых, и с явным участием

тебя. А то так пусто, одиноко. Серёжа нынче всё на твой портрет глядел и с такой радостью и весёлым лицом указывал на него и говорил: «папа». Он мне ещё милее стал за то, что только у нас с ним ровная, и искренняя, и настоящая к тебе любовь. Ведь его никто не учил любить тебя, и, стало быть, чувствует. Он ужасно мил; только нынче опять кричал ужасно, и, верно, просто от каприза. Это жалко. Скажешь: «сама избалована». Что делать. А девочка меня нынче просто била за то, что я у ней ягодку крыжовника отняла. Её кто же избаловал? И успеть-то ещё нельзя было, такая маленькая. Лизанька <Е. В. Толстая. – *Р. А.*> удивляется, что я тебе могу так много писать; если бы она прочла, какие я тебе пишу пустяки, она бы надо мной смеяться стала, а мне не хочется оторваться от письма к тебе. Я так мало думаю о том, как и что писать тебе. — Таня всё поёт, она очень в голосе, и очень оживлена, так что поёт и трогает. Можно её, кажется, заставить забыть старое, я так замечаю, но может быть и ошибаюсь. Лёвочка, голубчик милый, мне ужасно хочется в эту минуту видеть тебя, и опять в Никольском вместе пить чай под окошечками, и сбегать пешком в Александровку <хутор рядом с Никольским, владение Толстых. – *Р. А.*> и опять жить нашей милой жизнью дома. Прощай, душенька, милый, крепко тебя цалую. Пиши и береги себя, это моё завещание.

Твоя Соня.

Старшая дочь тебя цалует, племянницы тоже и Машенька говорит «и от меня!» Это они непременно велели написать. Они с аппетитом уничтожают за ужином картошки. И вся. <То есть *всё написала. – Р. А.*>

Пришла в свою одинокую комнатку в бане запечатывать письмо и ложиться спать, и такая тоска, и одиночество, и страх. Верно тебе вполовину не так страшно за меня, как мне за тебя» *(ПСТ.* С. 58 - 60).

С 28 июля по 2 августа Толстой – в охотничьей валгалле, у Киреевского! Он – самый знаменитый из тех, кто оставил воспоминания о самом Николае Васильевиче Киреевском, его быте и его охотничьих вылазках. Прежде цитирования Толстого, дадим слово, для разнообразия картины, другому гостю Киреевского и участнику его охот – Егору Сергеевичу Прокудину-Горскому (1820 - ?), лесничему и автору книги охотничьих рассказов «Поездка в Карачевские болота» (1867). Вот как он описывает обстановку и зал дома Н. В. Киреевского:

«…Большие окна зала были уставлены горшками свежей зелени и цветов. В правой стороне от двери, у внутренней стены стояла большая музыкальная машина. А налево в простенке окон, выходящих на двор, другая, также хорошей работы, но меньшего объёма. Эта последняя заводилась всегда после обеда» *(Цит. по: 83, 104 - 105).*

Музыка именно этих, круто навороченных и модерновых по тем временам, аппаратов и встретила Толстого по приезде в киреевские пенаты. Впечатления – в его письме жене от 28 июля:

«Пишу тебе от Киреевского под звуки органа, играющего увертюру “Дон Жуана”, и в столовой, где пропасть разного приживающего народа. Я приехал утром 28, потому что переночевал на дороге. Киреевской не уезжал ещё, всё ожидая дождя. В первый свой отъезд он ничего не убил и, почти как Фет, смотрит безнадёжно на воду, исчезающую вместе с дичью. Что за муаровый жилет. <Так Толстой называл людей благообразных и обходительных, но «комнатных», изнеженных, мало приспособленных к полевой жизни. – *Р. А.*> Очень любезен, учтив, ровен со всеми и прост во всех смыслах; но, видно, честный, добрый, здравомыслящий человек, которому и по характеру и по положению, и по богатству легко было быть честным. Он не хотел ещё ехать, ожидая дождей, но для меня, зная, что я приехал на три дня, едет завтра. Укладываются вина и провизии в огромный подвезённый к дому фургон, собирают ружья, собаки и человек 6 охотников, из которых внушающий мне страх и уважение Костецкий, с которым Киреевский познакомил меня, как с первым стрелком в мире.

Выезжаем мы завтра и, должно быть, будем в езде, потому что едем за 30 вёрст. Стало быть, охоты для меня будет 30, 31 и 1; ежели 2-го я вернусь к Киреевскому, 3-го выеду, 4-го приеду. Здоровье моё хорошо. Садятся ужинать.

Напишу завтра. Целую тебя. Прощай, голубчик.

Л. Т.» (83, 104)

На это письмо Соня отвечала Льву письмом от 30 июля, текстом которого мы не располагаем. В данном случае это не имеет критического значения: следующее (и последнее в переписке 1865 г.) письмо, от 31 июля, Толстой начал с сообщения, что не получает писем жены, и даже назвал причину этого:

«День пропустил, не писал тебе. От тебя не получил ни одного письма, и знаю отчего? Я сам виноват, дав тебе адрес в Орёл, тогда как Киреевскому пишут в Карачев. Теперь уж поздно эта поправка. В Орле, Бог даст, получу твой дневник. — Страшно. Но, пожалуйста, вышли 4-го числа лошадей с письмом. — Теперь рассказ о себе.

Приехал я, как писал тебе, 28 утром к Киреевскому. Он уж встал. Меня отвели, не спрашивая, кто я и зачем? — в комнату, спросили, чего я хочу — чаю, кофею. Куча грязных лакеев в передней встают всякий раз, как ты проходишь. Он ограниченный, честный, твёрдый человек, исключительно охотник. Из всех его рассказов 3/4 принадлежат охоте. Обходил я весь парк. Парк хорош, но деревья молоды, и всё-таки парк хуже тех подмосковных, которые ты знаешь. 29 мы поехали после завтрака в 7 экипажах на скверных упряжках и лошадях, но все с отличными собаками и ружьями, и с такой важностью и степенством, как будто мы ехали на важнейшее дело в мире. Приехали за 40 вёрст, на границу Брянского уезда, того лесного, дикого места, о котором я тебе говорил. На постоялом дворе всё устроено, как дома: палатки, кухни. На другой день мы поехали, т. е. мы, за исключением Киреевского, который остался дома бить мух (как он говорит), некто Казаков, молодой, добрый малый, отставной гусар, Костецкий поляк, отличный стрелок, Андреев, мелкопоместный дворянин — главный охотник, егерь Киреевского, и я. Мы убили 32 штуки, из коих я — 8. Дора <собака> была необыкновенна. Это признали все. И я, стреляя по бекасу, убил бекаса и ранил Дору в ухо. Ужасно жалко мне её было, но опасного ничего нет. — Устал я ужасно. И плохо выспался нынче, но здоров, и даже шума в ухе нет. Нынче опять едем, и, по правде сказать, чего я здесь не скажу — совсем не хочется ехать, но делать нечего; заехавши так далеко, надо воспользоваться, сколько можно. Правду сказать, мне здесь дороже охоты, этот охотничий мир и стариковский. Я не жалею, что я поехал, и не нарадуюсь. — Особенно когда приеду и увижу тебя и детей, — тебя с твоей улыбкой, и тебя, здоровую, счастливою и спокойною. Только чтоб с тобой ничего не случилось во всё это время! Вот что: я не обещаю приехать раньше 5-го, но лошадей вышли во Мценск, не в Богуслов, а во Мценск, и не 4-го, а 3-го. Пускай он скажется на почтовой станции, где он стоит, чтобы мне его сыскать. Лошадей закладывают, надо пойти убираться. Прощай, душенька, Христос с тобой.

Л. Толстой» *(83, 105 - 106).*

И снова – *встречное*, в тот же день писанное, письмо Софьи Андреевны из Покровского, так же последнее в переписке 1865 года:

«Нынче весь день такая тоска, просто ужас. Так ясно представляются всевозможные несчастия, которые могут случиться с тобой, мой милый Лёвочка. Ради Бога береги себя сколько возможно, думай, как я испугаюсь и измучаюсь, если что-нибудь случится с тобой.

Нынче переписывала и прочла вперёд немного, что я ещё не видала и не читала, а именно, как жалкий, повязанный старичёк Мак приехал сам признаться, как его разбили, а кругом его любопытные адъютанты, а он почти рыдает, и его свидание с Кутузовым. Мне ужасно это понравилось, оттого и пишу об этом тебе. Нынче к обеду явились все почти бароны, я вышла только прямо к столу, а до обеда сидела в бане, окружённая всеми частицами тебя, т. е. с детьми и с писанием твоим, которое переписывала. Только такая жизнь мне и возможна без тебя. Чувствую себя и покойнее и лучше. Утром я с девочками разглядывала гравюры с картин Рафаэля: «Les douzes Vierges» [«Двенадцать дев»]. Очень хорошо, и я так вникала, и тексты были к каждой Vierge. Есть во мне, верно, немножко понимания живописи или я так себе воображаю. После обеда прихожу к себе в баню, и вижу картина: няня, Душка и Серёжа, все с ветками мух выгоняют. Серёжа так был мил: бегает, гонит и всё ртом делает: ш-ш-ш... Я детей взяла туда, в дом, где их затормошили, но они, слава Богу, не дики и были милы. Сама же я мало принимала участие в общем разговоре и веселье. Всё сидела одна и переписывала. Так было нынче весь день, да и теперь грустно и тяжело. Уже я стала придумывать с отчаяния, не написать ли, что я больна, чтоб ты приехал. Да сейчас уже устыдилась своей подлости. Никогда бы я, конечно, этого не сделала, а ещё скрыла, если б и заболела. Завтра только первое число. Весело ли тебе, по крайней мере, за то, что мне так грустно? Нынче письма опять не было, будет ли завтра? Лёвочка, если я пишу тебе в скучном тоне, не сердись на меня, по крайней мере искренно. — Таня нынче меня много расстроила. Такая оживленная, точно чахоточная, и пела весь день с сипотой в голосе. Много горя мне впереди, много близких людей придется, пожалуй, потерять, уж лучше самой умереть поскорей. Варинька нынче меня тронула. Слушала, слушала Танино пение, слёзы у ней были на глазах, потом Таня кончила, она взяла её руку, поцеловала, потом поцеловала ее в лицо и сказала: «какая прелесть, милая». И так это у ней было просто, искренно, хорошо, что меня до слёз тронуло. Чудо, какая симпатичная девочка. А как мать её не любит и преследует, даже грустно. Как нынче мне хочется всех любить и жалеть, и сама

себя чувствую несчастной, и, Бог знает, что о тебе в голову приходит. Я тебя ужасно люблю, и так же, как и Вареньке, хочется поцеловать твою руку и тебя, и сказать, что ты милый и прелесть. Не знаю, после этого письма писать ли тебе ещё, может быть не надо и ты сам приедешь. Когда будет это счастье? Разве для этого только надо расставаться. Да только радость свидания всё-таки меньше скуки и разлуки, я в этом уверена. Хотела бы тебе что-нибудь рассказать о нашей жизни, да интересного мало. Нигде не были, всё *сидели*. Все здоровы, только у обоих детей небольшой понос и Серёжа всё охрип. Получил ли ты все мои письма? Это уж пятое. Я пишу всякий вечер, и на другое утро рано отвозят письмо в Чернь. Напишу ещё завтра, а потом четвёртого вышлю лошадей и письмо в Богоуслов <Богословская. Почтовая станция между Мценском и Чернью. – *Р. А.*>. Как бы сама я выехала навстречу. А может быть, что ты и раньше будешь. Прощай, душенька, что же ты не пишешь мне?

Твоя Соня» *(ПСТ. С. 63 - 64).*

График охоты был соблюдён: 2 августа Толстой возвращается в дом Киреевского в Шаблыкино, а уже 5-го – предстаёт перед женой в Никольском. 19 сентября он одновременно возобновляет записи в Дневнике и работу над новым романом. Уже 24-го, снова гостя с семьёй у обожаемого Дьякова в Черемошне, он читает ему вслух отрывки из «1805 года» и видит, что работа ему удалась.

Отношения с женой то ровные, то снова напрягаются, вплоть до «враждебных» *(см. записи в Дневнике от 26 сентября, 4, 5, 14 и 15 октября и 3 ноября: 48, 63 - 66).* Показательна запись 26 сентября, сделанная Толстым по возвращении из очередной поездки к Д.А. Дьякову в Черемошню: «Мне очень хорошо. Вернулись с Соней домой. Мы так счастливы вдвоём, как, верно, счастливы один из мильона людей» *(48, 63).*

Увы! 12 ноября ведение Дневника вновь прерывается – на этот раз на *очень* длительный срок: до 5 ноября 1873 года. Все эти годы Софья Андреевна продолжала вести свой дневничок, доверять которому, однако, следует со всевозможной опаской.

Гордость – предтеча падения… Не ведая, *что* пишет об их отношениях Соня в свой дневник, Толстой явно самодовольствовал в этот год своими как творческими (21 декабря была закончена вторая часть первого тома «Войны м мира»), так и личными успехами. В письме тётке Александре Андреевне (Alexandrine) Толстой от 23 января 1865 г. он даже отрекается от столь знаменитого по сей день

своего утверждения о том, что «спокойствие – душевная подлость», сделанном в письме ей же в недалёком тогда 1857 году:

«Помните, я как-то раз вам писал, что люди ошибаются, ожидая какого-то счастия, при котором нет ни трудов, ни обманов, ни горя, а всё идёт ровно и счастливо. Я тогда ошибался. Такое счастье есть, и я в нём живу третий год. И с каждым днём оно делается ровнее и глубже» *(Цит. по: Гусев Н.Н. Материалы… 1855 – 1869. – С. 642).*

Но мы знаем, что жестокое отрезвление настигнет его уже в конце этого десятилетия – на вершине жизненного пути и внешнего, мирского благополучия, в «арзамасском ужасе» сентября 1869-го… и не оставит до последних дней жизни. И не раз Толстого посетят мысли о «промахе» с выбором «спутницы жизни» и образа жизни с нею в те годы, когда юная Соничка была, по существу, «изваяна» им под свою веру и свои потребности — *воспитана* им.

В черновой редакции «Воспоминаний» периоду своей жизни после замужества Толстой-христианин даёт следующую покаянную характеристику:

«Хотя в этот период моя жизнь была не только не распутная и не развращённая, но, напротив, с мирской точки зрения вполне хорошая, жизнь эта, наполненная только заботами о себе, семье, увеличении состояния, приобретении литературного успеха и так называемыми невинными удовольствиями: охоты, всякого рода музыки, разведения пород животных, в особенности лошадей, насаждениями и т.п., была только эгоистическая жизнь. Несмотря на приличие этого периода, едва ли то не был тот глубокий сон, сон душевный, от которого особенно трудно пробуждение» *(34, 347).*

Ему предстояло пробудиться… но ещё довольно нескоро… для многих возможностей – увы! слишком поздно.

КОНЕЦ ПЯТОГО ЭПИЗОДА

———

Эпизод 6.
ПАПА МОЖЕТ
(Год 1866-й)

Итак, мы оставили Толстого осенью 1865 года – на подъёме творческого вдохновения и уверенности в своих силах и таланте. «…Это сознание, что *могу*, составляет счастье нашего брата» — пишет он в письме от 15 декабря 1865 г. поэту и другу Аф. Аф. Фету *(61, 125)*.

С ноября 1865 года по март 1866-го писатель предпринимает титаническую работу: создаётся первая черновая редакция уже *всего* романа «Война и мир», начиная с третьей части второго тома и до эпилога. 21 декабря кончена вторая часть…

Но в январе 1866 года Толстой прерывает своё затворничество и, к радости Софьи Андреевны, едет в Москву — как сам пишет, дабы «оживить в себе воспоминание о свете и о людях», которое становилось в нём «слишком отвлечённым»: ему хотелось точнее судить о людях этого круга при их описаниях в романе *(61, 128)*. Ещё одним мотивом для поездки было: лично проследить за ходом публикации первых частей «1805 года» (буд. «Война и мир») в «Русском вестнике».

Софья Андреевна, несмотря на плохое самочувствие и беременность, увязалась за мужем: ей хотелось «увидать всех своих и показать детей». Она поплатилась за этот шаг самым жестоким образом: оба ребёнка в первые же дни жизни в городе начали кашлять. Малыш Серёжа переболел ложным крупом. Самой Соне при её беременности «всё было трудно» и приходилось предпочтительно сидеть дома *(МЖ – 1. С. 146)*.

Приехав 24-го, первые несколько дней супруги жили в квартире Берсов в Кремле, а с 3 февраля по 7 марта – на отдельной квартире на Большой Дмитровке в Доме Хлудова. Именно здесь, в кругу знакомых и гостей, 27 февраля Толстой читал вслух новые главы романа – тогда ещё под заголовком «1805 год». Присутствовали: семья генерала С. В. Перфильева, муж и жена Оболенские, С. М. Сухотин, и, конечно, жена Толстого. Но жена-то как раз одна и не была в восторге от вечера и чтения: «…Я, усталая, тупая от беременности, боролась со сном и засыпала, так как всё, что читалось, и многое ещё, что я столько раз переписывала, исключённое из этого рассказа, я знала почти наизусть» *(Там же)*.

Среди слушателей романа (но, вероятно, уже в другой день) оказался и двоюродный брат матери Софьи Андреевны, художник Михаил Сергеевич Башилов (1821 - 1870). К этому времени, как мы

знаем, Толстой уже вошёл в соглашение с женой по поводу необходимости публикации нового романа «отдельной книгой красивого издания» *(Там же. С. 157)*. А что за красивое издание без иллюстраций… Дальний родственник с его талантом рисовальщика пришёлся как нельзя кстати! Толстой в переписке 1866 года обсуждал с художником различные детали… но тот работал медленно и не поспевал к срокам публикации. А те работы, которые Башилов отправил в печать – частью сгорели при пожаре в типографии… Лев Николаевич жестоко, но благоразумно предпочёл отказаться от услуг явного неудачника. (Ниже, в его письме к жене от 14 ноября – обратите внимание на некоторые проницательные выводы Толстого о самой личности Башилова и его творчестве.)

М. С. Башилов.
Автопортрет, нач. 1860-х гг.

И ещё один достаточно значимый, символичный эпизод этой московской поездки Толстых. Весь февраль и часть марта, до отъезда, Толстой посещает Школу живописи и ваяния на ул. Мясницкой, где берёт уроки скульптуры у проф. Рамазанова. И первым успехом его был скульптурный конь, вылепленный из красной глины. *Красный конь!* А следующей, кого захотел вылепить из того же материала начинающий мастер, была… конечно, его жена. Это было уже в начале марта, и сперва у Толстого не выходило… он продолжал уже по возвращении в Ясную, но так и не окончил бюста. Пурпурноликая Sophie не явилась миру… вероятно, и к лучшему.

Зато к 4 апреля была закончена следующая часть романа!

В т.н. «день всех святых» 22 мая Софья Андреевна выехала к обедне в кочаковскую церковь — по близости расстояния, в плохонь-

ком, трясучем нерессорном экипаже. По возвращении домой она почувствовала боли в животе и пояснице. Начались преждевременные, снова очень мучительные, роды: «Спешно послали за акушеркой, моей милой Марьей Ивановной, и в семь часов вечера родился сын Илья [...] такой крупный, зрелый богатырь, что Марья Ивановна, подняв его и подержав на весу, значительно сказала: “Zehn Pfund” (10 фунтов)» *(Там же. С. 150)*.

После таких родов Софья Андреевна заболела. Физически ослабление её организма выразилось, как и после рождения первенца — воспалением сосцов, которое, по совету уже упоминавшегося нами проф. Преображенского из Тулы, она лечила прижиганиями ляписом и компрессами. «Я вся тряслась и плакала от боли, когда сильный Илья хватал с жадностью мою грудь» — вспоминала несчастная *(Там же)*. Постепенно ухудшилось и её душевное состояние: ей вновь чудились измены мужа… его «охлаждение», равнодушие, которые она ложно связывала со своей болезнью *(Там же. С. 151)*. Подробнее об этом скажем ниже, анализируя записи её дневника.

Лето принесло Толстому первый гонорар за роман: Катков уплатил 2306 руб. 25 коп. за восемь печатных листов… а так же – и ворох негативных эмоций, связанных с казнью в квартировавшем близ Ясной Поляны полку рядового Василия Шабунина (за оплеуху офицеру), которого Толстой напористо, коряво, наивно и тщетно пытался защитить на суде…

Наконец, осенью, с 10 по 18 ноября, Толстой снова в Москве – на этот раз без семьи и исключительно по деловому поводу: в связи с публикацией второй части романа и подготовкой иллюстраций к ней.

Оставим его пока там… с ним всё достаточно ясно. Даже без записей Дневника – которого, напомним, он теперь и до 1873 года не ведёт… Присмотримся ко второму адресату и вчитаемся в её дневниковые записи 1866 года.

С первой же записи, от 12 марта – опять некие «надрезы»:

«В Москве было хорошо, своих я так любила, и детей моих любили. Таня быстра, умна, мила и здорова. Серёжа окреп, рассудителен, менее кроток, чем был, но добр. [...] С Лёвой всё было холодно, неловко, в Москве грубое обращение П<оливанова> вследствие моего неумения вести себя с ним испортило наши отношения. Мне и совестно, и гадко, но на душе ни одного пятнышка не было ни минуты в моей замужней жизни, и Лёва меня судил слишком строго и резко.

Но я и этому рада, он дорожит мной, и я теперь буду во сто раз осторожнее, это только будет приятно» *(ДСАТ – 1. С. 76).*

Напомним читателю, что Поливанов этот, именем Митрофан, по батьке Андреевич (1842 - 1913) – молодой офицер гвардии и бывший ухажёр юной Сонички Берс, белобрысый тихоня, считавшийся в семействе Берсов даже её женихом, но отвергнутый ею. В мемуарах она объясняет, почему:

«Я идеализировала его как мальчика, который любил меня *первую* в своей жизни, я <тогда> писала повести об идеальном браке двух бедных супругов в домике которых были цветы и пела канарейка. […] …Судьба бросила меня в жизнь Льва Николаевича; но его прошедшее, всё то нечистое, что я узнала и прочла в прошлых дневниках Льва Николаевича, никогда *не изгладилось из моего сердца и осталось страданием на всю жизнь*» *(МЖ – 1. С. 33).*

Это откровение вообще многое объясняет. Sophie *не простила* не одному мужу. Главное: не простила *себе* оплошного выбора между «удобным» (для подчинения), сереньким и тихоньким мальчиком — идеальным и по возрасту мужем — и «нечистым» и неуправляемым, во многом непостижимым для неё Львом. Стихия Соничкина — земля; кислятины Митрофана — вода. Лев же – огонь того светила, того Солнышка, которому от естественного союза Земли и Воды лучше держаться бы на расстоянии…

Толстой знал, между *кем* и им выбирала Софья Андреевна – и по-своему, творчески, гениально, *великолепно* и *тонко* отомстил обоим: в романе «Война и мир» он придал некоторые биографические личные характеристические черты светлой личности Митрофана – Борису Друбецкому. Софье Андреевне ничего не оставалось, как искать себе места где-то между приземлённой, ограниченной Жюли Карагиной и шлюховатой Элен… и понимать, вопреки собственному мифопостроению, что в браке с Поливановым, а не с Львом Толстым, примерно *этим* бы она и сделалась!

Ревнивая Sophie и от «второй половины» всегда затаённо ждала такого же зла — ревности. И, как все ждущие — получала… Да, за выходкой Толстого, обвинившего в Москве жену в «бестактном» поведении при встрече с экс-бойфрендом, стояла именно ревность. «А я просто была ненатуральна, мне неловко было с ним, и я без ума боялась ревности Льва Николаевича» — оправдывается она в мемуарах *(Там же. С. 147).*

Запись того же дня, продолжение:

«А ещё новый, небывалый ещё *надрез*, и это страшно. Всё больше хочется гнуться от своего ничтожества, и меньше остаётся прав на

эту счастливую гордость и сознание собственного достоинства, без которого я бы жить не могла» *(Там же).*

Есть соблазн привести здесь суждения «позднего» Толстого, Толстого-христианина, о *различии* радости – с мирским счастьем и удовлетворением собой, а гордости – с сознанием человеком своего достоинства. Но *здесь*, по отношению к 1866 году, это было бы анахронизмом: Толстой сам в тот период не возрос ещё до такого понимания. Соничкины комплексы в записи 12 марта – вопиют, как мартовские кошки… но молодой муж бессилен оказать своему ближайше-любимому человеку христианскую духовную помощь.

Да, на этом кочковатом пути она была одинока… «Рука об руку, шаг в шаг?» Пожалуй. Даже *конечно*. ***Но***. С Митрофаном. Только с Митрофаном. Не со Львом.

О своей личностной «ломке» она записывает под 28 апреля в дневнике такое рассуждение-пророчество:

«Люди женятся — думают, что вот беру такую-то девушку, с таким-то характером и проч., а не знают того, что всё в ней изменится, что тут ломается целый большой механизм, и нельзя сказать: “я с ней счастлив”, пока этот механизм не переломается и не перестроится совсем новый. А при этом не столько важен характер женщины, сколько всё то, что будет иметь на неё влияние первое время замужества. Нашему счастью все завидуют, это наводит всё меня на мысли, отчего мы счастливы и что это, собственно, значит» *(ДСАТ – 1. С. 77).*

Другое пророчество в отношении супружеской пары Толстых изрёк второстепенный и нынче почти забытый писатель Владимир Александрович Соллогуб (1813 - 1882), навестивший своего давнего знакомого и всё семейство в Ясной Поляне в первой декаде августа этого года.

В своих мемуарах Софья Андреевна вспоминает:

«Ещё был у нас писатель граф Соллогуб с своими двумя мальчиками. Он мне очень понравился, умный, ласковый, и подкупил меня ещё тем, что сказал про меня, что я “настоящая нянька таланта мужа своего, — и продолжайте в этом направлении жить всю вашу жизнь”, — советовал он мне. А Льву Николаевичу сказал: “Счастливец, какая у него жена!”» *(МЖ – 1. С. 151).*

«Счастливец» меж тем искренне недооценивал перспектив очевидных для него «мук ревности» несчастной жены, всё новых «охлаждений» и «надрезов», вылившихся летом 1866 года в таких записях её дневника:

19 июля.

«У нас новый управляющий с женой. Она молода, хороша, *нигилистка*. У ней с Лёвой длинные, оживлённые разговоры о литературе, об убеждениях, вообще длинные, неуместные; мучительные для меня и лестные для неё разговоры. Он проповедовал, что в семью, в intimite <*фр.* интимность> не надо вводить постороннее, особенно красивое и молодое существо. А сам первый на это попадается. Я, конечно, не показываю и вида, что мне это неприятно, но уже в жизни моей теперь нет минуты спокойной. С рождения Илюши мы живём по разным комнатам. […] Теперь скоро час ночи, а я спать не могу. Точно предчувствие дурное, что будет эта управительская жена-нигилистка моей bête noire» <*фр.* злым гением> *(ДСАТ – 1. С. 77 - 78).*

«Злого гения» *тогда*, в 1866-м, не состоялось: Толстой вскоре выпер с работы оказавшегося вдрызг непригодным управляющего, а с ним уехала и жена… Но сам этот образ показателен и зловещ: он сразу приводит на память жестокую пытку, которую Софья Андреевна устроила старцу-мужу через 40 с лишком лет после того — в связи с отношениями Льва Николаевича со «злым гением», как назвала его Софья Андреевна в том же дневнике, но в 1910 году, В. Г. Чертковым.

Мария Ивановна — так звали эту «нигилистку», а на деле вполне традиционно, по-бабьи любопытную сучку, болтушку и сплетницу. Роль, которую она успела сыграть в доме Толстых, между прочим, сама по себе достаточна для того, чтобы обоих — её саму и её мужа — выставить из оного. Она вырисовывается из записи в дневнике Софьи Андреевны от 22 июля 1866 года:

«Нынче Лёва ходил в *тот дом* под каким-то предлогом. *Мария Ивановна мне это сказала*, и ещё разговаривал с *ней* под балконом. Зачем в дождь было ходить в том дом? *Она ему нравится*, это очевидно…» и т.д. *(ДСАТ – 1. С. 78. Выделение* наше. *– Р. А.).*

… и о том же — 24 июля:

«Нынче Лёвочка опять был в том доме… […] Эх, Лёвочка, сам не видит, как попадается» *(Там же).*

Предположения Софьи Андреевны об отношениях Толстого с крестьянкой оказались фобией, раздутой посредством навязчивого сплетничанья, а сама сплетница обличила вскоре в глазах жены Толстого всю свою ничтожность, и ревность Сони к ней поутихла *(Там же. С. 79).* Но гадкое дело было сделано: отношения супругов снова оцениваются женой как: «немного холодно с Лёвой» *(Там же).* Их, как

и прежде, связывают, едва ли не исключительно, подрастающие дети. Запись Софьи под 27 августа 1886 г. характеристична:

«Я люблю детей своих до страсти, до боли, всякое малейшее <их> страдание приводит меня в отчаяние, всякая улыбочка, всякий взгляд радует до слёз. [...] Если б я меньше любила детей, было бы легче» *(Там же)*.

Наконец, после отъезда мужа в Москву 10 ноября, ей опять «грустно и пусто без Лёвы», и она записывает слова, в правдивость которых (хотя бы для этих дней!) *очень* хочется верить — *несмотря* на всё, им предшествовавшее:

«Мне кажется, нельзя теснее жить нравственно, как я живу с ним. Мы ужасно счастливы во всём. И в наших отношениях, и в детях, и в жизни. Теперь без него я живу особенно тесно с детьми, но они так малы. Теперь спят, потом едят, и всё, что в них проявляется нравственно, я люблю и пользуюсь. Теперь я всё время и нынче переписываю (не читая прежде) роман Лёвы. Это мне большое наслаждение. Я нравственно переживаю целый мир впечатлений, мыслей... Ничто на меня так не действует, как его мысли, его талант. И это сделалось недавно. Сама ли я переменилась или роман действительно так хорош — уж этого я не знаю. [...] Мы часто с ним говорим о романе, и он почему-то (что составляет мою гордость) очень верит и слушает мои суждения» *(Там же. С. 80)*.

* * * * *

Диалог супругов — и о романе, и о многом другом — продолжился в переписке ноября этого года, к изложению которой мы теперь непосредственно и переходим.

Текст первого послания ноябрьской переписки, посланного Толстым с дороги, из Тулы, таков:

«Ну вот, милый друг, с нами и случилось то, чего я боялся — сломалось колесо, и мы за ним простояли 1½ часа, и ещё теперь стоим около часа. Особенно странный и счастливый случай, что в самую критическую минуту, когда мы стояли посереди дороги, мы встретили Якова <Цветкова, яснополянского жителя. – *Р. А.*>. Он нам много помог. Дай ему от меня 1 руб. сер. — Какова собака Шумка? Прелесть. — То, что мы опоздали, не доказывает, что я приеду позже. Только Берсов перебудим. Андрей Евстафьевич встанет, услышит меня и закричит во весь дом. Я здоров и спокоен, дай Бог, чтоб к добру. Завтра жду твоей телеграммы. Мы приедем, ежели теперь не будет несчастий, всё-таки часу во 2-м. Прощай, думай, что

теперь меньше дня до свиданья. Главное, как можно меньше предпринимай. И в случае чего, не торопись. Всё образуется. О Серёже телеграфируй, да ты и сама знаешь. Таня благополучна, но не ест и начала не ходить» *(83, 114 - 115)*.

«Таня», то есть Т. А. Кузминская, которая, несмотря на болезнь, выехала с Толстым в Москву, так описывала в своих воспоминаниях подробности их отъезда, написания Толстым этой краткой дорожной записки и поясняла некоторые детали её содержания:

«10-го ноября мы простились с Соней и тётеньками и рано утром выехали в Москву в коляске на своих лошадях до Тулы. С нами ехал щенок Доры для моего отца. Дорогой у нас соскочило колесо, и мы стояли полтора часа. К счастию проезжал тут один из наших работников; он отдал нам своё колесо, а сам, перевязав что-то, как-то поехал дальше. Погода была плохая. Лев Николаевич не велел мне говорить на воздухе и просил надеть респиратор (маска на рот). Мне сделали его в Москве, но я мало пользовалась им. На другой день к семи часам вечера мы были дома <т. е. в московском доме Берсов. – *Р. А.*>. Лев Николаевич в письме к Соне (от 11 ноября) описывает наш приезд, а я плохо помню его» *(Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1959. С. 420)*.

Не страшно, что Татьяна Андреевна забыла. Помянутое ею письмо Л.Н. Толстого – в нашем распоряжении:

«Вот мы и приехали, милая моя голубушка. И приехали благополучно и всех застали благополучными. Ехали мы скорее, чем думали, так что подъехали к дверям гоф-медиковым в конце 7-го часа. Не знаю, где кто был, но очутились все с известным тебе визгом на лестнице и в столовой. Андрей Евстафьевич точно такой же, какой был прошлого года, — он очень был рад щенку и поместил его у себя в пристройке. Любовь Александровна потолстела. Очень рада Тане, но я вижу в её глазах и речах неприязненную arrière pensée, [*фр.* заднюю мысль,] что Таня уезжает с Дьяковыми. Оба родителя, как ты и предполагала, упорно стоят на том, что у Тани не может быть чахотки, — с самоуверенным озлоблением, даже Любовь Александровна. О поездке Тани говорят ещё мельком, не останавливаясь и как бы предчувствуя, что этот предмет ещё будет продолжительнее обсуживаться. — Петя ещё и очень вырос <Пётр Андреевич Берс, которому было тогда семнадцать лет. – *Р. А.*>. И ещё не весел. Володя <Владимир Андреевич Берс, ему было тринадцать лет. – *Р. А.*> нездоров, — горло болит, — и имеет пасмурный, но кроткий вид. Стёпа

<Степан Андреевич Берс, одиннадцати лет. – *Р. А.*> весел и доволен; он 3-м в своём классе и надеется быть на золотой доске. Славочка <Вячеслав Андреевич Берс, пяти лет. – *Р. А.*> на мои глаза всё такой же. Лиза <Елизавета Андреевна Берс. – *Р. А.*> с Таней внизу, в большой комнате. Володя с Стёпой в вашей пристройке. Петя в няниной комнате и я с ним.

Мы по Таниной методе ничего не ели всю дорогу, и благодаря тому я приехал очень свеж; но теперь напился чаю, поел тетеревов, которых с своим милым, наивным гостеприимством мне нарезывал Андрей Евстафьевич, и теперь лицо горит, устал и ленив. Впрочем и не знаю, что может ещё быть очень интересного. [...] Лиза несколько похудела, у ней страшно болел корень зуба, который ей вырезывали, выпиливали с мучительной болью.

Завтра пойду к Башилову, в типографию и в Румянцевский музей читать о масонах. Прощай, душенька, голубчик, знай и помни, что я о тебе не меньше твоего думал дорогой, думаю теперь и буду думать. Прощайте, милые Соня, Серёжа, Таня, Илюша. Целую руку тётеньки. — До завтра» *(83, 115 - 116)*.

В следующем письме, писанном вечером 12 ноября Толстой столь подробно повествует о событиях прошедших суток, что избавляет нас от необходимости обыкновенного предварительного комментария. Просто текст письма:

«Вот, мой милый друг, голубчик, второй день и второе письмо. Вот все события дня: Спал я отчего-то дурно — проснулся в 7-м часу, — знаешь, в том нервном раздражении, которое предшествует моему 70-ти летнему состоянию, которое и было. Утром пили кофей все вместе. Таня такая же. Ждали Рассветова, <Александр Павлович Расцветов (ум. в 1902 г.) – медик, знакомый Берсов. – *Р. А.*> и потому я со двора не выходил. Рассветов приехал, я ему сказал, что умоляю его без учтивости к Андрею Евстафьевичу и без ménagement [не стесняясь] сказать самым резким и положительным образом своё мнение. Пришла Таня, стали её слушать. Меня всегда ужасно волнует это слушанье и разговоры. Рассветов сказал самым положительным образом, что лёгкие Тани в худшем состоянии, чем были прошлого года, что у неё даже, по его мнению, есть начало чахотки, что он советует ехать за границу, и всё то, что мы знали, т. е. régime спокойствия, питания, воздержаний от усилий пенья и т. д. Он посоветовал ещё позвать Варвинского. <Иосиф Васильевич Варваринский (1811—1878) — профессор Московского университета госпитальной терапевтической клиники. – *Р. А.*>. И Варвинский будет в

понедельник. Для меня и без Варвинского и Рассветова сомнения нет в её положении, но, что я и предвидел, Андрей Евстафьевич и Любовь Александровна упорно стоят на своём, что у ней лёгкие здоровы, а Андрей Евстафьевич толкует о лихорадки, желудке и т. д., но я не дал ему мудрить, и, слава Богу, на существенное-то, на поездку за границу, родители согласны. Бедная наша милая Таня, как она мне жалка и мила. Я впрочем твердо надеюсь, что она оправится. Вчера мне сказал Андрей Евстафьевич, что её крестная мать <Татьяна Ивановна Захарьина, богатая ярославская помещица. – *Р. А.*> даёт ей деньги за границу, но подробно не рассказал, верно ли и сколько; и понимаешь, что я не распрашивал, как и что, а сказал, что мы даём деньги.

С деньгами очень неприятно [...].

В 12 часу я пошёл со двора к Башилову. Застал сначала одну Марью Ивановну и детей. <Мария Ивановна Башилова, рожд. Беленко. С 1853 г. жена М. С. Башилова. – *Р. А.*> Какие прелесть девочки <Дарья (р. 1857 г.), Марья (р. 1859 г.) и Наталья (р. 1861 г.)>. Все они были страшно больны в скарлатине. Теперь выздоровели. Меньшая девочка была в поносе 3 месяца, и чуть до смерти не залечили, и вылечил Высоцкий чем? Одним молоком сырым. Пришёл Башилов. Картинок он сделал всего только 13. Некоторые, как смерть Безухова и поцелуй, необыкновенно хороши; но вся часть, напечатанная в прошлом году, ещё не рисована, а *Рихау* <Даниил-Карл Иванович Рихау (1827—1883), художник-гравёр. – *Р. А.*> отстал ещё больше в работе, так что нет возможности кончить картинки к новому году. Так что я решил в нынешнем году картинок вовсе не печатать. О том же, ни [?] к будущему году печатать ли картинки со всем романом, я ещё не решил.

Оттуда пошёл в типографию Каткова. Там мне дали счёт всего печатания в 1200 рублей; вперёд денег я дам только 300 рублей. Завтра получу от них решительный ответ. — Экземпляров 3600. — Потом зашёл на гимнастику, но был такой 70-летний, что ничего не мог делать, да и Берсы теперь обедают в три.

После обеда, за которым была только Катерина Егоровна, <Безе, гувернантка у Берсов. – *Р. А.*> заснул за ширмами в спальне. Потом, поболтавши, чтобы не пропал вечер, поехал к Элене Горчаковой, но не застал её, и вечер провёл дома.

Знаешь ли, что Саша Кузьминский переводится в Тулу судебным следователем. Я рад, особенно за тебя. Саше <Александр Андреевич Берс. – *Р. А.*> нашему не телеграфировали, а написали письмо. — Петя мрачен и скучен и ленив. Он стыдится, что в 5-м классе гимназии. Но Стёпа и Володя очень оживлённо толкуют о гимназии и,

видно, довольны и хорошо учатся. Завтра, верно, получу твоё письмо. Беспрестанно о тебе думаю, и боюсь, что нынешний раз нисколько не беспокоюсь. Храни вас Бог, целую тебя и твои руки, милый голубчик. Целуй тётиньку и детей» *(83, 119 - 120)*.

Довольно грустно читать обо всех этих непростых хлопотах писателя, зная, что ни подготовлявшееся тогда издание романа, ни иллюстрации Башилова в нём — не осуществились. И даже с «Элен» — Еленой Сергеевной Горчаковой (1824 - 1897), своей дальней родственницей, он, как видим, не сумел тогда пообщаться…

Теми же вечерами: 11 ноября, в пятницу и 12-го в субботу, пишет и отсылает два ответные письма и Софья Андреевна. Но надо иметь в виду, что ею к этому времени была получена только записка Толстого из Тулы, и она откликается именно на неё. В последующем, в связи с задержкой почты, письма её от 12 и 13 ноября — не являются ответами на вышеприведённое письмо Л. Н. Толстого, полученное ею только к 15 ноября. Текстами её ответных писем от 13 и 15 ноября мы не располагаем.

Вот, по порядку, Софьины письма-весточки из Ясной от 11 и 12 ноября:

«11 ноября 1866 г. Вечером [Я. П.]

Все эти сутки ехала с вами в своём уме, милый мой Лёва, и теперь опять воображаю, как у вас весело, и как все вам рады, и признаюсь, если б не весёлые, милые голоса Серёжи с Таней, то очень было бы грустно и даже скучно под монотонное храпенье Наташи и тётеньки, которые обе спят и дремлят по вечерам. Я нынче весь день почти списывала, и написала мало, потому что рассеяна. А списывать также приятно, как когда в комнате сидит близкий друг, и не надо его занимать, а только хорошо, что он тут. Так и в переписыванье моём, думать не надо, а следишь и пользуешься разными мыслями другого, близкого человека, и оттого хорошо. Бралась я нынче и за разные работы, но нет ещё у меня той потребности деятельности, которая всегда нападает на меня в твоё отсутствие. Только чувствую везде пустоту и лень и недовольство собой и немножко озлобление на других. Ты за это не сердись, — что делать, а я не могу тебе не рассказать всё, что во мне делается, даже если б это тебя не интересовало. Весь вечер свободное от детей время нынче буду читать, это очень приятно, когда в таком духе, как нынче я. Просматривала

я «Рудина» Тургенева, и даже мне показалось, что и я уже выросла для него. Совсем мне не понравилось.

Таня и Илюша всё так же, как и вчера, довольно веселы и кашляют только по утрам, а у Серёжи небольшой понос, который, верно, пройдёт завтра же. Я всё в раздумье и хочу послать за англичанкой и всё не решаюсь. Очень тебе благодарна за твою записочку из Тулы. Я думаю, вы и до конца доехали по хорошей дороге, тепло, и собачка, думаю, вам надоела. Таня сейчас ко мне подошла и говорит: «Сымите со стенки папашу, я его погляжу», и утром Серёжа спрашивал: «а папаша что ж не приходил?» Они замечают твоё отсутствие. Ещё бы кто-нибудь не замечал его. Нынче утром, вообрази, подают мне из Пирогова записку к тебе от Егор Михайловича <Управляющий М. Н. Толстой. Его Толстой изобразил в «Поликушке» в лице приказчика Егора Михайловича. – *Р. А.*>. Он пишет, что графиня требует возок, чтоб послать его в Хитрово. Стало быть к барону. Верно, Любочка <Любовь Антоновна Дельвиг, сестра друга Пушкина. – *Р. А.*> приедет *болтать всякий вздор*, и Машенька, верно, намеревается ещё жить долго в Пирогове. Мне, признаться, стало даже очень досадно и неприятно. О возке то я не очень сокрушаюсь, и в кибиточке доедет, а о девочках думаю с большим сожаленьем.

Что-то у вас, что Таня, её здоровье, и как найдут её доктора и родители? Всей душой живу с вами, а от себя всё жду: «когда же ты поднимешься?» Так хотелось бы не скучать и быть не гадкой. Теперь бы я ответила Танюше, что «нет, я гадкая». Пиши, Лёвочка, мне побольше. Я так тебя, милый, люблю, и такое я ничтожное существо без тебя. Как мы вчера с тобой прощались, я всё вспоминаю и всё думаю, как радостно будет увидаться. И теперь целую тебя, милый мой друг, будь здоров; не тороплю тебя, потому что знаю, что это будет очень горестно для папá и для всех Берсов, и знаю, что и ты сам поспешишь домой. Прощай, душенька. Серёжа нынче не спал, и я всё слышу, как он капризничает, а уже теперь поздно. Прощай» *(ПСТ. С. 65 - 66).*

«Англичанка», о которой упоминает Софья Андреевна в письме – это целая страница в яснополянской истории и жизни семьи Толстых, и страница замечательная! Вот как описывает её явление сама Софья Андреевна в мемуарах «Моя жизнь»:

«В жизни моей в детской произошла тогда большая перемена. Наше знакомство с князем Львовым <кн. Евгений Владимирович Львов (1817—1896) — отец буд. премьера Временного правительства кн. Г. Е. Львова. – *Р. А.*>, жившим в то время в Туле, с семьёй которого мы были довольно близко знакомы, сделало то, что мы, особенно

Лев Николаевич, увидали, как хорошо было воспитание детей Львова англичанкой Дженни Тарсей. Это была очень решительная высокая девушка, уже не очень молодая, прекрасно воспитывавшая детей Львова и очень любившая их. Она была настоящая *nurse* (няня)… Эта Дженни предложила нам выписать из Англии свою сестру Ханну, на что мы охотно согласились.

И вот в один прекрасный день в ноябре, когда Лев Николаевич уезжал в Москву, явились две англичанки, две сестры, и старшая водворила к нам младшую – весёлую, краснощёкую милую Ханну, с которой я прожила душа в душу целых шесть лет» *(МЖ – 1. С. 156)*.

Ханна Егоровна Тарсей (или Терсей, Hannah Tarsey) (ок. 1845 - ?), дочь садовника Виндзорского дворца, приехала из Англии в 1866 г., пробыла воспитательницей детей Толстых с 1866 по 1872 г., когда, вследствие слабого здоровья, уехала с Кузминскими в Кутаис гувернанткой детей Татьяны Андреевны. Через два года вышла замуж за кн. Дмитрия Георгиевича Мачутадзе. В «Анне Карениной» воспитанницу Анны, девочку англичанку Толстой назвал Ганной.

Письмо от 12 ноября открывается ещё некоторыми подробностями о Ханне и первом её дне в семействе Толстых:

«Милый друг мой Лёва, вообрази, нынче перед обедом вдруг является длинная англичанка Львовых с своей сестрой — нашей англичанкой. Меня даже всю в жар бросило, и теперь ещё все мысли перепутались, и даже от волнения голова болит. Ну как тебе всё это передать? Она такая, какою я её и ожидала. Очень молода, довольно мила, приятное лицо, даже хорошенькая очень, но наше обоюдное незнание языков — ужасно. Нынче сестра её у нас ночует, покуда она переводит нам, но что будет потом, — Бог знает, я даже совсем теряюсь, особенно без тебя, мой милый друг. На этот раз вспомнила твоё правило, что надо подумать, как всё это покажется через год легко и ничтожно. А теперь даже очень трудно. Дети обошлись, Таня сидела у неё на руках, глядела картинки, сама ей что-то рассказывала, Серёжа с ней бегал, говорил, что «она как со мной играет!» Потом Таня представляла в детской, как англичанка говорит, и, вероятно, всё это образуется, но покуда как-то всё это очень неестественно, тяжело, неловко и страшно. Тебя я как-то всё душой ищу, как свою опору, но пускай и без тебя, может быть скорей обойдётся. Одно просто ужасно, что мы совсем не понимаем друг друга.

Я думала, что буду лучше понимать. Сестра её, т. е. Львовская англичанка, смотрит на всё как-то недоверчиво и недоброжелательно, а наша, кажется, добродушна и старается подделаться. Вот завтра

напишу тебе, как будет без переводчицы-сестры. — Дети мои здоровы, только один Илюша кашляет, а Таня совсем перестала. Все веселы, не капризны, и спали днём. Я как-то очень сильно жила нравственно нынче всё утро; была очень нервно раздражена, но теперь всё это перековеркалось и все нити ума и сердца направились на англичанку.

А нравственно меня с некоторого времени очень поднимает твой роман. Как только сяду переписывать, унесусь в какой-то поэтический мир, и даже мне покажется, что это не роман твой так хорош (конечно инстинктивно покажется), а я так умна. Пожалуйста, ты не смейся надо мной, а у меня очень голова болит, и я не могу даже от этого врать. Только я, ей богу, ничего не лгу, так стараюсь обо всем точно выражаться.

Лёвочка, теперь напишу тебе о том, что ты не любишь, но, право, необходимо. Дело в том, что ты мне оставил 50 р. и у меня почти всё разобрали на верёвки, сани, жалованья, дорогу в Москву и проч. И всё говорят — граф приказал, необходимо нужно. Так что мне не на что будет жить, а пшеницу будто бы граф приказал послать, когда придут новые работники, о которых, конечно, ни слуху, ни духу. Уж не знаю, как я пробьюсь. Лучше всего поспеши, всё-таки, если можно, скорее приехать. Так я запуталась. И хозяйство, и дети, и англичанка, и всё это. Поросяты и масло посылаются завтра рано утром. Тут же шесть бутылок опёнок и масло мама́. Я с подводами не пишу, потому что пишу и так всякий день по почте. Лёвочка, милый, как вы все там поживаете? Так бы вырвалась из всех своих забот и полетела бы в Кремль. Авось завтра получу записочку хоть от тебя, но вряд ли, ещё рано. Нынче я вымыла детей и, если будет очень хорошая погода, начну с ними гулять на днях. Они будут веселее. Одно ещё меня сокрушает, что у Тани пропал весь аппетит. Она кроме молока целый день ничего не ест. Что папа́? большая Таня? Как меня всё это тревожит, и как тяжело. Пишу и слышу, как наша Ханна с сестрой Женни хохочет. Неужели ей не тяжело и не страшно? Женни всё уговаривалась, чтобы я её сестре давала есть, особенно мяса, пять раз в день. Что она так привыкла. И это ведь всё надо сообразить. Напиши мне письмо encourageant [подбадривающее]. Впрочем, оно уже приедет вместе с тобой. Прощай, душенька, как бы я с тобой поговорила, как бы вместе всё хорошо сообразили.

Поцелуй от меня всех моих милых Кремлёвских; и папа́, и мама́, и Таню, и всех детей. Скажи им, чтоб они мне сочувствовали. Разве легко, не знавши самой языка, отдать ей детей и ломать их язычки. Но всё-таки рада, что шаг сделан.

Целую тебя крепко, крепко изо всех сил. Бог с тобой, будь здоров и меня всё помни и люби. Когда-то кончится моё нравственное заключение, т. е. жизнь без тебя.

Соня» (ПСТ. С. 67 - 69).

Ещё не получив этого письма, Толстой 14 ноября, будто почувствовав любящим сердцем, что́ нужно жене, шлёт ей именно *подбадривающее* письмо. Ответом же на *это* письмо жены было письмо Толстого только от 16 ноября – с покаянием в непредусмотрительности в отношении англичанки и денег и проклятиями в адрес медлительной почты России.

Переговоры Толстого с типографией не клеились – и не склеились! Ни печатание следующей части романа в «Русском вестнике», ни готовящееся отдельное издание в 1867 году не состоялись. Лишь в июне 1867 года Толстой окончательно договорился о печатании романа с типографией Риса.

Но — не будем забегать вперёд…

Видимо, уже сомневаясь в необходимости доводить переговоры до успеха (спешить с публикацией), Толстой 13 ноября, помимо визита в катковскую типографию, посещает Зоологический сад (приглядеть в хозяйство породистых животных из числа выставлявшихся там на продажу) и выставку Общества любителей художеств (на Тверском бульваре). Вероятно, под положительными впечатлениями от этой выставки он окончательно разочаровывается не только в творчестве, но и в личности художника Башилова, и тому «достаётся на орехи» в следующем письме Толстого к жене:

«Пишу в понедельник утром — в 7 часов. Вчера вечером потушив свечу, в постели вспомнил, что не писал тебе, и ночью, как будто сбираясь на порошу, просыпался беспрестанно из страха пропустить время, — 8 часов.

Вот вчерашний день. Утренний кофе, как всегда. Потом я отправился к Перфильевым, в Зоологический сад,

К Зайковским, в типографию за ответом, на выставку картин и на Петровку к Ржевскому <Владелец молочной фермы под Москвой – *Р. А.*> о телятах. Лиза с вечера ещё хотела увязаться со мной на выставку, но, благодаря тому, что она дрыхнет до 12-ти, я ушёл без нея, и вместо её взял Петю. Право, что за человек эта Лиза! […]

Ну, так я пошёл с Петей. В Зоологическом саду ничего из скотины не нашёл нового. Одну тёлочку Холмогорскую, может быть, куплю

весною, когда будет аукцион. — У Перфильевых застали дома всех, кроме старика. […]

На выставке есть картина Пукирёва, <Василий Владимирович Пукирёв (1832—1890). Автор признанных шедевров, картин «Неравный брак» и «Мастерская художника», приобретённых Третьяковской галереей. – *Р. А.*> — того, чей Неровный брак, Мастерская художника: поп, чиновник и купец рассматривают картину — превосходно. Остальное всё не очень замечательно. Есть картинка Башилова. Чего то недостаёт Башилову как в жизни, так и в искустве, — какого то жизненного нерва. — То, да не то. […]

И в самом деле, мне то только весело, что я делаю, и знаю, что ежели бы ты была, ты бы со мной делала и одобряла. Я не вспоминаю о тебе, а сознание тебя при мне всегда. Это не фраза, а это именно так.

В типографии было заперто, и не получил ответа. У Ржевских поговорил, как бы получить штук 5 телят от него, но не знаю, как ещё устроится с поением. […]

Вечером поехал к Горчаковым и застал всех […]. Посидел, ни скучно, ни весело, часа два и вернулся. Заужинался и лёг, забыв писать тебе. Прощай, душенька, я чувствую, что скоро приеду. Теперь не могу ничего решительно сказать, оттого что вопросы о печатании и деньгах ничего не решены.

Скажи детям, что папаша велел пикестить [т.е. «перекрестить»] и поцеловать, и прочти им что-нибудь из письма или выдумай, но чтоб они знали, что такое значит писать» *(83, 121 – 123)*.

И следом письмо Л.Н. Толстого следующего дня, 14 ноября, ставшее ответом на письмо жены от 11-го:

«Нынче хоть и поздно, рад, что ничто не мешает писать тебе, мой душенька. Утро точь в точь тоже, как и прежние дни. Но плохо, что немного 70 лет все эти дни <т.е. самочувствие, как у старика. – *Р. А.*>. Пошёл в Румянцевский музей, и по случаю Дагмариного <Марии Фёдоровны, жены Александра III. – *Р. А.*> рождения заперто: оттуда, чтоб избавить Таню от выезда, поехал в английский магазин купить ей платье и тебе халат. Халат всем понравился, а платье не одобрили, но оттого, что Таня велела купить в 10 рублей.

Оттуда в типографию <Каткова>. Там на мои условия согласны, но завтра придёт ещё ко мне господин окончательно переговорить. Дома ждал до обеда Варвинского, который не приехал. Он болен и завтра Таня с папа́ едут к нему. Пришёл глупый <Сергей> Сухотин. После обеда поехали в театр, в Фауста; тётя Надя <Стендер>, Лиза,

мама, Таня и я. Потом приехал Андрей Евстафьевич <Берс>. В театре парад по случаю рожденья Дагмары. Фауст глуп, и хоть ты и не веришь, не люблю театр, и всегда хочется критиковать. Знакомых никого, исключая Сиверцова, <Пётр Алексеевич Северцев (ум. в 1884 г.), знакомый Берсов. – *Р. А.*> который приходил в ложу. Необыкновенно возмужал и похорошел. Да, забыл. Утром был Василий Исленьев. <Василий Владимирович Исленьев (1826(?) – 1872(?), двоюродный брат С. А. Толстой, штабс-капитан. – *Р. А.*> Он и всегда был противен, а теперь ещё гаже: он поступил в судебные пристава, — это вроде частного пристава. Я сделал открытие о том впечатлении, которое он производит на меня, и Таня подтвердила. Неловко и *стыдно* смотреть на него, точно как будто он нечаянно без панталон, и сам не замечает этого. Потом были Зайковские: Дмитрий Дмитриевич <Дмитрий Дмитриевич Зайковский (1838 – 1867), доктор медицины, доцент Московского университета. Погиб от газов при научном опыте. – *Р. А.*> и Эмилия. Я отрекаюсь от моего первого впечатления о Дмитрии Зайковском. Ты права, он премилый, умный и comme il faut молодой человек. И должен быть хороший. С ним я особенно был любезен, и опять в твоё воспоминание. После обеда ещё получил твоё первое письмо. <От 11 ноября. – *Р. А.*> И мы оба с мама принялись так хвалить тебя, что самим стало совестно. Как грустно о Машиньке. <О её пребывании в Пирогове, по письму С.А. Толстой от 11 ноября. – *Р. А.*> А Таню маленькую я так и вижу, и сияю при мысли о ней. — Прочти им: *Серёжа милый, и Таня милая, и Илюша милый, я их люблю. Серёжа теперь большой, он будет писать папаше*. И вели ему написать и Тане, т. е. нарисовать что-нибудь мне.

Из театра, не дослушав акта, поехал к Сушковым. […] Вернулся домой вместе с нашими и вместе ужинали очень весело. Таня весела, но из театра как вышла, так у ней показалась кровь. Ах, эта бедная, милая Таня. Не могу тебе сказать, как она мне жалка и мила. Твоё письмо тронуло её так, что она не могла скрыть слёз, и я тоже. Очень грустно, что не нам пришлось ей дать эти деньги, а вся эта крестная путаница. Тютчева, <Екатерина Фёдоровна Тютчева, дочь поэта. – *Р. А.*> как мне показалось, очень искренно восхищалась прошлогодней частью «1805 года» и говорила, что 2-я часть понравилась ей лучше 1-й, а 3 лучше 2-й. Я дорожу этим мнением так же, как мнением Сухотина; оно также выражение толпы, хоть немного и повыше Сухотина. Приставали, чтобы я у них прочёл что-нибудь, но я сказал, что, во-первых, скоро еду и мало времени, и что мне нужно, чтобы заодно слушали те, кого я желаю. Они обещают пригласить того, кого я хочу, но я не обещал решительно. Вяземского в Москве

нет. <Скорее всего, имеется в виду друг Пушкина кн. Пётр Андреевич Вяземский (1792—1878), участник войны 1812 г. – *Р. А.*>

Завтра жду уже твоего письма, ответа на моё, но теперь уж недолго писать. Я скоро приеду. Делать больше нечего. И уж очень грустно без тебя. Ежели не собираюсь ещё, то по тому чувству, что всё думается, не забыл ли чего-нибудь ещё в Москве, о чём после пожалеешь. Прощай, мой милый голубчик, целую тебя в глаза, в шею и руки. Тётиньке целуй руку. Наташе <Охотницкой> скажи, что Джой в комнатах. И что значит уход — не пакостит. Долли [?] возьми в комнаты» *(83, 126 - 127*).

С. А. Толстая
со своими детьми Таней и Серёжей.
1866 г.

Толстой так подробно описывает немудрёные события своего пребывания в Москве, что, кроме малых пояснений к письмам, избавляет нас от необходимости комментирования. Письма Сони всё запаздывают… но Лев не унывает и, по уговору, пишет ей и на следующий день, 15 ноября, небольшое письмо:

«Кажется бы, не от чего, но очень устал, милая моя душенька, и напишу коротко.

После кофею пошёл в Румянцевской музей и сидел там до 3-х, читал масонские рукописи, — очень интересные. И не могу тебе описать, почему чтение нагнало на меня тоску, от которой не мог избавиться весь день. Грустно то, что все эти массоны были дураки.

Оттуда пошёл на гимнастику. <Гимнастическое заведение Пуаре. – *Р. А.*> Чувствовал себя сильнее прежнего. И обедать. Обедал Анке

и Сухотин, пожиравший всё в огромном размере и болтавший без умолку. Да ещё Варинька Перфильева, которой я и не видал от Сухотина. Вечером приехали Зайковские и Башилов и из типографии. Суетня, крики Зайковских, торопливость, неловкость — знаешь это чувство. Я очень рад был, что меня звала княжна Элена, <Елена Сергеевна Горчакова. – *Р. А.*> — я уехал к ней, и вот сейчас от неё, где пробыл с ней en tête-à-tête часа 1½ и не скучно. Изредка она очень приятна, но всё-таки спать захотелось.

[...] Ждал во время болтовни Сухотина и писка Зайковских всё письма от тебя, но проклятая почта верно завтра принесёт два. С типографией всё не кончил. И теперь является опять возможность сделать картинки. Завтра наверно всё решу, а утро постараюсь кончить выписки и чтение, которые мне нужны в музее. Прощай, милая голубушка. До завтра» *(83, № 59, с. 129 - 130).*

Наконец, вышеупомянутое письмо 16 ноября – ответ на Сонино от 12-го:

«С утра пошёл в Румянцевский музей. Чрезвычайно интересно то, что я нашёл там. И 2-й день не вижу, как проходят там 3, 4 часа. Это одно чего мне, кроме Берсов, будет жалко в Москве. Потом зашёл к Башилову и с ним домой. Обедали, болтали. Я ждал из типографии ответа и наконец получил. Всё уладилось. Катков просит напечатать 4 листа с тем, чтобы деньги эти пошли в счёт печатания. Я этому даже рад.

Вместо того, чтобы идти к Мещёрским, куда на меня должны были собраться Сушковы и неизбежный Сухотин, просидел дома. Во-первых, скучно и всё известно; во 2-х, пристали бы назначить день читать, и я бы не сумел отказать, а надо и хочется скорее, скорее к тебе под крылышко.

Нынче было одно письмо от тебя, и письмо милое, но огорчительное тем, что оно заставило меня резонно упрекнуть себя. Во-первых, я виноват, что не написал англичанке или Львову во 2-ых, денег тебе мало оставил. Обойдётся, наверно обойдётся. Я счастлив, что она тебе понравилась. И чувствуется мне, что ты, писавши письмо, была усталая и не в духе. Но и не в духе ты мне милее всего на свете, и я злюсь на почту, которая наверно задержала одно, а то и два твоих письма. Я бы сказал тебе кое-что о деньгах, англичанке и т. д., но уже думаю, что письмо это придёт несколько часов прежде меня. Мечтал я выехать завтра, но едва ли успею. 1-е, надо переговорить с Башиловым; 2-е поправить начало печатного и рукописи, чтобы оставить в типографии. Железная дорога уже ходит, и я поеду по

ней в пятницу, в 5 часов, и к утру в субботу обойму и буду целовать тебя, мою милую голубушку. И с англичанкой, и с детьми, и с деньгами всё будет хорошо. Прощай, душа, целуй детей и тётиньку. Таня, бедная, всё плоха» *(83, № 60, с. 130 - 131).*

Софья Андреевна написала мужу в дни его московской командировки, кроме вышеприведённых, ещё три письма – 13, 14 и 15 ноября. К сожалению, в нашем распоряжении имеется только текст письма от 14 ноября, которым мы и завершаем нашу выборку из переписки супругов 1866 года:

«Сейчас только катались, милый Лёва; детей укладывают спать, а я хочу себе продлить удовольствие на весь день, писать тебе и утром и вечером.

Кататься было тепло, дети совсем здоровы, и воздух меня оживил. Ханна была до того счастлива, что прыгала в санях говорила всё: «so nice», [так мило] т. е. верно это значило, что хорошо. И тут же в санях объяснила мне, что очень любит меня и детей и что country [местность] хороша и что она «very happy». [«очень счастлива»] Я её понимаю довольно хорошо, но с большим напряжением и трудом. Она сидит, шьёт панталончики детям, а детей укладывает старая няня. Когда они перейдут к ней, будет гораздо лучше, и то теперь у ней вполовину меньше дела. За то мне польза; я скоро выучусь, я уверена; а это очень было бы приятно. Обедает она покуда тоже с нами и чай пьёт. Я до тебя ещё ничего не переменю, ещё успеем. А она и желает и, кажется, понимает свои будущие обязанности. Но она не нянька, она держит себя совсем как равная, но не тяготится никакой работой и очень добродушная, кажется. Совсем на сестру не похожа. А сестра мне неприятна. Лёвочка, я тебе не о чём больше не могу писать, потому что вся моя жизнь теперь с англичанкой и все старания устремлены на то, чтобы приучить к ней детей, как можно скорее. Они целый день на верху. Мы обе всё смотрим в диксионер и показываем по книге слова, которые не понимаем.

У нас нынче весь дом моют, большая возня, а о хозяйстве знаю то, что пшеницу везти наняли, только ты не думай, что это я распорядилась, — я ни во что не вхожу; и ещё слышала, что Пироговский мужик прислал сказать, что нанял тридцать пять работников и они придут все на днях.

Я нынче ужасно жду письма, верно, сегодня будет, такая скука, что известие так долго нельзя иметь. Постоянно всё думаю: вот, если б была железная дорога! Что-то ты в Москве, как живёшь? Как ре-

шил с нашей святыней — твоим романом? Я теперь стала чувствовать, что это твоё, стало быть, и моё детище, и, отпуская эту пачку листиков твоего романа в Москву, точно отпустила ребёнка и боюсь, чтоб ему не причинили какой-нибудь вред. Я очень полюбила твоё сочинение. Вряд ли полюблю ещё другое какое-нибудь так, как этот роман.

Если бы ты знал, как няня старая горюет; мне её жаль, и так трогательно, что детей от неё взяли. А уж из детской, когда возьмут на ночь, то, говорит, вовсе с тоски пропадёшь. Она говорит: «точно я что потеряла, такая скука». Я так ей благодарна, и, право, до слез тронута, что она их так любит. Если б я даже рожать перестала, не рассталась бы с ней. Уж нашла бы ей в доме дела.

Вечером.

Сейчас приехали из Тулы, и письма всё нет, я просто боюсь себя, до чего я встревожена и как мне грустно и страшно. Завтра последний день; если письма не будет, я пошлю телеграмму, а то просто с ума сойти можно. Одно только могу тебе сказать, что я больше никогда, никогда не останусь одна на целую неделю. За что мне такое мученье, разве за то, что я тебя уж слишком люблю. Не могу тебе перечесть все ужасы, которые, я воображаю себе, случились с тобой, когда я начну только думать. А тут разные заботы и возня с милыми всё-таки детьми и англичанкой, а сердце так и сжимается целый день и, того и гляди, разразишься какой-нибудь отчаянной глупостью. Думаю я и о том, что в Кремле что-нибудь случилось очень дурное и с Таней, и со всеми вами, кого я так люблю. Лёвочка, прощай, мне писать тебе и хочется, но я только еще больше расстраиваюсь. Господи! Что с вами сделалось?» *(ПСТ. С. 69 - 71).*

18 ноября 1866 г. Толстой выезжает из Москвы домой – впервые по железной дороге (Москва – Серпухов), открывшейся буквально днём ранее. В первый же день по приезде домой Толстой уведомляет Башилова, что решил отложить печатание романа – по крайней мере, до будущего года, потому что если печатать в 1866-м, то «всё придётся делать второпях, и потому всё будет сделано плохо» *(61, № 192).*

Это означало, что Толстой решил впрячься в «доводку» романа серьёзнейшим и напряжённейшим образом — ведь он чувствовал и понимал, что *может*. Но это означало и новые обиды для Сонички — нарастающее ощущение «брошенности», неприкаянности, претен-

зии на иной образ жизни, подозрительность, ссоры… Увы! но следующий, 1867-й, год оформил новые «надрезы» в отношениях супругов.

Впрочем – обо всём по порядку!

КОНЕЦ ШЕСТОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Седьмой.
ПАПА МОЖЕТ!
(Сезон второй. 1867 год)

Фрагмент 7.1.
ИНОГДА СТАРЫЙ ДРУГ ДОРОЖЕ МОЛОДОЙ ЖЕНЫ И НЕДОПИСАННОЙ КНИЖКИ

Год 1867-й начался для семейства Толстых под знаком страдания и смерти, и в течение его смерть ещё несколько раз подступалась к большому яснополянскому дому…

Уступив просьбам и жены, и новопоселившейся в доме гувернантки, англичанки Ханны Тарсей, Толстой решил сделать детям рождественский праздник с подарками – игрушками, сластями и ёлкой. Sophie на радостях закупилась в Туле игрушками не только для украшения ёлки и для своих детей, но и для крестьянских. Им она купила дешёвых, не одетых кукол, тут же насмешливо поименованных в семье «*скелетцами*». Кукол нарядили, и в праздник роздали явившимся в дом местным детям… Раздавая подарки, Софья Андреевна с ужасом видела, что на ручках деревенских детей «сходила клочьями кожа, прямо снималась как перчатки». Только тогда она узнала, что в деревне эпидемия скарлатины и что собранные в её доме дети уже больны ею.

Расплата за не одобрявшееся мужем барское веселье не заставила себя ждать:

«Через несколько дней сидим мы за обедом, моя Танюша на высоком стульчике возле меня. Вдруг она склонила головку, её начало тошнить, я подхватила её на руки и снесла в свою спальню. Вскоре она заснула у меня на постели, и уже к ночи у неё был сильный жар. Все трое <детей> заболели скарлатиной» *(МЖ - 1. С. 160)*.

Обычный эпизод расплаты людей лжехристианской цивилизации за жизнь в неравенстве, в разделении с братьями — с трудящимся народом!

Да, это был год огромного творческого дерзновения писателя – но также и год, чреватый неприятностями личной жизни: опять же, как будто в отплату за дарение миру безусловного литературного сокровища! В январе Толстой ещё был уверен, что к осени роман будет окончен. Он «поспешал медленно», и о том же просил в письмах художника Башилова. (Последний, впрочем, исполнил его совет ровно наполовину: он тупо медлил…). То волнение, которое он считал необходимым условием успешности работы писателя, достигло теперь у Толстого высшей степени напряжения.

И это волнение произвело психическое заражение и в голове жены писателя, вызывая в ней, однако, всё больше контрпродуктивные мысли и эмоции. Свидетельством тому – запись от 12 января в её дневнике:

«У меня страшное состояние растерянности, грустной поспешности, как будто скоро должно что-то кончиться. Кончится скоро многое, и так страшно. Дети все были больны, с англичанкой всё невесело и неловко. Всё ещё я смотрю на неё неприязненно. Говорят, что когда скоро умрёшь, то бываешь очень озабочен перед смертью. Я так озабочена и так всё что-то спешу, и столько дела. Лёвочка всю зиму раздражённо <т.е. с творческими возбуждением и подъёмом. – *Р. А.*>, со слезами и волнением пишет. По-моему, его роман должен быть превосходен. […] Нам, в семью, он приносит больше только les fatigues du travail <*франц.* усталость от работы>, со мной у него нетерпеливое раздражение, и я себя стала чувствовать последнее время очень одинокой» *(ДСАТ – 1. С. 80 - 81).*

Мы знаем, что роман не был кончен Толстым ни в установленный в январе 1867 г. срок, ни даже годом позже: окончательная версия потребовала от Толстого ещё почти *трёх* лет напряжённейшего труда!

От чрезмерно напряжённой работы у Толстого явились сильные головные боли. Но результат был достигнут: писатель не только продвинулся в своём сочинении, но, вероятно, и определился этою же зимой с окончательным вариантом его названия. Это можно предположить из письма к нему Берса-отца от 9 марта, в котором Андрей Евстафьевич констатирует, что здоровье Толстого «было бы в совершенно цветущем состоянии», если бы он «забыл о *войне и мире* и за-

нимался охотой, маслобойками, овцами, поросятами и другими подобными поэтическими предметами» *(Цит. по: Гусев Н.Н. Летопись… 1828 – 1890. С. 334. Выделение наше. – Р. А.).*

Но кризис со здоровьем назревал… В письме к брату Толстой жалуется: «…приливы к голове и боль в них такая сильная, что я боюсь удара» *(Цит. по: Гусев Н.Н. Материалы… 1855 – 1869. С. 668).*

Мрачным знаком Свыше о том, что Лев Николаевич может «загнать», убить себя и сделать несчастными семью, если не прервётся, не переключит внимания на другое, стал пожар, поздним вечером 14 марта уничтоживший навсегда великолепные оранжереи, заведённые ещё его дедушкой, князем Н. С. Волконским. Вот как описывает это ужасное, исполненное удушающей безысходности событие Софья Андреевна в своих мемуарах:

«…Я легла уже спать и заснула; вдруг Лёвочка меня будит, чего он никогда не делал, придавая сну и своему, и всякому огромное значение. “Что такое?” — спрашиваю я. “Не пугайся, ничего особенного, горят оранжереи, а жаль”.

Мы оба поспешно оделись и пошли в сад. Оказалось, что семья садовника спала и ничего не слыхала. Лев Николаевич их разбудил и немедленно вытащил детей, и начали таскать имущество садовника. Меня же Лев Николаевич послал на деревню звать народ. Я шла тихо, уже тяжёлая от беременности, вязла в грязи и стучала в каждую избу, и мужики поспешно бежали на пожар. Но ничего нельзя было сделать. Сухие рамы трещали, стёкла лопались, деревья шипели как-то странно, и жаль было смотреть, как огонь палил розовые цветы персиковых деревьев. Лев Николаевич находил даже, что пахнет персиковым вареньем. […]

Так все четыре оранжереи и сгорели дотла и никогда не возобновлялись» *(МЖ – 1. С. 161 - 162).*

«Пронесло» тогда от трагических потерь семьи и садовника, и самого писателя… Тем острее было его сочувствие другу юных лет, Диме Дьякову, у которого 17 марта умирает жена Даша. О смерти известил Толстого всё тот же Андрей Евстафьевич… Вот повод оторваться от писаний и от негативных впечатлений домашней жизни! Толстой выезжает 18-го в Москву, дабы разделить скорбь родственного семейства и участвовать в похоронах.

От этой поездки сохранилась небольшая (по два письма) переписка супругов, к изложению которой мы теперь и переходим. Как случалось и прежде, она имела характер *встречного* обмена письмами: не дождавшись уже шедших к ней писем Толстого, Софья Андреевна написала 21 марта целых два, утром и вечером. Текст вечернего

письма, как более интересного, мы приводим в соответствующем месте. Хронологически, однако, ему предшествовали два письма Л.Н. Толстого.

В первом из писем, 19 марта, Толстой рассказывает следующее:

«Ну вот, моя голубушка, пишу с чувством настолько радостным, сколько это возможно в день похорон. Я очень жалел, что сделал с тобой уговор телеграфировать только в случае дурного. Мне хотелось телеграфировать тебе, что всё гораздо лучше, чем я ожидал. […] Расскажу всё с начала. Приехали мы — я по крайней мере — очень усталый (дорога ужасная) в 12 часов. Дома были одна мама и Лиза, остальные на похоронах. Мама рассказала мне, что Долли умерла скоропостижно, нервным ударом, как предполагают. На счастье Тани, её не было у Дьяковых в этот день, она была у Перфильевых и очень весела весь этот вечер. Дьякова же ходила, одетая, сидела за столом, выпила бульону, вдруг схватилась за голову, покраснела, встала, Дмитрий под руки провёл её в свой кабинет и там она у него на руках стала умирать, хрипеть и через 20 минут умерла. […] Переодевшись, я поехал в дом Лизаветы Алексевны Дьяковой *<1806 – 1886. Мачеха Димы Дьякова. Была знакома с А. С. Пушкиным. – Р. А.>*, куда они должны были приехать и переехать после похорон, и, можешь себе представить странную случайность — я подъезжаю к дому в одно и то же время, как идёт из церкви похоронный поезд мимо дома, и Дмитрий выезжает из ворот дома, присоединяясь к поезду и кричит мне: Машу и Таню оставил тут дома. <Марья Дмитриевна Дьякова, дочь Д. А. Дьякова, и Т. А. Берс, сестра Софьи. – *Р. А.*> Я заехал к ним, расцеловался и поплакал с этими милыми и жалкими девочками и поехал догонять похороны на Пятницкое кладбище, где и снёс её до могилы. Дмитрий в оживлении и волнении озабоченности. Потом вернулись в дом Дьяковой. Сухотины и попы ели, а мы — Маша, Таня, Софеш <Софья Робертовна Войткевич, гувернантка Дьяковых, пышнотелая красавица, впоследствии жена Д. А. Дьякова. – *Р. А.*>, Дмитрий посидели в маленькой отдельной комнатке. Жалко очень было смотреть на отца с дочерью, как они целовались и плакали. Андрей Евстафьевич говорит, что они как тетеревяты, у которых убьют матку, сойдутся вместе и пищат. Оттуда я увёз Таню домой и хотел ехать вечером к Дмитрию, но заснул, а он сам к нам приехал с Софеш и Машей. Маша очень трогательна и особенно тем мне очень дорога, что тебя ужасно любит и желает видеть. Очень, очень любит. […] Софеш тоже очень жалка и мила, её все и Дмитрий очень любят и ценят, и она останется у них. Долли, говорят, ужасно испортилась с другого дня.

[…] Тургенев здесь, ужасно лебезит перед Берсами и завтра назвался к ним обедать. Я еду к Дьякову. […] Здоровье моё хорошо, и я теперь вечером, после окончания всего испытываю приятное чувство, что всё прошло лучше, чем я ожидал. Главное, Тани <здоровье> гораздо лучше, чем я ждал. Потом приятно, что Дьяков и Маша рады мне и на меня и особенно на тебя смотрят, как на лучших своих друзей. Я очень рад, что тебя так любят, не я один — тебя знаю. Прощай, моя душечка, целую тебя, детей и тётиньку. […] Прощай, милый, голубушка.

12 часов ночи» *(83, 133 - 135).*

Второе письмо – с неуказанной датой – датировано приблизительно 20 марта, и, во всяком случае, повествует о событиях именно этого дня:

«Голубчик Соня. Пишу несколько слов, оттого что устал и голова болит. Провёл день у Башилова, потом у Дьяковых с Таней обедали и до 10 часов. Никого там не было кроме меня, и потому было тихо, приятно, а потом приехали домой, где застали Фукс чету и Башилова. <«Чета Фукс» — Эдуард Яковлевич (1834 — 1909) и Елена Михайловна (1845 — ?). Фукс по молодости либеральничал, участвовал в судебной реформе. В зрелые годы – прокурор Московского окружного суда, позднее – сенатор, член Гос. совета. В романе Л. Н. Толстого «Воскресение» он превратился в “сенатора Вольфа” (см. ч. II, гл. XVI). — *Р. А.*> Таня покашливает. Она сбирается к нам на страстной. Саша Кузминский за ней приедет. Прощай.
Душенька, целую тётиньку, тебя и детей» *(Там же. С. 137).*

И вот, наконец, встречное письмо Сони, написанное вечером 21-го:

«Боюсь не успеть написать тебе завтра, милый Лёвочка, и потому начинаю своё письмо с вечера, в 11 часов, когда дети спят, и когда особенно грустно и одиноко. А завтра тётенька посылает Ивана <дворового мужика. – *Р. А.*>, и я уже не могу послать его поздно. Утром, во всяком случае, напишу, всё ли у нас благополучно. А теперь мы все здоровы, дети, кажется, теперь совсем поправились, боль, которая у меня была утром, тоже прошла, и ничего у нас особенного не случилось. Нынче необыкновенной деятельностью старалась в себе заглушить все мрачные мысли, но чем более старалась,

тем упорнее приходили в голову самые грустные мысли. Только когда сижу и переписываю, то невольно перехожу в мир твоих Денисовых и Nicolas <персонажи «Войны и мира». – *Р. А.*>, и это мне особенно приятно. Но переписываю я мало, всё некогда почему-то. А что мне делать?

Завтра никак не могу ещё иметь письма от тебя, и жду этого письма просто с болезненным нетерпением. Ведь, подумай, я ничего не знаю, кроме лаконического содержания телеграммы, а воображение моё уже замучило меня. Знаешь, целый день хожу как сумасшедшая, ничего не могу есть, ни спать, и только придумываю, что Таня, что Дьяковы, и всё воображаю себе Долли, и грустно, и страшно, да ещё, главное: и тебя-то нет, и о тебе всё думаю, что может с тобой случиться. Приезжай скорей. Серёжа нынче говорит: «когда папа́ приедет, так скучно, завтра?» А я говорю: — нет, воскресенье. А он взял свою игрушку гусли и говорит, что когда папа́ приедет, мы будем играть: вы, я и папа́. А Танюшу спросила, что папаше написать, а она говорит: «вот, вот, картинка... и вот были больны, а теперь здоровы». Больше она ничего не могла выдумать. Сейчас она раз кашлянула, и меня всё пугает. Так боюсь опять не заболела бы.

Нынче получила письмо от <сестры> Лизы из Покровского <текст не известен. – *Р. А.*>, пишет, что Машинькино здоровье хуже и людей нет, и есть нечего и убедительно просят купить в Туле саго или арарут, доктор велел есть. Я думаю, в Туле нет, потому прошу тебя привези для Машеньки из Москвы и саго и арарут, хоть по фунту. Это для грудной болезни. Говорят, что Егор Михайлову отказали, мужик говорил, но это ещё не верно. О выигрыше десяти тысяч и Лиза ничего не пишет. Ну, на нынче будет писать, завтра утром ещё припишу, а теперь скоро пойду спать с моим Илюшей, который мне много облегчает своим присутствием в моей комнате твоё отсутствие. Мысленно целую тебя» *(ПСТ. С. 72 - 73)*.

Накануне возвращения в Ясную, около 23 марта, Толстой составляет проект Условия с типографией Каткова – впоследствии отменённый. Именно в нём впервые рукой Толстого перечёркнуто отработавшее своё «рабочее» название нового романа, «1805 год», и вписано окончательное – «Война и мир».

24-го Толстой возвращается в Ясную Поляну, и, как сообщает тогда же в письме П. И. Бартеневу, «ничего не может делать, кроме окончания своего романа» *(61, № 206)*.

Фрагмент 7.2.
ПЕЧАТАТЬ КНИГУ, ЛЕЧИТЬ ГОЛОВУ!
(Июнь 1867 г.)

К лету 1867 года относятся два значимых события в жизни всего семейства: 7 июня Сергей, брат Льва Николаевича, наконец-то вступает в официальный брак с цыганкой Машей Шишкиной, с которой фактически жил ещё с 1849 года. И, в сопряжении неизбежности с первой — вторая свадьба, 24 июля: Таня Берс выходит замуж за Александра Михайловича Кузминского, бывшего в то время судебным следователем в Туле. «Все мы чувствовали, что брак этот неизбежен, — вспоминала Софья Андреевна, — и что беспокойный, влюбчивый темперамент моей сестры может вовлечь её в новые увлечения, так уж лучше ей выходить замуж» *(МЖ – 1. С. 162)*.

Голова Льва Николаевича от перенапряжения продолжает болеть. И хотя он и бравирует в письме брату, что «не боится теперь этой боли», всё же решает не пренебрегать лечением — и уже 16 июня снова выезжает в Москву. Тем более, что – «скоро дело делается, да не скоро сказка сказывается!» – Толстой уже выбился из своего «графика» доработки романа. Изменившиеся условия требовали новых переговоров с типографиями о печатании «Войны и мира» отдельным изданием.

На этот раз деловой поездке сопутствовал успех: Толстой отказался от услуг и Каткова и Башилова (тот успел подготовить в печать только 21 рисунок из 70, от него ожидавшихся…) и заключил договор с Вольной типографией великолепного Фёдора Риса — человека, на своём поприще не менее гениального, нежели сам Лев Николаевич, и такого же «затяжного» трудоголика. Корректором и даже — с условиями — редактором рукописей Толстого стал другой его многоталантливый современник — Пётр Бартенев. Рис должен отпечатать 4800 экземпляров нового романа, а Бартенев, в числе прочего, обеспечить продажу…

Теперь – к переписке. Она представлена в июне 1867-го *шестью* корреспонденциями Л. Н. Толстого (*83, №№ 63 – 68, с. 137 - 149)* за период с 16 по 22 июня и *тремя* – С. А. Толстой: письмами за 17, 18 и 20 июня *(ПСТ. С 74 - 79)*. Последнее является *встречным* в отношении письма Л. Н. Толстого от 20-го же июня, в котором он отвечает на письмо Софьи Андреевны от вечера 17-го.

Первые два толстовских письма — малоинтересные краткие записки, сделанные с дороги, из Малого Малахова и Марьина. «Всё бы

у меня хорошо на душе, если бы не то, что я тебе сказал перед отъ-ездом» — сетует Толстой в первой из них *(83, 137)*. Свидетельство очередной семейной ссоры?.. Во втором — просит лучше следить за пасекой и посылать для этого каждый день мальчика Николку (по кличке Киска), недавно спасённого им из огня сына садовника *(Там же. С. 138)*.

17-го Толстой приезжает в Москву, но не пишет в этот день Софье. Она же — пишет ему большое письмо, ответ на его два кратких дорожных послания.

Вот письмо Сони, писанное вечером 17 июня, очень интимное и искреннее:

«Милый мой Лёвочка, пережила целые сутки без тебя, и с таким радостным сердцем сажусь писать тебе. Это настоящее и самое большее моё утешение писать тебе даже о самых ничтожных вещах. Вчера только что ты уехал, я легла, но проснулась часа через два и уже не засыпала почти всю ночь от сильнейшей зубной боли, которая утром прошла и даже не оставила ни малейших следов. Теперь уже одиннадцатый час вечера, и зубы не болят ни капли, я так рада, что избавилась. Дети тоже все здоровы и Берсы тоже. Утром я всё ходила из угла в угол и чувствовала себя такой одинокой и несчастной. Чай пила совсем одна, потом приехал Александр Григорьевич <Мичурин, сосед, сын крепостного музыканта, в будущем – учитель музыки детей Толстых. – *Р. А.*>, и очень был огорчён, что не застал тебя. Я его занимала, потом отпустила Ханну купаться с мама́ и Таней (я не купалась), а сама пошла с детьми гулять в сад, что для меня всегда составляет наслаждение. Я им рассказывала сказку, смотрели, поспевает ли земляника, и очень были счастливы. Я им рассказала, что ты поехал в Москву. Таня вдруг оживилась и говорит: «да, поехал, да, поехал». А Серёжа спросил: «нынче приедет?» Перед обедом я была в детской, слышу Петичкин <брата, П.А. Берса. – *Р. А.*> голос весёлый (а он утром, было, поехал с Кузминским в Тулу), смотрю, Петя с Бибиковым Мишей стоят в столовой. Я Бибикову сказала, что я очень рада его видеть у себя, и они ушли. Это Петя, ехавши по шоссе с Кузминским, встретил весь поезд семейства Бибиковых, привёз с обратным ямщиком Мишу из Ясенков и теперь Миша будет гостить у нас, т. е. у Пети, до той субботы. Петя так счастлив, что весь день смеётся и ужасно оживлён.

После обеда я ходила по хозяйству, смотрела, дан ли корм лошадям, и нашла, что хлеба не давали; я позвала старосту и велела дать хлеба, вообще видели, что я забочусь, а это главное, да? Потом была

на скотной, и теперь, после твоей записки, буду и о пчельнике заботиться, даже постараюсь побывать раза два. Вечером приехала линейка, вещи все целы, мама возилась, раскладывала, я шила и с «gamins» [мальчишками] болтала немного. Александр Григорьевич уехал после обеда, и Кузминского нынче нет, приедет завтра, и мне тоже не весело и не естественно с ними обоими, и боюсь, и знаю наверное, что счастья не будет, потому что главного, — любви, нет, — или, если есть, то очень мало. А он не дурной малый, и я его люблю, несмотря на твоё к нему чувство, а дурно одно, что любви нет, и то, что Таня нынче горячо и взволнованно мне доказывала, что пламенной любви быть не может, оттого что давно друг друга они знают, и уже любили друг друга прежде. Что же их супружество? Зачем? Так это всё не ясно и не весело. То ли дело у нас с тобой, как всё и ясно и хорошо; а любви слишком много, уж очень трудно расставаться, и всё за тебя страшно. Неужели Таня сумеет удовольствоваться такой малой и молодой любовью Саши, я понять этого не могу. Вот я знаю, что ты меня любишь, а всё-таки часто думаю: «ещё, ещё», и сомневаюсь, и нужно доказательств, и отыскиваю в тебе озлобление ко мне, чтоб ты мне всё говорил, что любишь, любишь и любишь.

Лёвочка, я нынче очень глупа весь день, оттого что не спала ночь, и моё письмо глупое, и я не умею писать ясно, что думаю, но это так и быть. Воображаю, как ты деятельно принялся за свои дела; как то ты их кончишь? Ради Бога, будь спокойнее, веселее, не ссорься ни с кем, здоровье береги, обо мне побольше думай, и на счёт нас будь покоен, я всех сберегу, и сама глупости делать не буду. А если приедешь пораньше, то ты знаешь, какое это для меня будет счастье. Боюсь тебя об этом просить, но не могу, потому что это составляет мою самую задушевную мысль.

Завтра еду в церковь причащать детей с мама́. Я вообще без тебя буду очень деятельна и подвижна, особенно буду отдавать себя больше детям. Нынче я такая была гадкая и, главное, на Таню досадовала, она на себя взяла какой-то неприязненный тон и вместе с тем повелительный, а мне было досадно. Но с ней я не ссорилась, а только в присутствии мама́ ворчала. А у Тани, бедной, была нынче лихорадка, и мне опять стало за неё страшно, и опять её полюбила. Вот, право, она несчастливая; никогда она не будет вполне счастлива, я это знаю и предвижу. Лёвочка, милый, пиши мне акуратнее всякий день, а то я, право, с ума сойду, если не получу от тебя ни одного письма. Если ещё увидишь папа́, поцелуй его и Лизу <сестру> от меня Лёва, я тебя жду в субботу, au plus tard [*фр.* самое позднее]. Это на словах, а в душе жду в среду, в четверг, в пятницу и т. д. Прощай, голубчик милый, целую тебя крепко, и нежно, и страстно.

Если будешь ходить в Москве купаться, не делай безрассудств, не плавай, где глубоко. Прощай, иду спать. Где-то ты нынче вечером? Верно уж приехал.

Соня» (*ПСТ. С. 74 - 75).*

Первое пространное письмо Л.Н. Толстого, от 18 июня:

«У меня на совести, что я не писал тебе вчера, милый друг, но, видно, к лучшему, потому что вчера я бы написал тебе скверное, не в духе письмо. — Ехали мы прекрасно, даже особенно счастливо (на заставе шосейной у меня спрашивают 64 копейки. Я сунул руку в карман и вынул горсть меди, ровно 64 коп.). Потом в вагоне <пересел в поезд Серпухов – Москва. – *Р. А.*> сделал знакомство с овцеводом председателем кампании, который мне прочёл практический курс овцеводства, такой, какого нигде не найдёшь. Я и не устал, но стала болеть печень, тошнить, и приехав в Москву, несмотря на баню, совсем расклеился. В роде моих желчных лихорадок, как на Святой, но гораздо слабее. Поместились мы внизу. Я у барышень <в доме Берсов. – *Р. А.*>, Бибиков у Пети. <*Александр Николаевич Бибиков (1822—1886)* – помещик, сосед и приятель Толстого. Остался в истории во многом благодаря сожительству с Анной Степановной Пироговой, которая потом из-за ревности к нему кинулась под поезд (прообраз Анны Карениной). – *Р. А.*>. С утра послал я за Башиловым и Бартеневым. Бартенев завтра приедет из Петербурга, а Башилов пришёл (его жена ещё не родила) и говорил, что Бартенев сам назывался взять на себя моё издание. Завтра его увижу, и очень рад буду, ежели обойдусь без Каткова и сойдусь с ним. О картинках на 1-е издание и думать нечего, так сказал Башилов. Потом пошёл на <этнографическую> выставку, которая открыта нынче последний день, и нашёл весьма много уродливого и глупого и мало интересного. Потом поехал в парк <Петровский, где тогда жили Берсы. – *Р. А.*>, куда с вечера послал письмо Любови Александровны <Берс; она была тогда в гостях в Ясной Поляне. – *Р. А.*> с своей припиской, и приехал в 4. Папа твой хорош и весел, и добр, и мил ко мне, как всегда.

Лиза тоже очень мила. Рассказывали они мне про Гидройца и его цинизм, — это ужасно, неимоверно и я тебе расскажу это с аханьями. <*Ромуальд Гедройц (1842—1899)* – нищий граф, выскочка из Польши, подженившийся на уродливой, горбатой, но очень богатой Варваре Бреверн. Получил в распоряжение её денежки и приобрёл чин камергера. Напомним здесь кстати, что Л. Н. Толстой взял в

жёны Софью Андреевну фактически «по любви», без существенного приданого. – *Р. А.*>.

Потом поехал к Захарьину; <*Григорий Антонович Захарьин (1829—1895)*, врач. – *Р. А.*> его нет дома, но в Москве, и я оставил ему записку, прося назначить мне время, когда он меня примет. Ежели он пришлёт ко мне сказать когда, то это будет значить, что он намерен обратить на меня внимание, и тогда поеду к нему; в противном случае послезавтра куплю «Киссинген» <популярная марка минеральной воды. – *Р. А.*> и по совету Андрея Евстафьевича начну пить и пошлю в Ясную. Потом поехал к Самарину <Юрий Фёдорович Самарин (1819 —1876), писатель и общественный деятель; славянофил. Толстой искал тогда с ним сближения, как с предполагаемым единомышленником. – *Р. А.*> и тоже не застал дома, хотя <он> и в Москве, и оставил свой адрес.

Г. А. Захарьин.
Конец 1860-х — нач. 1870-х гг.
Москва

Вчера, подъезжая к Москве, как я увидал эту пыль и толпу и почувствовал жар и шум, так страшно и гадко стало, что захотелось поскорее бежать к тебе под крыло. Я всегда тебя ещё больше люблю, когда от тебя уезжаю. А 3-го дня, как только я выехал за Засеку и обдумал хорошенько положение наших женихов, <Т. А. Берс и А. М. Кузминский> мне такие пришли мысли, что чуть не попросил Бибикова вернуться, чтобы сказать им кое-что, но вспомнил слова Любови Александровны, что всё воля Божья, и вспомнил, что она там, и успокоился. Ах, поскорее бы, поскорее они бы были счастливы и покойны так, как я, а не тревожны и неопределённы, какими я их оставил.

Нынче к вечеру мне лучше, и завтра надеюсь быть здоров. Этот припадок тоже удача. Ежели бы его не было, я бы не подумал о Захарьине и не пил бы вод, которые, вероятно, он предпишет и которые всегда полезны. Что твои зубы? Неужели ты купаешься? Как ты

мне мила; как ты мне лучше, чище, честнее, дороже, милее всех на свете. Гляжу на твои детские портреты и радуюсь.

Я, верно, скоро уеду и потому, что мне всё удачно идёт (64 к.), и потому, что без тебя нет во мне никакой экспрессии.

Целуй детей, тётиньку и всех и вся. Прощай, голубчик.

Воскресенье вечером» *(83, 139 - 140)*.

В этот же день, в воскресенье 18-го, Софья Андреевна посылает мужу второе письмо, полным текстом которого мы не располагаем. Судя по опубликованному отрывку, она разделяла первоначальный скепсис мужа в отношении брака своей сестры с А. М. Кузминским:

«Мы сейчас играли в бары, и было бы очень весело, если бы опять не Таня с Кузминским. Дела их всё хуже и хуже. Таня, бедная, даже плакала нынче очень горько, руки холодные, похоже на лихорадку, и вырвалось, таки, у ней, что Саша с ней груб, ничего тонкого понять не может, обращается с ней очень дурно; а по моему он её не любит, и вообще любить не способен, и я на него зла, и он мне неприятен, и даже желаю от всей души, чтобы у них дело разошлось, хотя я знаю, что это просто убьёт Таню. Но если он и женится на ней, из страха остаться подлецом, то тут счастия не будет, я в этом твёрдо уверена, и так грустно, тяжело и жалко Таню. А дело всё в том же, в чём вечно оно будет и что я вчера писала, — в любви..... Бары сначала шли весело, а потом Кузминский надулся, будто бы устал. Таня уже была сама не своя, убежала домой, ну уж и все скоро разошлись. Теперь Таня с Кузминским дуются друг на друга: Таня убитая, а Кузминский недовольный..... Таня уныло поигрывает Шумана мелодию, которую играла Долли [Дьякова], и со мной даже неестественно разговаривает, так ей, бедной, не хорошо и не весело. И невеста — опомниться не могу! Одному я радуюсь, что Саша тоже не весел, и может быть, у них ещё уладится, и они помирятся, хотя, в сущности, и не ссорились» *(Цит. по: 83, 144)*.

Следующим по времени стало письмо Л. Н. Толстого от 20 июня — ответ на полученные оба (17 и 18 июня) письма С. А. Толстой. Одновременно это письмо — опять же встречное, т.к. Софья Андреевна, не дождавшись новых писем, так же пишет вечером 20-го небольшое послание мужу.

«Почта прелесть — субботнее твоё письмо получил в понедельник, воскресное сейчас, во вторник, приехав из парка. Сижу один в комнате во всём верху; читал сейчас твоё письмо, и не могу тебе описать

всю нежность, — до слёз нежность, которую к тебе чувствую, и не только теперь, но всякую минуту дня. Душенька моя, голубчик, самая лучшая на свете. Ради Бога, не переставай писать мне каждый день до субботы. Я не вижу возможности приехать раньше Воскресенья, а письма получаются на другой день.

Что Таничкин кашель? Надень фланель и покутай, — время скверное — летние холода.

То, что ты пишешь о Тане и Кузьминском, меня ещё не так пугает, это размолвка, которая не исключает любовь. Больше всего я в них боюсь чувственности и не люблю, а я подмечал её. Ну, да не нам судить — Бог, как говорит Любовь Александровна и будет Бог, ежели они женятся, а нет, то все и мы будем сами перед собой виноваты. Знаешь, меня мучает мысль, что мы Дьякову, такому отличному нашему и её другу, не сообщили всего. Мне кажется, это надо было сделать. Как ты и они думают?

Благодарствуй за твои все распоряжения и с пчёлами, и с коровами, — это прекрасно. Нынче я в Петровском Разумовском купил тёлку по 3-му году за 50 рублей. Тотчас по получении этого письма вышли в Москву мужика [...] и женщину [...], чтобы привести её. [...]

Теперь о похождениях моего дня. Вчера с вечера ещё была присылка от Захарьина, в которой он велел сказать, что он к моим услугам от 2-х до 4-х и приедет ко мне, если я хочу, или чтобы я приехал. — Я решил последнее, но прежде, чем ехать к нему, я поехал в типографию Каткова и нашёл там, что возможно даже с пересылкой корректур напечатать к 1-му декабря, и что новое издание без картин будет стоить около 4 тысяч но смету ещё не сделал и отложил до завтра. Завтра же готов будет ответ у Бартенева, так что завтра я наверно решу и напишу контракта с тем или другим, — с тем, где дешевле. Бартенев обещается бесплатно держать корректуры, даже если я буду печатать не у него. Из типографии поехал к Самарину и проговорил с ним часа три, и ещё более полюбил его, и уверен в том же с его стороны. Оттуда к Захарьину, и, как на беду или на счастье, по дороге к нему почувствовал начинающуюся головную боль. Захарьин до смешного был внимателен и педантичен; рассматривая меня, заставлял и ходить с закрытыми глазами, и лежать, и дышать как-то, и ощупал, и остукал со всех сторон. Он сказал мне: у вас 1) расстройство сильное нервов, 2) желчные камни в желчном пузыре, — обе эти болезни не опасные и легко излечимые; но, кроме того, у вас может быть 3-е хотя я и не предполагаю, но не могу решить, не исследовав мочи, это — *сахарное мочеизнурение*. Завтра мне пришлите мочу, и я скажу вам в четверг, что и как вам лечиться. —

Андрей Евстафьевич апробовал всё, что сказал Захарьин, и интересуется знать, что он предпишет. Я лечиться лекарствами не буду, и сказал ему, что первое условие моего лечения это жить в деревне, по образу жизни, который он предпишет, или водам последую.

От Захарьина поехал с сильнейшей мигренью в парк, там, помучившись часа 3, заснул, и потом поехал с Лизой кататься в Разумовское, там купил тёлку, и оттуда, возвращаясь назад, заехали в освещённый сад Сакса <М. Сакс держал оркестр. Его «сад» находился в Петровском парке. – *Р. А.*> и, обойдя этот сад со свойственной этим увеселительным местам скукой, вышли оттуда через 5 минут.

Ты спрашиваешь, отчего я не вернусь раньше воскресенья? Завтра, ежели я кончу с Катковым, четверг и пятницу я просижу в парке, поправляя первую часть, которую я обещал оставить им. Кроме того, я желаю, и мне нужно, прочесть несколько глав исторических Погодину, Соболевскому, Самарину, Щебальскому. Завтра я поеду собирать этих господ. Ещё нужно разменять или заложить билеты на 1000 рублей. Впрочем, я нарочно пугаю тебя. Мне самому жить хочется, а без тебя мне не то что грустно, страшно, хотя и это бывает, но главное — я мёртвый, не живой человек. И слишком уж тебя люблю в твоём отсутствии. Так, что глупо. Прощай, милая, голубчик.

Непереписанное продолжение романа осталось дома или нет?» *(83, 142 - 144).*

И – встречное письмо Сони:

«20 июня, вторник, 12 часов вечера.

Мы совсем помешались на барах, милый Лёвочка, проиграли до двенадцати часов ночи, и устали страшно. Несмотря на то, непременно нынче хочу написать тебе, чтобы послать завтра утром. Вероятно, это письмо будет моё последнее, потому что ещё ты и не можешь получить. Я всё ещё не имею от тебя известий, зато завтра жду и телеграммы, и письма. Мы все здоровы, Илюша только немного хворает, но серьёзного ничего нет.

Сегодня мы купались, ездили в берсовской линейке, которая очень легка и хороша. После обеда приехала княгиня Львова с мужем и, несмотря на её глухоту, я, право, с ними провела очень приятный вечер. Немного погромче говорили, но она очень милая и приятная; особенно была нынче и любезна, и весела. Кажется, наша жизнь, обстановка и особенно молодёжь произвели на них приятное впечатление. Они провели вечер, пили чай, гуляли немножко, и уехали как-

то нехотя и не спеша. А я теперь без тебя и им была рада больше, чем при тебе. Я не конфузилась, не боялась, что тебе за меня будет что-нибудь стыдно; и вышло всё очень хорошо. Как уехали Львовы, так мы и принялись играть в бары, да так завлеклись, что оторваться не могли. Теперь народ весь молодой ужинает, а я тебе всё болтаю. До купанья нынче с детьми гуляла, и с ними было так хорошо и весело. Потом с ними же ездили купаться и, вообрази, плотину прорвало и вода ушла, так что мне по колено. Её уж починили, но дело не надёжно. Я так это письмо тебе пишу нехотя, потому что одна мысль, что оно ещё может быть застанет тебя в Москве, и я не увижу тебя три или четыре дня, — меня приводит в озлобление, даже и в отчаяние. Но я креплюсь, оттого, что чувствую, как важно дело, для которого ты поехал, но всё-таки скучно. Как я боюсь, что ты Кузминскому покажешь охлаждение или поссоришься с ним. Теперь мне уж поздно предупреждать тебя, но вообще он мне стал как-то страшен и даже неприятен. Что твои дела, мой милый, после удовольствия узнать что-нибудь о тебе, почувствовать немного тебя, твоих мыслей в нескольких словах телеграммы, я особенно ещё жду с волнением, как ты решил с своим романом. Дай Бог, чтоб тебе всё удалось и уладилось бы, как ты больше всего желаешь. Прощай, милый, душенька, ради Бога приезжай скорее или выпиши меня к себе. Впрочем нет, ничего не надо, делай, как можно и как хочешь, меня не слушай. Цалую тебя, друг милый. Вероятно, это моё последнее письмо к тебе. Верно завтра в телеграмме назначишь мне день своего приезда.

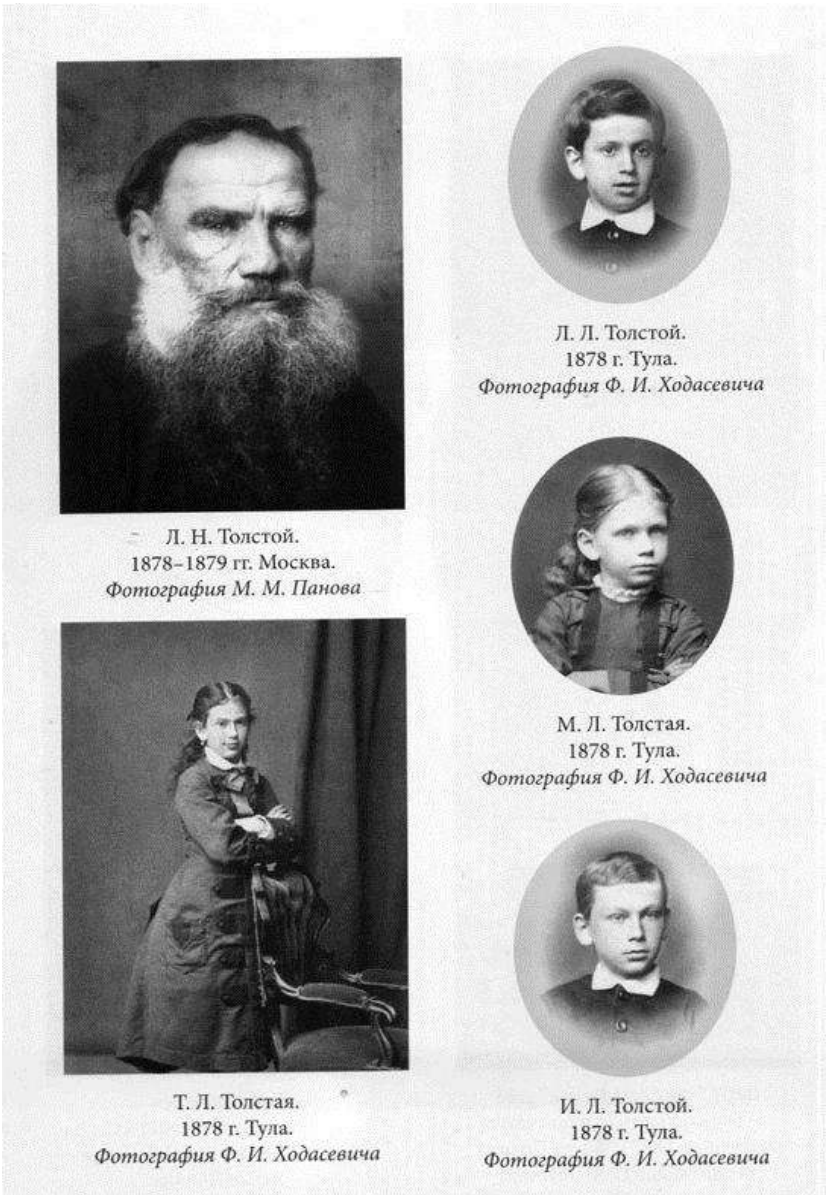
Соня» *(ПСТ. С. 78 - 79).*

Последующие два письма Толстого, 21 и 22 июня, уже достаточно малоинтересны, посвящены, главным образом, деловым и хозяйственным вопросам, а также прежним неблагожелательным сплетням о Кузминском и Тане Берс. В письме от 22 июня Толстой описал окончательную договорённость касательно печатания романа «Война и мир»: «…Приехал Рис, типографщик, и с ним подписал условие и дал ему 500 рублей задатка. Рис этот молодчина, практический и аккуратный немец. Бартенев, которому я даю 10% за публикации, продажу и склад книг, тоже аккуратнейший человек и знающий дело, так что, мне кажется, лучше нельзя было устроить издание, все будет стоить около 4500 р.; окончено будет в 1-ых числах ноября, корректуры буду держать я сам и потом Бартенев — в смысле исправности и даже правильности языка, который я ему смело разрешил поправлять. Экземпляров напечатается 4800 и продаваться будут по 8 руб. за экземпляр; из этого 30% отдадутся: 10 —

Бартеневу и 20 — книгопродавцам. Против прежнего проэкта я даю лишних 5% Бартеневу за своё спокойствие. Теперь нужно мне оставить поправленную всю 1-ю часть и некоторую долю 2-й, а для того нужно часов 6 здорового и спокойного времени, которое я надеюсь найти до субботы» *(83, 147 - 148).*

25 июня Толстой, более-менее удовлетворённый итогами поездки, возвращается в Ясную Поляну. Как все кабальные, обременённые договорными обязательствами — спешит закончить рукопись и корректуры. В июле и в сентябре — ещё две поездки в Москву, не сопровождавшиеся перепиской супругов.

КОНЕЦ ФРАГМЕНТА 7.2



Л. Н. Толстой.
1878–1879 гг. Москва.
Фотография М. М. Панова

Л. Л. Толстой.
1878 г. Тула.
Фотография Ф. И. Ходасевича

М. Л. Толстая.
1878 г. Тула.
Фотография Ф. И. Ходасевича

Т. Л. Толстая.
1878 г. Тула.
Фотография Ф. И. Ходасевича

И. Л. Толстой.
1878 г. Тула.
Фотография Ф. И. Ходасевича

Фрагмент 7.3.
ЦЕНА ШЕДЕВРА
(Конец 1867 г.)

25 сентября, прихватив 12-летнего шурина Стёпу Берса, автор «Войны и мира» выезжает — за полезной информацией и просто за вдохновением — на Бородинское поле. К этой поездке относятся три письма жене Л.Н. Толстого *(83, №№ 70 - 72)* и одно – от неё: малоинтересное, с известием о новой болезни детей, нигде полностью не публиковавшееся. Среди толстовских же писем, относящихся до этой поездки, остановимся только на последнем, «отчётном», писанном 27 сентября, уже после посещения Бородино. Приводим отрывки из него.

«Сейчас приехал из Бородина. Я очень доволен, очень, — своей поездкой и даже тем, как я перенёс её, несмотря на отсутствие сна и еды порядочной. Только бы дал Бог здоровья и спокойствия, а я напишу такое бородинское сражение, какого ещё не было. […] Видел тебя во сне, лёжа в монастыре, и так ясно, что вспоминаю о сне, как о действительности, и с страхом думаю о тебе. […]

Получил твои два письма. […] …Стало хорошо на сердце от твоих писем, от того, что есть тебя в них. И всё лучшее твоё ты кладёшь в письма и мысли обо мне. А в жизни часто заглушает это и тошнота, и чувство спора. Я это знаю. […]

Письма твои, душенька, для меня огромное наслаждение…

В Бородине мне было приятно, и было сознание того, что я делаю дело; но в городе мне невыносимо, а ты говоришь, что я люблю шляться. Я бы только желал, чтобы ты в 1/10 так любила деревню и ненавидела праздную суету города, как я» *(83, 152 - 153)*.

Увы! мечте Льва Николаевича о *таком* единомыслии с женой никогда не суждено было осуществиться. Кризис их отношений в течение лета 1867 года только усугубляется, чему свидетельством – записи в дневнике и мемуарах Софьи Андреевны. Не без зависти наблюдала она полноценно творчески занятого, преисполненного вдохновением супруга, который «жил весь в мире мысли, творчества и отвлечённых занятий и удовлетворялся вполне этим миром, приходя в семью для отдыха и развлечения» *(МЖ – 1. С. 163)*. С её точки зрения, у него и совсем не было жизни, если не считать охоты и прогулок, но и на них он предпочитал оставаться наедине со своими мыслями *(Там же. С. 163 - 164)*. И Софья Андреевна была права, ко-

гда грозным предвестием грядущих их размолвок сочла вот эту запись в Дневнике мужа от 27 ноября 1866 г.: «Поэт лучшее своей жизни отнимает от жизни и кладёт в своё сочинение. Оттого сочинение его прекрасно, а жизнь дурна» *(48, 116)*. По сути, весь «послекритический» Толстой, Толстой 1880-1900-х годов – в попытках преодоления этого разрыва текста и жизни, соделания из собственной жизни своей *лучшего* из реалистических шедевров. Ни Софья Андреевна, ни большинство современников не поняли этого титанического замысла Льва и сетовали, что он-де мало пишет «художественного».

Запись от 29 августа в дневнике С.А. Толстой – свидетельствует сама за себя:

«Мы ссорились, ничего не прошло. «Виновата, что до сих пор не знала, что любит и может выносить муж». И всё время ссоры, одно желание – как бы скорее и лучше всё кончилось. И всё хуже, хуже. Я ужасно колеблюсь, ищу правды, это мука – у меня не было ни одного дурного побуждения. Ревность, страх, что всё кончено, пропало, вот что осталось теперь» *(ДСАТ – 1. С. 81)*.

Именно в эти дни в сознании Софьи Андреевны окончательно формируется и остаётся уже до конца дней её совместной жизни с Толстым – установка на «не любовь, а требование любви», как сформулирует через 43 года Толстой, на эгоистическую неудовлетворённость жизнью и чрезмерную зависимость от отношений с мужем и детьми. Вот как эти установки вербализируются ею в записях дневника от 29 августа, 14 и 16 сентября:

12 сентября.

«Правда, что всё пропало. Такая осталась холодность и такая явная пустота, потеря чего-то, именно искренности и любви. Я это постоянно чувствую, боюсь оставаться одна, боюсь быть наедине с ним, иногда он начнёт со мной говорить, а я вздрагиваю, мне кажется, что сейчас он скажет мне, как я ему противна. […] Иногда на меня находит гордое озлобление, что и не надо, и не люби, если *меня* не умел любить, а главное, озлобление за то, что за что же я-то так сильно, унизительно и больно люблю. […] Что нужно, чтоб привязать? На это средств нет. Мне внушали, что надо быть честной, надо любить, надо быть хорошей женой и матерью. Это в азбучках написано – и всё это пустяки. Надо *не* любить, надо быть хитрой, надо быть умной и надо уметь скрывать всё, что есть дурного в характере, потому что без дурного ещё не было и не будет людей. А любить, главное, не надо» *(Там же. С. 81 - 82)*. Свой характер жена Толстого

честно аттестует, как дурной, а свою любовь к мужу считает «унизительной и глупой» *(Там же. С. 82).*

14 сентября.

«…Я нынче решила себе, что и так можно жить; какая-то поэтическая, покорная жизнь без тревог, безо всего, что называется физической, материальной жизнью, с самыми святыми мыслями, с молитвами, тихой затоптанной любовью и постоянной мыслью о совершенствованье. И пусть никто, даже Лёвочка, не прикасается к этому моему внутреннему миру, пусть никто меня не любит, а я буду всех любить и буду сильнее и счастливее всех» *(Там же).*

Конечно, в такой позе человеку долго устоять невозможно, и эта установка на мнимую любовь ко «всем» и тайне от мужа – не была исполнена Соничкой никогда. И не было этого – «счастливее всех»… да и не могло быть.

Наконец, 16 сентября, в канун дня своих именин, Софья Андреевна делает в дневнике такие признания:

«Мне не веселья нужно, не музыки, не танцев, сохрани Бог […] – мне только нужно *его* желание, *его* радость сделать мне удовольствие, видеть меня весёлой… Сильно чувствую, что я нелюбима, ничтожна, дурна и слаба. […] Я вся живу в детях и в ничтожной самой себе. […] Неужели меня и дети любить не будут? А я так требую и так не умею приобретать чью бы то ни было любовь» *(Там же. С. 82 - 83).*

С этой откровенной картиной особенно контрастирует творческая продуктивнейшая активность Льва Николаевича в эту же осень 1867 г. В самом начале ноября он отсылает П. И. Бартеневу рукописи уже третьего тома «Войны и мира» и обещает вскоре доставить и четвёртый… С 6 по 10 ноября он снова в Москве (впервые выехав туда из Тулы по железной дороге!) – с теми же целями, что и в летнюю поездку: по делам печатания «Войны и мира» и для совета о своём здоровье с всё тем же Г. А. Захарьиным.

Переписка этих дней представлена в публикациях всего парой писем с каждой из сторон, но и они показательны: в них выразилось настроение усталости Толстого и охлаждение, раздражение Софьи Андреевны после целого ряда спровоцированных ею супружеских ссор.

Выехав из усадьбы, первое своё, дорожное, письмо Толстой посылает 6 ноября из Тулы. В нём, в частности, Толстой сообщает:

«Железная дорога идёт завтра утром в 6 часов, чему я очень рад. Посижу у Тани <Кузминской> [...] и буду в Москве завтра в час [...]. Ехать в пролётке было скверно и холодно и я рад, что еду в Москву и покажусь Захарьину. У меня не заболела ни грудь, ни кашель, но не ловко в лёгких и надо показаться. [...] В середу пошли на железную дорогу к обер-кондуктору спросить от меня письмо. Я напишу тебе» *(83, 154 - 155).*

Среди прочего, обращают на себя внимание такие строки:

«Мне немножко грустно, что перед отъездом у нас было... но кажется, мы хорошо простились, и я не увёз ни малейшей тени досады — надеюсь и ты» *(Там же, с. 155).*

Письмо в считанные часы домчалось до Ясной Поляны из близкой Тулы, и вечером того же дня Софья уже написала мужу такое ответное послание:

«Получила я твоё письмо с лошадьми, милый Лёвочка, и самой очень захотелось написать тебе. Это письмо, верно, до тебя дойдёт, а нет, так так и быть. Я ужасно была рада, что ты мне написал и, главное, что написал так. Какая же тень досады может у меня быть на тебя? Я после всякого, даже маленького столкновенья только пугаюсь и чувствую себя кругом безвыходно виноватой, но только всегда потому очень жалкой. Нынче очень было грустно, что ты, как будто, с досады уехал, и я очень обрадовалась, что ты на меня не сердит. Как я жду решения Захарьина о твоём здоровье и лёгких, которые меня ужасно мучают. Только об этом и думаю целый день.

Ханна завтра едет в Тулу, и мне это очень неприятно. Без тебя я так свято исполняю всякую твою волю, и нынче весь день лежала, и все обедали и чай вечерний пили вместе в гостиной за круглым столом, и я лёжа. — Мне смешно, что я пишу тебе, а ты ещё в Туле. Я больше для своего удовольствия пишу. Получу ли я от тебя с обер-кондуктором? Не вышло бы какой путаницы. Ради Бога, не студись. Я-то поправлюсь, чувствую себя очень хорошо, а ты-то какие мне о себе известия привезёшь. Только для твоего здоровья я рада, что ты поехал. Больше не для чего не в состоянии я легко жертвовать такой пустотой, скукой, страхом и чувством одиночества, какое я испытываю с той самой минуты, когда ты отъезжаешь от дому, до той, когда я тебя опять увижу.

Сейчас Ханна меня прервала, показывая в мышеловке пойманную мышь, и вчера меня это радовало, а нынче сердит, что развлекло мысли о тебе, которые теперь только и приятны мне.

Знаешь, после всякой ссоры, когда я рассержу тебя, меня особенно удивит не то, что у меня характер дурной (я это знаю), но то, что как может мой дурной характер отозваться на тебе, которого рассердить, обидеть или огорчать я так чувствую себя неспособной, так этого никогда не желаю, и так всегда этого пугаюсь. Ты верно этой путаницы не поймёшь, но мне очень ясно. Прощай, целую тебя. Не опаздывай на железную дорогу из Москвы, я так тебя буду ждать» (*ПСТ. С. 79 - 80).*

Своё обещание выслать ещё одно письмо по приезде в Москву Толстой смог исполнить только 9 ноября. И, конечно, поплатился за это: накануне, 8-го, Sophie, так и не дождавшись вестей «с обер-кондуктором», выслала ему краткое письмо, начинающееся с упрёка:

«Никогда, Лёвочка, не надо обещать того, что не чувствуешь себя в состоянии исполнить. Целый день вчера с волнением и радостью ждала обещанного письма с обер-кондуктором; и вместо того беспокойство, бессонная ночь, и всякие чёрные мысли, которых я так боюсь, и никакого письма. Если б не обещал письма — я была бы спокойна, и только бы терпеливо ждала тебя. Тебе это легко кажется, — ты на всё умеешь смотреть легко, но это потому, что я тебе и вполовину столько не интересна и не дорога, как ты мне. Это старая песнь, которую я терпеть не могу. — У нас все здоровы. Мне очень хочется упрекать тебя, но я удерживаюсь, потому что ты, может быть, не виноват, а виновато что-нибудь другое. Приезжай скорей, а то ничего о тебе не знать — очень грустно» *(ПСТ. С. 81).*

То, что Толстой отписал жене во встречном письме от 9 ноября, конечно, должно было привести её к пониманию и примирению:

«Мне неловко, что я не написал тебе ни одного письма. Вот отчего. Во вторник я только что приехал к обеду и успел только сдать рукопись и корректуры. В середу пришли Рис, Бартенев и я написал тебе письмо и послал через Петю на железную дорогу, но опоздал. Нынче, в четверг, я только встал, пишу и посылаю это письмо на железную дорогу, где уже пересылка писем устроена. Главное, я боюсь, что ты будешь тревожиться, не имея от меня известий и сердиться, что я нынче не выезжаю.

Не выезжаю я нынче потому, что несмотря на всю любезность Захарьина и даже именно по случаю того, что я не пациент, а знакомый — я был у него два раза, и он всё откладывал осмотреть меня и отложил до нынешнего утра 12 часов. Стало быть я не могу поспеть

к раннему поезду. А с поздним я приеду в 3 часа ночи в Ясную, чего я не хочу. Кроме того обещал и нужно быть у Бартенева вечером нынче. Завтра утром выеду и в 8 часов вечера буду в Ясной.

Машинька и все наши <М. Н. Толстая и семейство Берсов. – *Р. А.*> милы и здоровы. Прощай, душенька, целую тебя и детей.

Гр. Л. Толстой» *(83, 156)*.

* * * * *

В своих воспоминаниях Софья Андреевна аттестует 1867 и 1868 годы как «период ссор и охлажденья» в своих отношениях с мужем. При этом истоки таких «движений души» своей и Толстого – она полагает тайной *(МЖ – 1. С 166 - 167*). Можно предположить, что к ссорам и неурядицам семейной жизни супругов вело состояние их *психического* здоровья. Толстой не вёл с 1865 г. Дневника, а по дневнику Сони можно предполагать целый ряд нездоровых тенденций… усугублявшихся такими драматическими событиями, как болезни детей и матери и два выкидыша. Физические страдания поощряли параноическую мнительность. Осенью 1867 г., вспоминает Софья Андреевна, она пережила двойной ужас от выкидыша: «…Я с страшными страданиями выкинула; но место оказалось приросшим, его несколько дней отделяли клочьями, и мне тогда казалось, что всю внутренность от самой головы из меня вытягивают. Плакала я ужасно, боясь, что у меня больше не будет детей, что я буду урод, что меня бросит муж» *(Там же. С. 163)*. Впоследствии, опасаясь нового выкидыша, она большую часть времени беременности – вплоть до рождения сына Льва – провела в постели, т.к. «боялась превратиться в больную жену и потерять любовь мужа» *(Там же. С. 172)*.

Что же касается психического здоровья мужа — помимо упоминаний о *головных болях*, в письмах его к жене из Москвы отражена ещё одна явная фобия, подмеченная Софьей. В связи с «арзамасской тоской» 1869 г. (о которой речь впереди) она вспоминает:

«И мысль, и страх перед сумасшествием опять нашёл на него в его поездку в Москву; он спешил домой и говорил, что только дома и со мной он вполне спокоен, а вне дома боится сумасшествия.

Помню, он просил меня не раз, чтобы я отнюдь не отдавала бы его в сумасшедший дом, если он сойдёт с ума, а держала бы дома или во флигеле. И я принуждена была дать ему в этом моё честное слово» *(Там же. С. 181 - 182)*.

И нельзя не упомянуть депрессивных и апатичных состояний, в которые впадал Лев Николаевич в последние годы напряжённейшей

работы над «Войной и миром». Иногда депрессия сменялась досадой и даже агрессией. Хрестоматийным и печально знаменитым стал эпизод из воспоминаний жены Толстого, в котором она пишет об обстоятельствах своего второго выкидыша и собственного болезненного состояния:

«Сижу я раз на полу, разбираю лоскутья, входит Лев Николаевич.

— Зачем ты садишься беременная на пол, встань, — сказал он мне.

— Сейчас, только узлы уберу, — отвечаю я торопясь.

— Я тебе говорю, встань сейчас, — громко закричал он и, хлопнув дверью, с бранью вышел из комнаты.

Не понимая, как такая малая вина могла вызвать такой гнев и обеспокоенная этим, я бросилась за ним вниз, в его кабинет. Он сидел мрачный и злой.

— Что с тобой, Лёвочка? — спросила я.

— Уйди, уйди! — злобно и громко кричал он.

Я подошла к нему в страхе и недоумении. Он отстранил меня, схватил поднос с кофейником, чашкой, молочником и прочим и бросил всё с шумом и треском на пол. Посуда вся разбилась вдребезги и разлетелась по всей комнате. Я схватила его за руки, это ещё более его озлило. Он оттолкнул меня, стащил быстро со стены дорогой барометр и, швырнув его мне вслед, разбил вдребезги.

Тогда я с рыданием бросилась в дверь, добежала до своей спальни и неутешно плакала» *(МЖ – 1. С. 167)*.

Это — оборотная сторона официальных биографий многих гениев. Это — *цена шедевра*, романа, которым ещё долгие века будет восхищаться человечество. И об этом нельзя не сказать… Хотя бы для того, чтобы понимать, отчего любящие супруги делались периодически буквально несносны друг для друга, от чего (помимо деловых интересов) Толстой выезжал в ненавистную ему Москву. И от чего (помимо желания навестить семью) туда отправилась на денёк, но *без мужа* Софья Андреевна – в начале декабря 1867 года.

С этой поездкой связан заключительный для 1867 г. фрагмент переписки супругов. Несмотря на кратковременность поездки, Толстая успела отписать 3 декабря супругу (а может быть, больше для собственного удовольствия?) письмо, в котором он мог узнать некоторые подробности поездки:

«Сидела с мама́, всё переговорили; теперь уже два часа ночи, и я пишу тебе, милый Лёвочка, письмо, которое придёт вместе со мной. Надо уже всё рассказать по порядку, а то собьёшься в подробностях и разнообразии впечатлений.

В Туле застала Кузминских в суете и укладыванье. Таня и плакала и миндальничала, и всё было, как всегда. Приехали вовремя; в воксале суета и народ, так всё мне непривычно. Ехали мы в первом классе с одним только старичком лет пятидесяти. Нам было очень хорошо и не холодно. В Серпухове ели бульон и рыбу; стояли только восемнадцать минут; я в ужас прихожу, как детей, просто невозможно, везть. Стоянки так малы, что поесть большому, не только ребёнку — некогда. Дорогой всё мне представлялся вопрос: зачем я еду? Теперь уж он мне не представляется, так тут все рады мне. После Серпуховского обеда в вагоне учинился скандал. Дали билет первого класса лишний архимандриту, и он занял наши места с другим попом. Саша сказал, что это наши места, начались разговоры, мы стоим; потом поп ушёл, и архимандрит остался; весь вагон и дамы стали уступать архимандриту место и ухаживать за ним, и роптать на кондукторов, и немного и на нас.

Приехали в Кремль в половину одиннадцатого; папа́ спал, Лиза ждала Кузминских, а мама́ с мальчиками была в театре, и с Толстыми, и с Дьяковыми, которые ещё не знают, что мы приехали. Папа́ оделся и он болен, вышел к нам, ужасно обрадовался, долго, пока одевался, не верил, что я приехала. Скоро подъехала и мама́, и так и ахнула, увидав меня. Мы и теперь всё болтаем, а уже три часа ночи, и письмо мое непоследовательно, не могу писать и болтать. Мама́ третьего дня видела Серёжу у Машеньки, и довольно холодно с ним немного поговорила. Захарьин сказал, что у Машеньки горловая болезнь, что она не хороша, вдыхает какие-то пары. Завтра расспрошу всё у Дьякова; покуда мне это сказала мама́, но всё неопределённо. Она выезжает, но всё хандрит. Не могу больше писать, некогда, да и мысль, что письмо придёт после меня, руки отнимает писать.

Я о всех вас стараюсь не думать, страшно, и упрекаю себя. Больше никогда одна не поеду. Спаси вас Бог, я не останавливаюсь на всех страшных мыслях, которые мне о вас приходят. Лёвочка, что твоя голова и здоровье.

Целую тебя и детей, и тётеньку» *(ПСТ. С. 81 - 82)*.

Собственно говоря, это всё. Все «скользкие» темы отношений обойдены: и в письме Сони, и во встречном — Льва: последнее было связано с договором о встрече по возвращении и высылке в Тулу (к вокзалу) лошадей:

«Посылаю за тобой лошадей и Ханну. Сам не еду по тому, что с тех пор как ты уехала, я не выспался ни одной ночи и голова <болит> не

мигренно, а нервно. Совсем было собрался, но боюсь, что уставши ездой, испорчу сам для себя и для тебя удовольствие тебя встретить — милую мою.

Ещё хуже боюсь, что ты не приедешь с ранним поездом, тогда я в своей нервности с ума сойду в Туле от тревоги.

Посылаю тебе твой салоп, непременно закутайся им, и главное, лицо — нос — щёки.

У нас всё так хорошо, как желаю, чтобы у тебя было» *(83, 157)*.

Только Соничка воротилась — уезжает в конце месяца в Москву Лев… снова в гости, снова по поводу публикации, и снова к Захарьину… Все признаки того, что отношения их были далеки от идиллических, хотя оба периодически пытались себе внушить, что всё у них не только в норме, но и лучше, чем у многих других. Характерна здесь запись дневника уже следующего, 1868-го, года, писанная явно в минуты какого-то «просветления» в неумеренно депрессивной голове Сони и достаточно «позитивная», чтобы нам можно было завершить ею весь заключительный Эпизод Переписки 1867 года:

31 июля.

«Смешно читать свой журнал. Какие противоречия, какая я будто несчастная женщина. А есть ли счастливее меня? Найдутся ли ещё более счастливые, согласные супружества. Иногда останешься одна в комнате и засмеёшься своей радости и перекрестишься: дай, Бог, долго, долго так. Я пишу журнал всегда, когда мы ссоримся. И теперь бывают дни ссоры; но ссоры происходят от таких тонких, душевных причин, что если б не любили, то так бы и не ссорились. Скоро 6 лет я замужем. И только больше и больше любишь. Он часто говорит, что уж это не любовь, а мы так сжились, что друг без друга не можем быть. А я всё так же беспокойно, и страстно, и ревниво, и поэтично люблю его, и его спокойствие иногда сердит меня» *(ДСАТ – 1. С. 83)*.

КОНЕЦ СЕДЬМОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Восьмой.

УЖАС, ЛЕТЯЩИЙ НА КРЫЛЬЯХ НОЧИ

(31 августа – 4 сентября 1869 г.)

Осень 1867 и зима 1867 – 1868 года прошли для Л. Н. Толстого в той же напряжённой работе над продолжением романа и чтением корректур печатающихся томов.

2 ноября 1867 года в Москву были посланы последние листы рукописи третьего тома, а 26 ноября – уже и последние корректуры этого тома. В письме И.П. Борисову от 30 ноября Толстой сообщает: «…Я опять весь погружён в свою работу, которая не даёт мне минуты отдыха и досуга, разумеется, кроме порош, которые я не могу пропустить, и травлю».

В январе 1868 г. в набор ушли уже первые главы пятого тома (первого издания) романа. Работу над ним прервало яснополянское лето. 6 июля Толстой писал Бартеневу:

«Я решительно *не могу* ничего делать, и мои попытки работать в это время довели меня только до тяжёлого желчного состояния, в котором я и теперь нахожусь». Только во второй половине августа Толстой продолжает работу… Но в январе 1869 г. доработка пятого тома (для первого издания) снова прерывается по личным причинам – из-за болезни детей. И только 6 февраля рукописи и корректуры пятого тома отправляются в печать. Тут же он берётся за последний, шестой, том…

В апреле Лев Николаевич работает над *второй частью эпилога* — той самой, особенно «страшной» для неокрепшей психики простецов и школьников, где изложены специфические историко-философские воззрения автора романа. Целиком окончена данная работа была только к октябрю 1869 г.

Тут-то, при доработке эпилога, на последних шажках, и подстерёг вновь творца шедевра диавол сатана…

Человечья история — история болезни лысой и уродливой обезьяны, полуфабриката эволюции — летопись делаемых оной глупостей и гадостей. Подлых и кровавых. Всякие поползновения честного перед самим собой человека к неким обобщениям, «сопряжениям», выведению «общих законов» в омерзительно-патологической картине «прошлого и настоящего» твари с самоназванием *хомо сапиенс* — чреваты не только депрессией, но и совершенным помрачением рассудка. Или, как минимум, безумнейшим напряжением заражённых

патриотизмом, религиозными догмами и склонных к софистике мозгов усадебного недоучки. Толстой попытался исполнить объективно невыполнимую задачу: из говна, т.е. фактов человечьей истории и промежуточных их оценок, вылепить конфетку некой, якобы что-то ”объясняющей”, концепции. За этот фаустов соблазн с атропической неизбежностью явилась и соответственная расплата. Летом 1869 г., по воспоминаниям жены, Толстой «много думал и мучительно думал, говорил часто, что у него мозг болит, что в нём происходит страшная работа». Следствием крайнего переутомления явилось мрачное настроение, удерживавшееся у Льва Николаевича долго и после окончания работы над романом. Софья Андреевна вспоминает уже для 1871 года такое: «Наступила весна, а Лев Николаевич не оживал духом и всё хворал. Он целыми днями лежал молча на постели и мрачно смотрел перед собой. Я начала уговаривать его ехать на кумыс. На мои предложения Лев Николаевич или молчал, или с досадой говорил: “Оставь меня в покое, ты мне и умереть не даёшь спокойно”» *(МЖ – 1. С. 185)*.

Нормальное состояние для всякого, кто, начитавшись Шопенгауэра, ещё и покопался, до кучи, в грязном тряпье истории… Во всяком случае, к этому ощущению горести и ничтожества бытия человека в мире Толстого приводил не один пессимист Шопенгауэр, портрет которого, как нового кумира, Толстой повесил летом 1869 г. в своём рабочем кабинете.

Известно, что об ожидании смерти Толстой писал в одном из писем родственнице, А. А. Толстой — в августе 1869 г. Ожидание не было покойным, как позднее, у Толстого-христианина 1880-1900-х гг. Весь год, как вспоминала Софья Андреевна, муж её был «очень нервен» *(Там же. С. 181)*. В этом состоянии он, совместно со слугой С.П. Арбузовым, совершает с 31 августа по 14 сентября поездку в Пензенскую губернию — за делом суетным и не безгрешным: выгодно приторговать имение… и, как оказалось — пережить хрестоматийно знаменитый эсхатологический и экзистенциальный «арзамасский ужас» (или, иначе в литературе: «арзамасскую тоску»).

С этой-то поездкой и связан эпизод переписки супругов, который нам предстоит рассмотреть. Потому – остановимся на нём подробнее.

Софья Андреевна вспоминает обо всей поездке в книге «Моя жизнь» буквально одним абзацем:

«Желание увеличить средства и выгодно поместить полученные с «Войны и мира» деньги было очень сильно в то время в Льве Николаевиче. Именье это оказалось слишком дорого, и Лев Николаевич

его не купил. На возвратном пути ему пришлось ночевать в г. Арзамасе. И вот на него нашла такая тоска, такой страх, что он боялся сойти с ума. Впоследствии он с ужасом возвращался воспоминаниями об этом состоянии…» *(Там же).*

Это – общая канва, в нескольких словах… Значительно подробнее «арзамасский ужас» описан самим Толстым в неоконченном автобиографическом рассказе «Записки сумасшедшего» — уже в середине 1880-х… Биограф Толстого Н. Н. Гусев, впрочем, признавал, что «описание это не является вполне точным воспоминанием пережитого» и «в известной степени окрашено настроением Толстого середине 1880-х годов» *(Гусев Н.Н. Материалы… 1855 – 1869. С. 683).* Нас же интересуют документальные обстоятельства *всей* поездки Толстого, равно как и повседневной жизни его семьи, как они отражены в главном нашем источнике — переписке супругов в эти дни. Переходим непосредственно к ней.

Благодаря усилиям подготовителей Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого мы имеем в распоряжении *три* письма Толстого – от 1, 2 и 4 сентября 1869 г. *(83, №№ 80 - 82).* К сожалению, опубликовано только *одно* письмо Софьи Андреевны, относящееся к этой поездке её мужа – именно письмо от 4 сентября *(ПСТ. С. 85 - 87).* Мы не располагаем текстами её писем ни от 6-го сентября, ни, к сожалению, от 8-го – в ответ на известие супруга о пережитом «арзамасском ужасе». Вряд ли реакция Sophie, которая в то время сама проявляла признаки некоторого нарушения душевного здоровья, была разумной и сдержанной.

Итак, 31 августа Толстой со слугой выезжают в Москву, а из Москвы 1-го сентября – в Нижний Новгород. Перед отъездом из Москвы Толстой отсылает в Ясную Поляну следующее послание:

«*Читать одной.*

Весь день провёл в расспросах и в нерешительности, каким путём ехать; на Моршанск или на Нижний. Ильина *<Любовь Петровна Ильина (1811—1885),* помещица Тульского уезда. Её муж проживал на службе в Москве, в одном доме с Берсами. – *Р. А.>,* которая ехала со мной до Москвы, уверяла меня, что лучше на Моршанск. Но из всех расспросов здесь, на почте и у брата управляющего Пензенской деревней, которого я нашёл здесь, я вывел, что на Моршанск путь неопределённый и можно ошибиться, потому решился ехать на Нижний.

Стало быть, пиши в Саранск, — на почту, и в Нижний, в гостинницу Соболева. Брат управляющего — богатый купец в Москве, и по разговорам с ним я догадываюсь, что у его брата тёплое место там (он управляет уже 15 лет), и что на покупателя смотрят недоброжелательно. У проклятого Риса ничего не готово; и я не видал своих корректур и, должно быть, не успею взять с собой.

Голицына не видал и, должно быть, не увижу. Вчера ничего дорогой не ел, и с тем, чтобы поужинать и расспросить о дороге, поехал в клуб, где ничего толком не узнал, и виделся с Менгденом, Соболевским и Фон-Визиным *<Иван Сергеевич Фонвизин, московский губернатор. – Р. А.>*, и, поужинав, тотчас уехал. Печень всё ещё болит, но, кажется, меньше.

Так как теперь ещё 2-й час, а поезд идёт в 5, то я хочу съездить к Перфильевым, — не знают ли они подробности о Пензе. Встретил, разумеется, Сухотина. Между прочим он мне рассказал, что Вяземский сочинил шутливые стихи на придворных, и между прочим:

Над Трубецким трунит Толстая,
Толстых я вижу в ней закал,
«Войны и мира» часть седьмая,
Благодарю, не ожидал.

<Кн. Николай Иванович Трубецкой (1807 – 1874), действительный тайный советник, обер-гофмейстер, член Государственного совета, сенатор, президент Московской дворцовой конторы, председатель Московского опекунского совета.

В качестве свидетельства того, что гр. А. А. Толстая намеренно «трунила» над кн. Н. И. Трубецким, может служить следующая её дневниковая запись под 29 июня 1866 г.: «Меня занимает дразнить кн. Трубецкого, юношу 70 лет, а главное... он поддаётся моему кокетству» *(цит. по: 83, 165). – Р. А.>*

У Соловьёва денег только рублей 500. *<Иван Григорьевич Соловьёв (1819 – 1881) –* книготорговец, пытавшийся сколотить состояние на продаже сочинений Л. Н. Толстого. В 1881 г. окончательно разорился и кончил жизнь самоубийством. *– Р. А.>* Он говорит, что идёт туго и потому, что лето, и потому, что ждут 6-й том.

Я всегда с тобой, и в особенности при расставаньи, бываю в размягчённом и кротком настроении. В таком духе я и приехал в Тулу и имел неудовольствие видеть Кузминского, эгоиста холодного, мелкого, злого и так больно было сердиться на него, а нельзя иначе. Я уверен, что он не пустил Таню. Он один из тех людей, радость жизни

которых состоит в том, чтобы делать другим неприятности. Ему, я уверен, слаще обед, — если он отнимет его у другого.

Купил книг и бульона; вина куплю в Нижнем. Из Шилина уж узнаю верно можно ли ехать на Моршанск. Но едва ли? Да и во всяком случае поеду назад, чтобы получить твои письма.

Прощай, душенька.

Л. Т.

Не запечатываю письма, припишу от Перфильевых возвратясь.

У Перфильевых никого не застал, кроме Настасьи Сергеевны и еду на Нижний и возвращусь так же» *(83, 163 - 164)*.

«Перфильевы» — это, конечно, семейство Василия Степановича Перфильева (1826 - 1890), близкого друга братьев Толстых и мужа троюродной сестры Льва Николаевича, дочери Ф.И. Толстого («Американца»).

Упомянутый в письме «Голицын» — это кн. Сергей Владимирович Голицын (1823 – 1879), брат товарища Толстого по Севастополю, Александра Владимировича Голицына. С. В. Голицын был причастен к литературе. К нему перешло держание корректур «Войны и мира» в виду того, что Бартенев забесился из-за бесконечных правок Толстым 5-го тома (для первого издания) и вовсе отказался иметь дело с его корректурами. По его мнению, Толстой «увяз» в правках и «пятый том никогда не кончится» *(цит. по: 83, 165)*.

Наконец, нельзя не сказать и о новых негативных упоминаниях А. М. Кузминского. Без сомнения, это «зеркало» — но не то, толстовское, в котором по сей день критики Толстого-старца, Толстого-христианина видят собственные мурла́, думая, что узрели Толстого… Нет. Это пока ещё «зеркало», обращённое на самого безбожника Толстого 1860-х, в котором он узревал *свою* суетную и эгоистическую морду — опять же, наивно полагая, что «справедливо» критикует ближнего!

На вышеприведённое послание мужа С. А. Толстая отвечала вечером 4 сентября следующим письмом:

«Находят уже на меня минуты, когда вовсе прихожу в отчаяние, что тебя нет, и что с тобой, милый Лёвочка, особенно, когда кончится день, и усталая остаёшься вечером одна с своими чёрными мыслями, предположениями, страхом. Это такой труд жить на свете без тебя; всё не то, всё кажется не так и не стоит того. Я не хотела писать тебе ничего подобного, да так сорвалось. И так всё тесно, так

мелочно, чего-то нужно лучшего, и это лучшее — это только ты, и вечно ты один.

Получила письмо к тебе от Alexandrine <А. А. Толстой (1817 - 1904), родственницы Льва Николаевича. – *Р. А.*> из Ливадии, писанное в день твоего рождения. Она тебе много нежностей пишет, и мне досадно. Поёт на мотив твоего последнего к ней письма и твоего последнего настроения — приготовления к смерти, и я подумала, что может быть лучше бы было, если б ты на ней женился во время оно, вы бы лучше понимали друг друга, она же так красноречива особенно на французском языке. Одно, что она справедливо заметила, что она от своей несчастной любви пришла к тому, что смотрит на всё с точки зрения смерти, но пишет, что не понимает, каким путём дошёл до этого ты, и кажется думает, что не тем же ли путём и ты к тому пришёл, и я усумнилась с нею вместе, что не от несчастной любви, а от того, что тебе любовь слишком мало дала, ты дошёл до этой успокоительной точки зрения на жизнь, людей и счастье. Я нынче как-то в себя ушла, и из себя высматриваю, где моя успокоительная дорожка, и захотелось мне выдти как-нибудь из моей житейской суеты, которая меня так всю поглотила, выдти на свет, заняться чем-нибудь, что бы меня больше удовлетворяло и радовало, а что это такое, я не знаю.

Как Таня маленькая о тебе много спрашивает и говорит при каждом удобном случае, это бы тебя радовало, если б ты слышал. Серёжа два раза спросил, а Илья не понимает совсем; ему, бедному, сейчас Серёжа нос до крови дверью расшиб, и он всё хрипит и чихает. Таня маленькая совсем здорова; мама́, тётенька, и все благополучны, а у меня очень горло болит и голос пропал. Нас всех как, было, Даша перепугала. Она была при смерти больна целые сутки — третьего дня; за мама́ верхового прислали, у ней был жар и рвота страшная. Доктора призывали Кнерцера; теперь совсем лучше, жар маленький, и рвота прекратилась, сделался понос. Муж и жена опять очень дружны, мама́ говорит, что он так с ней ласков, бережен, укладывает её; жаль, что он так переменчив.

А не хорошо тебе от меня уезжать, Лёвочка; остаётся во мне злое чувство за ту боль, которую мне причиняет твоё отсутствие. Я не говорю, что оттого не надо тебе уезжать, но только, что это вредно; всё равно как не говорю, что не надо рожать, а только говорю, что это больно.

Живём мы очень мирно, никого у нас не было, — ночи я не сплю почти совсем, встаю в девять часов (часы теперь у нас по настоящему), чай всё пьём вместе, всякий день читаю с Серёжей, и он пишет, шью, крою, бранюсь с Николаем <поваром> иногда, читаю по

вечерам роман Henry Wood; мне легко читаются её романы, понятнее других. Когда кормлю Лёвушку <третий сын Л. Н. Толстого, род. 20 мая 1869 г. – *Р. А.*>, всегда философствую, мечтаю, думаю о тебе, и потому это мои любимые минуты. Да, смешно, что почта привезла мне вчера два письма — твоё и Alexandrine, и в обоих четырёхстишие Вяземского <“Над Трубецким трунит Толстая…”>, которое очень польстило Alexandrine, и мне было смешно.

Это почти невероятно, что ты приедешь только двенадцатого. Невозможно вообразить себе, что я в состоянии буду спокойно выждать ещё восемь дней, когда эти пять мне показались веком. А ты теперь едва ли ещё до места доехал. Не посылаю тебе никаких комиссий в Москве. Из Москвы уж спеши скорее домой; что за глупости, что на несколько копеек в Туле дороже провизия, а я лишусь тебя для этого на несколько часов.

Мама̀ что-то не весела вчера и нынче, и вообще дух её переменился с тех пор, как она побывала у Кузминских и видела их несогласный ménage [*фр.* домашний обиход]. Мне тебе что-то много надо написать, всё думаю в продолжение дня, вот это Лёвочке напишу, а теперь перезабыла много и письмо то вышло такое бестолковое; я тебе говорила, что я писать письма разучилась; поскорей всё хочется сказать, а всё вместе нельзя. Вот письмо-то поневоле читаешь, мою болтовню, а дома бы сказал: ты бы лучше с самоваром говорила. Теперь я это вспомнила и обиделась, потому, прощай, хотя мне на тебя досадно, что я так без тебя мучаюсь, всё-таки целую тебя крепко; мне тоже хочется, как тётенькам, сказать тебе: что да сохранит тебя Бог. Долго, долго ещё не увидимся» *(ПСТ. С. 85 - 87).*

Супруги не вели в 1869 г. дневников. Но уже по данному письму «клиническая картина» развития их супружеских отношений – достаточно очевидна. Сквозь обычные «дежурные» фразы о любви, беспокойстве и заботе — прорываются подлинные, искренние, но совершенно не продуктивные эмоции отвратительной ревности и малооснователные упрёки!

Следующее по хронологии письмо Л. Н. Толстого, от 2 сентября, уже из Нижнего Новгорода, в целом малоинтересно: обычные путевые жалобы. Интересна в нём только следующая подробность:

«60 вёрст от Москвы ехал со мной купец, богач Лабзин, с которым я имел чрезвычайно интересный разговор, о божественном» *(83, 167).*

Без сомнения, подобные разговоры *в пути*, то есть в положении, чем-то родственном состоянию реинкарнационного *перехода* или (в известных нам условиях бытия) экзистенциального кризиса, всегда сильно влияли на эмоции и сознание Толстого: недаром дорожная беседа Пьера Безухова с масоном становится значимым эпизодом в его, тогда ещё не дописанном, романе. И, с другой стороны, недаром именно «разговор о божестве и вере» в марте 1855 г. навёл Толстого впервые на главную, продуктивнейшую идею его жизни: идею служения развитию человечества посредством возвращения ему очищенной от церковно-богословской лжи религии Христа.

Бог не оставлял Льва Николаевича и в эти годы его служения мирским лжи и злу. И вот — Господь «посетил» его острым эмоциональным переживанием в Арзамасе, переживанием чувства бессмысленности жизни по своей воле и волям «близких», таких же церковно-православных, то есть безбожных, людей. Об этом — в следующем письме Толстого жене, от 4 сентября и главном письме в данном эпизоде переписки супругов:

«Пишу тебе из Саранска, милый друг. Доехал почти до места. Отсюда 46 вёрст. Я беру вольных и еду прямо до места.

Что с тобой и детьми? Не случилось ли что? Я второй день мучаюсь беспокойством. Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мной было что-то необыкновенное. Было 2 часа ночи, я устал страшно, хотелось спать и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии; но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал, и никому не дай Бог испытать. Я вскочил, велел закладывать. Пока закладывали, я заснул, и проснулся здоровым. Вчера это чувство в гораздо меньшей степени возвратилось во время езды, но я был приготовлен и не поддался ему, тем более, что оно и было слабее. Нынче чувствую себя здоровым и весёлым, насколько могу быть вне семьи.

В эту поездку в первый раз я почувствовал, до какой степени я сросся с тобой и с детьми. Я могу оставаться один в постоянных занятиях, как я бываю в Москве, но как теперь без дела, я решительно чувствую, что не могу быть один.

Кажется по всему, что я узнал здесь, что я поеду назад на Моршанск, что гораздо ближе. В Саранск и в Нижний я напишу на почту со вложением марки, чтобы мне прислали твои письма в Тулу.

Ехал я всё время один, как в пустыне, не встретив ни одного цивилизованного человека. От Нижнего до 2/3 дороги один характер местности: песчаный грунт — прекрасные мужицкие постройки в

роде подмосковных. Я не люблю этот характер. К Саранску начинается чернозём, похожее всё на Тулу и очень живописно.

Я надеюсь сократить свой отпуск, но ничего решительно не пишу, пока не был на месте. Страшно, главное, ненастье. Мороз подирает по коже при одной мысли ехать назад эти 300 вёрст по грязи.

Я забыл две вещи: кожан и варенье. Но кожан я намерен заменить кафтаном, который куплю, а варенье заменяю сахаром.

Прощай, душенька. Одно хорошо, что мыслей о романе и философии совсем нет» *(83, 167 - 168)*.

Как видим, ценой подаренного миру художественного и историко-философского шедевра стало для Толстого обострение проблем с психическим здоровьем, с которыми он борется уже в этой поездке и вполне справляется в начале 1870-х гг. Творчески-положительной стороной краткого душевного расстройства стало то, что Толстой никогда уже не упускал из внимания проблему смерти и неуничтожаемых ею смыслов временной жизни человека в материальном теле — проблему, попытки разрешения которой для себя приведут его к христианскому религиозному пониманию жизни.

На 1870 год в нашем распоряжении не имеется ни одного письма С. А. Толстой, и мы переходим ниже к новому десятилетию – 1870-м гг. – и рассмотрению переписки супругов Толстых уже 1871 года.

КОНЕЦ ВОСЬМОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Девятый.
В САМАРУ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
(1871 г.)

Мы оставили Льва Николаевича с супругой в 1869 году, в момент окончания писателем романа «Война и мир» и одновременно — в дни его тяжёлого депрессивного состояния, связанного, в числе прочего, и с предшествовавшим огромным напряжением творческих сил. И не случайно всё-таки среди философских систем, изучавшихся Толстым в связи с выработкой собственной историко-философской концепции в 1869-м и ряде последующих лет на первое место для него выдвинулся Артур Шопенгауэр – хотя биограф писателя Н.Н. Гусев и настаивает, что именно пессимизм этого философа «не

оказал никакого влияния на миросозерцание Толстого» *(Гусев Н.Н. Материалы... 1855 – 1869. С. 679)*.

Помимо философов, Толстой, обдумывая новое историческое сочинение, обильно вычитывает исторические исследования. Так, в связи с чтением «Истории...» С. М. Соловьёва он вносит в записную книжку ряд мыслей, несомненно предвещающих его будущие христианские, анархические и демократические убеждения. В начале, а также осенью 1870 г. он пытается писать роман из эпохи Петра I, а также замысливает историческую «драму или комедию» и роман «из современной жизни». Вечером 23 февраля он делится замыслом такого романа с женой. По её пересказу в дневниковой записи от 24 февраля можно догадаться, что речь идёт о раннем замысле, относящемся к «Анне Карениной»:

«Вчера вечером он мне сказал, что ему представился тип женщины замужней из высшего общества, но потерявшей себя. Он говорил, что задача его сделать эту женщину только жалкой и не виноватой и что как только ему представился этот тип, так все лица и мужские типы, представлявшиеся прежде, нашли себе место и сгруппировались вокруг этой женщины» *(ДСАТ – 1. С. 497)*.

Но в тот же день 24-го Толстой делает первый набросок к роману о времени Петра I, который ему не суждено было написать...

Здоровье между тем всё ещё не поправлялось. Чувствуя невозможность длительного интеллектуального напряжения, Толстой летом 1870 года устраивает себе лучший из возможных отдыхов – перемену занятий. Всё лето он ничего не пишет, зато много работает в поле и в саду. Получив 11 мая письмо от неизменного общего друга А. А. Фета (кстати, с текстом гениальнейшего его стихотворения «Майская ночь»!) Толстой в своём ответе на послание совершенно по-Горациевски хвастает:

«Я получил ваше письмо, любезный друг Афанасий Афанасьевич, возвращаясь потный с работы, с топором и заступом, следовательно за тысячу вёрст от всего искусственного, и в особенности от нашего дела» <т.е. от литературного творчества. – *Р. А.*> *(61, 235)*. Через месяц, в середине июня – «рапорт» Фету о том же, причём ещё задорней: «Я, благодарю Бога, нынешнее лето глуп, как лошадь. Работаю, рублю, копаю, кошу и о противной лит-т-тературе и лит-т-тераторах, слава Богу, не думаю» *(Там же. С. 236 - 237)*.

В это время Толстой не читает и российской прессы, явно стремясь сберечь чистоту сознания и покой нерв.

Такой мудрый, природосообразный отдых отчасти дал результаты. 2 октября Толстой рапортует Фету: «Я охочусь, но уже сок начинает капать и я подставляю сосуды». Этот античный поэтический образ означал, что Толстой, как ему казалось, мог и желал вернуться к интеллектуальной работе. Помимо романа о Петре I, таковой стало зимой 1870-71 гг. изучение греческого языка. Но, если верить воспоминаниям Софьи Андреевны, в последнем деле Лев Николаевич всё же не явил античной разумной меры употребления едва восстановившихся сил:

«Лев Николаевич съездил в Тулу и взял там себе в преподаватели семинариста, который ездил из Тулы в Ясную Поляну и учил Льва Николаевича. И вот в доме только и речи было, что о греческом языке, о греческих писателях, о трудности изучения этого языка, о красоте его. Первый урок Лев Николаевич взял 9-го декабря 1870 года. Увлекался он этим изучением до изнеможения, до страшного утомления и, наконец, до потери здоровья» *(МЖ – 1. С. 182)*.

Действительно, с декабря 1870 года Толстой вновь начал прихварывать. Недомогание всё усиливалось и продолжалось всю зиму и весну 1871 года. В письме к брату в конце января этого года Толстой в таких словах рассказывал о своей болезни: «Род лихорадки и боль зубов и коленки. Страшная ревматическая боль, не дающая спать» *(61, 248)*.

К началу лета 1871 г. нездоровье настолько усилилось, что Толстой начал думать даже о приближении смерти. 9 июня он писал Фету: «Не писал вам давно и не был у вас оттого, что был и есть болен, сам не знаю чем, но похоже что-то на дурное или хорошее, смотря по тому, как называть конец. Упадок сил, и ничего не нужно и не хочется, кроме спокойствия, которого нет» *(Там же. С. 255)*.

Последние слова в этом письме (о том, что нет спокойствия) указывают на то, что, кроме физической болезни, были ещё и нравственные причины недомогания. Дневники и Толстого, и его жены с несомненностью указывают на то, что такие нравственные причины действительно существовали.

Толстой всё ещё не ведёт в 1871-м Дневника… но вот что он записал в Дневнике гораздо позднее, 26 мая 1884 года, в связи с размышлениями об «отсутствии любимой и любящей жены»:

«Началось с той поры, четырнадцать лет, как лопнула струна, и я сознал своё одиночество» *(49, 97 - 98)*.

«Лопнула струна…». «Четырнадцать лет назад» — то есть в 1870-71 гг., за десятилетие до начала исповедания Толстым тех неортодоксальных христианских убеждений, с которыми так любят связывать причину несогласия в жизни супругов Толстых.

Не эта причина в корне. *Не* религиозные убеждения 1880-х. Человек без веры, какой была в 1860-70-х гг. и осталась до смерти Sophie Толстая, *слишком* животное, чтобы *коренную* причину её многолетнего дьяволослужения искать не в животном её состоянии, а в разногласиях высшего порядка.

И такая причина была. На неё деликатно указывает близкий друг, единомышленник Толстого-христианина и личный его секретарь Николай Николаевич Гусев в своих «Материалах к биографии» Толстого на 1871 год. И о ней же свидетельствует, так же не прямо, сама Софья Андреевна в записи дневника от 18 августа 1871 года, в связи с уже состоявшейся тогда поездкой Л. Н. Толстого на лечение кумысом (поездкой, о которой речь ещё впереди, ибо с ней-то и связана вся переписка супругов 1871 года):

«…Всё мне представляется мёртво и безнадёжно. Я не найду слов выразить, что чувствую. Что-то во мне умерло, и я знаю это горе, которое не выплачешь сразу, а которое годами продолжается и отзывается при всяком воспоминании нестерпимой болью души. […] С прошлой зимы, когда и Лёвочка и я, мы были оба так больны, что-то переломилось в нашей жизни. Я знаю, что во мне переломилась та твёрдая вера в счастье и жизнь, которая была. Я потеряла твёрдость, и теперь <переживаю> какой-то постоянный страх, что что-то случится. И случается действительно. Таня уехала <с мужем, которого назначили прокурором в Кутаиси. – *Р. А.*>. Лёвочка нездоров: это два существа, которые я люблю больше всего на свете. Они оба для меня пропали. Лёвочка потому, что совсем не тот, какой был. Он говорит: «старость», я говорю: «болезнь». Но это *что-то* нас стало разъединять» *(ДСАТ – 1. С. 84)*.

Итак, болен был (и отчасти всё-таки поправился кумысолечением) не только Лев. Больна была и Соня. Связана эта болезнь была с *очередными* тяжёлыми родами – с рождением на свет второй дочери, Марии.

О своём заболевании («родильной горячке»), свалившем её без сил в постель, сама она уже более откровенно пишет в старческих мемуарах:

«…От сырости, пока сменили бельё и постель, я ещё больше озябла. Вскоре открылся сильнейший жар и сделалась родильная горячка, продолжавшаяся месяц. Маленькая слабая Маша не брала грудь, молоко от горячки портилось; пробовали брать кормилиц, Маша их грудь не брала, а кричала неистово. …Я плакала и всё кормила больная, с трудом.

[…] Все ждали моей смерти, и я в полусознании слышала, как дядя Костя, думая, что я без сознания и ничего не слышу, сказал: “Она наверное умрёт”.

Ещё помню, как Дьяков взял мою руку и стал считать пульс. “Лёвочка, сорок четыре”, — сказал он. Лев Николаевич вскочил и вскрикнул: “Не может быть!”» *(МЖ – 1. С. 183 - 184).*

С. А. Толстая.
1870 г. Тула.
Фотография Ф. И. Ходасевича

Следствием же этого, сначала сугубо физиологического, болезненного состояния жены Толстого стало и её психоэмоциональное расстройство, которое — в отличие от депрессий Льва Николаевича — никогда до конца не компенсировалось в ней. С конца 1860-х и до конца жизни — она, как можно предположить, уже заметно *не* здорова *психически*…

Да, в немалой степени «виноват» был в болезни жены и сам Лёвочка… но — вместе с той невежественной и суеверной эпохой, в которой он жил и которая воспитала его одним из тех отвратительных самцов и «юзеров», потребителей женщин (их ума, трудов, а главное – тела…), которые выведены были им позднее в образах «Крейцеровой сонаты». Как обитатель России XIX столетия, с её церковно-православными и просто бытовыми суеверными глупостями и гадостями всеторжествующего патриархального традиционализма, Лев Николаевич не представлял себе семейной жизни без её вторичных, первобытно-животных, сугубо репродуктивных аспектов — соития с «второй половинкой», беременности и рождения детей… которых Софья Андреевна, по медицинским показаниям, уже в начале 1870-х просто *не должна была* иметь!

Всё-таки недаром Толстой 1860-70-х гг. периодически обращался к темам воспитания детей, народного просвещения, а Толстой-христианин 1880-1900-х – к идее общинного «муравейного братства» всех людей мира, восходящей к образам и переживаниям раннего детства. Даже телесная природа подсказывала ему *ограниченность* той роли «половинок» (любовников, сожителей…), которую навязывали супругам предрассудки эпохи, ту ***не****природосообразность* высшей (духовной) природе человека как дитя Божия, которую являли «традиционные» (предрассудочно разнополые, моногамные и нуклеарные) семьи тогдашней буржуазно-православной России. «Любовь» половая закономерно увядает (не у всех, бывают и тут «счастливцы»), общих интересов в Боге и истине – не находится, и остаётся — только г*н*усное и г*р*устное социально-экономическое сожительство, удержание «общественной ячейки» ради частенько бездарного, непрофессионального, полуневежественного «воспитания» — то есть одурения и развращения — подрастающих детёнышей, да ещё страдание от непреодолимого ощущаемого и часто нарастающего год за годом разобщения…

Вот об этом-то «обрыве струны семейной жизни» он вспоминал в Дневнике 1884 года, когда для него ещё *стоял*, то есть актуален ещё был вопрос о регулярном освобождении от полового напряжения, и жена пыталась на этой почве управлять им, отказывая в супружеской близости.

Но Толстой 1884 года, Толстой-христианин мог сублимировать избыток полового напряжения… в колку дров, таскание воды в кадку, многокилометровые «творческие» прогулки по Москве… наконец, и в само творчество. Этого всего (кроме неудовлетворяющего, как на грех неуспешного, творчества) не было для Толстого в 1871-м. Нико-

лай Николаевич Гусев подчёркивает, что Толстой, уже оправившийся от усталости, связанной с творением «Войны и мира», болел теперь «не столько от физических, сколько от нравственных причин» — попросту говоря, изводил себя страхами вполне возможной утраты интимных сближений с женой. После болезни Соню было почти не узнать: «худая, с бритой головой и слабая», она стала не только невозможна по своему физическому состоянию, но и неприятна, отвратительна как женский половой партнёр. Годами изводившая себя на тему: «муж меня не любит» (или, как вариант: «никогда не любил»), она с ужасом наблюдала теперь вдруг обнаружившиеся у мужа «кашель, изнурительную лихорадку и мрачность настроения», усугубившиеся такими сильными болями в колене, от которых Толстой «кричал от боли несколько дней и лежал недели две, три» *(Там же. С. 184)*.

Осознавая свою долю безвинной «вины» в метаниях Льва, Софья Андреевна сама наконец настояла на его отъезде в Каралык (в Самарской губ.), где Толстой уже бывал и лечился не без пользы ещё в 1862 году:

«…Я написала брату Стёпе <*С. А. Берсу*>, учившемуся в правоведении, не согласится ли он ехать с Львом Николаевичем в Самарскую губернию на кумыс. Лев Николаевич любил весёлого малого Стёпу, а Стёпа прямо боготворил Льва Николаевича и немедленно согласился ехать с ним на кумыс» *(Там же. С. 185)*.

Кстати сказать. «Свита» для поездки в дикие места Льву Николаевичу подобралась великолепная и не случайная!.. Степан Андреевич Берс (1855 - 1910), в то время 16-летний юноша, первогодок студент, равно как и многоопытный слуга Иван Суворов (из яснополянской семьи Зябревых; 1824 - 1912), познавший Толстого со всех сторон ещё мальчиком — оба деликатно и без слов, по-мужски, могли понять его до самых глубин осиротевшей львиной души.

Итак, 9 июня 1871 года Толстой выезжает в Москву, чтобы там посоветоваться со знакомыми и врачами и решить, куда лучше ехать на кумысолечение: в Саратовскую или в Самарскую губернию. Выбор был сделан в пользу Самарской… и 10 июня Толстой выезжает из Москвы на поезде до Нижнего Новгорода. Перед отъездом из Москвы или сразу после него, с дороги, он отправляет первое из «кумысной» 1871 г. серии своих писем Соне — скорее, краткое оповещение об обстоятельствах и намерениях:

«Я еду в Самару. Всё сделал. Буду писать.

Едва поспею на чугунку <т.е. на поезд. – *Р. А.*>. Няня прекрасная Тани, Линдгольм. Дом Политковского, Колокольников переулок, квартира Швабе, 12 рублей, по рекомендации пастора, молодая. Пускай Таня ей пишет и вышлет 3 рубля на дорогу. Я одобряю. Некрасивая» *(83, 173)*.

Няню было решено нанять для детей соничкиной сестры, Т. А. Кузминской, оттого понятно, почему Соню так специально заботило, чтобы девица была «некрасивая»!

Особенность переписки Толстых 1871 года – в дальности расстояния, на которое отъезжал Толстой и удалённости от цивилизации, в частности от ближайшей почты, места его лечения. Кроме того, письма супруги слали друг другу *часто*, не дожидаясь ответа на предыдущее письмо. Поэтому значительную часть переписки невозможно, не разрушая её диалогичности, выстроить в хронологической последовательности. В данном же случае такая последовательность может быть соблюдена: первое из писем жены Льва Николаевича снова оказалось «встречным» и было писано в тот же день (а точнее вечер), в четверг, 10 июня 1871 года. Приводим текст этого небольшого послания:

«Посылаю тебе, милый Лёвочка, опомнившегося Стёпу и образок, который всегда, везде был с тобой, и потому и теперь пускай будет. Ты хоть и удивишься, что я тебе его посылаю, но мне будет приятно, если ты его возьмёшь и сбережёшь.

Мы нынче вечером играли все в бары, и Таня с Серёжей играли с большим увлечением. У Тани так глазки и блестели, и они оба скоро поняли игру. Начали мы игру без них, а потом играли вместе, и все были очень веселы.

Пока ты в Москве, я ещё чувствую твою близость, как будто вот-вот вернёшься, а когда уедешь далеко, тогда что буду чувствовать, — не знаю. Если бы ты вдруг очень соскучился и если будешь чувствовать, что тоскливое состояние вредно тебе, тогда или нас вызови или приезжай. Но я надеюсь, что ты выдержишь легко разлуку, — ты так способен сам в себе находить утешение; обо мне не тревожься, я думаю, что я тверда буду и благоразумна во всём и с собой и с детьми.

Прошение твоё <по поводу невозможности быть присяжным заседателем (по Крапивенскому уезду) вследствие болезни. – *Р. А.*> завтра отвезёт в Сергиевское Леонид <*кн. Леонид Дмитриевич Оболенский*

(1844—1888). – Р. А.>, ему надо туда на завод. Мама́ я решила положить в своей комнате со мной, т. е. я на железной кровати; никому делать неприятностей не буду, довольно своего горя.

Думай больше о себе, о своём здоровье и спокойствии, меньше о нас. Прощай, милый, целую тебя крепко. Я чувствую, что у меня утешение — дети, а у тебя твоя внутренняя, духовная жизнь. Ради Бога не допускай себя до страха, до тоски, до беспокойства. Всё, что ты будешь делать для своего спокойствия и развлечения — всё я буду находить хорошим. День за днём будет проходить; ничего — вынесем, Бог даст. Прощай, пиши чаще и всю правду о здоровье и душе своей.

Твоя Соня» *(ПСТ. С. 89).*

Упоминание об «опомнившемся Стёпе» в начале письма связано с эпизодом какой-то ссоры юнца с Толстым, после которой он отказался ехать с ним в Москву, но позднее передумал и догнал его *(МЖ – 1. С. 185).*

«Образок», упоминаемый ниже – гораздо более известный эпизод. По его поводу Софья Андреевна сделала такое примечание к ранней публикации её писем: «Образок этот божьей матери по картине Рафаэля Madonna della Sedia, маленький, в серебряной ризе, благословение тётеньки Татьяны Александровны Ёргольской на войну. Она и просила меня, чтоб этот образ был всегда при Льве Николаевиче. Теперь он у меня у изголовья» *(ПСТ. С. 90).*

Ко времени доставления письма в Самару Толстой уже был в Каралыке, куда почта не доходила, так что сей сомнительный колдовской оберег он получил не скоро…

Не получив ещё московское письмо мужа, Софья Андреевна 13 июня шлёт уже второе письмо из Ясной Поляны:

«Сегодня так ждала от тебя письма, милый Лёвочка, и ничего не получила. Со среды, с того дня, как ты уехал, прошло уже столько времени, отчего ты не написал мне поскорей из Москвы? Только и возможно переносить разлуку, если получать письма почаще. Теперь пишу тебе в надежде завтра получить от тебя в Туле письмо, а то я адреса твоего не знаю. Столько надо рассказать и сообщить тебе, что не знаю, как бы потолковее всё написать, и не знаю, что тебе всего интереснее. Главное, мы все, без исключения, здоровы и благополучны. Вчера мы ездили встречать мама́. Я, Варя <Толстая>, Лиза <Оболенская>, Всеволод и Надя <Шидловские>, которые уехали

по тому же поезду, по которому приехала мама́. Ездили мы на четверне; молодёжь вся дорогой ужасно шумела и смеялась. Всеволод тут их всех прельстил; но зато без тебя так развернулся и гримасничал, что я рада была его отправить. Мама́ мы встретили в Туле, она нас не ожидала видеть, взяла даже билет до Ясенков, и очень нам обрадовалась. Она не так плоха, как я это думала; говорит, что ей воды очень помогли и будет их тут продолжать. Она поместилась со мной, и ей, и мне далеко не удобно, но делать нечего, а тётенька Полина за то, что нас стеснила, поразительно холодна и с мама́ и со мной. Но я без тебя ни с кем не ссорюсь.

В Туле же на дебаркадере встретили мы Леонида. Он возил твоё прошение <об отставке из присяжных заседателей по состоянию здоровья. – *Р. А.*> в Сергиевское; его не приняли и тебя оштрафовали. Надо медицинское свидетельство. Леонид хлопотал его достать, но Кнерцера не было, Виганд не дал, и завтра я с Оболенским и Лизой еду в Тулу хлопотать о свидетельстве и повидать Кнерцера для себя. Также завтра же я сниму свою карточку для тебя.

От Оффенберга получила глупейшее письмо полное ошибок. Он пишет, что именье *в сущности не моё, а брата*, имейте дело с ним; а я, хотя и нахожу, что менее 90. 000 р. невыгодно продать Алябьево, но если брат согласен, то я никаких препятствий делать не буду, если брат согласится продать и за 80.000 р. <*Барон Фёдор Иванович Оффенберг (1839—1872)* владел имением Алябьево в 4 верстах от Никольского-Вяземского. В конце концов вместо этого имения Толстой приобрёл имение Тучкова в Самарской губернии. – *Р. А.*>

Если ты хочешь отнестись к брату, так как этот очевидно ничего не значит, то вот его адрес до 15 июля: в Варшаву, в расположение пятого гусарского Александрийского полка, полковому командиру барону Петру Ивановичу Оффенберг. Если ты ему будешь писать, то напиши, что брат его тебе писал, чтоб ты к нему отнёсся.

Сегодня к Тане приезжали Быковы, и дети очень просили играть опять в бары. Мы все играли: и Кузминские, и Леонид, и Быковы, и Лиза с Варей, и я, и Ханна, и Славочка <*Вячеслав Андреевич Берс (1861—1907)*, младший брат С. А. Толстой. – *Р. А.*>, и Серёжа с Таней. Было очень оживлённо. Вечер был чудесный, и мы потом провожали Быковых в катках на лошадях Леонида, а Таня с Кузминским верхом. Когда мы ехали домой, это было лучшее время с тех пор, как ты уехал. Так было тихо, и такая чудесная луна отражалась в парах, которые поднимались, и не было, главное, этого одуряющего шума и суеты, которые меня так оглушали эти дни. Мы все ехали молча, и я думала всё о тебе, воображая, что ты на Волге и тоже верно любу-

ешься чудным вечером. Без тебя у нас ужасное движение: то купаются, то катаются, то игры, то пенье, гулянье; но во всём этом шуме без тебя всё равно, как без души. Ты один умеешь на всё и во всё вложить поэзию, прелесть и возвести на какую-то высоту. Это, впрочем, я так чувствую; для меня всё мёртво без тебя. Я только без тебя то люблю, что ты любишь; я часто сбиваюсь, сама ли я что люблю, или только оттого мне нравится что-нибудь, оттого, что ты это любишь. Не надоедает ли и развлекает ли тебя Стёпа? Что твоё здоровье, что твоё расположение духа?

Дети понемногу учатся, купаются, и что-то нежны очень ко мне. Чувствуют ли это они, что тебя нет, или так пришлось, я не знаю. Оболенский ужасно старается во всём помогать и услужить; а Варю и Лизу мне так приятно иметь здесь, что лучше утешенья, как теперешнее моё общество, — я и не желаю. Особенно мне милы они, потому что они твои, от них твоим духом пахнет.

Мама́ говорила, что твоё письмо ужасно подействовало на Николиньку, и он, кажется, решился поступить. <*Николай Валерьянович Толстой (1850—1879),* сын М. Н. и В. П. Толстых, племянник Льва Николаевича. По воспоминанию сестры, Е. В. Оболенской, в своём письме Толстой рекомендовал Николаю Валерьяновичу поступить на военную службу. – *Р. А.*>

Будь, пожалуйста, твёрд, живи на кумысе подольше и, главное, не напускай на себя страха и тоски, а то это помешает твоему выздоровлению. Пиши мне, ради Бога, почаще. Я бы и рада тебе писать, да куда? Это письмо беру с собой; в Туле, получив твоё письмо, напишу там адрес и пошлю это письмо. Сохрани Бог, если опять не будет от тебя известий. Я всё вспоминаю, что ты говорил: «пиши, что у вас случится». А у нас ничего не случилось и не случится, а письмо всё полно. И так и будет идти день за день, и опять странно, что ничего не выстрелило, когда ты уехал; точно ничего не случилось, а случилось то, что вся моя жизнь оторвалась точно от меня, когда ты уехал. Чем будет тише без тебя, тем лучше. Я теперь как-то остановилась на напряжённом чувстве терпенья, и его надолго во мне хватит. Дай Бог, чтоб и в тебе было то же, хотя, конечно, у меня дети, а у тебя никого нет.

Прощай, милый друг, я тебя здесь, везде, постоянно около себя чувствую хотя всеми силами стараюсь поменьше беспокоиться о тебе и думать. Мы всё собираемся гулять на ту дорожку в Засеке, где ты был поэтично, хорошо расположен и где был разрыв с Стёпой. Прощай, ещё раз, целую тебя в макушку, губы, шею и руки, как люблю целовать, когда ты тут. Бог с тобой, береги себя сколько возможно.

Твоя Соня» *(ПСТ. С. 90 - 92)*.

Возможность прочитать это письмо и ответить на него Толстой, отбывший в места отдалённые, получил только 27 июня…

* * * * *

От Нижнего Новгорода до Самары Лев Николаевич с шурином проплыл на пароходе. С. А. Берс довольно лаконично описывает в мемуарах путь, и, в числе прочего, вспоминает о «замечательной способности» Толстого «сходиться с незнакомыми пассажирами во всех классах»: «В двое суток на пароходе он перезнакомился со всею палубою, не исключая и добродушных матросов, у которых на носу парохода мы проспали все ночи» *(Берс С.А. Воспоминания о Л.Н. Толстом. Смоленск, 1894. С. 52 - 53)*.

Стёпка, как мы помним, ездил с Толстым на Бородинское поле ещё совсем детёнышем, в 1866 году, т.е. в 11 годков, и в этой новой поездке берсёнок убедился: Лев пусть и не столь юн, как он, таки ж прекрасный спутник в любой поездке, а тем более – в путешествии!

С парохода Лев Николаевич посылает Соне (не позднее 12 июня) второе письмо, довольно пространное и писанное ощутимо не без удовольствия. В нём о ходе путешествия по Волге сообщается, конечно, много подробнее, чем в куцых и к тому же покоцанных в 1890-х цензурой мемуарах Стёпки. Приводим его — с не меньшим удовольствием:

«Пишу тебе на пароходе. Письмо поедет из первого города, куда пристанем.

В Москве была такая суета, что не успел. Не успел особенно потому, что вопрос о том, еду ли я на Саратов или на Самару, решился для меня за час до отъезда.

Напишу всё сначала.

Приехал я прямо к Васиньке. <Василий Степанович Перфильев. – *Р. А.*> Володя же <Вероятно, Владимир Андреевич Берс. – *Р. А.*> поехал прямо в Петербург. Васиньки не было дома, но он скоро приехал. О том, где кумыс, они ничего не умели мне сказать. Деньги, 75 р., а не 100, как я думал, он мне отдал. Я написал с вечера телеграмму <доктору> Захарьину в Братцово. <Дачное место в 13 верстах от Москвы. – *Р. А.*> Утром пошёл делать покупки и искать няню и доктора и всё нашёл, кроме доктора.

Никого не было в городе, а ехать на дачу за Пикулиным или Захарьиным, который телеграммой звал меня обедать, я не решился, ибо это задержало бы меня на целый день. То, что сказали бы доктора, мы знаем: сказали бы, что ничего заметного нет, а что ехать не худо. Вопрос о том, куда ехать, я долго не мог решить. Бартеньев, который купил именье у Аткарска <тогда городишко в Саратовской губернии. – *Р. А.*>, уверял, что там хороший кумыс, Васинька тоже, что у Саратова. Но тамбовский доктор Филипович и Леонтьев, которых я встретил, и <Юрий Фёдорович> Самарин, все утвердительно сказали, что несомненно и несравненно лучший климат и кумыс, признаваемый всеми докторами, есть самарский. Дорогой встретил ещё доктора и знающих людей, которые все подтвердили, что Самара лучше всего и я еду на старое место <т. е. в Каралык, где Лев Николаевич уже лечился в 1862 г. – *Р. А.*>. Пиши мне, пожалуйста, и поскорее в Самару до того времени, когда я пришлю другой адрес. Я в самарском почтамте распоряжусь, куда мне высылать.

Теперь о няньках. Боюсь, что Таня затруднится моим телеграфически-кратким письмом <от 10 июня>. Был я у немецкого пастора *<Гейнрих Дикгоф,* старший пастор при церкви св. Петра и Павла в Москве. – *Р. А.*>. Сам пастор и особенно вдова старушка Дикгоф дали мне 5 адресов, из которых я был по двум. Одну не застал дома; другую ту которую более всего рекомендовала Дикгоф, Линдгольн, которой я послал адрес, Стёпа нашёл, и она приезжала ко мне. Ей 25 лет. Жила она 6, кажется, лет нянькой на одном месте, у Мезенцова; наружностью не очень приятна. Но видно честная девушка, здоровая и не балованная. На 12 рублей согласна, с надеждой на прибавку в будущем. Обязанности я ей расписал — ходить за двумя старшими, держать платье, бельё, спать с ними и шить. И учить читать и писать по-немецки. Язык немецкий хороший. По-русски говорит. Я бы её взял. […]

Судно купил отличное с усовершенствованиями, и пришлётся вместе с pas-de-géants <т. н. «гигантские шаги», хороший гимнастический тренажёр. – *Р. А.*>, который купил у Пуарэ *<Яков Викторович Пуаре (1825—1877),* владелец популярного гимнастического заведения в Москве. – *Р. А.*> за 28 рублей. Установка pas-de-géants следующая: призови мущин, и всё старайтесь понять и исполнить.

Вышлются вещи в середу. Здоровье моё не только ничего, но кажется мне, даже совершенно хорошо. Поцелуй детей, себя и всех наших. Пиши, пожалуйста, поподробнее. Стёпе я очень рад. Он очень кроток и мил. Любовь Александровна <Берс>, верно, у нас; поцелуй её и Славочку <Вячеслав Андреевич Берс>. Мне ужасно приятно, что она с тобой» *(83, 173 - 175).*

К письму Толстой приложил подробную инструкцию по монтированию тренажёра «гигантские шаги».

Ответом на это письмо было послание Софьи Андреевны, датируемое исследователями 17 – 18 июня. Будто для того, чтобы умерить понятную и неприятную ей радость мужа, вырвавшегося ненадолго на свободу, Соничка довольно мстительно вкладывает в письмо больному мужу фотокарточку со своей измождённой болезнью физиономией и бритой головой, прикрытой кое-как затрапезного обличия чепчиком, а начинает письмо «традиционно», с неприятных домашних известий:

«Не с весёлым духом пишу тебе, милый друг Лёвочка. У меня больна няня <Марья Афанасьевна Арбузова. – *Р. А.*> и у Лёвушки тоже жар и была рвота. Мне от всего этого хло́пот много, но я не унываю, мне все отлично помогают — и мама́, и Ханна, и Лиза с Варей. Без тебя я очень себя берегу, сплю днём, хожу прогуливаться и т. д. Остальные дети и вообще все мы здоровы. Дети с восторгом рвут землянику, веселы, и гуляют теперь с бабушкой, так как Ханна помогает мне. Лёвушке теперь уж получше, няне тоже. Верно, когда ты получишь это письмо, уж опять у нас всё будет благополучно. Я сейчас получила твоё письмо с парохода и очень порадовалась, что ты себя чувствуешь хорошо. Вместе с твоим письмом получила ещё письмо от Фета и от <*С. С.*> Урусова. Последний написал мне такое милое, умное письмо, что я его ещё больше полюбила. А Фет, как всегда, так напыщенно и говорит, и пишет.

Ты велишь писать подробнее, а мне так сегодня некогда к несчастию. Писать к тебе я очень люблю, это моё утешение получать и посылать письма. Посылаю тебе свою карточку. Делала я её в Туле во вторник, третьего дня, куда мы ездили с Лизой и с Леонидом.

Твоя присяжная служба наделала нам пропасть хлопот. Мы брали у Кнерцера свидетельство, посылали его с Иваном Кузмичём в Сергиевское, и теперь штраф снят и свидетельство принято. Также хлопотали очень о деньгах, 1000 р. с., которые присланы на имя твоё Кузминскому. Тут пригодилась бланка, которую ты мне когда-то оставил и в которой подпись засвидетельствовали в полиции с большими затруднениями.

Таня очень благодарит за няньку. Деньги ей Кузминский сам пошлёт; он сегодня уехал в Москву. Таня ни минуты не колебалась, а очень обрадовалась и сейчас же решила её взять. У Тани, у бедной, очень зубы болят, а мама́ стала себя чувствовать здесь лучше. У нас

жарко, знойно и ветрено. Дети всё продолжают купаться, а мне Кнерцер велел брать ежедневно ванны с отрубями и говорит, что сыпь моя — следствие лихорадки и должна была быть рано или поздно. Он свидетельство дал очень охотно, говоря, что ты отлично сделал, что поехал на кумыс, и несколько раз повторил, как это тебе будет полезно, потому что ты, будто, очень ослабел и физически, и нравственно.

А друзья твои, — Фет и Урусов — оба уверены, что ты болен от *греков*, и я с ними согласна, — это одна из главных причин. В другом конверте пошлю их два письма ко мне; прочти их и напиши им из кибиток. Я им отвечу кратко, так как мне очень мало времени.

Теперь у нас прекратились и прогулки, и катанья, и игры. Все силы, умы и сердца направлены на то, чтоб помогать мне в детской без няни. С такими милыми помощниками всё легко перенесть. У няни тоже жар и рвота, её очень перевернуло и, верно, она не поправится раньше недели.

Очень благодарю за судно и за pas-de-géant [гигантские шаги.] Когда у меня все поправятся, я займусь с князем его поставить. Он говорит, что надо нанять из лагеря солдат его ставить. Для постройки купили лесу на 450 р. с. и загромоздили толстейшими брёвнами и досками всё место около дома. Верно скоро начнут строить. Мама́ я перевела в кабинет; тут ей дети не давали спать. Мне поскорей всё хочется тебе написать, оттого так бестолково пишу.

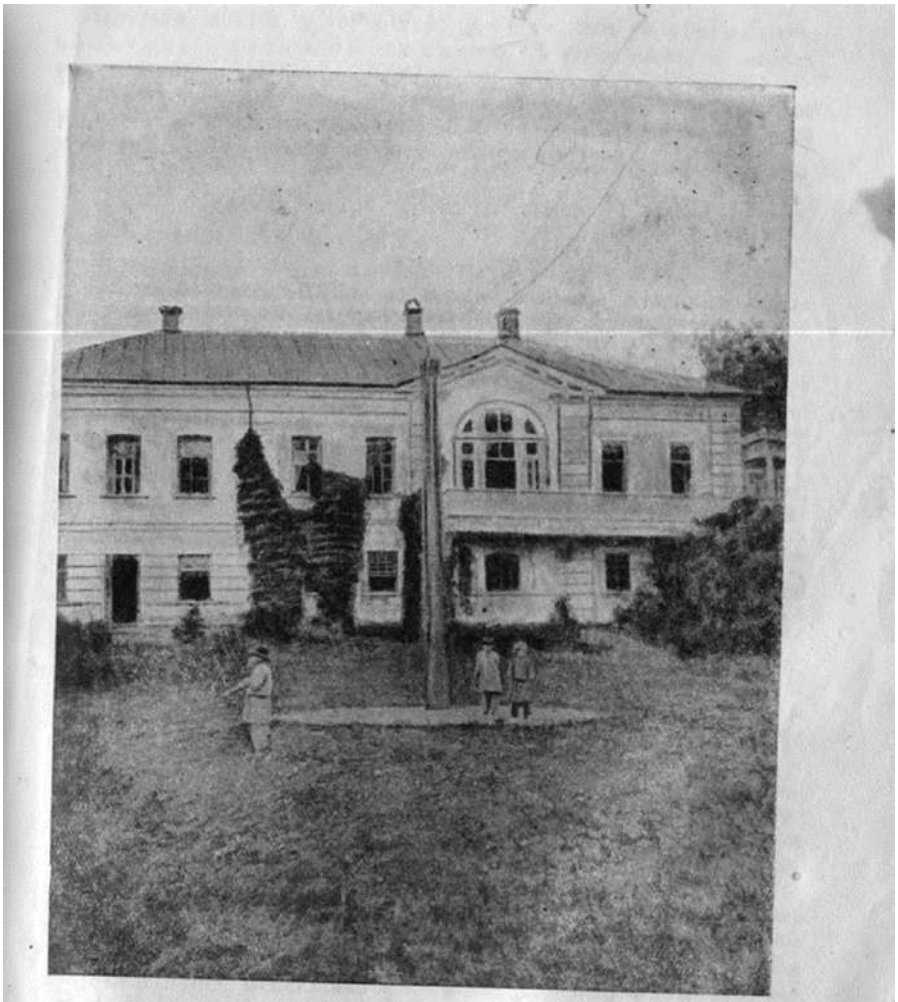
Прощай, милый друг, целую тебя крепко, скоро ещё напишу, а теперь решительно больше некогда. Живи дольше, поправляйся, пиши чаще и будь о нас покоен.

Соня.

17 июня.

Приписываю на другое утро. Няня совсем встала, только слаба, и Лёвушке гораздо лучше» *(ПСТ. С. 93 - 95)*.

Тут таки нужно кое-что прокомментировать. Насчёт греческого языка Толстого… Хорошая, кстати говоря, иллюстрация отрыва «образованного сословия» от верующего народа. Народ жил верой, что страдания, болезни от Бога, от грех*о*в (а один из главных грехов – праздность, безделье); чистенькие же да гладенькие господа — опасались, как мы видим из письма соничкиного, не грех*о*в, а больше грек*о*в и напряжённого труда. Фет в вышеупомянутом письме от 15 июня убеждал Софью Андреевну: «Надо бы употребить всю вашу



Дом Толстых в Ясной Поляне до перестройки в 1894 г.
С фотографии 1871 г.
Музей-усадьба Ясная Поляна

власть, чтобы не давать ему, Льву Николаевичу, так усиленно работать, как он это делает. Пусть отдыхает». А Урусов в том же порицающем толстовские усилия духе даже шутил по поводу его недомогания так: «И что за странная болезнь у человека, имеющего избыток здоровья? Тютчева успокаивает меня тем, что все мущины страдают *мнительностью*, а её отец (Ф. И. Тютчев) сказал мне, что вернейшее средство начать хандрить и заболеть состоит в чтении древних авторов, в особенности греческих. Действительно, графу верно неизвестно, что *звериное число* 666, о котором говорится в Апокалипсисе, принадлежит Риму и Греции; то есть зверем называет апостол языческий мир образованных римлян и греков. Как угодно, а я ужасно страдаю и боюсь за Льва Николаевича. И что за охота предаваться чтениям противных авторов! Вообразите, что во всей Москве только и разговоров о том, как граф выучился по-гречески в

три месяца. А мне было бы ещё приятнее, кабы он писал и освящал своим гением наше общество. Подумайте, как оно нуждается в этом; где ни пройдёшь — везде заблудшие овцы, не имеющие пастыря» *(Цит. по: ПСТ. С. 96).*

Довольно запоздалые, впрочем, рекомендации!.. Лев Николаевич *уже* и язык к тому времени выучил, и пресытился греческой классикой, и, сломав теперь свою «античную» клетку – сбежал в русскую саванну… за той здоровой и полнокровной дикой жизнью, которая была недоступна большинству его светских критиков и советчиков.

* * * * *

Из Самары Лев Николаевич с шурином Степаном Берсом выдвинулись уже на лошадях. Отъехав на 25 вёрст от Самары, на станции Дубовый Умет, Толстой наспех чирканул жене ещё одну, вот такую, “маляву с воли”:

«Пишу из деревни Дубовой, — первая станция к Каралыку, там где я был.

Сколько я ни спрашивал, ничего лучшего этого нет. Двое суток мы ехали по Волге благополучно и как всегда по Волге, очень занимательно, но беспокойно. Я бы сказал, что совсем здоров, коли бы не бессонницы и очень унылое расположение духа. Действительно, Стёпа мне полезен, и я чувствую, что с ним Арзамаской тоски не сделается.

Кумысники так расплодились, что все 4 заведения около Самары набиты битком, и больше ни квартир, ни кумыса нет. Боюсь, чтобы того же не было на Каралыке. Неудобство Каралыка главное в том, что туда нет почты; и я без ужаса не могу подумать о том, что и ты, и я можем пробывать по две недели без писем. Я решился вот как: я буду писать тебе всякий раз, когда будет случай из Каралыка в Самару, но если в неделю не будет случая (я надеюсь, что будет чаще), то я нарочно буду посылать в Самару свои письма и на почту за твоими. Ты пиши, как я говорил, чем чаще, тем лучше, но не менее двух раз в неделю.

Не знаю, что будет дальше, но до сих пор я не выходил из тоски. Стёпа очень приятен. Прощай, душенька, целуй всех.

14-го ночью» *(83, 176 - 177).*

Полным текстом ответа на это письмо Софьи Андреевны, писанного ею 24 июня, мы, к сожалению, не располагаем. В комментариях к вышеприведённому письму Толстого дан только следующий значительный отрывок:

«Твои бессонницы и унылое расположение духа не от того, что ты уехал, а вспомни, то же самое было дома. А теперь по крайней мере есть причина быть унылым, ты нас не видишь, а дома та же тоска была без причины. Всё это обойдётся, как только ты вольёшь в себя известное число вёдер хорошего кумыса; но нашёл ли ты его наконец, вот что меня со вчерашнего дня страшно мучает. Конечно, если б твоя тоска стала продолжаться и дошла бы до высшей степени, то и кумыс пользы не принесёт. Я тебе говорила, что лучше бы всего было мне ехать с тобой. Сегодня, как подумаю о том, что ты уныл, почувствую такой прилив нежности к тебе, и так мне кажется, что я бы тебя и утешила, и устроила, и развеселила. Но ведь я ничего не могла этого сделать, когда ты был тут, а только сама заражалась твоим унынием. Если ты занимаешься греками, то брось их. Наверно это на тебя больше всего действует. Брось, пожалуйста, верь Урусову, верь Фету, верь моей глупой голове и любящей душе, что эти занятия тебе вредны» *(Цит. по: 83, 177)*.

Лев Николаевич верил… и не глупой голове Фета, даже не умнице Урусову, а любящему сердцу… и не одной Сонички, но и своему – любящему Свободу и Жизнь!

* * * * *

15 июня Стёпка и Лев, одолев конец в 130 вёрст, прибыли к назначенной цели – в деревню Каралык (позднее Орловка, что в Николаевском уезде Самарской губ.) В деревне, по переписи 1859 г., числилось 162 двора и свыше тысячи жителей. Но умница Лев поселился, конечно, не в грязной русской деревне… Вот что пишет он сам о прибытии в Каралык в письме к Соне от этого же дня:

«Пишу тебе несколько слов, потому что устал и нездоровится. Устал я потому, что только что проехал последние 130 вёрст до Каралыка. Башкирцы мои все меня узнали и приняли радостно; но, судя по тому, что я увидал с вечера, у них совсем не так хорошо, как было прежде. Землю у них отрезали лучшую, они стали пахать, и бо̀льшая часть не выкочёвывает из зимних квартир. Я поместился, однако, в

кибитке, купил собаку за 15 рублей и сбираюсь с терпением выдержать свой искус, но ужасно трудно. Тоска, и вопрос: зачем занесло меня сюда, прочь от тебя и детей и найду ли я тебя и их такими же, какими оставил. Впрочем, нынче устал и не в духе.

Каждую неделю надеюсь получать известия.

Прощай, душенька, обнимаю тебя» *(83, 178)*.

На то же, и даже большее, надеялась и жена… но тогдашняя почта России была безжалостна в медлительности и ненавязчивости своего сервиса! Прождав 3-4 дня и не дождавшись ничего, Соня пишет и отправляет 21-го ещё одно письмо. Не ответ… а просто так… с девчачьей тоски от ожидания всё писано:

«Мне кажется, я редко пишу тебе, милый Лёвочка, а отчего, сама не знаю. Оттого, что некогда; но мне всегда некогда, я всё в суете, суета — моя сфера, а, главное, мне всё кажется, что ты не получишь моих писем.

С тех пор, как ты уехал, у нас постоянная суета, опомниться нельзя. Теперь, слава Богу, няня выздоровела; опять ходит за детьми и спит с ними, но Лёвушка и Маша немножко разладились: Маша покашливает, а Лёвушка так что-то ноет. Серёжа всё с Славочкой; сегодня залезли на лестницу, которую плотники принесли, и Серёжа свалился и нос расшиб; хотел плакать, но Славочка его пристыдил, и он стал улыбаться. Ездили всё купаться, только я оставалась дома; потом с Лёвушкой <младенцем Львом Толстым-младшим, род в 1869 г. – *Р. А.*> и Парашей <дочь повара. – *Р. А.*> прошли к купальне пешком, а потом приехала со всеми. Танина немка <нанятая Толстым в Москве нянька Линдгольм. – *Р. А.*> приехала вчера вечером, а нынче уже отнекивается ехать на Кавказ. Завтра ей будут делать строгий допрос: говори сейчас — да или нет; а если нет, то мы её завтра же отправим обратно в Москву. А так она нам всем нравится, добродушная и охотно всё делает, хотя видно, что за маленькими детьми никогда не ходила и не умеет ничего делать.

Таня очень мучилась зубами, плакала. Мы послали за доктором, теперь она сидит у нас, очень волнуется об няньке и шлёпает губами, и всё уверяет, что каждому ребёнку нужно по няньке. Саша < *А. М. Кузминский* > уехал в пятницу, т. е. 18-го в Кутаис; когда он прощался со мной и детьми моими, у него были слёзы на глазах и он говорить не мог, но когда стал прощаться с своими, то до того рыдал, что стоял у окна и долго не мог остановиться. Оболенский < *кн. Л. Д. Оболенский* > поехал его провожать, и дорогой их застала

страшная гроза и дождь, такая, какой ещё и не было. Саше пришлось переодеваться в дамской комнате, и он прислал все свои промокшие вещи домой. Таня о нём не очень скучает, её слишком поглотила немка; так жаль, если эта Линдгольм не останется.

В пятницу, т. е. 25-го, мы ждём Дьяковых; они сказали Саше в Москве, куда он ездил на два дня, что собираются к нам. Оболенские сегодня уехали на пять дней к себе в Крапивну кончать дела какие-то, получать жалованье, мыть бельё и проч.

Вот будет суета-то, когда ещё Дьяковы приедут; только бы дети были все здоровы, тогда, может быть, и весело будет, насколько возможно без тебя. Тётенька Полина сама предложила на эти дни ехать в Тулу. Ей, кажется, не хочется видеть Дьяковых, не знаю, отчего. Мы вчера очень с Таней смеялись и Лизой тому, что тётенька Полина с начала приезда мама̀ на всех нас выпустила когти и готова была вцепиться при первой неловкости с нашей стороны. Но так как мы все были с ней очень учтивы и хороши, и она стала мила, вдруг растаяла, стала целоваться со всеми и сама предложила уехать, когда будут Дьяковы. Варинька ездила нынче верхом провожать в Крапивну сестру; кучер ей сопутствовал. Леонид ездил с Серёжей раз и нынче с Славочкой раз верхом. Нынче получили письмо от Серёжи; у него родилась дочь Варинька <*Варвара Сергеевна Толстая (1871 – 1920).* Плод сожительства Сергея Толстого с цыганкой Машей Шишкиной. Талант. Пела и танцевала, как и мама. Её трахал повар С. Толстого В. Васильев (всего родила от него четверых детей), позднее заключивший с нею гражданский брак. – *Р. А.*>, окрестили без никого из наших, не знаю кто. Варя и Лиза обижены, что их не позвали.

Нынче приезжал к нам Бибиков с Николинькой. Он в своей коляске катал Серёжу, Николиньку и Славочку.

[КОММЕНТАРИЙ.

Да, это *тот самый* Бибиков. Александр Николаевич Бибиков (1822—1886), незаконный сын крапивенского помещика. Был довольно богат: владел 574 десятинами земли. Получил образование в Тульской землемерной школе. Был в связи с дальней родственницей, Анной Степановной Пироговой (1837—1872); вследствие ревности она бросилась под поезд в январе 1872 г. Этот случай послужил Толстому фабулой для сюжета смерти Анны Карениной в одноимённом романе. Имение Бибикова Телятинки – всего в трёх верстах от Ясной Поляны. – *Р. А.* **]**

Мама́ сегодня стала пить воды; здоровье её лучше, но не совсем ещё хорошо. Она бодра, помогает нам в доме и с детьми, читает очень много и гуляет с детьми. Я вчера вечером ей собирала старые книги Revue des deux Mondes, и она хочет читать теперь «Le roman d'une honnête femme»; если помнишь, нам очень нравилось — Cherbullier.

[КОММЕНТАРИЙ.

Как мы упомянули выше, Толстой в 1870-71 гг. берёг себя от пакости под названием российская пресса. Да и иностранную особо не жаловал… Одним из исключений был регулярно получаемый и читаемый всеми взрослыми обитателями яснополянского дома французский либеральный журнал «Revue des deux Mondes» («Обозреватель Старого и Нового света»; выходит с 1829 г. по сей день: ***http://www.revuedesdeuxmondes.fr/***) – направления литературного, философского и отчасти политического. Одним из знаменитых его сотрудников был Виктор Шербюлье (V. Cherbullier, 1829—1899), журналист-беллетрист, в 1866 году опубликовавший «Le roman d'une honnête femme» («Роман честной женщины»). – *Примеч. Романа Алтухова.* **]**

Ханна, бедная, всё ещё прихварывает, так бы мне хотелось её починить. И самой ей, очевидно, и купаться, и резвиться хочется, да то ухо стрельнёт, то зуб, то висок; и похудела она ещё. О всех тебе надо говорить. Тётенька <Ёргольская> всё по-прежнему сидит, перебирает старые вещи и денег просила у Оболенского.

Ты пишешь, что вещи вышлют из Москвы в среду, но нынче понедельник, а объявления никакого нет. А теперь посылаю тебе объявление, подпиши его и пришли скорей назад. Без твоей подписи не выдадут ничего, а это, верно, посылка Тани от Веры Александровны *<В. А. Шидловская (1825—1909), тётка С. А. Толстой, дочь А. М. Исленьева. – Р. А.>*.

Я часто думаю о том, где ты и как живёшь; и не могу, не могу, никакими средствами ясно представить. Так мне вообще-то весь мир чужд, исключая Ясной Поляны. Страха о тебе большого тоже нет, потому что ты как-то слишком далёк, и если допустить страх и беспокойство, то можно с ума сойти.

В июле мама́ поедет около десятого или немного попозднее на месяц, т. е. до шестого августа, к Лизе. <Сестра С. А. Толстой, Елизавета Андреевна, вышедшая замуж за Гаврилу Емельяновича Павленкова, жила в имении Павленковых Ходынино в 15 верстах от Рязани. – *Р. А.*> Таня тоже хочет съездить туда. На это время у меня

всё-таки останутся Оболенские, Варя, Пелагея Ильинична и, если хочу, Марья Герасимовна. Я заходила намедни в Туле к ней в келью. И она и Максимила спали. Спросонок она, было, меня, не узнала, а потом очень обрадовалась и первые её слова были: мы, Соничка, твои картошки до сих пор едим. Максимила, когда услыхала шум и разговор, стала из-за стены ворчать и Марья Герасимовна ей долго внушала: «матушка, су-пру-га Льва Нико-ла-евича, су-пру-га их». Та насилу поняла и расслышала ли, стала скорей требовать свой апостольник на голову. А когда обе старухи совсем проснулись и я их разговорила, то они до того оживились, что и с лестницы проводили и за мной ещё по монастырскому двору долго шли и всё расспрашивали. Их поразило очень, что ты лечиться поехал; и они всё друг другу повторяли: «Слышь, лечиться поехал; молить за него надо». Я Герасимовне дала рубль, а посылать за ней только потому не буду, что решительно деть некуда.

Пьёшь ли ты кумыс, толстеешь ли и бросил ли ненавистных греков? Ещё писем от тебя нет с твоего настоящего места жительства. Стараюсь быть терпелива и утешаться, что как прошли уже почти две недели, так и два месяца пройдут, и авось всё будет хорошо и благополучно, когда мы опять свидимся. И ты будь терпелив, ни за что не спеши и не бросай начатого леченья. Оно даст тебе и спокойствие, и силу, и опять с жизнею примирит. Мне всё хочется наладить опять ту жизнь, которую ты, было, нам сначала устроил, а именно длинные прогулки пешком. Да теперь ещё нельзя; маленькие дети и няня хворали, и Таня так сильно хворала зубами; за ней по очереди все ходили. Надеюсь, скоро все поправятся вполне и тогда я буду жить по-твоему. Мне особенно грустно, что всё это последнее время я совсем не бываю с большими детьми, а с ними было бы особенно приятно и утешительно.

Ну, прощай, милый друг, целую тебя крепко. Что, как Стёпа, не соскучился ли? Мама́ очень была рада, что он поехал, а я всякий день радуюсь этому. Все тебе и ему кланяются. Тебе все собираются писать. Будь здоров, доволен, думай обо мне побольше. Я, живя здесь, только и думаю: как бы мне только и делать, что ты любишь. Я ни с кем не бранюсь, не суетилась ещё очень, стараюсь гулять, быть больше с детьми, убираю твои книги; велю проезжать лошадей и водить собак.

Целую твои глаза. Как ты спишь в самарском климате?» *(ПСТ. С. 96 - 99).*

Спалось Льву Николаевичу в южном климате вполне себе неплохо… Степан Берс сообщает вот такие подробности о первых днях Толстого в Каралыке:

Дети Л. Н. и С. А. Толстых — Сережа, Лева, Таня и Илюша. 1872 г. Тула.
Фотография Ф. И. Ходасевича

«На Каралыке его встретили, как старого знакомого. Мы поселились в отдельной кочёвке, нанятой у муллы <этакая мечеть-раскладушка. – *Р. А.*>, который жил с семьёй в другой кочёвке рядом.

Не всякому в жизни случалось видеть кочёвку. Она представляет собою деревянную клетку, имеющую форму приплюснутого полушария. Клетка эта покрывается большими войлоками и имеет деревянную расписную дверцу. Пол заменяет ковыль. Кочёвка легко раскладывается и перевозится. Летом в степи жилище это весьма приятно.

Чтобы лечиться кумысом, надо, подобно башкирам, употреблять его, как исключительную пищу, и при этом оставить всё мучное, овощи и соль, а есть только мясо.

Само собой разумеется, что Лев Николаевич приноровился к этому образу жизни и оттого кумыс принёс ему желаемую пользу.

На Каралыке, кроме нас, были ещё лечившиеся кумысом, но все они точно выдерживали карантин или заключение в степи и к образу жизни кочевников привыкнуть не хотели. Тотчас по приезде Лев Николаевич со всеми перезнакомился и разогнал их уныние. Старик, учитель семинарии, стал прыгать с ним через верёвочку; товарищ прокурора искал случая с ним побеседовать; а молодой помещик и охотник из Владимирской губернии вполне поддался его влиянию» *(Берс С.А. Указ. соч. С. 53)*.

В отличие от прочего «кобыльего общества», Толстой был вполне южанин, настоящий Лев русской саванны – привычный и к жаре, и к отсутствию тени. Судя по следующим его письмам к жене — начиная с письма от 18 июня — чувак депрессняк и прочие хвори постепенно отступили от великого писателя, и он стал с интересом вглядываться в окружающую его колоритную жизнь.

Вот письмо от 18 июня, в котором Толстой ещё очень болен, едва начал выздоравливать и только чуть-чуть начал вживаться в новую обстановку:

«Пишу тебе четвёртое письмо <*Обсчитался:* пятое, если считать записку из Москвы, письмо с парохода, письмо из Дубового Умета и из Каралыка. – *Р. А.*>, милый друг, от тебя ещё не получал и не мог получить. Жду понедельника, когда посланный привезёт письма из Самары. Приятного ничего не могу написать тебе. Здоровье всё не хорошо. С тех пор, как приехал сюда, каждый день в 6 часов вечера начинается *тоска*, как лихорадка, тоска физическая, ощущение которой я не могу лучше передать, как то, что душа с телом расстаётся. Душевной тоски по тебе я не позволяю подниматься. И никогда не думаю о тебе и детях, и оттого не позволяю себе думать, что всякую минуту готов думать, а стоит раздуматься, то сейчас уеду. Состоянье своё я не понимаю: или я простудился в кибитке первые холодные ночи, или кумыс мне вреден; но в 3 дня, которые я здесь, мне хуже. Главное, слабость, тоска, хочется играть в милашку <малышовая домашняя игра Лёвушки с сестрой и братьями. – *Р. А.*> и плакать, а ни с башкирами, ни с Стёпой это неудобно.

Живём мы в кибитке, пьём кумыс (Стёпа тоже, все его угощают); неудобства жизни привели бы в ужас твоё кремлёвское сердце: ни кроватей, ни посуды, ни белого хлеба, ни ложек. Так что, глядя на нас, ты бы легче переносила несчастия пережаренной индейки или недосоленого кулича. Но неудобства эти нисколько не неприятны, и было бы очень весело, если бы я был здоров. А то я нагоняю тоску на

Стёпу. И я вижу, ему скучно. Охота порядочная. Я раз ходил и убил двух уток.

Тут живёт, кроме нас, человек 10 кумысников всякого сорта: товарищ прокурора, адвокат, помещик, попы, купцы, и я нашёл профессора Семинарии греческого языка и с ним читал. Я насчёт себя решил, что жду до того воскресенья, 27-го, и если не пройдёт тоска и лихорадка, то поеду домой.

Тут было холодно по ночам; но с вчерашнего дня, 17, началась жара ужасная, и я нынче говорил Стёпе, который ныл, что если запуститься, то можно придти в отчаяние от этой жары; главное, от мысли, что на сотни вёрст кругом не найдёшь буквально ни одного дерева, и что укрыться от солнца можно только в кибитку, которая пропечена солнцем и в которой мы сидим голые и то потеем.

Больнее мне всего на себя то, что я от нездоровья своего чувствую себя 1/10 того, что есть. Нет умственных, и главное поэтических, наслаждений. На всё смотрю, как мёртвый, то самое, за что я не любил многих людей. А теперь сам только вижу, что есть; понимаю, соображаю; но не вижу насквозь, с любовью, как прежде. Если и бывает поэтическое расположение, то самое кислое, плаксивое, — хочется плакать.

Может быть, переламывается болезнь. Что дома, пиши всё подробнее обо всех. Думать я о тебе себе не позволяю наяву; зато во сне вот две ночи вижу тебя. Вчера ты куда-то очень развязно уезжала, а я тебя всякими хитростями старался удержать, и был в отчаянии. А нынче Таня сестра в бархатном платье куда-то ехала, и мы с тобой её удерживали.

Прощай, душенька, пиши больше. Целуй всех.

18 июня. Адрес: Самара, до востребованья» *(83, 178 - 180)*.

28 июня Соничка получила в Ясной Поляне сразу два письма от мужа — от 15 и от 18 июня. Разумеется, вечером этого же дня она пишет ответ. Хронологически ему предшествуют письма Толстого от 23, 26 и 27 июня, но, дабы не разрушать диалогичности и целостности читательского впечатления, приводим соничкино письмо от 28-го прежде них.

«И вчера, и сегодня получила я от тебя письма, милый Лёвочка, и на меня сделали они одно впечатление, очень грустное, — что тебе не хорошо. Но даже в последнем письме ты был только три дня на месте, и всякое леченье действует первое время очень дурно, как и воды, и всё. Твоё размягчённое расположение духа и безучастность ко всему, тоже, я думаю, происходит от того, что кумыс сразу осадил

твои нервы и слишком подействовал. Если б я не утешилась, что всё будет к лучшему, можно бы с ума сойти от тревоги по тебе. Но я рада и благодарна, что ты мне пишешь всё, и правду. Одно ещё утешительно, что ты ещё и от дороги не успел отдохнуть, когда писал мне письмо 18-го июня. Очень будет тебе дурно если ты вздумаешь вернуться, не выдержавши шестинедельного курса леченья. Ты только изломаешь себя, а пользы не сделаешь. Я нынче долго беседовала с Алексеем <яснополянский *крестьянин Алексей Степанович Орехов (1836 – 1882)*, ездивший с Толстым в Самарскую губернию на Каралык в 1862 г. – *Р. А.*>, всё его расспрашивала про ваше житьё у башкирцев, и он мне с большим восторгом рассказывал о всех подробностях кумысной жизни. Видно, это одно из его лучших воспоминаний. Боюсь ужасно, что Стёпа вдруг совсем падёт духом и начнёт уговаривать тебя приехать, а ты и сам, готовый на это в душе, скорее склонишься на отъезд, подстрекаемый Стёпой.

Если ты всё сидишь над греками, — ты не вылечишься. Они на тебя нагнали эту тоску и равнодушие к жизни настоящей. Не даром это мёртвый язык, он наводит на человека и мёртвое расположение духа. Ты не думай, что я не знаю, почему называются эти языки мёртвыми, но я сама им придаю это другое значение.

[Показателен ответ на это Толстого в письме 16—17 июля *(см. полный текст ниже)*: «Письма твои мне вероятно вреднее всех греков тем волнением, которое они во мне делают». – *Р. А.* **]**

Сегодня рождение Серёжи; я ему подарила шашки и белые кирпичики. Он очень был доволен и очень мил целый день. Вечером он меня стал целовать и за что-то благодарить, потому что верно был счастлив. Ему и все подарили: Таня — лото, тётенька Полина, которая опять приехала нынче утром — чудесную чернильницу; мама́ — зоологическое лото, потом часы, конфеты и проч. Мы, было, собирались после обеда ехать в Засеку чай пить и взять с собой всех детей и разные лакомства, но нагнало туч, была гроза, сильный дождь и мы остались. Серёжа очень пристрастился к игре в шашки, потом играли в лото, и дети были очень веселы. Ханна опять больна, у ней опять лихорадка и боль в лице и зубах. Нынче ей получше, но она всё ещё сидела внизу. Вчера мы, было, поехали к обедне, но, когда приехали в церковь, обедня уж отошла. Отслужили в семь часов утра, потому что было молебствие. Жаль было, потому что я забрала всех пятерых детей и хотела их причащать. Теперь сырая погода, и не знаю, когда опять соберусь. По этому можешь судить, что дети все, слава Богу, до сих пор здоровы и только ещё поправляются. Я

тоже, даже слишком, здорова. Только ты один мне всю душу вытянул своей неопределённой томящей болезнью. Я не могу себе представить, как ты живёшь со всеми неудобствами; но мне вообще так больно всё, что тебе не хорошо и неудобно, что я стараюсь и не думать об этом. Когда я получаю твои письма, то меня вдруг всю охватит тобою, я тебя опять почувствую около себя, как будто ты тут и я говорю с тобой; но я тебя от себя скорей гоню, чтоб не думать и не приходить в отчаянье.

В пятницу к обеду приехал к нам Дьяков с Машей *<Марья Дмитриевна Дьякова (1850—1903). – Р. А.>*. Он всё проповедывал о принципах супружества, и упрекал мне и Тане, что мы расстались с мужьями на два месяца. Меня он не смутил. Для меня это слишком серьёзный вопрос, и слишком больно мне было решиться на это, чтоб вопрос этот слегка обсуживать с Дьяковым. Если мы оба решились, то, стало быть, это так надо было. Но всё-таки Дьяков меня немного расстроил, и мне было неприятно.

Мама́ весела, и днями бывает ей гораздо лучше, а иногда делается одышка. Таня очень возится с детьми и иногда приходит в озлобленное волнение. Отказавшись от немки, она уже не считает себя в праве жаловаться, и сама возится с детьми больше, чем прежде. Вчера она от мужа получила письмо длинное из Одессы. Он очень восхищается морем, пишет длинный реэстр, что купил, но скучает без своих. Вчера же братья писали к мама́. Николинька <сын М. Н. Толстой. – *Р. А.*> и Володя *<Владимир Андреевич Берс (1853—1874),* брат Софьи Андреевны. – *Р. А.*>, мрачные, сидят друг против друга и упорно молчат. Николинька, будто бы, на днях поступает в полк, но очень не охотно.

Дьяковы на другой же день уехали вечером и увезли Варю. Мы их провожали на Козловку и чуть не опоздали. Смотритель, спасибо, за три минуты дал билеты и свесил багаж. Только что двинулись вагоны, подходят вдруг Оболенские. Они только что приехали из Крапивны; и Лиза, узнавши, что мы поехали на Козловку, бросилась в отчаяньи на тех же усталых лошадях в погоню. Но она уже не застала Дьяковых, а видел князь в окно вагона голову Дмитрия Алексеевича, и только все ахнули. Лиза плакала, но когда мы приехали домой, она развеселилась. Раньше Леониду нельзя было приехать. Теперь они у нас, и я им всегда очень рада. Лиза так мила, такая помощница во всём и такой друг. У них план проситься жить к нам в том доме на зиму. Я конечно сказала, что мы будем очень рады, и это правда, но главное князь боится, что ему этого не дозволит начальство. <Л. Д. Оболенский служил в то время по акцизу, ревизуя фабрики и заводы. – *Р. А.*>.

Мама́ уедет от нас шестого июля, и Таня тоже едет с ней дня на три к Лизе. К тому времени вернётся Варя, и Дмитрий Алексеевич обещал и Машу с Софеш <Софья Войткевич, вторая жена Дьякова. – *Р. А.*> привезть к нам. Оболенские вернее всех: они меня не оставят. Мама́ обещает тоже опять приехать. Признаюсь, больше народу мне теперь лучше. Мне делается ещё более хлопот и тем лучше. Главное не задумываться.

Лёвушка делается очень мил. Я его спрашиваю, указывая на мама̀: кто это? Он говорит: бабика. Потом посмотрел на Пелагею Ильинишну, засмеялся и говорит: «много бабики». Так это было смешно. Теперь у него привычка всем говорить «милая», и это так мило.

Я всё с Трифовной <*Степанида Трифоновна Иванова (ум. 1886 г.), кухарка, позднее экономка в доме Толстых. Общий стаж – 35 лет. – Р. А.*> варю клубнику и землянику. Таня всякий день обедает у нас, и Трифовна очень довольна, что может помогать сидеть с нами и разговаривать. Люди наши все хороши, только глупы; но все всегда дома, учтивы и мне не делают ни малейших неприятностей. Кучер и Сергей особенно даже стараются. Pas-de-géant <«гигантские шаги»> поставили нынче, но ещё бегать нельзя было, земля не осела. Ставил Прохор <плотник Толстых. – *Р. А.*>. Дети, очевидно, не понимают, как это будут на них действовать и ждут в недоуменьи. Завтра попробуем.

Прощай, друг мой милый; уж я теперь ничего тебе не советую, ничего не настаиваю. Если ты тоскуешь, то это вредно. Делай, что хочешь, только бы тебе было хорошо. Старайся быть благоразумен и ясно видеть, что тебе может быть хорошо.

Ты был уставши, ты вдруг переменил весь образ жизни; может быть поживши, ты будешь в состоянии быть опять не одной десятой самого себя, а цельным. Бог с тобой, мой милый друг, обнимаю и целую тебя. Если б я могла передать тебе хоть частицу своего здоровья, энергии и силы. Я никогда не помертвею. Мне довольно одной моей сильной любви к тебе, чтоб поддержать все нравственные и жизненные силы. Прощай, два часа ночи, я одна и как будто с тобой.

Соня» *(ПСТ. С. 100, 103 - 105).*

Ответ на данное письмо супруги, с таким эмоциональным и искренним финалом, был писан Толстым только 16-17 июля. Ему предшествуют хронологически ряд значительных событий, а так же ещё один эпизод переписки, поэтому обратимся теперь снова к Льву Николаевичу и его пребыванию в Каралыке.

Итак, с 15 примерно по 27 июня Толстой не получал известий из Ясной Поляны и постепенно приходил в себя… По нижеприводимым нами письмам Толстого и по воспоминаниям С. А. Берса можно представить образ его жизни в Каралыке. Вставал он в 6 – 7 часов, тут же напивался кумысу или чаю с молоком и отправлялся «на зимовку» — в деревню, для общения с «кобыльим обществом», т.е. с другими больными. Развеселив их и себя, он гулял около кибитки, любуясь формами и статью прекрасных башкирских кобылок и девушек. Заглядывал в кибитку, пил чай, читал (и по-гречески, да!), обедал и снова налегке, в одной рубашке, выходил к прекрасным лошадкам и башкиркам… Конечно, ходил на охоту – и щедро разнообразил дичью башкирские блюда из баранины. Без вилки и ножа, руками, рвал сочнейшее мясо, запивая кумысом, кумысом, кумысом… по многу раз в день! Наконец, на пару с упомянутым выше учителем греческого языка начал переводить с греческого сочинение Геродота.

23 июня он в первый раз подробно и смачно описал свою жизнь и своё состояние сам в очередном письме жене, сопровождаемом небольшими приписками и для детей. Здесь же Толстой впервые сообщает жене о намерениях купить земли в Самарской губ. Приводим текст письма:

«С радостью пишу тебе хорошие вести, милый друг, о себе, т. е. что два дня после последнего письма моего к тебе, где я жаловался на тоску и нездоровье, я стал себя чувствовать прекрасно, и совестно, что я тебя тревожил. Не могу, по привычке, ни писать, ни говорить тебе того, что не думаю. Мучительно только то, что завтра две недели, как я из дома, и ни слова ещё не получал от тебя. Ужас берёт, как я подумаю и живо представляю тебя и детей, и всё, что с вами может случиться.

В том, что я не получал писем, никто не виноват, кроме местности, — 130 вёрст не почтового тракта. Завтра будет неделя, что поехал посланный башкир, который должен был вернуться в воскресенье, — нынче середа, и его нет.

Теперь я узнал новый мой адрес, который и приложу в конце. Пиши через раз: один раз в Самару, другой раз по новому адресу. Когда я получу письма, я напишу, какой адрес лучше.

То, на что я жаловался тоска и равнодушие прошли; чувствую себя приходящим в скифское состояние, и всё интересно и ново. Скуки не чувствую никакой, но вечный страх и недостаток тебя, вследствии чего считаю дни, когда кончится моё оторванное, неполное

существование. 6 недель я, день в день, выдержу, и потому к 5 августа думаю, и не смею говорить и думать, думаю быть дома. Но что будет дома? Все ли целы, все ли такие же, какими я оставил. Главное, ты. Ново и интересно многое: и башкиры, от которых Геродотом пахнет, и русские мужики, и деревни, особенно прелестные по простоте и доброте народа. Я купил лошадь за 60 рублей, и мы ездим с Стёпой. Стёпа хорош. Иногда очень восторжен и всё с значительным видом ругает Петербург, иногда пристаёт, и мне его жалко, потому что ему всё-таки скучно, и жалко, что он не в Ясной. Рассказывать вообще я буду тебе много и буду сердиться, что ты слушаешь, как пищит Маша <*Марья Львовна Толстая (р. 12 февраля 1871 г., ум. 23 ноября 1906 г.),* вторая дочь Л. Н. и С. А. Толстых. – *Р. А.*>, а не то, что я говорю. Будет ли это? и когда? Я стреляю уток, и мы ими кормимся. Сейчас ездили верхом за дрофами, как всегда, только спугнули, и на волчий выводок, где башкирец поймал волчёнка. Я читаю по-гречески, но очень мало. Самому не хочется. Кумыс лучше никто не описал, как мужик, который на днях мне сказал, что мы *на траве*, — как лошади. Ничего вредного самому не хочется: ни усиленных занятий, ни курить (Стёпа меня отучает от курения и даёт мне, всё убавляя, теперь уже по 12 папирос в день), ни чая, ни позднего сиденья. <Окончательно Толстой отказался от курения только в начале 1888 года. – *Р. А.*>.

Я встаю в 6, в 7 часов пью кумыс, иду на зимовку, <т. е. в саму деревню Каралык, находившуюся в двух верстах от кибиток, в которых жили летом. – *Р. А.*> там живут кумысники, поговорю с ними, прихожу, пью чай с Стёпой, потом читаю немного, хожу по степи в одной рубашке, всё пью кумыс, съедаю кусок жареной баранины, и, или идём на охоту, или едем, и вечером, почти с темнотой, ложимся спать.

Ты мне велела посмотреть, каковы удобства жизни и путешествия. Я всё спрашивал здесь о земле, и мне предлагали землю здесь по 15 р. за десятину, которые приносят 6% без всяких хлопот, а нынче один священник написал письмо о земле, 2500 десятин, по 7 рублей, которая кажется очень выгодною. Я завтра поеду смотреть.

И так как вообще очень может быть, что я куплю эту землю или другую, то я прошу тебя прислать мне билет Купеческого банка, который может понадобиться для задатка (посредством перевода через Самарский банк).

Сон здесь больше всего меня сближает с вами. Первые ночи видел тебя, потом <сына> Серёжу. Портрет детей показываю башкирцам и башкиркам. Что Таня и нянька. Саша верно уехал. Я очень жалел, что не вышло с ним перед разлукой, и не сказал ему, что если между

нами пробегали кошки, то теперь я очень рад, что мы расстались с ним совсем друзьями.

Что моя надёжа Любовь Александровна? Я теперь уступил бы ей здоровья своего. Что шталмейстер милый и девочки. <«Шталмейстер» — кн. Леонид Дмитриевич Оболенский, муж Елизаветы Валерьяновны. «Девочки» — В. В. Толстая и Ел. В. Оболенская (дочери М. Н. Толстой). — *Р. А.*>.

Вариньку вспоминал вчера при виде табунов в горах и в вечернем освещеньи.

Во сне я видел, что Серёжа шалит, и что я на него сержусь, наяву, верно, это напротив.

<Далее – приписки для детей.>

СЕРЁЖА.

Напиши мне, как ты живёшь? Ездишь ли верхом, и часто ли тебя бранят или хвалят мама и Ганна, и сколько у тебя за поведенье? Целую тебя.

ТАНЯ!

Тут есть мальчик. Ему 4 года и его зовут Азис, и он толстый, круглый, и пьёт кумыс, и всё смеётся. Стёпа его очень любит и даёт ему карамельки. Азис этот ходит голый. А с нами живёт один барин, и он очень голоден, потому что ему есть нечего, только баранина. И барин этот говорит: хорошо бы съесть Азиса, — он такой жирный.

Напиши, сколько у тебя в поведении. Целую тебя.

ИЛЮША!

Попроси Серёжу, он прочтёт тебе, что я напишу.

Нынче башкирец поехал верхом и увидал трёх волков. И он ничего не испугался и прямо с лошади прыгнул на волков. Они стали кусать его. Он пустил двух, а одного поймал и привёз к нам. И нынче ночью, может быть, придёт мать этого волка. И мы тогда её будем стрелять.

Целую тебя. Поцелуй от меня обе тёти <Татьяну Александровну Ёргольскую и Пелагею Ильиничну Юшкову. – *Р. А.*> и <сына> Лёвочку, и Машу, и Ганне кланяйся, и Наталье Петровне <Охотницкой; очень знатная, но разорившаяся, нищая дворянка; жила как «приживалка», то есть из милости, при Т. Ёргольской. – *Р. А.*>, и няне, и ещё поди гулять на деревню и скажи Ивановым детям и его жене, что

Иван <Суворов> здоров и разговаривает с башкирами по-татарски и очень на них кричит, а они его не боятся и над ним смеются.

Прощай, душенька, целую тебя.
Адрес неопределён. Пиши по старому» *(83, 181 - 183)*.

Получение этого письма Л. Н. Толстого и ответ на него Софьи Андреевны относится уже к 1 июля. Приведём его в своём месте, а пока – не будем прерывать Льва Николаевича и позволим ему продолжить свой рассказ о пребывании в Каралыке…

Своё следующее письмо, от 26 июня, Толстой начинает с проклятий какому-то башкирцу, который был послан за почтой в Самару и загулял уже на 9 дней… Вместо него Толстой уже подговорил ездить верного Ивана Суворова. Кроме того, Толстой оповещает жену и намерении выехать на ярмарку в Бузулук (в то время – уездный город в Самарской губ.), откуда можно будет послать телеграмму.

Каралык постепенно надоедает ему. Хочется то ли к жене, домой, то ли, хотя бы, какого-то разнообразия. Здоровье снова шалит:

«Мы живём по-старому. Я уже считаю дни. И чуть нездоровится, то тоска ужасная.

В последнем письме я тебе хвалился здоровьем, а это продолжалось только три дня; теперь два дня кашель и нездоровится; но не так, чтобы я бросал пить кумыс и чтобы сказать, что мне хуже. Я жду, напротив, большего улучшения. И нервы крепче, и сил умственных и физических больше.

Верно простуда. Погода отвратительная. То жара, то холод.

Прощай, милая душенька, когда-то обойму тебя» *(83, 187 - 188)*.

Наконец, 27 июня, перед самым отъездом в Бузулук, Толстой таки дождался *первого* с момента приезда в Каралык письма от жены. Напомним, что это было письмо от 13-го – с новостями из Ясной Поляны и напутствиями мужу на время лечения… Толстой тут же пишет большой ответ, добавляющий множество ярких мазков в картину жизни Толстого на кумысе, его чувств, дум и планов:

«Нынче утром, 27 числа, получил первое твоё письмо от 13-го. Вероятно, послано оно 14-го из Тулы, и ты получила моё первое. Получение письма от тебя это маленькое свидание: тоже чувство нетерпения, радости и страха, когда берёшь его в руки, как когда подъезжаешь к дому.

Вчера писал тебе второпях, через мужика, который делал мне услугу и сидел, ждал. Нынче пишу спрохвала. Письмо поедет только 29 с верным человеком. Здоровье моё не дурно, но не могу сказать, что хорошо — ломается. На днях напал кашель, и бок заболел, теперь само совершенно прошло. Изредка бывает и лихорадочное состояние, но меньше и реже, и сил больше, и духом бодрее гораздо. Я жду хорошего. Опишу тебе наше житьё.

Башкирская деревня, зимовка, в двух верстах. На кочёвке, в поле у реки, только три семейства башкир. У нашего хозяина (он мулла) четыре кибитки; в одной живёт он с женой и сын с женой (сын Нагим, которого я оставил мальчиком тот раз <в 1862 г.>, в другой гости. Гости беспрестанно приезжают — муллы — и с утра до ночи дуют кумыс. В третей кибитке два кумысника: довольно противный полу-поляк, таможенный чиновник, Пётр Станиславич, которого очень уважает Иван, и болезненый богатый донской казак, тоже неприятный господин. В 4-й, огромной кибитке, которая была мечеть прежде и которая протекает вся (что мы испытали вчера ночью), живём мы. Я сплю на кровати на сене и войлоке, Стёпа на перине на полу, Иван на кожане в другом углу. Есть стол и один стул. Кругом висят вещи. В одном углу буфет и *продукты*, как, по выражению Ивана, называется провизия, в другом платье, уборная, в 3-м библиотека и кабинет. Впрочем, так было сначала, теперь всё смешалось. В особенности куры, которых мы купили, и которых мне ни с того, ни с сего подарил один поп, портят порядок. Зато тут же, при нас, каждый день несут по 3 яйца. Ещё лежит овёс для лошади и собака — прекрасный чёрный сетер, — называется Верный. Лошадь буланая и служит мне хорошо. Я встаю очень рано, часто в 5½ (Стёпа спит до 10). Пью чай с молоком, 3 чашки, гуляю около кибиток, смотрю возвращающиеся из гор табуны, что очень красиво, — лошадей 1000, все разными кучками с жеребятами. Потом пью кумыс, и самая обыкновенная прогулка — зимовка, т. е. деревня; там остальные кумысники, все, разумеется, знакомые. 1) управляющий графа Уварова, в очках, с бородой, старый, степенный; московский студент, — самый обыкновенный и потому скучный; товарищ прокурора, маленькой, в блузе, определительно говорит, оживляется, когда об суде речь, не неприятный. Его жена знает Томашевского <Анатолий Константинович Томашевский, один из учителей сельских школ, находившихся в ведении Толстого в начале шестидесятых годов. – *Р. А.*> и студентов <Работавших у Толстого в Ясной Поляне в 1861—1862 гг. – *Р. А.*>, курит, и волоса короткие, но не глупая; помещик Муромский, молодой, красивый, не кончивший курс в

Москве <тот самый, кто, по свидетельству С. А. Берса, «вполне поддался» влиянию Толстого. – *Р. А.*>. Все, даже Стёпа, зовёт его Костя. Очень симпатичный. Все эти составляют одну компанию. Потом другая компания. Поп, почти умирающий (очень жалок), профессор семинарии греческого <тот, кто прыгал с Толстым через верёвочку в воспоминаниях того же С. А. Берса. – *Р. А.*>. Стёпа его возненавидел, говорит, что он верно ставит 1 всем, и буфетчик из Перми. Все наши друзья. Потом брат с сестрой, кажется, купцы, смирные, как купцы, всё равно что их нет. Я с Стёпой правильно два раза в день отправляюсь ко всем, и к башкирцам знакомым, не забывая буфетчика, и кроме того одну большую делаю поездку или прогулку. Обедаем мы каждый день баранину, которую мы едим из деревянной чашки руками. Для утешенья Стёпы я купил в Самаре пастилы и мармелада, и он *продукты* эти употребляет в десерт. Земля здесь продаётся Тучкова, в 30 вёрстах. *<Павел Алексеевич Тучков (1803—1864) – московский генерал-губернатор. Земля продавалась его сыном, Николаем Павловичем Тучковым (1834—1893). – Р. А.>* Длинно рассказывать, как и что, но эта покупка очень выгодна. При хорошем урожае может в два года окупиться имение. 2500 десятин, просят по 7 рублей за десятину, и, купивши, надо положить до 10 000 на устройство.

Ни при какой покупке у меня не было такой решительности, как при этой. Я написал поверенному в Самару и просимую цену намерен дать. Разумеется, прежде хочу твоего одобрения. Для того, чтобы именье принесло доход и окупилось, нужно лето будущее прожить в нём. Вчера я ездил к будущему соседу, — <Егор Александрович> Тимрот, лицеист, с женой и 5 детьми. И не могу тебе сказать, с каким удовольствием и грустью немного, я видел чайный стол, дети. Один в коклюше, няни. Одним словом, Европа.

[КОММЕНТАРИЙ.

Это добродушно-снисходительное отношение к умному, как оказалось, соседу-«европейцу», у Толстого как рукой сняло, когда он с опозданием прознал, что тот помогал Тучкову «выжать» с продажи имения максимум деньжат. В одном из позднейших писем В. А. Ислявину он уже так зло иронизирует над новым соседом: «Он — Тимрот — великий либерал и двигатель и оценил постройки гнилушки, как я слышал, в 9000» *(Цит. по: 83, 192). – Р. А.* **]**

Домик маленький, стоит весь 600 рублей, посаженный садик, тени никакой, но степной воздух, купанье, кумыс, верховая езда. То же

было бы у нас. Местность этой земли живописная, — гористая, кроме леса. Вода будет везде, где запрудишь пруд.

Я тебе писал прислать банковый билет в Самару. Если ты не посылала, то подожди. Тогда, если буду покупать, можно, будет телеграфировать.

Нынче мы едем с Степой на своей лошади, на дрогах в Бузулук на ярманку. Отсюда 90 вёрст. Для покупки здесь именья особенно соблазняет простота, и честность, наивность, и ум здешнего народа. Ничего похожего нет с нашими иорниками. Заманчиво тоже здоровый климат и простота хозяйственных приёмов.

Доход получается здесь в 10 раз против нашего, а хлопот и трудов в 10 раз меньше.

Прощай, душенька, голубчик; когда поцелую тебя?

Целую всех» *(83, 188 - 191).*

Помимо небольших прогулок, в течение своего пребывания в Каралыке Толстой предпринял и две большие вылазки по более удалённым окрестностям. Первой из них была поездка 28 – 29 июня – за 90 вёрст – на ярмарку в Бузулук. Конечно, Толстой описывает её в следующем письме жене, от 29 июня. Но, для полноты картины, прежде, чем дать слово ему, пусть снова расскажет, что вспомнил, милый его попутчик, Стёпа Берс:

«Поехали мы на одной лошади в небольших дрогах и взяли с собой запас кумыса в небольшом турсуке. Ярмарка отличалась пестротой и разнообразием племён: русские мужики, уральские казаки, башкиры и киргизы».

Накушавшись кумыса, Толстой и сам расхаживал по ярмарке, как этакий легкомысленный молодой мужичок. Один из русских мужиков в толпе, изрядно пьяный, вдруг подошёл и начал обнимать и ласкать его. Застеснявшись всепонимающего, но всё-таки нежелательного свидетеля из семейства жены, Толстой не ответил любящему мужчине естественными ответными ласками и приветом, но решительно отстранился и так строго взглянул на пьяного бедолагу, что тот тут же «сам опустил свои руки и сказал: “нет! ничаго! нябось!”» *(Берс С. А. Указ. соч. С. 55).*

Наконец, и в то время уже будучи, как всякий просвещённый человек своей эпохи, внутренне неудовлетворён церковным лжеучением православия, Толстой навестил двух религиозных подвижников: сперва старого отшельника, жившего в пещере близ монастыря, а затем ересеучителя Аггея, духовного лидера местной секты молокан. Последнего он, на пару с подвернувшимся сельским попом, “атаковал” каким-то религиозным спором, но даже юному Стёпке

было очевидно, что Толстому «больше хотелось познакомиться с учением секты, чем отстаивать православие» *(Там же)*.

Как и обещал, перед отъездом назад в Каралык, вечером 29-го, Толстой посылает жене письмо и телеграмму (к сожалению, не сохранившуюся). В письме он, среди прочего, сообщает:

«Поездка очень удалась. Здоровье моё хорошо; и так хорошо, что после усталости и недоспанной ночи дорогой я, вместо того, чтобы не спать, спал так, что не слыхал клопов, которые (когда я проснулся, увидал) всего обсыпали меня. Ярмарка очень интересная и большая. Такой настоящей, сельской и большой ярмарки я не видал ещё. Разных народов больше 10, табуны киргизских лошадей, уральских, сибирских» *(83, 192 - 193)*.

Через одного из членов «кобыльего общества» Толстой сошёлся с самарским нотариусом Сергеем Фёдоровичем Аляевым, который, по сообщению в письме, обещал ему пересылать телеграммы «с нарочным» *(Там же. С. 193)*.

Кроме того, Толстым было принято решение отказаться от покупки имения у мешкавшего барона Петра Оффенберга – в пользу более выгодной и близкой сделки с самарскими землями: «здешняя покупка застилает все другие» *(Там же)*.

Софья Андреевна ответила сразу по получении телеграммы, ночью 30 июня, письмом следующего содержания:

«Беру перо и бумагу и говорю: милый Лёвочка, а мама́ и Лиза сидят тут же в гостиной и мама́ вздохнула и повторила: «О, милый Лёвочка». Она очень о тебе много думает и жалеет, что не пришлось с тобой пожить. Но она непременно приедет опять в августе.

У меня со вчерашнего дня крылья выросли. Вчера я получила твою телеграмму и с тех пор я весела, опять сильна и бодра духом. Милый, ты знал, что ты меня опять этим поставишь нравственно на ноги, и ты действительно это сделал. Я вдруг опять всех полюбила, только оттого, что ты *весел, жив и здоров*, как пишешь в телеграмме и что, надеюсь, правда. Поправляйся и не спеши домой, благо не очень тяжело тебе, и потому и мне.

Вчера ездила в церковь, причащала всех детей, исключая Серёжи, которому пора говеть. Всё обошлось так хорошо, дети были смирны, лошади шли хорошо и приехали к самому началу. Лёвушка, как и везде, и тут особенно отличился. Других причащали и дали пить тёп-

лое и есть просвиру, а он поднял головку и кричит: «И Лёли, полалуста». Потом, когда понесли это блюдечко в алтарь, он закричал: «Лёли мор [ещё] оно». Все даже засмеялись. Маша спала и почти не кричала; а Таня маленькая раскрыла зонтик, сделала вид большой и, знаешь, как она всегда при серьёзных обстоятельствах делается серьёзна и распорядительна. Я пишу тебе и беспрестанно сбиваюсь, потому что все мешают.

Вчера в первый раз все, и большие и маленькие, бегали с азартом на pas-de-géant. Поставили хорошо, только дурно, что очень столб качается. Лиза, я, Таня и Леонид, мы бегали все вместе до того, что потом никто двинуться не мог. Я после телеграммы не только на pas-de-géant, а, кажется, на небеса бы взлетела. Детям тоже ужасно понравилось, они были в восторге; спать не шли, чай пить не хотели и так и рвались на луг. Лизанька, прежде не видавшая pas-de-géant, ужасно к нему пристрастилась.

Хочу завтра искать на карте тот город, где ты был на ярмарке. Утешился ли Стёпа от неудобств жизни?

У нас Ханна всё хворает, из комнаты не выходит, всё зубы и лихорадочное состояние. Нынче не было лихорадки, и ей лучше, но она всё-таки плоха. Мама́ всё возится с детьми, играет с ними, учит их, я даже не замечаю отсутствия Ханны. Она заставляла Серёжу писать под диктовку, и Серёже это так понравилось, что он просит сам диктовать ему. Мама́ удивилась, как Серёжа хорошо читает по-французски, и мне было очень приятно. Учатся дети в саду, в аллеях, так что им это совсем не трудно; а погода у нас жаркая, чудная; маленький дождик убивает пыль, потом опять солнце, чистый приятный воздух, и духоты нет.

После обеда нынче мы бежали в Чепыж, потому что у нас была чистка известных мест: я, Лиза и все дети. Там брали грибы, ягоды, и мне было так хорошо с детьми; так покойно и весело в сознании, что я делаю своё дело, что без тебя вот моё место и моё утешение.

Лиза пристаёт идти на pas-de-géant, так и ноет, Таня тоже. Мы сейчас пойдём, хотя совсем ночь.

Меня всегда мучает, что ты просишь писать подробности, и я всё вспоминаю, что было и что может тебе быть особенно интересно.

Я писала тебе третьего дня, а теперь больше писать некогда, а главное нечего.

Прощай, милый друг, целую тебя, будь покоен, весел и здоров. Опять скоро напишу.

Твоя Соня» *(ПСТ. С. 106 - 107).*

В связи с описанным Софьей Андреевной эпизодом, в котором маленький Лев, сын Льва попросил в церкви «добавки» при причастии, конечно, в первую очередь вспоминается глава VIII третьей части ещё не написанного тогда романа Льва Николаевича «Анна Каренина». Кроме того, этот же эпизод изложен позднее и самим Львом Львовичем Толстым в *отчасти* автобиографической повести «Яша Полянов» (Глава XXXII, «Говение»). Но так как Яше Полянову (под которым Лев Львович имел в виду себя) в повести уже полных семь лет, то смешной поступок в церкви совершает по сюжету не он, а его младшая сестра Катя:

«Дьячок вторично протянул к катиным губам серебряный позолоченный ковш. Она жадно припала к нему и выпила бы, вероятно, всё вино, если бы вовремя не отнял у неё» *(Толстой Л. Л. Яша Полянов. Воспоминания из детства. – Тула, 2014. – С. 124).*

Наконец (как уже было сказано) только 1 июля Софья Андреевна смогла ответить на важное и очень бодрое, приведённое нами выше, письмо мужа от 23 июня. Вот следующее её письмо, в сокращении:

«Сейчас получила твоё письмо, мой милый друг, и так мне стало весело, радостно, легко, что ты себе представить не можешь. Я почему то чувствовала, что ты оживёшь, если уедешь на кумыс, и страшно ещё очень радоваться, но, кажется, ты ожил. Не думай и не тревожься о нас. Нас Бог тоже хранит, мы все так веселы, здоровы, оживлены, особенно теперь после телеграммы и нынешнего твоего письма, ещё будет лучше, так как я весела и тверда духом, а я без тебя и глаза всем, и душа всего дома. Мама́ так тоже была рада, что твоё здоровье лучше, она смеялась от радости, сама читала твоё письмо и говорила, что теперь она покойна, уедет к Лизе. […]

Сегодня вечером, т. е. после обеда, мы ездили в Засеку по Козловской дороге, налево, со всеми детьми — нашими и Кузминскими, только исключая моей маленькой Маши, пить чай. Брали с собой яйца, баранину, разные сладости, самовар и проч. Напали мы на место чудесное, где Ермил старик снял покос и где гребли сено. Наехало туда из деревни Мостовой пропасть народу, баб, грудных детей. Все они собирались ночевать под большими дубами; построили шалаши, повесили люльки; матери работали, побольше дети качали ребят. Всё это было очень красиво, приятно и весело. Сено душистое, народ весёлый, вечер чудный, тёплый, пары начали подниматься, тишина, чистая, скошенная земля, старые дубы и яркий закат солнца. Мне давно так не было легко на душе.

[…] Здоровье Ханны теперь гораздо лучше; она очень жалела, что не могла ехать с нами в лес чай пить и только проводила нас в катках до Каменных.

Таня, отправивши немку, успокоилась духом. С ней, наверно, едет няня и Трифовна, а если найдёт ещё няню Верочке или горничную, то возьмёт. Дети наши все очень милы: Серёжу часто браню, очень непослушен, а больше ничего. Pas-de-géant их совсем с ума сводит. Бегают они уж совсем хорошо, только Илюша всё валяется. Письма твои к ним прочту им завтра, нынче они уж спали, когда пришло письмо. Верно они сейчас же тебе напишут. Илюша меня уж просил, чтоб за него написать тебе; и просил таким умильным голосом, что он сам не умеет, что я удивилась. Прощай, мой милый, спаси тебя Бог; как хорошо, как хорошо, что ты поправляешься. Выдерживай непременно шесть недель, благо не скучаешь; а о нас, право, беспокоиться нечего. Милого Стёпу мы все целуем, особенно я; я чувствовала и то, что тебе без него было бы плохо. Хотя страшно вспомнить, как мы ещё долго не увидимся, но будет же хоть когда-нибудь это счастье. Целую тебя, голубчик милый, в глаза, губы и руки. Прощай.

Твоя Соня

О деле забыла. Прилагаю письмо Оффенберга, ты ему напиши сам. К тебе собирается на кумыс Александр Николаевич Бибиков. С ним пришлю билет Купеческого банка» *(ПСТ. С. 108 - 109)*.

Супруги ведут счёт отправленных писем, причём Софья Андреевна уверенно лидирует и по количеству отправлений, и по точности этого счёта. 3 июля Толстой отправляет уже 10-ое письмо из своей «кумысной» серии – по его счёту, оно 9-е. Письмо очень кратко: нет пока ни новостей, ни писем от жены, на которые можно бы было пространно отвечать… Приводим значительный отрывок из него:

«…Я всё, как прежде, и измучен ожиданием писем от тебя. Ничего не получал после <письма от> 13-го. Жду каждый день. — Тоска нравственная преобладает над физической, и не знаю, когда кончится моё мученье» *(83, 194)*.

Наконец, около 7-го добрались письма и до Толстого. От жены – сразу четыре: от 17, 21, 24 и 28 июня… Среди них и письмо с ужасной фотографией. Но, пока почта задерживалась, Толстой уже уверенно встал на ноги, взбодрился, и «ударная доза» негативизма от

Сонички, вкупе с портретом, не уничтожила его хорошего настроения, что видно из текста ответного письма его от 8 – 9 июля:

«Вчера был счастливый день. Я измучался ожиданием писем, и приехавший башкирец из Самары объявил, что писем нет, а взял их какой-то русский. Русский мог быть прикащик с хутора или прикащик от Тимрота, которым я обоим поручил быть на почте. Я оседлал лошадь и поехал к обоим. У одного — нет. Приезжаю к Тимрот. Приехал приказчик? — Нет. Но барыня ездила в Самару и привезла вот какую гору писем, — говорит мне мужик. Мне есть? — Все вам. — Прихожу, действительно 4 письма твои, одно от Лизы, <Елизаветы Валерьяновны Оболенской. – *Р. А.*> прекрасное, премилое письмо Урусова и Фета два <их мы уже цитировали выше. – *Р. А.*>. Я читал их тут же на дворе, и наивный мужичок идёт мимо: «что, правда, бугор писем?» Твоя карточка тут же. Мне очень была и есть (потому что часто смотрю) приятна. Хотя первое впечатление было неприятное. Ты показалась мне и стара, и худа, и жалка. Впрочем, после разлуки всегда и портрет, и лицо само человека, которого не любишь, а больше что-то (как я тебя), производит впечатление разочарования. В воображении своём вижу я тебя всегда точно такою, какая ты есть, но совершенною. А действительность не совершенна. Теперь я помирился с портретом, и он мне приятен, и очень.

Письма твои все перечёл раза три. Пиши, пожалуйста, чаще и больше. Хотя не скоро приходят, но с адресом в Самару они все дойдут только за неделю до моего отъезда, т. е. с 24 июля, остановись писать, а напиши 25, 26 (положим, в Нижний, на почту, до востребованья, а 27, 28 в Москву до востребованья.

Всё у вас, судя по письмам, хорошо, кроме няни и Лёвочки; но это уж прошло совсем, надеюсь, и ничто не заменило это. Лиза прекрасно мне всё описала. Письмо это, разумеется, застанет тебя без мама. Тут я немного трушу за тебя, за это время.

Жизнь наша всё по-прежнему. Стёпа ходит на охоту, убил утку и трухтана, я несколько дней не совсем здоров; бок и желудок или печень, как всегда, но всё это слабее при кумысе. Вчера, ездивши за письмами, я сделал поездку вёрст в 40, и от Тимрот поехали со мной верхом M-me Тимрот и молодой лицеист, кончивший курс, Бистром. У Тимрот иноходец, и я в первый раз видел даму на настоящем иноходце. — Шибко скакать надо, чтобы не отставать. И если будем живы, здоровы, достану тебе иноходца. Красиво, быстро и покойно, как в люльке. Стёпа скучает, хотя стыдно здесь скучать ему. Выдь с ружьём, в 2 часа 20 раз выстрелишь. А в озёрах кумысники ловят

на удочку, и не переставая клюёт. Они в полчаса наловили 30 окуней. Я ни того, ни другого не делаю эти дни; гуляю и играю в шашки с Башкиром, Михайло Иванычем. Погода здесь такая, о какой мы в Туле не имеем понятия. Жар приятный, и дождь, грозы, которые никогда не сделают грязи больше, чем на полчаса. Лето жить здесь лучше на дворе, чем у нас в дурном доме.

О покупке земли дело не подвигается, потому что поверенный, с которым надо иметь дело, не в Самаре, а приедет 15-го. Покупка эта выгодности баснословной, как и все покупки здесь. — Это всё расскажу на словах. Целуй всех. Тебя, душенька, обнимаю, целую. Я писал это письмо, не зная, с кем пошлю, поэтому, вероятно, напишу ещё, когда буду посылать. 9-го, приписываю на другой день. Письмо пойдёт завтра. Здоровье нынче совсем хорошо, и нынче мы с Бистромом едем к дальним башкирам и на охоту. В понедельник, 12, буду писать ещё. Меня очень обрадовало то, что ты к Маше стала нежнее. Я так её очень люблю, и мне грустно было, что ты к ней была холодна.

Портрет твой похож на мученицу, но всё-таки я ему рад» *(83, 195 - 196).*

Об упомянутом в письме «Михаиле Ивановиче» С. А. Берс вспоминал в своей книге так:

«На Каралыке Льва Николаевича больше всех развлекал шутник, худощавый, вертлявый и зажиточный башкирец, Хаджи-Мурат, а русские его звали Михайлом Ивановичем. Он удивительно играл в шашки и обладал несомненным юмором. От плохого произношения русского языка шутки его делались ещё смешнее. Когда в игре в шашки требовалось обдумать несколько ходов вперёд, он значительно поднимал указательный палец ко лбу и приговаривал: “большой думить надо”. Это выражение заставляло смеяться всех окружающих, не исключая и башкир, и мы долго потом вспоминали его ещё в Ясной Поляне» *(Берс С. А. Указ. соч. С. 54).*

Пока, как видим, дело с покупкой имения у Толстого только налаживалось. Для дальнейшего знакомства с краем и приобретения лошадей он совершает 10 – 13 июля ещё одну поездку по окрестным деревням – в сопровождении всё того же Стёпы Берса и ещё двоих новых знакомых из «кобыльего общества».

Снова Стёпа:

«Вскоре была предпринята вчетвером поездка по башкирским деревням. Мы запаслись подарками и ружьями. В дороге мы охотились

по озёрам на уток, а останавливались у башкир в кочёвках, где отдыхали и пили кумыс. За наши посещения мы отплачивали подарками при удобном случае. В гостях у башкир Лев Николаевич както вышел в степь из кочёвки, загляделся на лошадь, отделившуюся от табуна, и сказал мне: “посмотри, какой прекрасный тип дойной кобылы”. Когда через час мы уезжали, хозяин привязал похваленную лошадь к нашей бричке в подарок графу. На обратном пути пришлось отдарить за похвалу» *(Берс С. А. Указ. соч. С. 54).*

Дальше пусть расскажет о поездке сам Лев Николаевич – в своём следующем письме к Софье Андреевне, писанном 16 – 17 июля, то есть уже по возвращении из поездки:

«Давно я тебе не писал, милый друг. Виноват немного я, но больше судьба. Я пропустил один случай писать, и с тех пор каждый день мне обещают: «вот поедет, вот поедет», и я всё откладывал, 5 дней, но теперь уж не могу более терпеть и посылаю нарочного. Последнее письмо я писал тебе, кажется, 10-го или 9-го перед отъездом. Мы действительно поехали; так называемый Костинька <муромский помещик. – *Р. А.*>, барон Бистром, юноша, немчик, только что кончивший курс в лицее с медалью, Стёпа и я, на паре лошадей, в корзинке плетёной (здесь все так ездят), без проводника и кучера. Мы сами не знали, куда мы едем, и по дороге у встречных спрашивали: не знают ли они, куда мы едем? Мы ехали собственно кататься по тем местам, где есть кумыс, и стрелять, имея только смутное понятие о каком-то Иргизе, Камелике. <Большой Иргиз — река, впадающая в Волгу. Камелик — левый приток Большого Иргиза. – *Р. А.*> Поездка наша продолжалась 4 дня и удалась прекрасно. Дичи пропасть, девать некуда — уток и есть не кому, и башкиры, и места, где мы были, и товарищи наши были прекрасные.

Меня, благодаря моему графскому титулу и прежнему моему знакомству с Сталыпиным, здесь все башкиры знают и очень уважают. <*Аркадий Дмитриевич Столыпин (1821—1899),* генерал; занимался литературой и музыкой. Отец П.А. Столыпина. Давнишний приятель Толстого, который был с ним на «ты»; были вместе участниками Севастопольской кампании. Толстой встретился с ним во время своего пребывания на кумысе в 1862 г., когда Столыпин служил атаманом в Уральске. – *Р. А.*> Принимали нас везде с гостеприимством, которое трудно описать. Куда приезжаешь, хозяин закалывает жирного курдюцкого барана, становит огромную кадку кумысу, стелит ковры и подушки на полу, сажает на них гостей и не выпускает, пока не съедят его барана и не выпьют его кумыс. Из рук поит гостей

и руками (без вилки) в рот кладёт гостям баранину и жир, и нельзя его обидеть.

Много было смешного. Мы с Костинькой пили и ели с удовольствием, и это нам очевидно было в пользу, но Стёпа и барон были смешны и жалки, особенно барон. Ему хотелось не отставать, и он пил, но под конец его вырвало на ковры, и потом, когда мы на обратном пути намекнули, не заехать ли опять к гостеприимному башкиру, так он чуть не со слезами стал просить, чтобы не ездить. Из этого ты можешь видеть, что здоровье моё хорошо. Немножко болел бок это время; но слабо, и теперь совсем прошёл. Главное то, что тоски помину нет, и что я теперь впился в кумыс и вошёл в настоящее кумысное состояние, т. е. с утра до вечера немного пьян кумысом, и иногда целые дни ничего не ем или чуть-чуть. Погода здесь чудная. Во время поездки был дождь; но теперь три дня жара ужасная, но мне приятная. Стёпа теперь уж не скучает, и, кажется, потолстел и возмужал. Многих бы я привёз сюда. Тебя, Серёжу, Ганну <т. е. Ханну, англичанку-гувернантку в доме Толстых. – *Р. А.*>. Как меня мучает её болезнь. Избави Бог, как она разболится, как летось. С тех пор, как ты мне написала о Бибикове, я каждый день смотрю по дороге и жду его. Если бы он приехал, я бы был очень счастлив и угостил бы его всем тем, что он любит, и наверно предпринял бы поездку в Уфу (всё по башкирам), 400 вёрст, и оттуда уже прямо бы вернулся на пароходе по реке Белой в Каму и из Камы в Волгу. Теперь я этой поездки, хотя и мечтаю о ней, почти наверно не сделаю. Боюсь, что она задержит меня хоть на день приездом домой. С каждым днём, что я врозь от тебя, я всё сильнее, и тревожнее, и страстнее думаю о тебе, и всё тяжеле мне. Про это нельзя говорить. Теперь остаётся 16 дней. Поездка же в Уфу интересна мне потому, что дорога туда идёт по одному из самых глухих и благодатнейших краёв России. Можешь себе представить, что там земля, в которой леса, степи, реки, везде ключи, и земля нетронутый ковыль с сотворения мира, родящая лучшую пшеницу, и земля только в 100 вёрстах от пароходного пути продаётся башкирцами по 3 рубля за десятину. Ежели не купить, то мне хотелось очень посмотреть эту землю. Дело о покупке здешней земли не подвигается. Я написал Саше <Александру Андреевичу Берсу> в Петербург, чтоб он торговал у Тучкова, и здешнему поверенному Тучкова в Самару, но ни от того, ни от другого не получал ответа. Стороной до меня дошли слухи, что хотят теперь просить дороже 7 рублей. Если так, то я не куплю. Ты знаешь, я во всём предоставляю решение судьбе. Так и в этом.

После моего последнего письма я получил ещё два письма от тебя. <Письма от 30 июня и 1 июля 1871 г. – *Р. А.*> Хотел написать, душенька, пиши чаще и больше; но на это моё письмо едва ли ты успеешь ответить мне иначе, как в Нижний. Письма твои, однако, мне уж вероятно вреднее всех греков тем волнением, которое они во мне делают. Тем более, что я их получаю вдруг. Я не могу их читать без слёз, и весь дрожу, и сердце бьётся. И ты пишешь, что придёт в голову; а мне *каждое слово* значительно, и все их перечитываю. Два известия твои очень грустны: это то, что я не увижу мама́ <т. е. Любовь Александровну Берс. – *Р. А.*>, если не поеду к Лизе и не увезу её опять к нам, что я намерен сделать, и главное, что милый друг Таня <Кузминская> угрожает уехать до меня. Это было бы очень грустно. Что ты не пишешь о тётеньке Татьяне Александровне. Получил я ещё по письму от Урусова и Фета и буду им отвечать. На письмо О<ф>фенберга я всё не решил, что отвечать; но и торопиться не к чему, так как адрес его в Варшаву только до 18. Я хочу однако отвечать ему следующее: предложить ему 90 000, которые он просит, но с рассрочкой, без процентов, на 2½, три года, по 30 тысяч.

Поцелуй очень Лизу <Е. В. Оболенскую> милую и за тебя, и за меня, и чтоб она не сердилась, если я не успею в этом жару и хмелю постоянном отвечать на её письмо, которое доставило мне огромное удовольствие. — Целуй всех, даже Дмитрия Алексеевича <Дьякова>, если он у вас с своими, и несмотря на то, что он тебя и Таню дразнит. Таню успокой. Если муж хороший, а её муж хороший, то от разлуки необходимой, — ничего не будет, кроме того, что больше оценит и сильнее полюбит, и найдёт маленькая влюблённая грусть, которая жене должна быть приятна. От неверности же в разлуке дальше гораздо, чем когда вместе; потому что в разлуке есть в душе идеал *своей*, с которым ничто не может сравниться. Это всё и к тебе относится. Что бы Варя <В. В. Толстая> написала. Мы зато с Стёпой рассказывать много будем. Радуюсь, что pas-de-géants стоят, но сам живо представить себе не могу, как это у вас идёт. Представляю только, как Илья падает.

Ах, только дай Бог, чтобы без меня всё также хорошо было до конца, как по последним письмам. Прощай, милый голубчик, обнимаю тебя. И все нервы расстроены. Сейчас плакать хочется, так тебя люблю.

16 июля.

17 июля вечером. Приписываю. Здоров совершенно. Считаю дни. Писем от тебя не привёз башкир. Ему не дали, потому что Jean

<слуга Иван Суворов> слишком усерден и написал дурацкую записку на почту. Надеюсь завтра» *(83, 198 - 201).*

Ко времени написания этого письма Толстым были получены от жены все вышеприведённые нами послания – вплоть до письма от 1 июля. В последующие дни, до своего ответа 20 июля, он получает ещё два Соничкиных письма – от 4 июля (с приписками 6-го и 7-го) и от 10 июля. Здесь и теперь уместно нам познакомить читателя с их содержанием.

Письмо от 4 июля структурно схоже с только что приведённым нами письмом Льва Николаевича: к основному тексту его так же, как и у Толстого, сделаны позднейшие приписки. Очевидно, супруги, не надеясь на скорость прибытия писем, медлили с отсылкой, взаимно испытывая удовольствие даже от такой, удалённой – через бумагу и чернила – беседы друг с другом.

Итак, вот письмо 4 – 7 июля от Софьи Андреевны:

«Не знаю, часто ли ты получаешь мои письма или они пропадают, но я тебе пишу очень часто, это моё единственное отрадное занятие, а то дела хозяйства, варенья, прислуги — совсем меня задавили. Стало тягостно — эта постоянная суета и, главное, то, что все: Пелагея Ильинична, мама́, Таня, Ханна меня постоянно натравливают на людей, т. е. прислугу, а это тяжело и нынче я опомнилась; порядка большого быть не может, а пилить и смотреть за каждым шагом всякого из людей — невыносимо. Умственных разговоров и занятий у нас нет, прогулок нет, музыки тоже. Вчера приезжала к нам княжна Оболенская <сестра Л. Д. Оболенского. – *Р. А.*>, и мне было приятно; мы с ней философствовали, разговаривали и я хоть на два часа забыла о непаренных кадушках и недоделанной простокваше. Ты избаловал меня тем, что я привыкла подыматься с тобой на ту нравственную высоту, которая меня освежает и мирит с *почём тетерева* <Для своей публикации избранных писем к ней Толстого Софья Андреевна сделала здесь такое примечание: «термин, принятый в нашей семье для обозначения материальных интересов» *(ПСТ. С. 113). – Р. А.*>.

La grande nouvelle [Главная новость] та, что Оболенский получил место от Чижова и в конце июля поступает на службу при железной дороге. Он, говорят, очень рад и весел. Всё это сказала мне Лиза, приезжавшая вчера с княжной. Завтра я их жду обоих, Лизу и князя, тогда мне всё расскажут подробно. Мне это грустно, но за них я рада. Нынче в ночь уезжает в Рязань мама́ по железной дороге с Славочкой, а завтра рано утром едет Таня в шарабане на почтовых

со всеми детьми до Венёва, куда Лиза высылает два экипажа и своих лошадей. Одна я не останусь, приедут на это время Оболенские, а Таня уезжает на неделю, мама́ на месяц.

У нас страшная жара была всё это время; я со вчерашнего дня стала купаться, и все дети и мама̀ тоже купаются. Маленькие тоже здоровы, Маша выправляется и ты, верно, найдёшь в ней большую перемену. Мама̀ мне ужасно жаль, что она уезжает, я в ней чувствую опору, защиту, утешение. После тебя только с ней и возможна была бы жизнь. Но теперь, слава Богу, почти половина времени прошла, и я легко вынесу и ещё месяц разлуки. Что за счастье, что твоё здоровье лучше; ради Бога, выдерживай шесть недель, как обещал. Леченье тогда будет полное и я буду покойнее. Хотела бы тебе описать, как мы живём, но не выходит, потому что определённой жизни нет. Встаю я в двенадцать, потому что засыпаю в пять утра. Ночи четыре я не сплю, не могу, Бог знает, отчего. Ночью читаю по-английски, очень приятно думаю о тебе, о всех и всём. Когда пью кофе, дети завтракают. Мы сидим с мама́, я варю варенье или шью; перед обедом едем купаться, после сидим на балконе, как и бывало, и опять шьём и разговариваем. Потом дети, а иногда и мы, бегаем на pas-de-géant, а вечер опять сидим вместе, и тут Таня с нами засиживается. Одно не хорошо и не весело, это то, что мы всё сидим. Теперь с приездом Оболенских, а потом Вари, я налажу опять вечернее гулянье, и когда вспомню об этом, у меня делается радостное волнение. Ты меня научил наслаждаться этими прогулками; я и детей, и Ханну буду брать. Ханна совсем здорова и деятельна опять, как всегда. С волнением жду нынче опять письма от тебя. Я их получила шесть, и так благодарю тебя, мой милый, что ты мне часто пишешь. Я не считала, сколько писала тебе, но, верно, это восьмое письмо <Девятое. Заметим тут, что Толстой тоже ошибся при счёте на одно письмо – но в *свою* пользу. – *Р. А.*>. Это жаль, что ты не можешь получать писем от меня так же, как я от тебя; это такое утешенье — письма.

Иногда мне грустно, что у тебя нет удобств жизни. Чувствуешь ли ты очень все лишения? Не действует ли на тебя это дурно физически? Сейчас приехал Алексей, который ездил покупать железо для дома на крышу и привёз от тебя письмо от 26-го июня. Ты в нём пишешь, что нездоров, кашляешь и опять наболелое место в душе так и отозвалось. Боже мой, сколько надо сил, чтобы не беспокоиться и владеть собой. Твоя телеграмма из Бузулука была после, и она была утешительная, но насколько справедливая? Не студишься ли ты на охоте, не делаешь ли безрассудств? Тебе и тут жара была хороша, а холод вреден. Как жалко, что у вас там бывает холодно.

Если ты не выздоровеешь, придётся ехать уж вместе зимой в тёплый климат. Не сердись на эти мои слова; твоё письмо меня нравственно поранило, и опять всё стало мрачно. Но ты всё-таки пиши всю правду; я всё могу вынести, всё решительно. Кумыс тебе будет полезен, это верно; но не ослабевай душой и дотяни свой срок. Если не очень дорого и трудно, телеграфируй ещё раз, только один раз, хорошо ли здоровье или нет? Всю правду, пожалуйста. Прощай, мой милый, мой друг дорогой, целую тебя, спаси тебя Бог; я через два дня опять напишу. Будет же время, когда мы опять будем вместе; но будешь ли ты здоров? Когда письмо кончаю и то как будто расстаюсь с тобой.

Дети хотят всё писать к тебе, но грибы, ягоды, pas-de-géant, купанье и проч. отнимают у них и время и охоту. Они очень были рады твоим письмам к ним. Смеялись и делали разные замечанья. Серёжа очень интересовался, привезёшь ли ты лошадь и собаку сюда. Ну, прощай, целую тебя опять и опять.

Твоя Соня.

6 июля 1871 г.

Приписываю тебе в детской больших детей, где они ложатся спать и только что с большим волнением приклеивали на свои письма картинки с мыслью, что ты эти картинки отдашь маленькому Азису и он будет рад. Ханна поехала в Тулу, будто бы за ботинками, по железной дороге; мы все её провожали на Козловку в катках. Сейчас она будет назад, опять по машине. Оболенские нынче ночью приехали ко мне, и он уже опять уехал на завод. Место его — помощник бухгалтера, но жалованье неизвестно; если меньше акциза, то он останется тут. Когда Лиза со мной, то мне даже скучно не бывает, такая она славная. Сегодня бегали мы на pas-de-géant: дети, я, Лиза. Третьего дня ночью по почтовому поезду уехала мама́; я её провожала, и потом с Козловки ехала одна; уже рассветало, и было жутко и невыносимо грустно. На другое утро рано уехала Таня со всеми детьми тоже в Рязань, на Венёв, в шарабане. Так как у ней вида нет и ей подорожной не выдали бы, то она взяла мой диплом и по нем ей и выдали подорожную. Но теперь она поехала под моим именем, и я немного робею. Бессоницы мои прошли, здоровы мы все совершенно. Дай Бог, чтобы и ты мне то же мог написать, мой милый друг.

Что тебе сказать о себе? И я считаю дни, и как тихо время идёт; чем дальше, тем кажутся длиннее дни. Когда ты это письмо получишь, ещё пройдёт неделя и будет уже 13 или 14-ое. А меньше шести

недель дня не надо оставаться; скорее же больше. Поправляешься ли ты? Боюсь, что и у вас холодно; у нас после страшных, невыносимых жаров со вчерашнего дня холод и ветер. Жаль, что я должна прекратить опять купанье.

Гостей у нас не было; от Вари, которая всё ещё у Дьяковых, известия ещё не было. Мне приятно на несколько дней остаться одной, убрала весь дом, убрала и свою душу. Можно и подумать, и почитать, и с детьми нынче весь день была и пришла в тихое расположение духа, в котором никого не браню, думаю целый день о тебе и жалею себя. Иногда прихожу в такое нетерпение увидать твоё милое лицо, что мне кажется, больше я не вынесу; но это глупости, я вынесу и напротив, очень бы огорчилась, если б ты приехал раньше пятого августа. Теперь бы даже и неудобно было тебе приезжать. На этих днях я при себе велю белить наш дом, и мы будем кочевать из комнаты в комнату; я буду кое-где.

Прощай, милый мой Лёвочка, целую тебя крепко. Пишу в детской и мешаю детям спать, потому спешу и пишу нескладно. Теперь буду сидеть с Лизой, работать и разговаривать. Вчера вечером было грустно, я была совсем одна, а нынче хорошо. Прощай, не тоскуй, если можешь.

Соня.

<Дальше, в этом месте, шли небольшие приписки от детей, Тани и Илюши. К сожалению, из публикации писем С. А. Толстой их тексты были вырезаны. – *Р. А.*>

7-го июля.

Сейчас посылаю письмо в Ясенки. Идёт дождь, дети перешли в кабинет, их детскую будут белить. Все здоровы, всё хорошо» *(ПСТ. С. 110 - 113)*.

9 июля Софья Андреевна получила хорошее, обстоятельное письмо Толстого от 27-го, и на следующий день так отвечала на него:

«Вчера получила твоё длинное, подробное письмо о том, как вы живёте, как спите, как едите, кто ваши знакомые и проч. Мне было особенно приятно то, что ты не испытываешь той тоски, которая, было, пришла первое время. И так день за день дотянешь ты этот тяжёлый для нас обоих срок. Утешаюсь, что теперь осталось меньше

месяца. Ты писал мне, что ничего не значит в получении писем длинный или короткий срок, что всё равно; а меня всякий раз ужасает, что письмо приходит только на девятый день, а что было в эти девять дней?

Пишу тебе в гостиной, Ханна сидит передо мной и тоже пишет; тётенька Полина только что ушла спать. Дети давно все улеглись. Гости мои все разъехались. Нынче утром уехали в Крапивну Оболенские; Варя пустила корешки у Дьяковых, да ей и приезжать не с кем. От мама̀ и Тани тоже получила вчера письма. Тане там очень понравилось: есть и ванны, и постельки детям, и дом огромный, и Лиза очень мила и гостеприимна; так что Таня приедет домой только 14-го вечером на Козловку. До тех пор я буду одна, чем не очень тягочусь, так как у нас белят и мы кочуем из одной комнаты в другую. Пока белили детскую внизу, дети спали в твоём кабинете и были все в восторге, особенно Илюша, который смеялся, прыгал и всё играл с бюстом брата Николиньки: хлопал по щекам обеими ручками, брал за нос и проч. Мне было немного грустно смотреть, думала: так бы он с живым играл. <Бюст старшего брата Льва Николаевича — Николая Николаевича (1824—1860). Сохранился в мемориальном Доме Толстого в нижнем кабинете. – *Р. А.*> Потом Лёля и Маша спали две ночи у меня, а теперь обе детские готовы и дети по местам и всё чисто и убрано у них. С понедельника, 12-го, начнут мою спальню, гостиную и столовую. Лёля эти дни хворал поносом, но так как он ел и был весел, я ничем не лечила и не очень боялась; и теперь ещё не прошло. Остальные все здоровы, как лучше желать нельзя.

Что сказать тебе о покупке именья в тамошних краях? Если купить только 2500 десятин по 7 рублей, то ты ведь сам не хотел маленького, а хотел большого именья, а тут только на 17.500 р. Если выгодно, — твоё дело, я никакого мнения не имею. А жить в степях без одного дерева на сотни вёрст кругом — может заставить только необходимость крайняя, а добровольно туда не поедешь никогда, особенно с пятью детьми. Если выгодно с заглазным управлением, тогда можно купить, а не выгодно, — не следует. Вот всё-таки же моё мнение высказалось само собою. Ты не сердись, милый, если я тебе что-нибудь противоречу, но, впрочем, делай всё, как хочешь.

Всякое твоё письмо я получаю почти неожиданно. То староста ездил, то ещё кто-нибудь без моего посла; и я никак не думала, что ты будешь писать так часто. Ты не поверишь, до какой степени письма твои меня поддерживают и сокращают время и дают терпенье. Что-то твоё здоровье? Одно будет ужасно, ужасно, если всё это двухмесячное одинокое житьё, все мои и твои беспокойства, все твои лишенья удобства, всё пропадёт напрасно. Об этом особенно страшно

думать, что ты не поправишься, но это, мне кажется, быть не может. Письма твои я всегда прежде читаю одна, потом вслух. Мы с Лизой вчера смеялись, какая у вас патриархальная жизнь с курами, продуктами и проч. Только совсем не смешно, что у вас плохая кибитка, особенно, если такой же у вас холод, как у нас вот уже четвёртый день. Сегодня точно осень; дождь, холод, даже град шёл. Как бы ты там не простудился.

Вчера мы, было, поднялись гулять. Но гулянье такое, как с тобой, — не вышло. В лесу увлеклись дети и мы сыроежками, потом дошли до Митрофана <сторожки лесного объездчика за Воронкой. – *Р. А.*>, а оттуда обратно; и Илюша всё плакал, что его не подождали. С Лизой я немного играла в четыре руки, а теперь в одиночестве собираюсь читать присланные вчера старые ещё номера «Revue des deux Mondes». Я так занята весь день, что почти не вижу, как он проходит, но когда вечером останусь одна и начну думать, тогда плохо. Иногда мне приходит в голову, что ты отвыкаешь от семейной жизни и тебе ещё тяжелей будет крик детей, заботы и однообразие этой жизни; и мне делается грустно и страшно за будущее.

Прощай, милый друг; если б что интересное — я бы ещё написала. Ты, верно, подумаешь, что о детях я мало пишу, да что о них, всё то же, что и всегда. Учимся, грибы собираем в Чепыже, кто, что и сколько нашёл; pas-de-géant делают большие успехи; Серёжа ездил ещё третьего дня верхом с Леонидом, здоровы и веселы. О тебе говорят, но не удивляются, что тебя нет, а интересуются тем, что я им рассказываю, смеются и переспрашивают. Когда я сказала, какая собака и как зовут, Серёжа как будто успокоился от продолжительной заботы. Получил ли мою карточку и доволен ли ей? Здесь всем понравилась.

Целую тебя, милый голубчик, Бог с тобой, берегись, спи, не спеши. Не написать ли под конец в Москву и куда? Ханна тебе кланяется, тётеньки целуют.

Соня» *(ПСТ. С. 114 - 116).*

Мы видим по этому письму, что Толстому в этой поездке успех сопутствовал буквально во *всём*. Например, он довольно успешно внушил жене представление о том, как он тяготится разлукой лично с нею. А также – склонил её к одобрению весьма недешёвого приобретения самарских землиц.

К 9 сентября 1871 г. Толстой сделал сам себе и семье щедрый подарок: оформил купчую крепость на 2 500 дес. земли за 20 тысяч рублей.

Между прочим в другом, лично-«мужском», письме своему в те годы хорошему другу, поэту А. А. Фету, написанном в Каралыке по возвращении из последней описанной нами поездки, он рапортует обо всём совершенно в ином ключе. Фет прямодушно советовал другу «пустить в жизнь офицерского (самый скверный), обломовского, помещичьего, дружеского, какого хотите соку», но только не сидеть за рукописями или греческими фолиантами. И Толстой спешит успокоить друга, что он-то подобным чудесным соком уже практически залился:

«Благодарю вас за ваше письмо, любезный друг. Кажется, что жена сделала фальшивую тревогу, отослав меня на кумыс и убедив меня, что я болен. Как бы то ни было, теперь, после 4-х недель, мне кажется, совсем справился. И как следует при кумысном лечении, с утра до вечера пьян, потею и нахожу в этом удовольствие.

Совет ваш исполняю и подпустил не только офицерского и помещичьего сока, но скифского. И хорошо.

Здесь очень хорошо и значительно всё. Если бы не тоска по семье, я бы был совершенно счастлив здесь.

Если бы начать описывать, то я исписал бы 100 листов, описывая здешний край и мои занятия. Читаю и Геродота, который с подробностью и большой верностью описывает тех самых галактофагов-скифов, среди которых я живу.

Вчера начал писать это письмо и писал, что я здоров. Нынче опять болит бок. Сам не знаю, насколько я нездоров, но нехорошо уж то, что принужден и не могу не думать о моём боку и груди. И прислушиваюсь. Жара третий день стоит страшная. В кибитке накалено, как на полке, но мне это приятно. Край здесь прекрасный, по своему возрасту только что выходящий из девственности, по богатству, здоровью и в особенности по простоте и неиспорченности народа.

Я — как и везде, примериваюсь, — не купить ли имение. Это мне занятие и лучший предлог для узнания настоящего положения края.

Теперь остаётся 10 дней до 6 недель, тогда напишу вам и устроимся, чтобы увидеться» *(61, 255 – 256)*.

Толстой реально не заморачивался в Каралыке не только многословной дребеденью своей обычной писанины, но даже и какими-либо набросками для будущих сочинений. Исключение составляют краткие наброски в записной книжке, воссоздающие картины местной природы и быта башкир. Для примера, вот записи 26 июля:

«1) Башкирка лежит под кибиткой и смотрит в решетки. —

2) Тёмная ночь, девка башкирка бежит, бренчат подвески па косе.

3) Постелят ковры, подадут умываться и угощенье.

4) Топят кизиком, дровами, камышом.
5) Весною сайгаки табунами, когда ягнятся. Дикий жеребец ходит к косяку, который без жеребца.
6) Зимой живут в лощинах, в камышах: обложено, дровами топят.
7) Мужья уехали, жены нарядились и пьют кумыс.
8) Кибитку ставят, дети играют в кошмах.
9) Постоянный звук болтанья.
10) Днём, отдельные кружки косяков, рано утром, все вместе возвращаются, и легонько рысцой сзади их пастух.
11) Занавесь, за занавесью видна рука: локоть.
12) Звуки лягушек, ржания.
13) Запахи кислоты кизика.
14) Собирают навоз. Одежда мущин.
15) Сами шьют сапоги из выделанной ими же кожи.
16) Ловля сайгаков весною в то время, как ягнятся.
17) Пригибаются, чтобы видеть на горизонте.
18) Топливо из чилиги или из лучицы или соломы. Свеча» *(48, 91 - 92)*.

Исследователи обратили внимание, что эти заметки (кроме №№ 12 - 14) внесены в записную книжку Льва Николаевича не его рукой и почерком: вероятно, Толстой продиктовал их кому-то. Прекрасное свидетельство того, *насколько* он берёг свои силы и заботился об их восстановлении!

Софья Андреевна меж тем продолжала отправлять мужу послания – скорее, в попытке компенсировать невозможность личной, вожделенной ей, близости, неотторжимой от чувства контроля над «любимым», обладания им, нежели ради каких-то объективно необходимых и ценных сообщений. Об информативности, научной или биографической «бесценности» писем от 14 и 16 июля свидетельствует уже хотя бы то, что они были изъяты составителями даже самого полного на сегодняшний день собрания писем С. А. Толстой – того самого, которое используем мы в нашей работе. 18 июля она получает письмо мужа только от 3-го и на следующий день отвечает таким незатейливым, «домашним» посланием:

«Пишу тебе, милый Лёвочка, в твоём кабинете внизу и слышу кругом себя пикетные счёты Тани и Софеш <при карточной игре «пикет». – *Р. А.*> и гул разговора Маши <Дьяковой>, Лизы <Оболенской> и Вари <Толстой>. Мы только что пришли с pas-de-géant, на котором все бегали с таким увлечением второй вечер, что сегодня решили мне поставить монумент за такое умное приобретенье, и за такое

ловкое беганье на нём. Мне было бы и весело, и хорошо, если б я знала, что тебе хорошо, но твои короткие, грустные письма меня ужасно огорчают. Я пишу двенадцатое письмо, и вчера вдруг получила от тебя письмо от 3 июля, в котором ты пишешь, что получил от меня только одно письмо. Я воображаю, до какой степени тебе неприятно не иметь от нас известий. Твои письма — это для меня такая поддержка и утешение, хотя даже письма твои совсем не такие, что могли бы утешать. Когда же кончится это тяжёлое состояние; время страшно тихо идёт. Письмо это получишь уже, вероятно, незадолго до твоего отъезда. Когда я пишу тебе, я делаю особенные усилия, чтоб не писать тебе только о том, что я думаю, что чувствую в отношении твоего отсутствия и тебя самого; было бы слишком грустно, а тебе и так не весело; поэтому только и буду писать, как мы живём и как время проводим.

Как только Маша стала здорова, так я направила все свои силы на то, чтоб их веселить, и вчера весь день прошёл очень приятно. Всякое утро до обеда всё общество на балконе, мне помогают чистить малину, смородину и варить варенье. Иногда я шью на машине, Лиза с Машей играют в четыре руки. После обеда вчера мы собрались все гулять на ту самую дорожку в Засеку, на которую ты советовал идти, когда уезжал. Был чудный вечер; мы видели, как закатилось солнце на чистом, ясном небе и как взошёл месяц из-за деревьев в Засеке так красиво, что мы все в один голос ахнули. Серёжа, один из детей, пошёл с нами и очевидно восхищался и наслаждался всем. Он поражен был особенно луной и всё расспрашивал, живёт ли кто там и отчего такие тени на луне. Дорожка эта, действительно, очень хороша, и мы так были оживлены, что тут же решили ехать завтра, 20-го, в имянины Илюши в Засеку в виде пикника с самоваром, разной едой и, конечно, со всеми детьми, исключая самых меньших.

Когда мы вернулись с прогулки, пили чай, тут же ужинали, потому что я во всем исполняю твои законы и никогда особенных ужинов у нас не бывает; и после этого бегали на pas-de-géant при ярком лунном свете до двенадцати часов ночи. Все очень были веселы, друг перед другом старались подниматься выше и, наконец, когда все устали, сели тут же на лугу кругом столба, принесли гитару и сначала попробовали петь хором, но потом Таня распелась и пела довольно долго и хорошо. Потом мы проводили Таню домой, вернулись и ещё до трёх часов разговаривали и философствовали на крылечке кабинета при лунном свете, и я, как старшая, слушала мечты и болтовню молодежи.

Сегодня после обеда все отправились мы кататься. Мы с Таней ехали с детьми, Ханной, Лизой и Машей в линейке, а Леонид, Софеш на кобыле, Варя на Саврасом и Серёжа на своей Лимоновской, гордый и довольный. Варя два раза упала с лошади, и, говорят, что очень страшно. Но, слава Богу, ничего с ней не случилось. Её уговаривали не ехать на Саврасом, он застоялся; но она не слушала, да ещё кроме того ехала на изломанном Бибиковском седле <т. е. позаимствованным Толстыми у соседа, А. Н. Бибикова. – *Р. А.*>. Третьего дня я с Таней ездила в Тулу, сама отправила своё и получила твоё письмо на почте, где отправляла для Ханны за границу деньги. Тула навела на меня невыносимую тоску; и всё время только и делаю, что борюсь с тоской по тебе и всегда с мыслью: за что же других мучить своим горем, тем более, что всех так и чувствую сгруппированными вокруг себя, как будто я центр. Меня обо всем спрашивают, моё мнение уважают, все особенно со мной хороши и мне это приятно.

Тётенька Татьяна Александровна эти два дня была больна поносом; очень, было, ослабла, но теперь ей уж значительно лучше. Лёвушка от этой же болезни ужасно похудел, и несмотря на все мои с ним заботы, болезнь эта не проходит. Таня и Маша тоже хворали тем же; но они все очень веселы и никто не страдает ничем. Дмитрия Алексеевича ждём на один день после завтра.

Кузминский писал уже из Кутаиса <Письмо жене от 1 июля. – *Р. А.*>. Он страшно скучает по своим; тоже тяготится, что почта ходит долго и, кажется, разочарован в Кутаисе и прямо говорит, что жалеет тихую жизнь в Ясной и, если б не такие неприятности, не уехал бы из Тулы. Сейчас пробило два часа ночи. Я очень устала, надо ложиться спать. Три раза бросала писать и ходила к маленьким, так они что-то нынче беспокойны. Начала письмо внизу, кончаю его в своей комнате. Когда-то будет, что в моей комнате я буду видеть и слышать тебя; мне это всё кажется так чуждо и радостно; точно жду новой, какой-то слишком счастливой жизни опять с тобой. Думала написать тебе в Москву, но ты, вероятно, возвращаясь домой, не остановишься нигде. Можно ли из такой дали писать такие коротенькие записочки, как ты мне. Ждёшь, ждёшь, и вдруг только несколько слов.

Прощай, милый, голубчик, цалую тебя. Как это может быть, что ты не получаешь мои письма? Почему? Прощай. Что-то твоё здоровье?

Соня.

Письма мои все: В Самару до востребованья» (ПСТ. С. 116 - 118).

Сонин «дамский набор» упрёков, жалоб, страхов, болтовни и печалек «оставленной жены», как видим, актуален и в этом послании.

Через день, вечером 20 июля, не дождавшись нового письма от мужа, Софья Андреевна продолжила свой эпистолярный диалог, здесь всё-таки больше смахивающий на монолог:

«Вчера вечером писала тебе, мой милый Лёвочка, и нынче опять так и тянет меня после шума, общего веселья опять писать к тебе и рассказать как, что у нас было. Нынче имянины Илюши, и мы все его дарили, он был очень весел, а вечером затеяли мы пикник, который очень удался. Буду всё рассказывать по порядку. Перед обедом мы все сидели на террасе, работали и речь зашла о том, что надо Оболенским и Варе ехать в Пирогово к Серёже. Я обиделась, что Варя опять от меня уезжает, начала её просить оставаться там недолго. Тётенька Полина вмешалась и стала говорить, что непременно надо ехать, Таня говорила, что надо остаться для меня и для неё, слово за слово у нас вышла ссора. Тётенька нас раззадоривала, как могла и умела, говорила колкости и особенно оскорбляла Таню. А мы все, как ни ссорились, как ни спорили, но друг друга не оскорбили. Варя дошла до такого раздражения, что стала мне говорить неприятности, Лиза стала мирить, гроза для Ильина дня была большая. Кончилось тем, что после всего Варя разразилась отчаянными слезами. Лиза с Машей пошли играть в четыре руки, а тётенька мне наговорила такие вещи, что все, особенно Леонид, который при этом был, пришли в ужас. Я не забылась, слава богу, и теперь она меня уж зовет «душенька», но я в душе ужасно оскорблена; без тебя, она знала, что заступиться некому. С Варей мы помирились очень скоро. Она созналась, что была резка со мной, и теперь стала мила, кротка и на всё согласна. Вообще нам всем от этой ссоры стало еще лучше и проще друг с другом. Обед прошел весело и после обеда, взявши всех детей, даже Лёлю, мы отправились в линейке, пролетке и тележке в Засеку с самоваром и всякой едой. Дети всё бегали смотреть машину, играли с котёнком, забежавшим откуда-то. Таня с Софеш сели на пригорке играть в пикет, а я, Варя, Лиза, Леонид и Маша пошли гулять в лес по какой-то неизвестной нам дорожке, которая привела нас в прелестнейшее место около речки, где мы довольно долго сидели, и девочки все принялись вспоминать и декламировать разные стихи Пушкина и Лермонтова.

Когда мы вернулись к дубу, около которого был разостлан ковёр и кипел самовар, все собрались и пили, и ели, и были очень веселы. Потом все мы, и дети особенно, стали собирать сухие палки, ветки,

солому и проч. и развели огромный костер. Лёля стал кричать с восторгом, что это печка, а Серёжа очень старался и был горд, что узнал новое слово: костёр.

После костра всё убрали и приехали домой. Теперь все стремятся на pas-de-géant. Сняли нарядные платья, сидят на крылечке кабинета и ждут меня, но я устала и мне приятно тебе писать. Когда мы ехали с Козловки из Засеки, я очень болезненно о тебе думала. Мне было грустно, за что мне и весело, и удобно, и хорошо, а ты живёшь в неудобствах, тоске, без радостей; и такое вдруг сильное желание было видеть тебя, возвратить тебя себе, что я готова была среди этого радостного шума всего общества разразиться жалобами и слезами. Только тем и утешилась, что ближе стала смотреть, и греть, и закутывать в свою шаль маленького, дремавшего Лёвушку. Иногда кажется мне скоро до пятого августа, когда надеюсь, что ты вернёшься; иногда кажется долго, томительно долго. Прощай, мой милый, иногда мне хочется дать тебе всевозможные имена, для выраженья всей моей любви, и нет на то слов. Целую тебя, обнимаю, целую твои милые глаза. Я не могу и не хочу о тебе думать близко; это бессилье, эта невозможность видеть тебя, приводят меня в какое-то безумное состояние. Что может быть лучше и счастливей жизни с тобой. О здоровье твоём думаю постоянно; но менее теперь думаю о нём, а более всего о свиданьи с тобой. Не делай только ничего себе вредного, береги себя во всём.

Твоя Соня.

Целую Стёпу» *(ПСТ. С. 119 - 120)*.

Наконец, 22 июля она получает письмо мужа от 8 - 9 июля, уже приводившееся нами выше – письмо очень бодрое; в нём, как мы помним, передана радость Льва Николаевича не только от постепенно улучшающегося самочувствия, но и от полученных из Ясной Поляны сразу четырёх писем. Но и тут Софья Андреевна умудрилась «подмутить» в первых строках ответа нотку негативизма, вкупе даже с некоторой заявкой на ревность (которую, впрочем, — при умеренном проявлении, — сам Толстой признавал, скорее, полезной в супружеских отношениях):

«Сегодня после обеда Прохор привёз мне твоё письмо из Тулы, куда он ездил для отправленья денег Николиньке. Нынче с особенным волнением ждала от тебя письма, и обрадовалась так, что, я думаю, всем показалась странна. Ты не можешь себе представить, что во

мне поднимают твои письма. Сколько любви, чувства, страха и нетерпенья увидать тебя. Это ужасно, что твоё здоровье всё не совсем хорошо; неужели моё счастье всегда будет отравлено тем, что ты всё будешь хворать, и потому тоже будешь не весел и не счастлив. Какая это барыня Тимрот на иноходце, с которой ты ездишь верхом? Моя глупая душа этим немного волнуется, хотя я знаю, что ты меня за это упрекнёшь и сейчас даже ахнешь, до чего я безрассудна. Но это мой главный недостаток и даже сейчас успокоиваю себя, а какой-то голос во мне говорит: “а вдруг что-нибудь?” Ну об этом много писать нечего. Дмитрий Алексеевич, приехавший вчера утром, сейчас уезжает и берёт моё письмо, надо писать скорей. Следующее письмо пошлю в Нижний, а то письма ходят возмутительно долго. Главное, о всех нас могу тебе опять дать самые лучшие сведенья. Все здоровы, все веселы. Больше всех без тебя прихварывал Лёвушка, то понос, то кашель, но он весел и нынче особенно хорош и мил. Маленькая моя Маша, хотя не такая здоровая и полная, какой я её бы желала, но очень поправилась, и такая живая и быстрая в движеньях, что все над ней смеются. Ты её не узнаешь. Кормленье идёт по-прежнему. К несчастью я сама полнею, а молока у меня всё так же мало. Илюша всех потешает своими оригинальными и смешными выходками. Ему подарили ружьё и барабан; он выдумал, что едет в полк, берёт с собой Сергея и бабку, которая будет его жене мыть бельё. Его спросили, зачем ему жена, а он говорит: чтоб скучно не было. Потом он говорил, что Софеш (его любимица) потому не может быть его жена, что слишком хороша. Серёжа стремится всё ездить верхом, и на днях мы все катались, он перескочил через <ручей> Кочак и Таня маленькая, смотревшая, как перескакивали и Варя и Леонид, вдруг обращается к Илюше и говорит: «Eline, Серёжа the best» [«Илья, Серёжа лучше всех»]. Мне так была смешна эта гордость за своего.

Сегодня у нас всё именинницы <22 июля – т. н. «Марьин день»; церковные суеверы, Толстые праздновали в этот день «именины» сразу трёх Марий: дочери Татьяны Александровны, жены Дьякова и сестры Льва Николаевича. – *Р. А.*>; мы ходили к Тане пить шоколад и есть пирог, тебе ненавистный; она праздновала свою маленькую Машу; у меня обедали. Маша Дьякова очень весела и особенно ласкова со мной; как-то целый день я вижу, что она меня ищет, где я сижу, слушает, что я говорю, и как в её года это часто бывает, даже пристрастна ко мне. Забавы наши все, т. е. прогулки, катанье и качанье прекратится, потому что с обеда погода совсем испортилась, и мы сидим в комнатах, работаем и болтаем. О тебе нет минуты, чтоб я не думала. Всё, что я говорю, что делаю, думаю: хорошо ли,

так ли, не осудил ли бы ты? И кажется, ни в чём бы не осудил. Ты ни разу не пишешь, когда выезжаешь и когда можно ждать. Я жду тебя пятого августа; и, Боже мой, что будет со мной делаться, если ты просрочишь хотя день. Иногда на меня находит страх вечером и мне кажется, вот ты идёшь, и я со страхом оглядываюсь и думаю, чего же я боюсь, ведь это было бы так хорошо тебя видеть, и всё-таки тебя боюсь увидать неожиданно. От Кузминского письма получили <целых 5 штук в период с 1 по 10 июля! – *Р. А.*>. Он Кутаисом не доволен, кажется; всё дорого, сыро, а общество слишком богатое и парадное, хотя небольшое.

Таня всё с детьми возится, очень тяготится всем и страшится Кутаиса. Но она и дети здоровы. Варя о себе и Оболенских пишет тебе длинное письмо сегодня же. Тётеньки, Ханна здоровы; в доме и делах всё благополучно. Прощай, мой милый друг, целую тебя крепко; ещё две недели не увидимся, долго ужасно, как дожить. Дьяковы и Оболенские, и Варя и Таня, всё это меня очень утешает и рассеивает, но главное моё всё-таки утешенье — дети и мысль, что какое счастье будет увидать тебя.

Соня» *(ПСТ. С. 120 - 122)*.

Примечательно раннее упоминание в этом письме об *уже* ненавистном Толстому в 1871 г. «Аňковском пироге». Речь идёт о праздничном пироге, изготовлявшемся по рецепту проф. Николая Богдановича Анке (Аňke, 1803 - 1872), приятеля А. Е. Берса. Не без откровенной симпатии к матушке, её образу жизни и, в частности, к пирогу Сергей Львович Толстой писал впоследствии: «Для отца анковский пирог служил эмблемой особого мировоззрения [...]; это и домовитость, и семейная традиционность, и — говоря современным языком — буржуазный уклад жизни, и вера в необходимость материального благополучия, и непреклонное убеждение в незыблемости современного строя. Пристрастие моей матери к Анковскому пирогу огорчало моего отца, а отрицательное отношение отца к Анковскому пирогу огорчало мою мать» *(См.: Толстой С.Л. Юмор в разговорах Л.Н. Толстого // Толстой. Памятники творчества и жизни. Вып. 3. М., 1923. С. 13)*. В связи с темой пирога Аňke часто цитируются следующие строки из письма Л. Н. Толстого Т. А. Кузминской от 17 октября 1886 г.: «У нас всё благополучно и очень тихо. По письмам видно, что и у вас также и во всей России и Европе также. Но не уповай на эту тишину. Глухая борьба против Анковского пирога не только не прекращается, но растёт и слышны уж кое-где раскаты

землетрясения, разрывающего пирог. Я только тем и живу, что Анковский пирог не вечен, а вечен разум человеческий» *(Там же)*. Лядский пирог всеторжествует и через сто с четвертью века после написания Толстым этих строк, так что нам остаётся лишь повторить их – в предостережение или обнадёжение уже *наших* современников.

По нашим сведениям, между 22 и 27 июля Толстая написала мужу ещё одно письмо, текстом которого мы не располагаем. Вернёмся же теперь в Каралык, к Льву Николаевичу…

Вот письмо к жене от 20 июля (то есть встречное по отношению к вышеприведённому):

«Вчера опять ездил к Тимроту и опять получил твои письма, — три, — от 4, 7 и 10-го <То есть, вероятнее всего, два: письмо от 4-го с приписками 6 и 7-го и письмо от 10-го июля. – *Р. А.*>. Как и всегда, пробежал последнее, убедился, что всё хорошо, и оставил остальные для дома. Читал их до 12 часов ночи и долго не мог заснуть. У тебя слишком всё хорошо без меня по твоим письмам, так что страх меня берёт. Особенно страшно мне за то время, что ты осталась одна с детьми и тётиньками. <Это в связи с соничкиными жалобами на отъезд мамы, см. письмо её 4 – 7 июля. – *Р. А.*>

Здоровье моё хорошо. Боюсь сказать; но кажется мне, что я поправился и потолстел. Нервы мои окрепли наверное. Одно, что бок болит изредка, хотя и очень слабо. В кумыс я только что впился. Пью его с бо̀льшим удовольствием, чем прежде. Да и притом у нас с нынешнего дня захолодало. Ясное солнце и сильный холодный ветер. И кумыс до того вкусен, что нельзя себе представить. Стёпа и тот говорит, что это чудо.

Нынче едут профессор <греческого языка> и поп. Завтра уезжает Костинька. <Муромский помещик. – *Р. А.*> Нам остаётся неделя. Я строго выдержу 6 недель и выеду утром 28 (заметь). Вчера узнал, что от Саратова до Аткарска <в Саратовской губернии> открыта дорога. И вероятно я поеду на Саратов. Этим путём я выгадаю день и миную толпу ярмарки, которая теперь во всём разгаре. Я тебе, вероятно, телеграфирую, когда буду ехать с пути.

Покупка здесь Тучковской земли всё не подвигается. Нет ответа. Притом письмо О<ф>фенберга, которому я отвечал, что даю 90,000 (купчую пополам), рассрочив по 30,000 на два года, и твоё мнение, враждебное к этой покупке, меня очень охладили. Всё будет, как Бог даст.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

К этому фрагменту о «враждебном» отношении к покупке земель у бар. Оффенберга сама Софья Андреевна сделала позднее такое примечание:

«Враждебное, потому что я очень боялась долгов, и сумма в 90 000 р. меня очень пугала...» - *Цит. по: 83, 204*. **]**

Только понятие твоё о степи ложное. Жить без дерева за 100 вёрст в Туле ужасно; но здесь другое дело: и воздух, и травы, и сухость, и тепло делают то, что полюбишь степь. Ты представь себе, что в 5 недель мы не видали грязи, не чувствовали сырости и холоду. Выгода же покупки здесь баснословна, но немного рискована. Можно получить в один год назад всю цену покупки, а при неурожае, как нынешний год, получить убыток рублей в 1000.

Ну, да всё это буду тебе рассказывать, а ты будешь думать о другом, а я буду сердиться. Ты мною должна быть довольна. Я строго исполняю 6 недель и не позволяю себе уклонений от лечения. В Стерлебаше Оренбургской губернии за 320 вёрст отсюда, где прелестная земля с лесом, степями и видами продаётся по 3 рубля и где всё населено башкирами, куда меня очень подмывало ехать, я не поеду, боясь, что это расстроит леченье. Нынче окончательно решил, что не еду. Дня же лишнего тебя не видать я ни за что не просрочу. Так-то мне тяжела семейная жизнь и крики детей, как ты предполагаешь. Жду не дождусь, когда услышу дуэты Лёли и Маши. Радуюсь, что она поправилась.

Илюшу поздравляю <с именинами> и целую. Для Серёжи, Тани и Илюши привезу что-нибудь татарское, если поеду через Нижний. А нынче вспомнил и просил Стёпу собрать здешних трав, чтобы и тебе дать понятие о степи. Все-то ездят; одна ты, бедная, милая, сидишь. Мы выдумаем с тобой что-нибудь. — Я затеял рисовать здесь. Читать, особенно греческое, не читается (порадуйся) и нарисовал двух башкиров: отца и сына. Отец Михаил Иваныч уморительный башкир, который обыгривает нас в шашки и делает нам нужники. У него было 14 братьев; у самого его теперь 11 сыновей, ему 55 лет, и 2 жены молодые, и он не отказывается с нами бегать наперегонки. Вчера мы с ним купались, и его три сына. Один 6-летний сын, Костюк, схватится за шею старшему 15-летнему сыну, и тот с ним по страшной глубине плавает и ныряет саженя на три. Кумыс удивительный напиток. Здесь было человек 10 больных самых разнородных, и положительно все поправились, кроме одного священника, который нынче едет и едва ли проживёт до зимы. Он приехал умирающий.

Прощай, душенька. Недолго. Завтра напишу последнее письмо с Каралыка. Целую тётиньку, детей и племянниц, и свояченицу <Татьяну Андреевну Кузминскую>, если она с тобой» *(83, 202 - 204)*.

Несмотря на обещание жене, *это*, вероятно, и было последнее письмо Толстого из Каралыка – до его отъезда, состоявшегося, как и было рассчитано, 28 июля. Телеграфные послания, если они и были, нам не известны. А накануне, 27-го вечером, Софья Толстая пишет и отсылает (до востребования, в Москву) своё последнее письмо мужу из «кумысного» цикла 1871 года, текстом которого мы располагаем:

«Не знаю, почему ты велел писать мне 27-го и 28-го в Москву. Неужели ты будешь уже около 1-го в Москве? И хочется и не хочется верить; и радостно, и страшно, и сама не знаю, что чувствую, когда подумаю о тебе и нашем свидании. Я теперь, последнее время, ни о чём больше не могу думать, как о твоём приезде; ничто меня не интересует, и когда я об этом думаю и тут случатся дети, я им внушаю, что папа скоро приедет, и целую их от радости, и они понимают и сами каждое утро говорят, что теперь осталось двенадцать дней или десять. Мы все ждем тебя пятого августа. Но это очень неприятно, что ты не пишешь, когда выехал. Неужели я не встречу тебя на станции? Я бы выехала в Тулу, всё же часом раньше увидала бы тебя. Нынче я рассчитывала по «Паровозу» весь твой путь, и, если ты выехал второго из Самары, ты можешь быть пятого дома. Я так боюсь ждать тебя раньше. Я, впрочем, всего боюсь: и пароходов, и состояния твоего здоровья, и нетерпенья твоего приехать к нам; боюсь, не мало ли ты пил кумыс, и не мало ли я тебя уговаривала не спешить домой. Но последнее время я не в силах была уговаривать тебя подольше не приезжать домой. Беспокойство о тебе меня не покидает ни день, ни ночь.

Последнее твоё письмо получила ещё третьего дня. Читала я его на Козловке при свете фонаря и провожая Дьяковых. Мне подал это письмо <повар> Семён, совершенно пьяный, в то время как мы садились в линейку ехать на Козловку, и так как дорогой было темно и трясло, я была до самой станции как на иголках от нетерпенья. Письмо это меня страшно взволновало от счастья, что ты по мне так соскучился, и от нетерпенья видеть тебя. Я писала тебе о пропавших вещах Дьякова; так они и не нашлись, хотя имели подозрение на каких-то рабочих.

Мне ужасно мешают все писать: Таня тут же сидит (мы все в гостиной), и Лиза и Варя. Кто шьет, кто пишет, кто читает. Таня с Варей разговаривает о людях, едущих в Кутаис. Ещё почти никто не согласился, исключая няни и Трифовны. Леонид заболел тоже холериной; он лежит в кабинете, у него жар, была рвота и боль сильная в желудке. Теперь ему лучше, и он ест в первый раз нынче бульон. Эта холерина меня ужасно пугает в отношении к тебе. После кумыса тебе надо быть на самой большой диэте. Ради Бога, береги своё здоровье, не ешь никаких фруктов и ничего сырого. Мы все очень бережёмся тут, и все совсем здоровы, исключая Лёли и Вари, которые оба кашляют, но всё-таки гуляют, бегают оба на pas-de-géant; Лёля конечно не один, а со мной или Ханной и, надеюсь, до твоего приезда и это пройдёт. Мне смешно, что письмо это ты будешь читать в Москве, за несколько часов до нашего свиданья; а теперь так ещё долго до этой счастливой минуты.

Таня от своего мужа получает очень часто письма, и такие нежные, что и ожидать от него я не могла таких. Он пишет, что его единственное утешенье это устроивать и думать об удобствах Тани и детей, и пишет, что о ней гораздо больше думает и любит её больше, чем детей.

Сегодня Таня мучалась ночью сильной зубной болью и вдруг в пять часов утра всполошилась ехать в Тулу. Поехала с Верочкой <Кузминской>, остановилась у Марии Ивановны <М. И. Абрамович, акушерка С. А. Толстой, жившая в Туле. – *Р. А.*>, поехала к Виганду и выдернула зуб. Теперь она ожила, но очень слаба и сонна. Я эти дни сижу дома, не гуляю, не бегаю на pas-de-géant; сижу, работаю, читаю, заставляю прыгать маленькую Машу, которая меня не любит, потому что я её заставляю сосать свою грудь, а она продолжает брать её неохотно, потому что молока всё очень мало. Я так много двигалась, чтоб не скучать, что теперь вся моя энергия пропала, сижу, жду тебя, и только и могу думать в подробностях о тебе, о твоём приезде, радоваться и наслаждаться мыслью, что скоро увижу тебя. Даже пишу тебе не весело и не охотно, а прежде это составляло мою радость и утешенье. Так я устала ждать, тревожиться, думать и скучать по тебе. Я всё мечтаю, что ты телеграфируешь, когда приедешь, и мне будет возможность выехать к тебе на встречу. Прощай, милый, теперь больше писать, верно, не буду. Впрочем, если до 30-го вечера не будет от тебя известий, то я 31-го пошлю ещё одно письмо в Москву же. Целую тебя в последний раз только письменно; скоро я тебя обниму в самом деле, и увижу, и расцелую твои милые глаза, которые так и вижу теперь улыбающимися, и добрыми, и взволнованными.

Твоя Соня.

Лиза, Варя и Таня очень тебе кланяются и две первые целуют» *(ПСТ. С. 122, 125 - 126)*.

После настоящего письма С. А. Толстая – видимо, с недоверием к расчётам мужа – отправила 28 июля ещё одно письмо на Каралык. Текст его не включался пока в публикации переписки Толстых и нам не доступен; вполне вероятно, что он дублирует вышеприведённое письмо в Москву.

Итак, несмотря на издержки почтового сообщения, супруги исполнили взаимное обещание – регулярного общения посредством писем и, по возможности, телеграфа. Толстой же исполнил обещание в отношении и сроков, и содержания своего кумысного отдохновения. С. А. Берс не без удовольствия отметил в своих воспоминаниях: «Домой в Ясную Поляну я с торжеством привёз большие греческие лексиконы, переложенные дикими и необыкновенно ароматичными цветами самарской степи, доказывавшими, что лексиконы на кумысе не были в употреблении, потому что классики наконец утратили интерес» *(Берс. С. А. Указ. соч. С. 55 - 56)*.

И, попутно, ещё одно биографически-важное свидетельство С. А. Берса:

«По возвращении домой Лев Николаевич, вспоминая башкир, заинтересовался их религиею и прочёл Коран на французском языке» *(Там же. С. 56)*.

Амир Арсланов. «Лев Толстой в степях Башкирии»
Рисунок-фантазия, 1978 г.

Из-за частых толстовских ошибок в датировках писем в литературе (например, в Летописи Н. Н. Гусева) можно встретить неверную дату его возвращения в Ясную Поляну – 2 августа. Однако записка к Фету *(см. 61, № 347)*, ошибочно подписанная 5 августа, по расчётам исследователей, отправлена из Тулы не ранее 10 августа, и в ней Толстой упоминает, что он живёт дома только три дня. Вероятнее предположить датой возвращения Л. Н. Толстого в Ясную Поляну 7 августа 1871 г. До этого он с С. А. Берсом проехал из Самары в Москву (для решения деловых вопросов, связанных с покупкой земли), откуда послал жене записку следующего содержания:

«Не успел вчера написать, милый друг, но доехал хорошо. Одно было очень даже грустно — это то, что Стёпа, которого я от всей души жалел и хотел проводить, всё время за что-то на меня дулся. Думал, что нынче кончится, но затянулось ещё на день. Скучно, глупо, бесплодно, нездорово, но почему-то надо. Что-то вы? Пойду на почту, не получу ли от тебя весточку. — Завтра, т. е. 7-го наверно выеду. Твой Л. Т.» *(83, 204)*.

Записка, таким образом, легко поддаётся точной датировке: 6 августа. Железнодорожное сообщение позволяло уже в ту пору проехать из Москвы до Тулы и Ясной Поляны в один день – соответственно, 7 августа остаётся наиболее вероятной датой возвращения Льва Николаевича Толстого к жене из самарского «кумысного» путешествия 1871 года.

КОНЕЦ ДЕВЯТОГО ЭПИЗОДА

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ КНИГИ

~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
(1874 - 1880)

Эпизод Десятый.
НЕ БОГУ, НО МИРУ,
или ХОЖДЕНИЕ ТОЛСТЫХ ПО МУКАМ.
(Годы 1874 и 1876)

Фрагмент 1.
VEINE
(Год 1874-й).

Уже после того мировоззренческого кризиса, который нам неизбежно затронуть, излагая и комментируя переписку Л. Н. и С. А. Толстых 1874, 1876 и последующих лет, в одном из первых своих христианских сочинений, книге «В чём моя вера?», Лев Николаевич так писал об «учении мира» и о жертвах, которые ему приносят люди в лжехристианском мире:

«Пусть всякий искренний человек вспомнит хорошенько всю свою жизнь, и он увидит, что никогда, ни одного раза он не пострадал от исполнения учения Христа; но большинство несчастий его жизни произошли только оттого, что он в противность своему влечению, следовал связывавшему его учению мира.

В своей исключительно в мирском смысле счастливой жизни я наберу страданий, понесённых мною во имя учения мира, столько, что их достало бы на хорошего мученика во имя Христа. Все самые тяжёлые минуты моей жизни, начиная от студенческого пьянства и разврата до дуэлей, войны и до того нездоровья и тех неестественных и мучительных условий жизни, в которых я живу теперь, — всё это есть мученичество во имя учения мира» *(23, 416)*.

Письма – источник личного происхождения, тесно связанный с духовной, интеллектуальной, творческой, повседневно-бытовой и даже материально-телесной («животной») жизнью участников переписки. *Очень* бы хотелось, но и *нельзя* поэтому просто «выдать» читателю тексты писем супругов, не восстановив хоть в самых общих и самых значительных чертах всей этой жизни, как проживали её Толстые с 1871 года, в котором мы оставили их в прошлом Эпизоде.

А изложение это, будь оно самостоятельной темой нашей книги — было бы нравственно тяжёлым по содержанию. Семейство именно, что «страдало за учение мира» — за свои и чужие грехи, буквально в соответствии с тем описанием христианского смысла страданий, которое Лев Николаевич дал позднее в своём глубочайшем и гениальнейшем философском трактате «О жизни»:

«Мучения страдания испытывает только тот, кто, отделив себя от жизни мира, не видя тех своих грехов, которыми он вносил страдания в мир, считает себя невиноватым и потому возмущается против тех страданий, которые он несет за грехи мира» *(26, 430 - 431)*.

И все 1800 лет, и спустя эти 1800 (а теперь и 2 000) лет – люди не жили и не живут по учению Христа. Главные силы и материальные ресурсы людей уходили и уходят на обслуживание того, к чему их влекут собственные страсти, соблазны и оправдывающая их мирская ложь. Между тем, даже по пониманию суеверов церкви, там, где обман (или самообман, лукавство) людей, там и торжество «лукавого», сатаны, то есть гибели. (Вот почему, кстати, Толстой переживает во второй половине 1870-х всплеск симпатии к суеверной лжи церкви православия, обещающей сакральное «спасение души».)

Как результат – беспомощность и разделение, не братская жизнь людей. Невежество и омрачённость. Взаимные обвинения там, где никто друг перед дружкой не виноват…

Как образчик такого неосновательного обвинения можно привести упрёки Софьи Андреевны в адрес мужа (хорошо известные читателям её дневника и воспоминаний) в неучастии в воспитании собственных детей. В отношении именно его детей — этому противоречат даже многие страницы тех же соничкиных мемуаров, описывающие прогулки, охоты, игры и занятия Толстого с детьми. Особенно несправедливы эти обвинения как раз для 1870-х гг., когда Толстой предпринял *титанический* труд над составлением своих двух «Азбук», разработке программ для обучения детей чтению, для народных школ и училищ подготовки самих учителей, написал специальную статью «О народном образовании», а в расширившемся после перестройки яснополянском доме и близлежащем флигеле — много занимался лично и с детьми, и с педагогами.

Именно «Азбуками» и педагогической работой 1860 – 70-х гг. (с позднейшими прибавлениями) Толстой, не пиши он даже своей нетленной беллетристики для взрослых, воздвиг себе памятник, на камне которого можно бы было начертать часто и любовно цитируемые по сей день его слова из письма тётиньке Alexandrine Толстой:

«…Когда я вхожу в школу и вижу эту толпу оборванных, грязных, худых детей, с их светлыми глазами и так часто ангельскими выражениями, на меня находит тревога, ужас, вроде того, который испытывал бы при виде тонущих людей. Ах, батюшки, как бы вытащить, и кого прежде, кого после вытащить. И тонет тут самое дорогое, — именно то духовное, которое так очевидно бросается в глаза в детях. Я хочу образования для народа только для того, чтобы спасти тех тонущих там Пушкиных, Остроградских, Филаретов, Ломоносовых. А они кишат в каждой школе» *(62, 131)*.

Именно поэтому – в числе иных причин – не писался никак начатый Толстым новый роман (будущая «Анна Каренина»), от публикации которого измученная «денежными» страхами Софья Андреевна ждала новых доходов семейству, подрастающим детям… Толстой же в своём выборе был продуман и одновременно справедлив: помощи и заботы достойны равно *все* дети. Нет «чужих» детей, больных или стариков — как не было бы, живи люди по Христу, братской общиной. К тому же про себя (глубоко-глубоко про себя!) он знал теперь, что он точно *гений*. А для того, чтобы знать, что *на детях гениев природа отдыхает* — людям XIX столетия не нужна была наука генетика. (Масштаб же гения толстовского таков, что природа отдыхала и отдыхает по сей день на всех почти его, более отдалённых, потомках.)

И что же Софья Андреевна? А она – жалуется на мужа и упускаемые, как ей представляется, прибыли в письме сестре от 10 декабря 1874 г.:

«Роман не пишется, а из всех редакций так и сыплются письма: десять тысяч вперёд и по пятьсот рублей серебром за лист. Лёвочка об этом и не говорит, и как будто дело не до него касается» *(Цит. по: Гусев Н. Н. Материалы… 1870 – 1881. С. 191)*.

И дальше — ещё отвратительней и несправедливей — о работах Толстого для детей:

«А мне Бог с ними, с деньгами, а просто то его дело, т. е. писание романов, я люблю и ценю и даже волнуюсь им всегда ужасно; а эти азбуки, арифметики, грамматики я презираю и притворяться не могу, что сочувствую» *(Там же)*.

Впоследствии, с 1880-х гг., когда Толстой стал христианским учителем взрослых — в изложении забытых миром *азбучных истин* учения Христа — она ***научилась притворяться*** (не меньше «друга» Толстого, негодяя В. Г. Черткова), а к презрению добавился обычный *страх* неверующего человека — перед репрессиями со стороны правительства и полным денежным разорением семьи (в корне своём —

первобытный страх *животной самки* перед трёпкой и перед голодом).

Между тем даже тогда, в 1874-м, даже в мелочах она не была во всём справедлива и честна. В частности, предложение о 500 рублях за печатный лист было получено только *одно*: от редакции «Русского Вестника» — и буквально на следующий день после письма Сони к Тане, то есть 11 декабря, Толстой заключил выгоднейший договор с этим изданием.

«Анна Каренина» быстро превратилась в новую обузу для Толстого — главным образом, из-за необходимости соблюдать со своей стороны условия договора, сроки и пр. Работа над романом не давала ему столько удовлетворения, как работа с детьми или над «Азбуками» — а изнуряла не меньше «Азбук». Лечебные поездки на кумыс, на приобретённые в 1871 году самарские земли — стали регулярными.

Что же совершилось с женой Толстого в эти годы? Увы! тоже мало радостного. Попробуем, опираясь на её мемуары и дневник, взглянуть *её* глазами на вехи семейных буден — ибо, без сомнения, она переживала их не менее остро и болезненно, и даже — чаще всего! — болезненнее, нежели муж.

Вереницу несчастий и смертей 1870-х гг., затронувших семейство Толстых, сама Софья именует в мемуарах «вэн» — от *фр.* “veine” — в значении «полосы» злосчастия и потерь *(МЖ - 1. С. 230)*. Её открыло самоубийство 4 января 1872 г. Анны Степановны Пироговой, сожительницы соседа Толстого, А. Н. Бибикова. «Это был старинный тип экономок и сожительниц русских помещиков, — вспоминала о ней Софья Толстая, — Добрая, спокойная и любящая, ещё совсем не старая, большая и полная, она варила варенье, ухаживала за барином и баловала ребёнка». Но Бибиков решил жениться на гувернантке сына — тем спровоцировав уход из дома и самоубийство Анны, бросившейся на *железнодорожной* станции Ясенки под товарный поезд со «счастливым» № 77.

Бибиков не счёл себя виноватым и спокойно женился на немке-гувернантке, впоследствии умершей, оставив его вдовцом с тремя детьми. «На нас это событие с Анной Степановной произвело тяжёлое впечатление, и я Бибикова после этого не могла видеть» — добавляет в заключение своего рассказа Софья Андреевна *(МЖ – 1. С. 200)*.

В этом же, 1872-м году, прежде чем взяться за «Анну Каренину», Толстой ещё несколько раз подступается к написанию романа о Петре I. А в семье 13 июня рождается четвёртый сын, Петя. В 1873 г. Толстой окончательно «убивает» проект исторического романа о

Петре… и в этом же году, осенью, 9 ноября, маленький Петя погибает. «Что-то больно, больно оторвалось; это было почти физическое страдание» — вспоминала жена Толстого *(Там же. С. 226)*.

Для отца же, специфически, с долей отчуждения относившегося к совсем маленьким детям, эта смерть не была столь болезненной. В письме 10 ноября 1873 г. брату Сергею он констатирует: «Если бы выбирать одного из нас восьмерых, эта смерть легче всех и для всех; но сердце, и особенно материнское — это удивительное высшее проявление Божества на земле — не рассуждает, и жена очень горюет» *(62, 55)*.

Это была первая за 11 лет смерть в доме Толстого. И он повёл себя при этом редком действе несколько необычно, хотя и простительно для привыкшего наблюдать жизнь художника. Софья Андреевна вспоминает, что накануне гибели маленький Петя играл со щенком, которого *подарил ему отец*:

«Раз как-то собачка эта начала хрипеть, кашлять лающим кашлем, и маленький Петя, навестив собачку, пришёл и объявил, что “амка бобо”.

…Проболев двое суток, щенок издох.

Ровно через три дня […] Петя проснулся с таким же лающим кашлем […] и ровно через двое суток, не просыпаясь, скончался…» *(МЖ - 1. С. 226)*.

Мать не вынесла зрелища агонии ребёнка, а вот Лев Николаевич, сидя у постельки Пети, сосредоточенно наблюдал уничтожение его временного плотского бытия — до последней минуты. Утром приехал доктор, подтвердивший, что ребёнок заразился крупозным воспалением лёгких как раз от папиного щенка *(Там же)*.

В 1872-м, в отсутствие Толстого, в Ясной Поляне бык убил («забрухал», как выражались местные крестьяне) скотника. Толстой едва не угодил под суд. Быка предали казни, но… с навязчивостью ночного кошмара трагедия повторилась через год, в 1873-м, 31 мая — с участием нового скотника и молодого быка… На этот раз семейство Толстых было в сборе — но предпочло, не дожидаясь новых домогательств законников, ретироваться в самарские степи.

Денег в семье мало – они вбуханы в покупку самарских земель. Для «подъёма» нового хозяйства необходимо личное присутствие хозяев и, конечно, удача. В последнем судьба Толстому напрочь отказала: годы 1872-й и 1873-й оказались в той местности неурожайными… настолько, что муж и жена Толстые (в первый, но не в последний раз!) «забили тревогу» наконец на всю страну, подготовив в конце июля 1873 года статью с призывом о материальной помощи самар-

ским крестьянам. Инициатива тогда принадлежала Софье Андреевне *(Там же. С. 222).* Примечательно, что в эти, относительно либеральные, годы статью охотно опубликовали «Московские ведомости» — те самые, которые позднее, в голод 1891 – 1892 гг., предпримут целую информационную войну с Толстым-христианином в связи с попыткой публикации им за рубежом фрагментов запрещённой в России статьи «О голоде» — более глубокой, нежели статья 1873 г., содержащей социально-злободневные выводы, в которых выразилось новое, христианское жизнепонимание Льва Николаевича.

Год 1872-й заканчивается для Толстого неприятной и несправедливой критикой «Азбуки» и новым творческим порывом к роману о Петре I. Но, как мы уже сказали выше, с середины марта его захватывает новый, обещавший шумный успех проект – «Анна Каренина». Задумано и второе, переработанное издание «Азбуки» — несмотря на то, что первое принесло неудачливому автору убыток в 2000 рублей *(62, 182).*

Стоит добавить, что Толстой, фактически переписав «Азбуку» заново и дополнив огромным количеством нового материала, добился *триумфа* этого, вероятно, самого трудоёмкого и самого (в 1870-х) полезного своего сочинения. Только при жизни Толстого рассказы из «Новой Азбуки» выдержали больше 20 переизданий!

Но Толстой вновь перенапряг собственные силы… снова его преследовало мрачное настроение. Со 2 июня по 22 августа 1873 г. Толстые на отдыхе и лечении на кумысе — *всей семьёй*, в своём имении в 130 верстах от Самары.

Софья Андреевна учит в это время английский язык, и довольнотаки радикальным способом: читает на английском (со словарём) сочинения Шекспира. Легко догадаться, *кто* из персонажей драматических пьес классика особенно запал ей в сердце: «Как я тогда всецело поняла и оценила излюбленный тип Дездемоны! *Сколько* нас, молодых жён с ревнивыми мужьями, таких же невинных, как Дездемона, не понимающих долго, за что сердятся на нас мужья!» *(МЖ - 1. С. 220).*

Но Лев Николаевич отнюдь не спешил ревновать или, тем более, душить в новом имении свою Соню… Зато — душила её жара. Мучили нехватка чистой воды и отсутствие ле́дника, по которой причине вся закупленная провизия скоро портилась. Как следствие, у матери и детей начались желудочные расстройства. Не страдали ими только грудной Петя, слуги, гувернантка-англичанка Ханна, да бравый Лев Николаевич, пивший — и в лошадиных дозах! — один только кумыс: «Лев Николаевич, бывало, напьётся кумысу и уйдёт

или уедет верхом далеко в степь, где ходит по солнцу, как он говорил, совершенно голый. Он не писал, почти не читал и жил чисто животной жизнью, набираясь сил и здоровья» *(Там же. С. 221)*.

Ханна Терсей, гувернантка.
1866—1872 гг. Тула.
Фотография Ф. И. Ходасевича

По времени рождения у Софьи Андреевны следующего ребёнка — 22 апреля 1874 года – можно легко рассчитать, что и кумыс, и прогулки по степи без одежды пошли богатырю русской литературы на пользу, и его прекрасный член, проветренный, нагулянный и налитой, неоднократно находил себе самое законное и сладостное применение…

«…И Ханна, и Лев Николаевич, и все пившие кумыс чрезвычайно пополнели и поправились» — не без зависти вспоминала о финале путешествия Софья. Сама она его не могла терпеть… блевала и от кумыса… и от дурной воды… и от испорченных продуктов… а на пароходе, по пути домой — от качки. Немудрено, что домой она вернулась отощавшей, больной, да к тому же — снова беременной.

От осени 1873 года осталось воспоминание Софьи Андреевны о том, как Толстой с 12 апост… то есть — 12 избранными им учителями народных школ «навезли во флигель <в яснополянской усадьбе; также известен как «флигель Кузминских». – *Р. А.*> из ближайших

деревень ребят, ещё нигде не учившихся, и производили над ними опыты» (*Там же. С. 225)*. Стоит уточнить: то были *педагогические* опыты. Толстой хотел проверить эффективность разработанной им методики преподавания начальной грамоты. У Сони же все мысли были об «Анне Карениной», которую ей уже полюбилось переписывать *(Там же)*. Кстати сказать, её печали о деньгах были Толстым в конце года утолены: он продал за 25 000 рублей право на издание собрания своих сочинений *(Там же. С. 228)*. Сам же Толстой был наконец вознаграждён и за свою «Азбуку» — избранием 7 декабря 1873 года членом-корреспондентом Академии Наук по отделению русского языка и словесности.

Оба супруга в 1873 году ведут дневник. Записей у обоих не много, но, для полноты психологической картины участников переписки, к изложению и комментированию которой мы подступаем, стоит привести две наиболее характерные.

Вот запись из дневника Софьи Андреевны от 13 февраля 1873 года:

«Лёвочка уехал в Москву, и без него сегодня весь день сижу в тоске, с остановившимися глазами, с мыслями в голове, которые меня мутят, мучают и не дают мне покоя. И всегда в этом состоянии умственной тревоги берёшься за журнал. В него выльешь всё своё настроение и отрезвишься. А настроение моё грешное, глупое, не честное и тяжёлое. Что бы я была без этой постоянной опоры честной, любимой всеми силами, с самыми лучшими и ясными взглядами на всё? И вдруг иногда заглянешь в свою душу во время тревоги и спросишь себя: чего же надо? И ответишь с ужасом: надо веселья, надо пустой болтовни, надо нарядов, надо нравиться, надо, чтобы говорили, что я красива, надо, чтоб всё это видел и слышал Лёвочка, надо, чтоб он тоже иногда выходил из своей сосредоточенной жизни, которая и его иногда тяготит, и вместе со мною пожил той жизнью, которой живут так много обыкновенных людей. […] Я ненавижу тех людей, которые мне говорят, что я красива; я этого никогда не думала, а теперь уже поздно. […] Лёвочка привык бы к самому безобразному лицу, лишь бы жена его была тиха, покорна и жила бы той жизнью, какую он для неё избрал. […] Я сегодня хочу завиваться и с радостью думаю, что хорошо ли это будет, хотя никто меня не увидит, и мне этого и не нужно. Меня радуют бантики, мне хочется кожаный новый пояс, и теперь, когда я это написала, мне хочется плакать…».

И тут же – обещанное ей самой себе отрезвление:

«Наверху дети сидят и ждут, чтобы я их учила музыке, а я пишу весь этот вздор в кабинете внизу» *(ДСАТ – 1. С. 87)*.

Софья Андреевна входила тогда в возраст творческой зрелости. Как можно видеть хотя бы на примере вышеприведённой записи, она многому научилась, в смысле языка и стиля собственных писаний, работая с рукописями мужа, да к тому же не утратила начитанности, вкусов и пристрастий городской по воспитанию девушки. Дети (одного из которых она уже потеряла) – более не закрывают от неё, хоть ненадолго, экзистенциальной недостаточности её бытия. Как сама признаётся в мемуарах «Моя жизнь», с осени 1872 года она решительно «затосковала». Во-первых, ей «захотелось перемены, движения, неразумного, простого, молодого веселья». С другой же стороны, и во-вторых — «хотелось выйти на новую дорожку», найти «радость духовную» в самостоятельном творчестве *(МЖ – 1. С. 206 - 207)*. Быть может, оно и было бы плодотворно, но… здесь жене Толстого некого винить: оба они, жена и муж, были воспитанниками своей эпохи и жертвами суеверий общественного традиционализма, отводящего женщине и жене роли «спутницы жизни»… конечно, мужской. Даже её упрёки мужу в мемуарах, писанных в начале XX столетия — это след запоздалых прозрений и сожалений человека всё-таки *своих* поколения, религии и общественной страты.

Хотеть не значит мочь. И даже скромные таланты — не подмога. Не без нотки зависти она сопоставляет в записи дневника 17 апреля того же года собственную пустоту — с кипучей деятельностью творческой самореализации мужа: «Так же, как в природе, так и в моей душе холодно, мрачно и грустно. Лёвочка пишет свой роман, и идёт дело хорошо» *(ДСАТ – 1. С. 88)*.

И вот, для сравнения, записи в Дневнике Льва Николаевича от 6 ноября и 28 декабря того же, 1873 года — свидетельство его душевного здоровья, личностной, творческой и интеллектуальной зрелости:

«Я с молода стал преждевременно анализировать всё и немилостиво разрушать. Я часто боялся, думал — у меня ничего не останется целого; но вот я стареюсь, а у меня целого и невредимого много, больше, чем у других людей. Орудие ли анализа у меня было крепко или выбор верен, но уже давно я более не разрушаю; а целыми остались у меня непоколеблены — любовь к одной женщине, дети и всякое отношение к ним, наука, искусство — настоящие, без соображений величия, а с соображением настоящности наивного,

охоты — к деревне, порою к севру <дорогому фарфору. – *Р. А.*>... и всё? Это ужасно много. У моих сверстников, веривших во всё, когда я всё разрушал, нет и 1/100 того» *(48, 67)*.

«28 дек. Если человек думает, что его жизнь есть только преходящее явление — звук лиры Платона, то это происходит от того, что жизнь всех других людей представляется ему только звуком лиры, но если он любим или любит, значение своей жизни станет для него глубже» *(Там же. С. 68)*.

[КОММЕНТАРИЙ.
В своём диалоге «Федон» Платон воспроизводит ряд контраргументов противников учения о бессмертии души. Так, если душа такова, какой её рисует Сократ в диалоге, то она подобна форме кувшина или налаженности струн лиры. Если разбить кувшин или разломать лиру, то и форма кувшина погибнет, и гармония звуков лиры исчезнет. С другой стороны — если душа и более прочна, чем тело, и способна жить вовсе без него или перевоплощаться в разные тела, то почему не предположить, что настанет момент, когда душа износится и наконец погибнет. – *Р. А.* **]**

Теперь обратимся непосредственно к 1874 году и переписке супругов этого года.

В начале года Толстой продолжает свои педагогические проекты (продвигает свою методику обучения грамоте и свои программы преподавания для народных школ и училищ) и писание романа «Анна Каренина». 2 марта он лично отвозит в Москву, уже на публикацию, первую часть нового романа. Жена меж тем переписывает начисто вторую...

Череда смертей продолжается: Софья Андреевна вспоминает в мемуарах, что в этот период умер в Петербурге её брат Володя, а у сестры Тани родилась мёртвая девочка *(МЖ – 1. С. 230)*. В июне умирает старенькая воспитательница Льва Николаевича, тётинька Татьяна Александровна Ёргольская (а чуть раньше – ухаживавшая за ней старушка Аксинья Максимовна). Эту смерть, конечно, Толстой особенно близко принял к сердцу: в минуты её смерти он покинул дом. Напротив, Софья Андреевна оставалась в комнате тётиньки до конца. По её свидетельству, умерла эта прекрасная женщина, как праведница: «агонии почти не было... ни хрипов, ни стонов — только дыхание всё реже и реже, и всё затихло» *(Там же. С. 233)*.

Вконец вымотанный работой и дурными жизненными впечатлениями, 30 июля 1874 года Толстой выезжает в самарское имение. На этот раз Стёпа Берс остаётся дома, с Соней, а спутником Льва Николаевича становится собственный его подросший, 11-тилетний старший сын Серёжа… Ехали тем же путём — через Москву, затем — от Нижнего Новгорода пароходом по Волге до Самары, оттуда – 130 вёрст на лошадях до хуторских земель…

Первые письма в этом эпизоде переписки принадлежат Льву Николаевичу. Доехав с сыном до Москвы, он отправляет жене короткое, но информативное «отчётное» послание, датированное исследователями — «не позднее 31 июля». Пишет он о том, что остановился, по обыкновению, в доме Перфильевых на Пресне; о деловых и денежных предприятиях с издателем и книгопродавцем; о том ещё, как Перфильевы повели Серёжу в Зоологический сад, и он сам — не удержался — увязался с ними…

Концовка письма — о себе и о сыне:

«Серёжа спал мало и был раскисши, но я уложил его спать, и он теперь спит. Сейчас подниму его обедать и ехать.

Приехал <князь> Леонид <Оболенский> и помешал дописывать письмо. Впрочем, писать пока нечего. Серёжу разбудил. Он заспан, но не лишён аппетита. Обедает один подле меня. Целую тебя, детей и друзей» *(83, 217)*.

Вдогонку первому — уже с парохода на Волге — 1 августа отправляется в Ясную второе послание от путешественников. На этот раз — это письмо Серёжи маме, с большой припиской Льва Николаевича.

Серёжина половинка:

«Милая мама, мы теперь на пароходе, и мой почерк оттого дурен, потому что пароход очень шатается. Мы попали прямо на нижегородский поезд; нам было довольно просторно, потому что в нашем отделении сидел немец и жид. Я спал на полу, но я выспался лучше чем на диване. Утром мы приехали в Нижний. Там была ужасная теснота, потому что там ярмарка. Мы попали на пароход Александр II, который очень велик и он двухэтажный. Мы теперь между Нижним и Казанью и должно быть приедем после завтра утром в Самару. В этом пароходе очень большая рубка и каюты не внизу, а наровне с рубкой. Мы сейчас чуть не сели на мель. Человек, который меряет,

даже сказал, что там четыре с половиной фута. Прощайте, милая мама, целую вас и всех. Ваш сын Серёжа» (*83, 218).*

…И следом – Лёвушкина половинка письма:

«Ну вот, он всё написал.

Ехать нам хорошо и общество простое и не неприятное.

Главное хорошо то, что пароход ходит всю ночь, и мы в субботу утром будем в Самару. Это сократит путешествие, но всё-таки не жди меня раньше 15-го. Может быть, больше придётся пробыть на хуторе. — Я, было, очень устал, но на пароходе уже успел отдохнуть.

Серёжа очень мил, и это путешествие нас сблизит. Я всё время на него смотрю с умилением. Я говорил, что скучно на пароходе; но теперь отрекаюсь; сижу на балконе, смотрю и радуюсь, и думаю о том, как на будущий год мы все поедем. Только бы у тебя было всё благополучно. Господин сходит в Василь-Сурске и обещался отдать на почту письмо.

Прощай, душенька, до свиданья. С Серёжей тоски у меня не будет. И всё время я, как в семье. Л.» *(Там же).*

Из Самары, уже 3 августа, маленький Серёжа написал маме ещё одно письмо — в том же непосредственном и искреннем роде — избавив папу Льва от необходимости лично описывать некоторые неприятности, возникшие в пути:

«Наш пароход сегодня ночью столкнулся с другим пароходом и сломал нашему колесо, а сам сел на мель. Я и папа ничего не видали и не слыхали, потому что мы спали….. Наш пароход опоздал, потому что ему надо было чинить колесо и потому, что в некоторых местах очень мелко» *(83, 219).*

Папке осталось, как и прежде, только чирканyть от себя приписку:

«Ночь плохо спал и потому проспал в Самаре, да и пароход опоздал, так что в Самаре очень торопился и не успел послать тебе это письмо. Дописываю его теперь, в субботу в 2 часа в Дубовом. Не знаю, как оно дойдёт, но я принял все меры. Заходил в Самаре в дом Тимрота, и там ключница мне сказала, что она слышала, что у нас на участке хлеб особенно в сравнении с другими дурен. Очень обидно, если это правда. Мы до сих пор живы, здоровы и веселы» *(Там же).*

Это, собственно, и *все* послания Толстого жене из этой поездки. Она не была ничем особенно примечательна… вероятно, кроме, пожалуй, «не парадной» и не лестной отнюдь психологической зарисовки отца, оставленной сыном Сергеем в мемуарах по воспоминаниям всего путешествия:

«…Отец разбранил молоканина <сектанта. – *Р. А.*> Ивана Дмитриевича, арендовавшего часть нашего имения, за то, что он припахал к своей арендованной земле десятин тридцать.

Помню выражение отца, меня удивившее: “Я не для того купил имение, чтобы кормить вашего брата, <нецензурное выражение> — мужиков”» (*Толстой С. Л. Очерки былого. – Тула, 1975. – С. 44).*

Это при том, что сам «хозяин» не работал на этой земле, да и нанял для управления имением весьма бездарного, малограмотного крестьянина Тимофея из Ясной Поляны, которого всегда настороженная жена Толстого подозревала в недобросовестности *(Там же).*

К чести Льва Николаевича можно лишь то сказать, что он подобным образом вёл себя в 1870-х, будучи ещё «православным», то есть *до* обретения истинной, живой (руководящей помыслами и поступками) веры Христа, тогда как Софья Андреевна оставалась по отношению к трудящемуся народу столь же недемократичной, мелочной и жадной собственницей до конца своей жизни.

12 августа Толстой уже отправился с хутора домой, в Ясную Поляну…

Теперь – о письмах к мужу Софьи Андреевны. Их в эти дни было всего два. Первое было *встречным* по отношению к вышеприведённым письмам Льва и Серёжи — датируется 2 августа. Вряд ли жена могла получить ко 2-му более, чем одно, первое (московское) из этих писем мужа. Но в тексте нет упоминания и о нём – вероятнее всего, Софья Андреевна писала письмо от 2 августа *до* его получения.

Приводим, по порядку и с необходимыми комментариями, тексты обоих писем Софьи Андреевны Толстой.

Письмо от 2 августа:

«Вчера ещё хотела я написать тебе, милый Лёвочка, но зубы до того болели, что я таких страданий и не запомню. Два нарыва, один снаружи, другой изнутри, и всю ночь я просидела и глаз не закрывала. К утру в шесть часов нарыв прорвался и я заснула. Таня спит у меня, т. е. сестра Таня, нам вместе веселее, она поставила железную кровать у окна, и ей не жутко и мне веселей. Вечера сидим втроём: я,

Таня и Стёпа и пьём чай и ужинаем на круглом столе в твоей комнате <нижнем кабинете. – *Р. А.*>, где дверь на балкон, которую так никто и не знает, как называть. И тут у нас разговоры и рассказы разные, и нам не скучно, хотя как только вспомню о тебе и Серёже, то станет так грустно и главное страшно.

Сегодня утром, как встала, вдруг вспомнила, что именины Стёпы и вспомнила твои слова, что мы не празднуем его праздников, и, несмотря на бессонную ночь, вдруг решилась сделать пикник; велела печь венский пирог, всем детям объявила, все были очень рады и оживлены, и после обеда мы все поехали. Стёпа, Таня и Вячеслав верхами на двух самарских и на Колпике, а остальные в катках. Пикник был около Козловки, но на новом месте, пили за здоровье Стёпы, именинника, потом за отсутствующих, потом за отъезжающего Вячеслава; всё это праздновалось бишовом, который мы взяли с собой. Потом пили чай, смотрели на поезда; курьерский прошёл к большой радости детей, и через два часа опять были все дома.

[КОММЕНТАРИЙ.

В письме упоминаются семейные блюда Толстых — “бишоф”, померанцевое вино, и “венский пирог” — сливочный пирог с вареньем, излюбленное блюдо праздничного стола Толстых, рецепт которого красуется в «Поваренной книге» С. А. Толстой:

«Один фунт сливочного масла тереть четверть часа в одну сторону; в оное положить 10 желтков, тереть четверть часа, потом туда же положить один фунт муки и, наконец, во всё это положить сбитые белки. Из этого теста сделать две лепёшки. Их же положить на круги, вырезанные из бумаги, намазав между ними вареньем. Потом сделать глазурь, и им покрыть весь пирог. А затем уже по глазури сделать украшения» (*Поваренная книга С. А. Толстой. Тула, 1991. С. 15*).**]**

Дети себя ведут очень хорошо, и хлопот с ними очень мало. Ученья эти дни не было, так как было ужасно жарко, а то первого был праздник, то нынче именины Стёпы, а завтра уезжает Вячеслав, а провожают его две Тани <Т. А. Кузминская и Татьяна Львовна. – *Р. А.*> и маленькая Маша Кузминская. Илюша тоже просился и плакал, но я боюсь отпускать много детей сразу, его обещал взять Стёпа и оставить его у бабушки Пелагеи Ильиничны <жившей тогда в Туле при женском монастыре. – *Р. А.*>, пока он будет у учителя. Я никуда сама не поеду и ничего не предпринимаю без тебя, хотя бы следовало и оспу привить маленькому <Николаю>, и детскую выбелить и проч.,

но что-то дела у меня никакие не клеятся, да и двухдневная зубная боль меня совсем отуманила. Теперь, слава Богу, совсем прошло.

В ту ночь, когда вы были на Нижегородском поезде, была страшная гроза, и я ужасно о вас тревожилась, и теперь пишу тебе и думаю с такой тоской о том, всё ли у вас благополучно. Теперь вы на пароходе, ночь чудесная, тихая и тёплая, и верно ты тоже думаешь о нас так же, как и я о тебе. Стёпа без тебя что-то взволнован и всё уходит; вчера на охоте был и убил утку и курочку. А то третьего дня ездил и убил дупеля и двух бекасов.

Няню всё соблазняюсь изгнать, она мне иногда неприятна и очевидно живёт непрочно и неохотно. Таня завтра в Туле поищет другую. Как-то вы с Серёжей путешествуете и довольны будете своей поездкой? Чего я ни передумала эти дни, и представить себе не можешь. И ещё двенадцать дней такого беспокойства! Наша жизнь идёт как при тебе, купаться ездят всякий день, а я так скучаю, что не могу; купанье-то меня и простудило. Ложимся мы без тебя рано и я ставлю на столбик свечку и читаю английский роман Wood, который ты читал и думаю всё о тебе и Серёже. Сейчас меня отрывали от письма и звали кормить, и я прихожу писать не так, как бывало, с удовольствием, а напротив, со страхом, что письмо мне напоминает отсутствие вас двух и растравляет во мне все мои тревоги. Стёпа сидит тут же и ест говядину с огурцами» *(ПСТ. С. 127 – 128. Конец письма утрачен).*

И второе письмо Софьи, от 6 августа — так же с вестями из дома и с «традиционной» порцией негативных эмоций в начале письма:

«Беспокойства мои на счёт вас замерли, потому что заглушились беспокойствами о меньшом <Пете>. Он трое суток был очень болен; страшный жар, который я не могла ничем устранить; наконец сегодня я решилась этого трёхмесячного крошку обложить горчишниками, и это ему помогло. Я рада, милый Лёвочка, что могу тебе написать, что ему лучше, хотя знаю, что даже смерть маленького тебя бы не огорчила для него, а только по отношению ко мне.

И я эти дни, без тебя, дни и ночи ходила, как сумасшедшая; все мои горести, вся боль при потере Пети опять поднялась с новой силой. Слава Богу, теперь опасности нет, но я опять не могу успокоиться, пока вас двух, моих самых дорогих, не увижу опять дома.

Мне только и хочется писать о том, как агукал вечером оживший мальчик, как я его растирала, как ночь он всю спал у меня на руках; но всё это ты выслушиваешь и читаешь из снисхожденья.

Старшие дети себя необыкновенно хорошо ведут. Вчера и нынче Илья и Таня пришли в расположение духа аккуратности, убирали свои игрушки и куклы; Илюша всё приобретал коробки для помещенья мячика и игрушек, купленных им в Туле вчера с Стёпой. Погода у нас чудесная, дети купаются с Таней всякий день, даже Лёля и Маша Кузминская. Ученья, конечно, не было. То праздники, то была моя, а потом мальчикова болезнь. Сегодня я была внизу у ребёнка, а дети всё плясали лезгинку, и Таня большая с Настасьей <девочкой из крестьян Ясной Поляны. – *Р. А.*>, говорят, тоже плясали; а дядя Костя <*Константин Александрович Ислави́н (1827—1903), дядя С. А. Толстой. Толстой в молодости был дружен с К. А. Ислави́ным, называя его в дневниках «Костинькой». – Р. А.*>, приехавший третьего дня вечером, им играл. Завтра утром он уезжает. Таня ужасно сердится на мужа. Он обещал приехать четвёртого, а не приехал, и не дал знать, почему. Теперь мы с ней не знаем, когда и ждать его.

По моим расчётам я должна иметь телеграмму из Самары после завтра, восьмого. И смутно я надеюсь, что вы приедете немножко раньше пятнадцатого. Какое счастье, тогда уж долго не придётся расставаться. У меня ужасно душа наболела и, хотя беспокоиться не следует и нельзя долго, но минутами так страшно, что я опять прихожу в страх, что схожу с ума и одна начинаю повторять какую-нибудь бессмыслицу.

Стёпа очень мил, внимателен, заботлив и тих. С восторгом приезжает с охоты и всякий раз что-нибудь привозит. Занимается своими делами, т. е. космографией и латынью, и очень смотрит за Ильёй. Алексей <слуга, сопровождавший Сергея и Льва до Москвы. – *Р. А.*> вчера приехал из Москвы, привёз вино и купил мне всё очень дурно; но я осталась равнодушна, не до того было.

Привёз он мне 340 рублей. Остальные деньги из 400 истратил на вино, дорогу и башмаки. Что-то наши самарские дела?

Обо всём стараюсь думать, чтоб отогнать то мрачное, что лезет на ум.

Ну, прощай, милый, до свиданья. Целую Серёжу и жду вас всеми силами души.

Соня» *(ПСТ. С. 129 - 130).*

КОНЕЦ ФРАГМЕНТА 1-го ДЕСЯТОГО ЭПИЗОДА

Фрагмент 2.
ХАНА ТВОЕЙ ЭКЗИСТЕНЦИИ
(1876)

Годы 1873-1875 стали для Льва Николаевича начальными в широко известном кризисе его старого религиозного жизнепонимания, воспитанного с детства в нём самозванкой во Христе, грубой еврейской сектой «православия», и перехода к новому — всемирно-божескому, высшим выражением которого Толстой признает позднее искажённое языческим и еврейским восприятием и толкованиями, но всё-таки уцелевшее в евангелиях учение Христа. 1875-й, впрочем, начинался ещё «на поддуве» прежних бытовых мотиваций и творческих импульсов. Толстой продолжает свою педагогическую активность, хлопочет об издании книг для народа, да ещё напряжно справляется с договором на «Анну Каренину». Он успевает отдать в печать две полные части романа и 10 глав третьей… Но на этом, с апреля 1875 года, печатание романа прекратилось – до января следующего года.

На общее умственное переутомление наложилось и ещё одно уникальное событие: визит молодого философа В. С. Соловьёва, который, как признавался Толстой в письме Н. Н. Страхову от 25 августа того же года, «расшевелил в нём философские дрожжи» *(62, 197)*. Как и что именно был настроен воспринять из беседы с Соловьёвым Толстой, становится очевидным из другого его письма Страхову, от 5 мая 1875 г., где есть такие строки: «Какие критики, суждения, классификации могут сравниться с горячим, страстным исканием смысла своей жизни?» *(Там же. С. 184)*.

Искание это, впрочем, было отложено до осени: утомился и болел и Лев Николаевич, и его жена, пережившая в начале года потерю ещё одного младенца-ребёнка, Николушки… Увы! но она снова была беременна — в десятый раз, и, как всегда, тяжёлой, нездоровой мучительной и унизительной, нежеланной беременностью. Толстые снова всей семьёй двинулись на кумыс — на этот раз на прикупленный у барона Бистрома новый участок земли. По дороге они заехали в Москве к доктору Григорию Антоновичу Захарьину (1829 – 1897), гениальному врачу и человеку придирчивому, проницательному, умнейшему и с жёстким, принципиальным характером, который открыто высказал Толстому в лицо, что тот не бережёт свою супругу и строго запретил обременять её переписыванием его бессчётных черновиков *(МЖ – 1. С. 240)*.

Sophie теперь уже легче перенесла пребывание в самарской жаре, хотя и признавалась, что «очень скучала» *(Там же. С. 241)*. Зато не скучали дети! Лев Львович позднее, в конце 1890-х, украсил автобиографическими воспоминаниями об этой поездке свою повесть для детей «Яша Полянов».

Осенью несчастная Софья Андреевна пережила воспаление брюшины, на фоне которого в ноябре случились преждевременные роды. Девочка, наспех окрещённая Варей, скончалась через полтора часа после рождения…

Наконец, череду смертей этих лет венчает смерть родственницы Толстого, жившей в яснополянском доме – старухи Пелагеи Ильиничны Юшковой, случившаяся 22 декабря 1875 года и оставившая весьма тягостное впечатление.

Без сомнения, болезни и смерти, посетившие большой яснополянский дом, влияли на умонастроение и отношения друг с другом обоих супругов. Не случайно оба ещё в 1874-м, скоро после смерти маленького Пети, «захватили» себя за схожими мыслями — о своей неизбежной кончине… Размышления Сони отражены ею позднее в мемуарах «Моя жизнь», а очень схожие Льва — высказаны тогда же, в его письме от 6 марта 1874 года к Alexandrine Толстой:

«Если потерей любимого существа сам не приближаешься к своей смерти, не разочаровываешься в жизни, не перестаёшь её любить и ждать от неё хорошего, то эти потери должны быть невыносимы. Но если подаёшься на это приближение к своему концу, то не больно, а только важно, значительно и прекрасно. Так на меня, да и на всех, я думаю, действует смерть… Хороня Петю, я в первый раз озаботился о том, где меня положить» *(62, 72 - 73)*.

Знакомая шопенгауэровщина… Знакомая как читателям «Анны Карениной» по образу Конст. Левина и его пресловутым «исканиям», так равно и читателям «Исповеди» Льва Николаевича. Опять, кажется, нет различия — откуда процитировать — для иллюстрирования того, к чему приводят подобные умонастроения. Через четыре года, в «Исповеди», Толстой так опишет своё (и своего Левина в романе) *экзистенциальное удушье* — частого (среди мыслящего меньшинства людей) спутника возрастного кризиса зрелости:

«…На меня стали находить сначала минуты отчаяния, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать. Сначала находили только минуты, в жизни же отдавался прежним привычкам, но потом чаще и чаще, и потом, в то время как я писал, кончал свою книжку «Анна Каренина», отчаяние это дошло до того, что я ничего не мог делать, как только думать, думать о том ужасном положении, в котором я находился» *(Из 1-й ред. «Исповеди»; 23, 494)*.

Как и Левин в романе, Толстой спрятал сам от себя слишком завлекательный для самоубийства «снурок» (верёвку) и перестал брать на охоты ружьё – чтоб не застрелиться *(23, 12; ср.: «Анна Каренина», ч. III, гл. XXXII)*.

Вышеупомянутый майский 1875 г. визит В. С. Соловьёва не прошёл для Льва Николаевича даром. В письме Н. Н. Страхову от 25 августа Толстой признавался, что беседы с Соловьёвым объяснили ему его «самые нужные для остатка жизни и смерти мысли», и мысли эти для него так «утешительны», что если бы он «имел время и умел», он бы постарался и другим передать эти мысли.

В том же письме Страхову и в письме этого же дня Аф. Аф. Фету Толстой высказывает мечту: поскорее дописать «скучную, пошлую» «Анну Каренину», дабы «опростать себе место — досуг», для других, «более забирающих» его занятий *(см.: 62, №№ 195 и 197)*. Он даже выкраивает себе минуты для заметок и размышлений, заглавия которых говорят сам за себя: «Для чего пишу?», «О значении христианской религии», «О будущей жизни вне времени и пространства», «О душе и жизни её вне известной и понятной нам жизни», конспект так и не написанной, к сожалению, работы «Психология обыденной жизни» и др.

Но дело было не в одной «Анне Карениной» и нехватке времени: Толстой *не готов* был ещё проповедать новое понимание жизни. Ему не хватало главного: независимого религиозного мировоззренческого «фундамента». Ни попы господствующей церкви, ни философы, не могли помочь ему в обретении такового основания. И Лев Николаевич продолжал метаться…

Софья Андреевна не только не могла помочь ему на его пути к Богу и Христу, но и не понимала необходимых в жизни мыслящего человека и достойных уважения причин для этих его метаний. Подобно животному, домашнему питомцу: кошурке, собачонке, свинке или лошадке, она только эмоционально, «нервами» реагировала на поведение «хозяина» и по-своему страдала:

«На меня настроение Льва Николаевича, по-видимому, действовало удручающе, и светлая семейная жизнь моя начинала омрачаться. Я была одинока, с трудами непосильными, которые я несла во всех областях семейных обязанностей, а Лев Николаевич мне часто говорил, что для него всё кончено, скоро умирать, ничто не радует, нечего больше ждать от жизни… Завяла моя личная жизнь, всё и мне стало тяжело» *(МЖ – 1. С. 252)*.

Задержимся ненадолго на этом воззрении жены Толстого на его экзистенциальный кризис. Сходные мысли и настроения мы находим в записи её дневника от 12 октября 1875 года. В ней Софья

Андреевна пытается понять причины апатичного и подавленного настроения мужа. Урождённой горожанке (хуже того – москвичке!), ей кажется, что причиной является обстановка Ясной Поляны, «слишком уединённая деревенская жизнь», вызывающая *в ней* «унылую апатию»:

«Проснёшься утром — и не встаёшь. Что меня поднимет, что ждёт меня? Я знаю, придёт повар, потом няня будет жаловаться, что люди недовольны едой и что сахару нет, надо послать, потом я с болью правого плеча сяду молча вышивать дырочки, потом ученье грамматики и гамм…» *(ДСАТ – 1. С. 88).*

Ей даже снится «настоящая», по её мнению, городская жизнь:

«…То я иду в какую-то церковь ко всенощной и молюсь так, как я никогда не молюсь наяву, то я вижу чудесные картинные галереи, то где-то чудесные цветы, то толпу людей, которых я не ненавижу и не чуждаюсь, а всем сочувствую и люблю» *(Там же. С. 89).*

И, конечно же, более всех повинен в её тоске именно Лёвочка:

«…Я тесно и всё теснее с годами связана с Лёвочкой, и я чувствую, что он меня втягивает, главное он, в это тоскливое, апатичное состояние. Мне больно, я не могу видеть его таким, какой он теперь. Унылый, опущенный, сидит без дела, без труда, без энергии, без радости целыми днями и неделями и как будто помирился с этим состоянием. Это какая-то нравственная смерть, а я не хочу её в нём, и он сам *так* долго жить не может. […] А когда я думаю о будущем, о выросших детях, о их жизни, о том, что у них будут разные потребности, что их надо воспитать, и потом подумаю о Лёвочке, то я вижу, что он с своей апатией и равнодушием мне не помощник, он к сердцу ничего не может принимать, и вся внутренняя, душевная ответственность, все страдания в неудачах детей – всё ляжет на мне… Если бы люди не надеялись – жить бы нельзя, и я надеюсь, что Бог ещё раз вложит в Лёвочку тот огонь, которым он жил и будет жить» *(Там же).*

Запись эта, помимо мудрого (мудростью любящего *сердца*) трагического провидения на десятки лет вперёд, объясняет, в частности, то, отчего Соня с пониманием и даже некоторыми завистью и неохотой провожала мужа в *городские* его поездки 1876 года — в Москву по делам публикации «Анны Карениной» или в Оренбург для покупки лошадей… С поездкой в Оренбург, состоявшейся с 3 по 20 сентября 1876 года, и связан следующий фрагмент переписки супругов, к рассмотрению которого мы приступаем теперь.

Итак, 3 сентября 1876 года Толстой вместе с племянником Николаем Валериановичем Толстым, сыном сестры, которому в то время

было 25 лет, выехал из Ясной Поляны по железной дороге в Москву, оттуда – в Нижний Новгород, на пароход до Самары, а из Самары, вновь по железной дороге, до Оренбурга. Цель поездки была достаточно прозаической: покупка лошадей для предполагавшегося конского завода.

«Очень не хотелось мне отпускать без себя надолго Льва Николаевича, – признаётся в своих воспоминаниях Софья Андреевна, – но я чувствовала, что ему надо развлечься, встряхнуться, перенестись совсем в другую обстановку и жизнь. […] Мы трогательно прощались, и с дороги он мне писал нежные письма. […] В то время ещё ничто не нарушило нашего счастья и любви. Во всём мы были заодно и согласны: и в воспитании детей, и в жизни в деревне, и в наших верованиях всяких – и религиозных, и житейских. […] Нам так грустно было расставаться и хоть на время нарушать ту связь, которая так любовно держала нас всех вместе, что для всякой, даже короткой разлуки надо было делать большое усилие» *(МЖ – 1. С. 255 - 256)*.

Софья Андреевна описывает здесь 1876 год, то есть только подходит к описанию «посткризисных» лет — сожительства с Толстым. Но лукавит – уже «по полной программе». Из вышеизложенного нами читатель мог видеть, что никакого «во всём заодно и согласны» в жизни супругов не было — пожалуй, с самого 1862 года. Ни в отношении к деревенской жизни, ни в отношении к воспитанию детей, ни — *тем более*! — в отношении религиозного искания Истины.

Ну, а насколько «нежны» (как утверждает Софья Андреевна) были письма и телеграммы, посланные Львом Николаевичем жене в дни оренбургской поездки — предлагаем судить самому читателю…

Только погрузившись в Нижнем Новгороде на пароход, Лев Николаевич находит силы и время для первого из серии посланий Софье Андреевне в эту поездку. Письмо от 4 сентября – самое пространное из нескольких «оренбургских» писем Толстого и, действительно, содержит некоторые интимно-личные фрагменты, на которые и ссылается в мемуарах Софья Андреевна. Приводим, с необходимыми комментариями, весь его текст.

«4 сентября, суббота, 12 часов дня.

Доехали до Москвы, — не видали времени. <Н. М.> Нагорнов встретил нас с Варенькой *<Варвара Валерьяновна Нагорнова (1850 - 1922),* племянница Л. Н. Толстого, жена Николая Михайловича Нагорова, ставшего тогда доверенным помощником Толстого. – *Р. А.>* и Леонид <Оболенский>. Нагорнов привёз 1200 рублей. <Доход

от продажи сочинений Л. Н. Толстого. – *Р. А.*> Распростились с Машенькой <М. Н. Толстой>, которую мне очень жаль, и поехали на Нижегородскую. <Имеется в виду тогдашний Нижегородский железнодорожный вокзал. – *Р. А.*> Несмотря на то, что мы взяли мест во 2-м классе, спали прекрасно. А в Нижнем <Новгороде>, несмотря на то, что народа было очень мало, была ужасная суета. Отходил один только самолётский пароход и мест не было. <По Волге в ту эпоху курсировали пароходы знаменитого волжского пароходства «Самолёт», действовавшего с 1853 по 1918 гг. – *Р. А.*> После большой суетни разместились на другой, экстренный пароход, с которого я тебе и пишу. Я не написал из Нижнего от суеты; но не только помнил, но думал и думаю о тебе всякую минуту; и думаю так, как ужасно люблю: переношусь в прошедшее — Покровское, лиловое платье, чувство умилённости, и сердце бьётся.

Николинька очень милый товарищ; и ему всё интересно и весело. С нами теперь в 1-м классе маленького парохода — немка с двумя немцами — верно купцы, и купец землевладелец из Оренбурга, владетель 50 000 десятин и 1500 лошадей, — завод, — вроде того, который я завожу: и ещё хивинец, которого я ещё не исследовал. Я совершенно здоров, кроме насморка.

Говорят, что в Оренбург ездят по чугунке, и, может быть, я поеду, но всё в пределах 14 дней. К твоим именинам буду, если Бог даст.

Я знаю, что тебе тяжело и страшно, но я видел то усилие, которое ты сделала над собой, чтобы не помешать мне, и если можно, — ещё больше люблю тебя за это. Если бы только Бог дал тебе хорошо, здорово и энергично деятельно провести это время. Господь помилуй тебя и меня.

Мой план, хотя и очень неопределённый, такой: как приеду в Самару, так найду Боля <*Николай Львович фон-Болль. Примеч. о нём Софьи Андреевны: «бывший учитель в одной из открытых Львом Николаевичем сельских школ в 1862 г. Служил тогда на железной дороге».*> и попрошу его довезти меня до Бузулука; оттуда поеду на хутор, и, если можно, из Бузулука ехать дальше до Оренбурга, и если на хуторе есть деньги, то, забрав с собой Никитича <Крестьянин соседнего с хутором Толстого с. Гавриловка, знакомый Льва Николаевича. – *Р. А.*> и мужика для прогона лошадей, поеду назад в Бузулук и оттуда в Оренбург. Это всё планы, но я напишу ещё из Самары.

А Дьяков проехал прямо в Москву. Леонид видел его.

Прощай, милая душенька. Господи помилуй.

Твой Л. Т.

Целую всех детей и вперёд благодарю их за то, что они тебя слушают и стараются радовать.

Стёпу обнимаю и не велю ему думать, как матерьялисты.

Mr. Rey кланяюсь» *(83, 225 – 226)*.

Mr. Rey — тогдашний гувернёр в семье Толстых. В нашей теме – малоинтересен.

А вот упомянутые в письме Толстого богатый купец и землевладелец (до имени и отчества которого Толстой, впрочем, не снизошёл) и «хивинец» — стоят внимания, как спутники путешествия Толстого.

Софья Андреевна вспоминает:

«Спутники <Льва Николаевича> были всё больше купцы с ярмарки нижегородской, и только были интересны Льву Николаевичу богатый оренбургский купец Деев, владетель 10 000 десятин земли, а Николеньке – хивинец, с которым он в Казани ходил в театр и всю дорогу дружил. […] Купец Деев ездил с Львом Николаевичем и в Оренбург, помогая купить лошадей и подарил Льву Николаевичу тигровую шкуру» *(МЖ – 1. С. 256)*.

О казанских событиях и впечатлениях, упоминаемых Софьей Андреевной, Толстой сообщал в следующем своём письме — от 5 сентября. Но, дабы, по возможности, не нарушать хронологии, в нашем повествовании его предварит *встречное*, 4 сентября, письмо Софьи Андреевны:

«Милый мой Лёвочка, сейчас еду провожать Таню, и хотя у нас суета ужасная, я всё-таки так о тебе думаю и такую к тебе чувствую нежность, что хочется написать тебе хоть немножко. Всё утро укладываемся, бегаем; к тому же весь дом моют, убирают, и Лёлин кашель меня тоже волнует и суетит. Всё это скоро уляжется, успокоится, и тогда я опять напишу тебе, а теперь рука дрожит, и я спешу. Вчера вечером набросала начерно ordre du jour [распорядок дня] и кажется хорошо. Завтра его уясню, а в понедельник за ученье. Стёпа всё с змеем возится. Мы вчера с ним до второго часу ночи сидели и болтали, Таня рано ушла спать. Сегодня вы на пароходе, у нас погода тёплая и проясняется минутами.

<А. Н.> Бибиков сегодня привёз сам две серии и обедал у нас, а теперь ещё сидит с Стёпой. Трифовна очень плачет, расставаясь с Таней и детьми; я её утешаю, что буду её навещать в Москве. Пишу ужасно, но ты прочтёшь и поймёшь; не можешь себе представить, какой шум, и как дети возбуждены перед отъездом. Я полна забот и

хороших намерений в дальнейшей жизни, но вчера были минуты слезливого горя, что одна, и что трудно будет учить и жить без тебя и без Тани. Но сегодня энергична и здорова. Береги себя, милый; не студись, не сердись, не беспокойся о нас. Если б не Лёлин кашель, все были бы здоровы.

Стёпа и моя Таня тоже едут провожать. В каком ты духе, что думаешь, что делаешь теперь на пароходе. Нравится ли Николеньке Волга? Я о тебе всякую минуту думаю и так тобой счастлива это время, и одно скучно, — что мыши подтачивают корень жизни, и что не всегда так будет. Я почему-то нынче всё думаю о сказке мудреца Керима. Но это так, когда грустно. Прощай, ты письмо получишь на возвратном пути. Целую тебя крепко, Николеньке кланяйся. Право, едва ли я когда писала такие нескладные письма.

Твоя Соня.

4-го сентября. 1876 г., 5 час. дня» *(ПСТ. С. 131 - 132).*

Надеемся, что наши читатели не пропустили в тексте данного письма С. А. Толстой указания на факт, примечательный и информативный как с точки зрения анализа отношений жены и мужа Толстых, так и для всякого исследователя, берущегося анализировать мировоззрение и настроения Льва Николаевича Толстого второй половины 1870-х гг. А именно: уже в 1876-м году, если и не раньше, Толстой не только обсуждает с Соней сюжет известной повести в стихах В. А. Жуковского о мудреце Кериме, верблюде и колодце, но и, вероятно, делится с нею своим восприятием данного поэтического шедевра.

Полное название сочинения: «Две повести. Подарок на Новый год издателю “Москвитянина”» (1844). Притча о Кериме из второй части повести является вольным переводом 1-й притчи Фр. Рюккерта («Es ging ein Mann im Syrerland…» — «Шёл один человек в Сирийской земле…») из цикла «Восточные сказания и истории». Сюжет её восходит к популярной в средние века повести о «Варлааме и Иосафе». Последняя же представляет собой конечное звено ряда переработок древнеиндийского жизнеописании Будды:

«Жил на Востоке царь; а у царя
Жил во дворце мудрец: он назывался
Керим, и царь его любил и с ним
Беседовал охотно. Раз случилось,
Что задал царь такой вопрос Кериму:

“С чем можем мы сравнить земную жизнь
И свет?” Но на вопрос мудрец не вдруг
Ответствовал; он попросил отсрочки
Сначала на день, после на два, после
На целую неделю; наконец
Пришёл к царю и так ему сказал:
“Вопрос твой, государь, неразрешим.
Мой слабый ум его обнять не может;
Позволь людей мудрейших мне спросить”.

И в путь Керим отправился искать
Ответа на вопрос царя…».

Отрывок, который имеет в виду Софья Андреевна – это рассказ отшельника, которого навестил в пути Керим:

«…Кериму тут сказали,
Что недалёко жил в густом лесу
Отшельник набожный, смиренномудрый.
Ему убежищем была пещера:
Он спал на голом камне; ел одни
Коренья, пил лишь воду; дни и ночи
Все проводил в молитве. И немедля
К нему отправился Керим. Отшельник
Ему сказал: “Послушай; через степь
Однажды вёл верблюда путник; вдруг
Верблюд озлился, начал страшно фыркать,
Храпеть, бросаться; путник испугался
И побежал; верблюд за ним. Куда
Укрыться? Степь пуста. Но вот увидел
У самой он дороги водоём
Ужасной глубины, но без воды;
Из недра тёмного его торчали
Ветвями длинными кусты малины,
Разросшейся меж трещинами стен,
Покрытых мохом старины. В него
Гонимый бешеным верблюдом путник
В испуге прянул; он за гибкий сук
Малины ухватился и повис
Над тёмной бездной. Голову подняв,
Увидел он разинутую пасть
Верблюда над собой: его схватить

Рвался ужасный зверь. Он опустил
Глаза ко дну пустого водоёма:
Там змей ворочался и на него
Зиял голодным зевом, ожидая,
Что он, с куста сорвавшись, упадёт.
Так он висел на гибкой, тонкой ветке
Меж двух погибелей. И что ж ещё
Ему представилось? В том самом месте,
Где куст малины (за который он
Держался) корнем в землю сквозь пролом
Стены состаревшейся водоёма
Входил, две мыши, белая одна,
Другая чёрная, сидели рядом
На корне и его поочерёдно
С большою жадностию грызли, землю
Со всех сторон скребли и обнажали
Все ветви корня, а когда земля
Шумела, падая на дно, оттуда
Выглядывал проворно змей, как будто
Спеша проведать, скоро ль мыши корень
Перегрызут и скоро ль с ношей куст
К нему на дно обрушится. Но что же?
Вися над этим страшным дном, без всякой
Надежды на спасенье, вдруг увидел
На ближней ветке путник много ягод
Малины, зрелых, крупных: сильно
Желание полакомиться ими
Зажглося в нём; он всё тут позабыл:
И грозного верблюда над собою,
И под собой на дне далёком змея,
И двух мышей коварную работу;
Оставил он вверху храпеть верблюда,
Внизу зиять голодной пастью змея,
И в стороне грызть корень и копаться
В земле мышей, а сам, рукой добравшись
До ягод, начал их спокойно рвать
И есть; и страх его пропал.

Ты спросишь:
Кто этот жалкий путник? *Человек.*
Пустыня ж с водоёмом *свет*; а путь
Через пустыню — наша *жизнь* земная;

Гонящийся за путником верблюд
Есть враг души, тревог создатель, *грех*:
Нам гибелью грозит он; мы ж беспечно
На ветке трепетной висим над бездной,
Где в темноте могильной скрыта *смерть*,
Тот змей, который, пасть разинув, ждёт,
Чтоб ветка тонкая переломилась.

А мыши? Их прозванье *день* и *ночь*;
Без отдыха, сменяяся, они
Работают, чтоб сук твой, ветку жизни,
Которая меж смертию и светом
Тебя неверно держит, перегрызть;
Прилежно чёрная грызёт всю ночь,
Прилежно белая грызёт весь день;
А ты, прельщённый ягодой душистой,
Усладой чувств, желаний утоленьем,
Забыл и грех — верблюда в вышине,
И смерть — внизу зияющего змея,
И быструю работу дня и ночи —
Мышей, грызущих тонкий корень жизни;
Ты всё забыл — тебя манит одно
Неверное минуты наслажденье.

Вот свет, и жизнь, и смертный человек.
Доволен ли ты повестью моею?”

Керим отшельнику не отвечал
Ни слова; он печально с ним простился
И далее поехал; про себя же
Так рассуждал: “Святой отшельник, твой
Рассказ замысловат, но моего
Вопроса он еще не разрешил;
Не так печальна наша жизнь, как степь,
Ведущая к одной лишь бездне смерти;
И не одним минутным наслажденьем
Пленяется беспечно человек”.

И ехал он, куда глаза глядят…»

Сюжет и образы этой повести легко узнаются: да, именно её Лев Николаевич изложил позднее, причём в собственной редакции, в своей знаменитой «Исповеди»:

«Давно уже рассказана восточная басня про путника, застигнутого в степи разъярённым зверем. Спасаясь от зверя, путник вскакивает в безводный колодезь, но на дне колодца видит дракона, разинувшего пасть, чтобы пожрать его. И несчастный [...] ухватывается за ветви растущего в расщелине колодца дикого куста и держится на нём. Руки его ослабевают и он чувствует, что скоро должен будет отдаться погибели, с обеих сторон ждущей его; но он всё держится и видит, что две мыши, одна чёрная, другая белая, равномерно обходя стволину куста, на котором он висит, подтачивают её [...]. Путник видит это и знает, что он неминуемо погибнет; но пока он висит, он ищет вокруг себя и находит на листьях куста капли меда, достаёт их языком и лижет их. Так и я держусь за ветви жизни, зная, что неминуемо ждёт дракон смерти, готовый растерзать меня, и не могу понять, зачем я попал на это мучение. И я пытаюсь сосать тот мёд, который прежде утешал меня; но этот мёд уже не радует меня, а белая и чёрная мышь день и ночь подтачивают ветку, за которую я держусь. Я ясно вижу дракона, и мёд уже не сладок мне. Я вижу одно — неизбежного дракона и мышей, — и не могу отвратить от них взор. И это не басня, а это истинная, неоспоримая и всякому понятная правда» *(23, 13 - 14)*.

Продолжение в «Исповеди» толстовского истолкования притчи о путнике касается уже напрямую и творческого наследия Толстого (и доходов с него для семьи!), и личных отношений Толстого с женой и детьми. Остаётся гадать, была ли столь откровенна устная беседа Толстого с женой, которую она припомнила при написании письма 4 сентября. Вряд ли:

«Те две капли мёда, которые дольше других отводили мне глаза от жестокой истины — любовь к семье и к писательству, которое я называл искусством, — уже не сладки мне.

“Семья” — говорил я себе; — но семья — жена, дети; они тоже люди. Они находятся в тех же самых условиях, в каких и я: они или должны жить во лжи, или видеть ужасную истину. Зачем же им жить? Зачем мне любить их, беречь, растить и блюсти их? Для того же отчаяния, которое во мне, или для тупоумия! Любя их, я не могу скрывать от них истины, — всякий шаг в познании ведёт их к этой истине. А истина — смерть.

“Искусство, поэзия?..” Долго под влиянием успеха похвалы людской я уверял себя, что это — дело, которое можно делать, несмотря на то, что придёт смерть, которая уничтожит всё — и меня, и мои

дела, и память о них; но скоро я увидал, что и то — обман. Мне было ясно, что искусство есть украшение жизни, заманка к жизни. Но жизнь потеряла для меня свою заманчивость, как же я могу заманивать других?» *(Там же. С. 14 - 15)*.

Мы видим, что Толстой здесь прошёл уж большую часть пути – к *новому себе*. А Софья Андреевна совершенно не представляла и не предвидела рисков этой духовной работы для прежней, столь возлюбленной ею, жизни…

Вернёмся теперь к оренбургскому «лошадиному вояжу» Льва Николаевича. 5 сентября он приплыл на пароходе в город своей студенческой юности – Казань. Но увидеться с кем-либо из старых казанских знакомых он не пожелал, и весь вечер не выходил из номера гостиницы, проведя время в беседах с умницей Деевым, да ещё, конечно же — в написании нового письма жене, не весьма пространного, но достаточно информативного:

«Пишу тебе, милый друг, из Казани, сегодня, 5-го, в 11 часов вечера, и не с парохода, а из самого города Казани, куда мы приехали ночевать, так как, от беспорядицы самолётского парохода, на который мы к несчастию попали и который сел на мели и сломался, мы потеряли целые сутки. Ты не можешь себе представить, как это обидно, когда, как я, считаешь каждую минуту и для тебя, и ещё более для себя. Поездка по Волге до сих пор имела мало приятного — теснота и купеческое общество. Впрочем, я нашёл несколько интересных и даже очень интересных людей, в том числе купца Деева, владетеля 100 тысяч десятин земли, с которым я теперь сижу в номере, в то время как Николенька с Хивинцем пошли в Казанской театр. Был ещё татарин, поп.

Погода прелестная, здоровье хорошо. Вы верно ездите за грыбами. Пожалуйста, не езди на Шарике. <Лошадь из киргизских степей, куплена дорого для конезавода. Как увидим ниже из письма Софьи Андреевны от 7 сентября, она всё-таки на Шарике поездила. - *Р. А.*>

Об Оренбургском плане напишу тебе из Самары. В Оренбург мне бы приятно съездить потому, что Деев этот тамошний и мне поможет в покупке лошадей, и там бы я увидал Крыжановского. Во всяком случае я постараюсь не выйти из 14 дней.

[КОММЕНТАРИЙ.

Николай Андреевич Крыжановский (1818 – 1888) – начальник штаба артиллерии в годы Крымской кампании. Был контужен. Знаком с Л.

Н. Толстым со времени его службы в Дунайской армии. Полковник Крыжановский поддержал тогда идею Толстого – издания «Военного листка». В Севастополе на квартире уже генерала Крыжановского офицеры, при участии Толстого, сочинили знаменитую сатирическую песню «Как четвёртого числа…». После взятия Севастополя Николай Андреевич поручил Толстому проявить всё своё сочинительское мастерство и состряпать общий отчёт о действиях русской артиллерии во время последней бомбардировки (так, чтоб не получить за эти действия “по шапке” от вышестоящих…). В 1857—1860 гг. Крыжановский — начальник артиллерийской академии. В 1865 – 1881 гг. — оренбургский генерал-губернатор. – *Р. А.*]

Казань возбуждает во мне своими воспоминаниями неприятную грусть. Ах, только бы ты и дети, главное ты была здорова и спокойна. Целую тебя, душенька голубчик мой, целуй детей и кланяйся <*жене Дьякова*> Софеш, если она у нас и Mr. Rey.

Твой Л.

Писать как будто очень хочется» *(83, 227 - 228).*

Постскриптум Толстого, конечно же, имеет отношение к «Анне Карениной»: Толстому предстояло по возвращении дописать конец пятой части романа, после напечатанный в № 12 «Русского вестника» за 1876 год… Именно этот постскриптум больше прочего в письме порадовал и обнадёжил жену Толстого. В мемуарах она вспоминает: «По-видимому, эта поездка действительно освежила Льва Николаевича, потому что он ещё с дороги пишет мне: “Писать как будто очень хочется”» *(МЖ – 1. С. 256).*

Подчеркнём кстати, что от переписки супругов рассматриваемого периода не следует ожидать буквальной диалогичности: оба адресата знали, что Толстой, быстро перемещаясь из города в город, прочитает послания Сони не ранее, чем на обратном пути. В этой поездке для мужа важнее была *быстрота оповещения жены* — главным образом, о текущей ситуации и о времени возвращения. Вот почему последние два короткие письма он шлёт 7 сентября из Самары (первое из них было написано ещё по пути, на пароходе), а следом – посылает только три телеграммы.

Два письма 7 сентября – снова «встречные», т.е. имеют одну дату с очередным письмом Софьи Андреевны. Вот первое из них, с парохода:

«Пишу тебе 3-е письмо, милый друг. Это письмо пишу 7-го в 2 часа дня, ещё с парохода, и опущу его в ящик в Самаре, в которой мы будем, если Бог даст, в 7 часов вечера. Мы имели несчастие встретить 3-х попов в Нижнем, и ряд неудач нас преследовал.

Мы потеряли 2-е суток. Несмотря на то, надеюсь попасть в Оренбург, куда мне очень хочется.

Железная дорога, говорят, хотя и не открыта, ходит очень правильно 2 раза в сутки, и езды менее суток. Всё решится нынче вечером и я напишу тебе ещё из Самары, если не буду очень спешить. Надеюсь, что предзнаменование попов истощилось уже на просрочке 2-х дней и на скучнейшем, бесвкуснейшем обществе, кроме купца и хивинца. Насморк мой прошёл и, благодаря винограду и арбузам, желудок, и потому состояние духа в порядке. Надеюсь, что будешь писать часто, и что я, хоть сразу, получу письма, буду знать о тебе в разные периоды. Ты меня так напугала нежеланием отпустить меня, что я больше, кажется, чем прежние раза, боюсь за всех вас и, главное, за одну тебя. Я иногда писал тебе, ничего не говоря о своих чувствах, потому что в ту минуту, как писал, не был так расположен а в эту поездку всякую минуту думаю о тебе с нежностью и готов всё письмо наполнить нежными словами.

Прощай, душенька милая. Я так радуюсь тому чувству,
которое имею к тебе, и тому, что ты есть на свете.

Только бы ты была здорова, и потому сама, какая ты есть.

Из Оренбурга я тебе телеграфирую.

Твой Л.» *(83, 229 - 230).*

И – обещанное, очень коротенькое, письмецо из Самары:

«По обещанию, пишу тебе два слова из Самары. Нашёл
Боля, он устроил мне билет по железной дороге в Оренбург, и мы едем нынче, 7-го, вечером, в 10 часов, с моими спутниками: купцом и хивинцем.

Надеюсь быть в срок. Будь здорова, душенька милая, целую тебя и детей. Всем поклон.

Твой Л. Т.» *(Там же. С. 230).*

На очереди – письмо 7 сентября от Софьи Андреевны:

«Милый Лёвочка, постоянно радуюсь тёплой, чудесной погоде, которая для вас всех, моих милых путешественников, так кстати. Тане с детьми было бы тоже холодно и сыро, если б не такое время чудное.

Ужасно грустно было наше расставание в пятницу. Таня очень плакала, у меня тоже пробивались каждую минуту слёзы, но я их всё задушивала в себе, чтоб не расстроить других. <*Гувернантка*> Анни и Лёля <*Л. Л. Толстой*> тоже очень плакали и даже рыдали, a little [маленькая] Маша <*М. Л. Толстая*> смотрела на них с недоумением. В карете поехала англичанка, кормилица, все дети и моя Таня. А Таня-сестра и я поехали в тележке, и Стёпа на приступке правил Шариком и Гнедым. Дорогой мы вспоминали всю летнюю жизнь и беспрестанно останавливались от душивших нас слёз. И мне странно было, что такие же деревья, такая же природа, то же летнее солнце — и всё мрачное, грустное без тебя и без Тани. Назад мы уже ехали с Стёпой и Таней в карете, и мне вдруг показалось, что что-то кончено и я жить в таком горе не могу, а, главное, тебя не было, а то бы всё было легче.

Посадили мы в вагон Таню и детей довольно неудобно. Места мало; какая-то старушка заняла целый диван и всё-таки ворчала; бедной Тане и англичанке вовсе негде было лечь, а едва было где сесть. Дома мы были уже в одиннадцатом часу вечера и сели за наш одинокий чайный стол, и ничего в горло не шло. За Софеш я распорядилась, чтобы выехал тарантас Ермилина, как ты говорил, и она благополучно приехала в первом часу. Сначала я ей не очень обрадовалась, но теперь мне с ней приятно, и я по вечерам не скучаю с ней и Стёпой.

В воскресенье Стёпа и Сёрежа отправились с борзыми на охоту и очень были счастливы. Крылатка им поймала отличного русака, Стёпа его прирезал и с торжеством его принесли ко мне. <*Гувернёр*> m. <*Jules*> Rey всякий день ходит с ружьём и Снобом, и вчера было за столом десять штук его дичи, из которых, кажется, два дупеля и два бекаса. А вчера же он убил двух вальдшнепов, и очень горд и весел. Мы с ним в хороших отношениях. Вместе устроили ordre du jour [распорядок дня], делая уступки друг другу, как нам удобнее, и, по моему, отлично расписали занятия детей. Вчера уже учились очень охотно и довольно хорошо, но мальчики подрались на гулянье, и им поставили по два за поведенье. Баллы я тоже начала ставить; всё на зимнем положенье, но при чудесной летней погоде. Сегодня посылала за священником, чтоб приехал учить детей вечером. Мы ходим всякий день гулять далеко с Софеш и Таней; сегодня я не пошла, нездоровится от того нездоровья, которое доказывает, что я не беременна. Понял?

Софеш, бедная, очень грустна и несчастлива, всё плачет и мне рассказывает своё горе и своё предшествующее горю — счастье, и первые два дня на меня, и без того грустную, она навела такую тоску, что я не знала, куда деваться. Теперь она спокойнее, и я веселее; впрочем, дела так много, что скучать время нет. Я в каком-то лихорадочном беспокойстве, чтоб всё успеть и всё сделать и не опоздать к такому-то и такому-то уроку.

Несносно, что <*слуга*> Сергей <*Арбузов*> всё пьянствует, ничего не делает; няня и Дуняша всё уходят на деревню его удерживать, и я его не велю пускать, а то боюсь пьяных. Кабинет не убран, у мальчиков хаос страшный, такая досада! Стёпа к тому же с утра уехал с борзыми на охоту, и я уже решила, что если будет шум от Сергея, то пошлю за Алексеем <*Ореховым*> и старостой <*Зябревым*>. <Имевшими доверие у Толстых, очень дельными яснополянскими мужиками. – *Р. А.*>

Никто к нам не приезжал кроме <учителя музыки> Александра Григорьевича, который был очень недоволен детьми и Тане поставил двойку. Серёжа, твой брат, с большими затруднениями прислал собаку одну, а другая у них пропала. Он, было, не дал, говоря, что какой-то работник наш намерен собаку тиранить и скручивать верёвками, и уже на отъезде догнал нашего работника какой-то Серёжин человек, который сам уже и привёл собаку. Вчера, шестого числа, уехал Егор, <*ямщик и шорник*> Шентяков и лошади, и Поражай с Пироговской собакой. Агафья Михайловна очень оплакивала Поражая. Сегодня утром уехала и Трифовна, очень грустная и жалкая. Мы с Стёпой с ней очень нежно прощались. Вот, думала, нечего тебе будет писать, и столько нашлось, что сказать. Сегодня оттого и села тебе писать, что бодра и весела, и делаю все дела свои охотно и учу детей с интересом и удовольствием, а когда мне скучно, мне перед тобой совестно и я боюсь тебя. Но до чего тихо дни идут, — это просто удивительно. Только пятый день, как ты уехал, стало быть едва вы доехали до хутора, а ещё до двух недель страшно далеко, и надо всё себя поддерживать и не позволять себе скучать и тревожиться. Так нам было хорошо и весело, зачем надо было именно и теперь расставаться. Но ведь опять будет так же, только бы ничего не случилось.

Прощай, милый, я начинаю опять поднимать в себе беспокойство и грусть, что тебя нет, и потому лучше больше не писать и даже не думать о тебе, а взяться за дело. То чувство, которое было в тот вечер, как я ушла расстроенная в свою спальню, то есть, тоже особенное, этот раз горе, вследствие твоего отъезда, беспрестанно возвращается, когда долго о тебе думаю, а *не думать* — не могу.

Целую тебя, милый; кланяйся Николиньке и люби меня.

Соня.

7 сентября. Вторник» *(ПСТ. С. 132 - 134)*.

Не только информативное, но и приятное, *почти* эмоционально-взвешенное, письмо. Но контрпродуктивные мысли и эмоции, оставшись невысказанными в письме, через несколько дней излились на страницы её дневника. Состояние её усугубили тогда же домашние неприятности с прислугой, невозможные в дни, когда Толстой был дома: «нагрубил лакей, взял жену, горничную, и ушёл» *(МЖ – 1. С. 257)*. Несмотря на это Софья Андреевна находит в себе силы продолжать хозяйственные хлопоты и занятия с детьми.

12 сентября в её дневнике упоминается полученная от мужа первая из телеграмм, вот такого содержания:

«Чугунка задержала <на> два дня. <В> Оренбурге здоров очень интересно телеграфируй о себе <в> Самару беспокоюсь. Толстой» *(83, 231)*.

Мы помним, что и раньше известия Толстого, что ему хорошо, интересно, радостно где-нибудь вдали от дома и от «благоверной» Софьи вызывали у последней некоторые негативные мысли и эмоции. Вот и теперь, упомянув о телеграмме, она пишет в дневник что-то странное, но, увы! вполне знакомое:

«Я очень тоскую и ещё больше беспокоюсь. Хочу убедить себя, что я рада, что он себе доставил удовольствие, но неправда, я не рада, я даже оскорбляюсь, что он среди прелестного времени нашей обоюдной любви и дружбы, — как было всё это последнее время, — мог оторваться добровольно от меня и нашего счастья и наказать меня мучительной двухнедельной тревогой и грустью» *(ДСАТ – 1. С. 90)*.

Вот так вот. Муж, оказывается, «наказал» жену своей деловой поездкой – а не она сама, «накрутив» себе нервы и дав волю нездоровому воображению…

Не имея возможности сорвать своё раздражение на муже, она срывает его на детях, и сама в ужасе от своего поведения: «…Я сержусь, кричу, и сегодня, огорчённая до последней степени плохим сочинением Серёжи о Волге, его орфографическими ошибками и ленью Ильи, я под конец класса разразилась слезами. Дети удивились, но Серёже стало меня жалко». И тут же, конечно, частые физиологические спутники душевных и эмоциональных расстройств: «…Здоровье плохо, дыханье трудно, желудок расстроен и болит. От холода точно страдаю и вся сжимаюсь» *(Там же)*.

Её же дневник 17 сентября (день её именин):

«У меня всякий день лихорадочное состояние, а теперь по вечерам дрожь, нервное возбуждение и точно голова треснуть хочет. […] Всё думаю: “За что, за что я наказана, за то, что так любила”» *(Там же. С. 91)*.

В этот же день Соничка “застукала” сама себя за довольно-таки нездоровым занятием, которое, как широко известно, она не оставляла, под различными предлогами, уже до конца жизни Л. Н. Толстого: в отсутствие мужа она погрузилась «в мир его дневников». Цель поначалу была благородная: жена задумала писать биографические очерки о муже. Но вскоре благое намерение привело её вот к чему:

«Я жадно отыскиваю все страницы дневника, где какая-нибудь любовь, и мучаю себя ревностью, и это мне всё затемняет и путает» *(Там же. С. 90)*.

Оставим, однако, Соню за этим её творческим (?) самоугрызанием, и вернёмся, чтоб закончить, к Льву Николаевичу. Итак, 7 сентября, Толстой выехал по железной дороге из Самары в Оренбург. Фраза «очень интересно» в телеграмме к Софье Андреевне относилась как к красотам степной природы по пути, так и к собеседникам в самом городе: путешественник навестил в их собственных домах и купца Деева (как раз там тот вручил Льву тигровую шкуру в подарок), и своего бывшего севастопольского начальника, ныне же оренбургского генерал-губернатора Крыжановского.

По указаниям Деева Толстой сделал несколько удачных поездок на конские заводы и закупил потребное число лошадей. Не забыв про именины жены, он точно 17-го посылает из Сызрани в Ясную Поляну телеграмму с поздравлениями, и в этот же день, уже из Моршанска — ещё одну, с радостным известием о скором своём приезде *(83, 231 – 232)*. Моршанск в то время — станция Сызрано-Вяземской железной дороги, по которой Толстой уже возвращался прямо на Тулу. В Ясной Поляне он был к понедельнику, 20 сентября. Софья Андреевна вспоминала: «Вернулся Лев Николаевич через две с половиною недели, влюблённый более, чем когда-либо, и вполне освежившийся морально. […] Купленных там лошадей степных он послал в самарское имение и мечтал о вновь выведенной им породе лошадей» *(МЖ – 1. С. 256, 258)*.

Как и прочие многие корыстные, честолюбивые и иные сугубо «мирские», суетные мечтания, *эта*, о конех, у Толстого тоже не сбылась. Незримая Всевышняя длань уже указала духу и разумению его на иное, достойнейшее, поприще…

КОНЕЦ ДЕСЯТОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Одиннадцатый
СЕМЕЙНАЯ ИДИЛЛИЯ, или ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ
(1877)

Этот эпизод не будет ни длинным, ни сложным по внешне-событийному или духовно-биографическому «составу». Ибо коснётся он только нескольких дней января 1877 года, т.е. времени, совершенно недалеко отстоящего от того, в котором мы покинули супругов.

Традиционно презентование текстов писем предварит – в этот раз также краткий – биографический и духовно-биографический очерк.

Л. Н. Толстой.
1876 г. Москва.
Фотография Г. А. Сокольникова (быв. Дьяговченко)

С. А. Толстая.
1879 г.

Что́ были супруги Толстые в конце 1876-го и 1877-м?

Лев Николаевич был, по внешности — всё тот же преуспевший писатель, на вершине зрелых творческих сил завершающий работу над своим очередным и неоспоримым шедевром, романом «Анна Каренина»; так же и — педагог, автор проекта подготовки в Ясной Поляне учителей для народных школ (в российских условиях «благополучно» проваленного); так же и отец пятерых подрастающих детей. В то же время — человек, и по наблюдению жены, и по личным признаниям *(напр., в письме Н. Н. Страхову: 62, № 294)* эмоционально непокойный, даже нездоровый, чередующий творческие подъёмы с периодами депрессии и уныния.

Продолжается и духовный кризис Толстого. Ещё в октябре 1876 г. один из его знакомых, помещик С. С. Урусов, несколько преждевременно упрекает Толстого в «измене» учению православной церкви, которое до 1876 г. Толстой-де «представлял за лучшее» *(Цит. по: Гусев Н. Н. Летопись… 1828 – 1890. С. 461)*. На самом деле Толстой *пока* продолжал, с нарастающими сомнениями, держаться веры в церковно-православное учение. Тому свидетельство — посещение

им 26-27 июля 1877 г. монастыря Оптина пустынь, где он беседовал о животрепещущих для него вопросах веры со старцем Амвросием и другими монахами и даже отстоял с ними всенощную.

Вместе с тем его сознанием уже завладевают ряд *дерзких*, как отозвались бы о них в ту эпоху, идей: например, отвращение к патриотической шумихе по поводу военной «помощи» славянам и войны с турками. В августе 1877-го Толстой даже задумывает писать царю — о войне и об общем состоянии России. Общеизвестно, что антивоенный скепсис Толстого нашёл выражение в последней части «Анны Карениной», по которой причине издатель Катков отказал ей в публикации в своём «Северном вестнике». Религиозная же *дерзость* проявляется, например, в первой попытке писания — пока, скорее, для самого себя — нового «Христианского катехизиса» *(см. 17, 363 – 368)* или в работе над статьёй с “говорящим” названием «Религия — определение веры» *(Там же, с. 357 - 358)*.

Всё это — «внутреннее» дело Льва Николаевича с Богом, ибо *пока* не задевает ни денежных и собственнических интересов, ни религиозных суеверий и предрассудков членов его семьи. Софью Андреевну заботит пока совсем другое. Например, 25 февраля 1877 г. она пишет сестре Татьяне:

«Лёвочка ходил на лыжах и… упал и ударился головой о дерево, и удар был настолько силён, что он ошалел, и была шишка на одном месте и шрам на другом. С тех пор у него всё болит голова и приливы очень сильные, и меня очень беспокоит его состояние. Может быть, это и не от ушиба, а от усиленного писанья и даже просто нервно, но я его упросила ехать к Захарьину…» *(Цит. по: ДСАТ – 1. С. 535. [Комментарии.])*.

В феврале 1877-го Толстой, действительно, выезжает в Москву не только по делам издания романа, но и к доктору Захарьину — для консультаций и лечения. «…Здоровье Льва Николаевича и меня очень тревожило, — вспоминает эти дни Софья Андреевна. — Стали делаться приливы крови к голове, и мы оба страшились, что у него сделается удар» *(МЖ – 1. С. 265)*.

Пока Толстой в Москве, Софья, по уже сложившейся привычке, делает осмотр его рукописей и иных бумаг в кабинете, находит и читает Дневник, и с сожалением оставляет тщеславную мысль о составлении фундаментальных «материалов к биографии» своего мужа:

«Жизнь его внутренняя так сложна, чтение дневников его так волнует меня, что я путаюсь и в мыслях, и в чувствах и не могу на всё смотреть разумно» *(Там же. С. 92)*.

Беспокойство жены Толстого вызывало и собственное её здоровье. Ужасы родов, болезней и смертей в течение двух лет одного за другим трёх маленьких детей Толстых — Петра, Николая и Варвары — подорвали не только физические её силы, но и душевные, и без того всегда крайне слабые… Толстой всерьёз боялся — если не чахотки, то возможного душевного расстройства супруги. «Сама я была всё время больна и слаба, — вспоминает Софья Андреевна, — и вскоре после праздников Лев Николаевич отправил меня в Петербург к моей матери и знаменитому доктору, профессору Сергею Петровичу Боткину» *(МЖ – 1. С. 262)*.

Остановимся только на наиболее значительных, судьбоносных для отношений супругов, вехах этой поездки.

Во-первых – Митрофан Поливанов (1842 - 1913). Тип красивого, сдержанного, не глупого, но достаточно ограниченного человека, расчётливого карьериста (дослужившегося до звания генерал-майора…). Как мы помним, он был женихом юной Сони Берс до её брака с Львом Николаевичем и — ради сохранения хороших отношений — даже шафером невесты на её свадьбе 1862 года с Толстым… вполне покорившимся судьбе. Что́ это был за тип, хорошо характеризует признанный им самим факт: в романе «Война и мир» Толстой наделил чертами его, Митрофана Поливанова, внешности, характера и манеры держать себя одного из самых «не толстовских», чуждых и неприятных персонажей — холодного, расчётливого Бориса Друбецкого.

Вот что в мемуарах вспомнила о первой после замужества своей встрече 1877 г. с прежним ухажёром сама Софья Андреевна:

«Мама собрала родственников и друзей и сделала мне обед. В числе приглашённых была и моя первая любовь – Поливанов. Он был женат уже на второй жене… Он говорил, что я совершенно переменила тип и из тоненькой девочки сделалась belle-femme» [*фр.* женщиной “в теле”] *(Там же. С. 264)*.

Не исключено, что такой сомнительный “комплимент” жене былого соперника был плохо прикрытой местью Митрофана Льву — как раз за образ Друбецкого в романе. Мол: «если уж я Друбецкой, так будь твоя жена Наташей… той обрюзгшей, отрожавшей «самкой», какой она сделалась в конце романа! Это ж идеал твоего мужа, которого ты предпочла мне!.. ты сама выбрала *это*».

А может быть, и не задумывал Митрофанушка такого коварства… так, экспромтом вышло. В любом случае, “комплимент” отложился в

памяти Софьи Андреевны от этой поездки. Завяжем «узелок на память» и мы…

Во-вторых – доктор Боткин, Сергей Петрович (1832 - 1889). Врач-терапевт с мировым именем. Как и его одарённые братья — выходец из купеческой семьи. Толстой знал его ещё до женитьбы, познакомились они в конце 1850-х на одном из московских литературных вечеров…

Но вот что́ терапист сей сотворил с Софьей Андреевной, по собственным же её воспоминаниям:

«Боткин нашёл мои лёгкие здоровыми, но мои нервы в очень плохом состоянии. Дал мне бром и мышьяк и велел не утомляться. Он спросил меня, когда я родила в последний раз. Я ему сказала, что в 1875 году родила преждевременно девочку и доктор <Захарьин> запретил мне рожать, говоря, что я могу от родов умереть. Боткин мне сказал, что это не имеет основания и что насилие над женским организмом очень вредно. “Советую вам продолжать рожать”, — сказал мне Боткин, и этот совет привёл Льва Николаевича в восторг» *(МЖ – 1. С. 263)*.

Отношение Толстого к этой новости подтверждает его переписка с двоюродной тёткой, Александрой Андреевной (Alexandrine) Толстой, которую он в письме от 11 января просил выведать у Боткина (тайком от Сонички, разумеется) все подробности о здоровье жены. Та исполнила просьбу и получила от Толстого письмо благодарности, в котором Толстой отмечал: «Я и Боткина полюбил за это. Он славный должен быть человек» *(Цит. по: Лев Толстой и его современники. Энциклопедия. Вып. 3. С. 84)*.

В оправдание Боткину можно сказать только, что, обследуй он её не после множества тяжёлых родов, а… скажем, после первых, когда она *уже* очень страдала и не могла кормить Серёжу (а муж заставлял, не признавая наёмных кормилиц, да ещё торопил с новой беременностью…) — вероятно, его мнение о том, что́ считать «насилием над женским организмом», было бы совершенно иным. Видимо, располневшая, постаревшая «самка» Sophie оказала на мужскую чувственность Сергея Петровича совершенно не то воздействие, на какое смела и имела бы право рассчитывать не очень красивая, но очень молодая пациентка.

А вот что касается нервов… Да, семейные несчастия не укрепляют нервного здоровья. Но, вероятнее всего, те же мышьяк и бром Боткин мог бы прописать даже и юной Соничке — в первые годы её жизни с мужем. Спокойной и уравновешенной она не была и тогда

(и вообще *никогда*!) – что подтверждается собственными её записями дневника и воспоминаниями.

И, наконец, *третий* и последний значимый эпизод поездки, на который желательно обратить внимание. Соня близко знакомится с вышеупомянутой Александрой Андреевной (Alexandrine) Толстой, будущей ярой и упорной церковно-православной оппонентткой Льва Толстого. И она становится для жены Толстого незыблемым религиозным и нравственным авторитетом.

Вот воспоминания Софьи Андреевны о знакомстве с Alexandrine:

«Хлопоты о приглашении доктора Боткина ко мне взял на себя Николай Николаевич Страхов. Боткин приехал ко мне, на квартиру моей матери, и в то время у меня сидела графиня Александра Андреевна Толстая, приехавшая познакомиться со мной. Я очень конфузилась, отвыкла от людей и чувствовала, что эта милая родственница Льва Николаевича изучает меня и пронизывает своими взорами. [...]

Впоследствии я очень полюбила и глубоко уважала эту прекрасную, духовно высокую и сердечную графиню Александру Андреевну. Ездила нарочно в Петербург с нею видеться; приезжала и она к нам в Ясную Поляну; мы с ней иногда переписывались и во многом сходились в религиозных вопросах» *(МЖ – 1. С. 262 - 263)*.

Легко понять, почему именно Alexandrine, аристократка и придворная служка четырёх императоров, стала столь духовно близка мнительной, эгоистической и жадной Софье Толстой. В психическом и интеллектуальном строе таких людей всегда уживались эмоционально-суеверное обрядоверие и идолопоклонство с эдаким «тефлоновым», совершенным *неприлипанием* к их сознанию *нравственного учения Христа* в его приложении к *их, лично их* общественному положению, богатствам, привычкам, образу мыслей и жизни и отношениям с людьми. Это — всеторжествующие и во многом даже бессознательные фарисеи лжехристианского мира, *играющие* религией (в чём позднее и изобличил Лев Николаевич Alexandrine), но *никогда* не делающие христианство Христа основанием для сколько-нибудь значимых, могущих навредить их мирскому положению, помыслов, слов и поступков.

Итак, можно предположить, как именно повлияла на Соничку эта краткая поездка. Она не брошена мужем, как поступил со своей первой женой Митрофан (и на её месте могла бы быть она!). Но для мужчин она — уже «раздобревшая» тётка, которой, с научно-медицинской колокольни, советуют, как деревенской бабе, рожать и ро-

жать, пока из брюха лезет, да у мужа встаёт… На радость мужу, который уже *очень* скоро доставит ей «со своим христианством» новые волнения и страдания. И вот — обретена ею своего рода «духовная опора» в старшей родственнице Льва, смотревшей на него всегда «сверху вниз» и не только не умевшей, но и *не желавшей* понять и разделить его исканий Истины в Боге и Христе — но не в той церкви уставного православия, в которой (особо не обременяя себя) было принято членствовать людям её общественного положения.

Воистину, идиллия 1877 года была «затишьем перед бурей», и готовила её во многом — пусть и не сознавая того — сама Софья Андреевна.

Теперь к переписке.

В четверг, 13 января 1877 г. Софья Андреевна выезжает по железной дороге через Москву в Петербург. 15-го к вечеру, в субботу, она уже на месте, и отправляет мужу следующее, обещанное ею, послание:

«Милый Лёвочка, вот пишу тебе от мама́ и ещё не опомнилась, как это я так скоро перенеслась и очутилась в Петербурге. До Москвы ехала с какой-то старушкой, Саратовской помещицей, всё разговаривала с ней и её дочерью, читала и не устала. В Москве меня встретил Истомин, и мы с ним в вагоне и с Стёпой переехали на Николаевский поезд. <Т. е. с Курского вокзала — на тогдашний Николаевский, откуда шёл поезд в Петербург. – *Р. А.*> Там встретил меня Серёжа <*С. Н. Толстой*>, и потом дядя Костя, — великолепен так, что беда, едет куда-то на вечер.

Серёжа странно встретился с дядей, смотрел на него упорно, но всё обошлось; мы целый час сидели, пили чай, весело болтали. Потом долго искали мне места, всё полно, и наконец нашли купе, два дивана, где сидела какая-то дама. Тут дядя Костя привёл мне Каткова, я с ним разговаривала, он тоже ехал в одно время со мной на 5 дней в Петербург. Дама оказалась очень порядочная, какая-то Орловская, богатая, рождённая Обухова, помещица. Я с ней много говорила о литературе; она восхищается, и очень умно, твоими произведениями, много рассказывала мне, везде бывалая, и за границей, и в Петербурге, и по России. Потом мы с ней каждая легли на свой диван и спали довольно хорошо, хотя тот же пот, та же тоска и кашель, но кашель меньше.

Утром Катков два раза заходил ко мне и спрашивал, хорошо ли я спала и не нужно ли мне чего. Я его благодарила и тоже его спросила

и говорила, что жарко и ещё что-то. Потом мы с Стёпой приехали к мама́ <Л. А. Берс жила тогда в Петербурге, в Эртелевом переулке. – *Р. А.*>; она ещё в постели, до слёз мне обрадовалась, огорчилась, что нет Тани, но не так, как я думала. Стёпа поехал к Страхову, а я с мама́ всё болтала; она очень постарела и всё хворает. И всё повторяла: «как я тебе рада, как рада!» Страхов был у Боткина и говорил обо мне, — и дал ему мою карточку, и Боткин на моей карточке написал:

«Если графиня выезжает, то я буду к её услугам в понедельник, среду, пятницу, от 8 часов вечера. Если же графиня желает, чтобы я её навестил дома, то прошу дать адрес, и тогда я назначу час и день приезда».

Сегодня же я написала Боткину записку, что я приехала, благодарю его за согласие приехать и прошу назначить мне, когда он может быть. На это он мне отвечал, что будет завтра между 3 – 5. Мама́ и Стёпа, и Петя все мне советовали просить Боткина к себе, а не ехать к нему. Мама́ уверяет, что мне, будто бы, ждать до дурноты 4, 5 часов у Боткина и неприлично, и несносно. И Боткин, будто, не хорошо занимается теми, кто к нему приходит, потому что на 60 человек времени мало. И Стёпа говорит, что ты будешь доволен, что я к себе пригласила, но это дороже.

Петя <П. А. Берс> с женой и дочкой приехали к нам обедать. Она, право, очень милая, его жена, и они трогательны с своей хорошенькой дочкой и своей бедностью. Петя очень желал бы выдти какими-нибудь средствами из бедственного состояния, хоть взять первое попавшееся место, чтоб не делать дальнейших долгов. Вячеслав <В. А. Берс> в сюртучке, с прекрасными манерами, но худой и бледный, в классе, соответствующем 5-му гимназии.

Лиза <сестра> явилась перед оперой в великолепии шёлкового туалета с бриллиантами в голове и везде — какие-то звёзды в роде полинькиных, и толста — ужас!

Петя, в то время как поил свою дочку молоком, капнул ей на платье. Она вскочила, закричала: «глупый, дурак!» и проч. Апломб удивительный. Да, подальше от неё, как можно, я с тобой согласна. Завтра я еду к Alexandrine и ещё куда-нибудь, если успею до трёх часов. К Alexandrine я поеду часа в два до трёх. Вечер посижу опять с мама́ и Петей и Стёпой. К родным забегу ко всем на минуту. Вообще ещё ничто мне неясно; сегодня я никуда не выходила из дому, всё сижу с мама́ и мне с ней приятно. О вас всех, моих милых, всё вспоминаю, но стараюсь не слишком думать и не беспокоиться. Боюсь, что ночью подступит мне тоска по вас, и я буду воображать разные ужасы. Но рассказывая мама́ о своих домашних, о тебе и о детях, я точно

опять возвращаюсь домой и мне приятно о вас говорить. Поблагодари Таню, мою милую, она всегда обо всём заботится, за груши, я их дорогой с удовольствием ела, когда во рту сохло.

Твою «Анну Каренину» (декабрьскую) в «Голосе» и «Новом Времени» расхвалили до небес. <Речь идёт о главах XX – XXIX пятой части романа. – *Р. А.*> Я ещё не читала, если можно, привезу. Мне говорила мама́, Стёпа и Славочка. Береги, милый, голубчик мой Лёвочка, себя и детей. Целую тебя сто раз, и Серёжу, и Таню, и Илюшу, и Лёлю, и Машу. Непременно приеду в среду вечером.

Твоя Соня» *(ПСТ. С. 137 - 138).*

А вот и встречное письмо Л. Н. Толстого, датируемое не точно: 14 или 15 января:

«Вчера, после тебя скоро, пошли на коньки, — и я, — и Дьяков. Дети были хороши и веселы, кроме Илюши, которого лицо гадкое, меня поразило с утра. Я целый день был в мрачном духе — и нездоровилось, и мысль об Илюше меня мучила. Совестно сказать про Дьякова, которого я так люблю, я устал от него. Не работал. Вечером, уложив детей, поехал провожать Дьякова на Козловку. <Т. е. на железнодорожную станцию «Козлова Засека», ближайшую к Ясной Поляне. – *Р. А.*> Вернулся, —поиграл и уныло лёг спать. Спал дурно и проснулся рано. Обошёл детей. Все здоровы и вели себя хорошо. Я, чтоб справиться, ездил верхом до кофе, поделал гимнастику и пошёл с детьми на коньки.

Все бегали очень весело. День морозный, но солнце уже хорошо греет. Вчера я, кроме Сережи, позволил им пробыть лишний час; но нынче боясь твоей акуратности, пошёл с ними домой вовремя. Все делают свои уроки. Илюша у Владимира Иваныча. <В. И. Рождественский, учитель родного языка. – *Р. А.*> Сию минуту, после долгих колебаний, я решил ещё раз говорить с Илюшей. Он плакал, и я плакал и Бог даст, останутся следы.

Я не могу нынче ещё заниматься и еду в Ясенки, везу это письмо.

Пожалуйста, не торопись назад. Если не только нужно для совета Боткина, но просто, если тебе приятно с *хорошими* людьми. Не стоит торопиться, когда уже заехала, так далеко. Пожалуйста, не делай так, чтоб сказать мне: я бы поехала, увидала или услыхала, если бы пробыла ещё день. Мне одиноко без тебя, но нет той тоски, которой я боюсь, и чувствую, что не будет. А дети совершенно в тех же условиях, как и при тебе. Прощай, душенька, целуй всех, кто тебя любят за меня» *(83, 233 - 234).*

По последнему абзацу мы можем судить, насколько хорошо, по горькому опыту, узнал Толстой характер жены: её склонность «накручивать» себя и стряпать “из ничего” проблемы и упрёки. Он говорит прямо: оставайся подольше в своём *хорошем* обществе, раз уж оно *для тебя* столь хорошо, и ты уверена, что именно они тебя достаточно любят и ценят. Софья Андреевна, конечно, так и поступила. За краткое время своего пребывания в Петербурге она успела увидеться с братьями Петром, Вячеславом и Степаном, с которым ехала из Москвы, с сестрой Елизаветой, двоюродными сестрами Еленой и Любовью Александровнами Берсами, Юрием и Марией Вячеславичами Шидловскими, дедушкой А. М. Исленьевым, В. А. Шидловской, семьёй В. А. Ислави́на, А. А. Толстой и Н. Н. Страховым.

Вышеприведённое письмо кончено Львом Николаевичем не позднее 15-го, а в следующий день, воскресенье 16 января, Толстой отсылает вдогонку ещё одно, содержанием и настроением как будто в продолжение предшествующему:

«Как видишь, у нас всё продолжает быть благополучно. – Вчера учил Лёлю и Таню, и Таня меня рассердила так, что я на неё раскричался, что мне очень совестно. Не могу работать.

Вчера вечером дети сидели со мной и красили, а я играл в шашки с Владимиром Ивановичем, а потом весь вечер до часу играл на форт<е>пиано. И то долго не мог заснуть и проснулся рано. Сейчас еду на станцию. Дети ходили на коньки, но нынче сильный мороз; ночью было 19 градусов, а на солнце 5 тепла.

Самое скучное для меня обеды с дующимися друг на друга педагогами. <У Толстых в это время проживали учитель В. И. Рождественский, m-r Rey, m-lle Gachet и Annie Phillips. – *P. A.*> Я всякую минуту думаю о тебе и воображаю, что ты делаешь. И всё мне кажется, хотя я и мрачен (от желудка), что всё будет хорошо.

Пожалуйста, не торопись, и ещё, хотя ты и говорила, что покупать ничего не будешь, не стесняйся деньгами, и если вздумается что купить, возьми денег у Любови Александровны и купи, и кути. — Ведь через три дня мы возвратим.

Прощай, душенька, не получал ещё письма от тебя. Без тебя я стараюсь о тебе не думать. Вчера подошёл к твоему столу, и как обжёгся, вскочил, чтоб живо не представлять тебя себе. Также и ночью, не гляжу на твою сторону. Только бы ты была в сильном, энергическом духе во время твоего пребыванья, тогда всё будет хорошо.

Всем, в особенности Любовь Александровне, от меня кланяйся.

НА КОНВЕРТЕ: Петербургъ. Эртелевъ переулокъ, домъ № 7. Квартира № 1. Ея Превосходительству Любовь Александровнѣ Берсъ. Для передачи Гр. С. А. Толстой» *(83, 234 - 235).*

Именно это письмо, его интимные строки об игре на фортепиано, столе и ночных воспоминаниях Толстого, Софья Андреевна приводит в мемуарах как свидетельство его огромной близости и «ласковости» в то время *(см. МЖ – 1. С. 264).* Это служит сотканному ей в дневнике и мемуарах мифу: ложному, надуманному противопоставлению «любящего» Толстого 1860-1870-х гг. — «охладевшему», «злобному» старцу 1890-1900-х.

Именно такими, вписанными в предварительно очерченный нами событийный и духовный контекст жизни яснополянского семейства эти письма супругов не утрачивают для нас значения диалога — в котором далеко не всё выговаривается напрямую. Это несмотря на то, что краткость визита С. А. Толстой в Петербурге исключала возможность непосредственного ответа участников переписки друг другу.

Снова письмо Сонечки из Петербурга, и снова — встречное, от того же 16-го числа января, что и только что приведённое письмо Льва Николаевича:

«Второе письмо пишу тебе, мой милый друг, и голова совсем уж кругом идёт. Сейчас только обедали Лиза <Павленкова>, Маша и Юрий Шидловские <двоюродные брат и сестра Софьи Андреевны. – *Р. А.*>, а уже 7 часов. Всё ждала Боткина, он приехал в 6 часов, а у меня в это время, у мама́, сидела Alexandrine. От неё, от доктора, от всего так устала и взволнована, что еле пишу. Страхов тоже был и всем очень понравился. Ну, о Боткине вот что. Да, ещё надо сказать, что Alexandrine, уезжая, Боткину сказала: «почините её, пожалуйста, хорошенько». Боткин сказал: «постараюсь, графиня», и был очень внимателен. Сказал, что лёгкие и грудь совсем здоровы, всё нервное; дал рецепты, советы диэты, движенья и проч. Я спросила: «стало быть я здорова?» — «Нет, — говорит, — вы совсем нездоровы» и всё уговаривал меня остаться неделю, чтоб начать леченье при нём. Я, конечно, не согласилась и приеду. Вот и всё, что я узнала. Рецепты: мышьяк, кали броматис и проч. тому подобное. Alexandrine заехала к мама́ узнать, приехала ли я, и, узнав, что я тут, вошла к нам. Я извинилась, что не сама приехала первая, говоря, что ждала с половины третьего Боткина, а раньше боялась, что буду trop matinale [*фр.* слишком рано]. Она назначила мне приехать к ней завтра, в 11

часов утра, и я поеду. Она была очень любезна и со мной и со всеми, и всё показывала на меня обеими руками и говорила: «Je la trouve, comme je l'ai rêvé» [*фр.* «Она именно такая, какую я себе мечтала»].

Утром мама́ меня возила к дедушке, Ославиным <семья дяди Софьи Андреевны, В. А. Ославина. – *Р. А.*> и Вере Александровне <Шидловской, тётке Софьи Андреевны. – *Р. А.*>. Это было скучно, везде по пяти минут, но для мама́ это было приятно, она этого хотела. Дедушка меня целовал и благодарил за дядю Костю очень трогательно. <Толстой по знакомству воткнул К. А. Ославина в сотрудники журнала к Каткову. – *Р. А.*> Ни у Лизы, ни у Пети, ни у кузин, нигде ещё не была, но придётся заехать завтра непременно, опять на минутку. Сегодня, то есть сейчас, еду с двумя кузинами, над бельэтажем, в «Аиду».

Все очень уговаривают, и очень хочется посмотреть именно эту оперу. Меня никто не знает, не сердись, голубчик, что я поехала; сидеть вечер с Лизой, Петей и другими, сегодня опять и завтра; только с мама́ жаль расстаться. Едет Лёля <Елена Александровна Берс (1837—1920), двоюродная сестра С. А. Толстой, дочь Александра Евстафьевича Берса. – *Р. А.*> и Люба и ещё кто-то из них, мне незнакомых.

Я чувствую себя не дурно, все мне рады и любезны. Стёпа бесится, сердится и кричит на всех; он ужасен тут и груб. Это сделалось от того, что директор написал, что нигде его не найдут, и с общего согласия решили, что мне надо написать, что он остался, чтоб проводить меня, больную. Но он говорит: «напиши, что я был болен»; мы, было, не хотели, но потом я согласилась, но он был в злобе и кричал. Мама́ очень мила, добра, тиха. Мы спим вместе и болтаем. Что-то вы, Боже мой, как я иногда беспокоюсь минутами и как вас люблю всеми силами моей души, тебя и детей, и тут без вас так жутко и одиноко.

Прощай, милый, прости за спешное письмо, тут всё и все спешат. Целую вас крепко всех, берегитесь и будьте покойны. Теперь скоро приеду. Alexandrine мила, потому что *твоя*, о тебе вместе говорим и любим.

Соня» *(ПСТ. С. 140, 142)*.

Радостно читать, что насквозь городской (хуже того – московской!) по воспитанию и привычкам Соничке «жутко и одиноко» даже в Питере без мужа и детей — истинных ценностей в её жизни… Толпа родни, Эрмитаж и театр с оперой Верди — разнообразят повседневность, но не заменяют в ней и для неё этого важнейшего.

Скучал и муж, что видно по тому, что, явно исполнив «эпистолярный долг» даже первыми двумя, в оставшееся время путешествия своей Sophie в Петербург Толстой успел-таки переправить туда *ещё одно*, краткое, уже вполне «дежурное», письмецо — 17 января:

«Пишу тебе, милый друг, хотя письмо это и не должно застать тебя, если ты выедешь, как хотела. Если же застанет, то тебе будет успокоительно.

Всё благополучно. Дети здоровы и провинностей никаких не сделали, и учатся порядком. Ходили нынче гулять, но на коньках не катались, — холодно. Я не выходил целый день именно потому, что нынче чувствую себя лучше прежних дней, и всё утро работал, — кончил кор<р>ектуры *<гл. I — XII шестой части «Анна Карениной». – Р. А.>*.

Прощай, душенька. О детях по тому особенно не заботься, что когда мы оба дома, мы заняты друг другом, скорее их забудем.

А теперь больше делать нечего, как заботиться о них. Письма от тебя не получал.

Теперь понедельник, 7 часов вечера. Сейчас поеду в Ясенки.

Вчера играл и я со всеми в лото.

Таня хозяйничает» *(83, 236)*.

Софья Андреевна воротилась около 22 января, и через три дня, в письме сестре Тане, описывает очень радостную встречу, устроенную ей в Ясной Поляне: «…точно что-то особенное во мне стало, точно праздник было моё возвращение» *(Цит. по: МЖ – 1. С. 265)*.

Кажется, трудно отрадней картину нарисовать?.. Ну, тогда пусть на ней и настанет

КОНЕЦ ОДИННАДЦАТОГО ЭПИЗОДА

———

Эпизод Двенадцатый
В ПИТЕР, ДА НЕ ПИТЬ
(Март 1878 г.)

Год с небольшим отделит нас теперь от событий предыдущего эпизода… но *сколько* незримых большинству событий совершилось в интеллектуальной, духовной и творческой жизни Льва Николаевича! Всё яснее становится характер совершающегося в нём духовного переворота. В 1878-м он ещё радует супругу и попов своим рвением в отправлении внешнего обрядоверия православия, но мыслию – уже настроен на сомнения, отрицание и поиск. Ещё в письме от 27 ноября 1877 года он задаёт верному Николаю Николаевичу Страхову такие характерные вопросы: «Есть ли в философии какое-нибудь определение религии, веры, кроме того, что это предрассудок? И какая есть форма самого очищенного христианства?» А уже в 1878-м он делает попытки самостоятельно отвечать на эти вопросы…

* * * * *

Ярчайшим событием семейной жизни Толстых становится рождение 6 декабря 1877 года шестого сына, Андрея. Вместе с позднее родившимся Михаилом, Андрея часто относят к самым «не толстовским» детям Льва Толстого — самым чуждым и по внешности, и по мировоззрению, и по образу жизни. На определённые размышления о причинах этого может навести только недавно, спустя более чем 100 лет, переизданная повесть Льва Львовича Толстого (Льва Толстого-младшего) «Яша Полянов».

Повесть, написанная сыном Л. Н. Толстого явно в подражание отцовскому «Детству», имеет множество черт автобиографического сочинения. Яша Полянов — мальчик, главный герой повести — конечно же, сам Лев Львович. В маме Яши и по внешности, и по поведению легко опознать Софью Андреевну… а вот отец… Образ отца намеренно мало проработан в повести: это какой-то отрешённый от реальной жизни человек, очень слабовольный, умный и недурной внешности, но устранившийся от жизни семьи, от воспитания детей… Напомним, что именно так представляла себе Толстого 1880-1890-х гг. его жена и мама Льва Львовича, Софья Андреевна — а сын, Лев Львович, находился под *очень* сильным её влиянием!

Зато весьма подробно проработан отрицательный, даже отталкивающий, образ гувернёра по фамилии Clé, жившего в доме. У гувернёра этого так же был реальный прототип, швейцарец Жюль Рей,

гувернёр и «учитель древних и новых языков», живший в доме Толстых с 4 июня 1875 г. по январь 1878 г.

На более чем 20 лет младше Л. Н. Толстого, Жюль Рей сразу *очень* понравился Соничке, с восторгом писавшей о нём в письме сестре Тане: «Он молодой человек, здоровый, в очках, весёлый, гимнаст, отлично знает латинский и греческий языки, также немецкий, а французский — его природный язык. До сих пор все им довольны…» *(Цит. по: ПСТ. С. 135).*

Особенные, близко-доверительные, «почти как со взрослым», отношения сложились у прекрасного Жюля со старшим сыном Толстого, Сергеем, с которым он регулярно играл в шахматы и секретничал, шёпотом ото всех, о каких-то общих «дружеских» делах. Впоследствии, впрочем, сам Сергей Львович отзывался в мемуарах о давно изгнанном, безответном гувернёре весьма неприязненно (и вряд ли во всём справедливо):

«Он был довольно красив, внешне учтив, хорошо одевался, но выражение лица его было неприятно: из-под очков серые его глаза бегали, улыбка была деланная. Этот скрытный и развратный человек испортил мне два года моей жизни, хотя я был его любимцем. Он требовал от нас образцового поведения, а сам тайно покупал вино, пил и был в тайной связи с жившей у нас англичанкой <и только ли с ней? – *Р. А.*>. Он сумел понравиться моему отцу, а сам дурно говорил про него» *(Толстой С.Л. Очерки былого. Тула, 1965. С. 43 - 44).*

«Прибрал к рукам» он и младшего Илюшу — о чём сообщает также Соня в цитированном нами выше письме сестре.

Но совсем без восторга, как-то очень скупо о нём — в воспоминаниях Софьи Андреевны, предназначавшихся ею к публикации… Вскоре молодой красавец и ловелас завёл романчик с тогдашней «англичанкой» (английской гувернанткой) детей Л. Н. Толстого Annie Philips. Роман этот, если верить жене Толстого, «ничем не кончился», а вскоре за эти шашни и за частые выпивки Лев Николаевич отказал буйному красавцу в месте, и тот, со слезами на глазах, покинул дом *(МЖ – 1. С. 253, 275).*

Повесть Л. Л. Толстого «Яша Полянов» позволяет предположить, что Софья Андреевна… кое-что недоговаривает в своих мемуарах. По сюжету повести, в доме рождается «бэбичка» — Петя, «маленький братик» Яши Полянова. И автор этой, формально «детской», повести рассыпает по её тексту ряд намёков на то, что папа Яши… *не* папа Пети.

Вот только один из эпизодов: мама легла рожать (семилетнему Яше сказали, что она «заболела»). У других членов семьи в это время обед.

Папа Яши, войдя в залу, шарится глазами по собравшимся за столом… и не находит среди них m-r Clé. Рассказ ведётся от имени маленького Яши:

«— А где же monsieur? — удивлённо спросил папа у мальчиков, не видя за столом m-r Clé.

— Он нездоров, — ответил Вася, — у него голова сегодня болит и глаза.

— Удивительно, — сказал папа, — он был, кажется, совсем здоров сегодня утром.

— Да, — ответил Вася, — но теперь он болен.

Я заметил, что Серёжа чему-то улыбнулся в то время, как Вася серьёзным тоном говорил это» *(Толстой Л. Л. Яша Полянов (Из воспоминаний детства.) – Тула, 2014. – С. 54 - 55).*

Конечно, m-r Clé не болел, а элементарно прятался в своей комнате — ожидая вестей о роженице и ребёнке и «подлечивая» стресс из горлышка очередной винной бутылки… Вот Петя родился, мать здорова и весела — и на другой день месье уже не только не прячется, но ведёт себя очень даже бодро и нагло: «Он беспрестанно закатывался грубым, громким смехом, бормотал себе что-то непонятное под нос и ел всего по два и по три раза такими порциями, что все в недоумении косились на него» *(Там же. С. 59).*

В детской повести всё объясняется «вдруг» обнаружившимся пьянством m-r Clé. Он даже ударил спьяну старшего брата Яши — Сергея (!) за какие-то его откровенные, наедине сказанные слова. Отец Яши, вызнав у месье (не при жене) эти слова, недовольно и зло кидает Сергею: «сам виноват!». Месье, впрочем, отец тут же отказывает в месте и велит покинуть дом. Завершается эпизод отъезда m-r Clé «невинным» суждением маленького Яши: «Я думаю, что m-r Clé, может быть, ещё продержался бы у нас, если бы внезапно не заболела мама» *(Там же. С. 64).*

Конечно, все эти намёки, вкупе с самим образом отрешённого, безвольного, ото всего устраняющегося отца Яши (под которым Л. Л. Толстой недвусмысленно подразумевает *своего* отца) — не доказательства… Семейка Толстых, включая теперешних сволочных их потомков — умеет хранить свои мерзкие тайны! Вероятнее всего предположить, что таким образом Лев-младший излил на страницы детской книжки только *личную* свою неприязнь к отцу — внушённую ему, разумеется, матерью, мучительно напуганной и раздражённой на мужа в связи с его попытками жить по вере, по учению Христа!

Но можно предположить и иное… Трое малышей, умерших перед рождением в 1877 году Андрея Львовича, могут быть свидетельством не одного только нездоровья Сони, при котором беременность, роды, вскармливание ребёнка должны бы быть противопоказаны, а неодолимого психосоматического, даже *органического отвращения* ко всему, что касалось интимно-половых отношений с ним — по крайней мере, в эти годы… с определившимся нежеланием иметь от него детей. Подчеркнём, что это не исключало не только продолжения сожительства с мужем, но даже и благородной любви к нему, как к личности — той любви, которая выше постельных предпочтений… Но и половая, интимная жизнь молодой женщине была нужна. И вот «альтернативой» для приятного общения стали гости дома, молодые слуги и гувернёры — быть может, Жюль Рей был и не последним в их череде!

Желая выразить неприязнь к отцу, в «тени» которого, по собственным фантазиям, пропадал он сам, не имея возможности проявить сполна публично свои таланты, и который, опять же по фантазиям Льва Львовича, был несправедлив и жесток с матерью, Лев Толстой-младший *нечаянно, со злости,* сообщил читающей публике больше, чем хотелось бы родителям и старшим братьям!

В таком случае современные феминистки, вероятно, порадуются за объект их симпатий: Софья Толстая *достойно* и зло отомстила мужу за те адские странички его срамного Дневника (о грешных отношениях с женщинами до брака), которые изводили её воспоминаниями и в старости, за ужас мучительных, нежеланных родов и принудительное, по требованию отца, кормление малышей больными, воспалёнными, кровоточащими грудями – отомстила *жестоко* и «по всем фронтам», включая главный «фронт» для всякой женщины: *постель*.

Роль мужа и отца старших детей в этом случае — особенно унизительна: ему много лет пришлось скрывать и свой позор, и срам жены. Смерть во младенчестве Пети помогала сокрытию, но не уменьшала позора. Это не могло не отразиться на дальнейших взаимоотношениях его со *всей* семьёй… которые нам предстоит ещё проследить по переписке супругов последующих лет.

* * * * *

Наконец, скажем пару слов о работах 1877 – 1879 гг. Л. Н. Толстого как писателя. В разной степени ему удалось начать, развить, но так и не довершить до конца, по крайней мере, четыре больших художественно-исторических проекта: роман «о переселенцах», роман

«из эпохи XVIII века»: роман «из времени Николая I», и — логичное для автора «Войны и мира» продолжение — «роман о декабристах». Последний проект к началу 1878 года стал явным «фаворитом» Толстого, и он дважды, в феврале и в марте 1878 года, выезжает в Москву и Петербург для сбора книжных, архивных и мемуативных (воспоминаний ещё живых декабристов) источников для художественного изображения возлюбленной им эпохи.

Ко второй из поездок, состоявшейся с 4 по 12 марта 1878 г., и относится новый эпизод в Переписке супругов Толстых, о котором мы поведём теперь речь.

Ехал в Питер Лев Николаевич, разумеется, через Тулу и Москву. Ещё 4 марта он в Туле, где в доме Евгении Ивановны Пущиной (1838 — 1900) он встречается с дочерью Рылеева, Анастасией Кондратьевной (в замужестве Пущиной, 1823 — 1890). После он отъезжает в Москву, перед этим отправив жене первое из довольно кратких писем этой своей поездки:

«Поезд опоздал на три часа (потом оказалось, что на пять), так что я потерял целый день. Возвращаться не стоило того. Был у Пущиной. Много интересного от дочери Рылеева. Напишу из Москвы. Поезд пришёл в 4,15 м.

Л. Т.» *(83, 244).*

В Москву Толстой добрался в ночь на 5 марта. На другой день, в воскресенье, он сходил в церковь к обедне – характерный шаг именно для данного этапа его духовной эволюции! Затем он провёл четыре прекрасные часа в гостях у декабристов П. Н. Свистунова и А. П. Беляева, который передаёт ему рукопись своих воспоминаний. Обедал же Толстой у знаменитого П. И. Бартенева, издателя «Русского архива», выпытывая и выпрашивая у него дополнительную информацию, в особенности всякие документы по декабристам.

Вечером того же дня Толстой отъезжает в Петербург, послав перед тем жене такой не пространный, но информативный отчёт:

«Пишу с Петербургской железной дороги. Устал очень, но, слава Богу, всё благополучно и здоров. Устал я от того, что встал рано, пошёл к обедни, не мог отделаться от Васеньки <Перфильева>, всё с ним спорил. Потом поехал к Свистунову, у которого умерла дочь, и просидел у него 4 часа, слушая прелестные рассказы его и другого декабриста Беляева. Зашёл к Беляеву потом к Бартеневу, у которого

обедал, и должен был торопиться на поезд. Целую тебя, душенька, и детей; будь спокойна и не волнуйся. Андрюшу особенно целую» *(83, 245)*.

К вечеру 5 марта относится первое в данном эпизоде переписки письмо С. А. Толстой – её ответ на записку Льва Николаевича из Тулы. Приводим ниже полный текст этого письма.

«Очень тебе благодарна, милый Лёвочка, что ты прислал мне записочку из Тулы, но на мою тревогу о тебе прибавилась ещё сильнейшая; напрасно ты поехал, теперь, конечно, это всё уж кончилось, и ты вероятно или в Петербурге или в дороге туда, но как кончилось твоё путешествие? Сегодня и вчера мой маленький <Андрей> крайне беспокоен по случаю метели, и я, ходя мерными, тихими шагами по детской с ребёнком на руках, с замиранием сердца прислушивалась к завыванью ветра. Вот уже три дня как метель, и я воображаю, как везде задержаны поезда, как ты с непривычки и с своими слабыми нервами устанешь от продолжительного путешествия. И что за неволя была ехать? Ведь к лекции Соловьёва уж ты и так не поспел, а промучился наверное. Буду с нетерпением ждать во вторник письма от тебя из Москвы. И теперь из Петербурга ты вернёшься не раньше субботы, а то уж очень мало тебе времени будет.

У нас без тебя всегда всё хуже. Дети ведут себя дурно; Серёжа и Таня убежали на эту страшную метель в одних платьях, я их обоих наказала, заперла в твой кабинет Серёжу, и в тётенькину комнату Таню. Потом они подрались; Илья и Лёля бросали бумажные стрелы в Серёжу, он рассердился и их побил, они его, — прибежали ко мне в детскую жаловаться. Серёжа за обедом говорит про педагогов: «сидят три чучелы, не могут остановить детей». Конечно, я на это очень рассердилась. После обеда Серёжа сконфуженно взял меня за руку и говорит: «не сердитесь, мама́». Я говорю им всем: «давайте, дети, после обеда будем все дружелюбны, а то что это за воскресенье?» Серёжа ушёл писать свой дневник, Таня тоже притихла, но Илья, Лёля и Маша были неудержимы, прятались под кровати, говорили: «fool», и <гувернёр> Mr Nief стал даже грустен.

Перед сном пришли ко мне Илья и Лёля прощаться в детскую, прилегли на диван и всё повторяли: «как сегодня скучно было», на что я им прочла мораль о совести и угрызениях её, и сказала, что к сожалению должна написать папа о их поведении. Лёля сказал: «припишите, что мы будем с понедельника всю неделю себя вести хорошо».

У меня всё лихорадочное состояние, постное есть перестала. Вчера была немка, рассказывала, как ты ей шубу прислал, а Курдюмов не

поехал по случаю метели и горловой боли. <Гимназист Тульской классической гимназии Евг. Курдюмов – мальчик по вызову, приезжавший заниматься с детьми Толстого. – *Р. А.*> Сегодня <домашний учитель> Василий Иванович <Алексеев> ездил в Тулу. Мы с ним вчера много говорили о спиритизме и все дети собрались в кружок слушать.

Очень интересуюсь твоим знакомством и разговором с Пущиной. Много ты мне интересного будешь рассказывать. Прощай, милый друг, целую тебя и мама, жду с нетерпением известий.

Соня.

4 марта. 1878.

Воскресенье вечер» *(ПСТ. С. 144 - 145).*

Дата, проставленная С. А. Толстой, должна быть исправлена: воскресенье в 1878 г. падало на 5 марта, а не на 4-ое. Означение же дня недели считаем правильным, так как в самом письме рассказывается о времяпрепровождении именно воскресного дня.

Необходимо сделать ряд примечаний и по содержанию письма. Упоминаемые в нём лекции В. С. Соловьёва читались философом в эти дни в т. н. «Соляном городке» в Петербурге. Толстой и Соловьёв во второй половине 1870-х взаимно интересовались друг другом и искали знакомства, к этому времени уже, как мы помним, состоявшегося. Мыслители нашли сперва много оснований для сближения, но и взаимно невзлюбили друг друга через много лет!..

Друг Толстого Н. Н. Страхов всё-таки успел организовать для Толстого посещение одной из лекций в «Соляном городке» — о чём мы ещё расскажем ниже…

В свете вышеизложенных обстоятельств следует обратить внимание и на упомянутого в письме нового гувернёра и учителя старших детей Толстых, сменившего изгнанного прекрасного Жюля. Проклятие всех, поздно женившихся мужей: Mr. Nief (Ньеф), статный француз, был на 15 лет младше Льва Николаевича. Ньеф оказался не только внешне привлекательным, но и человеком с довольно романтическим прошлым. Софья Андреевна не без приятности вспоминает его в мемуарах: «…Добродушный, образованный француз, который оказался впоследствии коммунаром, Mr. Montels, бежавшим из Франции, и который раньше никогда не был ни учителем, ни гувернёром, что приятно в нём почувствовалось с самого начала» *(МЖ – 1. С. 275).*

И подробнее следует остановиться на другом упомянутом в письме педагоге, сыгравшем значительную роль в становлении мировоззрения и судьбе самого Л. Н. Толстого. Конечно, это Василий Иванович Алексеев (1849 —1919), сын псковского помещика и крепостной крестьянки, демократ, сектант-общинник…

Софья Андреевна в мемуарах вспоминает и про него – конечно, уже только как учителя детей, без заметного личного расположения:

«В августе 1877 г., после возвращения из своих поездок, Лев Николаевич, проникнутый в то время воспитанием детей и важностью цели поступления Серёжи в университет, поехал в Москву искать русского учителя. Но вернулся Лев Николаевич, не найдя никого, и, совершенно случайно, как-то раз в Туле встретил мою всегдашнюю акушерку, Марью Ивановну Абрамович и спросил её полушутя: «Нет ли у вас учителя?» — Есть, — отвечала она. — А управляющего в Самарское имение? — Тоже есть. И действительно, оказались у Марии Ивановны двое знакомых, ищущих занятий; оба прекрасные люди, из дворян, оба революционеры того времени, гуманного и либерального направления. Один из них В. И. Алексеев, кончивший курс в университете на математическом факультете, с интересным прошлым. В молодости своей он принадлежал к кружку Чайковского, интеллигентных людей, желающих жить своим трудом на земле […]. Они все уехали в Канзас и там начали жить и работать. Не помню, долго ли эта община существовала в Канзасе, но она в конце концов распалась. Конечно, перессорились женщины. […].

Вот этого-то В. И. Алексеева мы и взяли русским учителем к нашим детям. Он был прекрасный математик; дочь моя Таня говорила, что никто ей не дал в смысле общего образования и развития так много, как Василий Иванович. Мы все его любили; характер у него был добрый, большая простота и большая любовь к работе. Он и пилил, и клеил, и шил сапоги, и рубил дрова, и много занимался моими детьми» *(МЖ – 1. С. 271)*.

Тут стоит заметить в скобках, что официально Алексеев был в доме Толстых учителем математики, русского языка, географии и истории. Но ремёсел этот бывший коммунар знал, действительно, немало… На демократизм его убеждений (которые до конца жизни перенял у него Толстой) указывает эпизод, о котором вспоминает В. Ф. Булгаков: Алексеев не хотел сперва служить учителем в доме Толстых, так как «там за обедом прислуживают лакеи во фраках и белых перчатках» *(Булгаков В. Ф. Лев Толстой, его друзья и близкие. Тула, 1970)*.

Внешность Алексеева, переданная в воспоминаниях С. Л. Толстого, чем-то сближает его с «князем-Христом» (или «идиотом») Львом Николаевичем Мышкиным из романа Достоевского:

«Он был немного выше среднего роста, худ и узок в плечах, белокур и не отличался мускульной силой. Под подбородком у него моталась редкая русая бородка, на щеках волосы не росли, его честные голубые глаза смотрели ласково, говорил он плавно и спокойно и почти никогда не сердился» *(Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1975. – С. 59)*.

Здесь же сын Толстого подчёркивает взаимное влияние Алексеева и Толстого друг на друга.

Доподлинно известно, что именно «первый толстовец» (как именует Алексеева Сергей Львович) обучил Льва Николаевича Толстого, великого писателя земли русской, благородному ремеслу сапожника…

Алексеев, как и красавчик Жюль, был на 20 лет моложе Толстого. Но явился в дом Толстых не один, а с сожительницей, которую привёз из Америки и у которой к тому же был ребёнок (позднее выяснилось, что не от него). Сожительницу он сперва выдал за жену, и, вероятно, уже этим одним попортил навсегда отношения с Софьей Андреевной. Чем решительнее обращался её муж к Богу и Христу — тем активнее выражалась Софьей Андреевной неприязнь к многоталантливому учителю. Любопытно, что на этот раз изгнала из дома учителя *жена*, а не муж, не Лев Толстой. Это произошло в 1881 году, когда Василий Иванович поддержал порыв Толстого: написать письмо императору Александру III с христианским призывом простить и избавить от казни «цареубийц», казнивших от имени революционной организации «Народная воля» императора Александра II. Софья Андреевна, боявшаяся для мужа и семьи преследований от властей за это письмо, наорала на кроткого «идиота», подчеркнув, что желала бы выгнать его за вредное влияние на семью, и, несмотря на последующие её извинения — Алексееву вскоре пришлось покинуть дом своего друга и благодарного ученика. Умненькая же Sophie — конечно, «завязала узелок на память», поняв, что может подобным же напором «прогибать» под свои желания и собственного мужа.

Но вернёмся к Льву Николаевичу и его питерской поездке 1878 года. Непосредственно в Питер он прибыл 6 марта. Целей этого посещения российской столицы было несколько: 1) достать побольше книг и рукописей для работы над начатым романом; 2) повидаться лично с Н. Н. Страховым, В. А. Ислави́ным и кое-кем ещё, кто мог

бы сообщить значимую для нового романа информацию; 3) повидаться с Alexandrine Толстой; наконец, 4) заключить купчую крепость на покупку участка самарской земли у бар. Бистрома.

В Петербурге Толстой остановился у своей тёщи Л. А. Берс (Эртелевский переулок, дом 7, квартира 1). В первый же день по приезде, 6 марта, он отправился к А. А. Толстой, но не застал её дома. Следом — отправился к дяде жены, В. А. Исла́вину, занимавшему тогда пост члена Совета министров государственных имуществ. Уютно и по семейному он довольно быстро сумел выцыганить у него пять архивных дел 1810 – 1825 гг. по переселению крестьян из центральных губерний (соответственно, для романа о переселенцах). Потом… а потом «второе дыхание» закончилось. Он забил на оперный театр, узнав, что там идёт не любезная ему «Юдифь» столь же нелюбезного Серова, и завалился на хату к тёще, где провёл вечер за игрой в карты с А. М. Исленьевым, дедушкой жены, и непременным Н. Н. Страховым.

Следующим днём, 7 марта, Лев Николаевич осчастливил визитами сразу двоих. Барон Бистром взял с Толстого обязательства выплатить в определённые сроки 42 000 рублей за 4022 десятин прекрасной самарской земли. Оба нашли сделку великолепно выгодной. Кроме того, в этот день и в следующие два Толстой с удовольствием (взаимным!) навещал Alexandrine (Александру Андреевну Толстую). Судя по записям её дневника, Толстой смело поведал ей свои религиозные сомнения и выводы. Alexandrine практически пророчит скорое написание им «Исповеди»: «У Льва в зачатии теперь новое сочинение, и я уверена, что в нём теперь отразится эта исповедь его веры или вернее — исповедь его новой веры» *(Цит. по: 83, 249)*.

Обо всех своих похождениях 6 и 7 марта Толстой, конечно, отчитался в двух небольших письмах жене *(см. 83, 246 – 248)*. Помимо изложения в них того, что мы уже рассказали – вот маленькая «личная» приписка для жены во втором (от 7 марта) из этих писем:

«Получил твою телеграмму ночью и не отвечаю, потому что ты верно получишь моё письмо раньше телеграммы. Получил и письмо <От 5 марта. – *Р. А.*>. Как грустно, что дети себя так дурно вели. Если не получишь телеграммы, не сердись, душенька.

Все Толстые тебя искренно полюбили и хвалят, а я радуюсь.

Не пробуду ни часа лишнего без нужды. Скучно и тревожно здесь, хотя я очень спокоен и степенен.

Целую тебя и детей. Андрюше не вели беспокоиться» *(Там же. С. 248)*.

Софья Андреевна, действительно, ожидала 7-го ответа на посланный в телеграмме запрос о здоровье мужа – о ней она сообщает в письме от 8 марта (см. ниже).

Наконец, уже незадолго до отъезда из Петербурга, 9 марта, Толстой отправляет жене ещё одно небольшое письмо, писанное в ночь на 9-ое – опять же, очень кратко, о событиях с 7 по 9 марта:

«Утром был Бистром. Потом поехал к нотариусу, в <Публичную> библиотеку, к Страхову и в <Петропавловскую> крепость. Потом с <А. А.> Толстой, к которой заехал, к старухе <Прасковье Васильевне> Толстой обедать. Оттуда к Вере Александровне <Шидловской; она же в девичестве – Вера Ислави́на. – *Р. А.*>. Там глупая и скучная игра в карты, и вернулся сейчас домой с мама́, в три часа. В первый раз собой недоволен за то, что сел в карты и засиделся долго без удовольствия. Надоело ужасно. Завтра, и позднейшее в пятницу, надеюсь кончить с Бистром и уехать. Получил твоё письмо <от 6 марта>. Ужасно радостно. Страшно только за Андрюшу. Целую тебя, душенька, и ложусь спать» *(Там же. С. 249 - 250)*.

Кстати. То, что письма Льва Николаевича из этой поездки были небольшими, сухими, довольно малоинтересными – хорошее свидетельство усилившейся ненависти Толстого к подобным поездкам, к городам в целом и городским впечатлениям. Ему было не просто «скучно и тревожно», а почти невыносимо. Первый день в Петербурге даже ознаменовался каким-то недомоганием. К однозначно негативным впечатлениям от Питера следует отнести и осмотр Толстым Петропавловской крепости, а также две мимолётные встречи с царём. Об этих встречах Толстой рассказал жене, а жена, разумеется, поведала в мемуарах:

«Купчую <на земли Бистрома. – *Р. А.*> совершали у нотариуса Утина, и Лев Николаевич рассказывал, что, когда он поднимался по лестнице, навстречу ему шёл государь Александр II с князем Горчаковым, к которому он с чем-то обратился, сильно грассируя на слове “mon prrrince”… Государь шёл в фотографию Левицкого, которая находилась на той же лестнице. Увидав чужого человека, у государя сделались испуганные и, как рассказывал Лев Николаевич, недобрые глаза.

Ещё раз пришлось ему видеть государя, когда Лев Николаевич с братом Стёпой проезжал в карете мимо Летнего сада, из которого после прогулки выходил государь, и опять то же впечатление: на него в карету посмотрели злые глаза» *(МЖ – 1. С. 278)*.

В Петропавловской крепости её комендант барон Майдель, типичный «служивый» при должности, так и не смог вникнуть, для чего Толстой хотел увидеть крепость, но не без гордости показал ему кандалы, в которые были закованы в крепости арестованные декабристы, а заодно… поведал о нововведениях пенитенциарной системы — одиночных камерах и пр. Преодолевая отвращение, Толстой попросил было провести в особо охраняемый Алексеевский равелин, на что любезный барон, конечно, ответил радостным согласием, но с тою же неизменной любезностью, не сморгнув, предупредил, что выпустить Толстого оттуда живым он уже не сможет: «войти в равелин можно всякому, а выйти оттуда могут только три лица в империи: император, шеф жандармов и комендант крепости, что и известно всем часовым у входа в равелин» *(Из воспоминаний С. А. Берса. Цит. по: Гусев Н. Н. Материалы… 1870 – 1881. С. 475)*.

Теперь у нас на очереди сразу *три* послания от тоскующей в отлучке мужа Софьи Андреевны.

Сперва – письмо от 6 марта, которым Софья Андреевна «ужасно обрадовала» Льва Николаевича, если судить по его уже приведённому выше ответу от 9 марта:

«Пишу тебе второе письмо, милый Лёвочка. Что тебе интереснее, то пишу прежде; а именно, что все дети здоровы и мне сегодня лучше, лихорадочного состояния почти не было. Но не могу не писать тебе всякий день bulletin о моём сынке, так он меня всю поглощает. Он, бедный, нездоров, у него жарок и расстройство желудка; он так надувается, что в третьей комнате слышно и меня это очень смущает, но, Бог даст, обойдётся, ночь он спал прошлую очень хорошо и день был не слишком беспокоен, а это сделалось к вечеру и я ему грею припарки на животик. Дети себя вели лучше, за обедом, было, Серёжа начал придираться к Лёле, я его остановила и сейчас же переменила разговор, глядя на него очень пристально. У нас произошла мгновенная игра в глазах, и мы поняли друг друга и он утих сейчас же. Александр Григорьевич был, на Илью жаловался, что очень в классе шалил и поставил ему единицу, Илюша же говорит, что оттого, что у Александра Григорьевича болели зубы.

После обеда я вышла на воздух, мне надо было в кладовую сходить, и меня охватило таким приятным чувством от воздуха, от заходящего яркого солнца, и напомнило те старые впечатления весны, которые наводили на меня, бывало, приятную грусть и ожидания чего-

то очень хорошего. Теперь я боюсь этих впечатлений и всегда их отгоняю; мне не надо выходить из своего тесного мирка забот и воспитания больших и малых детей.

Где ты теперь, как доехал и что делаешь? Я не думала, что мне будет так страшно за тебя. Но ты не спеши домой, ты так редко уезжаешь, а я буду очень терпелива без тебя во всём.

Заходила к Алексею <Орехову, управляющему имением. – *Р. А.*>, ему гораздо лучше. Прощай, милый друг, целую тебя и мама́.

Соня.

Танино платье-то на мерку я забыла уложить, теперь не знаю что делать» *(ПСТ. С. 147)*.

Следующее письмо, от 7 марта, начинается пересказом Софьей Андреевной некоего религиозно-мистического сна, на который Лев Николаевич вряд ли обратил тогда достаточное внимание (а следовало бы!):

«Не могу удержаться, чтоб не написать тебе, милый Лёвочка, то, чем я проникнута сегодня до глубины души. Верно моё одиночество и страх о тебе делают меня такой нервной и усиливают во мне веру в разные предрассудки; но я совсем больна от виденного мною в прошлую ночь сна. Будто я с Лёлей и Машей подхожу в Страстную пятницу к большому собору, и вокруг собора ходит огромный позолоченный крест; когда он обошёл три раза, он повернулся ко мне, остановился, и я увидала распятого Спасителя чёрного с ног до головы. Какой-то человек обтирал полотенцем Спасителя, и Спаситель вдруг весь побелел, открыл правый глаз, поднял, отставив от креста, правую руку и указал на небо. Потом мы будто пошли с Лёлей и Машей по шоссе и покатилось крымское яблоко по траве и я говорю: “не берите его, оно моё”.

Когда я проснулась, было пять часов, я дрожала, как в лихорадке, у меня стучали зубы и я рыдала. Во сне ещё я сказала себе: “Это мне Бог посылает *крест — терпение*, и от меня откатится яблочко какое-нибудь”. Все так толкуют мой сон и наяву. Спать я больше не могла; теперь у меня болит грудь и спина, и всё плакать хочется. Конечно, мой страх и беспокойство — всё отношу к тебе, милый мой; но надеюсь, что все мои кошмары от нездоровья, что-нибудь во мне не ладно. Скорей бы уж ты приехал.

Маленький мой всё плачет и всё у него жарок, но желудок больше не расстроен, и очевидно моё молоко тревожно и оттого и он.

Маликов поехал в Петербург, ему там место предлагают; жалею, что вчера не просила его снесть тебе письмо и Танино платье и просить тебя телеграфировать мне о твоём здоровье в тот день, как он приедет в Петербург, т. е. завтра.

Сегодня буду ждать письма от тебя из Москвы, я пишу тебе уже третье. Завтра ещё напишу, а потом уж незачем будет писать, в субботу, верно, приедешь.

Дети все за уроками, все здоровы и веселы, слава Богу. <Кучер> Филипп <Егоров> нынче поехал за лошадью, а я это письмо посылаю в Тулу; едут за Курдюмовым.

Вчера вечером ещё я так спокойно переносила твоё отсутствие, а нынче напал такой страх; если будет продолжаться, я телеграфирую тебе запрос о твоём здоровье. А то будь мил, как только получишь это письмо, в четверг, верно, телеграфируй мне, голубчик, на Козловку о себе. Целую тебя и люблю.

Соня.

Вторник 7 марта. 12 часов дня. 1878» *(ПСТ. С. 148 - 149)*.

Маликов, упомянутый в письме Сони – ещё один учитель, принятый в дом Толстого явно не без влияния близкого его друга Алексеева. Александр Капитонович Маликов (1841 – 1904) прошёл через революционерство, суд по делу каракозовцев в 1866 г., создание собственной секты и той самой общины в американском Канзасе, в которой успел отмучиться учитель Алексеев… Он был своего рода «духовным наставником» самого Алексеева. О нравах секты хорошо говорит факт, что вышеупомянутая нами сожительница Алексеева, Елизавета Маликова, была одной из *двух* жён Алексеева, которой он с удовольствием поделился со своим «духовным авторитетом» (но тот, хоть и вступил с нею в законный брак, вскоре пресытился и бросил её). В то время оба – Алексеев и Маликов – казались неустоявшемуся в религиозных убеждениях Толстому «единомышленниками». Позднее сам Маликов отказался от сумасбродств молодости, вернулся в православие и даже сделал карьеру судебного следователя.

Но Бог с ним, с Маликовым. Толстого должен был насторожить, конечно же, *страх* Сони. И её *сон о кресте*…

Что это? Отчего? Быть может, накануне встречи с Alexandrine Толстой упорно размышлял о религиозных вопросах — и его настроение, как очень близкого, эмоционально связанного с Софьей Андреевной человека, как-то передалось ей?..

Быть может…

Быть может, яблоко, покатившееся ей под ноги во сне — символизирует планету, *весь мир*?

А «спаситель» (т. е. Иисус Христос), указавший ей рукой на Небо — сообщает *условие* того, чтобы «яблоко»-мир оказался у ног спутницы жизни Льва Толстого?

Условие: обратиться от мира и мирского — к Богу. Пройти вместе с мужем, с Толстым, тот путь христианского служения, путь исповедничества и проповеди, путь жизни в воле Бога, жизни по учению Христа.

Путь, на который сам он только-только начал вставать в тот год.

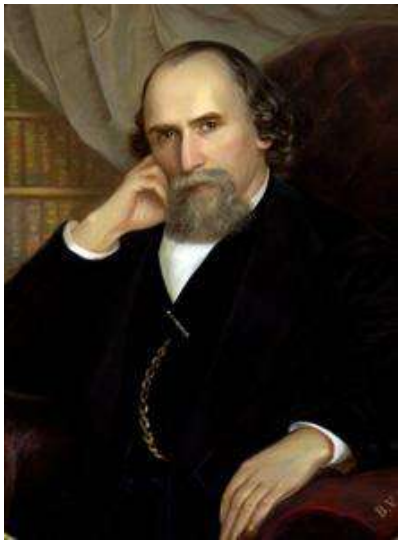
(Кстати. Через несколько часов после ночного видения Сони, днём 7 марта, это новое поприще узрела и признала за ним умнейшая Alexandrine, Александра Андреевна Толстая.)

А.А. Толстая. *Около 1865-67 гг.*
С.-Петербург. Фотография К. И. Бергамаско

«Мир у ног того, кого он не может обольстить» — такой афоризм включит много позднее в свой «Круг чтения» Лев Николаевич Толстой. Это — слова женевского философа Анри Амиеля, в 1878 году уже тяжело болевшего. Но это глубокое религиозное размышление Амиель внёс в свой journal intime (дневник) ещё 27 сентября 1852 года — в день, когда ему исполнился всего-то 31 год:

«Только мировоззрение религиозное, религии деятельной, нравственной, духовной и глубокой, одно только оно придаёт жизни всё её достоинство и энергию. Оно делает неуязвимым и непобедимым. Землю можно победить только именем Неба. Все блага даются только тому, кто ищет только мудрости. Только тогда бываешь сильнее всего, когда вполне бескорыстен, и мир у ног того, кого он не может обольстить. Почему? Потому что дух властвует над материей и мир принадлежит Богу. “Мужайтесь, — сказал небесный голос, — я победил мир!”

Боже, дай силы слабым, желающим доброго!» (Из дневника А. Амиеля. М., 1894. С. 16 - 17).



Анри-Фредерик Амиель
(1821 - 1881)

Увы! об Амиеле и его дневнике Толстой узнал только в 1892-м, через 11 лет после кончины мыслителя!

Много загадок и пищи для размышлений оставляет нам этот сон Сони и это её письмо… Закрутившийся по делам Толстой обратил на него внимание куда меньшее, нежели соничкина мама или она сама. 9-го он послал жене телеграмму, в которой передал совет Л. А. Берс: «Маша <ошибка телеграфиста; следует читать: «мама». – *Р. А.*> говорит сон требует молебни» *(83, 251)*. Но не была б Соничка дочерью

своей мамы, если б не додумалась до того же и без советов. Судя по следующему её письму, от 8 марта (заключительному в данном эпизоде переписки супругов), зазванный в дом поп закатил ей «молебню» на славу, и значительно раньше, чем пришла телеграмма из Питера:

«Пишу тебе четвёртое и последнее письмо, милый Лёвочка, и лучше б сделала, если б совсем не писала, потому что я совсем духом упала со вчерашнего дня и никак не справлюсь опять с собой.

Вчера вечером дошла до такого напряжённого беспокойства, что послала телеграмму с запросом о твоём здоровье и о том, как доехал. До утра я ждала ответа терпеливо и ночь провела хорошо, но теперь скоро три часа, и я ничего не получала и потеряла всякую способность что-либо делать, а с тоской смотрю беспрестанно в окно, не идёт ли кто с телеграммой. Но с телеграммой никого нет, и писем из Петербурга тоже ещё не было.

Вчера у меня был сильнейший лихорадочный припадок. Жар был так силён, что я ничего не могла есть, мысли путались, я даже Тане велела записать адрес мама́, чтоб известить, если я буду без памяти. Но всё прошло к вечеру, сегодня я здорова; и, если это лихорадка, то, верно, будет через день, а может быть и так обойдётся.

Сегодня служила молебен с водосвятием у нас в доме. Сделала я это отчасти от моей трусости (которую я в себе так ненавижу) перед судьбой; отчасти от чувства религиозного и от недоуменья перед странным явлением мне (во сне) Спасителя на кресте, да ещё ожившего.

Дети, т. е. Илюша и Таня всё в неудержимом духе; таскают мороженую клюкву у няни, бегают в кухню за редькой. Таня отвечает Mlle Gachet беспрестанно. Серёжа хорошо стал себя вести, как большой, а Лёля вчера плакал, потому что глазам больно читать, а нынче о том, что молоко противно ему. Всё это меня суетит и я чувствую себя несчастной и беспомощной.

Прощай, милый Лёвочка; об Андрюше ничего не написала. Он здоров, немного кашляет.

Завтра пошлю за твоим письмом в Тулу, а если сегодня не будет телеграммы, то я пошлю ещё телеграмму Страхову, а то, право, допустивши себя до такой тревоги, она стала неудержима. Целую тебя. Какие вы, право, оба с мама́ не жалостливые. Если уж я телеграфировала, стало быть уж очень мне нужно успокоиться, и вот, скоро сутки, а ответа нет.

Соня» *(ПСТ. С. 149 - 150).*

К 10 марта его от столицы России уже едва ли не тянуло блевать… В этот день Толстой навестил редактора «Русской старины» М. И. Семевского, вызвав интерес своими творческими замыслами и уговорив выслать нигде не издававшиеся записки декабристов из обширного архива журнала.

И в тот же день, по приглашению Н. Н. Страхова, Толстой посетил одну из лекций о «богочеловечестве» философа Вл. Соловьёва, оставившую у него впечатления «сора», «вздора» и «бреда сумасшедшего».

В связи с этой лекцией принято сожалеть о несостоявшейся встрече Льва Николаевича с Ф. М. Достоевским, бывшим вместе с женой на этой же лекции, в том же зале «Соляного городка». Зная вышеизложенные события, понимая состояние и настроение Толстого, легко поверить Н. Н. Страхову в его позднейших уверениях о том, что Толстой сам просил *ни с кем* его не знакомить. Страхову хватило дружеской преданности и личной дурости (или злонравия?), чтобы даже не шепнуть Толстому, *кто* слушал рядом с ним философические трели Соловьёва.

Возможно, для Достоевского Толстой сделал бы исключение — даже в том настроении «счас сблюю!», в котором он был в те дни — столь паршивом, что он, например, решительно отказался встречаться с писателями и старыми друзьями Гончаровым и Григоровичем, с художником Крамским и его коллегами “передвижниками”…

11 марта – телеграмма Соне:

«Бистром задержан; буду в воскресенье <12 марта>, здоров. Отвечай про себя. Беспокоюсь тобою» *(83, 251)*.

Питерский телеграфист, наверное, рыдал и матерился, разбирая удивительный почерк Л.Н. Толстого… и всё-таки опять сделал ошибку. Конечно, барона Бистрома никто не «задерживал», а это он задержа**л** Толстого с оформлением бумаг. И добавил горьких впечатлений от «высшего общества», которые Толстой излил, конечно же, не супруге, а в дружеском, искреннем письме Аф. Фету от 24 марта:

«Я на прошлой неделе был, после 17 лет, в Петербурге для покупки у генерала Бистрома самарской земли.

Им там весело, и всё очень просто, так за что же нам сердиться? Что они выпивают кровь из России – и это так надобно, а то бы мы с жиру бесились, а у них всех это дижерируется [от *фр.* digérer – “переваривать”] очень легко. Так что и за это нам обижаться не следует;

но за то, что они глупы – это бы ещё ничего, — но, несмотря на чистоту одежды, низменны до скотообразности, это мне было ужасно тяжело в моё пребывание там…» *(62, 401)*.

В этот же день, 11 марта, Толстой с наслаждением покинул ненавистную для него столицу ненавистной Империи, а уже 12-го — дышал полной грудью в родной Ясной Поляне… настолько, насколько позволяли вдруг снова открывшиеся у него в это время кашель и боли в боку (в печени). Снова встал вопрос об отъезде на лечение… но об этом уже — в следующий раз, потому что именно здесь нас застигает

КОНЕЦ ДВЕНАДЦАТОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Тринадцатый
БЕЗУМНЫЙ ИЩЕТ БУРИ
(Лето 1878 г.)

В прошлом эпизоде мы оставили Льва Николаевича по возвращении его из поездки в Москву и Петербург. Он продолжает собирать материал для намечающегося романа, но вместе с тем – испытывает прежний духовный голод. На вопрос в письме профессора – педагога С. А. Рачинского о творческих планах Толстой в своём ответе от 6 апреля 1878 г. пишет честно: «Планы есть, но… кажется, уже нет ни сил, ни времени приводить их в исполнение. Планы одни личные, душевные – спасти душу» *(62, 404)*.

Любопытное объяснение своего упадка творческих сил даёт Толстой в тот же день 6 апреля в письмах сразу двум своим постоянным адресатам, Н. Н. Страхову и А. А. Толстой: по его мнению, ему «недостаёт толчка веры в себя, в важность дела, недостаёт *энергии заблуждения*», которая просто необходима «для всякого земного дела» *(Там же, с. 408 – 409 и 410 – 411. Выделение наше. – Р. А.)*.

Это напрямую перекликается с выше приводившейся уже нами позднейшей сентенцией из толстовской «Исповеди» — о невозможности обманывать писаниями себя и других. Очевидно, что уже к 1878 г. художественное творчество перестало быть для Толстого главным делом жизни: как раз тогда, когда подросли старшие дети и Соничка разаппетитилась на доходы как с купленных имений, так и с сочинительства мужа!

Люди, одержимые танатальными фобиями и заразившие своё сознание догматами традиционных религий авраамического толка, иллюзорно «помогающих» с этими фобиями бороться — всегда «смиреннее», т.е. легче манипулируемы. Поэтому Софья Андреевна до поры до времени даже с удовлетворением смотрела на попытки мужа «спасать душу» исповеданием церковного православия. Ещё 26 декабря 1877 г. она записывает в дневнике: «Характер Льва Николаевича… всегда скромный и мало требовательный… теперь делается ещё скромнее, кротче и терпеливее» *(Цит. по: Гусев Н. Н. Летопись… 1870 – 1881. С. 507)*. В записях дневника 1878 г. Софья Андреевна, кажется, сосчитала все поездки Толстого к обедне *(См.: ДСАТ – 1. С. 92-94, 97, 99, 106 и др.)*. В то же время её начинает настораживать критический настрой мужа в отношении мирского жизнеустройства: денег, собственности и пр. — при разговорах его о религии и Боге. Позднее, в мемуарах, она представляет их как “эгоистические” попытки Толстого «устранить всякие заботы и усилия, неизбежные и необходимые в практической жизни большой семьи» *(МЖ – 1. С. 284)*.

В дневнике Софьи Андреевны 1878 года, в целом ещё довольно идиллического, гнусным прыщом «красуется» запись от 9 октября о «страшной ссоре с Лёвочкой» из-за малодоходности самарского имения *(ДСАТ – 1. С. 96)*. Пользуясь дружбой с Толстым, Алексеев протащил по блату на место управляющего дорогим самарским имением своего приятеля по революционной юности – Алексея Алексеича Бибикова (1837 - 1914), который, имея опыт личного крестьянского хозяйствования, но отнюдь не агроменеджмента в крупном хозяйстве, конечно же, наделал в первый год своего управления ошибок и убытков. При этом в последующие годы Бибиков сумел показать себя с самой лучшей стороны.

Предвидя много хлопот с имением и чувствуя хроническое недомогание, Толстой планирует летом 1898 г. выехать в имение — опять «на кумыс», «на эту трудную, постылую мне жизнь», как жалуется Софья Андреевна в воспоминаниях *(МЖ – 1. С. 281)*.

А. А. Бибиков.
Конец 1870-х гг. (?) Тула.
Фотография Ф. И. Ходасевича

С марта по май Толстой ещё несколько раз подступается к писанию романа о декабристах и начатой было автобиографии «Моя жизнь»… но этой самой «энергии», то есть мотивации — однозначно недостаёт. Вот тут-то его и настигает расплата за те «физиологические» истолкования депрессий юной жены, к которым сам он прибегал в 1860-х, в первые годы супружеской жизни. Жена так же не понимает его и так же приписывает его упадок сил преимущественно физиологическим причинам: простудам, работе печени, желудка и пр.

Самому Толстому самарские поездки тоже не приносили прежнего удовольствия и пользы. С годами, как подчёркивает его биограф Н. Н. Гусев, он предпочитал уединение в родной усадьбе поездкам хоть куда-нибудь. Жена же его — оставалась горожанкой (и хуже того – москвичкой!) по воспитанию и желаемому образу жизни. Свою жизнь в Ясной Поляне в письме к сестре Татьяне от 30 января 1880 г. она представляла как недобровольное «затворничество»: «…С сентября из дома не выходила. Та же тюрьма, хотя и довольно светлая и морально, и материально. Но всё-таки иногда такое чувство, что точно меня кто-то запирает, держит, и мне хочется растолкать, разломать всё кругом и вырваться куда бы то ни было…» *(Цит. по: Гусев Н. Н. Указ. соч. С. 506)*. А немногим ранее, 2 ноября, в письме той же Тане она выражает уверенность, что причина «унылости и вялости» мужа в том, что их жизнь в Ясной Поляне «слишком монотонна и на нервы именно так действует, что делаешься вял и безучастен ко всему» *(Там же. С. 507)*. Н.Н. Гусев приводит эту запись как «яркий

пример непонимания Толстого его женой» уже в этом, 1878-м, году *(Там же)*.

Между тем усталость и апатию такого человека, как Лев Николаевич, могла вызвать, напротив, окружавшая его барская жизнь его семейства, которую, как пытку, ему предстояло переносить почти до последнего дня жизни. Соничка довольно наивно перечисляет в дневнике, чем были для неё и детей заполнены якобы «скучные» дни осени 1878 года. 1 октября — крокет, шахматы, вышивание шелками… 2-е – занятия с детьми, гости, ванна («Всё в доме у нас спокойно, весело и совсем не скучно»)… 3 октября – учёба детей, выезд мужа на охоту, крокет… 4 октября – пикник в осеннем лесу («M-r Nief делал une omelette и варил шоколад»), крокет, катание на осликах, гости (баронесса Дельвиг), шампанское… 8 октября – поездка к родне на свадьбу, охота сына Сергея, катание детей на осликах… 9 октября – поругалась с мужем, чувствует себя виноватой, стало «всё скучно, всё противно»… 11 октября – «мы опять дружны»… и т.д. *(ДСАТ – 1. С. 94 - 96)*.

Вряд ли и обитатели Москвы, тогдашние или современные нам, большинство их, могли бы и могут похвастать такой ежедневной «скукой». Но Софья Андреевна потихоньку бунтует, и признаётся в дневнике 14 октября: «хочется много читать, образовываться, умствовать, хочется быть красивой, думаю о платьях и глупостях» *(Там же. С. 97)*.

В отношениях супругов возникает всё больше ситуаций, когда они не могут открыться друг другу. Ещё 11 августа 1877 г. Толстой заносит в записную книжку загадочные слова: «Молчи, молчи и молчи!» *(48, 185)*. В дальнейшем, с 1880-х, не раз в его Дневнике появляются констатации того, что он вынужден молчать о сокровенном в разговорах с родственно близкими людьми. Наконец, в 1910 г., когда Дневник Льва Николаевича становится слишком «публичным» и он заводит второй, тайный «Дневник для одного себя» — в не тайном, «подцензурном», появляются краткие записи всё о том же *молчании (58, 86 и сл.)*.

Богатырских терпении и молчании. Ровно тридцать лет и три года… Страшная цена за верность Божьей правде-Истине и Христу!

Стала больше замалчивать и Софья Андреевна — одновременно психологически «накручивая» себя, вплоть до некоторых уже откровенно нездоровых явлений. В дневнике от 10 ноября 1878 г. она в очередной, и далеко не в последний раз жалуется: «Чувствую себя работающей машиной, хотелось бы жизни для себя, да нет её…», и тут же даёт сама себе обет: «И об этом ничего… ничего… молчание» *(ДСАТ – 1. С. 104)*. А 24 ноября появляется странная запись о муже,

который в эти дни не выезжал дальше Тулы из дому: «Мне всё мрачно на душе. Стали бродить страшные и ревнивые мысли и подозренья насчёт Лёвочки. Я иногда чувствую, что это вроде сумасшествия… Меня трепала лихорадка, и я не спала всю ночь» *(Там же. С. 107)*.

Гораздо больше понимает коренную причину недомоганий Толстого его многолетний друг Н.Н. Страхов, честно писавший ему весной 1878 года:

«Та непрерывная *духовная работа*, которая в вас совершается, имеет несколько мрачный характер» *(Цит. по: МЖ – 1. С. 281. Выделение наше. – Р. А.)*.

Свидетелем этой духовной работы становится и Дневник Льва Николаевича, к ведению которого он возвращается 17 апреля 1878 года после перерыва в 13 лет (если не считать нескольких записей 1873 года). Что ж! Заглянем “через плечо” всегда читавшей его Софье Андреевне!

Записей мало, но все довольно интересные. В первой за 1878 год записи от 17 апреля – свидетельство готовности к писанию романа о декабристах: «Кажется, всё ясно для начала». В следующей, от 5 мая — характерный для толстовского Дневника самоанализ, перечисление «грехов»: «Вчера не помог старушке телятинской. Праздномыслил с Василием Ивановичем <Алексеевым>. — Тщеславился мыслью и горячился с Соней. — Нынче сердился на Алексея и старосту…» *(48, 69)*.

Записи под 22 мая ещё интереснее, и опять же — с характерно-толстовским покаянием:

«Пережил важные и тяжёлые мысли и чувства вследствие разговора с Василием Ивановичем о Серёже. <Вымараны три строчки.>. Все мерзости моей юности ужасом и болью раскаяния жгли мне сердце. Долго мучился».

Очевидно, учитель старшего сына Толстого Сергея пожаловался на какие-то его проступки, заставившие Толстого с омерзением вспомнить аналогичное своё поведение.

Под этим же днём находим примечательные, очень христианские размышления о Церкви Христовой истинной и лжи того, что вместо неё называется её именем в мире, о веротерпимости и о средствах единения людей в Божьей правде-Истине:

«Читал Парфения <православное «Сказание о странствии инока Парфения». – *Р. А.*>. Раскол наводит меня сильнее и сильнее на важность мысли о том, что признак истинности церкви есть единство её

(всеобщее единство), но что единство это не может быть достигнуто тем, что я, А или В, обратит всех других к своему взгляду на веру (так делалось до сих пор, и все расколы, папство, лютеранство и др. — плод этого), но только тем, что каждый, встречаясь с несогласными, откидывая в себе все причины несогласия, отыскивает в другом те основы, в которых они согласны. Осьмиконечный или четырёхконечный крест, и пресуществление вина или воспоминание, разве не то же ли самое» *(Там же)*.

И о восприятии «исторического» времени в оценках религиозно значимых событий — так же с христианской точки зрения, противостоящей той, которую навязывали массовому читателю тогдашние популярные в Европе и России «исследователи» христианства:

«Читал Евангелие. Везде Христос говорит, что всё временное ложно, одно вечное, т. е. настоящее. «Птицы небесные...» и др. И на религию смотреть исторически есть разрушение религии» *(Там же)*.

Толстой ещё не отказывается от обрядовой стороны православного учения, от многих его метафизических основ, но уже решительно не принимает нравственного и социального аспектов учения. Н. Н. Гусев справедливо заметил, что уже в 1878 году Толстой, переживший неприятности с «Анной Карениной» из-за выраженного в романе неприятия военно-патриотического общественного “угара”, уже вполне отрицает учение церкви в вопросе войны и мира, что и подтверждает другая, хорошо известная запись в его Дневнике под тем же 22 мая:

«Был у обедни в воскресенье. Подо всё в службе я могу подвести объяснение, меня удовлетворяющее. Но многая лета и одоление на врагов есть кощунство. Христианин должен молиться *за* врагов, а не против их» *(Там же)*.

Здесь же, как и в следующих записях от 1 и 3 июня — свидетельства замыслов Толстого в писании автобиографии и записи мыслей для какой-то работы «о вере», а также — обычных летних трудностей в работе, связанных с наплывом гостей. В начале июня Толстой даже распорядился поставить для себя маленькую отдельную избушку (на столбах и с лесенкой!) в засечном лесочке Чепыж, недалеко от дома, где мог уединиться для желанной работы.

Для Софьи Андреевны, напротив, лето было особенно желанным временем года — она ждала с нетерпением всех этих шумных гос-

тей, в особенности сестру Татьяну с семьёй, и даже плакала украдкой, в своей комнате, не желая в 1878-м снова ехать с мужем на ненавистный ей кумыс *(МЖ – 1. С. 281 - 282)*. Но Толстой и не тянул её, ибо поездка в этот раз готовилась и как отчасти деловая: нужно было наладить хозяйство в новом имении.

У Сонички же была тоже важная и деловая причина пока оставаться в Ясной: сын Сергей держал в ту пору экзамены в Тульской гимназии, и мама, конечно, не могла оставить его в сей мученический момент его юной жизни…

12 июня Толстой, оставив жену с семьёй сестры и шурином Степаном, выехал вместе с сыновьями Илюшей, Лёвой и гувернёром Ньефом на хутор, обычной дорогой: от Тулы до Москвы и от Москвы до Нижнего Новгорода – по железной дороге, далее на пароходе до Казани и до Самары, а от Самары до хутора – на лошадях.

Толстой ещё не успел далеко отъехать от дома, ещё не выдохнул до конца домашнего яснополянского воздуха из лёгких – а вдогонку ему, будто маня, заклиная передумать, воротиться, жена-чародейка уж высылает 13 июня следующее прелестное письмецо:

«Милый Лёвочка, как я и думала с грустью, так и вышло, т. е. сколько я ни храбрюсь, но как ты уехал, так вдруг всё утратило свою прелесть без тебя. Я не живу, а только проживаю скорей те дни, которые должна жить без тебя и которые потому вычеркнуты из моей жизни.

Вы теперь на пароходе, и я с вами мысленно еду всю дорогу; погода к вечеру испортилась, и я боюсь, что вы без дождя не доедете до хутора. С каким нетерпением жду ваших писем, может быть и Илюша с Лёлей мне напишут два слова.

Сейчас ходила кормить Андрюшу и укладывать спать, и опять сажусь писать. Вчера, проводивши вас, легла спать и долго не заснула, всё думала о вас и вашей и нашей поездке. Потом мы сидели с Стёпой, ездили купаться и вечером играли в крокет. Таня (сестра) с Серёжей, и я с Стёпой; мы выиграли, а прежде две партии я с Серёжей и Таня с M-lle Gachet, мы проиграли. Легли Стёпа с Серёжей рано, а я с Таней — поздно. Сегодня я работала, грустила, весь день сидела дома, только купаться было хорошо, и я плавала с Таней очень далеко, до второго поворота. Василий Иванович был у нас и обедал, Стёпа рассказывал про петербургские дела во времена засуличевской истории <Подвига Веры Засулич и её оправдания присяжными на суде 31 марта 1878 г. – *Р. А.*> и разные анекдоты о правоведеньи

<т. е. об училище правоведения. – *Р. А.*>. Скажи Илюше, что я <собачку> Ленку очень люблю без него и обращаю на неё вниманье. Вчера идём купаться, смотрю у мостика стоит в воде Лена и такое блаженное у ней выражение мордочки, что ей было жарко и она вдруг освежилась. Я её позвала; она выскочила и прямо прыгнула на меня. Сегодня она не купалась, а бегала за нами, и мы видим, что у ней очень хитрое лицо; тётя Таня взглянула на неё и кричит: «мышь!» Действительно, у Ленки в зубах был мышёнок, которого она скрывала от других собак и потому стремительно бежала вперёд. Ягоды поспели, сегодня и вчера мы их ели и жалели, что вы их не будете есть, а может быть мальчики отыщут клубнику. Кланяйся m-r Nief, надеюсь, что ему было весело дорóгой. Что-то твоё здоровье и твои бессонные ночи? Пожалуйста, помни о себе прежде всего. Стёпа, Таня, Серёжа и Таня (дочь) едят розбиф в зале и меня зовут.

Андрюша очень весел, прыгает, здоров и мил, дети ведут себя хорошо, сегодня Таня с Серёжей на балконе стоят вечером; я к ним подошла и приласкала их, а они схватили мои руки и стали оба целовать и меня и руки мои. Маша живёт в мире Кузминских девочек. Прощай, мой голубчик милый, когда-то я приеду к вам.

Соня.

Понедельник, 13 июня 1878 г.

Я забыла большую записку о провизии, посылаю, и очень прошу всё купить к моему приезду» *(ПСТ. С. 150 - 151)*.

Поистине, трудно, прочтя *такое* не затосковать по дому… на что, разумеется, и рассчитывала хитренькая Sophie. Равно как и на то, что ехать всё-таки не придётся: зная отношение к ней мужа, она смела рассчитывать, что в одном из следующих писем он даст «отбой» договорённости приехать по завершении экзаменов сына. Увы! всё вышло иначе, и при довольно конфузливых обстоятельствах… впрочем – расскажем обо всём по порядку!

12 июня Толстой посылает с Нижегородского вокзала в Москве короткую записку жене (писанную им, вероятно, впервые в жизни, на клочке салфетки из вокзального буфета), которую нам приходится включить в переписку, так как Софья Андреевна откликнулась на содержащееся в ней известие. Известие, впрочем, было пустяковое:

«Доехали вполне благополучно, если не считать того, что Лёля <Л. Л. Толстой> потерял шапку» *(83, 253)*.

В своём ответе 14 июня, полным текстом которого мы не располагаем, Софья Андреевна, конечно, выразила материнское беспокойство:

«Получила сегодня твою коротенькую записочку, и за это спасибо, хотя столько хотелось бы о вас знать, и так мало узнала, а перечитываю, точно хочу из неё выжать ещё что-нибудь, твою записочку. Как это Лёля шапку потерял? У него в кармане был плохой полотняный картузик, догадались ли хоть его ему надеть» *(Щит. по: 83, 254)*.

На этом дорожные потери путешественников не кончились. Следующая была куда как тяжелей. Цитируем взволнованно-покаянное письмо Льва Николаевича жене от 13 июня, из Нижнего Новгорода:

«Милый друг Соня. Теперь чувствую, что я уже окончательно осрамился перед тобой, и что мне уже в практических делах остаётся только признавать свою полную к ним неспособность. Не понимаю, как я мог забыть, потерять или дать украсть у меня бумажник. Я не обедал в Москве, и пошли мы все в Павлове на станцию, — дети чай пить, а мы с Ньефом, ужинать. <Павлово – в то время станция по нижегородской ж. д. в 61 версте от Москвы. Поезд Л. Н. Толстого стоял там 17 минут. – *Р. А.*> Я ещё не доел своей стерлядки, как стали звонить. Я достал бумажник и, не находя в нём 3-х рублей, обратился к Ньефу. Он дал 2 рубля, я заплатил и пошёл в вагон. В вагоне тотчас же стали спрашивать билеты. Я хватился — нет. Или я забыл его на столе, или не попал в карман, или у меня его вытащили. Первое самое вероятное. Телеграфировали в Павлово, но ответили в Нижнем, что бумажника не оказалось. Денег было рублей 270.

Счастье моё, что <книгопродавец> Соловьёв не мог мне дать более 300, и что Ньеф взял у меня 95. Всё же произошло преимущественно потому, что я очень раскис, как писал тебе из Москвы. Не знаю, дошло ли до тебя это письмо, написанное на клочке буфетной бумаги. Вследствии ли болезни, или перемены пищи, или бессонницы, но мне было вчера 100 лет и я был как во сне» *(83, 254 - 255)*.

Конечно, нет худа без добра. Во-первых, деньги были не самого Толстого, а шурина, Стёпы Берса, и теперь Стёпа мог с ними смело попрощаться. Во-вторых, Толстого пожалел встретившийся ему служащий пароходной компании Граве, и он получил «в кредит» билеты на пароход – правда, всё-таки на «самолётский», а не той американской компании, в которой служил сам Граве *(см. об этом в следующем письме Толстого, 14 июня: т. 83, с. 256 - 257)*. Толстой, конечно,

хотел попасть на американский, и то же советует в письме жене, если она надумает ехать за ним *(Там же. С. 255)*.

Пишет Толстой о своём проезде через Москву, об И. С. Аксакове, который встретился ему в лавке книгопродавца Соловьёва («и с ним много говорил, что утомило меня при моей старости» - *Там же.*).

И – в заключение письма:

«Дети пошли теперь купить марки и апельсины, а я допишу письма, позавтракаю с ними, походим с ними же и поедем на пароход, где и можно ночевать, как говорил мне мой покровитель.

Если что ещё случится, то припишу. Пока прощай, душенька. Во всяком случае не больше, как через 2 недели, увидимся. Целуй детей и главного Андрея» *(Там же)*.

Следующее краткое письмо, уже упомянутое нами, от 14 июня, из Нижнего Новгорода, посвящено описанию счастливого разрешения ситуации с деньгами, а также содержит пару интересных интимно-личных фрагментов. Например, вот такой:

«Должен признаться, что дорога, суета, забота о пустяках ужасно тяжела мне, и часто поминаю тебя, — что *безумный ищет бури*» *(83, 257)*.

Этот очевидный лермонтовский парафраз — с одной стороны, признание Толстого в том, что эта его поездка отчасти была бегством от самого себя, от «кризисных» мыслей… с другой же — грозный знак надвигающейся семейной драмы. По контексту понятно, что цитировала «Парус» Лермонтова мужу именно Софья Андреевна – намеренно изменив слово в предпоследней строчке: «мятежный» — на «безумный». Этим она выражала свою позицию: волю к тому, чтобы муж неотрывно был при ней и «принадлежал» только ей и сотворённому её повседневными хлопотами усадебному раю. *Пока* — всё мило, даже творчески. Но финалом развития этой тенденции, как мы знаем, окажется самый навязчивый, гнусный деспотизм жены и настрёканных ею против отца сыновей в 1890-1900-е годы, и, наконец, — вынужденное бегство Льва Николаевича из абсолютного психологического и экзистенциального усадебного ***ада***, который до сих пор многие считают желанным — надо думать, для себя — “раем”.

Другое место письма так же связано с грядущей драмой неприятия Софьей Андреевной христианского исповедания мужа. Прощаясь с женой, он в конце письма пишет было и зачёркивает буквы «Гр.»

(часть его обычной подписи в письмах: «Граф Толстой»). И тут же поясняет:

«По привычке подписался было, и досадно» *(83, 257)*.

Софья Андреевна была бы глупа, если б не обратила внимание на такое «чудачество» мужа и не насторожилась бы… Это была *первая*, но отнюдь не последняя попытка Л. Н. Толстого обойтись (за исключением писем официально-деловых) без титулов, порождения социального неравенства лжехристианского мира. Друг, единомышленник и биограф Льва Николаевича, Н. Н. Гусев комментировал по этому случаю:

«С. А. Толстая и в этом направлении не последовала за мужем. Она до конца жизни подписывалась “Графиня С. Толстая” и даже своё издание писем Льва Николаевича к ней, вышедшее в свет в 1913 году, озаглавила: “Письма графа Л. Н. Толстого к жене”» *(Гусев Н. Н. Материалы… 1870 – 1881. С. 508)*.

Следующее письмо писалось Л.Н. Толстым уже на пароходе, по дороге в Казань. На нормальной бумаге, не спеша и обстоятельно:

«Милый друг!

Пишу с парохода вечером с тем, чтобы завтра рано утром сдать это письмо в Казани. Дети благополучно спят около меня и весь день ехали спокойно, благополучно и, как всегда, не скучно. Новые и некоторые интересные лица, в особенности один гельсингфорский професор, едущий изучать религию идолопоклонническую черемисов, единственных представителей финского племени, не перешедших в христианство. Потом едет юноша <Дмитрий Фёдорович> Ермолов — он ехал с нами как то лицеистом, а теперь кавалергардским солдатом. Он предложил мне денег, узнав мою историю, и я взял у него 50 рублей. С этой же почтой пишу в Москву, чтобы ему и в контору «Самолёта» Нагорнов выслал бы 50 и 60 рублей. <Н. М. Нагорнов вёл посреднические расчеты по продаже изданий книг Толстого. – *Р. А.*> Досада на себя и стыд, что я потерял деньги, всё ещё не прошла.

Дети очень хороши, разговаривают с дамами и мальчиками их лет и не слишком много дают нам с Ниефом хлопот. Ниеф всё также старателен, добродушен, и приятен. Купили палки в Кузмодемьянске и покупали ягоды через посредство Сергея.

Мне суета, толпа тяжелы и скучны, и я как будто не дышу духовно. Вздохну, приехав на место, и тогда опять пойдёт обычный ход чувства и мысли.

Неужели ты скучаешь без меня? Пожалуйста, не попускайся. — Так и вижу, как ты, — если, избави Бог ты не в хорошем духе, — скажешь: как же не попускаться? Уехать, бросить меня и т. д. Или, что лучше, вижу, что ты улыбнёшься, читая это. Пожалуйста, улыбайся.

Сегодня Серёжин экзамен, пожалуйста, напиши мне, что скажет директор. А Серёжа, надеюсь, хоть не отличится, то не ударит лицом в грязь. Таню целую и прошу выворачивать ноги, чистить зубы и не сердиться на крючки и пуговки. Тут на пароходе девочки всё это делают. Милых гешвистер <брата и сестру. – *Р. А.*> тётю Таню и Стёпу целую и благодарю, что они за тобой ухаживают. Я знаю.

Прощай, душенька, целую тебя и Андрюшу. Машу я не забыл и не забываю, и люблю и целую.

Твой Л. Т» *(83, 257 - 258).*

По письму видно, что и в этот раз перспектива встречи с “городом юности” Казанью — в котором, кстати сказать, по сей день за Льва Толстого цепляются, как за “своего”, делают на нём, как “историко-краеведческом материале”, нехилые денежки и сволочную, интеллигентскую карьерку — не прельщала Толстого. Нет сведений, что он планировал задержаться в городе или увидеться с кем-то. Его отношение к Казани (как и Москве, Петербургу и прочим русско-имперским городским клоакам) достаточно ёмко и красноречиво выражено в одном-единственном суждении из приведённого нами только что письма, относящемся даже не до города, а до парохода и плывущих на нём горожан: «Мне суета, толпа тяжелы и скучны, и я как будто не дышу духовно. Вздохну, приехав на место…» Вот к нему-то, этому «месту», к своему хутору, и устремился Толстой, пробыв в Казани, судя по следующему его письму от 15 июня, ровно столько, сколько простоял у причала его пароход:

«Опять пишу вечером, с того же парохода. Дети здоровы, спят и были милы. 10 часов, вечер, и завтра, в 4 часа, Бог даст будем в Самаре, а к вечеру на хуторе. День прошёл также тихо, спокойно и приятно. Интересное было для меня беседа с раскольниками беспоповцами, Вятской губернии. Мужики, купцы, очень простые, умные, приличные и серьёзные люди. Прекрасный был разговор о вере. — Дети больше занимались с мальчиком Протопоповым. Это барыня,

<Протопопова> вдова старая, едет из Петербурга смотреть пожалованный её мужу участок. Мальчик Илюшиных лет, в гимназии.

Mr. Nief avec son carnet, [*фр.* М-сье Ньеф со своей записной книжкой] всё спрашивает и записывает и я вижу, что его литераторство его очень занимает. Я в первый день чувствую себя здоровым, — хотя и не совсем — до сих пор немного болит зуб; но духом бодр, — думаю и чувствую. И о тебе думаю и то беспокоюсь, то успокаиваюсь. Расспрашивал про американские пароходы и решительно, если ты поедешь, советую тебе пригонять к середе, четвергу или субботе; по этим дням они ходят.

В утешение Лёли мальчик Протопопов потерял нынче свою шляпу. Наши же держат на снурках новокупленные.

Пароход, особенно если ты попадёшь на большой, будет тебе и детям очень приятен.

Я начинаю понемногу забывать досаду потери денег, но всё-таки чувствую, что теперь навеки уже погиб в твоём мнении.

Милого Стёпу целуй. Я его поминаю часто. Таня большая вероятно уже теперь с мужем, поздравляю их обоих и жалею, что пропускаю их.

Прощай, милая. Ужасно неловко писать, как я, 4-е письмо без ответа; точно как говоришь долго и разное человеку, который молчит и лица которого не видишь. Главное, боюсь, чтобы лицо твоё не было измученное и нездоровое.

Пожалуйста, засыпай раньше, не засиживайся, высыпайся и гуляй. Целую тебя, душенька. Из Богатова ещё напишу. <Богатое – ближайшая ж. д. станция к имению Толстых, в 65 верстах от Самары. – *Р. А.*>

Серёжу, Таню, Машу, Андрюшу целую и благословляю» *(83, 259 - 260).*

Софья Андреевна с отрадой отметила в мемуарах, что Толстой *благословляет* детей — а значит, выражает таким образом свою «истинную» (по её представлениям) церковно-православную веру, ещё не “отпал” от неё. Но вряд ли всё это было тогда так однозначно для самого Толстого…

И снова образец *встречного* письма от Софьи Андреевны – писанного тем же вечером 15 июня. Ответ на два письма Льва Николаевича от 14 июня:

«Сегодня получила все ваши письма, и в них известие о потере денег. Что это, милый мой, как ты смутился и точно растерялся от таких пустяков? Это на тебя, Лёвочка, не похоже. Гораздо больше меня

смутило, что ты пишешь, будто ты нездоров, а ещё не написал ты, спал ли ты на поезде, а только про детей. Когда я прочла твоё письмо, в первую минуту у меня сердце ёкнуло, мне сообщилось твоё смущение. Потом мне стало смешно, и я радовалась, что ничего хуже не случилось, что вы все целы и здоровы. Напрасно мы не вместе поехали; теперь завернул холод, и я не знаю, как выеду, если будет так холодно.

Пускай в Богатове ждут, если я не приеду в назначенный день, и наведываются, нет ли телеграммы. Что бы и когда бы ни случилось, я буду телеграфировать в Богатово, где ты устрой так, чтоб тебе посылали телеграммы.

Отчего ты в Нижнем не поискал, у кого занять денег. Там к ярмарке много собралось. Наконец телеграфировал бы Соловьёву, он бы прислал через какого-нибудь книгопродавца. Упрекать тебе в этой потере никогда не могу; с какого права; у тебя столько желанья всё устроить и сделать хорошо, что все мои упрёки, если они когда и бывают, то только стыдно мне за то, что я несправедлива. А сам можешь себя утешать, что это твоя первая потеря в жизни. У нас все здоровы, Андрюша очень весел, мы, женщины, заняты переделкой шляп, шитьём платьев себе и детям, и проч. Стёпа с Серёжей уехали купаться, хотя свежо, а Стёпа ездил в Тулу выручать заказное письмо для Тани, посланное Сашей <Кузминским> на твоё имя. Стёпа письмо выручил, и Таня в восторге. Весь день я сегодня шила на машине и сидела дома, только сходила к Василию Ивановичу на минутку, проходом к Параше, где отдала вязать чулки детям. Остальная вся компания играла в крокет, а я очень уж озабочена. Таня больше озабочена тем, что она будет есть и очень блажит и юродствует, теперь они с Стёпой желают тебе приписать.

<*Следует приписка Т. А. Кузминской:* >

«Пой: Капитаааалы-то растеряли! А ещё апельсины-то в Нижнем покупаааются!»

<*Далее – приписка рукой С. А. Берса:* >

«Ваше Сиятельство, честь имею доложить Вам, что всё у нас обстоит благополучно, и о потере капиталов читали нынче с большим смехом. С Серёжей мы живём в большой дружбе, ездим вместе в Тулу держать экзамен […]».

<*Окончание письма Софьи Андреевны:* >

Теперь кончаю своё письмо, милый Лёвочка. Я так тебя, голубчик, люблю и жалею, что у тебя вышла такая тревога. Теперь верно всё устроилось и успокоилось. Вчера от Нагорнова получила письмо из Покровского. Пишет, что денег ближе конца этого месяца не может собрать, потому что в деревне. Я писала и просила поспешить мне прислать. Прощай, мой милый, дорогой голубчик, целую тебя крепко, очень хочется скорей к вам.

Соня» *(ПСТ. С. 152)*.

Между тем экзамены сына Сергея завершились, а грусть-тоску жене Толстого помогали разгонять родные её брат с сестрой, да ещё приехавший погостить Николай Николаевич Страхов, о котором Софья Андреевна оставила в мемуарах такие добрые воспоминания:

«Как приятно и даже поучительно было жить всегда с ним и слушать его. Чего, чего он не знал и всегда так интересно и хорошо рассказывал. Притом он по-детски радовался и на природу, и на купанье, и на детей. Всегда на устах его была добрая улыбка и какой-то не совсем натуральный, короткий смех; но иногда можно было усмотреть, когда он не замечает, что на него глядят, как большая голова его слегка наклонится, а лицо выражает такую глубину серьёзной мысли, что невольно подумаешь: вот это настоящий мыслитель, философ.

От нас Николай Николаевич поехал к Фету и обещал приехать в конце июля в самарское наше имение, что и исполнил. 19-го июня он уехал, а я с нетерпением ждала от Льва Николаевича телеграмму, чтобы выехать в Самарскую губернию, так как всё было к тому у меня готово…» *(МЖ – 1. С. 285)*.

18-ым июня, «в 12 час. ночи» (то есть, видимо, уже в ночь на 19-е) подписано следующее письмо жены Л. Н. Толстого, ответ на его письмо от 14 июня (то, которое было писано им на пароходе по пути в Казань):

«Уже кажется пятое письмо я пишу тебе, мой милый Лёвочка, и всякий день от тебя получаю письма к моей великой радости. Сегодня я получила то, которое ты писал на пароходе и бросил в Казани. Что же ты до сих пор не успокоился о деньгах? Да Бог с ними, пора забыть, наживём и не заметим этих 300 рублей.

Пишу тебе письмо под звуки громкого спора Стёпы и Тани о кормлении и воспитании детей, и потому боюсь, что будет бессвязное письмо, а между тем хочется написать поподробнее.

Наша grande nouvelle [главная новость] та, что у нас Николай Николаевич Страхов. Приехал он вчера с ночным поездом и очень удивился, что тебя не застал. Но он, кажется, очень доволен, что приехал. Вчера же ночью разговорились о Самаре, и слово за слово, он довёл меня до того, что я его пригласила, и он приедет в конце июля в наш хутор, и мы вместе оттуда вернёмся. Теперь он едет к Фету. Я до сих пор ещё наверное не знаю, поеду ли я. Маленький мой был эти три дня нездоров, но сегодня, особенно к вечеру, ему стало лучше; погода опять тёплая и прелестная, и я опять собираюсь. Но, верная твоему и моему также правилу, всё повторяю: «что Бог даст!» К вам хочется поскорей, а между тем взгляну на похудевшую шейку Андрюши и его ввалившиеся за эти три дня глазки и думаю: «нет, ни за что не поеду».

Всё решится мною, когда получу твою телеграмму. Третьего дня моего мальчика очень сильно рвало и я перепугалась до отчаянья, думая, что это опять мозговая болезнь. Потом вчера был понос, а нынче с поворотом к теплу ему значительно лучше. Я тебе не писала о его болезни, потому что, что же пугать за столько вёрст, не зная ещё в чём дело. Теперь, очевидно, дело было к зубам, которые вот-вот выйдут, а пока Бог миловал. Николай Николаевич наслаждается природой, купался с Стёпой, Серёжей и Антошей, смеялся с Таней, играл в крокет — он и Таня против меня и Василия Ивановича, и мы выиграли к большой досаде Тани. Старшие дети ведут себя хорошо, немного играя в больших. Серёжа иногда даже храбрится, но смиряется легко, если я его стыжу за это. Директор мне еще ничего не сообщил о его баллах, слухи ходят, что экзамены он выдержал, только из латыни 3—. Сегодня ездили верхом: Стёпа, Серёжа и Антоша <А. А. Дельвиг> к Александру Григорьевичу, отдали ему за уроки 66 рублей. Теперь у меня денег 300 р., ещё жду от Алексея столько же, от Нагорнова, а от <книгопродавца> Соловьёва 3500 руб. я взять и везти не решусь.

Как же это ты меня спрашиваешь: «неужели тебе скучно без меня?» Неужели ты сомневаешься в этом? И не столько даже скучно (на скуку времени нет), сколько я о тебе и детях беспокоюсь ужасно и, право, всеми силами души держусь, чтоб не придти иногда в ужасно грустное и тревожное состояние. Чего, чего не приходит в голову! И не скоро ещё мы увидимся. Как-то вы на хуторе устроились, не забыли ли провизию купить, так как мою записку (для вас провизия) в бумажнике же потеряли.

Страхов велел сказать Илюше, что вещи <приспособления> ловить насекомых — давно в Туле, но он забыл прислать квитанцию и теперь её пришлют. <Собаки> Дыбочка и Корка очень веселы, летали и играли нынче по крокету. Очень рада, что Лёля так удобен в дороге; целую моих милых мальчиков и очень много о них думаю. Когда приеду на хутор, то, надеюсь, они мне много интересных вещей расскажут. M-r Nief кланяюсь. Дай-то Бог, чтоб нам скорей свидеться, и чтоб можно было нам ехать. Прощай, голубчик, иду кормить и спать, мальчик кричит.

Соня.

Таня и Стёпа со мной очень милы и, конечно, большая мне отрада» *(ПСТ. С. 153 - 154)*.

«Милый, дорогой голубчик», однако, понимал, что Соне хочется вовсе не *к ним* (на самарский хутор), а их самих. Оттого, доехав до места, с вызовом жены он не торопился… Мистическим образом следующее письмо Толстого опять оказалось *встречным*, то есть писанным в один день с вышеприведённым письмом Софьи Андреевны – 18 июня. Напрашивается на ум фантазия, что и здесь “работали” последствия многолетней близости Сони и Льва, привычки вслушиваться и *чувствовать* друг друга – чему не помешало и расстояние… В этом письме, уже с места, он подробно описывает условия жизни в хуторе на р. Моче – значительно лучшие, нежели в хуторе на участке Тучкова, куда привозил семью раньше – и, как прежде, предоставляет жене самой решить, приезжать ли ей. Приводим, с необходимыми пояснениями, полный текст этого письма – вероятно, самого интересного из толстовских писем в рассматриваемом эпизоде переписки.

«Посылаю два хорошие письма мальчиков. Они писали их весело и с охотой. От усталости были они и неприятны, но теперь спокойны, веселы и милы. Начну с начала, с того времени, как я написал последнее письмо, с парохода, подъезжая к Самаре. Вышли в 8-м часу на берег, наняли извощиков и поехали покупать провизию. Всё сделали и не торопясь попали на машину. Она отходит в 50 минут 10-го.

Сели в 3-й клас. Просторно и хорошо доехали в 2 часа на станцию Богатово. И тут же нас встретил Лутай и карета. <Лутай: «башкирец, лихой кучер». – *Примеч. С. А. Толстой.*> Карета очень постарела, но

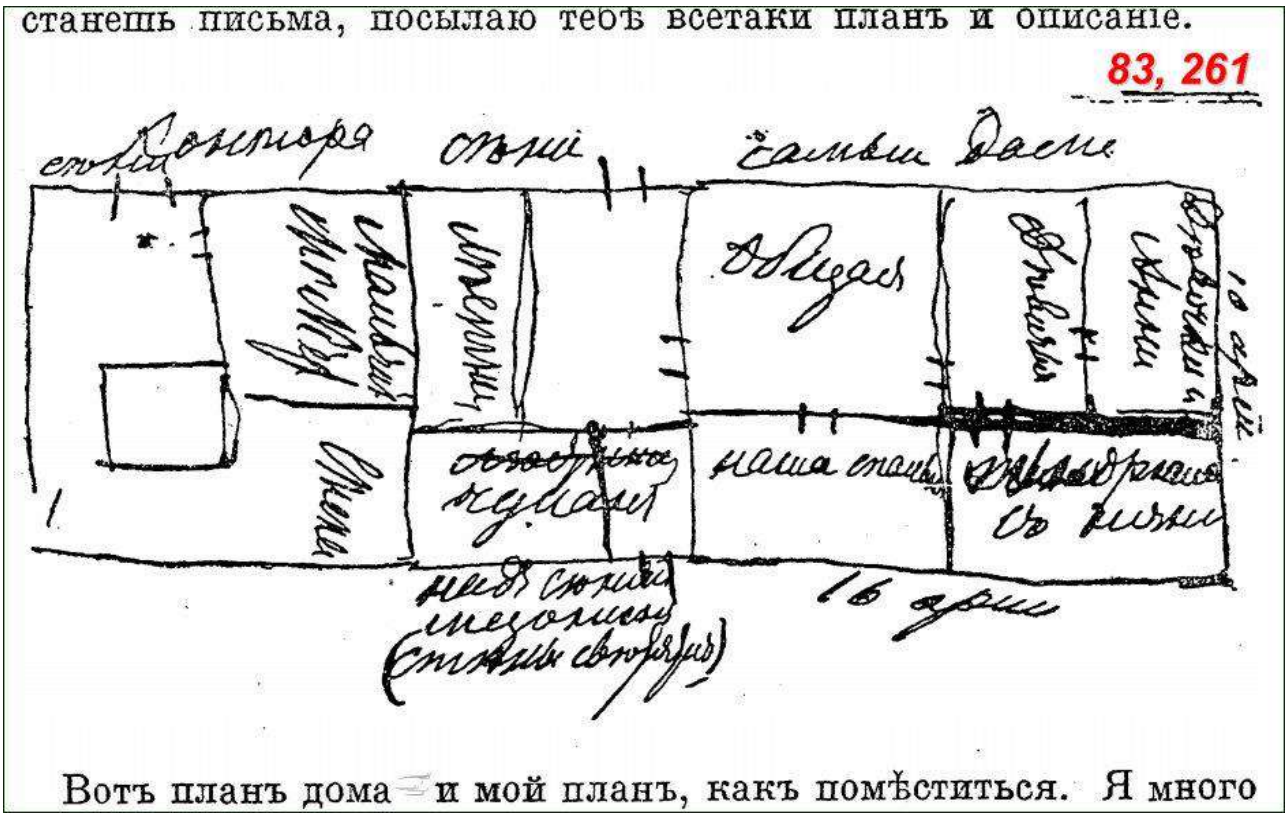
всё-таки крепка и удобна. Выехали в 3. Чередовались на лучшем месте, на козлах, и доехали легко в 9-м часу, совсем светло, в Землянки. <Село в 15 верстах от хутора Толстых. – *Р. А.*>

Если бы была лунная ночь, можно бы было доехать до хутора раньше 12-ти. Но, не зная, как устроено, и потому что темно, решил ночевать у гостеприимного Трускова. Ночевали все рядом, в амбаре, и Mr. Nief и Лёля страдали от блох, но Лёля во сне чесался и меня брыкал. Утром приехали; я зашёл прямо к Мухамедше, который и здесь поместился на отлёте. Его хотят женить, и он советовался об этом вчера со мною.

<«Мухамедша — старый знакомый башкирец, приехавший с семьёй, кибиткой и кумысом и лошадьми на наш хутор по нашему приглашению». – *Примеч. С. А. Толстой.*

Это был Мухамет (Романыч) Рахметуллин, башкирец из деревни Муратшиной Имелеевской волости. Свыше восьми лет он приготовлял кумыс вблизи хутора Толстого.>

Потом пошёл в дом и, распределяя комнаты, нашёл, что будут даже лишние. Хотя, если ты решишься ехать по телеграмме, которую я нынче посылаю, ты и не застанешь письма, посылаю тебе всё-таки план и описание. <Ниже в письме следует зарисованный план дома в новом имении Толстых. – *Р. А.*>



Вот план дома и мой план, как поместиться. Я много обдумывал, и это самое лучшее. И так я устрою, если получу твою телеграмму, что ты едешь. Довольно чисто и более тепло; пол светится только кое-где, и то я велю заделать, и есть печи даже. Одна в конторе, одна в доме. Лозинки есть около самого дома и жалкие кустики крыжовнику, и вода перед домом, одно нехорошо, что тут тоже на хуторе навоз и мух бездна; не дают ни обедать, ни чай пить, ни заниматься, кроме как по вечерам.

Я пью кумыс, не скажу, чтобы с особенной охотой, но по привычке; и особенного желания прожить здесь лето не имею. Mr. Nief приуныл, ему видимо не нравится. Хорошо то, что лошадей много, и линейку сделал <управляющий имением> Бибиков прекрасную: 9 человек легко сядут, и низко, и безопасно. И если ты приедешь, то каждый день после обеда, я мечтаю, что мы будем делать экскурсии, кто верхом, кто в линейке.

Бибиков ведёт дело прекрасно. Денег на уборку ему не нужно будет. Есть бахчи. Лошади очень хороши. Пшеница у нас очень хороша. Гораздо лучше, чем я ожидал. Я ничего не делаю, ничего почти не думаю и чувствую, что нахожусь в переходном положении. О тебе беспокоюсь и думаю, как только остаюсь один. Только бы Бог дал, всё было бы благополучно, во время нашей разлуки, а то я люблю это чувство особенной, самой высокой, духовной любви к тебе, которую я испытываю сильнее в разлуке с тобою.

Теперь главный вопрос: ехать ли тебе или нет? По моему, нет, и вот почему. Я знаю, что главное для тебя это я. Я скорее желаю вернуться, чем оставаться. В пользу для меня кумыса я не верю. А так как здесь засуха и слышны поносы, то не повредило бы тебе и Андрею. В отношении же больших удобств, то это всё очень немного лучше прежнего. — Но не забывай одного: что, что бы ты не решила, оставаться или ехать, и что бы ни случилось независящего от нас, я никогда, ни даже в мыслях, ни себя, ни тебя упрекать не буду. Во всём будет воля Божья, кроме наших дурных или хороших поступков. Ты не сердись, как ты иногда досадуешь при моём упоминании о Боге. Я не могу этого не сказать, потому что это самая основа моей мысли.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Вот здесь Софья Андреевна, при подготовке издания писем Толстого к ней, и сделала своё очень значительное примечание: «**Досадовала я за упоминание о Боге, потому что этим отстранялась всякая житейская забота**» *(Цит. по: 83, 263); ср.: МЖ – 1. С. 284*).

Она так и не простит никогда мужу ослабления его интереса к хозяйственным делам и к воспитанию детей, неизбежного при радикальном изменении жизненных мировоззренческих ориентиров. – *Р. А.*]

Обнимаю тебя и целую милая моя. Целуй детей и всех наших.

Если ты приедешь, я выеду встречать тебя в Землянки.

Самое главное забыл. Если ты не приедешь, то мы выедем 1 июля» *(83, 260 - 262).*

«…Я люблю это чувство особенной, самой высокой, духовной любви к тебе, которую я испытываю сильнее в разлуке с тобою» — едва ли не важнейшие, в плане долгосрочных отношений супругов, слова Толстого в этом письме. Год от года именно эта, духовная, любовь – не к плоти, не к личности даже, а к духовному началу Бога в близком человеке — будет становиться для Льва Николаевича всё значительней, пока совершенно не заместит интимно-личных отношений, потребность в которых будет долго сохраняться, но уже не находить удовлетворения в жене великого яснополянца.

В ближней же перспективе описываемых событий значительным и роковым для Сонички оказалось исполненное Львом Николаевичем обещание: *упредить* письмо жене телеграммой с кратким советом по поводу её выезда на хутор. Он исполнил своё обещание 21 июня, доверив телеграфу буквально следующий текст:

«Помещение, вода, лошади, экипажи хороши; но навоз, бездна мух, засуха; *не* советую ехать. Мы все вполне благополучно. Письмо следует» *(Цит. по: Гусев Н. Н. Материалы… 1870 – 1881. С. 509).*

Но тут-то и случился с Львом Толстым, обладателем одного из самых неразборчивых почерков в истории человечества, тот же конфуз, что и прежде, дважды, в Петербурге: телеграфист, кое-как разобрав его запись, видимо, так окосел, что при передаче телеграммы всё-таки ошибся. Он пропустил в тексте частицу «**не**»! Получилось, что муж призывал жену приехать, вкусить «прелестей» щелястых полов, жары, засухи, блох и навозных мух на глухом хуторе, где «слышны» одни поносы!

Ничего не заподозрив, и, вероятно, не дождавшись, как по «закону подлости», задержавшегося в пути письма 18 июня, Софья Андреевна выехала, и около 25 июня прибыла к месту своих новых мытарств. Её приезд стал, конечно, неожиданностью для мужа — но приятной, судя по его письму, высланному навстречу супруге (когда

она уже была недалеко от хутора), в котором, наряду с неуклюжей, неохотной попыткой объяснения ситуации, сквозит едва ли не радость от скорой встречи с «духовно любимой» Соничкой:

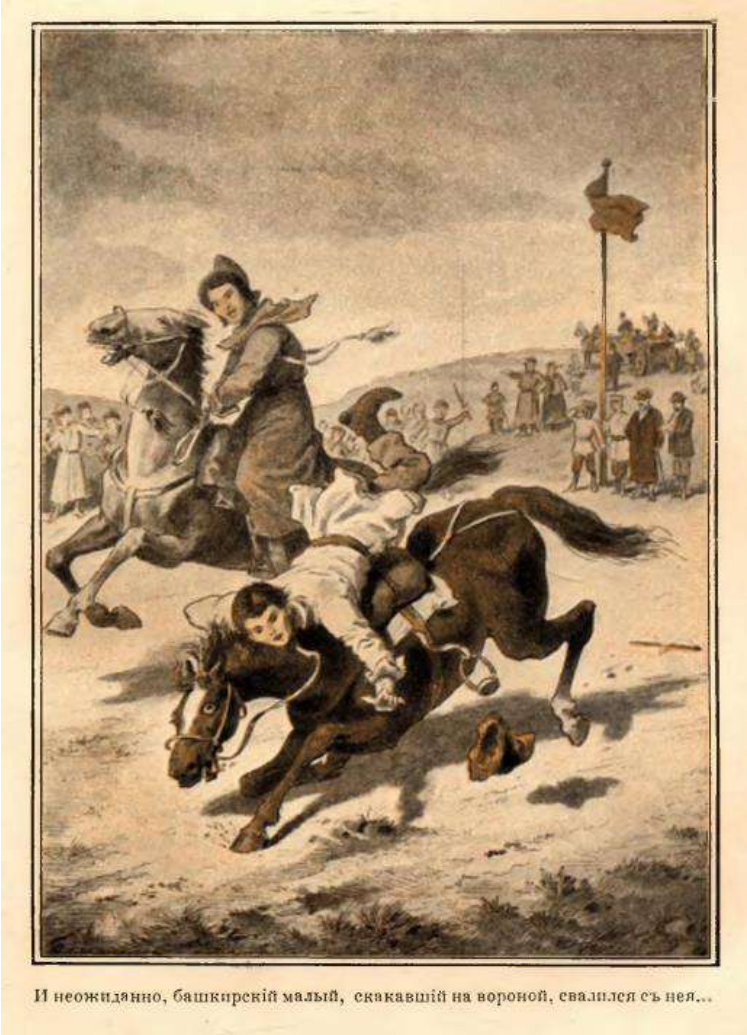
«Описать тебе всю путаницу, происшедшую с телеграммой, слишком долго; но дело в том, что, не получая ответа и боясь, чтобы ты не приехала 25-го, а кареты не будет, и боясь оставить детей (я всего боюсь), я поехал к тебе навстречу со всеми, но на половине дороги узнали, что есть телеграмма, и что в ней сказано, что ты велишь прислать лошадей, и решил вернуться, а карету послать тебе. Лошади хороши и смирны, Лутай правит ловко, но под гору в Богатом выдь и вели тормозить. Больше гор не будет. В Землянки буду выезжать встречать тебя. Советую во всяком случае попоить в хуторах и ехать прямо до хутора. Приедешь часов в 11. Мы здоровы и благополучны, что вы, милые, о которых не имею известия и очень тоскую и беспокоюсь. У нас всё бы хорошо, но мухи. — Может быть, Алексей Алексеевич <Бибиков> увидит тебя, а нет, то подряди тарантасик и рыдван для вещей и человека. Если мало, то подрядим два. Я велю приторговать. До свиданья, милая. <Вместо подписи росчерк.>» *(83, 264)*.

Легко догадаться, что на этом рассматриваемый нами Эпизод переписки Сони и Льва естественным образом завершается. Но мы пока не оставляем их, а дадим Софье Андреевне немного рассказать о своём пребывании и выживании тем летом на окаянном хуторе:

«Я всё сидела дома, потому что кормила Андрюшу. Хотя с нами было довольно много прислуги: няня, повар, лакей и горничная – всё же мне приходилось много работать самой. Вся прислуга […] пила кумыс и пьянела от него, делаясь беззаботно весёлыми. Помню, что тучи мух в самое короткое время портили всё, и я сама мыла окна и посуду, и всё прибирала, и с трудом держала хоть в каком-нибудь порядке. […] Не имея ни малейшего понятия о бухгалтерии, не видав даже нигде никогда счётных книг, я кое-как записывала всё, что хотела помнить. В одной и той же книге писала я о полученных тысячах денег, о количестве варенья, о том, сколько белья и платьев у детей, о нужных адресах, и прочее, и прочее. Не у кого было поучиться порядку, Лев Николаевич сам никогда ничего не записывал» *(МЖ – 1. С. 286)*.

Характерен эпизод «традиционных» башкирских скачек, которые в прежние свои приезды на кумыс устраивал Толстой. И в этот раз они состоялись — 1 августа, незадолго перед отъездом семьи Толстых с хутора. «Но Толстой, при его внутреннем сосредоточенном

настроении, не уделил должного внимания организации скачек, вышла путаница из-за призов, и некоторые призы остались нерозданными» — отмечает биограф Толстого Н. Н. Гусев *(Гусев Н. Н. Материалы… 1870 – 1881. С. 509)*.



Скачки. Из книги Л.Л. Толстого «Яша Полянов».
Иллюстрация А.К. Бальдингера из издания 1907 г.

3-го августа всё семейство выехало с хутора в обратный путь и уже 6-го благополучно возвратилось в Ясную Поляну, тем самым уже совершенно обозначив для нас

КОНЕЦ ТРИНАДЦАТОГО ЭПИЗОДА

ИНТЕРЛЮДИЯ

(Август 1878 - август 1880 г.)

Это — необходимый “подступ” к освещению массива переписки Софьи Андреевны и Льва Николаевича Толстых уже в 1880-е гг. Всё дело, конечно, в том, что один из адресатов переписки изменился *колоссально* в те почти три года, которые хронологически отделяют представленный выше эпизод от следующего массива доступных нам источников —лета 1881 года.

Конечно, важнее всего сказать, как менялся Лев Николаевич и что изменилось в его жизни и образе мышления. Сказать предельно коротко — не только потому, что главный предмет нашей книги иной, но и по причине огромной известности читателю этой, совершившейся с Л. Н. Толстым, эволюции.

Итак. В отношении художественных писательских замыслов — Толстой продолжал разрабатывать свою критическую *антиимперскую* мировоззренческую парадигму. В идеале она должна была выразиться в создании монументальных произведений, над которыми он в разные периоды конца 1870-х гг. подступался работать:

1) Эпоха Петра I «Великого» и творение Империи – как время великих преступлений безнравственной, развращённой элиты в отношении эксплуатируемого, грабляемого и убиваемого ею народа.

2) Первая четверть XIX столетия, эпоха декабристов как представителей «аристократического» бунта лучших, просвещённых людей привилегированных сословий против имперского варварства в отношениях с народом.

наконец, 3) XVIII и первая половина XIX столетий в жизни *народа*, в частности «пассивный» народный бунт переселенчества и опыты трудовой жизни, независимой от российской имперской сволочи. Опыт аристократического *опрощения* и единения с народом людей «высшего» сословия.

Все эти замыслы объединялись общей идеей *нравственного*, свободно-христианского религиозного переосмысления российской истории и дня сегодняшнего. Помимо недостачи здоровья, сил и времени и ряда внешних препон для их реализации (например, ограничения на доступ к архивным документам), у Толстого была внутренняя, всё более и более осознаваемая им причина оставить их: не хватало *опыта* независимого от имперской идеологии мышления и восприятия истории. Ведь Толстой сам родился и вырос в Российской Империи и был воспитан в «традиционной» патриотической и церковной, квази-религиозной лжи своей эпохи и своего паразитического на народных шеях сословия.

Без сомнения, успей Лев Николаевич «созреть» в недогматическом христианском понимании жизни не к концу 1870-х, а хоть десятью годами раньше — такие художественные сочинения были бы им написаны… но, с наибольшим вероятием, их постигла бы цензурная участь духовных сочинений, за которые, к неудовольствию жены, принялся Толстой, оставив более понятные и выгодные художественные замыслы. «Энергия заблуждения» иссякла в нём, а на освободившееся место влилась *энергия поиска Истины.*

Летом 1879 года Толстой не пишет, а источниками вдохновения и энергии для сближения с Истиной становятся для него наблюдения над красотой природы и трудовой народной жизни. Знакомится он и с преданиями народа – пригласив на лето в Ясную Поляну замечательного народного сказителя из Олонецкого края Василия Петровича Щеголёнка (1817 — 1894). Этим же летом, в подражание паломникам, он посещает Киево-Печерскую лавру… и сильно разочаровывается, не встретив далее ворот лавры, в среде тамошних модных, осаждаемых фанатическими толпами богомольцев — истинного христианского духа. Небезынтересно короткое письмо, посланное им жене из Киева 14 июня 1879 г.:

«Нынче, 14 утром, 8 часов, очень усталый приехал в Киев. Всё утро до 3-х ходил по соборам, пещерам, монахам и очень недоволен поездкой. Не стоило того. […] В 7 <часу> пошёл […] опять в Лавру, к схимнику Антонию, и нашёл мало поучительного […] Л. Т.» *(83, 270 - 271).*

Софья Андреевна констатирует в мемуарах, что после поездки Толстого в Киев «уже всё внешнее в религии начинало его отталкивать и не имело на него прежнего влияния» *(МЖ – 1. С. 302).*

К концу лета Толстой желает приняться за свои писательские работы, но испытывает упадок сил и проблемы со здоровьем: «всё голова болит, ничего не ест, мрачен и хотел бы с Захарьиным в Москве посоветоваться» *(Там же. С. 305).* Толстой и побывал у московского доктора – но не только у него. Он беседует о волнующих его проблемах христианской веры: в Троице-Сергиевой лавре с архимандритом Леонидом Кавелиным, а в Москве – с самим митрополитом Макарием. В разговоре с последним он смело доказывал, «что Церковь должна быть едина, что раскола не должно быть, если основывать Церковь на христианстве; все должны быть братьями, и потому преследование сектантов и староверцев не есть дело христианское. На

это Макарий сухо и холодно возражал Льву Николаевичу и очень ему не понравился» *(Там же)*.

На схожие темы беседует Толстой уже 9-10 декабря 1879 г. с тульским архиепископом Никандром и священником А. Н. Ивановым – и с теми же неудовлетворительными результатами. Будто цитируя Софью Андреевну позднейших лет, архиепископ Никандр воспретил Льву Николаевичу раздавать имение крестьянам, так как оно принадлежит «всей семье».

Доля справедливости в этом аргументе была та, что подросшие дети Толстого, действительно, успели пройти через им же данную школу помещичьего разврата, жизни в нетрудовом «достатке» — и вряд ли смогли бы прожить без имения и наследства.

Помимо вопросов о собственности и веротерпимости, Толстой задавал сергиевским, московским, тульским иерархам смелые вопросы о несовместимости с учением Христа войны, смертной казни, о древних подвижниках веры… Конечно же, от архимандрита Кавелина Толстой удостоился предсказуемой характеристики «гордеца», человека, «заражённого гордыней», который «кончит нехорошо» *(Гусев Н. Н. Материалы… 1870 – 1881. С. 584 - 585)*. В переводе с лукаво-поповского на человеческий язык это означает: «субъект мыслит независимо и смело, своей головой, не признаёт нашего авторитета, и надо бы на него и все его речи и вопрошания “настучать” кое-куда…».

В Троице-Сергиевской лавре Лев Николаевич посетил собрание профессоров Московской духовной академии. Один из профессоров, В. Д. Кудрявцев, спросил его, скоро ли он кончит свой новый роман, на что Толстой ответил, процитировав ап. Павла, что не хочет, «как пёс, возвращаться на свою блевотину» *(Там же. С. 585)*.

Но жене Толстого, как мы знаем, всего милее была эта «блевотина» — и не только из-за издательских доходов для семьи. Она *полюбила* слог и стиль мужа при переписывании его рукописей и, вопреки прежним своим наблюдениям в годы писания «Войны и мира», связывала теперь дни плохого самочувствия мужа не с творческим напряжением художника, а, напротив того, с *бездействием*, размышлениями и начавшимися в эти же месяцы 1879 г. масштабными чтениями и черновыми писаниями замысленного Толстым огромного религиозного сочинения. Отчасти, впрочем, это так и было: знакомство с многотомным «Богословием» Макария и писание знаменитой критики на него стоили Толстому немало попорченных нервов и негативных переживаний. В то же время «Исповедь» — тяжело рождалась, но была написана быстро и радостно, в самом конце 1879 и начале 1880 гг. Как указывает биограф Толстого Н. Н.

Гусев, начавшаяся весной 1880 г. работа над «Соединением и переводом четырёх евангелий» «утомляла Толстого, но не мучила его нравственно, как мучила работа над разбором богословия; он находился хотя и в сосредоточенном, но спокойном состоянии» *(Там же. С. 637)*. Так что Софья Андреевна была тут права только отчасти, и за мрачность, упадок сил и нездоровье мужа должна бы была пенять равно и на религиозные, и на не менее трудоёмкие художественные писания Льва Николаевича.

Октябрь – ноябрь 1879 г. – время окончательного освобождения сознания Л. Н. Толстого от сора и лжи церковного учения «православия». К этому же времени, точнее — к 7 ноября, относится хрестоматийное свидетельство непонимания его женой истинных хода и значения духовной эволюции мужа. Это часто цитируемые в литературе строки из её письма сестре Татьяне:

«Лёвочка всё работает, как он выражается, но увы! он пишет какие-то религиозные рассуждения, читает и думает до головных болей, и всё это, чтобы доказать, как церковь несообразна с учением Евангелия. Едва ли в России найдётся десяток людей, которые этим будут интересоваться. Но делать нечего. Я одного желаю, чтоб уж он поскорее это кончил, и чтоб прошло это, как болезнь» *(Цит. по: Гусев Н. Н. Указ. соч. С. 590)*.

Судя по записи дневнике Софьи Андреевны от 18 декабря, к концу 1879 года она на время смирилась с характером интеллектуальной и творческой работы мужа, вероятно, уверив себя, что всё это — необходимые “подступы” для более интересных массовому читателю (а значит — более продажных за денежку…) художественных писаний «великого Льва Толстого»:

«Пишет о религии, объяснение Евангелия и о разладе церкви с христианством. Читает целые дни… Все разговоры проникнуты учением Христа. Расположение духа спокойное и молчаливо-сосредоточенное. «Декабристы» и вся деятельность в прежнем духе совсем отодвинута назад, хотя он иногда говорит: “Если буду опять писать, но напишу совсем другое. До сих пор всё моё писание были одни этюды”» *(Цит. по: Там же. С. 591)*.

Конечно, сам Толстой имел в виду здесь не возвращение к роману о декабристах, а уже созревшие у него планы «Исповеди», соединения Евангелий и других недогматически-христианских сочинений.

Н. Н. Гусев заключает: «жена Толстого в общем не сочувственно относилась к его новой работе, а брат <Сергей> — прямо враждебно, друзья же не были посвящены в его занятия, и он чувствовал себя совершенно одиноким со своими мыслями» *(Там же. С. 591)*.

Свидетельством сосредоточенности Льва Николаевича на христианском интеллектуальном и духовном самостроении стало снижение его внимания к подрастающим детям: они тоже не годились в собеседники о жизни в воле Бога и по Христу, ибо были либо слишком малы, либо (старшие) — уже безнадёжно испорчены прежним «барским» воспитанием… Софья Андреевна свидетельствует в мемуарах: «…Хотя он на плечах таскал маленького Андрюшу и относился к нему нежнее и любовнее, чем к прежним детям, когда они были маленькие, — всё же пропал серьёзный интерес к жизни детей, их будущности и их воспитанию. И эта тяжесть всё больше и больше ложилась на меня; а я с частыми родами и немощами не справлялась одна» *(МЖ – 1. С. 307)*.

Осень 1879 года, как и прежние, стала для жены Толстого временем мучительной деревенской тоски, к которой она так и не смогла привыкнуть за годы жизни в Ясной Поляне. Снова, в письме 21 октября 1879 года, она жалуется сестре на свою яснополянскую пыточную тюрьму:

«Живу опять как в тюремном заключении, страшная зубная и невралгическая боль. Не выхожу из дома никуда и до родов уже не выйду. Встану, что-нибудь скрою, поиграю с Андрюшей, выпью с отвращением чай, сажусь шить и читать по-французски… учу детей…» *(Там же)*.

20 декабря 1879 года в семье рождается сын Михаил — впоследствии один из самых далёких от отца детей Толстого, даже не враждующих с ним, а просто равнодушных к его жизни, взглядам… С отчаянием обречённости несчастная мать уже не пыталась спорить с отцом и мужем, а выкармливала ребёнка сама, молоком с кровью пополам:

«…Согнувшись в три погибели над красненьким личиком своего нового мальчика, 14 раз в сутки вся сжимаюсь и обмираю от боли сосцов. Но я решила быть последовательной, кормить и этого *последнего* и ещё раз выносить эти боли…

Кто не испытал, тот не может понять, до чего больно кормить, когда тонкая, нежная кожа трескалась, ранки не успевали зажить и при всяком кормлении младенца вновь раздирались. Всех детей мне так пришлось кормить…» *(Там же. С. 312)*.

Напророчила сама себе: это, действительно, оказался последний её сын, которого удалось выкормить и сохранить, *вырастить*.

Если бы Софья Андреевна могла тогда заглянуть в личные записные книжки мужа (Дневник в 1879 и 1800 гг. Толстой опять забросил) – она бы, вероятно, с ужасом осознала, что его религиозные

изыскания и писания знаменуют не подготовку к большому художественному проекту, а всё-таки *личный духовный и экзистенциальный кризис*, необратимо меняющий его отношение едва ли не ко всем устоям окружающей его российской и мировой лжехристианской повседневности.

Вот несколько образцов таких записей.

Сентябрь 1879 г.:

«Церковь, начиная с конца и до III века — ряд лжей, жестокостей, обманов. В III веке скрывается что-то высокое. Да что же там есть? Если есть что-нибудь. Посмотрим Евангелие».

«Если есть душа, то есть и заповеди Божии. Как мне быть? Заповеди».

28 октября 1879 г.:

«Есть люди мира, тяжёлые, без крыл. Они внизу возятся. Есть из них сильные — Наполеоны пробивают страшные следы между людьми, делают сумятицы в людях, но всё по земле. Есть люди, равномерно отращивающие себе крылья и медленно поднимающиеся и взлетающие. Монахи. Есть лёгкие люди, воскрилённые, поднимающиеся слегка от тесноты и опять спускающиеся — хорошие идеалисты. Есть с большими, сильными крыльями, для похоти спускающиеся в толпу и ломающие крылья. Таков я. Потом бьётся с сломанным крылом, вспорхнёт сильно и упадёт. Заживут крылья, воспарит высоко. Помоги Бог.

Есть с небесными крыльями, нарочно из любви к людям спускающиеся на землю (сложив крылья), и учат людей летать. И когда не нужно больше — улетит. Христос».

30 октября 1879 г.:

«Проповедывать правительству, чтобы оно освободило веру — всё равно, что проповедывать мальчику, чтобы он не держал птицы, когда будет посыпать ей соли на хвост.

1) Вера, пока она вера, не может быть подчинена власти по существу своему, — птица живая та, что летает.

2) Вера отрицает власть и правительство — войны, казни, грабеж, воровство, а это всё сущность правительства. — И потому правительству нельзя не желать насиловать веру.

Если не насиловать — птица улетит» *(48, 195)*.

Но, к счастью для будущего христианского исповедничества Льва Николаевича, ни жена, ни её (как мы помним) религиозно-нравственный «авторитет» в лице двоюродной придворной тётки Толстого Alexandrine, не видели этих записей, а к эмоциональным устным спорам и даже последующей переписке (январь – февраль 1880 г.) Александра Андреевна по инерции отнеслась “свысока”, с привычной иронией стареющего, прочно “угнездившегося” в жизни человека, не желающего в ней изменений и не верящего в самую их возможность. Толстому она предсказала скорое охлаждение к исканию истины и возвращение в «лоно» церковного православия.

А Толстой между тем готов был уже расправить много раз калеченные «спутниками жизни», а теперь тайно от них вылеченные духовные крылья и лететь — неожиданно для всех! Он знал, что *нельзя не взлететь,* памятовал *идеал* и знал направление…

Начало 1880 года ознаменовалось посещением Ясной Поляны близким и многолетним другом Толстого Н. Н. Страховым. Познакомившись с идеями начатой писанием «Исповеди», тот, разумеется, понял и высоко оценил новые убеждения Льва Николаевича, и, по возвращении в Петербург, писал ему 8 января:

«Меня, разумеется, многие спрашивают об Вас, и я в большом затруднении. Я говорю обыкновенно, что Вы теперь в сильном религиозном настроении, что Вы дошли до него самым правильным путём — через изучение народа и сближение с ним, что Вы пишете историю этих Ваших отношений к религии — историю, которая не может явиться печатно» *(Цит. по: Гусев Н. Н. Указ. соч. С. 613).*

Так что Толстой не был уж совершенно одинок на своём пути к Богу и Христу. Но – увы! – на нём исполнилось грозное евангельское предупреждение Христа: о том, что «домашние», члены семьи становятся врагами искреннего и последовательного христианина. Именно к этому времени (1879 – 1880 гг.) относится в мемуарах Софьи Толстой миф о «потерянном» для семьи муже, муже «злобном» (эпитет, многократно повторенный в дневнике Софьи Толстой – вероятно, пиша зачастую в дневник в дурном настроении, она, будто в зеркале, находила в его лице черты *своей* затаённой злобы), «всё» отрицающем нигилисте и т. п. Намеренно будто не замечая того просветлённого, радостного состояния, в котором часто был муж — и даже чаще в последние 20 лет жизни, нежели в 1880-х, а тем более 1870-х, — она настаивает, что, живя преимущественно «отрицанием всего» (что тоже неправда), Толстой с 1880-х гг. «никогда уже не был счастлив» *(МЖ – 1. С. 313 - 314).* Это ложь. Если и был несчастен Толстой в последние 30 лет жизни, так именно от своих семейных, жены

и сынков, слишком хорошо знавших его и умевших *мастерски* сделать ему больно жестоким *отрицанием* тех новых (хорошо забытых в мире старых…) христианских смыслов и содержания человеческой жизни, которые он *утверждал*, отрицая только то, что такой жизни в Боге не нужно или мешает, вредит.

Оправдывая себя, своё, ещё отцом её запримеченное, *неумение* быть долго и беспримесно счастливой, Софья Андреевна выдвигает в мемуарах давно разоблачённую в своей неправоте, ложную и лживую, надуманную оппозицию: «мужа-художника» *до* прихода к вере она противопоставляет «мужу – религиозному мыслителю». Живя с художником она-де «была счастлива» — утверждение, которому противоречат многие приведённые нами в предыдущих эпизодах факты её биографии и записи из её же дневника 1860 – 1870-х гг. А при жизни с христианским мыслителем, пишет Софья Андреевна — «потускнела моя жизнь и моё счастье. Не пожалеть же об исчезновении деятельности такого великого, хорошего художника, каким был Лев Николаевич, конечно, было невозможно, как невозможно было не пожалеть о своём счастье» *(МЖ – 1. С. 315)*. Подчеркнём: писано это было в 1906 году, через *четверть века* после прихода Л. Н. Толстого ко Христу. Толстой создал за этот период *множество* неподражаемых художественных шедевров, включая большой роман «Воскресение». Отчего же всё несчастна Соничка и всё мёртв и мёртв для неё в эти годы живой для остального мира Лев Толстой — художественный писатель? Он ли в этом виноват?..

Князь Л.Д. Урусов

Между тем уже в конце 1870-х Sophie осчастливила себя первой, на глазах живого мужа, сугубо платонической (как хочется надеяться) связью с князем Леонидом Дмитриевичем Урусовым (1836 - 1885). Если позднейший, 1890-х годов, соничкин любовник, композитор С. Танеев, открыл для неё, по её мемуарным признаниям, мир музыки — умница Урусов вводил жену Толстого (опять же, если верить её мемуарам) в мир интеллектуальных удовольствий, наук и философии. Не стесняясь, он посещал для взаимно приятного общения дом Толстого — скорее, всё-таки, его жену, ибо присутствие мужа не было для желанного гостюшки обязательным… Сам Урусов был человек семейный, но, как с сочувствием сообщает Софья Андреевна в мемуарах, «жена лишила его счастья семейной жизни и жила с детьми в Париже» *(МЖ – 1. С. 318)*. Если учесть, что именно такое же обвинение в «лишении счастья» Софья Толстая адресует и мужу, остаётся только гадать, *чем*, кроме философских бесед осчастливливали наедине друг друга платонические (как всё-таки хотелось бы надеяться) искатели счастья. Во всяком случае, выделяя в своей жизни значительнейшие *три эпохи*, Софья Андреевна так или иначе связывает их с главными *тремя мужчинами* в своей жизни: Толстым, Урусовым и Танеевым *(МЖ – 1. С. 288 - 292)*. Получается, что с явлением в доме Толстых князя Урусова «эпоха» Льва Николаевича… завершилась? Или только прервалась — вплоть до кончины Урусова в 1885 году?

Финал Интерлюдии

Эпизод Четырнадцатый
В КАНУН ГРОЗНЫХ ПОТРЯСЕНИЙ
(Год 1880-й)

Наконец, мы подошли вплотную к событиям лета 1880-х гг., с которыми связан последний, небольшой по объёму и числу источников, эпизод переписки супругов Толстых. Связан эпизод тесно с устройством жизни семьи и детей, так что пусть расскажет Софья Андреевна:

«В то лето 1880 года маленькой Маше было 9 лет, и она была болезненная, худенькая девочка, но шаловливая, живая и подчас трудная, так как училась плохо. Я даже про неё писала сестре, что Маша стала таким сорванцом… При ней тогда была англичанка Lizzle, до того плохая, что Лев Николаевич в августе поехал в Москву искать гувернантку. Я просила взять француженку с музыкой… Француженки Лев Николаевич не нашёл… День своего рождения, 28-го августа, Лев Николаевич, против обыкновения, не был дома, что очень нас огорчило…» *(МЖ – 1. С. 321)*.

Поездка специально на поиски гувернантки – слишком не похожее на Толстого дело. Нельзя исключать, что цель его отбытия, да ещё перед днём рождения, в Москву была иная, а потребность семьи в гувернантке была только поводом. Так или иначе, но дни с 27 по 31 августа 1880 г. Толстой, действительно, провёл в Москве. К этой поездке относятся три его довольно малоинтересные, краткие до лапидарности, послания жене. Из первого, записки приблизительно от 27 августа, мы узнаём, что Лев Николаевич по приезде навещает в Москве сестру М. Н. Толстую, недавно воротившуюся из-за границы и поселившуюся на Тверской, в доме Яковлева, в номерах А. И. Соколова. Навестил он и других родственников… заглянул мимоходом в книжные магазины Дейбнера и Готье (как с нами всеми и бывает: «выбрал кое-каких книг, но того, что нужно, не нашёл») *(83, 279)*.

Судя по второму письму, Толстой, действительно, серьёзно и строго подошёл к отбору учителя и гувернантки. Он сунулся за этим делом в специальную посредническую контору, где ему предсказуемо подсунули на «выбор» *двух* непохожих кандидаток, не дешёвых и с немалым количеством видимых и скрытых недостатков. «Прощупав» как следует, Толстой остался недоволен обоими:

«M-lle Velti французской очень хороший и музыка; — 600 р. и манеры хороши; год жила у Захарьина; но по чистоте не совсем мне нравится. Не то что не нравится, но желал бы меньше занятую собой. Лет — 25.

Другая — M-lle Bossoney, та, что тебе писала: франц<узский> и английский; старая, сухая, очень приличная. Франц<узский> язык хуже первой; но степенна очень, даже слишком. Очень хочет поступить, просила 800, но пойдёт за 600».

Забракованы были в конце концов обе кандидатки, а Толстой, пожив себе в радость пару деньков у дальней родни Перфильевых, зазвавших его к себе, воротился в Ясную Поляну, подыскав для детей только учителя. 30 августа, перед отъездом, он рапортует жене телеграммой:

«Кандидата нашёл прекрасного, гувернантку не решил. Устал Москвой. Здоров, приеду завтра курьерским» *(83, 281)*.

Учителя, действительно, Толстой подобрал с умом: Иван Михайлович Ивакин (1855 — 1910), кандидат филологии, по видимости тихий, исполнительный и знающий своё дело серенький интеллигентский мышёнокъ, был именно тем, кто был нужен для придирчивой, нервной и подозрительной, временами до паранойи, Софьи Андреевны. «Белокурый, тщедушный, бедно одетый, застенчивый юноша, с тонким голосом и тонкими пальцами» — вспоминал своего учителя С. Л. Толстой, попутно раскрывая отцов секрет, почему тот выбрал именно Ивакина: тот боялся всего на свете, и предпочитал выказывать равнодушие к материальным выгодам учительства, то есть безропотно был согласен на *любую*, и самую низкую, плату. Кроме того, Ваня Ивакин был совершенно чужд политики, в особенности – «страшных» для него революционных групп молодёжи *(Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1975. С. 76)*. Впоследствии Ивакин поступил на службу библиотекарем Румянцевского музея и сумел, благодаря феноменальным бесхарактерности и уступчивости, сработаться с знаменитым Н. Ф. Фёдоровым – философом-мистиком, суровым аскетом и истинным фанатиком библиотечного дела.

О Толстом и его деле – всё. Всё, что известно… Гувернантку он подыскал только в следующую, октябрьскую свою поездку: «M-lle Guillod… очень мне нравится, но без музыки» *(83, 283)* — то есть знающую французский язык, дешёвенькую, но без музыкального образования. Она прожила в семье Толстых ровно год.

Теперь обратимся к письму Сони ко Льву, по краткости августовской поездки единственному, и состоявшемуся, как можно догадаться, конечно же в его 52-й день рождения, 28 августа 1880 г.

Начинается письмо со странного упоминания о другом письме, отосланном, вероятно в один день с этим и — письмом от князя Урусова. Текст его, к сожалению, не известен. «К сожалению» — потому что, судя по реплике о нём Софьи Андреевны, касается оно некоего общего с Урусовым и женой Толстого дела, чего-то, во что она, как минимум, была посвящена:

«Милый Лёвочка, посылаю тебе письмо Урусова, которое ты ждал; письмо такое, какое я вперёд могла бы продиктовать, т. е. ничего нового. Сегодня все помянули твоё рождение и от того ли, что тебя нет или от нездоровья, но очень на душе грустно. Я вчера напрасно, кажется, двигалась с места, потому что это имело дурное влияние на

моё состояние. Как-то ты с своей головой; верно тоже дурно спал, такой был ветер, дождь и холод всю ночь. Вчера я решилась побыть в Туле лучше подольше немного, но сделать визиты, и была и у Бестужевых <Родня декабриста М. П. Бестужева-Рюмина; знакомые и гости семейства Толстых. – *Р. А.*>, и у Кисленских <Тоже хорошие знакомцы, семья председателя Тульской губ. земской управы. – *Р. А.*>. Всех застала, и все были очень любезны; конечно, посидела я везде несколько минут, извинялась и уезжала. У Бестужевых мне сказал Василий Николаевич, что в Тульскую семинарию накануне приехал из Филологического института учитель древних языков, что весь выпуск из этого института пошёл в учителя, что цена им 150 р. с. в месяц, и что их достать очень легко. Если б знать раньше, можно бы спросить, нет ли товарища у этого учителя и выписать бы можно. Дома я застала всё благополучно, Илюша принёс двух бекасов, сегодня и Серёжа пошёл на охоту. А Лёля <Л. Л. Толстой> всё с Сашей за грибами ходит <т. е. с А. М. Кузминским>, Саша Лёлю что-то очень приласкал, говорит беспрестанно: «ну, газета, какие новости?», приглашает его кофе пить и почти от себя не отпускает.

Сегодня все у нас обедают, и Василий Иванович с семейством тоже.

Вчера мы ехали с Таней домой и очень хорошо разговаривали. Прежде, бывало, все свои хорошие мысли и разговоры спешу тебе передать, а теперь прошла эта потребность, но детям надо кое-что, что несомненно хорошо, не лениться говорить. Им кое-что западает, а то такая путаница в их душе, как я вчера Таню-то послушала.

Прощай, милый друг, завтра пошлю за письмом от тебя <Получила вышеприведённый телеграфный «рапорт». – *Р. А.*>. Я вчера ехала с тобой и всё думала, что бы я дала, чтоб знать, что у тебя на душе, о чём ты думал; и мне очень жаль, что ты мне мало высказываешь свои мысли, это бы мне морально и нужно и хорошо было. Ты, верно, думаешь обо мне, что я упорна и упряма; а я чувствую, что многое твоё хорошее потихоньку в меня переходит и мне от этого всего легче жить на свете.

Теперь совсем прощай.

Соня» *(ПСТ. С. 157 - 158)*.

Как видим, оба супруга признают охлаждение личных своих отношений и появление некоторых секретов друг от друга – но Софья Андреевна явно оплакивает прежнее, теперь кажущееся ей таким полным и желанным, взаимопонимание. В воспоминаниях об этих днях 1880 года она записывает: «То, что мы потеряли в то время с Львом Николаевичем ту душевную связь, которая соединяла нас всю

жизнь, — страшно огорчало меня. Он или молчал со мной целыми днями, или же на всё нападал, всё осуждал. Когда он в августе уехал в Москву, я поехала его провожать, он дорогой молчал, а я глядела на него и думала, что он по-своему прав, что мысли и стремления его все хорошие и высокие, а я просто не умею и не могу так жить, как он этого хочет…» *(МЖ – 1. С. 321)*.

Последнее суждение Софьи Андреевны совершенно справедливо, но… без сомнения, это был приговор для отношений супругов — не только для 1880-х гг., переписку которых нам только предстоит рассматривать, но и для последних лет жизни Льва Николаевича: после 1906 г., когда эти слова были внесены Софьей Андреевной в рукопись мемуаров. К этому времени «не умею» и «не могу» решительно соединились для неё в одном, резком, как смертный удар палача: *не желаю!*

* * * * *

Пришла пора подвести некоторые промежуточные итоги наблюдаемым нами в переписке супругов 1860 – 1870-х гг. тенденций. Для Л. Н. Толстого это – специфические «мужские» черты в сопряжении с ментальными и эмотивными особенностями именно «неотмирного», творческого и гениального человека. Неутолимая жажда свободы от фиксируемых общественными установлениями ролей и стереотипов поведения — в сочетании с интимной потребностью в том повседневном уюте, чьей-то заботе и нежности, которую вполне может удовлетворить как раз только подчинение социальным ожиданиям референтных индивиду личностей и общностей. В этом смысле Лев Николаевич и в зрелые годы может быть уподоблен шалуну ребёнку — который порывается и убежать, даже спрятаться, «потеряться» от внимания и ласк матери но в то же самое время и не может обойтись без них.

В этом плане поступок Льва в начале супружеской жизни с Софьей: отдача ей на прочтение ужасных дневниковых записей «грешной» молодости — тоже можно уподобить покаянию ребёнка перед той единственной, от кого он смеет и жаждет получить прощение и душевное облегчение. Делалось это с любовью и доверием, жаждавшим взаимности — которые не могла не ощущать Соня. Но – увы! – она сама была ребёнком, и не в смысле много более молодого возраста, а именно в смысле нрава и воспитания. Мы уже упоминали в начале книги, что её отец, Андрей Берс, в своё время проницательно заметил, что Сонечка не умеет сполна, — без подозрительности, зависти и иных контрпродуктивных мыслей и эмоций — отдаваться радованию жизни, и оттого никогда не будет счастлива в ней (это

свойство характера она передала сыну Льву, и, как и маме, они стоили ему нервного и психического здоровья). Да и сама Софья Андреевна, декларировав в своих мемуарах «правдивость» (за которой ей легче было прятать допускавшуюся ей намеренную ложь о муже и её отношениях с ним), неоднократно исповедуется читателю на страницах «Моей жизни» в пороках собственного характера. Замечательный современный исследователь В. Б. Ремизов резюмирует свои наблюдения над патологиями жены Толстого так:

«Чтение дневников молодого Толстого оказалось для Сони роковым. Будучи **от рождения крайне ревнивой, эмоционально не сдержанной, склонной к подозрительности**, она сама себе воткнула нож в сердце, кровоточащая рана обозначилась на всю жизнь. С годами ревность только возрастала, приобретая гипертрофированные формы. Толстой стал восприниматься Софьей Андреевной как её **неотторжимая собственность, на которую никто не имел права посягать**, даже в плане дружеского общения. В памяти держалась каждая деталь из прочитанных его дневников, а внутри всегда сидело **затаённое чувство страха**» *(Ремизов В. Б. В поисках бессмертного Храма / В кн. Уход Толстого. Как это было. М., 2017. – С. 677. Курсив наш. – Р. А.).*

Да, Соничка *не сгодилась* в жёны сиротке Льву, которому в жене бессознательно потребны были Мама и близкий, доверенный Друг. Как ни цинично это прозвучит, но со своими затяжными «женскими» болячками она оказалась даже не очень-то “качественной” самкой для соития, облегчения полового напряжения и репродукции потомства. И уж совершенно не умела быть Другом — потому что не научилась беспримесно *радоваться* с близким человеком, *доверять* миру и ему и *прощать* его. Вероятно, одной из первых в России она **буквально** “заболела душой”, т.е. психически, фобией, навязчивым страхом перед *утратой имиджа*: перед тем, что потомки и даже современники через беседы с Толстым или его Дневник узнают правду о её нраве и поведении. Её собственный дневник быстро, уже с 1860-х и в особенности с 1880-х гг. до конца её жизни, превращается в инструмент подлинной «информационной войны». Он не ведётся, а *сочиняется* Софьей Андреевной — красиво, привлекательно для предполагаемых читателей (в особенности же — читательниц) и наполняется упрёками, жалобами Sophie, обвинениями в адрес мужа и самооправданиями себя… Конечно, жанр эпистолярного диалога с Львом Николаевичем исключал возможность повторения значительной части этой лжи в прямой адресации к мужу. Но в

«сглаженном», приглушённом виде эти обиды, упрёки и самооправдания проникают и в тексты представляемых в нашей книге писем С. А. Толстой.

Софья Андреевна была и осталась горожанкой (и, хуже того, москвичкой!) по воспитанию — то есть существом, с детства гнусно развращённым, испорченным и умственно, и нравственно. Среди оснований для её всегдашнего недовольства *уже* проступает (и ярче всего — в последующие десятилетия, когда Софья Андреевна утратит эмоциональную и экзистенциальную опору в детях) недовольство якобы «навязанным» ей мужем положением домашней затворницы в деревне. Личный секретарь, биограф и христианский единомышленник Л. Н. Толстого Н. Н. Гусев, долго наблюдавший Софью Андреевну, основательно заключал, что она так и осталась городской *мещанкой* — не только по рождению, но и по образу мыслей. Мучая его, перед подружками и будущими субъективно благорасположенными к ней феминистками-читательницами она выставляла жертвой – *себя*, и даже через 20 лет после описанных нами событий, к концу 1890-х гг., не оставляя претензий «загубленного дарования», едва ли не конгениального мужу, которому «деспотизм» Льва Николаевича якобы не дал развиться… И тут она также губила сразу троих: мужа, себя и младшего сына Льва, перенявшего от матери «творческие» претензии, выразившиеся в малоталантливой прозе, маргинальной публицистике, откровенно плохих стихах, неубедительных “потугах” в скульптуре и пр.

В то же время представленные нами выше два десятилетия переписки супругов характеризуются их сближением на двух поприщах: родительской любви к детям, их возращения и воспитания, а также – хозяйственной суеты, денежных расчётов и трат. Толстой этих лет не менее падок до денежной наживы и собственности, чем хищная, расчётливая и жадная дочь Андрея Берса. Он высчитывает свои гонорары, торгуется за каждый печатный лист — всё это, конечно, «бальзам на душу» Софье Андреевне. Но впереди — 1880-е, религиозный переворот и христианская переоценка ценностей в сознании Льва Николаевича, не сулившие этой дочери обрусевшего немца-лютеранина ничего приятного и приемлемого с позиции внушённого ей семейным воспитанием жизнепонимания.

КОНЕЦ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ЭПИЗОДА

КОНЕЦ ВТОРОЙ ЧАСТИ КНИГИ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
Годы 1881 – 1885

Эпизод Пятнадцатый
КОГО БОГ НЕСЕТ, А КОГО И ДЬЯВОЛ ВОДИТ
(Лето 1881 г.)

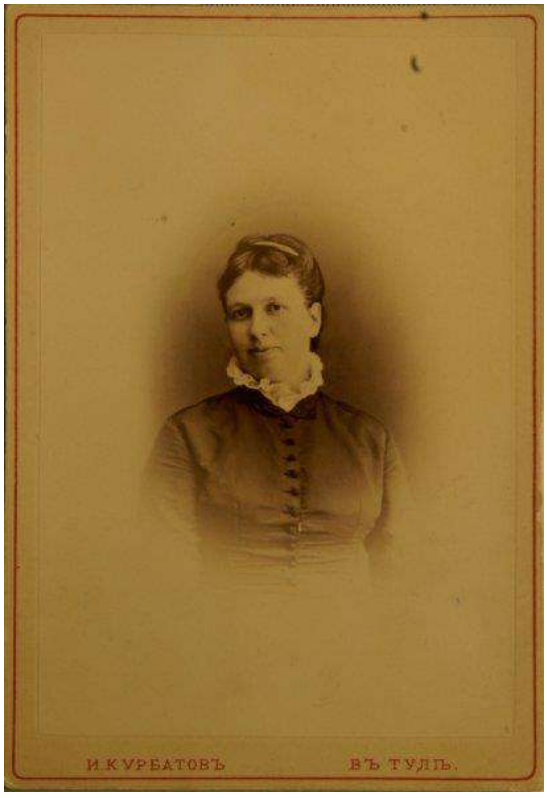
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК

Приступая к изложению и анализу содержания третьего десятилетия Переписки знаменитейших яснополянских супругов, мы встречаемся лицом к лицу с новыми трудностями. Если прежде, для 1860-х и 1870-х годов, трудность составляло — собрать достаточно информативного материала, могущего осветить жизнь и отношения Софьи Андреевны и Льва Николаевича Толстых как участников эпистолярного диалога, то именно с рубежа 1880-х информирующих источников становится много — и даже *избыточно* много для нашей темы. Даже одни только подробные в эти десятилетия дневники обоих супругов могут позволить, при осторожном их использовании, нарисовать достаточно точную картину отношений. Огромна и библиотека исследований, так или иначе связанных с письменным диалогом мужа и жены Толстых. Оно и понятно: самих писем в 1880-е гг. пишется ими друг другу значительно больше, и в них, как «верхушки айсбергов», проступают массивы многочисленных устных диалоговых и конфликтных общений Сони и Льва, выражающие тот эмоциональный накал и те не только бытовые рационализации, но и экзистенциальные и метафизические смыслы, которые углубившийся семейный раскол приобрёл с начала 1880-х гг. для всех его главных участников.

Биографические подробности семейной драмы Толстых, разразившейся открыто и жестоко именно в 1881-м, слишком известны *нашему* (т.е. весьма просвещённому) читателю, да и не могут, исходя из заявленной тематики нашей книги, занимать значительное самостоятельное место на её страницах. Скажем лишь сравнительно немногое.

По меткому наблюдению биографа, личного секретаря, друга и единомышленника Толстого Николая Николаевича Гусева, «пока влияние христианского учения проявлялось только в изменении характера Толстого, в том, что он становился добрее, мягче, спокойнее,

Софья Андреевна в общем была довольна этой происшедшей в нём переменой» (*Гусев Н.Н. Материалы… 1881 – 1885. С. 11)*. В письме брату, С. А. Берсу, от 2 февраля 1880 года она хвасталась о муже: «Лёвочка стал христианин самый искренний и твёрдый. Но он поседел, ослаб здоровьем и стал тише, унылее, чем был» *(Цит. по: Там же)*. Именно заботой о здоровье Толстого пытается «умаслить» Софья читателей и критиков своих дневника и мемуаров. На деле, подчёркивает Н. Н. Гусев, неприятие религиозных умонастроений мужа связывалось у неё совершенно с иным: христианство *истинное* (не церковное) не сводится к языческой праведности, доброму расположению к людям, а требует того «трудного», о чём записал Толстой ещё в 1879-м в своей записной книжке: *перерождения духом*, которое «не вдруг возможно» *(48, 324)*, но зато и — необратимо уводит человека христианина от прежних смыслов личного и общественного бытия.

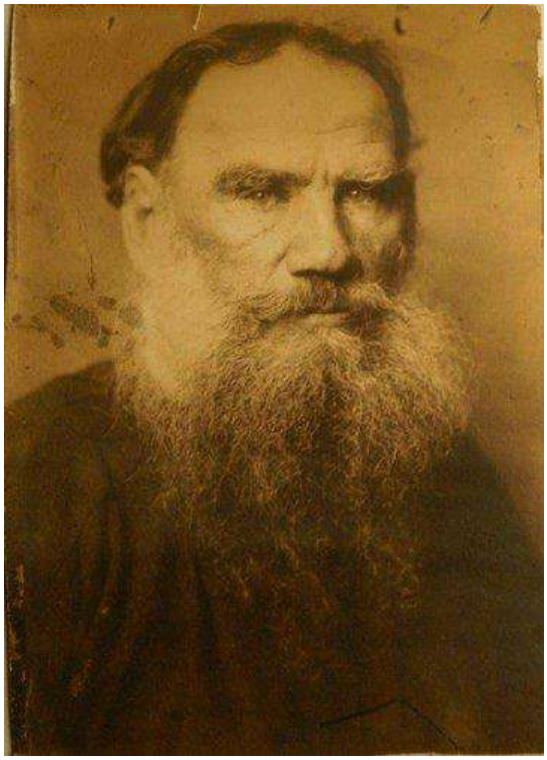


С. А. Толстая. 1880 г.

В письменных высказываниях Софьи Андреевны в 1881 г. о «новых» религиозных убеждениях мужа постепенно проступают раздражение и неприязнь, в некоторых случаях кощунственно переносящиеся ею с личности и поступков супруга – на Христа и его учение.

Рассмотрим для примера лишь *несколько* таких высказываний.

В начале 1881 года, 20 января, в письме сестре, Т.А. Кузминской, Софья Андреевна, как и годом ранее в цитированном выше письме С. А. Берсу, только лишь выражает обычное своё беспокойство «головными болями, почти ежедневными», мужа, напряжённо работавшего тогда над «Соединением и переводом четырёх евангелий», а в целом — даже ощутимо довольна, что супруг её не интересуется «ничем светским» *(Гусев Н.Н. Материалы… 1870 – 1881. С. 658)*.



Л. Н. Толстой. 1878 – 1879 гг.

А вот в записи её дневника, сделанной несколькими днями позже, 31 января, в связи с просьбой редактора «Русской мысли» Юрьева описать причины отхода Льва Николаевича от писательской художественной работы – уже проступают «между строк» несколько иные мотивы:

«Л.Н. серьёзно занимается только зиму <1878 – 79 гг.>. Изучив материалы, набросав кое-что для «Декабристов», он не успел ещё написать ничего серьёзного, как уже наступило лето. Чтоб не терять времени и вместе с тем здорово его употребить, он стал делать продолжительные и длинные прогулки по проходящему от нас в двух верстах шоссе (Киевский тракт), где летом можно всегда встретить множество богомольцев, идущих со всех концов России и Сибири на богомолие в Киев, Воронеж, Троицу и прочие места.

Считая свой язык русский далеко не хорошим и не полным, Л. Н. поставил в это лето своей целью изучать язык в народе. Он беседовал с богомольцами, странниками, проезжими и всё записывал в книжечку народные слова, пословицы, мысли и выражения. Но эта цель привела к неожиданному результату.

Приблизительно до 1877 года религиозное настроение Л. Н. было неопределённое, скорее равнодушное. Неверия не было полного никогда, но и веры *определённой* тоже не было. Это страшно мучило Л. Н. (он написал свою религиозную исповедь в начале нового сочинения).

Придя в близкое столкновение с народом, богомольцами и странниками, его поразила твёрдая, ясная и непоколебимая их вера. Ему стало страшно за своё неверие, и он вдруг всей душой пошёл той же дорогой, как народ. Он стал ходить в церковь, есть постное, становиться на молитву и исполнять все церковные обряды. Это продолжалось довольно долго.

Но Л. Н. скоро увидал, что источник добра, терпения, любви в народе не исходил из учения церкви; и он сам выразился, что когда он увидал *лучи*, он по лучам добрался до настоящего *света* и увидал ясно, что свет в христианстве — в Евангелии. Всякое другое влияние он упорно отвергает, и с его слов делаю это замечание.

“Христианство живёт в преданиях, в духе народа, бессознательно, но твёрдо”. Вот его слова.

Тогда же мало-помалу Л. Н. увидал с ужасом, какой разлад между церковью и христианством. Он увидал, что церковь как бы рука об руку с правительством составили заговор тайный против христианства. Церковь молится и благодарит бога за побитых людей, празднуя победу, тогда как в Ветхом завете сказано: “Не убий”. А в Евангелии: “Люби ближнего, как самого себя”. Церковь выносит и покровительствует даже присяге, а Христос сказал: “Не клянись”. Церковь дала людям обрядность, которой люди должны спасаться, и поставила преграду христианству; истины ученья о Царстве Божьем на земле затмились тем, что людей усиленно убеждали о их несомненном спасенье посредством крещенья, причастия, постов и проч.» *(ДСАТ – 1. С. 507 - 508).*

В этом описании чувствуется не только попытка сохранить беспристрастность, но и значительная доля интереса, может быть даже некоторые симпатия и признание в отношении нового мировоззрения супруга, непредставимые для традиционно-православного сознания. Но Софья Андреевна, подчеркнём ещё раз, была городской (хуже того — московской) воспитанницей семьи обрусевшего немца-лютеранина.

И вот уже она продолжает в своём дневнике так:

«Вот что пришло в голову Льву Николаевичу. Он стал изучать Евангелие, переводить его и комментировать. Работа эта продолжается второй год и доведена, кажется, до половины. Но он стал, как он говорит, счастлив душой. Он познал (по его выраженью) "*свет*". Всё миросозерцание осветилось этим светом. Взгляд на людей стал таков (как он сам говорил), что прежде был известный кружок людей *своих*, *близких*, а теперь миллионы людей стали братьями. Прежде было именье и богатство *своё*, а теперь кто беден и просит, тому надо давать» *(Там же.С. 508).*

Здесь уже Соней затрагиваются не абстрактные вопросы, а поведение мужа, значимое для всей семьи. И что мы видим? Явились синтаксические конструкции с семантикой остранения, сознательного неприятия: характерные повторяющиеся оговорки («как он говорит…», «по его выражению…») и не менее характерные речевые конструкции противопоставления («прежде… теперь»), призванные подчеркнуть уже, как минимум, достаточно скептическое и настороженное отношение жены Толстого к его *христианской практике жизни.*

А следом — и вполне предсказуемые, очень старые апелляции заботливой супруги к порче мужниного здоровья и настроения:

«Всякий день садится он за свою работу, окружённый книгами, и до обеда трудится. Здоровье его сильно слабеет, голова болит, он поседел и похудел в эту зиму.

Он, по-видимому, *совсем не так счастлив, как бы я того желала*, а стал тих, сосредоточен и молчалив. Почти никогда не прорывается то весёлое, живое расположение духа, которое, бывало, увлекало всех нас, его окружающих. Приписываю это усталости от тяжёлого напряжённого труда. Не то, как бывало, когда описывалась охота или бал в «Войне и мире», он, весёлый и возбуждённый, имел вид, как будто сам побывал и участвовал в этих увеселениях. Ясность и спокойствие личного его состояния души несомненно, но страдание о несчастных, несправедливости людей, о бедности их, о заключённых в тюрьмах, о злобе людей, об угнетении – всё это действует на его впечатлительную душу и сжигает его существование» *(Там же. Выделение наше. – Р. А.).*

Итак, дело в *желании.* Радость человека, просветлённого верой, творческое счастье *мудрых*, не столь понятно и даже нежелательно для Софьи Андреевны — в сравнении с прежним вдохновением и самолюбованием художника, трудящегося на угождение миру и «сжигающего» себя ради мирских же успехов. Ей хочется видеть его

счастливым по-старому — то есть понятным и подконтрольным… но этого больше не будет.

Мемуары жены Толстого так же выдают ход её мысли «с головой»: начиная с описаний событий именно 1881 г. суждений непонимания и лжи о муже становится у неё значительно больше, и связаны они именно с тем, что Толстой неуклюже, по своему тогдашнему пониманию, пытался не только выяснить для себя сполна первоначальное учение Христа, но и жить по нему. «Он посещал тогда тюрьмы и остроги, — вспоминает Софья Андреевна, — ездил на волостные и мировые суды, присутствовал на рекрутских наборах, и точно умышленно искал везде страдания людей, и с горячностью отрицал весь существующий строй человеческой жизни, всё осуждал… Это осуждение и отрицание распространилось и на меня, и на семью, и на всё и всех, кто был богат и не несчастлив. Жаль было видеть, как Лев Николаевич вдруг стал страдать за человечество, вследствие чего был чрезвычайно мрачен. Точно он отвёл глаза от всего в мире, что было радостно и счастливо…» *(МЖ – 1.С. 328).*

Конечно, всё было не так радикально. Толстой никогда не возлюблял «всё человечество» и даже, позднее, в статье «Царство Божие внутри вас…», прямо именовал человечество по отношению к чувству любви не предметом даже, а *фикцией*, выдумкой, самообманом безверных людей: позитивистов и светских гуманистов *(28, 82).* И никогда Толстой не отрицал «всей» человеческой жизни, а только то, что было несомненным злом, помехой для жизни истинной – включая разделение, неравенство, небратскую жизнь людей, ограбление трудящихся, обман и насилия над ними. Софья Андреевна, изложив своё неправдивое понимание, тут же очень кстати приводит (не разделяя) точку зрения близкого друга Толстого, очень умного и всепонимающего человека, философа Н. Н. Страхова, который в одном из писем той поры будто истолковывает Толстому его же побуждения: «Вы ищете спасения не в самозабвении и замирании, а в ясности и живом сознании. У вас *всегдашнее отвращение от всех форм фальшивой жизни…*» *(Цит. по: МЖ – 1. С. 328. Курсив наш. – Р. А.).*

К несчастию, даже ближайшие в те годы друзья, Фет и Страхов, не до конца понимали *истоки* (в первоначальном христианстве) и *направление* (к Богу) духовной эволюции Толстого, и его переходному состоянию спешили приписать значение конечного и немедленно уничтожить, осудить: «Мечты человеколюбия, обновления, благополучия не имеют правильного источника, правильной цели и потому приведут к убийству, к хаосу и страданию» *(Цит. по: Там же. С. 335).*

Процитировав это место из страховского письма Л. Н. Толстому, Софья Андреевна не преминула ввернуть: «…Увы! Предсказания об убийстве, хаосе и страдании сбываются уже в наше время, 1907 год» *(Там же)* – разумея, конечно же, Первую российскую революцию 1905 – 1907 гг., совершавшуюся (как и все последующие) людьми, Толстого не сл**у**шавшими или не сл**ы**шавшими…

Вот и ещё отрывок из мемуаров С.А.:

«Новое настроение Льва Николаевича проявлялось ещё в том, что он вдруг начал раздавать много денег без разбора всем, кто просил. Пробовала я его убеждать, что нужно же как-нибудь регулировать эту раздачу, знать, кому и зачем даёшь, а он упорно отговаривался изречением Евангелия: “Просящему дай”» *(Там же. С. 333)*. Конечно, некоторая сумма денег уходила из семьи не реальным нуждающимся, а проходимцам и пьяницам — и в этом тогдашняя позиция Толстого была уязвима… Но и тут Софье Андреевне не суждено врать безответно. В 1881 году, с 17 апреля по 4 сентября, Толстой ведёт свой Дневник *(см.: 49, 25 - 58)*, по многим записям которого мы можем видеть, что он отнюдь не спешил расставаться с денежками, а сперва подробнейше, въедливо расспрашивал каждого просителя — дабы определить степень его нужды. В записях 1881 г. Толстой не просто регистрирует всех приходящих, но и описывает их внешность, часто — передаёт содержание разговоров с ними. Несомненно, такие беседы были полезнейшей практикой и для будущих художественных работ писателя.

Так что дело было не в нерациональности, а в самом факте денежных раздач — нежеланном для жадной дочери городского врача-лютеранина. Это не была ни русская традиционно-барская, ни европейская буржуазно-протестантская «благотворительность» — а было это самым нетерпимым в буржуазных *лже*христианских обществах Европы и ложно, гибельно примкнувшей к ней культурно России: *буквальным* следованием ученика заповеди учителя — Нагорной проповеди Иисуса Христа.

Конечно, это уже в 1881-м году провоцировало конфликтный дискурс супругов и других членов семьи. «Кто из нас двух в это превосходное время настроения Льва Николаевича был виноват, рассудит нас Бог. Но жили мы тогда не дружно. Я пишу сестре: “С Лёвочкой стали чаще стычки, я даже хотела уехать из дома. Верно, это потому, что *по-христиански* жить стали. А по-моему, прежде, без христианства этого, много лучше было…”» *(Там же. С. 335 - 336)*.

Кстати, эта самая сестра, свояченица Толстого, Т. А. Кузминская — конечно же, поддержала позицию Софьи Андреевны и в отноше-

нии раздачи излишков, богатства, и в отношении связанной с деньгами же другой темы споров мужа и жены — воспитания и будущего детей. В Дневнике от 11 июля у Толстого есть запись о продолжительном (ночь напролёт…) споре с ней о правильном (христианском) воспитании детей. Запись заканчивается страшной, но недалёкой от правды характеристикой *обеих* сестёр: «*они не люди*».

Аргументация родни Софьи Андреевны в чём-то близка доводам массового убийцы, который бы, расстреляв насмерть не глазах других нескольких человек, оправдывал бы для себя «необходимость» убить и остальных — ибо нельзя же остановиться и оставить свидетелей!

Вот, для примера, образец рассуждений на эту тему от многократно упоминавшегося нами выше брата Софьи, Степана Берса. В своих воспоминаниях он настаивал, что-де Софья Андреевна не только не отрицает в принципе, но даже «*вполне разделяет* (!! – *Р. А.*) убеждения мужа, считая его далеко опередившим свой век, и поэтому она продолжает *поклоняться* его гению и идеям; но перестать воспитывать младших детей по-прежнему, ***когда старшие уже*** воспитаны так, и когда никто в обществе не признаёт нового взгляда её мужа на воспитание, она считает *несправедливым по отношению к младшим детям*, а потому и продолжает воспитывать их в прежнем духе. Точно так же раздать состояние чужим людям и пустить детей по миру, когда *никто* не хочет исполнять того же, она не только не находит возможным, но и считала своим долгом воспрепятствовать этому, как мать…» *(Берс С.А. Воспоминания о графе Л.Н. Толстом. Смоленск, 1894. С. 80 и 81. Выделения наши. – Р. А.).*

Сразу вспоминается хорошая кантовская мысль в передаче её Львом Николаевичем в «Круге чтения»: люди обожают Бога, поклоняются ему, а надо бы — только слушаться, и именно *слушаться.* Так вышло и со Львом — у яснополянской львицы и её львят… Кем всем им приходились все эти «*никто*», не хотевшие жить по-Божьи — остаётся невыясненным, но авторитет этих *никого* был для семейки Берсов, как видим, непререкаем. Ни у кого из сыновей Толстого, не говоря уже о мученице-жене, впоследствии «взрослая» судьба не была лёгкой — все они разделили участь тех «рабов мира» и мирских соблазнов и лжи, о которых писал в начале 1880-х Толстой в книге «В чём моя вера» (возможно, как раз наблюдая за «результатами» воспитания старших детей). Впрочем, об этом мы уже писали в соответствующем месте — не будем повторяться.

Толстой в начале 1880-х ещё не был столь стар, чтобы можно было легко выдать его за «выжившего из ума» и поместить в сумасшедший дом (как планировали поступить соничкины детки позднее, в 1900-

х), но тот же С. А. Берс свидетельствует, что «жена Льва Николаевича, чтобы сохранить состояние для детей, готова была просить власти об учреждении опеки над его имуществом, когда он хотел раздать его посторонним» *(Там же. С. 81)*. Дневник Толстого, как мы уже сказали, свидетельствует, что Толстой не имел намерения раздавать *имущества* (того, что объективно было необходимо для выживания семьи), а только понемногу отметал от себя «мамон неправедный» — мирские богатства — готовя себя к поприщу исповедника Христова.

Помимо «Соединения и перевода четырёх евангелий», внимание привлекают «Записки христианина», составлявшиеся Толстым в одно время с дневниковыми записями и включённые в Полном собрании сочинений в том дневниковых записей Толстого. Но нас сейчас больше интересуют характеристические записи его Дневника, демонстрирующие как направление его мыслей и поступков, так и, главное, степень отчуждения, одиночества Толстого в эти годы — именно тогда, когда ему *в наибольшей степени* нужна была духовная и просто дружеская поддержка. По сути своей, семейка вместе с их подпевалами (Фет, Самарин, Ивакин…) — сама буквально отдала Льва Николаевича в руки В. Г. Черткова, человека, явившего себя с годами не с самых добрых сторон — в отношении и Толстого, и его семьи. Толстой искал друга, единомышленника, ученика — и нашёл их в 1883-м в лице молодого, тогда ещё не деградировавшего нравственно, Владимира Черткова…

Итак, вот лишь несколько значимых записей Дневника Толстого 1881 г.

5 мая.

«Вчера разговор с Василием Ивановичем <Алексеевым> о Самарской жизни <т.е. о самарских имениях и, видимо, о доходах с них для семьи. – *Р. А.*>. Семья это плоть. *бросить семью* — это 2-ое искушение — *убить себя*. Семья — одно тело. *Но* не поддавайся 3-му искушению — *служи не семье, но единому Богу*. Семья указатель того места на экономической лестнице, которое должен занимать человек. — Она плоть; как для слабого желудка нужна лёгкая пища, так для слабой, избалованной семьи нужно — больше, чем для привычной к лишениям» *(49, 32)*.

6 мая.

«Старик рудаковский <из дер. Рудаково близ Ясной Поляны. – *Р. А.*>. Улыбающиеся глаза и беззубый, милый рот. Поговорили о богатстве. Не даром пословица — деньги — ад. Ходил Спаситель с учениками. “Идите по дороге, придут кресты, налево не ходите — там ад”. Посмотрим, какой ад. Пошли. Куча золота лежит. “Вот сказал — ад, а мы нашли клад”. На себе не унесёшь. Пошли добывать подводу. Разошлись и думают: делить надо. Один нож отточил, другой пышку с ядом спёк. Сошлись, один пырнул ножом, убил, у него пышка выскочила — он съел. Оба пропали» *(Там же).*

15 мая.

«Вчера Сухотин и Свечин. Сухотин засох. Свечин ещё жив» <Т.е. жив для восприятия Истины и для духовной, религиозной жизни. – *Р. А.*> *(Там же. С. 36).*

«Вечером Писарев и Самарин. Самарин с улыбочкой: надо их вешать. Хотел смолчать и не знать его, хотел вытолкать в шею. Высказал. Государство. “Да мне всё равно, в какие игрушки вы играете, только чтобы из-за игры зла не было”» *(Там же).*

Это сволочная история – о том, как давний «друг семьи» оказывается подлецом и врагом. Её по-своему пересказывает в воспоминаниях всё та же Т. А. Кузминская – конечно же, разделявшая точку зрения П. Ф. Самарина, губернского предводителя дворянства, гостившего у Толстых в тот день:

«За чаем зашёл интересный разговор с Самариным о грабеже, о реформе, о законах. Самарин высказывал негодование на существующую распущенность в деревнях и нелепые наши законы. Лев Николаевич винил помещиков в дикости и распущенности народа, но отвергал всякие крайние законные меры. Он горячился и неприятно и резко спорил. Самарин спокойно и кратко высказывал своё мнение. Наконец, спор дошёл до крайнего — до смертной казни. Самарин сказал: “Смертная казнь в России необходима”. Лев Николаевич побледнел и проговорил злым шёпотом: “Мне страшно быть с вами”. Но тут вмешалась Соня, предлагая чай, сухарей, сахару…» *(Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. – Тула, 1964. – С. 251).*

Дальше – ещё грязней, жесточей… и так – без уступок – до самого 1910 г., вынужденного бегства и гибели Толстого!

18 мая.

«Утром <сын> Серёжа вывел меня из себя, и Соня напала непонятно и жестоко. Серёжа говорит: учение Христа всё известно, но трудно. Я говорю: нельзя сказать «трудно» бежать из горящей комнаты в единственную дверь. «*Трудно*».

Вечером рассказал, что Маликов <друг Алексеева и его единомышленник во Христе. – *Р. А.*> делает больше для правительства, чем округ жандармов. С пеной у рта начали ругать Маликова — подлыми приёмами, я замолчал. Начали разговор. — Вешать — надо, сечь — надо, бить по зубам без свидетелей и слабых — надо, народ как бы не взбунтовался — страшно. Но жидов бить — не худо. Потом в перемежку разговор о блуде — с удовольствием.

Кто-нибудь сумасшедший — они или я» *(Там же. С. 37 - 38)*.

Это понятная стадия: семейка пока недооценивает опасности нового жизнепонимания Льва Николаевича для их шкурных интересов — и намеренно *грубо* издевается, провоцирует, высмеивает. Так поступали и с самим Христом.

Кто в этой записи — *они*? Между прочим, биографическая загадка… Биограф Толстого, а также его личный секретарь, единомышленник и друг Н. Н. Гусев свидетельствует:

«Старший сын, С. Л. Толстой, в разговоре со мной утверждал, что записанные Толстым суждения его собеседников по политическим вопросам не могли быть высказаны ни им, Сергеем Львовичем, так как он был в то время настроен либерально, ни Софьей Андреевной. В таком случае единственным лицом, которое в Ясной Поляне в 1881 году могло высказать приведённые мнения, был <муж сестры жены Толстого> прокурор А. М. Кузминский. Слово «они» наводит на мысль, что присутствовали при этом разговоре и другие члены семьи Толстых, своим молчанием как бы высказывавшие сочувствие суждениям Кузминского» *(Гусев Н.Н. Материалы… 1881 – 1885. С. 23)*.

В отношении Софьи Андреевны гипотеза Н. Н. Гусева не оставляет сомнений. Действительно, ей *в те годы* ещё хватало “дипломатической” хитрости, чтобы не “закусывать удила” в семейных полемиках — зная, что она может настоять позднее на своём *иными путями*. А вот что касается юного Серёжи… Вполне возможно, что он-то как раз “удила закусил” – *вопреки* своему тогдашнему либерализму, из юного задора и прочих тех же намеренно-издевательских побуждений, что и во многих других спорах с отцом.

В любом случае, важно подчеркнуть: хронологически это *первая* запись в Дневнике Льва Николаевича о разладе с членами семьи на почве противоположных взглядов на жизнь. Впереди — полные 29 лет мученичества…

21 мая Толстой фиксирует в Дневнике первый жестокий спор (возобновлённый и 22 мая), в котором — уже без отмазок — участвовал его старший сын, Сергей Львович:

«Спор — Таня, Серёжа, Иван Михайлович: “добро условно”. Т. е. нет добра. Одни инстинкты» *(49, 38)*.

“Иван Михайлович” – это Ивакин, учитель классических языков, готовивший юношу Сергея на аттестат зрелости, а по совместительству — помогавший Толстому, как переводчик с греческого, в его работе над «Соединением и переводом четырёх Евангелий». С его подачи Сергей (а следом — и старшая дочь Татьяна) грубо, настырно доказывали отцу, что его перевод начала Евангелия о Иоанне — «Возвещение о Благе» — попросту *чепуха*. Потому-де, что благо даётся тому, кто исполняет «закон добра», а такого закона быть не может, потому что… далее по тексту.

Тошнотно…

А вот образец «барьера невосприятия», в отношении христианской проповеди Льва Николаевича сохраняющегося в массовом сознании по сей день:

29 мая.

«Разговор с Фетом и женой. Христианское учение неисполнимо. — Так оно глупости? — Нет, но неисполнимо. — Да вы пробовали ли исполнять? — Нет, но неисполнимо» *(49, 42)*.

(После этого посещения Лев Николаевич прервал личную переписку с Фетом, хотя тот по-прежнему оставался «другом семьи» и желанным гостем в Ясной Поляне.)

31 мая.

«Разговор с Таней о Василие Ивановиче <Алексееве>. Мирские не понимают Божиих» *(Там же)*.

И снова — умничающий спор от юного сына Серёжи (один из тех споров, которые в зрелые годы Сергей Львович назвал «несчастными» и стыдился воспоминаний о них):

28 июня.

«С Серёжей разговор о Боге.

Он и они думают, что сказать: “я не знаю этого”, “это нельзя доказать”, “это мне не нужно”, — что это признак ума и образования.

Тогда как это-то признак невежества. “Я не знаю никаких планет, ни оси, на которой вертится земля, ни экликтик каких-то непонятных, и не хочу это брать на веру, а вижу ходит солнце, и звёзды както ходят”. Да ведь доказать вращение земли и путь её, и мутацию, и предварение равноденствий очень трудно, и остаётся ещё много неясного и, главное, трудно вообразимого, но преимущество то, что всё сведено к единству. Также и в области нравственной и духовной — свести к единству вопросы: что делать, что знать, чего надеяться? Над сведением их к единству бьётся всё человечество. И вдруг — разъединить всё, сведённое к единству, представляется людям заслугой, которой они хвастают. Кто виноват? Учим их старательно обрядам и закону Божию, зная вперёд, что это не выдержит зрелости, и множеству знаний, ничем не связанных. И остаются все без единства, с разрозненными знаниями и думают, что это приобретение.

Серёжа признал, что он любит плотскую жизнь и верит в неё» *(49, 46 - 47).*

Вот тебе и воспитал… как говорится – «на свою голову». Если бы не родственная близость — вряд ли бы Лев Николаевич был *так* взбудоражен и расстроен насмешками невежественного юнца. Но от старшего сына, *первенца* — они были особенно мучительны человеку, не дерзавшему (ради них же, семейных, мучивших его!) порвать совершенно с миром и мирским.

3 июля 1881 г. Ясная Поляна.

«Я с болезни не могу справиться. Слабость, лень и грусть. Необходима деятельность, цель — просвещение, исправление и соединение. Просвещение я могу направлять на других. Исправление — на себя. Соединение с просвещёнными и исправляющимися».

Под «просвещением» Толстой разумел здесь, конечно, проповедь христианского учения, как он его понимал. Эту проповедь Толстой направлял прежде всего на своих семейных, но здесь-то он как раз не имел успеха. Значительно больший успех был от проповеди в народе.

Вообще, судя по записям Дневника весны-осени 1881 г. Толстой не работал своих прежних писательских работ. Всё его время и все силы уходили на внутреннюю работу и общение с людьми. Конечно, второе *очень* мешало первому: постоянные чужие мнения, споры, глумления над уже открывшейся Льву Николаевичу, *для него* оче-

видной истиной — лишали его “запаса” духовных сил. За их возобновлением Толстой направляется в паломничество – но не в Киев, в лавру, авторитет которой уже был в его глазах подорван (об этом путешествии осени 1879 г. мы уже рассказали в соответствующем месте), а — в пока вполне авторитетную в его глазах, особенно дорогую для него Оптину (Свято-Введенскую) пустынь, неподалёку от которой когда-то жили его предки — князья Волконские.

Фрагмент 1-й.
ПЕНЬКОВЫЕ ЧУНИ И ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ

Разумеется, и в Оптиной Пустыни Л. Н. Толстого неминуемо должно было постигнуть разочарование, сродни киевскому. Хотя бы потому, что, как и в 1879-м, при поездке в Лавру, он решил отправиться в паломничество в «народной», мужицкой одежде. Но при этом ехал он к монахам — как положено христианину: *как равный к равным*, будучи готов быть не только духовно напитываемым, наставляемым, но и *защищать* ту Истину христианского учения, которую познал, исследуя евангелия, за последние два года и в которой не должен был и не мог сомневаться.

Итак, 10 июня 1881 года, в 11 часов утра Толстой вышел из дома в белом кафтане, в простой, хотя чистой синей (по другим сведениям – тоже белой) мужицкой блузе и… лаптях, изготовленных в деревне на заказ. В холщовом «странническом» мешке, заботливо сшитым Софьей Андреевной, помимо сухарей, носовых платков, любимой подушечки и прочего, была и запасная пара обуви — привычные сапоги.

Взяты были, конечно, и деньги – и для себя, и для раздачи по дороге нищим.

Сопровождали Льва Николаевича в паломничестве в этот раз двое. Первыс спутником был яснополянский учитель Дмитрий Фёдорович Виноградов, тощий, долговязый, заядлый курильщик, переписывавший Л. Н. Толстому черновики его религиозных сочинений после его ссоры по этому поводу с женой; в 1884 г. он сбежал и стал церковным псаломщиком. Вторым же спутником Льва Николаевича в паломничестве стал Сергей Петрович Арбузов (1849 - 1904), рыжеволосый, кривоногий деревенский столяр и преданный слуга в доме Толстых, весёлый плут, обожатель винишка и женщин. Позднее, в 1883 году, его рассчитала и изгнала из дома Софья Андреевна. Оба попутчика не разделяли толстовского радикализма в отношении одежд и вышли в обычных своих костюмах, а щёголь Арбузов даже

захватил с собой изящную белую шляпу-«котелок». Конечно же, для Толстого это было нежелательно — но что ж поделать?..

Сергей Петрович оставил хорошие воспоминания о путешествии, к которым мы и будем обращаться.

Верный Арбузов недаром советовал не надевать лаптей, по крайней мере, до Крапивны. С непривычки они начали сильно тереть ноги Толстому, но он терпел, лишь прося попутчиков в первый день идти не шибко…

Арбузов передаёт любопытный диалог Толстого с наблюдательной старой («лет сорока») бабой с вёдрами и коромыслом, состоявшийся в тот же день 10 июня, когда путники проходили деревню Головеньки <Это около 15 км. от Ясной Поляны; нынче – входит в МО Головеньковское. – *Р. А.*>:

«Поздоровавшись с нами, она спросила, куда нас Бог несёт — не молиться ли. Граф ответил утвердительно. На вопрос, в какой монастырь мы идём, он сказал, что идём в Оптину Пустынь.

— Небось ты в монастыре останешься навсегда.

— Не знаю, может быть, — отвечал граф.

— Да, тебя-то оставят, а вон его, — указывает она на меня, — не оставят» *(Арбузов С. П. Из книги «Воспоминания бывшего слуги графа Л.Н. Толстого» // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. – М., 1978. – Том 1. – С. 294).*

Как видим, «искушение» оставления семьи не давало покоя Льву Николаевичу. По иронии судьбы, через 29 с лишком лет, после очередного (на этот раз — рокового) бегства от семейства, Толстой снова направится в Оптину — всё с теми же, и на этот раз сильнейшими, чаяниями: «как-нибудь» (не «каясь» и не разделяя с монахами веры в православие) поселиться при монастыре или хоть рядом с ним…

Намеренно обойдя Спасское, в котором жила родня жены (двоюродные сёстры), Толстой заночевал в селе Селиванове (25 км. от Ясной) на полу, на соломе, — в сенях избы зажиточного, но не особо гостеприимного мужика. Вышли в 4 часа утра (Толстой: «Приятно идти утром, как легко дышится!»), и в шестом часу уже достигли постоялого двора в Крапивне (в то время — уездный город в 28 верстах от Ясной Поляны). Отдыхали до трёх часов пополудни, пообедав лучшими уездными “гостинцами” — чаем, квасом, молоком, рыбой и яйцами.

Вот, тут-то лапотки толстовские и «сработали»! Н.Н. Гусев передаёт:

«Стоявший в соседнем номере незнакомый еврей уговаривал полового донести полиции: «Так-то в Киеве в лапти обувались, а что

наделали?» (он разумел еврейский погром весной того же года)» *(Гусев Н.Н. Материалы... 1881 – 1885. С. 41)*. Конечно, никто всерьёз не отнёсся к страхам такого «блюстителя порядка»!

Перед выходом Толстой написал жене первое (и самое длинное) из четырёх (включая две телеграммы) посланий этой поездки. Приводим его полностью.

«2-й час после полудня. Крапивна. Дошёл хуже, чем я ожидал. Натёр мозоли, но спал, и здоровьем чувствую лучше, чем ожидал. Здесь купил чуни пенёчные, и в них пойдётся легче. — Приятно, полезно и поучительно очень. Только бы дал Бог нам свидеться здоровым всей семьёй, и чтоб не было дурного ни с тобой, ни со мной, а то я никак не буду раскаиваться, что пошёл. — Нельзя себе представить до какой степени ново, важно и полезно для души (для взгляда на жизнь) увидать, как живёт міръ Божий, большой, настоящий, а не тот, который мы устроили себе и из которого не выходим, хотя бы объехали вокруг света.

Дмитрий Фёдорович <Виноградов> идёт со мной до Оптиной. Он тихой и услужливой человек. — Ночевали мы в Селиванове у богатого мужика, бывшего старшины, арендатора. Из Одоева напишу и из Бѣлёва напишу. Я очень берегу себя и купил нынче винных ягод для желудка.

Прощай, душенька, целую тебя и всех.

Если бы ты видела вчера на ночлеге девочку мишиных <М. Л. Толстой, сын Льва Николаевича, род. 20 декабря 1879 г. – *Р. А.*> лет, ты бы влюбилась в неё — ничего не говорит и всё понимает, и на всё улыбается, и никто за ней не смотрит.

Главное новое чувство это — сознавать себя и перед собой, и перед другими только тем, что я есмь, а не тем, чем я вместе с своей обстановкой. — Нынче мужик в телеге догоняет. «Дедушка! куда Бог несёт?» — В Оптину. — «Что ж, там и жить останешься?» И начинается разговор.

Только бы тебя не расстраивали большие и малые дети, только бы гости не были неприятные, только бы ты сама была здорова, только бы ничего не случилось, только бы... я делал всё самое хорошее, и ты тоже, и тогда всё будет прекрасно.

НА КОНВЕРТЕ: Въ Ясенки, въ Ясную Поляну. Ея Сіятельству Графинѣ Софьѣ Андревнѣ Толстой» *(83, 285 - 286)*.

Будто сговорившись в это путешествие, люди крестьянского трудового народа спрашивали у Толстого, не хочет ли он насовсем

остаться в Оптиной, при монастыре… а он и сам обдумывал это! И мотив был более чем весомый: стать не только по самоощущению, но и по внешнему положению «тем, что есть» перед Богом — без мирских богатств, званий и прочего… Но по этому же письму мы можем заключить: никакого окончательного решения уйти от семьи Толстой не только не принимал, но и *не смог бы*… и терпел их, какие есть, ещё почти *три десятка* лет!

Не дожидаясь письма от мужа, Софья Андреевна на следующий день, 12 июня, посылает в Оптину (куда Толстой ещё не добрался) своё письмо:

«Милый Лёвочка, не знаю, с чего и начать письмо. Эти два дня были разные события, и мне кажется, что уже так давно, что ты ушёл. Во-первых заболел мой Миша так, как ещё никогда он в своей жизни не болел. Жар сильнейший, стонет, не ест, не играет. Сегодня ему гораздо лучше, но я две ночи не спала с ним.

Вчера к обеду приехала Хомякова <Анна Сергеевна Хомякова, дочь тульского губернатора. – *Р. А.*> с <Л. Д.> Урусовым. Хомякова была очень мила и я продолжаю находить её очень симпатичной, а на Урусова напустились сначала Серёжа брат, который вчера же слез с курьерского на Козловке, а потом напала Таня за непоследовательность его христианства. Играли в крокет (без меня), разговаривали и уехали часов в десять. Серёжа рассказывал о приёме их государя, но ничего особенного. Императрица начала разговор со слов: «какое ужасное время!» Потом государь спрашивал, кто где служит, благодарил и велел благодарить «товарищей», как он выразился. Серёжа должен был держать речь первый и говорил хорошо, как он мне сказал. <Речь идёт о том, как тульское дворянство представлялось вступившему на престол новому русскому императору Александру III. – *Р. А.*>

Он очень доволен и его занимает, что все газеты об этом пишут. Сегодня после обеда он уезжает на лошадях в Пирогово и выпросил отпустить Таню, на что я и согласилась. Там никого нет, кроме своих, мне свой дом оставить нельзя, а то я бы поехала. Её назад привезёт Серёжа же.

Илья ничем не занимается, сегодня поехал по поезду в Тулу; но отказать ему — это повторение было бы той сцены, как при тебе, потому что часы готовы и их надо взять. Он по поезду же вернётся. Серёжа поехал на <речку> Бороломку, где спустили мельницу — ловить рыбу. Он третьего дня вернулся из Тулы и привёз — кого бы ты думал? — Богоявленского.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Николай Ефимович Богоявленский (1862 - ?); в 1879 – 1880 гг., будучи гимназистом восьмого класса в Туле, давал уроки мальчикам Толстым в Ясной Поляне. В то время юноша Богоявленский — убеждённый нигилист и атеист. В 1881 г., поступил на медицинский факультет, но был вышвырнут с учёбы за участие в недозволенных студенческих сходках. После этого — от испуга уверовал в Бога. Только в 1886 г. получил, с грехом пополам, звание лекаря. Позднее — земский врач в Лошакове Данковского уезда Рязанской губ. В 1891—1892 гг. работал с Толстым на голоде и тогда был ещё его единомышленником. Впоследствии Богоявленский отрёкся от Бога, Иисуса и Льва и обратился к исповеданию церковного православия. Канул в Лету. Последнее известие о нём относится к середине 1930-х гг., когда он работал врачом на фабрике «Пролетарка» в г. Калинине (СССР). – *Р. А.* **]**

У меня с Серёжей было объяснение, я ему высказала своё неудовольствие и сказала, что ты неодобрительно смотрел даже на то, что он сам к нему зашёл. Серёжа был кроток и сказал, что впредь будет осторожнее. Богоявленский был противен, перорировал [разглагольствовал] о вреде хороших манер и спорил с тётей Таней. Я эти дни мало спорю, всё молчу. У Тани дети здоровы. Моего Мишу тоже сейчас велела вынести погулять. Мы купаемся, ягоды поспевают; жарко очень, и скучно без тебя. Я думаю тебе мученье идти с ношей в эту жару, и я очень боюсь за твою голову. Надеюсь, что ты самую жару сидишь в тени или спишь, и что не будешь потный пить, купаться, что ужасно вредно, удар может сделаться.

Получила я без тебя два письма к тебе: одно от <Петра Фёдоровича> Самарина, полное раскаяния и даже чувства, другое от <Владимира Васильевича> Стасова, насчёт твоей рукописи. Это сложно, сам прочтёшь. Очень жаль, что это время тебя не будет дома.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Трагикомичная история ещё 1880 года, описанная в кн. «Лев Толстой и В. В. Стасов»:

«В. В. Стасов не раз рассказывал, как он долго упрашивал Софью Андреевну подарить в Публичную библиотеку часть рукописи из «Войны и мира», но графиня всё не соглашалась. Наконец, в самый момент отъезда Стасова она принесла ему свёрток. И — о ужас! — среди последних разговоров с Толстым и прощаний, он забыл захватить этот драгоценный свёрток! Никакие просьбы и извинения не

могли смягчить разгневавшуюся на такую действительно непростительную небрежность графиню. И лишь много лет спустя она подарила рукопись Публичной библиотеке» *(Цит. по: ПСТ. С. 161).*]

Собирался к нам <Владимир Сергеевич> Соловьёв профессор, хотел приехать после Земского собрания Самарин (это Бог с ним), потом Тургенев; Бестужев в воскресение; велел сказать, что брата привезёт, и т. д. Всё это мне было бы интересно, но что же делать; ты, может быть, и вероятно даже, рад.

Надеюсь, что ты будешь здоров, не слишком себя заморишь и приедешь домой раньше обещанного срока — десяти дней.

Привёз Богоявленский лекцию Соловьёва, литографированную; очень интересно было прочесть, я её тебе оставила.

Прощай, милый друг, кажется всё написала, но не знаю, писать ли ещё или нет, и куда?

Целую тебя и ещё, и ещё прошу беречься и соблюдать себя.

Соня» *(ПСТ. С. 159 - 160).*

«Между строк» в письме читаются целый ряд упрёков вдогонку мужу: мол, вот ты ушёл — а тут младшие дети болеют, старшие — к атеистам “на огонёк” заходят, да ещё столько гостей *к тебе* в дом ломится!.. Но в том-то и дело, что Толстой, терпеливо удержавший себя при семье до 1910 г. — *ушёл* от всех Стасовых — Соловьёвых — Самариных, да и от Сонички своей *дальше, чем они тогда подумали.* И – слава Богу! – невозвратимо.

Далее путники миновали сёла Ченцовские Дворы, Дубки, Рождествено и добрались до крупного села Монаёнки (от Белёва ещё 22 версты). Везде по пути Толстого неприятно поражала нищета и грубость крестьянской жизни. «Удивляешься, как они живы» — записал он в Дневнике.

В Ченцовых Дворах удалось снова чуток развлечься. У вдовы умерли двое сыновей из четырёх, и соседи, «обчество» (т.е. община), решили отобрать у неё половину двора с постройками и прочим, зажитым покойным мужем и сыновьями. Вдова в присутствии Толстого жаловалась волостному старш**и**не, прося заступничества, и Толстой решил от себя расспросить её. В обычных российских традициях (“не-дай-бог-вынесть-сор-из-избы”), старшина напустился на скромно одетого “мужичка”, требуя предъявить паспорт, которого у многих нищих, действительно, не было. Ликующий Арбузов

тут же сунул старшине паспорт Льва Николаевича. Старшина оказался не грамотен, и с позором передал паспорт сыну, научившемуся читать, служа кучером в Петербурге. И сын громогласно, как первоклашка букварь, по складам прочёл: «Граф Лев Ни-ко-ла-е-вич Тол-стой!».

Эффект был предсказуем и могуч:

«Как от грома и молнии народ прячется под защиту строений, так и от слов “граф Толстой” всех, старшину с сыном, артель крестьян-рабочих и бабу-просительницу, всех в несколько минут как дождём смыло, только я да граф остались на крыльце» *(Арбузов. С. 303)*.

Вот ещё записи Дневника Л.Н. Толстого об увиденном, отчасти выражающие и его думы и впечатления:

11 июня. <Передаёт речь мужика.> «Подходи к земле. У помещиков много. Кормиться нечем. Бьёшься и нанять негде. Царя убили дворяне за крестьян» *(49, 139)*.

12 июня. Ченцовские Дворы. «Стоянка у старшины. Он пришёл пьяный. Толстый, пухлый, брыкает жену босой ногой. Она зубоскалит.

Бабы яровитые. Обнажила пухлую белую ногу, где болит. Идёт тихо с цветами. Ванька, сыграй песенку. Сын играет, сидя на поручне. Девчёнка одна, любимица, бежит. Вооруха — камушками играет» *(Там же)*.

13 июня. «Кондратия знаешь? За руку тебе бы в городе. — Я никого не обругал, ничего не украл. Плачет. Глазами.

Как нам их учить?» *(Там же)*.

«Лошадь закапывали, дурно пахнет. 11 человек до обеда. Лошадь поминать» *(Там же)*.

<*Передаёт речь мужика.*> «А. М. попил нашей крови, сукин сын, его долбнёй не убьёшь» *(Там же)*.

<«Долбнёй не убьёшь» — узнаваемое выражение, в числе тех, которые Толстой позаимствовал для речи своих “народных” персонажей — например, сапожника в рассказе «Чем люди живы?». – *Р. А.*>.

«К мельнице. Работник не пускает, рассказывал, как воды выпил разной, ослаб, хозяин его — сумку на плечо. Никто не дал чаю, принял нас за надсмотрщиков. Гроза заходит. Встретился мужик на телеге. «Свези». Солдат не пустил» *(Там же. С. 140).*

14 июня. Монаёнки. «Холсты стелят в поле. Мужик Мананской сеит гречиху с сыном — простое, доброе лицо, — сын внимательный.

Читал писание. Ануфреевна догнала, извинялась, послали ей деньги с молодкой. «Душечка». — Владимир Акимович. Добрый, радостный. Сборы его по приходу хлебом. Тёща сердитая. Другой священник. На собаку пуделя похож. Нагорная проповедь. “Я сиволапый”.

К Акимовне, стёжка по коноплям. С задов во двор. Сама отперла. Маленькая, кроткая, подслеповатая, в белой рубахе. Изба 10—8 арш., с половиками. Поила чаем, мёдом, с лопаточкой. На свечи 20 к. работница. Козочка» *(Там же).*

Упомянутый «сиволапый» священник — о. Владимир, или просто Владимир Акимыч — был хорошо известен и любим в Ясной Поляне. Он работал народным учителем, но мечтал получить место священника, в чём ему и помог, используя связи, Лев Николаевич. Арбузов вспоминает:

«Отец Владимир был на гумне; мы вошли в дом и попросили разыскать его; жена пошла за ним и привела вскоре. С графом отец Владимир расцеловался. Скоро был готов чай, мы пили чай, обедали, отдыхали, снова пили чай…» *(Арбузов. С. 305).*

В это время к о. Владимиру заглянул “на огонёк” другой поп, и Лев Николаевич не преминул «для разогрева» перед Оптиной поспорить с ним об истинном понимании христианства — и, конечно, уложил на обе лопатки! Поп ретировался, а Лев Николаевич, для закрепления успеха, отправился на собрание местных раскольников…

Вечером 13-го он написал в Монаёнках второе (и последнее в эту поездку) письмо жене (отправлено уже 14-го, из Белёва):

«Хотел писать из Одоева, но мы свернули на Мананки. Оттуда и пишу теперь, от Владимир Акимыча. Он нас отлично принял. Я сейчас был у раскольников. Менее интересно, чем я думал. Шли мы очень хорошо. Здоровье моё совсем укрепилось. — Сплю и днём и ночью. Владимир Акимыч настоял на том, чтобы подвезти нас. Я пишу у него, полна комната народа, и потому письмо нескладно и коротко. Припишу ещё в Белёве, коли успею.

Дай Бог, чтоб было у вас всё хорошо. Л. Т.» *(83, 287).*

Застеснявшийся что-то своего умного и религиозно-активного гостя, поп Володя ещё до зари 14 июня «запряг в телегу пару лошадей и предложил Льву Николаевичу довезти его до Белёва, от чего граф не отказался» *(Арбузов. С. 305)*.

Но ранний час не выручил бедного Владимир Акимыча. Он всё-таки *попался* на глаза односельчанину, который через с лишком *полвека*, уже стариком, в беседе 10 апреля 1934 г. с редактором Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого с удовольствием вспомнил, как он единственный раз видел Толстого: «идя по дороге, он был поражён, увидев местного священника Владимира Акимовича сидящим на козлах и правящим вместо кучера, — оказалось, что в экипаже сидел Толстой» *(Щит. по: 83, 288)*.

В дальнейшем к нашей теме имеют отношение только две телеграммы Толстого *(см.: 83, №№ 172 и 173)* посланные им жене при возвращении из Оптиной. В первой из них, посланной 16 июня из Козельска, Толстой благодарит за полученное им единственное, приведённое нами выше, письмо Сони. Вторая же из телеграмм, 18-го из Калуги — сугубо «путевая»: Толстой сообщает, что приедет 19-го в 2 ч. пополуночи в Тулу, на Ряжский вокзал, и просит выслать туда шарабан.

Но и сама поездка в Оптину Пустынь имеет настолько огромное значение и в дальнейшем развитии отношений наших адресатов и в целом Толстого с членами семьи, и для его мировоззренческой эволюции, что мы никак не можем обойти её хотя бы самым кратким освещением.

К вечерней трапезе усталые паломники явились к своим «собратьям во Христе». Встретили они Толстого, разумеется, «по одёжке» — то есть совсем не по Христу… Арбузов вспоминает:

«Звонил колокольчик на ужин, мы с котомками за плечами вошли в трапезную; нас не пустили в чистую столовую, а посадили ужинать с нищими. Я посматривал на графа, но он нисколько не гнушался своими соседями, кушал с удовольствием и пил квас, который ему очень понравился» *(Арбузов. С. 305)*.

В Дневнике Лев Николаевич так рассказывает о своём ужине в монастырской столовой:

«Оптина пустынь. Пришли в гостиницу. Ефим сердитый. <Монах, обслуживавший столовую.> “Здесь странноприимный дом. Вот здесь и спи. Ты нажрался, а я не ел. Вот сюда сядь…”» *(49, 141)*.

«Гостеприимство» и любовную «заботу», как видим, Толстому в Оптиной явили типично российские, традиционные, до боли знакомые и современным, начала XXI столетия, *не* богатым путешественникам по России…

А дальше в Дневнике — свидетельство тщетных попыток Толстого получить крышу над головой:

«Во всех гостиницах отказ с ложью. И господам не даём» *(Там же)*.

Толстого неприятно поразил не сам отказ в приюте, а именно эта *подлая* ложь. Подлость её тут же подтвердил верный и умный Арбузов. Прихорошившись и водрузив на голову свой щегольской белый цилиндр, он направился прямиком к гостинику и повертел у того перед носом «волшебной» денежкой:

«— Батюшка, вот вам рубль, только дайте нам номер.

Он согласился и отвёл нам номер, причём сказал, что нас будет трое: третий — сапожник из Болховского уезда. Я достал из котомки простыню и подушечку, приготовил графу постель на диване; сапожник лёг на другом диване, а я постелил постель на полу недалеко от графа» *(Арбузов. С. 306)*.

Сапожник отличился способностью звонкого храпа, а номер весь буквально “шевелился” от клопов, и Софья Андреевна с состраданием упоминает в мемуарах (конечно, со слов мужа), что «он две ночи, после усталости от ходьбы, не мог всё-таки спать» *(МЖ – 1. С. 337)*.

На следующий день, ещё не раскрывая своего инкогнито, Толстой отправился на сбор впечатлений от “святого места”. Сперва он понаблюдал жизнь рабочих монахов — как они пашут, косят, занимаются ремёслами… Толстого неприятно поразило за общей трапезой, что, хотя перед едой и зачитывалась дежурным монахом общая молитва — «молиться никому не хотелось и никто не молился» *(Там же)*.

А вот запись от посещения женского отделения монастырской гостиницы:

«В женской помутка: Монах кричит. Я тебя свяжу, дрянь! Зашли, вонь ужасная, дочь плачет. Вторую ночь не даёт спать, дерётся. Загогочет, как жеребец, и завоет. […] Скула на сторону. […] В церкви запели “Отче наш”. Она говорит: “проклятый”. На спине кругом елозит. Не даёт спать. Насрано на полу. […] В Тихвине связали. Ни искры жалости у монаха» *(49, 142 - 143)*.

Женщину психически больную привезли суеверные идиоты, конечно же, для «чудесного излечения».

В книжной лавке («образки, крестики, ленточки, ладонки, книги» — *49, 142)* Толстой стал свидетелем того, как мнимо-христианская

церковь «православия» служила и служит распространению собственных суеверий, старательно удерживая паству от знания и исполнения истинного учения Христа. Женщина из г. Богородицка просила книгу для грамотного сына. Монах-книгопродавец всучивал ей типичные церковные поделки под названием «Молитва кающегося грешника», «Описание Оптиной пустыни» и под. Толстой попросил дать женщине Евангелия, на что получил злой и категоричный ответ: «Это им нейдёт!» Книга евангельских текстов, действительно, была очень дорога — не для простого народа… На глазах изумлённого и тихо ненавидящего его книгопродавца нищий «странничек» в пеньковых чунях отсчитал из богатого кошеля потребную сумму, купил Евангелия и отдал книгу женщине.

Вернувшись в номер-клоповник, Толстой застал сапожника пьяным. Язык у того развязался, и, вопреки обычной набожности, он бранил монахов, обходившихся с ним очень грубо: «Шёл, шёл, думал благодать найти, а они ругают» *(Гусев Н.Н. Материалы… 1881 – 1885. С. 42)*. Эти жалобы совпали с собственными его разочарованиями в монастыре, на который он в 1881 г. *в первый раз* взглянул глазами не церковного суевера, а свободного христианина Христа — и потому не мог уже там обмануть самого себя и «найти спокойствие души и удовлетворение запросам её» *(МЖ – 1. С. 338)*.

Между тем поступок его в книжной лавке приблизил раскрытие его инкогнито. Монахи зашушукались… история с описанием внешности странного «нищего» с портмоне достигла ушей одного из них, бывшего крестьянина, жившего прежде в Ясной Поляне. Тот, подсмотрев, узнал в нищем «барина графа» и, конечно, оповестил о «дорогом госте» и настоятеля, о. Ювеналия, и «старца» Амвросия. От их имени в клоповник явилась “покаянная” депутация из двух монахов, смиреннейше предложивших “его сиятельству” перейти в гостиницу первого класса, «где всё обито было бархатом». Толстой даже не успел переодеться, и в чунях пеньковых, но уже с эскортом (или под конвоем?) проследовал в богатые апартаменты. Слуга Арбузов, храня самоуважение, пожелал остаться в комнате третьего класса — с умницей сапожником и премилым крещёным жидом (поселённым на место Толстого), с которыми ему было «очень весело» *(Арбузов. С. 307)*.

Конечно же, теперь настоятель и «старец» даже сами желали видеться и беседовать с богачом и знаменитостью. Первая беседа в тот же день состоялась у Толстого с Ювеналием. Вот что рассказывает о ней Дневник Толстого:

«К Ювеналию. 4 комнаты. Половики мягкие, для молитвы. Иконы, картины, жалузи. Длинные, сивые космы, крупные руки, тонкий, вострый нос. — Зашла речь о толкованиях Павла, церкви, отцов. Я не могу допустить. — Про Магомета, пожалуйста, не говорите. Судить, воевать надо. Положить живот за други своя — это значит воевать. Обязаны защитить.

Начальство и власти. Церковь свята. — Плотская брань. Прелесть гордости, прирожёная» *(49, 143)*.

С настоятелем Ювеналием Толстой смело говорил о том, как церковь извратила учение Христа, признавая неравенство людей и насилие правительств: суды, казни, войны. Ювеналию, после всех фактических подтверждений правоты Толстого в его обличениях – хватило бесстыжести отстаивать святость *своей* церкви. Пока он изливался, Толстой наблюдал в окно, как рабочие пилят брёвна. Когда Ювеналий иссяк, Лев Николаевич произнёс, указывая ему на пильщиков:

— Вот это христиане настоящие, а не мы с вами, разговаривающие о христианстве в удобных креслах *(Гусев Н.Н. Материалы… 1881 – 1885. С. 43)*.

У дверей в келью Амвросия («С переднего крыльца мущины, с заднего женщины. Рассортировка идёт». — *49, 143*) Толстой стал расспрашивать богомольцев, жаловавшихся ему, что по многу дней их (простой люд) не допускают к «старцу» (о. Амвросию). Он спрашивал их, о чём они желали побеседовать со «старцем». Все желали получить советы или прорицания по сугубо житейским вопросам («открыть ли торговлю – кабаки?» … «выйдет ли дочь замуж?» и под.). Ни у кого не было собственно христианских, хоть бы и догматических, а уж тем более религиозно-нравственных, вопросов.

С самим Амвросием Толстой проговорил два часа, в течение которых пару раз уличил его (как и Ювеналия до него) в незнании (или, что вероятнее, намеренно ложной трактовке) евангельских текстов. Софья Андреевна рассказывает некоторые подробности:

«Дело было так. Отец Амвросий говорил, что право отпущения грехов дано только Церкви, и основывал это на тексте Матф., гл. 18, ст. 15, цитируя его следующим образом: “Если же согрешил брат твой… то поди” и т.д. Лев же Николаевич говорил […] что в тексте сказано […] “Если же согрешил брат твой *тебе*…”. Отец Амвросий отрицал слово *тебе*, но Лев Николаевич доказал ему свою правоту по Евангелию» *(МЖ – 1. С. 338)*.

Ещё смехотворней показались Толстому фантазирования “старца” о “будущей жизни” в раю, где, мол, между святыми будет такое же

различие в чинах, как и в известной нам земной жизни: как здесь генералы, полковники, поручики, так и “там” будет.

«Амвросий, — записал по этому поводу в Дневнике Толстой, — занят тем чином, который он заслуживает [в раю], и верит болезненно, бедный… Ему кажется, что чины — что-то натуральное, с чем можно сравнивать. […] А бедный не заслужит чина — келейники двери на запор и выталкивают» *(49, 144).*

На следующий день, перед отъездом в Калугу, Толстой посетил обедню в монастырском соборе — едва ли не в последний раз в своей жизни. Гнетущее впечатление рассеивалось по мере удаления от ворот монастыря, но *разочарование* Толстой унёс с собой… и оставил при себе навсегда.

19 июня 1881 г. — уже на поезде, в шарабане и в сапогах — Толстой возвратился в Ясную Поляну.

Фрагмент 2-й.
ДОМ ТВОЙ ТАМ, ГДЕ ТЫ БЛИЖЕ К БОГУ

В июне 1881 года, после того как старший сын, Сергей Львович Толстой выдержал экзамен на аттестат зрелости, дававший право на поступление в университет, в Ясной Поляне был окончательно решён вопрос о переезде осенью всей семьёй в Москву.

План переезда в Москву после того как старшему сыну придёт время поступать в университет, а старшую дочь нужно будет «вывозить в свет», давно уже обсуждался в семье Толстых. «Моя мать, сестра и я стремились в Москву подобно чеховским трём сёстрам», -- писал впоследствии С.Л. Толстой в предваряющей статье к запискам своего учителя И.М. Ивакина *(ЛН. Т. 69. Кн. 2. С. 21).*

Коренная, настоящая причина такого решения очень даже ясна: Софья Андреевна до 18 лет жила с родителями именно в Москве и впитала в себя с детства все предрассудки, вкусы, пристрастия и гнусный разврат городской (хуже того – московской!), самой сволочной среды — барской и интеллигентской. Толстой, пока воспитывались старшие дети – не мог помешать транслированию многих из этих суеверий и привычек разврата из материнской головы в головы *его* детей. Да он и сам, как мы увидели, в 1860-70-е гг. ещё разделял с «цивилизованным» миром многие из суеверий, соблазнов и стра-

стей. В результате в семье, действительно, возникла ситуация, описываемая Софьей Андреевной в следующих «самооправдательных» строках её мемуаров:

«Молодая жизнь детей неудержимо шла и стремилась порою к веселью и порою к серьёзным, но личным интересам.

Как мог бы в то время мой сын Серёжа, которому чуть ли не с рождения внушена была важность и необходимость университетского образования, вдруг признать усилия всей его юной жизни напрасными и взяться за топор или соху?

Как могла Таня, любившая живопись, общество, театр, веселье и наряды отречься от всего этого, и остаться скучать в деревне, и ходить на работы? И наконец, где бы я взяла силы с 8-ю детьми отказаться от привычных условий жизни *во имя идеала, не мной созданного, а насильно навязанного мне*?» *(МЖ – 1. С. 336. Выделение наше. – Р. А.)*.

Да, без христианства, «насильно навязанного» человечеству Богом и Христом, жить жизнью веселящихся, беспечных (чужими трудами) животных было бы во все века приятнее и легче не одной Софье Андреевне, а миллиардам её единомышленников и единомышленниц… да они и прекрасно обходились без него, довольствуясь “уставным” церковным обрядоверием, требуемым от них той или иной их общественной средой и эпохой.

Сведения Софьи Андреевны нужно и фактически немного уточнить: восьмой из выживших её детей, Алексей, родится уже в Москве, 31 октября 1881 г. Так что на момент решения вопроса о переезде детей было семеро: Серёжа, Танюша, Илюшок, Лёлек, Маша, Андрюша и полуторогодовалый Мишутка. «Семеро у бабы по лавкам, восьмой – в брюхе доспевает». И, по крайней мере для четверых из них, младших, — переезд, в сравнении с природной жизнью в усадьбе, не сулил ничего хорошего. «Перевес», казалось бы, в их пользу. Но Софья Андреевна добавила *свой* непреклонный голос, пиша 3 февраля 1881 г. в письме сестре: «Оставаться в деревне ни для кого не считаю хорошим, кроме разве четырёх последних детей» *(Цит. по: Гусев Н.Н. Материалы… 1881 – 1885. С. 47)*. Трое старших плюс мама — тоже четверо… Поровну. Решающее слово, таким образом, должен был сказать глава семьи — сам Лев Николаевич.

Решение не было для него простым. Как было сказано, ещё до идейного перелома, до обретения христианской веры, городская жизнь, и в особенности жизнь тогдашней барской, буржуазной, торгашеской и интеллигентской Москвы вызывали в Толстом смешанные чувства тоски, ужаса и омерзения. Например, ещё 20 февраля 1872 г. он писал тётиньке Alexandrine Толстой о Москве вот такое:

«…Вчера я вернулся из Москвы, где я заболел, с таким отвращением ко всей этой праздности, роскоши, к нечестно приобретённым и мужчинами и женщинами средствам, к этому разврату, проникшему во все слои общества, к этой нетвёрдости общественных правил, что решился никогда не ездить в Москву. Со страхом думаю о будущем, когда вырастут дочери» *(61, 281)*.

Тётинька, жительница столичного Петербурга, сии гоненья на Москву принимала с долей понимания и без особенных возражений. В 1879-м, в письме ей же от 25 марта, Толстой снова жаловался на «ужасную суету» московской жизни, а в письме этого же дня Н. Н. Страхову сравнивал жизнь в Петербурге или Москве с жизнью в душном вагоне *(62, 476)*.

С другой стороны, Толстого, слишком поздно пришедшего к Богу и Христу, продолжали удерживать самые цепкие — близкородственные — связи с миром и мирским. Он *продолжал любить* земной, животной любовью своих жену и детей и не мог решиться на разлуку с ними – даже на такой «бархатный» её вариант, как жизнь отдельно от них, уединённо, в общем их доме в родной усадьбе. Биограф Толстого Н. Н. Гусев называет и сопряжённую с родственной любовью причину: Толстой «всё-таки надеялся на своё хотя бы незначительное нравственное влияние на своих семейных» *(Гусев. Материалы… 1881 – 1885. С. 47)*.

Не сбывшаяся и *жестоко* поруганная надежда!

Наконец, памятовал Лев Николаевич и вышеприведённые нами слова из беседы со своим духовным наставником (и одновременно учеником) В. И. Алексеевым, когда было сказано, что оставление семьи – соблазн, который нужно в себе христианину побороть.

Итак, решение было принято в пользу проклятого переезда. Толстой, впрочем, выговорил для себя право не участвовать лично во вдвойне противных ему хлопотах по приобретению квартиры и роскошной обстановки для комнат. Софья Андреевна писала сестре 3 марта 1881 г.: «Я решила во всяком случае ехать в Москву… Поеду летом, всё устрою, всё куплю, а в сентябре перееду, да и только» *(Там же. С. 48)*. По этим строкам мы можем судить, что решение о своём неучастии в неодобряемом им переезде Толстой принял не позднее начала 1881 г. Жена воспринимала переезд как *личное своё* предприятие, в котором мнение и голос мужа практически тушевались. «…Перееду, да и только». Сделаю то, что требуют от меня ложь и моды современного общественного устройства – а там пусть всё будет, как будет!

1 июля 1881 года Софья Андреевна выехала в Москву. Не одна, а с 12-летним Лёлей, Львом Толстым-младшим, которого хотела показать стоматологу. В Москве она съехалась со своей сестрой Татьяной, которая для тех же целей привезла в город дочерей. Вместе остановились в доме родни – выехавших тогда из Москвы в деревню кн. Оболенских.

Кроме того, в Москве совершенно случайно оказался старый друг семьи Толстых, Дмитрий Алексеевич Дьяков. Но он «мало мог помочь», жалуется Софья Андреевна в мемуарах, и сообщает кое-что о своих жестоких мытарствах в эту поездку:

«Трудно мне было это чрезвычайно. Никогда я не жила на квартирах наёмных. Дома, у отца, я прожила всю жизнь в казённой квартире в Кремле. Потом, вышедши замуж очень молодой, прожила 19 лет почти безвыездно в Ясной Поляне. Где, как искать дома или квартиры – я понятия не имела и очень робела перед этой задачей. Хотя мне было уже 37 лет, но я была очень неопытна в жизни, а посоветоваться не с кем и помочь мне некому. Хлопоты мои ещё осложнялись 6-месячной беременностью. [...] Жара была невыносимая, пыль, треск пролёток, одиночество — всё это было ужасно тяжело. Целыми днями я тряслась в извозчичьих пролётках, влезая и вылезая из них, чтобы осматривать квартиры и дома. Удивительно, что я не родила преждевременно от всего этого» *(МЖ – 1. С. 339)*.

Многолетняя близость и узы привязанности мужа к жене сыграли роль и здесь... Отправив жену в Москву, Лев Николаевич не находил себе покоя. Н. Н. Гусев пишет об этом: «Глубокий идейный разлад, отдалявший Толстого от жены, вдруг отодвинулся на второй план, и он видел перед собой лишь любимого человека, попавшего в трудное положение, которому нужно помочь» *(Гусев. Материалы... 1881 – 1885. С. 48)*.

Это запоздалое желание не вылилось, однако, в большее, нежели пара ободряющих его строк в письме, посланном жене в Москву 4 июля. Приводим ниже полный текст письма.

«Суббота. Полдни.

У нас всё идёт очень хорошо: Ни неприятностей, ни ссор, ни шалостей, — главное, все здоровы. Маленькие <Андрей и Михаил> очень милы и трогательны тем, что, как я говорю Тане <дочери>, они на меня с нею переносят то — или хоть часть того, что они отдают тебе. — Андрюша сей час подошёл (теперь утро дети завтракают) рассказывать о том, как он будет есть яйца; я его спросил, что написать мама? Он задумался, внимательно посмотрел на меня и просиял

улыбкой; её то я бы хотел написать тебе. Илюша то в Ясенки, то в Тулу; но часы занятий исполняет. Серёжа с Иваном Михайловичем<Ивакиным> перебирают книги в том доме <т.е. во флигеле>. M-lle Guillod всё ездит с Mania кататься. Таня очень озабоченно и весело хозяйничает. Нынче сбегала к Костюшке <Зябреву, бедному крестьянину Ясной Поляны, семье которого помогал Толстой. – *Р. А.*>. И Илюша едет в Тулу, чтоб купить пластырьКостюшкиной жене.Кузминские <А. М. Кузминский с сыновьями Михаилом и Александром> приходят обедать, мы приятно разговариваем, но он как будто боится быть мне в тягость, и скоро уходит, и вчера вечером не пришёл. Я — ленив.

Я уверен, что ты свои дела уже кончила. Я счёл, что если 20 домов осмотреть, то можно выбрать, а 20 домов осмотреть можно в 3 дня. — Пожалуйста, рассчитывай на меня. Я поеду и осмотрю, и доделаю, что ты не сделала. Целуй <сестру> Таню и детей. Обнимаю тебя.

НА КОНВЕРТЕ: Москва. Арбатъ, домъ Каринскаго. К[вартира] Оболенскаго. Е. С. Графинѣ Софьѣ Андревнѣ Толстой» *(83, 288 - 289)*.

Мило, как муж и жена здесь будто «поменялись местами», и Лев Николаевич “рапортует” супруге о детях и домашних делах – о том, что было обычным, даже иногда досадовавшим его в молодости, содержанием писем Софьи Андреевны *к нему*!

Расчёт о «20 домах в три дня» — кажется, довольно суров. Но дело тут не только в том, что самому Льву ни разу в жизни не пришлось *беременным* метаться по городскому (хуже того – московскому!) летнему пеклу. Это – *принципиальное* и вполне понятное равнодушие к *предприятию*, схожее с тем, которое имел бы приговорённый к смерти к жалобам на тяжести бытия готовящего его казнь палача. Разница только в том, что к *жертвам* этого, в угоду мира делаемого, предприятия – Толстой *не мог* и не сумел бы отнестись без сострадания и заботы. Даже к Софье Андреевне, собственной (в этой конкретной ситуации) палачихе, много лет позже жестоко, грубо, но и не без доли справедливости разоблачённой в лицо ближайшим и многолетним его другом, В. Г. Чертковым.

Двумя днями раньше, 2 июля, Софья Андреевна написала и отослала мужу своё письмо с описанием трудностей поиска московской квартиры. В ранней публикации её писем Софья Андреевна сделала к этому письму следующее примечание: «Письмо из Москвы в Ясную Поляну. Я ездила купить или нанять дом для предполагаемой жизни в Москве» *(ПСТ. С. 165. Выделение наше. – Р. А.)*.

Приводим ниже текст этого письма С. А. Толстой.

«Пишу тебе, милый Лёвочка, усталая, после дня беготни по домам и квартирам. Описывать тебе всего подробно невозможно; не могу сказать, чтобы я потеряла храбрость и надежду найти что-нибудь, но и счастлива я не была. Дома продажные или огромные, около 100 тысяч, или маленькие, около 30-ти. Квартиры и дороги, и неудобны; кроме того страх, что холодны, а спросить не у кого. Видела я два дома по 65 и 70 тысяч; флигеля можно отдавать внаймы, но дома самые для жизни слишком роскошны. Два дома я нашла превосходные. Один от Арбата в Хлебном переулке, дом Калачёва. Продаётся с мебелью за 26 тысяч; баснословно дёшево. Для нас всё, — и дом, и мебель, и службы, и двор, — лучше желать нельзя. Если нанять (с мебелью, иначе не отдают), то просят 2500. Вероятно уступят. Но я уверена, что в этом доме что-нибудь да не то, уж слишком дёшево продаётся и так удобен. Завтра буду узнавать о нём в лавочках, у жильцов, и разными путями, и, если одобрят, надо взять.

Другой, очень удобный, на Сивцовом-Вражке, графини Капнист. Но 2400 без мебели, без прачешной и подозрительный для теплоты. Кажется старый; кроме того в подвальном этаже жильцы, что не удобно. — Как мне часто хочется с тобой посоветоваться, такой я себя чувствую беспомощной и так страшно одной что-нибудь решать.

Ехала я одна в купе, спала плохо; в Москве увидала, что со мной ехал Дмитрий Алексеевич <Дьяков>; он заезжал ко мне, но без меня. <Леонид Дмитриевич> Оболенский был дома, мы пили чай, потом пришёл Пельнор <Жид, барыга по недвижимости, гнусь, типа наших риелторов. – *Р. А.*>, ему больше 60-ти лет, кончил курс в Моск. университете, приличный и неприятный. Ему хочется продать дом Репина, делами которого он занимается <Дом в Кудринском переулке; Репин зд. – фамилия подрядчика при его строительстве. – *Р. А.*>; а дом и прочный, но противный. Рекомендации Пельнора все плохи. <«Развести» на залежь не удалось. Дочь Андрея Берса была неопытной, но наследственно-умной тёткой в таких делах. – *Р. А.*>

Обедала я одна в огромной и пустой зале Славянского Базара, в 8 часов почти вечера; ела только бульон и холодный ростбиф, потому что обедов уж не было. Оттуда поехала к Пете, его не застала, он поехал провожать Перфильева в Петербург на железную дорогу. Ольга нынче встала, ей 10-й день. У них час посидела, в половину десятого вернулась, застала Таню, поговорили и разошлись. В конторе достала ещё адресы, завтра еду опять. Постараюсь взять с собой Дьякова, он на счёт прочности даст совет.

Прощай, милый друг, пиши: Арбат, дом Коринской, квартира князя Оболенского. Я тебе, кажется, адреса не сказала.

Будьте все здоровы и берегитесь. Мне очень тоскливо, но я берегусь, спала нынче днём часа полтора. Теперь с Таней и детьми будет веселей и легче. Целую вас всех.

Соня.

Посылаю письмо завтра утром, а теперь 11 часов вечера» *(ПСТ. С. 162, 165).*

По приписке мы видим, что письмо было отослано Софьей не ранее утра 3 июля, так что очевидно, что Толстой ещё не успел получить его, пиша 4 июля своё, вышеприведённое нами, письмо. Ответил он, как только получил письмо жены, телеграммой (к сожалению, утраченной), а 6 или 7 июля (датировка приблизительна, по содержанию письма) следующим кратким посланием, в котором чувствуется удерживаемый им “барьер неприятия” главной цели жениной поездки:

«Как ты знаешь уже из телеграммы, всё у нас вполне благополучно. И дети ведут себя хорошо. Из письма твоего вижу, что в первый день ты была не в духе, да сверх того и неудачи.

Дай Бог вам только быть здоровыми, а то уж верно в следующие дни всё было лучше. Когда ты получишь это письмо, вы уже будете на отъезде и всё уже будет прошедшее.

Если вы здоровы и будет концерт в пятницу, я бы советовал пробыть.

Целую вас и люблю» *(83, 290 - 291).*

Итак, метания и тоску он предоставил рабыне мира и мирской лжи, сам же — со спокойствием приговорённого ожидал развязки предприятия. Предсказуемо благополучная (для жены), она не заставила себя ждать, и описана Софьей Андреевной в следующем, и заключительном в данном эпизоде, письме мужу, писанном весьма оперативно – уже 3 июля, вечером:

«Хотела телеграфировать тебе, милый Лёвочка, чтобы спросить твоего совета, а то просто голову можно потерять от нерешительности. Сегодня нашла я на Пречистенке в Денежном переулке дом кн. Волхонской, по-моему очень удобный и прекрасный и по месту, и по расположению. Но Дмитрий Алексеевич говорит одно, Таня — другое, Оболенский — третье; кроме того, свои сомнения — и не знаешь,

что делать. Этот дом и продаётся за 36 тысяч, и отдаётся за 1550 р. с. без мебели. Дешевле квартиры найти невозможно, и то все удивляются. Продажных домов много, но на это я не решусь; все без исключения не выгодны. Завтра утром Петя с подрядчиком осмотрят дом Волхонской и дом прежний, Калачёва. Кроме того посмотрю ещё два дома под Новинском продажных, и одну квартиру с мебелью за 1800 р. с. Завтра хочу всё кончить и в ночь уехать; я устаю и боюсь за беременность, а всё равно рискую и теперь, и хоть через месяц напасть и на дурное, и на хорошее.

Сегодня обедали все вместе в Славянском Базаре, вечер провели все у Пети. У Перфильевых не была, утро занята, вечером слишком устала. Лёлю привезли напрасно, зуб молочный; но я рада, что не одна; ездим вместе и домой поедем вместе, и спим в одной комнате.

Пишу на всякий случай, если останусь ещё день кроме завтрашнего; а если всё кончу, то уеду в ночь завтра и приеду раньше письма.

Таня и девочки здоровы, но им придётся для зубов прожить ещё дня четыре, что огорчает Таню, но делать нечего, зубы оказались очень плохи.

Надеюсь, что вы все здоровы, что Таня хозяйничает и малышков не забывает; ведь она тоже *мама* Таня. Что поделываешь ты, старшие мальчики, Маша? Письма ещё не было и не могло быть.

Я всё думаю, как бы вас всех получше устроить; но трудно всем угодить, — кому-нибудь да будет плохо; а большие дома и квартиры не по нашим средствам.

Прощай, милый друг, целую вас всех.

Соня» *(ПСТ. С. 165 - 166).*

Итак, дом кн. Волконского был снят Толстой и уже в нём семья Толстых прожила первую, пыточную для Льва Николаевича, московскую зиму 1881—1882 г. После 3 июля Софья Андреевна ещё задержалась для распоряжений о меблировке снятого семейством дома. *Ей* городская квартира, конечно, сразу полюбилась. Как она признаётся в мемуарах, особенно ей «понравился большой кабинет, выходящий на двор окнами, и совершенно в стороне от других комнат. Но этот-то великолепный кабинет впоследствии приводил в отчаяние Льва Николаевича тем, что был слишком просторен и слишком роскошен» *(МЖ – 1. С. 339).*

«Московская» трагедия Толстого заключалась в том, что фактически *принудительный* переезд его в город совпал с обретением им как раз такого состояния сознания, такого религиозного понимания

жизни, при котором тысячи лет, напротив, мудрецы и пророки бежали *из* городов. Вся же предшествовавшая жизнь Толстого — писателя и общественного активиста — прошла преимущественно в ограниченных для художественных впечатлений и общественной активности условиях усадьбы. При этом интеллектуальная и духовная эволюция Толстого протекала по линии всё большего, от возраста к возрасту, *неприятия* не только крупных городов, но и в целом всей разбойничьей (в отношении трудящегося народа) и садонекрофильской (в отношении и Природы, и людей) городской буржуазной *лжехристианской* цивилизации в целом. «Вехой» на этом пути был первый восторг и радость 9-тилетнего мальчика-Толстого, которого родители привезли в первый раз в невиданный прежде большой город (любование с приязнью *изнутри*, как маленького, непосредственного Обитателя города). Другая «веха» — этико-патриотическое и эстетическое *любование* Москвой зрелого Мастера, автора «Войны и мира». Это уже взгляд *извне*, взгляд, скорее, Прохожего, Чужака (stranger), но по-старому — пока приязненный; взгляд потасканного жизнью и «закалённого в боях», отошедшего на покой этакого плутарховского “мужа и воина”, симпатизирующего ещё лживым мирским суевериям о «необходимости» государства, полисов, площадей, крепостей, оружия, войска, военной «обороны», дрянных военных «побед»… Взгляд, однако, с долей остранённости: *из усадьбы*, располагавшей человека творческого к философским и религиозно-богословским рефлексиям.

Отношение к городам Толстого 1870-х гг. мы обозначили выше, в предыдущих эпизодах книги.

И, наконец, Толстой 1880-х, автор «Так что же нам делать» — казалось бы, совершенно “городского” трактата — это, в немалой степени, уже человек XXVIII столетия, когда на планете Земля не будет всего вышеперечисленного. Жизнь шумящего вокруг города сбивала его с мысли, принудительно экстровертировала его сознание на контрпродуктивные и почти всегда, как минимум, бесполезные для него дискурсы в сферах общественных, религиозных, философских проблематик — в бесконечных спорах с городскими, недостойными общения с ним и несерьёзными собеседниками. Он стал доступнее для них *территориально*. К нему, не покидая города, легче стало сунуться: очкатой интеллигентской сволоте — с пустым разговором, а людям развращённого в городской среде трудящегося народа — с просьбами, а то и просто за подачкой, чтобы пропить её потом в трактире… Он понял и принял это единственно продуктивным образом — как *испытание свыше* для его христианских убеждений.

Как то затяжное мучение, которое, как оказалось, могло отпустить его только с его уходом из известных нам условий бытия…

* * * * *

На середину июля Толстой наметил очередной отъезд в своё самарское имение, с которым будет связан уже следующий, Шестнадцатый, эпизод из представляемой нами переписки супругов.

КОНЕЦ ПЯТНАДЦАТОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Шестнадцатый
ИЗ РУССКОЙ САВАННЫ – В МОСКОВСКОЕ РАБСТВО
(Лето 1881 г., продолжение)

Можно бы предложить угадать нашему просвещённому читателю, *чему*, какой именно страничке биографии Л. Н. Толстого, будет посвящён следующий эпизод нашей книги, освещающей переписку знаменитейших супругов рода человеческого – Л. Н. и С. А. Толстых. И догадаться нетрудно! Конечно, это — последовавший почти сразу за возвращением из Москвы жены — отъезд мужа… И опять же легко догадаться, куда: в обычное его летнее путешествие на самарский хутор, «на кумыс».

Верно будет и предположение догадливого читателя, что супруга в этот раз была оставлена дома (в числе иных причин, и из-за очередной беременности). Вообще, вплоть до осеннего переезда в Москву, все поездки супруги Толстые совершают в 1881-м *не вместе*, а — будто «отскакивая», «обжигаясь» близостью друг друга. Возвращается в Ясную он — отъезжает она… и наоборот. Конечно же, это ярко иллюстрирует нараставшие трудности их отношений.

Великолепный биограф Льва Николаевича, его добрый друг и единомышленник, Павел Иванович Бирюков так характеризует эти отношения, считая свою схему верной не только для начала 1880-х гг., но и для последующих лет:

«Л. Н-ч вступил в 80-е годы обновлённым душою, с новым жизнепониманием, с новым взглядом на свой внутренний и на внешний, окружавший его мир. А мир этот оставался всё тот же, и потому

столкновение с ним стало неизбежно, и последующая жизнь Л. Н-ча представляет целый ряд этих столкновений, эпизодов борьбы с миром, часто победы над ним и иногда отступления; но он всегда с самообладанием переживает эти удары и возвращается в своё религиозное спокойствие духа, с течением времени всё менее и менее нарушаемое.

Прежние друзья его, члены его семьи и многие общественные деятели не могли следовать за ним по пути его развития и продолжали относиться к нему с прежними интересами и требованиями и, видя равнодушие его или отрицательное отношение к ним, чувствовали боль, не находя участливого отзыва в любимом человеке, и, смотря по высоте их нравственного уровня, или внимательно прислушивались к новым тонам его души, или переносили на него свою горечь и обвиняли его в бессердечии, безразличии, квиетизме, а более легкомысленные и злонамеренные поднимали вопрос о состоянии его психики и о том, не следует ли оградить общество от его вредного влияния» *(Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого. – М., 2000. – Книга Первая. – С. 467)*.

«*Поводом* к поездке в самарское имение были хозяйственные дела» – сообщает П.И. Бирюков в другом месте *(Там же. С. 477)*. О причинах же — сказано выше. По этим же причинам (кризисной сложности отношений супругов) переписка Толстых, включённая нами в данный Эпизод, зияет неполнотой. Значительная часть писем Софьи Андреевны к мужу на хутор утрачена, как и некоторые фрагменты сохранившейся части переписки. Не исключено, что «утрачены» они были намеренно — самой Софьей Андреевной, при подготовке ею первого издания её переписки с супругом. Конечно, они уже не могли быть включены и в самое полное, 1936 г., переиздание переписки. К тому же из этого последнего издания редакция «стыдливо» изъяла ещё два из обнаруженных исследователями писем жены Толстого. Таким образом, против *десяти* писем этих дней Л. Н. Толстого к жене, мы располагаем только *двумя* полными текстами её посланий, *одним* неполным текстом (часть письма также «утрачена»), и некоторыми фрагментами, «любезно» цитированными редакторами в чрезвычайно давних и жёстко отцензурированных публикациях.

На этой особенности переписки Толстых периода с середины июля по конец августа 1881 г. мы заострили внимание читателя предварительно, дабы не возвращаться к ней подробно в основном тексте. Причину изъятий мы постараемся продемонстрировать на примере уцелевшей части переписки. Конечно, она – в интимности её содержания и неприглядности той роли, которую сыграла в ней Софья Андреевна. В отличие от старого Полного собрания сочинений Л. Н.

Толстого, контролировавшегося В. Г. Чертковым и «его» людьми, издания переписки Сони и Льва составлялись либо самой Софьей Толстой, либо лицами, глубоко симпатизировавшими ей. Не забудем и о «цензуре», которая постигла ещё при жизни Льва Николаевича его злосчастный Дневник, с массой вымаранных слов и целых строк. (Делалось это преимущественно либо самим Толстым, под давлением Софьи Андреевны, либо – ею же, как самой частой и дотошной читательницей интимных записей мужа.)

Хутор (имение А. А. Бибикова) в Самарской губ.

Итак, через неделю по возвращении Софьи Андреевны из Москвы в Ясную Поляну, 13 июля 1881 г., Толстой вместе со старшим сыном Сергеем (самым умным, а оттого понимающим, близким и дружественным к нему из сыновей) выехал в своё самарское имение, в хутор на р. Моче. «Он собирался там пить кумыс, стремился поглядеть хозяйство и, главное, лошадей и новых жеребят, ещё не совсем утратил тогда Лев Николаевич интерес к житейским делам и радовался большому урожаю в нашей местности» — сообщает в мемуарах Софья Андреевна *(МЖ – 1. С. 339 - 340)*. Конечно, она совершенно оставляет «за скобками» духовные мотивы поездки мужа: как и при

описанном нами выше путешествии в Оптину Пустынь, Толстой искал встреч с исповедниками нецерковного христианства – русскими сектантами. А таковых – в частности, молокан – в самарских землях проживало предостаточно. Лишь вскользь упомянуты в мемуарах жены Толстого и лично-эмоциональные причины для поездки: помимо милой сердцу яснополянского Льва дикости южнорусской саванны, его ждала там условленная встреча с близкими ему по религиозным убеждениям помощниками и друзьями – ненавистным Софье Андреевне, скандально изгнанным ею из толстовского дома В. И. Алексеевым и менее ненавистным, но совершенно непостижимым по своей христианской искренности А. А. Бибиковым, по прежнему, к соничкиной досаде, блестяще управлявшим самарским именем Толстых. Ждало Льва Николаевича там и ещё несколько нежелательных для жены встреч, о которых мы расскажем в своём месте… Хозяйством же, вопреки утверждению Софьи Андреевны, Толстой в эту поездку «почти не занимался» — подчёркивает Н. Н. Гусев: «кроме того, что он охладел к хозяйственным делам, он видел, что всё налажено так, как никогда не бывало» *(Гусев Н.Н. Материалы… 1881 – 1885. С. 52)*.

В.И. Алексеев

Письма с 13 по 26 июля, отправленные Софьей Андреевной «в спину» отбывшему мужу — странным образом «утрачены» и лишь *упоминаются* в одном из ответов Льва Николаевича. Поневоле ему приходится «солировать» в переписке этих дней. Она рисует прежнюю, что и в 1860-70-х гг., картину заслуженного и выстраданного нервного и интеллектуального отдыха Льва Николаевича: судя по всему, он не только не принимался за трудоёмкие писания, но и не читал в эти дни никаких книг.

Первое из посланий Л.Н. Толстого написано им, по традиции, ещё с дороги – с железнодорожной станции Богатое (Сызрано-Вяземской железной дороги), в 86 верстах от Самары, ближайшей к хутору. Вот его полный текст:

«Пишу из Богатого. Только что приехали. Лошади тут. Погода жаркая, ветреная.

Мы живы здоровы. Про себя не могу сказать, что весел. Бессонные ночи, жара в вагонах. Теперь освежился и бодр.

Уезжая, очень беспокоился, не столько об Илюше, сколько о тебе. <Илюша – сын Толстых, поведение которого особенно беспокоило родителей. – *Р. А.*>

Буду ждать письма. Здесь и степь, и хлеб — всё по старому; народ весел. — Дорогой было просто скучно; от усталости ли, от случайности — ни одного интересного разговора и в себя нельзя уйти.

Прощай, душенька. Что-то мне тебя очень жалко.

Л. Т.

Не сетуй на то, что письмо коротко — и устал и писать нечего — я точно спал два дня. Отдохну, напишу подробнее. Мечтаю жить на месте и писать» *(83, 292)*.

И следующее письмо, от 19 июля — уже с места, с милого сердцу хутора на р. Моче:

«Завтра будет неделя, милый друг, что я уехал, и уж 5 дней, что я не писал тебе, и меня ужасно тяготит наша разлука; хотя мне здесь очень хорошо. Когда получу от тебя письма и буду знать, что ты получила мои, тогда успокоюсь. Здесь нынешний год во всех отношениях прекрасно.

Погода жаркая, ясная, а сухости ещё нет; степь зелёная, свежая, ковыль везде зелёный, зацветает 2-й раз. Хлеба хорошие, хотя и не везде, у нас очень хорошие. В доме чисто, просторно; мух совсем нет как в Ясном. Лошадей много для езды, кумыс прекрасный. Василий Иванович <Алексеев> и в особенности <жена его> Лизавета Александровна ухаживают за нами так, что совестно. — Алексей Алексеевич <Бибиков> живёт за полверсты вниз по Моче, в своей землянке. Я вчера был у него. У него землянка о бита обоями: чисто, весело. Хозяйка его — сконфуженная, молчаливая женщина. Кумыс отличный. Мухамеша <Мухаммед-Шах, старый друг Льва Николаевича, много

лет готовивший для него кумыс. — *Р. А.*> ещё глаже, чем был. За занавеской <его> жена <Алифа> и пищит новорождённый Мухомеша. Он, смеясь и конфузясь, говорит: “молодой угодил”.

Лошади, жеребцы, больше 10 штук, очень хороши. Я не ожидал таких. Должно, я приведу осенью для продажи и для себя. Лошади замечательно удались, несмотря на голодные года, в которые они голодали, и много истратилось. — Есть лошади, по-моему, по дешёвой цене в 300 рублей и больше.

Серёжа первые дни был хорош, но с своим упрямством и неряшливостью купался в самый жар и по нескольку раз и теперь, со вчерашнего дня, у него ненавистная тебе — самарская болезнь. <Т.е. понос. – *Р. А.*> Это было и [у] Кости, <Костя Игнатович, знакомый Толстых, внук акушерки С. А. Толстой Марии Ивановны Абрамович. – *Р. А.*> и у Бибикова, и у всех после купанья. Я пью кумыс с большим удовольствием и чувствую, как мысли тише ходят, и становишься сонливее, спокойнее и глупее.

Виды на доход более 10 тысяч, мне кажутся верными, но я уже столько раз ошибался, что боюсь верить.

Нынче я с Вас. Ив. (воскресенье) провёл целый день в Патровке, на Молоканском собрании, обеде и на волостном суде, и опять на молоканском собрании. В Патровке мы нашли Пругавина (он пишет о расколе), очень интересный степенный человек.

[КОММЕНТАРИЙ.

Вот этот «степенный человек» и был одним из тех, знакомство с которыми и влияние которых на её мужа стремилась предотвратить Софья Андреевна. *Александр Степанович Пругавин* (1850 — 1920) вошёл в историю как исследователь сектантства, настроенный в отношении объектов своих исследований с симпатией, превосходившей меру, дозволенную российской цензурой. Как и Алексеев, он был причастен в молодости к революционному движению и сохранил взаимополезные контакты с революционерами. В биографии Толстого 1970 г. изд. Н. Н. Гусев сообщает об их деятельности следующее:

«В то время передовая русская интеллигенция придавала большое значение изучению сектантства и старообрядчества. Считалось, что если сектанты стоят в оппозиции к православной церкви, то под влиянием революционной пропаганды они могут встать в оппозицию и к царской власти» *(Гусев Н.Н. Указ. соч. С. 53).*

Другим направлением деятельности «передовой интеллигенции» (в книгах времён СССР так именовали наиболее оголтелую, радикаль-

ную антироссийскую оппозицию — «революционеров») была пропаганда в прессе (чаще либеральной: «Неделя», «Слово», «Русская мысль» и др.) — под видом рассказов о «трудностях» бытовой жизни и «беззаконных преследованиях» сектантов. К сожалению, как общеизвестно, впоследствии в эту пропаганду был втянут В. Г. Чертковым и Лев Николаевич, проникшийся в 1890-е гг. действительно тяжёлым положением духоборов.**]**

Весь день провели очень интересно. На собрании была беседа об Евангелии. Есть умные люди и удивительные по своей смелости.

Работа здесь идёт — молотьба ржи молотилкой перед домом. Идёт всё споро, хорошо. Работники и все хозяйственные дела у Бибикова очень хорошо налажены.

Первую ночь здесь я разбудил Серёжу тем, что заорал во всё горло: «Соня!» Это был кошмар — душило что-то. Остальные ночи сплю хорошо. Я в последней комнате — Эмили где была <Эмили Табор, гувернантка в семье Толстых в 1870-е гг. – *Р. А.*>, а Серёжа в нашей спальне. Серёжа завтракает в 12 и ужинает в 10-м<часу>, с Василия Ивановича семьёй, я только ем за ужином.

Как ты? Что дети? Вы все. По многу раз на день вспомню и вглядываюсь в темноту, и ничего не вижу. Целую всех, и мальчиков милых очень, и Кузминских. <А. М. и Т. А. Кузминские с семейством проводили лето в Ясной Поляне. – *Р. А.*> Очень тебе тяжело и скучно. Даст Бог приеду, я тебе буду служить по московским делам усердно, только приказывай. Следующие письма адресуй не в Самару, а в Богатое. Туда чаще случай. Работать всё хочу начать и пробовал, но нейдёт. Одного мне бы хотелось — справить свой геморой, а то он на душевное состояние давит. Смотри же, люби меня хорошенько» *(83, 293 - 294).*

В этот день, 19 июля, Толстой побывал в большом селе Патровке на молитвенном собрании молокан, слушал их толкование Евангелия и сам выступил со своим толкованием. Собрание закончилось обедом, после которого Толстой посетил заседание волостного суда и, к удовольствию А. С. Пругавина, задал крестьянам ряд «нецензурных» вопросов о «вечном» для России: «случаются ли магарычи? есть ли обычай угощать судей? Много ли водки выпивают во время суда? и т.д.» *(Пругавин А.С. О Льве Толстом и толстовцах. М., 1911. С. 53).*

В этот же день из беседы с Пругавиным Толстой впервые узнал о тверском крестьянине-праведнике Василии Кирилловиче Сютаеве (1819 — 1892), ставшем впоследствии частым гостем в московском

доме Толстых и духовным авторитетом для Льва Николаевича, в особенности на том этапе его жизни в Боге и Христе, который относится к 1-й половине – середине 1880-х гг.

Через два дня, 21 июля, к Толстому на его хутор приехали с ответным визитом двое молокан-руководителей братства, а вместе с ними — вездесущий и настырный А. С. Пругавин. Подобно американцу-философу и поэту Генри Торо, который держал в своей знаменитой хижине только два стула – для себя и гостя — у Толстого сыскались только два прочных, но жёстких табурета, на которых, ёрзая костлявыми задницами, стоически высидели всё время визита его религиозно озабоченные гости. Сам Толстой очень разумно «оседлал», как лошадку, свой огромный деревянный дорожный чемодан. Грузный же Пругавин сполна поплатился за «исследовательскую» настырность: его Лев Николаевич усадил на свою походную кровать, постоянно шатавшуюся и стонавшую под тушей Александра Степановича и грозившую оконфузить его совершенным падением. Толстой прочитал молоканам своё толкование Нагорной проповеди из сочинения «Краткое изложение Евангелия» по рукописи, составленной по просьбе, а отчасти и трудами Алексеева и захваченной Толстым из Ясной Поляны. «Горячо слушают. Толкование 6 гл. Прекрасно», — записал Толстой в Дневнике этого дня *(49, 54)*.

Помимо работы с молоканами, Толстой в этот же день, после обеда, побывал в селе Гавриловке (всего в 6 верстах от его хутора) у сектанта-«субботника» («субботниками» называли ту ветвь молокан, которая праздновала субботу вместо воскресенья). Обо всех посещениях и беседах этого дня, а также прочих событиях, он сообщил жене в следующем своём письме, датируемом 22 – 23 июля:

«Всё нет случая в Самару, милый, милый друг Соня, и до сих пор не тот тебя известий. Если не будет случая до воскресенья (нынче середа), пошлю нарочного (четверг). Первое письмо пошло через краснорядца, <Разъездного торговца «красным товаром». – *Р. А.*> это через Пругавина.

Нынче неделя, что мы здесь.

Хвалиться очень не можем этой неделей, потому что у Серёжи последние три дня был понос и боль живота; вчера ещё ему стало лучше, он уж ел циплят без боли и пил кумыс, и нынче совсем хорош. — Да и надо ж ему было распорядиться: наесться репы, напиться кумыса и в самый жар пробыть в воде два часа. — А у меня два дня был флюс на том же месте, как и тогда, но почти без боли, а только с маленьким жаром. Нынче (четверг) я встал совсем здоров. — Мне

очень хорошо здесь, как может быть хорошо без тебя и 6-ти с ¾ детей. Беспокойство и неловкость какая то без привычной заботы ежечасной не оставляют меня. Но хорошо физически. Желудок, как всегда на кумысе уже совсем переменился. — Люди здесь — Василий Иванович, Алексей Алексеевич не весёлые, но добрые, хорошие. Ничего неприятного противного не встретится в целую неделю. — Условия внешние тоже прекрасны. Всё идёт ладно, молотят, жнут, всё споро; народ рабочий довольный, хорошо работает. Блох и клопов и мух нет. Были сильные жары 3 дня, нынче свежий день, серый. Ожидания дохода самые хорошие. Одно было бы грустно, если бы нельзя было помогать хоть немного, это то, что много бедности по деревням. И бедность робкая, сама себя не знающая. — Интересны молоканы в высшей степени. Был я у них на молении, присутствовал при их толковании Евангелия и принимал участие, и они приезжали и просили меня толковать, как я понимаю; и я читал им отрывки из моего изложения и серьёзность, интерес, и здравый, ясный смысл этих полуграмотных людей удивительна. Был я ещё в Гавриловке, у суботника. Тоже очень интересно. Вообще впечатлений за эту неделю даже слишком много. Писать всё не начинал. На счёт хозяйства мы оба с Бибиковым находимся в совершенной нерешительности. — Прекратить ли посев совсем, оставив лошадей, или продолжать, или прекратить со всем уничтожить лошадей. Видишь ли, как дело: Если оставить посев, то в нынешнем году может получиться от 10 до20 тысяч, и есть вероятие, что в будущем году может получиться тоже; но есть и вероятие, что в будущем году получится и меньше 10 тысяч. Если прекратить посев, то в нынешнем году можно получить до 25 тысяч, но на будущий год уже не ожидать более 6 или 7 тысяч и 2-х тысяч с лошадей. — Если прекратить и посев и лошадей, то нынешний год можно получить до 30 тысяч, но с лошадей уже ничего.

Я думал и так и сяк, и не знаю, на что решиться. Сначала хотел всё уничтожить, потом думаю: «dans le doute abstiens toi», [*фр.* в сомнении воздержись,] а хозяйство идёт и налажено так, как никогда не было, и быки, и молотилка, и лошади, и земли хорошие. Так что уничтожить значит переменять. А с другой стороны. Придёт опять голодный год и все ожидания не сбудутся? Подумай и присоветуй.

Как, как ты живёшь? Не мучай себя, не принимай к сердцу того, что не дошло до сердца. Детей Таню (помнит ли она, что я ей сказал), Илью (авось он помнит тебя), Лёльку-сюську, Машу — и малышей <Андрея и Мишу>, целуй. Кузминских целуй, <Л. Д.> Урусову кланяйся. Я часто вспоминаю о нём. — Ивану Михайловичу <Ивакину>,

<гувернантке> M-lle Guillod и нянюшкам, и Сергею Петровичу <Арбузову> и всем кланяюсь.

НА КОНВЕРТЕ: Въ Тулу. Графинѣ Софьѣ Андревнѣ Толстой» *(83, 295 - 296).*

Напомним читателю, что текстами ответных письма этих дней, вплоть до 27 июля, от Софьи Андреевны мы не располагаем – включая *полный* текст её ответа на только что приведённое нами письмо Льва Николаевича. Ответ этот был написан 30 июля, но «стыдливо» выпущен составителями полнейшего из доступного нам издания переписки супругов. Мы располагаем, впрочем, довольно характерным отрывком из него, вполне дающим понять негативно акцентуированный и даже *недобрый* настрой жены Толстого в те дни – вероятно, выразившийся в совершенно «утраченных» трёх письмах с 13 по 26 июля в ещё более резкой форме:

«Я рада, что тебе *физически* хорошо в Самаре. Не даром, по крайней мере, эта разлука. *Но тебе там и вообще интереснее, спокойнее, симпатичнее жизнь, чем дома. Это жалко,* но это так. Хозяйство там пусть идёт, как налажено, я не желаю ничего переменять. Будут убытки, то к ним уж не привыкать, будут большие выгоды, — *то деньги могут и не достаться ни мне, и детям, если их раздать*. Во всяком случае ты знаешь моё мнение о помощи бедным: тысячи Самарских и всякого бедного народонаселения не прокормишь. А если видишь и знаешь **такого-то** или **такую-то**, что они бедны, что нет хлеба, или нет лошади, коровы, избы и проч., то дать всё это надо сейчас же; удержаться нельзя, чтоб не дать, потому что жалко и потому что так надо» *(83, 297. Выделения курсивом наши. – Р. А.).*

Вопрос о деньгах и доходах семьи — тот самый случай, когда позицию Софьи Андреевны следует однозначно признать хотя и не отвечающей христианским идеалам, но более продуманной, нежели вспомнившиеся ей, вероятно, при писании этого письма, споры Льва Николаевича с нею и некоторые эмоциональные высказывания. Вполне предсказуемо, ад городской (хуже того — московской) жизни, где деньги решают судьбы людей на каждом шагу, уже очень скоро приведёт Толстого к пониманию *гадости* денег как таковых, как социального устроения, и *нравственного вреда* пользования ими — в том числе для барской благотворительности, очень часто – показной, фарисейской, развращающей и донаторов и реципиентов

липовой «помощи». О суеверии помощи деньгами и личном его преодолении Толстой напишет подробно в крупнейшем своём трактате 1880-х – книге «Так что же нам делать», а в первой половине 1890-х, в голодные годы, явит для России и всего христианского мира пример, образец истинного — не деньгами, а добрыми делами, личным трудом — служения бедствующему народу.

Кроме того, в принципе, христианское, сознательно совершаемое благотворение (не деньгами, а своим трудом, даже жертвами) не следует путать и смешивать с поступками, диктуемыми человеку не как сыну Бога по разумению и по духу, а как простому социальному животному: совершаемыми под действием общего для высокоорганизованных животных альтруистического инстинкта. Тот вариант помощи, который признаёт приемлемым Софья Толстая («если видишь и знаешь…» и т.д.) — это как раз уровень такого хорошего, умного *общественного животного*. Животное вполне способно откликаться на *зримую* беду, на эмотивно «бередящее» зрелище страданий другого. Это и есть проявление социального альтруизма. От человека-христианина требуется, конечно, нечто большее и качественно иное.

Итак, в своём скепсисе относительно денежных доходов и расходов Софья Андреевна большей частью права… Но совершенно — и сознательно! — не права, *игнорируя* содержащиеся в письме Толстого от 22 – 23 июля свидетельства его огромной *не* писательской (приносящей вожделенные доходы), *а* личной духовной и интеллектуальной работы — в общении с непонятными и неприятными для ней людьми: «тёмными» мужиками, сектантами, революционными пропагандистами… Она грубовато подчёркивает: «…рада, что тебе *физически* хорошо…», хотя речь в письме Толстого — отнюдь не об одном его физическом здоровье… И тут же, ниже, «срывается»: «уличает» мужа, что ему *там и вообще интереснее, спокойнее, симпатичнее жизнь, чем дома* — понимая, что это неправда. По упоминавшемуся выше разговору с Николаевым 5 мая (отразившемуся в записи Дневника об «искушении оставления семьи» — см. *49, 32*) — разговору «о самарской жизни» (!) — можно догадаться, что Толстой уже в 1881 г. рассматривал вариант переезда не в Москву, а в самарское своё имение, и именно ненавистный Софье Андреевне «сектант», революционер и многожёнец *отговорил* Льва Николаевича от нежелательного для прочих членов семьи шага.

Возвращаемся к хронологическому представлению писем супругов. Следующим по времени из доступных нам — снова становится письмо Льва Николаевича, от 25 июля, из начала которого мы

узнаём, что Толстой до этого дня не имел возможности отослать адресату и ранее написанные два письма (от 19 и от 22-23 июля):

«Завтра — воскресенье, и утром едет нарочный в Самару. Как я ни скуп, не могу удержаться от этой роскоши получить от тебя, надеюсь уж — письма. До сих пор, вот 13 день, не получал ещё. Я пишу 3-еписьмо. <Обсчитался: четвёртое в эту поездку. – *Р. А.*> Серёжа совсем поправился, я здоров, и питие кумыса идёт хорошо. С последнего письма ни особых впечатлений у меня не было, ни поездок никуда не предпринимал. Послезавтра поеду в Землянки. <Село в 15 верстах от хутора Толстого. – *Р. А.*> Будет самая горячая наёмка. Я буду зритель только, потому что не вмешиваюсь ни в какие хозяйственные дела. Они идут хорошо. Я два последние дня два раза начинал Петину историю <Т.е. рассказ «Чем люди живы», обещанный Толстым для журнала «Детский отдых», издававшегося П. А. Берсом. – *Р. А.*>, и всё не могу попасть в колею. Я надеюсь, что пойдёт, и если пойдёт, то будет хорошо. — Жизнь здесь тихая, спокойная. — Лизавета Александровна угощает и всё старается, чтоб было похоже, как она знает, у нас, в Ясном, и в самом деле очень добра.

Серёжа был больнее, чем я думал сначала. У него был кровавый понос. Лечение его, я думаю, ты бы одобрила. Тёплую подушечку от кареты на живот, клестир из крахмала с опиумом и опиум внутрь по 10 капель 2 раза. — Диета — куриный бульон и чай с сухарями. Он 3 дня почти лежал и вероятно скучал ужасно. Ты знаешь, как он молчалив и брюзглив. Он меня помучал, но теперь он совсем хорош; но охотно сам держит диету.

Нищета здесь зимой была ужасная; теперь видны следы голода. В тот день как мы приехали, у Василия Ивановича в сенях, по его словам, умирала девочка, сестра его девочки няньки — годовая. Он думал, что она в ночь умрёт. Её лечили, а главное — поили молоком, и она ожила. Мать девочки говорила, что зимой у ней 10-летний мальчик умер с голоду. Это не совсем правда, но не совсем и неправда. Несколько ночей я спал очень дурно от жара в комнатах, особенно при кумысе. Теперь стал спать на балконе наверху, и чудесно. Бабай <дед> караульщик бывший на бахчах, караулит у дома и ездит на старом мерине, Турсуке, за мукой. Это милейшее 70-летнее дитя природы. Поёт песни татарские тонким голоском всю ночь и барабанит в лад в старое ведро. «Ведро ж... кончал», как он говорит.

Старого Турсука он ужасно любит. «Турсук пирогашал». Он его кормит и никому не даёт, и мечта его в том, чтобы ему подарили осенью Турсука, он бы на нём приехал домой и там бы его съел.

Все эти дни налаживали мельницу на конный привод, но она не пошла. Я каждый день делаю большую прогулку пешком или верхом. Стояли страшные жары, а теперь второй день пасмурно, и нынче дождь.

На тульской станции мы встретили Миташу Оболенского <т.е. Д. Д. Оболенского>. Я ему мельком сказал: «приезжайте в Самару». А он говорит: «je vous prends au mot, [я вас ловлю на слове,] я приеду». Надеюсь, что если он вздумает поехать, он тебе даст знать или заедет к тебе. Это было бы прекрасно. Я нравственно, слава Богу, всё такой же, как был, — немножко потупее; но физически, кажется, крепче и подвижнее.

Прощай, милая, рости потихоничку своё брюхо, циплят оберегай, но не изводи себя тревогами, беспокойствами — если можно. Целуй всех и кланяйся всем. Помни, что твоя жизнь прекрасная» *(83, 297 - 299)*.

Жизнь прекрасна как таковая, Лев Николаевич. Но не может быть прекрасной и радостной жизнь человека, не могущего никогда без оглядки порадоваться ей. А это твоя жена и её характер. Ты просто на многое закрывал глаза…

На очереди — письмо Софьи Андреевны от 27 июля: первое из уцелевших её писем за представляемый нами период. Начинается оно весьма «традиционно» для Сони, с негативного настроения, и с упрёком:

«Милый Лёвочка, не балуешь ты меня письмами; я думала, ты будешь добрее в этом отношении. Сегодня две недели, как вы с Серёжей уехали, а я получила с хутора только одно письмо. Не разорился бы, если б почаще посылал нарочного с письмом; и из Землянок<село в 15 верстах от хутора Толстого. – *Р. А.*> два раза в неделю тогда ещё ходила почта.

У нас всё идёт понемножку: живём изо дня в день, погода ужасная, выйдешь на полчаса, а там опять ветер и дождь, так что всё дома сидим, за работой, за ученьем, или чтением. На днях Лёля, Маша <дочь>, Маша и Вера <Кузминские> писали сочинения под моим руководством, и написали всё недурно. Вчера Илья (уехавший ещё третьего дня с ночным поездом в Житово) провёл весь день на охоте и болотами пришёл, к общему удивлению, в Пирогово <имение С.Н. Толстого>, холодный, голодный, грязный и усталый. Его одели, накормили, и Серёжа <С.Н. Толстой> сам с ним приехал на Козловку.

Я весь день тревожилась и раскаивалась, что пустила его; ночью они оба приехали и мы сидели, ужинали и говорили до половины третьего. Серёжа приехал просить у меня 1500 р. с. денег на уборку. У меня есть 1000 р., но я не могла дать, потому что еду 2-го августа в ночь в Москву, и хоть и мало этих денег, но я могу начать устройство дома и кое-что выбрать, не платя денег, а, главное, выбрать обои и велеть оклеивать. Меня для этого ждут. Серёжа так умолял деньги дать, что я дала немного, т. е. 133 р. с. Он дал мне расписку на 600 р. с., которые мне должен, и когда он протягивал руку с бумажкой, рука дрожала по-старчески, и мне его так жаль стало. Илья убил только 1 бекаса, и так устал, что и нынче не занимался.

Сегодня они все — тётя Таня, Таня, все дети Кузминские, Илюша, Лёля, Маша и дядя Серёжа отправились в Тулу с дачным поездом. У всех нашлись какие-то дела, — а для меня, главное, почта нужна была, а письма не было, — всё у них обошлось благополучно, а я с малышками сидела и гуляла немного, и шила настоящим и будущему малышку — рубашечки. Завтра рано утром я еду с Таней на сутки к Менгден. Мне не хочется, потому что всё тяжело стало, и здоровье не хорошо эти дни; какое-то небывалое геморроидальное состояние.

У нас живёт какой-то казак, чудной, приехавший из Старогладовской станицы, Феодор, Епишкин племянник, ровесник тебе. Он приехал с Кавказа верхом, на рыжей лошади, в красном башлыке и меховой шапке, с медалями и орденами, седой, сухой и страшный болтун; ломается, рисуется и не симпатичный. Он говорит, что едет к государю проситься на службу в конвой, «где одного нашего убили», как он выражается. “Хочу 3-му царю служить, а двум служил”. Он ходил к Алексею Степановичу, и у них шёл оживлённый разговор о разных кавказских воспоминаниях и общих знакомых. Вчера ездили мы все кататься, и две Тани верхом, а казак в красном башлыке их кавалером, на своей лошади. Странный был coupd’oeil [вид]. Лошадь смирная, ручная, как собака, и он на неё поочерёдно всех детей сажал.

Нынче Таня спрашивает Дрюшу: “что тебе из Тулы привезть?” Он говорит: “привези папу назад”. Очень всех удивил. Прощай, милый Лёвочка, мне грустно, что известий нет» *(ПСТ. С. 167 - 168).*

Ценнейшая часть письма — конечно, упоминание о визите в Ясную Поляну племянника знаменитого казака Епишки, хорошо знакомого Толстому со времени службы на Кавказе, в 1851 – 1854 гг., в станице Старогладковской (Софья Андреевна исказила и её название) Терской области. В повести «Казаки» она станица описана под именем Новомлинской, а Епифан Сехин превращён в «дядю

Ерошку». Племянник позднее всё-таки свиделся с Толстым, но тогда, в 1881 году, вероятно, горько жалел, что не застал его проездом там, где ожидал застать – в родной усадьбе.

Хронологически следующим становится письмо Л.Н. Толстого от 31 июля. Стоит заметить, что к этому времени он никак не мог получить вышеприведённого письма Софьи Андреевны от 27-го, так что это его письмо — отклик на *три* предыдущие, странно утраченные послания жены.

«28-го получил от тебя 3 письма, милый, милый друг. И меня охватило тем нашим яснополянским духом, который мы не ценим, когда в нём живём. — Одно больно мне, это то, что тебе тяжело, и очень тяжело. Три дела, я понимаю, как тебя мучают: Лёлин экзамен, Илюшино баловство и холодные полы. Из этих дел я больше всего признаю серьёзность — полов. Письмо это тебя уже верно не застанет, и ты будешь мучаться в Москве, — устраивать это: велишь перемостить полы, залить известью, устлать войлоком — или даже переменишь квартиру — я так воображаю. <Вышло недалеко от этого. См. ниже письмо С.А. Толстой из Москвы от 6 августа 1881 г. – *Р. А.*> Разумеется, теперь уж поздно, и ты приняла все муки; но я, пожив здесь, врозь от тебя, иначе стал смотреть на московское житьё. Смешно сказать — я поверил в него, и главное — понял, как тяжело тебе работать одной. Когда вернусь, буду работать с тобой, и не для того, чтобы только тебе облегчить, а с охотой. Очень мне тебя жаль и тяжело без тебя. Теперь уж 3-я неделя. И вероятно скоро после этого письма и мы приедем. Второе по важности дело это Илюшино баловство. Беды большой нет; но опять твоя тягость за ним смотреть и им править. 3-е дело — Лёлька; я бы советовал вовсе оставить его поступление в нынешнем году.

В нынешнем году и так много хлопот, а он подучиться дома и поступит в 4-й класс. Он такой мальчик, что ученье он скоро запоминает и скоро забывает.

Письмо Страхова мне было очень приятно. <Письмо от 22 июля – видимо, пересланное Софьей Андреевной мужу. Текст его **уцелел** и опубликован, что уменьшает шансы для версии, что Толстой-де затерял письма из той поездки сам. – *Р. А.*.> Наши письма разъехались. Я ему писал перед отъездом.

То, что ты мне пишешь о Саше Кузминском, мне было очень, очень радостно. Тут нет места тщеславию. А это радость и страх за то, что нет ли лжи и ошибки в моём толковании. Разумеется, отдай Дмитрию Фёдоровичу списать. Здесь я не дал молоканам списать из

страха, чтобы не переврали полуграмотные люди. А списывать есть вернейший и законнейший способ распространения. <Вероятно речь здесь идёт о снятии копии с «Краткого изложения Евангелия». – *Р. А.*> Говорят, «Горе от ума» ходило в десятках тысячах списков. Если нужно оно, то найдёт путь.

Теперь о нас. Серёжа совсем здоров и стал весел, стреляет уток и ездит верхом, и ходит. Дыни ещё не поспели.

Живём мы вот как: встаём часов в 7, пьём чай все вместе, т. е. я, Серёжа, Василий Иванович, Костя, Митя, Лиза <дети А. К. и Б. А. Маликовых; жили у В. А. Алексеева, так как Маликов был без работы. – *Р. А.*> и Алексей Алексеевич большей частью. Лизавета Александровна всё хлопочет и с обедом, и с бельём, и с маслом, и с Машей <дочь В. И. Алексеева> и редко приходит к столу. Я погуляю версты три, запивая кумысом, и пробую писать (правда, что нейдёт), потом ухожу или уезжаю на тот хутор к косяку, на жнитво, на хутор Ивана Дмитриевича <Кудрина, молоканина> или куда-нибудь. В деревни неприятно ходить и ездить. И опаздываю к обеду — в 12 часов, и часто ничего не ем до вечера. Вечером ещё съезжу верхом один или с Серёжей или Костей, и вечером опять все вместе, часов в 9, ужинаем. Иногда чай в середине дня или после ужина. Все его любят, кроме меня. Серёжа кумысу совсем не пьёт. Я пью кумыс с удовольствием и много, по 12 чашек, но нынче все утро не пил. Очень он волнует, горячит меня. Но то, что занимает тебя — польза здоровью, могу сказать, что кумыс делает и сделал мне пользу, физически подбодрит меня. Вопрос в том, нужно ли это или нет.

Repas [трапезы] наши очень не разнообразны, сытны, но не щеголеваты. Баранина жареная, варёная, котлеты, даже с горохом, караси превосходные, творог, каша, сырники.

Сначала я спал хорошо; теперь ночи хуже, вероятно, от лишнего кумыса.

С понедельника нагнали жнецов до 300 человек. Хлопоты о муке, хлебах, каше. Цена по 12 рублей. Завтра Спас и кончают нынче. 2/3 сжали, и надежда на доход не обманывает. Лошади тоже меня радуют. Сначала я хотел привести в Тулу для продажи 15 жеребцов. Но теперь раздумал. За самых двух плохих жеребцов мне давали по 120 рублей. Так что здесь их можно продать по 200 или по 150 рублей. Кобыл тоже плохих и лишних я назначил к продаже 16 и их можно продать по 50 – 40 рублей. — Только хочу для езды, для себя или для показа привести жеребца 4. Вчера любовался на парочку сосунов жеребчиков — две капли воды — буланых.

Вот, будем живы, будет у тебя пара любимой масти. Не знаю, как ты, а я что дальше врозь с тобою, то больше о тебе думаю и скучаю.

Вчера был у меня старик пустынник. Он живёт в лесу по Бузулуцкой дороге. Он сам мало интересен и приятен. Но интересен тем, что он был один из 6 мужиков, которые 40 лет тому назад поселились в Бузулуке на горе и завели тот огромный монастырь, который мы видели. <Спасо-Преображенский монастырь, основан в 1853 г. в двух с половиной верстах от Бузулука.> Я записал его историю. Ты мне не прислала писем <Л. Д.> Урусова, и я очень жалел об этом. Поклонись ему хорошенько от меня. Книгу Марка Аврелия <которую Урусов перевёл с французского. – *Р. А.*> я тоже не получил, несмотря на то, что писал записку почтмейстеру, чтобы он без объявленья выслал мне её. И объявлений нет. Не пошла ли она земской почтой?

С этим же письмом посылаю тебе телеграмму.

Целуй Таню большую и маленькую <т.е. сестру и дочь. – *Р. А.*>. Весело ли ей было у Менгденов? Посмотрела бы она, как Лиза помогает матери, гладит и масло бьёт, и за циплятами лазает по крышам.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Ещё один знак беды и свидетельство непримиримости жизненных позиций Сони и Льва. Дочь В. И. Алексеева Лиза, воспитанная отцом как «мужичка», Толстому ближе и симпатичнее, чем им же воспитанная родная дочь Татьяна, привыкшая к увеселениям и праздности. - *Примеч. Романа Алтухова.* **]**

Об Илье не говорю, потому что уверен, что ему было стыдно и больно, и что он работает и смотрит на охоту, как на праздник и угощенье, а не как на обычное дело. Лёля пусть работает. И, да извинит меня Иван Михайлович <Ивакин, учитель>, он арифметику знает. Надо пощупать его с разных сторон. А на это он туп, чтобы догадаться понять вопрос и ответить на него, когда он предложен ему иначе.

Целуй Машу свою и Кузминскую <Марию Александровну>, и Верочку <Кузминскую>, и Андрюшу за то, что он освежился, и толстяка Мишу, и Мишу Кузминского. Как их много. Как же не быть забот?

Здесь приехал оспенник и привил Маше оспу. Как Коля <сын Алексеева> увидал, что тот ножом резал Машу, так накинул укрюк на оспенника и серьёзно и с гневом кричал, что он поставит его в конюшню.

Прощай, голубушка. Теперь недолго» *(83, 300 - 302).*

Отголосок выразившихся в приведённом письме Льва Николаевича его раздумий о городском разврате и казённом т.н. «образовании» (в противоположность истинному народному знанию жизни и умению жить сообразно природе) странно обнаруживается даже в *телеграмме*, отправленной Толстым 2 августа (в 7 ч. 10 мин. утра) — уже по получении письма жены от 27 июля:

«Графине Толстой.

Лёльку <т.е. «Льва-младшего», Л. Л. Толстого> не надо отдавать нынешний год, и так хлопот много. Мы благополучны. Толстой» *(83, 303)*.

«Отдавать» здесь – конечно, в гимназию. Лев-младший, по утопической мысли Толстого, был ещё достаточно мал, чтобы его можно было воспитать по Богу и Христу, а не по мирскому обману… В результате, как известно, Толстой покорно свёл сыновей Илью и Льва в частную гимназию Льва Поливанова, где, в процедуре переговоров и приёма над ним всласть поиздевалась собранная там «под крылышком» Поливанова либеральная городская интеллигентская нечисть — во главе с Е. Л. Марковым, давним (ещё со времён издания Толстым педагогического журнала «Ясная Поляна» — т.е. с 1862 г.) и жёстким его оппонентом в вопросах педагогики и воспитания. (Марков к тому времени стал чуть солиднее и консервативнее, но не погнушался при коллегах «тряхнуть стариной». См. отвратительные подробности этого диспута в книге Н. Н. Гусева «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии. 1881 – 1885», стр. 62 – 66.)

В следующем своём письме, отправленном в тот же день – 2 августа – и вслед за телеграммой, Лев Николаевич отвечает только на *четвёртое* письмо Софьи Андреевны – то есть на *первое из уцелевших*, вышеприведённое нами, письмо от 27 июля. В нём он пытается объяснить жене кажущуюся ей редкость и нерадивость его писания к ней:

«В последнем письме твоём ты упрекаешь меня за то, что мало пишу. Это 5-е письмо, кроме богатовского <первое письмо поездки, от 15 июля. – *Р. А.*>. Но, разумеется, мало. Я знаю и чувствую по себе, как радостно письмо и как тоскливо без них. Первое письмо моё передал Алексей Алексеевич и оно-то задержалось или пропало. Я 3-го дня написал письмо и телеграмму и только что отправлял нарочного к мужику отъезжающему в Самару, как приехал ямщик из Богатова

и вместо телеграммы привёз твоё 4-е письмо. У меня сердце дрогнуло: но потом я очень обрадовался его ошибке.

Мы живём хорошо. Серёжа здоров и весел, что, знаешь, с ним редко бывает. У меня болят зубы — не сильно, но лихорадочно. Общее здоровье хорошо, и кумыс пью, особенно после твоего письма, с большим усердием и удовольствием. — Два дня, вчера и нынче, 1-е и 2-е у нас по утрам выезжали диких лошадей. Очень хорошо, и всем была потеха. Косячники <конепасы, табунщики. – *Р. А.*> башкиры новые и удивительные молодцы. — Нынче я ходил — на тот хутор гонять на корде жеребцов. Завтра Серёжа, Костя и Митя едут в Землянки. Я думаю, что не поеду.

[**ПРИМЕЧАНИЕ**.

Следующие три абзаца письма Льва Николаевича, несомненно, выражают реактивную ретроспекцию им некоторых негативных воспоминаний и впечатлений от споров с женой, а вполне вероятно – и от не сохранённых её посланий 13 – 27 июля. Он *покоряется* семейному «приговору»… конечно, только на словах!]

Ты нынче выезжаешь в Москву.

Ты не поверишь, как меня мучает мысль о том, что ты через силу работаешь, и раскаяние в том, что я мало (вовсе) не помогал тебе. Вот уже на это кумыс был хорош, чтобы заставить меня спуститься стой точки зрения, с которой я невольно, увлечённый своим делом, смотрел на всё. Я теперь иначе смотрю. Я всё то же думаю и чувствую, но я излечился от заблуждения, что другие люди могут и должны смотреть на всё, как я. Я много перед тобой был виноват, душенька, — бессознательно, невольно виноват, ты знаешь это, но виноват.

Оправдание моё в том, что для того, чтобы работать с таким напряжением, с каким я работал, и сделать что-нибудь, нужно забыть всё. И я слишком забывал о тебе и каюсь. Ради Бога и любви нашей, как можно, береги себя. Откладывай побольше до моего приезда; я всё сделаю с радостью, и сделаю недурно, потому что буду стараться. Тани, хотя и милые, но напрасно затевают театр. <В гостях у баронессы Менгден, а позднее — в Ясной Поляне; выше о приготовлении этих действ уже было нами помянуто. — *Р. А.*> Это не выйдет и тебя замучает. Нынче исключительный год для тебя — это надо помнить — брюхо, моя поездка и Москва.

У нас тоже вот уже неделя отвратительная погода: дожди, ветер, холод. Василий Иванович устлал всю мою комнату коврами, но всё-

таки свежо и болит зуб. От того и письмо это нескладно. Прощай, душенька, целую тебя и всех» *(83, 304 - 305).*

Погода испортилась, зуб разболелся, жена недовольна… Как ни грустно было признать — поездка исчерпала себя. Неумолимый рок гнал его с милого юга — в сторону северную, в рабство жранья, спектаклей, дорогой мебели и пустых гостиных для пустых гостей. К 6 августа относится *последнее* в самарской поездке этого года его письмо супруге. Приводим ниже полный его текст:

«Я очень тоскую по тебе, милый друг, — тревожусь за тебя, — не случилось бы с тобой чего-нибудь, не измучилась бы ты через силу.

Вчера я почти целый день работал на току — веяли пшеницу. Вечером Алексей Алексеевич дал рабочим водки. Они пили, кричали, пели. А мне не спалось, и нашла такая грусть об тебе и грустная, и сладкая. И вот пишу тебе, хотя и боюсь, и надеюсь, что письмо это не дойдёт до тебя раньше меня. — Если ты получишь это письмо, пришли мне телеграмму в Богатое. Я думаю выехать 15-го августа, так, чтобы пробыть здесь ровно месяц. — Пробыть же здесь подольше мне только потому хочется, что, как ты всегда говоришь, единственный смысл нашей разлуки — это леченье, и теперь вот вчера 3 недели, что я тут, я чувствую, что кумыс мне полезен в самом лучшем смысле, не столько физически, что желудок стал лучше действовать, но душевное состояние стало твёрже гораздо. Я тебя слушаюсь, и как ни хотелось бы и туда и сюда съездить, я держусь мухамешиной кибитки и не покидаю её. — Серёжа очень свеж, весел, ходит на охоту с Арсением <служащий при хуторе>, но кроме уток ничего ещё не убил. Хозяева наши все также неусыпно и естественно добры. Сейчас (утро) вошла Лиза <Маликова; дочь жены Алексеева от её сожительства с его другом и духовным наставником. – *Р. А.*>. Что ты? — «А вы тут. Я хотела подмести, убрать». А у них ещё и нянька ушла, бросила их, и одна кухарка на все дела.

Что ты пишешь в одном письме <от 30 июля>, что мне, верно, так хорошо в этой среде, что об доме и своём быте я буду думать с неудовольствием, это как раз наоборот. Всё больше и лучше думаю о вас. Ничто не может доказать яснее невозможность жизни по идеалу, как жизнь и Бибикова с семьёй, и Василия Ивановича. Люди они прекрасные, всеми силами, всей энергией стремятся к самой хорошей, справедливой жизни, а жизнь и семьи стремятся в свою сторону, и выходит среднее. Со стороны мне видно, как это среднее, хотя и хорошо, как далеко от их цели. Тоже переносишь на себя и

научаешься довольствоваться средним. — Тоже среднее в молоканстве; тоже среднее в народной жизни, особенно здесь. — Только бы Бог донёс нас благополучно ко всем вам благополучным, и ты увидишь, какой я в твоём смысле стану паинька.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Ещё один, и ужасающий, знак беды и грядущей семейной трагедии Толстых. Ни семейной психологии, ни психологии локальных (в частности, урбанистических) общностей во времена Л. Н. Толстого ещё не существовало – во всяком случае, для людей его поколения. Он не мог уразуметь *фундаментальных* отличий образов жизни крестьянских семейств, семей сектантов или сознательно опростившихся просвещённых дворян, с одной стороны, и урождённых зажиточных горожан и тяготеющих к буржуазному городу усадебных бар — с другой. В Софье Берс и её берсятах было *и то, и другое*: и барство детей, и городские привычки и желания московской девицы, тоже заражённой с детства и усадебным барством. С такими сожителями *не могло быть* долговременного, устойчивого консенсуса — как не может быть его с волками на предмет вегетарианства или со свиньями на предмет чистоплотности. Конечно, кончилось всё — предсказуемым «пшиком». Н.Н. Гусев замечает: «…Проект установления образа жизни семьи на «среднем» уровне […] теоретически выработанный Толстым на просторе самарских степей, при первом столкновении с действительностью разлетелся в прах» *(Указ. соч. С. 59 - 60).***]**

Здорова ли ты? Не случилось ли чего с детьми? Остальное всё пустяки. — Условия жизни здесь нынешнее лето без сравнения лучше, чем когда ты бывала здесь, — ни мух и других насекомых, ни засухи, жаров, болезней. Теперь только дожди мешают уборке последнего и молотьбе. От хорошей погоды на две недели здесь зависят миллионы. У нас 2/3 убрано, и вчера намолотили 800 пудов, и в пятницу везут в Самару. Бибиков как-то удивительно соединяет мягкость с тем, что он отличный хозяин. Всё есть, что нужно, все охотно и споро работают, всюду он поспевает. Уже не добросовестность его, а деликатность в ведении своего и нашего хозяйства доходит до того, что тяжело. Его люди, скот его и наши смешиваются только в том смысле, что мы пользуемся его, а не он нашим. Свои посевы он больше месяца не видал. Доход у нас, если погода не очень помешает, будет вероятно больше того, что я писал тебе. За лошадей простых своего завода мне дают 80 и 120 рублей.

Заниматься здесь мне не удалось. Даже дневник свой, и тот я запустил <Не вёл с 26 июля по 8 августа. – *Р. А.*>.

Прощай, душа моя, половина души моей и плоти. Только одного желаю, чтобы нам свидеться, ни о чём не жалея. Я написал, что выеду 15, но счёл, что 13 будет 4 недели, и я выеду лучше 13-го. Впрочем, я тогда телеграфирую. Целую всех детей. Я что-то о Тане больше всех думаю. Об малышах думаю часто потому, что Колюшка их напоминает. <«Младший сын Вас. Ив. Алексеева». – *Примеч. С. А. Толстой.*> Милую Таню Кузминскую целую и благодарю, она верно много тебе помогает» *(83, 305 - 307)*.

В тот же день 6 августа Софья Андреевна, выехавшая 2-го в Москву, отписалась в Самару «традиционным» встречным письмом — уже безответным, по причине возвращения Толстого домой… Приводим ниже полный его текст, из которого, кстати, следует, что днём раньше было отослано ещё одно письмо супругу — не сохранившееся.

Как и предвидел Толстой, раба мира и учения его с первых дней в Москве вкусила прежде, заочно столь милых ей «прелестей» городской безбожной жизни — до жалоб и стонов:

«Вчера послала тебе письмо, милый Лёвочка, из Москвы, но сомневаюсь, что оно дойдёт. Взялся отослать его на железной дороге Леонид Оболенский, который ехал со мной, он в Покровское <имение М. Н. Толстой>, а я домой, и который был выпивши и расстроен. Лизе <Е. В. Оболенской> на днях родить, а у ней положение ребёнка неправильное, вниз ногами; они все расстроены, Лиза боится и всё плачет, но Виганд и акушерка утешают, что это ничего.

Дома я нашла всё прекрасно. Дети здоровы, веселы; две Тани и Надя <Т. А. Кузминская, Т. Л. Толстая и Надежда Александровна Дельвиг> поют куплеты и учат роли; малышки всё такие же миленькие; Илья, Лёля, учатся, а Маша, по лёгкости своего характера, лепится уж к англичанке <*Miss Carrie,* новая гувернантка Толстых, рыжая дылда, очень глупая, но исполнительная. – *Р. А.*>, которая приехала без меня, третьего дня. Она очень мила, проста, и, кажется, самая подхóдящая.

Я ужасно утомлена Москвой, и вся моя жизнь до того стала сложна — спектаклями, Москвой, делами, приученьем Андрюши к англичанке, хозяйством, кройкой и работой и проч., что в связи с беспокойством о вас иногда точно кошмар всё это время.

Я помню, что не надо суетиться, что надо быть спокойной, что все житейские дела ничтожны и тому подобное. Но не я ищу хлопот, а

дела меня находят, и так или иначе, но оказывается, что вечно я занята и занята необходимым.

Сегодня ждала от вас известий — и напрасно. Письма не было, и так грустно, что эта тоска только растерянности мне прибавляет. Я помню, что ты и я мы говорили о твоём возвращении около 7-го августа. А в письмах, ни в одном ни разу ты не упомянул о дне возвращения. Хоть бы приезжал скорей; наверное твоё кумысное состояние притупляет в тебе всякие чувства; а моё усталое, нервное состояние делает их только острее.

Нет, напрасно я пишу тебе сегодня; 4 ночи я не спала, и письмо моё не хорошо. Очень гадко с моей стороны, что тебе без меня так хорошо, а я зову тебя к себе и домой. Но если б не такое редкое сообщение, то я не звала бы, а то меня беспокойство одолело, а при моей суетной жизни ещё душевная суета — просто иногда с ума точно сходишь. А Лиза Оболенская плачет, умереть родами боится, а я бы рада, пусть бы умерла; ни сомнений, ни страху, ни тревог, ни спектаклей, навеки спокойно.

Прощай, Лёвочка, никому кроме милой Елизаветы Александровны не кланяюсь, потому что уверена, что тебя там задерживают все, и за это я на всех сердита. Тебя старательно всё и все от дома отучают и отвлекают; самые нигилисты все отвратительные семьянины. Ты по 13 дней спокойно живёшь без известий о нас; а я по три дня с ума схожу. Как странно, что всё так переменилось; авось и я к 50 годам буду так же спокойна, если жива буду. А моя теперешняя жизнь авось меня скоро сожжёт.

Соня.
6 августа 1881.

О Серёже моя тревога продолжается, что же он не едет, а пора бы ему нас вспомнить» *(ПСТ.С. 168 – 169).*

Кажется, местами в этом письме Сони «проступают» уже не простые, привычные мужу, расстроенные или полушутливые недовольства, а — признаки её грядущих параноических и суицидальных (быть может, и сымитированных) бредов и тяжких истерик, которые старцу-мужу придётся терпеть в 1890-1900-егг. – вплоть до роковой ночи его бегства в неприкаянность, болезнь и смерть…

В мемуарах, впрочем, Софья Андреевна находит для таких настроений её письма к мужу от 6 августа довольно понятные и естественные причины:

«В Москве я с утра до ночи была в трудах. Устроить такой дом и закупить всё нужное для семьи оказалось довольно трудно. Надо было выбирать обои, нанимать маляров, обойщиков; потом посуду, мебель, гардины, кадушки – словом, вся обстановка была сделана вновь. Прислуги у меня в Москве ещё не было, помощников — совершенно никого. Было лето, и все родные и друзья жили или на дачах, или по деревням. Утомилась я ужасно и тут стала уже досадовать на Льва Николаевича, о котором всё-таки, не переставая, тревожилась, так же как и о сыне Серёже» *(МЖ – 1. С. 347)*.

С тяжёлыми думами и предчувствиями 13 августа выехал Лев Николаевич со своего хуторка — в «желанную», «домашнюю», семейную — как ему хотелось думать и настраивать себя, — Ясную Поляну. В этом скорбном пути единственным его попутчиком (до Самары) был верный Алексеев, при прощании обливший своего обожаемого ученика и учителя слезами — будто мертвеца, над которым уже готова затвориться крышка гроба…

По сведениям Н. Н. Гусева, 16 августа с Толстым, проезжавшим железнодорожную станцию Ряжск, совершилось ещё одно грозное, зловещее предзнаменование: как будто не только Бог и добрые люди, но уже и черти с дьяволом жалели несчастного и по-своему, по-сатанински, намекали: «будь решительнее!.. иди *своим* путём жизни, к Богу, а не к нам!.. **не надо тебе в Москву!**» На станции совершилось несчастье: был раздавлен поездом какой-то человек. Автор «Анны Карениной» совершенно оцепенел от ужаса и, в отличие от сотворённых его воображением персонажей, даже не помыслил бежать с толпой на мучительное зрелище. Кто-то из дорожных служителей рассказал ему, что такие трагедии случаются у них часто — каждый месяц. Трясущейся рукой он нацарапывает в Дневнике несколько косноязычную, но понятную сердцем запись: «Все машины к чёрту, если человек» *(49, 56)*. Николай Николаевич Гусев замечает по поводу этой записи Толстого: «Здесь Толстой впервые выразил ту мысль, которую он впоследствии неоднократно высказывал в своих статьях: что все приобретения культуры только тогда хороши, когда они не ведут к гибели человеческих жизней» *(Гусев Н.Н. Указ. соч. С. 56)*.

17 августа Толстой вернулся в Ясную Поляну — совершенно «с корабля на бал». Он очутился в толпе членов семьи и гостей, собравшихся на очередной любительский спектакль. Среди гостей 22 августа странно затесался старичок Иван Тургенев — среди прочего решивший было станцевать в гостиной «настоящий», на его вкус, па-

рижский канкан времён его молодости (а не новомодный молодёжный «разврат»). На следующий день в Дневнике Льва Николаевича появляется запись: «Театр, пустой народ», дополненная уже 22-го красноречивым заключением: «Из жизни вычеркнуты дни 19, 20, 21. [...] Тургенев cancan. Грустно». Толстой бежал из этого бардака — на большую дорогу, по которой, как обычно, брели нищие и странники; тут же в Дневнике является, как нечаянный контраст прежним, запись: «Встреча народа на дороге радостная» *(49, 57)*.

Грустен тут не только Тургенев в ипостаси пляшущего аристократишки, плешивого завсегдатая европейских бардаков. И не только то грустно, что больше Толстому не суждено было увидеть своего великого собрата по писательству живым, в этом мире... Грустно то, что Льва Николаевича все эти условия окружающей жизни — будто нарочно *не пускали* к тому перу художественного творчества, к которому благословил его вернуться умирающий Тургенев. И сам он — был одним из тех, кто, прося — не пускал.. и не понимал, что **не пляшется и не пируется** христианину во время чумы религиозного и нравственного разложения миллионов его современников — как не поётся соловью на срубаемом дереве. Ужасны те времена, когда религиозно чувствительному к Божьей правде-Истине человеку художественного слова важнее *обличать*, нежели услаждать плодами своего таланта чьи-то литературные досужие вкусы. Много хуже, когда из таких «времён» слагаются целые столетия лжехристианской жизни – и люди не понимают, виня Бога в своих несчастьях... и гонят, зашикивают пророка, дерзнувшего *им* (а не бедным «царям земным») напомнить о Христе.

* * * * *

Нет, это ещё не завершение Шестнадцатого эпизода нашей книги. Логически и биографически — к нему примыкает состоявшаяся в последнюю неделю августа 1881 г. ещё одна поездка Софьи Андреевны в Москву и связанные с нею ещё три — включая снова два встречных, под 26 августа! — письма супругов.

Итак, 24 августа С. А. Толстая уехала обратно в Москву, чтобы обустроить снятую там, в Денежном переулке, квартиру и заказать мебель для гостиной. В этот раз дела у неё спорились веселее (да и оставалось их меньше, нежели в предшествующую московскую поездку...), о чём она, в числе прочего, и рапортовала 26-го мужу:

«Милый Лёвочка, не успела написать утром и пишу в 6 часов вечера. Доехала я очень хорошо, потому что спала всю дорогу до

Москвы и кондуктор меня разбудил уже, когда подъезжали. Со мной в отделении на другом диване спала севшая в Туле неизвестная, но очень порядочная дама, до самой Москвы. Мы с Иваном поехали к Пете <П. А. Берсу> и застали всех здоровыми; но не приехали они на спектакль, потому что Дженни <гувернантка> была больна, а сегодня лежит от жара и тошноты <дочь П. А. Берса> Натуся.

После того, как умылась и чаю напилась, поехала на свою квартиру. Там очень хорошо, всё готово, только в спальню наклеили обои слишком ярко-голубые. Я ли ошиблась, или не то прислали — не знаю.

Садик расчистили плохо, но сносно; в нём 40 саженей. Краской совсем не пахнет, чисто и светло. Ездила я вчера с Ольгой <Берс>, кое-что купила, вечер провела у Полиньки <П. Ф. Перфильевой>, которая дала советы, но мало. Там были Истомины и Петя с женой. К вечеру я утомилась и уехала в 12-м часу. Здоровье было отлично весь день. Перфильевы очень оба любезны и милы.

Сегодня с утра поехала с Петей; прежде поздравила его и Наташу с рождением и именинами, подарила ему ковёр небольшой, а Натусе игрушек, а потом повезла его таскаться по всей Москве. Нынче утром болел и живот, и поясница, рабочие утром не дали спать, но теперь, несмотря на тряску весь день, я чувствую себя совсем хорошо. Сегодня мы накупили пропасть мебели, почти весь дом, без гостиной. Но я нашла магазин, где, почти наверное, закажу гостиную, очень уж надежный старик, хозяин магазина. Кое-что передала, кое-что дешевле, — но я не могу сказать, чтоб я была недовольна покупками.

Завтра займусь посудой, лампами и проч. Но ещё ужасно много дела, обойщики ещё не принялись за обивку, многое не куплено, ничего не устроено. Я не могу приехать раньше воскресенья вечера, это мне очевидно. Воскресенье надо ехать утром с Петей на Сухареву <площадь>, — <там> только по воскресеньям торг <мебели>, а простого многое не куплено, без меня нельзя купить, а вещи всё серьёзно нужные. Пишите мне и пришлите еще телеграмму в субботу.

Если не выдержу скуки и тоски и беспокойства по вас, то вернусь, как сказала, в 4 часа ночи с пятницы на субботу; лошадей на Козловку всё-таки пришлите. Кончаю письмо, еду в Денежный переулок принимать мебель и всё платить на месте. Одно мне утешение, что для своих всё покупаю, чтоб всем хорошо было.

Целую всех вас, что-то Саша, как ты, Маша и все. Я выношу отлично свои труды. Прощайте, милые мои.

Соня» *(ПСТ. С. 170 - 171)*.

Толстой между тем 27 августа писал в Дневнике: «Соня в Москве. Покупки. Делать то, что не нужно — грех». И имея в виду какой-то неизвестный нам случай, Толстой сравнивает с этим случаем хлопоты жены об устройстве гостиной и пишет: «Разбранить человека за портрет государя навыворот и гостиную купить — одинаково безумно и ведёт к злу» *(49, 57)*.

Отъезд жены означал перерыв в семейной вакханалии барских развлечений, и Лев Николаевич, пользуясь этим «тайм-аутом», пытается продолжить работу над легендой «Чем люди живы». Но тяжёлые предчувствия не отпускают его — и работа не спорится. 2 сентября в Дневнике появляется даже такая запись: «Умереть часто хочется. Работа не забирает» *(Там же)*. Так что Софья Андреевна напрасно лукавит в своих мемуарах, связывая с «умственной работой» Льва Николаевича его отказ помогать ей в московских покупках *(МЖ – 1. С. 348)*. Коренные причины были — *иные*, и о них мы уже сказали выше… Но Толстой не видел возможности дать понять своё состояние жене, суетливо и восторженно заканчивающей приготовления к вожделенной московской жизни… и в письме своём от 26-го он максимально сдержан в выражении негативных настроений, связанных с московским переездом. Письмо подчёркнуто, до скушного обыденно и посвящено описанию малоинтересных событий. Приводим с сокращениями:

«Нынче среда вечером. Пишу тебе в гостиной, а рядом в зале все дети наш и кузминские поют куплеты. Все здоровы и веселы. […] Маленькие совсем хороши и милы, особенно Миша. Как только тебя нет, он льнёт ко мне: папа! и на руки лезет, и таскает с ним бегать.

M-lle Guillod нынче утром со всеми ездила в Судаково покупать мёд. Хотели взять Андрюшу, и хотя жалко было лишать няню, я не разрешил, — боялся, что утром будет свежо, да и далеко.

Нынче до обеда дошёл слух через какую-то бабу, что Василий Иванович, священник, умер. Я ходил в церковь, но слух не подтвердился. […] Я завтра съезжу к нему.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Василий Иванович Карницкий (1831—1881), священник ближайшей Кочаковской церкви, учил «закону Божию» всех детей Толстого. «Был простой, хороший человек с большой семьёй» — вспоминала о нём Софья Андреевна. Дочь его, Евдокия Васильевна, была крестницей Толстого. **]**

Таню <Кузминскую> я просил без меня дома постеречь. Илюша вернулся вчера ещё. Убил 6 штук. Жалуются, что дичи нет. Серёжа

нынче ездил в Малахово <болото> и тоже только одну утку убил. Илюша нынче ездил с <В. А.> Бибиковым <Сын А. Н. Бибикова, знаменитого соседа Толстых в поместье Телятинки. – *Р. А.*> за волками, ничего не нашли.

Я вчера целое утро писал Петину историю <«Чем люди живы?»> и всё не могу кончить. —

Мне очень грустно было в ночь твоего отъезда, теперь привыкаю.

Пожалуйста не воображай, что непременно нужно тебе всё кончить. Сделай, что успеешь до субботы, не торопясь, — остальное я доделаю. Нынче коронация <Т.е. ежегодно отмечавшийся как праздник день коронации имп. Александра II — 26 августа 1856 г. – *Р. А.*>, не помешало ли это твоим делам? Я оба дня не в духе, — печень болит, но не унываю, потому что знаю, что скоро пройдёт.

Священника мне очень жалко и его семью, и хотелось бы увидать его перед смертью. Завтра поеду в 12-ть и если нет поезда, возвращающегося рано, возьму лошадей.

Завтра пошлю телеграмму; целую тебя, душенька, до субботы — утра» *(83, 307 - 308)*.

Письмо Толстого следующего дня, 27 августа, наполнено настроением безысходной покорности, упадка духа, и более похоже на краткий, будто подневольно писанный, «рапорт»:

«Пишу с вечера в четверг. M-lle Guillod завтра хочет ехать с девочками в Ясенки, и свезут письмо.

Проснувшись, осмотрел детей. Все здоровы и веселы. Серёжа вернулся из Тулы после обеда; я ходил гулять и встретил его. Илюша ходил на <болото> Деготну и тоже вернулся, ничего не убивши.

Таня, как я замечаю, в духе аккуратности.

Андрюша очень весел, пил со мной чай.

Миша особенно гордо хлопает ногами. И очень рад калошам.

Саша Кузминский <А. М. Кузминский, свояк Льва Николаевича. – *Р. А.*> обедал у нас. В крокет нельзя было играть от дождя.

Маша играла в куклы с Акулей. <Это была дочь крестьян Ясной Поляны Андрея Сахарова и Матрёны Арбузовой (родной сестры слуги Толстых С. П. Арбузова). – *Р. А.*> Я очень вял. Целый день хочется спать. […]

Прощай, завтра напишу, если будет время и будет что» *(83, 309 - 310)*.

О своём душевном состоянии Л. Н. Толстой в начале сентября 1881 г. писал своим друзьям и единомышленникам А. А. Бибикову и В. И. Алексееву в частности следующее:

«Я попал сюда в страшный сумбур — театр, гости, суета и странно — ушёл в себя и чувствовал, и чувствую себя лучше, чем когда-нибудь. Несогласие моё с окружающей жизнью больше и решительнее, чем когда-нибудь; и я всё яснее и определённее вижу свою роль и держусь её. —Смирение и сознание того, что всё, чтò мне противно теперь, есть плод моих же ошибок и потому — прощение других и укоризна себе».

И далее, словно крик души:

«Серёжа уехал уж в Москву, мы переезжаем 15-го. *Я не могу себе представить, как я буду там жить*» *(63, 76)*.

Надвигающийся переезд принял наконец обличие чего-то рокового, неотвратного для семьи Толстых – но желанного решительно и однозначно разве что урождённой горожанке (хуже того — москвичке) Соне… В своих мемуарах она вспоминала:

«С грустью доживали мы свои последние дни в Ясной Поляне. Дети ходили прощаться и с любимыми местами, и с собаками, и с дворовыми, и крестьянскими людьми и детьми. Понемногу начали укладываться… Дети уже почти не учились, были в большом волнении и меняли настроение: то пленяла их новизна городской жизни, то огорчала разлука с старой привычной обстановкой. […] Семимесячная беременность делалась невыносимо тяжела, и я изнемогала от трудов и усталости.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Родившийся 31 октября Алёша умрёт в январе 1886 г., став первой из детских жертв Толстых городскому аду. Смерть младшего, Ванички, в 1895 г. — окончательно сломит мать: морально, физически и психически… но и тогда она *не раскается и не поймёт*. **]**

[…] Наконец, 15-го сентября назначен был наш отъезд. […] Встали в восьмом часу и, напившись чаю, двинулись в Тулу на курьерский поезд… Мне нездоровилось, было уныло, грустно, многие плакали, провожая и уезжая. […] Ехали мы во втором классе, было жарко, суетливо… Помню какой-то туман в голове от утомления, а чувств не осталось никаких» *(МЖ – 1. С. 349)*.

Москва встретила родную ей Sophie предзнаменованием — пожалуй, не менее красноречиво-зловещим, нежели то, которое месяцем раньше явилось её мужу на станции в Ряжске:

«Въезжаем в Москву, в город, и первое впечатление – громадное зарево пожара на Никольской. Сгорело много в ту ночь; убытки считались миллионами, и тяжёлое чувство вызвала тогда в нас эта огненная картина пожара, с огненным небом, бегущей и кричащей толпой, летящими во весь дух пожарными» *(Там же)*.

Пётр Берс с женой Ольгой встретили потрясённую сестру, успокоили и наскоро соорудили скромный «английский» ужин – холодный ростбиф и чай.

«Дом похвалили, но, несмотря ни на что, все сразу поверглись в уныние, и все легли спать с какой-то непобедимой тоской в душе. …Началась новая, непривычная и более тяжёлая во всех отношениях городская жизнь» *(Там же)* — так завершает Софья Андреевна своё повествование о низвержении в московские рабство и ад.

Она «забыла» дописать, что спалось, да и жилось семейству в первые дни и ночи весьма непокойно. «Оказалось, что перегородки между комнатами такие тонкие, что в каждой комнате было слышно всё, что делалось и говорилось в соседних комнатах» — сообщает Н. Н. Гусев *(Материалы… 1881 – 1885. Указ. изд. С. 61)*.

Дом Л. Н. Толстого в Хамовниках со стороны сада.

Жизнь в Москве рисовалась Толстому в самых мрачных красках. Но действительность превзошла все его, даже самые худшие, ожидания.

КОНЕЦ ШЕСТНАДЦАТОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Семнадцатый

«ЖИЗНЬ ВРОЗЬ ПОШЛА, ПУСТЬ БУДЕТ ВПОЛНЕ ВРОЗЬ»

(Зима 1882 года)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК

Слова из письма Софьи Андреевны Толстой от 6 февраля 1882 г. (см. полный его текст ниже), вынесенные нами в заголовок данного Эпизода нашей книги — красноречиво характеризуют отношения супругов Толстых, сложившиеся к началу 1882 г. Равно они знаменуют внутреннюю "установку" одного из участников представляемой нами избранной переписки, С. А. Толстой — на непримиримость и эскалацию конфликта. Из её текстов, которые мы приводим ниже, читатель может самостоятельно сделать выводы о "мощи" этой деструктивной установки, с большим вероятием свидетельствующей о начавшемся ухудшении в нездоровых условиях городской жизни психоэмоционального состояния жены Льва Николаевича.

С первых дней нездоровость, ненормальность городской (хуже того — московской!) жизни буквально «оглушили» и супругов, и их детей, в чём позднее сознавалась и сама Софья Андреевна в своих мемуарах:

«То уныние, которое почувствовалось всеми в первый день нашего переезда в Москву (15-го сентября), шло первые дни, всё усиливаясь. Ходили по комнатам растерянные, не знали, за что взяться, чем заняться. <…>

Лев Николаевич почти со мной не разговаривал и всё время *давал мне чувствовать*, что я его мучаю, что жизнь его вся отравлена мной; и я не переставая плакала. Наконец он разразился целым потоком упрёков, говоря, что, если бы я его любила, я не избрала бы для него этой огромной комнаты <Имеется в виду кабинет Льва Николаевича в новом доме. – *Р. А.*>, где каждое кресло, стоящее 22 рубля, могло бы дать счастье мужику, который купил бы на них корову или лошадь. Что ему всё время хочется плакать… Он уже забыл, что писал мне из Самары, что будет во всём мне помогать, и иначе стал смотреть на наше московское житьё. Но он не был в этом виноват; он жил всегда под впечатлением минуты, и на этот раз было то же самое. По-видимому, он сам не ожидал, что жизнь в Москве так сильно повлияет на него в смысле тоски и тяжёлых впечатлений, и совершенно забывал, что всею предыдущей жизнью готовил семью

к жизни в Москве, к университету для Серёжи и выездам для Тани» *(МЖ – 1. С. 354)*.

Надо много лет прожить рядом с человеком, чтобы *так* метко охарактеризовать его — со «слабой» стороны: стороны его былых грехов, заблуждений и новейших компромиссов с жизнью… Вероятно, Толстой всё-таки не «забыл» своих письменных 1881 года обещаний жене. Просто — он не был *таким, как она*. Напомним читателю о той черте характера Софьи Андреевны, которую замечали за ней уже её родители и другие члены семьи: острые переживания любых несчастий сочетались в ней с обречённой *готовностью* к ним, настороженным *ожиданием* их, доходящим до *неумения* сполна отдаваться повседневным радостям жизни или находить именно радостное в мало радостном (а не наоборот!) Л Лев Николаевич, как и большинство людей, предпочитал при неприятных поворотах судьбы не отдаваться ни истерии, ни мрачной депрессии и отчаянию, а искать положительного и в негативном, *созидать* его — например, вопреки чувствам и желаниям, помогая жене в переезде, обещая ей скорую жизнь в отвратной — для него — Москве… Если Толстому в первые дни отказала эта психологическая «защита» большинства психически *здоровых* людей — значит, ему реально было *очень* плохо. К несчастью, его настроение совершенно расстроило его неуравновешенную жену; депрессивные настроения сочетались в ней с установкой на *необратимость*, непоправимость совершившейся по *её* инициативе перемены в жизни мужа и детей. Вот как эта установка выразилась в её письме сестре, Татьяне Кузминской:

«Теперь всё это непоправимо. Конечно, он довёл меня до слёз и отчаяния; я второй день хожу как шальная, в голове всё перепуталось, здоровье очень дурно, и точно меня пришибли… а хлопот, работы и дела без конца» *(Там же)*.

Дети, между тем, действительно были отданы на учение в «ужасные» (в восприятии Толстого-христианина) места. Илья и Лев, например, — в частную гимназию Льва Поливанова (могло бы быть и хуже… но в казённой гимназии с Толстого потребовали подписки о политической благонадёжности его детей). Старшая дочь Татьяна, как и мечтала, поступила в Школу живописи и ваяния — т.е. одно из тех заведений, к которым Толстой, в одни и те же годы со своим будущим английским кумиром Джоном Рёскиным, относился уже тогда, как минимум, скептически. Наконец, старший сын Сергей, переживая в ту пору фазу юношеского максимализма и нигилизма, поступил в университет на *отделение естественных наук* — будто издеваясь над отцом, ненавидевшим «модные» естественнонаучные учения.

Бывшая скульптурная мастерская проф. Н. А. Рамазанова при Школе живописи, ваяния и зодчества

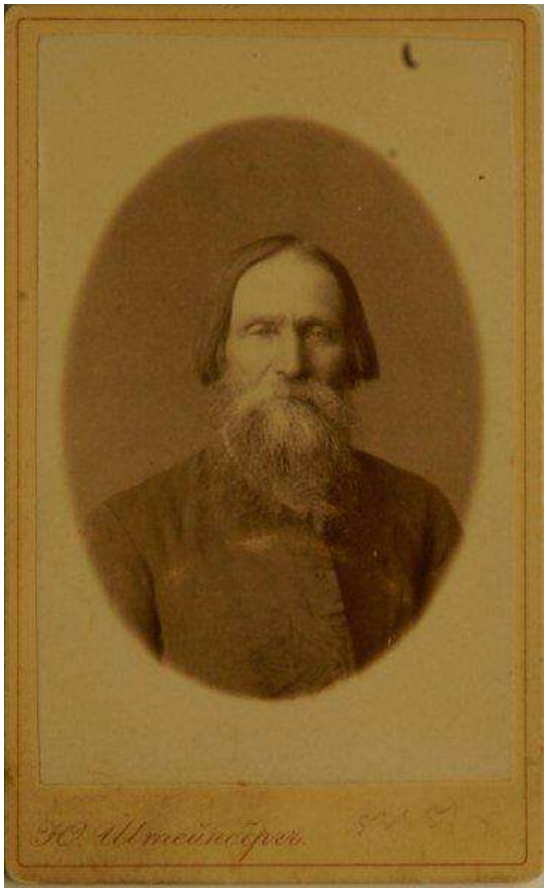
Свои впечатления от клоаки из клоак — буржуазной Москвы — и своё настроение Толстой передаёт в знаменитой записи Дневника от 5 октября 1881 года:

«Прошёл месяц — самый мучительный в моей жизни. Переезд в Москву. Всё устраиваются. Когда же начнут жить? Всё не для того, чтобы жить, а для того, что так люди. Несчастные! И нет жизни.

Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать свою оргию, и пируют. Народу больше нечего делать, как, пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное» *(49, 58)*.

Эта запись показывает, в частности, *насколько* «врозь» шла уже тогда жизнь супругов Толстых: пока Софья Андреевна «раскидывала» детей по городским образовательным притонам, заводила и “освежала” светские отношения — муж и в городе высматривал “своё”: мужиков, трудящийся народ… но и не только в народ. Искал он — единомышленников в новой для него городской социальной среде. Ещё до вышеприведённой записи Дневника 5 октября он навестил тверского сектанта Василия Сютаева, с которым, как мы упоминали, познакомил его прежде А. С. Пругавин. И в записях Дневника от того же 5 октября появляется и такая: «Был в Торжке у Сютаева. Утешенье» *(Там же)*. В ноябрьском письме В. И. Алексееву Толстой утверждал, что они с Сютаевым единомысленны «до малей-

ших подробностей» *(63, 81)* — что, конечно, было немалым самообольщением Льва Николаевича. С сектантами и мистиками очень и очень трудно оказаться во *всём* единомысленным… Это касается и



Василий Кириллович Сютаев

другого старого (с 1878 г.) знакомого Толстого, отношения с которым он пытался возобновить — мистического философа и аскета Н. Ф. Фёдорова. Побывав у него, Толстой записал в Дневнике под тем же 5 октября такие строки: «Николай Фёдорович – святой. Каморка. Исполнять! – это само собой разумеется. – Не хочет жалованья. Нет белья, нет постели» *(49, 58)*.

Но ни «Бог-любовь» и все проповеди Сютаева, ни аскеза в миру Фёдорова не были достаточны для диалога с Толстым… С Сютаевым он шатко-валко продолжался на уровне переписки до самой смерти сектанта в 1892 году. С Фёдоровым же Толстой оказался *слишком* не единомысленным: тот хотел использовать авторитетное имя писателя для пропаганды своего учения о воскрешении во плоти всех умерших предков, но Толстой не только не разделял такого учения, но, кажется, и не хотел вникать в него. Не разделял Толстой и идолопоклонничества Фёдорова-библиотекаря перед пыльными фолиантами. До такой степени не разделял, что, как передаёт биограф

писателя Н. Н. Гусев, однажды, войдя с Фёдоровым в книгохранилище и оглядев полки с книгами, не удержался «и тихим голосом задумчиво произнёс: — Эх, динамитцу бы сюда!» *(Гусев Н.Н. Материалы… 1881 – 1885. С. 76)*. Фёдоров от такого впечатления приходил в себя неделю… Окончательно отношения мыслителей оборвались в конце 1892 г. – лишь чудом протянувшись кое-как, без подлинного диалога единомышленников, целое десятилетие.

Ещё одно старое знакомство – с философом В.С. Соловьёвым, уже навещавшим прежде семейство Толстых в Ясной Поляне и в Москве – вовсе не вылилось в диалог: Соловьёв показался Толстому *слишком* теоретиком, «головным» человеком — как назвал он его в письме Алексееву.

Ещё одним самообманом Толстого была завязавшаяся в ноябре 1881 г. дружба с некоей “копией” удалённого Софьей Андреевной смутьяна Алексеева — Владимиром Фёдоровичем Орловым (1843 - 1898), тоже бывшим революционером и тоже учителем. “Копия”, надо сказать, была достаточно бледная… но тут уж сказалось психологическое качество самого Толстого: его любовь к тому неправдивому, но возвышенному образу человека, который первоначально складывался в его сознании при знакомстве с ним… Конечно, Толстой написал о своём новом приятеле Алексееву, и, конечно, в приязненном в отношении Орлова ключе:

«Орлов – пострадавший, два года сидел по делу Нечаева и болезненный, тоже [как и Н.Ф. Фёдоров] аскет по жизни и кормит девять душ и живёт хорошо. Он учитель в железнодорожной школе» (63, 81).

Мы видим, что к моменту написания этого письма (ноябрь 1881 г.) Орлов уже успел “закапать мозги” Льву Николаевичу — заразить довольно сомнительным отношением к революционерам как «пострадавшим», страдальцам и героям. Следы такого понимания деятелей радикальной оппозиции мы находим в ряде публицистических выступлений Толстого даже 1900-х гг.

О самом Орлове старший сын Льва Николаевича, С. Л. Толстой, вспоминал следующее:

«Помню, что у Орлова были длинные волосы, густая, нечёсанная борода, бесформенный нос — в общем простое русское лицо. Он много и образно говорил, резко выговаривая по-северному на «о»… В молодости он был замешан в деле Нечаева, побывал в тюрьме и ссылке, а затем усвоил себе свободное христианское мировоззрение, близкое к взглядам Маликова, с которым был хорошо знаком. <Т.е. как сектант Орлов был идейно и лично близок В.И. Алексееву. – *Р. А.*> Впоследствии я узнал, что он получал пособия от Третьего отделения, “ввиду его откровенных показаний”, что объясняется тем, что

он был обременён многочисленной семьёй. Признаюсь, он и его христианские туманные речи мне не были симпатичны. Не нравилось мне и то, что от него иной раз пахло вином» *(Толстой С. Л. Очерки былого. – Тула, 1975. – С. 131 - 132).*

До середины 1880-х гг. Толстой удовлетворялся кажущимся ему «единомыслием» с Алексеевым. С середины же десятилетия (а точнее — даже раньше, с 1883 г.) его решительно потеснил Владимир Григорьевич Чертков — человек, которого сам Толстой назвал «одноцентренным», то есть подлинно единомысленным, другом. Единственный, кроме Софьи Андреевны Толстой, человек, эпистолярный диалог с которым занял в Полном собрании сочинений Льва Николаевича целые тома… К нему мы вернёмся в своём месте — и уже надолго.

Пока же, в конце 1881 года и в 1882 г., у Толстого нет *достойной* альтернативы утраченному диалогу с женой и подросшими детьми. Но, можно сказать, своим выбором в пользу московской, городской жизни Софья сама выпустила «джинна из бутылки»: в последующие годы Толстой прошёл путь к *полидиалоговости* — со всем миром. А «первым номером» для интимного, доверительного общения Толстого-христианина стал Владимир Чертков. Уже в конце 1881 г. в мыслях и чувствах Льва Николаевича было много такого, что он счёл бы бессмысленным и невозможным поверить в письмах жене. Например, 25 ноября он так исповедуется В. И. Алексееву (и *только* ему тогда мог *так* искренно исповедаться!):

«Мне очень тяжело в Москве. Больше двух месяцев я живу, и всё так же тяжело. Я вижу теперь, что я знал про всё зло, про всю громаду соблазнов, в которых живут люди, но не верил им, не мог представить их себе… И громада эта зла подавляет меня, приводит в отчаяние, вселяет недоверие. Удивляешься, как же никто не видит этого?.. Нет спокойствия. Торжество равнодушия, приличия, привычности зла и обмана давят» *(63, 80 - 81).*

В творческом плане к последним месяцам 1881 г. относится создание Л.Н. Толстым гениального художественного переложения народной легенды — рассказа «Чем люди живы». Началась и работа над повестью «Смерть Ивана Ильича». А впечатления от Москвы, от посещённых им в ходе проходившей в городе переписи населения ночлежных домов и личных попыток “барской благотворительностью” помочь нуждающимся городским беднякам Толстой обобщил позднее в первом своём социально обличительном и христиански-проповедническом крупном трактате – «Так что же нам делать?» Но тема

и характер нашей работы исключают возможность остановиться на этих событиях в жизни и творчестве Л.Н. Толстого подробнее.

За осень и часть зимы 1881 – 1882 гг. он *очень* устал. И отнюдь не от пилки дров, таскании воды в кадку во дворе или уборки комнат в доме… Утомляли впечатления от города и – в особенности – гости с их досужей болтовнёй и пустыми спорами. В письме от 30 января сестре Татьяне Софья Андреевна будто хвастается, как “доканали” они её мужа: «Какая бездна и какое разнообразие народа бывает у нас. И литераторы, и живописцы (Репин писал в кабинете одновременно с Таней портрет Сютаева), и le grand monde [высший свет], и нигилисты, и кого, кого ещё я не видаю!» *(Цит. по: Л.Н. Толстой и А.А. Толстая. Переписка. М., 2011. – С. 830 - 831)*. Окончив дела, связанные с переписью и организацией помощи беднякам, Толстой надумал уехать хоть ненадолго из Москвы – «отдохнуть от разбитых нервов» *(Там же. С. 401)*. Творческой же задачей было — разобраться в тех мыслях, какие вызвала в нём перепись, и начать работу над статьёй.

Фрагмент Первый.
СЧАСТЬЯ — ПОЛНЫЕ ШТАНЫ:
ДОМА. В ЯСНОЙ. БЕЗ ЖЕНЫ.

2 февраля 1882 г. Лев Николаевич выехал на неопределённое время к своему давнему (с 1857 г.) и истинному другу Ивану Ивановичу Раевскому (1835 - 1891), жившему в имении Бегичевка Данковского уезда Рязанской губернии. Без сомнения, выбор Толстого был связан с высокоценимыми им личными качествами этого *нравственно благоухавшего* человека, погибшего впоследствии от тяжёлой простуды, помогая другу Льву в голодную пору 1891 – 92 гг. Это – один из немногих людей, памяти которого Лев Николаевич посвятил особенный некролог, в котором вспоминал *настоящего* своего друга как человека «необыкновенной простоты вкусов», сочетавшего в себе «отвращение от светскости, любовь к народу, и главное — нравственную совершенную чистоту» *(29, 262)*.

Но друзьям не суждено было свидеться в тот раз в Бегичевке по обстоятельствам, о которых вспоминает Софья Андреевна в своих мемуарах:

«Сначала Лев Николаевич почему-то собрался в Рязанскую губернию к другу своему Ивану Ивановичу Раевскому. Но случай помешал ему добраться до него. Приехав на станцию Узловую, Лев Николаевич увидал, что поднимается мятель, поезд опоздал и придётся ждать на станции 5 часов. А тут же отходил обратный поезд в Тулу, и Лев Николаевич вдруг решил ехать прямо в Ясную Поляну» *(МЖ – 1. С. 366)*.

Конечно, Соня не удержалась, чтоб не отправить вослед мужу — в день его отъезда — письмо с “благословением” именно в излюбленном её стиле. Будто желая подчеркнуть, что его демонстративный отъезд не может ничего изменить — она расписывает барские увеселения детей, особенно останавливаясь на восторгах дочери Татьяны, как раз вернувшейся с очередного бала *(83, 313)*.

Она уверена, кроме того, что мужу непременно станет *плохо* в родной усадьбе, вдали от неё и веселящихся детей. То, что для Льва Николаевича было желанным — для Софьи Андреевны представляется препятствием для отдыха и творческой работы мужа:

«Пока не узнаю из твоего письма, как ты устроился в Ясной, я не успокоюсь; да и хорошо не будет, где и как жить, да ещё работать! И будут тебя осаждать со всех сторон мужики, как в прошлом году, и опять времени не будет. А вечером, один, без удобств, без привычной пищи; *как ты можешь жить один, неужели тебе хорошо*?» *(Там же. С. 315. Выделение наше. – Р. А.)*.

Полным текстом данного письма Софьи Андреевны мы, к сожалению, не располагаем.

Ему *не* было хорошо в первый день по приезде, но впоследствии, день ото дня, становилось *лучше*. И он не собирался скрывать этого от близкого и любимого человека! Тому свидетельством — письма Л.Н. Толстого жене от 3 и 4 февраля (второе из них, от 4 февраля – ответ на письмо жены 3 февраля). Приводим, с необходимыми пояснениями, полные их тексты.

Письмо Л.Н. Толстого жене от 3 февраля 1882 г. Начинается со свидетельства того, что Толстой, приехав в Ясную вместо Бегичевки, не забыл о друге и стремился жить по общим с И. И. Раевским идеалам близости к народу, опрощения:

«Пишу тебе, душа моя, из Ясной, в комнатке Алексея Степановича, <*А. С. Орехов*, многолетний слуга в доме Толстых; в тот период уже – доверенный приказчик. – *Р. А.*> где мне очень хорошо. <Помимо

опрощения, выбор комнаты диктовался и простой зимней прагматикой: в отсутствие хозяев “барские” комнаты в яснополянском доме до приезда Толстого не топились и были выстужены и сыры. – *Р. А.*>

Приехал я в Тулу. <Л. Д.> Урусов встретил меня, накормил, напоил, — поговорили, — больше он, — и уложил спать. Я решил ехать с поездом утренним, 8 часов, но не сообразил, что этот поезд идёт только до Узловой. <Это в Тульской губ., где-то с добрую сотню вёрст от Бегичевки. - *Р. А.*> Так и сделал: встал в 7 и поехал. Приехал в 11-м часу в Узловую усталый, вялый; поглядел — в поле мятёт, ждать 5 часов на станции; а поезд назад в Тулу идёт тотчас. Я телеграфировал Раевскому и поехал в Ясную. Остановился я у Алексея Степановича. Он очень мил, но я его от храпа изгнал в людскую, и это нехорошо. Со мной же спал на печке <шорник> Пётр Шинтяков. <Нянюшка> Марья Афанасьевна <Арбузова>, <старая горничная> Агафья Михайловна пили чай и беседовали вчера, а нынче я проехался верхом, напился кофею и начал заниматься, но не мог много сделать, — голова болит по-мигренному, и чувствую слабость. Я не натуживаю себя и читаю старые Revues и думаю. <Лев Николаевич перечитывал старые номера любимого французского журнала «Revue des deux mondes», который много лет предпочитал всей говённой российской прессе. – *Р. А.*> Упиваюсь тишиной. Просителей избегаю. — Мне очень хочется написать то, что я задумал. <А задумал Лев Николаевич будущий знаменитый трактат «Так что же нам делать?» — *Р. А.*>

В доме топят в тётинькиной комнате. <Т. е. в комнате, где доживала последние дни и умерла Татьяна Александровна Ёргольская. – *Р. А.*> Перейду только, если будет совсем тёплый и лёгкий воздух. Пробуду я, как Бог на сердце положит, и как ты напишешь. Теперь сообщение быстрое. Телеграммы на Козловку и письма в Тулу.

Как твоя грудь и всё здоровье и как дети — большие и малые? Если бы тебя это облегчило, и если Илюша этого очень хочет, пришли его сюда дня на три. Только бы у тебя было хорошо. Пожалуйста, пиши мне всю правду. Не бойся меня тревожить. — Если тебе лучше, чтобы я был с тобой, нужно посоветоваться, — телеграфируй, и я через 12 часов в Москве.

Прощай, душенька, обнимаю тебя и детей.

Таня всех тревожней, когда я думаю о них. Таня, не будь же тревожна, а будь как Варенька <Нагорнова> или как миндальное масло.

Ведь все глупости и увлеченья, будут или не будут, пройдут и не оставят никаких следов, а огорчить кого-нибудь не пройдёт.

Сютаева портрет, разумеется, заброшен, а можно бы кончить на маслянице» *(83, 311 - 312).*

И следом – письмо от 4 февраля:

«3 часа дня, четверг.

Сейчас получил твоё письмо, милый друг, и очень радуюсь, что у тебя всё было пока хорошо. Обо мне не беспокойся. Мне очень хорошо у Алексея, и я, должно быть, и не перейду в дом. Я заходил нынче, — едва ли нагреется достаточно и так, чтобы не было угару. Я этого сам боюсь.

Нездоров я не был, но как-то слаб — спина немного болит и голова. И от этого я не поехал к Раевским — энергии не было. Вчера ещё болела голова. Нынче, несмотря на ужасную метель — тёплую, голове лучше, и только вял. Плохо работаю. Зато отдыхаю нервами и укрепляюсь. Мужиков, я сказал Алексею, что я не могу принимать, и никто, кроме нищих, которых я не видал, — не был.

Вчера спал один, и очень хорошо. С вечера Агафья Михайловна усыпительно болтала.

Я думаю, что лучше, спокойнее мне нигде бы не могло быть. Ты вечно в доме и в заботах семьи не можешь чувствовать ту разницу, какую составляет для меня город и деревня. Впрочем, нечего говорить и писать в письме; я об этом самом пишу теперь, и ты прочтёшь яснее, если удастся написать. <Речь о замысленном Толстым трактате «Так что же нам делать?». – *Р. А.*>

Главное зло города для меня и для всех людей мысли (о чём я не пишу) это то, что беспрестанно приходится или спорить, опровергать ложные суждения, или соглашаться с ними без спора, что ещё хуже. А спорить и опровергать пустяки и ложь — самое праздное занятие, и ему конца нет, потому что лжей может быть и есть бесчисленное количество. А занимаешься этим, и начинаешь воображать, что это дело, а это самое большое безделье. — Если же не споришь, то что-нибудь уяснишь себе так, что оно исключает возможность спора. А это делается только в тишине и уединении.

Я знаю, что нужно и общение с подобными себе, и очень нужны и мои три месяца в Москве, с одной стороны, мне дали очень много, не говоря уже об Орлове, Николае Фёдоровиче, Сютаеве, — ближе узнать людей, общества даже, которое холодно осуждал издалека, мне дало очень много. И я разбираюсь со всем этим матерьялом. — Перепись и Сютаев уяснили мне очень многое.

Так не беспокойся обо мне. Случиться всё может и везде, но я здесь в условиях самых хороших и безопасных. Дай Бог, чтобы у тебя всё

было хорошо. Целуй детей. Налажено всё хорошо, но боюсь, масляница возьмёт своё и засуетят они тебя. Тане верно уж теперь придумалось удовольствие, да и верно не одно. А и не придумается, то только лучше для неё и для нас. Зачем она молодым людям подаёт руку, не поворачиваясь к ним и с каким-то зверским выражением?

Ты, Таня, понимай, что если я пишу это, то потому, что я тебя вижу как живую перед глазами, а вижу я так только тех, кого очень люблю.

Прощай, душенька, писать нечего. Говорить — говорил бы до тех пор, пока прибежали бы Андрюша и Миша мешать, а писать нечего. Няня варит мне суп в горшке из курицы, сама приносит и твёрдо стоит, как у обедни. Вчера была каша и солонина. В Туле я купил себе вина белого и калачей. Нынче привезли свежих. Яйца свежие. Сплю я на диване деревянном с матрасом, клопов нет. — Нынче <приказчик> Митрофан продал Балабёнка за 65 рублей. За Гнедого дают 110 р. Если погода будет хороша и поработаю хорошо, то съезжу в Тулу. Урусов и не знает, что я в Ясной. Если будут интересные письма, сообщи мне.

Прощай, милая, пиши каждый день и я тоже» *(83, 313 - 315).*

Надежды Соничкины не сбывались. Муж *не* приживался – пока – в Москве и *не* чувствовал себя плохо без неё и без семейства в Ясной Поляне. Хуже того: в отличие от прежних поездок, он *не* спешил выразить теперь какую-то особенную тоску по жене и детям (хорошо устроившимся и веселившимся в Москве на папкины денежки) и желания скорей-скорей вернуться… домой? Вот, в том-то и дело! *Он был дома* – в милой Ясной Поляне! А с женой, как она сама признала в нижеприводимых нами письмах – «пошло врозь».

Второе в этом фрагменте переписки письмо С. А. Толстой – датируется, по почтовому штемпелю, 3-м февраля. Писано оно, не побоимся сказать, *талантливо* – от первой строки до последней.

Конечно, такое важное по высказанному в нём и такое… стилистически, художественно выверенное письмо – заслуживает быть приведённым полностью! Вчитаемся:

«Сейчас пришла сверху, из Андрюшиной комнаты, где он спросонок неистово кричал. Когда взглянула там из окна, то увидала прекрасное, звёздное небо и подумала о тебе. Какое поэтически-грустное настроение вызвало сегодня вечером, в Ясной, в тебе это небо, когда ты пошёл гулять, как бывало. Мне захотелось плакать, мне стало жаль той тихой жизни, я не совладала с городом, и я здесь

изнываю, больше физически, может быть, но мне не хорошо. В каком неудержимом водовороте я живу эти дни! С утра приехала Машенька с Helene <М. Н. Толстая и её внебрачная дочь Елена. – *Р. А.*>, ели блины, Костенька тут поселился совсем и, Боже мой! как он тянет душу своими светскими наставлениями. Стали все стремиться в манеж (экзерцисгауз), няня ушла со двора, маленькие кричат, спать надо укладывать, большие, юродствуя, пристают, кто с деньгами, кто с экипажем. Потом всё утихло; но Андрюша стал приставать: «возьми меня куда-нибудь». Жаль мне его стало, подъехал Леонид Оболенский с <своим сыном> Колей, взялся меня проводить в балаганы. Поехали мы вчетвером; маленького я <няне> Арише поручила, а Мишу — <служанке> Варе. Взошли мы в балаган, где всё представление кукольное и очень мило, и Андрюша остался доволен; покатались на кругом вертящейся какой-то машине и вернулись скоро. Вечером <сестра> Таня уехала с Лизой, Машенькой, и H;l;ne, и Серёжа с Леонидом <Оболенским> в Малый театр. Я осталась с мальчиками, пришли два Олсуфьева мальчика <дети соседа Толстых в Москве, графа В. А. Олсуфьева. – *Р. А.*>, пили степенно чай; потом графиня Келлер приехала спросить, пущу ли я мальчиков в цирк завтра. Я пустила, а утром они едут в оперу. Долго ещё будет этот сумбур. В субботу у Олсуфьевых танцуют, в пятницу Оболенская зовёт к себе. Кому платье, кому башмаки, кому ещё что. А у меня спазма в горле и груди, так что я говорить не могу, точно давлюсь словами, и ночь не спала от видений и кошмаров... Где граница между видением и виденным сном? Я видела сегодня ночью, и мне не было страшно, женщину в ситцевом платье, ноги босые и башмаки её шлёпали и волочились, когда она подошла к моему изголовью. Я спросила: «кто это?» Она обернулась и ушла в дверь гостиной. И я себе говорила: «ведь я не сплю, кто это входил, не воровка ли?» И если б мне сказали утром, что обокрали дом, я бы прямо подумала на эту женщину. И в зале на фортепиано всю ночь кто-то играл, и я опять думала, что дяде Косте не спится и он пошёл поиграть. И какая была чудесная музыка! И я наверное не спала и слышала наяву.

Маленький мой всё нездоров и очень мне мил и жалок. Вы с Сютаевым можете не любить особенно *своих* детей, а мы простые смертные не можем, да, может быть, и не хотим себя уродовать и оправдывать свою нелюбовь *ни к кому* какою-то любовью *ко всему миру*.

Я думала получить сегодня от тебя письмо, но ты вчера не побеспокоился написать и успокоить меня насчёт тебя. Впрочем, чем мне беспокойнее, тем лучше. Скорей сгорит моя свечка, которую теперь приходится очень сильным огнём жечь с двух сторон. Хотела тебе

написать: «живи покойно, я рада, что тебе хорошо, мне тоже прекрасно...», но это было бы лганьё.

Мне гадко, мне нездоровится, мне ненавистна моя жизнь, я целый день плачу и если б под руками яд был, я бы кажется отравилась.

Разделять эту жизнь я тебя не зову и опять не лгу. Твоё присутствие меня тоже расстроивает, тем более, что я ни тебя не могу успокоить и утешить, ни себя. Прощай» *(ПСТ. С. 172 - 173)*.

Великолепные, однако, «подкопы» под психику и религиозные убеждения мужа. И сколько! В одном только коротком письме:

1) Тревожащий образ – в самом начале письма, как эмоциональный удар. Младенец не просто плачет и тоскует, а *неистово кричит* – брошенный противным папкой и, конечно, снова больной-пребольной…

2) Образы *надуманной «общности»*: общее томление от города и светской суеты; общее небо – и, якобы, одно и то же поэтическое настроение от созерцания его…

3) Остранённые и негативные номинации вещного мира и образа жизни в условиях городской цивилизации: «пристают»; «тянет душу»; «юродство»; «сумбур»; «кругом вертящаяся какая-то машина» (легко узнаваемый толстовский приём «остранения» + его же, хорошо известная Соне, неприязнь ко «всяким там» машинам!).

4) Резкий переход от негативной картины городской суеты – к собственной болезни и каким-то мистическим видениям или сновидениям.

Всё – для одного: растревожить мужа, внушить мысль об ошибочности, оплошности его отъезда от больного ребёнка и измученной суетой и страхами жены. И, конечно, следующий психологически выверенный приём:

5) Атака на христианские убеждения мужа – упрёками и обвинениями («никого не любит, потому что любит весь мир» – стереотипная, кстати, неправда о христианах!).

А в подкрепление, конечно, ставшие уже нехорошей «традицией» в соничкиных письмах мужу –

6) *Суицидальные мотивы*. Письмо его от 3 февраля чуть задержалось – и готов мотив для отравления… пока, главным образом, настроения мужу. Но всё более чем серьёзно: в 1910 г. она будет грозить ему отравлением – катаясь, с криками воплями по полу или земле в саду, с пузырьком настоящего яда у рта.

7) Наконец, целый «заряд» латентной агрессии в последнем абзаце: тут и «не жалею, не зову, не плачу» (понимай наоборот!). Тут и клас-

сическое: «с тобой мне не лучше, чем без тебя!» — вечный мотив рассорившихся супругов. И, наконец, как злая пощёчина в конце письма – не менее классическое, даже предсказуемое: «ПРОЩАЙ!»

Следующее письмо Сони, написанное, как и предшествующее поздно вечером, даже ночью (с 4 на 5 февраля), когда все трудящиеся и эмоционально, нравственно благополучные люди отдыхают – продолжает нездоровое настроение письма от 3 февраля:

«Получила сегодня твоё тихое, покорное, но видно, что счастливое по твоему расположению духа — письмо, милый Лёвочка. Нет, не вызываю я тебя в Москву, живи сколько хочешь; пусть я одна уж сгораю, зачем же двум: ты нужней меня для всех и вся. Если я опять заболею, я пришлю телеграмму, тогда уж делать нечего. Наслаждайся тишиной, пиши и не тревожься; в сущности всё то же при тебе и без тебя, только гостей меньше. Вижу я тебя редко и в Москве, а жизнь наша пошла врозь. Впрочем какая это жизнь — это какой-то хаос труда, суеты, отсутствия мысли, времени и здоровья и всего, *чем люди живы.*

Сегодня мальчики, Илья и Лёля, были в опере, ещё Коля Оболенский, Иван Михайлович и Серёжа. Лёля всплакнул, говорят, когда в Фаусте один убил другого на дуэли. Вечером они были в цирке с Келлер, Лярскими, Оболенскими и Олсуфьевыми. Пять лож брали. Завтра утром я везу девочек в цирк и Андрюшу, а вечером на вечер к Оболенским. В субботу на вечер к Лярским: Олсуфьевы отменили свой вечер, Гриша у них болен и Анна с флюсом.

К Лярским очень скучно ехать, да и всюду скучно. Сегодня всё шила Маше платье к завтра, устала очень, а Фет болтал весь вечер, а я всё шила и шила. Утром ездила за покупками для вечеров же, дорога и погода ужасные; растрясло по ухабам и даже затошнило. Дядя Костя у нас всё, и сегодня помог с Фетом, и было не так одиноко.

Прощай, Лёвочка милый, будь здоров. Где ты? т. е. ты такой, какой был когда-то в отношении меня. Такого теперь тебя давно нет.

Прощай, уж 2 часа ночи, а ещё дела мне много.

Соня» *(ПСТ. С. 174 - 175).*

Итак, мы видим, что умненькая Соня уже не просто пишет письмо мужу, а *сочиняет*, подбирая не только слова, но и синтаксические конструкции, идейный, образный и эмотивный «инструмен-

тарий». Всё-таки весьма оплошно давал ей Лев Николаевич на переписывание свои рукописи! Многоталантливая Соничка *многому*, на его голову, научилась! И она себя ещё ох, как покажет!..

Толстой медленно «отходил» от Москвы – буквально выздоравливал, упиваясь тишиной и общением с Природой. Но – увы! – творческие силы сполна восстановить не удалось – и переписка с женой играла в этом существенную роль. Сообщает Николай Николаевич Гусев:

«Уже на второй день по приезде в Ясную Поляну Толстой начал статью, озаглавленную «О помощи при переписи». Каждый день во время своего кратковременного на этот раз пребывания в деревне он пытался заставить себя продолжать начатую статью, но слабость и головные боли, с одной стороны, и возбуждённое нервное состояние как результат всего пережитого им во время переписи <в Москве> — с другой [...], не давали ему возможности плодотворно работать. [...] Жена писала Толстому каждый день, но её письма не могли способствовать его выздоровлению. Из этих писем видно, как далеко зашёл к тому времени семейный разлад Толстых» *(Гусев Н.Н. Указ. соч. С. 127)*.

Мы видим это по только что приведённым письмам Софьи Андреевны…

5 февраля в состоянии Льва Николаевича наступило существенное улучшение. Он, наконец, взялся было за вожделенную работу, прерванную вынужденным общением с гостями – и так увлёкся тем и другим, что не успел написать обещанное Соне письмо, отослав вместо него телеграмму:

«Не успел вчера написать; помешали. Здоров. Работаю» *(83, 317)*.

На следующий день коротенькое письмо, конечно, уже было написано. Обратим внимание, что к этому времени Толстой получил от жены только первое из писем данного эпизода переписки – от 2 февраля.

Приводим ниже текст письма Льва Николаевича от 6 февраля 1882 г.

«Вчера я чувствовал себя лучше всех дней, — спина перестала болеть, и я только что взялся за работу, как приехал Урусов. А я только послал ему письмо, в котором тонко намекал, чтобы он не ездил. Он встретил Филипа <Егорова, кучера> у границы и приехал, и я был очень не рад. Утром я занялся, но всё уже не то, и вечер устал ужасно

от разговоров. — Теперь для меня нет ничего ужаснее разговоров. Он не виноват и очень мил, но я-то наговорился уже до конца моей жизни — не захочется.

Он ночевал в доме, в тётинькиной комнате, а няня в девичьей, и они оба не угорели, а тепло там очень, и я нынче — хоть на два дня — перехожу туда. Жив буду, то выеду в понедельник или вторник, — смотря по работе и известиям от тебя.

Блины были 3-го дни прелестные. Арина <Хролкова, крестьянка Ясной Поляны. – *Р. А.*> пекла. Но ап<п>етита нет. Всё время не по себе. Теперь лучше.

Вчера Урусов спутал меня, и я не написал письма тебе. Вместо этого телеграфирую. И не получил от тебя письма, кроме первого. Нынче верно привезут два. Прощай, душенька. Не тревожься обо мне. Мне хорошо. А люблю тебя всё так же, как с тобой, так без тебя.

Как-то справляете масляницу? Помнят ли тебя дети?» *(83, 316 - 317).*

В ночь на пятницу, 5 февраля – опять ночью! – пишет своё встречное письмо мужу и Софья Андреевна. К сожалению, её настроение в этом письме выразилось прежнее, если даже не худшее. Приводим полный его текст:

«Сейчас вернулись от Оболенских, милый Лёвочка, усталые, и детям кажется, было весело. Таня тоже танцовала и Таня Олсуфьева была и Лярские две, и Келлеры — пар 15-ть должно быть. Даже старик <В. А.> Олсуфьев приехал и всё говорил: «мне очень весело!» Теперь половина второго, слава Богу все разошлись и легли спать; все здоровы и не слишком тревожны. У меня под ложечкой болит, и я боюсь своих болей. Были днём в цирке: чудесный цирк, а мне было весело на Андрюшу смотреть, хотя и сознаю, что подобные увеселения вредны детям. Но он вслух рассуждал, смеялся, даже аплодировал мальчику и пони.

Мне пришлось прервать письмо: я кормила, раздевалась, кончала все дела и теперь скоро три часа ночи, так я всякий день ложусь.

Сейчас перечла твоё письмо, которое получила сегодня. Поправляйся здоровьем, живи в Ясной, сколько хочешь, пиши и наслаждайся. Если пошла жизнь врозь, то надо устроиваться каждому наилучшим образом, что я и постараюсь для нас, т. е. меня и детей. До сих пор мне ещё очень тяжело и непривычно, но люди ко всему привыкают. Почему городская жизнь вызывает *споры* — этого я не понимаю; какая кому охота проповедывать и убеждать. Это просто

неопытность и глупость — делать это, и надо это предоставлять неопытному и наивному Сютаеву.

Машенька была сегодня, дядя Костя совсем поселился у нас. Какая горькая насмешка судьбы — Костенька вместо тебя! Это всё я крест несу за мой переезд в Москву. Но впредь меня не подсунешь на это — я больше не перееду в Москву, — да что, жива ли ещё буду.

Три часа пробило, прощай, я пишу всегда такая усталая, что письма мои выходят злы. Да, я-таки зла стала, верно от желчной болезни. Не езди ко мне подольше, без меня тебе много лучше. Маленький мой всё нездоров. Да тебе это не интересно. Дети эти маленькие исключительно *мои*, и их больше у меня не должно быть и не будет. Лишние страдания и из чего — жизнь врозь пошла, пусть будет *вполне* врозь.

Как я хочу уязвить тебя, но если бы ты знал, как я всякий день плачу, когда после дня терзания для жизни плоти, как ты называешь, я ночью останусь одна с своими мыслями и тоской, с единственной радостью, когда мне Андрюша скажет, в роде как нынче: «мама́, тебя кто любит?» — Я ему говорю: — «Никто, Андрюша, меня не любит, папа; уехал». А он говорит: «Я тебя люблю, мама́». И отчего ему в голову пришло? Я его раздевала молча на верху, и он на меня пристально смотрел, верно вид у меня был несчастный.

Хотела писать одни факты: там была, то делала … просто, без чувствительности, и опять расстроила тебя и разжалобила себя. Ты не обращай внимания. Тане передам завтра твои наставления. Как они нынче ужасно побранились с Серёжей. Он кричал, и я испугалась даже.

Соня» *(ПСТ. С. 175 - 176)*.

Итак, Соня сама замечает недоброту своих писем мужу. Но – увы! – «рознь» их семейной жизни приписывает чистой христианской вере мужа, а не тому мусору житейских установок и мирских обманов, которые создавали «барьер невосприятия» веры Иисуса и Льва в её голове. При этом как раз дневник и письма жены Толстого не позволяют утверждать, что барьер этот создавался и рос в её сознании спонтанно, не по воле самой Sophie. В данном письме мы видим своего рода «столп и утверждение» парадигматики мирской, языческой жизни – и в подтверждении якобы «непреодолимой» розни, и в новостях о городских, «светских» развлечениях детей Льва Николаевича, и в строках о детях – включая намёк на невозможность, *нежелательность* интимных отношений с мужем… Смысл объяснений мужа в одном из предшествующих, приведённых нами, писем о

причинах его отъезда (тяжёлые и неприятные встречи, споры…) – жена просто не уразумевает (или делает вид).

Наконец, Сютаев для Софьи Андреевны – «неопытный и наивный» простак — каким, вероятно, казался Иисус в земной жизни для многих его противников и гонителей в еврейском и языческом мире.

В целом, в этом письме Соничка снова – чуткий психолог и манипулятор. Чего только стоят “отсылки” к грудному младенцу и ссорящимся, «страшно кричащим» и избаловавшимся без отца старшим детям. Это всё (вкупе с интимно-«постельным» тизером) как будто излишние, но вовсе не случайные в письме подробности – призванные повлиять не на разум, а на инстинкты и чувственность Льва Николаевича, затащить его поскорее назад, в московское адище – ухватив, образно выражаясь, одновременно «за сердце и мошонку».

Через сутки – в самое «волчье» время ночи на 6 февраля, субботу – графиня Толстая продолжила своё эпистолярное камлание при свечах письмом (с объёмной припиской к нему), в котором повторяется ряд уже отмеченных нами тенденций:

«Опять половина четвёртого ночи, милый Лёвочка, и я пишу тебе. Мы только что приехали с вечера Лярских, где Тане и Илюше было очень весело. Серёжа не поехал, несмотря на мои уговоры. Там танцовали, было очень хорошее общество, Уварова с двумя дочерьми, Голицыны, Лобановы, Мария Михайловна Волкова с дочерью, Пушкина с дочерью (жена Ивана Ивановича слепого) и многие ещё. Но кавалеры всё гимназисты. Ностиц дирижировал, Таня приехала в восторге.

А я нынче собираюсь утром ехать — мне говорят: граф и графиня Уваровы. Я их приняла, они сидели долго; но она (твоя бывшая пассия) мне не понравилась, ей на зубок попасться — не дай Бог.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Речь идёт о графине Прасковье Сергеевне Уваровой (1840 - 1924), урожд. княжне Щербатовой – одной из тех, кем в молодости кратковременно увлекался Лев Николаевич.]

Ездили мы на коньки к Лазарику <каток на Петровке. – *Р. А.*>, и брали Дрюшу и Мишу. Катались дети не долго — очень устали от вчерашних танцев. Илюша курил и пил там пиво в ресторане при коньках, и это очень огорчительно. Единственное ему отвлечение от всяких соблазнов — это вот такие вечеринки, как сегодня.

Завтра едем в манеж утром, с маленькими детьми. Вход им бесплатный, а это вместо прогулки. Вечером приедут Лили <Елизавета Дмитриевна> Оболенская и дети Олсуфьевы. Затем играть в игры, позову ещё наших Оболенских, Леонида детей <Семья Л. Д. и Е. В. Оболенских, на тот момент трое детей: Николай, Мария и Александра. – *Р. А.*>.

Потом, слава Богу, масляница кончится и удовлетворённые достаточным весельем дети, — надеюсь, успокоятся.

Маленькому моему и мне лучше, верно по случаю мороза.

Получила сегодня за обедом твою телеграмму, за которую спасибо. Надеюсь, что правда, что ты здоров, дай-то Бог.

Прощай, Лёвочка, руки дрожат от усталости, 4 уж пробило. Целую тебя. Дети все здоровы.

Соня» *(ПСТ. С. 177)*.

Видимо, сообразив из полученной телеграммы Льва Николаевича, что его хорошее самочувствие – залог скорого возвращения, Софья Андреевна решила сменить настроение письма – но не переписывая (ибо там всё было, как было нужно…), а сделав такую «примирительную» приписку:

«Теперь утро субботы, 7 часов утра. Я кормила и мучилась тем, что пишу тебе такие дурные письма, как опять вчера. Но в 4-м часу ночи бываю так уставши и раздражена. Прости меня, пожалуйста. Распечатала нарочно конверт, чтобы сделать эту приписку. Так естественно, что ты уехал, так законно и нужно тебе это было, и я иногда сознаюсь в этом. Но люди эгоисты, и я тоже.

Всю ночь шёл снег и я вижу, что нынче пороша. Жива ли Булька? <Любимый охотничий пойнтер Льва Николаевича. – *Р. А.*>

Да, лошадей не стоит теперь распродавать, прокормивши всю зиму. На чём же мы ездить будем? Ведь останутся клячи вроде Голубого и только. Гнедого ни за что не продавай и Мужика, а то что же запрягать? Когда приведут из Самары, тогда и продать.

Это я так, между прочим, пишу, я теперь часто сама мечтаю о том, когда я перееду в Ясную.

Прощай, голубчик, ложусь, а то опять разгуляюсь, а нынче опять на вечер. Целую тебя, прости.

Соня» *(Там же. С. 177 - 178)*.

Таким образом, в письмах Софьи Андреевны 5 и 6 февраля – всё, что она могла сделать, дабы вернуть мужа в город: и рассказы о нелюбезных Толстому «безбашенных» увеселениях детей, и раскаяние в предпочтении городского образа жизни (вряд ли искреннее), и пожелания вернуться в Ясную Поляну (на деле: приезжать туда с детьми, желающими развлекаться в деревне летом — как вся тогдашняя российская зажиточная буржуазия уматывала летом из городов «на дачи»).

Если своего рода «тезисом» в писаниях Софьи Андреевны данного Фрагмента Переписки считать её упрёки, намёки и сквозящую “между строк” злость, а «антитезисом» — выявленные нами приёмы манипуляции, привлечения мужа к себе и семье, то последнее в анализируемом нами Фрагменте её письмо, от 7 февраля – своего рода «синтез» этих тенденций и настроений жены Толстого. Письмо мужа от 6 февраля уже получено, и «любящая» супруга специфически реагирует на известие, что он скоро будет «дома», в московской душегубке – то есть, что, без её манипулятивных усилий (в письмах от 4, 5 и 6-го, которые задержались) Толстой принял решение ехать из милой Ясной назад, в Москву.

Внимательно вчитаемся:

«В первый раз в жизни моей, милый Лёвочка, я сегодня не обрадовалась твоему скорому возвращению. Ты пишешь, в понедельник или во вторник ты выедешь: значит, может быть, завтра ты приедешь и опять начнёшь страдать, скучать и быть живым, хотя и молчаливым, укором моей жизни в Москве. Господи, как это наболело во мне и как измучило мою душу!

Это письмо тебя может быть не застанет; если же застанет, то не думай, что я очень желаю твоего возвращения; напротив, если ты здоров и занимаешься и, особенно, если тебе хорошо, то зачем же возвращаться? Что ты мне не нужен ни для каких житейских дел — это несомненно. Я всё держу в порядке и в равновесии пока: дети покорны и доверчивы, здоровье лучше, и всё идет в доме, как следует. Что же касается до духовной моей жизни, то она так забита, что не скоро и дороешься до неё.

И пусть будет пока забита, мне страшно её раскопать и вывести на свет Божий, что я тогда буду делать? Эта внутренняя, духовная сторона жизни до такой степени не согласуется с внешней.

Сегодня утром мы были в манеже со всеми детьми, Машенькой и Helene. Но толпа большая, видели какой-то мерзкий, механический

театр <!! – *Р. А.*> и не добрались больше ни до чего. Покатали Мишу и Дрюшу на круглых качелях, измучилась ужасно от толпы и не вышло это. Обедал у нас Дьяков и Машенька и дядя Костя. Дьяков и Машенька взяли Таню в концерт цыган, а ко мне приехали вечером Л. П. Оболенская с Лили, двое детей Олсуфьевых и наша Лиза Оболенская с детьми. Играли в petits jeux, [*фр.* игры] ели сладости и очень веселились.

Все наши дети так довольны масляницей, что даже с удовольствием берутся за учение. У нас гостей бывает очень мало и тихо без тебя ужасно. А ты не умеешь себя оградить от толпы, которая на тебя напирает, даже в Ясной на тебя налетели. <Речь о нежеланном визите Урусова, описанном Толстым в вышеприведённом письме от 6 февраля. – *Р. А.*>

Прощай, милый друг, если вернёшься, я деспотически буду отбивать от тебя *разговаривающих умников*. Тогда ты увидишь, как тихо и хорошо можно тут жить.

Сегодня ложусь раньше, авось опомнюсь и отдохну. Жаль, что ты всё не совсем здоров, слаб и без аппетита. Как это деревенский воздух не дал тебе аппетита? Ходил ли ты с ружьём?

Прощай, если не приедешь, напиши, пожалуйста.

Соня» *(ПСТ. С. 179 - 180).*

Да, умненькая Соня, не умевшая без примеси и оглядки радоваться ничему, осталась сама собой и здесь: она, действительно, не была очень уж рада такому долгожданному известию от мужа о возвращении домой. В мемуарах она очень искренно, как может, объясняет этот психологический парадокс:

«Когда он мне писал о своём возвращении в Москву, я как будто даже испугалась и почувствовала, что при всей трудности моей жизни с семьёй и заботами о ней, забота о Льве Николаевиче и его настроении обессилит мою энергию» *(МЖ – 1. С. 369).*

Действительно, не страдать самой от собственного характера легче, живя поодаль от того, кого обычно заставляешь страдать…

Конечно, Софья Андреевна не могла и не смогла бы исполнить данное ею в письме от 7 февраля обещание – оградить Льва Николаевича от болтливых «умников». Это претило её ориентации на светскую “открытость” дома – и отнюдь не единомышленникам Толстого в Боге и Христе (которых, с долей презрения, она именовала «тёмными»), а как раз светским болтунам и молодым бездельникам, любопытствовашим поглазеть на «опростившегося графа», а заодно –

поиздеваться, поспорить с ним. В мемуарах изрядную долю вины за этот домашний непокой она перекладывает на самого Толстого – и, опять же, отчасти справедливо:

«…Мне не удалось никогда оградить Льва Николаевича и нас от наплыва посетителей; он мне не только не помог в этом, но мешал всячески, принимал всех на свете, уставал, сердился, и всё-таки всех пускал и даже звал к нам. Как это объяснить? Не знаю. Он только одно говорил на это: “Если я нужен людям, я не имею права их не принимать”. И побуждало Льва Николаевича к этому ещё вечное любопытство. “А что, как пропущу что-нибудь или кого-нибудь интересного?” – казалось, думал он» *(МЖ – 1. С. 369)*.

Собственно о возвращении Л.Н. Толстого Н.Н. Гусев сообщает следующее:

«…Толстой знал, что, несмотря на то, что его жизнь пошла врозь от жизни жены, несмотря на её “язвительные” письма, она всё-таки сильно тосковала во время его даже кратковременных отлучек, и так как его работа над статьёй не пошла, то и пребывание его в Ясной Поляне, несмотря на всю прелесть деревенской жизни, не имело в его глазах оправдания, и 8-го или 9-го февраля он вернулся в Москву» *(Гусев Н.Н. Указ. соч. С. 128)*.

К этому наблюдению одного из лучших биографов Л. Н. Толстого добавим в заключение данного Фрагмента Семнадцатого эпизода нашей книги только одно: вопреки своим декларациям («жизнь врозь пошла – пусть будет *вполне* врозь…» и под.) Софья Андреевна, как представляется, задалась в 1882 году непродуктивной и опасной установкой: «вернуть мужа семье» — всеми средствами заставить его сделать выбор в пользу неё, детей и городской барски-буржуазной жизни. Сколькими драмами обернётся это для неё самой – хорошо известно читающей публике. В дальнейших частях нашей аналитической презентации мы затронем лишь те эпизоды семейной драмы Толстых, которые напрямую будут связаны с продолжавшимся эпистолярным диалогом супругов.

КОНЕЦ ФРАГМЕНТА 1-го
СЕМНАДЦАТОГО ЭПИЗОДА

———

Фрагмент 2-й.
СТАРАЯ МЕРЗЛАЯ КАРТОФЕЛИНА ОТТАИВАЕТ
(27 февраля – 6 марта 1882 г.)

На этот раз Лев Николаевич выдержал в Москве только три недели. 27 февраля 1882 г. он вновь выезжает в Ясную Поляну – «очнуться от ужасной московской жизни», как пояснял он в письме от 4 марта к Alexandrine Толстой *(Л.Н. Толстой и А.А. Толстая. Переписка. М., 2011. С. 404)*. С собой он захватил сына Илью – вероятно, для некоторого воспитательного воздействия на этого ленивца и "барчонка", уже гнусно развращённого традиционным в семействе Толстых «воспитывающим» влиянием.

Софье Андреевне же, урождённой и убеждённой Соничке Берс, горожанке (хуже того – москвичке), конечно, не от чего было «очунаться» и приходить в себя. Она, как и воспитанные ею сыновья (в большей степени *её* берсята, чем львята Льва) — как черти ладана, бежали деревенской жизни, единосущной природе человека как разумного, сознательного дитя Бога, а в городских суете, шуме и особенно разврате — напротив, чувствовали себя, как рыбки в воде. Постепенно Софья Андреевна осознала ситуацию своего городского знаниевого и психологического «превосходства» — как средства, с одной стороны, манипулировать чувствами и поведением мужа (в выгодную для неё и её детищ сторону), с другой же — как перед единомысленными ей гостями московского дома, так и перед потомками (в дневнике и мемуарах) выставлять мужа человеком неумным («неотёсанным» в городской и вообще в практической жизни), непоследовательным, неискренним… всячески подчёркивая и жестоко «обличая» каждую его слабость, каждую *уступку* в тяжёлой, мучительно-стрессовой для него ситуации. Мы не будем специально приводить здесь примеров такого продуманного, расчётливого лукавства умной доченьки обрусевшего лютеранина – они буквально рассеяны по мемуарам и дневнику Софьи Андреевны, но мы иногда будем обращаться к ним как к иллюстрациям тех или иных биографических сюжетов представленной здесь Переписки супругов.

Сейчас – непосредственно к ней, к первому из писем данного Фрагмента, хронологически охватывающего период с 27 февраля по 6 марта 1882 года.

Добравшись до родного дома, до милой Ясной, Лев Николаевич субботним вечером 27 февраля сообщал жене, как сразу, с первых

минут и часов живой жизни в Природе, начал опоминаться, приходить в себя – пройдя через период депрессии, «ломки», подобно вытрезвляемому пьянице или наркоману:

«Ну вот, поехал я прямо до Козловки и сделал очень хорошо… Сани выехали парные, и мы доехали прекрасно, напились чаю и легли спать. Я испытываю то же чувство, как и тот раз, — страшной усталости, слабости, грусти тихой и упадка сил. — Должно быть, я отдыхаю. Спали с Илюшей в одной комнате, проснулись поздно; явился Михал Фомич <Крюков, бывший (до 1877 г.) лакей Толстых; в 1882 г. – скорее, как гость и добровольный помощник, периодически бывал в яснополянском доме. – *Р. А.*> — служить, и Илюша с ним пошёл на охоту. Видели зайца, но не убили. Я сидел до 3-х, не мог от вялости взяться за работу и читал старые Revues <«Revue des deux Mondes» — много лет излюбленное журнальное чтение Льва Николаевича. – *Р. А.*> — прекрасные статьи по религиозным вопросам и много думал. Потом поехал верхом и ещё больше думал. Приехал, обед был: бульон, курица несъедобная с *саго* вместо риса, но картошка в сметане выручила. Завтра будет уже говядина.

Буду писать аккуратно, и ты пожалуйста. Главное, чтобы письмо твоё попадало в ящик в 8 ч. утра.

Здесь все ручьи налились, так что проехать трудно. Но нынче морозит, и выдуло так, что я топлю другой раз. Нынче смотрю на Кузминских дом и думаю: зачем он себя мучает, служит, где не хочет и они все, и мы все. Взяли бы да жили все в Ясной и лето и зиму — воспитывали бы детей. — Но знаю, что всё безумное возможно, а разумное невозможно.

Прощай, душенька, целую тебя и детей» *(83, 318 - 319)*.

И далее в письме Льва Николаевича — подведена характерная (и хар**а**ктерная) черта. Здесь она не просто отделяет интимно-личную часть письма от «деловой» (речь под чертой, в последних абзацах, идёт о покупке лошадей). Она разделяет и вышеупомянутые в письме Толстого «безумное» и «разумное»: слабость Льва Николаевича, его уступку аристократическом привычкам и мирским заботам, от того, что *сущностно* составляло его самого. Именно в эту, вынужденную, раздвоенность и “вгрызается” предсказуемо своей критикой Софья Андреевна — на самом-то деле очень довольная как раз такими эпизодами заботы мужа об имении, куплях и продажах, доходах семейства и прочей мирской суете. Для неё, барышни довольно нерусской и генетически, и по городскому воспитанию, и по

еврейской в своих истоках «православной» вере, то есть уж совершенно не христианки — в *этом* была настоящая жизнь. Состояние Льва Николаевича, — от которого он, как писал, «отходил» в Ясной Поляне, — она предпочитала трактовать пусть в целом и верно, но… в *важных мелочах* — совершенно неправдиво. В этом смысле интересна запись Софьи Андреевны в личном дневнике под 28 февраля 1882 г. — больше похожая на некое публичное оповещение и одновременно самооправдание перед потомками, будущими читателями дневника:

«Жизнь наша в Москве была бы очень хороша, если б Лёвочка не был так несчастлив в Москве. Он слишком впечатлителен, чтоб вынести городскую жизнь, и, кроме того, его христианское настроение слишком не уживается с условиями роскоши, тунеядства, борьбы городской жизни. Он уехал в Ясную вчера с Ильёй заняться и отдохнуть» *(ДСАТ – 1. С. 108)*.

Приколупавшись к его сравнению в письме (см. ниже) «поэтической работы» с освежающим купанием, она неправдиво противопоставляет эту работу — «томящей», над религиозными сочинениями. Неправда уже в том, что жена, помогавшая много лет в писаниях мужу, не могла не помнить, как перенапрягала и именно *томила* Льва Николаевича работа — хотя бы над его великими романами!

То есть «виноваты» у жены христианские, только становящиеся, убеждения мужа, вкупе с чувствительностью, незачерствелостью души, которую не могли не ранить картины городского народного неблагополучия… Такую живую душу Софья называет в мемуарах и искренне считает *больной (МЖ – 1. С. 474)*.

Это опять “работает” толстовская зеркальность: люди, много лет общающиеся с Толстым (и не только лично, но даже через его писания…) приобретают свойство видеть в нём, его личности, *свои* пороки: критиковать себя, думая, что критикуют его. Соня нездорова, и, как многие городские обитатели и в наши дни, *никогда* не была совершенно здорова психически. И не только в 1900-е, когда писались мемуары, но и в этом же 1882-м (как мы увидим из её письма ниже) она видела в нём, как отражение — *собственную* неспешно прогрессирующую болезнь.

А душа Толстого не была больной. Она была — младенческой. Толстой-христианин только лишь успел родиться в мир. Возрастать же в вере ему придётся, увы — в самых неблагоприятных для этого домашних условиях, во многом связанных с поведенем именно жены и матери, то есть Софьи Андреевны Толстой. Где тот «уют и комфорт», якобы создававшийся новорождённому Львёнку, на который, со времён Власа Дорошевича, так напирают поклонник и защитники Софьи Толстой? Он был для

разрушавшейся плоти, для старого *тела*, из которого стремилась освободиться душа, это верно… но не для самой этой детской, ранимой души!

Ответ Sophie на письмо мужа от 27 февраля не был опубликован. Мы располагаем только следующей цитатой из него, приведённой в Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого:

«И чего ты всё грустишь, милый мой! И тут грустно, и там грустно! А право, только бы радоваться надо, такое, пока, бог счастье посылает. Неужели тебе не бывает радостно?» *(Цит. по: 83, 319)*.

Быть может, здесь мы и окажемся неправы, но скрытое раздражение, сдобренное *нежеланием* понимать, отчуждением, ощутительнее в этих строчках, нежели подлинная забота о «милом» супруге.

И снова мемуары Софьи Андреевны:

«Неопределённость настроения Льва Николаевича была так велика, что никто в мире не мог бы понять, чего он хочет. Писать можно одно, но в жизни поступать иначе. Особенно поразительна была эта покупка дорогих лошадей при крайнем отрицании собственности и денег. Но я радовалась и этому…» *(МЖ – 1. С. 374)*.

Добавим от себя, что, заботясь, якобы «противоречиво», о лошадях и доходах семьи, Толстой-христианин такой уступкой неизменно радовал своё сердце — понимая необходимость смирения и милости. Ребёнок боится темноты — и хороший отец не пожалеет, хотя бы некоторое время, оставлять зажжёнными свечи в его спальне. Тянется к любимой игрушке — положит ему в постель. Человек без христианской веры тоже боится — и тянется к средствам мнимого «обеспечения» жизни посредством скопленных богатств и организованного для их и его защиты насилия…

Вряд ли бы Толстой прожил с женой и семейством ещё полные 28 лет, если поступал бы *точно* в соответствии хоть с собственными писаниями — не говоря уже о Писании священном.

28 февраля Лев Николаевич отсылает в Москву такое, очень интимно-личное, послание:

«Вот 2-й день что я в Ясной. Пишу в 3 часа дня. Опять всё утро ничего не делал и был в самом унылом, подавленном состоянии; но не жалею об этом и не жалуюсь. Как мёрзлый человек отходит и ему больно, так и я, вероятно, нравственно *отхожу*, — переживаю все

излишние впечатления и возвращаюсь к обладанию самого себя. — Может быть это временно, но я ужасно устал от жизни, и мне хорошо отдохнуть.

Илюша, нынче опять с Михайлой на охоте; — опять видел и стрелял зайца, и очень доволен. — Я читаю Revue, — статьи религиозные очень интересные и делаю пасьянс.

Сейчас в первый раз раскрыл свои тетради и вижу возможность писать. — Может быть, завтра начну. Очень меня мучает то, что вышло так, что я тебе навалил заботы о лошадях и Филипе. Пожалуйста, прости меня за это. Это случилось невольно и, главное, не бери к сердцу, если выйдут какие-нибудь затруднения.

Как нарочно, это так случилось. Знаю, что если ты будешь здорова, то всё сойдёт хорошо, а если нет, то очень понимаю, что тебе станет досадно, и совершенно справедливо упрекнёшь меня, — ко всем твоим заботам навалил тебе ещё заботу о лошадях, которой ты и не сочувствуешь. — Одно помни: что как бы что ни вышло и только бы ты не сердилась — всё будет прекрасно.

Комната очень хороша, тепла, постель прекрасна, пища — тоже, и я, надеюсь, завтра напишу тебе бодрое письмо.

Я передумал насчёт адреса твоих писем и прошу тебя писать вперёд на Козловку <Козлова Засека, ближайшая к Ясной Поляне станция железной дороги. – *Р. А.*>. Я сейчас свезу это письмо сам и попрошу любезного Начальника Станции, и каждый день буду гулять на Козловку, отдавать своё и получать твоё письмо.

Прощай, душенька, целую тебя и детей» *(83, 320 - 321)*.

Как видим, Толстой доверчиво изъясняет любимой и «любящей» жене своё состояние, наивно извиняется о лошадях и демонстрирует – несмотря ни на что – истинные заботу и супружескую ласку.

На очереди – ответ Софьи Андреевны на письмо Толстого 28 февраля, написанный ею 1 марта 1882 г. Характерно, что оно *начинается* с того, чем Лев Николаевич в письме от 27-го только заканчивает: с продажно-лошажьей темы.

Приводим текст письма от 1 марта полностью.

«Милый мой Лёвочка, боюсь, что с лошадьми я что-нибудь не так поступаю, главное задерживаю Филиппа <Егоров, кучер Толстых. – Р. А.> и замедляю покупку. Но узнавание цен пересылки оказалось очень сложно. Сегодня я посылала Филиппа на Курскую дорогу и оттуда узнали, что каждая лошадь из Москвы до Ряжска через Тулу

будет стоить 11 р. 80 к. с. Завтра утром посылаю на Рязанскую дорогу, это вёрст 8, говорят. Тогда уж возьму лошадей, заплачу и пошлю, если, как ты писал, разница в цене будет не больше 10 р. с. или в Тулу, или в Ряжск прямо. Я бы купила лошадей, т. е. взяла бы их к нам; но ведь ты не велел, я и не решаюсь.

Писала тебе вчера вечером, теперь пишу опять после обеда. Приехал сегодня Серёжа брат, очень жалеет, что тебя нет. Говорит: «хоть мы с ним на разных полюсах, но послушал бы от него, что он говорит». Я говорю: «поспорили бы», а он говорит: «сохрани Бог, умирать скоро, а нас не много осталось, зачем спорить».

<Дочь> Верочку не привёз, дороги нет. Депутацию их в Петербурге отказали; а приехал он так себе, не за чем, стало быть. Денег отдать не может, хочет дать вексель. Очень жаловался на Гришу, что долгов пропасть, и скрытничает, и неприятен. Я всё советовала оградить состояние девочек от этого ненадёжного брата. <Григорий Сергеевич Толстой; будучи военным, вёл разгульный образ жизни. – Р. А.>

Был нынче молодой Мансуров, привёз два билета в концерт А. Рубинштейна, которые он обещал Тане. Была Женни англичанка, сестра <гувернантки> Ханны, и я просила её адрес Эмили <Табор; гувернантка Толстых в нач. 1870-х. – *Р. А.*>, которой хочу написать. Серёжа и Таня в весёлом и игривом были духе, а теперь у Серёжи зубы заболели. Маша, Лёля, Андрюша, Федька <лакей>, Carrie и <служанка> Варя ездили в Зоологический сад, смотреть зверей. Погода ясная, им было очень весело. Миша немного кашляет и насморк, и он проспал до 4 часов, потому не брали его. Сама я крепко сижу дома, и хотела сегодня с Серёжей и Таней ехать к Машеньке вечером; сегодня её рожденье, не знаю, удастся ли, хотела ко мне приехать Катенька Свербеева (Сухотина). Она мне не очень понравилась: её хвалили все, а я не нашла в ней вкус. Может быть, и её повезу к Машеньке, чтоб не сидеть с ней tête á tête; [фр. с глазу на глаз] конечно, если она согласится, она Машеньку знает.

Отдыхаешь ли ты и хорошо ли себя чувствуешь? Письма сегодня от тебя не было, верно ты с Илюшей напишешь. А я жду с нетерпением от тебя писем, чтоб знать о состоянии твоего здоровья и нервов. Надеюсь, что ты от меня будешь теперь получать письма во время, я буду посылать всегда с вечера.

Когда я о тебе думаю (что почти весь день), то у меня сердце щемит, потому что впечатление, которое ты теперь производишь — это, что ты несчастлив. И так жалко тебя, а вместе с тем недоуменье: отчего? за что? Вокруг всё так хорошо и счастливо.

Пожалуйста, постарайся быть счастлив и весел, вели мне что-нибудь сделать для этого, конечно, что в моей власти и только мне одной в ущерб. Только одного теперь в мире желаю: это твоего спокойствия души и твоего счастья. Прощай, милый, если не кончился бы лист, я способна ещё много писать. Целую тебя.

Соня» *(ПСТ. С. 180 - 183).*

И следом, получив мужнино письмо от 28-го (с просьбою отсылать письма не в Тулу, а на Козлову За́секу), Софья Толстая распечатывает 2 марта ещё не отправленное, накануне писанное, своё письмо и присовокупляет к нему следующую записку:

«*После письма.*

Сейчас хотела посылать письмо, адресованное в Тулу, и распечатала, чтоб адресовать на Козловку и выразить тебе, главное, своё сочувствие, что ты независимо от своей воли *замёрз* в Москве. Я знаю, что ты не мог иначе, если б даже хотел. Мои просьбы и надежды развеселить и осчастливить тебя — напрасны. Мне очень больно твоё состояние, и мне очень трудно всё в жизни помирить. Зачем ты мне столько воли дал?

За лошадей я ни капельки не сержусь, боюсь напутать и что-нибудь пропустить, за что извинишь.

Кончаю, иду кормить, кричит маленький.

Прощай; отдыхай, люби меня, не проклинай за то, что посредством Москвы привела тебя в такое положение» *(ПСТ. С. 184).*

«Зачем ты ей столько воли дал?» — этот вопрос, вослед за Соничкой, мысленно задают Льву Николаевичу поколения исследователей. Но на него нет и никогда не будет рационального ответа.

Не дождавшись ещё и письма от 1 марта, 2-го Толстой отсылает “традиционное” для переписки супругов встречное письмо. Именно “отсылает”, а не отправляет по почте: письмо уехало из Ясной Поляны вместе с сыном Толстого Ильёй, который, уже предавшись развращению города, быстро заскучал с отцом в зимней деревне.

Краткость письма красноречиво свидетельствует о тех покое и одновременно напряжённой интеллектуальной жизни, которые желал обрести и обрёл Лев Николаевич (отчасти и потому, что почта немного задержала письмо Софьи Андреевны от 1 марта). Несмотря на отсутствие в толстовском письме важных известий, именно

своим покойным, серьёзным тоном – свидетельством душевного здоровья и духовного благополучия автора – оно заслуживает быть приведённым здесь полностью.

«Илюша расскажет тебе про меня. Я нынче пытался писать, но сделал мало. Всё какая-то усталость, хотя нынче чувствую себя бодрее. — Писем от тебя не получал ещё и беспокоюсь о тебе. Нынче почти не выходил, — погода нехороша. Делаю пасьянсы, читаю и думаю. — Очень бы хотелось написать ту статью, которую я начал, но если бы и не написал в эту неделю, я бы не огорчился. Во всяком случае мне очень здорово отойти от этого задорного мира городского и уйти в себя, — читать мысли других о религии, слушать болтовню Агафьи Михайловны и думать не о людях, а о Боге.

Сейчас Агафья Михайловна повеселила меня рассказами о тебе, о том, каков бы я был, если бы женился на Арсеньевой. “А теперь уехали, бросили её там с детьми, — делай, как знаешь, а сами сидите, бороду расправляете”.

Это было хорошо. Рассказы её о собаках и котах смешны, но как заговорит о людях, — грустно. Тот побирается, тот в падучей, тот в чахотке, тот скорчен лежит, тот жену бьёт, тот детей бросил. И везде страдания и зло, и привычка людей к тому, что это так и должно быть. — Если бы я писал утром, я бы написал тебе бодрое письмо, а теперь опять уныл.

Сейчас 12-й час, и я еду провожать Илюшу на Козловку.

Прощай, душенька, целую тебя и детей.

Парники нынче набиты, присылай семена.

Приеду, если чего не случится, в воскресенье» *(83, 321 - 322).*

Контрастом в отношении этого, пусть и грустноватого, но краткого, спокойного и доброго письма – служит следующее по хронологии, от вечера 3 марта, письмо Софьи Андреевны. Илья очень спешил к любимым собакам и городским развлечениям, и матушка его успела 3-го получить и прочесть только что приведённое нами письмо Льва Николаевича. Здоровый тон его, — а также, вероятно, упоминание об «альтернативе» ей самой, некогда погостившей в сердце молодого Л. Н. Толстого, Валерии Арсеньевой (кстати, *не* москвичке, а “своей”, тульской красавице!), на которой молодой Лев Николаевич предполагал в 1856 г. жениться и вспоминал теперь её со старожилкой яснополянского дома, Агафьей Михайловной, — *очень* раздражили Софью Андреевну. Вряд ли чем-то иным можно объяснить её реакцию на известия от мужа об “оттаивании” его из-

мученной души — и его очевидные по последнему письму положительные результаты. Приводим все значимые и характерные части письма (опуская преимущественно хозяйственные подробности – о покупке лошадей):

«Сегодня день прошёл не так для меня спокойно и благополучно, как те дни. Может быть, мне это и кажется, потому что Агафья Михайловна меня разжалобила надо мной, и мне даже смешно стало, что в то время, как я читала про себя посланное с Илюшей письмо, Серёжа брат говорил Василию Ивановичу, приехавшему утром, что хорошо Льву Николаевичу, избалованному судьбой и женой — жаловаться, ему есть перед кем грустить, его пожалеют, а вот я скажу: «слаб стал», а жена говорит: «давно умирать тебе пора». Или скажу: «нездоровится», а она говорит: «родимец тебя расшиби».

Но вот мой день: первое, самое унылое и грустное, когда я проснулась, было твоё письмо. Всё хуже и хуже. Я начинаю думать, что если счастливый человек вдруг увидел в жизни *только* всё ужасное, а на хорошее закрыл глаза, то это от нездоровья. Тебе бы полечиться надо. Я говорю это без всякой задней мысли, мне это кажется ясно; мне тебя жаль ужасно, и если б ты без досады обдумал и мои слова и своё положение, — ты, может быть, нашёл бы исход.

Это тоскливое состояние уже было прежде, давно; ты говорил: «от безверия», повеситься хотел. А теперь? Ведь ты не без веры живёшь, отчего же ты несчастлив? И разве ты прежде не знал, что есть голодные, больные, несчастные и злые люди? Посмотри получше: есть и весёлые, здоровые, счастливые и добрые. Хоть бы Бог тебе помог, а я что же могу сделать?

[КОММЕНТАРИЙ.

Вот и пример работы того злого “барьера *не*восприятия”, который уже с 1881 г. (а возможно, и чуть ранее) выставила в своём сознании Софья Андреевна в отношении всех доводов в пользу деревенской жизни с народом и всей христианской проповеди мужа. Христианское мировоззрение Льва Николаевича уже сложилось к 1882 г. в некоторую, хотя ещё и неокрепшую, *систему*, и с его позиций – так же *системно* — Толстой анализировал непривычные для него, усадебного жителя, негативные впечатления от Москвы. По дневнику его 1881 года мы видим, что он как раз немало находил и радующего, положительных впечатлений — например, от общения с городским ремесленным людом и сцен его бытовой и трудовой повседневной жизни. Но Соничка не этих, истинно счастливых (несмотря на

все тяготы), людей имеет в виду, а *тех, кто сидит на их и на крестьянском хребте*, обеспечивая эксплуатацией *чужого* труда своё и своих отпрысков благополучие, сытость, здоровье и благодушие. Он *не мог* разделить их беззаконного довольства, *не мог* радоваться их радостью!

Вот именно, что Толстой жил «не без веры», а в таком открытом Божьей правде состоянии сознания, которое больно ранилось цинической ложью и подлостью «верхов» и картинами интеллектуальной и нравственной деградации «низов» городских обитателей. Его чувства и мысли более отвечали, вероятно, братским христианским общинам, которые – Бог даст! – расцветут на месте теперешней Москвы где-нибудь в XXV столетии. — *Роман Алтухов.* **]**

Ну, потом Илья пришёл ко мне утром, губы и голос дрожат, Малыш пропал. <“Малыш” – кличка любимого пойнтера Ильи Львовича. – *Р. А.*> Мы сделали всё возможное, чтоб его отыскать, мне так самой его жалко стало. Пропал он со вчерашнего вечера, я и не знала. Слава Богу нашли, какой-то лакей в Денежном переулке его запер и отдал. Потом поехала скучные два визита сделала. […]

Василий Иванович сам к тебе едет, потому о нём ничего не пишу. Он грустен; привёз две тысячи, покупал машины молотильные, кажется в Рязанской губернии.

Когда приехала домой, Мишу очень рвало, я испугалась, но он к вечеру повеселел, и здоров, по-видимому. Но всё это одно к другому. Теперь у нас сидит Фет и Серёжа — брат и сын — в кабинете, и Василий Иванович. Вот я пишу это письмо со спехом. Учила Машу, кормила Алёшу, говорила с продавцами лошадей и кучерами, а самовар кипит, меня зовут, и я спешу.

О лошадях вот что. […] Так ли я всё распорядилась, и доволен ли ты мною?

Не кончив письма, пошла поить всех чаем. Теперь Фет, наговорившись вдоволь с Серёжей — братом, — ушёл. Я всё у самовара разговаривала с Василием Ивановичем. Илюша, выспавшись, пришёл тоже к чаю. В гимназию он не ходил, его Малыш с ума свёл. У меня было столько мыслей, что едва перо успевало писать всё, что думала и хотела написать; теперь прервала и всё забыла.

Теперь, прервав нить мыслей, буду придумывать, что могло бы тебя интересовать: Таня ездила в школу, Серёжа был в университете, у Лёли был сильный насморк весь день, маленькие здоровы. Прощай, милый мой друг, как бы утешить тебя, голубчик, я только одно могу, — любить и жалеть тебя, но тебе уж этого теперь не надо.

Что же тебе надо? хоть бы знать. Целую тебя и отсылаю, спешу, это письмо» *(ПСТ. С. 184 – 186).*

Кажущиеся читателю скучными бытовые подробности — все не случайны в письме. “Между строк” этого Соничкиного письма, в “бытовой” его части, везде сквозит один и тот же месседж супругу: «Видишь — *мы* устроились, и *мы* довольны, и живём не хуже, чем в *твоей* Ясной Поляне — а *ты* не с нами, несчастен и уехал. Это *ты* плох, *ты* виноват, а мне и детям хорошо, и всё у них — «как у людей», как *должно быть*… а не как хочешь ты со своими зловредными Богом и Христом!»

Даже упоминание о *Фете* — всегда таком обходительном, “семейно-уютном” частом госте и друге семьи Толстых — не напрасно: мы помним, что Фет довольно решительно не принял, не разделил живой христианской веры Льва Николаевича, и между давними приятелями по переписке с мая 1881 г. тянулся разрыв… Тем охотнее принимала его в «своём» городском доме непоколебимая Софья Андреевна! Очень злой неправдой в свете этого выглядят заключительные строки её письма:

«…Я только одно могу, — любить и жалеть тебя, но тебе уж этого теперь не надо. Что же тебе надо? хоть бы знать».

И эту же «удобную» неправду повторяет она в мемуарах:

«Неопределённость настроения Льва Николаевича была так велика, что никто в мире не мог бы понять, чего он хочет. <…> То, что я чувствовала тогда по отношению Льва Николаевича, уже я никогда в жизни так сильно не переживала. Точно душа моя истощалась в этих усилиях понять и дать счастье Льву Николаевичу» *(МЖ – 1. С. 374, 376).*

Но счастье мужа не должно было, по внутренней установке жены, повредить мирскому счастью, успехам в учёбе и карьере, детей — а значит, им можно и нужно было, ради детей и самой себя, жертвовать! И Соничка *жертвовала*, только обманывая себя в 1882 г. и читателей её мемуаров в 1907-м, что-де «не знает», *что* нужно было Льву Николаевичу от дорогих, родственно самых близких ему людей!

«Никогда в жизни так сильно не переживала…» — это верно для 1907 года. Но, по крайней мере, ещё один раз в жизни, и в острейшей форме, ей всё-таки предстояло пережить те же страсти: в 1910 году, в противостоянии ненавистнейшему ей тогда В. Г. Черткову — и мужу-старцу, желавшему не быть насильственно разлучённым с этим, много лет особенно близким ему, человеком. В её ужаснейших, откровенно болезненных бредах в дневнике 1910 года — тоже можно прочесть о желании блага и счастья для мужа… *но* своего

рода «границы дозволенного», *условия возможности* этого счастья (опять же, апелляции к детям: наследство-то от них ускользало!..) очерчены ей тогда уже много чётче и безжалостно-жесточей.

Характеристическая деталь. 3 марта Толстой начинает своё уже *четвёртое* в данной поездке письмо жене — ещё не получив от неё даже письма 1 марта (впрочем, он получил его в течение дня, пока писал своё). Оттого, не зная о *её* настроениях, выразившихся в этих письмах, «нехорошими» он полагает *свои* письма, и даже начинает письмо 3 марта — с извинений за это:

«Как мне больно, милая душенька, что я тебя расстраиваю своими письмами. — Это период моего желчного состояния: во рту горько, ноет печень и всё мрачно и уныло. — Лучше нигде мне не может быть, как здесь, совершенно одному в тишине и молчаньи. — Нынче и ночь не то что дурно, а мало спал и не принимался за работу, а читал.

Писем я от тебя не получал ещё, кроме шального письма Александра <Берса?> и неискреннего письма Александры <Толстой> — на котором ты надписала несколько слов. Это письмо Александры взволновало — рассердило меня, и я написал ей очень жёсткий ответ и сам свёз верхом в Ясенки, где купил конвертов. Но, возвращаясь домой, вспомнил и о том, что ты бы очень не одобрила это письмо и самому неприятно стало, и я послал взять письмо назад, так что не послал.

[КОММЕНТАРИЙ.

Благодаря приписке Софьи Андреевны от этого дурацкого (вероятнее всего, «критико-проповеднического», в церковно-православном ключе) письма его двоюродной тётки Alexandrine Толстой от 25 февраля сохранился, по крайней мере, заключительный листок. С. А. Толстая черкнула на нём следующее:

«Эти два письма тебе интересны и я посылаю. <Второе письмо неизвестно – видимо, Толстой совершенно не сохранил его. – Р. А.> У нас всё хорошо; ещё писать не о чем; напишу вечером сегодня же. А теперь 12 ч. утра. Как-то вы доехали? Соблюдай себя, милый друг. Теперь я иначе отношусь к твоему отсутствию. Тогда я сердилась, а теперь я люблю тебя и мне только грустно, что тебя нет, и я одно желаю, чтоб тебе было хорошо. 28-го февраля. *С.*» *(Цит. По: Л.Н. Толстой и А.А. Толстая. Переписка. С. 831).*

Гневный же, хотя и справедливый, ответ свой 3 марта Лев Николаевич не отправил придворной тётиньке, однако всё же сохранил.

Из него видно, что круто православнутая тётка резко критиковала книгу Толстого «В чём моя вера?» и его чистые христианские убеждения. Толстой, в числе прочего, писал ей в своём ответе:

«Общего между мною и вами быть не может, потому что ту святодуховскую веру, которую вы исповедуете, я исповедовал от всей души и изучал всеми силами своими ума и убедился, что это не вера, а мерзкий обман, выдуманный для погибели людей. …Я считаю вашу веру произведением дьявола, придуманным для того, чтобы лишать человечество спасения, данного Христом. И книга моя, и я сам есмь обличение обманщиков, тех лжепророков, которые придут в овечьей шкуре и которых мы узнаем по плодам» *(Там же. С. 402 - 403).* **]**

Утро было солнечное и тёплое, и жаворонки заливаются со всех сторон, и проехаться было приятно. А теперь ветрено, тепло и темно, но я еду на Козловку в санях; свезу это письмо и поспрошу от тебя. Няня <Маша Арбузова> нынче ездила в Тулу, отвозила деньги Авдотьи Васильевны <Поповой, экономки. – *Р. А.*> и была на почте, но письма не привезла. Письмо от тебя очень развеселит меня.

Был <крестьянин> Костюшка; — жена его больна очень; всё то же — груди. Говорят, что от твоего лекарства прошло; но потом ребёнок её умер, и сделалось то же в обеих грудях. Просит тот пластырь или мазь, какую ты давала. Пришли, если можно.

Ходит народ просить, но я отказываю, — денег нет; да и как-то нынешний и год легче, и много я думал об этом, и мне не так больно отказывать.

Хорошо ли приехал Илюша. Всё ли у тебя хорошо? Здоровье? И дети хороши ли? Это главное.

Прощай, душенька. Не думай, что мне не грустно без тебя; грустно, но я чувствую, что я отдыхаю, и несмотря на нездоровье, набираюсь сил, и многое лучше, яснее и проще обдумываю. Может быть, это мечты и загадыванья ослабевающего, но приходят всё в голову мысли о поэтической работе.

И как бы я отдохнул на такой работе.

Как задумаю об этом, так точно задумаю об летнем купанье.

Но, пожалуйста, и детям этого не говори. — С тобой я думаю вслух.

Сейчас получил твоё письмо в Козловку и очень, очень повеселел» *(83, 323 - 324).*

Любопытная деталь: своего рода писательское «суеверие» Толстого, проявляющееся в просьбе жене не обсуждать с детьми его, ещё пока

неопределённые, художественные замыслы — вероятно, чтобы не спугнуть вдохновение!

Собственно творческим результатом этой поездки Толстого была только начавшаяся работа над большой статьёй «о переписи», у которой появилось тогда окончательное, известное всем заглавие: «Так что же нам делать?»

4 марта Соня получила вышеприведёное письмо мужа от 3-го – и за следующие сутки с «хвостиком» отписала ему сразу *два* ответных письма (второе – уже в ночь на 6 марта).

Обратим внимание, как изменился тон соничкиных писем – этих двух, в сравнении с предшествующими, и в особенности второго (писанного в ночь на 6-ое) в сравнении даже с письмом её от 4-го. Она будто сама вдруг устаёт злиться и уязвлять мужа в его чувствах и убеждениях:

«Милый Лёвочка, лошадей я купила, посылаю с Филиппом. Пришли за ними человека или двух: жеребец очень строг. Заплатила я за них купонами за обоих, чему очень рада. Хорошо, что ты не в Москве. Брат Серёжа, Василий Иванович, гости, всё это опять утомило бы тебя и заставило говорить и отвлекло бы от занятий. Серёжа остановился ведь у нас. В Ясной же Василию Ивановичу ты будешь рад, там он один, и разговор вести с ним тебя не утомит. Надеюсь, что ты в лучшем состоянии.

Илюша принёс сегодня книгу, у него отметки ещё хуже; это просто беда, как он дурно учится. Напиши ему словечко построже.

Посылаю тебе с Филиппом 50 р. с. денег и с Василием Ивановичем 100. Илья сказал, что у тебя денег нет даже на прожиток. Что ж ты так мало взял?

У нас всё хорошо, только Миша что-то кисел, и мне не совсем здоровится: спина болит, вялость ужасная, ото всего устаю и пришлось пилюли принимать, желудок не действует совсем. Очень уж тепло и сыро стало жить на свете, от этого и всем не хорошо эту зиму. Серёжа брат очень жалуется на слабость и нездоровье.

Пишу в 2 часа дня. В 3 часа поеду с Василием Ивановичем делать ему покупки в знакомых лавках, чтоб его полотном не обманули. Кстати и мне нужны скатерти, совсем стали необходимы.

Прислал Бутурлин сказать, что его выпускают ежедневно от 4-х до 7-ми домой, и если его хотят видеть, то могут придти. Сказали, что ты в деревне, и, слава Богу, что тебя нет. Ты по доброте, может быть, и пошёл бы ему сказать слово утешения, а теперь не можешь.

Бог с ними, опять, пожалуй, навлекло бы какие-нибудь подозренья. Серёжа <С. Л. Толстой> хочет идти, а я его сильно отговариваю, не знаю, послушается ли? Ведь жандарм, приставленный к Бутурлину, верно, будет зорко смотреть и замечать, кто приходит, и простое, доброе влеченье души объяснит по-своему, *по-жандармски*.

[**ПРИМЕЧАНИЕ**.

Александр Сергеевич Бутурлин (1845—1916), симбирский помещик, кандидат естественных наук; был привлечён к суду за принадлежность к сообществу, возглавлявшемуся революционером Нечаевым; по суду оправдан, но подвергся тюремному заключению и ссылке; по отбытии ссылки, 50-ти лет поступил на медицинский факультет, который и кончил. — В 1882 г. Бутурлин содержался в тюрьме.]

Хотела сегодня отправить лошадей, но Филипп говорит, что опоздали, надо завтра. Пришли, стало быть, за ними в субботу утром, в Тулу.

Мне пришло в голову вот что: не оставить ли в Ясной Урагана, т. е. дорогого жеребца, его вести очень трудно, как бы что не случилось. Из Самары же привести кобыл, и для твоей потехи держать небольшой завод в Ясной. Места довольно; из продажи молодых похуже будем содержать этот небольшой завод, а лучших будем оставлять, и так этот маленький завод может дойти до совершенства.

Это, впрочем, только я так тебе пишу; дело не моё, и я тут не при чём; мне только хотелось бы тебе *игрушку* устроить, чтоб были у тебя *глупые радости*, как ты их называешь.

Это письмо, стало быть, тебе доставит Василий Иванович.

Прощай, милый мой, если тебе хорошо, живи и отдыхай; у меня нет никаких в Москве затруднений и волнений; всё идет хорошо и благоразумно. А ты не греши тем, что тоскуешь; это не хорошо, если это не физическое; если болезненное, ты не виноват, а если тоска сердечная, такая, которую и не хочешь изгнать из души, то это неблагодарность судьбе.

Вот, если б ты не страдал, как я-то была бы счастлива, я своё счастье вижу и ценю.

Прощай, целую тебя.

Соня» *(ПСТ. С. 186 - 188)*.

При подготовке в 1910-х к изданию сборника писем мужа С. А. Толстая неверно датировала это письмо – 5 марта. Неверная дата

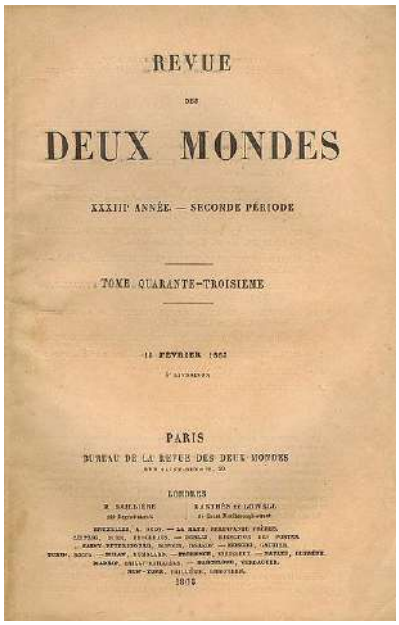
сохранена и в сборнике 1936 г. и исправлена только в примечаниях к т. 83 Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого.

Снова встречное письмо Льва Николаевича, 4 марта:

«Четверг. 9 часов вечера.

У меня и во мне ничего нового. Сплю мало и оттого не могу работать. Нынче лучше тем, что ел лучше, с большим аппетитом. Сижу всё один одинёшенек, — читаю и делаю пасьянсы. Погода нехороша. Тает и ветрено, гудит день и ночь. Чтение у меня превосходное. Я хочу собрать все статьи из *Revue*, касающиеся философии и религии, и это будет удивительный сборник религиозного и философского движения мысли за 20 лет.

[Парижский журнал «Revue des Deux Mondes» в период с 1872 по 1881 г. многократно публиковал статьи по вопросам философского спиртуализма и европейского религиозного кризиса. Его влияние на религиозное мировоззрение Л. Н-ча невозможно подвергнуть сомнению; при этом тема эта ещё ждёт своих исследователей. – *Р. А.* **]**


REVUE
DES
DEUX MONDES
XXXIIIe ANNÉE. — SECONDE PÉRIODE
TOME QUARANTE-TROISIEME
15 FEVRIER 1863
PARIS
BUREAU DE LA REVUE DES DEUX MONDES
LONDRES

Когда устану от этого чтения, беру *Revue Etrangere* 1834 года и там читаю повести, — тоже очень интересно. Письма твоего в Туле вчера не получили, — вероятно, не умели спросить. Но за то я получил твоё <от 2 марта> на Козловке. И очень оно мне было радостно. — Не тревожься обо мне и, главное, себя не вини. Остави нам долги наши, яко же и мы… Как только другим простил, то и сам прав. А ты по

письму простила и ни на кого не сердишься. — А я давно уже перестал тебя упрекать. Это было только в начале. Отчего я так опустился, я не знаю. Может быть, года, может быть, нездоровье, геморой; но жаловаться мне не на что. Московская жизнь мне очень много дала, уяснила мне мою деятельность, если ещё она предстоит мне; и сблизила нас с тобою больше; чем прежде.

[КОММЕНТАРИЙ.

В этом суждении Льва Николаевича о Москве и влиянии городской жизни на его мотивации – очень много самообмана. Без сомнения, самой неподходящей ему в его возрасте и религиозном состоянии сознания сменой образа жизни был как раз этот переезд из природных и родных условий – в суету и разврат одного из гадчайших, в любую эпоху, городов планеты Земля. Последующие эпопеи с бесцензурным заграничным книгоизданием, сбором денег для сектантов, бесконечным писанием писем и статей, приёмом бессчётных гостей и сближением с людьми, подобными В. Г. Черткову — могли бы, вероятнее всего, не состояться и не отвлекать Льва Николаевича от жизни в Боге, от личного совершенствования и вдохновенного творчества, если бы не это «добровольное» и неуклюже рационализируемое задним числом насилие Толстого над собой, в угоду соничкиным представлениям о том, что значит — «вывести детей в люди». До последних лет его жизни она злобилась и ворчала на всё то, что сама же сделала неизбежным, увезя в начале 1880-х мужа в город.**]**

Что-то ты напишешь нынче? Ты об себе не пишешь, — как здоровье. Пожалуйста, не сдерживайся в письмах, а валяй, как Бог на сердце положит.

Я нынче ходил на шоссе к большому мосту перед обедом; и всё злился на <А. А.> Толстую. В Тулу ездят на колёсах, и на Козловку уже едва ли проедешь на санях. В низах вода; но и воды, и снега мало, везде проехать можно.

Что-то дети большие? Не грубят ли? Они именно грубят, а ты огорчаешься. Грубить весело, даже никому, просто сделать, что нельзя. Ангелы, те не огорчают. Здоровье Миши как?

Я нынче думал о больших детях. Ведь они верно думают, что такие родители, как мы, это не совсем хорошо, а надо бы много получше, и что когда они будут большие, то будут много лучше. Также, как им кажется, что блинчики с вареньем — это уже самое скромное и не может быть хуже, а не знают, что блинчики с вареньем это всё равно, что 200 тысяч выиграть. — И по тому совершенно неверно рассужденье, что хорошей матери должны бы меньше грубить, чем

дурной. Грубить — желанье одинаковое — хорошей и дурной; а хорошей грубить безопаснее, чем дурной, поэтому ей чаще и грубят.

Что Серёжа брат, долго ли пробудет? Хотелось бы его увидать.

Прощай, душенька. — Будем живы, скоро увидимся, и будем также, как и теперь, любить. — Опять возвращаюсь с твёрдым намерением как можно меньше говорить. Да и нельзя. Я не буду лгать, если буду говорить, что болен нервами. Я затягиваюсь этим задором.

Что о приговорённых? Не выходят у меня из головы и сердца. — И мучает, и негодованье поднимается, самое мучительное чувство» *(83, 325 - 326)*.

[КОММЕНТАРИЙ.

Толстой упоминает в конце письма т.н. «процесс 20-ти». Домашний учитель В. И. Алексеев, сам бывший революционер, за годы общения с Л. Н. Толстым *слишком* заболванил ему голову, внушив симпатии к подобным «страдальцам за народ», которые, к сожалению, Толстой так и не преодолел в себе до конца. Опять же — ему бы помогло избавить голову от чужих тараканов, останься он в милой Ясной. — *Р. А.* **]**

Теперь – ответ С. А. Толстой, краткое письмо, написанное в ночь на 6 марта. В этом послании, писанном только сутками с небольшим позднее предшествующего, мы находим не только ещё лучшее настроение жены Толстого, но и объяснение одной из причин такого улучшения её настроения.

«Я тебе по два письма в день пишу, милый Лёвочка; это чтоб ты *повеселел*. Посылаю лошадей. Аттестаты у Василия Ивановича, и также 100 р. с. денег, 50 дала Филиппу.

Каким радостным чувством меня вдруг охватило, когда я прочла, что ты хочешь писать опять в *поэтическом роде*. Ты почувствовал то, чего я давно жду и желаю. Вот в чём спасенье, радость; вот на чём мы с тобой опять соединимся, что утешит тебя и осветит нашу жизнь. Эта работа настоящая, для неё ты создан, и вне этой сферы нет мира твоей душе.

Я знаю, что насиловать ты себя не можешь, но дай Бог тебе этот проблеск удержать, чтоб разрослась в тебе опять эта искра Божия. Меня в восторг эта мысль приводит.

Эту записочку кончаю. Теперь уж ночь, я ложусь сейчас. В зале Серёжа брат с Костенькой восхваляют Каткова, и мне и скучно, и

противно. Все спят, все здоровы. Василий Иванович тебе о нас расскажет. Приезжай только, когда совсем соскучишься и явится потребность вернуться. Я не жду тебя и рада буду увидать тебя отдохнувшим и бодрым. Посылаю тебе немножко съедобной провизии; боюсь, что ты очень уж по-спартански живёшь. Береги своё здоровье, не студись, не голодай, спи хорошенько, и только люби нас.

Соня.

Ночью, с четверга на пятницу

Скажи Василию Ивановичу, что «Детский отдых» послан в конце февраля, и тот год, и этого два номера. Петя мне пишет» *(ПСТ. С. 188 - 189).*

Душе Толстого точно не было бы мира и покоя — исполни он всё точно по соничкиным ожиданиям. Его художественные сочинения принесли не только личную национальную славу автору, но и барыши, земли и дорогую недвижимость — в пользу семьи. Религиозные же писания, отнимая зачастую *не меньше* времени и сил, чем художественные работы писателя — не только не приносили доходов, но грозили, в случае правительственного вмешательства, не одним разорением, а и самым уничтожением семьи. Этого не мог не понимать сам Лев Николаевич — и только ради Бога и Христа, совершения дела Божия в мире и торжества истины Его шёл на риск. Главным образом — самим собой… Жену он от резкостей берёг, а вот в цитировавшемся уже нами ответе А. А. Толстой, письме 3 марта 1882 г. — есть такие, в высшей степени эмоциональные строки, чем-то напоминающие будущую, ещё только 1908 года, знаменитую статью Льва Николаевича «Не могу молчать»:

«И я знаю, что обманщики не станут ни оправдываться, ни раскаиваться. Раскаяться им и вам не охота, потому что тогда нельзя служить мамону и уверять себя, что служишь Богу.

Обманщики сделают, что всегда делали, будут молчать; но когда нельзя уже будет молчать, они убьют меня. — Я этого жду. И вы очень содействуете этому, за что я вам и благодарен.

Нельзя служить Богу и Мамону. И если свет твой тьма, какова же тьма?» *(Л.Н. Толстой и А. А. Толстая. Переписка. – Указ. изд. - С. 403).*

Напомним читателю, что, в конце концов, Толстой пожалел и чувства богатой придворной тётушки — и не отправил к Alexandrine этого письма-обличения.

Бросается в глаза огромная эмотивная разница в дискурсах акторов представляемого эпистолярного диалога. В отличие от писем Сонички, выразивших её решимость не уступать мужу в желании увезти семью из города или хоть самому не жить в нём — в сочетании с отчаянием от неумелой (пока!) манипуляции им, от незнания и непонимания (опять же — пока!) новых его убеждений, в письмах Толстого данного Фрагмента везде бьётся живое и искреннее сердце. Бьётся доверием, любовью и неподдельной нежностью — к тому человеку, кто всё меньше и меньше располагал к этим нежности и любви. В заключительном из писем фрагмента, от 5 марта, Толстой так же выражает интимные чувства в отношении своей «милой душеньки», объясняется с ней, а так же подводит итог своей, уже завершающейся, второй за год яснополянской поездки. Приводим текст его с небольшими («лошадино-хозяйственными») сокращениями.

«Должно быть я нездоров был и теперь поправляюсь. Вчера лёг спать хорошо, но проснулся рано утром с сильной головной болью и болью в спине; и всё утро было плохо; но перед обедом заснул, и теперь к вечеру, стало совсем лучше. Надеюсь, что этим разрешится, и я приеду к тебе здоровый физически и нравственно.

Утром приехал Василий Иваныч <Алексеев> и привёз мне твоё письмо. Очень тебе благодарен за все твои хлопоты о лошадях. Право, я нечаянно так сделал. Жалко, что ты немножко расстроена, судя по письму. Надеюсь, что это не разгорится, и тебя не расстроят больше. Что <сын> Илюша плохо учился, это я смутно предчувствовал, и очень жалко. Надо будет ему подтянуться. Приезд Василия Ивановича, несмотря на всю мою привязанность к нему, был мне тяжёл. Голова болела, и не хотелось говорить. И он берёг меня. Вечером пришёл Алексей Степанович, и мы втроём пили чай и беседовали.

Теперь 12-й час, и я пишу это письмо с тем, чтобы завтра рано Пётр свёз его на поезде. Если погода будет завтра получше — нынче сильный, холодный ветер, то я съезжу в Тулу. Я почти уверен, что мне будет лучше после этой мигренной головной боли и особенной горечи во рту. В особенности мне Василий Иванович портится тем, что ты иногда как будто его не любишь. Не могу я с тобой врозь жить. Мне непременно нужно, чтобы всё было вместе. <Т.е. Толстой утверждает здесь значение учителя и друга Алексеева – практически на равных с женой – как неотделимого члена семьи. Скоро это место навсегда займёт В. Г. Чертков – как окажется, нравственно даже много менее достойный кандидат. – *Р. А.*>

Твой план насчёт <конского> завода в Ясной с Ураганом я, коли буду жив, исполню, но не теперь. […]

Боюсь, как бы мы с тобой не переменились ролями: я приеду здоровый и оживлённый, а ты будешь мрачна и опустишься. — Ты говоришь: «я тебя люблю, а тебе этого теперь не надо». Только этого и надо. И ничто так не может оживить меня, и письма твои оживили меня. Печень печенью, а душевная жизнь своим порядком.

Моё уединение мне очень нужно было и освежило меня и твоя любовь ко мне меня больше всего радует в жизни.

Прощай, милая душенька. Послезавтра приеду, если буду жив. Только бы ты была такая, какая была в двух первых письмах, а я буду лучше, чем был, если жив буду» *(83, 327 - 328)*.

7 марта Толстой вернулся из Ясной Поляны в Москву — как и обещал, «здоровый физически и нравственно» и «оживлённый». Но бодрое настроение его стало быстро затухать в ненавистном городе, и Соничка, всегда насторожённая и не умеющая, как мы помним, ничему радоваться без оглядки и опасений, тут же приписала такой эффект… конечно же, состоявшейся поездке мужа и его новым убеждениям! В мемуарах она всё подаёт вот как:

«Вернулся Лев Николаевич из Ясной Поляны мало успокоенный и более страстный, как и всегда, чем ласковый. Я уже знала тогда, что этой страстности хватит ненадолго, а мрачность и недоброжелательство возникнут снова. <…> Лев Николаевич не хотел покоя и как будто болезненно-упорно держался в том настроении, в котором отрицал и осуждал всё, и боялся его нарушить раньше, чем выскажет в своих писаниях. <…> По возвращении своём в Москву Лев Николаевич начал себя чувствовать физически довольно дурно: делались приливы крови к голове, и он посоветовался опять с <доктором> Захарьиным, который запретил ему заниматься и предписал во всём полный отдых. Лучше всего этому способствовала игра в карты, и вот мы часто собирали по вечерам для Льва Николаевича партию в *винт*» *(МЖ – 1. С. 377)*.

Кто знает, *какую* достойнейшую альтернативу такому нездоровому и пустому провождению времени нашёл бы Толстой-писатель, живи он в Ясной? Город, действительно, многообразно дурно влиял на него… Но неправа Софья Андреевна, когда, оперируя уже наработанными в предыдущих частях мемуаров «Моя жизнь» *лживыми* метафорами противопоставления «мужа-писателя» и «мужа-проповедника», она сравнивает прежнее литературное сочинительство

мужа с «искрой Божией», которая-де в 1860-70-е гг. «светила спокойным светом», а в 1882-м — «не разгорелась, потухла и уже не светила никогда» этим спокойным светом, уступив место порывам «задора и страдания» *(Там же. С. 375)*. «Искра» литературно-художественного, писательского гения Льва Николаевича *никогда* не светила так ровно — как никогда не был «ровен», чужд метаниям и задору, и характер писателя. Но не было ещё в 1870-х столь титанической, преимущественно непонимаемой и одинокой, духовной работы *над собой*, какой отмечены последние десятилетия жизни писателя — оттого не выражались так резко в публикуемых текстах Толстого личные его переживания.

*Чего боишься — то страхом своим на себя и притяне*шь. Соничка боялась мрачности и тяжёлых дум мужа — она получила то и другое. Уже через неделю московской жизни Толстой выразил в письме другу Страхову такие настроения:

«Я устал ужасно и ослабел. Целая зима прошла праздно. То, что по-моему, нужнее всего людям, — то оказывается никому не нужным. Хочется умереть иногда. Для моего дела смерть моя будет полезна. Но если не умираю, ещё, видно, нет на то воли Отца. И часто, отдаваясь этой воле, не тяготишься жизнью и не боишься смерти» *(63, 94)*.

Это настроение не было бесплодным: именно в мартовские дни 1882 года Толстым создаётся первая редакция гениальнейшей, духовно неисчерпаемой и непознанной ещё сполна исследователями повести – «Смерть Ивана Ильича».

Ровно через месяц по возвращении, 7 апреля 1882 г., Толстой вновь выезжает в Ясную Поляну. Переписке супругов этих дней мы посвятим уже следующий, Одиннадцатый эпизод нашей книги.

КОНЕЦ ВТОРОГО ФРАГМЕНТА

КОНЕЦ СЕМНАДЦАТОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Восемнадцатый.
ИЗ МОСКВЫ В МОСКВУ, или СЕЗОН ПАРКЕТОВ И КЛОЗЕТОВ
(Весна – осень 1882 года)

Фрагмент 1.
«МНЕ ОТКРЫЛСЯ БОГ НА ПНЕ»

Зимняя поездка в Ясную Поляну, при всех оговорках – всё же была необходима и полезна Льву Николаевичу. Недели по возвращении в Москву ознаменовались для него вдохновенными работами и над «Иваном Ильичом», и над “статьёй о переписи” (буд. трактат «Так что же нам делать?»), и первой из будущей серии статей об искусстве – письмом к издателю «Художественного журнала» Н. А. Александрову. Главное же — Толстой получил предложение редактора «Русской мысли» С. А. Юрьева: *попытаться* протащить через цензурные заслоны в печать драгоценную «Исповедь» Льва Николаевича. Он тут же засел за огромную работу над текстом. Весьма интересны пункты плана новой редакции сочинения, обнаруженные исследователями на полях черновиков первой редакции:

«В это время гильотина. <Вспоминает свои впечатления от зрелища смертной казни в 1857 г. в Париже. – *Р. А.*> Что-то ёкнуло, но ничего не нашёл и продолжал жить по старому, только стал искать в массах народа».

«Убиться не по причине рассуждений, а тоска».

«Дело разума только одно – понять и объяснить жизнь».

«Бог. Церковь Хомякова. Мне открылся Бог (на пне). Труд восстановить Бога, чистого от наслоений церкви».

«Сам Бог уничтожался» *(23, 525)*.

Подготовка к печати будущей «Исповеди» — того произведения, в которое автор вложил так много своих самых задушевных мыслей и чувств, — оживила Толстого. 7 апреля он уехал снова на несколько дней в Ясную Поляну – уже не с «разбитыми нервами», как раньше, а в бодром душевном состоянии.

На следующий же по воссоединению Льва с милой Ясной день супруги обменялись письмами. Вот письмо Льва Николаевича:

«Приехал я благополучно. Комната была топлена; я напился чаю с Марьей Афанасьевной, поговорили об Алексее <А. С. Орехов, только

что умерший управляющий. – *Р. А.*> и его наследстве. — Семён Степанович <брат А. С. Орехова. – *Р. А.*> умер за три дня до него, — и заснул.

Нынче утром вышел в 11 часов и опьянел от прелести утра. Тепло, сухо, кое-где с глянцом тропинки, трава везде, то шпильками, то лопушками, лезет из-под листа и соломы; почки на сирени; птицы поют уж не бестолково, а уж что-то разговаривают, а в затишье, на углах домов, везде и у навоза жужжат пчёлы. Я оседлал лошадь и поехал к <А. Н.> Бибикову за хлебом. Он дома, и дом заперт. У него, как он говорит, скарлатина и дифтерит. Один ребёнок уж отболел; по-моему, просто горло болит. Я не вошёл к нему.

Распоряжения твои все передам, — часть их уже сделана — полы и лестница, — остальное сделаем.

Митрофан <М. Н. Банников, новый управляющий имением. – *Р. А.*> очень хорошо распоряжается; отдал покосы все дороже, чем Алексей, и я думаю, от добра добра не ищут. Он очень старается и очень толков. […]

Читал днём, потом обошёл через пчельник и купальню. Везде трава, птицы, медунички; нет ни городовых, ни мостовой, ни извощиков, ни вони, и очень хорошо. Так хорошо, что мне очень жалко вас стало, и думаю, что тебе непременно надо с детьми уезжать раньше, а я останусь с мальчиками. Мне с моими мыслями везде одинаково хорошо или дурно, а для моего здоровья влиянья город иметь не может, а для твоего и детского большое.

Обедал — доедал те роскоши, которые ты тогда прислала и Марья Афанасьевна сохранила и потом, только только посидел с книгой, уж солнце за заказ стало красно заходить, я скорее делать заряды, седлать лошадь и поехал за Митрофанову избу. — Летали далеко от меня и мало, ни разу не выстрелил, но много, как всегда, религиозно думал и слушал дроздов, тетеревов, мышей по сухим листьям, собачий лай за засекой, выстрелы ближние и дальние, филина — даже Булька на него лаяла, — песни на Груманте. Месяц взошёл с правой стороны из-за туч; дождался пока звёзды видны, и поехал домой. И вот, только приехал, пишу. Чай готов, и Агафья Михайловна сидит. Я ещё с ней не говорил. Мне её очень жалко.

Из нашего греха, кажется, никакого не вышло; Алексей оставил всё в порядке, но из-за Алексеева наследства греха уже вышло много. Варвара уже приходила и плачет, что всё досталось племяннику. <В. Н. Михайлова, вторая дочь дядьки Николая, жена шорника Ивана Алексеевича. Её сестра Евдокия (ум. 1879 г.) была замужем за А. С. Ореховым, чем объясняются претензии Варвары на наследство Орехова. – *Р. А.*>

Прощай, милая, обнимаю тебя и детей.

Прилагаю письма <бывшей гувернантки> Ганны <Терсей>» *(83, 329 - 330).*

Это письмо не просто хозяина имения. Это письмо — единосущного Ясной Поляне её *обитателя.* Письмо человека, как будто навсегда воротившегося радостно домой… а на самом деле — лишь на несколько дней.

По поводу «философических» охот Л. Н. Толстого Софья Андреевна сообщает нам в мемуарах следующее:

«В эту весну, в апреле, Лев Николаевич ещё не был вегетарианцем и уехал в деревню преимущественно для того, чтоб ходить на тягу вальдшнепов, что он очень любил. На тяге стоял он обыкновенно по ту сторону речки Воронки, на бывшем пчельнике» *(МЖ – 1. С. 379).*

Вот встречное письмо С. А. Толстой, 8 апреля 1882 г.:

«Милый Лёвочка, сейчас только вернулась, исполнивши твоё поручение с письмом о помощи бедному студенту. Пошла я, было, к <С.М.> Сухотину; там говорят, что все у Фохта, который совсем умирает. <Николай Богданович Фохт, преподаватель древних языков. – *Р. А.*> Велела я ехать к <М. М.> Львовой, но одумалась и поехала в Конюшки. <В Конюшковском переулке (позднее – Новинский бульвар) жили Дьяковы. – *Р. А.*> Вошла к Дьякову, там все Сухотины до одного: муж — Сергей Михайлович, жена, сын с женой. Так их странно вместе видеть. Агония Фохта кончилась и он не умер; явилась опять надежда. Лиза Оболенская тоже там. Ну вот я всё-таки письмо достала, прочла вслух, видела, что все приняли к сердцу, я уверена, что Дьяков поможет тоже, хотя он ничего не сказал. Миша Сухотин взялся завтра же передать письмо спириту Львову, все говорят, что он сделает, что можно, и твои 20 р. с. я там же в конверте оставила. <Николай Александрович Львов (1834 – 1887), богатый князёк-бездельник, поклонник спиритизма, медиум. У него на сеансе в первой половине 1880-х гг. был Толстой с Н. В. Давыдовым, П. Ф. Самариным и К. Ю. Милиоти. Посещение этого сеанса дало Толстому исходное впечатление при писании им комедии «Плоды просвещения», в которой Н. А. Львов изображён в лице Звездинцева. – *Р. А.*>

Другое твоё дело — корректуры <«Исповеди»>. Их принесли сегодня, в 8 часов вечера, конверт так велик и толст, что невозможно бросить в ящик, и я завтра посылаю по почте в Ясенки, где ты и получишь в виде посылки. Туда же я положила тесьму для мёбели;

передай её Ивану <предположительно, Иван – шорник в Ясной Поляне. – *Р. А.*>.

У нас все здоровы, и пока довольно тихо. Вчера сбили таки нашу Таню насчёт вечера у <Д. А. и А. С.> Хомяковых. Пришёл Всеволод <Шидловский>, говорил, что последняя среда, что пропасть будет хороших гостей и проч., и проч. Потом пришла Валентина, стала просить и умолять отпустить Таню. <Валентина Сергеевна Ушакова, по мужу Гордеева, сестра А. С. Хомяковой. – *Р. А.*> Так они обе меня просили, что я поколебалась минуту и сказала: может быть, часочка на два. Этим я всё дело испортила, дала Тане лёгкую надежду, и она начала вечером приставать: поедем, да поедем. Очень трудно было устоять. Но я вдруг опомнилась, вспомнила, что ты этого не желал, что это совершенно противно моим взглядам, и так и не поехала. Таня и поплакала, и посердилась, но дело обошлось почти мирно.

Сегодня я была у своей тёзки Толстой. <Графиня С. А. Толстая, урожд. Бахметева, вдова поэта гр. Алексея Константиновича Толстого. – *Р. А.*> Эти две таинственные дамы играли со мной в простоту, но мне не понравились. Вот уж нам не ко двору! Бог с ними, я знакомства с ними продолжать не желаю, надеюсь, что они того же мнения обо мне. А будут жить в Москве всю весну и будущую зиму. Вот когда к ним кто попадётся, тому плохо будет!

Таня с Ильёй на Девичьем Поле у Олсуфьевых <т. е. в доме В. А. Олсуфьева. – *Р. А.*>. Серёжа выдержал свой первый экзамен, получил *пять* и счастлив, и доволен. Лёля и Маша бледны, нервны и жалки. Малыши шумны, Алёша мил и качает улыбающейся головкой на тонкой шейке.

Прощай Лёвочка, напиши как здоровье, как нервы, вели мне что-нибудь сделать, и не будь никогда *чужой*.

Соня» *(ПСТ. С. 189 - 190*).

Как замечательно внешне сдержан, умиротворён тон этого письма! Причину не нужно далеко искать: Софья Андреевна была на тот момент более-менее *удовлетворена*. Муж, в числе прочих, занимался и полезными, доходными и не опасными (как надеялась жена) художественными планами и писаниями. С Москвой – через многие прения и неурядицы – тоже всё, как казалось, устроилось: решено было в городе с детьми зимовать, а лето проводить в усадебных пенатах. Решено было даже, что Толстой останется с корректурами и прочими делами в Москве, отправив семейство в усадьбу.

«Живая и впечатлительная по натуре, я до того утомлялась жизнью и заботами, что стала, как старые люди, любить покой» — вспоминает Софья Андреевна в мемуарах *(МЖ – 1. С. 378)*.

Дальнейшие события покажут всю степень наивности жены Льва Николаевича в этих её надеждах на согласие и покой.

Следующее письмо своё Софья Андреевна отсылает вместе с корректурами «Исповеди» — 9 апреля. К сожалению, это письмо в доступный нам сборник писем С. А. Толстой не было включено. По хронологической последовательности, приводим теперь текст письма от 9 апреля Льва Николаевича:

«Пятница, 10-го.

Сейчас пришёл с пчельника, стрелял 3 раза, ничего не убил. — Чудный вечер, тепло, тихо, месяц светит. Много хорошего думал, и написал бы, да чувствую, ты будешь читать другим, и буду готовиться. — Не прими вчерашний план — мне остаться в Москве до конца экзамена за combat de generosite. [*фр.* состязание в благородстве.] Мне будет очень радостно оставаться, зная, что ты с детьми в Ясной. И исполняю все дела московские в исправности. Доставь и мне это удовольствие. А я найду себе занятия в Москве; может быть, корректуры будут.

[ПРИМЕЧАНИЕ.
Толстой отдал в журнал «Русская мысль» свою «Исповедь», корректуры статьи проходили в апреле и мае 1882 г. Набиралась статья в «Русской мысли» под заглавием «Вступление к ненапечатанному сочинению». **]**

Вчера Агафья Михайловна долго сидела и плакала, и горевала, как всегда странно, но искренно: «Лев Николаевич, батюшка, скажи что ж мне делать. Я, боюсь, с ума сойду. Приду к <собаке> Шумихе, обниму её и заплачу: нет, Шумиха, нашего голубчика», и т. д. И сама плачет. А нынче еду из Ясенков, куда я ездил взять пистонов, патронов и конвертов, и навстречу едет тройка хороших мужицких лошадей маленькой рысью, сидят на передке два молодых парня и везут что-то странное, — мне показалось — цветы в горшках и всё в цвету розовое, белое. Поровнялся ближе — ящик чёрный и весь укладен

венками живых, свежих цветов. — Что везёте? — Господина. — Какого? — Мёртвого господина. — Кто он? — Глазков. — Везут в именье. Так странно.

[**ПРИМЕЧАНИЕ**.
Сосед Толстого, Иван Иванович Глазков (р. 1823 г.), умер 6 апреля 1882 г., похоронен в селе Покровском-Ушакове Крапивенского уезда Тульской губернии.]

Вчера после Агафьи Михайловны поел я капусты на ночь. И такой капусты, как у Марьи Афанасьевны, нет нигде на свете. Долго не мог заснуть, но спал хорошо. И нынче с удовольствием позанялся. Хотя мало, но толково, так что испытываю давно неиспытанное чувство, что заработал хлеб. А хлеб отличный — щи зелёные, солонина и опять капуста с квасом.

Утром до кофея ходил на деревню к старосте, и там с тремя стариками: Матвей Егоров, Тит и Пётр Осипов — судили, как разделить без греха Алексеево наследство. Варвара одна ужасно жадничает. Ну как же не зло проклятые деньги? Она плачет от зависти, и жалко её. Надо будет постараться [*зач.*: утишить] развязать грех, как ты с Лохмачихой.

[**ПРИМЕЧАНИЕ**.
Лев Николаевич имеет здесь в виду Татьяну Ивановну Лохмачёву (1832 – ?), мать Параши, деревенской дурочки, известной так же по прозвищу «Кыня».

«Крестьянка в Ясной Поляне. В её семье вышла ссора из-за шубы, обещанной в приданое невесте сына Лохмачёвой и не отданной ещё. Позвали меня мирить. Я долго уговаривала не нарушать свадьбы любящих двух юных существ. Ничего не действовало. Тогда я выбросила на стол бумажку в десять рублей, и всё устроилось. Молодые прожили в любви всю свою жизнь. А шуба была тогда куплена за десять рублей» *(Примечание С. А. Толстой).*]

Ещё за Хинином одна жалкая Воробьёвская приходи-ла; ещё одна, оставшаяся после мужа, посаженного в острог прокурорами, прежалкая; я и его, и её знаю. Ещё Курносенкова, вдова, не может разделаться с Григорием Болхиным за землю. И этих надеюсь помирить. — Осип Наумыч сидел утром. Принёс мёду. И всё жалуется на сына. Посылает ночевать на осяк. Холодно под шубёнкой одной. Гонит; а то, говорит, не стану хлебом кормить. — Вот эпизод из настоящей нужды деревенской, которую так мы мало знаем.

Писем от тебя не получал и сейчас повезу на Козловку это письмо незапечатанное. Там припишу в ответ. Ночь чудная — ни городовых, ни фонарей, а светло и спокойно. Из хозяйственных дел одно чуть было не огорчило меня, — это то, что за садом мыши объели штук 300 прекрасных яблонь. — Другое то, что мы должны были Алексею Степановичу, а теперь его наследнику жалованья 260 р. Это верно по книгам и его книжке, а всё-таки мне чуть было не показалось неприятно.

Взял я с собой Бальзака и с удовольствием читаю в свободные минуты. — Видишь ли, я исполняю твою программу писания писем — нигде не пишу: «I hope», а всё про себя. А между тем много бы хотелось сказать разных I hop'ов и о тебе и о маленьких, и о здоровьи Маши, и об ученье Илюше, и о страстности к веселью и унылости к занятиям Тани. Ну вот, обнимаю тебя и детей.

[**ПРИМЕЧАНИЕ** *С. А. Толстой.*

«Англичанки, с которыми я переписывалась в моей жизни, в письмах своих писали всегда: I hope you are well [я надеюсь, вы благополучны], I hope your dear children are well [я надеюсь, ваши дорогие дети здоровы] и т. д. О себе очень мало. И вот я просила Льва Ник<олаевича> писать только о себе без I hope'ов касательно меня» *(Цит. по: 83, 334).*]

Сейчас получил твоё хорошее письмо. <От 8 апреля. – *Р. А.*> Прекрасно сделала, что не пустила Таню <на бал к Хомяковым. – *Р. А.*>, и всё пока хорошо у тебя, также как у меня. Что даст Бог завтра. Целую тебя, милая» *(83, 331 - 333).*

Мы видим, что силы и внимание Льва Николаевича в эту поездку в Ясную Поляну не направлены уже, как прежде, преимущественно на беседы с просителями из крестьян и помощь им. Занятия его в этот раз более традиционны: охота и писание (позднее, по получении корректур – преимущественно редактирование «Исповеди»). Народ же – уж привык видеть в Толстом помощника в повседневных нуждах, и то и дело отвлекал его от предпочитаемых занятий. Вспоминает Софья Андреевна:

«Опять стал ходить к Льву Николаевичу народ с разными нуждами. Без нас яснополянскому населению жилось всё-таки гораздо хуже. Хоть и мало, но мы помогали людям, чем могли. И вот и теперь: приходили за советами, за лекарством, за деньгами» *(МЖ – 1. С. 380).*

Письмо Л. Н-ча следующего дня, 10 апреля, своими тематикой и настроением практически продолжает предшествующее:

«Нынче пишу тебе до тяги <т. е. до выезда на охоту. – *Р. А.*>, потому что посылаю в Ясенки засветло, чтобы получить посылку.

На этом месте меня застал Урусов. <Сосед кн. Л. Д. Урусов, с которым Толстой условился поохотиться вместе. – *Р. А.*> Я писал ему нынче утром с няниным внуком, и вот он приехал с ружьём. Я только успел пообедать, начав с удивительной капусты с удивительнейшим квасом, и мы пошли в <лес> Заказ. Валдшнепов было пропасть. Дождичек шёл тёплый. Я два раза промахнулся, а Урусов, кажется, убил двух. Обеих не нашли. Завтра он пойдёт искать.

Утром я ходил к Варваре мирить её с Константином <Ореховым>, и удивительно, как нужно им доброе слово. Она горячилась, горячилась и вдруг затихла, и <шорник> Иван Алексеич пришёл ко мне после и говорит: она теперь успокоилась, говорит, граф с меня 10 пудов снял. Потом были: Таниной кормилицы мать <«Ребёнка сестры Тани» - *примеч. С. А. Толстой*>, Степан печник и ещё другие, и всем я как будто нужен. Нынче был и городовой – урядник с саблей. Этот не доставил мне удовольствия: — какие-то сведения, ни ему, никому не нужное, и «ваше сиятельство», и ложь, и вздор.

Нынче день тёплый с дождичком. Трава так и лезет. Зеленя стали такой яркой, зелёной краски, какой не найдёшь у Аванцо. <Магазин Аванцо в то время – популярный у богатой городской сволочи магазин картин и художественных принадлежностей на Кузнецком мосту в Москве. – *Р. А.*> Я занимался порядочно, хуже, чем вчера, но тоже покормить стоит, и в 4 часа пошёл гулять к Туле, — думал встретить Урусова, — но дошёл до кабачка и вернулся. <«Кабачок» — народное название одного из лесных мест в Засеке, километрах в трёх не доходя до Косой Горы, с левой стороны, где кончается Засека, по направлению к Туле. – *Р. А.*>

Урусов много интересного рассказывал и между прочим про смерть Глазкова. <См. предшествующее письмо.> Ты, верно, слышала от Леонида <Оболенского>. Это ужасно!

Обнимаю тебя и детей.

I hope [англ. я надеюсь], что Серёжа <сын> сделает мне и себе честь, во всём получив пятёрки» *(83, 334 - 335).*

Оба приведённые выше письма Софья Андреевна получила в один день, 11 апреля, и, конечно, тут же ответила на них:

«Воскресенье вечер.

Только что получила твои два письма разом, милый Лёвочка, и совсем ожила опять духом. Всё стало легче, и веселей и ясней. Я беспокоилась и телеграфировала тебе, а теперь раскаиваюсь, как бы тебя не встревожить. Ты очень соблазнительно пишешь о деревне и зелёной травке и вальдшнепах, но всё это недосягаемо, и мне не весело будет без тебя воспользоваться всем этим. Только бледная Маша и малышки жалки в городе.

Я точно сделала что-то очень дурное, что отправила <гувернантку англичанку> Carrie в больницу. Но сама она такая всегда, и на этот раз, непонятная: едет и очень довольна, улыбается, всё устроивает. Но она, бедная, очень страдала всю ночь: я до 3-х часов ночи давала ей порошки; в 5 её проведала, а в 8 проводила в карете с Дуняшей и Сергеем в больницу Екатерининскую, конечно с полного её не только согласия, но даже с охотой с её стороны. <Дуняша — это, конечно, Авдотья Васильевна Попова, жила у Толстых экономкой около 30 лет. Сергей – слуга С. П. Арбузов. – *Р. А.*> Не чувствуя себя в силах за ней ходить, я её отправила. Девушки отказывались с ней ночевать: страшно, говорят, да и спать всю ночь не даёт от стонов. Поместили её хорошо; в палате её, рядом с ней, барышня 17 лет, говорит по-английски, и доктор говорит. Проболеет она дней 12-ть, а потом можно будет её взять; если завтра моё горло будет легче, я проведаю её.

Боюсь, что ты так чувствителен на мои письма, я их так дурно пишу. Сейчас получила ответ на мою телеграмму, и осталась недовольна тем, что нет ответа ни на то, здоров ли ты, ни на то, когда приедешь? Я, впрочем, очень спокойно переношу твоё отсутствие; только бы письма получать более регулярно, чем сегодня. Твои письма очень хороши, и мне жаль, что ты не во всю пишешь, боясь других.

Андрюша спит со мной, а Маша с Таней; из контор выписала швейцарок, непременно возьму. Были нынче Кити Мансурова с братом. Серёжа готовится к экзаменам. Илья поехал обедать к Боянус, а потом с ним в любительский театр. Алёша страшно кашлял ночью. Приехала сейчас Варенька с мужем.

Я глупа и нервы расстроены от бессонной ночи и тревоги с Carrie. <Доктор> Чирков денег за Carrie не взял за визит; он ужасно настаивал на больнице. Я рада, что тебе, по-видимому, хорошо, и что ты работаешь. Продолжай и о нас не беспокойся. Завтра высплюсь и отдохну, и опять на воздух выйду и опомнюсь.

Ну прощай, милый друг. Леонид ничего о Глазкове не говорил; он приехал вечером предложить, не нужен ли он на что-нибудь. Я просила место приготовить в больнице Carrie, что он и сделал, спасибо ему. Иногда очень жаль, что мы не в Ясной, а иногда думаю: всё это хорошо в хорошую погоду, а каково теперь: холод, дождь, всё равно сиди дома; да никого не видишь, тогда тут, пожалуй, лучше. Но устала я, так что-то устала от жизни, что всё равно. Думаю, вот скоро ночь, как хорошо будет лечь. Жаль, что не знаю, когда ты приедешь; всё бы так считала: вот день ещё прошёл, а там ещё, хоть 10 дней, но лучше почему-то знать.

Соня» (*ПСТ. С. 191 - 192).*

Упоминаемая Софьей Андреевной телеграмма мужу, видимо, затерялась; текст её неизвестен. Но телеграмма точно была: её упоминает Лев Николаевич в своём следующем письме, равно как и некую «записочку», посланную с лакеем Михаилом Фомичом Крюковым. Из нижеприводимого письма Толстого становится ясна и причина такой активности Софьи Андреевны в посланиях мужу: она с нетерпением ждала известий от него, о его самочувствии и иных новостях; письмо же его от 9 апреля было получено в Москве только 11-го.

Данное письмо – заключительное в данном, 1-м Фрагменте Восемнадцатого Эпизода представленной нами вниманию просвещённого нашего читателя Переписки супругов Толстых.

«Вчера получил твоё письмо <от 9 апреля> на почте, а нынче другую записочку с Мишей и телеграмму. — Очень мне жаль, что письмо моё одно <от 9 апреля> не дошло вовремя. Вероятно, начальник станции забыл положить в ящик. А тебя, бедную, это расстроило, а ты и так, я вижу, нездорова и взволнована. Приеду я во вторник <13 апреля> по курьерскому.

Вчера ходил в баню, потом беседовали долго с Урусовым, ожидая возвращения из Ясенков, куда я посылал за кор<р>ектурами <«Исповеди»>. Он приехал поздно, и я не спал до 5 часов. Первый раз дурно. И нынче день провёл дурно. Разговоры с Урусовым и потом ходили в лес искать валдшнепа. Он нашёл вчерашнего, а я погулял.

За обедом нашим — опять капуста и редька с квасом и зелёные щи. — В конце является Давыдов — на тягу. Очень рад. Он встаёт. Да что вы? — Да там со мной. — Кто же? Да там Лопухин. <Сергей Алексеевич Лопухин, товарищ прокурора в Туле, впоследствии сенатор. – *Р. А.*> — Так что ж, зовите его. — Да там моя жена. — Ах, ваша

жена; ну, да зовите её. Она не взыщет. — Так я пойду. — И идёт. — Да вы скажите, нет ли ещё кого-нибудь! — Нет, да, есть. Madam Добрынина. — Ах, Добрынина; ну что ж, зовите её. Вот три стула и сундук; но теперь уж все? — Теперь все. — Идёт и останавливается. — Нет, есть ещё Типольд. — Теперь ей -Богу все. — Они все пришли, посидели, и мы пошли на тягу в заказ. Я не стрелял, они стреляли, и Урусов убил ещё одного. Они уехали. Мы напились чаю, и вот я пишу тебе и вместе посылаю тебе телеграм<м>у ещё, — ответ на вопрос, — когда я приеду. <Текст телеграммы см. ниже. – *Р. А.*> Я, возвратясь к обеду, получил твою телеграм<м>у, сначала испугался, потом успокоился и послал ответ, а потом, перечитывая, нашёл вопрос; когда я вернусь. Ты, верно, не рассердишься, когда эта 2-я телеграм<м>а разбудит тебя ночью.

Ну вот, скоро после этого письма и я приеду, если буду жив. Только бы твоё здоровье также скоро поправилось, как всех детей. — Спасибо Таничке, что она помогает тебе; вот это хорошо, «понравилось». Ты два раза это пишешь, значит, по-настоящему помогает. Целую тебя и детей.

НА КОНВЕРТЕ: Москва. Денежный переулок. Дом Волконских. Е. С. Графине Софье Андреевне Толстой» *(83, 336 – 337).*

12 апреля в 5 минут пополуночи (!) Толстой отправляет с Козловой Засеки предупредительную телеграмму такого содержания:

«Москва. Денежный пер. дом Волконской. Графине Толстой. Приеду <во> вторник курьерским. Толстой» *(83, 338).*

Так и сделал. Как только у Льва Николаевича вышел из-под пера готовый к печатанию материал, не желая задерживать благосклонного издателя, он повёз бесценные листки своей «Исповеди» навстречу заслуженной и бессмертной славе (пришедшей к этому сочинению *вопреки* жестоким цензурным преследованиям). 13-го апреля он возвращается в Москву.

КОНЕЦ 1-го ФРАГМЕНТА ОСЬМНАДЦАТОГО ЭПИЗОДА

———

Фрагмент 2-й.
«МНЕ НЕВЫНОСИМО ХОРОШО»
(16 – 24 мая 1882 г.)

ВВЕДЕНИЕ

С 13 апреля по 16 мая 1882 г. у Л. Н. Толстого шла работа над корректурами «Исповеди» — малоинтересная для нашей темы. Пожалуй, нелишним будет отметить только влияние Софьи Андреевны на выбор заглавия сочинения, готовившегося теперь Толстым для публикации в журнале «Русская мысль». В черновиках Толстого весны 1882 г. текст озаглавлен в соответствии с тогдашним замыслом автора: «Вступление к ненапечатанному сочинению». (Общеизвестно, что такое единое сочинение, в конце концов, не было Л. Н. Толстым создано: в ходе многолетней работы оно “разделилось” на несколько работ: «Исповедь», «Исследование догматического богословия», «Соединение и перевод четырёх Евангелий» и «В чём моя вера?»). Между тем, как отмечает Н. Н. Гусев, слово «исповедь» в отношении работы мужа было употреблено Софьей Андреевной ещё в записи её дневника от 31 января 1881 года – правда, «не как название, а как характеристика произведения»: «Лев Николаевич … написал религиозную исповедь в начале нового сочинения» *(Цит. По: Гусев Н.Н. Материалы… 1881 – 1885. С. 157)*. Далее Николай Николаевич приводит свои интересные и очень вероятные соображения по поводу заголовка статьи:

«Принадлежит ли эта характеристика самому Толстому или его жене – трудно сказать. Быть может, сам Толстой в задушевном разговоре с женой (в те годы он делился с ней своими замыслами), говоря о своём задуманном или уже законченном произведении, дал ему такую характеристику; но более вероятно, что эта формулировка содержания первого законченного религиозно-философского произведения Толстого сделана его женой, переписывавшей “Исповедь”» *(Там же)*.

Так или иначе, но уже в эту весну 1882 г. издатель «Русской мысли» С.А. Юрьев, в ожидании готового текста вертевшийся вокруг Льва Николаевича как кот вокруг сливок, слышал, как именовалось «религиозной исповедью» сочинение Толстого членами его семьи в московском доме *(Там же)*.

На этом и хватит пока об «Исповеди». Другое, и много важнейшее для нашей темы, биографическое обстоятельство в жизни Л.Н. Тол-

стого и его семейства – *переезд в новый дом*, знаменитую Хамовническую усадьбу. Об обстоятельствах переезда и некоторых первых его последствиях предоставим сперва рассказать по-своему новой хозяйке дома, Софье Андреевне Толстой:

«Дети все, не привыкшие весной быть в городе, часто томились; возила я их за город, но они от этого очень уставали. <…> Всем нам хотелось скорей в Ясную Поляну.

В конце апреля и начале мая Лев Николаевич приезжал к нам в Москву, и я ему тогда сказала, что на будущую осень я не в силах опять вернуться жить этой сложной городскою жизнью с его недовольством и тяжесть её переносить и останусь в Ясной Поляне жить там по-прежнему. Лев Николаевич ничего мне на это не сказал, но о Москве отозвался, что это большой нужник и заражённая койка *<Если точнее, Толстой выразился о Москве иначе: «заражённая клоака» — см. письмо С. А. Толстой к Т. А. Кузминской от 2 мая 1882 г. – Р. А.>*, с чем я принуждена была согласиться. И вдруг, не говоря ни слова, он, как я пишу сестре 2-го мая: “вдруг стремительно бросился искать по всем улицам и переулкам дома и квартиры для нас. Вот и пойми тут что-нибудь самый мудрый философ”.

Присмотрел он тогда дом Арнаутова с большим садом в Хамовническом переулке и очень прельстился простором всей усадьбы, более похожей на деревенскую, чем на городскую. Помню, в какой мы все пришли восторг, когда после шумной пыльной улицы вошли в этот сад. Всё было зелено, пышно, листья, трава блестели на солнце, ещё не высохнув после недавнего дождя, птицы пели, как в деревне. […]

Дом […] мне не понравился: весь верх — это были деревянные полугнилые чердаки и антресоли <Так в старину называли комнаты верхних этажей с отвратительно низкими потолками – примерно такими, какие делались позднее в «хрущёвках», строившихся в Совке-СССР для трудовых лохов. – *Р. А.*>, в которых потолки были низкие, и жить там было невозможно. Лев Николаевич обещал надстроить верх, что и исполнил не вполне. …Он надстроил для меня (будто бы) залу и гостиную, а Маше и себе оставил низкие маленькие комнаты, которыми всегда впоследствии тяготился и которые испортили весь фасад дома.

Не помню, когда именно закончена была покупка дома, этим всецело занимался Лев Николаевич, но уже 15-го мая мои дочери и малыши Андрюша и Миша уехали с Львом Николаевичем, няней и частью людей в Ясную Поляну, а я осталась в Москве с грудным Алёшей и тремя старшими сыновьями. …Мне было невыносимо тяжело и грустно в Москве, тем более, что сын мой Лёва заболел сильнейшей лихорадкой, экзамены <в гимназии> держать не мог, совсем слёг, и

болезнь не поддавалась лечению. Потом захворал и маленький Алёша. С запертыми окнами, в духоте и тревоге жила я весь прелестный май в Москве, в Денежном переулке <Т.е. пока по прежнему адресу; новый дом ещё не был формально куплен. – *Р. А.*>, без сада, в пыли, и не могла двинуться» *(МЖ – 1. С. 381 - 382)*.

Картина, нарисованная Софьей Андреевной в этом пространном отрывке, в данном случае, к сожалению, не даёт нам права исчерпать тему — по причине её неполноты, а отчасти и неправдивости. Не нужно быть опытным толстоведом, чтобы почувствовать, как Соничка утрирует негатив — что было для неё вполне, впрочем, «традиционно»!

Она добилась именно того, чего желала: Толстой отыскал и купил в 1882 году такой дом-усадьбу, в котором *мог выдерживать* жизнь в Москве. Но ей и плохо, и недовольна опять ничем, и в тревоге, и… вообще как будто не поддерживает мужа в этом предприятии.

Даже любящая дочь, Т. Л. Сухотина-Толстая, в своих мемуарах деликатно замечает, что взгляд матери на «неожиданное» приобретение отцом хамовнического дома — достаточно наивен *(см.: ЛН. Т. 69. Кн. 2. С. 257)*. С ней солидарен и биограф Льва Николаевича, Н.Н. Гусев, рассуждающий так:

«Понять причину решения Толстого купить дом для семьи или, если это не удастся, переменить квартиру, было не так трудно. Видя, что образ жизни семьи не может быть изменён, что семья будет продолжать жить в Москве, Толстой решил переменить местожительство и поселиться подальше от центральных улиц Москвы и в таком доме, где есть сад» *(Гусев Н.Н. Указ. соч. С. 149)*.

«Мы не отдавали себе тогда отчёта, — пишет в воспоминаниях Т.Л. Сухотина-Толстая, — какой это было для него жертвой, принесённой ради семьи» *(Там же)*.

Добавим от себя, что настроение приведённого выше отрывка из мемуаров С.А. Толстой подсказывает ещё одну причину решительного шага Л.Н. Толстого: дети уже учились в Москве, светская жизнь жены и детей тоже наладилась и влекла их, и он *не верил* в долговременность весеннего «продеревенского» настроения жены — проницательно ожидая семейных неурядиц и конфликтов в будущем. Как талантливый военный стратег или опытный шахматист — он обдумал «движения фигур» наперёд. И сделал свой — упреждающий — ход королём… как ни тяжело было ему это. Мудрость его подтвердили события последующих лет.

22-комнатный дом-усадьба с садом насчитыывал 16 комнат в доме и шесть – в малюсенькой дворовой пристройке Он был 1808 г. постройки (по другим сведениям – даже 1801-го) – пожар 1812-го

года побрезговал им и его соседями… С 1874 г. жили в доме старик с женой и бессчётным множеством собачек – коллежский секретарь Иван Александрович Арнаутов (? – около 1890), супруга его Т. Г. Арнаутова, а также несколько их квартирантов.

Мимо этого дома отступали описанные Толстым в «Войне и мире» французы – с русскими пленниками. Именно там Пьеру Безухову явилась ужасная картина:

«Проходя через Хамовники (один из немногих несгоревших кварталов Москвы) мимо церкви, вся толпа пленных вдруг пожалась к одной стороне, и послышались восклицания ужаса и омерзения. «— Ишь мерзавцы! То-то нехристы! Да мёртвый, мёртвый и есть… Вымазали чем-то». Пьер тоже подвинулся к церкви, у которой было то, что вызвало восклицания, и смутно увидел что-то прислонённое к ограде церкви… это что-то — был труп человека, поставленный стоймя у ограды и вымазанный в лице сажей».

Ограда дома и усадьбы скрывала от Льва Николаевича столь приманчивое, в сравнении с Денежным переулком, будущее, что тот, не дотерпев утра, привлёкся к ней майским вечером и умолил хозяина показать ему… *сад*. Вдова домовладельца, Татьяна Григорьевна Арнаутова, смогла вспомнить подробности этого визита аж в 1915 году! Его уже обычная в это время одежда, простое пальто и выцинявшая до рыжины измятая шляпа, вкупе с восторженным взором, так сперва напугали Арнаутова и жену, что покупателю пришлось сразу назвать своё имя… Вечерний запущенный сад, напоминавший об уединённых яснополянских прогулках, полюбился Толстому с первого взгляда. Впоследствии он вспоминал, что там «было густо, как в тайге» *(Гусев Н.Н. Указ. соч. С. 151)*. Он не только не осмотрел тогда дома (гниловатого, собачками засратого, без водопровода и канализации), но вовсе не обратил внимание на *соседей* Арнаутовых, из-за которых тем никак не удавалось сбагрить дом. А по соседству были: рабочие казармы, фабрика шёлковых изделий (впоследствии наводившая своими гудками Толстого на думы об эксплуатации трудового народа и «рабстве нашего времени») и вонючий пивоваренный завод, хозяин которого поддерживал «милую», типично русскую традицию: жидкие отходы производства периодически сливались им прямо на мостовую, вдоль по переулку.

А немногим позднее, в 1887 г., с общим (через сад) забором соседом хамовнической усадьбы Толстых стала психиатрическая лечебница проф. С. С. Корсакова.

Конечно, Льву Николаевичу не составило большого труда разрекламировать – а потом и показать – прекрасный сад своим жене и детям. На условиях необходимой в доме перестройки, было решено

– покупать. 14 июля 1882 г. старик Арнаутов заполучил вожделенные ему 27 тысяч рублей (плюс, отдельно, денежки за мебель красного дерева), и навсегда покинул Хамовники, чтоб в начале 1890-х умереть от рака челюсти в убогом Толстовском (!) переулке, близ Смоленского рынка. У Толстого же впереди были 19 непростых московских сезонов, в течение которых ему, вероятно, не раз мерещился в полумраке тот чёрный от сажи, распятый нехристями труп из великого романа – но не у церковной, а у домовой ограды… быть может – и его собственный.

Переполнившись неотделимыми от купли-продажи недвижимости негативными эмоциями и сомнениями (к которым присоединилось известие из Парижа о тяжёлой болезни И. С. Тургенева), Толстой, прихватив с собой четверых детей (Машу, Танюшу, Андрюшу и Мишку), дабы успокоиться, всё обдумать и решить – выехал 15 мая из Москвы в Ясную Поляну. Софья Толстая осталась в Москве с грудным Алёшей и сдававшими экзамены Сергеем, Львом и Ильёй ещё на неделю – искупать, как грехи, последствия своего выбора городского образа жизни.

Фрагмент 1.
В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ
(16 – 24 мая 1882 г.)

Счастливо добравшись из городской ссылки к себе домой, в первый же яснополянский вечер, 16 мая, Толстой посылает жене небольшое письмо. Начинается оно со сведений о семье Кузминских, выехавших из Москвы в Ясную одновременно с Толстым, но добиравшихся от Тулы отдельно, в собственном экипаже:

«Так хорошо и безмятежно доехали, как только можно желать. Выехала <за Кузминскими> бибиковская <соседа Бибикова> карета, потому что вчера с Таней <Кузминской> на Рудаковой горе <это близ Косой Горы, шесть с лишком вёрст от Ясной Поляны. – *Р. А.*> сломалось колесо, и они все пересели в шарабан <Бибикова> и добрались кое-как. Они живы, здоровы. Наши <дети> были очень спокойны. В дамском последнем вагоне были дети и друг друга угащивали сластями. Это одно было дурно. Но поели уже в карете кур и дома молоко и чай.

Карри <гувернантка, рыжая англичанка, фаворитка С. А. Толстой; глупая, но исполнительная, в то время болевшая воспалением лёгких. – *Р. А.*> слаба и жалка, но ей не хуже.

Дом очень чист, весел, и всё прекрасно прибрано. Таня посылала уже за провизией, а нынче всё привезли. Маленькие <Андрюша и Мишутка> спят, Машу услали спать, а я сижу с <дочерью> Таней у Тани <Кузминской> после чая. Но прежде чем отправить письмо, зайду к малышам, — правда ли, спят.

Не хочется радоваться на красоту весны: всякую минуту думаю, как тебе гадко. Приезжай поскорей. Я с радостью сменю тебя. Мне и дела <в Москве> есть, и дорогу я перенёс — не то что легко, а весело» *(83, 338)*.

Есть сведения, что на следующий день, 17 мая, Софья Андреевна уже написала письмо мужу, текст которого, однако, по негласным причинам, не был опубликован *(см. ПСТ. С. 194)*. В этот же день, встречно, посылает уже второе в эту поездку письмо и Лев Николаевич – по содержанию и настроению будто продолжая предшествующее своё, краткое от усталости, послание:

«Здесь мне невыносимо хорошо. Спал прекрасно, встал в 10, напился кофею у Тани <Кузминской>, поиграл с детьми (они очень счастливы и здоровы) и пошёл ходить, по черте <по периметру границ усадьбы. – *Р. А.*>, по жёлтым цветам, в засеку, на крапивенскую дорогу, на пчельник, к круглому березнику, купальне, кругом заказа, и пришёл в 3 домой. Именно невыносимо хорошо, потому что ни разу не могу порадоваться, чтобы не вспомнить о тебе и твоей московской пытке. Я так в один день очнулся и посвежел, что тянет ехать в Москву тебе на смену. Пожалуйста, душенька, если ты хочешь сделать мне истинно приятное, поскорее вызывай меня. Только бы Лёле <Л.Л. Толстому> было лучше и решено бы было, что ему лучше ехать. Известие о том, что ты зовёшь меня тебе на смену завтра, будет для меня радостью. Я с восторгом поеду, и надеюсь, что, очутившись здесь и вообще пережив своё нездоровье, я проживу прекрасно в Москве эти 10 дней.

Придя домой, я забрал девочек 3-х и пошёл с ними гулять навстречу <Л. Д.> Урусову. Он вчера виделся с нами. Он встречал <великого князя> Николая Николаевича младшего, который всегда едет в одном поезде со мной. Мы не встретили его и вернулись в 6, к тёте-Таниному обеду. Я вчера, оказывается, провинился очень — невольно. Я брал билеты себе в Москве и тут же поручил артельщику взять билеты людям <прислуге> и проговорился: в Тулу. Вчера послали на Козловку — людей нет. Утром пришёл <буфетчик> Гарасим, <попросил,> чтоб высылали лошадей.

Вообще у них была игра. Но приехали все целы и благополучны.

За маленькими я слежу и, главное велю как можно больше быть в саду. В доме и опаснее, и нездоровее.

Жара нынче даже у нас была ужасная. Каково же было вам? Здесь засуха — по-моему и ржи, и травы — всё худо.

Андрюшу ни я, ни Таня не слыхали кашляющим, но сейчас спрошу няню, и сообщу: — няня говорит, кашель гораздо лучше. — *два-три раза в день*.

Вечером, в 8, приехал Урусов, — привёз пирог к чаю — хлеб-соль, который назначался тебе, но который мы съедим у тёте Тани.

Так сделай же мне доброе — выпиши меня скорее. Я так славно займусь в Москве окончанием моих дел писательских, и покупкой, и перестройкой дома, и, главное, так радостно будет знать, что ты в хорошем воздухе с маленьким.

Прощай, душенька, обнимаю тебя и целую 4-х сыновей. Таня пишет.

Тв[ой] Л.» *(83, 339 - 340)*.

Как мы уже сказывали выше, текстом письма Софьи Андреевны от 17 мая мы не располагаем. Описывая в воспоминаниях своё положение в эти дни, она цитирует отрывок из другого своего письма этого же дня (сестре?) – вероятно, повторяя описание в неизвестном письме мужу:

«Лёля худ, болен, кашляет; я ещё в Москве с ним и Алёшей. Жарко, томительно и грустно… Окна заперты, боюсь для Алёши и Лёли коклюша и жду решения доктора уехать в Ясную. Все уже там, и я радуюсь, что хотя остальным хорошо. Для Ильи я здесь бесполезна; я по пяти раз в день бегаю, его ищу (чтобы он занимался), а он то играет в бабки, то пропадает с малярами» *(МЖ- 1. С. 382)*.

Вообще на эти дни писем Л. Н. Толстого приходится довольно много: он как будто стремится не обрывать общения с Соничкой, желает, чтоб она каждый день читала вести от него – в ожидании скорой встречи в Ясной Поляне, куда в дальнейшей переписке этих дней он усиленно призывает любимую. Итак, не ожидая ответа от Сони, 18-го Лев пишет продолжение своего эпистолярного… в контексте ситуации, лучше сказать – монолога:

«Пишу третье письмо, не получив ещё ни одного от тебя, милый друг. Верно получу сейчас. Я поеду сам отвозить письмо.

У нас продолжает быть всё так же благополучно. Погода чудная здесь, а в городе должна быть ужасна. Если ты меня не выпишешь скоро, я сам приеду и ушлю тебя. Вот только, что Лёля? и твоё горло?

Но я всё-таки того мнения, что и то, и другое поправится лучше здесь. — Вчера довольно поздно сидели с Урусовым у Тани. Нынче пили кофей на крокете. Также ходят мужики и бабы с делом и бездельем. Я привёл в порядок свои бумаги и пошёл гулять. Маленьких направили в сад, больших с Кари и Sophie <«Гувернантка Кузминских». — *прим. С. А. Толстой.* > — на купальню. Sophie, кажется, будет хороша. Таня села писать портрет с тёти Тани. Я пошёл по лесам и к <А.Н.> Бибикову.

Моё мнение о неурожае подтвердилось и усилилось мнением Бибиковых. Предстоит в нашей местности неурожай, какого я не помню за 20 лет. Больше 2/3 ржи пропало. Я вернулся к обеду. Обед у нас. Тани ловили рыбу.

Вечером читали урусовской перевод Марка Аврелия. Перевод и странен, и неправилен, но нельзя оторваться — мне, по крайней мере, от этой книги. <Имеется в виду книга: «Размышления императора Марка Аврелия Антонина о том, что важно для самого себя». Перевод кн. Л. Урусова. Тула. Типография Губернского правления, 1882. – *Р. А.*> Недаром говорит Христос: прежде, чем был Авраам, я есмь. И вот этого-то Христа, который был до Авраама, Марк Аврелий знал лучше, чем его знают Макарий и другие.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Макарий — Михаил Петрович Булгаков (1816—1882), православный митрополит, ректор Духовной академии, автор «Православно-догматического богословия» и «Истории русской церкви». В «Исследовании догматического богословия» Толстой подверг книгу Макария блестящей, безжалостно-разгромной критике. – *Р. А.* **]**

Мне всё так же хорошо, и неприятно, что хорошо. Все дети, и большие и малые милы, веселы и дружны.

Что-то твои 4 сына? <Сергей, Илья, Лев и младенец Алексей, бывшие в Москве с матерью. – *Р. А.*>

В Москве в этот жар трудно быть весёлым и дружным. Маша пишет. Малыши пошли спать. Чай пили все у нас.

До свиданья, душенька. Что скажет твоё письмо?

Целую тебя и детей.

Завтра, если буду жив, буду писать начатую статью. — А то скучно без тебя и дела» *(83, 341)*.

Номинативные традиции XIX столетия позволяли назвать “статьёй” самые разнообразные литературные сочинения — включая художественные. Также — и огромные религиозные и философские

трактаты… Поэтому трудно сказать, о какой «статье» ведёт здесь речь Лев Николаевич. По предположению исследователей, он продолжал работу над своей «статьёй о переписи» — той, которая в итоге сложилась у него в многоглавный и разнотематический трактат «Так что же нам делать?». В то же время, упоминание Макария наводит нас на мысль о работе Толстого над другим своим великим сочинением – «Исследованием догматического богословия».

Софья Андреевна не заставила себя ждать с ответом: очередное письмо было написано ей в тот же день 18 мая, что и только что приведённое нами письмо Л. Н-ча. Вот в полном виде текст его, начинающийся предсказуемо с известий о болезни сына:

«Сегодня всё гораздо лучше, милый друг Лёвочка. Здоровье Лёли стало очевидно лучше. Сегодня он не принимал хинина, лихорадки нет и тик был легче. Но испугал он меня ужасно ночью. Сплю я, вдруг слышу за перегородкой треск и шум. Я думала, он упал с дивана, бросилась к его постели, — она пуста. Вижу я, бежит он в одной рубашке уже в залу. Я подошла, говорю: что ты, Лёля, куда? Вижу лицо его идиотское и он плаксиво мне отвечает: “да туда, сидеть, пустите, я пойду”. Тогда я поняла, что это лунатизм и свела его тихонько в постель. Долго после не могла я заснуть, всё трясло меня. Маленькому тоже лучше, меньше кашляет и спал отлично. Сегодня я не устала и не тосковала … Ездила кое-какие дела кончить, больше не поеду, всё сделала. Вчера во время обеда явился <С.С.> Урусов с Богдановой смотреть дом. Ей, кажется, не хочется купить, страшно, что гнил. Был сегодня Арнаутов, раздушенный и любезный. Говорит, что дом ещё покупают, а он уступить не может. Серёжа ходил к <Митрофану> Щепкину, не застал, а об архитекторе сказал. Илья сегодня из латыни получил 3 и очень доволен. Вчера вечером у меня таки была с ним история. Он весь вечер сидел в пьяной компании маляров, я его оттуда выгнала и бранила. Он отвечал, а я ему сказала, что считаю своею обязанностью его охранять, беречь и потому он меня может даже бить, если хочет, а я буду всё-таки его охранять до последнего издыханья от того, что считаю ему вредным. Он очень смягчился, и мы простились друзьями. Пили чай en famille [*фр.* в семейном кругу]: Саша, Маша Свербеева с мужем, дядя Костя и я с детьми. Нам было очень приятно. Сегодня Саша с дядей ушли в Нескучный <сад>, а Серёжа и Илья ушли с Адамом <Олсуфьевым> купаться. Понемножку я убираюсь и укладываюсь. Лиза стала привыкать с ребёнком и я немного освободилась.

Ах! какие кляксы, я не видала!

Как то вы все поживаете? Счастливые! И я скоро буду счастливая. Саша ходил в Арнаутовский дом и сад и пришёл в восторг от сада. Мне принесли огромный букет. Прощайте, мои милые, целую всех, надеюсь, что вы здоровы, что Таня хозяйничает и qu'elle fait la maman [*фр.* что она изображает мать]. Я ей сегодня купила лент бледно-голубых и розовых. Не нужно ли что к фуляровому платью, Таня, что ты будешь шить из двух? Илья нынче возьмёт твоё полотно и портфель в Третьяковской галерее. Саша очень хвалил твой 1-й номер. Мы очень приятно живём вместе. Завтра пришлём Тане сестре телеграмму на Козловку. Ещё прощай, меня люби и не будь строг.

Соня» *(ПСТ. С. 193 - 194).*

Вечером в четверг, 20 мая, Толстой пишет следующее письмо Соне – ответ на телеграмму из Москвы (срочно вызывавшую Т. А. Кузминскую в связи с болезнью мужа) и, вероятно, уже ответ на послания жены 17-го и 18-го, хотя об этих письмах и нет упоминаний в его тексте:

«Неохотно пишу тебе, потому что надеюсь и всей душой желаю, чтобы ты приехала завтра и отпустила меня. — Я совсем собрался, когда получили телеграмму, и я не решился уехать с Таней. Впрочем то, что было до нынешнего утра, Таня всё расскажет. Нынче же дети гуляли, Таня мазала полотно под предлогом рисованья портрета Веры <Кузминской>. Обедали все вместе. Вечером большие с Мишей Кузминским пошли гулять, и я с ними. А маленькие сидели дома. Завернул к вечеру холод и страшно простудить. Теперь все легли спать, кроме Тани большой. Она сейчас ходила в тот дом узнать про маленьких Таниных и принесла сведенья, что Саше лучше, а Вася чудесен <Речь о детях Кузминских. – *Р. А.*>. Так и скажи Тане. Нынче получил приятное письмо от Тургенева. <От 14/26 мая из Парижа. – *Р. А.*> Он очень тронут моим письмом и пишет, что ему лучше, опасности нет, но едва ли приедет в Россию. Я занимался большим сочинением и в очень серьёзном настроении. — Телеграмма твоя очень мрачна. <«По случаю болезни А. М. Кузминского» *(примеч. С. А. Толстой).* > Мне стало ужасно жутко. Дай Бог, чтоб кончилось благополучно. Ужасно хочется знать подробности. Целую тебя и 4 сыновей.

Прощай, душенька» *(83, 342).*

Следующие два послания Л. Н. Толстого: телеграмма от 21 мая и письмо от 21-22-го – для нас малоинтересны. В них сообщаются некоторые сведения о здоровье и поведении детей, живших с отцом в Ясной Поляне, а также делается запрос о точном времени приезда жены – для высылки встречающих и кареты *(см. 83, 343 - 344)*.

Наконец, терпение ожидать иссякло… Сообщает С. А. Толстая:

«…Доктор не отпускал ещё нас. <…> В конце мая Лев Николаевич всё-таки приехал меня сменить и отпустил нас с Лёлей и Алёшей в Ясную, оставшись с Ильёй и Серёжей. К тому времени приехал к нам и А.М. Кузминский и остановился в нашем доме. Вскоре присоединилась к нему и моя сестра Таня. Кузминский был болен, ему нужно было сделать какую-то операцию во рту, для чего приглашён был хирург Склифосовский, и пришлось Кузминским жить в нашем доме довольно долго, до его выздоровления» *(МЖ – 1. С. 382)*.

В последующие дни С. А. Толстая не отвечала письмами на письма мужа: во всяком случае, до даты 14 августа 1882 г. в нашем распоряжении нет ни текстов её писем, ни сведений о таковых. Письма Л. Н. Толстого – кратки и посвящены преимущественно текущим делам детей, лечения Кузминских и вопросам покупки и перестройки нового дома. В письме от 24 мая, написанном “вдогонку”, после краткого приезда Сони в Ясную Поляну и свидания, есть, однако, в конце несколько интересных интимных строк в адрес жены:

«Ты очень жалка была нынче утром, и мне жалко было тебя будить. Отдыхай хорошенько за много ночей и дней духом и телом. И умеряй свою заботливость. Только бы дети не хворали. Прощай, милая, завтра напишу…» *(83, 345)*.

Письмо от 25 мая содержит планы главы семейства относительно перестройки дома («не трогать верх»), а также новости о продолжающейся попытке напечатания «Исповеди», в связи с которой дом Толстых навестил редактор «Русской мысли» Сергей Андреевич Юрьев:

«Юрьева видел. Он просил смягчить некоторые места, отмеченные в духовной цензуре. Я завтра попробую это сделать там, где смысл от этого не теряет, и тогда возвращу ему, и он напечатает и опять поедет с книгой в духовную цензуру. А там уже они будут делать, как знают, — т. е. остановят книгу или пропустят» *(83, 346)*.

«…Лев Николаевич, кажется, постарался, — сообщает в мемуарах Софья Андреевна, — но ничего не помогло, и «Исповедь» была всё-

таки запрещена духовной цензурой. Помню, что очень умный и симпатичный священник Иванцов-Платонов старался провести «Исповедь» через духовную цензуру и, просматривая это сочинение, делал свои комментарии, объясняющие и смягчающие смысл. Но о них впоследствии выразился Победоносцев, что эти комментарии только усиливают вред мыслей Льва Николаевича» *(МЖ – 1. С. 382)*.

По существу, силы мирского зла, сетовавшие после (и сетующие до сих пор) на радикальные выступления Толстого в печати, связь с Чертковым и заграничными пропагандистами и пр. – сами подталкивали его к такому образу жизни последних 25 лет его земного бытия. Городское прозябание, навязанное женой, сделало неизбежными контакты с такими мутными персонажами, как Эйльмер Моод или Владимир Чертков, а жесточайшая, безжалостная цензура – подвела автора актуальнейших христианских посланий человечеству к необходимости участия в нелегальной заграничной печати…

Между тем Софья Андреевна очень ловко, хитро устранилась от ответственности за связанный напрямую с её настроениями шаг мужа – покупку дома:

«Вероятно, тут же вскоре был решён вопрос о покупке в Москве дома, хотя долго шли переговоры и долго колебалось решение этого вопроса. Я старательно держалась в стороне и говорила, что мне всё равно, но что ответственности переезда я больше на себя не возьму» *(МЖ – 1. С. 383)*.

И Лев Николаевич смиренно подыграл ей и в этом: все хлопоты покупки, перестройки, ремонта дома, закупки мебели и прочего – он принял на свои плечи, что нашло выражение на многих страницах его переписки с женой, которой мы посвятим следующий, 3-й и последний, Фрагмент Восемнадцатого эпизода нашей книги.

КОНЕЦ ВТОРОГО ФРАГМЕНТА

Фрагмент 3-й.
«СЛОМИЛАСЬ ЖИЗНЬ», или «ИХ ЛЕГИОН, А Я ОДИН»

В письме жене от 26 мая из Москвы Толстой кратко перечисляет уже поделанные и ещё предстоящие, последние, дела в городе и обещает дожидавшейся его в отчей усадьбе Соничке: «если ничего особенного не случится, то завтра приеду» *(83, 347)*. Чувак обещал – чувак сделал: строго 27 мая Лев Николаевич возвращается домой!

С этого дня и до конца в официальных биографиях Толстого – красноречивый пробел. (Исключение — разве что сообщение от 24 июля об окончательном цензурном запрете многострадальной «Исповеди»: по-российски подленькая цензура дождалась отпечатания тиража «Русской мысли», после чего готовый тираж был арестован в типографии.). Толстой общается всласть с женою, детьми и гостями своего настоящего Дома. Для интеллектуального увеселения детей в дом была принята креативнейшая тётка — учительница музыки и французского языка Екатерина Кашевская.

У всегда прагматичного в вопросе денег и найма прислуги Толстого в этом отношении были, пожалуй, общие взгляды с отцом семейства, литературным персонажем ещё не написанной в ту эпоху сказки про Мэри Поппинс: наймичка должна была иметь множество достоинств — в обмен на одно маленькое жалованье).

Весёлая Катрин сумела «втянуть» в музыкальные развлечения буквально всех, и для всех устраивала довольно строгие экзамены, «на которых все должны были сыграть что-нибудь, петь хором, играть на рояле со скрипкой и *solo*. Обставлялось это всегда очень торжественно, ставились кресла для родителей и слушателей; исполнители страшно волновались, Екатерина Николаевна всем распоряжалась, поощряла учеников и имела вид полководца на поле сражения» *(МЖ – 1. С. 385)*.

Другим развлечением был хорошо известный «почтовый ящик», откуда по воскресениям доставали накопившиеся записки разных членов семьи и гостей и зачитывали их при всех вслух… Это – тоже своего рода семейная переписка – преимущественно на бытовые темы, — в стихах и прозе:

Шум и говор, песнопенье;
Крики малышей,

Дяди Льва уединенье
И выучивание ролей <для домашнего спектакля. – *Р. А.*>.

Утром чай, за чаем споры,
Споры без конца…
Ряд мифических стремлений
В Киев, в баню – деток и отца…

Свет денной,
Денные тени…
Грибы, охота и крокет,
Задач решённых не без лени
И к столу букет.

На дорожке чудны розы,
Тимофеева трава,
Смех, поэзия и слёзы…
И еда! Еда!
(Там же. С. 387).

Лев Николаевич, наверное, чуть не «опрундыкался» со смеху, когда опознал в сем поэтическом шыдэрве Танюши Кузминской — беспонтово корявую пародию на знаменитое «Шёпот, робкое дыханье…» друга своего, Афанасия Фета!

Да-да, ещё охотились — охотой «тихой» и не очень… и много-много играли в крокет, и Лев Николаевич так затягивался, что *июньским* вечером игра продолжалась в темноте, с фонарями!

Трагикомический случай вспоминает Софья Андреевна. Понадеявшись на хорошую погоду, в гости к Толстому завернул старый приятель — Василий Николаевич Бестужев, в то время директор Тульского оружейного завода. Он в эти дни что-то особенно переживал за заводскую плотину, боялся ливней и возможного прорыва, и лишь единственный раз рискнул отлучиться в гости к Толстому с работы — как раз в памятный для имперской России день 29 июня 1882 года… Памятен же день был – *катастрофическим ливнем*, разразившемся над центральными губерниями вечером и в ночь на 30-ое. Софья Андреевна вспоминает: «Рвало крыши, ломало деревья как щепки; вода от земли поднялась на три аршина, снесло купальню, шумело, гудело, лило так, точно какое-то море сразу упало с неба на землю. <…> Было крушение поезда около Кукуевки, …страшная кукуевская катастрофа, при которой погибло много людей и сломались в щепки упавшие с насыпи вагоны» *(Там же. С. 386)*.

Наутро злосчастному Бестужеву довелось только оплакать останки дорогостоящей заводской плотины.

Жизнь летом 1882 г., свидетельствует С. А. Толстая, «осталась одним из лучших воспоминаний наших двух семей» <т.е. Толстых и Кузминских. – *Р. А.*>; справедливо и проницательно она прибавляет: для Толстого это было «береженье своих духовных сил для дальнейшей жизни» *(Там же)*.

Софья Андреевна с её православием предпочла «не заметить», что это же волшебное яснополянское лето вдохновило Толстого и на начало работы над знаменитым, остронецензурнейшим не только в ту эпоху, но и по сей день, религиозно-проповедническим и социально обличительным словом к современникам и потомкам — книгой «В чём моя вера?». К началу сентября был закончен черновик первой редакции этой новой жемчужины недогматической христианской мысли.

Да и не одни духовные силы требовалось восстановить Толстому. С 14 июля он стал юридически владельцем московского особняка… в котором, как говорят в народе, «конь не валялся». Два раза за лето – 23 июня и 13 августа – Толстой выезжал по делам, связанным с этой хлопотной покупкой, а с 10 по 19 сентября «впрягся» уже в это дело так, что ему посочувствовал бы родной его Холстомер… К этим дням, а также, после перерыва, — к периоду с 28 октября по 9 октября 1882 года относится заключительный фрагмент переписки супругов Толстых 1882 года.

Начнём, впрочем – немного отмотав плёнку назад… Вот, отсюда: с вышеупомянутой краткой поездки Толстого в августе 1882 года, точную датировку которой толстоведы обозначить затрудняются *(см. комм. к № 76 в ПСТ, с. 195)*. В любом случае она завершилась не ранее 17-го, потому что неудачно приехавший 14-го в Ясную Поляну Н. Н. Страхов прождал Льва Николаевича три дня и, не дождавшись, укатил по каким-то срочным делам своим в Питер.

Уже 14-го Софья Андреевна отправляет вослед только что отбывшему мужу письмо, ознакомившись с содержанием которого (конечно, не раньше 15-го) он не стал писать ответ, а просто постарался поскорей кончить дела с московской усадьбой и броситься назад в Ясную: ласкать и утешать. Приводим текст этого небольшого, но весьма характерного письма:

«Приезжает сегодня Страхов, милый Лёвочка; это очень меня смущает. Третий раз он приезжает в наш дом и не застаёт тебя, точно

нарочно. Так как ты, вероятно, не скоро приедешь, а Страхов пробудет 3 дня, то выйдет очень и очень неловко, и жалко Страхова. А мне даже неловко и увидать его.

Алёша целые сутки опять горел, и весь посинел и побледнел, и жалок, и вял, и меня приводит в смущение. Погода дождливая и унылая, а на душе всё мрачнее и мрачнее, за что меня стоит побить, но я объясняю, себе в утешенье, что я стала болезненна. Здоровье моё, кажется, не хорошо; всё кашель и слабость.

Как-то ты доехал, как здоровье твоё? Что Арнаутовский дом? Если я не опоздала написать, то пожалуйста, чтоб прежде перестройки мне показать чертёж архитектора с обозначением, сколько где аршин вышины, длины и ширины.

Вчера в первый раз узнала, что оттиски твоей статьи есть уже у нас. Ты даже не удостоил мне об этом сообщить. Но поделом мне — я такая стала деревянная. Хочу всё начать Карлсбад <т.е. лечение водами. – *Р. А.*>; авось я стану поумнее и подобрее.

Прощай, милый, будь здоров и приезжай поскорей.

С.

Суббота, вечер.

Был музыкальный вечер детей и пенье хором очень хорошо и торжественно» *(ПСТ. С. 195).*

Несчастнейшая Соничка снова подтвердила наблюдения своих родителей, позднее – обследовавших её психиатров, равно как и многих современных нам исследователей: она совершенно не умела избавляться сполна от страхов и напряжения, забывать надуманные «проблемы», целиком отдаваться даже самому бесшабашному веселью, а к тому же — *очень* болезненно переживала самые краткие разлуки с тем, с кем связала себя отношениями взаимной принадлежности. Простая мудрость, вербализируемая в русско-европейском и просвещённо-англоманском мире фразой *«тэйк ит изи»* (а в новейшее время ещё и *«акуна матата»)* – была «неодолима» для неё. Впоследствии эта чета психоэмоционального строя жены Льва Николаевича сыграла страшную роль в жизни семьи и её собственной.

Что же касается вечно «тяжко болевших» в письмах Софьи Андреевны младенцев… теперь и Алёши. Ниже, в своём месте, мы приведём письмо Софьи Андреевны мужу от 4 октября 1882 года, где она пытается оправдаться и перед ним, и перед своей, очень деликатной, но и честной дочерью Татьяной — как раз за то, что в очередном письме она (как деликатно же формулирует биограф Толстого

Н. Н. Гусев) «в слишком мрачных красках описала болезнь Алёши». Попросту говоря, Софья Андреевна, желавшая разжечь в муже беспокойство и добиться его скорейшего возвращения даже из тогдашних кратких поездок, *наговаривала* на ребёнка — здоровье которого, впрочем, действительно ухудшалось часто, но не тяжело. И – в конце концов – «попалась» на этом. Суеверные люди её эпохи сказали бы Софье Андреевне, что так делать нельзя – даже и со взрослым, а не только с ослабленным ребёнком. Напомним: Алёше не суждено было вырасти; он окончательно зачах и умер на руках матери 18 января 1886 года.

К поездке в Москву 10-19 сентября относятся ровным счётом 10 посланий Льва Николаевича Соне и 16 писем её к мужу (из них опубликованы только 8). Переходим теперь непосредственно к изложению и анализу переписки супругов Толстых этих дней. Её преимущественно хозяйственно-бытовой характер диктует нам необходимость *выборки* из текстов переписки тех мест, которые либо вызывали отклик адресата, либо – имеют самостоятельный интерес для исследователя и читателя.

Итак, у Толстых ещё примерно с месяц, до 8 октября — бытовая ситуация, знакомая многим: переезд, суетня, предсказуемые и непредсказуемые расходы, и — главное — вынужденная на время жизнь порознь. С 10 по 20-ое сентября Толстой в Москве, а с 28-го — уже там постоянно, заканчивая дела с домом. Письма-«мостики» друг к дружке мостились супругами почти каждый день…

К сожалению, не зарастала и не опустевала и хорошо «замощённая» Алексеевым, Пругавиным и подобными им «тропа», по которой к Толстому на поклон, за благословением или, тоже нередко, материальной поддержкой являлись его, преимущественно мнимые, единомышленники: сектанты, революционеры… В этот раз с Толстым желала свидеться – и, слава Богу, не застала его в Ясной Поляне! – некая Анастасия Васильевна Дмоховская, мать уже погибшего в то время по дороге на каторгу члена долгушинского кружка, пропагандона-«народника» Льва Адольфовича Дмоховского (ок. 1851 - 1881) и родственница хорошо известного Толстому декабриста И.Д. Якушкина.

Впоследствии, кстати, наивная старушка натащит Льву Николаевичу такого семейно-архивного материальцу, благодаря которому у него и начнут открываться глаза на «героев» радикальной оппозиции и «революционного дела». Но тогда, в сентябре 1882-го, она свиделась только с Софьей Андреевной Толстой. С описания её визита и начитает Sophie своё письмо ко Льву от 11 сентября:

«Милый Лёвочка, письмо это посылаю в Ясенки с той самой старушкой, которая тебе писала, прося позволения приехать. Она (Дмоховская) просидела у нас весь день. Спешу писать, она торопит по случаю дурной погоды и темноты, и потому не описываю её; очень умная, бывшая художница, мать политического преступника, умершего в Сибири.

Погода всех нас привела в уныние, а я с свойственной мне мнительностью и тревожностью, уже воображаю, что ты простудился, что у тебя бок болит, что Лёля ноги промочил. Пожалуйста, если не купил, то купи ему калоши. Хотелось бы мне скорей с вами соединиться, а вместе с тем по такой погоде ехать было бы невозможно. Вчера с горя пошла вечером купаться, было холодно и жутко. Маша со мной ходила, но не купалась.

Илья спит и сидит в людской. Он мало занимается, стремится на охоту, и я очень боюсь, что он урвётся и по этой сырости простудится. Пока он очень покорен. Таня и я спим вместе, и обе мы, по своему, очень деятельны. Я учила Машу, кроила, шила, убирала всё в кладовой, и теперь думаю: жила бы, да жила так. Да, я ошиблась, не надо было переезжать в Москву, но в утешенье будем думать, что мы живём по воле Божьей, и ни один волос с головы не упадёт без Его воли.

Прощай, милый друг, целую тебя и своих двух сыновей. Берегите, пожалуйста своё здоровье. Как вам плохо и бездомовно в Москве, мне очень вас жаль. Жду с волнением письма от тебя, пошлю завтра в Тулу.

Соня» *(ПСТ. С. 196)*.

Кажется, в те дни Толстой не виделся с Дмоховской. Бабка наверняка была под полицейским надзором, и такие визиты были бы нежелательны для обычного домохозяина и семьянина. Но Толстой в этом смысле уже «вляпался» по самое брюхо (о чём не очень когда-либо переживал): именно с сентября 1882 года, с подачи министра внутренних дел, за писателем и публицистом был тоже установлен негласный надзор – по причине его «сношений с сектантами».

И, конечно, нельзя пройти мимо «традиционного» лукавства — не одной Сони, конечно, но многих хитрых и умных жён. Вот в этом отрывке:

«Да, я ошиблась, не надо было переезжать в Москву, но в утешенье будем думать, что мы живём по воле Божьей, и ни один волос с головы не упадёт без Его воли».

Для чего бы ей годках эдак в 1878-80 не вспоминать в этом контексте о «воле Бога» — что в *ней* нужно жить, а не в воле мирских установлений, мод и прихотей? Теперь — она-то понимает! — «мышеловка» захлопнулась: Толстой купил не очень выгодный, хлопотный по перестройке дом в Москве — такой, живя в котором он мог рассчитывать, благодаря *саду*, хоть как-то с городом ужиться. То есть: готов подарить ей и её берсятам московскую жизнь и даже *себя в ней*, настроен на неизбежность такой своей жертвы – городского узничества – и уже совершил *необратимые* шаги. Ну, да! именно теперь приспела Соничке пора расчётливо «покаяться» в своих не столь уж давних настояниях о переезде!

Вот первое после приезда 10-го в Москву письмо Л. Н. Толстого, от 11 сентября:

«Приехали мы хорошо и вовремя. Серёжа <сын> нас встретил, простились с Таней <Кузминской> и поехали в дом Волконской; оттуда в Арнаутов. Постройка подвинулась; но ещё много недоделано. […] …Красят пол. Это досадно. Если бы я застал, я оставил бы некрашеным.

[…] Я не видал ещё архитектора. Нынче увижу и, переговорив с ним, напишу тебе подробнее.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

В перестройке нового дома Толстых в Хамовниках участвовал известный московский архитектор Михаил Илларионович Никифоров (1837 – не ранее 1897), выпускник Московского Дворцового архитектурного училища, архитектор придворного ведомства, автор множества гражданских и церковных зданий в Москве. **]**

Я остановился в Волконском доме. Мы спали в детской. Нынче хотим переехать во флигель Арнаутовского дома. — Вчера я зашёл с Лёлей <Л.Л. Толстым> к Поливанову <в гимназию>. Он больше за Лёлю сомневается, чем за Илюшу, — в том, что отстанет. Илья может ходить в 6-й класс на уроки и в то же время сдавать экзамен. […]

Тороплюсь попасть на почту. Прощай, милая. Не скучай, пожалуйста. Я, вероятнее, что приеду назад. Устрою Лёлю в гимназии и с Серёжей и Сергеем перевезу мебель и приеду к вам и за вами. Мы хотим взять кухарку и есть дома. И Серёже будет лучше. А Лёля будет то с Серёжей, то у <соседей> Олсуфьевых, когда меня не будет. Целую всех» *(83, 348 - 349).*

В ответном письме от 12 сентября С. А. Толстая писала:

«Сейчас получила твоё письмо, милый Лёвочка, и оно меня смутило. По тону я вижу, что совсем дом не готов, переезжать Бог знает, когда придётся. А по содержанию ничего подробно понять нельзя. *Что* именно не готово на верху, готовы ли те две комнаты из коридора и девичья, и кухня? Ты как-то всегда забываешь людей. Потом, если занять мёбелью низ, то где же жить? Ведь мёбели много, она громоздка и её всю поломают в тесноте, если жить. Вообще я ничего не могу сказать, что я думаю и когда я перееду; мне надо бы всё знать поподробнее. Одно мне ясно, что Илюше здесь в тысячу раз опаснее жить, чем в Москве; и ходить по снегу и морозу 5 часов сряду, Бог знает как далеко, гораздо хуже, чем ходить в гимназию. Учится же он часа два в день, и того меньше. Я дрожу всякую минуту за воспаление лёгких, и одна моя мысль — поскорее его отвезть в Москву. Поправляется <от тифа> он плохо, да и где же поправляться, когда он столько тратит сил на ходьбу. Сегодня везде снег лежит, тепла у нас в тиши только три градуса днём, ветер северный и везде топят.

Пожалуйста не забудь две вещи: чтоб *везде топили*, чтоб везде были *форточки* и чтоб *рамы зимние* вставили. Жалко, что ты так неопределённо пишешь о кухарке. Если б ты *положительно* написал, то я прислала бы Алёну, не всё ли равно, неделей раньше или позднее, а здесь всякая баба могла бы её заменить. Если решительно ты хочешь, чтоб дома был стол, то хоть телеграфируй, я пришлю сейчас же Алёну <Прасекину>. Провизию пусть забирают по книгам, а посуда там есть. Кастрюлей я бы с ней прислала.

Скучать — я совсем не скучаю. Мне так хорошо в тишине, сосредоточившись в своих мыслях, с невинными малышами и с девочками, которые очень милы со мной и даже веселы.

Но нужно начать ученье, нужна для всех правильная жизнь, нужно всем быть вместе. Погода отвратительная, так бы во всяком случае нельзя ехать. Сегодня я, было, велела оседлать Шарика и запречь в тележку Гнедого, хотели ехать кататься. Но только что я верхом на Шарике отъехала по дороге в Тулу, северный ветер так подул пронзительно, что я вернулась и всех оставила дома. Дети пошли пешком гулять. Илюша убил вальдшнепа и коростеля.

Посылаю тебе письмо Тургенева. <От 4/16 сентября из Буживаля; в нём Тургенев просил Толстого прислать ему «Исповедь», изъятую цензурой из «Русской мысли». – *Р. А.*>

Какое глупое было распоряжение архитектора велеть красить полы под осень! Всё лучше, чем теперь сырой пол, к которому всё приставать будет, и запах краски замучает.

Ну, да что, будет толковать-то! всё, Бог даст, устроится; только будь здоров и весел, и меня люби. Пришла старуха Городенская; я ей платок подарила, — она очень довольна, сидит у меня и болтает, Алёша тут же Бульку треплет. На небе что-то прояснилось. Когда же ты-то приедешь, как бы я рада была. Ну прощай, милый, бумага вся.

Соня.

Получили ли квитанцию на яблоки и твои книги и опись вещей?» *(ПСТ. С. 197 - 198).*

Милая деталь: о покрашении полов Соня в приведённом письме охотно соглашается с мужем: что, мол, неуместно, лучше б и не красить, и т. п. Читая переписку Толстых этих дней можно заключить, что супруги хоть по чуть-чуть, да лукавят в письмах друг другу: Сонička поддакивает Льву, поддерживает его соображения о новом доме; Лев же — заискивает перед женой, спрашивая её «хозяйственных» мнений… Свидетельство некоторой опаски друг друга — ненадёжности бесконфликтно-диалоговых отношений. Ниже мы ещё встретим такие примеры.

Объяснительное, хозяйственно-подробное письмо Льва Николаевича не заставило себя ждать. Отдохнув и всё надлежащим образом осмотрев, 12 сентября он отписал следующее:

«Воскресенье, утро.

Нынче всё могу написать обстоятельно. Архитектор вчера к ужасу моему объявил, что до 1-го октября он просит не переезжать. (Ради Бога, не ужасайся и не отчаивайся.) К 1-му он ручается (да я и сам вижу), что всё будет готово так, что можно будет жить удобно. Предложу тебе прежде мой план нашей жизни в эти две недели с половиной, а потом напишу все подробности. План такой: я пробуду здесь до конца недели, перевезу мебель вниз в сарай и приму Илюшу, которого ты пришлёшь ко мне, если он окреп, и налажу его в гимназии и побуду с ним, и приеду к вам около 20-го.

Пробуду с вами неделю ил и опять уеду через неделю, дня за 4 до вас, или с вами. Так ты не будешь скучать долго, и Илюша пробудет без нас не долго. — Дом вот в каком положении: ко вторнику будут готовы нижние 4 комнаты: мальчикова, столовая, Танина и спальня. Оне оклеены, только не докрашены двери и подоконники. В них я поставлю всю мебель хорошую; — похуже — в сарай. Остальные три

комнаты внизу не готовы, потому что в них начали красить пол. Я остановил краску — оне загрунтованы (жёлтые, светло) и я решил так и оставить. Согласна ты? Комнаты эти и передняя дня через три тоже будут готовы. — Штукатурная работа вчера кончена последняя в доме. — Штукатурить остаётся кухню. Это дня на три. В больших комнатах штукатурка уже почти просохла; — сыра она, и дольше всего будет сыра в верхнем коридоре. Я там велел топить жарче. Лестницу начнут ставить завтра. Она вся сделана, только собрать и поставить. То же и с паркетом. Он готов, и завтра начнут стелить. Ватерклозеты ещё не совсем готовы, крыльцо, в передней пол. Верхние комнаты, старые и девичья не оклеены. Я велел всё белить. Согласна? Пол в передней архитектор советует обтянуть солдатским сукном и лестницу не красить. Площадку и лестницу, стены не оклеивать, а выкрасить белой краской. Вообще дом выходит очень хорош. А уж покой — чудо. Мне выходить не хочется из флигеля — так тихо, хорошо, деревья шумят.

Я вчера был вял, провёл день на постройке и с Серёжей <братом>, Оболенским Леонидом и <Д.А.> Дьяковым. Они и утро у меня провели, и вечер вчера я просидел с ними у Дьякова, и очень приятно. Целую тебя, душенька, будь покойна и любовна, особенно ко мне.

Детей целую.

НА КОНВЕРТЕ: Тула Е. С. Графине Софье Андревне Толстой» *(83, 350 - 351)*.

Вместе с отцовым своё письмо маме отправил и Л. Л. Толстой.

Мы привели данное письмо полностью не для того, чтобы утомить читателя. Во-первых, части последующих писем будут содержать примерно такие же «ремонтные» известия – и мы купируем уже их. Во-вторых, письмо показательно как образец вполне рациональной и домовитой *практичности* Толстого – вопреки ряду спекуляций на этот счёт, восходящих, разумеется к… не совсем правдивым записям его жены.

13 сентября Софья Андреевна, не дождавшись второго письма от мужа, посылает какое-то своё, нигде пока не опубликованное и, вероятно, малоинтересное. К сожалению, не опубликовано и не доступно нам в полном виде и следующее её письмо, от 14 сентября, бывшее ответом на подробное письмо Толстого о перестройке дома. В редакторских примечаниях к вышеприведённому письму Л.Н. Толстого от 12 сентября цитируется следующий отрывок:

«Сегодня наконец получила твоё подробное письмо, милый Лёвочка, и Лёлино обстоятельное и очень хорошее письмо. Сама не знаю — ужасаюсь я или нет, что так долго не могу поехать в Москву. Конечно, мне было бы много лучше и удобнее переехать раньше: что ещё будет через шестнадцать дней!..... О краске белым лестницы и площадки и не краски полов — со всем этим я согласна. Обтянуть серым сукном (которое, кстати, есть) лестницу и переднюю — тоже, я думаю, будет хорошо. Вообще я много равнодушнее стала ко всему этому. Я рада, что всем занимаешься ты, а не я; мне от этого так легко, и я рада, что ты находишь, что там хорошо и тихо, и что Лёля *одобряет*» *(Цит. по: 83, 351. Примечания).*

Почта задержала в пути письма и Софьи Андреевны. Поэтому письмо Л. Н. Толстого от 13-го – только и могло, что добавить кое-какие подробности к предшествующему, но не было ответом на уже приведённые нами письма жены Толстого. С некоторыми исключениями приводим ниже его текст.

«Пишу тебе 3-е письмо, милый друг, не получив ещё ни одного от тебя. Верно нынче получу. Ты посылай на Козловку. Что ты — твоё здоровье телесное и душевное? Что Илюша? повинуется ли и жалеет ли тебя. — Вчера Серёжа с Лёлей пошли на выставку, а я сидел дома, читал. Приходил один проситель места — бедный; а потом я пошёл в Румянцевский музей к Николаю Фёдоровичу <Фёдорову, библиотекарю и философу, мистику и аскету, с которым в те годы сблизился Толстой. – *Р. А.*>, потом походил, посмотрел экипажи, и вижу, что на 1000 рублей легко собрать всё хорошее. [...]

Теперь о доме. В кухне было сделано неудобно — русская печь, и очень маленькая в нашей кухне. Мы решили переделать печь так, чтобы русская печь была больше и устье ея выходило бы в людскую. И выйдет так, что будет людская столовая, комнатка для кухарки и каморка для повара. В сторожке же, которую надо починить, будут жить кучер и дворники.

Чуланов для провизии, ламп и т. п. в доме с кладовою — четыре. Подвалы есть, но они сопрели и завалились. Я велел починить, но сделать попроще, — для кореньев и капусты. А для яблок есть место в доме.

Обедали мы вчера дома; [...] щи, каша и говядина из щей, и пирожки, и арбуз. [...] До свиданья, душенька, целую тебя и детей» *(83, 351 - 352).*

В письме Льва Николаевича упомянута Всероссийская промышленно-художественная выставка, проходившая в те дни в Москве. В прежние годы, до религиозного перелома, Толстой вряд ли сам обошёл бы её вниманием… теперь же, как мы видим – отнёсся к мероприятию, как к аттракциону для детишек, коих и послал развлечься. В письме от 14 сентября 13-тилетний Л. Л. Толстой так описал маме посещение выставки:

«Был на выставке, видел всё очень интересное, видел там знакомых, выиграл на аллегри с первого, двадцатипятикопеечного, проигрышного билета большой картон с куклой и со всеми принадлежностями, который я предназначил Маше» *(83, 353)*.

Отсылая письмецо сына со своим, Лев Николаевич сделал на нём для жены такую приписку (поперёк страницы):

«Не ужасайся на его орфографические ошибки. — Это он от спеху. Я видел его страницу диктовки в гимназии — ни одной ошибки» *(Там же)*.

В этот же день, 14-го, Толстой получил наконец сразу два письма жены – от 11 и 12 сентября. Конечно, с письмом сына он отправил и собственное. Удивительным образом его тематическая структура сближается с предшествующим письмом: дети, хозяйство, стол и обед… Приводим только значимые выдержки из письма 14 сентября:

«Илюша бессовестный, если он не покорен и мучает тебя, но надеюсь, что, получив от тебя нагоняй, он образумился и сидит дома, готовясь. Если он окреп, и погода стала теплее (нынче у нас гораздо теплее), то пришли его в пятницу, а я приеду в понедельник. […]

Пожалуйста, не скучай, — все будет, как Бог велит, а судя по-мирскому, — дом будет удобный и жить будет лучше, чем в Волконском.

Я вчера утром попробовал заниматься, но холод помешал (к вечеру истопили и было тепло), и пошёл в библиотеку, снёс книги и взял книги, и читал.

Потом обедали очень весело. […] Обедали мы дома, Василий готовит нам щи. Сергей ушёл за ящиком и яблоками.

[ПРИМЕЧАНИЕ *Софьи Андреевны*:

«Василий — дворник при вновь купленном доме. Симпатичный, милый и честный человек, проживший у нас много, много лет» *(83, 355)*].

Я всё это время в сонном, глуповатом и спокойном, немного меланхолическом состоянии. Никого не видаю, чему рад.

Ну, прощай, душенька, целую тебя, Таню, Машу, малышей и Илью непокорного. Только бы он не заболел. <…>» *(83, 353 - 355).*

В этот же день, напомним, Софья Андреевна ответила на письмо Толстого от 12 сентября (выше мы привели доступный нам отрывок из этого ответа). 15-го она пишет ещё одно, довольно обстоятельное и интересное, письмо, текст которого необходимо привести полностью:

«Среда вечер.

Милый Лёвочка, до сих пор писала тебе всякий день; вчера написала всё, что думаю о доме, а сегодня уже об этом говорить не буду. Как хорошо, что погода такая ясная опять установилась. Это и для нас в деревне прекрасно, и для вас хорошо, дом и краска в доме высохнут. От тебя сегодня не получу письма, завтра пошлю в Тулу. Жалею, что не уговорилась с тобой, чтоб письма ты посылал на Козловку.

Скажи Сергею, что сегодня в 10 ч. утра Ариша <жена Арбузова, домашнего слуги. – *Р. А.*> благополучно родила дочь. Я у ней была, там Марья Феодоровна <Гоцкина, бывшая дворовая, имела дом в Ясной Поляне. – *Р. А.*>, и все здоровы и благополучны. Крестить буду я с Митрофаном <Банниковым, приказчиком в Ясной Поляне. – *Р. А.*>, назовут, кажется, Софьей, так как в субботу св. София. Скажи Сергею, чтоб был спокоен, я буду заботиться о здоровье его жены ещё лучше его самого, — а если что случится, пришлю телеграмму.

Сегодня мы утром учились с Машей, Таня играла, потом катались в коляске на новых лошадях по дороге в Тулу. Весело на них ездить потому, что видно, что им всё легко, силы много, а это главное. Андрюша и Миша, — даже поочередно сидели на козлах, что их привело в восторг; «такие бешеные, будто, лошади, а они такие, будто, молодцы!» Илюша ничего не убил, а вальдшнепов видел опять. Здоровье его поправляется, но он всё ещё худ и по утрам бледен. Теперь он всё ест, и квас даже пьёт, и в пятницу я его в ночь отправлю. После обеда он сел учиться, а я собрала партию в крокет: Таня с Carrie, Маша и я, и мы, каждая партия, по разу выиграли.

Малыши пока бегали и играли на крокете. Теперь напишу это письмо и буду с Машей читать по-французски; сначала она мне, а потом я ей вслух. Когда все вечером спят, я иногда читаю Сенеку; мне не понравилось, что он, описывая «Colère», [«гнев»] такое обращает внимание на внешность человека. Сегодня опять намереваюсь читать.

Непременно приезжай сюда отвести душу в деревне. Сегодня опять стало так хорошо, ясно, тепло, красиво. Ты поохотишься и походишь. Мне жаль, что на твою долю пришлось хлопотать с перевозкой мёбели и вещей; да, я никак не могла бы с ребёнком это сделать. Получили ли вы квитанцию на продажные яблоки и ящик твой? Там же, где квитанция, я положила список вещей. Прощай, милый друг, скучно, что не всякий день имею от вас письма, да в Тулу посылать совестно всякий день. Мальчиков моих целую; верно им без меня не так жутко, как мне без них, и главное *за* них.

Соня» *(ПСТ. С. 198 - 199)*.

Яблоки, ящики, «мёбель» и квитанции пустим по боку… хотя и это – часть повседневной жизни и интересов Толстых, и не должно «утечь» из представляемой нами переписки супругов. Но есть тут кое-что *гораздо* интереснее…

Судя по этому письму, Софья Андреевна *штудирует Сенеку*. Подробность интереснейшая, можно сказать – *эпохальная* в жизни и отношениях мужа и жены Толстых. До этого зрелое и упорное изучение мировой философии было доступно – по возрасту и по интеллекту – только Л. Н. Толстому. Соничка же, скорее, «баловалась» такой литературой – для самоутверждения перед старшим по летам мужем. Но не то в 1882-м. Смыслы сперва неожиданного для неё решения мужа о покупке дома теперь «усвоены» ею: несостоявшийся усадебный аскет вступает на иное поприще: религиозного и социально-обличительного мыслителя, проповедника, трибуна. Поприще, *нежелательное* для него сперва — но на которое она сама, не догадываясь последствий, подтолкнула его! И она делает *ответный ход*: начинает своё философское самообразование, с вероятным замыслом выступать в будущем как просвещённая *жена философа*… оппонент в частно-семейных и, возможно, публичных спорах с ним, но вряд ли единомышленница.

Да уж! Если новая Ксантиппа из Софьи Андреевны не получилась, то, скорее, *вопреки* её стараниям, а не благодаря им.

И обратим здесь же внимание, *что* за отрывок Сенеки привлёк критическое внимание супруги Льва Николаевича! Исследователями

давно и совершенно точно установлено, что в отсутствие мужа С. А. Толстая читала Сенеку на французском языке по экземпляру, принадлежавшему Л. Д. Урусову (видимо, подаренному им) и сохранившемуся в яснополянской библиотеке [«Oeuvres complètes de Sènèque» trad. par J. Baillard, 1860 – 1861, 2 tomes.] В тот день она читала по этому изданию трактат Сенеки «De ira» («О гневе»). В первой главе I книги трактата мыслитель так описывает человека в состоянии гнева: «Глаза его — воспламеняются, сверкают, лицо становится пурпурового цвета, потому что кровь, отхлынувшая от сердца, начинает кипеть и бросается в голову; губы дрожат, зубы стиснуты, волосы вздымаются, дыхание делается затрудненным и с присвистом, суставы его начинают скручиваться и хрустеть, он стонет, рычит, речь прерывается междометиями, руки судорожно сжимаются, ноги стучат о землю» и т. д.

Конечно, это древнее описание гнева для людей даже XIX столетия, а тем более для наших современников, лучше древних знающих собственную психологию, представится либо «собирательным», либо попросту преувеличенным, утрированным — так или иначе, неточным. Толстому как писателю-психологу и наблюдателю жизни данный отрывок не был близок, о чём он и сообщит Соне в ответном письме от 18 сентября.

Так отчего же Софья Андреевна выбрала для критического отзыва в личном письме мужу именно этот отрывок? Возможно, это тоже была, как в предшествующих письмах, «ловля на живца»: Соня догадывалась или даже знала о критическом отношении мужа-писателя к данному отрывку. Ей потребно было суждение *знатока* – именно критическое, более полезное для мысли ученика, нежели все апологии.

Но может быть и другое… Та реакция, которая известна психиатрам: неприятие больными описания поведенческих патологий и симптомов, сходных с их собственными. Страшные признаки психического нездоровья Софьи Андреевны явятся значительно позже – но заставят Льва Николаевича не только вспомнить описание припадков у древних, но обратиться и к современной ему психиатрической литературе.

Пока же Софья Андреевна преисполнена удовлетворения уступками мужа – и спокойна… Толстой даже особо отмечает это спокойствие, ощущаемое им в письмах жене, в своём встречном, 15 сентября, письме:

«Нынче получил твоё третье письмо <т. е. от 13 сентября>, — спокойное; но ещё не ответ на моё второе <с планами о доме>».

В целом тематика письма сходна с предшествующими: перестройка дома и текущие проблемы; дети и родня, их дела; ответ на запросы жены о яблоках из Ясной Поляны на продажу (всё довольно плохо: «Ящики перебиты, и потаскано много яблок. Мы их перевезли к себе в сарай и тут продадим»); и, наконец… неоднозначные впечатления от нового места проживания в Москве:

«Какая прелесть сад: сидишь у окна в сад — весело, спокойно; выйдешь, на улице — уныло, тревожно» *(83, 355 - 356)*.

На следующий день, 16 сентября, Толстой отвечает на ещё одно не доступное нам (кроме цитированного выше отрывка) письмо Софьи Андреевны от 14-го:

«Сейчас сидел за кофеем и думал о разном, и чувствовал лишение, что не могу тебе сказать, у тебя спросить, и почувствовал, что мне скучно и грустно без тебя; и тут же принесли твоё хорошее письмо от вторника <14 сентября>. Всё так пусть и будет, если ничто не помешает. <Это – в ответ на решение Софьи Андреевны отправить 17 сентября Илью в Москву: пора было начинать учение в гимназии… -- *Р. А.*> Мальчики будут есть дома. У нас это налажено и без кухарки прекрасно идёт, — немного по-робинзоновски, но от этого только веселей. А вкусно и сытно. Я понимаю, что матери-кормилице должно быть особенно больно, когда дети худеют: «я выкормила сытого, а теперь испортили». Лёле не дадим похудеть, хотя он и испортил себе желудок на день <был перед этим понос от винограда. – *Р. А.*>, теперь опять весел и здоров. Он в гимназии, Серёжа в университете, а я сижу у открытого на сад окна и пишу…».

Дальше снова о доме, ремонте и родне… и – в конце:

«Если бы ты меня здесь видела, то ты верно бы сказала, что я в некотором отношении исправился.

Прощай, милая. Не думай, чтобы я упустил что-нибудь из возможного для того, чтобы скорее нам соединиться» *(83, 357 - 358)*.

Родственнику Сони, «неудачнику» Константину Исленеву, Толстой помогает получить место на службе, а своему брату Сергею – найти подходящую квартиру в Москве. В этом и остальном следующее письмо Толстого, от 17 сентября, тематикой сходно с предшествующими, и завершается таким личным признанием Льва Николаевича:

«Я собой не недоволен, я всё это время в тихом и спокойном состоянии» *(83, 360)*.

Не исключено, что это было не совсем так… Эта бравая концовка решительно возражает на высказанное Софьей Андреевной – проницательное, как обычно – мнение о выразившихся в письмах Толстого, с их пространными хозяйственными отчётами, грусти мужа и даже унынии. Мы специально процитировали письма Толстого чуть вперёд – те из них, которые не могла ещё прочитать Соня, но в которых чувства уныния и грусти выразились уже не «между строк», но и в прямых признаниях.

(Впрочем, выводы Софьи Андреевны могли быть и не во всём точны и отчасти вызваны той сугубо физиологической причиной, о которой она деликатно сообщает мужу в одном из последующих писем.)

С таких выводов она начинает и ими же заканчивает своё письмо от 16 сентября (письмо мужа от 15-го ею ещё не получено!):

«Четверг вечер.

Милый Лёвочка, получила сразу два твоих письма <от 13 и 14 сентября>, из которых вижу, что тебе грустно и не хорошо. А мне и жаль тебя, но и досадно немножко, что мы так плохо устроились: нам без вас дурно, вам же и без нас, но главное дурно то, что неудобно и холодно так, что даже заниматься нельзя было. Всё это оттого, что будто «ничего вперёд задумывать не надо», а вот опыт показал, что всё вперёд надо думать, а там выйдет уж как Бог велит.

С Ильёй вышла-таки неприятность, хотя, главное, здоровье его хорошо. Вчера ночью, в 12 часов, сижу в балконной гостиной одна, Таня спит в моей комнате, а я читаю Сенеку. Слышу окно хлопает внизу, в комнате Ильи. Я подумала: простудится, если окно отворилось, пойду проведаю. Надо тебе сказать, что с вечера Илья мне всегда сказывал, кто у него ночует, так как одному страшно, и вчера он сказал, что Титка <Пелагеюшкин>, а Иван <Макарычев> не ночует.

Вот я прихожу в комнату Ивана Михайловича <Ивакина, учителя>, первое впечатление — вонь и табак. Посреди комнаты собаки наделали нечистоту. Иду дальше, голоса, хихиканье. Когда я отворила дверь, Илья сделал какое-то быстрое движенье; потом вижу, Титка на полу, а этот Иван идиот на Лёлиной постели рядом с Ильёй. Я ужасно рассердилась, выгнала и разбранила Ивана и Илье сделала

выговор; главное досадно, что солгал. Сегодня он мне весь день старался доказать, что папа́ нашёл бы, что спать с Иваном и Титом и на Лёлиной постели даже очень хорошо, а что это только я имею глупые, барские мысли. Предоставляю тебе это с ними обсудить, а я, признаюсь, рада, что он завтра уезжает, мне это запанибратство не с народом, а с паразитами, курящими, играющими в шашки и льстящими Илье — очень противно. Шуму и крику, слава Богу, не было, мы с Ильёй по-прежнему и говорим и всё, — но мы друг друга не убедили, а я только сказала, что пока я в доме хозяйка, я буду делать, как я хочу, а не как он, и люди будут слушаться *меня*.

Ездили мы нынче опять кататься, учились мало, крестины помешали, и я в дурном духе. Таня, Carrie и даже Маша поочерёдно ездили на Голубом верхом и были очень довольны. Мы ездили в Засеку, кругом около Ваныкина <дачи тульского купца Ваныкина близ Козловой Засеки. – *Р. А.*>. Очень хорошо в лесу: дубы зелёные, трава тоже и тёмно-синее небо, и ярко-жёлтые листья, всё это так красиво при ясном солнце.

Приезжай поскорей, только Илью построже оставляй в Москве; жаль, что я не могу его завтра, т. е. в пятницу утром, отправить, платье не готово и придётся вечером, т. е. в ночь, отправить. В субботу утром он будет в Москве, с Малышкой. Купили ли ему кровать длинную, а то после тифа на полу спать не очень-то хорошо.

Очень рада, что ты печь велел переделать; в доме Волхонских печь была мала, и с хлебом, и с квасом, и ваннами детям было неудобно очень. И что о подвалах позаботился — спасибо. Картофель для отправки уже готов в мешках и яблоки ждут в ящиках, как приеду, так надо послать, а то всё замёрзнет не в подвале. Какая *угловая* вышла ярка? Я всё сокрушаюсь, что не дала вам ложек, кастрюлек. Об Алёне <кухарке> ты не пишешь ничего, присылать или нет? Илью щами да кашей после тифа кормить не приходится, да и тебе, я думаю, не очень это здорово. Отчего вы не велите кухарку прислать? Я, признаюсь, не верю, что к 1-му будет готово, и на меня нашло сегодня уныние. А уж Илья без тебя в Москве вовсе изболтается, да ещё передерутся там эти мальчики. Народ очень ненадёжный.

Завтра напишу с Ильёй. Право, лучше бы кой-какие неудобства, чем нам долго не ехать. Нельзя ли 25-го поехать?

Прощай, Лёвочка, целую детей и тебя. Твоё уныние и мне сообщилось.

Соня» (*ПСТ*. С. 200 - 201).

Предвидя свою обречённость Москве и гимназии, Илюшок напоследок «гульнул» с деревенскими ребятами… и, зная, что отец уж точно не будет строгим его судьёй, памятуя барские проказы своих юных лет – с девицами. Как было уговорено, 17-го Илью снарядили в Москву – конечно же, не налегке, а с очередным письмом отцу и мужу; судя по нему, Софья Андреевна уж была «сыта по горло» не только ленью и проказами Ильи, но и ожиданием переезда, и бесконечными описаниями в письмах мужа бесконечных хлопот с новым домом (включая описания в уже полученном теперь письме Л.Н. Толстого от 15-го):

«Наконец отправляю к тебе Илью, милый друг Лёвочка. Мы с ним расстаёмся дружелюбно и он обещает в Москве вести себя прилично. Сегодня, для моих именин, у меня неприятность, а именно *пришло* <деликатно сообщает об очередной менструации. – *Р. А.*>, что всегда меня очень волнует. Да и нервы что-то так расстроены, что ни за что взяться не могу. Оттого ли, что по старой привычке, когда в именины или рожденье одиноко, то особенно грустно, или от физических причин, но сегодня так что-то, в первый раз после вашего отъезда, скучно, скучно.

Приехала вдова священника, просидела почти весь день, разбирала вещи Ильи, укладывала, немножко пошила, а теперь дети с гармонией подняли такой шум, что я заперла кругом все двери и села в свою комнату писать. Сегодня получила письмо от тебя и от тёти Тани.

[…] Хотя меня очень интересует всё, что ты подробно пишешь о постройке, но я вижу, что несмотря на твои усиленные старанья, мечта моя поехать раньше — не исполнится. И ещё сколько хлопот впереди — ужас! Не ослабей и вперёд, милый Лёвочка, и помогай мне и после, а то одной и скучно, и страшно, и трудно устроиваться. А вместе и легче и как много веселей! А я не буду зла, я так желаю не быть, — что надеюсь достичь этого. Лёлино объяденье меня неприятно смутило. Мог бы поберечься, чтоб тебе не доставлять лишнего расстройства. Вот с Ильёй грозит та же опасность, я постараюсь ему внушить. Если приедешь в понедельник, то телеграфируй во всяком случае. Во-первых, мне это будет весело, а потом лошадь выслать надо. По письму твоему вижу, что ты очень уединенно живёшь. Что ты в винт не поиграешь или не сходишь к знакомым? Сегодня и я просидела весь день дома, нездоровится. А девочки с малышами катались в катках и верхом. Маша ездит верхом и очень довольна и горда. Потом опять садилась Carrie и Таня. Кому хорошо в деревне — это малышам. Целый день на воздухе: уж зато у них вид

такой цветущий. Таня благодарит Серёжу за присланные вещи, всё аккуратно и хорошо.

Лёвочка, ты мне не пишешь, что у тебя на душе и о чём ты думаешь, и что тебе хорошо и что дурно, что скучно и что радостно? Только о практических вещах мне пишешь; или ты думаешь, что я уж совсем одеревенела? Ведь не одни же паркеты и клозеты меня интересуют. Хотела я тебе из Сенеки выписать целое место, в котором ты мог бы поучиться, как относиться к тому, что противно душе, как тебе, например, город; да длинно, времени не хватит, надо ещё посмотреть, как уложили Илье вещи. Бог даст скоро увидимся, тогда покажу.

[КОММЕНТАРИЙ.

Вот!! Умница Софья Андреевна уже пытается возражать мужу-мыслителю, даже «поучать» его, что называется, «во всеоружии» философской и религиозной мысли! и это ещё “цветочки”… **]**

Сегодня вы хотели вещи перевозить. Господи, как это скучно и долго! Очень, очень мне жаль, что на твою долю досталась эта возня, да делать-то нечего. Прощай, милый друг, целую тебя, Лёлю, Серёжу.

Дяде Косте кланяюсь. Хотя бы Бог дал он устроился. Теперь с тобой скоро увижусь. Приезжай, отдохни, у нас так хорошо.

Соня» (*ПСТ*. С. 202, 205).

Следующее письмо С. А. Толстой, от 18 сентября, не застало Льва Николаевича в Москве. Хронологически к 20 – 28 сентября относится его последний, «предзимний», выезд в Ясную Поляну — главным образом, из-за невозможности ещё хоть несколько дней длить разлуку с *любимыми*…

Уже 19-го сентября в нижний этаж завозилась мебель, и Толстой шутя и с удовольствием лично расставлял её по назначенным местам: «Всё это делать мне скорее весело, только бы ты похвалила» — признаётся он Соне ещё в письме от 19-го *(83, 362)*.

Вернувшись 28-го, Толстой продолжил занятия ремонтом и устройством дома — и, конечно, свою эпистолярную «вахту»: пишет письма с новостями 28, 29 сентября и письмо «натощак» (названное им так по несколько мрачному, как сам он почувствовал, настроению) 1 октября *(см. 83, №№ 223 - 225)*.

По возвращении из Ясной уже с детьми, однако, домохозяин предсказуемо остался недоволен тем, что «наворочали» в дни его отсутствия:

«Я приехал <за>темно и пошёл в дом, и нашёл там хуже, чем ожидал. 1) Перегородку в девичей поставили не так, как я сказал. Она уже оклеена. Я не буду переделывать. Лучше вместе придумаем, как переделать, это недолго. 2) Перилы на лестницу поставили очень красивые, но так широко, что пролезть ребёнку легко. Завтра потолкую с архитектором, как это поправить. 3) Паркеты не кончены и могут задержать всё дело».

И ниже – очень трогательное:

«За дом я что-то робею перед тобой. Пожалуйста не будь строга» *(83, 363)*.

Письмо от 29-го – откровенно малоинтересно, развивая тематику тех же хозяйственных и попутных хлопот (лестницу-убийцу, конечно, тут же решено было переделать!). Наиболее личные, «покаянные» строки — тоже о измучившем не его одного доме и переезде:

«Бранить меня за медленность при покупке дома излишне, потому что я сам браню себя. Пожалуйста, будь снисходительна и добра. […] Мечта моя — поразить тебя благоустройством дома — не удалась. Только о том боюсь, чтобы неурядица, которую ты застанешь, не слишком неприятно поразила тебя. Разместиться тепло и сухо будет всем — это только будет» *(83, 365 - 366)*.

Софье Андреевне теперь слово! Отвыкнув от деревенской пищи, Лев Николаевич успел к моменту отъезда 28 сентября получить расстройство желудка, и, конечно, отправленное ему «вдогонку» письмо заботливой жены не обходит темы его здоровья:

«Вторник вечер.

Милый друг Лёвочка,

На меня без тебя нашла суета. Во-первых, меня очень мучило, что ты поехал больной и до сих пор я не успокоилась и буду ждать известий с нетерпением; потом холод страшный меня смутил, как я маленьких довезу и как твоё будет здоровье в неудобной московской обстановке. А засуетило меня окончательно то, что я хватилась разбирать свои вещи и бумаги и увидала, что билет в 10,800 р. с. у меня,

а денежный билет в 12,000, который Петя положил, должен быть у тебя. Я помню, но смутно, что я тебе его в тот отъезд твой в Москву дала, что ты сунул его просто куда-то в карман, а что я вслед тебя заворчала, что ты так небрежно обращаешься с деньгами. Будь так добр, прибавь в телеграмме: «билет цел», а то я всё буду искать и волноваться. Дала же я тебе его в последнюю минуту, когда ты ехал с Лёлей и Таней, но всё это у меня смутно; речи же об этих деньгах у нас с тобой в эти дни не было. Билет именной, пропасть деньги не могут, но скучно будет хлопотать, а теперь скучно волноваться.

Как ты сел, было ли там место, куда ты так спешил, когда подходил поезд — всё это нам осталось неизвестно, ты скрылся и не показывался. Всё это до сих пор меня тревожит: пожалуйста не суетись, не делай лишних движений с перестановкой мебели и вещей, мы приедем рано и сами до ночи всё устроим, было бы маленьким куда взойти в тёплую комнату, остальное всё ничего.

Завтра напишу опять, а пока прости меня, милый друг, за моё суетливое письмо, ответь на него терпеливо и добросовестно, а главное — главнее всего на свете — береги своё здоровье, и если плохо, — не запускай, ради Бога, можно опоздать и получить воспаление в кишках. Пожалуйста, брось на время свои *идеи* и употребляй *тёплое судно*, это тебя главное простудило, и позови <доктора> Чиркова, если будет плохо. Целую тебя.

Соня.

Тёплые клистиры крахмальные очень помогают.

Привозить ли ружьё и какое, я хорошенько не поняла» *(ПСТ. С. 205 - 206).*

Только в полдень 2 октября Толстой получил письма жены от 28, 29 и 30 сентября (см. их тексты ниже). О деньгах и сроках выезда семьи он ответил жене срочно, телеграммой:

«Сейчас получил три твои письма. Билет цел. Здоров. Вторник. Толстой» *(83, 367).*

«Вторник» — это всё то же 5 октября. Толстой указывает день, когда надеется вселить-таки семейство в обновлённый московский дом…

С датировкой следующего опубликованного письма С. А. Толстой – проблемы. Софья Андреевна подписала на нём время написания:

«четверг, вечер» — т.е., получается, вечер 30 сентября. Но по содержанию (упоминание телеграммы Толстого от 2-го октября) – его можно отнести ко времени никак не ранее вечера 2-го октября, т.е. субботы. Оставляем решение хронологической дилеммы на суд читателя, приводя ниже полный текст этого спорного по хронологии письма С. А. Толстой.

Оно любопытно, в частности, и тем, что, кажется, в первый раз здесь эпитеты «злой» и «злобный» Софья Андреевна отнесла не к мужу (в периоды ссор), а к себе самой, своему настроению:

«Милый Лёвочка, представь себе, что до твоей телеграммы мы все решили, по тону твоего письма, что мы раньше вторника не уедем. Так что мы совсем не удивились, и я не очень огорчилась, потому что очень морозно, дети кашляют, Маша охрипла, а у Тани зубы болели сегодня. Авось до вторника будет теплей. У нас всё решительно уложено и даже рояль и портреты, и всё рогожами зашито. Осталось немного белья, необходимые платья и тёплые вещи. Я опять буду спокойно жить, учить, шить и делать, будто мне тут и всю зиму жить. Но ученье детей страдает, да и не скоро в Москве то устроишься с гувернанткой и учителями. Слава Богу, что ты здоров, это выкупает в телеграмме неприятность отсрочки нашего приезда.

Но что меня утром по прочтении твоего первого письма привело в тот *злобный ужас*, который мы оба с тобой во мне ненавидим — это редкие балясины на лестнице и перегородка, не заграждающая входную дверь в девичьей. Я всё лежала и думала, что я бы сказала *злое* архитектору; но теперь я немного успокоилась, а всё-таки прошу тебя настоятельно переменить балясины, это необходимее всего; всё равно, если они останутся редки, я *осрамлю архитектора* и на его глазах велю всё заколотить досками. Ты пойми, что ведь никогда, ни одной минуты нельзя быть спокойной; что уедешь из дому и всё будешь думать, что дети упадут. Да мне пропадай всякая красота, если я должна *вечно находиться из-за балясин в нервном состоянии страха* <Выделения выше в тексте наши. – *Р. А.*>. Нет, прелегкомысленный твой архитектор. Пожалуйста, не будь слаб и не позволяй себя уговорить, а *непременно* вели переделать и сделать частые балясины.

Я уверена, что ты очень хлопочешь и устаёшь, и если тебе трудно, то мне тебя жаль. Строга я не буду ни к чему, что не красиво, а только то меня может огорчить, что для детей опасно или слишком неудобно. Ты пожалуйста не думай о том, что *я* найду; это только затемняет *тебе* то, что *ты* сам нашёл бы хорошо или дурно.

[…] А письмо твоё такое хорошее, так радостно прочесть было, что ты счастлив. Как я этого страстно желала, только этого — в прошлом году, чтоб ты счастлив был, и вот правда, что tout vient á temps á celui qui sait attendre [*фр*. всё приходит вовремя для того, кто умеет ждать]. Но я не хочу это *так* понимать, я понимаю, что я этого у Бога просила и Он дал.

Так прощай до вторника опять, милый друг. Жаль, а делать нечего. Что же ты мне не телеграфировал, у тебя ли 12-ти тысячный билет, у меня его положительно нет. Завтра привезут верно твоё письмо. Целую тебя. Спасибо Серёже и Илье, что они хороши и милы. Их тоже целую. Дай вам Бог всем быть здоровым и счастливым. Мы здесь тоже счастливы, на сколько это можно без вас.

А что стульчики, стульчики, стульчики?.. Таня хочет тебе писать что-то тихонько от меня.

Соня» *(ПСТ. С. 206 - 207).*

Таня дочь приписала к маминому письму такие строки:

«Папа́, — зажги побольше ламп и свечей, когда нам приехать, чтобы мама́ дом показался весёлым, главное, чтобы первое впечатление было приятное. Мы не очень испугались твоей телеграммы, нам и тут не очень скучно, только жалко, что не с вами. Таня» *(Там же. С. 208).*

Письма С. А. Толстой от 1, 2-3 и 3 октября (с припиской от 4-го) – деликатно припрятаны в её рукописном архиве и не публиковались. О причине можно судить по телеграмме (известной по упоминанию Л. Н. Толстого в ответном письме) и письму жены Толстого уже от 4 октября. Вот полный текст письма:

«Мне совестно, милый Лёвочка, что я встревожила тебя, Алёше лучше, жар прошёл и рвота прекратилась почти совсем, понемногу ещё срыгивает; понос всё продолжается, но доктор сегодня был и дал лекарства, чтоб прекратить понос; лекарства ещё плохо помогают, его слабит каждые два часа и очень водянисто. Но он сам весел довольно, и даже ползал сегодня немного. Другие дети здоровы, и если Бог даст всё будет хорошо, то доктор говорит, что можно будет ехать в четверг или лучше в пятницу. Я тогда опять телеграфирую. Таня в большом негодовании, что я тебя обеспокоила, но я не думала, что ты примешь так к сердцу именно Алёшину болезнь и по-

тому с жестокостью писала все подробности. Теперь совсем беспокоиться не о чем и я боюсь, что ты приедешь и напрасно потревожишься.

Таня мне всё время говорит грубое и неприятное, пока я пишу, и мешает мне. А человек ждёт письма. Она даже говорит, что я *налгала* на Алёшину болезнь. Очень тебе должно быть приятно, что у тебя такие защитники, а мне больно; она всё время была мила, а теперь за тебя стала со мной жестока. — У нас было сегодня 9 градусов мороза утром, это просто ужас! Но в доме тепло и очень стало хорошо.

Прощай, мой милый Лёвочка, не беспокойся и жди терпеливо. Жаль, что не писал: здоровы ли вы все, что значит: *благополучны*, а не *здоровы*. Целую вас всех.

Соня» *(ПСТ. С. 208)*.

Мы видим, что Софья Андреевна после отъезда мужа вновь пережила то болезненно-нервное, и в немалой степени эгоистическое, состояние внутреннего нежелания даже краткой разлуки с “обладаемым” ею мужем, которое и в наши дни кое-кто напрасно смешивает с искренними любовью и заботой… Снова в ход пошли преувеличенные сведения об очередном заболевании желудка у младшего ребёнка — столь неправдивые, что старшая дочь Софьи Андреевны не сдержалась от выговора матери…

«Успокоительное твоё письмо получил и очень рад. Только досадно на Таню» — ответил жене Лев Николаевич в письме от 6 октября (всё-таки ещё в Ясную Поляну, судя по надписи на конверте!) *(83, 371)*.

Приведённое нами выше письмо от 4 октября — последнее из опубликованных и доступных исследователям писем С. А. Толстой не только в рассматриваемом нами эпизоде переписки, но и в целом в 1882 году. То же самое касается писем Льва Николаевича от 5 октября и от 6-го (отрывок из которого мы только что привели). В целом заключительные в эпизоде письма супругов малоинтересны и касаются текущих мелких хозяйственных вопросов: например, в письме от 6 октября (не опубликованном), Софья Андреевна просит к её приезду «приготовить и согреть сена, — набить Алёше сенник» *(Там же)*.

Впрочем… Есть *очень* интересное свидетельство Л. Н. Толстого в письме от 5 октября – о первом посещении его *еврейским раввином*:

«Да ещё утром было интересное: приходил ко мне раввин еврейский, очень умный человек. Это знакомство через одного еврея, писавшего мне и бывшего у меня в субботу. А я выразил желание познакомиться» *(83, 370)*.

Как говорится, *оперативно подсуетились*! Толстой ещё и не успел обосноваться толком в недоремонтированном доме, а *кто-то*, издалека, но пристально наблюдавший его поведение, уже поспешил… Обстоятельства первого знакомства Льва Николаевича с представителями влиятельного еврейства — достаточно тёмны. Биограф Толстого, Н.Н. Гусев, сообщает только, что раввина звали Соломон Алексеевич Минор, а о его визите известно следующее:

«О С. А. Миноре Толстой узнал от посетившего его в Москве 2 октября еврея, фамилия которого остаётся неизвестной. Заинтересовавшись рассказом этого посетителя о московском раввине, Толстой выразил желание с ним познакомиться, и уже на другой день в квартире Толстого состоялось его знакомство с Минором…» (*Гусев Н.Н. Материалы… 1881 – 1885. С. 164)*.

Настоящее имя и звание «Алексеевича» легко устанавливается, ибо лицо это историческое. Звали московского равви Шломо Залман (или Залкинд), и был он на 2 года старше Льва Николаевича.

«…Во время беседы <с Минором> у Толстого и родилась мысль об изучении древнееврейского языка. Он просил Минора рекомендовать ему какого-либо знатока этого языка, но Минор выразил желание сам заниматься с Толстым» *(Там же)*.

О своих занятиях древнееврейским языком Толстой оповестил и своего давнего “революционного” друга В. И. Алексеева в письме от 10 ноября 1882 г. *(см. 63, 106)*.

Всё это *слишком* напоминает сектантскую «раскрутку» лоха у него на дому — к которой умело прибегают и современные сектанты. Притесняемое в Российской Империи и жёстко ненавидевшее притеснителей еврейство, помимо сионистской деятельности, тесно общалось как с сектантством, так и с политической оппозицией господствовавшему режиму. В свою очередь, эта оппозиция (начиная с приближённых к Толстому Алексеева и Пругавина) могла сообщить заинтересованным лицам в антироссийских и сионистских кругах — о вкусах, интересах и духовных запросах Толстого в отношении евангелий и «древней мудрости» в целом. Знаменитый, обеспеченный хорошими знакомствами и влиятельной роднёй и не вовсе безденежный писатель, с его только разгоравшимся религиозным бунтарством, быстро принимавшим в городских условиях отчётливые социально-политические ориентиры – не мог не быть им полезен…

Дальнейшее — дело нейролингвистических “технологий” манипуляции человеком.

Нашу гипотезу о намерении еврейства использовать труды, имя и авторитет Льва Николаевича в общественно-политической и газетно-журнально-публицистической борьбе с правительством подтверждает и его биограф-современник, Рафаил Лёвенфельд, навестивший в июле 1890 г. старика Минора-Залкинда в его доме и вызвавший на некоторые любопытные для нас откровения. В рассказе старого жидовина, кстати называется, и предсказуемо еврейская фамилия первого "таинственного гостя" Толстого в новом доме:

«— Пять или шесть лет тому назад, не могу вам точнее сказать, граф Толстой пришёл ко мне. Он просил меня порекомендовать ему кого-нибудь, кто мог бы дать ему уроки еврейского языка. Мысль изучать еврейский язык возникла у него отчасти благодаря внешнему обстоятельству. Писатель Соркин, крещёный еврей, сразу после больших еврейских погромов (1881) обратился к выдающимся русским писателям с призывом поднять свой голос в защиту евреев. Наиболее уважаемыми из тех, кто мог тогда говорить в России, были Тургенев и Толстой. [...] Толстой задержался с ответом, он хотел, как он ответил, еврейский вопрос "изучить по источникам"» *(Лёвенфельд, Р. Первая биография Льва Толстого. Ростов-на-Дону, 2011. С 24)*.

Старый жидовин сетует далее на "ошибочность" такого подхода Толстого: изучать современное, 1880-х гг., положение еврейства в России — начиная с Писания... Но не исключено, что в этом сказалась недюжинная русская, "мужицкая" хитрость Льва Николаевича: известно, что И. С. Тургенев аристократично, изящно послал еврейскую депутацию на... И тогда все их надежды пали на Толстого... и не столь умный Соркин не сумел, вероятно, скрыть данного обстоятельства от "жертвы" своей вербовки. Для чего же сразу отказываться, а не использовать ситуацию? Толстой получил, вероятно, *лучшего* в Москве учителя древнееврейского языка — и, к ужасу и унижению всего мирового еврейства, совершенно *бесплатно*.

Впрочем, уже довольно скоро, в 1884 г., рабби Залкинд таки слупил кое-какой дивиденд с близких отношений с Толстым. Сообщает Н. Н. Гусев:

«Отношения между Толстым и С. А. Минором не ограничивались учебными занятиями; между ними возникла и некоторая душевная близость. В письме к Н. Н. Страхову от 3 января 1884 года и к В. В. Стасову от того же числа Толстой, прося каждого из них о содей-

ствии сыну С. А. Минора в утверждении его в звании приват-доцента в Московском университете, называл С. А. Минора своим другом» *(Гусев Н.Н. Указ. соч. С. 165 – 166)*.

* * * * *

И не во вторник, а только в пятницу, 8 октября 1882 г. семья воссоединилась в «Арнаутовке» — как успели они окрестить свой (?) хамовнический дом… Увы! Не для счастливой и гармоничной жизни, как искренне хотелось обоим супругам!

Снова отмотаем плёнку рассматриваемого нами Фрагмента чуть-чуть назад… 26 августа, в один из дней последнего перед зимним отъездом в Москву пребывания Льва Николаевича в Ясной Поляне, в дневнике Софьи Андреевны появляется зловещая — пожалуй, даже *страшная* — запись о тяжёлой ссоре её с мужем. Снова, в подозрительно выверенном, красивом слоге, жена Толстого как будто обращается к воображаемым читателям, жалуясь, обличая мужа и оправдывая себя:

«20 лет тому назад, счастливая, молодая, я начала писать эту книгу, всю историю любви моей к Лёвочке. В ней почти ничего больше нет, как любовь. И вот теперь, через 20 лет, сижу всю ночь одна и читаю и оплакиваю свою любовь.

В первый раз в жизни Лёвочка убежал от меня и остался ночевать в кабинете. Мы поссорились о пустяках, я напала на него за то, что он не заботится о детях, что не помогает ходить за больным Илюшей и шить им курточки. Но дело не в курточках, дело в охлаждении его ко мне и детям. Он сегодня громко вскрикнул, что самая страстная мысль его в том, чтоб уйти от семьи. Умирать буду я — а не забуду этот искренний его возглас, но он как бы отрезал от меня сердце.

Молю Бога о смерти, мне без любви его жить ужасно, я это тогда ясно почувствовала, когда его любовь ушла от меня. Я не могу ему показывать, до какой степени я его сильно, по-старому, 20 лет люблю. Это унижает *меня* и надоедает *ему*. Он проникся христианством и мыслями о самосовершенствованье. Я ревную его… Илюша болен, лежит в гостиной в жару, у него тиф; я слежу за тем, чтобы дать ему хинин в промежуток, который очень короток, и я боюсь пропустить. Я не лягу сегодня спать на брошенную моим мужем постель. Помоги, Господи! Я хочу лишить себя жизни, у меня мысли путаются. Бьёт 4 часа.

Я загадала — если он не придёт, он любит другую. Он не пришёл. Долг, я прежде так знала, что; мой долг, а теперь?

<Остальное, очевидно, дописано позднее. – *Р. А.*>

Он пришёл, но мы помирились только через сутки. Мы оба плакали, и я с радостью увидала, что не умерла та любовь, которую я оплакивала в эту страшную ночь» *(ДСАТ – 1. С. 108 - 109)*.

Воспоминания Софьи Андреевны об этом эпизоде в книге мемуаров «Моя жизнь» – тоже довольно субъективны. Опять являются все эти: «злобно мучал» и подобные им негативные характеристики Толстого — имеющие, как мы уже писали, свойство *зеркальности*: т.е. характеризующие Софью Андреевну в год писания ей этих страниц мемуаров, но никак не Льва Николаевича в 1882 г.

Вместе с тем, с достаточной степенью объективности Софья Андреевна сама называет коренную причину своего тогдашнего срыва (спровоцировавшего на эмоциональную искренность и Льва): болезнь сына, кормление младенца и вызванное всем этим переутомление *(МЖ – 1. С. 391)*. С долей отстранённости и неодобрения собственного поведения описывает она свой поход на реку Воронку – одну из первых, но, к несчастью, далеко-далеко не последнюю попытку суицида:

«Я сидела не раздеваясь и плакала. Наконец к утру, покормив Алёшу и навестив Илюшу, я ушла из дому. Чудное было ясное, солнечное утро: роса блестела на всей растительности, было холодно, но так торжественно красиво, что я пошла дальше в лес, к речке, к купальне. Я разделась и вошла в воду, которая была совсем ледяная. Я хотела простудиться и умереть и просидела в воде, я думаю, не меньше часа. Что-то было мучительное и нехорошее в этом чувстве к Льву Николаевичу…» *(Там же)*.

С того дня она ещё более насторожилась в ожидании новых неприятностей от судьбы, и возблагодарила себя за догадливость в выборе своей позиции по отношению к подозрительным московским хлопотам мужа:

«Мне страшно было подумать о переезде и жизни в Москве, после того как Лев Николаевич так страдал от городской жизни, и я решилась ни шагу не делать сама и ни во что не входить, чтоб ни в чём не быть виноватой перед мужем и детьми. Боже мой, сколько в жизни раз я томилась этим страхом *быть виноватой*!..» *(Там же. С. 392)*.

Вместе с подозрительностью и фобиями вернулось к Софье Андреевне и желчное раздражение. Его хорошо передаёт одна сентенция в письме её к сестре от 30 января 1883 г.: муж её, Толстой, по её

чувствам и пониманию — «человек передовой, идёт впереди толпы и указывает путь, по которому должны идти люди», а она, жена его — «толпа, живёт с течением толпы» и не может идти по указаниям мужа, так как её «давит толпа, и среда, и привычки» *(Цит. по: ДСАТ – 1. С. 538. Комментарии)*.

Итак, ***взаимный самообман не удался***: уступка Толстого в пользу городской жизни, возня и суета переезда ненадолго будто "замазали", но не уничтожили 'надрезов" и надломов в отношениях супругов. Недаром и в "хозяйственной" мелочности бытовых описаний в письмах мужа Софья Андреевна уловила наконец акцентуацию отстранения, и жаловалась в ответном письме на все эти «паркеты и клозеты», ящики и рубли — вместо искренних и интимных строк!

Чутьё не обманывало Софью Андреевну: разногласия её мужа с семьёй, пусть и не вылившись тогда в открытый длительный конфликт, обострились именно в год переезда в Хамовники! Высокий нравственный подъём, который Лев Николаевич пережил, разбирая по-еврейски Писание, редактируя свою «Исповедь» и работая над первой редакцией будущего христианского слова «В чём моя вера?» — оживил его давнишние мечты об уходе от семьи и перемене условий своей жизни. Ещё не поселившись в хамовническом доме, он уже формирует в своём сознании установку *чужака*, наблюдателя чуждой ему и не одобряемой им жизни. Ещё в марте 1882 г. он писал другу Н.Н. Страхову: «Я устал ужасно и ослабел. Целая зима прошла праздно. То, что, по-моему, нужнее всего людям, то оказывается никому не нужным. Хочется умереть иногда» *(63, 94)*.

Выше мы выпустили в нашем презентовании переписки Толстого с женой в 1882 году почти все тягомотные подробности его хлопот для брата С. А. Толстой Петра — о месте исправника в одном из уездов Московской губернии. Весь этот эпизод с устроением блатного местечка для бедного женина родственничка — любопытен только общим впечатлением от него, сообщённым Львом Николаевичем заказчице и виновнице всех хлопот в письме от 1 октября:

«Вся эта всеобщая нищета и погоня, и забота только о деньгах, а деньги только для глупостей, — всё это тяжело видеть» *(83, 367)*.

В упомянутом уже нами письме к В. И. Алексееву, датируемом приблизительно 7 – 15 ноября 1882 г. (том самом, где Толстой пишет о занятиях с раввином) есть следующие пронзительные интимно-исповедальные строки:

«Я довольно спокоен, но грустно часто от торжествующего самоуверенного безумия окружающей жизни. Не понимаешь часто, зачем мне дано так ясно видеть их безумие, и они совершенно лишены возможности понять своё безумие и свои ошибки; и мы так стоим

друг против друга, не понимая друг друга и удивляясь, и осуждая друг друга. Только их легион, а я один. Им как будто весело, а мне как будто грустно» *(63, 106)*.

И в конце письма — будто повторение грустных мартовских строк в цитированном нами выше письме Н. Н. Страхову:

«Здоровье моё слабеет и очень часто хочется умереть; но знаю, что это дурное желание — это второе искушение. Видно, я не пережил ещё его» *(Там же)*.

Напомним читателю, что двумя «искушениями», от которых предостерегал Алексеев близкого друга, были: уход от семьи и уход из жизни. *Он помнил* – и выбирал жить, смиряться, работать и терпеть. Запаса выдержки, как оказалось, достало ещё на полные 28 годков…

Софью Андреевну ждали впереди непростые времена!

КОНЕЦ ОСЬМНАДЦАТОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Девятнадцатый
«ОДНОМУ ХОРОШО И НЕ СОВЕСТНО»
(Год 1883-й)

Фрагмент Первый.
НА ВОЛЮ, В РУССКУЮ САВАННУ – В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
(21 мая – 28 июня 1883 г.)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК

Мы оставили Толстого с семьёй в непростой момент переживаемого им затяжного кризиса адаптации к городской жизни, усугублённого в 1882 году переездом из Денежного переулка в Долго-Хамовнический, во вновь купленный дом. Только ближе к концу 1882 г. семья сумела привести его в достойное состояние – и, конечно, не преминула компенсировать треволнения переезда вступлением в активную светскую жизнь и шумным празднованием Рождества и Нового года.

Мы обратили внимание читателя на то, как самыми хлопотами покупки нового дома, активной помощью семье с переездом и обживанием в нём Лев Николаевич *компенсировал* на самом-то деле весьма тяжёлые для него переживания вынужденного прозябания в отвратительном уже в ту эпоху городе… *родном* городе сперва очень довольной переездом Сонички Берс!

О семейной, организованной во многом именно главой семьи, московской жизни 1883 г. Софья Андреевна, в кои-то веки в основном с позитивными эмоциями, сообщает в книге мемуаров «Моя жизнь» следующее:

«Этот год и начался и прошёл в самой светской жизни выездов и удовольствий всяких для моей Тани, которая так несомненно этого желала, так всем существом требовала этого и безумно веселилась, что устоять было невозможно. […] Весь февраль мы были в каком-то чаду выездов…» и т. д. *(МЖ – 1. С. 404, 404).*

С особенным удовольствием констатировала она, что с начала 1883 года Лев Николаевич «повеселел, перестал упрекать» и как будто даже по-аристократически «радовался приёму, сделанному нам <т. е. Толстым, семье> московским обществом». Для новогоднего бала у князей Щербатовых он одарил жену памятным ей и драгоценным для него подарком, фамильной реликвией: чрезвычайно редкими и дорогими алансонскими кружевами на платье, которые некогда принадлежали его маме…

Он, действительно, психологически «переломил себя»… или сломался? Навязанная ему судьбой жизнь городского популярного («публичного», как сейчас говорят) человека уже меньше отвращала его, и он готов был использовать её положительные стороны. Мы уже цитировали выше «мученические» записи его Дневника от 5 октября 1881 г. и 22 декабря 1882 г. (где он подводит итоги двум московским периодам своей жизни). Для сравнения, приведём теперь единственную, как и в 1882-м, запись его Дневника 1883 года – под 1 января:

«Когда только проснусь, часто мне приходят мысли, уяснения того, что прежде было запутано, так что я радуюсь — чувствую, что продвинулось —----------— .

Так на днях — *собственность*. Я всё не мог себе уяснить, что́ она. Собственность, как она теперь — зло. А собственность сама по себе — радость на то, что тем, что я сделал, добро.

И мне стало ясно. Не было ложки, было полено, я выдумал, потрудился и вырезал ложку. Какое же сомненье, что она моя? Как гнездо этой птицы её гнездо. Она хочет им пользоваться, как хочет. Но собственность, ограждаемая насилием — городовым с пистолетом —

это зло. Сделай ложку и ешь ею, но пока она другому не нужна. Это ясно. Вопрос трудный в том, что я сделал костыль для моего хромого, а пьяница берёт костыль, чтобы ломать им двери. Просить пьяницу оставить костыль. Одно. Чем больше будет людей, которые будут просить, тем вернее костыль останется у того, кому нужнее.

Нынче. <Варвара Николаевна> Гудович умерла. Умерла совсем, а я и мы все умерли на год, на день, на час. Мы живём, значит мы умираем. Хорошо жить, значит хорошо умирать.

Новый год! Желаю себе и всем хорошо умереть» *(49, 60)*.

Не случайны, конечно, и тематики записи: ни тема смерти, ни хорошо развитая тема нравственного пользования собственностью – такого, каким стало для Толстого и семьи необходимое приобретение достаточно дорогого и покупкой, и обустройством дома… Но для нас сейчас важнее – именно *настроение*, выразившееся в записи, так контрастирующее со страдальчески-обличительным, в более ранней записи 5 октября 1881 г. Напомним и её читателю:

«Прошёл месяц — самый мучительный в моей жизни. Переезд в Москву. — Всё устраиваются. Когда же начнут жить? Всё не для того, чтобы жить, а для того, что так люди. Несчастные! И нет жизни.

Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют» *(Там же. С. 58)*.

Непримиримый, казалось бы, конфликт с «злодеями»… у которых, через год с небольшим, на прекрасном балу станцует его Танюша… Противоречие Толстого? Нет, но именно *диалектика личностной адаптации* к тому, что нет возможности отклонить или изменить, прошедшая в этот с небольшим год в его сознании в органическом сопряжении с иной диалектикой — более длительного посткризисного развития новой системы воззрений на мир и нового диалога с ним Льва Николаевича.

Великолепный шахматист, Толстой и в жизни делает в 1882 г. сразу несколько грамотных и успешных ходов — перехватывая инициативу у судьбы. Повторимся, что тот образ жизни Толстого, который стал содержанием последующих московских, и не только московских лет, и на который так сетовала Софья Андреевна — первоначально сделала неизбежным именно она.

Теперь же, от лета 1882-го и до начала 1883 г., она почувствовала, что *хамовническое продолжение* московской жизни семьи — уже не только её рук дело, и совершенно уже не её инициатива… Это хорошо выразилось в записи её дневника от 5 марта 1883 г., которую мы приводим ниже почти полностью, как важную характеристику

актуального для представляемого нами фрагмента переписки супругов отношения жены к мужу и мужа с женой и детьми.

«*Москва, 5 марта*. Как всегда сильно действует на меня весеннее солнце. Оно так ярко светит в мой кабинетик наверху. В голове моей, теперь в тишине первой недели поста, проходит вся моя только что прошедшая зимняя жизнь. Я немного ездила в свет, забавляясь успехами Тани, успехами моей моложавости, весельем; всем, что даёт свет. Но никто не поверит, как иногда, и даже чаще чем веселье, на меня находили минуты отчаяния, и я говорила себе: “не то, не то я делаю”. Но я не могла и *не умела* остановиться. Мне так ясно, что я не по своей воле живу и действую, а по воле Бога или судьбы – как кто хочет назвать эту высшую волю, даже в мелких делах.

[…] Наша жизнь в своём доме <в Москве>, довольно отдалённом от городского шума, гораздо легче и лучше прошлогодней. Лёвочка спокоен и добр, иногда прорываются прежние упрёки и горечь, но реже и короче. Он делается всё добрее и добрее.

Но, видит Бог и больше никто не узнает, что делалось в душе моей, но я летом и осенью <1882 г.> не хотела ехать в Москву, я не чувствовала в себе сил одна нести всю тяжесть и ответственность городской жизни. А в Ясной я оставляла всё, что любила и к чему привыкла. И как я оценила всё, когда уехала, а возврат был возможен ещё в прошлом году… Но этот переезд вторичный – это дело детей с отцом, но не моё. И он был нужен, и это было Божье дело для счастья семьи… А почему? Пишет Лёвочка всё ещё в духе христианства, и эта работа нескончаемая, потому что не может быть напечатана. И *это* нужно, и *это* воля Божья, и, может быть, для великих целей» *(ДСАТ – 1. С. 109 - 110)*.

Удивительно! Менее чем двумя годами после настойчивого, в интересах семьи, буквально затаскивания Льва Николаевича в «клоаку» городской жизни — Софья Андреевна как будто поменялась с ним настроением. Почувствовав новые перспективные возможности общения, просвещения масс и творчества — муж, прелестный муж вдруг не только смирился с Москвой, но *потянулся* к её дарам, как тянулся ко многому необычному и новому. А вот жена — уже кается, что разлучила *себя*, пусть даже только на часть года, с милой Ясной, что навязала мужу Москву… С покорностью жертвы она чует, что инициатива в выборе между двумя домами и усадьбами, сельской и городской — теперь уж не её, и навсегда!

То «непечатное» христианское сочинение, о работе над которым мужа упоминает Софья Андреевна — конечно же, великое христианское слово Льва Николаевича современникам и потомкам, книга

«В чём моя вера?» (1882 - 1884). Весь 1883 год проходит для Толстого в увлечённом и благословенном труде над этой великой книгой, логическим продолжением его же «Исповеди» — продолжением его рассказа немногим, желающим выслушать, о том, как он мучительно искал неуничтожимый смертью смысл человеческого бытия и как нашёл его в первоначальной, не извращённой церковными суевериями и толками, вере Иисуса Христа.

В связи с такими экзистенциальными поисками у Толстого завязалось личное знакомство с двумя непростой судьбы людьми — бывшим учителем и литературным критиком Михаилом Степановичем Громекой (1852 – 1883), ставшим ещё в 1870-е гг. поклонником педагогических воззрений Толстого, и бывшим же судьёй Гавриилом Андреевичем Русановым (1846 – 1907). Оба они были в том году тяжело больны: Русанов получил тяжёлую травму позвоночника и инвалидность, жёстко поставившую перед ним вопрос о целесообразности продолжения земного бытия, Громека же был болен психически и так же одержим мыслями о самоубийстве. К несчастью, одному из них — Громеке — Толстой помочь не сумел.

Замечательный биограф Толстого, его личный секретарь, друг и единомышленник Н. Н. Гусев, проанализировав переписку 1881 – 1883 гг. Толстого с Громекой, Русановым и рядом других лиц, пришёл к *важнейшему* для нас выводу о своего рода *гармонизации* отношений Л. Н. Толстого не только с прежде страстно, безусловно ненавистной Москвой, но и… с собственными художественными писаниями: от оценок в духе знаменитой «многословной дребедени» или, проще, «мерзости» Толстой перешёл к более сдержанным, в особенности – в отношении романа «Анна Каренина». В немалой степени такой сдержанности способствовала *превосходная* статья М. С. Громеки (с несколько двусмысленным, почти грозным, заглавием «*Последние* произведения гр. Л. Н. Толстого»), в которой, по признанию самого Льва Николаевича, автор сумел показать и объяснить читателю то, что Толстой *бессознательно* вложил в произведение *(Гусев Н. Н. Материалы… 1881 – 1885. С. 188).*

Но была здесь, как нам представляется, и иная, не столь случайная причина «смены гнева на милость». Ведь мировоззрение человека — это тоже *система,* развивающаяся по законам всех сложных систем. Диалектически неизбежный «бурный» этап толстовского мировоззренческого кризиса к. 1870-х – н. 1880-х гг. сменился закономерным более спокойным; радикальное неприятие едва ли не всего в окружающей жизни и собственном прошлом — приятием всего, что полезно или хоть возможно принять… Злосчастный Громека только, как нельзя кстати, *ускорил* этот процесс.

Сам Толстой говорил в 1900 году, вспоминая Громеку: «Мне было дорого, что человек, сочувствующий мне, мог даже в «Войне и мире» и в «Анне Карениной» увидеть многое, о чём я говорил и писал впоследствии» *(Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. М., 1959. – С. 63).*

Между тем то настроение «смирения» Софьи Андреевны перед «волей Божьей» и мужниной, которое она явила в процитированной нами выше записи её дневника, не было, разумеется, истинным христианским религиозным смирением — и, как следствие, не носило характера ни глубины, ни прочности и долговременности, ни искренности. Это хорошо видно и из того, что Великая Переписчица Земли Русской в это время *наотрез* отказывается как-то связывать себя с «еретическими» и, главное, не сулящими доходных публикаций (а сулящими только вероятные проблемы с цензурой и законом…) рукописями мужа, и тот был вынужден прибегать к услугам наёмных переписчиков. Ярко видно это и из скрытой по сей день от массового читателя, местами очень критичной в отношении мужа, уже не раз цитированной нами выше переписки Софьи Андреевны с сестрой Татьяной. Вот, для примера, отрывок из её письма сестре от 30 января:

«Лёвочка очень спокоен, работает, пишет какие-то статьи: иногда прорываются у него речи против городской и вообще *барской* жизни. Мне это больно бывает; но я знаю, что он иначе не может. Он человек передовой, идёт впереди толпы и указывает путь, по которому должны идти люди. А я – *толпа*, живу с течением толпы, вместе с толпой вижу свет фонаря, который несёт всякий передовой человек и Лёвочка, конечно, тоже, и признаю, что это *свет*. Но не могу идти скорее, меня давит и толпа, и среда, и мои привычки» *(Цит. по: Гусев Н.Н. Указ. соч. С. 187).*

Конечно, во многом здесь жена Толстого точна и права… среда и привычки, мнения и зловолие толпы — «давили» непрерывно и тяжело на всю семью Толстых… Но налицо, увы, и выплеск неких обид и иных затаённых негативных мыслей и эмоций жены Толстого. И, к несчастию, не единственный в эти первые месяцы 1883 года! Конфликтность Софьи Андреевны резко усилилась после рокового, как оказалось впоследствии, шага Толстого. 21 мая, уже живя с женою в Ясной Поляне, он выдал ей *доверенность на ведение всех его имущественных дел,* включая сюда и право на издание его сочинений и получение гонораров с них. Вот основной её текст:

«Ваше сиятельство милостивая государыня и любезная супруга Софья Андреевна.

Доверяю Вам заведывать всеми моими делами и вместе с сим уполномочив Вас иметь ходатайство во всех судебных, мировых, присутственных и административных местах и учреждениях и у должностных лиц всех вообще ведомств по всем моим делам: гражданским в качестве истца, ответчика и уголовным в качестве обвинителя, защитника и гражданского истца, ходатайствовать об утверждении составленных в мою пользу духовных завещаний и об утверждении меня в правах наследства к имениям, дошедшим ко мне по законному наследству, о вводе меня во владение недвижимыми имениями и вообще об укреплении прав моих на недвижимые имения всеми законными способами. [...]

Всякое моё недвижимое имение в целом составе или по частям доверяю продавать за цену и на условиях по Вашему усмотрению, совершать купчие крепости, запродажные записи с неустойками и без оных, получать задатки и выдавать задаточные росписки. Также каждое моё недвижимое имение закладывать в частные руки, в банки и общества, совершать закладные, получать залоговые свидетельства, выдавать обязательства кредитным установлениям по продаже и залогу получать все причитающиеся суммы и ссуды... Вообще получать всякие мне следующие суммы от всюду и с почты посылки, деньги и процентные бумаги, заказные письма. Полномочие это вполне или частями можете передавать другим лицам и во всём, что Вы и Ваши поверенные законно сделаете, я во всём верю, спорить и прекословить не буду» *(83, 579 - 580).*

Такое решение вполне отвечало тогдашним христианским настроениям Толстого – «подогретым», почти в буквальном смысле, страшным пожаром в Ясной Поляне, свидетелем и участником которого он стал почти сразу по приезде туда 26 апреля 1883 г. Многие крестьянские семьи потеряли *всё* имущество — и смиренно полагались на помощь «доброго барина» и волю Божию... Великолепный христианский урок того, что жизнь человеческая никогда и ничем не может быть «обеспечена», что старания людей о земных достатках – лишь соблазн и погоня за миражом...

Процитированный нами текст, без сомнения, один из важнейших текстов, адресованных Л. Н. Толстым жене. С его страшными последствиями мы будем сталкиваться на протяжении анализа и презентования нашему читателю всех последующих эпизодов переписки Л. Н. и С. А. Толстых – вплоть до 22 июля 1910 г., когда Л.Н. Толстой подписал другой роковой в его судьбе документ – завещание, сделавшее всё его литературное наследие общечеловеческим достоянием.

Выдав Соничке доверенность, в тот же день 21 мая 1883 г. Толстой уехал из Ясной Поляны в своё самарское имение – тем открыв новую страницу в истории эпистолярного своего общения с женой, к рассмотрению которой мы теперь и приступаем.

КОНЕЦ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ОЧЕРКА

В работе с перепиской Толстых 1883 года мы будем руководиться тем же *строго хронологическим*, с незначительными отступлениями, порядком презентования источников, что и в предшествующих эпизодах нашей книги. Это нам важно оговорить для читателя, потому что от него потребуется *внимание* и *усилие памяти* для удержания в ней содержания прочитанных писем: расстояние делало не всегда возможным быстрый, в несколько дней, ответ адресата, и между текстом, на который он отвечает и собственно ответом проходило немало времени, в которое могли быть написаны ещё и ещё новые письма.

Итак… Целей этой, последней в жизни Толстого, самарской поездки было две: как обычно – лечение кумысом и расслабление нерв, а кроме того — ликвидация немалого хозяйства на самарском хуторе, теперь тяготившего Толстого, изменившего свои воззрения на деньги и собственность. Была и прагматическая причина для сворачивания самарского предприятия: конезавод, как и многие прежние начинания Толстого-хозяйственника, оказался не особенно успешным — что мы увидим ниже из текста первого в этой поездке большого письма Л.Н. Толстого жене (от 25 мая).

Одно из приводимых нами ниже писем С. А. Толстой, именно от 21 июня, содержит косвенное свидетельство того, что расставание супругов перед отъездом Толстого из Ясной Поляны *не было* бесконфликтным. Произошёл какой-то резкий разговор, в ходе которого Толстой упрекал жену за то, что она его «никуда не пускает». Так или иначе, но на поездке мужу настоять-таки удалось.

Как заботливый супруг, Толстой посылает жене в Ясную Поляну записку уже *с дороги*. Текст её, датированный 23 мая – представлен в Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого (том 83-й) в следующем виде:

«Мая 23. Самара.

Доехал благополучно до Самары. Холод и дождь; я хотел остаться в Самаре на день — переждать дождь и купить, что нужно; но теперь разгулялось, и я еду до Богатого. <Железнодорожная станция в 86 верстах от Самары, ближайшая к имению Толстого. – *Р. А.*>

Я давно не ездил, и дорога показалась скучна; от того что устаёшь и не можешь подвинтить себя. Пиши по чаще. Не желай того, чего не желают все люди. Тороплюсь ещё взять билет. Встретил <шурина> Вячеслава <В.А. Берса. – *Р. А.*>.

Целую детей и всех гостей.

Л. Т.

Буду пользоваться всяким случаем писать и буду телеграфировать» *(83, 375 - 376).*

Толстой ехал весь путь один — несмотря на решение старшего сына Сергея ехать в одно время с ним. Но молодой человек, вместе с компаньоном своим, уже известным читателю учителем классических языков Иваном Ивакиным, решил совершить весь путь до Самары не по железной дороге, а в лодке, по рекам Москве, Оке и Волге. (Впрочем, на лодке молодые романтики доехали только до Коломны, где благоразумно пересели на комфортабельный пароход…).

Доехав до хутора и самую малость отдохнув с дороги, на второе утро своей вольной жизни, 25 мая, Толстой посылает жене первое «полноценное», достаточно пространное письмо. Его текст интересен не столько фактами и реалиями самарской жизни Толстого, сколько передачей его нового к ним отношения – сквозь всевосстановляющую в Божьей правде-Истине призму христианского жизнепонимания… Приводим текст письма полностью.

«Второе утро на хуторе.

Мне совсем не весело и не приятно. Даже уныло и грустно. Видел тебя во сне, и думаю беспрестанно о всех вас; но не жалею, что приехал. Надо развязать ту путаницу, которую я же завёл здесь. Половина жеребят прошлогодних подохла, а нынешних от 80 кобыл — 24. Мне к стыду моему было очень досадно, но потом я обрадовался, и теперь очень рад, что от меня отскочила эта глупая охота, и я решил всё уничтожить <и> распродать. Это как пожар оранжереи <в Ясной Поляне, 14 марта 1867 г. – *Р. А.*>, который освободил меня от многих досад. Давно было пора это сделать. Что мы будем получать от 4 до 6 тысяч, в этом не может быть сомнения. — Отдача будет

только под покос и под пахоту, с уплатой денег вперёд. Теперь долгов с новых — до 10 тысяч, из к[оторых] 5 — пропащи. — Пожалуйста, ты этому не досадуй, а радуйся. И так — уж так много лишнего. Продажа всего скота, лошадей, строений и посеянного хлеба должна принести больше 10 тысяч (я нарочно уменьшаю цифры), так что твоё желание выкупить дом <в Москве> — может исполниться.

Я в серьёзном и не в весёлом, но в спокойном духе, и не могу жить без работы. Вчера проболтался день, и стало стыдно и гадко, и нынче занимаюсь. Жизнь <управляющего> Бибикова и Василия Ивановича мне не нравится. Ни то, ни сё. Труда физического, нужды — нет. А умственного труда тоже нет. А отношения с мужиками, отдача земель — торгование, питие чая — ужасно тупое, одуряющее и противное занятие. — Нынче целое утро Пётр Андреич <Архангельский> (это новый управляющий) в большой комнате сдаёт луга и торгуется, и мне невольно слышно. Я в крайней — детской. Не знаю, как дальше, но мне теперь неприятно и невольное общение с Бибиковым, Василием Ивановичем, и моё положение — хозяина, и обращение бедных, которых я не могу удовлетворить.

Мне хоть и совестно, и противно думать о своём поганом теле, но кумыс, знаю, что мне будет полезен, главное тем, что справит желудок; и потому нервы и расположение духа, и я буду способен больше делать, пока жив, и потому хотелось бы попить дольше; но боюсь, что не выдержу. Может быть, перееду на Каралык. Там я буду независимее.

Серёжа что? Здесь ожидая его, я больше беспокоюсь о нём. Как он приедет, я тебе телеграфирую.

Мне интересно было себя примерять к здешней жизни. Кажется, недавно я был, а ужасно изменился, — и хоть ты и находишь, что к худшему, я знаю, что к лучшему, — потому что мне покойнее, и что мне приятнее быть с таким человеком, какой я теперь, чем какой я был прежде.

Дорогой видел много переселенцев, — очень трогательное и величественное зрелище.

При себе и то жутко за всех вас, а вдалеке стараешься или не думать, или уж думать серьёзнее, — а то, если думать о том, что может случиться, с ума сойдёшь от беспокойства.

Пожалуйста, пиши мне откровенно, и не в минуты волненья, а в спокойную минуту, как ты смотришь на моё отсутствие; мне это нужно знать, чтобы решить, когда вернуться. Кумыс — ведь это в сущности фантазия. Я готовь сейчас вернуться и по сердцу хочется сейчас вернуться, и буду очень рад. Во всяком случае поездка моя

уже имела результат, и очень важный — упрощения отношений хозяйственных. Прощай, душенька, целую тебя, детей; Таню <Кузминскую> и её детей. И всем домочадц[ам]» *(83, 376 - 377)*.

Следующее письмо Толстого, писанное через четыре дня, 29 мая, как содержательно, так и своим настроением будто продолжает предшествующее:

«Воскресенье утро. Вчера неделя, что я уехал из дома. Первые дни — от кумыса ли, или так, была тоска — теперь веселее; но вчера ходил далеко, на Каралык, и напился молодого кумыса, и сделался нездоров. Нездоровье моё обычное: печень. И я даже рад. Как на водах, так и на кумысе бывает, что повторяется обычное нездоровье. А это нездоровье у меня как мигрень — после него делаешься здоровее.

До сих пор замыслы мои — работать — не осуществились. И кумыс отупляет, и хозяйственных хлопот много. Скот, лошадей, постройки — всё продаю, и раздаю землю в аренду, разделив её на 5 участков. За самый дальний, за Бобровской, дают 1 р. 30 к. за казённую дес[ятину] — деньги вперёд. Так что, по этому рассчёту, можно всю землю раздать за 8 тысяч. Продать Бобровский — вчера давали по 24 рубля — все деньги заплатить. Так что цена утроилась.

Неприятного было то, что я досадовал на Бибикова за непорядки, особенно в лошадях; — ему передали, и он огорчился, и мне было совестно. Так что мы несколько недовольны друг другом, так же и с Василием Ивановичем. — Я надеюсь, что теперь наш восточный — самарский вопрос разрешается навсегда. Дети же наши, которым нужно будет имущество, будут довольны тем, что купили и не продали эту землю. Пускай они делают тогда, как хотят. Тучков продал свой участок за 28 р[ублей] за дес[ятину]. <Толстой вспоминает свою выгодную покупку первых самарских земель у помещика Н. П. Тучкова. – *Р. А.*>

Погода здесь прекрасная. Степь зелена и весела и ожидания урожая хорошие. — Я хожу помногу, и когда сижу дома, читаю Библию toujours avec un nouveau plaisir [*фр.* всегда с новым удовольствием]. Писем ещё не получал. Завтра Бибиков едет в Самару с <детьми-воспитанниками> Андреевыми, <и их родственницами> Богоявленской и Лидией, чтобы совершать раздельный акт, и он привезёт мне вероятно письма. У Бибикова здесь живут: <студент-медик Николай Ефимович> Богоявленский (он мне несимпатичен совсем) с женой, Лидия Андреева и кн[язь] <Дмитрий Александрович> Оболенский,

18-летній малый, огромный кадет, кончающий курс. Кадет этот ухаживает за Лидией, и мне говорят, что хочет жениться. […] Ещё живёт медик 5 курса, — <Трифон> Цыганков, и ещё чета Гурьян — оба евреи. Он <учится> в Москве на медицинском факультете, она в Петербурге на медиц[инских] курсах. Я их всех мало вижу. Симпатичнее всех евреи. Пётр Андреич мне нравится. Я думаю, будет очень толковый управляющий, если честен. И жалко, что его не было прежде.

[КОММЕНТАРИЙ.

Если Лев Николаевич хотел встревожить жену перечислением таких своих самарских спутников – он этого *уже* добился. Все названные им – те самые общественно не спокойные и «нравственно-влиятельные» люди, встречи с которыми мужа на самарских просторах так опасалась Софья Андреевна.

Для примера скажем только об одном из названных выше «евреев» — Исааке Михайловиче Гурьян (1861—1894). Учился он в гимназии в Киеве. Его репетитором был марксист Дейч; под влиянием его Гурьян работал в революционных кружках, за что подвергся отчислению из гимназии. Окончил Московский университет по медицинскому факультету в 1885 г. Член «Народной воли». В 1882 г. встречался с Толстым на переписи в Москве. В 1883 г., когда Толстой приезжал в своё самарское имение, занимался с ним древнееврейским языком. **]**

[…] Мухамедша <башкирец, приготовлявший кумыс Толстому; многократно упоминался нами выше. – *Р. А.*> так же хорош собой, изящен и приятен; так же похож на ястреба. Лизавета Александровна <Алексеева, жена В. И. Алексеева, прежде жившая с его гуру Маликовым. О них мы тоже рассказывали в предшествующих эпизодах. – *Р. А.*>, кажется, в ожидании. <Дочь В. И. Алексеева> Лиза весела и хлопочет. Мальчик <Коля, сын Алексеева> вырос и перестал капризничать. Все они заняты около дома: циплятами, гусенятами и утенятами. Жизнь их, кажется, нескладна, но я думаю, и всякая жизнь кажется такою со стороны.

Теперь начинаю ждать Сережу, и очень буду рад, когда он приедет.

Что все вы? Что ты? Желаю тебе быть столь же спокойной, как я. — Когда на меня первые дни находила тоска, я не верил ей, приписывал это ненормальному состоянию здоровья, и точно это так. Теперь знаю, что вас, с которыми я связан, много, и что все случиться может, — но тоже и при мне. Главное, страшно и неприятно думать,

что я ещё не знаю, спокоен, а там уже случилось. Прощай, душенька, целую тебя и всех наших. — Немножко мне противно отпаивать себя кумысом, но утешаюсь тем, что как сон нужен для того, чтобы на утро свежо встать и работать, так и мне, если предстоит жизнь и работа, надо выспаться» *(83, 378 - 380)*.

И в этот же день, 29 мая, пишет своё первое ответное – и встречное, что традиционно для переписки супругов! – письмо Софья Андреевна. Начинается письмо Сонечки – так же весьма и весьма для неё традиционно: с будоражащих (как она надеялась) сердце отца подробностей болезни младших детей:

«Милый Лёвочка, я послала уже тебе одно письмо в Самару, до востребованья, и впредь буду так писать, а это одно только посылаю через Патровское волостное правление, может быть дойдёт. <Патровка — село в 20 верстах от самарского хутора Толстого. – *Р. А.*>

У меня не совсем в доме покойно, потому что Алёша и Андрюша ужасно кашляют, очень похоже на коклюш. Алёшу вчера рвало несколько раз от кашля, Андрюшу ещё не рвёт, но он давится и кашляет припадками, а Миша почти здоров. Таня сестра тоже кашляет ужасно. Ночью жутко делается от детского кашля, а утром встанут, ничего как будто, весёлые, играют, едят, — ну и успокоишься.

Погода стоит чудная. Не жарко, а ясно, тихо, красиво. Вечера и ночи свежие, месяц молодой; зелень, трава, листья — всё так свежо, сильно, густо и прекрасно растет в нынешнем году. Илья с Альсидом <*Alcide Seuron* (1869—1891), так же Алкид — сын гувернантки Толстых. – *Р. А.*> и Лёлей <*Л.Л. Толстой*> ездят на охоту с гончими в компании <*соседского помещика*> Головина и его жены, Илья убил двух зайцев. У них, видно, большая бывает жуировка: берут чай, хлеб, вчера выпросили у меня пирог с вареньем — и так и едут в лес.

Таня пишет <гувернантке> M-me Seuron по утрам, иногда возьмёт карандаш и так рисует что-нибудь. Потом она читает, иногда катаются и в крокет играют.

Я целыми днями теперь пишу — переписываю французскую эту статью. <Речь идет об «Исповеди», французский перевод которой был подготовлен самим Л. Н. Толстым для издания «Nouvelle revue» (не состоялось). – *Р. А.*> По вечерам с Таней в крокет играю, а сегодня у нас <Л.Д.> Урусов и был Раевский Иван Иванович, обедал и вечер сидел. Ходила я к больной <крестьянке Ясной Поляны> Марфе Евдокимовой. У неё тиф, по-моему; я дала ей несколько советов, и хочу за неё приняться серьёзно. Единственное, что мне доставляет удовольствие настоящее — это лечить больных, особенно, когда удачно.

Больных очень много, ездят издалека, сегодня привезли такого несчастного мужика, от лихорадки просто страшен был. Я ему дала вина, он весь дрожал, дала ему чаю, хинин и не знаю уж, что с ним будет, а желала бы знать, выздоровеет ли он.

Мы живём все дружно и тихо, дети учатся и ведут себя хорошо.

Мне иногда без тебя невыносимо одиноко и тоскливо, но это минутами; а разумно я желаю, чтоб ты кумыс пил подольше и отдыхал бы от нас и нашей несимпатичной тебе жизни. Но только бы не прискакала бы какая-нибудь М-а, и не смущали бы твою душу люди, которые поставили себе задачей завладеть тобою нравственно.

[КОММЕНТАРИЙ.

Запоздалая забота Софьи Андреевны… Под такими, «нравственно завладевающими» Л. Н. Толстым людьми Софья Андреевна разумела сектантов и разного рода общественных экспериментаторов – общинников, революционеров. «М-а», упоминаемая Софьей Андреевной — это вызывавшая у неё мысли ревности и неприязни Пелагея Николаевна Метелицына, «опростившаяся» помещица, одна из первых женщин, работавших на сельскохозяйственной станции знаменитого некогда учёного-химика, агронома, писателя, публициста и общественного деятеля Александра Николаевича Энгельгардта (1832 – 1893). У себя на хуторе в Самарской губернии, где занималась рационализацией сельского хозяйства по методикам своего научного наставника.

Сердце-вещун не обмануло жену Толстого: летом 1883 г. Метелицына лично явилась в Ясную Поляну, нанялась батрачкой и впечатлила Л. Н. Толстого как неуёмным своим трудолюбием, так и внешней привлекательностью своих помещичье-сочных и пышных, молодых обнажённых телес. Следующей зимой, по воспоминаниям А. А. Бибикова, она явилась и в дом Толстых в Москве для некоего «интимного общения» с Львом Николаевичем, но была, к её и Толстого несчастью, перехвачена Софьей Андреевной и со скандалом, позором изгнана из дома. **]**

Серёжа верно уж с тобой; я благодарю его, что он продал лодку, и что был благоразумен, и что писал мне, я все его письма получила. А от тебя ещё только одно письмо было, хоть бы ещё скорее было письмо; мне твои письма в твоё отсутствие жить помогают, точно так же как твои речи в твоё присутствие; но речи тогда помогают, когда при этом ты любишь меня, — а это много изменилось…

Прощай, целую тебя и Серёжу.

Соня» *(ПСТ. С. 209 - 210*).

К сожалению, мы не располагаем текстом следующего по времени письма Софьи Андреевны – от 30 мая. Вероятно, главным побуждением к писанию его была у жены Толстого значительная задержка почтой писем мужа и её желание не только получить известия от него, но и самой сообщать любые новости. Зная о трудностях почты и догадываясь о таком настроении жены, Лев Николаевич при первой возможности отсылает жене телеграмму. Такой возможностью оказалась встреча 31 мая в Самаре задержавшегося в пути сына. В телеграмме значилось:

«Серёжа приехал мы благополучны Толстой» *(83, 381)*.

31 мая телеграмма была получена в Ясной Поляне, и Софья Андреевна, так же телеграфом, отослала мужу короткий ответ:

«Милый Лёвочка, сегодня получила твою телеграмму и очень ей была рада, а то довольно беспокойства дома» *(Там же)*.

А в следующие два дня добрались до Ясной Поляны и приведённые нами выше два письма Толстого – от 25 и 29 мая, и Софья Андреевна наконец-то смогла отписать мужу «полновесный» ответ на все сообщённые им известия. Приводим полностью её письмо от 2 июня:

«2 июня вечер.

Милый Лёвочка, сейчас приехали из Тулы и привезли мне два твоих письма, из которых последнее меня немного обеспокоило тем, что ты нездоров, и чем? *печенью*, это так неопределённо! Дай Бог, чтоб всё обошлось благополучно и чтоб ты или Серёжа не расхворались. Мне ужасно приятны, милы и радостны были твои письма. В них я увидела, что ты *не убежишь* от нас, какие бы мы ни были; что ты не отдаёшься влиянию людей, которые мне так всегда чужды и даже неприятны; что в хозяйстве во многом и я, глупая, была права.

Откровенно, кладя руку на сердце, говорю тебе, что я желаю, чтоб ты пил кумыс и жил там, *высыпался*, как ты говоришь, как можно дольше, т. е. как выдержишь. Не стоило того расставаться, *отрываться* друг от друга, если не выдержать до конца кумысное питье. А кумыс для тебя очень, очень нужен и важен, это даст силы, лёгкость жить и на всё смотреть веселей. Алёшин коклюш идёт

своим чередом, припадки бывают сильные, он закатывается, но только что припадок кончается, он играет, смеётся, бегает, даже поёт. Дрюша и Миша кашляют, но не коклюшем. Я их очень берегу, соблюдаю. Живём мы все — я с детьми и с Таней и с людьми — очень дружно и хорошо. Погода чудная, мы купаемся, я сегодня одна везде гуляла, нашла в Чепыже 5 белых грибов, нарвала цветов, любовалась очень старыми и новорожденными дубами и так тихо, спокойно наслаждалась природой. А мне *не* совестно, что я не работаю какую-то выдуманную работу: право, так много заботы и работы домашней — рада, как минута досуга есть. И так мне весело и хорошо жить летом, я только Бога благодарю, что так мне хорошо пока. Не мучься, Лёвочка, что ты не работаешь. Живи, пей, ешь, веселись и наслаждайся, как говорит Соломон в твоей исповеди, которую я эти дни, не разгибая спины, переписывала по-французски. Тебе кумыс будет не в пользу, если ты будешь работать. Тогда всё наверстаешь, когда поправишь желудок и придёшь в зимнюю аккуратность.

Лёля и Альсид <Лев Львович и сын его гувернантки. – *Р. А.*> всё вместе — рыбу удят, верхом ездят, Альсид хороший малый. Но сегодня Лёля сообщил Альсиду, что Таня не купается потому, что у ней р<егулы> и Альсид ничего подобного не знал, и madame пришла в отчаяние и кричала, que Léon est pourri et il gâte mon enfant [*фр.* что Лёва испорченный и развращает моего ребёнка]. Но Лёле был выговор, я снесла крик кротко, и теперь всё обошлось. Об Илье ходят неясные, но подозрительные слухи. Я в это не вхожу, ему 17 лет, дело не матери теперь, а сказала мне Madame же, что он в шалаше, в саду, с кем-то бывает, и мальчики, Лёля и Альсид, будто это знают. — А я, как девушка, у меня золотом уши завешаны, ничего никогда не знаю, а если знаю, то неловко мне, грустно, и я совсем теряюсь. Сказать — духу не хватает, и что я скажу? Когда приедешь, поговори с ним, и может быть ещё неправда, Madame всегда имеет на уме что-нибудь нечистое, я это замечала. — Таня, дочь, по утрам, пишет портрет Madame, он стал лучше; играет на фортепиано, читает и много болтается; встаёт она иногда только поздно, а большей частью рано.

Меня огорчает, что гимназист, которого я взяла Лёле, еще ни разу не был. У него заболела сестра и он ее повез в Москву, да и пропал. Обещал приехать сам, как вернется. Сама я занимаюсь Лёлей и Машей всякий день час. День по-русски, день — по-английски. Читаем *Orville College* по-английски <«Orville College» — роман (1867) Эллен Вуд (псевд. Mrs. Henry Wood) (1814—1887). – *Р. А.*>, переводим, диктуем. Лёля сегодня сочинение писал о рыбной ловле, Маша читала русскую историю и я много ей рассказывала; оказывается, когда

мою память расшевелить, я многое помню и могу быть полезна в передаче знаний, *если нужно это*. Ты, верно, читаешь и думаешь: «всё пустяками занимаются!» А я не умею другого ничего делать, да и не хотела бы, благо я так счастлива в своей жизни. Как иногда мне тяжело, Лёвочка, одно: знать, что ты всю мою жизнь и всю меня так не одобряешь и не считаешь серьёзной.

Разве мало хоть того, что я всей душой *желаю* делать хорошее и не могу.

Прощай, милый друг, целую тебя и Серёжу. Продолжай быть спокоен и счастлив. Всё будет хорошо, а не будет — на то Божья воля, и при тебе было бы тоже. Если б не коклюш, я бы, может быть, приехала, а теперь не могу, и не жди меня.

Твоя Соня» *(ПСТ. С. 211 - 212)*.

От такого письма буквально веет той «идиллией семейной жизни» Толстых, которая в современной околонаучной, а отчасти и толстоведческой литературе связывается, почти исключительно с идеализируемой рядом авторов Софьей Андреевной, а за гибель этой идиллии – пеняют, разумеется, мужу и «новым» его религиозным убеждениям. К сожалению ли или к счастью, но это не так – и мы показали это в предыдущих 18-ти Эпизодах нашей аналитической презентации. Идиллии *не было*, а были периоды сравнительно позитивного и спокойного настроения Софьи Андреевны, счастья и несчастий, ссор и мирного сожительства. На материале дальнейшей переписки даже этого, 1883-го, года мы увидим, как изменялось – и не в лучшую сторону – настроение супруги Толстого.

И снова – встречное письмо, письмо Л. Н. Толстого от 2 июня:

«Последнее письмо я писал тебе в тот день и даже час, когда приехал Серёжа. Они <в лодке> доехали до Коломны. Очень довольны своим путешествием и в лодке, и на пароходе. Я был ужасно рад приезду Серёжи, но, как всегда, он тотчас стал со мною строг, и его присутствие даст мне спокойствие, но не даст радости. В последнем письме я писал тебе, что мне нездоровилось; теперь всё поправилось. Пью кумыс с усердием; но нет той беззаботности, которая нужна. Всё хозяйственные хлопоты. С утра до вечера осаждают мужики, и я стараюсь сладить их. Всем хочется снять землю. И если бы выжимать всё, что можно, то можно бы сдать участок очень дорого. И теперь, надеюсь, что ты будешь довольна. Не пишу подробно потому, что ещё не всё кончено, но во всяком случае получится больше,

чем ты ожидала. — Представь себе моё отчаяние. Бибиков ездил в Самару, я дал ему письмо, и так был уверен в том, что он знает, что письма мы получаем в Самаре, что ничего не сказал ему. И он был на почте и не спросил мне письма. И я до сих пор ничего про тебя не знаю. А меня особенно мучает это — этот раз. Я так вдруг скоро уехал. Как будто что-то не договорено, и как будто что-то холодно мы простились. Думаю о тебе беспрестанно.

Живётся здесь хорошо и спокойно, коли бы не беспокойство о тебе. Одуряюсь понемногу кумысом и освежаюсь. Все свои планы работ помню, так же люблю, но как будто сплю. — С <А. А.> Бибиковым <управляющим> мы объяснились, оба поплакали и поцеловались. С Василием Ивановичем <Алексеевым> тоже по-прежнему, но я ждал бо̀льшего от их жизни. — Лошадей теперь я думаю голов 40 с жеребятами — лучших, т. е. самых интересных по породе — привести к нам и разместить часть в Ясной, часть в Никольском. Из этого можно видеть, что я окумысился.

Здесь всё дожди с тех пор, как я приехал. Нынче ездил с Василием Ивановичем в <сёла> Патровку и Гавриловну по делу сдачи земли и долго беседовал с молоканами, разумеется, о христианском законе. Пускай доносят. Я избегаю сношений с ними, но, сойдясь, не могу не говорить того, что думаю.

[КОММЕНТАРИЙ.

Дурные предчувствия Софьи Андреевны продолжали сбываться… Толстой вовсю общался в эту поездку со старыми друзьями-«нигилистами», как сам называл их полушутя, Бибиковым и Алексеевым, равно как и с сектантами, находящимися под особенно пристальным полицейским наздором. То есть он почти гарантировал неприятные последствия, как минимум, для одного себя. Известно, что тамошний некий уездный исправник Бехтерев действительно состряпал в эти дни на Толстого донос по поводу общения с «нежелательными» людьми, и 13 июля представил его с рапортом самарскому губернатору. Но никаких последствий этот донос для Льва Николаевича не имел. **]**

Пётр Андреевич, который мне сначала понравился, теперь оказывается знакомым мне типом управляющих плачущихся, и я рад, что прекращаю хозяйство. Держусь твоего правила: не писать *I hope*…, [Я надеюсь…,] а хочется. Хочется знать всё, что происходит у вас, в вашей сложной и бурной, в сравнении с нашей, жизни. Сижу и пишу в своей комнате, и слышу: в большой комнате Серёжа, Иван Михайлович <Ивакин> и Пётр Андреевич с женой ужинают и тихо

разговаривают. Я огорчал жену Петра Андреевича тем, что не ел приготовленные ею обеды; теперь Серёжа и Иван Михайлович едят. Я питаюсь кумысом и чаем. Вчера приехал к Мухамедше ещё кумысник, студент Казанского университета <Василий Алексеевич Шкляев>, с сестрой <Марией>.

Письмо это я посылаю с нарочным, главное, чтобы получить твоё письмо. Ты можешь видеть степень моего беспокойства по этому. Обнимаю тебя, душенька, целую всех» *(83, 382 - 383)*.

До 8 июня Лев Николаевич не пишет более жене писем, ожидая со дня на день прибытия «нарочного» (специально посланного в Самару человека) с письмами от жены. А Соничка – конечно же, продолжала и продолжала писать… Известны её письма мужу от 4, 5 и 7 июня, причём только последнее было ответом на письмо Л. Н. Толстого – только что нами приведённое. С необходимыми пояснениями, сообщаем ниже содержание этих писем по их хронологическому порядку. Надеемся, что вместе с содержанием читателю сообщится и дух летней усадебной жизни, в которой Софья Андреевна была безраздельной хозяйкой и истинной чародейкой.

«4 июня, суббота.

Судя по письмам твоим, милый Лёвочка, мне кажется, что ты более беспокоишься о нас теперь, чем в былые времена, и потому я решила писать тебе почаще. У нас всё то же всё так же коклюшно, и подчас очень страшно закатывается Алёша, но всё так же весел и, по-видимому, в промежутки здоров; всё так же кашляют не коклюшем Андрюша и Миша, и все остальные здоровы. Погода испортилась, сегодня стало пасмурно и дождь перепадает и северный ветер; жаль, что малыши принуждены сидеть дома, и жаль, что завтрашний Троицын день испорчен для больших детей. Сегодня Илья дома, а утром был на охоте; он совсем ничем не занимается, читает «Войну и Мир» и то, представь себе, прочёл нечаянно 2-ю часть прежде первой и до конца почти не спохватился. Таня погрузилась эти два дня в швейную ручную машинку, которую я ей выписала из Москвы. Может быть её это приохотит к работе. Лёля и Альсид сейчас едут верхом в <ближние сёла> Ясенки или Колпну. Купаться всем запретили сегодня и потому все *стремятся* куда-нибудь. Я пишу, а Таня сейчас прибежала и зовёт Машу в Чепыж за грибами. Сегодня <англичанка-гувернантка> Carrie уехала с <учительницей детей Кузминских> m-lle Герке в Тулу, и я смотрю и забавляю малышей; тем более это трудно, что им гулять нельзя.

У Кузминских всё хорошо, все здоровы, мы очень дружны, и нам с Таней очень хорошо. Саша <А.М. Кузминская> приезжает 15-го июня, а моя madame <Сейрон> 15-го уезжает за границу. Ей адвокат писал и вызывает её поскорей, так что она не может откладывать; я, было, хотела, чтоб она до твоего приезда осталась. Но ты этим не стесняйся, непременно пей кумыс не меньше 4 и даже лучше 5 и 6 недель. Если б ты знал, как я смотрю на это — т. е. смотрю, что это крайне необходимо для тебя, что это важно не для одного тебя, но для всех нас, для семьи твоей, для работы и для духа твоего. Только ты не скучай, не тревожься и не хворай. Без тебя я почему-то и благоразумнее, и лучше, и даже кротче, чем при тебе. Верно оттого, что *твоего* хорошего и доброго хватает на всю семью; или, как <князь Леонид Дмитриевич> Урусов выразился в прошлое воскресенье, что: «вы все в его лучах живёте и не цените это!» Ну, а без тебя лучей нет и приходится самой хоть слабым светом светить.

Меня прервали — малышам пришлось строить из палочек мост, а то они перессорились, и в это время Таня пришла из <леса> Чепыжа мокрая премокрая от травы; а Альсид и Лёля лошадей не добились и поехали в таратайке удить рыбу. Погода разгулялась и солнце выглянуло. Я пущу детей немного погулять. Таня играет на фортепиано, а соловей в саду так и заливается.

Ты, верно, теперь сидишь и пытаешься заниматься, и совсем напрасно ты это делаешь, совсем бы надо мозгу отдыхать, и особенно при кумысе, который физически делает мозг тяжелее и ленивее; усилие возбудить ленивый мозг еще вреднее, чем дать работу уже возбужденному и налаженному на деятельность могу. Понял? Право, это справедливо. А теперь кончаю, и бумага вся, и писать не о чем. Целую тебя и Серёжу. Как-то вы живёте, может быть сегодня письмо будет.

Соня» *(ПСТ. С. 213 - 214).*

Письмо от 5 июня – практически дополнение к предшествующему:

«5 июня. Троицын день.

Вчера не успела отправить письма; пишу сегодня ещё. Алёша кашляет реже, хотя ещё довольно сильные припадки. Прелестная погода, чудесная, оживлённая (несмотря на пожар, сделавший многих несчастными). Картина большой толпы баб, мужиков, детей с венками. Всё это пело и плясало около дома. Дети все и тётя Таня

были у обедни с цветами. Они веселы и оживлены очень. У нас Бестужевы — вся семья и Урусов приехал уже почти после обеда. Кучер Бестужевых и наш Лукьян в хороводе произвели фурор пляской и гармонией. Маша Кузминская и Таня дочь, Альсид и Лёля ездили купаться верхом. Как-то вы проводите сегодняшний день? Весело ли тебе, спокойно ли и здоров ли ты, милый друг? Письма вчера не было, и я опечалилась. Целую тебя. Письмо это везёт Бестужев и я спешу. Получила вчера *la Nouvelle Revue* с статьей de Cyon «Le Pessimiste Russe Lew Tolstoï». Меня очень интересовало, но много не понял он тебя и мне было досадно. Я сегодня утром её всю прочла. Ну, прощай, спаси тебя Бог, и нас. . . .

Соня» (*83, 215).*

Cyon, упомянутый Софьей Андреевной – не кто иной как Илья Фаддеевич Цион (13 марта 1842 — 4 ноября 1912), публиковавшийся за границей под именем Elie de Cyon, родом из местечка Тельши Ковенской губернии — русский и французский физиолог, доктор медицинских наук, профессор, агент Министерства финансов России во Франции, а кроме того международный авантюрист и финансовый махинатор, российский и французский журналист, публицист, автор полемических политических и экономических сочинений, активный еврей, один из предполагаемых авторов скандальных «Протоколов сионских мудрецов». В 1870-е гг. он, после серии скандалов, был отстранён от преподавания в Медико-хирургической академии, выброшен с государственной службы и вскоре бежал во Францию. Все дальнейшие его публикации выходили только на французском или немецком языках. Умер в 1912 году в Париже.

В 1883 году в томе XXII периодического издания «La Nouvelle Revue» Elie de Cyon разместил пасквиль, напрямую задевавший высокочтимого в России писателя. Именовалась статейка – «Русский пессимист Лев Толстой». Сохранившийся в Ясной Поляне экземпляр носит следы чтения статьи С. А. Толстой и Л. Д. Урусовым. Софья Андреевна дважды пометила на полях: «не понято»; пометы относятся к Платону Каратаеву, которого Цион характеризует, как русского бродягу-солдата, с сомнительным прошлым, нищенствовавшего по всей России. По поводу того, что Каратаев, получив подарок от французского солдата, признает с удивлением, что у него есть душа, Цион добавляет: «Такова предельная уступка Толстого в отношении к иностранцу: он признаёт за ним душу. Проникнуть же в эту душу Толстой органически неспособен».

Великолепный пример того, когда автор, характеризуя негативно персоналию своего очерка, тем выдаёт и дурнейше характеризует в глазах читателей *самого себя*.

Более подробно стоит рассказать о *пожаре*… тем более, что эти события весны 1883 г. связаны с ещё одним — хронологически пропущенным нами намеренно — небольшим эпизодом переписки супругов Л. Н. и С. А. Толстых.

26 апреля 1883 г. Лев Николаевич уехал из Москвы, дабы погрузиться, как он любил выражаться, в «равеннскую ванну» — ухватить для себя кусочек идиллии деревенской жизни среди возрождающейся весной природы, в которой ему так замечательно дышалось и работалось.

Но идиллии в этот раз не вышло… Буквально на третий день после приезда «барина графа» крестьян родной его Ясной Поляны настигло одно из самых ужасающих бедствий сельской жизни – катастрофический пожар. «…Сгорела почти половина нашей деревни, — вспоминала через 20 с лишним лет в мемуарах Софья Андреевна, — сгорел весь оставшийся хлеб, и бедствие было огромное».

Это взгляд городской да усадебной барыньки — взгляд полуотчуждённый, со стороны… хотя и называет Софья Андреевна Ясную *своей* (с мужем) деревней. Яснополянский крестьянин Алексей Титович Зябрев (? – после 1915) рассказывает о бедствии гораздо живее, да и просто информативнее:

«В 1883 году в апреле месяце загорелась наша Ясная Поляна. Прибежал на пожар и Лев Николаевич в простом, обыкновенном пиджачишке. Не глядя на большое пламя и не жалея себя, он кидался в крестьянские хатёнки, вышвыривал какое ему попадалось крестьянское имущество, срывал двери, снимал ворота, а когда огонь охватывал весь дом, перебегал к соседней избе и делал то же самое. Когда наконец он увидел, что пожар больше не распространяется, то он, усталый, с ободранными до крови руками, взял пожарный кран и начал вместе с народом растаскивать обгорелые брёвна, засыпать их снегом и заливать водой.

Когда огонь был прекращён, на каждом пепелище послышался неугомонный крик и плач. Лев Николаевич, несмотря на свою усталость, весь мокрый и грязный, домой не пошёл, а обращался к крестьянам и уговаривал бедных погорельцев не унывать, а надеяться на Бога. Погорельцам не было приюта; они разместились: кто в сарае, кто по родным, и кое-как провели ночь, почти не спавши.

Но, видно, не спалось и Льву Николаевичу. Он рано-рано утром пришёл в Ясную Поляну, осмотрел сгоревшие 22 двора, обошёл сараи, где помещались погорелые крестьяне, обещая им помочь, чем сможет. В то время Лев Николаевич ещё сам распоряжался в своём имении. У кого не было хлеба, он давал хлеб; у кого не было картофеля, обещал на семена дать. Семенной овёс весь погорел, и Лев Николаевич обещал тоже овса. Также обещал дать кольев, слег, сох, кое-кому и срубы на избу.

Потом сам поехал в Пирогово к своему брату, купил у него овса и приказал крестьянам ехать за овсом в Пирогово.

Потом собрал народ, взял двуручную пилу и отправился с крестьянами в рощу. Сам резал с ними слеги кому сколько понадобилось. Сам соображал, из какой слеги что может выйти. Не один так день с раннего утра и до позднего вечера работал Лев Николаевич с мужиками.

Но этим Лев Николаевич не удовольствовался: от пожара особенно пострадали крестьяне, неспособные работать, как Осип Макаров и Прокофий Власов. И вот Лев Николаевич, не покладая рук, рубил с ними хворост, тесал колья, плёл плетень, резал бревна, сам возил лес для сруба, ставил с ними дворы, помогал косить овёс, траву, возил с ними снопы, сено, сам клал в одонья хлеб, покрывал их от дождя и вообще помогал этим мужикам во всех работах» *(Цит. по: Гусев Н.Н. Материалы... 1881 – 1885. С. 189 - 190).*

С рядом ошибок памяти, тот же рассказ об отважном поведении Льва Николаевича на пожаре и щедрой помощи крестьянам мы находим в воспоминаниях других членов большого семейства Зябревых (*см. Воспоминания яснополянских крестьян о Л. Н. Толстом. – Тула, 1960. – С. 187 – 188 и 232).*

Благодаря ужасной, но и спасительной в русских деревнях *привычке гореть* — жертв человеческих удалось избежать. Толстой же решительно, и в немалой степени личным своим трудом и деньгами, помогал труженикам-соседям хоть как-то покрыть огромный ущерб материальный... Но личные горестные переживания компенсировать ему было нечем. Уже в самый день пожара, 28 апреля, он описывает совершившееся в письме жене:

«Очень жалко мужиков.

Трудно представить себе всё, что они перенесли и ещё перенесут. Весь хлеб сгорел. Если на деньги счесть потерю, то это больше 10

тысяч. Страховых будет тысячи 2, а остальное всё надо вновь заводить нищим, и заводить всё то, что нужно необходимо только для того, чтобы не помереть с семьями с холоду и голоду. […] Пошли Серёжу <С. Л. Толстого> в банк государственный узнать, какую нужно бумагу или доверенность, чтобы получить билеты, если они понадобятся» *(83, 373)*.

Не особенно надеясь, впрочем, растрогать сердце жены описаниями несчастий достаточно чуждого ей «тёмного народа», часть письма Толстой посвятил тем новостям, которые ждала от него Соничка:

«Илья <сын>, кажется, провёл *хорошо* время, — всё на охоте, и на болоте, и на тяге.

Я спал в спальне, и или мне нездоровилось, или ещё немножко сыро. Я все меры принимаю, чтобы не было и признаков сырости к твоему приезду; и топлю, и открываю, и уверен, что будет совсем сухо, — если теперь не сухо. Погода прекрасная. Целую всех» *(Там же)*.

За этим письмом вдогонку в хамовнический московский дом Толстых отправилось ещё одно, от 29 апреля – с новыми известиями, впечатлениями от несчастия и просьбами о помощи мужикам:

«Сейчас ходил по погорелым. И жалко, и страшно, и величественно — эта сила, эта независимость и уверенность в свою силу, и спокойствие.

Главная нужда теперь — овёс на посев. Скажи Серёже брату, если его это не стеснит, — не может ли он мне дать записку в Пирогово <имение С. Н. Толстого. – *Р. А.*> на 100 четвертей овса. Цена пусть будет та, самая высокая, за какую он продаёт. Если он согласен, то пришли эту записку или привези. Даже ответь телеграммой, даёт ли Серёжа записку на овёс, потому что, если он не даст, надо распорядиться купить.

Илья ушёл на охоту, я не в духе и ходил по полям. Вечером пойду на тягу.

Боюсь я, что ты очень измучаешься *укладкой* <вещей к переезду в Ясную Поляну. – Р. А.>. Я знаю, что очень хлопотно; но всё-таки можно себя пожалеть и не переработать.

Целую тебя и всех. Л.» *(Там же. С. 374)*.

Со спокойной совестью, исполнив всё, что было ему по силам, Толстой, дабы отвлечься от тяжёлых впечатлений, отправляется на охоту – по примеру своего лентяя-сына… Соня исполняет все просьбы мужа. Но внутренне она – протестовала против такой заботы мужа о трудящихся соседях по Ясной Поляне. Её ответные письма весны 1883 г. в Ясную неизвестны. Но в мемуарах она совершенно выдаёт себя: ошибкой памяти одно из своих писем следующего, 1884-го, года она цитирует как ответ мужу на памятные ей письма с пожарища… и ответ достаточно недобрый, эгоистичный. В соответствующем эпизоде нашей аналитической презентации мы приведём текст этого письма в полном виде. Пока же — вслед за Софьей Андреевной, по тексту её мемуаров «Моя жизнь», процитируем те эмоциональные, злые строчки из него, которые она ошибочно, но не случайно отнесла к 1883 году. Это её своеобразный «антинароднический» и «антидеревенский» манифест городской и усадебной барыни:

«Да, мы на разных дорогах с детства: ты любишь деревню, народ, любишь крестьянских детей, любишь всю эту первобытную жизнь, из которой ты, женясь на мне, вышел. Я – *городская,* и как бы я ни рассуждала и ни стремилась любить деревню и народ, любить этого я всем своим существом не могу и не буду никогда. Я не *понимаю* и не пойму никогда деревенского народа. Люблю же я только природу, и с этой природой я могла бы теперь жить до конца моей жизни, и с восторгом…» *(МЖ – 1. С. 406*).

Знакомые, ***до отвращения*** знакомые рассуждения… В интернете, листая время от времени высказывания и отзывы пользователей социальной сети, мы постоянно отыскиваем *очень близкие* своим восприятием Ясной Поляны суждения городских обитателей, являющихся в Ясную Поляну туристами: ах! как мила усадьба Толстого, как красива природа… но не дай Бог жить *круглый год* среди всех этих прелестей – живой, трудовой, народной жизнью! В деревне, а не в обожаемых наших Москве, Петербурге, Томске, Туле, (тьфу!) Щёкино… таких уютных, привычных. Это любовь к *себе*, на самом-то деле: к удовольствиям от культурной прогулки для *себя*. Такое лукавое и даже скрыто-неприязненное отношение к Ясной Поляне — а значит и Толстому, для которого она оставалась приютом и домашнего отдыха, и трудов, и вдохновения — разделяют и современные *сотрудники* музея-усадьбы «Ясная Поляна», хитро-подлолживые поганцы и поганки, дряни, предпочитающие покрывать по дороге на работу и с работы по шести дней в неделю многокилометровые расстояния по шоссе, платясь в автомобильных пробках нервами и рискуя здоровьем, лишь бы *жить подальше* от того, чем

дышал Толстой, чем питался его могучий ум, любовью к чему билось его хрупкое Львиное сердце… от его Духовного Заповедника.

И – да: этот текст из мемуаров жены Толстого, писанных в основном уже в начале XX столетия, *точно* не мог бы быть написан весной или летом 1883-го, *относительно* спокойных в эпистолярном диалоге супругов. Здесь уже – нескрываемая *стратовая* («классовая», как говорили в ту эпоху) неприязнь, даже почти ненависть, принимающая характеристики *концептуальные*, укоренённые в том, что «невозможно», то есть *не желательно* для Софьи Андреевны переменять. Отвратительно, что в период с 1884 года по 1906-й, в котором писались приведённые нами выше строки мемуаров, настроения Сони не изменились — по крайней мере, точно не изменились *к лучшему*. Иначе ей ни к чему бы было приводить в мемуарах именно этот свой эгоистический мини-манифест — да ещё, симптоматической и *позорной* ошибкой, относить его годом ранее, к времени помощи мужа погорельцам-крестьянам. Ниже мы постараемся зримо обрисовать психологический путь Софьи Толстой от адекватного общения с мужем весной-летом 1883 года — к *этому* недоброму и нездоровому состоянию.

* * * * *

Но вернёмся к лету 1883-го и самарской поездке Л. Н. Толстого. 7 июня Софья Андреевна пишет уже шестое в этом эпизоде переписки с мужем письмо — ответ на его послание от 2 июня. Сердце любящей девы что лютня: чуть тронешь — и отзовётся. Разумеется, Sophie не могла не отозваться на известия от мужа о дикой его жизни и неразборчивом общении с «опасными» людьми. Поднялись со дна душевного «дрожжи» старых обид, прибавились новые страхи:

«Милый Лёвочка, сегодня получила ещё одно (четыре всего) письмо от тебя. Насчёт здоровья твоего я успокоилась, но твои разговоры с молоканами меня смутили столько же, сколько и нездоровье. Какая тебе охота, зная, что за тобой наблюдают, пускаться хотя бы в простые разговоры! Наделаешь и себе и мне хлопот и горя, а счастливее от этого никто не будет.

[КОММЕНТАРИЙ.

Помимо сектантов, «крамольный» круг общения Л. Н. Толстого составляло обыкновенное «кумысное» общество — преимущественно учащаяся молодёжь, приехавшая отдохнуть и подлечиться. Помимо

некоторых студентов и курсисток, бывших на подозрении у полиции, присутствовали и двое «профессиональных» революционеров – Е. Лазарев и В. Степанов. В связи с общением с ними Толстого местный уездный исправник настрочил на него донос в виде рапорта Самарскому губернатору, не имевший серьёзных последствий (см. об этом: Русская мысль. 1912. № XI. С. 160 – 161).]

Меня очень трогает, что ты так о нас тревожишься. Если б не коклюш, который относительно всё-таки лёгкий, всё было бы тихо и хорошо. Ты мне неприятно напомнил о твоём холодном, внезапном отъезде; я забыла уже. Но тогда, ты даже забыл проститься со мной. Ты уехал, а я заплакала; потом стряхнула с себя горькое чувство и сказала себе: «не нужна я, так и не надо, постараюсь и я также быть свободна от всяких чувств». И мне уж не так был тяжёл твой отъезд, как бывало; я стала жить спокойно и часто очень мне бывало хорошо, особенно от природы. — Если и тебе спокойно, то не спеши домой. Освежайся умом и телом. — Неприятно мне думать, что тот свежий взгляд на людей живущих там и мне чуждых, которым ты взглянул на них, когда приехал, теперь уже пропал и затемняется. Видно опять, особенно с помощью Серёжи, ты подпадаешь под их обдуманное и ненавистное мне влияние, и опять поднимается во мне утихнувшая буря.

С грустью иногда думаю: вот приедешь, будет у всех радость свиданья — и опять тебе, и следовательно и мне станет тяжело, что жизнь, кажущаяся нам нормальная и даже очень хорошая и счастливая, тебе будет тяжела. — Ведь всё тот же крокет по вечерам, катанье, гулянье, купанье, болтовня, ученье греческих, русских, немецких, французских и проч. грамматик по утрам, одеванье к обеду, ситчики и проч. и пр. Но мне всё это освещено красотой лета и природы, чувством любви и исполнения долга к детям; радостью чтения (читаю Шекспира теперь), прогулок и многим другим. А ты уж не можешь этим жить — и грустно, очень грустно. Ради Бога, не сочти это за упрёк; я так *чувствую* весь трагизм твоего положения и вместе так ценю и благодарю тебя, что ты трудишься и мучаешься с скучным тебе хозяйством, чтоб сделать мне и детям приятное и удобное.

Сегодня приезжал учитель Лёли, и они очень хорошо занимались 2 часа. Теперь он наладится ездить, а то болен был. Вчера мы ездили все на <деревню> Груммонт, на пикник. Таня, Маша Кузминская, Илья, Лёля и Альсид верхом, а остальные в катках <Разновидность конного прогулочного экипажа типа “линейка”. – *Р. А.*>. Был чудный вечер, опьяняющий по красоте своей, закат солнца. Я с Андрюшей,

двумя Мишами и Лёлей поймали 8 окуней; и надо было видеть восторг малышей, особенно маленького Миши, когда вытаскивались окуни на удочке!

До сих пор не послала перевод <«Исповеди» на французский> к m-me A<dam>. Делают затруднения на почте, и я опять посылаю сегодня. Дня три тому назад я только кончила переписывать.

В народе всё несчастных встречаю. Марфуша Евдокимова умерла, хоронили в Троицын день, а подруги её в это самое время пели и плясали около нашего дома. Василий Шураев <помощник садовника в Ясной Поляне; 1823 – 1890>, маленький старичёк, выколол себе глаз, подвязывая цветы, и глаз мгновенно вытек. Я хоть была в отчаянии, но сделать ничего не могла, и моя медицина была тут бессильна. Утром сегодня пришёл нищий, страшно было на него смотреть, так изнурила его двухгодовая крымская лихорадка. Дала ему хинину и денег, но у него такое жалкое и *не* плутовское лицо, что я хочу ему помочь, напишу Кнерцеру, нельзя ли его в больницу бесплатно положить и полечить.

Столько у меня больных, Лёвочка, что просто ужас! Стала настоящим доктором и думаю серьёзно зимой на медицинские курсы ходить. Практические, медицинские курсы, говорит m-lle Герке, есть в Петербурге и очень общедоступные, не знаю, есть ли в Москве.

Пишу письмо урывками. Больных ещё вечером трое приходило, потом в крокет играла, работала и пришла пить чай. За чаем прочла Тане и детям твоё письмо, и мы все очень рады, что ты лошадей 40 сюда хочешь привести; это очень будет весело и удобно; я сама что-то очень стала любить лошадей. Нет ли серых от Урусовского, подаренного жеребца, и от Императяла. Вот хороши были лошади.

Меня послали дети, чтоб я написала тебе купить побольше сукна на кафтаны. Дуничка велела пуху привезть: гусей посылали много, куда, мол, пух дели, а у нас подушек нет.

Бестужев просит непременно привезти <толковый словарь> Даля: беспрестанно нужен, говорит, и дети подросли . . . . А я ничего не прошу, только прошу после хорошего, настоящего, спокойного питья кумыса привезти себя снисходительного, здорового, молодого, какой был прежде, по духу молодого, чтоб не видеть во всём какой-то упрёк, а видеть счастье и благодарить за него Бога, и ничего, ничего не желать и не выдумывать и не изменять.

Деревня наша понемногу обстраивается, кое-кто просил осин, и я давала всем; но просят умеренно, даже мало.

Прощай, теперь, милый друг, постарайся не тревожиться, брось разговоры с молоканами и не порть своей спокойной жизни слишком большими хлопотами о хозяйстве. Илья и Таня собираются тебе

писать, как они говорят: «донести обо всем папаше». Боюсь, что не исполнят. Как жаль, что Серёжа так себя портит. Вот так-то Таня ко мне относится часто. Когда же Серёжа сюда собирается и когда ты думаешь приехать? Хотела бы побывать у тебя, да боюсь детей оставить с коклюшем. Миша начинает тоже по коклюшному иногда кашлять; у Алёши реже стали припадки. Они весь день гуляют, очень веселы и, Бог даст, всё обойдётся легко. Кажется всё написала и теперь кончаю. Таня тебе кланяется.

С.» *(ПСТ. С. 215 - 217).*

Почта в Самару и от Самары к Толстому добиралась долго. Только 15 июня получил Лев Николаевич это женино письмо – успев написать к тому времени ещё два, которые нам необходимо изложить ниже, подчиняясь *хронологическому* порядку нашей аналитической презентации. Но нам бы хотелось, чтобы читатель не позабыл содержания *этого*, только что приведённого нами, письма Софьи Толстой, и уяснил себе, отчего в своём ответе 15 июня Толстой выразил своё неудовлетворение его содержанием.

Чтьатель! не забыл ли ты ещё, *кто* была одной из заочных знакомых жены Толстого и *кому* собиралась отослать она французский перевод «Исповеди» своего мужа?

Упоминаемая в сонином письме Жюльетта Ламбер (1836 – 1936) была некогда известна в журналистике под характеристическим и колоритным псевдонимом “madame Adam”. Как и Соня Берс, Жюльетта была дочерью врача — с достаточно несчастливым, тяжко травмировавшем её психику, детством. Как водится меж пащенков судьбы, она пребывала в общественной «оппозиции», симпатизируя «передовым» взглядам той эпохи — в частности, республиканству и феминизму; содержала салон, в котором собирались политические противники Наполеона (такие, как Гамбетта) и германского Бисмарка, сторонники республики и мирного диалога с Россией. В 1879 году она основала уже упоминавшийся выше журнал «Nouvelle Revue», который вела восемь следующих лет — редактировала и сама писала для него статьи. В круге её интересов и симпатия уже тогда была Россия: русская повседневная жизнь (в особенности женщин), русское искусство… Среди тематических публикаций: «La société de Saint-Petersbourg», (1886), «La Sainte Russie» (1889) и др. В 1890-е гг. madame Adam — участница радикально-феминистской организации «Avant-Courrière (Forerunner)», основанной в 1893 году Жан-Элизабет Шмалль, акушеркой (недоучилась на врача), добившейся

от французских парламентариев закреплённых законом прав женщин быть свидетельницами в суде и самостоятельно контролировать свои доходы.

Без сомнения, вечно, по собственным убеждениям, «ущемлённая» мужем в правах личностной само-актуализации, Софья Андреевна тихонько почитывала феминистские материалы в получаемых в Ясной Поляне английских и французских изданиях и «заочно» симпатизировала им (а по совместительству – врачебному и акушерскому ремеслу, к которому в те годы активно восхотела быть причастной). Не случайно идеологический «поход» против Л. Н. Толстого-христианина в современной путинской России имеет по составу и идеологии своим ярко выраженную «феминистскую» составляющую, а содержательными задачами — «реабилитацию» якобы «очернённой» в общественной памяти «жены гения», «несчастной из-за нелюбви мужа» Софьи Андреевны и, попутно, реальное *очернение* Толстого, «изобличаемого» едва ли не в маниакальном сексизме.

В подготовке скандальной (как они надеялись) публикации во Франции толстовской «Исповеди», помимо Ж. Ламбер, участвовал уже описанный нами выше Илья Фаддеевич Цион и его супруга, так же сотрудничавшая в журнале. Но стоит упомянуть, что труды Л. Д. Урусова и С. А. Толстой оказались не отблагодарены: ярой феминистке madam Adam не понравилось кое-что в тексте «Исповеди» Льва Николаевича, и, как ни привлекателен был соблазн раздуть во Франции религиозный скандал — пусть и во вред репутации самого Толстого — публикация её в «Nouvelle Revue» не состоялась.

Конечно, Толстой не мог не обратить внимания на подобные увлечения жены — и догадался о глубоко-личных их мотивах, так или иначе, направленных против *него*. К счастью, и тогда, и много лет позднее ему удавалось удерживать ситуацию под должным контролем.

* * * * *

Следующее по времени написания письмо — Л.Н. Толстого, от 8 июня. Не имея ещё на руках «напуганного» и затаённо-деспотичного письма жены от 7 июня, Толстой не просто продолжает со всею доверчивостью описывать свои сношения с революционерами, нигилистами и сектантами, но бесстрашно называет имена многих «кумысников» — будто специально для полицейского досье:

«Очень я о тебе соскучился, милый друг и болезнь детей, и неизвестность о них очень тревожат меня. Я получил твои три письма в

один и тот же день — 2 из Самары, куда я посылал, и одно из Патровки. <Мы привели выше только два из этих писем – от 29 и 31 мая. Текст письма от 30 мая недоступен или утрачен. – *Р. А.*> Все дошли вовремя. Теперь прошло около недели (нынче середа, а я писал в четверг <2 июня>), — что я не писал к тебе, и мнѣ скучно. Напишу про себя — пью кумыс усердно, хотя не совсем охотно, и знаю, и чувствую, что мне полезно, но противно заботиться о своём теле, и скучно. Только шукни мне, и я сейчас приеду.

Скучно без работы; кумыс мешает и физичес[кому] труду, и ещё больше умствен[ному].

Последнюю неделю я всё возился с мужиками, и теперь эти последние дни — другое. Кроме всех жителей, здесь наехали ещё гости к Бибикову: два человека, бывшие в процессе 193-х, и вот последние дни я подолгу с ними беседую. Я знаю, что им этого хочется, и думаю, что не имею права удаляться от них. Может быть, им полезно. А мне тяжелы эти разговоры.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Толстой упоминает политическое «дело 193-х», обвинявшихся за участие в «противозаконном сообществе, имевшем целью … ниспровержение и изменение порядка государственного устройства», которое разбиралось в особом присутствии Сената в 1877 г. Лазарев и Степанов, упоминаемые в письме – осуждённые по этому процессу революционеры. **]**

Это люди, подобные Бибикову и Василию Ивановичу, но моложе. Один особенно, крестьянин (крепостной бывший) Лазарев, очень интересен. Образован, умён, искренен, горяч и совсем мужик — говором и привычкой работать. Он живёт с двумя братьями, мужиками, пашет и жнёт, и работает на общей мельнице. Разговоры, разумеется, вечно одни — о насилии. Им хочется отстоять право насилия, я показываю им, что это безнравственно и глупо. — Они вот все эти дни ходят табуном то к Бибикову, то к Василию Ивановичу. Я удаляюсь от них, но два раза подолгу беседовал. Всех здесь людей 21 человек […]. Гости завтра, кажется, уезжают. Серёжа, кажется, не скучает и держит себя очень хорошо, просто, добродушно…

Ах, ах, ах, только бы у тебя наши коклюшные благополучно бы откашляли, и ты не слишком бы измучалась и не заболела. А то теперь уж недолго, — половина прошла. А если живы будем, то я верну[сь] к тебе ближе к тебе, чем [когда] я уехал. Мне тут скуч[но] и пусто, и нехорошо без [тебя] и без работы — оба эти нужны мне для

жизни. *< Т. е. С. А. Толстая и работа. – Р. А.>* Я утешаю[сь] тем, что я сплю эти 5 недель, и, выспавшись, буду лучше и с тобой жить, и работать. […]

Письмо M-me Adam мне приятно тем, что я напечатаю у неё — новое. А старое — пошли. Про Метелицыну вчера Лазарев рассказывал очень дурное, но не в том смысле, в каком ты думаешь, а в том, что она шальная и в обращении с людьми не хорошая. Ну, да Бог с ней. На дороге между мною и тобою никакие ни метелицыны, ни вениковы стать не могут. И вот, как разлучишься, видишь, как мы близки и нужны. — Я даже еврейского здесь читать не могу, — так ленив. Неприятного ничего нет, ни в каких отношениях, ни с Бибиковым, Василием Ивановичем и другими; ни с мужиками, ни с Серёжей.

Целую всех наших и тебя. — Прощай, душенька» *(83, 383 - 385).*

В примечаниях к письму в Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого приводится в русском переводе следующий отрывок из письма от madame Adam:

«Я только сегодня получила от княжны Урусовой ваш адрес, я опасалась среди праздников писать письмо, которое могло не дойти до вас. Прошу вас сообщить мне, как вы хотите, чтобы я направила вам предисловие, которое вы желаете пересмотреть и которое здесь со мной. Я прочла начало «Исповеди», мне его перевела мадам Цион; что касается дальнейшего, если это будет на ту же тему, то мне думается, что это составит две-три статьи размером в тридцать пять страниц «Revue». Мне необходимо сговориться с вами детально о всех вопросах, связанных с этой публикацией, так как речь идёт о серьёзном деле и крупном имени, и я хочу, чтобы это закончилось торжеством, как для одного, так и для другого. Это громадная задача — опубликовать в органе свободного направления в такой скептической стране, как Франция, исследование, касающееся преобразования христианства, — для этого нужно взвесить все малейшие обстоятельства, чтобы обеспечить это благородное и высокое дело» *(83, 387).*

Кажется, не без “задней” дурной мысли взялась так вдохновенно Соничка за помощь мужу в подготовке французского издания «Исповеди». Она не просто предвидела скандал — она *надеялась* на него. В России оскандалиться мужу помешала цензура. Но это было и опасно — скандал религиозной «окраски» в России. А вот опорочение сочинения мужа в глазах европейцев могло свести на нет саму возможность грядущего его духовного авторитета и даже вынудить — на радость Софье Андреевне и семейству — прекратить писания

книг и статей «опасных» и не суливших семейству желанных денежных барышей.

К счастью для Божьей правды-Истины, издателями «Исповеди» в европейских государствах стали люди куда более солидные и порядочные, а читательская публика оказалась достаточно религиозно свободомысленной, чтобы ни один ортодоксальный скандалист не приобрёл сравнимого с толстовским успеха.

Четыре дня без новых известий из Ясной… и Толстой, не выдержав, поступает так же, как и Соня в сходной ситуации — не дожидаясь ответа, шлёт вдогонку ещё письмо, а за ним, вконец заскучав — весточку любящего нетерпения — телеграмму. Письмо:

«Нынче пошла 4-я неделя изгнания (добровольного). Скучно, хочется скорее быть вместе; но нам здесь хорошо, спокойно, здорово и нет ничего дурного; дай Бог, чтобы и у тебя также было.

После 3-х писем, ещё не имел от тебя, остановился на том, что ты с Алсидом поехала к доктору в Тулу. <Доктора звали Кнерцер. В неопубликованном письме от 31 мая Софья Андреевна сообщала, что Альсид, сын гувернантки, сильно порезал себе руку за обедом – стеклянным графином. – *Р. А.*> Больше всего беспокоюсь за тебя и Алёшу. Через два дня получу известие. Бибиков едет в Самару, и я пишу с ним. Последнее моё письмо было в четверг. Гости уехали, и хотя они были очень интересны и хороши, — я рад. Со вчерашнего дня я начал мерять с мужиками землю, которую сдаю им. Работу эту можно было сдать землемеру и заплатить 300 р[ублей]. А я хочу сделать сам. Вчера сделал первый опыт, и очень хорошо. Я, Иван Михайлович, Василий Иванович и человек 8 мужиков целый день ходили по степи, меряли, вычисляли и примечали. Было жарко и устали; но было очень приятно, и дело пошло хорошо. Последнее время моего пребывания, если буду жив, посвящу этому. Серёжа вчера случайно не пошёл с нами. Он вероятно будет ходить. Погода у нас жаркая, мух бездна; но дожди частые, и хлеба обещают быть чудесные. Я дичаю всё больше и больше; — не только не пишу, но ничего не читаю, — чулок не надеваю, ни рубашки. Каждый день мы с постели идём купаться. Если жаловаться мне на что, то на сон. Долго не засыпаю и встаю поздно.

С твоим предложением <В письме от 31 мая, не опубликовано. – *Р. А.*>, чтобы мне вернуться 1-му июля, я совершенно согласен, и так и считаю дни. Ужасно тянет домой, — к тебе и к работе; но всё дума-

ется, что 5 недель кумыса совсем освободят меня от гемороидального состояния, того, с которым так трудно бороться, потому что оно действует на душу.

Кузминский верно уже приехал, кланяйся ему и Урусову. Наших целуй. Рука останавливается писать про наших. Что, как что-нибудь не благополучно и ты одна. Жертвую ещё 75 к[оп.], чтобы телеграмой известить тебя и ещё 75 к. <на оплаченный ответ>, чтобы самому узнать. Прощай, душенька, обнимаю тебя. Как-то прервалось письмо, а выдумывать не хочу, чем наполнить» *(83, 388 - 389)*.

И телеграмма, 13 июня:

«Отв. уплоченъ. Москов. Курск. дор. Ст. Козловка Засѣка. Графинѣ Толстой.

Мы благополучны. Телеграфируйте про себя и своих <в> Богатое. Толстой» *(Там же. С. 390)*.

Конечно, Софья Андреевна, получив телеграмму утром 14-го, сразу ответила мужу. «То пусто, то густо» — и вместе с телеграммой 15-го тот получил сразу *три* письма от жены — от 4, 5 и 7 июня — конечно, тут же не оставшиеся без ответа. А вот Софья Андреевна на вышеприведённое письмо мужа от 12-го июня смогла ответить только 15-го. Предсказуемо пожурив его за землемерный труд с мужиками… До этого, в то же воскресенье, 12 июня (последнее полученное ей от мужа письмо, напомним, было от 2-го), она написала «традиционное» для четы встречное письмо. Столь же традиционно приводим его текст в самом полном виде:

«Милый Лёвочка, давно нет писем от тебя и очень желала бы знать, как вы живёте, здоровы ли, и что вас интересует и радует в этой безотрадной Самарской жизни? Неужели тебе хорошо? Иногда просто не верится, а думаю с огорчением, что тебе хорошо только потому, что ты вне *нашей* жизни, *нас*, и главное вдали от *меня*.

Будет ли польза твоему здоровью, это самое главное и первое.

У нас стало дождливо, ветрено и неприятно. После жарких, летних дней, купанья, весёлого настроения все стали под влиянием погоды пасмурны и тихи. На днях Таня сестра ездила в Тулу с детьми, а я оставалась дома. Вот за обедом нашло на нас веселье, Ольга Ивановна Герке, которая оказалась очень милая и приятная, Лёля, Альсид и я решились ехать верхом на встречу коляске. Оседлали Голубого мне, Знакомого — Ольге Ивановне, буланую — Лёле, и променённую на Зелёного у гуртовщика белую кобылу — Альсиду. Скакали

мы ужасно, смеялись, болтали, а сзади нас собирались тучи и молния наводила ужас и гремел гром, а это нас только подбодряло. Так мы доскакали почти до басовского кабака *), где и встретили удивившуюся нашу компанию.

---

*) Кабак на шоссе, близ дер. Басово, находился в то время в 5 верстах от заставы г. Тулы и, соответственно, в 8 верстах от Ясной Поляны. Сейчас это – в границах города Тулы, район телевизионной башни. Но и питейных заведений там нынче даже больше... – *Примечание автора.*

А они все пили чай у Урусова в садике и тоже очень веселились. Мне так понравилось верхом ездить, что я вчера поехала совсем одна; ездила на Лимоновскую посадку <За р. Воронкой; названа по фамилии владельца, у которого была куплена в 1868 г. Толстым. – *Р. А.*>, потом в <лес> Заказ на дорожку, где так глухо, и вернулась, окружив весь лес. Вообще я стала любить одиночество и иногда одна брожу, собираю цветы, грибы — всё, что попадается. Сегодня читала я всей молодой компании вслух: <рассказ> «Часы» Тургенева и это имело огромный успех. Я, кажется, хорошо читала, но слишком растрогалась под конец сама. — Пришёл ко мне нищий, несчастный какой-то, больной: так стало его жаль, что мы с Дуничкой всё о нём хлопочем. Посылала я его к Кнерцеру, он советовал его в больницу положить, что я завтра и сделаю. Бывают такие истинно несчастные.

Коклюш детей с дурной погодой ухудшился немного. Припадки стали чаще и сильнее. До сих пор хуже и жалче всех кашляет маленький Алёша. (Ты не забыл ещё, что у тебя есть сын Алёша?) Он давится и задыхается ужасно, краснеет, сгибается всем своим маленьким тельцем. А потом опять веселеет, бегает, играет и спит, и ест. — Илья стал что-то скучать и стремиться куда-нибудь ехать; просится в Самару, в Пирогово или на охоту. Таня ведёт свою полуленивую, обычную жизнь: иногда очень оживлена, иногда уныла и неприятна. Лёля и Маша учатся и очень хороши с своим невинным миром рыбы, цветов, крокета, поспевающей земляники, лошадей и проч. Знаешь ли, что осёл наш умер? А мы с Таней надеемся и страстно желаем, чтоб нам хорошую, не страшную лошадь верховую прислали из Самары. Так весело верхом ездить, а меня так мало уже что забавляет! Получил ли ты в Самаре у губернатора «Mille et une Nuit», Коран и твои часы? Я всё послала» *(ПСТ. С. 219 - 220).*

[Конец письма утрачен.]

Письмо не до конца… но это не страшно. Подобные письма исследователи предпочитают значительно сокращать в публикациях. Мы идём обратным путём: сугубо «бытовые» письма Сони публикуем полными текстами, дабы и читатель наш почувствовал атмосферу повседневной жизни дома Толстых и значение всякой из этих мелочей для его хозяйки.

Вот на эту сентенцию Сони обратите, пожалуйста, внимание:

«…Думаю с огорчением, что тебе хорошо только потому, что ты вне *нашей* жизни, *нас*, и главное вдали от *меня*».

Писано это без ощутимой злости… и с коннотацией ненастойчивого предположения. Но всё-таки в словах этих — в который уж раз — знак беды, ещё готовящейся разразиться стократ в доме и в жизни Льва и Сони.

Заботы о лечении крестьян, о нищих можно интерпретировать исключительно как поиск женой Толстого собственных поприщ, своих достойных смысла и содержания жизни. Но — в особенности в условиях «традиционной» барской усадьбы — к ним примешивается весьма диссонирующий с ними обертон патриархальности. А патриархальный традиционализм в воспитанных с детства привычках, внушённых суевериях, в сочетании с амбициями труднодостижимой в таких случаях личностной самостоятельности, провоцирует индивида на обвинения в адрес «заедающей среды» и окружающих людей, начиная с самых близких… даже на деспотизм в их отношении, так ярко явивший себя в поведении Софьи Андреевны, её взаимоотношениях с стареющим и слабеющим мужем, в последующие годы.

Дни самарской свободы Толстого длились.. и всё больше и больше раздражали его жену. Будто назло ей, задержка почты позволила Толстому в один день, 15 июня, прочесть сразу *три* её письма, -- причём, так уж вышло, начиная с *последнего по времени написания* – и заметить таким образом некоторую контрпродуктивную тенденцию. Впрочем, дадим слово мужу – лучше, добрее, но и психологически точнее всё равно не скажешь.

Письмо Л.Н. Толстого от 15 июня:

«Вчера ночью 15 получил и телеграму твою ответную и три письма — последнее от 7-го июня. Я уж засыпал. Иван Михайлович ещё гулял, услыхал возвращающегося Алексея Алексеевича, взял письма и

телеграмму и принёс ко мне. В тот же вечер меня уже напугали телеграмой из Богатого. Это была телеграмма от Громова. <Фёдор Фёдорович Громов, сын архитектора Ф. В. Громова и Елизаветы Николаевны, рожд. Карповой, инженер; шурин Н. В. Толстого, племянника Л. Н. Толстого.> Он спрашивает адрес, где сворачивать с железной дороги. Я пишу к тому, что по тому страху, который я испытал, распечатывая телеграму, я узнал, как сильна моя любовь к тебе и детям. И вот я получил радостную телеграму, что все здоровы и веселы, и твоё письмо; я первым распечатал твоё письмо от 7-го июня, последнее; и чем дальше я читал, тем большим холодом меня обдавало. — Хотел послать тебе это письмо, да тебе будет досадно. Ничего особенного нет в письме; но я не спал всю ночь, и мне стало ужасно грустно и тяжело. Я так тебя любил, и ты так напомнила мне всё то, чем ты старательно убиваешь мою любовь. Я писал, что мне больно то, что я слишком холодно и поспешно простился с тобой; на это ты мне пишешь, что ты стараешься жить так, чтобы я тебе был не нужен, и что очень успешно достигаешь этого. Обо мне и о том, что составляет мою жизнь, пишешь, как про слабость, от которой ты надеешься, что я исправлюсь посредством кумыса. О предстоящем нашем свидании, которое для меня радостная, светлая точка впереди, о которой я стараюсь не думать, чтобы не ускакать сейчас, ты пишешь, предвидя с моей стороны какие - то упреки и неприятности. О себе пишешь так, что ты так спокойна и довольна, что мне только остаётся желать не нарушать этого довольства и спокойствия своим присутствием. О Василии Ивановиче, жалком, добром и совершенно для меня не интересном, пишешь, как о каком-то враге и разлучнике. — Я так живо вспомнил эти ужасные твои настроения, столько измучавшие меня, про которые я совсем забыл; и я так просто и ясно люблю тебя, что мне стало ужасно больно.

Ах, если бы не находили на тебя эти дикие минуты, я не могу представить себе, до какой степени дошла бы моя любовь к тебе. Должно быть так надо. Но если бы можно было избегать этого, как бы хорошо было!

Я утешаюсь, что это было дурное настроение, которое давно прошло, и теперь, высказав, стряхнул с себя. Но всё-таки далеко до того чувства, которое я имел к тебе до получения письма. — Да, то было слишком сильно. Ну, будет; прости меня, если я тебе сделал больно. Ведь ты знаешь, что нельзя лгать между нами.

Серёжа едет 21 с Иваном Михайловичем, а я вероятно 28-го. Я здоров, много работаю в поле, землю меряю каждый день, и очень хорошо. Пью кумыс и чувствую себя хорошо, т. е. уже теперь очень освежённым. — У нас дней 5 были ужасные холода, я дрожу за вас

и за коклюшных. — У нас живётся хорошо. Если бы у меня не было работы в поле, то было бы ужасно скучно, что и требуется доказать.

Боюсь за это письмо, как бы оно не огорчило тебя. По себе знаю, когда любишь (но это я про себя говорю), то так затянуто сердце в разлуке, что каждое неловкое, грубое прикосновение отзывается очень больно.

Обнимаю тебя, душенька, целую детей. Хочешь, не хочешь, а должен признаться — радостнее всех вспоминать о Мише» *(83, 390 - 392).*

Простое, честное письмо любящего человека, мужа и отца. Справедливое и доброе — даже в «критической» своей части. Его содержание, как свидетельство действительного положения дел, следует знать и помнить как тем, кто в наши дни желает совершенно «реабилитировать» якобы «несправедливо оговорённую» кем-то когда-то Софью Толстую, так и тем, кто поддерживают более “либеральный” миф о её отношениях с мужем: о жизни десятки лет «душа в душу», прерванной якобы только радикальной сменой религиозных убеждений Льва Николаевича. В реальности «идиллии» не было *никогда*, и через более чем 20-ть лет после свадьбы у Толстого накопилось немало негативных впечатлений и воспоминаний о поведении супруги.

Следующее по хронологии письмо Софья Андреевна писала два дня – 15 и 16 июня:

«Вот ещё одно *<от 8 июня>* письмо получила сегодня, милый друг Лёвочка, и это первое, которое доставило мне больше радости, чем все другие. Хотя приходит в голову, что причины твоей большей нежности от причин, которые не люблю я; но потом я сейчас же не хочу себе портить радости, и утешаюсь и говорю себе: «от каких бы то ни было причин, но он меня любит, и слава Богу». Ах, кабы могло быть опять всё по-старому, по-прежнему! Тогда мы были *вместе* во всём, жили одной жизнью; и теперь — всякую жизнь легко будет несть, но никакой не вынесу легко, если врозь. Мне беспрестанно хочется (особенно последнее время) кликнуть тебя — иногда это чувство доходит до болезненного желания — сейчас, сейчас хочу тебя видеть, а потом вспомню, как ты относишься к нашей жизни, и думаю: «нет, не надо»; как камень на всю мою лёгкую, счастливую жизнь ложится то критическое, неодобрительное отношение твоё к нам; и я думаю ещё, что когда самому тебе захочется и затоскуешься

о нас, тогда не так строг будешь, и потому приезжай, когда хочешь и делай всё, всё, что хочешь, но не будь строг ко мне и нам.

16-*го*. Письмо начала вчера и не кончила: мне казалось, что всякое слово не то выражает, что я хочу и потому я и не дописала. Мне очень радостно думать, что ты здоровьем поправишься и жаль, что тебе как будто скучно; но я рада, что скучно без меня, и рада, что ты просто, по человечески опять употребляешь понятные слова, как *скучно*.

Дня три назад вдруг стало очень холодно, северный ветер, до 7½ градусов доходило ночью. И сделался у Алёши жар сильный, он стонал, задыхался. Какой я ад пережила в эту ночь! Я думала, очень обычное при коклюше, воспаление в легких. Но к утру (спал он у меня на постели), часам к семи вдруг к моему восторгу он весь спотел, даже волосики прилипли мокрые к лицу, и я ожила. После этого коклюш стал хуже, затяжки страшнее, но жар не возобновлялся. Сегодня опять стало жарко, ясно и всем детям немного легче стало. Они опять с утра до вечера на воздухе, а это главное при коклюше. Я не особенно тревожна, лишь бы опять холода не было, и лишь бы ничего не усложняло коклюша.

Саша Кузминский ещё не приехал, его деньги задержали до 20-го. Танин кашель теперь лучше, уже не коклюш, а простой кашель. Madame уехала 14-го за границу. Лёля и Альсид всё с змеем возятся, пускают его, клеят, украшают, и рыбу ловят; я им бредень купила, сегодня карасей наловили. Они ведут себя хорошо, но вчера я их побранила: до 12 часов ночи всё болтали. Илья ничем уж не стал заниматься, сегодня об охоте всё говорил и поехал к Головину за тем же. Накупил рожков медных, пороху, дроби.

Третьего дня я наладила, было, Таню свою писать тётю Таню; принесла твою статью <«В чём моя вера?»> снизу и предложила им читать вслух. Вот два часа Таня позировала, моя Таня писала, а я читала. Их всё очень интересовало, но с тех пор не могу никак их опять собрать читать, такая досада. То спать хочется им, то шить шляпы дурацкие, то ещё что-нибудь. Видно, одной придётся прочесть. А мне очень интересно, хотя много вслух замечаний делаю, и так хотелось бы поговорить с кем-нибудь.

Явился третьего дня вечером Михайла Фомич <Крюков, бывший лакей>, кланяется, просит Илью и Таню крестить у него. Я, было, отказала, но дети взбунтовались, и я вчера с ними и ещё с моей Машей и Верой ездила в Тулу. Были крестины у князя на квартире и пирог, и чай, и угощение. Немного совестно это было, но дети были в восторге, особенно моя Таня и Вера. Побыли мы там от трёх до

пяти и домой вернулись. Вечером опять почитали вслух, но у Тань двух совсем глаза закрывались, так и разошлись рано. Сейчас приехал учитель Лёлин, и он учится; кажется идёт хорошо и малый симпатичный, хотя иногда ненатурально развязен, как часто молодые. Все остальные играют в крокет. Таня моя шьёт на своей новой машинке. Мы вечером пойдём всей компанией за васильками. Как красиво, как хорошо везде! Сады скосили, сегодня перетрясли сено; ягоды только что поспели; сегодня мне дети три пучка принесли. Ясно, но синева в воздухе и не жарко, не холодно. У нас верно лучше, чем у вас в мерзкой степи.

Ну, теперь кончаю своё письмо, кажется, больше нечего писать, всё и интересное, и неинтересное сообщила. [...] Прощай, милый, обнимаю тебя за милое письмо. Целую Серёжу.

Соня» *(ПСТ. С. 220, 223 - 224)*.

Как видим, письмо несчастливейшим образом подтверждает всё, о чём мы сказали прежде. Настроение Софьи Андреевны не становится лучше, смиреннее, добрее… Начинается письмо с плохо скрываемых недовольства и желания упрекать, винить, и тут же – выражена опять всё та же, некогда очень неприятно поразившая Толстого idée fixe жены о том, что ему якобы «лучше» вне семьи, в отъезде, и не следует спешить возвращаться… но рядом — всё тот же, из письма в письмо отработанный приём Софьи Андреевны: преувеличенные, утрированные или просто выдуманные “страшилки” о бесконечных болезнях детей, долженствующие создавать отцу постоянный эмоциональный дискомфорт и «вытягивать» его до срока из «мерзкой степи» назад, назад, назад… к единой деспотической обладательнице, не желавшей ни с кем делиться «любимым» мужем.

Получено мужнино письмо от 12-го – и ответ Софьи Андреевны от 19 июня выразил, хоть и в меньшей степени, прежние негативные настроения:

«Сегодня получила ещё письмо от тебя, милый Лёвочка, то, которое ты послал в Самару с Бибиковым, письмо вялое, не весёлое, и тем мне не понравившееся, что ты на себя взял этот землемерческий труд, который кроме вреда ничего не принесёт. На солнце, на жаре, нагибаться, отходить далеко от кумыса — и всё это из 300 рублей! Стоит ли того! Я понимаю, что тебе приятно думать, что ты заработал как будто, — но ведь ты теперь лечишься, и это главное надо было помнить.

У нас всё то же. Т. е. Миша и Дрюша сильно кашляют; у Алёши всё делаются (но немного реже по случаю жары) коклюшные припадки. И всё так же они все продолжают весь день гулять, кататься, есть и веселиться. Так что пока они вне опасности и веселы, и я живу своей жизнью, и только изредка мучаюсь, волнуюсь, не сплю и воображаю опасность.

Читаю я из стола твою рукопись <книги «В чём моя вера?»> с большим интересом. Её только теперь привез Урусов, он её переписывал. Урусов благодарит тебя за память и кланяется тебе; теперь он на этой неделе уедет с братом к матери. Саша Кузминский ещё не приезжал. Он, по случаю безденежья, не может до 20-го выехать из Петербурга, хотя отпуск его начался, так его жаль.

Таня что-то не в духе, не знаю уж почему. Кашель её лучше и она купается, хотя не совсем бы следовало. Сегодня после жаркого дня, опять такая холодная ночь, и я слышу, что мои мальчики хуже кашляют. Хоть бы вы с Серёжей здорово и благополучно дожили свой срок! Что-то и я начинаю тревожиться. Вызывать тебя скорей считаю неблагоразумным и потому не вызываю. Я замечала, что после четырёх недель только начиналось самое благодетельное влияние кумыса. И до 1-го июля, и то не совсем довольно.

Вчера, с колокольчиками, прилетел в первый раз Коля Кисленский. <Николай Андреевич Кислинский (1864 — 1900), сын председателя Тульской губернской земской управы, юноша редкой красоты. – *Р. А.*> Приезд его имел магическое действие. Девицы все мгновенно оживились, порхали и пели два дня.

Сегодня вечером за чаем у нас с Таней сестрой вышла *история*. Весь день дети возбуждены, и два вечера сряду все дети сидят до 11-го часу. Я и сказала, что сегодня в последний раз позволяю это и даю им чаю так поздно, а надо раньше ложиться. Таня обиделась за своих девочек, начала кричать, что она и так дрожит, когда они кусок хлеба или цыплёнка возьмут и проч. неприятности. Я не сердилась за это, и так и кончилось. Потом сидели вместе, и всё обошлось.

Лёля и Альсид и Илья живут по-старому: охотой, рыбой, крокетом и игрой в бабки. Лёля учится, но немного. Он правда тебя любит. Всегда первый прочтёт твоё письмо. Потом Таня дочь и сестра тоже прочтут, а Илья и Маша совсем равнодушны. У Лёли что-то живот болит, верно ягод наелся. Право, и то слава Богу, что пока всё так. Я сама каждую минуту в страхе. И без тебя, да ещё без Madame вдвое чувствуешь больше ответственность на себе. Сама я здорова, даже слишком. Дела у меня всякого много и не вижу как время идёт и это иногда слава Богу.

Моё письмо тоже вяло, но половина третьего ночи; мы все засиделись, и я ещё писать села, так устала. Прощай, милый друг, иду спать в свою одинокую спальню. Я тоже часто до четырёх часов не сплю и поздно встаю. Целую тебя и Серёжу.

Соня» *(ПСТ. С. 224 - 226)*.

Она побарывает себя — и в письме нет прежних эмотивных атак на тему «тебе лучше там, чем со мной». Но образ «одинокой спальни» в завершении письма — более чем красноречив… И перманентно больные дети — в одном абзаце с намёком о желании скорейшего окончания «лечения кумысом» — которое, как сама она понимала, было поводом, но не главной причиной отъезда мужа…

Искренности, непринуждённости в эпистолярном общении супругов — больше нет как нет.

Следующее письмо с самарского хутора Л. Н. Толстого, от 20 июня, заставило исследователей поломать голову, ответом на *какое* из писем Софьи Андреевны оно может быть — настолько оно сдержанно, деликатно, нейтрально в отношении всех Сониных нападок. Толстой даже раскаивается за своё предшествующее, *искреннее*, но несколько жёсткое письмо:

«Понедельник — вечер.

Серёжа завтра едет и свезёт это письмо, в Самару. Сам он едет на пароходе с четой Богоявленских и с Иваном Михайловичем.

Последнее письмо моё к тебе у меня на сердце. Может быть, я был в дурном расположении духа, когда писал. Во всяком случае не сердись на меня и не скучай, если только у тебя всё хорошо. Совсем хорошо с такой большой семьей не может быть всегда; но если нет особенно дурного.

Последние письма твои успокоили меня насчёт коклюша. Но справедливо ли?

Я всё время был очень здоров; но вчера расстроился желудком, и нынче опять поправился — без всяких лекарств. Скучно мне без тебя и всех наших — мочи нет; но потратив уже столько времени, надо кончить, и потому пробуду все 5 недель, т. е. выеду, если буду жив, во вторник, т. е. 28, если не ошибаюсь. Сокращает мне здесь время — работа землемерства и хозяйство; и как раз к этому же времени и дела все кончу. Работа землемерства немного отрывала меня от правильного питья кумыса, и уж очень я изжёгся на солнце, так что

весь луплюсь; но эту последнюю неделю хочу себя беречь. — Несмотря на скуку, впечатлений я получил пропасть; но именно впечатлений, а не мыслей. Мыслей нет. И не скажу, чтобы без них было хорошо. Чувствуешь себя глупым и дрянным. — Желаешь себе всего получше и боишься смерти и болезни. А это всё дурно.

Письмо это вероятно ты получишь незадолго до моего приезда и вместе с Серёжей. Он хоть плохой рассказчик, всё-таки расскажет всё про меня и наших жителей, которые, я знаю, тебя тревожат — напрасно. Народ всё добрый, но для меня совсем неинтересный. Всё их миросозерцание мне давно знакомо.

Хотел я с Серёжей послать в Москву деньги, чтобы заплатить проценты за дом. Да не помню срок, количество и боюсь ему поручить.

Денег я привезу, вероятно около 1000 рублей с собою. Тогда пошлём.

Посылаю с Серёжей человека до Самары, чтобы он привёз мне твои письма, и с большим волнением буду ждать их в четверг.

Лошадей сухотинских и своих несколько всё не успеваю отправить. Должно быть, отправлю на этой неделе.

Прощай, душенька. Слишком много хочется сказать, от этого не пишу. Целую всех. Напишу ещё по получении твоих. — Обнимаю те[бя]» *(83, 393 - 394)*.

Это *последнее* из писем Л.Н. Толстого, написанных им жене в самарской поездке 1883 года. Софья Андреевна получила его уже накануне отъезда мужа с хутора. Два её заключительных в данном хронологическом фрагменте письма – от 21 и 25 июня – не содержат в себе ни указаний, ни текстовых признаков ответа жены именно на письмо мужа от 20-го.

Письмо от 21-го было писано женой Толстого *два раза* – и понятно, почему… Оно было ответом Софьи Андреевны на то самое, искреннее, честное, интимное письмо Л.Н. Толстого — с жёсткой, но справедливой критикой её настроений. Тёмной бессонной ночью она написала ответ… и сама испугалась того, что написала… собственноручно уничтожила (или, что вероятнее, припрятала) злую пакость собственного изготовления и постаралась изложить свои чувства помягче… как только возможно мягче. Похоже, что получилось… хоть под конец она едва не перестала сдерживаться:

«Написала тебе письмо и в первый раз в жизни — не посылаю его, а пишу другое. Сегодня ровно месяц, что ты уехал, сегодня же приехал Саша Кузминский. Супруги очень мило встретились и,

надеюсь, будут продолжать быть дружны и хороши. Писем от тебя опять нет, какие редкие сообщения!

У нас всё то же. Упорный коклюш всё не проходит, особенно у Алёши. И всё так же все малыши помимо коклюша, здоровы и веселы. Сегодня они весь день гуляли; ягоды собирали, грибы; мы ездили купаться. Дни жаркие с ветром, ночи свежие, сено везде почти даже свезли уж, клубнику я сегодня варила, липа зацветает. Жаль, что ты не переживаешь тут этой красоты лучшего времени года. Вчера вечером мы с Таней сестрой очень трогательно вдвоём ходили за грибами, и всю дорогу весело болтали и смеялись.

У нас всё ещё Коля Кисленский: сегодня все девочки, и Саша с дороги, и я, и мальчики танцовали весь вечер. Завтра он уезжает и везёт в Тулу это письмо. В пятницу приезжает Борис Шидловский дня на два. <Б. В. Шидловский – двоюродный брат Софьи Андреевны. – *Р. А.*> — Что Серёжа? Не собирается он ещё домой? Ему повестка какая-то, а получить нельзя, на его имя.

Хочу писать тебе события, а событий никаких нет. Лучше всех живёт Лёля. Он два раза в неделю учится с гимназистом; то пускает змей, то рыбу ловит, то в бабки или крокет играет; а теперь его главный интерес, — это он мула выезжает. Такое красивое вышло животное и очень Лёлю веселит его выезжать. Таня и Маша уж вовсе ничего не делают; а Илья или на охоте (сегодня 2 утки убил), или у Головина, или так таскается и ровно ничего не делает, даже читать перестал. Таня, Маша и Лёля музыкой занимаются, но прошлогоднего усердия ни с чьей стороны нет.

Я всё читаю твою статью, или лучше твоё сочинение. Конечно ничего нельзя сказать против того, что хорошо бы людям быть совершенными и непременно надо напомнить людям, *как* надо быть совершенными и какими путями достигнуть этого. — Но всё-таки не могу не сказать, что *трудно* отбросить все игрушки в жизни, которыми играешь, и всякий, и я больше других, держу эти игрушки крепко и радуюсь, как они блестят, и шумят, и забавляют.

А если не отбросим, не будем совершенны, не будем христиане, не отдадим кафтан и не будем любить всю жизнь *одну* жену, и не бросим ружья, потому что за это нас запрут.

Почему ты пишешь мне <в письме от 8 июня>, что вернёшься ко мне ближе, чем уехал? Что же ты не пишешь, почему? Хорошо бы это было; неужели это опять возможно? В письме, которое я не посылаю, я тебе все свои чувства написала, а потом решила, что не нужны тебе мои искренние чувства; ты так неосторожно стал обращаться с ними, что лучше никогда тебе их не знать. Разве будешь опять такой, какой был в старые годы. Но буду ли я такая? Всё на

свете меняется. Одного желаю от души: чтоб ты здоров был и спокоен. Если тебе лучше там — живи сколько поживётся, пока хочется. *Затруднений* в жизни без тебя, слава Богу, пока ни с детьми, ни с делами не было. Никогда уже я не буду удерживать тебя при себе, как имела неосторожность, любя тебя, это делать прежде. Свобода обоюдная — вот и счастье по-новому. Ни упрёков тогда, ни ссор, но за то и ни той тесной связи, которая тянет за сердце, как только один дёрнет другого.

Если ты вернёшься 1-го, то это значит через 9 дней ещё. Но ты, пожалуйста, не думай и не считай, что это я назначила этот срок. Я ничего не назначаю, — я прошу делать по своему чувству и по своему здоровью. Господи, только бы не быть опять виноватой, что *я никуда не пускаю*, отняла все твои радости и забила всю твою жизнь. — Какая я, правда, была неловкая!

Ещё напишу тебе одно письмо. А теперь кончаю, потому что во мне закипает что-то странное и я, кажется, начинаю писать опять не то, что бы хотела. Ты не думай, что я зла или не в духе; право ни разу ни с кем не поссорилась и была очень весела. Так многое наболело в последнюю весну, что когда вспомню, — такую чувствую невыносимую, сердечную боль, что думаю: всё — только не то, что было. Не знаю, отчего именно сегодня нахлынули разные воспоминания и в первый раз в этот месяц стало невыносимо тоскливо. Прощай, милый друг, не сердись за письмо; не могу, хотя и начала, было, писать только про погоду, когда бродят всякие другие мысли. Целую тебя, Серёжу тоже. Что же он ни разу ещё не написал.

Соня» *(ПСТ. С. 226 - 228).*

О письме от мужа, вызвавшем эмоции и воспоминания – ни слова… Но в данном случае получение его – вне сомнений, и неотправленная Соней первая версия ответного письма была откликом именно на него. Во второй версии – почти тишина… Возражения свои мужу Софья строит, опираясь на дурно, поверхностно понятое ей содержание прочитанной рукописи «В чём моя вера?» Важна здесь не правота или ложность её, а сама *уверенность* и своего рода *концептуальность* её позиции.

Как и обещала, Софья Андреевна отправила в Самару ещё одно, заключительное в этом фрагменте переписки, своё письмо – от 25-го:

«Уж никак не думала, что не будет сегодня письма от тебя, милый Лёвочка. Так давно нет известий и всё страшней и страшней делается жить врозь. Дети уверяют, что значит, ты сам скоро приедешь; а я этого не думаю, и всегда одного прошу: не оставляй долго без известий. Сегодня мне нездоровится, спина и под ложкой так болит, что я до 12 часов в постели лежала. Теперь разошлось, но всё ноет. Это в первый раз после твоего отъезда. Коклюш у Алёши не лучше, не хуже. Что за упорная болезнь! И дрожишь всякую минуту, что во что-нибудь хуже перейдёт. У Андрюши и Миши в роде коклюша, сильнейший кашель, особенно по ночам. Все прочие здоровы. Илья и Альсид стреляли нынче в Заказе два раза в зайца из под гончих. Лёля приладил маленькое седло на мула и всё на нём катается. Едем сегодня вечером кататься на встречу Борису Шидловскому. Он на несколько дней [приезжает]. За Таней буду смотреть в оба: будь покоен. Саша Кузминский очень доволен, что в деревне, и очень любезничает с женой. Господи, как с годами дешево ценишь *эти* любезности! А потом пресыщение и ссоры. Лучше бы и без любезничанья и без ссор.

Чтоб отношения хорошие были основаны на идеальном, на нравственном, — вот тогда были бы прочнее.

У нас стало очень свежо, купаться перестали; за то гуляют и в крокет играют. Пошлю это письмо и больше писать не буду. Вероятно, ты сам приедешь. А я взяла себе в голову, что ты приедешь сюрпризом и часто прислушиваюсь и забавляюсь тем, что жду тебя всякий день. Но, видно, в наши года́ уж сюрпризов не делают.

Получила письмо от Страхова, он у Фета и ждёт тебя, чтоб приехать в Ясную Поляну. Ещё есть письмо от Ягна.

Как-то ты поправишься от кумыса? Не заболели бы вы там с Серёжей. Уж покойнее будет, когда вы вернетесь. А как хорошо у нас в Ясной, чудо! Я всякий день восхищаюсь.

Вечером.

Письмо прервала, ездили кататься в катках, на трех гнедых, тройкой; Лёля на муле, Маша Кузминская верхом на Голубом, Илья, Альсид тоже верхами. Шидловский не приехал.

Сегодня так не хочется писать, — а думаю, во всякое слово моё будешь вникать; хочется ужасно тебя самого видеть и думаю, что ещё целую неделю не увижу и переживу столько разных мыслей и чувств до того времени; духом я стала страшно неровна и стараюсь себя держать строже, но плохо удаётся. Прощай, милый друг, это

моё последнее письмо, и то, пожалуй, не дойдёт. Надеюсь, что и Серёжа приедет с тобой. 12 дней тому назад ты писал последнее письмо, ведь это ужасно давно! Целую вас обоих; пора домой вам.

С<оня>» *(ПСТ. С. 228 - 229)*.

Итак, общий счёт посланий этих дней у супругов, включая телеграммы – 13 от Сони против 10 от Льва. Только это и можно констатировать в пользу жены Толстого. В характеристике же развития их отношений – «счёт» можно признать равным. Но победили – увы! – не любовь и не дружба. Победили – обоих – неискренность и осторожность. Впервые за все проанализированные нами годы в переписке четы Толстых лета 1883 г. мы видим положительную *невозможность* для них бесконфликтного диалога – при обоюдном страхе конфликта.

Последнее из писем жены, вероятнее всего, уже не застало Толстого, который 28 июня 1883 года навсегда покинул милую его сердцу русскую саванну, с милого юга отправившись в сторону северную — в Ясную Поляну, а позднее – опять в ненавистную Москву… В эти же дни и тоже с юга, но из далёкой Франции, на встречу с адресатом летело последнее, предсмертное, знаменитое письмо старика Ивана Тургенева, заклинавшее Толстого «вернуться к литературной деятельности», посвятить именно и только художественному творчеству свой дар. Он и сам хотел, но уже *не мог* ответить на этот призыв.

КОНЕЦ ФРАГМЕНТА 1-го ДЕВЯТНАДЦАТОГО ЭПИЗОДА

Фрагмент Второй
ЗОЛОТОЙ ОСЕНЬЮ – ЗОЛОТЫЕ СЛОВА И ДЕЛА
(28 сентября – 4 октября 1883 г.)

Итак, 28 июня 1883 года Лев Николаевич Толстой уехал с своего самарского хутора – чтобы больше никогда в него не возвратиться. Хозяйство было ликвидировано. Вероятно, 1 июля он был уже в Ясной Поляне.

Детали его внешней биографии, главнейшие, таковы: продолжение работы над книгой «В чём моя вера?»; упомянутое выше нами предсмертное письмо к Толстому И. С. Тургенева и его смерть 22

августа; наконец, личное знакомство с приехавшим в Ясную Поляну за разрешением ряда религиозных вопросов уже упоминавшимся нами Гавриилом Андреевичем Русановым — человеком, оказавшимся не просто религиозным единомышленником Толстого, но, впоследствии, и одним из лучших, преданнейших его друзей — вплоть до собственной смерти в 1907 году.

Весь день 24 августа Толстой, всё более и более влюбляясь, беседовал с Русановым. Показательно, что Софья Андреевна сначала была очень любезна и разговорчива с хорошо одетым и высококультурным гостем, посчитав его «человеком света» — то есть близкого ей круга и близких убеждений. Однако, увидев в нём единомышленника своего мужа во Христе — немедленно отказала во всякой любезности и простилась, по меньшей мере, сухо *(Гусев Н.Н. Материалы… 1881 – 1885. С. 207)*.

Смерть Тургенева побудила Л. Н. Толстого откликнуться на приглашение Общества любителей российской словесности произнести речь на специальном памятном заседании. Напомним, что к этому времени за Толстым уже был установлен негласный полицейский надзор — а он ещё больше раздразнил силы зла, довольно бесстрашно пообщавшись в своей самарской поездке с революционерами, сектантами и студентами-медиками… После распространения по Москве слухов о готовящейся речи Толстого заседание было «отложено на неопределённое время» — по сути своей, запрещено. Причём в запрете поучаствовал лично министр внутренних дел Дмитрий Толстой — четвероюродный брат Льва Николаевича… Это называется: *перестрали,* и оттого перестраховались. Софья Андреевна свидетельствовала в письме к сестре Тане: «Лёвочка говорил, что ему *писать* речь некогда, но что он будет говорить, и то, *что* он хотел сказать, так же невинно, как сказка о Красной Шапочке» *(Там же. С. 211)*.

Но, по свидетельству той же Софьи Андреевны, Толстой был только «рад, что избавлен явиться к публике: это ему так непривычно» *(Там же. С. 212)*.

Привычно и желанно было — в Ясной Поляне, где осенью 1883 года Толстой продолжал усиленную работу над своим великим христианским словом к современникам и потомкам — книгой «В чём моя вера?»

Особенностью как внешней, так и духовной биографии Толстого, с этой книгой связанной, является то, что *навязанная ему женой* московская жизнь уже деформировала к указанному времени некоторые внутренние его установки и мотивы: прежде Толстой писал, в

значительной степени, *лично для себя* – чтобы *себе самому* уяснить те или иные пункты собственного мировоззрения; теперь же, осенью 1883 года, он впервые сознательно пишет для читателей, причём без особенной надежды на разрешение официальной публикации – то есть *для нелегального распространения*. С издателем журнала «Русская мысль» В. М. Лавровым и редактором С. А. Юрьевым у него устанавливается негласный сговор: они отдают «В чём моя вера?» в печать; цензура, конечно, запрещает книгу — оставляя журналу только три, не подлежащих по закону изъятию, экземпляра, с которых заинтересованные люди будут делать рукописные и литографированные копии *(Там же. С. 213)*.

С целью провернуть всё это Толстой спешит в конце сентября отдать «В чём моя вера?» в типографию журнала — даже не дописав к ней ещё заключительных глав. С 27 сентября он безвыездно живёт в Ясной Поляне, дабы среди деревенской тиши и божественного великолепия золотой осени поработать над этими самыми последними главами. Конечно, он часто пишет в Москву жене, и эта переписка заслуживает быть отнесённой нами в особенный, Второй Фрагмент Девятнадцатого Эпизода нашей книги.

* * * * *

Конечно, супруги перед расставанием сговорились писать друг другу, по возможности, каждый день. Оттого немудрено, что письма этого Фрагмента, хронологически охватывающего период с 28 сентября по 4 октября 1883 года, предстают нам, будто намеренно выстроившись на парад: на каждое из писем Льва, писавшихся им честно, без перерыва – встречное, того же дня, письмо Сони…

С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской об этой поездке Толстого в Ясную Поляну в письме от 9 октября: «Он жил там десять дней, писал, охотился, был у него <сосед, помещик, близкий друг семьи> Урусов два дня; и видно уединение так было по душе Лёвочке, что он тяжело с ним расстался» *(83, 395)*.

Приехав накануне, Л.Н. Толстой сообщает жене в Москву:

«Сижу второй день в совершенном одиночестве, и мне хорошо. Ходил за валдшнепами, их много — убил двух. Занимался, но плохо. Надеюсь кончить здесь эту последнюю главу, так, чтобы быть удовлетворённым.

Это не письмо, а записочка, чтоб ты знала, что я жив, здоров; а то я напишу тебе письмо, хоть не то, которое обещал, а — письмо. Прощай, милый друг, целую тебя с детьми» *(83, 394)*.

Письмо долженствовало быть «не тем, которое обещал» по причинам событий, о которых Толстой уже знал и в которых участвовал, но о которых не имел в день их совершения ни досуга, ни сил отписать жене в пространном письме. На следующий день, 29 сентября, он исполнил это.

Вот что открылось жене из письма:

«Сегодня приехал из Крапивны. Я ездил туда по вызову в присяжные. Я приехал в третьем часу. Заседание уж началось, и на меня наложили штраф в 100 р. Когда меня вызвали, я сказал, что не могу быть присяжным. Спросили: почему? Я сказал: по религиозным убеждениям. Потом другой раз спросили: решительно ли я отказываюсь? Я сказал, что не могу, и ушёл. Всё было очень дружелюбно. Нынче, вероятно, наложат ещё двести рублей, и не знаю, кончится ли всё этим. Я думаю, что да.

В том, что я именно *не мог* поступить иначе, я уверен, что ты не сомневаешься, но, пожалуйста, не сердись на меня за, то, что я не сказал тебе, что я был назначен присяжным. Я бы тебе сказал, если бы ты спросила или пришлось; но нарочно говорить тебе мне не хотелось. Ты бы волновалась, меня бы встревожила, а я и так тревожился и всеми силами себя успокаивал. Остаться или вернуться в Ясную я и так хотел, а тут и эта причина была, так ты, пожалуйста, не сердись. Мне можно было совсем не ехать. Тогда были бы те же штрафы, а в следующий раз опять бы меня потребовали. Но теперь я сказал раз навсегда, что не могу быть. Сказал я самым мягким образом и даже такими выражениями, что никто — мужики не поняли.

Из судейских я никого не видал. Переночевал в Крапивне. Всё читал Тургенева. И нынче в 9 часов выехал. День ясный, жаркой, чудо как хорошо. В 12 приехал, и так как ничего не готово было, я ушёл за валдшнепами, и вот проходил до 5 часов и сейчас пришёл и тебе пишу.

Корректур я своих ещё не получал и только один день позанялся и не кончил заключенье. <К статье «В чём моя вера?» > А оно очень мне кажется важно, и я все дни о нём думаю. — Завтра займусь, если пойдёт дело, а нет — поеду с собаками. До сих пор не решил, когда уеду. Хочется кончить, если бы день или два хорошей работы, то сейчас бы приехал, потому что без вас и скучно, и за всех жутко.

Досадно, что пишу и думаю не об одной тебе, а о тебе и детях, представляя себе, что они будут читать письмо и потому не пишешь всё, что хочешь. Всё-таки пишу на той странице.

Тебя особенно хочется видеть. Это последнее время (— не могу сказать, какое, — оно всё шло, увеличиваясь), — ты мне стала особенно дорога и интересна, и дорога со всех сторон. Мне кажется, что между нами устанав[л]иваетс[я?] новая связь, и ужасно боюсь, чтоб не оборвалась.

Как ни прекрасно здесь, я скоро приеду. Писем не получал, потому что не посылал в Тулу. Завтра пошлю.

Прощай, душенька. Целую тебя и детей. M-me Seuron поклон.

Я теперь очень устал и отощал. Пишу до обеда. А я тебе напишу письмо» *(83, 395 - 396*).

Увы! Той «новой связи», на которую уповает в письме Лев Николаевич, между супругами не суждено было развиться: трудно удержать общность интересов между эгоистической служанкой *блага личного и семейного* — и слугой Бога, сознательным сыном Его, каким был уже в 1883-м Лев Николаевич.

Он, как простой смертный, выезжает на охоту — в эти же дни совершая два дела служения всевышнему Отцу: дело публичного проклятия антихристианской системе осуждения людей в судах и второе — писание своего великого христианского слова к современникам и потомкам. Расскажем читателю несколько подробнее о первом из двух этих великих дел.

Ещё будучи в Москве, Толстой получил повестку о назначении его присяжным заседателем на выездную сессию Тульского окружного суда, назначенную на 28 – 29 сентября в уездном центре родного Льву Николаевичу уезда, городе Крапивне. Тогда же он решил заявить об отказе выступать в качестве присяжного по религиозным убеждениям. Жене, приехавшей с детьми в Хамовнический дом 24-го, он благоразумно ничего о своём решении не сообщил.

Уже в 1900-е гг., в беседе с Б. Мироновым, Толстой вспоминал:

«Я никогда не забуду, как лет двадцать тому назад меня назначили в судьи. Я поехал. Но когда вошёл в зал суда, когда увидал судей, подсудимых и всю картину суда, мне стало очевидно, что я не могу судить» (*Миронов Б. Свидание с Толстым / Цит. по: Гусев Н.Н. Указ. соч. С. 214*).

Публичность удалась «на славу». Информация об отказе Толстого от участия в присяжном судилище немедленно просочилась в прессу. Уже 7 октября в № 270 газеты «Петербургские ведомости» явилась заметка под заголовком «Гр. Л. Н. Толстой — присяжный».

Вырезку с её текстом любовно, бережно сохранила Софья Андреевна и приводит в своих мемуарах *(МЖ – 1. С. 422).* Побывала она же наверняка и в руках биографа Толстого Н. Н. Гусева, цитирующего её в своей книге.

«Необъяснимое впечатление произвёл наш писатель, граф Лев Николаевич Толстой, в отделении тульского окружного суда, в г. Крапивне. 28 сентября, в 12 часов дня, было открыто заседание; при поверке списка присяжных заседателей в числе неявившихся лиц оказался и граф Лев Николаевич. Так как причины неявки его суду не были известны, то, по заключению прокурора, граф оштрафован был на 100 руб. Дело пошло своим чередом, и уже было разобрано три дела, как явился Лев Николаевич. Тихо и незаметно скромная фигура великого художника предстала в зале заседания. Неподалёку от двери, облокотившись на перила у эстрады для обвиняемых, Лев Николаевич тихо, но для всех внятно, проговорил: «Я не могу, г. председатель, быть присяжным заседателем не по указанным в законе причинам, а по другим… Если нужно, я могу вам сказать». Когда председатель объявил, что законных причин им не предъявлено, Лев Николаевич сказал: «Я не могу быть присяжным заседателем по религиозным убеждениям». Суд, по заключению прокурора, объявил графу, что он будет считаться как неявившийся. После 2 – 3 минут граф ушёл» *(Там же).*

Вторую половину заметки петербургского журналиста Софья Андреевна в своих воспоминаниях опускает — очевидно, по причинам личного несогласия с её содержанием и выводами. Приводим её по книге Н.Н. Гусева:

«Не знаю, что думал и чувствовал каждый из присутствовавших в зале суда, но только во время слов графа и по окончании, при невозмутимой тишине, глаза всех были обращены в сторону этого человека. Что заключается в этих немногих словах? «Не судите — не судимы и будете». «Любите ближнего своего, как самого себя», «человек не может судить человека» — вот великие изречения, которые после слов великого писателя овладевают душою человека и тормозят его ум, вооружённый всевозможными человеческими кодексами. Заседание в Крапивне будет ещё один день, 29 сентября, на котором едва ли будет Лев Николаевич» *(Гусев Н.Н. Материалы… 1881 – 1885. С. 215).*

Здесь же Николай Николаевич приводит письмо к Толстому В. В. Стасова от 17 ноября, где Владимир Васильевич выражает полное сочувствие его поступку. Признав «чудесными» художественные стороны легенды «Чем люди живы» и «Исповеди», Стасов далее писал:

«Сверх того мне крепко понравился ваш отказ быть присяжным заседателем. Я точно так же вполне убеждён, что все эти «суды» и «судьи» — всё это лишь чепуха, произвол и беззаконие против здравого человеческого смысла... Так называемые преступники в большинстве случаев вовсе не преступники, а прекрасные невинные люди, жертва нелепых, жестоких общественных и государственных условий. Ходячие понятия о «праве» и «преступлении» — вопиющая чепуха, произвол и фантазия, а главное — рутина» *(Там же. С. 216).*

Неуёмный дальний родственничек Толстого, министр внутренних дел граф Д. А. Толстой, не преминул настрочить о поступке («возмутительной выходке») Льва Николаевича донесение царю Александру III — и, к глубочайшему своему неудовольствию, вскоре узрел на нём унизительную резолюцию: «Его Императорское Величество соизволили читать». Император не в первый раз сталкивался с информацией о «новых» религиозных убеждениях Толстого, успел немало для себя обдумать и сообразить и... предпочёл оставить донос своего министра без последствий.

Лучший прижизненный биограф Л. Н. Толстого, его друг и единомышленник во Христе Павел Иванович Бирюков заключает по эпизоду отказа Л. Н-ча от судебного присяжничества следующее:

«Этот скромный поступок ещё мало оценён современниками. А между тем его следует почитать днём объявления войны всему старому строю, державшемуся на насилии, объявления войны насилию со стороны Разума и Любви» *(Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого: В 2-х кн. Кн. 1-я. С. 507).*

Итак, его поняли и поддержали не только единомысленные с ним, но даже и чужие люди... А вот Софья Андреевна решительно *не* поняла, а только испугалась публичного заявления мужа в суде и его отказа от поддержания самого судебного института, участия в нём. Она недоумевала, для чего бы «просто» не отделаться Льву Николаевичу, как многие прочие, от присяжной повинности, выслав штраф без визита в суд. Эти недоумения она изложила в своих ответах мужу – письмах от 30 сентября и 1 октября, которые мы приведём в соответственном по хронологии месте и порядке. Но им предшествуют, как может догадаться читатель, ещё ДВА письма от Софьи Андреевны – от 28 и от 29 сентября, которые мы приводим теперь же.

Соничка воистину неутомима в манипуляции. Дабы дать понять и почувствовать мужу, какой ворох текущих дел обрушился в его отсутствие на её одну голову, она начинает письмо от 28 сентября с подробного их перечисления – буквально сразу после обращения

«Милый Лёвочка». Закончив «милого» грузить, она «невинно» продолжает в заданном начальными абзацами духе:

«Теперь я тебя так напугала целой страницей деловых глупостей, что ты, верно, думаешь, что больше ничего и не будет. Но я сразу всё высказала и конец. И весь-то мой день нынешний прошёл в такой суете, увы! неизбежной. Дрова покупать, лакеев нанимать, матрасы, пальто, починки — ездила с Таней целых 5 часов и голова разболелась страшно. Встречала, к сожаленью, много светских знакомых, и у всех такой же противный и равнодушный вид, как и у меня, вероятно. Вчера я провела хороший день. Мы сидели en famille, [в семейном кругу, по-семейному] разбирали книги, читали, болтали. Потом я с Серёжей играла в 4 руки, разошлись довольно рано. Сплю я с Машей, потому что у неё ещё кровати нет, и ей у Тани плохо. А сегодня я тебе завидую, или, вернее, я радуюсь за тебя, что у тебя тихо и что есть природа и небо, и что душа останется чиста и ясна — не то, что у меня грязью забрызгана, так же как и платья мои на Московских улицах. Пороши у тебя не было, всё стаяло, а закат вечерний был чудный: я закрывала глаза и видела его над Заказом или Чепыжем, а не над Москвой. Странно, ведь когда-то я Москву любила. Хорошо ли тебе, и здоров ли ты? Завтра получу, верно, письмо. Ты мне не сказал, куда тебе писать, я и не знаю, и пишу на ближайший пункт — Козловку.

Всё больше и больше стараюсь проникнуться мыслью, что у меня прямые обязанности — 8 детей и один муж. Но вдруг оказывается, что одеть, обуть, накормить, обучить — берёт столько времени, что другое, самое важное, остается. Но я буду стараться, чтоб заботы мелочные были как можно короче и не сложнее. Вчера вечером <сын> Илья позвал меня, просил прочесть и поправить его сокращение или изложение историческое из Карамзина. Я и прочла, и поправила, но он моих советов мало слушал, и оставил как было. У нас обедал дядя Костя, о Машеньке ещё ничего не знаю, всё времени нет, вчера раскладывали всё с товарного, очень было хлопотно. Сегодня наняла лакея.

Говорила я нынче с Лёлиным <Л.Л. Толстого> учителем, но он ещё <преподавателя древних языков> Грингмуда не видал, и мы ничего <по его найму> не решили. Серёжа тоже ещё не нашёл студента. Мне очень хотелось бы поскорей устроить ученье и написать расписания самые точные.

Завтра ещё напишу, а нынче очень голова и сердце пусты. Пойду по детям смотреть, кто чем занят и готовили ли уроки. Прощай, милый друг.

Пожалуйста, вели посмотреть: за моим коммодом завалилась книжечка переплетёная, поваренная, писанная, и привези её. Не брани, если письмо не хорошо.

С.» *(ПСТ. С. 230 - 231).*

«Книжечка переплетённая, поваренная», упоминаемая Софьей Андреевной, сохранилась в Ясной Поляне. Озаглавлена она так: «Поваренная книга. 2 издание, дополненное и исправленное в 1874 году. Издатель Ст. Андр. Берс посвящает это издание своей сестре графине Софье Андреевне Толстой».

Поваренная книжка, домашние хлопоты и занятия детей… Очень-очень вероятно, что перечитывание Софьей Андреевной этого её письма при подготовке авторизованного издания писем вызвало в ней множество приятных воспоминаний, окрашенных ласковой печалью. На письме она сделала тогда характерную пометку: «Из Москвы в Ясную Поляну, где оставался без семьи Лёв Николаевич» *(Там же. С. 231).* «*Лёв*» – это семейная, совершенно ласково-уютно-домашняя устная форма произношения имени главы семейства у Толстых… как «Лёлик» — для Льва-младшего.

«Восемь малых детей, да девятый – муж…». Да уж!..

Но ведь Христом сказано: «Не станете, как дети…».

Добро уязвимо — иногда и беспомощно — в мире. Служить… мужу «Птице Небесной»… мужу-новорождённому в Боге, сознательному сыну Его… работнику Его дела в мире.

Что-то Свыше подталкивало её к *правильному* пониманию и настрою. Смиренной старушкой, она заметила по письму и с трепетом вспомнила в 1910-х это своё настроение. То, о котором деликатно упомянул Лев Николаевич: «Мне кажется, что между нами устанавливается новая связь, и ужасно боюсь, чтоб не оборвалась…».

Не оборвалась бы, Соничка, милая… *не* оборвалась бы — в Ясной: подальше от той мирской суеты, с которой ты начала письмо. От Черткова и ему подобных подальше…

В Ясной Поляне. Но *не* в Москве, Соня! Не в Москве.

* * * * *

Вот её письмо от 29 сентября: типичное «отчётное семейно-хозяйственное», интересное разве что мнением Софьи Андреевны о похоронах И.С. Тургенева:

«Сегодня весь день ждала от тебя письма и так и не получила. Как ты доехал, здоров ли, хорошо ли устроился и принялся ли за работу? Я видела луну слева и жду всяких горестей. У нас, пока, всё слава Богу. Сегодня я не выезжала, а ходила по хозяйству: смотрела лошадей, корову, постройки, кусты и деревья фруктовые и сад. Когда я увидела кленовые листья, берёзы, мох кругом деревьев, то точно я опять в Ясной, так стало хорошо, напомнило мне мои последние прогулки. Дети тоже бегали, играли, гуляли. Перед обедом я ходила с Таней в Мало-Толстовский переулок, но застала одних детей. <В Малом Толстовском переулке близ Смоленского рынка одно время жили Мария Николаевна Толстая и её дочери Елизавета и Варвара. – *Р. А.*> Машенька с Hélène переселились в гостиницу Метрополь, Лизы и Леонида не было дома; Варенька ещё не приехала, только старшие дети с гувернанткой приехали. Лошадь мы нынче уступили <гувернанике> madame Seuron, которая ездила к <сыну своему> Альсиду. Вечером я учила Машу и читала вслух Андрюше и Мише. Дядя Костя опять тут; он вчера до двух часов ночи мне изливал всю горечь своего положения и упрёков всем на свете. Я ему дала 15 рублей и написала о нём родным. Сегодня, благодаря тому, что не выезжала, я и деятельна, и спокойна; а вчера плохо мне было. Как мне сегодня захотелось в Ясную: так и полетела бы хоть на денек туда. Очень бы уж глупо было, а то, право, поехала бы.

Читала о похоронах Тургенева, и представь, засмеялась, вместо того, чтоб заплакать. Золочёный балдахин, серебряный венок от <кн.> Орлова <посол в Париже, знакомый Тургенева. – *Р. А.*> на бархатной красной подушке; корридор из цветов, о п е р н ы й хор… Ну просто представление. И в довершение трагическая сцена <Д. В.> Григоровича, его речь и рыданья. Потом, подумавши, стало страшно, как люди во всё играют.

Илья продолжает учиться и Лёля тоже. Учитель взялся за русское, в пятницу придёт учитель для математики. Таня в глупом и распущенном духе.

Прощай, милый друг, пиши всякий день, целую тебя.

Соня» *(ПСТ. С. 232)*.

Подкупающее сближение: на суету тургеневских похорон она смотрит *его*, бесценного своего мужа, очами: с *его* иронией, и раздражением, и скепсисом… И это не подделывание, а искренне её,

собственная её позиция — хотя проявиться такая она могла, конечно, только после многих лет общения с мужем, его воспитывающего влияния.

Хронологически у нас на очереди – письмо Л.Н. Толстого, писанное золотым яснополянским вечером пятницы, 30 сентября:

«Сейчас получил с Козловки твои два письма и телеграмму, — прекрасные два письма. По обеим я вижу, что ты в том хорошем, любимом мною духе, в котором я тебя оставил и в котором ты, с маленькими перерывами, уже давно.

Письмо это читай одна.

Никогда так, как теперь, не думал о тебе, так много, хорошо и совершенно чисто. — Со всех сторон ты мне мила.

О Тургеневе всё думаю и ужасно люблю его, жалею и всё читаю. Я всё с ним живу. […]

Мне здесь очень, очень хорошо. На бумаге я ничего не написал, но много хорошо обдумал и жду первого хорошего рабочего дня. Не совсем здоровилось, — желудок не ладен. Нынче я позанялся немного — вижу — нейдёт, и поехал с <слугой> Титом <Пелагеюшкиным> с собаками — затравили лисицу прекрасную и русака.

Совестно мне очень перед тобой, что тебе скверно, суетно, хлопотно, а мне так прекрасно; но утешаюсь тем, что это нужно для моего дела. То, что в Москве, с возбуждёнными нервами мне казалось хорошо, здесь совсем переделывается и становится так ясно, что я радуюсь. На счёт житья мне здесь превосходно. Мне недостаёт, разумеется, и очень, тебя и детей, но тишина и одиночество мне, как ванна.

Останусь ли я здесь ещё неделю, это я решу по твоим письмам. Только не думай, чтоб мне очень хотелось остаться. И с вами быть хорошо, и здесь хорошо, и ни то, ни другое не перевешивает, так что тронь мизинцом, и перевесится, куда хочешь, и я всем буду доволен. Несмотря на желудочную неладность, я в хорошем духе, и всех люблю, и тебя прежде всех.

Сейчас читал Тургеневское довольно. Прочти, что за прелесть. — Целую тебя и детей. M-me Seuron поклон. Жалче всего мне тебя за Костиньку <Ислявина>. Не сиди с ним» *(83, 397 – 398).*

В тот же день, 29 сентября, но уже, вероятнее всего, после написания вышеприведённого письма, Софья Андреевна получает первое — короткое, от 28-го – письмо мужа. На следующий день, уже пиша ответ — ещё одно, большое, от 29-го, с рассказом об отказе от

участия в суде. Так что в своём письме от 30 сентября она уже отвечает на *два* письма от мужа — от 28 и 29-го сентября:

«Обычное моё беспокойство о тебе в твоём отсутствии уже мною, увы! овладело.

Ты вчера мне такое прислал коротенькое письмо, что после напряжённого ожидания оно на меня грустно подействовало.

Сегодня видела свой обычный дурной сон — выпадение зубов и луну видела слева. С этим запасом предрассудочных неприятностей и с московским нервным состоянием — вовсе дурно на душе. Послала нынче тебе телеграмму о корректурах, которые перечитываю сегодня, и нахожу, что в тетрадях ч у в с т в а было больше, а в корректурах у м а больше. Но первое лучше.

Чего, чего мне в голову не приходит! И лошади разбили, и воспаление в лёгких, и удар, и воры ночью залезли … К тому же нет известий, просто тоска!

Дети все исправны. Сегодня я с ними в крокет играла: с Таней, Лёлей, а потом с малышами. Очень весело и довольно просторно. Вообще, как в саду — так рай. Особенно клёны мне милы, напоминают место, где мы летом чай пили по утрам. — Ездила я нынче в банк, к Третьякову и за Альсидом, привезла его на два праздника. Приходил без меня студент для математики Лёли; он ужасно не понравился Тане и madame Seuron. Завтра он опять придёт…

Сейчас получила твоё письмо. Думаю, что э т о до тебя не дойдёт, ты видно скоро приедешь. Дай-то Бог. Всё дело с присяжными меня всё-таки ужасно встревожило. Я хотела было идти к Феде Перфильеву спросить, что могут с тобой за это сделать, и побоялась, что тебе это не понравится. Но не получая ответа на телеграмму, начинаю беспокоиться, не схватили ли тебя.

Сколько ещё горя будет впереди! И как ты мог скрывать что-нибудь от меня? Это меня огорчило. Может быть я сама бы с тобой поехала. А теперь думаю, авось ты скоро приедешь. Если только штраф, то куда ни шло. А если судить будут, — то плохо дело. Я не знаю, что сделала бы я на твоём месте. Уже горячности молодой во имя какой-нибудь истины — у меня, я думаю, не нашлось бы. Больше всего я думаю, я бы думала о том, чтоб никого слишком не огорчать. Пишу ужасно несвязно; я ещё не переварила всего, что в твоём письме; а кроме того малыши, Костенька, дети, шум — всё это действует одуряюще. Миша обслюнявил и смял всё письмо, пока я учила читать Дрюшу.

Прощай, до свиданья скоро, надеюсь. Хоть бы всё кончилось благополучно. Целую тебя.

Соня» *(ПСТ. С. 233 - 234).*

Как видим из вышеприведённого письма, Соня довольно искренно описывает свои не вполне устойчивое эмоциональное состояние и контрпродуктивные умонастроения: суеверность, подозрения, фобии… В следующем своём письме она столь же искренно называет и общий источник всего этого — *личный эгоизм.* Эгоизм жаления себя и семьи и сопутствующий этому — год от года нараставший эгоизм желания для себя иной, особенной, жизни и судьбы, особенных с кем-то личных отношений, о котором она пишет и в своих мемуарах, в связи с отношением к ней мужа после возвращения с самарского хутора:

«Но *лучше* он стал со мной на короткое время. Я знала эти периоды страстности после разлуки, я боялась их, не любила этого захвата моей жизни в эту область взаимных страстно-любовных отношений и, намучившись сердцем, была уже не прежняя. Мне бывало часто *жаль* себя, своей личной одинокой жизни, уходящей на заботы о муже и семье; во мне просыпались чаще другие потребности, желание *личной* жизни, чтоб кто-нибудь в ней участвовал ближе, помогал мне и любил бы меня *не страстно, а ласково,* спокойно и нежно. […] Сознаю, что я тогда начинала портиться, делаться более *эгоистка,* чем была прежде» *(МЖ – 1. С. 412).*

И если эгоизм поиска «альтернативного» мужу, не страстного и не «холодного», любовника привела Софью Андреевну в эти годы к любовной связи с соседом князем Урусовым (которая во время поездки Л.Н. Толстого на хутор достигла столь интимной стадии, что Софья Андреевна уже пугалась и желала скорейшего мужнина возвращения), а в 1890-е гг. – с композитором Танеевым, то эгоизм семейный – подталкивал жену Толстого тогда и теперь к деспотическому *контролю* над ним, над кругом его общения, включая в конечном итоге даже эпистолярное… Из этой несвободы он освободился – только в побеге 1910 г.

Но в письме Сонички от 1 октября — кажется, всё ещё довольно мирно, умеренно, самоподконтрольно и покаянно — впрочем, в парадоксальном сочетании с упрёками и «уличениями» в намеренном желании публичного скандала:

«Теперь получаю третий день твои письма исправно, милый Лёвочка. Жаль, что ты мне много пишешь обо мне, потому что это мешает быть до конца натуральной, и инстинктивно будешь стараться или написать то, что тебе понравится, или же сделаешь усилие быть натуральной и правдивой, — а это доводит часто до резкости.

Боюсь, что во вчерашнем письме я не довольно мягко отнеслась к твоему отказу быть присяжным. Во мне поднялось старое, эгоистическое чувство, что ты нас, семью, не жалеешь и вводишь в тревогу о тебе и твоей безопасности. Конечно, ты поступил по убеждениям; но не поехавши, не говоривши ничего, а заплативши штраф, ты тоже поступил бы по своим убеждениям, но ничем бы не рисковал и никого бы не огорчил. Ты оттого от меня скрыл, что знал, что я это самое желала бы и на этом бы настаивала. А тебя это смутно радовало — высказать это публично и чем-то рисковать.

Я не трону мизинцем, чтоб перекачнуть весы на свою сторону. Я так понимаю, что тишина для человека, умом работающего, крайне необходима. Живи пока нужно и пока хочется. Мне кажется, что когда тебе хорошо, спокойно и тихо, то и мне на половину лучше от этого. У нас очень суетно и подчас трудно. Я очень тиха, даже слишком; но спина болит и ноющее чувство в душе. Н и ч е г о, т. е. положительно н и ч е г о меня не радует.

Неужели от этого я лучше, что утратила способность радоваться.

Купила Тургенева в гробу; фотография чудная. Я долго вглядывалась в его спокойное лицо и подумала так ясно, так искренно: «вот туда бы, где он, как хорошо!»

Сегодня ездила с Таней, Машей, Андрюшей и Мишей в храм Спасителя ко всенощной. Меня малыши измучили, всё просились туда, потому что Лиза и Варя были и рассказывали. Впечатления никакого — велико, ярко, людно и больше ничего. Но малыши остались довольны и катаньем и церковью.

Таня всё это время очень мила и дружелюбна. Илья, Маша и Лёля очень ровны, а Серёжа очень часто груб и неприятен. Так это грустно! Взяли сегодня учителя для Лёли, студента, по Серёжиной рекомендации. Он мне понравился и видом, и скромностью.

Была Лиза Оболенская с двумя девочками, которые играли в крокет с Машей и Дрюшей и очень веселились.

Знаешь, Лёвочка, что Костенька <Ислáвин> совсем поселился! Спит в твоём кабинете, и с утра до ночи уверенным, наглым тоном требует или всяких усовершенствований в моём хозяйстве, или закуски, или вина, или начинает смеяться надо мной, что я тебе пишу всякий день, или учит меня, как жить... Иногда плакать хочется, терпенья нет! Всё, что моя слабая душа соберёт сил, чтоб как-нибудь

бороться с этой суетной, ежедневной жизнью, и выкарабкиваться из неё на свет — всё это вдруг, я чувствую, погибает; я ослабеваю, тоскливо слушаю о позолоте рам или о его светских успехах, а передо мной также тоскливо лежит приготовленная книга. — Таня, дочь, начинает испытывать то же. Она от него нынче бегала с книгой по всему дому.

Но я, кажется, слишком жалуюсь. Он очень жалок. Madame тебя благодарит за память. Корректуры не поспели на почту сегодня. По новым порядкам в большие праздники только до 12 приём, а я получила телеграмму в 12-ть, и то страшно перепутанную. Завтра пошлю; жаль, что целые сутки позднее.

Я рада, что тебе в Ясной хорошо, а с желудком будь осторожнее. Пока прощай. Слишком длинны и пусты мои письма. Вели <управляющему имением> Митрофану <Банникову> т в о ю лисицу выделать, отдать и прислать мне её с Таниными. Выкопай в Чепыже три или четыре дубка и привези мне их посадить тут, в саду (это ради сентиментальности). А тут дубов нет. Ну, теперь и бумага вся. Целую тебя.

С<оня>» *(ПСТ. С. 235 - 236).*

Безрадостность, ослабевание, тоска… разбавляемые суетой семейных забот. А в храме Христа Спасителя ей – «велико, ярко, людно и больше ничего». *Пустоваты* Небеса для жены Льва Николаевича… *страшный* контраст с *его* напряжённой духовной жизнью, *его* религиозным поиском! «Не дай мне Бог сойти с ума…» — могли бы тогда, вослед за Пушкиным, повторить они оба, но… по несходным до противоположности личным причинам.

* * * * *

Несмотря на достаточно быстрый – в течение суток или двух – обмен в ту эпоху письмами между Тулой и Москвой, супруги в этот же день, 30 сентября, обменялись какими-то краткими телеграммами. Судя по упоминанию в письме С.А. Толстой от 1 октября, они малоинтересны и посвящены были проблемам пересылки материалов публикации книги Л.Н. Толстого «В чём моя вера?»

30 сентября Лев Николаевич получает в Ясной Поляне тут же отвеченную им Сонину телеграмму, а так же два её, представленных выше, письма – от 28 и 29 сентября. Ответ его от 30-го нами уже представлен выше. 1-го октября – ещё одно письмо; 2-го он опера-

тивно отвечает на письмо Сони от 30-го, 3-го – на письмо от 1 октября. Приводим ниже эти корреспонденции в хронологическом порядке.

Малоинтересное, но зато и не длинное письмо от 1 октября:

«Посылаю это письмо на Козловку в надежде получить твоё. Вчера очень долго не мог заснуть — читал Тургенева. Утром проехал вороного и сел за работу. Писал много, но, кажется, нехорошо. В 3 часа пошёл с ружьём. Убил вальдшнепа. Теперь 4. И в лесу меня нашёл Урусов. Мы с ним обедали. Пришла Агафья Михайловна, болтала и сейчас ушла. И вот я пишу. — Мне всё так же хорошо. Урусов немножко помешал. Жду твоего письма, чтобы решить — ехать ли, или ещё пожить. Приезжал нынче <сосед-помещик Яков Иванович> Головин сообщить о продаже Бабурина; но я не принял его и просил приехать завтра. Завтра, если будет работаться, то направлю его с Урусовым за вальдшнепами — их много, а если нет, то поеду с ним с собаками. Прощай, душенька, на нынче. Целую тебя и детей» *(83, 399)*.

Упомянутый в письме Урусов – тот самый князь Леонид Дмитриевич Урусов, в платонически-любовных отношениях с которым сознавалась сама Софья Андреевна в мемуарах «Моя жизнь» *(см. главку «Три эпохи» — МЖ-1. С. 288 - 292)*. Отношения его с Толстым, продолжающиеся в это время – прекрасное доказательство того, что отношения Софьи Андреевны и Сына Льва (так с греческого переводится имя Леонид) действительно были «невинными», платоническими. Если жена одного из друзей подпустила слишком близко другого, а тот отнюдь не отказался — всякий броманс между ними тут же «сдуется», неизбежны трения или даже разрыв. А Лев и Львёнок – оставались дружилками, вместе охотились и т.п.

Другое свидетельство платонического характера их связи приводит в той же книге мемуаров Софья Андреевна:

«Помню в день моих именин, 17-го сентября <1883 г.>, приехал князь Урусов, и мы с ним и с моей дочерью Машей поехали верхом по прелестным местам, лесам, Засекой и очень наслаждались. Но вдруг князь Урусов, поехавший вперёд меня исследовать, крепок ли мостик, к которому мы спускались, сделав какое-то движение, упал вместе с лошадью на сторону. Я так и обмерла. Но странно. Первой мыслью моей была, что испорчена любимая лошадь Льва Николаевича, и я обрадовалась этому чувству, как проверке моей неизмеримо бóльшей любви к мужу, чем к Урусову…» *(МЖ – 1. С. 421)*.

В предыдущих эпизодах нашей интеллектуальной презентации переписки супругов Толстых мы уже касались этой темы. Довольно рано бедненькая Соня стала терять удовольствие от интимных отношений гнило-патриархального извода: только с одним мужчиной. К её услугам оказались молодые слуги и учителя детей… но она, *как принято утверждать*, не позволила себе *никаких* (или *почти* никаких?) сближений с такими партнёрами.

Главная беда Льва Николаевича: женился он катастрофически поздно. А 1883 год — 21-й год этого изначально кризисного брака. Он, по понятиям XIX столетия – уже старик. Она, по понятиям *городских богачей* (к которым и потянулась в эту пору) — ещё не стара, да к тому же *очень* моложава на вид. Сознательно ли, или бессознательно, самой своей психосоматической сущностью — но Софья Андреевна *давно мечтала о другом партнёре*. Увидеть в *той же* постели другое, так же великолепное, мужское существо… самца в цветущем и состоянии, и возрасте. Князь был младше Льва Николаевича на 8 лет, то есть, по стереотипам эпохи — оптимален и по возрасту для 39-летней вдовы: было ему в 1883-м «всего»-то 45.

Тела не видно. Социальные предрассудки не дают даже права попросить… потрогать… Но статный конь Урусова шагает впереди – неся не менее прекрасного седока. Эстетически безупречная, радующая взор, картина!

И вдруг… *всё это* перед ней оступается и валится в канавку!

Околдование красоты отступает… Она вспоминает, что коник со всеми его прелестями — не урусовский, а *мужа её, великого Льва*, только недавно присланный из самарской его саванны. Вероятно, вспомнила она и роковой день 26 сентября 1864 года, когда муж, неудачно упав на охоте, страшно вывихнул правую руку – и стонал, и плакал, как ребёнок… и был так зависим от слуг и её помощи. Но, как непоседа-ребёнок, через несколько дней, с ружьём в левой, сбежал опять на охоту!

Князь поспешил успокоить графиню, что он и лошадь целы, и галантно провёл по мостику под уздцы её лошадь… но прежнее настроение уже не возвратилось… до конца прогулки. Но вот уже дома в тот же день, за обедом…

«…У моего прибора стояла солонка <подарок от Урусова. – *Р. А.*>, изображающая прелестную саксонского фарфора девочку в белом чепчике, рубашечке и с ясными, голубыми глазами.

— Вот такую бы мне живую девочку, — смеясь и благодаря князя Урусова за подарок, сказала я, садясь обедать.

И ровно через 9 месяцев, день в день, в ночь с 17 на 18 июня родилась у меня прелестная девочка с голубыми глазами — Саша» *(Там же).*

Эту историю не следует интерпретировать, как намёк мемуаристки на то, что в тот, *всегда особо любимый* ей, день именин — интим её с Урусовым таки состоялся… Хотя бы потому, что в эти дни дома был её муж — её кумир и ужас.

Эротическая символика подарка князя Леонида, на первый взгляд, недвусмысленна. Историю мадам Бовари он наверняка читал, и понимал, насколько и Соне жизнь со старым мужем сделалась ей недостаточна, *пресна*. А само исполнение фарфоровой вещицы, *бэбичка* — драгоценный плод недоступного, но бессознательно или, во всяком случае, тайно желанного обоим соития.

Но Соня, как известно, *любила дочь Сашу меньше других дочерей* — чего не могло случиться, родись она от возлюбленного мужчины, от кн. Урусова. Да и была Саша, как тоже общеизвестно, особенно близкой, духовной единомышленницей именно *отца*. Иногда в молодые годы дурно отзывалась о матери… Тоже косвенные, но важные признаки.

Наконец, признак прямой и убедительнейший, физиологический: в эти дни Sophie *уже* была беременна – от мужа. И знала это… Осенью, уже в Москве, как раз в дни яснополянского затворничества Льва Николаевича, беременность дала себя знать спинными болями и тоской, о которых Соня упоминает в уже приведённых нами выше её письмах. Два дубка в саду московской усадьбы Толстых, привезённые тогда же из Ясной Поляны – память о её, характерном для беременных, капризе… и одновременно символ *нерасторжимости уз*, связавших её с одним из гениальнейших и тяжелейших для повседневного сожительства людей своей эпохи.

Так что подарок князя-соседа следует истолковывать проще: либо в мужской интимной беседе Толстой поверил ему радость – у жены будет ещё ребёнок! – либо сообщила это доверительно она сама. Зная, насколько эта радость омрачается для Sophie ожиданием родов и повинности кормления, Урусов благословляет возлюбленную девочкой… фарфоровой, но изображающей желанного для матери здорового, весёлого ребёнка: такого, какой она будет *после* страшных ей болей и тягот… Нельзя было придумать лучшего подарка и деликатней благословить будущее дитя — в дни только начавшейся беременности.

* * * * *

Следующее письмо Льва Николаевича к супруге, от 2 октября — ответ на её письмо от 30 сентября: то, в котором она выражает испуг и недовольство эпизодом в присяжном суде и критикует текст «В чём моя вера?» в подготовленных к печати корректурах. Характерно время написания письма, обозначенное Л. Н-чем: «воскресенье, 12 ч. ночи». *Не его* время. Соня – городская «совушка», и чаще именно Соня писала по ночам. Но тут — просто напросто иного времени не выдалось, а нужно было дать ответ. Приводим ниже его недлинный текст.

«Сейчас уехал Урусов, и я не успел писать тебе. Главное от того, что очень устал. С утра занялся, потом пошёл с ним за валдшнепами; исходили ужасно много и ничего не убили. Но устал я так, что после обеда заснул.

Нынче получил гору корректур из Ясенков. Постараюсь их поправить, а не испортить. Твоё замечание огорчило меня. <О том, что в рукописях «В чём моя вера?» у него было больше «чувства», а в корректурах – уже больше «ума». – *Р. А.*>

Вчера получил твоё 3-е письмо — не хорошее. Не дурное, но нехорошее тем, что ты, видно, встревожена. Как-то теперь? О судейских делах ничего не знаю. Об отъезде моём решаю условно — всё будет зависеть от твоих писем — что поеду в четверг. Из типографии <Кушнерёва> просят поскорее поправить, а то у них нет шрифта. В три дня надеюсь кончить. Только бы быть здоровым. А нынче я чувствую себя лучше всех дней и надеюсь, что так продолжится.

Что ты? Да этого я не узнаю, пока не приеду. И потому хочется приехать поскорее. Прощай. Целую тебя и детей» *(83, 399 – 400*).

Надо уточнить: огорчила его никак не тревога жены. Её тревожные состояния, от повода к поводу, были практически непрерывны… Огорчил же его факт столь эмоциональной реакции жены на личный *его перед Богом* поступок. Огорчило ощутимое преткновение о те границы мирской «дозволенности» (игры по правилам), которые, во имя собственного покоя и блага семейного, жена ставила его свободе – той, которая Свыше даруется всякому истинному ученику Христа.

Огорчило и то, как походя, сама не поняв, ткнула она его носом в границы собственного его в те годы религиозного ученичества. «Усовершенствовавшись, будешь как учитель твой – но не смей чаять большего…» Иисус дал миру непризнанное, отринутое, забытое им

учение спасения, в котором выразилось новое, *до сего дня высшее из доступных человечеству* жизнепонимание. Поэтому Иисус – не «просто человек», и даже не «просто» великий вероучитель человечества, а Пророк Божий (Разумения Жизни) и Печать таковых Пророков (т.е. последний для человечества на целые тысячи лет). Ему суждено было погибнуть от рук адептов низшего жизнепонимания, языческого и еврейского – и *будет* суждено воскреснуть как Слову, то есть в своём учении, тогда, когда человечество примет новое, всемирное, выразившееся в учении Христа. Когда сознательным дитя и работником Бога сделается всякий из людей… Лев Николаевич же, на духовных высотах своей жизни, в последние четверть века её – спаситель Христова учения и выраженного в нём Высшего Жизнепонимания, *спаситель Христа*, и в этом для человечества XX и последующих веков выше и больше, и значительнее Христа… как последний евангелист, как Апостол Воскресения Грядущего по всей Земле, а не в одной древней еврейской ойкумене. Но в повседневности своей эпохи, в том 1883-м году, он сам был ещё только ученик, готовящийся — и слишком спешащий! — стать вероучителем. Не всё Божье, истинное, во что проник пытливый ум, так скоро прикипает и к юному, совсем ещё ученическому, только недавно родившемуся для Бога сердцу. И проповеданное — делается излишне рассудочным, вызывая на себя и критики в логической небезупречности, а одновременно и сердечное отторжение у непосвящённых. Позднейшее сочинение Толстого «О жизни» (1886), высший итог его ранних, 1870-х – 1-й половины 1880-х гг., этических и метафизических христианских рефлексий — такая же его неудача: умнейшая Alexandrine Толстая, присутствовавшая при чтении автором черновика «О жизни» в конце июля 1886 г., позднее призналась в воспоминаниях, что книжку его принял её *ум, но не сердце*:

«Чтение продолжалось около двух часов. Я поняла гораздо более, чем ожидала; были места прекрасные, но сердце моё не дрожало и не горело. Мне казалось, что я то сижу в анатомическом кабинете, то, что я бегаю по кривым дорожкам в полуосвещённом лабиринте и всё сбиваюсь, путаюсь и не могу вздохнуть свободно… Разумеется, об этом я не поведала никому…» *(Цит. по: 26, 766)*.

Толстому не хватило остатков жизни, чтобы *всё*, всякое слово его святого благовествования, всякая истина обличающей мирские неправды проповеди созрели для сердец. Ученик, сделавшийся достойным Учителем: учащим и словом, и, сколь возможно, личным примером жизни («для имеющих уши и глаза»)… но — по крайней мере, в первой половине 1880-х — «лжепророк» для тех, на кого

нужно влиять *не через рассудок*. Нечаянно жена успела сказать ему это первой.

* * * * *

Наконец, 3 октября – ответ Льва Николаевича на письмо С. А. Толстой от 1-го:

«Нынче утром получил твоё очень хорошее письмо. Одно ужасно грустно — это Костинька. Пожалуйста, не рассердись на него и не обидь. Я как приеду, так постараюсь дружелюбно избавиться от него. — Вчера провёл весь день с Урусовым. В 11 часов его отвезли в Тулу. […]

Получил корректуры и нынче, как и ожидал, прекрасно работал, — сделал почти половину. В 4-м часу пошёл в заказ и убил вальдшнепа (итого 6). […]

Погода морозная, здоровая и не заманчивая к охоте, и я надеюсь, что поработается эти два дня, как нынче. Буду очень счастлив кончить. Узнал, что после первого штрафа в 100 р[ублей] нового не накладывали. То, что ты пишешь о детях, — особенно о Тане, меня очень радует. Целую тебя и их. […]» *(83, 400 - 401)*.

Из того, что Толстой в этом письме упоминает о специфических «предвыездных» заботах – как покупка в Туле самоваров по заказу родственников жены – можно вывести, что он действительно завершал уже свои труды и готовился выехать из дома в московскую ссылку. Ещё перед отъездом, 4 октября, он посылает жене письмо – и получает от неё два ответа, от 2 и 3 октября, на прежние свои письма. Их тексты мы приводим ниже.

Письмо от вечера 2 октября, очень депрессивное (что, конечно, можно связать с беременностью Сони и ею же оправдать):

«Письмо твоё сегодняшнее коротко и бесцветно. Верно и моё будет такое же. У меня так сильно спина болит, что просто терпенья нет. Просидела весь день дома, шила, читала с Андрюшей, учила его, а когда пришёл вечер, то подумала: «вот и ещё день ближе к смерти, а пусто, пусто идут дни, не знаешь, за что ухватиться». Бывало думаешь, что *обязанности исполнять*, и можно быть покойной. А теперь я не знаю, в чём мои обязанности, и сомневаюсь в уменьи моём их исполнять.

Я не подумаю даже вызывать тебя. Чем ты больше захватишь осеннего и весеннего времени в деревне, тем ты будешь здоровей и несомненно счастливей. Довольно, что мне одной гадко, а ты наслаждайся, работай и живи, пока у *т е б я* явится потребность жить с семьёй. Малыши мои очень кашляют и у двух очень желудки расстроены. Сегодня очень холодно и неприятно. Не простудись ты на охоте или нетопленных комнатах.

Бывало летом, нервы расстроены или грустно, уйдёшь часа на 3 в лес, и всё настроится. А тут, утомишься, всё натянуто — так и перенесёшь, а спать с 7 часов утра никогда уж нельзя. Сегодня весь день плакать хочется, так нервы плохи, и всё тише и тише делаешься, точно не живёшь. Это не жалобы, а просто ещё не притерпелась и избаловалась своей чудной, летней жизнью. Вот огрубею, Бог даст, тогда лучше будет.

Завтра дела разного — ужас!

Прощай, спасибо, что пишешь всякий день, а я поленилась раз и не написала. Сегодня отправлены были корректуры в Ясенки. Это тебя ещё задержит на несколько дней.

С<оня>» *(ПСТ. С. 236 - 237).*

В этом письме снова выражен, хоть и приглушённо, Сонин бунт против патриархальных устоев, предрассудков о фиксированных возрастных и гендерных ролях – бунт, ложно и несправедливо направленный женой против мужа, который, в чём-то разделяя предрассудки своего времени и поколения, совершенно не был виновником их общественного торжества. Бунт, за который возлюбили Софью Андреевну и ей подобных «суфражистки» её современности и «феминистки» – нашей… во имя отрицательных идей и настроений которого очерняется в глазах современной, XXI столетия, молодой России духовный облик Толстого последних 30-ти лет его жизни и «реабилитируется» *якобы* безнадёжно и несправедливо кем-то во времена СССР очернённый, «демонизированный» образ его жены.

В дальнейшей переписке уже этого, 1883 года, Софья Толстая явит те же настроения значительно ярче и агрессивнее.

И – последнее в данном Фрагменте её же письмо от 3 октября:

«Меня застала уже глухая полночь, и я письма не могла написать и послать. Сидели у нас Прянишников и Маковский. Было очень весело, приятно скорей. Разговор ни на минуту не умолкал. Сидели они с Серёжей, Таней и со мной и ушли в час ночи. Только что, было,

пришла я вечером в усталое, грустное состояние духа после истории с англичанкой <miss Allen>, как Бог послал утешение в лице этих художников. И говоря много о живописи, мне опять пришло безумное желание учиться рисовать и писать, и опять, я чувствую, с заботами, во-первых, о малышах, а, во-вторых, о тысячах хлопот о починке колодцев, чистке клозетов, покупке башмаков, и проч. и проч., все мои пылкие желанья потухнут.

Ты сам назначил для приезда четверг, так и будем тебя ждать. У нас ещё гостиная не топится и не отделана; как-то так это стало всё равно; есть гостиная или нет.

История с англичанкой была вот какая: Миша плохо спал, у него живот болел; англичанка его положила на всю ночь в свою постель, чтоб к нему не вставать. Я ей утром сказала: «it is a dirty habit of common people» [«это грубая привычка простого народа»]. И чтоб впредь она этого не смела делать. Она начала неистово кричать, весь день не ела, злилась, уходила вечером куда-то и всем объявила, что жить не будет. Это-то Бог с ней, она совсем никуда не годится, даже занять их не умеет. Но всё это крайне скучно. Няня при этом тоже торжествующе кричит страшным голосом.

Ты недоволен моими письмами, но что же делать? В этой тесноте детских и пошлых нянек — кто бы уцелел? И нет мне счастья на нянек с этими тремя малышами. Уж как бы нужно опытную, кроткую и добрую женщину к этим трём мальчикам. Только и спокойна у меня душа, когда учу Андрюшу, и он со мной, а то порча и порча со всех сторон.

Ходили мы сегодня с Таней часа три пешком, искали для Сергея Николаевича <Толстого> квартиру. Но мы не были так счастливы, как ты <год назад>; квартир очень мало и те плохие. Поищем ещё по газетам. Завтра рождение Тани, и Лиза Оболенская придёт обедать.

Иду спать. Прошлую ночь у меня была лихорадка. Я думала по причине — но всё нет, и к моему плохому духу примешивается ещё мой обычный, ежемесячный страх беременности…

К твоему приезду постараюсь исправиться духом. — С детьми у нас всё очень хорошо. Ты, вероятно, очень занят корректурами, и мне завтра придется не получать письма, или получить опять очень короткое.

Прощай, милый Лёвочка, целую тебя. А я всякий день так жду писем от тебя! С<оня>» *(ПСТ. С. 237 - 238).*

Оставим в покое англичанку – лентяйку и истеричку (хотя… от кого б это могла она успеть истеричностью-то заразиться?...). Интересней – новый выплеск женой Толстого недовольства своей участью, желание *Непонятно, Как, Но Творчески* изменить свою жизнь.

В мемуарах она будто и сознаётся в тщете и бесполезности таких, никакими конкретными планами не обеспеченных, себялюбивых, эгоистических роптаний:

«Как странно, что при моём страстном желании жить немного другой жизнью, чем обыденные материальные заботы, я не сделала какое-нибудь усилие и не нашла выхода из моего положения» *(МЖ – 1. С. 425)*.

За гордым *«мешали!»* здесь вполне отчётливо слышится смиренное: *«не смогла…»*.

Завершает Второй Фрагмент 19-го Эпизода нашей книги письмо Л. Н. Толстого, написанное за день-другой до отъезда из милой Ясной – 4 октября 1883 года. В нём — положительные итоги творческого уединения и – увы! – горькие констатации ненормальности настроений и отношения к нему его жены. Начинается письмо со второго:

«Нынче получил твоё грустное письмо <от 2 октября>. Нездоровье твоё — спинная боль меня очень огорчает. Впрочем, тебя не разберёшь по письмам. Когда я с тобою, то я всё знаю» *(83, 402)*.

Он прозрачно намекает здесь на её привычку утрировать и преувеличивать болезни и иные причины собственных депрессий или истерик. Преимущественно для того чтобы «вытянуть» его скорее домой из очередной поездки. В данном случае вышло – как в притче о дурном мальчике, слишком часто и ложно кричавшем «волки!»: муж не поверил, а спина у Сонички болела, и сильно, и на самом деле!

Далее – тоже справедливая критика, но в связи с его работой:

«До сих пор сбывается то, чего я желал — второй день по многу работаю, и если завтра также, то кончу корректуры и послезавтра буду с вами. Если б я не решил ехать в четверг <6 октября>, я бы по твоему письму поехал. Ты хоть и не хотела мизинцем тронуть, а потянула обеими руками. <Припоминает её обещание не торопить его с возвращением. – *Р. А.*> Тебе досадно на меня за то, что мне хорошо одному. И мне жалко, что тебе не хорошо, но не совестно» *(Там же)*.

И далее – о своей правильно организованной, чередующейся с прогулками, но от этого не менее напряжённой и вдохновенной работе

над полученными из Москвы корректурами трактата «В чём моя вера?»:

«Жизнь моя, как заведённые часы. Проснусь в 9, пойду в Заказ, вернусь, напьюсь кофею, сяду за работу часов в 11 и сижу до ½ 4-го и опять пойду в Заказ до обеда. Обедаю, читаю Тургенева. Придёт Агафья Михайловна, пью чай, пишу тебе, погуляю при лунном свете и ложусь спать. И это самое дурное время. Долго не могу заснуть. — Что-то будет в завтрашнем письме. Прощай, душенька, ты на меня не сердись, как в последнем письме. Целуй детей» *(Там же).*

Творческий подъём и связанное с ним нервное возбуждение лишь частично компенсировались лесными прогулками. Они вызвали бессонницу, так что воротился Толстой в Москву — как и обещал, 6 октября — не отдохнувшим, а, скорее, нуждающимся в нервной разрядке и отдыхе. Которые, разумеется, *не* получил. С эгоистическими обидчивостью и мнительностью наблюдала за его состоянием жена, и не преимнула нажаловаться в письме к сестре Тане на его и её собственное (ею же и созданное!) положение:

«Лёвочка третьего дня приехал из Ясной, и я уже вижу его напряжённое, даже несчастное выражение лица. Он жил там десять дней, писал, охотился, был у него Урусов два дня, и, видно, уединение так было по душе Лёвочке, что он тяжело с ним расстался. Я вполне его понимаю, а теперь более, чем когда-нибудь, осталась бы в деревне, но увы! Это невозможно с учением и с выездами Тани, которая собирается начать свои выезды в декабре» *(Цит. по: Гусев Н. Н. Указ. соч. С. 218).*

Выезды начались уже в конце ноября, а ещё раньше, 28 октября (он всегда стремился подгадать всё под эту «счастливую», по его фантазии, цифру) Толстой отправил в набор последний лист последней рукописи правленых им *до неузнаваемости* (тоже его, характерное!) корректур книги «В чём моя вера?» И ровно через месяц, 28 ноября – заверяет подписями гранки последней корректуры… Между этими двумя датами – ещё одна небольшая творческая его поездка домой, в Ясную Поляну. О ней речь в Третьем, заключительном Фрагменте Девятнадцатого Эпизода нашей книги.

КОНЕЦ ВТОРОГО ФРАГМЕНТА 19-го ЭПИЗОДА

Фрагмент Третий.
СКУЧНО ОДНОМУ ТОЛЬКО ЕСТЬ
(9 – 15 ноября 1883 г.)

Третий, и заключительный Фрагмент Девятнадцатого Эпизода нашей великолепной и уникальной аналитической презентации переписки супругов Л. Н. и С. А. Толстых охватывает хронологически период с 9 по 15 ноября – дни пребывания Льва Николаевича Толстого вдали от жившей в Москве семьи, в Ясной Поляне – с официальной целью завершения работы над духовно-христианским сочинением «В чём моя вера?». Период этот – быть может, не из самых существенных для внешней, личной и творческой, биографии писателя, но характерен как своего рода итог кризисного развития его отношений с членами семьи и в особенности с женой.

Первое письмо жене в этой поездке Лев Николаевич отправляет из Тулы, где остановился в доме друга семьи и платонического возлюбленного Софьи Андреевны – неоднократно упоминавшегося нами выше князя Л. Д. Урусова. Данное письмо характерно как ранее свидетельство того, как Л. Н. Толстой, только ещё начавший свою христианскую проповедь миру, быстро начал превращаться для духовно чутких, ищущих истину или просто неспокойных и досужих людей в авторитет всемирного масштаба и значения. Хотел ли он этого? Мы постарались дать понять, даже почувствовать нашему читателю, что – если и хотел, то так, как хочется и на Божьей стезе иногда поддаться сугубо мирскому соблазну и совершить грех. Хотел, и исполнил, но и *хотел бы не хотеть*, удержаться. Истинный христианский идеал – *смиренной работы над собой, а не прозелитства* – был сознан им, но навязанный ему семьёй образ жизни средь городской толпы сделал его выполнение невозможным, а соблазн публичности — неодолимым…

Приводим текст этого небольшого, но информативного для исследователя письма от 9 ноября 1883 г.:

«Пишу вечером от князя. Вчера приехал в 2 часа. Легли в 3. Прекрасно выспался. Князь пошёл в <Губернское> правленье, а я немного занялся. Потом пошёл гулять и к Лопухиным. <Т.е. в гости к С.А. Лопухину, тов. прокурора. – *Р. А.*>. <Александра Павловна> Лопухина, узнав, что я здесь, писала записку, прося придти к ней обедать. Я отказался, но зашёл. Это Васильчикова, её кузина, её настроила, чтоб со мной познакомиться. Я зашёл, и ничего не нашёл, кроме казённого, пустого.

Здесь через князя получил письмо от одной Смирновой и маркиза St. Ives — парижского. Очень интересно. Он член общества вечного мира и пишет книгу против войны и революции: «La mission des Souverains», кажется, что настоящий.

С утра я через <лакея> Михайлу дал знать в Ясную, и лошади приехали. Князь меня старательно угостил обедом, и я сейчас еду. Пороши и чернотропа, кажется, не будет; но я не тужу. Хотелось бы кончить всё в Ясной. —Что ты? Пиши, пожалуйста, каждый день. Я буду тоже. Целую тебя и детей» *(83, 403)*.

Упомянутый Л. Н. Толстым адресат – один из самых ранних его заграничных почитателей, некий маркиз St. Ives d'Alveydre, на то время автор одного из типичных, проникнутых всею наивностью эпохи, антивоенных сочинений под названием «Mission actuelle des souverains par l'un d'eux» [«Современная миссия монархов — одного из них».]

Толстой называет его «настоящим» — то есть, по его мнению, человеком, живущим активной духовной, религиозной жизнью, ставящим для своей жизни цели не в мирском, а в Боге. На деле с высоким вероятием можно утверждать, что, встреться Толстой и маркиз Сен-Ив под крышей хамовнического или яснополянского дома, хозяин быстро разочаровался бы в своём госте. В одном из позднейших, предположительно 1885 года, писем Сен-Ив, рассказывая о себе, признался, что постигает с наёмным гуру азы учения браманизма, а к письму приложил аж три свои равно наивные социально-прожектёрские книжки («Миссия монархов», «Миссия евреев» и «Миссия рабочих»), с которыми настоятельно рекомендовал Толстому ознакомиться, прежде чем отвечать ему *(Там же. С. 404)*. Увы и увы! это был тип докучливого зажиточного буржуазного европейского сектанта с окрошкой из книжных идей и собственных утопических фантазий в голове.

Не позднее, чем 9 ноября и Софья Андреевна отослала мужу письмо, которое он упоминает и на которое отвечает 11 ноября. К сожалению, письмо было утеряно.

Второе письмо Л. Н. Толстого, уже из дома, из Ясной Поляны, датировано следующим днём, 10 ноября. Оно, кстати, даёт ощутить разительный, непримиримый контраст настроения тех суетливых и не вызывавших особенного доверия иностранных адресатов, которые спешили писать свидетельства почтения новому «русскому гуру», толком не поняв и не «переварив» в голове его только-только

начатой проповеди (многие значимые идейные основания которой так же не до конца ещё сформировались в сознании и публичных дискурсах самого Льва Николаевича) – с настроением живой трудовой жизни в окрестностях яснополянского семейного очага Толстого, с настроением подступавшей к стенам его благотворящей и вдохновительной природы.

Приводим, как всегда с необходимыми пояснениями, текст второго в этой поездке письма Л. Н. Толстого. Начинает он его с простой бытовой жалобы: «Спал дурно. Было холодно и нездоровилось» — оказавшейся для Софьи Андреевны достаточным основанием для того, чтобы, прицепившись к этим словам, выразить в ответном письме от 12 ноября притворное «сожаление», за которым снова скрывался упрёк в пользовании личной свободой.

«Спал дурно. Было холодно и нездоровилось. Но нынче всё наладилось. Натопил в кабинете, замазал окна, и тепло, и хорошо и теперь вечер, чувствую себя прекрасно. — Нынче получил письма из Ясенков — интересные от Sandoz — и ещё от одного француза.

[**ПРИМЕЧАНИЕ**.
Оба письма были утрачены Львом Николаевичем при посещении уборной. Об адресате Sandoz (Сандо, Швейцария) известно, что он писал Толстому и позднее, в 1885 году, называя себя единомышленником Льва Николаевича, поклонником его сочинения «В чём моя вера?» и предлагая писать статьи для некоего сектантского журнала, основанного самим Сандо.]

Ходил смотрел лошадей. Очень хороши, но я боюсь, что будут неприятности, хлопоты из-за них, и постараюсь их продать. — Сено они съедят, а доход от них ещё когда будет. Филиппа <Егорова, кучера> не было дома. Он возил своего <старшего сына> Михайлу в солдаты. Слава Богу, не взяли, — он остался льготным. Николай Михайлыч <Румянцев, повар> тоже возил, и тоже не взяли.

У конюшни встретил мужика с бабой. Мужик приехал к тебе издалека, из-за засеки, лечиться, и ужасно горевал, что тебя нет. Он говорил, что он знает одного мужика, которого все лечили, и никто не вылечил, а ты вылечила. Мне лестно даже было. Потом ко мне приехала баба, — брюхата на сносе, и 4-о детей маленьких, — старуха свекровь и молодайка, деверняя невестка. Были два мужика и в одну неделю её мужа посадили в острог за драку, от которой произошла смерть, а деверя отдали в солдаты. И осталась одна. Написал

<Николаю Васильевичу> Давыдову <прокурору в Туле, давнему знакомому> письмо, — нельзя ли хоть выпустить на поруки. Потом сел заниматься, но сделал очень мало. Митрофан сказал мне, что Серёжа <брат> будет обедать у <соседа, в имении Телятинки> <А. Н.> Бибикова. Я пошёл в Телятинки, но Серёжа уехал в Москву. Вернулся, пообедал. Агафья Михайловна сидит, и Дмитрий Фёдорович переписывает. Комната нагрелась. А кроме того топлю мальчикову с сводами. Если нагреется, то завтра перейду туда. Я забыл дома «Une Vie» <книжку Ги де Мопассана «Жизнь»>. Читайте её покамест и спрячьте.

Портрет твой карандашом, кажется, плох, а я как взгляну на него, так ужасно живо вспоминаю, и что-то жалкое есть в нём, и что такое же показалось мне при прощаньи с тобой. И это меня очень трогает. Душенька, зачем ты несчастлива. Мне так видно, как ты можешь и должна быть счастлива, и как ты своей révolte [*фр.* бунт, восстание, возмущение] против всего — сама себя мучаешь. Неужели нельзя смириться. Как бы хорошо и тебе и вокруг тебя всем было. Я пишу это и представляю себе, как ты можешь рассердиться за это. Не сердись, голубчик; взглядывая на этот портрет, я знаю, как я тебя люблю и как ты нужна мне.

Целую тебя и детей. M-me Seuron — поклон» *(83, 404 – 405).*

Толстой в этом письме снова перед нами «во весь рост» — прямолинейный, искренний, но и щадящий, любящий в отношении жены. Судя по имеющемуся в нашем распоряжении ответу от 12 ноября, Софья Андреевна не рассердилась, и, будучи во время писания в относительном душевном равновесии, видимо, признала справедливость сострадательных упрёков от мужа в «несмирении». Но, конечно, и не собиралась смиряться. В своём ответе она проигнорировала всю адресованную к ней и её поведению сентенцию мужа, и только через много лет, в 1910-е гг., готовя для книжной публикации его письма к ней, сделала к характеристике покойным мужем её «жалкого» изображения на портрете своеобразное, типично женское, примечание:

«Жалкое потому, что, когда меня рисовала институтка Соколовская, у меня была лихорадка» *(Цит. по: 83, 406*).

В этот же день, 10 ноября, ещё не дождавшись никакого послания из Ясной, пишет мужу и Софья Андреевна. Но так как письмо её не служит ответом на какое-то из предшествовавших писем Толстого; его же письмо от 11 ноября – отвечает на утерянное письмо жены от

9-го(?), да к тому же как будто продолжает своим настроением предшествующее, логично будет привести сначала это послание Толстого жене:

«Моя судьба быть в Ясной в дурном расположении духа и неспособным работать. Так и теперь. Не могу докончить начатого. У меня тепло, хорошо, удобно, пища привычная. Нынче получил твоё письмо и надеюсь получить завтра.

Представь себе, поручица умерла. <Умерла жена «поручика» — так звали тогдашнего казённого лесничего в Зáсеке, Ф. И. Баратынского. – *Р. А.*> Я нынче, гуляя, зашёл к Франц Иванычу, и он мне рассказал. Она поехала в Тулу; в нумерах рядом с ней стоял знакомый. Он провёл вечер у неё. Утром она не выходит и до вечера. Выломали дверь. Она лежит в постели, в самой покойной позе — мёртвая, — разрыв сердца.

Я читаю и Stendhal'a и Енгельгарта. Енгельгарт — прелесть. Это нельзя достаточно читать и хвалить; — контраст нашей жизни и настоящей жизни мужиков, про который мы так старательно забываем. Для меня это одна из тех книг, которая освобождает меня от части того, что я чувствую себя обязанным сделать. Но он сделал, и никто не читает. Или читают и говорят: «да что, он социалист». А он и не думает быть социалистом, а говорит, что есть.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Для совершенной точности следует сказать, что именно *читал* (в первый раз) Толстой только А. Н. Энгельгардта – его «Письма из деревни», вышедшие отдельным изданием в 1882 году. Что же касается Стендаля, то его роман «Красное и чёрное» Толстой, разумеется, *перечитывал*. Близость Энгельгардта осмысливалась Толстым как идейная, Стендаля же – как художественно-творческая, особенно драгоценная для писателя. **]**

Нынче получил ответ от <прокурора> Давыдова с бабой, за которую я просил. Он обещает всё сделать и просится приехать <в> воскресенье; говорит, что ему что-то *для себя* нужно меня видеть. Если будет случай, я приглашу его. — Нынче приходила ещё баба, тоже брюхатая, тоже осталась одна с 4-мя детьми. Это вдова того, которого убили в драке. Она приходила просить, чтобы я не просил за того, — убийцу её мужа — на поруки. — Удивительно!

Как ты и все наши? I hope, что хорошо. Завтра узнаю.

Целую тебя, душенька. Нынче портрет не так жалок. Целую детей.

<Приписка.>
Пятница 11 часов.
Нынче я один. Был только Дмитрий Фёдорович, разговаривали о том, как он живёт сам-семь на 11 р[уб.] 40 к[оп.] в месяц. Живёт» *(83, 406 - 407)*.

Наконец, время письмам Софьи Андреевны.
От 10 ноября:

«Так как ты желаешь, милый Лёвочка, чтоб я тебе писала всякий день, то я и исполняю это. Сейчас был <доктор> Чирков, стучал Таню по животу, нашёл больным желчный пузырь и малокровие, а у Андрюши катарр желудка. Прописал и Карлсбад Тане, и потом железо и ещё что-то, кажется бром, и Андрюше Емс и всё это меня встревожило и ещё более привело в грусть. Кроме того, интересно тебе то, что свёрстанные листки принес мне <переписчик> Иван Михайлович, я нашла много ошибок, поправила, перечла с вниманием и подписала к печати. Но с кем я пошлю и где типография — вот это вопрос. Пошлю с <дворником> Василием, кажется Пименская улица <т.е. в типографию И. Н. Кушнерёва. – *Р. А.*>. Писарь с тобой уехал, а <лакей> Сергей <Арбузов> второй день пьёт так, что я его прогоню, если ещё так день продолжится. Кроме того он делает мерзости. Сижу я в своём кабинетике, наверху; слышу Дуняша <экономка> кричит и почти рыдает, и тут же Лиза <горничная> и <слуга> Корней. Отворяю дверь, спрашиваю что, говорят, тут на постели у Сергея женщина, <лакей> Феодор сказал и знает, что она из самых плохих. Я не труслива, отворила дверь, вижу, правда, спрашиваю её зачем она тут? (Она лампу в корридоре зачем-то потушила.) Я вышла с огнём. Она говорит: «привёл ваш человек, хотел бельё отдать». Я говорю: «вон, и благодари, что я тебя в часть не посылаю, и чтоб твоего духу тут никогда не было!» Она что-то стала кричать, но её выпроводили. Сергея тут не было. А перед этим он шёл, было, наверх, да во весь рост так и хлопнулся.

Наказанье с этими людьми. Скажи его жене, а то с ним ещё что-нибудь случится. А нам с таким даже жутко, не говоря о том, что неприлично. Дуничка всё кричала: «в графском доме, и барышни, и я сама не в себе!».... Очень жаль бедную Аришу <жену Арбузова. – *Р. А.*>, что она с ним будет делать.

У нас всё по-старому; Таня никуда не ездила, по причине нездоровья; я ездила в банк и к Лизе Оболенской. Маша и Лёля ездили вечером к Толстым, там танцкласс. Серёжи ещё нет.

Затем прощай, уж поздно, твоё письмецо холодно, но всё-таки пиши всякий день.

Соня» *(ПСТ. С. 239)*.

На очереди у нас традиционные для переписки Толстых встречные письма – написанные в один день, 12 ноября. Толстой в этот день ответил на только что приведённое нами письмо жены, последняя же – на его письмо от 10 ноября.

Сперва слово – Софье Андреевне.

«12 ноября. Суббота.

Очень жаль, что тебе всё не по себе, милый Лёвочка. Как будто напрасно поехал и напрасно живёшь в Ясной. Может быть для кого-нибудь там понадобишься, и то хорошо. Вот я бы и рада — кого полечила, да делать-то тут в Москве нечего. Я рада, что выздоровел тот мужик с ранами на ногах — 3 года не ходил (из Рвов, верно), и я очень о нём старалась; иногда, бывало, не в духе, так кое-как отнесёшься к больному, а иногда так всё ясно станет и так возьмёшься горячо, и выйдет так точно. Сегодня мне тоже не по себе, спина болит ужасно, ночь провела тревожную и лихорадочную, просыпалась вся в поту, и думая, что жарко, посмотрела, сколько градусов, было только 13-ть. Видела во сне, что два зуба выпали, и что же — узнала и очень поразилась смертью поручицы…

[…] Получила я нынче письмо от Архангельского, продал 57 быков по 59 рублей за штуку, и посылает через Государственный банк 4.000 р<ублей> с<еребром> на моё имя. Теперь пошлю деньги в Тулу и куплю рояль, а то очень уж дети пристают.

Нынче был чудный, морозный день, такой, в какие мы, бывало, на коньках по всему пруду катаемся. И так как я особенная мастерица грустить, то я опять до слёз грустила о том, что прошло, чем, бывало, тяготилась, и что теперь стало мило и дорого. А о себе думала, что если я прежде была не хороша, то какая же я теперь мерзость! И что если ты прежде был хорош, то на сколько же ты теперь лучше!

<Дочь> Таня просит о ней что-нибудь написать, — а мне нечего писать хорошего. Ничего не делает, в школу не ездила, собирается с азартом на завтрашний, студенческий концерт, — готовит цветы и перчатки и меня просит ехать, что мне очень тяжело. Здоровье её тоже не ладно. Дела её продолжались всего один день, и это после почти семи недель. Андрюша тоже хилеет, бледен и слаб, и всё понос. Остальные ничего; Алёша такой весёлый, что весь дом забавляет.

«Une Vie» <«Жизнь» Мопассана> читает madame Seuron, а я всё читаю Dumas fils <Дюма-сына>, но мне его рассуждения о Фаусте не очень нравятся, никак не уловишь его точки зрения. […]

<Лакей> Сергей, не переставая, пьёт, всё просится в Ясную, но я боюсь его пустить, на первой же станции ссадят. Если б я не думала, что <жена его> Ариша приедет, я бы его отправила, и не знаю, что и делать! Про него ещё подлости открылись, надо его будет отпустить, хотя и привычный он.

Пишу всякий день аккуратно, и всякий день получаю твоё письмо. Когда ты думаешь вернуться? А теперь прощай, и то, какие мы длинные письма пишем друг другу, несмотря на то, что всякий день.

С<оня>.

Перечла сейчас письмо, оно так и есть совсем пустое, без содержания» *(ПСТ. С. 240 - 241)*.

Письмо, как видим, *внешне* спокойное – но содержащее в себе неловко прикрытый заряд насторожённости, неприязни, готовности противостоять… «Продам *твоих* быков – куплю *своим* детям рояль» — эта частнохозяйственная установка как нельзя лучше выражает и *фундаментальную установку* жены Толстого на неприятие, на сопротивление «новому» вероисповеданию мужа. В немалой степени эта фундаментальная установка выразила себя в записи мемуаров Софьи Андреевны «Моя жизнь», посвящённой этим дням:

«Эта тяжеловесная работа религиозно-философская, это отрицание всего на свете, и прежде всего Церкви, несомненно давалось ему тяжело. А жизнь наша шла в разлад с его писаньями и проповедью, и это тоже несомненно мучило его. Я это всё чувствовала и потому тоже была *несчастлива…*» *(МЖ – 1. С. 427)*.

Но тут же, повторив старую чужую, публицистско-журналистскую ложь об “отрицании” её мужем “всего на свете”, «несчастненькая» Sophie переходит в открытую атаку, борьбу за свой хороший имидж в глазах читателей будущих поколений:

«Конечно, если бы всё было заодно, дружно и единомысленно, то как же не нужен бы был умный, пожилой и высоконравственной жизни отец. Но он *не хотел* быть нужен… Как исключительный человек, художник, мыслитель — он был прав. Но как отец — вина его перед детьми и передо мной, оставшейся беспомощной, очень велика» *(Там же. С. 427 - 428)*.

И это пишет та самая «брошенная», «беспомощная», которая в 1860-70-х гг. воспитывала старших детей в условиях и суевериях барских и городских роскоши и разврата – не встречая в те годы никакого идейно-мотивированного сопротивления мужа! Безалаберное поведение сына Ильи и светски-ветреное дочери Татьяны – как раз результаты реализованной с её участием и благословением воспитательной стратегии…

Зато младших детей она буквально *отманивала* от отца, от его влияния – *пользуясь* его сосредоточенностью на собственных мыслях, повседневной занятостью общения с Высшим Сущим. Пускай «как отец» он перед ней за эту рассеянность виноват, и даже *очень великой* виной… Но какова *её* вина, что, причисляя себя к христианской религии, она не передала детям тех духовных сокровищ, которыми лишь к середине 1880-х сполна завладел её прежде безверный и многогрешный муж? Не окормляла словом Божьей Истины и его самого?

Вне сомнения, в обстоятельствах несопряжения индивидуального пути каждого из супругов к Богу и Христу с внешними условиями исполнения необходимых и срочных задач семейного воспитания, винить запутанно и многосложно, с тех или иных частных позиций, можно бы было *обоих* – то есть, по существу, ни один из супругов Толстых *не виноват*. Софьи Андреевны вина могла бы быть, напрмер, в том, что она *настояла* на том, чтобы младшие дети были отъединены внешними суетой и шумом от духовной жизни отца и были воспитаны так же, как прежде были воспитаны старшие. В этом она сознательно противостояла супругу – и как христианину, и как отцу. Ею в 1-й половине 1880-х созданы были условия, в которых Лев Николаевич ***не*** «не хотел», ***а*** именно ***не мог*** быть нужен, востребован как воспитатель. «Ахиллесова пята», слабость его в эти годы — собственное его перевоспитание: тот отказ от прежде несомненных мировоззренческих установок, который хорошо им описан в книгах «Исповедь» и «В чём моя вера?»

Он сам в 1878-м только родился для Бога, для жизни в Боге — какой же может быть семейно-воспитательный спрос с пятилетнего Львёнка? Это то матовое, но чистое стекло, через которое светит вам Вышний свет. Живите светом, сколько его есть, не пеняя на несовершенства *чистого* от городской пыли яснополянского стёклышка.

Не весьма честно со стороны Софьи Андреевны и пенять на религиозный труд Толстого, его «тяжеловесность» — в связи с жалобами мужа на его самочувствие и настроение. Во-первых, такие жалобы мы уже помним по письмам первых дней его прежних поездок –

например, на лечение кумысом, в связи с отдыхом от *художественных* писаний. Это свидетельствует, скорее, в пользу Толстого: уехал он от семьи всего на несколько дней, сосредоточиться на работе, но – столь же нездоровым, каким прежде уезжал надолго лечиться… Строго говоря, ему нужней была бы длительная поездка на хороший иностранный курорт. Но он привык по-мужски, по-Львиному, молча, превращать свою жизнь в тихую, непризнанную жертву творчеству и Богу – как и Софья Андреевна, ропща, бунтуя или плачась, а исполнила-таки своё, назначенное свыше, поприще служения и жертвы в отношении семьи, в отношении гения-мужа.

По крайней мере, вялость его писем искупалась *искренностью* — и в этом он не был равен с женой, что справедливо и проницательно подмечает во встречном, 12 ноября, письме. Приводим его текст:

«Не пеняй, душа моя, что мои письма бесцветны. Я все три дня в упадке духа. Печень что-то. Я не нездоров и не уныл, но сплю. Не могу работать. И так я был вял, что два дня даже и ходил мало. Сидел дома и читал. Нынче получил твоё письмо о <лакее> Сергее <Арбузове>. Ужасно жалко. Ариша же передаст тебе это письмо.

Что ты мне ничего не пишешь о себе, о своём здоровьи. <Доктора> Чиркова предписанья очень плохи. Не знаю, кто меньше полезны и больше шарлатаны: попы или доктора. Оба лучше.

Попробовал заниматься, — не пошло. Оседлал лошадь и поехал в Бабурино к Головину сговориться охотиться. Дома нет. День прекрасный, и я, вернувшись, пошёл с ружьём по реке и кругом заказа. Ничего не видал; но 3-го дня можно было по следу находить. А я спал.

Сколько тебе прислали <из типографии> листиков 2 или 3? Пришли их, пожалуйста, на имя Урусова. <Л. Д. Урусов занимался переводом «В чём моя вера?» на французский язык. – *Р. А.*>

Придя домой, я переселялся в мальчикову комнату. Очень хорошо, тепло, 15°. И это мне очень приятно. Нынче я много делал движенья, и тепло. Надеюсь спать хорошо. Читаю, говорю с Агафьей Михайловной — и вся.

Думаю о том впечатленьи, которое произведёт моя книга, стараюсь не думать о том месте, которое надо переделать, потому что чувствую, что дурно обдумаю; стараюсь тоже не думать о других планах работы, потому что надо кончить. Думаю о тебе с нежностью и беспокойством; думаю о старших детях — не нужен ли я кому-нибудь бы был. И это немножко беспокоит.

Видишь, хоть кратко, но я всего себя представляю тебе; а ты так сдержанно пишешь, даже о своём нравственном и физическом состоянии ни слова.

Завтра приедет, вероятно, Урусов и, может быть, Давыдов. Я не дал знать ему. — Я забыл, где найти твой разновес <гирьки для кухонных весов. – *Р. А.*>. Напиши. Мало пришлют, но жалуются, что мало дают.

Прощай, душенька, целую тебя и детей. Денег у Митрофана не предвидится. Впрочем, я ещё толком с ним не говорил. Я постараюсь продать лошадей. Четырёх сейчас надо продать, рублей на 400. Да Митрофан говорит, что теперь продешевишь» *(83, 408 - 409)*.

Ответ С. А. Толстой на это и следующее за ним послания мужа был писан ею 14 ноября. Это *последнее её письмо мужу в 1883 году* (во всяком случае, из тех, что опубликованы, а не скрываются стыдливо потомками Толстых). Хронологически ему предшествует ещё одно письмо Льва Николаевича, от 13 ноября, а логически — и письмо его же от 14-го, так как оно не служит ответом ни на одно из прежних писем жены. Текст обоих мы и приводим ниже, по порядку.

«Воскресенье 10-й час.

У меня тепло, уютно, тихо, прекрасно; но, должно быть, я переработал. Нет настоящих ни сна, ни аппетита, и оттого нет работы. Зато отдых. Нынче и не садился за письменный стол, а поехал верхом на <коне> Сафедине навстречу Урусову. А если не встречу, то заеду в булочную, где я покупал в четверг хлебы, забыл краденые у Серёжи-сына перчатки. Так и вышло. Сафедин, нелюбимый вами, — прелесть — покойный, добрый, смирный и сильный. Я скоро ехал, приехал в Тулу, — нашёл перчатки, заехал на минуту к Урусову и вернулся домой — всё довольно скоро, и он, как ни в чём не бывало.

Нынче <жена лакея Арбузова> Ариша собралась ехать, но получила телеграмму. Сергея же ещё нет. Вернувшись домой — темно, застал у себя нашего нового священника — он приехал знакомиться. Я с ним официально поговорил и остался один обедать огромнейший обед, приготовленный на Урусова (он не приехал, потому что кашляет), и как на беду, ничего почти не ел. Скучно одному только есть.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Судя по ответному, 14 ноября, письму С. А. Толстой, последнюю фразу в письме мужа она поняла так, что *кушать* ему привычнее с компанией, но *жить* он предпочитает один, без неё, без семьи… Обратим внимание, что такого «побочного» смысла *никак* из этой

фразы вывести нельзя. Синтаксическое (смысловое) ударение здесь нужно ставить не на слове «есть», а на слове «одному» в составе конструкции «одному только» — т. е. Л.Н. Толстому «скучно есть (обедать) без гостя, которого он к обеду ждал». – *Р. А.*]

Читаю Stendhal Rouge et Noir <Стендаля «Красное и чёрное»>. Лет 40 тому назад я читал это, и ничего не помню, кроме моего отношения к автору — симпатия за смелость, родственность, но неудовлетворённость. И странно: то же самое чувство теперь, но с ясным сознанием, отчего и почему.

[**КОММЕНТАРИЙ**.
Стендаль был дорог и близок Толстому с юности. Огромнейшее его влияние на художественное творчество Льва Николаевича — несомненно. Более того, с юных лет Толстой при общении с обожаемыми им двумя романами Стендаля – «Красное и чёрное» и «Пармская обитель» — неизменно ощущал в себе приток жизненных сил и вдохновения для работы. По влиянию на Толстого тексты Стендаля можно сопоставить с любимейшей музыкой Льва Николаевича. Он становился самим собой, возрождался к творчеству… То, на что, казалось, нужен месяц тяжёлого труда – вдруг исполнялось за считанные дни или даже часы! Это и нужно было тогда, в ноябре 1883-го, одинокому в своём духовном поиске Толстому, снова заболевшему, изнурённому семейными заботами и Москвой.]

Порошит снежок, но едва ли разойдётся. Как бы хотелось заснуть хорошо и быть свежим к работе. Мне всего часа 4 хорошей работы нужно, чтобы сделать, что нужно.
Письмо твоё коротенькое очень. Если не скучно, пиши побольше. Мне всё интересно. Целую тебя и детей» *(83, 409 – 410)*.

Софья Андреевна исполнила заключительную просьбу мужа и отписала ему 14-го достаточно длинное ответное послание, которое мы приведём в соответствующем месте. Сейчас же – письмо Л.Н. Толстого следующего дня, то есть тоже 14 ноября:

«Не получил нынче письма. Верно ты хотела с Сергеем послать. Сергей приехал, но я его не видал. Он стыдится верно. Нынче утром я было встал рано для пороши, но пороши не было, — снег шёл. Головин приезжал нынче утром. Привёз Ильи ружьё — починенное. Собака Илье, которую подарил <сосед-помещик, страстный охотник Александр> Офросимов, — у Головина. Он приглашает охотиться, но

едва ли я успею. Завтра поеду на порошу, — если будет. А послезавтра, середа, — будет неделя, что я уехал. И я приеду или в середу или в четверг. — Работа нейдёт. Нынче встал рано и хочу раньше лечь. Получил из Тулы — письмо от прочитавшего статью в «Revue Nouvelle» и обращающего меня не без ругательств «православного мірянина» и твоё письмо, возвратившееся из Самары <Летнее письмо Софьи Андреевны, не заставшее адресата. – *Р. А.*>. Так что я нынче получил от тебя письмо. Надеюсь завтра получить хорошее, длинное письмо. Нынче, чтобы себя уходить, целый день ходил с ружьём тихим шагом. Очень приятно. Дома Агафья Михайловна хорошо рассказывала про старину, — про меня то, что я забыл, какой я был противный барчук, — и книги.

До свиданья. Целую тебя и детей. — Хорошо ли у вас?» *(83, 411).*

Следующее письмо Л. Н. Толстого, от 15 ноября, *его последнее* в этой поездке, стало ответом на письма жены от 12 и 14 ноября. Второе из них приводим почти в полном виде:

«Понедельник 14-го вечер.

Сейчас только кончила поправку ещё одного твоего свёрстанного листа. Нашла после Ивана Михайлыча ещё несколько опечаток и очень смутилась фразою: *«Спаситель должен быть точно спаситель, т. е. точно Спаситель»*. Зачем это вторичное повторение *точно Спаситель*. Как-то это совсем без нужды и путает. Посоветовалась с Иваном Михайлычем и с Серёжей, и решили оставить. Если изменить — то телеграфируй потолковее, как. <«Спаситель должен … точно *спасать*» — так на самом деле было у Толстого. Ошибка наборщиков была позднее устранена автором. – *Р. А.*> А то ты иногда меня в такой тупик ставишь. Ведь я листков на имя Урусова так и не послала. Перечла твоё вчерашнее письмо и вижу написано: «Сколько тебе прислано листков — два или три. Пришли их»…, а я их три или четыре дня тому назад подписала к печати и уже получила сегодня третий лист и тоже отсылаю, исправив, завтра утром в типографию. Я думала, было, послать старые листки, с которых печатали, но тогда так и надо было написать мне, а то я боюсь напутать.

Ужасно жаль, что ты всё не размялся на работу. Может быть тебя пороша завтрашняя оживит; снегу насыпало порядочно и тепло.

Сегодня в письме твоём меня очень больно кольнула фраза: «только есть одному скучно» … Досказываю сама: «а жить одному гораздо лучше».

Хоть часто я это про тебя думаю, но иногда, когда ты нежен и заботлив, я опять себе делаю иллюзии и думаю, что без нас тебе было бы грустно. Конечно, всё реже и реже будешь создавать себе эти иллюзии, и вместо них занимать жизнь чем-нибудь другим. А мне ни вместе, ни одной, ни с детьми — ни с чем совсем уж жить не хочется, и всё чаще и чаще, и страшнее приходит в голову мысль, — неужели *надо* жить и нельзя иначе?

[КОММЕНТАРИЙ.

Один из примеров того, как Софья Андреевна создала целую депрессивно-негативистскую теорию, базирующуюся на неверной трактовке одной из фраз мужа. Напомним, что в оригинале Толстой:

«…остался один обедать огромнейший обед, приготовленный на Урусова (он не приехал, потому что кашляет) и, как на беду, ничего почти не ел. Скучно одному только есть».

То есть речь о том, что есть веселее бы было в компании друга семьи, а не о том, что всё веселее одному, кроме еды. – *Р. А.* **]**

Моё письмо должно бы было быть как моя теперешняя жизнь: спокойно, добросовестно, с старанием, чтоб *долг* свой исполнять и заглушать всё, что безумно. Но мой долг тебя не расстраивать — может быть у тебя, наконец, хороший, рабочий день, а я, как раз, тебя расстроиваю. Но это пройдёт, когда я поздоровею.

Вчера, перед самым моим отъездом в концерт, входит Илья, зубы стучат, прыгает на одной ноге и бледный, говорит: «ужасно нога болит и знобит, страсть!»

Вижу, лихорадка, взял меня ужас, что два ушиба было в один день, что-нибудь опасно; еду в концерт сама не своя. Там 6800 [человек] народа. Жара, теснота, давка — ну просто ужас! Под впечатлением ли музыки или жары, но чувствую спазма к горлу подступает, такое об Илье взяло беспокойство, что я после первого отделения сейчас же пошла к графу Адаму Васильевичу <Олсуфьеву> и спрашиваю какой-нибудь адрес хирурга. Он говорит: «все здесь, я сейчас вам найду нашего знакомого». Поднялась тревога: […] все начали искать хирургов. Одного нашли. Я говорю: «можете после концерта ехать?» — Он согласился. Не дождавшись конца, мы уехали. У Ильи был маленький жар, но прошёл. Доктор нашёл, что ушибы не опасны и что лихорадочное состояние независимо. Сегодня Илья в туфлях ходит, и ему гораздо лучше.

Но милые эти графы Олсуфьевы все (кроме Анны Михайловны, она у Троицы) приехали сегодня с участием и добротой ко мне и раз-

говаривали долго, и мальчики тоже были и Лиза. Молодые очень довольны, что собрали 9000 р. с. для бедных студентов; они были распорядители, и счастливые, блестящие летали по всему собранию. — Таня завтра едет в школу на экзамен <в Училище живописи, ваяния и зодчества. – *Р. А.*>. Лечиться она ещё не решилась начинать. Я ничего не советую, молчу и предоставляю ей самой делать, как она хочет. Серёжа тоже был в концерте, потом вечер провёл у Олсуфьевых и вернулся ужасно поздно. Я не спала и нервно ждала его звонка, которого не слыхала, и продолжала всю ночь волноваться.

Маше доктор дал лекарства от глистов. Она его приняла, из неё идут глисты бесконечные; она очень что-то вяла, уныла и бледна.

Андрюше лучше; англичанка <miss Lake> ужасно непривычная, и плохо помогает; авось привыкнет. Лёля мечтает о коньках в саду, поливал нынче всё утро с Алкидом и солдатом; но насыпал снег и всё пропало.

Поступил новый человек, молодой, женатый, очень приличный. Не пьёт. Корней эти дни работал ужасно усердно; с нами в концерт, и за мальчиками, и в буфет, и всё так добродушно. Повар тоже тихий и очень хороший. С этой стороны устроилась, слава Богу. Madame Seuron также ровна и приятна. Кончила вчера [читать] о Фаусте и осталась очень довольна недовольством Дюма на Гёте за Гётевское отсутствие всякой веры. Он прямо говорит, что Гёте с своим талантом оказался как бы несостоятельным вследствие того, что он ни во что не верил. И это так мне стало ясно; это правда.

Отчего ты не пишешь, когда думаешь приехать? Или ещё сам не решил? Ты просил писем подлиннее, кажется, это — длинно, но не хорошо. Право, всё написала не то, что *рассудила* написать, а писала, не думая, точно кто-нибудь другой моей рукой водил. Прощай, милый Лёвочка, живи, если тебе хорошо, а мне хорошо вряд ли когда опять будет.

Соня» *(ПСТ. С. 242 - 244).*

Письмо, как видим, начато лучше, нежели продолжено и окончено. Толстой успел получить его на следующий день, и отвечал следующим образом:

«Нынче в первый раз спал по-человечески, и проснулся рано. Снег шёл всё утро, и надежды не было на хорошую порошу, но я всё-таки поехал. Получил утром твои два — за раз, — оба хорошие письма и поехал с более спокойным духом. Пороши не было, но я всё-таки нашёл 3-х зайцев; но или от того, что бойко, или от того, что не за-

дача, ни одного не затравил. Один запищал у молодого Спорта в зубах; но крик этот так верно удивил его, что он его выпустил, и он ушёл. Но приятно устал, проездив от 8 до 5 часов. Опять обедал один, опять Агафья Михайловна, toujours avec un nouveau plaisir [всегда с новым удовольствием]. Был ещё Сергей <Арбузов>. Он очень жалок и смешон, как смешны бывают сумашедшие. Я боюсь, что он не справится. Я советовал ему поместиться в Туле в лакеи и порекомендую его к знакомым.

В глазах снег, следы чуть видные, в ушах голос Агафьи Михайловны, в голове пустота, в сердце бы полное спокойствие, если б не беспокойство о вас.

Известие о твоём нездоровьи — подробности я очень рад был узнать. Если это так, то ты должна быть не в нормальном состоянии. Я знаю, — слыхал, что это ужасно действует на душу. На счастье, что ты знаешь это. Душенька, если бы ты могла привыкнуть к той мысли, к которой мы все волей-неволей привыкнем, что мы физически никогда не в нашей власти, но зато нравственно всегда полная свобода и власть. Как легче жить, когда не то что поймёшь это, — ты понимаешь, — но когда поверишь и на деле живёшь так.

Завтра будет настоящая пороша, я опять поеду, и послезавтра буду с тобой, если жив буду. […]

Обнимаю тебя, поцелуй детей. Как бы хорошо было коли бы ты перестала болеть!

11-й час. Ложусь спать» *(83, 412)*.

* * * * *

Этим письмом Л. Н. Толстого завершается не только последний «осенний» Фрагмент переписки Л. Н. Толстого и С. А. Толстой 1883 г., но и весь Девятнадцатый Эпизод нашей книги. Мы видим, что отношения супругов, как они выразились в переписке их, стабилизировались летом этого года на некоей кризисной стадии – с которой их не раз стремилась «столкнуть» Софья Андреевна, так или иначе провоцируя конфликтные ситуации в отношениях с мужем. Одновременно, как видим, она продолжает расширять и свой литературный кругозор, и круг полезных умений и навыков – вполне сознательно готовя себя к роли издательницы сочинений мужа и наблюдательницы за пренебрегаемыми им авторскими правами. Сохранены мечты и о иных, не столь определённых, но желанных и творческих поприщах – одна из idee fixe Софьи Андреевны, ставшая источником её бесконечных, многолетних недовольств и претензий в отношении мужа и иных лиц.

18-го ноября Л.Н. Толстой воротился из Ясной Поляны в Москву. По дороге с вокзала с ним случилось неприятное, но удивительное и знаковое событие:

«…Когда Лев Николаевич, возвращаясь в Москву, ехал в своих санях и на своей лошади с вокзала, у него из саней выскочил чемодан и бесследно пропал. В чемодане были его рукописи и очень редкие и хорошие книги, что очень огорчило Льва Николаевича. Искали через полицию, но всё напрасно» *(МЖ – 1. С. 429)*.

Кто помнит биографию Стендаля — конечно, вспомнит утрату им чемодана с вещами после Бородинского сражения, при переправе через Березину… Но только Стендаль решительно бежал из восхитившей его, вскружившей голову, но и чуждой ему России к себе, в родные края. К своей истинной жизни. Толстой же… не бежал, а возвращался в Москву, туда, откуда впоследствии не раз будет порываться бежать к *своей* жизни истинной. От балов и светских «выездов», которые семейство начало как раз в эти дни. От «злодеев, ограбивших народ». От народа — его «царства тьмы»…

Но, самым именем своим неотделимому уже в те годы от России – бежать из неё Толстому было невозможно и некуда.

КОНЕЦ ЭПИЗОДА ДЕВЯТНАДЦАТОГО

С. А. Толстая. 1885 г.

Эпизод Двадцатый
ОН В БЕРЛОГЕ, ОНА В БАРДАКЕ
(27 января – 7 февраля 1884 г.)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК

Приступая к аналитической презентации Переписки супругов Л. Н. и С. А. Толстых из многотрудного в их жизни 1884 года, мы встаём перед своеобразной дилеммой. Предыдущие Эпизоды нашей книги мы снабжали достаточно подробными общими предваряющими очерками о жизненной «канве» обоих адресатов Переписки. 1884-й год – пожалуй, первый за представленные выше два её десятилетия, в котором как внешних событий, так и семейных коллизий в жизни супругов было столько, что подробное их презентование могло бы превратить наш очерк в небольшую самостоятельную монографию. Этого, однако, не нужно ни для малого числом, но многознающего и просвещённого читателя нашей книги, ни для темы её. А посему – остановимся сугубо схематически на *трёх* главнейших, повлиявших на жизнь супругов и содержание их переписки, событиях 1884 года:

1) Окончание Л.Н. Толстым, цензурный запрет и последующее нелегальное распространение сочинения «В чём моя вера?». Начало трактата «Так что же нам делать?» и повести «Смерть Ивана Ильича».
2) Новый этап обособления Льва Николаевича от жизни чуждой ему религиозным жизнепониманием семьи. Городское «народничество». Конфликты с женой и детьми. Первые попытки ухода из дома.
3) Знакомство с В.Г. Чертковым и переписка с ним. Начало народно-книгоиздательского проекта.

На предшествующих страницах книги мы постарались показать, что многие из совершившихся драматических событий были только последствием *городского* выбора Софьи Андреевны: навязанного ею, хоть и достаточно безропотно принятого мужем, переезда в Москву. В 1884-м она продолжала сама тяготиться последствиями этого переезда, и в то же время — искать и для себя как оправданий, так и новых смыслов и содержания жизни, всё более неотделимой от творческих и общественных проектов мужа. Ей ещё предстоит только ощутить В. Г. Черткова *недобрым конкурентом* в делах распоряже-

ния творческим наследием Льва Николаевича, книгоиздании и прочем. В 1884-м же аристократический молодой человек даже понравился ей — в сравнении с неприятными «тёмными» (первыми «толстовцами»), регулярными гостями в *её* (по её восприятию и по существу) доме. В её глазах они были «преимущественно психопаты и ненормальные люди» *(МЖ – 1. С. 431)*. Злой иронией судьбы собственная её, Софьи Андреевны, душевная болезнь будет отчасти спровоцирована присутствием в жизни её семьи именно Черткова, которого она так выгодно выделила в своих глазах из толпы «тёмных».

Толстому о Черткове рассказал уже упоминавшийся нами выше знакомый его из Воронежской губернии (где располагалось родовое имение Чертковых) Г. А. Русанов. *Очень* заинтересовал… Ещё более обрадовался и заинтересовался Толстым сам Чертков, летом 1883 года общавшийся с другим, и давним, знакомым Толстого — прокурором Тульского окружного суда Н. В. Давыдовым. В роковой для Толстого и его семьи день 25 октября 1883 года Толстой принял молодого аристократа в своём московском доме… и, разумеется, покорил тем, что сам Толстой позднее назвал «одноцентренностью» духовных исканий и дискурсов обоих.

И Чертков стал, без сомнения сам не желая того, делаться конкурентом Софьи Андреевны уже с конца 1883-го: с 5 декабря, когда Толстой посылает первое из последующего многолетнего цикла своих писем Черткову. Уже там, хотя в основном речь шла о неких, присланных Чертковым, английских книгах, Толстой интимно признаётся, что, читая рекомендованных новым знакомцем авторов, он «следил за умственной и душевной работой» Владимира Григорьевича, читавшего их до Толстого и имевшего уже тогда своеобразную привычку обильно отчёркивать на страницах значимые слова и мысли и снабжать на полях своими пометками… Уже начиная с 4-го письма (от 17 февраля) в первой половине 1884 года переписка Толстого с Чертковым принимает тот *интимно-доверительный* характер, который, как мы показали в предшествующих Эпизодах нашей аналитической презентации, всё более и более утрачивала и к 1884 году вполне утратила переписка Льва Николаевича с женой.

Чертков делает первые шаги – и, благодаря тяжёлому душевному состоянию Толстого в хмурой, холодной Москве осени 1883 и зимы 1883-84 гг., сразу занимает *уникальное* место *званого* и желанного (Толстым) *третьего* в прежним эпистолярном диалоге супругов.

Наконец, отметим, что диалог этот в 1884 году сопровождался интереснейшим *монологом*: записи Дневника Льва Николаевича в этом году чрезвычайно подробны и могут служить нам верными (в

отличие от не всегда правдивых мемуаров Софьи Андреевны) спутниками в нашей работе.

Письма Толстого В. Г. Черткову с жалобами на жену, детей и иные семейные обстоятельства были настолько искренны и интимны, что о нескольких из них он просил нового друга – уничтожить их сразу после прочтения.

К несчастью, Софья Андреевна не могла знать характера и содержания этой интимно-личной переписки, и не только не повлияла корректирующее на эту безмерную близость, но в то время, как с сожалением вспоминала в 1907 г. в мемуарах, даже провоцировала в своих письмах к мужу дальнейший с ним раскол:

«…Одобрения или неодобрения <мужем> моих писем делали то, что я уже не была до конца искренна в своих письмах и даже иногда нарочно писала с каким-то задором» *(МЖ – 1. С. 435)*.

Расколу способствовало и фиаско Сони в её ещё неопытном деле помощницы Льва Николаевича в издании книг. Христианское слово «В чём моя вера?», несмотря на все личные хлопоты автора и его супруги, было наглухо запрещено к публикованию в России «духовной» цензурой. Но слухи о скандальной книге «графа Толстого» распространились среди элиты обеих столиц, и к издателям Кушнерёву и Маракуеву сыпались просьбы о выкупе напечатанных и попавших под запрет 50-ти экземпляров. В конце концов, более «идейный» (или жадный?) Маракуев лично “раскидал” часть тиража по заказчикам – оставив возмущённой Софье Андреевне только два обычных «авторских» экземпляра. Так же нелегально, с огромным “наваром” для издателя, разошёлся и остальной тираж – приговорённый официально к сожжению. Ни одна книжка в имперский костёр не попала! Зато быстро появились нелегальные, гектографиированные или переписанные от руки (!) экземпляры. Лев Николаевич был умилённо рад, что его духовное сочинение получило даже лучшее распространение, нежели то, какое могла дать обычная продажа в городских книжных лавках. Софья Андреевна же была в бессильной ярости от того, что «осталась в убытке за издание» *(Там же. С. 432)*.

Наконец, главным средостением в отношениях мужа и жены Толстых были дети и образ жизни семьи.

Как мы помним, уже в 1882-м, а особенно с начала 1883 года семья Льва Николаевича жила активнейшей т. н. «светской жизнью». Толстой не выражал в эти два года никаких резких протестов, давая им время одуматься самим… И влияние его нравственное было, несомненно: в его присутствии в московском доме всё было тише и серьёзнее – «скучно» для детей, уверяет читателя Толстая-мемуаристка, оправдывая их в том, что они сбегали от неё и отца из дома

ради «нежелательных» и в её глазах развлечений. Например, проигрывали в гостях в карты немалые суммы денег *(Там же. С. 433)*. И тут виноватым у неё оказался, конечно же, муж, якобы совершенно «забросивший» воспитание…

«Пушкинское», насмешливо-неприязненное отношение к великосветскому обществу сложилось у Толстого ещё в молодости. На нём в его восприятии как бы легли две печати: *глупости* и *безнравственности*. В глазах же Толстого-христианина 1880-х к ним добавилась и печать отвратительной *роскоши*. В то время как Толстой зимой 1882-83 гг. утверждал в книге «В чём моя вера?» идеал простой, даже бедной трудовой жизни — рядом с ним члены его семейства закатывали вечера со жраньём, выезжали на балы до шести утра, стоившие каждый больше, чем всё состояние даже зажиточного крестьянина и пачкали жраньём, заблёвывали и портили спьяну на себе одежды, равные по стоимости табуну хороших лошадей.

В один из зимних вечеров января уже 1885 года, когда он, в радости вдохновения Свыше, погрузился в работу над новым святым христианским словом, будущим трактатом «Так что же нам делать?», а семейство укатило за очередной порцией «радостей жизни» — Толстой излил своё отчаяние в рукописи своей книги:

«В ту ночь, в которую я пишу это, мои домашние уехали на бал. Бал, не говоря уже о той безумной трате людских сил на несколько часов мнимого удовольствия, бал сам по себе, по своему смыслу, есть одно из самых безнравственных явлений нашей жизни. Я считаю его хуже увеселений непотребных домов, и потому, не будучи в состоянии внушить своим домашним мои взгляды на бал, я ухожу из дома, чтобы не видеть их в их развратных одеждах».

В окончательном варианте трактата – христианское обличение касается уже не одних близких родственников, а всей городской зажиточной и развлекающейся по притонам жранья и танцев дармоедской сволочи:

«Люди эти с самым спокойным духом и уверенностью, что они ничего дурного не делают, но что-то очень хорошее, веселятся на бале. Веселятся! Веселятся от 11 до 6 часов утра, в самую глухую ночь, в то время, как с пустыми желудками валяются люди по ночлежным домам и некоторые умирают…

Веселье в том, что женщины и девушки, оголив груди и наложив накладные зады, приводят себя в такое неприличное состояние, в котором неиспорченная девушка или женщина ни за что в мире не захочет показаться мужчине; и в этом полуобнажённом состоянии, с выставленными голыми грудями, оголенными до плеч руками, с накладными задами и обтянутыми ляжками, при самом ярком

свете, женщины и девушки, первая добродетель которых всегда была стыдливость, являются среди чужих мужчин, в тоже неприлично обтянутых одеждах, и с ними под звуки одурманивающей музыки обнимаются и кружатся. Старые женщины, часто так же оголенные, как и молодые, сидят, глядят и едят и пьют то, что вкусно; мужчины старые делают то же. Не мудрено, что это делается ночью, тогда, когда весь народ спит, чтобы никто не видел этого. Но это делается не для того, чтобы скрыть; им кажется, что и скрывать нечего, что это очень хорошо, что они этим весельем, в котором губится труд мучительный тысяч людей, не только никого не обижают, но этим самым они кормят бедных людей» *(25, 303 – 304, 627)*.

Определённо, с *этим* жизнепониманием у молодящейся супруги и бесящихся с роскоши детей Льва Николаевича *не могло* быть согласия! И оно так и не наступило — даже до того 1907 года, в котором Софья Андреевна описывала в мемуарах события 1884-го, стремясь всюду оправдать себя, детей и обвинить, или хоть выставить в нелепом положении, великого своего мужа. При этом она признаётся: «Остановить этого потока молодой жизни я не могла, да и не очень-то хотела, хотя мне, кроме утомления, ничего от неё не было» *(МЖ – 1. С. 438)*. Взамен «светского» беснования и трат, карточных проигрышей денег она, сама воспитанная в Москве на примерах такой же жизни, как честно и признавалась, *ничего* детям дать не могла *(Там же. С. 433)*.

Толстой же — давал и давал. Пытался… Он *словом* и *делом* пытался влиять на жену и сыновей. В феврале 1884 года он ищет, как прежде, физического труда с городской беднотой, при этом начав осваивать сапожное ремесло. Одновременно он изучает китайскую философию и обдумывает замысел просветительского народного книгоиздательства. В мае он пишет письмо младшему сыну Льву, в котором обличает его лукавство: прикрываясь и оправдываясь скептическим отношением отца к казённым учебным заведениям, тот совершенно забросил учёбу в гимназии – тратя время отнюдь не нравственным образом *(см. 63, 198 - 199)*.

Рубка дров, вынос ночной посудины без помощи слуг, сапоги и Конфуций, а особенно нравственно ощущаемая правота отца и мужа в каждом его слове увещевания – всё это безмерно злобило членов семьи Льва Николаевича, в особенности Софью Андреевну. Как и в прежние годы, она въедливо наблюдала поступки и настроения мужа — ища, к чему бы привязаться… Но Толстой хранил мучительные для неё молчание и сдержанность. В письме сестре Татьяне от 23 марта 1884 г. Софья Андреевна ностальгически вспоми-

нает, как прежде “успешно” провоцировала мужа сарказмом или попрёками, и как он наконец не выдерживал: «разражался громкими и отчаянными жалобами и неодобрением моей жизни и образа действий». Этой же зимой, в ответ на все наскоки Толстой, будто сам мудрый Конфуций, только «молчаливо, критически-сурово» смотрел ей прямо в глаза — и она испуганно отступала. Жить с мужем, как признаётся она в том же письме, ей приходилось теперь преимущественно *молча,* «как чужие, порядочные люди, которые живут в лучших, но совсем неоткровенных отношениях» *(Цит. по: МЖ – 1. С. 437).*

Разумеется, такая выдержка давалась Толстому нелегко. Поэтому, не дождавшись весны, уже 26 января он на короткое время едет из Москвы в обычный свой приют отдохновений и вдохновений — в милую, милую, милую Ясную Поляну. К этой поездке относится первый Эпизод переписки супругов 1884 года.

КОНЕЦ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ОЧЕРКА

Добравшись до Ясной Поляны, уже 27 января Толстой, по доброй традиции, успевает, в числе прочих неотложных дел, написать в первую очередь письмо к жене:

«Ехал очень приятно. Если бы только записать рассказ одной бедной женщины <в вагоне>, — была бы трогательная и высоконравственная история. Дом не топлен, и я остановился у <управляющего имением> Митрофана. Совестно его беспокоить — (он ушёл к Агафье Михайловне, но мне прекрасно. Я здоров. Нынче ездил к <соседу помещику Александру Николаевичу> Бибикову <в имение Телятинки> за хлебом, а потом ходил на лыжах. Не запомню так много снега. Сейчас еду сам в санках на Козловку <ж.д. станция Козлова За́сека, ближайшая к Ясной Поляне, где можно было отправить письмо. – *Р. А.*>. Дай Бог, чтобы вам было также хорошо, как мне. Целую тебя и детей» *(83, 414).*

И – вослед за первым – второе письмо, от 28 января, будто продолжающее нехитрый рассказ о поездке:

«Вчера читал поздно книгу Droz <«Печаль и улыбки» полузабытого нынче французского писателя Гюстава Дроза (1832 - 1895). – *Р. А.*>.

Скажи Серёже <брату>, что книга очень хорошая. Общий взгляд нехорош, молод, зелен, но много очень умного и хорошего. Нынче читал Шекспира «Кориолана» — прекрасный немецкий перевод, — читается очень легко, но — несомненная чепуха, которая может нравиться только актёрам.

Нынче нездоровится и не хочется на мороз. Должно быть, вчера слишком устал. Сейчас сидят гости: Агафья Михайловна, Дмитрий Фёдорович <Виноградов, переписчик> и Митрофан, и мешают мне писать, да и писать нечего. — В доме тепло, и завтра перейду, если не будет холодно и угарно. — Не бойся, я сам под старость невольно так себя берегу, что даже противно.

Как вы все живёте? Очень уж много вас, и на каждого много соблазнов. Целую тебя и детей» *(83, 414 - 415)*.

В письме Толстого от 28-го нет упоминаний о каких-то полученных им письмах от жены; есть сведения, что 27 и 28 января они Софьей Андреевной писались. В ответном письме Толстого, от 29 января, мы не находим никаких сведений об их содержании.

Таким образом первым доступным для нас посланием этих дней мужу от Софьи Андреевны оказывается письмо 29 января, являющееся ответом мужа на первое из его писем этой поездки – от 27 января. Приводим, с незначительным изъятием, текст ответа Софьи Андреевны.

«Воскресенье вечер.

Сейчас получила твоё письмо, милый Лёвочка, и очень грустно, что тебе нездоровится. Если так будет продолжаться, то лучше вернись; а то в ненормальной комнатной температуре, да при дурной пище вовсе расхвораешься. А погода чудная, здоровая, подбодряющая; сегодня выезжала, отвезла книгу княжне Урусовой <сестре кн. Л. Д. Урусова Варваре Дмитриевне. – *Р. А.*>, а оттуда поехала к Кушнерёву и Маракуеву за экземплярами. […]

Кушнерёва застала больного, в халате; он ужасно извинялся, но мне нужно было добиться экземпляров, и я его спросила. Он говорит — вот моя карточка, а спросите у Маракуева. Но вчера вечером я посылала к Маракуеву Серёжу; но Маракуев очень просто объявил, что так как все очень интересуются этим произведением, то он их все роздал для чтения и переписки. Я так рассердилась, что сегодня поехала сама, и говорю ему, что «экземпляры не ваши, а графа, и он вас не просил и не уполномочивал их раздавать. И допустите, что родные, близкие графа, если не больше, то по крайней мере имеют одинаковые права интересоваться его произведениями». Он обещал

мне привезть завтра два; но ты не сердись на меня, я ещё более удостоверилась, что он крайне наглый человек, и с ним надо быть осторожнее. (Неприятного между нами ничего не было.)

Маша всё в одном положении: жар 39 и 3 и горло очень красно и распухши. Но белого ничего нет и нарыва нет. Она лежит и ровно ничего не ест. У Тани болит живот, она не обедала, у ней *пришло*. Я её уговариваю не ехать сегодня на бал, но она непременно хочет; для меня же это сегодня горе ехать, и Машу оставить и самой уставать, и Таню везть в первый день её дел.

Маракуев сказал, что книгу твою новую цензура светская передала в цензуру духовную; что архимандрит <Амфилохий>, председатель цензурного комитета, её прочёл и сказал, что в этой книге столько высоких истин, что нельзя не признать их, и что он с своей стороны не видит причины не пропустить её. — Но я думаю, что Победоносцев с своей бестактностью и педантизмом опять запретит; пока она запечатана у Кушнерёва и решения никакого нет.

Илья и Лёля обедали у дяди Серёжи, а Серёжа дома, а теперь он едет в Петровское-Разумовское с гр. Олсуфьевыми, а Илья и Лёля будут дома.

За вороного дают 250 р. с., покупатель серьёзный; я нынче его видела. Телеграфируй скорей, отдавать ли и прибавь о здоровье своём в телеграмме. О нас не беспокойся, у меня энергии без тебя за двух, а если что плохо будет, я телеграфирую.

Целую тебя. С<оня>» *(ПСТ. С. 245 - 246)*.

Софья Андреевна потом ещё долго хлопотала за обречённую цензурному запрету книгу мужа. Уже занимаясь подготовкой к печати сочинений Льва Николаевича, она лично ходатайствовала в ноябре 1885 г. в Петербурге, пообщалась и с начальником Главного управления по делам печати, и с самим обер-прокурором Синода К. П. Победоносцевым. Последний в письме от 16 декабря посоветовал не надеяться на разрешение Московского духовного комитета. В данном случае это «частное мнение» влиятельнейшего чиновника от религии было равнозначно приговору. Его лишь подтвердило казённое уведомление от МДК за подписью протоиерея Платона Капустина, полученное С. А. Толстой 5 июля 1886 г.

Переписка супругов в эти дни просто на загляденье регулярны; он и она всемерно старались не нарушить уговора: писать друг дружке каждый день. Так что будет совершенно справедливой догадка нашего читателя в том, что сейчас должно последовать письмо Льва Николаевича – встречное, т.е. писанное в тот же день 29 января. Вот оно:

«Пишу раньше — 7 часов вечера; потому что я перешёл в дом; приехал Бибиков и зовёт меня ночевать к себе, на что я согласился. Боюсь, не было бы угарно.

Я утром прочёл «Макбета» с большим вниманьем, — балаганные пьесы, писанные умным и памятливым актёром, который начитался умных книг, — усовершенствованный разбойник Чуркин.

[КОММЕНТАРИЙ.

Готовя собственный издательский проект книг для народа, Толстой, в числе прочего, имел планы писать «народные» пьесы, в связи с чем перечитывал некоторые «классические» образцы пьес и присматривался к дешёвой уличной и лубочной тогдашней литературе для народа, к народному театру.

Разбойник Чуркин — историческое лицо, рабочий города Богородска Московской губернии. «Похождения» его относятся ко второй половине 1870-х гг. Его образ лег в основу ряда лубочных рассказов. Ему посвящён низкопробный уголовный роман издателя «Московского листка» Николая Ивановича Пастухова. Печатался роман «Разбойник Чуркин» с 1882 по март 1885 гг. в виде фельетонов за подписью «Старый знакомый». Благодаря этому роману «Московский листок» стал пользоваться большой популярностью. В пятьдесят второй главе романа несомненно заимствование из «Макбета». Вероятно Толстой имеет в виду именно роман Пастухова. **]**

Потом пошёл ходить с лыжами и ружьём; — прошёл на Грумант, оттуда по засичной дороге на Тулу, и через засеку на кабачёк, и по шоссе домой. Пьяный мужичёк подвёз меня, целовал меня и <пса охотничьего> Бульку и говорил, что я отец. — Самое доброе, совершенное и милое существо в мире — это пьяный — на первом взводе — мужик. Дорогой прекрасно думал. Ты не можешь себе представить моего приятного чувства свободы по окончании моей работы <над книгой «В чём моя вера?»>. Я перестал чувствовать une machine à écrire [*фр.* машиной для писания]. Я тоже всё думаю и беспокоюсь о больших детях. Нынче получил твоё короткое письмо <от 27 января>. Завтра утром вернусь в Ясную.

Л. Т.» *(83, 415 - 416).*

На это письмо мужа Софья Андреевна отвечала 30 января, начав с новостей о детях:

«Маше лучше, жар у неё спал, она ела и весела, и горло побледнело, завтра встанет. Нынче поднялись мы с Таней, которая спала у меня, в час дня. Бал вчерашний был хорош, мы были благоразумны и собрались домой в пятом часу. Но кареты не было, и пришлось ждать до шестого часа. Такая досада! А то мы совсем не устали бы. Был там и Долгоруков <Кн. Владимир Андреевич Долгоруков (1810—1891), московский генерал-губернатор (1865—1891). – *Р. А.*>, очень просил опять, чтоб мы и сегодня к нему поехали на бал. Очень это скучно, но опять поеду, попозднее только. Илья вчера был дома и нынче дома. Но ему у Толстых этих неизвестных <Т.е. не родне семейства Льва Николаевича. – *Р. А.*> предлагают роль и он её берёт, хотя я усиленно отсоветоваю. Хочет завтра <собаку> Малыша ставить на выставку. Серёжу я ещё сегодня не видала, и не знаю, где он. Лёля очень плохо учится, учителя жаловались, а Madame просто в отчаяние приходит. Сегодня у него пристыженный вид, авось за ум возьмётся. Малыши здоровы, гуляют.

Сейчас получила твоё письмо; я вижу, что ты полной грудью вдыхаешь в себя и воздух, и простор, и нравственную свободу. Мне немножко завидно; я всё более и более задыхаюсь в бальных атмосферах и в обыденной, мелочной жизни. Даже читать нельзя, не только что как-нибудь опомниться или отдохнуть.

Посылаю тебе письмо Черткова. Неужели ты всё будешь *нарочно* закрывать глаза на людей, в которых не *хочешь* ничего видеть кроме хорошего? Ведь это слепота! Вот и Маракуев обещал сегодня непременно принести экземпляры, и конечно солгал. Кушнерёв прислал счёт: 200 р. с. печать и бумага; 200 р. с. корректуры. Я не платила, в банк не ездила ещё и не посылала.

Не пеняй, что я тебе в твой поэтический мир бросаю из Москвы комки разной грязи; но ведь и я не виновата, что живу в дрязгах, обмане, матерьяльных забот<ах> и телесной тяжести. — Начну письмо, думаю: напишу получше, покротче; но если в душе кротости нет, то негде её взять. Устала я от жизни, которую не сумела никогда устроить, и которая всё усложняется больше и больше. Спасибо, что пишешь всякий день, пожалуйста, продолжай.

Прислали из Петербурга ещё переписку, что тебе давал Чертков, и письмо с просьбой о наставлении, но без адреса, от <П. И.> Бирюкова.

Прощай, Лёвочка, будь здоров. С<оня>» *(ПСТ. С. 246 - 247)*.

Бирюков и Чертков, кажется, впервые упоминаются в переписке супругов. В то время они не были нравственными антиподами; более того, богатый аристократ и молодой красавец Чертков, как мы уже

подчеркнули выше, был для Софьи Андреевны в большой степени «своим». И всё же уже в этом письме звучит зловещее предостережение Софьи Андреевны, знавшей свойство своего мужа: упорно и «до последней возможности» стремиться видеть только хорошее в людях, первоначально приглянувшихся ему.

Жалобы жены Толстого на усталость и неумение «устроить жизнь» кажутся с первого взгляда безобидными. Действительно, в первые месяцы 1884 года Софья Андреевна, *несмотря на нездоровье* (которым так полюбила впоследствии, в мемуарах 1900-х гг., оправдывать задним числом свои «атаки» на мужа) ведёт себя достаточно спокойно, очевидно надеясь, что, излив «свою веру» на бумаге и переключившись на более «безобидное» творчество для народа, Лев Николаевич сделается «почти прежним» — Толстым 1870-х. Тем страшнее будет летняя «буря» страстей, последовавшая за разочарованием в таких надеждах… Но — обо всём по порядку!

К 30 января Толстой наверняка получил второе из неопубликованных писем С. А. Толстой – касавшееся её здоровья и иных лично-интимных проблем. Так или иначе, но в своём ответе от 30 января он из деликатности даже не упоминает о двух полученных письмах Сони. Пишет очень красочно — о своих жизни в усадьбе и о творческих планах. Приводим полностью это солнечное и морозно-ароматное, насквозь зимне-яснополянское, письмо:

«У Бибикова застал Борисевича. <Вероятно имеется в виду Иван Игнатьевич Борисóвич, польский дворянин, живший в Черни Тульской губернии. Скончался в возрасте 96 лет в 1888 г. – *Р. А.*> Ему 89 лет, и он силён, свеж, поворотлив, как молодой человек. Он без умолку говорил и много рассказал интересного. В 12-м часу за мной приехал <кучер> Филипп, и я поехал домой. Читал «Калики перехожие», стихи. <Издание П. А. Бессонова «Калики перехожие. Сборник духовных стихов и исследование». М. 1861—1864. – *Р. А.*> Меня навело на это чтение моя затея народной пьесы. Обдумываю её с большим удовольствием. И, как всегда, всё разрастается и главное углубляется и делается очень (для меня) серьёзно.

Я пробыл дома всё время от 12 до 10, за исключением прогулки двухчасовой, и угореть не угорел, но всё ещё побаиваюсь угару, и сейчас отворил трубу и поеду сам на Козловку.

Ты теперь верно собираешься на бал. Очень жалею и тебя, и Таню.

Нынче <дворник> Влас <Воробьёв> говорит: пришёл мальчик, побирается. Я сказал: позови сюда. Вошёл мальчик немного повыше Андрюши с сумкой через плечо. — «Откуда?» — Из-за засеки. — Кто

же тебя посылает? — Никто, я один. — Отец что делает? — Он нас бросил. Мамушка померла, он ушёл и не приходил. И мальчик заплакал. У него осталось ещё трое, меньше его. Детей взяла помещица. «Она, — говорит, — кормит нищих». — Я предложил мальчику чаю. Он выпил, стакан опрокинул, положил огрызочек сахару наверх и поблагодарил. Больше не хотел пить. Я хотел его ещё покормить, но Влас сказал, что его в конторе посадили поесть. Но он заплакал и не стал больше есть. — Голос у него сиплый, и пахнет от него мужиком. — Всё, что он рассказывал про отца, дядей и тех, с кем он имел дело, всё это рассказы о бедных, пьяных и жестоких людях. Только барыня добрая. Мальчиков, женщин, стариков, старух таких много, и я их вижу здесь, и люблю их видеть.

Агафья Михайловна очень благодарна M-me Seuron, которой передай поклон. <Старая няня> Марья Афанасьевна была. Она как будто добрее к нам, и всем кланяется, особенно Маше. Надеюсь, что её горло прошло. С Власом беседую про книжки. Надо будет завести библиотеку для мужиков» *(83, 416 - 417).*

Это *очень* приятное для чтения, доброе письмо, от которого будто веет атмосферой Ясной Поляны; веет и решимостью Льва Николаевича *продолжать* своё христианское и народолюбивое просветительское дело – противостояние «власти тьмы», невежества и омрачённости в среде трудящегося народа. Напомним читателю, что первый замысел великого «Круга чтения» Л.Н. Толстого относится тоже к 1884 году — вероятно, как раз к времени этой поездки; в начале марта 1884-го Толстой уже занялся отбором материала для этого своего грандиозного проекта. Ради него Толстой отложит начатую в эти зимние дни народную пьесу «Пётр Хлебник» — и, к сожалению, впоследствии просто *забудет* о ней. Листочки с черновым планом пьесы нечаянно обнаружит в 1914 году секретарь Льва Николаевича Валентин Булгаков, когда, пересматривая библиотеку Толстого в Ясной Поляне, откроет тот самый том «Калик перехожих».

Солнце, зимняя свежесть, природные ароматы и огромная энергия вдохновения… тоже поистине солнечная!

И Соня тоже почувствовала всё это, судя по её ответу, писанному уже на следующий день, 31 января:

«Твоё сегодняшнее письмо — это целая повесть, как всегда, идеализированная, тем не менее интересная и трогательная. Немножко чувствуется мне упрёк и умышленная параллель между бедностью народа и безумной роскошью балов, на которых мы были.

И балы эти оставили в моей голове такую пустоту, так я устала, что весь день как шальная сегодня.

Всё-таки, вставши, учила Андрюшу, всё стараюсь его развивать, на что он подаётся легко; потом шила, следила за Лёлей весь день и за его уроками, так как Madame с утра куда-то уехала. Илья записал Малыша на выставку и ужасно весел; Серёжа сегодня в кухмистерской, где большой сбор студентов. У них история: затеяли бал студенческий в Большом театре. Начальство разрешило, если ректор ручается за студентов. Ректор поручился. Но какие-то два медика 2-го курса явились, без ведома других курсов и факультетов, к ректору, что они, студенты, не желают иметь на своём бале никакого начальства. Ректор сказал: «в таком случае я не могу разрешить бала, так как я не могу уж взять на себя ручательства». Студенты напали на медиков, и сегодня вызвали их для объяснения в кухмистерскую. Как бы не вышла драка или неприятность; я очень жду Серёжу, он ещё не приходил.

Маракуев, наконец, принёс два экземпляра <«В чём моя вера?»>, и Серёжа, Таня и дядя Костя принялись читать. О цензуре ещё ничего не слыхала, кроме того, что я тебе писала.

Из Самары управляющий прислал 2500 р. с. на моё имя, но неизвестно с какой продажи; он ничего не пишет, а о Гавриловском переводе обещает справиться. *<Гавриловский перевод — деньги, следуемые с крестьян села Гавриловки, которым Толстые сдавали в аренду землю своего самарского имения. – Р. А.>* Теперь можно бы дом <в Хамовниках> выкупить, но я всё забыла, что ты мне толковал, да и ездить утром с дурнотой по ухабам стало невыносимо больно, что-то новое болит с правой стороны живота от всякой поездки в санях.

<К словам «ездить утром с дурнотой» Софья Андреевна, готовя в 1910-х публикацию писем к ней мужа, сделала пояснительную приписку: «по случаю беременности дочерью Сашей».>

Маша сегодня встала, она здорова. Маленькие тоже здоровы. […]

Ты, видно, долго проживёшь в Ясной. Только боюсь, что плохо тебя соблюдают в пище и температуре, а сам о себе ты не умеешь заботиться. Но сообрази, что ведь заболеть — ещё больше другим хлопот и горя доставишь, чем если купишь белого хлеба, курицу и хороший бульон.

Теперь у нас жизнь будет более тихая; до спектакля Оболенских (12-го) ничего не предстоит. Таня собирается ездить в школу, а я детьми больше заниматься. Самый трудный — Лёлька. Мальчики в эти года должны быть на попечении отца или школы. А нам, женщинам, с ними мука, а результат наших забот всё-таки пустой. Он

делается всё ленивее и очень дерзок, никого не слушается и не боится. […]

Теперь прощай; я пишу и получаю письма всякий день, и так этим избаловалась, что если б не получила, то очень огорчилась бы.

С<оня>» *(ПСТ. С. 249 – 250)*.

Наконец, письмо Л.Н. Толстого того же 31 января – ответ на Соничкино от 29 января:

«Боюсь, что вчерашнее письмо было неприятно. Я, должно быть, начинал угорать, когда писал. Нынче чувствую себя совсем хорошо, и угару нет. Тоже не пеняй, пожалуйста, что не послал телеграмму <о здоровье и по поводу продажи вороного коня; см. выше письмо С.А. Толстой от 29 января. – *Р. А.*>, — не стоит. Лошадь отдай за 250. Обо мне не тужи, — я могу привести другую. — Вчера я объелся. <Повар> Николай Михайлович наготовит много, а я не воздержусь. Нынче читал Montaigne'a <«Опыты» Мишеля Монтеня. – *Р. А.*> с большим удовольствием и пользой и ходил на лыжах. Очень устал, но чувствую себя прекрасно. Вечер весь шил башмаки Агафье Михайловне. Митрофан меня учит и помогает. Был Дмитрий Фёдорович и Агафья Михайловна и читали вслух Жития Святых. Не берусь за работу, потому что не хочется взяться и бросить. Она укладывается в голове.

Известие твоё от Маракуева о мнении архимандрита [Амфилохия о книге «В чём моя вера?»] мне очень приятно. Если оно справедливо. — Ничьё одобрение мне не дорого бы было, как духовных. Но боюсь, что оно невозможно. Целую тебя и детей. Напиши мне подлинней, если у вас всё благополучно. Выбери времячко. — Я привык чувствовать твой душевный пульс, и, не чувствуя его, мне чего-то недостаёт» *(83, 418 - 419)*.

Супруги взаимно чувствовали недоговорённость, натянутость в письмах друг друга – и Толстой такой концовкой намекал не столько на желаемую пространность, сколько на желаемую *искренность* писем жены.

Вот ответ Софьи Андреевны от 1 февраля:

«Среда, вечер. 1884 г. [Москва]

Милый Лёвочка, мой душевный пульс бил довольно злобно и вяло все эти дни; но письмо твоё вчерашнее не было не хорошо; верно

оно написано было с не совсем хорошим чувством, что и почувствовалось мною, но в нём ни к чему придраться даже нельзя было. Сегодня я отдохнула немного от балов и стала веселее, добрее и здоровее. Ночь только очень дурно спала: видела тебя во сне несколько раз, то засыпая, то просыпаясь, и что-то давящее, томительное и тревожное не давало спать.

Я рада, что ты здоров; боюсь, что когда ты вернёшься к Масляннице, то весь твой отдых пропадёт даром от московской суеты.

Все здоровы у нас; я читаю понемногу Boétie, но всё времени мало; привези Montaigne, мне и так после некоторых намёков о нём интересно бы было его прочесть, а теперь тем более, как ты его хвалишь.

Серёжа и Лёля на гимнастике, Илья идет опять к Толстым неизвестным. У нас всё мирно. История студентов кончилась ничем; будут опять просить у ректора разрешения на бал. У нас эти два дня никого не было, Серёжа брат уехал в Крапивну; дядя Костя в твоей комнате всё читает твоё сочинение, о котором, между прочим, ещё ничего не слыхать. Хвалил же его, как я тебе писала наверное, отец Амфилохий, может быть ты его знаешь.

Ты просишь написать подлиннее, а у меня сегодня ничего на ум не идёт. Очень однообразно и похоже один на другой идут эти дни. Встану, выйду к завтраку, отправлю детей гулять, почитаю; учу Андрюшу, работаю; после обеда соберутся все ко мне; потом вот пишу письмо к тебе, а вечером читаю, сижу с старшими; сегодня в 9 часов поеду на репетицию с Таней. Хочу видеть раз, как и что у них; какая пьеса, всё ли прилично, не обижают ли её. Я ещё ни разу не видала.

Лошадь завтра отдам за 250 р. с. Немножко жаль, но Лёля утешает, что она была для тебя опасна, садиться не давала. Завтра праздник, Сретение, и мой приёмный день; опять засуетят и я собьюсь.

Написала письмо и чувствую, что оно пустое. Что делать, не взыщи, прощай, целую тебя. Завтра неделя, как ты уехал.

С<оня> *(ПСТ. С. 251 - 252).*

Как видим, Софья Андреевна не нашла в себе сил, физических и душевных, исполнить просьбу Толстого о «длинном» письме, также давая в ответе своём намёк на то, что ощутила, в свою очередь, осторожность мужа в подборе каждого выражения для письма – так, чтобы «придраться не к чему было».

Может быть, и не желал того Лев Николаевич, но письма его начала 1884 года с описаниями здоровой и живой яснополянской жизни – будто намеренно контрастируют с обстоятельствами этих

же дней жизни в Москве его семьи. Следующее по хронологии его письмо, от 1 февраля – как нельзя более красноречиво в этом плане:

«Получил твоё письмо <от 30 января> <написанное> после бала <у> Барманских, а сейчас был брат Серёжа с Бибиковым и привёз мне известие о вас после бала Долгоруких <то есть Долгоруковых. – *Р. А.*>.

Нынче с утра приехал <*сосед-охотник Яков Иванович*> Головин с собаками, и я поехал с ним в Лимоновскую <лесопосадку; названа по фамилии купца, у которого Л. Н. Толстой её купил. – *Р. А.*>. Ходил на лыжах и без лыж от 12 до 5 и вернулся усталый и здоровый. Подумал, почитал, потом приехал <*брат*> Серёжа — бедняга очень спутанный и добрый. Сапожное дело нынче остановилось, потому что у Митрофана голова болит.

Если тебе не доставит хлопот, то пошли, пожалуйста, <*книгоиздателю*> Кушнерёву деньги. Счёт их <за печатание «В чём моя вера?». – *Р. А.*> я ожидал больше, и они были так любезны, что не хотелось бы их задержать. Попроси <*сына*> Серёжу свезти.

Видел сон, — кровь и разные подробности, и вот видел Серёжу, и жду ещё от тебя о детях. Дай Бог только хорошего. […] Напомни Лёле наш разговор с ним об ученьи. Илюше тоже, боюсь, повредит и <*собачья*> выставка, и театр. Всё это нарушает правильный ход жизни. А правильный ход жизни необходим при гимназических занятиях. Я не советую — особенно театр. Целую тебя и детей» *(83, 419 - 420)*.

Активный отдых, как мы видим, не закрывал от Л. Н. Толстого семейных проблем, и, вопреки расхожему мнению, восходящему к устным и письменным «обвинениям» самой Софьи Андреевны, в воспитании детей Толстой участие *принимал*. Даже на расстоянии…

2-го февраля переписку продолжил Толстой, отвечая, в ожидании следующего, на письмо жены от 31 января:

«Получил твоё письмецо и радуюсь, что у вас всё хорошо и нет балов. Я совершенно здоров, но, должно быть, от усталости прежних дней нынче всё утро был сонный и только читал. Потом поехал верхом на иноходце в Ясенки купить гильз на папиросы, пообедал и весь вечер шил башмаки с Митрофаном. Сейчас еду на Козловку за твоим письмом. Попытался утром работать, но не пошло, и не стал баловать. Читал Montaigne (Монтеня). Полезно бы было то издание, о котором я говорил. Ничто не может так оглупить человека, как уверенность, что он всё знает, что прежде было, а что ему нужно знать то, что теперь есть. И мы все находимся в этом положении.

Завтра вернётся Серёжа из Крапивны, и я съезжу к нему к Бибикову, провожу его, а там уже стану думать, когда самому ехать. Ты, душа моя, пожалуйста, на меня не пеняй и мне не завидуй. Мне это уединение очень хорошо, если я и ничего не напишу. И врозь, и вместе я всё одинаково тебя люблю и чувствую.

Что дети?» *(Там же. С. 421).*

Ответ Софьи Андреевны на послание мужа 1 февраля – письмо от 3 февраля, очень «домашнее»; кажется, вполне искреннее, но при этом вызывающее жалость:

«Хотя я и думала, что сегодня письма не будет, но всё-таки досадно и грустно. Вчера был праздник, и по примеру того раза, твой человек, которого послали за письмом, не поехал на Козловку, письма твоего не отправил и моего не привёз тебе, а сказал, вероятно, как и тот раз, что был, а письма нет. Завтра я, верно, получу два разом.

Сегодня была в Государственном банке; по свидетельству о личности, о котором пришлось хлопотать в полиции, мне выдали 2500 р. с. Завтра Серёжа обещает свезть по счёту деньги Кушнерёву. Была я ещё у Вари. Она лежит в постели, спина болит, и ещё некоторое время будет лежать, но опасности уж нет никакой, разве не доносит.

После всех этих похождений по таким страшным ухабам, я, приехавши домой, легла и весь день лежала, чувствуя себя разбитой и какой-то нравственно угнетённой. А самое неприятное то, что лошадь дёрнула, я сесть не успела и меня задком саней так больно ударило в спину сухим, коротким ударом, что до сих пор больно. Я заехала в Воспитательный дом к Истомину, и когда позвонила, то у меня от боли, от дурноты вдруг всё в глазах потемнело, и я села на пол, пока отворили дверь. Потом прошло, и теперь ничего. Серёжа, Таня и Илья обедали у Леонида Оболенского, и мальчиков до сих пор нет.

Вчера до трех часов у Толстых играли в винт. У Ильи денег нет и мне крайне не нравится эта игра на а в о с ь, и это сиденье до трёх часов. В гимназии его дурно записали за утреннее опаздывание; а как не опаздывать, если сидеть ночи. И учиться-то невозможно.

Спросила я сегодня учителя греческого и латыни Лёлиного, как он занимается. Он сказал, что с осени занимался хорошо, а теперь идёт равномерно хуже и хуже, а уроки готовит на половину и то плохо.

Всё это не отрадные тебе известия, но всё не преувеличено и всё правда.

Урусов сегодня уехал. Вчера сидела с ним вечер, и мне было очень приятно; но сегодня почти его не видела, он всё ездил, и всё спешил. Верно ты его увидишь, и он тебе о нас расскажет.

Твоя тихая жизнь, верно, ничем не разнообразится, но зато нервы и здоровье выиграют, если ты ничего неблагоразумного не сделаешь. А как я себя ни утешаю, что люди письма не свезли, а грустно и тревожно, главное; тем более, что мои нервы очень плохи, и голова болит, и весь мир точно в тумане. Прощай, Лёвочка, напиши, сколько ещё проживёшь в Ясной?

С<оня>» *(ПСТ. С. 252 - 253).*

Следующий эпизод – письмо Л. Н. Толстого от 3 февраля и ответ на него Софьи Андреевны 4 февраля. Приводим ниже текст письма Толстого.

«Здоров и сонен. Читаю Montaigne, хожу на лыжах понапрасну, но очень устаю, шью башмаки и думаю, и стараюсь никого не обидеть. Полезное сделать другим даже не стараюсь, — так это невозможно трудно. Нынче много работал (башмаки) и был в бане и очень устал. К Бибикову не ездил, завтра утром поеду, и если застану Серёжу, то с ним напишу или скажу, что придется. А теперь прощай, целую тебя и детей. Очень у меня выросло брюхо, и я стал очень стар и слаб. Тут худого нет, но это новое» *(83, 422).*

С. А. Толстая писала в ответ 4 февраля: «Хорошо, что ты здоров, хотя ты и жалуешься на старость, но я знаю, что это упадок слишком долго возбуждённых нерв, и что это даже лучше, пожалуй» *(Цит. по: Там же).*

Полностью письмо Софьи Андреевны от 4 февраля не публиковалось. По этому отрывку можно судить о её благодушной приязни в отношении Льва Николаевича и довольно спокойном настроении в эти дни. Даже эти жалобы Толстого на «старость» безусловно напомнили такие же жалобы *того*, «докризисного», её мужа: Толстого 1860-70-х гг. – успешного, щедро оплачиваемого художественного писателя, ловкого, хитроумного дельца в земельной собственности и иных приобретениях для семьи, заботливейшего отца и мужа…

Но повторимся: Толстой не собирался, как псы на блевоту, возвращаться к Прежнему Себе. И не смог бы… К несчастью, жена обманывалась в надеждах о «хоть немного прежнем» муже.

Следующее, от 4 февраля, письмо мужа не могло не напомнить ей о его московском народолюбивом «юродстве» — и напомнить, вероятнее всего, неприятно:

«Нынче был у Бибикова и видел Серёжу, и, прощаясь с ним, садился верхом и повихнул большой палец на правой руке. Как видишь, это не мешает мне писать. Немного опухло, но все движенья есть, так что мог и башмаки шить. Погода так была хороша, что, вернувшись от Бибикова, решил ехать в Тулу посмотреть Сергеево <Сергея Арбузова, бывшего лакея и пьяницы. – *Р. А.*> заведенье <гармонную мастерскую. – *Р. А.*> и к Урусову.

Сергея встретил на дороге и с ним зашёл к нему. Делают столяры гармонные ящики, в подвале. В одной комнатке Сергей с семьёй и 4 работника. Работа напряжённая и требующая большого мастерства, от 6 часов до 12-ти ночи, и работник вырабатывает в неделю 2 р. 25 на хозяйских харчах. Кажется, страшно, а мне не хотелось уходить, — так у них весело и здоровая такая трудовая атмосфера. Сергей хозяйничает над пьяницами, а сам, разумеется, не пьёт. Это, я думаю, лучшее лечение от пьянства. <Жена Арбузова> Ариша скучает и брезгает. Я её увещевал, но, разумеется, тщетно. — Утром ещё было совещание с Варварой Жаровой: отдать ли ей дочь за муж в Алексинский уезд <Тульской губернии>, несмотря на то, что сваты обещали шубу невесте и не привезли. Я советовал отдать на волю невесты. Кажется, послушали.

У Урусова пил много чаю и много говорили праздного. Рад был о тебе узнать. Он застал тебя с болью в спине от толчков; что это? Напиши, каково тебе — всячески и физически, и нравственно. Домой ехал ночью, один в санках на доброй лошади — очень приятно. — Урусов завтра хотел приехать. Постараюсь меньше болтать, — не люблю. А если ничего особенного по твоим письмам не будет, то приеду во вторник. […]

Дети таки забыли про именины Агафьи Михайловны <6 февраля>. И мои башмаки ей не поспеют» *(83, 422 - 423)*.

На это письмо С. А. Толстая ответила 5 февраля:

«Три письма написала к тебе, милый Лёвочка, и только третье, это, вероятно, пошлю. Сейчас получила твоё письмо, немного подлиннее предыдущих. Что же это с твоим пальцем? Если движение делаешь, то значит не вывих, а жила вытянута. У меня теперь боль в спине почти прошла, — только при движении и при прикосновении

— больно немного. Я конечно рада, что ты хочешь вернуться во вторник, но боюсь, что масляница тебе голову вскружит больше, чем целый месяц будничных дней. Если хочешь, оставайся; авось я без тебя не совсем с ног собьюсь; лучше, чем видеть тебя унылым, недовольным и всё-таки бездействующим. Не могу похвалиться своим духом. Всё тяжело, всё не весело, всё не так, как я бы хотела; а физически слабость, сердце страшно бьется при малейшем движении, и сонливость, лень страшная.

Кончила сегодня la Boétie <Ла-Боэти, философ, друг М. Монтеня; его смерть Монтень подробно описывает в «Опытах». – *Р. А.*> и прочла с интересом его смерть. Вот так я бы хотела умереть, т. е. в таком быть духе, и мне всегда кажется, что я буду умирать хорошо, спокойно. — Я не люблю жизнь и не дорожу ей. Совершенства нравственного я никогда не достигну — это уж мне ясно. Наслаждениями материальными я пользоваться не могу потому, что всегда слишком строго возникает тот разумный критик, который сразу повергает меня в отчаяние. — Вот почему я и не люблю жизнь.

Все здоровы и благоразумны; Таня всё по репетициям ездит; Илья получил для Малыша похвальный лист. Борис <Шидловский> женился на гр. Милорадович. Воображаю, как он счастлив! Варе гораздо лучше. Серёжа брат очень смутил меня рассказами о тебе, что ты никогда не хочешь вернуться к нам. За что? Прощай; это, значит, моё последнее письмо. Целую тебя.

Соня» *(ПСТ. С. 253 - 254).*

Ещё один знак судьбы… Читая «Опыты», Софья Андреевна обращает внимание на описанную в них жизнь и драматичную судьбу *ближайшего*, горячо любимого Монтенем его сподвижника – Этьена де Ла Боэти (1530 - 1563), известного республиканца, «тираноборца» и проповедника мирного гражданского неповиновения *за века* до Толстого, Ганди и Генри Торо. Вряд ли эту личность она как-то связала с только что заявившим о себе в жизни Толстого и его семьи Владимиром Чертковым. Но факт остаётся фактом: в год знакомства Софьи Андреевны с «Опытами» Мишеля Монтеня в жизни Толстого появляется такой же ближайший единомышленник и горячо любимый друг, каким был Этьен де ла Боэти для Мишеля Монтеня…

5 февраля – последнее в этом Эпизоде письмо Софьи Андреевны. Дата отъезда мужем названа… Сам он до возвращения в Москву отсылает жене ещё только одно письмо от 5 февраля:

«Нынче не получил письма, и было неприятно. Кроме того, встал нынче с сильной головной болью. После кофею пошёл гулять и сильно устал, но не совсем прошло. С гулянья зашёл <в деревне> к Осипу Наумычу <Зябреву>. Старик очень жалок, не старостью и бедностью, а не ладом между им и сыном. <Сын его> Пётр Осипов<ич> очень интересен по вопросу о чтении народном. У него почти всю зиму собираются грамотные мужики, и они читают. Он принёс мне свою библиотеку — короб книг — тут и жития, и катехизисы, и <детская хрестоматия К. Д. Ушинского> «Родное слово», и истории, и географии, и <журнал> «Русский Вестник», и Галахова хрестоматия, и романы. Он высказал своё мнение о каждом роде книг. И всё это очень заинтересовало меня и заставило многое и вновь подумать о народном чтении. <Т. е. об организации издательства народных книг. – *Р. А.*>

Дома застал Урусова. Мы обедали, и благодаря тому, что читали вслух Montaigne'a, мало говорили праздно. Вечером пришла <экономка на пенсии> Агафья Михайловна и <поздравительная с именинами> телеграмма ей <от Михаила Александровича Стаховича>. Она очень довольна. Урусов сейчас уехал, и я лягу спать. Завтра соберусь, т. е. вспомню и сделаю, что нужно, и послезавтра приеду с курьерским. Если бы было сомнение, то сегодняшнее отсутствие письма разрешило его. Надеюсь застать вас благополучными и радуюсь свиданию. Отложи до меня дела банка, кучера. Целую тебя и детей. Л<ев>» *(83, 424).*

А 7-го Толстой отослал телеграмму, уже со станции «Козлова За́сека» («Дурно спал, опоздал <на поезд>, приеду завтра» — см. *83, 425*).

И возвратился, как обещал — но только для того, чтобы взяться за поиски признаков сближения с христианской этикой в учении Конфуция, да ещё… за шитьё сапог, в коем за эти зимние дни сидения своего в яснополянской берлоге существенно поднаторел. Между тем неустойчиво-спокойное настроение Софьи Андреевны уже было поколеблено, в чём мужу пришлось скоро и с сожалением убедиться. Но об этом мы расскажем уже во Вступительном Очерке к следующему, Двадцать Первому, Эпизоду нашей комментированной презентации Переписки Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых.

КОНЕЦ ДВАДЦАТОГО ЭПИЗОДА

ТИГР ВЫСКОЧИЛ ИЗ ХОМУТА

(Интерлюдия Вторая. Весна-лето 1884 г.)

Следующий большой эпизод переписки Льва Николаевича и Софьи Андреевны отделяет от предыдущего лишь несколько месяцев… наполненных, однако, событиями в жизни членов семьи Толстых столь значительными и влиятельными по отношению к содержанию и настроениям представляемой и анализируемой нами здесь переписки, что они потребовали от нас особенного рассмотрения.

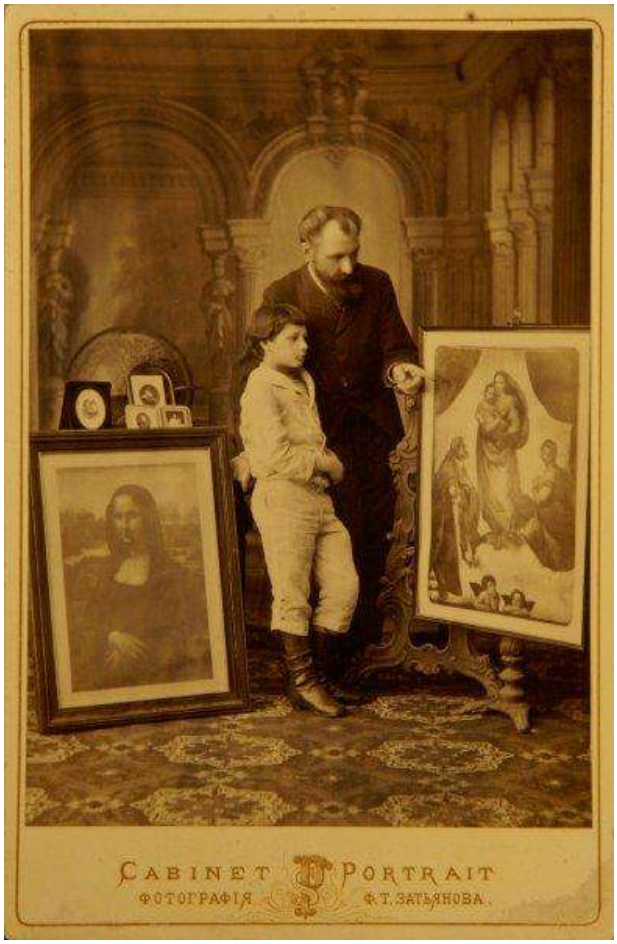
Итак, до 8 февраля 1884 г. Лев Николаевич жил в Ясной Поляне. В его отсутствие, 1 и 5 февраля, Софью Андреевну навещал в московском доме давний её знакомый — великолепный Леонид Дмитриевич Урусов. Конечно же, как подчёркивает она сама в мемуарах «Моя жизнь», любовником Урусов был исключительно *платоническим*: в состоявшейся 5 февраля уединённой беседе «не было ни слова такого, чего нужно бы скрывать и чего не мог бы слышать весь мир»; она вся «была основана на чисто отвлечённых предметах, на новом учении Льва Николаевича». Проще говоря: жена заглазно обсуждала с милым её уму и сердцу «другом семьи» образ мыслей и поведение своего мужа. При этом мемуаристка не скрывает, что собеседник её был едва ли не *противоположен* в её глазах позитивными своими качествами — законному мужу, благодаря чему *его* она понимала «с полуслова»:

«Утончённый и ласковый, с безукоризненной внешностью обращения и манер, он представлял совершенную противоположность тому, чем себя умышленно сделал в то время Лев Николаевич» *(МЖ – 1. С. 434)*.

Всячески ласково ухаживая за милым возлюбленным, Соничка даже купила ему респиратор на лицо, так как Урусов – как мы помним, сосед Толстых и мудрый усадебный житель – задыхался и кашлял на улицах, вдыхая больными лёгкими испорченный и морозный московский воздух *(Там же)*.

При этом она не могла не сравнивать галантного прелестного красавца – со своим, старшим Урусова на восемь лет, да ещё и «впавшим в юродство», мужем, о котором брат его, Сергей Николаевич, навестивший его в эти дни в Ясной Поляне, насмешливо рассказывал ей и всей родне следующее:

«Сидит Лёвочка в блузе и в грязных шерстяных чулках, растрёпанный и невесёлый, с Митрофаном приказчиком, шьёт сапоги Агафье Михайловне; учитель школьный читает вслух «Житие Святых».



Л. Д. Урусов с сыном Сергеем.
1883 г.

В Москву до тех пор не поедет, пока его не позовёт Софья Андреевна… или пока у нас что-нибудь не случится» *(Там же).*

Выслушав такие описания, Соничка, конечно, предсказуемо решает – *ни за что не звать* письмами мужа из Ясной. (Впрочем, не вертись рядышком прекрасный Урусов – решение, быть может, было бы иным…). А сестре своей Тане она пишет *симптоматическое* письмо. Н. Н. Гусев, личный и биограф Толстого, приводит из этого письма отрывок, в котором Софья Андреевна описывает, со слов Сергея Николаевича, образ жизни мужа в Ясной Поляне, а затем прибавляет от себя:

«Мне подобное юродство и такое равнодушное отношение к семье до того противно, что я ему теперь и писать не буду. Народив кучу детей, он не умеет найти в семье ни дела, ни радости, ни просто обязанностей – *и у меня всё больше и больше к нему чувствуется презрения и холодности.* Мы совсем не ссоримся, ты не думай, я даже ему не скажу этого» *(Гусев Н.Н. Материалы… 1881 – 1885. С. 270. Выделение наше. –Р. А.).*

Сама себе цензор, Софья Андреевна сократила в мемуарах цитату из письма сестре, и выделенные нами, самые значительные и характеристические, её слова о муже, конечно, не приводит.

Ещё и ещё раз подчеркнём: Соничка винила мужа в неучастии в жизни семьи *несправедливо*, хотя и в связи с реальным и существенным обстоятельством: разгульной жизнью и плохой успеваемостью в школе «старших мальчиков» — 17-тилетнего Ильи и 14-тилетнего Льва. Виноваты, однако, родители в этом не были: ни Толстой не был волен, ради возни с немаленькими уже оболтусами, изменить образ жизни, ни жена его — как он сам признавал позднее — не вольна была «вытрясть» из головы суеверия и привычки своей эпохи и сословия и последовать за мужем к жизни в Боге и Христе.

К тому же христианское сознание Льва Николаевича протестовало против *мотивации* к учёбе, внушённой «мальчикам» учителями и матерью: он видел, что учатся они не ради приобретения знаний, а только для того, чтобы получить диплом и занять привилегированное положение – «сесть народу на шею», как метко и справедливо называл это сам Толстой. 4 апреля 1884 года он записывает об этом в Дневнике:

«Очень тяжело в семье. Тяжело, что не могу сочувствовать им. Все их радости – экзамены, успехи света, музыка, обстановка, покупки – всё это я считаю несчастьем и злом для них и не могу этого сказать им. Я могу, я и говорю, но мои слова не захватывают никого. Они как будто знают — не смысл моих слов, а то, что я имею дурную привычку это говорить. В слабые минуты — теперь такая — я удивляюсь их безжалостности. Как они не видят, что я не то, что страдаю, а лишён жизни, вот уже 3 года. Мне придана роль ворчливого старика, и я не могу в их глазах выйти из нее: прими я участие в их жизни — я отрекаюсь от истины, и они первые будут тыкать мне в глаза этим отречением. Смотри я, как теперь, грустно на их безумство — я ворчливый старик, как все старики» *(49, 77)*.

Надо ли говорить, что эта «роль ворчливого старика», которого не стоит «особо» слушать, была придана детьми отцу Толстому не только при попустительстве, но и с подачи, поддержки словом и примером — их матери?

Как следствие — безбожно, на церковной лжи и барской роскоши воспитанные ею дети научились *подличать и лукавить* в отношениях с родителями, используя нараставшую с конца 1870-х гг. разницу убеждений и взаимное непонимание Сонички и Льва для оправдания собственных лени и разгула. Зять Толстого, М. С. Сухотин записал в дневнике такую жалобу Льва Николаевича на поведение детей:

«Мать говорит, что надо хорошо учиться, ходить в церковь, посещать так называемое хорошее светское общество. Я говорю, что важно не ученье, а честная, целомудренная и трудовая жизнь; в церковь ходить не следует; следует удаляться от так называемого хорошего общества. А дети наши делают выборку между противоположными убеждениями отца и матери с точки зрения того, что для них легко и приятно. Учиться скучно – отец прав; светское общество заманчиво – мать права; ходить в церковь скучно – отец прав; трудовая жизнь тяжела – мать права…» *(ЛН. Т. 69. Кн. 2. С. 174)*.

Помимо устных внушений, Толстой и в письмах к детям старался — конечно, с позиций христианского жизнепонимания — обличить их лукавство. Так, в письме к Льву-младшему приблизительно 16 – 27 мая 1884 года (точная дата не установлена) отец иронично и жёстко обламывает сынка в его надеждах жить в приятном мнимом «единомыслии» с отцом в отношении гимназического обучения:

«Милый друг Лёва!

Мама мне сказала, будто ты сказал, что я сказал, что я буду очень огорчён, ежели ты выдержишь экзамен или что-то подобное, — одним словом такое, что̀ имело смысл того, что я поощряю тебя к тому, чтобы не держать экзамены и не учиться.

Тут недоразумение. Я не могу сказать этого. Гимназист, который приезжал ко мне, спрашивал: выдти ли ему из гимназии и настаивал на том, что он хочет выдти. Я отсоветовал ему. Моё мнение то, что человеку никогда не надо переменять своё внешнее положение, а надо постоянно стараться переменять своё внутреннее состояние, т.е. постоянно становиться лучше. (А лучше — значить быть более полезным и приятным другим). И что, когда переменится внутреннее состояние, тогда только само собою изменится и внешнее состояние.

Т. е. если бы у тебя было в виду дело более полезное другим, чем гимназия, и ты бы уж начал его и знал, что оно хорошо и не мог бы отстать от него, тогда бы ты мог бросить гимназию. А так как у тебя (к сожалению) нет другого дела, и даже представления о другом деле кроме своего *plaisir'a*, то самое лучшее для тебя есть гимназия. Она, во-первых удовлетворяет требованиям от тебя мама, а во-вторых даёт труд и хотя некоторые знания, которые могут быть полезны другим. — Для того же, чтобы делать то дело, которое я считаю главным и единственным в жизни — сделать себя как можно лучше и служить другим, для этого дела всякое положение годится: это можно делать и в Москве, и в гимназии, и во дворце, и в деревне. Для этого же дела — чтобы быть лучше, много есть упражнений, из

которых одно состоит в том, чтобы начатое дело сделать, а не бросать его, когда оно покажется трудным. Бросить начатое дело по убеждению или по слабости и бессилию, две разные вещи. А у тебя убеждений никаких нет и хотя тебе кажется, что ты всё знаешь, ты даже не знаешь что такое — убеждения и какие мои убеждения, хотя ты думаешь, что ты это очень хорошо знаешь.

Но это и рано ещё; но дело в том, что я очень за тебя рад и очень рад буду тебя увидеть. И ещё более буду рад, если ты хоть немножко, изредка и, особенно, теперь, когда ты один, будешь стараться быть лучше и обдумывать себя, и работать над собой. До свиданья» *(63, 198 - 199)*.

Этот шедевр эпистолярно-педагогической прозы полезен для нас тем, что выясняет то общее направление, в котором Толстой старался воспитывать своих детей, борясь с влиянием жены, которая стремилась только к тому, чтобы её дети были comme il faut в обычном, мирском и светском, значении этих слов.

Кстати сказать, директор гимназии Лев Иванович Поливанов относил апатию и нервность Льва Толстого-младшего не к семейной обстановке (о которой уже знали *слишком* многие), а к выбранным Софьей Андреевной, но решительно не подходящим мальчику условиям жизни в Москве, и настоятельно рекомендовал ему летний загородный отдых *(МЖ – 1. С. 439)*.

Примечательно, что сам Лев Львович, успешно окончивший гимназию, через много лет, уже в эмиграции, так же, как и мы, снимает в своих мемуарах и с матери, и с отца ответственность за издержки в своём воспитании:

«Отец <в 1880-е> сам только начинал оглядываться кругом и искать своей правды; мать, раз навсегда приняв основы православной веры, не могла и не хотела их отбросить» *(Толстой Л. Л. Опыт моей жизни. М., 2014. С. 17)*.

И с этих, церковно-православных, чуждых веротерпимости и всякому добру позиций, Софья Андреевна не могла ни понимать мужа, ни хотя бы смиренно принимать его последование открывшейся ему – не «его», как пишет сын, а *всехней*, всечеловеческой – Божьей правде-Истине, не раскручивая своими, год от года всё менее контролируемыми, нервными реакциями дурной “маховик” семейного конфликта. Сам факт того, что Льву Львовичу удалось окончить гимназию она намеренно-ложно связывает не с воспитывающим влиянием отца, а… с *освобождением* от этого влияния; приведённое же нами выше письмо мужа сыну она подаёт читателю её мемуаров как образец одного из якобы «редких прояснений» в свихнувшихся на

религиозном нигилизме мозгах Толстого, который «иногда… вдруг начинал понимать вред отрицания и писал детям письма о том, что они должны добросовестно исполнять те обязанности, которые взяли на себя» *(МЖ – 1. С. 439)*.

Мы только что продемонстрировали читателю как то, что письмо Толстого Льву Львовичу гораздо глубже своими христианскими смыслами, нежели обыкновенное родительское внушение о социальной адекватности, так и то, что в нём Лев Николаевич ничуть не противоречит своим христианским убеждениям в их эволюции, соответствующей рассматриваемому нами периоду.

Вернувшись 8 февраля в Москву, Толстой отнюдь не переоделся в одежды, подобные тем, в которых накануне щеголял перед Соничкой платонический возлюбленный её Урусов. И освоение сапожного ремесла продолжил – уже с московским сапожником… Это диковато сочеталось с чтением Толстым переводов из Конфуция и Лао-Цзы и «сколачиванием» своего рода «команды поддержки» для задуманного им народного просветительского книгоиздательства – с опорой на старых классиков и древних мудрецов. Сам того не зная, ещё не будучи знаком с сочинениями Генри Торо, он, через десятилетия после уже умершего знаменитого американского мыслителя, но при том жизнерадостного, открытого общению с самыми разнообразными людьми «затворника» (как и сам Толстой в Ясной Поляне!), повторял во многих чертах не только его аскетический образ жизни, но и образ мыслей Генри Торо, выразившийся в его знаменитом «Уолдене» — в отношении отбора «пищи духовной» для народа.

К другим большим и малым вехам духовной жизни Льва Николаевича зимы – весны 1884 г. следует отнести внутреннюю борьбу его с прежним, внушённым ему, почитанием революционеров. Общение с одним из них вживую – с Н. Н. Златовратским с его «надменной, путанной и плачевной» народнической программой – а также с матерью другого, умершего в Сибири, революционера Дмоховского навело его на ряд осторожно-скептических размышлений, нашедших выражение в Дневнике, а позднее – в трактате «Так что же нам делать?». Там же нашли выражение чувства и думы Толстого от посещения притонов московской бедноты, в одном из которых он лично видел умершую от голода прачку (см. Дневник 27 марта), полицейского участка (запись того же дня), чулочной фабрики (30 марта), пасхальных балаганов (12 и 15 апреля) и т. д.

Не менее тяжёлые думы и эмоции вызывали у него нарастающе-напряжённые отношения с членами семьи, среди которых уже тогда он почувствовал себя одиноким и чужим в «собственном» доме. Так,

к примеру, в Дневнике 15 и 16 марта Толстым выражено чувство стыда за свою жизнь; 16 марта — засвидетельствовано непонимание в отношениях со старшей дочерью; 18 марта — грубовато но справедливо, «оргией», названы развлечения гостей хамовнического дома. 23 и 24 марта — Толстой хочет, но не может — «нельзя» — говорить с женой о необходимой и благой христианской перемене мышления и жизни. 23 марта — попытка разговора снова вызвала «зло и нелюбовь». 30 марта — «долго не мог заснуть от грусти и сомнений» и т.д. Духовным отдыхом и наслаждением для Льва Николаевича было посещение каморок честных тружеников, ремесленников и мастеровых. Так, навестив сапожника, обучавшего его шитью сапог, Толстой делает в Дневнике под 16 марта запись: «Как светло и нравственно изящно в его грязном, тёмном угле. Он с мальчиком работает, жена кормит» *(49, 68)*.

Софья Андреевна в это время — тяжело и неприятно беременна нежеланной для неё дочерью Александрой. Перешивая к лету детские вещи, она с сожалением и раздражением размышляла о том, что летние месяцы будут посвящены родам и уходу за ребёнком. Чем ближе становилось ужасавшее её по прошлым годам событие родов — тем «мрачнее» и «недружелюбнее» казался ей слишком погружённый в духовные самокопания муж. Натянутость отношений с мужем Соничка искренне описывает в письме сестре от 22 марта 1884 года:

«Лёвочка очень невесел последнее время; молчаливо, критически-сурово смотрят его глаза; я уже не спрашиваю, что его тревожит, о чём он думает. Бывало, я вызывала его на откровенность, и он разражался громкими и отчаянными жалобами и неодобрением моей жизни и образа действий. Но теперь я не вынесу этого, не довольно здорова и бодра сама, потому и молчу, и мы, как чужие, порядочные люди, которые живут в лучших, но совсем неоткровенных отношениях. По вечерам он шьёт сапоги (сшил Фету, Стаховичу, Сухотину и себе, и, разумеется, друзья хранят эти сапоги, как редкость), по утрам что-то читает, переделывает, — кажется, на русский язык и русский лад Конфуция. Ходит и ездит верхом, а совсем поздно уходит куда-нибудь к знакомым» *(Цит. по: МЖ – 1. С. 437)*.

Очень заметна здесь отстранённость повествования – как будто описывается «детская» жизнь подростка, а не взрослого, не мужа. В определённом плане, как мы говорили уже выше, Толстой и был тогда совсем недавно родившимся – к духовной жизни – ребёнком. Разумеется, это не означало его социального инфантилизма и заведомой «бесполезности» для семейной – хозяйственной, воспитательной и пр. – жизни. Это означало, что полезен он мог быть – совсем

при другом повседневном диалоге с членами семьи: при их бережном, благожелательном и *любящем отношении к тому, чем он стал*, родившись к жизни в Боге.

К сожалению, дневниковые записи Льва Николаевича именно 1884 года (с 6 марта по 13 сентября, когда в ведении Дневника опять наступает перерыв) – как никогда прежде удручают своими свидетельствами совершенно обратного отношения семейства Толстых к личности и мировоззрению его главы. 5 апреля Толстой поражается в Дневнике духовной слепоте семейных; 14 и 16 апреля, в ответ на попытки проповеди – слышит упрёки и «уличения» в «сумасшествии» (именно в связи с такими «уличениями» у Толстого родился тогда замысел «Записок сумасшедшего»); 17-го — испытывает на себе общую ненависть и выражает в Дневнике желание умереть; 21 и 23 – снова неудачно пытается проповедать перемену жизни, и, наконец, 26 апреля вносит в Дневник страшный вердикт: «они мертвы» — не физически, но для жизни духа и разумения.

В мае картина разрастающегося семейного противостояния, вырисовывающаяся по Дневнику Льва Николаевича, делается ещё страшнее. Снова – множественные жалобы на напряжённые отношения с женой и на одиночество в семье: на то, что жена ощутимо «ненавидит его» (3 мая); на «дёрганье души» при каждой очередной ссоре, на «холодность и злобу» жены и старших сыновей, от которых Толстой пытается спастись у дочерей (13 мая) и т. д. Жена демонстрирует «тупость, мертвенность души», сочетающуюся с «дерзостью, самоуверенностью» (запись 20 мая); «говорить нельзя – они не понимают» — о жене и детях, запись 21 мая; «не видят и не знают» его страданий – 29 мая. 28 мая – жестокое, но справедливое образное сравнение: «точно я один несумасшедший живу в доме сумасшедших, управляемом сумасшедшими». 31 мая, при попытке снова говорить жене о христианской перемене жизни – «всё тот же бессмысленный, тупой отпор», скандал, после которого Толстой «не спал всю ночь».

В связи с этими, неприглядными для семейства Толстых, свидетельствами из Дневника Льва Николаевича его добрый друг, единомышленник, секретарь, а впоследствии биограф Николай Николаевич Гусев делает в своей «Летописи жизни и творчества Л. Н. Толстого» важное замечание: Толстой, вероятно, в 1884 году начал вносить в Дневник записи значительно ранее 6 марта, но злой волей и агрессивной настойчивостью жены и детей Дневник впоследствии не только «редактировался», но попросту был частично уничтожен; так погибла и часть записей 1884 г.

В этой обстановке Толстой продолжает своё общественно-публицистическое и литературно-художественное творчество. Помимо писания трактата «Так что же нам делать?», он обдумывает «Записки *не*сумасшедшего» и «смерть судьи» — так названы в записи его Дневника под 27 апреля будущие повести «Записки сумасшедшего» и гениальнейшая «Смерть Ивана Ильича». 12 мая Толстой наконец выехал с семейством из Москвы на лето в Ясную Поляну – где продолжил писание трактата, чередуя его с физическим трудом (косьбой сена, уборкой комнаты, шитьём сапог).

К несчастию, грешная семейка увязалась за своим главой «на лоно природы» — будто для того, чтоб ещё пуще издеваться над мужем и отцом. Толстой постоянно видел перед глазами барский разврат жизни его семьи, а с другой стороны — тяжело работающих «родных» яснополянских крестьян. Тяжёлые раздумья отражались на его лице, воспринимаясь женой и сыновьями как неосновательно «мрачное» настроение и вызывая в ответ нападки сыновей, нервность и подозрительность жены… Более деликатно и уважительно вели себя в отношении отца дочери, у которых он уже на второй день по приезде домой «спасался от холодности и злобы» остальных *(49, 93)*.

Эта запись – свидетельство начавшегося сближения Толстого с дочерьми, которое впоследствии будет только возрастать.

14 мая Толстой записывает в Дневник о настроениях жены следующее: «Та же злость. Я как во сне, как <в гостях у> Хлудова, когда знаю, что ходит тигр, и вот, вот…» *(49, 93 – 94)*.

Эту загадочную запись при подготовке в 1920-е гг. к публикации Дневника Л.Н. Толстого расшифровали для исследователей московские старожилы: богатый купец Хлудов для потехи держал в доме тигра, который, правда, был приручен, всегда сыт и на гостей не охотился, но одним своим видом вызывал в них желанные Хлудову эмоции.

Но Льва не запугать тигром: Толстой решительно продолжал свои попытки нравственно повлиять на жену и на всю семью.

17 мая: «…пытался говорить с женой. По крайней мере, без злобы. Вчера я лежал и молился, чтобы Бог её обратил. И я подумал, что это за нелепость. Я лежу и молчу подле неё, а Бог должен за меня с нею разговаривать. Если я не умею поворотить её, куда мне нужно, то кто же сумеет?» *(49, 94 – 95)*.

Действительно: в постели, в деле поворачивания жены нужной стороной, хорошего мужа не заменит и Бог…

Но *21 мая*: «Разговор за чаем с женой. Опять злоба. […] Говорить нельзя. Они не понимают. И молчать нельзя».

И *22 мая*:

«…Шил сапоги. Не знаю, долбит ли моя капля, а невольно капля всё падает. <Т. е. не может не быть примером более нравственной, более близкой ко Христу жизни, независимо от степени влияния. – *Р. А.*> Нынче думал: родись духом одна из наших женщин – Соня или Таня, что бы это была за сила! Это вспыхнул бы огонь, который теплится» <О жене и о свояченице Татьяне Кузминской. – *Р. А.*> *(Там же. С. 95 - 97).*

А вот, пожалуй, одна из важнейших для нашей темы записей толстовского Дневника 1884 года, от *26 мая*:

«Я ужасно плох. Две крайности — порывы духа и власть плоти. […] Ходил по Заказу. Мучительная борьба. И я не владею собой. Ищу причин: табак, невоздержание, отсутствие работы воображения.

Всё пустяки. Причина одна — отсутствие любимой и любящей жены. Началось с той поры, 14 лет, как лопнула струна, и я сознал своё одиночество.

Это всё не резон. Надо найти жену в ней же. И должно, и можно, и я найду. Господи, помоги мне» *(49, 97)*.

Композиция отрывка ощутимо трёхчастна: интимные признания – самоанализ и выводы – самомотивация к новой деятельности. Но на конкретном содержании его нам нужно задержать читательское внимание.

«Лопнула струна…». «Четырнадцать лет назад» — то есть за десятилетие до исповедания Толстым тех неортодоксальных христианских убеждений, в которых современные российские околотолстоведческие мифотворцы так любят узревать едва ли не единственную причину несогласия в жизни супругов Толстых.

Выше, в презентации нами переписки Л. Н. и С. А. Толстых за 1871 год мы уже касались этой записи толстовского Дневника и раскрывали смысл метафоры о «лопнувшей струне». Тогда — напомним — Софья Андреевна пережила тяжёлое послеродовое заболевание «родильной горячкой». Она была мрачна, слаба и очень некрасива… Лев Николаевич же был полон сил и… интимных желаний… и ничего не мог поделать с этим! Как в 1871 году – так и в 1884-м. Недаром 17 мая он так заглядывается на игравших на дворе крестьянских девушек: «языческое… красное, заманчивое, похотливое» *(49, 94). Тогда*, в 1871-м, он боялся утраты жены как полового партнёра — из-за её

болезни. Он и сам тогда серьёзно хворал — и были у этого заболевания не столько физиологические, сколько психосоматические и нравственные причины… Теперь, в 1881-м — уже совершенно не болезнь, а депрессия и опять страхи «утраты в жене жены» из-за длительного конфликта убеждений, отравившего *все* сферы их общения… Сама же Соничка, как мы помним, как изводила себя с самого 1862 года подозрениями на тему: «муж меня не любит», так и продолжала изводить — в 1884-м с ещё б**о**льшей убеждённостью, чем в 1871-м. Напомним страшную запись из её дневника от 18 августа 1871 г., в которой тоже будто звучит «лопнувшая струна» — тема необратимого и разрушительного «перелома» в отношениях супругов:

«…Всё мне представляется мёртво и безнадёжно. Я не найду слов выразить, что чувствую. Что-то во мне умерло, и я знаю это горе, которое не выплачешь сразу, а которое годами продолжается и отзывается при всяком воспоминании нестерпимой болью души. […] С прошлой зимы, когда и Лёвочка и я, мы были оба так больны, что-то переломилось в нашей жизни. Я знаю, что во мне переломилась та твёрдая вера в счастье и жизнь, которая была. Я потеряла твёрдость, и теперь <переживаю> какой-то постоянный страх, что что-то случится. И случается действительно. Таня уехала <с мужем, которого назначили прокурором в Кутаиси. – *Р. А.*>. Лёвочка нездоров: это два существа, которые я люблю больше всего на свете. Они оба для меня пропали. Лёвочка потому, что совсем не тот, какой был. Он говорит: «старость», я говорю: «болезнь». Но это *что-то* нас стало разъединять» *(ДСАТ – 1. С. 84)*.

Оборот «не резон» в записи Л. Н. Толстого 26 мая 1884 года – свидетельство понимания им *иррациональных*, увязанных на психосоматике, причин его депрессии. А слова: «найти жену в ней же» — означают трудное, данное Толстым самому себе задание: найти в жене *другого человека*, близкого идейно и духовно. А не ту самку, няньку и хозяйку, которой фактически была по своим социальным ролям Софья Андреевна уже полные 20-ть лет в его доме (за что часто кляла свою судьбу и винила мужа). Для этого нужно было побарывать в себе нетерпимость и – главное – всё ещё сказывавшуюся похоть.

Со своей стороны – насколько мог – Толстой в последующие годы исполнил данное себе задание. Но «жены в жене» — обновлённой, духовной сестры по Христу — он не обрёл. И препятствием к этому оказалась, увы – сама Софья Андреевна…

С этого времени для Толстого становится особенно актуальна тема стоической и христиански-аскетической добродетели: пути к радости через воздержание, через страдание – через исполнение долга перед Отцом, перед Богом. Об этом – поэтичнейшая запись Толстого в Дневнике под 27 мая, под впечатлением от ночной пешей прогулки на железнодорожную станцию для встречи с поезда сыновей:

«…Пошёл один на Козловку к мальчикам. Чудная ночь. Мне так было ясно, что жизнь наша есть исполнение возложенного на нас долга. И всё сделано для того, чтобы исполнение это было радостно. Всё залито радостью. Страдания, потери, смерть — всё это добро. Страданья производят счастье и радость, как труд, отдых, боль, сознание здоровья, смерть близких — сознание долга, потому что это одно утешение. Своя смерть — успокоение. — Но обратного нельзя сказать; отдых не производит усталости, здоровье боли, сознание долга — смерти. Всё радость, как только сознание долга. Жизнь человека, известная нам — волна, одетая вся блеском и радостью» *(49, 98)*.

* * * * *

«Ужасно больно» — это выражение встречается в Дневнике Л.Н. Толстого 1884 г. дважды, и оба раза – в связи с попытками разговора со старшим сыном, Сергеем. Выехав с отцом «на лоно природы», и он, и младшие – явили собой образец безнравственных и праздных, развлекающихся дармоедов (см. записи от 4, 8 и 9 июня) – примерно такой же развратной и дрянной городской сволочи, которая и в наши дни наезжает в Ясную Поляну (музей) «культурно отдохнуть»: покататься, порезвиться, «пофоткаться»… 4 июня Толстой резко вступил в разговор Сергея со старшей роднёй – свояком Толстого Александром Кузминским, делившимся с юным Серёжей своими скептическими настроениями разочарованного в жизни «зрелого мужа». Лев Николаевич справедливо обличил обоих: свояка – в непоследовательности и самообмане, а сына — в барской, нетрудовой жизни. И вместо смиренной благодарности — нарвался на дерзкое самооправдание юнца:

«Я сказал Саше, что скептицизм ведёт к несчастью, если человек живёт в разладе с своими идеалами: чем дальше он пойдёт по этому пути, тем тяжелее ему будет. И для него <в соответствии с его взглядами> надо желать, чтобы жизнь его была хуже. Чем хуже, тем лучше. Он согласился. Серёже я сказал, что всем надо везти тяжесть, и все его рассуждения, как и многих других, — отвиливания: «повезу, когда другие». «Повезу, когда оно тронется». «Оно само пойдёт».

Только бы не везти. Тогда он сказал: я не вижу, чтоб кто-нибудь вёз. И про меня, что я не везу. Я только говорю. Это оскорбило больно меня. Такой же, как мать, злой и не чувствующий. Очень больно было. Хотелось сейчас уйти. Но всё это слабость. Не для людей, а для Бога. Делай, как знаешь, для себя, а не для того, чтобы доказать. Но ужасно больно. Разумеется, я виноват, если мне больно. Борюсь, тушу поднявшийся огонь, но чувствую, что это сильно погнуло весы. И в самом деле, на что я им нужен? На что все мои мученья? И как бы ни были тяжелы (да они легки) условия бродяги, там не может быть ничего, подобного этой боли сердца. [...] Косил долго. Обедали. Сейчас же пошёл шить <сапоги> и шил до позднего вечера. Не курил. Вокруг меня идёт то же дармоедство» *(49, 100 - 101)*.

Здесь Толстой впервые высказывает мысль об уходе из Ясной Поляны — в бродяги, как Иисус или Франциск.

На другой день, 5 июня, мысль об уходе только крепнет – из-за новой злобной выходки жены… но ей, готовой родить, он прощает и готов остаться. При этом, кажется, ничего другого, кроме любви к жене не удержало его в тот день…

Ссоры провоцировались, без сомнения, Соней, но были связаны с *внушавей жене опасения за обеспеченность семьи* попыткой Льва Николаевича развязаться с грехом собственности хотя бы в отношении его самарских земель – продать недорого остатки неудачного проекта конезавода, а арендную плату с земель подарить работающим на них крестьянам.

Но лучше бы ему было не объявлять это Соничке в *те* дни… дать спокойно хотя бы родить. Как реакция, у неё начались состояния возбуждения, здоровье совершенно расстроилось. А 17-го произошла ссора, которую вполне возможно уподобить долго собиравшейся грозе. Толстой был уже много дней раздосадован отношением к нему семейных *в родном его доме* и обдумывал отъезд… куда-нибудь. Но при этом, как и четвертью века позднее, в 1910-м, «цеплялся» за надежду выдержать, перетерпеть…

А Соничка… К сожалению, нет записей её дневника на эти дни (и вплоть до 11 июля). Есть мемуары, которые, при всей их субъективности и – местами – неправдивости, могут объяснить нам ряд интимных вещей… Не будем пересказывать, а дадим слово самой Софье Андреевне – и постараемся не вставать в этой тяжёлой истории *ни на чью* сторону.

«В мае мы переехали в Ясную Поляну, а в июне мне предстояли роды. Я очень желала иметь ещё девочку, но вперёд, в первый раз в моей жизни, решила, что сама кормить её не буду. Это страшно меня

огорчало. Но положение было безвыходное: или кормить и предоставить дела судьбе и разоренью, или не кормить и взяться за дела. Быть одновременно и женщиной, и мужчиной было невозможно. Кроме того, денег не было совсем, и надо было искать пути их добывать.

Ребёнку будущему, кроме вреда, я ничего не могла принести, так как была всё время в нервном слезливом настроении и под страхом вечного недовольства мной Льва Николаевича. Это портило бы молоко, и я решилась взять кормилицу…

Если бы в то время Лев Николаевич приласкал меня, помог бы мне в делах, попросил бы меня опять самой кормить ребёнка, я, разумеется, с радостью склонилась бы на это. Но он неизменно был суров, строг, неприятен и так чужд, как никогда. Целые дни он проводил вне дома…» *(МЖ – 1. С. 442 - 443).*

К этой «преамбуле» конфликта стоит добавить, что именно весной 1884 года, накануне переезда, Толстой говорил с женой о передаче ей всех не только хозяйственных, но и издательских дел *(Там же. С. 442).* Перед новыми родами! *Дел*, но отнюдь не денег на их обеспечение! А в Ясной – вдруг отбирает у неё надежду на пополнение семейного бюджета из самарских доходов. *Холодное* решение – без какой-то если не информационной («на что жить-то с детьми?»), так хоть моральной поддержки… Конечно, всегда эмоционально очень ранимой, а теперь ещё и готовящейся родить, Соне было этого не выдержать. И 17-го – её просто «прорвало». Толстой повёл себя, конечно же, не лучшим образом:

«Вечером 17-го июня зашёл разговор о самарских лошадях; я была не в духе, мне нездоровилось, и я в споре начала упрекать Льву Николаевичу, что все его затеи в убыток, что самарских лошадей поморили; денег на них вышло много, а толку мало, так как во всех своих делах у Льва Николаевича нет выдержки. Лев Николаевич доказывал противное, спор принял характер злобный, а так как отношения наши и так стали гораздо хуже, мы ни на чём не помирились» *(Там же. С. 443).*

Набив чем-то холщовый мешок, Толстой двинулся вниз по Пречистенскому бульвару. Соня догнала: «Куда?» — «Не знаю, куда-нибудь, может быть в Америку, и навсегда. Я не могу больше жить дома…» — «Но мне ведь родить, я сейчас уже чувствую боли. Опомнись, что случилось?» *(Там же).*

Но Лев ушёл, а Соничка, проплакав до полуночи, сидя на площадке для крокета, была наконец уведена акушеркой и домашними в спальню…

«…Схватки и боли обострились; я всё спрашивала, вернулся ли Лев Николаевич, и всю ночь его не было. В 5-м часу мне пришли сказать, что он вернулся и лёг спать внизу. Я вскочила с постели и, несмотря на уговоры акушерки, пошла вниз. Лев Николаевич лежал нераздетый на диване с злым лицом и ничего не сказал мне. Я ему объявила о начавшихся родах и сказала ему, что не могу ничем объяснить его злобу ко мне и подозреваю его ревность и дурные мысли по отношению к рождающемуся младенцу. Я поклялась ему, что никого кроме его не любила, что чиста перед ним, как и в первый день нашего брака, что, может быть, я сегодня же умру родами и прошу его простить меня, в чём я перед ним виновата. Разумеется, я при этом горько плакала и ждала опять от мужа добрых слов и <выраженного вслух> желанья, чтоб я сама кормила ребёнка, и обещания руководить делами. Но ничего этого не было…» *(Там же. С. 443 - 444).*

Давайте заглянем теперь в душу – в Дневник – и второго виновника и участника ссоры, Льва Николаевича. Опять же – не для совершенных оправдания или обвинения, а только для большего уяснения *его*, не менее тяжёлого, физического и душевного состояния.

Днём 18 июня он, что называется, «вымотал» себя: отправился к приехавшему к нему и проживавшему на даче у станции Козлова Засека (около часа ходьбы в одну сторону) устроителю артелей кустарей в селе Павлове Нижегородской губернии А. Г. Штанге. Когда Толстой вернулся домой, все уже пообедали. А потом…

«Приехал брат Серёжа, — пишет Толстой. — И две бабы — жены острожных и две вдовы солдатки. Ждали. Я устал, засуетился с ними и Штанге и Серёжей. *Тяжёлое, суетливое состояние.* Скверно наскоро пообедали. Пишу всё это к тому, чтобы объяснить последующее. Вечером покосил у дома, пришёл мужик об усадьбе. Пошёл купаться. Вернулся бодрый, весёлый, и вдруг начались со стороны жены *бессмысленные упрёки* за лошадей, которых мне не нужно и от которых я только хочу избавиться. Я *ничего не сказал*, но мне стало ужасно тяжело. *Я ушёл* и хотел уйти совсем, но её беременность заставила меня *вернуться с половины дороги* в Тулу. Дома играют в винт бородатые мужики — молодые мои два сына. «Она на крокете, ты не видал?» — говорит Таня сестра. — «И не хочу видеть». *И пошёл к себе спать на диване; но не мог от горя.* Ах, как тяжело! Всё-таки мне жалко её. И всё-таки не могу поверить тому, что она совсем деревянная. Только что заснул в 3-м часу, она пришла, разбудила меня: «Прости меня, я рожаю, может быть умру». Пошли наверх. Начались роды, — то, что есть самого радостного, счастливого в семье, прошло как что-то ненужное и тяжёлое. Кормилица приставлена кормить. — Если кто управляет делами нашей жизни,

то мне хочется упрекнуть его. Это слишком трудно и безжалостно. Безжалостно относительно её. *Я вижу, что она с усиливающейся быстротой идёт к погибели и к страданиям душевным ужасным» (49, 104 – 105. Выделения наши. – Р. А.).*

Мы видим, что «жестокое», «бесчувственное» поведение Толстого в тот роковой день было подготовлено созданной его семейными атмосферой в доме — в которой Лев Николаевич долго не находил для себя покоя, нервного расслабления… Но всё же и не был он столь жесток, как рассказала в своём меморате 1907 г. Софья Андреевна: не только не был «злобен», как она настаивает (увы! мы видели, что это излюбленный, и всегда несправедливый в отношении Толстого её эпитет с самых 1860-х гг.), но *ничего ей не ответил на нападки и вернулся ради неё, и был с ней при родах.*

Но надо понимать, что упрёки за лошадей были только *импульсом,* последним толчком… Причины — много глубже. Толстой бежал, по собственным дневниковым признаниям, от «безумия эгоистической жизни», от «безнравственной праздности», от «дармоедства», от «гадости» барской жизни, от нравственной порчи детей, от «тупости и мертвенности души» своих семейных.

Он пошёл по направлению к Туле и дорогой мечтал о том, где он поселится. Даже возвратившись в Ясную Поляну, он мечтал о том, как он мог бы уехать во Францию, так как «везде можно одинаково хорошо жить» (см. запись Дневника под 24 июня). Но чувство долга и жалости к жене заставили его вернуться с полдороги.

Вернувшись, Толстой лёг спать, но долго не мог заснуть «от горя».

Мучительное чувство горя, которое испытывал Толстой после своей неудачной попытки уйти из Ясной Поляны, имело несколько причин. Тяжело было сознавать полную безвыходность своего положения; тяжело было знать, что жена никогда не пойдёт с ним по одной дороге (хотя у него и шевелилось предположение, что она «не совсем деревянная»); тяжёл был разрыв с женой, с которой он прожил 22 года; мучительно было думать о том, что человеку, которого он искренно любил и жалел, предстоят «гибель» и ужасные душевные страдания.

Всё произошедшее нанесло удар по отношениям супругов и отразилось на настроениях, отчасти и на содержании, их переписки последующих лет.

Отношение жены и детей к главе семьи после этих драматичных событий сделались более сдержанными, разговоры – уклончивыми от прямого конфликта: «как будто мы всё разрешили и, вместе с тем, ничего изменять не надо» *(Там же. С. 110).*

Разумеется, такое «затишье» было прологом новой бури. В Дневнике Л. Н. Толстого под 12 июля запись — кратко о новом «объяснении» (т.е. словесном конфликте) и повторение страшного пророчества о «погибели», к которой толкает себя Софья Андреевна. Примечательно, что в ночь после этой новой ссоры Толстому приснился вдруг Чертков — тощий, как чёртик, совершенно сошедший с ума и «пляшущий» *(Там же. С. 112).*

14 июля грянула новая стадия непоправимого раскола. Тоже из числа того, что неловко пересказывать словами, и лучше процитировать из Дневника несчастного мужа целиком:

«В середу… я звал жену, и она, с холодной злостью и желанием сделать больно, отказала. Я не спал всю ночь. И ночью собрался уехать, уложился и пошёл разбудить её. Не знаю, что со мной было: желчь, похоть, нравственная измученность, но я страдал ужасно. Она встала, я всё ей высказал, высказал, что она перестала быть женой. Помощница мужу? Она уже давно не помогает, а мешает. Мать детей? Она не хочет ей быть. Кормилица? Она не хочет. Подруга ночей. И из этого она делает заманку и игрушку. Ужасно тяжело было, и я чувствовал, что праздно и слабо. Напрасно я не уехал. Кажется, этого не миную. Хотя ужасно жаль детей. Я всё больше и больше люблю и жалею их» *(49, 113).*

По-настоящему в это лето только с детьми отцу и мужу и удалось установить шаткий диалог. С женой же – нет, хотя, судя по записям толстовского Дневника июля и августа, они оба стремились к замирению, и Соня в лучшие дни или часы – не раз каялась в своём поведении и старалась держаться… но не меняя ни убеждений в отношении денег и собственности, ни того *чувства отвращения* к мужу, о котором она проговорилась ещё в письме от 5 февраля сестре и которое, обострившись летом, привело жену к грубо выраженному нежеланию интимного общения с мужем.

5 сентября – одна из записей в Дневнике Л. Н. Толстого, содержательно, к несчастью, похожая на позднейшие, описывающие нездоровое поведение Софьи Андреевны – вплоть до 1910 г.:

«Утром разговор и неожиданная злость. Потом сошла ко мне и пилила до тех пор, пока вывела из себя. Я ничего не сказал, не сделал, но мне было тяжело. Она убежала в истерике. Я бегал за ней. Измучен страшно» *(Там же. С. 120).*

За это лето Толстой понял многие слабости своей жены и разочаровался в надеждах сколько-нибудь скоро повлиять на её мировоз-

зрение. И – как мы видели – открыто, в ходе ссоры, подвёл итог *собственным потерям* тех её супружеских ролей, которые стали невостребованы им или невозможны вследствие взаимного охлаждения отношений. «Найти жену в ней же», т.е. спутника жизни, но *иного*, соответственного собственному его зрелому христианскому сознанию – сделалось актуальной задачей семейной жизни Льва Николаевича.

20 октября вся семья Толстого переехала в Москву – оставив своего «главу» на 13 блаженных дней в заслуженном и выстраданном одиночестве. Конечно, условие между супругами было сделано прежнее: активная переписка. К анализу её за указанный период мы и приступаем теперь.

Конец Второй Интерлюдии

Эпизод Двадцать Первый
«НАЙТИ ЖЕНУ В НЕЙ ЖЕ»
(19 – 31 октября 1884 г.)

Переписка Л. Н. и С. А. Толстых октября 1884 г. в целом оставляет впечатление своего рода «замирения» (но не мира!) в отношениях супругов: как будто оба её участника, «выдохшись» и измучив друг друга в обрисованном нами выше весенне-летнем противостоянии, теперь особенно ценили и берегли покой и чувства друг друга. Увы! за возможностью такого, по внешности, малоконфликтного общения стояла *разлука*, при которой оба супруга вели желаемый образ жизни и не видели друг друга.

Открывать переписку должно бы письмо С. А. Толстой – от 19 октября, т.е. писанное, с наибольшей вероятностью, ещё с дороги в Москву. Оно не публиковалось. Хронологически первым будет – её письмо от 21 октября, уже из Москвы. Начинается оно с семейно значимого известия: Александр Андреевич Берс, шурин Толстого, вызвал на дуэль некоего Сергея Писарева, красивого и молодого (на 10 лет младше Берса) ротмистра, к которому ушла было его жена, княжна Патти. Судьба благоволила старейшему, но бедолага Писарев, к счастью для семейства Берсов, был не убит, а лишь ранен:

«Самое главное, что Писарев не умер, сейчас получила телеграмму от <Миши> Стаховича, которого ещё не видала, и потому подробностей никаких не знаю.

Доехали все благополучно, все здоровы и довольны, ничего не потеряли, никого не простудили. В вагонах было жарко и тесно до конца. Духота просто была невыносимая. Стахович страшно шумел и шалил, так что привёл в азарт детей и особенно девиц, в том числе и miss Lake; так что помощи ни от кого не было, а суеты лишней от них было много.

Встретил нас в Москве Илья с большой каретой и с <дворником> Власом. Мы скоро всё устроили, всех усадили и приехали в наш дом, который всем показался так чист, уютен и хорош. Впечатление приезда было хорошее, приятное. Мальчики так рады, Madame сияющая и торжественная; всё приготовлено, чай, постели, еда. У мальчиков всё хорошо; учится Илья хорошо, кажется, а Лёля не довольно хорошо, единицы за алгебру и русский диктант по два раза.

Сейчас был Урусов, Сергей Семёныч. Больше никого ещё не видала. Чувствую себя дурно, вяло, очень устала, ночь не спала, утром дети шумели ужасно; поясница болит и голова. Понемногу раскладываюсь, но дела пока очень мало, так как товарный багаж ещё не пришёл. Miss Lake с утра уехала, малыши гуляли с Таней и Машей, купили конверты, бумагу, марки. Мальчики все с Альсидом в саду прыгают через барьеры, кто выше, кто дальше. Серёжа играл для Урусова наверху, Приходила Кашевская, мы с ней уговорились насчёт уроков, которые начнутся с четверга.

Сегодня у madame Seuron мигрень и она лежит. Начались уже подачи счетов, торг, заботы о той *мелочной жизни*, которую я так не стала любить. Стараюсь не вспоминать о той *просторной жизни*, которую только что оставила, а то слишком уж грустно.

Как-то ты будешь жить, дай Бог, чтоб тебе было хорошо. Прощай, милый Лёвочка, целую тебя. Буду писать всякий день.

Соня» *(ПСТ. С. 254 – 255. Выделения наши. – Р. А.)*.

Обратим внимание на это противопоставление в письме: «мелочной» жизни в роскошной московской усадьбе – и «просторной» (!) жизни милой Ясной. Мы не советовали бы нашим читателям делать в связи с этими образами категоричный вывод о «единомыслии» Софьи Андреевны мужу в отношении жизни с крестьянским народом и в деревне. Здесь, скорее, нечто сродное тоске о летних дачных, курортных и прочих развлечениях времени каникул и отпусков. Такой тоске, которой и в наши дни тоскуют типичные горожане. И,

конечно, горожанская же *зависть* к человеку, для которого *сравнительно* скромный яснополянский дом был родным и кто мог там не тосковать сплином, типичным для попавшей зимовать в деревню городской барыньки, а найти себе в любое время года больше общения, приятных развлечений и творческих занятий, нежели могут вместить все 24 часа в сутках! Увы! Соня оставалась рабой мира и мирских, социальных стереотипов о стратовых и гендерных ролях – что затрудняло для неё самой решение о путях личностной самореализации и приводило не раз и ранее, и позднее то в отчаяние, то в раздражение – первой жертвой которого оказывался муж…

В этот же день, 21 октября, традиционное *встречное* письмо отправляет из Ясной Поляны и Лев Николаевич – *первое* аж за целых три дня расставания, что ревниво отметит в своём на него ответе Софья Андреевна. Приводим текст этого письма, просто дышащего “между строк” радостью своевольного мальчишки, оставленного наконец одного строгими родителями в большом доме:

«Проводив вас, пошёл пешком домой, так как Филипу <кучеру> было дело. Он догнал меня на Рудаковой горе <Это близ совр. Косой Горы, сейчас в границах г. Тула. – *Р. А.*>. Дома переносился в мальчикову комнату и устроивался. Здоровье хорошо. <Экономка> Авдотья Васильевна всё мне устроила по твоим указаниям с великой роскошью. <Учитель> Дмитрий Фёдорович <Виноградов> сидел в соседней комнате и переписывал <черновики Толстого. – *Р. А.*>, а я читал.

[КОММЕНТАРИИ.

1.Известие о пешем путешествии в Ясную Поляну, и по-дружески отпущенном «по делам» кучере плохо вяжется с утверждением о «роскошной» обстановке в комнате Льва Николаевича. Это сразу уловила Софья Андреевна.

2. «Исследование догматического богословия» произвело на церковно-верующую жену Толстого настолько тяжёлое впечатление, что она *отказалась* от обычной работы с черновиками мужа. Позднее Толстой тоже часто прибегал к услугам переписчиков – других членов семьи или наёмных. Встречающееся в массовых публикациях утверждение, что жена была чуть ли не *единственной* переписчицей рукописей Толстого – не более чем произвольный вымысел. – *Р. А.* **]**

Нынче проснулся и встал в 8-м. День ещё лучше и теплее третьягоднешнего. Я отпустил Андреяна и сам убрался и наколол дров, что мне доставило большое удовольствие, и в 10 напился кофею и угостил чаем Марью Афанасьевну <Арбузову> и Дмитрия Фёдоровича,

и занимался пристально пересмотром и поправкой богословия <новой книги «Исследование догматического богословия»>. Хотел взяться за другую работу, но не чувствую себя достаточно бодрым. В три пообедал и *пошёл пользоваться красотою дня*; прошёл заказом в ёлочки за <ручей> Кочак, мимо бибиковского сада к <кочаковской> церкви. Там зашёл к <священнику> Иван Никаноровичу. Мужик просил меня похадайстывать, чтобы священник сбавил с 7 р., которые он просит за сватьбу. У священника 9 человек детей, и ему меньше брать нельзя. Мы поговорили дружелюбно, и я при лунном свете пришёл домой. Дома сидит Анна Ивановна (которую волк кусал) с мальчиком <сыном>. Она приехала узнать, вышло ли ей что-нибудь. Я поставил самоварчик, и мы беседовали. Она много рассказывала интересного про арестантов, которые у ней стоят, между прочим про <вора> Рыбина, который пойман, и прошёл у них, и представляется героем в её, и главное её сына, — глазах. Сейчас ложусь спать. Снесу только это письмо. Вчера известие о смерти Писарева (верно ли оно) очень сильно на меня подействовало. Мне стало ужасно грустно и уныло. *Так ясна стала вся толщина стены, отделяющей людей от истины.*

[ПРИМЕЧАНИЕ.

В «Русской старине» за прошедшие ко времени переписки месяцы 1884 г. были напечатаны: мемуары В. О. «Воспоминания о походе 1877—1878 гг.» (август, сентябрь); очерк Карцова «К истории покорения Кавказа» (июль, сентябрь); из записок генерала М. Я. Ольшевского: «Русско-турецкая война за Кавказом в 1853 и 1854 гг.» (октябрь). **]**

Тут же на это впечатление читал из «Русской старины» воспоминания и описания войн. *Как густо налёг обман на людей*! Не видишь возможности уничтожения его. Но я знаю, что это слабость. Не было бы этого обмана, нечего бы было делать на свете — мне по крайней мере. Но всегда становится страшно, когда увидишь всю толщину его. Надо не думать об этом, а уничтожать его, сколько в силах. И тогда весело.

Как ты приехала? Смягчились ли жестокие дамы и ты успокоилась ли? И в Москве не было ли неприятных впечатлений и если были, поддалась ли ты им? Что мальчики? Что Ольга Зайковская? <Подруга молодости С. А. Толстой. – *Р. А.*> Видела ли ты её ещё? Мне осталось впечатление раскаяния, что я второпях холодно поздорововался с ней. Она такая измученная по лицу и жалкая.

Пиши поподробнее и не торопясь поточнее. Обнимаю тебя и всех детей» *(83, 429 - 430)*.

Не дождавшись ответа, на следующий день, 22 октября, Лев Николаевич посылает жене «вдогонку» первому ещё одно письмо – продолжающее повествование о его полумонашеской жизни и религиозном творчестве в Ясной Поляне. Так получилось, что 23-го Софья Андреевна ответила одним письмом сперва на первое из писем, а следом, получив и прочитав второе – и на него.

Вот письмо Л.Н. Толстого жене от 22-го октября, с незначительными сокращениями:

«Писем ещё не получал и скучаю о тебе и всех вас — больших до Андрюши исключительно. Маленькие — те радость, украшение, а большие интерес, и сложное отношение с каждым.

Нынче ты бы меня бранила, и поделом; я дурно себя вёл, а именно. Встал в 8, убрался, напился кофе с Дмитрием Фёдоровичем. Вышел в сад, — погода восхитительная. Думаю, надо воспользоваться, только взгляну переписанное. Сел, стал читать, поправлять и до 6 часов, со свечёй ещё работал <над рукописями «Исследования догматического богословия». – *Р. А.*>. И устал. Ты скажешь: пустое занятие. Мне самому так казалось. Но потом я вспомнил ту главу, которую я поправлял и над которой больше всего сидел, — это глава об искуплении и божественности Христа. <В окончательном варианте «Исследования…» это, соответственно, главы XI и XII. – *Р. А.*> Как ни смотри на это: для миллионов людей вопрос этот огромной важности, и потому кое-как или основательно исследовать его, — это важно, если только писанье моё будет прочтено.

В 6 пообедал — овсяный суп и каша поджареная, прекрасная; почитал и в ½ 8 пошёл ходить. Ночь не хуже дня — прелесть. Пошёл по дороге в церковь <в Кочаках>; оттуда хотел через Воробьёвку зайти к Бибикову и через Кочак домой. У Воробьёвки встретил толпу мужиков и баб с песнями. Сватьба. Они прошли со мной до двора и стали упрашивать войти. Я вошёл — меня величали и поднесли полотенце. Все в том лёгком, пьяном состоянии, в котором мужик так мил. Я выпил браги молодой; потребовали, чтобы я сказал: горько, и требовали этого раз 5. И молодой, и молодая свежие, здоровые, нарядные, сильные, счастливые. Молодому 19 лет. Оттуда уж пошёл домой прямо через деревню. Зашёл к Козловым <в семью крестьянина Д. Д. Козлова, одного из бывших учеников Толстого. – *Р. А.*>, зазвала старуха, там сцена между снохами, требовали моего совета. Я, разумеется, ничего не мог помочь. Только вышел — Резунова зовёт

к себе, — тоже дело. Пришёл его сын, солдат. Добродушный, наивный парень. Жалуется, что жена его бросила и ушла. Семён <Резунов> плачет, жалеет брата. — Точно жалко и гадко, и я хочу отказать Митрофану. <Приказчик Толстого Митрофан переманил у Резунова жену. – *Р. А.*> Как ты об этом думаешь?

[…] На место Митрофана я приищу теперь человека, если же не найду никого очень подходящего, то поручу кому-нибудь из мужиков, не пьющих. Впрочем, всё видно будет. Я чувствую, что начинаю писать бестолково. Я устал, но здоровье хорошо. Теперь 12 часов ночи, придётся разбудить или Марью Афанасьевну или Филипа, чтобы отдать письмо.

Хорошо-то хорошо здесь, а всё-таки долго без вас не проживу. Завтра едет Митрофан в Тулу, и я верно получу письма, а утром от тебя.

Прощай, целую тебя» *(83, 431 - 433)*.

Как было выше сказано, на эти два письма от мужа Софья Андреевна отвечала письмом от 23 октября, *четвёртым* её письмом в эти дни (текст письма от 22 октября не опубликован и недоступен нам), и достаточно пространным. Частично мы опустим ниже в его тексте некоторые сугубо хозяйственные подробности, касающие-ся московской жизни семьи, а так же подробности жизни родственников и отношений с ними. Главное в письме, конечно, не эти подробности, а – выразившееся настроение искренности и любви, столь часто, как мы видели, изменявшее супругам в предшествующие полтора года переписки. Приводим текст письма С.А. Толстой от 23 октября с незначительными сокращениями:

«Вчера получила твоё *первое* письмо; мне стало грустно от него. Я вижу, что ты остался в Ясной не для той умственной работы, которую я ставлю выше всего в жизни, а для какой-то игры в Робинзона. Отпустил Андриана, которому без памяти хотелось дожить месяц, отпустил повара, для которого тоже это было удовольствие не даром получать свою пенсию, и с утра до вечера будешь работать ту неспорую, физическую работу, которую и в простом быту делают молодые парни и бабы. Так уж лучше и полезнее было бы с детьми жить. Ты, конечно, скажешь, что так жить — это по твоим убеждениям, и что тебе так хорошо; тогда это дело другое, и я могу только сказать: «наслаждайся», и всё-таки огорчаться, что такие умственные силы пропадают в колоньи дров, ставлении самоваров и шитье сапог, — что всё прекрасно как отдых и перемена труда, но не как специальные занятия. — Ну, теперь об этом будет. Если б я не написала, у меня осталась бы досада, а теперь она прошла, мне стало

смешно, и я успокоилась на фразе: «чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало».

Вчера была у Оболенских, имянины Лизы. Были гости, родные, всё как обыкновенно, ужин и сидели поздно. Я устала, но вернувшись, нашла записку ко мне от Лёли, он просил поправить ему русское сочинение; я с удовольствием это исполнила, но за то легла в 3 часа. Утром с 8-ми дети спать уж не дают, но я привыкла, и только чувствую себя растерянной. — Пришли вещи, мы раскладывались, потом ходили пешком с Машей на Смоленский рынок и купили стол, коммод Маше и ещё кое-что необходимое. Завтра поеду к <доктору-гинекологу> Чижу, здоровье всё не совсем-то хорошо. Жизни ещё никакой нет, слишком беспорядку много, а так как нездоровится, то я не тороплюсь и очень медленно убираюсь.

Вчера с Лёлей <сыном, Л. Л. Толстым> было небольшое столкновение. В день нашего приезда утром он не пошёл в гимназию, сказав с вечера Власу, что он, может быть, не пойдёт. Потом он Madame сказал, что у него живот болел. Она не поверила и не подписала в книге. Он просил меня; я говорю, что лгать не могу, я не знаю, болел ли у него живот, когда я была в Ясной. Лёля начал приставать, пробовал упрашивать, но я не согласилась. Тем и кончилось. Серёжа второй день всё пропадает с утра; говорит, что был в <университетской> лаборатории. Илья очень мил и имеет свежий вид. Маша приходит в аккуратность и готовится хорошо учиться. Все прежние учительницы уже приходили и ужасались тому, что она забыла. Малыши шумят и надоедают, потому что ещё не установилась жизнь; только Саша кротко и счастливо улыбается и никогда её не слыхать; а когда слышно, то только жалко. Она не гуляла нынче; её простудили, такой сильный у неё насморк.

Сейчас получила твоё *второе*, хорошее письмо. Я тебе упрекаю, что ты *физическим* трудом слишком занят, а ты как раз обратно, слишком много *умственно* занят. Главное, милый друг, береги себя всячески; чтоб я была довольна, надо только одно — чтоб ты был счастлив, здоров и не измучен. Для этого я и здесь ломаю голову беспрестанно, чтоб так устроить жизнь, как легче всего было бы тебе её выносить в Москве. Едва ли я это сумею; а как бы желала!

О делах что же я могу думать, ты всё сам ведь знаешь. Денег в банке 3300 р. с.; у меня 700, которые тают не по дням, а по часам в Москве. […]

Насчёт <приказчика в Ясной Поляне> Митрофана, по-моему, дело не наше. Возьмёшь другого, почему же ты думаешь, что и другой не отобьёт ещё десять чужих жен? Вопрос в том, делает ли он своё дело хорошо, а не в том, кто с кем живёт; в этом ни за кого в мире нельзя

ручаться. Не менять же прикащиков по мере их отношений к женщинам.

Ты мне писал, чтоб я точнее всё писала; а я час пишу это письмо, и меня десять раз оторвали, я не только не могу сосредоточиться, но просто дописать не могу. Я это не от своей суеты, а от окружающей.

[…]

Прощай, милый друг, целую тебя; я вдруг себе ясно тебя представила, и во мне такой вдруг наплыв нежности к тебе. Такое в тебе что-то есть умное, доброе, наивное и упорное, и всё освещено только тебе одному свойственным светом нежного участия ко всем и взглядом прямо в душу людям.

Соня» *(ПСТ. С. 256 - 258).*

Последняя, «портретная», психологическая деталь – абсолютно достоверна: множество современников, общавшиеся с Толстым, смогли ощутить на себе этот свет и силу этого взгляда…

Хозяйственные, финансовые, а теперь ещё и издательские хлопоты обступили Софью Андреевну. Между тем, как мы видим из последнего её письма, она снова хворает: визит к талантливому московскому акушеру и гинекологу Михаилу Ильичу Чижу был связан именно с интимным заболеванием. Соня крепится, жалуется мало, и старается держать под контролем все дела: и свои, и продолжающего своё творческое уединение в Ясной мужа.

Конечно, Лев Николаевич не мог заметить и не оценить и того, и другого: и “житейской хватки”, с которой Соничка описала подробнейше непростые семейные дела и пути их разрешения, и сдержанности, деликатности в описании собственного состояния и здоровья. Последнее встревожило Льва Николаевича и заставило напрямую спросить о здоровье в ответе от 25 октября. Этому письму предшествовало не опубликованное письмо от Софьи Андреевны от 24-го октября с описанием визита к ней Чижа, осмотра им и его результатов, а также письмо Толстого от 23-го, в котором, будто угадав ход Сониных мыслей, он, в числе прочего, пишет и о некоторых своих хозяйственных замыслах:

«Вчера лёг очень поздно; но нынче опять встал в 8 и также с Дмитрием Фёдоровичем пил чай. Продолжаю поправлять переписанное. Нынче не хотел уставать и в 3 кончил, и пошёл в Ясенки купить почтовых конвертов. Погода портится, — мга и туман. Но славно прошёлся и много, хорошо думал на обратном пути о том, что мне надо, пока мы живём, как мы живём, самому вести хозяйство. Начать в

Ясном <т. е. в Ясной Поляне>. У меня есть план, как его вести сообразно с моими убеждениями. Может быть это трудно, но сделать это надо.

Общее моё рассуждение такое: не говоря о том, что если мы пользуемся ведением хозяйства на основаниях (ложных) собственности, то надо вести его всё-таки наилучшим образом в смысле справедливости, безобидности и, если можно, доброты, не говоря об этом, мне стало ясно, что если то, что я считаю истиною и законом людей, должно сделаться этим законом на деле в жизни, то это сделается только тем, что мы, богатые, насилующие, будем произвольно отказываться от богатства и насилия; и это произойдёт не вдруг, а медленным процессом, который будет вести к этому. Процесс этот может совершаться только тогда, когда мы сами будем заведывать своими делами и, главное, сами входить в сношения с народом, работающим на нас. Я хочу попытаться это сделать. Хочу попытаться совершенно свободно, без насилия, а по доброте вести сам дело с народом в Ясной. Ошибки, — потери большой, даже никакой, я думаю, не будет. А, может быть, будет хорошее дело. Хотелось бы в хорошую минуту, когда ты слушаешь, рассказать тебе, а описать всё трудно.

Я думаю начать сейчас же. Принять всё от Митрофана и наладить, и зимой приезжать изредка, а с весны постоянно заниматься. — Может быть, тут, не заметно для меня, меня подкупает желание чаще бывать в деревне, но я чувствую, что моя жизнь была поставлена неправильно этим отвёртыванием, игнорированьем от дела, которое делалось, и делалось для меня, и совершенно противно всем моим убеждениям. — В этом игнорированьи было тоже то, что я, по принципу не признавая собственность перед людьми, из fausse honte [*фр.* ложного стыда] не хотел заниматься собственностью, чтоб меня не упрекнули в непоследовательности. Теперь мне кажется, что я вырос из этого. Я знаю в своей совести, насколько я последователен. Но, душа моя, пожалуйста имей в виду, что это дело очень для меня душевное, и необдуманно и с горяча не возражай и не нарушай моего настроения. Я уверен, что вреда от этого никому не будет, а может выдти и очень хорошее и важное.

Боюсь, что ты не поймёшь меня. И нельзя по этим неясным выражениям.

Утром получил твоё коротенькое, но приятное письмо — вижу, что всё пока хорошо. Как здоровье. Пиши вообще поподробнее, — коли время и хочется. — Я совсем здоров. Нынче ел редьку с квасом, похлёбку и печёную репу.

Из Тулы ничего не получил; только заказное письмо тебе, по которому постараюсь завтра получить. Я завтра поеду верхом, чтобы купить товару на сапоги Стаховичу. Как я рад, что Писарев не умер!

[…]

Целую тебя и детей.

Кланяйся M-me Seuron и M. Lake.

Шарик presente ses respects à M-me Seuron. Il me fait l ’honneur de m’accompagner dans mes promenades» [*фр.* свидетельствует своё почтение перед madame Сейрон, он оказывает мне честь, сопровождая меня во время моих прогулок.] *(83, 433 - 435).*

В следующий день, 24-го, Толстой ответил Софье Андреевне на письмо от 23-го – в основном по вопросам хозяйства, приобретения денег, продажи лошадей и организации самостоятельного хозяйства в Ясной Поляне… Не получив ещё писанного в этот же день письма Сони с подробностями осмотра её гинекологом, он делает запрос и об этом… с достаточно специфическим пояснением: «Мне это интересно не по существу, потому что я знаю, что доктора могут только попортить нашу жизнь, но пользы принести не могут, но интересно по отношению к тебе» *(Там же. С. 436).*

Внимания достойна и его реакция на жалобы Сони на огромные расходы и перспективы нехватки денег на московскую жизнь:

«А если нужны будут деньги, то поверь, что найдутся (к несчастью). Можно продать мои сочинения…; можно продать <мои> «Азбуки», можно лес начать продавать. К несчастью деньги есть и будут, и есть охотники проживать чужие труды.

Как я говорил тебе, всякое сознательное и добровольное уменьшение своих требований в нашей семье на 5 рублей в месяц дороже приобретения в 50. 000. Вот увидимся, поговорим. Лошадей в самом деле можно бы продать и с экипажами» *(Там же. С. 436 - 437).*

По этим рассуждениям Софья Андреевна без труда могла узнать прежнего, «летнего» Льва Николаевича – не покорившегося и намеренного продолжать чреватую новыми конфликтами проповедь опрощения и сближения с жизнью народа.

Наконец, получив письмо 23 октября от Сони и письмо от дочери Татьяны, 25-го Толстой отвечает и продолжает рассказ о своём яснополянском отшельничестве:

«Встал рано. Здоров. Поправляю «Богословіе» <«Исследование догматического богословия»>. Нынче хорошо работал. Пришла Федотова <крестьянина Федота Орехова. – *Р. А.*> жена объявить, что он умер. Я в 3 часа пошёл к нему. Старухи стоят; он лежит покрытый чистым полотном, свечка в чашке. Дети босиком, его и Капыловы, резвятся с моими собаками.

Пошёл походить по лесу. Увидал срубленное хорошее дерево, липу, и пень прикрыт листом, а дерево лежит. С трудом удержался ничего не сказать. Но не сказал, и мне приятно, так что пишу про это. С Митрофаном ещё ничего не предпринимал. Думаю, что он не нужен. И экономии больше 300 рублей в год. Только бы его не обидеть. Ты права, что судить нравственные поступки не след, и не мне; но я думаю, что будет лучше. Только бы дела по дому было кому поручить.

Вернулся к обеду раньше других дней и почему-то устал и заснул после обеда. Потом хотел шить сапоги, но взялся за свои тетради и опять стал писать. Не думай, чтобы это было праздная работа; напротив, я вижу, что теперь я окончательно доделываю эту работу, так что больше не возьмусь за неё.

Получил твое письмо — хорошее. Только о здоровьи всё не решено, и дурно, что ты мало спишь. И ваши имянины у Леонида <Оболенского>, мне за вас скучно было. Спасибо Тане за письмо, — some more *). Уроки её устрою к её удовольствию, только бы она занималась охотно, не пускала бы энергию, как воду в запруде, на колесо пустяков, тогда всё будет хорошо.

---

*) Т. е. «ещё». Эта поговорка, выражающая одобрение и желание получить ещё, завелась в семье после того, как маленький Лев Львович после причастия сказал в церкви по-английски: «please some more [пожалуйста, ещё немного]» — *примечание С. А. Толстой.*

Читаю я «Русскую старину» с большим удовольствием — тем удовольствием разыгрывающегося воображения на разные темы жизни.

Теперь вечером Дмитрий Фёдорович и Агафья Михайловна пили чай. Агафья Михайловна тебя очень любит и хвалит, — и искренно, и мне это очень радостно было. — Хорошо она сказала: «Я думаю, что ж это, здесь плохо жить, и за грехи нужда и болезни, а ТАМ, говорят, тоже плохо будет. Что ж это?»

Недели ещё нет, что я один, и мне хорошо, — но кажется очень давно и скучно (в мужицком смысле) без вас.

Сейчас поеду сам на Козловку, отдам это письмо и возьму твоё. […]» *(83, 439 - 440).*

Наконец, приводим и ответ Софьи Андреевны на два (от 23 и 24 октября) вышеприведённых письма Л.Н. Толстого, писанный ею в тот же день 25 октября:

«Только что отправила своё письмо вчера, как получила твоё, милый Лёвочка. По какой-то странной верно случайности, но всё, что ты напишешь мне, то не только возражать, но я сама точь-в-точь то же думала; т. е. в именьи, где живёшь хотя половину года, недобросовестно не заниматься самому, именно по отношению к народу; выгоду можно извлекать ту же, а по-моему бóльшую, и всё то, что пропадает, что крадут, что бесхозяйственно тратится, всё это с умом можно раздавать, помогать, делить с народом. Отношения будут самые приятные — выгода была в Ясной такая ничтожная, что про неё и говорить нечего; а с твоим уменьем и умом (когда ты только захочешь), ты всякое дело можешь отлично вести. Ну что ж, если б это бы и был предлог в деревню ездить, то тем лучше, тебе будет не совестно и не скучно оставлять нас для дела, нас же кормящего, воспитывающего и содержащего. — Поняла я тебя или нет, я не знаю, но *как* поняла, так и отвечаю.

Если ты разочтёшь <управляющего Ясной Поляной> Митрофана, спроси у него книжки, по которым брали провизию; я дала ему 100 р. с. в мясную лавку Попова <в Туле> отдать. Ещё надо у него отобрать ключ от кладовой и того дома. Если он сам и честный, то бабы, его окружающие, страшные мошенницы. Арину непременно разочти; с ней была целая история; её прямо уличили в воровстве половины молока. А по бутылке молока, отпускаемого несчастному Федоту, я видела, как ей, просто по злобе, это трудно и досадно было. Это такая гадкая, злая баба, сплетница, интригантка, а злых мы в нашем новом хозяйстве держать не будем. Меня возьми себе в помощницы, я с тобой так радостно буду делать всякую работу, только бы поздороветь, а духом я так весела и спокойна, и на всё готова.

Здоровье моё нынче получше, а вчера я до 3-го часу ночи как в лихорадке дрожала от боли, даже зубы стучали. Нужен *покой физический*, самый строгий, и я это сама знаю, и буду к этому стремиться, чтоб поскорей быть *годной* на дело всякое.

Перерыв моего письма сделался потому, что я получила сейчас твоё и письмо Василия Ивановича <Алексеева, управляющего самарскими землями Толстых, о трудностях со сборами арендной платы с тамошних крестьян. – *Р. А.*>. Всё моё спокойное и хорошее расположение духа перебаломутилось. Как ты ни утешаешь, что деньги будут, я никак не соображу, откуда же? А расходы в Москве

при самой усиленной экономии так велики, что просто беда, в ужас приводят всякий день. — Конечно, вместе с тобой всё будет легко, если ты будешь помогать, и с добротой помогать мне во всём. Когда увидимся, поговорим… Видишь ли ты, как без бумаг и без крепких условий самим крестьянам неудобно? Так и самих себя и их разоришь.

Ты пишешь, что дети не напишут? Я всякий день им говорю, да так они ленивы что-то. Всячески подбодряю их, и всё не расшевелишь. Сегодня Лёля был противен. Кашевская ему урок должна была дать, а он кричит, что устал, не хочу, только что из гимназии пришёл (а он сегодня в 3 часа приходит, потому и устроили музыку от 3½ до 4½). Потом Маша училась в его комнате, больше негде ей, он и за это кричал, что ему деваться некуда, он пилить хочет именно в этот час. Когда я ему начинала говорить, что семьёй жить, надо друг другу уступки делать и устроиваться, как бы удобнее всем, он фыркал и говорил, что на ключ будет запирать комнату. А вчера все старшие ушли к Толстым, а я с ним играла в 4 руки, и мы были так дружны и веселы! — Серёжа очень хорош, вчера Тане всё упрекал и кротко советовал так серьёзно и хорошо, чтоб она не опускалась, чтоб чем-нибудь серьёзным занялась, и она слушала и говорила: «да, надо, непременно». Илья очень молчалив, но тоже кроток и со мной хорош. Маша нынче взялась за все уроки сразу.

Перед тем как приехать, напиши, а то у тебя не топят ещё и будет холодно. […]

Я никуда не езжу и не поеду 12 дней. Так велел доктор; двигаться как можно меньше; и потому я никого не вижу, что очень приятно, можно детьми заниматься. Если только вечером приедут, тогда пусть, когда дети спят.

Ты ничего не пишешь сегодня о своих занятиях, здоровье и духе. Верно потому, что в Туле был; впрочем, я сейчас посмотрела и вижу, что ты не весел, и не так тебе хорошо, как бы я того желала.

Ты всё просишь подробнее писать. Ну вот наш день: встала поздно, пошла к маленьким, у Саши был жар всю ночь, теперь только насморк; мальчики были в гимназии, Серёжа был утро всё дома, играл на фортепиано, а потом, хорошенько позавтракав, на весь день без обеда ушёл в лабораторию. Кашевская учила Машу и начала с Андрюшей, что произвело волнение ужасное у малышей, и восторг даже. Пришёл Лёля не в духе, как я писала уже. Таня с Верой ездили на Кузнецкий мост, Тане нужно платье. Она не купила, дешёвого не хочется, всё не нравится, а дорогое не решилась.

Ма́шина русская учительница с нами обедала; она очень простая и хорошая. После обеда пошли все наверх играть, работать под лампой в зале, а я села тебе писать. Утром учила Андрюшу, собрала, свинтила всю машину, убиралась потихоньку. Но что ни делаю, всё больно внутри, особенно к вечеру, теперь.

[…]

У нас ещё не устроено наверху, и я нынче с досадой смотрела на всё мною заведённое, и теперь столь ненавистное мне гостинное устройство, которое обойщики приводят в порядок. Прощай, милый Лёвочка, сегодня писала что-то длинно, но боюсь, что опять пустое письмо. У меня нервы страшно слабы, и я буду принимать кали-бромати, — Чиж велел от спинной боли и от того, что пока нервы так слабы, болезнь не уступит леченью. Получила от Тани неприятное письмо, одобряет дуэль, упрекает, что её письмо мама́ читала своей. Целую тебя и люблю.

Соня» *(ПСТ. С. 261 - 263).*

Выразившееся и в этом письме недолгое (как впоследствии оказалось) «подобрение» Софьи Андреевны, резкую перемену её настроения в пользу примирения с мужем биограф Толстого Н.Н. Гусев достаточно упрощённо связывает с её интимным «женским» заболеванием, диагностированным при осмотре акушером Чижом *(Гусев Н.Н. Материалы… 1881 – 1885. С. 365).* Выше мы постарались показать, что временная смена настроения в отношении мужа и отца коснулась не одной жены, но и детей, и хронологически совпадает не с болезнью Софьи Андреевны, а с родами дочери. Кроме того, сведения из мемуаров самой Софьи Андреевны не позволяют делать вывод о её каком-то в целом особенном, спокойном и умиротворённом настроении, а только об *усилиях* (предпринимавшихся вместе с детьми) не добавить Льву Николаевичу к прежним ещё новых огорчений. Вот что вспоминает об этих днях сама Софья Андреевна:

«Доктор велел мне лежать и не велел ни ходить, ни ездить, ни волноваться… Легко сказать, когда восемь человек детей и так много было дела и забот. Нервы были страшно расстроены и чувствительность очень повышена» *(МЖ – 1. С. 448).*

Она приводит здесь же несколько строк из тогдашнего своего письма сестре, в котором признавалась, что не хочет ни о чём ей писать, потому что всякое выражение чувств так волнует её, что она боится его, и желает одного: «чтобы гладко, дельно и тихо шла жизнь, чтоб равновесие нигде не нарушалось…» *(Там же. С. 448 - 449).*

Таким образом, в отношении именно жены к мужу, действительно, главную роль в эти дни играло состояние её здоровья — в той или иной степени, быть может, и связанное с переживаемым ею заболеванием. «Так всё наболело за последнее время, что я старательно уже не возвращалась к прежним чувствам, берегла себя и инстинктивно оградила себя от прежних тревог и желаний» *(Там же. С. 449)* — конечно, в этом признании идёт речь не об одной только физической боли.

Есть и ещё одно признание Сони по поводу переписки этих дней — напрямую подтверждающее нашу догадку:

«Меня пугало очень то, что часто настроение Льва Николаевича зависело прямо от моих писем, в которых я старалась быть как можно сдержаннее и осторожнее. […] Письма мои заводили жизнь Льва Николаевича и его настроение, как заводят часы. Или она останавливалась, или опять шла правильно» *(Там же. С. 453 - 454)*.

И тут же, в обычном своём стиле, жена Толстого вворачивает слово обиды и «обличения»:

«Способствовать же тому, чтоб *мне* было хорошо, ему и в голову не приходило» *(Там же. С. 454)*.

Возвращаемся к переписке октября 1884 г. Очередное по хронологии письмо — 26 октября, от Льва Николаевича:

«Вчера получил твоё письмо после посещения доктора, и ужасно мне стало грустно тяжело и главное, сам я себе стал ужасно гадок. — Всё я, — грубое и эгоистическое животное. А ещё я храбрюсь и осуждаю других, и гримасничаю добродетелью! Не могу тебе выразить, как мне было и есть тяжело. Вчера и во сне всё видел себя презирающим себя. Долго не спал и нынче проснулся позднее. Дождь. Я сел за работу и просидел до темноты. Голова болит. Пошёл ходить в лес. Хотел посмотреть, увезли ли дерево, но смерклось, и я не нашёл. Оттуда зашёл к Федоту. Мне сказали, что его ещё не похоронили. Подошёл к окну и вижу: на столе, где он лежал, лампа, чашка с лапшёй, сидят гости, и прямо против меня румяный Федька <сын Федота> ест, облизывается. И все очень оживлённо едят. Я постоял, посмотрел и не вошёл. Оттуда в темноте нагнала меня Ольга с Васькой сабачником <отец и дочь Макаровы, яснополянские крестьяне. – *Р. А.*>; она стала мне со слезами рассказывать, что отдала дочь, а теперь не знает, что с собой сделать, как скучно. — Да утром ещё были два хорошие старика, странника из Олонецкой губернии. Они живо осушили мой самовар и были очень довольны и хорошо

рассказывали. — Пожалуйста, пиши мне подробнее о своём здоровье. Я разорвал и буду разрывать. — Как ты не устроишь, чтобы спать и отдыхать. Это во всяком случае главное условие для выздоровления. Скажи Тане, что это её дело так устроить, чтобы ты не сидела долго вечером и утром бы тебя не будили. Хорошо, что мальчики в хорошем состоянии. — Я ничего не предпринимаю, потому что уж очень себе противен. Прощай, душенька, целуй детей. Правда, что тебе суетно, но письма твои очень мало мне изображают твоё душевное состояние» *(83, 441 - 442)*.

В конце письма Лев Николаевич демонстрирует свою догадку о “натянутости”, не полной искренности писем жены. И, конечно, на протяжении всего письма – пусть и «дистанционную», но вполне искреннюю заботу о здоровье и благополучии жены. Её, выраженное в мемуарах, недовольство – конечно, не объективная оценка супружеских отношений на тот момент, и писана под влиянием позднейшего раздражения.

Письмо Сони от 26 октября:

«Мне что-то ужасно делается скучно без тебя; до сих пор я храбрилась, а сегодня точно все мои силы упали, такая без тебя тоска, ужас просто. Если б здорова, кажется сейчас бы на поезд и приехала бы в Ясную. Но здоровье совсем плохо; после прижигания боль временами невыносимая. Не знаю, к лучшему ли или к худшему, растравил он <доктор Чиж> мне рану, но знаю, что в Ясной я гуляла последний день 5 часов и ничего, а теперь ни сесть, ни встать, и всё кровь, просто беда. Верно от болезни у меня всякие мрачные мысли приходят на счёт тебя. Ведь около тебя никого нет, и потом в эти тёмные ночи ты сам письма один относишь, и спишь один — ужасно всё это жутко. Сохрани Бог заболеешь, или с тобой случится что. Сегодня не было письма от тебя, и это очень прискорбно.

У нас наверху играют в винт; пришёл Урусов, дядя Серёжа, два молодые Олсуфьевы; я звала Урусова и Серёжу для дяди Володи <В. А. Ислави́на>, который два раза давал знать, что приедет 26-го, и не приехал, что мне вышло неловко по отношению к приглашенным. Утром сидела с детьми, учила Андрюшу, делала Маше ordre du jour [распорядок дня]. Потом клеила и рисовала малышам часы и сделала на булавке ходячие стрелки, которые Андрюша сам ставил, и так учился узнавать, который час. Урусов у нас обедал. В Поливановской гимназии хотели побить немецкого учителя; чуть бунт не сделался, но всё обошлось. Илья и Лёля эти дни учились хорошо, Серёжа

всякий день до вечера пропадает в лаборатории. Таня тиха, но всё ленива и точно спит. В Ясной хоть ты её будил, а тут ещё хуже, соннее, хотя и нечего ей, кроме этого, упрекнуть.

С утра уже я была в глупом духе, и всё делала денежные расчёты. Прилагаю записочку того ежемесячного, неумолимого расхода, на котором экономить уж никак нельзя. А сегодня ещё принесли на 50 р. с. полотна от Третьякова детям на бельё и Серёже, и <портной> Гильоме Илье сюртук шьёт, и хотя денег не будет, но никто этого знать не хочет. Я, впрочем, совсем не волнуюсь; у меня какое-то болезненное равнодушие и тишина, тишина невозмутимая.

Вчера вечером была метель, где-то ты был, не носил ли письмо на Козловку? Если не забудешь, наверху, в зале остались растенья неполитые и, пожалуй, теперь ознобленные, в зале холодно. Определи их куда-нибудь, и вели полить, а то жаль, пропадут. — Вот уж пустое письмо! Прости, милый друг, ведь ничего не выдумаешь, когда не расположен. А не расположена я больше потому, что очень бы хотелось тебя самого видеть. Ты, впрочем, это не считай за вызов из деревни; делай всё, как тебе лучше. А конечно всегда с тобой лучше, чем без тебя; только хуже, когда тебе с нами тяжело и досадно на нашу жизнь.

Целую тебя, милый друг, только бы всё с тобой благополучно было.

Лёля с Машей так весело хохочут и бегают в столовой, играют и ловят друг друга.

Соня» *(ПСТ. С. 264 - 266).*

К письму Софья Андреевна приложила опись «Ежемесячного неизбежного расхода», завершавшуюся эмоциональным и внушительным: «Итого вынь да положь в месяц 910 <рублей>». Неум**о**лимые, пугающие расходы – которые, как следует из ответа Толстого от 28 октября (приведём его ниже), он предполагал, приехав в Москву, помочь жене ум**а**лить – то есть сократить, так или иначе повлияв на семью, её образ жизни.

Это письмо, как видим, писано, как и многие другие в переписке Сони и Льва, не как ответ на полученное послание, а под настроение — в данном случае, тоски по супругу, желания хоть через расстояние, в письме, пообщаться с ним. На следующий же день она получает сразу два письма от мужа, от 25 и 26 октября – и, конечно, не оставляет их без ответа:

«Сегодня получила сразу два письма от тебя и успокоилась. Но что ты, милый друг, так смутился моим нездоровьем? Совсем ты не виноват; оба виноваты, и так случилось, может быть, просто от какой-

нибудь механической причины во время родов. Вчера весь день было очень плохо, такая боль и что-то всё лило, точно внутри нарыв прорвался, а сегодня вдруг весь день ни капли ничего не было и боль гораздо лучше. Мне очевидно, что доктор намеренно открыл давно наболевшую понемногу рану и очистил её; теперь она будет заживать понемногу; но нужна, конечно, осторожность. Я очень тихо держусь, не выхожу и только одним утешаюсь, что: то Лёлю остановлю в его грубой выходке, то с Серёжей кротко поговорю, то Андрюшу поучу, и весь день переходя от одного к другому, стараюсь в нравственной гармонии держать весь дом. — Вполне достигаю своей цели, у всех такой счастливый вид, так все дружны и хороши пока. Пишу в эту минуту и радуюсь, — и как нарочно целая ватага ворвалась ко мне: Серёжа жалуется, что в зале малыши мешают играть на фортепиано, а Илья с малышами строят из кирпичей с огарками огромный, прозрачный колодезь в зале. Рассудить их очень трудно: и тех и других жаль. — Приехал дядя Володя и спит у меня внизу, а я пока пользуюсь свободой тебе писать. Вчера до двух часов ночи играли в винт дядя Серёжа, Урусов, Олсуфчики и Серёжа сын; сегодня опять соберутся все родные и опять будут сидеть. Спать я устроилась по утрам с заткнутыми ватой ушами; но мои мечты о раннем вставаньи и каком-нибудь деле уходят всё дальше и дальше, увы! И всё это оттого, что приходят люди, которым деваться некуда и надо убить вечер! — Я, впрочем, всё о себе пишу, и мне стало совестно; это оттого, что ты меня как будто пожалел, и я рада этому. — Бедный Федот, хорошо, что он умер, а то каково бы всю зиму лежать в этом мраке избы холодной, в одиночестве и страданиях. Если бы был *тот свет*, как выражается тётя Таня, то, может быть, Федот за наши последние, хорошие отношения с ним, мои грехи замолит немножко, по понятию народному. — Дерево и мне жаль; я бы ни оштрафовала, ни наказала, но нашумела бы, наверное, ужасно.

Сегодня совсем устроилась, сижу в гостиной, всё на месте, всё в порядке, только спать боюсь одна и потому ещё свою спальню не трогала, детей не переводила, и всё это оставила до понедельника. — Хорошо, что ты работаешь и заканчиваешь свою работу. Не даром живёшь один. А если немножко скучно, то это ничего, лишь бы ты был здоров и всё было бы благополучно. Мне тоже совсем *не весело*, да ещё нет сознания, что хорошо живу, а так себе, как-то суетно, время идёт скоро. Слава Богу, во всяком случае.

Лёля сказал: «поклонитесь от меня папа́». Урусов сказал: «поцелуйте от меня графа».

Я часто думаю о деревне, о природе, о тишине и о том, какое от всего этого настроение серьёзное, поэтическое и хорошее. А здесь

плохо. Живи один, если тебе хорошо, я сочувствую тебе, и совсем отрешилась от эгоизма; уже нет у меня, как бывало, той досады, что не помогаешь мне, что не любишь нас и т. п. Слава Богу, и это пережилось.

Пишу всякий день, и сюжетов к рассказам нет. Пришли гости, прощай, мой милый, я тебя очень люблю; если б и ты *так* меня любил, тихо, чисто и бескорыстно.

Соня» *(ПСТ. С. 267 - 268).*

Слово «бескорыстно» в контексте письма Сони значит: «не требуя ничего» — прежде всего, исполнения каких-то трудных условий по перемене в жизни её и детей. К сожалению, именно этот кроткий, искренне-любовный финал письма – в свою очередь, в контексте вышеприведённых и последующих писем Л. Н. Толстого – указывает на неразрешённость мировоззренческого конфликта супругов и неизбежность возобновления их конфликтных отношений.

27 октября, Толстой, немного оправившись от краткого приступа депрессии, сел за написание большого письма жене – ответа на «хорошее» её послание от 25 октября, где, тяжело больная ещё женскими неприятностями, Соня, не прекословя, выражает согласие всем хозяйственным проектам мужа.

Приводим ниже, с незначительными сокращениями, текст письма Толстого от 27 октября.

«Вчера целый день, как ты видела из письма, провёл в большом унынии. Желудок, погода и нравственное недовольство собой. Нынче с утра был в том же унынии. Теперь уныние прошло, но недовольство собой, отвращение к себе осталось то же. Вчерашнее письмо твоё хорошее. Рецепта я вчера забыл, нынче вспомнил, и сейчас нашёл и посылаю. Смешно сказать, но я прошёл по верху, по всем комнатам, и очень сильное и приятное чувство испытал, глядя на всё; — смешно-то то, что я сел за фортепиано и играл с величайшим удовольствием и даже умилением.

[КОММЕНТАРИЙ.

Этот эпизод особенно порадовал и умилил Соню: в нём она, как следует из её ответа от 28 октября, узнала «настоящего», как ей представлялось, «прежнего» Лёвушку. Но этот же эпизод позволил жене,

— пусть и «задним числом», в мемуарах, — иллюстративно подтверждать её вывод о хозяйственной «непрактичности» гениального мужа:

«…Все его мечты и затеи оставались в его голове, а практически предоставлялись приказчику, мне и судьбе. Его сфера была искусство, и всюду это проглядывало» *(МЖ – 1. С. 453).*]

Нынче встал рано и, напившись кофе, пошёл ходить. Не работал, потому что хотелось не нарушать своих мыслей, и спал мало.

Погода прекрасная была — тихо, тепло, серо, но с прозрачностью, и нет-нет, не проглянет, а напомнит о себе солнце розовым и сизым светом. — Так тепло было, что я в одном пальто поехал в Ясенки купить бумаги и марок. Вернувшись, обедал и всё думал в нерешительности, как поступить с <приказчиком> Митрофаном, т. е. как отказать ему, не обидев. И вдруг во время обеда он пришёл и объявил, что просит уволить его. Я очень обрадовался. Мы дружелюбно переговорили, и с завтрашнего дня я вступаю в должность. […]

Напиши мне ещё поподробнее о себе; что говорил доктор, — что о беременности и о том, что её производит. <Толстого беспокоит решение врача по поводу возможности дальнейших половых отношений с женой. – *Р. А.*>

Много нынче думал, гуляя и на езде. Надо писать, непременно надо, а нет ещё страстного желания, без которого нельзя.

Письмо я получил вчера очень милое от сестёр <Л. Д.> Урусова. Удивляюсь, что он не пишет, и скучаю по нём. Вечером Дмитрий Фёдорович писал, а я шил сапоги, — неторопливо и хорошо. Теперь будем пить чай с Марьей Афанасьевной. Спасибо Таничке за письма (some more), и за хорошие намерения. Пожалуйста, Таня, копию кончай и будь измазана красками с утра до вечера. <Т. Л. Толстая делала копию с портрета Толстого кисти Репина. – *Р. А.*>

В «Русской старине» много хорошего для меня. Или в одиночестве сильно чувствуется.

Ну до свиданья. Что же ты не пишешь, что скучаешь без меня и не зовёшь меня. Это не так, как прошлого года. Не с рефронтом [задором], а правдиво. Что мне недостаёт тебя для полноты моей, это несомненно; но можно пожить немного и неполным. А если тебе скучно, то скажи, я сейчас приеду. Целую тебя, детей.

Ты меня о хозяйстве и поняла и не совсем поняла. Я затеваю очень трудное — именно заниматься хозяйством, имея в виду не главное хозяйство, а отношение с людьми в хозяйстве. Трудно не увлечься, не пожертвовать отношениями с людьми делу; а надо так, чтобы ве-

сти дело хозяйственно, но всякий раз, как вопрос выгода или человеческие отношения — избирать последнее. Я так плох, что чувствую свою неспособность к этому; но вышло так, что это нужно и сделалось само собой, и потому попробую» *(83, 442 - 444)*.

Ниже, в ответе Софьи Андреевны от 29 октября, мы увидим, что она *вполне* поняла мужа в его мечтаниях о христиански-этичном ведении хозяйства, но… увидела те же ужасные перспективы крайней бедности и опасности *нарушения* этичных отношений как внутри нищей семьи, так и со стороны более богатых или жадных и дерзких соседей, которые Лев Николаевич уяснил себе и описал только через почти десятилетие – в записи Дневника от 25 июня 1893 г. Читателям толстовского «Круга чтения» этот отрывок известен под названием «Требования любви».

Переходим к письмам Софьи Андреевны: от 28 октября, и следующему за ним, от 29-го, служащему ответом на только что приведённое нами письмо Л. Н. Толстого.

Письмо от 28 октября:

«Здоровье нынче гораздо лучше, хотя боль всё не проходит. Вчера к ночи так разболелось, что долго спать не могла. Встала поздно, села читать Руссо. Потом пошла наверх книги убирать и разбирать. Пришёл ко мне Илья, — он весь поглощён своим русским сочинением: «Мысли в одах Ломоносова». Мы с ним вместе читали его сочинение, я дала ему несколько советов, поправила немножко, и рада была, что он ко мне обратился. Лёля и Алкид тоже что-то очень усердно учились сегодня; Серёжа приводил в порядок ноты и играл.

Всё утро, до завтрака, маленькие и большие мальчики прыгали в саду, и очень высоко прыгали через верёвку Илья и Алкид. Таня что-то подклеивала к полотну, и хочет опять делать копию с твоего портрета. Потом ездила с Серёжей к тёте Маше, но не застали её. — За обедом все пришли в беспокойное состояние, начали проситься и стремиться всюду: и в цирк, и в театр, и к Толстым. Так как я ехать не довольно здорова, то уж и не знаю, как я их устрою. Madame с утра уехала со двора.

Вчера были все родные, кроме Машеньки и Hélène. В винт играли по 100-й: Урусов, дядя Володя, Леонид, и дядя и сын — Серёжа, впятером. Я сидела с Лизой и Варей, и Верочка и Таня, и мне с ними со всеми было очень приятно. Потом разболелось, я читала долго и всё-таки заснуть не могла. Чувство такое, как будто что-то вострое

внутри воткнулось, и всё время тревожит, а когда садишься, то точно садишься на вострое. Боль в роде зубной; к ней всё прислушиваешься и терпеть совсем не трудно. — Начала сегодня принимать Kali Bromati; ты скажешь, что я люблю лечиться, а я думаю, что если есть хоть малейшая надежда быть здоровой, то я не имею права не делать всего, что возможно для этого.

В каком-то ты духе? Если соскучился, то приезжай хоть только повидаться со всеми, а потом ведь опять можно уехать. Я по тебе соскучилась и чувствую себя одинокой. Сегодня письма ещё не было и, пожалуй, опять не будет. Мне-то легко тебе посылать ежедневные письма, а тебе довольно далеко, и ты всё сам хочешь. Но зачем во всём крайности. Когда сам, а когда и послать можно; что за труд, — только прогулка людям. Кланяйся Марье Афанасьевне и Агафье Михайловне.

Вчера вечером лежу, и всё стихи в голове ходят, рифмы без конца, и тэма — девочка с умирающим Федотом. Попробую, если буду расположена, написать для детского журнала; может быть выйдет. Как я сегодня посмотрела, какие плохие стихи печатают в детских журналах! На это ты иронически улыбаешься, и прав. Иду сейчас в залу, наверх, там все девять детей и неизбежный по воскресеньям Кисленский. Как от него отделаться помягче, и ума не приложу! Погожу отсылать письмо; может быть твоё получу, а писать больше нечего. Целую тебя, милый Лёвочка, о нас не сокрушайся и не беспокойся; только свои крылья расправляй и будь счастлив.

Воскресенье.

Письма сегодня опять не было, видно на Козловке забывают отсылать, а мне очень, очень это грустно. Без писем уж совсем тошно без тебя жить. Прощай, сегодня лягу спать с тяжёлым сердцем; и последнее письмо твоё было такое тревожное!» *(ПСТ. С. 269 - 270).*

В понедельник, 29 октября, дождавшись письма, она продолжает:

«Сегодня утром первое впечатление — твоё письмо, хорошее, ласковое и ко мне любовное. На весь день меня развеселило. Если б я села на него отвечать тотчас же, то написала бы тебе, как ты называешь, *хорошее* письмо. А теперь, сегодня особенно, развлекли и засуетили. За кофе ещё пришли дядя Костя, очевидно за помощью, я дала 6 р. с.; затем сейчас же Юрьев. Он пустил фейерверк своей блестящей, горячей речи обо всём на свете, и главное о тебе; он очень тебя любит и ценит, и тем ещё был приятнее. Собирается к тебе в

Ясную. Потом Урусов пришёл просить под нашим прикрытием послать тёте Тане телеграмму; сегодня её рожденье. Потом Таня стала собираться за покупками, она хлопочет за меня; пришлось её снаряжать, затем Андрюшу учила, и вот 5 часов, сейчас обед, а я точно сегодня ещё не начинала жить: обойщики, прачка, овёс купить, белошвейка пришла... и пр. и пр. — весь этот хаос житейский, особенно сильный вначале. — Вчера были все дети и вся родня у дяди Серёжи; я было осталась, по обыкновению, дома, но письма нет, тебя нет, детей нет, малыши спят, я в 10-м часу вскочила и поехала к дяде Серёже, где играла в винт. Урусов везде как тень за нами. — Сегодня с малышами и с девочками еду в цирк, Miss Lake, Маша, малыши — одинаково прыгали и хлопали в ладоши; я не могла устоять перед соблазном произвести такой восторг.

Моё здоровье сегодня не только лучше, но почти совсем хорошо. Лёвочка, я не решилась делать доктору тех вопросов, о которых ты намекаешь. Я и так вся была бледная, как он выразился сам, и вся дрожала от стыда и боли. Он тоже ничего об этом не говорил. Если хочешь, я спрошу его в следующий раз, что будет через неделю.

Ты мне пишешь, что я не зову тебя? Ах, Лёвочка, если б я писала в те минуты, когда хочу тебя видеть, писала бы всё то, что я чувствую, — то я разразилась бы таким потоком страстных, нежных и требовательных слов, что ты не остался бы и тем доволен. Мне иногда, во всех отношениях, невыразимо тяжело без тебя; но я задалась мыслью *исполнять свой долг* по отношению к тебе, как к писателю, как к человеку, нуждающемуся в свободе прежде всего, и потому ничего от тебя не требую.

То же чувство долга у меня к детям. Но вряд ли я могу исполнять всё то, что желала бы. — Потом, я уже писала тебе, что мне больнее видеть тебя страдающим в Москве, чем не видеть совсем. — А в каком ты чудесном, по-видимому, духе! Твоё умиление за музыкой, впечатление природы, желание писать, — всё это *ты самый настоящий*, тот самый, которого ты хочешь убить, но который чудный, милый, добрый и поэтический, тот самый, которого в тебе все знающие тебя так сильно любят. И ты не убьёшь его, как ни старайся.

Таня сегодня начала копию, но дни коротки, а она поздно встаёт. Урусов, Леонид Дмитриевич, писал Тане два письма, ему лучше, и он всё зовёт вас в Крым. Но, по-моему, теперь поздно, да и денег свободных нет. О твоём намерении *как* хозяйничать, я поняла именно так, но тут это вечное *но*; ведь без средств не проживёшь, этого нельзя забывать, а то пойдут те ужасные отношения к деньгам, страдание, что их нет, требованья всё-таки со всех сторон и проч.

неприятности, которые прямо жизни мешают. Вот такие речи ты терпеть не можешь, и я тоже» *(ПСТ. С. 270 - 271)*.

Наконец, по логике общения адресатов и по хронологии, пришло время для письма Льва Николаевича от 28 октября. Оно является ответом на письмо Софьи Андреевны от 26-го – конечно, не понравившееся мужу выражениями тоски, жалобами на здоровье и денежными расчётами. Письмо примечательно содержащейся в нём самооценкой Толстым совершившихся в нём перемен – в соответствии с модной концепцией о «семилетних циклах»:

«Вчерашнее письмо твоё очень меня огорчило, — очень. Если бы не затеянная перемена управления, я бы сейчас приехал, что я и сделаю теперь очень скоро. Мне очень грустно все эти дни. Не знаю, — участвует ли тут физическое и какой-то переворот, совершающийся во мне, или моё одиночество, но твоё состояние — представляется мне главным. Что скажет завтрашнее письмо?

Нынче я вспомнил, что мне 56 лет, и я слыхал и замечал, что семилетний период — перемена в человеке. Главный переворот во мне был: 7 × 7= 49, именно, когда я стал на тот путь, на котором теперь стою. Семь лет эти были страшно полны внутренней жизнью, уяснением, задором и ломкой. Теперь, мне кажется, это прошло, это вошло в плоть и кровь, и я ищу деятельности на этом пути. И или я умру, или буду очень несчастлив, или найду деятельность, которая поглотит меня всего на моём пути. Разумеется, писательская, — самая мне родственная и тянущая к себе. — Ах, только бы ты не была несчастлива, — какою ты мне представляешься в последнем письме.

Я нынче обошёл всё хозяйство, — всё узнал и завтра возьму ключи. Дела особенного нет, но нет человека, которому бы поручить, когда уедешь. Особенно дом и всё принадлежащее к нашей жизни. Если я теперь уеду, то поручу Филипу на время. Он всё-таки не запьёт, не потеряет денег, не даст растащить.

Птицу надо уничтожить. Она кормом стоит рублей 80. И, разумеется, предлог досады. Впрочем, не хочется писать, — едва ли получу твой ответ. Очень уж я тоскую. Всё решит нынешнее — завтрашнее письмо. Ты не думай, что я своим состоянием душевным недоволен. Я собой недоволен и об тебе беспокоюсь. А то мне это моё состояние на пользу.

Нынче ходил по хозяйству, потом поехал верхом, собаки увязались со мной. Агафья Михайловна сказала, что без своры бросятся на скотину, и послала со мной Ваську. Я хотел попробовать своё чувство охоты. Ездить, искать, по 40-летней привычке, очень приятно. Но

вскочил заяц, и я желал ему успеха. А главное совестно. — Приехал домой, пообедал и сидел с старухами и Дмитрием Фёдоровичем.

Твой счёт меня не пугает. Во-первых, деньги по всему вероятию будут; а во-вторых, если не будут, то кажущиеся неумалимыми расходы окажутся очень умалимыми.

Не могу я, душенька, не сердись, приписывать этим денежным расчётам какую бы то ни было важность. Всё это не событие, — как, например: болезнь, брак, рождение, смерть, знание приобретённое, дурной или хороший поступок, дурные или хорошие привычки людей нам дорогих и близких, а это наше устройство, которое мы устроили так и можем переустроить иначе и на 100 разных манер. — Знаю я, что это тебе часто, а детям всегда, невыносимо скучно (кажется, что всё известно), а я не могу не повторять, что счастье и несчастье всех нас не может зависеть ни на волос от того, проживём ли мы всё, или наживём, а только от того, что́ мы сами будем. Ну, оставь Костиньке <Ислáвину, бедному родственнику> миллион, разве он будет счастливее? — Чтобы это не казалось пошлостью, надо пошире, подальше смотреть на жизнь. — Какова наша с тобой жизнь с нашими радостями и горестями, такова будет жизнь настоящая и наших 9 детей. И потому важно помочь им приобрести то, что давало нам счастье, и помочь избавиться от того, что нам приносило несчастье; а ни языки, ни дипломы, ни свет, ни ещё меньше деньги не принимали никакого участия в нашем счастьи, и несчастьи. И потому вопрос о том, сколько мы проживём, не может занимать меня. Если приписывать ему важность, он заслонит то, что точно важно» *(83, 445 – 446)*.

«…Или я умру, или буду очень несчастлив, или найду деятельность, которая поглотит меня всего на моём пути» — эти слова в вышеприведённом письме, действительно, искреннейшие слова Толстого искателя и познавателя себя, каким он был в молодости и остался до конца известного нам бытия. Вкупе с искреннейшее выраженным (но неприемлемым для жены!) пренебрежением к денежным вопросам — это голос именно *того* Толстого, который, как выразилась выше в своём письме Соня, «убивал» того, которого *ей* импонировало считать «настоящим»: эстета, аристократа, поклонника беспримесно-“чистого”, сугубо художественного, безопасного и доходного для семьи творчества. Это христианское сознание не мешало его земной любви к жене — но исключало единомыслие с ней.

Насколько малоинтересно, чуждо и – пока, в эти дни, затаённо – враждебно было Софье Андреевне всё то, чем искренне дышал и жил

в своей усадьбе Лев Николаевич, и насколько, в свою очередь, *неблизок* был ему образ жизни его семейства в Москве — видно не менее разительно из следующего письма его, от 29 октября, из Сонино на него ответа 30-го, и заключительных писем данного фрагмента представленной здесь переписки.

Толстой, в начале письма пообещав быть о близком *ему* краток – не удержался, написал вполне «весомое», даже пространное, подробное повествование.

Письмо от 29 октября 1884 г.:

«Боюсь, письмо нынче будет короткое. Поздно засиделся с Филипом, давая ему наставления. Встал рано, пошёл по хозяйству. Потом занялся своим «Богословием» — порядочно, потом поколол дров, и тут пришла ко мне Арина <Фролкова, крестьянка Ясной Поляны> жаловаться на свою судьбу. И подвывала она, и голосила почти, и мало она жалка; но я надеюсь соединить её с её мужем. Она ждёт только того, чтобы он выразил согласие. Я хотел нынче заняться этим дипломатическим делом, но не успел. Да утром были ещё две бабы. Одна с просьбой похлопотать о муже в остроге. Я написал Бибикову, и, может быть, с пользой, другая старуха судится с деверем за квитанцию. Эту я уговорил бросить суд.

Я вспомнил это потому, что здесь день кажется такой не блестящий, а вспомнить, — нет-нет, и оказался полезным добрым людям. Потом паехал верхом в Лимоновской лес посмотреть лес и руду, которую там нашли. Ещё Митрофан нанял таскать. Вот как раз тот хозяйственный вопрос, которого решенье трудно. Там живут две недели два мужика, одному 60-лет, ночуют и едят у Александры. Дни проводят на работе. Работа такая: один копает в земле до 6 сажен глубины, кладёт землю в кадушку и другой воротом вытаскивает пудов 5 в кадушке. Кадушка над головой того, который внизу, — упустит верхний, и нижнему смерть или калечество. Кроме того, песок, которого на пути дудки несколько аршин, может тоже обрушиться, и тоже смерть. До обеда один, а после обеда другой внизу. Уговор работы такой. Копают на своё счастье и знание. Сколько бы ни прошли дудок, ничего не получают, пока не найдут руды. А если найдут, то копают 3 дудки и за каждую получают по 15 рублей. Они прокопали две напрасно; в одной нашли, другую кончают, в которой тоже будет; а 3-я спорная. В ней есть руда, но по пути к ней 6 аршин песку. И потому опасно копать без сруба. И так обвалилось с шапку песку на нижнего копщика. Копач говорит, что эта дудка должна идти в счёт, а Митрофан говорит, что нет.

Посмотришь их работу, и ясно, что надо дать ему всё, что он просит; а посмотришь со стороны только расходов и уговора, то ясно, что 15 рублей нельзя бросать. Это очень резкий случай хозяйственных дилемм; я потому его описал.

Приехал поздно. Прекрасно пообедал, почитал и пошёл с Дмитрием Фёдоровичем в баню; потом беседовал с Марьей Афанасьевной и Филипом. Много интересного.

Я нынче весел, потому что от тебя хорошее, очень хорошее письмо. Я думаю приехать после 1-го. Так всё складывается и моя работа, и хозяйственный дела.

Как верно ты говоришь, что есть люди, которым деться некуда, и от этого ты должна губить свою жизнь. Нынче, завтра, и так всю жизнь. Это ужасно.

Будем бороться. Как это странно, что всё важное, имеющее самое большое влияние на жизнь, всё чуть заметное, тихое, — и доброе, и дурное.

Early to bed and early to rise,
To be healthy, wealthy and wise.

[Рано ложась спать и рано вставая,
Делаешься здоровым, богатым и мудрым.]

Это почти правда. Прощай, душенька. Я тебя люблю точно так, как ты желаешь. Целуй детей. Хочется порадоваться на них по-твоему письму, но боюсь, тут-то что-нибудь и случилось. Но я всё-таки радуюсь» *(83, 447 - 449).*

Софья Андреевна, заметив намёк мужа в письме («Вот как раз тот хозяйственный вопрос, которого решенье трудно»), в целом будто “отстраняется” психологически ото всех этих подробностей, и «хозяйственному» письму Льва Николаевича противопоставляет своё, семейно-бытовое, выражающее тоску и громадное *нетерпение* увидеть мужа в *её* доме, в *её* с детьми жизни, в Москве, и завершающееся так же “уколом” его совести:

«Сейчас получила твоё хозяйственное (о копачах и пр.) письмо. Значит ещё три дня тебя ждать. Зачем же ты показал такое нетерпение меня видеть? Сегодня весь день я лихорадочно ждала тебя, с таким счастьем и радостью, точно к празднику готовятся. — Пока ты спокойно жил, пока я думала, что для тебя это счастье и нужно, до тех пор и сама я приходила в аккуратность и жила спокойно. —

Ну, да так надо; только жалко, — это охладит мою радость и собьёт мою жизнь — эти три дня ожиданья.

Здоровье моё лучше; вчера ездила с малышами в Цирк, и страшная тоска была, в первый и последний раз. Малыши, и те не особенно веселились, но мне нужно было им всем, как ты говоришь, эту оспу привить, чтоб не просились.

Сегодня с утра я решила, что твёрдо буду держаться одиночества и порядка, и вдруг что же? Встаю, Лёля не пошёл в гимназию, говорит, что охрип, и действительно охрип, но мог бы без вреда идти. Таня совсем опустилась: встает в 12-ть, полулёжа читает, идёт к Верочке и Hélène <т. е. в гости к родне: Вере Толстой и Елене Денисенко. – *Р. А.*>, и весь день нынче так прошёл. Во время обеда дядя Серёжа пришёл, он уезжает. С добротой стал упрашивать пустить девочек в «Аскольдову могилу» <т. е. в театр, на популярную в ту эпоху оперу Верстовского «Аскольдова могила». – *Р. А.*>. Ах, как не хотелось, как я отговаривала, — но пустила! что делать? Поехали Илья, Таня и Маша, и конечно опять в восторге все. Я осталась, сижу с малышами, они рисуют, а я письмо пишу. Потом буду окончательно просматривать сочинение Ильи, и читать. Ходила нынче в <книжно-канцелярский магазин> «Учебные Пособия» <на Воздвиженке>, кое-что тебе приготовила; вымыла чернильницу, перья, карандаши, бумагу — всё на столе разложила. Ты ничего не привози кроме своих *подсвечников, ножниц, прорезного ножа*. Ещё не забудь *ключа моего и ключа от кладовой*.

Обратил ли ты внимание на то, что я писала получить с <уволенного управляющего> Митрофана: книги, по которым всё брали у Ливенцова, Иванова и Попова, и 100 р. с., которые я ему оставила и ключ от кладовой.

[…] Я сегодня от бесплодной борьбы с большинством во имя аккуратности и порядочной хотя жизни — совсем пришла в уныние. Ничего одна не сделаешь. Кроме того мелкие дрязги и заботы столько времени поглощают. Я, как Таня, чувствую, что опускаюсь и нет сил подняться. Прощай, милый Лёвочка, уныние тоже от того, что я поверила в то, что ты жить без меня не можешь, и сейчас же пришлось разочароваться. Лучше бы не верить, как и было сначала; так покойнее.

Соня» *(ПСТ. С. 272 - 273)*.

Конечно же, Соничка лукавит. Не только «сначала», но и большую часть совместной с Львом Николаевичем супружеской многолетней жизни она всё-таки верила устным и письменным его – правдивым!

– уверениям, что он именно *не может* жить без неё. И этим его словам в письме поверила: «Я тебя люблю точно так, как ты желаешь». И намёку на его потребность узнать побольше о жизни детей без него – как видим, охотно вняла…

Но здесь уместно вспомнить (не в последний раз в нашей работе!) известное “откровение” ещё юной Sophie в её дневнике 1862 года. Запись от 23 ноября:

«Он мне гадок с своим народом. Я чувствую, что или я, т. е. я, пока представительница семьи, или народ с горячей любовью к нему Л<ёвочки>. Это эгоизм. Пускай» *(ДСАТ – 1. С. 43)*.

Эта, заявленная ей ещё в юности оппозиция «народолюбству» мужа и его не “дачному”, как у городских зажиточных, прежде всего, интеллигентских сволочей, а активно-хозяйственному воззрению на сельскую жизнь выразилась и в этом её письме. Разделив с мужем вполне уживающуюся с традиционным мышлением патерналистскую заботу об апеллировавших к “барской” помощи простецах, она и 22 года спустя не разделяла его симпатий к самому трудовому образу жизни крестьян и бедных рабочих – и уж точно, именно как *представительница* своих *семьи* и социальной страты, не желала его ни для себя (помимо прежнего домашнего обременения), ни для своих детей.

30 октября Толстой отвечает на письмо от 28-го, где были выражены Софьей Андреевной пожелания увидеть поскорее мужа и вылечиться – в том числе для собственного творческого проекта – «написать для детского журнала». Скепсис мужа более чем осторожен, но всё-таки выражен в его ответном письме (обратите внимание на сентенцию по поводу кали-бромати!)

Толстой, 30 октября:

«Нынче провёл очень дурной день и грустный. Не мог заснуть вчера до 2, а проснулся в 7. И потому был слаб и уныл. Прошёлся по хозяйству, напился кофе. Пришёл старик Степан Кривой <из крестьян Пелагеюшкиных, Ясная Поляна. – *Р. А.*>; я побеседовал с ним. Нужда, нужда мужицкая, нужда в первых потребностях — хлеба, молока, дров и сверх того подати. […] Он нарубил дров в Засеке, а теперь надо платить. Если не заплатит, его работа пропадёт. Если есть зажитые деньги, то напиши мне, я ему дам… Потом пришёл купчик Серьговской <т.е. из Сергиевского, ближнего к Ясной Поляне торгового села. – *Р. А.*> покупать сено. Не купил. Потом я пошёл на деревню к Хралкову <народный вариант произношения фамилии Фролковы; Толстой навещал крестьянина Павла Игнатьевича Фрол-

кова. – *Р. А.*>. Совестно было идти. Я пошёл было мимо, — мимо Игната <Макарычева, соседа Фролковых. – *Р. А.*>. Смотрю, Игнат чистит стол на дворе. Что это делаешь? Да вот выгнал старик нас, переходим в другую избу, — а сам плачет. Оказалось, что его баба подралась с свекровью за кусок ветчины.

(Когда вникнешь ближе в житьё мужиков и бедняков — главная причина раздора — куски, горшки, т. е. еда послаще. Да и у большинства людей, если разобрать — корень — еда послаще. Это ужасно!)

Мирил я их, но не знаю, помирятся ли.

После этой сцены пошёл к Хралковым. Аринин муж славный, умный и весёлый и добрый мужик. Ему за 50 и, как всегда, ни одного седого волоса. Опять вопрос для него — куски сладкие. Она пила чай, а он не пил, платил [?] за рубахи. Посольство моё было глупое. Оттуда пошёл домой, сел заниматься. Немного поправил и стал обедать раньше, чтоб раньше лечь. Задремал, потом пришёл Павел <Арбузов> сапожник. Я стал шить сапоги и вот отдам письмо и лягу.

Очень мне хочется к вам — хоть и в Москву, но к вам. Я должно быть приеду в пятницу…

Нынче сватьба у <крестьянина> Болхина. Это Таню должно интересовать. Нынче рассказывали мне, что у нас по деревне мальчишки слагают песни сатирические на всех плохих людей и поют им. Я слышал раз, как они пели такую песню Хралкову, известному своей злостью. Другая есть на Ганьку воровку очень длинная. Ещё есть песни о быке, которого они делят от головы до хвоста на все дворы, соразмеряя части быка с степенью уважительности двора. Дм. Фёд. <Виноградов, учитель и переписчик> обещал записать.

Письмо твоё хорошее, только одно меня очень огорчило — это кали бромати, и твоё рассужденье по этому случаю, что нужно всё сделать, чтоб быть здоровой и потому…. по моему нельзя себе позволить принимать бром, а по твоему до́лжно его принимать. — Но я понимаю твой взгляд, но мне жалко, что ты такая сильная, чудесная физическая натура (и морально прекрасная) загубляешь свои силы.

Думаю о тебе беспрестанно и с самой хорошей любовью.

Что милая Таня не напишет мне ещё и про себя, и про тебя, и про мальчиков.

Целую очень их всех.

До свиданья, душенька» *(83, 450 - 451).*

Никакого отклика на личные писательские, творческие планы чудесной физически и прекрасной морально жены… только обычный

скепсис в отношении лечения – в данном случае, по вредности препарата, вполне обоснованный. И всё та же картина: жена пишет о *своём* дорогом, муж – о *своём*, жене совершенно не близком… Уверения в любви и обозначение даты возвращения – пожалуй, лучшие в Сониных глазах места приведённого нами письма Толстого.

Примечательно, что в своём ответе от 31 октября Софья Андреевна связывает скептическую реакцию Толстого (выраженную о кали-бромати – на словах, о писаниях для детей – умолчанием) с своим худшим – истерическим – состоянием и *впервые*, кажется, во всех письменных источниках, и в данной переписке, признаётся в неконтролируемом, болезненном состоянии этих её припадков – что подтвердил диагноз психиатра только через четверть века, в 1910 году.

Толстой *устал* от ежедневных картин «власти тьмы» в народе, лишённом церковниками истинной Христовой веры. Страх голода и обратная сторона его – забота о жранье, которая будет проклята Львом Николаевичем через десятилетие в статье о посте и вегетарианстве «Первая ступень» — не более чем один из оплотов этой звериной «власти». Он устал от этого и от текущих *тяжелейших* творческих трудов над «Исследованием догматического богословия». Жена же, не ведающая *этой* тяжести творца (с чем в немалой степени и связано скептическое молчание мужа в ответ на изложенные ею писательские планы) и воспринимающая народную бедность как неодолимое, естественное даже обстоятельство жизни – видит в этом усталом настроении письма, в признании Льва Николаевича об одном его «унылом» дне – как в зеркале – собственное своё болезненное, стойкое уныние, и отвечает мужу 31 октября следующим образом:

«Всё больше и больше уныния в твоих письмах, милый Лёвочка. И всё ты там живёшь. Приезжал бы поскорей, как мы все тебя ждём и любим. Но твоя жизнь лучше нашей, несмотря на уныние. Ты сам живёшь бедно и помогаешь и советами, и делом, и участием. А мы-то как? Сегодня, было, <горничная> Варя заболела. Я думаю, — ну вот буду ходить за ней, в больницу не пошлю, выхожу её, хоть на то буду полезна. А она, слава Богу, к вечеру встала, ей лучше. Но случая быть полезной всё нет. Вместо пользы, купила лошадок Мише и Алёше (его рождение нынче); потом переносилась из моей комнаты наверх и в бывшую угловую детскую, а Сашу с Алёшей в мою спальню. Ужасная была возня, и я так повредила себе этой работой.

[…] Ведь это моё последнее к тебе письмо; ты обещаешь приехать послезавтра, а не пишешь, выслать ли лошадей. Я не поеду к тебе навстречу, мне это сделает вред, и я никуда не буду годиться. […]

До сих пор не утешилась, что в Москву приехала. Просто хотелось бы траву потоптать и в лес пойти, и на деревню, и видеть бедных мужиков, а не богатых москвичей. И сейчас же в городе попадаешь в эту колею, что в такой-то шляпе или таком-то пальто быть стыдно, и стремишься всё покупать и устроивать что-то. Какая тоска, и никто в этом помочь не может!

Что ты так огорчился о Кали-Бромати? Я, пожалуй, не стану принимать; мне безразлично, но я боюсь, больше болезни, моего истерического состояния, это самое моё постыдное воспоминание, хотя я и не виновата в нём.

Таня в большом унынии; она, кажется, теперь поверила, что я не буду в свет ездить, и потому огорчена. Встаёт ужасно поздно, всё молчит, вздыхает и говорит: «ах как гадко на свете жить!» И ей я помочь не могу.

Серёжа, Илья, Маша и все малыши очень свежи и духом и телом, и тверды в своих занятиях. Лёля или шалопайничает с малышами или валяется, очень грубый у него тон и неприятен. Этих двух чёрных <«черноглазых». – *Прим. С. А. Толстой*> тебе на исправление предоставляю. Третья чёрная, старая, т. е. — я, в очень удобном для исправления состоянии; я готова подчиниться всякому исправлению, и опять повторяю, что уж говорила — лишь бы вы все были счастливы кругом, а когда этого нет, вот тут беда, совсем спутаешься. — Моё письмо глупое сегодня, я чувствую; но у меня такая пустота в голове, никак не соображу ничего.

Серёжа сын был у Вас. Перфильева, просил позволение видеть самарского Егора Егорыча (кажется). Ему дали, только шутя прибавили: «смотрите, я мамаше скажу, что вы с политическими видаетесь». Серёжа говорит: «она знает, и папа бы сам пошел, если б был тут». Я советовала взять папирос, ещё чего-нибудь, а то он пожалуй, бедствует. Жаль, хоть и не знаю его совсем.

Прощай, голубчик, это моё последнее письмо, теперь буду ждать тебя с счастьем, но с волнением, что тебе в Москве будет дурно.

Нет, я непременно поеду тебя встречать, в пятницу, *на курьерский*. Если не будешь, телеграфиируй, чтоб не даром поехать» *(ПСТ. С. 274 - 275)*.

«…Я боюсь, больше болезни, моего истерического состояния, это самое моё постыдное воспоминание, хотя я и не виновата в нём» — это признание, в свете дальнейших событий, пожалуй, важнейшее

из сказанного Софьей Андреевной в вышеприведённом письме. К сожалению, вполне “в русле” своей истеричности, жена Толстого не сумела “зафиксировать” собственное психическое состояние на этой “золотой середине”. В письме её от 13 декабря 1884 года (см. ниже) появится уже не покаяние, а какое-то самобичевание, утрированное, не вызывающее доверия самоуничижение «легкомысленной, полусумасшедшей» старухи, «ничтожного, глупого и слабоумного созданья» (как назовёт она сама себя в этом письме). А следом за этим, в январе 1885 года, при работе с рукописями нового талантливого сочинения мужа, у неё, мечтающей о собственном, конгениальном мужниному, творчестве, предсказуемо случится нервный срыв и откроется новый цикл агрессии в отношении Льва Николаевича… о котором подробнее скажем в своём месте.

Это последнее из опубликованных писем Софьи Андреевны от осени 1884 года. Толстой успел получить его перед отъездом, но письменно уже не отвечал. Его последнее в данном, 21-м, эпизоде представляемой и комментируемой нами Переписки супругов – ответ на понравившееся Толстому своим тоном и настроением письмо Сони от 29-го, написанный 31 октября:

«Кажется, что это то последнее письмо, о котором ты пишешь. Нынче получил твоё хорошее письмо. Спал дурно, — мыши мешают. Хоть *он* и *седой* мышь, а пренеприятно, когда цыпляет когтями по одеялу.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Толстой выделил эти слова в письме как характерные выражения старенькой и нежно любимой им Агафьи Михайловны. – *Р. А.* **]**

Порубил дров, поработал порядочно и пошёл ходить по шоссе, к церкви, там сватьба на 3-х парах с колоколами. Сергей Болхин в поддёвке и платке, с глупым лицом; молодцоватая и весёлая Полька в ковровом платке; поезжане выпившие, и немой улыбающийся, правит парой и сидит бочком. Оттуда пошёл к Бибикову узнать про Серёжу брата, которого мне очень хочется видеть. Посидел у него и пришёл домой; съел прекрасный обед Марьи Афанасьевны, написал несколько писем, распорядился с Филипом, который едет завтра в Тулу, и вот пишу тебе рано, потому что либо Серёжа приедет ко мне, либо я поеду к нему к Бибикову.

Завтра буду укладываться.

Странно я провёл это время — не весело, не дурно и не бесполезно. Впрочем, ты лучше знаешь и узнаешь. — Может быть, ещё припишу,

а теперь надо выдумывать. Как хорошо, что тебе лучше, и как дурно, что ты ездишь.

Целую тебя и всех детей» *(83, 452).*

3 ноября 1884 года Толстой возвращается из яснополянского дома к семье, в мерзостную Москву… Вся его октябрьская поездка – «не весёлая, не дурная и не бесполезная», по собственным его словам, носила, как можно видеть, отнюдь не пассивный (отдыха, лечения…), а очень активный характер. С огромным надрывом сил он продвигал писанием своё «Исследование догматического богословия», а кроме того – и наблюдал народную жизнь, и посильно участвовал в ней… уставая от окружающих его бытового убожества жизни и вековечного типично-русского, то есть придурочьего, невежественного и омрачённого настроения массы крестьян. Дочь писателя Татьяна в своём письме от 8 ноября тёзке своей и тётке своей (сестре матери) Татьяне Кузминской отмечала, что папа вернулся в Москву «очень добрый и семейный, но ужасно нервный и нездоровый», в чём мама, Софья Андреевна, к несчастью, почуяла для себя «много соблазнов» *(Цит. по: Гусев Н.Н. Материалы… 1881 – 1885. С. 355).* Например, она успела повздорить с мужем из-за того, что он не сидел постоянно с семейными, а вынужден был принять в первые дни многих, дожидавшихся его возвращения, посетителей – среди которых, в частности, был сын полюбившегося Толстому мужика Сютаева, явившийся в грязной одежде, со вшами и подобострастными хвалами «учителю» Толстому — бессомненный «тёмный», которых Софья Андреевна уже начала ненавидеть просто *болезненно.* Неприятно поразил Соню и ближайший друг Толстого В. Г. Чертков, явившийся из Петербурга в каком-то «суетливом, неустойчивом» настроении и желавший забрать с собой Толстого для решения в Петербурге каких-то его (Черткова) проблем *(МЖ – 1. С. 457).* Усугубляли возвращающееся к Софье Андреевне состояние раздражения и прежние занятия Толстого — шитьё сапогов и самообслуживание. «Папа ходит за водой к колодцу и топит сам печи, а мама думает, что он от этого нездоров» *(Там же. С. 454)* — так засвидетельствовала в ноябре 1884 г. дочь Таня сохраняющиеся между родителями и чреватые новыми конфликтами непонимание и неприятие значимых жизненных установок.

КОНЕЦ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Двадцать Второй

ДОБРАЯ ЛОШАДЬ, ДОБРЫЙ МИША, ДОБРЫЙ ВОЗДУХ И ДОБРЫЙ БОГ

(7 – 14 декабря 1884 г.)

По уговору с женой, в самое «нелётное» для дачников и гостей время, в декабре (точнее же 7-го, в пятницу), Толстой снова выезжает из Москвы в милую Ясную Поляну – за творческим уединением и просто отдыхом: «деревенской ванной», как он это называл, сравнивая с лечебными ваннами на хороших швейцарских курортах.

Как вздох любящей грусти – полетело за ним вослед письмо жены, писанное едва ли не в первый час после расставания:

«Так ты и уехал, милый Лёвочка! Вернулась, спросила, говорят: «уехал», и лице будто у тебя грустное и строгое. […]

После тебя приехал князь Мирский и Дмоховская, и никого не приняли. Только что я почувствовала, что я опять одна, без тебя, так сразу взошла в то сосредоточенно серьёзное расположение духа, в котором бываю, потому что всю ответственность чувствую на себе одной.

Напиши скорей, как что найдёшь в Ясной, топлено ли, как устроился, и хорошо ли тебе?

Сейчас приходил дядя Серёжа <Сергей, брат Льва Николаевича. – *Р. А.*> в добром и хорошем духе. Без тебя я его больше люблю, что-то твоё в нём, и доброта.

Он жалел, что тебя не застал. В слабом, растерянном духе, всё соображает, как бы вечер убить. А у меня, благодаря Бога, работы пропасть, и хочу почитать вечером с детьми. Серёжа идёт к Морозову в карты играть. Таня всё в слабом духе, сосредоточенная на своём костюме. Пишу ужасно, от езды устала, а нервы расстроены. Мне уйти некуда и нельзя, только бромистый калий для поддержки. — Это вышло как упрёк, что ты уехал… но это по старой привычке; а если ты уехал, стало быть так надо, и я рада, если тебе хорошо. Целую тебя. Завтра вечером напишу ещё.

С<оня>» *(ПСТ. С. 276).*

Сергей Николаевич сожалел, что не застал брата, а сам Лев Николаевич пожалел, прочтя это письмо, что не свиделся с князем Мирским – *очень* давним знакомым и «весточкой из молодости». Они встречались на Кавказе (где князь служил адъютантом главнокомандующего) и в Крыму – в далёком 1855 году… В 1882 году князь был уволен с военной службы на пенсию, осел в деревне, обрёл досуг, и,

добыв по знакомству новейшие, особо популярные из-за цензурных запретов сочинения старого сослуживца – пришёл в восторг и в нескольких письмах марта-апреля 1884 г. выразил сочувствие религиозным убеждениям Толстого и желание повидаться с ним. Собственные свои мысли князь наивнейше выразил в стихах, которые Толстой в дружеском ответе честно сравнил с упражнениями 13-тилетнего мальчика.

И ещё одно очень хорошее есть в письме Софьи Андреевны от 7 декабря, вот это:

«Только что я почувствовала, что я опять одна, без тебя, так сразу взошла в то сосредоточенно серьёзное расположение духа, в котором бываю, потому что всю ответственность чувствую на себе одной».

Хороший, и от самой Сонички, ответ тем былым и современным критикам, которые убеждены и убеждают других, что-де Толстой 1880-х совершенно «бросил» семью и хозяйство, так что жена не могла рассчитывать на него, как в прежние годы, а только на себя. Как видим – *очень даже* рассчитывала – и на себя, и на мужа, когда тот был рядом… А он, в свою очередь, *предпочитал* быть с семьёй. Соня же… назвала в следующем своём письме отъезд Льва Николаевича «переломом разлуки», что характеризует психологическую тяжесть для неё даже краткого расставания с любимым.

Едва дождавшись приезда на Козлову За́секу, ближайшую к родной усадьбе железнодорожную станцию, Толстой отправляет жене вот такое небольшое и милое письмецо – тоже от 7 декабря, то есть традиционно-встречное по отношению к вышеприведённому письму Софьи Андреевны:

«Сейчас приехал благополучно на Козловку. Михаило <Егоров, кучер> меня встретил и сказал, что в конторе топлено с тех пор, как приехал <дворник> Влас.

О постели не знаю, но скорее лягу на деревянном диване, чем на холодной постели, так что ты не беспокойся. Шубы я не взял, потому что обуза, а тут есть кафтан. И если придётся застать холода, то возьму тулуп. Ехал скучно, да и сам невесел, — невесел без всяких причин, — физически ослаn и в меланхолии лёгкой, а то быть унылым не от чего, когда думаю о всех, то радуюсь. Теперь только буду беспокоиться и пока, вероятно, не долго пробуду. Но ванна деревенской жизни мне стала необходима. — Ну вот, целую тебя и всех детей и особенно Таню. Пишите, коли кому не скучно» *(83, 453 – 454).*

Письмо с радостью было прочитано всеми домашними, а Танюша-дочь в письме к тёте Тане, маминой сестре, тогда же сообщала:

«Папа теперь там <в Ясной Поляне> недели на полторы, — он говорит, что от времени до времени ему необходима эта “ванна деревенской жизни”. Хоть мы теперь живём так тихо, что ни в чём огорчать его не можем. Да он и не жалуется, он очень ласков и мил нынешнюю зиму» *(Цит. по: Гусев Н. Н. Материалы… 1881 – 1885. С. 362).*

Вечером следующего дня Софья Андреевна уже прочитывает послание Льва Николаевича со станции и набрасывает следующий ответ:

«Пишу тебе от дяди Серёжи, где засиделась и я, и дети. Получила твоё письмецо с Козловки и очень тронута была, что так скоро написал и уведомил меня о приезде. Конечно, *деревенская ванна* тебе нужна, и теперь, как этот перелом разлуки сделался, я спокойнее смотрю на эту необходимость, и мне не досадно, не тоскливо, и только одно желание, чтоб всё было благополучно.

Вчера до 5-го часу совсем не спала; без тебя подъём нервов ещё сильнее; просто точно с ума сходишь, так эта бессонница тяжела. — Сегодня ездила к Самариным; она меня просто раз десять обняла, целовала и так нежно встретила, что я и не знаю, чему это приписать. Потом заехала к Беклемишевым, напротив живут. Я не вышла из саней, а Таня пошла к барышням узнать об уроках живописи и коньках. Вот и тут, старуха Кошелева выслала человека, непременно меня просила войти. Переговорили об уроках, по пятницам пишут с натуры масляными красками, и Таня будет с ними писать. Потом на коньках будут кататься вместе. Кампания их милая: Соня Самарина, Ховрина, Давыдова и Беклемишевы. Таня очень довольна.

Впечатление у Кошелевой безотрадное. Огромные, пустые комнаты устроиваются для приёмов с страшной роскошью. Освещённый портрет (отличный) старика Кошелева висит, а жена его вся поглощена, и с восторгом, в устройство великолепия для приёмов, балов и выездов внучек.

Вечером приехал к нам Петя брат. Он переехал совсем в Москву. Он с Таней, Ильёй и Лёлей и Серёжей отправились сюда, а я к Машеньке, где и сидела с работой весь вечер. Она жалка очень, но Hélène опять отправила жить к Вариньке, и одна.

Теперь все ужинают, и Урусов, и дядя Костя, а я пишу в Верочкиной комнате.

Письмо вышло спешное и бестолковое; прости, голубчик, но я очень спешу. Какая-то твоя жизнь? Когда вспомню эту серьёзную, молчаливую, зимнюю деревенскую картину, то и мне туда хочется и всё кажется: когда-нибудь уйду туда, — и там всё спасенье. Целую тебя.

Соня» *(ПСТ. С. 277 - 278).*

На очереди встречное, тоже от 8 декабря, письмо Льва Николаевича – одна из жемчужин в его переписке с женой. Толстой рассказывает подробно и очень поэтично обо всех событиях, начиная с отъезда домой со станции:

«Провёл прекрасный день. Теперь 6 часов вечера. Вчера, когда вышел <из станции> и сел в сани и поехал по глубокому, рыхлому в поларшина (выпал в ночь) снегу, в этой тишине, мягкости и с прелестным зимним звёздным небом над головой, с симпатичным <кучером> Мишей, испытал чувство, похожее на восторг, особенно после вагона с курящей помещицей в браслетах, жидко́м доктором, пе<ро>рирующим [разглагольствующим] о том, что нужно казнить, с какой то пьяной ужасной бабой в разорванном атласном салопе, бесчувственно лежавшей на лавке и опустившейся тут же, и с господином с бутылкой в чемодане, и с студентом в pince-nez, и с кондуктором, толкавшим меня в спину, потому что я в полушубке. После всего этого Орион, Сириус над За́секой, пухлый, беззвучный снег, добрая лошадь, и добрый Миша, и добрый воздух, и добрый Бог.

В конторе топлено, но мне показалось угарно (воображение). Я сначала хотел ещё протопить, потом, раздумал. Поговорил и попил чай с Филипом (у него всё очень хорошо и он старается). Потом пришла Агафья Михайловна, Миша в 2-м часу лёг на печку, как он был, снял сапоги, положил шубу под голова и тотчас же заснул; а я, боясь угару, просидел до 3-х. Читал Будду, и чтение было серьёзное. Потом спал одним глазом, прислушиваясь к угару, которого не было. Часу в 5-м, было совсем темно, я свистнул, чтобы перебить полухрап Михаилы. Он почмокал губами, поглядел в окно, ему показалось, что светает, и тотчас слез, надел сапоги, шубу и пошёл убирать лошадей и ехать в Тулу. Он всё это переделал и вернулся в 2 часа из Тулы с покупками весёлый бодрый <и> здоровый. Мне приятно и полезно это видеть.

Я проспал до 10. Пришла Марья Афанасьевна. Как мне ни мало надо — это малое ужасно много. Пошли в тот дом, забрали вещи разные; потом хватился я яиц. Хотели посылать, я пошёл сам на деревню.

Я шёл и думал: мы говорим, что нам мало надо, но нам, мне так много надо, что если только не брать всего этого, не замечая и воображая, что это так само собою, то станет совестно. Я шёл покупать для себя яйца и мне было совестно. Я прошёл к Фокановым, у них нет. Прошёл к Власу. Мать его всё так же лежит. Я сказал ей: <в> праздник тебе веселей. Она сказала: «Нет, хуже. Если хорошей человек, я рада, а то хуже». — Влас достал мне яиц, и я насовал их в карман, и вместо того, чтобы дать их Власовой матери, пошёл их жрать.

После завтрака сел за статью и немного подвинул; но пришёл наниматься в прикащики солдат, бывший каптенармус; я ему, было, холодно отказал, но он сказал мне, что он мой бывший ученик первой школы — Сёмка <Глебов> богучаровский <т. е. из села Богучарово. – *Р. А.*>. Это один из лучших мальчиков был. И теперь хороший, кажется, человек. Я узнал в этом солдатском лице того бутуса, очень умного мальчугана в веснушках, с доброй, доброй улыбкой, и довольно долго поговорил с ним. Потом, чтобы погреться, поколол дров и пошёл к Бибикову. Снегу пропасть, и дорожки не протоптаны. На деревне Матвей Егоров окликнул меня (уже смеркалось) и подошёл покалякать — об лошадях украденных, о том, какой это грех у меня украсть, — льстивые речи. Я спросил, какие это две лошади стоят у него у двери? А это, говорит, племянница из Телятинок, у ней лошадь стала, так вот я свою заложу, её довезу. Я говорю: подвези и меня, и пошёл.

На горе меня догнала баба, две девочки и два мальчика, и сзади ставшая лошадь. Я сел к ним в сани. Баба стала рассказывать про свою несчастную участь, — хлеба нет, три девочки, одна грудная (я, чай, накричалась без меня, и сама чуть не замёрзла); ездила к матери на Бароломку <в то время – мельница на реке Воронке, неподалёку от шоссе. – *Р. А.*>, не даст ли денег на хлеб; а у отца, он сторож в лесу, украли дрова и вычли 3 рубля. Так ни с чем и ворочáется, да ещё лошадь стала, чуть не замёрзла, падала лошадь 3 раза. Баба плачется, а девочки и мальчики (это ясенские сели прокатиться), хохочат, шумят и то и дело ломают ветки и подгоняют лошадь. Она и за санями не идёт. — Дорога ужасно тяжёлая, непроезженная, под кручь Кочака. Лошадь сзади совсем стала. Мне было приятно, что я им помог, и главное лошади. Она старая, худая, и пройдёт шагов 100 и станет, и сколько ни бьют её ребята, не двигается. Я взялся за

лошадь и подружился с ней, и без боя довёл её до Телятинок. Там я вошёл в избу, чтоб посмотреть, как они живут. Живут чисто и лучше, чем плакалась баба. Ребята играют в карты, девочка крошечная песни поёт. — Мать пришла и тотчас хотела бежать за грудной Парашкой. Парашка эта была у соседки. А соседка сама пришла. Соседка эта Марфа, <дочь> Матвея Егорова. У неё свой ребёнок, и она целый день кормила эту Парашку. Они пошли за Парашкой, а я с девочками и мальчиками поехал домой, а то мужик хотел провожать их. Девочки, одна Авдотьи вдовы дочь, другая <дочь Дементия> Зорина; мальчик один Зорин, другой Николая Ермилова.

Пошёл снег и темно стало, и мои товарищи стали робеть и храбриться, особенно Грушка, Авдотьина дочь. Лица я её не видал, но голос и говор певучий, и складный, и бойкий, как у матери. Когда она била лошадь, я ей говорю: сама старая будешь. — Нет, я старая не буду никогда. Так всё маленькой и буду. — А умрёшь? — Это не знаю, а старой никогда не буду.

Тут, когда мы поехали под гору, они стали поминать про волков и про пыль (метель), и всё вешки на дороге смотрели. Я говорю: вот нас занесёт снегом, мы повернём сани, сядем под них и будем сказки сказывать. — А студёно будет мы руками будем хлопать. И все хохочут.

Через ручей мы переехали не без хлопот; но только что переехали, Грушка уселась на головашки саней и говорит: ну давай рассказывать сказки, я одну знаю, — и начала и прелестно рассказала очень хорошую сказку. Все со вниманьем слушали, и стали такие добрые, что остальные мальчики и девочки всё предлагали друг другу один кафтан, который у них был внакидку, чтоб защититься от ветра. Когда она кончила сказку, она забыла, что злодейку сказки привязали к жеребцу стоялому, к которому и мужики боялись подходить. «Да, да, жеребец такой стоял». Я перебил её: не такой, какого мы вели? Батюшки! какой поднялся хохот.

Уж мы съехали с горы перед деревней, когда она кончила. Я сказал, что не успею рассказать <свою сказку>. Мальчик стал просить: хоть немножко. Я начал им Китайскую сказку. Зорина предложила остановить лошадь, но Грушка, как степенная хозяйка лошади, не согласилась. Я досказал до половины. Лошадь как-то проехала немножко поворот, Грушка поворотила её за узду. Сама говорит: Иль забыла, али сказки заслушалась. — Я пошёл дальше и слышал, как Грушка кричала под окно: дедушка, выходи, лошадь. — Очень хорошо. Очень всё это меня трогает. Целую тебя и всех детей. Завтра, вероятно, узнаю о тебе и вас — как здоровье, состояние духа, и все ли благополучны. Л. Т.» *(83, 454 - 457).*

Подобные письма – красноречивейше и прекраснейше опровергают восходящие к временам самого Толстого домыслы о том, что «яснополянский отшельник» якобы «убил» в себе художника и порвал слишком многие связи с грешным миром. Художник не погиб. Мыслитель и христианин вывел художника из прокуренных кабинетов, идеи и образы его — из текстов, воплотив в жизни всё утверждавшегося в просветлении и мудрости старца: в его гармонических и любовных отношениях со всеми разнообразными людьми мира, начиная от родных соседей-яснополянцев. Да, *не* от жены и *не* сыновей начиная… Но в этом уж они сами были немало виноваты.

Поездка с детьми снежным вечером описана столь яркими красками, с такой чуткой любовью к природе и к этим детям, что сразу напоминает лучшие страницы художественной классики — не исключая «Метель» Пушкина и «Метель», и ненаписанных ещё тогда «Хозяина и работника» самого Толстого, и конные гуляния Ростовых в «Войне и мире», в особенности же — очень похожее описание из далёкого уже тогда 1862-го года такой же зимней прогулки Толстого с детьми в статье его «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы». Повторение радостного события давней молодости — достойная награда доброму волшебнику и мудрецу!

Ответ Софьи Андреевны на это письмо мужа – не менее важный документ, свидетельство непримиримости её позиции и невозможности по этой причине гармоничных отношений супругов. Здесь мы снова должны напомнить читателю ту концептуальную, сознательную неприязнь коренной горожанки к сельской и усадебной жизни, к крестьянам, которое, вкупе с затаённой ревностью, выразилось в дневнике ещё юной Сони, в первый год её замужества, в записи от 23 ноября 1862 года: «Он мне гадок со своим народом…» и т. д.

И вот что́ за ответ – слава Богу, не уничтоженный ею, а, в порыве неприязни, отосланный мужу! – вышел из-под пера мамы Сони в далеко не лучший день её жизни, воскресенье, 9 декабря 1884 года:

«Сейчас ещё одно письмо получила, и опять приходится писать *под бомбами*, как я называю шум, суету и крик. Утром встала, (спала хорошо); сейчас же дети со всех сторон о коньках начали приставать. Решили, нам, дамам, ехать с малышами в больших санях, а Илье с Лёлей на извощике. Илья говорит: «не хочу с Лёлькой», я попробовала уговорить, а он денег не взял, а повернулся и ушёл. Ока-

залось, что они вчера у дяди Серёжи подрались, что очень меня огорчило. На коньках у Тани и Маши всё стало себя *дурно вести*: коньки, ремни и проч. Андрюша и Миша за то были очень милы, старались, учились и веселились. Девочки и малыши уехали раньше, а я с Лёлей очень долго каталась; меня это веселит и нервы успокоивает; я каталась часа три слишком и чем дольше была на льду, тем лучше каталась. Лёля тоже отлично и весело катался, и мы с ним поехали домой на извощике. К обеду приехал Урусов и <братья> Боянус <товарищи И.Л. Толстого по гимназии. – Р. А.> с сестрой, и Hélène, и сейчас после обеда Кисленский из Петербурга. И сейчас, все тут, пенье, разговоры, музыка. Поёт то Кисленский, то Урусов*!!!!*

Я ездила после обеда, так как утром она не велела ездить, с Урусовым поздравить <Олсуфьеву> Анну Михайловну, она имянинница, посидела полчаса и вернулась к своей молодёжи, которая даже сегодня без <гувернантки> madame Seuron. Теперь пишу тебе, потому что ещё родственники не съехались, и потом нельзя будет.

Здоровье моё хорошо, дети кашляют слегка.

Теперь о твоём письме. Первое впечатление по прочтении его — это грусть. Да, мы на разных дорогах с детства: ты любишь деревню, народ, любишь крестьянских детей, любишь всю эту первобытную жизнь, из которой, женясь на мне, ты вышел. Я — *городская*, и как бы я ни рассуждала и ни стремилась любить деревню и народ, — любить я это всем своим существом не могу и не буду никогда; я *не понимаю* и не пойму никогда деревенского народа. Люблю же я только *природу* и с этой природой я могла бы теперь жить до конца жизни и с восторгом. Описание твоё деревенских детей, жизни народа и проч., ваши сказки и разговоры — всё это, как и прежде, при яснополянской школе, осталось неизменно. Но жаль, что *своих* детей ты мало полюбил; если б они были *крестьянкины* дети, тогда было бы другое. Когда ты уходишь в эту деревенскую атмосферу нравственную, я за тобой болезненно и ревниво слежу, и вижу, что тут мы *наверное* не вместе; и не потому, что я этого *не хочу*, а потому, что менее, чем когда либо, *могу*. — Жизнь твоя, по тому судя, как ты яйца покупал и как сейчас же не натурально себя обругал почти, тоже мне нравиться не может. *Ломанье*, и вечное *ломанье* себя! Зачем, лучше ли это, всякое яйцо глотать с горечью к себе. До этого яйца ещё столько работы настоящей, душевной по отношению к себе и ко всем, с кем связана жизнь. И вот конец страницы и письмо дурное, но кончаю оттого, что хорошего ничего не напишу. Прощай» *(ПСТ. С. 278 - 279)*.

Как ни гадко, но жена Толстого так и не проэволюционировала в отношении к трудовому народу России и к сельской жизни к какому-то более адекватному состоянию – за 22 года супружества! Более того, теперь, в 1884-м, она могла прикрыть *своими детьми* всё те же собственные неприязнь, зависть и ревность. Развить в письмах мужу, дневнике, а впоследствии и в мемуарах всё тот же миф о *брошенных отцом детях*, которым-де Толстой «предпочитает» чужих, «крестьянкиных». Чтобы сделать мужу больней, она писала не *«крестьянских»*, а именно ***«крестьянкиных»***, намекая на его добрачные связи с одной из *крестьянок*, подробности которых знала по его Дневнику и не простила ему ни через 20-ть, ни через 40 лет… Да ещё, при чтении письма и писании ответа мужу – и главный «раздражитель» тут как тут: *её* дети, *её* обожаемые берсята, бегают по дому, слышны их голоса… А муж — там, там, с чужими, с ненавистными, с *крестьянкиными*!

Как говорится, «выдала с головой» всю себя. И хорошо, что со злости поспешила отослать письмо… Как наш читатель уже мог видеть, многие другие *честные*, искренне-злые письма она, придя в более спокойное настроение, рвала, состряпывая им на замену сдержанные и *не*искренние.

В числе прочего, письмо это Софьи Андреевны неплохо демонстрирует *коренные* («идейные», так сказать) причины того, что в современной, 2010-х гг., России так распространён восходящий к лжи Софьиных мемуаров и дневника «чёрный» миф о Толстом-«мучителе жены», «женоненавистнике», «губителе семьи», «блуднике»… Основные потребители этого мифа — как раз *толпа*, городская по происхождению, по месту и образу жизни, по привычкам…, много читающая (в интернете), но мало своими головами думающая, поддерживающая городские фобии (потеря работы, нападение террористов…) и городские же поветрия «феминизма» и под. К природе, к сельскому труду, как мы уже писали, эта переплодившаяся целыми, излишними на планете, миллиардами сволота́ относится так же по-Софьиному: преимущественно *эстетически*, как наблюдатели, созерцатели, как *чужаки*, а не обитатели этой природы и участники этого труда. Большинству из них нечего делать и в городах: они сами чувствуют себя и там лишними, с трудом находя для себя заработки, застревая в дорожных пробках и с трудом выживая. Но изменить что-то все вместе не пожелают, не захотят, а оттого, дабы внутренне оправдать себя – конечно, выбирают, как более близкие им, образ жизни и настроения Софьи Андреевны с детьми. Толстым же – всё так же, эстетически, *любуются* в интерьере лошадей и коров… Для

того и наезжают в хорошую погоду «погулять» в Ясной Поляне. «К Толстому» — в усадебных ландшафтах. За прогулкой и за визуальными впечатлениями. Собственно, так в отношении Ясной Поляны намеревались в 1881-82 гг. поступить и Софья, и её подросшие берсята. Слава Льву Николаевичу, он в последующие годы *сумел* подпортить им эту дачную идиллию!

Как контраст неспокойному и недоброму письму Сони – *встречное*, тоже 9 декабря, по-мужски краткое, честное и “тёплое” от внутренней авторской доброты и любви письмо мужа её Льва:

«Тёпел, сыт, жив, здоров. Всё утро работал хорошо <над статьёй>; потом пошёл к <соседу> Бибикову. Пока дошёл по обходным дорогам, пока посидел, напился чаю, вышел в 8. Тепло, тихо и туман, — пошёл на Воробьёвку и кругом по шоссе, и вот только пришёл — усталый. Спасибо за письмо <от 7 декабря>. Пишите поподробнее. Урусов выезжает из Крыму 13-го. Очень жалею, что не видал Мирского. Нынче устал и головой, и телом.
Л. Толстой» *(83, 458 - 459)*.

Получив это, очень краткое, послание, Софья Андреевна, едва успевшая побороть в себе злость, вызванную подробным рассказом мужа о деревенской жизни, сама, будто в отместку, в своём ответе 10 декабря пишет о ненавистной Толстому *городской*, московской жизни довольно много и подробно. Запоздало подыскано ею и «объяснение» нехорошей реакции на рассказ мужа о поездке с кучером и с детьми.

Приводим текст письма в сокращении:

«Сам написал карточку коротенькую, а просишь подробных писем. У тебя лучше нашего. Что касается меня, я утратила свою осеннюю ясность — это я вижу по тому, что как я стала в те же условия разлуки и переписки с тобой, так, проверив себя, я вижу, что уже несусь по другому теченью; что балы, гости, комплименты, сказанные мне, Танино стремление на бал, мои собственные мечты о костюме Тани и о том, как будут говорить обо мне, разговоры дяди Кости и Madame... и проч. и проч. — всё это меня охватывает, и я погибаю. Мне даже не грустно это, и это хуже всего.

[...] Сегодня решила ехать к доктору <гинекологу>. Он очень упрекал, что я запускаю, долго не была. Опять этот ад прижиганья, я дрожу до сих пор от боли; опять этот стыд, и ужасно неприятные разговоры о подробностях. [...] Это очень всё неприятно. Коньки не

вредно, но не студиться, не падать, а главное нервы, нервы и нервы беречь. На это налегал больше всего.

Серёжа брат вчера не был, он очень, говорят, не в духе. Серёжа сын вчера играл в винт у гр. Олсуфьевой, а нынче ушел в университет поздно, и вернулся вечером поздно и прямо сел за Мусоргского, перекладывает на две руки. Таня, которую ты так особенно целуешь, вся ушла с ушами в свой костюм. Только и разговору, только и мысли, увы! Я ей сказала: «напиши папа́», — она говорит: «я только могу ему свой костюм описать!» И ей, видно, грустно, что она такая раба своей мечты о костюме, но не может иначе. Она сейчас делает пасьянс с дядей Костей и Madame, и гадает. Илья спит весь вечер, Лёля всё учился. Малыши всё также безумно шумят; Миша в саду катался на коньках, т. е. еле двигался, а у Андрюши зубы всю ночь болели, и мы с ним немного учились.

[…]

Боюсь я, что плохо себя обставил и заморишь сам себя и едой, и трудом. Ну можно ли было не уйти из этого адского вагона, в который ты попал! За что всячески трепать свои нервы и свою душу? — Как мне тебя жаль, право, просто ужас; как ты не бережёшь себя. Сегодня вспомню это описание вагона, и такая противная от этого описания отрыжка, точно несчастье какое случилось. И потом всё письмо этим испортилось, и дальнейшего не оценила; а твоя поездка с детьми была наверное прелестная; дети всегда и везде милы.

Сплю я наверху и съела твои груши, одну с Алёшей разделила, а потом ночью до того захотелось эту грушу, что я с жадностью её съела, что ужасно противно; гораздо противнее твоих яиц, которые тебе нужны, как хлеб насущный.

Когда ты приедешь? Напиши, пожалуйста; мне не то, что скучно, но очень одиноко. Если же тебе Москва представляется ещё в очень противном виде, то не езди подольше, пока желание нас видеть перевесит над отвращением видеть опять город.

Не предвидится ли откуда-нибудь получение денег, чтоб заплатить по книгам в Туле. Там долгу осталось 590 р. с., насколько мне помнится… Был ли ты в кладовой, и цел ли и заперт ли Дуничкин сундук и все наши.

Прощай, милый друг, целую тебя. Не мучай и не ломай себя, ради Бога; мне так за тебя часто страшно.

С. Т.» (ПСТ. С. 280, 283 - 284).

Итак, «виновато» в эпистолярной выходке Сони оказалось теперь описание мужем переезда в вагоне, а не всё последующее… самая

«городская», и, действительно, безобразная часть его прекрасного письма от 8-го. Независимо от того, верить или не верить в данном случае Софье Андреевне, объяснить (но не оправдать!) она сумела *тон* своего письма, но никак не *содержание*: «откровения» о своём неприятии образа жизни и настроений Льва Николаевича – восходящем, подчеркнём ещё раз, к 1862 году, к первым месяцам совместной жизни супругов.

Встречное, от 10 декабря, письмо Толстого несколько пространнее предыдущего, служа ответом на «бестолковое» письмо жены от 8-го. Часть его – хозяйственные различные мнения и советы Толстого жене – мы опускаем. В другой части Толстой описывает «сильное и приятное впечатление» от общения с навестившим его крестьянским поэтом (имени его он не называет), одно из стихотворений которого он планирует при помощи В. Г. Черткова опубликовать в книжечке для народа *(Там же. С. 460)*. Наконец, как с самого главного, начинает Толстой письмо – с честного совета жене *лечиться*:

«Нехорошо твоё нервное состояние с кали бромати <описанное в её письме от 8 декабря. – *Р. А.*>. Я на твоём месте решительно сделал бы одно из двух: или пристал бы к доктору, чтобы он предписал мне последовательное лечение, и строго бы следовал ему, или бы бросил всякия лечения и вёл бы гигиенически правильную жизнь — много бы был на воздухе, много бы делал движения и не думал бы о болезни. Право, подумай и сделай одно из двух; а то это ни то, ни сё — очень вредно для тебя, — для твоего душевного состояния» *(Там же. С. 459)*.

В завершение письма Толстой предупреждал, что намерен не возвращаться ещё несколько дней в Москву, дождавшись возвращения из Крыма Л. Д. Урусова, дабы повидаться с ним в Туле.

Наконец, 11 декабря – кроткий, спокойный ответ на письмо Сони от 9-го с выраженной ею злостью о крестьянах и известием о ссоре и драке детей. В ответ муж сообщает, что всё у него сносно, хотя от писем из Москвы грустно, и даже уход пьяницы переписчика (поступившего псаломщиком в церковь) хоть и создал неудобства, но отнюдь катастрофой не стал:

«Всё утро очень хорошо работал. Перевалил самое трудное и теперь надеюсь кончить. Всё совершенно благополучно, только немного болит печень, так как она болит, когда я много занимаюсь.

Очень мне было обидно, что письмо моё, которое мне так нравилось, тебе не понравилось. Нынче вечер провёл с мужиком поэтом. Как жаль <рассорившихся сыновей> Илью и Лёлю, особенно Илью. Если бы я кончил здесь свою работу, я бы был очень рад. Но это слишком хорошо! Мне недостаёт очень Дмитрия Фёдоровича для переписки. Он поступил псаломщиком. Начинается метель, и потому может случиться, что это письмо нынче не поедет. Л. Т.» *(83, 461 – 462).*

И этого же дня, 11 декабря, письмо Сони – ответ на мужнино письмо от 10-го, в сокращении:

«Сегодня письмо твоё хорошее; ты, видно, устроился, около тебя старушки, ты спокоен и здоров. Вообще успокоительное произвело впечатление. Что же ты мне не оставил переписывать статью? Я очень жалею, что не могу без тебя что-нибудь поработать *для тебя*. Я шью костюмы малышам и учу Андрюшу; сижу дома, и одно плохо, что страшно поздно встаю. Но сегодня всю ночь совсем не спала после свиданья с доктором; давно не было так больно, и как заснёшь, вся в поту проснешься, с кошмарами и каким-то ужасом. Может быть теперь будет лучше. — Совет твой, или одно, или другое — совершенно справедлив. Вчера я решила, было, совсем не лечиться и спросила доктора, может ли со временем пройти моя болезнь без леченья. Он сказал: «нет, *никак* не может, будет всё хуже и хуже». И теперь я взялась лечиться внимательно и ездить к доктору всякие две недели.

Конечно, очень жаль будет тебе не повидать Урусова. Я думаю, тебе остаться, и в субботу поехать в Тулу, ночевать у Урусова, и в воскресенье с курьерским приехать. Хоть без тебя и скучно, но я думаю, мне теперь без тебя *полезнее*. [...]

За что ты нападаешь на моё душевное состояние; именно *что* не хорошо? Напиши пожалуйста. — Может быть я и пуста, и глупа, и легкомысленна, но я теперь совсем не *зла*, и очень мне это легко и приятно.

Если мне твоё длинное письмо не совсем пришлось по сердцу, то право потому, что я не разобралась в своих впечатлениях, а на другой день ясно стало, что противно было описание вагона, и до сих пор точно меня кто грязью выпачкал.

Я всё про тебя говорю себе: que, diable, allait il faire dans cette galère? [*фр*. какого чёрта он туда сунулся?].

Серёжа всё играет с шумом Мусоргского и Рубинштейна; что-то не ясно и громко одуряюще. В субботу не приезжай вечером, у меня

билеты, и я должна ехать в концерт Бетховена, и мне больно будет от тебя уехать. [...]

Какая хорошая погода для тебя: не холодно, и иней; и так, я думаю, хорошо в деревне. Неужели о лошадях ни слуху, ни духу? Прощай, Лёвочка, надо бы писать тебе по утрам, а то к вечеру боль сильнее, и я прихожу в беспокойство. Целую тебя, кланяюсь Марье Афанасьевне и Агафье Михайловне.

Где будут жить мальчики на Рождестве? Прикажи для них протапливать.

Целую ещё и ещё.

Соня» *(ПСТ. С. 285 - 286).*

Между тем Лев Николаевич продолжал работу над своей новой статьёй «Так что же нам делать?», и городской московский опыт, давший ему массу материалов для этого публицистического выступления, дополняет деревенским, навещая сам соседей и принимая гостей. Об этом — значительная часть письма его к жене от 12 декабря. Письмо, как сознаётся сам Толстой, вышло «нескладно», как бы «обо всём понемногу». Например, в связи с визитом к соседу, Бибикову, Толстой вспоминает о встрече у него с молодым доктором, от которого он получил некие сведения о проституции и венерических заболеваниях в России, которые привели его в размышление об «ужасах, которыми мы губим себя и других» *(83, 462 - 463).*

Или – наблюдение от бесед с крестьянами:

«Среди мужиков и в беседах с ними я чувствую себя одиноким, чувствую, что они не могут понять меня; но всё-таки не до такой степени, как с Ковалевским профессором и многими другими» *(Там же. С. 463).*

По этой же, вынужденного одиночества, причине, Толстой так ценил тогда Л. Д. Урусова среди немногих понимавших его и желал свидеться с ним:

«...Если Урусов приедет <в Тулу> 16-го, я пробуду с ним день и приеду. Хорошо ли, дурно, но положение моё тем отличается от других, что общение с некоторыми людьми, единоверцами, к числу которых принадлежит Урусов, мне особенно дорого» *(Там же).*

Жену он, по письмам, находит «в дурном духе» — «очень лёгком, поверхностном». Советует меньше доверять оглупляющим льстивым словам о её внешности от m-me Seuron (англичанки-гувернантки) и ей подобных, а хорошенько лечиться и «писать хорошенько»: «Это не значит: пиши неправду, — но значит, что я очень желаю, чтобы ты была в хорошем духе» *(Там же)*.

Следуя хронологическому принципу, приводим ниже письмо мужу Софьи Андреевны от того же 12 декабря – ответ на краткое (на карточке, как следует из ответа Сони) письмо Толстого от 11-го. Письмо так же достаточно нестройно, писано (по вышеприведённому выражению Сони) «под бомбами» — под шум и говор детей, так же засевших за свои небольшие послания для отца. Приводим, однако, почти полный его текст: из тех же соображений, из которых Толстой в цитированном нами выше письме от 12-го сожалел, что дочь Таня всерьёз не написала ему хотя бы о своём платье: «Хоть костюм бы описала, я и из него узнал бы немножко состояние её души». Из множества самостоятельно малозначащих мелочей, действительно, может сложиться такая картина чувств, мыслей и настроения жены Льва Николаевича – что имеет прямое отношение к задачам нашей аналитической презентации.

«Весь день продолжающаяся метель и гул во всех трубах — наводит на меня страх и беспокойство о тебе. Твою карточку получила, она дала мне успокоение, но письмо твоё, — единственное событие дня; и потому, когда оно длинно, то веселей и счастливей день. Я рада, что тебе хорошо работается, это главное; и дай-то Бог, чтоб ты кончил, что тебе хочется кончить. Я знала, что ты обидишься за впечатление письма — но я тебе объяснила, и право это объяснение верно; а письмо, как будущий, литературный памятник, — действительно превосходно. — Привези мне стихи поэта — мужика. Я их поправлю, конечно с тобою вместе, это легко, я думаю.

Серёжа сын […] просит привезти его сапоги. Илья хочет ехать на медвежью охоту и просит штуцер <охотничье нарезное ружьё большого калибра. – *Р. А.*>, но я не желала бы, чтоб он ехал; опасно, и потому лучше не привозить.

Таня нынче встала рано и писала твой портрет; потом ездила с Машей Машино платье мерить. Теперь с весельем и болтовнёй вышивают с <гувернанткой> miss Lake вуаль серебром для костюма.

Илья нынче купил инструменты и начал опять вечером свою токарную работу. Лёля сейчас после уроков отправился в 3 часа на коньки к Лазарику, и приехал обедать около шести, но мы сегодня

оттянули обед попоздней, для мальчиков, и потому обедали вместе. Малыши очень милы, слегка покашливают и потому не гуляют; а Саша ноет от принявшейся оспы. Серёжа всё долбит и долбит Мусоргского, надоел порядочно. Ни писем, ни гостей без тебя не было. Я сижу всё дома; после прижиганья болит очень, и совсем покою не дает, беда просто. Леченью я следую добросовестно.

Сегодня встала и я раньше, но вчера читала до 3-х ночи; некому сказать: «пора тушить свечку, Соня». День весь работала, кроила усиленно; перешиваю своё продравшееся везде лиловое платье, и хлопот с ним много. Очень я тиха и глупа. Прощай, милый Лёвочка, я хочу, чтоб Таня тебе писала, а она говорит: «он пишет три строчки, за что же мы ему будем писать три человека по три листа». А я говорю: «он за то пишет 300 страниц для всего мира». Целую тебя.

С. Т.

[...] Вчера все вместе читали «Мёртвый дом» <«Записки из Мёртвого Дома» Ф. М. Достоевского>; но Костинька и Madame ужасно не одобряли и портили впечатление; вчера-таки и не очень хорошо было. Ну ещё прощай. Я приписала, потому что дети ужасно долго пишут что-то тебе, и шалят и хохочут.

Илья выточил мундштук и очень неодобрительно, молча на него смотрит. 9 часов, пора посылать письмо» *(ПСТ. С. 287 - 288)*.

Наконец, на следующий день, 13 декабря, Софья Андреевна пишет *заключительное* и в данном фрагменте переписки, и во всём 1884-м году письмо мужу – ответ на схожее с её письмами по грустному настроению, многословное и нескладное его послание от 12-го:

«Ты оговариваешься в конце письма, что оно грустно и не хорошо. Нет, оно очень хорошее, что-то в нём есть, что меня заставляет оглянулся на себя и пожалеть, что я к старости под гору пошла. Да, это странно; на меня все смотрят, что я столб семьи, что я твёрдая, что я «une femme vertueuse» [*фр.* «добродетельная женщина»], а я сама себя чувствую слабой, легкомысленной, полусумасшедшей и готовой на всякие, самые безумные крайности.

Лесть madame меня не трогает. Я знаю её, и теперь мне временами кажется, что с одной стороны лесть ко мне для того, чтобы с другой кокетничать с тобой. Если это последнее подтвердится, то elle aura affaire à moi, [*фр.* она будет иметь дело со мной] и я её вперёд жалею, ибо в моём полусумасшествии я ни за что не ручаюсь. Но это опять-таки одна из безумных вещей; я madame всё-таки люблю; в

ней есть доброта и ум; а жизнь её испортила. — Плохо, что у тебя болит печень; но как я радуюсь твоему настроению, и как страшно боюсь разрушить его безумным временем праздников, которые всегда на нас, старших, действуют суетящим и тоскливым образом.

Делай всё, как тебе лучше и береги свою душу и своё здоровье. Ты нужен и дорог всем на свете, а на меня не обращай вниманья, не стою я этого, ничтожное, глупое и слабоумное созданье.

Сегодня Алёша что-то прихворнул, жарок был и ночь и день, не ест ничего и скучен. Может быть простой будет грипп, как у всех. Сегодня были у меня гости: Дмитрий Фёдорович Самарин, граф Капнист, Оболенские (Криво-Никольские) и помешали уроку музыки Лёли, что очень грустно. Он зато в саду всё на коньках упражнялся; Андрюша и Маша тоже учились и теперь свободно стоят и ходят на коньках и очень храбрятся, и Лёля их поощряет. Лёля стал последнее время очень хорош, мягок и аккуратно готовит уроки. Илья спать два дня уж как перестал и вместо этого точит на станке мундштуки и спичечницы.

Серёжа из университета приходит и прямо за фортепиано. Таня опять писала свою копию, а завтра едет на первый урок к Беклемишевым; я за ней заеду во втором часу. После визита к доктору я ещё не выезжала, очень уж больно было; сегодня немножко лучше. Писала, писала без перерыва, а теперь и не знаю, что ещё сказать. Ты велишь *хорошенько* писать, а я право не могу — пустота в голове, сердце и душе! Уж не от бромистого ли калия такое состояние? — Вчера до четвёртого часа не спала, звон, треск, ужас и страх. Наконец звуки приняли определённый характер передвигаемой мебели в твоей комнате. Тогда я вскочила, панический какой-то страх напал на меня, я разбудила Дуняшу и говорю: «пойдёмте, не залез ли кто». — Дуничка крестится, охает, вздыхает, но идёт с свечёй вперёд, мы оглядываемся, — никого, конечно, не было.

Было и совестно и жаль, что Дуняшу разбудила, но и потом всё страшно было. Но я продолжаю спать одна, наверху, чтоб себя сломить. Да, ломить и ломить мне себя надо, чтоб быть лучше и твёрже.

Прощай, милый Лёвочка. Таня с Машей ушли к дяде Серёже, и никто тебе сегодня не пишет. Посылаю письмо Черткова, только и было без тебя. Целую и обнимаю тебя.

Соня» *(ПСТ. С. 288 - 289).*

Несмотря на то, что в письме Софья Андреевна описывает своё действительно болезненное состояние и сама признаёт себя физически и нервно нездоровой, её самоуничижениям, как мы уже сказали выше, доверять нельзя: они циклично сменялись совершенно

иными, тоже навязчивыми, мыслями и настроениями… Выраженная сдержанно, не агрессивно в письме ревность к английской гувернантке Сейрон и её предполагаемым отношениям с Львом Николаевичем – могла бы, при другом состоянии Софьи Андреевны, проявиться более агрессивным эмоциональным путём.

В начале следующего, 1885-го, года Лев Николаевич поимел наивность поверить высказанному женой в письме от 13 декабря желанию смиренно послужить ему обычной помощницей в переписке начисто его рукописей. И наивность поимела его самого: критика Толстым светской жизни городских богачей, в которой он неосторожно упомянул членов своей семьи, обрушила на его голову целую грозу… Подробнее расскажем об этом в соответственном месте.

Ещё два дня до своего возвращения Толстой отправлял супруге письма – 13 и 14 декабря. 14-го из Тулы было отправлено два письма, но второе из них кратко и малоинформативно. Первое из писем от 13-го Толстой не отправил из-за довольно резких слов о сыне Льве – в ответ на его послание отцу. Вот этих:

«Пускай он не стыдится быть в человеческих отношениях с теми, кто его больше всех любит, т. е. больше, чем кто-либо другой, а стыдится жить рядом и быть столь же, более, далёким, чем в Новой Зеландии» *(83, 465)*.

Осознав, что мама вполне основательно может отнести такие критические строки и к себе, Толстой переписал начало письма, выразив мысль об отношениях с сыном совершенно иначе:

«…Он имеет и умеет, что̀ сказать мне, и сказать так, что я чувствую, что он мне близок, что он знает, что все его интересы близки мне, и что он знает или хочет знать мои интересы» *(Там же. С. 466)*.

Выдавив из себя эти не вполне искренние строки, Толстой прервал писание о сыне, честно назвав причину: «чтоб не изорвать и этого письма» *(Там же)*. Остальное его содержание, будто в противовес началу – напротив, максимально искренне, местами даже интимно. Вот *очень важные*, честные и довольно резкие слова Льва Николаевича о значении для него писем Сони, переписки с нею:

«Я всякой раз (я заметил это за собой) подержу несколько времени письмо и выбираю время, когда прочесть. Мне важнее тебя. В твоём

письме отражается для меня душевное состояние не только твоё, но и детей, — дома. Разумеется, что я ошибаюсь, но по твоему письму я, как по термометру, слежу за тем, за чем я всегда чутко слежу — за нравственной температурой семьи — поднялась или упала? — Письмо твоё нынешнее было хорошее, но температура, вижу, несколько упала и продолжает стоять низко» *(Там же. С. 467)*.

Как хороший охотник слёту двух зайцев, а хороший шахматист – две фигуры противника, так и Толстой (бывший и охотником, и шахматистом из лучших) «нейтрализует» далее, буквально в нескольких словах, сразу и обман Сони о её отвращении к описанию Толстым вонючего, грязного вагона (которым она оправдала свой выпад в отношении общения мужа с крестьянами и их детьми), так и самообман её о том, что он, Толстой, может *хотеть* жить в городе, без принуждения вернуться в Москву:

«Что̀ тебе мой вагон так не понравился? вагон этот есть образчик Москвы. Тут она была вся в сжатом виде» *(Там же. С. 467 - 468)*.

И, сказав должное – тут же просит у жены прощения, так как понимает, «что и это письмо нехорошо и неприятно подействует» на её чувства *(Там же. С. 468)*.

Кроме этого Толстой излагает в письме свои раздумья, вызванные текущей его работой над экономико-философским и социально-обличительным трактатом «Так что же нам делать?»:

«Встал я нынче рано и рано сел за работу, и работаю часов 5 сряду, и намарал бумаги много, но есть ли в этом мараньи толк или нет, — не знаю. Т. е. неправда, знаю, что есть, и потому мне на душе легко. Как бы совсем иначе шла жизнь всех людей, и как бы они сами были счастливее, если бы они целью своей ставили произведение того, чего нет, и того, что хорошо и нужно, а не удовольствие. Удовольствия нет настоящего другого, как то, которое следует за произведением. Производить можно и карандаши, и сапоги, и хлеб, и детей, т. е. людей, и мысли, которые питают этих людей. Без произведения чего-нибудь не может быть настоящего удовольствия, т. е. удовольствия, не смешанного с страхом, страданием, угрызением совести, стыдом; и чем важнее произведение, тем больше удовольствия. Так это для нас, для взрослых и стариков; для детей и молодых место произведения заменяет большей частью приобретение знания или искуства. Оно и у старых бывает. Но у старых большая доля произведения, а малая приобретения знания и искусства, а у

молодых наоборот. Когда же на место этого станет искание удовольствий и потеряется вкус в произведении вещей и приобретении знаний и искуств, то это не шутка, а погибель.

Я вспоминаю свою молодость и помню, что я переживал такие периоды; но это были периоды короткие, это были исключения, времена, которые совсем вычеркнулись из моей памяти, о которых, если я вспоминаю, то вспоминаю с омерзением. Мне вспомнились потом слова <старой фрейлины Екатерины> Ермоловой, бывшей красавицы с заплаткой на носу, как она, во-первых, уверяла меня, что я всю молодость свою танцовал с ней (чего я не помню), а главное её слова: il faut que jeunesse se passe [нужно, чтобы молодежь перебесилась]. Эти слова любят повторять те, которые в своей vieillesse [старости] не вышли из jeunesse [юности]. Эти слова говорит, верно, <княжна> Грушенька Оболенская <«Вывозившая в то время своих трёх племянниц — княжён Оболенских, недалёкая, безвредная, старая девица». – *Прим. С. А. Толстой*>, дядя Серёжа, дядя Костя <Ислявин>. Jeunesse только тогда se passe благополучно, когда есть vieillesse — не знаю, как писать — делающее своё дело; а когда старики сами задерут хвосты, т. е. будут отдаваться тщеславию, праздности, роскоши, то куда же залетит jeunesse? Нехорошо это, и главное неправда. И тот старик, который говорит молодёжи: то, что он своим старым умом видит, и говорит серьёзно хотя бы это было и неприятно молодёжи, тот наверно гораздо больше любит и понимает молодёжь, чем Грушеньки, Ермоловы, дяди и <Сергей Семёнович> Урусов, будто из сочувствия к молодёжи резвящийся с ними» *(Там же. С. 466 - 467)*.

Чтение письма вызывает почти физическое ощущение распрямления сперва резко сжавшейся пружины: Толстой будто бы испытал себя в покорности воле, мнениями настроениям жены и сыновей, и понял: *нельзя*. Надо быть самим собой. Нельзя в публицистическом сочинении обличать некий общественный уклад, а в повседневной личной жизни – запросто, по-семейному, общаться с теми, кто его формирует, поддерживает, кто пользуется выгодами такого уклада. В своём обличении, как мы видим, он нелицеприятен, не щадит ни гостей и друзей семьи, ни родни… и это-то станет одной из причин углубления кризиса в отношениях с женой – уже в новом, 1885-м году.

Упомянутого Толстым в письме 13 декабря старого его сослуживца и друга молодости Сергея Семёновича Урусова (1827 – 1897), человека сугубо мирского, и, несмотря на досуг в отставке от военной

службы, жившего мало духовными интересами, да к тому же ортодоксально-православного, нельзя путать с Урусовым *тульским*, Леонидом Дмитриевичем (1836 – 1885), вице-губернатором, благообразным красавцем-аристократом, многолетним платоническим любовником С. А. Толстой (о чём мы уже говорили выше), но при этом также – одним из первых религиозных единомышленников Льва Николаевича. Толстой старался по пути в Ясную Поляну или в Москву навещать близкого друга и ученика. Так было и в этот раз, и в письме от 14 декабря, завершающем его переписку с женой 1884 года, Толстой кратко сообщает о своём очередном визите:

«Приехал к Урусову и застал его за Евангелием, — сличает переводы старый французский и наш, и делает соображения и открытия для себя. Я рад за него, что он живёт в этом мірѣ. *Знаю, какой миръ в этом мірѣ*. Здоровье его, по-моему, хуже, хотя он считает, что лучше. Он накормил меня, и мы хорошо провели вечер и теперь ложимся спать…» *(83, 469. Выделение наше. – Р. А.)*.

Злодейка-судьба сберегала рядом с Толстым таких неоднозначных, даже сомнительных, «друзей», как Владимир Чертков и масса фанатичных «толстовцев», но… без жалости уносила людей действительно, безоговорочно близких — таких, как Леонид Дмитриевич Урусов, который в следующем, 1885-м, году неосторожно отправится в русский Крым — «поправить здоровье» — и, как позднее сам Толстой, тяжело, смертельно заболеет там… но, в отличие от могучего, атлетически закалённого и обихаживаемого лучшими врачами Льва Николаевича, не сумеет выкарабкаться из Крыма живым.

От Урусова, дождавшись утром 15-го нескорого рассвета, Толстой по обледеневшей дороге верхом выехал для сборов в Ясную Поляну. 16 декабря 1884 года по железной дороге Толстой вернулся к семье, в Москву – «в очень хорошем духе», как свидетельствует Софья Андреевна в письме сестре от 22 декабря, с готовыми в печать первыми главами нового публицистического сочинения.

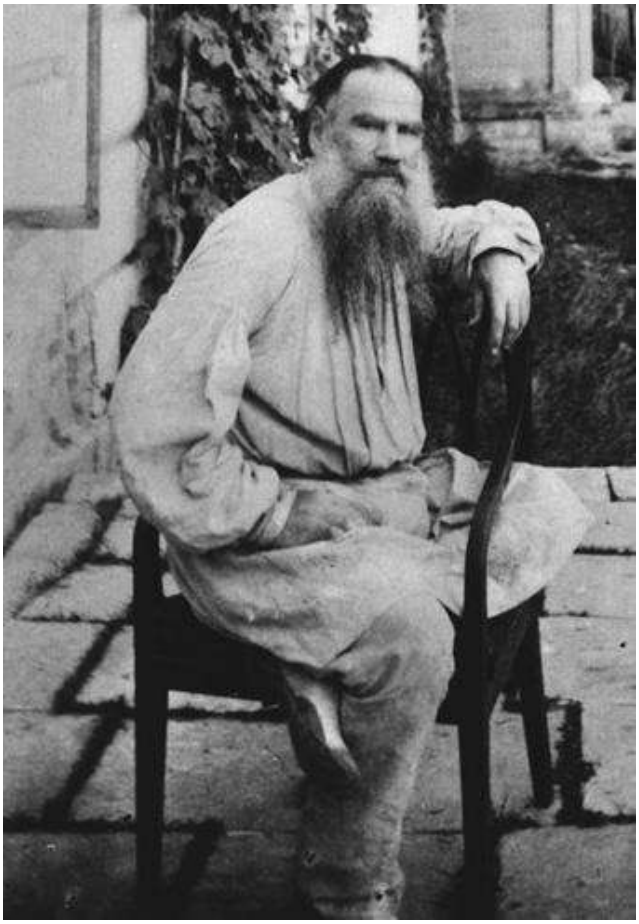
Год 1884-й так и не успел завершиться хорошо и спокойно для семьи Льва Николаевича. Физическая болезнь Софьи Андреевны уступила место новой серии нервных припадков… «Вся моя семейная жизнь была налажена прекрасно, а я принимала бром и была в ужасно нервном состоянии» — свидетельствует бедная Соня в мемуарах *(Там же. С. 461)*. Вслед за матерью в тяжёлой семейной атмо-

сфере заболели один за другим и дети – «различными лихорадочными и гриппозными недугами» *(Там же. С. 462)*. Так начался 1885-й год, с первого дня не суливший мира и идиллии семье.

КОНЕЦ ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Двадцать Третий.
ПОДАЛЬШЕ ОТ ЯНВАРСКОЙ ГРОЗЫ
(28 января – 2 февраля 1885 г.)

Особенности условий и результатов эпистолярного общения Софьи Андреевны и Льва Николаевича в начале 1885 года снимают с нас необходимость создания отдельного Вступительного очерка к Двадцать Третьему эпизоду представляемой нами читателю переписки. Это отнюдь не означает, что биографический материал зимы 1884-1885 гг. малозначащ для нашей темы: напротив, он, будучи несколько скуднее по причине неактивного ведения участниками переписки в 1884-85 гг. личных дневников, тем не менее многими своими фактами буквально *вписан* в фактологический, а ещё более в идейный и эмоциональный «тексты» оной. Дело в том, что о письмах Софьи Андреевны Толстой к мужу вплоть до 20 февраля 1885 г. мы располагаем только свидетельствами (в основном – в ответах на них мужа) того, что они были написаны. Сами письма, вероятнее всего содержавшие признаки острого недовольства Софьи Андреевны жизнью своей, своих детей и мужа, её нервного и психоэмоционального нездоровья – не в нашем распоряжении… По сведениям секретаря Толстого Н. Н. Гусева, они, вместе с прочими, были заархивированы Софьей Андреевной, но… до первого *независимого* от её воли издания 1936 г. не сохранились – будучи, вероятнее всего, изъяты ею из общего архива и уничтожены при подготовке неоднократно упоминавшегося нами выше издания писем к ней Л. Н. Толстого 1913 года *(Гусев Н.Н. Материалы… 1881 – 1885. С. 378)*. Презентование же «сольным» порядком писем одного Л. Н. Толстого января-февраля 1885 г. не только уничтожает *диалоговость* – непременное условие, которое мы поставили для нашей работы и которому мы теперь впервые не можем последовать, но и не позволит читателю представить себе сколько-нибудь полной картины содержания и характера жизни Л. Н. Толстого в это время и его отношений с женой.



Л. Н. Толстой. Ясная Поляна (1885)
Фото: С. С. Абамелек-Лазарев

Год 1885-й, как и предшествующие, открылся для семейства Льва Николаевича во многом схоже с предыдущими: праздничными роскошествами, вечерами и балами, которые Софья Андреевна не преминула вспомнить все и перечислить в своих мемуарах: вечер у Свербеевых по случаю помолвки Дм. Свербеева с кн. Горчаковой, бал у Самариных, бал у Щербатовых… При этом жене и матери был «тяжёл» не только внутренний, мировоззренческий разлад с Львом Николаевичем, но и, конечно, внешние его выражения, бросавшиеся слишком многим в глаза, детерминированные разницей жизнепониманий и в этом смысле не зависящие от воли и желаний супругов:

«…Дочь <Таня> и мать — нарядные, выезжают в карете, с ливрейным лакеем в свет на роскошные балы, а отец возит на салазках из колодца воду, сам убирает свою комнату, топит печь, выносит нечистоту, ходит всюду пешком в полушубке, шьёт сапоги и ездит в 3-м классе по железной дороге» *(МЖ – 1. С. 462).*

«Масла в огонь» подливали попытки Льва Николаевича пробудить религиозное сознание своих близких, увлечь за собой к жизни в Боге и Христе. О планах Льва Николаевича в этом отношении – равно ужасных для обласканных с детства городской роскошью матери и детей – можно судить по довольно знаменитой единственной записи его Дневника за 1884 год:

«Жить в Ясной. Самарский доход <с земель в Самарской губ. – *Р. А.*> отдать на бедных и школы в Самаре по распоряжению и наблюдению самих плательщиков. Никольский доход <с земель в Никольском-Вяземском Тульской губ. – *Р. А.*> (передав землю мужикам) точно так же. Себе, т. е. нам с женой и малыми детьми, оставить пока доход Ясной Поляны, от 2 до 3-х тысяч. (Оставить на время, но с единственным желанием отдать и его весь другим, а самим удовлетворять самим себе, т. е. ограничить как можно свои потребности и больше давать, чем брать, к чему и направлять все силы и в чём видеть цель и радость жизни.) Взрослым троим предоставить на волю: брать себе от бедных следующую часть самарских или никольских денег, или, живя там, содействовать тому, чтобы деньги эти шли на добро или, живя с нами, помогать нам. Меньших воспитывать так, чтобы они привыкали меньше требовать от жизни. Учить их тому, к чему у них охота, но не одним наукам, а наукам и работе. Прислуги держать только столько, сколько нужно, чтобы помочь нам переделать и научить нас и то на время, приучаясь обходиться без них. Жить всем вместе: мущинам в одной, женщинам и девочкам в другой комнате. Комната, чтоб была библиотека для умственных занятий, и комната рабочая, общая. По баловству нашему и комната отдельная для слабых. Кроме кормления себя и детей и учения, работа, хозяйство, помощь хлебом, лечением, учением. По воскресениям обеды для нищих и бедных и чтение и беседы. Жизнь, пища, одежда — всё самое простое. Всё лишнее: фортепьяно, мебель, экипажи — продать, раздать. Наукой и искусством заниматься только такими, которыми бы можно делиться со всеми. Обращение со всеми, от губернатора до нищего одинакое. Цель одна — счастье, своё и семьи — зная, что счастье это в том, чтобы довольствоваться малым и делать добро другим» *(49, 122 - 123)*.

Уже в середине 1880-х и в последующие годы Толстой откажется от попыток вовлечь жену и детей в осуществление столь радикально-аскетического (в сравнении с привычным им образом жизни) плана, но *для себя* — не откажется от него, как от идеала жизни, до самого конца его, чему свидетельство — не менее известная запись его Дневника 25 июня 1893 года, посвящённая описанию такой же ас-

кетической жизни некоего семейства покаявшихся богачей. Ещё через более чем 10 лет, в середине 1900-х, эта запись была включена Львом Николаевичем в «Круг чтения» — как особенный морально-философский очерк, озаглавленный «Требования любви» *(42, 260 - 264)*. О связи этого очерка с ранними размышлениями Толстого свидетельствует встречаемый нами в первый раз в «Исповеди» образ колодца, в который упал человек (в «Требованиях любви» — мальчик), и ухватился за что-то, и боится перестать держаться за то, что лишь не долго (срок земной жизни) может удержать его. Под ним – неизвестность и, кажется, глубокая страшная пропасть (смерть). А между тем, когда он, истратив силы, с воплем ужаса падает туда – оказывается, что боялся мальчик «воображаемой глубины», а под ним «на пол-аршина <глубины> было сухое дно», то есть надёжная опора, жизнь невременная, вечная в Боге, в доверии и служении Ему *(Там же. С. 264)*.

Конечно, от одной идеи подобного «счастья» — трудового, праведного и… голодного, наполненного непониманием окружающих и даже злодействами, унижениями с их стороны (христианская идея «смерти для мира»), если верить тем же «Требованиям любви», — урождённая москвичка, дочка немца и протестанта Sophie Берс, а равно и берсята её, шарахались, как чертята от ладана! Видя такую реакцию семьи и решающее влияние на детей своей жены, в Дневнике 1885 года, также в единственной за этот год записи под 5 апреля, Лев Николаевич размышляет о них (кстати, и о «задавленных работой» простецах) с некоторым разочарованием:

«Думал о своём несчастном семействе: жене, сыновьях, дочери, которые живут рядом со мной и старательно ставят между мной и собой ширмы, чтобы не видать истины и блага, которое обличит ложь их жизни, но и избавит их от страданий.

Хоть бы они-то поняли, что их праздная, трудами других поддерживаемая жизнь, только одно может иметь оправдание: то, что употребить свой досуг на то, чтобы одуматься, чтоб думать. Они же старательно наполняют этот досуг суетой, так что им ещё меньше времени одуматься, чем задавленным работой» *(49, 124)*.

На «задавленных работой», на их духовное пробуждение, всё же надеяться можно больше, чем на совесть барских деток, а тем более – городских учёных интеллигентов, в которых будущий автор «Крейцеровой сонаты» проницательно видит наибольшую зависимость от личных их похотей и, как следствие, от развращённых мужской, садо-некрофильской и лжехристианской цивилизацией женщин:

«Они отдаются течению жизни, потому что этого хотят их жёны или любовницы. Всё дело решается ночью. Виноваты они только в том, что подчиняют своё сознание своей слабости» *(Там же)*.

Напомним читателю, что и сам Лев Николаевич в эти годы испытывал ещё ужаснейшие приступы половой похоти — и страдал от попыток жены манипулятивно использовать их в собственных и семейных интересах. Отсюда — постоянная внутренняя борьба Толстого-христианина, установка на торжество жизни духа, на то, чтобы «творить волю Пославшего», а не свою и не «людей» — присутствующая и в заключении цитированной нами записи Дневника 1885 г. *(см.: Там же. С. 124 - 125)*.

Об одном из самых значительных эпизодов затяжного конфликта супругов Толстых мы отчасти рассказали выше, в завершении предшествующего Эпизода нашей аналитической презентации. Напомним, что в письме мужу от 13 декабря 1884 г. Софья Андреевна вызвалась, как в «старые добрые» времена, самолично переписывать черновики мужа. Ей достались рукописи статьи «Так что же нам делать?», в которых она с ужасом прочитала предполагавшиеся мужем для печати (в журнале «Русская мысль») резкие обличения *лично в адрес её и её детей* – в связи с поездками на балы и эксплуатацией чужого труда (как домашней прислуги, так и подённых наёмных работников). Очевидно, это была именно *та* часть огромного трактата, над которой автору лучше бы было поработать лично, не отдавая на переписывание жене… или же это был намеренно брошенный «пробный камень» — испытание Соничкиных настроений? Трудно сказать. Значительную часть обличений Толстой из окончательной редакции статьи выкинул, но неприятные воспоминания о возникшем конфликте остались у обоих. Софья Андреевна в книге «Моя жизнь» вспоминает:

«Было у нас с Львом Николаевичем тяжёлое столкновение за то, что в этой статье он грубо и зло обличал своих сыновей и семью в той жизни, которую она вела. Конечно, с его точки зрения, да и просто с точки зрения справедливости, жизнь наша была *не* христианская, да и не особенно хороша, но не дело отца семейства обличать своих» *(МЖ – 1. С. 462)*.

Эффект «сора из избы». Как и во многих других случаях, здесь Соне, истинной мастерице самооправданий, трудно что-то возразить. Толстой прервал череду домашних споров отъездом 28 января в Тулу, к старому другу семьи князю Леониду Дмитриевичу Урусову.

С вокзала в Туле посылает он короткое письмо – свидетельство недавно разразившейся на его голову очередной семейной грозы:

«Что мне грустно и беспокойно было уезжать от тебя, — ты сама знаешь по себе. Пожалуйста, прости меня, милый друг, в чём я виноват перед тобой. Это тем возможнее тебе, — что я наверное не хотел тебе сделать ни зло, ни больно, ни сердца не имел на тебя. Как бы хорошо было, если бы это письмо нашло тебя в кротком духе. Целую тебя и детей…» *(83, 472)*.

В следующем, от 29 января, письме, писанном из дома Урусова в Туле, Толстой, проведший покойную ночь в доме князя и отдохнувший от всего пережитого, уже, напротив, будто вызывает домашнюю грозу (в эпистолярной её форме) на себя: «приятные, льстивые» письма поклонников, накопившиеся на тульской почте и забранные им поутру он противопоставляет домашним: «критике и осуждению, совершенно заслуженному и любовному, т. е. от людей, которые меня любят». «А то бы я ещё бы был много хуже» — добавляет он с кокетливым смирением, и сам просит возбуждённую жену писать ему как можно больше и искренней:

«…Сядь в свободное время и отдайся своим мыслям и чувствам. Какие бы они ни были, я буду рад» *(83, 473)*.

Конечно, он надеялся, что Софья Андреевна, как грозная туча, быстро исчерпает свои «заряды» и примет его слова покаяния…

Увы! Софья Андреевна до такой великой степени откликнулась на провоцирующий призыв мужа, что, перечитывая свой архив в начале 1910-х, стыдливо уничтожила свои письма этих дней.

Здесь же, в письме от 29 января, Толстой сообщает жене о своей работе над адаптированным для народного чтения переводом уникального памятника христианской мысли первого века христианства, отысканного в 1873 году в Константинополе — т.н. *Дидахе*, или «Учения двенадцати апостолов». Оригинальный Дидахе, сохранившийся в единственном списке уже XI столетия, состоит, как и Новый Завет, из причудливой мешанины высочайших нравственных идей с древнейшими еврейскими суевериями (например, идеей «апокалипсиса») и более поздними церковными вставками и приписками о «таинствах», храмовых богослужениях и церковной иерархии. Быстро смекнув, что как то, так и другое не имеет отношения к Божественному нравственному учению Дидахе, Толстой, сперва переведя памятник с греческого целиком *(см. 25, 416 - 428)*, в свой сокращённый для «Круга чтения» текст включил в 1905 году только

это нравственное учение — то есть неоспоримо христианскую часть памятника:

«Оно <учение> очень глубоко, и может выдти большой важности народная книга, что̀ я и намерен из неё сделать» *(83, 473)*.

В следующем письме, от 30 января, Толстой описывает так хорошо известное многим и современным яснополянцам чувство, сопровождающее выезд из гнусного мордора, тошнотно отвратительной во все века и времена клоаки под названием «город Тула» — домой, в милую Ясную:

«Выехал я из освещённой квартиры и освещённых улиц на снег и ветер, и стало вдруг тоскливо, как это часто бывало после городской, роскошной жизни; но доехал я уж в самом счастливом, спокойном и твёрдом настроении, и такое же нынче утром и целый день. Это как пьяный с похмелья — сначала тяжело, а перетерпишь, то чувствуешь, как лучше быть трезвому» *(83, 474)*.

И здесь же — объяснение мужем и христианином неколебимой своей позиции художника и публициста, в ответ на «грустно-холодное» письмо, полученное от Сони:

«Боюсь объясняться, чтобы опять как-нибудь не раздражить тебя; но одно скажу ещё раз, и яснее, я думаю, чем в разговоре: я не отстаиваю форм, в которых я выражался о личностях, и каюсь в них, и прошу тебя простить меня; но если я отстаиваю что̀, то отстаиваю самую мысль, выраженную во всей статье и наполняющую меня всего. Эту мысль и это сознание я не могу изменить, так же, как не могу изменить своих глаз, и я знаю, что ты не любишь эту мысль, а хочешь бороться с ней, и это мне больно, и от того я отстаиваю свою мысль. Но и это всё вздор. Если мысль истина, то все, и ты в том числе, придёшь к ней, и раздражить тебя в ней могла только моя личная раздражительность и гордость; если же и мысль несправедлива, то я опять виноват, навязывая её, да ещё в неприятной, оскорбляющей форме» *(Там же)*.

«А прочее всё – от лукавого» — так и хочется приписать к этим мудрым строкам Льва Николаевича. Соничка, хоть и проводила, как дачница, *летние периоды* в Ясной Поляне, но явно не умела ценить сосредоточенную *зимнюю тишину* этого места. В истинной, не городской, тишине яснополянского кабинета всякое усилие мышления

качественнее по своим результатам. Многое видится и осознаётся иначе и гораздо отчётливей — в том числе и самообманы городских обитателей, какими предпочитали оставаться жена и дети великого яснополянца.

Распрощавшись ненадолго с Л. Д. Урусовым, месяц февраль 1885-го года Толстой встречает как духовно и интеллектуально вытрезвленный житель родной и любимой усадьбы. Был ли счастлив он? Нет и нет — даже после слов покаяния жене в первом из писем данного эпизода переписки. В её ответных письмах, показавшихся ей самой уже через четверть века нехорошими и уничтоженных, не выразилось прощение… И вот в письме из Ясной Поляны от 1 февраля 1885 г. перо Льва Николаевича предаёт бумаге мысль и слово мудрости, но одновременно — и простой человеческой грусти:

«Пятница, 11 часов вечера, Ясная Поляна.
В Туле, куда я ездил нынче, получил твои два унылые письма. — И не знаю, что писать и что отвечать. Всю дорогу ехал, думал о том, что̀ написать, и передумал десятки писем, и теперь сидел долго над письмом, — не знаю, что̀ писать, — всего боюсь. Как ужасно тяжело жить без любви, и ещё тяжелее умирать. Я, когда один, всегда, яснее, живее представляю себе смерть, о которой думаю всегда, и когда я представил себе, что умру не в любви, то стало страшно. А в любви только можно жить счастливо и не видать, как умрёшь».

Сообщив о стабильном в это время здоровье Урусова и выразив желание получить письма от кого-нибудь из детей, Лев Николаевич уже было хотел завершить письмо, поставил подпись, но… чувство и жажда правды оказались сильнее, и, как слёзный крик души, он дописал в постскриптуме то, что намеревался было замолчать:

«Говорю я про отсутствие любви не с моей стороны. Я, не переставая, думаю о тебе, люблю и жалею — и чувствую непреодолимую враждебность, и от того не могу ничего писать, кроме того, что мне больно» *(83, 476)*.

Несмотря на то, что личное местоимение в последнем предложении было Львом Николаевичем опущено, Софья Андреевна поняла, конечно, что речь — о *её* враждебности, выразившейся в неизвестных нам письмах. В подготовленном Софьей Андреевной в печать издании писем к ней мужа (вышедшем в свет в 1913 г.) текст приведённого выше письма обрывается на словах «…думаю о тебе,

люблю и жалею». Свидетельство же того, что в ответ на любовь Толстого она *мучала* его своею холодностью, своею плохо скрываемой враждебностью — было ею “подчищено”.

Толстой был так расстроен враждебным отношением к нему жены, проявлявшимся сначала в разговорах, а затем в письмах к нему, что не мог продолжать своей работы, хотя всё время обдумывал её. Помимо таких приготовлений, он наблюдал, как обычно, жизнь крестьян, общался с ними и даже успел нацеплять на себя, как блох, вечных просителей с их проблемами… Картину яснополянской общественной и духовной жизни Льва Николаевича этих трёх дней, равно как и картину отношений с женой, наконец только-только начавших поправляться, рисует его последнее в этом небольшом и, к сожалению, “сольном” эпизоде переписки, письмо от 2 февраля — ответ на первое обнадёжившее его письмо от жены.

Приводим ниже полный текст письма Льва Николаевича от 2 февраля.

«Получил нынче утром, — пятницу, твоё письмо последнее. Оно получше, может быть, и я получше; но оно уменьшило мою тоску по тебе. — Я провёл весь день дома — писал, читал и тихо сидел и думал. Вечером прошёл на деревню к Николаю Ермилину <к крестьянину Н. Е. Зябреву> усовещивать его в долге, от которого он отрекается, и к Костюшке <К. Н. Зябреву>, и Гане воровке. Вот несчастное существо, затравленное людьми и потому озлившееся — одна с 3-мя детьми.

Много ещё было впечатлений бедности и страданий. Я их вижу всегда и везде, но в деревне легче видеть. Здесь видишь всё до конца. И видишь и причину, и средство. И я люблю, не то, что люблю, а мне хорошо, когда я ясно вижу своё положение среди других людей.

По тому, что ты написала о <писателе> Гаршине, я не жалею, что не видал его. Да и вообще я так много принужден видеть людей в Москве, что чем меньше, тем легче. Мне всегда кажется, что я совсем не нужен им.

Читаю я Elliot’a Felix Holt <Повесть «Феликс Хольт» англ. писательницы Жорж Элиот. – *Р. А.*>. Превосходное сочинение. Я читал его, но когда был очень глуп, и совсем забыл. Вот вещь, которую бы надо перевести, если она не переведена. <Дочери> Тане бы работа. Я ещё не кончил и боюсь, что конец испортит. Это мне дал брат Серёжа. Передай ему, что всё правда, что он говорил мне про эту книгу, —

всё там есть. Второй раз я из деревни хвалю книги его рекомендации.

[**ПРИМЕЧАНИЕ**.
Жорж Элиот (наст. имя Мэри Энн Эванс) – один из иностранных авторов, воспринятых в России XIX столетия достаточно своеобразно – равно как своеобразно были восприняты и её «духовные наставники» Кант, Спенсер, Джон Стюарт Милль и позитивисты. Толстому в книгах Элиот были близки идеализация сельской жизни «людей труда», консервативный скептицизм в отношении идей реформаторства, а тем более революционных, и, конечно, призывы к нравственному совершенствованию личностей, которое по мысли Элиот и должно послужить мирному освобождению трудящихся от эксплуататоров. Помимо этической стороны, Толстого привлекало в сочинениях Элиот и явное влияние на них обожаемого им Ч. Диккенса.]

Лежит передо мной записка вдовы, которая нынче была у меня. У ней нет дома, нет земли, — муж её был солдат в Грумантской казарме. Она осталась вдовой 32 лет с 8-ю детьми, — старшей 11 лет. — Когда я стал записывать, то долго не мог понять — оказалось, одна двойня. Поручик <Франц Иванович Баратынский, казённый лесничий> дал ей угол на зиму.

Завтра я поеду в Тулу и постараюсь, что можно, сделать для неё.

Везу это письмо на Козловку — и с трепетом открою твоё. Что твоё здоровье? Тебе очень нехорошо по письмам. Что Миша и весь дом?

Я вчера сожалел о нелюбовности нашей временной. Следствие этой нелюбовности — неясность взаимных желаний. Я тебе говорил, что если ты хочешь, чтоб я вернулся, то напиши мне, и я сейчас приеду, и не через силу, а с истинной радостью, что тебе могу сделать желаемое. А ты ничего не пишешь, или как-то неопределённо.

Прощай, душа моя, целую тебя и детей. Л<ев>.

<*P. S.*> Урусов гораздо лучше, чем в Москве. Ему надо беречься, и он бережётся, но я вижу, как, бережась таким образом, он может прожить долго.

<*P. P. S.*> Сейчас в Козловке получил твоё доброе вполне письмо и уезжаю спокоен и счастлив домой. Ты зовёшь, и потому я приеду в понедельник…» *(83, 476 - 477).*

Пока он составлял это послание, вписывая, как часто бывало, нескладно, желаемые мысли и события, день 2 февраля прошёл, и вечером он получил от жены послание уже совершенно доброе и зовущее скорее воротиться назад, в семью… Ему осталось только исполнить обещанное, подчиниться призыву жены, и 4 февраля, с лучшими надеждами, Толстой возвращается в Москву.

Софья Андреевна, действительно, сделалась в эти дни менее мрачна и раздражительна. Вероятно, этому значительно способствовали положительные известия из Тулы о состоянии здоровья её многолетнего платонического любовника, друга семьи, отчасти единомышленника Льва Николаевича, и всехнего любимца – князя Л. Д. Урусова. В начале января, как раз когда Соничка и дети сами хворали, он был в Москве у лучших докторов, Беляева и Захарьина, засвидетельствовавших у несчастного любящего и любимого ею человека туберкулёз в безнадёжной стадии: «расширение аорты, кашель, бронхит»; смерть от разрыва артерии могла наступить в любую минуту *(МЖ – 1. С. 463)*. Зная, что гениальный Захарьин обычно не ошибается в своих диагнозах, Софья Андреевна в сердечной тоске писала тогда же в письме сестре Татьяне:

«Он слаб, кашляет, бледный, грустный… точно кошмар мне представляется его жалкая и так давно любимая фигура. Закутанный пледом, серьёзный, слабый, он видимо весь сосредоточен на своей болезни. В марте он выходит в отставку и едет, если доживёт, навсегда в Крым. И так и вычеркнется он навсегда из нашей жизни, точно никогда и не бывал. Он обещал приехать проститься; не знаю, исполнит ли своё обещание. Надолго ли у нас, у меня останется эта тоска и пустота в сердце – не знаю. Но теперь так грустно, так всё немило, точно какое-то огромное несчастье случилось. Только теперь видишь, как он много значил в нашей жизни и как будет всегда недоставать» *(Цит. по: Там же)*.

Конечно, январское раздражение Софьи Андреевны, излившееся по поводу черновиков мужа, вызвала не одна смертельная в ту эпоху болезнь Леонида Дмитриевича. Но известия из Тулы, полученные от другого, и главного в её жизни, любимого мужчины, дали ей иллюзию надежды… К несчастью, доброй этой надежде на здоровье всеми любимого князя не суждено было оправдаться. Болезнь Леонида Дмитриевича в Крыму и смерть, случившаяся погожим сентябрьским днём 23 сентября 1885 г., стала болезненным ударом, опустошившим сердце Софьи Андреевны. Подробности этой драмы

и выражения её в переписке и отношениях супругов мы сообщим в соответствующих частях нашей книги.

КОНЕЦ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕГО ЭПИЗОДА

Эпизод Двадцать Четвертый
И ОТТЯНУЛАСЬ, И ПОХЛОПОТАЛА
(19 – 24 февраля 1885 г.)

До конца зимы 1885 г. Толстой работает над переводом «Учения двенадцати апостолов» и над трактатом «Так что же нам делать?». Дура российская цензура поспешила наложить запрет на части трактата, готовившиеся к изданию в журнале «Русская мысль» и тем великолепно прорекламировала новое сочинение Льва Николаевича, разогрев интерес к нему как раз к весне, когда журнал «Русское богатство» изловчился напечатать два отрывка из крамольного сочинения, с согласия Льва Николаевича изменив авторское заглавие: вышли в свет они как очерки «Жизнь в городе и жизнь в деревне» и «Мысли о переписи».

К этому же времени относится начало нового и страстного, многолетнего, до конца жизни, увлечения Льва Николаевича утопией американского экономиста-проповедника Генри Джорджа: в феврале он впервые читает по-английски сочинение Джорджа «Progress and Poverty» («Прогресс и бедность»). Здесь мы не будем подробно задерживаться на впечатлениях Толстого от этого сочинения, так как они достаточно подробно представлены в его письмах к жене… и, конечно же, к тому, кто уже успел стать «третьим, но не лишним» в многолетнем диалоге супругов — ближайшему другу, В. Г. Черткову. Показательно, что первые отклики Толстого о Джордже в письме Черткову от 24 февраля 1885 г. столь же радикально-приязненны (а значит — субъективны и несправедливы), даже восторженны, как двумя годами ранее — первые мнения Льва Николаевича о самом Черткове. Книга произвела на Толстого «очень сильное и радостное впечатление»; Толстой задумал списаться с автором, так как увидел в нём «брата, одного из тех, которых по учению апостолов любишь больше, чем свою душу» *(85, 144)*. Мы видим, что субъективные впечатления от религиозных «обоснований» Джорджем его религиозно-

экономических выкладок роковым образом “наложились” в сознании Толстого на эмоционально-дидактический текст «Учения 12-ти апостолов», который он в те же дни заканчивал переводить. Как и следовало ожидать, в анализе идей американского утописта, богослова от экономики, Толстой оказался хорошим, доверчивым и простодушным, христианином, но *очень* плохим экономистом.

Софья Андреевна, превозмогая тоску о смертельно больном любовнике, князе Л. Д. Урусове, стремилась в те же дни отвлечь себя от тяжких дум начатыми ею хлопотами по изданию нового, 5-го по счёту, Полного собрания сочинений мужа. Собственно говоря, это была только *приготовительная* часть хлопот: у Сонички совершенно ещё не было опыта, и она изучала особенности нового поприща:

«Начала я ездить по бумажным торговцам и типографиям, заказывать и сверять сметы, изучать качество бумаги, учиться, как узнавать большую примесь дерева к бумаге, что делало её негодной». Зная наследственно-отцовскую сноровку жены, Лев Николаевич жестоко, но мудро отказал ей в любой материальной поддержке со своей стороны — и она, пробежав по родным и знакомым, скоро “натрясла” в долг на издание целых 25 000 рублей. Тут же начались и неприятности, столь обычные для мелкого предпринимателя в России. Такие же «честные», как и «щедрые», как и «добрые», то есть типично русские, поставщики бумаги плевать хотели на неопытность одинокой, ещё не оправившейся от болезни жены всемирно-знаменитого писателя: так, например, для издания «Войны и мира» и «Анны Карениной» промышленник Кувшинов продал Соничке по цене качественной самую негодную, бракованную бумагу, которая была «почти вся из древесной массы» *(МЖ – 1. С. 464)*.

Дождавшись в первых числах февраля возвращения мужа из Ясной Поляны, Соня решает оставить на него детей (кроме старшей дочери, достаточно умной и серьёзной для партнёрства) и съездить в Петербург — разведать тамошние цены на услуги бумагозаводчиков и типографов и, главное, «посоветоваться с <Николаем Николаевичем> Страховым и Анной Григорьевной Достоевской, уже давно успешно занимавшейся изданиями сочинений своего мужа» *(Там же. С. 468)*. Наиболее же насущной и трудной частью предприятия было — добиться «высочайшего» разрешения на издание 12-го тома сочинений Льва Николаевича, куда должны были войти новейшие его работы, уже запрещённые цензурой, а также, к примеру, рассказ «Чем люди живы?», для которого Толстой тогда заново правил корректуры. Были и цели личные — повидать родню, в особенности

маму и семейство Кузминских, прочих знакомых… К этой, по преимуществу «деловой», поездке и относится очередной эпизод переписки супругов, к комментированному изложению которого мы теперь приступаем.

Выехала Софья Андреевна в стольный город Санкт-Петербург 19-го февраля 1885 года, до последнего момента сомневаясь в возможности поездки, так как муж в эти дни подхватил сезонно-модное в аристократических кругах заболевание «грипп». Таки, наконец, выехала… В тот же день Толстой не замедлил отправить вдогонку впопыхах начерканные в открытом письме несколько строк такого содержания:

«Маша <дочь> послала письмо прежде, чем мы свиделись. У нас все здоровы, кроме M-me Seuron, и у меня грипп усилился. Я не выхожу. Несмотря на то, много работал вчера, ещё и вечером. Вечер сидели одни, и в 12 всё потушили. Кланяйся милым Кузминским и пиши.

Л . Толстой.

НА ОБОРОТЕ ОТКРЫТКИ: Петербургъ. Невскій. 75. А. М. Кузминскому для передачи С. Толстой» *(83, 478).*

Судя по письму С. А. Толстой от 20 февраля, она так же, доехав до Петербурга, послала мужу весточку о счастливом прибытии – скорее всего, телеграмму. В письме же — изложила известия первого дня жизни в Петербурге…

Приводим, с необходимыми пояснениями, письмо С. А. Толстой от 20 февраля.

«Милый Лёвочка, доехали мы благополучно, как я тебе писала уж. Были минуты от непривычки путешествия, жутко и хотелось как-нибудь вернуться. Но теперь уже засуетили и завозили всюду, так что прошёл едва день, а точно уж давно мы тут. Посидела я утро дома с Таней, Сашей <Кузминскими> и детьми. <Сын Кузминских> Миша очень плох на вид, похудел ужасно, кашляет, и стонет, и горит. С ним ужасная возня, давание молока, бульона и лекарства. Приезжал доктор, говорит: форма тифа лёгкая и не заразительная, но очень он жалок. Встретили нас на вокзале все Кузминские и Вячеслав <В. А. Берс>.

Саша мне сейчас же дал курьера послать по моим делам, и уже был у меня <книжный комиссионер> Луковников, очень неприятный и не внушающий доверия, бывший железнодорожный. Завтра он отдаст мне деньги, а книги будет сдавать курьер артельщику. Обедал с нами <Николай Николаевич> Страхов, очень тобой интересовался, я всё рассказывала и немного пожаловалась на тебя. Он очень тих, худ и кроток. Заеду к нему в <Публичную> библиотеку, он приготовит кое-какие сведения по печати.

Стасюлевича мне выпишет Саша, и также Плеве я увижу, хочу хлопотать статью хоть в Полное Собрание.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Михаил Матвеевич Стасюлевич издавал журнал «Вестник Европы». Вячеслав Константинович Плеве, будущий министр внутренних дел, в то время возглавлял Департамент полиции МВД. Статья Л.Н. Толстого, о которой тщетно «хлопотала» у Плеве Софья Андреевна – «В чём моя вера?» — допущена к изданию не была. **]**

Была я у Веры Александровны <Шидловской> днём, а вечером мы все ездили к мама́, где был дядя Володя <Ислави́н> со всей семьёй и Таня с девочками.

Завтра поеду к <графине Александре Андреевне> Толстой, <Екатерине Николаевне> Шостак <Она была двоюродной тётушкой Софьи Андреевны, начальницей Николаевского института и, как и А.А. Толстая, «своим» человеком при императорском Дворе. — *Р. А.*> и ещё к родным, а вечером в какой-то концерт, и оттуда чай пить к Шостак. До двух буду дела делать, потребую деньги и отчёты по магазинам книжным и предложу «Азбуку» и «Книги <для чтения>» в другие склады.

Петербург мне в этот раз больше понравился, чем в тот раз, только туманно очень стало к вечеру. — Уже нас разобрали по гостям на все почти дни и в Ермитаж, и в Академию, и на коньки в Таврический сад, где государыня катается.

Что-то у вас? Как хлопочет и хозяйничает Маша, здоров ли ты, что твой кашель? В каком духе мои старшие сыновья, в распущенном или аккуратном, что́ малыши, и что́ madame <Seuron>?

Вернусь я 28-го утром, если до тех пор всё будет благополучно у вас и у нас. Я уехала, и стало жутко немножко.

Дай Бог, чтоб всё обошлось хорошо. Ты, верно, без меня хорошо занимаешься, ты был в духе писать, когда я уезжала, и наверное ты сблизишься с детьми, потому что один остался на всех.

Ну, прощай, Таня сестра уже спит тут, и Таня дочь, рядом с Верой и Машей. Нам очень удобно и хорошо. Прощай, милый друг, не сердись, что я поехала в Петербург; мама́ особенно рада нам, и Таня; мне очень приятно было их видеть. Мама́ очень худа и плоха на вид.

Целую детей, тебя ещё особенно; кланяюсь madame и miss Lake. Берегите здоровье, берегитесь пожара и будьте все счастливы и веселы.

С. Т.» (ПСТ. С. 291 - 292).

Что вполне характерно для «махровой» горожанки с кучей родственников и друзей в столице, Соничка быстро освоилась в Петербурге, за сутки собрала весьма немало важной информации и сговорилась на раут к вельможной тётке, которая ожидала в гости в свой дворец саму государыню императрицу Марию Фёдоровну. Кроме того — успела насладиться светскими разговорами, сплетнями и жалобами на мужа, а также посещением Эрмитажа, которое особенно вспоминает в мемуарах:

«Были мы с Таней в Эрмитаже и поражены были и картинами, и особенно скульптурой, которую раньше нигде не приходилось видеть. Какое сильное произвело впечатление на нас это посещение Эрмитажа. Что значит так замкнуто жить в деревне и Москве, как мы жили. Так и запечатлелись в моём мозгу и образцы Рубенса, и комнатка с мадонной Рафаэля, и пейзажи Розы Бонёр с её вечными коровами, и многое, многое, что я и после видала, всегда любя живопись» *(МЖ – 1. С. 468).*

Что касается следующего, от 21 февраля, письма Софьи Андреевны, отвечавшего на вышеприведённое краткое, писанное на открытке, послание мужа, от него уцелела только часть, конец утрачен – не исключено, что не без «помощи» уже знакомого нашему читателю самого безжалостного из цензоров: самой Софьи Андреевны… Нет у письма и обозначенной даты написания. Датируется оно исследователями на основании приведённого в письме диалога между имп. Марией Федоровной и С. А. Толстой.

Приводим ниже, с незначительными изъятиями, сохранившуюся часть письма.

«Мне очень грустно, что ты нездоров, милый Лёвочка, если б знала, что тебе будет хуже, то не поехала бы. Пожалуйста, берегись, не выходи и не застудись.

О madame Seuron могу сказать, что мне её сердечно жаль, но что у ней перемежающаяся лихорадка, которую я бы вылечила в три дня, за это я головой ручаюсь. Попроси её или сам напиши <доктору> Чиркову, чтоб он ей дал хинин, жаль смотреть, как пропадают люди от упрямства и моральной слабости. Ведь так она дойдёт до Бог знает чего. У Миши при тифе жар не спадает с 39 всё время, без промежутков, и ведь у ней утром 37 и 2.

Ну вот сегодня утром встала в 10 часов, спала плохо и очень тревожно. Получила письмо от Урусова, ему опять хуже, и он уезжает 26-го. Потом пришёл Луковников, привёз все деньги и заказал ещё 500 «Азбук», за что и деньги отдал. Вообще он всё время сегодня вёл себя очень по-джентльменски и аккуратно. По письмам заказала разные образцы бумаг, печати, разные свидания назначила и всё это с завтрашнего дня буду принимать от 11 до 1 часу. Потом поехала с Таней по родным. […] Alexandrine <А. А. Толстую> не застала, поеду опять в субботу; она говеет. M-me Шостак против моего ожидания очень мне понравилась.

Сидим мы с ней, говорим, вдруг говорят: «Императрица!» Я говорю: «покажите мне её откуда-нибудь». Екатерина Николаевна вскочила, как стрела, кричит: «скорей мою палку» (у ней нога больная, ходит с палкой), потом обращается ко мне: «Sophie, restez», [«Соня, останьтесь»] и убегает. Я жду; Таня дочь тут, Вера Шидловская, Софа Исленьева. Ждали, ждали, вдруг гул, шум, кричат: «идёт». Пролетает дама с нотами и мимоходом говорит: «L'impératrice fera une visite à Madame Schostak». [«Императрица нанесет визит мадам Шостак».] Мы смутились, было, но скоро всё шествие прошло мимо нас. Я думала — тем и кончится, но Екатерина Николаевна крикнула: «Sophie, venez, et Таня» [«Соня, идите, и Таня»]. Я подошла, она меня представила императрице, потом позвала Таню и тут я сказала: «ma fille» [«Моя дочь».] Признаюсь чистосердечно, я очень была взволнована, но не растерялась. Она, т. е. императрица, спросила: «Il y a longtemps que vous êtes arrivée?» [«Давно ли вы приехали?»] Я говорю: «Non, Madame, depuis hier seulement». [«Нет, сударыня, только вчера».] Потом пошли в залу. Императрица опять обратилась ко мне: «Votre mari se porte bien». [«Ваш муж здоров?»] Я говорю: «Votre Majesté est bien bonne, Il se porte bien» [«Ваше величество очень добры, он здоров»]. – «J'espère qu'il écrit quelque chose» [«Я надеюсь, он пишет что-нибудь».] Я говорю: «Non, Madame, pas en ce moment; mais je crois qu'il se propose d'écrire quelque chose pour les écoles, dans le genre de «Чем люди живы». [«Нет, сударыня, сейчас он не пишет, но, кажется, он предполагает написать что-нибудь для

школ, вроде «Чем люди живы».] Екатерина Николаевна вмешалась, говоря: «Il n'écrira jamais des romans, il l'a dit à la comtesse Alexandrine Tolstoy». [«Он никогда больше не будет писать романов, он сообщил это графине Александре Толстой».] Императрица говорит: «Est-ce que vous ne le désirez point, cela m'étonne». [«Неужели вы этого не хотите, это меня удивляет».] И обратилась ко мне. Я ей говорю: «J'espère que les enfants de sa Majesté ont lu les livres de mon mari». [«Я надеюсь, что дети вашего величества читали книги моего мужа».] Она качнула головой и говорит: «Oh, je crois bien». [«О, да, разумеется».] Затем она села, началось пенье, и скоро она уехала. — Вижу отсюда, как все вы скажете: «Ну, мамаша влетела». Вот, право, последнее, что я ожидала в Петербурге. Теперь еду с Таней в концерт, а оттуда вечером к Шостак, её приёмный вечер. — Оржевской не застала.

У императрицы милое, измученное, но….» *(ПСТ. С. 293 - 294).*

Уцелевший текст на этом месте обрывается. Вместе с предшествующим, оба приведённые нами письма Софьи Андреевны поражают воображение той энергией и деловой «хваткой» которые, оставляя время и на культурный досуг, и на написание писем своему «брадатому няню», мужу, оставленному с детьми в Москве – явила в эти два дня жена Толстого, явно чувствовавшая себя в огромном столичном городе «как рыба в воде» и способная, скинув с себя в эту поездку рутину семьи и домашнего хозяйства, впахать в интересах семьи и любимого мужа столь же напряжённо и продуктивно, как впечатавшиеся в её память тягловые животные на полотне другой выдающейся женщины – художника-анималиста той эпохи.

Письма Л. Н. Толстого жене от 20 и 22 февраля полны милых внутрисемейных мелочей, подобных известию о непослушании сына Ильи своему учителю, о здоровье и поведении прочих детей, о полученных в адрес Софьи Андреевны письмах и желавших увидеть её гостях… Более значительно упоминание Толстого о работе над корректурами повести «Детство» и рассказа «В чём моя вера?», заново подготовляемых для издания Софьей Андреевной в составе готовящегося собрания его сочинений. И – очень важное – мнение о Генри Джордже, книга которого «Progress and Poverty» [«Прогресс и бедность»] совершенно увлекла Толстого теорией национализации земли и введения «единого налога» с её ценности – на место ненавистной Толстому частной поземельной собственности. В письме от 22 февраля мы находим такой отзыв о «Progress and Poverty», разъясняя-

ющий значение концепции Джорджа, представившееся в те дни Л. Н. Толстому:

«Это важная книга. Этот тот важный шаг на пути общей жизни, как освобождение крестьян — освобождение от частной собственности земли. Взгляд на этот предмет есть поверка людей. И надо прочесть Georg'a, который поставил этот вопрос ясно и определённо. Нельзя уж после него вилять, надо прямо стать на ту или другую сторону. — Мои требования гораздо дальше его; но это шаг на первую ступеню той лестницы, по которой я иду» *(83, 480 - 481)*.

Толстой выражает радость, что Соничка навестила семейство живущих отдельно и обычно отдалённых «вроде Новой Зеландии» родственников Кузминских и советует жене дать на прочтение увлёкшую его книгу Джорджа свояку «Саше» — Александру Михайловичу Кузминскому *(Там же)*. Тот, как известно, во многом не разделяя критического миросозерцания Толстого, долгие годы прислушивался к множеству его мнений со свойственными ему любопытством, вниманием и добродушием.

Видимо, уже отослав своё, Толстой получает от жены приведённое нами выше важное письмо, часть которого была посвящена описанию её встречи с императрицей. Вот что пишет Л. Н. Толстой об этом в своём ответе:

«Действительно удивительно твоё счастье. Ты ведь этого очень желала. Мне это было тщеславью лестно, но скорее неприятно. Хорошего от этого не бывает. Я помню, в Павловске <т.е. в царском дворце. – *Р. А.*> был человек, сидевший всегда в кустах и щёлкавший соловьём. Я раз заговорил с ним и тотчас по неприятному тону угадал, что с ним кто-то говорил из царской фамилии. Как бы с тобой того же не было».

Двумя строками ниже Толстой снова упоминает о чтении книжки Генри Джорджа: «Всё читаю Georg'a и много поумнел» *(Там же)*. Судя по вышеприведённому, несколько обидному для Сонички, сравнению с царским холуём – можно в этом засомневаться… Толстой, скорее, был тоже по-своему *счастлив* в эти дни, обретя в удалённом американском мыслителе нового, тогда ещё живого, духовного единомышленника. Как многие счастливые люди – он был в письмах Соне этих дней несколько неделикатен в словах, эгоистичен…

В остальном это письмо, как и следующее за ним, от 23 февраля – посвящены текущим семейным и издательским делам, недомоганиям и обильной менструации у гувернантки мадам Сейрон, поведению детей и новостям от гостей… 23-го Толстой завершил чтение книги Джорджа и «во всеоружии» несколько обновлённых и укрепившихся политических убеждений дожидался для «интересной беседы» профессоров Иванюкова, Чупрова и Янжула – дабы зачитать им некоторые собственные соображения из трактата «Так что же нам делать?» *(83, 483 - 484)*.

Аналогичным — преимущественно «семейным» — был и ответ 22 февраля (дата снова – редакторская) Софьи Андреевны на письмо мужа от 20 февраля. «Если корректуры поправлять скучно, то оставь до меня» — пишет она между прочим, явно “уловив” по письму мужа, что самому ему возиться с ними недостаёт ни здоровья, ни желания. Кроме того, о здоровье сказано и такое:

«Милый Лёвочка, видно для того Бог послал тебе грипп, чтоб ты с детьми побыл. Спасибо, что бережёшься и не выходишь. Но эти постоянно повторяющиеся гриппы у тебя от топки печи. Ты выходишь на холод, потом у огня сидишь и опять выходишь — это очень вредно. Надеюсь, что во время болезни ты не делаешь этого, а то воспаление в лёгких ещё схватишь. Ты меня больше всех беспокоишь, и я всё о тебе думаю» *(ПСТ. С. 295)*.

За внешними мягкостью, несомненной заботливостью жены о муже — всё то же неколебимое неприятие его добровольного послушничества и трудничества во Христе: самообслуживания, включавшего в себя колку дров и растапливание печи.

В этом же письме, видимо, уже справившись о ценах у петербургских типографов, Соня извещает мужа, что печатать у них его книги не будет. Сама она суетится, нимало не жалея себя – ради будущих доходов для семьи, немалых денег…

«Тебя, видно, очень засуетили» — констатирует очевидное Толстой в своём ответе от 24 февраля. И, будто вторя ему, письмо от 23-го (ещё не полученном 24-го Толстым), Софья Андреевна начинает с признания: «Мой день проходит в такой страшной суете, родственники так обидчиво и гостеприимно ко мне относятся, что только бы не слишком их огорчать, и то трудно» *(ПСТ. С. 296)*. Угождение родственникам, забота о «делах книжных» не закрыли от Софьи Андреевны приоритета «культурной программы» визита в Петербург. В письме она описывает поход в Эрмитаж с родственницей Верой

Шидловской и дочерью Татьяной. Татьяна была в тот день измучена поносом, а сама Софья Андреевна — характерная деталь! — осипла, сорвав криком голос в ходе утреннего «делового общения» с издателем и с поставщиком бумаги:

«Но впечатление статуй, картин и всего этого художественного мира было так опять хорошо и сильно, что я не скажу никогда, ни за что, что художество не нужно. Мне жаль было, что Маша, Лёля, даже Андрюша не могут посмотреть и получить это чудное впечатление. А какие статуи там, просто оторваться нельзя. Но в 3 часа закрыли, и увы! Опять и не попадёшь туда. Русская зала совсем заперта, там ремонт и не пускают» *(Там же. С. 296)*.

Визит за советами к Александре Андреевне Толстой был для Сонички, как всегда, и духовной поддержкой. Та накануне разговора причащалась в церкви, была по этому поводу в особенно умилённом настроении и велела передать, что «любит» своего родственника-“еретика” и «молится» о нём — надо полагать, о его возвращении в “лоно” церкви российского православия *(Там же)*.

Для Толстого более значительным было известие о том, что Николай Николаевич Страхов, узнавший через Софью Андреевну о книге Генри Джорджа, заинтересовался и принялся читать её, дабы составить собственное мнение. Толстой между тем, не теряя из виду Джорджа в намерении списаться с ним, увлёкся чтением книги другого выдающегося американца — «Discourse on religious subjects» («Речи на религиозные темы») Теодора Паркера. В письме к жене от 25 февраля (заключительном в данном эпизоде переписки супругов) он признаётся, что «очень был счастлив находить прекрасно выраженные свои мысли 20 лет тому назад», и тут же просит жену: «Спроси у Николая Николаевича, знает ли он Theodore Parker» *(83, 486)*.

Соничка очень быстро, даже по пересказам мужа, опознала в Генри Джордже относительно безобидного демагога и религиозного утописта. Таковым же был и Паркер… Она была довольна такими увлечениями мужа и спокойна в эти дни за финансовое положение семьи и неразрушимость её городского и буржуазного образа жизни. Множество бытовых, деловых и хозяйственных мелочей, сведений о родне и гостях в письмах этих дней — свидетельство стабилизации отношений супругов в эти дни. Соне и хотелось, быть может, да не к чему было особенно придраться в словах и поведении мужа. Полу-

чив от него письмо 22 февраля, она только выражает вполне предсказуемую обиду на вышеприведённое сравнение её с дворцовым «соловьём»:

«Я немного обиделась, что ты меня с щелкуном в Петергофе <ошибка Софьи Андреевны; надо: «в Павловске». – *Р. А.*> сравнил; на мне совсем не отразилось царское величие, даже если б я сама стала царицей, то и тогда, пожалуй, не изменилась бы, уж такой у меня характер. Но меня утешила фраза, что ты считаешь дни до моего приезда» *(ПСТ. С. 297)*.

Это правда. Вспомним самое первое (от 28 августа 1862 г.) письмо Сонички с поздравлением Льва с Днём рождения:

«Если б я была Государыня, я прислала бы вам в день вашего рождения Всемилостивейший Рескрипт, а теперь, как простая смертная, *просто* поздравляю вас с тем, что вы в один прекрасный день увидели свет Божий, и желаю вам долго ещё, и если можно всегда, смотреть на него теми глазами, какими вы смотрите теперь.

С о н я» *(ПСТ. С. 3)*.

Да, её поприще было – не царствовать, а заботиться, любить и алкать любви…

Для полноты картины жизни Софьи Андреевны в Петербурге приводим здесь же и остальную часть её письма мужу от 24 февраля 1885 года:

«Таня моя расхворалась желудком от невской воды и потому никуда сегодня не ездила, а мы хотели ехать в Академию Художеств. С поносом ведь никуда нельзя отлучиться. А я ездила по делам и к Достоевской, и к Толстой, Софье Андреевне. Достоевская очень мне обрадовалась почему-то, а я к ней поехала потому, что она печатает сама книги своего мужа, и в два года она выручила 67 тысяч чистых денег. Она мне дала самые полезные советы, и очень меня удивила, что только 5% уступает книгопродавцам.

Потом пошла против Кузминских на выставку передвижную, и смотрела поразительную картину Репина, «Иван Грозный». Момент, когда он убил сына и ещё живого обнял его, и ужас на его лице, и кровь льёт через пальцы, которыми он прижал рану сына. Очень хорошо, поразительно, и написана превосходно.

Много и других картин, но описывать долго. Мои письма коротки и не интересны, потому что всё буду рассказывать.

Мише нынче хуже, жар сильнее, и Таня приуныла с Сашей. Я обедала сегодня у Веры Александровны, а вечер сижу с мама́ и Вячеславом, и вот пишу, разговаривая с ними. Были у меня нынче с визитами родственники […].

Вы, я вижу, живёте отлично, всё у вас так мило, и с таким я счастьем вас всех увижу. Остаюсь в Петербурге главное для Тани, её очень жаль за Мишу, и для рожденья мама́, которая ужасно рада, что я тут в день её рожденья, и очень готовится праздновать. На другой день я выеду, т. е. 27-го. Что же ты это хвораешь? Слава Богу, хоть лучше тебе. А я всё без голоса, совсем осипла, но выезжаю и очень здорова. Напишу ещё одно письмо завтра, а потом уж вы не получите больше. Спасибо вам, что пишете всякий день, это такое утешение.

Прощай, голубчик, целую тебя. Не сетуй, что письма плохи, очень суетливо.

Соня» (ПСТ. С. 297 - 298).

В давнишней книге Л. П. Гроссмана Анна Григорьевна Достоевская, рожд. Сниткина (1846 – 1918), вдова Ф. М. Достоевского, описана как талантливый, энергичный и опытный предприниматель:

«Анна Григорьевна упорно и настойчиво вела свои счетоводные книги, покупала бумагу, бегала по типографиям, спорила с кредиторами, вела переговоры с издателями и книгопродавцами, стенографировала, переписывала, объявляла подписки, подводила балансы, становилась сама издателем, книгопродавцем, бухгалтером и даже простым писцом при творческой работе своего мужа» *(Цит. по: ПСТ. С. 298).*

Приводит Гроссман и воспоминание Анны Григорьевны о посещении её дома не менее энергичной женщиной и достойной Женой своего Мужа:

«С графиней С. А. Толстой я познакомилась в 1885 году, когда в один из приездов в Петербург она, доселе мне незнакомая, пришла просить моих советов по поводу издательства. Графиня объяснила мне, что до того времени сочинения её знаменитого мужа издавал московский книгопродавец Салаев и платил за право издания сравнительно скромную сумму. Узнав от своих знакомых, что я удачно издаю сочинения моего мужа, она решила сделать попытку самой издать произведения графа Льва Николаевича и пришла узнать от

меня, представляет ли издание книг особенно много хлопот и затруднений. Графиня произвела на меня чрезвычайно хорошее впечатление и я с искренним удовольствием посвятила её во все «тайны» моего издательства» *(Там же. С. 298, 301)*.

Рассказав, в свою очередь, кратко о детях, Толстой в ответе жене, писанном так же 24 февраля, сообщает об очень важном своём решении:

«У меня составился план о том, что, когда ты вернёшься, поехать с Урусовым, проводить его до Крыма. План этот возник при чтении письма <сестры его> Варвары Дмитриевны, которая отвечает тебе, что из них <членов семьи Л. Д. Урусова. – *Р. А.*> никто не может ехать с ним. Я нынче написал это ему, как проэкт» *(83, 485)*.

«Проект» был вскоре осуществлён: «Для Льва Николаевича, который так неохотно жил в Москве, такое путешествие было только приятной прогулкой, и он решил ехать сопровождать князя» *(МЖ – 1. С. 469)*. К этой поездке относится следующий Эпизод в Переписке Л. Н. и С. А. Толстых, о котором мы будем говорить ниже.

КОНЕЦ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Двадцать Пятый
КРЫМ НАШ, ДРУЖИЩЕ!..
ХОТЬ И НЕНАДОЛГО
(7 – 18 марта 1885 г.)

Период с 7 по 18 марта 1885 года содержит весьма интенсивную переписку супругов Л. Н. и С. А. Толстых. Как мы уже упомянули в предшествующем эпизоде, Толстой оказался единственным близким старому своему другу и другу семьи, князю Леониду Дмитриевичу Урусову, человеком, который не бросил его в страданиях от лёгочной болезни, принявшей в начале 1885 г. угрожающий характер. Об этом Толстой известился ещё 18 января от другого многолетнего и преданного друга семьи – Г. А. Захарьина. Этот московский врач

терапевт был общепризнанным гением медицины своей эпохи: он *не ошибался* в своих диагнозах – к сожалению, и в тех, которые оказывались смертным приговором для больного… В том числе и для Л. Д. Урусова — одного из первых и первого из *умных* религиозных единомышленников Льва Николаевича.

Обязательно примем во внимание, что не менее, а, вероятнее всего, куда как *более* грустно сделалось от этого врачебного приговора и С. А. Толстой: умирал не просто один из всегда желанных в доме гостей, а — один из *троих* истинно и страстно любимых Соничкой мужчин: тех, кто составил *три эпохи* в её жизни. Третьим и последним, спустя много-много лет, будет композитор Сергей Танеев.

В день получения известия от Захарьина о неизлечимом состоянии и неизбежной смерти Леонида Дмитриевича, 18 января, Соничка между прочим пишет сестре Тане:

«Теперь так грустно, так всё не мило, точно какое-то огромное несчастье случилось. Только теперь видишь, как он много значил в нашей жизни и как <его> будет всегда недоставать. Лёвочка тоже ужасно огорчён. Но он в виде утешения говорит, что Урусов для него не может умереть, потому что они были единомысленны, и это единство не может разрушиться смертью» (*Цит. по: Гусев Н.Н. Материалы к биографии Л.Н. Толстого. 1881 – 1885. М., 1970. С. 391).*

Л. Д. Урусов, к своему несчастью, в тогдашнем своём состоянии представлял, кроме всего прочего, и «лакомый» предмет для наблюдения Толстого как художника и как психолога. Умиравший князь *боялся смерти*, мучительно задыхался и захлёбывался отчаянием… и, подобно тому, как остатки его умирающих туберкулёзом лёгких благодарно ловили глотки воздуха — так и сам Леонид Дмитриевич алкал хоть какой-нибудь *надежды*. Доктор Захарьин подарил ему эту иллюзию, посоветовав в феврале выехать на несколько месяцев в Крым. Заграница была им мудро исключена из-за лишних хлопот родне с обратной доставкой на похороны мёртвого тела. Родственники, три брата и сёстры Урусова, от сопровождения умирающего брата отказались. И тогда – согласился ехать Толстой…

26 февраля Толстой сообщил о своём решении Урусову. Тот, конечно, был в восторге.

Местом лечения Леонид Дмитриевич выбрал роскошное крымское имение Симеиз — владение шурина его, Сергея Ивановича Мальцова (иначе в литературе его фамилия пишется: Мальцев), в 1884 году вынужденно отошедшего от дел и проживавшего там же — и тоже, как полагали многие, на безнадежном лечении.

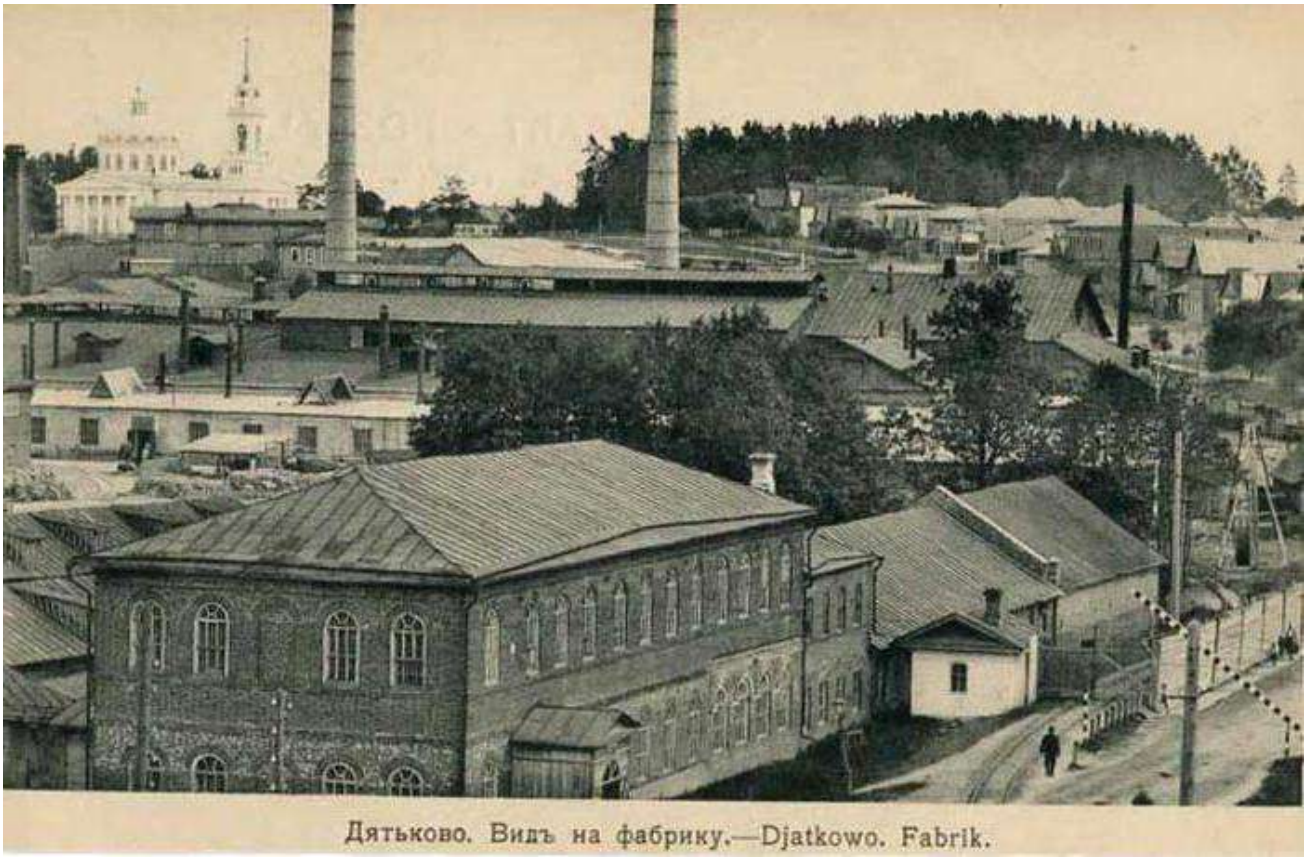
7 марта 1895 г. Толстой выехал из Москвы в Орёл, а оттуда в село Дятьково Брянского уезда Орловской губ., где его поджидал уже Л. Д. Урусов. В тот же день, с дороги, из Орла, он отправил жене открытку: всего пару строк о муторной дороге с каким-то офицером в попутчиках, да ещё, пожалуй, о “бремени славы”: «Скучно, что меня все знают и надо говорить» *(83, 487)*.

Открыточка Толстого примечательна совершенно иным: пометкой, сделанной на ней позднее Софьей Андреевной. Вероятнее всего, примечание появилось в начале 1910-х, при подготовке писем Толстого к изданию. Толстой спрашивал в открытке 7 марта о здоровье младшего сына, Алёши. И одинокую старуху захлестнули воспоминания, выразившиеся вот в этом примечании, сделанном ей к тексту покойного супруга:

«Сын Алёша был прекрасный ребёнок, умерший от крупа четырёх лет. Когда он умирал, Лев Н<иколаевич>, взглянув на него, сказал: «умирает лучший из трёх». Больные были тоже горлом ещё двое: Андрюша и Миша» (*Там же. С. 488. Примечания*).

* * * * *

Наконец, 8 марта Толстой приезжает в Дятьково, своего рода «город-заводоуправление» Мальцова. Глубоко интересуясь, как мы знаем, положением трудящихся на заводах, он в тот же день принимает приглашение Николая Сергеевича Мальцова, сына Сергея Ивановича и совершает экскурсию по ближайшему из мальцовских заводов — хрустальному.



Дятьково. Видъ на фабрику.—Djatkowo. Fabrik.

Жизненный путь Сергея Ивановича Мальцова (1810 – 1893), повстречавшегося теперь со своим семейством на нашем исследовательском пути — не менее драматичен, нежели жизни Урусова и Льва Толстого, и в ряде черт сходен с их судьбами. Сын крупного орловского помещика и фабриканта. Генерал-майор в отставке. Автор Устава и первый директор Императорского училища правоведения. С мая 1853 г. — полновластный владелец стекольной, металлургической и ряда иных мануфактур отца, превративший их в своего рода промышленную империю с сотней тысяч «подданных». Но при этом — убеждённый аскет в быту и весьма религиозный человек, хотя и в рамках церковной веры. Сближение с народом, интерес к жизни рабочих и искренняя забота о них, причём не «извне», а «изнутри» (т.е. в попытках разделить с рабочими их скромный образ жизни) — несомненно сближают судьбу С.И. Мальцева с судьбой Л.Н. Толстого.

При этом, как и Л. Д. Урусов, а отчасти и как Л. Н. Толстой, Сергей Иванович был не только брошен на произвол судеб, но и *предан*, погублен членами собственной семьи. Включая *жену*, которой была Анастасия Николаевна Урусова (1820 – 1894), камер-фрейлина императрицы Марии Александровны. Напомним здесь же читателю, что сам Л. Д. Урусов был женат на дочери генерал-майора Сергея Ивановича Мальцова Марии Сергеевне (1844 - 1904), возжелавшей жить за границей, весело и не с мужем.

Вот что пишут о гибели С. И. Мальцова современные российские публицисты и краеведы:

«В трёх уездах <Орловской губ.>: Брянском, Жиздринском и Рославльском, – расположилось фабрично-заводское царство, созданное усилиями одного человека. Тут работают более ста заводов и фабрик; на десятках образцовых ферм обрабатывается земля; по речонкам бегают пароходы; своя железная дорога; свои телеграфные

линии. Отсюда добрая часть отечества снабжается стеклом, фаянсом, паровозами, вагонами, рельсами, земледельческими орудиями…

Люди, проживающие свои доходы на интернациональных публичных женщин, проигрывающие в карты кровь и пот народа, чуть не с ужасом говорят о Мальцове: «Это – маньяк! Как простой мужик забился в деревню и живёт там с крестьянами!..» Он мог бы тратить миллионы, играть роль при дворе – а он бросил карьеру, удовольствия столичной жизни…»

Так начинается восхищённый очерк публициста конца XIX века Василия Немировича-Данченко о сказочной стране Мальцова. Такого воплощения мечты народа о земном рае не было у нас, пожалуй, больше никогда» (http://www.roslyakov.ru/cntnt/verhneemen/licha/rekviem_po.html).

Дятьково. Домъ генерала Мальцова.—Djatkowo. Schloss Malzow.

Промышленная империя Мальцова своей благоустроенностью, разительно отличавшейся от “традиционной” святой Руси икон и тараканов, своим контрастированием с окружающей нищетой и «властью тьмы», напоминает крупные и преуспевавшие в 1920-е гг., уже при большевизме, общины толстовцев. Легко догадаться, что зависти и ненависти Сергею Ивановичу и его приближённым пришлось испытать на себе немало… Но от мелких ударов судьбы — ударов извне — можно было оправиться.

«1874—1875 годах Мальцов по заказу Департамента железных дорог заключил договор на изготовление в течение шести лет 150 паровозов и 3 тысяч вагонов, платформ и угольных вагонов из отечественных материалов. В новое дело он вложил более двух миллионов рублей… И в этот момент чиновники из Департамента железных дорог разместили заказы за границей, ничем этого решения не мотивируя. Таким образом, на складах Мальцова к 1880 году оказалось готовой продукции на сумму 1,5 миллиона рублей. Это ещё не был крах… Но за этим ударом судьбы вскоре последовал другой – наводнение. Как говорят документы, вода поднялась выше крыш заводских зданий. Баржи, когда вода спала, оказались на крышах. Урон был весьма ощутимый. Мальцов заложил свои крымские имения, начал реструктуризировать активы, но…

Последний удар пришёлся в спину: родная жена с детьми *объявили его сумасшедшим* и отодвинули от руководства Мальцовского промышленно-торгового товарищества. Жена Мальцова, оставшаяся с детьми в Петербурге, получавшая самое приличное содержание и не пропускавшая ни одного придворного бала, стала распускать слух, что её муж сошёл с ума. «*Поёт в мужицком хоре, тратит на этих мужиков все деньги*». <Это тоже всё до боли знакомо: С. А. Толстая и сыновья не раз грозили мужу и отцу опекой и сумасшедшим домом за «расточительство». Детки при этом транжирили суммы, вызывавшие у матери, при одном воспоминании о них, слёзы и истерику. – *Р. А.*>

В 1883 году Мальцов окончательно объявлен сумасшедшим:

«…Он ещё был готов “царапаться“. Но в начале 1883 года он по дороге из Людиново в Дятьково попадает, как сейчас говорится, в ДТП — и с тяжёлой черепно-мозговой травмой слегает на полгода в больницу. Тем временем его семья, уже при Александре III, добивается признания его недееспособным с лишением всех прав на заводскую собственность» (http://www.roslyakov.ru/cntnt/verhneemen/licha/rekviem_po.html).

Всю эту череду «случайностей» сложно воспринимать иначе, как намеренное уничтожение царскими чиновниками строптивого независимого предпринимателя. Сергей Мальцов держался изо всех сил, в том числе потому, что считал себя не вправе увольнять нанятых им рабочих. Однако всё было тщетно. 28 августа 1885 года обширное предприятие Мальцова, оценённое в 15,7 млн. руб. (англичане вскоре предложили купить его за 30 млн.), за долг перед казной в 3,3 млн. руб. было передано в ведение государства. «Антикризисное управление» было настолько «эффективным», что долг перед казной за 4 года возрос до 7,5 млн. руб. В итоге, 6 апреля 1888 года Мальцовское промышленно-торговое товарищество было признано

несостоятельным, то есть фактически целый промышленный район был уничтожен *государством*. […]

Сам Сергей Иванович переехал в своё крымское имение Симеиз […], где занялся садоводством, […] напечатал свои проекты 40-х годов об обеспечении народа на случай голодовок, а во время голода 1891 года написал несколько статей по этому вопросу» <Ещё одна параллель с судьбой Л.Н. Толстого! – *Р. А.*>. Скончался он 21 декабря 1893 г. […] В 1927 году «благодарный» народ осквернил его могилу. При строительстве Дома Культуры был вырыт из земли гроб. Надеясь найти дорогие предметы, гроб вскрыли, но, кроме истлевшей материи и останков, ничего в нём не нашли» (https://123ru.net/bryansk/187873909/).

Это грустное повествование мы включаем, как интерлюдию, вместо обычного предваряющего очерка, в данный Эпизод нашей аналитической презентации – так как оно многое истолковывает в отношениях этих лет Толстого и к С. И. Мальцову и его семейству, и к Л. Д. Урусову, а также и к членам собственной семьи.

О своих впечатлениях от «стеклянного завода» Мальцева Толстой поведал на следующий за экскурсией день, 9 марта, в письме к жене. Вот его текст, с незначительными сокращениями:

«Приехал я нынче утром в Дятьково — очень усталый от бессонной ночи. Урусов медленно, но равномерно опускается. Очень был рад моему приезду. Он собирается ехать <в Крым> 11-го. Он предложил мне ехать раньше, но так как ему видимо хотелось 11-го, я согласился, тем более, что здесь много нового для меня и интересного, но не скажу — приятного. Я нынче уж был на стеклянном заводе и видел ужасы на мой взгляд. Девочки 10 лет в 12 часов ночи становятся на работу и стоят до 12 дня, а потом в 4 идут в школу, где их по команде учат: усъ, оса, оси и т. п. Здорового лица женского и мужского [увидать] трудно, а изможденных и жалких — бездна.

Из Мальцевых здесь один <сын Сергея Ивановича> Николай, очень гостеприимный и добрый, и хорошо к народу расположенный человек. Дом старинный, огромный, амфилада комнат в 10, зимний сад и старая мебель.

[…] Мальцев приглашает на медведя. У него несколько обложенных. Он убил уж несколько. То-то Илье. Я не поеду и нет охоты. Хочется не терять времени и писать или хоть учиться. И так 2 дня почти пропало. Завтра вероятно поеду в Людиново. Это чугунный и машинный завод за 30 вёрст, и постараюсь и заняться.

Не сетуй, голубушка, что коротко письмо. Я тебя очень люблю и жалею и за Алёшу, если он нездоров, и за твои заботы. Целую детей.

Я сейчас иду в баню. Она в доме. И падаю со сна. А завтра письмо пойдёт в 11. [...]

Моя поездка с Урусовым будет ему радостна и, надеюсь, полезна, потому что если бы не я, он бы поехал один» *(83, 488 - 489).*

В субботу, 9 марта, Толстой, вопреки собственным ожиданиям, чувствовал себя бодро, на энергетическом “подъёме”. Помимо сладчайшего сна, тут сказалось, вероятно, обилие *значимых* для него, для художественного и публицистического творчества, впечатлений, которые уже были получены (и свалили его к вечеру 8-го с ног), но по преимуществу — которые ещё предвкушались… В этот день он посылает жене утром, перед отъездом в Людиново, открытку, а вечером – небольшое письмо. В открытке всё кратенько: «Заняться не успеваю. Хожу, смотрю, совсем здоров. Жду известий».

А ещё, явно с радостью: «Здесь все встают в 5 и ложатся в 9. И я с ними» *(Там же. С. 489).*

Близ хамовнического дома Толстых в Москве располагались в ту эпоху фабрики, и в 5 часов утра до редких не спящих в «такую рань» богатых домовладельцев доносились призывающие рабочих гудки. Толстой пытался ориентироваться на такой – с 5 утра – режим дня трудового человека, но… члены семьи просто физически не могли поддержать его: ни в раннем подъёме, ни в массиве физической работы, которой Лев Николаевич *тренировал свою христианскую жизнь*. В Дятьково и Людинове он на пару дней получил желанную возможность не опекаемого никем физического труда

Вечернее письмо субботы, 9 марта:

«Пишу нынче <в> суб<б>оту вечером другое письмо, к<оторое>, я надеюсь, ты получишь раньше, чем первое. Это письмо везёт человек, едущий в Петербург, и я прошу доставить в Москве. — Пишу из кабинета Вышеславцева, того, у которого мы купили экипажи. Я у него ночую в Людинове, — тут куча разных заводов и фабрик, и чугунолитейный. Мы только что весь вечер ходили по заводу, где льют чугун и делают железо. Всё это очень поразительно. Страшная работа и необходимейшая. — Я здоров и не успеваю скучать по вас. Завтра последний день проведу здесь, и в понедельник едем.

Урусов очень нехорош. Завтра надеюсь получить письмо.

Целую тебя и детей» *(Там же. С. 490).*

Толстой в эти годы уже *ненавидел* фабричные «рабство» и «ад» индустриальной России, и, увидев повседневность мальцовской “империи” — сразу разглядел *главное*. Православный патриот Мальцов, за которого, как мы уже увидели, ратуют современные путинские патриоты же (публицисты и краеведы) создал в ту эпоху действительно могучую — опасную для мировых конкурентов — промышленную империю. Но, как и все империи, она создалась *не Христовым именем*. Во грехе, во зле эксплуатации, по 12-14 часов в день, нищих и беспомощных людей и детей… Люди шли на заводы к Мальцову, ибо многим из них жилось и в Орловской губернии, и на всей богопроклятой «русской равнине» — *ещё хуже*, много хуже, нежели наёмным рабам Мальцова. Отдавали в подневольный труд детей — но только потому, что затруднялись без такого «помощника», как Мальцов, не только выучить, но и прокормить их!

Недаром аппетитные описания современными, подпутинскими очковыми интеллигентами благодеяний Мальцова могут — и должны! — напомнить нашему читателю устройство Всемирной Империи Антихриста из «Трёх разговоров» В. С. Соловьёва.

И, как и все империи, порождения звериного в человеке, мальцовская обречена была гибели *от единосущного ей зла*. Сергей Иванович был один из тех, кому извечно было «за державу обидно». Но «державе», в лице обступивших императорский трон и засевших на чиновных местах коррупционеров, взяточников и просто воров — было совершенно “наплевать” на его “обидки”. Самодержавие и православие, царепоклонничество и церковно-догматический христоцентризм «тёмных масс» — *вот* что нужно было «элитам» буржуазно-капиталистической России. Образование, медицина, рост заработных плат, доступное жильё, медленное, но верное повышение качества жизни — однозначно были *и остаются* вредны для них. Сохранив многие элементы общепринятой в ту эпоху варварской эксплуатации труда, поставив себя в роль *денежного мешка*, неправедно, деньгами благодетельствующего тысячи семей — Мальцов сам подписал приговор собственной, с православными элементами, социально-экономической *утопии* и отдал своё дело и самого себя в более хищные и молодые лапы единомышленников в Антихристе – и одновременно пожизненных жертв в его сетях.

Наконец, для завершения темы, публикуем здесь же ещё одно письмо Л. Н. Толстого, последнее из четырёх, писанных в эту поездку из Дятькова — от 10 марта:

«Мы пробыли здесь, как ты знаешь из моих писем (я пишу каждый день), дольше, чем думали, и потому я получил твоё письмо и уезжаю спокойнее. Хорошо, что Алёша здоров. Нехорошо, что твой котёл всё кипит. Разумеется, трудно, но всё-таки можно сознательно приводить себя в спокойствие, — 1) тем, чтобы делать различие между очень важным, важным, менее важным и ничтожным и сообразно с степенью важности направлять свою деятельность, и 2) тем, чтобы различать между вещами, от меня вполне зависящими, отчасти от меня зависящими, и вещами вне моей власти, и тоже сообразно с этим направить на первые самую большую и на последние самую малую энергию.

Я нынче, несмотря на немного расстроившийся желудок (без боли), выспался хорошо, и выезжаем мы сейчас, в понедельник, в 12 часов дня, в хорошем настроении.

Вчера я на лошадях вернулся к вечеру из Людинова. Прекрасная поездка прелестным лесом 30 вёрст с подставой, в санях изобретения <С. И.> Мальцова — сидеть задом. Вечером попросил <Н. С.> Мальцова играть на фортепьяно. Он мило играет. Вообще он дикой вполне, но очень деликатный, тонкий по чувству человек и находится в страшном положении. Дело громадное, требуются сотни тысяч. Рабочих 100,000, требующих работы, и денег нет. Мне его истинно жалко. Всё это так сложно, запутано, что рассказать это трудно. Он в страшных сетях.

Прощай, душенька, дай Бог тебе здоровья телесного и, главное, душевного, и тогда всё будет хорошо. Что Илья и Серёжа? Бросили ли они гулянье? До сих пор писать не пришлось. А совестно жить без работы. Все работают, только не я. Вчера я провёл время на площади, в кабаках, на заводе, один, без чичероне <сопровождающего. – *Р. А.*>, и много видел и слышал интересного, и видел настоящий трудовой народ. И когда я его вижу, мне всегда ещё сильнее, чем обыкновенно, приходят эти слова: все работают, только не я. Нынче опять <в доме> у Мальцова в этой роскоши. Через 2 дня <в Симеизе> опять в роскоши и праздности.

Так и кажется, что переезжаешь из одной богадельни в другую.

[…] Целую тебя и детей. Не сердись на однообразие моих мыслей. Эти мысли не мешают мне любить вас. […]» *(83, 490 - 491).*

Вышеприведённым посланиям Л. Н. Толстого от 7, 9 и 10 марта соответствуют три встречных письма супругу от Софьи Андреевны Толстой. Из них мы располагаем текстами лишь двух из них — от 9 и 10 марта. Упоминание в только что приведённом нами письме Тол-

стого о «кипящем котле» — возбуждённом настроении Софьи Андреевны — позволяет предположить, что письмо от 7 марта, как и ряд других, было впоследствии уничтожено вдовой Толстого, как раз по причине слишком очевидной *несправедливости* высказанных в нём «вдогонку» отъехавшему мужу претензий. Очевидно, это всё те же упрёки в *неучастии* (или недостаточном участии) в семейной жизни, в делах хозяйства и издания книг, которые-де муж *повесил тяжёлым грузом* на жену – помимо повседневных семейных хлопот.

Кстати напомним здесь читателю, что первоначальные инициативы работы с рукописями мужа, писания его биографии, редактирования, корректуры и подготовки к изданию его книг исходили в разные годы именно от жены, от самой Софьи Толстой – будучи так или иначе связаны либо с её творческими и прочими экзистенциальными амбициями, либо с желанием оптимизации денежных доходов семейства. Но упрёки год за годом повторялись – «перекочевав» из дневника Сони в её мемуары «Моя жизнь». И там, и там это — Соничкин обиженный, возмущённый, обвиняющий *монолог*, вызывающий доверие и восторг поколений как просто дур и дураков, так и дур / дураков с «убеждениями» (либерализм, феминизм). В переписке же — звучит *ответный голос* Толстого. По счастью — не склочный и не оправдывающийся, а максимально деликатный, любящий… иначе бы, вероятно, Софья Андреевна «затеряла» гораздо больше писем своих к мужу и мужа к ней — и наша теперешняя публикация вовсе не смогла бы состояться.

Приводим полный текст письма С. А. Толстой от 9 марта.

«Ждала сегодня письма от тебя из Орла, милый Лёвочка, и не получила, так что не знаю даже, как ты доехал. Но, видно, надо взять на себя на это время терпения и ничего не ждать, а надеяться на Бога, что всё будет благополучно и что ты будешь здоров. Вчера я тебе не писала, но сегодня ты выехал, вероятно, и я в погоню посылаю это письмо в Крым. Теперь буду писать всякий день.

Третьего дня и вчера был нездоров Миша, — самая правильная лихорадка перемежающаяся: 39 и 8 было жару, а утром 37 и 4, и меньше. Сегодня я дала ему хинину и жару нет, но он в постельке и очень весел. Дам ещё завтра хинину, а после буду ждать. Таня моя всё не хороша: всё боли в животе, ходит слабая, вялая, да ещё зубы страшно болели, теперь лучше. Madame Seuron всё также, да ещё присоединилось сильное желудочное расстройство, жар по вечерам и слабость. Вот горе-то с ней! — Я, было, третьего дня прихворнула, но как всегда со мной, — ничего меня не берёт.

Езжу эти два дня по делам, собирала деньги с книгопродавцев, чтоб заплатить 2760 р. с. Щепкину <владелец типографии в Москве. – *Р. А.*> за печатание «Азбуки» и «Книг для чтения». Были два фабриканта бумаги, один за другим цену сбавили, теперь затруднение: какую из двух бумаг выбрать? Клеить в типографиях положительно не советуют, очень утонит бумагу, а лучше за эту лишнюю копейку прибавить весу, т. е. толщины. Всё это тебе не интересно, и мне скучно, но увы! я теперь в этом живу. Денег собрала только 1200, хоть это покуда отдам Щепкину.

Третьего дня вечером мальчики были у дяди Серёжи. Видно они все там очень подпили и развеселились, потому что поехали ночью к цыганам: Леонид, Серёжа дядя и наш, <певец и фольклорист Н. М.> Лопатин, Ольсуфьев Миша и ещё кто-то. Грустно смотреть на безобразие стариков! На другой день Серёжа сконфуженно, но решительно, попросил 100 рублей; 25 в университет, а 75 долги заплатить. Я дала, но слегка упрекала, что очень много денег тратит. Спасибо ещё, что Илью не взяли, а то я вовсе пришла бы в отчаяние. Сегодня писала дяде Серёже, прося его долг отдать для уплаты Щепкину; ещё ответа нет. А рассуждаю я так; что если есть деньги проиграть 30—60 рублей и цыганам, то должны быть и на уплату долгов.

Целый день приходят разные люди, мои мучители: с детскими пальто, с образцами бумаг и проч. и проч. Сейчас только уехал Николай Михайлович Нагорнов <зять Толстого. — *Р. А.*>. Он весь вечер сидел, мне сдавал последние счёты, которые я впрочем не умею и не желаю просматривать; и ещё последние 400 руб. с. денег. Потом я ходила к Василию дворнику в сторожку. У него, должно быть, горячка. Такой жар, ужас! Я мерила градусником, вышло 39 и 5. Это очень много для взрослого и пожилого. Я его лечу, но думаю, что ему лучше в больницу отправиться, ему очень плохо в сторожке, где очень тесно и где столько народу; воздух плох. Он сам желает в больницу.

Погода и дорога у нас отвратительные: грязь, не то дождь, не то снег, темнота, ямы на мостовых и потому ломка экипажам и страшная тяжесть лошадям: просто никуда и поехать нельзя. К тебе нет ни писем интересных, ни гостей, пока. Письмо одно длинное от погибающего приказчика; а другое тебе и Орлову вместе за разъяснением истин.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Владимир Фёдорович Орлов (1843—1893) – раскаявшийся бывший революционер, знакомый Л. Н. Толстого с 1881 г., состоял с ним

в активной переписке. Толстой считал его своим единомышленником. Тайный внештатный осведомитель полиции, получавший пособия от III отделения.]

Письма очень длинные. Переписчиков никого ещё не было.

Что ещё написать? Пишу тебе вдаль, в мир красоты, поэзии, прелести всякой, из мира холода, практической материальный суеты и пустой души моей, погрязшей во всём этом. Тебе надо знать, что мы здоровы, а об этом я написала. Хотелось бы, чтоб ты был доволен моим письмом, но я этого не достигла, потому что сама не довольна.

Прощай, милый друг, кланяйся князю, и если тебе хорошо, то живи, сколько хочешь, но телеграфируй раз о себе и пиши чаще; ты ведь знаешь мою непоправимую, беспокойную натуру, а в трудах беспокойство — просто беда!

Соня» *(ПСТ. С. 301 - 303).*

В письме – как дальний гром отступающей грозы – отголоски выраженного в предыдущем, «затерянном», письме «кипящего» настроения, а между строк подробных описаний издательских и домашних хлопот, весенней распутицы и пр. – читается всё тот же упрёк: *сам уехал в свой Крым, и меня бросил*! Уехал он, между прочим – как сопровождающий смертельно больного друга, *а не* в «мир красоты, поэзии, прелести всякой». Но Соничкины очи оставались близоруки (а поганоподлые зенки современных её феминитствующих поклонниц и поклонников – уж совершенно слепы).

Второе письмо Софьи Андреевны в этом эпизоде переписки – от 10 марта, ответ на открытку 7 марта от мужа. С незначительными сокращениями:

«Сегодня наконец получила от тебя открытое письмо. Ты бодр, и кажется твоя поездка будет хорошая. Сегодня такое весеннее, бодрящее солнце, что все вышли гулять. Madame и Таня в первый раз; дай Бог, чтоб им пошло в пользу. Дети здоровы кроме Миши. У него сегодня опять очень неожиданно и досадно — жар с утра, 38 и 3. Боюсь, не сделался бы тиф; но он очень весел, рисует, болтает, смеётся и даже немного ест. Во всяком случае, ты этим не смущайся, если и тиф, то раньше двух недель опасно не бывает, к тому времени ты вернёшься, а может быть и так обойдётся. Сегодня 4-й день он нездоров, и желудок расстроен, и кашель небольшой, совсем как у Миши Кузминского.

Лёля играл сейчас с <домашней учительницей музыки Е. Н.> Кашевской на фортепиано и, кажется, очень усердно, он стал лучше. Илья провёл вчера вечер и полночи где-то. […] Серёжа повёл Таню под руку гулять, каков? Маша тоже с ними пошла; кажется к Олсуфьевым.

А Серёжа вдруг нынче говорит: «а мы над вами посмеялись с дядей Серёжей и Леонидом, как вы дела делаете». Каковы? все сами запутанные, легкомысленно ездящие к цыганам и делающие долги — смеются надо мной! Я внушила Серёже всю несообразность их речей, и он, кажется, понял.

Вчера осталась вечером одна наверху, взяла сравнивать перевод мой и курсистки; местами мой лучше, местами её. Например, о Сфинксовой загадке, помнишь, ты мне объяснял, так это совсем пропущено, и ещё затруднительные места — пропущены. Ах, жаль, времени нет, а ужасно весело и интересно переводить. Когда своего ума мало, так хочется вращаться в какой-нибудь симпатичной умственной сфере, хотя и чужого ума.

Весь день пишу понемножку, всё прерывают. Приезжал ещё Неплюев, очень жалел, что не мог спросить у тебя разъяснения «О непротивлении злу». Он в Петербурге провёл вечер с Чертковым и тот его сбил с толку. О своей агрикультурной школе он получил разрешение и субсидию, чему очень рад.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Николай Николаевич Неплюев (1851—1908), писатель и общественный деятель. Организовал в своем имении Черниговской губернии ряд школ и приютов, объединив их с 1899 г. в Крестовоздвиженское трудовое братство, представлявшее производственно-потребительскую артель; с 1901 г. Неплюев передал братству все свои имения. Целью братства была забота о христианском воспитании детей и православном религиозно-нравственном усовершенствовании взрослых членов через учреждение трудовой общины. Несмотря на православность, был духовно и как практик близок Л. Н. Толстому. **]**

[…] Миша меня немножко беспокоит, всё жар и желудок расстроен […]; я весь день сижу с ним и сегодня не выхожу никуда; у меня известные дела, и потому мрачность и не совсем по себе.

Теперь вы с князем летите к югу, если выехали 9-го, как хотели. То-то хорошо в Крыму. Одно страшно: все эти чудные виды, прелестная, красивая природа — всё это должно так больно, так сильно взволновать, что потом трудно будет войти в свою старую, обычную,

будничную колею жизни, из которой уже выходить нельзя с моими, например, обязанностями семейными, деловыми и хозяйственными. — Дети просят читать им вслух, опять прерываю письмо, и теперь возьмусь, чтоб кончить. Сегодня вечером собирается у нас родня, и кажется певец этот, Лопатин, придёт.

Я стараюсь скрыть, что мне смерть все эти пения и гости, чтоб детей не огорчить, может быть *им* весело, и то слава Богу. Вот *мне* было бы одно хорошо: это сесть за свой перевод и уйти всей душой в эту работу, или хоть почитать — и на то времени нет.

Наши все собираются в винт играть; это и пение — вот в чём вечер пройдёт. Ты, верно, будешь в Крыму много ходить. Не заблудись где-нибудь, не заболей, нас не разлюби и пока прощай, милый Лёвочка. Поклонись от меня князю; я о нём вместе с тобой ещё больше теперь думаю. Целую тебя. Просила детей тебе написать, но никто не написал.

Соня» *(ПСТ. С. 303-305)*.

Жена занимается *каким-то* переводом… явно по личной своей инициативе: если бы перевод был поручен мужем, связан с его творческими планами, о нём знали бы биографы Толстого. Дети — в загуле и транжирят деньги, а младший, *возможно*, болен не менее, чем тифом. Всё хреново, кроме подарка марта — солнечного денька… Письмо не просто передаёт усталое и депрессивное состояние Софьи Андреевны, переживавшей в эти дни, помимо прочих хлопот, ещё и очередной период менструации. Письмо буквально *атакует* мартовской депрессией и заражает ей. Но при этом «гроза» первых двух писем совершенно прошла — уступив место обыкновенной стадии приятия, смирения.

По признанию Софьи Андреевны в мемуарах, она в эти дни чувствовала себя «умирающей без пищи духовной, без досуга, без тех художественных и красивых впечатлений, которые питают дух» *(МЖ – 1. С. 471)*. И, как обычно, будто «забыв», сколь худшие Л. Н. Толстому альтернативы для замужества были у неё в юности, мемуаристка винит во всём мужа и якобы навязанный им «домашний» и трудовой образ жизни. Въедливо прочитав в «Круге чтения» изречения о *труде*, она выделила и приводит в тексте мемуаров такое:

«Если есть один человек, живущий в роскоши, то есть наверное другой, умирающий с голоду» *(Там же)*.

Посыл жены Толстого тут такой, что-де Лев Николаевич, как наблюдатель жизни и как творческий человек, жил в *пресыщении*

роскоши духовной. Она же с её роскошной (на деньги мужа) обстановкой в доме, ненужным никому переводом для «рассеяния скуки» и детками, транжирящими семейный бюджет – *умирала* в эти дни 1885 г. *с духовного голоду*. В данном случае – быть может, это и так, но Толстой ли виноват в выбранном членами его семьи месте и образе жизни, в реальной *скудости их духовных запросов*? Если он «морил» духовным голодом жену – то *кто* мог бы дать ей жизнь более активную в *сотворчестве* (а не потреблении чужих духовных благ)?

Кстати. Точная цитата вышеприведённого изречения Л. Н. Толстого находится в «Круге чтения» в записях от 25 сентября и выглядит так:

«Если есть человек праздный, то есть другой человек — трудящийся через силу. Если есть человек пресыщенный, то есть другой — голодный».

Эту мысль Л. Н. Толстой предварил в «Круге чтения» суждением обожаемого им Генри Торо:

«Мало того, что вы трудолюбивы! *Над чем* вы трудитесь?»

А следом за ней – общий вывод Льва Николаевича:

«Бóльшая часть занятий праздных людей, считаемых ими трудами, есть забава, не только облегчающая труд других, но накладывающая на них новые труды. Таковы все роскошные забавы» *(42, 77)*.

Становится понятным, отчего С. А. Толстая искажает при цитировании мысль Толстого. В настоящем виде, и с контекстом, она весьма ощутимо задевает *её саму* с её городским, и весьма зажиточным, образом жизни, с суетливым поиском новых тысячей дохода от писаний мужа, которые потом растратят бесящиеся с жиру дочки-сыночки. Надо ли добавлять, что к последним критические суждения Генри Торо и Льва Николаевича относились в первую очередь?

Сделаем тут важное примечание. Приехав в Крым, Толстой настолько озаботится участью сопровождаемого им больного князя Урусова, что о письмах Софьи Андреевны всполошился далеко не в первый день – хотя и продолжал исправно слать в Москву свои. Ответить на письма жены от 10 и 11 марта ему доведётся лишь 16-го – уже в *последнем* его письме из Симеиза. К сожалению, это непоправимо разрушает *диалоговость* общения супругов в нашей аналитической презентации, опирающейся преимущественно на *хронологический* принцип. От читателя здесь, как и в ряде предшествующих

Эпизодов, потребуется помнить общее содержание писем Софьи Андреевны, на которые так нескоро отвечает в данном Эпизоде её муж.

А хронологически у нас на очереди – второе из сохранившихся писем С. А. Толстой, от 11 марта. Всё в том же неспокойном настроении, начинается оно «традиционно» для Сонички – жалобой, маскирующей желание обвинять и обиду:

«Всякий день пишу тебе, а от тебя получила пока только открытое письмо. Что это ты не пишешь? Не знаю до сих пор, выехали ли вы в Крым? Получила сегодня милейшее письмо от Черткова. Просит прислать листы твоей статьи, которые он привозил, и например, говорит: «я всегда думаю о вас и вашей семье, как о родных, и притом близких родных. Хорошо ли это или нет, — не знаю, — кажется, что хорошо».

Как это на него похоже!

[КОММЕНТАРИЙ.

В. Г. Чертков писал из Петербурга 9 марта: «Графиня, беспокою вас одной просьбою: пожалуйста пришлите мне по почте тетрадки с первыми литографированными листами последней статьи Льва Николаевича. Вы их найдёте в шкапу за его письменным столом. Всего там около 10-ти или 12-ти тетрадок [...]. Думая о вас и вашей семье, я думаю, как о родных и притом близких родных [...] во всяком случае вы сами вызвали это чувство во мне».

Это, действительно, уже *очень* похоже на Черткова — того негодяя 1900-х, кто будет уже не просить, а беззастенчиво *требовать* себе оригинальные экземпляры рукописей, Дневника Л. Н. Толстого, делать с помощниками копии с каждого его письма и считать *себя* заслуженным и едва ли не единственным духовным наследником и правообладателем в отношении не одних только копий, но и бесценных *оригинальных рукописей* сочинений Л. Н. Толстого.

На дворе ещё пока 1885 год, знакомству его с Толстым — не более двух годков, а «милейший» Владимир Григорьевич уже *знает, где* в хамовническом доме Толстой держит литографированные копии (*пока ещё* копии!) своей новой работы, в каком количестве они там у него… Настоятельная просит выслать — с уверениями в любви и уважении ко всей семье.

Да, действительно, уже *очень* на него похоже! – *Р. А.* **]**

Миша мой всё нездоров, хотя сегодня на ногах. Вечером вчера и сегодня утром жару не было, а теперь, с 4-х часов дня у него опять жар, 38 и 7. Стало быть лихорадка; а хинин два раза давала, не помог; теперь ничего не даю, дня два подожду. Таня и Madame медленно поправляются, но гуляют понемногу и едят побольше.

Сейчас получила твоё первое письмо из Дятькова <от 8 марта. – *Р. А.*>. Что вы отложили поездку, это мне было не совсем приятно; ещё больше затянется разлука; а и теперь как тихо и долго идут дни, ведущие всех нас к смерти, а чем эти дни наполняются? Пустотой и суетой.

Стало быть, сегодня вы выехали. День у нас чудесный, весна спешит ужасно; уж на колёсах ездят, а вода так и льёт отовсюду. Сегодня выезжала, посмотрела по случаю продажные коляски, но решила отдать свою — сделать новые колёса, а без коляски весну скучно, не стоит без коляски и лошадей держать с такой большой семьёй. Потом ездила к Лизе Оболенской, не застала, ездила проведать <Елизавету Леонидовну> Ховрину, — молодая, Лиза очень больна опасно. Дома поучила Андрюшу, получила корректуры «Детства». Как жаль, что нет тут 1-го издания, оно в Ясной. Держание корректур полных сочинений, я чувствую, мне всю душу переворотит. Твои старые писания на меня действуют страшно, и я много слёз ещё пролью, поправляя корректуры. Но это, я думаю, будет хорошо.

Вчера (воскресенье) пришёл дядя Серёжа добрый и виноватый за долг и за цыган. Он был так мил и весел, что я его опять больше полюбила. Играли мы в винт, два стола: Серёжа, Леонид < кн. Л. Д. Оболенский >, я и Лиза Олсуфьева и 5-й наш Серёжа. А потом играли молодые — свой стол. <Александр Игнатьевич> Золотарёв <Знакомый Толстых, помещик из Тулы. – *Р. А.*> один, представь себе, сидел и сочувствовал. Что за существо! зачем он на свете? Лизы, Вари, Фета — никого не было. <*Художник В. М.*> Васнецов ушёл рано. Хотел Лопатин придти петь, и не здоров. Но нам было приятно и весело en famille [семейным кружком]. Играли не много, но за ужином болтали хорошо и весело.

Теперь, прощай, больше писать нечего. Надо к утру кончить корректуру, а дела пропасть. Целую тебя, милый друг. Странно писать в Крым и знать, что ты только выехал, — совсем воображение путает.

Берегись, Лёвочка, во всём; ничем, ничем не рискуй, старайся быть здоров и весел, и чтоб осталось хорошее воспоминанье о поездке. Кланяйся князю. Как жаль его! Что ты не напишешь, в каком он духе.

Соня.

Вернёшься ли к праздникам? Ещё, пожалуйста, пришли из Крыма телеграмму один раз.

Без тебя очень одиноко; никто не любит, так это грустно, так вот сейчас хотелось бы с тобой побыть. Это 3-е письмо в Крым» *(ПСТ. С. 305 - 306)*.

Начато и кончено одним — жалобами на одиночество и «забытость»… несмотря на то, что, пока писался этот текст, автор его была посещаема гостями и, кроме того, получила и от мужа вожделенное послание.

Следующее письмо Сони, от 13 марта, сохранилось частично (первый лист) и в *изорванном* виде. Конечно, вряд ли его изорвал, да не выкинул в Крыму сам адресат, Л. Н. Толстой. Вероятнейшая причина такого состояния оригинала — сама Софья Андреевна. Как мы уже упоминали здесь не раз, после смерти мужа она взялась за подготовку издания писем мужа к ней — *специально* для того, чтобы был повод перечитать и все его письма к ней, и все собственные свои к нему послания… На письма Толстого рука её, к счастью, не поднялась, а вот собственные, стыдные или иначе неприятные чем-то оригиналы — она частично, и *немалой* частью, уничтожила. Этому письму, и только первому его листочку, «повезло» быть собранным исследователями из крохотных обрывков… Вот что сумели прочесть они:

«Спасибо Лёля <Л.Л. Толстой> написал длинное письмо, я могу поменьше написать сегодня, а то ещё корректур «Детства» пропасть, а уж 10-й час вечера, а в 12 ч. ночи надо ехать за Таней к Капнист. <Т. Л. Толстая гостевала и развлекалась в московском доме гр. Павла Алексеевича Капниста. – *Р. А.*> Несмотря на мои отговоры, она поехала-таки на последнюю шараду. А утром ходила пешком к Толстым, к Варваре Ивановне и к Олсуфьевым. Так устала, что весь день лежала, а обедать уж не могла. Не справлюсь с ней никак. Серёжа велел тебе сказать, что он гулянье прекратил, а Илья всё стремится. Только Лёля и Маша в порядке.

Сегодня получила три письма от тебя: два открытых и одно длинное. Все не ласковые и суетливые. Но я это отлично понимаю; в дороге всегда так, а моя жизнь почти всегда [вырвано] оттого я такая противная.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

«Длинное» письмо – очевидно, письмо от 10 марта из Дятьково. Открытки Л. Н. Толстым были посланы: 9 марта из Дятьково и в ночь на 11-е – из Орла. **]**

Приходили твои классные дамы, громкие и восторженные, одна напоминающая монахиню фанатичку, а другая Баршева, мне принесли рукописи, одну книгу толстую, и ещё тетрадей несколько [вырвано] до двух часов разговаривала с фабрикантами бумаги, приехавшими один за другим. Я дамам говорю: пойдёмте чай пить, а то умираю от усталости.

Так мы втроём сидели пили кофе и чай, и болтали они больше часу. Потом я выехала с ненавистными двумя визитами, и вернулась, опоздав немного. Дорога в Москве адская, ни в санях, ни в пролётке; одинаково гадко, так растрясло, что старые боли начались, от которых у <гинеколога> Чижа лечилась.

Мише лучше; что за милый ребёнок! Всё просит: «поучи меня, мама́». И читать любит, и пишет своей охотой, и теперь услыхал, как я Андрюше показываю вычитание, сейчас понял и говорит: «покажи, как это отнимать, вот весело-то!» Жаль, что ты истратил свою педагогическую охоту, а то хорошие и умные мальчики — эти малыши. А что я тебе мешаю своими [вырвано] взглядами, это неправда; я никогда этому не верила. Любил бы, ничего не могло бы стать тебе поперёк дороги, всё бы сломил [вырвано]. Скажи князю, что я боюсь его затруднять [вырвано] и так очень [вырвано] то я буду [вырвано] теперь ему [дальше текст уничтожен]» *(Там же. С. 306 - 307).*

ИТАК. Что мы имеем?

1. «Три письма… все не ласковые и суетливые… <потому что ты там, в дороге, веселишься,> а моя жизнь почти всегда…»

Жалобы, недовольство, подозрительность. Вероятно — в ответ на советы мужа (в «длинном» письме от 10 марта) по поводу «кипящего котла» её настроений и характера.

2. *«…твои классные дамы, громкие и восторженные, одна напоминающая монахиню фанатичку, а другая Баршева…»*.

Негативная оценка двух *чистейших нравственно* женщин — неразлучных подруг и единомышленниц Льва Николаевича во Христе. По упоминанию фамилии одной из них — Баршева — легко опознать во второй гостье, «монахине», Марию Александровну Шмидт. На обеих женщин Sophie не раз и очень зло распространяла свои, обычно адресовавшиеся мужу, обвинения в том, что-де они бросили свои семьи и «прямые» общественные обязанности *(см. напр.: МЖ – 1. С. 342 - 343)*. Марию Александровну жена Толстого аттестует в своих мемуарах как «фанатичку», которая «с крайним фанатизмом» приняла на веру лжеучение Л. Н. Толстого, «заразив» тем же учением и подружку, Ольгу Алексеевну Баршеву, которая, под её влиянием, оставила преподавание в девичьем Николаевском институте ради ученья у Толстого – в его «душном» верхнем кабинете (который Толстой сам обставил для себя, предпочитая роскошному нижнему), куда собирались и другие толстовцы — «преимущественно психопаты и ненормальные люди» *(Там же. С. 431)*.

Баршева и Шмидт просили у Софьи Андреевны копий запрещённых сочинений Л. Н. Толстого — которые, увы! оприходовал уже Чертков. Будь Соня не так предрассудочна тогда против «шлявшихся», не живущих с семьями (кстати, и не замужних!) девиц, и в пользу внешне безупречного в обхождении молодого красавца-аристократа Вовочки Черткова — быть может, они охотнее бы отдавала копии с рукописей мужа им, а не Черткову.

3. *«Жаль, что ты истратил свою педагогическую охоту, а то хорошие и умные мальчики — эти малыши»*.

«Классическое» в текстах Софьи Толстой несправедливое обвинение в адрес мужа. *Истратил себя на чужих* («крестьянкиных») *детей – бросил своих*!

Наконец, 4. *«А что я тебе мешаю своими* [вырвано] *взглядами, это неправда; я никогда этому не верила. Любил бы, ничего не могло бы стать тебе поперёк дороги, всё бы сломил* [вырвано]*»*.

Тоже «классика». Несогласие мужа в убеждениях с женой — якобы не от разницы религиозного понимания жизни, а просто *потому, что не любит* супружеской любовью жену.

Вероятно, обвинения, схожие с теми, какие Софья Андреевна кидает в адрес Ольги Баршевой, Марии Шмидт и собственного мужа

— бросали в спины первых христиан, удалявшихся в тайные общины, их *язычницы* подруги, матери и жёны где-нибудь в древнем Риме. Даже и *праведно* живущие — но только по *языческому* пониманию, чуждые Богу и Христу!

ИТОГО. Первого листочка письма от среды, 13 марта, даже обрывков его — вполне достаточно для вдумчивого исследователя-аналитика. Настроение письма *очень* неспокойно, и кое-что, высказанное Соней в адрес мужа, даже из числа уцелевшего — и несправедливо, и попросту *нездорово*. Общая усталость и возобновившиеся страдания, связанные с гинекологическим заболеванием — конечно, могут объяснить многое… Объяснить. Но не оправдать!

* * * * *

Вернёмся теперь к Льву Николаевичу – из среды, 13 марта, в понедельник, 11 марта 1885 г. Путешествие в Крым с Урусовым было 10-го продолжено… В упомянутой уже нами открытке, посланной с дороги, из Орла, Толстой оповещает:

«Написал тебе <10 марта> длинное письмо и с мешочком твоим забыл на станции Брянск, и потому ты днём позже получишь от меня весть. Мы едем благополучно. Сейчас 12 часов ночи, понедельник, садимся на поезд в Курск и Харьков. В середу в ночь будем в Севастополе. Я здоров и бодр.
Письмо твоё нынче утром получил. *Л. Т.*» *(83, 492)*.

Во вторник, 12 марта, как и планировали князь Урусов и Л. Н. Толстой, они прибыли в Харьков. Вечером того же дня, до предела насыщенного событиями, Толстой пишет жене недлинное, потому что очень усталое, письмо:

«Пишу из Харькова в 8 часов вечера. Мы едем через час. В Харькове стояли 7 часов. Я покинул князя и поехал в город по конке, которая подходит к самому вокзалу, купить провизии, минеральной воды Урусову и исполнить поручение Дмоховской через Русанова. Был в суде, ждал долго Русанова и под конец дождался, потом пошёл мимо Университета, вспомнил о Якоби, товарище Митиньки, профессоре гигиены, спросил его и зашёл к нему. Он самый милый, умный, приятный человек. Мы не видались с ним 40 лет. Он не узнал меня. С ним поговорили, и он проводил меня к Русанову, у которого пил чай, и вот приехал. И то, и другое впечатление очень приятное.

Грустно, что ничего не знаю о вас. И когда подумаю, то жутко. Обнимаю тебя и целую с детьми. Л. Т.» *(83, 492 – 493).*

Письмо прекрасно и примечательно не одной усталой краткостью, но и рядом биографически ценных свидетельств. Они требуют, конечно, ряда пояснений. Дадим их в краткой — биографической же — ретроспективе прожитого Львом Николаевичем дня 12 марта 1885 года.

Гавриил Андреевич Русанов (1846 – 1907), знакомый и хороший приятель Толстого ещё с первой встречи в Ясной Поляне, состоявшейся 24 – 25 августа 1883 года, уже не раз упоминался нами на этих страницах. В 1885 году он служил членом в Харьковском окружном суде.

Г. А. Русанов с внуком Сергеем.
Воронеж, 1905

Как обрадовал его Толстой в тот день – пусть расскажет сам Гавриил Андреевич:

«Заседание закончилось часа в два пополудни. Я вышел в судейскую комнату и стал просматривать и подписывать бумаги, принесённые секретарём. В комнате сидели, писали, ходили, курили и разговаривали члены суда; входили и выходили просители, просительницы и адвокаты. Усталый, я сидел у стола, наклонив голову над бумагами, Вдруг слышу:

— Гавриил Андреевич, вы меня узнаёте?

Поднимаю голову и не верю глазам: передо мной… Толстой. Да, это он. Его глаза (таких глаз нельзя забыть!), его с проседью борода. На нём что-то вроде поддёвки или полушубка, на ногах сапоги выше колен. Я почувствовал себя, как во сне.

— Это вы, Лев Николаевич?! Какое счастье! Как же вы…

— Я еду в Крым по одному важному для меня делу, — сказал он, пожимая мне руку, — в Харькове остановка, и вот я зашёл повидаться с вами, и, кроме того, у меня есть просьба к вам.

Из находившихся в комнате никто не обращал внимания на Толстого и даже не глядел на него.

— Я всё готов сделать для вас, — ответил я. — Какая неожиданность! Как я счастлив!» *(Русанов Г.А. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. Воронеж, 1972. С. 72).*

Другая давняя знакомая Толстого в Москве, Анастасия Васильевна Дмоховская, проведав, что Лев Николаевич едет в Крым через Харьков, упросила его навести справки в суде, в чём обвиняется её зять, А. А. Тихоцкий, сидевший в харьковской тюрьме. Она особенно просила ходатайствовать через кого-нибудь (Русанова, кого де ещё!), чтобы Тихоцкому облегчили условия содержания и разрешили свидания с живущей в Харькове женой (Дмоховская была её мамой).

Обожавший Толстого, постепенно уже делавшийся его религиозным единомышленником, Гаврила Андреич рассыпался в обещаниях… Забегая вперёд, скажем, что Толстой, чаще всего человек хваткий в делах, практичный, от восторга встречи с любимым другом забыл передать часть просьбы Дмоховской. Уже устроив кн. Урусова на лечение и возвращаясь из Крыма в Москву, он отослал Русанову такое “покаянное” письмо:

«Я просил вас похлопотать за Тихоцкого, но оказалось, что я не передал вам самую сущность дела; сущность дела в том, что родным хотелось бы знать, в чём именно он обвиняется. Известно только, что он обвиняется по ст. ст. 251 и 252» *(Цит. по: 83, 493).*

Выйдя из здания суда и проходя мимо университета, Толстой не мог не вспомнить Аркадия Ивановича Якобия (1827 - 1907), товарища (по Казанскому университету) давно покойного, любимого брата Дмитрия (1827 – 1856). В Казани тот учился у великого Н. И. Лобачевского, и, в отличие от братьев Толстых, произвёл на русского гения царицы наук самое положительное впечатление. Но уже после окончания в 1847 г. университета, служа по министерству юстиции, Аркадий Иванович всё больше увлекается медициной. Как и в математике, как и в государственной службе, на этом поприще он также проявляет самые выдающиеся таланты, и в 1860 г. получает степень доктора медицины. Роковым обстоятельством в его судьбе (как и в

судьбах множества выдающихся людей России по сей день) оказываются оппозиционные российскому деспотизму и насилию политические убеждения. В частности, он открыто поддержал восстание 1863-64 гг. в польских губерниях Российской Империи, в связи с чем был вынужден ненадолго покинуть Россию. В 1865 г. — вернулся, заняв должность ординарного профессора медицинского факультета Казанского и (с 1875 г.) Харьковского университетов.

Конечно, Лев Николаевич не мог отказать себе в удовольствии повидать вживую *такого* человека. Как мы видели из вышеприведённого письма Толстого жене, удовольствие, вполне возможно, не было взаимным: Якобий даже не узнал Толстого – и, конечно, вряд ли бы мог вспомнить и его брата, своего одногодка, спустя многие десятки нелёгких лет…

Как и два августовских дня в 1883-м, день 12 марта 1885 г. Гаврила Андреевич Русанов вспоминал впоследствии, как один из счастливейших в своей жизни. Толстой осчастливил его и его семейство, навестив их дома вечером того же дня. Русанову врезалось в память, что явился Толстой к нему *пешком*, чавкая без калош по весенней распутице, да и к поезду, прогостив часа полтора, пожелал ехать на конке, до которой – по грязи же – пришлось идти пешком. А ещё Толстой приналёг на пожизненно обожаемый чай: «выпил два стакана вприкуску, с блюдечка и закурил папиросу» — не купленную, а самокрутку, как он не преминул пояснить *(Русанов Г. А. Указ. соч. С. 77*).

По пути к конке Толстой щедро раздавал мелочь нищим – привычными уже к этому движениями, «так быстро, что нищие не успевали договорить просьбы» *(Там же. С. 77 - 78).*

Наконец, Толстой и Русанов добрались до вокзала:

«От места, где остановился вагон, до подъезда вокзала пришлось идти по липкой грязи. Мне было трудно это. Лев Николаевич взял меня под руку и провёл до вокзала, а затем в зал первого класса, где ожидал его Л. Д. Урусов. Лев Николаевич познакомил нас. Урусову было лет сорок пять на вид: бледный, худой, истощённый. Лицо симпатичное. Говорил он оживлённо, но почти шёпотом и мало, так как ему запретили говорить. Вскоре Лев Николаевич сказал, что ему необходимо написать письмо к жене, и попросил извинения, что оставляет нас. Писал он за тем же столом, за которым сидели мы. Сидел он против нас, и я, как теперь, гляжу на него. В это время он был точно такой, каким изображён на портрете, написанном Н. Н. Ге. Лицо его было очень красиво в это время» *(Там же. С. 78).*

Не удовлетворившись письмом, утром 13 марта Толстой посылает жене открытку — уже на пути в Севастополь, со станции Синельниково в Павлоградском уезде Екатеринославской губ.:

«Мы едем благополучно, спим прекрасно, и, если Б[ог] даст, будем в ночь в Севастополе. Я здоров и бодр; и кн[язь] относительно хорош, т. е. не хуже» *(83, 494)*.

Прекрасное харьковское письмо Л.Н. Толстого от 12 марта было получено Софьей Андреевной в Москве 14-го. Конечно, в этот же день она пишет и свой ответ:

«Вот и из Харькова пришло письмо, я так тебе благодарна, что ты пишешь всякий день и даже в такой суете и в такое малое время. Я тоже пишу всякий день. Вчера ночью, в 1-м часу поехала к Капнист за Таней. Прямо с корректур и из домашней тишины ночной попала в эту пёструю толпу: барышни в костюмах, гром, пенье, — идёт шарада, которая тут же, минут через 5 кончилась. Там Самарины, Лопухины и весь московский свет, народу бездна; но скучно, не дружно как-то. Посидела я немножко и увезла Таню, которая имела усталый вид и не противилась моей воле, уехала.

Приехавши, ещё надо было кончать корректуры, кончила в 3, прочла две сказки Щедрина и заснула в 4-м внизу, на диване. Встала поздно, принесла опять письма, бумаги, корректуры. Посмотрела детей, понянчила Сашу, напилась кофе; все дети были в сборе к завтраку, и пошла наверх держать корректуры. Дошла до главы: «Детство», и поднялось во мне опять то прежнее, детское чувство, которое впервые я испытала, когда мне было 14 лет, и опять всё зарябило в глазах, и я, вместо того, чтоб поправлять спокойно опечатки, принялась плакать. — Нервы ли мои слабы или правда хорошо — не знаю. Но знаю, что то́, что я в тебе любила, когда мне было 13, 14 лет, то́ же я и теперь люблю; а всё, что наросло и загрубело, то не люблю, — оно напускное, наросшее. Соскоблить — и будет опять золото чистое.

Но корректуры я кончила, пошла учить Андрюшу и Мишу; поучились до обеда. Дети все здоровы и все учатся. Таня только и не совсем здорова, и совсем праздная. Всё у ней желудок не действует, не знаю, что и делать с ней. Во время обеда пришла Верочка, Серёжа брат вернулся из Тулы, и зовут всех нас к Толстым. Я и Машу хотела взять, но мы с её учительницей ехали после обеда на конке, я в типогра́фию Мамонтова — три дела было у меня до них — а она домой. Доро́гой учительница так жаловалась на Машу, что я её, наконец, в

первый раз решилась наказать и не пустить к Толстым. Она плачет, но я непреклонна. Лёля приходил за неё просить, и мне это было приятно, но я всё-таки не пустила, велела учить тот самый урок, который она не знала.

Теперь 9 часов вечера, я еду к дяде Серёже с Таней, мальчики все уж там. Что буду делать завтра, ещё не знаю. Как хорошо, что ты был у Русанова, Дмоховская будет рада; что же ты не пишешь о результате, я бы ей передала.

Я не шью ничего, работницу, портниху наняла на два месяца, всё летнее перешить. Она плохо работает, но под моим руководством сойдёт.

Что же ты это сочтёшь за лень или за благоразумие? Мне, правда, времени очень мало.

Сегодня вы в Крыму. Считая неделю там и 3 дня дороги, выйдет ещё 10 дней. Бог даст всё будет благополучно, и мы с новой радостью свидимся. А если не хочется уезжать — не спеши. Я ворчать не буду, и мне приятно, что тебе и князю хорошо от того, что ты поехал.

Прощай, милый Лёвочка, я не позволяю себе ни скучать, ни расчувствоваться, ничего, что бы могло выбить меня из рабочей и деятельной, а вместе с тем благоразумной колеи. Я держу себя в железных руках, пока Бог поможет.

Кланяйся князю, но не просто, а сердечно, не как другим.

Соня» *(ПСТ. С. 308 - 309).*

Конечно, очень важные слова в письме — это «откровение» Сони, связанное с впечатлениями от перечитывания корректур повести «Детство» (и одноименной её главы XV-й), с которой началось «профессиональное» писательство Льва Николаевича:

«…Я, вместо того, чтоб поправлять спокойно опечатки, принялась плакать. — Нервы ли мои слабы или правда хорошо — не знаю. Но знаю, что то́, что я в тебе любила, когда мне было 13, 14 лет, то́ же я и теперь люблю; а всё, что наросло и загрубело, то не люблю, — оно напускное, наросшее. Соскоблить — и будет опять золото чистое».

Любопытно это суждение, главным образом, потому, что главным этико-эстетическим содержанием знаменитой трилогии Льва Толстого о детстве, отрочестве и юности является проходящая через неё красной нитью идея о «заражении» изначально чистого и искреннего ребёнка *искусственностью* и *ложью* воспитывающей его социокультурной общности — проще говоря, «мира взрослых». В главе XV-й

«Детства» как раз взрослый Лев Николаевич кидает взгляд сожаления на руссоистски идеализируемый им возраст мальчика — по мысли его, возраст неразвращённой чистоты, искренности. Настоящих доброты и красоты, а не внешних красивости и «комильфотности» (адекватности внешности, слов и поступков индивида социальным ожиданиям членов референтных для него групп).

Современный исследователь Р. Алтухов установил, что антитеза истинного, доброго и красивого (детство) ложному, комильфотному и «красивенькому» (мир юности и взрослых) прослеживается в трилогии Л. Н. Толстого на уровне не только идей и образов, но и лексики:

«Описываемая в повестях обстановка светской красивости, подменившей собою красоту, отражается и на оценочной лексике повести: в главах о московской жизни Толстым используются слова, обычно характеризующие у него именно бессодержательную красивость: *красивый (некрасивый), хорошенькая* (дама)*, хорошенькое* (лицо)*, прилично-величавый, дурен (недурён) собой, недурно, милочка, щёголь* и др.

[…] Контрастом по отношению к бездушной comme il faut, к таящей скрытые пороки светской красивости становятся в повести < «Отрочество» > образы простых горничных, обитательниц девичьей. Их душевная чистота, искренность и непосредственность оттеняют эгоизм, развращённость и лицемерие дворянско-светского окружения Николеньки. […] Простой труженик утверждается в трилогии не только в своём высоком нравственном содержании, но и в качестве достойнейшего предмета *эстетического* изображения. *Трудовую обстановку* девичьей Толстой описывает с большой любовью, как *мир подлинной, пусть и скромной, красоты.*

[…] Первая глава повести < «Юность» > свидетельствует о назревании кризиса в сознании Николеньки: он ещё привычно разглядывает себя в зеркале на предмет соответствия идеалам красивости и comme il faut, но уже прислушивается к словам своего друга Дмитрия Нехлюдова, зовущего к «нравственному усовершенствованию». Следующие две главы («Весна» и «Мечты») посвящены описанию едва не совершившегося духовного переворота. […] Весеннее возрождение природы, великолепие которого впитывает, стоя у окна, Николенька, и его собственное нравственное возрождение едва не становятся сопряжёнными процессами: такова сила воздействия природной красоты на душу Николеньки. Но – недаром говорит автор о том, что *в городе красоту «меньше видишь»*: городская жизнь с её суетой и ограничениями (и не только визуального характера) отвлекает,

уводит от «красоты, счастья и добродетели». […] Но вот внешняя обстановка – движущая пружина чувств, мыслей и поступков Николеньки Иртеньева – снова изменяется: семья переезжает на лето в родовое поместье. И вновь эстетические впечатления от живой природы подталкивают героя к внутренней перемене. […] Женитьба отца, осеннее возвращение в Москву, университет знаменовали в жизни Николая Иртеньева торжество уродливого (либо красующегося), ложного и суетного над красотой и истиной. Он не может порвать ложный круг сложившегося бытия, груз аристократических навыков и представлений погребает заживо все его светлые юношеские мечтания. Торжествует «принятый» образ жизни… […] Неожиданностью для Николая оказывается отсутствие у него преимуществ по сравнению с его новыми товарищами. Простые, небогатые, не «комильфотствующие» и не гордящиеся своим аристократическим происхождением, эти студенты живут в скромной трудовой обстановке, как живёт прислуга в доме Николенькиной бабушки, учатся со всем старанием, ради своего будущего, не обеспеченного богатством родителей, а выглядят при этом, с точки зрения мученика comme il faut, просто *«непорядочно».* […] Так в душе героя происходит благое соединение летних деревенских эстетически значимых впечатлений и новых, студенческих, революционно меняющих его этические воззрения; естественная красота понемногу начинает одолевать красивость. Окончательную победу, впрочем, автор оставляет за рамками сюжета, лишь показав неутешительный итог предыдущего развращения Николеньки: его тяжёлое моральное поражение, понесённое во время университетских экзаменов».

И ещё:

«Обычно положительная эстетическая оценка наружности человека сочетается <в трилогии> с отрицательной этической оценкой его сущности: внешняя красота, по Толстому, лишь пытается маскировать внутреннюю пустоту. […] *Некрасивой* внешностью наделяются не только центральный персонаж трилогии, но и ряд других положительные героев повестей Л.Н. Толстого; именно некрасивая внешность героев заставляет внимательно приглядеться и увидеть внутреннее содержание человека, которое, согласно Толстому, гораздо красивее и важнее внешней оболочки. Герои, которые характеризуются Л.Н. Толстым как *некрасивые,* зачастую постоянно ведут душевную работу, самосовершенствуются» *(Алтухов Р. Лексика с семантикой эстетической оценки в трилогии Л.Н. Толстого «Детство. Отрочество. Юность». Личный архив автора).*

Когда Соничке было 13-14 лет, молодому Льву было около 30-ти. Трилогия же писалась им с 23 – 24-летнего возраста. То есть уже задолго до того, как его могла видеть и оценивать девочка Соня — Толстой *не* разделял внутренне ни ценностей, ни образа жизни *воспитывавшей её* в Москве *среды*: городских «бар», богачей, аристократов, придворных фаворитов… То, что в качестве теоретических постулатов эстетики выльется на страницы его Дневника 1890-х и найдёт наконец продуманное, стройное выражение в трактате «Что такое искусство?» — обдумывалось в ряде значимых идей уже юным и молодым Л.Н. Толстым. Соня ошибалась. Между Толстым 1840-1850-х и Толстым 1880-1890-х гг. *нет* того противопоставительного отличия, которое представилось ей в сочетании двух идеализаций: лиричнейших строк повести «Детство» с её собственными детскими воспоминаниями.

В мемуарах «Моя жизнь», помимо рассказов о «дружбе» с самим Львом Николаевичем, нашлось место и воспоминанию о первом чтении 11-летней (!) Соней повестей «Детство» и «Отрочество». Важная деталь: девочка *переписывала, чтобы заучить наизусть*, особенно понравившиеся места. И тогда из повести «Детство» ей были переписаны как раз *те самые*, из XV-й главы, лирические строки об ушедших с детством «свежести, беззаботности, потребности любви и силе веры», которые ввергли в слёзы Софью Андреевну в марте 1885-го *(см.: МЖ – 1. С. 18)*. Могла ли она плакать о том, взрослом, Льве Толстом, жизнь которого не могла понимать и которого, вослед за Митрофаном Поливановым, по собственному её эмоциональному признанию, многократно идеализировала на страницах сожжённого ею перед свадьбой девичьего дневника? *(Там же. С. 32 – 33)*. После свадьбы он оказался «нечист» своей жизнью, которую вёл, блюдя перед семейством Берсов и в целом в «элитарных» кругах всё возможное comme il faut, красивость без истинных красоты и добра — ведя ту жизнь, в которой покаялся через много лет на страницах христианской своей «Исповеди».

Настоящим был и оставался именно *этот* раскаянный блудник, семьянин и, наконец, *искренний* христианин — а никак не Соничкин идеальный образ, так подкупающе сопрягающийся с руссоистской идеализацией молодым Л.Н. Толстым «первозданного» детства.

Это что касается личности Толстого… Но в следующем письме, от 15 марта 1885 г. Соня, будто опомнившись от околдования повести, «амнистирует» личность мужа — «пояснив» задним числом, что критика её касалась якобы лишь *сочинений* мужа, и даже не идейного

их строя, а стиля и настроения. Увёртка весьма наивна: жена Толстого, через руки которой прошла *львиная* доля его рукописных материалов, знала, пожалуй, глубже многих критиков-современников Толстого, *насколько* стиль и тональность доминирующего дискурса, настроение, язык его «поздних» сочинений искренни и неотторжимы от реальной мировоззренческой и духовной эволюции писателя и мыслителя. Да и вряд ли Соничка стала бы *плакать* из-за сожаления именно и только об изменившихся *формах художественного самовыражения* в сочинениях мужа… Правда остаётся в том, что *не нравился* жене именно «новый» муж — так что за эстетическим неприятием его текстов всегда плохо скрывалась неприязнь этического и общемировоззренческого порядка.

* * * * *

Утром в 9 часов, 14 марта Толстой и Урусов выехали на лошадях, в ландо, из Севастополя — о чём Толстой открыткой оповестил при выезде жену, тут же приписав: «Я устал от праздности и скучаю от безвестности о вас» *(83, 493 – 494)*. Теперь уже Толстой и Урусов ехали напрямую в имение Мальцовых: в Симеиз, Ялтинского уезда, Таврической губернии, в 20 верстах от Ялты.

В тот же день, 14 марта вечером, Толстой и Урусов добрались до станции Байдары. Оттуда он отправляет жене ещё одно прекрасное, бодрое, полное жизни и любви к ней, и весьма биографически ценное письмо, полный текст которого мы приводим тут же:

«Пишу другое письмо нынче, 14-го. Одно из Севастополя — карточку — послал утром, а теперь из Байдар (это половина дороги до Симеиза). — Мы здесь кормим, и встретили господина, едущего в Москву и тоже кормящего. Это оказался г-н < Владимир Алексеевич > Абрикосов молодой. Он меня узнал и читал, и жена его < Мария Филипповна >, которую он свёз в Крым; и я пользуюсь тем, что он приедет прежде почты.

Погода прекрасная, — жарко в горах, по которым мы ехали. Урусов взял ландо, его надули, оказалось ландо не открывающееся, и хуже кареты, и я залез на сундук, на козлы. Ехал, и не то, что думал; но набегали новые, — нового строя, хорошие мысли.

Между прочим, одно: каково, я жив, ещё могу жить, ещё! как бы хоть это последнее прожить по-Божьи, т. е. хорошо. Это очень глупо, но мне это радостно. Цветы цветут, и в одной блузе жарко. Лес голый, но на весеннем чутком воздухе сливаются запахи то листа вя-

лого, то человеческих испражнений, то фиалки, и всё перемешивается. Проехали по тем местам, казавшимся неприступными, где были неприятельские батареи, и странно воспоминание войны даже соединяется с чувством бодрости и молодости. Что, если бы это было воспоминание какого-нибудь народного торжества, — общего дела, — ведь могут же такие быть. Ещё на козлах сочинял Английского милорда. И хорошо.

[ПРИМЕЧАНИЕ С. А. ТОЛСТОЙ:
«Английский милорд Георг» — известный лубочный роман. Лев Ник<олаевич> задался тогда мыслями преобразовать народную литературу и планы своих народных рассказов называл своими — *английскими милордами.* **]**

Ещё думал по тому случаю, что Урусов, сидя в карете, всё погонял ямщика, а я полюбил, сидя на козлах, и ямщика, и лошадей, что как несчастны вы, люди богатые, которые не знают ни того, на чём едут, ни того, в чём живут (т. е. как строен дом), ни что носят, ни что едят. Мужик и бедный всё это знает, ценит и получает больше радостей.

Видишь, что я духом бодр и добр. Если бы только не неизвестность о тебе и детях. Целуй их всех. Обнимаю тебя. Подали лошадей Абрикосову. Он едет. Л. Т.» *(83, 495).*

Первый, кто «встречается» в письме Толстого (и порадовал его самого живой встречей 14 марта) – «г-н Абрикосов молодой». Давайте вглядимся немного пристальней в это историческое лицо. *Владимир Алексеевич Абрикосов* (1858 - 1922) был одним из членов известной московской семьи промышленников-кондитеров Абрикосовых, родным дядей Хрисанфа Николаевича Абрикосова (1877 - 1957), будущего (с 1898 г.) убеждённого последователя христианского научения Л. Н. Толстого.

В. А. и Х. Н. Абрикосовы

Подробнее о В. А. Абрикосове см. на родовом сайте Абрикосовых: http://abrikosov-sons.ru/9._vladimir_1858-1922, о Хрисанфе: http://abrikosov-sons.ru/vetv_nikolaya_alekseev

О встрече, описанной Л. Н. Толстым в приведённом письме жене, сам Владимир Алексеевич оставил воспоминания, которые, по необычайной краткости их, мы можем *в полном виде* включить в текст нашей книги:

«Моё знакомство с Львом Николаевичем Толстым носило характер краткой дорожной встречи.

Ранней весной, в конце марта или в начале апреля, кажется, в 1885 году, при возвращении моём из Крыма в Москву через Байдарские ворота, в ожидании лошадей, я стоял на балконе гостиницы. Моё внимание привлекла карета, двигавшаяся по шоссе из Севастополя, на козлах которой, рядом с кучером, сидел мужчина в картузе, в серой блузе, положив ноги на передок козел. В нём я тотчас же узнал Льва Николаевича Толстого и, чтобы лучше его разглядеть, спустился вниз. Карета остановилась у моей гостиницы, и Лев Николаевич соскочил с козел, стащил с них простой полотняный мешок, завязанный верёвкой, и помог выйти из кареты своему спутнику, князю Урусову, кажется. Он объявил князю, что очень доволен выбором места на козлах, так как это позволило ему вполне насладиться чудной панорамой. Я подошёл к Льву Николаевичу и предложил помочь внести мешок, но Лев Николаевич отказался. Удивившись, что я назвал его тотчас же Львом Николаевичем, он начал меня расспрашивать: кто я, куда и откуда еду. Тут и завязался у нас разговор. Он просил меня опустить в Москве письмо к жене и начал искать 5 копеек на марку; их у него не оказалось, и я попросил его сделать мне удовольствие, позволить считать его моим должником.

Лев Николаевич, смеясь, согласился. Я заговорил с ним об его «Евангелии», которое мы с моей больной женой, жившей в Крыму, только что читали, и об том впечатлении, которое мы вынесли от этого чтения. Лев Николаевич заинтересовался болезнью моей жены, и разговор перешел на ту тему, что болезнь может сыграть хорошую роль в жизни человека. Лев Николаевич высказал своё мнение, что болезнь, отрывая человека от светской жизни, полной суеты, помогает ему сосредоточиться, разобраться в своей душе и оглянуться на свою жизнь. Сознаются ошибки, появляются новые запросы, пробуждаются более возвышенные и идеальные стремления, и болезнь приводит иногда не только к совершенствованию, но и к перерождению человека. В это время мне подали лошадей и я принужден был прервать свой разговор с Львом Николаевичем и распроститься с ним» *(Толстой. Памятники творчества и жизни. Вып. 3. М., 1923. С. 62 – 63)*.

Бодрому настроению Толстого по пути в Байдары способствовал несомненно ещё один необычайный, навеявший воспоминания молодости, случай — в Севастополе, перед самым отъездом. Толстой рассказал о нём жене лично, когда вернулся в Москву. Рассказу этому посвящена запись в дневнике Софьи Андреевны от 24 марта 1885 г.:

«Светло-Христово воскресение. Вчера Лёвочка вернулся из Крыма, куда ездил провожать больного Урусова. В Крыму вспоминал Севастопольскую войну и много ходил по горам и любовался морем. Когда они ехали с Урусовым по дороге в Симеиз, они проезжали то место, где Лёвочка стоял во время войны с своим орудием; и в том самом месте он сам, и только один раз, выстрелил. Тому почти 30 лет. Едут они с Урусовым, а он вдруг вышел из ландо и пошёл что-то искать. Оказалось, что он увидал вблизи дороги ядро горного орудия. Не то ли это ядро, которым выстрелил Лёвочка во время Севастопольской войны? Никто, никогда другой там не мог стрелять. Орудие горное было одно» *(ДСАТ - 1. С. 110)*.

А следом, 15 марта, Толстой вновь удивил жену. Прогулявшись до Байдарских ворот, приятно утомившись и переночевав в гостинице в Байдарах, ранним-ранним утром 15-го он, неутомимый ходок и обожатель пеших прогулок, отправился один, пешком, но не в Сочи, откуда ждала очередной весточки Софья Андреевна, а в Алупку, и уже оттуда в 9 ч. 40 мин. утра телеграфировал жене:

«Приехали благополучно. Здоров» *(83, 496)*.

Следом, 15-го же, но вечером, уже из Симеиза, было написано и отправлено письмо, описывавшее, в числе прочего, все похождения помолодевшего и невинно радовавшегося жизни Льва Николаевича. Как мы уже писали, забота о князе (и, конечно, собственная переполненность впечатлениями и усталостью) привела к тому, что Толстой до 16-го не востребовал ожидавшие его приезда письма от жены. В письме от 15-го — только впечатления и новости:

«Пишу, зная вперёд, что письма мои все будут доходить до тебя вразбивку, а не последовательно. Теперь вечер 15-го, пятницы; я только что перешёл в дом к Мальцову. Он, оказывается, ожидал меня, сделал приготовления и даже ездил к нам на встречу в Севастополь, но разъехался с нами. Он замечательно бодрый, живой старик, не антипатичный и не глупый, но очень испорченный властью.

Вчера после Байдар (станция), откуда я послал тебе письмо, я пошёл пешком в гору до знаменитых Байдарских ворот, а Урусов поехал. Со мной был проводник, мальчик русский, живущий в татарской деревне. Мать его вдова, и он кормится кое-какой работой; но удивителен своей заброшенностью. Никогда не был в церкви, знает *Отче* и всё навыворот. Ему 17 лет.

Местность долины, по которой я шёл, прелестная и пустынная, птицы поют, фиалки пахнут, и солнце жжёт. Князь доехал до ворот прежде меня. В воротах велено всем восхищаться, и затем построены ворота. Но случилось, что поднялся туман, и мы ничего не видали. Холодно, сыро, темно; завалившиеся и торчащие скалы и шоссе извилинами под гору. Урусов стал задыхаться от тумана и пришёл в беспокойство бестолковое и объяснения с ямщиком.

Доехали благополучно в темноте. Я поместился в гостинице — прекрасно. Ночь лунная, кипарисы чёрными столбами по полугоре, — фонтаны журчат везде и внизу сине море, «без умолку». Нехорошо было, что за стеной дети: 3 лет и 1½ из которых одному давали хинин, и он отчаянно плакал, говоря: «горько», а потом вдруг стал счастлив, а под домом кошки, затеявшие роман. Кошек здесь бездна.

Проснулся в 5, напился кофе и пошёл в Алупку 4 версты. Очень хорошо шоссе в камнях, — оливки, виноградники, миндальные и море синее, синее. Послал тебе телеграмму, напился чаю у турка в хатке и пришёл домой. Пошёл с Урусовым ходить по его любимым местам в скалах и по самому берегу. Жарко, что насилу удержался, чтоб не выкупаться. До прогулки завтрак table d'hôte <за общим столом>: учитель, два доктора, купец богач с умирающей женой. Это их

дети. Потом хотел заснуть, но кошки продолжали роман. Пришёл Урусов, и я с ним пошёл к Мальцову, пообедали в table d'hôte, потом я напился чаю, и вот ложусь. Очень я устал, загорел и разбросался мыслями, т. е. вышел из колеи работы. Англицкого Милорда <Рассказ для народа. – *Р. А.*>, однако, всё обдумываю. Попробую завтра писать. Писем от тебя ещё нет, — жутко.

Здесь хорошо тем, что кроме теплоты и красоты, — богато, нет нищих. Заработок большой. Вот где или вообще на юге надо начинать жить тем, которые захотят жить хорошо. Мы долго сидели с Урусовым на берегу под скалой. Уединённо, прекрасно, величественно и ничего нет сделанного людьми; и я вспомнил Москву, и твои хлопоты, и все занятия и увеселения Москвы. Не верится, чтоб могли люди так губить свою жизнь. До завтра. Обнимаю тебя и целую детей» *(83, 496 - 498)*.

Вероятно, Соничке было несколько обидно прочесть это завершающее обобщение о городских хлопотах как «гублении жизни». Ведь отнести эти слова она могла, прежде всего, к *себе*; а уж она-то, в отличие от бесящихся барским жиром старшей дочки и сынков, хоть и надсаживалась трудом, и губила себя — заслуживала за это уж никак не порицание Льва Николаевича, на дела которого уходила *львиная* доля её сил:

«…Я наладила все дела издания. Пришлось, кроме Полного собрания, печатать и «Азбуку», и «Книги для чтения». Целыми вечерами я принимала от Николая Николаевича Нагорнова отчёты по продаже этих книг. Днём я принимала фабрикантов с образцами бумаги. Кроме того, приходилось ездить покупать всему дому весенние платья, пальто, шляпы; мерить, менять, шить и т.д. […] …Я запряглась на пять месяцев работы чтения корректур. Это меня страшно утомляло, и я чувствовала, как это пагубно влияло на мои глаза; но раз начав что-либо, я любила довести до конца» *(МЖ - 1. С. 473, 475)*.

Шалость с утренней телеграммой из Алупки вполне удалась Толстому: она, конечно, пришла в Москву раньше вечернего письма, в тот же день 15 марта, и ответ свой, тоже от 15 марта, Софья Андреевна начинает с выражений искреннего недоумения:

«Сегодня была телеграмма уже из Алупки. Почему оттуда, не пойму; я думала, что вы едете на Ялту. С дороги ещё получила записочку. Я рада, что ты всю дорогу обо мне думаешь, и хотя это и

трудно, и скучно, но пишешь мне. Как-то подействует на тебя крымская природа и весна? Вот я охотница до цветов, видов и красоты — я, кажется, бы там с ума сошла!

Вчера были у дяди Серёжи; там были все Олсуфьевы и Фет, и Лиза с Варей, и Лопатин, который охрип и не пел, и ещё новый какой-то певец с гитарой, — пели больше хором и все были очень довольны. А мне в гостиной попалась книга «Пессимизм XIX века» Каро, в русском переводе; я её принялась читать и просто оторваться не могла, так интересно. Серёжа обещал мне её дать.

[**ПРИМЕЧАНИЕ**.

Софья Андреевна умница: не просто выпросила у Сергея Николаевича, брата Толстого хорошую книгу, но и заныкала её себе насовсем. Она сохранилась в яснополянской библиотеке. Это книга Эльма Каро (1826 — 1887) «Пессимизм в XIX веке. Леопарди-Шопенгауэр-Гартман. Перевод П. В. Мокиевского. С приложением беседы о пессимизме, происходившей в Берлинском философском обществе в октябре 1878 года. Перевод с немецкого Молчановского», 1883 года изд.]

Вернулись поздно; Таня нынче как будто свежей, выезжала и ела лучше. Madame Seuron всё плоха, всякий день 38 жару и слабость, отсутствие аппетита и сна. Завтра её сын приедет, и наших распускают, Вербная суббота. На улицах говеющий и молящийся народ, и вербы в руках; а у меня праздничный страх и ужас перед тем, что все будут от меня чего-то ждать, а именно веселья, еды особенной, денег и проч., и я не буду уметь всех удовлетворить. Нынче приезжал управляющий Мамонтова типографии [...]. Бумагу всё не заказала, не могу решиться, да и денег ещё нет, а нужны везде задатки.

Потом пошла учиться с Андреем и Мишей; поучились очень весело. Между прочим, приносят много писем тебе — целые сочинения неизвестных мне, и тебе, я думаю, людей. Все начинаются извинением, что драгоценное время твоё отнимают, а затем разные просьбы: о месте, о деньгах, о советах, о прочтении сочинений и проч.

После обеда пошла на Пречистенку, там, у какой-то разорившейся барыни, бывшей помещицы, машина чулки вяжет, очень дешёво и хорошо. Я всем заказала. Оригинальное и трогательное семейство! Старшая дочь кончила экзамен университетский, ищет уроков, переписыванья, какой-нибудь работы. Старший сын артиллерист, и трое ещё учащихся. Мать вот чулки вяжет; а в других я ещё не вникла.

Во время обеда Серёжа брат приходил. Верочка у нас обедала. Серёжа рассказывал про Фета, что он говорит: «Лёв Николаевич хочет с Чертковым такие картинки нарисовать, чтоб народ перестал в чудеса верить. За что же лишать народ этого счастья верить в мистерию, им столь любимую, что он съел в виде хлеба и вина своего бога и спасся. Это всё равно, что если б мужик босой шёл бы с сальным огарком в пещеру, чтоб в тёмной пещере найти дорогу. А у него потушили бы этот огарок, и салом бы велели мазать сапоги... а он босой»! Я очень смеялась этому сравнению. Но он очень остроумен, Афанасий Афанасьевич, я вчера с ним охотно поговорила.

Дети здоровы, Серёжа сидит играет, Илья почему-то приглашён к <салонной певице> фрейлине Галынской, куда и отправился. [...] Лёля здоров и тих. [...]

Как бы хотелось знать, как вы с князем поживаете, какое впечатление от Сергея Иваныча <Мальцова>. Я почему-то очень им интересуюсь. Как тип — красивый и из ряду вон выходящий. Но может ли он быть добрым?

Без тебя минутами страшно скучно, а минутами ничего, спокойно. Впрочем, если б беспокоиться начать, то можно с ума сойти, и потому я себе этого просто не позволяю, с годами выучилась.

В том письме я писала, что с тебя, с писателя, надо соскрести лишнее, а не объяснила, что это *лишнее*, и ты мог быть недоволен. *Лишнее* — это никак и никогда *не содержание, а формы*, и иногда немного желчный, поучительный тон.

Ну прощай, Лёвочка. Могла бы взять другой лист и много ещё писать, но 3 листа корректур, а 10 часов вечера. Целую тебя, жму руку князю, и то, и другое от всего сердца.

Соня.

Сейчас перечла своё письмо, что-то от него холодом веет; но это неверно, я очень тебя люблю, и холода в душе сегодня нет» *(ПСТ. С. 310 - 311).*

Действительно, письма Софьи Андреевны этой, 1885 года, весны – кроме первого, уничтоженного ею самой – гораздо сдержанней в выражениях недовольства, любовней, нежели писанные в 1907 году страницы воспоминаний об этом периоде. Объяснить это можно тем, что письма марта 1885 г. писала ещё не старая женщина, в глубине души всё-таки надеявшаяся на выздоровление отправленного с мужем в Крым любимого человека — кн. Урусова. Мемуары

же «Моя жизнь» пишет в 1900-е уже очень пожилая Софья Андреевна, могущая грустно констатировать, что после смерти Урусова в том же 1885 г. у неё так и не было равноценного ему по культурной эрудированности партнёра для бесед (исключая, разумеется, мужа). Вот почему к ноткам выразившейся в письмах 1885 г. усталости «заваленной» заботами жены в тексте мемуаров Софьи Андреевны 1907 года присовокупились более «концептуальные» упрёки — в особенном «культурном голоде», которым якобы морил её Лев Николаевич, в «домашнем затворничестве» и нереализованности собственных её творческих амбиций и культурно-потребительских аппетитов. Коренная причина была одна: *тоска по любовнику*, умершему как раз в 1885 году, который поэтому ассоциировался в памяти Сони прежде всего с его смертью.

Наконец, и заключительные в данном эпизоде письма Л. Н. Толстого – от 16-17 и от 18 марта 1885 г. В письме от 16-17-го Толстой запоздало отвечает на письма Софьи Андреевны от 7(?), 9 и 10 марта, до которых добрался только теперь, а также, будто провидя интерес, выраженный женой в ещё не полученном в те дни письме от 15-го, даёт характеристику С. И. Мальцову. Приводим ниже его текст.

«Нынче 16-го получил твои три письма — Я думал, что приносят каждый день, оказалось, что нет. Теперь буду ездить — ходить каждый день в Мисхор, — это станция, — 7 вёрст от Симеиза. Письма твои произвели тяжёлое впечатление: <сын> Серёжа принимает очень бурной склад жуира тихого и самодовольного. (Не говори ему.) Илья вовсе грубеет, но не установился, Миша болен, и ты тяготишься своей жизнью и не видишь исхода. Это грустно. Я пишу тебе всякий день. И вчера писал о впечатлении этого края. Не могу я любоваться природой. Человек стоит на первом плане. Здесь, как я говорил, радостно, что не видать бедных и пьяных, но дурно то, что много безумных богачей, и народ, татары ошалели и смотрят на всех, — как бы их эксплуатировать.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Великолепная иллюстрация различий в мировосприятии мужа и жены Толстых. Для Софьи Андреевны ни в Москве, ни в Ясной Поляне жизни трудящихся и нуждающихся людей, даже собственной нанятой прислуги в доме, как будто бы *не было* — во всяком случае, в её грустных и драматических подробностях. Толстой же — разве

что недолго отдыхает в Крыму от постоянных впечатлений этой жизни. — *Р. А.*]

Нынче я встал опять рано и, напившись кофе, пошёл с Урусовым в татарскую деревню. Там встретил старика 65 лет; он идёт на работу за 2 версты в гору. Я предложил ему наняться работать. Он согласился за рубль. Но это оказалось шутка. Он признал во мне богатого. И стал предлагать землю купить у него. И показывал землю и восхвалял её. За 6 десятин просит 6000. Тут и виноградники, и табак, и каштаны, инжир, и грецкие орехи. — Я дошёл с ним до его плантации. Лазили по скалам, а в глуши нашли в лощинке его 4 сына в белых рубахах капают заступами виноградник, а он обрезает. Я поработал с ними и пошёл домой.

Поспел в 12 часов к обеду. Старик Мальцов очень самодоволен и бестолков. Тип старого генерала и старого помещика. И поддакивать ему совестно, и противоречить невозможно, потому что он не в силах понимать. Мне тяжело у него. С одной стороны больной, слабый Урусов, с которым всегда настороже, с другой стороны он. Я думаю уехать 20-го. Работать не принимался, слишком жалко потерять возможность увидать. И до сих пор всё новое. В гости никуда не хожу и не пойду. Хожу я очень много и здоров. И домой хочу пойти целую станцию через горы с проводником татарином в Бахчисарай.

Все твои предписания о себе до сих пор блюду и стараюсь блюсти именно с тем, чтобы от поездки моей осталось хорошее воспоминание. — В этом всё. — Урусов в духе слабом, и мне не нравится то, что он не видит своего положения и как будто боится узнать о нём.

Пожалуйста не показывай Серёже письмо. Я боюсь, что я несправедлив. Я в его года был хуже. Нет, не был. Но у каждого свой характер. И соблазны всякие сильны, а особенно те, которые понемногу вкрадываются в жизнь. Прощай, душенька, обнимаю тебя и целую детей. *Л.*

Я сказал, что письма твои произвели на меня тяжёлое впечатление. Это справедливо только об образе жизни, но не о тебе лично. Твоё общение, напротив, производит самое радостное впечатление.

Это приписываю я нынче утром, 17-го. Почта идёт завтра. Встал рано, здоров, но устал, с курбатюрами <ломотой> в ногах и солнечным ударом на лице» *(83, 498 - 499).*

С 19 марта Толстой уже не сидел в роскошнейшем, но, как мы видели, психологически тяжёлом для него хрустальном дворце Маль-

цова 19 и 20 марта он был в разъездах, а 21-го — с облегчением покинул Симеиз, радостно устремившись к семье, в Москву… Поэтому последнее его письмо, как и прежнее достаточно пространное, датируется исследователями, по почтовым штемпелям, 18 марта. Кстати, те же штемпели позволяют уточнить, что предшествующее, только что приведённое нами письмо было всё же Толстым жене отправлено, хотя в начале письма от 18-го он и утверждает, что забрал его назад с почты (быть может, желал забрать, да не успел?). Приводим ниже полный его текст.

«Третьего дня написал тебе вечером письмо, милый друг, после получения твоих 3-х писем в Крым, которые я все получил зараз. Прочёл я в этих письмах твоё описание жизни мальчиков старших — Серёжи — цыгане и деньги и Илюши до половины ночи у Боянуса и грустно стало, и я написал длинное письмо о разных предметах и между прочим об этом несколько слов не добрых относительно мальчиков и послал это письмо, а нынче совестно стало и беру это письмо назад. Описываю, вновь мои два дня. Живу я у Сергея Ивановича

Мальцова, встаю рано. Третьего дня пошёл с Урусовым в татарскую деревню; там встретился с стариком татарином, который шёл в гору на свой виноградник, и пошёл с ним. Он мне стал показывать свою продажную землю, 6 десятин за 6,000 р. с каштанами, виноградником и т. п. Потом пришли ещё выше, на другую его землю. Там его 4 сына молодцы, от 27 до 16 лет, работают заступами, перекапывают виноградник, сильные, здоровые, весёлые. Оттуда поспел к обеду 12 часов домой. Мальцов совершенно генерал, которого играет дурной актёр, преувеличивая. Всё хвастается, немного напоминает <пьяницу и соседа> Николая Сергеевича Воейкова.

Урусов — слабеет, но духом хорош. Весь занят мыслью об истине жизни человека. После обеда пошёл на станцию за 7 вёрст и вернулся очень усталый, но здоровый. Вчера опять в 7-м часу встал, убрал свою комнату и, пристыжённый тем, что я ничего не работаю, сел за работу и написал для Черткова <т. е. для народных изданий. – *Р. А.*> рассказец <«Ильяс»>, который ему пошлю или привезу.

После обеда взял лошадь верховую и поехал в Ялту, за 20 вёрст. Нет следов той Ялты, которую я знал, — великолепие необыкновенное и разврат цивилизации. Выезжая оттуда, встретил старика и ужасно безобразную старушку; вгляделся и что ж, это <Иван Сергеевич> Аксаков с женою <Анной Фёдоровной, урожд. Тютчевой – *Р. А.*> — идут ко всенощной. Они говеют. Я слез с лошади и прошёл с ними сотню шагов. Приехал домой очень усталый, но здоровый. И дорогой получил твоё 4-е письмо <от 11 марта>, которому ужасно рад.

Ты пишешь хорошо. Несмотря на все твои хлопоты, я вижу и чувствую тебя, какая ты есть. Радуюсь, что m-me Seuron поправляется, и тому, что ты озаботилась <заболевшим дворником> Василием, и что ему лучше. — Про <выздоравливающую дочь> Таню мне не верится (я верю тебе), но не сходится с моими воспоминаниями о ней, что она больна. Радуюсь, что ты Лёлю <сына, Л. Л. Толстого> хвалишь. Очень чувствую связи мои с вами и, несмотря на твоё как бы разрешенье оставаться дольше, завтра хочу ехать в Бахчисарай, с тем чтобы 20-го сесть на железную дорогу. — Здесь хорошо, но хорошо с людьми своими и с делом. Дело-то, положим, есть мне всегда, но какое то, слишком уж лёгкое. А я привык, особенно последние года, к очень напряжённому. И хотя ты и говоришь, что «Детство» лучше, я знаю, что́ нужнее, и после чего моя совесть более удовлетворена.

[КОММЕНТАРИЙ.

Ответ Толстого жене на её критику форм и настроений позднейших на тот момент сочинений мужа. Толстой подчеркнул то же, на чём выше сфокусировали внимание читателей и мы: все литературные формы, стиль, настроение его сочинений начиная с 1880-х — неотделимы от главнейшей для него, религиозной мировоззренческой эволюции, от личной его духовной жизни этих лет. Писать именно так, как писал «Детство» он, конечно, не мог, как не мог и жить образом жизни 25-тилетнего. Но *искренность* трилогии, честность писателя перед читателем – не оставили Толстого до последних дней его жизненного и творческого пути.]

От Черткова получил сюда письмецо и поощрение к работе. Я рад, что его письмо тебя расположило к нему. Он очень замечательный человек.

[**ПРИМЕЧАНИЕ.**
Чертков прислал тогда Льву Николаевичу рассказ R. Saillens «Père Martin» — в русском переводе. Толстого рассказ вдохновил на написание сюжетно и образно близкого, но перенесённого действием в Россию, рассказа «Где любовь, там и Бог». – *Р. А.*]

Урусов сейчас говорит из другой комнаты: Для того, чтоб вывести хорошую породу животных, нужно соединить известных свойств родителей. И без ошибки будут известных свойств потомки. Отчего этого нет между людьми? Свойства родителей передаются в животном отношении, но не передаются нравственные, разумные свойства. Свойства эти передаются другим путём, — не матерьяльным, и независимо от рождения. Духовное, нравственное, разумное есть, но оно совершенно независимо от физического. — Как это справедливо. Обнимаю тебя, душенька, и целую детей» *(83, 500 - 502).*

Это письмо завершает 25-й, «крымский» эпизод переписки супругов. Как мы уже упомянули, 19 марта Толстой из Симеиза выехал – ещё не насовсем, а в имение Мшатка, в гости к другу и сподвижнику своего лучшего старого друга Н. Н. Страхова – философу Николаю Данилевскому.

Той же весной 1885 г. Н. Н. Страхов с восторгом пересказал Льву Николаевичу отзыв Данилевского о знакомстве с Толстым из его письма от конца марта:

«Он сам — ещё лучшее произведение, чем его художественные произведения… В нём такая задушевная искренность, которой и вообразить себе нельзя. Он просидел у нас вечер, переночевал и до часу на другой день <20 марта> остался, потому что на следующий должен был ехать… Ходок он удивительный. Я слышал, что будто он дурен собой – ничего этого я не нашёл – превосходное, дышащее простотой, искренностью и добродушием лицо. Одним словом, понравился он мне очень, так понравился, как с первого взгляда и менее чем однодневного знакомства едва ли кто нравился. Говорили мы о том, о сём, но ни договориться, ни даже разговориться ни о чём толком не успели» *(Цит. по: Гусев Н.Н. Материалы… 1881 – 1885. С. 396 - 397).*

Как оказалось впоследствии, это была единственная и последняя встреча мыслителей: осенью того же 1885 г. Данилевский скончался…

Чётко 21 марта Толстой выехал из Симеиза на лошадках до Бахчисарая, а оттуда по железной дороге в Москву, куда и вернулся 23 марта.

КОНЕЦ ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО ЭПИЗОДА

Эпизод 26-й.
МОСКВА НЕ ОТПУСКАЕТ СВОИ ЖЕРТВЫ
(16 – 21 августа 1885 г.)

Последующие за крымской поездкой месяцы жизни Л. Н. Толстого ознаменовались выходом первых книжек основанного им с единомышленниками народного книгоиздательства «Посредник», продолжением работы над серией народных рассказов, а также – над трактатом «Так что же нам делать?». Главной целью народное издательство признавало не доход, не «получение барыша», а религиозное просвещение читателей посредством распространения *хороших* и при этом *дешёвых* книг. В апрельском объявлении «Посредника» об открытии книжного склада говорилось об этом так:

«Хорошим мы считаем содержание, возможно ближе выражающее учение Христа и, в крайнем случае, ни в чём не противоречащее

этому учению, и при том – изложенное в форме, доступной массе и удовлетворяющей её потребностям» *(Цит. по: Гусев Н. Н. Материалы к биографии Л.Н. Толстого. 1881 – 1885. М., 1970. С. 407).*

Но Софья Берс (в замужестве Толстая), жена писателя, в то же самое время развивает собственный издательский проект — готовя, будто назло мужу, очень *не* народное, дорогостоящее, 5-е по счёту, Полное собрание его сочинений и ожидая от этого издания прибылей для продолжения роскошной московской жизни её драгоценных берсят.

Впрочем, инициатива этого издания — как уступки финансовым страхам жены и её желаниям жизни в Москве и некоторой личной творческой активности — принадлежала Льву Николаевичу. Наш читатель наверняка помнит, как Соничка жаловалась на грозящее безденежье в письмах к мужу от 23 и 25 октября 1884 года:

«Как ты ни утешаешь, что деньги будут, я никак не соображу: откуда же? А расходы в Москве при самой усиленной экономии так велики, что просто беда, в ужас приводят всякий день. – Конечно, вместе с тобой всё будет легко, если ты будешь помогать, и с добротой помогать мне во всём» *(ПСТ. С. 262).*

«Помогать во всём» — на деле значило: доставать деньги на продолжение московской жизни, с тратами тысяч рублей – не на одни “нужды” городского усадебного бытия, но и на барские развлечения детей. Старший сын, Сергей Львович, в мемуарах «Очерки былого» откровенно признаёт, что:

«Мать увидала, что если не будут приняты экстренные меры, то ей и её детям придётся сильно сократить свои расходы и даже отказаться от жизни в Москве» *(Толстой С.Л. Очерки былого. Тула, 1965. С. 158).*

Этот, реальный, мотив денежных жалоб жены, конечно, сознавал и Лев Николаевич, отвечавший Соне в письме от 24 октября 1884 г. буквально следующее:

«А если нужны будут деньги, то поверь, что найдутся (к несчастью). Можно продать мои сочинения […]; можно продать <мои> «Азбуки», можно лес <в Ясной Поляне> начать продавать. К несчастью, деньги есть и будут, и есть охотники проживать чужие труды» *(83, 436).*

До этого Толстой так же обеспечивал семейство во многом именно продажами леса в родной усадьбе и собственных сочинений. При этом издание «Азбуки» и «Книг для чтения» он поручил по доверенности мужу своей племянницы – Н. М. Нагорнову. Теперь, в 1885-м, доверенность была у Нагорнова отобрана. Одновременно Софья Андреевна пустила в ход и ранее полученную от мужа доверенность на

ведение всех имущественных дел, решив более не продавать права издателям, а приступить самой к изданию сочинений Л. Н. Толстого.

«Мастер-класс» по ведению издательского бизнеса ей охотно дала вдова Ф. М. Достоевского, Анна Григорьевна, всего за два года слупившая с поклонников писаний её мужа целых 67 тысяч! Специально для консультаций Софья Андреевна ездила к ней в Петербург в феврале 1885-го. Дело вскоре “завертелось”. С. Л. Толстой вспоминает:

«И вот во флигеле хамовнического дома открылась контора издания и поселился артельщик, а во дворе в сарае были сложены несколько сот экземпляров издания для текущей продажи. Отцу это было крайне неприятно, и он морщился, когда проходил мимо вывески “Контора издания сочинений Л. Н. Толстого”, но в дело не вмешивался» *(Толстой С. Л. Указ. соч. С. 159)*.

Флигель во дворе дома в Хамовниках,
где размещалась «Контора изданий»

И тогда же Соничка взвалила на себя титанический труд вычитки и правки корректур всех 12-ти томов нового, пятого издания прижизненного собрания сочинений мужа. Конечно, Лев Николаевич активно помогал ей, читая интересовавшие его части готовящегося издания.

Сама Софья Андреевна о своих издательских хлопотах весны-лета 1885-го вспоминала, в частности, следующее:

«…Я запряглась на пять месяцев работы чтения корректур. Это меня страшно утомляло, и я чувствовала, как это пагубно влияло на мои глаза; но раз начав что-либо, я любила довести до конца.

Печатались сочинения в двух типографиях: Мамонтова и Волчанинова. Отношения мои с хозяевами и служащими в типографиях были всегда самые хорошие и дружеские. И сколько лет после я занималась делами и печатанием, и всегда встречала всюду готовность быть мне полезными и исполнить всё наилучшим образом. В течение 20-ти лет, как я занималась всякими делами, у меня не было *ни одной* неприятности ни с кем; и только в сельском хозяйстве и в народе я встречала и воровство, и грубость, и хищничество. И я люблю деревню, как природу, но не как людей» *(МЖ – 1. С. 475 - 476)*.

Трудно верить этим заключительным “откровениям” Софьи Андреевны о гармоничных отношениях с типографами, поставщиками бумаги и книгопродавцами – хотя бы потому, что на другие страницы своих мемуаров, находясь, видимо, в ином настроении, она изливала жалобы и на их нечестность и подлость… Но в городском, «дачном» восприятии ею Ясной Поляны – не приходится сомневаться.

Вот и в этом, 1885-м, году, в лучшие дни цветущей весны, 16 мая, она выезжает с мужем и детьми – намеренными именно *любоваться природой* и *развлекаться*. Сергей Львович остался в Москве на несколько дней для окончания своих дел с университетом, после чего прискакал в Ясную верхом на лошади, а следом прибыли и жаждавшие развлечений его товарищи…

Напомним нашему читателю, что в эпистолярном интимном диалоге Льва и Сони уже с 1883 года появилось *третье лицо*: Владимир Григорьевич Чертков, человек аристократичный и богатейший, и оттого охотно принятый в доме Софьей Андреевной, а по декларированным им христианским убеждениям – особо близкий и дружественный Льву Николаевичу. Черткову Толстой стал доверять в письмах то, что *уже* не мог доверить жене. Так, например, 17 мая 1885 г. о переезде в Ясную, своих чувствах по этому поводу и в связи с семейной атмосферой он изливает ближайшему другу такие откровения:

«Я в деревне спасаюсь от недовольства формами нашей жизни только работой. В деревне эта неправильность нашей жизни чувствуется мне больнее — особенно нынешний год. — Ничто так не поддерживает меня, как мысль о том, что надо делать не для людей, а для Бога.

[…] Я в деревне более одинок, чем в Москве. И в этом много есть хорошего. — В одиночестве проверяешь себя лучше. Издание и писание для народа в одиночестве только ещё больше получило для меня значения» *(85, 207 – 208)*.

«Более одиноким» в деревне Лев Николаевич чувствовал себя потому, что в Москве его часто посещали духовные единомышленники, в Ясной же он был окружён только не понимавшими его семейными. Игры в “почтовый ящик”, в шарады, прогулки, катание на лодке, охоты… В них участвовали не только Толстые, но традиционно присоединившаяся к ним близкая родня — Кузминские. На фоне такого безмятежного времяпрепровождения выделялись только супруги. Лев Николаевич снова “соблазнился” физическим трудом в поле — пахотой и косьбой… Софья Андреевна дела хозяйственные потеснила всё то же вычиткой корректур для своего издания — которому именно в этот период радовавшийся на первые копеечные книжечки «Посредника» Лев Николаевич совершенно *не мог* сочувствовать.

Будто в насмешку над Толстым, в Ясной Поляне летом того года поселился очень фанатический, по внешности, его последователь — украинский еврей Исаак Борисович Файнерман (1862 – 1925). Сперва он работал пастухом общественного стада, пробовал осваивать портняжное ремесло, а позднее – намеревался стать в Ясной Поляне учителем, для чего, к ужасу и отвращению Софьи Андреевны, соглашался перейти из иудаизма в православие.

С этого времени молодой еврей целый ряд лет старался как можно больше говорить с Толстым и теми членами его семьи, которые были согласны его терпеть. Толстому он никогда не был особенно симпатичен. Однако впоследствии это не помешало Файнерману издать (под псевдонимом Тенеромо) целую серию не правдивых “воспоминаний” о якобы откровенных и дружеских разговорах с Толстым, а после его смерти, паразитируя на скандальной теме, поучаствовать в съёмках так же не очень правдивого фильма «Уход великого старца».

Толстовцем, однако, этот хитрый украинский жидок выказал себя *очень* убедительно — как раз так, чтобы “заработать” презрительное отношение *прочих* членов семьи Льва Николаевича, а значит — увы! — его снисходительность и даже некоторые симпатии. Как-то Льву Николаевичу пришло в голову поручить начинающему портняжке Файнерману скроить для него рабочие панталоны — дабы Софья Андреевна могла, сэкономив силы и время, только сшить их на машинке:

«И вот Файнерман скроил и совершенно испортил. — вспоминает жена Толстого. — Я была очень недовольна, сердилась, приходилось всё перекраивать, вставлять клинья и исправлять ошибки еврея». Дети Толстых не преминули посмеяться в «почтовом ящике» над неумелым толстовцем, остроумнее других — старший сын Сергей в стихотворении, оканчивавшемся так:

«Я басней этой вам хочу сказать,
Что, если панталоны надевать,
Иметь, друзья мои, в виду,
Их не давать кроить жиду».

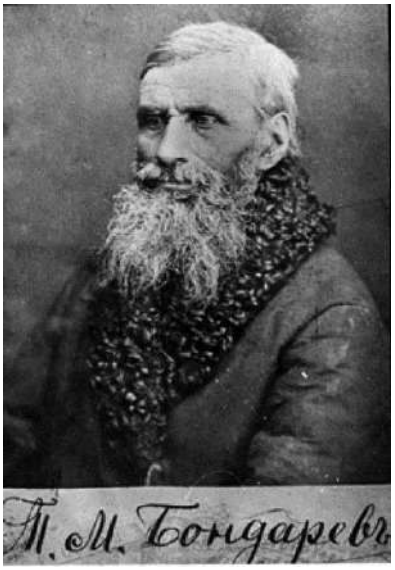
И. Б. Файнерман (псевд. Тенеромо). Нач. 1890-х гг. (?) Полтава. *Фотография Б. Л. Варшавского*

И за Файнерманом закрепилась унизительное прозвище: «панталонный жид» *(МЖ – 1. С. 479)*. Конечно, он был не против: вероятно, даже юродствовал этим своим униженным положением. Вот что о нём вспоминает возмущённая Софья Андреевна:

«Этот Файнерман долго прожил в Ясной Поляне. …Был хвастун, наглый, неискренний. Он потом выписал свою жену с дочкой; родилась и ещё девочка; и он на основании новых принципов отнимал у семьи всё, до последнего куска хлеба, отдавая будто бы беднейшим, сам питался у нас или ещё у кого-нибудь и всячески подделывался к Льву Николаевичу» *(Там же)*.

Причина неприязни Софьи Андреевны, жены и матери, здесь — особенно понятна: в нищем семействе Файнермана она с ужасом видела живое воплощение собственных страхов. Обнищание семьи, голод, потеря дома, дурная репутация… Всё это связывалось в её голове с христианскими практиками мужа. И все эти страхи, с высоким вероятием, *использовал* хитрый еврей — дабы “духовно” сблизиться с Толстым, сохранявшим конфронтацию с мировоззрением и образом жизни жены и детей.

Появились в этом году в жизни Л. Н. Толстого и искренние друзья и единомышленники. Среди них — Александра Михайловна Калмыкова, написавшая черновую версию радикально переработанного Толстым очерка о Сократе и вызвавшаяся преданно и, главное, бескорыстно служить делу «Посредника». А ещё — крестьянин-сектант (субботник) Тимофей Бондарев, религиозно обосновавший и воспевший в сочинении «Трудолюбие и тунеядство» столь актуальный для Толстого в эти годы личный земледельческий труд — как обязанность для каждого.



В Ясной Поляне Толстой, помимо собственных творческих работ и участия в правке корректур, работал с крестьянами на пахоте, косьбе сена и ржи, на лесоповале. В это же лето, вспоминает Софья Андреевна, он «начинал поговаривать о вегетарианстве и избегать есть мясо» *(МЖ – 1. С. 480).* Соничку пугали и непосильный физический труд, и непродуманная диета мужа — и не напрасно: в середине лета он две недели страдал обострением хронического заболевания печени. Не исключено, что спровоцировано оно было именно необдуманными гастрономическими «экспериментами».

До отъезда с детьми в Москву, в августе, Софья Андреевна навестила ближайшего и любимейшего — после мужа — мужчину в своей жизни: тихо умиравшего князя Леонида Дмитриевича Урусова. В то время он сам выехал из Крыма — с последним визитом к родне, в Дятьково, где и состоялась встреча. Софья Андреевна вспоминает о ней в «Моей жизни»:

«Приняли нас радушно и всё время было там очень приятно. Но вид умирающего друга переворачивал всё моё сердце. Когда я вошла в комнату, приготовленную для меня, на столике у моей кровати стоял великолепный букет из роз, тарелка с оранжерейными персиками и сливами, стклянка с великолепными, парижскими духами “Portugal” и записка карандашом “Последнее приношение от старого друга”» *(Там же. С. 481)*.

Семья Леонида Дмитриевича со всею полнотой понимания старалась как можно больше оставлять многолетних любовников наедине – для душевных интимных бесед. Во время последней из них, как вспоминает Соня:

«…Он взял мою руку и, целуя её, стал благодарить и за прогулку вместе, и за всё, что я дала ему в жизни. Под конец он прибавил, что желает мне счастья и, главное, оставаться всегда такой, какая я есть» *(Там же. С. 482)*.

«Что-то болезненно оторвалось от сердца на всю жизнь, когда мы расстались» — вспоминает тут же Соничка. 23-го сентября 1885 года, как раз в годовщину Сониной с Львом Николаевичем свадьбы, Урусов скончался… Задыхаясь от слёз, она изливает горе ближайшему из родных людей, сестре, Тане Кузминской:

«Какая-то стала ужасная пустота в сердце; одним другом ещё на свете меньше, и что-то неоконченное осталось в моих отношениях с ним» *(Цит по: Там же. С. 483)*.

Анализируя причины растущей в этом же, 1885-м, году напряжённости в отношениях Софьи Андреевны и Льва Николаевича, нельзя сбрасывать со счетов, как одну из ряда причин, и эту тяжёлую утрату Соничкой многолетнего духовного и интеллектуального партнёра и друга, платонического любовника…

Но вернёмся теперь немного назад, в лето 1885 года.

В середине августа Софья Андреевна выезжает в Москву «по самым разнообразным делам», как издательским, так и семейным. К последним относилась переэкзаменовка двоих старших детей, запустившего учёбу Ильи и переболевшего Льва. К этим дням, а именно с 16 по 21 августа, относится очередной Эпизод переписки супругов

Толстых, к презентованию и анализу которого мы и приступаем ниже.

Так получилось, что первое (во всяком случае, из опубликованных) письмо этого периода Толстого жене датируется исследователями только 17 августа. При этом, хотя Софья Андреевна известила о своём прибытии в Москву днём раньше, её письмо не было ещё получено Толстым при писании письма от 17 августа. Поэтому, немного отступая от хронологии в пользу диалогичности, мы приводим его первым.

«Жалею, что вчера не написал тебе, хотя Таня и сказала, что ты не велела. После тебя я пошёл с моими гостями за грибами. Потом читал им статью <«Так что же нам делать?»>. Приехала <Мария Михайловна> Халевинская <земский врач. – *Р. А.*>. Обедали все вместе. После обеда Серёжа собрался таки ехать в Пирогово с Трескиным. <*Владимир Владимирович Трескин* (1863 — 1920), «сын московского нотариуса, приятель моих детей. В то время он взялся помочь держать корректуры». – *Прим. С. А. Толстой.*> Ему хотелось ехать, и я его успокоил, что корректуры <для Собрания сочинений. – *Р. А.*> будут все сделаны без него. И будут сделаны исправно.

Гости совсем одолели — к счастью одного сорта: <князь Дмитрий> Оболенский, Халевинская, Файнерман и др. Сидели наверху, читали вслух; Халевинская уехала прежде, потом Оболенской. Дома всё вполне благополучно, — т. е. все дети и нравственно, и физически здоровы.

Очень устал: лёг поздно, встал рано. Утром, оглядев весь народ, который продолжает быть благополучен, пошёл за грибами с Чертковым и Бирюковым. — Тебя не бранил, и не могу представить, как это бы можно делать. Подходя к дому, увидал генеральский мундир. — Это Бестужевы два брата — наш и профессор с одной <своей дочерью> Катюшей.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Василий Николаевич Бестужев-Рюмин (1835 – 1910), племянник декабриста Михаила Павловича Бестужева-Рюмина, генерал-лейтенант, в 1876—1889 гг. был начальником оружейного завода в Туле. Бывал в Ясной Поляне с женой Марией Филипповной, рождённой Левдик, и дочерью. — Брат его, *Константин Николаевич Бестужев-Рюмин* (1829 – 1897), русский историк, профессор Петербургского университета, с 1890 г. — академик. В 1878 – 1882 гг. заведовал

высшими женскими курсами в Петербурге, которые обычно назывались «Бестужевскими».]

Обедали все наши, после обеда переливанье из пустого в порожнее. Чертков смешил молодёжь мнимым спиритизмом. Вот уехали Бестужевы, и я тебе пишу. У Алёши насморк стал к вечеру. Его не будем выпускать завтра.

Корректур нынче не было. Вчерашние перечли, поправили и отправили.

Нынче девочки ездили в церковь узнать о крещении <жида Файнермана>, и завтра едут крестить. Крестить будет наша Таня. Ольга Николаевна протестантка. <Имеется в виду гувернантка детей Кузминских Ольга Николаевна Тиблен. – *Р. А.*> M-me Seuron тоже, говорят, нельзя; а большая Таня, — я боюсь, как бы от Саши <Кузминского> не было попрёков, так как он выразил несочувствие.

Теперь «I hope». <Толстой иронизирует над часто встречавшейся в его письмах ещё 1860-х гг. и давно отмеченной С.А. Толстой англ. фразой «I hope», т. е. «я надеюсь». – *Р. А.*>.

I hope, что ты не будешь себя мучать, не будешь приписывать важности ничему, кроме того, чтобы тебе было нравственно хорошо. Поцелуй мальчиков и себя. Жду известий о всех вас» *(83, 505 - 506)*.

К сожалению, выраженной в заключении письма надежде Льва Николаевича не суждено было осуществиться.

Как мы упомянули выше, сразу по прибытии в Москву, вечером пятницы, 16 августа, Софья Андреевна пишет мужу своё первое в данном эпизоде переписки письмо, такого хорошего содержания:

«Вот мы и приехали в Москву, час тому назад. Экзамены завтра, в понедельник, и во вторник. Конечно, я дождусь конца и тогда приеду домой. Ехали мы с Сухотиным не скучно; болтали. […] По новому уставу университетскому все должны быть 20-го августа, а то исключаются из университета; вот и потянула вся молодёжь по дорогам к центру.

Пришёл Иван Михайлович <домашний учитель И. М. Ивакин. – *Р. А.*>, не хотел брать так много вознаграждения. Пошли combats de générosité [*фр.* борьба великодушия]; кончилось тем, что я ему почти насильно дала 100 р. и, поблагодарив его, просила меня не огорчать дальнейшими разговорами. Он и завтра придёт. В Поливановскую гимназию заезжала я сама; завтра в 6 часов вечера мои малые туда пойдут. Они очень что-то заробели.

В доме чисто, убрано, окна выставлены и вымыты, хоть все сейчас переезжай, очень хорошо и приветливо. Я сплю у Тани, а два мальчика в Лёлиной комнате с Муськой. Мне одной жутко, я боюсь, что спать от страха не буду.

Из Ясной уехать всё-таки так было грустно, что находит сомнение, да нужно ли всё это делать, переезжать, держать экзамены, жить в Москве, и проч.

Писать больше нечего, до завтра. Лёвочка, тётя Таня и Таня, и все — когда будете обо мне думать, то не вспоминайте обо мне, когда я сердита, а думайте о тех редких минутах, когда я бываю добрая, потому что я вас всех очень люблю. — Ещё не забывайте моих малышей и здоровьем, и поведением, ещё целую всех вас и прощайте.

Всё грязно и смято, канцелярия моя ещё в беспорядке» *(ПСТ. С. 313 – 314)*.

Ответ Льва Николаевича на это письмо Сони, 18 августа:

«Пишу только, чтоб сказать, что твоё письмо меня умилило, Таня всё хорошо написала. Она очень мила и очень хорошо, спокойно и добро себя держит. И всё у нас хорошо, кроме насморков. — Как-то у вас. Завтра хоть отчасти узнаем про мальчиков и про тебя. Пожалуйста, будь у доктора. А то после будешь сама себя лечить или сама себе вредить.

Вечером сошлись в кабинете: Андрюша, Миша Кузминский, Файнерман, Бирюков, Чертков и я; и я предложил каждому рассказать историю, начиная с младших. И все, начиная с Андрюши до меня, рассказали. Всё в темноте — очень хорошо было. Вечером читали вслух «Катакомбы». <Исторический роман Евг. Салиас из времён раннего христианства. – *Р. А.*> А теперь, после чая, собираемся расходиться. Я устал, почему-то в нервном размягчении. — Крестины <жида Файнермана> сошли благополучно. Только В[еликая] К[нягиня] возмущена. <Так в доме Толстых в шутку называли гувернантку, мадам Сейрон. – *Р. А.*>. До свиданья. Л. Т.» *(83, 507)*.

Толстой в начале этого письма упоминает, что полученное им письмо от Сони *умилило* его. Всезнающий редактор 83-го тома Полного (Юбилейного) собрания сочинений Л. Н. Толстого (а вышел том под общей редакцией не кого-нибудь, а В. Г. Черткова) поясняет в примечаниях, что умилило Льва Николаевича именно вот это признание жены:

«Из Ясной уехать всё-таки так было грустно, что находит сомнение, да нужно ли всё это делать, переезжать, держать экзамены, жить в Москве, и проч.».

Но злая память Софьи Андреевны-мемуаристки подвела её. В «Моей жизни» она упоминает, что мужа, по его словам в ответном письме, «умилило» её письмо только от 13 октября 1885 г. (текст его мы приведём ниже, в соответствующем месте), написанное в явно расстроенном состоянии сознания *(МЖ – 1. С. 484)*. Однако в письме, которое С. А. Толстая имеет в виду, наличествует только благодарность за письмо от 13-го и нет ни слова об «умилении» или подобных чувствах в его отношении *(см. 83, 512 - 513)*. В следующем письме, от 16 октября, Толстой называет это же письмо жены «очень приятным», «дружелюбным», хотя и «не спокойным» и так же не упоминает об «умилении» *(Там же. С. 513 – 514)*. Таким образом, совершенно ложно, несправедливо то впечатление, которое Софья Толстая – мемуаристка стремится внушить читателю: что-де муж её был способен, по свойству многих жестоких и чёрствых людей, умиляться, реагируя на чужие, высказанные обиды и выплаканные страдания. Мы видим, что *единственный раз* в переписке 1885 года Толстой умилился, читая вполне выдержанное, спокойное письмо жены. Умилился тому, как *торжествует*, вопреки стойкости суеверия, *Божья правда-Истина*: как Соня сама, и уже не в первый раз, раскаивается в том, что выбрала для себя и детей жизнь в Москве – то есть путь рабства у мира и мирского обмана.

Заметим тут же, что в те же дни, 13 –16 октября, Лев Николаевич, по высокой вероятности, вспомнил и эти слова из доброго Сонина письма от 16 августа:

«…Когда будете обо мне думать, то не вспоминайте обо мне, когда я сердита, а думайте о тех редких минутах, когда я бываю добрая, потому что я вас всех очень люблю».

Редактор не отметил эти слова, но то, что они так же умилили благородное Львиное сердце великого мужа – вне сомнений! И сердце шепнуло памяти – в те грустные дни октября, когда Соня отправила, перед письмом от 13-го, какое-то ещё *очень* нехорошее письмо – а на следующий день раскаялась в его содержании… и написала об этом в письме от 13-го. Толстой в ответ уведомил, что-де *то*, нехорошее письмо затеряла почта, что оно не дошло… Вряд ли это правда, но это – *добрая*, нужная Соничке ложь:

«…ДУМАЙТЕ о тех редких минутах, когда я бываю добрая, потому что я вас всех очень люблю».

«…ПОТОМУ ЧТО Я ВАС ВСЕХ ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ!..»

Любовью – за любовь! Толстой подумал – и, вероятно, сразу уничтожил *то* письмо. «Скрой чужой грех…»

Подробнее на этом эпизоде мы остановимся, анализируя переписку супругов этих дней.

Денежно-издательская суета в сочетании с заразительным стрессом ожидавших экзамены детей — воистину были самыми неподходящими для всегда душевно сверхчуткой Софьи Андреевны. По дальнейшим письмам мы сможем проследить, как её относительно спокойное состояние сменилось тем нервическим, жертвою которого она уже много лет до этого и много раз становилась сама и, к сожалению, привыкла делать и супруга.

Вечер, 17 августа. Отчёт о ещё одном дне в плену мирских суеты и рабства:

«Милый Лёвочка, встала поздно, ночь не спала, жутко и беспокойно. Пили кофе втроём, поехала в банк. Там почему-то мне казалось, что <оставалось> 5 тысяч, оказалось только 3. Поехала <на бумажный склад> к Кувшинову извиняться, что больше трёх тысяч теперь дать не могу, просила до октября подождать. Ещё нужно будет за бумагу около 7 тысяч, и за печать около 8-ми. Всё это озабочивает меня ужасно. Для жизни же денег осталось только в Туле 2 тысячи и 2 заёмных же у мама́. Встретила у Кувшинова <книгоиздателя> В.

Н. Маракуева. Жалеет, что «Два старика» не пропустила цензура. Говорит: «можно ли было дать цензору <К. Н.> Леонтьеву, он заведомо пикируется с Львом Николаевичем и нарочно не пропустил, а надо было представить *Егорову*». Может быть, эти сведения пригодятся Владимиру Григорьевичу <Черткову>.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Константин Николаевич Леонтьев (1831 – 1891) — писатель и крайне консервативный философ. Автор статей «Страх Божий и любовь к человечеству, по поводу рассказа гр. Л. Н. Толстого “Чем люди живы”» и «Наши новые христиане», в которых развил концепцию о “розовом”, то есть ненастоящем, еретическом христианстве, явившем себя в новейших сочинениях Л. Н. Толстого и в публичной Пушкинской речи Ф. М. Достоевского. С 1880 г. — цензор Московского цензурного комитета. *Очень злой* на писателей и публицистов, так как служил из-за необходимости зарабатывать себе на пропитание после серии собственных литературных провалов и неудач. Отдельную и стойкую неприязнь, действительно, имел к христианскому проповедничеству Л. Н. Толстого. *Николай Георгиевич Егоров* (1839 – 1902) так же служил цензором в том же ведомстве. **]**

Потом поехала за покупками по поручению Урусовых, Тани и miss Gibson, и своим <делам>. Уныло и тяжело ездить по Москве. По делам книг и к Иванцову-Платонову ещё не успела, поеду в понедельник по делам, а завтра к Иванцову-Платонову.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Александр Михайлович Иванцов-Платонов (1835—1894), протоиерей, богослов и проповедник; профессор Московского университета по церковной истории. Человек довольно своеобразных и откровенно либеральных воззрений – как на политику, так и на религию. Что-то вроде предтечи современного нам и очень популярного священника Якова Кротова (но не пиздабол в интернете, как Кротов, а действительно умный профессор и богослов). С. А. Толстая решила воспользоваться умом и авторитетом Иванцова-Платонова для цензурного редактирования, с перспективой проведения через цензуру, ряда религиозно-общественных писаний Толстого. Откликнувшись на просьбу С. А. Толстой, Иванцов-Платонов изложил своё мнение и примечания к трём трактатам Толстого: «Исповедь», «В чём моя вера» и «Так что же нам делать?». К сожалению, философ и цензор Константин Леонтьев был *тоже очень умён*, да к тому же успел с начала 1880-х въедливо изучить всю «ересь» толстовских идей – так

что ухищрения Иванцова-Платонова не помогли. В Ясной Поляне сохранились оттиски всех трёх статей Толстого с примечаниями Иванцова-Платонова, не пропущенные цензурой.]

Пришла Марья Александровна Шмидт (мормонская жена) и насмешила меня ужасно. Мы с Лёлей ей сказали, что ты в недоуменьи, о чём она волнуется. Тут начались ох и ох, и я не спала, и я не ела, и ах, не говорите!

[**ПРИМЕЧАНИЕ**.
«Мормонская жена» — здесь в значении «сектантка». Мормоны — американские сектанты («святые последнего дня»), признававшие многожёнство и культивировавшие институт «духовных жён»; отсюда шутливое прозвище М. А. Шмидт, крайне радикальной последовательницы Л. Н. Толстого, отказавшейся во имя религии от личной жизни, семьи и замужества. – *Р. А.*]

Мария Александровна Шмидт

Оказалось, что ты, уезжая, на вокзале сказал: «я рад, что всё исполнил, всё исполнил». А она повторила: *всё исполнили*? И ты, будто, строго и пристально на неё посмотрел и её холодом обдало, и с тех пор она несчастна. «И как я смела, Софья Андреевна, и как я могла сказать Льву Николаевичу: всё исполнили!»

Она собиралась сегодня в Ясную, и я отговорила её ехать именно теперь. Она просит IV отдел большого сочинения, или «Религия и государство», кажется, для переписыванья. Искали мы с ней в шкапу и ничего не нашли.

[**ПРИМЕЧАНИЕ.**
В начале 1880-х гг. Толстой называл «большим сочинением» то, которое постепенно распалось на три части, или “отдела”: 1) «Исповедь», 2) «Исследование догматического богословия» и 3) «Соединение, перевод и исследование 4 Евангелий». “Четвёртым отделом” М.А. Шмидт и некоторым другим толстовцам представлялась статья «Церковь и государство», которую первоначально Толстой не планировал публиковать как отдельную статью и текст которой, в переработанном виде, включил впоследствии в «Исследование догматического богословия». Историю этой статьи мы рассказали в одной из наших предшествующих публикаций (см.: https://www.proza.ru/2016/06/12/1386). – *Р. А.*]

Обещала она мне «Вестник Европы», статья о тебе Данилевского, выражающего недоуменье и недовольство, что цензура не пропустила твои последние произведения. Я её привезу.

[**ПРИМЕЧАНИЕ**.
Здесь у Софьи Андреевны неточность: речь идёт не о самой статье Данилевского, а о *статье по поводу неё*. Как явствует из следующего её письма (см. ниже), М. А. Шмидт принесла С. А. Толстой вырезку из августовской книги (№ 8) «Вестника Европы» — статью «Из общественной хроники» [К. К. Арсеньева], в которой на стр. 887 – 892 идёт речь о запрещённых богословских сочинениях Толстого, причём автор отмечает, что в защиту Толстого и свободного слова «выступает консервативный автор «России и Европы» в благонадёжнейшем журнале — «Известиях С.-Петербургского благотворительного общества» — сам Николай Яковлевич Данилевский (1822 – 1895). – *Р. А.*]

Обедала я одна, мальчики не дождались. В 6 часов пошли они в гимназию; учитель, который должен был экзаменовать из греческого и латинского, — заболел, и экзамен был только немецкий Лёле, и больше ничего. Лёля в нервном беспокойстве, всё спрашивает «ну что же мне делать, если я провалюсь? А я ведь провалюсь!» Илья беззаботно весел. Экзамены в понедельник.

Пришёл Николай Николаевич Ге-младший. Он переехал совсем в Москву и с своей маленькой дочкой (Парасей). У них в хуторе что-то не ладно: ссоры, неприятности! Он очень грустен, хочет жить своим трудом, рисунками, девочку отдать в школу, приют или куда-нибудь; дома её мать с отцом нравственно, видно, истерзали. Он говорит: «эту девочку, как кеглю, взяли и били ею друг друга по голове, и я этого видеть не мог».

Видно я во вторник ещё не приеду, нельзя будет. Как-то вы поживаете, о вас ещё нет известий.

Целую всех, ещё напишу завтра» *(ПСТ. С. 314 - 316).*

Письмо, как мы видим, *чрезвычайно* информативно – при всей видимой сжатости. Вполне можно ощутить домашнюю атмосферу хамовнического дома Толстых, и даже предсказать, что ничего не выучивший, ленивый и беспечный Илья Львович опять провалит экзамены, а тревожащийся Лев Львович – сдаст их…

Интересны и две персоналии единомышленников Толстого во Христе, две такие разные судьбы, сведённые в этом письме. Мария Шмидт будет до конца дней счастлива в своей аскетической и трудовой жизни “хуторком” – всегда неподалёку от обожаемого духовного учителя, Льва Николаевича Толстого… Что же касается Николая Ге (1857 – 1940), старшего сына друга и тоже христианского единомышленника Толстого, художника Н. Н. Ге (1831 - 1894) – его хуторская и крестьянская жизнь, отношения с народом, как мы видим, *уже* не задались. Она так и не сложится… что, как мы помним, предсказала ему, понаблюдав за ним, проницательная, умнейшая Софья Андреевна. После смерти отца в 1894 году несчастный сын отречётся от Христа и от Толстого, пожалеет о брошенной в 1884 году, под влиянием проповеди Толстого, учёбе в университете, а в 1901 году, в последний раз навестив Льва Николаевича в крымской Гаспре – навсегда покинет ставшую ненавистной Россию, приняв французское подданство и переехав жить в Швейцарию.

На письмо жены от вечера 17 августа Толстой по обыкновению откликнулся сразу, в день получения — 19 августа:

«Вчерашнее письмо, т. е. полученное нынче, уж расстроенное и озабоченное, чего я и боялся. Пожалуйста, душенька, не смущайся тем, что ты называешь важными делами, — а я пустейшими из пустых дел — денежными. Так всё это устроивается независимо от нас, и так мы далеки от нужды. Советую тебе выпустить отпечатанное с подпиской. Если что не доделаешь, не заботься, я могу съездить. —

Чертков с Бирюковым остались нынче утром, до ночи. Я с ними и пишу это письмо. Я его <Черткова> просил поговорить с тобой о подписке и помочь через <книгоиздателя и владельца типографии> Сытина, всё это знающего. Они очень милы и, кажется, для всех не тяжелы — просты.

У нас всё благополучно, только грип у Андрюши и Алёши. Они оба веселы и днём почти не кашляют, а ночью вчера кашляли с лаем; но нынче, мне кажется, лучше. Их не выпускали. Очень холодно. Грип — поветрие, и я, и Серёжа кашляем. [...] Что экзамены? И что твоё здоровье. Прощай, душенька, целую тебя и детей» *(83, 508)*.

Добрые, утешительные слова мужа, к несчастью, били в приведённом письме отчасти мимо цели: Соня, много больше, чем о деньгах, переживала в эти дни об учёбе, экзаменах детей. Напомним читателю, что нерадивость сыновей в учёбе жена и мать не совсем справедливо относила к влиянию отца с его критическими настроениями в отношении всего казённого образования. Оттого утешения мужа в этот раз мало подействовали на Соничку, и беспокойство её, катализируемое неприятностями семейной жизни, увы, только возрастало.

Вот письмо её от 18 августа, писанное накануне экзаменов сыновей, ещё довольно спокойное, но при этом – со стереотипным, характерным для людей эгоистического склада, недовольных своей жизнью, зачином:

«Ещё день прошёл, бесполезный и скучный.

Мальчики до того привыкли болтаться, что сегодня, вместо того, чтоб заняться накануне экзаменов, прошатались из угла в угол, и точно с намерением ровно ничего не делали, только приводили меня в отчаяние.

Утром я поехала купить кое-что съестное (воскресение всё заперто); приехала — застала двух классных дам <О. А. Баршева и М. А. Шмидт, религиозные единомышленницы Л. Н. Толстого, в то время ещё работали воспитательницами в Николаевском сиротском институте. – *Р. А.*>; они привезли мне две статьи о тебе, Лёвочка. Одна вырвана из «Вестника Европы», другая откуда-то переписана. В последней сказано, что в Париже «Ma Religion» <«В чём моя вера?»> имеет большой успех, и образовалась целая секта «толстоистов», которые проповедуют твоё учение. <К этим строкам письма С. А. Толстая с удовольствием сделала примечание, что книга «В чём моя

вера» «переведена на французский язык кн. Леонидом Дмитриевичем Урусовым». – *Р. А.*> Жаль, что не переведены другие две статьи, — было бы более цельное впечатление и пониманье. Статьи эти сейчас прочту и привезу с собой. Классные дамы принесли то, с чего переписывали: «Закон и Государство» <Правильно: «Церковь и государство». Ранняя, ещё 1879 г., нецензурнейшая статья Л. Н. Толстого. – *Р. А.*>, и просили дальнейшее, которое не знаю, где взять.

Потом поехала к <цензору> Иванцову-Платонову. Приняла его дочь, 19-ти лет, ученица классической гимназии Фишер, и такая славная девушка, умница. Потом пришёл и отец. Он, видно, почти ничего не сделал, всё отговаривается, что нет времени, но настаивает на своём мнении, что надо напечатать непременно. Я просила поспешить сделать свои замечания, и он обещал. Упомянул он и о большом сочинении, говорил, что хорошо бы и оттуда сделать выборки. Я его, — je l'ai pris au mot, [*фр.* поймала на слове] но он стал усиленно отговариваться, что теперь не время, и он никак не может, так занят.

Говорил он, что Победоносцев заказал в газеты разным лицам статьи, обличающие тебя и твоё учение. Но <Иван Ильич> Соловьёв, законоучитель Катковского лицея, такую написал глупую статью, что жалко даже его, как он осрамился своим непониманием.

Много он говорил мне о том, что надо изменить в твоих статьях, чтоб сделать их возможными для печати; о предисловии твоём, будто бы необходимом; о том, что пропустить, и как изменить заглавия и проч. Печатать он советует без цензуры, но заручившись вперёд устным обещанием <Е. М.> Феоктистова <В то время Начальник главного управления по делам печати при МВД, т. е. главный цензор России; в молодости – друг семьи Берсов. – *Р. А.*> — не запрещать. Советует непременно, набрав и напечатав статьи, в их окончательном виде послать Феоктистову и непременно самой ехать в Петербург, и *лично* хлопотать. Советует поместить непременно последние рассказы, как выражение в образах учения твоего. Обо всём этом переговорим лично, всего не напишешь. Но хорошо, что я у него была, а то затянулось бы Бог знает ещё на сколько. […]

Приехала домой; мы втроём пообедали, и я ушла в кухню, сварила уксус, налила сливы и китайские яблочки уксусом, сварила варенье, и вообще соблюла *анковский*. Мы с Варварой Петровной и <кухаркой> Фаддеевной зато приятно провели время. Пришёл в кухню *бесконечно-любимый* Количка Ге <«Так отзывался отец Н. Н. Ге о своём сыне». – *Прим. С. А. Толстой.*>, сочувствовал нам. Пришли мои мальчики, и, несмотря на то, что я их усиленно гнала заниматься, они усиленно помогали есть сливы. Потом они ушли в дом и так смешили

Количку, что он совсем от них ошалел и ушёл. Тогда в окне кухни появился дядя Костя <Ислáвин>, он сегодня приехал из Пирогова. В кухне друг другу всё рассказали; потом пили чай и разошлись. Илья и Лёля ушли повторять наконец свои науки, а я, вот, пишу.

Завтра утром поеду по типографиям, сличу счёты приёма и отпуска бумаги; поеду к <книгоиздателю> Салаеву, узнаю, можно ли объявить подписку; поеду, получу сколько-нибудь денег с книг и буду волноваться об экзаменах.

Что у Алёши насморк — это не беда, но у него горло надо беречь, и вообще теперь опасна простуда для всех. Что же гости-то как одолели! Никогда так не было. Я ещё не знаю, когда приеду. Лёля всё ко мне ютится, его жаль оставить, хотя он очень неприятен, суетлив и ленив. Как поживаете все, что Кузминские, тётя Таня, дядя Саша? Как моя Таня исправляет должность матери и хозяйки? Очень приятно было получить письмо и завтра жду с нетерпением. Целую всех.

Соня» *(ПСТ. С. 317 - 318)*.

О следующем письме супруги Л. Н. Толстого, от 19 августа, мы можем только строить предположения: оно было написано и отослано Льву Николаевичу, но текст его не опубликован. Вероятно, в нём так или иначе нашли выражение ухудшившиеся самочувствие и настроение супруги Льва Николаевича.

Ответом на письмо С. А. Толстой является заключительное в данном эпизоде переписки письмо Л.Н. Толстого – от 20 августа:

«Хотя думаю то, чего мне очень хочется, что ты не получишь уж этого письма, а будешь ехать, всё-таки пишу. Дети здоровы, кашель прошёл, но мы всё-таки не выпускаем Андрюшу и Алёшу. Они все милы. Гости уехали. Чертков имел успех и влияние на девочек <дочерей Толстого. – *Р. А.*>. Турнюры опять сняты, и разные хорошие планы. <«Турнюры — коротенькие, из конского волоса, юбочки, которые надевались под платья, чтобы делать их сзади пышнее». — *примечание С. А.*>.

Я сужу по себе, мне грустно без тебя, и потому кажется, что и всем тоже. Да оно так и есть. Кажется, что ты приедешь, и потому не пишу больше. Да и ничего особенного. Всё расскажем. Корректуры делаем исправно.

Нынешнее письмо твоё прекрасное.

Только жаль, что не знаем про экзамены, и ты как будто не ждёшь успеха» *(83, 509 - 510)*.

Наблюдение Льва Николаевича в этот раз было совершенно точным: жена и мать не ждала того успеха от сдачи детьми экзаменов, который был желаем обоим родителям. И в Ясной Поляне, и тем более в Москве – слишком много отвлекающих обстоятельств препятствовали подготовке отчасти матерью же (её попустительством на развлечения и траты детьми денег) развращённых и недисциплинированных сыновей.

Вышло всё, как и можно было предвидеть:

«Илья 20-го августа на экзаменах провалился, остался в 7-м классе и уехал охотиться в Ясную Поляну, что, собственно, и составляло и радость и цели всей его жизни. Меня это и возмущало, и огорчало. Но что может сделать мать, когда отец осуждает её желанья и воспитанье детей. Остались мы с Лёвой в Москве одни; но и он был со мною неприятен и даже груб. И опять я чувствовала, что это влияние осуждающего меня во всём отца» *(МЖ – 1. С. 483)*.

Выше, в анализе переписки супругов за 1884 г., на примере писанного в том году письма Толстого сыну Льву Львовичу *(см.: 63, 198 - 199)*, мы уже развенчали эту ложь Софьи Толстой. Толстой *отнюдь не* осуждал *учебной* жизни сыновей в Москве, не «отрицал» гимназию и университет для своих детей в их полезности и мотивировал их на учёбу, а совсем не на безделье, траты и развлечения. Сын Илья, патологический лентяй, к сожалению, специфически интерпретировал для себя высказывания отца в отношении *образовательной системы* и роли образования в общественной жизни. Что же касается именно Льва Львовича… Биографам хорошо известны его предпочтения то отца в ущерб матери (в детские годы), то (в старшем возрасте) матери – при едва ли не ненависти к отцу. Такое поведение распространилось и на взрослую его жизнь. Это не просто поведенческие проявления контрпродуктивных акцентуаций характера. Внук Льва Николаевича, С. М. Толстой, биограф семьи, в своих воспоминаниях о Льве Львовиче свидетельствует, что физические и поведенческие расстройства несчастного младшего сына Толстого были связаны, как и в случае Софьи Андреевны, с переживаемыми *стрессами* (в данном случае – из-за предстоящих экзаменов). А такие реакции на стресс, в свою очередь, вызывались *наследственным* (от мамы) *заболеванием нервной системы* — причём *психосоматическим*. «Этот тип болезней, — поясняет Сергей Михайлович, — выявлен в наши дни, но в те времена врачи не могли объяснить их природу» *(Толстой С.М. Дети Толстого. – Тула, 1993. – С. 141)*.

Ни диагностировать не умели, ни тем более вылечить… Через 1800 лет после Христа! Да и сейчас, в начале XXI столетия, всё ещё существуют т. н. «неизлечимые» заболевания. Слишком много веков люди

«христианского» человечества *мешали сами себе*: отдавали силы, средства и время жизни целых поколений не на науку и медицину, не на познание и совершенствование мира и самих себя, а на *войны*, политические перевороты, придворную, политическеую или торговую конкурентную *грызню* и т. п. глупости и гадости. Человечество *обкрадывало само себя* и своё потомство, следуя не спасительной истине учения Христа, а тем низшим, атавистическим, животным поведенческим программам, от доминирования которых и должна была спасти вера — доверие человека Отцу, Богу и Христу его. И доверяя лжам, оправдывающим и освящающим эти слабости, трусость и безверие… Тем печальней факт, что подросший Лев Львович сделается сознательным и публичным врагом христианской проповеди отца, защитником военщины и патриотизма.

Поведение матери, Софьи Андреевны и младшего сына по отношению к Толстому-писателю и христианину имеет здесь общую негативную черту. Оба, будучи не вполне здоровы нервами, «накручивали» себя недовольством своей жизнью (связывая неприемлемое в ней с влиянием Л. Н. Толстого), неприятием мировоззрения и поведения Толстого-христианина. (А Лев Львович – ещё и завистью к талантам и славе отца как писателя.) Понятно, что выздороветь оба они не могли, а с годами Софья Андреевна заболевала всё тяжелее.

Вернёмся к переписке. Обращаем внимание читателей, что, в отличие от мемуаров, которые Толстой не читал, в письме к нему от 20 августа 1885 г., довольно неспокойном, Софья Андреевна, однако, ни в чём открыто мужа не винит – лишь заводя нехорошую и старую песню-жалобу на тему того, что-де “без неё ему лучше”. Приводим текст этого письма, писанного, что обычно для Сони, поздним вечером:

«Один удар нанесён — Илья провалился. Ужасна противно, дали переэкзаменовку; не мог преодолеть слабость и лень, и заняться. Сейчас всё это узналось. Что он будет делать — не знаю. То он выходит из гимназии, то остаётся, то готовится прямо в университет. Я знаю одно — с его отсутствием воли, если он выйдет, то конец, будет Николенька Бибиков <Сосед Толстых в Ясной Поляне, сын А. Н. Бибикова. – *Р. А.*>, собаки, охота, и больше ничего. Всё это я ему высказала без шуму и без крика. — Лёля выдержал русское и кажется выдержал латынь. Завтра греческий. Я хотела завтра ехать, но Лёля просит теперь, так как Илья уезжает, остаться с ним до конца его экзаменов, что я и сделаю. Ужасно скучно и тяжело стало тут жить, — главное бесполезно для мальчиков, так как они проваливаются;

но Лёлю с его нервным и противным состоянием оставить одного — тоже невозможно.

Заезжал Чертков с Бирюковым. Они всё рассказали, как у вас; очень, видно, довольны своим пребыванием в Ясной, говорили, что все очень веселы, и что никогда не видали Льва Николаевича таким весёлым. Вот я и права, что без меня лучше! Это даже убедило меня, если я хоть сколько-нибудь нужна Лёле, остаться здесь ещё. Дел же так много, что не бесполезно пожить тут ещё. Сегодня всё утро продавала книги, собрала рублей 500, заплатила 200 долгу, остальные привезу. Потом была у Чижа; он ничего особенно дурного не нашёл, напротив, я здорова совсем, и только чувствительность, нервность м<енструальные> и больше ничего.

Не знаю, что буду делать зимой: перееду или нет. Книги требуют большого труда и присутствия, а жить только для книг, если провалится и Лёля — не стоит. Теперь я уже так измучилась здесь, что в этот приезд ничего не соображу и не решу, тем более одна.

У Салаева книг уже нет, хоть сейчас продавать. Я велела брошюровать и открою подписку. Но без себя это нельзя, требует больших соображений. «Азбуку» и «Книги» тоже придется печатать.

Чертков нашёл «Объяснение Евангелия» всё сполна, но нет 1-й книги «Догматического Богословия». Марья Александровна говорила, что эта тетрадь у Черткова, а он говорит, что у него нет.

Если не получите корректур, не удивляйтесь, и опять посылайте за ними. Вышло недоразумение: я просила прислать просмотренные вами листы, а они прислали и новые, — я и просмотрела. Хорошо бы, если б сравнивали «Военные рассказы» по 1-му Изданию; оно у меня на полке, в спальне.

Я рада, что вы все здоровы и веселы. Если кашель затянется, растирайте груди свиным салом с скипидаром, положите фланель и дайте пить грудной чай, чашку на ночь.

Завтра еду к Маклакову и опять в типографии. Как я рада буду быть дома и знать наконец, что делать, хотя этого никогда не знаешь, а всё само собой устроивается.

Продолжайте мне писать. Целую вас всех.

Соня» *(ПСТ. С. 321 - 322).*

Физическое перенапряжение и нервные стрессы дали себя знать. В мемуарах Софья Андреевна упоминает о двух, начавшихся у неё в это время заболеваниях: воспалении глаз и матки — которое, быть может, чуть позднее этого письма всё-таки определил у неё гинеко-

лог Чиж. И Чиж, и окулист Маклаков, справедливо связали заболевания не только с физическими нагрузками, но и с душевным состоянием Сони и советовали *покой* – не только глазам, но и душе: не «накручивать» себя. Но Соня, по собственному её признанию, не могла взять себя в руки и в душе «часто роптала на мужа, что он бросил её и косил для баб покос» *(МЖ – 1. С. 484)*.

Толстой между тем отнюдь не одной косьбе для крестьян посвящал время (скорее, даже отдыхая разнообразным физическим трудом). (И уж тем более – не «развлекался с крестьянками», как цинически и нагло лгут некоторые авторы интернета, поклонники Софьи Толстой.) Он продолжал в эти дни затянувшуюся и трудоёмкую работу над трактатом «Так что же нам делать?». А непосредственно 20 августа – работал над будущим признанным шедевром, рассказом «Смерть Ивана Ильича». Он спешил кончить его… и он успел! В день именин Софьи Андреевны, 17 сентября, он вручил ей драгоценный и радостный подарок: рукопись рассказа, который несомненно украсил 12-й том издававшегося Софьей Андреевной издания… Чуть позднее, тоже для 12-го тома, подоспел и отредактированный автором «Холстомер». Вот, такая у Толстого была в те дни «косьба» и такие лошадки и девки!.. Оттого он с 20-го, ожидая приезда Сони со Львом-младшим, больше не писал писем в Москву.

А Софья Андреевна написала 21-го августа ещё одно письмо, текст которого и завершит данный Эпизод Переписки.

«Остались мы с Лёлей сегодня вечером совсем одни, вдвоём, и даже гостей никого нет. Я усердно поправляю корректуры, Лёля усердно повторяет алгебру и геометрию. […] Обе типографии настояли на том, чтоб я держала тут корректуры, всё-таки выгода 4 дня. Мне это даже приятно, не так скучаю; а то бывают минуты, когда хочется вскочить и сейчас же уехать. Лёля только что вошёл в колею экзаменов, спокоен, не нервен, и действительно занимается весь вечер. Его подбодрило то, что он выдержал уже 4 экзамена. Если мне уехать именно теперь, то это было бы ужасно дурно, не последовательно и вредно для Лёли. Оставшись один, он опять пришёл бы в нервное состояние и, пожалуй, глядя на Илью, бросил бы всё и тоже уехал. Поживу уж ещё два дня, четверг и пятницу. Илья же мне очень стал неприятен. Провалился, меня страшно расстроил, я до 4-х часов не спала, и потом всю ночь была в нервном волнении, а сегодня, говоря с <директором гимназии> Поливановым, чуть не расплакалась, а он свистит, говорит про охоту, поёт, врёт, наливает красное вино в стакан, ни о чём не думает, — и вся цель, всё,

направлено на охоту, [...] собак, новый пиджак и т. п. вздор. Пожалуйста, отнесись к его положению построже. Чтоб он понял наконец, что надо что-нибудь делать, а не жить одной охотой. Я уговаривала его остаться в 7-м классе, но у него в голове кроме собак — ничего, это ясно, и мне иногда ужасно хочется перевесть всю эту дурацкую, барскую и жестокую вещь — охоту; раздать всех собак, и прекратить овсянки, Васьки, и всё это — стоющее денег и имеющее вид чего-то важного и нужного. Впрочем об этом поговорим.

Была я сегодня у Перфильевых <т.е. в доме тогдашнего московского губернатора Василия Степановича Перфильева. – *Р. А.*>; всё тот же мир <жены его> Поленьки, несчастной, разжиревшей на губернаторской кухне в бездействии — Вари (Аркадьевны), быстро стареющегося Васеньки и обезьянки Яшки, которому делают ванны. Сам Васенька пробует температуру воды, девушка стоит с простынёй, Поленька купает. И всё это не анекдот, а истинная правда!

Оттуда перешла улицу к <окулисту> Маклакову. Он сказал приблизительно, что и <доктор> Крюков. — Правый глаз порядочно исковеркан, заниматься в очках, делать души ежедневно по пяти минут. Больше я нигде сегодня не была. [...] Завтра буду весь день дома, тут есть кое-какие дела, только в типографии съезжу.

Вот как хорошо, что ты мне написал; я и не приехала домой, а письмо получить было приятно; да ещё как раз то́, что меня огорчило, что без меня вам, по словам Черткова, очень весело и хорошо, оказалось не так, как я думала; ты, видно, немного соскучился без меня, а я и рада. Я по всех очень соскучилась, но решила, что *мой долг* поддержать того из детей, кому это нужней в данный момент, и потому выношу свою добровольную ссылку в Москву.

Мы с Лёлей страшно зябнем, — в пальто сидим, и то дрожим. Сидим мы в столовой, под лампой, друг против друга. Григорий Иванович с супругой возятся и бормочат в буфете. Фаддеевна стояла сейчас, врывшись безнадёжно в пол, как бывало Марья Афанасьевна, и как выражалась тётя Таня, и выслушивала приказанья об обеде, и рассказывала, какой буян цыплёнок, один из пяти петушков, купленных на улице, и как в конюшне эти 5 петушков дерутся. Но завтра двум свернут головки, и Лёля, который их нынче кормил, своих знакомых есть не хочет.

Маклаков рассказывал, что в Париже, откуда он только вернулся, много говорят о тебе, и какой-то француз написал, подражая тебе, статью в твоём духе, имеющую успех.

Что малыши Кузминские, были ли тоже больны? Не холодно ли у них? Тётя Таня ни разу мне не написала; а я пишу всем, так как ничего особенного нет интересного, а мне приятно писать, думая о

вас всех. Видела нынче на Тверском бульваре Петю с женой. Пролётка, пристяжка с изогнутой головой, жёлтое перо, прямо сидящая дама, добрая улыбка Пети — и мы разъехались, не останавливаясь, а что-то неприятное в впечатлении. Хотела написать, что говорил Поливанов, да вот и места нет. Он меня прельстил умом, приятностью, сочувствием и желанием утешить.

Прощайте, милые мои все. Завтра моё рождение, день, в который мне всегда было грустно. Так и завтра будет. Целую всех. Теперь скоро увидимся.

Соня.

Таня, дочка, пожалуйста сделай вот что и непременно: позови садовника, прикажи сейчас же, сию минуту сделать новые грядки для клубники. Я купила 300 кустов. Их на моё имя послали уж по почте, и так как я думала приехать сегодня, то их уже послали. Надо тотчас же по моём приезде их высадить, а то всё пропало! Пожалуйста, внуши это садовнику и посмотри, чтоб грядки были повыше, а главное сейчас их делать; спроси папа́, где и какой длины для 300 кустов» *(ПСТ. С. 323 – 325)*.

Вскоре после этого письма семья воссоединилась в Ясной Поляне. Но, конечно, семейной идиллии не последовало. Софья Андреевна продолжала выражать недовольство влиянием на детей её мужа и их отца, и, вероятно, впервые распространила его на будущего своего «врага № 1» — очень в целом приятного ей в те годы, благообразного аристократа Владимира Григорьевича Черткова, под влиянием которого, вкупе с отцом, дочери Толстого, «Таня и Маша начали не есть мяса и сами убирать свои комнаты, чему очень радовался отец». Опасаясь за печень мужа и силы «худой, бледной и болезненной» Марии Львовны, Софья Андреевна в те дни проклинала вегетарианство, хотя позднее, как признаётся, «убедилась, что разумное питание и без мяса может быть не вредно» *(МЖ – 1. С. 487)*.

В октябре супруги снова расстались: Софья Андреевна с детьми традиционно отправилась в Москву, открывать новый «сезон» городской барской жизни. А Лев Николаевич – остался вдохновенно работать. К этим дням относится новый, пятый в 1885-м году и 27-й по общему нашему счёту, Эпизод Переписки супругов Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых, к аналитической презентации которой мы и переходим ниже.

КОНЕЦ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОГО ЭПИЗОДА

Эпизод 27-й
«Я ЧУВСТВУЮ ЗА ТЕБЯ, И МНЕ БОЛЬНО»
(12 – 30 октября 1885 г.)

Как мы отметили в завершении Двадцать Шестого Эпизода, Толстой, вопреки жалобам жены, тратил летние яснополянские деньки отнюдь не на одни упражнения крестьянского труда, но и на творчество. Помимо нецензурного, не сулившего больших доходов семье трактата «Так что же нам делать?», которым Толстой, по собственному выражению, «поперхнулся», который «засел у него в горле» *(85, 267)* (то есть необходимо должен был довести до конца эту затянувшуюся на годы работу), он, специально для любимой жены, для её проекта издания Полного собрания его сочинений – работал над двумя безусловными художественными шедеврами: «Историей Лошади» (более известной под названием «Холстомер») и рассказом «Смерть Ивана Ильича» Кроме того, в порыве вдохновения, буквально за день-два, он создаёт великолепную, нравоучительную «Сказку об Иване-Дураке»: сатиру на устройство российской и мировой жизни вкупе с проклятием дармоедам «интеллигентного труда» на народной шее. Все эти вещи, пусть и с цензурными изъятиями, украсили издание Софьи Андреевны.

Сказка, сатирически обличающая городских интеллигентских работничков «головного труда», не понравилась ни Софье Андреевне, ни даже многолетнему и преданному другу Толстого философу Н. Н. Страхову. Но реакция *народа*, настоящего трудового народа, принявшего сказку Льва Николаевича, будто свою, народную — обличила их. Современница Толстого Х. Д. Алчевская в книге «Что читать народу?» рассказывала про опыт чтения «Сказки об Иване-дураке» крестьянским слушателям в Екатеринославской губернии. Сказку слушали «с большим интересом и вставляли вполне уместные замечания. Симпатии автора к Ивану-дураку сказались в них с первых страниц: “Этот, должно быть, умнее всех. Всё отдаёт, только не браните. Сам чёрт ничего с ним не поделает. Он хочет, чтобы все по-Божьему жили… Все слова у него правдивые. Ишь, как хорошо Иваново царство идёт! Работай — и еда будет!”» *(Цит. по: Гусев Н.Н. Материалы… 1881-1885. С. 466).*

Вообще, несмотря на уникальность своей судьбы и на относительную постоянную зажиточность в доме – Софья Андреевна Толстая, по субъективным причинам состояния своего нервного и душевного

здоровья, находила всё более и более причин для выражения недовольства жизнью. Вот как вспоминает в мемуарах — и стремится рационализировать, оправдать своё тогдашнее состояние — сама жена Толстого:

«Разлад мой с Львом Николаевичем в эту осень становился всё больше и больше, а огромное количество дел меня поглощало всецело, и уже не было времени о чём-либо размышлять и философствовать. Пять, шесть листов корректур, прочитанных большей частью с Таней в один день; часа три уроков с меньшими детьми, работа на всех малышей и Льва Николаевича, хозяйство и посадка деревьев в Ясной Поляне, переезд, устройство дома — всё это были труды непосильные.

Я пишу своей сестре, что я от утомления стала какая-то деревянная, и ещё пишу ей из Москвы:

“У нас вся жизнь в разладе с убеждениями Лёвочки, и сойтись […] в жизни нашей, которую будто бы веду я, — нельзя сойтись с Лёвочкиными убеждениями… Неумолимые требования так и лезут со всех сторон, и раз Лёвочка бежал от них, они с большей силой налегли на меня”

[…] Разумеется, подставив свои новые идеи, гораздо легче жить так, чем воспитывать трудных для этого сыновей, печатать издания, хозяйничать и делать всё то, что делала я» *(МЖ – 1. С. 488 - 490).*

И так далее… Снова, как и во многих иных местах, при чтении мемуаров Софьи Толстой, возникает впечатление некоторой неполноты понимания их автором, во все годы её замужества, того, *какой именно* образ жизни явился бы для неё оптимальным. С одной стороны, она являет повторяющиеся на многих страницах жалобы на неисполнение супругом типически и традиционно мужских обязанностей: на нехватку личной заботы и ласк со стороны супруга, на необеспечение семьи достаточными денежными доходами, на неучастие, или недостаточное, или неверное участие супруга в воспитании детей… С другой же стороны — она жалуется на недостаточную возможность для себя такого образа жизни, который в ту эпоху был недоступен большинству женщин и который, к несчастью, имеет обратной своей стороной — как раз переутомление и ощущение жизненных лишений. Недаром своего рода «родственную душу» ощущают в Софье Андреевне современные наши, начала XXI столетия, самые агрессивные, самые сволочные феминистки, ведущие равный с мужчинами городской, буржуазный образ жизни…

* * * * *

Итак, с сентября и до конца 1885 года Толстой в основном был занят продолжением трактата «Так что же нам делать?» Работа пошла быстрее после отъезда семьи Льва Николаевича в Москву, случившегося 12 октября 1885 г. Это была ещё одна прекрасная, творческая осень Льва Николаевича, уединившегося с переписчиком, прислугой и гостями в родной усадьбе – чем-то похожая на «Болдинскую осень» А. С. Пушкина. И, как всегда, он поддерживал активную связь с женой и детьми посредством переписки.

Колоссальная информативность писем, написанных супругами в эти дни, исключает для нас необходимость особенного вступительного биографического очерка всего периода. Мы можем непосредственно приступить к презентованию и исследованию самой переписки. Исключением будет, пожалуй, одна новая персоналия, упоминаемая Л. Н. Толстым уже в первом письме – Вильям Фрей (наст. имя Владимир Гейнс; 1839 – 1888). Некоторые детали его биографии сближают В. Фрея с младшим по возрасту В. Г. Чертковым — что, конечно, тоже могло, в числе прочего, вызвать симпатии Толстого. Офицер лейб-гвардии финляндского полка, Фрей окончил артиллерийскую академию и Николаевскую академию генерального штаба;. Пережив, как и Чертков, религиозный мировоззренческий кризис, в 1868 г. Фрей подаёт в отставку и с группой единомышленников эмигрирует в Северную Америку, где работает в земледельческой коммуне. В 1878 г. община распалась. В 1880-е Фрей — публицист, сотрудничающий в ряде российских изданий, писатель и мыслитель-идеалист, поклонник учения нравственного возрождения человечества, и при этом — поклонник «религии человечества» Огюста Конта. Познакомившись, будучи в Англии, в 1884 году, с некоторыми скандальными и нецензурными в России сочинениями «послекризисного» Толстого, он отослал их автору пространное письмо с изложением своих религиозных убеждений и добился-таки приглашения приехать для знакомства в Ясную Поляну. Как раз в эти дни, с 7 по 12 октября, Фрей гостил у Толстого, проповедовал своё понимание контовского позитивизма, но особенно выгодное впечатление произвёл своими умом, характером, искренностью и… убеждённым вегетарианством, к которому и без Фрея Толстой уже был весьма расположен. Толстой ни в какой степени не разделил большинство догматов позитивизма, а вот вегетарианцем — вскоре после знакомства с Вильямом Фреем сделался, и остался до конца жизни.

Открывает переписку данного периода – Лев Николаевич письмом от 12 октября, то есть писанным буквально вослед отъехавшим в Москву Соничке и детям:

«[…] Я немного поработал, — почти ничего, а потом пошёл пилить с Фреем. И славно поработали. Потом обедали. Теперь написал письмо Черткову и теперь пишу тебе.

Файнерман спорит с Фреем, я слушаю одним ухом и вижу, что Файнерман его побеждает; но я молчу. Фрей так мил, такой хороший человек, что жалко его смущать. Теперь через часа два я провожу его и перенесусь под своды <Знаменитая «комната под сводами» в яснополянском Доме, из-за уединённости полюбившаяся Толстому в качестве кабинета. – *Р. А.*>, где и буду спать. Постараюсь вести себя во всех отношениях — пищи, сна, работы самым благоразумным образом, — с тем, чтобы побольше работать, и желаю кончить именно «Ивана Ильича». Но в этих делах знаю, что меньше всего можно руководиться своими желаниями.

Целую тебя и всех детей. Тане и Маше забыл подтвердить, что жалко будет, если они бросят, что начали, — уборку комнат и вегетарианство, — в смысле воздержания. — Прощай, душенька, до следующего письма» *(83, 510 - 511)*.

Следующее, от 13 октября, письмо Толстого, логически продолжает рассказ о его жизни этих двух дней в усадьбе:

«Проводил вчера Фрея, с сожалением, потому что знаю, что многое ещё мог бы узнать у него и многому научиться, и потому, что мне по сердцу его жалко. Спал прекрасно, нынче я встал рано и, убравшись, много писал, к сожалению не «Ивана Ильича», а о том, почему мы не видим незаконности, неразумности и несчастия нашей жизни <т.е. снова усиленно работает над последними главами трактата «Так что же нам делать?». – *Р. А.*>. Часа в 3 пошёл пилить и работал до вечера. Теперь собираюсь пить чай и спать. Хочу завтра свезти это письмо рано на Козловку. — Хорошо ли вы доехали и как встретились и живёте с мальчиками?» *(83, 512)*.

А дальше, по хронологии и по логике нашей презентации, мы вновь должны упомянуть письмо… которого *нет*. Которое, если верить ответу Толстого на письмо жены от 13-го, якобы «затеряла почта» — встречное, так же от 12 октября, письмо Софьи Андреевны. То, в котором она понаписала *такое*, что днём позже сама раскаялась… Что в нём за ужасы могли быть – мы можем догадаться,

зная то неприятие, с каким воспринимала Софья Андреевна ожидавшие её в Москве семейные и издательские хлопоты, и ту неприязнь к мужу, которую вызывал *его* образ жизни – физический труд и уединённое творчество, к которому Софья Андреевна (а за нею и Лев-младший, Лев Львович, сын Толстого) с определённого момента считала себя так же призванной и способной.

Вот письмо С. А. Толстой, с покаянием и довольно глубокой и точной самооценкой, от 13-го октября:

«Целый день, как преступление, мучило меня вчерашнее письмо моё к тебе, милый Лёвочка. Но так одиноко без тебя жить, и так тоскливо в Москве, что на меня нашло какое-то злобное отчаяние. И думала я: приехала я, чтоб сыновей любимых видеть и жить с ними и для них — а они злобны, просят денег, а любви мало.

Приехала дела делать, думала что денег для них же, для детей, нужно — они этого и знать не хотят; будто моё издание и все дела какой-то мой каприз, фантазия [...]. А мне трудно и обидно.

Но вся ошибка моя вечно одна: я хочу, чтоб меня *ценили*. А это глупо и дурно. Я сержусь, что меня не *понимают* и не *ценят*, и этим сердцем порчу всё настолько, что перевешивает на сторону *зла*. Теперь я опомнилась немного. Я буду делать всё *по совести*, а благодарности и глупой *оценки* ни от кого ждать не буду считать себя в праве. Так будет покойнее и лучше. А ты, пожалуйста, будь спокоен, люби меня, не осуждай и поддерживай, если можешь.

Твоё письмо нынче получила, оно мне было приятно, но досадно, что девочек в вегетарианстве поощряешь. Два супа, особая овощь, — всё надо готовить; а матери жалко не давать есть своим детям. С тех пор как Таня грудь мою сосала, я не могу отвыкнуть желать кормить её получше и посытней. Не могу же я им не велеть готовить особенно, а это и дороже, и труднее.

Нынче 6 листов корректур; целый день читала одна. Теперь Серёжа с Николаем Николаевичем Ге читают 2 листа вторично, но они все: Серёжа, Трескин, Илья и Ге едут в театр, а мы с Таней прочтём ещё 4 листа. Ге живёт рисованием, девочку поместил за 20 р. с. в месяц. Алкид тут. Мальчики и малыши прыгали в саду через верёвку, бегали. Я мало их видела день, всё читала корректуры. Miss Gibson уехала к своим, мне очень трудно нынче, тем более, что устала; заснула вчера в 3-м часу, а нынче в 7 разбудили.

Ещё ничего не раскладывала и не убирала, некогда. Девочки убирали и переставляли всё в своей комнате. Они тоже скучают тут, в Москве, и жалеют яснополянскую жизнь.

Машу посажу за ученье поскорей; Таня уж довольно зрела, чтоб выбирать сама в жизни дело. К ней приезжала Беклемишева барышня, очень звала к себе; она завтра поедет.

По изданию очень нужно быть здесь. Получила письмо от Мамонтова типографии, что бумаги больше нет у Кувшинова. Это меня очень поразило, как бы промедления опять не было из-за этого. Завтра с утра поеду по всем этим делам, всё узнаю, улажу и приведу в ясность. Свезу «Историю лошади» <повесть «Холстомер»> и статьи. Нынче воскресение, ничего нельзя было делать.

Я рада, что ты перешёл под своды. Там хорошо. Но надо бы велеть трубу вычистить, чтоб не выкинуло в трубу; там давно не чистили. Здесь, на Плющихе, в день приезда, 8 человек сгорело, няня с ребёнком в том числе.

Ну, прощай, милый друг, теперь не буду писать больше дурных писем. Дай Бог, чтоб ты здоров был; я так обрадовалась, что ты «Ивана Ильича» пишешь, помоги тебе Бог. Целую тебя.

Соня.

Целый день я тебе письмом вчерашним испортила! Ах как совестно и жалко. Милые, добрые глаза твои целую, вижу их в эту минуту, и жалею, что долго не буду видеть» *(ПСТ. С. 325 – 326).*

Ответные послания благородного мужа от 15 и 16 октября никак не выдают впечатления от «нехорошего» женина письма. Лев предлагает и нам, и Соничке поверить, что его счастливым образом затеряла почта.

“Открытое письмо” (открытка) от 15 октября:

«Это письмо пишу на Козловке в 5-м часу, куда я пришёл получить письма. — К счастию, твоего письма первого я не получил, а получил только 2-е, за которое очень благодарен.

Я все эти дни очень много работаю, хотя и не то, что хотел, но и то хорошо — опрастывает место. Питаюсь, сплю, и вообще физически так же хорошо, как и душевно. Целую тебя и детей. Завтра, а может быть, и нынче напишу подробнее. *Л. Т.*» *(83, 512 - 513).*

И — письмо от 16-го:

«Как хорошо случилось, что письмо, которым ты недовольна, не дошло; если бы оно и нашлось, я не прочту его. Но мне всё-таки интересно, что было причиной. Впрочем, кажется иногда важным то, что после и не вспомнишь. Желаю, чтобы это было так.

У меня внешних событий никаких. Крыса разбудила ночью; письмо от Черткова; Фейнерману починил сапог, больше ничего. Внутренняя жизнь очень полна работой. Много подвинулся в статье <«Так что же нам делать»>. Я поперхнулся ею, и покуда не выперхну, не освобожусь. Внутреннее тоже то, что твоё письмо вчерашнее мне очень было приятно. Да, вчера же, на Козловке, получил Танино писанье о волке. Мне кажется, что хорошо. <Рассказ Т. А. Кузминской, исправленный Толстым, был напечатан под названием «Бешеный волк» в «Вестнике Европы» за 1886 г., № 6. – *Р. А.*> Прочтётся легко и с интересом ужаса. Постараюсь поправить. Все вечера у меня после усиленной утренней работы не свежи. Встаю я рано и очень хочу не переменять этого. Теперь 2-й час, а я уж отработал давно и хочу обедать, а после обеда съезжу на Козловку и в Ясенки купить бумаги и табаку <переписчику> Александру Петровичу.

Письмо твоё и вчерашнее хотя и дружелюбное, не спокойное; видно, что ты и устала, и засуечена да и не совсем здорова, и потому я тебе на те пункты его, с которыми я не согласен, отвечать не буду. — А ты как-нибудь выбери время поспокойнее и напиши мне, т. е. я хочу сказать, если можно, то пиши мне в спокойные минуты.

Завтра постараюсь заняться Иваном Ильичом, но это лучше не обещать, а сделать. Впрочем Иван Ильича можно бы в конце всего, как самое последнее. Целую тебя и детей. Нынче тихо, туман и тепло. Теперь прояснило» (*83, 513 - 514).*

Несмотря на то, что всё ещё не обрела душевного равновесия, Софья Андреевна, конечно, была удовлетворена такой безответностью на гадости и/или глупости, писанные ей в неприятном ей самой письме от 12-го. В её ответе от 17 октября, помимо семейных и издательских новостей, выразилось уже не раскаяние, а больше стремление оправдаться и даже вновь нападать:

«Наконец получила от тебя два письма сразу, милый Лёвочка <письма от 15 и 16 октября. – *Р. А.*>. Одно открытое, писанное на Козловке. Зачем ты мучаешь себя вставать в 5 часов утра? Голова не будет свежа, ты не привычен. Я уж лучше согласна получать письма на другой день, чем тебе себя тревожить.

Не получая от тебя писем 3-й день, я пришла в своё преувеличенное беспокойство и послала телеграмму *<текст её неизвестен. – Р.*

А.>. Ты, верно, досадовал и не отвечал. Но письма меня успокоили. Во сне видела тебя на портрете под сеткой и получила от тебя во сне два письма, — лучше тех, которые были наяву.

Досада, грусть, дурное расположение духа, — всё от одного главного — от детей. Первое письмо было под впечатлением дурного духа Серёжи в первый день. Теперь Илья ужасен. Тут Головин; всякий день в театре у Головиных в ложе, потом у них ужин. Мы с Таней и Серёжей, — которые оба чудо как хороши и милы, и мне помогают — нападаем на Илью; он злится, грубит, всего требует; учиться ему, видно легко, и он ничего не делает.

Лёля тоже мрачен и всё осуждает. Маша намеревается очень старательно учиться, и в хорошем духе. Но они обе жалеют [о] яснополянской жизни; а я! Боже, как мне там лучше было! Вероятно на будущий год я наверное останусь там.

Издание занимает у меня по мелочам всё почти время. Сегодня делала учёт «Азбук» и «Книг для чтения». Осталось так мало, что завтра же приступаю к печатанию нового издания. Дела слишком много. Оттого я и нервна, и не здорова, и есть не хочется, и не спится.

Вчера были вечером у Лизы Оболенской. Немного отдохнула, но письма от тебя не было, и я не была весела и покойна.

Глаза ужасно болят — и это смутительно. Вовсе слепну. [...]

Интересного и приятного то, что Сытин прислал мне нынче сказать, что цензура пропустила им «Двух стариков». Теперь и я их смело напечатаю. Вот 12-й том и начат. Пусть «Иван Ильич» будет в конце. Теперь поспешу с статьями и уеду в Петербург. Надеюсь, что ты приедешь тогда хоть на то время, чтоб детей и дом не оставить один.

Впрочем, пока будь покоен, это раньше недели или 10 дней не будет. Если тебе хорошо, я рада. Работа твоя нужней моей, но и мне работы пропасть. Одно дурно для меня: ты свою любишь, а я своей очень тягочусь. Какой-то хаос с утра до вечера, — а жизни, жизни даже просто семейной, спокойной, нет. Этот весь физический труд для семьи тяжёл на одних плечах, да ещё на женских.

Прощай, Лёвочка, пожалуйста, пиши мне почаще. Не вставай для этого рано, не мучь себя.

Целую тебя. *С. Т.» (ПСТ. С. 327 - 328).*

По высшему разумению, понятно, *что* изводило Соню в исполняемом ей трудовом издательском предприятии: *нехристианское отношение к труду* её самой и многих других, от кого всё начатое дело

зависело. Связь с денежными счётами и интересами. Труд в мошну, а не во славу Божию. Труд рабов, а не детей Бога и со-Творцов. Образ жизни тех, кто, с умилением показывая в лесу своим детям хлопотливую белку, искренне, всем существом, принимает беличий образ жизни — суету и страхи — за достойный человеческого звания. И «белочка» мирской суеты посещает их регулярно – отбирая свободу, досуг, радость, а постепенно – и здоровье, и самую жизнь.

Во встречном, так же от 17 октября, письме Л.Н. Толстого жене – попытка объяснить необходимость христианских смыслов и задач повседневного бытия. Попытка, конечно, наталкивающаяся на незримый “барьер” невосприятия.

«Вчера получил от Тани и Илюши, а нынче принесли твоё письмо и телеграмму. Ты должно быть получила после этого моё письмо, а то и два, — не помню. По всему вижу, что ты очень тревожна, и это меня очень огорчает, т. е. я чувствую за тебя, и мне больно. Желал бы помочь тебе, но ты ведь сама знаешь, что я не могу этого сделать, и что то, что я говорю — не могу, не есть отговорка. Все те дела, — или по крайней мере большинство их, — которые тебя тревожат, как-то: учение детей, их успехи, денежные дела, книжные даже, — все эти дела мне представляются ненужными и излишними.

Ты, пожалуйста, не отдавайся чувству досады и желанию упрёка — ведь ты знаешь, что это происходит не от хитрости моей и лени, чтобы избавиться от труда, но от других причин, которые я не считаю дурными, и потому в этом отношении — как я ни люблю пытаться исправиться, — не могу желать исправиться. Если, как ты иногда высказывала, ты думаешь, что я впадаю в крайности, то если ты вникнешь в мои мотивы, то ты увидишь, что в том, что руководит мной, не может быть крайности, потому что если допустить, что на добром пути надо где-то остановиться, то лучше уж и вовсе не ходить по нём. Чем ближе к цели, тем меньше возможна остановка и тем с большим напряжением бежишь.

Ведь я смотрю на жизнь и свою и семьи так, а не иначе не по капризу, а потому, что я жизнью выстрадал этот взгляд на жизнь, и я не только не скрываю, почему я смотрю так, а не иначе, а высказываю, насколько умею, в своих писаньях.

Всё это я пишу только затем, чтобы ты не имела ко мне недоброжелательного чувства, которое, я боюсь, таится в тебе. Если я ошибаюсь, то, пожалуйста, прости меня; если же нет, то искорени свою досаду на меня за то, что я остался здесь и не приезжаю ещё в Москву. Присутствие моё в Москве в семье почти что бесполезно:

условность тамошней жизни парализирует меня, а жизнь тамошняя очень мне противна, опять по тем же общим причинам моего взгляда на жизнь, которого я изменить не могу, и <ещё> менее там я могу работать.

Мы как будто не договорились о том, как, почему и на сколько времени я остался здесь; и мне хочется, чтобы не было ничего недоговорённого. Я остался потому, что мне здесь лучше; там я не нужен исключительно; а на сколько? ты знаешь, что я планов никаких не делаю. Пока живётся, работается — живу. Знаю одно, что для моего душевного спокойствия и потому счастья, нужно, чтобы с тобой были любовные отношения, и потому это условие прежде всего. Если увижу, что тебе нехорошо без меня или мне станет тяжела разлука со всеми, и работа станет, то приеду. А там все видно будет, только бы в любви и согласии.

Я совершенно здоров и бодр. Никуда не хожу, никого не вижу, много работаю и руками, и «головой» как чорт, встаю рано, — темно ещё, и ложусь рано. До свиданья, целую тебя и детей. Пиши, как пишешь, о всех детях, — и маленьких» *(83, 514 - 516)*.

Кто рано ложится и рано встаёт – тем Бог вдохновенье и радость даёт. Не для одного физического труда, несколько всё же идеализировавшегося Толстым, но и для «головного». Толстой в письме шутливо сравнил себя с чёртом, персонажем своей же, только что написанной, мудрой «Сказки об Иване-дураке»:

«Оборотился старый дьявол в господина чистого и приехал в Иваново царство жить: хотел его, так же как Тараса-брюхана, деньгами пронять.

— Я, — говорит, — хочу вам добро сделать, уму-разуму научить. Я, — говорит, — у вас дом построю и заведенье заведу.

— Ну что ж, — говорят, — живи.

Переночевал господин чистый и на утро вышел на площадь, вынес мешок большой золота и лист бумаги и говорит:

— Живёте вы, — говорит, — все, как свиньи, — хочу я вас научить, как жить надо. Стройте мне, — говорит, — дом по плану по этому. Вы работайте, а я показывать буду и золотые деньги вам буду платить.

И показал им золото. Удивились дураки: у них денег в заводе не было, а они друг дружке вещь за вещь меняли и работой платили. Подивились они на золото.

— Хороши, — говорят, — штучки.

И стали господину за золотые штучки вещи и работу менять. Стал старый дьявол, как и у Тараса, золото выпускать, и стали ему за золото всякие вещи менять и всякие работы работать.

Обрадовался старый дьявол, думает: «Пошло моё дело на лад! Разорю теперь дурака, как и Тараса, и куплю его с потрохом со всем».

Только забрались дураки золотыми деньгами, роздали всем бабам на ожерелья, все девки в косы вплели, и ребята уж на улице в штучки играть стали. У всех много стало и не стали больше брать. А у господина чистого ещё хоромы наполовину не отстроены и хлеба и скотины ещё не запасено на год, и повещает господин, чтоб шли к нему работать, чтоб ему хлеб везли, скотину вели; за всякую вещь и за всякую работу золотых много давать будет.

Нейдёт никто работать и не несут ничего. Забежит мальчик или девочка, яичко на золотой променяет, а то нет никого, — и есть ему стало нечего. Проголодался господин чистый, пошел по деревне — себе на обед купить. […] Сунулся к мужику за хлебом. Не взял и мужик денег:

— Мне не нужно, — говорит. — Нешто ради Христа, — говорит, — так погоди, я велю бабе отрезать.

Заплевал даже дьявол, убежал от мужика. Не то, что взять ради Христа, а и слышать-то ему это слово — хуже ножа. Так и не добыл хлеба. Забрались все. Куда ни пойдет старый дьявол, никто не даёт ничего за деньги, а все говорят:

— Что-нибудь другое принеси, или приходи работать, или ради Христа возьми.

А у дьявола нет ничего кроме денег, работать не охота; а ради Христа нельзя ему взять…»

Последний же соблазн, которым хотел пронять дьявол мудрых жителей Иванова царства – как раз «головной», интеллигентский труд:

«И повестил Иван по всему царству, что проявился господин чистый и будет всех учить, как головой работать, и что головой можно выработать больше, чем руками, чтоб приходили учиться.

Была в Ивановом царстве каланча высокая построена, и на неё лестница прямая, а наверху вышка. И свёл Иван туда господина, чтобы ему на виду быть.

Стал господин на каланчу и начал оттуда говорить. А дураки собрались смотреть. Дураки думали, что господин станет на деле показывать, как без рук головой работать. А старый дьявол только на словах учил, как не работамши прожить можно.

Не поняли ничего дураки. Посмотрели, посмотрели и разошлись по своим делам.

Простоял старый дьявол день на каланче, простоял другой, — всё говорил. Захотелось ему есть. [...] Простоял ещё день старый дьявол на вышке и стал слабеть; пошатнулся раз и стукнулся головой об столб. Увидал один дурак, сказал Ивановой жене, а Иванова жена прибежала к мужу на пашню.

— Пойдём, — говорит, — смотреть: говорят, господин начинает головой работать.

Подивился Иван:

— Ну? — говорит.

Завернул лошадь, пошёл к каланче. Приходит к каланче, а старый дьявол уж вовсе с голоду ослабел, стал пошатываться, головой об столбы постукивать. Только подошел Иван, спотыкнулся дьявол, упал и загремел под лестницу торчмя головой, — все ступеньки пересчитал» *(25, 134 - 138).*

«Господин чистый» — сказочный чёрт, в образе которого аккумулированы отрицательные черты всех мирских дармоедов, пользователей лжехристианской цивилизации, продающих себя в наёмное рабство за “штучки” денег и норовящих обеспечить себе *чистенький, не тяжёлый* труд, а там, в идеале – и вовсе сесть на шею другим, истинным трудящимся. В особенности это касалось (и касается в наши дни!) городской «чистенькой», беловоротничковой интеллигентской сволочи: студентов, магазинных и офисных сидельцев, журналюг, разнообразной культурно-просветительской частной и госбюджетной нечисти и т. п. сознательных, непростительных, добровольных рабов и корыстных прислужников сатаны и чертей.

Так как пишет Толстой письмо 17 октября именно жене, с которой многое обсуждал лично, изустно — он не возвращается *ещё раз* к изложению христианских, религиозных причин выбранного им образа жизни. Но *искренне* пытается донести до жены, что отнюдь не увиливает от трудов для семьи (воспитания детей и пр.): ему претят не сами эти естественные труды, а та *суета,* которая их сопровождает, то *пространство негативных эмоций,* которое центробежной своей силой затягивает всякого, кто доверится низшим влечениям своих чувств, прежде всего *страхам,* отдастся суете и злой борьбе, составляющих основание повседневной жизни лжехристианского мира. Была бы *вера Христова истинная* — доверие Богу как Отцу – не было бы страхов, жадности, агрессии в людях. Самых денег, ради которых боится и суетится, как белочка, несчастная Соничка — не

было бы. Кубышка жидовина во всех её мерзких ипостасях: кошели, банки, банкноты, карты… — всё это позор и грех для христиан, свидетельство отсутствия настоящей веры. Как и торговля, как даже и натуральный обмен — но с учётом пресловутой «эквивалентности». Данный Богом мир, планета Земля, *общее* хозяйство, в котором человек, каков он есть теперь — временный работник, в лучшем случае — мастер, *но не* Хозяин. *Всё всехнее* — и ничьё. Нельзя считаться.

Конечно, Софья Андреевна была далека от такого понимания своего мужа — и в 1885-м, и позднее, в 1900-е, в годы писания книги мемуаров «Моя жизнь». Там по поводу приведённого нами письма Толстого 17 октября сказано следующее:

«Меня поразили в этом письме слова: “учение детей, их успехи, книжные дела мне представляются ненужными и излишними”. Так как же, совсем не учить детей ничему; пить, есть, одеваться без денег? А ведь книжными делами он сам занимался: и писал, и печатал, и читал корректуры. Всё это было и непоследовательно и недобросовестно» *(МЖ – 1. С. 489)*.

Отчего же, милая Соня? Искренне и последовательно муж твой исповедал *делами* то, что сообщил в печать на словах — жизнь по Христу и в воле Бога. Он продавал и считал барыши — *либо* до религиозного перелома, обретения христианской веры, *либо* — чтобы поддержать *тебя* и угодить тебе, облегчить *твоё* участие в общей суете и грызне окружающей тебя повсюду в России злой, хищной, безбожной жизни, из которой ты не находила смелости вырвать себя и детей. Редакторскую же работу, чтение корректур и пр. он предпочитал — из-за отчуждённости её, как всякого творческого труда, от греха и зла этой жизни, почти что всеобщей для аборигенов Страны дураков. Он шёл на компромисс… и платился за это обличениями в обмане, в «недобросовестности». К сожалению, и от тебя, Соня!

Примерно в один день с письмом жене Толстой пишет и отсылает письмо старшей дочери Татьяне. Для нас оно ценно тем, что Таня перед этим выразила отцу уверенность, что её мировоззрение меняется – в сторону Христа – и тем вызвала Льва Николаевича на откровенность, невозможную с женой:

«…Моя *единственная* мечта и возможная радость, на которую я не смею надеяться — та, чтобы найти в своей семье братьев и сестёр, а не то, что я видел до сих пор — отчуждение и умышленное противодействие, в котором я вижу не то пренебрежение — не ко мне, а к истине, не то страх перед чем-то. А это очень жаль. Нынче завтра

придёт смерть. За что же мне унести с собой туда одно чувство — к своим — неясности умышленной и отчуждения большего, чем с самыми чужими?

[…] Важнее для тебя в мире, также как и для всех нас, нет ничего наших поступков и из них слагающихся привычек. Для меня, например, важнее гораздо вставать рано и отвыкнуть от табаку, чем исполнение всех моих внешних желаний. Для тёти Тани <Кузминской>, от которой я получил письмо, где она говорит, что ей нужно денег, денег, денег, гораздо важнее не то, что отвыкнуть браниться, а раз удержаться от брани, чем получить Ротшильдово состояние. И – последний пример на закуску: тебе важнее убрать свою комнату и сварить свой суп […], чем хорошо или дурно выйти замуж» *(63, 292)*.

К сожалению, в своём ответе Таничка показала себя хоть и уважительной к отцу, а всё-таки *берсовкой*, выкормышем Анковского пирога и, в целом, «маминой» дочкой:

«Вчера получила твоё письмо… Про важность и пустячность вещей я очень с тобой согласна, но главное то грустно, что все пустяки в жизни так соблазнительны и все соблазны так устроены, что не виден их вред, а только всё прелесть. Здесь <в Москве> я осаждаема ими…

[…] Теперь я вижу, какой она < моя жизнь > должна быть, но я чувствую, что внешняя жизнь моя не может измениться до известного предела…

С твоим примером насчёт того, что важнее свой суп сварить, чем хорошо выйти замуж, мне трудно согласиться, потому что ты взял один из самых крупных примеров из пустячных вещей и один из самых мелких из важных. […] И, пожалуй, я согласна, что не важно как выйти замуж, а важно как жить с мужем но если с дурным человеком жить — или сама сделаешься дурной, будешь вечно раздражена, что выходит то же самое. Суп готовить я попробую» *(Там же. С. 295)*.

Следующие по хронологии три письма С. А. Толстой снова выдают то её нездоровье, о котором деликатно упоминает Лев Николаевич в приведённом выше письме. Два из них, от 19 и от 20 октября – были не дописаны и не отосланы адресату, но, по счастью, уцелели от авторского «редактирования» посредством уничтожения: без сомнения, из-за вербализированных в них претензий к мужу, актуальность которых сохранялась для Софьи Андреевны и через много лет. Третье – письмо от 21 октября, более сдержанное – было послано, и

содержит, как и письмо Толстого от 17 октября, ответное супружеское *объяснение*, контраргументы Жены – Мужу. Приводим тексты писем в их хронологическом порядке.

19 октября:

«Получила нынче твою телеграмму. Ты просишь письма; я ведь пишу всякий день. Но переписка наша не та, как бывало, когда всю душу выльешь в письме; ты добился того, чего добивался. Т. е. я не требую сердцем того участия в жизни моей, к которому я так привыкла прежде, и от которого так болезненно больно отвыкала эти года̀. Видно так надо для того *дела*, которое будто бы от тебя требует *то*, что тебя послало на землю, как ты сам это сказал.

Теперь я бы даже не хотела, чтоб ты приехал раньше моего отъезда в Петербург. Твоё письмо к Тане — единственно искреннее письмо и всё направленное на меня — нанесло такой меткий удар, от которого не скоро опомнишься. Я знаю, ты скажешь: зачем ты сердишься, надо любовно жить и проч. Но это так же на меня действует, как если б кто меня бил по голове и приговаривал: зачем кричишь, давай будем дружны» *(ПСТ. С. 329)*.

На этих словах Sophie прервала своё писание – вероятно, смекнув, что зашла слишком далеко и *слишком* выдаёт своё болезненное состояние. Как видим, умница мамина дочка Танечка прочитала маме папино письмо — и, конечно, Софья Андреевна сумела понять его специфически-негативно и в таком неверном понимании — принять на свой счёт. Предсказуемо целую бурю эмоций жены вызвали вот эти неосторожные откровения отца в личном письме к дочери:

«Не вижу как проходят дни, не думаю что̀ выйдет из моей работы, но думаю, что делаю то, что̀ надо, чего хочет от меня То, что̀ пустило меня сюда жить. *Разлука с семьёй здесь теперь не больше той, которая всегда, когда мы все вместе. Даже тогда чувствую себя часто более одиноким.* Теперь я очень, очень часто думаю о вас и думаю, и чувствую вас лучше» *(63, 293. Выделение наше. – Р. А.)*.

Давным-давно выстроенный в отношениях с мужем “барьер невосприятия” его идей и аргументации не позволил Софье Андреевне воспринять всей идейной глубины этого отрывка: очевидно, она по-своему, как “атаку” на семью и лично на неё, поняла только два предложения, которые мы выделили в цитате.

Сильнейшим контрастом в сравнении с приведённым выше письмом Софьи Андреевны служат письма этих же дней (18, 19 и 20 октября) Льва Николаевича, наполненные радостью жизни и творчества. Приводим самые значительные из них выдержки:

Из письма от 18 октября:

«Я живу всё по прежнему очень хорошо тем, что очень много физически и умственно работаю, ничем не развлекаюсь, умеренно и хорошо ем и сплю во время. Нынче вышла вода, и я пошёл в конюшню рано утром (кучер был на сватьбе), запрег <лошадку> Крысу в бочку и поехал за водой. Чудное утро: с одной стороны лошади рассыпаются по лугу, с другой — стадо идёт мимо посадки, с третьей бабы с песнями идут на работу. Вода чистая, лошадь милая, добрая, работа приятная, ну, редко я испытывал такое удовольствие.

Это единственное событие внешней жизни. [...] Внутренняя моя жизнь та, что пишу о науке <Отдел о назначении науки и искусства в статье «Так что же нам делать?»> и думаю о вас беспрестанно, и особенно после вчерашних писем. — Теперь 9-й час, и я устал и ложусь спать. Как — хоть ты и не любишь это признавать — как ты, в каком ты состоянии душевном? а не как твои дела? Я всё-таки всегда думаю и буду думать, что как только ты в хорошем душевном состоянии, то и дела все всегда идут прекрасно» *(83, 516 - 517)*.

Из письма от 19 октября:

«Ах, как это мне больно, милый друг, что ты так тяжело, трудно живёшь. Разве может кто-нибудь в мире, самый праздный даже человек, в самой несложной жизни сделать все дела, которые ему нужно сделать. Им нет ни конца, ни предела. И очевидно дело в том, чтобы сделать, что мне по силам, — “по силам” значит то, что я могу сделать, не нарушая своего душевного равновесия, — а на то, что не доделано или не так сделано, как мне хочется, — смотреть спокойно, — потому что не в моей власти. Ты вечно перерабатываешь. А это хуже даже для дела, а главное для тебя и для тех, которые тебя любят» *(Там же. С. 518)*.

В этих мудрых строках – яркое свидетельство того, что Лев Николаевич Толстой черпал из одних древних и всеобщих источников мудрости с многими своими выдающимися современниками. В частности, поклонникам Г. Д. Торо эти суждения напомнят близкие

им – в бессмертном и шедевральнейшем «Уолдене» этого прославленного американского писателя, просветителя и мыслителя-трансценденталиста, с творчеством которого, однако, Толстой познакомился не раньше 1888 или даже начала 1889 года *(Алексеева Г.В. Американские диалоги Льва Толстого. – Тула, 2010. С. 81).*

На следующий день, 20 октября, «обвиняющее» настроение сменилось у Сони мрачно-депрессивным, выразившимся в новой попытке письма – ответа на только что полученное письмо мужа от 19-го:

«Мне жаль огорчать тебя своими письмами, мрачностью и *тяжестью* моей жизни. Я переработываю — это правда, но иногда. Но не от этого я мрачна. Не знаю причин, — их верно нет, или уж слишком много; но это несомненно, что ***я невыносимо тоскую, молча, тупо и терпеливо, но тяжело и болезненно*** <*Выделение наше. – Р. А.*>. Два дня я потому не писала к тебе; но ты всё пишешь мне, спрашивал в том письме о моём душевном состоянии, и моё молчание счёл бы за злобу. Сегодня я решилась писать, но уж притворяться я не могу, и пишу, что чувствую. Чтоб найти причину, почему что-то так нравственно подавило меня, я придираюсь ко всему: и к твоему отсутствию, и к тому, что слепну, и глаза целый день невралгически болят, ломят, и к тому, что дети не так, как надо, и что никто меня не любит, и что дела много и я дурно его делаю; и что хотелось бы бросить всё и всех, уложиться и опять уехать в Ясную, потому что ***нервы мои не вынесут городской жизни и я с ума сойду*** <*Выделение наше. – Р. А.*>.

Сегодня были мы с Таней на Сухаревой, ей нужен был шкапчик для рисов. вещей, miss Gibson ширмы, Илье стол и мне Гоголя I часть. Когда вернулись, я одна отправилась ещё на Смоленский, кое-что нужно было. В этой суете я задумалась, и вдруг опомнилась, что я взад и вперёд три раза прошла бог знает зачем, куда, и совсем забыла, где я. Мне стало страшно, что я схожу с ума, и чтоб проверить себя, начала разговаривать с разнощиком. Потом села на конку и поскорей вернулась домой. Потом я поняла, что я ходила, озабоченно воображая, что я *дело делаю*. А уж давно ничего не нужно было. А то я еду куда-нибудь в типографию и говорю, говорю; потом опомнюсь, что всё сказано и зачем я тут так долго. Мне себя всё *опоминать* надо, вот до чего дошла! Радостнее всего корректуры читать, но глаза ломят больно. Ещё весело малышам вслух читать, я каждый вечер читаю понемногу. Ещё с *своей* осенней, привычной

тоской я бы справилась; но дети тоже очень грустны и всем недовольны. Серёжа и Таня лучше всех, но и те что-то очень погрустнели. Что бы это значило!

В эту минуту совершенно искренно я *не желаю*, чтоб ты приезжал, и подвергать и тебя этому городскому гнёту — это лишнее страдание мне. Если я больна нервно, то ты меня не вылечишь, и когда будет совсем дурно, т. е. если я сойду с ума, то тогда видно будет, что делать. Пока только мне одной…» *(ПСТ. С. 330)*.

К сожалению, текст на этом месте обрывается. По сюжету описанных Софьей Андреевной посещений ею Смоленского рынка и типографии — всё это похоже на вариацию знаменитого «*арзамасского ужаса*», пережитого её мужем. Но, в отличие от Толстого, для жены его из этого экзистенциального ужаса *не оказалось* в последующие годы *исхода* – кроме постепенного личностного обрушения в нервную и психическую болезнь… Примечательно, что в письме Соня сама признаёт своё состояние болезненным и связывает с угрозой сойти с ума от выбранного *ею* в 1881 году для себя и семьи образа жизни.

Наконец, письмо Л. Н. Толстого от 20 октября:

«Целую неделю я был в напряжённо рабочем состоянии и нынче чувствую, что ослабел. Хочется нынче вечером, после продолжительной работы утром, не думать и не писать. И немного нездоровится, — желчное лёгкое состояние. Нынче получил письмо от Маши, завтра жду от тебя не без волнения. Нынче не выходил. […] Жду тоже твоего письма, чтобы по нём сообразить время своего приезда» *(83, 520)*.

Только третья попытка писания, уже 21 октября, оказалась для Софьи Андреевны удовлетворительной. Она немного пришла в себя. Вероятно, на это повлиял визит в московский дом Толстых блистательного художника Ивана Николаевича Крамского (желавшего, правда, увидеть и главу семейства, а не только его жену с детьми). Общение с художником, быть может, напомнило Соничке лучшие минуты общения с возлюбленным кн. Л. Д. Урусовым, боль от утраты которого была ещё так свежа. Красавец и умница, Крамской был на год младше покойного Урусова и, соответственно, на целых 9 лет – младше Льва Толстого. Так или иначе, но к Льву Николаевичу, в качестве ответа на его письмо от 20-го, отправилось послание такого содержания:

«Сейчас только был Крамской и очень жалел, что тебя не застал. Такие люди, это как свет блеснёт среди мрака и тьмы. Он посидел с нами часок; Серёжа, Маша и Таня присутствовали и тоже разговаривали, и уехал на собрание художников. Он нарочно приехал из Петербурга, чтоб обсудить разные вопросы о выставке [...]. Вот умён-то, и всё понимает, прелесть!

Сейчас прочла письмо Серёжи. Как нескладно; не чуток он. Пишет: «мама́ обижается, что ты не интересуешься её делами издания». Можно ли так плохо понимать своих! Как я могу обижаться на то, что другие не интересуются тем, что и меня в душе нисколько не интересует. Делаю потому, что начала делать, и всегда была во всём *затяжная*, так и в этом. — Могу обижаться, если детьми не интересуешься и мной, и внутренней жизнью нашей, и горем, радостью; могу огорчаться, что *когда ты живёшь вместе с семьёй, ты с ней больше ещё врозь, чем когда мы врозь живём...* Вот это всё грустно, и если непоправимо, то надо стараться и с этим мириться. И я успеваю в этом и привыкаю понемногу. Ушли не мы от тебя, а ты от нас. Насильно не удержишь. — Ты забываешь часто, что ты в жизни впереди Серёжи, например, на 35 лет; впереди Тани, Лёли, например, на 40, и хочешь, чтоб все летели и догоняли тебя. Это непонимание. А я вижу, как они идут, падают, шатаются, спотыкаются, опять весело идут по пути жизни, и стараюсь тут помочь, там придержать и зорко смотреть, чтоб не свернули куда-нибудь, куда можно провалиться безвозвратно. — Насколько я это умею и могу — это другой вопрос. Но я никогда, пока жива и не совсем с ума сошла, не скажу, что я врозь от семьи, и не помирилась бы с мыслью, что я с детьми своими совсем врозь, хотя и живу вместе. — Так вот что огорчило меня...

Прощай, жаль, что ты желчно нездоров и что не работаешь.

Соня» *(ПСТ. С. 331)*.

Соничка и здесь немного ошиблась. Толстой ушёл от большинства своих современников вперёд — на не одно или два поколения, а *на одно жизнепонимание*, сделавшись ближе к Богу и Христу. То есть, для того, чтобы догнать его, ни ей, ни сыновьям не нужны были десятилетия жизни, а нужна была только — вера. Но её-то и недоставало в особенности сыновьям и дщерям изверившейся эпохи...

В письме от 22 октября Толстой извещает, что продолжает работать, пережив краткий приступ болезни печени — конечно же, из-

за несбалансированности своего стола в эти дни. Сообщает, что жиду-толстовцу Файнерману, жившему в Ясной Поляне, отказано, несмотря на крещение, в праве занять должность учителя крестьянских детей. Наконец, сообщает и несколько лично-интимных строк:

«Я начинаю чувствовать желание вас всех видеть и рад такому определённому <для этого> поводу: твоей <предстоящей> поездке в Петербург, но жалко и одиночества и успешности (мне кажется) работы» *(83, 521)*.

Именно эти строки особенно обрадовали Софью Андреевну – судя по ответному её письму от 23 октября. Ему хронологически предшествовало ещё одно, от 22-го, с простыми семейными и деловыми новостями. Приводим его ниже в сокращении. Оба письма радуют тем, что настроение жены Л. Н. Толстого, судя по ним, в эти дни «выровнялось» — несмотря на продолжающиеся хлопоты об издании. Вот что пишет мужу Соня в письме от 22 октября:

«Сегодня именины Лизы Оболенской и праздник Казанской божьей матери и мы все проводим вечер у Оболенских. Мальчики тоже свободны… Я всё утро просидела до обеда над книгами, счетами и бумагами. Кое-что переписала для «Декабристов», «Исповеди», и держала корректуры «Лошади» и «Стариков» < «Два старика» и «Холстомер» >.

Дело подвигается тихо с изданием, всё бумаги нет. Пересмотрела я «Исповедь», и нашёл на меня страх, что не выхлопочу я у Цензуры, а пошлют меня в Духовную цензуру, а там плоха надежда. Но всё-таки попытаться надо, и хлопотать буду до последней крайности. […]

Получила нынче письмо от Тани, она очень весела и всё ещё собирается писать, понравилось ей это дело.

У меня глаза слепнут, и это меня огорчает. Я пишу, и не ясно вижу, что пишу; вот до чего дошло! — Жизнь наша скучна, озабочена, и неудовлетворительна. До сих пор, чего никогда со мной не было, не разложила вещей и не устроила ни гостиной, ни других комнат. Всё кучей навалено и не топлено. Если ты приедешь, то предупреди, а то бы истопить надо. Наверху ни спать, ни сидеть нигде, кроме залы, нельзя.

В субботу обещают бумагу. На той неделе отпечатают конец «Казаков», «Декабристы» и начало 12-го тома, а ещё на следующей неделе наберут статьи. Вот тогда я поеду в Петербург. Стало быть через две недели. Ты можешь, если тебе это надо, и если тебе здорово и хорошо, — прожить в Ясной ещё дней десять, после чего попрошу

тебя приехать хоть на время моего отсутствия; мне страшно семью оставлять без нас двух. Прошло ли твоё желчное состояние? Где ты живёшь и что пишешь? Сегодня не было письма, может быть ещё принесут.

Прощай, милый друг, целую тебя. Может быть, период умственного утомления прошёл, и ты опять работаешь — следовательно, счастлив. У нас все, слава Богу, здоровы и дружны» *(ПСТ. С. 332 – 333)*.

И следом – письмо С. А. от 23 октября, ответ на «коротенькое письмо» Л. Н. Толстого от 22-го, так порадовавшее её:

«Твоё коротенькое письмо сегодня, милый друг, как-то особенно тронуло меня. В первый раз я почувствовала, что ты потянул за ту сердечную нить, которая нас с тобой связывает, и я стала веселее.

Весь вечер читала: «Историю лошади» вслух дяде Серёже; он очень хвалил и смеялся так, как смеётся, когда ему что-нибудь очень приятно или нравится. — Глаза нынче лучше немного, корректур не было.

Не советую ещё приезжать в Москву: очень скверно; снег и санный путь немного смягчит тяжёлое впечатление. Если тебе жаль уединения и своего труда, то что же спешить?

Конечно, мы испытываем то же, что и ты, т. е. сильное желанье тебя увидеть и быть с тобой, но есть мотивы более серьёзные, ради которых надо жертвовать этой радостью, — мотивы эти — именно душевное спокойствие и умственный труд.

У нас всё благополучно и хорошо. Немного обжились, и мне легче, когда я не выхожу из дому. Прощай, целую тебя. Хочу непременно сегодня послать письмо, а сидел Серёжа и Лев Лопатин <Лев Михайлович Лопатин, профессор философии Московского университета. – *Р. А.*>, и я не успела весь вечер написать. Таня и дети немного огорчились, что ты ни о ком в письме из них не упомянул, а я рада, что вся любовь — мне, хотя это скверное и эгоистическое было чувство; оно не всегда бывает. Ну, прощай.

Соня» *(ПСТ. С. 333 – 334)*.

Примечательно, что в спокойном состоянии Софья Андреевна понимает, ценит и принимает смысл той жизни, которую вёл в эти дни её муж (исключая, как обычно, его занятия физического труда), но по-прежнему не находит оправдания для своего мучительного, выморочного положения в Москве – положения этакой «бизнес-леди» от книгоиздания. Добытчицы денежных доходов для роскошной жизни

и трат старших детей (её же и не уважавших за эти старания!) – в ущерб младшим, на общение с которыми не находилось времени. В «Моей жизни» она вспоминает с тоской такую горькую для матери картину:

«Как больно мне было, когда раз сижу я наверху в гостиной, занята ужасно книжными делами, слышу – бегут по лестнице, потом через залу детские ножки маленького Алёши, которому было четыре года. Он взошёл в гостиную уже тихими шагами и стал передо мной, у моего письменного стола, подперши обеими ручками лицо. Он молча, грустно смотрел на меня своими большими серыми глазами с чрезвычайно длинными ресницами. “Ты что. Алёша?” — спросила я его. “Мама, посиди со мной немножко”. — “Ах, Алёша, некогда, милый, у меня всё дела”. — “Всё дела, дела, — картавя, повторил мальчик, — никогда не посидишь со мной”. Он постоял ещё немножко и, грустный, решительными шагами, как бы отчаявшись, ушёл. Ох, эта фраза! с какой болью она отзывалась потом всю мою жизнь в моём сердце, когда умер этот прелестный мальчик, так законно желавший участия любимой матери в его жизни» *(МЖ – 1. С. 491 – 492)*.

Алексей Львович Толстой скончался в Москве, в январе 1886 г., став жертвой какой-то, так точно и не диагностированной, болезни горла, которую, за несколько часов до мучительной смерти, дорогие и считавшиеся лучшими московские детские врачи сочли «не опасной» *(85, 316)*. Алёша стал первой в семействе Толстых детской жертвой Москве…

На очереди — письмо Толстого от 22 октября, ответ на Сонино письмо от 21-го —то, что с объяснениями:

«В обеих твоих последних письмах, милый друг, проскальзывает раздражение на меня за то, что я писал в письме к Тане. Зачем раздражаться и обвинять, и говорить, что непоправимо. Всё поправимо, особенно взгляд на жизнь. Пока живём, все изменяемся, и можем изменяться, слава Богу, и больше, и больше приближаться к истине. Я только одного этого ищу и желаю и для себя и для близких мне, для тебя и детей, и не только не отчаиваюсь в этом, но верю, что мы сойдёмся, если не при жизни моей, то после. Если я написал, что мы живём вместе врозь, то это хотя и правда, но преувеличено, и не надо было писать этого, потому что это как будто упрёк. А я пуще всего считаю неправильным упрёки и потому и каюсь в этом.

Я один день пропустил, — не писал тебе, и тоже каюсь в этом. Мне самому неприятно, когда я не пишу, что-то не исполнил.

Вчера писал несколько слов и говорил, что у меня бок болит. Он болел, но теперь совсем прошёл, и я очень бодр и здоров и работаю опять много. Нынче почти увидал конец статьи <«Так что же нам делать»> и решил, что если не возьмёт беспокойство о вас, то окончу её здесь, что может взять 3 дня.

Когда ты пишешь мне про свою жизнь, я обсуживаю её; не одобряю всегда твою горячность; но когда ты, как нынче, ничего не пишешь, то мне обидно и больно. Пиши, пожалуйста.

[…] События моего дня такие: встаю я темно. И нынче так. Убравшись, поехал за водой. Это большое удовольствие. Но, сидя на бочке, задумался о разделении труда, и очень хорошо; но когда подъехал наливать, хватился, что нет ведра, и поехал за ведром, и опять. Вернувшись, получил пуд пшеничной муки цельной от Филипа, и стал месить по методе Фрея, и вышел хлеб лепёшкообразный очень вкусный. Потом, напившись кофе с Фейнерманом и Александром Петровичем, сел за работу и просидел от 9 до 2. Потом обед: борщ и овсяный кисель прелестный. Потом поехал к Бибикову верхом узнать о жалованьи Фейнермана и на Козловку за письмами и получил твоё и от Черткова. Завтра свезу сам. Крамского жалею, что не видал.

Прощай, милый друг, во всяком случае, я, если буду жив, скоро приеду.

Я не отчаиваюсь, и ужасно желаю написать Ивана Ильича, и сейчас ездил и думал о нём, но не могу тебе выразить, до какой степени я весь поглощён теперь этой работой, уже тянущейся несколько лет и теперь приближающейся к концу. Нужно самому себе выяснить то, что было неясно, и отложить в сторону целый ряд вопросов, как это случилось со мной с вопросами богословскими. Ты не сердись, душа моя, а будь добрая и дружная, каким я себя к тебе чувствую» *(83, 521 - 523)*.

К несчастью, Соничка и желала, да *не смогла* долго быть такой… Следующее письмо её, отвечающее на только что приведённое нами письмо мужа – несчастливое и страшное. Страшное по указанию на новое начавшееся нездоровье Софьи Андреевны, труженицы, жены и матери, изранившей себе сердце мыслями о своём положении – без помощи мужа, одной, в некогда такой родной и любезной Москве, повернувшейся теперь к ней своей истинной, “деловой”, торгашеской и свиньей харей и ставшей неприятной, невыносимой… Несчастливое же – по своей судьбе: исследователи обнаружили его ***изорванным***, часть текста на склеенных обрывках – утрачена… Нет никаких сведений о том, что это нездоровое письмо было отослано адресату. Вероятнее всего оно, как и два предшествующих

в данном эпизоде переписки, даже не было окончено женой Толстого. Вот, с небольшим сокращением, дошедший до нас его текст:

«Неужели ты в самом деле приедешь через три дня? Сейчас получила твоё письмо длинное, и рада была твоему дружелюбному тону. — У тебя силы воли и убеждения много, что ты можешь так жить — возить воду, сидеть с Фейнерманом и Александром Петровичем, плохо есть и проч. Но ты один! А я сам десять; и все эти нити, связывающие меня, ну просто физическим, материнским чувством, тянут во все стороны, и полететь нельзя. А жизнь аскетическая, т. е. с лишениями, была моим идеалом ещё прежде, чем я знала тебя. — Теперь же не могу и не могу выдти из того состояния, в котором я застыла, и пытаться не хочу, потому что разобьюсь в дребезги. И живу, и буду жить в своей красной гостиной, но другой такой — никогда не куплю, вот это верно.

Ночью сделался со мной сильный желчный припадок. Я в спазмах, дошедших до тошноты, от боли под ложечкой, корчилась часа 4. В семь часов утра стало лучше, теперь совсем прошло. Но что за жестокие боли, именно, точно камни всю внутренность раздирают.

[…] Дети подрались вечером, сбрую чинить надо, учительница пришла наниматься, читать с Мишей надо, и проч. и проч. И осуждать и не одобрять меня! Грех, Лёвочка! Для других ведь всё, всё. Сама усталая, в халате, не совсем здоровая, и ничем, ничем себя не забавляющая. Qui s'excuse — и т. д. [*фр.* "Кто оправдывается…" — Полностью пословица в русском переводе такова: «Кто оправдывается, тот этим признаёт себя виновным».]

Но я не оправдываюсь, я говорю: посмотри, за что же осуждать? У меня одна радость [дальше всё вырвано]» *(ПСТ. С. 334 - 335).*

Тут уже Соня – не суетливая белочка на ёлочке… скорее, сюда подходит образ *белки в колесе*. С поправкой на *осознанность* человеческим умом своего несчастного, неестественного положения. На экзистенциальный *ужас красной гостиной* – рабочего кабинета, в котором Соничка, будто каторжник к тачке, была прикована незримыми цепями *долга* к письменному столу… Ужас *одиночества* среди презирающих её труды (хотя и транжирящих полученные этими трудами деньги) старших детей и младших, брошенных на попечение очередной наёмной гувернантки, мисс Гибсон, и стремившихся сбежать от неё хоть на минутку к матери — у которой не находилось сил и времени пообщаться с ними… Ужас этот, как она сама чувствовала, съедал её здоровье — физическое и душевное. Но письмо, в части которого выразилась эта её мука — Соничка не отсылает

мужу, храня его вдохновение и покой, рвёт его… и… сохраняет тайно обрывки… быть может, уже тогда решив то, что записала об этих днях и о страданиях своих в эти дни много лет позже, в мемуарах «Моя жизнь»:

«Всеми силами я стремилась не допускать в душе своей упрёков мужу… *Пусть судят нас Бог и добрые люди в тех тяжёлых осложнениях, в которые поставила нас судьба*» *(МЖ – 1. С. 492)*.

Мужа между тем всё ещё держала работа над статьёй «Так что же нам делать?», которую ему суждено было окончить только в 1886 году. Такую увлечённость работой, обречённой быть не понятой и даже не прочитанной большинством современников стал наконец осуждать даже В.Г. Чертков, ближайший друг и сподвижник Толстого. Толстой, отвечая, объяснял ему:

«Я согласен с вами, что другое я бы мог писать, и оно как будто действительнее, но не могу оторваться, не уяснив прежде всего себе (и другим, может быть) такую странную, непривычную мысль, что считающееся таким благородным – занятие нашими науками и искусствами – дурное, безнравственное занятие. И мне кажется, что я достигаю этого и что это очень важно…

Люди разумные существа и не могут жить с сознанием, что они живут против разума. И вот, когда они делают это, им на помощь приходит ум, строящий соблазны. Стоит разрушить соблазн, и они покорятся. Они построят новые, но обязанность каждого, если он ясно видит обман соблазна, указать его людям. Я это-то и пытаюсь делать…» *(85, 269 – 270)*.

Но пока пытался – жена страдала одна… Не подпал ли сам Лев Николаевич в эти дни соблазну, который на краткое время оправдал в его глазах неразумие и даже жестокость его затянувшегося на полмесяца творческого уединения от хлопочущей в неженских хлопотах жены? Был ли он *бессознательно* неотзывчив и жесток?

Думается, нет: мы ведь помним, что писал Толстой жене в письме-объяснении 17 октября:

«… Я чувствую за тебя, и мне больно. Желал бы помочь тебе, но ты ведь сама знаешь, что я не могу этого сделать…» *(83, 515)*.

Его труд над статьёй был – не для издания в книжке, не для гонораров или славы, а, как он и признавался Черткову – для *истины*, то есть для Бога. В немалой степени, он необходим был самому Льву Николаевичу, который, после ряда своих московских социальных наблюдений и экспериментов начала 1880-х, «поперхнулся» (вспомним снова здесь это образное сравнение Толстого!) целым рядом не

имевших пока для него религиозного христианского разрешения общественно-экономических проблем – подобно тому как, несколькими годами раньше, ещё в конце 1870-х, «поперхнулся» вопросами богословскими…

Поперхнувшийся и задыхающийся человек должен, прежде всех иных повседневных дел, избавиться от того, что вызывает удушье.

* * * * *

Вместо изорванного письма, Софья Андреевна посылает мужу два письма «открытых» — т.е. открытки, из которых тот наконец уяснил её тяжёлое настроение и необходимость своего скорейшего возвращения. Об этом он пишет ей, получив обе открытки, в письме от 27-28 октября. (27-го он опоздал к отсылке почты и послал вместо письма телеграмму, а в письме 28-го сделал приписку.) Этому письму предшествует толстовское, от 25 октября. Приводим их ниже в хронологическом порядке, как свидетельства кропотливых трудов Толстого-публициста, к несчастью, неизбежно в ущерб Толстому-мужу и отцу, Толстому-человеку…

Не подозревая ещё о вновь изменившемся состоянии здоровья жены, Толстой 25 октября так отвечает ей на письмо от 23-го:

«Был вечером на Козловке и получил твоё доброе письмо, которому был очень рад. Вчера не писал; надеюсь, что ты не беспокоилась. Я совсем здоров и бодр. Вчера работал много всячески и сходил в Ясенки, и устал. Нынче очень много писал, и написал заключенье. Всё это очень начерно, и ещё много придётся переделывать. Но все-таки я рад.

Я воспользуюсь ещё своим расположением, чтобы кончить хоть так, чтобы можно было, от нужды, оставить так и не трогать больше. […]

Достал я себе пуд муки пшеничной, цельной, и нынче опять смешил <кухарку> Марью Афанасьевну, как я месил. Она покатывалась со смеха, когда я хотел налить воды на стол, и вообще на мои приёмы. […] Хлеб без дрожжей выходит вкусный по мне, хотя Марья Афанасьевна смеётся над ним. В Москве угощу вегетарианок» *(83, 524)*.

По хронологии теперь – Софья Андреевна, и её письмо от 26-го, с выраженной тоской по мужу:

«Сегодня опять нет письма, и очень это грустно. Почему-то мне кажется, что ты завтра приедешь. Мне нездоровится, лихорадка была ночью, и я две ночи совсем не спала. Не знаю, радоваться ли твоему приезду; он тебе не будет радостен, ты так тяготишься жизнью городской. Вообще, всячески плохо: вместе будет чуждо и врозь скучно. Дети здоровы, а я от лихорадки нынче совсем шальная. Что-то ты? Опять за водой без ведёрки ездил? Мои дела совсем стали; бумаги всё нет и корректур не посылают. Прощай, до свиданья» *(ПСТ. С. 335 - 336)*.

Письмо Толстого от 27 октября, с большой припиской 28-го (описания малозначительных внешних событий опускаем):

«Нынче не был на Козловке и не получил твоего письма, и мне от того ли или вообще уныло. Тем более, что по вчерашнему письму ты ждёшь моего приезда… Я привожу в порядок то, что переписано. И всё ещё тянет и не опротивело. — Скоро должно кончиться — т. е. ход мыслей в этом направлении; а теперь жалко бросать.

Письмо, не запечатывая, свезу завтра на Козловку и там, судя по твоему письму, решу, когда приеду, и припишу. […]

Очень хочется увидать вас и очень хочется получить завтра такое письмо, которое побудило бы меня приехать. […]

<*Приписка 28 октября.*> Получил твоё письмо открытое, — грустное <от 26 октября>. Ты нездорова и скучна. Это ещё более поощряет меня поскорее приехать, но хочется докончить, запечатать работу. Дома обдумаю» *(83, 525 - 526)*.

28 октября, ответ Софьи Андреевны на письмо мужа от 25 октября:

«Два дня я болезненно-нетерпеливо ждала тебя почему-то, и напрасно. Но зато я совершенно отрезвилась теперь от всяких волнений и ожиданий. Конечно, тебе необходимо кончить статью и пользоваться расположением писательским. Письмо твоё последнее о мешении муки и хохоте Марьи Афанасьевны навело на меня грусть и жутко стало за тебя. Что это за юродство, игра и неужели то…» *(ПСТ. С. 336)*.

Текст на этом обрывается. Комментатор сборника писем С. А. Толстой к мужу издания 1936 г. убеждён, что письмо «осталось неоконченным и *неотосланным*». Судя, однако, по имеющемуся в

нашем распоряжении ответу Л. Н. Толстого от 29-го, *именно в этом виде* несчастная Софья Андреевна это письмо и *отослала*. Вот ответ Льва Николаевича на него, от 29 октября, завершающий цикл его писем данного эпизода переписки:

«Получил нынче твоё отрезанное письмо, милый друг, и чувствую и вижу, что ты держишься, чтобы не высказать мне больного, и я тебя люблю и жалею за это, и мне хочется увидать тебя поскорее. Я решил вот как: письмо это придёт к тебе в среду <30 октября> вечером, и в пятницу <1 ноября>, если буду жив, приеду с почтовым. Завтра и в четверг кончу всё или брошу на время. Кроме того в четверг поедут в Тулу, — привезут письма и посылки, какие там есть.

Ездил нынче за водой и на Козловку, и в Ясенки, а в середине писал.

Теперь вечер 6 часов. Агафья Михайловна сидит. Рассказывала мне, что Татьяна девушка <горничная Т. Л. Толстой. – *Р. А.*> находит перемену в характере Тани. Не могу выразить радости, которую я испытал при этом.

Вчера читал Танин <*Т.А. Кузминской*> рассказ <*«Бабья доля»*> Аксинье, Константину и Фейнерманам <Исааку Файнерману и его, приехавшей к нему жить, жене. – *Р. А.*>. Мне хотелось освежить и поверить своё впечатление. Для народа это не годится, — слишком фотографично и почти безъидеально, но для нашего брата очень хорошо. Я так и решил и на этом основании буду поправлять.

[...] Как бы я был счастлив получить от тебя ещё хорошее письмо. Прощай, душенька, люблю и жалею, и боюсь тебя. Целую тебя и детей.

В предпоследнем письме ты писала, что у тебя лихорадка и ты не спала две ночи, а в этом отчего же не пишешь о себе?» *(83, 527 - 528)*.

Рассказ «Бабья доля», упомянутый в письме — писательский дебют младшей сестры Софьи Андреевны, Т. А. Кузминской. Рассказ, продиктованный Татьяне Андреевне крестьянкой Аксиньей, был просмотрен и отредактирован Л. Н. Толстым и впервые опубликован в 1886 г. в № 4 журнала «Вестник Европы» (https://www.prlib.ru/item/323432).

Наконец, последнее, краткое, письмо в данном эпизоде и Софьи Андреевны, датируемое (по почтовому штемпелю) 30 октября 1885 г. – на которое Лев Николаевич ответил уже не письмом, а своим отъездом из Ясной Поляны:

«Приезжай к нам, что ты совсем зажился? Работу свою и в Москве кончишь. У нас очень тихо и семейно, и ты не заметно войдёшь в нашу жизнь, потому что мы тебе все так рады будем. И то придётся быть вместе очень не долго. «*Исповедь*» уже набрали, и в Петербург я поеду очень скоро. Все почти здоровы; маленькие malaises [недомогания] у некоторых. Пожалуйста, приезжай, мне так этого хочется» *(ПСТ. С. 336)*.

Конечно, это тоже Голос Любви… но, к сожалению – и об этом мы уже говорили выше – это любовь эгоистической личности, смешанная с желанием *обладать и контролировать*, с неспособностью дать необходимую свободу, отыскивать смыслы жизни, не связанные с постоянным присутствием *рядом* любимого человека.

31 октября Толстой сообщает В. Г. Черткову о черновом ещё, но всё-таки *окончании* измучившей его и отнявшей уйму сил и времени статьи «Так что же нам делать?» На следующий день, 1 ноября 1885 г., в соответствии с принятым и высказанным в последнем письме решением, и, конечно, откликаясь на мольбу истосковавшейся без него жены, выраженную в последнем из приведённых нами её писем, он выезжает в Москву.

* * * * *

Общий вывод наш по всему, презентованному и проанализированному нами, Двадцать Седьмому Эпизоду переписки: картина нездорового, депрессивного состояния Софьи Андреевны в осенние дни 1885 года так же ярка, как и весной этого года. Софья Андреевна просто не способна была долго выносить разлуку с мужем. Вынужденный простой в работах по подготовке издания не улучшил её самочувствия – что говорит о неосновательности, даже с медицинских показаний, её упрёков мужу в “сваливании” на неё всех московских дел (как и в тяжести самой жизни в Москве).

Между прочим, один из «аргументов» против мужа, основанный на тексте из его же «Круга чтения», повторяется в «Моей жизни», в описании 1885 года, уже *второй раз*. Мемуаристка цитирует приведённые нами выше суждения Льва Николаевича из письма от 19 октября, сводящиеся к тому, что она, Соничка, *очень* много нервничает, суетится, накладывает на себя одновременно и необдуманно слишком много текущих дел — т.е. *перерабатывает*, без чьего-либо принуждения извне, а именно по собственному негативистскому и

беспокойному отношению к жизни. Не поняв — ни в 1885 г., ни позднее — и половины аргументов мужа, автор «Моей жизни» спешит возражать:

«Это *перерабатывание* напомнило мне китайскую поговорку, начерченную на их стенах, что, “если один человек живёт в праздности, есть другой, умирающий с голоду”. У нас это было так, что Лев Николаевич жил по личному выбору и вкусу; я же жила так по необходимости и умирала с голоду по духовной и спокойной жизни» *(МЖ – 1. С. 490)*.

Как мы уже говорили, точная цитата китайского изречения находится в «Круге чтения» Л.Н. Толстого, в записях от 25 сентября и выглядит так:

«Если есть человек праздный, то есть другой человек — трудящийся через силу. Если есть человек пресыщенный, то есть другой — голодный».

Эту мысль Л.Н. Толстой предварил суждением обожаемого им Генри Торо:

«Мало того, что вы трудолюбивы! *Над чем* вы трудитесь?»

А следом за ней — общий вывод Льва Николаевича:

«Бóльшая часть занятий праздных людей, считаемых ими трудами, есть забава, не только облегчающая труд других, но накладывающая на них новые труды. Таковы все роскошные забавы» *(42, 77)*.

Понятно, отчего С. А. Толстая искажает при цитировании мысль Толстого. В настоящем виде и в контексте соседствующих с нею, отобранных Л.Н. Толстым для «Круга чтения», она весьма ощутимо задевает *её саму* с *ей выбранным* городским, и весьма зажиточным, образом жизни, с суетливым поиском новых тысячей дохода от писаний мужа, которые потом растратят бесящиеся с жиру дочки-сыночки. Надо ли добавлять, что к последним критические суждения Генри Торо и Льва Николаевича относились в первую очередь?

Софья Толстая оттого и не могла, как бы ни хотела, даже приблизиться к творческим способностям своего мужа, что не понимала, и так и не поняла до конца жизни, ряда вещей. Того, например, что «духовное питание» в сочетании со «спокойной жизнью» — это питание для *свиньи*, а не Льва и его Львицы. Это – потребление за деньги «культурных услуг», доступное только в искусственной среде городской цивилизации и способное очень скоро пресытить.

Не понимала Соничка и того, что разделить с *нею* её суетливую бизнес-деятельность он *не мог*, так как дело это было — *для мошны,*

а не для Бога, своевольное, а не вдохновлённое Свыше. Софье Андреевне, без сомнения, помогала его исполнять весьма успешно её немецкая кровь — наследственная от отца и всего рода обрусевших протестантов Берсов. На Толстого не влияли в детстве ни немецкая наследственность, ни протестантская идеология. Он — ближе к тем представителям *русского* народа, которых в пореформенную эпоху, пользуясь их добросердечием и неопытностью, *грабили*, оставляя без земель, даже без крыши над головой, присосавшиеся к России немцы и жиды: ростовщики, чиновники, спекулянты, банкиры... Для него, как и для всякого нормального русского человека, важнее было: *жить по-Божью*, а не жадностью да ложью. А этому ему, выходцу из общественной страты дармоедов, нужно было *учиться*. Подобно тому как берсята Соничкины (далеко не все из которых достойны именоваться детьми Льва, как и современные нам «потомки» – увы, уже *не его* потомки...) упражнялись в чистописании, музицировании или французском языке, так новорожденный в год «арзамасского ужаса» Лев-христианин, сын Бога и работник Божия дела в мире, переживал в начале-середине 1880-х только годы своей духовной юности, своего *учения* жизни в Боге, перемежаемого оплошностями, ошибками ребёнка и юноши и даже, иногда, понятным детским озорством. *Вполне* Софья Андреевна никогда не принимала этой второй, духовной, становящейся жизни самого близкого ей человека, бывшего в год свадьбы зрелым мужем (и православным безбожником по своей тогдашней религии!), а в 1880-х на вид, физическим, животным своим существом бывшего уже стариком. Она хотела, как на *мужа*, полагаться в мирской грешной жизни на него... а его уже *не было* – зрелого и единомысленного в суете и грехах! Был – другой, непонятный уже со второго десятилетия возростания... И этот *другой*, родившийся для Бога, юный ещё Лев, как и Лев 1840-х, был от первых лет жизни *сиротой*, которому, за отсутствием в мире настоящей, единой и истинно Христовой Церкви, требовалась *её*, официальной жены, материнская забота. Она же — мало помогла этому Львёнку жизни духа и разумения... и *слишком* много била и травмировала его в эти, самые нежные и ранимые, годы становления... «Юродство, игра» — зло обличает она в письме от 28 октября его *эксперименты*: упражнения в физическом *свободном* труде, в пищевой аскезе, для которых у юного Льва-христианина, как и у многих церковных «святых» в их детстве — не оказалось не только духовных достойных руководителей, но даже и понимающих наблюдателей... Через десяток лет обновленному во Христе Льву Николаевичу предстоит зримо возмужать, укрепившись в уже зрелом, уста-

новившемся сполна (хотя и открытом для новых духовных прозрений) христианском мировоззрении. Тогда же — и с годами всё более — скажутся и последствия принесённых Соничкой себе самой и ему страданий и моральных травм. Явится и её ненависть — «не к мальчику, но к мужу», способному уверенно, от имени Божьей правды-Истины, настоять на том, что представлялось дочке немца-протестанта и воспитаннице православной мамки невыгодным и даже гибельным. Конфликту, возникшему на рубеже 1870-80-х гг. и имевшему в своих истоках городской буржуазный религиозный скепсис, по сути — *христианское безверие* жены Л. Н. Толстого, нежелание, а отчасти и неспособность духовного единомыслия с обновившимся в Боге и Христе мужем — предстояло неизбежно наращивать свою разрушительную и злую мощь.

КОНЕЦ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Двадцать Восьмой

LA PAUVRE COMTESSE EST AU DÉSESPOIR

(15 – 27 декабря 1885 г.)

«УЕЗЖАЮ ИЗМУЧЕННЫЙ – ИЗБИТЫЙ НРАВСТВЕННО»

(Вступительный очерк)

Предыдущий, 27-й, эпизод нашей аналитической презентации Переписки супругов Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых мы начали с пояснения для читателей причины отсутствия вступительного биографического очерка к эпизоду: содержание писем, при хронологическом ознакомлении с ними, по сути, делало достаточно полной картину и внешней, и духовной биографии жизни супругов. По сути своей, то же самое мы можем сказать о следующем Эпизоде имеющейся в нашем распоряжении переписки, связанной с деловой поездкой С. А. Толстой в Петербург в ноябре 1885 г. Хронологически Эпизод охватывает период с 19 (день приезда в Петербург) по 27 ноября, а количественно – включает в себя шесть опубликованных писем Л. Н. Толстого и восемь – Софьи Андреевны Толстой.

Однако содержательность этих писем в данном случае, по большей части, не соответствует главной задаче всей нашей книги: вос-

созданию картины *значительных* событий в жизни Толстых и, главное, их *мировоззрения* и личных *отношений* в логике и психологии их развития. *По преимуществу* у Толстого содержание писем этих дней наполнено множеством семейно-бытовых и иных мелочей; у Сонички – описанием её деловых хлопот и кое-как вкрапляемых ею между ними эпизодов светского общения и невинных развлечений.

Поэтому мы приняли решение *не посвящать письмам названного периода отдельного Эпизода* – и, соответственно, не приводить их тексты целиком или с незначительными сокращениями, как делали прежде. Дело здесь ещё и в том, что не только многочисленные биографы Л. Н. Толстого, но и сама С. А. Толстая, работая в 1907 году над соответствующими страницами автобиографии «Моя жизнь» — использовала для реконструкции подзабытых подробностей этой своей питерской поездки именно письма названных дней: и своих, и мужа. Логично, в рамках *предваряющего следующий Эпизод очерка*, предоставить ей слово, где нужно поправляя или дополняя сведения жены Толстого по этим и другим источникам.

Итак, 19 ноября 1885 г. С. А. Толстая приезжает из Москвы в Петербург, где останавливается у своей сестры, Татьяны Андреевны Кузминской – о чём оповещает мужа кратким письмом от 19 ноября *(ПСТ. С. 337)*. Главная, деловая, цель поездки была: получить цензурное разрешение на издание заключительного, 12-го, тома Полного собрания сочинений Льва Николаевича – с уже набранными в печать текстами «Так что же нам делать?» и других новейших на ту пору сочинений. С этой целью Софья Андреевна намеревалась посетить тогдашнего начальника Главного управления по делам печати Евгения Михайловича Феоктистова, а если понадобится – то и министра внутренних дел гр. Дмитрия Андреевича Толстого. Результаты визита к Феоктистову она описывает в письме мужу от 21 ноября *(Там же. С. 338 - 339),* и, следуя тексту письма и собственной памяти, в своих мемуарах:

«20-го ноября я отправилась к Феоктистову и повезла набранный корректурный экземпляр XII тома Полного собрания сочинений. Он взял его и приехал ко мне на другой день сам с ответом, что он XII том посылает в духовную цензуру, что всё зависит от Победоносцева, что мне незачем обращаться к министру, а что сам Феоктисов, посоветовавшись с своим главным цензором и прочитав XII том, будет лично хлопотать в духовной цензуре. При этом он мне рассказал следующее:

“На наше горе, в Киеве задержали целую шайку революционеров, нашли все запрещённые сочинения Толстого и тайную типографию”» *(МЖ – 1. С. 493)*.

Конечно, несмотря на внешне сочувственный тон, Феоктистов всей своей беседой, и особенно последним рассказом о поимке “толстовствующих” революционеров намекал Софье Андреевне, что правящий режим не только не намерен, в подобных обстоятельствах, давать цензурные поблажки Толстому, но и недоволен *её* участием в судьбе запрещённых к печати сочинений её мужа. Более ярко, не завуалировано, это было дано понять ей во второй беседе с Феоктисовым, уже 27 ноября, и, в тот же день – в беседе с К. П. Победоносцевым.

К 27 ноября Соничка крайне утомилась, а потому в письме от 27-го *(ПСТ. С. 348)* лишь очень кратко рассказала о разговоре с Феоктистовым, и совсем не делала приписки о беседе с Победоносцевым. Восстанавливаем картину этих встреч по текстам названного письма С. А. Толстой и мемуаров «Моя жизнь»:

«Сегодня с утра я в нравственной лихорадке. Феоктистов прислал назад том, с противным, казённого тона, письмом. В нём посылается всё в Духовную цензуру, о «Сказке <об Иване-дураке>» же и статье <«Так что же нам делать?»> ни слова.

Я одеваюсь, еду к Феоктистову. Швейцар с деревянным выражением говорит: «выехали». А 12 часов утра. — Я говорю: «не может быть». Швейцар рассказывает: «налево, к Сергиевской поехали». — Я спрашиваю: «когда будет?» «В пять часов». Я говорю: «Я получила письмо, удивительно, но Евгений Михайлович пишет, что до 1½ будет дома. Впрочем, я посижу и подожду, хотя бы до 5 часов. Евгению Михайловичу будет стыдно, что графиня Толстая ждёт в передней».

Пошёл мой швейцар, доложил. Феоктистов принял, был замечательно учтив и любезен. Спрашиваю о «Сказке» и о «Что нам делать?», если прочее <«Исповедь» Толстого и религиозная статья «В чём моя вера?»> подлежит Духовной цензуре. Представь, Лёвочка, и не читали! Я опять оставила том до завтра, а сама еду в 4 часа к Победоносцеву по соглашению об этом с Феоктистовым» *(Там же)*.

В мемуарах – дополнительные подробности:

«Швейцару я солгала, что мне в этот час назначено свидание… Делать нечего, отправился докладывать. Феоктистов принял меня довольно любезно, сказал, что не может разрешить «Исповедь» и «В чём моя вера?» и что надо обратиться в духовную цензуру. «Ну, а

статья “Так что же нам делать?” и “Сказка об Иване-дураке”?» — спросила я его. «Я этого не читал», — сказал Феоктисов. «Неужели? – удивилась я. – Вы не считаете нужным прочесть *Толстого*, так как же вы относитесь к простым смертным?» Горячо говорила я и, помолчав, прибавила: «Где *вы*, Евгений Михайлович? Тот Евгений Михайлович, которого *я* знала в Москве весёлым, убеждённым либералом, на всё открытый, всем интересующийся?» — «Что ж, испортился я, графиня?» — спросил он меня с какой-то болезненной улыбкой на его неподвижном лице. «Разумеется, испортились, и как это жаль!» *(МЖ – 1. С. 495)*.

Одногодок Л. Н. Толстого, давний знакомый Софьи Андреевны, Евгений Михайлович Феоктистов помягчел при этом напоминании о молодых годах, и… согласился прочесть и дать решение по тем сочинениям Толстого, которые *не* нужно было отсылать к Победоносцеву. По трактату Л. Н. Толстого «Так что же нам делать?» решение было паритетным: чиновник «отметил довольно нелепо и смешно места в статье и прислал книгу на другой день, с письмом, что в таком виде её можно печатать» *(МЖ – 1. С. 495)*.

Какова в этом эпизоде Софья Андреевна?! Снова и снова она заставляет восхищаться своей наследственной житейской и деловой хваткой. Вероятно, встреча с «испортившимся» Феоктистовым заставила её задуматься в более общем ключе — о «порче», которое произвело неумолимое время над её знакомыми и любимыми мужчинами… первым из которых, конечно, оказался её муж! Удивительным образом риторическое «где *вы*?» в разговоре с Феоктистовым перекликается с ещё много более эмоциональным «где *ты*» (прежний, «настоящий») в её письме к Л. Н. Толстому, писанному тоскливой, бессонной и больной ночью на 22 декабря *(см.: ПСТ. С. 350 – 351)*. Полный его текст мы приведём в своём месте.

Не сплоховала Соничка и в беседе того же 27 ноября с главным «духовным» цензором России тех лет, К. П. Победоносцевым, которая так же подробно изложена в её мемуарах:

«В тот же день, когда я была у Феоктистова, в 4 часа мне назначил приём и Победоносцев. Поехала я к нему. Встретил меня у двери, ввёл в огромный тёмный кабинет и пригласил сесть в огромное кожаное кресло. Сам он не сел, а высокая, сухая фигура его с серьёзным, недобрым и совсем выбритым лицом остановилась передо мной.

Он выслушал мои просьбы и аргументы по поводу запрещённых статей и начал быстро ходить из угла в угол, доказывая о невозможности разрешить религиозные сочинения Толстого. Я упомянула о сделанных священником Иванцовым-Платоновым комментариях и объяснениях на статьи Толстого, и, по-видимому, это ещё более озлило Победоносцева. Он сказал визгливым, недовольным голосом, что замечания Иванцова-Платонова не только не ослабляют, а увеличивают силу впечатления.

Между прочим Победоносцев мне сказал, остановившись передо мною и глядя мне в упор в глаза:

— Я должен вам сказать, что мне очень вас жаль; я знал вас в детстве, очень любил и уважал вашего отца и считаю несчастьем быть женою такого человека.

— Вот это для меня ново, — ответила я. — Не только я считаю себя счастливой, но все мне завидуют, что я жена такого талантливого и умного человека.

— Должен вам сказать, — говорил Победоносцев, — что я в супруге вашем и ума не признаю. Ум есть гармония, в вашем же муже всюду крайности и углы.

— Может быть, — отвечала я. — Но Шопенгауэр сказал, что ум есть фонарь, который человек несёт перед собой, а *гений* есть солнце, затмевающее всё.

На это он ничего мне не сказал, а мне это так понравилось, что я это и в письме ему потом написала» *(МЖ – 1. С. 495 - 496).*

Моральная победа жены Толстого над умным и хищным Победоносцевым была абсолютна. Моральная – но, увы, не деловая. Конечно же, на публикацию «В чём моя вера?» в “Полном” собрании сочинений, издаваемом силами Софьи Андреевны, был наложен запрет.

Дожидаясь последнего, рокового письма от Победоносцева, Софья Андреевна не только позволила себе небольшую культурную программу (посетила пару художественных выставок), но и помогла в решении дел ещё нескольким лицам: например, “пробила” для сестры, Татьяны Андреевны, публикацию в журнале «Вестник Европы» ещё одного (помимо «Бабьей доли») рассказа – «Бешеный волк».

А очередным “клиентом”, делу которого пришлось срочно хлопотать – был, очень привычно, драгоценный Лев Николаевич. Он “достал” Софью Андреевну в Питере, написав из Москвы 20 ноября письмо *(83, 529-530)* с изложением возникшей проблемы.

Жили-были на свете два брата-дворянина, из рода Залюбовских, именами Анатолий и Алексей. Старший, Анатолий — умный был детина (в мирском понимании), и сделал блестящую карьеру военного, став офицером в Артиллерийской академии. Младший же, Алёша, человек Божий, успев на заре туманной юности прочитать запрещённое, сладко-притягательное сочинение Л. Н. Толстого «В чём моя вера?» — уверовал, благодаря Льву Николаевичу, в учение Христа и, на основании известного текста Евангелия, *отказался от воинской присяги* (как разновидности запрещённой Христом клятвы). Будучи за то к злодеям причтён, юноша мученик Алексий был отправлен с гауптвахты, вместе с военными уголовниками, в дисциплинарный батальон. В Закаспийскую область, находившуюся в те годы «в исключительном положении» по отношению даже к военным законам Российской Империи. То есть, в отличие, скажем, от печально известного солдата Шабунина, которого Л. Н. Толстому не удалось спасти от военного суда и расстрела в 1866 году, Алёшеньку, Божьего человека, могли за неповиновение просто-напросто расстрелять без суда — на месте.

Для Толстого это был первый случай мученичества единомышленника во Христе, связанный именно с *его* влиянием. И — один из немногих случаев в тогдашней России… Понимая всю опасность положения, он посылает ближайшему другу В. Г. Черткову, его тётке, влиятельной графине Шуваловой, П.И. Бирюкову, В.В. Стасову, и, конечно, «дежурной» в таких случаях Софье Андреевне письма с одной и той же мольбой: *спасти юношу Залюбовского*. Главное – нужно было *поднять шум*, дабы тётя-«родина», буржуазная и антихристова гадина Россия, не могла прикончить юношу-христианина так, как она всегда любила и любит — подло, трусливо, втихаря:

«Нужно непременно попросить за него; главное затем, чтобы начальствующие знали, что положение этого человека и поступки с ним известны в обществе.

Боюсь, что у тебя много дела, и что ты задосадуешь на меня за то, что я тебе наваливаю это дело. Здесь я не знаю, к кому обратиться» *(83, 530)*.

Откликнулись, так или иначе, все, к кому Толстой обратился в письмах (кроме, кажется, графини Шуваловой). Но только Соне удалась эта, самая настоящая, «операция по спасению»! Первое, что ей нужно было сделать — *успокоить напуганного ребёнка*, сиречь

мужа. 23 ноября, в субботу, она как раз получила передышку в хлопотах и пишет Л. Н. Толстому о Залюбовском следующее:

«Сейчас только встала, и хочу ответить тебе, милый Лёвочка, по поводу твоего письма Залюбовского. Вчера я его получила, и Бирюков тоже получил и пришёл ко мне немедленно. Я нисколько не досадую, и мне времени очень много, так как я теперь жду, пока читают мой том. [...] Мы решили с Бирюковым розыскать брата, артиллериста-академика. Сегодня в час они ко мне придут. От брата мы узнаем, что было сделано, и что ещё осталось — какие ходы. Единственное, что я могу — и что сделаю, поеду просительницей к военному министру, а Бирюков поедет к великому князю Сергею Александровичу, будет его просить».

И, как хорошая, строгая мама, Соня тут же добавляет к сладкому угощению капельку воспитательно-полезного рыбьего жира:

«Мудрёно и мне, твоей жене, хлопочущей о пропуске сочинений, хлопотать о человеке, принявшем это ученье. Когда я думаю, что́ я скажу министру или тому, кого я буду просить, то единственное, что я придумываю, это что я прошу потому, что меня просили, и что мне больно, что убеждения этого молодого человека, вероятно, истекающие из проповедуемого тобой учения Христа, послужили не к добру, т. е. не к той цели, которую *ты* имел, а к погибели юноши, и потому я прошу смягчить его участь. — Это единственное, что я придумала, а там видно будет» *(ПСТ. 339 - 340)*.

На следующий день, 24-го – добавляет и новостей, и «воспитания»:

«Милый Лёвочка, мы все с таким усердием принялись за дело Залюбовского, что все средства пустили в ход. Не знаю, что выйдет из этого. Вчера у Ославиных барон Гюне обещал [...] узнать для меня ходы к начальнику штаба, Обручеву...

Вчера Бирюков приводил этого брата Залюбовского; но брат тихий, не энергичный и вялый, хотя симпатичный. Бирюков тоже ничего не может.

Гласность этому я придам страшную. Сегодня у Шостак вечер, я еду с этой целью, узнаю ещё кое-что: там пропасть народу будет. Я буду действовать в том духе, чтобы поняли так: «la pauvre comtesse est au désespoir que les idées de son mari ont eu une si triste influence sur le sort d'un jeune homme», [*фр.* «бедная графиня в отчаянии, что

идеи её мужа имели такое грустное влияние на судьбу молодого человека»] и что я хлопочу за этого «jeune homme».

Таня сестра тоже приняла участие и поедет к одному генералу Бобрикову, которого она знает, начальнику Гвардейского Петербургского штаба.

Вот тебе о твоём деле, милый Лёвочка; мне оно очень больно и неприятно, но я буду действовать с бóльшей энергией, чем о своём, о котором ни слуху ни духу пока» *(ПСТ. С. 343 - 344*).

Обратим внимание, что дело Залюбовского в письме мужу она именует — *его*, Льва Толстого, делом. На его совести… *Своим* делом она продолжала считать цензурные хлопоты о вожделенном 12-м томе.

Лев Николаевич очень дипломатично ответил жене в письме от 25 ноября:

«Очень тебе благодарен за хлопоты о Залюбовском. Разумеется, я не так смотрю, как ты, на всё дело, но ты смотришь так, как оно у тебя отразилось в сердце, и иначе нельзя» *(83, 536*).

Между тем Соничка уже очень тосковала по семье и московскому дому, и писала мужу в письме от 26 ноября: «…Чаша моего нетерпения ехать домой переполняется, и я прихожу в нервную и минутами страшно тоскливую тревогу» *(ПСТ. С. 347).*

Или, в письме от 27-го, последнем в эту поездку:

«Львы мои, большой и малый, как-то ваше здоровье?» *(ПСТ. С. 348*).

«Малый Лев» — это, конечно, младший сын, Лев Львович, не отличавшийся, как мы помним, крепостью здоровья.

Наконец, профессор Академии генштаба Александр Казимирович Пузыревский (1845 — 1904), прежде знавший и любивший только сочинения Мужа (Льва Толстого), был покорён при встрече красотой и манерами Жены, и – «пробил»-таки для неё встречу с Николаем Николаевичем Обручевым (1830 – 1904), начальником Главного штаба. Соня не успела описать этот визит в своей переписке. Если же верить мемуарам, и в беседе с Обручевым, встретившим было её с иронией — «дама в военном штабе!» — она снова выказала себя

как человек выдающегося ума, психологического чутья, немалых решительности и житейской сноровки:

Н. Н. Обручев в 1898 г.

«Я изложила ему свою просьбу о смягчении судьбы Залюбовского, отказавшегося от военной повинности и находящегося в дисциплинарном батальоне.

— Дайте мне честное слово, что вы его не убьёте там, — просила я Обручева.

— В этом я могу вам дать слово, но освободить его — невозможно. Ведь если все будут отказываться, то и войска не будет.

— Этого бояться нечего; религиозных людей очень мало. Я прошу вас смягчить его участь, назначив или писарем, или в больницу. Мне очень тяжело, что вследствие учения моего мужа страдают люди, и вот я и хлопочу по этой причине.

Тут Обручев остроумно и бойко начал говорить об убеждениях, жизни и работе Льва Николаевича.

— Вы, верно, студент Московского университета? — вдруг прервала я его.

— Да, я кончил курс в Московском университете. Почему вы догадались, графиня, ведь я военный? – спросил он.

— Чтоб я не узнала *своего*, московского, студента! Да я выросла почти в среде Московского университета, люблю его, сама там экзаменовалась и везде узнаю московского студента!

Это рассмешило Обручева. И вдруг — всё официальное исчезло, и мы начали дружескую беседу, окончившуюся обещанием сделать всё, что можно, для Залюбовского, что и было исполнено.

После того, побывав и у родственников и окончив все дела, я отправилась с восторгом домой» *(МЖ – 1. С. 497)*.

Кажется, сложно отрадней картину нарисовать, не так ли?.. Для справедливости стоит заметить, что Алексей Залюбовский успел “хлебнуть” издевательств в дисциплинарном батальоне до того, пока был переведён в нестроевую службу, и лишь в марте 1887 г. был совершенно выключен из военной службы.

* * * * *

К несчастию, Соничкин восторг не мог в те дни разделить Лев Николаевич, пришедший к концу ноября в достаточно мрачное, под стать мерзкой погоде, настроение. Биограф Толстого Н. Н. Гусев связывает это настроение с упадком сил, вызванным продолжительной и усиленной творческой работой: примерно таким, какой постиг Толстого в 1869-70 гг., по окончании писания «Войны и мира» *(Гусев Н.Н. Материалы... 1881 – 1885. С. 516)*. Трактат «Так что же нам делать?», безусловно, вымотал Толстого, но были и иные, внешние причины его мрачного настроения – кстати, отразившиеся в одном из опущенных нами выше текстов ноябрьских его писем жене.

Оставшись один с семьёй и наблюдая старших детей, он в эти дни был особенно недоволен их поведением. Из письма 25 ноября:

«У нас всё по старому — не могу сказать хорошо, потому что не могу одобрять и называть хорошим то праздное прожигание жизни, которое вижу в старших. И вижу, что помочь не могу. Они, видя моё неодобрение, от меня удаляются; я, видя их удаление, молчу, хотя и стараюсь при всяком случае говорить. Так говорил 3-го дня миролюбиво с Серёжей, но не вышло ничего из нашего разговора. Илья занят своей красотой и привлекательностью для барышень. Серёжа Бог его знает чем, но только и тот и другой в полной силе ничего не делают и приучаются к этому. Таня с <подругой> Верочкой — чем бы вытянуть Верочку — по своей слабости тонет с ней вместе, т. е. ничего не делает» *(83, 535 - 536)*.

Софья Андреевна не успела ответить в письмах на эти подробности. Устный же дискурс супругов на тему воспитания мог принять в эти дни довольно контрпродуктивный характер… хотя в письме сестре, Т. А. Кузминской, писанном 20 декабря, уже после страшной ссоры и отъезда Толстого, Софья Андреевна отрицает конфликтность её отношений с мужем в предшествующие ссоре дни.

Так или иначе, Толстой справедливо считал причиной неодобрительного поведения детей – неправильное их воспитание женой и

матерью, не приучавшей их к настоящему труду и привившей им все вредные предрассудки, господствовавшие в светском обществе. А Софья Андреевна, как мы помним, держалась иного мнения, относя коренную причину дурного поведения детей к невниманию к ним или дурному влиянию отца.

Конечно, это не было достаточной причиной для того конфликта супругов, который разразился в середине декабря, вызвав отъезд Льва Николаевича из Москвы. О другой, быть может, важнейшей, причине Софья Андреевна упоминает в мемуарах только вскользь – так, чтобы легче было утвердить в сознании читателей собственную её позицию:

«…Лев Николаевич приходил в то время всё более и более в беспокойное состояние. С одной стороны, шла усиленная подписка на Полное собрание его сочинений, подписка, которую раньше в письме своём ко мне он очень советовал открыть. С другой стороны, ходили по рукам его рукописи, громко гласящие о вреде и зле собственности, об отрицании денег, роскоши и проч.» *(МЖ – 1. С. 498 - 499)*.

Конечно, Sophie здесь немножечко лукавит: подписку, как и всё издание, Толстой, скорее, *благословил* — уступая её страхам и желаниям. Бизнес-консультантом же в этом, как и ряде других моментов была Анна Григорьевна, весьма опытная в книгоиздании вдова Ф. М. Достоевского. Но и не это здесь самое главное. Важнее, мучительнее для Льва Николаевича – действительное непонимание окружающими и осуждение некоторых коммерчески-выгодных действий его жены, за которыми в патриархальной России ошибочно видели *его* распоряжения и решения – или, как минимум, его попустительство и молчание, создающие основания для сомнений в искренности печатно высказанных им в отношении собственности и денег воззрений.

Тот же биограф Толстого Н. Н. Гусев цитирует в своей книге подлинные документы: письмо одного из рассерженных читателей журнала «Книжный вестник», в котором тот отказывался *по подписке* выкупать *все двенадцать томов* издания Софьи Андреевны на том разумном основании, что подписка была навязана покупателям уже тогда, когда 11-ть из них были выкуплены ими по очерёдности выхода. Читатель называет такую политику книгопродавца (за которым видит, конечно, волю автора) «бессовестной спекуляцией», «наглой насмешкой» человека, который «уж третий год учит, что деньги зло и нет счастья в деньгах». Журнал ответил на подобные письма передовой статьёй, в которой подчеркнул, что в такой политике выражена воля не самого Льва Николаевича, а «издательницы»,

и именно она «идёт слишком вразрез с принципами, которыми освещена вся литературная деятельность графа Л. Н.» *(Гусев Н. Н. Указ. соч. С. 522 - 523)*.

Так что у Л. Н. Толстого, до которого доходили известия о таком недоумении читателей, *были* основания для мрачного настроения и недовольства. Помимо неизвестных нам устных бесед с женой, оно выразилось и в *переписке*. Как и в ряде предшествующих ситуаций кризиса в отношениях супругов, Лев Николаевич далеко не всё наболевшее в душе, не всё планированное и передуманное мог доверять именно жене. Неизбежно в эпистолярном диалоге супругов является *третий* – которым, предсказуемо, оказывается всё тот же В. Г. Чертков. Отчасти своим настроением отчаяния, своими мыслями Лев Николаевич делился и с другими, способными понимать его, людьми. По этой интимной причине (вынужденной адресации иным лицам того, что невозможно было высказать жене) мы не можем обойти переписку этих дней молчанием – тем более, что *венчает* её письмо Л. Н. Толстого жене, написанное и переданное ей перед самым отъездом и таким образом относящееся уже к новому, *Двадцать Восьмому Эпизоду* презентуемой нами переписки супругов. Рассмотрим ниже, в выдержках, предшествующие и тесно связанные с ним документы и некоторые события.

Итак, тяжёлое настроение Толстого, вызванное полной отчуждённостью в отношениях с женой и старшими сыновьями, становилось всё тяжелее и мрачнее и скоро перешло в полное отчаяние, выразившееся в письме к Черткову, написанном, по предположению Н. Н. Гусева, не позднее 14 декабря.

Лев Николаевич не просто пишет, а исповедуется ближайшему другу:

«Мне мучительно тяжело и ни с кем так мне не хочется поделиться этой тяжестью, как с вами, милый друг, потому что, мне кажется, никто так не любит во мне то хорошее, что есть во мне, как вы. Разумеется, всё это моя слабость, моя отдалённость от Бога — даже известное физическое состояние, но я живу — может быть, последние часы моей жизни, и живу дурно, с унынием и раздражением против окружающих меня. Что-нибудь я делаю не так, как хочет Бог, но я ищу и не попадаю, и всё та же тоска, уныние и хуже всего раздражение и желание умереть. Последние дни я не писал и не пишу ещё и потому оглядываюсь вокруг себя, себя сужу и ужасаюсь.

Вся эта животная [жизнь] — да не просто животная, а животная с отделением себя от всех людей, с гордостью — идёт всё усили-

ваясь, и я вижу, как Божьи души детские — одна за другою попадают в эту фабрику, и одна за другой надевают и укрепляют жернова на шее и гибнут. Вижу, что я с своей верой, с своим выражением её и словом и делом, устраняюсь, получаю значение для них неприятного, неправильного явления — как бывают черви в ульях, которых пчёлы, не в силах убить, замазывают, чтоб они им не мешали, — и жизнь дикая с торжеством идёт своим ухудшающимся порядком. Дети *учатся* в гимназиях — меньшие даже дома учатся тому же и закону Божию такому, который будет нужен в гимназиях. Обжираются, потешаются, покупая на деньги труды людей для своего удовольствия, и всё увереннее и увереннее, чем больше их становится, что это так. То, что я пишу об этом, не читают, что говорю, не слушают или с раздражением отвечают, как только поймут, к чему идёт речь, что делаю, не видят или стараются не видеть. На днях началась подписка и продажа на самых стеснительных для книгопродавцев условиях и выгодных для продажи. Сойдёшь вниз и встретишь покупателя, который смотрит на меня как на обманщика, пишущего против собственности и под фирмой жены выжимающего сколько можно больше денег от людей за своё писанье. Ах, кабы кто-нибудь хорошенько в газетах указал ярко и верно и ядовито (жалко за него, а нам как бы здорово было) всю подлость этого.

Вчера меня просят подписать бумагу, что я по *владеемым мною землям* передаю право на дворянские выборы сыну. Отчего я допускаю, отчего я делаю это? Вот это-то я не знаю, как мне делать. В семье я живу и никого не вижу иначе, как всякий всегда куда-то спешит и отчасти раздражён этим спехом и, кроме того, так уверен в том, что этот спех не только нужен, но так же естественен, как дыхание. И если начнёшь говорить, то он, если и не раздражится..., то смотрит на часы и на дверь, думая, скоро ли кончится это ворчанье брюзгливого и не понимающего молодости, односторонне увлечённого старика. С женой и с старшим сыном начнешь говорить, — является злоба, просто злоба, против которой я слаб и которая заражает меня. — Что же лучше делать? Терпеть и лгать, как я лгу теперь всей своей жизнью — сидя за столом, лёжа в постели, допуская продажу сочинений, подписывая бумаги о праве на выборы, допуская взыскания с крестьян и преследования за покражи моей собственности, по моей доверенности? Или разорвать все — отдаться раздраженью. Разорвать же всё, освободить себя от лжи без раздражения не умею, не могу ещё. Молю Бога — т. е. ищу у Бога пути разрешения и не нахожу. Иногда именно спрашиваю у Бога, как мне поступать. Спрашиваю всегда так, когда мне предстоит выбор сделать так или иначе. Говорю себе: если бы я сейчас умирал, как бы я поступил? И

всегда, когда я живо представлю себе то, что я ухожу из жизни, я чувствую, что важнее всего уйти из жизни, не оставив по себе злобы, а в любви, и тогда склоняюсь к тому, чтобы на всё соглашаться, только бы не раздражать. И главное — тогда становишься совершенно равнодушен к мнению людей. Но потом, когда оглянешься на результаты этого, на ту ложь, в которой живёшь, и когда слаб духом, то делается отвращение к себе и недоброжелательство к людям, ставящим меня в это положение. — Крошечное утешение у меня в семье это девочки <Дочери Толстого – Таня и Маша. – *Р. А.*>. Они любят меня за то, за что следует любить, и любят это. Немного ещё в Левочке, но чем больше он растёт, тем меньше. *Я сейчас говорил с ним. Он всё смотрел на дверь — ему надо что-то в гимназии.*

Зачем я вам пишу это? Так — хочется, потому что знаю, что вы меня любите, и я вас люблю. Не показывайте этого письма другим. Если вам *совсем ясно* будет, что мне лучше делать, то напишите мне. Но это — мне по крайней мере кажется — ужасно трудно разрешить. Разрешение одно — жить всякую минуту своей жизни с Богом, делая его, но не свою волю — тогда вопросов этих не будет. Но теряешь эту опору, эту жизнь истинную на время, как я её сейчас потерял, — и тогда тяжело бьёшься, как рыба на берегу.

Писал это два дня тому назад. Вчера не выдержал, стал говорить, сделалось раздражение, приведшее только к тому, чтобы ничего не слыхать, не видать и всё относить к раздражению. Я целый день плачу один сам с собой и не могу удержаться» *(85, 294- 296).*

Письмо не было отправлено и осталось в архиве Толстого. При неких, неизвестных нам, обстоятельствах им позднее завладела Софья Андреевна, и так хорошо припрятала, что обнаружилось письмо только в 1927 г. при разборе бумаг в архиве покойницы.

Упомянутый в письме Льва Николаевича Черткову от 14 – 16 декабря 1885 г. резкий и тяжёлый его разговор с женой случился, по предположению Н. Н. Гусева, 15 декабря. Конечно, Толстой утаил его подробности даже от самых доверительных из своих адресатов. Не вёл он в эти дни и Дневника… Все подробности, которыми мы располагаем, рассказаны были Софьей Андреевной в письме сестре Татьяне от 20 декабря, этот же рассказ вошёл в текст её мемуаров и выражает, разумеется, *её* взгляд и отношение к произошедшему. С такой необходимой оговоркой, приводим его по опубликованному Н. Н. Гусевым отрывку из этого письма:

«Случилось то, что уже столько раз случалось: Лёвочка пришёл в крайне нервное и мрачное настроение. Сижу раз, пишу, входит: я

смотрю — лицо страшное. До тех пор жили прекрасно, ни одного слова неприятного не было сказано, ровно, ровно ничего. “Я пришёл сказать, что хочу с тобой разводиться, жить так не могу, еду в Париж или в Америку”. Понимаешь, Таня, если бы мне на голову весь дом обрушился, я бы не так удивилась. Спрашиваю удивлённо: “Что случилось?” — “Ничего, но если на воз накладывают всё больше и больше, лошадь станет и не везёт”. — Что накладывалось, неизвестно. Но начался крик, упрёки, грубые слова, всё хуже, хуже и, наконец, я терпела, терпела, не отвечала ничего почти, вижу — человек сумасшедший и, когда он сказал: «Где ты, там воздух заражён», я велела принести сундук и стала укладываться. Хотела ехать к вам хоть на несколько дней.

Прибежали дети, рёв! *Таня говорит: “Я с вами уеду, за что это?”* Стал умолять: “останься”. Я осталась, но вдруг начались истерические рыданья, ужас просто, подумай, Лёвочку всего трясёт и дёргает от рыданий. Тут мне стало жаль его, дети 4 — Таня, Илья, Лёва, Маша ревут на крик; нашел на меня столбняк, ни говорить, ни плакать, все хотелось вздор говорить, и я боюсь этого и молчу, и молчу три часа, хоть убей — говорить не могу.

Так и кончилось. Но тоска, горе, разрыв, болезненное состояние отчуждённости — всё это во мне осталось. Понимаешь, я часто до безумия спрашиваю себя: ну, теперь за что же? Я из дому ни шагу не делаю, работаю с изданием до трёх часов ночи, тиха, всех так любила и помнила это время, как никогда, и за что?..

Подписка на издание идёт такая сильная, что я весь день, как в канцелярии, сижу и орудую всеми делами… Денег выручила 2000 в 20 дней» (Гусев Н.Н. Указ. соч. С. 524 – 525).

Не только биограф, но и многолетний друг и духовный единомышленник Льва Николаевича, Николай Николаевич Гусев не напрасно, цитируя письмо С.А. Толстой сестре, привёл в цитате и последний абзац – о подписке и деньгах – подчёркивающий, как минимум, непоколебимость корыстных настроений супруги Льва Николаевича и, как следует предполагать, относительность её горя по поводу размолвки с мужем.

Без исключения все, писавшие по этой теме, авторы в современной России (такие как Ю. Сапрыкин, П. Басинский, Л. Сараскина, Н. Никитина и др.), будучи в той или иной степени поклонниками Софьи Толстой и не разделяя христианских убеждений её мужа, напротив, опускают этот абзац – дабы у читателя создалось впечатление безутешности горя и совершенной невинности Sophie и без-

условной виноватости одного Льва. Зато они с удовольствием приводят вот эту сентенцию С. А. Толстой, следующую в её мемуарах сразу за цитированием (конечно, тоже без абзаца про денежки!) того же отрывка из письма сестре:

«Объяснение этого тяжёлого состояния Льва Николаевича теперь легче найти. Его убеждённая, горячая проповедь о вреде города, денег, роскоши, науки, искусства, его отрицание всего этого было так сильно, что жизнь семьи, не разделяющей этих отрицательных мыслей, была для него невыносима. Ему хотелось сломить человечество, а он не мог сломить семьи. Да если б меня убили тогда, чтоб я следовала идеям и учению мужа, я не сумела бы ни шагу сделать, чтоб переменить жизнь. Я не могла понять, как бы я это сделала и чего от меня хочет Лев Николаевич» *(МЖ – 1. С. 500)*.

Последние два предложения в этой сентенции жены Толстого – совершенно искренни. Да, она не понимала. А ещё она — боялась. Не в первый раз при чтении оставленных Софьей Андреевной самооправдательных записок напрашивается параллель: умная, просвещённая жена язычница где-нибудь в имперском древнем Риме, не понимающая мужа-христианина и боящаяся, ради себя и детей, последовать… не за ним, а за Христом!

Таковы итоги 1800-летнего… а теперь уже – практически 2000-летнего исповедания “христианским” миром ложного, иудействующего, церковного “христианства” – беспомощного перед соблазнами и страхами большинства людей. И в современной нам, путинской России большинство и не понимает, и боится последовать учению евангельскому — *учению жизни* от Бога и Его Христа. Не боясь при этом дьявола, греха и рабства у мира и мирского…

Что же касается «отрицательности» проповеди Толстого и якобы как-то явленного им желания «сломить» человечество, семью… Вдоль и поперёк перечитанная Софьей Андреевной статья Толстого «В чём моя вера?» — образец отрицания только *лжи*, паразитирующей на преданиях о Христе, *но не христианства*, т. е. примера земной жизни и учения человека Иисуса. Руководясь им, Толстой осознавал, что это не личный для него, а общий путь спасения и совершенствования в Боге. Поэтому он не мог не желать поставить на этот путь спасения и родственно близких людей – но, как мы уже показали по записям его Дневника прежних лет, выбрал, как и Иисус, тактику ненавязчивости: личного примера и мирной проповеди. Это слово истины и этот пример никого из семейных Льва Николаевича не насиловали, не “ломали”, но, конечно, раздражали, адресуясь к их, воспитанных с детства религиозным воспитанием, совести и нравственному чувству.

Да и сама оппозиция «семья – человечество» в сентенции Софьи Андреевны — безусловно ложна. Что значит: «хотел сломить человечество, а не мог сломить семьи?» Человечество склонить в пользу проповедуемой тобой Истины — иногда легче, чем семейных. Конечно, *не всё* человечество, а только некоторых нравственно чутких людей, искателей Истины… Таковы были апостолы, ученики Христа – и не было среди них членов его, человека Иисуса, семьи! Человечество всегда разнокачественно и разнородно. Семья же в традиционалистских обществах часто слишком монолитна по жизнепониманию, то есть по вере и по предрассудкам повседневности.

Так что современные российские «толст**ое**ды», поддерживающие идеологический “тренд” буржуазно-православной, очень далёкой от Бога и Христа, России — **врут и врут**, цитируя и предлагая буквально принимать данное суждение Софьи Андреевны как истинное и объективное “свидетельство”.

17 декабря 1885 года Толстой написал В. Г. Черткову новое письмо взамен не отосланного. Здесь констатировал своё не просто неспокойное, а уже болезненное состояние: «Я хочу уехать завтра в деревню… Я очень плох, слаб, встревожен и в унынии… Коротко сказать, я не умею, не могу относиться к окружающей меня жизни, к той, в которой я должен жить, кротко, любовно и потому спокойно. А я страдаю и заставляю страдать других, не помогаю им, раскаиваюсь и потому страдаю ещё больше. И ничего не работаю, кроме физической работы, и страдаю ещё тем, что не делаю того, что должен. — Мне надо уединения, чтобы поправить свои расшатанные силы и физически и нравственно».

На другой день — 18 декабря — Толстой вновь пишет Черткову по поводу письма близкого ему по взглядам Н. Л. Озми́дова, обратившегося к Толстому с письмом, в котором он просил предоставить ему работу в «Посреднике». Толстой писал, что о свидании с Чертковым он ничего не может сказать, потому что он «слишком измучен и растрёпан» и «намерен устроить себе уединение хоть на неделю» *(85, 297 - 300)*.

О «растрёпанности» и «измученности» Толстого в то время свидетельствует его письмо к самому Николаю Лукичу, написанное 19 декабря. Уведомляя адресата о том, что он не успел у него побывать, потому что на некоторое время уезжает из Москвы, Толстой прибавляет:

«Я уезжаю измученный — избитый нравственно.

Завидую вашей жизни и вашему положению — именно потому, что вы в нужде, т. е. на свободе, а я в хомуте, который изодрал мне все плечи — всю душу» *(63, 310)*.

Наконец, 19 декабря Толстой, действительно, уезжает в подмосковное имение Никольское-Обольяново, принадлежавшее друзьям семьи Толстых – Адаму Васильевичу и Анне Михайловне Олсуфьевым. В уже цитированном нами письме С. А. Толстой к сестре от 20 декабря 1885 г. об этом отъезде сообщается:

«Ну вот, после этой истории, вчера почти дружелюбно расстались. Поехал Лёвочка с Таней вдвоём на неопределённое время в деревню к Олсуфьевым за 60 вёрст, на Султане, в крошечных санках. Взяли шуб пропасть, провизии, и я сегодня уже получила письмо, что очень весело и хорошо доехали, только шесть раз вывалились. Я рада, что Лёвочка отправился в деревню, да ещё в хорошую семью и на хорошее содержание. Я все эти нервные взрывы и мрачность и бессонницу приписываю вегетарианству и непосильной физической работе. Авось он там образумится. Здесь топлением печей, возкой воды и проч. он измучил себя до худобы и до нервного состояния» *(Цит. по: Гусев Н.Н. Материалы… 1881 – 1885. С. 525)*.

Конечно же, Софья Андреевна не упомянула в письме сестре об *ещё одном письме к ней*, которое Толстой передал ей перед самым-самым отъездом. Это была его дань справедливости: исповедовавшись Черткову, он чувствовал себя нравственно обязанным проявить ту же искренность и по отношению к жене… но выдержать её реакции на то, что сообщалось в письме, он, как понимал, не сумел бы — оттого письмо было передано в последнюю минуту, при расставании… Сохраняя верность хронологической последовательности, мы откроем его публикацией Двадцать Восьмой Эпизод нашей аналитической презентации переписки С. А. и Л. Н. Толстых.

КОНЕЦ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ОЧЕРКА

LA PAUVRE COMTESSE EST AU DÉSESPOIR

Открывает переписку Двадцать Восьмого Эпизода письмо Л. Н. Толстого, написанное, по всей вероятности, в период с 15 по 18 декабря 1885 г. и переданное адресату, Софье Андреевне, непосредственно перед отъездом.

Лев Николаевич пишет большое письмо жене, в котором пробует объяснить ей, почему он чувствует себя чужим в своей семье. Приводим его с некоторыми сокращениями. Письмо написано совершенно спокойно, хотя и без обращения, и начинается словами:

«За последние семь, восемь лет все наши разговоры с тобой кончались после многих мучительных терзаний — одним, с моей стороны по крайней мере: я говорил: согласия и любовной жизни между нами быть не может до тех пор, пока — я говорил — ты не придёшь к тому, к чему я пришёл, или по любви ко мне, или по чутью, которое дано всем, или по убеждению и не пойдёшь со мной вместе. Я говорил: пока ты не придёшь ко мне, а не говорил: пока я не приду к тебе, потому что это невозможно для меня. Невозможно потому, что то, чем живёшь ты, это то самое, из чего я только что спасся, как от страшного ужаса, едва не приведшего меня к самоубийству.

Я не могу вернуться к тому, в чём я жил, в чём нашёл погибель и что признал величайшим злом и несчастием. А ты можешь попытаться придти к тому, чего ты ещё не знаешь, и что в общих чертах — именно жизнь не для своих удовольствий (не о твоей жизни говорю, а о жизни детей), не для своего самолюбия, а для Бога или для других — всегда всеми считалось лучшим и что так и отзывается и в твоей совести. Все наши споры за последние года всегда кончались одним этим».

Далее Толстой предупреждает жену: «Я не обвиняю и не могу [обвинять] — не за что и не хочу, хочу, напротив, твоего соединения со мной в любви и потому не могу желать делать тебе больно, но, чтобы объяснить своё положение, должен сказать о тех несчастных недоразумениях, которые привели нас к теперешнему разъединению в соединении, к этому мучительному для нас обоих состоянию.

Ради Бога воздержись и прочти спокойно, на время отложив мысль о себе. О тебе, о твоих чувствах и твоём положении я буду говорить после, но теперь необходимо тебе, чтобы понять своё отношение ко мне, понять меня, мою жизнь, какая она есть, а не такою, какою бы ты хотела, чтобы она была. То [...] что моё положение в семье составляет моё постоянное несчастие, есть факт несомненный, я его знаю, как знают зубную боль. Может быть, я сам виноват, но факт есть, и если тебе мучительно знать, что я несчастлив (я знаю, что тебе мучительно), то надо не отрицать боль, не говорить, что ты сам виноват, а подумать, как от неё избавиться — от боли, которая болит во мне и заставляет страдать тебя и всю семью.

Боль оттого, что я почти десять лет тому назад пришёл к тому, что единственное спасение моё и всякого человека в жизни в том,

чтобы жить не для себя, а для других, и что наша жизнь нашего сословия вся устроена для жизни для себя, вся построена на гордости, жестокости, насилии, зле и что потому человеку в нашем быту, желающему жить хорошо, жить с спокойной совестью и жить радостно, надо не искать каких-нибудь мудрёных далёких подвигов, а надо сейчас же, сию минуту действовать, работать, час за часом и день за днём, на то, чтобы изменять её и идти от дурного к хорошему; и в этом одном счастье и достоинство людей нашего круга, а между тем ты и вся семья идут не к изменению этой жизни, а с возрастанием семьи, с разрастанием эгоизма её членов — к усилению её дурных сторон.

От этого боль. Как её вылечить? Отказаться мне от своей веры? Ты знаешь, что это нельзя. Если бы я сказал на словах, что отказываюсь, никто, даже ты, мне бы не поверил, как если бы я сказал, что 2×2 не 4. Что же делать? Исповедовать эту веру на словах, в книжках, а на деле делать другое? Опять и ты не можешь посоветовать этого. Забыть? Нельзя.

Что же делать? Ведь в том-то и дело, что тот предмет, которым я занят, к которому, может быть, я призван, есть дело нравственного учения. А дело нравственного учения отличается от всех других тем, что оно изменяться не может, что не может оставаться словами, что оно не может быть обязательным для одного, а не обязательным для другого.

Если совесть и разум требуют, и мне ясно стало то, чего требуют совесть и разум, я не могу не делать того, что требуют совесть и разум, и быть покоен — не могу видеть людей, связанных со мной любовью, знающих то, чего требуют разум и совесть, и не делающих этого, и не страдать. […]

Случалось так, что, когда совершался во мне душевный переворот, и внутренняя жизнь моя изменилась, ты не приписала этому значения и важности, не вникая в то, что происходило во мне, по несчастной случайности поддаваясь общему мнению, что писателю-художнику, как Гоголю, надо писать художественные произведения, а не думать о своей жизни и не исправлять её, что это есть что-то в роде дури или душевной болезни; поддаваясь этому настроению, ты сразу стала в враждебное отношение к тому, что было для меня спасением от отчаяния и возвращением к жизни.

Случилось так, что вся моя деятельность на этом новом пути, всё, что поддерживало меня на нём, тебе стало представляться вредным, опасным для меня и для детей. […]

Взгляд религиозный может быть неправилен и тогда его надо опровергнуть, или просто не принимать его; но против религиозного

взгляда нельзя говорить, что говорят, и ты иногда, что это хорошо для тебя, но хорошо ли для детей? Мой взгляд состоит в том, что я и моя жизнь не имеют никакого значения и прав, дорог же мне мой взгляд не для меня, а для счастья других людей; а из других людей ближе всех мне дети. И потому то, что я считаю хорошим, я считаю таким не для себя, а для других и главное для своих детей.

И так случилось, что по несчастному недоразуме-нию ты и не вникла в то, что было для меня величайшим переворотом и изменило мою жизнь, но даже — не то что враждебно, но как к болезненному и ненормальному явлению отнеслась к этому, и из хороших побуждений, желая спасти от увлечения меня и других; и с этого времени с особенной энергией потянула как раз в обратную сторону того, куда меня влекла моя новая жизнь.

Всё, что мне было дорого и важно, всё стало тебе противно: и наша прелестная, тихая, скромная деревенская жизнь, и люди, которые в ней участвовали, как Василий Иванович <Алексеев>, которого, я знаю, что ты ценишь, но которого ты тогда <в 1881 году> сочла врагом, поддерживавшим во мне и детях ложное, болезненное, не естественное, по-твоему, настроение. И тогда началось то отношение ко мне, как к душевнобольному, которое я очень хорошо чувствовал. И прежде ты была смела и решительна, но теперь эта решительность ещё более усилилась, как усиливается решительность людей, ходящих за больными, когда признано, что он душевнобольной.

Душа моя! вспомни эти последние года жизни в деревне, когда, с одной стороны, я работал так, как никогда не работал и не буду работать в жизни — над Евангелием (какой бы ни был результат этой работы, я знаю, что я вложил в неё всё, что мне дано было от Бога духовной силы), а с другой стороны, стал в жизни прилагать то, что мне открылось из учения Евангелия: отрёкся от собственности, стал давать, что у меня просили, отрёкся от честолюбия для себя и для детей, зная..., что то, что ты готовила для них в виде утончённого образования с французским, английским, гувернёрами и гувернантками, с музыкой и т, п., были соблазны славолюбия, возвышения себя над людьми, жернова, которые мы им надевали на шею. Вспомни это время и как ты относилась к моей работе и к моей новой жизни. Всё это казалось тебе увлечением односторонним, жалким, а результаты этого увлечения казались тебе даже опасными для детей. И ты с большей решительностью и энергией и совершенным закрытием глаз на то, что происходило во мне, на то, во имя чего я стал тем, чем стал, потянула в обратную, противоположную сторону:

детей в гимназию, девочку — вывозить, составить знакомства в обществе, устроить приличную обстановку. [...] Эта новая московская жизнь была для меня страданием, которое я не испытывал всю мою жизнь. Но я не только страдал на каждом шагу, каждую минуту от несоответствия своей и своей семьи жизни и моей жизни и виду роскоши, разврата и нищеты, в которой я чувствовал себя участником, я не только страдал, но я шалел и делался гадок и участвовал прямо сознательно в этом разврате, ел, пил, играл в карты, тщеславился и раскаявался и мерзел самому себе. Одно было спасенье — писанье, и в нём я не успокоивался, но забывался.

В деревне было не лучше. То же игнорирование меня — не одной тобой, но и подраставшими детьми, естественно склонными усвоить потакающий их слабостям, вкусам, и тот взгляд на меня, как на доброго, не слишком вредного душевнобольного, с которым надо только не говорить про его пункт помешательства. Жизнь шла помимо меня. И иногда, — ты неправа была в этом, — ты призывала меня к участию в этой жизни, предъявляла ко мне требования, упрекала меня за то, что я не занимаюсь денежными делами и воспитанием детей, — как будто я мог заниматься денежными делами, увеличивать или удерживать состояние для того, чтобы увеличивать и удерживать то самое зло, от которого гибли, по моим понятиям, мои дети. И мог заниматься воспитанием, цель которого гордость — отделение себя от людей, светское образование и дипломы, были то самое, что я знал за пагубу людей. Ты с детьми выраставшими шла дальше и дальше в одну сторону — я в другую. Так шло года́, год, два — пять лет. Дети росли, и порча их росла, мы расходились дальше и дальше, и моё положение становилось ложнее и тяжелее.

Я ехал с людьми, заблудившимися по ложной дороге, в надежде своротить их: то ехал молча, то уговаривал становиться, повернуть, то покоряясь им, то возмущаясь и останавливая. Но чем дальше, тем хуже. Теперь уж установилась инерция — едут, потому что так поехали, уже привыкли и мои уговариванья только раздражают.

Иногда, как в эти дни, я прихожу в отчаяние и спрашиваю свою совесть и разум, как мне поступить, и не нахожу ответа.

Выборов есть три: употребить свою власть: отдать состояние тем, кому оно принадлежит — рабочим, отдать кому-нибудь, только избавить малых и молодых от соблазна и погибели; но я сделаю насилие, я вызову злобу, раздражение, вызову те же желания, но не удовлетворённые, что ещё хуже; 2) уйти от семьи? — но я брошу их совсем одних — уничтожить моё кажущееся мне недействительным, а может быть, действующее, имеющее подействовать влияние — оставлю жену и себя одиноким и нарушу заповедь, 3) продолжать

жить, как жил; вырабатывая в себе силы бороться со злом любовно и кротко. Это я и делаю, но не достигаю любовности и кротости и вдвойне страдаю и от жизни и от раскаяния.

Неужели так надо? Так в этих мучительных условиях надо дожить до смерти? Она не далека уж. И мне тяжело будет умирать с упрёком за всю ту бесполезную тяжесть последних годов жизни, которую едва ли я подавлю и перед смертью, и тебе провожать меня с сомнением о том, что ты могла бы не причинять мне тех единственных тяжёлых страданий, которые я испытал в жизни. […]

Вам кажется, что я сам по себе, а писание моё само по себе. — Писанье же моё есть весь я. В жизни я не мог выразить своих взглядов вполне, в жизни я делаю уступку необходимости сожития в семье; я живу и отрицаю в душе всю эту жизнь, и эту-то не мою жизнь вы считаете моей жизнью, а мою жизнь, выраженную в писании, вы считаете словами, не имеющими реальности.

Ведь разлад наш сделала та роковая ошибка, по которой ты 8 лет тому назад признала переворот, который произошёл во мне, переворот, который из области мечтаний и призраков привёл меня к действительной жизни, признала чем-то неестественным, случайным, временным, фантастическим, односторонним, который не надо исследовать, разобрать, а с которым надо бороться всеми силами. — И ты боролась 8 лет, и результат этой борьбы тот, что я страдаю больше, чем прежде, но не только не оставляю принятого взгляда, но всё дальше иду по тому же направлению и задыхаюсь в борьбе и своим страданием заставляю страдать вас. […]

Вы приписываете всему, только не одному: тому, что вы причиной, невольной, нечаянной причиной моих страданий. […]».

Окончание письма было набросано Толстым только конспективно:

«Вы ищете причину, ищите лекарство. Дети перестанут объедаться (вегетарианство). Я счастлив, весел (несмотря на отпор, злобные нападки). Дети станут убирать комнату, не поедут в театр, пожалеют мужика, бабу, возьмут серьёзную книгу читать — я счастлив, весел, и все мои болезни проходят мгновенно. Но ведь этого нет, упорно нет, нарочно нет.

Между нами идёт борьба на смерть — Божье или не Божье. И так как в вас есть Бог, вы… <*пропуск в тексте*>.

Надо вникнуть в то, что движет мною и что я выказываю, как умею, тем более это нужно, что рано или поздно — судя по тому распространению и сочувствию, которое возбуждают мои мысли — придётся понять их, не так, как старательно их понимают навыворот, те, которым они противны, что я только проповедую то, что

надо быть диким и всем пахать, лишиться всех удовольствий, — а так, как я их понимаю и высказываю» *(83, 539 - 548)*.

21 декабря М. Л. Толстая писала Т. Л. Толстой в Никольское: «У нас за обедом был сегодня довольно неприятный разговор. Мама́ всё на вегетарианство нападала. Она прочла письмо, которое папа́ ей оставил, и оно её, по-видимому, расстроило. До сих пор она была довольно весела. Ну, да это обойдется» *(Цит. по: Там же. С. 548)*.

Конечно, и не могло не “обойтись” – и для Sophie, и для её дочерей, для которых давно действовал тот самый закон “инерции”, описанный Толстым в приведённом нами письме: если уж начали один, соблазнительный, образ жизни, так надо и далее вести её. Если впряглись в воз не по силам и потянули в неверном направлении – нельзя остановиться.

Соничка не намерена была простить мужу ни тяжести “воза” выбранного *ею* образа жизни, ни, тем более, его участия в том, что этот груз оказался взвален именно на неё. Не простила и много лет позднее. В мемуарах, явно апеллируя к эмоциям (и недостатку памяти) своих читателей, она, рассказав о ссоре и страданиях мужа, повторяет излюбленную свою *полуправду*:

«…А рядом дети, видя и чувствуя всё это разногласие, мучились и страдали, любя нас обоих.

Лёва любопытно прислушивался к речам отца, и в душе его возникала борьба и сомнения. Таня жалела меня и хотела успокоить отца. Ведь не могли же они не знать, что сам отец пожелал сдать мне все дела, что не я его об этом просила, а с борьбой и слезами взяла на себя этот тяжёлый труд ведения всех дел.

Подписку на сочинения тоже посоветовал открыть он, и условия подписки были самые льготные для публики. Доверенность на ведение всех дел тоже дал мне сам Лев Николаевич, я её и не желала, и не просила. Всё это он забыл или не хотел помнить» *(МЖ – 1. С. 501)*.

По внешним биографическим фактам жизни супругов — тут почти всё правда. Но не по *существу дела*, которое было в том, что Соничка до конца жизни, а не только в 1880-е, ощущала недостаточность определявшихся ей социальным окружением и эпохой прав и общественных ролей. Она искала таких *смыслов*, такого образа и содержания жизни, в котором могла применить *все* свои силы и таланты. Не только деревня, но и Москва 1880-х не могла удовлетворить её культурно-творческой и экзистенциальной жажды. И – да: не мог до конца понять её истинных мотивов и муж, остававшийся в своих воззрениях на женщин человеком своего столетия.

Кроме того, *главное* – религиозная вера – была им уже обретена, тогда как Софья Андреевна, держась *церковного православия, то есть суррогата веры*, не только стремилась миновать этот поиск, но и не принимала его результатов, к которым пришёл уже её муж.

Наконец, к одному из мест письма Толстого, с правленым текстом, где речь идёт о переезде в Москву и неприемлемости для Толстого образа жизни семьи в Москве, Софья Андреевна, отметив трудности мужа в подборе формулировок, сделала такое примечание:

«Противоречие этому можно найти в письмах Льва Николаевича к жене. Он сам устроил весь переезд в Москву и давно к нему готовил семью» *(83, 550)*.

Да, всё верно. Как мы помним, Толстой в 1881 – 1882 гг. занимался и покупкой дома, и ремонтом его, и приобретением всяческой обстановки, и самым переездом семьи… Но, добавим от себя: и вряд ли впоследствии был доволен собой в связи с этими *уступками* состоявшемуся помимо его воли *решению жены и старших детей*.

Добравшись до имения Олсуфьевых, то есть в Никольское (Обольяново) Дмитровского уезда Московской губернии, оба не жданных в этот вечер, но некогда приглашённых и всегда желанных гостя, отец и дочь, в тот же вечер 19 декабря отписали письма в Москву – соответственно, своей жене и маме. Таня так описала в письме к С. А. Толстой поездку:

«Расскажу про наше путешествие. Отъехавши вёрст 40, мы кормили себя и лошадь на постоялом дворе и в 2 опять продолжали путь. Оставалось верст 20. Но в четвёртом часу начало слегка мести и за 7 верст от Никольского мы взяли малого, который оказался совершенно бесполезным, потому что Султан, который уже бывал здесь, помнил дорогу и ни на одном повороте не ошибся. Встретила нас Лиза [Олсуфьева] — сначала не узнала нас, но потом ужасно удивилась и по-видимому обрадовалась, потом мальчики прилетели, — за графиней послали, она была в больнице. Графа нет; он уже два дня, как уехал в Петербург. Накормили нас чудным людским постным обедом, — сами же они обедали в два часа. Здесь очень красиво, и приятно деревней пахнет» *(Цит. по: 83, 551)*.

Деревня и природа. Пусть и зимняя, но природа – это всегда было первым условием для излечения Толстого, для его вдохновения. Но в день приезда он был ещё так вымотан мерзкой, дрянной, ненавистной всякой живой душе Москвой, что не смог отписать жене боль-

шого письма, положившись в этом на дочь — вот отчего нам приходится цитировать её полудетское послание. От себя он приписал на полях письма дочери только следующее:

«О своих планах ничего не пишу, потому что ещё не побыл один и не обдумался. Завтра обдумаюсь и решу.

Таня всё написала так хорошо, что приписывать нечего. Я чувствую себя хорошо и целую всех вас» *(Там же)*.

Толстой знал, что в естественных всякому человеку условиях, вдали от тошнотной клоаки под именем «Москва», он довольно скоро придёт в себя. Поэтому он изъял у измученной корректурами жены материалы новой своей статьи «Так что же нам делать?», готовившиеся для 12-го тома её издания — дабы доработать их самостоятельно. К сожалению, он снова не учёл негативно-деструктивного “потенциала” жениной головы: увы! та сразу стала беспокоиться о судьбе уже собранной с читателей подписки и издания в целом…

В этот же день, вдогонку отъехавшим, отправила своё письмо и Софья Андреевна. Толстому адресовалась не только часть её письма, но и прилагавшаяся к нему *выписка*, сделанная рукой Л. Л. Толстого, из ранее полученного письма К. П. Победоносцева. Письмо лишало издательницу и автора всякой надежды на получение разрешения на публикацию книги «В чём моя вера?». Почуяв при личной встрече ум, напористость и искренность любящей жены – обер-прокурор Синода, вероятно, счёл в то время Софью Андреевну за тайную религиозную единомышленницу мужа и доставил себе удовольствие, прибавив в письме к своему отказу издевательскую и кощунственную колкость в узнаваемом, «фирменном» своём духе и стиле:

«Я на словах уже объяснял вам мою мысль, а теперь, прочитав листы, сознаю её явственно. И вас убеждаю: *не настаивайте*, и буде запрещение представляется вам злом, *не противьтесь сему злу*» *(ПСТ. С. 350)*.

Конечно, такое письмо, дабы не расстроить ещё больше Льва Николаевича, было от него до отъезда скрыто, а вдогонку – послана только, выписанная отдельно, “деловая” его часть, касающаяся непосредственно цензурного решения. Кроме неё, от себя Софья Андреевна отписала мужу и дочери следующее:

«Милый друг, прилагаю для тебя письмо ко мне Победоносцева, переписанное Лёлей. Из него ты увидишь, что отказано безвозвратно, что очень досадно и неприятно. Но, видно, всё пошло мне в жизни против теченья; и чем больше всякого горя, тем как-то больше и

больше сжимаешься и жить не хочется. Вот теперь, до праздников набрали бы: «Что ж нам делать?» и напечатали бы весь том. Но ты уехал, увез всё, и я ничего не могу предпринять!

Прими это к сведению, пожалуйста, и если можно, помоги мне поскорей выпустить 12-й том. Всякий день огромное требование книг; сегодня 31 объявление, и придётся снова, по всей России, собирать билеты <квитанции на подписное издание. – *Р. А.*> и *особенно* рассылать 12-й том.

Как-то вы доехали! Утром было хорошо, но теперь, вечером, ветер и холодно. Маша с Андрюшей ездили на Патриаршие <на каток. – *Р. А.*> с Толстыми. Я весь день за своим делом. Обедала у меня Ольга Зайковская, такая стала полная; она мне была приятна. <Подруга молодости С.А. Толстой. – *Р. А.*> […]

У Маши и у меня с вечера горло болит, у Лёли голова. Он не ходил в гимназию, спал, а теперь сидит со мной и переписывает Победоносцева письмо. Маша учится. Пока всё благополучно, жду с нетерпением известия о вас. […]

Таничка, милая, не заболей, люби меня, как любила это последнее время. Если тебе не слишком по нас соскучится, то я рада, что вы у таких милых, добрых, умных, чудесных людей, как всё семейство Олсуфьевых, которым кланяюсь сердечно и благодарю за вас.

С. Т.

19 декабря вечер.

Не оставь без вниманья, Лёвочка, мою просьбу что-нибудь сделать, чтоб ускорить запоздавший том. Напиши, не нужно ли мне что сделать или переписать или набрать?» *(Там же. С. 349).*

По хронологии письмо Л. Н. Толстого, писанное 22 декабря, начато как ответ на только что приведённое нами письмо С. А. Толстой. Но с писанием его случился казус: Толстой не успел окончить свой ответ, как прискакавший из Москвы (больше 60-ти километров! с добрыми вестями так не спешат…) младший сын, Л. Л. Толстой, по-семейному именуемый Лёля, передал ему ещё одно письмо Софьи Андреевны — вероятно, этого же дня, 22 декабря. Это был ответ на *то самое*, исповедальное, письмо, переданное Толстым жене перед отъездом…

Дабы не нарушать, по возможности, диалогичность переписки, приводим ниже сперва ту часть письма Толстого, которая отвечает на письмо С. А. Толстой от 19 декабря.

«Два дня не писал тебе, милый друг, от того что Таня писала и от того, что сам не пришёл ещё в нормальное состояние.

Нынче получили от тебя письмо с копией Победоносцева, которое всех заинтересовало и оскорбило. Меня же оно нисколько не заняло, а заняло твоё письмо, — то настроение озабоченности, торопливости, в которых ты продолжаешь находиться и в которых тебе очень тяжело. — Моя рукопись, я думаю, ничего не задержит, потому что теперь до Рождества никак не станут работать в типографии, а к 3-му дню праздника, я доставлю рукопись с Таней или сам привезу. — Ах душа моя, как жалко, что ты так себя мучаешь, или дела, которые ты затеяла, мучают тебя. Утешаюсь тем, что физические причины помогут твоему успокоению, и радуюсь тому, что я теперь пришёл в такое нормальное положение, что не буду тревожить и мучать тебя, как мучал всё *это последнее время*» *(83, 551 - 552).*

Дописав до этого места, Толстой получил и тут же прочитал следующее письмо Софьи Андреевны из Москвы:

«Милый Лёвочка,

Хотела посвятить сегодня вечер, чтоб написать тебе разумное, хорошее письмо, но вдруг наехало столько неожиданных (воскресных) гостей, что теперь 2-й час ночи, а я едва освободилась, чтоб известить хотя тебя, что мы живы и здоровы. Что же ты не напишешь мне ничего? От Тани получила письмо, и очень ей благодарна, что она не оставляет меня без известий.

Я думаю, вам весело, легко и хорошо живётся.

К тебе есть толстые письма от Черткова.

Что с ними делать, прислать ли их?

Сегодня я возила трёх малышей в Зоологический сад; они очень наслаждались; Миша вспоминал, что: «это папá приятно», в то время как мы смотрели на медведей. …Все были на Патриарших на коньках. Но всех нас буквально *засыпал* страшный снег. Саша тоже сегодня гуляла, так было тепло.

[…] У меня всё пропасть дела, едва, едва с артельщиком успеваю. Я очень раскаиваюсь, что предприняла всё это; мне было не ясно, как это будет. Но дело сделано, поворот невозможен, и всё со дня на день возрастает подписка.

Я очень бы хотела знать, что ты? Но боюсь трогать те больные места, которые не только не зажили, но как будто ещё больнее раскрылись. Больнее от того, что дурное чувство за причинённую боль, и

боль, какой ещё никогда в жизни больнее не было, — не прошло. Я рада, что твои больные нервы отдохнут без меня; может быть ты и работать будешь в состоянии. — Но неужели это гибельное вегетарианство бесповоротно должно убивать тебя и нет возможности одуматься?

Что ты мне не напишешь в ответ на мой вопрос о 12-м томе?

Вообще, пожалуйста, напиши.

Были нынче <гости> […]. Очень меня утомили, и скучно!

Прощай, Лёвочка. *Где* ты? и давно уж: где ***ты***? Целую тебя.

Соня.

Кланяйся всем от меня получше, особенно же Анне Михайловне. Им с тобой хорошо — их ты не ненавидишь и не осуждаешь, не то, что меня. Вот хотела уехать *я*, а уехал *ты*. И всегда остаюсь *я* с своими заботами, да ещё с разбитой тобой душой» *(ПСТ. С. 350 351)*.

Ужасное это письмо подтвердило худшие ожидания Льва Николаевича – и значительную часть того, что он писал в письме о своём положении в доме в роли сумасшедшего старика. Софья Андреевна, судя по всему, именно так и восприняла его текст: как новую «выходку» больного разума – и тем оправдала для себя необходимость примирения с мужем.

Да, она не была даже серьёзно расстроена или взбешена: письмо-исповедь ею было решено *игнорировать*, что же касается истерики 15 декабря – ею несчастный муж повредил только самому себе, не остановив притока подписчиков нового издания и денег в Соничкину кассу. В письме она это оставила “между строк”, позволив мужу догадаться и дополнительно морально пострадать, а вот страницам мемуаров, писанным более чем через 20-ть лет, было Софьей Андреевной всё сообщено достаточно откровенно:

«Дом в Никольском был большой, роскошь самая барская, и чувствовалось, что денег было у Олсуфьевых много и их тратили без счёта на всё: на школы, на больницу, на пищу и обстановку, на всё, что только кому-либо пожелается.

И, переехав из более простой домашней обстановки в это богатое барство, Лев Николаевич вдруг успокоился, пользовался всей роскошью, которой окружены были Олсуфьевы, ничего не отрицая, не страдая, а напротив, как писала мне Таня, веселясь, сочувствуя всем затеям и играя в винт с графиней Анной Михайловной и её приближёнными.

Это ещё более возмущало и огорчало меня. Я не видела ни последовательности, ни справедливости в Льве Николаевича и чувствовала, что перестаю уважать его» *(МЖ – 1. С. 502).*

Это и чувствуется, Соня, это чувствуется… Хотя и тебя бы, может быть, надо не уважать – за явленную в этих строчках *зависть* к богачам Олсуфьевым.

Скажи, Соня. Ка́к *воспитанный* человек, твой муж, должен был, тем более и приехав нежданно, вести себя в гостях у людей просвещённых, следящих за новостями и знающих без его проповедей о его убеждениях в отношении денег и роскоши? Ведь не могла ты не понимать, что не за роскошью ехал в Никольское Толстой — а за тем самым *запахом деревни*, за *«деревенской ванной»* для плоти и духа, за тишиной и свежим воздухом… А обстановкою богатого дома пользовался он — и как гость, по необходимости благовоспитанного человека, и как *выздоравливающий больной*. Отчего же и какую увидела ты в этом «непоследовательность»?

Ещё цитата, оттуда же, из мемуаров «Моя жизнь»:

«…Я продолжала свои труды продажи и подписки на сочинения Льва Николаевича. Остановить этого было невозможно: машина приведена в движение, колёса вертятся, остановить нельзя. […] Сочинения рассылались, адресы выписывались в алфавитном порядке, деньги получались и велась трудная, довольно сложная бухгалтерия. В это время взяла я из Кокоревской биржевой артели артельщика Румянцева, который должен был упаковывать книги, получать деньги и вести со мной все книжные дела.

[…] От утомления и тяжёлого настроения у меня сделалась сильнейшая невралгия. Но кому было до этого дело! Лев Николаевич очень весело проводил время у Олсуфьевых, и мне было и это досадно» *(Там же. С. 502 - 503).*

Это ведь – то самое «рабство у учения мира», которое описывает Толстой в запрещённой “духовной” цензурой книге «В чём моя вера?» Рабство, от которого лжехристианский мир не избавился и по сей день, в начале уже XXI столетия…

Олсуфьевы не были в тысячной доле так дороги Льву Николаевичу, как ты и дети, Соня! Зачем же ему, ради некоей полоумной «последовательности», будучи нездоровым и в гостях, совестить в стяжа-

тельстве и роскоши *их*, принимающих хозяев и только знакомых людей — когда *тебя* невозможно было переубедить? Дела любой торговли, как и войны, обжорства, блядства и под. — разве не позорили и не позорят, через 2000 лет после Христа, *всего* христианского мира? Но конкретные условия, в которых человек христианин может напоминать об этом современникам — *очень* различны. Иногда — благоразумней *за*молчать на время или *про*молчать…

Так что обходительность твоего мужа с Олсуфьевыми — только *повод* твой к неуважению, Соня. Причины много глубже, и многие — в тебе самой… А результат — тот же, что уже в 1860-х, в начале твоей с Львом Николаевичем брачной жизни:

«В переписке нашей с Львом Николаевичем уже не было досады, но чувствовался тот *болезненный надрез в наших отношениях*, которого я всегда так боялась» *(Там же. Выделение наше. – Р. А.)*.

* * * * *

Прочтя письмо жены от 22 декабря, Толстой пишет вторую часть своего ответного послания:

«Сейчас прочёл твоё письмо. И сейчас в сердце зажало, и чувствую то же отчаяние и тоску, которые чувствовал в Москве и которые совершенно прошли здесь. Опять то же: “задача не по силам, он никогда не помогает, я всё делаю, жизнь не ждёт”. Все слова мне знакомые и, главное, не имеющие никакого отношения к тому, о чём я пишу и говорю. Я говорил и говорю одно, что нужно разобраться и решить, что хорошо, что дурно, и в какую сторону идти; а если не разбираться, то не удивляться, что будешь страдать сама, и другие будут страдать.

О необходимости же что-то сейчас делать говорить нельзя, потому что необходимого для людей, у которых есть деньги на квартиру и пищу, ничего нет, кроме того, чтобы обдуматься и жить так, как лучше. Но, впрочем, ради Бога, никогда больше не будем говорить про это. Я не буду. Надеюсь окрепнуть нервами и молчать.

То, что всё, что я испытывал в Москве, происходило не от физических причин, то, что я после 3-х дней точно такой же жизни, как в Москве, — без мяса, с работой физически тяжёлой, — я здесь колю и пилю дрова, — я чувствую себя совсем бодрым и сплю прекрасно.

Но что делать, мне, по крайней мере, ничего нельзя изменить, ты сама знаешь. Одно можно — выработать спокойствие и доброту, которой у меня мало, что я и постараюсь сделать. Прощай, душа моя. Целую тебя, и люблю, и жалею. Целую детей.

Как тебе должно быть одиноко! Надо поскорее приехать к тебе» *(83, 552 - 553)*.

Следующее письмо Толстого, от 23 декабря – логически продолжает первое, но посвящено уже не объяснению с женой, а – тому, что не вошло, по настроению писавшего, в предшествующее письмо: довольно обыденному рассказу о жизни в имении Олсуфьевых. Приводим ниже выдержки из него.

«Как-то ты живёшь, милый друг? Давно нет от тебя известий, и последние — оставили впечатление невесёлого и не спокойного состояния, да и моё последнее письмо было дурное.

Жду очень от тебя известий и с надеждой, что будут хорошие. Таня всё описывает о здешней жизни; я могу подтвердить только её слова, что очень, очень милое, честное всё семейство. Мне кажется даже ещё милее без Адама Васильевича, в котором есть, или кажется мне, что-то ненатуральное, скрытое. — Роскошь жизни их очень большая и очевидно тяготит, давит их, — и им скучно, и у них скорее скучно. Выкупается всё нравственной чистотой и честностью, которая чувствуется во всех.

[…] Я ничего не писал всё это время. Один раз немного Ивана Ильича, и то скоро остановился. Я сплю все эти дни совсем хорошо и нахожусь в упадке нерв. Сердце немного сжимается иногда, но реже; и даже я думаю, что я замечаю это только потому, что привык обращать на него внимание. Ах как мне хочется получить от тебя хорошие известия: т. е. что ты спишь хорошо, что дело наладилось и меньше требует твоих хлопот, что не беспокоишься ни о ком особенно и не сердишься на меня, не тревожишься обо мне. Вот программа, чего я желаю для тебя.

Я приеду, вероятно, с Таней. Так я этого хочу. Помешать или изменить может только то, чтобы я почувствовал неполное нервное успокоение. А то я опять встревожу тебя.

Прощай, душенька, до свиданья, коли Бог даст» *(83, 554 - 555)*.

23-го декабря пишет встречное письмо и Софья Андреевна. Но письмо Толстого от 24-го не содержит свидетельств того, что письмо

жены от 23-го было уже получено Толстым. Это то же краткое сообщение о текущих событиях. Именно поэтому приводим его здесь же, следом за письмом Толстого же от 23-го.

«Живём мы очень хорошо. Если я сплю дурно и желудок не в порядке, то это желчное состояние, начинавшееся ещё в Москве и теперь проходит. Семейство одно дома <т.е. нет гостей. – *Р. А.*>; как всегда, все приятны и добродушны. Я нашёл много книг в библиотеке, из которой собираю то, что годится для издания. Книги особенно хороши нравоучительные масонские.

Сегодня ходил на коньки смотреть, как они катаются. Таня ведёт себя хорошо, чего желаю и всем её сёстрам и братьям.

Целую всех и малышей особенно. — О тебе ничего не знаю. Надеюсь, что тебе хорошо» *(Там же. С. 555 – 556)*.

Три остающихся в данном эпизоде письма Софьи Андреевны, от 23, 24 и 26 декабря, к сожалению, не могли быть утешительны для Льва Николаевича. Вероятно, кое-что в их содержании он решил обсудить не письменно, а в личных беседах, по возвращении в Москву. С другой стороны, сама Софья Андреевна нашла в себе силы в этих же письмах признать их писанными под влиянием болезни… Так или иначе, но на фоне единственного известного нам ответа Толстого, небольшого письма от 27 декабря, заключительного в данном Эпизоде, её послания выглядят, скорее, *монологом* – местами, действительно, свидетельствующем о расстройстве здоровья адресата. Вместе с тем объяснения Софьи Андреевны с мужем и здесь сохраняют принципиальный и, в своём роде, *концептуальный* характер. Отрывки из них любят цитировать и современные нам авторы, стоящие целиком на точке зрения жены Толстого – подобно уже названному нам говнюку Ю. Сапрыкину, подлизывающему ж…пу В. И. Толстого и прочих «потомков» с их концепцией Ясной Поляны как *усадьбы*, места *семейной* жизни Толст***ых***, семьи *писателя* – т. е. с задвиганием духовных поисков и религиозного проповедания Л. Н. Толстого на задворки всех публичных дискурсов.

Приводим ниже, с необходимыми комментариями и в хронологическом порядке, тексты всех трёх писем. Так как в письме от 23-го Софья Андреевна адресует свои возражения не только мужу, но и дочери Татьяне, в ответ на её письмо от 22 декабря – по необходимости знакомим предварительно читателя и с этим письмом, по публикации Н. Н. Гусева:

«Милая мама.

Всё мне хочется вас (т. е. папа´, и вас) учить, и с вами мне это будто бы легче, чем с папа´.

Я всё ищу случая с ним поговорить, но здесь найти его трудно, и я вероятно напишу ему из Москвы то, что мне так часто хотелось ему высказать. А именно, что он желает, чтобы мы жили по-его, но мы не убеждены в том, чтобы это было нужно, — напротив, я убеждена, что если для того, чтобы достичь идеальной жизни, надо, чтобы все были несчастливы, — то Бог с ней совсем. Что мы всегда можем делать и будем с радостью делать, это исполнять многие его желания, когда они определённы, а опоминаться я не вижу, в чём нам надо?

Если бы мы начали, не веря в это, что-то из себя корчить в угоду папа´, то ему много было бы тяжелее, и мы столько бы делали бестактностей и столько зла бы сделали, потому, что не любили бы и не верили бы в свою жизнь. Ах, как это ужасно жаль, что столько хороших и святых мыслей, которые у папа так испорчены тем, что он хочет волей или неволей и без доброты часто их внушить другим. Вам покажется, что я его не люблю последнее время, но это неправда, — напротив, мне ею очень жаль, и я к нему нежность чувствую, и, может быть, ещё большую, чем когда-либо, потому что я чувствую, что он стал ближе к нам, грешным, т. е. что и он бывает неправ и слаб. Прощайте.

Если бы папа´, любя нас и с добротой к нам относился (к вам особенно), и жил бы, как он хочет, то мы многое по его примеру делали бы, да и теперь часто думаешь: «Зачем же у меня будет то или другое, когда у папа´ ничего нет, или зачем я буду ничего не делать и других заставлять, когда папа´ сам работает». А всякая вспышка гнева сразу всё портит. Думаешь, что, верно, он сам чувствует, что он неясно сознаёт то, что он говорит, если он так сердится. Прощайте опять... Вас я поучу на словах — учение моё не строгое. Résumé из него: не говорите того, чего вы не думаете и что других огорчает; меньше — не занимайтесь, а меньше увлекайтесь изданиями, и вообще поспокойнее и полегче. Ничего, что я вам лекцию читаю? Но ведь я любя. Прощайте» (*Гусев Н.Н. Материалы... 1881 – 1885. С. 527 - 528).*

Несмотря на всю деликатность, на попытки дочери стоять на стороне матери и понимать все её мотивы – письмо это, как мы увидим, вызвало суровый отпор Софьи Андреевны.

Софья Толстая, 23 декабря, ночь:

«Ну вот спасибо, милые мои Лёвочка и Таня, что обрадовали хорошими письмами. На сегодняшний вечер я по крайней мере *наверное* счастлива и весела. Но подкосило-таки меня! У меня начинается невралгия в старом месте правого (больного) глаза, виска, брови и всей головы. Ещё есть надежда, что не разойдётся на долго — но есть уж и подлый страх перед болью, которая уж очень резка, так что руки дрожат писать. Вот некстати-то при моих делах, которые меня совсем замучили. А ещё праздники, и все суетятся, чистят, моют озабоченно и шумно. Но всё ничего, лишь бы никто не упрекал ни в чём, и все были бы счастливы и веселы! Видно меня пришибёт боль — как ни храбрись, a tic douloureux [*лат.* невралгия тройничного нерва] самый настоящий и мучает с обеда всё хуже и хуже. Серёжа завтра едет и везёт это письмо, и все письма Черткова посылаю и Тане. Разберите всё получше и не растеряйте. […]

Пишу и чувствую, что не могу больше: тук, тук в висок, даже дрожь пробирает. Что-то нужно было написать и не вспомню.

Да, мы нынче *письмо* опять перечитывали, и с Варей вдвоём. И то же впечатление, которое ты сам производишь, произвело и письмо. — Грустно, жалко смотреть и тяжело, что страдаешь, — а как быть?

Знаешь, я даже рада, что мне *так* больно висок. Боль физическая отвлекает боль сердечную. Может быть завтра всё пройдёт, а нынче я опять слишком устала. Все эти дни я ложилась в 4 часа ночи и вставала в одиннадцатом. […]

Таня, я очень искренно рада, что вам хорошо с папá и что он отдыхает. Я знаю, Таня, что в жизни нашей всё хорошо, и что плакать не о чем; но ты это папá говори, а не мне. Он плачет и стонет, и нас этим губит. Отчего он в Никольском не плачет над Олсуфьевыми, и собой и тобой? Разве не та же, но ещё более богатая жизнь и там, и по всему миру? За что я souffre-douleur [*фр.* мальчик для битья] всех его фантазий? Я, которая всегда любила и желала жить для других, и мне это ничего не стоило, в этом только и радость моя была! — Спасибо, что дети ко мне [относятся] с доверием. И я оправдаю это доверие, потому что теперь только это мне и осталось. — Но быть веселой! Возможно ли это, когда слышишь стоны больного возле себя? И больного, которого привыкла любить. Вот об этом подумай. А пока я могу одно сказать: да, я хочу, чтоб он вернулся *ко мне*, так же как он хочет, чтоб я пошла *за ним*. *Моё* — это старое, счастливое, пережитое несомненно хорошо, светло и весело, и любовно, и дружно. *Его* — это новое, вечно мучающее, тянущее всех за душу, удивляющее и тяжело поражающее, приводящее в отчаяние, не только семью, но и его родных, близких, друзей.

Это *мрак*, — в который я не пойду, это наболелое, которое убьёт меня. Нет, в этот ужас меня не заманишь. Это *новое*, будто бы *спасшее*, а в сущности приведшее к тому же *желанию смерти*, так намучило меня, что я ненавижу его.

Да, я зову в своё старое, и оно верное, и тогда только счастье восстановится, когда мы заживём старой жизнью.

Никогда мне это не было так ясно. И ясно, что я очень, очень теперь несчастлива этим разладом — но ломать жизнь не буду и не могу.

О занятии моём «изданием» скажу одно: я ухожу в этот страшный труд для одурения; это мой *кабак*, где я забываюсь от напряжённого семейного положения. — Балы и свет — тоже были таким же кабаком. — Уходить куда-нибудь надо от этих сцен, упрёков, от этих страданий во имя какого-то *нового добра*, убивающего *старое счастье*, и горе мне, если я, измученная и пьяная, уйду уж не в какой-нибудь кабак, а совсем куда-нибудь; мне так часто этого хочется.

Вот я как долго писала под влиянием невралгии. Но за то так всё ясно, и так всё — всё равно. Прощайте, я не зову домой, зачем? Надо переболеть одной: и самой легче, и вам хорошо.

С. Т.» (ПСТ. С. 352 - 354).

24 декабря:

«Милый Лёвочка, моё последнее письмо, к сожалению, не выполнило твою программу. С годами тяжелее переживаются душевные невзгоды и физически легче поддаёшься болезненному состоянию. Вчера у меня страшно болела голова, сегодня сидит ещё эта невралгическая боль, но уже легче. Кажется, не будет ничего кроме суточной мигрени или вроде того. Дéла всё прибавляется, но *не работа сушит, а забота*. О вас с Таней я спокойна, вы у хороших людей, с хорошим воздухом, и с совершенным спокойствием душевным.

Никогда праздники мне не были так одиноки; совсем никого нет, *ёлки, веселья* я делать не смею, позвать кого-нибудь на свою грустную фигуру смотреть, — я не решаюсь. Сижу за столом с своими конвертами.

Впрочем, сегодня я возила трёх малышей к < Л. Д. и Е. В. > Оболенским на ёлку. Как они все веселились, плясали, радовались на подарки! Всё было добродушно, гостеприимно, и как всегда, особенно от хозяев. Машенька, сестра <т.е. сестра Толстого, Мария Николаевна. – *Р. А.*>, плясала кадриль, взявшись за платье обеими руками и юродствуя. Она очень мила, когда весела. Вчера Дьяков соблазнил всех, т. е. Машеньку, Машу, свою дочь, Лизу с мужем, Вареньку с

мужем, дядю Серёжу, — все поехали к «Яру» <Популярнейший в ту эпоху загородный ресторан в Петровском парке. – *Р. А.*> — цыган венгерских слушать. Меня звали, да уж какие для меня цыгане, лишь бы только спокойно было.

Пришло (для контраста) письмо к тебе от Фейнермана, очень умное и интересное. Но что за несчастный фанатик в твоём направлении, т. е. в мраке. Пишет, что с женой чуть не драка, бежать от неё хочет. Отнимает у нее всё то нищенское достояние, последний кусок хлеба и отдаёт. Она не даёт, конечно, выходит ад. — И это то, к чему и я должна стремиться! Нет, ваше учение — это то самое монашество, к которому и приходили люди, впервые сделавшиеся монахами.

Чертков в разладе с матерью — уйти хотел. Фейнерман с женой — бежать хочет; ты от семьи — бежать хочешь. — А ведь если б не это, как бы счастливы мы были; как в глубине души мы всё-таки *наверное* любим друг друга. И верно и Чертков, и Фейнерман любят своих. Вот чего не пойму я никогда: почему *истина* должна вносить *зло и разлад*? Разлад не с разбойниками, а с тихими, *любящими* людьми? В первый раз в жизни я рада была, что ты уехал. Как это больно и грустно! Но я, конечно, рада буду ещё больше, когда ты приедешь.

Как-то Таня с Верой <В. С. Толстой> живут? По них двух в их домах скучают и они не достают очень своим. Илья уехал в самом обычном настроении: собак хочет привозить, денег просил побольше для этого. […] Маша эти дни всё нездорова. То грудь болела, горчишники ставили, то голова страшно болела. Она совсем ничего не ест — скоро окажется, как её, бедную, загубили вегетарианством. — Но не я её убью: моё дело было выкармливать маленьких, и я это сделала хорошо. А кто *моё* дело разделывает, тот пусть и отвечает Богу. Ну, прощай, Лёвочка, опять поздно и я ложусь.

Соня.

Приветствую всех с праздниками и желаю здоровья, счастья и спокойствия всем, кто в нём нуждается. Слышу по всей Москве рождественский звон» *(ПСТ. С. 354 - 355).*

Снова напрашивается параллель с неудоумением в древние века честной, заботливой, любящей жены-язычницы на то, что, ради единения и любви, Иисус “сманил” от неё и из семьи мужа – и сделал невозможным согласие с ним.

«Не мир, но меч и разделение», как реакцию на своё божественное учение, пророчил первым ученикам Иисус *(Мф. 10: 34).*

Поэтому же, кстати говоря, и аттестуя мужа и фанатического толстовца (либо же мастерского обманщика) Файнермана “монахами”, Соничка тоже не догадывается, *до какой степени* права. Первые в христианской истории монастыри создавались поборниками более чистой нравственно жизни в Боге – в сравнении с той, которую стали позволять себе церковные христиане в результате фактического возврата к иудейству и, отчасти, язычеству предков, к дохристианскому *религиозному жизнепониманию*, в результате отвержения и забвения ими учения превращённого в легенду Иисуса – бога и мессии.

Наконец, приводим и заключительное в Двадцать Восьмом Эпизоде нашей книги письмо к мужу С. А. Толстой – от 26 декабря. Показательно время написания этого и предыдущих, от 22 и 23 декабря, писем Софьи Андреевны: *ночь* (так она пометила в них сама). Это может быть свидетельством безмерной загруженности повседневными хлопотами каждого дня несчастной жены Толстого, но, конечно, может быть связано и с нарушениями сна, вызванными эмоциональным расстройством.

Письмо содержит в себе страшное пророчество: развития душевной болезни Сони, с которой придётся уживаться Льву Николаевичу долгие годы, до последних дней жизни.

«Милый друг, Таня и Верочка благополучно приехали, но имеют усталый вид. У Тани горло болит, она говорит, что всё время в снегу купалась и верно простудилась. Я спрашивала несколько раз Таню и Верочку, что ты, здоров ли, в каком духе? Но они мне всякий раз отвечают, что мало тебя видели, но что ты очень весел и очень смеялся, когда читали Дон-Кихота, и что, по-видимому, тебе очень хорошо. Я рада, что здоровье твоё от этого довольства и спокойствия выиграет. Спрашивала я, когда ты намерен вернуться, а Таня говорит: когда ты будешь *нужен*. Что значит *нужен*? Ведь для дела, для воспитания детей, для возки воды, для хозяйства, — для всего того, для чего бывают *нужны* люди, ты сам знаешь, что ты не нужен. А для радости, для любви, для счастья людей *нужен* человек быть *не может*, если он *не хочет*. Всё дело в чувстве, в сердце, а не в *нужности*. Вот я знаю, что детям я нужна, потому что утром, когда я долго не встаю, малыши тихонько ложатся трое в ряд на животы у двери, смотрят в щель, и лежат и ждут, когда я встану и когда окно отворю, чтоб взойти и броситься мне на шею, и всякий день радоваться, что я тут, и что они меня видят.

Это большая радость быть любимой хоть ими.

Вот они всей душой, без вопросов, без сомнений знают, кто им нужен.

Мне плохо всё это время. Хотя невралгии нет, но она сидит и ждёт случая разойтись. Нервы расстроены страшно; спазма слёз в горле не оставляет ни на минуту, и моя живучая, энергическая, здоровая натура таки сломилась на этот раз. Хочу, хочу встряхнуться, жить, спать, думать, разобраться в жизни — и не могу. Ужас перед сумасшествием так велик, что не могу преодолеть его. И именно такие натуры, как моя, которых не сломишь физически, и ломаются морально, и сумасшедшие живут бесконечно долгие годы.

Были сегодня вечером у дяди Серёжи, только свои, родные собрались. Он очень сам мил; вчера пришёл ко мне, и сидел со мной вдвоём вечером и так мы с ним хорошо, по душе разговаривали. Вообще, спасибо, все со мной так добры и ласковы, как никогда.

Праздничный обед вчера был очень печальный. Точно кто умер в доме. Тихо, пусто. Обедали Маша, miss D., я и три малыша. Сегодня Таня и дядя Костя придали немного торжественности и веселья. Таня приехала очень счастливая и весёлая, и жалеет Никольское; ей ужасно было весело, и она так довольна, как никогда, или как давно я её не видела. Хотела написать Анне Михайловне и поблагодарить её, но сегодня уж не успею. Пожалуйста, пиши мне, чтоб я о тебе знала, что ты, и здоров ли. Что Лёля? я себе воображаю, что вы с Лёлей на Султане на днях приедете вдвоём, как ехали с Таней. — Впрочем, делай как тебе лучше. Жаль, что Лёля ослабел в своём хорошем намерении заняться на праздниках. Потом будет жалеть.

Прощай, милый Лёвочка, если не вместе, всё-таки же хочется знать, как ты живёшь. Ты был очень жалок дома, и я рада, что ты перестал себя мучить в гостях.

С. Т.» (ПСТ. С. 356 - 357).

В жестоких словах о “нужности” Софья Андреевна с тоской узнала язык неприязни, нелюбви – совсем не дочери, а мужа…

Как и можно было ожидать, Толстой в ответе от 27 декабря (завершающем весь 28-й Эпизод Переписки) “традиционно” приписал пугающее настроение Сонина письма – физическим причинам, временному заболеванию. Как приписывал и в 1860-х. Неужели он не стал более чуток к ней, к *душевному* её состоянию, за прошедшие годы? Или, что вероятнее – *не мог* быть чуток и любящ именно в это время, после ссор и взаимно причинённых друг другу страданий? Быть может, и не без доли её вины?.. При этом, судя по письму, он

искренне раскаивался в собственных перед Соничкой грехах и готовил к общению с ней и разум, и сердце.

Вот весь текст письма:

«Пишу, милый друг, на всякий случай, т. е. если бы меня задержало что-нибудь, так как я завтра, в субботу, хотел ехать в Москву. Могу я не поехать от погоды, от дурной ночи; а ещё причина та, чтобы Лёлины книжки не разъехались с ним и я бы получил от тебя известия.

Давно, со времени отъезда Тани и после твоего больного последнего письма, ничего о тебе не знаю. Я же с дня Рожества, могу сказать, что чувствую себя лучше и лучше; главное нравственно. Они ездили кататься, а я ходил по дорогам, гулял и думал, и каялся, и молился Богу. Не для успокоения тебя говорю, а искренно я понял, как я много виноват, и как только я понял это и особенно выдернул из души всякие выдуманные укоризны и восстановил любовь и к тебе и к <сыну> Серёже, так мне стало хорошо, и будет хорошо независимо от всех внешних условий.

Писать я так и не писал. Жизнь здесь всё та же тихая, чистая и добрая. Нынче, сейчас, были ряженые, и все […] наряженные ходили к священнику. То-то Таня бы *потащила*, я о ней жалел. Целую, любя, тебя и детей» *(83, 556)*.

Настоящее Рождественское письмо! Нельзя и его не пожалеть снова, не простить…

К обороту “Таня бы потащила” Софья Андреевна, при подготовке книжного издания писем к ней мужа, сделала такое примечание: «Изречение, которое употреблялось у нас при очень возбуждённом состоянии кого-нибудь» *(Там же. С. 557)*. Татьяна Львовна предпочла-таки “тащить” на праздники в Москве, куда и выехала 26 декабря. А 30-го и Толстой с младшим сыном Львом, распрощавшись с Олсуфьевыми, наконец выехал из Никольского-Обольянинова в Москву.

В мемуарах «Моя жизнь» Софья Андреевна пишет об этом следующее:

«Успокоенный и отдохнувший от своих ненужных работ: накачиванья из колодца и возки воды, колонья дров, уборки комнат, топки печей и прочих физических дел, Лев Николаевич вернулся в Москву с Лёвой опять в тех же маленьких санках на Султане. Нервы его стали сильней, расположение духа лучше, и со мной он трогательно

помирился, с условием ни одним словом не вспоминать происшедшего. Но я была настолько недобра, что пишу об этом сестре <в письме от 2 января 1886 г.>:

“Я, обещав не поминать на словах прошлого, до сих пор не забыла этого в сердце. Такой несправедливой, жестокой обиды, как в нынешний раз, никогда я ещё не претерпевала”.

Как неосторожно и нерасчётливо поступают люди!» *(МЖ – 1. С. 506)*.

Соня понимала, что это праздничное примирение – непрочно, а достигнуто их с Львом Николаевичем взаимным усилием, и главным образом ради детей, которые, отреагировав на перемену эмоциональной атмосферы в доме, в дни Рождества сделались «как-то особенно радостны, дружны, весело-предприимчивы, точно случилось что-то особенно хорошее и радостное» *(Там же)*.

В свою очередь, и то, что Толстой был «добр и кроток» с измучившими его в последние четыре года женой и старшим сыном, разумеется, вовсе не означало того, чтобы он стал одобрять образ жизни своей семьи. На другой день по приезде в Москву и в последний день 1885-го года он писал художнику Н.Н. Ге: «Я никаких планов не делаю; но вероятно, что опять после нескольких недель здешней жизни измучаюсь, запрошу пардона и уеду в деревню» *(63, 311 - 312)*.

«После нескольких недель» — этого не случилось. 18 января 1886 г. семью постигла беда: умер от удушья маленький сын, папин и Божий львёнок, Алёша. Для мужа и отца не могло быть мысли о том, чтобы оставить скорбящую мать в Москве. И только в апреле Толстой снова отправляется в Ясную Поляну, но не «едет», а… идёт туда пешком! Но с этим вдохновительным путешествием и с последовавшим за ним длительным пребыванием Льва Николаевича в Ясной Поляне связан уже следующий, Двадцать Девятый, Эпизод его Переписки с женой.

КОНЕЦ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОГО ЭПИЗОДА

КОНЕЦ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ КНИГИ

С. А. Толстая
С фотографии 1885 г.
Гос. Толстовский музей в Москве

Надпись С. А. Толстой на обороте фотографии 1885 г.

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ.
Годы 1886 – 1895.

Эпизод Двадцать Девятый
СНОВА ХРУПКАЯ ГАРМОНИЯ
(Год 1886-й)

Фрагмент 29.1.
ВЕЛИКИЙ ПЕШЕХОД ПРОТИВ НИКОЛАЯ ПАЛКИНА
(4 – 11 апреля 1886 г.)

Конец зимы и весна 1886 года прошли в семье Льва Николаевича под знаком новой большой утраты и в атмосфере траура.

Тяжёлая эмоциональная обстановка в доме, создававшаяся во многом поведением мамы, Софьи Андреевны — убила у неё, как известно, двоих сыновей. Ваничку, погибшего в 1895-м, исследователи вспоминают в наши дни чаще: быть может, подлизываясь к потомку, Владимиру Толстому, бывому директору Музея-усадьбы «Ясная Поляна» и советнику В. Путина по культурным вопросам, у которого есть от второй жены сын, намеренно названный Иваном (схожий с *тем* Ваничкой внешностью, но отнюдь не поведением, не характером…). Алёшу же, львёнка Божьего, 18 января 1886 г. умершего «горлом» (от ангины) всего в четыре годика, вспоминают куда реже. Между тем — это был *дар Божий* Льву Николаевичу. Тот, кем — тоже неудачно — хотел (уже на седьмом годике жизни *сознательно* хотел!) вырасти Ваничка. Живая иллюстрация древнего изречения о том, что душа человека христианка — пока не совращена миром и мирским.

Удивительным, безусловно любопытным для психологов образом, в рассказе мамы Сони об утрате маленького сына конфликтно столкнулись две огромные любви этой многоталантливой женщины: к детям и к музыке. В дни страшных январских морозов Москву посетил с историческими концертами легендарный Антон Рубинштейн. Софья Андреевна с дочерью Машей выехала 15-го января в концерт, предварительно позволив няне ненадолго вывести младших детей погулять. Но лишь отъехали сани — погода, будто коварно дождавшись момента, резко испортилась: поднялся ветер «северный, пронзительный, несмотря на 6 градусов мороза. Вижу, англичанка тянет за руку задыхающегося от ветра Алёшу, он идёт с трудом за ней»

(Толстая С.А. Моя Жизнь. М., 2014. Книга Первая (далее: МЖ - 1). С. 509).

Все трое маленьких в доме захворали в тот день — несмотря на то, что в предшествующие несколько недель мать совершенно запрещала младшим детям выходить на свежий воздух. Затруднительно сказать, было ли это затворничество полезно или, быть может, сослужило злую службу. Алёше было хуже других… Двое приглашённых врачей, детский доктор Нил Филатов и взрослый, отоларинголог Агапит Беляев разошлись во мнениях о диагнозе. Узнав позднее о смерти ребёнка они оба были искренне удивлены и настаивали, что «горловая болезнь», сгубившая малыша, точно «была не опасная», а опасными оказались только сопровождавшие её воспаление и опухоль *(МЖ — 1. С. 510)*. Не в первый раз печально убедилась Софья Андреевна в основательности всегдашнего скепсиса мужа в отношении медиков.

18 января 1886 года Алёши Толстого не стало.

Готовя в начале 1910-х к публикации письма супруга, С. А. Толстая к одному из них, открытому от 7 марта 1895 года, в которой покойный муж спрашивал о здоровье сына Алексея, сделала такое примечание:

«Сын Алёша был прекрасный ребёнок, умерший от крупа четырёх лет. Когда он умирал, Лев Н<иколаевич>, взглянув на него, сказал: “умирает лучший из трёх”. Больные были тоже горлом ещё двое: Андрюша и Миша» (*83, 488; Примечания*).

Алексей Львович Толстой в 1885 г.
Москва. Фото «Тиле и Опитц»

Мерзкая психологическая обстановка в доме, создававшаяся во многом поведением мамы, Софьи Андреевны — поспособствовала, как известно, гибели двоих её деток. Ваничку, погибшего в 1895-м, исследователи вспоминают в наши дни чаще: быть может, подлизываясь к потомку, Владимиру Толстому, советнику В. Путина по культурным вопросам, у которого есть от второй жены сын, намеренно названный Иваном и, к сожалению, наследственно схожий с *тем* Ваничкой внешностью (но отнюдь не мировоззрением, не характером и не поведением). Алёшу, львёнка Божьего, 18 января 1886 г. умершего «горлом» (от ангины) всего в четыре годика, вспоминают куда реже… Между тем — это был *дар Божий* Льву Николаевичу. Тот, кем — тоже неудачно — хотел (уже на седьмом годике жизни *сознательно* хотел!) вырасти Ваничка. Живая иллюстрация древнего изречения о том, что душа человека — христианка по природе.

Об умиравшем скорбело в доме всё живое. Не только родители и старшие дети в семье, но и младшие тяжело переживали разлуку. Соня пишет в эти дни сестре:

«Андрюша […] разрыдался, когда увидел куколку Алёши, в красной рубашечке мальчика. Он положил его, бросился в подушки и стал рыдать. Миша не плакал, а с недоумением и грустью спрашивал: “Никогда, никогда мы больше не увидим Алёшу?”» *(п. 20 янв. 1886 г. – Цит. по: Шестакова Е.Г. Алексей Львович Толстой // Лев Толстой и его современники. Изд. 2-е, испр и доп. М., 2010. С. 522).*

Только двухлетняя сестрёнка Саша ничего ещё не могла понять; но, повзрослев, и она оставила воспоминания об этом трагическом дне семьи — из рассказов мамы:

«…Перед самым концом Алёшка вдруг широко открыл свои большие, серые, с большими ресницами глаза: «Вижу, вижу…» — сказал он, и так и умер с выражением удивления и восторга на личике» *(Толстая А.Л. Отец. Жизнь Льва Толстого. М., 1989. С. 263).*

Софья Андреевна пишет в мемуарах:

«Помню, как я стояла у гробика и держала свою руку на окаменевшем, холодном лобике Алёши, и пришёл Лев Николаевич. Он провёл своей рукой по моей голове и сказал: “Вот когда ты постареешь от горя”» *(МЖ – 1. С. 510).*

Только по смерти Алёша был вырван из тисков проклятой Москвы. Похоронить его решили на тихом кладбище в имении Никольском, что близ села Покровское-Стрешнево, в Московской губернии.

Как и через почти десятилетие, в 1895-м, в январе 1886-го Софья Андреевна воспринимала смерть ребёнка как бессмысленную жестокость – не видя своей вины в совершившемся… Что же касается

Льва Николаевича, его отношение к смерти *его* Алёши (как и *его* Ванички годы спустя) было истинно христианским, смиренным. В письме ближайшему другу своему В. Г. Черткову — всё от того же рокового 18 января — он делится сокровеннейшими из прозрений, такими, до принятия которых было слишком далеко его жене:

«…Об этом говорить нельзя. Я знаю только, что смерть ребёнка, казавшаяся мне прежде непонятной и жестокой, мне теперь кажется и разумной и благой. Мы все соединились этой смертью ещё любовнее и теснее, чем прежде» *(85, 314 - 315)*.

О том же свидетельствует и Софья Андреевна в своих мемуарах:

«Вследствие нашего семейного горя, смерти Алёши, да и просто потому, что влияние Льва Николаевича начинало сильнее выражаться в семье, жизнь наша в Москве во многом стала изменяться. Светские выезды прекратились, да уж и не тот они имели характер. У Тани и у меня сложились с многими прямо не внешние, светские, а дружеские отношения. Мы видались запросто, часто по вечерам, с теми, с которыми прежде встречались только на балах и на приёмных днях. Девочки собрались раз, именно в Машино рождение, 12-го февраля вечером, в баню, влезли все в мраморную ванну и торжественно объявили, что они крестились в новую жизнь. С этих пор они начали сами убирать комнаты, воздерживались от лишних дорогих покупок, старались помогать во всём другим. Особенно всегда тверда была во всём Маша, обожавшая отца. Скромнее в одежде и привычках трудно было быть, чем была она. […] Таня же стремилась более в области умственной ко всякой работе. Она была много умнее и талантливее своей сестры. Принялась она за переделку рассказов для народных изданий. Кроме того, она усердно читала мне всегда корректуры. Когда я была чрезмерно занята, она учила Андрюшу и всячески старалась помогать в доме» *(МЖ – 1. С. 513)*.

К сожалению, этому любовному единению семьи — как и тому, которое последовало в 1895-м после смерти Ванички — не суждено было длиться долго. Ни тогда, ни позднее, Софья Андреевна не могла совладать с собственным характером, дабы поберечь себя, мужа и детей.

В 1886-м, в семейном траурном «затишье» дома Толстых, ещё мало что предвещало злые бури последующих лет. Ничего — кроме того разве, что и в самые драматические дни гибели своего дитя Софья Андреевна не упускала из внимания текущие дела своего книгоиздательского предприятия, добившись, в частности, цензурного разрешения последнего, 12-го, тома издаваемого ею Собрания сочине-

ний мужа. Менять образ жизни, отказываться от деловой и культурной активности, доступной в ту эпоху, конечно, только жителям больших городов России, она не планировала — даже после всей высказанной ею самой критики Москвы и городского образа жизни.

Другим предвестием беды был всё сильнее «присасывавшийся» к семейству человек, Владимир Чертков. Мы помним, что с самого 1883 года Софья Андреевна скептически относилась к идеализации этой личности мужем. Весной же отношения этих двоих претендентов на новые сочинения Льва Николаевича обострились. Из-за ряда цензурных запретов у Софьи Андреевны явилась проблема: чем наполнить 12-й том сочинений мужа, за который она уже собрала деньги с подписчиков? Выручить, конечно, могли новые сочинения Толстого, но… самым крупным по объёмам из них был наконец-то завершённый социально-критический трактат «Так что же нам делать?», в полном своём виде — совершенно нецензурный и уже запрещённый для печати. Была гениальнейшая повесть «Смерть Ивана Ильича»… хорошая всем, кроме, опять же, своих недостаточных объёмов. Наконец, много было у Толстого новых небольших сочинений «для народа» — сказок, легенд — на которые, однако, автор имел свои виды, не рассматривая, как заведомый подарок для издания жены. Софья Андреевна не готова была мириться с этим. Публикации в апреле, хлопотами В. Г. Черткова, «Трёх старцев» в «Ниве», «Крестника» — в «Книжках недели», а легенды «Много ли человеку земли нужно» в «Русском богатстве» возмутили её, вызвав необходимость письма к В. Г. Черткову от 7 апреля, содержавшего вот такую отповедь:

«Владимир Григорьевич, я вижу, что вы с произведениями моего мужа обращаетесь как с своей собственностью, несмотря на то, что он всегда напоминает вам о том, что это касается меня. Пока дело касалось *народной* пользы и народного чтения, всё моё сочувствие было на вашей стороне и всегда будет. Но я вижу, что вы взялись благодетельствовать журналам, а этому я совсем не сочувствую… Все права переданы мне; к сожалению, я должна вам это напомнить…» *(Цит. по: 85, 349).*

Последнее не было совершенной правдой. Доверенные права на публикацию сочинений, написанных Толстым *до* христианского мировоззренческого перелома — действительно, сохранялись на тот момент за женой. Но правами на *новые* сочинения Толстой мог, с формальной точки зрения, распоряжаться по собственному усмотрению. Вероятно, В. Г. Чертков сумел объяснить это жене Толстого достаточно деликатно, ибо вскоре наступило примирение. В письме

от 14 апреля Софья Андреевна уже извиняется за душевную боль, причинённую ближайшему другу мужа:

«…Когда я вижу вас, я вас люблю и всегда вам рада. Но вдруг мне покажется за глаза, что вы хотите мне сделать неприятность, и меня опять взорвёт, — не все кротки, а я очень горяча, к сожалению» *(Там же)*.

Быть может, уже тогда, и именно «за глаза», Софья Андреевна умела вернее оценить личность и поведение Черткова? Трудно сказать наверняка. Так или иначе, но уже год спустя она пришла к убеждению, что с Чертковым ей не сойтись. Отношение её к «одноцентренному другу» мужа стало постепенно всё более и более обостряться.

1886-й год был не только сравнительно счастливым для семейной жизни Льва Николаевича, но и весьма продуктивным для его творчества. Помимо многочисленных народных рассказов, легенд, и названной выше повести «Смерть Ивана Ильича», Толстой в эти первые месяцы 1886 года заканчивает последние работы над трактатом «Так что же нам делать?», пишет собственный вариант окончания легенды Н. И. Костомарова «Сорок лет», а для народного театра готовит совсем не понравившуюся Софье Андреевне «балаганную пьесу с чертями» «Первый винокур». Толстой вполне благополучен в эти дни — если не сказать: счастлив. В письме Черткову от 16 – 17 апреля он, извиняясь за поведение жены, признаётся: «Я и духом и телом здоров, но писать хочу только умом, но не сердцем, и потому ничего за это время не сделал. Радостей же у меня очень много. Так много видишь сближающихся с истиною людей, и таких хороших людей, и так хорошо с ними» *(Там же. С. 345)*.

Но вот именно в том дело, что лучше всего ему было — с понимавшими его людьми, даже гостями. Отсутствие прежних конфликтных отношений с членами семьи не означало для Толстого настоящей победы в их сознании христианского понимания жизни. Многое в их образе жизни оставалось прежним. Вот почему за один только апрель 1886 года Толстой бежит из Москвы в Ясную Поляну дважды: сперва, с 4 по 14 апреля, навещает родную усадьбу, а с 28 апреля – уезжает туда на всё лето. Семья присоединяется к нему не ранее 11 мая, а до этого срока Лев Николаевич общается с женой и другими членами семьи в письмах. Переписка этих дней достаточно однородна по тематике и настроению, что позволяет нам объединить её в один, 29-й, Эпизод нашей книги.

* * * * *

Первое весеннее путешествие Толстого в милую Ясную было не поездкой, а *походом*. Толстой решил идти пешком — захватив в дорогу двоих молодых помощников и просто добрых попутчиков: 25-тилетнего близкого друга семьи Михаила Александровича Стаховича и 28-летнего Николая Ге-младшего, сына художника и близкого друга.

Накануне, 3 апреля, Толстой сообщил о предстоящем походе и смыслах его в письме В.Г. Черткову: «Не знаю, что буду делать дорогой и в деревне, но надеюсь, что буду чем-нибудь служить за корм. Иду же главное затем, чтобы отдохнуть от роскошной жизни и хоть немного принять участие в настоящей» *(85, 332)*.

И Толстой действительно уходит на следующий день из гадкой во все времена, ненавистной уму и сердцу Москвы, как писала Черткову уже Софья Андреевна: «с мешком на спине, весёлый и здоровый» *(Там же. С. 335)*.

Рассказывает Софья Андреевна:

«4-го апреля 1886 года вечером, после обеда, запрягли большую коляску, наняли извозчика и выехали на заставу, на Киевское шоссе, одетые по-дорожному и в лаптях Лев Николаевич и его спутники… Я поехала провожать их и с грустью ссадила их, проехав заставу, за городом. Долго провожала я их глазами, и чувство грусти, и особенно беспокойства, мучило меня. Вернулась я домой одна, в свою семью, опять почувствовав себя и одинокой, и несчастной». Этому настроению помогла и погода, странным образом повторившая свою январскую коварность: тёплая весна вдруг обратилась в весну раннюю, «наступили холодные дни с ветром и даже снегом. Путешественникам приходилось часто останавливаться, сушиться и греться» *(МЖ – 1. С. 515)*. Хорошим в этом было разве то, что Толстой на этих вынужденных остановках имел достаточно времени для наблюдений, бесед с народом и, конечно, для написания писем жене: с дороги он писал ежедневно. Приступим же теперь непосредственно к чтению этих писем и ответов Софьи Андреевны на них.

«Открытое письмо» от 5 апреля из Подольска:

«10 часов утра, в Подольске. Ночевали и идём здорово и весело. Стахович разбился ногами и подъезжает. Жду письма в Серпухов. Целую всех. У нас уж один постоянный товарищ — мужичёк. *Л. Т.*» *(83, 557)*.

Мишка Стахович, конечно, не «разбился», а тупо растёр ноги непривычной для него обувью и пересел на поезд. Он вообще оказался “слабым звеном” бродячей банды: ушёл из Москвы без паспорта. По законам того времени двое дворян могли официально удостоверить личность третьего, чем и воспользовались наши друзья: Толстой знаменитым своим почерком начертал для Михаила Александровича потребную ксиву, подмахнул, а Коля Ге — присовокупил свою подпись.

В особом письме к Софье Андреевне Стахович изложил свои дорожные жалобы, признания и пени — в довольно смешных стихах:

«Графиня, должен я признаться,
В пути прескверное житьё.
Грязнятся тело и бельё
И вдоволь трудно умываться.
Нас учит граф: плесни, полей
Лицо и руки без затей.

В глухую ночь иль утром рано
Чайку, водицы иль винца
Я пью из чудного стакана,
<Подарок ему от Софьи Андреевны. – Р. А.>
И пожеланьям нет конца
Здоровья, радостей, успеха…
Шумливых встреч, живого смеха
На всю семью.
А граф: скорей,
Стахович, пейте без затей!

Подбитый, сгорбленный, убогий
Бреду… и брежу наяву.
Душой, мечтатель хромоногий,
Я вижу дальнюю Москву,
Где так тепло и так уютно,
Где так смеёшься поминутно
И где меж ваших дочерей
Не ступишь шагу без затей.

Письмо не вышло, что за дело!
Я к вам пишу не в первый раз…
Лишь только б память уцелела
О дальнем путнике у вас;

И если в будущем случится
(Для всех грядущее темно),
Что вдруг клюкою постучится
Он в ваше светлое окно,
То, пересилив лень и скуку,
Подняв окно едва-едва,
Улыбку, добрые слова
В его протянутую руку
Подайте именем Христа»

(Цит. по: МЖ – 1. С. 516 – 517).

Вместо ослабевшего Стаховича вторым спутником Толстого в походе стал 60-тилетний крестьянин Макей. О нём Толстой сообщает жене в следующем письме, от 6 апреля, уже из Серпухова:

«Мы веселы, здоровы. Мужик этот, наш товарищ Макей, 60 лет, — моложе нас всех, — шёл с нами вёрст 50, обувал и вообще был мужиком трёх генералов. Мы забыли Количкину ложечку; он хотел её взять на обратном. Он 8-й раз ходил в Москву» *(Там же. С. 558).*

Конечно, 60-тилетний Макей был на самом-то деле *старше* любого из троицы путешественников, но 57-летний Толстой имел в виду *бодрость* и *работоспособность* попутчика, которого недаром сравнил с мужиком из сказки Щедрина.

Пришла пора для писем от Софьи Андреевны, первое из которых, конечно же, было написано в тот же день 5 сентября, что и первая открытка Л.Н. Толстого. Приводим ниже его текст, с сокращениями.

«Сейчас только вспомнила, милый друг, что обещала сегодня же послать тебе письмо. Ровно сутки, как мы, проводив вас, грустные поехали домой. Дождь идёт сильнейший, просто ливень; для всего *большого света* <*фр.* “le grand monde”. «Лев Николаевич называл “большим светом” — народ, крестьян, и деревню». – *Прим. С. А. Толстой*> — это прекрасно, но для вербного гулянья и для вас, пешеходов, это плохо. Ужасно интересно, как вы идёте, в каком духе, больно ли ногам, весело ли вам, здоровы ли, сыты ли? Мы все, женский персонал, постоянно с вами мысленно, и изредка переговариваемся о вас.

Вчера вечером были дома только Лёва да я. Девочки и малыши ездили смотреть карусели с madame Seuron. Зато я всё кончила: и

книжные счёты и платьице розовое. Им было весело, а мне свободно, — вот и хорошо. Потом сидели — дядя Костя, Илья, который приходит мне давать нравоучения разные, и вчера мне удалось с ним хорошо поговорить и немного образумить.

[…] Лёва сосредоточенно чистит ружье, готовит заряды; вообще возится в своей комнате и своём хозяйстве и писал Филиппу, чтоб для тебя кое-что приготовили и купили; но вряд ли письмо дойдёт вовремя. Спала я ещё у себя, но со мной для храбрости легла Маша.

После тебя, т. е. твоего отхода, я очень всегда осиротею, и мне всегда кажется, что не для чего и не при чём жить, хотя дела пропасть, но всё как будто не нужно.

[…] Таня сейчас едет на <благотворительный вербный> базар продавать для Капнист, а если дождь перестанет, мы с Машей и малышами поедем на вербу. Что-то проясняться стало. Как должно быть чудно-хорошо в поле и с природой сегодня! Мои глаза всё в сад тянет.

Черткову и Ник. Ник. Ге я вчера написала.

Какой вид и дух у Миши Стаховича? Для него этот поход пешком — экзамен. Выдержит ли он и физически, и морально. В какой будет находиться крайности — веселья или мрачности? Спокоен и ровен он бывает реже всего; а Количка Ге — напротив.

Пожалуйста, не мучай себя и не пересиль усталость. За нас не тревожься. Я сама очень сегодня спокойна, и все мы здоровы. Перевела я сегодня малышей в детскую Саши, а сама буду с ними спать.

Теперь прощай, целую тебя. Твоим милым спутникам кланяюсь. Теперь напишу ещё в Тулу.

Соня.

5 апреля.1886.

Не брось письмо, а уничтожь лучше» *(Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому. М. – Л., 1936. С. 358-361. Далее ссылка на это изд. – сокращ: ПСТ).*

В известном нам тексте следующего, от 6 апреля, письма Софья Андреевна известила мужа, что в Ясную — охотиться и развлекаться — готовятся отправиться и дети (конечно же, на поезде, не пешком), а также выразила естественные тревоги о муже и его товарищах:

«Всю ночь я не спала от беспокойства о вас. Холодный, бурный ветер выл страшно и хлопал ставнями; снег был и мороз. Очень боюсь, что вы, кто-нибудь простудитесь. Я предвидела этот холод, а

одеты вы очень плохо для такой погоды. Сегодня хоть солнце выглянуло» *(Цит. по: 83, 561)*.

Полностью письмо от 6 апреля нигде, к сожалению, не публиковалось.

Пока Толстой шёл пешком, его обогнал на поезде сын Лев с товарищем по охотничьим развлечениям Алкидом (или Алсидом), сыном гувернантки А. Сейрон. И в один из этих же дней в стенах Московского университета замечательный литературовед, добрый знакомый Толстых, проф. Н. И. Стороженко великолепно и с огромным успехом прочёл перед публикой новые сочинения Льва Николаевича. С этих новостей начала Софья Андреевна письма 7 апреля мужу и сыну Льву. Последнему она, в частности, сообщала о чтениях в университете следующее:

«Чтение легенд в университете было величественно. В актовой зале — битком набито. Когда прочли: «Много ли человеку земли нужно», аплодисменты разразились так единодушно и так продолжительно, что председатель звонил, звонил, остановить не мог. Это, видно, больше всего понравилось. Потом аплодировали «Крестнику» и «Зерну» и «Грешнику», но уже не так. «Чертёнка» не стали читать, на Совете решили, что это не понравится молодёжи. Читал хорошо Стороженко, видно постарался. Всё это пишу потому, что и папа´ это будет интересно, ты ему покажи это письмо» *(ПСТ. С. 362)*.

И письмо мужу, с незначительными сокращениями:

«Милый Лёвочка, сейчас написали Лёле, в Ясную, на Козловку, куда он вчера уехал с Алкидом, подробное описание вчерашнего чтения, которое было вдесятеро торжественнее первого, и потому тебе уже описывать не буду. Долгие и дружные аплодисменты были особенно за «Сколько человеку земли нужно». Читал Стороженко хорошо и впечатление такое, что *стиль* замечательно строгий, сжатый, ни слова лишнего, всё верно, метко, как аккорд; содержания много, слов мало и удовлетворяет до конца. Ты это всё и сам знаешь. Молодёжи было пропасть, студенты всё. […] «Чертёнка с краюшкой» не читали, потому что там чорт говорит, что: «я мужику только лишнего хлеба народил, и в нём заговорила звериная кровь». Будто это возмутит молодёжь против тебя, и не понравится.

Какой холод и ветер! Я просто в отчаянии за всех моих отсутствующих: Лёля на тяге простудится, а тебя в поле насквозь продует. На

ходу спотеешь, а потом будет обдувать. Беда, просто; а известия редкие, ничего о вас не знаешь. Несколько слов из Подольска меня совсем не удовлетворили: промокли ли, устали ли, сыты ли, где ночевали — ничего не известно.

У меня времени очень мало, и потому я не буду писать тебе длинные письма; да и не о чем. Всё слава Богу у нас; только сердце очень не спокойно, а это хуже всего. Было бы тепло, я бы радовалась вашему путешествию, а без тёплого платья на холодном северном ветру — это очень опасно. Ты с Богом шутишь, испытываешь его; у тебя хорошее здоровье, но ты погибнешь от своих фантазий. Когда узнаю, что все здоровы и благополучны, тогда успокоюсь» *(Там же. С. 361 – 362).*

Извещала так же Софья Андреевна, что ждёт цензурного разрешения на 12-й том своего издания сочинений мужа, и на следующий день, 8 апреля, сообщила ему в открытке:

«Двенадцатую часть цензура пропустила. В четверг выйдет. Я очень рада. Картинки Ник. Ник. Ге <к народным рассказам Толстого. – *Р. А.*> будут тоже готовы в четверг, сотня. Я их очень тороплю, но раньше нельзя. Мы все здоровы и благополучны, о вас ничего не знаем и беспокоимся. Еду печатать объявления в газетах.

С. Т.» *(Там же. С. 363).*

Вечером 6 апреля Толстой с товарищами добрался до Серпухова, где немедленно получил первое (от 5 апреля) из писем этих дней от жены, и на следующий день кратко отвечал ей:

«Вчера — воскресенье, в 10-м часу добрались не без усталости, но очень приятной до Серпухова. Стахович поехал вперёд, и мы застали его у Трескина. Нас приютили, уложили, и накормили, и напоили. Мы очень перезябли, когда сели за 7 вёрст подъехать. Но никто не простудился. Получил твоё письмо, — был очень рад. Стахович ехал в том самом поезде, где Лёля и Алсид, и не видал их. А Трескин их встретил. Напишу ещё до Тулы. Спутники кланяются. *Л. Т.*» *(83, 558 - 559).*

Упомянутый в письме Владимир Владимирович Трескин (1863 - 1920) был хорошим знакомым Толстых, помощником Софьи Андре-

евны в работе над корректурами Собрания сочинений Льва Николаевича и… неудачливым женихом старшей дочери Толстого, Татьяны Львовны. В то время он как нельзя кстати состоял на службе податным инспектором в Серпухове.

Между тем Соничка, рассчитав сроки по-своему, ждала уже известий о прибытии мужа с товарищами в Тулу, а из Тулы в Ясную Поляну и, конечно, собственно яснополянских новостей. В таком нетерпеливом ожидании она пишет утром 9 апреля Льву Николаевичу следующее послание:

«Вчера вечером получила письма: твоё, Лёвочка, и стихи Стаховича, и письмо с рисунком дерева, под которым он вас покинул, — от Трескина. Всё это от наших странников вести, и мы очень были рады. Но я вижу, что вам всем трудно. Конечно, я тебя понимаю, — набраться свежих впечатлений и свежего воздуху; но вообще простым смертным — это такая напрасная потеря сил и времени, времени, которого никак не хватает, что ни делай. Погода сегодня чудесная, это хорошо, и Лёля с Альсидом на тяге будут стоять, больше шансов убить в тёплую погоду; и потому веселей. Таня и Маша очень хороши, но есть некоторое стремление к праздности и забота веселить Кузминских. Как-то вы дойдёте, жду письма из Тулы с нетерпением. Сегодня в ночь вы должны бы дойти, если всё шли. Болят ли ноги и спина? Не расстроил ли всякой дрянью желудок, не простудил ли бок?

Не раздумайте вы все, т. е. ты и мальчики, приехать на Святую. А то я очень, очень огорчена буду. Я здорова, но не в духе, у меня пришло и что-то всё болит. Сплю я у малышей внизу. Целую тебя, милый друг, и жду, без тебя скучно.

Соня» *(ПСТ. С. 363 - 364).*

Кроме этого Софья Андреевна рассказывала в письме о делах: в частности, о готовящемся к выходу 12-м томе и об иллюстрациях Н. Н. Ге к народным рассказам Льва Николаевича, которые нечаянным и странным для жены Толстого образом вдруг оказались у В. Г. Черткова…

Несмотря на обещание Толстого написать до приезда в Тулу, следующей его корреспонденцией, известной нам, стала телеграмма 9 апреля – уже из Тулы – с сообщением о благополучном прибытии *(83,*

559). Забрав с почты письма, в том числе и от жены, Толстой отправился домой, откуда поздним вечером написал Софье Андреевне уже более пространное, нежели прежние, письмо:

«Из Ясной. 11-й час вечера.

Получил все твои письма. Очень был рад и благодарен. — Одно жалко, что ты беспокоишься, и всё напрасно. Мы шли прекрасно. Осталось, как я и ожидал, — одно из лучших воспоминаний в жизни. Здоровье сначала и до конца было лучше, чем в Москве, и превосходно. Трудностей никаких нет. Это точно как человек, который на суше бы вообразил, что он на острове, а кругом море. Так мы, сидя в городах, в наших условиях. А только пойдёшь по этому морю — то это суша, и прекрасная. Мы с Количкой — он был первый ходок, — я второй, близкий к нему, Стахович — ослабел, — с Количкой говорили, что это одно из поучительнейших и радостнейших времён — кроме ласки и добродушия мы ничего не видали и сами никому не оказывали. Питались чаем, хлебом — и два раза щами и чувствовали себя бодрыми и здоровыми. Ночевали по 12 человек в избе и спали прекрасно. Я засыпал поздно, но зато мы выходили не так рано. По дороге подъехали 2 раза — всего 25 вёрст.

Очень радуюсь за тебя, за 12-ю часть, и для себя радуюсь преимущественно за «Ивана-дурака» <т.е. особенно рад за свою сказку для народа. – *Р. А.*>.

Пришли мы в Ясную в 8 часов. Лёля с Алсидом были на тяге. Потом пришли они и с Файнерманом и пили чай.

Лёля и Алсид веселы и здоровы, ходят с <лакеем> Фомичём на охоту.

Благодарю M-me Seuron за книжечку и карандаш, я воспользовался ими немножко по случаю рассказов старого, 95-летнего солдата, у которого мы ночевали. Мне пришли разные мысли, которые я записал.

[…] Тебя я очень люблю и беспрестанно о тебе думаю. […] Не взыщи, что бестолково письмо. Пишу и засыпаю. До свиданья, душенька, коли Бог даст» *(83, 560 – 561).*

В скупых строчках о ночёвке у бывшего солдата — прекрасная история рождения одного из безусловных шедевров христианской публицистики Льва Николаевича, статьи «Николай Палкин». 95-тилетний старец рассказал путникам, как истязали, прогоняя сквозь строй, солдат во времена царя Николая I, прозванного в народе Палкиным. Там же, в избе старика, в новенькой записной книжке от

мадам Сейрон, Лев Николаевич начал набрасывать черновик будущей статьи. Сам Толстой не видел подобных истязаний, и рассказ старика потряс его. Л. Д. Опульская справедливо замечает, что, судя по резкости статьи, Толстой «печатать её, во всяком случае в России, не собирался» *(Опульская Л.Д. Материалы к биографии Л.Н. Толстого с 1886 по 1892 год. М., 1979. С. 33)*.

Чрезвычайно интересны и актуальны по сей день и взгляд Толстого на русскую историю, выразившийся здесь, и психологическая зарисовка состояния сознания массы его — и наших — соотечественников, и, конечно, автобиографические страницы статьи, на которых Лев Николаевич выразил кредо уже вполне осознанного им нового пути в литературе и в жизни — антиимперского и христианского:

«И стал я вспоминать всё, что знаю из истории о жестокостях человека в русской истории. О жестокости этого христианского, кроткого, доброго, русского человека, к счастью или несчастью, я знаю много. […]

Иоанн Грозный топит, жжёт, казнит как зверь. Это страшно; но отчего-то дела Иоанна Грозного для меня что-то далёкое, вроде басни. Я не мог видеть всего этого. То же и с временами междуцарствия Михаила, Алексея, но с Петра так называемого Великого <т. е. с начала имперского периода российской истории. – *Р. А.*> начиналось для меня что-то новое, живое. Я чувствовал, читая ужасы этого беснующегося, пьяного, распутного зверя, что это касается меня, что все его дела к чему-то обязывают меня.

Только очень недавно я понял, наконец, что мне было нужно в этих ужасах, почему они притягивали меня. Почему я чувствовал себя ответственным в них, и что мне нужно сделать по отношению их. Мне нужно сорвать с глаз людей завесу, которая скрывает от них их человеческие обязанности и призывает их к служению дьяволу. Не захотят они видеть, пересилит меня дьявол, они, большинство из них, будут продолжать служить дьяволу и губить свои души и души братьев своих, но хоть кто-нибудь увидит: семя будет брошено. И оно вырастет, потому что оно семя Божье» *(26, 563 - 564)*.

«Семя Божье» — в обличении, с позиций христианского понимания жизни, суеверий оправданного насилия и иных обманов, инвазируемых в массовое сознание усилиями государства и церкви. Христианская публицистика Толстого в её социально-политическом аспекте вся по существу своему — обличение *имперства* в психологии и этике масс. Имперства которое только потому и непобедимо по сию пору, что *нет веры* в христианском мире: не церковных догм и обрядоверческого храмового идолопоклонства, а разумного смысла

жизни всех и живого руководства каждому в его помыслах и поступках. Нет христианского понимания жизни, которое бы заменило давно отжитое и опасное для современного человечества жизнепонимание язычников и евреев.

В строках этой, к несчастью малоизвестной даже в России, статьи Л.Н. Толстого — ключ к пониманию того, почему, начатый в начале 1870-х гг. роман о Петре I и его эпохе Толстой так и не написал, оставив проект романа в 1879-м, когда уже значительно оформились его новые убеждения. Чем больше Толстой знакомился с фактами и *подлинными* документами петровской эпохи — тем больше совесть его настаивала на необходимости *не хвалы, а обличения* политического имперства России в его истоках. Но именно *обличить* эти, несовместимые с верой Христа, образ жизни и состояние сознания масс было невозможно с тех прогрессистских, этатистских, частью и либеральных, светско-гуманистических и наивно-народнических позиций, на которых стоял автор сохранившихся набросков романа. Чтобы проклясть зло — надо было в своём сознании стать *вовне* его: на позиции жизнепонимания Христа и первых христиан, а не их осудителей и убийц, не Пилата и не Каиафы.

Не вытяни Софья Андреевна в начале 1880-х мужа своего в городскую жизнь – кто знает? быть может, мы бы и имели завершённый Толстым уже в 1880-е гг. великий и *ужасный* своей нецензурностью роман о российской истории и о Петре. Это была бы достойная, лучшая замена трактату «Так что же нам делать?» и некоторым другим изыскам городского публичного «трибуна», угробившим годы жизни и силы Толстого, но оказавшимся столь же сомнительными по публицистическому результату и очень мало читаемыми по сей день даже соотечественниками писателя. Даже специалистами. Даже толстоведами…

Но, как мы уже не раз отметили в Томе Первом нашей книги — Толстой был вынужден, буквально *соблазнён* пойти иным путём. «Николай Палкин» — яркая веха на этом пути: статья, оконченная в 1887 г., ходила по рукам, от руки переписывлась, перепечатывалась на машинке или гектографе, всячески распространялась в России нелегально, а опубликована была лишь в «победном», революционном 1917 году, уничтожившем Империю — но, к несчастью для отечества Льва Николаевича, *не* имперство в поведении и мышлении её бывших обитателей, и *не* безверие, как питательную почву для него.

Мы не располагаем, к сожалению, текстом следующего письма С. А. Толстой мужу, от 10 апреля. Толстой же написал два письма,

10 и 11 апреля, довольно кратких и наполненных малоинтересными бытовыми деталями, после чего следует перерыв: с 14-го по 28-е он ненадолго возвращается в Москву. Нужно было помочь с накопившимися делами жене, а друзьям по общему делу «Посредника» — помочь с подготовкой нового сборника рассказов для народа «Цветник».

Конец Первого Фрагмента
Двадцать Девятого Эпизода

Фрагмент 29.2.
ДЕВИЦЫ ОДОЛЕЛИ!

Семейным психологам стоит особенно приглядеться именно к этому периоду жизни семейства Толстых: ничто из прежнего не нарушало в эти дни гармонию отношений мужа, жены и детей. Возвращению Льва Николаевича были рады все, и сам он рад был побыть с семьёй. Уже готовился обычный переезд всех на лето в Ясную Поляну, и, зная нелюбовь Толстого к Москве, все были согласны отпустить его первым:

«К Святой неделе Лев Николаевич вернулся по моему желанью в Москву, но в конце апреля снова и уже совсем уехал в Ясную Поляну. Оттуда он писал мне ежедневно. Отношения наши стали гораздо лучше, чем в прошлом году, когда, казалось, был кризис. Да и смерть Алёши смягчила их. Уже не было у меня прежней досады за то, что я тружусь одиноко с семьёй и делами. Не было и у Льва Николаевича того упрёка моей жизни и жизни семьи, который был раньше» *(МЖ – 1. С. 518)*.

Итак, с вечера 28-го апреля Лев Николаевич снова дома — в Ясной Поляне. На следующий день он начинает и только 1-го мая завершает писанием и отсылает жене большое — трёхдневное! – письмо следующего содержания:

«Приехал вчера благополучно и скучно, т. е. без разговоров. Трескин подсел в Подольске — до Серпухова. Дождь лил дорогой, но от Козловки ехать было хорошо. Дома всё благополучно. Напился чая с Файнерманом и Филипом и прочёл письма, полученные здесь. Лёг в час в маленькой комнате. В доме ещё сыро, но было топлено и тепло.

Нынче лягу в большой комнате к стене от приспешной, которая топится. Пишу это для твоего успокоения. Сам же знаю, что нездоровья от стен не может быть, если не сидеть в них без движенья. А я хочу поменьше сидеть».

Следующая часть письма, была, очевидно, писана уже 30-го апреля, где-то ближе к обеду:

«Нынче встал в 8, убрался, разобрался <с> вещами, сходил к <старушке из бывших дворовых> Агафье Михайловне, к <крестьянке> Катерине Копыловой и после обеда поеду пахать.

Я вспомнил одно дело: этот <толстовец> Клопский, который писал такое трогательное письмо, говорил мне, что у него есть стихи. Я сказал ему, что меня не интересуют стихи. Это может огорчить его, и стихи могут быть хороши. Я думаю, Серёжа помнит его адрес. Пошли к нему эту записку.

Целую тебя и всех детей от малых до больших» *(83, 563-564).*

Этот Иван Клобский (так правильно) впоследствии сильно разочарует Толстого. В отличие от хитренького еврея Файнермана, сумевшего в зрелые годы использовать свой опыт «толстовства», публикуя полувымышленные и совершенно вымышленные истории о встречах и доверительных беседах с Толстым, Клобский оказался чистейшим фанатиком, субъектом русской, дурацкой и сектантской, породы, и при этом довольно грубой. Вёл он себя часто грубо, неэтично по отношению не только к оппонентам в спорах, но и к товарищам по движению и вере, не ужился ни в одной общине. При этом Клобский настаивал на превосходстве личных талантов, а в доказательство этого «отметился» стихами, которые он подписывал претенциозным и смешным псевдонимом Коммар Анри Бейль (до наших дней дошли только два его стихотворения). На окружающих сей непризнанный гений производил отталкивающее впечатление лунатика и душевнобольного. В 1890-е гг., уже, вероятно, совершенно сойдя с ума — Клобский сбежал в Американские Штаты, где вскоре и погиб, попав под трамвай.

Упомянутая в письме Екатерина Копылова была мамой надорвавшегося тяжёлым трудом и рано умершего (как и его отец, кстати) яснополянского крестьянина Александра Дмитриевича Копылова. Речь тогда шла о помощи оставшейся с четырьмя детьми в абсолютной, голодной нищете вдове умершего, Анисье Степановне.

29-го пишет своё ответное письмо и Соня (нечаянно, как и бывает у семейных бизнес-леди — на деловом бланке с надписью: «Склад изданий сочинений гр. Л. Н. Толстого. Москва. Долгохамовнический пер. д. № 15., гр. Софии Андреевне Толстой»):

«Милый мой друг, не люблю писать тебе тогда, когда я в хлопотах. Но обещала и через день буду всё-таки писать.

Вставши довольно рано (спала я с детьми и разбудил меня в 7 часов лающий кашель Миши), я поехала по банкам, казначействам с Петей и разным местам. Серий нигде не купила — нет, ни под какими условиями. С большой комбинацией и трудом устроила по 4% девять с половиной тысяч, так что всегда можно вынуть, и 10 000 положила на год в банк, в Купеческий. На текущем счету дают, вообрази, *один* процент. Я с Щепкиным <М. П. Щепкин, член правления Купеческого банка. – *Р. А.*> всё ходила по банку; он мне всё скоро сделал. Теперь ещё тысяч 12, 13 осталось, как-нибудь и их устрою.

Как-то ты вчера добрался ночью? Дождь шёл, ливень. Я поехала, было, в перерыв дождя к Маше Свербеевой, она больна, и вдруг опять ливень. Посидела у неё немного, потом поехала к Олсуфьевым за Таней, всё думала о скользкой дороге Козловки. Там вся молодёжь их, весёлые, болтают, играют в винт. Ковалевский, Стороженко вцепились со мной о тебе говорить. Посидела там, вернулась почти в час. Легли спать и вот сегодня всё ездила. Завтра опять еду кончать начатое, узнавать у Сытина адрес Озмидовой для Тани. У неё что-то под ложечкой болит, и сегодня, и вчера я её совсем не вижу, всё с Верой Шидловской. Серёжа уехал до субботы с Олсуфьевыми в деревню. Илья ставит в павильоне токарный станок, Лёля был в бане, Саша очень кашляет, а у Миши днём обошлось, и теперь он только не в духе, ложится спать. У меня конвертов и записей — бездна. <Связанных с подпиской на собр. соч. Л. Н-ча. – *Р. А.*> Посылаю тебе рукопись и книжечку, полученные сегодня, в Ясенки. Наладил ли соху и как живёшь? Холодно и сыро, должно быть, и я за тебя всё-таки боюсь. Береги себя, голубчик; а я работаю, работаю, живу в нервном, натянутом состоянии и жду с нетерпением и радостью, когда буду с тобой и в Ясной.

Завтра писать не буду, а после завтра. Целую тебя.

Соня.

29 апреля 1886.

Сегодня обедала старуха Кошелева, очень милая, но помешала делам.

Ошибкой взяла эту бумагу» *(ПСТ. С. 364 - 365).*

Наконец, 1-го мая Толстой достаточно пространно дописывает и завершает своё “долгое” письмо к жене:

«Вчера поехал пахать. Вернулся в 7-м часу и очень устал. Хотел послать письмо, — сам свезти, но проспал. Вчера же пришла вечером с Фейнерманом одна одесская девица. <Елизавета Владимировна Винер (1862—1928). Оказалась умной и полезной. Впоследствии вышла замуж за толстовца Джунковского и немало помогала Толстому в издательстве «Посредник». – *Р. А.*> Она приехала сюда назад тому неделю и живёт у Прокофья Власова на деревне. Я хорошенько не мог понять её, и не буду стараться; а буду стараться выпроводить её отсюда, так как все эти лишние чужие лица — есть великая тягость. Узнал я про неё следующее: она дочь Крымских помещиков, воспитывалась в Астраханской гимназии, потом жила с сестрою <Цецилией Владимировной> в Одессе в библиотеке. Она, как говорит, с молодых лет имела страсть к деревенской жизни и физическому труду. — Родители ей в этом препятствовали. В Одессе она прочла: «в чём счастье» и решила пойти в деревню работать. Сначала хотела ехать на Кавказ, но потом выдумала ехать в Ясную Поляну. Здесь она ходила раз на подённую. Здесь же она от Файнермана взяла «В чём моя вера» и прочла в первый раз, и говорит, что её все взгляды теперь изменились, и не решила ещё, что ей делать. Революционеркой она не была. Она знает по-английски, по-французски, ей 24 года, худая и скорее болезненная. Вот всё, что я о ней узнал. Надеюсь, что она скоро уедет. Я же, пока она не уедет, постараюсь игнорировать её. Если бы ты была тут, то ты бы поняла её лучше и могла бы посоветовать.

Несмотря на усталость, я отлично спал и прекрасно себя чувствую. Теперь 1-й час, я немного занялся — больше обдумыванием и конспектом — будущего, чем работой, и теперь 1-й час иду пахать. Погода свежая, но сухая. По вечерам жуки и соловьи, трава так и лезет, и зелена, и свежа, и радостна, — удивительно. Нынче верно получу письма.

Я не столько проспал — тебе послать письмо, сколько хотелось тебе обстоятельно описать эту странную девицу. В пользу её говорит то, что она очень скромна, и вчера вовсе не хотела приходить ко мне, но я просил Файнермана пригласить её с тем, чтобы понять, что такое, и зачем она приехала.

Целую тебя, милый друг, и детей от мала до велика, и особенно Андрюшу и Мишу.

Приписываю вечером, 10 часов. От 1 до 7 пахал и устал, и наелся и здоров физически и духовно, как лучше не желаю и, как желаю всем» *(83, 563 – 565).*

Приезд летом 1885 г. в Ясную Поляну – к «дорогому учителю»! – еврея толстовца Файнермана ознаменовал некую веху в жизни многострадального Льва Николаевича. С середины 1880-х он начал пожинать лавры сомнительной славы «публичного человека» уже не в одной Москве, но и в родной Ясной Поляне… усадебного семейного уединения больше не будет никогда! В 1886-м он был ещё в Москве, с семьёй, а его уже *поджидали* в Ясной. И вот конфуз: сразу молодая девица! Пусть и не с амурными намерениями, а наивная «духовная» поклонница, начитавшаяся искажённых отрывков запрещённого, ходившего по России в нелегальных копиях, сочинения Толстого «В чём моя вера?» Но *всё-таки.* По тону письма, по его несколько натянутой иронии, подчёркнутому пренебрежению к замечательно умной и привлекательной (на самом-то деле!) Елизавете Винер — мы можем судить о всей конфузливости ситуации с точки зрения отца семейства и мужа достаточно ревнивой жены.

Между прочим, умнейшая Софья Андреевна в своём ответе 2 мая очень мудро, короткой, но ёмкой репликой дала понять, что «раскусила» настроение мужа и разделила с ним, причём гораздо искреннее, ироническое отношение к возникшей ситуации:

«У тебя теперь уж Бирюков и, верно, сказал, как мы живём. Сегодня очень тепло, и хотя дети мои меньшие очень кашляют, но я их пустила в сад. Мы с Лёлей очень сокрушаемся, что ты переработаешь и во вред себе. Не делай лишних усилий и берегись солнечного удара. Ведь у тебя мозг не рабочий, т. е. не рабочего народа, а измученный, чувствительный и восприимчивый.

Одесская девица меня очень огорчила, но твоё отношение к её явлению — утешило. Очень сокрушаюсь, что Количка не едет; дела так много, что не мыслимо обратить своё внимание на укладку или на что бы то ни было. Мне совестно, что я «Солдата» тебе до сих пор не переписала. <Имеется в виду рассказ Толстого «Работник Емельян и пустой барабан». – *Р. А.*> Твою приписочку пошлю Клопскому.

Сейчас приехал Серёжа от Олсуфьевых, и в понедельник едет в Самару. Серёжа вспомнил адрес Клопского. Из Самары телеграмма, что Патровский участок — отданы луга за 2000 р. с.

С деньгами всё хлопоты, получше устроить, да не знаю, как.

Ещё хотела тебе сказать, Лёля сидит вечером на тахте, тоскует, боится экзаменов, говорит, что репетиция географии будет завтра, т. е. нынче — видно совсем духом упал; а я пишу, скучаю, что от тебя писем нет. Вдруг принесли письмо <от 29 апреля — 1 мая>. Мы обрадовались, прочли письмо, и так он повеселел, что весь вечер занимался, и сегодня на репетиции получил 4, и экзамена географии не будет, значит скорей отпустят.

Ты пиши, милый друг, ты видишь, как нас твои письма оживляют.

[…] Картины вчера поступили к Мамонтову и на той неделе выйдут. <Иллюстрации Н. Н. Ге к «Чем люди живы». – *Р. А.*>

Прощай, милый друг, будь здоров и весел. Завтра день проведу на Алёшиной могилке, буду ставить памятник и ограду. А ещё раз съезжу сажать всё. И тянет к могилке, и горе лишнее, бессильное.

Целую тебя.

Соня.

2 мая 1886 г.

Скажи Филиппу, чтобы прислал в последний раз масла. Таня уехала с Шидловскими в Парк, остальные все дома. Прислали из Америки Гарризона две книги» *(ПСТ. С. 366 - 367).*

Переписка с Венделем Гаррисоном, сыном Уильяма Ллойда Гаррисона – ещё одна веха навязанной Л. Н. Толстому городской и публичной жизни, и свидетельство начала его уже *международной* известности как социального публициста и духовного проповедника-христианина. Сын по собственной инициативе прислал, как ему представлялось, «единомышленнику» отца, Толстому, биографию У. Л. Гаррисона и познакомил с декларацией о ненасильственной борьбе, опубликованной Гаррисоном-отцом ещё в 1838 году.

Знакомством с девицей Винер «деликатные» злоключения Л. Н. Толстого не закончились. В упомянутом Софьей Андреевной визите единомышленника и товарища по издательскому делу Павла Бирюкова его сопровождали целых *две* незамужние девицы. Одной была Ольга Озмидова, дочь одного из первых «толстовцев», Николая Лукича Озмидова. Другой – Анна Дитерихс, в которую был нескрываемо влюблён сам Паша Бирюков, но которая впоследствии вышла замуж за В. Г. Черткова. С упоминания их визита начинает Лев Николаевич своё письмо к жене от 2 мая:

«Меня одолели девицы.

Нынче приехал Павел Иванович с двумя: Анна Константиновна и Озмидова дочь. Они едут к Кившенко, в Воронежскую губернию. <К друзьям В.Г. Черткова в его имение. – *Р. А.*> Они приехали в час. Я с ними побыл и поехал пахать, как и был намерен. Пахал до 8, очень приятно устал, окончив начатое. Вернулся, поужинал, попил чаю и уложил их ночевать в мальчиковой комнате, а мы с Павлом Ивановичем в большой со сводами. Вчера я не работал, а ездил в Ясенки и дома был.

Бедность ужасная. Хлеба нет и заработать нечего. Главное, — нет овса. Я решил, что поручусь лавочнику в Ясенках за 15 четвертей овса, которые необходимы самым нуждающимся. Они отдадут, а если нет, то 75 рублей я думаю, что можно дать. Ты верно будешь этому сочувствовать.

Весна очень красива, но холодно всё. Я топлю.

Девицы эти довольно тяжелы для меня, но делать нечего. Они очень хорошие. Жалко, что вне обычных условий. Завтра в 1 [час] они уедут.

Что ты? Приехал ли Количка <Ге>? Что дети? Целую тебя и их. — Бог даст, до скорого свиданья. Дом я высушу, как возможно» *(83, 566)*.

Какие-либо факты интима с участием Толстого и этих девиц биографам не известны. Во всяком случае, в ранней, опубликованной частью ещё при жизни Льва Николаевича, фундаментальной его Биографии, писанной позднее самим П. И. Бирюковым и читавшейся Толстым, об этом не сказано ни слова. Девицы, действительно, поехали дальше на следующий день, а за неприятное впечатление от их визита в дом Толстого Бирюков поспешил лично извиниться перед Софьей Андреевной.

Софья Андреевна продолжала дела своего издания и домашние, и так утомилась 3-го мая, что не хватило сил в тот день написать очередное письмо мужу. За неё написал сын Илья — неясно, насколько искренне, но определённо в духе, очень и очень близком отцу. Вот цитата из письма:

«…Умственная работа без физической не ладится, всё мешает избыток сил и в этом избытке вся наша беда; от этого кутежи, пьянство, всё дурное, даже курение от этого; всё это или истощает силы или усыпляет их на время. Скверная эта жизнь […]. Летом непременно буду работать, я думаю, что у нас это в нынешнем году выйдет, пожалуй, и девочки заработают, как выйдем на работу, ты да я…» *(Цит. По: ПСТ. С. 368 - 369)*.

А Софья Андреевна в своём письме от 4-го мая — кажется, “закрыла” стыдную тему незваных в Ясной Поляне гостий, а также поддержала позицию мужа о необходимой помощи крестьянам. Вот, в сокращении, текст этого письма:

«Вчера не писала тебе, милый мой Лёвочка, потому что очень устала. Писал Илья. Ездила я на могилку Алёши; погода была сырая, в роде осенней мги, сквозь которую даже ничего не видно было. Ветер сырой, пронизывающий, и поехала я одна. Там рабочие ставили уже памятник и решётку. Говорят, что кладбища там не будет, мужики не хотят. Стояла я, стояла, иззябла и начала насыпь сама на могилку насыпать. Пришли четыре крестьянских мальчика, стали болтать со мной, помогать. Говорят: «мы часто на эту могилку ходим». Я говорю: «что ж вы тут делаете?» «Играем, скотину стережём, надписи читаем». «А грамотные?» Оказалось все грамотные. Спросила я, знают ли твои книги? Ни одной не знают, а читают «Детский мир», «Родина», св. историю, и больше ничего. Я обещала привезть книг. Они мне помогали землю насыпать и дёрн укладывать. Привезла я розовые кусты из нашего сада и посадила, и маргаритки. А этот самый старик, отца деньщик, обещал дубки и берёзки посадить. Я ещё раз съезжу с детьми туда. И так я вчера расстроилась, точно снова хоронила его.

Ехать в Ясную не скоро придётся. Заболел Миша и слёг. У него небольшой жар и сильный кашель. Андрюша с Борисом бегают по саду, а я сижу у Миши. […] Наверху сидит, рекомендованный мне Бирюковым, очень милый человек, морской артиллерист. Он взялся мне помогать с книжными делами, пока вернётся Количка Ге. Что это он не едет! Просто беда, да и не пишет.

[…] Девицы эти, разлетевшиеся, надоедающие тебе, очень противны, именно не сами по себе, а своими нравами. Теперь ты от них избавлен. Был вчера Клопский, я дала ему переписывать «Так что ж нам делать» и 15 рублей. Он очень странный и безнадёжный: мягкости, т. е. способности подчиняться жизни — нет; что-то ищет и ни с чем не совладает. Глаза остановившиеся и страшные. Я с ним поговорила, но он плох.

Овса дать и поручиться — всё, конечно, необходимо надо. Надо дать вдове Копыловой эти два рубля подписчика священника, кроме того, что ты сам дал или дашь. Вообще я голодных не могу видеть, и ты моей злости не бойся и помогай: ни у кого хлеба нет, а денег теперь много.

Целую тебя. Мне грустно без тебя; грустно, что Миша заболел.

Соня» *(Там же. С. 367 - 368).*

В случае Софьи Андреевны трудно утверждать, идёт ли в данном письме речь о реальной болезни ребёнка или о том приёме «выманивания» мужа из поездок, на который мы несколько раз указали читателю в предыдущих Эпизодах книги: либо болезнь вовсе выдумывалась, либо в описании состояния заболевшего младенца откровенно сгущались краски. (И, конечно, стоило Толстому известить о возвращении — дети к его приезду «выздоравливали»!)

Вот встречное, этого же дня, 4 мая, письмо Льва Николаевича:

«Пишу утром с тем, чтобы не торопиться вечером. Гостей своих вчера спровадил и остался с большим удовольствием один. Целый день шёл дождь. Я походил по лесу, — сморчков не нашёл, но набрал фиалок.

Дома было много приходивших мужиков. Всегда была бедность, но все эти года она шла, усиливаясь, и нынешний год она дошла до ужасающего и волей неволей тревожащей богатых людей. Невозможно есть спокойно даже кашу и калач с чаем, когда знаешь, что тут рядом знакомые мне люди — дети (как дети Чиликина в Телятинках, кормилица Матрёна Тани) — ложатся спать без хлеба, которого они просят и которого нет. И таких много. Не говоря уже об овсе на семена, отсутствие которых мучает этих людей за будущее, т. е. ясно показывает им, что и в будущем, если поле не посеется и отдастся другому, то ждать нечего, кроме продажи последнего и сумы. Закрывать глаза можно, как можно закрывать глаза тому, кто катится пропасть, но положение от этого не переменяется. Прежде жаловались на бедность, но изредка, некоторые; а теперь это общий один стон. На дороге, в кабаке, в церкви, по домам, все говорят об одном: о нужде.

Ты спросишь: что делать, как помочь? Помочь семенами, хлебом тем, кто просят, можно, но это ни помощь, это капля в море, и кроме того сама по себе эта помощь себя отрицает. Дал одному, 3-м почему не 20-и, 1000, миллиону. Очевидно нельзя дать, отдав и всё. Что же делать? Чем помочь? Только одним: доброй жизнью. Всё зло не от того, что богатые забрали у бедных. Это маленькая часть причины. Причина та, что люди и богатые, и средние, и бедные живут позверски, —каждый для себя, каждый наступая на другого. От этого горе и бедность. Спасенье от этого только в том, чтобы вносить в жизнь свою и потому других людей другое — уважение ко всем людям, любовь к ним, заботу о других и наибольше возможное отречение от себя, от своих эгоистических радостей.

Я не тебе внушаю или проповедую, я только пишу то, что думаю — вслух с тобой думаю.

Я знаю, — и ты знаешь, — всякий знает, — что зло человеческое уничтожится людьми, что в этом одном задача людей, смысл жизни. — Люди будут работать и работают для этого, почему же мы не будем для этого самого работать.

Расписался бы я с тобой об этом, да почему-то мне кажется, что ты, читая это, скажешь какое-нибудь жестокое слово, и рука нейдёт писать дальше» *(83, 568 - 569).*

Высоко вероятие, что так и было: что Соничка не поняла совершенно мужа в этом *глубоком,* проникающем в самую суть социального зла, совершенно *христианском* рассуждении — и не нашла слов добра и поддержки. Во всяком случае, в ответном письме 5 мая она выражает столь массовое и в наши дни заблуждение не верующих христиански людей о возможности и полезности «помощи» деньгами, помощи зажиточных и богатых — беднякам, помощи жителей городов, не трудящихся хлебным трудом – великорусскому пахарю… Толстому до конца жизни и вполне искренне был чужд этот взгляд, оправдывающий различные формы буржуазной благотворительности. Между тем, как мы покажем в своём месте, несколькими годами позднее, в голодную пору 1891 — 1893 гг., он уже приспособится к массовости этого суеверия: не отказываясь от высказанных им в письме 1886 г. жене мыслей о нравах и духовном состоянии населения России как основании для его материального благополучия, он вместе с женой и детьми помогал, и именно *посредством денег,* а не только личным трудом и добротой, голодавшим крестьянам… Но в 1898 г. вновь, и уже публично, изложил свои христианские думы о коренных причинах нищеты и голода в статье «Голод или не голод?»

Софья Андреевна Толстая, исповедовавшая с детства обрядоверие церкви православных — конечно, не могла разделить с мужем такой глубины христианских прозрений. Ни в 1886-м, ни позднее… В мемуарах «Моя жизнь», писавшихся Софьей Андреевной, напомним, уже в 1900-е и 1910-е гг., она называет приведённое нами рассуждение Льва Николаевича «не совсем ясным», и, процитировав его, иронически прибавляет: «…наш мыслитель писал эти высокие истины, с которыми, как всегда, нельзя было не согласиться в принципе, а трудно провести в жизни…» *(МЖ – 1. С. 521).*

Окончание письма Л.Н. Толстого от 4 мая:

«Погода нынче прелестная, жаркая. Нынче хочу на ночь истопить дом. А завтра в самое солнце открыть. Уж и нынче вверху воздух ходит тёплый, и сырости не очень слышно. Я помню, ты перед отъездом говорила что-то о ключе от ключей. Дала ты мне его или нет? Если не дала, то пришли, если же да, то напиши. Его нет, а я закажу ключ новый. Дом вымыт, и если постоит так, то дня через 4 можно переезжать. Только как у вас дела. Что кашель малышей? Приехал ли Количка <Ге>?

Прощай, милая. Видел тебя нынче во сне, что ты меня обижаешь. Эта значит обратное. Да будет так. Целую тебя и детей. Как хорошо, что Илья с Лёвой с тобой сидят. Так и надо. Больше в кучке. Маша перестала ли плакать? Перестала ли Таня нанимать за 5 р[ублей] лошадь на час? 5 р[ублей] хлеб на месяц детям вместо корок. Боюсь, что в Москве это непонятно. И жду, жду поскорее вас всех сюда. Благодарствуй за яблоки и апельсины (лишние). Вообще ты очень мною озабочена. А я здоров совершенно. Чего ни хвачусь, всё есть. Всё ты положила.

Получил твоё письмо. На девиц ты напрасно так напала. Они запутанные, но очень добрые и чистые. […]» *(83, 569)*.

Всё это тоже было правдой. В комментариях к приведённому письму Толстого цитируется довольно злое письмо С. А. Толстой — вероятно, сестре — в котором о молодых гостьях Толстого сказаны буквально такие слова:

«Два известия меня неприятно поразили в мире нашего круга знакомства..... Озмидова дочь и курсистка Анна Константиновна Дитрихс едут в гости на лето к Черткову. Несчастная его мать! Так его и ловят в свои грязные сети эти твари, и ничего ей, бедной, нельзя сделать — сила! Какие порядочные девушки так могли бы поступить, и так навязывались бы мужчине? Нет, правда madame говорит: ce sale monde» [*фр.* эта грязная публика]».

Научный комментатор добавляет по этому поводу:

«Эти крайне резкие и несправедливые слова всецело продиктованы были раздражением С. А. Толстой, недоброжелательством её ко всякого рода посещениям новых лиц Ясной Поляны во время её отсутствия, подозрительностью вследствие мнительности ко всем женским знакомствам Толстого и предубеждениями против курсисток» *(Там же. С. 570)*.

Толстой в тот же день, 4 мая, но уже под вечер, написал лично отвёз на станцию ещё одно послание жене: небольшую открытку, в

которой только кратко извещал, что дом натоплен и можно привозить детей *(Там же. С. 570-571)*. Соответственно, два письма отправила ему в ответ 5 мая и Софья Андреевна. Более раннее из них не опубликовано; приводим ниже текст второго.

«Получила письмо твоё огорчительное о народной бедности. А тут в Москве, вчера говорил Нагорнов, готовится иллюминация на несколько десятков тысяч! Безнадёжно твоё отношение к делу, что помочь нельзя. А для переворота общественного *твои* мысли, *твои* книги — важны, а пример и направление в жизни нас грешных, маленьких людей — ничтожен. Любви же больше необходимо в человечестве, и это, пожалуй, что важнее всего. — Ещё мысль о том, что одному, десяти и т. д. — людям *не важно* помочь, — я всегда отвергаю. Одного накормили — хорошо, двух — ещё лучше, а миллион — и того лучше. И потому ты самых голодных пока накорми; а я, как *Иван-дурак* листьями, так я твоими сочинениями денег, сколько хочешь, натру» *(ПСТ. С. 369)*.

С. А. Толстая шутит, вспоминая эпизод из сказки Толстого об Иване Дураке; в сказке чертёнок учит Ивана дурака: «Возьми ты листу дубового с этого дуба и потри в руках. Наземь золото падать будет». — Взял Иван листья потёр — посыпалось золото» *(25, 123)*.

Тут не то, что “между строк”… тут не намёк мужу, а открытое утверждение женой власти над ней (безверной христианской верою и оттого боящейся, и оттого же податливой всякому мирскому суеверию) – чёрта, дьявола и чёртовой «науки». Она, как кажется христиански не верующему человеку, надёжнее “обеспечивает” его существование, его и его потомства сытость, безопасность и пр. Ружьё, дубинка полицая, решётка тюрьмы, банки с процентами, шкатулки с “заначками”… которые, если не зарыты в землю — то заперты в доме или в банке на ключ.

Это не христианская, даже не человеческая, а жизнь испуганного и припасливого животного. И символ его — не один фамильный Анковский пирог Толстых. *Ключ от ключей*, упомянутый в Переписке Толстых — не менее значимый символ. Запертые замки и двери. Пассивное, затаившееся зло — готовое, при опасности даже обличения, явить себя агрессией, даже иногда прямым и грубым насилием. Чертёнок, всегда стерегущий человека, вспоминающего про кошель и банкомат чаще, чем про Бога.

В сказке же Толстого Иван не взял чёртовых золотых монет и прогнал самого чёрта, напугав его — сказав ему: «Бог с тобой».

По-разному можно понимать, *что* именно явилось более «огорчительным» для Сони в письме мужа. Описания нищеты крестьян? Или, быть может — как раз христианское слово о корне зла и пути ненасильственной победы над ним? Слово, от которого не одна Соня, но и большинство богатой и зажиточной буржуазной России стремится воздвигнуть поскорее в головах «барьер» невосприятия, *нежелания* верно понимать. Она осуждает его за якобы высказанное *нежелание помогать немногим*... он же пишет о способе помочь *всем*, от которого только отвлекает, обманывает «традиционная» барская благотворительность. Она пишет:

«А для переворота общественного *твои* мысли, *твои* книги — важны, а пример и направление в жизни нас грешных, маленьких людей — ничтожен. Любви же больше необходимо в человечестве, и это, пожалуй, что важнее всего» — и “между строк” здесь читается: «*не желаю* быть христианским примером в обществе хищников, *а желаю* твоих писаний, художественных, в которых ты особенно силён — и которые можно продавать издателям ради доходов семьи».

Потому что в *это* она верила по-настоящему. В силу же и правду толстовского слова... лишь тогда, когда оно не входило в конфликт с общественным жизнепониманием и строем жизни. Помощь деньгами голодным в 1886-м, в 1881— 1893 гг. была ей понятна и приятна её участием в ней, так как одобрялась общественным мнением. Отказ же от животной жизни, от стяжания, от эксплуатации чужого труда и от превозношения над трудящимися — она чуяла по себе, что не мог быть одобрен общественным мнением лжехристианской России.

И очень кстати здесь апелляция даже не к обществу, а к «человечеству», весьма характерная для самооправданий тех, кто не желает работать Божьему делу в мире без оглядки на одобрение и поддержку мирской молвы — то есть по-христиански.

Окончание письма Сони от 5 мая:

«У нас всё хорошо. Лёва вперемежку с Chopin приходит в неистовое волнение от 30-ти глав Саллюстия. Ему после завтра экзамен из всей латыни. Илья держал сегодня русское, пришёл мрачный, ничего не сказал...

[...] Я тебе утром писала. Боюсь, что в субботу не уедем, а в воскресенье; у всех оказывается тысячи дел...

Сейчас сдала Количке Ге все книги и все дела и почувствовала чудное облегчение. Теперь начнётся укладка и домашняя возня. Саша очень кашляет, боюсь, что коклюш будет, и если хоть немного

сомнительна сырость, то лучше подождать. Ну, да до воскресенья ещё много времени.

Прощай, целую тебя. Андрюша усердно писал тебе письмо, но не дописал ещё. Они очень милы. Серёжа брат очень по тебе скучает, говорит, что совсем говорить не с кем. «Придёшь к Лёвочке, когда на душе тяжело, и начнёшь ему рассказывать [...] о своих заботах, и хоть он ничего к делу не скажет, а поговоришь с ним и хорошо, успокоительно, как масло по душе, и уйдёшь успокоенный... А ведь ничего не скажет про самое дело-то...» И говорил ещё, что ты один умён, и никого больше нет, и что ты всё понимаешь. Трогателен был его отзыв о тебе.

Однако, кончаю, я лягу пораньше, а то очень нервы расстроены. Я рада, что ты здоров и весел, т. е. бодр.

Ключ от ключей в коробочке, где принадлежности для шитья. А коробочку я сама положила в твою корзинку. Поищи получше и не ломай мой чудесный замок.

Соня» (ПСТ. С. 370).

«И не ломай *нам,* твоей семье, нашу чудесную городскую, сытую, безопасную, домашнюю жизнь. Тебе же будет лучше...» — читается “между строк” даже в этом, внешне очень добром, супружеском письме.

По письмам первой декады мая чувствуется, что супруги очень желают скорее съехаться. В ожидании завершения экзаменов и приезда детей на летний отдых в родную усадьбу, Толстой пишет 6 мая жене письмо, частью касающееся темы их воспитания:

«Оба дня очень много (относительно — часов 6), работал и здорово устал. Получил письма: Илюшино и твоё. Оба хорошие. — Нынче разговорился с Филипом о собаках. Они проедают 4 четверти овса в месяц — это в год 40 четвертей, вдвое более того, что осчастливило бы десятки семей. Это ужасно! Скажи это мальчикам. Не овса жалко, а их жалко. Если тратить на свои прихоти (да какие прихоти? — Самые нелепые, 8 лягавых собак), то нельзя правильно думать. Человек, который будет это делать, никогда не согласится с тем, что нельзя пользоваться трудами других. Он будет всегда приискивать резоны, почему это именно так и должно быть. И он лишится рассудка. Не овса жалко, а рассудка хороших, добрых, милых юношей — моих детей Нынче Жидкова <крестьянка Ясной Поляны. – *Р. А.*>

пришла и говорила, что сын её поехал пахать не евши. Ганя (воровка) больна <крестьянка вдова, сошла с ума от голодной нищеты. – *Р. А.*>, и я застал её детей, крошек, доедающих из лукошки собранные Христа ради корки.

Вы приедете, Бог даст, скоро, и вам это будет не страшно. И не может быть страшно, потому что можно помогать этому и себе.

С нынешнего дня я взялся за Будду <за составление жизнеописания Будды. – *Р. А.*>. Он очень занимает меня.

Соскучился я по вас и за вас, что вы в Москве. Выдержанию экзаменов я всё-таки буду рад. Целую тебя, милый друг, и всех от мала до велика. Илью видел во сне, что он меня обидел, а он написал мне хорошее письмо» *(83, 571 — 572)*.

Софья Андреевна ответила ночным (днём – масса дел!), но очень добрым на этот раз письмом от 7 мая:

«Сегодня было письмо от тебя, и я вижу, что ты измучил себя работой и угнетаем впечатлениями бедности. Это, действительно, ужасно, и одно утешенье, это всё-таки — помогать, и помогать, сколько возможно. А странное положение дел в России! Была статья передовая, что банки задавлены деньгами, что *феноменальное* изобилие денег, банки перестают давать проценты. А народ бедствует, — у него отобрали всё; помещики и купцы хлеб не продают, — цен всё выжидают; а этого самого хлеба не достало народу. Что за чепуха и неужели это долго может продолжаться?

Наши дела вот в каком положении: Лёля выдержал латинский, а Илья математический экзамены, оба сегодня. Лёля в восторге пел весь вечер, аккомпанируя себе на фортепиано. Илья в мрачности и говорит, что причины никакой нет, а жить скверно, и много надо, чтоб было хорошо. У Тани побаливает горло и очень болят зубы. […]

Я вечером считала и сдавала склад «Азбук» и «Книг для чтения» артельщику и взяла с него расписку о получении.

Днём возила малышей для сапог, шляп, калош и проч. А совсем поздно, вдвоём с Машей съездила на извощике в баню дешевую. Обошлось всё благополучно.

Завтра еду в последний раз в город с Количкой Ге, к нотариусу дать ему доверенность на получение почты, денег и переводов, и хочу переложить деньги, последние, чтоб не лежали на *одном* проценте в Купеч<еском> банке. Я *ничего* не укладывала, всё времени нет, но хоть ночи не буду спать, а уложу всё к субботе; отправлю всё товарное <габаритное, тяжёлое. – *Р. А.*> в субботу и приеду сама в воскресенье. […]

О собаках мальчики читали. Эти собаки — это им урок. Я осенью сердилась, грозила насилием, терпела грубости детей — всё потому, что не хотела их оставлять. Теперь они сами умоляют их уничтожить, т. е. куда-нибудь и кому-нибудь отдать — а ведь убить невозможно! Если можно, Лёвочка, распорядись сейчас же их куда-нибудь определить, кроме Малютки и одного большого щенка, которого Илья обещал товарищу. Всё равно я приеду и положу конец этому безумному, греховному, собачьему царству, поедающему овёс, столь необходимый для посева.

До свиданья, Лёвочка, милый друг. У меня глаза и спина болит… Целую тебя, дети радуются твоим письмам. Кашель детей меньших — получше» *(ПСТ. С. 371-372)*.

Так как следующее, от 8 мая, письмо Софьи Андреевны не опубликовано, вышеприведённое оказывается последним посланием жены Толстого в рассматриваемом нами Эпизоде переписки супругов. Толстой же до отъезда жены из Москвы (11 мая) успел отослать ей ещё два письма, одно из которых, по отметкам почты, датируется довольно точно 8 мая, а второе, краткое – лишь приблизительно: 7 – 10 мая. Приводим ниже основные их тексты.

Письмо от 8 мая:

«Два прекрасные майские дни. Всё расцвело, — оделось, — черёмуха, — незабудки. Я оба дни половину малую читал о Будде, а большую половину работал до большой, приятной, оживляющей усталости. Что-то многое нужно было и хотелось тебе сказать; а теперь не помню. 1) Ключ нашёл в коробочке. 2) Пожалуйста, если тебе не трудно, увидь Сытина и попроси его от меня передать Николаю Иванову (юноше сочинителю) (он живет в тюремном зàмке Бутырском, в квартире его отца, фельдшера) — передать 30 р[ублей] за его рассказ «Пасху» <для толстовского «Посредника»; был задержан цензурой. – *Р. А.*>. Сытин мне обещал это сделать. […]

Дом совсем сух. Вчера ещё топили детские. Вам всем верно хочется приехать; но я этого желаю верно больше вас и для себя и для вас. Нынче канун праздника, и все моятся в печках и надевают чистое, и завтра, несмотря на нужду общую, будет гульба и, боюсь, пьянство. Что дети. Надеюсь, что здоровы. Миша и Саша самые мягкие и не должны бы болеть. Пишу и жутко. Нынче получил кучу писем из Тулы. Несколько очень хороших, — и из Америки.

Утро нынче гулял по лесу, — нельзя было не радоваться, а только вечером попахал и наелся чудесной простокваши и оглупел от неё. Завтра узнаю, когда вы решительно едете. Ты пиши, что, как вам

приготовить, — мы с Марьей Афанасьевной устроим. Илюша и Лёля как тянутся? Растягивайтесь, ребята, — недолго. — Что Количка <Ге>? Ты ничего не писала про него. Целую тебя и детей. Кланяюсь M-me Seuron и Количке. Приезжайте поскорее» *(83, 573)*.

И небольшое письмо, не позднее 10 мая:

«Записочку эту передаст тебе Новосёлов, сын тульского директора <гимназии>. Он приезжал ко мне на день. Я здоров, радуюсь, что вы едете. Грущу только, что без мальчиков. Передай, пожалуйста, Новосёлову, что же нам делать, рукопись [...] у меня в шкапу, да ещё брошюрку буд<д>ийскую и картинок с 10 привези мне от Сытина. Обнимаю тебя и детей.

Л. Т.» *(83, 574-575)*.

Миша Новосёлов — один из тех умнейших людей, истинных интеллигентов и просветителей России, с которыми у Льва Николаевича сохранялись хорошие, иногда очень близкие, отношения даже несмотря на его позднейший отход от исповедуемой Толстым веры.

Не таковым оказался младший сын художника Ге (того, чьи картинки к народным рассказам Толстого опубликовал в те дни знаменитый книгоиздатель Сытин). После смерти отца в 1894 г. Ге-младший порвёт с Толстым уж очень резко, едва ли не с озлоблением... Но в те прекрасные, наполненные семейной гармонией и любовью дни 1886 г. 29-тилетний Количка Ге был верным слугой общего с Львом Николаевичем и Софьей Андреевной дела народного просвещения. Он вернулся в Москве к секретарским функциям в книгоиздательской конторе Софьи Андреевны, а заодно пообещал ей присмотреть за детьми: Сама она хотела выехать к мужу раньше окончания их экзаменов, что и осуществила 11 мая. Компанию её составило родственное и безмерно любимое семейство Кузминских. Когда в милой Ясной их вышел встретить радостный Лев Николаевич, приехавшие сразу почувствовали, «что начинается опять тот праздник лета, который из года в год освежал наши жизни моральные и физические и давал нам силы для будущих трудов и невзгод» (*МЖ – 1. С. 521-522)*.

Оба супруга в это лето чуть не надорвали себя на сельской работе. Софья Андреевна, отправившись грести сено вместо рожавшей в тот день и не вышедшей на работу бабы, заболела сразу воспалением мочевого пузыря, слегла и, как пишет в воспоминаниях, «ещё более поняла бессмыслицу нашего барского вмешательства в непривычную жизнь и работу крестьян» *(Там же. С. 523)*. (На деле же — просто

не рассчитала сил, не поберегла себя в первый день такого труда.) Толстой же в конце июля сильно ушиб ногу о телегу и долго, тяжело проболел. Соня не только ухаживала за ним, но и привычно переписывала — под его диктовку. Среди диктуемого была и новая драма Толстого «Власть тьмы», которую Соничка переписывала с удовольствием. Зато чтение Толстым его труднейшего, почти невозможного для восприятия на слух «Исследования догматического богословия» вызвало в ней скуку, а само сочинение, конечно, показалось жене Толстого «неубедительным» *(Там же. С. 538)*.

Осенью ей *очень* не хотелось уезжать в мучительно опостылевшую Москву. Но там уже были сыновья, Илья и Лев, которым нужно было продолжать учиться, а старшему, Сергею — поступать на службу… Оба младших гимназиста учиться не желали и вообще явили убеждения и нрав, достаточно далёкие от направления воспитательных усилий отца. Дочери, напротив, этим летом горячо поддержали отца в трудах помощи крестьянам, а Таня, по горячности юных лет, даже ссорилась с мамой из-за денег для нищей Гани *(Там же. С. 537)*.

По этому и иным печальным поводам в дневнике Софьи Андреевны появляется под 25 октября новая жалующаяся и “обличающая” мужа запись — знак беды, предвестье новых семейных неурядиц и драм:

«Все в доме — особенно Лев Николаевич, а за ним, как стадо баранов, все дети, — навязывают мне роль *бича*. Свалив всю тяжесть и ответственность детей, хозяйства, всех денежных дел, воспитанья, всего хозяйства и всего материального, пользуясь всем этим больше, чем я сама, одетые в добродетель, приходят ко мне с казённым, холодным, уже вперёд взятым на себя видом просить лошадь для мужика, денег, муки и т. п. […]

Как я хотела и хочу часто бросить всё, уйти из жизни так или иначе. Боже мой, как я устала жить, бороться и страдать. Как велика бессознательная злоба самых близких людей и как велик эгоизм! Зачем я всё-таки делаю всё? Я не знаю; думаю, что так надо. То, чего хочет (на словах) муж, того я исполнить не могу, не выйдя прежде сама из тех семейных деловых и сердечных оков, в которых нахожусь. И вот уйти, уйти, так или иначе, из дому или из жизни, уйти от этой жестокости, непосильных требований — это одно, что день и ночь у меня на уме.

Я стала любить темноту. Как тёмно, я вдруг веселею; я вызываю воображением всё то, что в жизни любила, и окружаю себя этими

призраками. Вчера вечером я застала себя говорящей вслух. Я испугалась: не схожу ли я с ума? И вот эта темнота теперь мне мила, а ведь это смерть, стало быть, мне мила?

Последние два месяца — болезнь Льва Николаевича — было последнее моё (странно сказать), с одной стороны, мучительное, а с другой — счастливое время. Я день и ночь ходила за ним; у меня было такое счастливое, несомненное дело — единственное, которое я могу делать хорошо — это *личное* самоотвержение для человека, которого любишь. Чем мне было труднее, тем я была счастливее. Теперь он ходит, он почти здоров. Он дал мне почувствовать, что я не нужна ему больше, и вот я опять отброшена, как ненужная вещь, от которой одной ждут и требуют, как и всегда это было в жизни и в семье, того неопределённого, непосильного отречения от собственности, от убеждений, от образования и благосостояния детей, которого не в состоянии исполнить не только я, хотя и не лишённая энергии женщина, но и тысячи людей, даже убеждённых в истинности этих убеждений.

Мы живём в Ясной дольше обыкновенного. Сил нет предпринимать что-нибудь. Но совесть не спит и упрекает за то, что энергия падает. Надо твёрдо идти по пути, который считаешь правильным; и вот я по инерции иду. Я еду (кажется) опять в Москву, я соединяю семью, я веду книжные дела и добываю те деньги, которые, с напущенным на себя равнодушием и недоброжелательством ко мне, у меня же требует со всех сторон Лев Николаевич для тех фаворитов и бедных, которые не действительно бедны, но которые более наглы и лучше поняли, как относиться к нему, чтоб выпросить… Дети, которые, нападая на меня за разногласие с отцом, требуют всё, что могут… Уйти, уйти — и я уйду так или иначе. Нет ни сил довольно, ни любви достаточной к труду, борьбе и терпенью.

Буду писать свой журнал пока. Добрее буду и молчаливее, а волненье всё — сюда.

Сырая, скучная осень. Андрюша и Миша катались на коньках на Нижнем пруду. У Тани и Маши зубы болят. Лев Николаевич затевает писать драму из крестьянского быта <«Власть тьмы»>. Дай-то Бог, чтоб он взялся опять за такого рода работу. […]

Мальчики: Серёжа, Илья и Лёва, таинственно живут в Москве, и о них я очень тревожусь. Какое-то у них странное отношение к человеческим и своим слабостям и страстям: что всё это естественно и должно быть, а если мы боремся и побороли, то мы молодцы. Зачем же *должны* быть слабости? Они бывают, это правда, и их поборешь, но не всякий же день, а раз в жизни, и борьба эта стоит того, чтоб бороться, и часто она сломит и жизнь и сердце. Но не борьба же из-

за Стрельны, вина, карт и тому подобных пошлых, противных страстишек.

Я часто думаю, отчего Лёвочка поставил меня в положение вечной виноватости без вины? Оттого, что он хочет, чтоб я не жила, а постоянно страдала, глядя на бедность, болезни и несчастия людей, и чтоб я их *искала*, если они не попадаются в жизни. То же он требует и от детей. Нужно ли это? Нужно ли то, чтобы здоровый человек ходил постоянно в больницы и смотрел на корчи и страдания людей и слушал их стоны? Если случится на пути жизни такой больной, то пожалей и помоги ему, но зачем искать его?» *(Толстая С.А. Дневники. Том Первый (далее: ДСАТ - 1). С. 110 - 112).*

Совершенно особое настроение –- *осеннее*… как холодный октябрьский ветер, срывающий с дерев остатнее золото листвы. В этих строках всё: и усталость, и обиды… но не только — и эгоизм наследственный семейства Берсов, и мнительность, и соблазны и страхи религиозного безверия… Нет только — *смирения* и *страха Божия* (страха своих грехов), фундамента христианского сознания.

Вина *всегда есть*, Соня. После 1800 лет жизни *как бы* по учению Христа — нельзя человеку христианского мира не признавать своей вины, что есть всё ещё рядом с ним старые, больные, нищие… что торжествует над жизнью смерть. Этого бы не было давно — не растрать христианское человечество силы и жизни множества поколений, целых 18-ти (теперь уже 20-ти) веков, на дела своевольные, злые, как война или нажива, торговля, а не на служение всехнему Отцу, Богу. Вина наследственная усугубляется личной — образом мышления и жизни, непризнанием, словами и поступками, этой вины.

Даже перед мудростью античных философов, книгу о которых читала в те дни, Софья Андреевна не желает смирить гордость ума, и наивно признаётся в дневнике:

«Читаю жизнь философов. Ужасно интересно. Но трудно читать спокойно и разумно. Ищешь в учении и словах всякого философа то, что подходит к своему убеждению и своим взглядам, и обходишь всё несочувственное. И вследствие этого поучаться трудно» *(Там же. С. 112).*

А ещё она с тоской перечитывает в эти дни письма своего умершего платонического любовника, князя Л. Д. Урусова, вспоминая, как «с ним было хорошо и счастливо» *(Там же. С. 113).*

Впрочем, надо помнить, что Софья Андреевна бралась писать дневник чаще именно в дурном настроении, изливая на интимные странички свои самые негативные помыслы и эмоции. А в 1900-е, в годы написания мемуаров «Моя жизнь», это настроение её сделалось

устойчивой характеристикой прогрессирующего душевного расстройства. Отсюда, кстати сказать, та масса «свидетельств», переписанных ею из дневника в книгу воспоминаний, которым не следует бездумно доверять. Надеемся, что более честный и искренний эпистолярный диалог её с мужем помог и помогает нашему читателю воссоздать подлинную картину жизни и отношений великих супругов.

Конец Второго Фрагмента
Двадцать Девятого Эпизода

Фрагмент 29.3.
ЛЮБОВЬ, ЕЩЁ ОДНА ДОБЫЧА СМЕРТИ

Не суждено было этому, 1886-му, году закончиться для Сони сколько-нибудь лучше, радостнее, нежели он начался. Того, кто вечно настороженно поджидает и боится грядущих неприятностей — они тоже как будто поджидают. Дети Сонички, Илья и Лев, не справились с экзаменами и уже в августе должны были снова ехать из Ясной в Москву — на переэкзаменовку. Сын Илья, семейный чемпион по лени, совершенно откажется вскоре доучиваться в гимназии, предпочтя раннюю женитьбу на юной тёзке Софьи Андреевны, Сонечке Философовой. Показательна, кстати сказать, аргументация, которой Софья Андреевна объясняет в мемуарах своё согласие на этот брак:

«Женитьба в молодых годах, без периода разврата, любовниц, всяких падений и связей, была всегда моим идеалом, так же, разумеется, как и полная невинность и чистота девушки» *(МЖ – 1. С. 533).*

(Это правда, и Льву Николаевичу остаётся по этому поводу только посочувствовать. Брак сына с Софьей Николаевной Философовой оказался хотя и не пожизненным, но вполне жизнеспособным и не бездетным.)

Чуть отлучилась из Москвы Софья Андреевна – вкривь пошли и дела книгоиздания. Количка Ге был лично симпатичным нашей бизнес-леди, но никудышным распорядителем. Уже в последней декаде июля Софья Андреевна, навестив его в московском доме и конторе, нашла дела совершенно запущенными: часть денег (тысячи рублей!),

которые нужно было отдать кредиторам, сын художника позабыл в карманах панталон; те деньги, которые Соня доверила ему для передачи в банк — тоже отчего-то не передал. Десятки срочных писем от заказчиков – даже не распечатал…

А с первых чисел августа у Льва Николаевича страшно воспалилась ушибленная нога. Будь на месте Софьи Андреевны, дочери врача и мамы, менее сведущий в болезнях и не столь заботливо-внимательный человек — дело могло бы окончиться общим заражением крови… Только к ноябрю Толстой обрёл возможность нормально ходить.

Но самым печальным событием этих месяцев, помимо болезни мужа, стала для Софьи Андреевны болезнь и смерть её мамы, к которой она выезжала в ноябре 1886 г. в Крым. Подробней всего обстоятельства этой первой в её жизни и очень грустной поездки в Крым описаны в её мемуарах и в двух письмах, которые, вместе с двумя же письмами Льва Николаевича в Крым, к которым мы так же обратимся ниже, составляют особый небольшой Фрагмент переписки супругов.

Любовь Александровна Берс (1826 — 1886) — была для Льва Николаевича весьма не типичной тёщей. Красное, имение её отца А.М. Исленьева, находилось недалеко от Ясной Поляны. Любочка была частой гостьей — и стала уж наверняка *самой-самой* первой любовью маленького Льва. Степан Берс, младший брат Софьи Андреевны, сообщает в мемуарах такую историю детской влюблённости и ревности 7-милетнего Толстого:

Любовь Александровна Берс в 1860 г.

«Моя покойная матушка рассказывала мне, что, описывая свою первую любовь в произведении “Детство”, он умолчал о том, как из ревности столкнул с балкона предмет своей любви, которая и была моя матушка девяти лет от роду. Он сделал это за то, что она разговаривала не с ним, а с другим. Впоследствии она, смеясь, говорила ему: “Видно, ты меня для того в детстве столкнул с террасы, чтобы потом жениться на моей дочери”» *(Берс С.А. Воспоминания о гр. Л.Н. Толстом. Смоленск, 1894. С. 6).*

Сама Любовь в 16 лет была спасена от тяжёлой болезни талантливым врачом, сыном немца-аптекаря, Андреем Берсом, и вышла за него, тогда уже 34-летнего, замуж: *по любви*, ибо Андрей Евстафьевич не успел тогда ещё ни приобрести дворянства и состояния, ни поступить на службу придворного медика. В отличие от дочери своей Сони, Андрей Берс умел держать под контролем многие негативные наследственные черты характера рода Берсов — оттого брак его с Любочкой был вполне счастливым, благословлённым рождением 13-ти детей, восемь из которых выжили.

Младший из выживших, Вячеслав (1861 – 1907), к 1886 году не создал ещё собственной семьи и неотлучно жил при маменьке, которую безмерно любил и которую, по её просьбе, повёз осенью 1886 года в Крым — разделив с ней надежды на излечение в южном климате. Не имея недвижимой собственности в Крыму, мать и сын поселились в Ялте в знаменитой и лучшей в то время гостинице «Россия». Она сохранилась до наших дней, но современные хозяева её, перечисляя в рекламе на своём сайте останавливавшихся в ней в разные годы на лечение выдающихся людей, конечно, “забывают” упомянуть маму жены Толстого, тяжело страдавшую в этих дорогостоящих (для постояльцев) стенах и погибшую наконец — при довольно мутных обстоятельствах.

Но — обо всём по порядку.

В томе писем Л.Н. Толстого жене опубликован такой интересный документ, напрямую относящийся к тогдашней поездке Софьи Андреевны в Крым:

«УДОСТОВЕРЕНИЕ

Сие выдано мною, нижеподписавшимся, жене моей графине Софье Андреевне Толстой в том, что мною разрешено ей в течение сего 1886 года проживание во всех городах и местностях Российской Империи.

1886 г. Ноября дня 5-го.

Граф Лев Толстой» *(83, 581)*.

Штамп с временной крымской регистрацией затёрт, но можно разобрать: «10 ноября 1886 г., дом Чихачёва».

Софья Андреевна впервые в своей жизни уезжала от мужа не «из дома в дом», а в чужие края — отсюда «законная» (в патриархальной России) необходимость такой бумаги. Она позволяет датировать время, проведённое Соничкой в пути: с 5 по 9 ноября 1886 г.

С тяжёлым сердцем и дурными предчувствиями ехала в «русский Крым» несчастная Соня. Телеграмма от брата Вячеслава 3 ноября сообщала о “безнадежности” умирающей мамы. Хмурые, постные, типично русские физиономии попутчиков только добавили депрессии, и только в самом Крыму, при переезде в карете из Симферополя в Ялту, эта тонко чувствующая женщина, вечное ранимое дитя в преклонении перед красотой и добром, немного пришла в себя, созерцая совершенно не российское, здоровое и радующее, лазурное небо, живую красоту щедрой природы, естественную, разумную и добрую жизнь таких же добрых и щедрых малороссов и татар (истинных, законных хозяев Крыма!) и, конечно же, *море*, увиденное домоседкой поневоле в первый раз в жизни *(МЖ – 1. С. 539-540)*.

Гостиница РОССИЯ в Ялте возвышалась среди всего этого великолепия как злой контраст: кичливой, нарочитой красивостью камней — среди подлинной и живой красоты. Подобная роскошно уставленной, но удушающей своею ледяной мрачностью гробнице, она поглотила Соничку. Мать она застала на одре смерти… но, не знавшая о приговоре врачей, та не признавала своего состояния и даже поругала дочь, что та «поспешила» приехать, не дождавшись её выздоровления. Младший брат, совершенный взрослый ребёнок — метался в духоте комнат и чёрной тоске отчаяния. Приехавшие чуть ранее старшие братья Пётр и Александр выражали свои чувства сдержанней… В «большом тёмном номере» Соня не могла заснуть в первую ночь — несмотря на всю усталость. Только море вдали и хризантемы за окном напоминали, что живая, настоящая жизнь – здесь, совсем рядом *(Там же. С. 540-541)*.

И ещё:

«Бог послал мне большое утешение и поддержку в сестре Льва Николаевича Машеньке, которая была в то время в Ялте. Она перешла жить ко мне в номер, всё время помогала ухаживать за моей матерью, бодрила всех нас, была ласкова, религиозна и как могла облегчала наше горе» *(Там же)*.

Другим облегчением были воспоминания о милой Ясной Поляне и — возможность, хотя бы через письма, поговорить с любимым мужем. Только приехав, вечером 9 ноября, Соня пишет первое из них <начало письма отсутствует>:

«Выходила с Сашей и Петей погулять, оставила письмо до вечера, так как всё равно раз в день почта. Сейчас ушла Машенька, она всё сидела с нами, очень была со мной добра. К счастью она сегодня утром переехала сюда, в Ялту, за несколько домов от нашей гостиницы и хочет тут жить всю зиму. Она обещает постоянно быть с мама и не оставлять мама ни секунды, если бы без нас началась агония, т. е. после отъезда моего и братьев. Это очень утешительно для всех, особенно для Вячеслава. А мама́ ей рада всякий раз, как видит её.

Живу я тут же, внизу, в отдельном номере, большой и холодный. Очень неприятно и жутко, но я привыкаю. Сижу весь день у мама, она всё ко мне обращается, и я этому рада; но ходить за собой не позволяет, так что пользы я пока не приношу, а только, как будто, веселей всем и, главное, что она ждала меня. О вас стараюсь не думать. Но какая удивительная проверка привязанности и любви, — разлука. Кого ни вспомню — Таню, Серёжу, Илью, Машу, уж не говоря о Лёвочке, — всё думаю как я могу ссориться с кем-нибудь, как могу, главное, обижать и не уступать, и не делать всё, что для каждого нужно, для их счастья, потому что для меня лично только это и нужно.

Хочу описать Андрюше и Мише свою дорогу и кое-что, что видела, и пишу им на отдельных листках. Кому интересно, прочтите. Только письмо моё не может никак быть складно, беспрестанно прерывается или страданьем мама, или она начнёт разговаривать. Как море шумит, и подумать, что это так будет вечно! Всё кажется: как это оно не устанет так шуметь!

Ну, прощайте, мои все милые, надеюсь, что и вы мне напишете. Письма два я успею получить. Целую вас всех крепко… У вас теперь весело. Берегитесь верховой езды. Что наша драма? Я всё о ней думаю. Ещё смягчить характеры надо, чтоб можно было всех полюбить даже. Прощайте!» *(ПСТ. С. 373)*.

Письмо умного, любящего и мужественного человека. Но получить в Ялте Соня успела только одно письмо мужа, того же 9 ноября. Вот оно, в сокращении:

«У нас, милый мой друг, так хорошо, как только может быть без тебя. Дела все по корректурам делаются, и дети, и в доме всё исправно. Мне за тебя скучно, и чувствую твоё отсутствие. Кроме того, нездоровится, — ревматизм всё не проходит, да и вялость физическая. Затеял я календарь с пословицами русскими, и девочек <дочерей> это занимает. Ещё «Бабью долю» <рассказ Т. А. Кузминской. – *Р. А.*> всю поправил и много занимался. Драму <«Власть тьмы»> не кончил поправлять. — Пускай уляжется, — тогда лучше.

Грустно писать тебе о пустяках: в каком ты положении застанешь милую больную. Иногда верится, что ей не так худо, как мы думали. — Хорошенько передай ей мою любовь.

[…] Прощай, голубушка. Братьев свои за меня поцелуй» *(83, 575 - 576)*.

Такими же, творческими и семейными, мелочами наполнено и следующее, от 10 ноября, письмо Толстого *(Там же. С. 576 — 577)*. Оно уже не застало Соничку в Ялте; мы не приводим здесь его текст.

Неизвестно, успела ли исполнить просьбу мужа в отношении умирающей Соня. Её письмо от 11 ноября, достаточно пространное, оказалось последним в эту поездку… приводим и его текст с сокращением.

«Милые мои все, у нас очень, очень грустно и тяжело. Вчерашний день прошёл довольно хорошо; мама̀ и говорила, и сидела в кресле, и даже разговаривала; но ночь была тревожна, а утром, хотя и просила посадить в кресло, и посидела немножко, но стало хуже, и мама̀ стала видимо слабеть. Потом она заснула, а мы с Машенькой, Петей и Сашей поехали прокатиться в Ливадию и Орианду. Но несмотря на поразительную красоту всего, до того грустно, что я всё спешила домой. Когда приехали, Вячеслав встретил нас с испуганным лицом̀ и сказал, что сейчас был доктор, и вдруг стало хуже. Я вошла; мама̀ уже лежала опять, и кряхтела, и стонала. Были минуты, что делались в лице судороги и начиналось хрипенье; потом опять проходило, и она опять говорила с нами. Мы сидим по двое, сменяемся, а то долго выдержать невозможно, так больно за неё и за Вячеслава. Машенька очень мила и приятна. Она спит вторую ночь со мной и весь день с нами не расстаётся. Сегодня Петя брат предложил мама̀ причаститься; она обрадовалась даже, и всё говорила: «какие они смешные: они боятся меня испугать, а я очень рада». А то опять мне говорит: «Вячеслав теперь, верно, думает, что я умру; ведь он дурак». И это с нежностью и улыбкой.

А то позвала меня и говорит: «Они думают, что я боюсь умереть, а я рада смерти, только бы скорей, не страдать; тяжело мне». Сегодня она меня три раза потребовала к себе. Один раз просила меня положить компресс на бок; у неё болит бок; другой раз сказала, чтоб «Соничка подушки поправила, она сумеет», а в третий раз подозвала и говорит: «Ты при Вячеславе не говори ничего такого, ты его утешай, никто, как ты; он тебя больше всех любит. Я тебе его поручаю, слышишь?»

После причастия она действительно успокоилась и сказала <служанке>: «Настасья, ты слышишь ли покой моей души?» Иногда вдруг говорит: «Господи, помоги мне! религии мало, я слишком гадка, и молиться разучилась». И всё это перемешивается со вздохами, стонами. Жар у неё сильный и иногда бред. Ах, ужасно смотреть порой; я даже убегаю, а не только Вячеслав, который дошёл до крайнего нервного состояния. После конца он приедет ко мне, обещает.

Вчера была ужасная история: мама̀ меня таинственно подозвала, манит рукой и говорит: «Соничка, я должна тебе секрет сказать, только ты болтунья, расскажешь всем». Я обещала, что всё исполню, что она хочет, и стала перед ней на колена, чтоб лучше слышать и обещала, что не скажу никому, и она, сидя в кресле, нагнулась ко мне и начала говорить: «Я скоро умру, а Вячеслав тогда застрелится; он мне сам это говорил несколько раз, и теперь, подумай, — при таких страданиях, и ещё такие страшные мысли, день и ночь мне покоя нет!»

На меня нашёл просто ужас, но и я взяла на себя <т.е. взяла себя в руки. – *Р. А.*>, и я стала её утешать и говорить: «Мало ли что скажешь в минуту нервного или возбуждённого состояния, но что мы его будем беречь, и что Лёвочка постарается его направить на путь истины и религии». […] Сегодня утром опять мама̀ со мной заговорила, и мне, кажется, удалось её окончательно успокоить. С Вячеславом я тоже много говорила и говорю; он ко мне так и льнёт, даже трогательно, всё сидит около меня.

[…] Сижу у себя в комнате, тут Машенька и брат Саша, сейчас пойду сменю у мама̀ Петю и Вячеслава. Я рада, что она стала ко мне обращаться. И какое всё-таки счастье, что я её застала!

Сегодня получила письмо Тани <от 9 ноября>. Что же ты, милая Таня, так обо мне тревожилась? Меня это очень тронуло; но я оказалась гораздо храбрей, чем я думала; и теперь, назад, хоть в простой телеге с татарином поеду, совсем не боюсь.

Вы, видно, хорошо, как всегда, без меня живёте. Только будьте осторожны, ведь осень всё-таки глубокая, и шуб нет. Спасибо милой Верочке, что учит Андрюшу, и что мне написала. Учит ли Маша

Мишу? Что же это папа «Бабьей долей» и пословицами занялся? А драма наша?

Теперь всё написала, что на душе было; больше не могу писать, надо идти к мама̀ и отпустить Вячеслава. Как мне хорошо, что Машенька со мной спит, совсем на душе спокойно. Спасибо ей. — Целую вас, мои милые все, кланяюсь мадам Seuron и miss. Долго ещё я вас не увижу. Но так надо было» *(ПСТ. С. 374 - 376)*.

Соничка снова ошиблась прогнозом: в ночь на 12 ноября Любовь Александровна умерла. Вечером 11-го она почувствовала острую боль в боку. Призванный гостиничный врач торопливо всадил несчастной в бок шприц с морфином, без жалости надавил, и… сломал иглу:

«Он взял другую, без меры налил морфин и снова впрыснул в бок. Моя мать широко открыла глаза, испуганно посмотрела на доктора и сказала с каким-то ужасом: «*Что вы со мной сделали*?» Доктор был очень смущён…» *(МЖ – 1. С. 542)*.

К 4 часам утра всё было кончено. Маленькое, доброе, всех любившее и никому не сделавшее при жизни зла существо, мама Сони не проснулась больше от явно смертельной дозы наркотика. Неискусный врач, за несколько дней до того убеждённо приговоривший больную воспалением лёгких Любовь Александровну к скорой смерти — исполнил свой приговор.

Утешив кое-как младшего брата и не дождавшись разбирательств и похорон, Софья Андреевна 12 ноября выехала к своей семье – домой, из душегубки по имени «Россия», из проклятого, русского, Крыма, в котором ей суждено побывать снова в 1901-1902 гг., при не менее мучительных и страшных обстоятельствах: тяжёлой, затяжной болезни Льва Николаевича, едва не забравшей его жизнь.

Конец Третьего Фрагмента
Двадцать Девятого Эпизода

КОНЕЦ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Тридцатый.
МАЛОЕ СОТРЯСЕНИЕ АНКОВСКОГО ПИРОГА
(Апрель - май 1887 г.)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК

В ноябре 1886 г., пока Софья Андреевна прощалась в Крыму с мамой, Лев Николаевич оставался с детьми в Москве и, не теряя времени, заканчивал работу над одним своим драматургическим сочинением, пьесой «Власть тьмы» и начал другое — комедию с рабочим названием «Исхитрилась» (более известную читателю как «Плоды просвещения»). Кроме того, он работал в эти дни и над «Календарём с пословицами», уже обещанным издательству Сытина, и обдумывал ещё ряд художественных замыслов. Всё это, равно как и большие доходы от издания ею уже 6-го Собрания сочинений мужа, не могло не радовать Софью Андреевну. Ей казалось, что вот, вот — и сделается её муж *прежним*, памятным по 1860-1870-м годам, временам написания «Войны и мира» и «Анны Карениной».

Но муж, прелестный муж, Лев Николаевич Толстой, не разделял её радостей от успехов книгоиздательского предприятия или от возможности продолжения для детей городского и барского образа жизни. Он не изменил своих мировоззренческих ориентиров и лучше в те дни, чем жена, понимал всю неустойчивость домашнего «затишья». Широко известна цитата из его письма к Т.А. Кузминской от 17 октября 1886 г., в которой он, как «брат во Христе» младшей «духовной сестре», выражает своё понимание неизбежности новых семейных бурь в очень образной, даже колоритной, форме:

«У нас всё благополучно и очень тихо. По письмам вижу, что и у вас также, и во всей России и Европе также. Но не уповай на эту тишину. Глухая борьба против анковского пирога не только не прекращается, но растёт и слышны уже кое-где раскаты землетресения, разрывающего пирог. Я только тем и живу, что верою в то, что пирог не вечен, а вечен разум человеческий.

Твой брат *Л. Т.*» *(63, 393)*.

«Анковский пирог» [над n Толстой ставил знак ˜, что означало протяжное в нос “французское” произношение] — традиционный пирог в доме Толстых, подававшийся в исключительных случаях — в большие праздники, или при «хороших» гостях. Своё название пирог по-

лучил в честь доктора Николая Богдановича Анке (1803 – 1872), приятеля отца Софьи Андреевны. Для Льва Николаевича этот Аńковский пирог имел иносказательное значение. Вот, что вспоминал Сергей Львович Толстой по этому поводу: «Это был вкусный рассыпчатый пирог с вареньем внутри и миндалём снаружи… Для отца Анковский пирог служил эмблемой особого мировоззрения, которое трудно формулировать одним словом. Анковский пирог, — это и домовитость, и семейная традиционность, и — говоря современным языком — буржуазный уклад жизни, и вера в необходимость материального благополучия, и непреклонное убеждение в незыблемости современного строя. Когда моя мать хлопотала о том, чтобы к обеду с гостями были положены чистые салфетки и вообще обед был правильно приготовлен и сервирован, о том, чтобы ночующему гостю были постелены чистые простыни, чтобы на Рождестве была ёлка, на масляницe — блины, а на Пасху — кулич, вообще чтобы было все то, что полагается, — то отец всё это называл “Анковским Пирогом”. […] В наши дни разрушение анковского пирога совершилось, но я не думаю, чтобы отец, если бы был жив, приветствовал это разрушение. А лично я думаю, что и не всё было плохо в анковском пироге» *(См.: Толстой С.Л. Юмор в разговорах Л.Н. Толстого // Толстой. Памятники творчества и жизни. Вып. 3. М., 1923. – С. 13).*

И не во всём ты здесь прав, Серёжа. Отец под *разрушением* Анковского Пирога имел в виду в 1887 г. то же, что и под «революцией» в 1900-е: не внешнее насильственное разрушение прежнего устройства жизни, с ограблением старых элит в пользу новых выскочек «из народа», а — ненасильственное *изживание* в сознании масс прежнего религиозного понимания жизни и диктуемых им систем взаимоотношений и нравов людей, их прежнего отношения к богатствам, к собственности, к насилию…

Широкое обобщение («…и во всей России и Европе») позволило в своё время советским толстоведам выдавать этот отрывок за предсказание и одобрение Львом Николаевичем социалистической революции. На деле, подчеркнём это, Толстой под «разрыванием пирога» разумел отнюдь не социальный взрыв, а вовсе противное: победу разума, просветлённого христианским религиозным пониманием жизни.

Не случайно теме разумного идеала как руководства жизни посвящена и единственная в 1887 г. запись в Дневнике Л.Н. Толстого — запись от 3 февраля:

«Человек употребляет свой разум на то, чтобы спрашивать: зачем и отчего? — прилагая эти вопросы к жизни своей и жизни мира. И

разум же показывает ему, что ответов нет. Делается что-то в роде дурноты, головокружения при этих вопросах. [...] Что ж это значит?

А то, что разум человеку не дан на то, чтобы отвечать на эти вопросы, что самое задание таких вопросов означает заблуждение разума. Разум решает только основной вопрос как. И для того, чтобы знать как, он решает в пределах конечности вопросы *отчего* и *зачем*?

Что же *как*? Как жить? Как же жить? Блаженно. Этого нужно всему живущему и мне. И возможность этого дана всему живущему и мне. И это решение исключает вопросы *отчего* и *зачем*.

Но отчего и зачем не сразу находится блаженство? Опять ошибка разума. Блаженство есть делание своего блаженства, другого нет» *(49, 131)*.

Понятно, что такие ориентиры вряд ли могли найти понимающую поддержку среди большинства членов семьи Льва Николаевича. Вот почему Толстой так радовался новым знакомствам, ища близкого духовно человека среди толп, осаждавших его растущие в популярности жилища в Ясной Поляне и в особенности в Москве, где семейство проводило время с осени до тёплой весны. Среди новых знакомых, с которыми Толстой встретился лично в последние месяцы 1886-го и в 1887 году — философ Н. Я. Грот и писатели Ф. А. Желтов, С. Т. Семёнов, Н. С. Лесков и другие. Знакомство с Лесковым было особенно взаимно приятным: Лев нашёл в Николае умнейшего и характерного собеседника, Николай же во Льве обрёл — высокочтимого и более талантливого, что пришлось признать, единомышленника в вере Христа и в ряде общественных вопросов. По переписке Толстой снёсся с писателем Ф. Ф. Тищенко и совсем юным ещё Роменом Ролланом, а также с некими интеллигентными девушками из Тифлиса, высказавшими желание послужить делу просвещения народа. Им Лев Николаевич посоветовал переделывать старые и писать новые книжечки для народа — такие, которые могли бы быть изданы в его «Посреднике».

Главной в жизни Толстых драматической эпопеей конца 1886 — первой половины 1887 г. стал запрет цензурой драмы Л. Н. Толстого «Власть тьмы». В нём поучаствовали не только начальник Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистов, но и обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев и даже лично император Александр III. Попытки Софьи Андреевны отстоять драму привели к минимально удовлетворительному для неё результату: драма была разрешена для публикации в издаваемом ею с весны 1887 г. уже 7-м (!) издании сочинений мужа, но не в дешёвых книжечках для народа, и безусловно запрещена для постановки на сцене.

Обстоятельства запрета стали, пожалуй, важнейшей темой первых в 1887 году писем Софьи Андреевны к мужу, писанных в период с 3 по 12 января: в дни уже не первой, но столь же желанной для Л. Н. Толстого зимней поездки в сельскую местность, в усадьбу друзей семьи, Олсуфьевых. В основном письма супругов этих дней достаточно малоинтересны, и мы не будем особо рассматривать их и помещать их здесь. Тем более, что наиболее интересное для нас письмо Софьи Андреевны, содержавшее какие-то интимно-личные выражения её вдруг вновь неустойчивого в первые дни нового года настроения — по всей видимости, не сохранилось. О нём мы узнаём лишь из ответа Л. Н. Толстого жене от 10 января, где он пишет, что душевное здоровье Сони, выразившееся в утраченном письме, «тревожит» его и он просит жену «не сердиться» *(84, 17)*. Соня в своём письме этого же дня, 10 января, пишет, что «корректуры усилились» и ей, несмотря на привлечённых помощников, «очень хлопотно». К тому же — опять «нездоровится». Конечно, это более чем достаточные объяснения для встревожившего Толстого письма… Неприятно подействовало на Софью Андреевну и известие в одном из писем, что террористы в России Толстого «начинают считать своим», хотя Лев Николаевич на самом деле «террору-то и есть злейший враг» *(ПСТ. С. 380, 383)*. Именно в эти годы, получая хорошие барыши с издания и переиздания сочинений мужа, Софье Толстой меньше всего хотелось оказаться женой революционера, человека вне закона. Оттого, в тревоге, она и признаёт охотно мужа «врагом террора» и революции — вопреки той лжи, в которой поучаствовала позднее…

Толстой между тем, насмотревшись на роскошную и суетную жизнь богатейших Олсуфьевых в их дворце — очень соскучился в эти январские дни по семье, и в особенности по любимой Соничке:

«Соскучился я очень по тебе и вас, но и просто соскучился от хозяев, добрых самих по себе порознь, но не добрых друг к другу, и от тяжёлой, давящей и непривлекательной роскоши жизни» *(84, 18)*.

Помимо биографических фактов, это признание косвенным образом указывает на отсутствие в этот время (как и в прошлом, 1886 г.) «тяжёлой, давящей» атмосферы в московском доме Толстых. Такое редко бывало с Толстым: чтобы от стремился *туда*, в Москву, а не из неё подальше…

В уединённых прогулках Лев Николаевич обдумал многое для нового своего крупного философского сочинения – «О жизни и смерти».

Записи в Дневнике от 3 февраля, приведённые нами выше, относятся как раз к этому замыслу. С середины февраля и весь март Толстой уже занят писанием нового трактата. Новый друг, Н. Я. Грот, устроил для Льва Николаевича возможность выступления в учёном Психологическом обществе с рефератом «Понятие жизни». 14 марта, вечером, заседание Общества и доклад на нём Толстого состоялись. Софья Андреевна писала в этот день сестре:

«Весь день писала, переписывала Лёвочкину статью о жизни и смерти…, которую он в настоящую минуту читает в университете в Психологическом обществе. Статья хорошая, и без задора, и без тенденции, и чисто философская…» *(Цит. по: Опульская Л.Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1886 по 1892 год. М., 1979. С. 93. [Далее ссылка на это изд. сокр: Материалы. 1979. С.].)*

Как мы помним, со времён общения с прекрасным и умнейшим Леонидом Дмитриевичем Урусовым, безвременно утраченным духовным другом, Соня сама очень увлеклась философией. Нет сомнения, что реферат мужа она переписывала не тупо, механически, а с *интересом* и *пониманием*. И горько сожалела, что в сволочной, гнило-патриархальной России ей, женщине, не дано право не то, что участвовать, а хотя бы присутствовать на сборище брадатых и мудатых «учёных мужей». И муж *в этом* не готов был защитить её святое человеческое право!

Давайте приглядимся теперь пристальней к милой Соне. Какими глазами смотрела она на жизнь семьи, на творчество мужа? В каком настроении и мыслях встречала обстоятельства повседневной домашней и деловой жизни и известия из жизни внешней? Как всегда, «путеводителями» нам пусть послужат записи Софьи Андреевны 1887 года в дневнике и воспоминания об этом годе в мемуарах «Моя жизнь».

Из записи в дневнике под 3 марта 1887 г.:

«Встревожило известие о бомбах, найденных в Петербурге у 4-х студентов, которые хотели их бросить Государю проездом с панихиды его отца. Так встревожило — что весь день не опомнюсь. Это зло породит целый ряд зол. А как мне теперь тревожно всякое зло! Лёвочка уныло и молчаливо принял это известие. У него это уже прежде переболело» *(ДСАТ – 1. С. 114)*.

Легко догадаться, *почему* так тревожно было Соне. Она помнила ещё 1881-й год, мартовское убийство Александра II и — письмо мужа к новому царю с призывом по-христиански простить и не казнить цареубийц. Она ждала тогда последствий от «дерзкого» письма:

репрессий для мужа и драм для семьи… Вот почему в 1887-м «унылое молчание» Толстого было принято ею с некоторым даже удовлетворением — как мы знаем, совершенно неосновательным: Толстой не собирался прекращать свою христианскую защиту людей, пусть даже и революционеров, от имперской расправы над ними судом, тюрьмами и смертной казнью. Последнее в его земной жизни публицистическое выступление 1910 г., известное как статья «Действительное средство» — была, как известно, выступлением как раз против казней.

Ещё, из записей того же дня:

«Мы мирно и счастливо прожили зиму. Вышло новое <шестое> дешёвое издание. Интерес мой к этому делу совсем пропал. Деньги радости не дали никакой — да я это и знала» *(Там же. С. 115)*.

Да, *знала* о греховной суетности наживы и зле богатства — по увещаниям мужа. Но, как и очень многие, не изведав грустным личным опытом — не верила… Но и нельзя сказать, что не было радости от достатка в доме: была, но — мужу. Соничка меньше тревожилась о деньгах, меньше злилась, а его январский отъезд с дочерью Таней может служить образцом неразрывной душевной связи супругов, когда пишутся друг другу малосодержательные, но регулярные и эмоционально необходимые письма:

«Живя врозь с Львом Николаевичем, мы разлуку всегда чувствовали и не прерывали того дружеского общения, которым я так всегда дорожила» *(Толстая С.А. Моя жизнь. Том 2. М., 2014. С. 115 [Далее: МЖ – 2. С.])*.

А вот записи в дневнике Софьи Андреевны от 6 марта того же года:

«Переписала «О жизни и смерти» и сейчас перечла внимательно. С напряжением искала нового, находила меткие выражения, красивые сравнения, но основная мысль для меня вечно несомненная — всё та же. То есть отречение от материальной, личной жизни для жизни духа. Одно для меня невозможно и несправедливо — это то, что отречение от личной жизни должно быть во имя любви всего мира, — а я думаю, что есть обязанности несомненные, вложенные Богом — и от них отречься не вправе никто, и для жизни духа они не помеха, а даже помощь» *(Там же)*.

Всё-таки кое-что подсказывало Соне, что не столь безобидно и отнюдь не «чисто философское» это новое сочинение мужа. В письме другу-единомышленнику Г. А. Русанову от 2 апреля 1887 г. Толстой определяет задачу своего сочинения так:

«Кажется, что разъяснение этого — т. е. того, что именно есть жизнь (у Христа это разъяснено), разъяснение Христово для людей,

которые не хотят понимать Евангелие — это очень важно, нужно, прибавит счастья людям» *(64, 32)*.

Так что всё-таки недаром в начале лета 1887 г. очень умный цензор Санкт-Петербургского цезурного комитета по фамилии Лебедев усмотрел в сборнике рассказов Л. Н. Толстого «для народного чтения» не просто антиправославную тенденцию, а «своего рода евангелие» *(Цит. По: Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. 1828-1890. С. 670*). Написав народные рассказы именно как понятные для простецов иллюстрации к евангелию, теперь Толстой принялся за писание, ни много ни мало, евангелия… для более образованного и подготовленного читателя.

И в этом же письме — достаточно суровые строки о женщинах и семейной жизни, которые, к счастью или несчастью, не могла прочесть Софья Андреевна:

«Женщины редко возрощают у себя в сердце истинную любовь к Богу и к людям, и часто любовь к детям занимает всё место. И часто видишь ужасную казнь за это. Помилуй Бог вас и жену вашу и от греха, и от последствий его. — Я знаю, что это кажется недобрым чем-то — холодным — рассуждать о Боге, когда есть горе, — дети больны или умирают; и мы так привыкли к этому, что и мне это показалось совестно. А как мы забыли Бога, если говорим и думаем так! Как очевидно, что мысль о Боге (истине, добре, — как хотите понимайте) нужна нам только для парада, а как дело серьёзное, жизненное, то нам даже совестно упоминать про такую фальшь.

[…] И родятся, и живут дети и любимые люди только как некоторые подробности Бога, которые без Бога и не имеют смысла и которые поэтому уничтожиться не могут, — скрыться из глаз наших могут, но не уничтожиться.

Я пишу, не обдумывая слов, надеясь, что вы совпадёте со мной сердцем и поймёте меня» *(64, 32)*.

Соня *не могла* понять этого: как и масса современных, уже XXI века, мамаш, делающих из заботы о потомстве на давно и опасно перенаселённой человечеством планете какие-то высокие смыслы жизни и относящие детерминирующие их мышление и поступки атавистические животные инстинкты человечьей самки к чтимым «дарам Бога».

Именно работа этих инстинктивных программ создавала для Софьи Андреевны «барьер невосприятия» христианской проповеди мужа, подсказывала ложные трактовки его теоретических построений — в духе «проповедания любви ко всему миру».

Дети между тем — и радовали, и огорчали мать, как бы пытаясь доказать ей, что смысла всей жизни в них, в их плотском и материальном благе, полагать нельзя.

Дневник, 6 марта:

«На душе уныло. Илья очень огорчает своей таинственной и нехорошей жизнью. Праздность, водка, часто ложь, дурное общество и главное — отсутствие всякой духовной жизни. Серёжа уехал опять в Тулу, завтра заседание в их крестьянском банке <В котором служил Сергей Львович. – *Р. А.*>. Таня и Лёва огорчительно играют в винт. С меньшими детьми я потеряла всякую способность *воспитывать*. Мне их всегда ужасно *жаль*, и я боюсь их избаловать. У меня старческий страх за них и старческая нежность к ним» *(ДСАТ – 1. С. 115)*.

И всё же в нормальном, христианском обществе — в мире любящих и равных правами братьев и сестёр — Соня, без сомнения, могла бы с громадной общественной пользой реализовать себя не только в семейной жизни, но и в творчестве, и в науках, и в философии. Материнство, неотделимое от повседневного соприкосновения с *материальной* стороной жизни, подарило ей уже к этому, 1887 году, чудесное прозрение, которое вряд ли достиг и через 20 лет, и до конца жизни, её супруг и которое она, смиренно не придавая ему особенного значения, мимолётно и грустно выражает в той же записи дневника:

«Точки опоры в жизни у меня теперь нет никакой; но есть прекрасные минуты одинокого созерцания смерти и иногда ясное понимание того раздвоения материального и духовного сознания, себя и несомненность вечной жизни того и другого» *(Там же)*.

Это *гениальное* прозрение скромной жены писателя и мыслителя. Прозрение в органично и неразрывно *духовно-материалистическую* сущность Божьего устройства мироздания — включающую в себя формы материй и связанных с их бытием эманаций и энергий, неизвестных XIX столетию обитателям планеты Земля и лишь в наше время исследуемых (и то на самых подступах!) наукой. Прозрение к *знанию*, позволяющему преодолеть «грех» идеалистической философии XIX столетия — пресловутый *духовный монизм*, отводящий материи роль либо «презренной» и «низшей» субстанции, либо вовсе «временной иллюзии», сопровождающей плотскую жизнь человека. Толстой, в его многолетних попытках дать определение Жизни — так и не избавился от суеверий духовного монизма… и не одну Софью Андреевну сбила с толку выразившаяся в его «интеллигентном евангелии» крайность проповеди «жизни в духе».

Но жизнь умеет «засуетить» — как метко и характерно выразилась Соня в письме мужу 12 января 1887 г. *(ПСТ. С. 385)*. И не всегда суета эта, эти тревоги и заботы, так уж беспочвенны. Как туча на горизонте, явилась у Сони в этом году та забота, которая уже не оставит её до конца её совместной с мужем жизни, превратившись с годами в мучение и болезнь: ЧЕРТКОВ.

Снова дневник, тот же день, 6 марта:

«Было письмо от Черткова. Не люблю я его: не умён, хитёр, односторонен и не добр. Л. Н. пристрастен к нему за его поклонение. Дело же Черткова в народном чтении, начатое по внушению Л. Н., я очень уважаю и не могу не отдать ему в этом справедливости» *(ДСАТ - 1. С. 116)*.

И далее, запись 9 марта — уже страшная. Приводим почти целиком:

«Лёвочка пишет статью «О жизни и смерти» новую для чтения в университете в Психологическом обществе. Вот уже неделя, как он опять вегетарианец, и это уже сказывается в его расположении духа. Он сегодня нарочно начинает с кем-нибудь при мне заговаривать о зле денег и состояния, намекая на моё желание сохранить его для детей. Я молчала, но потом вышла из терпения и сказала: «Я продаю 12 частей за 8 р., а ты одну «Войну и мир» продавал за 10 р.». Он рассердился и замолчал. Так называемые *друзья* новые христиане страшно восстанавливают Л. Н. против меня и не всегда безуспешно. Перечла я письмо Черткова о его счастье в духовном общении с женою и соболезнование, что Л. Н. не имеет этого счастья и как ему жаль, что он, столь достойный этого, лишён этого общения, — намекая на меня. Я прочла, и мне больно стало. Этот тупой, хитрый и неправдивый человек, лестью опутавший Л. Н., хочет […] разрушить ту связь, которая скоро 25 лет нас так тесно связывала всячески! Когда Лев Николаевич был болен, эти два месяца мы жили по-старому. Я видела, как он отдохнул душой и как в нём проснулось это старое творчество. И он написал драму. Путы его притворно-слащавых новых христиан снова опутывают его, и он уже порывался в деревню, и я видела, как потухал этот огонь и как это действовало на его душу.

Отношения с Чертковым надо прекратить. Там всё ложь и зло, а от этого подальше» *(Там же)*.

Справедливость вывода о нарастающем негодяйстве Черткова и *уже тогда* назревшей необходимости прервать с ним общение семьи и особенно Льва Николаевича — к несчастью, «разбавляется» в дневнике Софьи Андреевны несправедливым обобщением о *всех* друзьях-единомышленниках Толстого как «притворно-слащавых новых

христианах». Вероятно, в своих философских поисках она либо набрела самолично на брошюру 1882 г. «Наши новые христиане» Константина Леонтьева, либо кто-то пересказал ей её содержание. Вероятней второе, потому что критикует брошюра в основном Ф. М. Достоевского, и в меньшей степени Л. Н. Толстого: в связи с одним только из серии его народных рассказов — изложением народной легенды «Чем люди живы?» Ни в самой народной легенде, ни в её пересказе Л. Н. Толстым, нет никакой притворности или слащавости. А вот в общении с Л. Н. Толстым некоторых городских интеллигентов, подавшихся по юности лет или сдуру в «толстовцы» — да, такая фальшь была, и отвращала ещё с начала 1880-х самого Толстого. Почуялась она умненькой Соней наконец и в поведении, речах В. Г. Черткова. Но тот успел занять *слишком* неподобающее ему место в жизни и в сердце идеализировавшего его Толстого. И, действительно, искренне старался быть полезным ему. Изгнание его из жизни Льва Николаевича, как известно, так и не состоялось — к огромному, огромному сожалению…

Главная неправда Сони — в том, что христианское отношение Льва Николаевича к собственности и деньгам было, по её мнению, инспирировано «толстовцами». Совершенно нет. Будто назло складывающемуся в их, не весьма умных в массе своей, головах образу Толстой периодически отказывался от строгостей вегетарианской диеты, с радостью разделял с семьёй некоторые «барские» развлечения, и в принципе — будто хотел противопоставить некую “антитезу” крайностям своего поведения прежних лет. Соничка радостно и удовлетворённо свидетельствует в записи дневника от 14 марта:

«Лёвочка […] стал делать отступления от разных предвзятых правил: комнату часто убирает <слуга> Григорий, пищу, когда нездоров, ест и мясную; когда мы играем в винт, присаживается и он. Пропало упорство, и пропало и дурное расположение духа, стал веселее и добрее. За продажу книг тоже не сердится, рад, что 8 р. издание…» *(ДСАТ – 1. С. 117)*.

Нет, не от любящей жены и от детей, а как раз от суетных, суетливых и часто неприятных гостей московского дома, *включая* массу религиозных обожателей, бежал он в январе. И, еле дотерпев до конца марта — бежит снова, на этот раз в милую Ясную Поляну. Толстому требовалось большее, чем возможно было в городе, уединение — для работы над философским трактатом. Оно ни в коем случае не было совершенным одиночеством: помимо знакомых крестьян и слуг, равно и регулярных гостей, круг общения великому яснополянцу могли в этот раз составить отпущенный из гимназии на пасхальные каникулы сын Лёва, его новый товарищ (старший на 2

года) студент Владимир Ден и, конечно, неразлучный Алкид, сын гувернантки мадам Сейрон.

КОНЕЦ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ОЧЕРКА

Итак, оставив жену с младшими детьми «говеть» по-православному в Москве, Толстой 30 марта уезжает, вслед за сыном и его товарищами, в Ясную Поляну. Расстроившись чувствами, как бывало обычно в таких случаях, Соничка в тот же день пишет ему вслед:

«Без тебя потухло всё в доме, но большое утешение, что тебе будет хорошо, лучше, чем здесь, и потому я радуюсь, что ты поехал в деревню» *(Цит. по: МЖ – 2. С. 22)*.

Полным текстом это письмо нам недоступно. К сожалению, цитируя его в воспоминаниях, Софья Андреевна не указывает и точной даты его написания. Известно, что вслед отъехавшему мужу она отправила два письма: от 31 марта и от 1 апреля (оба не опубликованы).

Первое в этом Эпизоде письмо Толстого — по традиции, «дорожное»: открытка от 1 апреля из Тулы, куда Лев Николаевич заехал попутно, планируя встретиться с сыном Сергеем, служившем в Туле в Крестьянском банке:

«Ехал очень дурно тем, что жара <в вагоне> ужасная, но очень хорошо тем, что интересные и не бесполезные разговоры, шли с раскольниками-старообрядцами. Серёжа был в Ясной и хотел вернуться ночью, и я остался ночевать у милого <Н. В.> Давыдова <Прокурор в Туле, многолетний и *очень* полезный знакомый Л. Н. Толстого. – *Р. А.*>. Утром перешёл к Серёже, сижу с ним, напьюсь чаю и поеду сейчас, в 3-м часу, в Ясную» *(84, 19)*.

Наконец, он в Ясной и, немного отдохнув, пишет жене 2 апреля уже подробнее и о поездке, и о своём самочувствии, и о первых впечатлениях и событиях в Ясной Поляне:

«Хоть и совестно посылать на Козловку <ж.д. станция, ближайшая к Ясной Поляне, откуда можно было отправить письмо. – *Р. А.*>, но очень хочется писать тебе. Я совсем здоров. Нынче чувствую неко-

торую унылость, но здоровье со всех сторон прекрасно. Вчера выехал из Тулы в 3. И казалось так хорошо в поле на свете Божьем, который я давно не видал, что с половины дороги послал Михайлу одного, а сам пошёл пешком, застал мальчиков <Льва и Алкида> за обедом. Был бульон и пирожное трудов <повара> Николая Михайловича <Румянцева>. Здоровье душевное так хорошо, что и у Серёжи, пока он не пришёл, немного пописал, и дорогой всё шёл, думал и, сидя на куче камней, записывал. Спал прекрасно. Тит <Пелагеюшкин, слуга> вслух читал мальчикам в другой комнате «Раздел» <рассказ И. Е. Журавова, опублико-ванный в толстовском «Посреднике». – *Р. А.*> и очень хорошо. Нынче в изобилии всего напился кофею и работал до самого обеда. И потом головой устал. Мальчики ходили на тягу на пчельник, я ходил к ним навстречу. Грязь страшная. Лёва убил валдшнепа. Домой пришёл в 10-м часу, всё думал и смотрел на звёзды. Очень хороша ночь. А тут телеграмма от Дена, что он приезжает. Напились чаю и ждут его, а я вот пишу. Как-то ты поживаешь? Где спишь, нервы успокоились ли? Я приеду непременно повидаться с вами. Что Илья, […] Таня […]? Маша благополучна ли и малыши? Ну, прощай пока. *Л. Т.*» *(84, 19-20).*

Вечером 3 апреля Софья Андреевна отвечала мужу пространным письмом:

«Милый друг, сейчас получила твоё письмо по приезде твоём в Ясную и так от него и повеяло и весной, и добротой. Серёжа приехал утром и в кармане привёз твоё открытое письмо, которое доставило бы мне столько успокоения и радости, а причинило столько и тревоги, и досады от неполучения его. Он неисправим, и сердиться за его распущенность я уж не могу. Я рада, что у вас там удобно и не холодно, а уж солнце какое весеннее, чудо!

Надо по порядку ответить на все твои вопросы: самое больное моему сердцу — Илья, всё в хорошем духе. В первый вечер, как ты уехал, он был со мною груб, но на другое утро повинился и с тех пор очень хорош. У Тани всё болит нога, но получше, помягче. *Тифлисских барышень* она немного запускает, но я ей ежедневно передаю письма от оных <Т. е. от людей, откликнувшихся на опубликованное в газетах письмо Л. Н. Толстого к тифлисским девушкам с призывом участвовать в книжном просвещении народа. – *Р. А.*>. Маша в унынии большом, что я сегодня ночью не пускаю её с Толстыми на погребение плащаницы в храме Спасителя. А тут Трескин <неудачливый ухажёр. – *Р. А.*> и она что-то с ним у Оболенских переговаривалась: «Да где ж мы теперь увидимся!» И Таня не советует её пускать.

Сама же я бы поехала, но сил нет. Серёжа острит и играет на фортепиано. Малыши бегали весь день по саду, возили песок в новых тачках и посыпали дорожки. <Гувернантка> Miss Fewson уехала с сундуками сегодня, и это новая забота — смотреть и пугаться о малышах. Сашу сегодня снимали в фотографии, она очень радовалась кататься и была очень весела.

[…] Днём ещё красили яйца, и Вера Шидловская и Серёжа даже. Очень были веселы все, но шумно, и нервы мои не выдерживают и тогда я уединяюсь. — Сплю я одна на верху и иногда жутко очень, а если устану очень, то ничего. По вечерам читаю Евангелие и вижу, как ты весь проникнут Евангелием, и как велика работа душевная, чтоб им проникнуться. *Путь* действительно *узок*, а мы, грешные, на *широком* пути, и сойти с него трудно.

У меня всё неудачи и несчастья. Этот маленький орловский Богатырёв от корректур отказался, уезжает к Никифорову. В типографии Каткова тоже отказались искать корректора, а у меня масса корректур, которые мне никто из своих, очевидно, не хочет читать, а одной — работа непосильная, слишком много. Не знаю, как извернусь, тем более, что при детях никого нет.

[…] Я рада, что ты обещаешь приехать; приезжай, когда в деревне будет холодно или пойдут дожди, а пока хорошо, тебе будет польза. Завтра Серёжа уезжает к Олсуфьевым, и я очень огорчаюсь, что он едет от праздников, хоть бы первый день пробыл.

Воды (Эмс) всё ещё не привезены, я справляюсь. Каков Лёва, что убил вальдшнепа; надеюсь, что ты его съел. Я послала в Ясенки тебе кипу писем заказным письмом… Получили от «Посредника» картинки к драме. Все типы очень плохи. Что с ними делать? Пока я дала Тане. Прощай, целую тебя и Лёву.

С. Т.» (ПСТ. С. 386 - 388).

По хронологии у нас 4 апреля, и ответ Л. Н. Толстого на письма С. А. Толстой от 1 и 3 апреля, короткий и уютно-домашний:

«Здоров совершенно, сплю, ем и работаю и пр. как нельзя лучше, так что лечиться и пить воды не от чего. Всё это истинная, точная правда. При том же, поминая тебя, не делаю ничего неблагоразумного. Время всё утро проходит в усидчивой и подвигающейся работе над «Жизнью», вечером хожу навстречу ребятам на тягу, а потом пьём чай и болтаем.

[…] Сейчас хочу поехать верхом в Ясенки, так как утром почти не ходил.

Получил твои два письма, жду ещё; вероятно <вместе> с Колечкой <Ге-мл.>. Пиши о себе и детях всех. Я нынче видел во сне, что ты умерла, и осталось точно тяжёлое воспоминание, так ясно видел. M-me Seuron, которой кланяюсь, объяснит, что значит. — Николай Михайлович готовит. Мальчики сбираются к заутрене.

Л. Т.» (84, 21).

Почта от Ясной Поляны до Москвы сработала как нельзя оперативно, и уже в ночь на 5 апреля Соничка пишет большое письмо Льву Николаевичу — очень усталое, доброе, передающее его читателю и настроение, самочувствие пишущей, и атмосферу ночного дома, кабинета Софьи Андреевны со столом, заваленным непрочтёнными корректурами нового издания... Приводим это чудесное, грустно-радостное пасхальное письмо без сокращений.

«Сегодня для праздника получила твоё письмо и очень обрадовалась. Завернул холод, и я тебя попрошу быть внимательнее к переменам весенней, предательской погоды. Очень я порадовалась, что твоё здоровье хорошо, и что ты уехал из Москвы именно теперь, так как здесь ты бы всё хворал — весна и праздники очень раздражают и мучают в городе, особенно нервных и желчных; я это по себе чувствую и знаю. Я вижу, что ты отдыхаешь; но, милый друг, продолжай быть осторожен. На счёт питья вод, я сама хотела тебя просить их не пить теперь, и особенно без меня. Когда я приеду в мае, я увижу, как твоё здоровье, и мы, посоветовавшись друг с другом, решим, пить ли? Я думаю, надо пить, но когда будет теплее, а теперь рисковано. А пить надо для зимы, чтоб не повторялось и чтоб починить немного больной пузырь желчный.

Живём мы вот как: Серёжа уехал ещё вчера к Олсуфьевым, Илья с <другом ровесником, молодым помещиком Мишкой> Орловым сегодня в Крюково, кажется, на тягу уехали. Таня и Маша были во Вдовьем доме у заутрени, разгавливались у Шидловских; я сидела дома и читала корректуры, и вдруг, только что пробило 12-ть, зазвонили, и гул такой был со всей Москвы, что я даже встала и стала прислушиваться. Сидела я в гостиной и изредка вставала полюбоваться чудными цветами, которые мне прислал <друг семьи> Миша Стахович. Сирень, ландыши, незабудки, нарциссы, гиацинты и другие, — всё в серебряной корзинке. Тане, Маше и m-me Seuron тоже были присланы маленькие корзиночки с цветами. Так со всех сторон и пахнет, точно в саду. Сегодня М. Стахович обедал у нас с Писаренко, и Вера Шидловская, и Лёля Северцов <всё родня Софьи Андреевны. – *Р. А.*> к малышам пришёл. Было очень грустно, что не было ни тебя,

ни сыновей трёх старших, хотя старались сделать всё торжественно, обедали на верху.

Утром, чтоб не смотреть за малышами, я взяла их и Машу и пошла пешком к Карнович, Нагорным, Оболенским, Толстым и Шидловским. Ходили от завтрака до обеда и было хорошо от движения и ясного, свежего дня. Вечером пришла Лиза Оболенская, Нагорный, Леонид, Элен, Вера, Вера Шидловская, и мы играли в два стола в винт! Сейчас после обеда было торжественное катанье яиц, но Миша Стахович так смешил, что хаос был порядочный. Теперь он уехал в Петербург.

Количка очень трудится, устаёт, бегает, пишет, но так как всего ни доделать, ни уяснить нельзя, то ему просто надо всё бросить и уехать, а то жаль его, он слишком устаёт. Сегодня он ушёл в Петровскую Академию, а завтра собирается уехать, да вряд ли уедет. Пришлю тебе с ним письма: его отца, Бирюкова и другие.

Хотя мне без тебя очень грустно, но привычнее, чем бывало, и только бы знать, что ты здоров, и что тебе хорошо. Не могу скрыть тоже, что твоё общение с Ф[ейнерманом] и Б[ирюковым] мне вовсе не по душе, и вообще присутствие Ф[ейнермана] в Ясной составляет до такой степени тёмную точку в моей летней жизни, что я не поспешу оставить Москву, лишь бы его не видать подольше. Самая тяжёлая повинность на свете, — это общение с людьми, которых не хочешь знать и презираешь, — ты сам это часто испытывал.

Кто-то тебе переписывает? Я всё ищу, кто бы мне читал корректуры и не найду и мучаюсь страшно, что к среде надо прочесть 352 страницы и подписать к печати, а прочтено только 64, и глаза болят очень.

Прощай, милый Лёвочка, я очень устала, спала сегодня у детей, и они меня подняли в 6 часов, возбуждённые и праздником, и ясным утром, и ожиданием сюрпризных яиц. Хотя я им и не велела вставать, но они больше не заснули.

Как мне всегда жаль, когда живём, живём общей жизнью, ты пишешь, я, переписывая, сейчас же схватываю твои мысли, слежу за ними, слежу за здоровьем, живу, любя, твоею жизнью, и вдруг перерыв и разлука. Она была необходима на этот раз, но не хорошо, вредно и дурно она на меня всегда действует во всех отношениях.

Когда приезжает Лёва? Я встретила сегодня его симпатичного учителя, Иванцова, около Зубова. Прощай, милый Лёвочка, когда Лёля уедет, ты останешься с тёмными людьми, и тогда я более буду тревожиться. Целую тебя.

Соня» *(ПСТ. С. 388 – 390).*

К этому письму, к его концовке, есть примечание Софьи Андреевны: «Тёмными» в противоположность «светским» называли разнородных людей, приходивших к Льву Николаевичу за исканием истины» *(Там же. С. 390)*.

Отнесение Софьей Андреевной будущего выдающегося биографа Л. Н. Толстого Павла Бирюкова к «тёмным» — конечно же, грустная несправедливость. Что же касается вертевшегося в Ясной Поляне с 1885 г. толстовствующего еврея Исаака Файнермана, о нём мы в соответствующем месте уже говорили, и указали читателю на причину неприязни к нему Софьи Андреевны: он был женат, и его фанатизм в аскетической трудовой жизни (без настоящей способности к таковой) довёл несчастную его жену буквально до голодной нищеты. Это было ходячее *подтверждение мучительных страхов* Софьи Андреевны о себе и детях — их общей участи в том случае, если бы Льву Николаевичу позволено было после 1881 года осуществить самые радикальные из его замыслов «опрощения».

Стоит отметить и следующий фрагмент в письме Софьи Андреевны от 4 (ночь на 5-ое) апреля:

«Как мне всегда жаль, когда живём, живём общей жизнью, ты пишешь, я, переписывая, сейчас же схватываю твои мысли, слежу за ними, слежу за здоровьем, живу, любя, твоею жизнью, и вдруг перерыв и разлука. Она была необходима на этот раз, но не хорошо, вредно и дурно она на меня всегда действует во всех отношениях».

В своих мемуарах Софья Андреевна вполне откровенно поясняет, что имела в виду под «вредным и дурным влиянием» разлуки с мужем:

«Вред состоял ы том, что, не любя одиночества и желая ласкового участия ко мне и моей жизни, я могла бы искать других привязанностей, могла бы и найти такого друга, присутствие которого облегчало мою жизнь и одиночество. К счастью моему, такового тогда не случилось» *(МЖ – 2. С. 25)*.

К счастью для Льва Николаевича, занятая стяжанием барышей Софья Андреевна не жалела в те дни 1887 года об отсутствии любовника — как ощутимо жалела много позднее, в 1908-м, когда писала эти строки своих воспоминаний.

Лев Николаевич, видимо, не заметил намёка жены, и в своём ответе от 9 апреля назвал Сонино письмо 4 апреля «малосодержательным» — и, конечно, был в этом глубоко неправ: *эмоционально* это письмо *очень* насыщено: это попытка бессонной ночью говорить, хотя бы монологом, с тем, кого очень любишь, но с кем недостижимо поговорить вживую.

Если сравнить это Сонино письмо с письмами к ней Л. Н. Толстого — от 5, 7 и 9 апреля — они все три по объёму будут меньше этого одного письма, а по содержательности… увы! только пересказ некоторых внешних событий: как то, для примера, визит в дом Толстого яснополянских мужичков, чтоб «похристосоваться». Нет личных, тёплых слов — и в оправдание Льву Николаевичу можно сказать лишь то, что эти дни он очень напряжённо обдумывал и писал свой философский трактат: юный Ден и Файнерман едва успевали переписывать набело бесконечные черновики… Кроме того, одно из писем этих дней Софьи Андреевны, от 8 апреля, не пошло по почте, а «приехало» в Ясную Поляну только 10-го, вместе с Н. Н. Ге, сыном художника Ге, друга Толстого.

Соня пишет мужу и 7 апреля — и это письмо Толстой так же находит «малосодержательным» *(84, 23)*. Смешно, но письмо его от 9 сентября с этим упрёком жене состоит всего из *одного абзаца* — занимающего в книге 10 печатных строк. Конечно, упрёк задел Соню, и с возражений на него она начинает 10 апреля, в субботу, свой ответ:

«Милый Лёвочка, мои бессодержательные письма — это отражение моей бессодержательной праздничной жизни, которая, слава богу, кончается скоро, и которая меня страшно раздражает. Все вечера я сидела буквально одна, иногда часов до двух, трёх ночи за корректурой и поджидала детей, которые не только не веселились, но просто приходили в тоскливое и глупое состояние от усталости и суеты, и всё-таки стремились в манежи, балаганы, в гости и т. д. Сегодня первый вечер мы были совсем одни, и все были очень милы и веселы. Варенька обедала, потом сидели в гостиной всей семьёй и было подушевно. Серёжа, Илья, Лёва, Таня, Маша; даже Герасимов пришёл, madame, малыши и miss Gibson, которая поступила ко мне к радости всех и особенно малышей. Теперь половина одиннадцатого, девочки ушли спать, Лёва тоже, Серёжа и Илья пошли к Толстым и взяли ключ, и мы распустили всех людей и потушили все лампы в виду того, что завтра гости и поздно придётся всем сидеть. Напишу тебе письмо и буду ещё читать корректур три листа.

Меня огорчило, что здоровье твоё хуже; это от холода. Помни предписанье <доктора> Захарьина одеваться теплее. И потом, что ты обедаешь? Лёва меня смущает тем, что ты будто говорил: «вот наш *барин* уедет, мы так не будем роскошничать». Я всё надеюсь, что ты кончишь статью и приедешь к нам поправиться; в этот холод в деревне не хорошо, я думаю.

Ты пишешь о статье, что ещё *не запутался*, как раз то, что я тебя спрашиваю в моём последнем письме с Количкой.

О том, чтоб телеграфировать, чтоб за ним прислали, он сам хотел, и потому огорчён быть не мог, вещей всех ему бы не донести.

Сегодня Богомолов отказался держать корректуру — трудно, говорит, и очень связан буду. Теперь Фидлер берётся, брат директора Рукавишниковского приюта. Богомолов говорит, что на него можно надеяться. А пока я работаю. Мне жаль, что не я тебе переписываю.

О приезде своём в Москву ты ничего не говоришь; стало быть, ты не собираешься. Тёмные люди к тебе не ходят, но многие просят уведомить, когда ты вернёшься. Я всем, кому могу, говорю, что ты уж не приедешь, чтоб тебя не замучили, если ты приедешь.

Во вторник поеду на лекцию Грота, меня это очень интересует и я радуюсь этой лекции. Таня со мной поедет, может быть, и Серёжа. Я тебе тогда обо всём напишу. Посмотрим, насколько он лучше будет <В. С.> Соловьёва. Сегодня Грот приходил поздравить, был болен, но всё такой же блестяще-жизненный и весёлый.

Ну, прощай, милый друг, опять бессодержательно, — но что же делать! Я слишком устаю эти дни; и ведь за детьми надзор только сегодня с меня снят. Илья в порядке и не был больше наказан; но всё денег, денег и денег ему нужно без конца.

Впрочем и всё в том же роде. Серёжа и тот сегодня взял 140 рублей, пошёл, купил всё, заказал платья, и, как ребёнок, радовался и показывал свои галстучки, панталоны (по дешёвым ценам) и проч. Бог с ними — ещё молоды!

Целую тебя и скучаю без тебя. Я рада, что ты не один, а с Деном и Количкой.

Соня» *(ПСТ. С. 391 - 392).*

Несмотря на собственный «бизнес», как выразились бы в наши дни, равно и дела семьи, хозяйства — Соня, как мы видим, старается не пропускать событий в интеллектуальной жизни своей эпохи: в курсе о многих книгах и популярных лекциях, и даже посещает часть из них. *Редкостная* для своей эпохи женщина, достойная Жена!

В этот же день, 10 апреля, встречное недлинное письмо пишет и Лев Николаевич, явно урвав время от обдумывания и писания своей философской книги:

«Приехал Количка, привёз письма и себя. Темнота и дождик были страшные. А вчера же получил твои два письма. Спасибо, что ты мне всё присылаешь, заботишься. Мне хорошо. Только нынче под ложечкой стало болеть, хотя причин расстройства в пище никаких

не знаю. Николай Михайлович готовит, и ем самые диетные кушанья — бульон, и всего мало. Если искать причину, то дурная погода и слишком напряжённая умственная работа. Воздержусь невольно, потому что голова несвежа, плохо спал — первый раз.

Письма всё хорошие, и прежде всего твои. Письмо это привезёт тебе Ден, и объявления <извещения с почты. – *Р. А.*>, и одно письмо тифлисское, и другое с просьбой о сочинениях. Сделаешь по своему усмотрению. Если поправится погода и буду совсем здоров, то провожу Количку до Хилкова. Что ты об этом думаешь? Потом, если Бог велит, и к вам приеду. […] Количка с Файнерманом переписывают. Я немного пописал, а теперь вот собрал, что нужно послать с Деном. А он играет наверху на фортепьяно. Целую тебя и детей. Скажи Лёве, что я был к нему не так дружелюбен, как желал этого, и жалею. Мне неприятно было его барство: «Тит! Тит! то и сё». А теперь жалко. […]

Л. Т.» *(84, 23 - 24).*

Упомянутый в письме Толстого князь Дмитрий Александрович Хилков (1857 – 1914) — искренний христианин, уволившийся с военной службы после впечатления от убийства на русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг. Прочитав «В чём моя вера?» Льва Николаевича, он отказался от наследственных 430 десятин земли в Сумском уезде Харьковской губ., оставив себе только семь, на которых работал лично, как простой крестьянин. Впервые Толстой узнал о Хилкове в октябре 1886 г. из письма П. И. Бирюкова. Его троюродный брат, так же единомышленник Толстого, Николай Фёдорович Джунковский (1862 – 1916) посетил в ноябре 1886 г. Ясную Поляну и от него Толстой узнал подробности жизни князя. Тогда же в письме к В. Г. Черткову Толстой признавался: «Радовали меня в это время Джунковский и его рассказы про Хилкова. Какой слуга Божий!» *(85, 411).* Толстой, конечно, желал лично познакомиться с Хилковым — что и произошло в московском доме Толстых 30 декабря 1887 года, несмотря на подозрения и ворчание Софьи Андреевны.

На очереди — письмо С. А. Толстой от 11 апреля, написанное ночью, после трудного дня:

«Наконец кончился мой сегодняшний суетливый день! Устала я страшно, и ещё сидят Столыпин, Вера Шидловская, Серёжа, Таня и Лёва, и играют в винт. Вчера я сидела с корректурой до трёх ночи. Встаю я всякий день ровно в 9 часов и поспеваю к детскому чаю. Утром я ездила по покупкам и делам, потом в три часа дня собрались

дети Оболенские (Миташи), Свербеевы, Нагорные и наши, катать яйца. Я поставила им два огромных Ваньки-Встаньки, и азарт был огромный, кто в них попадёт. Попала в одного наша Саша, в другого Катя Свербеева, и зависти не было никакой, очень благодушно, весело и оживлённо катали яйца.

Потом все обедали, а потом вечером собрались к Тане: Соня Самарина, Лиза Оболенская, Беклемишева, Рачинская <будущая (с 1895 г.) жена С. Л. Толстого. – *Р. А.*>, молодёжь разная, народу пропасть. — Вера Александровна, Петя, Лиза наша <Е. В. Оболенская. – *Р. А.*> и другие играли в винт, я страшно скучала, и утомлённая сидела и зевала, как всегда, утешаясь мыслью, что ведь кончится же это когда-нибудь. Завтра никого не будет; я хочу, чтоб Лёва до ученья день был совсем без развлечений, и упорно отказываю всем.

На той неделе во вторник еду на лекцию Грота, а в среду на выставку. Это будут два *мои* удовольствия.

Серёжа завтра едет обратно в Тулу; там какой-то спектакль, и его вызвали. Илья уехал на охоту, на день, в Крюково опять. Маша, малыши, Лёва — всё это в порядке и здоровы.

Сегодня Ден приехал, очень доволен своим пребыванием в Ясной и рассказывал подробно, как жил, что вы делали, что ели, тепло ли и т. д.

Ты пишешь о том, что хотел бы проехать к Хилкову — я это случайно сказала при Маше Свербеевой; а она говорит, что вчера ещё говорила о нём с его тёткой, и та рассказывала, что Хилков ушёл куда-то странствовать, *ходить*, как она выразилась; что он взял, было, к себе своего беспутного и пьяного отца, но у отца оказалось дурное семейство, которое всё и переехало в именье матери, к сыну на хутор, но туда же, где и мать живёт. У самого Хилкова крестьянка, которую он зовёт женой; но так как он *духоборец*, то церкви и брака он не признаёт. — Должно быть тоже хорош мальчик. Всякий всё *по-своему* называет, а всякий живёт так, что *моему нраву не препятствуй*! — Очень всё это грустные явления, жертвы их всегда одинаковы, т. е. женщины и дети. У кого матери, как у Хилкова, у кого жёны, как у Фейнермана, у кого дочери... Тёмный, тёмный народ! Нравственно больной и несчастный!

О проводах Колички я думаю, что он и без тебя доедет, а если тебе куда очень хочется ехать, то я думаю, в эту погоду кататься нездоровому человеку очень вредно; во всяком случае лучше дождаться тепла. Воспаления в лёгких везде слышны, и продолжают умирать от них люди.

Письмо к Попову в острог ещё послано было через М. Н. Лопатина на страстной.

Если тебе после усиленной работы умственной нужно проехаться, то ты меня об этом не спрашивай. Дело твоё. Но только бы не напрасно проехаться и не застать Хилкова.

Ну прощай, Лёвочка, опять третий час. Твои письма тоже безличные. В них нет ничего ни задушевного, ни отношения какого-нибудь ко мне, а в них ясно одно, — как ты уверен, что я всё-таки и врозь живу только страхом о тебе и о твоём благосостоянии. Жду обещанного разъяснения в письме, почему ты упрекнул меня, что я не *так* тебя люблю, как надо … А если никак? Это было бы тебе несомненно покойнее, а мне как — я не знаю, может быть и мне, и покойнее, и веселее. Так ты пришли же это разъяснение, хотя после 25 лет поздно учить, *как* надо любить. Теперь уж, конечно, попокойнее лучше всего.

В Ясную Поляну я перееду не раньше 20 мая. Перспектива делить свою семейную жизнь с Фейнерманом так тяжела, что хоть совсем не переезжать. На твою жизнь врозь с нами я смотрю так, что, если ты здоров, доволен и счастлив, то и хорошо. Дети тоже не стремятся в деревню; видно прошлое лето надолго тяжёлым камнем легло всем на сердце.

Сегодня девочки говорят: «будем делать всё обратное тому, что делали в прошлом году, и будет хорошо».

Пожалуйста, продолжай беречься, а то уж начал опять чувствовать себя хуже, а воды пить нельзя, холодно. Сегодня была у Феррейна, отказала воды до мая, да кстати ещё сказали, что свежих до сих пор привозу нет.

[…] Целую тебя. Сплю я одна, на верху, и очень дурно эти ночи.

С<оня>.

11 апреля 1887 г. в ночь» *(ПСТ. С. 392 - 394).*

Софья Андреевна ругает в письме «нравы» сектантов, называя по имени только мутного Файнермана, но подразумевая отчасти и своего мужа — в недавней его «бунтарской» ипостаси. Но тут же демонстрирует нрав собственный, предрассудочно высказываясь о духоборе и толстовце кн. Хилкове: человеке, который через несколько лет станет столь же ненавистен обер-прокурору Синода Победоносцеву, как и сам Лев Николаевич. Который и в 1890-е будет искренне и последовательно осуществлять евангельские принципы жизни и труда — в условиях непонимания и неприязни большинства крестьян, перенеся серию репрессивных разбойных актов со стороны российского правительства, вплоть до ночного похищения в 1893 г. его детей…

К чести Льва Николаевича надо заметить, что, в отличие от Черткова, в Файнермане он начал разочаровываться быстрее, и, не долго посопротивлявшись жене, вскоре уговорил того уехать из Ясной Поляны. Кто знает? прояви тогда же Соничка такую же настойчивость в отношении Черткова… очень многое в судьбе великих супругов России могло бы быть иным.

Нехороши в письме и мнительность о недоверии мужа к её чувствам, её любви к нему, и злорадство о дочерях, которые, «вдохновенно» надорвавшись на работе с крестьянами в яснополянское лето 1886 года и не дав себе привыкнуть к труду, в следующий год уже хотели «делать всё обратное», т.е. жить в Ясной как дачницы или барыньки, в безделье и развлечениях.

Выразившееся в приведённом письме настроение Сони отчасти объясняется следующим её письмом, от 12 апреля, написанным уже в более спокойные и не такие усталые часы:

«Милый друг, меня мучило, что вчерашнее письмо моё было написано в нехорошую минуту и огорчило тебя. Прилагаю письмо несчастной Эсфири <«Эсфирь, брошенная жена Файнермана, с двумя детьми и без всякой помощи». – *Примечание С.А. Толстой.*>; ты вероятно поймёшь моё раздражение против её бессердечного мужа и ту злобу, которую я имею к нему. Иногда злоба бывает от того, что слишком жаль! А влезли они в нашу жизнь, эти Фейнерманы, незаметно, — к несчастью ты ему ещё объясняешься в любви (в письмах), и это новый пункт нашего разногласия, что очень жаль! Одно тебе считаю долгом сказать, что я направила все свои силы, чтоб его выслали на родину, и надеюсь добиться этого, так как пока он в Ясной, мне покоя душевного не будет. Что ты об этом думаешь? Я думаю, что если есть причина, вызывающая злое чувство, то надо удалить эту причину. Я считаю и вредным, и страшно тяжёлым его присутствие, и потому лучше, чтоб его не было.

Сегодня был у меня Василий Степанович Перфильев. Он очень трогательно отнёсся к твоему участию <в связи со смертью его жены. – *Р. А.*> и ко мне; сидел долго, собирается побывать у нас в Ясной, если не поедет за границу для здоровья, на которое жалуется.

Сегодня провели день довольно уединённо, что очень было хорошо. Я прошлась с детьми по Девичьему Полю, в балаганы, потом они яйца катали с Мишей Оболенским, и сейчас идём его провожать домой. Погода ясная и холодная. Илья, Лёва дома; в духе Лёва очень распущенном, а Илья кротком. У Тани всё нога болит, рана гноится, а сама она и бледна, и плоха. Опять придётся к доктору. Я думаю,

пока её общее состояние так плохо, ей, т. е. ране, не зажить скоро. А она глупо питается, поздно ложится и не бережётся. Что-то твои боли под ложечкой? Завтра, похоже, что будет тепло.

Сейчас проводили Мишу Оболенского домой: Андрюша, Миша и я. На Девичьем Поле потухающее веселье, а небо ясное, ясное, розовый закат и тепло. Чудо, как хорошо! Я прошлась взад и вперёд с удовольствием. Дети так нагулялись и набегались сегодня, что так и повалились спать. Завтра ученье начинается и будничная жизнь.

[…] Сегодня от тебя письма не было, и я утешаюсь тем, что последние дни праздника порядку нет, и опаздывают приносить. Я теперь пишу всякий день. К тебе есть много писем, соберу опять все, и пошлю на Ясенки посылкой или заказным.

Пожалуйста, продолжай писать мне, это моё единственное утешение в твоё отсутствие.

Тётенька Вера Александровна спрашивает, пил ли ты её полынное вино и хорошо ли? Она советует его пить, это для желудка хорошо.

Скоро ли думаешь кончить статью? Я жду её с нетерпением в её окончательном виде. Береги и привези мне все черновые, я их соберу по порядку, и отдам на хранение с другими твоими рукописями. Это будет одна из замечательнейших. С моей плохой памятью и суетливой жизнью, я начинаю забывать многое из этой статьи, и потому жалею, что не я переписываю; тогда я бы её твердо выучила. Прощай, милый Лёвочка, целую тебя; тебе будет опять хорошо при такой погоде. Будь здоров и бог с тобой.
С<оня>» *(ПСТ. С. 395 - 396).*

Муж между тем, в неведении о подавленном и мнительном настроении жены, Лев Николаевич пишет ей 11 апреля такое короткое, бодрое и искреннее послание:

«Пишу опять с Козловки — письма от тебя нет, верно завтра будет. Пишу особенно для того, чтобы отменить вчерашнее сведение, что у меня брюхо болит. Нынче прекрасно себя чувствую и работал, подвигаясь вперёд. Файнерман нынче нанялся в пастухи к Ясенским мужикам за 80 р[ублей]. Я ему советовал это, и все очень довольны, и я завидую ему. Нынче получил радостное известие для меня, что Джунковский женится на <девице Елизавете> Винер. — Он был у них и сделал предложение. С Колечкой живём прекрасно. Я всё в твоё воспоминание живу по-барски и ем мясо. Читаю для отдыха прекрасный роман Stendhal — Chartreuse de Parme [Стендаля «Пармская обитель»], и хочется поскорее переменить работу. Хочется художественной. Надеюсь, что ты освободилась от корректур. И как

здоровье твоё и Тани и Ильи нравственное состояние. Целую тебя и детей. Пока прощай, душенька.

Л. Т.» *(84, 24).*

Конечно же, обожаемого Стендаля Толстой не читал, а *перечитывал* — и, как всегда, он радовал и бодрил великого писателя, вдохновляя для собственных, и именно художественных, работ.

Но вот получено ночное, усталое письмо Сони от 12 апреля, и, не меняя своего жизнелюбивого настроения, Толстой отвечает 13-го заботливо и любовно, начиная свой ответ с “пророчества” о недолгом расстройстве Сониного настроения:

«Получил нынче твоё последнее письмо <от 11 апреля>, милый друг, и очень пожалел о том, что ты не спокойна и не радостна. Я знаю, что это временно, и почти уверен, что завтра получу от тебя хорошее письмо, которое совсем будет другого духа. Вчера первый день, что я не писал тебе и не был на Козловке. Третьего дня вечером ходил на Козловку с Количкой, и оттуда шли мы в такой темноте по грязи, что перед носом не видно было; очень хорошо. На перекрёстке шоссе и старой дороги видим свет мелькающий и голоса женские, весёлые. Думали — цыгане. Подходим ближе: дети с палками, девушки, мущина, и во главе Пелагея Фёдоровна <Суворова, прачка в доме Толстых. – *Р. А.*> с фонарём; это она провожает жениха <дочери своей> Сони на Козловку.

Придя домой, нашли приехавшего <Аркадия> Алёхина <толстовец; создатель одной из первых земледельческих общин. – *Р. А.*>, — помнишь, в очках малый? Он едет покупать землю и заехал. Легли спать. Утро вчера очень много занимался, писал совсем новую главу о страдании, — боли. <Т.е. не писал, а переписывал — главу XXXV трактата «О жизни и смерти». – *Р. А.*> Походили гулять, обедали. Да утром ещё приехал <Сергей Дмитриевич Сытин, младший> брат <И.Д.> Сытина <книгоиздателя. – *Р. А.*>, едущий из Москвы с тем, чтобы где-нибудь в деревне жить, работая; уехал к Марье Александровне <Шмидт>, и Алёхин уехал.

В продолжении вечера были посетители: <крестьяне Ясной Поляны> Данила <Козлов>, Константин <Орехов?>, читали «Хворую» Потехина. Файнермана не было. Он в Туле был хлопотать о разводе, для которого куча трудностей. Нынче мы одни с Колечкой пили чай, кофе; потом я писал, он переписывал и топил баню. Обедали; пришёл немного выпивший Пётр Цыганок <плотник из дер. Телятинки; наст. фам. Новиков. – *Р. А.*> и очень много хорошо говорил. Сейчас был в бане и хотел пить чай.

Весна второй день — медунички, орешник в цвету, и муха, пчела, божьи коровки — ожили и жужжат и копошатся. Ночь ещё лучше: тихо, тепло, звёздно, не хотелось домой идти. Занимался нынче тоже хорошо. Пересматривал, поправлял сначала. Как бы хотелось перевести всё на русский язык, чтобы Тит понял. <Т.е. чтобы мог понять простой мужик-крестьянин. – *Р. А.*> И как тогда всё сокращается и уясняется. От общения с професорами многословие, трудноловие и неясность, от общения с мужиками сжатость, красота языка и ясность.

[…] Здоровье хорошо. Теперь I hope [*англ.* я надеюсь]. Да, ещё то, что к Хилкову не поеду. I hope, что ты не затягиваешься корректурами и что будни успокоили всех, и тревожится и радует только зелень в саду. I hope, что Илья в струне, малыши здоровы, и Таня и Маша в хорошем настроении, и что Лёва не играет в винт. Серёжу нынче Файнерман видел в Туле; он был в нерешительности приехать или не приехать в Ясную. Я думаю, завтра приедет, пожалуй, и с охотниками. Самая тяга. — Ну, прощай, милый друг. Целую тебя и детей. *Л. Т.*» *(84, 25 – 26)*.

И — письмо от 14-го, ответ на письмо жены от 12 апреля:

«Получил нынче твоё доброе письмо <от 12 апреля>, как и ожидал. Одно очень не хорошо: это твоё нерасположение к Фейнерману. Что тебе может мешать человек? И как поставить себя в такое положение, чтобы не уметь обойтись с человеком — обойтись как с человеком, так, как ты найдёшь наилучшим? Это что-то обидное и жалко мне за тебя, что ты как будто имеешь врага. Это ужасно мучительно. А главное, за что ты так обвиняешь его? Зная его близко, его нельзя никак ненавидеть, а можно только жалеть. Жену свою он ужасно любит. И теперь, когда она требует у него развода, и он посылает ей его, и она вместе с тем обещается приехать к нему и не оставлять его, я вижу, как он страдает. Ненавидеть же его нельзя, потому что нельзя же его не назвать добрым человеком? Вообще думаю, что если ты примешь какие-либо внешние меры для его изгнания, то сделаешь дурно, главное дурно для себя самой. Ну вот, милый друг, я сказал, а ты подумай, и сделай, как лучше. — «Тае, по лучше как, значит…».

Нынче по обыкновению занимался. Колечка с Файнерманом переписывали. Выставили окно. Сейчас поеду в Ясенки. Была больная от лихорадки. Колечка нашёл [хинин] и мы дали. Да, Ольгушка Ершова <«Любимая ученица в школе Л. Н.» – *Прим. С. А. Толстой.*> просит рецепт от глаз для своей девочки.

Работал нынче хуже всех дней, но не запутался. Больше новостей у меня нет. Твои новости хорошие… Ну, пока прощай. Только что пообедал, и мысли заснули. Обедали щи зелёные и кашу на сковороде, и ничего больше есть не хочется; а вечером чай с хлебом. Целую тебя и детей.

Л. Т.

Был у меня вчера один мужик из <деревни> Щёкина. Помнишь, он был посажен невинно в острог за сопротивление якобы властям и просидел два года, жена его ходила ко мне, и ещё погорела без мужа. Он жил у нас зиму в работниках. Все говорят, что примерный мужик. Теперь у него ни лошади, ни семян, ни права идти на работу, потому что за ним 13 рублей недоимки и не дают паспорт. Надо помочь ему, у кого есть деньги» *(84, 26 - 27)*.

Деревня Щёкино, упомянутая в этом письме Л. Н. Толстого, дала имя сохранившемуся, к сожалению, до наших дней отвратительному городишке близ Ясной Поляны.

Общение с народом, возможность помощи ему, действительно, были полезны и для творчества Толстого, даря инсайты, недоступные городским и кабинетным сидельцам. Другим конкурентом Софьи Андреевны, вдохновлявшим творчество мужа, была классическая литература — как сородственный в писательской гениальности, обожаемый им Стендаль.

В своих воспоминаниях «Моя жизнь» Софья Андреевна констатирует, что, кроме напряжённого труда: её — над изданием книг, мужа — над писанием, *событий*, достойных воспоминания, в её с мужем переписке этих дней отразилось мало, «и весь интерес сводился к *психологии* моих семейных отношений, и главное, наших отношений с Львом Николаевичем» *(МЖ – 2. С. 26)*.

Это относится и к следующим по хронологии письмам: 13, 14, 15 и 16 апреля, которые мы имеем возможность прочитать почти без перерыва: желая скорее закончить некоторую часть своей работы над трактатом и навестить в Москве жену и детей, Толстой после письма 14 апреля пишет до отъезда ещё только один ответ. Соня же — продолжает свой ежедневный разговор с любимым… Дадим ей слово!

Письмо от 13 апреля:

«Сейчас вернулась из конторы, где сидела одна одинёшенька с шести часов до девяти с половиной вечера. Приходится страшно работать, чтоб как-нибудь кончить старое издание. Два дня я делала выписки, кто не внёс денег, и вышло недоплаты по старому изданию около 3500 рублей. Делала справки, что страшно утомительно, написала 13 писем и ещё надо написать и сделать справок на 123 письма! И это только по старому алфавиту. Верно, столько же по-новому. Самое скучное и трудное дело оставил мне Количка <Ге>! Он от него отвилял. Я думала, что он хоть начал его, оказалось, что он и не трогал! Очень мне досадно, тем более, что дел и других много. Весной всегда всё подойдёт: и работа, и дела. Завтра поеду по банкам, а вечером на лекцию <Н. Я. Грота>. Днём буду Мишу учить и свои дела справлять. Корректоров я нашла, но надо их ещё испытывать, а пока я всё держала корректуры по трём типографиям. Уж если кто умеет в затяжную работать, то, право, только я. За то и не весела и не добра. Тебя, моей утехи — нет, и я нахожу дикое и упоительное утешение в моей непосильной работе. Точно пьянство. Всякий по-своему пьянствует.

Дети всё то же. Илья справлял свадьбу у Нагорных. Был шафером у Нади Трейтер. Брали нашего повара и двух лакеев; всем дали по 5 рублей; а мы ели всё вчерашнее, и девушки нам служили, и было очень весело. Таня и madame, — наши господа, — уезжали обедать в гости. […] У Тани всё нога болит. Серёжа уехал в Тулу, верно теперь у тебя был. Лёва ходил в гимназию. Малыши в восторге весь день, прыгают через верёвки, качаются, бегают в саду, и так счастливы, что весело на них смотреть. Мне ещё, по случаю свадьбы и отсутствия родителей дома, Мишу Оболенского прислали на весь день. Я его учила с своим Мишей: писали и задачи решали.

В десять с половиной часов девочки прислали за мной в контору, чтоб я скорей шла. Приехал Урусов из Стрельны и был странен, и они боялись. Но я нашла его совершенно приличным.

Получила сегодня твоё письмо <от 11 апреля>, радостное для меня, что твой желудок не болит. И ещё мне стало веселей, когда я прочла, что тебе хочется писать в художественном роде. Странно, я всё время смутно чувствовала, что тебе должно это хотеться, и часто думала спросить. Кажется, я даже в одном письме упомянула, что не кончил ли статью, и не собираешься ли что другое писать.

[…] Воображаю, как ты доволен был сегодня быть в деревне! Должно быть стало зеленеть и скоро сеять начнут. Когда Количка поедет к своим? Я думаю, что когда он уедет, ты, может быть, к нам приедешь. Впрочем теперь хороша погода, жаль уезжать из деревни. — Очень тебе благодарна, что ты бережёшься и не мудришь

над собой в моё воспоминание. Фейнерману нечего завидовать. То, что *ты* на свете делаешь, того никакие Фейнерманы не сделают. А он ни на что не годен, и пастух будет плохой. Эти люди работать по-настоящему не умеют! Они делают то, что им легче всего, что собственно не работа.

Прощай, милый друг, целую тебя.

Соня» *(ПСТ. С. 396 - 398).*

С весьма понятной женской непоследовательностью Софья Андреевна зло «обличает» в нежелании по-настоящему работать толстовца Файнермана, искренне пытавшегося в то время исполнять повинность крестьянского труда, и тут же — жалуется без злости на всегда «милого» ей «мальчика» Количку Ге, едва ли не оправдывая в обмане и эгоизме, с которым, изобразив некую деятельность в конторе соничкиного издательства, сей «помощник» свалил развлекаться в Ясную, оставив не сделанными самые скучные и рутинные дела. Фактически же — *один другого стоили*, и «милый» Количка Ге через несколько лет разочаруется во всём и отопнёт от себя Толстого и практику христианской жизни едва ли не злее, чем Файнерман.

Ответ Л. Н. Толстого на это письмо, 16 апреля:

«16-го 6 часов вечера.

Пишу нынче из Ясенков, куда приехал, чтобы взять посылку Тани. Файнерман, узнав, что тебе неприятно его присутствие, решил уехать к себе. Кстати, это ускорит развод для его жены, да и в пастушестве ему отказали. Интриги другого пастуха. Количка решил вернуться ещё в Москву по делам своих друзей…

Вчера был день нехороший для писанья, — не выспался, но нынче прекрасно работал, хотя всё ещё не кончил. Получил рисунки <иллюстрации Е. М. Бём для пьесы «Власть тьмы» и других изданий «Посредника». – *Р. А.*>. Они очень хороши. […] Здоровье и телесное и душевное очень хорошо. Всё растёт, сохнет, зеленеет. Все пашут, и мне очень хотелось, но не желалось оторваться от работы. Всё что может задержать меня, это особенно хорошее расположение для работы. Осталось на раз, а перебивать переездом не хочется.

Тогда до послезавтра. Целую тебя и детей. Если есть от тебя письмо, то его ещё не получил. Колечка пошёл за ним на Козловку. […]

Л. Т.» *(84, 28).*

Как понятно из текста письма 16 апреля, Толстой уже совершенно собрался уехать из Ясной Поляны. Судя по упоминанию в письме Толстого В. Г. Черткову *(см. 86, № 142)*, отъезд действительно состоялся 18 апреля. К этому времени Толстой мог получить все, вплоть до 16 апреля, письма жены — но уже не отвечал на них письменно. Так как именно в письмах Софьи Андреевны выразился отмеченный ею в воспоминаниях *психологизм* всей переписки весны 1887 года, мы не можем обойти вниманием и трёх её писем, оставшихся без письменного ответа Льва Николаевича. Приводим ниже их основные тексты.

Письмо Софьи Андреевны следующее, от 14 апреля, открывается изложением наблюдений и мыслей её от лекции Н. Я. Грота — да таких, которые могли бы украсить и письмо мужа (хотя бы к тому же Гроту или Николаю Страхову):

«Хотела бы тебе описать и изложить лекцию Грота, да не сумею, — длинно, многословно и уследить невозможно, так скоро он читал. Теперь я поняла, почему на него нападают, что он служит и нашим, и вашим: очевидно цель его примирить материализм с идеализмом. Для этого он *первое* вносит в область науки, а *второе* в область религии. Философию он прямо не признаёт *наукой* и сказал это сегодня. Начало лекции мне не понравилось. Избитая тема о болезненном и ненормальном нравственном и политическом состоянии общества русского, которое заразилось этим у Европы. Затем сравнение, как была занесена из Европы филоксера и погубила русские виноградники, так должно погибнуть и общество от нравственной филоксеры. Затем был исторический философский обзор с кратким изложением сути учения всякого отдельного философа, причём он сопоставил Платона с Декартом и Аристотеля с Кантом.

Вторая часть лекции была посвящена разбору материи и духа в отдельной личности каждого человека, доказательства присутствия этого духа, отношения его к Богу и к природе.

Я очень устала, и под конец не могла уж хорошо следить. Притом он спешил и волновался страшно. Его главное огорчало, что мало было народу. У Соловьёва вся зала была полна. Но Гроту аплодировали, а Соловьёву ни разу».

Высказав не лишённые проницательности, хотя и дилетантские наблюдения свои о Н. Я. Гроте и его публичной лекции, Софья Андреевна — бывшая, видимо, при своём инсайте в тот день — тут же присовокупляет такое же нелестное и остроумное наблюдение и о

самом Толстом. *Одно из важнейших* во всей переписке супругов, и касающееся вещей *судьбоносных*, в конечном счёте трагических для всей семьи. Вчитаемся:

«Получила твоё довольно длинное письмо, и удивилась, что тёмные люди тебя и там нашли. О брате Сытина сегодня я слышала со слов Булыгина, который продолжает ходить, и Герасимов его очень любит и хвалит, — так о брате Сытина писал в нашу контору Иван Дмитриевич, чтоб ему отнюдь не давать ни книг, ни денег; что он подделал под брата два фальшивых векселя и пьянствует и развратничает (подлинные его слова). Иван Дмитриевич Сытин в отчаянии, не знает, видно, что с ним делать, и спровадил его. А куда всей этой дряни деваться, к тебе их и гонят. Порядочные люди все или при деле, или при семьях живут.

Ты опять скажешь, что я сержусь; а я не сержусь, но у меня, к несчастью моему, грубо здравый взгляд на людей, и я не могу не видеть, как ты, то, что есть. У тебя в голове и воображении *типы*, а не люди. И ты людей, дополняя недостатки и отбрасывая неподходящее — всех подводишь под эти типы, одухотворяя и идеализируя их. А в жизни это совсем не так, и я людей сужу и вижу в жизни».

Важно, что это психологическое откровение, совершенно соответствующее правде, совпало год в год с первыми резко-критическими суждениями Софьи Андреевны о *Черткове*. К несчастью, этот особо приближённый друг Толстого не был ни в том году, ни в последующие своевременно изобличён в своих *подлинных* свойствах характера и так или иначе удалён из жизни Льва Николаевича.

Вторая половина длинного письма Софьи Андреевны от 14 апреля посвящена обычной картине повседневной жизни её и детей:

«[…] У нас в саду тоже зазеленело, дети весь день бегают. Сегодня и Фомич, и повар Семён, все качались на досках и веселились, как в деревне. Весь дом на дворе весь день. Там книги укладывают, Васька артельщиков с собаками важно ходит по двору; повар, Аннушка — все работают на дворе; няня шьёт и Маша горничная — на лавочках в саду. Одна я с пыльными пакетами вожусь и, не разгибаясь, пишу. А сегодня почти и не обедала. Надо было просмотреть, так ли сделали поправки в моей корректуре, и посланный ждал, пока я работала; все обедали, а я после поела, да и есть не хочется от усталости. Утро провела в Государственном и Купеческом банке. Болит под ложечкой, спина, всё плакать хочется. Хотя бы я умерла

скорей! Работать надоело, а остановить пущенную машину нет возможности. Сломается машина и поневоле работа станет, или привезут другую машину, и опять пошла! <Корректор> Герасимов умён и человек хороший; но работник будет плохой: ни здоровья, ни энергии, а есть уже усталость и неохота к труду от прежних напряжений для хлеба насущного. Количка работал неровно; то слишком много, то слишком мало и неумело.

Вместо желанного художественного, ты стал писать о страданьях. Это жаль. Впрочем этот вопрос меня интересует. Когда же конец этой статье? А хорошо бы, если б ты разделил её на главы и назвал бы каждую главу по содержанию. Как это всегда помогает пониманию! Например: о боли, о радости жизни, о труде, о душе и т. д.

Ну, прощай, письмо вышло неожиданно длинно. Спаси тебя Бог от болезни, горя, тёмных людей и всякого обмана и напасти. Целую тебя.

Соня» *(ПСТ. С. 398, 401 - 402).*

Толстой последовал разумному совету своей всегда первой и лучшей из читательниц: более того, названия глав в финальной рукописи трактата «О жизни» он сделал достаточно пространными (как позднее названия глав по отделам «Христианского учения» или книги «Путь жизни»), излагающими в несколько слов основное идейное содержание соответствующей главы.

Между делами Софья Андреевна успевала и культурно просвещать: не только себя, как в случае лекции Грота, но и детей, которых 15 апреля водила на выставку «передвижников». Вечером того же дня в письме мужу она поведала, в числе прочего, и впечатления свои от этой выставки:

«Только что думаю: ну, теперь это дело сделала; опомнюсь немного; а тут другое уж готово. Утвердила, посмотрев корректуры, своих новых корректоров, и не велела себе больше носить, — а вдруг принесли корректировать вторую «Книгу для чтения». Сегодня весь день принимала факторов, управляющих, корректоров и т. п. Дело старого издания тоже веду с большим напряжением: это самое трудное и скучное.

Была я сегодня на выставке с Машей и малышами. Много не нового, как например, сцены (genre) Маковского и леса Шишкина, которые очень хороши, но всё однообразно. Есть один пейзаж Волкова «Тишина». Право, не будь он продан, кажется сделала бы глу-

пость и купила его. Чудо, как хорош! Смотрела бы на него в неспокойные минуты, и так тишина бы эта и входила в душу. Большие картины — Боярыня Морозова <Сурикова>, Старшины перед государем <Репина>; отличается эта последняя картина красотою и яркостью цветов. Большой свет и красивое сопоставление красок; но лица без одухотворения — одна плоть.

Перед картиной Поленова «<Христос и> Грешница» я в нерешительности и недоумении. «Дурно» — никак нельзя сказать, скорее «хорошо», но холодно действует, ничего не говорит ни одна фигура. Сидит Христос (профиль Черткова), рыжеватый, глядит на грешницу, которую держат двое. Толпа людей. Лица все выдуманные и неговорящие; всякое отдельно — хорошо, но что же? Так и хочется их оживить; — это не люди, не страсти, не жизнь — это только картина. В этом отношении «Морозова» много выше и лучше.

Есть чудесные портреты — Гаршин Репина, удивительно хорош. Хорош <поэт> Плещеев — Ярошенки, кажется; и очень хорош, его же, Щедрин, больной, характерный и злой. «Крестный ход» Прянишникова — плохо, а «Охота (его) на медведя» — маленькая, но превосходная картина. Снег так сделан, что точно только выпал. И мягкие, пушистые следы идущего навстречу стреляющим охотникам медведя.

Всё это я пишу свои мысли и впечатления. Я ещё ничего не слыхала и не читала и могу легко ошибаться личными суждениями.

Письма от тебя сегодня нет. Я теперь пишу всякий день без исключения, так как думаю, что тебе неприятно не получать письма, когда ты бываешь на Козловке, как и мне бывает грустно не получать известия от тебя.

Илья был сегодня на свадьбе какого-то бывшего товарища, и приехал слегка выпивши; был робко сдержан, но потом стал придираться ко мне и толковать что-то об отношениях, которые я порчу… Дети все поехали в театр малороссов; Урусов взял литерную ложу и всех их, и меня звал. Поехали Таня, Маша, Серёжа, Илья и Лёва. А меня не заманишь; мне это скучно, да и некогда!

[…] Я хотела тебе сказать, что если ты иногда встречаешь в моих письмах слишком крайне и зло выраженные мысли и чувства, то я это жалею, — но взгляды и мысли мои в основе остаются те же, я от них не могу отделаться, а могу только регулировать выражение их, и не огорчать и не оскорблять никого, что и стараюсь и буду стараться делать. Ну, прощай.

Соня» *(ПСТ. С. 403 - 404).*

«Слишком злое» выражение чувств и мыслей — не безобидный признак контрпродуктивной акцентуации характера, чреватой личными драмами и душевным расстройством. Это и предстоит пережить Соне с мужем; рассудителем же их отношений, часто злонамеренным и неправым, будет Чертков: так что не напрасно его профиль померещился Соне на месте лика Христова на замечательной, на самом-то деле, картине В. Д. Поленова.

Наконец, ещё одно вечернее, усталое письмо Софьи Андреевны — от 16 апреля:

«Жаль, что приходится писать тебе уже утомлённой и так поздно! Не обошлось сегодня ни без гостей, ни без корректур, ни без болезни. Разбудила меня сегодня моя адская боль под ложечкой, т. е. предполагаемые желчные камни <общее у обоих супругов заболевание, свидетельство сложности и нездоровой акцентуации характеров. – *Р. А.*>. Всякий раз кажется, что умираешь — так велики страданья. Но я не успела ещё позвать на помощь, как боли прошли, и весь день утомлённо, но не болезненно я себя чувствую. Только бы не повторилось.

Потом я ушла в контору и до обеда занималась старым изданием, всё писала письма и делала справки. Если я мало напишу о детях, то потому, что их не видала весь день сегодня. К обеду собрались мы все, и гости: Соня Самарина, Лиза Беклемишева, Вера, <Александр Аркадьевич> Столыпин, два Лопухина, Рачинский <брат первой жены С. Л. Толстого. – *Р. А.*>. Столыпин написал водевиль, и читал им до обеда его вслух, и они собираются его разыграть просто у нас в зале; мне это не улыбается: детям учиться надо и всё это денег много стоит, а толку мало.

После обеда Столыпин читал свои стихи, и были разные очень хорошие и не шутовские разговоры. Гуляли все в саду, потом играли молодые в винт. Я всё работала. Пришёл Грот о своей лекции, очевидно, поговорить; как всегда очень мил. Когда он входит, у него такой вид: «а вот он, я!» Пришёл Писаренко и Ольга Зайковская. Хорошо, что все вдруг, друг друга занимали.

Твоё письмо получила, в котором ты указываешь на доброту Фейнермана. Или ты не получил ещё письма моего с письмом его жены? Уж только он не добрый — это наверное. Он мне не враг, зачем такие страшные слова? Но я не хочу никогда его встречать и не хочу его видеть у себя. Неужели и этого я не могу в своём доме? Я считаю *его вредным*, и этого переменить не могу, что же делать?

Приходится желать, чтоб Количка уезжал скорей <из Ясной Поляны>, чтобы иметь радость видеть тебя. И что он сидит? Его никогда не поймёшь. То казалось, что так спешно, так нужно ему поспеть к посеву и работам, а то сел и сидит. Чудной народ!

Ольгушке <Ершовой, крестьянке Ясной Поляны> рецепт вот какой: на одну унцию дистиллированной воды 1 гран цинку. Примочка для глаз. Два раза в день пускать по одной капле.

О здоровье своём ты ничего не пишешь, стало быть хорошо. Ещё набрались тебе письма и статьи, не посылаю потому, что не важные, дождутся тебя.

Лёва подобрался второй или третий день, но зелен и грустен. Он и растёт, и работа в нём идёт душевная. Мне жаль, что у него нет никого, с кем по душе поговорить. Со мной он всегда дичится, или у него тон слегка презрительный и насмешливый. Некому было моим детям внушить ко мне уважение и доверие! Оно всегда и разрушалось твоим тоном неодобрения и осуждения меня, что было не столько от нелюбви твоей, сколько от превосходства ума и разницы лет. На всё судьба!

Будет тебе мучить твою статью! Она утратит свою свежесть. Дай ход своей художественной искре, о которой ты мне писал. Прощай, целую тебя, милый друг. Третий час ночи и тишина ужасающая!

С. Т.» (ПСТ. С. 405 - 406).

В «ужасающей» урождённую москвичку ночной тишине — записаны Соней жестокие и зловещие строки: пени мужу в приближении к себе недостойных и вредных людей, в невоспитанности и неуважении к ней младшего сына (заставшего отца в период, когда воспитание детей уступило в его сознании позиции самовоспитанию, постигновению религиозной истины). Соня затронула больную для сына, Льва-младшего, тему: *нехватки* ему в детстве и юности отца, общения с ним, его воспитательного влияния, и обиды на отца за это, вылившейся образным строем и настроением на страницы детской, с чертами автобиографизма, повести Льва Львовича «Яша Полянов», а вполне уже открыто — на страницы его мемуаров «Опыт моей жизни». Конечно, Толстой не оставил эти упрёки без ответа, но — уже, вероятно, в устных, неизвестных нам беседах: с 18 по 25 апреля он в Москве, с семьёй. В переписке наступает перерыв. Однако обстоятельства следующего отъезда Толстого в Ясную Поляну, занятия и тематика общения его и жены столь мало отличаются от тех, что сопровождали предыдущий его отъезд, что мы посчитали возможным продолжить публикацию переписки последующих дней

в том же, Тридцатом, эпизоде. Другой причиной такого объединения является то, что часть переписки супругов конца апреля — первой декады мая 1887 года не была опубликована.

* * * * *

Итак, 25 апреля Толстой выезжает из Москвы домой — теперь уже надолго, в ожидании обыкновенного в это время весны переезда в Ясную Поляну и семьи. 26-го, когда он уже должен был добраться до места, Софья Андреевна отправляет вослед отбывшему мужу такое послание:

«Воскресенье. 12 часов дня.

Всё продолжается у нас этот спектакльный хаос. Вчера до двух часов репетировали, устали, но все веселились очень. На меня это наводит уныние, но я стараюсь не портить удовольствие, раз затеянное. Не готова сцена, Таня волнуется.

Проводив вчера тебя, поехала с очень тяжёлым и одиноким чувством. У Ильинских ворот слезла и пошла пешком бродить, и пробродила тупо и глупо часа полтора. Сегодня я уже переболела эту грусть твоего отъезда, и буду жить хорошо и благоразумно.

Сейчас еду покупать безумные угощения, и к ужину кое-что. Ветер и пасмурно; холодно и уныло. Всё-таки я беру малышей, потому что не хочу их дома оставлять. Miss Gibson пошла с сестрой прощаться.

Тане я серьёзно передала твои слова, т. е. о том, что пора жить для дела. Она спросила: «Что такое для дела?» И я сказала: «Замуж выходить или работать над чем-нибудь последовательно». — Она говорит: «Я сама рада замуж выдти, но не могу выходить за Всеволожского».

И, правда, если противен, то сохрани Бог!

Лёва жалел, что ты не зашёл в гимназию проститься. Он хочет сейчас сесть заниматься.

Прощай, мой милый; я тебе благодарна, что ты остался этот один лишний день. Для меня он много значил. На меня нашло капризное, самолюбивое, страстное и глупое настроение, и оно прошло так же скоро, как наступило, а к тебе осталось нежное, благодарное чувство, и я его проношу до нового свидания. Целую тебя, береги здоровье, не студись, и люби и помни нас.

Соня» *(ПСТ. С. 406 - 407).*

В день написания этого письма родня и дети Толстых как раз представили на домашней сцене хамовнического дома весёлый водевиль, написанный молодым Сашей Столыпиным. Или водевиль был слишком бездарен, или уж Соничка слишком опечалена и устала, но спектакль совершенно не запомнился ей. По окончании спектакля нанятая Софьей Андреевной тапёрша устроила музыку и танцы. К общему веселью нечаянно присоединились «два Миши» — Стахович и Олсуфьев. «Повеселившись, все мои дети особенно усердно принялись за ученье, а я за свои дела» — так завершает Софья Андреевна свои воспоминания об этом семейном празднике *(МЖ – 2. С. 29)*.

Условившись с женой, как обыкновенно, о регулярной переписке, на следующий день, 26 апреля, Толстой посылает Соне первое достаточно пространное письмо:

«Исполняя обещание, пишу нынче. Ехал спокойно. Беседовал с одним старичком 87 лет, потом с другим 75 лет. Этот очень интересен; потом с старушкой 65 лет. Эта мало интересна. Узнала ещё меня барыня из 1-го класса и пришла мне говорить глупости, т. е. восхваления, но я скоро отделался, почти грубо. Дома истопили. Спал дурно — свежо было всё-таки.

Нынче утром убирался, ходил за молоком, яйцами, кипятил молоко, ставил самовар, и так скучно стало всё это делать для себя, что решил обедать людской обед, а сам не готовить. Но пришёл <повар> Николай Михайлович и сказал, что он приготовит и сделает всё, что нужно. А то, говорит, вы целый день всё будете себе готовить, ничего не успеете свои дела делать. Это правда. Всё это пишу тебе, потому что ты хотела, чтоб я писал о себе, своих мыслях. Это старинные мои мысли, но всегда особенно ясно понимаются мною, когда я один. Привычки мои не очень хитрые, и то, чтобы удовлетворить им, надо, как Ник[олай] Мих[айлович] говорит, целый день хлопотать. Зачем же у меня даже такие привычки? — Их можно удовлетворять, не хлопоча целый день, когда это привычки многих, общие. Чтобы не хлопотать самому целый день и не заставлять других на себя хлопотать, одно средство, чтобы привычки были общие, чтоб все ели одинаково. А когда один, и привычки отличаются от привычек окружающих, то стыдно, как мне всегда стыдно. Здесь только особенно ясно почему.

С 12 часов до 4. Очень усердно работал, всё сначала и всё к улучшению наверно. В 5-м часу пошёл ходить. Ходил очень много за рекой, по за́сике, вернулся, Серёжа сын приехал. Я пообедал, потом истопил с ним печку, поставили самовар и пьём чай. […] Пьют чай <крестьянин> Тит <Борисов, ровесник Льва Николаевича. – *Р. А.*> и Агафья Михайловна. Как-то ты? Ты меня как-то особенно провожала. Мне было жалко. Ну, вы поскорей кончайте дела, да приезжайте. Холодно, но соловьи, и кукушки, и фиалки, но что-то не весело. — Так и Серёжа говорит. Прощай пока, целую тебя и детей. Если письмо холодно, то не таково моё настроение. *Л. Т.*» *(84; 28 - 29).*

«Особенность» проводов мужа Софьей Андреевной, конечно же, связана была с нежеланием его отъезда. Можно представить, насколько отъезд Льва Николаевича испортил его жене настроение, как по вышеприведённому её встречному письму от 26 апреля, так и по следующему, уже ответу на письмо мужа, от 27 апреля:

«Милый друг, сейчас получила твоё холодное, холодное письмо. И тебе холодно, и в доме, и на дворе, и в душе — везде холод. Мне жутко стало за тебя. Если б на человека не находило беспокойство, какое бы было счастье! Жил в Москве, работал бы, я бы тебе переписывала, и было бы тепло и в доме, и на душе, и от той любви, которая у всех нас к тебе. Я вижу, что ты совсем растерялся в Ясной. Ради бога возьми и Тита, и держи Николая Михайловича, и они будут рады, и тебе будет досуг работать; и провизию вели покупать, а то, право, заболеешь, или я приехать должна буду и истратить 15 рублей, только чтоб тебя устроить. Хоть бы Серёжа поэнергичнее взялся тебя обставить так, чтоб ты был здоров и имел бы досуг работать.

А у нас-то, в то время как ты одиноко бедствовал, что было! Вчера, наконец, окончательно разыграли комедию и очень удачно. С утра рубили, клеили, ставили сцену: Рачинский, Столыпин, Вера, Таня и я с столяром. Публики наехало человек 30 без своих домашних. Лиза, Варя, все с детьми и муж, три девочки Толстые, все Шидловские, Кошелева, Беклемишева, Оболенская Лиза и Лили, и т. д.; всё народ свой, привычный, на словах позванный. Смеялись пьесе очень и аплодировали; дети все были в восторге. Кончилась пьеса скоро, и я тихонько послала за тапёршей, и плясали до изнеможения, пар 14 или больше. Летали с большим азартом три Миши: Миша Олсуфьев пришёл в неистовый восторг и плясал до изнеможения. Миша Стахович, случайно приехавший из Петербурга, и наш Миша <Орлов, приглашённый на спектакль. – *Р. А.*>, который до того разошёлся,

что приглашал на вальс больших барышень. Во втором часу ужинали, а после ужина Таня, Вера Шидловская и Маша с Орловым чинно плясали по-русски, а Маня Хитрова, — ты её не знаешь, Самарины её привезли, — превосходно плясала качучу с кастаньетками.

Сегодня все пришли в аккуратность. Лёва за уроки сел (он вчера был очень мил и элегантен, особенно в мазурке), дети учились, Таня что-то писала, а я делами занималась. Таня Серёже напишет на его письмо и всё сделает. А тебе масса писем. Посылаю всё завтра в Ясенки посылкой; пошли за ней дня через два. Чертков пишет тебе нежное письмо; он приезжает в Москву 2-го мая, с женой, и уезжает 5-го; радуется тебя видеть, а тебя и нет. Бог знает, зачем ты уехал, и мне тебя так жалко было! Письмо Черткова прилагаю, тебе его приятно будет получить.

Илья нынче дежурный в конюшне. Он всю ночь не спал. Пили вино до того, что опьянел Орлов опять совсем, вот гадко-то!

Хотела что-то ещё написать, да засуетили меня; мы с Верой Толстой едем все в баню. От Машеньки <От М. Н. Толстой; письмо утрачено. – *Р. А.*> письмо: *одинока, одиночество, тоска*, и больше ничего. [...] Вот и все новости.

Прощай, милый друг, целую тебя и Серёжу. [...] Всё хорошо и здорово у нас.

Соня» *(ПСТ. С. 407 - 408).*

Между тем в Ясной Поляне с 27 по 29 апреля состоялся поистине исторический визит: молодой, 27-летний профессор философии, до этого, 19 апреля, по рекомендации Н. Я. Грота навестивший Толстого в московском доме в Хамовниках, по приглашению Льва Николаевича пробыл эти дни в Ясной Поляне. Визит был историческим потому, что этим тогда скромным молодым философом был не кто иной как Томаш Гарриг Масарик (1850 – 1937), известный истории как один из организаторов восстания Чехословацкого корпуса в 1918 г. против захватившей в России власть красной большевицкой сволочи, и ещё более известный как президент Чешской республики (с 1918 по 1935 г.), уничтоженной *такой же* сволочью коричневой, немецко-фашистской. Это было начало многолетних и тёплых отношений — не переросших, однако, в дружбу по причинам «книжности» интеллектуального склада Масарика, его позитивистских, чуждых Толстому, позиций в философии, и ряду иных. Сблизили же Толстого и Масарика нравственная чуткость и духовные поиски молодого философа.

Письмо жене от 29 апреля Толстой отправляет в Москву не по почте, а вместе с Масариком. Судя по письму, Масарик и другие гости этих дней послужили улучшению душевного состояния Льва Николаевича, мотивировали его на работу, да и просто — на радование жизни:

Томаш Гарриг Масарик

«Два дня у меня гостит Масарик. Мне с ним очень приятно было. Он сейчас уезжает, и с ним пишу это письмо. Третьего дня, вернувшись из Ясенков, застаю две коляски, это <Н. В.> Давыдов приехал с компанией, дочерью и ещё другими дамами и мущинами: <Сергей Николаевич> Попов директор <тульской> гимназии, <Александр Иванович> Фирсов, <тульский судебный следователь,> <Александр Аристионович> Мяснов[о] <товарищ прокурора в Туле. – *Р. А.*> с женой, […] всех 10 человек. Они хотели уезжать, зашёл один Давыдов, я позвал их чай пить, вернулся Серёжа с тяги, и всех напоили чаем и шампанским полынным, и Серёжа уехал с ними в Тулу до четверга. Тут приехал Масарик. Вчера нездоровилось и ничего не работал. Но нынче дождик тёплый, и я здоров и работал. Ходил с Масариком на Козловку, получил твои два хорошие письма <от 26 и 27 апреля>. Так радостно, когда чувствую, что у тебя хорошо на душе и что всё было весело. — Масарик ставит самовар и раздувает очень хорошо и думает, и понимает также. […]

Моя матерьяльная жизнь очень хороша. Николай Михайлович готовит отличные обеды, и я совсем здоров, и заниматься мне ничто

не мешает. Нынче весь луг покрылся фиялками, и трава совсем большая. Напишу, Бог даст, завтра получше.

Целую тебя и детей. Л. Т.» *(84, 30)*.

Конечно же, письмо Сони от 27-го Толстой читал, уже проводив Масарика. Взявшись активно за свою статью «О жизни и смерти», Толстой окончательно попрощался с депрессией — последнее наступление которой, видимо, из-за вынужденного творческого безделья в дни приёма гостей, пришлось как раз на часы после проводов Масарика и следующий, до вечера, день 30 апреля. А уже 1 мая Лев Николаевич не просто в хорошем рабочем настроении, но и делится им в письме с женой:

«Ты, верно, недовольна мной, милый друг, за мои письма. Они, вероятно, вышли пасмурны, как у меня было пасмурно на душе эти 2, или 1½ дня. Пасмурно не значит, что нехорошо, а физически вяло. Что-то, верно, в печени. Но теперь, со вчерашнего вечера, опять прекрасно. И нынче и много работал и ещё больше хочется. Тем для писания напрашивающихся столько, что скоро пальцев недостанет считать, и так и кажется, — сейчас сел бы и написал. Что Бог даст после окончания о Ж[изни] и С[мерти]. Ведь будет же конец. А до сих пор нет. Предмет-то важен, и потому хочется изложить как можно лучше. Ты думаешь, что хуже, а мне кажется — нет.

[…] Ты говоришь <в письме от 27 апреля>: зачем я уехал? Разумеется, со многих сторон лучше и радостнее быть вместе, но со стороны работы — а мне недолго осталось — много лучше здесь. И одиночество плодотворно. Ты это имей в виду, да ты и имеешь.

Вчера набрал фиалок, и они теперь передо мной на столе.

Как странно 3-го дня вечером, после отъезда Масарика, на меня нашло такое физическое состояние тоски, как бывало Арзамаская. И, бывало, тогда самое страшное в этом состоянии была мысль о смерти. Теперь же я, напротив, как только почувствовал тоску, так стал думать, чего мне нужно, чего я боюсь? Как сделать, чтоб этого не было? И стоило мне только подумать о смерти, как я её понимаю, чтоб тотчас уничтожилась всякая тоска и стало очень спокойное, даже приятное состояние. Нынче прекрасный, тёплый день; окна отворены и у Кузминских <в флигеле> моют. В пристройке протопят завтра.

Как вы решаете отъезд и как живёте? — Одному хорошо, а, разумеется, радее, когда вы все приедете.

Понесу письмо открытым, может быть, в Козловке что припишу.

[Козловка]. Получил твои два письма о Мише <О болезни сына. – *Р. А.*>. Вероятно, теперь уже прошло, иначе ты бы известила. Целую всех. — Удивительный вечер. Я сижу на Козловке» *(84, 31-32)*.

И — такой же бодрый отрывок из следующего, от 3 мая, письма:

«Погода нынче из всех дней: гроза, жара, соловьи, фиялки, наполовину зелёный лес — так весело, хорошо в Божьем мире. Вчера я половину дня пахал. Устал порядочно, но самое хорошее состояние и было очень хорошо. Пашу я не один, с <крестьянином> Константином <Зябревым>. Он работает на моей лошади Копыловым, а вчера мы вдвоём. Нынче работал над своим писаньем.

Не думай, чтобы мне было неудобно и дурно, — превосходно. Только вас недостаёт. Окна все отворены» *(Там же. С. 32)*.

К этому письму Софья Андреевна сделала примечание: «Л. Н. и Константин работали на поле вдовы Копыловой, у которой было три маленьких сына. Впоследствии Л. Н. построил ей избу, в которой художник Н. Н. Ге собственноручно сложил печь» *(Там же. С. 33)*.

Софья Андреевна совершенно справедливо связывала желание Льва Николаевича физического труда с преодолением тоски, мучившей его, но всё-таки привычно не одобряла его добровольного крестьянского подвижничества и писала ему в одном из неопубликованных писем: «Милый друг, ради Бога, не работай. Найми кого-нибудь для бедных и вдов, возьми сколько хочешь денег, но не труди себя, пожалуйста, голубчик» *(Цит. по: МЖ – 2. С. 30)*.

Но «голубчик», вопреки страхам любящей супруги, в эту весну делался от физических трудов только бодрее и здоровее. Более того, труд и общение с крестьянами, а быть может, и тёплый майский дождь, вымочивший его в поле 4 мая, подарили ему подлинное вдохновение и ряд ценных мыслей для продолжавшегося писанием философского труда. Об этом он пишет жене 7 мая так:

«Я продолжаю быть здоров и доволен всем, за исключением вашего отсутствия. Но и его переношу мужественно. Вчера после обеда пахал очень усердно и вернулся усталый, но бодрый и здоровый. Нынче утром прекрасно работал. Самая сердцевина статьи, которая мне недоставала, нынче для меня уяснилась. И мне очень весело от этого. Кроме того, погода и вчера была хороша, а нынче ещё лучше.

Я только походил по заказу <по лесу> и набрал фиалок, которых очень много…» *(84, 34 - 35)*.

К сожалению, не были опубликованы и не известны нам последние, до дня переезда в Ясную, письма Софьи Андреевны — от 28, 29 и 30 апреля, 5, 6 и 8 мая. Диалоговость в нашей аналитической презентации переписки Л. Н. и С. А. Толстых снова, как в случае с перепиской начала 1885 г., не может быть соблюдена. Только некоторые подробности в мемуарах Софьи Андреевны «Моя жизнь» позволяют отчасти восстановить содержание эпистолярного общения супругов в эти дни. Видимо, в письме от 6-го Софья Андреевна уточняет время своего с детьми готовящегося переезда в Ясную Поляну, о котором в мемуарах сообщает следующее:

«Начались и наши сборы в Ясную Поляну. Переписались с сестрой о её приезде и начали укладываться. Переезд с лошадьми, коровой, вещами, людьми и детьми — было дело нелёгкое и требовало некоторого усилия. К тому же я была нездорова печенью и пила Карлсбад, что меня очень ослабляло» *(МЖ – 2. С. 31)*.

Суета готовящегося переезда выразилась в последнем письме Софьи Андреевны, писанном в ночь с 7 на 8 мая. Толстой в ответе 9 мая (так же последнем в данном Эпизоде переписки) так и назвал это Сонино письмо — «суетливым» *(84, 37)*.

Анковский Пирог роскошной и праздной жизни семейства Толстых в эти весенние месяцы только немного был поколеблен — примером трудовой жизни Льва Николаевича и близостью к нему «ужасных» для Софьи Андреевны «тёмных», его религиозных единомышленников. Пирог устоял, что показали особенно дни поздней весны и лета, последовавшие за 11 мая — днём переезда всей семьи в милую Ясную. Лев Николаевич жил самой подходящей для него, гармоничной жизнью, насыщенной и физической, и интеллектуальной напряжённой работой. Дети и их молодые гости — предавались всем обыкновенным усадебным барским развлечениям, а Софья Андреевна по обыкновению помогала мужу в писательской работе. В дневниковой записи от 18 июня она между прочим сообщает:

«Меня упрекают многие, что я не пишу своего журнала и записок, так как судьба поставила меня в столкновение с таким знаменитым человеком, как Лев Николаевич. Но как трудно отрешиться от *личного* отношения к нему, как трудно быть беспристрастной и, наконец, как страшно занято всё моё время — и всю жизнь так. Думала, буду свободна это лето и займусь перепиской и разборкой рукописей Льва Николаевича. А вот больше месяца, что я тут, и Лев Николаевич

всецело занял меня переписываньем для него статьи его «О жизни и смерти», над которой он усиленно трудится уж так давно. Только что перепишешь всё — опять перемарает, и опять снова. Какое терпение и последовательность.

[…] Лёвочка ушёл в Ясенки пешком с двумя дочерьми и двумя Кузминскими девочками. Идёт дождь, я послала за ними катки и платья. Лёвочка без окружавших его апостолов, Черткова, Фейнермана и др., стал тем же милым, весёлым семейным человеком, каким был прежде. На днях он с увлечением проиграл на фортепьяно весь вечер: Моцарта, Вебера, Гайдна, со скрипкой. Он, видимо, наслаждался. На скрипке играл юноша 18 лет, которого я взяла для Лёвы учителем игры на скрипке, по его желанию. Юноша этот, Ляссота, из Московской консерватории.

[…] На мой взгляд, здоровье его очень поправилось; он много ходит, стал сильнее и только спит недостаточно, часов 7; я думаю, это от слишком усидчивой умственной работы.

…Успех и слава вообще влияют на него мало. Вид у него теперь счастливый и бодрый, и он часто говорит: “Как хороша жизнь!”» *(ДСАТ – 1. С. 118 - 119)*.

Да, Толстой был совершенно и гармонично счастлив в эти прекрасные, лучшие дни года. Счастлив *мудро*: без требований к окружающим, а только к себе… если не считать требования такой же незатейливой мудрости для тех других, кто претендует быть философом и мудрецом. В письме другу-философу Н. Н. Страхову от 20 мая Лев Николаевич пишет: «Мне очень хорошо жить на свете, т. е. умирать на этом свете, и вам того же не только желаю, но требую от вас. Человек обязан быть счастлив. Если он не счастлив, то он виноват. И обязан до тех пор хлопотать над собой, пока не устранит этого неудобства или недоразумения. Неудобство главное в том, что если человек несчастлив, то не оберёшься неразрешимых вопросов: и зачем я на свете, и зачем весь мир? и т. п. А если счастлив, то “покорно благодарю и вам того же желаю”, вот и все вопросы» *(64, 48)*.

Послушаем же Льва Николаевича, и дерзнём быть счастливыми: но не по-язычески и не по-мирскому, а смиренно, в Боге и Христе! *Да будет.*

КОНЕЦ ТРИДЦАТОГО ЭПИЗОДА

———————

Эпизод Тридцать Первый.
ОХОТНИК И ВОИН НА ПРИВАЛЕ
(Год 1888-й)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК

Обстоятельства переписки супругов Толстых в 1888 году весьма напомнят читателю предыдущие, предшествующие годы — 1886-й и 1887-й. Вплоть до повторенной Л.Н. Толстым пешей весенней прогулки из Москвы до Ясной Поляны… Чтобы сделать диалог супругов более понятным, а также и для заострения читательского внимания именно на *отличиях* внешне-биографических и духовных состояний участников переписки 1888 года мы предпринимаем этот небольшой вступительный очерк.

Мы оставили семейство Толстых трудам и радостям летней 1887 года жизни в Ясной Поляне. Толстой продолжил работу над своим философским трактатом «О жизни и смерти», и, в конечном счёте, отбросил из названия указание на смерть, так как в его понятие *вечной жизни в Боге* оно не укладывалось. Сбылось предсказание (или проклятие?) Софьи Андреевны, измученной переписыванием бессчётных мужниных черновиков: марая и переделывая, усадебный горе-философ наконец, к середине сентября 1887-го, понял, что запутался и испортил прежний текст, о чём и пожаловался доверительно… конечно, не жене, а другу Черткову в письме от 15 сентября (*см.: 86, 84).* Но чтение – впервые! – «Критики практического разума» И. Канта заставило Льва Николаевича осенью снова взяться за переделку… и так далее. Итог кропотливых трудов оказался неутешителен: утверждение на место религиозных догматов законов разума, совести, конечно, не устроило догматиков церковной веры. Духовная цензура Синода и Московский цензурный комитет приговорили книгу к безусловному запрету, а отпечатанный тираж её — к уничтожению. Из 600 экземпляров костра православных инквизиторов миновали только три *(Опульская Л.Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии. 1886 – 1892. М., 1979. С. 110).*

Между тем 1887-й год стал отправным в ещё двух, не менее нецензурных, и даже скандальных впоследствии — художественных! — замыслах Толстого. Именно в 1887-м у Толстого рождаются замыслы великой «Крейцеровой сонаты», а также «Коневской повести» — будущего романа «Воскресение». Первый из замыслов восходит к посещению семейства Толстых 21 июня актёром и рассказчиком Андреевым-Бурлаком. Под впечатлением от мастерски рассказанных

им драматических историй Толстой прослушал в тот же день «Крейцерову» сонату Бетховена, которую сыграл его музыкально одарённый старший сын Сергей на пару со своим домашним учителем игры на скрипке, музыкантом Ляссотой. Софья Андреевна вспоминает:

«Рассказы Андреева-Бурлака и “Соната Крейцеру” были первой побудительной причиной к повести, написанной позднее Львом Николаевичем под заглавием “Крейцерова соната”. Помню я, как Лев Николаевич говорил, что надо написать для Андреева-Бурлака рассказ от первого лица и чтобы кто-нибудь играл в то же время “Крейцерову сонату”, а Репин чтоб написал картину, содержание которой соответствовало бы рассказу. “Впечатление было бы потрясающее от этого соединения трёх искусств”, — говорил Лев Николаевич» *(Толстая С.А. Моя жизнь. М., 2014. Кн. 2. С. 37)*.

Удивительным образом Соничка сближается с ещё не написанной мужем повестью — высказанной ею в дневнике, в записи от 3 июля 1887 г., одной из важных религиозных идей грядущей «Крейцеровой сонаты»: о победе мира и мирского, обманов и соблазнов мира сего, над христианским сознанием человека, над благородными идеалами и помыслами детства и юности. Вот эта запись, страничка духовной биографии и маленькая исповедь Софьи Андреевны, в полном виде:

«Серёжа играет сонату Бетховена Крейцеровскую с скрипкой (Ляссоты), что за сила и выражение *всех* на свете чувств! На столе у меня розы и резеда, сейчас мы будем обедать чудесный обед, погода мягкая, тёплая, после грозы, — кругом дети милые — сейчас Андрюша старательно обивал свои стулья в детскую, потом придёт ласковый и любимый Лёвочка — и вот моя жизнь, в которой я наслаждаюсь сознательно и за которую я благодарю Бога. Во всём этом я нашла *благо* и *счастье*. И вот я переписываю статью Лёвочки “О жизни и смерти”, и он указывает совсем на иное благо. Когда я была молода, очень молода, ещё до замужества — я помню, что я стремилась всей душой к *тому* благу — самоотречения полнейшего и жизни для других, стремилась даже к аскетизму. Но судьба мне послала семью — я жила для неё, и вдруг теперь я должна признаться, что это было что-то не то, что это не была *жизнь*. Додумаюсь ли я когда до этого?» *(Толстая С.А. Дневники: В 2-х тт. М., 1978. Т. 1. С. 121)*.

Здесь не сложно додуматься, Соня. Семья и возращение, воспитание «собственных» детей — лишь один из вариантов судьбы, к несчастью, как едва ли не единственный, *навязывавшийся* в XIX столетии женщине суеверной патриархальной гадиной под названием Россия (и Толстой во многом разделял это патриархальное суеверие).

Перед истиной учения Христа — все мы и до сих пор дети, нуждающиеся и в воспитании, и в самовоспитании. И чем успешнее оно пройдёт для всего христианского общества — тем меньше воспитателю потребуется впоследствии «жертв самоотречения». В мире христианском тоже найдётся место семье — но это не будет западного образца «нуклеарная» буржуазная семья, осаждаемая обманами, соблазнами и страхами животной, неразумной жизни большинства. Это будет семья, которой не придётся замыкаться в свой, охраняемый замками и насилием полицаев мирок… в свою, в погибающем мире, *утопию* сластолюбивого и чадолюбивого, эгоистического домашнего покоя.

Начало романа «Воскресение» — история не менее известная, из того же июня 1887 г. В Ясной Поляне гостил тогда юрист, обер-прокурор Уголовно-кассационного департамента Сената Анатолий Фёдорович Кони (1844 – 1927), только что, при помощи мужа сестры Софьи Андреевны, А. М. Кузминского, сведший знакомство с семейством Толстых. Кони рассказал Толстому случай из личной его судебной практики — историю арестантки Розалии Онни, прекрасной девушки родом из насилуемой тогда под гнётом Российской Империи маленькой и не менее прекрасной страны Финляндии, изнасилованной русским мерзавцем. Один из присяжных заседателей во время суда над несчастной узнал в обвиняемой в краже проститутке ту женщину, которую он когда-то соблазнил и «погубил». Эта женщина была проституткой, больной, с изуродованным болезнью лицом. Но соблазнитель, вероятно когда-то любивший её, решил на ней жениться и много хлопотал. Подвиг его не получил завершения: женщина умерла в тюрьме. Рассказ юриста запомнился Толстому, и в декабре 1889 г. он начал работу над новым романом, продолжавшуюся с перерывами около 10 лет.

Названные гости яснополянского дома, равно как и Репин, написавший в это лето знаменитый портрет Л. Н. Толстого за пахотой, были желанными для Софьи Андреевны — чего нельзя было сказать о «тёмных», толстовцах, проложивших уже довольно натоптанную тропку и в Ясную Поляну, как до этого — в московский дом Толстых. «Как мало симпатичны все типы, приверженные учению Льва Николаевича! Ни одного нормального человека» — сетует Соничка в дневнике под 19 июля, а ровно через месяц, в записи от 19 августа, добавляет об “идейных” посетителях дома: «Тёмные люди… Народ всё несимпатичный и чуждый, тяжёлый в семейной жизни. И сколько их бывает! Повинность ради Лёвочкиной известности и новых его идей» *(ДСАТ – 1. С. 122 - 123)*.

Неловко сказать, ради *чего* именно «лёвочкиного», но понесла Софья Андреевна в те летние дни и другую, более привычную ей, но всегда непростую женскую повинность: беременность. На фоне обострившейся невралгии и желчного расстройства она протекала особенно болезненно. Болел печенью и Толстой. В этом состоянии супруги отметили 23-го сентября т.н. «серебряный» юбилей, 25-летие своих отношений. Соню болезненно задели слова мужа, сказанные в тот день другу юности Д. А. Дьякову в ответ на его поздравления со «счастливым браком»: «*Могло бы быть лучше!*» *(МЖ – 2. С. 44)*.

Беременность мучила Соню «и физически и нравственно» *(ДСАТ – 1. С. 123)*. Наконец 31-го марта 1888 г. она разрешилась родами тяжёлыми, но, слава Богу и Льву Николаевичу, на этот раз действительно последними в жизни Софьи Андреевны. Явился в мир прекрасный Ваничка, младший сын супругов Толстых, которому всего через несколько лет суждено будет стать второй детской жертвой городского, московского рабства Толстых учению мира: умереть от тяжёлой детской болезни, невольно и навсегда разбив сердца стареющим родителям и по сей день надрывая их всем, кто впервые узнаёт о его жизни и смерти.

КОНЕЦ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ОЧЕРКА

Тяжёлая беременность и роды жены, а следом заболевание грудей и трудности с кормлением младенца — всего этого Лев Николаевич был не последний виновник, и всё это усугубляло его неприятные впечатления от мерзейшей во все времена Москвы. Экзамены детей снова задерживали семью в этом проклятом городе, а Толстому были потребны впечатления не только этически значимые, от наблюдения народной жизни, но и эстетические: от созерцания именно весенней, пробуждающейся природы. Весна, конечно, была весной и в городе, но… величайшему из русских Львов было мало «пайков» весенней красоты и радости, получаемых сидельцами городов. И вот он решает повторить пеший свой «подвиг» 1886 года. Со спутниками, одним из которых, как и в 1886-м, был Николай Ге-младший («Количка»), сын художника Ге. Вторым был Александр Никифорович Дунаев (1850 – 1920) — человек, в отличие от Колички Ге, безсомненно выдающийся. Он был старшим сыном богатого московского купца и табачного фабриканта, успевшим проявить себя в делах патриотических (снабжение армии в Русско-турецкую войну 1877-1878 гг.) и в благотворительности. Как и Чертков, А.Н. Дунаев ещё

до знакомства с Толстым (состоявшегося в 1887 г.) сделался «богоискателем», недовольным своим образом жизни, и пережил духовный кризис. Друзья своеобразно поняли причины его депрессии и, после пожара на фабрике и разорения… устроили на работу в Московский торговый банк, где этот покладистый и приятный человек сделал, как это принято называть, карьеру — вплоть до должности первого директора. В семействе Толстых он только вёл сперва денежные дела, но… проникшись Божественной истиной христианской проповеди Льва Николаевича, немедленно стал его учеником.

Александр Никифорович Дунаев

Кажется, сблизила их именно хромая судьба. Это были два человека, пришедшие к истинной христианской вере слишком поздно: уже *слишком* крепко, неразрывно связав себя отношениями с избранными любимыми людьми, и, как следствие — с миром и с мирскими приманками и лжами. Об этом Дунаев интимно жаловался Толстому в письме от 6 ноября 1889 г.: «Всё, что около меня, всё кричит мне: я ложь и зло. И дома, и семья, и электричество, и банк, и те разговоры, которые я слышу, и деятельность людей, которую я вижу, их заботы, суета, удовольствия, занятия, верования, желания, всё осязаемое и чувственное, невещественное и отвлечённое, всё целый день стоит передо мною во всей своей наготе и мучает меня. И я ни в чём не могу остановиться, чтобы отдохнуть…» *(Цит. по: Летописи гос. лит. музея. Кн. 12. Л.Н. Толстой. М., 1948. – Т. 2. - С. 27).*

Думается, эти строки достаточно красноречиво описывают и настроения самого Льва Николаевича, погнавшие его, уже не в первый раз, в лучшие весенние дни — прочь, прочь, прочь из города.

Итак, собрав котомку, при хорошей в этот раз, истинно весенней погоде, Толстой с Колей Ге вышел воскресным днём 17 апреля 1888 г. (за неделю до Пасхи) за московскую заставу. Вечером этого же дня путешественники добрались до Подольска, откуда Лев Николаевич посылает жене первое из писем — дорожное, очень усталое и краткое:

«Пишу из Подольска, куда мы дошли в 8 часов. Очень было хорошо идти и питаться чаем и парным молоком, что мы делали 2 раза. Немножко было лишних 3 или 4 версты, на которых я почувствовал усталость; но зато мы в номере с постелью, которую обсыпаем ромашкой <от насекомых. – *Р. А.*>. Целую тебя и всех. <Дочь> Таня бы очень одолжила меня, если бы написала Pagès, благодарю за письмо очень интересное, с содержанием которого совсем согласен. Не пишу, потому что некогда, — после» *(84, 39)*.

Спеша покинуть ненавистную ему — как художнику и как христианину — Москву, Толстой забыл отдать дань вежливости одному из посетителей его московского дома. Это был некто Эмиль Пажес, молодой философ, профессор из Сорбонны, кажется, более всего известный своим довольно халтурным и урезанным, по цензурным соображениям, переводом на французский язык трактата Л. Н. Толстого «Так что же нам делать?». Человек честолюбивый, Пажес нашёл общий язык с Толстым в обсуждении его нового тогда плана: перевода изданий народного книгоиздательства «Посредник» на международный уровень, такой, чтобы книги выходили в свет сразу на нескольких европейских языках и читались в разных странах. Этому суперпроекту не суждено было осуществиться. А авторитет месье Пажеса в глазах умнейшей Софьи Андреевны рухнул, когда выдающийся русский философ Н. Н. Страхов указал ей в личной беседе на то, что свои «новые и глубокие» мысли месье профессор позаимствовал (и обильно процитировал ей и Льву Николаевичу) из одной-единственной популярной французской книжки *(Толстая С.А. Моя жизнь. М., 2014. Кн. 2. С. 49)*.

К 18 апреля относится первое в этом Эпизоде переписки письмо жены мужу, Софьи Андреевны — Льву Николаевичу:

«Говорили мне, что ты вчера пошёл такой весёлый, милый Лёвочка. Радуюсь, что погода такая хорошая, и что вы не вышли накануне. Воображаю, как тебе весело стало, когда после мостовой и камней, и города, ты ступил на *мягкое*, как выражается сестра Таня, и пошёл по травке, а перед тобой простор, и простор бесконечный.

Мне из моей клетки это показалось так весело, хотя, когда подумаю о ночлеге, еде и народе, — то не пошла бы.

Надеюсь, что этот поход тебя немного разбудит, и что результат его будет не *Палкин*, а нечто более поэтическое, мягкое и художественное. Это всё: *I hope*. [Я надеюсь.]

А у нас вчера после тебя нахлынула толпа в 18 человек, и все в 12-м часу отправились на Воробьёвы горы на лодках. И моих малышей взяли. Им всем было очень весело [...].

Спали мы с маленьким сегодня лучше, и я свежей себя чувствую. Пиши мне почаще; в минуты нервности это будет большое подкрепление.

Девочки уехали за покупками, Серёжа собирается в Никольское, кажется завтра. Малыши усердно ходят <говеть> в церковь по собственному желанию, но я рада, пусть сами до всего доходят без неумелого или перезрелого вмешательства.

Кланяюсь Количке, жалею, что с ним не простилась. Куда он девал счёт Мамонтова и что о нём узнал?

Прощай, милый друг, учу Мишу и спешу отправить письмо.

Меня утро очень суетили: и девочки с покупками, и артельщик, и ребёнок, и проч.

Целую тебя; почерк не особенный у меня, что-то рука не слушается.

С. Т.»

(Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому (далее: ПСТ). М. – Л., 1936 С. 411 – 415).

Надежды Софьи Андреевны сбылись: в этот раз Толстой не «встретил» в пути сюжета для новой статьи, такой, какой была в 1886 году статья «Николай Палкин».

Следующие за 17 апреля день и ночь «выпадают» из биографии путешественников. Только к вечеру 19-го они достигли Серпухова. Или в этом городе, или на подходе к нему, их нагнал третий участник пешего похода — А. Н. Дунаев. Подробнейшая научная биография Л. Н. Толстого упоминает, что с ним был ещё и Сергей Сытин, младший брат знаменитого книгоиздателя *(Опульская Л.Д. Материалы... 1886 – 1892. С. 133 - 134)*. Но, по видимости, тот не продолжил путешествия с нашей троицей.

О Серпухове была у Льва Николаевича с Соней договорённость — но увы, письмо её от 18-го не успело... о чём сожалеет Лев Николаевич в вечернем, 19 апреля, письме жене:

«В Серпухове в 6 вечера, идём дальше. Несмотря на дождь, не промокли. После первой, не совсем хорошей ночи в Подольске, вчера спал прекрасно. Очень весело и бодро шли. Горе, что не нашли писем в Серпухове. Пишу со станции. Может быть письмо в 7. Ну, что делать. Целую всех. Л. Т.» *(84, 39)*.

Пока Толстой приближался к родной земле и к дому, Соня, по заведённой традиции ежедневного эпистолярного общения, написала два письма: 19 и 20 апреля. Приводим их тексты в хронологическом порядке.

Ночное письмо от 19 апреля:

«Если письмо моё будет не интересно, то потому, что два часа ночи, а мне не хочется пропускать ещё день и не писать тебе, милый друг. У нас всё благополучно, только я плохо поправляюсь: и нервы, и желудок, похоже на желчное состояние после рождения Алёши, и я очень робею, что разразится, как тогда, какой-нибудь болезнью. И висок стал болеть, как у беременной болел. Но всё это ещё очень сносно. Утомляют посетители: сегодня обедали отец и сын Стаховичи, вечером сидел Истомин и дядя Костя до второго часу. Народ всё мне приятный, но сил мало, и я устаю.

Я рада, что Серёжа сын тут, всё не так одиноко, и не так жутко. Но и он на Султане едет в четверг к Олсуфьевым.

О тебе думаю постоянно с тоской. Так ты правдиво и верно сказал: «ну, а если я поеду и ещё хуже затянусь работой на пахоте?» Да, это сорвалось у тебя, но ты затягиваешься и ты убиваешь себя. Я часто себе представляю тебя, как ты дремал на кресле в своей комнате, и я тогда думала: «не ест мяса, не курит, работает через силу, мозг не питает, и от того сонливость и слабость». Какая глупость вегетарианство, когда сравнишь человека с природой и животным. Ведь птица уничтожает же червяка, а лисица — зайца, а волк всех, кто попадётся. И ведь это по закону природы и, стало быть, Бога. Почему же человек не должен?

Письмо Павла Ивановича <Бирюкова; не сохранилось. – *Р. А.*> тоже мне запало в мысли. Это крайний аскетизм без религиозной подкладки. Убить в себе жизнь, убить все плотские стремления, все потребности — почему же уж совсем себя сразу не убить? Ведь ты совершаешь над собой медленное убийство, какая разница?

Читала статью Вогюэ о тебе и о «Власти тьмы». Начало очень хорошо, он понял всё правильно, но потом расплылся на разные примеры и сравнения, щеголяя своим образованием, и что-то не вышло.

У нас тепло и был ясный день. Как-то вы дошли? Я получила вчера твоё открытое письмо из Подольска, а сама писала в Серпухов. Прощай, иду кормить. Мальчик здоров. Целую тебя.

С<оня.>» *(ПСТ. С. 412 - 413)*.

Остаётся невыясненным содержание утраченного письма П. И. Бирюкова, в связи с которым Софья Андреевна пеняет мужу на его аскетизм и вегетарианство. Стоит только отметить в письме Сони распространённый по сей день у противников вегетарианства наивный аргумент: ложную апелляцию к «законам природы», поведению хищных животных и их жертв, которое, как некий «закон», обывательское сознание априорно экстраполирует на человеческое общество, так же произвольно, притом и кощунственно, наделяя сакральным авторитетом «закона Бога». То, что в природе «законы Бога» для вирусов, червей, крыс, волков и для наделённых разумением существ могут быть радикально различны, как и то, что подчинение потребностей животной сущности разуму не является для человека самоубийством, а первой ступенью к жизни в Боге — поклонникам убоины и блуда не приходит в голову.

Упоминает Софья Андреевна виконта Эжена Мельхиора де Вогюэ (1848 – 1910), французского критика и популяризатора русской литературы, издателя (1879 г.) «Войны и мира»: его новую тогда статью «La puissance des ténèbres de Léon Tolstoi. Réflexions d'un spectateur» («"Власть тьмы" Льва Толстого. Размышления зрителя»), опубликованную в многолетне любимом Львом Николаевичем журнале «Revue de deux mondes» (1888, 15 mars. P. 426 — 450).

Эжен Мельхиор, виконт де Вогюэ.

Получив 20-го от мужа второе (из Серпухова) «дорожное» письмо, Софья Андреевна пишет ответ — будто продолжая свой ночной условный диалог с любимым, но совершенно в ином настроении:

«Милый друг, я вчера написала такое нервное письмо, сегодня мне лучше, но очень голова болит и висок. Мальчик был сегодня очень беспокоен, весь день у меня отнял. Письмо твоё из Серпухова <от 19 апреля> получила; спасибо, что пишешь, и продолжай всё так. Я тебе написала длинное письмо в Серпухов, и, кажется, успокоительное для тебя письмо, жаль, что не получил; оно должно было придти вовремя. — Сегодня всё письма пишу, и всё гости: <Соня> Мамонова <подружка Т. Л. Толстой. – *Р. А.*>, Ден, вчера весь день гости — утомительно. Сегодня вечером мы одни, слава Богу. Miss Gibson сегодня ушла совсем; мальчики всё говеют, завтра причащаются, и красят потом яйца у Шидловских, так что весь день заняты будут. — У меня всё то же. Посматриваю в окно на сад и на детей, и на жёлтые, посыпанные песком, дорожки; кормлю, мою мальчика, ночи плохо сплю; напряжённо и поспешно удовлетворяю разным требованиям и тревожусь, главное, о тебе и о двух малышах без надзора. Жизни как-то нет. Всё как во сне, смутно и не весело. Если твоё здоровье будет хорошо, то я рада, что ты пошёл, и вообще мне будет радостнее.

Что наши Ясенские: Лёва, Алкид, Илья с Соней <Философовой>? Никто не пишет, и это грустно! Мне было бы большое утешение и развлечение в моём одиночестве. Ну, прощай, Лёвочка, целую тебя. Мальчик пищит, иду кормить, а писать больше не о чём.

С<оня>» *(Там же. С. 414)*.

Свадьба сына Толстых Ильи с Софьей Философовой состоялась 18 февраля 1888 г., после чего молодые (в их случае даже — юные) муж и жена поселились ненадолго у отца в Ясной Поляне.

Наконец, 21-го апреля наши путники прибыли без приключений в Тулу, загостив в доме знакомого помещика Ивана Ивановича Раевского, откуда Толстой пишет третье «дорожное» письмо благоверной супруге, подводя итог всему пешему предприятию: «Путешествие очень удалось. Как я ни стар и как ни знаю нашу жизнь, всякий раз узнаёшь <новое> во всех отношениях: и нравственном, и умственном» *(84, 40)*.

На это письмо (и на известия о муже от приехавшего из Ясной Поляны в Москву сына Льва) Софья Андреевна отвечает 23-го апреля.

И в этот же день, водворившись накануне вечером в родном доме в Ясной Поляне, написал первое большое письмо жене и Лев Николаевич — к сожалению, успев получить только «нервное» её ночное письмо от 19-го и не зная ещё следующего, от 20 апреля. Приводим оба послания по порядку. Сначала письмо Л.Н. Толстого:

«Лёва тебе рассказал уже, милый друг, про вчерашний день и то, как мы пришли и как я, падая от сна, заснул чуть не в 10 часов. Мне грустно было, и очень, твоё письмо. Я тебе обещал, что буду писать тебе о себе всю правду, не скрывая, о том же прошу тебя и надеюсь, что ты так и сделаешь. Мне грустно было узнать по твоему письму, что тебе не хорошо на душе, да не хорошо и телу, но радостно было знать и чувствовать, что я знаю о тебе всю самую настоящую правду. Надеюсь, что это прошло; ежели же нет, то напиши, как думается и чувствуется, и я сейчас приеду, если увижу, что это нужно.

Ты из моих слов, что я буду уставать на пахоте так же, как и в путешествии, выводишь в связи с письмом Бирюкова, что я хочу, во что бы то ни стало, мучить и убивать себя. Это совершенно несправедливо, потому что я всегда настаиваю на том, что человек должен делать всё только для своего блага. Дело только в том, что уставать, и даже очень сильно на воздухе весной, в путешествии или на пахоте есть положительное благо во всех отношениях, а обратное, т. е. отсутствие усталости труда, есть зло. Я себя чувствую прекрасно. Молодые наши очень милы, и сотоварищи мои, т. е. Дунаев, приятнее, деликатнее, чем я ожидал. Нынче целое утро я провозился в кабинете, очищая всё от пыли и расставляя всё по местам, с тем, чтобы, если завтра придётся, сесть за стол и писать, что весьма возможно и приятно. Нынче утром прошёл на деревню к Титу Борисову. Но уже не застал его, он умер. Сейчас еду в Ясенки получить письма и свезти это на почту.

Нынче же выставил и открыл везде окна. О балконе Танином распоряжусь. Пожалуйста, что нужно, пиши мне; мне очень весело будет всё исполнять. Целую тебя и дочерей, которые тебе помогают и наверно только того желают, и тому радуются, и мальчиков, и Сашу. Иван в числе мальчиков.

Л. Т.» *(84, 40 - 41).*

Следующее письмо из Москвы задержалось, хотя, судя по краткому письму от 25 апреля, Толстой очень ждал его и выезжал за ним 24 и 25 апреля на станцию Козлова Засека, к почте *(см.: Там же. С. 42).*

Обещанное нами выше письмо от Софьи Андреевны датируется в сборнике 23-м апреля; но в конце письма есть пометка: «Заутреня», свидетельствующая, что писано письмо было уже в ночь на 24-е, воскресение:

«Лёва привёз мне, наконец, известие о всех вас и самого себя. Ну, слава богу, что хоть дошли благополучно, т. е. что ты здоров и бодр, мне теперь легче стало на душе. Лёва ещё мало мне рассказывал, а теперь весь вечер спит, а пришло вечером твоё запоздавшее письмо от Раевских [...]. Лёва привёз цветов — фиалок и весеннего, яснополянского духа, так что все мы взволновались и всем захотелось ехать. Но потом поневоле улеглось, и мы решили, что и так хорошо, хотя девочки сегодня приуныли, особенно Таня. Хочется ей и за город, и в Кремль к заутрени на площадь, и куда ни соберётся — всё не с кем, всё нельзя. Теперь 11 часов, вечер; люди в волнении, многие идут к заутрене, Маша с Сашей спят, Лёва заснул, и Таня его никак не добудится идти с ней и с Мамоновыми-Рачинскими в Кремль.

Лёва мне говорил, что окна на верху, особенно в детских — не выставлены и не отворяются. Пожалуйста, Лёвочка, постарайся быть немножко нам полезен, вели всё выставить и всё отворить в обоих домах. Также мне важно знать, когда начнут белить дом и скоро ли это кончат, не поговоришь ли ты об этом с Александром Яковлевичем <Парфёновым, управляющим>. Илья всё обещал, но ни о чём не написал мне. Ещё Лёва говорил, что колодезь рушился. Это очень опасно для малышей; ради бога, вели починить. Насколько вы в Ясной похлопочете, настолько мне меньше хлопот. А я здесь всё гувернёров смотрю, плохой всё народ, и я не решаюсь брать, хотя одного mr. Tastevin, просто случайно узнавший, что я его беру, очень хвалил. <Эдмон Иванович Тастевэн, сын обрусевшего француза, потомственный гувернёр. Работал гувернёром в Московском Императорском лицее в память Цесаревича Николая. Помогал С. А. Толстой в переводе трактата Л. Н. Толстого «О жизни» на французский язык. – *Р. А.*> Tastevin перевод кончает, просит по 25 р. за лист, на что я согласилась. Он обещал написать через Gautier издателям в Париж и наладить мне это дело.

Посетителей, гостей эти два дня не было, и мне от этого легче. Сидела с малышами, красила яйца, чтоб их занять; шила, писала письма, тётенька приезжала и Tastevin — и кормила, кормила и кормила. Мальчик растёт и поправляется, кормление всё в одном положении, т. е. без льда <для больных грудей. – *Р. А.*> дня ещё не прошло и всё немного больно. Молока пока довольно. Но желудки наши с

мальчиком без усиленных средств не действуют совсем, и это очень неприятно. Сегодня я сошла в первый раз вниз и вышла на балкон на несколько минут, но ещё слаба я очень, ноги дрожат. — Спасибо Количке, что предлагает приехать; мне теперь не нужно помощи; девочки и madame пока помогают, а на той неделе, надеюсь, гувернёр будет.

Как я боюсь, что в Ясной ничего не сделают и придётся или от этого не ехать долго или при себе пачкаться.

Целую тебя, Соню и Илью. Лёва говорит про Соню: такая хорошая, добрая. Количке кланяюсь. Мальчик проснулся, прощай.

Соня» *(ПСТ. С. 415 - 416).*

Настроение Софьи Андреевны в отсутствие мужа и *по поводу* этого отсутствия не было ровным, о чём в мемуарах «Моя жизнь» она вспоминает так:

«Иногда в душе моей просыпалась опять досада на Льва Николаевича, что он бросил меня, ещё больную, с столькими детьми и заботами. Но когда я вспоминала его унылый вид за последнее пребывание его в Москве, мне делалось его жаль, и я писала ему тогда, например, так 27-го апреля 1888 года:

«…Ты твёрдо должен знать, что ты всегда первый и главный и на уме и в сердце моём; что самое больное место в душе моей — это та *рознь*, которая сделалась между нами, и что огорчительнее всего для меня, это опять же *твоя* болезнь”» *(МЖ – 2. С. 55).*

Полными текстами писем Софьи Андреевны, от 25, 26, 27 и 28 апреля, мы не располагаем. Приводим ниже только ответ Л .Н. Толстого на них и на приведённое нами выше письмо С.А. Толстой от 24-го (пасхальное). Датировано письмо 28-м апреля:

«Письма твои <от 23 – 24, 25 и 26 апреля> я все получил, милый друг, и на вас за молчание не пеняю, надеюсь, что также и вы, и что вы также продолжать будете. Нынче, четверг утро, пишу с Козловки, куда я пришёл гуляючи, и где получил твоё открытое, от вторника, — письмо. Не скучай ты, голубушка, об Иване и не тревожь себя мыслями. Дал Бог ребёночка, даст ему и пищу. Нынче утром пришёл твоя антипатия <крестьянин> Константин <Зябрев>, и представь, у него вчера жена родила двойню мальчиков, и, как надо ожидать при её болезненном состоянии (лихорадка), они к вечеру же умерли. Колечка <Ге> и Дунаев со мною. Мы живём очень хорошо, Дунаев поварничает очень успешно, а я ничего не делаю, — берегу себя по

твоему приказанью. Боль <в печени> не повторялась, и нынче я чувствую себя совсем ожившим. Вчера получил только письмо и посылку <дочери> Маши. Очень её благодарю за аккуратность, пусть также продолжает, прошу её прислать мне по два № Русского Дела 12 и 13 в бандероли на Козловку.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

В газете «Русское дело», № 12 от 19 марта 1888 г., помещена статья крестьянина Т. М. Бондарева «Трудолюбие и тунеядство, или торжество земледельца». В № 13 от 27 марта было опубликовано предисловие Толстого к этой статье. – *Р. А.***]**

Вчера пришёл вечером Влас и ещё Константин, бывший староста, чтобы записаться в общество трезвости, — общество, надеюсь, будет иметь успех. Ещё Пётр Осипов, Раевский молодой и его учитель. Я их всех сообщу, когда съедемся. [...]

Пожалуйста подумай и напиши мне всё, что нужно для приготовления к вашему приезду, не жалея подробностей. Мне доставит большое удовольствие устраивать. Окна отворяю и сырости не будет. [...]

Насчёт меня же ты, нимало не стесняясь, напиши, что тебе с Иваном веселее, лучше будет; если я приеду, то мне будет очень радостно и здорово приехать, и дело найдётся. – Так и сделай. Мне так хорошо, легко и просто, и любовно с тобой, так и тебе, надеюсь. Погода была скверна, а нынче, кажется, хочет поправиться. Уже совсем сухо. Целую всех вас. Вы, девочки милые, пишите; а если мальчики, под руководством Лёвы, тоже написали, ещё бы лучше.

Л. Т.» *(84, 42 - 43).*

Упомянутое в письме «общество трезвости» — ещё одно общественное начинание Л. Н. Толстого, на этот раз — в борьбе с народным пьянством. «Общество» было учреждено Л. Н. Толстым в декабре 1887 г. Софья Андреевна свидетельствовала, что членов нового «общества» оказалось, помимо крестьян, довольно мало, и вообще: «жалкое производила впечатление эта бессильная пропаганда. На всякое дело надо класть *всю* энергию, *всё* время, *все* силы. А Лев Николаевич увлекался опять сельскими работами...» *(МЖ – 2. С. 56).* И это было правдой.

Письмо от 28-го было получено Софьей Андреевной уже на следующий день, и тогда же, вечером 29-го апреля, был написан ответ на него. Приводим ниже его текст.

«Наконец-то я получила от тебя письмо, милый Лёвочка, в котором я тебя нашла, т. е. почувствовала твоё сердце. И это письмо меня так оживило; и треснувшие соски, и беспокойство маленького Ивана, и заботы, и сомнения о гувернёре — всё стало даже весело.

Нет, милый друг, мне *не нужно*, чтоб ты приезжал для моего с Иваном спокойствия. Моё спокойствие, главное, когда ты здоров и доволен. Я не скучаю вообще; я только озабочена, занята страшно весь день, и больше с ребёнком; а что тяготит — это слабость, боль грудей и нервность. Сегодня так стало хуже, что я вскрикиваю и поднимаю плечи и вся съёживаюсь, когда даю грудь ребёнку. А он тянет страшно, и Миша говорит, что у него ротик *шалашиком*, когда он ловит грудь, чтоб сосать.

Приехал <сын> Серёжа, в понедельник будет в Туле и в Ясную поедет. Спасибо за готовность всё сделать, что надо в Ясной. Прежде всего надо велеть подштукатурить, где надо, потом белить: детские прежде всего, потом залу, гостиные последние. Ещё пол в двух детских на верху надо поправить; его весь сломали, когда крыс вытаскивали. А что крысы? Неужели есть? Тани сёстры балкон она просила только *укрепить*, чтоб не был опасен. Особенных дел ещё в Ясной нет.

Сегодня наняла гувернёра, он через неделю уж поступит. Швейцарец, знакомый и очень рекомендованный m. Tastevin старшим. Какой — не поймёшь: молодой, белокурый, скромный, французской Швейцарии, знает по-немецки, по-латыни и гречески. Ужасно охотно поступает к нам. Что-то будет!

Таня с Лёвой поехали в концерт *балалаек*; приехали какие-то знаменитые балалаечники из Петербурга. Маша дома и Машенька Стёпина сидит <Марья Петровна, жена С. А. Берса. – *Р. А.*>. Лёва ходил пешком в Нескучное, оттуда в лодке приплыл; он озабочен своим здоровьем, гигиеной и экзаменами; всё писал сочинение о Державине, и мне, и дяде Косте рассказывал, как именно он предполагает писать. Андрюша с Мишей ходили с Фомичём в балаганы, играли в саду; Саша всё с Васькой артельщиковым играет, и очень весела и мила.

Ты пишешь: «Мне будет приятно и *здорово* приехать в Москву». Почему здорово? Я тебе пишу: *не нужно* приезжать, и это правда, что *не нужно*. А только это не значит, что я не рада буду. Ты знаешь сам, какая радость тебя видеть всегда, когда ты и дома живёшь и придёшь после того, как или уходил или сидел долго с *тёмными* <толстовцами. – *Р. А.*>. Пожалуйста, *по моему приказанию*, как ты пишешь, продолжай беречься и есть куриный суп, а не щи.

Пругавин был и говорил, что концерт состояться не может, поздно, состава хорошего быть не может. — Девочки тебе напишут, и Миша просил *налиневать* бумажку к завтрему. Лёва же вряд ли, он или гуляет или учится.

Кланяйся своим сожителям, тебя целую. Завтра не напишу, дела много. Прощай, голубчик. — И мне просто и хорошо с тобой, слава богу!

С. Т.» *(ПСТ. С. 416 - 417).*

Лев Николаевич получил от Сони 27-го апреля очередное письмо, а 28-го открытку, тексты которых не опубликованы, и ответил на них письмом, датируемым исследователями приблизительно 29 или 30 апреля. Приводим его не длинный текст:

«Получил вместе твоё открытое и закрытое письмо, милый друг. Михайло <кучер> свободен и охотно едет <в Москву>, — он и передаст тебе это письмо. — Ты всё грустишь, голубушка, это мне очень грустно, потому что я вижу, как тебе тяжело и как ты не можешь иначе с кормлением и беспокойством о нём, и как бы желал помочь тебе, и не знаю, как. О моём здоровье ты не беспокойся, потому что нет никакого основания. Я чувствую себя прекрасно и так же питаюсь и буду питаться.

Когда вы думаете приехать? Если скоро, то я напишу о вещах и попрошу выслать, если же нет, то я, как писал, с радостью и пользою приеду. Где ключ от Кузминского дома <т.е. от флигеля. – *Р. А.*>?

Нынче едут Дунаев и Рахманов. <Оба толстовцы. Владимир Васильевич Рахманов (1865—1918), в 1888 г. — студент медицинского факультета Московского университета; позднее врач. – *Р. А.*>. Они оба у тебя будут и расскажут про нас. Дунаев очень был приятен. Он, кроме того что умный и образованный, ещё и очень добрый человек; недостаток его — недостаток тонкости, не деликатности, а художественной тонкости.

Я с нынешнего дня чувствую себя совсем бодро и хорошо и чуть было не начал нынче писать. Всегда страшно начинать, когда дорожишь мыслью, как бы её не испортить, не захватать дурным началом.

У нас ещё один художник — Бакшин, из Академии. Он пришёл пешком. Он едет завтра, кажется. — Спасибо девочкам, что они помогают. Целую всех. *Л. Т.*» *(84, 44 – 45).*

Гости и хозяйственные дела сильно отвлекли внимание Льва Николаевича, и следующее письмо жене, ответ на её («приятное»)

письмо от 29-го, он отправляет лишь 3-го мая. Ради сохранения диалоговости, мы немного отступим от хронологической последовательности презентования переписки супругов Толстых: приводим ниже текст этого, слегка «опоздавшего», письма.

«Боюсь, что сделал большой перерыв в письмах, и что ты беспокоилась. Вышло потому, что Бакшин хотел ехать, но не уехал. — Письмо твоё приятное получил 3-го дня, и мне стало веселей, а вчера получил от малышей <от сыновей Андрея и Михаила. – *Р. А.*>. Враг я медицинских усовершенствований, но для тебя, при твоём беспокойном характере, советовал бы свесить Ивана, и весить с тем, чтобы верно знать, хорошо ли твоё кормление или нет. Мне по всему кажется, что твоё молоко хорошо и достаточно, и что с помощью прикорма ты выкормишь лучше всего; но что тебе мешает беспокойство и, вероятно, неосновательное. — Про себя скажу, что я живу ни то, ни сё — нет бодрости ни телесной, ни умственной — всё желчь и живот. Боли были только один раз и скоро прошли, но что-то разладилось в животе. Ты скажешь, что это от неедения мяса, и, пожалуйста, не говори и не думай этого. Я охотно его бы ел, если бы меня манило на него и чувствовал бы от него лучше, но нет ни того, ни другого. Теперь я ем простоквашу и очень много, и мне она и приятна, и отлично действует.

Вчера, в понедельник, первый день я после обеда попахал, и так как по переменкам с Количкой, то без усилия. — Нынче только пришли штукатуры и маляры, 85 к. в сутки, четыре человека. Надо их подгонять. Александр Яковлевич очень, кажется, деловитый человек. Сережа ещё не приезжал, верно нынче вечером.

Тут как всегда нищета большая, и ещё на святой сгорела Шевырёвка, 21 двор, — ходят просить погорелые.

Андрюше и Мише скажи, что Кавушку я нынче видел с жёлтеньким жеребёнком. Целую их и благодарю. Вот незабудка, я нынче нашёл.

Нынче похоже на лето, первый хороший тёплый день. Целую тебя и девочек, и Лёву, и Сашу, и Иван[а]. Л. Т.» *(84, 45 - 46)*.

Вряд ли сам Лев Николаевич хоть раз в жизни испытал те боли при кормлении ребёнка, которые, к несчастью, начиная со старшего сына, преследовали Соню. Не нужно его осуждать — ещё и потому, что он ежедневно соприкасался с не меньшими страданиями народа — не замечаемыми городской буржуазной публикой и не сочувственными ей. Поле, которое он пахал (и на котором его предыдущим летом «взял на кисть» художник Репин) было полем одной из

страдалиц, крестьянки, вдовы с четырьмя детьми, Анисьи Копыловой. Что, и когда, и как сильно, у неё болело — неизвестно: на крестьян в ту эпоху не распространялись услуги дамских докторов…

Приведённому нами письму Л. Н. Толстого хронологически предшествует письмо С.А. Толстой от 1 мая, текст которого мы и приводим уже по порядку.

«Очень плохо идёт моё кормление, милый друг. Одна грудь до того разболелась, что после всякого кормления я вся в поту, и чуть ли не истерика готова сделаться, и невозможно от слёз удержаться. Какие адские боли и как всё в мире устроено не натурально! Таня увидала случайно, каково мне кормить, и с каким-то ожесточением стала твердить: «надо взять кормилицу». Но я ещё не думаю о кормилице и молю Бога о терпении. Молока мало, у ребёнка такие худенькие ножки, и он весь — и личико, и всё тельце худенькое, и мне уж его жалко! на этот раз стало жалко раньше 6 недель, бывало после. Это уж старческая слабость и нежность к маленькому и беспомощному.

Так как от боли я двинуться даже не могу, ни работать, ни делать что-либо правой рукой (и писать больно), то я всё сижу неподвижно и очень тоскую, так как не вижу конца своим страданиям. И как это сделалось быстро, вдруг, безо всякой причины. — Как твоё здоровье, и как ты поживаешь? Два дня нет писем от тебя, и это всех нас уж беспокоит. Думаем, не пришлёшь ли ты Михайлу кучера по моей просьбе, и с ним завтра утром и письмо. Константин сегодня ушёл, и мы без кучера.

Сегодня обедали у нас Машенька сестра и дядя Костя, и все потом дети и большие бегали и гуляли в саду. …Ко мне никто не пришёл в виду моего нездоровья, чему я была очень рада. За обедом произошла маленькая драма: Серёжа заметил тихо Андрюше, что у него руки грязны, Маша подхватила, и все на него напали и он расплакался, ушёл и не стал обедать и долго рыдал, больше из самолюбия перед Колей Оболенским и Борей Нагорновым; я не мешалась, у меня нервы слишком расстроены, и мне его было жалко, и самой хотелось плакать. Потом обошлось, он пошёл бегать, а в 7 часов достал в шкапу солонину и ел с большой жадностью. Я сошла к нему вниз, Лёва не знал, что я сошла, и первый пошёл его утешать. Он очень мил, Лёва, только балалайку напрасно купил, как бы экзамены не пострадали.

Прощай, Лёвочка, целую тебя. Завтра у нас начинается учение, и я рада, а то дети всё бегают и часто скучают от бездействия.

Если моей груди не будет лучше, не знаю, как и переедем. Я ничего не могу предпринимать в этом положении, а без толчка от меня вся моя домашняя машина в ход пойти не может. И это меня мучает. — Лёва вчера меня спрашивает: «Мама, вы счастливы?» Я очень удивилась, не нашлась сначала, а потом говорю: «Да, я себя считаю счастливой». А он говорит: «Отчего же у вас вид мученический?» Я ему ничего не отвечала, и думаю, что это от забот и от усталости бессонных ночей и от боли. Но он всё замечает, и ему надо, чтоб всем было хорошо.

Мы в письмах с тобой гораздо ближе, чем в жизни. В письме всё вспоминаешь и всё напишешь, что может быть интересно хоть немножко, а в жизни видимся мало, тебя *тёмные* люди завоёвывают, и всегда совестно как-то рассказывать обыденные мелочи, а в письме всё как будто интересно.

Ну, ещё раз прощай, не оставляй нас долго без известий. Целую тебя.

С<оня>.

1 мая.

Торопи работы в доме, чтоб нас не задержали» *(ПСТ. С. 418 - 419)*.

Конечно, обвинениям в адрес духовных единомышленников Льва Николаевича как неких «разлучников» не следует верить. Не так уж много времени нужно двоим, чтобы сообщить друг другу всё, что должно быть сообщено — и не успеть надоесть взаимно. И очень хорошо, что работает «самоцензура» о том, чего говорить не следует. В письмах же Соня оказывалась ближе к мужу не по той причине, что в жизни якобы мешали ей «толстовцы», а потому, что была она именно в письмах, в письменном именно диалоге с супругом, *честнее*, нежели наедине с собой (в дневнике, в мемуарах) или даже в устном общении: при условии, что могла рассчитывать на поддержку слушателей. Вот что делает анализируемый нами эпистолярный диалог Л. Н. и С. А. Толстых ценнейшим источником, повествующим о жизни этих двоих выдающихся людей.

Ответ на приведённое выше письмо С. А. Толстой Лев Николаевич пишет уже 5 мая:

«Вчера получил твоё письмо, милый друг, о твоей боли. Это ужасно грустно и жалко. Решить вопрос о том, до какой степени ты можешь и должна терпеть, можешь только ты. Надо надеяться, что, как и в те разы, это будет продолжаться не очень долго и может зажить при

помощи от кормилицы. Но всё решишь ты, и советовать нельзя. Мой совет один: — не отчаиваться и во всём, и в этих страданиях находить хорошее и нужное.

Я чувствую себя очень хорошо. Погода не весёлая, дожди и холодно. Нынче едем с Колечкой сеять, — больше он. Я только показываю. Вчера ездил в Ясенки, получил там посылку от Маши. Серёжи всё ещё нет. — Беление дома дело очень трудное, чтобы не переломать и не перепортить мебель. Вчера, например, мы застали маляров, спящих на наших постелях. Их изгнали. Постараюсь, чтобы не перепортить всего и кончить скорее. Я думаю, в неделю кончат. Но воняет очень.

Да где ключ от Кузминских и ключ от пристройки на балконе?» *(84, 46)*.

Неоднократные вопрошания Льва Николаевича о затерявшихся (для него) ключах особенно характеризуют тот простой факт, что истинной хозяйкой Большого Яснополянского Дома была Софья Андреевна.

Заскучав перерывом в письмах от мужа, наступившего с конца апреля, Софья Андреевна, не дождавшись новых весточек из Ясной, пишет мужу целые два письма — 4 и 5 мая. Мы располагаем текстом только одного из них, от 4 мая, очень заботливого:

«С тех пор, как кучер Михайло привёз твоё письмо, — известий от тебя нет, милый друг. Ехали они сутки до Москвы, и Дунаев очень забавно рассказывал, как вы живёте и как они с <толстовцем> Рахмановым и Михайлой ехали, и их всё ставили на запасный путь, и он очень кипятился. Дунаев, правда, очень добрый и милый человек, и очень тебя любит, и видно заботился о тебе. Количкина же теория о расточительности Дунаева и о том, что надо есть щи из капусты с водой, — крайне меня огорчила, и я теперь менее о тебе покойна, чем даже при кухмистерстве Дунаева. — Я бы поехала к тебе раньше, милый друг, если б поступала по сердцу и только по любви к тебе. Но тут пропасть соображений: маленький Иван постоянно тем или другим хворает, а холодно и сыро его везти. Гувернёр поступает в субботу, англичанка ещё не приехала; об экзаменах Лёвы узнаю завтра; о доме, книгах и делах не кончила ещё ничего, и с такими грудями больными ничего делать нельзя. […] Я начала выезжать, сегодня была на выставке картин и очень наслаждалась, но

очень спешила. Сил у меня больше и нервы крепче; вообще я здорова, если б не соски. Боюсь сказать, но сегодня чуть-чуть поменьше боль при кормлении, хотя не могу ещё не охать и не жаться.

Был нынче <Сергей Александрович> Юрьев, Марья Александровна <Шмидт> и Ольга Алексеевна <Баршева>. Юрьев, бедный, очень огорчен. Дочь его нервно больная у Корсакова в лечебнице, у ней пять человек детей, которые все у Юрьева; а в это время у ней скоропостижно умер муж, на руках у Юрьева, разрывом аорты, и от неё ещё скрывают до сих пор. Он очень постарел, но сияет удовольствием, когда говорит, что ему поручили поставить на императорском театре «Сон в летнюю ночь».

Намереваюсь я приехать не позже 15-го мая; не знаю, называешь ли ты это скоро или не скоро. Кабинет твой и твои все вещи, и книги, и бумаги оставлены так, как будто ты хотел вернуться, а дети, и Дунаев, и Рахманов, все говорят, что тебе не хочется вернуться. Я и послала с Серёжей немного белья, две простыни, наволоку и проч. и денег 15 рублей. Помни, что чистота для гигиены необходима, и не ходи, пожалуйста, грязный, в белье грязном. У тебя в Ясной оставались ситцевые рубашки, белый и драповый халаты, белые блузы и проч. Нашёл ли ты всё это? Напиши мне, где новая книга доктора Покровского; я её искала, искала и нигде не нашла, а могла бы пригодиться.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Вероятно, имеется в виду книга доктора Е. А. Покровского «Детские игры», преимущественно русские (в связи с историей, этнографией, педагогикой и гигиеной) (М. 1887), два экземпляра которой сохранились в яснополянской библиотеке. – *Р. А.* **]**

Рассказы Дунаева о вашем странствовании были очень интересны; но видно прихворнул ты в Ясной больше, чем написал. Желудок-то очень болел, — дело до компрессов доходило, и Рахманов говорил, что ты кашлял. И ещё теперь, Бог знает, здоров ли ты, так давно писем нет. — Начали ли белить дом? Когда обещают кончить?

Работаешь ли ты и не надрываешься ли? Работаешь ли письменно? Напиши получше, дай ещё раз себя почувствовать душой. Целую тебя.

С<оня>.

Тут все говорят о крушении поезда на станции Голицыно <в то время под Москвой. – *Р. А.*>, где жили Чертковы. Ужасная история и много погибло.

4 мая вечер. 1888» *(ПСТ. С. 420, 422)*.

Крушение на станции Голицыно талантливо описал знаменитый Владимир Гиляровский. По его сведениям, в ночь на 2 мая оторвались от поезда и столкнулись, разогнавшись, с товарным составом «переполненные пассажирами, исключительно простонародьем, возвращавшимся с родины после праздника, на заработки в Москву» (https://vkrasnoznamenske.ru/news/detail/252309/).

На очереди — письмо 5 мая, текстом которого мы не располагаем, а затем, и вполне справедливо, уже сама Софья Андреевна делает перерыв в писании писем — до 9 мая. Теперь поскучать и прождать пришлось уже Льву Николаевичу. Следующее его письмо, ответ на оба последние Сонины, от 4 и 5 мая, датируется 7-8 мая:

«Дня два или три был совсем без известий о тебе, милый друг, и очень беспокоился и хотелось ехать в Москву, чтобы быть с тобой, но нынче, в субботу, получил твоих 2 письма от 4-го и 5-го, и оба утешительные, — вижу — чувствую, что ты духом бодра и что боль сосцев сдаётся. Дай Бог тебе терпения только, а пройти-то пройдёт. Серёжа приехал 3-го дня, хотя и не щедр он на рассказы, но изо всего я понял, что ты не в дурном духе, — не раздражена, не огорчена, а это главное. — Сытин, твоя правда, был мне тяжёл, но что ж делать, — надо стараться и с Сытиными вести себя разумно и добро. [...]

Обо мне теперь уж нет ни малейшего повода беспокоиться. Я чувствую себя очень хорошо. В простокваше нахожу большое средствие и поглощаю пропасть, и всё на пользу.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Это одно из любимых выражений Льва Николаевича. Было «заимствовано» им у самарского крестьянина Василия Никитича, говорившего, что он в чае «большое средствие» для себя нашёл. – *Р. А.* **]**

Целую неделю мы с Количкой пахали и сеяли по полудню, и то по переменкам, так что усталости большой не было. — Дом, верх, нынче кончили подштукатуривать и белить. Завтра буду уставлять по местам хаос мебели и вещей. Александр Яковлевич предлагал белить подоконники, я было согласился, но потом решил, что они будут вонять и липнуть долго. Как ты думаешь? Ответь скорее. Кузминских дом отперли, а пристройки <к балкону> ключ затем хотели, что там

видно через окно, что протекло. От Илюши и Сони получил нынче письмо. Они живут в Александровке <из владений семьи Л.Н. Толстого; близ их же Никольского-Вяземского Тульской губ. – *Р. А.*>, оклеили избу, а главное, Соню рвёт. Письмо милое, как они все. Посылаю его. У меня здесь куча писем, и без моих милых помощниц плохо. Мне жаль, что малыши от них отходят <для детей Ильи С.А. Толстая нанимала в то время гувернёра. – *Р. А.*>. Лёву целуй, и себя, и малышей, и девочек.

Л. Т.

Нынче пахали огород, и всё время бегал Кавушкин жеребенок и сосал мать, и Васька Анисьин <сын нищей многодетной вдовы А. Копыловой, которой помогал Толстой. – *Р. А.*> без парток, и оба такие милые; и я думал о Ване и своих.

Какие два чудные летние дня» *(84, 46 - 47)*.

Такое бодрое и обстоятельное письмо, конечно, очень порадовало Софью Андреевну, и в ответ она пишет 9 мая такое же письмо — подробное и сравнительно позитивное (хотя, как всегда, озабоченное множеством соображений и сует):

«Вот спасибо, что написал такое хорошее и длинное письмо, милый друг. Мы три дня в напряжённом состоянии ждём все от тебя известия, и получение письма сегодня было торжество, так все обрадовались. Слава богу, что ты пока здоров, наберёшься силы для будущих болей, которые угрожают (по моему мнению) без лечения. Я думаю, что простокваша хорошо, но не в холодные дни. Сегодня и вчера очень холодно, северный ветер, дождь и пасмурно. Прескучно.

<Гувернёр> M. Lambert поступил и всем нравится. Очень скромный и не неприятный, и дети к нему отлично относятся, охотно пока слушают, а он им пальто надевает, когда свежо, и мне это нравится.

Здоровье моё равномерно и очень медленно, но улучшается. Иван только всё худ и плох, начну скоро подкармливать. Завтра 40-й день; хорошо хоть столько прокормила. А как трудно! и сколько времени берёт кормление, я уж забыла, да и дел столько никогда не было посторонних. Ещё потому много времени берёт, что молока мало, канальчики запухли, и добыванье молока слабому ребёнку — трудно. Я иногда час сижу, чтоб его насытить.

Лёва и Коля Оболенский иногда очень озабочены и мрачны по случаю экзаменов <Л. Л. Толстой держал переходные экзамены в Поли-

вановской гимназии из седьмого в восьмой класс. – *Р. А.*>, а то оживляются, и Лёва играет то на балалайке, то на скрипке, то на рояле. — Вчера Саша нас напугала, ухо стреляло, она кричала ужасно половину дня и всё просила Машу рукой ей держать; она тогда засыпала. Я пустила ей в ухо масло, положила вату с камфарой, и к утру прошло. Вчера Машенька сестра обедала и Митя Олсуфьев, и после обеда малыши с Борисом бегали на перегонки в саду по большой аллее, а потом Митя Олсуфьев, Лёва, Коля Оболенский и Lambert тоже бегали и Лёва пришел первый. Машенька очень сочувствовала и была весела. — Миша Олсуфьев уехал, и мне что-то подозрительно его отношение к Тане и её к нему. Когда я на это намекаю, то Таня ненатурально хихикает, отшучивается и говорит: «Он твёрд, как кремень», или: «я ему уж делала сама предложение», — и всё в этом роде. Маша и Вера Шидловская что-то тоже ненатурально относятся к этому предмету. Я хотела просто и откровенно спросить Таню, да всё не решаюсь. Если только с её стороны надежда и ошибочная, то ей будет потом неприятно, если она мне скажет.

Хотел Миша Олсуфьев опять сюда приехать, и очень горячо говорил о том, что в Ясную непременно приедет, но больше я ничего не заметила. Вот было бы радостное событие, хотя и жаль бы было с Таней расставаться.

Ну вот и всё написала, что у меня интересного и чем я живу. Иван с голубыми глазами, на тебя несомненно похож. И руки, и пальцы, и форма головы — всё как твоё. Но он ещё не смеётся и не осмыслен его взгляд, что скучно. Прощай, милый друг, целую тебя и кланяюсь Количке. Я понимаю, что очень соблазнительно вспахать, кому нужно, не паханную от недостатка рук землю и сунуть туда зёрна, от которых люди будут сыты, но отношусь всегда недоброжелательно только потому, что это бывает в ущерб твоему здоровью. Ты всегда себя пересиливаешь.

С. Т.

9 мая 1888.

О делах-то я и забыла написать.

Подоконники красить не надо.

Крышу красить будем, но я краску пришлю из Москвы.

Приедем мы в воскресенье <т.е. 15 мая. – *Р. А.*> и народу нас столько: няня, я, Таня, Маша, Lambert, Андрюша, Миша, Саша и, вероятно, англичанка.

Нужно будет в карету нанять четвёрку лошадей, лучше в Туле нанять, а на своих шагом довести карету дня за два, а то в прошлом году какие-то клячи насилу довезли. Карету нужно непременно, маленький Иван всё кашляет, а к воздуху совсем не привык.

Затем в коляску наших лошадей надо набрать.

К приезду нашему только надо приготовить как всегда: ростбиф, чай, молоко, яйца, хлеб.

Сенники детям набить.

Если я в воскресенье не приеду, я телеграфирую, а если не изменю намерения, то буду молчать.

Если можно, вели паркет натереть; Тит умеет, я думаю, а то из Тулы взять» *(ПСТ. С. 423 - 425)*.

До указанной Софьей Андреевной даты воссоединения семьи — 15 мая — супруги обменялись ещё только парой посланий: Толстой ответил жене на её письмо от 5 мая, неизвестное нам, а Софья Андреевна 11 мая, соответственно, на это его письмо. Приводим тексты обоих писем в хронологическом порядке.

Л. Н. Толстой, письмо 9 мая:

«Сегодня 9-го, поев простокваши, пошёл на Козловку и получил твоё письмо, которое ты называешь как-то нескладным, но которое мне было очень приятно, потому что из него увидал, что ты бодра и боли или уменьшаются, или ты привыкаешь их переносить. Марья Александровна была вчера и действительно рассказала про тебя и вас, так что я понял, но сказала тоже, что мой приезд облегчил бы тебе отъезд, — если бы я взял малышей. — Это очень поощрило меня ехать, но по письму увидал, что это не нужно, и что девочки заменят меня. Да и теперь уж так коротко; только бы ничего не задержало и не помешало. — Второй день праздник, и работы нет в доме. Завтра начнём. Верх кончен совсем, только развесить и расставить, и не перепутать, и не сломать. Низ кончат, я думаю, дня в три, так что к субботе будет готово.

Очень сочувствую Лёве и его экзаменам, — чтобы они его выпустили скорее и совсем без забот летних занятий. Да не поверит он тому, что многие говорят, что без папирос хуже готовиться. Это грубое суеверие. Мы живём очень хорошо: в изобилии и чистоте. Только холодно нынче и всё дожди. Моё здоровье хорошо, если есть апатия к работе, то это всё-таки от непривычных условий, непривычной, но очень полезной молочной пищи. Кони я спрашивал: написал ли он

рассказ и передаёт ли мне сюжет <для будущего романа «Воскресение». – *Р. А.*>. Прелестный сюжет, и хорошо бы и хочется написать.

Ключ от ключей у меня и пока не нужен.

До свиданья, целую тебя и всех» *(84, 48)*.

И — письмо Софьи Андреевны, от среды, 11 мая (озабоченное и усталое, потому что писано было ночью):

«Помощницы мои расхворались, хотя обе ещё на ногах. У Тани ночью был жар, теперь горло болит и насморк; а сейчас Машу знобит и тоже горло болит. Боюсь, что всех переберёт, и что мы не выберемся в воскресенье. Моё кормление тоже значительно ухудшилось, и погода холодная, и пожалуй Ивана везти опасно.

Утром приходила Ольга Алексеевна и рассказывала письмо Марии Александровны, не без ехидства прибавив, что Мар. Алекс. <Шмидт> влетела к тебе, когда ты был ещё в постели, а что Количка <Ге> бельё стирает. И то, и другое — безобразие. Она же мне сказала, что ты собираешься приехать, а вечером пришло твоё письмо <от 9 мая>, что ты раздумал. А мы теперь ещё бог знает, когда приедем. Кроме малышей и людей, ни у кого нет страстного желания ехать в Ясную, а для меня это такой ряд волнений и забот, что так бы и сидела на месте. — Лёва очень усердно учится, и его жаль вывести из колеи. Коля Оболенский сегодня математику выдержал и очень доволен.

Читали сегодня в газетах, что Андреев-Бурлак умер в Казани крупозным воспалением в лёгких. Это нас всех поразило.

Стёпина Машенька ездила к нему в Дорогобуж, и он её прогнал и говорил ей ужасные вещи, и она вернулась и всё плачет, и теперь все её надежды рухнули сразу.

Сегодня уложила все твои вещи, так как до сегодняшнего дня я всё думала, что ты, может быть, приедешь. Ты ничего не написал, какие книги тебе привезть, а теперь уж поздно, мы не успеем. О приезде своём я во всяком случае телеграфирую, так как всё очень неопределённо. Неужели только в субботу кончат белить? Когда же успеют вымыть и на место всё поставить? Ключ я тебе послала для того, чтоб ты нашёл ключ от террасы и велел поправить, где потекло. А кроме того там поставлена вся ломаная мёбель; хорошо бы её всю свезть к столяру; а то мы приедем, подводы понадобятся и для багажа, и для нас, и для Кузминских.

Англичанка моя из Англии едет; Таня Кузминская получила от неё письмо с корабля. Должно тут будет 13-го или 14-го.

Пожалуйста, когда я извещу о приезде, пришлите нам то, что я прошу, а именно: карету — лошади наёмные, коляску и подводу парой, лошади свои. Знаю, как ты на все эти просьбы смотришь недоброжелательно, но я уж так избаловалась, а главное, мои нервы от усталости так расстроены, что мне не до *идей*. Предоставляю их разным шалым и праздным людям, а мне некогда. — Очень рада, что ты здоров, надеюсь застать тебя таковым. Как подумаю о яснополянском разгроме, произведённом разными посетителями и жителями, и о грязи, внесённой всеми ими, то и ехать не хочется. Не скоро приведёшь всё это хоть в возможный вид.

Что Серёжа, как поживает? Он умеет так устроиться, что как будто его нет.

Продолжай писать, а то бог знает, приедем ли; если же и уедем отсюда, Лёва так всегда ждёт писем.

Ну, прощай, теперь до скорого свиданья.

С. Т.» *(ПСТ. С. 425 - 426)*.

Великолепная, въедливая до мелочей, талантливая хозяйка Соничка в этом письме — настоящая Чародейка Повседневности. Но не убыло бы у неё этого чародейства, а только проблем, живи она не в *лже*христианском мире, в котором разделены мирской ложью человек от человека, семья от семьи и народ от народа, а — через 1800 лет после Христа! — в мире победившего христианского понимания жизни. Хозяйство и дела никуда не делись бы, но не было бы ни денег, ни этих мучительных погодных переездов из городского рабства и обратно.

Вопреки опасениям Софьи Андреевны, 15 мая традиционный весенний переезд семейства в Ясную Поляну состоялся, и переписка, разумеется, в рассматриваемом нами её Эпизоде, естественным образом прекратилась.

* * * * *

По букве и духу учения Христа христианину — в отличие от мирского идолопоклонника — надобно быть с Богом и Истиной, *а не* со «своей» церковью, и даже не с Христом (которого перетолковали и оболгали буквально все “исторические” церкви и секты). Так и Лев Николаевич: как ни любил мирское, и прежде всего Соню и семью, но тяжёлый выбор между ними и Божьей истиной Всеединства

всего и всех в Боге — делал в пользу Бога и Всеединства, в пользу Истины, а не завлекательных мирских «правд». Семья Софьи Андреевны продолжала оставаться «нуклеарным» семейством буржуазного индивидуалистического общества («каждый сам за себя и своих»), вероисповедание Сони и детей оставалось церковно-православным… для Льва же Николаевича и всё это жизнеустройство, и поддерживающие его религиозные суеверия — всё это совершалось в сфере «зла и неправды». Его сознанию открылась возможность иной жизни людей всего мира: без разделения на «своих» и «чужих», без стяжания и агрессии, катализируемых первобытными страхами и похотями человека как животного. Мирские лжи (мнимая «правда») и древние страхи управляют человеком, не имеющим настоящей христианской веры. Именно они мешали Соне последовать за мужем в его духовном подвижничестве — с доверием не мужу, не тем или иным его установлениям, имевшим часто сугубо индивидуальный и ситуативный характер, а именно Богу и Истине, к которым только подвёл её деликатно Лев Николаевич.

Год 1888-й продемонстрировал, что Толстой отнюдь не отвернулся от Божьего в пользу мирского. Его система консенсусов, уступок супруге и детям, уступок миру — были не последним убежищем духовного ренегата (что, конечно, полностью удовлетворило бы Софью Андреевну), а *привалом* уставшего путника на едином для всех нас пути — к Богу и Единению в Истине и в Любви. Следующий, 1889-й, год станет годом и творческого подъёма Льва Толстого-писателя и просветителя, и, одновременно, годом подъёма его духовных сил, выводящих его на новый этап борьбы с царством зверя — за Царство Божие на Земле. Его новые обличения, словами и поступками, мирских неправд, актуализируют лишь приугасшие, как затаившийся огонь, семейные конфликты и дрязги, которые найдут своё выражение и в переписке этого года, изложению и анализу которой мы посвятим следующий, Тридцать Второй Эпизод нашей замечательной книги.

КОНЕЦ ТРИДЦАТЬ ПЕРВОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Тридцать Второй.

НЕ СЛОЖИЛ ОРУЖИЯ

(Год 1889-й)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК

Можно лишь от всей души посочувствовать тем, кто сожалеет и в наши дни, вослед за Софьей Андреевной, что размышления и выводы Толстого середины 1870-начала 1880-х гг. о вере Христа не привели его к самому очевидно открывавшемуся ему поприщу мирного проповедника (не столько словом, сколько примером своей жизни), религиозного писателя-художника — не ортодоксального, но и не идущего на конфликт с церковниками, общественного благотворителя, педагога и семьянина… В неотмирном с юных лет Льве были задатки к тому, чтобы поворотить и на этот путь, но… повторим ещё раз сказанное выше: существенная доля вины за поворот Л. Н. Толстого к публичному участию, пусть преимущественно и *словом,* в «больших» религии и даже политике — лежит на самой его супруге на Софье Андреевне Толстой. Принятие веры Христа — очень сродни новому, и истинному рождению человека в мир. А за рождением следует период *возрастания,* развития: пусть и короткий (ибо развивает себя сознательно уже взрослый, зрелых лет муж), но имеющий то же свойство психоэмоциональной уязвимости, податливости негативным, развратительным влияниям, которое хорошо известно в наше время возрастным психологам, занимающимся детьми и подростками. Негативных же и травмирующих впечатлений Софья Толстая, озабоченная в 1880-х официальным образованием для чад и «культурным» досугом (театры, концерты, галереи, пассажи, балаганы…) для них и для себя — обеспечила Божьему Львёнку немеряно. Параллельно его мучали — непризнанием истины Бога и Христа, спорами, и самым своим образом жизни — его дети, особенно сыновья, оказавшиеся *в мирском смысле* и в городских условиях более «зрелыми», нежели он сам: более стяжательными до денег и удовольствий, приобретаемых деньгами, более похотливыми и хищными… Толстой страдал, калечился душевно, и утверждение с 1883 г. в жизни его и семейной мрачной, изначально двусмысленной и уже в середине 1880-х насторожившей Соничку фигуры В. Г. Черткова — пожалуй, признак уже совершившегося духовного «проседания», ущерба христианского сознания Льва Николаевича. Он надорвал себя не столько практиками трудовой жизни, не столько вегетарианством — сколько первыми попытками «докричаться» до

общественного сознания, выразить протест против травмирующих сцен городской жизни. Московский опыт изменил его видение и деревенской нищеты: границы яснополянской ойкумены были разорваны, и сердце Льва любило и болело за *весь* обманываемый и ограбляемый, эксплуатируемый трудовой народ. Близки же Толстому стали те, кто мог разделить с ним эту боль. И это не всегда были интеллигентные городские «народники» от искусства, а часто — духовные единомышленники во Христе, люди так же измочаленные и измученные, морально и физически, навязанными им условиями повседневности. Слабо образованные. Косноязычные в выражении мыслей. Непонятные. Нелюбезные с дамами — и часто не умеющие быть таковыми. Не комильфо. «Мрачные» — на языке известной Эллочки Людоедки из классического сочинения Ильфа и Петрова… или «тёмные» — на языке Софьи Андреевны Толстой. И опять Соня не находила ничего лучшего, как сетовать на это ближнее последствие навязанного ей новорождённому Льву-христианину образа жизни:

«После таких милых гостей, как m-me Helbig, Голохвастов и графиня Александра Андреевна <Толстая>, я ещё более стала тяготиться этими мрачными, недобрыми ко мне или скорее совершенно игнорирующими всю семью — разными ищущими истину — толстовцами. […] Я считала их посещения за трудную повинность ради известности и новых идей Льва Николаевича…» *(МЖ – 2. С. 41)*.

Придворная графиня А. А. Толстая, кстати сказать, вела себя неделикатно в отношении Льва Николаевича. Озабоченная его «погибелью души» из-за отступления от догматов и обрядоверия возлюбленной ею церкви, она во всякий визит стремилась непременно поговорить с двоюродным племянником, а всякий разговор обращала в «атаку» на его чистую христианскую веру. Весь дискурс, увы, всегда клонился к идейке о «необходимости» для Льва Николаевича раскаяться и вернуться, аки пся на блевоту, в «лоно» этой самой церкви.

Да, толстовцы (истинные, а не городские бездельники, желавшие только поспорить с Толстым) были серьёзны, слушая учителя… а приходили к нему — как больные к доктору: часто совершенно измученные, духовно нездоровые, действительно мрачные от переживаний. В лжехристианском мире на творцов безумий и зла постоянно взирают очи самой Природы, первозданного Божьего мира — взирают через животных, через праведников и через детей. Дети могут выразить ужас ощущаемой ими неправды, но не понимание и не осмысленное отторжение зла. Глазами толстовцев на семейство Толстых взирало именно *отторжение зла*. Это состояние сознания ещё далёкое от праведности, но — важный шаг к ней. Как же этим

взорам не быть строгими — «мрачными»? Да и самые молчаливость и строгость взоров не всегда свидетельствует о невозможности благодати и радости: лики на древних иконах тоже строги.

Л. Н. Толстой на хуторе Буткевичей в Русаново
(Одоевский уезд Тульской губернии).
Слева направо: А. В. Алёхин, П. Г. Хохлов, Л. Н. Толстой, С. И. Рощин, Е. Ф. Буткевич, А. С. Буткевич, Е. В. Буткевич, А. С. Буткевич.
Фотография Е. С. Томашевича. 1891 год

С самого переезда в Москву семейство тяготело к увеселениям — всем своим образом жизни. Но если Лев Николаевич, судя по записям его Дневника, находил радости в простом «мужицком» труде, в общении с сапожником, золотарём или кучером, то Соня с детьми — опять же судя по *её* дневнику и мемуарам — уже в 1882-м году страдала и тяготилась Москвой, её суетой, потребительством официальных и светских развлечений… и даже, иногда, семейными праздниками. Потому что настоящее несчастье — это именно установка на *неискание* Истины, на *кажущееся* отсутствие необходимости в ней, в *благе от искания* её. Потому что счастье не обманное в мире только одно: награда *сыну и работнику*, со-творцу великого Творца, имеющему свою *часть* в Божьем деле, в грядущем всемирном Царстве Его.

Жизнь в Москве и жизнь в тяжёлых отношениях с семьёй — вот что, а не злокозни Черткова (как полагает ряд современных авторов, таких, например, как Г. Л. Ореханов), подтолкнуло Льва Николаевича к активному участию в религиозной и политической жизни эпохи. Ещё Ф. М. Достоевский в ответ на вопрос М. А. Поливановой о том, может ли ненормальное положение вещей, ненормальное и тяжёлое отношение между хорошими людьми тянуться без конца, целыми годами до самой смерти и не найти разрешения, проницательно замечал в письме от 16 августа 1880 года:

«Двоиться человек вечно, конечно, может, но, уж конечно, будет при этом страдать. Если нет надежды на исход, на добрый всепримиряющий исход, то надо, по возможности не надрывая ничего, найти себе исход в какой-нибудь новой, посторонней деятельности, способной дать пищу духу, утолить его жажду» (http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/pisma-dostoevskogo/dostoevskij-m-polivanovoj-16-avgusta-1880.htm). Такой исход и подсказала Толстому московская жизнь и его гости и знакомые — не одни толстовцы!

К несчастью, не все и из толстовцев были достаточно зрелы — по уму, летам и характеру — чтобы смиренно учиться, не придираясь к личной жизни учителя. Биографы свидетельствуют, что в зиму 1888-89 гг. некоторые из них, самые радикальные, вызывали Толстого на споры по поводу семейной его жизни, так или иначе вертящиеся вокруг евангельского постулата: «Враги человеку близкие его» *(Опульская Л.Д. Материалы... 1886 – 1892. С. 147 – 148)*. Но чем больше они настраивали учителя “рубить по живому” Гордиев узел семейных противоречий: отречься от собственности, уйти из семьи — тем более Лев Николаевич убеждался в справедливости своей изначальной установки: «ближние», то есть люди, с которыми *сейчас* свела тебя судьба, это, *в том числе* и люди родственно близкие, члены семьи, и именно с ними, и даже *прежде всего* с ними, нужно сохранить хорошие отношения — пусть и в ущерб своему душевному покою. Начав, после большого перерыва, вести Дневник, среди первых же записей, под 23 ноября 1888 г., Толстой фиксирует и такую мысль:

«С женой тяжёлые отношения, распутать которые может только смиренная жизнь, как узел только покорное следование всем клубком за ниткой» *(50, 4)*.

Сложной системой консенсусов, уступок семье и окружающей действительности Толстой вырвал у судьбы необходимую передышку. Но радости о ней мы находим больше в Сонином дневнике 1887 года, цитированном нами выше, нежели в мемуарах, писанных через 20-ть лет — тогда, когда Соня уже знала, помнила, что **воин не сложил оружия**, и за привалом у старого артиллерийского офицера были новые и новые бои… Не с людьми и не с общественными институтами, а со злом и обманом в устройстве общей жизни. В той степени, в какой с этими обманами и злом ошибочно, а зачастую и сознательно, небескорыстно, соединяли себя люди — доставалось трёпки и им. Но это не было нарушением Толстым христианского закона непротивления: скорее, это была невозможность даже для опытного артиллериста *не* задеть «выстрелами» своей критики тех, кто не только не помогает ему, но и не бережётся, а хватается в

повседневной жизни за то, что должно быть уничтожено торжеством христианского религиозного понимания жизни.

Понять солдата лучше всего может другой солдат. Современный нам исследователь, полковник Рик Мак-Пик, преподаватель в военной академии Вест-Пойнт (США), в своём очерке рассуждает о Толстом и его христианском «походе» так:

«Его философия войны и мира не оставляет камня на камне от традиционных критериев успеха в вооружённом конфликте, в том числе таких, как патриотизм, героизм и победа [...]. В универсальной системе координат, предложенной им [...], когда люди выбирают насилие для решения какой-либо проблемы, проигрывают все, живущие на земном шаре. Для Толстого настоящая битва происходит *в духовной сфере*. Поэтому единственная приемлемая стратегия для *духовного воина* – это отказ брать в руки оружие, а истинная мера победы – количество душ, спасённых от насильственной смерти. <Добавим от себя: и от **рабства** у мирских установок. – *Р. А.*> Стоит ли удивляться, что редкие нации и индивидуумы откликнулись на громкий призыв к миру этого *великого воина*» *(Мак-Пик, Р. Толстой: боец за мир // Лев Толстой и мировая литература: Материалы 5-й Международной научной конференции, проходившей в Ясной Поляне 12-16 августа 2007 г. Тула, 2008. С. 39 – 45. Выделение наше. – Р. А.)*.

В 1888-м Толстой долго не желал возвращаться в Москву. В деревне же он, как сетует Софья Андреевна в письме к сестре, «упорно вегетарьянствует, пашет, ведёт самую вредную жизнь... Никогда Лёвочка не был так крайне упрям и упорен в своих безумствах, как нынешний год» *(Цит. по: Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества Л.Н. Толстого. 1828 – 1890. М., 1958. С. 695)*. Летом он, с помощью преданных и любящих дочерей, строит многодетной вдове Анисье Копыловой новую избу (весьма, кстати сказать, русско-патриотическую: из глины и палок), а верный друг художник Ге мастерски кладёт в новой избе печь (*это* можете повторить, современные городские «культурные» дармоеды?). Семья уехала 20-го октября, Толстой же остался ещё на несколько дней... для духовной подготовки и для завершения своих дел. Приехав же в Москву, он снова ведёт ту трудовую жизнь, с которой начал своё городское мученичество: шьёт обувь (в том числе дочерям, что говорит о некотором опыте и мастерстве), таскает на себе воду и дрова... Дневник с 23 ноября 1888-го и весь 1889-й год он ведёт достаточно подробно. К сожалению, воссоздание по записям этого времени биографии творческого и духовного подъёма Толстого в этот период требует, по количеству ма-

териала, отдельного исследования. Ещё Л. Д. Опульская в своей прекрасной, но, к несчастью, закрытой от массового читателя научной биографии Толстого выделила ряд ключевых мотивов и идей, явившихся в Дневнике совсем юного (как христианин), но уже измученного «добрыми» соотечественниками пророка и исповедника:

«Рядом с записями о юродстве, как самом желанном душевном состоянии, в дневнике конца 1888 – начала 1889 г. звучат грозные обличительные ноты, назревает неотвратимая потребность высказать всем людям передуманное и пережитое. “Да, надо записывать две вещи, — отмечено в дневнике 20 декабря. — 1) Весь ужас настоящего, 2) Признаки сознания этого ужаса”; “Надо, надо писать и воззвание и роман, т.е. высказывать свои мысли, отдаваясь течению жизни” (12 февраля 1889 г.); “Всё сильнее потребность обличения” (19 февраля); “Не могу больше молчать. Я должен сказать то, что знаю, то, что жжёт моё сердце” (20 февраля)» *(Опульская Л.Д. Материалы… 1886 — 1892. С. 149)*.

Такая установка, как мы видим, не означала отказа от художественного творчества. «Обличительный» роман («Воскресение») явится у Толстого ещё не скоро, но на пути к нему, помимо *ряда* воззваний (первое — как раз в 1889-м году) и других публицистических выступлений в печати, Толстой подарит миру и гениальные художественные произведения.

Но журналистика, мысль публицистическая, печатное слово как средство христианской проповеди — уже никогда не забывались Толстым. Читая в первые январские дни 1889 г. полюбившийся ему американский спиритуалистический журнал «Передовая мысль мира», он решил для себя и записал 4 января в Дневник: «Кажется, уяснил себе, что должен я написать “пришествие Царствия <Божия>”» *(50, 20)*.

Обратим здесь же внимание и на такую запись в Дневнике Льва Николаевича — отдалённого от нас пока 1907 года:

«В первый раз живо почувствовал всю несоизмеримость своей духовной, божественной, безвременной жизни и всех видимых мне интересов этой жизни. Написать, не говорю уже: драму, воззвание, но ясно изложить учение истины — всё это так ничтожно в сравнении с внутренней, духовной жизнью с её неизбежным выражением в этой жизни, хотя и в недоступной мне форме, что невольно всю энергию жизни переносишь на освобождение духовной сущности и сознание и потому и невольное проявление её» *(56, 79 – 80)*.

Не следует буквально доверять толстовским признаниям в Дневнике о *первом разе* того или иного интеллектуального прозрения или

духовного опыта. Многое забывалось из прежних лет — и переживалось снова, *как* в первый раз. Но правдой остаётся то, что *этот*, обозначенный Толстым в записи 22 ноября 1907 г., путь индивидуального духовного самостроения, а не общественной или даже писательской, публицистической творческой активности — был для Толстого главным и искренне самым ценным. Городская жизнь отвлекала его, соблазняла — и сманила на иной путь, обличающей проповеди и иных вмешательств в общественную жизнь, более полезной для других, для общества, даже для человечества, но тяжёлой, временами мучительной для самого Льва Николаевича.

В дальнейшем мы будем возвращаться к некоторым записям толстовского Дневника — уже при анализе содержания переписки супругов Толстых 1889 года.

Внешняя, творческая биография Льва Николаевича характеризуется до марта 1889 г. преимущественно обдумыванием новых проектов и публикациями старых. Увы! буржуазно-православная Россия взяла уже в то время за правило запрещать новые сочинения Толстого. О запрете весной 1888 г. трактата «О жизни» мы уже упоминали выше. Самому Толстому удалось прочесть его в печатном виде впервые лишь во французском переводе, выполненном Софьей Андреевной. Летом под запрет был отправлен — с некоторой, как можно заметить, задержкой — толстовский «Календарь с пословицами на 1887 г.». Ряд народных рассказов Толстого был тогда же запрещён к переизданию в дешёвых — как раз для народа — книжечках «Посредника». Эта тенденция повальных запретов распространится и на сочинения Толстого последующих лет… Не в последнюю очередь по этой причине Толстой не окончил ряд своих творческих замыслов, список которых, сделанный им на отдельном листке 30 сентября 1888 г., сохранился *(см. 50, 199)*. В списке, конечно, была и комедия «Исхитрилась» (буд. «Плоды просвещения»), которую Толстой очень желал завершить, и «Крейцерова соната» (в тот день Толстой употребил это название впервые!), но был, к примеру, и «Призыв к исполнению закона Христа». Сочинения с таким названием Толстой не писал, но именно такой призыв выразился в ряде его религиозно-публицистических сочинений последующих лет.

Уже в 1891 г., обдумывая роман «Воскресение», Толстой так резюмировал в Дневнике, в записи под 26 января, умопостигаемую диалектику своей писательской работы с конца 1870-х до конца 1880-х годов: «С “Анны Карениной”, кажется, больше 10 лет я расчленял, разделял, анализировал; теперь я знаю, что́, что́ и могу всё смешать

опять и работать в этом смешанном» (52, 6). Действительно, и «Холстомер», и «Крейцерова соната», и «Смерть Ивана Ильича», и «Власть тьмы», и «Плоды просвещения» — хотя и не связаны сюжетно или тематически, но связаны общностью сюжетного задания: критический анализ различных сторон современной писателю жизни.

После пассивного в писательском отношении 1888-го года 1889-й поражает творческим напряжением и продуктивностью. Закончены грозные для отношений Толстого с женой в последующие годы повести «Крейцерова соната» и «Дьявол». Дописана пьеса «Плоды просвещения». Начат цикл глубочайших статей по вопросам эстетики и искусства — венцом которого станет уже в 1897 г. революционный по высказанным в нём идеям трактат «Что такое искусство?»

Своего рода «цензура» распространилась к концу 1888 г. и на общественный активизм Льва Николаевича. В конце ноября 1888 г. Толстой подал заявление о допущении его к преподаванию в вечернем Петровско-хамовническом училище. Конечно, училищный совет категорически отказал ему. Впрочем, Толстой и сам довольно скептически отнёсся к увиденным им картинам применения казённых методов обучения *(Опульская Л.Д. Указ. соч. С. 145)*.

Между тем для множества людей разных лет и общественных положений, и уже далеко за пределами России — он сделался, вряд ли сам того желая, именно Учителем, духовным авторитетом. Беседовать с ним, и не только письменно, но и лично, как гости семьи, желали самые разнообразные иностранцы. Ещё в мае 1888-го в Ясной Поляне его навестил английский журналист Уильям Томас Стэд (памятный своим стоическим принятием смерти в 1912 г. на «Титанике»), изложивший свои разговоры с писателем в книге «Правда о России».

Заочно — через публикацию в журнале — Толстой продолжил знакомство с Джорджем Кеннаном (1845 – 1924), начатое его посещением Ясной Поляны в июне 1886 г. Американский публицист и путешественник, с 1865 г. посещавший Россию, подготовил в то время по заданию американского журнала «Century» серию очерков о Петропавловской тюремной крепости и о ссылке неугодных российскому правительству в Сибирь. 5 января в Дневнике Толстого появляется запись:

«Дома читал Кеннена и страшное негодование и ужас при чтении о Петропавловской крепости. Будь в деревне, чувство это родило бы плод; здесь в городе […] папиросы, юбилеи, сборники, обеды с вином и при этом по призванию философская болтовня» *(50, 20)*.

Впоследствии материалы очерков Дж. Кеннана Лев Николаевич использовал в романе «Воскресение» и в повести «Божеское и человеческое».

Драгоценным для Толстого гостем стал посетивший его 12 января 1899 г. севастопольский сослуживец, Андрей Иванович Ершов (1834 - 1907). Ершов попросил Льва Николаевича написать предисловие к переизданию давних его мемуаров — «Севастопольские воспоминания артиллерийского офицера» (1857). Толстой выполнил эту работу, но в готовом Предисловии, конечно же, выразилось его христианское неприятие войны и военной службы — и, опасаясь цензурного запрета и сожжения всего тиража на костре, издатель Суворин не включил его в состав книги Ершова. Опыт, однако, не был напрасен для Толстого: мысли, вызванные чтением книги Ершова, мы находим на страницах антивоенных писаний Льва Николаевича 1890-х гг. и его трактата «Царство Божие внутри вас».

Наконец, совершенно бесценным — пока заочным, через чтение — было знакомство Л.Н. Толстого в начале 1889 г. с молодым А.П. Чеховым (его ранними рассказами, один из которых, «Беглец», сразу был высоко отмечен Львом Николаевичем и включён впоследствии в «Круг чтения»).

* * * * *

Теперь попытаемся сделать всегда очень, а временами до невозможности трудное: заглянем в душу женщины. О физическом и душевном состоянии Софьи Андреевны в тот же период: с лета 1888 по март 1889 гг. нам поведают традиционно странички её мемуаров «Моя жизнь».

Изначально, уже для юной Сони, беременность и ожидание родов были неумолимым стрессом моральным, а рождение и мучительное, болеющими грудями кормление младенцев, их всегдашние болезни — ещё и особенно тяжёлым страданием физическим. Это надо помнить, чтобы понимать, отчего не только месяцы второй половины 1888 и начала 1889 гг., но и воспоминания о них Софьи Андреевны, писанные только в 1908 году — окрашены цветами депрессии. «Всплывают» в воспоминаниях этих дней и старые Соничкины обиды и неправды — например, о «заброшенности» мужем её и детей, о совершенном неучастии его в воспитании детей и делах семейства (*МЖ – 2. С. 59 – 60, 67).* Это — только свидетельство продолжающегося *непонимания* членами семьи Толстого смысла необходи-

мых ему упражнений самоотречения от тех условий барской роскоши, с которыми он желал бы, да не мог в то же время совершенно порвать, чтобы не сделать больно *им* же!

Толстой только следовал открывшейся ему истине учения Христа: как мог, словом и поступком. Но жена, переживающая месяцы *им*, его грехом навязанного ей ужаса беременности, мучительных родов и кормления, лечения слабого, больного Ванечки — истасканными, нездоровыми нервами воспринимала всё, даже молчание его, как укор ей, как «гнёт вечного осуждения и отрицания» *(Там же)*.

«Летняя жизнь представляла для меня в то лето мало интереса и разнообразия. Я вся была поглощена уходом и кормлением слабенького, болезненного Ванички» *(Там же. С. 58)*. Осень же — означала переезд в родной город, ради издательского бизнеса и учёбы детей… переезд всё ещё необходимый, но нежеланный, не суливший ни покоя, ни здоровья, ни радостей. Сыновей — «в люди», дочерей — «в свет» и замуж… Будто «барьер» мирских установок отделял Соню от покоя и свободы, от любовной жизни в Боге — от возможности *понимать* мужа, звавшего её к такой жизни. Как образец такого призыва, которому, как ей казалось, у неё не было умения и сил последовать, цитирует Софья Андреевна такую запись из Дневника мужа под 27 ноября 1888 г.:

«Задача всех нас одна: из своего положения богатства, больших требований и отсутствия полезного труда для людей, выучиться жить с меньшими требованиями и не желать больших и выучиться делу наверно полезному людям. И к этому надо спускаться понемногу, т. е. по мере достижения того и другого» *(50, 6)*.

Пойти в этом за мужем и отцом, действительно, было для семьи субъективно невозможно: это значило порвать с привычками прежней жизни и мнениями о тебе окружающих, отказаться от потакания соблазну «жить не по *своей* совести; от желания делать перед людьми, а не перед Богом» *(Там же)*.

Нежеланной для обоих супругов «головной болью» стало сватовство одного из близких единомышленников и товарищей по издательскому делу «Посредника», Павла Ивановича Бирюкова, к дочери Толстого, и тоже самой близкой ему из детей, Марии Львовне. К их ужасу, дочь ответила давнему другу отца встречной симпатией. Но как ни близок был Бирюков — с христиански верующей и трудолюбивой дочерью отца связывали неизмеримо драгоценнейшие для него отношения. А дочь должна была, выйдя замуж, уйти из родительской семьи… Мать же, Софья Андреевна, решительно, даже с ненавистью к Бирюкову, старалась расстроить лишь намечавшийся союз, так как «видела, что Маша *не любит* Бирюкова, а только хочет

сойтись с ним на единомыслии и на проповеди Льва Николаевича, которую они вместо намеревались провести в жизнь» *(МЖ – 2. С. 72)*. По счастью, уже тогда у Павла Ивановича установились пока не близкие отношения с его тёзкой, Пашей Шараповой, которая тайно любила и ревновала его к Маше и впоследствии стала на всю жизнь единственной любящей и любимой его женой.

Павел Иванович и Павла Николаевна Бирюковы с дочерью Ольгой.
Начало 1900-х гг. Женева

Новогодие запомнилось Софье Андреевне вереницей более приятных для неё, нежели толстовцы, гостей: в московский дом в эти дни заглянули на праздничный огонёк «разные умные люди: профессора Лопатин, Грот, Стороженко и Янжул, писатель <Григорий> Мачтет и другие». С экономистом Янжулом Софья Андреевна с удовольствием обсудила близкую ей тему: о нищете русского народа и невозможности развития для России, потому что «русские — грабители, хищники и этим враги сами себе» *(МЖ – 2. С. 75)*.

Творческий 50-тилетний юбилей старого друга семьи А. А. Фета и очередная болезнь маленького Ванички — ещё два зимних значительных события, выявивших неустранимую рознь в жизнепонимании супругов. Ребёнок тогда выздоровел и прожил ещё 6 лет, но Соне запомнилось об этих днях, как «Лев Николаевич ни разу не показал даже своего участия; он красиво выразился в дневнике, думая, что Ваничка умрёт: “обмакнулась душа в тело”, продолжал свою обычную жизнь и занятия, принимал посетителей, ходил к разным *своим* знакомым и сердился на меня очень часто. Особенно его сердило участие моё в юбилее Фета, венок, который стоил 30 рублей, и он говорил, что я взяла на себя дело юбилея не только пустое, но и дурное. […] А мне почему-то не было гадко, а я рада была, что доставила, может быть, последнее удовольствие поэту-старцу. Жизнь так

трудна, сера и сложна, что хорошо, когда вспыхнет в ней иногда если не солнечный свет, то хоть маленькая звёздочка!» *(МЖ – 2. С. 80, 83)*.

Здесь трудно не согласиться с позицией Софьи Андреевны — как, на первый взгляд, кажется она совершенно правой и в религиозном споре с мужем, случившемся 20 января. У Толстого под этим днём в Дневнике — слишком краткая, оставляющая многое неясным, запись: «Разговор с женой. Она сказала, что принципы и нет сердца. И у Христа нет? Я сказал: не говори глупости» *(50, 25)*. Пояснения Софьи Андреевны в мемуарах позволяют заключить, что сказанное ею мужу было отнюдь не «глупости», и, с позиций *её* понимания жизни и места в ней религии — было совершенно справедливо:

«Моя мысль была такова, что не нужно выдумывать и ставить себе принципы, а надо так воспитать своё внутреннее чувство познания того, что хорошо и что дурно, чтобы в каждый момент жизни им руководиться. Говорила, что если нет у человека сердца, то никакие принципы не помогут. Лев Николаевич меня спросил: “И у Христа нет? Не говори глупостей”. А я про Христа ничего и не говорила» *(МЖ – 2. С. 80)*.

Хотя заметно, что Софья Андреевна запамятовала к 1908 г. всю свою аргументацию, и под конец лишь повторяет то, что прочла в Дневнике мужа — мы поверим ей в том, что про Христа она, действительно, ничего не говорила. Не к выгоде и не к успеху в споре было б ей говорить о Христе… И вот почему. В первую очередь обратим внимание читателя на то, что спор этот мужа и жены — именно о *месте и значении религии* в жизни каждого индивида, а значит и всего буржуазного общества. Должно ли общество воспитывать новые поколения на вечных религиозных принципах, или достаточно пресловутых светских гуманизма и этики — опирающихся на текущую ситуацию каждой конкретной эпохи и в каждой конкретной социокультурной общности людей, да ещё на личный, субъективный опыт индивида в *познании* добра и зла? Может ли, в таком случае, явиться в мир мечтавшаяся Толстым единая для всего человечества религия — руководитель помыслов и поступков *всех* людей?

Какое же место и значение в жизни индивида, семьи, общества должна занять религия — по соображению Софьи Андреевны? Чтобы понять это, давайте сравним изложенное ею в мемуарах, вышеприведённое нами, суждение — с другим, из её же дневника. В записях от 4 февраля 1899 г. Софья Андреевна ворчит на долгие прения мужа с явившимися в гости сектантами-молоканами, и вдруг выдаёт такое вот «откровение»:

«Не понимаю религиозных разговоров; они нарушают моё высокое, не выразимое никакими словами отношение к Богу. Как нет определённого понятия о вечности, о беспредельности, о будущей жизни, — этого не расскажешь никакими словами, так нет и слов для выражения моего отношения, моих чувств к отвлечённому, неопределимому, беспредельному божеству и вечной моей жизни в Боге. А церковь, а обряды, образа — *всё это мне не мешает*; это то, среди чего я с детства привычна вращаться, когда душа моя настроена к Богу…» *(ДСАТ - 1. С. 447 – 448. Выделение наше. – Р. А.)*.

Религия, которая *не мешает* — ни исповедальной, ни этической своей сторонами. Не нужно быть знатоком религиозных учений, чтобы понять, *откуда* это торчит. Папа девочки Сони, участвовавший в её религиозном воспитании, Андрей Берс — был обрусевшим немцем, воспитанным, в свою очередь, в преданиях немецкого *протестантизма*, в числе главнейших постулатов которого со времён Мартина Лютера были как раз — вера и церковь, не только «не мешающие», а даже отвечающие сложившемуся буржуазно-капиталистическому строю, его образу жизни и нравам. Вместо дорогих и навязчивых своим «сервисом» католических храмов и богослужений — буржуазному миру предпочтительней немудрёные молельные заведения, куда, где-нибудь между сортиром и пивной, можно забежать по потребности — разумеется, духовной («когда душа моя настроена к Богу…»). А вместо авторитетных и незыблемых этических принципов веры, восходящих к евангелиям и жёстко, недвусмысленно осуждающих стяжательство, обжорство, милитаризм и пр. — некое «внутреннее чувство», априори безошибочное. «Бог с нами» — и нашим императором (начальником, императором, патриархом, президентом…). Понимай созданную для тебя ситуацию — и подчиняйся без ропота обстоятельствам и авторитетам: тому, что они внушили тебе с детства (это самое, воспитанное, «чувство познания») и тому, что скомандуют теперь… «Gott mit uns!». Через Византийскую империю, с её издевательской, грубой пародией на христианство, этот лозунг солдат Древнего Рима вернулся в Европу — чтобы стать в Новое время девизом шведской и прусской военщины, а в Новейшее — быть выбитым на ременных пряжках военщины германских Рейхсвера и Вермахта. Но этико-философский «фундамент» этого краткого лозунга — как видим, весьма древний, и мотив его всегда один: стремление буржуазных обществ не жизнь свою и общества устроить на незыблемых принципах веры, на Истине Божьего Откровения, а, напротив, веру “подогнать” по жизни. То, что нельзя уже исказить — нужно “обезвредить” иначе, загнав на

“задворки” повседневной жизни, сделав как бы “независимым” («отвлечённым, неопределимым, беспредельным» — по Софье Толстой) от творимых в ней глупостей и гадостей. Религия мира, в котором спасительней, надёжней кажется тугость набитого бумажника, нежели аскетическая худоба святых на древних иконах; привычней и приятней свет в оконце банка или пивной — нежели свет в церковном окне, свет от свечей у икон «богородицы» или «спаса». Идолопоклонство, как наследие прежних веков, делается обузой — но не заменяется качественно высшим, ближайшим к Богу и Истине Его исповеданием, а просто «облегчается» в обрядоверческих своих аспектах — в угоду эпохе и образу жизни пожадневших идолопоклонников.

Вероятно, в недоступном для наших земных жизней, хотя уже и не очень отдалённом и светлом будущем человечества, когда совершенно победит то религиозное жизнепонимание, которое было выражено в первоначальном учении Христа — людям, действительно, будет достаточно религиозного наследия предков и воспитателей для того, чтобы «в каждый момент жизни» безошибочно выбирать между добром и злом. Но в современной нам жизни этот выбор, в реальности и чаще всего — выбор между эмпирическим познанным злом и *кажущимся* добром, не различаемым, в своих основах, от покоя, сытости, безопасности и прочих благ *животной* жизни, от угождения её семейным, военным, политическим вожакам и иным авторитетам. Без религиозного руководства и такой, утилитарный, и более отвлечённый, нравственный выбор — в реальности приводят массы людей изуверившегося, *лже*христианского мира всё в новое рабство в плену мирских соблазнов и обманов.

КОНЕЦ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ОЧЕРКА

Фрагмент Первый.
СПАССКОЕ, КОТОРОЕ НЕ СПАСАЕТ
(22 марта – 8 апреля 1889 г.)

«**В**есь почти февраль и всё начало марта Лев Николаевич беспрестанно заболевал своей хронической болезнью печени. И колебания в здоровье производили и колебанья в расположении духа, что бывало иногда очень тяжело» (*МЖ – 2. С. 85)*. По этой, указанной в мемуарах, причине, Софья Андреевна отнеслась сочувственно к реше-

нию Толстого покинуть на несколько дней Москву и побывать в гостях — на этот раз у старого севастопольского товарища, князя Сергея Семёновича Урусова (1827 – 1897) в его именье Спасское.

Кн. С. С. Урусов

Для Толстого эта поездка имела, независимо от состояния здоровья, ещё и иное значение — творческого уединения: впрочем, всегда достаточно относительного, т.к. писатель не упускал возможностей приобретения как новых впечатлений, так и знакомств. 22 марта он писал другу-художнику Н. Н. Ге: «Сейчас с Пошей <П. И. Бирюковым> едем, он в Кострому, я в уединение к Урусову, недели на две» *(64, 239)*.

Спасское С.С. Урусова располагалось в Дмитровском уезде Московской губ., неподалёку от Троице-Сергиевского посада. По железной дороге ехать надо было до станции Хотьково Северной ж. д. О дороге и о первых днях в Спасском расскажет уже сам Лев Николаевич — в письмах своих жене. Вот первое из них, «открытое» (т.е. открытка), уже из Спасского, писанное поздним вечером 22 марта:

«Мы решили, распросив про Спаское, слезть в Хатькове и, наняв за 1.50 к. лошадку, доехали в 9-ом часу к Сергею Семёновичу по прекрасной зимней дороге. Только кое где просовы. Князь только лёг спать, но, несмотря на то, принял нас очень радостно. Напились чаю и ложимся спать. 11 ч. *Л. Т.*» *(84, 50)*.

На следующий день Толстой не пишет письма; вместо него, с его позволения и ведома, пишет Софье Андреевне сам кн. Сергей Урусов. В письме его между прочим были такие строки:

«Высокоуважаемая, неоценённая, прекрасная, чудесная и размилая графиня! Благодарю, благодарю, очень, очень благодарю. Оживил меня Л. Н. и порадовал П<авел> И<ванович>, за Машу особливо порадовал, целую её и поздравляю вдвойне. Поверьте, что будет с ним счастлива. Жаль только, что откладывают. Вы знаете, что свадьбы устрояются на небесах, а потому и вы и все должны порадоваться» *(Цит. по: ПСТ. С. 429)*.

Неделикатный и неуклюжий медведь. В нескольких строках — наивно попытался, да не сумел прикрыть комплиментами своё дерзкое, явно с подачи Бирюкова, вмешательство в жизнь семьи и малознакомых ему людей — «защитив» брак, так или иначе нежеланный для обоих родителей и опасный последствиями для дочери.

Софья Андреевна ответила 24-го на оба послания — письмо от Урусова и открытку от мужа — следующим, сдержанно-раздражённым, письмом:

«Очень рада была получить известие о тебе и от тебя, милый Лёвочка. Я уверена, что тебе будет очень хорошо у князя, и теперь, когда я знаю, что ты на месте и что тебе рады, — я совершенно успокоилась и радуюсь твоему уединению и спокойствию. Меня тронуло даже письмо князя, так он тебе рад и сочувствует Маше и Павлу Ивановичу. Может быть, это всё будет хорошо; но не так *мы* любили и любим до сих пор. Когда уехали вы, Маша не только не была огорчена или озабочена Пошей, но, казалось, ещё веселее и счастливее, чем когда-либо. Может быть так и лучше. Для неё — несомненно.

Получили мы и из Пирогова <от Маши> известие, что доехали благополучно. А как холодно было в то утро, когда они туда приехали! И теперь морозит, я сегодня в шубе выезжала. — Вчера мы вечером: Таня, Лёва, Леночка и я сидели очень семейно и обсуждали Машину свадьбу, и все были в недоуменьи, и все одинаково решили, что мы её *не* понимаем, но что-то не то, не так любят. Вообще мы давно так дружелюбно не разговаривали, ведь мы редко бываем одни. По правде сказать, *единственная* выгода твоего отсутствия, — это, что мы избавлены видеть и принимать такое множество чуждых и часто не приятных людей, с которыми и скучно, и страшно фальшиво, и из-за которых тебя нет.

Какие-то тёмные звонили вчера, и я велела всем говорить, что ты совсем уехал в деревню и не вернёшься. — Таня ушла сегодня к Мамоновым, там Орлова, Щербатова, Самарина и другие, — и чтение. Лёва взял два рубля и ушёл искать куда их поместить. Третьего дня он попал на обсерваторию Швабе <в магазине оптики на Кузнецком

мосту. – *Р. А.*> и был очень доволен; видел луну, звёзды, и астроном толковал.

На верху сидят Леночка и Марья Петровна. Малыши спят, все здоровы, Ваничка покашливает, у Андрюши горло слегка красно, но это всё ничего.

Надеюсь, что ты будешь писать мне не редко, и что ты перестал на меня досадовать, что я за тебя вечно беспокоюсь, и что до сих пор мне расставаться с тобой и тяжело, и жутко, и грустно. Целую тебя, кланяюсь Павлу Ивановичу, а князю напишу отдельно ответ на его милое письмо. От Серёжи было письмо, всё пропитанное «Нибелунгами». *С. Т.*» *(Там же. С. 428 - 429).*

Дьявол не дремлет и показывает себя — при любом дерзновении исповедника и пророка. Только лишь Толстой, во многом ещё на уровне “сырых” осмыслений, начал формирование своей знаменитой эстетической концепции «красоты как венца добра», а на её основе — концепции истинного, христианского искусства, до завершения которой ему предстояло работать ещё полных восемь лет, — как явился в культурно-досуговой жизни его жены и детей едва ли не самый увлекательный и соблазнительный образчик искусства *чуждого* Толстому, далёкого и от эстетических, и от этических его христианских идеалов. Это были оперы Вагнера, привезённые в Москву труппой пражского предпринимателя Неймана. Сергей Львович, старший сын писателя, живший тогда в Петербурге, посетил постановку «Кольца Нибелунгов» в Мариинском театре — и своими восторгами перед языческим гением Вагнера, конечно, быстро заразил и маму, Софью Андреевну. Вагнер в дальнейшем «всплывёт» не раз в мемуарах и дневнике С. А. Толстой — в эпизодах, так или иначе связанных с идейными разногласиями супругов, уже принявшими к середине 1880-х, как мы показали выше, не просто жёстко-принципиальный, а «концептуальный» и тем более непримиримый характер.

О приведённом нами выше письме жены Толстой сделал под 26 марта в Дневнике такую запись: «Получил письмо от Сони раздражённое на тёмных людей и Машу. Хотел огорчиться, но можно побороть» *(50, 57).*

Продолжение рассказа Л.Н. Толстого о первых днях в Спасском — в его письме от 24-го:

«Живу я здесь пока превосходно. Вчера ходил много по окрестным деревням, но ничего не писал, читал и беседовал с Урусовым и По-

шей. Поша уехал вчера вечером. Урусов очень мил дома с своим старым, богобоязненным и таким же как он барственным Герасимом <бывш. дворовый Урусовых, на пенсии. – *Р. А.*> и его сестрой. Встаёт он в 4 часа и пьёт чай и пишет своё какое-то мне непонятное математическое сочинение. Мне готовили чай к моему вставанью, 9, но я отказался впредь. Он обедает в 12 и чай, так что это сходится с моим завтраком, и ужинает с чаем в 6.

Ест он постное с рыбой и с маслом и очень озабочен о здоровой для меня пищи — яблоки мне каждый день пекут. Нынче пятница — завтра пошлют письмо, а я пишу тебе нынче. Я нынче утром немного занялся <чтением в «Русском Архиве» записок Н. Н. Муравьёва. – *Р. А.*>; потом слушал сочинение Урусова <трактат «Философия сознания веры». – *Р. А.*>. Как и все его писанья — есть новые мысли, но не доказанно и странно. Но он трогателен. Живёт, никаких раздоров ни с кем кругом себя, помогает многим и молится Богу. Например, перед обедом он ходит гулять взад и вперёд по тропинке перед домом. Я подошёл, было, к нему, но видел, что ему мешаю, и он признался мне, что он гуляя читает часы и псалмы. — Он очень постарел на мой взгляд.

Деревенская жизнь вокруг, как и везде в России, плачевная. Мнимая школа у священника с 4 мальчиками, а мальчики, более 30, соседних в $^1/_2$ версте деревень безграмотны. И не ходят, потому что поп не учит, а заставляет работать.

Мужики идут, 11 человек, откуда-то. Откуда? Гоняли к старшине об оброке, гонят к становому. Разговорился с одной старухой; она рассказала, что все, и из её дома, девки на фабрике, в 8-ми верстах <мануфактурная фабрика Л. Кнопа. – *Р. А.*> — как Урусов говорит, повальный разврат. В церкви сторож без носа. Кабак и трактир, великолепный дом с толстым мужиком. Везде и всё одно и то же грустное: заброшенность людей самим себе, без малейшей помощи от сильных, богатых и образованных. Напротив, какая-то безнадёжность в этом. Как будто предполагается, что всё устроено прекрасно и вмешиваться во всё это нельзя и не должно, и оскорбительно для кого-то и донкихотно. Всё устроено — и церковь, и школа, и государственное устройство, и промышленность, и увеселенья, и нам, высшим классам, только о себе следует заботиться. А оглянешься на себя, наши классы в ещё более плачевном состоянии, коснеем.

Хотел князю дать «О жизни». Если есть, пришли русскую, а нет, то французскую <т.е. отличный и любовно выполненный перевод Софьи Андреевны, которым Толстой хотел похвастать перед старым приятелем. – *Р. А.*>.

Целую тебя и всех детей.

Письма присылай. *Л. Т.*» *(Там же. С. 50-51).*

Здесь, в этом письме, чувствуется истинный Толстой-критик, художник и публицист. При этом именно конца 1880-х гг. критик: в его эволюции от общегуманистического и эстетического неприятия общественных зол — к неприятию и обличению именно с религиозных, христианских позиций. Для сравнения приведём довольно известный отрывок из письма молодого Л. Н. Толстого к троюродной тётке Александре Андреевне Толстой, 18 августа 1857 г.:

«В России скверно, скверно, скверно. В Петербурге, в Москве все что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в глуши тоже происходит патриархальное варварство, воровство и беззаконие. Поверите ли, что, приехав в Россию, я долго боролся с чувством отвращения к родине и теперь только начинаю привыкать ко всем ужасам, которые составляют вечную обстановку нашей жизни. Я знаю, что вы не одобрите этого, но что ж делать — большой друг Платон, но ещё больший друг правда, говорит пословица. Ежели бы вы видели, как я в одну неделю, как барыня на улице палкой била свою девку, как становой велел мне сказать, чтобы я прислал ему воз сена, иначе он не даст законного билета моему человеку, как в моих глазах чиновник избил до полусмерти 70-тилетнего больного старика за то, что чиновник зацепил за него, как мой бурмистр, желая услужить мне, наказал загулявшего садовника тем, что кроме побой послал его босого по жневью стеречь стадо, и радовался, что у садовника все ноги были в ранах, — вот, ежели бы это всё видели и пропасть другого, тогда бы вы поверили мне, что в России жизнь постоянный, вечный труд и борьба с своими чувствами. Благо, что есть спасенье — мир моральный, мир искусств, поэзии и привязанностей. Здесь никто, ни становой, ни бурмистр мне не мешают, сижу один, ветер воет, грязь, холод, а я скверно, тупыми пальцами разыгрываю Бетховена и проливаю слёзы умиленья, или читаю Илиаду, или сам выдумываю людей, женщин, живу с ними, мараю бумагу, или думаю, как теперь, о людях, которых люблю» *(60, 222).*

Несомненно, последние строки в этом отрывке оказались бы особенно близки Софье Андреевне — как 1880-х, так и позднейших лет. Мир увлечений, «мир искусств, поэзии и привязанностей» — был именно *её* мир, в который научили её бежать от серостей и забот повседневности сперва воспитатели детства, затем молодой муж, а ещё позднее, как мы видели, платонический её любовник, Леонид Дмитриевич Урусов. Рискнём здесь же предположить, что симпатии соничкины к Урусову увеличивались тем, что жил он «женатым без жены» — пожертвовав ей своими супружескими правами, позволив

той жить вне семьи, “в своё удовольствие” за границей, в бесконечном сладчайшем упоении красот и радостей материально обеспеченной, роскошной жизни. Легко понять, что для Сони, для москвички и дочери немца, именно такая жизнь — разреши её муж, Лев Толстой — была бы оптимальной альтернативой деревне, хозяйственным хлопотам и бесконечным «сиськам, с***о***скам и соск***а***м» всегда, с юных лет обременявшего её материнства. Свободою некоторых своих воззрений она далеко обгоняла свой век и совершенно входила в диссонанс с нравами гнусно-патриархальной, лжехристианской России — и нашла в милом Урусове, *её* Урусове, близкого себе единомышленника.

Беда в том, что этот *эстетический* барьер от ударов по чувствам картин окружающей действительности — Толстой уже к концу 1880-х в основном «разобрал по брёвнышку», сублимировав в образах своего художественного творчества. Христианскому же его неприятию ужасов и мерзостей повседневной жизни тогдашней буржуазно-капиталистической России имманентны были любовь и сочувствие не к *родственно близким*, не к друзьям, как было в том же 1857-м, а к *наиболее страдающим* людям, как правило из народа. Не этический ретретизм, не бегство *от* страдающих, а путь *к* ним. Неприятие же России Софьей Толстой, воспитанницей немца-протестанта — сохранило свои эстетические идеалы и ориентиры, этически выражаясь лишь в приемлемых для протестантской этики форматах: одобрением разнообразных благотворительных проектов «помощи» народу и участии в них, вместе с мужем и детьми. Совсем скоро, в 1891 г., осуждение Толстым такой «стратовой» позиции российских элит в статье «О голоде» приведёт к первой по-настоящему ожесточённой травле его в российской печати за пропаганду «разнузданного социализма». Это значит — Толстой попал «в яблочко»: в слабое и больное место позиции богатых городских «благотворителей народа», успокаивающей их совесть, но реально не уничтожающей ни нищеты, ни неравенства, ни унижения народа.

Удивительным образом строки из письма Льва Николаевича августа 1857 г. А. А. Толстой некоторые современные авторы преподносят как свидетельство «русофобии» молодого Льва Толстого. Обычно с этой целью к приведённому нами отрывку добавляют обманом слова: «Противна Россия. Просто её не люблю» — которые в Дневнике Толстого от 6 и 8 августа 1857 г. есть, но связаны именно с впечатлениями от нравов, от "власти тьмы" в государстве Российском *(см.: 47, 150)*, и которых в письме нет совершенно (пример такой лживой публикации в интернете: http://buggybugler.info/articles/lev_tolstoj_o_rossii-

3.html). Но Толстой, как мы видим, протестовал исключительно с гуманистических позиций — против жестокости и неустроенности жизни родины (т.е. родного края — в семантических категориях эпохи), не заявляя о “нелюбви” к России как таковой и в целом.

Молодой духовный воин, Толстой в критической картине, приведённой в письме 1857 г., гуманистически сближается с позицией старшего собрата, чтимого им всегда воина и патриота России, поэта Дениса Давыдова, выразившейся в сатире ещё 1836 г. «Современная песня» на “букашек”, городских и усадебных «просвещённых» паразитов на народной шее:

Был век бурный, дивный век,
Громкий, величавый;
Был огромный человек,
Расточитель славы:

То был век богатырей!
Но смешались шашки,
И полезли из щелей
Мошки да букашки.

Всякий маменькин сынок,
Всякий обирала,
Модных бредней дурачок,
Корчит либерала.

Деспотизма супостат,
Равенства оратор, –
Вздулся, слеп и бородат,
Гордый регистратор.

Томы Тьера и Рабо
Он на память знает
И, как ярый Мирабо,
Вольность прославляет.

А глядишь: наш Мирабо
Старого Гаврило
За измятое жабо
Хлещет в ус дав рыло.

А глядишь: наш Лафайёт,
Брут или Фабриций
Мужиков под пресс кладёт
Вместе с свекловицей…

И так далее. Но критика Толстого 1880 – 1890-х гг., Толстого-христианина показалась для фарисейской “общественности” буржуазной России много болезненней, нежели в 1830-х критика Дениса Давыдова — оставшаяся на уровне социальной и политической сатиры (ведущей свою традицию ещё из языческого мира, из Античности) и гуманистических деклараций. Увы! к воплям об «излишнем радикализме» именно *христианских* обличений Толстого присоединится и Софья Андреевна.

* * * * *

Оба первые письма Л. Н. Толстого, как и письмо от 23 марта кн. С. С. Урусова, долженствовали ободрить Софью Андреевну — известиями об успешном прибытии мужа, его «превосходной» жизни и занятиях. (О самочувствии Толстой не писал правды, чтобы не тревожить болевшую, как и он, жену: на самом деле боли в печени несколько раз в эти дни возвращались.) Но, конечно, на деле Соничке скорее подпортили настроение вышеприведённые нами строки из письма князя: Урусова *не её*, не Леонида Дмитриевича, давно умершего, а *чужого*, православного мистика и врага (как все узкие мистики) толстовской проповеди, но при этом *чужого* мужчины, неделикатно вмешавшегося в матримониальные дела семьи, заняв сторону легкомысленно увлечённого Марьей Львовной «Поши». Но ещё безнадёжней для неё были — эти красочные описания «власти тьмы», нищеты и «заброшенности» народа, свидетельствующие об искреннем сочувствии Льва Николаевича не ей и её с детьми жизни городской, суетливой, по-своему и тяжёлой, но вполне сытой и обеспеченной и светским, и элитарным религиозным просвещением, и всеми продуктами культуры, а — тяжёлой жизни народной, да притом довольно далеко от Ясной Поляны (т.е. даже не «своих» баб и мужиков). Это письмо говорило «нет» всем её надеждам на возвращение «её Лёвочки» — и в адрес не прежней бизнес-леди с некоторым запасом надежд и сил, а, на тот момент, несчастной, пережившей, как косвенное насилие мужа, нежеланные беременность и роды, тяжело переболевшей матери слабого, тоже часто болевшего, младенца. Надо, надо сочувствовать Соне и понимать её. Но надо понимать и то, что в изуверившемся мире конца XIX столетия, как и в языческом и еврейском мире за 1800 лет до того, для христианина *не было дороги назад*. «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» *(Лк. 11: 23)*.

Вот и ответное письмо Софьи Андреевны, из воскресного вечера 26 марта выразило понимание ей несбыточности её надежд «вернуть мужа семье»:

«Хотя руки отнимаются писать тебе, но не могу же я жить с тобой врозь и не иметь никаких отношений, — это было бы слишком грустно. А вместе с тем зачем и *что* писать? Сейчас играли на скрипке и фортепиано Мамоновы, Герасимовы, Леночка, была Голохвастова, — всему этому ты не сочувствуешь. Дети столярничали, ездили к Дьяковым и Северцовым, — ты не сочувствуешь; — столярничали для моциона, а не для хлеба насущного. Я принимала корректоров, типографщиков, шила детям одеяния, — и этому ты не сочувствуешь — первое деньги даст, второго, по-твоему, и так много лишнего.

Болит у меня страшно грудь, хуже, чем было вначале; вчера Ваничка сосёт, а по губам его из груди кровь струйкой. Что я мучаюсь при ранках, в которые вонзаются 12 маленьких, острых зубов, — это ты себе и представить не можешь. — Может быть, если у тебя за принципами осталось ещё немножко сердца прежнего, — то этому ты хоть немножко сочувствуешь.

А мне очень дорого знать, как ты устроил свою жизнь у князя, здоров ли ты, можешь ли работать, много ли ходишь, какую себе выдумал физическую работу, вообще я всему сочувствую, что до тебя касается, и только то меня всегда волнует, что тебе приносит явный вред, — физический и моральный. А таких элементов, к сожалению, стало очень много.

Напиши мне хорошее письмо, чтоб тебя почувствовать. Я тебе такого не напишу: кроме невыносимой боли физической, я эти дни встревожена письмами — доносами из Самары и Ясной о пьянстве, нечестности, беспорядках и тому подобных неприятностях на прикащиков. Вот уж чему и я *не* сочувствую, а вместе с тем все эти обращения ко мне делают меня как бы ответственной.

Лёва очень худ и не весел. Он старается подвинтить себя, — много ходит, пьёт молоко, но всё это плохо помогает. Как всегда на лето много надежд.

Прощай, милый Лёвочка, второй час ночи, пора ложиться. Целую тебя и кланяюсь князю и Павлу Иванычу, если он ещё не уехал.

С. Т.» (ПСТ. С. 429 - 430).

В письме можно почувствовать отзвуки проанализированного нами выше спора супругов 20 января — о христианских принципах,

опирающихся на букву и дух евангелий. Соничка всё-таки настаивает на ненужности и вреде их: ведь они служат помехой для общения мужа с женой, с человеком, которая им не следует и которая предпочитает им релятивистскую эрзац-моралистику, подстраивающуюся под общественные ситуации эпохи и даже личной жизни индивида.

К 25 марта относится краткое открытое письмо Л. Н. Толстого с просьбой прислать некоторые нужные ему для работы книги и материалы: ответ на письмо Ромена Роллана, вступившего ещё в апреле 1887 г. в переписку с Толстым по вопросу о христианском отношении к труду; книгу на английском Стэда «Правда о России», а также черновики текущих работ: пьесы «Плоды просвещения» и выступлений в печати против пьянства *(84, 52)*.

Меньшая в данном Фрагменте частотность эпистолярных писаний супругов немного облегчает нам диалоговую их презентацию, но, конечно, свидетельствует об охлаждении отношений Сони и Льва. Впрочем, Толстой в эти дни пишет не длинно, не менее часто, чем жена, и жалобы жены находят в его ответах от 27 и 29 марта сочувственный отклик именно любящего мужа. Приводим тексты этих писем в их хронологическом порядке.

Письмо от 27 марта 1889 г.:

«Нынче, вторник, оказия (т. е. завтра) в Троицу <в Сергиев-Посад. – *Р. А.*> и вот пишу. Князь меня выдал. <Урусов около 26 марта описал болезнь Толстого в письме к С. А. Толстой. – *Р. А.*> Я не скрывал, но не считал нужным писать, тебя тревожить, так как боль, хотя и сильная, продолжалась недолго. Урусов так старательно ухаживает за мной, и мы так хорошо живём, что лучше не надо. Получил твоё письмо <от 24 марта> и рад был узнать, что всё у нас здорово и благополучно; только грустно было слышать ноту раздражения в тебе на тёмных людей и на Машу. Если я ошибаюсь, то виноват.

Я хожу по окрестностям. Очень интересный край. Везде заводы, и в народе рядом и изобилие, и роскошь, и нищета от пьянства.

Завтра пойду во Владимирскую губернию, это за три версты отсюда. Урусова именье на границе. У Урусова вчера было неприятное ему событие — работник, даже два отказались. Я вздумал ему предложить выписать из Ясной. Я не знаю, как зовут — фамилию — Александра Яковлевича; попроси Таню написать ему, что я предлагаю желающим порядочным молодым мужикам в Ясной поступить сюда на работу дворника при доме за 60 рублей в год и проезд на счёт Князя — одному, а то и двум. Да ещё, чтобы она прислала мне

листков как печатных, так и литографированных, о пьянстве. Я здесь пропагандирую, до сих пор мало успешно.

Вчера я позанялся хорошо, но нынче был не в духе, и день прошёл даром. Теперь вечер, 10-й час, и мы после разговоров и пасьянса разошлись. Я встаю в 9 и засыпаю не рано. Читаю и иногда пишу. Но вчера писал вечером и от того долго не мог заснуть. Нынче не хочу этого делать. Здесь ещё полная зима, хотя скворцы прилетели.

То, что у вас тихо, очень хорошо для Лёвы и его экзаменов. Пользуется ли он этой тишиной? I hope, точно, что все здоровы и ничто тебя не мучает. Целую тебя и детей.

Л. Т.

Ур[усов] говорит, что если Лёва приедет (хотя я не думаю этого), то слезал бы в Хатькове.

Да, Таня, пришли Math. Arnold'a, в шкапу, в бумагу обёрнутую, переписанную. […]

Что Серёжа пишет о Нибелунгах? Андрюшу, Мишу, Сашу, Ваню поцелуй.

<Гувернёрам> M. Kate и Mr. Lambert поклоны» *(84, 52 - 53).*

С английским поэтом и философом, профессором Оксфордского университета Мэтью Арнольдом (1822 – 1888) Толстой пересёкся ещё в свою бытность в Лондоне в 1861 г. Впоследствии, познакомившись с сочинениями М. Арнольда «Литература и догма», «Задачи современной критики» и некоторыми другими — Толстой убедился в идейной близости религиозных воззрений английского мыслителя с собственными. В. Г. Чертков также высоко оценил труды Мэтью Арнольда, и переписанная для Толстого, труднодоступная тогда в России книга, которую просил прислать Толстой, была переписана именно ближайшим другом Льва Николаевича.

28 марта Софья Андреевна отвечала на это письмо и предшествующее ему, от 26 марта, следующим:

«Получили мы, к большой нашей радости, два письма от тебя, милый друг, — открытое и закрытое, — и одно от князя. Очень, очень ему благодарна за подробные и правдивые сведения о тебе и твоём состоянии. Какой он добрый человек и настоящий друг! Я всегда его

любила и считала, впрочем, таковым; но теперь моё мнение о нём ещё возвысилось и дружба усилилась.

Он писал мне, что ты был опять нездоров, но что нездоровье прошло. Надеюсь, что оно больше не повторялось, береги себя, ради Бога. Видно, что князь весь пропитан заботой о тебе и твоём здоровье и что ты в верных и дружеских руках, что меня утешает и успокоивает. Никогда я ещё так не была спокойна твоей отлучкой. Душой я всегда с тобой и, несмотря ни на какие наши разногласия, как только серьёзно взгляну внутрь себя, то вижу, до какой степени ты мне дорог, и как я высоко тебя ценю и люблю. — Впрочем не знаю, зачем и почему вырвалось у меня это признание, столь ненужное тебе.

У нас всё хорошо, только мои страданья при кормлении — ужасны. Всю грудь кроме того разнесло, горит, затвердело и грозит грудница, против которой приняла энергические меры: меркуриальная мазь, цикутный пластырь, бинт и проч. Трещины прижигаю ляписом и кладу лёд. Почему разыгралась в конце кормления вся эта история — понять нельзя. Ваничка здоров, и сегодня я его купаю после трёх месяцев. Господи благослови!

Лёва страшно занят, у них начались репетиции; Таня всё пишет портрет и играет на фортепиано. Леночка тоже играет. Малыши гуляют по лужам — все трое. От Маши нет писем и мы тревожимся; а, может быть, проезду нет.

[В] воскресенье был Юлий Иваныч <Лясотта, учитель Сергея и Льва. – *Р. А.*> со скрипкой, играли… Если б не грудь болела, было б очень приятно. — Сегодня Таня ходила к <В. И.> Сурикову; нашла его очень мрачным и изменившимся. Он ничего не работает, всё читает св. книги и тоскует. Говорит: «вот, как в горе, все меня забыли; никто никогда и не заглянет, всё один». Одну девочку отдал в гимназию, другая дома, Таня её видела.

К тебе из Америки два американца едут, нарочно, чтоб тебя видеть. Завтра будут у нас, не знаю, что Таня им скажет, и боимся, что они к вам с князем нагрянут, хотя постараемся отклонить.

Какое твоё письмо безнадёжное по взгляду на людей и на Россию! Но ты прав, совсем прав; ведь я не даром, хоть и полушутя, последнее время всё говорю: «Я больна своей нелюбовью ко всему русскому». А это не нелюбовь, а та [вырвано], глядя на всё окружающее [опять вырвано] ты всегда старательно обходил вопрос о семейных обязанностях; но право, если б не эти обязанности, которые я не выдумываю, а всем существом ощущаю, — я посвятила бы себя на служение благу, т. е. на то, чтоб, как ты говоришь, не игнорировать бы несчастья низших классов, а старалась бы помочь, насколько умела.

Но я не могу дать вырости негодяями и необразованными детям, данным мне Богом, во имя блага чуждых мне людей. Может быть к старости исполню свою заветную мечту.

Что ты работаешь? Не нужно ли будет переписать и держать корректуры; я охотно это сделаю, как велишь. Не скрывай, пожалуйста, если будешь нездоров и не делай безумных вещей в смысле простуды, непосильной работы и неудобоваримой пищи. Есть ли у тебя фланель?

Книги я просила Таню отобрать и послать, так как сама трудно двигаюсь. Она взялась.

Прощай, милый Лёвочка, целую тебя. Надеюсь и от тебя получить письмо, подгоняю своё к четвергу.

С. Т.» *(ПСТ. С. 431 - 432).*

Письмо повреждено и не до конца ясно в очень интересном для нас месте. Контекст письма позволяет предположить, что, по существу, Софья Андреевна повторяет в нём своё неприязненное высказывание о народе из дневника молодости, из записи, сделанной о муже ещё в год совершения брака, 23 ноября 1862 г.:

«Он мне гадок со своим народом. Я чувствую, что или я, т. е. я, пока представительница семьи, или народ с горячею любовью к нему Л. Это эгоизм. Пускай. [...] ...Я вдруг почувствовала, что он и я по разным сторонам, т. е. что его народ не может меня занимать *всю*, как его, а что его не может занимать *всего* я, как занимает меня он. Очень просто. А если я его не занимаю, если я кукла, если я только *жена*, а не *человек*, так я жить так не могу и не хочу» *(Толстая С.А. Дневники: В 2-х тт. М., 1978. – Т. 1. С. 43).*

Можно предположить, что и в письме 28 марта 1889 г. речь о «нелюбви» Софьи Андреевны к русскому народу, связанному не столько с некими атрибутами или сущностными характеристиками его, а, главным образом, с поведением мужа по отношению к народу и к ней с детьми. «Надрыв» ещё осени 1862 г. в отношениях молодых супругов из-за неполноты, по догадке Сони, взаимной «принадлежности» не был устранён: жена периодически и умело растравляла в себе прежнюю ревность свою мужа к «народу», давно принявшую формат жалоб на “равнодушие” Льва Николаевича к семье и к ней самой.

Эгоистические жалобы Sophie не могли не показаться Толстому не справедливыми и мелкими вечером 28 марта (когда он успел получить и прочитал приведённое нами выше письмо) — перед ужасом тех картин народной жизни, которые открылись ему буквально за

часы до того и которые он описал в Дневнике даже красочней и подробней, чем в письме к жене:

«После обеда пошёл в Новенькой завод с 3000 рабочих женщин, за 10 вёрст. [...] Пьяный дикий народ в трактире, 3000 женщин, вставая в 4 и сходя с работы в 8, и развращаясь, и сокращая жизнь, и уродуя своё поколение, бедствуют (среди соблазнов) в этом заводе для того, чтобы никому ненужный миткаль был дешев, и Кноп имел бы ещё деньги, когда он озабочен тем, что не знает куда деть те, которые есть. Устраивают управление, улучшают его. Для чего? Для того, чтобы эта гибель людей, и гибель в других видах, могли бы успешно и беспрепятственно продолжаться. Удивительно!» *(50, 30).*

Но даже зажиточным соседушкам-крестьянам нет дела до страдающих и гибнущих рядом наёмных рабов заводчика Кнопа, а только до своих дело хлопот и надуманных проблем — совсем как Софье Андреевне с семейством:

«Вернулся на санях, меня подвезли муж с женой из Спасского. Рассказывал про свою жизнь: 2 лошади, 3 коровы, чай каждый день, хлеб свой. И всё недовольны. Так же, как и в нашем быту» *(Там же).*

Слуге С. С. Урусова Толстой незадолго до этого разъяснил без труда то, от чего прежде не раз затворяли умы и сердца его домашние:

«Я объяснял Степану о фабрике. Миткаль обходится дёшево, потому что не считают людей, сколько портится и довеку не доживают. Если бы на почтовых станциях не считать, сколько лошадей попортится, тоже дёшева бы была езда. А положи людей в цену, хоть в лошадиную, и тогда увидишь, во что выйдет аршин миткалю» *(Там же. С. 57 - 58).*

Взглянув *так* на мучения народные и имея в себе веру Христа — надо выключить было совесть, чтобы стать «прежним»!

Американцев, упомянутых Софьей Андреевной в письме, оказалось даже не двое, а трое. Ими были В. Ньютон и Р. Керрил, пасторы «епископальной» церкви (американский ошмёток англиканства), а также некто Батчельдер Грин, малоизвестный писатель. Не застав Толстого в хамовническом доме, они, конечно, ринулись в Спасское. Об их визите 29 марта Софья Андреевна вспоминает следующее:

«...Три довольно пожилые американца очень огорчились, что не застали Льва Николаевича. [...] Они совершили это длинное путешествие из Америки с единственной целью повидать Толстого. Мне просто не верилось... Я очень боялась, что три лишних человека, да ещё иностранцы, стеснят князя в его одиночестве и будут стеснительны и Льву Николаевичу. Но отделаться я от них не могла и дала нужные сведения для их поездки. В деревне князя они пробыли без

ночёвки один день <30 марта>, с утра до вечера, — и уехали обратно в Америку. Это только американцы способны на такой подвиг!» *(МЖ – 2. С. 89 – 90)*.

Толстой встретил гостей 30 марта с удовольствием — но достаточно быстро разочаровался, во всех троих. В Дневнике, в записи под 30 марта, Толстой записал о них следующее:

«Два пастора, один litterary man [литератор]. Они бы издержали только доллар на покупку моих книг What to do и Life [«Так что же нам делать?» и «О жизни»], и только два дня на прочтение их и узнали бы меня, т. е. то, что есть во мне, много лучше. Пьют водку и курят. И не могу не жалеть» *(50, 59)*.

Два фарисея и книжник оказались малоинтерены Толстому. Только с Вильямом Ньютоном, самым ярким из троицы, нашлись у него общие темы для беседы — например, «о соединении церквей в практической деятельности» *(Там же)*.

На очереди — письмо Л. Н. Толстого от 29 марта, ответ на письма жены от 26 и 28-го:

«Вчера получил, милый друг, ещё более грустное от тебя письмо. Вижу, что ты физически и нравственно страдаешь, и болею за тебя: не могу быть радостен и спокоен, когда знаю, что тебе нехорошо. Как ни стараюсь подняться, а всё делается уныло и мрачно после такого письма. Ты перечисляешь всё, чему я не сочувствую, но забываешь одно, включающее всё остальное, чему не только не перестаю сочувствовать, но что составляет один из главных интересов моей жизни — это вся твоя жизнь, то, чему ты сочувствуешь, т. е. то, чем ты живёшь. И так как не могу смотреть иначе, как так, что главное есть духовная жизнь, то и не перестаю сочувствовать твоей духовной жизни, радуясь её проявлению, огорчаясь её упадку, и всегда не только надеюсь, но уверен, что она всё сильнее и сильнее проявится в тебе и избавит тебя от твоих страданий и даст то счастье, которому ты как будто иногда не веришь, но которое я постоянно испытываю, и тем сильнее, чем ближе приближаюсь к плотскому концу.

Если бы не мысль о том, что тебе дурно, мне было бы превосходно здесь. Урусов милейший hôte [*фр.* за хозяина]; я чувствую, что я ему не в тягость, и мне прекрасно. Встаю в 8, пишу, да пишу (кажется, очень плохо, но всё-таки пишу) до 12. Обедаем; потом я иду гулять. Вчера ходил за 10 вёрст на огромный, бывший Лепёшкинский, завод, где — помнишь — был бунт, который усмиряли Петя <Берс, брат

С. А. Толстой. – *Р. А.*> и <Василий Степанович> Перфильев <московский губернатор>. Там 3000 женщин уродуются и гибнут для того, чтоб были дешёвые ситцы и барыши Кнопу.

А нынче ходил за 3 версты в деревню Владимирской губернии. Дорога старым бором. Очень хорошо. Жаворонки прилетели, но снегу ещё очень много. Скворцы перед самой моей форточкой в скворешнице показывают всё своё искусство: и по иволгиному, и по перепелиному, и карастелиному, и даже по лягушечьему, а по-своему не могут. Я говорю професора, но милей професоров.

Целую очень тебя и также очень *всех* детей. Спасибо Тане за открытое письмо <26 марта>. Я не откажусь и от закрытого. Не унывай, Таня. Князь велит кланяться. Пожалуйста, пиши чаще, бывают оказии и сверх положенных дней» *(Там же. С. 54 - 55).*

Даже прелестная картина природы в письме Толстого — юмористически пересекается с его критическими воззрениями на общественное устройство, в данном случае — на общественный статус и полезность учёных «профессоров». В целом же, сопоставляя даже с приведёнными нами выше записями Л. Н. Толстого в эти дни в Дневнике, мы можем сделать вывод, что Толстой очень многими впечатлениями и мыслями не решался, не мог делиться с женой, и письмо зияет недосказанностью. Сказано в нём самое главное, близкое Соне: слова любви и утешения. Конечно, они подействовали, что можно видеть из ответного письма С. А. Толстой, датированного пятницей, 31 марта 1889 года:

«Сегодня получила от тебя такое хорошее, доброе, по-настоящему любящее письмо, и так духом поднялась, весело стало, и всё легко, — даже мои ухудшающиеся, невыносимые боли при кормлении.

Кабы ты меня в жизни меньше поучал, меньше игнорировал и больше любил, — насколько я была бы лучше!

Твоё письмо ничего не говорит ещё об американцах. Боюсь, что они нарушили твою и князеву жизнь и помешали вам. Я их не видала, не могу ничего надеть, кроме самого лёгкого халата. Таня не могла отклонить их от поездки, так как они в Россию-то приехали только, чтоб тебя видеть. — Сегодня Таня их встретила на улице, и они ей сообщили, что ты здоров, но что не худо бы им: «a lady to take care of them». [«иметь особу, которая о них заботилась бы».] Что они этим хотели сказать? Говорили, что князь был очень любезен с ними.

А ты о своём здоровье ничего не говоришь. — Ты не можешь себе представить, как я довольна, что ты у князя, а не где-либо ещё. Видишь, я знаю, что тебе хорошо и что о тебе пекутся, я и не скучаю,

и не зову тебя; вот тебе доказательство, что я о себе не думаю никогда, что *мне* скучнее, а главное опять-таки, чтоб *тебе* было хорошо.

От Маши Кузминской было письмо, что Серёжа завтра выезжает с Стаховичем и <Николай Васильевич> Давыдовым в Москву. Я так рада буду его видеть, т. е. Серёжу. — Сейчас от нашей Маши получили письмо, она очень наслаждается весной в деревне. Я её так понимаю. Теперь как-раз время ехать в деревню. И за тебя я сегодня радовалась: какой был чудный солнечный день, даже я решилась выехать покататься, хотя даже движение в коляске причиняет мне боль.

Малыши и Лёва всё бегают смотреть, прошла ли река, но она всё ещё не прошла. В саду снегу ещё много. Завтра 1-й уже апрель, а сегодня Ваничке год, как раз он родился в тот час, в который я теперь пишу. Он опять покашливает, но весел бесконечно, всё просится на пол ходить, чтоб его под руки водили. Саша со мной нынче всё время ездила, и Таня, и miss Kate. Все здоровы, и все веселы и дружны. Лёва всё на репетиции ходит; я ему вчера переписала длинную программу геометрии с чуждыми для меня словами.

О работнике в Ясную напишем, но вряд ли кто к Святой и к лету пойдёт. Я <управляющего> Василия Яковлевича сменяю; там бог знает, что происходит. А затем прощай, милый друг, напишу скоро ещё. У Тани сегодня барышни и чтение.

С. Т.» (ПСТ. С. 433 - 434).

Более событий заметных в этот «творческий отпуск» Толстого не совершилось. В период с 25 марта по 2 апреля Толстой закончил работу над черновой редакцией комедии «Плоды просвещения» (1 апреля на пробу прочитанные Урусову). Кроме того, были поправлены корректуры статьи «Об искусстве» и написаны следующие части «Крейцеровой сонаты». Кроме того, Толстой совершал прогулки в лес и в ближайшие деревни, где физически работал, рубил и пилил с мужиками. Об этих и иных своих делах Толстой рассказывает жене в письме от 1 апреля, присланном ей с пахучими розовыми лепестками в конверте и являющемся ответом на письмо С.А. Толстой от 28 марта:

«С тех пор, как не писал тебе, получил твоё письмо и много писем с почты и от американцев. Живу я по-прежнему очень хорошо. Нынче чуть-чуть поболел живот. Приписываю это тому, что вчера поел осетрины, а может быть и тому, что сделал слишком большое усилие вчера же, рубя и пиля, и таская лес. Здесь тоже тает, и становится похоже на весну. Вчера поправлял корректуру об искусстве

и всю перемарал (Урусов достал сына дьякона, который сейчас переписывает), и в лесу рубил и пилил с мужиками, работающими там. Очень приятно было валить большие ели и пилить пахучие, смолистые брёвна. И славный попался отец с сыном. (Не всё мрачные картины.) Все предшествующие дни я хотел кончить комедию и нынче дописал последний, 4-й акт, но до такой степени плохо, что даже тебе совестно дать переписывать. По крайней мере с рук долой. И если захочется другой раз заняться этим, то буду поправлять.

Завтра еду в Троицу; какие-то будут известия от вас. По этому письму решу и когда собираться домой. И к вам хочется, и здесь хорошо.

Очень интересно мне знать, как ты приняла моё последнее письмо. Я его не перечитывал, но знаю, что писал то, что не только тогда или иногда думаю, но что всегда чувствую. И странно, твоё последнее письмо, хотя ты и выражаешь там какое-то странное и незаконное отвращение ко всему, как ты выражаешься, русскому, — последнее письмо твоё мне было особенно радостно, потому что было как бы ответом на то моё письмо, которое ты не получила. Что-то будет завтра, главное бы физическая боль не мучала бы. — Я вчера хотел было пройти к Троице, но не мог от разлившегося ручья и зашёл в лес. — Князь очень мил. Встаёт в 3, 4, ставит самовар, пьёт чай, курит и делает свои <математические> вычисления. После обеда и весь день тоже, за исключением отдыхов, пасьянса и гулянья. Боюсь, что все вычисления эти не нужны. У него есть эта неясность мысли, самообманывание, при котором ему кажется, что он решил то, что ему хочется решить. Папиросы, водка изредка, в малых порциях, и чай, боюсь, еще более затуманивают. Но простота и стремление к добродетели истинные, и потому с ним очень хорошо. У него цветут розаны — много, и он советовал положить листки в письмо. Ну, пока прощай, целую тебя и Таню, и Лёву (что он и его дела по гимназии). И Андрюшу (неужели всё горло?), и Машу, и Сашу, и Ваню. Kate и Lambert моё почтение.

Л. Т.» *(84, 55 - 56).*

Это письмо — последнее от Льва Николаевича в данном Фрагменте переписки. До возвращения мужа 8 апреля из Спасского в Москву Софья Андреевна писала мужу ещё трижды, в период с 3 по 6 апреля. Мы располагаем текстами двух из этих писем, от 3 и от 6 апреля, тексты которых и приводим ниже в хронологическом порядке.

3 апреля:

«Получили сейчас твои письма, милый друг; к Тане — коротенькое и ко мне. Напрасно ел осетрину и напрасно переработываешь. Опять с любовью подумай, как НАМ всем страшна и больна твоя боль, и поберегайся, не трать сил на страданья, а живи подольше; это очень нам всем нужно, — именно для той жизни, которой ты дорожишь в нас, — для духовной.

Мои боли — хуже, разрез увеличился, и опять вся грудь нагрубла, и я очень страдаю при кормлении. Силы мне даёт вид быстро поправляющегося Ванички, и буду терпеть хоть до обмороков. Ещё дня два зуб невыносимо болел, но скоро прошёл. Остальные все здоровы.

Вчера утром приехал Серёжа, я так ему рада; он, конечно, много уж времени проводит за фортепиано. К обеду собрались неожиданно Голохвастова с Арочкой, Миша Стахович, ещё кто-то. И весь день просидели, утомили немного. Сегодня Феты обедают и Варя с мужем. — Серёжа собрался, было, к тебе повидаться, а потом отложил. Стахович тоже собирается, он будет говеть у Троицы. Я боюсь, что ты уедешь от князя, чтоб потом уехать в Ясную. Вот уж этого я не только не желаю, но страшусь. Тут удобства, добрый, заботливый друг — князь, тепло, приветливо. Там — одиноко, сыро, голодно, тяжело; да ещё и Марьи Афанасьевны нет, да и отношения с *своими* мужиками стали тяжелы, неестественны, и, по-моему, неправильно поставлены. С детьми не надо *учиться азбуке*, пускать кубари, *учиться* шить и т. д. Детей надо *учить* и иметь на них влияние. — Ты же с ними работаешь и живёшь на равной ноге, а я, т. е. не я, а *экономия* Ясной Поляны не велит им шалить, т. е. воровать, ломать яблони, травить луга и проч. Выходит бог знает что, а авторитета и помощи нравственной — им ниоткуда нет.

Отодвинувшись от них, я это ясно увидала теперь, и говорю это без досады, а очень спокойно, сознательно.

Я рада, что американцы тебя не обеспокоили, и, главное, что князю не только не было досадно, но даже интересно.

Кланяйся князю от меня и поблагодари (с нежностью) за заботы о тебе.

Пора обедать, прощай, пришли уж гости, а я тебя целую, очень люблю и чувствую.

Стахович вёз это письмо и не поехал, а едет в Елец. Пишу это на другой день, и всё у нас четвертого хорошо.

С. Т.» *(ПСТ. С. 434 - 435).*

Интересна здесь критика приёмов педагогического общения Л. Н. Толстого с детьми Ясной Поляны и учащимися создававшихся им

школ — не лишённая, кажется, большой доли правды. Прекрасна и та любовная забота, с которой Соничка упрашивает мужа поберечь себя — это при собственной тяжёлой болезни!

И письмо от 6 апреля, заключительное в данном Фрагменте переписки супругов:

«Со вчерашнего дня я что-то стосковалась по тебе, милый друг. Это не значит, что я требую или желаю твоего возвращения, а просто писем нет вот уже третий день, и думается, не заболел ли ты? Лёва сегодня утром должен был ехать к тебе, уложился, собрался, но насморк у него, и надо было рано встать, и ему было лень, и погода ужасная, он и не поехал. Теперь вряд ли соберётся, у него математический учитель второй вечер и он занимается. Серёжа вчера вечером уехал в Ясную, где происходят разные неприятности, а так как срок его отпуска ограничен, а ему надо ехать в Самару (среди Святой), то он тоже, верно, не соберётся. Видно уж ты к нам приедешь.

Сегодня обедали мы вчетвером; вот пустота-то! Мисс Kate, Саша, Лёва и я. Таня ушла к Оболенским-Дьяковым, малыши с утра причащались с няней, а потом уехали в 2 часа красить яйца к Шидловским, там и обедают. M. Lambert ушёл в церковь и покупки делать. Дождь льёт страшный второй день. У miss Kate невралгия, а у меня рот и зубы болят, очень сносно пока, а грудь немножко лучше. У Ванички расстроен сильно желудок, идёт коренной четвёртый зуб, но он сегодня постоял один и очень весел. — Вчера вечером был Янжул пил с нами чай, обещал с Таней, Соней Мамоновой и ещё целая кампания, идти на Кремлёвскую площадь в ночь на Светлое воскресение, и даже лезть на колокольню. Жаль, что мне нельзя; я никогда не была, и теперь опять нельзя.

Целые дни и до двух ночи я шью. Никогда не было так много летней работы. В прошлом году я родила, шить не могла, и дети доносили последние платья, а Андрюша очень вырос. Искала кому отдать и не нашла; искала в дом работницу, и тоже не нашла. И вот жизни духовной никакой нет, а спина и руки от работы болят, и эта работа, как бывало фотография, что больше шьёшь, то больше втягиваешься. — Что-то ты работаешь? Вцепился ли в комедию, которую так плохо написал, судя по твоему письму? Или отбросил её? Не таскал ли опять тяжёлых елей и не ел ли вредного? Жду уж теперь письма завтра, а сегодня принесли последнюю корреспонденцию и я опять о тебе ничего не узнаю. К тебе куча писем и книг. Посылать ли?

Целую тебя, если б не Ваничка, съездила бы тебя проведать.

С. Т.» *(ПСТ. С. 435 - 436).*

Присылка новых писем или книг в Спасское не потребовалась: завершив часть своей работы над «Крейцеровой сонатой» (и прочитав готовое Урусову, которому понравилось), Толстой вернулся 8 апреля в Москву. К сожалению, он не мог и не умел помогать Софье Андреевне в шитье, и, к глубокому её неудовольствию, «опять принялся за таскание из колодца воды, рубку дров и те работы, которые так вредили его печени» *(МЖ – 2. С. 90).*

КОНЕЦ ПЕРВОГО ФРАГМЕНТА ТРИДЦАТЬ ВТОРОГО ЭПИЗОДА

Фрагмент Второй.
НЕПОКОБЕЛИМЫЕ ПРИНЦИПЫ И МАЙСКИЙ СНЕГ
(2 – 11 мая 1889 г.)

Посещение Львом Николаевичем усадьбы С.С. Урусова Спасское оказалось весьма творчески продуктивным для него. В письме от 10 апреля П.И. Бирюкову он подводил такой положительный итог: «Я пробыл у Урусова больше 2-х недель, и мне было очень хорошо. Я много писал — едва ли хорошо, но много, и теперь, 3-го дня вернувшись в Москву, продолжаю быть в том же пишущем настроении» *(64, 243).*

Но в эти московские дни, с 8 апреля по 2 мая 1899 г., «Крейцерова» и комедия отодвинуты были автором на второй план, а на первый выдвинулась кропотливая работа над статьёй об искусстве, результатами которой Толстой был недоволен. Отвлекали и гости — да такие, кому Толстой никак не мог отказать в гостеприимстве. Например, 13 апреля 1889 года Льва Николаевича навестил в его московской усадьбе в Хамовниках совершенно забытый ныне мемуарист: Николай Петрович Овсянников (1848 - ?), помещик Венёвского уезда Тульской губ. Он желал переговорить по вопросам редактирования и перспективам публикации весьма бездарно написанных им воспоминаний об осуждении и казни в далёком уже тогда 1866 году его сослуживца, ротного писаря, рядового Василия Шабунина, ударившего офицера. Для Толстого это были грустные воспоминания:

он выступил на том суде как защитник злосчастного солдата, и — с честью провалил защиту. Солдата расстреляли и похоронили недалеко от Ясной Поляны. Овсянников исправил свои горе-мемуары по указаниям Толстого — впрочем, довольно скупым: Толстой не помнил многого из того даже, что вспомнил бывший сослуживец Шабунина. Редактировать в целом ужасающий по наивностям и бездарности текст Лев Николаевич отказался. Рукопись была отправлена в редакцию газеты «Новое время», где над нею корпели знаменитый в ту эпоху критик В. П. Буренин и молодой, ещё малоизвестный простой журналист этого издания А. П. Чехов… но опубликована в «Новом времени» она так и не была.

Другим желанным собеседником — эпистолярным — был писатель-«народник» Сергей Терентьевич Семёнов (1868 – 1922), славший Толстому для критики свои новые рукописи. Толстому было любо и реалистическое творчество Семёнова, и он сам, «очень замечательный человек, не столько по уму, сколько по сердцу» *(86, 224)*.

Прислал в те дни рукопись своей книги и единомышленник Льва Николаевича во Христе, священник Александр Иванович Аполлов (1864 – 1893), известный тем, что вместо проповедей читал с церковного амвона народные рассказы Толстого. Учителю он прислал своё «Сказание об Ормузде и Аримане», которое Толстой прочитал 19 апреля и нашёл «прелестным» *(50, 69)*. Издать в России его удалось только в 1908 г. — через много лет после гибели автора, замученного «любящими» родственниками за то, что, не веря в православие, он честно сложил с себя священнический сан и лишился, соответственно, разнообразных и не маленьких доходов попа.

В эти же апрельские дни Л.Н. Толстой читает свежий, присланный ему из Америки, номер давно полюбившейся ему американской религиозно-просветительской газеты «The World's Advance Thought» («Передовая мысль мира») [см архив этого издания здесь: http://www.iapsop.com/archive/materials/worlds_advance_thought/index.html] издаваемой Люси А. Мэллори (1846 - 1919). Настроение, вызванное чтением, Толстой выразил в такой дневниковой записи 19 апреля:

«Созревает в мире новое миросозерцание и движение и как будто от меня требуется участие, провозглашение его. Точно я только для этого нарочно сделан тем, что я есмь с моей репутацией — сделан колоколом.

Отче, помоги мне. Если такова воля Твоя, буду делать» *(50, 69)*.

На вдохновительные впечатления от идейно близких Толстому публикаций накладывались ежедневные картины повседневности лже-

христианской России: например, принятия солдатами присяги и военных учений на Хамовническом плацу, совсем близко от московского дома Толстых. Мерзость военной муштры Толстой ходил смотреть трижды: 21, 24 и 30 апреля. В последний из этих дней в Дневнике его появляется характеристическая запись:

«Пошёл к солдатам. У них шёл обман принятых осенью. Их заставляли присягать перед знаменем. Попы в ризах пели с певчими в нарядных стихарях, носили иконы, били в барабаны и играла музыка. Проходя назад, слышу разговор Вахмистра — «не полагается». Какое страшное слово! Ведь не про Божеский закон оно говорится, а про безумно жестокую чепуху военного устава.

Думал: вот 7 пунктов обвинительного акта против правительства. 1) Церковь, обман суеверия, траты. 2) Войско, разврат, жестокость, траты. 3) Наказание, развращение, жестокость, зараза. 4) Землевладение крупное, ненависть бедноты города. 5) Фабрики — убийство жизни. 6) Пьянство. 7) Проституция» *(50, 76-77)*.

Можно видеть, что Толстой-публицист, тот великий обличитель, каким он запомнился миру, уже вполне идейно созрел к концу 1880-х. Конечно, такие настроения означали в семейной жизни Толстого — невозможность единомыслия с женой и большинством детей. Исключение по-прежнему составляла близкая отцу по вере и по трудолюбию дочь Маша, о которой 25 апреля Толстой высказался в Дневнике, что она «как бы выкупает остальных» *(Там же. С. 74)*.

11 апреля в доме Толстых состоялся-таки не одобрявшийся Толстым ещё на этапе подготовки торжественный обед в честь творческого юбилея А. А. Фета. Почётными гостями были сам Фет и другой выдающийся поэт эпохи, Яков Полонский. И об этом — недвусмысленная запись в Дневнике Льва Николаевича:

«Дома оргия на 25 человек. Еда, питьё. Дьяков милый, кроткий и Фет жалкий, безнадежно заблудший. Я немножко погорячился с ним, когда он уверял, что не знает, что значит безнравственно. У Государя ручку целует, Полонский с лентой. Гадко. Пророки с ключом и лентой целуют без надобности ручку» *(Там же. С. 65)*.

По совету обожаемого Диккенса, Толстой не собирался “опускаться” до стихотворчества. Но в остальном вполне осознавал пророческое значение творчества гениального человека, прозаика или поэта, в России и всём лжехристианском, изуверившемся мире — и меру ответственности такого человека перед Богом и своей совестью.

Наконец, весьма значимым для будущих устных и эпистолярных диалогов супругов Толстых стало негативное впечатление Льва Николаевича от беседы 18 апреля с Сергеем Танеевым, в это время уже

частым гостем и другом семейства Толстых, а в будущем — последним платоническим возлюбленным Софьи Толстой. Вот запись об этой беседе в Дневнике Толстого:

«Читал ему об искусстве. Он совершенно невежественный человек, усвоивший бывшее новым 30 лет тому назад эстетическое воззрение и воображающий, что он находится в обладании последнего слова человеческой мудрости. Например: чувственность это хорошо. Христианство это католические догмы и обряды и потому глупость. Греческое миросозерцание это высшее и т. п.» *(Там же. С. 69).*

Причина такой неприязни к эстетическим воззрениям С. И. Танеева совершенно ясна. Здесь дело не в одной связи с ненавистным Толстому, модным в ту эпоху, взглядом на религию как скопище «отживших своё» суеверий. Главная причина негативной реакции та, что собственные эстетические воззрения Л. Н. Толстого в то время переживали существенную, и далеко не завершённую, эволюцию. Начав писать статью об искусстве — Толстой «увяз» в ней, почувствовав недостаточность своих знаний и понимания проблематики. Танеев же самоуверенно “рубил с плеча”, априори преподнося уже подвергнутые Толстым сомнению положения господствующих эстетических теорий — как некую истину in letzte instanz.

И снова Толстой не дотерпел лета и общесемейного переезда в Ясную Поляну — и в третий раз, 2 мая 1889 года, отправился туда пешком. Сопровождал его в пути и в самой Ясной один из тех, кого Софья Андреевна именовала «тёмными», Евгений Иванович Попов (1864 — 1938). В жизни семьи Толстых ему предстоит “прославиться” не лучшим образом: он будет увлечён дочерью Толстого Татьяной и не преминет домогаться брака с ней — конечно же, неудачно. Постепенно и Софья Андреевна, и Лев Николаевич сойдутся на сдержанно-негативном отношении к этому человеку. Вот что пишет о нём жена Толстого в мемуарах:

«Этот Попов был восточного типа флегматик, чёрный, красивый. Мать его была грузинка или армянка, держала кухмистерскую и была чрезвычайно вульгарна. Попов нигде не доучился, начитался Толстого и неумело прилагал мысли к жизни. Под видом *служения* другим он всю жизнь приживал при чужих семьях, и мне был всегда неприятен своей молчаливой таинственностью и медленным вторжением в интимную жизнь моей семьи и особенно дочери Тани. Впоследствии, в 1891 году, Лев Николаевич писал о нём дочери Тане: “это хитрая, пронырливая восточная натура и не правдивая”» *(МЖ – 2. С. 69).*

Сближение с ним Толстой допустил, что называется, “на общей почве” — глубоко личной: «Он в том же положении, что и я. С женой тяжёлые отношения…» *(50, 4).* Но любящие отец и мать Татьяны Львовны достаточно быстро “раскусили” скрытно-похотливого Попова, которому явно недоставало одной, законной жены… и вряд ли бы хватило надолго и Тани. Неизвестно, какими сексуальными или даже психическими (на этой почве) отклонениями страдал этот человек — но само его сопутничество и сожительство с Толстым в дни писания «Крейцеровой сонаты» наводит на размышления: некоторые идеи и образы повести, из числа тех, которые создали ей скандальную славу, мог если не подсказать Толстому, то уж точно благословить этот человек.

Евгений Иванович Попов

С погодой путешественникам не повезло. Как и при первом путешествии Толстого в 1886 г., дождавшись, пока он отойдёт подальше от Москвы, она предательски испортилась: майское небо вдруг затянуло тучами, резко похолодало и пошёл мокрый снег. О трудностях пути говорит факт, что Толстой утерял тогда путевую записную книжку и, вероятно, письмо от жены, первое в переписке этих дней. В тот день озябнувшие путники не сумели дойти даже до Подольска, заночевав за 4 версты, в дер. Сырово Добрятинской волости. На следующий день, 3 мая, мечтая о редком на Святой Руси разнообразии: постели без клопов — они не стали делать остановки в Подольске, а прошли ещё 25 вёрст от него, до Алачково, хутора общего знакомого,

купца и толстовца Максима Петровича Золотарёва (могучего хозяина, честного работяги и христианина, в отличие от блудодея Попова).

Дорожные, со 3 по 7 мая, послания Толстого жене представляют собой «открытые письма» (открытки), кратки, информативны и очевидно призваны успокоить тревогу Софьи Андреевны. Вот письмо от 3 мая:

«Пишу нынче 3-го, середа, из деревни одного из моих неизвестных тебе знакомых, купца Золотарёва, 25 вёрст за Подольском, в стороне от дороги. Теперь 8-й час вечера и льёт дождь, который несколько раз пугал нас, но ни разу не намочил.

Шли мы вчера очень хорошо и бодро и ночевали, не доходя Подольска. Я устаю, но чувствую себя здоровым совершенно.

Попов очень приятный товарищ — добрый и серьёзный. Если погода будет хороша, то завтра после ночи, проведённой в чистых постелях, без клопов, пойдём дальше. Жду в Серпухове письма.

Пожалуйста в моей комнате вырезанные сапоги вели прибрать в сырое место. Попов напомнил, что они пересохнут и испортятся. Целую детей.

Л. Т.» *(84, 57).*

Второе успокоительное письмо, 4 мая — уже из Серпухова:

«Сейчас, 7 часов вечера, 4-го, получил твоё письмо в Серпухове. Спасибо. Я ни разу не намок. Иду прекрасно. Сейчас меня узнала по портрету и довезла нас в тарантасе добродушнейшая сестра доктора Алексеева. Я редко бывал так здоров. Правда. Целую тебя. Иду. Л. Т.» *(Там же. С. 57 - 58).*

Пётр Семёнович Алексеев (1849 — 1913) был близок тогда Толстому не только как знакомый доктор, но и как убеждённый соратник в борьбе с народным бедствием пьянства. Сестра его Анна, в замужестве Выборни, жила с мужем в имении близ станции Лопасня Серпуховского уезда (нынче это город Чехов).

Следуя хронологии, приводим здесь *второе* (считая утраченное) письмо С. А. Толстой мужу, писанное в ночь на 6 мая. Как обычно для Сониных писем, в особенности ночных, не обошлось без негативизма и тревожности:

«Получила твоё письмо из Серпухова и, хотя ты хвалишься здоровьем, я страшно беспокоилась о твоём благосостоянии, так как холод почти что зимний, а одет ты по жаркому лету. Я провела сегодня тяжёлое утро, глядя на снег и дрожа от холода, когда шла садиться на конку и думала о тебе. Но это бессильное беспокойство с неизвестностью, где ты и что ты — не может долго продолжаться, слишком мучительно; и я к вечеру встряхнула эту старую дурь и даже развеселилась, потому что приехал ещё вчера князь Урусов, и сегодня смешил нас ужасно своими странностями всё на ту же тему. Завтра он у нас обедает. Кроме него ещё были у нас Голохвастовы и Дунаев и сегодня Мамоновы. Найдёт ли тебя Дунаев? Узнав, что ты ушёл и что у тебя нет пальто и что о тебе заботиться некому, он решил ехать тебя догонять, так как будет четыре дня праздника. Я думала сегодня, что, если у тебя осталось хоть крошечку доброты, ты бы не рисковал идти студиться в эту погоду, а поехал бы из Серпухова поездом, а мне послал бы телеграмму. — Ну, да у всякого свои *принципы*. А то, что часто болит, то обмозоливается. Так и моё сердце.

Дети здоровы. Таня ездила сегодня с Леночкой на консерваторский спектакль в Малом театре. — Лёва писал сочинение о том: «Какое литературное произведение служит наибольшим выражением национальности»… и ещё чего-то… кажется, «художественности, в наш век». — Говорит, что написал много, но тема не ясная.

Таня сестра уезжает 11-го в 7 часов вечера в Тулу и просит выслать. Нужно послать карету и телегу для вещей. Я напишу в Ясенки об этом Филиппу, а на всякий случай пишу и тебе. Пожалуйста, не *ходи* к Маше, а *привези* её скорей в Ясную от Ильи. Если же тебе скучно туда ехать, то напиши Илье, он или пришлёт или привезёт Машу.

На меня нашла весенняя тревога и чувство одиночества. Требований всяких от меня так много, а любви так мало! Разве Ваничка и два малыша улыбнутся иногда, будто мне рады и любят. И то спасибо. С. Т.» *(ПСТ. С. 437)*.

В Тулу Толстой пришёл только 5 мая. В открытке от 7-го он сообщает жене, что в день прибытия не писал, так как не было на почте письма от неё — оправдание вряд ли справедливое, выдающее в действительности разве что степень его усталости от экстремального в этот раз пути. Заночевав в доме приятеля, тульского вице-губернатора Д. Д. Свербеева (1845 – 1920), с двумя другими приятелями он дошёл — пешком же! — из Тулы до Ясной:

«Дом протоплен. Я ещё не опомнился от дороги и потому не решил ещё, как к Маше: пешком или по железной дороге. Видно будет, и напишу тебе» *(84, 58)*.

1 мая М. Л. Толстая уехала с И. Л. и С. Н. Толстыми в имение Александровский хутор. Туда и просила, как мы видели, *съездить* мужа Софья Андреевна, но неуёмный ходок и для этого предприятия задумывал пеший маршрут.

Отчего-то и долгожданную Софьей Андреевной телеграмму Толстой отправил только 7 мая. Именно на неё отвечает Софья Андреевна — снова ночным, на 8 мая, письмом. Вскоре после того она получает и открытку от 7-го же, и в ответ пишет 9 мая ещё одно письмо. Приводим тексты обоих этих посланий в хронологической последовательности.

«Спасибо за присланную телеграмму; она меня очень утешила, а то я даже здоровьем расстроилась и сегодня всю ночь не спала. Моя тревога и в Ваничке второй день ноет. Он всё плачет, капризен и грустен, и, когда меня увидит, плачет истерически, прижимается к моему лицу и ни за что ни к кому не идёт. Он ужасно мило ходит один. — Жду с нетерпением письма от тебя, как ты дошёл и перенёс холод. До сих пор ужасно холодно, северный ветер, и Таня раздумала приезжать, так что высылать впредь до уведомления ни за кем не надо. Я собираюсь в будущее воскресение или понедельник и пришлю телеграмму на Козловку. — Больше всего мешают гости: раньше третьего часа не ложусь никогда, ибо ночью навёрстываю то, что не дают сделать днём. Вот сейчас кончила корректуру 4-й «Книги для чтения», два листа, а теперь тебе пишу, а потом надо сделать расчёт по сметам Славянских книг, счесть сколько за дрова уплатить, записать счёт и обед.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Имеется в виду переиздание четырёх «Славянских книг для чтения» Толстого, напечатанных впервые в 1874 г. одновременно с «Азбукой». – *Р. А.* **]**

Дети здоровы, сочинение Лёвы оказалось удовлетворительным. Завтра ему латынь — письменно. Все дети, Лёва, Lambert и люди целыми днями играют на дворе в лапту и до боли отмахали руки и растёрли ноги.

Таня сегодня обедала у Масловых; были разные барышни, Мамонова (мать) и дочь, Матильда Павловна <Моллас, учительница> и Урусов всякий день.

Вчера я сделала несколько визитов, а обедали у меня сестра Машенька и Урусов. Он очень странен, добр, но разговоры о любви неистощимы. Бедный! Мы ещё не укладываемся и живём, точно век не уедем. В пятницу проезжает Москвой Alexandrine Толстая и хочет заехать на пол дня к нам. Я очень ей рада, но это будет немного стеснительно почти накануне отъезда и в день экзамена Лёвы.

Мне всё хочется тебе сказать: «не искушай Господа Бога твоего». Если, как ты мне писал, Бог послал тебе опять здоровье, то не на то, чтоб ты его разрушил своими фантазиями, а чтоб ты употребил свои силы на что-нибудь высшее, духовное. Ты не в праве не беречься. Сегодня меня Урусов смутил, что ты можешь себя погубить скоропостижно какой-нибудь крайностью. Помни, что ещё год на плечи, и всякое чрезмерное усилие — прилив к сердцу.

Как ты устроился, что ешь, где спишь? Что-то Андрюша стонет, рука от лапты болит, прощай, целую тебя.

Соня» *(ПСТ. С. 438 - 439)*.

По письму видно, что близкое общение с «толстовским» Урусовым, Сергеем Семёновичем, разочаровало в нём Соню: ничем, кроме фамилии и литературных занятий, этот усадебный затворник, игрок в шахматы и церковный мистик не напоминал её покойного блистательного друга. Зато сам Урусов, оценив ситуацию, спешил в отсутствие мужа использовать минимум своих возможностей — джентльменствования с чужой женой. Вряд ли Толстой порадовался известиям о его визитах в Хамовнический дом, зато уж точно был рад, что очередной визит фрейлины высочайшего двора, троюродной тётки его Alexandrine Толстой, с её навязчивыми спорами о религии, совершится без его участия (он увиделся с нею, но позднее, в её приезд в Ясную Поляну).

И — письмо от 9 мая, последнее Сонино письмо в этом Эпизоде (текстом письма от 19 мая мы не располагаем), такое же заботливое, но с нотками тревоги и немного нервно:

«Твои открытые письма меня мало удовлетворяют, милый друг. Хотелось бы больше о тебе подробностей. Прилагаю конверт с маркой; у тебя, может быть, нет. А бумага есть в жёлтом столе, в гостиной. Как устроился ты в Ясной, и кто из тёмных с тобой? Сегодня перебирала твои книги и вещи, и огорчилась, что ты всё новое взял, —

блузы, панталоны, — всё что я только сшила, а старое оставил. Верно будешь работать и всё перепортишь. Новое всегда хорошо надевать чистое после грязной работы. Сапоги твои и кожу спрятали тогда же в подвал. Но ничего бы и так не высохло, холод ужасный. Мы понемногу собираемся, у меня страшная потребность одиночества и покоя, и жду не дождусь отъезда. Эти дни особенно тревожно, и нервы расстроены от причин, верно, чисто физических, но от этого не легче.

Лёва успешно сделал русский письменный и латинский письменный — экзамены. Завтра греческий. Дети здоровы, только насморки и кашель лёгкие от холодов.

Что слышно о Маше? Я рада бы была, если б она к тебе приехала. […] Вчера был Бутурлин и Урусов ежедневно бывает. Гости немного мешают, но иногда и развлекают. Завтра начну укладываться; в воскресенье и уже самое позднее в понедельник надеюсь приехать. Тогда телеграфирую.

Тут в Москве Петя брат с Натусей. Она страшно страдает от болей в животе […]. Не болел ли у тебя твой желудок? Надеюсь, что ты продолжаешь быть здоров.

Как это ты не получил письма в Туле? Я писала и туда и на Козловку.

Прощай, милый Лёвочка, напиши же мне хоть одно настоящее письмо.

С. Т.» *(ПСТ. С. 439 - 440).*

Завершающую письмо просьбу Сони Лев Николаевич, словно догадавшись (или опять почувствовав?) исполнил в тот же день, 9 мая — послав ответом на полученное от жены письмо от 7 мая «настоящее», в конверте, и даже довольно длинное послание. Приводим ниже текст его с небольшим сокращением.

«Вчера пропустил день не писавши, надеясь, что ты и не ждёшь этого. От тебя, однако, получил, за что очень благодарю, С радостью вижу, что ты спокойнее, и надеюсь, что так и продолжится до твоего, уж скорого теперь приезда. Нынче 9-е и погода совсем тёплая.

Ты спрашиваешь, как я переносил холод дорогой? Очень хорошо: надел фланель, жилет, фуфайку и даже шалью накрыл голову и шёл гораздо легче и приятнее, чем в жар. Дома скорее было неудобно. Дорòгой избы, в которых нас ночевало человек по 15, тёплые, а дом холоден был. И несмотря на то, что Василий Яковлевич топил внизу,

мы опять протопили, и топим каждый день, и только при топке хорошо.

В первый же день явился Дунаев с хлебом и громким говором. Я попытался позаняться, но не шло дело. Такого житья, как у Урусова, нигде нет. Скажи ему, и благодари и за то житьё и за письмо… Дай Бог ему поскорее уехать в деревню и продолжать прежнее или начать другое дело. Булыгин встретил меня на дороге и нынче был здесь. <Михаил Васильевич Булыгин (1863—1942) — один из друзей Толстого. – *Р. А.*> И с утра ещё несчастная Софья Фоминична <Брандт, из соседнего с Ясной имения Бабурино, одна из подруг Л. Н. Толстого до женитьбы. – *Р. А.*>, совсем сошедшая с ума. Она принесла мне 2 р., которые я ей 2 года тому назад дал, и пила кофе, и говорила рядом высоко религиозные вещи и невообразимую чепуху, которую нельзя слушать без смеха.

Я, должно быть, последую твоему совету ехать за Машей, а не идти, но не решил ещё. Очень хочется кончить начатое писать.

Здоровье хорошо. Прошу Таню взять мне у Сытина книжек новых, житие Макария и других, и главное пьянственных <т. е. пропагандирующих трезвость. – *Р. А.*>, и листков и привезти. Попов сидит и переписывает так называемую «Крейцерову сонату», а я хочу написать набравшиеся письма, начиная с твоего. Пока прощай, целую тебя и детей.

Л. Т.

Очень жаль, что не увижу милую Александру Андреевну <Толстую>. Передай ей мою любовь и неисполненное намерение отвечать на её письма. Жаль, что я не видал, как Ваничка ходит. — Нынче во сне видел, что я кому-то показываю, как он ходит. Целую малышей… Радуюсь тому, что одна часть забот Лёвы миновала. <Выпускные экзамены. – *Р. А.*> Авось он стал милостивее; а то он был очень строг. […]» *(84, 59-60)*.

Около 10-11 мая Толстой отослал жене снова открытку, в которой о себе кратко сообщил, что «жив, здоров, занимается письменной работой» *(Там же. С. 60)*.

На этом мы завершим и Второй Фрагмент, и весь Тридцать Второй Эпизод из представляемой нами читателю переписки супругов Толстых. 13 мая Толстой таки привёз, по просьбе и совету жены, любимую, духовно особенно близкую дочь Машу. Хрупкая на вид, но вы-

носливая девушка заменила в доме заболевшую няню, ходила с отцом на равных на все полевые работы и вела уроки в деревенской школе. «Маша дорогого стоит, серьёзна, умна, добра. […] Она любит всех и заставляет всех себя любить — не так же, но больше, чем любящие исключительно своих» — записал о ней в Дневнике понимающий и любящий, благодарный отец *(50, 81)*. Через два дня, 15 мая, прибыла из Москвы остальная семья — включая маминого воспитанника и любимца Льва-младшего, сдавшего в гимназии выпускные экзамены на “зрелость” и успевшего перед отъездом наиграться с младшими детьми во дворе в лапту «так что и руки и ноги болели»; конечно, он «не встретил ни малейшего одобрения и сочувствия со стороны отца» *(МЖ – 2. С. 91-92)*. Сам Толстой работал с крестьянами всласть на лесоповале («очень было приятно»), косил, возил сено, овёс и рожь, пахал, сеял… и всё ему было «очень хорошо», бодро и радостно *(Опульская Л.Д. Толстой. Мат-лы к биографии с 1886 по 1892 год. С. 168)*.

Продолжалась работа над комедией «Плоды просвещения» и — очень туго — над статьёй об искусстве. Комедия была *в основном* завершена до конца года и стала материалом для домашнего новогоднего спектакля, с удовольствием описываемого в мемуарах Софьей Андреевной Толстой *(см.: МЖ – 2. С. 108 - 110)*. Показа-тельно, что, после большого перерыва, это были первое Рождество и Новогодие, встреченные всем семейством в Ясной Поляне. Но это не было победою позиции Толстого: мама, Софья Андреевна, решила младших детей учить пока дома, а старшие, включая Льва, уже закончили учёбу. Москва надоела *всем*. Снова Софья Андреевна решила сама. Но снова, как и описывая *навязанный мужу* переезд в 1881 г. в Москву, она неправо винит в мемуарах *его*: фактически за то, что в обеих ситуациях он не принудил, не настоял, по своему желанию, а дал ей свободу таких решений и ответственности за них *(МЖ – 2. С. 98-99)*.

Отношения с женой Толстого были не простые, чему сам Лев Николаевич находил объяснения религиозно-нравственные (см. записи в Дневнике от 18, 30 мая, 19 июля и др.), а Софья Андреевна в мемуарах — чрезвычайно приземлённые, «психофизиологические» (будто продолжая и в конце 1900-х мстить мужу за подобные же его суждения 1860-х гг. о тогдашних её болезнях и настроениях):

«Как-то раз летом <2 августа 1889 г.> я разговаривала с князем Урусовым, к которому он уже стал относиться более враждебно, чем раньше, и он тотчас же записал в свой дневник: “За обедом, благодаря Урусову и Соне, были мучительные минуты…” […] Дурное чувство ко мне, к сожалению, проглядывает беспрестанно. Мы тогда

измучили друг друга. Он точно ненавидел меня и за то страстное чувство, которому отдавался всеми силами своего сильного организма; и вместе с тем, любуясь мной и моей моложавостью, боялся за меня и сердился, что я возбуждаю в нём страсть. Какой-то был ложный, но тяжёлый круг» *(МЖ – 2. С. 93)*.

И эта психологическая тяжесть отношений автора с женой, во многом инспирированная ей (её попыткой в эти дни приблизить к себе нового мужчину — однофамильца умершего любовника) конечно, нашла выражение в «Крейцеровой сонате». К концу года она тоже была в основном автором окончена — и сразу, ещё до публикации, стала новым барьером в отношениях Толстого с семейством. На сторону матери встал сын, Лев Львович — отчего-то сблизившийся тогда, пусть и ненадолго, и с С. С. Урусовым. Лев Николаевич, по воспоминаниям жены, избегал сына во время прогулок, «сердился и на него, и на приезжавшего тогда гостить князя С. С. Урусова. Он видел в них протест его жизни и работам…». Сын уехал в августе в Москву, и написал там резкое письмо, которое сам не решился послать отцу. Судя по пересказу отрывка из него Софьей Андреевной (конечно же, одобрившей его содержание!), Лев Львович повторил в нём мысли своей мамы о ненужности разумного религиозного руководства в жизни, о вреде христианских «принципов». Для «хорошей» жизни человека, считал сын Льва и воспитанник Sophie, нужно отдаться чувству любви «и развивать в себе это доброе чувство», любить приятных и любящих, прежде всего родственно близких, что, конечно, убережёт от разлада с собой и от страданий *(МЖ – 2. С. 97)*. Насколько примитивна была эта юношеская позиция в сравнении с христианским зрелым убеждением отца в необходимости любви к Богу, к Божественной Основе каждой личности, всякого человека, включая неприятных и враждующих — сыну пришлось узнать позднее, на том самом «опыте жизни», который он вывел в заглавие своих грустных мемуаров.

Лев Николаевич и в 1889-м продолжал бороться с половым влечением. Оба “соратника” в ненависти, мать и сын, довольно неделикатно намекают в своих мемуарах на связь «Крейцеровой сонаты» с этой борьбой. Цитируя интимнейшую запись мужа в Дневнике, под 18 марта 1889 г, о ночной борьбе и победе над похотью, Sophie весьма лукаво вопрошает *своего* (т.е. не весьма умного, преимущественно женского) читателя: «Нужна ли была эта вечная борьба, даже с женою? Тяжела она была… для обоих» *(МЖ – 2. С. 94)*. Лукаво, не правдиво это уже потому, что ещё летом 1884 г., в период обострения конфликтных отношений, Соня сама, своей инициативой порвала интимные отношения с мужем — будучи уверена, что

он не выдержит соблазна похоти. Не выдержал… но и не уступил внутренне своих позиций в жизни духовной. И «Крейцерова соната» была воспринята матерью, а за ней и сыном, *подпевавшим* ей в выражениях неприязни к христианскому исповеданию отца — как новый этап «борьбы», на этот раз (спасибо возрасту!) *победный* для Толстого. В мемуарах, упомянув смерть своего брата Ивана, Лев Львович ёрнически прибавляет: «“Крейцерова соната” давно уже была написана и надежды на новых детей больше не было» *(Толстой Л.Л. Опыт моей жизни. М., 2014. С. 55)*.

Задолго до официальной публикации «Крейцерова соната» стала материалом публичных чтений и обсуждений, первое из которых (не считая упомянутого нами чтения Толстым отрывков Урусову) состоялось, конечно же, в доме Толстых 31 августа 1889 г. Софья Толстая вспоминает:

«Это чтение всех подняло, поразило и некоторых восхитило. Я уже её давно знала, неоднократно переписав эту тяжёлую повесть, которую не любила, узнавая в её герое те черты зверской ревности, намёки которой столько раз приходилось усматривать в моём муже и которые я тогда так мало заслуживала» *(МЖ – 2. С. 97)*. Именно Софья Андреевна уговорила Толстого вывести жену Позднышева в повести *невиновной жертвой* ревнивого мужа. Сама же, как известно, откликнулась на повесть мужа написанием и публикацией *своей* повести «Чья вина?», в которой, с недвусмысленными намёками на мужа, выводит своего мужского персонажа ревнивым, похотливым и безусловно *виноватым*, временами откровенно злым и эгоистическим человеком.

Год 1889-й завершился поездками в октябре и ноябре Софьи Андреевны в Москву — не только по делам, но и для небольшой культурной программы (как то день рождения Аф. Аф. Фета или новое интимное общение с С. С. Урусовым, посвятившим тогда жене Толстого стихи — по примеру Фета, но отнюдь не на его уровне таланта). К этому времени относится ещё один, последний в 1889 г., эпизод переписки супругов, который, по его незначительности, мы не будем рассматривать отдельно. Переписку составляют четыре малоинтересные послания из Ясной Поляны мужа (одно письмо от 21 октября, одна открытка 21 ноября и две маленьких приписки к письмам родственников) и только одно сохранившееся и опубликованное письмо из Москвы от Сони, датированное 25 октября. В нём, среди прочего, жена Толстого упоминает, что, публично прочитанная в светских гостиных, «Крейцерова соната произвела большое впечатление на всех» *(ПСТ. С. 440)*. Но далеко не всегда — понимающее и положи-

тельное: например, постарелый Дьяков, когда-то предмет гомосексуального влечения юноши Толстого, прослушав повесть, «отдувался и молчал», а затем изрёк лишь это: «перестрадал всё, да и все мы…» *(Там же)*. Распоряжавшийся цензурным запретом повести начальник Главного управления по делам печати, уже упоминавшийся нами выше Е. М. Феоктистов говорил, что в образе Позднышева «как марионетка, выскакивает сам Толстой». Император Александр III, прослушав, изрёк ставшие знаменитыми слова: «Мне жаль его бедную жену». И даже родной брат Толстого, Сергей Львович, выразил Соничке свои соболезнования *(МЖ – 2. С. 104)*.

Как ни глубоки были христианские прозрения Л. Н. Толстого о семье, браке и роли в нём пресловутых «половых отношений» — лжехристианский мир был не готов к их восприятию. Скандал, цензурные запреты, нелегальное и полулегальное распространение, толки в «свете» — всё это добавило болезненности влиянию идей и образов повести на жену Л. Н. Толстого, и, как следствие, будущим отношениям супругов. К концу 1889-го жена поняла, что муж не отрёкся *ни от чего* из своих религиозных и проистекающих из них общественных убеждений и воспрянул, восстал духом и разумением на мирские неправды и ложь — частью которых были и остались для него, при всей снисходительности и уступках, образ жизни и мыслей членов собственной его семьи.

КОНЕЦ ТРИДЦАТЬ ВТОРОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Тридцать Третий.
ОЛЕНЬ, ТЕЛЕЦ И ЛЕВ, или ЭХО «КРЕЙЦЕРОВОЙ»
(29 марта – 13 апреля 1891 г.)

Ряд предшествующих Эпизодов нашей аналитической презентации Переписки супругов Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых были едины в общности такого структурного их элемента, как биографический Вступительный Очерк. При публиковании корпуса

Переписки великих супругов в 1890-1900-е гг. мы не видим необходимости предпосылать *каждый раз* такой очерк текстам самих писем. В отличие от первых лет супружества Толстых, в данном случае причины этого иные. Жизнь Сони и Льва начиная с 1862-63 гг. и, как минимум, до начала 1880-х – это большею частью *частная жизнь* знаменитого писателя и его «известной в своих кругах» жены, и в этом плане достаточно представлена в очень откровенной их переписке указанных лет. Когда же с середины 1870-х явилась заметная разница в духовной эволюции супругов — нам потребовались достаточно пространные предваряющие очерки их духовной жизни (конечно же, в “интерьере” внешне-биографическом). Но вот к 1890 г. завершился тот важный творческий, а отчасти и мировоззренческий кризис Толстого, на котором мы задержали внимание читателя двух предшествующих Эпизодов. Итог этого экзистенциального перехода, в творческом его выражении, подвёл сам Толстой в известной дневниковой записи от 26 января 1891 года:

«Как бы я был счастлив, если бы записал завтра, что начал большую художественную работу. Да, начать теперь и написать роман имело бы такой смысл. Первые, прежние мои романы были бессознательное творчество. С «Анны Карениной», кажется больше 10 лет, я расчленял, разделял, анализировал; теперь я знаю что что, и могу всё смешать опять и работать в этом смешанном. Помоги, Отец» *(52, 6)*.

Толстой напряжённо, с определившимися целеполаганиями, работает над новыми сочинениями и над собой; грустное “первенство” душевных метаний снова забирает жена — что, конечно, отнюдь не равнозначно совершенному покою мужа. Кроме того, повторим ещё раз: сам Лев Николаевич (а позднее, со времени помощи голодающим в 1891-92 гг., и жена со старшими детьми) делается в 1880-х человеком «публичным», за которым к концу этого десятилетия наблюдает уже весь цивилизованный мир. Оттого и биографам, а через них и читательским кругам, эти годы известны особенно подробно, что даёт право нам с чистым сердцем опускать здесь и в дальнейшем все те подробности жизни Льва Николаевича, которые не нашли прямого отражения в избранных нами эпизодах переписки его с женой.

Что касается переписки 1890 и 1891 гг., то её частотные и иные дистрибутивные характеристики определяются преимущественно той же ситуацией семейной жизни Толстых, о которой мы рассказали выше. «Младший из старших» сыновей Толстого, Лев Львович, заканчивает своё учение; младшие, доросшие до учёбы, Андрей и Миша — учатся дома, при прямом участии матери, занимающейся

с ними. Как и в 1889-м, семья на зимы 1890 и 1891 гг. остаётся в Ясной Поляне, откуда уже Софья Андреевна выезжает для решения деловых вопросов, личных проблем, разнообразных визитов в города Тулу, Москву и Петербург. Дети остаются дома с прислугой, гувернёрами, няньками… но и с отцом, которого, напомним, Соничка уже давно считает очень плохим воспитателем и заботником о ней и о детях. Оттого поездки её очень кратки; нечасты и письма. В 1890-м году это два письма: от 26 января, когда Соничка отвезла горячо любимого джуниора, то бишь Льва-сына, в университет в Москву, заодно уладив ряд своих «книжных и денежных дел», и от 3 сентября — вероятно, из такой же краткой деловой командировки. «Дела мои в Москве были скучные. – вспоминает Софья Андреевна. – Приходилось учитывать продажу книг, сидеть с артельщиком целые дни», «не позволяя себе никаких развлечений и выездов. Только бы всё кончить и уехать» *(ПСТ. С. 443; МЖ – 2. С. 116)*.

В 1891 г. ситуация большей частью сходна: краткие поездки Софьи Андреевны в Москву не создавали условий для длительной и содержательно ценной переписки её с мужем. Ярчайшее исключение этого года — эпизод, хронологически укладывающийся в период с 29 марта по 13 апреля 1891 г., когда Софья Андреевна предприняла довольно авантюрную поездку из Москвы в столицу, дабы *лично* уговорить императора Александра III на особенное цензурное разрешение для «Крейцеровой сонаты».

На этом эпизоде уже достаточно полноценной и длительной переписки С. А. Толстой с мужем нам и необходимо задержать внимание читателя. Весь ужас нашего положения заключается в том, что писем С. А. Толстой, которые нам необходимо представить ниже, в нашем распоряжении *нет* и не может быть: все они, кроме одного, утрачены (быть может, волею самой С. А. Толстой, чего-то испугавшейся или чем-то в них смутившейся позднее). Между тем от этой же поездки сохранились целые четырнадцать (!) посланий Толстого к жене в Петербург: простых писем, открытых и приписок в письмах дочерей. Конечно, ни о каком возлюбленном нами эпистолярном *диалоге* Сони и Льва при указанных условиях не приходится и говорить. Но мы не дадим обратиться ему и в совершенный монолог. Оба супруга ведут в этот год дневники. Софья Андреевна под 22 апреля описала в дневнике подробно свою поездку, а зимой 1908-1909 гг. так же подробно, даже как-то ностальгически-любовно, воскресила интереснейшие мотивы и обстоятельства этой своей поездки на страницах мемуаров «Моя жизнь» *(см.: ДСАТ – 1. С. 168 – 180; МЖ – 2. С. 177 – 193)*. Не от хорошей жизни, но мы поступим следующим

образом: весь этот, Тридцать Третий, Эпизод нашей книги мы превратим в реконструкцию событий этих дней (от Предыстории до ближайших последствий), в которой, в своём месте будут приведены и уцелевшие остатки «ополовиненной» волею судеб переписки супругов в указанный хронологический период.

* * * * *

В центре событий была, как мы уже сказали, новая повесть Льва Николаевича — «Крейцерова соната», благодаря салонным чтецам и салонным же и журнальным сплетникам жестоко оскандалившаяся ещё до завершения её писания. Ещё до публикации кривотолков о повести возникло столько, что Толстой задумал особенное пояснительное «Послесловие» к ней, а саму повесть в записи Дневника под 6 декабря 1889 г. назвал «художественно неправильной, фальшивой» *(50, 189)*.

В конце 1889 г. возникли вскоре подтвердившиеся слухи о её назревающем цензурном запрещении для *всякой* публикации. У Софьи Андреевны же были на объёмную и уже скандально привлекательную (т.е. сулящую большие барыши) повесть свои виды: она хотела напечатать «Крейцерову» в XIII-й части нового собрания сочинений, издававшегося, как и ряд прежних, под её непосредственным руководством. Кроме того, строгий запрет создавал эффект «запретного плода» — а значит поддерживал скандальные сплетни, по ряду причин задевавшие её лично. 12 марта 1891 г. совершилось столь обыкновенное в жизни Сонички дело: её фобии воплотились в очередной раз в жизнь. Том с текстом «Крейцеровой сонаты» был арестован цензурой. Жена Толстого решает самостоятельно ехать в Петербург «хлопотать» — при этом, разумеется, в характернейшем же для неё «предчувствии неудачи» *(ДСАТ – 1. С. 162, 166)*.

* * * * *

Вернёмся теперь немного назад — к предыстории этой поездки. Выше мы уже упомянули, что Толстому не хватило дальновидности и деликатности исключить жену из числа переписчиков, работавших с черновиками «Крейцеровой сонаты». То, что она прочитала — она восприняла не просто близко к сердцу, а *болезненно* близко, *катастрофически* для отношений с мужем в последующие годы. Как и многие люди с деструктивно акцентуированной психикой, она не

призналась, не стала ничего говорить мужу, а молча день за днём «варила яд» в себе. Любопытно проследить по её интимным дневниковым записям, как она копила свою злобу и разрушала любовные отношения с мужем.

Первым страшным признаком с осени 1889 г. стало возобновившееся *нездоровое* влечение Софьи Андреевны к чтению и *переписыванию* записей в Дневнике мужа, относящихся к молодой, холостой его жизни. Вряд ли наш читатель мог забыть, что с чтения некоторых из них, с описанием взаимоотношений Толстого с другими женщинами, началась её брачная жизнь. Выдающийся советский и российский учёный толстовед, старец Виталий Ремизов, высказал об этом чтении и его последствиях мудрое наблюдение, к которому не много можно прибавить и с которым нельзя не согласиться:

«Искренний и по-мужски наивный Толстой дал накануне женитьбы возможность восемнадцатилетней Соне прочитать его дневники молодости. […] При этом Соня не могла не чувствовать любовного и доброго отношения к себе со стороны Льва Николаевича — Лёвочки, как она в дальнейшем будет звать мужа. Прочитала, простила бы и забыла. Мудро и благостно для дальнейшей семейной жизни. Но увы… Чтение дневников молодого Толстого оказалось для Сони роковым. Будучи от рождения крайне ревнивой, эмоционально не сдержанной, склонной к подозрительности, она *сама себе воткнула нож в сердце*, кровоточащая рана обозначилась на всю жизнь. С годами ревность только возрастала, приобретая гипертрофированные формы» *(Ремизов В.Б. Лев Толстой в поисках бессмертного храма // Уход Толстого. Как это было. М., 2017. С. 677. Выделение наше. – Р. А.)*.

Конечно же, в мемуарах Софья Андреевна выставляет внешний повод к переписыванию «страшных» дневников: «чтобы было два экземпляра их и чтоб сохранить уже начинавшие выцветать старинные строки в писаниях Льва Николаевича» *(МЖ – 2. С. 148)*. Но это могло быть разве только малой частью правды. Напомним читателю: нечто подобное уже было в 1876 году, когда Соня взялась собрать по Дневнику мужа материалы для писания его биографии. В результате же — вдруг поймала себя на том, что:

«Я жадно отыскиваю все страницы дневника, где какая-нибудь любовь, и мучаю себя ревностью, и это мне всё затемняет и путает» *(ДСАТ - 1. С. 90)*.

Но и тогда, и в 1889-90 гг. настоящие мотивы Софьи Андреевны к доставлявшей ей поистине мазохистские страдания работе с Дневником супруга были значительно глубже и сложнее. В них она сознаётся себе в записи своего дневника от 20 ноября 1890 г.:

«Лёвочка порвал со мной всякое общение. За что? Почему? [...] Я читала тихонько дневники его, и мне хотелось понять, узнать — как могу я внести в его жизнь и сама получить от него что-нибудь, что могло бы нас соединить опять. Но дневники его вносили в мою душу ещё больше отчаяния; он узнал, верно, что я их читала, и стал теперь куда-то прятать. Но он мне ничего не сказал. [...] Он убивает меня очень систематично и выживает из своей личной жизни, и это невыносимо больно. [...] Мне хочется убить себя, бежать куда-нибудь, полюбить кого-нибудь — всё, только не жить с человеком, которого, несмотря ни на что, всю жизнь за что-то я любила, хотя теперь я вижу, *как* я его идеализировала, *как* я долго не хотела понять, что в нём была одна чувственность» *(ДСАТ – 1. С. 124 - 125)*.

И 16 декабря 1890 г.:

«Я, как пьяница, запоем переписываю его дневники, и пьянство моё состоит в волнении ревнивом там, где дело идёт о женщинах» *(Там же. С. 132)*.

Всё тот же нож — ещё, и ещё раз! — в ту же не зажившую рану... Всё те же бесконечные похороны романтического идеала юности. Идеала единения с мужем, хотя иногда и именуемого Соничкой «духовным», но не имевшего в себе христианского религиозного содержания. «Лёвочка» же не просто декларирует евангельский идеал целомудрия в своей повести, а применяет его в жизни... с нею (с кем же ещё?) Не отвращение ли это к ней, не вражда ли? *Кем* она будет для него, если не будет больше самкой — в постели и с детёнышами? Хотелось выяснить... Конечно, это было нездоровым состоянием: люди психического склада Софьи Андреевны способны «выяснять» подобное бесконечно, изводя себя и близких!

На самом деле Соничка не могла не знать, *каков* путь к *духовному* единению с мужем. Но этот путь не был для неё приемлем, она сама закрывала себе его. В дневнике под 22 апреля, перед описанием своей поездки в Петербург, она сознаётся:

«Я не могу не относиться с самым искренним, сочувствием ко всем тем нравственным правилам, которые поставил сам себе и другим Лёвочка. Но я не вижу и не нахожу возможности провести их в жизни. На полдороге останавливаться я не могу, это не в моём характере; идти до конца — сил нет» *(ДСАТ – 1. С. 168)*.

Конечно же, это предлог, а не причина. Дело не в кажущейся огромности пути христианского исповедничества, дело *именно* в том, чтобы *начать*. Вступить на путь жизни за Христом. Пойти по нём и сделать столько поприщ, сколько сумеешь. Ссылка на нрав и характер, мешающие начать, на неосуществимость идеала *вполне* —

только самообман и лукавство. Страх людей отделиться от толпы рабов и прислужников учения мира — свидетельство *безверия* в quasi-христианском мире.

* * * * *

Настала пора сказать об иной, *материальной*, составляющей сложной системы мотивов Софьи Андреевны к переписыванию Дневника мужа. Нигде в своём дневнике или мемуарах «Моя жизнь» она не говорит о *плотском* мотиве прямо, но, как в Дневнике Л. Н. Толстого, так и в её он проступает в виде отдельных обмолвок и «между строк» — прямо свидетельствующих или намекающих на неутолённое (из-за воздержания мужского партнёра) желание близости к мужчине. В дневниковой записи под 26 января 1891 г., осудив в очередной раз «принципы» мужа, она пишет вот это:

«Все разошлись спать, иду и я. Спаси, бог, эту ночь от тех грешных снов, которые сегодня утром разбудили меня» *(ДСАТ – 1. С. 149)*. В те же дни свидетельства, и многочисленные, о помехе сну из-за половой потребности появляются и в Дневнике мужа.

Или вот такое жалостное свидетельство о “вялом живчике” стареющего Льва Николаевича из книги «Моя жизнь»:

«На ласковые и страстные требования моего мужа я отвечала, любя его, всегда охотно и заражалась его чувством. Когда мой муж прекращал их, я жила спокойно, не унижая себя… Хуже всего была неудовлетворённость от этих отношений, которая стала проявляться <у меня> с возрастом моего мужа и делала меня крайне нервной» *(МЖ – 2. С. 153)*.

Несмотря на начавшееся возрастное “угасание” влечения, совершенное целомудрие не давалось и Л. Н. Толстому. Приведём пару свидетельств из его Дневника уже 1891 г. — о продолжающейся, стыдной для автора «Крейцеровой сонаты» в особенности, борьбе с нею. Вот запись от 9 марта: «…Три дня писал <трактат «Царство Божие внутри вас»>, кончаю 4-ю главу. Всё время грустно, уныло, стыдно. […] Я молился сначала об избавлении от искушений похоти, потом тщеславия, потом нелюбви» *(52, 17, 19)*.

22 мая 1891 г. появилась запись, показавшаяся Софье Андреевне особенно «отвратительной» и даже «циничной»:

«Так ли, не так ли я объяснил <в послесловии к «Крейцеровой сонате»>, почему нужно наибольшее половое воздержание, — не знаю. Но я знаю несомненно то, что совокупление есть мерзость, на которую можно смотреть, о которой можно думать без отвращения только под влиянием похоти. Даже для того, чтобы иметь детей, не

станешь этого делать над женщиной, которую любишь. Пишу это в то время, как сам одержим похотью, с которой не могу бороться» *(52, 32)*.

Когда же похотливое влечение проходило у обоих — они выглядели и вели себя как люди, уставшие друг от друга. В спокойном состоянии она видела в муже только самые дурные черты: «его нечистоплотность во всём, его судно, которое он употреблял в той же комнате, где писал, где пил по утрам кофе; его старость с грубой чувственностью…» *(МЖ – 2. С. 166)*.

Если коротко и просто: половое влечение донимало то вместе, то порознь их *обоих*. Соня была моложе, и избавилась от него не ранее 2-й полов. 1890-х гг. Лев Николаевич освободился раньше, но… всё-таки ещё не в период писания «Крейцеровой сонаты», и даже не в самом начале 1890-х… Точные свидетельства у биографов, к сожалению, отсутствуют.

Так что у чтения именно «развратных» страниц Дневника молодого Л. Н. Толстого вероятен и ещё один, совершенно тайный и, скорее всего, *не осознаваемый* самой читательницей и переписчицей смысл: *ревностью и отвращением убить половое влечение*. Уловив в «Крейцеровой» мотив сексуального отторжения и не без основания отнеся его на свой счёт — Соня транслировала в бессознательное “греховную” мотивацию к своеобразному «зеркальному ответу» злом на зло, который в её положении значил одно: внушение самой себе отвращения к мужу как партнёру.

Дополнительным внешним мотивом для обоих была новая беременность Сонички, скрытая семейством от современников и биографов. Ниже мы приведём текст её дневникового рассказа о посещении цензора Феоктистова и имп. Александра III, свидетельствующий, что Соничка в начале 1890-х *очень* заботилась о своей привлекательности для мужчин и радовалась моложавому своему виду, помогавшему в этом. Воистину, *многие* проклятия подобным женским стараниям, которые Л. Н. Толстой вложил в уста мужа-рассказчика в «Крейцеровой сонате», он мог бы искренне изречь и от себя. И итог был предсказуем: летом 1890 года у Софьи Андреевны обнаружилась новая беременность. Впервые она была совершенно нежелательна обоим супругам. С помощью доктора и акушерки в Туле она устроила выкидыш. Рассказав об этом, Соня-мемуаристка «кстати» вспоминает и цитирует свою дневниковую запись от 19 января 1891 г.:

«Какая видимая нить связывает старые дневники Лёвочки с его «Крейцеровой сонатой». А я в этой паутине жужжащая муха, случайно попавшая, из которой паук сосал кровь» *(Там же. С. 146)*.

«Муха», кстати говоря, в самом конце 1890 г. добилась-таки бессознательно желанной ею близости с мужем и, к его и собственному ужасу, снова забеременела — и в том же 1891 г. повторила свой визит к акушеру *(МЖ – 2. С. 152, 161)*.

Но пусть и не правдиво перед собой, а «связь» была установлена! Предсказуемо она тоже “зеркальна”: женщины, по «Крейцеровой сонате», делаются “ловцами душ” мужчин, мужчины, по Сониной версии — женщин. Как пауки ловят мух. Оправданием её (и женщин в её положении) и “зеркальным” ответом послужила и написанная позднее повесть «Чья вина?», задуманная в период вычитки корректур «Крейцеровой сонаты». В повести воплотилась навязчивая Сонина идея “убийства” мужем жены: сперва посредством охлаждения отношений, а затем и буквального, на почве ревности.

Но стоило ли Соничке ради этого, вполне предсказуемого, результата так изводить и утруждать себя? Конечно, стоило — с её точки зрения. Ибо стараться быть привлекательной для мужа было её всегдашней задачей, некогда востребованной и мужем: вспомним его ужас от её болезни и временно некрасивой внешности в 1870 – 1871 гг. Вспомним кстати и 1884-й, когда, в записи Дневника от 26 мая, он вспоминает те события как начало кризиса, как «лопнувшую струну» отношений, после чего, через 14 лет, жизнь привела его к необходимости «искать жену в жене»: то есть найти в жене *другого человека*, близкого идейно и духовно. А не ту самку, няньку и хозяйку, которой фактически была по своим социальным ролям Софья Андреевна уже полные 20-ть лет в его доме (за что часто кляла свою судьбу и винила мужа). Для этого нужно было побарывать в себе нетерпимость и – главное – всё ещё сказывавшуюся похоть.

Нашёл ли? Нашёл — насколько *было, что* искать. Нашёл *понимание* своих побуждений, даже *сочувствие* многим из них — например, воззрениям на православие, на государственных бюрократов, цензоров… Но было всегда различие, хорошо иллюстрируемое следующим высказыванием в книге «Моя жизнь»: «…Я не была достаточно умна, чтобы понять всё то духовное миросозерцание мужа, к которому он пришёл тяжёлым, продолжительным и сложным путём; и не была достаточно глупа, чтобы слепо, без рассуждений, с тупой покорностью идти за ним» *(МЖ – 2. С. 160)*. В Софье Андреевне не было веры, то есть доверия Богу и Истине христианского учения, чтобы решиться идти парой равенства с мужем, его христианским поприщем. Вера для неё была делом «глупости» и «слепоты» — если, конечно, это была не церковная вера, требовавшая доверия не Истине христианского учения, а попам и догматическому учению «своей» церкви. И она, застряв, начав отставать — отчаянно принялась сама

искать… того, кто был бы ближе и понятней. Того Лёвушку, которого *уже не было*.

Радости чувственные: не только театр, выставки, музыка, кулинария, но и *самые интимные* — были ещё потребны ей. Она способна была на злую зависть к тем, кому интим был значительнее доступнее, чем ей. Один из толстовцев, тульский помещик Анатолий Степанович Буткевич (1869 – 1942), сошёлся без брака с некоей акушеркой, девицей Лизонькой Штыкиной (1869 – 1922). Не спеша “оформлять” отношения венчанием, они добро и мудро, самостоятельно и неспешно изучали, познавали друг друга (то, чего недостало до брака обоим Толстым!), а между тем не отказывали друг дружке и в некоторых ласках, не обременяя обязательствами. Венчание их состоялось не менее чем через год (Толстой впервые упоминает о Лизе как Толиной невесте не ранее лета 1891 г.) — когда они утолили друг с другом и многими другими партнёрами простое желание страсти и нашли более прочные, нежели пресловутая «любовь», основания для брака. В «Моей жизни» Софья Андреевна вспоминает о Лизоньке с нескрываемой ненавистью, для чего-то противопоставляя её «дрянному» поведению — себя и своё воспитание «в строгих правилах старинных традиций» *(МЖ – 2. С. 150)*.

Пиша в мемуарах «Моя жизнь» о событиях 1890 г., С. А. Толстая выделила в особую главку тему «Женщины с точки зрения Льва Николаевича», основанную преимущественно на критических записях в её же дневнике рубежа 1880-1890-х гг. Здесь она решительно восстаёт против рассмотрения мужем половой жизни как «греха» — в котором она, по логике её воспалённого воображения, только многолетняя сообщница или даже «вещь», т.е. пассивная, без своей воли, участница. В такой позиции она видела «нелюбовь и неуважение к женщине», за доказательствами которой и “нырнула с головой” в дневниковые записи времён холостой жизни мужа *(МЖ – 2. С. 135)*.

Страшно возмутила Софью Андреевну и запись Толстого от 3 июля 1890 г. о разговоре его с некой «дачницей», в ходе которого он заметил в ней порчу характера, желание «играть мыслями и вообще духовными дарами» — и связал это (быть может, и небезосновательно) с тем, что дачница оказалась «опытной» в отношениях с мужчинами — включая наиболее интимные. А понять мужчин, по мысли Толстого, может только не испорченная ещё «развратом» девушка — девственница *(51, 57)*. Представив *себя* на месте этой дачницы (а муж ей не раз прежде выговаривал о том же её «неуважении» к мысли), далёкая от девственности Соничка выпускает гневную тираду, и… проговаривается:

«Это исключение уже мне совсем не понятно. Девственницы большей частью ненормальны и истеричны; женщины же, удовлетворённые *нормальной женской жизнью*, всегда яснее на всё смотрят» *(МЖ - 2. С. 136. Выделение наше. – Р. А.)*.

Удручает здесь не только то, что пишет это в начале 1909 г. бабушка, которую через год с небольшим, по настоянию семьи, освидетельствуют психиатры — именно как женщину истеричную, ненормальную. Важней для нас здесь — те слова в пользу соитий с самцами как условия «нормальной женской жизни», которыми, не желая того, Софья Андреевна указала, *какого* «мужа в муже» хотелось отыскать ей по дневникам молодого гуляки и женолюбца. Выраженный в «Крейцеровой сонате» христианский идеал целомудрия был ей *понятен* (на что, опять же, есть указание в её беседе с имп. Александром III), но недопустим в практике повседневной жизни с мужчиной — даже *несмотря* на все ужасы, которые сопровождали её жизнь при беременностях, кормлении, возращении детей; *несмотря* на медицинские противопоказания к родам, которые в наши дни она могла бы получить от врача даже до первой беременности!

Любители и в наши дни проклинать Толстого-мужа за похоть, эгоизм, бесчувственность!.. Помните, что *лучшим исходом* для пары, переписку которой мы приводим и анализируем здесь, была бы или такая «свободная любовь», как у Буткевича с супругой, или, что лучше всего, целомудренная *чистая жизнь в браке,* с общими духовными интересами, общими делами творчества и общественного служения, но без выпложивания на перенаселённой именно человеком планете пресловутого «потомства»!

Они *оба* были равно грешны первые десятилетия брака — зная об этом идеале евангелий, понимая смысл требований Бога и Христа, но не признавая его актуальным для себя. Соничка в этом плане — осталась узницей «учения мира» до конца. Но и Лев был несвободен: ни от неврозов раннего сироты, вытесненных в бессознательное (при которых мужчина взыскует себе любовь женщины, но не всегда умеет адекватно откликнуться на её чувственность и потребность заботы), ни от предрассудков патриархальности (при которых понимающего отклика не находили и высшие человеческие потребности Сони: саморазвития, творчества и иные).

Но была рабой традиционалистских предрассудочных категорий («верность мужу», «падение», «осквернение себя» и т. п.) и Соня — хотя уже в дневнике под 9 декабря 1890 г. так сожалеет сама о своей брачной «чистоте»:

«Эта белизна и чистота в природе, в душе, в нравах, в совести, в жизни материальной — везде она прекрасна. И как я её старалась

блюсти, и зачем? Не лучше ли бы были воспоминанья любви, хотя бы и преступной, вместо теперешней пустоты и белизны совести?» *(ДСАТ – 1. С. 127)*.

И, процитировав эти строки в воспоминаниях, Софья Андреевна в 1909 г. красноречиво добавляет:

«Неосторожны мужья, отталкивающие от себя любовь жён. Господь сохранил меня чистой на всю жизнь, и я благодарна за это судьбе. Но не дело ли это случая?» *(МЖ – 2. С. 149)*.

Эти сентенции о «чистоте» и «запойное» чтение больно ранящих страничек дневника молодости Толстого — связаны напрямую. Под 18 января 1891 г. в её дневнике записано:

«*Брак* не может быть счастлив после разврата мужа. […] Я умышленно, бережа себя, не читала всех его дневников и не расспрашивала о прошедшем. А то погибли бы мы оба. И он не знает того, что погибли бы, и что моя чистота спасла нас. А это наверное так. Этот спокойный разврат и точка зрения на него, и картины этой сладострастной жизни заражают, как яд, и могли бы вредно повлиять на женщину, немного увлечённую кем-нибудь. “Ты такой был, и ты осквернил меня своим прошедшим, так вот же тебе за это!”» *(ДСАТ – 1. С. 146)*.

Беспокоясь о «чистоте» перед фарисейским общественным мнением церковно-православной России, оба они не сберегли в своей жизни чистоты перед Богом: от похоти и от корысти. *Чувство оленя* — так именовал Толстой в Дневнике первозданное интимное влечение человека как животного, и, борясь с ним, сублимировал его в труд, полюбил физический труд ещё в далёком 1860-м году *(48, 25)*. С сублимациями влечение мирилось, но жестоко мстило ему за попытки осуществления идеала целомудрия — слишком поздние для человека, совращённого общественно разрешённым блудом (о чём поведал Толстой в своей «Исповеди» прежде мужа-убийцы в «Крейцеровой сонате»). Софья же, дочь лютеранина-немца, помимо женского варианта того же табуированно-дозволенного полового устремления, одержима, и пожизненно, была поклонением другому идолу: *золотому тельцу*. Люди слабо или вовсе не верующие всегда во власти витальных страхов человека как животного, венчаемых древнейшим страхом – голода для себя и потомства. Невозможности спаривания и репродукции потомства — возможных, разумеется, лишь тогда, когда сыт и в силах. Учение Христа указывает на путь освобождения от идолопоклонства тельцу, от идола богатства, от «чувства оленя», вообще от суеверия «обеспечения жизни». Но люди не идут за Христом, а по-прежнему увлекаемы — оленем и/или тельцом.

* * * * *

12 февраля 1891 г. “скороварку” негативистского сознания Софьи Андреевны вдруг взорвало: она устроила мужу страшный, мучительный для неё самой, разговор о его «Крейцеровой сонате». Толстой через пару дней записал об этой ссоре следующее:

«…Стал читать дневник, который переписывает Соня. И стало больно. И я стал говорить ей раздражительно и заразил её злобой. И она рассердилась и говорила жестокие вещи. Продолжалось не более часа. Я перестал считаться, стал думать о ней и любовно примирился» *(52, 7)*.

Накануне и в день ссоры Соне было очень плохо: болели сразу все дети, кроме нелюбимой Саши. «…У Маши боли в животе, у Тани желудочные боли, у Миши зубы, у Ванечки сыпь, у Андрюши жар, рвота…» *(ДСАТ – 1. С. 152)*. Из каких соображений, кроме мазохистских, могла она взяться именно в такие дни, в скверном настроении, обременённая иными заботами, за «грязный», истязующий её подробностями разврата, дневник мужа — остаётся неясным. Но она обманывает в мемуарах, когда утверждает, что не имела намерения причинить мужу ответную боль этим чтением и переписыванием и унизить его, «обличить» перед будущими его читателями — для которых таким образом она его сохраняет *(МЖ – 2. С. 166)*. Некоторые места *её* дневника говорят об обратном: о мстительной неприязни к автору «Крейцеровой сонаты», о желании внутренне противопоставить себя его «грязи» и, в свою очередь, оправдать перед потомками.

О самой ссоре Соничка рассказывает в своём дневнике, причём в записи того же 12 февраля, намного подробнее:

«Переписывала дневник Лёвочки; он взял вечером свой дневник и начал читать. Несколько раз он говорил мне, что ему неприятно, что я их переписываю, а я себе думала: «Ну и терпи, что неприятно, если жил так безобразно». Сегодня же он поднял целую историю, начал говорить, что я ему делаю больно и не чувствую это, что он хотел даже уничтожить эти дневники, упрекал мне, спрашивал, приятно ли бы мне было, если б мне напоминали то, что меня мучает, как дурной поступок, и многое другое. Я ему на это сказала, что если ему больно, мне не жаль его, что если он хочет жечь дневники, пусть жжёт, я не дорожу своими трудами; а если считаться, кто кому что больно делает, то он своей последней повестью перед лицом всего мира *так* больно мне сделал, что счесться нам трудно. Его орудия сильнее и вернее. Ему бы хотелось перед лицом всего мира остаться на том пьедестале, который он себе воздвиг страшными усилиями,

а дневники его прежние свергают его в ту грязь, в которой он жил, и ему досадно.

Не знаю, как и почему связали «Крейцерову сонату» с нашей замужней жизнью, но это факт, и всякий, начиная с Государя и кончая братом Льва Николаевича и его приятелем лучшим — Дьяковым, все пожалели меня. Да что искать в других — я сама в сердце своём почувствовала, что эта повесть направлена в меня, что она сразу нанесла мне рану, унизила меня в глазах всего мира и разрушила последнюю любовь между нами. И всё это, не быв виноватой перед мужем ни в одном движении, ни в одном взгляде на кого бы то ни было во всю мою замужнюю жизнь! Была ли в сердце моём возможность любить другого, была ли борьба — это вопрос другой — это дело только *моё*, это моя святая святых, — и до неё коснуться не имеет права никто в мире, если я осталась чиста» *(ДСАТ – 1. С. 153)*.

Это был жестокий, и именно со стороны Софьи Андреевны, разрыв с мужем в прежних отношениях — вербализованный в её дневнике на следующий день, 13 февраля, формулировкой новой конвенции: «…Доживать вместе жизнь как можно дружнее и спокойнее» *(Там же. С. 154)*. Думаем, читателю известно, что и эта конвенция была со стороны С. А. Толстой впоследствии многократно и жестоко нарушена.

* * * * *

Из-за утраты писем Софьи Андреевны, относящихся к данному Эпизоду, нам пришлось достаточно подробно остановиться на реконструкции и анализе личных отношений супругов в эти дни, непосредственно продолженных утраченной наполовину перепиской. Переходим теперь собственно к презентованию и анализу уцелевшей части переписки, относящейся к петербургской поездке Софьи Андреевны. Содержание пропавших писем расскажет нам её дневник, сохранивший подробную летопись поездки жены Толстого к царю, и, конечно, соответствующие странички мемуаров «Моя жизнь». С них и начнём.

«Главную причину моей поездки в Петербург никто не знал, — сообщает Софья Андреевна в «Моей жизни», — а она состояла в том, что повесть «Крейцерова соната» бросила на меня почему-то тень. Многие подозревали, что она взята из нашей жизни, другие видели в ней унижение жены и женщины вообще. Мой дядя Костя Ислявин говорил, что в свете из меня сделали victime [*фр.* жертву], что Государь сказал: «Мне жаль бедную жену Толстого…» И чтобы показать,

как я мало похожа на жертву, я поехала хлопотать об этой повести. Если я о ней хлопочу, значит, я не могу быть предметом её сюжета, значит, я наверное невинна и не причастна к событиям, описанным в «Крейцеровой сонате». Хотелось мне тоже поднять prestige [*фр.* авторитет] Льва Николаевича и показать в высших сферах настоящее значение учения и писаний Льва Николаевича, превратно истолковываемых в смысле революции» *(МЖ – 2. С. 183 - 184).*

За последнее стоит похвалить Софью Андреевну, а вот в первом — отчасти усомниться. Названный мотив для поездки вряд ли был её *причиной*, во всяком случае — главной. Как мы только что показали выше, посрамление Сонички в «свете», по её восприятию, *уже* состоялось. Хлопоты же за скандально популярную повесть могли однозначно и справедливо быть расценены *умными* людьми «света» как *битва за барыш*, которого, при изъятии повести из XIII части собрания сочинений мужа, она бы уже не получила. Это наше соображение не только вписывается хорошо в контекст всего поведения Софьи Андреевны в Петербурге, но и объясняет, отчего впоследствии разрешённый XIII-й том с «Крейцеровой сонатой» она пустила в продажу *отдельно* от всего собрания сочинений, по особой подписке (конечно же, очень многолюдной!). Вряд ли тиражирование в печати столь одиозной повести могло свести на нет сплетни, касавшиеся её лично: даже, напротив, расширить круг сплетников и насмешников. Но дело в том, что именно мнение российской элиты, «света», среди которого было множество знакомых и родни, было для графини Толстой значимым. На пересуды прочих она готова была затворить слух – ради денег для семьи, для детей!

Покидала Софья Андреевна Ясную Поляну в «привычном» для себя состоянии тревожности: о грядущем предприятии, о детях (Ваничка как раз начал перебаливать ветрянкой), о готовящемся и активно обсуждаемом семейном разделе… С этими думами в ночь с 28 на 29 марта 1891 г. Софья Андреевна выехала из Ясной Поляны в Москву, где, навестив конторы нужных банков, а кроме того и сына Льва в московском доме, в 4 часа пополудни выехала с Николаевского (с 1937 г. Ленинградского) вокзала в Санкт-Петербург. Перед отъездом она отправила мужу письмо — единственное в эту поездку её письмо из Москвы и, к несчастью, единственное уцелевшее из этих дней. Приводим полный его текст.

«Милые друзья, доехала хорошо, хотя кошмары меня всё мучали во сне и болезнь Ванички наяву. Лёву застала за чаем, рассказала ему о разделе, он тоже взволновался и уже написал что-то Илье. Лёва

тоже очень *за* раздел, чтоб стать определённо на более бедную жизнь, и знать, что у каждого есть.

Была я в Государственном банке и в Купеческом, и всё сделала своевременно. Теперь два часа до поезда, и вот мы беседуем с Лёвой и я пишу письма.

Телеграммы нет, а всё поджидаю с трепетом. Завтра телеграфируйте в Петербург непременно. Дай бог, чтоб вы все были здоровы! Желаю девочкам просветлеть и повеселеть.

В Москве разговоры о великом князе Михаиле Михайловиче, его отставили от полка, лишили всяких прав, всё за то, бедного, что он женился на m-lle Дуппельт, на простой смертной, а не на царской крови.

Прощайте, еду в Петербург без энергии и без той горячности, которая нужна делу, и как бы охотно вернулась домой! Но видно судьба, — la fatalité, как говорят лучше по-французски, а может быть путаница в моей голове.

Кланяюсь всем домашним и целую папа и детей» *(ПСТ. С. 443-444)*.

Короткое, усталое и трогательное письмо. Не без нотки зависти к «простой смертной» m-lle Дуппельт, подставившей своё дупло *любящему* мужчине, тогда как её, бедную Соню, по её же горестному заключению — муж давно *отлюбил*.

В тот же день 29 марта отправил телеграмму и написал своё первое в этом Эпизоде письмо (открытое) и Толстой — о том, что прежде всего беспокоило Софью Андреевну: о домашних делах и о здоровье детей. Приводим полный его текст как образец таких писем — чтобы ниже делать уже только выборки более ценного из подобных же писем.

«Ваничка спал дурно, просился на руки, но не плакал. Нельзя разобрать, что у него болит. Утром он сказал, что зубы; но может быть он это *так* сказал. Утром, в 8-м часу, был весел в постели. Я пощупал, и мне показалось, что маленький жар. Мы его не выпускали. Он был весел. Таня мерила температуру, и оказалось 37. — Теперь 2 часа, он спит, хорошо. Вот тебе подробный отчёт. Если бы ты была дома, то, пожалуй бы, и не заметила и наверное не обратила бы внимания. Всё дома хорошо. Маша встала и пошла гулять немного. Саша с <гувернанткой> Лидой гуляют к Козловке, и Таня едет за ними на Козловку в тележке. Я еду в Тулу и там брошу это письмо. Хочу вернуться к обеду. — Целую Кузминских и особенно Машу, за которую

очень рад. Ивану Егоровичу <Эрдели; в то время жених М. А. Кузминской; обвенчан с нею в октябре 1891 г. – *Р. А.*> привет. Вези её к нам. Завтра будет телеграмма раньше этого письма.

Сейчас раскрыл письмо, чтоб написать результат градусника у Ванички. Оказалось, что есть маленький жар, 37 и 8. Он проснулся, и мы его не выпустим» *(84, 70)*.

Адрес на обороте открытого письма: «Петербург. Невский 77. Т. А. Кузминской для передачи С. А. Толстой».

К Ваничке был приглашён один из лучших врачей эпохи, Александр Матвеевич Руднев (1842 – 1901), главврач Тульской губернской больницы, и «прямо определил: ветряная оспа» — успокоил Толстой жену в приписке 31 марта в письме Т. Л. Толстой *(Там же. С. 71)*. А в следующем, уже 1 апреля, письме (более длинном и не «открытом», а обычном — в конверте) Толстой извещал, что у Вани «новых оспинок не образуется, а прежние подсыхают», и даже нарисовал в письме, в натуральную величину, самые заметные. Новый же визит Руднева Толстой, успокоив в здоровье малыша себя и жену, употребляет для хлопот о заболевшем в ближнем селе мужике *(Там же)*. Мужика успели отправить в больницу, где тот скоро и умер.

И ещё вчитаемся вот в этот добро-наивный совет Толстого супруге, в том же письме от 1 апреля:

«Воспользуйся как можно лучше Петербургом, чтоб тебе и тем, с которыми ты будешь, было как можно приятнее. А дело не важно» *(Там же. С. 72)*.

Вся особенность ситуации в том, что Толстой не догадывался на тот момент, что под «делом» Соничка задумала (и даже уже организовала упредительной тайной перепиской!) визит с прошением именно *к царю*. Подразумевалось, что она навестит уже упоминавшегося нами выше своего старого знакомого и друга семьи Берсов, Е. М. Феоктистова, возглавлявшего Главное управление по делам печати при МВД. И её фиаско не огорчило бы Толстого, отнюдь: он, как бывало неоднократно, разочаровался в своём уже написанном шедевре и отнюдь не жаждал и не торопил его выхода из печати. На всякого мудреца довольно простоты — тем более, если жена у него Софья Андреевна!

О Соничкином утре 30 марта в Петербурге у нас уже нет письменного её рассказа: всё затерялось. Полетим дальше «на одном крыле». Пусть расскажет недостающее её дневник. Вот она навещает родню,

чтобы узнать результаты предварительной переписки (одно из важных писем не было получено):

«У Кузминских только вставали. Саша был на ревизии Балтийских губерний, Таня одевалась, Маша и дети причащались. Мы друг другу с Таней очень обрадовались, и она поместила меня в своей спальне. Выписали мы немедленно Мишу Стаховича; он говорил, что писал мне, вызывая меня для свиданья с Государем, так как Елена Григорьевна Шереметева, двоюродная сестра Государя, рождённая Строганова, дочь Марии Николаевны (Лихтенбергской), выхлопотала согласие Государя принять меня. Предлогом просьбы моей об аудиенции Государя служило то, что я прошу, чтобы цензура для произведений Льва Николаевича была бы лично самого царя. …Шереметева хлопотала о моей аудиенции у Государя по просьбе Зоси Стахович, которую Шереметева очень любит» *(ДСАТ – 1. С. 168 - 169)*.

Заметим: речь вполне откровенно идёт снова о *предлоге* для свидания с императором. Причину же мы назвали выше.

И далее:

«На другое утро моего приезда я поехала к Николаю Николаевичу Страхову, на его квартиру, всю занятую прекрасной библиотекой, им составленной. Он удивился и обрадовался мне. И вот мы начали с ним обсуждать письмо и мой предполагаемый разговор с Государем. Ему не понравилось, так же как и мне, письмо, набросанное Стаховичем, и к 5 часам он прислал мне свой вариант. Но и этот мне не понравился, я написала с двух — ещё свой, третий. Пришёл брат мой, Вячеслав, и окончательно выправил и моё письмо. Его вариант и был послан 31 марта».

И далее Софья Андреевна приводит сам текст своего (по преимуществу!) предваряющего аудиенцию письма царю:

«Ваше императорское величество, принимаю на себя смелость всеподданнейше просить ваше величество о назначении мне всемилостивейшего приёма для принесения личного перед вашим величеством ходатайства ради моего мужа, графа Л. Н. Толстого. Милостивое внимание вашего величества даст мне возможность изложить условия, могущие содействовать возвращению моего мужа к прежним художественным, литературным трудам и разъяснить, что некоторые обвинения, возводимые на его деятельность, бывают ошибочны и столь тяжелы, что отнимают последние духовные силы у потерявшего уже своё здоровье русского писателя, могущего, может быть, ещё служить своими произведениями на славу своего отечества.

Вашего императорского величества верноподданная

графиня София Толстая.

31 марта 1891 г.» *(Там же. С. 169)*.

Ко 2 апреля Л. Н. Толстой получил от жены два письма: от 29 марта, приведённое нами выше, и следующее, первое из числа не сохранившихся. Выше мы цитировали строки из его ответа 1 апреля. В следующем, от 2 апреля, ответном письме Соне о своём, действительно нужном и добром деле: «А я ходил на деревню к бабе, пригласившей меня, как костоправа, к вывихнутой в локте руке (застарелый вывих, при котором, вероятно, возвратится владение рукой» — а также о выздоровлении сына Ванички *(84, 72)*.

Между тем в авантюре Софьи Толстой произошла досаднейшая проволочка:

«Письмо дошло 1 апреля, и в тот же день умерла вел. кн. Ольга Федоровна на пути в Крым, в Харькове, от острого плеврита и болезни сердца. Смерть эта, в связи с женитьбой её сына, Михаила Михайловича на графине Меренберг, без согласия государя и его родителей, заняла весь Петербург. Везде только об этом и говорили. Девять дней, по обычаю и по этикету, при дворе не было никаких действий, и вся царская фамилия погрузилась в траур и уединение» *(ДСАТ – 1. С. 170)*.

Наверняка эти обстоятельства Софья Андреевна изложила в новом письме мужу. Но Лев Николаевич узнал о них прежде его получения и упомянул в своём письме от 3 апреля: «…Мне жалко очень стало во всём этом Государя. Ему должно быть очень больно».

И здесь же Толстой упомянул, как лично сам прогулялся за письмом Сони на станцию железной дороги Козлова Засека, где располагалась тогда почтовая контора, «и вот вернулся при лунном свете и прелестном воздухе» *(84, 73)*.

После беседы с Софьей Андреевной философ, литературный критик и давний друг Л. Н. Толстого Николай Николаевич Страхов набрался смелости послать ему свою новую статью «Толки о Л. Н. Толстом», которую, после проблем с цензурой, удалось опубликовать в кн. 9 за 1891 год журнала «Вопросы философии и психологии». В письме жене от 4 апреля Лев Николаевич положительно отзывается о хвалебной в его адрес статье:

«Вчера получили статью Страхова. Согласен с тобой, что она до неприличия преувеличивает моё значение, но, кажется, что, независимо от того, что она так льстит мне, я не ошибусь, сказав, что она замечательно хороша, не только хорошо написана и умно, но задушевно, сердечно. Так понимать сущность христианства может только христианин, или лучше ученик Христа. Скажи это Николаю Николаевичу. Я буду писать ему» *(84, 73 – 74)*.

Вернёмся теперь к Софье Андреевне. Время в Петербурге тянулось для неё слишком медленно, тоска по семье нарастала. Не хотелось и терять времени — а она и не теряла его. На повестке дня был Е. М. Феоктистов, которого, как помнит наш читатель, она уже разок “окрутила”, как мальчишку, в 1885 г. *(см.: МЖ – 1. С. 495)*. На этот раз Евгений Михайлович, кажется, подготовился к встрече с умнейшей и обаятельнейшей женщиной, знававшей его в лучшие годы молодости. Но это его не спасло… Тем более что Соничка в этот раз пошла к сплешивевшему ловеласу не одна, а захватила в спутницы Танюшу, младшую свою красавицу сестру. О своём триумфе она поведала в дневнике и мемуарах (и наверняка — в письме мужу) не без гордости:

«Поздоровавшись с Феоктистовым, которого я знала ещё в Москве молодым, только что увёзшим тогда свою красавицу жену тайком от матери, — я спросила его, почему запретили весь XIII том? Он сухо и машинально открыл какую-то книгу и прочёл монотонным голосом: книга «О жизни» запрещена духовной цензурой по приказанию св. синода. Статья «Так что ж нам делать?» запрещена полицейским управлением. А «Крейцерова соната» запрещена по высочайшему повелению», — прибавил он. На всё это я горячо начала доказывать, что главы из книги «О жизни», которые напечатала я, были уже напечатаны в «Неделе» и не вызвали даже неудовольствия со стороны цензуры, что главы из «Что ж нам делать?» им же были пропущены в XII части <в 1885 г. – *Р. А.*>, — и что остаётся только «Крейцерова сопата», которую надеюсь выпросить у царя.

Феоктистов очень был сконфужен, когда узнал, что «О жизни» и «Что ж нам делать?» напечатаны не целиком. Он позвал секретаря, велел пересмотреть дело и обещал через два дня ответ. Я очень его упрекала за то, что так небрежно и невнимательно относится цензура к такому автору, как Лев Толстой; упрекала, что в цензуре даже оглавления не прочли и так смутили и огорчили и меня, и самого автора. Он, видимо, понял, что сделал глупость, и 3 апреля привёз мне сам XIII часть и сказал, что её можно пропустить» *(ДСАТ – 1. С. 170 - 171)*.

В мемуарах Соничка не преминула добавить, что в беседе с размякшим Феоктистовым «напомнила ему о том, какой он был либерал и милый человек», пока не стал тем говном, каким стал *(МЖ – 2. С. 179)*.

И ещё одно дельце пришлось так же напористо и изящно уладить Софье Андреевне в первые апрельские деньки. Случайно, будто до чужого человека, до неё дошли сведения, что пьеса Л. Н. Толстого «Плоды просвещения», угодившая прежде под запрет для театральных постановок, вдруг оказалась скоренько внесена в репертуар, ни много ни мало, всех Императорских театров России и усиленно готовилась к премьере в ближайший сезон.

Соня набросилась на Императорский театральный комитет как львица:

«Я спрашиваю там, было ли с их стороны какое-нибудь отношение к автору и спрос, желает ли он? Говорят, что нет. Я рассердилась, говорю там чиновнику, что очень уж бесцеремонно и неделикатно относятся к автору, и заявила, между прочим, что прошу теперь обращаться со всеми переговорами не к нему, а ко мне.

На другой день явился режиссёр с бумагой, в которой напечатаны условия: я принимаю на себя все возможные обязательства, например, что *ручаюсь*, что пьесы не будут играть на частных сценах, *обязуюсь* 2000 штрафом за неисполнение и т. д. Меня взбесили эти обязательства…» *(ДСАТ – 1. С. 171)*.

…И режиссёр был отправлен со своей бумагой туда, куда и нужно было его отправить. Без особой надежды на поддержку, Соня написала мужу обо всём произошедшем письмо. Но муж, прелестный муж, и автор пьесы меж тем не только ничего не знал о разрешении её к большой премьере, но даже не стремился узнавать. В письме к жене от 8 апреля, в ответ на утерянное её письмо (не позднее, надо полагать, 5-го), он пишет нечто не самое умное и совершенно не приятное для своей львицы-воительницы за семейные доходы:

«Какие условия тебе предлагают от театральной дирекции о пьесе? Ведь ты знаешь, что я никаких условий не желаю и предоставляю всем играть, где и как хотят. Поэтому ты очень хорошо сделала, что не приняла их условий» *(84, 75)*.

А также, слава Богу, пишет одну полезную и нужную для матери строчку о здоровье детей:

«Дети все продолжают быть очень милы и радостны. У Ванечки и следов не найдёшь оспы» *(Там же)*.

Соня знала мужа и ждала такого ответа, а потому… и вовсе не ждала его. Уже на следующий день после отправки — весело нахуй — режиссёра она нанесла по конторе Императорских театров третий, и решающий, *снова триумфальный*, удар. Пусть снова расскажет о нём её дневник — раз уж утеряны письма:

«Я заявила чиновнику, что я не согласна принять на себя никаких обязательств и пусть лучше пьеса не идёт, но я не подпишусь ни за что. Он говорит, что это надо директору сказать. Я велела доложить о себе директору Всеволожскому. Он было отказался. Я говорю: «Странные у вас порядки, Государя можно видеть, а директора, *обязанного* принимать, видеть нельзя». Моё высокомерие его смутило, и он пошёл докладывать. […] Всеволожский принял меня развязно […]. Я сказала: «Как? вы, человек нашего круга, вы не понимаете, что Льва Николаевича нельзя ставить на одну степень с водевильными авторами, что все мы, а прежде всех я, как жена и как порядочная женщина, должны считаться с его идеями, п потому я не могу подписать обязательства, что *нигде* на частных сценах пьесу эту играть не будут; что главную радость Льва Николаевича составляло то, что комедия эта не дала ему до сих пор ни копейки, а обязательство это лишает права играть эту пьесу на всех благотворительных спектаклях…» Я очень горячилась, Всеволожский предложил вычеркнуть некоторые обязательства. Я и на это не согласилась, и наконец он предложил написать письмо частное, что я предоставляю право играть на императорских театрах пьесу с 10 % с валового сбора, что я и сделала» *(ДСАТ – 1. С. 171 - 172)*.

И чего, по преимуществу и добивалась, зная официальные правила об обычных 5 % с выручки (не считая обязательств!). «Ведь мы с Вами люди светские, а, господин Всеволожский?»

«Добит» Всеволожский был осенью того же года, когда решил вдруг придержать и не выплачивать гонорар. Софья Андреевна пожаловалась министру двора гр. Воронцову на этот отказ — сославшись, что гонорар предполагалось потратить на помощь крестьянам в начавшемся тогда в России голоде. И, конечно, получила ожидавшийся ею и желанный ответ: «Граф Воронцов написал учтивое письмо, в котором говорил, что ввиду нашей благотворительной цели он разрешает давать гонорар» *(МЖ – 2. С. 181)*.

Наверное, в тот же день, когда к ногам Софьи Андреевны легла театральная контора (точная датировка сложна из-за отсутствия её писем), она получила и прочла письмо мужа от 4 апреля — то самое, в котором он сетует на замысленную женой авантюру просительства у императора. Легко догадаться, что ответила ему усталая Соня не

просто объяснением своей позиции, а отповедью, так как в ответе (открытка) от 9 апреля муж смиренно и мудро сдаёт позиции:

«Очень жалею, что моё письмо огорчило тебя. Я тоже высказал, что было на душе. И разумеется напрасно. Бог даст, всё кончится благополучно. Да и нечему кончаться. Тебя мне жалко за твой невольный арест. Целую тебя» *(84, 76)*.

И, посовестившись своих куцых отписок (частию — приписок к письмам детей) в ответ на письма жены, 10-го Лев Николаевич написал ей наконец большое письмо, которое, с незначительными сокращениями, мы и приводим ниже.

«Я всякий раз только приписываю тебе, милый друг, и это мне неприятно, нынче хочу хорошенько написать. А то я выдумал новую методу: вечером с детьми пью чай, заряжаюсь им и иду писать или письма деловые, или два дня писал новую работу, вечернюю. <Начата «История матери», которую Толстой так и не окончил. – *Р. А.*> И это мешало писать тебе толком. Двухдневное писанье это до сих пор, несмотря на то, что бумаги исписал и не мало, не привело ни к каким результатам, если не считать результатом того, что, написав не так, как нужно и как хочешь, знаешь, что так писать не надо, а надо — писать иначе. Но зато утренняя работа моя идёт понемногу, — лучше, чем прежде.

Третьего дня после гостей [...] у меня к вечеру заболел живот — немного, и вчера целый день было не по себе. Но я почти ничего не ел, пил только жидкое и нынче совсем здоров. Вчера получил от Лёвы коротенькое письмецо. Он бодр, хотя опять жалуется на желудок. Мы с ним говорили про его университет. Он поговаривал, что бросит, и я очень внушаю ему, что это будет ему вредно, дурной antécédent [*фр.* прецедент], который ослабит его, что это гигиенически нравственно нехорошо. И с радостью увидал в письме, что он занимается и находит удовольствие в переводе Цицерона, про которого он прежде говорил с тоской. Вспомнил о тебе, что ты права, когда говоришь, что он очень легко поддаётся влиянию и что ему надо говорить, что я и делал. Вообще он хорош. Помогай ему Бог. Мы все здравствуем и благоденствуем; но ты напрасно обижаешь нас: начиная с себя, знаю, что всем без тебя жизнь кажется не полною.

Я вчера писал тебе и нынче подтверждаю, что твоё положение, неприятность и тяжесть его, я очень понимаю, сочувствую и очень желаю, чтобы поскорее ты бы от него избавилась.

Нынче день потеплее других, но всё свежесть в воздухе, и нет ни малейшего веселья, блеска, сиянья в весне, а тихая, подкрадывающаяся, серая. Нынче, возвращаясь к дому по шоссе, встречаю двух полицейских верхом. Дедушка! Не видал ли человека в сером и белых портках? Нет, а что? Из острога бежал. Потом ещё полицейские, тот же вопрос. С работы убежал и сидит где-нибудь в лесу, в овраге голодный! А нынче же были две бабы, идут к мужьям в острог. Один сослан обществом за то, что побил отца; а побил отца за то, что отец развратник приставал к его жене. Я написал о нём <тульскому прокурору> Давыдову. Если правда, нельзя ли помочь. [...]

Надеюсь, что у нас будет также всё хорошо и радостно, когда ты приедешь, и тебе будет после Петерсбургских треволнений хорошо отдохнуть дома, где, несмотря на твоё ложное представление и пики нам, — тебя любят, что ты знаешь. Целую тебя и всех...

Что Лесков? Видела ли ты его? Ты бы повидала его. Дала бы ему знать; ему бы это было приятно» *(84, 76 - 77).*

А 11 апреля — уже снова приписка, к письму М.Л. Толстой:

«Дочери уверяют, что это письмо тебя не застанет, но я очень сомневаюсь в этом и пишу, хотя писать нечего. Все новости и интересное на твоей стороне. А я дурно спал ночь, и теперь 10-й час, вернувшись с прогулки с Поповым, чувствую себя усталым. Ну, помогай тебе Бог, приезжай к нам поскорее. Я ничего нынче не писал, только читал прекрасную книгу, историю суждений древних о вегетарьянстве [«Ethics of diet» Ховарда Уильямса.]» *(84, 78).*

Но Соне было, конечно, в те дни не до Лескова и не до этики питания. Она всё больше нервничала и тосковала по дому. Вряд ли утешило бы её и следующее, от 12 апреля (заключительное в данном Эпизоде переписки!), письмо мужа (точнее: приписка к письму Т. Л. Толстой), с рассказом о воспитании малыша Вани:

«Вчера ты пишешь, что я только пишу приписочки, и я как раз написал тебе длинно и о себе и о своей работе. Нынче у меня было столкновение с Ванечкой. Он взял баранки и понёс <охотничьему кобелю> Снобу. Я говорю: не надо, он не слушает. Прихожу в гостиную, он кидает Снобу; говорю: отдай, он не даёт. Я отнял у него, он заплакал, но очень коротко, и сейчас же помирился, и я обещал дать для Сноба того, чего не жалко, и он был рад. Жалко баловать его» *(Там же).*

Трижды за эти дни вынужденного ожидания навестила Софья Андреевна своего давнего духовного авторитета — придворную даму и православную фарисейку Александру Андреевну Толстую, с которой смогла, для расслабления нерв, вдоволь “поплакаться в жилетку”: «много с ней беседовала о религии, о Лёвочке, о детях и моём положении в семье» *(ДСАТ – 1. С. 172)*.

Между тем о её домогательствах к собеседованию с Государем под сурдинку траурных мероприятий тихо «забыли». Соня взялась напомнить, и, будто в отместку за забывчивость, в том же своём энергическом, не исключая дерзости, стиле:

«В пятницу 12 апреля [...] я оделась и поехала благодарить Шереметеву за её хлопоты и сказать, что я ждать больше не могу». Она не была принята, но слова её передали “высокой” даме, и результат не заставил себя ждать в тот же день: «В 11 часов вечера, только что я легла, приносят записку Зоси, что государь, через Шереметеву же, просит меня на другой день, в 11½ часов утра, в Аничков дворец. Главная моя радость была в первую минуту, что я могу завтра же уехать. Сейчас же я начала всё укладывать...» *(ДСАТ – 1. С. 172-173)*.

Дальнейшую часть повествования в данном Эпизоде мы приводим уже как дополнительные сведения читателю. Переписка к 13 апреля наверняка была окончена обоими её участниками. Кроме телеграммы о сроках возвращения — посылать готовящейся к отъезду Софье Андреевне было уже нечего... Да и трудно представить себе, чтобы в России, где всякий писал и отсылал письмо с “оглядкой” на перспективу его перлюстрации, Софья Толстая рассказала бы о своей неформальной аудиенции с монархом, и тем паче во всех тех же подробностях, которые доверила позднее мемуарам и личному дневнику — включая виньетки женского кокетства о том, что-де так понравилась «государю». Всё-таки мы приводим ниже наиболее важную часть рассказа С. А. Толстой о свидании с царём.

Как обычно, она жутко “накрутила” себе нервы, а на высоченной дворцовой лестнице — ещё и надорвала силы, так что вдруг почувствовала в дворцовых покоях приступ, от которого не чаяла остаться живой: «Первое, что мне пришло в голову, было то, что дело моё всё-таки не стоило моей жизни...» — тем более, что, ожидая «дела» с царём, она уже прокрутилась и устроила себе некоторые ожидаемые прибыли. Но отступать было поздно, и, распустив корсет для нормализации дыхания, растрёпанная и прекрасная, она вошла к императору Александру III, который, будучи сам человеком довольно

грузным, поинтересовался в первую очередь, не крутой ли показалась ей лестница *(МЖ – 2. С. 186)*.

Любопытно, что сперва разговор с царём у Софьи Андреевны коснулся не «Крейцеровой сонаты», а пьесы «Плоды просвещения», и император подтвердил, что неожиданное разрешение пьесы к постановке — результат его распоряжения.

Наконец, Соничка изложила просьбу о разрешении в печать «Крейцеровой сонаты»:

« — Да ведь она написана так, что вы, вероятно, детям вашим не дали бы её читать.

Я говорю:

— К сожалению, форма этого рассказа слишком крайняя, но мысль основная такова: идеал всегда недостижим; если идеалом поставлено крайнее целомудрие, то люди будут только чисты в брачной жизни.

Ещё я помню, что когда я сказала Государю, что Лев Николаевич как будто расположен к художественной деятельности, Государь сказал: “Ах, как это было бы хорошо! *Как* он пишет, *как* он пишет!”» *(ДСАТ – 1. С. 174 - 175)*.

Если верить мемуарам, Соничка даже ещё решительней возражала царю, напомнив про своих девятерых детей. А о пьесе «Плоды просвещения» сказала смело, что серьёзной мыслью пьесы является буквально то, что: «для нас, господ, земля — игрушка, для мужика — хлеб насущный» (*МЖ – 2. С. 187)*. Сперва удивившись, а потом совершенно размякнув под ловкими психологическими “пальчиками” хитроумной Софьи Андреевны, император, конечно же, дал ей потребное разрешение о повести мужа:

« — Да, в полном собрании можно её пропустить, не всякий в состоянии его купить, и большого распространения быть не может» *(ДСАТ – 1. С. 175)*.

(Софья Андреевна перехитрила здесь самого царя: дело в том, что 12 томов уже давно продавались, а о 13-м она опубликовала извещение о цензурном запрете. Так что 13-й том она смогла продавать по особой подписке.)

И вот тут-то, совершенно добившись своего и оттого, вероятно, ослабив бдительность, в рамках уже вольной «светской» беседы — Соничка сказала ненужное, пожаловавшись на кражу Мишей Новосёловым (в то время толстовцем, в будущем же — мучеником в большевистских застенках и православным святым) рукописи одной из статей Толстого. Кстати сказать, это был остро-нецензурный «Николай Палкин». Статью эту жена Толстого очень не любила и боялась её

нелегального распространения — с возможными последствиями для Толстого и семьи, для себя лично.

Наконец, прозвучала и просьба о цензурировании новых сочинений Л. Н. Толстого лично императором — бывшая формальным поводом для аудиенции. Император, конечно, давно смекнул, что *причины* оной были иные — и, как хороший заговорщик, поддержал "правила игры", без вопросов ответив на всё согласием. И Соничка «почувствовала в ту же минуту, что этого никогда не может быть», и ей стало «неловко и стыдно» *(МЖ – 2. С. 190)*.

Этим признанием завершает Софья Андреевна в мемуарах рассказ об аудиенции 1891 г. Но и вся главка мемуаров, тому посвящённая, завершается не менее откровенным признанием:

«Я *завладела* духовно Государем, и он подпал под моё влияние. В душе я торжествовала, что не пропала и на этот раз сила моей внешней и внутренней энергии» *(Там же)*.

В тот же день Соня триумфально оставила покорённый ею Питер — думая совершенно не о своём триумфе, а о скором свидании с мужем и детьми. 14 апреля утром она была дома, в Москве, где её встретили и проводили сын Лев и близкие друзья семейства Дунаев и Дьяков, а после обеда — уже в Ясной Поляне. Примечательно, что Лев Николаевич (видимо, извещённый о времени приезда в последнем из утраченных посланий жены) ждал её, чтобы встретить, в саду у дома. Но обломался: ушёл ненадолго в соседствующий с садом могучий лес Чепыж (в тёплое время года использовавшийся семейством и гостями как сортир) — и, к огромной досаде своей, пропустил момент приезда… Его недовольство увеличилось, когда жена рассказала обо всех своих похождениях:

«Лёвочка был недоволен моими похождениями и свиданием с Государем. Он говорил, что теперь мы как будто приняли на себя какие-то обязательства, которые не можем исполнить, а что прежде он и Государь игнорировали друг друга и что теперь всё это может повредить нам и вызвать неприятное» *(ДСАТ - 1. С. 180)*.

В Дневнике Толстого под 18 апреля записано об этом разговоре несколько иначе, и с хорошим покаянным признанием в конце:

«Соня приехала дня три тому назад. Было неприятно её заискиванья у Государя и рассказ ему о том, что у меня похищают рукописи. — И я было не удержался, неприязненно говорил, но потом обошлось, тем более, что я из дурного чувства был рад её приезду. Она стихийна, но добродушна ко мне, и если бы только помнил всегда, что это препятствие — оно, но не она, и что сердиться и желать, чтобы было иначе, нельзя» *(52, 27)*.

Это ***оно***, если задуматься — и не самоё «дурное чувство» по отношению друг к другу, атаковавшее время от времени сознания Сони и Льва. Это то несознанное, «фрейдовское» *Оно*, которое рождает разноообразные дурные чувства, поступки и слова; которое вполне рулит людьми в прежде церковно-лжехристианском, а в наши дни уже вполне изуверившемся мире. То самое *Оно*, которое Соню заставляло заботиться о подчинении себе мужских (не исключая царя) сердец, а Толстого — против собственных убеждений дважды за рассмотренный нами период "обрюхатить" жену обречёнными на убийство в утробе младенцами; то *Оно*, которое повлекло Соничку в Петербург на защиту бизнеса и семейных доходов с писаний мужа, а семейство — к грешному (как чувствовали все) разделу, упоминавшемуся выше, в приведённом нами тексте письма Софьи Андреевны от 29 марта. Разделу, на завершение которого и спешила Соничка в Ясную Поляну, куда за нею собрались к середине апреля и прочие его участники. Подлежащие к разделу фамильные земельные участки были оценены в 550 тысяч каждый и поделены на 9 долей. Лев Николаевич, как и хотел, отказывался от собственности при разделе, но оставался жить в доме с женою, которая, в свою очередь, себе и маленькому Ваничке определила, конечно же, Ясную Поляну, а вдобавок к тому приняла на сохранение долю дочери Марии Львовны, самой идейно близкой отцу. М. Л. Толстой позднее понадобилась доля, но только в 1897 году, когда она вышла замуж за Николая Оболенского, которого Софья Андреевна строго, но справедливо аттестовала в мемуарах, как «почти нищего и бездеятельного лентяя» *(МЖ – 2. С. 173)*. С июля 1892 г. результаты раздела приобрели юридический статус.

Как трудный, не радующий дар — скорее, «обмен» или награду: за согласие на раздел — Толстой вскоре получил согласие жены на отказ от авторских прав на поздние (после 1881 г.) свои сочинения. Причём далеко не сразу: Соничка сумела и на этом попортить себе и мужу кровь, например, отстаивая свои «права» на повесть «Смерть Ивана Ильича», которую, как мы помним, Толстой в 1885 г. преподнёс ей в качестве подарка на именины. Только 19 сентября 1891 г. в газетах появилось открытое письмо Толстого, гласившее, что писатель предоставляет «право безвозмездно издавать в России и за границей, по-русски и в переводах, а равно и ставить на сценах» все его сочинения, написанные с 1881 г., а также «и могущие вновь появиться» *(66, 47)*.

Подчеркнём здесь, что «ограблением семьи» это было — разве что в неспокойном воображении Софьи Андреевны и её поклонников и

поклонниц, как тогдашних, так и современных нам. Ещё в 1884 г. супруга завладела (и не раз впоследствии злоупотребила этим!) доверенностью на издание сочинений мужа, писанных *до* 1881 г., и, что не менее важно, на управление имениями. Прав совершенно наш пока ещё живой современник, старец толстовед В. Б. Ремизов, когда делает вывод, что «расчётливая от природы» и «жадная на деньги», «вечно обеспокоенная проблемой собственности» дочь лютеранина, Софья Толстая, уже *в наши дни*, в XXI веке, через время и расстояние продолжает хитро обманывать «доверчивого обывателя», читающего изданные недавно массовым тиражом мемуары «Моя жизнь» и переизданный дневник супруги Льва. По сути же Толстой «не обездолил семью, а сделал Софью Андреевну правопреемницей издания произведений, написанных в период его художественного расцвета» *(Ремизов В.Б. Указ. соч. С. 678, 680)*.

Но и за эти шаги мудрости и доброты, огромной уступки семье и любимой жене — Толстому придётся платиться страданиями, злом от самых кровно близких людей. Платиться жестоко, и, по существу, до самой кончины. И не ему одному… Соничкин характер привёл её в 1891 г. к серьёзному заболеванию — из тех, о которых говорят: «на нервной почве». Сильный припадок, как мы упомянули выше, она пережила в день приёма у императора, 13 апреля 1891 г., а следующий такой же — уже после семейного раздела и неизбежных для неё волнений — произошёл, по её дневнику, 29 апреля, с теми же симптомами: прилива крови к голове, стеснения в груди, удушья *(см.: ДСАТ - 1. С. 181)*. Характер было не изменить, здоровье физическое и душевное — тоже не вернуть. Независимо от деликатности и уступок Толстого, обоих супругов ждали неизбежные новые драмы личных отношений.

КОНЕЦ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕГО ЭПИЗОДА

Эпизод Тридцать Четвертый.

НЕЛЬЗЯ ЛЮБИТЬ И НЕ НАКОРМИТЬ

(23 октября – 26 декабря 1891 г.)

ПОПАДАНЦЫ В ИСТОРИЮ

(Вступительный Очерк)

В майские дни 1891 года, когда Софья Андреевна в очередной раз была по делам в Москве: на этот раз в связи с вступительными экзаменами в Поливановской гимназии младших сыновей, Андрея и Михаила, — Толстой в письме к ней от 8 мая сообщал из Ясной Поляны следующее: «Всё у нас незаметно. Счастливые народы не имеют истории. Так и мы. Целую…» *(84, 79)*.

Авторство этого изречения возводят обычно к высокочтимому Л. Н. Толстым с юных лет Бенджамину Франклину, и на русский язык переводят так: «Счастлив народ, благословенно столетие, история которых незанимательна». Нельзя не согласиться. Во всяком случае, если разуметь под историей, «историческим процессом» то же, что обыкновенно разумеют под этим понятием казённо дипломированные учёные интеллигенты: т.н. политическую, военную историю, революционную, реформаторскую… коротко сказать: парад глупостей и гадостей людских. Но здесь надо сделать важную оговорку: совершается эта пресловутая «история» волею или безволием, разумом или (куда чаще) безумием «общественных элит», или, иначе: дармоедов на народной шее. Так что пока «элиты» вписывают себя кровью, говном и золотыми буковками в историю, то есть безусловно «имеют» её — народ мирный и трудящийся, ограбляемый, обманываемый, развращаемый и убиваемый дармоедами, история, столь же безусловно и во всю дурь, *имеет* сама. Даже те случаи торжества «власти тьмы» именно в народных массах: триумфальные шествия невежества, омрачённости, суеверности, беспомощности… — в значительнейшей степени нужно разуметь как последствия такого векового «изнасилования» народа, а не его вину. Ниже мы ещё не раз коснёмся этой проблемы и покажем, что Толстой акцептировал и такое соображение.

Особенности восприятия христианским сознанием Льва Николаевича денег и собственности мы уже касались, насколько позволила тема, выше. Повторим очень важную мысль: как и А. И. Герцен (хорошо знаемый и любимый), Толстой признавал злую власть денег: их способность создать и поддержать в нужном направлении диалог с

людьми или человеком, которые иначе, без некоторого участия денег, без твоего (хоть на словах) признания их значения — не смогут или не захотят понимать тебя, что-то делать по твоей просьбе. Счастье, если кровью убитого на охоте животного удастся выкупить у людоедов, заставить отпустить человека. Хотя кровь не перестанет от того быть кровью, а убийство — убийством. Счастье для последователя Христа, если так же, то есть приемлемой уступкой, удаётся откупить от смерти одного, десять, сто человек — в мире пусть и не людоедской, но вполне варварской и чуждой по сей день христианству России. И если тебя привела судьба к исповеданию христианства Христа (а не попов и толковников) в «высоком» общественном статусе, как человека с деньгами, «положением», полезными связями и проч. — какая бы ни была это для тебя мерзость, но грех не употребить наличествующих ресурсов в диалоге с *лже*христианским обществом по поводу жизней и здоровья тысячей тех, кого *имела* веками пресловутая «история государства Российского»: от Владимира Красно Солнышко до теперешнего…

Сам человек при этом — даже если и не золотеет впоследствии в «истории» историков, — несомненно творит Историю человеческую истинную: среди иноверцев, людей низшего, нежели христианское, религиозного жизнепонимания, такой человек проповедает *словом и делом* Божью Истину, учение единения и любви, *заставляя*, даже противу рожна, даже врагов её — приближать её торжество в мире. Заставляя уже тем, что в *делах*, не противоречащих Истине, воспроизводит поведенческие конструкты, укоренённые в тех нравственных аксиомах, которые не могут, без укоров от совести, быть совершенно отрицаемы или осуждаемы даже и противниками учения Бога и Христа. И в *таком*, в Боге соделываемом, историческом акте, сам человек, независимо от прижизненных благодарностей и посмертной славы, обретает — не скажем «счастье», но: радость и благо.

Таково было поприще помощи бедствующему народу в голодный год, на которое, не сразу осознав свою в этом деле роль, но всё же встал с осени 1891 г. Л. Н. Толстой и на которое привлёк своих детей и жену.

В отличие от вынужденно “куцего”, по причине утраты источников, предыдущего, Тридцать Третьего, Эпизода, Тридцать Четвёртый Эпизод презентуемой нами читателю переписки супругов Толстых будет весьма обширным как по источниковому материалу, то есть собственно письмам Сони и Льва, которые будут цитированы или в полноте приведены ниже, так и по необходимым сопровожда-

ющим их публикование нашим комментариям. Громадность и, временами существенная, аналитическая сложность необходимого к включению в нашу книгу материала вынудила нас не только к разбивке, как во многих случаях и выше, данного Эпизода на отдельные Фрагменты, логически увязанные с событийно-биографической канвой, но и к отграничению, так же достаточно условному, корпуса содержательно близких эпистолярных источников зимы 1891-1892 гг. — границами разных Эпизодов. Конечно же, в реальности новый год не прекратил ни болезней, ни голода крестьян, и общение супругов по поводу помощи им, устное и эпистолярное, спустя небольшой перерыв в январе 1892 г., продолжилось.

Главнейшая и уникальная особенность этих диалогов указана нами выше: это впервые было общение не просто выдающейся жены с знаменитым писателем-мужем, а *исторически и всемирно* значимое и всемирно же наблюдаемое современниками и потомками общение близких людей, связанных общим благим делом. Оттого презентации их переписки этих периодов 1891-92 гг. не требуется предпосылать особенного биографического очерка. С другой же стороны — у всякого исторического великого деяния есть своя Предыстория как во внешней, так и в духовной биографиях делателей его. Ниже именно на ней мы и задержим ненадолго внимание читателей.

* * * * *

Надо сказать, что тема трагических периодов народного голода остаётся «больной» и для современной России. Исследователи рептильно-коньюктурного подленького лагеря осторожно «обходят» темы не только большевистских голодоморов, но и имперских, включая голод 1891-93 гг. Такова, для примера, типичная коньюктурная крыса и хитро-лживая *дрянь* Н. А. Гаврилина *(ТГПУ)*, которая в далёкой молодости, в самый расцвет перестройки и недолгой свободы слова, в 1989 г. защитила кандидатскую диссертацию по говорящей сама за себя “научной” теме «Партийное руководство в осуществлении связи вузовской науки с производством», достигла угождением, хитростью и подлостью карьеры декана факультета в Тульском пединституте, а недавно защитила и докторскую на “трендовую” тему о ненавистной Толстому господской «благотворительности». В ходе её подготовки она выпустила ряд публикаций об участии в благотворительности Л. Н. Толстого, где мы с удивлением обнаруживаем, в связи с темой голода 1891-93 гг., всё те же, восходящие к историо-

графии времён СССР, поклёпы на царя, правительство, земских деятелей, журналистов (кроме оппозиционных, разумеется), клонящиеся к утверждению едва ли не уникального значения инициатив Л. Н. Толстого и его семьи — в некоем противопоставлении пассивности и лжи прочих. Вот образчик суждений Н. А. Гаврилиной:

«Уже летом 1891 года в газетах стали появляться тревожные известия из разных губерний России и надвигающемся голоде. Однако ни правительство, ни земство, ни официальная печать не проявляли беспокойства. [...] Земства, взявшиеся за организацию помощи голодающим, не только не требовали от правительства серьёзной помощи, но в своих статистических сведениях всеми способами сокращали «едоков» — число крестьян, нуждающихся в продовольственной и денежной ссуде. А губернская администрация находила обычно преувеличенными или измененными и эти требования и часто уменьшала размеры помощи, а то и вовсе отказывала в ней» *(цит. по.: Гаврилина Н. А. Взгляды Л.Н. Толстого на благотворительность в России. Клио. 2014. № 9. С. 6 – 10).* Эти очень узнаваемые для каждого толстоведа строки восходят к статье Л. Н. Толстого «О голоде», но... *непосредственно этот текст* практически без изменений передут (т. е. сплагиачен) Гаврилиной с книжки 1979 г. Л. Д. Опульской «Л.Н. Толстой. Материалы к биографии. 1886 - 1892», которая именно в части подобных оценочных суждений — давно устарела.

А уж из какой советской книжки списала Гаврюша вот *это*, противно и представить себе:

«Ошибочно считая нравственное самоусовершенствование людей единственным средством общественного переустройства, Л. Н. Толстой отвергает насильственное изменение общественных отношений» *(Там же).* И так далее, по ленинским “лекалам”... Хоть покойная Лидия Дмитриевна и писала так же в эпоху идеологической несвободы — до *таких* “наездов” на Толстого, уровня школьного сочинения, она себя не унижала!

Конечно, в 1891-м немало подлил «масла в огонь» сам Толстой, поддержав в своих статьях некоторые дурные слухи и пессимистические прогнозы. Опульская цитирует его статью «О голоде» — разумеется, вырывая из контекста рассуждения Льва Николаевича, имеющие всегда духовную опору в его чистой христианской вере, и смещая акценты в пользу идеологических установок времён СССР. А старая брехуша Гаврилина, равнодушная карьеристка, никогда не имевшая собственно научных интересов установления Истины в своих исследованиях — тупо повторяет её полуложь. Ибо дерёт она, *не восстановляя* контекста, чтобы тем самым выгоднее преподнести

читателю Толстого как выдающегося «благотворителя». Между тем на неправдивость такого акцентирования указывают уже первые строки статьи «О голоде», к которой восходят цитатки и у покойной, к сожалению, Л. Д. Опульской, и у пока живой, тоже к сожалению, Н. А. Гаврилиной:

«За последние два месяца нет книги, журнала, номера газеты, в которой бы не было статей о голоде, описывающих положение голодающих, взывающих к общественной или государственной помощи и упрекающих правительство и общество в равнодушии, медлительности и апатии.

Судя по тому, что известно по газетам и что я знаю непосредственно о деятельности администрации и земства Тульской губернии, упрёки эти несправедливы. Не только нет медлительности и апатии, но скорее можно сказать, что деятельность администрации, земства и общества доведена теперь до той последней степени напряжения, при которой оно может ослабеть, но едва ли может ещё усилиться. Повсюду идёт кипучая, энергическая деятельность. [...] Ассигнуют, распределяют суммы на выдачу пособий, на общественные работы, делают распоряжения о выдаче топлива. В пострадавших губерниях собираются продовольственные комитеты, экстренные губернские и уездные собрания, придумываются средства приобретения продовольствия, собираются сведения о состоянии крестьян: через земских начальников — для администрации, через земских деятелей — для земства, обсуживаются и изыскиваются средства помощи» *(29, 86)*.

И писаниями своими, и практической помощью крестьянам, Толстой лишь включился в эту разнообразную, уже совершавшуюся с середины 1891 года, работу — не только *предложив* от себя оригинальные и, как оказалось, *более продуктивные практики помощи* (прежде всего, столовые), но и *идейно* (христиански) *обосновав их* — в том числе в главе V этой же статьи, сделавшей всю её нецензурной и скандальной в искажённом восприятии чуждого христианству сознания ряда православных соотечественников Льва Николаевича.

На деле и правительство, и нормальная пресса, и в особенности земства делали в борьбе с голодом *немало*. В отличие от рассмотренной нами, в связи с Перепиской супругов 1873 г., ситуации в самарском крае, когда Соня и Лев, действительно, буквально *обратили внимание* страны на народное бедствие, осенью 1891 г. Толстой с членами семьи и друзьями «влился» в уже начавшееся дело помощи, и если бы не огромность страны и масштабность голодного бедствия, не неподготовленность к нему властей, в особенности на местах; и

если бы не *подозрительность* к уже одиозной для многих консерваторов в России фигуре «еретика» Толстого и к его *частной* инициативе (вполне наказуемой зачастую и в наши дни), тем более связанной со сбором крупных сумм денег; и если бы и не *слишком резкая* иногда полемическая фразеология в выступлениях Толстого-публициста, да не ряд иных несчастных обстоятельств, которые мы не обойдём вниманием ниже, так как они нашли отражение в переписке Сони и Льва — никакого *противостояния* и сопровождающих его скандалов могло бы не случиться.

Ложью советской историографии, повторяемой поныне не одной Н. А. Гаврилиной, является и утверждение о «малоземелии» крестьянства, о нерешённости аграрного вопроса как главной причине голода 1891-93 гг. В статьях «О голоде» и «Страшный вопрос» Толстой оказался удивительным образом солидарен с выводами своего сына, Л. Л. Толстого, о *сочетанном влиянии* целого ряда факторов, превративших постоянную нищету и недоедание крестьян в гуманитарную катастрофу.

Вот, для примера, соображения Л. Н. Толстого о некоторых причинах, делающих неизбежным голод, в статье «Страшный вопрос»:

«…Соседние с Россией страны поражены таким же неурожаем и потому большое количество хлеба уже вывезено, и теперь в виде пшеницы продолжает вывозиться за границу».

Это одна из важных причин голода. А другая:

«…Совершенно противно тому, что было в голодном 40-м году, в нынешнем году нет и не может быть никаких запасов старого хлеба.

С Россией случилось нечто подобное тому, что случилось, по рассказу библии, в Египте, только с той разницей, что в России не было предсказателя Иосифа, не было запасливого управителя — того же Иосифа; но были молотилки, железные дороги, банки и большая потребность в деньгах и правительства и частных лиц. Во все предшествующие года, более 7-ми, хлеба было много, цены были низки, но потребность в деньгах всё росла и росла, как она равномерно растёт среди нас, и удобства продажи, молотилки, железные дороги и агенты, покупатели поощряли к продаже и делали то, что хлеб продавался весь дочиста с осени. […] В 40-м году были не только запасы помещиков и купцов, были везде по мужикам трёх- и пятилетние кладушки старого хлеба. Теперь обычай этот вывелся и нигде нет ничего подобного» *(29, 119)*.

Как показывают современные исследования, систематические голодовки в тогдашней России были связаны в огромной степени с мощным фискальным прессом государства. В 1891-1915 годах произошло десять масштабных вспышек голода, пусть и уступавших по

количеству жертв событиям 1891 года. При этом ни в одном случае неурожай не был тотальным — так, в 1891 году западные губернии и нечерноземные губернии Центра России дали неожиданно хороший урожай. Проблема заключалась в том, что у крестьян из голодающих губерний не было сбережений, чтобы купить этот хлеб, — весь излишек уходил на выплату налогов и на выкупные платежи.

Но обман людей трудящегося народа, ограбление их правительством и спекулянтами в интересах городских дармоедов — только часть картины. Много условий для голода создавали и сами «великорусские пахари» — рутинным, невежественным своим хозяйствованием. Лев Львович Толстой, младший из взрослых к тому времени сыновей Толстого, в ходе своего летнего путешествия по Волге, навестил «родные», связанные с воспоминаниями детства, долгое время владеемые семейством Толстых земли в Самарской губернии и имел возможность оценить на месте причины и масштабы начинавшейся катастрофы. И о причинах (коренных: то есть помимо описываемой им страшной засухи 1891 года) он, в частности, пишет в своих воспоминаниях следующее:

«Поселенцы, явившиеся в Самарскую губернию, нашли здесь нетронутую, девственную, богатейшую почву. При самой ничтожной затрате труда степи давали им сначала баснословные урожаи. Двести пудов с десятины лучшей пшеницы-белотурки было обычным явлением. Новые поселенцы живо разбогатели. […] Но вот проходит несколько десятков лет — и картина заметно изменяется. Население увеличивается больше чем вдвое, земля выпахивается, травы становятся хуже, крестьяне беднеют. […] Между тем крестьяне всё так же продолжают относиться к земле, всё так же сеют пшеницу под борону, всё так же надеются на то, что, «может быть, нынче уродит Господь». Но ни нынче, ни завтра, Господь больше не даёт урожая, и всё хуже становится крестьянское житьё. Навоз из-под скотины продолжает сжигаться в форме кизяка из года в год; народ продолжает оставаться без должной помощи, без энергичных руководителей. Несколько лет подряд перед 91 годом стоит засуха, что ещё больше влияет на плохие урожаи, и тем подрывает окончательно крестьянское хозяйство. И вот наступает засуха 91 года…» *(Толстой Л.Л. В голодные годы. Записки и статьи. М., 1900. С. 5 – 6).*

Такое же сочетанное влияние факторов: погодных, невежества и нерационального землепользования, суеверий крестьянства и пр. — называет в числе причин голода и Толстой. Но для великого яснополянца основной причиной катастрофы 1891 г. была всё же — кастовая разделённость якобы «христианского» общества, которой имма-

нентны не столько эксплуатация труда, сколько *неуважение* обитающих в городах российских «элит» к своим же кормильцам, к трудовому крестьянству. Все прочие причины, даже тесно связанные с неграмотным поведением самих сельских тружеников — так или иначе увязаны на этом неуважении в России людей к людям, как равным сёстрам и братьям в Боге и Христе. Трудящийся народ изнурён и физически, и морально от такого к нему отношения городских захребетников (этот же вывод Толстой открыто повторит и в 1898 году в статье «Голод или не голод?»). Кастовая обособленность дармоедов и неуважение их к тем, кого они же объедают и грабят — никуда не делись и в современной нам путинской России. Как же не замалчивать и не врать ей о Толстом-христианине и Толстом-кормильце народа?

Наконец, скажем и о лганье казённого толстоведения по поводу «ошибочной» исключительной установки Толстого на нравственное самосовершенствование, *якобы* выразившейся в его писаниях о голоде в России, начиная с известного письма Н. С. Лескову от 4 июля 1891 г. в ответ на его запрос.

20 июня 1891 г. Н. С. Лесков обратился к Толстому с письмом, в котором спрашивал: «Как Вы находите — нужно ли нам в это горе встревать и что именно пристойно нам делать? Может быть, я бы на что-нибудь и пригодился, но я изверился во все «благие начинания» общественной благотворительности и не знаю: не повредишь ли тем, что сунешься в дело, из которого как раз и выйдет безделье? А ничего не делать, — тоже трудно. Пожалуйста, скажите мне что-нибудь на потребу» *(Толстой Л.Н. Переписка с русскими писателями. М., 1962. С. 540)*.

Толстой к тому времени, живя в Ясной Поляне, где грядущий голод никак пока не явил себя, не успел ни собрать достаточных сведений о только начинающемся бедствии, ни толком обдумать те конкретные меры, которые через несколько месяцев он предложит в статьях «О голоде», «Страшный вопрос» и «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая» *(см. 29, 86 – 144)*. К тому же он сам принадлежал к разочарованным в общественной благотворительности — пожалуй, с более ранних лет, нежели Лесков, если памятовать его опыты с устроением жизни и хозяйства собственных крестьян ещё накануне отмены крепостного права и позднее, в 1-й половине 1860-х, в качестве мирового посредника в родном Крапивинском уезде.

Поэтому Толстой и отвечал Лескову — как «разочарованный разочарованному». Не выхваливая, он всё-таки и не отрицал ни одного

какого-то из актуальных способов помощи крестьянам, ни всех вместе; он только указал в письме на *христианский этический фундамент* тех мер, которые несомненно должны быть приняты:

«Когда кормят кур и цыплят, то если старые куры и петухи обижают, — быстрее подхватывают и отгоняют слабых, — то мало вероятного в том, чтобы, давая больше корма, насытили бы голодных. При этом надо представлять себе отбивающих петухов и кур ненасытными. Дело всё в том, — так как убивать отбивающих кур и петухов нельзя, — чтобы научить их делиться с слабыми. А покуда этого не будет — голод всегда будет. Он всегда и был, и не переставал: голод тела, голод ума, голод души.

Я думаю, что надо все силы употреблять на то, чтобы противодействовать, — разумеется, начиная с себя, — тому, что производит этот голод. А взять у правительства или вызвать пожертвования, т. е. собрать побольше мамона неправды и, не изменяя подразделения, увеличить количество корма, — я думаю не нужно, и ничего, кроме греха, не произведёт. Делать этого рода дела есть тьма охотников, — людей, которые живут всегда не заботясь о народе, часто даже ненавидя и презирая его, которые вдруг возгораются заботами о *меньшем брате*, — и пускай их это делают. Мотивы их и тщеславие, и честолюбие, и страх, как бы не ожесточился народ. Я же думаю, что добрых дел нельзя делать вдруг по случаю голода, а что если кто делает добро, тот делал его и вчера, и третьего дня, и будет делать его и завтра, и послезавтра, и во время голода, и не во время голода. И потому против голода одно *нужно, чтобы люди делали как можно больше добрых дел*, — вот и давайте, — так как мы люди, — стараться это делать *и вчера, и нынче, и всегда*. — Доброе же дело не в том, чтобы *накормить* хлебом голодных, а в том, чтобы *любить и голодных, и сытых*. И любить важнее, чем кормить, потому что можно кормить и не любить, т. е. делать зло людям, но *нельзя любить и не накормить*. [...] И потому, если вы спрашиваете: что именно вам делать? — я отвечаю: вызывать, если вы можете (а вы можете), в людях любовь друг к другу, и *любовь не по случаю голода, а любовь всегда и везде*; но, кажется, будет самым действительным средством против голода *написать то, что тронуло бы сердца богатых*» (*66, 11 – 12. Выделения в тексте наши. – Р. А.*).

Здесь важно подчеркнуть, что пишет эти строки — не наивный усадебный, кабинетный идеалист и не зачерствелый лицемер, а автор социально-экономического трактата «Так что же нам делать?» (1884 – 1886), не только стоившего Толстому, как мы помним, громадных творческих усилий и времени, но и связанного с практическим постигновением *зла и вреда* и чужести христианскому учению

суеверия о «помощи» деньгами, о городской и барской «благотворительности».

И это пишет человек, ставший уже в 1880-х одним из знатоков древнейшей мудрости человечества — мудрости Востока. Да, мы имеем в виду ту же максиму великого Лао-Цзы о том, что сложные задачи правителю и мудрецу лучше *предотвращать* в их сложности, разрешая тогда, когда они ещё легки. Исполняй номинальные «христиане» православной России учение Христа, установляющее равенство права для *всякого* человека на заботливую любовь и уважение, на человеческое своё достоинство, дающее *всякому* человеку статус «ближнего» — разве мог бы возникнуть голод? А и возникни в народе беда, требующая массовой помощи — разве пришлось бы Толстому отрываться от своих художественных замыслов и иных писаний того времени (а это и «Отец Сергий», и не оконченная позднее повесть «Записки матери», и трактат «Царство Божие внутри нас», и замыслы для романа «Воскресение») ради словесного, в статьях, проповедания *христианской помощи*: не деньгами, а личными трудом и жертвой? Это и так бы явилось актуальной мотивацией для всех, могущих помочь.

Начиная с уже написанной к тому времени статьи «Первая ступень» (которую в путинской России толст**ое**ды чаще всего понимают ограниченно, как «проповедь вегетарианства»), осуждавшей обжорство паразитов на народной шее и напоминавшей им о нравственном значении поста и, в частности, пищевого воздержания, Толстой исполнил сам то, что советовал Н. С. Лескову: *затронул богатых* в их лукавстве и тщеславии буржуазного «благотворения» — да так ощутимо, что сытая и зажиточная городская сволочь и по сей день предпочитает *замалчивать* и/или *перевирать* главные тезисы этих статей. К сожалению, в рамках нашей книги мы не можем останавливаться подробно на их анализе. Скажем лишь, что ни статьи Толстого о голоде 1891 и последующих лет (включая «Голод или не голод?» 1898 года) нельзя рассматривать в отрыве от этического христианского содержания «Первой ступени» и письма Лескову, ни, напротив, это письмо, оказавшееся, как многие частные (не для публикации) тексты Толстого, *очень* неудачным по некоторым своим выражениям и недоговорённости того, что было сказано в позднейших публицистических выступлениях Льва Николаевича по проблеме голода — нельзя, в свою очередь, вырывать из идейного контекста этих выступлений. Лесков, конечно, не мог знать всего этого контекста и принял содержание письма Толстого с грустным разочарованием. Но позднее, когда Толстой с семьёй продемонстрировал

надстройку добрых практических дел на выраженном в несчастливом письме идейном «фундаменте» — Лесков понял настоящее значение письма и горячо поддержал Льва Николаевича.

Современной нам путинской России *неизбежно* ставить «барьер» на пути к такому пониманию, и — *лгать, лгать и лгать* о роли Толстого в помощи голодающим в 1891 – 1893 гг. и о выразившемся в его писаниях этих лет по теме голода христианском его мировоззрении. Так, некая А. А. Федотова (тоже их Тульского педуниверситета и, вероятно, ученица Гаврилиной) справедливо указывая, что Толстой в письме Лескову «абстрагируется от конкретной проблемы и частных способов её устранения», в то же время замалчивает факт, что способы, обсуждавшиеся *в те дни* в обществе и прессе, Толстой справедливо не считал христианскими, а *своей* программы он тогда же ещё не был готов представить публике. Письмо Толстого «уличается» Федотовой в «дидактизме» и «рациональности», якобы абстрагирующейся от жизненной реальности России *(Федотова А.А. Л. Н. Толстой и «голодный вопрос» 1891 года // Духовное наследие Л. Н. Толстого в современных культурных дискурсах: Материалы XXXV Международных Толстовских чтений. Тула, 2016. С. 310).* Непонятно, насколько прочна должна быть, с точки зрения автора статьи, «связь с реальностью» у писанного наспех частного письма, где Толстой слишком кратко и неловко выразил как раз религиозно-этические *теоретические* основания необходимых, но на тот момент ещё «не готовых», не продуманных им мер практической помощи?

Обоснованием и иллюстрацией изложенных нами выше утверждений станет представленная ниже переписка супругов и цитаты из сопутствующих ей иных источников.

КОНЕЦ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ОЧЕРКА

ПРЕДЫСТОРИЯ

В «Моей жизни» Софья Андреевна Толстая вспоминает, что первые сведения о грядущем голоде докатились до Ясной Поляны ещё в мае 1891 г.: дочь Толстого Мария, смотревшая на жизнь народа вполне по-отцовски, писала матери из Данковского уезда Рязанской губ., что у местных крестьян «в полях всё пропало от холода и отсутствия

дождя; все с ужасом ждут голода, каждый день все молятся и все плачут» *(МЖ – 2. С. 201)*.

В Ясной Поляне никаких признаков грозящей засухи не появлялось. Урожай пшеницы был даже больше обыкновенного, трава уродилась высокой. Толстой, по обыкновению, участвовал в её косьбе, а также опробовал в этом году своего рода «хлебный огород» — возделывание пшеничного поля без эксплуатации животных, своими силами и одной только лопатой.

Софья Андреевна между тем выгодно завершила семейный имущественный раздел; немалую выгоду принесли ей и хлопоты о разрешении «Крейцеровой сонаты»: 13-й том издаваемого ею собрания сочинений мужа с текстом этой повести, изданный первоначально тиражом в 3 000 экземпляров, читатели моментально смели с прилавков, и хитроумная Соня распорядилась о допечатке этого тома — ещё в 20 000 (!) экземпляров, которые, несмотря на спекулянтскую цену, тоже были быстро раскуплены *(Там же. С. 206*). Всё, казалось, шло только к лучшему… но только не для бедной Софьи Андреевны, бывшей, как следует признать, просто гением негативистского мышления и мастерицей в умении сделать себя и окружающих несчастными. Записи её дневника фиксируют повторения тех же психосоматических нарушений, приступов (с сердцебиением, стеснением в груди, ощущениями удушья, иногда со слезливыми истериками), которые сопровождали её в весенней поездке в Петербург и после возвращения — в Ясной Поляне. Скандалы с мужем делаются нормой, и главный повод их в лето 1891 г. — готовящееся Л. Н. Толстым заявление в газеты об отказе от авторских прав на сочинения после 1881 г., то есть, с точки зрения Софьи Андреевны — от денег за публикации этих сочинений, необходимых для семьи, для её детей. 21 июля, после особенно яростной ссоры, Софья Андреевна намеревается покончить с собой: сперва на железной дороге, затем — утопившись в реке. «Желание смерти было так сильно, что и детей не было жаль» *(Там же. С. 213)*. Стечение ряда обстоятельств не даёт ей в тот день совершить рокового шага. Коренная же причина такого поведения открывается нам из записей дневника Софьи Андреевны, сделанных в тот же день, 21 июля:

«И опять, и опять та же “Крейцерова соната” преследует меня. Сегодня я опять объявила ему, что больше жить с ним как жена — не буду. Он уверял, что только этого и желает, и я не поверила ему» *(ДСАТ – 1. С. 202)*.

В «Моей жизни» Софья Андреевна дополнительно поясняет эти свои слова так: «…Тяжело было сознавать, что я вся завишу от пери-

одов страстности и охлаждения Льва Николаевича. “Крейцерова соната”, объяснившая мне отчасти моего мужа, постоянно восставала в моём представлении. Как ни покорна я была как жена, я и себе, и ему сказала, что быть только *любовницей* я не хочу, что это унизительно, гадко» *(МЖ – 2. С. 213)*.

Но гадко ли, не гадко, а спала она, кстати сказать, в последующую за ссорой ночь — всё-таки с мужем, и утром они снова, как обычно, помогли друг другу освободиться от полового желания *(Там же)*.

А теперь, наоборот, пусть дополнит мысли мемуаристки её дневник. Из записей 15 августа 1891 г.:

«Если в молодости жили любовной жизнью, то в зрелые годы надо жить дружеской жизнью. А что у нас? Вспышки страсти и продолжительный холод; опять страстность и опять холод. Иногда является потребность этой тихой, нежной, обоюдной ласковости и дружбы, думаешь, что это всегда не поздно, и всегда так хорошо, и сделаешь попытки сближения, простых отношений, участия, обоюдных интересов, и ничего, ничего, кроме сурово, брюзгливо смотрящих удивлённо глаз, и безучастие, и холод, холод ужасающий. А отговорка, почему вдруг стали мы так далеки — одна: “Я живу христианской жизнью, а ты её не признаёшь; ты портишь детей” и т. д.» *(ДСАТ – 1. С. 207)*.

Таким образом, бунт Софьи Толстой был, как и прежде, *бунтом человеческого достоинства*. Протестом против экзистенциальной выхолощенности её семейной, общественной повседневности, ограниченности возможностей самореализации, социальных ролей и прав для женщины в исконно лжехристианской, патриархальной России. Но хотела Соничка, увы, невозможного: быть в той степени согласия с мужем и играть в его жизни, в его делах такие роли, которые подразумевают не простое сожительство, а *дружбу*, то есть огромную степень согласия с мужем в самых значительных для него вопросах. Такое согласие, какого она, по собственным же многочисленным признаниям, не могла иметь, потому что не могла разделить с мужем его *последования Христу*.

Вопрос о переезде в Москву стал для неё ещё одним поводом для серии семейных сцен. И в этих скандалах Соня пыталась добиться невозможного: чтобы муж не просто был *согласен*, под её давлением, на переезд с нею и с детьми на осенне-зимние месяцы в Москву, но был *согласен охотно*, то есть радовался бы перспективе ещё нескольких зим (пока учатся младшие дети) в ненавистной Москве. Радовался бы с тою ощутимой степенью искренности, при которой она могла не опасаться его последующего за переездом недовольства —

как это случилось в 1881 и 1882 гг. Исключительно ради этого вечером 29 августа, когда переезд был уже решён, она вновь подняла этот вопрос, увязавшись за мужем на прогулку. И получила вдруг принципиальный, раздражённый отказ: «…Я этого не хочу! Ты — непременно поезжай и отдай детей <в гимназию>, потому что ты считаешь, что так надо и так лучше». – «Да, но ведь это развод, ведь ты ни меня, ни 5-х <младших> детей не увидишь всю зиму!». – «…Ты будешь ко мне приезжать». – «Я? Ни за что!» *(ДСАТ – 1. С. 208 - 209)*.

Последовал припадок и скандал, в ходе которого Софья Андреевна винила супруга в «безнравственной» попытке «разорвать семью пополам», в «бессердечном выбрасывании её из своей жизни». Толстому удалось отговориться и, по существу, бежать в соседнюю с Ясной Поляной деревню Грумант, а Софья Андреевна пошла домой лесом, в слезах, так что встреченные ею по пути мужики и бабы смотрели на неё с удивлением *(Там же. С. 209)*. Дети точно 1 сентября были доставлены на учёбу — «свезены в омут», как ворчал их отец *(Там же. С. 210)*. В постоянном присутствии обоих родителей они, учась в гимназии, не нуждались, но тем не менее, вернувшись в Ясную Поляну, в последующие дни Софья Андреевна не раз возобновляла разговоры о переезде мужа, в том же эмоциональном стиле, так что и сестра её Татьяна наконец, не выдержав, прикрикнула на неё: «Довольно, Соня, ты мне всё сердце растерзала!» *(Там же)*.

Такова была тяжелейшая для Толстого нравственная атмосфера, в которой ему приходилось обдумывать не только свои творческие работы, но и ситуацию с надвигающимся на сельскую Россию страшным голодом.

В Дневнике он в первый раз реагирует на разговоры о голоде и способах помочь народу в записях от 25 июня 1891 г.:

«…Спасение жизни матерьяльное — спасение детей, погибающих, излечение больных, поддержание жизни стариков и слабых не есть добро, а есть только один из признаков его… Матерьяльное спасение, поддержание жизней людских есть обычное последствие добра, но не есть добро. Поддержание жизни мучимого работой раба […] не есть добро, хотя и есть поддержание жизни. Добро есть служение Богу, сопровождаемое всегда только жертвой, тратой своей животной жизни, как свет сопровождаем всегда тратой горючего матерьяла. Очень важно разъяснить это. Так закоренело заблуждение — принимать последствие за сущность.

[…] Все говорят о голоде, все заботятся о голодающих, хотят помогать им, спасать их. И как это противно! Люди, не думавшие о других, о народе, вдруг почему-то возгораются желанием служить ему.

Тут или тщеславие — высказаться, или страх; но добра нет. Голод всегда — (нищих всегда имеем), т. е. всегда есть кому и для чего жертвовать; ни в одно время не может быть более нужная моя жертва или служба, чем в другое…

Нельзя начать по известному случаю делать добро нынче, если не делал его вчера. Добро делают, но не потому, что голод, а потому, что хорошо его делать» *(52, 43 - 44)*.

Легко заметить, что это те же критические суждения о господской «благотворительности», которые несколькими днями позднее Толстой выскажет в цитированном нами выше письме Н. С. Лескову. Действительно, подобно тому как «богослужением» для христианина может быть только повседневное и всечасное служение Богу, как работника в мире хозяину, *а не* храмовое идолопоклонство и колдовство, как у язычников — так и «благотворительность» не может между христианами быть неким временным предприятием, актом, совершаемым “по случаю”, а может и должно быть, как и пишет Толстой — «*жертвой, тратой своей животной жизни*» понемногу, но во *всякий* день и час.

Следующий эпизод предыстории великого исторического дела Л. Н. Толстого и семьи — связан уже непосредственно всё с тем же письмом Толстого от 4 июля к Н. С. Лескову.

Как мы помним, знакомы писатели к этому времени были ещё не очень давно — с весны 1887 года. Ко времени письма Толстого — не виделись уже более года. Кроме того, Лесков всегда старался позиционировать себя писателем и мыслителем, от авторитетов и общественных мод независимым. На деле его уже “подхватил” летом 1891 г. волна общественного беспокойства по случаю засухи и неурожая. Он ждал от Толстого, которого знал как великого народолюбца, примерно таких же суждений о необходимой помощи крестьянству, какие гуляли в прессе — и, вероятно, бессознательно был расположен уже к идее *опубликовать* ответ Толстого (испросив, конечно, на то особенное письменное разрешение). И вдруг… приходит письмо с ответом, но довольно неясным, какое-то ощутимо «недоговорённое», оставляющее слишком много смыслов «между строк». Или же похожее на оборванный устный монолог, в котором говорящий не совсем удачно выразил мысли. Деликатный Лесков не лезет к Толстому с новыми вопросами, а решает, для возможных разъяснений, тихонько показать письмо близкому единомышленнику Толстого Ивану Ивановичу Горбунову, одному из издателей народной литературы «Посредника». Но тихонько не получилось… В конторе «Посредника» по каким-то делам оказался в дурной час некто Фаресов. Он

послушал, вместе с Горбуновым, чтение письма вслух, рассыпался в дифирамбах автору, и тут же выпросил у Лескова копию толстовского письма. А 4 сентября текст письма вдруг появился в газете «Новости» (№ 244), причём со странными, явно намеренными, искажениями текста и комментирующей заметкой авторства самого Анатоля Фаресова (бывшего репортёром этой газетёнки). Лескову не оставалось ничего, как объясняться с Толстым в новых письмах и сожалеть… вплоть до получения от Толстого доброго и примирительного письма.

Софья Андреевна проводит эти дни в Москве, с младшими детьми. Вот, в сокращении, её письмо мужу от 9 сентября, дающее представление о её тогдашних делах и настроениях:

«Сегодня, милые друзья, мне стало особенно грустно без всех вас, и потянуло меня домой, и так живо представились вы все вместе и всякий порознь. Но не знаю ещё, когда приеду, не совсем я управилась, и жаль мне детей оставить. Вчера Андрюша так жалостно просил, чтоб я ещё не уезжала. Но вчера вечером приехал Лёва и сегодня уже принимал участие во всех уроках и делах детей; кажется, хочет им быть полезен.

[…] Я заперла дом и сидела совершенно одна, читая и выправляя для нового издания 13-ую часть. Потом я накрыла на стол, принесла из колодца ведро воды, и дети пришли обедать.

[…] Вечером я записывала всё, опять читала 13 часть, дети занимались, а к 8 часам приехала Наташа Философова и Дунаев. […] Дунаев и Наташа рассказывали о голодающих и опять мне всё сердце перевернуло, и хочется забыть и закрыть на это глаза, а невозможно; и помочь нельзя, слишком много надо. А как в Москве это ничего не видно! Всё то же, та же роскошь, те же рысаки и магазины и все всё покупают и устроивают, как и я, по́шло и чисто свои уголки, откуда будем смотреть в ту даль, где мрут с голода. Кабы не дети, ушла бы я нынешний год на службу голода, и сколько бы ни прокормила, и чем бы ни добыла, а всё лучше, чем так смотреть, мучаться и не мочь ничего сделать» *(ПСТ. С. 446 - 447)*.

И тут же, кстати вспомнив о еде, Соничка делает приписку для сестры Тани, рекомендуя покупать детям побольше арбузов и фруктов и поменьше — вредных пирожных… Кастовая черта ощутима. Но и влияние Льва Николаевича, его воззрений и дум — несомненно. Оно выразилось даже в фразеологии письма: Соничке хочется отнюдь не деньгами откупиться от совести, а самой «*уйти на службу*

голода», то есть лично трудиться и жертвовать для пострадавшего народа. Мы увидим из последующих её писем, что так она и сделала.

15 сентября, успокоенная устройством детей, Софья Андреевна возвращается в Ясную Поляну… как раз чтобы стать свидетельницей и участницей *попадания в историю* — вместе с мужем, дочерьми и даже с сыном Львом, ничего пока не подозревающим и разрешающим в Москве свои осенние проблемы с университетом.

Дневник С. А. Толстой и мемуары зафиксировали главные вехи вдруг ускорившихся и драматизировавшихся событий. Днём 16 сентября Толстой достигает давно желанного: отправляет-таки — конечно же, в сопровождении Соничкиного ворчания — в газеты письмо с объявлением об отказе от части авторских прав (на сочинения с 1881 г.). А вечером он вдруг получает от Лескова довольно неприятное письмо: с вырезкой из газеты «Новое время», перепечатавшей (со всеми искажениями) публикацию из «Новостей». К сожалению, явились и критики выраженной Толстым в частном письме позиции — различных политических лагерей, но объединённые одним: неспособностью понять настоящую мысль автора письма. Соня поняла — сердцем, но не могла, после его *только что* совершённого отречения от части писательских доходов, совершенно сочувствовать мужу и в его позиции о голоде:

«Лёвочкино письмо нескладно, местами крайне, и, во всяком случае, не для печати. Его взволновало, что его напечатали, он не спал ночь и на другое утро <т.е. 17 сентября. – *Р. А.*> говорит, что голод не даёт ему покоя, что надо устроить народные столовые, куда могли бы приходить голодные питаться, что нужно приложить, главное, личный труд, что он надеется, что я дам денег (а сам только что снёс на почту письмо с отречением от прав на XII и XIII том, чтоб не получать денег; вот и пойми его!), и что он едет немедленно в Пирогово <в имение брата Сергея. – *Р. А.*>, чтоб начать это дело и напечатать о нём. Но писать и печатать, чего не испытал на деле — нельзя, и вот нужно, с помощью брата и тамошних помещиков, устроить две, три столовые, чтоб о них напечатать.

…Если б он это сделал потому, что сердце кровью обливается от боли при мысли о голодающих, я упала бы перед ним на колена и отдала бы многое. Но я не слыхала и не слышу его сердца. Пусть своим пером и умением расшевелит хоть сердца других!» *(ДСАТ – 1. С. 211).*

По сведениям Н. Н. Гусева, в этот же день, 17 сентября, Толстого навестил давний знакомый, земский деятель, князь Георгий Евгеньевич Львов (1861 – 1925), будущий член Временного правительства, а в то время, в 1891 г., молодой богатейший аристократ, предприниматель и благотворитель, переживавший как раз увлечение толстовством *(Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества Л.Н. Толстого. 1891 – 1910. С. 42)*. Вероятно, именно разговор со Львовым навёл Л. Н. Толстого на саму идею благотворительного предприятия со столовыми. В Дневнике его под 18 сентября читаем:

«Был Львов, говорил о голоде. Ночь дурно спал и не спал до 4 часов, всё думал о голоде. Кажется, что нужно предпринять столовые. И с этой целью поехал в Пирогово» *(52, 53)*. Поехал кстати не один, а со старшей дочерью Таней.

Софья Андреевна, дневник:

«В Пирогове Серёжа, брат, встретил их очень недружелюбно, говорил, что они учить его приехали, что вы, мол, богаче меня, вы помогайте, а я сам нищий и т. д.» *(ДСАТ – 1. С. 214)*.

Изгнанный с дочерью из усадебного рая Пирогова (богатейшего, кстати сказать, имения), Толстой объехал верхом окрестные деревни. Вечером 19 сентября он нашёл приют у очень бедного, но зато доброго старинного своего друга, Василия Николаевича Бибикова (1830 – 1899), жившего в родовом селе Успенском (Кобылинка тож). С его помощью Толстой объезжает ещё ряд деревень Ефремовского и Богородицкого уездов. Для нищего Бибикова благодарный ему за помощь Толстой впоследствии собрал 400 рублей на открытие столовой в его деревеньке. В тот день, 20-го, Толстой увидел наконец настоящую, голодную нищету народа, и страшно устал — и тем драгоценней, нужнее физически, но тяжелее морально был для него приют и ночлег у Фёдора Александровича Свечина (1844 – 1894), богатого помещика, владельца конского завода и страстного охотника. Свечин помог ему впоследствии довольно оригинально: отправил в печать как раз готовый к тому времени сборник своих охотничьих воспоминаний, а все доходы от издания передал в пользу крестьян.

22 сентября Толстой возвращается в Ясную. А 23-го, уже с результатами первого своего объезда, он навестил тульского губернатора Зиновьева, от которого, однако, «узнал мало». Зато, что особенно ценно — в беседе с женой в тот день «нашёл готовность к примирению и примирились» *(52, 54)*. Тогда же решил он ехать в Епифанский уезд, чтобы и там познакомиться на месте с положением народа. На этот раз Льва Николаевича сопровождала другая его дочь, Мария Львовна. В уезде их неприятно поразила не просто нищета, а какая-

то просто зоологическая опущенность здешнего народа: «развалённые дома, ничего нет, и ещё пьют» *(Там же)*. В Епифани они остановились у местного земского деятеля, Рафаила Алексеевича Писарева (1850 – 1906). В Дневнике Л. Н. Толстого под 25 сентября о нём читаем: «Писарев прекрасный тип земца — находящий смысл в служении людям. И жена милая, кроткая» *(52, 54)*. Это была первая ценнейшая человеческая находка Толстого: Писарев с огромным воодушевлением отнёсся к идее о заведении «сиротских призрений» (так в народе называли общественные столовые). Второй же, непомерно ценнейшей находкой Толстого была встреча с ранее уже появлявшемся на наших страницах персонажем, земским деятелем Иваном Ивановичем Раевским: человеком, с пониманием и страстно поддержавшим Толстого и успевшим отдать делу спасения больных, голодных людей всего себя, все силы и здоровье в отведённый ему для того судьбой всего-то с небольшим *месяц* жизни.

Иван Иванович Раевский (1835 – 1891)

В «Моей жизни» С. А. Толстая сообщает о нём и первом (в связи с начатым предприятием) общении с ним Льва Николаевича следующее:

«Иван Иванович Раевский был первый, который утвердил Льва Николаевича в его намерении ехать кормить голодающих в их краях посредством столовых. Он рассказывал, что исстари ещё во время голодовок устраивали такие столовые, которые народ называл “сиротскими призреньями”.

Лев Николаевич тогда же решил, что он поедет в те края, куда указывал Иван Иванович, и тут же взял у меня денег <90 рублей> на закупку свёклы, картофеля и тех продуктов, которые надо было перевезти на разные пункты — до морозов» *(МЖ – 2. С. 223)*.

Итак, между мужами Христова служения было решено поселиться на всю голодную зиму в имении Раевского Бегичевке (уже в Рязанской губ., но почти на границе с Тульской), чтобы устраивать в деревнях столовые. Начались закупки провианта. Дело завязалось! На станции Клёкотки Сызрано-Вяземской ж. д. Толстой записал в Дневник: «Доехали до Клёкоток и собираемся дальше. Мне хорошо» *(Там же)*.

Легко догадаться, что так же хорошо и легко не было на душе Софьи Андреевны, когда, воротившись к вечеру 26 сентября домой, Толстой объявил ей о решении жить и трудиться в имении Раевского. В своём дневнике она свидетельствует: «…Я пришла в ужас. Всю зиму врозь, да ещё 30 верст от станции, Лёвочка с его припадками желудочной и кишечной боли, девочкам в этом уединении, а мне с вечным беспокойством о них» *(ДСАТ – 1. С. 214)*. Не могла сперва понять она и смысла затеи со столовыми: «Вопрос о столовых для меня сомнителен. Ходить будут здоровые, и сильные, и свободные люди. Дети, роженицы, старики, бабы с малыми детьми ходить не могут, а их-то и надо кормить» *(Там же. С. 215)*. Впоследствии Соничке предстоит узнать, *насколько* она была не права: народ оттого и окрестил благотворительные столовые «сиротскими призрениями», что понимал *очень* хорошо их смысл, состоявший в поддержке слабейших. Не только мужик, даже голодный, но и девушка крестьянская, пока могли хоть как-то держаться на ногах, не посещали *по совести* эти столовые. Это было практическим и христианским мудрым разрешением той дилеммы, которую Толстой выразил в письме Н. С. Лескову в образе птиц, сильных и слабейших, клюющих корм.

Софье Андреевне, москвичке и дочери немца, не было это народное, русское и христианское, сознание ни понятно, ни близко. В дневнике, посетовав снова на мужа и предстоящие расходы, она прибавляет:

«Если дам денег, то на распоряжение <сына> Серёжи, он секретарём Красного Креста в их местности. Его прямое дело служить делу голода…» *(Там же)*.

Брюзжание *очень* знакомое. Схоже судит и всякий почти городской обыватель в современной буржуазно-индивидуалистической

России. «Зачем должны делать что-то *мы*, если на то есть особые службы, должностные лица и т. п.?» Все эти суждения обличают лишь эгоизм, фобии, тупость и несамостоятельность таких судителей, да к тому же ощутимо восходят к страшным словам библейского первоубийцы Каина: «И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему?» *(Быт., 4:9)*. Чтó нам за дело до наших братьев? Есть «службы», и мы охотно проплатим их «услуги»… но *нас* в нашем образе жизни не трожьте!

Насколько отличным от такого образа мыслей было христианское сознание Льва Николаевича, может видеть всякий читатель, который возьмётся познакомиться со статьёй Толстого «О голоде», начатой писанием буквально в день его возвращения домой из объезда нищих и голодных деревень — 26 сентября. В статье Толстой изложил свои впечатления от поездок и планы помощи крестьянам — там, где необходимость таковой обнаружилась. Но изложил публицист и свои общественно-этические выводы, весьма радикальные как по содержанию, так и по резкости, «задору», который хорошо ощутила как всегда прочитавшая статью едва ли не первой Софья Андреевна. В письме толстовцу М. А. Новосёлову, датируемом приблизительно 8 октября, Толстой сообщает: «Пишу теперь о голоде. Но выходит совсем не о голоде, а о нашем грехе разделения с братьями. И статья разрастается, очень занимает меня и становится нецензурною» *(66, 52)*.

А в письме к П. И. Бирюкову, приблизительно 9 октября, Толстой сообщает о неприятности, которую можно было предвидеть, именно протестациях Софьи Андреевны:

«Я ездил с Таней и Машей порознь в самые голодные места нашей губернии и хотел написать о том, что по этому случаю пришло мне в голову. Вы верно догадываетесь, что наш грех разъединения с братьями — касты интелигентов; и чем дальше пишу, тем более кажется нужным то, что пишу, и тем менее цензурно. План у нас был с девочками тот, чтобы вместо Москвы поселиться в Епифанском уезде в самой середине голодающих и делать там, что Бог велит — кормить, раздавать, если будет что. И Софья Андреевна сначала соглашалась. Я рад был за девочек, но потом всё расстроилось, и едва ли поедем» *(Там же. С. 56)*.

М. Л. Толстая в письме к Л. Ф. Анненковой от 8 октября, сообщая о плане отца поселиться в Бегичевке, Данковского уезда, рассказывала: «.....Так вот мы хотели так жить. Уже приготовили часть провизии, топлива и т. п. Мама обещала дать нам две тысячи на это, мы так радовались возможности хоть чуть-чуть быть полезными

этим людям, как вдруг мама (как это часто с ней бывает) совершенно повернула оглобли.... Ужасно было тяжёлое время. Она мучила себя, и папá, и нас так, что сама, бедная, стала худа и больна. Мы всё время говорили ей, что сделаем так, как она хочет, доказывали нелогичность и переменчивость её взглядов. Много было тяжёлых споров... [...] Нам всем было искренно жалко её. Она так страшно себя мучила. И знаете, как у неё часто бывает, она хочет сказать и думает о том, что она боится, что папа заболеет, и она говорит о том, что он написал заявление о позволении печатать его сочинения, что это лишит её денег, что она не даст денег, что она должна воспитывать, детей, что он ни во что не входит, всё на ней и т. д. до самых неожиданных, не касающихся дела вопросов» *(Цит. по: Там же. С. 57)*.

Отчасти успокоилась Софья Андреевна, лишь когда Толстой пообещал ей прожить часть зимы в Москве. В середине октября он завершает статью «О голоде» и отправляет её другу-философу Н. Я. Гроту для публикации в его журнале «Вопросы философии и психологии». 22 октября Софья Андреевна выезжает в Москву — с сыном Ваничкой, дочерью Сашей и прислугой. «Лев Николаевич равнодушно простился с нами, — пишет она в воспоминаниях, — и послал со мной дополнение к своей статье о голоде — Н. Я. Гроту. В это же время была напечатана и статья «Первая ступень». Лев Николаевич чувствовал себя не совсем здоровым и, выждав немного, уехал с дочерьми в Данковский уезд, в Бегичевку, к Раевским» *(МЖ – 2. С. 225)*.

С этого момента открывается огромный, очень насыщенный материалом Эпизод Переписки супругов, которую мы и представляем ниже читателю.

Фрагмент 34.1.
ЛИХА БЕДА НАЧАТЬ
(23 октября – 28 ноября 1891 г.)

Хронологически отъезд С.А. Толстой и Л.Н. Толстого из Ясной Поляны разделяют всего четыре дня: 22-го выехала Соня, 26-го Лев. К этому периоду, однако, относятся по два письма, посланного супругами. Толстой вослед Софье Андреевне посылает первое в этом Эпизоде письмо, от 23 октября, достаточно “деловое” — посвящённое

ранее уже обсуждавшимся моментам в организации помощи голодающим. В частности, необходимости точного подсчёта располагаемого в России хлеба: «Никто этого не знает, а в этом всё. Узнать же это очень легко. Я берусь в две педели одной перепиской узнать это. Всякий местный человек, как я, например, в Крапивенском уезде могу очень легко узнать это» *(84, 87 - 88)*.

Следующее, от 24 октября, письмо Толстого к жене более интересно наличием мотивов интимно-личных:

«Очень разочаровало нас, в особенности меня, то, что вчера не было от тебя письма, милый друг. Утешаюсь тем, что ты хотела писать с Лёвой, а он не поехал, или что почта как-нибудь спутала. — Главное, мне хочется знать про твоё здоровье — не разделяю физическое и духовное, хотя и считаю, что основой физического духовное. А твоё духовное состояние при отъезде было такое хорошее, что я был спокоен. Надеюсь, что сейчас привезут хорошие известия. Телеграму от Лёвы получили и ждём его. Нынче было письмо от И. И. Раевского, который приглашает нас ехать в воскресенье, что мы и исполним.

Я в эти дни пишу по утрам <трактат «Царство Божие внутри вас»>, перед обедом гуляю. Все мы здоровы. Цыгане всё живут у березняка, и нынче поручик <«Так называли лесничего в нашей местности». — *примеч. С. А. Толстой.*> посылал за мужиками выгонять их, но они продолжают жить, несмотря на поручика и на мятель 9°. Прощай. Целую тебя и детей.

Из-за сундука под лестницей достали жёлтый башмачок Ваничкин, и он стоит на сундуке, и я проходя вспоминаю его, что не раз делал и без башмачка» *(Там же. С. 88)*.

Софья Андреевна посылает первое письмо 23 октября, уже из Москвы:

«Вот ровно сутки, как мы приехали. В вагоне было невыносимо жарко. Ваничка уснул и проспал часа полтора, а я читала «Reine des Bois» <«Лесная королева», эротический роман А. Терье. – *Р. А.*>. Саша с Лидией <miss Lidia, англичанка, гувернантка и учительница английского языка у Толстых. – *Р. А.*> что-то возились и болтали. К Серпухову Ваня проснулся, я одна выходила; человек принёс кипятку и котлетку, и все стали есть с большим аппетитом, больше свою провизию и пить чай. Вечером стали дети томиться, да и все устали. За нами выехал Матвей Никитич <Зав. книжным складом и артельщик Софьи Андреевны. – *Р. А.*> и карета. Мы с Сашей и Ваней сейчас же

уехали, а няня с Лидией. Мальчики все были дома и Лёля Северцов *<сын двоюродной сестры С. А. Толстой. – Р. А.>*; подняли крик, начали таскать на руках Ваничку, играть его игрушками, рассказывали про своё житьё. Потом все ушли, мы остались с Лёвой вдвоём. Он стремится всеми силами куда-то и почему-то ему кажется, что в Самаре он может что-то сделать. Впечатление то, что учиться он в университете, главное, не хочет, а, может быть, и не может, что ему нужны впечатления и разнообразие их. Поездка его совершенно неопределённая; вряд ли он что сможет написать или сделать. Просил он 200 рублей, стало быть только на дорогу и на прожитие. Сам он весел, как будто доволен всем, и мне очень жаль, что он уезжает; он единственный у нас элемент возбуждающий, веселящий и имеющий влияние на мальчиков. — Весь день раскладывали вещи; Никита приехал часов в 10 и всё привёз исправно. Бывало думаешь: трудно *устроиваться*, но что-то есть в этом и весёлое. А теперь совсем ничего этого не осталось, — а только трудно. […]

Ваничка всё гулять просится, но заморозило, и я боюсь его пускать. Мы счастливо проскочили вчера. Спала я с Ваней; он раз спросил дуду, я говорю: «в Ясной осталась». Он попил из стаканчика немного, и лёг, и заснул. Больше не просил. Сегодня будем не вместе, а рядом, а то он рано очень встаёт, а я и так сплю плохо. К утру опять этот пот меня разбудил, и если правду говорить, то мне плохо не здоровьем, а нервами. Точно я закупорена вся, начиная с верхней части груди и вся голова. Сегодня не мудрено, я ещё устала и не привыкла к Москве. Самое несносное, что плакать хочется весь день и боюсь себя, что не то напишу, не то скажу, не то сделаю, и окажется, что я сумасшедшая. Может быть схожу к психиатру.

Теперь мне ясно, что я всё время волновалась не от того, что вы и я уезжаем, а что всё зло во мне, в моём нездоровье, и я совсем не желаю, чтоб вы приехали, всё равно измучаю и себя, и вас. — Ещё страшно, что я много ем; сумасшедшие разъедаются и толстеют.

Но это всё мой страх. Вернее, что я поеду завтра или на днях к Мерилизу *<«Мюр и Мерилиз», роскошный универмаг в Москве. – Р. А.>* и Фету, займусь детьми и приду в нормальное состояние. Только бы ничего ни с кем не случилось, а то свихнёшься тогда.

Лёва выедет к вам или завтра в ночь или в пятницу. Подождите его во всяком случае. Прощайте, целую всех. Ни к кому не обращаюсь, потому что знаю, что читать будут все.

Писать ли ещё в Ясную? Я думаю нет.

Дел ещё своих не разбирала, может быть, завтра успею, потому и не знаю ещё, сколько денег могу или не могу дать» *(ПСТ. С. 447 - 448)*.

Письмо примечательно откровенным признанием Софьи Андреевны в своём душевном расстройстве, а также сведениями о готовящемся отъезде Льва-младшего к голодающим в Самарскую губернию. Он получил в эти дни письмо от Алексея Алексеевича Бибикова, бывшего управляющего самарскими имениями Толстых, многократно упоминавшегося на этих страницах. Бибиков оценивал ситуацию безрадостно:

«То, что мы предполагали, наступило. Ни у кого нет хлеба уже давно. Земство помогает недостаточно. Народ распродаёт скот, имущество, сбрую, платье и ходит, друг у друга прося милостыни. Начинаются болезни, воровство и все последствия голодания. Чувствую полное бессилие помочь им. Приезжайте к нам. Может быть, удастся вам хоть что-нибудь сделать» *(Цит. по: Толстой Л.Л. В голодные годы. С. 10)*.

Для первой своей самарской поездки Л. Л. Толстой только берёт в университете отпуск на 28 дней, а из денег — смешные 200 рублей, выпрошенные у мамы. Но эта разведочная поездка и связанные с нею впечатления от картин народного бедствия заставят его втянуться в дело помощи народу всеми силами, не пощадив не только учебных своих планов, но и здоровья.

Следующее письмо С. А. Толстой, от 25 октября (по получении писем от Л. Н. Толстого и от Т. Л. Толстой от 24 октября):

«Уезжает и Лёва; метель сегодня и холод страшный и все эти отъезды и жизнь врознь, конечно, хуже всего для несчастной меня, сидящей, как прикованная к своим гостиным и без всякою дела, а только с беспокойством о всех. Для голодающих физическая мука, а для нас, грешных, худшая — нравственная. Авось как-нибудь переживётся это тяжёлое время для всех, а без жертв не обойдётся.

Посылаю шубу свою Маше, и купила для тебя, Лёвочка, дешёвую. Без двух шуб зимой 30 вёрст ехать нельзя. Посылаю вам 500 рублей, с прежними 600; Лёва берёт 200, Серёжа 100 на голодающих, итого 900 р. Потом увижу, что можно будет ещё сделать. <«Эти деньги были наши, не жертвованные, а пока для начала дела помощи». – *Примеч. С. А. Толстой.*>

Статью твою <«О голоде»>, Лёвочка, не успела прочесть; Грот сегодня её завёз, но меня не застал, и так я его и не видала до сих пор. Вчера была Соня Мамонова и Алик, потом Дунаев. Больше никого не видала; сегодня ездила за шубами Лёве и тебе, Лёвочка, и вообще за покупками, необходимыми для дома. […]

Спасибо, что написали столько писем: я получила три. Здоровье моё лучше, т. е. две ночи не было лихорадки и поту. Но тоска, — с которой борюсь ужасно, не отпускает. Как вечер, так всё мрачно, плакать всё хочется, точно я и физически и нравственно закупорена.

Надеюсь, что у тебя, Лёвочка, насморк прошёл, а то это может быть начало инфлуенцы. […]

Сегодня 10 гр. мороза, ветер страшный и снег. Извощики на санках. Если у вас так холодно, погодите ездить.

А картофель-то наш и яблоки — всё помёрзло! Только сейчас получила квитанцию.

Ваничка всякое утро меня будит в 7 часов, жалобно прося дуду. Ему не давали ни разу, и он молоко не пьёт, а чай с молоком, и очень мало ест. Но он весел и Саша и мальчики тоже. Только бы все здоровы были! Миша учится плохо, всё двойки, Андрюша гораздо лучше. Вчера оба играли на скрипке, Миша лучше. — Дом не устраиваю, всё кое-как; и не могу приступить к такому глупому занятию; а деньги совестно платить, надо везде экономить и всё делать самой с Фомичём. Люди все унылы и тоже не веселы. На верху даже не освещают и едва протапливают. Ютимся все внизу, всякий при своём деле. Прощайте, милые все, не забывайте меня и пишите при всяком случае, да поподробнее, как устроитесь. А Лёва пропадёт в этом море самарских степей, и о нём тоскливее всего, а удержать невозможно.

Теперь напишу дня через три в Данковский уже уезд.

С. Т.» *(ПСТ. С. 449 - 450)*.

К 26 октября это письмо уже получено в Ясной Поляне. Отвечает на него дочь Толстого Мария, а сам Лев Николаевич, по сложившейся традиции, делает приписку, но довольно пространную и небезынтересную. Приводим ниже полный её текст.

«Всегда, когда принесут, как теперь, бумагу и говорят: припиши, не знаешь, что. Спасибо за деньги. Начнём с чего-нибудь. Но меня теперь неотвязно тяготит вопрос: есть ли в России достаточно хлеба? Я кажется напишу об этом в газету; тем более, что ту статью, вероятно, не пропустят, — и тем и лучше.

Очень меня порадовало, что прекратилось лихорадочное состояние и поты. Теперь, наверно, и нравственное состояние поправится. То, что ты пишешь о психическом расстройстве, ужасный вздор. До-

казательство, что причина органическая, т. е. болезнь тела, — лихорадочное состояние и поты. — Тебе не следует скучать, т. е. грустить. С тобой дети: сам Ваничка, аккуратный и в добром настроении находящийся Андрюша. (И Миша поправится.) И мы скоро приедем. Целую тебя нежно» *(84, 88 - 89)*.

Читатель, вероятно, вспомнит об этом заблуждении уже молодого Толстого, раздражавшем с первых лет супружества Софью Андреевну: во всяком недомогании, физическом или душевном (как депрессия) он искал и находил исключительно «органические» причины. Мы видим, что и до старости это заблуждение играло с ним злые шутки: он не обратил внимания на грозное признание жены об осознании ею нездоровья именно психики, а для физиологических симптомов развивавшегося в ней душевного расстройства подобрал желаемое “не страшное” объяснение. Всё тот же синдром сироты: жена как мама — заботливая, любящая, необходимая… а мама не должна, просто *не может* болеть чем-то страшным!

Впрочем, никакой постоянной, ярко выраженной и опасной клинической картины поведение Софьи Толстой в то время не являло. Никаких злокачественных девиаций, кроме страхов и вспышек агрессивной или слезливой настойчивости, истерик — не всегда эгоистического генезиса, так как связаны они были у неё в первую очередь с беспокойством за семью, детей, и уже после — с дефицитом событий и возможностей личностной самореализации.

Мы видим из писем Толстого, что у него зародился замысел ещё одной “голодной” статьи, которая получит название «Страшный вопрос». Но прежде написанная, вдохновенно и нецензурно, статья «О голоде» уже не “отпустит” его, дав о себе знать рядом неприятных, вредных для начатого дела последствий. Накануне, 25-го, Н. Я. Грот сообщил ему, что номер журнала с этой статьёй был арестован цензурой. Увы! репрессии против гротовского журнала, сперва имевшие иную адресацию, вскоре обрушатся и на Толстого. Его статья оказалась под подозрением и была, как сообщал Грот, направлена для особливой цензуры в контору Феоктистова — то есть в Главное управление по делам печати. Какая бы высокая ни выразилась в статье «О голоде» правда — остаётся всё же сожалеть, что Толстой, под впечатлением от картин народной нужды, выразил её столь рано и столь эмоционально.

Приписка от 26-го — последнее перед отъездом в Бегичевку послание Л. Н. Толстого к жене. Выехал он в тот же день, 26 октября — со

“свитой” в составе любящих старших дочерей и Веры Кузминской (это дочь Тани, сониной сестры) и с 600 рублями денег.

* * * * *

Бегичевский цикл переписки супругов открывает *ночное*, что было для неё не редкостью, письмо С. А. Толстой от 26 октября. Получив, уже после отправки письма от 25-го, письмо мужа от 24 октября, Софья Андреевна, конечно же, не стала дожидать, по обещанному, трёх дней, а написала ответ в тот же час, как были кончены множественные дневные и вечерние дела, в ночь с субботы на воскресенье:

«Спасибо за письмо, милый Лёвочка. Итак, завтра вы едете, вероятно и Лёва тоже. Очень интересно, что выйдет из ваших попыток помощи. По моему мнению, — я настаиваю на своём, — вы с самого начала не так взялись за дело. Ну, да теперь поздно. Буду жить с надеждой и ожиданием, что когда-нибудь да пройдут тяжёлые времена, все вернутся, и голод минует. Теперь все говорят, что дело гораздо хуже, чем кто-либо мог предполагать, и такая тяжесть на душе от безнадёжности помочь такому стихийному бедствию! Поездка Лёвы меня тревожит не менее вашей. Он ничего не взял, ни о чём не подумал; он понятия не имеет, что такое езда на долгое расстояние в деревне, да ещё в степях; и вообще всё его состояние возбуждённое, отчаянное и неясное. Бежать скорей и во что бы то ни стало — и больше ничего.

Сегодня сидела весь день дома, обойщики колотили, и Фомич был возбуждён. Андрюша и Миша покупали тёплые шапки, перчатки и калоши и получили двойки. Саша брала первый французский урок с monsieur и очень хохотала. Потом она с Лидой твердили, смеясь, французские слова и ходили гулять до почтового ящика только, потому что очень холодно. Ваничку я не пустила. Он пока здоров и очень мил и жалок с дудой. Говорит сам: «Ваня теперь отвык», и стал пить молока больше, и лучше ест. К обеду приехал Миташа Оболенский и рассказывал мне про вас. Но он меня расстроил, говоря, что у тебя больной и слабый вид, что ты очень похудел и постарел. Хорош ты вернёшься из Данковского уезда! — Ещё он меня расстроил тем, что говорил, что его жена мне очень симпатизирует и очень жалела меня, когда прочла 17 *сентября* твоё заявление <об отказе от авторских прав. – *Р. А.*>. Она думала (как и все, вероятно, подумали, я это предвидела), что ты, рассердившись на меня, тихонько от меня, нарочно в мои именины, напечатал это заявление. И какое

совпадение: 17 сентября подарена и отнята у меня повесть: «Смерть Ивана Ильича». — Всё это больно; и как давно — всё, всё больно.

Здоровье моё лучше, лихорадки нет и, вероятно, и не будет.

После обеда пришёл Дунаев, и потом Грот. […] Грот очень взволнован. «Московские ведомости» подняли целую тревогу по случаю чтения Соловьёва, и тут был Победоносцев, и редактор «Московских ведомостей» с компанией донесли Победоносцеву, что вот, мол, смотрите, какое зло вносят. Тут же арестовали незаконно, по распоряжению из Петербурга, весь номер их ноябрьского журнала. Твою статью считают менее всех вредной и обещают пропустить, а больше всех напали на Соловьёва. Если скоро не снимут ареста, Грот поедет в Петербург.

Оболенский написал статью (пойдёт передовой) о своём издании альбома в пользу голодающих, и в ней упомянул, что ты даёшь свою повесть. Какую? Он даже говорит, что ты ему *дал слово* написать или дать что-нибудь.

[…] Теперь ночь. Буду ждать с нетерпением известий из Данковского уезда; как-то вы там устроитесь? Надеюсь, что Таня будет хорошо хозяйничать, на неё вся надежда; лишь бы не захворал никто в этот сухой холод. Как приняли мои шубы? Прощай, милый Лёвочка; ты береги тоже девочек, а они — тебя.

Целую вас всех. С. Т.» *(ПСТ. С. 450 - 452).*

С. А. Толстая коснулась в письме издательской судьбы реферата В. С. Соловьева «О причинах упадка средневекового миросозерцания», прочитанного на заседании Психологического общества 19 октября 1891 г. Реферат, сблизивший идейно Толстого и Соловьёва как критиков исторически совершившегося извращения первоначального христианства, отравления его миазмами жизнепонимания язычников и евреев — вызвал бурные прения, продолженные в печати. Это означало для автора необходимость скорейшей публикации текста реферата, который выразил бы в печати его позицию. Грот попытался было опубликовать реферат в своём журнале, и именно реферат поначалу вызвал резкие нападки со стороны журналистов консервативного лагеря Ю. Николаева и М. Афанасьева («Московские ведомости», №№ 291 и 293). Николаев приписывал Соловьёву выражение «мошенники и обманщики», обращённое к христианским аскетам. Афанасьев утверждал, что реферат Соловьёва представляет собою «популярное и сплошное глумление над святою и православною церковью» (№ 291), что он является «дерзкой выходкою против всей христианской церкви» (№ 293). Важно подчерк-

нуть, что это было не только актом клеветы со стороны консервативных журналистов, но и *доносом* — имеющим достаточно близкие параллели с доносительством в современной путинской России: об «экстремизме», «оскорблении чувств верующих», связях с политической оппозицией, с заграницей и т.п. Николай Яковлевич Грот не желал создавать помехи делу Л. Н. Толстого помощи голодающим крестьянам, но, соединив под одной обложкой два одиозных материала (статья Толстого настораживала цензоров уже именем автора и заголовком!), он невольно предопределил непростую цензурную судьбу для обеих публикаций. Статья Толстого *в полном виде* была впервые опубликована только в 1896 г. в заграничном бесцензурном издании в Женеве, а реферат Соловьёва увидел-таки свет именно в журнале «Вопросы философии и психологии»… но только через 10 лет после создания, через два года после смерти Н. Я. Грота и через год после смерти самого автора реферата.

Написание С. А. Толстой следующего письма мужу относится к вечеру 28 октября. Значительная часть его посвящена событию, неприятному и печальному для обоих супругов:

«Милый Лёвочка, когда ты получишь это письмо, вероятно уже не будет жив Дмитрий Алексеевич Дьяков. Я страшно потрясена и расстроена: и неожиданностью этого, и видом его и детей. — С приезда своего я апатично и грустно сидела дома. Андрюша и Миша мне говорили, что у Мити и Алёши <сыновья Д. А. Дьякова, друзья детства сыновей Л. Н. Толстого. – *Р. А.*> инфлуенца, и что они неделю не были в гимназии. Вот я сегодня и отправилась к Дьяковым конкой и пешком, — узнать о здоровье детей и кстати всех повидать. Звоню внизу; горничная Лизаньки мне говорит: «а Дмитрий Алексеевич очень плох с утра». <Дьяковы жили в доме Колокольцевых в Скатертном переулке. В нижнем этаже этого дома жила Е. В. Оболенская с семьёй. – *Р. А.*> Я говорю: «что? как?». Я ничего не слыхала прежде; так сердце и упало, ноги подкосились. — Вхожу наверх, все на цыпочках ходят, глаза заплаканные, сторы спущены. Выходит Лизанька. «Хочешь его видеть?» — Чувствую, сил моих нет, но пошла. Близорукость позволила увидать в темноте очень мало, — к счастью! Но распухшее лицо, глаз один закрыт, лежит на правом боку, в груди хрипенье, живот вздут. В голой, пухлой руке папироска и беспрестанно курит. Я говорю: «здравствуйте, Дмитрий Алексеевич». Он протянул мне руку и начал говорить. Но вышло нечто вроде мычанья, хрипенья, горловые, резкие звуки, — понять ничего нельзя. Из

целого разговора его я поняла: «Уехали, Пирогово, вы приехали, маленькие, 10 пудов муки, 10..., 4 пуда можно есть, сам пробовал. Машу видели? <Дочь Дьякова, Мария Дмитриевна, в замужестве Колокольцева. – *Р. А.*> Она рада будет вас видеть...». И всё это едва понятно и сопровождается страшным хрипением и клокотанием в груди. А то вдруг заговаривается и говорит страшный вздор. [...] Он всеми и всем озабочен, только не собой. Накануне он говорил Колокольцову, что он умирает, что пора, что он не боится. Машу вызвали телеграммой, и она не отходит от отца. Бедные мальчики были больны; бледны и испуганы очень.

Болезнь Дмитрия Алексеевича произошла вот от чего: ездил он к дочери; дорогой у него вырезали весь боковой карман и больше ста рублей денег. Выходя из вагона, он ударился ногой, тем же местом ноги, как ты тогда, — о вагон. Была ссадина. Это было в пятницу. В воскресенье он ещё был в театре. В понедельник (сегодня неделя) у него сделался сильный озноб и жар. Послали за доктором; было уж поздно, зараженье крови сделалось. Жар доходил до с лишком 40 градусов. Бред, жар все эти дни. Нога распухла и покраснела. Боли нигде. Два доктора ездят, и говорят, что, ввиду его сахарной болезни, дело серьёзное, сердце действует плохо и опухло. Вчера вечером стало хуже. Дело ухудшения идёт так быстро, что в те два часа, которые я там просидела, он опять впал в бессознательное состояние и уже не узнавал никого и не говорил, а хрипел, упорно глядел на стену и дёргал простыню. Пот лил с него градом, рубашка вся смоклась. Страдал ли он — неизвестно. — Я уехала в пятом часу; думаю, что двух дней он не выживет. Мои расстроенные нервы не выносят просто этого зрелища. Домой уехала в санках, на извощике, и такое горе в сердце, что я до сих пор не опомнюсь; точно я в лице этого старого друга теряю так много и многих. Весь мир потух, и за всех отсутствующих стало ещё страшнее; хотя я сознаю, что смерть старика естественна, что тревога моя в ваше отсутствие есть та моя лепта, которую я приношу голодающему несчастному народу, которую я *должна* принесть, потому что всякий должен помогать, как и чем он может, а я помогаю вами, моей семьёй, — тем не менее жутко теперь ещё больше. Сегодня по случаю оттепели мне хуже, и не вижу, где возьму нравственных сил выносить панихиды, похороны, — это всё внешнее, — а главное, вид испуганных, несчастных, одиноких его мальчиков, которых чувствую своим долгом теперь, в самый тяжёлый период их жизни — поддержать и приласкать.

Мои дети, слава богу, здоровы. Кругом инфлуенца и много больных. У нас в колодце совсем протухла вода, и завтра его будут весь чистить. — По совету Тани и по собственной немощи, — я никуда и

не хожу. Но вот бог послал ещё горе! — У Саши зубы болели и она не гуляла, а Ваничка гулял и купил мятные пряники. Миша вырезает картонные санки и играет с маленькими. Андрюша вчера на верху играл сонату, которую когда-то выучил со мной, а сегодня у них обоих был урок на скрипке и ничего ещё не выходит. — Вчера был Лёля Северцов; дети и педагоги играли все в petits jeux [игры] в зале, на верху, и Ваничка был в восторге. Потом играли в halma <в гальму; игра типа шашек. – *Р. А.*> и потом в мяч. Ко мне никто не приходил кроме Веры Северцовой, которая меня не застала. Жду с нетерпением от вас письма с места, как устроились и что делаете для голода.

Прощайте, целую всех. Напишу ещё завтра. *С. Т.*

Не могу не прибавить, что тут все при начале инфлуенцы велят скорей давать касторовое масло; вообще слабительное и потогонное. Если кто заболеет, то сделайте это. А Дмитрий Алексеевич, главное, погубил себя, что заклеил ссадину английским пластырем. Какое неведение! Надо было компресс прежде всего!» *(ПСТ. С. 452 - 454).*

Знакомство с «чудесным Митей» относится к лучшим воспоминаниям казанской юности Толстого. Они познакомились в доме начальницы казанского Родионовского института Е. Д. Загоскиной. Дьяков — участник любительских спектаклей, дававшихся в Казани на масленице 1845 г. Был другом сначала Н.Н. Толстого, а потом и остальных братьев. У Дьякова хранился портрет молодого Толстого в профиль, сделанный карандашом неизвестным французским художником. Хронологически это первый портрет Толстого.

Дружба с Дьяковым в годы студенчества в Казани дала Толстому материал для описания в трилогии дружбы Николеньки Иртеньева с Нехлюдовым.

С Димой Дьяковым связана и самая крепкая, долговременная и сладкая из гомосексуальных привязанностей юного Льва. Уже взрослым он, перебирая в памяти предметы своей тайной влюблённости, признался себе в записи Дневника 29 ноября 1851 г.:

«Я никогда не был влюблён в женщин. […] В мужчин я очень часто влюблялся, любовью были 2 Пушкина, потом – 2-й – Сабуров (?), потом 3-ей — Зыбин и Дьяков, 4 – Оболенский, Блосфельд, Ислявин, ещё Готье и многие другие.

Из всех этих людей я продолжаю любить только Дьякова» *(46, 237).*

Варенька Нагорнова, племянница Толстого, так вспоминала о Дьякове: «Это был человек типа сороковых годов. Барин в душе, образованный и образцовый хозяин. Я как сейчас вижу его: плотный, белокурый, широкоплечий, ростом выше среднего; его лицо выражало доброту с оттенком юмора, свойственного его характеру» *(Цит.*

по: Лев Толстой и его современники. Энциклопедия. – М., 2010. – С. 192).

Д. А. Дьяков. Нач. 1870-х гг.
Москва. Фотография М. Конарского

В 1860-е гг. после женитьбы Толстого Толстые и Дьяковы часто виделись, так как имение Дьяковых Черемошня находилось недалеко от Ясной Поляны и от Никольского-Вяземского. Дьяков — крёстный отец Татьяны Львовны и Ильи Львовича Толстых.

Если бы не развращение с детства всех троих ложным воспитанием в проклятой — традиционалистской и гомофобной — России… кто знает? быть может Лев Николаевич, бисексуал по своей половой ориентации, нашёл бы счастье и с Димой, и с Соней? У Сони, кстати сказать, был бы тогда в большом яснополянском доме верный и толковый помощник в хозяйстве, а у Льва — в педагогических и прочих предприятиях. Современники вспоминали Дьякова как жизнерадостного, правдивого, отзывчивого человека, с умом более практическим, чем резонёрствующим. Это был хороший сельский хозяин,

остроумный рассказчик, добрый товарищ, просвещённый и умный воспитатель детей. Толстой ценил в нём здравомыслие, а в особенности откровенность и независимость характера.

Дьяков умер в тот же день, 28 октября. Но Толстой узнал об этом только 3 ноября.

После письма от 28-го Соня делает небольшой перерыв — до 1 ноября, когда получает от мужа первое письмо, написанное в Бегичевке. Приводим по порядку тексты обоих посланий.

Л.Н. Толстой, 29 октября 1891 г., из Бегичевки:

«Ах, как хочется, чтобы письмо это застало [тебя] в хорошем духовном состоянии, милый друг. Буду надеяться, что это так, и завтра — день прихода почты — буду с волнением ждать и открывать твоё письмо. — Ты пишешь, что ты остаёшься одна, несчастная, и мне грустно за тебя. Но будет об этом. Напишу о нас. Выехали по хорошей погоде в катках больших все: Лёва, Попов и мы 5-ро с Марьей Кирилловной. <Свиту Льва составляли: Татьяна и Марья Львовны, Т. А. Кузминская и М. К. Кузнецова. – *Р. А.*> На станции встретили Ивана Иваныча, который ехал с нами. На станции, как и везде, народа чёрного, едущего на заработки и возвращающегося после тщетных поисков, — бездна.

Нас с билетами 3-го класса посадили во 2-й. Тут нашёлся Керн и потом Богоявленский. <Эдуард Эдуардович Керн — бывший лесничий в казённой Засеке близ Ясной Поляны; Николай Ефимович Богоявленский (1862 - ?) — земский врач, бывш. домашний учитель детей Толстого. – *Р. А.*> Жара страшная, и мы все осовели от неё. На Клёкотках простились с Лёвой и Поповым и нашли две тройки в санях за нами. Ехать решили что нельзя, потому что шёл снег с ветром, и ночевали не дурно в бедненькой, но не очень грязной гостинице.

Девочки так ухаживают за мной, так укладывали всё, так старательны, что только можно желать уменьшения, а не увеличения заботы. Всё это твоя через них действует забота, и я ценю её, хотя и не нуждаюсь в ней, или так мне кажется. Рано утром поднялись, но выехали в 10. Ехали хорошо, тепло. Я надел раз тулуп, — и приехали <в Бегичевку> в два. Дом тёплый, топленный, — всё прекрасно приготовлено. Мне Иван Иванович уступил свой великолепный кабинет. У девочек две комнаты с особым ходом. Общая большая комната для repas [еды]. Сам он поместился в маленькой комнатке Алексея Митрофановича, рядом с своим <поваром> Федотом. Нынче я настоял,

чтобы он пошёл в кабинет, а я на его место. И сейчас перешёл, и мне прекрасно, и тепло, и уютно, и за перегородкой спит Федот. Обед простой, чистый, сытный; молока вволю.

Дом в Бегичевке,
в котором совершилась эпопея спасения Л.Н. Толстым голодавших крестьян.
Разрушен их потомками в 1970-е гг.

После обеда заснул. Приехали вещи. Девочки разобрались; вечером приехал <Иван Николаевич> Мордвинов, зять Ивана Ивановича, земский начальник, весь поглощённый заботой о народе. Когда он уехал, и в 9 часов разошлись, я сел писать статью <«Страшный вопрос»> о том, что страшно не знать, достанет или недостанет хлеба в России на прокормление, и до 11 часов пописал. Потом спал прекрасно. Утром продолжал статью. Между прочим побеседовал с Ив. Ив., и больше определилась деятельность девочек. Тане я очень советую взяться за дело пряжи и тканья, т. е. устройства этого заработка. Маша будет при столовых и пекарне.

Я сейчас был в 3-х деревнях, из которых в двух приискал места для столовых, в обоих человек на 50. — Описывать слегка нищету и забитость этих людей нельзя. Но хорошо, здорово их видеть, если можно только хоть сколько-нибудь служить им, и я думаю, что можно.

От Грота ты, вероятно, знаешь, что статью мою в числе других повезли в Петербург, в цензуру, и, вероятно, запретят. И я рад. Я напишу другую и эту переделаю. Надо добрее, то и трудно, чтобы быть правдивым и добрым. Если это напишу, пришлю тебе. Ты с Гротом просмотри и пошли в «Русские ведомости». <Статья Л.Н. Толстого «Страшный вопрос» была напечатана в «Русских ведомостях» за 1891 г., № 306, от 6 ноября. – *Р. А.*>.

Ну, пока прощай, целую тебя и детей, маленьких и миленьких, как говорил Фет, и тебя, не маленькую, но милую. Иван Иванович уехал к <Рафаилу Алексеевичу> Писареву и вероятно привезёт его с собой. Л. Т.» *(84, 89 - 90).*

А 1 ноября Софья Андреевна ответила на это письмо и письма от дочери Татьяны следующим посланием:

«Вот как много я получила сегодня писем от вас, милые Лёвочка и Таня, и очень это меня оживило. Потом пришли обедать ко мне Грот и Страхов, и мы хорошо разговаривали. Грот сегодня едет в Петербург. Статью твою <*«О голоде»*>, Лёвочка, пропустили; Грот её смягчил и велел тебе сказать, что она вышла очень добрая. Вчера её читали вслух у Фета, где я обедала (в первый раз), потому что там остановился Страхов, и мне хотелось побыть с ним. Был там ещё Николаев, пишущий в «Московских ведомостях» — тупой человек, и странно: Страхов, Фет и Николаев — три совершенно разные элемента и все очень хвалили статью и искренно, по-видимому. Я прослушала тоже её с удовольствием, очень уравновешенная статья, как я и люблю. Грот говорит, что всем, без исключения, она очень нравится.

В 4 часа ночи я проснулась, Ваничка с лёгкой хрипью покашливал, но меня начала разбирать тоска и лихорадка, и промучала меня до четырёх часов дня. Такого мученья нравственной тоски — я даже представить себе не могла. Потом вдруг прошло, и мне даже кажется, что это был кризис. Во всяком случае, если повторится, то пошлю за каким-нибудь доктором. Я даже не знаю, лихорадка ли это или нервные, истерические припадки. Теперь весело и смело пишу об этом, потому что чувствую себя совсем хорошо, только слегка разбитой и голова немного болит. Ваничка тоже весь день провёл прекрасно, и все дети здоровы и бодры. 15 градусов мороза, полили каток перед домом, но я не выпускаю меньших, боюсь.

Как приняли вы известие о смерти Дмитрия Алексеевича? С похорон я никого не видала, а мальчики его сегодня пришли в первый раз в гимназию, грустные и бледные.

Ты пишешь, милая Таня, запродать холстину; не знаю, буду ли я в состоянии бегать по разным местам, а как мне хотелось бы помочь вам! Я очень сочувствую всякой помощи, и очень страдаю, что смерть Дмитрия Алексеевича и моё не совсем хорошее здоровье помешали мне до сих пор действовать. Меня Страхов, Фет и другие подбодряют напечатать воззвание о пожертвованиях и указать на ваш, Серёжин и Лёвин пункты для посылки этих пожертвований. Сегодня, после лихорадки, я набросала эту статейку, прочла Страхову; он одобрил, кое-что поправил, и я, вероятно, напечатаю. А то никто, ведь, без поощрения не даст ни гроша, да и не знают, куда дать. Вы все за это не сердитесь. Хотела я, было, сама ездить собирать с листом Красного Креста, да вот боюсь теперь простудиться; да одно другому не мешает.

Сижу я тут и всё примериваюсь, за тебя, Лёвочка, как ты тут будешь жить, и мне делается страшно, и я даже не желаю теперь вашего скорого возвращения, лишь бы все здоровы были.

По-видимому, вам хорошо там материально, за что и спасибо Ивану Ивановичу. — Сейчас пришёл Дунаев, поговорю с ним.

…. Дунаев обещает хлопотать о холсте, хочет прислать мне доктора Клейнера, но это бесполезно, я совсем не больна. Целую вас всех. Я теперь совсем помирилась с вашей деятельностью и сочувствую ей. Проживу я хорошо, только берегитесь все и не забывайте меня. Тем радостнее будем жить вместе после разлуки.

С. Т.» *(ПСТ. С. 454 - 456).*

Об этом и предшествующем ему письмах Сони Лев Николаевич записал в Дневнике под 6 ноября: «Два письма от Сони. Мне не перестаёт быть грустно за неё и от неё» *(52, 57).* Сам он открыл 1 ноября *первые три столовые* и завершил писание статьи «Страшный вопрос». Но, кажется, он не оценил значения, и уж никак не мог знать последствий предприятия Софьи Андреевны, о котором она упоминает в письме: готовившегося ею «воззвания о пожертвованиях».

Об обстоятельствах написания воззвания С. А. Толстая сообщает в мемуарах «Моя жизнь» следующее: «слухи об усиливающемся бедствии в России всё делались ужаснее. Становилось совестно просто жить и быть сытой. […] Часто, садясь за обед, я ничего не могла есть, меня мучили мысли о голодных — особенно детях» *(МЖ – 2. С. 228).*

Но записи С. А. Толстой в дневнике под 12 ноября 1891 г., то есть по самым свежим воспоминаниям, открывают нам наличие у жены

Толстого ещё одного, гораздо менее очевидного, импульса для такой работы. Она боролась таким образом со страшной депрессией, которую вызвал у неё переезд в родной, некогда даже любимый, город:

«Приехав в Москву, я страшно затосковала. Нет слов выразить то страшное душевное состояние, которое я пережила. Здоровье расстроилось, я чувствовала себя близкой к самоубийству». Это состояние усилилось от негативных впечатлений жизни: смерти Д. А. Дьякова и заболевания гриппом всех четверых детей. «Одну ночь я лежала и не спала и вдруг решила, что надо печатать воззвание к общественной благотворительности. Я вскочила утром, написала письмо в редакцию “Русских ведомостей” и сейчас же свезла его. На другой день, воскресенье, оно было напечатано. И вдруг мне стало веселее, легче, я почувствовала себя здоровой, и со всех сторон посыпались пожертвования» *(ДСАТ – 1. С. 217)*.

С. А. Толстая в 1889 г.
Москва. Фото Шерер, Набгольц и К°

В «Моей жизни» Софья Андреевна добавляет, что перед отсылкой в газету благоразумно показала своё воззвание Н. Н. Страхову, «который сделал небольшие поправки и сказал мне, что этот призыв вылился из моего сердца так цельно и горячо, что надо его непременно напечатать в том виде, как я его почувствовала непосредственно» *(МЖ – 2. С. 228)*. Напечатано воззвание было в № 303 «Русских ведомостей», вышедших в свет 3 ноября, т.е. уже в понедельник.

Вот его полный текст:

«Благотворительность и денежные пожертвования так велики, что страшно приступать к этому вопросу. Но и бедствие народа оказывается гораздо больше, чем предполагали все. И вот ещё и ещё надо давать, и ещё, и ещё — просить.

Вся семья моя разъехалась служить делу помощи бедствующему народу. Муж мой, граф Лев Николаевич Толстой, с двумя дочерями находится в настоящее время в Данковском уезде с целью устроить наибольшее количество столовых, или “сиротских призрений”, как трогательно назвал их народ. Два старшие сына, служа при Красном Кресте, деятельно заняты помощью народу в Чернском уезде, а третий сын уехал в Самарскую губернию открывать по мере возможности столовые.

Принужденная оставаться в Москве с четырьмя малолетними детьми, я могу содействовать деятельности семьи моей лишь материальными средствами. Но их надо так много! Отдельные лица в такой большой нужде — бессильны. А между тем каждый день, который проводишь в тёплом доме, и каждый кусок, который съедаешь, служит невольно упрёком, что в эту минуту умирает кто-нибудь с голоду. Мы все, живущие здесь в роскоши и не могущие переносить вида даже малейших страданий наших детей, неужели мы спокойно вынесли бы вид притупленных и измученных матерей, смотрящих на костенеющих от холода и умирающих от голода детей, на не питающихся вовсе стариков?

Но всё это видела теперь семья моя. Вот что, между прочим, пишет мне моя дочь из Данковского уезда об устройстве местными помещиками столовых на пожертвованные ими средства:

“Я была в двух: в одной, которая помещается в крошечной курной избе, вдовой готовится на 25 человек. Когда я вошла, то за столом сидело пропасть детей и, чинно держа хлеб под ложкой, хлебали щи. Им дают щи, похлебку и иногда ещё холодный свекольник. Тут же стояло несколько старух, которые дожидались своей очереди. Я с одной заговорила, и как только она начала рассказывать про свою жизнь, так заплакала, и все старухи заплакали. Они, бедные, только живы этими столовыми, дома у них *ничего* нет, и до обеда они голодают. Дают им есть два раза в день, и это обходится вместе с топливом от 95 копеек до 1 рубля 30 копеек в месяц на человека”.

Следовательно, можно спасти за 13 рублей до нового хлеба — человека. Но их много, и средств помощи нужно бесконечно много. Но не будем останавливаться пред этим. Если мы, каждый из нас прокормит одного, двух, десять, сто человек, — сколько кто в силах, уже совесть наша будет спокойна. Бог даст нам, в нашей жизни, не придётся переживать ещё такого года! И вот решаюсь и я обратиться ко

всем тем, кто хочет и может помочь, с просьбой способствовать материально деятельности семьи моей. Все пожертвования пойдут прямо и непосредственно на прокормление детей и стариков в устраиваемых мужем и детьми моими — столовых.

Пожертвования можно посылать по следующим адресам…» (следуют адреса Льва Николаевича, сыновей Сергея и Ильи, Льва-младшего и самой Софьи Андреевны).

Не мне, грешной, благодарить всех тех, кто отзовется на слова мои, а тем несчастным, которых прокормят добрые души.

2 ноября 1891 г.

Гр. С. Толстая» *(Цит. по: Там же. С. 228 – 229).*

Николай Николаевич Страхов был прав. Воззвание было написано и талантливо, и умно, и искренне. Тут же С. А. Толстая вспоминает и об общественной реакции на него:

«Пожертвования стали поступать с необыкновенной быстротой. Уже в первое утро мне принесли более 400 рублей, а в сутки я получила 1500 рублей. Во всё время голода и помощи мы получили на семью нашу около 200 тысяч, и даже более» *(Там же. С. 229).*

Дневник, 12 ноября 1891 г.:

«Как сочувственно, как трогательно отозвалась публика к моему письму! Некоторые плачут, когда приносят деньги. С 3 по 12 число мне прибыло 9000 рублей денег. 1273 рубля я отослала Лёвочке, 3000 рублей вчера дала Писареву на закупку ржи и кукурузы…» *(ДСАТ – 1. С. 217).*

Между тем, ещё ничего не зная о блестящем поступке жены, Л. Н. Толстой отправил ей 2 ноября готовую статью «Страшный вопрос» для публикации в прессе, а в прилагавшемся письме — свой отчёт о первых шагах помощи крестьянам Данковского уезда:

«Мы до сих пор ещё не получили писем, милый друг, и я не спокоен о тебе. Надеюсь, что завтра получим, и хорошие от тебя вести. Деятельность здесь самая радостная, если бы можно назвать радостною деятельность, вызванную бедствием людей. Три столовые открыты и действуют. Трогательно видеть, как мало нужно для того, чтобы помочь и, главное, вызвать добрые чувства. Нынче я был в двух во время сбора и обеда. В каждой около 30 человек. В числе их одна попадья вдова и дьячиха. Нынче я сделал наблюдение, что очень приглядываешься к страданиям, и не поражает и большое лишение

и страдание, потому что видишь вокруг худшие. И сам страдающий видит тоже. Девочки наши все очень заняты, полезны и чувствуют это. Мы не распространяем своей деятельности, чтобы не превзойти свои средства; но если бы кто хотел быть полезным людям, то здесь поприще широкое. И так легко и просто.

Устройство столовых, которым мы обязаны Ивану Ивановичу, есть удивительная вещь. Народ берётся за это как за что-то родное, знакомое, и смотрят все как на что-то, что так и должно быть и не может быть иным. Я в другой раз опишу тебе подробнее. Ив. Ив. всем нам очень мил. Сердечен, умён и серьёзен. Мы все его больше и больше любим. Жить нам прекрасно. Слишком роскошно и удобно. Писарев был вчера, нынче должна была быть она <жена Писарева, Евгения Павловна. – *Р. А.*>. Завтра Таня хотела к ней съездить. Наташа <Философова, сестра жены И. Л. Толстого. – *Р. А.*> очень милая, энергичная, серьёзная. Богоявленский был 2 раза.

Написал я эту статью <«Страшный вопрос»>. Прочёл её Писареву и Раевскому, они одобрили, и мне кажется, что она может быть полезна. Красноречия там нет, и места для него нет, а есть нечто, точно нужное и мучающее всех. Пошли её поскорее в «Русские ведомости», и, если будут предлагать, то возьми с них, чем больше, тем лучше, денег для наших столовых. Если пришлют, хорошо, а не пришлют, тоже хорошо. Денег не нужно, но если пришлют, то здесь найдётся им употребление.

Я пишу это, и сам боюсь. Боюсь, чтобы деньги эти и всякие, если бы прислали их, не спутали нас, не увлекли в деятельность сверх сил. Нужнее всего люди. Пиши подробнее о себе, своём здоровье, о детях. Целую тебя, милый друг, и детей. […]

Попроси Алексея Митрофановича <Новикова>, которого благодарю за его хорошее письмо, просмотреть статью и поправить знаки и даже выражения, где могут быть неправильны, под твоим наблюдением; корректуру, верно, ты просмотришь. […] Ну, пока прощай» *(84, 91 – 92)*.

Упомянутый в конце письма Алексей Митрофанович Новиков (1865 – 1927) был талантливым математиком, а также поэтом и переводчиком с нескольких языков. Познакомился Толстой с ним в доме И. И. Раевского, где тот служил учителем, а в 1889 – 1891 гг. он готовил в гимназию младших сыновей Толстого, так же помогая Льву Николаевичу в качестве переводчика и переписчика черновиков. Именно Толстой уберёг его от увлечения революционными идеями. И именно 1891-й год стал переломным в судьбе Новикова. Откликнувшись на призыв общего знакомого, И. И. Раевского, Алексей

Митрофанович участвует в переписи голодающего населения Рязанской губернии. Страшные картины вымирающих от голодного тифа деревень так повлияли на него, что он решил стать врачом. И он стал — выдающимся врачом, основателем нескольких медицинских кафедр и доктором медицинских наук!

ПРОФЕССОР, БЛАГОТВОРИТЕЛЬ, ПЕДАГОГ

19 октября 1920 года председатель СНК В.И. Ленин подписал Декрет об учреждении в городе Екатеринбурге Уральского государственного университета. Но еще раньше, 10 сентября 1920 года, начались занятия на его медицинском факультете. Одним из любимейших преподавателей студентов-медиков был доктор медицины Алексей Митрофанович Новиков. В марте текущего года исполняется 150 лет со дня его рождения.

Алексей Митрофанович НОВИКОВ (1865-1927 гг.) Основоположник службы акушерства и гинекологии на Урале.

«Хочет, не хочет правительство, а сила вещей заставила бы... открыть в Екатеринбурге университет для Западной Сибири и Уральского края... А не будет в Екатеринбурге университета, затормозится на 50 — 100 лет изучение Урала, исследование его и его богатств, разработка их, развитие этой оригинальной, неизученной и много обещающей для России области...» Эти строки написал 5 декабря 1915 года директор Екатеринбургского родильного дома А.М. Новиков министру народного просвещения Российской империи П.Н. Игнатьеву.

Уже сам стиль этого письма указывал на литературную одаренность автора, а глубина постановки проблемы — на его разностороннюю образованность. Действительно, к тридцати годам Алексей Митрофанович успел блестяще окончить математический и медицинский факультеты Московского университета. Развитию его способностей благоприятствовало окружение. Это семейство Льва Николаевича Толстого, детей которого Новиков готовил к поступлению в старшие классы гимназии.

«Очень оригинальный, умный, добрый, ласковый к детям человек», — отзывался о молодом наставнике Л.Н. Толстой. Новиков делал для писателя переводы с французского и греческого языков, занимался с крестьянскими ребятишками в Яснополянской школе, привел в порядок огромную библиотеку Толстого.

Благотворительная деятельность Новикова продолжалась и дальше. В селе Ромодановке Мещерского болотистого края Рязанской губернии он на собственные средства оборудовал больницу, организовал детские ясли, устраивал детские праздники, раздавал крестьянам книги. Немудрено, что, в конце концов, попал под надзор полиции.

После усовершенствования в области акушерства и гинекологии в Петербурге, а затем в Париже, Дрездене, городах Италии и Швейцарии Новиков защищает докторскую диссертацию (1903) и занимает пост приват-доцента кафедры акушерства, гинекологии и детских болезней Московского университета. Он автор 45 научных работ.

Об авторитете А.М. Новикова в среде медиков говорит факт приглашения его на должность директора родильного дома в Екатеринбурге (1909). Он добился преобразования его в повивально-гинекологический институт. По его настоянию почти одновременно с клиниками Москвы и Петербурга на Урале была применена рентгено- и радиотерапия при лечении злокачественных новообразований. Им же был организован специальный уход за недоношенными детьми, которые помещались в так называемые кювезы.

По инициативе Новикова в Екатеринбурге открывается школа повивальных бабок 1-го разряда. В ней создана фундаментальная медицинская библиотека, вводятся в практику подробные клинические истории болезни. Первая в городе патологоанатомическая служба также создана им. А кампания в печати, которую поднял Новиков по вопросу о необходимости в Екатеринбурге скорой помощи!

А.М. Новиков в полной мере оправдал надежды своего учителя, всемирно известного врача-гинеколога В.Ф. Снегирева. В марте 1916 года Снегирев писал Новикову: «Крепко вас обнимаю за неустанную работу, за нескончаемую умственную жизнь... Бог вам дал хороший дар — ум, высокий интеллект, а душа ваша играет на нем, как артист...»

Гражданская война оставила ужасающую детскую смертность. С января по июнь 1921 года в Екатеринбурге умерло на 127 человек больше, чем родилось (всего в Екатеринбурге жило 88 тысяч человек). На новорожденных приходилось 21,7 процента всех смертей. Не удивительно, что, забыв о классовой и партийной розни, большевик, заведующий губздравотделом И.С. Белостоцкий и кадет, специалист по кожно-венерологическим заболеваниям И.А. Ленин, ученый с мировым именем Н.А. Мислявский и начальник санитарного отдела при Уральском военном округе В.А. Анищенко бросились организовывать медицинский факультет Уральского университета.

Профессор Новиков в тяжелых послевоенных условиях оборудует в университете лабораторию гинекологии и акушерства, заведует клиникой, в которой студенты проходят практику. Он блестяще читает лекции и ведет практические занятия, продолжает ежедневно делать операции и вести амбулаторный прием. Кроме того, Новиков — член президиума медицинского факультета, заведующий его учебной частью и секретарь Академической комиссии по улучшению быта ученых.

В октябре 1923 года профессора Уральского университета предложили Главпрофобру назначить А.М. Новикова на должность ректора университета. Однако в Урал-бюро ЦК РКП (б) рассудили по-иному: ректором должен быть коммунист. Новиков же вошел в правление университета.

То, что Новиков занимал ответственные должности, не спасало его от слежки ОГПУ, которое пыталось взять на учет каждое его ироническое замечание о диктатуре пролетариата. Возможно, это обстоятельство сыграло свою роль при выборе Новиковым нового места службы после перевода в 1924 году медфака Уральского университета в Пермь. Он уезжает в Ташкент заведовать кафедрой акушерства и гинекологии Среднеазиатского университета.

Умер А.М. Новиков весной 1927 года, оставив своим воспитанникам завет: любить больных, работать над собой и добросовестно использовать полученные знания на благо страждущего человека. ■

Валерия Мазур,
заместитель директора Музейно-выставочного комплекса УрФУ

4 ноября в приписке к письму Т. Л. Толстой Лев Николаевич продолжает темы предшествующего, а также откликается на известие о смерти Дьякова:

«Хочется приписать тебе хоть несколько слов, милый друг. Жить здесь очень хорошо, чувствуется, что приносишь пользу, и было бы мне и всем нам вполне хорошо, если бы не мысль о тебе, о том, что тебе тяжело и грустно. Жаль, что не пришлось видеться с Дьяковым перед смертью. Ничто так не напоминает о своей близости к смерти, как смерть таких близких, как он был мне. И напоминание это на меня всегда действует ободряюще. Я совсем здоров. Нынче писал рассказ для Оболенского. Очень бы хотелось, чтобы вышло. Целую тебя и детей.

[ПРИМЕЧАНИЕ.
Под “рассказом для Оболенского” Толстой подразумевает рассказ «Кто прав?», не оконченный им, готовившийся для сборника в пользу голодающих, в котором участвовал его давний знакомый, публицист Д. Д. Оболенский *(1844 - 1931). – Р. А.***]**

В статье «Страшный вопрос», там, где говорится о бане и театре, замени, пожалуйста, театр фабрикой, т. е. так, чтобы сказать: но если крыша опасна на фабрике, где постоянно работают тысячи человек и т. д. Или вовсе выкинь всё сравнение, как найдёшь лучше» *(Там же. С. 92 – 93).*

Софья Андреевна не успела внести эту поправку, так как письмо Толстого получила лишь 9 ноября, а статья 6 ноября уже вышла в свет. Впоследствии редакторы 29-го тома Полного (юбилейного) собрания сочинений Л. Н. Толстого внесли это изменение как раз на основании пожелания, выраженного Толстым в переписке. Соответственный отрывок в статье приобрёл такой вид:

«“А! полноте. В России достанет, и заглаза достанет всякого рода хлеба для всех», — говорят и пишут одни люди, и другие любящие спокойствие люди склонны верить этому. Но нельзя верить тому, что говорится наобум, по догадкам о предмете такой ужасной важности.

Если скажут, что в сомнительной прочности бане, в которую ходят раз, в субботу, балки простоят ещё и не нужно их переделывать, можно поверить и рискнуть оставить баню без переделки; но если крыша опасна на фабрике, где постоянно работают тысячи человек,

и скажут голословно, что есть вероятие, что она не обрушится ещё нынче, — нельзя поверить и успокоиться. Угрожающая опасность слишком велика» *(29, 118)*.

Хронологически — время для встречного, так же от 4 ноября, письма Софьи Андреевны:

«Сегодня вечером получила твою статью, милый друг Лёвочка, немедленно послала с письмом и статьей Алексея Митрофаныча к Соболевскому, редактору «Русских ведомостей», прося его приехать ко мне. Завтра утром, в 11 часов, он приедет уже с набранной статьёй, и если цензура пропустит, то мы с Алексеем Митрофанычем её будем старательно корректировать. Прочли ли вы моё письмо в редакцию «Русских ведомостей» от 3 ноября? В одни сутки мне принесли около 1500 рублей. Пишите *скорей*, куда выслать деньги. Я пошлю Серёже, Лёве и вам по 500 рублей. Вероятно будут ещё присылать.

Очень трогательно приносят деньги. Кто, войдя, перекрестится, и даст серебряные рубли; кто (один старик) поцеловал мне руку и говорит, плача: «примите, милостивейшая графиня, мою благодарность и посильную лепту». Дал 40 рублей. Учительницы приносили, и одна говорит: «я вчера плакала над вашим письмом». А то приехал на рысаке барин, богато одетый, встретил Андрюшу в дверях, спросил: «вы сын Льва Николаевича?» — Да. — «Ваша мать дома? Передайте ей», и уехал. В конверте 100 рублей. Дети приходили и приносили 3, 5, 15 рублей. Одна барыня принесла узел с платьем старым. Одна нарядная барышня, захлёбываясь, говорила: «ах, какое вы трогательное письмо написали! Вот, возьмите, это мои собственные деньги; папаша и мамаша не знают, что я их отдаю. А я так рада!» В конверте 101 рубль 30 копеек. Брашнин привёз 200 рублей. <Иван Петрович Брашнин (1826 — 1898), московский купец, единомышленник Толстого. – *Р. А.*>

Не знаю, как вы все посмотрите на мою выходку. А мне скучно стало сидеть без участия в вашем деле, и я со вчерашнего дня даже здоровее себя чувствую; веду запись в книге, выдаю расписки, благодарю, разговариваю с публикой, и рада, что могу помочь распространению вашего дела, хотя чужими средствами. Дядя Серёжа, который у меня гостит, относится сочувственно; была Екатерина Фёдоровна Юнге <дочь художника, вице-президента Академии художеств гр. Ф. П. Толстого, троюродная сестра Л.Н. Толстого. – *Р. А.*> и восторженно относится к моей выходке, вообще все одобрили, что-то вы скажете. Как только получу из Дирекции театров, опять пошлю вам деньги <авторский гонорар за постановку пьесы «Плоды

просвещения». – *Р. А.*>, только прошу очень, напишите тогда строгий отчёт, что, где куплено на эти деньги, кто прокормлен будет, в каких местах, а то придётся печатать отчёт о пожертвованиях.

Сейчас получила телеграмму Грота, что твоя статья <«О голоде»>, Лёвочка, в Петербурге пропущена с маленькими сокращениями. Очень боюсь за последнюю; она во мне уныние возбудила, а уныние вредно для общего духа всего русского общества и народа.

Тут сидит Нагорнов и Варя; и Нагорнов говорит, что сколько хлеба в России — точно известно. Что *ржи, наверное*, не хватит, но овса, кукурузы, пшеницы, картофелю очень много; с Кавказа привезут всякого хлеба 35 миллионов пудов, а останется там ещё 20 миллионов, которых нельзя привезть, потому что ни вагонов, ни кораблей для перевоза достаточно нет, и что всё-таки придётся лишний продать за границу. Насколько всё это верно, — не знаю. — Завтра напишу ещё о том, что скажет Соболевский.

У нас все здоровы, 11 градусов мороза, маленькие все дома сидят, Андрюша и Миша ходят в гимназию. Я учу Сашу всякий день, работаю и сижу смирно по совету доктора, и мне сегодня уж лучше гораздо. — От сыновей ни от кого известий нет, и теперь я больше всего тревожусь о Лёве.

Продолжай, милый Лёвочка, беречься, питайся лучше и больше, тебе силы всякие нужны для твоего организма. — Мне очень радостны и интересны ваши письма; пишите почаще. Кланяйтесь Ивану Ивановичу; сегодня был у меня Петя и читал кое-что из ваших писем с большим интересом.

Целую Машу, Веру, Таню и тебя. Будьте здоровы и помогай вам Бог. Когда-то увидимся! Я это себе и не позволяю представлять, чтоб не придти в нетерпение.

Прощайте. С. Т.» *(ПСТ. С. 456 - 457)*.

О договорённости С. А. Толстой с директором имп. театров Всеволожским мы рассказали читателю в предыдущем эпизоде. Конечно, после опубликования Л. Н. Толстым письма с отказом от гонораров, Дирекция получила возможность “забыть” об этом договоре. Но не тут-то было! Ещё 15 октября Софья Андреевна «написала письмо министру двора и сообщила ему намерение Льва Николаевича отдать эти деньги голодающим». Всемогущий граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков (1837 – 1916), конечно, был счастлив исполнить просьбу Софьи Андреевны: в изысканно-вежливом письме он учти-

вейше «изъявил согласие выдать гонорар автору ввиду благотворительной цели, без всяких дальнейших формальностей» *(МЖ – 2. С. 232)*.

И следующее письмо С. А. Толстой, от 6 ноября:

«Не хотелось бы тревожить вас, милые друзья, но уж очень жутко самой сегодня: слегли все дети. У Ванички 39 и 3, ничего не болит, теперь 12 часов дня, он спит.

У Андрюши 38 и 3 и горло красное. У Миши 38 и ничего не болит, немного под ложкой. У Саши всю ночь зубы болели, щека вспухла и горло немного красно. Все в постели. Ваня и Андрюша заболели вчера. Сама я лучше себя чувствую, слава богу, могу за детьми ходить. Послала за <доктором> Филатовым, будет в 2 часа, тогда припишу, что он скажет.

Теперь о ваших делах: на моё письмо в «Русских ведомостях» мне нанесли денег 3200 рублей. Вчера Морозова прислала 1000. Какая-то Евдокия Никифоровна, жена Викулы. <Евдокия Никифоровна Морозова (1838 - 1894), жена учредителя Ореховской мануфактуры Викулы Елисеевича Морозова. – *Р. А.*>

Жду от вас известий, чтоб переслать вам пока 1200 рублей, куда укажете. Но прошу убедительно Таню, чтоб записала подробно, куда истратятся деньги, чем подробнее и образнее, — тем лучше, надо отчёт печатать, многие намекали на это.

Статья твоя, милый Лёвочка, сегодня вышла. Вчера я целый час с Соболевским, который приезжал ко мне, её обсуждала и поправляла по корректуре. Потом читали с Алексеем Митрофанычем. Соболевский кое-что для цензуры выпустил и слегка изменил в трех местах выражения. Так про Иосифа, вместо «управителя» — «людей», «дешёвые билеты от правительства» — выпущено, «земство и администрация» — заменено и так далее.

Вероятно, вы получаете кто-нибудь, а на всякий случай посылаю два номера «Русских ведомостей».

Сейчас был Соболевский, привёз 273 рубля за статью. При первом вашем приказании могу прислать теперь больше, может быть, найдёте, где купить вагон хлеба или чего другого. Вчера Дунаев говорил, что тут продают по 1 р. 30 коп. пуд прекрасный горох и чечевицу. Не купить ли и не послать ли вам? О холсте — дают от трёх с половиной до пяти копеек за аршин, сбыту сколько угодно. Кое-кто даст и побольше. Дунаев сам вам напишет подробно об этом.

Весь день принимаю пожертвования; теперь от вас всех будет зависеть распределение. Вчера пришла учительница городская, принесла 10 рублей, говорит: «от моих детей и от меня» — и начала рыдать. Насилу я её успокоила. Ужасно милая, молодая. Предлагает на праздники заменить кого-нибудь при столовых. Была сельская учительница и знает народ и жизнь деревенскую. Трогательно относится публика к моему письму и к пожертвованиям. Женщины все почти говорят: «мы плакали над вашим письмом, помоги вам Господь!»

Твою статью, Лёвочка, читал сейчас Сергей Николаевич. Сначала ахал, говорил, что бунт произведёт, а потом сказал: «а конец хорош, очень хорош; да надо знать, сколько хлеба. Вот у меня 700 четвертей ржи, пусть земство купит». Говорил, что написано очень хорошо. Какой-то купец привёз 26 рублей и говорит: «давно пора бы такую статью, спасибо Льву Николаевичу».

Опять прерывала письмо. Был Филатов. Говорит: «эпидемическая инфлуенца; опасного ни у кого ничего нет, через три дня будут здоровы; берегите от простуды и подольше не выпускайте». Ваничку всего ослушал, осмотрел, — кроме жара, — ничего. И я успокоилась и рада вас успокоить. Верно и до вас доберется эта болезнь. Но хорошо, что вы все не в Москве.

Сейчас уехал Сергей Николаевич. Миша с Сашей играют в halma. Ваничка спит. Андрюша читает статью отца. Monsieur очень старается и не отходит от мальчиков. Это письмо отвезет ваш местный торговец; Петя стремится сам отвезть вам деньги. Я сделала запрос Серёже, куда ему послать деньги. О Лёве ничего не слыхать; я и ему приготовила 1000 рублей. Есть письмо ему от нашего самарского прикащика, и это меня смущает. Где же он? Ну, прощайте, целую всех, напишу после завтра, 8-го, чтоб вы [в] воскресение получили. Говорят, что надо было написать: *Скопинский* уезд, а не *Данковский*, и мои письма гуляли. <Бегичевка находилась в Данковском уезде, а ближайшая почтовая станция в Скопинском уезде. – *Р. А.*>

Кланяюсь Ивану Ивановичу. Сегодня был Ваня <сын И. И. Раевского. – *Р. А.*>.

С. Т.» *(ПСТ. С. 458 - 459).*

Статья «Страшный вопрос» была напечатана в № 306 «Русских ведомостей», 6 ноября.

Толстой между тем пытается сочетать продолжение дела помощи крестьянам с обдумыванием и писанием, пусть и урывками, своих

текущих работ: художественных «Кто прав?» и «Отец Сергий», трактата «Царство Божие внутри вас» (гл. VII и VIII) и статьи «О голоде» (правка корректур). По Дневнику и письмам разным лицам можно назвать основные, уже определившиеся к этому времени, направления предпринятых им мер помощи. Это: открытие столовых (к 7 ноября их было 6, к 16-му — уже 23, к 25-му — 30-ть); поездки по деревням для наблюдения за работой действующих столовых; запись крестьян, просящихся в столовые; распределение и руководство работой сотрудников; закупка продовольствия: ржи, гороха, пшеницы, кукурузы, пшена, картофеля; закупка и распределение дров, лык для плетения лаптей, льна для тканья, сена для корма лошадей…

6 ноября 1891 г. Толстой с дочерьми Марией и Татьяной и И. И. Раевским отправился пешком за 4 километра вниз по Дону, на хутор Утёс, где жил уже упоминавшийся выше Иван Николаевич Мордвинов (1854? – 1917), зять И. И. Раевского, земский начальник по Данковскому уезду и верный помощник Толстого во всей “голодной” эпопее. Из-за метели было решено заночевать у гостеприимного хозяина и, пользуясь относительно свободным утром 7 ноября, Толстой написал жене очередное, достаточно пространное письмо, ставшее ответом сразу на два её письма: от 1 и от 4 ноября. Приводим ниже его текст с небольшими сокращениями.

«Дня два не писали тебе, милый друг. Кажется, Наташа <Философова> посылает на почту, и я пользуюсь этим случаем. Вчера получили твои два письма: одно унылое и другое более бодрое, в котором ты пишешь о <враче> Клейнере и его советах тебе, и о твоём письме в газету.

Я вчера ещё сам себя спрашивал: что мне сосёт и грустно? И отвечал себе: ты, твоё здоровье и душевное состояние. Слава Богу, что теперь лучше. Только бы получить подтверждающее то же известие!

Событий у нас за это время никаких. Маша ездит каждый день в три столовые в Рыхотской волости, за 4 версты. Там много дела — и в том, чтобы следить за хозяйками (те, у которых столовые), и допускать просящихся, и отклонять попытки злоупотреблений. И тут есть. И, разумеется, не важно, что поест тот, кто желает, но, во 1-х, не достанет тем, кому нужно, и хождение ненуждающегося возбуждает дурные чувства в других. Кроме того, со вчерашнего дня там началась выдача муки от земства, и потому надо было отчислить тех, которым при этой выдаче уже не нужно. Таня же облюбовала ближнюю большую деревню <а точнее село Екатерининское, Епифанского уезда, Тульской губ. – *Р. А.*>, где уж получают от земства муку,

но, несмотря на то, остаётся много бедняков, которых она и хочет кормить. Нынче она хотела начать. Вера взялась <в Бегичевке> за школу и с увлечением занимается ею; иногда ездит и ходит с дочерьми. Я хожу и езжу в Рыхотскую волость, где три столовые, и по утрам пишу.

Пишу я статью художественную <«Кто прав?»> для Оболенского. Половина сделана; кончаю свою большую работу <«Царство Божие внутри вас»>, и 3-го, дня поправил корректуры Гротовской статьи <«О голоде»> и послал их. Если он будет печатать, то ты, верно, просмотришь в корректурах новые поправки. Нынче хочу написать статью описание столовых. Это очень важно. Как они устраиваются и как идут, с тем, чтобы каждый знал, как пользоваться этим чудесным, простым, практическим, народным и лучше других достигающим цели. Это тем более нужно, что ты в своём письме упомянула о них. <Речь идёт о первом замысле статьи «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая». – *Р. А.*>

Твоё письмо <в «Русские ведомости»> очень хорошо. Только одно жалко, что говоришь, как бы восхваляя, о своих. Но всё очень хорошо.

[...] Вчера мы после обеда получили почту с твоими письмами, но не получили газет. Я целое утро был дома и решил идти пешком к Мордвиновым, по Дону версты 4. Это прелестная прогулка. Таня собралась со мной, потом Иван Иванович, потом Маша; только Вера осталась, потому что у ней школа вечером. Мы пошли, надеясь вернуться вечером же. Шёл снег с ветром; но, когда мы пришли и посидели, то оказалось, что ехать нельзя — такая мятель, и вот мы засели и ночевали. Здесь очень милая семья: подростки дети, учительницы, бабушка. <Это была Екатерина Ивановна Раевская (1817—1899), урожд. Бибикова — автор мемуаров о работе Л.Н. Толстого и членов семьи на голоде. – *Р. А.*> Наташа оказалась тоже тут и не могла уехать. Теперь утро, и я от Мордвиновых пишу тебе, особенно в виду того, что, узнав о метели, ты будешь беспокоиться. Чтобы ты не беспокоилась в этом отношении, я тебе скажу, что я сам страшно боюсь этого, и как только мы приехали, я сделал уговор со всеми, к которому и сам первый подписался, чтобы в случае малейшей опасности мятели не ездить, а ждать. Так вот, милый друг, все наши новости, целую тебя и детей и жду хороших вестей, и надеюсь тебе всё давать хорошие.

Л. Т.» *(84, 93 - 94).*

Между тем предприятие супругов Толстых привлекло, помимо подлецов журналистов, внимание и МВД: преимущественно потому, что представляло собой частную инициативу, и связанную со сбором крупных сумм денег. Об этом в письме от 5 ноября Н. Я. Грот писал из Петербурга С. А. Толстой следующее: «Сегодня просидел более часа у министра внутренних дел [И. Дурново] в интереснейшей беседе о голоде. Узнал много важного и любопытного. Правительство не дремлет и много принято чудесных мер, ещё неизвестных публике. На вас, как и на мою мать, он немножко в претензии за воззвания; впрочем, всё-таки относится благодушно и своего «veto» не намерен накладывать на подобные частные сборы. Он говорит только, что жалеет, что вы не обратились к нему лично, так как он сам бы дал вам денег или послал бы вашей семье» *(Цит. по: ПСТ. С. 460)*.

Очередное по хронологии письмо от Софьи Андреевны было писано ею в пятницу, 8 ноября:

«Самое тяжёлое в нашей разлуке, что так редки сообщения. Вот уже дня четыре нет от вас известий, милые друзья. У нас было очень тяжело эти дни. Ваня горел три дня, жар доходил до 40 и 5. Теперь утро, 11 часов, и ему лучше; он в постельке играет, но очень слаб. Андрюшу тоже лихорадило вчера, 38 и 5, теперь тоже лучше. У Саши флюс и тоже жар маленький, Миша здоров. Три ночи я не сплю с Ваничкой, он с рук не сходит. Авось теперь кончилось, хотя всегда к ночи этот жар.

Денег пожертвованных всего, с теми, которые послала вам, 5018 рублей. Жду от вас, Серёжи и Лёвы распоряжений. Есть и вещи для детей. Вчера Тане купец послал 300 рублей, получили ли? Грот пишет, что говорил час с министром внутренних дел и что узнал об очень хороших правительственных мерах; тогда напишу, когда узнаю. Жду сегодня от вас известий. Лёва меня тревожит, нет писем. Вчера была Софья Алексеевна и Дунаев Софья Алексеевна здорова, деятельна и очень строга. Предлагает мне купить через комитет великого князя кукурузу и рожь, потому что провоз даром. Без совета твоего, Лёвочка, ничего с деньгами не буду предпринимать. Хорошо бы у Серёжи скупить его 700 четвертей. Напишите мне, не могу ли я в Москве вам быть чем полезна, когда дети выздоровеют, а пока целую всех» *(Там же)*.

Но через несколько часов, вечером 8-го, переживая, по всей видимости, очередной приступ тоски, Софья Андреевна отправляет вослед только что приведённому нами — ещё одно, краткое и эмоциональное, послание:

«Целую неделю нет писем. Вы знаете, что мне с больными детьми, что с расстроенными нервами единственное утешение — письма, и то вам трудно написать два слова открытым письмом, а почта только два раза в неделю. Ваничке получше, а остальные дети почти здоровы. Теперь до вторника опять набираться терпенья и сил!» *(Там же. С. 461).*

В дневном письме от 8 ноября Софья Андреевна жалуется, что «дня четыре» нет писем. Конечно же, такая ошибка в счёте дней объясняется её нервным состоянием.

Но тоска и упрёки, как обычно, оказываются неосновательными: вскорости почта доставляет Соничке письма от близких, в том числе и письмо мужа от 4 ноября, и 9-го *в полночь* она уже с радостью пишет свой, на этот раз пространный, ответ:

«Твоё письмо, милый Лёвочка, мне было сегодня особенно радостно; в первый раз я почувствовала сердечность и близость настоящую, участливую с твоей стороны, с тех пор, как мы расстались. А мне это так необходимо! Ваничка всё очень болен; ему казалось вчера лучше, а сегодня опять всё тот же жар, 39 и 3, возбуждение какое-то, и появился лёгкий кашель и понос. Вчера Филатов дал настойку подсолнухов пить ему, но не помогает. Андрюшу тоже всё лихорадит по вечерам. Что делать, что у меня такой мрачный характер; но меня это всё сжигает; я не могу преодолеть этого сосущего внутри страха и оцепенения от беспокойства. Если б ты увидел, как он, бедненький, переменился, хотя духом он бодр. Неделю кроме чая с молоком он ни крошки в рот не берёт. Боюсь, что исчахнет и мучаюсь, что это делает Москва, и зачем я его сюда привезла. И как я мучалась в Ясной, когда собиралась; я чувствовала, что ему будет дурно в городе, бедненькому. Ничего делать не могу, всё сижу с ним, рассказываю сказки и картинки, ношу его. Он всё ласкается и такой нежный и тихий, а у меня и от этого ещё больше тоска.

Все утешают, говорят, ничего, а вот умирают же от этой инфлуенцы; <кн. Владимир Сергеевич> Оболенский, при Государе который, — в два дня умер, и в Москве смертность большая. […]

Был сегодня Дунаев. Он мне дёшево купил горох и чечевицу, и я всё это отправляю на Клёкотки на ваши столовые, квитанцию пришлю в *Чернаву* <село с почтовой станцией, ближайшей к Бегичевке. – *Р. А.*>. Какая досада, что Таня дала мне адрес *Данковского*, а не Скопинского уезда. Почтамт не принимал денег от жертвователей по адресу *Данковского* уезда. Сегодня послала заявление в газеты об этой ошибке. У меня сбору более 7000 рублей с теми, которые я послала вам, и вот жду твоего распоряжения и совета, милый друг Лёвочка, как распорядиться лучше пожертвованными деньгами. Если б я видела больше народу, я бы послушала, что добрые люди говорят и посоветовалась бы, но болезнь детей, при моём одиночестве, совсем приковывает меня к дому. Софья Алексеевна советует скупить всю рожь у Сергея Николаевича и распределить по голодающим местам, куда нужнее, можно с губернатором посоветоваться.

Сейчас 12 часов ночи, Ваничка спотел, как и вчера, а жар не прошёл. Если б Бог помог и он выздоровел, всё бы я могла лучше и легче жить без вас! Андрюша тоже очень похудел. Я рада, что вы в деревне, всё-таки здоровей там жить, чем в Москве. А меня этот год лет на пять сократит, это наверное, если разом чем не пришибёт. — Я чувствую, что мои жалобы и болезни детей вам могут показаться очень ничтожными сравнительно с тем бедствием, которое вы видите, и я это сознаю, но не могу не чувствовать того комка, который душит и меня.

Мне совестно, что я утром, отправляя вам чужие письма, попрекнула, что вы мне давно не пишете. Сегодня получила сразу 4 письма. Спасибо вам всем; это метель задержала, верно, почту, а не вы забыли меня. Я ведь каждое письмо перечитываю по нескольку раз.

Твои поправки, Лёвочка, я не могла сделать. Сегодня 9-е, а твоя статья уже вышла 6-го. Сегодня «Московские ведомости» чуть ли не революционером тебя выставили за твою статью. С какой подлостью они и тут видят какую-то политическую подкладку. Меня тоже они выбранили за письмо. Только злом и жива эта газета.

[…] Прощайте, милые друзья, верно вы мне сочувствуете в болезни Ванички. Судьба меня не щадит и покоя мне совсем нет. Лёва не пишет ничего. Целую вас всех. Завтра вечером напишу ещё письмецо о Ваничке» *(Там же. С. 461 – 462)*.

Как права Соня. Только злом, только воровством, насилием и ложью и жива «скрепоносная», буржуазно-православная Россия — и по сей день!

7, 9 и 11 ноября в «Московских ведомостях» появились, будто по чьей-то команде, *четыре* статьи против Толстого и его деятельности

помощи голодающим: 1) «Семейство его сиятельства графа Л. Н. Толстого» — в № 308, 2) «План гр. Л. Н. Толстого» — в № 310, 3) «Слово общественным смутьянам» — в № 312, и 4) «Пойманные на месте» — там же.

Каковы заголовочки-то! И содержание под стать. Для примера, в заметке «Семейство его сиятельства графа Л. Н. Толстого» читаем: «Графиня С. Толстая чрез посредство «Русских ведомостей» возвещает России необычайно важное событие, а именно — что всё высокое семейство его сиятельства разъехалось для оказания помощи голодающим [...]. В настоящее время тысячи больших и маленьких людей в России посвящают свои силы святому делу [...]. Только не кричат о себе. Семейство его сиятельства действует иначе [...]. Графиня просит все газеты перепечатать адресы высоких членов, удостоивающих давать России столь светлый пример» *(Цит. по: ПСТ. С. 463)*.

Это была консервативная реакция на самое нетерпимое в России во все времена: на самостоятельную, частную инициативу граждан, на самоорганизацию. Деньги жертвователей шли мимо казначейства, чиновников, посредников, распределителей и прочих ходячих "закромов родины" — непосредственно к Толстым и их помощникам. А это бы и современный нам (2020 год) воровской режим В. В. Путина не потерпел бы!

В тот же субботний день 9 ноября Л.Н. Толстой отвечает на письмо жены от 6-го:

«Получили твоё письмо с Раевским, милый друг, и всё бы хорошо, если бы не инфлуенца детей. Вот уж именно: I hope [*англ.*: я надеюсь], что им теперь лучше, и всё прошло, и что ты не очень измучилась. Впрочем, самое тяжёлое, твоё ухаживанье за больными, не подкосит тебя так, как твоё неопределённое нервное состояние, которое мучило тебя последнее время. Ты глухо пишешь, что *тебе лучше.* Но как, до какой степени? Напиши подробно. Эта твоя болезнь моя заноза. Вчера я с Машей ездил на одной лошадке в наши столовые в Татищево, за 5 вёрст, а Таня ходила в свою ближайшую столовую. У нас теперь идёт пертурбация с тех пор, как деревни стали получать муку от земства. Прежде были определённо и несомненно нуждающиеся, а теперь с выдачей является сомнение, и, казалось бы, должно уменьшиться количество посещающих столовые, а оно ещё увеличилось.

Время идёт, запасы истощаются. Те, которые не были нуждающимися, становятся ими; и, кроме того мне кажется, что начинается

волнение, недовольство, требовательность в народе. Здесь один мужик, Епифанского уезда, из деревни Курицы, ездил, как говорят, ходоком к <великому князю> Сергею Александровичу <московский генерал-губернатор. – *Р. А.*> в Москву жаловаться на Писарева, что им не выдают хлеба достаточно, и будто Сергей Александрович сказал ему, что дадут всем, и он, вернувшись, мутит народ. На деньги твои, почти на все 1100 р., мы решили купить дров, которые нашлись в околодке. Это было самое нужное и трудное достать. Хлеба в нашей местности, судя по тому, что закуплено теперь земством, должно достать хотя на половину, но топлива совсем нет. Эти же дрова близко и дёшево, по 18 рублей за сажень. Они пойдут по столовым и прямо в помощь нуждающимся. Если же бы остались, то всегда могут быть променены на хлеб. Я в практическом деле вполне доверяюсь Раевскому, а это его мнение.

Вчера, возвращаясь с Машей домой, уж под домом мы встретили сани с факелом, которые ехали нам навстречу, так Иван Иванович беспокоится и заботится о нас. И дома застали двух Раевских <И. И. Раевского (младшего) и П. И. Раевского> и Ивана Александровича, который, встретившись с ними в Туле, приехал с ними. Нынче Таня и Маша были опять по своим столовым, Вера в школе */занималась с детьми, т.к. многие учителя бежали из голодных деревень. – Р. А.]*, а я писал. Теперь же 3 часа. Они все на двух парах уехали к Наташе и вернуться хотели засветло к Мордвиновым, на половине дороги, где я их встречу. Мне очень многое хочется писать, но последние два дня, несмотря на то, что совершенно здоров, ничего не пишется. А хочется писать это заключение к моей большой статье <«Царство Божие внутри вас»>, статью Оболенскому, которую начал и много написал, и статью о столовых <«О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая»>, о наилучшем, по-моему, способе помощи, которую нынче писал. Это нужнее всего: хочется сообщить другим самый простой и практический способ помощи.

[...] Спасибо тебе за хлопоты о моей статье. Перемены так незначительны, что ничего неприятного нет. Получил я ещё письмо от одной г-жи Вагнер, из Курской губ., которая спрашивает совета, где бы она бы могла в продолжении 10 месяцев прокормить от 60 до 80 человек. Я её направил в Оренбург, но предложил заехать к нам.

О Лёве я бы беспокоился, если бы не знал, как там <в степях Самарской губ. – *Р. А.*> трудно и медленно сообщение. Прощай, душенька, целую тебя и детей.

Л. Т.» (84, 95 - 96).

10 ноября 1891 г С. А. Толстая пишет мужу, попутно отвечая на письмо от 8 ноября, полученнное от дочери Татьяны, где, в числе прочего, была такая просьба: «По почте пришлите на пожертвованные деньги фунта 3 чаю и сколько-нибудь сахару. Тут много больных и очень древних стариков и старух, которые только чай пить и могут. Заваривают они его себе в какой-нибудь махоточке и блаженствуют» *(Цит. по: ПСТ. С. 464)*. Вот её ответ:

«Вчера вечером написала тебе, милый друг Лёвочка, унылое письмо о Ваничке. Сегодня ему гораздо лучше. Теперь 2 часа дня, он сегодня поел, мы даже его одели и он весело играет. Утром дали хинин и, верно, прервали лихорадку…

[…] Сейчас получила письмо Тани. Все её поручения исполню, как могу, скоро. Тут Р. А. Писарев, я его увижу вечером у Философовых и, может быть, он возьмётся свезти чай, сахар и вещи. Постараюсь чай выпросить.

Что вы не пишете ничего […] о том, *что мне делать с пожертвованиями*? Я нетерпеливо этого жду. Денег всего получила более 7000 рублей. Сама я здорова совсем и письма ваши мне достаточны, чтобы совсем быть довольной. Я так боюсь, что тебе, милый Лёвочка, будет тяжело в Москве и что девочки оторвутся от хорошего дела, что пока и не желаю вашего приезда. Только бы все здоровы были!

О Лёве всё нет известий, и это грустно. Много девиц приходят и предлагают себя на праздники, чтоб ехать в голодные места. Я беру адресы. — Ну, прощайте, милые друзья, я в конце концов всей душой живу вашим делом, хотя вот как тяжело под час, что сил моих нет.

Прощайте, сегодня я весела, потому что много писем и детям гораздо лучше.

С. Т.» *(ПСТ. С. 463 - 464)*.

Что касается якобы нежелания, выраженного С. А. Толстой в этом и последующих письмах, приезда мужа и дочерей в Москву, нам следует больше доверять её позднейшему признанию, высказанному в мемуарах:

«Хотя я писала, чтобы не ездили ко мне Лев Николаевич и дочери, всё же я болезненно желала и ждала этого» *(МЖ – 2. С. 237)*. Указание на “болезненность” ожидания относится к последним числам ноября, но это, конечно, не означает, что Соничка не ждала их и не желала бы увидеть ранее.

Огромная занятость Л. Н. Толстого и удалённость от Бегичевки ближайшей почтовой конторы вызвали то, что к 11 ноября он не успел получить новых писем от жены. В приписке этого дня к письму Татьяны Львовны он сообщает некоторые новости об открытии новых столовых и прибавляет в конце:

«Я уморился, надышался воздухом, и кругом болтают, и потому кончаю. Но, несмотря на болтовню кругом и усталость, помню одно то, что хотелось бы получить от тебя добрые вести» *(84, 97)*.

И добрые вести не заставили себя ждать. Благодаря оказии, 14-го Лев Николаевич имел удовольствие отвечать сразу на *три* письма от Софьи Андреевны: от 8, 9 и 10 ноября. Это не приписка к чужому, а письмо самого Льва Николаевича, хотя и не длинное. Приводим ниже полный его текст.

«Сейчас едет назад ямщик, привозивший Ивана Ивановича с Эленой Павловной, и вот пишу хоть немного. Мы все здоровы вполне. Дело идёт хорошо. Открыто наших 17 столовых. И всё нужно ещё и ещё. Со всех сторон прибывают и сотрудники, и средства. С вчерашней почтой получено более тысячи.

Твоих писем получили 3. Одно унылое; но зато последнее, от 9 (кажется), более, даже совсем бодрое. От Дунаева получили письмо. Он пишет о тебе хорошо. Он понимает тебя и любит; понимает хорошее в тебе.

Попрекнул я тебя за то, что ты себя упрекаешь в том, что переехала в Москву. Ты сама себя мучаешь и, главное, не верно оцениваешь чувства других к тебе. Je suis sûr, que tu ne t'imagines pas avec quel amour nous pensons et parlons de toi. [Я уверен, что ты себе не представляешь, с какой любовью мы думаем и говорим о тебе.]

Вчера получили известие, очень нас поразившее грустно. Аничка, т. е. Анна Петровна <жена художника Н. Н. Ге. – *Р. А.*>, скончалась. Поболела неделю и умерла. Николай Николаевич пишет, и, видно, очень огорчён.

Здесь приехал Матвей Николаевич Чистяков от Черткова и ещё <Николай Иванович> Тулинов, студент, помнишь. От Лёвы было письмо коротенькое вчера. — Он здоров» *(84, 98)*.

Помощников у семьи Толстых день ото дня прибавлялось. Напомним читателю основных, многократно упоминаемых в переписке супругов этих дней. Это: две дочери Толстого, Татьяна Львовна и Мария Львовна; племянница Вера Александровна Кузминская; старый

знакомый Толстого, помещик Иван Иванович Раевский и три его сына — Иван, Пётр и Григорий; их двоюродный брат Александр Васильевич Цингер; родственники Раевских и Толстых — Философовы Наталья и Владимир Николаевичи; Иван Николаевич Мордвинов, муж сестры И.И. Раевского; двоюродные братья И.И. Раевского — Дмитрий Дмитриевич Оболенский и Рафаил Алексеевич Писарев; близкий друг дома Раевских и Толстых — Алексей Митрофанович Новиков, впоследствии автор довольно недостоверных мемуаров о сношениях с Л.Н. Толстым, опубликованных в 1909 году; и, конечно, единомышленник, друг и будущий биограф Л.Н. Толстого Павел Иванович Бирюков.

12 ноября Софью Андреевну посетил в Москве замечательный старичок, богатейший помещик и земский гласный Мосальского уезда Калужской губернии Нил Тимофеевич Владимиров (? - 1897) с не менее замечательным предложением о помощи крестьянству, за которое сам он, крестьянин по происхождению, искренне болел всей душой. Софья Андреевна, выслушав, направила его в Бегичевку с таким рекомендательным письмом мужу:

«Милый друг, податель сего, Нил Тимофеевич Владимиров, по-видимому, горячо занятый делом народного бедствия, просил меня написать тебе, чтоб ты его принял на один час, чтоб поговорить о разных вопросах. А именно: он владетель 3000 десятин земли в Калужской губ., сам и его знакомые берут на даровой корм крестьянских лошадей, жертвуют овёс, картофель и т. д. Сам он из крестьян, но теперь гласный и помещик.

Впрочем, всё это он сам тебе передаст. Мы здоровы все и живём хорошо.

Целую всех, напишите словечко мне с подателем сего.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 464)*.

Духовный, интеллектуальный и финансовый русский богатырь Нил Владимиров оказался не просто помощником, а настоящим сокровищем, бесценной находкой для Льва Николаевича. С. А. Толстая вспоминает в мемуарах:

«Некто Владимиров, человек энергичный и горячий, возымел хорошую мысль взять на прокормление лошадей крестьян и, взяв 80 голов себе, распределил ещё многих среди крестьян других, не голодающих мест. Сам он ещё пожертвовал вагон овса и обещал прислать ещё лык для лаптей и льна для баб, чтобы дать заработок крестьянам» *(МЖ – 2. С. 234)*.

Судя по Дневнику Л. Н. Толстого, Нил Тимофеевич прибыл в Бегичевку уже 16 ноября, и сразу произвёл на Толстого самое благоприятное впечатление *(см.: 52, 58)*. С первой же беседы могучие ум и деловая хватка Нилушки Владимирова, его предложения по дополнительным мерам помощи крестьянам вызвали горячее одобрение Льва Николаевича. На следующий день он отправил самого Владимирова к Н. Я. Гроту с рекомендательным письмом, где дал Нилу Тимофеевичу восторженную характеристику:

«…Очень горячий земский деятель Калужской губ. и человек очень много и разумно думавший о продовольственном вопросе и о теперешнем голоде. Очень бы желательно популяризировать его мысли. Он крестьянин-автодидакт и очень своеобразно и дельно судит. Если <В. С.> Соловьёв в Москве, познакомьте его с ним и от меня рекомендуйте его редактору «Русских ведомостей» *(66, 88)*. Кроме того, рекомендательное письмо было отправлено и к издателю газеты «Новое время» А. С. Суворину, где Владимиров был так же характеризован как «очень оригинальный и замечательный человек» *(Там же. С. 89)*.

Конечно же, написал Лев Николаевич в тот же день 17 ноября и жене, вот такое письмо:

«Не пишется, потому что нынче ждал почты и известий о тебе, милый друг.

Письмо это свезёт тебе Н. Т. Владимиров. Он очень замечательный тип нового русского деятеля из крестьян: деятельный, умный, практичный и общественный. Хотел я с ним послать несколько слов о нашей деятельности и список полученных пожертвований и целое утро писал, но не кончил и решил подождать. Главное: у меня есть написанная, не поправленная, большая статья о столовых <«О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая»>, потом у Грота статья <«О голоде»> и эта. Надо подождать, выдет ли гротовская, чтобы не было повторений и недосказанного. Да и нынче голова тяжела, оттепель. Не торопясь, соображу завтра.

Лёва тебе всё про нас расскажет. И кроме хорошего, ничего и рассказывать нельзя. Все здоровы, бодры, заняты, дружны. Нынче видел во сне Сашу. Что она, поцелуй её особенно от меня. Я как будто забывал о ней. И теперь, насколько забывал, настолько живо помню и люблю её.

Последнее время, с приездом Элены Павловны <Раевской> и мальчиков, было очень суетно. Да и кроме того постоянно приезжают то тот, то другой. Матвея Николаевича <Чистякова> я задержал здесь

в надежде окончить последнюю главу большой статьи. Это очень бы развязало меня.

Ты спрашиваешь меня, куда и как употребить деньги? Я думаю, что нам надо теперь, сейчас — хлеб подешевел — купить несколько вагонов ржи, — по крайней мере, такое количество, которое обеспечило бы нам около 20 столовых, на которые нужно хлеба до новины тысяч 8. Впрочем ничего загадывать нельзя и не надо, а жить и действовать по мере требований обстоятельств. Владимиров много хорошего придумал и обещал. Посмотрим, что будет?

Посылаю тебе мои черновые двух статей, которые я готовил. Ты всё разберёшь. Прочти их и скажи своё мнение. Список пожертвований надо начать с тех, которые присланы тебе.

Ну, прощай, голубушка. Не пишется, во 1-х, потому что Лёва расскажет, а во 2-х, потому, что нынче получу от тебя известие. Только бы дал Бог, чтобы ты была здорова и добра, как ты последнее время; но чтобы здорова была, как была летом. Зима верно тебя поправит.

Постоянно думаю о тебе и люблю. Л. Толстой» *(84, 98-99)*.

Сын Толстого Лев Львович, употребив на помощь голодным все наличные и присланные мамою деньги, теперь ехал к ней самой — взять ещё денег, а главное, отдохнуть расстроенными нервами от мучительных впечатлений бедствия в Самарском крае.

Силы зла по имени «государство Российское» между тем не дремали. В этот же день 17 ноября С. А. Толстая узнаёт от Н. Я. Грота о приказе Главного управления по делам печати, воспрещавшем газетам публиковать *любые* статьи Л. Н. Толстого. Донос «Московских ведомостей» сработал — и именно так поняла ситуацию сама Софья Андреевна, как мы увидим и из её дальнейших писем мужу.

Встречному письму С. А. Толстой от 17 ноября предшествуют ещё два: 13 и 15 ноября. Приводим, вместе с нашими пояснениями и комментариями, их тексты ниже в хронологическом порядке.

13 ноября:

«Посылаю вам квитанцию на чечевицу и горох для ваших столовых. Жаль, что пришлось платить за провоз; если б у меня были бланки Красного Креста, можно бы посылать даром. Не знаю, с кем отправить куски разных бумажных материй, пожертвованных Морозовым. Жду дарового провоза. По всем получаемым сведениям от вас и от других, я вижу, что всё растаивает, как, если б в бочку воды

бросили кусок сахару, и что помощь благотворительная не только не спасёт, но спутает народ, и всё мрачнее и мрачнее смотришь на всё.

Был у меня сегодня Грот, рассказывал, что статья «Страшный вопрос» подняла недовольство правительства. — «Он нас спутал этой статьёй», — сказал министр внутренних дел. От дирекции театральной денег ещё не получила и известий никаких. — Однако, после статьи «*Страшный вопрос*» немедленно дали сообщения и приказали до 20 ноября счесть весь хлеб. Говорят, что будет высочайшее повеление всем, у кого есть хлеб, продать его правительству по известной таксе. Я нахожу, что это давно пора. — Денег у меня около 10 000. Я дала Писареву 3000 на распоряжение твоё, Лёвочка. Он предполагал купить ржи; вы сговоритесь с ним. Надо получше распределить то, что мне все дают с такой любовью. Я получаю трогательные письма.

Заболела Саша, сильнейший жар и горло. Всё та же болезнь. У ней был ведь флюс, а теперь инфлуенца. Очень я утомлена, но не больна.

Сегодня пишу письмо министру внутренних дел <И. Н. Дурново> по поводу статей «Московских ведомостей». По-моему они зажигают революцию своими статьями, приравнивая Толстого, Грота и Соловьёва к какой-то воспрянувшей, по их мнению, либеральной партии, которая, воспользовавшись народным бедствием, хочет что-то делать в смысле политическом. Рассказать всю эту подлость — трудно. Достаньте «Московские ведомости» 9-го и 11 ноября и прочтите. Мысль, которую я хочу провести министру, есть та, что если революционерам указывают на эту мнимую опору лучших представителей интеллигенции и нравственного влияния на общество, то они поверят своему счастью и поднимутся опять. А в настоящее время это ужасно и даже опасно. — Я только вчера узнала, что двое из главных деятелей «Московских ведомостей» были рьяные революционеры и надели теперь личину правительственно-православную. — И как они видны из-под этой личины!

Получила ваши письма <от 11-го>, милый Лёвочка и Таня… Ив. Ал. <Бергер> пишет тоже, что вы все здоровы и очень веселы: играете, поёте, что все у Мордвиновых, даже Лев Николаевич, играли в petits jeux. Как всегда весело вне *прямых* обязанностей! Вот посидели бы с горящими капризными детьми 10 дней, как я, — не развеселились бы. Да и сама я не совсем всё здорова. — Я думаю, вы притерпелись к зрелищу голода, а мне отсюда, и всем в Москве, кажется очень плохо. — Я рада, что вы все вне инфлуенцы и давящей московской атмосферы. Понимаю теперь, как всё труднее с годами менять образ жизни и приравниваться к обстоятельствам. Так-то всегда было тебе, Лёвочка. — Я совсем никуда не езжу и не хожу;

даже дом не убрала, точно вот, вот куда-то уеду. — Уж не на тот ли свет? — Впрочем, я это говорю, не бывши больная, и напрасно вас смущаю. Прощайте, напишите *без обмана*, какие ваши планы и намерения в будущем. Одного прошу — *для меня* ни одного шагу не делайте и ничего не изменяйте. Я не настолько сильна духом и нервами, чтоб, когда вы приедете, — выносить молчаливые упрёки. А чутка я на это довольно. Прощайте! Отец Иоанн Кронштадтский прислал мне 200 рублей. От Лёвы открытое письмо с хутора Бибикова. Вот где ужасы настоящие — это в Самарской губернии. Целую всех.

С. Т.» *(ПСТ. С. 465 – 466)*.

Мы видим по письму, что Софья Андреевна, помимо собственно христианских религиозных побуждений мужа к работе на голоде, верно оценивает и его (а значит и её!) политическое положение: как помощников правительства, а отнюдь не оппозиционеров. Давным-давно, ещё до женитьбы, Толстому уже приходилось вполне сознательно занимать такую позицию: накануне отмены крепостного права, в 1856 году, он готовил и предлагал своим крепостным проект освобождения. Много пообщавшись с ними, он “уловил” настроения, о которых в июне того же года писал гр. Дмитрию Николаевичу Блудову (1785 – 1864), главному тогда «законотворцу» Российской империи (председ. Деп-та законов Госсовета и главн. упр. II Отд. собств. е. и. в. канц.), приложив черновик письма к грустной истории неудачной попытки облагодетельствовать свою «крещёную собственность». Вот отрывки из того письма:

«Теперь не время думать о исторической справедливости и выгодах класса, нужно спасать всё здание от пожара, который с минуты на минуту обнимет [его]. […] Пролетариат! Да разве теперь он не хуже, когда пролетарий спрятан и умирает с голоду на своей земле, которая его не прокормит, да и которую ему обработать нечем, а не имеет возможности кричать и плакать на площади: дайте мне хлеба и работы. […] Ежели в 6 месяцев крепостные не будут свободны — пожар. Всё уже готово к нему, недостаёт изменнической руки, которая бы подложила огонь бунта, и тогда пожар везде» *(5, 256 – 257)*.

Соничка знала грустную историю мужа с крестьянами, не принявшими его проекта освобождения их с выкупными наделами из боязни барского обмана. Конечно же, своими взглядами и умонастроениями она была и гораздо ближе к настроениям Л. Н. Толстого, помещика и аристократа середины XIX столетия, нежели сам автор процитированных нами драгоценных строк — спустя 35 лет после

их написания. Но она понимала, что справедливая, с христианских позиций, социальная критика, очень остро, местами до бойкого задора, выраженная Л. Н. Толстым в связи с голодом, не равнозначна *невозможной* для него манифестации либеральных или, тем более, революционных настроений. Невозможной не только как нравственная грязь, но и как чуждое ему по внушениям детства, по сословному воспитанию. Не столько из дискурсивного пространства актуальной общественной мысли, сколько по наследству от мужа и отца, Соня с детьми "подхватили" эти настроения: надо спасать и личное своё положение, и весь общественный строй от «пожара» голодных бунтов! Надо спасать от их опасности и самих крестьян: пропагандистской сволочи по деревням 1880 – 1890-х гг. шастало куда больше, чем в 1850-х. Уже в 1909 г., пиша мемуары «Моя жизнь», Софья Андреевна не только вспомнила свои с мужем настроения того времени, но и процитировала некоторые интимные записи одной из дочерей, умненькой Тани:

«В деятельности семьи моей иногда возникали тяжёлые сомнения. Лев Николаевич говорил про Россию, что, сколько ни старайся, впереди крушение… Таня думала, что результатом того положения, в котором находилась тогда Россия, будут или рабы, хуже крепостных, или восстания. Последние можно было предвидеть…

В своём дневнике Таня пишет, что, впрочем, "ничего нельзя предвидеть, и что только каждый должен класть свои силы, чтобы сделать вокруг себя, что может… Папа стал часто говорить и пишет в письмах, что дело, которое он делает, не то, а что это *уступка*. Я этому рада, значит, я не ошиблась"» *(МЖ – 2. С. 234)*.

К сожалению, Соничка и Танюша таки немножечко ошибались. Мы уже сказали выше, в *каком* смысле Лев Николаевич полагал свою деятельность благотворения с участием денег «уступкой». В начале 1890-х ему, как христианину, уже дела не было до судьбы "здания" государства, России. А вот отманить от гибели физической (голодной смерти) и нравственной (бунта, убийств, грабежей, ненависти…) людей трудящегося народа — он хотел и мог. Конечно же, *деятельной любовью*. И лишь в той степени, в которой, включившись в эту любовную деятельность, приходилось зависеть от людей безбожных, безверных, порабощённых суеверием о "необходимости" денег и богатства, неизбежно было уступать их бреду наяву и использовать деньги — как свои, так и добровольных донаторов.

Христианское религиозное понимание жизни стало для Толстого 1880-1890-х гг. во главу угла, но и опасения социального взрыва он, *со своих позиций*, понимал и мог разделить со своими собеседниками и помощниками того времени.

К сожалению, не все они улавливали этот тончайший нюанс: главным образом, по причине христианского безверия. Упомянутый выше Софьей Андреевной Иоанн Ильич Сергиев (1829 – 1908), в то время протоиерей Андреевского собора в Кронштадте и ярый, до смерти, ненавистник христианского исповедничества Льва Николаевича — хрестоматийный образчик такого непонимания. Но у него была веская причина: возлюбленная им церковь православия, которую много лет атаковал критикой Лев Толстой. У Сони причины для выстраивания «барьера непонимания» в отношениях с мужем — *никогда* не были столь благородны и основательны.

На очереди письмо С. А. Толстой от 15 ноября — о новой хорошей добровольной помощнице Льву Николаевичу на голоде:

«Милые друзья, едет к вам эта барышня с намерением служить лично народу, и ей хочется очень изучить дело столовых.

Прислана от Грота. Кажется, очень серьёзная и милая и имеет свои средства. Приласкайте её, люди нужны. [...] Эта барышня 2 года училась медицине и может лечить. Примите её получше» *(ПСТ. С. 467)*.

Конечно же, Грот отправил и от себя письмо Толстому с характеристикой новой волонтёрки, Екатерины Павловны Чертковой:

«Это — друг нашей гувернантки, А. П. Татариновой, — очень образованная и энергичная девушка. Она неспособна ни на какое дурное дело — не нигилистка и не социалистка, а только желает помочь кормлению голодных. Она была 2 года на медицинских курсах и 2 года на курсах Герье, и великая почитательница ваша. Везёт она с собою своих собственных 100 р. для Скопинского уезда, где нужда страшная (хуже, чем в Данковском)» *(Цит. по: Там же)*.

Обратим внимание, что для обоих, Толстого и Грота, это была важная положительная рекомендация кандидатки: отсутствие убеждений или связей революционаристского толка!

Наконец, письмо Софьи Андреевны от воскресенья, 17-го ноября, с неприятными известиями о цензурном запрещении любых газетных публикаций — персонально для Льва Николаевича:

«Милый друг Лёвочка, вы живёте там в тишине, и не подозреваете, какую тут грозу на вас направили. Сейчас был Грот, он говорил, что во *все* газеты послан приказ из главного управления по делам печати, чтоб *никакую* статью Толстого не печатать нигде. «Московские

ведомости» прокричали тебя революционером за «*Страшный вопрос*», и злобе в сферах правительства и «Московских ведомостей» нет границ. И как это правительство не видит, что «Московские ведомости» систематически готовят революцию — тогда спохватятся.

Но теперь вот в чём вопрос: статья о столовых крайне необходима. Я читаю публике выписки из ваших писем, все страшно интересуются. Статьи твои запрещены. Выхода два: пусть будет подписано: Татьяна Толстая. Она ведь хотела тоже писать, или дай я пошлю государю цензоровать самому. Только вложи в статью побольше *чувства*, ты это так умел прежде, когда был художник; разбуди его — и забудь о всяком задоре и тенденции. Как *чувство* самое маленькое получает немедленно отголосок — это поразительно! Мужички самарские пришли и в восторге, что я их поместила; и я в восторге. Вчера писала Маше. Сашу всё лихорадит, остальные здоровы. Снег валит.

С. Т.

Целую всех вас, кланяюсь Ивану Ивановичу. Что-то Ваня? Денег жертвованных всё прибывает; сегодня принесли узел с платьями и мешок с сухарями.

Пусть Маша осторожнее разбирает платья, не с больных ли? Я всё держу в сарае» *(ПСТ. С. 467 – 468)*.

М. Л. Толстая и Т. А. Кузминская в беседе с земскими старостами.
Зарисовка по фото И. Стадлинга. 1892 г.

Умная и многоталантливая, как мама и отец, Татьяна Львовна, действительно, поддержала отца и на публицистическом фронте. Вообще «девочки», дочери, жившие и работавшие с отцом в голодной Бегичевке, стали в эти дни его не только деловой, но и моральной огромной опорой, о чём он, в числе прочих известий, не без радости сообщает жене в очередном письме, 19 ноября:

«Известий о нас тебе теперь много с разных сторон, но хочется тебе написать, милый друг. Получили 3-го дня твои два письма нам <Вероятно, от 13 и 15 ноября. – *Р. А.*> и одно Ивану Ивановичу <Раевскому>. Во всех трёх мне слышна была горькая нота, и мне это было очень больно. Но дело в том, что тебе больнее, и я тотчас же хотел ехать к тебе. Но девочки советовали ехать всем вместе. И после совещания решили подождать ещё известий, но во всяком случае ехать к тебе всем, не откладывая, поручив здесь продолжение дела, кому можно.

Девочки все три кашляют и в насморке, но в общем здоровы. Я совершенно здоров. Не сглазить, давно не было даже изжоги.

Вчера я с вечера усердно писал статью, описывающую нашу деятельность, сегодня утром проснулся в 7-мь и писал, не выходя из комнаты. Пустая статья, но нужна тем, что сообщает другим приёмы заведения и ведения столовых. Она ещё не переписана, и едва ли к завтраму кончу. С Владимировым я ошибся и послал тебе какую-то другую рукопись. <По ошибке Толстой послал жене рукопись неоконченного рассказа «Кто прав?» - *Р. А.*>

Потом в 10 часов поехал верхом по всем дальним столовым и проездил по прекрасной погоде до 5 часов. Положение становится всё напряжённее и напряжённее: проедаются последние средства, и количество совсем неимущих всё увеличивается. Главное топливо и праздность и мужчин, и женщин. Нынче пишу Владимирову о высылке нам лык для работы лаптей. Лён на днях получится. Знаменательный признак нужды, что по 3-м небольшим деревням в один день набралось охотников отдать на прокорм 80 лошадей, и приходят ещё и ещё просить взять лошадей. Отдают незнакомому человеку, неизвестно куда своих лошадей, и всё хороших, молодых. Очевидно, считают этот риск выгоднее верной погибели, если оставить у себя лошадь.

В последнюю почту получено нами повесток на 3300 рублей. Твои, т. е. тобой собранные, пожертвования очень хороши. Поразительны 1500 аршин материи и комична вермишель. Её надо будет раздать в праздники. <Даже в 1909 г. Софья Андреевна вспомнила эти «20 пудов вермишели от купца Усова из Петербурга» *(МЖ – 2. С. 232).* –

Р. А.> Материя же тоже поразительно нужна. Нынче я видел вдову с детьми, положительно голую. Только один мальчик может выходить. Я ещё не видел такой бедности.

Таня написала нынче маленькое письмо в газеты, — не знаю, пошлёт ли, в котором она пишет, как устройство столовой, присутствие людей извне, посещения — ободряют людей. Это совершенно справедливо и очень заметно.

Нынче Иван Иванович уехал в Данков, и мы одни. Теперь у девочек сидит Маргарита Ивановна <Мордвинова> и пьют чай, а я пишу. Матвей Николаевич <Чистяков> всё у нас. Я его не пускаю, и он ждёт, и нам полезен и приятен. Ну, пока прощай. Целую тебя и детей от Вани, через Сашу, Мишу, Андрюшу до Лёвы. Надеюсь скоро увидеться. Дай только Бог тебя найти здоровой. Надеюсь на мороз. Что-то даст завтрашняя почта, т. е. какие известия о тебе?

Л. Т.» *(84, 100 - 101).*

В столовой. Зарисовка по фото Ионаса Стадлинга. *1892 г.*

1092

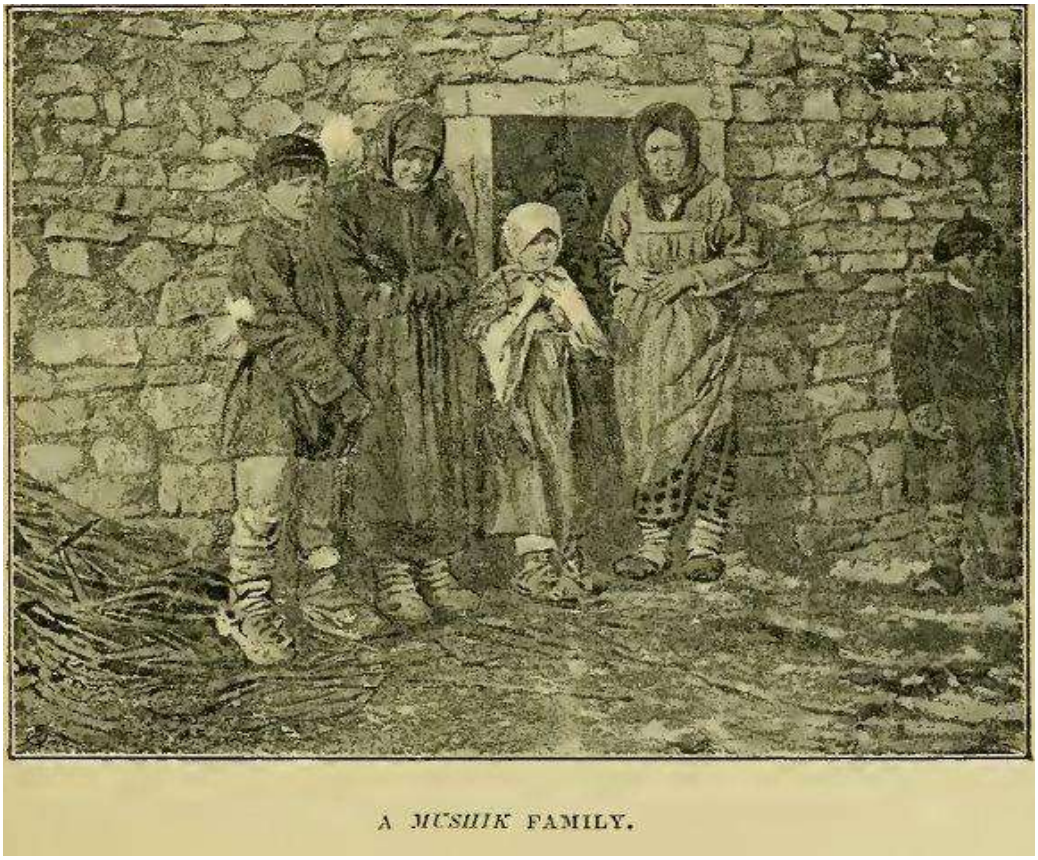
Статья Т. Л. Толстой в виде анонимного фельетона «Даровые столовые в деревнях» была опубликована в «Новом времени» от 20 ноября, № 5650. В мемуарах Софья Андреевна любовно цитирует некоторые строки этих добрых писем к ней дочери, давших Татьяне Львовне материал для статьи. Для примера, вот отрывок из письма 11 ноября:

«Положение народа с каждым днём ухудшается, и приходится в каждой деревне открывать вторую столовую. Я думаю, что и по три открыть, и то не будет слишком много. Вчера ходила на ужин в свою столовую. Хозяйка очень проворная, отлично готовит и ласкова с детьми. Сидят крошки, матери их приводят и кормят — сами не едят. Все и весёлые, и довольные. Весело смотреть на эти обеды и ужины, и те, которые жертвуют на это деньги, были бы вознаграждены за это, если бы видели, как жертвованные деньги идут прямо на то, чтобы утолять голод людей» *(Цит. по: МЖ – 2. С. 244)*.

«Голодные сиротки».
Зарисовка по фото Ионаса Стадлинга. *1892 г.*

Или ещё, из письма Танюши маме от 17 ноября:

«Присланные вами пожертвованный чай и сахар многих осчастливливают. Больные и старые очень радуются. Также и холстинки <мануфактура на шитьё одежд. – *Р. А.*>. Сегодня я отрезала одному вдовцу 4 аршина холстины девочке на рубашку, так он заплакал. Платье очень нужно. Третьего дня была я в одной деревне очень бедной, открыла там столовую и стала ходить по дворам узнавать, кто ходить будет в столовую. В одном дворе на семерых одни лапти и одна шуба и два рваных кафтана. Я спросила: “Как же дети в призрение <в столовую. – *Р. А.*> ходить будут?” Мужик взял девочку на руки, завернул полой полушубка и говорит: “А вот так и буду носить их”. Я отдала им свою шаль, так они пришли сперва в недоумение: не знали, как это принять, а потом, как всегда теперь, <как все> которым что-нибудь дашь, расплакались» *(Цит. по: Там же. С. 246).*



Голодающая крестьянская семья. Фото И. Стадлинга. *1892 г.*

Это было разрешением общих сомнений в ожидании социальной и политической катастрофы. Надо делать, по-Божьи, то, что должно… а что будет с разбойничьим гнездом по имени Россия и со всею лжехристианской цивилизацией — это не важно. Пусть будет так, как будет!

Содержание очередных писем Л. Н. Толстого, от 23 и 24 ноября, продолжает тему столовых и иной помощи народу. Кроме того, из-за трудностей сообщения и чрезвычайной занятости ознакомиться с очередными письмами жены и ответить на них Толстой не смог раньше 25-го. Поэтому здесь мы немного отступим от строгости хронологического принципа презентования переписки супругов. Приводим ниже тексты писем Толстого к жене от 23 и 24 ноября, а уже после — письмо С. А. Толстой к супругу от 20 ноября.

23 ноября:

«Каждый день вижу тебя во сне, милый друг. Дай Бог, чтобы ты была здорова и спокойна. Мы все совершенно здоровы и изо всех сил бережём друг друга. Таня пишет страшный вздор: предвидеть ничего нельзя, а предвидеть дурное даже дурно.

[ПРИМЕЧАНИЕ.
Т. Л. Толстая писала С. А. Толстой (почтовый штемпель 22 ноября): «Вчера заболел у нас Ив. Ив. и сегодня ещё лежит в жару. Богоявленский говорит, что грипп, но всегда страшно, когда старики заболевают» *(Цит. по: 84, 102)*.
Дочь Толстого беспокоилась не напрасно: в несколько дней простуда и воспаление лёгких убьют И. И. Раевского, а ещё через 19 лет – и самого Л. Н. Толстого. Грустно предвидеть дурное, но бывает, что и полезно. – *Р. А.* **]**

Наташа обещала приехать в воскресенье, и мы было решили, получив от неё самые свежие известия, ехать в Москву. Теперь болезнь Ивана Ивановича невольно задерживает нас. И дело нельзя бросить, и его, милого человека, которого я, чем больше с ним живу, тем больше люблю.
Занят я очень. Статья моя о столовых, кажется, готова, но ещё не переписана. Надеюсь завтра выслать её тебе <«О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая»>. Ты просмотришь и пошлешь к <Павлу Александровичу> Гайдебурову <т.е. в газ. «Неделя», которую издавал Гайдебуров. – *Р. А.*>. Он всегда так желателен, а я его обхожу для «Русских ведомостей», совсем мне чуждых. Кроме того, он скорее других напечатает. Впрочем делай, как знаешь. Я вижу, что ты живёшь этим делом не меньше нашего. То писанье, то разговоры с народом, приходящим с разными требованиями и просьбами, то поездки — весь день полон.

Нынче был исправник, льстивый человек, который будто представлялся. Завтра, говорят, приедет губернатор рязанский. Очевидно, их беспокоит наше присутствие.

[ПРИМЕЧАНИЕ.
Уездный исправник по фамилии Праль был командирован для надзора за деятельностью народных кормильцев. Приехавший вслед за ним губернатор Рязанской губернии Дмитрий Петрович Кладищев соревновался с Пралем в сочинении *доносов* на «беззаконную» деятельность Толстого и его команды. Эти доносы, один из бессчётных позоров Российской Империи, были опубликованы лишь в 1939 г. – *Р. А.***]**

Столовых открыто теперь 28, и всё просят открывать новые. Помощников никого ещё нет. Матвей Николаевич остаётся у нас, видя, что дела много, и хорошо и много помогает. Денег у нас тысяч 6, кажется, и мы на все покупаем хлеба. На днях был премилый человек, Протопопов, бывший моряк, стоявший со мною вместе на 4-м бастионе в Севастополе, а теперь Председатель Епифанской Земской управы. Мы ему поручили купить нам ржи. Завтра буду писать ещё. Теперь ждёт посланный с телеграммой в Клёкотки. Прощай, до свиданья, целую тебя и детей. […]

Л. Толстой. […]» *(84, 101 - 102)*.

Николай Петрович Протопопов (1834 – ?) — один из тех людей на жизненном пути Льва Николаевича, о которых даже скудные уцелевшие сведения вызывают глубочайшую симпатию и уважение. Отставной капитан-лейтенант флота, в 1891 г. — уездный предводитель дворянства, он своим характером и нравственными качествами был похож на Ивана Ивановича Раевского. Раевский во всякой трудной ситуации в ходе борьбы с голодом, как вспоминал о нём сам Лев Николаевич: «…беспрестанно говорил злу: “Живые в руки не дадимся!”» *(29, 261 - 262)*. Так и офицер Протопопов: воспринимал бедствие голода и сопротивление делу помощи правительственных чиновников, торгашей и стихийных обстоятельств — как *вызов на битву*, в которой надо победить. 8 декабря 1891 г., в письме к А. А. Толстой, Лев Николаевич сообщал:

«Я встретил у Раевского моряка Протопопова, с которым мы вместе были 35 лет назад на Язоновском редуте в Севастополе. Он очень милый человек, теперь председатель управы, хлопочет, покупает хлеб. Он очень верно сказал мне, что испытывает чувство, подобное

тому, которое было в Севастополе. “Спокоен, т.е. перестаёшь быть беспокоен, только тогда, когда что-нибудь делаешь для борьбы с бедой”. Будет ли успех, не знаешь, а надо работать, иначе нельзя жить» *(Л.Н. Толстой и А.А. Толстая. Переписка. – М., 2011. С. 465).*

И следующее письмо Л.Н. Толстого жене, от 24 ноября:

«Сейчас 6 часов утра, 24-го. Пишу ещё. Вчера отослал письмо с вечера. Ив. Ив. всё в жару и очень беспокоен. Всё заботы об общих делах, а сидеть едва может. Написал однако письмо <своей жене> Элене Павловне.

Сейчас отправляется отсюда в Тулу человек верный с письмами и с нашими деньгами, 6000, которые мы посылаем Писареву, чтобы положить в Тульский банк и выдавать за купленный хлеб, который будет приобретать вместе с земским Протопопов, председатель земской управы епифанской.

Меня немножко мучает совесть перед Эленой Павловной, что я не известил её тотчас же <о заболевании Раевского. – *Р. А.*>. Но вышло так, что, когда он 20-го вернулся из Данкова, не стоило посылать, казалось, что ничтожный грипп, который пройдёт, тем более, что на другой день он был совсем свеж и здоров утром и свалился опять к вечеру 21-го. 22-го мы ждали перерыва, чтоб он сам написал. И вот послали только 23-го. Он сам написал письмо Элене Павловне. С большим трудом. […] Нам будет легче, когда она будет здесь. Богоявленский каждый день бывает и не находит ничего опасного. […]

Мы все совершенно здоровы и были бы бодры, если б эта болезнь и хозяина, и дельца главного, и милого и дорогого человека не подавляла нас. Целую тебя и детей.

Л. Т.» *(84, 103).*

Екатерина Ивановна Раевская (1817 – 1899), мама Ивана Ивановича, рассказывает в воспоминаниях обстоятельства роковой простуды сына:

«Погода была отвратительная, и сын, проводив жену и детей обратно в Тулу, несмотря на уговоры жены остаться дома и отдохнуть, захотел непременно ехать на экстренное земское собрание в уездный наш город Данков. Там спорил, горячился и на следующий день с температурой в 40 градусов проехал сорок вёрст в открытых санях, при страшном ветре, прозяб дорогой и слёг, чтоб более не вставать…» *(Раевская Е. И. Лев Николаевич Толстой среди голодающих*

// Л. Н. Толстой. — М.: Изд-во Гос. лит. музея, 1938. — [Т. I]. — С. 386).

Настало время для письма С. А. Толстой от 20 ноября.

«Спасибо тебе, милый друг Лёвочка, за письмо и статьи. Вчера вечером собрались у меня Грот с женой, <сестра> Лиза с Машей <Колокольцовой?>, Наташа с Вакой <Брат С. Н. Толстой, Владимир Николаевич Философов. – *Р. А.*>, и я им прочла вслух. Все очень заинтересовались повестью и очень пожалели, что дальше нет. — Хорошо кур ловят, очень картинно. — Разумеется, ясно, к чему клонит рассказ; и ты видно хочешь, чтоб *виноватых* не было. Но чувство проскочит невольно настоящее, *кто* именно прав.

О коротенькой статье я такого мнения: как отчёт — не довольно полный и ясный; как статья — не довольно интересна и чувству ничего не говорит. Так что она не удовлетворяет. Прости, что говорю тебе это.

Гротовская твоя статья запрещена бесповоротно. Был у меня Оболенский, совсем неправда, что ему запретили «Сборник»; ему только статью его о «Сборнике» запретили, и он очень ждёт и расчитывает на обещанное тобою. Тут и дочери его и жена.

Приезд Лёвы меня очень оживил и стало легче и веселей. Впрочем, главное хорошо, что все дети выздоровели; Ваничка сегодня *гулял* в первый раз; дня через два и Сашу выпущу.

Вчера возила <гувернантку> Лидию к <доктору> Флёрову: у ней желудочно-нервное расстройство, дал он ей Емс и валерьянку. Он удивлялся на мою худобу и спросил и о моём здоровье. Я ему рассказала, как и что. Он говорит: «пять доз спокойствия, три дозы молчания вообще, и абсолютного молчания на холоде, а то катарр лёгких и тогда беда». Он меня, впрочем, не слушал и не стучал, я не хотела. Эти два дня мне опять похуже, т. е. не спится, одышка, пот, слабость и нервность. Теперь даже опять лучше, потому что не двигаюсь второй день.

Мне неприятно было, что вы Лёву и Наташу послали как будто адвокатами, чтоб они исследовали, как я отношусь к вашему возвращению. Ведь это же видно — их дипломатия. Какая может быть дипломатия между нами? Вот я понимаю Таню. Она пишет: «нужно вам меня, всё брошу, приеду сейчас же». Иногда мне и приходило в голову, чтоб её выписать, помочь мне. Очень было трудно и страшно грустно во время болезни детей. — Я, таки, расчитывала, что тебе станет хоть немножко жаль меня и ты приедешь меня проведать. Но и опять ошиблась. Девочек же мне не хотелось отрывать от дела; да

думала, что телеграммой испугаешь и дорого она стоит, а писать, чтоб приезжали помочь, — пока дойдёт письмо и пока приедут — бог даст все выздоровеют. Так и вышло. Теперь же я наладила и жизнь свою, и дела, и сердце. Мне никто *не нужен*. — Пусть все живут при деле. Дело во всяком случае несомненно прекрасное и полезное. Я всей душой ему сочувствую и помогаю, чем могу.

Сказал ли ты Писареву, чтоб он на данные ему мною 3000 рублей был так добр и купил бы ржи на ваши столовые? Надо ему написать, если вы его не видали. Пожертвования пошли гораздо тише; вероятно, и совсем прекратятся; кто хотел, дал. — Большую часть я отдам Лёве; там нужнее всего помощь и нужда ужасающая. Лёва пригласил с собой старшего брата Цингера и ещё едет с ним наш Иван Александрович, если мать пустит. Он был тут. — Мне страшно за Лёву, и за его нервы, и за здоровье, и за молодость в таком обширном практическом деле; но думаю, что он делает хорошо, что едет. — Без него опять опустеет тут и будет грустнее. Да что делать, — такие времена.

Сегодня не пишу Тане; всё равно все прочтут, а очень её благодарю за письмо и всегдашнюю заботу обо мне. Если ей много писать, пусть не устаёт ещё *мне* много писать, я довольствуюсь и короткими, лишь бы частыми извещениями о всех вас. Верочке напишу отдельно. Машу целую и всех вас. Маша, я думаю, счастлива, что К *настоящему* делу примкнула. Наташа мало о вас рассказала.

Так вот, Лёвочка, попроще со мной, пооткровеннее и подобрее надо быть, я только одного прошу. — А что я *хочу*, что мне *нужно*, — право, опять того же: попроще, подобрее и чтоб вам же всем было хорошо.

С. Т.» *(ПСТ. С. 468 - 470).*

Текст письма, в особенности же эмоциональное его завершение, доказывает, что, как ни отрицай этого Соня, а дипломатия в отношениях с нею была нужна. Она могла быть — и раздражённой, и подозрительной, и по-своему мстительной. Это доказывает самая судьба ошибочно, вместо статьи о столовых, посланной Львом Николаевичем рукописи с наброском “семейной” по сюжету повести «Кто прав?». Как показалось Соне, сюжет подразумевал развитие темы любовных отношений “испорченного половым грехом” мужчины с юной, “невинной” девушкой — что сблизило его в глазах Софьи Андреевны не только с ненавистной «Крейцеровой сонатой», но и с собственной её судьбой. И она совершает акт своего рода мазохист-

ского (мучительного ей самой) мщения: устраивает, пусть и в семейном кругу, но *публичное чтение* чернового наброска — с обсуждениями и пр. А также делает ряд собственных, отдающих паранойей, выводов о возможном продолжении и завершении сюжета. Эта выходка имела для Софьи Андреевны больше негативных последствий, нежели для Толстого. Автор воспользовался "тучками на горизонте" нового семейного скандала как поводом для себя — чтобы отложить это художественное писание, слишком обременявшее его в Бегичевке, в условиях множества практических проблем помощи голодным. К сожалению, позднее он, хоть и планировал вернуться к рукописи, но так и не вернулся… А вот жена Толстого "пережёвывала" в себе негативные собственные впечатления от… того, чего и не было в черновике повести, но что *представилось* ей — практически до конца жизни. Присовокупив эти впечатления к таким же — от «Крейцеровой сонаты». Не без влияния отрывка «Кто прав?» она создаёт собственную повесть с характеристическим названием «Чья вина?» — в которой, разумеется, виноват во всём муж, мучитель и убийца жены умной, талантливой, во всём невинной, но глубоко несчастной с похотливым и ревнивым супругом. Эта повесть считается "зеркальным" ответом Софьи Андреевны на «Крейцерову сонату», но не с меньшим основанием её следует считать и ответом на *ненаписанную* Толстым повесть «Кто прав?».

На деле, судя по черновикам уже 1893 года, когда Толстой пытался продолжить писание повести, замысел его был значительно шире: он в острой форме поднимал столь близкую для голодных лет тему барской «благотворительности» народу — в условиях чудовищного неравенства положений, поддерживаемого эксплуатацией и ограблением этого самого народа. Характерен и эпиграф Толстого, взятый из евангелия: «Аще не будете, как дети, не внидите в Царствие Небесное» *(Мф., 18: 3)*. Судя по этому эпиграфу и по фиксируемому исследователями в Дневнике Толстого "рабочему" названию повести «О детях», Толстой «хотел поставить в ней вопрос: кто прав — дети, которые забывают о том, что они "господа", беззаветно отдаются помощи голодающему народу и входят в непосредственное общение с ним, или их родители, пытающиеся свести всё к расчётливой и "приличной" благотворительности. Как и в статьях о голоде, Толстой в этом рассказе намерен был осудить господ, равнодушных к народу и прикрывающих это равнодушие лицемерной маской заботы о "меньшом брате"» *(Опульская Л. Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1886 по 1892 год. – М., 1979. – С. 250)*.

25 ноября Толстой отвечает сразу на два письма Софьи Андреевны: от 17 и от 20 ноября.

«Вчера, 24-го, получили твои два письма, милый друг. Ты напрасно меня упрекаешь в дипломатии: не дипломатия, а дело такое, что я, зная тебя, знаю, что ты будешь скрывать всю тяжесть своего состояния, а нам лучше знать. И, разумеется, всё брошу и приеду к тебе, и буду жить с тобой не с упрёком, а с радостью. Я совсем собрался ехать к тебе на той неделе, после получения тех писем, но девочки не пустили, просили подождать, а тут заболел Иван Иванович.

Вчера вечером, в 10, приехала <жена Раевского> Элена Павловна. Она и не уезжала в Москву; говорит, тоска была и не хотелось уезжать. Ему не лучше. Называют это инфлуенцой, а это горячка постаринному. Лежит в жару, 39° почти, бредит, тяжело дышит. Богоявленский тут постоянно, и говорит, что опасного нет. Но нам всё время страшно и жалко и его и Элену Павловну. [...]

Вчера получили опять пожертвований тысячи на 2 с лишком и письма. Столовые расползаются как сыпь. Теперь уже 30, и идут хорошо. Я вчера вечером посетил две; трогательно видеть, как ребята с ложками бегут толпою. Попался нищенка мальчик из чужой деревни. Его пригласили и накормили, и спать положили в столовой.

Послал я тебе нечаянно начало повести. Ты не угадала, — хотя всегда угадываешь, — к чему клонит. Спиши и пришли мне, если я прежде не приеду. Приеду же я, как только поправится Ив. Ив.

Вчера, прочтя твои письма, страшно захотелось тем сердцем, которое ты во мне отрицаешь, не только видеть тебя, но быть с тобою.

Статью мою, гротовскую, пожалуйста возьми в последней редакции без смягчений, но с теми прибавками, которые я просил Грота внести, и вели переписать, и пошли в Петербург Ганзену и Диллону, и в Париж Гальперину. Пускай там напечатают; оттуда перейдёт и сюда, газеты перепечатают. Адресы Гальперина, Ганзена и Диллона сейчас впишу, если они найдутся у Тани; а если нет, то пошли к Лескову (его адрес в «Русской мысли»), он отдаст и Ганзену, и Диллону, а Гальперина можно узнать через Рише. А Рише знает Грот.

[...] Мальчикам Раевским скажи, что теперь, 9 часов утра 25, температура 38,8. Пульс хорош. Это слова Богоявленского. Элена Павловна говорит, что если им очень хочется приехать, то она не запрещает этого, но никак не вызывает их» *(84, 104 - 105)*.

Имперская Россия, что называется *нарвалась* сама со своими запретами — и не в последний раз! Получив жёсткое цензурное запре-

щение для публикаций статьи «О голоде» в России, Толстой справедливо и разумно прибег к помощи представителей свободного и цивилизованного мира. С учёным-физиологом и масоном (парижская ложа «Космос») Шарлем Рише (1850 - 1935) Толстой успел познакомиться через Н. Я. Грота в августе 1891 г. (конечно же, его заинтересовали антивоенные взгляды Рише). На писателя, переводчика с русского на французский Илью Даниловича Гальперина-Каминского (1858 - 1936) Толстой оттого и рекомендовал жене выйти через Рише и Грота, что лично с ним на тот момент знаком не был. Зато хорошо знал Толстой Петра Готфридовича Ганзена (1846 - 1930), агента в России «Датской телеграфной компании», большого поклонника русской литературы, с середины 1880-х гг. переведшего ряд его сочинений на датский язык. Желая первым заполучить Послесловие к «Крейцеровой сонате», тот в 1890 г. приехал к Толстому лично в Ясную Поляну и, с разрешения автора, переписал для себя текст Послесловия. А Толстой после этого… отобрал у него готовый список и сделал в нём, что было для писателя весьма обыкновенным, гигантское количество поправок. После, кажется, *пятого* списка бесплатный переписчик наконец что-то понял и уехал восвояси — очень расстроенный, но и очень зауважавший не только литературные таланты, но и житейские ум и сообразительность своего русского кумира. Наконец, Эмилий Михайлович Диллон (E. J. Dillon, 1854 – 1933) — англичанин, доктор восточных языков и литературы, живший в 1880-х и 1890-х годах в России, сильно обрусевший. Так же был переводчиком книг Толстого (включая «Крейцерову сонату» и Послесловие к ней) — разумеется, на английский язык… а также постоянным корреспондентом газеты «Daily Telegraph», представлявшим для читателей этой газеты события российской действительности. С Толстым успел познакомиться в декабре 1890 г., так же при личном визите в Ясную Поляну. С его переводом статьи Толстого «О голоде» будет связан неприятный скандал, о котором мы расскажем в соответственном месте нашей книги.

* * * * *

Итак, участь Ивана Ивановича Раевского решалась в эти дни в Бегичевке роковым образом — по сочетанному влиянию ряда негативных факторов, не последним из которых было отсутствие доступа к более качественной медицине, нежели та, которую олицетворял в себе волостной лекарь Богоявленский. Именно тогда, когда Лев Николаевич особенно сблизился со своим старым, но никогда

прежде не близким знакомым — узнал его сердце… И это сердце отсчитывало в эти мрачные ноябрьские дни последние удары: совершенно как и сердце Л. Н. Толстого, в такие же ноябрьские дни, через девятнадцать лет.

Потеря Раевского и нарастающая угроза здоровью жены, заждавшейся его в Москве и измучившей себя этим ожиданием — обстоятельства, проложившие как психологический, так и внешне-биографический рубеж в эпистолярном диалоге супругов Толстых.

Фрагмент Первый Тридцать Четвёртого Эпизода нашей аналитической презентации близится к завершению. На очереди — последние три письма супругов: письма от 21 и 26 ноября С. А. Толстой и письмо от 28 ноября (перед самым отъездом из Бегичевки) Льва Николаевича Толстого. Приводим их тексты ниже в хронологическом порядке.

С. А. Толстая, письмо от 21 ноября:

«Мне ужасно совестно, милый друг Лёвочка, что я так дурно на вас действую. Ты пишешь <19 ноября>, что во всех моих письмах горькая нота. Я думала, что моё письмо к Ивану Ивановичу очень холодно и поскорей написала ему другое, а письма к вам я не помню. Очень я не ровна, и я, право, воспитываю себя, и всё лучше и лучше живу и привыкаю к своему положению. Но что-то во мне надломилось, и этот надлом подчас заставляет меня метаться, тосковать и мучить себя и других. Многому этому виною и голод народный, и положение всех нас в этом году. Тут грозят со всех сторон такими ужасами, что спать спокойно нельзя. Завтра я покупаю на десять тысяч золота, чтоб было с чем пережить то смутное время, которое предсказывают. Сейчас был Дунаев, он болен и взволнован хуже меня.

Ты пишешь, что вы хотите все приехать ради меня. Пожалуйста, не ездите ради меня. Взад и вперёд ездить очень утомительно, особенно всем; теперь же девочки кашляют, им немыслимо ехать. Кроме того поступают пожертвования, некоторые вещи не получены, некоторые столовые едва возникли. Вам, вероятно, совсем теперь не следует уезжать. Подождите ещё, из-за меня одной бросать стольких, пожалуй, что не хорошо.

Ведь всё это я вижу и понимаю, и гораздо даже справедливее мне одной хоть вовсе погибнуть, чем оставлять погибать многих. Но я совсем не погибаю. Сегодня приходили дети Грота и Наташа Оболенская <Наталья Леонидовна Оболенская (1881 – 1955), дочь Е. В. Оболенской. С 1905 г. замужем за Хрисанфом Николаевичем

Абрикосовым. – *Р. А.>,* играли в игры, очень были веселы, и Саша и Ваничка были в восторге. Оба они нынче утром гуляли и немного прокатились в санках; три градуса мороза и снежок шёл. Андрюша с <гувернёром> Borel'ем были на Патриарших прудах, на коньках катались, а Миша ходил и ездил со мной; с большой болью, но я его наказала за две единицы и на коньки не пустила. Он тут, дома, с Гротами катался и легко он веселится. Лёвы всё дома нет и всё он ворчит на ту же тему объеданья и баловства, но я всё-таки рада, что он тут. Не знаю ещё, когда он едет. [...] Во всяком случае вам ехать сейчас не надо, распределите хоть то, что послано. Пусть девочки подождут выезжать вообще с кашлем, столько воспалений в лёгких! Вот если б такой человек, как Матвей Николаевич <Чистяков>, вас мог заменить, — можно бы спокойно уехать, а то на кого вы всё оставите?

Сегодня получила из Берлина газету «Welt», и в ней с большим уважением и сочувствием перепечатано моё письмо и следует воззвание к немцам с указанием моего адреса о пожертвованиях с их стороны. Сегодня из Мюнхена получила 50 рублей и из Женевы 13 рублей и пишет: «vous demandez avec une grace si touchante» [вы просите так трогательно.] И чем я так угодила в этом простом письме, — не понимаю! А отзывы о нём удивительно симпатичные.

Как вспомню, что вы вдруг будете все тут — и для меня — меня ужас берёт. И вдруг ты ещё захвораешь, и Маша не будет знать, куда приткнуться, и Таня молчаливо мне будет упрекать. Не надо, не надо, не ездите; ваше дело стоит моей временной скуки, и не ставьте меня в то положение, что я буду сама себя съедать упрёками за то, что оторвала вас от здоровой жизни и хорошего дела. Целую вас всех.

С. Т.» *(ПСТ. С. 470 - 472).*

...А между строк читается: «Пожалуйста, пожалуйста, поскорее приезжайте!»

Толстой умел хорошо читать между строк. Её настроение жертвы во имя «великого общего дела» — не могло нравиться ему. И он готовил отъезд — на время, когда пойдёт на выздоровление его новый бесценный друг... Судьба, однако, распорядилась иначе.

Следующее по времени написания, и заключительное в данном Фрагменте письмо С. А. Толстой, писано было в роковой день смерти И. И. Раевского, 26 ноября:

«У нас у всех такая паника, милые друзья, по случаю тревожных известий об Иване Ивановиче, что никто ни о чём другом не может ни думать, ни говорить. Как ужасно быть так далеко от всех вас. Бедный Петя в ужасном положении. Сдержанный, бледный, он ничего не говорит, но так и видно, каково у него на душе.

Неужели плохо? Неужели плохо только от жара без осложнений? Если же воспаление в лёгких, поставьте скорей *пиявки*; такому сангвинику, как Иван Иванович, это не может быть вредно, а только хорошо. При первой возможности, умоляю вас, пожалуйста, Таня, телеграфируй мне опять.

И как Елену Павловну жаль, сколько ей сердечной тревоги! Не смею слова сказать теперь об отъезде вашем, но умоляю, приезжайте, как только будет возможность, т. е. когда всякая опасность минует.

У нас все здоровы, сегодня Ваничка упал в корридоре и очень меня испугал, но теперь совсем ничего, идём обедать.

Сейчас вечер, принесли твои два письма, милый друг Лёвочка. Меня немного успокоило, что вчера утром было 38 и 8; следовательно, не 40, и есть надежда, что болезнь, ожесточившись сегодня, судя по телеграмме, переломится и пройдёт. У дяди Кости была инфлуенца, он сегодня был, говорит, жар был страшный, он похудел, но здоров. Захарьин говорит: “никакой *инфлуенцы* нет, есть простуда, берегитесь её и ничего не будет”.

Только бы, Бог дал, выздоровел Иван Иванович и ещё никто не захворал. Берегись, милый Лёвочка, и девочек не пускай рисковать ничем. Боже мой, когда же я увижу всех вас! Теперь ещё жутче стало. […] Мы позвали Петю Раевского до отъезда его, чтоб показать твои письма и ободрить его, бедного. Вероятно, вы послали телеграммы во все стороны, оттого что жар к ночи стал сильнее и вы все перепугались. Дай Бог, чтоб это был кризис к лучшему.

Если вы все мной интересуетесь, то я положительно стала поправляться. *Красный шар*, выпустив весь свой дух, стал опять надуваться, а приедете все, то вовсе оживу. <«Шуточное сравнение меня с шаром, которое Лев Николаевич любил повторять». – *Примеч. С. А. Толстой.*> Только бы опять что меня не подкосило. Тогда не скоро справишься, а чувствуешь себя всё-таки центром и даже нужным для семьи моих малышей четырёх. И право, я вас всех так горячо люблю, что и всем вам холоднее покажется на свете без любви моей. Всех вас, по одному, себе представляю с восторгом, что скоро увижу. Ничего не посылаю сегодня девочкам. Выехать не могла по разным причинам, да и совестно посылать фривольности в дом, где серьёзное горе. Целую вас всех нежно. Посылаю письмо Вере от матери и

ещё какое-то о пожертвованиях. — Сейчас было письмо от Сони, они все здоровы. Илья ещё не возвращался.

С. Т.

Что-то все девочки, как им, я думаю, грустно и жутко и за Ивана Ивановича и за тебя, Лёвочка» *(ПСТ. С. 472 - 473)*.

Мама Ивана Ивановича, Екатерина Ивановна Раевская, пишет в своих воспоминаниях о гибели сына следующее:

«Скончался он 26 ноября 1891 г. Потеря громадная для вдовы, детей, для всего нашего семейства, скажу даже, для всего края. — Нет такого мужика, который бы не говорил: «Хотел идти просить Ивана Ивановича, да вот их нет!»

Увидя Льва Николаевича, я зарыдала...

— Большое вам горе, — сказал он сочувственно.

— Не первое, — рыдала я.

— Хорошую жизнь прожил он...

Ответить не могла... меня душили слёзы.

Когда невестка моя Елена Павловна Раевская была у нас в первых числах ноября, видя, какую тоску на меня и на дочь наводит голодный год, она сказала: “я сама не знаю, куда от тоски деваться. Мне всё кажется, что надвигается на нас какая-то каменная стена, готовая на нас обрушиться и нас всех раздавить”.

Стена обрушилась!»

(Раевская Е. И. Лев Николаевич Толстой среди голодающих // Л. Н. Толстой. — М.: Изд-во Гос. лит. музея, 1938. — [Т. I]. — С. 386).

С таким же надрывным, смертным ужасом пережила и Софья Андреевна известие о смерти Раевского — настигшее её в одной из телеграмм (вероятнее всего, от дочери Татьяны), прежде, чем успел сообщить в письме Лев Николаевич. В мемуарах она пишет о тех днях:

«Меня эти две смерти — Дьякова и Раевского — повергли в полное отчаяние. Мне стало ясно представляться, что умрёт и Лев Николаевич» *(МЖ – 2. С. 237)*. Ужас только увеличивала простудная эпидемия в Москве, которой переболели осенью 1891-го все младшие дети Софьи Андреевны.

В Дневнике под 26 ноября потрясённый утратой Лев Николаевич записывает мужественно и кратко: «Он умер в 3 часа, мне очень жаль его. Я очень полюбил его» *(52, 59)*.

И это последняя запись в Дневнике Льва Николаевича в это пребывание его в Бегичевке. Только одно маленькое благо и было в трагическом исходе болезни Раевского: Лев Николаевич мог больше не

ждать, получая из Москвы тревожившие его письма жены, а немедленно, и с дочерьми, выехать к ней, в заслуженный отпуск. 29 ноября Толстой ненадолго покидает Бегичевку, а накануне, 28-го, пишет одним душевным порывом прекрасный некролог в память ушедшего друга и — заключительное в данном Фрагменте — письмо жене, такого содержания:

«Ты уж знаешь страшное событие. Теперь 12 часов ночи 27-го, полон дом наехавшими родными... Теперь $1^1/_2$ суток, что он умер. Умер он легко, без страданий — инфлуэнца, перешедшая на лёгкие. <Сын его> Ваня застал его, но уже без памяти. Элена Павловна страшно жалка, также и дети.

Сейчас получил и твоё письмо... Мы все совершенно здоровы и желали бы пробыть здесь несколько дней после похорон, чтобы не было того впечатления людям, что всё дело оборвалось и кончилось со смертью Ивана Ивановича. Я говорю: желали бы, но всё будет зависеть от твоего мужества. Я понимаю, что тебе страшно жутко, но вместе с тем не могу не видеть, что нет никаких оснований для беспокойства. — Всё решится само собою. Одно знаю, что люблю тебя всей душой и стремлюсь тебя увидеть и успокоить.

Нынче Таня сестра пишет Вере, что в Петербурге слух прошёл, что мы уезжаем, и что ропщут, говоря, что нельзя оставлять дела, на которое сделаны такие пожертвования. — И действительно нельзя. Теперь на время здесь остаётся Матвей Николаевич; но он не может один вести дело. Но впрочем всё обсудим вместе спокойно и любовно.

Посылаю тебе статью о столовых <«О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая»>. Мне хотелось не обидеть Гайдебурова, который прислал тоже пожертвования из своей газеты и скромно писал Тане: за что ваш батюшка меня забыл? Но я готов согласиться и с тобой и отдать в «Русские ведомости». — Ты прочти её, исправь, перепиши (можно и не переписывать), впиши пожертвования твои и Танины и приложи. Если что-нибудь не ладно или задержка выйдет в чём-нибудь, то мы подъедем, и я поправлю.

[...] Мне ужасно жалко его. Я очень, очень его полюбил. И не могу простить себе, что я так не понимал его прежде. Но зато как нам радостно, молодо, восторженно было часто последнее время вместе быть и работать. Я начал было нынче несколько слов о нём написать и хотел напечатать, и потом раздумал. Впрочем, не знаю.

Ну, до свиданья, целую тебя и детей. [...] Л. Т.» *(84, 105 - 106).*

В воспоминаниях «Моя жизнь» Софья Андреевна сообщает:

«От 30-го ноября до 9-го декабря Лев Николаевич и дочери мои погостили со мной в Москве. Радость свиданья была большая, но продолжалась недолго. Мы оба чувствовали, что смерть Ивана Ивановича Раевского нас теснее связала с делом кормления голодающих и *главою* этого дела остался один Лев Николаевич» *(МЖ – 2. С. 237)*.

«Я не могу выскочить из колеса, в которое попал, и колесо это вертится всё быстрее» — писал Л. Н. Толстой около 6 декабря 1891 г. М. Н. Чистякову *(66, 105)*. Уже 9 декабря он выезжает обратно на место своего христианского служения — в голодную Бегичевку. С 11 по 26 декабря следует Второй Фрагмент данного Эпизода Переписки Л. Н. и С. А. Толстых, к презентованию и анализу которого мы теперь и приступаем.

Конец Первого Фрагмента
Тридцать Четвертого Эпизода.

Фрагмент 34.2.
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ БЛЕВОТИНЫ
(11 – 26 декабря 1891 г.)

О кратком своём московском отпуске Л. Н. Толстой записал 19 декабря 1891 г. в Дневник следующее:

«За это время был в Москве. Радость отношения с Соней. Никогда не были так сердечны. Благодарю тебя, Отец. Я просил об этом. Всё, всё, о чём я просил — дано мне. Благодарю Тебя. Дай мне ближе сливаться с волею Твоей. Ничего не хочу, кроме того, что Ты хочешь» *(52, 59)*.

Эти строки — дополнительное свидетельство того, что вовлечённость Л. Н. Толстого в помощь голодающим, как мы это и показали выше, во вводно-теоретической части данного, Тридцать Четвёртого Эпизода нашей книги — не была отступлением его от христианского восприятия денег и капиталов, богатства как абсолютного зла, но была своего рода *системным состоянием*: уступкой тем нравам рабов мамона и золотого тельца, которые в общественном сознании лжехристианской (церковно-православной) России по сей день лишь отчасти смягчаются, но не религиозной верой (ибо ложная вера беспомощна), а работой первобытных альтруистических бессознательных программ человека как общественного животного.

Толстой, разумеется, не пользовался понятием системности, но своё положение осознавал по существу именно как такое сложно-системное состояние участия в необходимом деле, которое нельзя было совершить одному, а только с участием поклонников мамона и тельца, лучше всего понимающих именно «язык денег». Когда давний знакомый его, толстовец-землероб Аркадий Васильевич Алёхин (1854 – 1918) попросил “дорогого учителя” в письме указать ему тот “пост”, то поприще, на котором он мог бы быть полезен и нужен в деле помощи голодающим, Толстой в ответном от 11 декабря письме поделился результатами своих новейших рефлексий и свежеприобретённым опытом. По его мнению, такому, по случаю голода, служению, открыты три пути:

«Одно решение, единственно истинное, это то, чтобы пойти служить голодающим одною своею жизнью, т. е. не пользуясь ни своими, ни чужими деньгами, стать ниже голодающих — иметь, есть меньше их и всё-таки служить им. Это решение несомненно верное и говорить про него нечего, надо исполнять его. И выбирать место тут не к чему. Если кто готов отдать жизнь за друга своя, то жизнь одна и отдать её недолго и нетрудно. Везде можно и равно.

Другое решение то, чтобы, считая свою жизнь хорошею, правильной, продолжать её, не изменяя, вследствие исключительных условий голода. Для того, чтобы принять это решение, необходимо не сомневаться в том, что то, что ты делаешь, и есть то самое, что хочет от тебя Бог. Решение это *не* несомненно. Я пытался принять его, но не выдержал. Вы то же испытываете, желая связать деятельность свою с голодающими. Всегда страшно: не требует ли чего от тебя особенного это исключительное положение.

Третье решение то, чтобы придти в середину людей нуждающихся и, так как естественно помогать людям тем, чего они требуют — голодающим пищей, а пищу нельзя иначе получить, как деньгами, то, несмотря на сознание греха денег, стать посредником между богатыми и бедными, не боясь самому изгваздаться по уши в нечистоте, связанной с деньгами. Решение это очень сомнительное. Я никак не думал, что изберу его. Но неизбежно был приведён к принятию его, и вот барахтаюсь в условиях, исполненных соблазна и греха, но чувствую, что не могу пока избрать первого решения, не могу, не имея силы духовной; не могу и избрать второго — оставаться безучастным» *(66, 108 - 109)*.

Слово *посредник* здесь особенно значимо. Оно характеризует активное и продуктивное, деятельное (мужское) начало в системном положении Л. Н. Толстого по отношению к двум состояниям рутин-

ным, беспомощным: с одной стороны, городской (торгашеской, интеллигентской и иной) сволочи, могущей быть полезной голодным крестьянам только скоплением в городах продовольствия и денег, которые прежде и были забраны у этих крестьян и свезены в города; с другой же стороны — крестьянам, для которых рутина производственных и рыночных отношений и ряд «сословных» ментальных и психологических особенностей делали самостоятельное спасение от голода невозможным.

Великорусский пахарь взывал о помощи. Регулярно пере*жир*авшие города (вспомним кстати «Первую ступень»!) стали с того зова чувствовать себя хреново, наконец совершенно заболели совестью и — обблевались. В письме приблизительно от 23 ноября другому духовному единомышленнику, И. Б. Файнерману, Лев Николаевич, выражаясь весьма аппетитно и образно, констатирует, что volens nolens он «оказался распределителем той блевотины, которою рвёт богачей» *(66, 94)*. И чувствовал себя должным не выходить из этого положения.

Это чувство долга разделила с Толстым и верная спутница жизни, Софья Андреевна, не отступавшая от своего участия в общем деле помощи голодающим — несмотря на устойчивые симптомы расстройства здоровья:

«Я всё время тогда хворала, у меня делались удушья с сильным сердцебиением, шла постоянно кровь то носом, то горлом, и нервы дошли до крайнего расстройства. Но я не унывала, трудилась, выезжала, занималась детьми» *(МЖ – 1. С. 237)*. Лечить сытую и обыкновенно сонную городскую совесть потребовалось в эти дни и ей…

Конечно, получив то, что ей особенно желалось: свидание с мужем в Москве, — она почувствовала себя лучше, тем дав понять Льву Николаевичу, что наступили для него срок и возможность вернуться в Бегичевку. Он и сделал это, как только счастливо определилась судьба его статьи «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая» (слово «голод» стало в те дни нецензурным для печати). 10 декабря статья вышла в свет в сборнике «Помощь голодающим», изданном «Московскими ведомостями». Она привлекла восторженное внимание молодого А. П. Чехова, в письме к А. С. Суворину от 11 декабря хвалившего статью и автора её в таких выражениях:

«Толстой-то, Толстой! Это, по нынешним временам, не человек, а человечище, Юпитер. В “Сборник” он дал статью насчёт столовых, и вся эта статья состоит из советов и практических указаний, до такой степени дельных, простых и разумных, что, по выражению редактора “Русских ведомостей” Соболевского, статья эта должна быть

напечатана не в сборнике, а в “Правительственном вестнике”» *(Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 тт. Письма. Т. 4. М., 1976. С. 322 - 323)*.

Толстой же, покончив дела и публициста-практика, и отца-воспитателя, и мужа-успокоителя, ещё днём ранее, 9 декабря, выехал из Москвы. И он был счастливее по пути в вечно нищую и депрессивную российскую провинцию, нежели Софья Андреевна, остававшаяся в Москве, в условиях сытой роскоши и с многочисленными помощниками. Накануне отъезда, в письме от 8 декабря к А. А. Толстой, он выражал уверенность, что следующий месяц, который он проведёт в работах для голодающих, «будет один из самых счастливых» — «не счастливых весёлых, а счастливых значительных и удовлетворяющих» *(66, 107)*. Конечно же, он оказался прав!

Через два дня, 11 декабря, он уже писал жене первое в данном Фрагменте переписки послание (открытое письмо), остановившись на ночь в 18-ти верстах от Бегичевки, на хуторе Молоденки (Епифанский уезд), у не близкого, но зато давнего приятеля, Петра Фёдоровича Самарина (1830 – 1901), послужившего Л. Н. Толстому прототипом для предводителя дворянства в «Анне Карениной» и Сахатова в «Плодах просвещения».

Вот полный текст открытки:

«Пишу из Молоденок, куда мы прекрасно (чудная дорога и ночь, так что езда была удовольствием) доехали. Не успел написать тебе, и тоскливо всё о тебе. Тем более, что Таня сказала, что у тебя шла кровь носом. Неужели опять было дурно? Без ужаса не могу подумать, как тебе одиноко одной. Надеюсь, что и не будет припадков и, если будут, то ты с мужеством перенесёшь их. Насколько тебе нужно для мужества сознание моей любви, то её, любви, столько, сколько только может быть. Беспрестанно думаю о тебе и всегда с умилением.

Надеюсь, что письмо это придёт раньше обычной почты. Целую тебя, детей. Поклон всем.

Л. Толстой» *(84, 107)*.

Письмо следующего дня, 12 декабря, уже из Бегичевки, буквально даёт почувствовать, насколько оперативно и мощно включился Л. Н. Толстой в разрешение текущих вопросов и проблем — словно специально дожидавшихся его возвращения и не давших ему никакого отдыха с дороги. Ему некогда оказалось писать большое письмо

жене, и, как повелось уже в таких случаях, он сделал приписку к письму дочери Тани: даже не на самом её письме к матери, а на обратной стороне приложенного к нему одного из множества в эти дни крестьянских прошений: обращения поселенцев из села Кеми о содействии их передвижной библиотеке.

Вот полный текст этой приписки:

«Очень я занят практическими делами — нынче была отправка лошадей и приготовление к прокормлению лошадей на местах, на барде, при винокуренных заводах. Не знаю, как удастся. Кроме того, много дела, которое делаешь дурно — прямой помощи страдающим. Нынче, например, был в доме, где мать, внук 10 лет и мужик, все середь дня лежат на печи, а в комнате дух виден, и топить нечем. И боишься забыть про таких, потому что так много подобных. Мне хорошо, повторяю, если бы не беспокойство о тебе. [...] Береги себя. Пожалуйста, ходи гулять и помни про мою любовь.

Твой Л. Т.

Вышли, пожалуйста, им то, что они просят» *(84, 197 – 108)*.

Последнее замечание, конечно же, касается обращения крестьян о библиотеке.

Встречное, того же 12 декабря, письмо от Софьи Андреевны Толстой, частично посвящено впечатлениям от просмотра пьесы Л. Н. Толстого «Плоды просвещения» — которая, несмотря на вложенный в заглавие изначально сатирический смысл, стала в эти дни буквальным эквивалентом целого урожая свежих и вкусных плодов для голодных: ведь деньги за её постановки шли на помощь крестьянам!

Приводим ниже текст этого письма с незначительными сокращениями.

«Приезд <сына> Серёжи, милый друг Лёвочка, был, очевидно, по твоей инициативе, и я была тронута твоей заботой, и очень обрадована его приездом.

Сидим мы в Малом театре: София Алексеевна с мужем, Лизанька, Варя и я, шла утром генеральная репетиция «Плодов просвещения», вдруг в первом акте входит Серёжа. Всю пьесу просмотрели вместе. Идёт она не дурно, только мужики — особенно 3-й, — совсем не вышли. Фальшиво, не смешно, — очень досадно. Ведь когда Лопатин про курицу скажет, — все хохочут единодушно; а здесь даже не смешно совсем. Сцена в кухне очень хороша. Когда является повар,

то сцена выходит удивительно трагична; даже у меня одышка сделалась от волнения, но скоро прошла. Скучнее всех первый акт идёт, очень вяло. Петрищев и Кокó (толстый, белокуро-жёлтые волоса, похож на дворового) совсем не вышли. Вовó играл в меру и отлично. Профессор (Ленский) очень хорош. Барин с усами похож на отставного военного, но добрый и сдержанный — вышел. Вообще не чисто-аристократический тон, а скорее parvenus, [выскочки] желающие быть аристократами — и это не верно. В Туле и у нас шло много лучше и типичнее были люди, но здесь выручало сценическое искусство, привычка сцены, положений и т. д. Очень хорош был Григорий. Таня играла хорошо; но худенькая, минодировала [жеманилась] немного, слишком суетилась. Барыню очень утрировала Федотова. — Но вообще пьеса очень хорошая и весело её смотреть, хотя игры требует превосходной.

Серёжа просидел со мной весь остальной день; никто, кроме Нагорнова, которого Серёжа же вызвал по делу, не пришёл, и с ночным он уехал. Мы многое с ним переговорили, и он мне рассказал и о вас. Здоровье моё хорошо, никаких неприятных припадков не было, надеюсь, и не будет. Погода всё плохая, потому что ветер; у меня тут заболел артельщик инфлуенцей, и совсем не бережётся, всё выходит и видно не хочется помириться с нездоровьем; вот так-то умирают. Только один день пролежал.

Получила две телеграммы от Колички Ге, просит свидетельств на даровой провоз двух купленных им вагонов гороху по 1 р. за пуд. Одно я выпросила уже у Софьи Алексеевны и послала вчера, а за другим послала сейчас Алексея Митрофановича опять к Софье Алексеевне и пошлю Количке. Боюсь, что вы не скоро получите горох, так как с юга идёт всё очень медленно. Вчера послали все наши вещи, т. е. сукно, 100 ф. ваты, сухари, старьё и проч., даровым проездом в Клёкотки. Пошлите скорей за вещами, как только получите квитанции, чтоб раздать тёплые вещи шить и носить, пока холодно. — Голод всё распространяется, рассказывают ужасы.

Лёва пишет короткое письмо ещё из Самары, что здоров, видел губернатора, который обещает хлеб ему продать из земского склада; что голод ужасающий, что Иван Александрович поражён, и что страдает, глядя на всё это; что у Ив. Ал. очень доброе сердце, и ему это приятно. Ещё пишет о мужике вдовце, удавившемся от того, что не мог вынести вида своих трёх голодных детей. — Вот и всё.

Спасибо Маше за её ласковое письмо. Буду ждать с места, и не могу не беспокоиться, видя этот бич — инфлуенцу повсюду. Сегодня отпускают совсем Андрюшу и Мишу и обязывают привить оспу.

Везде паника в Москве, что появилась сильная оспа. То же и в других городах. — Ваничке прививать не буду; он её недавно отбыл, а Саше придётся. Что слышно у вас о болезнях? Тогда поговаривали об оспе, распространилась ли она? Вообще поберегайтесь, будьте осторожны и не рискуйте ничем. Очень скучно сделать детей всех больными насильно, ведь будут гореть, и всем придётся 9 дней и больше сидеть дома и беречь их. — Опять мы сидим одни совершенно и на верху, кроме залы, не освещаем нигде. Тишина эта мне очень приятна; я буду теперь по вечерам читать вслух с детьми, заниматься делами и сама читать. — Прочла рукопись Стёпы более половины, ужасно плохо написано, и не знаю, что ему и ответить. Есть очень бестактные места.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

«Воспоминания о гр. Л. Н. Толстом» С. А. Берса. Впоследствии были напечатаны в Смоленске в 1894 г. Рукопись сохранилась в яснополянской библиотеке. – *Р. А.* **]**

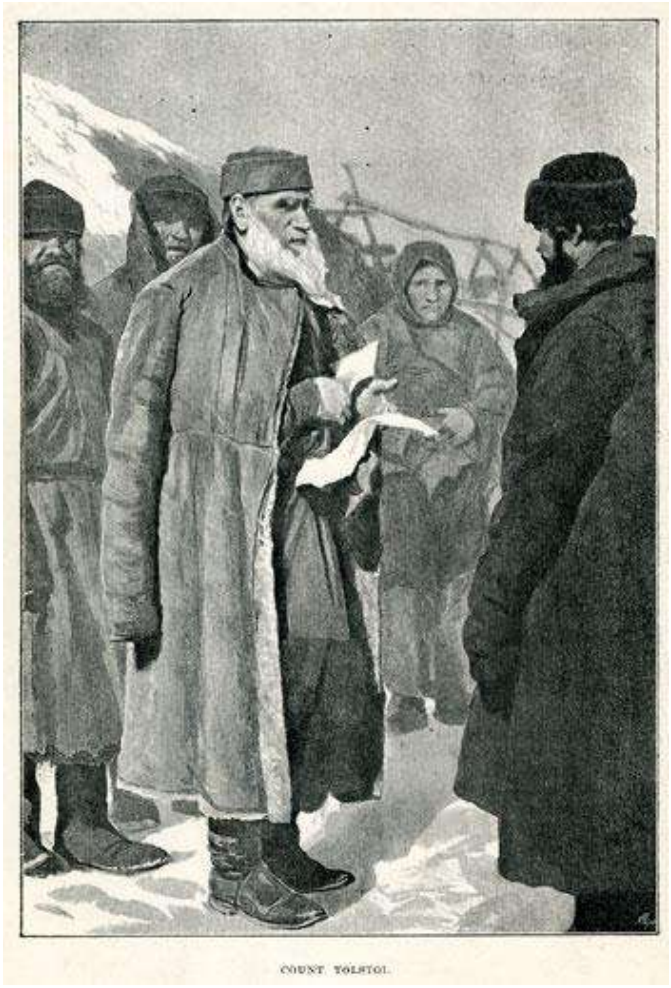
[...] Пожертвования без вас опять пошли: вчера получила от гр. Бобринского из Петербурга 628 рублей сразу. С «Плодов просвещения» — 2200 с чем-то рублей. Если нужно, и меня уведомят, то я пошлю за горох Количке.

Теперь больше нечего писать. Я отпустила вас этот раз бодрее, чем думала. Во-первых, не так на долго, и во-вторых, вы все были ласковы, — а мне это главное. Прощайте, целую всех вас и очень жду известий с места. — Как вы себя чувствуете нравственно? Бодро или нет? Как относитесь к отсутствию Ивана Ивановича? Жутко ли, трудно ли, или просто и только грустно, что его нет? Петя уехал.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 474 - 475).*

Чем ничтожней человек или общность людей, чем дурнее и малополезнее для Божьего дела в мире актуальные для этого человека или общности смыслы и образ жизни, чем удалённее они от истинного общего смысла человеческой жизни в Боге и во имя Царствия Его — тем больше пекутся такой человек или такое общество о выживании своём и таких же бесполезных своих отпрысков, о всяческой своей «безопасности». Тем настойчивей атакуют его или их сознание разнообразные, эгоистические в своей основе, фобии — так или иначе базирующиеся на религиозном *безверии*, на нежелании и неготовности поручить себя воле Бога. Такова типичная городская фобия ви-

руса — модной в ту эпоху «инфлуенцы», то есть гриппа — совершенно вирусно распространившаяся по Москве. Больше вреда причинял, как водится, страх, нежели само заболевание — страх особенно нелепый на фоне уже начавшейся тогда по голодающим деревням по-настоящему страшной, смертной эпидемии голодного тифа (позднее, весной к нему добавится и холера). В случае Софьи Андреевны — её страхи будто притянули в семью то, что было страшно, болезни: грипп для детей и очередное сильное душевное расстройство для неё самой. В последующих письмах данного Фрагмента она не раз будет жаловаться мужу на расстройство здоровья, связанное с этим самым «вирусом» городских буржуазных фобий России и всего лжехристианского мира.



Толстой беседует с крестьянами.
Фото И. Стадлинга. 1892 г.

На очереди письмо Л. Н. Толстого от 13 декабря:

«Давно от тебя нет известий, милый друг, скучно и жутко. Да что делать. Верно завтра, воскресенье, будет. — Одного не люблю, когда

в твоих письмах есть сдержанность, невысказанное. Это я сейчас чувствую и очень больно. Правда — лучше всего.

Мы все здоровы и очень заняты. И теперь ещё больше будем заняты с отъездом милого Чистякова. Мы все его полюбили очень. Да и нельзя. И кроткий, и умный, и деловитый человек. Все мы бережём друг друга и сами себя, и потому, по пословице, и Бог должен беречь нас.

Главный характер теперешнего периода столовых тот, что они стали популярны, и народ видит в них не одно средство покрытия нужды, но и средство поживиться. Много просьб от богатых принять членов их семей в столовые. И как сделана ошибка по одному, так их набирается куча. Борьба с этим возможна. И были случаи уже уменьшения числа и откидыванья излишних. Этим мы и заняты с одной стороны, а с другой увеличиванием, т. е. распространением столовых.

Нынче я был с тем молодым человеком, <Владимиром Васильевичем> Келером, который был у тебя (который оказался милым, и твоё суждение о нём верно), в деревне, в которой мы ещё не были, для открытия, по их просьбе, столовой. Староста оказался пьяным; пьян тоже сосед мужик, у которого умерло от тифа три человека и нынче жена, и кроме того оказалось, что указывали как на бедных на семьи, у которых 3 лошади, 2 коровы, 10 овец и пьют чай, и которых я застал выпивши в будни. Такое соединение дурного с жалким, что ужасно трудно разобраться. Я уехал, не открыв столовой, а между тем зная, что там есть много истинно страшно бедных. Надо поехать после. Третьего дня был в деревне: лежат середь дня на печи в чуть топленной избе мать, внук и сын, и лежат так целый день. Дров нет и купить не на что.

Самое утешительное в нашем деле это не общее дело расширения столовых, количество кормящихся людей, а отношение к этим отдельным лицам, как нынче к некоторым голым детям, которым можно дать одежду. Тюки, привезённые Наташей, оказались полны прекрасным платьем. Кто это прислал? Надо поблагодарить того, кто прислал. Наташа у нас с Вакой <домашнее прозвище Владимира Николаевича Философова. – *Р. А.*> и сейчас едет домой и везёт это письмо. Целую тебя, милый мой друг. И люблю тебя очень, очень.

От Лёвы было коротенькое письмо. Он здоров и очень деятелен. Целую детей.

Вели нам прислать газеты и сборник» *(84, 108 – 109)*.

Толстой имеет в виду всё тот же сборник «Помощь голодающим», в который отдал на публикацию статью «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая» и сказку свою из “народного” цикла «Работник Емельян и пустой барабан».

Обложка сборника «Помощь голодающим». *1892 г.*

Следующими по хронологии должны стать два письма Софьи Андреевны: от 14 и от 17 декабря. Текстом письма от 14-го мы не располагаем. В томе писем Л. Н. Толстого к жене цитируется из него одна строчка: «Конечно, мне дороже всего — твоё ласковое отношение ко мне, и детей тоже. Ты не беспокойся обо мне» *(Цит. по: 84, 110)*. И Толстой отвечает на него 18 декабря тоже кратким, по отсутствию времени и сил, посланием:

«Пишу буквально несколько слов, только чтоб ты видела мой почерк. Николай Яковлевич <Грот>, милый человек, тебе всё расскажет про нас. Всё хорошо: и материальное, и, смею думать, духовное. Топчемся, как белки в колесе, а результаты — дело Божее. Коншин тоже оказался премилый человек.

[ПРИМЕЧАНИЕ.
Александр Николаевич Коншин (1867 – 1919) — из семьи фабрикантов-мануфактуристов. Позднее принимал участие в переселении духоборов и в издательстве «Посредник». – *Р. А.* **]**

Еду сейчас в столовые около Писарева, и везу ему деньги, и хочу окончательно устроить Новосёлова с товарищами в этой стороне под его покровительством.

[**ПРИМЕЧАНИЕ**.
Михаил Александрович Новосёлов — в ту пору толстовец, а в далёком будущем — православный мученик в застенках большевизма, а после смерти — церковный «святой». Трудно сказать, в какой период жизни от него было больше толку. – *Р. А.*]

Не могу сказать тебе, как твоё последнее письмо <от 14 декабря> обрадовало меня.
Только, душенька, пожалуйста, пиши всю правду. Раньше срока приехать к тебе ничего не значит. Илюша <сын> тут и очень мил. При случае он может заменить меня.
Целую тебя и детей. *Л. Т.*» *(Там же. С. 109 - 110).*

Контрастом толстовскому служит довольно пространное письмо С. А. Толстой, писанное ночью, 17 декабря, как ответ на его письмо от 13-го, а также, одновременно, и как ответ на письмо дочери Тане (читали письма отец и дочери всё равно вместе). Приводим ниже основной его текст.

«Милые Лёвочка, Таня и Маша, спасибо, что так часто пишете; и меня тоже очень подбодряют ваши письма. Сегодня получила сразу твоё, Лёвочка <13 декабря>, и Танино. Но меня смутило, что возникло новое затруднение и неприятность — это устранять злоупотребления и находить, кто настоящий бедный. Я это вначале предвидела и удивлялась, что этого не было.
Пожалуйста, милый Лёвочка, не принимай этого к сердцу; естественно, что всем хочется ещё и ещё получше; и дурные, как и хорошие, всегда были и будут. Очень рада, что Илюша приехал; он заменит тебя в трудных поездках, закупках, разбирательствах и т. д. Меня очень часто мучает то, что *главой* авторитетной теперь без Ивана Ивановича, и даже без Чистякова, остался один ты, Лёвочка. Не измучай себя; ведь в практических делах тебе приходилось всегда разбираться с большим усилием.
Ты писала, милая Таня, присылать барышню. <Е. М. Персидская (1865 – ?), фельдшер, выразившая в письме к Толстому пожелание помогать ему на голоде. – *Р. А.*> Она не может раньше недели или

десяти дней выехать; была у меня и продолжает мне нравиться. Вопрос, насколько она будет *уметь*.

[…] Вчера я совсем с ума сошла: поехала утром на базар; заехала в карете, с лакеем, Марья Петровна Фет, уговорила и повезла Андрюшу и меня. Вот сумбур-то — этот базар! Миша предпочел ехать с monsieur на каток и, конечно, выиграл. На базаре народу — это ужас! Плечо с плечом стиснутая толпа, двигается едва по фуае Большого театра, где разукрашенные столы, палатки и всевозможные безделушки и товары, начиная с валенок, рукавиц, — кончая шампанским, куклами, книгами, мелочами, — торгуют аристократки светские и купеческие: графия Кёллер, m-me Костанда, Капнист, Трубецкая, Голицына, Глебова, Истомина, Стрекалова, Ермолова, Боткины, Алексеевы и пр., и пр., все с барышнями, молодыми людьми и детьми. Палатки — то в виде раковины в морской пене (шампанское), то китайский зонт, то всё черное с красным, то цветочный павильон, — так дико, что всё это для тех несчастных, которые забились на печке.

Когда я прочла про этих, меня заинтересовало ужасно, «что именно думают и чувствуют эти люди на печке, в холоде, не евши, похоронив трёх тифозных» и т. д. Ведь за все эти несчастия они должны были бы проклясть и судьбу, и Бога; или если не проклясть, — то усумниться во всём на свете, и, главное, в добре. Потому я верю, что радостно было одеть детей и раздать платья, вещи и пищу, чтоб хоть в ком-нибудь пробудить это добро.

Я хотела уехать с базара тотчас же, но я зависила от Марьи Петровны и потеряла в толпе Андрюшу… Марья Петровна, как попала в палатку своих купчих в бриллиантах, всех очень любезных и милых, так ей и не захотелось уезжать. А я села в большой зале около музыканта Преображенского полка (остальные ушли обедать), там было прохладнее, и с ним разговаривала. Потом, когда пошла искать Андрюшу, меня нарасхват стали зазывать […], зовут посидеть, отдохнуть. Я не зашла ни к кому, чтоб не быть нелюбезной к кому бы то ни было и уговорила Марью Петровну уехать.

[…] Базар этот я описала больше на Танин счет.

Второе моё сумасшедшее действие было то, что я вечером поехала с Аничкой, женой брата Саши, в театр, смотреть Дузе в «Dame aux Camélias». Это была моя давнишняя мечта. […] Дузе очень тонкая актриса, и её успех мне понятен, но даже в носу не пощипало, так всё искусственное для меня потеряло prestige [значение]. Теперь я успокоилась и никуда больше не поеду.

Результат был хороший, потому что ни одной ночи я так крепко не спала, очень уж устала. А как раз накануне я провела очень дурную

ночь: меня опять трясло, опять жутко, чувство умиранья, а заснула, — сейчас же проснулась оттого, что все струны в столовой заиграли; Monsieur говорит, что он тоже это слышал, пугался, зажигал свечи и не мог спать. Заснула опять; вдруг тёплая рука по лицу меня разбудила. Я опять зажгла свечу, сказала себе, что всё это нервы, а всё-таки пришло в голову, что это кто-нибудь из вас, отсутствующих, меня о чём-нибудь извещает или ласкает. — Потом через час опять заснула: вдруг шелест огромной бумаги. Тут вышло смешно. Встала, иду к мальчикам со свечёй; Андрюша со стены стащил географическую карту и закатывается в неё, как в простыню, сонный. Стащила я карту с него, это меня немного развлекло и потом к утру заснула. Теперь мне совсем хорошо, но я уже боюсь повторений и сегодня начала принимать бромистый калий.

Был у меня Чичерин, просто проведать; очень был мил и участлив. Был Глебинка Толстой, он рязанский, спрашивал, почему так дёшево обходятся столовые, ужасно пристал, сколько что стоит. Я не могла ему подробно рассказать. Он, говорят, очень добр и деятельно помогает голодающим. Но как недалёк!

[ПРИМЕЧАНИЯ.

Борис Николаевич Чичерин (1828 – 1904), юрист и философ-гегелианец; профессор государственного права Московского университета. Знакомый Толстого с 1856 г., его корреспондент и адресат. Переписка Толстого с Б.Н. Чичериным была опубликована впервые в 1928 г.

Глеб Дмитриевич («Глебинька») Толстой (1862 – 1904), сын Д. А. Толстого, министра народного просвеще-ния (1866 – 1880), министра внутренних дел и шефа жандармов (1882 – 1889), земский начальник в Рязанской губернии. **]**

[…] От Рафаила Алексеевича Писарева я получила два свидетельства Красного Креста на даровой провоз, а я не знаю, могу ли я с этими листами послать что-нибудь в Чернь. У меня тут пожертвованных платьев масса и 50 пудов пшеницы, и 10 пудов ржаной муки, и сухарей мешки. Не знаю, куда всё направить.

Принялась я и за свои дела, книжные и денежные, и ахнула, сколько дела. Я думаю, что я и ночь тогда провела такую плохую от усталости, всё писала с артельщиком и четвёртой доли не сделала. Сегодня опять принялась; пришла Соня Мамонова, посидела со мной, а потом Лиза с Машей. Может быть и к лучшему для меня, — но дело-то всё-таки *надо* сделать.

Мальчики, особенно Миша, очень шумны и пристают, то туда пусти, то сюда, спорят, и я очень сегодня рассердилась на Мишу. Беда без ученья. Взяла я им учителя, а у него отец умер, и он в Нижний уехал. Поливанов обещал другого. А сегодня я весь день дома, и занялась с Мишей: он ужасно плохо пишет по-русски. Целый час с ним училась. К вечеру они притихли и читали, сидели.

У нас туман и оттепель. Инфлуенца стала немного слабей, но ходят слухи, что люди всё впадают в *нону* (летаргию) — это свойство инфлуенцы, и теперь боятся хоронить. Одну девушку две недели не хоронили. А у нашей артельщицы отец в гробу на вторые сутки очнулся, это уж факт. Мать подошла к гробу, а он слабым голосом что-то сказал. Так и очнулся.

Вот сколько всего наболтала. Прощайте, мои милые, обо мне не тревожьтесь, я привыкла с собой ладить, а теперь бром поможет. Пишу всю правду. Только бы вас Бог хранил! Погода очень гнилая. Питайтесь лучше и не студитесь, и не утомляйтесь слишком. Очень всех вас, тружеников, крепко целую и люблю, и всё-таки жду к Новому году. Илюшу поцелуйте, молодец, что приехал.

С. Толстая.

Адрес для телеграммы вам, если я хворать буду, я приколола к стенке и всем показала. Это для Таниного успокоения, а я хворать не буду» *(ПСТ. С. 476 – 481)*.

Конечно, свидетельствует здесь жена Толстого только о *физическом* хорошем своём состоянии. Нервное же, а вероятно и психическое — было настолько под вопросом, что и сама Софья Андреевна, как видно из письма, снова беспокоится за него и употребляет лекарство.

Она не могла пока получить очередного письма от мужа: Толстой сделал после 13 декабря вынужденный перерыв. Но получила, естественно чуть позднее мужнина, пространное (на 12 страницах) письмо, тоже от 13 декабря, от сына Льва, из Самарской губернии, из голодной Патровки. Вечером 19 декабря она пишет небольшое письмо мужу — главным образом, о делах и о своём в эти дни тяжёлом состоянии здоровья:

«[…] Сегодня я совсем здорова, а вчера было плохо. Поехала в контору Юнкера продавать иностранные деньги, а тут же в третьем этаже Бергман, пожертвовавший 50 пудов пшеницы. Я зашла

узнать, могут ли ждать свидетельства Красного Креста на провоз. На лестнице толпа, покупают билеты выигрышные. Как вошла на третий этаж, — умираю, да и только, как во дворце <при аудиенции у царя; см. об этом 33-й Эпизод. – *Р. А.*>. Я крестилась, прощалась со всеми мысленно. Потом вошла, говорю швейцару: «воды». Он испугался, принёс. Я выпила, стала сердце водой холодной под шубой растирать. Через полчаса прошло. Теперь сижу, боюсь двинуться, и одна не поеду никуда, боюсь умереть где-нибудь. Пишу правду, как и просили.

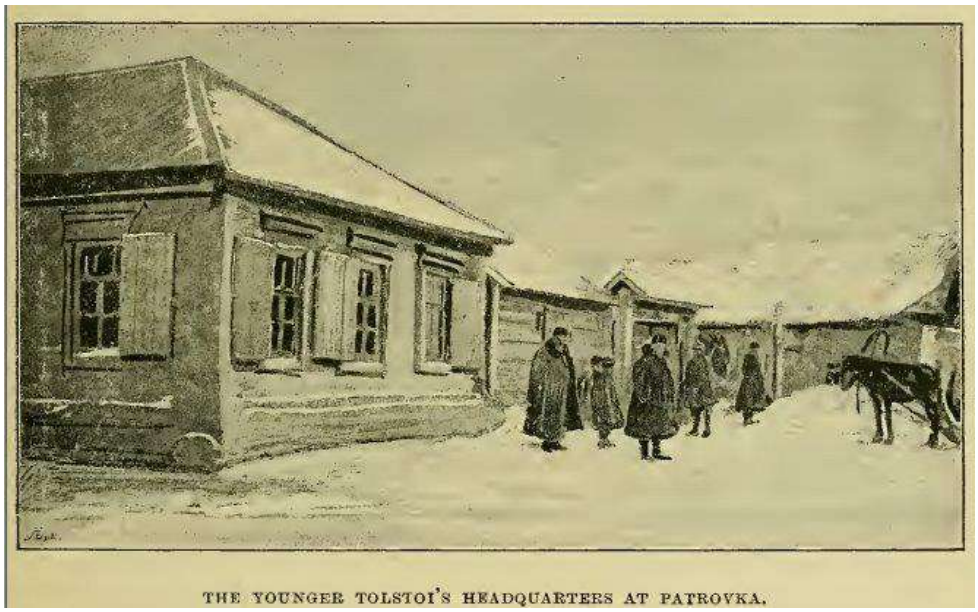
Получила длинное письмо от Лёвы. Он очень тревожен, не знает, столовые или раздачу устроить, ещё не решил. Ждёт хлеб.

Я думаю, мне от брома хуже, я бросила. […] Жду вас непременно к Новому году. У вас дела много, но передайте Раевским на месяц.

Прощайте, милые, боюсь, что расстроила вас; да как же быть, и самой жутко, хотя теперь совсем я хорошо себя чувствую. Немного одышка мучает. Оспа <прививка. – *Р. А.*> и у меня принялась; не она ли на меня действует.

С. Т.» *(ПСТ. С. 482 - 483).*

К большому неудовольствию отца, Лев Львович начал в Патровке прямые раздачи муки на хлеб — считая, вопреки отцу, столовые более дорогим вариантом помощи, а кроме того и не подходящим к критической ситуации в Самарской губернии. Позднее ему пришлось признать правоту отца и уже покойного И. И. Раевского в отношении столовых.


THE YOUNGER TOLSTOI'S HEADQUARTERS AT PATROVKA.

Штаб Л. Л. Толстого по оказанию помощи в селе Патровка.
Рисунок по фото Ионаса Стадлинга. 1892 г.

20 декабря Лев Николаевич отвечает наконец на «болтливое» письмо жены от 17-го. Пишет, что в деле помощи крестьянам «всё то же, значит, всё хорошо». Сетует на отсутствие подвалов для хранения прибывшего как помощь голодным импортного картофеля:

«…И он весь — десятки тысяч пудов — пойдёт на винокуренные заводы, а не на пищу людей. Ах, это винокурение. Пьянство не ослабевает. В деревне Ивана Ивановича, даже в двух, открываются кабаки, и нет возможности их запретить» *(84, 110 – 111)*.

Нашлось место и паре интимно-личных строк:

«Твоё письмо вчерашнее опять хорошее, успокоительное, но что-то ты уж слишком хвалишься своим здоровьем. Во мне запало сомнение: правда ли? Вижу тебя часто во сне. И теперь тороплю время, поскорее быть с вами. Целую тебя и детей. Видел очень живо во сне Агафью Михайловну. Жива ли она?» *(Там же. С. 111)*.

Старая «собачья гувернантка», служившая ещё *бабушке* Льва Николаевича, жившая в покое и почёте в яснополянском доме и славившаяся любовью к животным и особенно к собакам — Агафья Михайловна (1812 – 1896) была ещё жива. Трудно заключить, отчего явилась она Толстому во сне. Толкователи снов утверждают, что собака снится тому, кто испытывает потребность в согласии с кем-то, чьей-то преданности. Толстой недаром упоминает о сне именно в интимно-личной части письма. Конечно, он чаял единения и преданности в отношениях с женой! И не напрасно. Нет худа без добра! В письме к Н. Н. Ге-сыну, датируемом приблизительно 18 – 22 декабря, Толстой сообщает, что на деле кормления голодающих, которое «само по себе нехорошо, исполнено греха», он «сошёлся, как никогда не сходился, с женой» *(66, 117)*. И в Дневнике под 19 декабря записано: «Радость отношения с Соней. Никогда не были так сердечны» *(52, 59)*.

В Толстом, несмотря на демократические декларации, без сомнения сохранилось — и передалось, как субъективное восприятие жене — привитое воспитанием отношение к народу, именно к крестьянам, как к нуждающимся в опеке детям. А детей, как мы знаем, Соничка готова была любить до самозабвения. И дети, по глубочайшему её убеждению, было то *настоящее*, утраченное со временем, что связывало её с Львом Николаевичем. Помимо похоти, полового влечения, за утратой которого у мужа она наблюдала с ужасом, будучи уверена, что: «когда он отживёт совсем свою *любовную* жизнь со мной, он просто, цинично и безжалостно выбросит меня из своей

жизни» *(ДСАТ – 1. С. 212)*. Эта страшилка не сбылась, хотя, не разделив с мужем христианского исповедания, она до конца дней имела немало субъективных оснований для утверждения обратного.

Это не единственная, но очень важная причина состоявшегося согласия и единения супругов «на голоде». Другой была — конечно же, всё та же личная потребность в самореализации, в *разнообразии* доступных для неё, женщины в России, социальных ролей и сопряжённых с ними прав. Соединял супругов, как мы уже сказали выше, и непокой совести: невозможность пассивности в постигшей массу населения России беде.

Во встречном, от 20 декабря, письме мужу Софья Андреевна хорошо выразила эти субъективно-личные интенции: и опытной «деловой леди», участвующей в сложном благотворительном предприятии, и мамы, заботящейся о своих чадах, в числе которых оказались и голодавшие крестьяне, и старший её возрастом супруг. Любопытно, что, начав писать это письмо как ответ дочерям Тане и Маше, она вдруг заговорила в нём и со Львом Николаевичем — без прямого обращения, но несомненно видя его умозрительно — и получилось письмо уже троим. Приводим полный текст этого замечательного письма.

«Посылаю вам, милые Таня и Маша, всё, что вы просили с дамой, которая едет к Нате. Я только удивилась, что Маша выписала платье, когда вы так скоро приедете. Посылаю на праздник <Рождества> пирожок небольшой, сыр, сиг, хлеб, пряники, платье с подкладками и юбкой, пуговицы и шёлк; тетради, ситец Маше, сургуч и печать Андрюшина, а то у меня только одна.

Привёз ли или прислал ли Алексей Митрофаныч тебе, Таня, шелковую материю? Он ведь не едет в Самарскую губернию. Отберите у него Лёвины вещи. Туда едет Протопопов и сегодня будет у меня; могла бы с ним послать, такая досада. Протопопов едет в Николаевский уезд; я его ещё не видала. Факел я купила, было, чудесный, 4 р. 50 коп., горит 16 часов очень жарко, но он так и остался у Алексей Митрофаныча. Непременно возьмите у него, может быть, кто поедет в Самару к Лёве понадёжней.

Видела я Грота, он сообщил, что все здоровы, но очень смутил ненадёжностью *тёмных*. Говорил, что Новосёлов очень противен, ухаживает за Богоявленской; что Черняева тоже ненадёжна и крайне не симпатична. Ох! Не люблю я этих господ! Вот *не* тёмная Наташа или Лёва или Коншин — всё люди потвёрже этих шальных, и дела от них будет больше.

[**ПРИМЕЧАНИЯ**.

Богоявленская — Анна Николаевна Богоявленская, рожд. Андреева, жена Николая Ефимовича Богоявленского, земского врача в Лошакове близ Бегичевки.

Черняева — Мария Владимировна Черняева, училась на высших женских курсах Герье, по мужу Козлова (с 1902 г.). Сотрудница «Посредника».

Коншин — Александр Николаевич Коншин (1867 – 1919), из семьи фабрикантов-мануфактуристов. Позднее руководитель переселения духоборов в Канаду.]

Очень жаль, что Раевские не едут в деревню. Я очень на них надеялась, но это для меня новость, так как Алексей Митрофаныч писал, что они все едут 20-го или 21-го.

Вчера сижу я (третий вечер уже) с артельщиком свои дела делаю, входят Миша и Лиза Олсуфьевы; приехали для ёлки в школу и для бала (прислуги) всё закупать. Просидели со мной весь вечер и очень были милы и приятны. Была и Анненкова. Она неделю хворала.

Вчера я писала вам о своём нездоровье, сегодня я здорова. Грот советует перестать пить чай и кофе, что я и попробую, может быть одышка и сердцебиение угомонятся тогда.

Ездила я всюду по банкам от бестолковости Колички Ге. Переведи я ему за горох 1200 рублей в Кишинев на имя брата, через Волжско-Камский банк. Там не приняли, у Дунаева в Торговом — не приняли; в Купеческом — не приняли. Так и вернулась домой, не послала, а написала Ге. — Письмо Лёвы вам посылаю, очень интересное; привезите мне его назад. Да постарайтесь так устроиться, чтоб месяц тут пожить, я все дни считаю, сколько осталось до вашего приезда.

Сегодня метель и 11 градусов мороза. Что-то у вас делается? Живёшь всегда в каком-то напряжённом состоянии, где же быть здоровой! Но я *правда* сегодня совсем здорова и письмо моё о нездоровье получите *после* этого, я очень рада.

Сегодня рождение Миши, он позвал мальчиков в гости: Мартынова и Грота. Но кататься не пришлось; всё в мяч играли; очень уж холодно. В доме так ветер и ходит. А солнца мы тут никогда не видим, не то, что, бывало, в Ясной.

Трудно вам справляться, я думаю. Пожертвования пошли тише гораздо. Лёва умоляет прислать муки, да вы прочтёте, что он пишет. Целую всех вас. Если нельзя будет ездить и кончать дела перед отъездом, то, ради Бога, не рискуйте, не спешите, и лучше приезжайте позднее, только не простудитесь.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 483 – 484).*

Из «большой семьи», предмета своих забот, Софья Андреевна привычно исключает только несимпатичных ей «тёмных», толстовцев. Знай она, что в 1938 году от рук одних и тех же большевистских палачей будут гибнуть и «толстовцы», и «православные», включая отошедшего от толстовства и посмертно канонизированного в православии Михаила Новосёлова, — наверняка она была бы не столь субъективна в своих предпочтениях.

В письме от 21-го Софья Андреевна снова тоскует и сетует: и на публику, которая именно перед Рождеством стала прижимистей, желая тратить не на гибнущий народ, а на свои праздничные удовольствия, так что «пожертвования очень тихи, но есть ещё более 15 000 р.»; и на сына Льва, который «раздумал столовые», в чём и маме, и папе справедливо виделась его большая ошибка (скоро им осознанная и поправленная); и на то, что «вам теперь часто от меня письма, а мне от вас редко»; и на прививку оспы, от которой «вся рука распухла, рвёт, чешется, по ночам будит, под мышками железа распухли»… А радовали Соничку в эти дни: снизившиеся цены на рожь и горох; да новая помощница, могучая «барышня Персидская», прекрасная фельдшер и к тому же урождённая донская казачка, «милая, умная, энергическая и здоровая девушка»; а более всего — радовали, хотя и со слезами на глазах, мысли о скором свидании с мужем и детьми:

«Как ты себя чувствуешь, милый Лёвочка, и духовно и физически? Жили вместе — не ценили своего счастья, а теперь, как грустно! Очень надеюсь скоро увидаться и радуюсь этому» *(ПСТ. С. 485).*

Елена Михайловна Персидская оставалась с Толстым до 24 июля 1892 г., когда была вызвана в родные края на борьбу с холерой. За эти месяцы она не только вылечила бессчётное число крестьян, но и распоряжалась открытием и организацией работы многочисленных столовых и детских приютов. Почуяв родственную Софье Андреевне деловую хватку, Толстой доверял ей продовольствие, кассы и составление смет. Могучая и прекрасная «Элена» заменила ему на эти месяцы жену — которая по состоянию здоровья, конечно же, не выдержала бы ни столь напряжённого труда, ни самых бытовых и психологических условий проживания в Бегичевке.

У нас осталось по хронологии последнее в данном Эпизоде письмо Льва Николаевича к жене, основной текст которого мы и приводим ниже.

«Получили вчера ещё твоё письмо <от 20 декабря>, милый друг, через Протопопова. Протопопов приехал с другим г-ном <Л. А.> Обольяниновым. Оба они петербургские и плохо понимающие условия жизни, а вместе с тем возбуждённые отчасти фальшивым представлением о голоде и раздражённо осуждающие правительство. При том занятии делом, в котором мы находимся, это производит неприятное впечатление. Но они недурные люди, в особенности Протопопов.

Самое неприятное впечатление произвели мне письма Лёвы. Легкомыслие, барство и нежелание трудиться. — Я очень боюсь, что он совершенно бесполезно потратит там деньги жертвованные, чужие. Он свёл теперь дело на то, чтобы покупать и раздавать муку, т. е. делать то самое, что делает земство или администрация. Купить же рожь и раздать сделает земство или чиновники не хуже его, так что ему незачем и быть там. Проще передать деньги земству. Очень мне это жалко: и то, что деньги тратятся даром, и главное то, что он так легкомыслен и самоуверен. Я писал ему об этом и по почте, и с Протопоповым.

Посетителей у нас бездна. Накануне Протопопова был Леонтьев, тёмный, — приехавший из Полтавы, с деньгами на столовую. Нынче я его устроил в 15 верстах от нас, — самый дальний пункт в одну сторону. Новоселов, Черняева и Гастев, которых мне очень жалко, что ты так осудила <в письме от 20 декабря. – *Р. А.*>, они очень и очень хорошие, самоотверженные люди и работники, — уехали в другую сторону, тоже на самый дальний пункт от нас, за 15 же вёрст, и поселились там в избе, без чаю, молока, пищи иной, как та, которая в столовых, без постелей и т. п. Если будет хороша погода, я завтра проведаю их.

Потом 3-го дня приехала и вчера уехала одна Вагнер, сестра милосердия, выдержавшая курс сестёр Красного Креста, мать 17-летнего сына, готовая ехать повсюду с небольшими деньгами. […] Нынче приехала Эл[ена] Павловна. Очень она жалка и мила.

Я нынче ездил далеко верхом по столовым. Надо всё объездить перед отъездом. Всё идет хорошо, всё независимо от нашей воли расширяется. Третьего дня был в деревне, где на 9 дворов одна корова; нынче был в деревне, где почти все нищие. Я говорю нищие в том смысле, что это всё люди, не могущие уж жить своими средствами

и требующие помощи — не держащиеся уже сами на воде, а хватающиеся за других. Таких всё больше и больше.

Мы все здоровы и, кажется, не дурны. Я приятно и легко занят. Маша не совсем хороша, но плохого нет. Целую тебя и детей.

Пишу лениво, но это не значит, чтобы таково было чувство к тебе. Радуюсь его силе» *(84, 111 – 112)*.

Толстому было легче, чем Софье Андреевне, завершать год: погружённым в практическое дело, имевшее свои результаты, выразившиеся к Рождеству в открытии 70 столовых. Успев сколотить надёжную команду, сам Толстой теперь не боялся выехать из Бегичевки в Москву — дабы успокоить жену. Он исполнил это вскоре после написания последнего в 1891 г. письма к ней, и 30 декабря Соня радостно встретила его в Москве *(ДСАТ – 1. С. 218)*.

В тот год дни Рождества совершенно не порадовали москвичей погодой: из серых туч поливал холодный дождь. Под стать погоде было и настроение Софьи Андреевны. Вспоминая предыдущее, весёлое Рождество 1890 года, которое вся семья встречала вместе, в Ясной Поляне, она пишет 26 декабря грустное (и заключительное во всём данном, Тридцать Четвёртом, Эпизоде) письмо к мужу. Значительная часть письма посвящена, как и прежде, сетованиям: на запертые из-за праздника банки, отчего нельзя пересылать деньги; на задерживавшего важные бумаги (вероятно, ушедшего в рождественский запой) рязанского губернатора Кладищева; на то, наконец, что дождь, погубив дороги, наверняка задержит приезд мужа и детей: «…и боюсь радоваться вашему приезду, всё ждёшь что-нибудь плохое» *(ПСТ. С. 487)*.

Глубоко трогательна интимно-личная часть письма:

«Сегодня второй день праздника и очень тоскливо без всех вас, милые друзья. Хожу из комнаты в комнату, всех всё напоминает и никого нет! Особенно о Лёве беспокойно. Он пишет, что в Самарской губернии и у них там повальный тиф и инфлуенца. Отправлены врачи, сёстры милосердия и фельдшера от Красного Креста. А Лёва так подвержен этим горячешным болезням!» *(Там же. С. 486)*.

К сожалению, и это недоброе предчувствие Софьи Андреевны материализовалось не добром. В мемуарах несчастливая мать вспоминает:

«Озабочивал меня больше всех тогда мой сын Лёва, которому душой посылала свой материнский привет и о котором постоянно молила Богу. Жил он в то время в упразднённом кабаке, был окружён тифозными и впоследствии сам схватил тиф, оставивший тяжёлые следы на его здоровье и на ослабевшем организме» *(МЖ – 2. С. 242)*.

В 1891 – 1892 гг. Лев Львович Толстой организовал работу в Самарской губернии более 200 (!) столовых и спас от верной голодной гибели десятки тысяч крестьян. Их молитвами он и сам был “вытащен с того света”, но… смертный тиф, тяжелейшие психологические стрессы и общее изнурение организма катализировали в нём иные расстройства, вероятнее всего генетически перешедшие от мамы. К осени 1892 г., по свидетельству родового биографа Толстых С. М. Толстого, «здоровье его ухудшилось, он потерял аппетит и сон, его мучили слабость, боли в животе и тоска». Поведение «нервное, раздражительное» чередовалось с депрессивными состояниями, отягчёнными общими с мамой, но ярче выраженными функциональными расстройствами: «головной болью, нерешительностью, болями в животе». Припадки агрессивные чередовались со слезливо-истерическими и мрачно-депрессивными. Завершая грустную тему, С. М. Толстой повторяет, вероятно, позднейшее заключение какого-то врача, с которым он мог беседовать, о том, что заболевание Л. Л. Толстого «было результатом расстройства соматической нервной системы. Этот тип болезней выявлен в наши дни, но в те времена врачи не могли объяснить их природу» *(Толстой С.М. Дети Толстого. – Тула, 1994. – С. 139 – 141)*.

Л. Л. Толстой и П. И. Бирюков в Патровке. *1892 г.*

И ещё кое-что, из того же письма С. А. Толстой от 26 декабря:

«Вчера была у нас плохенькая ёлка, но дети остались довольны. Пришла Наташа Оболенская, артельщиковы малыши и маленькие Фридман <дети учительницы музыки Е. Н. Фридман. – *Р. А.*>. Андрюша всем распоряжался. Соня Мамонова и Стёпина Машенька тоже были. Обед тоже был для меня грустный. В прошлом году в Ясной все были вместе, и Маша с Эрдели были, и на ёлку ребят пустили. Всё это я с грустью вспоминала, и всё больше и больше остаётся в прошедшем; как куст с цветами или яблоня с плодами — так жизнь: осыпаются цветы и плоды, и всё голее и голее дерево и, наконец, совсем засохнет» *(Там же. С. 487)*.

Как не вспомнить здесь запись из дневника Софьи Андреевны Толстой от 15 мая 1891 года:

«Весна во всём разгаре. Яблони цветут необыкновенно. Что-то волшебное, безумное в их цветении. Я никогда ничего подобного не видала. Взглянешь в окно в сад и всякий раз поразишься этим воздушным, белым облакам цветов в воздухе, с розовым оттенком местами и с свежим зелёным фоном вдали» *(ДСАТ – 1. С. 185)*.

Запись из блаженных, прекраснейших дней весны, когда не было голода, а была прелесть цветущего яблочного сада и робкая, как всегда с оглядкой, с недоверием к миру — но всё же её попытка радоваться весне и жизни, надеяться на лучшее… Как на плоды великолепно цветущего сада. Увы! Это «лучшее» опять и снова не сбылось. И картина сада, уронившего плоды свои и облетелого — печально перекликаясь с процитированной выше записью дневника Софьи Андреевны — становится красноречивым символом всей тяжести для них обоих уходящего года и всей мрачности вероятных перспектив года нового, 1892-го.

Конец Второго Фрагмента

КОНЕЦ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Тридцать Пятый.

ЦАРЬ ЛЕВ ПРОТИВ ЦАРЯ ГОЛОДА

(4 февраля – 26 июля 1892 года)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК

21 ноября 1891 года в письме, отправленном в Бегичевку, Н. Я. Грот сообщив о «мерзостях», творящихся в Петербурге вокруг дела о голоде, назвал Л. Н. Толстого «духовным царём», на которого возлагаются все надежды лучших людей России в это трудное время (*см.: Опульская Л.Д. Лев Николаевич Толстой. Мат-лы к биогр. с 1886 по 1892 г. М., 1979. – С. 251 – 252).*

И это не было хвалебным преувеличением, а было правдой. Даже противу рожна поначалу (не желая, как мы помним по предшествующему Эпизоду, участвовать в благотворительности при помощи денег), но Толстой *естественно* для человека христианского сознания и христианского же религиозного понимания жизни, выстраивал систему своих, по поводу голода, отношений с общественным окружением таким образом, что неизбежно духовно влиял на множество современников — способствуя делу Бога и Христа в мире. Пусть и внутри государства, пусть для большинства только на время, но он собирал их в христово братство — в Церковь истинную, способную не только благотворить трудом, а не мирскими неправедными богатствами, но и духовно противостоять слугам мирских насилия и лжи. Развитие этой системы в последующие десять лет несомненно дало почувствовать российской имперской сволочи всю опасность этого духовного влияния Льва Николаевича для возлюбленного ими государства Российского: потому что верно понятое христианство Христа несомненно противостоит *всякому* государству: как на уровне религиозного христианского понимания жизни, разоблачающего давно отжитые суеверия низшего, языческого и еврейского, жизнепонимания, так и на уровне общественного устройства жизни, в котором закон насилия должен быть отменён законом любви, и разбойничьи гнёзда государств, разделяющих людей ради власти над ними, долженствуют быть побеждены единою Церковью Христа и прямым безгосударственным общинным самоуправлением.

Хорошо известно суждение о Толстом в дневнике писателя, журналиста и театрального критика А. С. Суворина (1834 – 1912), записанное им 29 мая 1901 г., вскоре после публичного «отлучения» Толстого от православного лжехристианства:

«Два царя у нас: Николай II и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой несомненно колеблет трон Николая и его династии. [...] Новое время настаёт, и оно себя покажет. [...] Хоть умереть с этим убеждением, что произвол подточен и совсем не надо бури, чтоб он повалился. Обыкновенный ветер его повалит» (*Суворин А.С. Дневник. М., 2015. С. 314 – 315).*

К сожалению, слишком мало людей последовали за духовным царём Львом — и революционной «бури» России избежать не удалось. Нам, однако, важно в этом суждении Алексея Сергеевича признание *политического* значения духовного авторитета Толстого-христианина.

Авторитет этот, как мы уже показали, повлиял, сколь было можно, и на ближайшее окружение Льва Николаевича: на его жену и детей, на его духовных единомышленников (среди которых, заметим, не было Владимира Черткова — во всяком случае, в предприятиях, вредных для его жизни и здоровья). Все вместе они составили, как в шутку их называли тогда, «министерство Льва Николаевича Толстого» *(Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого: В 4-х тт. М., 1923. Т. 3. С. 185).* Совершенно особенное по важности министерство — раз уж заведовал им не простой министр, а сам Духовный Царь России!

Если в начале 1891 г. в деятельности Софьи Андреевны в связи с определением судьбы «Крейцеровой сонаты» и «Плодов просвещения», ещё превалировал интерес личный и семейный, в том числе денежный, то в «голодном» деле, начатом осенью этого же года, она уже — пусть и не единомышленница мужа во Христе, но активнейшая, инициативная и талантливая союзница и соратница, вдохновлённая и окрылённая духовным авторитетом мужа... и одновременно — жена, заботливая о здоровье любимого мужа. Год 1892-й явит это союзничество без общей веры в не менее ярких и исторически значимых формах, нежели предшествующий.

Особенность переписки второго Бегичевского, и Тридцать Пятого в общем счёте нашей книги Эпизода Переписки супругов Толстых — большая интенсивность эпистолярного диалога. Со стороны Л. Н. Толстого в указанный нами в заголовке хронологический период было отправлено 51 послание, включающее в себя письма простые и открытые, телеграммы и приписки к письмам других адресатов. Со стороны Софьи Андреевны — известно о, по крайней мере, 46 письмах, лишь 29 из которых доступны нам в полных текстах. Но если значительная часть писем, приписок к письмам, телеграмм Тол-

стого совершенно или преимущественно «технические» по содержанию, т.е. посвящены решению текущих вопросов обеспечения голодающей местности, то письма Софьи Андреевны содержат так же много материала, освещающего повседневную жизнь семьи Толстого в Москве и в Ясной Поляне, проблемы Софьи Андреевны и детей со здоровьем, её отношение к разнообразным персоналиям (включая Владимира Черткова, на новом конфликте с которым мы задержим внимание читателя особо). Конечно же, при наличии значительного массива второстепенного материала мы будем, как и выше, делать *выборку* наиболее значительных мест из писем супругов, но, как и прежде, предпочтём по возможности приводить их тексты в полном виде.

Фрагмент 35.1.
МИНИСТЕРСТВО ЛЬВА ТОЛСТОГО
(4 февраля – 12 марта 1892 г.)

Итак, мы оставили Льва Николаевича в предыдущем Эпизоде в момент его отъезда в Москву, к семье, с которой он пробыл с 1 по 23 января 1892 г. По этому поводу С. А. Толстая отмечает в мемуарах: «Прожили тогда со мной в январе Лев Николаевич и дочери Таня и Маша целых три недели, и я отдохнула немного душой…» *(МЖ – 2. С. 249)*. Не без удовольствия наблюдала она, что муж, приобретя опыт практической организации сложнейшего дела, стал с иными критериями подходить к людям, и прежнее отношение к единомышленникам по вере так же изменилось: «…Я замечала, что Льву Николаевичу как будто привычнее, легче и приятнее было общение с людьми обыкновенными, своего круга, и исчезла та узость и упорство, которые были в нём раньше. Добрее, проще принимал он все впечатления города, семьи и событий» *(Там же)*.

Находясь в Москве, Толстой тяготился «суетой, праздностью, роскошью, тщеславием и чувственностью московской жизни» *(Дневник, запись 30 января; 52, 61)*. Все три московские недели он продолжал путём переписки руководить деятельностью столовых и закупкой продовольствия.

По окончании трёх недель Софья Андреевна выехала в Бегичевку вместе с мужем, так как, по собственным её словам, «решила сама поехать посмотреть на месте, как производится помощь голодающим и как там живут все мои» *(Там же. С. 252)*. Уже в дороге, в поезде, ей стало плохо: её раздражили разговоры мужа с пассажирами

то такой степени, что «сделался нервный припадок, удушие», сменившиеся, как обыкновенно, припадком депрессивным. К сожалению, такие болезненные состояния повторялись и в дни пребывания Софьи Андреевны в Бегичевке, чему способствовала, конечно же, и обстановка села: «Дом мрачный, природа скучная, степи, река замёрзшая, лесу нет. И везде горе, несчастье, голод, слёзы… Столовые производили отрадное впечатление. Но когда я видела всё это, на меня всё-таки находило отчаяние невозможности помочь этой громадной безнадёжной нищете, и делалось тоскливо на душе» *(Там же. С. 254 – 255, 257)*. Измучив своей тоской и себя, и Льва Николаевича со всею командой помощников, 3 февраля Софья Андреевна «грустно рассталась» с мужем, который, видя её нездоровье, «очень мучился» необходимостью расставания *(Там же. С. 257)*. На следующий день, 4 февраля, он адресовал ей в Москву довольно пространную приписку к письму М. Л. Толстой — первую в данном Эпизоде переписки. Приводим ниже основной текст.

«Мучался о тебе, милый друг, вроде как в тот вечер о наших девицах. Только дай Бог, чтобы так же напрасно. Нынче получил от <ссыпщика хлеба> Ермолаева выписку и сводил счёты и писал деловые письма, и считали с конторщиками. Всё вполне уяснил и мог бы тебе похвастать.

[…] Утомляют и мучают попрошайки. А нынче я решил насчёт дров; и с завтрашнего дня будем выдавать записанным, более чем 200, семействам записки на дрова. […] Нынче я убедился, что эта нужда ужасная и что попрошайничество очень путает представление о действительности нужды.

Сейчас написал письмо Тулинову о горохе, который он просил у нас, и, между прочим, желая подбодрить их, высказал то, что сам чувствую. Много есть тяжёлого, и самое тяжелое это попрошайничество, недовольство, требовательность, зависть и т. п. И мы на это досадуем. Нам кажется, что всё должно идти гладко, ровно, без тяжести борьбы и напряжения, — не напряжения труда (его не много нужно, и он лёгок), а напряжения доброты, насколько её есть; а как же это может быть, когда находишься в исключительном положении и делаешь исключительное дело. Всё кажется — и нам так казалось сначала — что это что-то вроде partie de plaisir; [прогулки;] но чем дальше входишь в дело, тем тяжелее, и попрошайничество есть показатель исключительного положения.

Ох! как ты доехала! Не было ли у тебя мрачных мыслей? У меня нет. И если вспомню о тебе, то проходят, и чувствую только грусть, что тебя нет. Прощай, голубушка, целую тебя и детей.

Л. Т.

Узнай о льне [...]. Завтра поеду, если хороша погода, в Андреевку <село в 17 км. от Бегичевки. – *Р. А.*> о соломе и тамошних столовых» *(84, 114 – 115)*.

Положение Софьи Андреевны в общем деле помощи голодающим — как жительницы Москвы — определило её судьбу: участие в этом деле (а позднее, по причине возрастания известности и авторитета) и множестве других общих с мужем исторических предприятий — поневоле более активное и тяжёлое, связанное с массивом разнообразной, атакующей её сознание, информации. Как следствие, именно её письма будут снова, как и в предыдущем Эпизоде, много более информативны и источниково ценны для нас, но потребуют и существенного комментирования.

Таково и самое первое в данном Эпизоде, встречное, от 4 февраля, письмо Софьи Андреевны: уже из Москвы, то есть, очевидно, написанное сразу по прибытии. Главная тема письма — очередной подлый выпад журналистов газеты «Московские ведомости» против Льва Николаевича. Мы остановимся на этой теме подробнее ниже, в комментарии к письму С. А. Толстой от 12 марта, так же посвящённому в основном клевете «Московских ведомостей».

Приводим основной текст письма от 4 февраля.

«Милый друг, на всякий случай пишу тебе на Клёкотки, может быть, будет случай. Таня лежит от известных обстоятельств и потому завтра не может выехать. Я очень её уговариваю ехать просто на Клёкотки, и она, кажется, склоняется. Доехала я благополучно, спала хорошо. В Москве сегодня страшная, именно без преувеличения, *страшная* метель. Что-ты вы все делали и как провели день? Хотя и Ваничка ласкается очень приятно, и мальчики мне рады, и жизнь здесь удобнее и легче, но мне жаль было тебя оставлять. От этой поездки во мне вдруг перевернулось чувство досады и недоброжелательства к тому, что ты всех нас бросил и уехал от нас, — на чувство сожаления к тебе и сочувствия к твоей тяжёлой, но, конечно, несомненно полезной деятельности. Я увидала, как тебе трудно и далеко не весело, и как невозможно теперь всё это оставить.

Первое впечатление в Москве — это общий крик и стон о «Московских ведомостях». Таня, Вера — из Петербурга, Стаховичи три: мать и две дочери, Алексей Митрофаныч и пр. — все с разными рассказами, которые передадут и тебе. Таня видела Суворина, просмотрела

en regard [наглядно сопоставляя] статью у Грота с «Московскими ведомостями» и Суворин телеграфировал, чтоб напечатали моё опровержение. Пришёл утром Грот, он больше всех хлопотал в Петербурге, и очень умно. Носил гранки, с которых переводил Диллон, — к Плеве, показывал о смысле, как *поднимется народ;* эта фраза всех с ума свела, и её никто не понял, а он всем толковал. Государь, будто, сказал Александре Андреевне: «Посмотрите-ка, прочтите, что наш с вами «protegé» [любимец] написал». Очень будет досадно, если государю не объяснит никто этой клеветы «Московских ведомостей». Ещё рассказывали, будто тебя хотели водворить <т.е. с позором, с полицией выслать по месту жительства. – *Р. А.*> в Ясной Поляне, но что государь сказал: «Толстого не сметь трогать». Всё это пересуды. Но что государь своим добрым сердцем чует всегда правду — это я уверена. Про Диллона говорят, что он ненавидит Россию и нарочно прибавил злое к твоей статье, едва заметное, но ехидное. Вот Таня тебе это всё расскажет. Грот удивительно мил и предан тебе всей душой.

Гостей сейчас — мальчики Раевские, Коля Оболенский, Соня Мамонова и Машенька Стёпина. Дети легли, я устала, иду спать. Как здоровье Наташи, целую Машу свою, Вере и Елене Михайловнам мой дружеский поклон, и тебя обнимаю.

[…] Я тебе советую взять ещё помощника прямо себе, чтоб меньше работать; а то тебе слишком трудно. Напиши ответ мне; присылай скорей обратно то, что посылала почтой Таня: английские деньги, объявления на моё имя, Лёвины письма. Ну, прощай.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 488 – 489).*

Комментатор сборника писем С. А. Толстой, вышедшего в 1936 г. уверен, что причина отклонения царём от Толстого ожидавшихся репрессий заключалась не в добром сердце императора Александра III, а исключительно «в том, что он учитывал силу общественного мнения, которое было на стороне Толстого. То, что правительство не тронуло Толстого, объяснялось популярностью последнего» *(ПСТ. С. 489. Комментарии).* Рискнём предположить, что истина в данном вопросе… приблизительно посередине. Софья Андреевна пересказывает в мемуарах слова императора так: «Толстой меня предал моим врагам англичанам, а я его жену принял». И ещё, по поводу подтасовок и лжи “Московских ведомостей”: «Меня не интересует эта подлая газета, а интересует *мой* Толстой» *(МЖ – 2. С. 259).* В то же время хорошо известно и высказанное императором нежелание,

сделав из Толстого мученика, «обратить на себя всеобщее негодование» *(Цит. по: Бирюков П.И. Указ. изд. Т. 3. С. 175)*. Так что в решении Александра III оставить доносы «Московских ведомостей» без последствий сказались разнообразные факторы: безусловно и авторитетность «духовного царя» России, но в то же время и неприязнь царя к журналистской лжи, и добрые воспоминания от общения: литературного, через книги и театр — с Толстым, а приятнейшего, как мы помним, личного — с его супругой.

От последующих дней, 5 и 6 февраля, мы располагаем только письмами Л. Н. Толстого, являющимися, однако, по выводу комментаторов, ответами на два неизвестных письма Софьи Андреевны (*см. 84, 115 и 116)*. Первый из ответов, от 5 февраля (№ 483 в томе писем) — совсем краткая приписка к письму М. Л. Толстой:

«Как обрадовало меня твоё письмецо, не могу тебе выразить. Мы очень осторожны и тихи. Я нынче утром хорошо писал. Целую тебя и детей» *(Там же. С. 115)*.

«Хорошо писал» — вероятнее всего, трактат «Царство Божие внутри вас», в котором Толстой “увяз” на годы.

Следующее послание Толстого — вполне самостоятельное, в отдельном конверте, письмо, но тоже достаточно краткое, в основном о текущих делах. Приводим в начале Эпизода такое письмо Л.Н. Толстого целиком — как образец многих подобных в дальнейшем, которые мы будем уже пересказывать и сокращать.

«Сейчас 8 часов утра четверга. Яков Петров <Я. П. Шугаев, приятель Раевских. – *Р. А.*> едет в Москву и пришёл спросить, не будет ли письма. Вчера мы писали тебе, и с тех пор ничего нового. Мы здоровы, бодры. Нынче хотели ехать — я в Куркино (Ефремовского уезда), много там дела, и проведать Гастева, который один; а Маша в Осиновую Гору <деревня Данковского уезда, в 15 км. от Бегичевки. – *Р. А.*>. (Они вчера кидали жребий с Верой Михайловной <Величкиной>, кому ехать, и вышло Маше). Но опять метель, и придётся дожидаться. Вчера стали выдавать записки на дрова. Вчера получили Танино письмо и твоё, и объявления на посылки. Вероятно, Танина там. Был вчера у Наташи. У неё всё жар. Теперь покойно, что Софья Алексеевна там. — Новосёлов тоже всё болен. Теперь зубами. Маша всё спит. Целую тебя, Таню, Веру и детей.

Вероятно, теперь будет оттепель. Это бы хорошо для Таниной поездки.

Л. Т.» *(Там же. С. 116).*

Упомянутая Вера Михайловна Величкина (1870 – 1918) работала с Толстым на голоде как врач. Впоследствии она написала об этой работе воспоминания «В голодный год с Львом Толстым» (опубл. впервые в 1912 г.).

Вера Михайловна Величкина

Стоит заметить, что оба письма из Бегичевки были отправлены не по почте, а «с оказией». Это стало часто практиковаться Толстым: у него было теперь много помощников, приезжающих и отъезжающих из Бегичевки, и письмо было, с кем послать — минуя почтовую контору.

Софья Андреевна, судя по всему, отправила мужу от 6 февраля *два* письма, текстом одного из которых мы располагаем:

«Написала на Клёкотки и пишу ещё в Чернаву, чтоб вы не беспокоились. <Дочь> Таня и Вера <Кузминская> выедут завтра в ночь и прямо уж к вам. У Веры железы распухли, и Таня первый день совсем здорова. Приехали <из Бегичевки> Поша <П. И. Бирюков> и

<И. Е.> Репин. Вчера до трёх часов ночи сидел М. Стахович. Измучили меня толки о статье «Московских ведомостей». Таня пишет, что был собран в Петербурге комитет министров и решили тебя выслать за границу, но что государь отменил и сказал: «предал меня врагам моим», и будто очень он огорчён: — «И жену его принял, ни для кого этого не делал». — Погубишь ты всех нас своими задорными статьями; где же тут *любовь и непротивление*? И не имеешь ты права, когда 9 детей, губить и меня и их. Хоть и христианская почва, но слова не хорошие. Я очень тревожусь и ещё не знаю, что предприму, а так оставить нельзя. Буду осторожна и кротка — это будь спокоен. Целую тебя и Машу.

С. Т.» *(ПСТ. С. 490)*.

Как видим, в этом письме (и, вероятно, в двух предшествующих, не опубликованных, от 5 и 6 января) выразилось неспокойное состояние Софьи Андреевны, вызванное слухами о возможных репрессиях против Толстого как автора статьи «О голоде».

Стиль статьи «О голоде», как мы и отмечали во вступительном очерке к предшествующему Эпизоду, действительно, местами «задорен». Но в целом Соничка, как, впрочем, и император Александр III, пеняют на Толстого совершенно напрасно. Он не «губит» ни себя, ни семью, а, обличая общественные неправды орудием слова — не нарушает и христианского закона непротивления злому насилием. «Губить» могла только Российская империя, как все империи — духовная наследница римлян, убийц Христа. И оправдать себя в этом государство Российское может и по сей день — только опираясь на *нехристианское* массовое сознание и общественное мнение в России, на массовую этатистскую *суеверность* обитателей России.

Пенять и царю, и жене следовало бы, прежде всего, на цензуру — запретившую полезнейшую, особенно нужную в создавшейся в стране обстановке статью Толстого, но в то же время допустившую её распространение в искажённых отрывках и пересказах. Конечно, такие тексты могли быть восприняты и как политическая прокламация Толстого. На деле же обращена статья «О голоде» была к *совести* городских дармоедов — не менее жёстко обличая их, нежели написанная Толстым несколькими годами ранее «Сказка об Иване-дураке», по сей день “не перевариваемая” в своём идейном содержании городской интеллигентской сволочью. Не местью ли тайной, в числе прочего, и за неё были выпады «Московских ведомостей»?

Софья Андреевна понимала всё это. Она, одна из немногих в России, могла прочесть *и* полный текст статьи мужа, *и* настоящие прокламации радикальных пропагандистов тех лет… которым она, судя по приводимым ею в мемуарах их отрывкам, даже *отчасти* сочувствовала: потому что *на деле* познала в 1891-93 гг., какова цена общественного активизма в России, стране неуёмной имперской паранойи, всеторжествующего неуважения и недоверия власти к собственным гражданам:

«Правительство смотрело на дело помощи голодающим очень несочувственно. Чего-то боялись, всему мешали, а сами в правительственных сферах, очевидно, не справлялись с помощью народу» *(МЖ – 2. С. 249)*.

А где лукавство, скрывание, подлое изворачивание, враньё — там рядышком традиционно и воровство:

«Дело помощи обставлено так, что нельзя быть уверенным, доходят ли пожертвования по назначению. Правительство охраняет безгласность злоупотреблений и делает невозможным обличение администрации…» *(Там же. С. 250)*.

Это — цитата из прокламации петербургского «Свободного слова» за январь 1892 г., приводимая Софьей Андреевной в мемуарах. Но под этими словами она готова была бы подписаться. Люди, присылавшие ей деньги для голодающих, часто сопровождали свои посылки записками такого характера:

«Прошу принять в ваши *чистые* руки для дела помощи народному бедствию…

Или ещё, при переводе в 33 рубля:

«Чтобы эти скромные средства не стали ещё скромнее в руках хищников, которых за это время так много развелось на Святой Руси, мы решили послать эти деньги именно Вам, многоуважаемая Софья Андреевна, как особе, вполне заслуживающей доверие общества…» *(Там же. С. 251)*.

Как видим, чиновным «закромам родины» умное меньшинство населения России доверяло в конце XIX столетия не больше, чем сто лет спустя, чем в наши дни… да и поделом!

Итак, Софья Андреевна на самом деле *сочувствовала* мужу, в особенности понимая, что критика его самая умеренная: по содержанию, хотя, увы, не по «задорному» стилю. Но страх за мужа и детей от этого не становился меньше. Его подогревали разнообразные слухи, вызванные скандалом, раздутым «Московскими ведомостями»:

«Были слухи, что Толстого хотят водворить безвыездно в Ясной Поляне, но что Государь строго приказал Толстого не трогать никак.

Брат Стёпа писал мне из Витебска, что ходят слухи о ссылке Толстого в Соловецкий монастырь. Сестра ещё писала мне из Петербурга, что был собран Комитет министров, на котором решено было выслать Льва Николаевича за границу» *(Там же. С. 259)*. Сестра и её муж, А. М. Кузминский, предупреждали в письмах довольно мутно о некоей *опасности*, грозящей всей семье Л. Н. Толстого, если он немедленно не опубликует опровержения на публикацию в «Daily Telegraph». Этим “заботливая” родня достигла лишь того террористического эффекта, которого не могла достигнуть глубоко презренная Софье Андреевне газета: она заболела и слегла с невралгией, как раз тогда, когда готовила уже было новую поездку в Петербург «для личного объяснения с властями» *(Там же. С. 260)*. Пришлось ограничиться письменными сношениями.

Написанное в ночь на 8 февраля к мужу письмо вполне передаёт нервозное, мучительное и суетливое состояние Софьи Андреевны:

«Весь нынешний день провела в писании писем: министру внутренних дел, Елене Григорьевне Шереметевой <урожд. гр. Строганова (1861—1908), внучка Николая I, дочь вел. кн. Марии Николаевны. – *Р. А.*> и в «Правительственный вестник». Помог мне в составлении письма в газету Грот. Но вряд ли где и что-либо напечатают. А вместе с тем я беспрестанно слышу и читаю угрожающие слухи. Сегодня получила письма от Александра Михайловича Кузминского и от Тани. Оба с участием и каким-то отчаянием пишут мне о какой-то опасности, умоляют меня *скорей* действовать, вызывают в Петербург. Но дипломатично умалчивают, в чём именно опасность? Я сегодня чуть не уехала в Петербург с курьерским поездом. Но боюсь детей оставить и боюсь нервного удара, так как затылок, висок, все скулы странно и напряжённо болят. Весь день вздрагиваю и жду, что вот, вот известие придёт, что сделают с нами что-нибудь не хорошее. Будет нечто очень печальное: тебя сошлют, у меня будет удар, и дети останутся одни. И за что, подумаешь! Как же не нашли в этой статье ничего предосудительного, когда читали её в цензуре для журнала Философии? Неужели объяснение «Московских ведомостей», что это революционное движение, могло переменить суть её? Что может наделать злоба людей!

Написала, как могла, всюду. Но не довольна письмами. Слишком я взволнована, чтоб хорошо и умно действовать. Если б мы были все вместе, всё легче бы было! — Пишите мне, милые друзья, чаще, и если будет случай, даже телеграфните раз, что вы все там и благополучны. Мне смешно вспомнить, Лёвочка, что ты беспокоился о

том, что я *озябну*. Если б ты знал, насколько хуже и ужаснее то состояние, в котором я теперь, — всякой простуды и болезни.

[…] О себе ты ничего не пишешь, надеюсь, что ты здоров. Сегодня вечером была у меня m-me Юнге и помогала мне писать. Если б не она, кажется, с ума бы сошла одна. […] Прощайте, милые друзья, не могу больше писать, скоро два часа ночи, а я уже столько писала! […] С. Толстая» *(ПСТ. С. 491)*.

13 февраля министр внутренних дел Дурново ответил Софье Андреевне отказом: «При всём желании исполнить Вашу просьбу, я затрудняюсь допустить обнародование доставленного мне Вами опровержения, по той причине, что оно, вызывая по существу своему вполне основательные возражения, несомненно породит дальнейшую полемику, весьма не желательную по соображениям, до общественного порядка относящимся» *(Цит. по: Там же. С. 492)*.

В ответе от 11 февраля отказала в публикации и правительственная газета. И, как всегда было и есть в подлой, дрянной, сволочной стране России, только обращение «по знакомству» и «по блату», а именно к могущественной графине Е. Г. Шереметевой, имело результат: та, выждав удобный случай, дала почитать царю *настоящий*, не искажённый, текст статьи Л. Н. Толстого «О голоде» *(МЖ – 2. С. 260 – 261)*. Конечно, Софья Андреевна была недовольна собой: «Слишком я была взволнована, чтобы умно и хорошо действовать» *(Там же. С. 261)*.

Контрастом всей этой нездоровой катавасии — очередное, от 9 февраля, письмо из Бегичевки Л. Н. Толстого, твёрдо и спокойно продолжавшего своё христианское служение:

«Третьего дня ездил в Ефремовский уезд, в Куркино. Погода была очень дурна, дождь. Я доехал до купца Сычёва и, помня твои наказы, остался ночевать. Прекрасно спал, купил солому, устроил, что нужно было для корма там лошадей, и вернулся вчера благополучно, повидав Гастева и столовые тамошние, в которых многое неправильно было.

Дома у нас англичанин Стевени, возвращающийся из Самары от Лёвы с хорошими известиями о нём. Он здоров и хлопочет.

Дело всё видоизменяется и растет. Но труда особенного нет. Помощники много и хорошо работают. Вчера я купил 1000 пудов проса для переделки в пшено и для корма лошадей отходом. Всё это поручил Григорию Фёдоровичу Кузнецову <кучер у Раевских. – *Р. А.*>, и

тот прекрасно действует; свёл счеты на мельнице и осмотрел и исправил столовые.

Ещё хороший, кажется, будет помощник <Фёдор Алексеевич> Страхов.

Вчера получил твоё письмо обо всех толках по случаю статьи «Московских ведомостей». Всё это пройдёт и забудется, и чем скорее, тем лучше. Мы же давай содействовать тому, чтобы это скорее забылось, т. е. молчать об этом. От Грота очень хорошее письмо. Скажи ему, что благодарю его за добрые речи. Разумеется, чем добрее, тем лучше.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

В письме к Толстому от 30 января Н. Я. Грот писал, что ему приходится «ежедневно спорить и защищать» Толстого от нападок в петербургских аристократических кругах. – *Р. А.***]**

[…] Что, он не думает приехать к нам? — Таню сейчас ждём. Она приезжает, а англичанин уезжает.

Маша едет в Чернаву за почтой и по дороге открывать столовые в двух деревнях. С ней едет Страхов, которого мы помещаем в Скопинск[ом] уезде. — Я очень хорошо думаю последнее время, и на душе хорошо. Целую тебя и детей. — Пишу, торопясь. Постоянно тебя теперь вспоминаю.

Л. Толстой» *(84, 116 - 117)*.

Помощь голодающим, пересекшаяся с подобной же деятельностью иностранных благотворителей — добавила Толстому знакомств и популярности среди иностранцев и сделала невозможным на все последующие годы столь желанное императору Александру III и российским властям изолированное положение Л. Н. Толстого-публициста и общественного деятеля. Красноречивый тому пример — визит к отцу и сыну Толстым Джеймса Уильяма Барнса Стевени (James William Barnes Steveni, 1859 – 1944). Он жил в Петербурге ещё с 1887 года — официально как учитель английского. Но именно с 1892 года (и до самого 1917-го!) он активно сотрудничает с лондонской газетой «Daily Chronicle», собирая материал о жизни в России. Отчего-то он особенно интересовался политическим положением в России и состоянием вооружённых сил; его обобщающая, в виде книги, публикация на эту тему вышла в Лондоне в 1914 г. («The Russian army from within»), как раз накануне Первой мировой войны. Это наводит на ряд размышлений о реальном статусе в России этого «мирного»

учителя английского языка и газетного корреспондента… в особенности в связи с обиженной репликой императора Александра III о том, что Толстой-де стакнулся с врагами России — англичанами.

Но Толстой ни с кем не «стакнулся», и искренне был убеждён, что принимает у себя в московском доме 18 января, а 8 – 9 февраля в Бегичевке — именно обыкновенного иностранного корреспондента, изучающего проблемы России, связанные с голодом и организацией помощи голодающим. В этом же был уверен и Л. Л. Толстой, принимавший гостя в Патровке *(см.: Толстой Л.Л. В голодные годы. – М., 1900. - С. 69 – 70)*. Гость, кстати говоря, возил с собой фотоаппарат и сделал ценнейшие, исторической значимости, снимки… оригинальные негативы которых, однако, тут же отправил своим заказчикам в Англию. В том же 1892 г. вышла в Лондоне книга Стевени «Through Famine-Stricken Russia», куда вошли все материалы его корреспондентских очерков. А уже в 1917 г. в № 80 «Anglo-russian Liberary Society Proceedings» он публикует «Personal recollections of Count Tolstoy in 1891 and 1892».

Куда «прозрачней», очевиднее, честнее были новые помощники Толстого, упоминаемые им в письме — Пётр Николаевич Гастев (1866 – ?) и Фёдор Алексеевич Страхов (1861 – 1923).

Выпускник Тверской духовной семинарии, Гастев не разделил с товарищами слепой веры в учение «православия», а примкнул к «толстовцам», жил в Новосёлковской общине Дугино в Тверской губ. и в общинах Кавказа, а ещё — был, как и Толстой, огромным поклонником личности и взглядов тверского крестьянина-сектанта В. К. Сютаева. К 1891 г. он сошёл с ума, и с марта по август 1891 г. содержался в Бурашёвской лечебнице близ Твери. Покинув её, он конечно же незамедлительно приехал в Ясную Поляну — для личного общения с Львом Николаевичем, духовным единомышленником и учителем. В сентябре 1891 г. П. И. Бирюкову Толстой писал: «Гастев был в больнице, а теперь совсем здоров и очень милый — наивное и чистое дитя» *(66, 38)*. Конечно же, такое «дитя» не могло не оказаться полезнейшим помощником в Министерстве Добра Льва Толстого — Духовного Царя России! Впоследствии Гастев стал автором мемуарных записок «На голоде с Л. Н. Толстым в Рязанской губернии» и «Лев Толстой и голод» (Нижний Новгород, 1912).

Ещё более яркая, колоритная персоналия среди «министров» Льва Николаевича — Фёдор Алексеевич Страхов, известный как писатель, как религиозный мыслитель (разумеется, «толстовец») и даже как музыкант. Упоминавшиеся выше в письмах супругов Толстых Клёкотки (в то время в Ефремовском уезде Тульской губ.) были родовым имением Страховых, так что даже свои салонные романсы и пиески

для фортепиано Фёдор Алексеевич подписывал псевдонимом «Клёкотовский». За 1892 г. при личном участии Ф. А. Страхова в Рязанской губернии было открыто семь столовых — и это, безусловно, было важнейшим и полезнейшим из всего того, что он сделал к тому времени в своей жизни.

Фёдор Алексеевич Страхов

Продолжение скандальной истории с толстовской статьёй — в письме С. А. Толстой от 10 февраля:

«Милые друзья, сейчас вернулась из Нескучного, где имела длинный разговор с великим князем <Сергеем Александровичем> по поводу статьи «Московских ведомостей» и просила, чтоб он приказал напечатать в газетах моё опровержение. Он очень интересовался ходом дела, но помочь он мне ничем не может. Очевидно, как он и говорил мне, ждут опровержения от тебя, Лёвочка, в «Правительственном вестнике», за твоей подписью; в другие газеты запрещено принимать, и желание это идёт от государя и любя тебя. Негодование на «Московские ведомости» очень большое и недовольство, главное, не на тебя, а на то, что твоим именем *взволновали умы*. И, чтоб их успокоить, нужно официальное опровержение твоё. Я поняла так, что если б твоё опровержение было и лживое, чего, конечно, никогда быть не может, то оно всё-таки необходимо, потому что из тебя, к которому Государь имел такое доверие, сделали какого-то революционера. Вспомни письмо двух петербургских студентиков, которые написали тебе, выражая своё недоумение. И это недоумение везде. По словам и тону великого князя я поняла, что напряжённо ждут все

от тебя несколько слов объяснения, что ничего пока не предпринимают, но что, если это объяснение не появится, тогда.... Вот это-то и ужасно. И объяснение, как он мне дал почувствовать, не для того, чтобы *тебе* оправдаться, а для того, чтоб в такое время успокоить поднявшееся недоразумение публики и уличить, уничтожить «Московские ведомости».

Провожая меня, великий князь сказал: «очень благодарю вас, графиня, за ваше посещение». Потом прибавил: «я слышал, что вы так много трудитесь, что на вас так много возложено обязанностей; во всём вы одна».

Теперь вот что: напиши, милый друг, несколько слов: а именно: «что в иностранные, периодические издания ты ничего не посылал, ни писем, ни статей, что на основании отказа своего от авторских прав, ты разрешаешь и разрешил и Диллону переводить свои сочинения, что статья, о которой поминают «Московские ведомости», была предназначена для журнала философии и психологии, но что её перефразировали и придали ей совершенно несвойственный ей характер — «Московские ведомости». Всё это будет правда, умеренно и кротко. Ради Бога, сделай это, успокой меня; я живу теперь в таком ужасном состоянии. Какая-то судьба нацелилась на мою жизнь, чтоб её уничтожить. Я не сплю, не ем и измучилась более, чем когда-либо. Более всего смутили меня письма Кузминских супругов, которые пришли уже после отъезда Тани.

Сегодня Ваничка всю ночь прокричал. Очевидно, у него невралгия. Болят *щёчки*. До пяти часов ни я, ни няня не спали; я уж шаталась, со мной просто дурнота делалась. Сегодня он встал в девять часов утра и весел; я даже пустила его гулять, так как погода удивительная: ясно, тихо и слегка морозит. Все остальные дети здоровы и веселы. Вчера мальчики ездили на Патриаршие, а сегодня все дети ходили на Девичье Поле, где ещё мало народу, и Ваничка, с уговором принять хинин, купил себе шар.

Всё бы хорошо, если б не эта туча над нами. И чувствуется, что несколько слов от тебя её рассеют, и совершенно.

Сейчас обрадовал меня англичанин Стевени письмом от тебя, милый Лёвочка. Он совершенно разделяет моё мнение о твоём опровержении, т. е., что оно *необходимо*. За что вводить в заблуждение и грех умы слабые, могущие усумниться в истине твоих убеждений? За что смущать студентиков и других любящих тебя людей.

Если в будущем письме твоём я найду твоё письмо в газету, или увижу подписанным тот листок, который прилагаю, я приду в такое радостное, спокойное состояние, в котором давно не была, если же

нет, то, вероятно, поеду в Петербург, пробужу ещё раз свою энергию, но сделаю нечто даже крайнее, чтоб защитить тебя и истину, а так жить не могу.

Поздравляю Машу со днём её рожденья после завтра; целую её, Таню и Веру. Как-то они доехали? Рада, что их видел англичанин целыми и приехавшими. Напишите об акушерке, Таня знает, нужна ли она будет? Посылаю переводы и письма из Англии; едет в Тулу Александра Ивановна Бергер <сестра И. И. Раевского. – *Р. А.*> на свиданье с сестрой Маргаритой Ивановной, которая вам всё и передаст.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 492 - 494)*.

Таково письмо С. А. Толстой от 10 февраля. Следующее за ним письмо от 11-го достаточно малоинтересно: посвящено примерно наполовину вопросам с деньгами и накладными на продовольствие, со свидетельствами Красного Креста на бесплатную перевозку грузов, а в другой части — подробностям кончины Анны Петровны, жены художника Ге. Есть и хорошие очень интимно-личные строки:

«Таня, Маша, Вера, — все мои милые девочки, как живёте? Какое нынче было солнце весеннее, чудное! Небо синее, лужи — совсем весна. Мне вспомнилась наша прошлогодняя мирная, яснополянская жизнь, как мы цветы по окнам сеяли, как птицы на подоконниках чиликали, как лес хорош там и всё ясно, чисто, и очень жаль стало той жизни» *(Там же. С. 496)*.

В продолжение же главной темы предыдущего письма Софья Андреевна пишет следующее:

«Великий князь был, говорят, после моего визита у Истомина и говорил: “мне так жаль графиню, она так волнуется, а ведь нужно только несколько слов от графа, и Государь, и все мгновенно успокоятся”. — Видно, напряжённо ждут этого. — И я жду для своего покоя» *(Там же. С. 495)*.

Конечно же, для любящего мужа достаточно было и того, что ждёт жена. Уже 12 февраля он пишет необходимые письма и жене, и в «Правительственный вестник» *(см.: 84, 118; 66, 161 - 162)*. Через два дня, 14 февраля, делая объезд деревень, Толстой из Богородицка отсылает и жене текст своего опровержения — записанный, видимо, по черновику и несколько отличающийся от посланного в газету *(84,*

119 - 120). Поэтому мы пропустим письмо Л. Н. Толстого жене от 14 февраля и приведём ниже его письмо от 12-го жене и, как более точный вариант текста, отправленного 14-го Софье Андреевне — письмо редактору «Правительственного вестника».

Письмо от 12 февраля к С. А. Толстой:

«Погода превосходная и мы хотим воспользоваться ею, чтобы съездить в Богородицкий уезд…

Как мне жаль, милый друг, что тебя так тревожат глупые толки о статьях «Московских ведомостей», и что ты ездила к Сергею Александровичу. — Ничего ведь не случилось нового. То, что мною написано в статье о голоде, писалось много раз, в гораздо более сильных выражениях. Что же тут нового? Это всё дело толпы, гипнотизация толпы, наростающего кома снега.

Опровержение я написал. Но, пожалуйста, мой друг, *ни одного слова не изменяй и не прибавляй,* и даже не позволяй изменить. Всякое слово я обдумал внимательно и сказал всю правду и только правду, и вполне отверг ложное обвинение.

Студенты мне очень помогли.

Целую тебя и детей. Л. Т.» *(Там же. С. 118)*.

И письмо Толстого в газету от 12-го:

«Г-ну Редактору «Правительственного Вестника».

Милостивый Государь,

В ответ на получаемые мною с разных сторон и от разных лиц вопросы о том, действительно ли написаны и посланы мною в английские газеты письма, из которых приводятся выписки и содержание которых будто бы излагается в № 22 «Московских Ведомостей», покорно прошу Вас поместить в Вашей газете следующее моё заявление.

Писем никаких я в английские газеты не писал. То же, что напечатано в № 22 «Московских ведомостей» мелким шрифтом, есть не письмо, а выдержка из моей статьи о голоде, написанной для русского журнала, выдержка весьма изменённая, вследствие двукратного и слишком вольного перевода её сначала на английский, а потом опять на русский язык. То же, что напечатано крупным шрифтом вслед за этой выдержкой и выдаётся за изложение второго мо-

его письма, есть вымысел. В этом месте составитель статьи «Московских ведомостей» пользуется словами, употреблёнными мною в одном смысле, для выражения мысли не только совершенно чуждой мне, но и противной всем моим убеждениям.

Примите, Милостивый Государь, уверения моего уважения.

Лев Толстой» *(66, 161 – 162)*.

Мелким шрифтом «Московские ведомости» опубликовали искажённые выдержки из статьи Л. Н. Толстого «О голоде», крупным же — свою произвольную трактовку этих неверных текстов.

К письму Л.Н. Толстого от 14 февраля с текстом письма-опровержения в черновой редакции Софья Андреевна сделала такое примечание: «Письмо это “Правительственный вестник” отказался напечатать на том основании, что полемика не допускалась в этой газете. Посоветовавшись с Н. Я. Гротом, я дала отгектографировать 100 экз. письма Льва Никол[аевича] и разослала в 30 периодических изданий, из которых многие его напечатали» *(Цит. по: 84, 120)*.

О том же — первая часть довольно пространного письма С. А. Толстой к мужу от 16 февраля, начинающееся предупреждением:

«*Не читай вслух.*

Спасибо, милый друг Лёвочка, что послал письмо в «Правительственный вестник». Хотя мне Сергий Александрович и говорил, что желательно бы было, чтоб ты сам написал опровержение в «Правительственный вестник» и что это *успокоило бы умы и удовлетворило вполне Государя*, но бог их знает, напечатают ли. На *моё* возражение, которое я послала, Случевский, редактор «Правительственного вестника» мне отвечал, что «Правительственный вестник» полемических статей не принимает. Истомин же говорил, что это *закон*. Чего, может быть, и не знал вел. кн. Сергий Александрович. Ну, да всё равно. Шереметева покажет моё письмо к ней Государю. Это через Павла Ивановича велела мне передать Александра Андреевна и через Кузминских. Сегодня получила от Дурново письмо в ответ на моё, что *моё* опровержение, в виду дальнейших толков, напечатать нельзя. Я теперь успокоилась. В московском свете взяли такой тон: «La pauvre comtesse, comme elle est dérangée», [«бедная графиня, как она взволнована»] и т. д. Вчера мне передали, что великая княгиня мне очень сочувствует и велит мне сказать, чтоб я не беспокоилась,

qu'il n'y a rien, *rien* à craindre». [«нечего, совершенно *нечего* бояться»] Второй раз на *rien* [«нечего»] делается особенное ударение. Это Олсуфьева передавала, для передачи мне. Я была у Ермоловой на её субботе и много было народу. — Теперь завтра пост, и я с радостью уйду опять в свою скорлупу, из которой и не вышла бы нынешний год, если б не вся эта глупая история. — Но на долго ли спокойствие? Теперь всегда живёшь, вздрагивая нравственно; вот-вот опять что-нибудь начнёт тебя бить.

Таня кому-то в Москве сказала: «как я *устала* быть дочерью знаменитого отца». — А уж я-то как устала быть *женой* знаменитого мужа!

[…] Я письмо в «Правительственный вестник» послала сегодня же, и расписку получила; письмо я очень одобрила» *(ПСТ. С. 496 – 497).*

К 19 – 22 февраля относится очень большое, даже уникальное в корпусе проанализированной нами переписки, *четырёхдневное* по времени писания письмо С. А. Толстой, в котором, в числе множества иных тем, идёт речь об отказе «Правительственного вестника» и решении по этому поводу Софьи Андреевны и Н. Я. Грота:

«Грот вчера <20 февраля> советовал послать твоё письмо, Лёвочка, во *все* редакции в России. Где-нибудь, да напечатают, тогда другие газеты имеют право перепечатать. Грот думает, что в "Вестнике Европы" решатся напечатать. Тут говорят, что расстроенная молодёжь рвёт твои портреты и т.д. Вот, что жаль, и вот что следует восстановить» *(Там же. С. 505).*

Как следует из вышеприведённого примечания Софьи Андреевны к письму мужа от 14 февраля, восстановление репутации Л. Н. Толстого обеспечили сразу несколько газет. Но это, как мы увидим из дальнейшего, не было завершением скандальной истории.

Теперь всё-таки возвратимся к хронологическому порядку представления здесь переписки супругов Л. Н. и С. А. Толстых. Приводим ниже другие значительные части из письма С. А. Толстой к мужу от 16 февраля, а следом — его ответ от 18-го.

«…На меня нашло беспокойство, что Маша наладила настойчиво ездить сама в Чернаву. Не затеяла ли она тайной переписки с Петей? Это очень не желательно. Что ещё из этого выйдет, а она всю жизнь проводит в этих тайных амуретках, которые лопаются так же, как шары у детей, а на неё налагают ничем не изгладимые пятна и

упрёки совести, если она у ней есть, в чём сомневаюсь, так как люди с совестью *не обманывают*, и всё делают открыто и честно. — Если я ошибаюсь, что она *тайно* переписывается, я прошу у ней прощения: но ведь она меня уже столько раз обманывала!» *(Там же. С. 497 - 498).*

Духовная близость дочери Толстого Марии Львовны к отцу вызывала стойкую неприязнь к ней матери, проявлявшуюся, в числе прочего, в желании «уличать» дочь в отступлении от нравственных устоев в отношениях с мужчинами. На деле ни одно из увлечений Маши не было в те годы ни глубоким, ни длительным, включая краткое сближение с П. И. Раевским, сыном покойного И. И. Раевского, которого добросердечная Маша очень жалела. Толстой к середине февраля 1892 г. уже давно замечал это сближение (уже и сходившее к тому времени на нет), но не придал ему того гипертрофированного значения, которое придавала неприязненная в отношениях с дочерью мать.

«Насчёт Маши ты хотя и не ошиблась, но я к удовольствию своему вижу, что это проходит. И пройдет, не оставив следов» — сообщает жене Толстой в своём ответе 18 февраля *(84, 122)*. Так и вышло.

Ещё из письма от 16 февраля, уже обычные новости и выражение беспокойства жены и матери:

«Это письмо везёт Павел Иванович <Бирюков>. Мне его теперь жаль и я его по-старому люблю и уважаю. Куда-то вы его определите? Не исполнит ли он твою мысль о столовых в Самаре? Хорошо бы, если б он заменил Лёву, а Лёва засел бы за экзамены в университете и не уходил бы из оного. Но, пожалуй, это безнадёжно; вышел из колеи. Я вообще о Лёве и его планах ничего не знаю и не пойму.

Ваша поездка продолжает меня тревожить, какие она будет иметь последствия. Мы с Пошей <Бирюковым> так и ахнули, когда прочли, что ты «поел блинов». Ты раз чуть от них не умер в феврале же. Самый плохой месяц для желчных болезней. Мне с самой Бегичевки нездоровится, часто стало под ложечкой болеть; пожалуйста, не запускай себя, берегись и ешь осторожно.

[…] Ваничка всё бегал и искал, что послать «барышням». У него были фисташки, он их все высыпал, потом выпросил у меня ещё что-нибудь и велел написать: «от Вани барышням». Пусть они не побрезгают его коробочкой и вниманием.

Вчера был танцкласс, и дети в азарте учили мазурку. Миша, потанцовав у Свербеевых, только и бредит танцами; всё выделывает па, а Андрюша на него глядит с некоторой завистью, что он *пропустил*. У Андрюши пять дней горло красно. Жару нет, но он не может выходить и очень скучает. — У них добронравные мысли к посту: учиться хорошо, получить *отличное* поведение, есть постное и т. д. — Саша здорова, Ваня тоже, поёт всё утро, играет и радуется жизни» *(Там же. С. 498)*.

И далее снова «деловая» часть письма: о пожертвованиях, о закупках и перевозке продовольствия, дров… Деньги заканчиваются, и Соничка предупреждает мужа: «Не советую распространяться, пожертвования совсем остановились» *(Там же. С. 501)*. «Распространяться» здесь означает: расширять сеть столовых и других пунктов помощи. В конце же письма следуют, в качестве резюме, вопросы, на которые Софье Андреевне необходимо получить ответы, и приписка для дочери Тани.

Благодаря обоюдному использованию супругами по сю пору актуального в России почтового ресурса под названием «оказия» (т. е. пересылка писем и мелких грузов *с кем-то*, а не по почте), Лев Николаевич уже 18 февраля имел возможность ответить на это письмо жены следующим:

«Получил нынче утром твоё письмо с Пошей и очень рад был и тому, и другому. Особенно рад, что ты успокоилась. Я не мог беспокоиться, потому что знал, что не сделал ничего особенно дурного; в том смысле, что дурное я всегда, к сожалению, делаю, но с этой статьёй ничего не сделал и, главное, не хотел сделать дурного и ни в чём не каюсь, и потому и беспокоиться не мог.

Вчера мы были очень деятельны, все вечером писали письма, так что всех было готово к отправке 32 письма, из коих моих 20, да ещё большинство иностранных. Нынче утром была выдача, а потом Таня с Верой поехали открывать столовую, на своём хлебе, в Полевых Озёрках <в Епифанском уезде, 10 км. от Бегичевки. – *Р. А.*>, а Маша ездила в Орловку <в 8 км. от Бегичевки> и принадлежащие к ней столовые, чтоб привести всё в порядок после Кузнецова, которому я, как ни тяжело было, отказал.

Столовые на своём хлебе <с земской выдачи. – *Р. А.*> приходят в порядок. Их желают и просятся в них. И хотя и жалко видеть, как дети идут туда с маленьким ломтиком хлеба, да ещё с лебедой, нельзя давать хлеб тогда, как они получают по пуду на душу, а рядом в

Скопинском уезде по 15 фунтов, из которых половина скверные отруби. Третьего дня <Фёдор Алексеевич> Страхов открыл там 5 столовых в новом селе. Нужда там большая, и вчера Таня […] осмотрела деревню, где надо открыть [столовую] и куда я поеду завтра с Пошей.

Поездка наша удалась очень хорошо. Лёва расскажет, как ехали туда; назад тоже ехали прекрасно и приехали все здоровые. — Результат поездки тот, что туда направлять силы не нужно. — Алёхин Аркадий здесь; поехал в Вязьму и в четверг вернётся и сядет на место с Страховым в Муравлянке <Скопинского уезда, в 20 км. от Бегичевки. – *Р. А.*> и заменит его, когда тот уедет. Кажется, он будет хороший помощник. Страхов прекрасный, — и жалко, что не может остаться.

[…] Счёты наши хлебные все теперь приведены в ясность, и я с Пошей намерен всё это бухгалтерски изложить.

[…] Ещё не можешь ли ты через кого-нибудь [помочь] […] в том, что у нас до 50 вагонов, с дровами, разной клажи на платформе станции Клёкотки и по дороге, вдруг, и в самую масляницу, когда нельзя найти подвод, — сделано распоряжение взыскивать за полежалое всё в увеличающейся прогрессии?

Девочки уморились и спят, а я ходил днём по деревням и устав выспался и теперь ночью пишу тебе.

Ну вот, прощай пока, милый друг, целую Леву, Андрюшу, Мишу, Сашу, Ваню. — Не беспокойся о заразительности тифа Богоявл[енского], мы бережёмся и не ходим. Хотя, кажется, что это не прилипчиво.

Соня! Таня хотела тебе писать, да разоспалась и не успела.

Ванечка! Напиши мне письмо. Я тебя люблю!

Папа» *(84, 121 - 123).*

И, конечно же, Лев Николаевич отвечает жене на вопросы — так же, по пунктам, как они приведены в её письме. Ему явно понравилась эта деловая эпистолярная дисциплина. Немецкая наследственность Сони плюс опыт, полученный в бизнесе издания книг…

В этот же день, 18 февраля, Софья Андреевна пишет большое письмо дочери Тане — то есть, по сути, и Льву Николаевичу, так как многие письма читались членами семьи сообща. Но так как формально адресат письма не Лев Николаевич, нам придётся опустить его. Для Толстого же в этот день было послано лишь небольшое, в один абзац, письмо, где, самое важное, Софья Андреевна упоминает

о посещении её в тот день Александром Александровичем Стаховичем (1830 – 1913), давним (с 1850-х гг.) знакомым Л. Н. Толстого — тем самым Стаховичем, который в 1885 г. дал Соне взаймы стартовый капитал для издания ею собрания сочинений мужа. Такое добро не забывается…. Но в тот день в гостях у Толстых Стахович пересказал некоторые сплетни, связанные с клеветнической кампанией «Московских ведомостей», и «очень расстроил» Софью Андреевну *(ПСТ. С. 502)*. Подробнее о разговоре со старым сплетником Софья Андреевна пишет уже в следующем, *четырёхдневном* своём, очень пространном письме (от 19 – 22 февраля), к изложению которого, с сокращениями и комментариями, мы теперь и приступаем.

Вот первая часть этой огромной корреспонденции, письмо от 19 февраля:

«Милые друзья, посылаю вам накладную на получение капусты. Обратите внимание на то, чтоб *бочки* от неё были целы. Ещё я давно хотела вам напомнить о *мешках*, не помню, писала ли. А мешки стоят несколько *сот* рублей. Я удивилась, когда Количка Ге писал цену мешков.

[…] Я не надписываю на конвертах сколько денег иностранных, так как я теперь посылаю письма иностранные в конвертах и с переводами, как их сама получаю.

Приехал ли, наконец, к вам Бибиков? Меня очень тревожит Богоявленский. Неужели и он умрёт? Это было бы ужасно! И никакая разлука, ничто меня теперь так не тревожит, как эти болезни. Лёва тоже многое в этой области рискует и за него я страшно буду бояться. Едет ли Поша в Самару? У него такой был измученный и грустный вид последний раз! Мне его очень жаль.

Вчера был старик Стахович, и страшно меня опять расстроил. Не стану повторять всего, но по всему чувствуется, что общество раздражено больше правительства ещё, что на руку правительству, и что мы далеко не безопасны. Малейшее что, и нас не пощадят. Это в Бегичевке стало казаться, что всё ничего, я же тут чувствую себя травленым зайцем, точно и я в чём-то виновата, и такое чувство, что спрятался бы куда, только бы никого не видеть и не слышать.

Лёва поправился, послал отчёт в «Русские ведомости», занялся немного детьми, т. е. говорил с ними. Андрюша плохо учится очень. Жалкий он! Припишу завтра ещё, а теперь принесли кучу писем и дел. Да и грустно что-то, не пишется.

Таня, милая, я посылаю вам все «Argus de la Presse», потому что интересно их читать, но, пожалуйста, сохрани их все и верни потом мне. Это всё *исторически* интересно сохранить» *(ПСТ. С. 503)*.

«L'Argus de la presse» — это парижская консалтинговая и сервисная компания по связям со СМИ, основанная в 1879 году и дожившая аж до 2017-го (когда была разорена и продана американцам). Когда она только начиналась, это была своеобразная дайджест-газета, в которой собирались важнейшие выдержки из прессы. Как ни устала умница Софья Андреевна быть женой знаменитого мужа — а не забывала уже в то время собирать «для истории» отзывы в прессе о деятельности мужа в пользу голодающих. А вот Стахович, конечно, кругом дурак: самое распоследнее из *не подтверждённых ничем* сплетен, что стоило бы доводить до ушей вечно неспокойной матери, живущей в Москве без мужа и с маленькими детьми — это как раз то, что он ей пересказал…

Продолжила Софья Андреевна своё большое послание мужу уже 20 февраля:

«Екатерина Ивановна <Баратынская> сегодня, кажется, не едет, а завтра. Поэтому письмо это пошлю в ящик, а вам напишу завтра другое. Сегодня около 12 часов Ваничка зевал, зевал, начало его знобить, а теперь 4 часа, он спит весь в жару. Метель страшная, холодно и мрачно.

Прибежал Миташа Оболенский и спрашивает меня: «правда ли, что Льва Николаевича арестовали и сослали в Ясную Поляну?» Говорят, что в университете прокламации, подписанные «Лев Толстой» и революционные. Я уверена, что и эти прокламации напечатаны в редакции «Московских ведомостей» под фальшивым именем Толстого. Если правда, что прокламации появились, то для меня нет сомнений, что это «Московские ведомости», благо типография своя.

[КОММЕНТАРИЙ.

Дмитрий Дмитриевич Оболенский (1844 – 1931), ещё один давний друг семейства, очень любопытный и болтливый; ещё один «заботливый» переносчик сплетен! Именно он, уловив первые слухи и примчавшись в Ясную Поляну 29 октября 1910 г., первым выведает у Софьи Андреевны и немедленно «поведает миру» драматические подробности, связанные с уходом Л. Н. Толстого из Ясной Поляны. – *Р. А.***]**

Пока я писала, свалилась и Саша. Померили — у ней 38 и 3. Но ещё она вся холодная, её знобит. Думаю, что это перемена погоды повлияла: у нас эти дни ровно по суткам пролежали: Лёва, Митька, Аннушка <Анна Максимовна, кухарка Толстых. – *Р. А.*> и теперь дети. Я разладилась тоже немного желудком. Очень тревожусь о вас во всех отношениях: болезни, слухи о недовольстве общем на папа, метель, — всё это не успокоительно и вот 4 дня, как ничего о вас не знаю.

Отправили ли вы Кузнецова? Не берите ни за что неизвестных людей. Если папа трудно, пусть лучше наймёт прикащика какого-нибудь для приёма ржи, вообще всего, для разъездов и практических дел. Да если поискать, в Москве найдутся. Лёва отказывается от этого Архангельского в Бронницах, рекомендации Никифорова. Может быть он вам пригодится; он, говорят, здоровый, работящий, на всё выносливый.

[КОММЕНТАРИЙ.

Александр Иванович Архангельский (1857 - 1906), ветеринарный фельдшер, выходец из духовенства, оставивший службу после знакомства с сочинением Л. Н. Толстого «В чём моя вера?» Знакомый Л. Н. Толстого с 1889 года. Писатель. Публиковался под псевдонимом «Бука». Вершинный труд его — исповедально-биографическая и религиозно-философская книга «Кому служить?», опубликованная впервые в 1911 г. болгарскими толстовцами в г. Бургас (в России — в 1920 г. силами толстовской Общины-коммуны «Трезвая жизнь»). Книга эта была забыта в России почти на столетие, пока её не отыскал и не опубликовал, вместе с биографическими сведениями об авторе, современный исследователь Роман Алтухов. Отрывки и отдельные мысли из книги «Кому служить?» Лев Николаевич поместил в «Круг чтения» и другие свои сборники мудрой мысли.

Отказ Л. Л. Толстого от помощи А. И. Архангельского мог, вопреки сведениям Софьи Андреевны, быть связанным как раз с состоянием здоровья Александра Ивановича. В бытность свою в юные годы воспитанником «духовного» училища (бурсы) и затем попом, он вёл нездоровый образ жизни, в частности много пил спиртного и нанёс тогда же ущерб своему здоровью, наложивший ограничения на его способность к физическому труду. Уже о первой встрече с Архангельским в Дневнике Л. Н. Толстого под 11 февраля 1889 г. осталась характерная запись: «За кофе пришёл Архангельский, фельдшер ветеринар Бронницкий, переписывает «В чём моя вера?», свежий, ясный, сильный человек, *но, кажется, пьёт*. Надо помочь ему» *(50, 35. Курсив наш. – Р. А.)*. То есть *выглядел* Архангельский как человек

пьющий — что подтвердилось позднее для его прошлого. А опыт казённой ветеринарной службы очень повредил характеру Архангельского, что признавал и сам Александр Иванович, выбрав недаром для себя литературный псевдоним «Бука».]

Лёвочка, сегодня был у меня от Александра Ивановича Эртеля — какой-то воронежский, кажется, помещик… Он говорил о страшной нужде в их местах, и просил на столовые их, которые они трое открыли — денег. Я спросила: «сколько?» Он говорил: «1000 руб.». Я не дала, не знаю, хватит ли самим.

[**КОММЕНТАРИЙ**.

Александр Иванович Эртель (1855 - 1908) был довольно выдающимся писателем своей эпохи. Знакомый Л. Н. Толстого с 1885 г. Толстой высоко ценил лучший из романов Эртеля «Гарденины» (1889). В 1892 г. Эртель проживал в имении Емпелево Воронежской губернии (нынче это пос. Трудовое Новоусманского района Воронежской области) и оказывал помощь голодающим крестьянам окрестных сёл и деревень. – *Р. А.*]

Сейчас получила письмо из «Правительственного вестника» с отказом <в публикации написанного Л. Н. Толстым опровержения. – *Р. А.*>. Прости меня, Лёвочка, что я тебя вызвала это писать. Теперь я зарок даю ни в какие дела не вмешиваться.

Делянов сказал Гроту: «пусть напишет в «Правительственном вестнике» и мы поверим». Великий князь сказал то, что я писала. Вот и пойми их!

[**ПРИМЕЧАНИЕ.**

Далее в оригинале письма — приписка от Л. Л. Толстого, опровергавшего дурацкие и злые, смутившие маму, слухи:

«Никто нас не трогает и трогать к несчастью не хотят. В университете сегодня был, никаких прокламаций нет. […] Я отвык от беспокойства вечного обо всём и суетливости мамá, и это бывает тяжело, но когда вникнешь в источники, откуда идёт это, понимаешь и иногда ценишь её действия» *(Цит. по: ПСТ. С. 506).*]

[…] Сейчас получила письмо Маши. Очень жалею, что её огорчила, но писала же она П[ете], а хорошо ли она делает, она сама не знает. Если б она была откровенна и послушна, никаких и подозрений не могло бы быть» *(ПСТ. С. 504 - 505).*

К сожалению, понимающее и деликатное в юные годы отношение сына Льва к непростому характеру матери с годами приведёт его к ситуациям выражения крайней неприязни в отношении отца и к безусловной, непродуманной защите точки зрения матери в её конфликтах с Львом Николаевичем. Эта позиция будет столь же несправедлива, какой была в 1892-м году выраженная в письмах неприязнь Софьи Андреевны в отношении дочери своей Марии Львовны, на которую та ответила матери сама в письме от 20 февраля:

«…Ваши предположения о тайной моей переписке теперь ложны. Давно уже я писала П., но теперь нет. Так что пожалуйста не беспокойтесь об этом и ради Бога не намекайте ни на что П. Всё, что вы пишете относительно меня, очень мне больно. Во всём такая злоба и ненависть ко мне, что ужас» *(Цит. по: ПСТ. С. 506).*

Папа просил малыша Ваничку написать — и тот исполнил! Его письмо Софья Андреевна приложила к собственному листку, уже 21 февраля, такого содержания:

«Вот вам письмо Ванички в ответ на ваше и просьбу написать. Он второй вечер в жару; других болезненных признаков нет, и всё тревожно и грустно: 38 и 5. Сегодня оживлённо диктовал письмо, красненький, смеётся в постельке. Лёва смотрел, смотрел на него и сказал: «не жилец он на этом свете». — А мне ещё тоскливей.

Был нынче Стадлинг, из Стокгольма. Сидел, сидел; мы его уж обедать позвали. Очень интересовался положением дел в России, едет к вам.

Получила я, милый Лёвочка, твоё длинное письмо с ответами по пунктам, и очень благодарю. Но что вы с Количкой путаете с покупкой хлеба — я ничего не понимаю. Он пишет, что ты 22 вагона заказал, а ты пишешь, что ничего не заказывал больше. Ничего не понимаю. Завтра перешлю последние 5000 рублей, а уж вы ведайтесь с ними сами. Сегодня телеграммой он мне делает запрос, нужно ли ещё закупать рожь сверх 22 вагонов, так как цена 1 р. 4 коп. Я отвечу, что не нужно. Ещё припишу завтра утром и пошлю уж всё с Екатериной Ивановной Баратынской» *(Там же. С. 505).*

Екатерина Ивановна Баратынская, урожд. Тимирязева (1859 - 1921) — известная в свою эпоху журналистка и переводчица, жена московского вице-губернатора Л. А. Баратынского, вознамерившаяся тогда включиться в работу бегичевского «министерства добра».

Йонас Йонссон Стадлинг (Jonas Jonsson Stadling, 1847 – 1935) получил в «министерстве Толстого» кличку «швед», коим, собственно говоря, и был. С 1877 г. Стадлинг подвизался в журналистике. С 1891-го — работал на шведскую ежедневную газету «Aftonbladet» и параллельно — на американский журнал «The Century Illustrated Monthly Magazine».

Вот что рассказывает сам Стадлинг о причинах и обстоятельствах своего прибытия в Россию:

«В январе 1892 года, живя в Швеции, я получал письма из охваченных голодом губерний России. В них рассказывалось, в частности, о страдальцах, которые по тем или иным причинам не получали официальных вспомоществований. Ещё ранее небольшие суммы, жертвуемые шведами для помощи голодающим, были направлены в Россию. Но так как друзья в Великобритании и Америке выразили надежду, что смогут собрать более значительные пожертвования, мне предложили поехать в Россию и попытаться организовать там благотворительную работу среди наиболее пострадавших и обойдённых. Опасаясь, что иностранцу будет трудно, а то и вовсе невозможно осуществить этот план собственными силами, я написал графине С. Толстой, спрашивая её совета». Софья Андреевна изложила ему в ответном письме условия, на которых могут приниматься в России иностранные пожертвования и пригласили его приехать для личного наблюдения и посильной помощи. После упомянутой Софьей Андреевной беседы 21 февраля Стадлинг с нужными сведениями и, на правах репортёра, с фотоаппаратом «Кодак», купленным уже в Москве, отправился к Толстому в Бегичевку (куда, однако, прибыл не ранее 28-го). На последнем этапе пути, от станции в Клёкотках до Бегичевки, его сопровождали Баратынская и, вероятно, Фёдор Страхов:

«С ужасной головной болью и скудным запасом русских слов я вышел в пронизывающий холод, не без опасений попасть в руки сыщиков, которые, как говорили, кишели в этих местах. Войдя в зал ожидания для пассажиров второго класса, где несколько мужиков и баб клали поклоны и крестились перед иконами (зал напоминал часовню с большим количеством икон), я заметил сидевшую в одиночестве знатного вида даму. Заговорив с ней по-французски, я был приятно удивлён, когда узнал, что она тоже направляется к графу Толстому, чтобы участвовать в его трудах. Г-жа Б., принадлежащая к известной московской семье, дала мне лекарство от головной боли и познакомила с г-ном Ф. С., молодым человеком, одетым в крестьянский костюм, который предложил переночевать вместе с ним.

Мы проехали пару миль по слепящей глаза метели и добрались до одноэтажного деревянного дома, состоящего из довольно просторной комнаты, в которой было несколько лавок и большой стол, и маленького чулана. Он служил спальней. Комната использовалась как судейское помещение: здесь работал дядя моего спутника, мировой судья. Ф. С. оказался одним из самых горячих поклонников и последователей графа Толстого. Он отказался от собственности, следуя примеру учителя, жил среди мужиков. Теперь он помогал графу, стремясь облегчить участь голодающих» *(Стадлинг Ю. С Толстым на голоде в России // Прометей. – М., 1980. – Т. 12. - С. 314 – 316).*

Собственно говоря, тип сей столь же «мутен» и двусмыслен в голодавшей России, как и Джеймс Стевени, о котором мы писали выше. Тем более, что среди заказчиков и покупателей его материалов были не только шведы, но и англичане и американцы (большая часть оригинальных фотографий была выкуплена какой-то английской газетой). Но если о Стевени лишь в 1914 г. стало известно достоверно, что он выведывал в России (в пользу Великобритании) политические и военные её секреты, то «благотворитель» Йонас Стадлинг остался в истории вполне чистеньким. Но при этом, по воспоминаниям Е. И. Раевской, помимо критических замечаний о России в своих очерках, он очень специфически использовал свой фотоаппарат: «снимал виды избы, раскрытых сараев, оборванных ребятишек и проч.», на заказ для своих «друзей американцев» *(Раевская Е.И. Лев Николаевич Толстой среди голодающих // Летописи гос. лит. музея. Кн. 2. С. 410).* Однако Стадлинг оказался не только красавцем, но и умницей, весьма сговорчивым и покладистым человеком, щедрым на похвалы всем, кого, как он понимал, нужно было хвалить: самого Толстого, дочери его Марии (которую он сопровождал в поездках по деревням, где переходил из одной нищей, грязной избы в другую со своим фотоаппаратом), других помощников Толстого, крестьян, «толстовцев» и проч. и проч. Снискав всеобщее расположение, он исполнил свою миссию, следует признать, весьма профессионально и с огромным успехом. Иллюстрированные очерки Йонаса Стадлинга имеют ценнейшее источниковое значение и в наши дни.

Наконец мы добрались до последней части пространного четырёхдневного послания к мужу С. А. Толстой: листка, писанного уже утром 22-го февраля, перед отправкой всего письма «с оказией». Вот его текст, открывающийся «традиционным» для писем С. А. Толстой кошмариком о больном и гибнущем ребёнке:

«Всю ночь Ваня не спал, всё пугался, кричал, что его медведь лохматый хватает, и только в 6 часов утра он уснул на моей постели. Мне вспомнилось, как Алёша перед смертью ночи пугался, ничего не ел, и так похоже Ваничкино состояние, что я просто в отчаяние пришла. Сейчас 10 часов утра, я мерила им температуру и только 37 у Вани. Миша кашляет, как из бочки, хрипло, но без жара, Ваня с Сашей встали весёлые в десятом часу. Лёва что-то грустен; наша семейная суета его тревожит; он уже отвык от неё.

Получила письмо от Alexandrine, которое посылаю. Грот вчера советовал послать твоё письмо, Лёвочка, во *все* редакции в России. Где-нибудь да напечатают, тогда другие газеты имеют право перепечатать. Грот думает, что в «Вестнике Европы» решатся напечатать. Тут говорят, что расстроенная молодёжь, усомнившаяся в тебе, рвёт твои портреты и т. д. Вот, что жаль, и вот что следует восстановить.

Таня, как твоё расположение духа?

У меня опять камень навалился недавно; и очень что-то тоскливо. Стараюсь себя поднять — и не могу. Мне смешно на Лёву, что он всё говорит: «у вас прекрасный вид», — это, чтоб не видать, что мне плохо. Ну, да это, бог даст, пройдёт. Тут, главное, виновата статья, да дети похворали. — Екатерина Ивановна столько раз откладывала отъезд, что я третий день пишу это письмо. Сейчас всё это ей свезу.

Прощайте, милые друзья. Меня тревожат переводы, объявления и проч., которые я посылаю. [...] Целую вас всех.

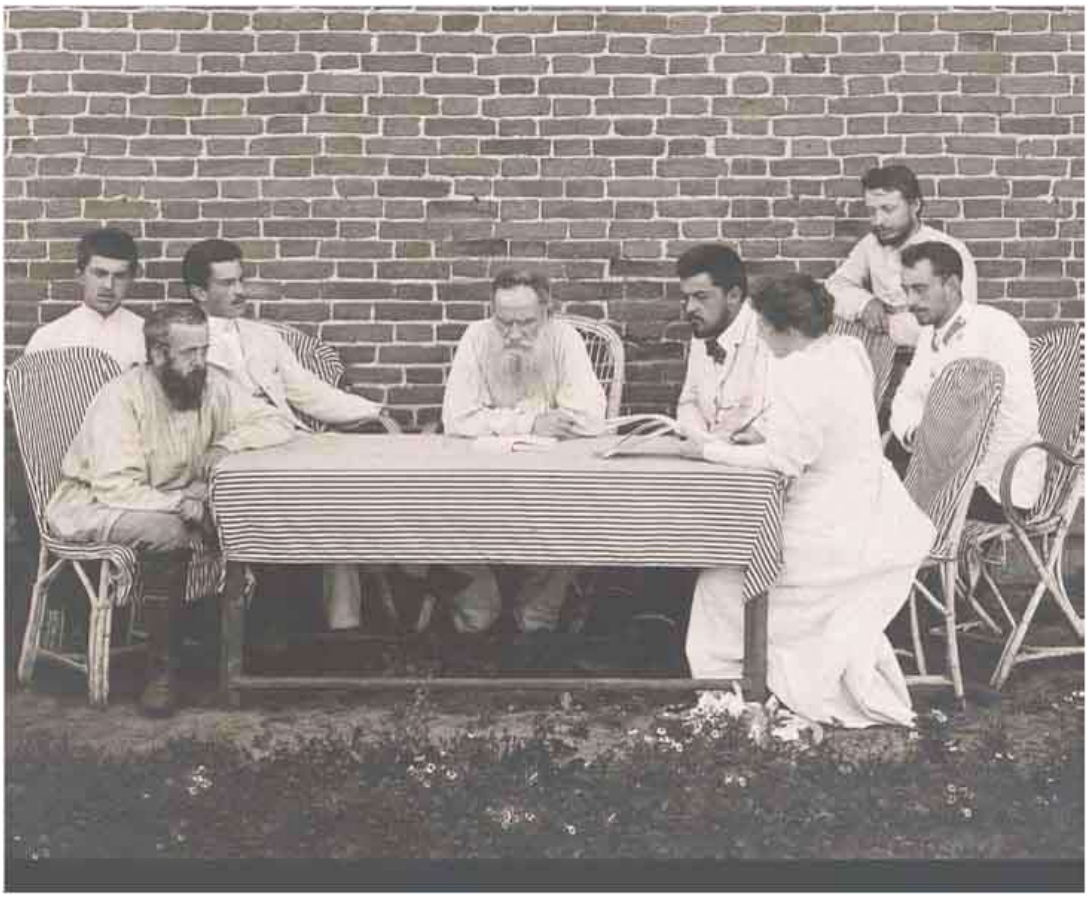
С. Толстая» *(ПСТ. С. 505 - 506).*

О письме А. А. Толстой, тесно связанном с эпистолярным дискурсом супругов, мы скажем ниже. Здесь же упомянем о письме того же 22 февраля Толстого жене, писанном из имения Философовых Паники в 6 км. от Бегичевки, куда Толстой попал проездом в дальнюю деревню Рожню, до которой из-за погоды не смог добраться. В основном письмо посвящено текущим делам в Бегичевке, здоровью самого Толстого и его помощников и работе столовых «на приварке», в новых условиях, когда хлеб крестьяне стали получать из земских ресурсов:

«Столовые без хлеба очень хорошо идут. Стоят дёшево, питают прекрасно, так что в них без хлеба можно быть сытым и стоят 50 к. в месяц на человека. Теперь все просятся. Ещё хорошо идёт помощь дровами. [...] Корм лошадей тоже налаживается» *(84, 124).*

Таких тяжёлых поездок, да при отвратительной погоде, было немало. Как и не менее тяжёлых (морально) приёмов «просителей» с деревень. Это и была повседневная жизнь «министерства Толстого». Одна из его участниц, Вера Величкина, в книге воспоминаний «В голодный год с Львом Толстым» описывала эту жизнь так:

«Каждое утро вставали мы в седьмом часу, так как передняя была уже битком набита народом. Если мы немножко просыпали, то Лев Николаевич, проходя по коридору, стучал нам в двери. Утро работали мы вместе в передней, разбирая просьбы, нужды собравшегося народа. Затем кто-нибудь один оставался дома, а остальные разъезжались по окрестным деревням, всегда посоветовавшись раньше со Львом Николаевичем. Он неизменно был в курсе дела и всегда помнил каждую мелочь, куда и зачем нужно было ехать. …Вставал он очень рано и не мог видеть, чтобы народ дожидался» *(Величкина В. В голодный год с Львом Толстым. – М. – Л., 1928. С. 31 – 32).*



Л. Н. Толстой составляет списки крестьян.
Слева направо: П. И. Бирюков, Г. И. Раевский, П. И. Раевский, Л. Н. Толстой, И. И. Раевский, А. М. Новиков, А. В. Цингер, Т. Л. Толстая.
Бегичевка, 1892. Фото П.Ф. Самарина

Далеко не каждый день, урывками, мог заняться Толстой по утрам и своими литературными трудами.

17 февраля в письме Н. Н. Ге-сыну Лев Николаевич признавался:

«Измучился я, голубчик, от этой деятельности, не физически, но нравственно. Если было сомненье в возможности делать добро деньгами, то теперь его уже нет — нельзя.

Нельзя тоже и не делать того, что я делаю, т. е. мне нельзя. Я не умею не делать. Утешаюсь тем, что это я расплачиваюсь за грехи свои и своих братьев и отцов.

Тяжесть в том, что не веришь в добро матерьяльной помощи и что главный труд есть не доброе отношение к людям, а напротив — злое, недоброе, по крайней мере: удерживаешь их в их требованиях, попрошайничестве, уличаешь в неправде и вызываешь в них недобрые чувства. Не только в них, но сплошь да рядом и в себе» *(66, 165)*.

Но в тот же день в письме к С. Н. Трубецкому Толстой сообщал и радостное для него: «то, что в последнее время стало очевидно, что самая острая нужда потушена» *(Там же. С. 166)*.

Продолжение известий о деятельности помощи — в письме к С. А. Толстой от 26 февраля:

«Пишу опять в Клёкотки, милый друг. У нас туда теперь беспрестанно случаи <оказии. – *Р. А.*>, и надеюсь от тебя получить оттуда более свежие известия, чем через Чернаву. Что Таня? Как доехала? и поправляется ли и поправилась ли? <Т. Л. Толстая заболела и уехала в Москву 24 февраля. – *Р. А.*> Без неё нам скучно, но ведём себя, как и при ней, — примерно. Всё та же метель, и мы никуда в даль не ездим. Я даже никуда не ходил, кроме как около дома. Читаю, немного пишу, но главное соображаю, распоряжаюсь. Помощники, особенно Поша, чудесные. Все те <П. Н. Гастев, М. В. Алёхин и М. А. Новосёлов>, которые были тут <в> воскресенье, разъехались, и мы одни. Нет даже и Элены Михайловны <Персидской>, и Вера Михайловна приезжала только на понедельник и опять уехала. Хотела приехать нынче, да верно что-нибудь задержало. Теперь 10-й час и её нет.

Главное занятие теперь, кроме обычной выдачи на столовые и упорядочения ходящих, выдача дров, в которых нужда всё больше и больше. И радостно, что мы можем раздавать много. И раздаём очень пока хорошо, разумно: кому даром, кому исполу, кому за деньги. Разумеется, не без ошибок, но кажется, что делаем нужное. Другое дело — это устройство приютов для маленьких детей от 1 до 3-х лет, или скорее — разливной, с молочной кашкой на крупе и

пшене, которые устраиваются и принимают определённую форму. Я напишу подробнее, когда это совсем пойдёт.

Вообще нужно опять написать отчёт о пожертвованиях и о том, что сделано. А сделано, как оглянешься назад, с того времени, как писал последний отчёт, не мало. Столовых более 120 разных типов; устраиваются детские, с завтрашнего дня поступают на корм лошади, и много сделано разными способами в помощи дровами. Часто страшное испытываешь чувство; люди вокруг не бедствуют, и спрашиваешь себя: зачем же я здесь, если они не бедствуют? Да они не бедствуют то от того, что мы здесь, и через нас прошло — как мы умели пропустить — тысяч 50.

Нынче пришёл лук. Хотя он и помёрз, он не пропадёт и весь пойдёт в дело. Сначала мне показалось его слишком много, но потом мы решили, что весь понадобится. По чём он ровно? Нынче мы не могли уж выдать на выдаче картофеля, потому что весь вышел; мы скупаем по 2 р. за меру, и начинают просить больше. Нынче же, читая газету «Русские ведомости» о грибном торге, я прочёл, что картофель продавали за мешок в три меры от 20—30 коп. — Если это так, если бы мера стоила даже в двое дороже — до 15 коп., то выгодно бы было прислать нам. Если это так, попроси кого-нибудь купить, и пришли нам вагона два. Теперь мороза уже не может быть выше 5°, и картофель может дойти безвредно.

Нынче приехал <кучер> Михайла с двумя лошадьми: Миронихой и Мухортым. Михайло уедет назад, а лошади нам пригодятся очень. А то стесняло нас неимение их.

Рожь постоянно приходит. Нынче Ермолаев пишет, что на Клёкотках 13 вагонов. Мы возим старательно по складам, и счёт теперь ведётся, и мы знаем, сколько и где у нас чего. О ценности мешков я знаю. Их всех почти на 1000 р. И мы постараемся, чтобы они не пропали.

Доктор Богоявленский очень слаб. Жар спал, но у него расстройство желудка и большая слабость. Если Екатерина Ивановна Баратынская не выезжала, то не лучше ли отговорить её ехать к нам и направить в иное место.

Лёву я вполне понимаю. Как ни кажется иногда ничтожной и нескладной деятельность здесь, московская жизнь как-то особенно тяжело переносится после этой. Это я говорю совсем не потому, что не хочется ехать к вам, в Москву; напротив, — очень хочется и с радостью об этом думаю; но я — другое дело — я, во 1-х, стар; во 2-х, у меня есть письменная работа, которая иногда представляется тоже нужной и которую удобнее вести в Москве.

От тебя то было часто, — а теперь давно, — т. е. дня три, нет известий, и я только не говорю, но я о тебе беспокоюсь не меньше, чем ты обо мне. И имею основание, потому что всё так тебя тревожит. Дай Бог, чтоб все были здоровы и чтоб ты не слушала разговоров Стаховичей и т. п. обо мне и об отношениях ко мне *общества*. Ведь это всё должно быть давно решено, и мы должны знать, каково должно быть отношение ко мне общества, и не заботиться о том, что говорят. Мне иногда мучает мысль, что я не ответил Гроту на его милые, сердечные письма <от 20 января и 7 февраля>. Теперь уж поздно. Но скажи ему, что я его люблю и благодарю за его любовь ко мне. — Напиши поподробнее о себе, Тане, Лёве; целую тебя и детей. Мы все совершенно здоровы, и только скучаем о дурной погоде и дороге. — Если что забыл ответить, прости. Вспомню — напишу.

Л. Т.» *(84, 125 – 127)*.

Следующее письмо Л. Н. Толстого особенно значи-тельно. И вовсе не первым упоминанием Толстого о Стадлинге: для нас гораздо интереснее содержащееся в письме вынужденное объяснение Толстым жене своей общественной позиции в связи с подтасовками и клеветой «Московских ведомостей». Толстой не хотел писать такого объяснения, но почувствовал его необходимость после ознакомления с письмом к жене троюродной тётки своей Александры Андреевны Толстой (она же Alexandrine), чьи суждения вообще часто и расчётливо-болезненно задевали его. Софья Андреевна знала о таком влиянии на мужа писем старшей и очень умной тётки — вероятно, потому и переслала ему очередное её письмо, так как выражено в нём было нечто желанное и близкое и ей самой.

Приводим отрывок из письма А. А. Толстой не только по причине связи его с эпистолярным дискурсом супругов, но и как доказательство *обоюдной* вины в грязнейшем, с политическим акцентом, газетном скандале и «Московских ведомостей», и переводчика Диллона. 19 февраля тётушка писала жене Толстого:

«Очень бы хотелось узнать, как Диллон толкует свой невероятный перевод и как он изъяснил его Льву? Я читала его in extenso дословно в «Daily Telegraph» и ужаснулась. Письмо моё было прервано появлением Елены Григорьевны [Шереметевой]. Вот какую мысль она выразила между прочим: отчего бы Льву Николаевичу не написать возражение в английских газетах? Я считаю это тем более «нужным», прибавила она, что все недоброжелатели графа отвечают мне на это: он этого не сделает и не может сделать потому, что статья, появившаяся в «Daily Telegraph», — совсем не та, что была напечатана в

«Неделе». В продолжение разговора я могла заметить, что мысль эта не собственно принадлежит Елене Григорьевне, а была ей внушена» *(Цит. по: ПСТ. С. 507).*

Напомним читателю, что в январе статья Толстого в специально переработанном для цензуры и сильно урезанном виде, под заглавием «Помощь голодным», была напечатана в либеральном журнале «Книжки Недели», редактируемом симпатизировавшим Толстому со времён его статьи «О переписи в Москве» (1882) и много с ним сотрудничавшим Павлом Александровичем Гайдебуровым (1841 - 1893). И, между прочим, к переводчикам, с ведома Толстого, статья рассылалась именно Гайдебуровым. В этом свете инициативы Эмиля Диллона смотрятся не как «безобидное» стремление опередить конкурентов (пользуясь своим пребыванием в России и личной известностью Толстому), а много ближе к той картине неуважительного к автору мошенничества, которую нарисовала в воспоминаниях Софья Андреевна Толстая. Читатели «Книжек Недели», как мы видим из приведённого отрывка письма А. А. Толстой, решительно оценили и публикацию Диллона в «Daily Telegraph», и обратный её грубо искажённый и ложно представленный читателю перевод «Московскими ведомостями» как тексты совершенно отличные (т.е. не близкие ни текстологически, ни идейно) от единственной русской публикации.

А теперь — письмо Л.Н. Толстого от 28 февраля, ставшее достойным ответом не только на вышеприведённое четырёхдневное послание жены, но и на это письмо тётушки. В начале его — любопытная подробность: прибытию самого Стадлинга предшествовало письмо от него (очевидно, уже из Клёкоток, где он задержался), о котором в уже цитировавшихся нами выше мемуарах он не упоминает.

Ниже приводим в сокращении текст этого интереснейшего и важного письма Льва Николаевича.

«Жили мы в продолжении этих мятелей в совершенном уединении и тишине; вчера, 27, поехал я опять в Рожню (Таня знает) верхом, но опять не доехал. Намело снегу горы, и дорог нет нигде. Был в Колодезях и другой деревне о дровах и приютах для детей, потом ковал с мужиками и приехал домой в 5. Дома нашёл Е. И. Баратынскую с письмом шведа; тотчас же после приехал Высотский, приятель Владимирова, потом к вечеру два брата Алёхины, из Полтавы Скороходов и Сукачёв, их товарищ. Всем порознь я очень рад, но все вдруг слишком много. Нынче Высоцкий уезжает и везёт это

письмо. Скороходов с Сукачёвым поедут в Куркино к лошадям. Митрофан Алёхин поедет с Пошей в Орловку на выдачу и с тем, чтобы заведывать орловскими столовыми и вести у нас всю бухгалтерию, чего он мастер. Он очень симпатичен, — не похож на Аркадия. — Теперь о хлебе. […]

О Гроте я писал, а он ещё пишет письмо и присылает гектографическое заявление для отправки в газеты и журналы. Я всё подписал и отправляю.

Ради Бога, милый друг, не беспокойся ты об этом. Я по письму милой Александры Андреевны вижу, что у них тон тот, что я в чём-то провинился и мне надо перед кем-то оправдываться. Этот тон надо не допускать. Я пишу, что думаю, и то, что не может нравиться ни правительству, ни богатым классам, уж 12 лет, и пишу не нечаянно, а сознательно, и не только оправдываться в этом не намерен, но надеюсь, что те, которые желают, чтобы я оправдывался, постараются хоть не оправдаться, а очиститься от того, в чём не я, а вся жизнь их обвиняет.

В частном же этом случае происходит следующее: Правительство устраивает цензуру, нелепую, беззаконную, мешающую появляться мыслям людей в их настоящем свете, невольно происходит то, что вещи эти в искажённом виде являются за границей. Правительство приходит в волнение и вместо того, чтобы открыто, честно разобрать дело, опять прячется за цензуру, и вместе чем-то обижается и позволяет себе обвинять ещё других, а не себя. То же, что я писал в статье о голоде, есть часть того, что я 12 лет на все лады пишу и говорю, и буду говорить до самой смерти, и что говорит со мной всё, что есть просвещённого и честного во всём мире, что говорит сердце каждого неиспорченного человека, и что говорит христианство, которое исповедуют те, которые ужасаются. Пожалуйста, не принимай тона обвинённой. Это совершенная перестановка ролей. Можно молчать. Если же не молчать, то можно только обвинять: не Московские Ведомости, которые вовсе не интересны, и не людей, а те условия жизни, при которых возможно всё то, что возможно у нас. Я давно тебе хотел написать это. И нынче рано утром, с свежей головой, высказываю то, что думаю об этом.

Заметь при этом, что есть мои писания в 10000 экземпляров на разных языках, в которых изложены мои взгляды. И вдруг по каким-то таинственным письмам, появившимся в английских газетах, все вдруг поняли, что я за птица! Ведь это смешно. Только те невежественные люди, из которых самые невежественные это те, что составляет двор <Alexandrine Толстая была придворной фрейлиной. – *Р. А.*>, могут не знать того, что я писал, и думать, что такие взгляды,

как мои, могут в один день вдруг перемениться и сделаться революционными. Всё это смешно. И рассуждать с такими людьми для меня и унизительно, и оскорбительно.

Боюсь, что ты будешь бранить меня за эти речи, милый друг, и обвинять в гордости. Но это будет несправедливо. Не гордость. А те основы христианства, которыми я живу, не могут подгибаться под требования нехристианских людей, и я отстаиваю не себя и оскорбляюсь не за себя, а за те основы, которыми я живу.

Пишу же заявление и подписал, потому что, как справедливо пишет милый Грот, — истину всегда нужно восстановить, если это нужно. — Те же, которые рвут портреты, совершенно напрасно их имели.

[…] Целую тебя крепко. Л. Т.» *(84, 127 - 129)*.

Коротко и ясно. И если бы не новые “изыски” Э. Диллона и «Московских ведомостей» — выраженная Толстым позиция могла бы поставить точку в скандале.

Мы не располагаем текстами писем Софьи Андреевны от 24 и 28 февраля. Письмо же Л. Н. Толстого от 29-го — сравнительно малоинтересно. Толстой сообщает об ужасной погоде, мешающей делать объезды по деревням; о «злобе дня»: раздаче дров и о столовых для детей и для лошадок; также и о множестве помощников, среди которых названы «покойная и добрая» Баратынская и «очень приятный» швед Стадлинг, высказавший пожелание ехать к Л. Л. Толстому в Патровку *(84, 130)*.

О новоприбывших помощниках Толстой сделал запись и в Дневнике под 29 февраля. Помимо Стадлинга, названы толстовцы К. А. Высоцкий, приехавший со своего хутора близ ст. Дубровка, братья А. и М. Алёхины, В. И. Скороходов и Е. А. Сукачёв. Толстой признаётся в письме, что ему тяжело от такого наплыва новых лиц, что он вообще устал, что называется — «выгорел» на психологически и физически тяжелейшем своём поприще, «огрубел» от постоянного лицезрения человеческого несчастья, склок с мелкими местными начальниками и подсчётов денег *(см.: 52, 63 – 64)*. Новых помощников помянул добрым словом ещё один участник дела помощи и биограф Толстого П. И. Бирюков:

«К этому времени как раз понемногу, одна за другой, прекратили своё существование <толстовские> земледельческие общины. И вот целая группа молодых сил, ищущих приложения, явилась в распоряжение Л. Н-ча. Братья Алёхины, Новосёлов, Скороходов, Гастев,

Леонтьев, Рахманов занялись распределением пожертвований под руководством Л. Н-ча. Другие помогали собиранием хлеба на месте жительства и отправкой его к центру помощи» *(Бирюков П.И. Указ. изд. Т. 3. С. 185)*.

Моральную тяжесть приезду «толстовцев» добавлял Льву Николаевичу давний его скепсис, с которым он наблюдал попытки общинной жизни своих единомышленников во Христе. Многие общины разваливались как раз из-за неспособности их членов разрешать повседневные конфликты и споры. Так что и от приехавших Толстой имел основания ожидать проблем в области сплочённости и дисциплины.

1 марта встречные письма пишут оба супруга. Вот письмо Льва Николаевича. Он отвечает на заданные женой вопросы (один из которых, о дровах, она повторит в письме от 2 марта):

«Пишу только, чтобы ответить на вопросы твоего письма, сейчас полученного из Чернавы. …Хочу ответить на твой вопрос о том, платить ли Усову <управляющий на жел. дороге. – *Р. А.*> по счёту за дрова. Пожалуйста, плати, и поскорее, и если будешь писать, пиши поласковее. Он сделал нам большое благодеяние, доставив нам эти дрова за баснословно дешёвую цену, именно дрова, которые в Москве стоят около 30 рублей за сажень, за 4 и 5 рублей, т. е., очевидно, только за работу рубки, колки и подвоза. Благодаря ему, мы могли сделать много помощи дровами.

Лёва у нас. Очень мил. Поша с <В. Н.> Тушиным уехал открывать столовые в Рожню, а я ходил нынче в Горки и Никитское <3 км. от Бегичевки. – *Р. А.*> по детским приютам. И мне кажется, что это хорошо. Завтра едет Екатерина Ивановна <Баратынская> с Верой Михайловной <Величкиной> в Ефремовский уезд. Вера Михайловна её будет там шапронировать [*фр.* chaperonner — сопровождать] и вернётся. И я еду с ними до Куркина, им через него ехать — посмотрю там лошадей на кормах и вернусь, если хороша будет погода, а то переночую. Я берегу себя, как больше нельзя. Целую Таничку милую и детей и тебя — last, but not least [хотя последнюю, но не менее дорогую]. Маша только желает всё кончить <с Петей Раевским> и освободиться; надеюсь, что осуществит свои добрые желания.

Поша и Швед едут послезавтра с Лёвой. Очень хорошая компания» *(84, 131)*.

Теперь слово Софье Андреевне. Письмо от 1 марта предваряет особенное указание на приватность, так как дружная бегичевская команда уже слишком привыкла прочитывать письма от московской помощницы Сони сообща и вслух. Но это письмо — именно *жены Толстого*, глубоко личное, *к мужу*:

«*ЛЬВУ НИКОЛАЕВИЧУ*

Милый друг, к вам всякий день случай, и вы про нас всё знаете, но всё-таки пишу несколько слов.

Во-первых, вчера я получила твоё длинное письмо, в котором ты пишешь, чтоб я не принимала вида *обвиняемой*. К несчастью, я не такого характера, и как раз перед всеми взяла вид оскорблённой за несправедливость, возмущённой, готовой бросить всё русское и даже перейти в европейское подданство со всеми детьми. Одно я говорю и чувствую, это что мне жаль, что огорчили и ввели в заблуждение Государя; он действительно очень добрый и теперь стало ещё очевиднее из всех толков, что несмотря на путаницу, которая его окружает, он сердцем любит тебя и считает отнюдь не революционером; но до конца ему не дадут понять тебя, ты это увидишь из письма Страхова, которое я послала с Петей. <К сожалению, это письмо не сохранилось. – *Р. А.*>

Подписанные тобой письма мы с Гротом (который теперь болен в инфлуенце) разошлём по всем главным русским редакциям, и, может быть, иностранным.

Хоть ты мне и не велишь считать себя гордым, но я не могу считать тебя и смиренным. Прячась за христианские принципы, ты всё-таки возмущён, я это чувствую, и сама испытываю то же без христианских ширм. Истинное христианство: пусть бьют, бранят, преследуют, клевещут, а христианин только должен говорить: «любите друг друга». Это идеал, я не могу быть такой, но я и не говорю, что я христианка; спасибо хоть за то, что я это поняла немножко.

[КОММЕНТАРИЙ.

Очень распространённый в мире «православного» лжехристианства софизм, имеющий свои вариации, но по существу сводящийся к типовым суждениям такого плана: если идеал повседневно неисполним — значит, лучше не стремиться исполнять и тщеславиться, как общественной заслугой, своей “честностью” в отвёртывании от Бога и Христа, от Истины, от Идеала. А те, кто стремится исполнить хоть что-то — сами тщеславные лицемеры, стремящиеся скрыть от

людей мира своё истинное непоправимо греховное состояние, обмануть их и себя. Если же исполнишь до конца, мир объявит тебя особенным «святым», неотмирным (как «отрезанный ломоть»), будет почитать, но… не последовать вместе с тобой Истине и Христу. Одна из прочнейших, многовековых уловок дьявола. – *Р. А.*]

Меня очень взволновало, что к вам поехало столько народу. Когда вы одни, вы помните друг друга и заботитесь о себе, а теперь эта толпа, которую всю надо уложить, накормить и распределить на дело — это ужасно утомительно и усложняет дело. По крайней мере определите их на ваше дело всех скорей и приезжайте. Эти холода, которые стоят так упорно, показывают, что весна дружно станет и всё растает вдруг. Не допускайте до этого и уезжайте. У нас 7 гр. мороза и ветер страшный всё время.

Как нашёл ты Лёву? Я его отправила с тяжёлым чувством, и здоровьем, и духом он не хорош был. Тане гораздо лучше; не знаю уж, хорошо ли я делаю, что отпускаю её в среду. Но мне и за тебя страшно, и я надеюсь, что Маша на время забыла свои личные дела и помнит тебя во всех отношениях.

Я очень соскучилась по тебе, и если б не моё сознание, что я вам там совершенно бесполезна, я бы поехала непременно вместо Тани.

Детям лучше, но они ещё не выходят. Жизнь идёт по-старому, довольно бесцветно; и энергия, серьёзность к тому, что делаю, часто упадают совсем. Здоровье моё хорошо, близость весны всё-таки подбадривает. Целую тебя и девочек.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 507 - 508)*.

В письме следующего дня, 2 марта, Софья Андреевна, не успевшая получить ещё письмо мужа 1 марта, повторяет свой вопрос о плате за дрова от Усова, сообщает о морозе в Москве, о болезни Н. Я. Грота и готовящейся к очередному отъезду в Бегичевку Татьяне Львовне. В конце письма она признаётся, что считает дни до 15 марта — крайнего условленного срока, в который Лев Николаевич планировал закончить текущие дела в Бегичевке и приехать к ней в Москву *(см.: Там же. С. 509 (№ 252))*.

Письмо этого же дня Льва Николаевича содержит ряд второстепенных денежных и организационных подробностей жизни бегичевского «министерства» и не представляет для нас существенного интереса *(см.: 84, 132 (№ 497))*.

В следующем по хронологии письме от 4 марта Толстой упоминает об ожидаемом приезде Татьяны Львовны, что однако не позволяет с

точностью ответить на вопрос, на *какое* письмо жены он отвечает: об отъезде дочери в Бегичевку Софья Андреевна писала и 1, и 2 марта. Само письмо несколько интересней, и мы приводим его в сокращении.

«Получил вчера твоё письмо с Лизаветой Прохоровной (забыл фамилию). Слава Богу, что у вас всё хорошо. Таню ждём и не ждём. У нас всё хорошо. Все здоровы. Только очень хлопотно. И дрова, и кормление лошадей, и приюты, и новые столовые, и новые люди, и, главное, пришедший хлеб, и распределение его по складам. Но как всегда бывает: идёт всё волнами — прилив и отлив. Когда наберётся слишком много вдруг дела, то начинает уменьшаться. Так и теперь. Всё хорошо, приходит в порядок, и я надеюсь, что к моему отъезду всё будет в порядке и оставить будет не трудно, т. е. не вредно для дела…

Теперь в отношении средств, мы опять кажется уж в 4-й раз переживаем период, когда я чувствую, что мы зарываемся и надо сдерживаться. <А Софья Андреевна предупреждала! См. её письмо ещё 16 февраля. – *Р. А.*> Я теперь боюсь, что недостанет денег на всё, что начато, и только прошу всех сдерживаться. […]

Тревожит меня ещё заказанная мною кукуруза с наложным платежём. Денег у нас теперь не хватит — остаётся около 3000, и постоянно расходуются, а нужно на все 9 вагонов 3600. *Пожалуйста, пришли с первым случаем 3000.* Если с Таней, то с Таней, а нет, то можно и с тем, кто поедет.

Письмо это везёт в Клёкотки Петя <Раевский>, который пробыл здесь два дня. Маша, сколько я видел и понял, старалась развязать завязанное, т. е. говорила, что до 4-х лет не надо говорить об этом, но не разорвала совсем. Так я думаю по словам Веры, но не успел с Машей самой переговорить, что сделаю нынче. Вообще же, как я заметил, она вела себя хорошо и более спокойна, чем бывала прежде. Она прекрасно работает, и от неё мне кроме радости до сих пор ничего нет.

Ещё попроси Таню написать и как-нибудь кончить с стаховичевской пожертвованной мукой. Я не знаю, где, как. А дорога кончается. <Т. е. начинается весенняя распутица. – *Р. А.*> Не могут ли они нанять, а прикащик их, и мы бы заплатили.

Прощай пока, милый друг, теперь не на долго, если будем живы. Детей целую.

Лёва на всех нас произвёл самое хорошее впечатление нравственно и нехорошее физически. Компания их поехала прекрасная: Поша неоценённый и милый Швед.

Так до свиданья, крепко целую тебя. Л. Т. […]» *(Там же. С. 132 – 133).*

Завершая текущие дела и готовясь к отъезду в Москву, Толстой составил черновой отчёт об употреблении пожертвованных денег. Об этом и о других текущих вопросах Толстой пишет в кратком на строчки, но весьма ёмком на смыслы письме 5 марта, содержащем и интимно-личные строки, и даже шутку, выдающую внутреннюю удовлетворённость сделанным и хорошее настроение писавшего. Приводим полный его текст:

«Как и пишет Маша, всё у нас хорошо. Мы оба в очень сдержанном, напряжённо акуратном духе. Я вчера написал отчёт, — отчёт о том, что и что сделано. И, кажется, просто, коротко и ясно. Надо только переписать и вписать цифры. Другой отчёт денежный составим, Бог даст, нынче.

Пожары от столовых пугают и потому приходится изменить дело: надо будет выдавать муку <крестьянам>, т. е. не печь хлеба, и все столовые переделать в бесхлебные.

Сейчас все сотрудники разъезжаются. Все они очень млады, но хорошие.

Я здоров и бодр. Буду что-нибудь хорошенькое писать. Тебя видел во сне и па яву о тебе помню и думаю с любовью. Таня, — да, чтоб была она здорова, скверность какая! — пусть не торопится приезжать, а как ей приятнее. Кутелева приехала. Отчего тёмные <толстовцы> Кутелеву меньше обращают, чем Наташу?

Целую вас и детей. Достаньте пожалуйста номера газеты «Русские ведомости», где отчёты, и свой новый опять пришлю.

Целую тебя, милый друг, и Таню — чтоб она была здорова — и детей — вобче!

Л. Т.» *(84, 134).*

По поводу упоминания в письме «тёмных», толстовцев, и новоприбывшей помощницы, акушерки и фельдшера Елизаветы Прохоровны Кутелевой (1862 – 1913), — той самой, чью фамилию запамятовал Толстой в начале письма 4 марта — Софья Андреевна поясняет следующее: «Шутка Л. Н-ча, намекавшего, что Кутелева была очень некрасива и не молода, а Наташа Философова, напротив, была красивая девушка, ещё очень молодая» *(Цит. по: Там же).*

Наконец, встречное, тоже от 5 марта, письмо Софьи Андреевны:

«Сегодня утром пошла к Гроту, он здоров, с «Календарём», где список всех периодических изданий в России, и мы с ним вместе отметили, в какие издания послать письма <с опровержением, написанным Л. Н. Толстым. – *Р. А.*>. Сейчас вечер, и я только что кончила запечатывать письма и адресовать их. Всех разошлю 30, и этим действием надеюсь покончить навсегда с этим делом, какой бы ни был результат. — Потом я ездила в «Склад», где просила пожертвовать мне или продать рубашек мужских, но нам ничего не дали; я тогда поехала покупать какой-нибудь бумажной материи; зашла в оптовый склад Викулы Морозова. Там директор допрашивает: «на что мне 500 аршин?» Я говорю, что хочу сшить 100 рубашек для тифозных в Самарской губернии и послать. Он говорит: «Мы вам пожертвуем». — Ну и спасибо. В «Складе», где Ермолова, сошьют по 10 коп. сер. и мы с няней, Аннушкой, Дуняшей всё перекроим дома. Потом я купила чаю, сахару, тоже послать Лёве; немного лекарства и кое-что Лёве съедобное, что не портится. Я всё о нём думаю, и всякие другие тревоги отстранились и на первом плане страх, что Лёва заразится тифом. Когда он уехал от вас? — Сегодня всё мне казалось, что Танин голос. Пошла наверх вечером с Сашей и Ваней, чуть не окликнула её. Надеюсь, что она благополучно доехала, буду ждать письма от неё.

Какое несчастие быть так привязанной к семье! Всякое дело тормозит; если б не забота обо всех, я нашла бы себе столько интересного и хорошего дела. А пока всё детьми занимаюсь. Играла с ними, читала Саше вслух, рассказывала кое-что. С Андрюшей декламировали заданные ему стихи по-немецки: «Nach Frankreich zogen zwei Grenadiere» <«Во Францию два гренадера», стихотворение Г. Гейне. – *Р. А.*>, а сейчас маленькие спят, а мальчики ещё сидят с <Георгием Ивановичем> Челпановым <Ученик Н. Я. Грота, впоследствии выдающийся философ и психолог. – *Р. А.*>. Сегодня никого у нас не было, и даже Машеньку весь день не видала.

Завтра хочу Сашу с Ваней выпустить погулять, хотя всё тот же восточный ветер, который сушит мне грудь и скоблит горло. Были Количка и Оличка, играли с нашими. <Николай и Ольга Рыдзевские, дети Ольги Александровны, урожд. Стахович. – *Р. А.* >

Сейчас пришла Машенька в самом возбуждённом состояния: она опять поступила в больницу тюремную, в отделение тифозных, сестрой милосердия. «Не могу так жить; все поехали на хорошее дело, и Таничку проводила, а я то что ж берегу своё тело! Не могу, решилась и поступила». И в большом волнении и восторге. Сейчас она мне говорила, что <Владимир Алексеевич> Бобринский свалился. Ещё

один! Что-то Богоявленский? — Жду вас всех, не дождусь. Теперь тревогу свою буду топить в кройке 100 рубах для тифозных.

Прощайте, милые друзья, будьте здоровы и не мучайте себя слишком. Таня, берегись, чтоб тоже не впасть в тиф, теперь желудок слаб. Ешьте меньше и чаще, и не студитесь пуще всего. Целую вас всех.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 509 – 510).*

Ещё одно, «деловое» по преимуществу, письмо Софьи Андреевны Толстой, но проникнутое достаточно бодрым настроением близящегося завершения дел и, хоть и на время, но приезда мужа. Датировано письмо 7 марта и по содержанию является ответом на письма Толстого от 1, 2 и 4 марта.

«Милый Лёвочка, посылаю тебе с Евгеньей Павловной <Писаревой> 3000 р. с., которые ей свезёт Ваня Раевский. Он едет сегодня в Тулу на два дня. С Ваней же я посылаю 1700 р. с., которые ты <в письме 2 марта> велел кроме того уплатить Рафаилу Алексеевичу Писареву по телеграфу, чего я не успела сделать.

Получила от Лёвы телеграмму, просит выслать поскорей ещё 5000 р. с. денег и медикаментов от Феррейна. Но у меня всех денег осталось 4500 рублей, которые я ему *последние вышлю* в понедельник. Да, не распространяйтесь больше, все пожертвования прекратились и не предвидятся. Не знаю наверное, сколько у Тани на текущем счету в Москве, а у меня всем деньгам конец. За дрова я уплатила и письмо ласковое Усову написала.

Посылаю вам ещё немного яблок, бумаги Маше и книг для школы. Мне пишет Елена Михайловна Персидская прислать 20; посылаю по пять всех «Книг для чтения» и «Азбук». Что так мало просили?

К Софье Алексеевне съезжу сейчас и спрошу о кукурузе. Пусть она вам напишет с Ваней. Посылаю для подписки объявление, которое я нечаянно подписала, и английское письмо.

Если вам нужны свидетельства Красного Креста <Для бесплатного провоза грузов. – *Р. А.*>, то мне Зиновьев прислал десять. Как я рада, что Поша уехал с Лёвой; очень он меня тревожит своим нездоровым видом и состоянием. Куда девали вы Елизавету Прохоровну Кутелеву? Я очень желала, чтоб она ехала в Самару. — Будь осторожен с *смелым* Алёхиным. Как бы он не сделал расходов, какие не из чего платить. У меня останутся только бриллиантовые деньги, значит, тысяч около двух, и больше ничего, и то ещё не проданы.

Получила с Петей письмо Тани, и меня тревожит, что у ней боль под ложкой была сильная. Пусть бережётся и пусть Вера ей закажет

с Марией Кирилловной <домашняя портниха Толстых. – *Р. А.*> куриный суп. Ещё ей не худо понемногу ревень и Эмс рюмочками тёплый раз шесть в день, при чём диэта.

Сегодня свезла в «Склад» 66 мужских и 24 женских рубашки шить по 10 коп. из пожертвованного Морозовым товара — суровой бязи. Это для самарских голодающих. Сегодня отправляю большую партию платьев, чаю, сахару, лекарств, провизии Лёве и 68 аршин той же материи для больниц в Лёвиной стране.

Вчера вечером очень мне нездоровилось, я даже легла; но пошла кровь носом и сегодня я совсем здорова. Погода удивительная: ручьи так и бегут; по вечерам три градуса мороза, а днём жара. Больше одного дня на санках не проездят. Ваня с Сашей ходили к Фетам и их привезли в карете. Миша учится лучше и сегодня я платила деньги в Поливановскую гимназию и надзиратель очень хвалил их поведение, но говорил, что ленятся. Машу особенно поцелуй за то, что тебе она так приятна и полезна, и вообще мне чувствуется, что она очень старается идти по хорошей дороге, что она стала благоразумнее. Таню больную приласкай от меня и сочувствующую Верочку поцелуй. Не заживитесь до невозможного пути.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 511 – 512)*.

Это последнее «деловое» письмо С. А. Толстой к мужу в Бегичевку. Зная о его отъезде, но не зная точной даты, она посылает ему ещё три небольших письма: два 19 марта (одно не опубликовано) и одно — в самый день отъезда мужа из Бегичевки, 12 марта. Сам же Толстой посылает жене ещё только одно письмо — в тот же день 7 марта — следующего содержания:

«Доживаем последнее время, и дела всё делается больше и больше; но вместе с тем и видится хоть не конец ему, но то, что оно придёт в большую правильность. Нынче я для опыта затеял записывать всех приходящих с просьбами, и оказалось в обыкновенный день не выдачи 125 человек, не считая мелких просителей лаптей, одёжи и т. п. Нынче принимала их Таня и я отчасти, когда хотел и нужно было. Они все меня берегут. Маша ездила в Колодези за Наташиными владениями, а Вера в Бароновку и Софьинку. Я же утром немного писал, а после завтрака ездил к <Ф. Е.> Лебедеву <в Грязновку> свести счёты по складу. Чудесная погода и верхом очень хорошо. Если погода не переменится, то дорога простоит до 15. Это и нам нужно для развоза провианта по складам. Делаем учёты и, главное, сметы, —

сколько в какой склад нужно провианта до новины. Надеюсь до отъезда привести всё в совершенную ясность. Митрофан Алёхин, который один из помощников живёт с нами, большой знаток бухгалтерии и очень акуратно всё высчитывает и записывает. Писарев приехал. Завтра увижу его и попрошу заменить отчасти меня, и, если он согласится, уеду спокойно. Мы все здоровы вполне, если не считать констипацию (от *лат.* constipatio — запор) Тани и маленькую горловую боль Веры. Прощай, голубушка, целую тебя и детей. […]» *(84, 134 - 135).*

Итак, у отъезда Толстого из Бегичевки и очередного, на этот раз месячного, перерыва в его работе помощи голодающим были несколько причин. Помимо личной (желания свидеться с семьёй), были и «технические» причины: весенняя распутица и недостаточность денежных средств так же вынуждали к перерыву. Не последнюю роль играли и усиливающиеся эпидемии среди крестьян: тифа, оспы, цинги и только начинавшейся повальной холеры. Жертвами болезней стали ещё в конце февраля и в марте сперва Татьяна Львовна, приехавшая из Бегичевки к матери с И. Е. Репиным уже совершенно больной, а затем в Патровке — и Лев Львович *(МЖ – 2. С. 270).*

12-го марта 1892 г. Толстой временно покидает своё бегичевское «министерство» — оставив своих помощников распоряжаться работой 170 (!) работающих к этому времени столовых для крестьян, их детей и их лошадок, для обеспечения которых на тот момент оставалось денег 8 тысяч рублей из 15 – 16 необходимых *(66, 178).*

Наконец, на очереди два письма Софьи Андреевны — сначала 10 марта:

«Пишу одновременно в Клёкотки и Чернаву, чтоб сказать, что мы все здоровы и благополучны и ждём вас, так как тепло, тает сильно и дорог на днях не будет. Читал ли ты, Лёвочка в «Русской жизни» твоё письмо? На другой день и в «Новом времени» напечатали. Послала в *Клёкотки* этот номер. В Москве ясно по-весеннему; дети гуляют и радуются. Нового ничего, всё по-прежнему. Очень интересно будет послушать ваши рассказы. Последнее время вы все скупы на *длинные* письма. Целую всех.

С. Т.» *(ПСТ. С. 512).*

Опровержение Толстого на клевету «Московских ведомостей» 8 марта опубликовали сразу две газеты: «Санкт-Петербургские ведомости» и «Русская жизнь». За ними, как по команде, его перепечатали другие российские газеты. Вероятно, «Московские ведомости» уже были к этой публикации приготовлены, ибо новый их удар подлости и лжи не заставил себя ждать. В заключительном в данном Фрагменте переписки письме от 12 марта Софья Андреевна сообщает:

«Вот мрачность то сегодня!

«Московские ведомости» сегодня весь номер заняли обличением, вследствие письма твоего (во всех русских газетах напечатано), и Диллон от себя написал и прислал в «Московские ведомости» *все* написанные тобой письма и то письмо, которое он сам написал в Бегичевке и умолял тебя подписать. По-моему, «Московские ведомости», обличая тебя, обличают больше всего себя. Не посылаю газеты, чтоб тебя не расстроить, да и не моя газета. Тогда прочтёшь. Но ужасно неприятно, точно захлебнулся в помойной яме; да опять поднимется страшный гвалт по всей Европе. Вчера я послала в «Temps» письмо, отрицая известие о твоей ссылке. Хоть бы приехали скорей! Я измучилась этими неприятностями. — Валит мокрый снег, метёт, ветер и темнота. На дворе такая же гадость, как и в «Московских ведомостях». Мы все здоровы. Целую всех. От Лёвы известий нет.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 513)*.

Конечно, это письмо не застало Толстого в Рязанской губернии, но тематика его наверняка составила тему устных его бесед с женой после возвращения в Москву. Вообще нужно заметить, что в поединке с «Московскими ведомостями» Софья Андреевна оказалась не менее преданным соратником и другом Толстого, чем в самом деле помощи голодающим крестьянам. В письме от 11 марта к Н. Н. Ге-сыну Толстой признавался, что уже минимум лет за 10 он не может упомнить такого сближения с женой, «а ведь это важнее всего» *(66, 177)*.

История же, изложенная С. А. Толстой в письме 12 марта, имеет, подобно айсбергу, огромную «скрытую часть». Мы приводили в прошлом Эпизоде письмо Л. Н. Толстого к жене от 25 ноября 1891 г., в котором он просит жену разослать запрещённую уже его статью «О

голоде» переводчикам – обратим внимание! — «в последней редакции без смягчений» *(84, 104)*. П. А. Гайдебуров, о котором мы рассказали выше, готовил для своих «Книжек Недели» смягчённую, подцензурную версию, а *бесцензурный*, полный и точный список статьи пообещал Эмилю Диллону, работавшему специальным корреспондентом «Daily Telegraph» в Петербурге, о чём Диллон известил Толстого в письме от 11 декабря *(66, 126)*. Отвечая Диллону из Бегичевки 24 – 25(?) декабря, Толстой особо сожалел, что статья уходит к английскому переводчику «в необработанном виде», искажённая множественными изменениями для цензуры и давал Диллону полное право *сократить* в тексте «повторения и неловкие обороты», которые он там наверняка обнаружит *(Там же. С. 125 – 126)*.

Опубликована статья была в нескольких номерах «Daily Telegraph» в виде «писем» Толстого под общим заглавием «Почему голодают русские крестьяне?». Толстой, занятый “по маковку” делами организации столовых, вычиткой перевода себя не обременил. И, конечно, не мог читать английских газет. И неприятность не заставила себя ждать: «Московские ведомости» добавили к искажениям перевода Диллона искажения своего обратного, с английского языка, перевода, да снабдили в своей публикации тенденциозным комментарием: «…В другом письме граф Толстой задаётся «самоважнейшим вопросом»: понимают ли сами крестьяне серьёзность своего положения и необходимость *вовремя проснуться и самим предпринять что-нибудь*, в виду того, что никто другой им помочь не может, ибо если *сами* они ничего не предпримут, «они передохнут к весне, как пчёлы без мёду». В следующем абзаце даётся такая характеристика словам Толстого: «пропаганда графа есть пропаганда самого крайнего, самого разнузданного социализма, пред которым блекнет даже наша подпольная пропаганда» *(Цит. по: ПСТ. С. 489)*.

Возмущённая очевидной, и с элементами политического доноса, клеветой «Московских ведомостей», Софья Толстая выступила 23 января с опровержением, сославшись на мужа. «Московские ведомости» отреагировали телеграммой в «Daily Telegraph», в которой извещали, что «граф Толстой» отрицает подлинность опубликованного английской газетой 26 января “письма”. Конечно же, встревоженная редакция газеты снеслась телеграммой с переводчиком, а Диллон, не застав уже Толстого в Москве, ринулся в Бегичевку: речь шла, ни мало, ни много, как о его профессиональной репутации!

Биограф Толстого П. И. Бирюков, в то время активно помогавший семье Толстого в работе помощи голодающим, свидетельствует:

«Достаточно лёгкого поверхностного сравнения напечатанного в “Московских ведомостях” с тем, что было написано Л. Н-чем, чтобы

увидать, что если нет больших искажений, то есть весьма неточный перевод, перестановки, подбор и сопоставления более резких фраз, от кого бы это ни исходило…» (*Бирюков П.И. Указ. соч. Т. 3. С. 179).*

Но от *кого* «исходило»? *Кто* исказил текст? Диллон? Маловероятно, что он один — ибо речь идёт об *очень больших и намеренных* искажениях. В любом случае, вина за *скандал* вокруг английской публикации лежит однозначно на щелкопёрах «Московских ведомостей», которые, как справедливо подметила Софья Андреевна, сами бывшие «толстовцы» или «революционеры». То есть субъекты, желавшие и угодить, сребтильничать в отношении правительства, и заодно — отомстить своим прежним идеалам за их предательство, за собственное малодушное разочарование в них. Но мстить радикальной оппозиции было опасно. Осталось — насесть на безответного и тяжело занятого делом христианина Толстого, приписав ему попутно собственные прежние социалистические фантазии.

На сторону Диллона встали Вл. Соловьёв и Н. С. Лесков, которым переводчик успел уплакаться в жилетку. П. И. Бирюков в своей «Биографии Льва Николаевича Толстого» цитирует посланное ему Н. С. Лесковым эмоциональное письмо, ключевые слова в котором: «…Где искажения, когда нет искажений!» *(см.: Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого. Указ. изд. Т. 3. С. 178 – 179).* Таким образом, Лесков, полного текста статьи «О голоде», разумеется, не читавший, по наивности “лил воду на мельницу” не одного опекаемого им Диллона, но и «Московских ведомостей». У Вл. Соловьёва позиция была несколько иная. Диллон привёз 29 января в Бегичевку большое письмо Соловьёва, в котором тот давал Толстому совет, больше похожий на распоряжение: «Разъясните дело в Англии так, чтобы ответственность за непозволительное и неточное разглашение Ваших мыслей в России перешла с Диллона на тех, кто действительно виноват, то есть на “Московские ведомости”» *(Цит. по: 66, 146).*

Толстой симпатизировал Диллону и был так же склонен оправдать его. А вот Софья Андреевна…

В дневнике под 16 февраля и в мемуарах «Моя жизнь» Софья Андреевна рассказывает *свою* версию гадких событий *(см.: ДСАТ – 1. С. 220 – 221; МЖ – 2. С. 252 – 254, 259 – 267, 272).* Вот версия из «Моей жизни»:

«…Англичанин Диллон явился к Льву Николаевичу с просьбой позволить перевести эту статью. Лев Николаевич ничего не имел против и направил Диллона в редакцию “Недели”. Вместо того чтобы перевести то, что было напечатано <пропущенные цензурой отрывки статьи, опубликованные Гайдебуровым в январе. – *Р. А.*>, Диллон

старательно подобрал то, что было выпущено […], придал всей статье революционный характер и привёз в корректуре Льву Николаевичу».

Итак, именно Диллон, как свидетельствует Софья Толстая, *пошёл своим путём* в работе над переводом статьи Л. Н. Толстого «О голоде», и, вместо разрешённой ему автором корректуры, *отредактировал* её, по-своему поняв и усилив и без того довольно радикальную социальную критику в статье.

Далее в «Моей жизни» — о визите к Толстому обиженного и встревоженного переводчика, имевшего несчастье застать в Бегичевке и Софью Андреевну, которая, как мы знаем, всегда «на страже»:

«Приехав в Бегичевку к Льву Николаевичу, Диллон сам написал к себе от имени Льва Николаевича письмо, в котором было сказано, что Лев Николаевич вполне согласен и одобряет перевод Диллона, и это письмо Лев Николаевич, не прочитав, подписал». Корректуру же переведённой статьи Толстой смотреть не стал по недостатку времени *(МЖ – 2. С. 253)*.

На деле всё-таки Диллон сперва написал письмо к Толстому, передав его уже в Бегичевке. Вот ответ Толстого — письменный, специально для газетной публикации:

«В ответ на ваше сегодняшнее письмо я могу только выразить своё удивление на содержание той телеграммы, которую вы получили от «Daily Telegraph». Я никогда не отрицал и никого не уполномочивал отрицать подлинность статей, появившихся под моим именем в «Daily Telegraph». Я знаю, что эти статьи являются переводом той статьи о голоде, которую написал для журнала «Вопросы философии и психологии» и которую передал вам для перевода на английский язык.

Хотя *я не читал всех этих статей*, но у меня нет основания сомневаться в правильности вашего перевода, так как я имел уже неоднократные доказательства вашей точности и аккуратности в этом отношении.

Полученную же вами телеграмму могу объяснить только письмом моей жены в «Московские ведомости», в котором она отрицала утверждение, будто я послал какие-то статьи в иностранные газеты, а также отрицала подлинность некоторых выдержек из «Московских ведомостей», утверждая с полным основанием, что они настолько искажены, что стали почти неузнаваемы» *(66, 144 – 145. Выделение наше. – Р. А.)*.

Обратим внимание: Толстой явным образом указывает на *инициативу жены* в январском выступлении с опровержением. Этому легко можно поверить: Лев Николаевич в принципе избегал газетных и журнальных полемик, когда нужно что-то «подтверждать» или «опровергать».

Обратим внимание и на утверждение, что Толстой не читал *всех* “писем” – т.е. фрагментов своей статьи, подготовленных Диллоном для «Daily Telegraph». Комментатор в томе писем Толстого в Полном собрании его сочинений поясняет, что Толстой-таки *ознакомился* с *одним из* “писем”, в котором был переведённый Э. Диллоном текст как раз 5-й, самой “крамольной”, главы его статьи «О голоде» *(см.: 66, 146)*.

Между тем в мемуарах Софьи Андреевны дальше — уже совсем увлекательно. Она настаивает, что письмо, которое Толстой передал Диллону 29 января… написал в первой редакции сам Диллон — а Толстой лишь подписал, не читая:

«…Волнение Диллона, поспешность его сборов к отъезду — всё это меня навело на мысль, что Диллон затевает что-нибудь недоброе. Я просила его показать письмо, подписанное Львом Николаевичем. Он отказал и сказал, что боится опоздать к поезду. Тогда я загородила его чемодан и сказала, что не дам ему вещей, если он не покажет мне письма, написанного им самим и подписанного Львом Николаевичем. По-видимому, он понял, с кем имеет дело, и достал письмо. Когда я его прочла, я так и ахнула. В нём было сказано в самых лестных словах, что Лев Николаевич вполне согласен и одобряет перевод Диллона.

Я побежала к Льву Николаевичу и показала ему письмо. Он удивился и был недоволен» *(МЖ – 2. С. 253 - 254)*. По настоянию Софьи Андреевны и был написан второй вариант — по сути своей, однако, не обвинявший Диллона ни в чём из того, что готова была возложить на него в 1909-м Соничка-мемуаристка.

Трудно во *всём* поверить её версии событий. Хотя бы потому, что всех этих подробностей *нет* в Сонином *дневнике* 1892 года: там все пени — в адрес «Московских ведомостей», и начинается тема с 3 февраля, дня возвращения Софьи Толстой из Бегичевки в Москву:

«Когда я вернулась в Москву, я постепенно слышала всё большие и большие толки о том, что Лёвочка написал письма будто бы в Англию о русском голоде; что все негодуют; наконец я стала получать письма из Петербурга, что надо мне спешить предпринять что-нибудь для нашего спасенья, что нас хотят сослать и т. д. Я долго ничего не предпринимала. Целую почти неделю я ездила к зубному

врачу зубы все чинить; но мало-помалу меня разобрало беспокойство. Я написала письма: министру внутренних дел Дурново, Шереметевой, товарищу министра Плеве, Александре Андреевне и Кузминским. Во всех письмах я объясняла истину и опровергала ложь “Московских ведомостей”» *(ДСАТ – 1. С. 220 – 221)*.

О Диллоне и конфликте с ним в дневнике 1892 года — *ни слова*. Сведения сониного дневника подтверждает, как мы показали выше, и её переписка. По версии же Софьи Андреевны-мемуаристки получается, что Диллон даже очень, и прежде всего, преступен, а уж после него и «Московские ведомости».

Точку зрения об изначальном искажении статьи Толстого именно переводчиком, высказала, как мы помним, Alexandrine Толстая, читавшая, по её утверждению, самые “письма” в «Daily Telegraph».

Трудно теперь сказать, кто больше исказил правду: Эмиль Диллон, Софья или Александра Толстые. Одно несомненно: глубоко чтя Толстого и как писателя, и как христианского исповедника и публициста, Диллон действительно для заграничной бесцензурной публикации охотно “подобрал” всё, что столь небрежно “обронила” криволапая российская цензура. А Толстой, который таки бегло просмотрел 29 января 5-ю, самую нецензурную, главу своей статьи в диллоновском переводе — только одобрил такую работу своего английского помощника и почитателя. Искажений *грубых*, появившихся в “версии” «Московских ведомостей» он не обнаружил.

Конечно же, текст толстовского письма Диллон использовал для публичной защиты своей репутации, и вскоре он был в распоряжении и «Daily Telegraph», и, к сожалению, «Московских ведомостей».

«Cherchez la femme, pardieu! cherchez la femme!» Как мы видели, и второе, февральское, опровержение Толстой написал, в основном повинуясь настояниям жены. В нём, напомним, перевод был назван «слишком вольным» — но уже в том виде, обратного перевода с английского на русский, как его дали «Московские ведомости». И особенно подчёркнута ложь *трактовки* этих отрывков *(см.: в письме к жене: 84, 119; ср. п. к ред.: 66, 160 - 162)*. Диллон оправдан — в той степени, в какой это было возможно. Но это совершенно невыгодно, конечно, «Московским ведомостям».

И вот в № 71 «Московских ведомостей» от 12 марта 1892 г. явилась обширная передовая статья, специально посвящённая разбору письма-опровержения Толстого от 12 февраля. В статье даны параллельно русский текст Толстого, с которого переводил Диллон, английский перевод и обратный перевод на русский язык; приложены тексты писем Толстого к Диллону и Диллона. «Московские ведомости» стремились показать, что Толстой напрасно отрёкся от собственных

взглядов и что предшествующая статья «Московских ведомостей» якобы правильно вскрыла разрушительные и революционные тенденции мысли Толстого.

Это, кстати сказать, очень распространённый и в наши дни манипулятивный приём. Вокруг клеветнических публикаций «Московских ведомостей» сложился некоторый круг доверившихся их трактовкам почитателей, которые, по свойствам человечьей психологии, теперь до последней возможности готовы были видеть в статье Толстого то, что “увидели” фельетонисты этой газеты. Им не грозило ничем даже опубликование *верных* отрывков из статьи Толстого: вырванные из общего контекста и “снабжённые” тенденциозными комментариями газеты, они воспринимались её поклонниками именно так, как желалось авторам. Люди же, не обманутые изначально — давно уже составили себе мнение о всей клеветнической кампании газеты, но мало чем могли помочь Толстому.

В письме В. Г. Черткову Л. Н. Толстой так отозвался на эти новые выпады: «Статьи “Московских ведомостей” и “Гражданина” и письма Диллона были мне неприятны — в особенности Диллона [...]. Тут всё полу-правда, полу-ложь, и разобраться в этом, когда нет доброжелательства людей друг к другу, нет никакой возможности. И потому самое лучшее ничего не говорить. [...] ... Скучно и некогда иметь дело с людьми, которые всё усложняют, из всего делают какие-то вопросы, которые надо доказывать или опровергать» *(87, 132 - 133)*.

Оставим и мы эту пачкотную историю: её дальнейшее развитие не представляет интереса для нашей книги, ибо не отражено в дальнейшей переписке жертв её, с которыми мы встретимся уже в новом, Втором Фрагменте Тридцать Пятого Эпизода.

Конец Фрагмента Первого
Тридцать Пятого Эпизода

Фрагмент Второй.
ДУХОВНЫЙ ЦАРЬ РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛЬЯ
(13 апреля – 16 мая 1892 г.)

ПТИЦЫ БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ
(Вместо Предисловия)

Взгляните на птиц небесных:
они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы;
и Отец ваш Небесный питает их.

(Мф., 6:26)

К 13-го марта Лев Николаевич с дочерями вернулся в Москву и до 12 апреля жил с женой, чему та была несказанно рада. По трудам — и заслуженный отдых! Толстой провёл этот месяц с семейством так беззаботно, как лишь мог себе позволить, продолжая как своё руководство делом помощи крестьянам, так и работу над книгой «Царство Божие внутри вас», одна из глав которой доставила ему в то время немало трудов: «Всё время стараюсь кончить 8-ую главу и всё дальше от конца» *(52, 64)*. Кроме того, Толстой замысливал новый, более зрелый и сдержанный вариант статьи «О голоде», основанный на опыте его работы, как он это называет в Дневнике сам, «проводника пожертвований»: «Хочется написать всю перечувствованную правду, как перед Богом» *(Там же)*.

Вместе с тем он не отказал себе в удовольствии гуляния на Пасху с другом-художником Репиным (который побывал уже с ним в Бегичевке и много помогал), дочерью Таней и гостями московского дома Толстых. Совершались в наёмном экипаже загородные прогулки — в Останкино, в Кунцево и другие отдалённые от заразной московской клоаки милые природные уголки. «Там и завтракали, и гуляли, — вспоминает Соничка, — и гонялись за майскими жуками, и искали первые цветочки, которые приносили мне… Весна томила всё-таки в городе, и хотелось, как всегда, в деревню. Я писала Льву Николаевичу, что у меня болезненная тоска по деревне. “Я ведь птица, вот и бьюсь в клетке”» *(МЖ – 2. С. 275)*.

Не нужно переоценивать этих слов Софьи Андреевны о любви к деревне, процитированных ею по одному из не опубликованных, к сожалению, апрельских её писем мужу. Любила она — *не ту* деревню, которую знал с юных лет, и понимал, и любил её муж. Не ту

трудовую народную сельскую жизнь, которая и в наши дни ещё теплится, влача жалкое существование среди заплывшей буржуазным жиром путинской России. Нет, нравилась урождённой москвичке Соничке именно та *жизнь на природе,* какой она и описана во многих местах её дневника и мемуаров «Моя жизнь». Её идеал — примерно тот же, что и идеал современных российских городских хомячков, томящихся в ожидании весны и лета, чтобы, подобно потоку блевоты, которой давно тошнит переполненные, душные и зачумлённые мегаполисы, выхлестнуть на пикники и прогулки, на жраньё, фотографирование и собирание букетов и гербариев… Идеал миллиардов в наши дни городских паразитов на трудящемся народе и на всей планете Земля. Любовь Сонички к деревне — это любовь *дачницы*, зажиточной горожанки, взыскующей, помимо искусства, ещё и красот природных. Такое, преимущественно эстетическое, обожание не было тождественно восприятию природы Толстым, родившимся и выросшим в усадьбе. Во многом оно было ему чуждо, а в христианский период его творчества — ещё и порицаемо им с этических позиций. Вспомним хотя бы знаменитый рассказ Л. Н. Толстого «Неужели это так надо?» (1900), явно писанный «с натуры», в котором такие же праздные гуляки, как семейство Толстого (или как современные нам, городские по воспитанию, привычкам и мышлению, на автомобилях, «любители» природы и деревни, включая сюда и *потомков* Толстого) проезжают, любуясь окрестностями, в коляске мимо надрывно трудящегося и не замечаемого ими народа, чьим трудом они живут.

Толстой ведь тоже не прочь был расправить крылья. Он тоже был — птица. Роман Алтухов, замечательный современный исследователь духовной биографии Льва Николаевича Толстого, напоминает о христианском образе, появляющемся ещё в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» и находящемся в сопряжении с важнейшими страницами внешней и духовной биографий Льва Николаевича. Вот что пишет Р. Алтухов о значении для Толстого смерти брата Николая и отражении этого события на страницах толстовского романа:

«Ему не было суждено прийти к новому, высшему пониманию жизни: слишком тяжёл для разума и души оказался «груз» внушённой светской, научной и богословской лжи. Но сам Толстой оттого и чтил высочайше память именно этого своего брата, что понял порыв его разума и сердца к Истине, неведомой большинству в лжехристианском мире. И понял, что сам-то он отстал от тогдашнего, в канун его смерти, состояния сознания своего брата – придя к нему, по меньшей мере, лет через 15-ть» (https://www.proza.ru/2016/05/30/1756). Началом этого пути стало для Толстого в сентябре 1869 года *memento*

mori, напоминание о смерти в лице тоскливой, мучительной ночи, пережитой в Арзамасе, знаменитой «арзамасской тоски», заглянувшей жёлто-зелёными очами в его лицо.

Рассуждение Р. Алтухова подтверждается хорошо известными и памятными строчками из «Исповеди» Льва Николаевича:

«Умный, добрый, серьёзный человек, он заболел молодым, страдал более года и мучительно умер, не понимая, зачем он жил, и ещё менее понимая, зачем он умирает. Никакие теории ничего не могли ответить на эти вопросы ни мне, ни ему во время его медленного и мучительного умирания» *(23, 8)*.

Исследователь делает такой вывод:

«Князь Андрей в «Войне и мире» — это образ такого же прерванного на самом первом взлёте полёта «птицы небесной», каким явилась жизнь Николеньки: человека, отринувшего мирской бунт и только-только, ещё в большей степени бессознательно, начавшего своё рождение духом. Он и успел пожить этой жизнью — но лишь на краю земного бытия и лишь в лучшие свои часы… Из-за смертельного ранения это его рождение не могло стать рождением в жизнь – в обновлённую духовно жизнь в прежнем материальном теле» *(Там же)*.

Р. Алтухов находит сближения с христианским образом «птицы небесной» и на страницах того самого трактата «Царство Божие внутри вас», над которым усиленно работал Толстой в тот же период, к которому относится его эпопея помощи голодающим крестьянам. Речь идёт о концепции *трёх различных религиозных жизнепониманий*, изложенной Толстым в этом трактате *(см.: 28, 69 – 70)*. Исследователь так пересказывает и толкует её:

«…Иудей, римлянин, мусульманин или церковный лжехристианин («православный» или какой-то иной) равно враждебны истине учения Христа. Их мировоззрение, оправдывающее и освящающее служение, во-первых, себе и своим (эгоизм личный и семейный), а также учению мира, князям и сильным мира сего: служение им своими физическими силами или разумом, пользование организованным насилием и оправдание его и многие-многие иные неправды – эти жизнепонимания («личное» и «общественное», по терминологии Толстого) и этот образ жизни были враждебны задачам выживания человечества и прежде, со времён спасительной миссии Христа, и в особенности стали несоответственны вызовам истории в нашем III-м тысячелетии. Они враждебны самой живой жизни: начиная с «осевой» эпохи, эпохи Христа и переданного им от Бога нового учения жизни, они – лишь безумный бунт человечества против Бога, против замысла Его о человечестве, эволюционирующем в разумности и

добре.

Жизнепонимание же, которое Лев Николаевич назвал «всемирным», или «Божеским» и высшее, полнейшее и лучшее выражение которого он обнаружил в отчищенном о церковно-богословского дерьма учении Христа: жизнепонимание о служении человеком Богу как Отцу, жизни в Его воле — это и есть учение спасения и жизни, учение революционного преображения мира».

И положение человека по отношению к «Птице Небесной», то есть к жизни духа и разумения в мире и в нём самом — различно в той степени, в какой человек сперва прозревает к христианскому религиозному жизнепониманию, а затем и сознательно принимает его — уже не как обременяющую догму, а как руководство в реальной жизни, со всеми возможными компромиссами, отступлениями от идеала, необходимыми в ней:

«…Для этого прежде всего человеку самому надо принять к исполнению законы воздержания и неделания, обратить помыслы в глубины собственного духа, а прежние требования к другим и принуждения других – на самого себя.

Бунтарство – антипод истинной, победной революционности! Даже самые искренние идеалисты из числа людей мира, борющихся за внешнее устройство или переустройство жизни […] всё это лишь бунтари против Бога и закона Его. Отринувший их ложь Лев Толстой 1880-х – это человек с пробудившимся к высшему, чем у всех их, жизнепониманию Христа».

С этих позиций раскрывается автором и судьба Анны Карениной в другом великом романе Толстого:

«Бунт Анны – это состояние двойной опасности: её отказ от общего для большинства бунта против Бога и Христа не детерминирован обретением нового религиозного понимания жизни. Она не делается христианкой, но бунт её уничтожает и её прежние социальные связи и возможности, которыми она пользовалась прежде как бессознательная подельница в общем со всем её окружением преступлении служения злу и оправдания его. Она должна обличить их – но обличить-то, по существу, и нечем…» *(https://www.proza.ru/2016/05/30/1756).*

Напомним здесь же читателю, что С. А. Толстая дала героине своей повести «Чья вина?», погибшей от рук мужа, имя — *Анна.* Не напрасно. Повесть была протестным ответом жены Толстого на его «Крейцерову сонату», воспринятую Софьей Андреевной как удар мужа лично по ней и по супружеским узам, связывавшим её с ним (не исключая и наиболее интимных). Но протест этот, как и все протесты Сони против «новых» убеждений мужа — с начала 1880-х и до

его смерти — так и не эволюционировали до мировоззренческих оснований высших, нежели индивидуальный социальный протест женщины и жены против «мужского» деспотизма и всей лжи православной России.

А такие основания, как справедливо указывает Р. Алтухов, есть, и их уже прочно держался Толстой в своей миссии помощи голодающим крестьянам:

«…К мешающему взлёту Птицы Небесной балласту относятся не только образованность без мудрости: то, описанное ещё Паскалем, межеумочное состояние учёных интеллигентов, от детской и народной простоты невежества ушедших, а истинной мудрости не достигших, но и все суеверия, церковные и светские, все дурные привычки человека, уступающее почестям и лести самомнение и многое иное. В отношении них у человека с пробудившимся разумным сознанием есть лишь четыре возможных поприща: 1) наиболее массовидного, слепого бунтарства против Бога, т.е. жизни по учению мира, будучи при этом в плену этих заблуждений и грехов; 2) бунтарства же, но против этих, уже осознанных, зол и неправд – без ориентиров в Боге; 3) покойного, беззлобного и любовного к рабам и жертвам их отречения от них, созерцания их, равно как и созерцания, постижения Божьей истины извне – уже в трансцендентном «ласточкином полёте»; и, наконец, 4) поприще мирского служения Богу – противостояния грехам, соблазнам и суевериям мира с укреплённого «фундамента» нового жизнепонимания, вооружение умов и воспитание сердец ближних — то есть жертва человеком в земной жизни своим полётом ради других. Это уже абсолют, далее которого всегда только известная нам плотская смерть человека — тот же «отлет» Птицы Небесной, но с осознанием исполненного долга земного бытия. Страдания и смерть не страшны такому человеку и принимаются как благо» *(Там же)*.

Первое состояние — это все недовольные общественным строем и проявляющие своё недовольство в пропаганде революций, реформ, в политике и т.п. глупостях и гадостях. Второе состояние, как мы указали — это как раз Софья Андреевна. Оно соответствует очень высокой (высококультурной) стадии человека второго, общественно-государственного (языческого, еврейского или церковно-лжехристианского) жизнепонимания. Третья стадия — прозрение в христианское жизнепонимание без возможности («ещё» или «уже») жить с ним в мире: брат Толстого Николенька, князь Андрей в «Войне и мире»… Наконец, четвёртое «поприще мирского служения Богу» — это именно путь Христа в его земной жизни, путь Христовых исповедников (включая сюда и лучших представителей «исторических»

церквей) и… путь Льва Толстого-христианина. Тернистый — как и должно быть. На челе Христа перед казнью ведь тоже не из розочек венец был… Путь, предполагающий многие компромиссы, которые, как мы видели, анализируя переписку Толстого, ему приходилось зачастую выстраивать буквально «на ходу». Не только в отношениях с женой, оставшейся, как она и сама не раз признавалась, церковно-верующей язычницей. В отношениях со всем «большим», чуждым вере Христа, российским обществом — тоже. Выше мы уже подробно разобрали пример установления Толстым для себя такого компромисса — как раз в связи с формированием его позиции в отношении голода в России и необходимости помощи бедствующему народу.

Да, Соня, и ты от рождения — Птица. Мы все… Но не все готовы понять, что тесную клетку, в которой приходится «биться» и невозможно вполне расправить духовные крылья, создаём мы сами: для себя и друг для друга. Твои с детьми «вылеты» на весенней барской колеснице — мимо народа — «на лоно природы», на прогулки и пикники, равно и на концерты, в театры и на выставки, не более чем иллюзия свободного полёта, обманка жизни, богатой культурными событиями, но всё так же *скудной духом*. Заразительная «ннфлуенца», которой переболела, со значительным процентом москвичей, и твоя семья зимой 1891-92 гг. – не более, чем “звоночек”, ваш *memento mori*: напоминание для вас о бессмысленности и гибельности такого мнимобытия. И, напротив, тяжёлое, как пахота в ярме, повседневное служение твоего мужа в голодной, заразной дизентерией, холерой и тифом Бегичевке — это затруднённый, но всё же полноценный, с отдачей всех сил, настоящий полёт Птицы Небесной.

И он не закончится с окончанием бегичевской эпопеи. Компромисс с мирскими ложью и злом ради творения добра, ради служения Истине и Богу — закончится для Толстого лишь с самой жизнью в известном нам мире.

Конец Предисловия
ко Второму Фрагменту
Тридцать Пятого Эпизода

Итак, 12 апреля 1892 года Лев Николаевич с неизменной помощницей своей, дочерью Машей, возвращается в Бегичевку — с пониманием совершаемого долга служения, но, конечно, без охоты и радости: само по себе «распределение блевотины, которой тошнит богачей», то есть помощь посредством денег, всё больше и больше тяготило Толстого. В этом его могла понять и Софья Андреевна, жертвовавшая для общего дела «высшей радостью жить с мужем и дочерями» *(МЖ – 2. С. 277)*. В мемуарах «Моя жизнь» она цитирует строки из Дневника мужа, запись 3 апреля 1892 г.:

«На душе — зла мало, любви к людям больше. Главное — чувствую радостный переворот — жизни своей личной не почти, а совсем нет. […] От всей души говорю: да будет не моя, но Твоя [воля], и не то, что я, а что Ты хочешь, и не так, как [я], а так, как Ты хочешь.

[…] Я один, а людей так ужасно, бесконечно много, так разнообразны все эти люди, так невозможно мне узнать всех их — всех этих индейцев, малайцев, японцев, даже тех людей, которые со мной всегда — моих детей, жену… Среди всех этих людей я один, совсем одинок и один. И сознание этого одиночества и потребности общения со всеми людьми и невозможности этого общения достаточно для того, чтобы сойти с ума. Одно спасение — сознание внутреннего, через Бога, общения со всеми ими. Когда найдёшь это общение, перестаёт тревожить потребность внешнего общения» *(52, 64 – 65)*.

Это, как мог, Лев Николаевич описал своё состояние на духовной высоте жизни — Птицы Небесной в её бесстрашном и любовном полёте. И Соничка — тоже, как могла — поняла эти строки любящим сердцем, почувствовав биение Птицы в клетке временного материального бытия:

«Точно Лев Николаевич хотел обнять весь мир и проникнуть во всех людей в мире» *(МЖ – 2. С. 278)*.

* * * * *

Первое письмо Л. Н. Толстой по обыкновению написал уже с дороги:

«Пишу хоть несколько слов, милый друг, из Тулы, перед отъездом <в Бегичевку> — скоро час. Доехали, спали хорошо. Я очень нервами упал, вероятно после усиленной работы последнего времени.

Едем с бодростью и самыми добрыми намерениями спокойного и добросовестного, но только, исполнения долга. Погода прекрасная. Беру шубу всё-таки на всякий случай у Раевских. Всё утро писал. Сейчас был Давыдов. Очень добр. Маша пошла к Зиновьевым.

Целую тебя, Таню. — Чтоб она была здорова. Не для меня, а для себя и детей. *Л. Т.*» *(84, 135)*.

«Усиленная работа», которую имеет в виду Толстой — это, конечно и прежде всего, 8-я, долго не дававшаяся ему, глава трактата «Царство Божие внутри вас…».

К 14 или 15 апреля (точно датировать затруднительно) относятся сразу два письма Л. Н. Толстого к жене, оба уже из Бегичевки. В утреннем речь, конечно, о поездке, которая в этот раз ознаменовалась приключениями и о сразу по прибытии навалившихся хлопотах:

«В Клёкотки доехали благополучно и так заторопились уехать поскорее, что не успели написать тебе. Ехали хорошо, но в темноте долго, сбились с дороги и попали па Мясновку <4 км. от Бегичевки. – *Р. А.*>, и Пётр Васильевич, которого мы взяли в Туле, ехавший впереди на телеге, свалился с возом. Хорошо, что не ушибся. И тут же самаринская лошадь, коренная, стала хрипеть, упала и издохла. Мы дошли до перевоза пешком. Все уже спали, но услыхали нас и перевезли.

Здесь только Высоцкий и Митрофан <Алёхин>. — Спать легли в 2. Но выспался я до 10 отлично и нынче вхожу в дело. Нужда в помощи на лошадей и на посев, который идёт и надо делать скорее, ко времени. Послал Высоцкого к Писареву, а сам еду к Мордвинову узнать, что они, земство, делают по посеву и лошадям, чтобы нам делать, что они не доделают. Целую тебя, Таню больную, чтоб она была здорова, и детей» *(84, 135 - 136)*.

С 14 по 21 апреля Толстой работает над очередным отчётом об употреблении им пожертвованных денег. А об важнейшей для крестьян помощи — семенами овса и картофеля для посева он теперь будет упоминать в переписке с женой регулярно, вплоть до очередного отъезда из Бегичевки 16 мая *(см.: 84, №№ 509 – 520)*.

Об этом и следующее письмо Толстого, написанное вечером того же дня:

«Писал утром и пишу сейчас, 11-й час вечера, с <ссыпщиком хлеба Григорием> Ермолаевым, который приехал <со станции> считаться. Я нынче занимался выдачей семян, и вечером мы подготовляли с Митрофаном Васильевичем <Алёхиным> отчёт. Считали приход и расход, и всё ясно и сходится. Недостаёт последних пожертвований

тебе в приходе и Таниного списка пожертвований поименно: книжки её тут нет. Я пришлю вам отчёт, оставив en blanc [незаполненным] то, что вы впишете.

Живём хорошо. Маша спокойно деятельна. Погода прекрасная. Зеленя <новый урожай. – *Р. А.*> положительно плохи. Целую Таню (чтобы она была здорова). Kipling плох.

Была Кутелева. Действует очень спокойно и энергично. Присылайте больше народа, если будут проситься, — особенно хороших. А то многие уходят. Целую тебя, милый друг, и детей» *(Там же. С. 136 - 137).*

Произведение знаменитого Редьярда Киплинга (1865 - 1936), которое произвело на Толстого невыгодное впечатление, не названо, но, с наибольшей вероятностью, это был единственный его к тому времени роман «The Light That Failed» (1891). Толстой и позднее не изменит о Киплинге первоначального негативного мнения — как о представителе современного «ложного» искусства.

Очень хороша подробность: просьба Толстого присылать *хороших* (выносливых, толковых и трудолюбивых) помощников. «Экзаменовать» их на соответствие, конечно же, приходилось Софье Андреевне.

Обратимся теперь к *её* очередным письмам. Первые три письма, от 13, 15 и 17 апреля, мы пропустим: первое и третье из них, к сожалению, не публиковались, а второе касается преимущественно подсчётов истраченных и остаточных денежных средств из сумм, пожертвованных благотворителями. А вот четвёртое по хронологии письмо Софьи Андреевны к мужу, от 18 апреля — хоть и кратко, но небезынтересно. История его такова: 17-го Софья Андреевна была вызвана в Ясную Поляну по хозяйственным вопросам тогдашним управляющим усадьбой, Иваном Александровичем Бергером (1867 – 1916), племянником И. И. Раевского, успевшим к тому времени помочь и Льву Николаевичу, и жене, и в особенности сыну его Льву Львовичу в организации помощи голодающим. Конечно, Софья Андреевна выехала в весеннюю, апрельскую, прекраснейшую Ясную Поляну с превеликой радостью — хотя и всего на один день. По окончании переговоров с управляющим и прочих дел, уже из Тулы и готовясь к возвращению в Москву, из дома Е. П. Раевской, она написала супругу письмо такого содержания:

«Провела чудесный день в Ясной Поляне. Распорядилась всё по хозяйству, с большим усилием просмотрела книги, всё очень исправно;

смотрела коров, лошадей, надувшиеся почки на яблонях в молодом саду, опять будут яблоки; прекрасные зеленя, а главное такая погода, так хорошо, красиво в деревне, что с тоской возвращаюсь в Москву, где сидят бедные дети, и откуда надо бы бежать. Я сейчас еду опять на поезд, сижу у Елены Павловны, она не совсем здорова, лежит. Прощай, пишу второпях, надеюсь в Москве найти твоё письмо. Целую вас. *С. Т.*» *(ПСТ. С. 514).*

В книге воспоминаний «Моя жизнь» есть прекрасное дополнение к этому письму, которое мы не можем не привести здесь же:

«Приехала ко мне Марья Александровна Шмидт, мы весело варили себе сами обед, и я провела чудесный день… Давно я не испытывала такого восторга: каталась, рвала цветы, уже распустились медунчики, жёлтые одуванчики и другие лесные цветы, и почувствовала я весну по-молодому, почти по-детски, так как давно не переживала этого подъёма молодых духовных и физических сил. Красиво, хорошо мне показалось в деревне, и с тоской возвращалась я в Москву, пожалев, что там сидят мои дети, и мечтая как можно скорее бежать оттуда» *(МЖ – 2. С. 275 - 276).*

Здесь выразился тот же типичный городской взгляд жены Толстого: с приматом *эстетического* любования жизнью: взгляд гуляющей на отдыхе дачницы. Фактически же, как мы помним, как только в этой усадебной обстановке жизнь дачная и барская «разбавлялась» подлинной, с её заботами о хозяйстве и семье, Софья Андреевна с самых первых лет замужества выражала неудовлетворённость этой повседневной и настоящей деревенской жизнью, устремляя помыслы к тому образу жизни, который могли вести в ту эпоху только люди богатые и только в Москве и крупных городах России или же в путешествиях за границу.

В тот же день 18 апреля пишет письмо к жене и Лев Николаевич — не из Бегичевки, а из села Пашкова, что в Епифанском уезде, в 7 км. от Бегичевки, и… на французском языке. Вот перевод этого письма:

«Пишу из Пашкова, куда я приехал, чтобы купить овса и ржи, которая здесь продается. Племянник Ермолаева возвращается сейчас в Клёкотки, и я пользуюсь случаем, чтобы сообщить тебе о нас.

Так как нет конверта, пишу тебе по-французски. Мы чувствуем себя хорошо, погода восхитительная. Мы, т. е. я и Маша, очень деятельны и в хорошем настроении. Я гораздо спокойнее, чем раньше. Не строю себе иллюзий и стараюсь делать как можно лучше то, что необходимо делать, и чувствую себя очень хорошо. Всё идёт хорошо. Я посетил 4 столовых, нашёл всех довольными, сделал несколько распоряжений, и у меня такое чувство, что моя поездка была необходима. Возвращаюсь от Писаревых. …Мы условились о семенах. — Завтра мы собираемся с Машей проехаться в Ефремовский уезд. Сегодня Маша отправилась в Дубки. Целую Таню (нужно, чтоб она была здорова) и детей.

Л. Т.

Сейчас два часа дня. Я голоден, как собака, это доказывает бодрое, цветущее состояние моего здоровья» *(84, 137)*.

Как видим, Толстой, исполняя долг своего христианского служения, снова использовал по возможности *оказии*, а не почту, для более быстрой пересылки писем жене. Это позволяло сообщать новости оперативно, пиша при этом не длинно, т.к. на длинные письма часто не было ни времени, ни сил. Соничка со своей стороны приноровилась к такому стилю эпистолярного общения с нею мужа, и, как мы видели в предыдущем Фрагменте переписки на примере *четырёхдневного* письма *(см.: ПСТ. С. 503 – 506)*, в свою очередь иногда «собирала» доставленные ей письма мужа, чтобы ответить на все одним большим письмом. Так она поступила и с только что приведённым нами письмом Л. Н. Толстого: начав писать ответ 21-го апреля, она закончила его только в ночь на 23-е. За это время посланники духовного царя России доставили его благоверной ещё *три* письма: от 19, 21 и даже от 22 апреля (потому что привозили их «с оказией», минуя почту). Приводим сначала их тексты.

Толстой, 19 апреля 1892 г.:

«Опять пользуюсь случаем. Вчера, после моего французского письма, я, вернувшись домой, лёг отдохнуть. Меня разбудили <Р. А.> Писарев и <его знакомый, помещик> Балашёв. Балашёв едет нынче, и вот я посылаю письмо с ним. Писарев очень мил. Очень дорожит столовыми, которые так не нравились нашим помощникам. И помогает во всём.

Теперь забота наша посев, и народ одолевает, но я не робею и разбираюсь понемногу. Мы с Машей не поехали нынче, 19-го, во 1-х

потому, что тут дел было много не конченных; отчёт надо докончить. Немного осталось и у Маши дела, и она лежит, страдает, но не очень. Даже не грели овёс.

[…] Скучно, нет от вас писем. Интересов у нас мало, потому пишу о чтении. Kipling совсем слаб, растрёпан, ищет оригинальности; но зато Flaubert M-me Bovary имеет большие достоинства и не даром славится у французов.

[…] Сейчас ездил верхом […] в те столовые. Всё очень хорошо. Особенно детские, которые совсем утвердились. Погода чудная, жарко. Мы покупаем горох, просо на столовые, и овёс, и картофель на семена. Я выписал ещё вагон семени из Калуги, через Усова. Теперь 7-й час, Маша ест суп в постели, а я сейчас пойду обедать. Пётр Васильевич, как всегда, спокоен и мил.

Целую тебя, милый друг, и Таню, которая должна быть уже здорова, и детей. *Л. Т.*

Сейчас приехала Наташа и привезла твоё письмо. Слава Богу, что все здоровы и всё хорошо. […]» *(84, 138)*.

Очень сходно своей «хозяйственно-организационной» частью и следующее письмо Л. Н. Толстого к жене, от 21 апреля. О трудностях писания отчёта: «Меня спутало, главное то, что я не умею считать и вести бухгалтерию, а у нас она не только двойная, но тройная, и не в смысле порядка, а беспорядка» *(Там же. С. 139)*. О столовых: «Вчера я ездил верхом в Софьинку и Бароновку <деревни Данковского уезда, в 7 – 9 км. от Бегичевки. – *Р. А.*> и опять получил самое хорошее впечатление от столовых и главное от детских приютов. Все довольны. В избу к хозяйке собрались все бабы с детьми, и дети здоровенькие и сытенькие, и бабы всем и хозяйкой довольны» *(Там же)*. Наконец, понимающий и любовный совет жене не засиживаться в лучшие весенние дни дома: «Грустно тебе в городе, да ты езди побольше с детьми — маленькими за город — отдыхать и думать и радоваться» *(Там же)*.

Наконец, текст небольшого письма от 22 апреля, которому предшествует текст отчёта о помощи голодающим (подписанный 21-м апреля):

«Милый друг, посылаю отчёт, который можно напечатать, как он есть, без тех подробностей, которые можно бы ещё прибавить. Он составлен так, что даёт действительный и точный отчёт о нашем деле и употреблении денег, хотя и не имеет полной бухгалтерской

точности. Ошибка, могущая быть в нём, состоит в тех 23.755 р., которые мы показываем полученными нами от русских жертвователей. Этих сведений я не имел и вывел эту сумму по остатку. Я думаю, что она так и есть в действительности. Если же нет, то всё равно все деньги пошли на то же, и ошибка только в цифрах, а не в деле. — Отчёт же даёт понятие жертвователям о том, как употреблены и употребляются их деньги. Это главное. Если Таня ещё с тобой, просмотрите с ней вместе, и если можете что прибавить — прибавьте, особенно в жертвованиях вещами, но не изменяйте стоившего нам большого труда этого отчёта. Лучше же всего, если что можно написать подробнее, то написать прибавление подробностей в другом отчёте.

Целую тебя и детей. Не знаю, когда дойдёт тебе это письмо, во всяком случае сообщаю о себе; сегодня, 22, мы здоровы, и я еду один в Андреевку.

Л. Толстой» *(Там же. С. 140 - 141).*

На все четыре (!) приведённых нами выше, полностью или в отрывках, письма мужа Софья Андреевна отвечала большим, *трёхдневным* по времени писания, письмом от 21 – 23 апреля, текст которого, с комментариями и лишь с незначительными сокращениями, мы и приводим теперь.

«Милый Лёвочка, мне смешно было читать твоё французское письмо, немножко ненатурально, но меня ужасно утешает и трогает то, что ты при всяком случае вспомнишь нас с Таней, и не поленишься написать хоть немного. Это так помогает мне жить.

От Лёвы получили ещё длиннейшее письмо, очень хорошее <из Патровки; штемпель: Бузулук, 16 апреля. – *Р. А.*>, к Тане. У него 150 столовых, горячая деятельность, видно удовлетворяющая его, но жалуется всё на плохое состояние желудка.

У них всё дорог нет, весна холодная и не дружная; а у нас теперь в Москве такая страшная жара, как только бывает в июле. Ужасно тяжело быть в Москве, хоть сад наш (ещё совсем не распустившийся), но всё же, такой для всех нас ressource [помощь]. Дети в саду весь день, то играют, то сажают, то грядки перекапывают, на велосипедах катаются. В воскресенье тут было целое общество детей Мартыновых, Глебовых и Сухотиных, и они ужасно все веселились и пили чай в саду.

Сегодня Таня ездила на Воробьевы горы на лодках с Зубовыми, Олсуфьевым, Мамоновыми, Голицыными, Верой Северцовой и

проч., и они тоже очень веселились. Таня сегодня себя чувствует бодрей, чем те дни, но я боюсь, что опять как-нибудь не убережётся. Она после твоего отъезда ужасно ещё похудела, но я думаю, это действие вод, и теперь она начнет поправляться, так как кончила их пить.

Ездила я в Ясную по делам, а вместо того увлеклась радостью быть в деревне; бегала везде, как девочка, рвала и выкапывала душистые фиалки, мылась в пруду, обегала все посадки, сад; ездила по купальной дороге, кругом ёлок и домой по Грумонтской дороге. — Я давно не была в таком восторге. Но я всё-таки пересмотрела все книги, распорядилась везде и порадовалась на густые зеленя, и почки яблонь, и хорошую траву. Провела я в Ясной одну субботу, а в вагоне две ночи, и приехала очень усталая.

Теперь справляю здесь весенние дела. Раньше месяца отсюда не выберешься. Была сегодня <в гимназии> у Поливанова. Андрюшу не допустят до многих экзаменов, придётся в августе держать, а Мишу допустят. Поливанов мне рекомендует очень гувернёра; я вчера отказала Борелю. Он очень огорчался, просил оставить его до осени, но я не могу его держать, очень уж распустился.

Завтра кончу это письмо, а теперь два часа ночи, я написала очень много писем. — Да, ещё не забыть: что же вы не тратите денег на голодающих? Ведь лежат они в банке, и очень много. Я искала купить горох, нашла один вагон, и то по 1 р. 35 коп. очень плохой. Я думаю, вы в Скопине найдёте и горох, и лук, и картофель. Там огородников много, и верно дешевле. Помощников ищу, говорю всем, но никак не могу найти.

22-го. Сегодня Таня проснулась, говорит, что едет к доктору, всю её прострелило, колет и больно всякое движение. Я испугалась, поехала сама с ней к Флёрову. Он говорит: простудилась, ревматизм в мускулах, окружающих лёгкие, велел горчишники, растереть скипидаром и сидеть дома. Желудок и общее здоровье нашёл лучше. Говорит: дня через два, три пройдёт, жару нет и ничего внутри не больно, но ехать к вам ей едва ли скоро придётся; очень она слаба, худа и легко сваливается.

Я приколола к панталонам газету с *моим последним отчётом*. Посылаем две фуражки: одну купили, другую Таня с Соней Мамоновой сшили. Мне до того некогда, что я даже этого не сделала. […] Очень долго приходится позировать, часа по три непременно, но портрет очень хорош.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Во время московского отпуска, в начале апреля, Лев Николаевич, как подарок жене, заказал её портрет масляными красками у знаменитого художника Валентина Серова.]

23-го. Целый дневник пишу. Ещё было от вас два письма. Спасибо, спасибо, голубчики, я очень рада всегда. Тане получше, но она ещё не выходит и всё больно правая сторона груди и под лопатку, но сама бодра.

16 000 рублей итог расходов в книжечке, которая у тебя, Танина. Посылаю кое-что. Если фуражки, панталоны или блузы не впору, пусть Марья Кирилловна перешьёт, на то она у вас и *портниха.* Маша, вели папа сделать из картофеля салат, немного огурцов нарезать туда тонко, как ему в Москве понравилось; всё для этого посылаю. Твои вещи тоже посылаю, которые просишь.

От Лёвы было письмо; он радуется, что много семян роздал, такое видно это произвело хорошее на всех действие, *эта* помощь. Сегодня послала ему из ваших сумм 3000 рублей. Прощайте, милые друзья, сейчас везу вещи к Величкиной, которая едет сегодня. Целую вас крепко и нежно. За город не ездили, ветер теперь, а то коляску чинили. Ещё съезжу, времени мало. *С. Т.*» *(ПСТ. С. 514 - 516).*

Благодаря возможности для обоих супругов взаимно избегать неспешного сервиса почты России, Толстой ответил на это большое письмо (или, точнее, *три* письма в одной корреспонденции) жены уже 25 апреля — и, разумеется, и этот свой ответ отослал «с оказией», минуя почту:

«Получил твои письма и посылки с Верой Михайловной, милый друг. Всё бы прекрасно, если бы не Танино нездоровье. Но неприятно только нездоровье, а никак не то, что она не помогает. Теперь самое хлопотливое прошло или проходит, именно раздача семян, картофеля. И народ подъезжает. […] Нынче суббота, но уже съехались сотрудники: Алёхины 3 брата, Леонтьев, <Николай Иванович> Дудченко. А вчера ещё приехала <М. А.> Пинская с своим помощником. У них идёт дело хорошо, и там особенно нужна помощь, так что мы им дали тысячу четыреста рублей. Мы купили кое-что, но много не закупаем, потому что надеемся, что после посева всё подешевеет. Погода ужасная, сушит, как в июле.

[…] Письмо это привезёт тебе человек Мордвиновых. Он может рассказать про зеленя и народ.

[…] Посылаю обратно два чека подписанные. Таня напрасно пишет, чтобы я написал receipt [расписку в получении]. Я бы мог, но

послано ей. Впрочем, напишу. Да скажи ей, чтоб она послала Hapgood расписки в получении всех полученных денег. Таня, голубушка, отвечать нужно только Hapgood и американцу, который chargé d'affaires [поверенный в делах]. Hapgood ты сама получше отвечай, да и chargé d'affaires тоже. Посылаю для этой цели листок с моей подписью.

Пожалуйста, не думай, милая, что ты нам нужна. Ты нам приятна и дорога так, а для дела, как ты ни полезна для него, мы в тебе не нуждаемся.

Целую вас и детей. Л. Т.» *(84, 141 - 142).*

Последним замечанием Л. Н. Толстой выразил своё пожелание, чтобы жена берегла свои силы, не беспокоясь о том, что помощь её на данном этапе уж совершенно незаменима. Помощников не хватало, но они были. В письме упоминаются, в частности. важные иностранные помощники: Джордж В. Вуртс (George W. Wurts), уполномоченный от американского правительства, только что приславший Толстому для помощи голодающим солидную сумму: в рублях она вышла «чистыми» 504 р. 30 коп. А ещё упомянута среди постоянных помощников американская писательница, переводчица и журналист Изабелла Флоренс Хэпгуд (Isabel Florence Hapgood; 1850 - 1928), уже лично знакомая к тому времени с Толстым, скандально памятная своими отказами переводить для американского читателя такие “вредные” книги Толстого как «Крейцерова соната» или «Царство Божие внутри вас». В этом, кстати сказать, она нашла единомыслие с Софьей Андреевной и была лично очень симпатична ей.

Изабелла Флоренс Хэпгуд

Не имея в распоряжении писем С. А. Толстой от 25 и 27 апреля, мы приводим ниже очередные по хронологии письма Льва Николаевича.

Письмо от 26 апреля, в сокращении:

«Нынче заедет купец, возвращаясь в Клёкотки, и вот я готовлю письма, и первое пишу тебе, милый друг, а то, пожалуй, не успею или успею дурно. Не знаю, как вы с Таней решили с моим отчётом: не нашли ли таких неправильностей и пропусков, что решили прежде исправить. Если так — делайте.

[…] У нас идёт напряжённая работа с раздачей семян и теперь лошадей. (Это очень трудно — раздать так, чтобы не было обиды.) Вчера я целый день ездил верхом (самая покойная езда на Мухортом), отчасти по этому делу, и для открытия столовой в Екатериновке <деревня Данковского уезда, в 7 км. от Бегичевки. – *Р. А.*>, и для приютов в Екатериновку, Софьинку и Бароновку, и мне было очень хорошо нравственно и всё сделал, как умел и мог, физически — тоже хорошо; я совершенно здоров, но погода ужасная. По полям ярового ветром несёт, не переставая, целые тучи пыли, как это бывает по дорогам в июле. Я никогда не видывал ничего подобного. Эта сушь не обещает ничего хорошего.

Помощников нам нужно, и чем больше, тем лучше. Лошадей мы купили теперь 19 и всех раздали. Раздали 1 на трёх, так что один

хозяин, получающий лошадь, обязуется обработать ещё два надела. Я не ошибся, написав в отчёте, что для удовлетворения крайней нужды в лошадях нужно бы 100 лошадей. Нужно больше в нашем округе. Думаю, что после раздачи картофеля в конце апреля и начале мая будет перерыв напряжённых занятий.

[…] Чертков пишет <16 апреля из Россоши Воронежской губ.> о положении народа у них и о цынге. Это страшно. Просит тебя прислать как можно больше капусты. Я думаю, он писал тебе? Если же нет, то пошли ему 300 пудов капусты. Ужасно особенно то, что все эти страшные страдания цынги: слепота и всякие уродства проходят и уж всегда предупреждаются хорошей, стоящей 50 к. в месяц на человека, пищей.

От тебя мало писем. Последнее, что я знаю, это то только, [что ты] приехала в Москву. <Речь о «тройном» письме С. А. от 21 – 23 апреля. – *Р. А.*>.

[…] Видел Андрюшу сегодня во сне. Как он живёт? Как все твои дела, не дела денежные, а с детьми?

Прощай, милый друг, целую тебя, Таню, если она с тобой, и детей.

Пожалуйста купи учение 12 апостолов и пошли: Белый Ключ, Тифлисской губ., Борчалинский уезд, Триолетск. приставство, село Башкичет, Дмитрию Александровичу Хилкову.

Прилагаемое письмо Hapgood перешли, на её письме нет адреса. При этом же два подписанных чека» *(84, 142 – 143)*.

Князь Дмитрий Александрович Хилков (1857? - 1914) был хорошо известен Льву Николаевичу со 2-й половины 1880-х, когда, под влиянием духовного писания Толстого «В чём моя вера?» он отказался от своих имений и дворянских привилегий и занялся земледельческим трудом, как простой крестьянин — на трёх десятинах. Судя по просьбе Толстого к жене *купить* книгу «Учение двенадцати апостолов», речь может идти только об оригинальном Дидахе, а не о его вольном «переводе», с собственным Предисловием, выполненном Л. Н. Толстым в 1885 году но ещё не выходившем к тому времени в России отдельным книжным изданием.

Так же в сокращении — письмо 27 апреля, довольно сбивчивое, буквально дающее ощущение писания в спешке, промеж множества иных дел. Толстой начал писать было на обороте письма одного из благотворителей (вероятно, торговца), некоего Рубцова, но в резуль-

тате письмо получилось довольно длинным, разнообразным, в приписке вместившим в себя даже сугубо «семейное» замечание об учёбе сына:

«Вот полученное вчера письмо Рубцова. Как это случилось, что он не получил денег, когда уж давно в наших счетах значатся эти 844 рубля. Пожалуйста, голубушка, разъясни и исправь это. Это ужасно обидно, так как он жертвовал и трудился для нас. Я пишу ему.

Сегодня понедельник, 27, 12 часов дня. Приезжал один господин, в Раненбургском уезде, ведущий столовые, и сейчас возвращается. Я с ним посылаю это. Мы живы, здоровы, очень заняты, всё хорошо и приятно. И видится, что особенные дела весенние скоро придут к концу. Лошадей роздал и больше не покупаем, овёс тоже. Теперь раздали картофель. И когда кончится, то отдохнём. Деньги у нас все вышли, и потому, пожалуйста, пришли с первым случаем тысячи три.

Вчера, [...] главное, не было от тебя письма. Верно опоздало или едет с кем-нибудь в Клёкотки. Жара чрезвычайная, и дождя нет. [...] Вчера был у Писарева, [...] и общий голос, что ржи дурны и от засухи всё хужеют. Писарев очень энергично работает и уж начинает думать о будущем годе. Я думаю, что это преждевременно, и загадывать не надо хорошего, и ещё менее дурного.

[...] Я перешёл в комнату Елены Михайловны <Раевской>. Маша меня туда перевела, потому что в спальне ужасно жарко. Маша очень заботится обо мне и для себя, и для тебя, и для меня. Очень благодарю тебя за фуражки и блузы.

Целую тебя, милый друг, и детей. Л. Т.

Надеюсь, что Андрюша не унывает и будет летом работать, чтоб выдержать <переэкзаменовку>, а то он ошибается. Ему надо учиться, чтобы иметь всё то, что он любит...» *(Там же. С. 144 - 145).*

Наконец 28 апреля до Бегичевки доехало письмо С. А. Толстой от 25-го. Отвечая на него открытым небольшим письмом, Толстой писал в тот же день:

«Получил сегодня твоё письмо... Спасибо. Напрасно ты думаешь, что мы с Машей унывали. Напротив, до сих пор дело спорится и не трудно.

Нынче приехал оригинальный старик швед из Индии» *(Там же. С. 145).*

В эти дни в жизнь Льва Николаевича, членов его семьи, его единомышленников во Христе и других помощников ненадолго вошёл самобытный духовный искатель, бродячий аскет и проповедник Абрахам фон Бонде (ок. 1821 – ?), шведский еврей. Как и князь Хилков, он отказался от немалых земных богатств и тем осуществил столь страшный для Софьи Андреевны и столь желанный мужу её идеал праведной бедности. В дальнейшей переписке Толстого с женой ещё явится немало подробностей об этой экстравагантнейшей и незабвенной личности.

В тот же день 28 апреля Софья Андреевна пишет такое встречное письмо мужу:

«Очень радостно, что всякий день почти от вас письма, милый друг Лёвочка. Сегодня пришло письмо с чеками и ответом Hapgood, который пошлю. Хилкову книгу тоже пошлю, хотя не знаю, где её купить. Поправку в отчёте сделаю. Я послала его только сегодня, всё Таня не выпускала из рук, хотела проверить с своим в газетах. Она завтра едет к Олсуфьевым на три дня с М. Зубовой, и очень собирается, укладывается. Здоровье её получше в женском отношении, но всё запоры, и без кл<истира> только раз было действие <кишечника> во всё время. Она стремится после Олсуфьевых к вам, в Бегичевку; не знаю, пущу ли её или нет, посмотрю тогда.

Мне и вас страшно жаль: воображаю, как вам трудно, хлопотно и одиноко! Ты просишь помощников, милый Лёвочка. Я всем на свете это говорю: студентам, профессорам, просила репетитора детей — все обещают, но никого не найдём. Вчера был <В. С.> Соловьёв, <М. С.> Сухотин и <Е. И.> Баратынская. Последняя обещает какую-то барышню; я просила её присылать. Что вы пишете о зное и ветре — очень огорчительно. Здесь, в Москве, почти всякий день дождь; была чудесная гроза, но сегодня жара страшная, и я весь день не выходила. Прождала напрасно Серова, он не пришёл, а портрет после 12 сеансов далеко не готов; ужасно надоело сидеть по три часа.

Дела мои с детьми хороши: все здоровы, послушны. <Гувернёр> Борель отходит, его вещи тут ещё, но сам он пропадает. Очень робею за нового, мало вообще известный, не молодой и вегетарианец крайний. Если *не* молодой плох, то это ещё хуже. Ну, да можно и отказать, если что. Поступит он 10 мая.

В саду черёмуха распустилась, и на всё это я смотрю с сантиментальной грустью. Жалкие кусты крыжовнику цветут и тоже яблони в саду зацветают.

Что ты, Лёвочка, деньги не тратишь? Ведь чем скорее ты их определишь, тем скорее ты будешь свободен. В газетах пишут опять о засухе в разных губерниях. Что-то будет! Конечно, если б деньги остались, можно будет беднейшим дать потом на посев ржи, летом. Но всё это втягивает тебя дальше и дальше в труд, и мне это страшно.

О себе и жизни нашей нечего писать. Вы без радостей при деле, и мы без радости при деле. Думаешь: будто так надо, а всё вперёд глядишь, что будет время, когда мы соединимся и будем счастливы в Ясной. — От Лёвы писем не было, что-то в их степях! Уныло вскрылась весна.

Сейчас ещё от вас письма. Вот спасибо, такое это утешение.

Рубцовские деньги были посланы 4 марта в Калугу. <Деньги за дрова для их поставщика, Н. К. Рубцова. – *Р. А.*> Так как это ошибка, моя вероятно, то только вчера мне их вернули. Я [...] теперь поняла, что надо было послать в Смоленск, что и сделаю завтра.

Вы ни разу не упомянули о посланных 1000 рублях с Верой Михайловной, и пишете, что нуждаетесь в деньгах. Если Таня не поедет скоро, не послать ли их почтой эти 3000 рублей? Ещё я думаю, милый Лёвочка, что капусту посылать в такую жару и так далеко теперь невозможно, она протухнет непременно. Я, впрочем, от Черткова ответа не получала, посылать ли по такой высокой плате за проезд — или нет? И хороша ли, получена ли та капуста, которую я посылала им.

Андрюше я прочла то место <в письме Л. Н. Толстого от 27 апреля. – *Р. А.*>, которое относится к нему, но он остался, кажется, холоден. Он очень огорчителен своей бессодержательностью, заботой о внешнем и равнодушием ко всему духовному, художественному и даже настоящему в жизни: природе, людям, животным, движению и т. д.

Что делать! жалкий он и много будет тосковать, а мало радоваться. Такого ещё у нас не было.

Всё время через раскрытые окна слышу детей в саду, плотники стучат, забор новый в сад делают, и корова мычит отчаянно, и ей, как мне, в поле хочется. Я дала пастуху 1 р., чтоб он её брал эту неделю в поле.

7-го уедут с сестрой Таней Саша и Ваничка с няньками, людьми, коровой и вещами. Останется Дуняша, Митя и мальчики со мной до конца мая. Странный год!

Вы не получили письма в воскресенье, это удивительно, мы часто пишем и пригоняем акуратно; это на почте неисправно. — Ну, прощай, милый Лёвочка, будем мужаться, а как хорошо бы быть вместе! Будем утешаться, что так надо. И Машу мне сердечно жаль, что ей

трудно; целую её, и радуюсь, что о тебе заботится. Пусть и себя бережёт. Еду в редакцию «Русских ведомостей» исправить, что ты просил.

Соня» *(ПСТ. С. 517 – 518, 521).*

«Уныло вскрылась весна…» От депрессивного и негативистского настроения Софьи Андреевны, часто выражавшегося в переписке с мужем, можно, пожалуй, уныть и вскрыться ненароком и в самый весёлый, солнечный весенний день! К сожалению, некоторые её опасения о будущем оказались не напрасны: урожай 1892 года снова погиб в части России засухой, очередные зима и весна снова были голодными, и Толстому, несмотря на всю отлаженность работы его «министерства добра», неизбежно было лично участвовать в работе на голоде, и в 1893-м году снова и снова выезжая в свой штаб в Бегичевке…

В постоянно тревожном состоянии, вожделенно не желая пропускать никакой оказии для продолжения хотя бы эпистолярного, через расстояние, общения с мужем, Софья Андреевна продолжала писать в Бегичевку ежедневно. Вот следующее её письмо, от 29 апреля, настолько переполненное и милыми повседневными, и значительными, касающимися Л. Н. Толстого, биографическими подробностями, что достойно быть приведённым без сокращений:

«Милый друг, вчера писала тебе, но не хочу пропускать Чернавской почты. Сегодня уехала к Олсуфьевым Таня до субботы. Пусть рассеется, хотя и тут сердце не покойно. Если она чего ждёт и не дождётся, то только сердце растравит. Здоровье её получше, но медленно идёт к улучшению, всё кишки не действуют.

Сегодня в конторе Волкова встретила <Нила Тимофеевича> Владимирова, и он кое-что рассказал, что вынес из своей заграничной поездки. Всякий кучер, рабочий во Франции знает тебя и читал. Вообще образование низших классов его поразило сравнительно с Россией.

Получила письмо от Ивана Ивановича Горбунова, просит капусты и других продуктов; но картофелю отсюда посылать нельзя, дорого; особенно платно. Для капусты прислали одно свидетельство Красного Креста. У них там цынга и бедность. Сегодня ещё барыня просила денег для Бугурусланского уезда, но я ещё не дала.

Был этот капустник, у которого я покупаю, и рассказывал, что нанял двух работниц из ваших мест, и они рассказывали про *графа*, какой он благодетель, детей кашкой кормят, народ кормят, обо всех

пекутся; несправедливые дела с кукурузной мукой разобрал, праведный человек!

А вечера Грот принёс письмо Антония, в котором он пишет, что митрополит здешний хочет тебя торжественно отлучить от церкви. — Вот ещё мало презирают Россию за границей, а тут, я воображаю, какой бы смех поднялся! Сам Антоний хвалит очень «Первую ступень», и умно и остроумно отзывается о ней и об отношении к этой статье митрополита и духовенства. Тебе Грот хотел сегодня или завтра писать, он лучше расскажет, а у меня перебиваются разные впечатления, и я плохо помню.

Очень холодно стало сегодня, и мы за город не поехали и не поедем, если будет так. У мальчиков 1 мая экзамены алгебры и арифметики. Все дети здоровы и хороши. Сидит Дунаев, помогает считать и завтра поможет, где купить клюквенный экстракт, лимоны и другое для Горбунова.

Как поживаете? Кончился ли зной, сушь и ветер? Теперь у нас так, да ещё холодно.

Прощай, милый друг, что-то не пишется. Провела день скучно: утро в банках, днём — позировала, вечер держала корректуру твоего отчёта. Пишу теперь письма, счёты, 10 часов вечера. Целую тебя и Машу.

С. Толстая. 29 апреля 1892 г.

Статью «Первая ступень» в журнале Грота пропустили, сейчас получила известие от ликующего Грота. Только сегодня всё решилось» *(ПСТ. С. 521 – 522)*.

О статье Л. Н. Толстого, специально посвящённой христианскому воздержанию, в частности же пищевому посту и осуждению культа *жранья* в лжехристианской, буржуазно-православной России, в мемуарах «Моя жизнь» Софья Андреевна дополнительно вспоминает, что получила её в печатном виде через Н. Я. Грота уже 1 мая и «прочла с удовольствием», несмотря даже на то, что уловила в тексте «живой упрёк» *своему* с семейством городскому и барскому образу жизни *(МЖ – 2. С. 280)*. Опубликована статья была 6 мая.

Очень значительны и упоминания в письме Софьи Андреевны об Алексее Павловиче Храповицком (церковная кличка «Антоний»; 1863 – 1936). Алёшке в детстве повезло: родители не имели единого мнения о жизненной стезе, по которой надлежит направить сынка. Мать обеспечила ему религиозное домашнее воспитание; отец же, помещик и военный генерал — настоял на светском образовании для

сына. В результате мальчик Алёшенька успел за гимназические годы наслушаться публичных лекций В. С. Соловьёва и Ф. М. Достоевского, но, под действием мистической «прививки в мозги» от матушки, принял их к сердцу чрезвычайно страстно. С 1881 по 1885 гг. он учится, вопреки воли отца, в Санкт-Петербургской духовной академии, понемногу, но далеко не полностью, преодолевая влияние «ересей» Соловьёва и Достоевского. А вот «профессиональная» *практика* выпускника Академии — конечно же на время реанимировала многие его юношеские социально-критические и церковно-либеральные настроения. В особенности — с 1890 г., когда, уже с кличкой «Антоний», иеромонах Лёха Храповицкий получил сан архимандрита и должность ректора той самой академии, в которой учился. Среди «духовных якорей», которые удержали его под влиянием учения православия самой влиятельной была весьма неравная по возрасту и влиянию дружба с харизматичным кронштадтским протоиереем Иваном Сергиевым (1829 – 1908), будущим «святым праведным отцом Иоанном Кронштадтским». Но рвало умненького Лёшку с церковного «якоря» долго и нехило. Именно с этим кризисом связано его поверхностная симпатия в начале 1890-х к христианской проповеди Льва Николаевича — в её аскетическом и практически-благотворительном аспектах. Конечно же, «роман» с толстовством не был у «Антония» и длительным: уже в том же 1892 г., будто кем-то «одёрнутый» (быть может, тем же Сергиевым?), он публикует критический очерк «Нравственная идея догмата Троицы», направленный частию и против Толстого — как бы публично «расписываясь в лояльности» матушке-церкви, обеспечившей уже ему завидную карьеру и весьма денежную должность. Через много лет, в марте 1908 г., вспоминая об Антонии (в связи с известием о желании того явиться в Ясную Поляну для «внушения» еретику о возвращении в «лоно церкви»), Толстой отозвался о нём так: «…Я не сказал <своей проповедью> ничего нового Антонию, он всё это знает. У него устройство психики такое, что всё это соскакивает» *(Маковицкий Д. П. У Толстого. Яснополянские записки. – М., 1979. – Т. 3. С. 28).*

Митрополитом же, о котором сообщил в письме Гроту архимандрит Антоний, был старенький да глупенький Иван Алексеевич Лебединский (церковная кличка «Леонтий»; 1822 – 1893), митрополит московский с 1891 г. По возрасту он имел счастье не дожить до того дня, когда его церковь таки осуществила предложенную им меру воздействия на Л. Н. Толстого — отлучение.

Стоит попутно заметить, что составители сборника писем Софьи Андреевны Толстой 1936 года в комментарии к приведённому нами только что письму ошибочно указывают на другую персоналию, а

именно на Александра Васильевича Вадковского (церковная кличка «Антоний»; 1840 – 1912) *(см.: ПСТ. С. 522)*. Но вот он как раз никогда и нимало Толстому не симпатизировал. Как раз поп Шурик Вадковский, будучи в 1901-м году уже митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским и первенствующим членом Синода, стал одним из инициаторов знаменитого «Определения» об “отпадении” Толстого от церкви. Кроме того, он состоял в 1900-е гг. в особой переписке с С. А. Толстой и так же, как Храповицкий, но с особой настырностью, как о важном церковно-государственном деле, пёкся об «обращении» Толстого в православие. Этими сближениями, вероятно, и вызвана ошибка в публикации писем С. А. Толстой.

Наконец 30 апреля Соня кратко отвечает на столь же краткое открытое письмо мужа от 28-го. Главная в нём новость — успешная публикация 20 апреля толстовского отчёта в газете «Русские ведомости», свежий номер которой прилагался к письму:

«[…] Вчера писала тебе, сегодня высылаю твой напечатанный отчёт в «Русских ведомостях» и это письмо. Мы все здоровы. […] Прощай, писать нечего. Дай бог вам всего лучшего, напишу в Клёкотки скоро.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 523)*.

По приведённым нами выше письмам супругов достаточно подробно можно восстановить картину основной их деятельности, связанной с помощью голодавшим крестьянам. Ниже мы опустим очень сходные по тематике документы или фрагменты их из анализируемого корпуса переписки. Это касается корреспонденций Л. Н. Толстого к жене от 2, 4, 12, 13, 15 и 16 мая и С. А. Толстой — от 2, 9, 10, 11, 18 и 19 мая. Такое наше решение связано и с тем, что сам Толстой публикацией своего отчёта подвёл итог большому этапу своей бегичевской эпопеи: с декабря 1891-го по середину апреля 1892-го года — так что продолжение этой эпопеи логично для нашего исследования связать с появлением в переписке супругов новых, интересных для нас писем; а таковые появляются уже только летом 1892-го.

Но нам осталось представить читателю два важных сюжета, берущих начало именно в весенней переписке супругов. Первый из них — трагикомический, а местами и просто смешной, связанный с похождениями явившегося к Толстому шведского бродячего еврея.

Татьяна Львовна, дочь Толстого, много беседовала с Авраамом фон Бонде и передаёт в своих воспоминаниях историю его жизни. Он был богатым землевладельцем в Нью-Йорке и однажды услышал, как бедная нанимательница проклинала его за то, что на оплату жилья у неё уходили последние гроши. Он решил отдать все свои деньги и весь дом даром своим жильцам. Но добрая женщина, почуяв слабость характера хозяина, накинулась на него с ещё большей и злейшей бранью: «А кто заплатит мне за годы горя и лишения, которые мы терпели...» и т. д. Несчастный еврей в ужасе бежал — из собственного дома, из Нью-Йорка, из Америки... В Индии он услышал восторженные рассказы местных жителей о Толстом и отправился к единомышленнику в Россию *(Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1976. С. 308 – 309)*. Не застав Толстого в Ясной Поляне, он явился в Бегичевку. О его приезде Толстой сделал в Дневнике 26 мая такую запись: «Явился швед Абрагам. Моя тень. Те же мысли, то же настроение, минус чуткость. Много хорошего говорит и пишет» *(52, 66)*. Забегая вперёд можно заключить, что именно это самое: «минус чуткость» — и сделало долгое проживание Авраама фон Бонде в Ясной Поляне, мечтавшееся ему, совершенно невозможным.

В письме к жене от 1 мая Л. Н. Толстой характеризует гостя довольно подробно:

«Ещё 3 дня тому назад явился к нам старик, 70 лет швед, живший 30 лет в Америке, побывавший в Китае, в Индии, в Японии. Длинные волоса, жёлто-седые, такая же борода, маленький ростом, огромная шляпа; оборванный, немного на меня похож, проповедник жизни по закону природы. Прекрасно говорит по-английски, очень умён, оригинален и интересен. Хочет жить где-нибудь, он был в Ясной, и научить людей, как можно прокормить 10 человек одному с 400 сажен земли без рабочего скота, одной лопатой. Я писал Черткову о нём и хочу его направить к нему. А пока он тут копает под картофель и проповедует нам. Он вегетарианец, без молока и яиц, предпочитая всё сырое, ходит босой, спит на полу, подкладывая под голову бутылку и т. п.» *(84, 146)*.

Судьбу такого аскета в глазах Софьи Андреевны Толстой можно было бы предвидеть: в её восприятии этот старый еврей мог быть столь же «вредным» для её отношений с мужем, для её семьи человеком, что и еврей молодой, неоднократно ранее упомянутый нами Исаак Файнерман, приблудивший к Толстому и Ясной Поляне ещё в середине 1880-х. Файнерман осуществил наяву один из Соничкиных

кошмаров: живя по толстовским теориям, разорил до голодной нищеты свою семью, сделал глубоко несчастной свою жену… А Бонде практически осуществил другой постоянный кошмар Софьи Андреевны (из цикла «этим обязательно всё и кончится»): он бежал из дома и стал бродягой, надрывая свои силы в 70 лет тяжёлым физическим трудом и портя желудок грубой пищей.

В дальнейшей переписке Толстой вспоминает шведа уже не так часто и пространно, но тоже достаточно для того, чтобы известиями о нём насторожить ещё более Софью Андреевну. Для примера, вот такие шутливые строки из письма от 2 мая:

«Теперь 9 часов вечера, суббота. За столом, на котором стоит самовар, который швед называет идолом, сидит Маша, Саша Философова, Вера Михайловна, Митрофан, Скороходов и швед, съевший яблоко и больше ничего не желающий. Про него говорят, что он самый антихрист, он обещает прокормить 20 человек на осьминнике и копает уж, но только с уговором, чтоб ему душу продать» *(84, 148)*.

Шутки шутками, а швед, в числе прочих сближений с духовными практиками Льва Николаевича, оказался сторонником и пропагандистом того же восточного «хлебного огорода», возделываемого без использования скота, который, как мы помним, уже испытывал в Ясной Поляне и Толстой.

Вот, в передаче Екатерины Ивановны Раевской, старушки мамы умершего И. И. Раевского, некоторые высказывания фон Бонде:

«— Я — часть вселенной. Всё то, что я делаю, мне кажется, что так и должно делать. Если б я осуждал то, что делаю, то осуждал бы всю вселенную. Если осуждают одно колесо в машине, то осуждают и всю машину. Всё то, что делается, делается к лучшему.

[…] Религия ничья мне не нужна. Религия запрудила весь ход человеческой жизни, и самый большой чёрт — это нравственность, так как она остановка жизни. Как реку запружают плотинами, так жизнь запрудили моралью. Надо брать пример с животных.

[…] Скота держать не следует, потому что он съедает траву, которая часть природы.

[…] Чистота не имеет смысла, это предрассудок. Мыться не нужно, потому что это стирает жир с тела. […] Не должно стричь волос, ни ногтей; это отнимает сок у человека. Держите ваш желудок в порядке, никогда не лечитесь. Если желудок в порядке, то не тратьте более пяти минут на испражнение. Если вы на это тратите больше времени, вы — больны. Чтоб желудок был в порядке, ешьте больше яблок и картофеля и пейте три стакана воды в день. Если будете

жирно есть, то и два часа просидите без последствий. [...] Когда я здороваюсь с моим приятелем, то всегда говорю: не здравствуйте, а: “Хорошо ли вы испражнялись?” и тот тем же мне отвечает» и т. д. *(Раевская Е. И. Лев Николаевич Толстой среди голодающих // Л. Н. Толстой. Летописи Государственного литературного музея. – Кн. 12. — М., 1938. — [Т. I]. – С. 419 - 420).*

Легко догадаться по этим суждениям бродячего философа, что именно он послужил Толстому прототипом для образа «свободного человека», беспаспортного старика-сектанта в романе «Воскресение» (см. ч. 3, гл. XXI). Кстати сказать, сопоставление реального Бонде с реальным Толстым делает невозможными никакие спекуляции по линии отождествления бродяги из «Воскресения» с самим великим яснополянцем — к которым по сей день периодически прибегают непрофессиональные и нечестные, обманывающие читателей исследователи, такие как П. В. Басинский с его книгой о Толстом «Свободный человек» и единомысленные ему такие же сволочи и дряни в Москве, в Туле и в Ясной Поляне.

Казалось бы, длительные отношения с великим яснополянцем шведу обеспечены. Но, к сожалению, аскет не учёл состояния здоровья своего младшего по летам нового приятеля… да и тот, увлёкшись, забыл про свои хронические болячки. Рассказывает Т. Л. Сухотина – Толстая:

«Кроме сырых яблок, швед готовил какие-то лепёшки, которые он ел тоже сырыми, и пил болтушку из овсяной муки с водой. Тяжёлые, как камень, лепёшки, конечно, совершенно расстроили здоровье отца, всю жизнь страдавшего болями желудка. Он сильно поплатился за своё увлечение» *(Сухотина-Толстая Т. Л. Указ. соч. С. 306).*

В конце концов в письме к супруге от 4 мая Толстому пришлось сознаться в своей оплошности:

«…У меня 3-го дня, следовательно, 2 мая, были довольно сильные боли в животе, похожие на те, которые бывали у меня при камнях. Я тотчас же поставил несколько клестиров, горячее на живот, потом компресс и через 3 часа боли прошли, и вот теперь, 4-е, 2-й час дня, я совсем здоров, только напуган этим приступом, и осторожен, как только можно быть. Ещё не ем ничего твёрдого, и не хожу, и не езжу, хотя ничего не болит. Маша [...] ходила за мной и хотела писать тебе тотчас же, но я удержал её и, как видишь, сделал очень хорошо, потому что всё прошло… Это наверно были камни, потому что очень было резко больно, хотя и не долго. Ни желтухи, ни окраски мочи, ни жару не было.

Странно сказать, но я истинно люблю эти боли. Бога вспомнишь. А главное, до этого я два дня был в страшно дурном расположении духа, ничего не мог работать. А теперь так свеж и бодр и 2-е утро хорошо работаю. Прощай, душенька, пожалуйста же, не беспокойся и знай, что я всю тебе написал правду» *(84, 148 – 149)*.

Сомнительно, что такое письмо могло успокоить Софью Андреевну, или что она могла хотя бы совершенно поверить ему. Но, по воспоминаниям всё той же Е. И. Раевской, Софья Андреевна узнала о болезни мужа прежде получения этого его письма: Елена Павловна Раевская, вдова И. И. Раевского, жившая в Туле с детьми, узнала о приступах Толстого от прибывшего к ней из имения управляющего и, конечно, немедленно довела всё до сведения Софьи Андреевны:

«Получив письмо 6 мая в 10 часов вечера, графиня, не медля ни минуты, тут же выехала 6-го по двенадцати-часовому ночному поезду и 7-го числа вечером прибыла в Бегичевку, приехав со станции Клёкотки […] в маленькой тележке» *(Раевская Е. И. Там же. С. 420)*.

Дальнейшее пусть расскажет сама С. А. Толстая, по мемуарам «Моя жизнь»:

«Приехала вечером, Лев Николаевич уже здоровый сидел за большим столом с своими сотрудниками, которых было много, а на полу лежал старый швед и спал, а может быть, и притворялся, что спит, так как было очень шумно.

Лев Николаевич как будто был мне рад. Я гуляла с ним, посещая столовые, следила за его здоровьем, а главное, регулировала его пищу, стараясь как можно лучше кормить его. Желтуха, очевидно, была, так как зрачки его совершенно пожелтели.

9-го мая я уехала, заехала в Туле к Елене Павловне Раевской, куда приехал и губернатор Зиновьев и вручил мне там свидетельства Красного Креста, которые я тотчас же послала в Бегичевку с письмом, в котором между прочим пишу: “Целую Машу, которая была очень мила: светлая, кроткая и приятная… Так и вижу вашу пыльную Бегичевку, но мне там было оба раза хорошо”» *(МЖ – 2. С. 282)*.

Это очень важное для нас признание Сони из цитируемого ей в мемуарах письма её к мужу. В особенности если помнить отрицательные отзывы её о Бегичевке из прежней, зимней поездки. Пусть и не сразу, но Птица Небесная духа и разумения расправила крылья и в ней. И назвать христианское служение Сони «второстепенным», менее значительным, чем служение бедствовавшему народу Льва — не решится никто. Титану с огромными крылами потребно накормить народ (да и всему человечеству оказать своей нравственной

проповедью важную духовную помощь!), а маленькой птичке рядом… важно, чтобы сам кормилец не голодал и не болел, был в силах для своего дела!

В письме Л. Н. Толстого к жене из Бегичевки от 12 мая о Бонде он пишет всего одно предложение, свидетельствующее о сохранившейся и после неудачной диеты и болезни симпатии к нему (хотя, кажется, ставшей более умеренной): «Швед грустен, сидит в уголке и зябнет, но говорит всё так же радикально и умно» *(84, 150)*.

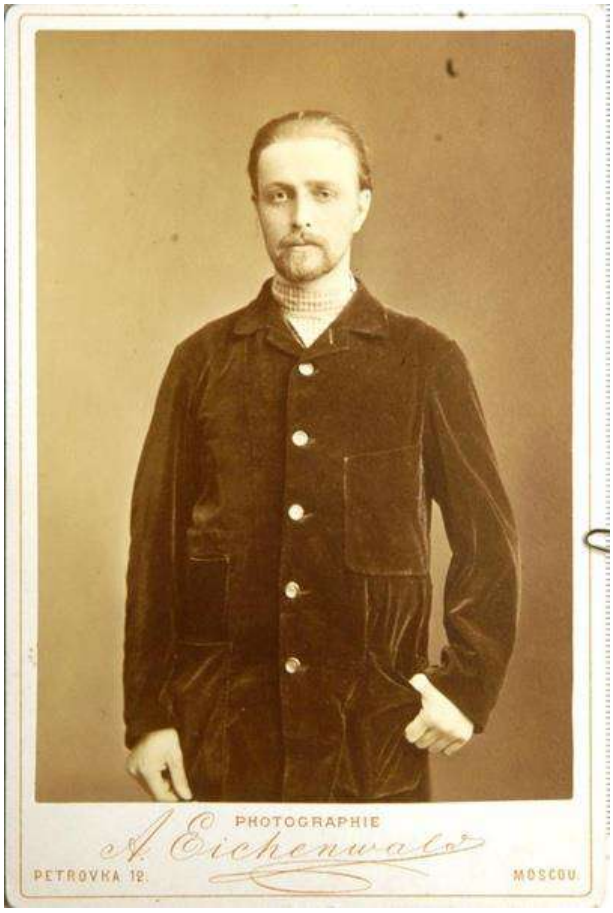
Дальнейшая судьба странного шведа не нашла отражения в переписке Л. Н. и С. А. Толстых и не может поэтому быть здесь рассматриваема. Конечно же, Авраам фон Бонде, помимо непростительного своего проступка в отношении здоровья Льва Николаевича, и в целом произвёл на Соничку самое невыгодное впечатление — что-то сродни грязному и нездоровому животному. Всё же, по воспоминаниям Т. Л. Сухотиной-Толстой, он был принят и долго терпим в Ясной Поляне — вместе со всеми своими чудачествами, как, например, раздевание догола, спаньё на полу и под. И лишь когда он стал грубо конфликтовать с другими гостями Ясной Поляны, Толстой с дочерью Таней деликатно выселили его — сперва в ближнюю деревню Овсянниково, в маленький домик, в котором жила такая же радикальная аскетка Мария Шмидт, а позднее, хлопотами Толстого, Бонде должен был переехать в Воронежскую губернию, на участок земли, где мог бы осуществить свои земледельческие планы, но… не признавая документов, он не смог, по действовавшим законам, сделаться официально оседлым жителем Российской Империи и, вероятно, вскоре покинул её *(Сухотина-Толстая Т. Л. Указ. соч. С. 309 – 314, 490. Примечания.)*.

Второй сюжет, на котором, завершая данный Фрагмент презентования читателю и анализа переписки Л. Н. и С. А. Толстых в 1892 году, нам необходимо задержать внимание читателя — довольно печальный и чреватый той трагедией, которой завершилась для Софьи Андреевны в 1910 году попытка жить с мужем-христианином, не разделяя его религиозного понимания жизни. В центре этого сюжета снова оказывается ближайший друг Льва Николаевича, В. Г. Чертков — человек с тяжёлым характером и далеко не всегда открытыми, честными намерениями. Не умом, а именно своим психическим складом он был «язычник» — в том же смысле, в каком грустно признавала себя «язычницей» и Софья Андреевна: то есть человек, необходимо и во многом разделявший то низшее по отношению к христианству, «мирское» понимание жизни, которое отдаёт человека

во власть главных и страшнейших по разрушительности грехов: властолюбия, тщеславия, похоти, корысти… В отношении Льва Николаевича Чертков вряд ли когда-то мог явить корыстолюбие: он по наследству был гораздо богаче, чем семья Толстого. Вряд ли можно говорить и о похоти — вопреки «догадке» уже совершенно душевно не здоровой в 1910 г. Софьи Андреевны о гомосексуальном партнёрстве её 81-летнего мужа с Чертковым. А вот что касается властолюбия и тщеславия… Это и были главные обвинения в адрес В. Г. Черткова из уст и в писаниях уже его современников. Он стремился наложить тяжёлую длань своего влияния не только на рукописи Льва Николаевича, не только на ход и результаты его творчества, но и на *семейные отношения* Толстого, и прежде всего — с *женой*, в которой Черткову справедливо виделся конкурент за историческое место «по правую руку от гения».

Попросим тут снова нашего читателя завязать на память узелок. А если уж развязался прежний — напомним, что конфликтные, неприязненные отношения жены Толстого с В. Г. Чертковым берут начало в 1887 г., когда она нечаянно (хотелось бы верить, что именно так) прочла письмо Льву Николаевичу его «одноцентренного друга», где были такие строки:

«Галя около меня, и нет такой области, в которой мы лишены обоюдного общения и единения. Не знаю, как благодарить Бога за всё то благо, какое я получаю от этого единения с женой. При этом я всегда вспоминаю тех, кто лишён возможности такого духовного общения с жёнами, и которые, как казалось бы, гораздо, гораздо более меня заслуживают этого счастья. …Я объясняю себе это обстоятельство, с первого взгляда кажущееся несправедливым, тем, что люди эти, именно потому, что они сильнее меня и могут обходиться меньшим, именно, потому-то лишены той роскоши духовного единения с женой, которою я пользуюсь. Силы их больше и задача и условия их жизни соразмерно труднее и значительнее» *(Цит. по: 86, 33)*.



Владимир Григорьевич Чертков.
Фотография А.Ф. Эйхенвальда. 1883 г.

Конечно же, это по внешности «общее» суждение о жёнах, с которыми великим мужьям невозможно духовное общение Софья Андреевна вполне справедливо отнесла на свой счёт. Вдвойне болезненней было Соничке сопоставление Чертковым её с собственной его женой, Анной Константиновной (урожд. Дитерихс; 1859 – 1927), имевшей в кругах толстовцев кличку «Галя». Духовное единомыслие «Гали» с мужем и Львом Толстым, единоверие в Боге и Христе либо переосмысливалось в сознании Софьи Андреевны таким образом, что превращалось в свидетельство “глупости” или “слабохарактерности” Анны Константиновны, либо находило рационализацию в том, что семья Чертковых, будучи чрезвычайно богатой и защищённой от репрессий могучими «связями», вплоть до придворных, могла себе позволить «юродство» христианской жизни.

Анна Константиновна Черткова

В дневнике Софьи Андреевны под 9 марта 1887 г. появилась такая запись о тайном чтении чужого письма:

«Я прочла, и мне больно стало. Этот тупой, хитрый и неправдивый человек […] хочет разрушить ту связь, которая скоро 25 лет нас так тесно связывала всячески!»

И ниже, как резюме:

«Отношения с Чертковым надо прекратить. Там всё ложь и зло, а от этого подальше» *(ДСАТ – 1. С. 116)*.

«Я возненавидела тогда Черткова» — признаётся Софья Андреевна в мемуарах *(МЖ – 2. С. 19)*. Но дальше «установки на разрыв» отношений дело так и не пошло: человек, во-первых, воспитанием и происхождением светско-аристократический, то есть принадлежащий как раз к тем кругам, которые были ближе и любимее всего Соне; во-вторых молодой и красивый мужчина (что, конечно же, имело значение для Сони не столько как для женщины, сколько как для эстетически утончённого человека); в третьих же, и главное — многообразно полезный её мужу и *духовно* необходимый, Чертков не мог быть изгнан из толстовского дома так же просто, как сделали это с чудаком шведом.

Отношения продолжились… и приняли к 1892 году ещё более, со стороны Черткова, «токсичный» характер. Почуяв в готовящемся Львом Николаевичем трактате «Царство Божие внутри вас» значи-

тельное в человеческой и христианской истории сочинение, навязчиво заботливый друг озаботился не просто *контролировать*, но и специфически «стимулировать» работу Льва Николаевича. В частности, приехавший в ноябре 1891 г. в Бегичевку М. Н. Чистяков имел от Черткова поручение: забрать у Толстого и привезти к нему (на хутор Черткова Ржевск в Воронежской губ.) первые восемь готовых глав «Царства Божия». Как мы знаем, Толстой сильно задержался с писанием 8-й главы, и Чертков никак не мог дождаться заполучить её. Первые семь глав были переписаны на хуторе Черткова начисто,

Хутор Ржевск. На лестнице барского дома: слева вверху — В.Г. Чертков с сыном Володей; в центре сидят — Е.И. Черткова и А.К. Черткова, другие домочадцы. *1896 г.*

будто для публикации. В марте тот же Чистяков снова караулил, буквально «над душой» автора, 8-ю главу — в Москве, во время пребывания там Толстого. Несомненно, это был элемент манипулятивного давления на Толстого, любившего возвращаться к уже, казалось бы, оконченным писанием текстам и снова перемарывать и переделывать их… В середине апреля 1892 г. рукопись 8-й главы отправилась к Черткову, а оттуда в конце месяца, уже в переписанном виде — снова к Толстому, в Бегичевку. Причём Чертков прислал с рукописью своего переписчика, Евдокима Платоновича Соколова (1873 – 1919), крестьянина-грамотея, ловкого и хитрого, служившего в хуторе Ржевск у Черткова и для выполнения иных, что называется, «особых» и негласных поручений. В письме от 28 апреля Лев Николаевич деликатно давал понять «заботнику», что не намерен преры-

вать работу помощи крестьянам ради желаемого Чертковым скорейшего окончания трактата *(87, 144 – 145*). Соколов, однако, так и кружил, как стервятник, вокруг Толстого битый месяц, уехав из Бегичевки только 23 мая — конечно же, *без* вожделенной Черткову рукописи.

Примечательно, что в этом же письме Толстой рассказал Черткову и о новоприбывшем в Бегичевку шведе Бонде, с самых положительных сторон охарактеризовав его интеллект, нравственный облик и согласные с убеждениями поведенческие практики. Он просил Черткова принять Бонде и поселить на хуторе, на клочке земли. Но Чертков в ответном письме… открестился от «духовного собрата» из Швеции, попросив Толстого *не* присылать Бонде к нему. С наибольшим вероятием — побоявшись внимания к себе полиции в связи с проживанием на его земле «хлебороба», не признающего ни денег, ни документов, ни даже обыкновенной человеческой одежды.

Сам «христианнейший» Владимир Григорьевич во всю «голодную эпопею» не подверг (в отличие от той же Софьи Андреевны) свою задницу никакой опасности, не навестив ни тифозной, холерной и дизентерийной Бегичевки, ни Патровки, где едва не погиб от тифа младший сын Толстого, Лев Львович. Он предпочитал «просвещать» народ, готовя к публикации тексты для издательства «Посредник»: это ведь куда как менее хлопотно и более безопасно, чем кормить или лечить!

Толстой молчал, терпел и не жаловался жене на дёрганья со стороны «посланцев» от Черткова. Но скрыть ничего не удалось. О «стервятнике» Соколове её известили, и 4 мая она отправила В. Г. Черткову некое критикующее письмо, которое тот, прочтя, переслал Толстому с жёстким распоряжением: ознакомиться и *изорвать*. К сожалению, Толстой исполнил эту волю своего духовного собрата (или уже *контролёра*?). Чертков же отправил Софье Андреевне 8 мая отповедь такого лживого и гнусного содержания:

«…Вы находитесь в полном заблуждении. Никого я к Льву Николаевичу за рукописью не посылал и нисколько его не тороплю, не «мучаю» окончанием этой работы. Я наоборот послал ему списанную рукопись, следуя в этом его собственному желанию, определённо мне сообщённому» *(Цит. по: 87, 147)*.

Последнее было правдой. Но заметим: ни слова о «сторожах», включая Соколова, *вымогавших* у Толстого рукописи, хотя и не вербально, но одним своим молчаливым присутствием в его доме — в Москве и в Бегичевке!

А далее — *очень* болезненный удар по Соне:

«В вашем письме ко мне вы упоминаете о Льве Николаевиче, как об «утомлённом *нервном* старике». Вы знаете, Софья Андреевна, как давно я уже совсем воздерживаюсь от высказывания вам моего мнения о ваших отношениях к Льву Николаевичу. Но раз вы сами затрагиваете со мною этот вопрос, я чувствую, что обязан и с своей стороны ответить вам откровенно и правдиво. Во Льве Николаевиче я не только не вижу нервного старика, но напротив того привык видеть в нём и ежедневно получаю фактические подтверждения этого, — человека моложе и бодрее духом и менее нервного, т. е. с большим душевным равновесием, чем все без исключения люди, его окружающие и ему близкие. Он вообще, по моему глубокому убеждению, гораздо разумнее нас всех; а по отношению к *своим* поступкам и распоряжению *своими* занятиями он несомненно гораздо лучше кого-либо из нас знает что́, где, когда и как делать. И потому ни вам, ни мне, и никому из нас не подобает становиться по отношению к нему в положение «оберегателя его труда», как вы о себе выражаетесь. […] …Теми вашими поступками, в которых вы действуете наперекор желаниям Льва Николаевича, хотя бы и с самыми благими намерениями, вы не только причиняете ему лично большое страдание, но даже и практически, во внешних условиях жизни очень ему вредите.

[…] Высказал я вам всё это, Софья Андреевна, для того, чтобы объяснить вам, почему, если в данном случае вы и ошиблись в вашем предположении о моем образе действия с рукописью Льва Николаевича, я однако в будущем не могу обещаться воздерживаться от такого именно отношения к Льву Николаевичу, которое вы порицаете, но я считаю единственным правильным. […] …При возникновении таких или иных запросов к нему, буду их предъявлять ему, не откладывая до наступления других предполагаемых условий, которые могут никогда и не наступить» *(Цит. по: Там же. С. 147 – 148)*.

Любопытно, что в черновике письма Чертков прямо указал, что-де жена годами лишает Льва Николаевича «душевного отдохновения», но позднее вычеркнул эти строки *(Там же. С. 149)*.

Это уже не «третий лишний» в общении мужа и жены. Это уже лишний *на месте одного из двоих*, а именно Софьи Андреевны — настырно «отодвигающий» её от мужа, претендующий на *дуэт*, без её «духовно чуждого» влияния в жизни мужа. Само появление (не в первый уже раз!) голоса Черткова в нашей книге, подразумевающей *диалог двоих*, мужа и жены, Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых — свидетельство той дерзкой роли, которую принял на себя приближённый и доверенный друг великого писателя!

Вот по поводу этой чертковской злой филиппики Софья Андреевна пишет мужу в ночном письме 14 мая уже открыто, хотя по-толстовски деликатно (скорее снова ставит вопрос о поведении Черткова, нежели разрешает его):

«Чертков написал мне неприятное письмо, на которое я слишком горячо ответила. Он, очевидно, рассердился за мой упрёк, что он торопит тебя статьей, а я и не знала, что ты сам её выписал. Я извинилась перед ним; но что за тупой и односторонне-понимающий всё человек! И досадно, и жаль, что люди узко и мало видят; им скучно!» *(ПСТ. С. 524)*.

Письмо это, ответ Сони Черткову, сохранилось. Приводим наконец выдержки и из него:

«Вл. Григ., в том, что я упрекнула вам за присылку конца статьи — я виновата. Так как я не живу с Л. Н., я не знала, что он сам её у вас вытребовал, и прошу извинения. Но ваше недовольство, что я упомянула о том, что человек 64 лет — старик, что деятельность утомила его и что он нервный — мне было удивительно. О духовном его состоянии я не говорила: не вам, не мне его судить, а вы наивно выражаетесь, что он — разумнее нас всех! Да разве такое сравнение возможно? Мы, люди простые, крайне односторонние, — а он вековое явление. И если я 30 лет *оберегала* его, то теперь ни у вас и ни у кого-либо уж учиться не буду, как это делать [...]. Что касается *вреда и страдания*, о которых вы упоминаете, что я причиняю мужу моему, то кроме вашего взгляда, который усмотрел это, — ещё другого не было. Все видели и видят нашу 30-летнюю счастливую жизнь, а если последнее время иногда и казалось, что были тяжёлые минуты, то только благодаря посторонним вмешательствам совершенно чуждых нам людей, которые сознательно и бессознательно портили нашу семейную жизнь и вторгались в неё [...]. Не забыла и не прощу я вам никогда одного — это ещё несколько лет тому назад я прочла в вашем письме сожаленье Л<ьву> Н<иколаевичу>, что ему в лице меня послан *крест*. Теперь вы это повторяете иносказательно — мне. Да вспомните, Вл. Гр., что кроме вашей — есть воля Божья, и если бы правда была, что это крест, то нельзя даже упоминать об этом человеку, которого любишь; а, любя, надо искать и указать на те светлые стороны жизни, которые есть у всякого. Больше мне вам сказать нечего, как пожелать больше доброты и ясности, и меньше вмешательства в чужую жизнь» *(Цит. по: ПСТ. С. 525 – 526)*.

С несением креста жизнь Толстого с женой Чертков сравнил ещё много ранее рокового письма 1887 года... и, разумеется, ошибался.

Вот как своё положение, по отношению к этому христианскому образу, характеризовал сам Толстой в Дневнике 3 мая 1884 г.:

«…Нашёл письмо жены. Бедная, как она ненавидит меня. Господи, помоги мне. Крест бы, так крест, чтобы давил, раздавил меня. А это дёрганье души — ужасно не только тяжело, больно, но трудно…» *(49, 89)*.

Увы! но уже к началу 1890-х, и до самого конца земного бытия Льва Николаевича Толстого, таким «дёргателем», на пару с Софьей Андреевной, стал — конечно же, тоже *с самыми благими намерениями* — и В. Г. Чертков. Именно с этим, *с благими намерениями*, «дёрганьем души» связана знаменитая и трагическая запись Льва Николаевича во второй тетради «Дневника для одного себя» 1910 г.: «Они разрывают меня на части. Иногда думается: уйти ото всех» *(58, 138)*.

Однако возможности, как в начале 1890-х, уйти от суетливых претендентов на «духовное наследие» и просто наследство в практическое дело, каким была помощь голодавшим крестьянам, у Толстого в 1910-м не выдалось. Земной полёт был окончен, миссия выполнена. Отяжелевшие мирскими тяготами и горем крылья Птицы Небесной Льва отказали ему, приковав умирающее тело к постели в доме железнодорожного начальника на станции Астапово. Там и до сей поры музей, в котором копошится полчище бюджетных, от роду и пожизненно бескрылых музейных крыс, кормящихся с материальных останков этого, одного из величайших в человеческой истории, духовных освобождений.

КОНЕЦ ВТОРОГО ФРАГМЕНТА ТРИДЦАТЬ ПЯТОГО ЭПИЗОДА

Фрагмент 35.3.
СОВСЕМ УСТАЛА БЫТЬ ЕГО ЖЕНОЙ
(14 – 26 июля 1892 г.)

В начале Фрагмента Третьего, заключительного в Тридцать Пятом эпизоде нашей презентации переписки супругов Толстых, вспомним снова характеристическое, очень эмоциональное признание Софьи Андреевны из письма мужу от 18 февраля:

«<Дочь> Таня кому-то в Москве сказала: “как я *устала* быть дочерью знаменитого отца”. — А уж я-то как устала быть *женой* знаменитого мужа!» *(ПСТ. С. 497)*»

Усталость, конечно же, коснулась и Толстого. В своём втором публичном «Отчёте об употреблении пожертвованных денег», за период уже с 12 апреля по 20 июля 1892 г. он свидетельствует об определённых эмоциональных «выгорании» и «отупении», сделавших его и помощников его малочувствительными не только к видам крестьянских несчастий, но даже к слёзам и мольбам:

«…Я не мог бы ответить на вопрос о том, каково положение народа: тяжело, очень тяжело или ничего? потому что мы все, близко жившие с народом, слишком пригляделись к его понемножку всё ухудшавшемуся и ухудшавшемуся состоянию.

[…] Да, нам надоело. А им всё так же хочется есть, так же хочется жить, так же хочется счастья, хочется любви…» *(29, 166, 168)*.

Но это «выгорание», скорее, было психологической защитой, необходимой при длительном стрессе — чуждой эгоизма. К «усталости» же Софьи Андреевны, помимо вербализируемых ей забот о семье, о своих иссякающих силах и о здоровье мужа, примешивалось всё та же, уже отмеченная нами выше, особенная «любовь», неотторжимая от потребности *обладать* любимым человеком, постоянно видя его, и даже *контролировать* в его действиях и отношениях с прочими людьми. Почувствовав снова в Черткове конкурента в этом обладании и контроле (а значит, и врага), как свидетельствует запись в Дневнике Льва Николаевича, в дни его очередного краткого, с 24 мая по 2 июня, отпуска и приезда с дочерью Машей и жизни с ней — уже в Ясной Поляне, куда по обыкновению переехала на лето семья — Софья Андреевна снова была не в духе:

«Соня мрачна, тяжела. Уж я забыл это мученье. И опять. Молился нынче о том, чтобы избавиться от дурного чувства». И тут же: «Я собрался ехать» *(52, 67)*.

Хорошо, когда *есть, куда* уехать!

Поездка Толстого в Бегичевку со 2 по 15 июня, хотя и сопровождалась недлительным эпистолярным общением супругов, для нас малозначительна. Со стороны Софьи Андреевны к этому периоду относятся письма от 2, 4, 8 и 11 июня, которые мы опускаем. В целом они производят удручающее впечатление: писавший их человек явно очень устал, не вполне здоров и настроен на негативное восприятие всех новостей и вообще впечатлений жизни. И запоминается Соничке не самое лучшее. Для примера, из письма от 4 июня, из прекрасной летней Ясной Поляны:

«Удушье у меня не повторялось, немного спина болит и плохо ночь спала, но купаюсь, гуляю, ем — всё по-старому. Сестра Таня вдруг решила, что: “а ведь ты, Соня, долго не проживёшь” — и повторяет мне это несколько раз. Я это и сама думаю…».

А тут ещё изгнанный из дома грубый немец-гувернёр (вероятно, тоже не вполне здоровый душевно человек), пользуясь отсутствием хозяина, пишет ей и грозит отомстить:

«…И если б не маленькие дети, не соловьи, не цветы, не чудное солнце, не дубы и вся цветущая растительность, то жить бы было очень тяжело. Уйдёшь в лес с Ваничкой, ну и хорошо» *(ПСТ. С. 526)*.

А в письме 8 июня — другая грустная история: крестьяне с дальнего покоса решили, в отсутствие «барина», проехать с возами сена прямо по барским лугам, да ненароком наехали на Софью Андреевну, сидевшую в высокой траве с детьми:

«…Четырнадцать возов, человек 20 народу. Всё это ехало Калиновым лугом, без дороги, мимо ёлочек и мимо ржи и Заказа. Я рассердилась, послала переписать всех и заявить уряднику» *(Там же. С. 527 – 528)*. На следующий день мольбы на коленях мужичьих жён довели Соню до очередного нервного срыва и припадков удушья… но бабы добились своего: оштрафованы мужья не были.

Поступок, казалось бы, совершенно оправданный. Защита собственности. Была опасность для детей… И так далее. Но выглядит эта хозяйственная грозность Софьи Андреевны достаточно чрезмерной в отношении *трудящихся соседей*, бедняков-крестьян — если посмотреть на неё глазами Толстого.

Это был только один из цепочки конфликтов жадной и принципиальной горожанки (хуже того — москвички) Sophie с нелюбимым ею сельским народом. По этому поводу Татьяна Львовна предостерегала маму в письме от 12 июня 1892 г. из Бегичевки:

«Ваши истории с ясенским и телятинским народом очень огорчительны, и всё это пойдёт crescendo и crescendo, потому что чем хуже будут отношения с народом, тем они будут больше делать неприятностей. Это — дурное начало… Со временем начнут вас поджигать, и такие будут ожесточённые отношения, что жить в Ясной нельзя будет» *(Цит. по: Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. 1891 – 1910. С. 78)*.

Пророчество умнейшей дочери Льва могло бы совершенно сбыться уже в годы Первой российской революции 1905 – 1907 гг., когда в России массово разграблялись и сжигались протестующим народом

дворянские усадьбы. Если бы не гигантский авторитет в глазах крестьян Толстого, *назло* которому Sophie продолжала и в последующие годы преследовать крестьян.

В эти же дни Лев Николаевич с дочерями Машей и Таней и множеством иных помощников продолжал своё служение Духовного Царя России. Виды на урожай были далёкими от благих ожиданий, так что ни о каком свёртывании бегичевского «министерства добра» не могло идти и речи. Но всё же Лев Николаевич стремился максимально успокоить и обнадёжить жену, с целью чего писал, например, 8 июня, перечисляя своих главных помощников в Бегичевке:

«Сейчас ожидаются Писаревы, Философовы и тут Давыдовы, и я спешу уйти. Вчера я ездил, нынче пойду ходить по ближним <столовым>. В свои поездки я, глядя на поля, решил, что урожай не так плох, как казалось, и, несмотря на то, что приходят депутации о том, чтобы продолжать, можно будет спокойно уехать, хотя и многих жалко» *(84, 154)*.

А в письме от 13 июня — небольшая коррекция этой, специально для Сони состряпанной, радужной картины, но «подслащённая» одновременно известием о скором, пусть и не окончательном, приезде домой, в Ясную:

«Если ничего не помешает, приедем во вторник, как ты желала. Готовим всё к тому, чтобы откланяться, для чего надо будет приехать ещё один последний раз» *(Там же. С. 155)*.

В новом отпуске, с 16 июня по 9 июля 1892 г., Толстой продолжил работу над трактатом «Царство Божие внутри вас». Восьмая глава наконец далась ему: по совету приехавшего в гости к семье Н. Н. Страхова, он разделил её на три главы, что помогло определиться с необходимыми дополнениями и правками всего текста.

А ещё в эти же дни, но уже перед самым отъездом, Толстой совершил юридически раздел имущества между женой и детьми, подписав 7-го июля раздельный акт. Показательно, что гостившие в эти дни в яснополянском доме Н. Н. Страхов и П. И. Бирюков, люди покладистые и психологически выносливые, всё-таки 5 и 6 июля соответственно спешно выехали восвояси — не выдержав атмосферы домашней свары, сопровождавшей раздел. Её отчасти передаёт относящаяся к разделу запись в Дневнике Л. Н. Толстого от 5 июля:

«Остаюсь ещё для раздела. Тяжело, мучительно ужасно. Молюсь, чтоб Бог избавил меня. Как? Не как я хочу, а как хочет Он. Только бы затушил Он во мне нелюбовь. — Вчера поразительный разговор детей. Таня и Лёва внушают Маше, что она делает *подлость*, отказываясь от имения. Её поступок заставляет их чувствовать неправду своего, а им надо быть правыми, и вот они стараются придумывать, почему поступок нехорош и подлость. Ужасно. Не могу писать. Уж я плакал, и опять плакать хочется. Они говорят: мы сами бы хотели это сделать, да это было бы дурно. Жена говорит им: оставьте у меня. <Часть Марии Львовны, отказавшейся участвовать в мерзком разделе, Софья Андреевна оставила себе. – *Р. А.*> Они молчат. Ужасно! Никогда не видал такой очевидности лжи и мотивов её. — Грустно, грустно, тяжело мучительно» *(52, 67)*.

Этот «раз», то есть эта поездка в Бегичевку в период с 9 по 29 июля, конечно же, не будет последней для Толстого. Но именно о ней и о хронологически связанной с этими днями переписке Л. Н. и С. А. Толстых мы и будем говорить ниже.

Биографически время пребывания Льва Николаевича в Бегичевке в июльскую поездку, с отъезда из Ясной Поляны до возвращения в неё же — это числа с 9 по 29-е. Но первое из известных писем этого Фрагмента, именно 14 июля от Софьи Андреевны, не публиковалось. Первое же из писем Толстого — уже из самой Бегичевки, датируемое исследователями приблизительно 15 или 16 июля: труд описать дорожные приключения поездки на лошадях через Пирогово, Успенское (имение Бибиковых) и Богородицк в Бегичевку — взяла на этот раз на себя дочь Толстого Маша. В своём же письме Толстой сообщал все те подробности своего временного, сезонного «сворачивания» работы помощи крестьянам, которые, как он знал, будут необходимы или хотя бы интересны жене:

«Маша тебе, вероятно, описывала <в письме 12 июля> всё наше путешествие, которое было не только безопасно и безвредно, но очень мне приятно. Здесь все приготовились и приготовляются давать отчёты последние. Провизию остальную всё свозим в Бегичевку. Делаем перерыв всех столовых — думаю — до конца сентября. Что дальше будет, покажут обстоятельства. Но одно, что я и прежде думал и в чём теперь ещё более утвердился, это то, что самых слабых людей, старых, больных — небольшое количество — всегда бесприютных и беспомощных, нынешний год при неурожае и потому при неподавании милостыни, при дорогом хлебе и при привычке, взятой ими и теми, кто о них заботился, что их кормят, —

что нельзя их бросить. И это то самое дело, которым мы займёмся теперь. — Их надо как-нибудь устроить. Нынче приходила такая команда из Татищева. Вчера приходила Бегичевская вся деревня. Но целые деревни мы не можем кормить, а бездомных нельзя бросить. В этом было и главное дело прошлого года. И теперь, как это устроится, не знаю. Вчера я целый день был дома. Все съехались. А нынче поеду в сторону Орловки и по деревням, попробую, испытаю, как это устроится.

Торопят меня, едет Гриша к Давыдовым и свезёт письмо в Клёкотки.

Я здоров, хотя слаб и не пишется. Получены два вагона, и нет дубликатов, и потому, пожалуйста, все объявления присылай. Целую тебя, Лёву и детей. Тани, верно, ещё нет. — Здесь все благодушны и дружны» *(84, 155 – 156)*.

Следующее небольшое письмо Толстого к жене, от 17 июля, так же связано с проблемами принятия на станции продовольствия для столовых. Цитируем из него строки, которые касаются общих личных интересов Сони и Льва:

«Мы все благополучны и здоровы. Но положение народа, особенно в нашей местности, очень дурно. Положительно хуже прошлого года. Так что искать худшего негде» *(84, 156)*.

Вместе с предшествующим письмом это однозначно давало Софье Андреевне понять: ни о каком зимовании без выезда, при ней и в Москве, мужа она могла даже не мечтать. Её интересы явно расходились с текущими интересами и планами работника Божьего в мире Льва. Как раз очередное, встречное, то есть тоже от 17 июля, письмо Софьи Андреевны продемонстрировало это очень ярко. Приводим ниже полный его текст.

«Милый друг Лёвочка, получила, наконец, и от тебя письмо; ты пишешь, что здоров, но слаб, что голод опять, что вы кончаете до сентября дело и *не знаете*, что будете делать впредь. Как всегда письма и вести из Бегичевки наваливают мне на душу камень, в горле спазма и слёзы, а кроме того предчувствие надвигающейся тучи, как было и в прошлом году. Говорить о том, как я отношусь к незнанию того, как ты пишешь, *что* вы будете делать, — много раз и впредь я не буду. Но один раз я должна высказать своё мнение и чувство относительно будущего. Я считаю, что ты более *физически*

не в состоянии переносить трудности прошлогодней жизни, а *нравственно* неправ отдавать свои последние силы и годы на другое что, чем твою умственную и художественную деятельность. — Кроме того я считаю себя не в состоянии пережить ещё то, что пережила весь этот год. Надорванность моих всяких сил я чувствую так сильно, что сегодня, только при получении письма твоего, всё поднялось во мне: и тоска, и сердцебиение, и желание опять, по-прошлогоднему, уйти из жизни. Но ведь всё это старые боли, и это совсем невыносимо. Следовательно, я прямо и ясно говорю, что я употреблю все свои последние силы на то, чтоб не пустить вас в Бегичевку ни за что, ни за что. Насилие и обман можно всегда производить; меня и этот год жестоко обманули; но иначе трудно было, я это понимаю. Нынешний же год только начинается, и от тебя зависит устроиться именно теперь так или иначе. — Всякая женщина, прожив без порока тридцатилетнюю замужнюю жизнь, имеет хоть то право желать иметь с собой, чтоб покоить, любить и общаться с любимым мужем. Если б ты хоть на минуту мог быть справедлив и любящ сам, то ты понял бы, насколько законно и сердечно моё желание.

Довольно мне и страдания видеть, как это гордое дело помощи народу погубило и Таню. Её здоровье очень, по-моему, плохо. Лёва высказал от себя то чувство, которое постоянно испытываю я: что когда Таня тут сидит, то у него тоскливое чувство глядеть на неё. — Вчера она вернулась с Сашей; как будто вид её свежей. Никто ей душу не терзал, и уж она отдохнула. В Бегичевку я её не пущу. Вчера была уже неделя, как и вы уехали. Я очень рада была узнать от вас, что вы легко совершили путешествие; спасибо Маше, что описала мне всё подробно.

Она пишет прислать разных продуктов и лекарств; но я вчера только получила её письмо, а пока всё дойдёт до места, вы уж, надеюсь, вернётесь, а оказии никакой не предвидится. Сегодня захолодало и ветер непрерывный. От Эрдели известий нет, у нас все здоровы, только меня одышка от холодного ветра одолевает. Гостей никого не было, только сестра Лиза приезжала. Она будет жить в Москве и предлагает, чтоб муж её мне помогал во всех моих делах, чтоб я посылала его, куда надо, что он свободен и охотно это будет делать. <Александр Александрович Берс (1844 – 1921), сын Александра Евстафьевича Берса, родного брата отца Софьи Андреевны. Второй муж Е. А. Берс. – *Р. А.*> Мне всегда больно, когда Берсы, Дунаевы и пр. должны помогать мне, когда у меня есть муж и старшие сыновья; и пусть уж лучше мои силы последние надрываются, а посторонних вмешательств я принять не могу. У всякого своя гордость.

Мне очень жаль, что моё письмо тебя расстроит; но я предпочла написать, ибо разговора могу и не вынести, сердце и при письме так стучит, что удары в стол отдаются. Письмо это разорви, чтобы неосторожно не попало посторонним.

Ты скажешь, что деньги остались и их надо хорошо употребить. Денег мало; можно купить муки, дров, посадить человека, и пусть выдаёт самым нуждающимся. Столовые открывать нельзя; в них явится такая потребность везде, что очень скоро дело это окажется невозможным. Кроме того на это нужно опять много людей, и их не будет. Помощь же в виде раздачи можно поручить Павлу Ивановичу, благо он за это взялся, т. е. согласился приехать, когда нужно.

Посылаю два объявления, но оба *на посылки*. Дубликаты на горох я послала <ссыпщику на станции> Ермолаеву, верно вы получили; их было именно два.

Прощай, милый Лёвочка, береги себя, пожалуйста; не пей везде воды сырой; лучше бери с собой миндального молока, когда будешь отъезжать далеко, и то на кипячёной воде. Целую Машу и Веру и кланяюсь Елене Павловне.

С. Т.» *(ПСТ. С. 528 - 530).*

Это письмо было во многих отношениях тяжело для Льва Николаевича: своими свидетельствами и нездоровья жены, и непонимания ею смыслов якобы «гордого» дела его помощи народу, которому, не без колебаний, как мы помним, именно по причине сближения с нехристианским, гордым делом «благотворительности» деньгами, посвятил себя Толстой. Тяжёлая, эгоистическая сторона Сониной любви снова дала ему знать себя. В то же время было невозможно не понять её и не сочувствовать ей, не желать идти навстречу во всём и насколько возможно. Вскоре Толстой воспользуется советом Софьи Андреевны, и именно Павел Иванович Бирюков частично заменит его в Бегичевке на месте «верховного министра» в его «министерстве добра». Но совершенно отлучек от семьи по бегичевским делам избежать не удастся.

Вечером следующего дня Софья Андреевна пишет ещё письмо, в основной своей части продолжающее, хотя и в более спокойном настроении, тему прежнего:

«Вчерашнее письмо у меня на совести, но что делать, крик сердца не удержишь.

Вчера приехала Маня Рачинская, ехавшая на поезде с Женей Писаревой, и к нашей радости мы имели свежие известия, что в Бегичевке все здоровы и благополучны. У нас тоже всё слава богу.

[…] Как вам теперь трудно, как я страдаю постоянно за вас, за то тяжёлое, неопределённое дело, которое пришлось взять на себя. Надо развязать всё попроще. Пустыню Сахару не заставишь производить, если она засохла. И не по нашим это слабым силам.

[…] Как мне тоскливо без тебя, Лёвочка, хоть бы можно было не разлучаться!» *(Там же. С. 530 – 531).*

Ещё упоминается в письме о готовящемся светском развлечении, на которое решили ехать все взрослые члены семьи: знаменитый тенор той эпохи, Николай Николаевич Фигнер (1857 – 1919) гостил в своём имении, всего в 6 верстах от Ясной Поляны, и пригласил соседей на эксклюзивный концерт:

«Дети в восторге, а я боюсь суеты, экипажей, вообще боюсь задохнуться и захлопотаться. Сегодня, впрочем, я здорова» *(Там же. С. 531).*

После заполненного трудами перерыва, который показался Льву Николаевичу большим, 19 июля он наконец пишет жене довольно пространное письмо. Приводим текст его с незначительными сокращениями.

«Очень давно, т. е. два дня, не писал тебе, милый друг. Нынче видел газету, в которой твой отчёт. Всё очень хорошо. Мне надо писать свой, и я завтра принимаюсь за него; но боюсь, что много сведений не достанет. Скажи Тане, чтобы она прислала всё, что у неё есть, и тебя прошу прислать, что у тебя есть.

[…] Дела наши понемногу уясняются: т. е. определяется то, что нужно, и как сложится дело. Нужно, необходимо кормить население местности втрое или вчетверо меньше прошлогодней, но нужда в этой местности хуже прошлогодней. Кроме того, так как осталось около 10 вагонов разного хлеба и денег (не знаю сколько, кажется, около 12 т.), то надо продолжать детские приюты, как я и обещал в последнем отчете. К приютам же этим мы хотим пристроить теперь, сейчас самых нуждающихся и слабых. Столовые же придётся открыть их позднее — в сентябре. Заведовать этими делами […] выпишем Пошу <Бирюкова>.

[…] Мы здоровы. Машу и Веру сбивает, т. е. мешает им, отнимает у них время общественность и гости. И у меня тоже. […] …Я не вы-

ходил. Я очень много занимался эти последние дни и устал, но, кажется, кончил, и так написал Черткову, и завтра начну отчёт и то, что имею сказать про это. Постараюсь сказать цензурное отдельно, чтобы напечатать.

Хорошо, что вы все здоровы. Целую тебя и детей. Привет всем домочадцам. У нас всё это время были сотрудники, сдавали отчёты и все разъехались. Остались только два брата Алёхины, уезжающие завтра. Я, слава Богу, самым любовным образом расставался со всеми, также и с Алёхиными. Не перестаю радоваться тому, что знаю и любим такими хорошими людьми.

Л. Т.» *(84, 156 – 157).*

Это настроение расставания. Пока же работали вместе — бывало разное, и Софья Андреевна не без удовольствия цитирует в своих воспоминаниях такое, не в лучшем настроении записанное, суждение Льва Николаевича в Дневнике под 26 мая о своих помощниках-толстовцах:

«Тяжёлое больше, чем когда-нибудь, отношение с тёмными, с Алёхиным, Новосёловым, Скороходовым. Ребячество и тщеславие христианства и мало искренности» *(52, 66; ср.: МЖ – 2. С. 283 – 284).*

Вероятно, и в таком суждении была немалая доля правоты, но делаемый тут же С. А. Толстой вывод о том, что-де Толстой ощутил «контраст» толстовцев, «тёмных», со «светскими людьми», не в пользу первых — вряд ли справедлив.

Следующее, очень краткое письмо Толстого, датируемое приблизительно 21 – 22 июля:

«Напишу хоть несколько слов…

Вчера ходил пешком далеко, за мной посылали и разъехались, что я прошёл вёрст 30 и очень устал. Но совершенно здоров. Занят отчётом, для которого жду матерьялы и от Тани, и от Высотского, который очень мил, но медлителен. Дело всё обозначилось, и надо поскорее написать. От <сына> Лёвы вчера получил письмо и очень благодарен ему за него. Целую тебя и детей. Я в нынешний раз мало и редко знаю о тебе.

Л. Т.» *(84, 158).*

Известие о том, что Толстой заблудился и прошагал пешком 30(!) вёрст, так просто сообщённое в письме, поразило и до глубины души взволновало Софью Андреевну. В мемуарах она вспоминает об этом

известии в связи со своим письмом от 17-го, этим как бы дополнительно оправдывая перед читателем столь эмоционально выраженную в нём бескомпромиссную позицию *(см.: МЖ – 2. С. 286)*. Позиция эта настолько важна для Софьи Андреевны, что она не замечает, как путает в мемуарах даты своих писем мужу: месяц *июль*, в который происходила переписка, называет *июнем*.

Теперь обратимся к письмам С. А. Толстой из Ясной Поляны, отвечающим на приведённые выше письма супруга. Вот что было отписано вечером 20 июля на письмо его от 19-го:

«Сегодня получили от вас два письма, милые Лёвочка и Маша, и видно, что вам тяжело живётся в Бегичевке. Напрасно ты, Лёвочка, себя с двух концов жжёшь, т. е. и статью догоняешь до конца, и дела по голодающим, которых так много. Ни то, ни другое хорошо и обстоятельно не кончишь, а устанешь страшно. Я это всё издали чувствую. Тянет, тянет за душу — бесконечно это Бегичевское мучительное дело! И тянет, тянет — эта статья. Лучше бы по очереди сделать эти два дела.

У нас двое больных: Ваничка в жару и Андрюша в жару. У обоих только по 38, но это, пожалуй, хуже, когда с маленького начинается. Кроме того меня очень тревожит то, что у всех мальчиков: у Андрюши, Сани и Васи по телу пошли нарывы, в роде чирьев; у Сани их было больше всех, Андрюша очень страдал от своего, а теперь у него нарывает в неприличном месте. Почему у всех? Я спросила у Зандера, не дурная ли эта болезнь? Он говорит: «ручаюсь головой, что нет». Купались они с Афонькой, а он весь в чирьях, может быть и пристало. Но меня очень это беспокоит. — Ваничка заболел сегодня. Мы поехали с ним и с Сашей к Зиновьевым во втором часу. День тёплый, тихий, они очень веселились дорогой. Но там вдруг начал скучать, валиться, смотрю — голова горячая. Я сейчас же увезла его домой, он всю дорогу спал и лёг потом в постель, всё пил, ничего не ел. Андрюша всё бредит в соседней комнате.

[…] Вчера Андрюша в концерте Фигнера уже почувствовал себя дурно. Концерт был скучный; пьяный Офросимов, толпа знакомых, пели и играли плохие вещи, дети заснули на обратном пути, — вообще *не вышло*.

Ты просишь, Лёвочка, все счёты. Сегодня взяли у Зиновьева 26 свидетельств Красного Креста, а у меня только ещё четыре. Завтра пошлём через Ясенки. Пошлём тоже и счёты тебе. Я ещё раз на листок бумаги переписала весь свой расход; читай его по страницам, я переномеровала. Не хотелось переписывать; не очень я аккуратно

написала, но понять всё можно. […] Меня удивило, что ты счёты потребовал. Они не скоро дойдут до тебя, а ведь ты через две недели хотел уже вернуться.

Напрасно ты столовые затеваешь. Жить вы не будете, помощники разъехались, денег мало; явится холера, надо жить всем вместе, разлучаться невозможно ещё год, это даже немыслимо, и потому помочь оставшимися деньгами и хлебом лучше бы всего раздачей. Помощников на эту каторгу ты не найдёшь, довольно и одного года муки, кто выдержит больше? — Вы поработали довольно, пример показали, пусть другие поработают. Я помню, как ты говорил в прошлую осень: я напишу о столовых и для примера открою *несколько*. — Теперь пример показан.

[…] С. Толстая» *(ПСТ. С. 531 – 532)*.

Бдительно, «со всех сторон» пытается устеречь Софья Андреевна главный свой интерес: вернуть любимого мужа в семью, живым и, желательно, здоровым и больше вовсе не пускать в опасное место! Даже подробное описание состояния вдруг ужасно расхворавшихся детей — это всё тот же приём «вытягивания за сердце» мужа из поездки.

23 июля она пишет и отправляет с оказией ещё одно, совсем небольшое на этот раз, вот такое письмо:

«Дети выздоровели, Ваничка опять гуляет. Живём потихоньку, скучаем по отсутствующим. Сегодня две недели, как вы уехали, а ещё и не похоже по письмам вашим, что вы собираетесь домой. Повидимому, и по рассказам Веры <Кузминской>, ты больше был занят своей статьёй. А это можно было и дома делать, окончив те тяжёлые дела; и лучше бы было дома. Погода чудесная, заметили ли вы вчерашний вечер, что была за прелесть! Или в Бегичевке всё некрасиво и мрачно? Самой мне нездоровится, дыханья нет, кровь показалась горлом; сегодня начну опять купаться, а то вянешь совсем, точно и ходить-то трудно. Вот ты пишешь, что обо мне мало знаешь, да я думаю, тебе это мало и надо; это я о тебе всю жизнь тревожусь и томлюсь желаньем большего сближения, а ты всё дальше и дальше. Теперь и к этому стала привыкать. Целую Машу. Береги себя.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 533)*.

В одном абзаце — бездна зла. Дети выздоровели — но теперь больна она. И, в отличие от детей, болезни которых Соничка так любила, от случая к случаю, или выдумать, желая завлечь мужа скорее домой, или преувеличить (и так и не усвоила себе, потеряв нескольких малышей, что этого делать *нельзя*!), её болезненное состояние очевидно и по письму: по открыто, грубо выраженным в который уже раз упрёкам мужу, что он равнодушен к ней и только «удаляется» от неё… Понятно, что после *таких* двух писем ни о каком *спокойном* завершении дел в Бегичевке и речи для Толстого не было. За окончанием дел минувшего сезона и контролем текущих он поедет туда ещё раз, в сентябре, а отчёт свой будет дописывать уже под контролем любящей «второй половинки» (подобно тому как «Царство Божие» ему приходилось писать под жестоким контролем Черткова и его засланцев в Бегичевку, в Москву и в Ясную Поляну).

На очереди у нас — письмо Л. Н. Толстого от 24 июля, ответ на приведённые выше письма жены от 20-го и 23-го:

«Сейчас уезжает Капитон Алексеевич <Высоцкий> и сдаёт нам все счёты. Всё удивительно хорошо и аккуратно. Чудесный человек — я ему очень благодарен. Сейчас же и получил твоё письмо, в котором ты пишешь о болезни Андрюши и Ванички. Андрюше лучше, надеюсь, что и Ваничке тоже. Ты пишешь, боясь, что я хочу вернуться и опять жить в Бегичевке; пожалуйста, не думай этого. Всё устроится без моего личного присутствия, особенно, если Пошу выпишем.

Остаюсь здесь только на несколько дней, — дня на 4, 5, может быть, и меньше, пока начну и хоть начерно напишу отчёт, для которого может понадобится справиться на месте. Кроме того, надо получить счёты. Посылаем завтра получить по объявлениям. К этому же времени может приехать Попов от Черткова за рукописью, которую думаю, что кончил. Остаются здесь одни девицы Антиповы, склад же поручил Раевским, пока ещё дела мало.

Мы здоровы. Губа моя совсем прошла, и я бодр, а то был не в духе.

Нынче был у Философовых и Мордвинова по делу. По последнему письму твоему решу, когда именно поеду, и тотчас же телеграфирую. Нынче же уезжает Элена Михайловна.

Прощай пока, милый друг, целую тебя и детей. *Л.Т.*» *(84, 158 – 159).*

Следующее по хронологии письмо — 25 июля от Софьи Андреевны, снова встревоженное, с признаками даже ультимативной требовательности о возвращении:

«Приезжай, пожалуйста, домой, милый Лёвочка. У вас в Рязани, Ефремове и в Ельце, — это уже дальше, — но везде начинает распространяться холера. День и ночь тоскуешь и мучаешься о вас. Вот уж две с половиной недели, как вы уехали. Я не боюсь холеры, но когда какое бедствие — надо быть вместе. Разлука постоянная потому хуже даже смерти, что смерть переживёшь горе раз, а так не жизнь, а вечное мучение.

Сегодня заболела Таня: жар, всю ломает, грудь заложило, болит с правой стороны. Вчера она была в бане, а потом сидела на террасе с открытой головой, а было довольно холодно. Она лежит внизу и стонет. У всех было это нездоровье, как теперь его называют — инфлуенца, но ни у кого грудь не болела, и меня это тревожит.

[…] Ты скажешь, Лёвочка, что ты дела не можешь оставить. Но ведь дело тогда дело, когда его делаешь, а оставишь, и не будет дела. Вот я завтра должна была ехать в Москву. Уж так нужно по разным делам: раздела, книжным и денежным. Заболела Таня, вот и дела останутся, не поеду опять.

Что Маша? Она тоже писала, что: «домой желаю». Приезжайте непременно и скорей. Это моя твёрдая, убедительная просьба. Или уж совсем надо меня замучить, до смерти, и себя уморить какой-нибудь болезнью или просто переутомлением. Пусть другие теперь работают по очереди, а вы много сделали и других научили, надо же и отдохнуть.

Это моё последнее письмо; я надеюсь, что и оно вас не застанет в Бегичевке. […] Ещё и опять прошу: приезжайте немедленно. Я ничего не могу больше писать, только приезжайте скорей. Кланяюсь Раевским: Элене Павловне и мальчикам, целую вас.

С. Т.» *(ПСТ. С. 533 – 534).*

И, наконец, последнее её письмо в этом Фрагменте и во всём 35-м Эпизоде, от 26 июля, ответ на письмо мужа от 24-го:

«Сейчас получила твоё письмо, в котором ты пишешь, милый Лёвочка, что дня через четыре вернёшься, и что не имеешь намерения оставаться опять в Бегичевке. Я так всему этому обрадовалась, по-детски обрадовалась, что увижу скоро тебя, что ты от меня не уедешь больше, что сразу мне совестно стало и за свои письма, если в них проскочило что недоброе, и за своё недоверие к тому, что и тебе с нами лучше, чем с Раевскими. Какое несчастье до самой старости быть так привязанной и любить человека, как я тебя. И сегодня я убедилась, к горю своему, ещё больше, когда вдруг при известии хорошем от тебя мне стало всё весело и хорошо.

[…] Целую тебя и Машу и радуюсь страшно вашему возвращению.

С. Т.» *(Там же. С. 534 – 535).*

Здесь с Софьей Андреевной надо, конечно же, согласиться: *её* любовь, замешанная на эгоистическом желании постоянного контроля над «любимым», чувства своеобразного «обладания» им, в дурном смешении с мнительностью, тревожностью, ревностью и нежеланием, а отчасти и неспособностью последовать за близким человеком в самых драгоценных для него духовных устремлениях — *такая* Соничкина «любовь» уже успела стать *несчастьем* для обоих, и для всей семьи!

К 26 июля относится и последнее перед отъездом письмо к жене Л. Н. Толстого *(см. 84, 159 – 160 (№ 532))*, уже малоинтересное для нас. Вызвав в этот же день П. И. Бирюкова, передав наскоро помощникам дела и набросав черновик нового отчёта, Толстой 29 июля 1892 г. возвращается в Ясную Поляну. Трудно представить себе, чтобы в это время года, в перерыв между голодными вёснами и зимами, когда работы для благотворителей было мало, да ещё при всплеске в окрестностях Бегичевки страшной и опасной эпидемии холеры, Толстой мог поступить иначе, даже если бы Соня не написала ему этих эмоциональных, требовательных и даже обвиняющих писем. Но в том-то и дело, что получила она не только всё то, что хотела, но и *как и когда* хотела: она именно *заставила* мужа вернуться — не дописав отчёта, не завершив всех необходимых дел в Бегичевке, а “перекинув” их спешно П. И. Бирюкову. Письмо Толстого к нему от 26 июля с просьбой принять дела не сохранилось: не исключено, что Толстой попросил друга уничтожить его после прочтения (как просил не раз Черткова) из-за откровенных подробностей о поведении жены.

Толстой не мог не ощутить этого *унизительного* понукания, этого ненужного, мелочного, но мучительно раздражавшего его посягновения на его свободу — столь же недопустимого, как недопустимо удержание за крылья стремящейся к полёту птицы. Как следствие, после возвращения домой он отмечает в Дневнике состояние апатии и слабости — подобное состоянию птицы, пойманной и запертой в клетку: «опустился нравственно», «энергии жизни нет» *(52, 69)*. Душевное состояние *побеждённого*. Не могли быть для него духовной опорой и братцы толстовцы, затеявшие тогда так и не состоявшийся общий съезд. Об одном из них, Бодянском, отмечая громадное его тщеславие, Толстой выводит: «Ужасно то, что искупление ему нужно. Это не даром. Должна быть болячка! С доброй жизни не полетит…»

(Там же). То есть жизнь «добрая», безопасная да сытая, которую, как думала с успокоением, навязала и ему жена — мешает полёту Птицы Небесной, а нужна как раз “болячка”, нужно “искупление”, страдание! Как ни парадоксально, но, став в последующие годы таким постоянным страданием для мужа, Софья Андреевна, не раз помешав духовному полёту Льва в земной жизни, приблизила его совершенное освобождение — отлёт к Богу Птицы, близкий (но не тождественный по духовному значению) описанному Толстым в «Войне и мире», в сцене кончины князя Андрея. Даже уход из дома, предшествовавший этому последнему, безвозвратному вылету, она, не желая и боясь его, приближала уже в 1880-х, и в том же 1892-м году. Об этом свидетельствует запись в записной книжке Л. Н. Толстого под 13 августа того же 1892 года: «Ясно понял возможность уйти». В Дневнике, уже под 21 августа, по неслучайному соседству с суждением о смерти как выходе из состояния известных времени и пространства, та же мысль выражена развёрнуто, обдуманно и решительно:

«…Мне не в минуту раздражения, а в самую тихую минуту, ясно стало, что можно — едва ли не до́лжно уйти» *(Там же. С. 71)*. То есть уйти не только из Ясной Поляны, но и из времени и пространства — в мирском смысле: исчезнуть для мира, умереть. Улететь. Но это будет не скоро, не скоро… Переписка Льва Николаевича с женой последующих лет станет, наравне с Дневником, самым правдивым свидетельством его страданий — необходимых для духовного роста и «полёта», но и мучительных ему именно тем, что главным их источником останется наиболее близкий на земле, наиболее любимый земной любовью, удерживавший его на Земле человек.

Конец Третьего Фрагмента
Тридцать Пятого Эпизода

КОНЕЦ ТРИДЦАТЬ ПЯТОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Тридцать Шестой.

ГОЛОД, ЭПИДЕМИИ И УСТАЛОСТЬ

(21 октября – 21 ноября 1892 г.)

ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ

(Интерлюдия)

У корпуса эпистолярных источников, заданного обозначенным в заголовке Эпизода временным интервалом, который мы здесь представим читателю, снова, как и в случае с письмами предшествующего Эпизода — существенная предыстория. Начало её — в сентябрьской краткой и деловой поездке Толстого в Бегичевку, в ходе которой два мощных и негативных впечатления повлияли и на мировоззрение, и на творчество Льва Николаевича.

В письме к жене от 10 сентября из Бегичевки, первом после сентябрьского приезда туда (если же точнее, это пространная *приписка* к письму дочери Тани), Толстой сообщает некоторые новости, среди которых вдруг — эти краткие, без пояснений, слова:

«Впечатление Узловой ужасно» *(84, 160)*.

Толстой выехал в Бегичевку с сыном Львом и дочерью Татьяной 9 сентября, имея необходимость заехать по пути с ответным «визитом вежливости» в Молодёнки Епифанского уезда, имение Петра Фёдоровича Самарина (1830 – 1901), за 18 вёрст от Бегичевки. В тот же день он проезжал станцию Узловая, что в Тульской губернии, где был свидетелем ужаснувшей его сцены, которую или не захотел, или не нашёл в себе силы тогда же подробно описать в письме к жене. Это сделала Татьяна Львовна в письме к маме 10 сентября (тот самом, к которому Л. Н. Толстой сделал обширную приписку):

«В одном поезде с нами ехали вчера Давыдовы — тоже в Молодёнки, — и Зиновьев с Львовым, чтобы усмирять бунт в Бобриках, где крестьяне не дают Бобринскому рубить лес, который они считают своим. В Узловой мы нагнали поезд с 400 солдат, которых туда гонят с ружьями, готовыми зарядами и музыкой. Это произвело на нас всех и особенно на папá ужасно неприятное впечатление. Зиновьев казался очень сконфуженным и жалким» *(Там же. С. 160 – 161)*.

Ещё бы тульскому губернатору Николаю Алексеевичу Зиновьеву (1839 – после 1917) не быть сконфуженным. Он успел познакомиться с Толстым, стать гостем его семейства и вполне поддерживал ини-

циативу Толстого со столовыми. Тульский прокурор Николай Васильевич Давыдов, давний общий знакомый Толстого и Зиновьева, особенно подчёркивает в своих мемуарах, что Николай Алексеевич относился к Толстому-благотворителю «с большим уважением», не как «представитель наблюдающей власти, а в качестве знакомого» *(Давыдов Н.В. Из прошлого // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. – М., 1978. – Т. 2. – С. 15)*. Ещё 28 августа он нанёс Толстому в Ясной Поляне неофициальный, вполне дружеский визит, чтобы поздравить с днём рождения…

И вдруг — такие обосратушки. Аж кучкой!

Итак, 9-го сентября 1892 года совершилось событие историческое — в истории русской и мировой общественно-публицистической и религиозной мысли. На станции Узловая Сызранско-Вяземской железной дороги писатель встретился с карательным отрядом, направлявшимся, под руководством лично тульского губернатора, для наказания крестьян, не давших своему помещику рубить лес, вероятно, вполне законно приобретённый им «на извод», но который сами эти дети природы, чуждые буржуазного «правосознания», считали своим.

Конечно же, Толстой-публицист не преминул *со своих* позиций описать и охарактеризовать виденное им. Взывающая к дремлющей совести «паразитов» проблема неуважения к правам и человеческому достоинству своих кормильцев, поднятая Львом Николаевичем ещё в трактате «Так что же нам делать?», развитая им позднее в гениальных работах «Голод или не голод?», «Неужели это так надо?» и «Стыдно», нашла самое страстное выражение в главе XII трактата «Царство Божие внутри вас», в котором эта, заключительная, глава — самая пространная, могущая быть прочтённой даже отдельно от предшествующих ей, как особенное публицистическое выступление Л. Н. Толстого. Конечно же, после публикации этой главы и прочтения её Зиновьевым отношения его с Толстым были разорваны взаимно.

Тема, заявленная в трактате, по всей видимости, не скоро утратит свою актуальность.

Толстого возмутила не столько жестокость самого наказания, сколько та лёгкость, то нравственное безразличие, с которыми чиновники, офицеры и солдаты готовились совершить истязание «голодных и беззащитных, тех самых людей, которые кормят их» *(28, 230)*.

Вошь и гнида ополчились на бабку Степаниду, которую и без того грызут… Не апофеоз ли это того «стиля взаимоотношений» власти и

общества в России, который господствовал и при царях, и при Сталине, и торжествует и в наши дни, в современной, гопническо-бандюжье-сволочной, полицейской и фашистской путинской России?

Пока «мирные народы» покойно «пасутся», не помышляя о своём праве на свободу, честь, достоинство, до тех пор послушное стадо можно «стричь» (налогами, штрафами и иными поборами), «резать» (войнами), да ещё и обманывать тем, что иначе нельзя и прожить стаду. Но как только традиционные неуважение, насилие и обман встречают отпор, как только стадо становится обществом людей, знающих о своих человеческих правах, о естественности своего равенства с самозваными распорядителями их судеб, все эти люди обречены становиться жертвами насилий и обмана. А убивать их будут такие же, в прошлом, простые люди, но загнанные уже в военное рабство. С болью и гневом пишет Л. Н. Толстой в трактате (гл. VIII), что, подобно тому «как из гнилых и кривых брёвен, как ни перекладывай их, нельзя построить дом, так из таких людей нельзя устроить разумное и нравственное общество. Из таких людей может образоваться только стадо животных, управляемое криками и кнутами пастухов» *(28, 165)*.

Это патетическое и эмоциональное место в трактате не напрасно, не случайно перекликается с пушкинским стихотворением «Свободы сеятель пустынный…»: как и это стихотворение одного из немногочисленных поэтов, признанных Толстым, многие главы «Царства Божия…» писались в период не только ужасной хронической усталости, которую Толстой не мог до конца снять из-за домашнего, связанного с поведением жены, непокоя, но и утраты автором хорошо известных по его высказываниям о крестьянах и достаточно наивных «демократических» иллюзий — конечно же, связанных с длительным ежедневным наблюдением *реальной* жизни этих самых крестьян. В том тяжёлом состоянии души, которое преследовало его периодически всю жизнь. Кроме того, пушкинские образы, настроения, понятие свободы и чести всегда были близки Толстому, хотя в понятие «свобода» Толстой-публицист вложил своё, очень своеобразное содержание, отражающее его высшее, чем пушкинское, истинно-христианское, жизнепонимание.

В третьем томе «Биографии Л. Н. Толстого» Павел Бирюков, ставший, как мы помним, с лета 1892 года ответственным заместителем Толстого в Бегичевке, вспоминает об условиях, в которых пришлось ему начинать второй сезон работы толстовского «министерства добра»:

«Пространство России, постигнутое на этот раз неурожаем, было значительно меньше, но зато там, где пришлось второй раз пережить это тяжёлое время, было во много раз труднее. Истощённые предыдущими плохими годами и сошедшие на нет в прошлую, голодную зиму, они уже не могли сопротивляться стихийному бедствию. И в тех местах, где прежде кормили, теперь лечили и часто хоронили истощённых до смерти могучих работников-пахарей. Они покорно подставляли свои согбенные спины и безропотно умирали от голодного, сыпного тифа.

Одна из характерных особенностей сыпного тифа это его заразительность, которая распространяется не только на само население, но и на медицинский персонал. Заболевают доктора, фельдшера, сиделки. […] Как только появилась эпидемия сыпного тифа близ Бегичевки, осенью 1892 года, пришлось организовать медицинскую, а главное — санитарную помощь. Пришлось приискивать помещения, куда отделять больных, улучшая, облегчая обстановку их жизни, усиливая питание. А главное — найти людей, готовых самоотверженно идти на борьбу с эпидемией, с явной опасностью болезни и смерти. Это было не так-то легко.

Вследствие уменьшения размеров бедствия, вследствие охлаждения прежнего пыла пожертвований в русском и заграничном обществе, вследствие стремления руководящих классов поскорее заявить о том, что теперь "всё благополучно", приток пожертвований и предложение личных услуг значительно ослабели» *(Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого: В 4-х тт. – М., 1923. – Т. 3. – С. 193 – 194)*.

Всё это предвиделось опытному глазу писателя уже в сентябре и вызывало множество тяжёлых дум, отягощённый которыми Толстой и встретился с поездом с 400-ми вооружёнными карателями.

И вот под гнётом свежих, как кровоточащая рана впечатлений от Узловой, в физически и морально надорванном состоянии Толстой, по пути в страшную, смертельно опасную из-за эпидемий, депрессивную Бегичевку, заезжает в Молодёнки, имение давнего друга и частого гостя толстовского семейства Петра Фёдоровича Самарина (1830 – 1901). Вышеупомянутый Н. В. Давыдов, общий знакомый, вспоминал о Самарине, что был он умеренный либерал и вроде как даже обладал душой «благородной, сочувствовавшей всему высокому», но… как-то *со стороны* сочувствовавшей. Не высовываясь наружу. Собеседникам он казался сухим, даже чёрствым. В спорах с Толстым он преследовал цель не только опровергнуть, но и раздражить, измучить его — так что споры часто переходили в препирательства… впрочем, на французском языке *(Давыдов Н.В. Из про-*

шлого. – М., 1914. С. 191, 234). Именно П. Ф. Самарина Толстой однажды, в 1881 году, едва не вытолкал в шею из своего дома, когда тот «с улыбочкой» высказался в пользу смертной казни участников покушения на имп. Александра II *(49, 36)*. За них, как известно, Толстой заступился тогда в историческом письме к его наследнику, Александру III.

Что же застаёт он, что́ видит в доме столь неблизкого лично ему «друга семейства» (а следом и в имении Раевских, которое тоже навестил попутно) сразу после кошмарной сцены сотен военных рабов и палачей народа? Вот впечатления и мысли Толстого из уже цитировавшейся нами выше приписки к письму к С. А. Толстой от 10 сентября дочери Татьяны:

«Самарины, и особенно он, были чрезвычайно милы. Здесь так все претерпелись к бедствию, что идёт везде непрестанный пир во время чумы. У Нечаевых были имянины, на которых была <Александра Павловна> Самарина, и обед с чудесами французского повара, за которым сидят 2½ часа. У Самариных роскошь, у Раевских тоже — охота, веселье. А народ мрёт. А как рассказывал Поша, когда он спросил про смерть в Татищеве одного человека от холеры, то ему ответили: “Да что ж тут такого, у нас 2-й год мрёт народ семьями и никто не заботится”.

Не хочется осуждать и не осуждаю в душе, а больше жалею и боюсь. Контраст между роскошью роскошествующих и нищетой бедствующих всё увеличивается, и так продолжаться не может» *(84, 160)*.

Нам важны все эти, отразившиеся в разной степени в переписке Л.Н. Толстого с женой подробности для того, чтобы лучше уяснить истоки тех настроений, которые нашли своё выражение не только в названном трактате, работу над которым Толстой продолжил по возвращении из Бегичевки, но и в переписке его с женой октября-ноября 1892 года, к презентации и анализу которой мы теперь и переходим.

Конец Интерлюдии

Хлопотная зима 1891-92 гг. в Москве кажется ещё более, чем прежде, отвратила Софью Андреевну от этого проклятого города, пусть и родного, но ставшего для неё за прошедшие десять лет местом многих тяжёлых трудов, переживаний и невзгод. Тем более, что

с осенними холодами в городе снова, и со страшнейшей силой, вспыхнула опасная вирусная «инфлуенца», пожинавшая ежедневно страшный урожай всё новых и новых жертв. Среди выживших или погибших от смертельного гриппа было уже немало лично знакомых Софье Андреевне людей. И она с мрачным, изнурявшим её внутренним напряжением ждала известий о новых потерях, и с ужасом — об опасности для её семьи, детей, которых совсем неохотно отвозила в этот год на учение в Москву.

В воспоминаниях «Моя жизнь» она признаётся:

«Тоску, испытываемую моими мальчиками, чувствовала часто, особенно в начале осени, и я. Мне казалось, что *весело* может быть только в Ясной Поляне, а в Москве точно что-то сомкнётся, весь Божий мир закроется и попадаешь в какую-то узкую колею жизни, в которой можно и застрять, а это было бы ужасно» *(МЖ – 2. С. 294)*.

С городскими скукой и тоской Соничка боролась мудро: радостным трудом в природе, в прекрасном хамовническом саду:

«Купила я в Петровском-Разумовском лип, сажала их в саду, в аллее. …Сажала на лужайке перед домом луковицы гиацинтов, нарциссов и других луковичных цветов, мечтая, как они будут цвести весной» *(Там же)*.

7-го октября она забрала в Туле готовые исполнительные листы по завершавшемуся наконец семейному разделу. Ясная Поляна теперь принадлежала и юридически ей и младшему сыну Ивану Львовичу. Не расслабляясь, она и в Ясной продолжила свои работы в природе: «…подсадила деревья, кончала разные постройки, вычистила пруды» *(Там же. С. 296)*. 20-го октября она вернулась с младшими детьми в Москву, на этот раз без споров, с пониманием, оставив мужа в тихой, творческой атмосфере осенней родной усадьбы. Ему предстояло закончить второй отчёт об употреблении пожертвованных для голодающих денег и продолжить писание книги «Царство Божие внутри вас». Удивительно, но при таком раскладе на одиночество этих дней жаловалась, по воспоминаниям, именно Софья Андреевна *(Там же. С. 297)*. Понятно, что недоставало ей именно *мужа*. И, конечно, Лев Николаевич понимал это и не отказывал супруге в этот месяц разлуки в частых весточках от себя.

Первой из них, однако, была телеграмма 21 октября, передававшая Софье Андреевне весть скорбную для всего её семейства:

«Сейчас получил телеграмму <из Бегичевки>, что Марья Петровна скончалась, — в 9 часов утра, 20. Лев Толстой» *(84, 162)*.

Скончалась от тифа Марья Петровна Шварцман, в замужестве Берс (? - 1892), первая жена младшего брата Софьи Андреевны Степана. Самого Стёпку в такое опасное и слишком серьёзное для него место, как Бегичевка, к больной жене не вызывали, известив только об её кончине — чем он, конечно же, был весьма раздосадован. 29 октября он ворчал в письме к Толстому: «Сколько Соня писала глупостей и дурного; сколько раз она вмешивалась между нами, а написать две строчки, что жена моя при смерти, она не догадалась» *(Цит. по: ПСТ. С. 538)*.

А в следующей корреспонденции жене, именно в приписке к письму В. А. Кузминской от 22 октября, Толстой по поводу той же смерти прибавляет:

«Смерть Марьи Петровны очень трогательна. Древние говорили, что кого Бог любит, те умирают молодыми. И смерть хорошая. У всех останется самое хорошее чувство к ней, а со всех сторон, кроме горя, её ничего не ожидало» *(Там же. С. 162 – 163)*.

Конечно же, такое заключение вполне соответствовало устойчиво-негативистскому, даже мрачному восприятию Софьей Андреевной окружающей действительности, её постоянному ожиданию неприятностей и неумению без страха перед будущим радоваться даже самой большой радости в настоящем. Приводим её встречное послание, писанное вечером 21 октября, ответ на телеграмму мужа того же дня. Супруги будто «соревнуются» в мрачном трагизме известий:

«Очень тяжело было и неожиданно известие о смерти Марьи Петровны. Мы все успокоились, что ей лучше и вдруг — конец. Воображаю как и на вас всех, особенно девочек, мрачно подействовало это известие.

Скоро, пожалуй, и ещё будет покойник. Вчера Лёва мне сказал, что Афанасий Афанасьевич <Фет> очень плох. Сегодня, разложив кое-что, я пошла в четыре часа к ним на Плющиху. Хотя я и застала старика за столом, обедающего, но он не может почти совсем говорить, дышет ужасно тяжело, кашляет, задыхается, стонет. Руки холодные, глаза серьёзные, строгий взгляд такой, страдальческий. Скажет тихо, почти шёпотом, слово, другое, — и замолчит; передышет, опять скажет. Тяжело и слушать, и смотреть. Подбирается народ, и старый, и молодой. В прошлом году впечатление въезда в Москву — смерть Дьякова, а в нынешнем будет Фета. Марья Петровна нервно возбуждена, даже весела на вид, но я вижу, что она

старательно отстраняет от себя мысль о его смерти. — А бог знает, может быть ещё и справится на время.

Ехали мы вчера не трудно, но жарко и скучно. Соседи наши были скучные — офицер с сестрой, но учтивые и покладистые. Встретили нас Дунаев и артельщик с просторной каретой. Дома никого не застали. Лёва с мальчиками уехали покупать нам к чаю пирожков, винограду и груш; приехали только через полчаса. Вид у мальчиков хороший, а Лёва что-то похудел и посерел. Говорит, что тоже задыхается, но не кашляет. Он […] очень скоро уедет, через несколько дней. Вернётся ли опять — неизвестно, может быть, прямо теперь, не дожидаясь января, поступит на службу, и может быть, ему зачтутся и эти месяцы.

[…] Софья Алексеевна <Философова> тоже, говорят, плоха, не спит и плохо дышет. <Скончалась в 1901 году. – *Р. А.*>

[…] Сегодня весь день в раскладке, дел у меня всяких так много, что не знаю с чего начать, да и тоскливо опять; смерть Марьи Петровны и Фета умиранье так и пришибли меня.

Саша и Ваничка ходили сегодня с Лёвой к Арбатским воротам смотреть обезьян, фазанов, попугаев и других зверей. Очень остались довольны. Они веселы и здоровы. Вчера, как приехали, начали разбирать с восторгом все свои игрушки, оставленные в Москве. Тут туман, темнота; снегу и не было; шум, вонь, тепло; грохот пролёток, тусклые фонари и тоска. Надо встряхнуться к жизни и делу.

Мне говорила Дуняша, что вы в передней обедаете. Дуть будет в дверь. Как-то вы всё устроили свою жизнь, и в каком вы все духе?

Надо написать Стёпе о его жене и очень не хочется. Прощайте, милые друзья, будьте здоровы и бодры.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 536 – 537).*

Лев Львович Толстой пытался найти себе применение в военной службе, но уже к концу 1892 года получил отставку по состоянию здоровья. По существу, он уже как будто побывал на военной службе — в аду голодной Патровки, куда, как мы помним, с самыми наивными (последование отцу) и добрыми, благородными (спасение голодных!) устремлениями отправился добровольно, покинув университет. И даже принял страшный бой — бой со смертью за жизнь тысяч крестьян. Он выжил, он даже не сошёл с ума… но *физическим* здоровьем уже не мог похвастать никогда.

Приводим теперь и остальную часть приписки Л. Н. Толстого к письму Верочки Кузминской от 22 октября, ибо она вводит читателя

в тематику дальнейшего эпистолярного диалога Толстого с женой, в данном Эпизоде весьма личного, а иногда и эмоционального:

«Верочка не велела мне читать её письма, и я знаю, что она написала всё, только не обо мне. А обо мне писать нечего. Я здоров и всё также мало разнообразен. Утром весь вхожу в свою работу, а потом прозябаю; но не неприятно. Ни на чём так не чувствую старость, как на этой умственной усталости.

Илюша хочет бал<ло>тироваться в члены Управы. Это со всех сторон не хорошо: и не хорошо деньги брать, и не хорошо, что новый предлог отлучек из дома. Я сказал ему это. И жалею, что огорчил его.

Снег теперь очевидно, что стает, и осень ещё будет длинная и мокрая.

Я думал вчера о том, что нехорошо печатать мои портреты в разных видах в новом издании. Это совестно и неприлично при жизни. Как ты думаешь?

Что статья в «Русских ведомостях»? Что Лёва, приедет ли сюда до отъезда?

Целую тебя и детей. *Л. Т.*» *(84, 162).*

Конечно же, такое письмо очень расстроило и разгневало Соничку. Упоминание о старости она связала (конечно же, несправедливо) с желанием мужа подчеркнуть его с нею разницу в возрасте, почти пенсионный (64 года) возраст, а значит — оправдать своё «право на покой» в Ясной Поляне, на свободный образ жизни, который вели в его возрасте многие путешествующие, развлекающиеся и флиртующие с молодыми девицами аристократы, на *неучастие* в её, всё ещё подневольно-московской (пусть и нелюбимой уже!) жизни, в воспитании младших детей… Даже в мемуарах, в1909-м году, уже без злости, но с явным сожалением жена Толстого подчёркивает, что к 1892-му году «Лев Николаевич стал стариком», что «дети его тревожили, были в тягость», что «жена стала не нужна так, как прежде» *(МЖ – 2. С. 299).* Кажется, её желание скорее увидеть мужа в Москве проявилось после его несчастливых строк 22 октября с новой силой.

Не могли порадовать Софью Андреевну Толстую и строки, критикующие «нормальный» в мирском понимании выбор в пользу государственной службы сына Ильи. Хотя она и могла ожидать этой критики, с давно известных ей отрицающих позиций супруга, но всё же, всё же…

Наконец, Толстой вмешался в её книгоиздательский бизнес — и совершенно неудачно. Помещённый в книге портрет автора в ту

эпоху несколько увеличивал её стоимость, но и служил хорошей рекламой, повышая продажность и доходность всего издания.

Трудно сказать, в каком из ответных писем С. А. Толстая выразила своё отношение к этим установкам мужа. Напрямую на послание 22 октября она отвечает только в письме от 27-го, указывая, что получила письмо В. А. Кузминской с припиской мужа только в тот день. Но Толстой упоминает её ответ уже в своём письме от 26-го (см. ниже). Верна ли датировка писем — 22 и 26 октября — в Полном собрании сочинений и писем Л. Н. Толстого, на которое мы опираемся? Толстой, к сожалению, имел привычку не подписывать дат на многих своих письмах, а исследователи могли и ошибиться. Но не могла ли узнать С. А. Толстая о мнении мужа по поводу портретов из какой-то не сохранившейся телеграммы? Это затруднительно установить по той причине, что как минимум *два* письма Софьи Андреевны, полученные Толстым к 25 октября *не сохранились*, а ещё одно письмо, от 26 октября, потаили от публикации составители используемого нами бесценного, но весьма неполного сборника писем С. А. Толстой 1936 года. Оставив вопрос о датировке, будем иметь дело, как прежде, с доступным корпусом источников и их принятой датировкой и продолжим хронологическую презентацию располагаемых нами писем Л. Н. Толстого. Вот письмо 23 октября:

«Со вчерашнего дня новостей у нас совсем никаких. Все вполне здоровы. Маша ездила в Крыльцово к больным. Таня и Вера ходили гулять. Я хожу гулять, пишу утром. Вечером писал письма и читал с девочками. Нынче начали «Фауста» Гёте, перевод Фета. Поклонись ему хорошенько от меня. Скажи, чтобы он не думал, как он иногда думает, что мы разошлись. Я часто испытываю это, — и с ним особенно, что люди составят себе представление о том, что я должен отчудиться от них, и сами отчудятся меня.

Из Бегичевки не имели ещё известий. Я боюсь за Пошу. Берёзки теперь можно сажать будет, уж много стаяло. — Еду сам на почту, везу это письмо. Целую тебя и детей. Надеюсь, что ты теперь спишь хорошо в Москве.

Л. Т. […]» *(84, 163)*.

На очереди письмо от 26 октября, открывающееся известием о необходимой по цензурным соображением редакции второго отчёта Л. Н. Толстого по расходованию денег жертвователей. Редактор «Русских ведомостей» В. М. Соболевский с сожалением просил Льва Николаевича исключить из отчёта всякую статистику, и даже самые

упоминания о смертях от голода. Такова была (и остаётся по сей день) лукаво-лживо-подлая идеологическая политика буржуазной России: если нельзя отрицать, то *оболгать* или хоть отчасти *потаить* всё дурное и позорное, что можно. Жители наполовину, на три четверти вымерших от голода местностей именовались в официальных изданиях «пострадавшими от неурожая» (!). На «чистовую отделку» новый отчёт отправился, конечно же, к Софье Андреевне:

«Посылаю нынче корректуру отчета. Я изменил там всё, что нужно и можно, и больше изменять не могу. Я пишу Чупрову, который заменяет Соболевского, чтобы они прислали корректуру тебе. Ты просмотри, пожалуйста, с Лёвой — нет ли каких грубых ошибок.

Получил вчера твои письма. Очень жалею, что моё желание огорчило тебя. <«Не печатать портреты в новом издании 1893 года». – *Примеч. С. А. Толстой.*> Я же не огорчаюсь. Так мне как-то ridicule [смешным] показалось при жизни себя предлагать публике во всех видах. — Но ты права, что это будет мало заметно. Вообще, чем меньше, тем лучше.

У нас по-старому. Девочки ездили в Тулу. Они не наладятся жить и, кажется, скучают, особенно Маша и Вера. [...] Маша видела сиделку, которая была при смерти Машеньки <Берс>. Она вдруг ослабела и почувствовала, что умирает — кое-какие распоряжения делала, маленькие долги заплатить, и сказала: Господи, прости мне мои грехи. И скоро потеряла сознание. И в таком положении была около суток. Похоронили её в Никитском. [...]

Снег, кажется, ляжет. Целую тебя и детей» *(84, 163 – 164)*.

Если верна датировка письма, то наше подозрение о сообщении С. А. Толстой от мужа о нежелании его публиковать свой портрет *до* получения ею письма 22 октября — вполне подтверждается. Это могла быть либо телеграмма, либо изустное известие, «привезённое» кем-то в Москву.

Вечером 27 октября Софья Андреевна пишет мужу первое из писем в этом Эпизоде, текстом которого мы располагаем, как раз ответ на его общее с В. А. Кузминской послание от 22 октября:

«Получила сегодня твоё и Верино письмо, милый Лёвочка. С каким поездом будет она в Москве? Я бы к ней выехала поговорить о вас и вообще проститься с ней. Я вполне её понимаю, что она едет домой. Для чего и зачем ей жить в Ясной: дела нет, природа мёртвая, от своей семьи далеко. Конечно, и Тане с Машей не весело, но они дома,

при отце и при его деле; как будто исполняя эту обязанность — и жизнь полна, оправдана. Я здесь себя совсем не чувствую в городе. Только настолько, насколько несносна беготня по делам и покупкам. И то езда мне стала так вредна, что я избегаю, и всё откладываю свои дела до санного пути.

Сегодня с курьерским приехал брат Серёжа и остановился, к радости моей, в Лёвиной опустевшей комнате. Верочка тоже была тут, взволнованная тем, что отец нашёл выбор её квартиры слишком дорогим, тем более, что у него вышли в тираж Дворянского банка билеты, и он на этом теряет рублей двести, что его очень огорчает. Не знаю, на чём они завтра решат.

Мальчики мои в гимназию не ходили; у них у обоих покраснели горла. Маленькие были в ванне и оба здоровы. У Ванички закурчавились так волосики, что просто красота. Мы нынче вечером сначала в зале играли с Мишей больше часа — я на фортепиано, он на скрипке, разбирал очень порядочно. Потом мы с Ваничкой, Сашей и Мишей развешивали с Дуняшей два ящика чая, сначала наш, потом людской. Потом я спросила у Миши его урок, и приехал Серёжа. А вчера я была проведать Фета. Там из «Московских ведомостей» Говоруха-Отрок. Я с ним сцепилась за прошлогоднюю историю. <Под псевдонимом «Николаев» Ю. Н. Говоруха-Отрок участвовал в 1891 г. в кампании газеты «Московские ведомости» против В. С. Соловьёва и Л. Н. Толстого. – *Р. А.*> Он очень сконфужен, говорил, что он не при чём, но что-то пустил насчёт того, что жаль, что ты статьи пишешь и т. д. Фет его остановил и начал поэтическую картину о том, что «в Африке мы пришли в пустыню, вся она белая, покрытая песком, и никого нет. И вдруг мы увидели, ходит могучий лев и рычит. И он *один* и кругом пустота». И вот этот лев — ты.

А ещё он говорил на мои слова, которые ты ему велел передать: «вот я это время умирал и вспомнил «Смерть Ивана Ильича», как мужик здоровый с ним сидел и ноги ему держал, и ему было легче. И если б в эту минуту вошёл Толстой, я поклонился бы ему в ноги. Кто такую вещь понял и написал, тот не просто человек, а единица, или громадина» я уж не помню этого последнего слова. Ему немного лучше теперь.

[…] Как всё-таки трогательно и хорошо умирала Машенька! Завтра год смерти Дьякова. Всё покойники — много убывает людей, и грустно назад оглядываться. Я помню, как раз говорила Пелагея Ильинишна о том, как вся её жизнь в прошлом, в умерших, и никого не осталось. А ведь всё ей жить хотелось! <П. И. Юшкова (не позднее 1801 - 1875) — тётка Льва Николаевича, сестра отца. – *Р. А.*>

Напишите мне, что делается в Ясной: снег или сошёл? Тут нет ни капли, я всё по саду гуляю. Посадили ли берёзки? Что делают с прудом? Кто у вас люди живут? Вполне ли вы все здоровы? Целую всех вас, что-то холодом от вас всех веет, или вам скучно? Я вас не чувствую по-настоящему в письмах. Завтра писать не буду. Не ждите, нечего.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 538, 541)*.

«Холодом повеяло» на Соню от мужниных строк из письма 22 октября. Зато от фетовского образа, «веявшего» жаром белой пустыни — повеяло чем-то единомысленным, близким. Легко догадаться, *куда* завернул разговор с участием двоих собеседников, а именно, старого поэта и консервативного публициста, с которым совсем недавно Софья Андреевна буквально билась «не на жизнь, а на смерть», защищая мужа. Теперь ей этого вовсе не хотелось: напротив, хотелось согласиться с обоими, включая «врага» из «Московских ведомостей». Потому что Ю. Н. Говоруха-Отрок повторил в своём разговоре то давнее сожаление, что Толстой не пишет новые художественные шедевры, а пишет «вредные» статьи, с которым уже более десяти лет к тому времени была солидарна и она. А Фет, приведя в пример «Смерть Ивана Ильича» как один из безусловных шедевров, в которых выразился «настоящий», по мнению многих, Толстой-художник, для «ненастоящего», для «нигилиста», отрицателя, каким почитали тогда Толстого многие — придумал страшный, инфернальный образ безжизненной пустыни (в которую, как подразумевается, обращает жизнь Толстой, её отрицатель), по которой сам отрицатель бродит потерянно, без смысла и цели (намёк на отрицание Толстым руководства православной церкви). Страшный, но, слава Богу, не правдивый в отношении Льва Николаевича образ!

Нашей диалогической реконструкции и презентации дальнейшей переписки супругов немало препятствует, с одной стороны, утрата части писем С. А. Толстой анализируемого периода, с другой же — отсутствие точной датировки корреспонденций Л. Н. Толстого. Мало сведений о переписке этих дней в мемуарах Софьи Андреевны, молчит и её дневник. В Дневнике Л. Н. Толстого — только обычная для него лаконичная запись, ничего не поясняющая: «Соня в Москве с детьми. Бывают дурные периоды» *(52, 75)*. При этом и содержание писем Толстого к жене не всегда помогает ни точно датировать их, ни соотнести с известными нам письмами Софьи Андреевны. Причину этой тенденции можно предположить в том, что тематика и

настроение писем жены не всегда нравились мужу, и он, дабы уничтожить зло в зародыше, не отвечал на то недоброе, «болезненное» в её посланиях, что, вероятно, и связано с позднейшей их утратой (хотя — самим ли Толстым они были уничтожены, или постыдившейся их содержания женой, этого мы не узнаем никогда). Будем работать с тем материалом, который уцелел.

Ко времени с 28 октября по 2 ноября 1892 г. относятся четыре корреспонденции Л. Н. Толстого *(см.: 84, №№ 542 – 545)*. Научный комментатор 84-го тома Полного (юбилейного) собрания сочинений Л. Н. Толстого предполагает, что ответом на вышеприведённое нами письмо С. А. Толстой служит только открытка от 2 ноября. Но её скудный текст никак не соотносится с текстом названного письма С. А. Толстой и ни в чём не служит ему прямым ответом. Единственная его ценность для нас — известие, что Толстым накануне, 1 ноября, получено одно из неизвестных нам писем… о содержании которого он предпочёл не распространяться.

Зато в более раннем, достаточно большом письме, датируемом приблизительно 30 или 31 октября, Толстой отвечает о *пруде и берёзках*, о которых Соня спрашивала в конце письма от 27-го. А слова, завершающие её письмо: «Завтра писать не буду. Не ждите, нечего» соотносимы с началом названного ответного письма Толстого. Датировку можно принять, т. к. С. А. Толстая упоминает в своём ответе 1 ноября о получении неких писем с Верой Александровной Кузминской, об отъезде которой в Москву как раз идёт речь в интересующем нас письме Л. Н. Толстого. Среди отправленных с нею писем, вероятно, было и толстовское.

Приводим ниже основной текст этого письма: и как наиболее вероятный ответ на предшествовавшее письмо С. А. Толстой, и как свидетельство о заботах и делах, которыми был занят Толстой дома, в Ясной Поляне. Примечательно упоминание в этом и следующем за ним письме только недавно обильно обосравшегося на глазах Толстого губернатора Н. А. Зиновьева. Толстой не спешил рвать с отношения с карателем крестьянского бунта: он был ему полезен до окончания эпопеи помощи голодающим крестьянам. Он *наблюдал* губернатора как художник, готовя в продолжающемся писанием трактате «Царство Божие» яркую, достойную и заслуженную месть.

Итак, письмо Толстого жене от 30 или 31 (?) октября 1892 г.:

«Хотя ты и не велела ждать ничего нынче, мы всё-таки посылаем на Козловку, во 1-ых, чтобы перетелеграфировать тебе, от Веры, так как она едет с курьерским, а во 2-ых, чтобы написать тебе. У нас

зима совершенная. Уж дней 5 градуса 3, тишина и такой иней, какого я, кажется, никогда не видал: иглы чуть ли не в вершок, и усыпаны поля им, и гнутся чудно разукрашенные деревья. Пруд копают. Плотину он <управляющий усадьбой. – *Р. А.*> не прудил. Боится оттепелей. И прав. Берёзки закопаны в земле. […]

Жизнь наша идёт всё одинаково — хорошо. Девочки затеяли читать и подучивать ребят и девушек деревенских: они приходят по вечерам и через день. Маша кроме того ездит по больным. Вчера она ездила в Тулу с Аннушкиной Веркой, у которой глаза болят. <Вера Деева, дочь кухарки Анны Петровны. – *Р. А.*>

Я вчера тоже был в Туле. Особенной нужды мне не было, но было несколько просьб до Давыдова и Зиновьева и хотелось воспользоваться чудной погодой, проехаться. И я поехал верхом в час, а в 6 вернулся. Пришёл к Давыдову, он в суде. Я пошёл в суд и там застал большое дело о шайке воров. Обвинял <Сергей Алексеевич> Лопухин <товарищ прокурора, Н. А. Давыдова. – *Р. А.*>. Я посидел там с час. И мне это было нужно. А потом пошёл с Давыдовым к нему, по дороге встретил Зиновьева. Он вернулся с нами. И я им передал, что было нужно.

Вчера получил письмо от Черткова, одно из Тулы, вот с этим обращением в газеты, которое он хочет поместить в «Русских ведомостях» […]. Сообщение его пошли, пожалуйста, в «Русские ведомости», прося их напечатать. Сопоцько в тот же день пишет из Бегичевки, что нужда там страшная и всё увеличивается, и что он всё больше и больше народа допускает в столовые. Всё это очень тяжело.

По разговорам с Зиновьевым вижу, что нужда действительно нынешний год хуже прошлогодней; но мы как будто выпустили весь заряд своей энергии и теперь только хотим как-нибудь отделаться.

Зиновьев сказал мне, что Илюша выбран в члены Управы.

У вас ли ещё брат Серёжа? Ему бы не грех отдать нам наши многочисленные визиты. Мы и то к нему ехали. Напрасно ты не чувствуешь нас; мы — я — тебя чувствуем. Ну, прощай пока, целую тебя и детей» *(84, 165 – 166)*.

Письмо В. Г. Черткова о надвигающемся в Воронежской губернии сильнейшем, чем в прошлую зиму, голоде не было допущено к публикации цензурой.

Ответом на приведённое письмо Толстого следует считать, как мы предполагаем, письмо С. А. Толстой от 1 ноября *(см.: ПСТ, № 275)*, начинающееся с упоминания о приезде с письмами (включая, вероятно, и толстовское) Верочки Кузминской.

Но отсутствует точная датировка и у следующего письма Толстого *(см. 84, № 544)*. В письме между прочим уже упоминается неизвестный *ответ* С. А. Толстой дочерям Тане и Маше, полученный «с Козловки» (т. е. через почту), в котором она выразила огорчение, как пишет Толстой, «неважным и никому не вредным делом» *(Там же. С. 166)*. О «деле» же этом, огорчившем Софью Андреевну, она собственноручно сделала к письму Толстого следующую приписку: «<Огорчилась> тем, что крестьянских ребят Марья Львовна собрала в детских комнатах дома: я боялась какой-нибудь заразы» *(Цит. по: Там же. С. 167)*. Об этой новой затее Веры Кузминской и дочерей Толстого Татьяны и Марии (мать не любила Машу, оттого свалила «грех» на одну неё) сам Толстой упоминает только в вышеприведённом письме, датируемом не ранее 30 октября. Однако, вероятнее всего, узнать об этом мать могла ранее из письма одной из дочерей. Это наше предположение подтверждается сведениями в мемуарах «Моя жизнь» *(см.: МЖ – 2. С. 298)*, но, увы, не даёт материала для более точных датировок писем Льва Николаевича.

В довершение всего, конверта от письма 30-го (?) октября не сохранилось, а на конверте письма, написанного Толстым позднее (1 ноября?), обозначено только имя адресата: «Софье Андревне». То есть, как и предшествующее, письмо было передано не по почте. Очень кстати С. А. Толстая упоминает в письме от 3 ноября, что какое-то письмо от мужа ей привёз 2 ноября Михаил Адамович Олсуфьев, а на следующий день пришло «ещё закрытое» (что можно понимать так, что и предшествующее письмо было в конверте: то есть всего два «закрытых»). Это вполне соотносится как с известием в письме 1 (?) ноября об отъезде М. Олсуфьева из Тулы, так и с известием в открытке Толстого к жене, датируемой уже точно 2 ноября, о том, что он накануне, «вчера», то есть 1-го, он писал жене и отправил письмо «с Олсуфьевым» *(Там же. С. 166 – 167)*.

Приводим теперь с сокращениями, в хронологическом порядке, ответы жены Л. Н. Толстому.

Письмо от 1 ноября открывается упоминанием о толстовце Е. И. Попове, караулившем тогда по заданию Черткова рукописи толстовского «Царства Божьего…». Но бедному святоше явно не фартило:

«Вчера я поехала на железную дорогу повидать Веру. Она передала мне письма и в том числе письмо Евгения Ивановича. Я положила всё в карман и хотела прочесть письмо Евгения Ивановича дома, но когда приехала домой, его не было в кармане.

Веру я, к великой нашей радости, привезла в Хамовники. Дети ей очень рады и я тоже; она мне всё понемногу рассказывает про вас. О письме Евгения Ивановича она мне говорила, что он хочет, чтоб я просила за его мать. Довольно странно было бы, чтоб я ручалась и просила за женщину, о которой имею только то понятие, что ей запрещают кухмистерские. Ведь есть же причина этого запрещения, как же я буду, не зная ровно ничего, кроме плохого (я слышала о ней от Башиловых), хлопотать и компрометировать себя? Скажи ему, что у меня правило не просить за тех, кого я не знаю.

Самое тяжёлое у нас — это Андрюшино учение и настроение. Рассказывать всё это долго, но он очень плох во всём.

Напомни Маше обещание достать бабьи вещи для Hapgood; я ей послала в Америку отчёт. […]

Вечером.

Сейчас проводила Веру на Николаевский вокзал, и там в дамской комнате нашла письмо Попова. Я право не знаю кого просить; ведь я с полицией дел не имею. Поговорю завтра с Нагорновым; он с Варей придёт обедать, по просьбе Илюши.

[…] Надеюсь, что девочки исполнили моё желание, освободили от грязи детские и велели их вымыть. Вера говорит, что она Таню предупреждала, что мне будет неприятно. Точно они меня издали хотят дразнить и мучить; я понять не могу, зная моё отношение к присутствию ребят в доме и страх всяких скарлатин, как может придти в голову посадить полдеревни в детские! Я как подумаю, — у меня всё внутри дрожит и болит. Уж лучше б на *мою* постель их загнали, чем на Ваничкину, куда будут лезть все эти ребята. За себя я ещё никогда не сердилась, а за детей не могу не заступаться.

[КОММЕНТАРИЙ.

Это состояние, достаточно обыкновенное для Софьи Андреевны и в принципе для обитателей буржуазных городов: бояться воображаемых несчастий в будущем, требуя заранее «обеспечения безопасности», но при этом мириться с настоящими опасностями, вписанными в их повседневность. По Москве в то время собирала жатву смерти гриппозная зараза («инфлуенца»), которую медицина той эпохи не всегда умела даже вовремя и верно диагностировать. Но Софья Андреевна боится отдалённого: боится воображаемо заразных детей из Ясной Поляны (однажды, на Рождество 1866 г., действительно заразивших скарлатиной её малых чад), которые для неё

— что-то сродни нечистым уличным животным в церковном алтаре. Вот отрывок из её раздражённого письма Татьяне Львовне:

«…Я в диком отчаянии, что единственное моё святое святых — детские — вы не могли не загадить. Чья эта злобная мысль? Занимайтесь в зале, гостиной, библиотеке, но не заражайте мне моих святых уголков» (Цит. по: *ПСТ*. С. 543).

Идолопоклонство семейное, детей, и связанные с ними фобии — так же обличают массовое безверие лжехристианского мира, как и прочие актуальные пережитки животного состояния человека. – *Р. А.*]

Тут в Москве всё мрут; сегодня была у Елены Павловны Раевской с Ильёй, и там узнала, что Марья Павловна Щербатова умирает. Завтра, верно, её уж не будет. Воспаление почек и заражение крови. На вокзале видела сегодня дядю Костю, он провожал <Сергея Дмитриевича> Шереметева. Мальчики Раевские были сегодня напряжённо заняты медленным убийством двух лягушек с научной целью. Они вообще очень много занимаются и никуда не ездят. Вчера провела у нас вечер Веточка с гувернанткой. <Дочь Елизаветы Александровны Берс. – *Р. А.*> Лиза больна, у ней бронхит […]. Веточкой Лиза совсем не занимается по-видимому […]. Веточка вся — произведение премилой, не молодой, седой француженки, с которой они читают «La bibliothèque rose» <«Розовая Библиотека», популярная серия книг для девочек. – *Р. А.*>, сажают и поливают в деревне des artichots [артишоки], очень скучают, что уехали из деревни, и что ни спроси Веточку про мать, она отвечает: «Maman ne s'occupe pas de moi» [«мама мною не занимается»]. Maman запрётся одна и читает целыми днями. Теперь у Рика опять лечится. А муж её жалкий, затравленный человек, без дела и без значения какого-либо.

Что у вас делается? Приехал ли Репин? Уехал ли Митя Олсуфьев? Павел Иванович был ли у вас? Говорят, что он хочет вещи Марьи Петровны мне прислать. Нельзя ли их все раздать там, в Бегичевке, бедным, только книги наши из библиотеки выручить и то хорошо бы их чем спрыснуть от заразы. Если будете ему писать или увидите его, скажите ему это.

Прощай, милый Лёвочка; вы, говорят, не скоро приедете; что ж, ко всему притерпишься; только жаль, без причины врозь доживать то малое время, которое нам осталось жить на свете.

С. Т.» (ПСТ. С. 541 – 543).

Следующий день, 2 ноября, подарил Соне ещё одно письмо мужа, прибывшее вместе с М. А. Олсуфьевым. На него она отвечает довольно пространным и тематически «пёстрым» письмом 3 ноября:

«Милый друг Лёвочка, вчера Митя Олсуфьев привёз мне твоё письмо, за которое очень благодарю, а сегодня пришло ещё закрытое. Вы меня балуете, что пишете всякий день; если вам это трудно или трудно всякий день на Козловку посылать, то я была бы удовлетворена известиями о вас через день. Митя Олсуфьев говорил мне, как девочки на моё письмо негодовали; но вопрос, кто кого больше обидел — останется неразрешённым, и лучше об этом больше не упоминать. Хотя Митю сначала, кажется, очень озадачили спорами и осуждениями *умного* восточного человека <толстовец Е. И. Попов отличался типично «восточной» внешностью. – *Р. А.*>, сидевшего в шапке в комнатах, чтоб ум не растерять, которого он очень не возлюбил, в конце концов он остался очень доволен пребыванием своим в Ясной, говоря, что Толстые всегда умеют взбудоражить хорошо человека, и уезжаешь обновлённый и с мыслями разными новыми. Он сидел со мной до второго часа ночи и говорил, что он был всегда моим горячим поклонником, а теперь более, чем когда-либо. Вот ещё нажила себе друга преданного! Вижу Танину улыбку. Андрюша, слышавший Митины объяснения, тоже улыбался.

Ещё были вчера Варя Нагорнова с мужем и Илья обедал, и пришла Екатерина Ивановна Баратынская посмотреть Илью, единственного Толстого, которого она не знала. Сегодня тут были Дунаев, Петя Раевский и Алексей Митрофаныч. Спорили отчаянно о пользе и вреде университетов. Студенты — за, Дунаев — против. Кричали так, что дом дрожал.

Получила я письмо от брата Серёжи, пишет, что ошибся, написав не те цифры в государственном банке, и просит меня съездить исправить эту ошибку. Сегодня я не поехала; у Миши второй день боли — колики в животе; я клала компрессы, дала масла; теперь ему лучше, но я не могла его всё-таки оставить; кроме того и у самой это время не ладно внизу живота, я даже хотела к Чижу съездить сегодня посоветоваться, да ещё подожду, сама полечусь. Я думаю от пролёток извощичьих, я их трудно выношу, а езды бывает много по своим и чужим делам.

Сегодня сокращала и переписывала Лёвин отчёт. Он длинен, написан неумело, и когда я его брала из редакции, Постников меня очень просил его сократить и исправить, что я и сделала, и обещал тогда напечатать. Завтра свезу его; тоже проверки и поправок было много, очень небрежно и он отнёсся к цифрам и слогу. <Отчёт Л. Л.

Толстого об употреблении пожертвованных для голодающих денег был опубликован в газ. «Русские ведомости» от 9 ноября. – *Р. А.*>

Газету с твоим отчётом раскупили на 5000 номеров больше, и всё ещё поступают требованья. <Газета «Русские ведомости», № 301, 31 октября 1892 г. – *Р. А.*> Я взяла в редакции 30 номеров и разослала: Alexandrine, Страхову, Кузминским, Лёве, министру двора <И. И. Воронцову-Дашкову>, так как одновременно написала официальное напоминание в контору императорских театров о гонораре за «Плоды просвещения», не полученном с 1 января, и ещё некоторым богатым жертвователям, как бы для того, чтоб напомнить о помощи. Послала и Hapgood в Америку.

Дунаев говорит, что все плачут, когда читают последнюю сцену. Ещё бы! это не рассуждения, а художество! Это сила настоящая, золото, а не позолота по меди.

Хорошо Amiel пишет: «La philosophie ne doit pas remplacer la religion; les révolutionnaires ne sont pas des apôtres, quoique les apôtres aient été révolutionnaires. Sauver du dehors au dedans, et par dehors j'entends aussi l'intelligence relativement à la volonté, — c'est une erreur et un danger» [«Философия не должна заменять религии; революционеры не апостолы, хотя апостолы были революционерами. Ошибочно и опасно спасать извне внутреннее, — а под внешним я понимаю также ум в отношении воли».]. Ещё дальше хорошо: «l'homme ne *devient* homme que par l'intelligence, mais il *n'est* homme, que par le coeur» [«Человек становится человеком лишь посредством ума, но только благодаря сердцу он человек».]. Помнишь наш спор о том, что такое *сердце*? Вот и ответ прекрасный.

Насчёт Репина, вы напрасно им стесняетесь; если он не едет и не отвечает, то, верно, он не может теперь или вовсе раздумал приехать. Только когда вы уедете из Ясной, я о вас буду больше тревожиться. Неужели у вас всё путь. У нас ни порошинки нет снегу и всё около двух градусов мороза.

Надеюсь, что Танина мигрень прошла. Сегодня и у Саши в роде мигрени; она ни крошки не съела ничего за обедом; но нет ни жару, ни болей никаких, только голова болит. Ваничка пока здоров, весел и всех пленяет своей живостью и ласковостью. Он всякий день гуляет; Количка Рыдзевский был у нас в саду, а у Олички ветреная оспа, и потому эти миленькие гости ещё к нам не ходят.

Фета несколько дней не видала, Грот говорит, что ему немного лучше. Ещё *отсрочка*, уж верно не на долго.

Митя Олсуфьев говорил, что ты очень жаловался на то, что тебе в Москву придётся ехать, — и это ужасно всегда больно. Я ведь и не зову тебя, во-первых, вы меня приучили к разлуке, и во-вторых — я

вас боюсь. Боюсь упрёков молчаливых и высказанных, боюсь твоих скучливых и безучастных требований здесь, — и не разберёшь, что тяжеле: разлука и беспокойство о вас — или последнее. <Напомним читателю, что на тоскливое состояние Толстого в зимней Москве Софья Андреевна жаловалась начиная с первой московской зимы 1881 – 1882 гг. – *Р. А.*>

О Лёве имела известие от Тани сестры: ездил по родственникам, уехал в Царское. Прощай, Лёвочка, желаю тебе продолжать быть здоровым и бодрым. Целую тебя и детей.

Пожалуйста, не читайте никогда моих писем вслух при посторонних и Попове.

С. Т.» *(ПСТ. С. 543 – 545).*

Заключительная просьба означает, что Соня предполагала от себя не менее интимно-личные по содержанию дальнейшие письма, чем уже отправленные. Данное письмо С. А. Толстой содержит несколько биографически значимых сюжетов, требующих отдельного комментария. Первый из них — великолепная художественная зарисовка, которой Л. Н. Толстой завершил «Отчёт об употреблении пожертвованных денег с 12 апреля по 20 июля 1892 г.», действительно «сила настоящая, золото, а не позолота по меди», как охарактеризовала его Соня. Вот отрывки из него:

«На вопрос об экономическом положении народа в нынешнем году я не мог бы с точностью ответить. Не мог бы ответить потому, во-первых, что мы все, занимавшиеся в прошлом году кормлением народа, находимся в положении доктора, который бы, быв призван к человеку, вывихнувшему ногу, увидал бы, что этот человек весь больной. Что ответит доктор, когда у него спросят о состоянии больного? “О чём хотите вы узнать? — переспросит доктор. — Спрашиваете вы про ногу или про всё состояние больного? Нога ничего, нога простой вывих — случайность, но общее состояние нехорошо”.

Но и кроме того, я не мог бы ответить на вопрос о том, каково положение народа: тяжело, очень тяжело или ничего? потому что мы все, близко жившие с народом, слишком пригляделись к его понемножку всё ухудшавшемуся и ухудшавшемуся состоянию.

Если бы кто-нибудь из городских жителей пришёл в сильные морозы зимой в избу, топленную слегка только накануне, и увидал бы обитателей избы, вылезающих не с печки, а из печки, в которой они, чередуясь, проводят дни, так как это единственное средство согреться, или то, что люди сжигают крыши дворов и сени на топливо,

питаются одним хлебом, испечённым из равных частей муки и последнего сорта отрубей, и что взрослые люди спорят и ссорятся о том, что отрезанный кусок хлеба не доходит до определённого веса на осьмушку фунта, или то, что люди не выходят из избы, потому что им не во что одеться и обуться, то они были бы поражены виденным. Мы же смотрим на такие явления как на самые обыкновенные. И потому на вопрос о том, в каком положении народ нашей местности, ответит скорее тот, кто приедет в наши места в первый раз, а не мы. Мы притерпелись и уже ничего не видим.

[...] Что же будет в нынешнем году в нашей местности, где рожь родилась хуже прошлого года, овса совсем не родилось, топлива совсем нет и последние запасы сил населения вытянуты прошлым годом?

Так что же? Неужели опять голодающие? Голодающие! Столовые! Столовые. Голодающие. Ведь это уж старо и так страшно надоело.

Надоело вам, в Москве, в Петербурге, а здесь, когда они с утра до вечера стоят под окнами или в дверях, и нельзя по улице пройти, чтобы не слышать всё одних и тех же фраз: «Два дня не ели, последнюю овцу проели. Что делать будем? Последний конец пришёл. Помирать, значит?» и т. д., — здесь, как ни стыдно в этом признаться, это уже так наскучило, что как на врагов своих смотришь на них.

Встаю очень рано; ясное морозное утро с красным восходом; снег скрипит на ступенях, выхожу на двор, надеясь, что никого ещё нет, что я успею пройтись. Но нет; только отворил дверь, уже двое стоят: один высокий широкий мужик в коротком, оборванном полушубке, в разбитых лаптях, с истощённым лицом, с сумкой через плечо (все они с истощёнными лицами, так что эти лица стали специально мужицкие лица). С ним мальчик лет 14-ти, без шубы, в оборванном зипунишке, тоже в лаптях и тоже с сумой и палкой. Хочу пройти мимо, начинаются поклоны и обычные речи. Нечего делать, возвращаюсь в сени. Они всходят за мной. — Что ты? — К вашей милости. — Что? — К вашей милости. — Что нужно? — Насчёт пособия. — Какого пособия? — Да насчёт своей жизни! — Да что нужно? — С голоду помираем. Помогите сколько-нибудь. — Откуда? — Из Затворного. Знаю, это скопинская нищенская деревня, в которой ещё мы не успели открыть столовой. Оттуда десятками ходят нищие, и я тотчас же в своем представлении причисляю этого человека к нищим профессиональным, и мне только досадно на него и досадно, что и детей они водят с собой и развращают. «Чего же ты просишь? — Да как-нибудь обдумай нас. — Да как же я обдумаю? Мы здесь не можем ничего сделать. Вот мы приедем». Но он не слушает меня. И начинаются опять сотни раз слышанные одни и те же кажущиеся

мне притворными речи: «Ничего не родилось, семья 8 душ, работник я один, старуха померла, летось корову проели, на Рожество последняя лошадь околела, уж я, куда ни шло, ребята есть просят, отойти некуда, три дня не ели!» Всё это обычное одно и то же. Жду, скоро ли кончит. Но он всё говорит: «Думал, как-нибудь пробьюсь. Да выбился из сил. Век не побирался, да вот… Бог привёл! — Ну, хорошо, хорошо, мы приедем, тогда увидим», — говорю я и хочу пройти и взглядываю нечаянно на мальчика. Мальчик смотрит на меня жалостными, полными слез и надежды прелестными карими глазами, и одна светлая капля слезы уже висит на носу и в это самое мгновение отрывается и падает на натоптанный снегом дощатый пол. И милое, измученное лицо мальчика с его вьющимися венчиком кругом головы русыми волосами дёргается всё от сдерживаемых рыданий. Для меня слова отца — старая, избитая канитель. А ему — это повторение той ужасной годины, которую он переживал вместе с отцом, и повторение всего этого в торжественную минуту, когда они, наконец, добрались до меня, до помощи, умиляют его, потрясают его расслабленные от голода нервы. А мне всё это надоело, надоело; я думаю только, как бы поскорее пройти погулять.

Мне старо, а ему это ужасно ново.

Да, нам надоело. А им всё так же хочется есть, так же хочется жить, так же хочется счастья, хочется любви, как я видел по его прелестным, устремлённым на меня, полным слёз глазам, хочется этому измученному нуждой и полному наивной жалости к себе доброму жалкому мальчику.

Лев Толстой.

11-го сентября 1892 года. Бегичевка» *(29, 165 – 168).*

В основном тексте Отчёта явил себя Толстой-бухгалтер, да к тому же и плохой, выкладки которого приходилось неоднократно поверять. В завершении же его явился Толстой-художник: честный, серьёзный и безжалостный как в характеристиках положения народа, так и в изображении сцены подлинной его нужды — от которых так стремилась «уберечь» городских газетных читателей российская цензура! Как Гулливер свои путы, Толстой рвёт пеньковое вервие цензуры — заменив множество не допущенных в печать ужасающих статистических и документальных сведений *всего одной* подлинной сценой, вызвавшей слёзы и душевный отклик тысяч читателей. Одновременно, как стон измученного титана, звучит и признание, *насколько* тяжело пришлось ему в краю народного бедствия: честное

признание психологического изнурения, «выгорания», даже не от работы, а от кошмарных сцен крестьянской повседневной жизни.

А второй интересующий нас биографический сюжет, нашедший выражение в письме С. А. Толстой — это знакомство осенью 1892 года Льва Николаевича Толстого с Дневником швейцарского философа, ученика Шеллинга, Анри Фредерика Амиеля (Henri-Frédéric Amiel, 27 сентября 1821, Женева — 11 мая 1881, там же). Сначала на 5-ое французское издание избранных мест из этого великого Дневника, которую женевец вёл практически всю сознательную жизнь, набрёл Лев Николаевич. Первая записи об Амиеле в Дневнике Толстого от 1 октября 1892 года кратка, но однозначно положительна: «Читаю Amiel'a, недурно» *(52, 73)*. Он сразу почувствовал духовное родство с уже, к несчастью, умершим к тому времени философом духовной аскезы, труда, самообуздания и долга перед Всевышним и обществом, политическим консерватором и «застенчивым христианином», человеком малоуспешным в мирской жизни. Впоследствии стараниями Толстого и дочери его, аскетки и труженицы Марии Львовны, избранное из Амиелева Дневника было переведено на русский язык и опубликовано в 1894 году издательством «Посредник». В наши дни Анри Амиель снова вернулся к российскому читателю — стараниями современного исследователя Р. Алтухова, подготовившего переиздание этой книги с устранением опечаток и ошибок издания 1894 г., биографическим очерком об Амиеле и обширными комментариями.

Весьма вероятно, что Соничка, взявшаяся за Амиеля по примеру мужа, почувствовала, читая его Дневник, совершенно иное сближение: в скептическом и грустном, иногда тоскующем об уходящей жизни *настроении* стареющего, больного холостяка, так и не решившегося на женитьбу и «семейное счастие», ставшее, по мнению Сони, её страданием, «крестом». Конечно же, бедный Анри, мастурбировавший по утрам, а после утешавшийся Дневником и философией смирения, идеализировал «сердечные» отношения и «долг» перед семьёй — то есть то, чего в его жизни попросту не состоялось — и именно эти идеализирующие сентенции так привлекли внимание жены Толстого, к счастью для неё, ничего не знавшей о личной жизни мыслителя. Цитатой из Амиеля она напомнила мужу семейный спор о примате «сердечных» отношений над рассудочно мотивированными. Конечно же, она заблуждалась, относя выбор Толстого в пользу открывшейся ему Истины учения Христа — лишь к интеллектуальным предпочтениям. Истину тоже можно любить… больше того, что связывало тебя до прозрения к ней, привязывало к

прежней жизни. Больше *той, кто*... Да и как можно любить женщину, которая сама не желает быть для мужчины просто самкой, женой, но не может, не отваживается по маловерию стать и духовным спутником в христианской жизни?

Свидетельством затяжной духовной катастрофы России, связанной с искажённым восприятием «в своём отечестве» христианского исповедничества и проповеди Л. Н. Толстого, является и отнесение женой Толстого (а за нею, и по сей день, ещё многими и многими) на его счёт критического замечания Амиеля о революционерах. Повторим ещё раз его в русском переводе:

«Философия не должна заменять религии; революционеры не апостолы, хотя апостолы были революционерами. Ошибочно и опасно спасать извне внутреннее...».

Собственно говоря, это именно то, что пытался до конца жизни донести до современников Толстой — вплоть до последней крупной работы, книги «Путь жизни» и последней большой публицистической статьи «О социализме». Ни революции, ни эксперименты социализма, ни реформы, опирающиеся на те или иные теории науки — не будут добром. *Ничего* не будет добром — без религиозного начала, без опоры в вере, в актуальном религиозном понимании жизни. Но в письме Софьи Толстой эта цитата из Амиелева Дневника (запись 7 апреля 1851 г.) звучит как намёк и как упрёк мужу — как раз в революционаристском лжеапостольстве. Такой ложный взгляд любовно берегут и лелеют в своих мозгах и современные соотечественники Толстого в России — в особенности православно-религиозной, националистической и имперско-этатистской ориентаций.

На очереди — письмо Л. Н. Толстого 5 ноября, писанное и отправленное почтой в один день с письмом сыну Льву, жившему тогда, в связи с военной службой, в Петербурге.

«Вчера не писал тебе, милый друг, но зато видел тебя всё во сне и писал Лёве. Девочки тоже ему написали. Я постоянно за него боюсь, боюсь за то, чтобы не заболтался в этом сквернейшем в нравственном отношении городе. Там все соблазны роскошной столицы, moins [без] тех добрых сторон передового движения общественной мысли которое слышится в других свободных столицах. Я помню, как я в молодости ошалел особенным, безнравственным ошалением в этом роскошном и без всяких принципов, кроме подлости и лакейства, городе. То же ошаление я видел на Серёже и боюсь теперь за Лёву. Особенно вспоминал, как он нравственно хорош, лучше т. е. стал, последнее время, главное, в смысле доброты.

Нынче вечером наконец приехали в 7 ч. вечера Павел Иванович <Бирюков> и Иван Александрович <Бергер>. Павел Иванович рассказывает про тамошнее дело, и всё у него идёт хорошо. Он не выходит из рамок наших средств, но нужда растёт, и по тому, что он говорит, и из других сведений я вижу, что очень плохо.

[…] Поша <Бирюков> будет у тебя, вероятно, завтра, после этого письма, и всё расскажет. Я совсем здоров; немножко работаю физически и, когда могу, как нынче, много над своей работой. У нас снег и зимний путь, а в Бегичевке нет, и Иван Александрович на санях насилу доехал. При случае возьми <в книжной лавке> у Готье или вели прислать Дикенса — «Martin Chuzlewit». Мы читаем Достоевского. — Что Фет. Целую тебя и детей.

Л. Т. […]» *(84, 168 – 169)*.

Продолжение известий из Ясной Поляны и значительные интимно-личные строки, очень понравившиеся Софье Андреевне — в письме Толстого от 7 ноября, отправленном в Москву с дочерью Марией Львовной:

«Пишу тебе и для тебя, и для себя. У меня уж сделалась привычка вечером общаться с тобой и писать, и получать. Поша тебе расскажет всё про вчерашнее. Довольно тяжело было с гостями, но мы, кажется, ничем не обидели их. Одно только, что заморили их прогулкой.

Вчера получили твоё огорчённое письмо о Тане. Она, было, написала одно письмо не в духе, но удержалась, а другое не удержалась. Всё это так глупо, когда видишь, как мне видно со стороны, как вы любите друг друга. Я видел, как Тане больно было вчера узнать, что она тебе сделала больно, — и как вам нельзя поэтому — да и никому нам нельзя — сердиться, обижаться друг на друга, а главное, доказывать свою правоту. Все мы такие слабые, жалкие, что если понимать друг друга, то только можно жалеть и любить, а никак не сердиться.

[КОММЕНТАРИЙ.

В письме к матери от 4 ноября Т. Л. Толстая справедливо, но излишне резко высказалась по поводу неприязни и фобий Софьи Андреевны в отношении деревенских детей:

«Напрасно вы пишете такие злобные и несправедливые письма. […] Не могу же я допустить, чтобы вы **серьёзно** верили в то, что если

8 ребят посидят два часа посреди комнаты вокруг стола, то что через 6 месяцев, несмотря на **мороз** и время, там могут остаться “микробы”. И микробы не прямо с этих детей (п. ч. они все здоровые), а принесённые откуда-то» (Цит. по: ПСТ. С. 545 - 546).

Конечно, Татьяна Львовна была в этом отношении несправедлива к матери. Угроза заражения была для неё поводом, а **причинами** её реакции на крестьянскую школу в детской было особое, сродни сакральному, отношение к этой комнате, вперемешку с неприязнью к «народу» — всё так или иначе связано с мировоззренческими расхождениями с мужем и экзистенциальным вакуумом (недостатком «смыслов жизни», оправданного и приемлемого содержания бытия), ощущаемым ею самой. *– Р. А.*]

Мне вот тебя ужасно жалко за твою осеннюю тоску, да ещё в Москве и не здоровой. Утешаюсь только тем, что на тебя как скоро это находит, также скоро и проходит.

Вчера получил письмо Лёвы. Дай Бог, чтоб он поскорее прошёл это испытанье так, чтоб ему радостно, а не стыдно было вспомнить.

…Мы с Машей обедали вдвоем. Как ты думаешь о Машиной поездке на Дон *[т. е. в Бегичевку. – Р. А.]*? Мне тоже страшно отпускать, но поездка теперь полезна для дела, в отсутствие Поши. Целую тебя и детей.

Л. Т.

Письмо это везёт Маша сейчас, 10 часов, на Козловку. Что-то будет от тебя?» *(Там же. С. 169 – 170).*

От Софьи Андреевны из доступных нам — следует по хронологии письмо от 8 ноября, написанное «под настроение», а не как ответ мужу и полное скучливой тоски, невесёлых новостей, да ещё и с укоризной в заключение:

«Так что-то стосковалось мне сегодня по всех вас: и Таня уехала; я даже адреса Сони Мамоновой не знаю; и метель второй день, — буря такая в городе, что же в деревне? Сегодня писем от вас не было. Поша ночевал у меня, сходил утром к Дунаеву, потом со мной часок посидел, а потом уехал. Сегодня же он уехал в Петербург. Сама я второй день из дома не выхожу. Теперь спине лучше, и завтра я выеду по делам. Здоров ли ты, милый Лёвочка, и девочки? Сегодня за все верёвочки мне задёргало сердце: и о вас скучно, и о Лёве, и о

чернских сыновьях соскучилась. Мне, правда, одиноко очень бывает, а с детьми этими четырьмя меньшими — только забота. Самый утешительный из трех — это Миша. Ваничка ужасно мил, но слишком деликатен, и болезненно о нём беспокоишься. Когда мне, как эти дни, слишком тоскливо, — я вспоминаю в зоологическом саду двух белых медведей в клетке, и выражение их глаз, — это ужасно! Вот тоска-то, доведённая до исступления, до последней крайности. Так должно быть в одиночном заключении. И тогда, как всё это вспомнишь, видишь, как грешно и дурно скучать.

[…] Ваничка хинин принял и сегодня здоров; что-то будет дальше. Филатов велел дать три раза через всякие два дня, а потом привести Ваничку к нему в субботу осмотреть селезёнку, которая очень увеличена.

Ты спрашивал про Фета. Я была у него третьего дня на минутку вечером. Ему лучше, он легче говорит и легче дышет. Похоже, что у него была инфлуенца, но благодаря хорошему желудку, а особенно сердцу, он её перенёс. Ещё дыхание трудно, но он уже спит хорошо и лицо не опухше, а совсем спокойное и нормальное. Вот болезнь, которую я боюсь, — это инфлуенца. Я бы её двух дней не вынесла с своим дыханием и сердцем. Т. е. боюсь не в смысле смерти, а того, что не даст опомниться, в роде холеры.

Поша мне говорил, что вы совсем не собираетесь в Москву. Я и понимаю, что вам покойнее и лучше в Ясной, т. е. тебе. Но мне жалко, что жизнь девочек поглощена их обязанностями. Неужели так они никогда и не будут жить *своей* личной жизнью? Мы не должны задавливать их молодое существование своими эгоистическими, старческими существованиями. Надо это всегда помнить, надо им помогать и любить, сколь возможно, бескорыстно, а не для своих целей. Я не говорю, что для этого непременно их надо в Москву везть. Совсем нет; надо только чутко прислушиваться, что им нужно для их счастья. Мне их что-то так жаль стало. То сидели в Бегичевке, то сидят в Ясной одни, живя только ограниченным интересом не своей, а чужой жизни, им не могущей быть вполне понятной, так как для полного понимания ещё почти пол века просто возрастом надо подвинуться. А годы идут и молодость тоже. Вот Таня уехала, и Маша рвётся хоть в Бегичевку выскочить — видно им невмоготу.

Прощай, Лёвочка, боюсь, что тебе всё это неприятно, но я, как мать, обо всех детях скорблю. Ты спросишь: «а обо мне?» Да ведь ты бежишь от счастья. Тебя любят, с тобою жить находят счастьем, ты ничем не дорожишь, тебе ничего не нужно. Как же жалеть тебя? Больше любви — ничего дать нельзя.

С. Т.

Завтра писать не буду» (ПСТ. С. 546 - 547).

Но Соничка не смогла никак выдержать этого своего обещания: именно 9-го она получила интимно-сердечное послание Льва Николаевича 7 ноября, и, конечно, тут же кинулась писать большой ответ:

«Ты в первый раз написал мне, милый Лёвочка, письмо, в котором я почувствовала твоё сердце, и мне стало сразу легко и весело, точно опять вся жизнь осветилась. Ты совершенно прав, что нам никому нельзя друг на друга сердиться, и особенно нам, старикам, не следует этого делать. Надо спокойно ко всему относиться и помнить, что в основе наших отношений есть твёрдая любовь друг к другу, — и это главное.

Не могу никак отделаться от всяких физических влияний. Испуг мой при заболевании Ванички, ссора с Таней — всё это повлияло на мои женские дела. Два дня проходила, согнувшись от боли в пояснице, потом целую ночь вовсе не спала, а потом *пришло* гораздо раньше срока. Всё это произвело такую тоску, волнение, беспокойство, что просто беда.

Твоё письмо меня сегодня отрезвило и утешило. Я, правда, очень быстро перехожу от одного настроения к другому, но в сущности, право, я вас всех горячо люблю, и всё остается на словах, — а на деле всегда постараюсь сделать, чтоб вам было хорошо. Разве уж не совладаю с своим расстройством физическим, которое меня так путает часто.

Вчера я писала тебе, точно упрекая за девочек, и мне очень жаль, если я тебе сделала больно. Но мне их стало вдруг ужасно жаль, и страшно за их будущность.

У нас теперь все здоровы, снег идёт и кое-кто выехал на санях. Я четыре дня сидела дома по нездоровью, и ещё просижу; лучше не двигаться и быть нормальной, чем делать дела, покупки и пр. и быть в ненормальном состоянии. Теперь, я надеюсь, что налажусь: самая осенняя пора — перевалила. Я когда-нибудь осенью или умру или убьюсь. Это вроде периодического сумасшествия.

Amiel велит жить иногда совсем праздно, и велит радоваться. — Надо постараться так жить.

Метель поднимается ужасная. Что-то у вас делается? У нас третий день метель. Известите хоть телеграммой о приезде Тани. Меня тоже

немного беспокоит её отъезд в такую погоду. И никто не написал, где именно слезает Таня и сколько вёрст их именье от железной дороги? Целую тебя и Машу, и Таню, если она вернулась. Пусть Маша не ездит в метель, и когда поедет, чтоб помнила наше общее правило: никогда в метель никуда не двигаться. Дай Бог вам всем быть здоровыми и благополучными.

С. Толстая. 9 ноября 1892 г.

Сегодня отчёт Лёвы, весь урезанный, напечатали наконец.

Вечером.

Приходила мать Евгения Ивановича. Ей без моей просьбы разрешили кухмистерскую, и она очень довольна и счастлива. Хорошая она женщина тем, что страстно детей любит, энергична и работает на них. Но что это за чуждая среда! Ничего и не поймёшь хорошенько. Она приходила узнать, нет ли случая в Ясную, шубу послать сыну. К сожаленью никого нет. Ещё был Лизин муж; он очень серьёзен и занят вопросами об отвлечении мысли, гипнозе и пр. Что-то вы, как поживаете, что Таня? Всех вас так люблю и всё о вас думаю» *(Там же. С. 548 – 549).*

Но в следующем письме Л. Н. Толстого, встречном, тоже 9 ноября, такая же однозначная любовная сердечность уже не выразилась. Напоминание Софьей Андреевной в письме её от 3 ноября старых её обид заставило Толстого осторожно возражать ей. В прочем же письмо 9 ноября — так же покойно и любовно, как и многие другие толстовские:

«Вчера получилась большая почта из Тулы и тобой присланные письма и брошюры, и «Вопросы философии и психологии», с статьей Грота <«Основание нравственного долга»> и Соловьёва <«Смысл любви»>, и, главное, письмо <И. М.> Трегубова с статьями Антония и Ключевского, которыми он меня задирает и просит высказать мнение. Всё это мне живо напомнило всю эту праздную, умственную суету московскую. Разумеется, можно держаться в стороне от неё, но трудно.

Ты как бы спрашиваешь, когда мы приедем? И ты пишешь, что Митя Олсуфьев сказал тебе, что я высказал, как мне тяжело в Москве. Это не справедливо. Я сказал ему, что я всегда говорю, что мне очень трудно покидать место, на котором я сижу и на котором

мне естественно сидеть, и нужно усилие, чтобы уехать, и важные причины. Вот Таня приедет, и мы подержим совет, т. е. я предоставлю им решать за меня. Я никак не могу сам решить; дай я поеду туда или сюда, если только нет для этого особой нужды, т. е. если кому-нибудь не нужен.

И напрасно ты говоришь, что, живя в Москве, я или мы своим видом упрекаем кого-то. Я никогда не тоскую в Москве. Мне совершенно также чувствуется, как и здесь. Но только, рассуждая, я знаю, что здесь лучше.

Не знаю, пошлю ли этот листок. А то он пожалуй вызовет пререкания, а мне только хочется как можно теснее и любовнее жить с тобой, а не пререкаться.

Два дня не получал от тебя писем, если не считать нынешнего к Тане. […] Ещё было письмо от Лёвы, уж ответ на наше. Он всё в бодром, хорошем духе и радуется на возможность освободиться <из военной службы. – *Р. А.*> через 2 месяца. Спрашивает моё мнение об этом. Я сейчас напишу ему, что, разумеется, чем скорее он освободится, тем лучше. Я всё боюсь за него.

Вчера и я не писал тебе — погода была дурная, метель, и мы не ездили и не посылали, но также, как всегда, думал о тебе. Очень приятна мне здесь после усталости утренней работы — я стал больше уставать — тишина вечеров. Никто не развлекает, не тревожит. Книга, пасьянс, чай, письма, мысли свои о хорошем, серьёзном, о предстоящем большом путешествии туда, откуда никто сюда не возвращается. И хорошо. Только ужасно грустно по твоим письмам, — по нынешнему Тане, — что ты всё тоскуешь. Как бы тебе дать спокойствия, радостного, довольного, благодарного спокойствия, которое я иногда испытываю? — Целую тебя и детей.

Л. Т.» *(84, 170 – 171)*.

Однако, судя по её короткому (вероятно, открытому) письму вечера 10 ноября (письмо Л. Н. Толстого от 9-го ещё не получено!), спокойствие Софье Андреевне могло дать только воссоединение с мужем:

«Второй вечер нет от вас писем, и меня это слегка тревожит; очень избаловали вы меня частыми известиями. Приехала ли Таня, и как съездила? У нас все здоровы, от Лёвы писем нет. Выпал снег, хотела сегодня поехать проведать Елену Павловну и Фета, но пришёл Дунаев и просидела весь вечер с ним. Он купил Amiel'я и тоже восхищается. Прислали по просьбе моей 622 р. за «*Плоды просвещения*».

Вот ещё на столовые. И за брошюру о голоде — прошлогоднюю — 200 р. из редакции «Русских ведомостей». Я рада, что можно увеличить помощь. Фету гораздо хуже, сегодня Саша с Лидой заходили узнать. Вообще много тут болезней. Что-то вы? Целую вас троих. Когда вы приедете? Или ещё нет речи об этом?

С. Толстая» *(ПСТ. С. 549)*.

«…Я волновалась, — вспоминает С. А. Толстая о тех днях, — интересы детей и мужа я разделяла всей душой и стремилась к жизни с ними вместе, а не врозь» *(МЖ – 2. С. 299)*. Ощущаемое в этом письме, в завершающем его вопросе о времени приезда беспокойство Софьи Андреевны проявило себя сильнее всего в следующем её письме, 11 ноября:

«Ты всё удивляешься, милый Лёвочка, что я иногда пишу тоскливые письма. Ведь я тоскую только по тебе и по девочкам; мне с вами легче и веселее. Если б с молодых лет, когда мне этого иногда так хотелось, я привыкла бы, как Таня сестра, находить удовольствие в обществе, в выездах, в винте и т. д., — то и теперь я не скучала бы, а продолжала бы в этом роде. Но я привязалась к тебе и к дому, — и без тебя и без дома моего — мне тоскливо. Если б не моё бессилие, главное, если б не отсутствие энергии и веры в воспитание детей, — я не жила бы в Москве. Но раз я не могу их воспитывать в деревне и сама, то я должна их отдать в школу и учителям, и я должна жить в Москве. Я не оправдываюсь, — я не виновата ни в чём на этот раз; я знаю, что иначе поступать не в праве. Тебя же я тоже вполне понимаю. Тебе уж кроме тишины и спокойствия — ничего не нужно. Бурная — особенно умственно — жизнь, пресыщение всего, усталость, — всё это в твои годы естественно. А больно мне только то, что у тебя к нам — ко мне и детям — любви не осталось. Нет желания быть вместе и общаться. Это больнее всего. Что делать.

Вот внуши Елене Павловне <Раевской>, чтоб она не тосковала. Я была сегодня у неё; она страдает от женской болезни ещё и от спины вследствие её. И плачет она, тоскует. У неё Бог отнял мужа, а у меня ты сам себя отнимаешь. Что же ты ждёшь решения девочек приехать? Мне остаётся пожелать заболеть опасно, — тогда будет *причина* расстаться с своей спокойной жизнью, а если умру, то будет и *важная* причина приехать. Но ведь и тогда особенно *нужно* не будет. Сиделка и похоронное бюро будут *нужнее*. Так ты не греши, Лёвочка. Не жди важной причины, а поступи, как сердце скажет. Не хочешь — не езди; не любишь, не жаль, — не насилуй себя. Только

мне девочек жаль, что им уж очень тяжело и скучно. Елена Павловна говорила, что Маше совсем не нужно ездить в Бегичевку. Что Мордвиновы не будут ей благодарны, если она, бегая по избам и по больным, будет к ним заносить заразы. Они всего боятся ужасно; это её слова. […]

[ПРИМЕЧАНИЕ.
Супруги помещики Мордвиновы, Маргарита Ивановна (сестра покойного И. И. Раевского) и Иван Николаевич, владельцы хутора неподалёку от имения Раевских. – *Р. А.***]**

Сегодня я взяла <в книжном магазине> у Готье книги; Dickens'a и Baudelaire'a [Диккенса и Бодлера]. Завтра их высылаю в Тулу. Но не «Fleurs du mal» [«Цветы зла»], — эта книга запрещена, — а пока другую. Я дала подписку и мне Готье обещал выписать и «Fleurs du mal». Сегодня еду с Андрюшей и Мишей в концерт, пусть послушают хорошую музыку, а то учатся, а не слышат. Да и скучно, надо развлекаться. Ещё поеду Сару Бернар в «Клеопатре» смотреть.

Заходила сегодня к Фету, ему опять лучше; он лишнее съел и задохнулся.

Ты пишешь, что больше устаёшь. Ты напрасно не ешь яйца. Ведь нельзя в твои года и с умственной работой плохо питаться.

Я тебе очень благодарна, что ты мне написал откровенно, и что послал листок. Всегда лучше знать всю правду. Приспособляешься и сердцем и жизнью ко всему. Не сочти и моё письмо за *пререкания*. Тебе хочется как можно теснее и любовнее жить со мной. А мне-то, ведь, ещё во сто раз этого больше хочется. Но как же это устроить врозь?

Целую Машу и Таню, если она приехала. У нас все здоровы, только Ваничка вял и бледен. Целую тебя.

С. Т.» *(ПСТ. С. 549 – 551).*

Конечно, Соня была не права в своих упрёках мужу в «нелюбви», замешенных на особенно ощутимо проступившем в этом письме эгоизме. Спокойное и любовное настроение чувствуется в каждом письме Льва Николаевича этих дней.

Заехав по пути в имение Георгия Львова, вернулась из своей краткой поездки в Тулу дочь Таня, и Толстой открывает следующее, от 12 ноября, письмо известием о её, ожидавшемся матерью, счастливом возвращении:

«Пишу тебе, милый друг, из нашей столовой (передней). Мы с Таней только что пили чай, <конюх> Филипок пошёл закладывать. А мы только что прочли вслух Потапенки очень милый рассказ: «Поздно». У Тани болят немного зубы (в роде флюса), я здоров, но очень стар. Беспокоюсь о Маше, хотя надеюсь по всему, что она доехала до мятели. <М. Л. Толстая поехала в Бегичевку. – *Р. А.*> Нынче морозно и много снега. Мы вчера ещё собрались в Пирогово, но в 12 пошёл снег, мы отложили, а нынче было тоже снежно, да и у Тани заболели зубы, так что мы совсем отложили.

Два дня не писал тебе, и мне скучно. Но зато получали два дня письма твои <от 8 и 9 ноября>, и хорошие. Письмо о девочках пришло после того, в котором ты о них пишешь.

Ваня! Мы скоро приедем и будем тебя носить в корзинке. И туда принесём, что ты не догадаешься. А когда откроем крышку, ты увидишь то, чего ты никогда не видал. Целую тебя, и мама́, и братьев.

Если мой башлык в Москве, пришлите мне.

Л. Т.» *(84, 172)*.

Младший сын Ваничка очень любил игру, в которую Лев Николаевич так обожал играть со своими малышами: носить по комнатам в закрытой корзинке с тем, чтобы дети угадывали, в какой комнате они сейчас. Трагически одинокое в эпистолярном наследии Льва Николаевича письмо младшему сыну, написанное 22 (23?) октября 1892 г., так же открывается упоминанием об этой игре:

«Ваничка, хороший мальчик. Получил твоё письмо и был рад ему. Я хочу его положить в корзинку и буду носить его» *(66, 269)*.

На письмо мужа от 12-го Софья Андреевна отвечает 14 ноября:

«Сейчас, вечером, получила письмо от Маши и от тебя, милый Лёвочка. Я рада, что вы не поехали в Пирогово, очень меня мучило вчера, что вы поедете. Тут, в Москве, метель, ветер резкий, холодный и 11 гр. мороза. Что же в поле? О Маше я ни минуты не спокойна. Поскачет одна, в метель, шубы у ней хорошей нет, некому вспомнить и позаботиться о ней: вернулась ли она, — и некому посоветовать. А холод там, должно быть, ужасный. Рязанские поезда второй день опаздывают от метелей. Она опять не исполнила моей просьбы остановиться у Мордвиновых. Что с ней поехала Марья Кирилловна, — это приличнее; но она с своими амурами ни на что не будет полезна. Ну, да что бог даст; я бы её так не пустила, если б моя

воля что-либо значила для неё; и пока не воротится, ни минуты нельзя быть покойным насчёт её.

Ты пишешь про себя, что ты стар. Во-первых, осенью все старее, чувство, что всё в положеньи умиранья, оно и естественно это испытывать вместе с природой. А, во-вторых, без меня ты живо состареешься, я передаю тебе, — делюсь с тобой моими остатками молодости, — и со мной и с маленькими ты бодрей. Только бы здоров был. А, в-третьих, — ты, верно, мало и дурно питаешься. На овощах одних, т. е. на воде, иначе говоря, — человек бодр быть не может, особенно привыкший питаться всю жизнь содержательной пищей. И Дунаев, и я, мы тебе очень советуем есть яйца.

Башлык высылаю тебе завтра почтой, в Ясенки; посылкой просто.

Сижу дома в страшном насморке. Весь день сегодня читала, вечером играла с Мишей, он очень увлекается скрипкой, и мне это так весело. Саша и Ваничка всегда сочувствуют, или сидят, слушают, или тихо пляшут с куклами. Ваничка, когда играют вальс Chopin, всегда выкрикивает: «вот мой любимый», и бьёт пальчиками в такт. — Сейчас пробовала Андрюше помочь писать изложение. Но всякий мой совет он встречал ворчанием, собирая на лбу злые складки. Жалкое, неприятное создание. Это мне большое горе — Андрюша. Столько жертв, усилий, стараний, — даже трат, — и ничего: ни ума, ни таланта, ни даже доброты!

Вчера до половины четвёртого ночи писала свою повесть <«Чья вина?»>. Если бы её когда напечатали, то неумелостью она может провалиться, но горячностью, искренностью и правдивостью — она может и впечатление произвести на людей. — Но много ещё работы, нужно отделать. Я её не *сочиняю*, пишу только, когда не могу иначе, и бросаю на долго, если не хочется писать. Так, может быть, никогда и не кончу.

Прошли ли зубы Тани? Не ездите в Пирогово, ведь между первым и двенадцатым вся семья Толстых переедет в номера Базилевского на Кисловке; тогда будете видаться, они не менее двух месяцев проживут тут.

Получила для голодающих 200 р. от «Русских ведомостей», 300 от Коптевой из Цюриха, 622 за «Плоды просвещения» и ещё 75 от «Русских ведомостей». Итого, слава богу, более тысячи, которые и передам Павлу Иванычу при свиданьи. — Попов не был, да и не нужен он мне. Тепло ли у вас? Окна ведь не замазаны. Я думаю, вам плохо жить в матерьяльном отношении. И чего вы сидите, как в берлоге? Даже смешно.

Таня, целую тебя и очень рада буду тебя видеть. Я по тебе всегда скучаю, и тебя мне всегда особенно жаль. Что твои зубы? Когда приедешь, опять займись ими. Прощай.

С. Т.» *(ПСТ. С. 551 – 552).*

О своём писании в эти дни повести «Чья вина?», о главном замысле её, Софья Андреевна поясняет в мемуарах: «Хотелось изобразить повернее женщину честную и её идеалы любви, вразрез с мужским материализмом» *(МЖ – 2. С. 301).*

Поездка Л. Н. Толстого с дочерью Таней к брату Сергею в Пирогово всё-таки состоялась 21 – 23 ноября. Соне, конечно, было не понять значения для мужа именно того, чего она боялась как опасности для него — свободного, дикого русского простора, на котором природа *честно* пытается сломить тебя своими стихиями. Два богатыря не преминули перед временной разлукой схлестнуться в поле: дед Мороз и дедушка Лев. Открыто, благородно, честно. Ведь в человечьей жизни, тем паче «светской» и городской — хватает с избытком смертельной затаённой дикости, а вот *честности* — так мало, мало…

Похоже, даже очень подлый и смертельный гриппозный вирус, косивший в те дни людей в Москве, Толстой воспринимал, как былинный богатырь: как видение, насланное ему неким злым колдуном. Нужно только не поддаваться чарам, не верить в реальность вируса — и обман исчезнет... В последнем в 1892 году письме к жене, писанном 21-го, перед самым отъездом к брату, Лев Николаевич ворчал:

«Как жаль и как неразумно бояться заразы. Никогда прежде не боялись, и не больше было болезней. И я жду, что доктора решат наконец, что заразы нет, как они решили теперь для холеры» *(84, 175).*

Конечно же, и в этот раз Софья Андреевна добилась «воссоединения» мужа с собой и детьми — именно в Москве: 25 ноября Толстой уезжает из Ясной Поляны.

Но незадолго до приезда Л. Н. Толстого в хамовнический дом, 21 ноября 1892 года (ст. ст.), совершилось ещё одно вполне историческое событие, отразившееся в переписке супругов: скончался великий поэт России, многолетний друг семьи Толстых Афанасий Афанасьевич Фет. Прочее содержание переписки супругов накануне приезда Толстого в Москву уже малоинтересно для нас. Но несколько

отрывков из писем Софьи Андреевны, дополненных мемуарами, касающихся последних дней жизни А. А. Фета, мы приводим ниже в заключение данного Эпизода.

Обстоятельства заболевания и смерти А. А. Фета наиболее достоверно, как принято считать, изложены в воспоминаниях Екатерины Владимировны Кудрявцевой, его личного секретаря и единственной свидетельницы момента его кончины *(См.: Кудрявцева Е. В. Воспоминания о последних днях жизни и о смерти А. А. Фета-Шеншина. — Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М., 1994. — С. 240—244)*. Вот что она вспоминает о начале смертельной болезни поэта:

«Сколько могу припомнить, в 1892 году мы приехали из Воробьёвки в Москву 2 октября; это была суббота. Афан<асий> Аф<анасьевич> в тот же вечер поехал навестить графиню С. А. Толстую, в Хамовники; мы уговаривали его не ехать, так как погода была сырая, но он не послушался и поехал даже не на своих лошадях, а на извощике. Через три дня после этого он закашлял, зачихал и видимо простудился» *(Там же. С. 242)*.

Как водится и по сей день в России, врачи оказались бессильны верно диагностировать заболевание и сошлись на лёгочном его характере лишь тогда, когда больной начал уже буквально задыхаться. Почти не вызывает сомнений, что Фет “подхватил” в гиблом воздухе проклятой Москвы ту самую “инфлуенцу”, которая так пугала (но и не отвращала от жизни в Москве!) Софью Андреевну.

Семейные и прислуга усиленно обнадёживали поэта; между тем Пётр Петрович Боткин (1831—1907), брат жены Фета и С. П. Боткина, уже покойного к тому времени знаменитого врача, тихонько порекомендовал жене больного позвать попа и причастить мужа *(Там же)*. Действительно, улучшения болезни не наступало; лекарства и кислородные подушки лишь частично уменьшали страдания. «Он дышал кислородом и всё-таки задыхался и кашлял» — вспоминала Софья Толстая часто навещавшая Фета в эти дни в его доме на Плющихе *(МЖ – 2. С. 302)*.

Продолжает рассказ снова личный секретарь А. А. Фета Е. В. Кудрявцева:

«Между тем, Афанасий Афанасьевич, замечая сам, что болезнь не поддаётся лечению постепенно начал приходить в какое-то ожесточение: он и здоровым всегда тяготился жизнью и не раз говорил, что от самоубийства останавливает его только та мысль, что завещание будет недействительно; а иначе его давно бы не было на свете» *(Кудрявцева Е. В. Указ. соч. – С. 243)*.

Узнав от врача, что для разрушающихся от болезни лёгких особенно вредно «игристое» вино, изнурённый удушьем и болями поэт послал утром 21 ноября жену за *шампанским*. Та предупредила несчастного, что сперва испросит разрешение у лечащего врача Фета — того самого, который жесточайше такое питьё запретил. После ухода жены Фет позвал Кудрявцеву в кабинет, где продиктовал некую фразу. По оплошности или, быть может, не доверяя своей памяти, Екатерина Владимировна не вписала её в свои мемуары. Оригинал записки затерялся. Принято считать, что там были следующие слова: «Не понимаю сознательного преумножения неизбежных страданий. Добровольно иду к неизбежному. 21-го Ноября. Фет (Шеншин)» *(Там же. С. 244. (Примечания))*. Дальше, если верить секретарше, события развивались быстро и фатально:

«В эту минуту я заметила у него в руках разрезальный для писем стальной нож. […] “Дайте, я подпишу”. При этом он заметно был в большом волнении. Поняв его, я растерялась и начала уговаривать; он рассердился; я подошла и старалась взять у него из рук разрезальный нож; с большим трудом мне это удалось, причём я разрезала себе ладонь в нескольких местах; тогда Аф<анасий> Аф<анасьевич> побежал в столовую и так скоро, что я едва догнала; по дороге звоню изо всех сил, но никто из прислуги нейдёт; я вижу, что Аф<анасий> Аф<анасьевич> хочет отворить шифоньерку, где лежали ножи, я стараюсь его не пустить; наконец, силы его оставили от такого волнения, и прошептавши: «Чёрт», он опустился тут же на стул (в это время прибежал наш человек и девушка), начал дышать всё тише, тише, потом вдруг широко раскрыл глаза, как будто увидев что-то необычайное, между тем как правая рука сложилась в крестное знамение, — и через минуты две всё было кончено» *(Там же. С. 243)*.

Из рассказа Кудрявцевой понятно, что пошедшие вслед за смертью Фета по Москве сплетни о его самоубийстве были неосновательны; из-за множества неясностей, связанных с обстоятельствами этой смерти, официальной причиной её принято называть инфаркт.

Фет не дожил всего двух дней до своего 72-го дня рождения, 23 ноября (ст. ст.). По воспоминаниям Софьи Андреевны, он даже обсуждал при ней с женой грядущий пирог и гостей, и Соня отговорила собирать гостей — чтобы не создавать для больного духоты:

«“Умница”, — сказал он мне, целуя кончики своих пальцев. “Такая и всегда была”, — прибавил он тихо» *(МЖ – 2. С. 303)*.

А ещё он просил Софью Андреевну передать старому приятелю следующее:

«Скажите Льву Николаевичу, что я, читая “Войну и мир”, прежде осудил его за то, что князь Андрей, умирая, сурово отнёсся к Наташе. А теперь я понял, как это удивительно верно. Когда человек умирает, то и любовь его умирает. У меня сердце перерезано пополам страданием и бессилием, бессилием во всём, стало быть и в любви» *(Там же. С. 302)*.

И ещё, после тяжёлого припадка, о гениальнейшей «Смерти Ивана Ильича»:

«Вот я это время умирал и вспомнил “Смерть Ивана Ильича”, как мужик здоровый с ним сидел и ноги ему держал, и ему было легче. И если в эту минуту вошёл бы Толстой, я поклонился бы ему в ноги. Кто такую вещь понял и написал, тот не просто человек, а единица или громадина» *(Там же. С. 303)*.

О болезни и смерти А. А. Фета Софья Андреевна пишет в двух письмах этих дней к мужу — 20 и 21 ноября. Приводим соответствующие выдержки из них.

Из письма 20 ноября:

«Вчера вечером была у Фета. Он сидел, тяжело дыша, ни слова не мог говорить, три дня ничего не ел. Он поманил меня к себе, и, когда он взял мою руку и приложил к губам, мне даже жутко стало, до чего холодны, как у мертвеца, были его руки и лоб, до которого я дотронулась губами. Я думала, что он в ночь умрёт. Но когда я заехала к нему, он сидел в кабинете, мог немного говорить и спал ночь.

Вот умирание постепенное: вспыхнет огонёк, опять потухнет; опять ярче, — и так замрёт навеки. Умный человек умно и умирает, спокойно, стойко и мудро. Смерти не боится и желает её. Жизни не жалеет, а пока жив — в нём твёрдо всё, что было и раньше твёрдо…

И вспомнишь его стихи к смерти, как он к ней относился. Вот выписка одной строфы:

Ты вся ещё покорна моей воле,
Ты тень у ног моих, беззвучный призрак ты,
Покуда я дышу — ты мысль моя, не боле,
Игрушка жалкая тоскующей мечты».

(Цит. по: Там же. С. 303 – 304).

И из письма 21 ноября, писанного, очевидно, сразу по получении известия о смерти А. А. Фета:

«Сегодня в 12 часов дня, после бессонной, мучительной ночи, Фет сам прошёл из кабинета в столовую и задохнулся. 10 минут он дышал тяжело, потом всё тише и тише, — и конец. Перед этим он умолял <жену свою> Марью Петровну поехать привезти ему шампанское и заехать к доктору, спросить его, можно ли его выпить. Он все эти дни отсылал её проехаться и придумывал предлоги: то одеколон ему нужен, то ещё что-нибудь.

Когда Марья Петровна оделась, Фет подозвал её и сказал: “Прощай, мамочка моя дорогая, прощай, будь здорова”. Он поцеловал её руку, а она его.

Ещё вчера утром он прислал мне записку с упрёком, что я пошла пешком, а не послала за извозчиком и что я в первый раз в жизни поступила с ним не дружески. Он спрашивал, как я дошла и здорова ли? До конца был заботлив и учтив с теми, кого любил» *(Там же. С. 304)*.

На отпевании Софье Андреевне неприятно запомнился камергерский мундир, в котором Фет распорядился похоронить себя. В «Моей жизни» она вспоминает:

«Странно было видеть в гробу этот золотом шитый шутовской наряд, и тут же бледное, строгое лицо покойника, с горбатым носом и впалыми губами, и этим особенным, неземным выражением всего облика» *(Там же)*.

Неприятно поразил Соню и сам металлический, закрывающийся плотно, гроб, в котором Россия хоронила своего поэта:

«…Я всегда умоляю близких хоронить меня в самом дешёвом деревянном гробу, а лучше всего прямо в землю, как татары, кавказцы и другие народы» *(Там же. С. 305)*.

Николай Николаевич Страхов напомнил ей в письме строки фетовского стихотворения, которые как нельзя больше подходили к ситуации и которые она несколько изменив, цитирует в мемуарах, конечно же, относя их напрямую к себе:

«Ты отстрадал, а я ещё страдаю…» *(Там же)*.

КОНЕЦ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Тридцать Седьмой.

НЕ ПОКИДАЙ!..

(30 января – 6 ноября 1893 г.)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК

Год 1893-й начался и прошёл для Толстых-родителей в заботе о затяжной болезни сына, Льва-младшего. Тот под самый новый год был отпущен домой с военной службы, куда, из-за разрыва отношений с университетом, попал всего на два месяца, будучи и до того уже больным. Когда он явился неожиданно к новогодней ёлке, мать и отец ужаснулись. Вспоминает Софья Андреевна:

«Это был не человек, а привидение. […] Всё веселье погасло сразу. Он был худ ужасно. Когда он улыбался, зубы были как-то особенно видны, щёки вваливались и делалось жутко. […] …Он долго, долго не поправлялся. Стояли в то время страшные морозы, от 25 до 32-х градусов. Холод дурно влиял на Лёву, он зяб, слабел, и, когда свесился, в нём оказалось два пуда и 20 фунтов *[*меньше 42 кг. *– Р. А.]*, а ему был уже 21 год с лишком» *(МЖ – 2. С. 307)*.

Львёнок-дистрофик — горе в семье. Без сомнения, дальнейшее серьёзное заболевание было спровоцировано условиями жизни в страшной степной Патровке, где Лев Толстой-младший спас от мучительной смерти тысячи (как и отец его в Бегичевке), но чуть не погиб сам… Стоит подчеркнуть, что никто из родителей не был в этом повинен: разрыв с университетом Лев-младший планировал — очевидно, очень глупо подражая в этом папе Льву — ещё до начала “голодной” эпопеи, желая посвятить всё время и силы писательскому творчеству. И поездка в любимый с детства “райский” (по детским же воспоминаниям) Самарский край была *его*, 20-тилетнего взрослого человека, выбором. Конечно, он не мог представить и вообразить себе бездну «традиционного» русского *ада*, которая ждала его там. А и увидев — он не мог отступить, отказаться: ведь отец в это время уже начал свою благотворительную работу, и надо было «не отстать» от него в сыновнем соперничестве! Конечно, было бы лучше, если бы он, по примеру родных сестёр, удовольствовался помощью отцу в Бегичевке и матери в Москве: отец, как мы видели, быстро организовал целое “голодное министерство” из друзей и волонтёров, так что уже осенью 1891-го ему *было, кого* отправить в степной голодный, холерный и тифозный ад, вместо любимого сына! Но юности не свойственна рассудительность…

Массовое захоронение погибших от голода и эпидемий в Патровке.
Зарисовка по фото Ионаса Стадлинга. 1892 г.

В болезни Льва-младшего было и одно положительное обстоятельство, на которое тут же указывает Софья Андреевна:

«Это горе — болезнь сына — нас всех сплотило ещё ближе, и жили мы дружно и спокойно. По-прежнему принимали всех по субботам, и часто собиралось довольно приятное общество: профессора, родные, поющие барышни, художники и прочие» *(Там же)*.

Для Толстого очень приятной была в декабре 1892 г. всего лишь вторая (после 1887 г.) встреча с важнейшим “творческим вдохновителем” его будущего романа «Воскресение», гением адвокатского ремесла Анатолием Фёдоровичем Кони. Тогда же и в январе он знакомится или общается в переписке с рядом литераторов, как давно знакомых, так и новых. Например, 24 декабря он нечаянно встречает в книжном магазине крестьянского поэта С. Д. Дрожжина. Намечаются, но не осуществляются в январе 1893-го посещение больного Н. С. Лескова и знакомство с А. П. Чеховым. От Лескова он получает письмо с просьбой духовной поддержки перед лицом предвидимой им смерти — и отвечает письмом 7 – 8 января (впоследствии, к сожалению, затерявшимся), в котором убеждает духовного

собрата во Христе, что смерти бояться не следует, что «у неё кроткие глаза» *(Цит. по: Гусев. Летопись II. С. 91)*.

Достаточно интересна была Толстому и парочка английских квакеров, Д. Беллоуз и Д. Нив, навестивших его около 8 декабря 1892 г. Но вот *прочие*, то есть большинство гостей московского дома Толстых, были ему иногда просто в тягость. А разрыв в ноябре 1892-го отношений с московским аскетом, философом и библиотекарем Румянцевской библиотеки Н. Ф. Фёдоровым стал, пожалуй, большой для Толстого духовной потерей. Оказалось, что наивный, но горячий характером книжный старичок слишком поверил грязным пасквилям «Московских ведомостей», о лжи которых по поводу заграничной публикации фрагментов статьи Л. Н. Толстого «О голоде» мы уже достаточно сказали выше. Несчастный при встрече отказался подать руку своему собрату по духовной аскезе, не захотел слушать ни слова и холодностью приёма буквально «выморозил» Толстого из библиотеки *(см. подробнее: Опульская Л. Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1892 по 1899 год. – М., 1998. – С. 28 – 29)*. Серьёзность этой потери мы полагаем в том, что сам Николай Фёдорович был для Толстого до этой страшной ссоры незыблемым духовным авторитетом: живым примером человека, живущего в чумной и грешной клоаке большого города — по высшим, неотмирным законам. Толстой, хоть для частично такой же жизни, тянулся к физическому труду и к трудовой жизни круглый год в сельской провинции. Но такой образ жизни, волею семьи — по преимуществу жены, то есть самой судьбы — останется для него невозможным ещё целый ряд лет, до начала XX столетия. Оттолкнув от себя «разнузданного революционера» Толстого, Фёдоров оставил его в обществе людей, в большинстве своём куда менее духовно близких и достойных.

Ещё два приятных, но, к сожалению, заочных духовных диалога продолжил в начале 1893-го Лев Николаевич: с уже покойным женевским философом Анри Амиелем, к постигновению которого подключилась тогда же и Софья Андреевна, и переводом которого с помощью дочери Маши занялся Толстой, а также с живым ещё французским классиком Ги де Мопассаном, которому предстояло умереть всего через полгода, в июле 1893-го, от тяжёлых последствий сифилиса. Если Тургенев ставил Мопассана по художественному мастерству сразу за Толстым, то сам Толстой готов был удостоить тяжело больного французского гения редкой, но справедливой в данном случае чести *равенства*: если не на творческом, то на духовном пути. Это он и сделал, совсем ненадолго оторвавшись от тяжело, медленно (до мая 1893-го!) завершавшегося писанием трактата

«Царство Божие внутри вас» и подготовив по заказу московского издательства небольшое Предисловие о Мопассане для книги «Сочинения Гюи де Мопассана, избранные Л. Н. Толстым» (в 2-х книгах). Окончательная редакция Предисловия датирована 2 апреля. Вот завершающие его строки, похожие на некролог по физически ещё живому на момент их написания человеку:

«Мопассан дожил до того трагического момента жизни, когда начиналась борьба между ложью той жизни, которая окружала его, и истиною, которую он начинал сознавать. Начинались уже в нём приступы духовного рождения.

И вот эти-то муки рождения и выражены в тех лучших произведениях его, в особенности в тех мелких рассказах, которые мы и печатаем в этом издании.

Если бы ему суждено было не умереть в муках рождения, а родиться, он бы дал великие поучительные произведения, но и то, что он дал нам в своём процессе рождения, уже многое. Будем же благодарны этому сильному, правдивому человеку и за то, что он дал нам» *(30, 24)*.

Книга 2-я «Сочинений Мопассана…» с Предисловием Л. Н. Толстого вышла в свет лишь в 1894-м, так что сам французский писатель уже точно никак не мог прочесть заслуженно высокие отзывы русского классика о лучших образцах его творчества и проницательно-строгие, но и сочувственные строки о ряде других его сочинений и лично о нём.

Вот, собственно, и все «живые, трепетные нити» в тот момент — кроме, конечно, Черткова с толстовцами, о коих здесь умолчим. Много было связей светских, да мало душевных уз. Многие были званы в московский дом Толстых, и ещё большая массовка являлась традиционно без приглашения… а вот *призванных* Свыше к понимающему общению с Духовным Царём России, к сопутничеству ему на пути жизни христианского исповедничества и проповедания — не было новых никого… И Лев-старший заскучал. Он чуял сердцем зияющую неоконченность своего в Бегичевке дела. Он не мог любить его в том формате *помощи деньгами,* который, как мы показали, был в 1891 году *навязан* ему лжехристианским устройством общественного бытия. Ему не нужны были подтверждения практикой недействительности такой «помощи» народу, без подлинной христианской любви к нему и подлинного равенства в человеческом достоинстве, со стороны городской барской, интеллигентской и прочей дармоедской сволочи — ему навязали и этот опыт! Но самым неприятным

было это вынужденное проживание с женой — условие покоя её нездоровых нерв (и, вероятно, психики) — в условиях продолжавшегося вторую зиму бедствия голода. Софья Андреевна вспоминает в «Моей жизни» о середине-второй половине января 1893 года:

«…На Льва Николаевича уже напало беспокойство, он был не в духе, и под предлогом помощи соседней деревне Городне и другим деревням в ближайшем от Ясной Поляны расстоянии он решил уехать 28-го января с дочерью Машей в Ясную Поляну». С точки зрения жены, это было почти предательством: она была, по её мнению, покинута «одна с учащейся молодёжью в Москве», а муж, будто *не желая* помогать детям, *нашёл повод* для отсутствия: помогать мужикам и бабам, которые почти всегда сами виноваты в своей нищете из-за «повального пьянства» *(МЖ – 2. С. 308)*.

Тяжесть жизни и омрачённость сознания Софьи Толстой сильнейше усугублялась мерами экономии, ею предпринятыми: ведя, как прежде, свой издательский бизнес, она отказалась от наёмных корректоров и, несмотря на болезнь глаз, снова взялась сама готовить корректуры для очередного, уже 9-го (!) издания сочинений мужа: «…Мне приятно было думать, что этой работой я делаю экономию на 12 рублей в день» *(Там же. С. 309)*. Отказалась она в этот период московской жизни и от прислуги, что в мемуарах описывает как особенный подвиг, противопоставляя отчего-то «принципам» христиански верующего мужа: «Я чистила платья, мыла калоши, чистила башмаки, мела комнаты, вытирала пыль, стелила постели, накрывала на стол…». Как следствие, возникали новые основания для неприязненного отношения к мужу: «Уходило и время, и много сил, оставалось мало для более серьёзного в жизни» *(Там же. С. 328)*. Толстой был философом и учителем жизни не по формальному «образованию», а по призванию: он ощущал *разумную меру*, необходимую во всём, и действительно не спешил становиться ни кухаркой, ни портнихой, ни прачкой, пусть даже и в собственном доме. Плох из него был и детский воспитатель: ведь с начала 1880-х он всеми силами перевоспитывал *себя*, причём в тех направлениях, которые не понимались и не принимались Соней как женой и матерью. И несчастная *убивалась*, во всех смыслах этого слова, отрицая всякую свою долю вины, и не смея винить в своих тяготах общественный строй сволочной во все времена, безжалостной к женщине, патриархальной и лжехристианской России, а виня во всём — лишь мужа, мужа, мужа, “кусая”, будто хищница, любящего и любимого человека в самые беззащитные и слабые места:

«А что Лев Николаевич сделал, чтобы дети ему были близки? Ни в чём не помог, ни за что никогда не похвалил; ни разу не взглянул с

любовью в их душу. Осуждение, отрицание, критика и отчуждение… Дети ему мешали, надоедали… […] Лев Николаевич напрасно ставил вопрос о соперничестве. У нас этого совсем не было. Он просто всё отрицал и, не давая ничего положительного детям, просто ничем не занимался и совершенно игнорировал их существование. Зато занят был Лев Николаевич *всем* человечеством и всё более и более приобретал любовь людей и славу» *(МЖ – 2. С. 316, 319 – 320).*

Ложь жены Толстого о совершенном «неучастии» его в воспитании детей, равно как и об искании общественной славы, решительно опровергается в наши дни даже её поклонниками из числа *честных* учёных-толстоведов. Сдержанность Толстого в выражении благодарности, в похвалах и ласке связывают — и, вероятно, справедливо — с собственным его в детстве «полусиротским» положением, ранней утратой матери и отца. Что же касается славы… Поневоле вспоминается снова гениальная концепция разных религиозных «жизнепониманий», данная Л. Н. Толстым в статье «Религия и нравственность» (1893) и трактате «Царство Божие внутри вас…» (1890 – 1893). Человеком, не достигшим ещё жизнепонимания христианского, но держащимся низшего, общественно-государственного, «…значение жизни признаётся […] в благе известной совокупности личностей: семьи, рода, народа, государства, *и даже человечества…*» *(39, 9. Выделение наше. – Р. А.).*

И ещё: «Человек языческий, общественный признаёт жизнь […] в племени, семье, роде, государстве, и жертвует для этих совокупностей своим личным благом. *Двигатель его жизни есть слава*» *(28, 70. Выделение наше. – Р. А.).*

Очевидно, что, приписывая мужу желание служения человечеству ради личной славы, Соничка делала, а её поклонницы и поклонники делают по сей день одну и ту же ошибку: приписывают Толстому *собственные мотивы*, низшие по отношению к непостижимой для них системе поведенческих мотиваций человека высшего жизнепонимания, именуемого Толстым в названных сочинениях христианским или «божеским». Столь же ошибочен и их вывод о тотальном «отрицании» Толстым всей семейной и общественной жизни, без положительного идеала. Начиная с книги «В чём моя вера?» Толстой указывал на этот идеал, идеал *последования Христу* — справедливо отрицая то, что лишь маскируется под такое последование («исторические» церкви), и то, конечно же, что совершенно противоречит идеалу (например, государства и их системно организованное насилие). Но для сознания человека, не пробуждённого ещё к христианскому жизнепониманию, понятна лишь «отрицающая» часть.

И ещё, из воспоминаний С. А. Толстой «Моя жизнь», жалоба на ею же созданные условия повседневности, личный домашний «адик»:

«На вид моя жизнь всем представлялась очень счастливой с таким знаменитым мужем, с обеспеченными средствами, хорошим здоровьем и так далее. Но ежедневная суета и труды мои не давали мне ни минуты досуга для пользования моим счастьем. Всё как-то наваливалось на меня. И опять, и опять вспоминались мне слова, сказанные мне давно известным <учёным> Charles Richet [Шарлем Рише]: “Je vous plains. Madame, vous n'avez pas même le temps d’être heureuse” [“Мне вас жаль, сударыня, у вас даже нет времени быть счастливой”]» *(Там же. С. 315)*.

В такую же суету, которой, конечно же, имелась альтернатива в отвергаемом обоими, *не удовлетворяющем обоих* животном и простеческом «семейном счастии», погрузил себя в эти дни в очередной раз и Лев Николаевич. И он был жёстче связан, нежели жена, необходимостью продолжения и завершения своего благотворительного предприятия, но при этом, как мы увидим, *мог*, потому что *умел*, от времени до времени быть и покойным, и счастливым.

КОНЕЦ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ОЧЕРКА

Фрагмент 37.1.
НЕТ ВРЕМЕНИ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ
(30 января – 25 февраля 1893 г.)

Ссылаясь на «Ежегодник» Софьи Толстой на 1893-й год, биограф Л. Н. Толстого Н. Н. Гусев называет 22 января 1893 года как день отъезда писателя с дочерью М. Л. Толстой в Ясную Поляну *(Гусев. Летопись II. С. 91)*. Его датировку поддерживает Л. Д. Опульская *(Указ. соч. С. 35)*. Но вот сама Софья Андреевна Толстая указывает в воспоминаниях иной день отъезда мужа: 28 января *(МЖ – 2. С. 308)*. Точность датировки затрудняется отсутствием на эти дни записей в Дневнике Л. Н. Толстого (возобновлённых только в мае) и в дневнике его жены. Но дата 28 января вероятнее потому, что начало переписки супругов относится к 30 января, и в первом из писем Толстой определённо указывает на недавний приезд. Текстом письма того

же дня С. А. Толстой мы не располагаем, потому и начинаем с толстовского, 30 января:

«Здравствуй, милая Соня. Надеюсь, что ты идёшь на поправку. Пожалуйста, напиши правдиво и обстоятельно. Мы доехали хорошо. Дорогой немного развлекал нас жалкий Глеб Толстой. <Сын министра внутренних дел Дмитрия Андреевича Толстого; служил в то время земским начальником в Рязанской губ. – *Р. А.*> Ужасно жалко видеть этот безнадёжный идиотизм, закрепляемый вином с добрым сердцем. Мог бы быть человек.

В доме тепло, хорошо, уютно и тихо. И в доме и на дворе. И тишина эта очень радостна, успокоительна.

Утром занимался до часа, потом поехал с Пошей в санях в Городну. Там нищета и суровость жизни в занесённых *[нрзб.]* так, что входишь в дома тунелями (и тунели против окон) — ужасны на наш взгляд, но они как будто не чувствуют её.

В доме моей молочной сестры <Авдотьи Данилаевой> умерла она и двое её внуков в последний месяц, и, вероятно, смерть ускорена или вовсе произошла от нужды, но они не видят этого. И у меня, и у Поши, который обходил деревню с другой стороны, — одно чувство: жалко развращать их. Впрочем, завтра поговорим с писарем.

Погода прекрасная. Вечером читали вслух, и я насилу держался, чтоб не заснуть, несмотря на интерес записок Григоровича. «Русская мысль» здесь.

Целую всех вас. Л. Т.» *(84, 177)*.

Писатель Дмитрий Васильевич Григорович был старым, с 1855 г., знакомым Льва Николаевича — ещё по Петербургу и по редакции «Современника». Его воспоминания Толстой с интересом читал в журнале «Русская мысль», где они были напечатаны в № 12 за 1892 год и №№ 1 и 2 за 1893 год. Судя по завершающей реплике письма, Толстой специально ждал возможности прочитать дома, тихими зимними вечерами, номера любимого журнала с этими дорогими для него мемуарами.

К следующему дню, 31 января, относится письмо С. А. Толстой к мужу, следующего содержания:

«От вас известий ещё нет, милые Лёвочка и Маша; сегодня вижу на столе Машины мне покупки и ясно себе её представила, бледную и жалкую, портящую ту жизнь, которая могла бы быть так хороша.

Два раза молод не будешь! Приехал сегодня Лёва, всё такой же худой; не хочет лечиться и пить воды, а я думаю, что ему необходимо. Говорит, что ему легче.

О Леночке <Денисенко> говорил, что она пришла к *нему*, поговорили о постороннем, а потом он ей сказал: «довольно нам друг друга обманывать». И после этого объяснились, и он сказал, что давно собирался сделать предложение, но она ему всё отпор давала. И могло бы быть, что: «Счастья взрыв мы промолчали оба!»

[КОММЕНТАРИЙ.

Здесь идёт речь о сватовстве *Ивана Васильевича Денисенко* (1851 – 1916) к *Елене Сергеевне Толстой* (1863 – 1940), племяннице Толстого, младшей дочери его сестры Марии Николаевны Толстой, прижитой ею от связи с Гектором Виктором де Кленом. В том же году состоялась их свадьба. Софья Андреевна вспоминает кстати строку одного из любимых ею стихотворений уже покойного Аф. Аф. Фета, датированных 9 июня 1887 г.:

Светил нам день, будя огонь в крови…
Прекрасная, восторгов ты искала,
И о своей несбыточной любви
Младенчески мне тайны поверяла.

Как мог, слепец, я не видать тогда,
Что жизни ночь над нами лишь сгустится,
Твоя душа, красы твоей звезда,
Передо мной, умчавшись, загорится,

И, разлучась навеки, мы поймём,
Что счастья взрыв мы промолчали оба,
И что вздыхать обоим нам по нём,
Хоть будем врознь стоять у двери гроба. **]**

Здоровье моё лучше, ужасно много работаю. Дети уже по-масляничному взволновались балаганами, коньками, театром и проч. — Вчера вечером очень хорошо разговаривали и было приятно: Ге <старший>, <В. С.> Соловьёв, <А. А.> Столыпин, <М. С.> Сухотин, <художник Н. А.> Касаткин, Серёжа, Таня и я.

Что ваши дела, есть ли настоящий голод в наших краях? Не хуже ли желудок от тепла? Хорошо ли устроились, тепло ли и не грустно ли? Целую вас, жду письма» *(ПСТ. С. 553)*.

Продолжение рассказа о текущих делах и, частию, предваряющий ответ на вопросы жены — в письме Л. Н. Толстого того же дня, 31 января:

«Вчера приехал Евгений Иванович <Попов>, который к сожалению не был у вас и не привёз никаких писем. Напоив его чаем, легли спать около 12. Нынче отправили утром Пошу. Я по обыкновению писал, Маша ездила в <деревню> Мостовую. Работалось мне дурно, и я рано кончил и лёг. Проснувшись в час, поехал в Ясенки к писарю и старшине поторопить их об отправке приговоров крестьян о продовольствии и узнать ещё подробности о нуждающихся. Он даст мне список самых нуждающихся, и мы раздадим муку. Общей нужды нет, такой, как около Бегичевки, но некоторые также в страшном положении. Такое же впечатление и Маши. Так что поедем в Бегичевку, как только приедет Таня, если она хочет приехать. Нужно ли тебе, Таня голубушка? — Нужда в некоторых случаях ужасная. Тоже дров нет от снега. В Ясенках умер мужик от холода и голода — неделю не топил. Погода чудесная, — тепло. Я ездил верхом. Живу в Таниной многосложной и приятной комнате. Сейчас едут на Козловку за Марьей Кирилловной и привезут верно известия о вас. Дай Бог, чтобы хорошие. Целую вас.

Маша здорова, бодра. Я думаю, что ей здорово во всех отношениях уехать из Москвы» *(Там же. С. 178)*.

В этом бодром, как солнечный январский день, письме Толстой сразу даёт понять жене, что намерен, помимо текущих занятий, всерьёз присмотреться, на предмет возможной помощи, к жизни крестьянства близ родной усадьбы. Жизни, истинные беды и проблемы которой не поставишь ни в какое сравнение ни с временными, отчего-то слишком часто сопутствующими его поездкам, недугами жены и детей, ни с прочими проблемами зажиточного московского семейства — отчасти надуманными или раздутыми «благоверной».

Она получила оба письма мужа, 30 и 31 января, и отвечала на них вечером 2 февраля следующим:

«Милый Лёвочка, получила все твои письма и Машины письма, и я так вам сочувствую и понимаю ваше наслаждение тишиной, белизной, беспредельностью и свежестью деревенской природы и жизни. Я рада за вас, пока совсем покойна за вас, Ясная и близко и своё родное хорошее гнездо. А вот когда вы в Бегичевку поедете, — вот

это терзание всем! Хоть бы вы подольше остались в Ясной и поскорее вернулись из Бегичевки. Сегодня смотрю в окно на ясный закат и сама так бы и убежала куда-нибудь на простор, особенно от масляницы.

Вчера, мучаясь, возила Сашу, Ваню, Мишу и Лидию в Большой театр. Варя и Маша Толстые тоже были с нами. Был один градус тепла, пьеса прекрасная, красивая, нравственная и очень забавная для всех, феерия из скандинавских или германских сказаний: «Кольцо любви». — Ваничка был очень мил, хлопал, кричал свои замечания на весь театр; на него из партера (мы были в первом бенуаре), из оркестра оглядывались и улыбались. Весь театр — одни дети. Это была моя слабость, и после стало грустно.

Лёва опять мрачен и дёргает меня за сердце, браня и доктора и меня, и воды, и приходя в отчаяние. Мечется он ужасно и мне это тяжело, а помочь не умею и не знаю, как. Не могу я изменить своего убеждения, что ему нужно последовательно и терпеливо полечиться. — Сама я здорова, исключая желудка, но не спокойна во всех отношениях, что и досадно на себя и противно, и я это поборю трудом и заботой о детях.

Сегодня ездила проведать Машеньку, она всё больна; была у Грота и ещё кое у кого. Завтра, в среду, уезжают все Толстые в Пирогово, а в четверг приедет к вам, вероятно, Таня. Сейчас у нас Ге и Дунаев, Серёжа уехал к Самариным на спектакль в новом фраке, и мне очень хотелось, но без Тани скучно, а у ней платья нет. Да и совестно ездить, хотя я без тебя, Лёвочка, всегда ищу развлечений, а с тобой никуда не стремлюсь и всегда довольна. Я рада, что Маша себя хорошо чувствует в деревне; дай бог ей поправиться и духом и телом. Целую вас обоих, сидели бы в Ясной, отдыхали бы и я радовалась бы, что вам хорошо. Право, нужно ли в Бегичевку? А может быть не нужно совсем!

Ну, прощайте, теперь Таня привезёт известия, а писать уж буду в Клёкотки.

С. Т.» *(ПСТ. С. 554).*

Софья Андреевна по письмам мужа, как ей представлялось, “убедилась”, что его присутствие для помощи голодающим «не так нужно» *(МЖ – 2. С. 309).* Описывая болезненное поведение сына, она стремилась к тому же, к чему и раньше, когда писала мужу о болезнях малышей: прервать его отлучку, заставить приехать… Но Толстой, хотя и не вполне справедливо, связывал “мрачность” сына

Льва с его недовольством собой: ни таланты на литературном поприще, ни силы в благотворительном предприятии — не оказались у него не то, что равными отцовым, но и близкими к нему!

Граф Лев Толстой – младший.

Младшие же дети пока ничем серьёзно не болели, а гениальный малыш Ваничка, подлинная надежда отца, как мы видим из письма мамы Сони, даже заражал окружающих своими бодростью и жизнелюбием. Выучив к 4 годам неплохо английский язык, чудесный львёнок с радостью начал учить по-английски старика-художника Ге, походившего на папу-Льва не только одухотворённостью, но и некоторыми чертами внешности. Пообщавшись с малышом, духовный старец убеждённо сообщил Софье Андреевне, «что Ваничка познал уже всё в здешнем мире, потому что он живёт уже не в первый раз, а жил раньше неоднократно» *(МЖ – 2. С. 310)*.

3 февраля Толстой ответил на письма жены от 30 и 31 января. Письмо, если вчитаться, отчасти странное: Толстой как бы «не слышит» негативных известий из Москвы (например, о болезни сына), предпочитая реагировать на всё по-своему. Вот текст письма:

«Получили от тебя два письмеца, но вчера не было; и за то спасибо. Но чем чаще и подробнее будете писать, тем нам веселее. Хорошо, что Лёва приехал и бодр. Ты пишешь, были Ге, Соловьёв, Сталыпин, Сухотин, Серёжа, Касаткин, — все милые люди, но слишком много вдруг не асимилируется. В этом неудобство города. Two is company, three is none. [Двое составляют компанию, трое — нет.] Мне по именам хотелось бы всех их видеть, но вместе наверно не вышло связного и интересного разговора. А ты опять вся в корректурах. Боюсь я, что ты совсем расстроишь себе нервы, и я бы советовал тебе сдать эту работу корректору.

Мы поедем, когда приедет Таня. Завтра увижусь с новым земским начальником, Тулубьевым, и сговорюсь о том, что сделать здесь. Вчера ездил в Ясенки, нынче ездил в Тулу… Свидетельств <от Красного креста на право бесплатного провоза грузов. – *Р. А.*> больше нет, а Поша пишет, что дров мало и очень нужны. Нельзя ли достать из Петербурга, из комитета Наследника <по оказанию помощи голодающим. – *Р. А.*>, через Александру Андреевну <Толстую> или кого ещё. Посоветуйся с кем-нибудь, и если да, то пусть Таня напишет.

Работается хорошо. После обеда поправляли с Машей Амиеля. <Т. е. перевод «Избранного» из Амиелева Дневника. – *Р. А.*> Очень хорош.

[…] Мы вполне здоровы. Только бы вы были такие же.

Целую всех. Едим чудесно и так же спим. На дворе прекрасно, в доме тепло» *(84, 178 – 179)*.

Следующее, очень краткое, почти как извещение, «открытое письмо» (открытка) Льва Николаевича, от 4 февраля:

«Не знаю, написала ли тебе сегодня Маша, а она уже ушла на конюшню, чтоб ехать за Таней, и потому пишу, чтобы сказать, что мы здоровы, что у нас всё хорошо. Нынче был земский начальник Тулубьев, и мы с ним сговорились о помощи, кажется благоразумно. Если ничто не изменит наших планов, то поедем в субботу <6 февраля>. Пожалуйста, пиши почаще, хоть по несколько слов.

Л. Т.» *(Там же. С. 179 – 180)*.

Возможно, Софье Андреевне такие письма могли показаться «не сердечными», отчуждёнными и вызвать критический, исполненный обид и гнева, ответ: недаром очередные её письма от 5 и 6 февраля, написанные *в ночное время* и отвечающие как раз на два приведённых «открытых письма» Л. Н. Толстого, не были опубликованы в общем сборнике, а только упоминаются в нём *(см.: ПСТ. С. 555)*. Но нужно помнить, что Толстой готовил себя физически и морально к Бегичевке — с которой и сам уже рад был бы кончить, но просто отказаться и не поехать было нельзя! Ему хватало дурных воспоминаний и предвидений и без соничкиных жалоб. Но при том, что мысленно Лев Николаевич уже был «в деле», он не забывал и о жене, беспокоился о ней, что доказывает последнее его, перед отъездом в Бегичевку, письмо из Ясной Поляны от 5 февраля:

«Теперь вечер 5 числа. Мы собираемся ехать завтра, девочки укладывают, а я пишу письма. Пожалуйста, ты об нас не беспокойся. Мы в путешествии будем осторожны, как только ты могла бы желать. Если будет метель, не поедем. Я по тому говорю это, что мне ломит сломанная рука, и, кажется, идёт на ветер и на оттепель.

Я вчера тебе написал мельком о том, что здесь делается. Дело стоит так: нужда большая в Мостовой, Городне, Подъиванкове и Щёкине, деревни вёрст за 10. Маша ездила туда нынче. Но до сих пор, благодаря заработкам, которые тут есть, всё ещё кое-как кормятся. Кроме того, неизвестно, сколько и кому выдадут от земства. А выдавать начнут на днях. И потому мы решили с новым земским начальником Тулубьевым (он был у нас, как говорит, 5 лет <назад>; хороший, кажется, малый, бывший лейб-гусар), что подождём до выдачи, а тогда, вернувшись из Бегичевки, устроим здесь, в чём поможет Тулубьев. У него же я и купил для этого рожь.

Таня приехала благополучно, но мне жалко её отрывать от увлёкшего её занятия живописью. Может быть мы отправим её одну к тебе, тем более, если Лёва уедет, и ты останешься одна. Хотя Лёва тебя, как видно, теперь более всего мучает. — Мне думается, что его нездоровье одно из тех ослаблений жизненной энергии, которые часто бывают в этом возрасте. Я помню в таком положении был Владимир Александрович <Ислáвин> <дядя С. А. Толстой. – *Р. А.*>, в таком положении был брат Сергей. Он лечился, пил рыбий жир.

Мы здоровы. Погода стояла тут прекрасная, и всё ездил верхом.

Я писал тебе о выхлопатывании свидетельств бесплатных из Комитета наследника. Подумав хорошенько, я решил, что этого не надо, поэтому ты оставь это. — В тот день, как я был в Туле, я видел

Давыдова и Львова и узнал, что Писарев тут. Он, кажется, поехал к себе, но ненадолго, и вернётся в Тулу. Я постараюсь увидать его и достать от него свидетельства.

Если будет что для чтения, то пришли нам, например, «Северный вестник» и ещё, что попадётся. <Переводчик Лев Павлович> Никифоров хотел переслать мне некоторые, не просмотренные мною, томы Мопасана. Если они вернулись <в книжный магазин> к Готье по абонементу Маракуева <Владимир Николаевич Маракуев — журналист и издатель, знакомый Толстого. – *Р. А.*>, то Лёва пусть возьмёт их и пришлёт мне. Они у Готье знают. Целую тебя и детей.

Л. Т.» *(84, 180-181).*

Несмотря на скептическое отношение к ряду сочинений Ги де Мопассана, Лев Николаевич послужил лучшему узнаванию этого писателя современным читателем в России. В его записной книжке 1893 года осталось свидетельство строгого отбора им лучших, по его мнению, вещей Мопассана для перевода на русский. В этом списке, правда, не было романа «Жизнь»: с его переводом дело уже было решено. Среди других 21 сочинения французского писателя, помеченных Толстым в записной книжке по пятибалльной системе, высокую оценку получили «Починщица мебели», «Отец Симона», «Сын», «В семье» и «История батрачки». Здесь впору вспомнить свидетельство старшего сына Толстого Сергея о субъективизме отбора Толстым «лучшего» в музыке: он мог не удостоить высокой оценки что-то, любимое даже большинством, но *всё*, что её удостаивалось, было *действительно* хорошим, талантливым *(Толстой С. Л. Очерки былого. – Тула, 1975. С. 384).* Этот же субъективизм, очевидно, выражался и в отборе Л. Н. Толстым лучшего в поэзии и прозе.

Следующее письмо, открытое, Лев Николаевич написал жене уже с дороги — из Клёкоток, на пути в Бегичевку, 6 февраля:

«Пишем из Клёкоток, куда благополучно приехали, но без Маши. Она по случаю афер осталась на день с <портнихой> Марьей Кирилловной в Ясной. Мы, — т. е. Таня, Евгений Иванович <Попов>, я и <повар> Пётр Васильевич, сейчас едем далее. Погода тихая, прекрасная, 14 град. От тебя, к огорчению нашему, письма нет. Целую тебя крепко и пеняю за то, что не пишешь. — Оттуда ещё напишем.

Л. Т.

Если озябнем или устанем, остановимся в Молодёнках» *(84, 181 - 182).*

Пенял Лев Николаевич жене совершенно напрасно: она ответила на письмо его от 5 февраля на следующий день по получении известий из Ясной — 7-го. Вот письмо её от 7 февраля к мужу, уже по адресу в Клёкотки:

«Сегодня весь день метель в Москве, и всё думаю о вас, как-то вы доехали! Получила от вас письма: Танино — 6-го утром перед отъездом в Бегичевку. Почему вам надо опять в Ясную? Больше недели жили, ведь это ещё усложняет ваше путешествие. Ты пишешь, милый Лёвочка, чтоб я не беспокоилась. Я и стараюсь, но это невозможно. Сегодня уехал и Серёжа. Теперь я одна с маленькими четырьмя, как и в прошлом году. И так и заныло всё по прошлогоднему! Впрочем это временами, а то и ничего, дела много, да и попривыкла уж. *Для меня* Таню не посылайте, т. е. пусть она делает, как ей лучше. Уж лучше не расставайтесь; разве я буду покойнее от этого? Нисколько. — Посылаю заказным в Чернаву целый пакет полученных писем вам троим. Книг интересных и журналов я не получала, а так как Лёва уехал, то я не знаю, какие именно томы Мопассана спросить, и у кого билет абонемента Маракуева.

Эти два дня возилась с родственниками. [...] ...Все родственники ели блины, а я смотрела, у меня всё под ложечкой болит. Обедали у меня Рыдзевские — мать с детьми, провели подушевный вечер, маленькие дети плясали; проводили Серёжу; он едва поспел на поезд, говорил кучер, но всё-таки уехал и багаж взял. Вчера он был у Самариных, а вечер танцовал у Трубецких. Сегодня у меня ночевал дядя Костя. Андрюша и Миша танцовали вчера у Глебовых и сегодня в диком восторге весь день, просят поучить их мазурке, привезли ордена и счастливы ужасно. Трогательно, как Миша счастлив qu'il a introduit [что он ввёл] Андрюшу в своё общество... Вчера ходили все мальчики [...] в балаганы, пришли озябшие; я их чаем поила; сняли с них обувь и надели войлочные туфли; насилу отогрели. Теперь стараюсь их серьёзно настроить на ученье и труд, — но мудрено масляничную суматоху выбить из их годов.

Про свидетельства на бесплатный провоз, ты отказал мне поздно. Я уже наладила хлопоты; поехал в Петербург Литвинов; сын Кауфмана его друг, и Литвинов обещал лично попросить самого Кауфмана дать нам свидетельств. Уж не знаю, что из этого выйдет. <Старичок генерал Михаил Петрович Кауфман (1822 – 1902) исполнял в

то время должности председателя и главного интенданта в обществе Красного Креста. – *Р. А.*>

Ну, прощайте, милые друзья, целую вас, дай бог бодро и хорошо прожить это время врозь, и вам и нам. Ещё много корректур, а уже 10 часов вечера и дети ложатся спать, т. е. старшие. Все здоровы и веселы.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 555 - 556).*

И её письмо 8 февраля, ответ на открытку 6 февраля от мужа:

«Ты упрекаешь мне, милый Лёвочка, что я не писала в Клёкотки, а я писала и туда, и в Чернаву, но письма получались на маслянице страшно неисправно. Сегодня послала вам чужие в Чернаву, целый пакет. Бобринскому я отвечала, что деньги, вероятно, нужны, а что ты уехал.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Граф *Андрей Александрович Бобринский* (1859 – 1930) с 1888 г. служил в канцелярии Государственного совета. С. А. Толстая отвечала на его письмо от 14 февраля, в котором он извещал Льва Николаевича, что комитет для вспомоществования при миссии США ассигновал в распоряжение Толстого две тысячи рублей. – *Р. А.***]**

Мы все здоровы, т. е. я с четырьмя; остальные все разъехались. Сегодня, 8-ое, первый день поста, все за уроками и всё пришло в аккуратность. Это очень приятно во всех отношениях. Я удивилась, что вы и Женю повезли в Бегичевку. Целый придворный штат поехал. Надеюсь, что Маша не слишком страдала и теперь здорова. Сегодня два градуса, маленькие два раза гуляли, я этому очень рада. Сегодня мало корректур, я учила Сашу, писала письма, всё убирала и читала статью Грота о тебе и Ницше. <Статья Н. Я. Грота «Нравственные идеалы нашего времени (Фридрих Ницше и Лев Толстой)». – *Р. А.*> Как последний противен, судя по изложению его учения Гротом. По погоде вам удобно будет заниматься вашими делами и ездить. Целую всех вас, дай бог быть здоровыми.

С. Т.» *(ПСТ. С. 556 – 557).*

От 8 февраля началось для семьи Толстого время поста и “говенья”, столь ценимого Софьей Андреевной и её единоверцами по церковной вере за возможность, ничего на самом деле не изменяя в своей

жизни, ощутить *иллюзорную* сопричастность к сакральным смыслам человеческого бытия: за счёт участия в церковном идолопоклонстве, публичных молитв под руководством попа — разумеется, с умилением, «с мыслью обновления, избавления от грехов, желания сделаться лучше…» *(МЖ – 2. С. 312)*. Дальше этих благих пожеланий у православных фарисеев дело, конечно же, не идёт, но им и не нужно этого: “высокая” социально-психологическая потребность удовлетворена, а терять что-то из мирских, даже самых греховных, приятностей и выгод, истинно и круглый год, в повседневности слушаясь Бога и последуя Христу, они не желают.

Софья Андреевна прибегает вот к такому сопоставлению христианского служения Льва Николаевича с товарищами со своим московским “говением”: «Своего рода служение Богу происходило и в Бегичевке, где продолжалась помощь голодающим и где <т.е. в окрестностях, а не только в этой деревне. – *Р. А.*> было в то время 90 столовых для бедных» *(Там же)*. Точнее же нужно сказать, что именно в Бегичевке, инициативой Толстого, и совершалось уже полтора года *истинное* служение Богу — хотя и в не близком Толстому, духовно тяжёлом ему формате консенсуса с ложным устройством окружающей жизни буржуазно-православной России, враждебно чуждой Истине Бога, как она выражена в учении Иисуса Христа.

К этому служению снова ненадолго примкнул его зачинатель и вдохновитель, сам Лев Николаевич: ему нужно было сменить изнурённых физически и эмоционально “выгоревших” товарищей во главе с Павлом Ивановичем (“Пошей”) Бирюковым. 9 февраля он пишет жене первое письмо уже из Бегичевки, в котором упоминает некоторых их своих помощников: “девицу” Заболоцкую, вероятно фельдшера, о которой мы не имеем биографических сведений; художника из семьи обрусевших шведов Германа Романовича Линденберга (1862 – 1933); крестьянского писателя С. Т. Семёнова (1868 - 1922), знаменитого более всего именно симпатиями к нему Толстого. Упомянут, наконец, и печально знаменитый Михаил Аркадьевич Сопоцько (1869 – 1938), будущий ультраправый критик и даже грубый ругатель Толстого, человек, по воспоминаниям Софьи Андреевны, всегда ей неприятный *(Там же)*. Именно Сопоцько принадлежит ставший популярным, до сих пор тиражируемый православными публицистами образ Толстого-«дьявола, у которого и лицо с тех пор, как его отлучили от церкви, изменилось» *(Цит. по: Маковицкий Д. П. У Толстого. Яснополянские записки. Кн. 1. С. 300)*. Но и это существо можно понять и пожалеть. В марте 1890 г. Сопоцько неосторожно прогулялся с товарищами по университету на демонстрацию по поводу смерти Н. Г. Чернышевского, за что жестоко поплатился

карьерой врача: был исключён из университета и провёл два года в тяжёлой для молодого человека ссылке в мерзкой Вологде. Там он и начитался “запретного” Толстого, и ненадолго возомнил себя соратником его в общем Божьем деле. И это сопутничество кончилось для злосчастного весьма драматически: будучи после ссылки “на заметке” у имперских полицаев, в июне 1895 г. он был вторично арестован за якобы “революционную пропаганду” среди крестьян и отправлен в ссылку на три года в Олонецкую губернию, где и свихнулся в православие. Узнав о новых воззрениях Сопоцько, Толстой, тонкий психолог, смекнул, что дело тут сугубо личное: в потребности Сопоцько чувствовать себя правым перед самим собой, иметь в своём положении некий мировоззренческий фундамент под ногами, пусть и состоящий из софизмов самообмана и самооправдания *(53, 70 – 71)*. Так обманывали себя многие “горячие головы”, не удержавшиеся на пути христианской жизни: якобы от “безбожия” и революционерства они пришли к “истинной вере” (православию) через не истинное, неполноценное толстовство. Надо быть строже к себе и «любить истину больше своей правоты» *(Там же. С. 71)*.

Приводим ниже основной текст письма Л. Н. Толстого от 9 февраля к жене.

«Таня тебе, вероятно, всё опишет, милая Соня, а я только подтвержу и скажу о себе. Доехали мы хорошо. Боялись за Машу, но и она благополучно приехала. В доме было свежо, но теперь мы так натопили, что жарко. Погода всё нехороша. Дороги дурны, мятель, небольшая, но сообщение есть. Нынче приехала Заболоцкая, вчера уехал Сопоцько. Вчера я ходил в ближайшие деревни. Нынче ездил в Софьинку. Впечатление моё, что нужда большая, но к ней ещё больше привыкли, чем в прошлом году, и дело нашей помощи идёт хорошо там, где я был. Но мы намерены объехать все 90 столовых, а видели теперь 5. Приезд наш, по моему мнению, очень был нужен, в особенности потому, что Линденберг ссорится [?] с Семёновым; и тот, и другой хочет уезжать — Линденберг теперь, а Семёнов к весне. Главное, сам Павел Иванович замотался и едва ли доживёт до весны. Надо всё устроить попрочнее. Можно Сопоцько поручить дело Павла Ивановича и на место Сопоцько поместить из двух вновь приехавших. Всё это, вероятно, устроится и объяснится скоро.

Мы здоровы и веселы. По крайней мере, девочки font bonne mine à mauvais jeu [притворяются довольными]. А я чувствую, что надо было приехать; занят своей работой по утрам, и был бы доволен, если бы не тревожился о тебе и теперешнем твоём одиночестве; особенно,

не получив ни одного хорошего письма от тебя. Отчёт напишу здесь и если успею, рассказ, который я обещал в сборник для переселенцев.

[ПРИМЕЧАНИЕ.
Толстой имеет в виду сборник «Путь-дорога. Научно-литературный сборник в пользу общества для вспомоществования нуждающимся переселенцам» (1893). Но в нём была напечатана только его повесть «Ходите в свете, пока есть свет». Возможно, что в феврале 1893 г. Толстой работал над другим рассказом, предназначавшимся для этого сборника. – *Р. А.***]**

Вчера написал много писем. Читал хорошую и мне интересную книгу русскую, о Руссо. Теперь читаю скверную повесть Потапенко.
Очень хочется хорошей погоды и дороги. Тогда скоро всё объездим и вернёмся.
Что дети? Андрюша: он меня интересует и сам по себе и потому, что он тебя тревожит.
Пётр Васильевич <Бойцов, повар> ночует около меня и ночью храпит. А я, чтобы прекратить его храп, свищу. Нынче <портниха> Марья Кирилловна слышала свист и верно думала, что домовой. Живём мы всё также: обедаем в час, ужинаем в 8. Пища прекрасная. Прощай пока. Целую тебя.

Л. Т.» *(84, 182 – 183).*

Намерение мужа объехать все 90 действующих в уезде столовых не напрасно, если памятовать время года, смутило Соню, что она и не замедлила выразить в ответном письме вечером 11 февраля, вкупе со своеобычной для неё “порцией” несправедливостей в отношении близких, дорогих Толстому людей и подобного негатива:

«Вчера написала Маше, а сегодня получила письма от вас, милые Лёвочка и Таня. Наконец, я хоть узнала, что вы доехали все до Бегичевки. Завтра две недели, что вы уехали. Как у вас там людно, и как это неприятно, что люди, приехавшие помогать — ссорятся и не ладят, как Семёнов с Линденбергом. Павла Ивановича очень жаль, и я уверена, что если ему трудно, то опять не от *дела*, которое он делает, а от какой-нибудь людской или женской путаницы. Неодухотворённые люди хуже всякого животного. Всякая гадость в человеке тем ужасна, что он её знает, что всё в человеке сознательно, а в животном бессознательно, оттого извинительнее. Ужасно боюсь,

что отъезд Павла Ивановича запутает все дела помощи. Но после Святой сейчас же в Бегичевку уезжает совсем Ваня Раевский, я сегодня его видела, и он говорит, что охотно возьмёт на себя часть дела. Ему не только можно, но и должно будет всё передать, чего же лучше и проще? Он тамошний, хотя, конечно, Павел Иванович в тысячу раз лучше может всё делать.

У меня сегодня была Матильда <Моллас> и предложила мне учить Сашу за те же 20 рублей, которые я предложила учительнице. До сих пор учила я сама и очень исправно; но у меня мало времени и я очень раздражаюсь, что дурно для наших с Сашей отношений. Я очень рада Матильдиной помощи на эти последние два, три месяца. По-французски же буду продолжать сама. […]

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Матильда Павловна Моллас (1857 – 1921) преподавала французский язык на Высших женских курсах в Москве. – *Р. А.* **]**

…Я одна поехала к брату Саше и его жене. Застаю их одних, она вся увязана платками. Вчера Аничке сделалось дурно, она думала, что её будет рвать, нагнулась к тазу и упала в обморок. Саша замертво её поднял, а у ней кровь льёт отовсюду. Она, падая вниз лицом, разбила лицом таз, и всю её изрезало. На шее глубокий шрам, на виске, на щеке, ухо прорвало с серёжкой, зуб сломало. Такая она жалкая. […]

Мы все совсем здоровы, я поправилась, и нервы пока меня не тревожат совсем. Ложусь около трёх часов ночи; читаю корректуру ночью и утром, чтоб день быть более свободной, — и всё ничего. Андрюша тих, всё по-старому; учится дурно, хотя всё сидит, Миша читает «Анну Каренину», оторвать не могу и не одобряю, рано ещё. Саша и Ваня с воскресенья не гуляют; всё метели и 15—12 градусов морозу с ветром. — Напрасно затеваете 90 столовых объехать. Разве это возможно? И зачем в сущности?

Показывала Наточке твой портрет, Таня; ей очень нравится. Вчера отправила письмо Маше, и вспомнила, что 12-го её рожденье. Поздравляю её, желаю больше настоящей радости в будущем её году. Целую всех.

С. Т.

Получила счастливое письмо от Леночки <Е. С. Толстой>, просит ей шить приданое и намекает о том, чтоб свадьбу сделать у нас в

доме, и на неделю до свадьбы ей пожить у нас. Я ей ответила, что согласна, когда Таня приедет, поможет тоже» *(ПСТ С. 557 - 558)*.

14 февраля Толстой отвечал на это весточку любви(?) от жены, чему днём раньше предшествовал ответ на её же послание от 7-го. Приводим в хронологической последовательности эти письма Л. Н. Толстого.

13 февраля:

«Сейчас суббота вечер. Пишу тебе, милый друг, чтоб завтра отправить в Чернаву. Я дома, один, только что вернулся из деревень по Дону: Никитское, Мясновка и до Пашкова, куда ходил пешком. Чудная погода и дорога. Много обошёл, и ощущение, что сделал кое-что полезного. Сопоцько, который приехал нынче утром, выезжал мне навстречу, и мы с ним вернулись. Девочек нет ещё. Они утром поехали к Мордвиновым на блины. Приезжали звать, и они не могли отказаться. Оттуда хотели ехать по далёким деревням, но Ладыженский <Лев Викторович, помещик в Епифанском уезде и земский начальник. – *Р. А.*>, которого я встретил дорогой и который тоже был у Мордвинова, сказал мне, что они решили ехать только в ближние деревни. Погода прекрасная, они с кучерами и обе здоровы, поэтому жду их без беспокойства.

Очень досадно, что нельзя помогать дровами, которые страшно нужны. Нынче пишу Писареву, прося его уступить нам из его излишних запасов. К Сопоцько приехали два помощника. К Философовым приехала их помощница, кажется, очень деловитая девица. Вчера приехал Цингер Иван <И. В. Цингер, сын выдающегося русского математика В. Я. Цингера, женатого на Магдалине Ивановне, сестре покойного И. И. Раевского. – *Р. А.*> и предлагает свои услуги. Мне бы очень хотелось, чтобы он остался на весну, на место Поши, — главное потому, что он Раевским свой человек; но боюсь, что он слишком молод.

Вчера читали «Прощение», «Pater» Coppée <«Отче наш» Коппе. – *Р. А.*>, и Таня стала подбивать всех съиграть это для крестьян, и они читали это вслух, разобрав роли: Шарапова, её приятельница, Таня, Поша, Цингер, но, кажется, ничего из этого не выйдет. < Из этого в 1897 г. вышло издание в «Посреднике» этой пьесы в стихах Франсуа Коппе (1842 – 1908), в переводе А. П. Барыковой. – *Р. А.* >

Я встаю рано, в 7, в 8 пью кофе и с $^1/_2$ 9 до 1 и более усердно работаю, потом обедаю, потом еду, куда нужно, возвращаюсь к 6. В 8-м ужинаем, часто девочки затевают экстренный чай. Таня рисует,

читаем, пишем письма, беседуем. Я чувствую себя очень хорошо. О тебе ужасно мало знаем. Это тяжело. Пожалуйста, пиши чаще. Вчера было известие через Элену Павловну, и в середу Получил твоё единственное длинное письмо <от 7 февраля>.

Дороги теперь хорошие и погода, и потому мы очень скоро всё объездим. Надеюсь, что устроим, т. е. решим, как и кому заместить Пошу. Цингеру мы предложили, но он робеет и просит подумать. Скажи Катерине Ивановне, передав ей мой привет, что я всё советовал ей ехать сюда, а теперь не советую. С её здоровьем заехать сюда и на мельницу, в холода или ростепель, неблагоразумно.

С большим волнением буду ждать завтрашнюю почту, — письмо от тебя. Целую тебя, милый друг.

Л. Т.» *(84, 184 – 185).*

Хотя Софья Андреевна и приезжала лично в Бегичевку, знакомилась с делом — всего значения морально поддерживающего присутствия в ней Л. Н. Толстого и практически сакрального значения (мы ведь помним: он Духовный Царь России!) объездов им деревень и столовых она, конечно же, уразуметь не могла.

Судя по следующему, от 14 февраля, письму Л.Н. Толстого, он отвечает в нём на *три* сразу письма жены, из которых нам известны два: от 8 и от 11 февраля. О последнем Толстой говорит как о более спокойном, чем другие два (и отвечает преимущественно на него). Вероятно, *наименее* «спокойное» уничтожил или он сам, или, позднее, сама Софья Андреевна. Приводим ниже текст толстовского ответа.

«Сейчас 11 часов вечера, воскресенье. Были все сотрудники, пили чай, читали и только что ушли, а вечером присылал Яков Петрович <Шугаев, приказчик Раевских. – *Р. А.*> сказать, что едут в Москву, и вот пишу тебе хоть несколько слов. Мы благополучны и здоровы. Девочки ездили обе в разные стороны довольно далеко, а я оставался дома. Дело объезда приходит к концу. Мороз сильный, но тихо, и дороги хороши. Сегодня получил твои три письма, из которых последнее более спокойное и хорошее. На Ваню Раевского мы и так возлагаем надежды. Я написал тебе, что ссорились Линденберг с Семёновым. Это было чуть-чуть и ни в ком не оставило неприятного чувства, напротив, они все премилые люди. Нынче была опять За-

болоцкая, и простилась уже. Она уезжает на этой неделе. Она удивительно самоотверженная девица. Совсем расстроила своё здоровье здесь.

То, что ты хлопотала о свидетельствах, очень хорошо; только если их дадут, то надо скорее. Нынче получил письмо от американского консула <Крауфорда> и Бобринского, о том, что если нам нужно денег, то они пришлют. Должно быть, это не мне. Я ответил. Письмо от Элен <Е. С. Толстой>, — счастливое. […]

А ты всё мучаешь себя корректурами. Зачем ты так ночи не спишь?

Как жаль Аничку! Это ужасно.

Ну, пока прощай, до скорого свиданья. Целую тебя и детей. “Анну Каренину” читать Мише, разумеется, рано» *(84, 185 – 186)*.

К этому же дню, а также следующему, 15 февраля, относятся два письма С. А. Толстой, не опубликованные в доступном нам сборнике. О причинах этого можно догадаться на основе вот этих сведений в мемуарах Софьи Андреевны «Моя жизнь» о предшествующих писанию этих писем событиях.:

«Приехавшая из Бегичевки Екатерина Ивановна Баратынская с ужасом рассказывала мне, что Лев Николаевич по пояс в снегу насилу двигался, обходя столовые и объезжая их, и страшно утомлялся. Я усиленно его вызывала оттуда…» *(МЖ – 2. С. 313)*.

Как Софья Андреевна умеет «усиленно вызывать», мы неоднократно видели на протяжении многих предшествующих Эпизодов её Переписки с мужем. Может, и к лучшему, что подобные её грехи были деликатно изъяты из книжного издания её писем. Что же касается Катьки Баратынской, остаётся лишь сожалеть, что девица со столь благородной фамилией, воспитанием, и при том замечательная помощница Льва Николаевича в Бегичевке, гостя у жены его в Москве, вдруг сыграла роль довольно прозаической, и не правдивой к тому же (в отношении погоды), сплетницы. Так или иначе, но страхи за здоровье мужа у Софьи Андреевны усилились. А чего сильно боишься — то скорее прочего и материализовывается: Лев Николаевич действительно не сильно простудился, о чём, в числе прочего, сообщал жене в следующем, от 16 февраля, письме:

«Каждый день приходится писать тебе, милый друг Соня. Вчера писал с Яковом Петровичем, а нынче уже вторник, завтра почта. Наши дела почти приходят к концу: остаются одни ефремовские <т. е. по Ефремовскому уезду. – *Р. А.*>, Сопоцькины столовые, на которые достаточно 2-х, 3-х дней, самое большее. Но у него побывать

необходимо; это говорит и Поша, да я знаю. Он усерден, деятелен, но юн.

У меня второй день насморк и кашель, и я по приказанию дочерей, а главное, помня тебя, не выезжаю, и не выеду, пока не пройдёт совсем. А только гуляю потихоньку. Если бы не дочери и память о тебе, я бы даже не обратил внимания и ездил бы.

Так что мы время своего отъезда намечаем на субботу. Так это Тане удобнее для её школы. <Татьяна Львовна Толстая брала уроки в знаменитой Школе живописи, ваяния и зодчества, располагавшейся в Москве на ул. Мясницкой. – *Р. А.*> Мы же на самое короткое время проедем в Ясную и поскорее к тебе, чтоб ты перестала тревожиться и не спать до 3-х часов. К субботе мы надеемся получить ответ о дровах от Писарева, которому я писал, и решим дровяной вопрос, т. е. можно ли теперь — теперь только и нужно — раздать дров.

Бобринскому и американскому консулу я тоже ответил, что деньги будут приняты с благодарностью. К этому же времени напишем отчёт, который Поша нынче, кажется, кончает и который надо будет чем-нибудь закончить. Ну, пока прощай. Теперь не упрекаю тебя больше за молчание. Вчера ещё получили письмецо твоё из Клёкоток, — старое. <Это «ночное» письмо 5-6 февраля, упомянутое нами выше, не опубликовано. – *Р. А.*> Я очень рад, что ты сошлась с Матильдой для Саши. Я думаю, она хорошая учительница и тебя освободит. Девочки здоровы и бодры. Таня сейчас приехала, — ездила за 20 верст. Маша ещё не приезжала. Тоже поехала за 20 вёрст. Ещё не приезжала. Она хороша. Они, верно, припишут» *(84, 186 – 187)*.

Это последнее в данную поездку Л. Н. Толстого его письмо из Бегичевки. В нашем распоряжении есть ещё за эти дни два письма С. А. Толстой, от 17 и от 18 февраля (ответ на письмо мужа от 16-го с известием о простуде) *(см.: ПСТ. С. 561 – 563)*. Но они значительной своей частию — светские и семейные новости — для нас малоинтересны. Уведомясь о скором отъезде мужа из ненавистной и страшной ей Бегичевки, Софья Андреевна, конечно же, сразу “выздоровела” от всех болезней; кроме Льва-младшего, здоровы были и дети *(Там же. С. 561 – 562)*. «Здорова совсем и бодра», она заканчивала корректуры пятого тома нового собрания сочинений Л. Н. Толстого. Как раз вычитывался роман «Война и мир», и Соничка наслаждалась интеллектуально и эстетически: «Где ни читай, хоть из середины, везде интересно и тонко умно» *(Там же. С. 561)*. Письмо от 18-го содержит свидетельство того, что соня ожидала именно *возвращения* мужа: то есть приезда к ней, в Москву, а не в яснополянский дом *(Там же. С. 562 - 563)*. Но она понимала в то же время, что для Льва

Николаевича это было бы сменой одного стресса другим — без физического и морального отдыха. Были и практические причины необходимости заезда в Ясную. Помимо надежд добыть у губернатора в Туле те самые несчастные свидетельства Красного Креста для бесплатного провоза грузов, Толстой желал в зимней тишине завершить писанием очередной отчёт о работе своего бегичевского «министерства добра».

Итак, оправившись от простуды, 20-го он уезжает с дочерью Машей в Ясную Поляну (а Таня едет обрадовать маму в Москву). Под «Отчётом об употреблении пожертвованных денег с 20 июля 1892 г. по 1 января 1893 г.» стоит дата 20 февраля, но основная работа над ним продолжилась на самом деле уже в Ясной Поляне, именно с 21 февраля. «Соавтором» части отчёта — той, что с бухгалтерскими итогами и прочими цифрами — был верный Павел Иванович Бирюков. В этом отчёте Толстой и Бирюков между прочим сообщают:

«Дело наше в продолжение осени и зимы состояло, как и прежде, главным образом в помощи нуждающимся посредством столовых, детских кормёжных, дешёвой продажи печёного хлеба и дешёвой продажи и даровой раздачи дров.

В упомянутые в прошлом отчёте 70 столовых, устроенных сначала только для безземельных, стали приниматься с начала зимы все нуждающиеся, и число столовых увеличилось до 106, число же едоков до 3000.

[…] Во всех деревнях продолжаются для грудных детей тех семей, у которых нет коров, детские кормёжные. Количество детей, получающих в этих кормёжных молочную гречневую кашу, около 500. Пекарен устроено 4 […].

Помощь в снабжении нуждающихся топливом состоит в том, что часть приобретённых нами дров продаётся по дешёвой цене, часть же раздаётся даром наиболее нуждающимся.

[…] Полученных нами пожертвований с теми небольшими обещанными нам взносами достанет только для того, чтобы довести до нового урожая действующие столовые и детские кормёжные. В случае же поступления новых пожертвований мы открыли бы новые столовые и кормёжные в деревнях, которые в них очень нуждаются и давно о том просят» *(29, 170, 172)*.

Не столько для лучшей организации всего этого, сколько для *вдохновения* своих усталых помощников и требовалось Толстому приезжать в Бегичевку — как ни отрицала эту необходимость семейно-эгоистичная Софья Андреевна. Отчасти и для неё в черновики отчёта Толстой (уже без помощи П. И. Бирюкова) включил изъятые, к

сожалению, позднее из окончательного текста свидетельства отчаянного положения народа-кормильца в условиях затянувшихся голода и эпидемий, а кроме того — в условиях слепоты и чёрствости кормимых им обитателей городов, которые выражали фарисейский аргумент о том, что-де “даровая” помощь поощряет народные лень и пьянство:

«Люди и скот действительно умирают. Но они не корчатся на площадях в трагических судорогах, а тихо, с слабым стоном болеют и умирают по избам и дворам. Умирают дети, старики и старухи, умирают слабые больные. И потому обеднение и даже полное разорение крестьян совершалось и совершается за эти последние два года с поразительной быстротой. На наших глазах происходит неперестающий процесс обеднения богатых, обнищание бедных и уничтожение нищих.

[…] В нравственном же отношении происходит упадок духа и развитие всех худших свойств человека: воровство, злоба, зависть, попрошайничество и раздражение, поддерживаемое в особенности мерами, запрещающими переселение.

[…] Здоровые слабеют, слабые, особенно старики, дети преждевременно в нужде мучительно умирают.

И тут-то при этих условиях говорят и пишут о том, что даровая помощь, пища, приобретаемые не работой, развращают людей.

…Боже мой, как мы строги: народ развратится, если мы не дадим умереть всем старым и слабым с голоду, даром кормя их и затрачивая на это 3 копейки в день. Но если это так развращает получать пищу, не работая за неё, то как же должны быть развращены те люди, которые, поколениями не работая, получали и получают пищу, и не в 3 к<опейки> в день на человека. И неужели уже так опасно то, что народ, целыми поколениями трудившийся на других в тех местах, где он страдает и мрёт, получит раз в 300 лет помощь от тех, которые вскормлены им?» *(см.: Там же. С. 354-355).*

К 21 февраля относятся *встречные* письма супругов, из которых первым мы приведём письмо С. А. Толстой в его основной части:

«Приехала благополучно Таня, мы ей все очень обрадовались, только она не такая беленькая и свеженькая, как поехала. Бегичевский серый, зловещий оттенок непременно ляжет на всяком, кто там побывает. Боюсь за вас двух теперь больше, тем более, что Маша кашляет, и у ней сильный насморк. Застудить грипп всегда дурно; я три недели промучилась потому, что тогда простудила насморк. Те-

перь мы все здоровы были всё время, слава богу. У меня только иногда болит ещё правая сторона головы и правая рука выше локтя, до плеча; это осталось.

Таня кое-что рассказывала, но мало. Понемногу всё узнаем. Сейчас был Дунаев, пошлёт вам завтра деньги в Ясенки. Лёве как будто лучше, но он всё мечется, не знает, на что решиться; хочется ему купить Дубны, но и не особенно ему нравится это имение. Я думаю, на всё судьба, и теперь уже предопределено, где ему жить. Я ничего не советую ему, боюсь вмешиваться в дела судьбы.

Всё-таки хорошо, что вы опять в Ясной; ближе, спокойнее о вас думать и сообщение легче. Слава богу, что с Бегичевкой покончили.

[…] Ну, прощайте, Лёвочка и Маша, ещё много корректур, а час ночи. Целую вас обоих. […]

С. Толстая. […]» *(ПСТ. С. 564).*

Но с Бегичевкой было ещё совсем даже не «покончено». Толстой в письме того же дня (отправленном традиционно, «с оказией») намекает на это жене достаточно осторожно:

«Таня, живая грамота, надеюсь, приехала благополучно и всё тебе про нас рассказала, милый друг, а я вот в тот же день вечером пишу с Иваном Цингером, который нынче приехал и нынче же в ночь едет. Он бросит это письмо в ящик. Мой кашель прошёл, и я совсем здоров, а Маша всё кашляет, и я её никуда не пущу, пока не пройдёт. Всё кашляли и Марья Кирилловна <Кузнецова>. Нынче я очень много занимался утром и устал, а вечером ещё исправлял и добавлял Павла Ивановича отчёт. И кончил, прибавив немного. Но боюсь, не пропустят. Кроме того, побывав там и пиша отчёт, я почувствовал, что здесь далеко не так нужна помощь, как там. Здесь первый год и есть заработки. И потому, поговорив с Тулубьевым, которому я дал знать, я постараюсь здесь, если нет вопиющей надобности, о чём я и ещё узнаю здесь, ничего не делать или ограничиться самой ничтожной помощью. Если расширять помощь, то там. Поэтому мы очень скоро приедем. Хочется всех вас видеть и Лёву, который с вами.

Л. Т.» *(84, 187).*

На это письмо Софья Андреевна отвечала 23 февраля следующим, писанным, судя по зачину, в заметно худшем прежнего, раздражённом настроении:

«Милые Лёвочка и Маша, получила от вас сегодня два письма, и совестно мне стало, что я написала вам только одно в Ясную. Но я уверена, что *вы* о нас не беспокоитесь. Вот вы все простудились, одна Таня приехала, слава богу, здоровая, да и та посерела немного. Она вчера была в своей школе, там волнение страшное: Философова чуть ли не бить собираются ученики. Маковский, Прянишников, Васильев — все лучшие учителя и члены уходят. Полный скандал. Философов прячется за великого князя. Великий князь, говорят, всё старается примирить всех, и теперь неизвестно, чем всё кончится.

Вчера и сегодня мы с Таней посвятили время на приданое Леночки <Толстой>; по её желанию истратить 800 р. на всё то, что она заказала, нет никакой возможности, и это самое трудное. [...] Лёва меняет планы всякий день, но вас теперь хочет дождаться в Москве. Пока положительного он сделал то, что переплёл довольно успешно книгу и очень этим гордится. На нездоровье опять жалуется. Андрюша и Миша учатся плохо, но здоровы, очень веселы и всё-таки лучше, чем прошлые месяцы. Все с тоской ждут холеры; к стыду моему и у меня какая-то явилась тоска и безнадежность. Все эти ожидания холеры теперь ещё соединены со слухами о голоде. В Патровке и Гавриловке прямо мрут от голода, пишет управляющий, и помощи ни откуда никакой — буквально. Везде разговоры о покорности народа судьбе, что просто решили умирать. Да и что же им делать? Всё это так и томит душу.

Не простудись, милая Маша, не мочи ног; я рада, что вы в Ясной и наполовину успокоилась. [...]

Меня беспокоит, милая Маша, что если вы уедете без Ивана Александровича, то плохо всё уберёте и запрёте. Пожалуйста, чтоб в доме *никто* не оставался, а то Таня говорила, что <толстовец> Попов хотел две недели жить там один. Я на это *совсем не согласна.* Может жить в конторе, если для папа это необходимо. Во-первых, слишком дрова дороги, да ещё пожар сделают, а во-вторых, что бы в доме ни пропало, все люди будут говорить: там Попов жил, может кто и забрался, всё отперто было и т. д. — Вот вам и неприятно, но что же делать! Кому-нибудь и порядок надо блюсти. Прилип этот Попов безнадежно, а я всегда не любила, и теперь уж не полюблю всякое вторжение чужих в семейную нашу жизнь. Целую вас и жду с радостью.

С. Т.» *(ПСТ. С. 565 – 566).*

Для завершения такого большого и трудноуправляемого дела, как помощь крестьянам, нужна была ещё, как минимум, одна поездка в

Бегичевку. Но как сообщить об этом жене, ожидавшей всенепременного, скорого и окончательного воссоединения семейства — причём именно в Москве? По счастью, деловые переговоры и поездка в Тулу 23 февраля убедила Льва Николаевича, что немедленного его возвращения в Бегичевку не требуется, и он может наконец с лёгким сердцем обрадовать жену:

«Сейчас приехал из Тулы, куда ездил нынче утром после обычных занятий. […] Вчера был земский начальник Тулубьев, и мы решили ничего здесь не предпринимать. Только съезжу для очищения совести в Щекино послезавтра; а завтра, если буду жив и здоров и погода хорошая, съезжу к Булыгину. В Туле всё очень удачно и скоро сделал: добыл 40 свидетельств, и Львов обещал выписать дрова. Поэтому пошлите ему 700 рублей. Исполнил и разные дела у Давыдова и Зиновьева. […] Приедем в субботу <27-го>, если всё будет благополучно. […] Целую тебя и детей. До свиданья. Погода чудная, и мы здоровы. *Л. Т.*» *(84, 188)*.

Ответом на это письмо Льва Николаевича является последнее перед ожидавшимся приездом Л. Н. Толстого письмо Софьи Андреевны от 25 февраля:

«Сегодня получила, милый Лёвочка, известие от тебя, что ты приедешь в субботу, и радуюсь увидать тебя. Надеюсь, что ничто не помешает, и вы все здоровы. — Вчера Лёва привёз вам известия от нас; но я о нём тревожилась всю ночь, как он приехал; прислушивалась к страшному завыванью ветра. У нас сутки уж метель ужасная, да ещё при десяти градусах мороза. Лёве при его ослабевшем организме всякая болезнь опасна; надеюсь, что он не простудился, и что вы все побережётесь до конца.

Таня вошла в свою московскую жизнь очень, кажется, охотно. Она мало рассказывала мне про Бегичевку и о положении дел, и я жду тебя для этих сведений. Таня сегодня приглашена Мамоновыми в три часа чай пить, и оттуда она поехала в школу. В субботу она с Соней устраивает для детей вечер и какую-то игру, позвали детей человек двадцать, и я очень боюсь, что тебе будет неприятно приехать в эту суету и толпу детей с их родителями. Но отменить нам уж нельзя; да и наши дети столько ездили, что и нам необходимо было позвать к себе. Впрочем, это всё устроилось само собой Таней и Соней.

Моя жизнь течёт всё в том же мире — «Войны и мира», в котором нахожу большое удовольствие. Только глаза, наконец, не выдержали

и что-то стали болеть от корректур, так что вчера не решилась сидеть ночь. Как я была глупа, когда ты писал «Войну и мир», и как ты был умён! Как тонко — умно, именно гениально написана «Война и мир». — Только одно: при «Детстве» я часто плакала, при «Семейном счастии» в носу щипало, а в «Войне и мире» всё время удивляешься, любуешься, в недоумении, — но не плачешь. Увидим, что будет с «Анной Карениной».

[…] Не знаю, отчего, но в «Войне и мире», что меня *трогает* больше всего, это всегда старый князь и княжна Марья, и вообще Болконские все, а совсем не Ростовы» *(ПСТ. С. 188)*.

И заключительное перед отъездом письмо Л. Н. Толстого, тоже 25 февраля:

«Вчера приехал Лёва, и мы заговорились, да и метель была, и не послали на Козловку, и не писали. Мы все здоровы. Лёва не поправился, и мне жалко смотреть на него, как из такого жизнерадостного, красивого мальчика сделался такой болезненный. Хотя я надеюсь, что это пройдёт. Духом он бодр и весел.

[…] Если ничего не помешает, приедем в субботу с курьерским. Будь бодра и здорова и не думай о холере. Целую тебя. Таню и детей.

Л. Т.» *(84, 188)*.

27 февраля Толстой приехал («вернулся», как наставивает в мемуарах Софья Андреевна) в московский дом своей семьи, где бесконечная, под влиянием страхов и дурных ожиданий, суета жены и нерадостные, дополнительно обременяющие отца и мать, развлечения детей — всё так же служили иллюстрацией меткого замечания умнейшего Шарля Рише о нехватке времени для счастья. Сам Толстой в Ясной Поляне, как мы видели — был и в хлопотах, и в трудах (упомянутый выше «Отчёт» и, уже в самом завершении, трактат «Царство Божие внутри вас»), но был неоднократно и счастлив, являя совсем иную иллюстрацию: портрет гармонического человека, живущего так, как не стыдно посоветовать жить всем и каждому!

КОНЕЦ ПЕРВОГО ФРАГМЕНТА
ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОГО ЭПИЗОДА

———————

Фрагмент 37.2
ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ТРЕВОЖНОГО ЛЕТА
(11 – 19 июля 1893 г.)

Внешне-биографическая канва периода, хронологически разделяющего два Фрагмента презентуемого и анализируемого нами Эпизода Переписки Л. Н. и С. А. Толстых в 1893 году, достаточно небогата. В неё вошли: завершение и окончательное исправление Толстым «Отчёта об употреблении пожертвованных денег с 20 июля 1892 г. по 1 января 1893 г.»; завершение писанием к 13 мая огромного, стоившего Толстому двух лет напряжённого труда, трактата «Царство Божие внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание»; написание в 1-й полов. июня статьи «Неделание», а в Дневнике под 24 июня — чернового варианта «Требований любви», обдумывания и пробы ряда других творческих замыслов (рассказ «Кто прав?», статьи по искусству и др.). Радостным и для Льва Николаевича, и для всей его семьи был приезд 12 мая в Ясную Поляну (куда ещё 4-го, по сложившейся традиции, Толстые перебрались на лето из Москвы) замечательной писательницы Лидии Ивановны Веселитской-Божидарович (1857 - 1936), чью талантливую повесть «Мимочка на водах», написанную под псевдонимом “В. Микулич”, Толстой прочёл с восхищением и сделал до конца жизни одной из любимых книг. Лидия Ивановна и в жизни оказалась человеком очень умным, серьёзным и чутким — «движущимся к свету», по выражению самого Толстого. Как и Мопассан в его лучшие годы…

21-29 мая состоялась не длительная, но достаточно значительная по полученным Л. Н. Толстым впечатлениям «организационная» его поездка с дочерью Таней в Бегичевку, не сопровождавшаяся перепиской с женой. Толстой объезжает голодающие деревни, делает нужные распоряжения своим помощникам… но тяжёлыми впечатлениями делится в письмах 23 и 24 мая не с Соней, а с детьми, Львом-младшим и Машенькой. Вероятно, сама необходимость этой его поездки и пребывание в опасном для здоровья месте снова не оказались в эти дни предметом взаимопонимания супругов. И не только это. Софья Андреевна ворчит в мемуарах о том, что:

«Тотчас же пришлось выслать туда 1000 рублей для непосредственных нужд населения». При том, что и своих забот и расходов в семье было предостаточно: «В Ясной Поляне я жила тогда с меньшими детьми, которые все были больны. Два крупных дела отнимали у меня много времени: и окончание семейного раздела, и печа-

тание Полного собрания сочинений. И то, и другое сердило и раздражало Льва Николаевича. Он хотел бы и землю, и сочинения отдать: первое — крестьянам, второе — на общую пользу, то есть отказаться от своих прав. Имея в то время 9 человек живых детей, я, конечно, протестовала, и муж мой временами ненавидел меня за это и всё ждал от меня перемены» *(МЖ – 2. С. 318)*.

В этих строчках — скупое свидетельство, как можно полагать, многодневного конфликта, в подробностях скрытого от биографов обоими супругами, от которого “бежал” ненадолго в Бегичевку Лев Николаевич. К этим конфликтным отношениям, очевидно, относится и суждение в записной книжке Толстого под 17 мая 1893 года: «Что мне дал брак? Ничего. А страданий много» *(52, 231)*. 23-го мая эта же мысль, но более осторожно, повторяется в его Дневнике, рядом с таким суждением: «Много грешишь тем, что некоторых людей, чаще всего самых близких, с которыми всегда, считаешь неизлечимыми и никогда уж не говоришь им того, что считаешь истиной» *(52, 79)*.

Конечно же, это о «грехе» с женой. Ослабел, но не оставил пока Льва Николаевича и иной, куда более старый грех: половая похоть. Вернувшись 26 мая в Ясную Поляну, Толстой, по воспоминаниям жены, в первую же ночь «взял всё, что мог от этой дешёвой любви» (т. е. «постельной»), а днём записал в Дневнике: «Спал дурно. Конца не будет. Надо работать в сознании» *(Там же. С. 80)*. Пиша свои воспоминания в начале 1910-го, то есть через много лет после того, как муж её всё-таки «освободился» (что, кстати сказать, отнюдь не вызвало её радости), Софья Андреевна, въедливо искавшая в Дневнике мужа всяческий «компромат», обратила внимание на такое суждение, записанное Львом Николаевичем в тот же день: «Как только человек немного освободится от грехов похоти, так тотчас же он отступается и попадает в худшую яму славы людской» *(Там же. С. 82)*. На основе этой мысли о связи двух самых “цепких” для множества людей грехов и необходимости бороться с обоими, она развивает в мемуарах «Моя жизнь» целую концепцию, к тому же подаваемую в тоне и формате индивидуального «обличения»:

«…Жил Лев Николаевич всю свою жизнь двумя сильными двигателями своей страстной натуры: похотью и славой. Сознавая это, он горячо боролся и хотел, но никогда не мог их побороть. Первое — похоть — отпало благодаря старости; второе — славолюбие — осталось навсегда. Плоды же борьбы породили высокое духовное настроение, которое и останется, вероятно, до конца дней Льва Николаевича и которое придало такую духовную красоту его облику и имеет такое влияние на людей» *(МЖ – 2. С. 319)*.

Такое суждение, примитивизирующее мотивы христианского исповедничества Толстого, даже не следует и не стоит опровергать. Оно очевидно нелепо, и служит в мемуарах “подкреплением” следующей лжи Софьи Толстой: о том, что-де Толстой намеренно вожделел и стяжал и в творчестве, и в благотворительной деятельности «любовь людей и славу» *(Там же. С. 320)*. Для нас же этот эпизод нужен как свидетельство глубины непонимания, разделившего супругов уже в начале 1890-х и не уничтоженной ими до конца.

Не лучше ситуация была и с пониманием женой мотивов и результатов его текущего благотворительного предприятия. Безусловно, Толстой устал от всего, что было связано с Бегичевкой — серьёзно “выгорел” психологически. При этом, однако, не только довёл дело до конца, но не изменил, приобретя тяжёлый и многоценный опыт, изначальной своей установке, которую, как мы видели, не сразу уразумел Н. С. Лесков и с которой, кажется, так и не “ужилась” Софья Андреевна: *важнее любить, чем кормить*. В Дневнике Толстого, после полугодового перерыва, появляется 5 мая запись: «Равнодушие к пошлому делу помощи и отвращение к лицемерию» *(52, 77)*. Неверно поняв эту мысль, Софья Андреевна, в связи с постоянной в мемуарах «Моя жизнь» темой недостаточного или дурного влияния отца-Толстого на детей, заключает, что сын её Сергей «отрицал, *как и его отец,* деятельность помощи голодающим», когда в письме к матери от 20 мая 1893 г. рассуждал таким образом:

«Благотворительная деятельность — самое скучное и неприятное дело, поселяет только дурные чувства в народе: зависть, бездеятельность и расчёт на постороннюю помощь откуда-то: из казны, от богатых людей, от земства…» *(Цит. по: МЖ – 2. С. 317)*.

Мы видим, однако, из этого отрывка, что образ мыслей сына Толстого был ближе к тому, который осудил Толстой («помощь вредна, она развращает крестьян»), нежели к пониманию самим Львом Николаевичем того, что есть благотворение, делание добра — именно деятельность, при которой главным условием являются жертвенная любовь, личный труд помогающих (идеал, выраженный Толстым как раз в упомянутом выше черновике 24 июня, в «Требованиях любви») и бережение человеческого достоинства всякого человека.

Из такой-то атмосферы непонимания, враждования семейственно близких ему людей — не с ним, но с Истиной Бога и Христа — Толстой выехал 11 июля в Бегичевку для завершения всего огромного предприятия своего, исторического и святого служения в общечеловеческом деле помощи бедствовавшим русским крестьянам. По традиции, первое письмо к жене (открытое) было послано им с дороги,

из Клёкоток. По незначительности расстояния до Москвы открыткой можно было заменить телеграмму. Текст в ней именно по-телеграфному краток:

«Мы доехали очень хорошо. Не слишком жарко. Ровно ничего не случилось. Едем вовремя, в 9. В 1 час, вероятно, будем на месте. За нами два экипажа» *(84, 189)*.

Доехав до места, то есть Бегичевки, Толстой в первые два дня “берёт штурмом” необходимые для разрешения проблемы и текущие дела. Осторожно, без негативных подробностей или критических суждений, он сообщает о них в письме к жене от 13-го июля:

«Таня верно писала про наш приезд. Вчера, 12-го, я ездил в Андреевку к Сопоцько, свёз ему деньги, 300 рублей, и распорядился о дровах, которые у нас все вышли. Юсуповы желают пожертвовать 500 рублей на наши столовые; управляющий их должен привезти мне деньги. <Жертвователями были светлейший князь Феликс Феликсович Юсупов и его супруга Зинаида Николаевна. — *Р. А.*> Нынче, 13-го, я собирался пойти к Шарапову <Николай Николаевич Шарапов, брат Павлы Николаевны Шараповой, буд. жены П. И. Бирюкова. – *Р. А.*>, в Татищево, которого я видел вместе с его старшей сестрой <Анной>, которая здесь, приехав из Женевы, но вечером пошёл страшный ливень (у Мордвиновых даже град, который выбил хлеб), который продолжался до самой ночи. Приехала Павла Николаевна за деньгами. Всё дошло и всё нужно скорее закупать. По утрам я переправлял свою и русскую [и] французскую статью. <Т. е. статью «Неделание», для которой сам Толстой готовил франц. перевод. – *Р. А.*> Хозяева очень милы. Здоровье наше хорошо. Целую тебя и детей. Кузминские также. Завтра пойду в Татищево и окольные деревни. Есть письмо от <Н. Н.> Страхова, который пишет, что в августе заедет. Я напишу ему, приглашая» *(Там же. С. 189 – 190)*.

Если бы мог надеяться на сочувствие и понимание, Толстой написал бы ей, разумеется, значительно больше. Для примера, в письме к Н. Н. Страхову того же 13 июля есть такие пронзительные строки:

«Здесь мы кончаем наше глупое дело, продолжавшееся два года, и, как всегда, делая это дело, становишься грустен и приходишь в недоумение, как могут люди нашего круга жить спокойно, зная, что они погубили и догубляют целый народ, высосав из него всё, что можно, и досасывая теперь последнее, рассуждать о Боге, добре,

справедливости, науке, искусстве. […] Хочется теперь написать о положении народа, свести итоги того, что открыл[и] эти два года» *(66, 367)*.

По этой же причине у Толстого «не шло» столь желанное Софье Андреевне “безвредное” художественное писание: он осознал себя не только исповедником Христа, но и защитником народа, о котором ему теперь желалось писать документально, не выдумывая образы несуществующих в реальной жизни людей.

К 14 июля относится единственное в этом Фрагменте письмо С. А. Толстой из Ясной Поляны к мужу в Бегичевку. Если не считать приписки о плохом сне, письмо всё хорошее, спокойное, *утреннее*:

«Посылаю свой отчёт, милый Лёвочка. У меня что-то, да не то, выходит недочёт. Я столько раз давала свои деньги, что верно этим и запутала. Получено ещё письмо от Лёвы. Жалуется, что всё худ, весу не прибавил ни одного фунта, хочет ещё остаться; но письмо вообще грустное, и везде проглядывает страстное желание быть здоровым. — Таня сестра уехала вчера с своими мальчиками и Мишей к Языковым и по сие время (утро другого дня) не возвращалась. Вчера провела вечер совершенно одна, чай пила одна и любовалась тишиной и луной. Маша была у Марьи Александровны, а Андрюша с учителями ездил на Козловку, и вот привёз Павла Ивановича <Бирюкова>. — Ходила вчера гулять и ездила купаться с тремя маленькими; набрали белых грибов; после дождя их стало ещё больше.

О твоей французской статье <«Неделание»; в франц. переводе «Le non agir»> всё ничего неизвестно. Знает ли Villot <переводчик. – *P. A.*> наш козловский адрес? — Как-то вы там живёте и действуете? Я рада, что Поша приехал; дела пойдут успешнее. Целую тебя и Таню, поклонись от меня Елене Павловне.

С. Толстая.

Видела во сне, что умерла Таня, и её везут в телеге женщины, и она завёрнута рогожами. Ужас просто, проснулась точно вся сильно больная, так билось сердце и рыданья в горле» *(ПСТ. С. 567 - 568)*.

Начав переводить «Неделание» самостоятельно, Толстой скоро сдал перевод наёмному в Петербурге переводчику-французу G. Villot. Это было связано с общим разочарованием его в статье и (оправдавшимся, к несчастью) ожиданием того, что она всё равно не будет

понята читателями, а большинством — даже не замечена. Месье Villot вскоре, как положено, отправил свой перевод Толстому для согласования и правок.

Практическое дело помощи народу вышло в эти дни для Льва Николаевича снова на передний план. Вот письмо его к жене от 15 июля (уже по получении письма жены от 13-го, доставленного, вместе с прочей корреспонденцией, Павлом Бирюковым):

«Сейчас приехал Павел Иванович и <я> получил ваши письма. Сейчас 4 часа, четверг. Таня ездила и ходила в Софьинку, я сидел дома, переправляя свою французскую статью, сейчас поеду в Прудки, Пеньки и оттуда заеду к Философовым, к которым все собираются и которые вчера были у нас.

Поразительно письмо Попова и Черткова о Дрожжине. Не будет таких людей, никогда узел не развяжется, а когда есть эти люди, становится страшно, особенно за мучителей.

Вчера в Татищеве получил мучительное впечатление. Нет хуже деревни. Обступили заморыши, старые и молодые, и, главное, дети в чепчиках, изможденные, улыбающиеся. Особенно одна двойнишка. Мы устроили с старшей Шараповой доставать им молока, кроме детских. Это необходимо при повальных теперь детских поносах. Ещё пристроил на год бездомных. И так изведу все деньги. Ещё не достанет. Спасибо за письма Маше, целую. Марье Александровне и всем поклон.

Л. Т.» *(84, 190)*.

К заботе о крестьянах добавилась в эти дни для Льва Николаевича ещё одна: об отказавшемся от военной службы и заключённом в карцере Воронежского штрафного батальона сельском учителе, единомышленнике Льва Николаевича во Христе, Евдокиме Никитиче Дрожжине (1866 – 1894). Благодаря В. Г. Черткову, имевшему в Воронежском штрафбате надёжного знакомого и помощника, Толстой установил контакт с Евдокимом Никитичем и успел, через Черткова, морально поддержать его. Однако все хлопоты об освобождении Дрожжина, приговорённого к тюремным мучениям аж до 1903 года, не увенчались успехом: в следующем, 1894-м, году ему суждено погибнуть от туберкулёза и воспаления лёгких. Другой, упомянутый в вышеприведённом письме Толстого, его помощник в связях с учите-

лем-мучеником, толстовец Е. И. Попов, написал житие воронежского мученика, опубликованное в 1895 году в бесцензурном издании в Берлине.

В приведённом выше и в следующем, завершающем данный Фрагмент и весь Тридцать Седьмой Эпизод Переписки, письме Л. Н. Толстого к жене от 17 июля фигурируют иные мученики нехристианского устройства русской жизни: *дети*. В обоих письмах это — голодные и больные «заморыши», а в письме от 17-го, обратим внимание: «*жалкие* заморыши». «Жалкий», «жалкие» — это возлюбленный Софьей Андреевной эпитет, которым она и в письмах мужу, и в своих дневнике и мемуарах щедро “оделяет” всех, кто живёт не по её представлениям о жизни и тем приводит себя и окружающих в затруднительное положение: это и сам Толстой, и его христианские единомышленники. Это часто и дети Софьи Андреевны — в особенности близкая отцу и не любимая матерью Мария Львовна. Непосредственно же в эти дни у Сонички «жалок» сын Лев, надорвавший, как мы помним, своё здоровье в «поединке благотворительности» с отцом. Можно заключить, что в своих письмах Толстой осторожно намекает жене, указывает на то, каково может быть *истинно жалкое* положение людей, и кого, а не барских да дворянских деток, истинно нужно жалеть.

Приводим основной текст этого, завершающего бегичевскую эпистолярную эпопею, толстовского письма 17 июля.

«Вот и прошли наши десять дней. Остаётся 2 дня. И я не видал, как прошли: утром пишу, поправляю по-русски и французски статью о Золя и Дюма <т. е. статью «Неделание»>, а вечером езжу. Вчера только не успел, — помешали гости; Самарин снимал фотографии, и я ему прочёл статью, потом приехали: <Евгения Павловна> Писарева, Долгорукая Лидия, <её сестра Александра> Бобринская. Я поехал, было, на Осиновую Гору, это 13 вёрст, но не доехал, вернулся. Нынче — тоже. Очень жарко. Я даже не купаюсь, а то прилив к голове. Вечером ездил верхом в Осиновую Гору и Прудки Осиновые. Везде нужно и для народа, насилу доживающего до нови, и для жалких заморышей детей. Денег казалось много, а не только все разместятся — чуть достанут. Хозяева очень милы. […]

Радуюсь вернуться, хотя и здесь было хорошо. Целую тебя и всех наших. […]» *(84, 191)*.

Больше указанных нами намёков Толстой ничего не мог сообщить жене о своих мыслях и чувствах, бережа её здоровье и покой. 20

июля он — молчаливый, серьёзный — воротился в Ясную Поляну. Свой опыт и выводы из него, вполне сопряжённые с первоначальной христианской этической установкой, выраженной в письме Н. С. Лескову, с анализа которого мы начинали Тридцать Пятый Эпизод нашей книги — он доверил только духовно близким людям и бумаге. 17 октября датирован последний «Отчёт об употреблении пожертвованных денег с 1 января 1893 г.», написанный Львом Николаевичем, как и предшествовавший ему, в соавторстве с П. И. Бирюковым *(см.: 29, 202 – 204)*. С сухими цифрами и перечислениями, составившими его основу (и "чёрную" работу П. И. Бирюкова), контрастируют завершающие «Отчёт» живые, эмоциональные строки, приписанные, конечно же, самим Толстым:

«В течение этого года нам пришлось быть свидетелями многих страданий и горя. И опыт нашей деятельности убедил нас более чем когда-либо в том, что нужда и страдания людей происходят не столько от неблагоприятных климатических условий, сколько от отсутствия в людях братской любви. И отсутствие это нельзя заполнить никакими крупными пожертвованиями. Слова «Милости хочу, а не жертвы» остаются всё той же вечной божественной истиной и заставляют чуткого человека сильнее вдумываться и глубже искать причины общественных зол» *(Там же. С. 202)*.

КОНЕЦ ВТОРОГО ФРАГМЕНТА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОГО ЭПИЗОДА

Фрагмент Третий.
СКРИПАЧ НЕ НУЖЕН, или
НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО
(9 сентября – 21 октября 1893 г.)

…**Л**юбящая жена, сдерживаясь в письмах, мысленно давно кричала ему: *довольно* Бегичевки, *довольно* риска слабеющим здоровьем 65-летнего старика! *Довольно* моего одиночества с детьми и делами! И природа его, физическая и психологическая, в изнурении вопила о том же… И действительно, *с него было довольно*. Царь Лев, духовный Государь народной Руси, покончил с изначально ненавистной ему «благотворительностью» посредством денег и торгашей,

посредством подачек от городской толстосумной и интеллигентской сволочи. Третий Фрагмент Тридцать Седьмого Эпизода нашей аналитической презентации Переписки Л. Н. Толстого с супругой, с Софьей Андреевной Толстой, будет заполнен уже не столь «историческими» и гораздо менее драматическими по внешнему содержанию письмами, нежели два предшествовавших. Постараемся, однако, чтобы читатель наш не заскучал, выделить (немного сократив тексты), *ключевую тему* данного Фрагмента. На наш взгляд, тема эта — тема *семейная*, о делах и судьбах детей Софьи Андреевны и Льва Николаевича Толстых.

Безобразия народной жизни, которые пришлось видеть, в ходе помощи народу отцу и сыну Львам — весьма по-разному повлияли на них. Младшего, воспитанного мамой и барским развратом — они травмировали физически и душевно, "запустив" развитие тяжёлого психосоматического заболевания (по высокому вероятию, тоже наследственного, от мамы, переживавшей, судя по нарушениям самочувствия, развитие собственного тяжёлого заболевания). Что же касается отца, Льва Толстого — он, как мы уже говорили, "финишировал" дело своего Министерства Добра в изнурении сил, но с достоинством и с теми же выводами, с которых начал в письме Н. С. Лескову от 4 июля 1891 г., которое, по его значительности для нашей темы, мы подробно анализировали в соответствующем месте. Важнее любить народ, нежели «кормить» своими городскими подачками — из того, что от народных же трудов и отнято!

Ни от народа Толстой страшным бегичевским опытом не отвратился «в пользу» семьи и своих детей, ни от христианского понимания жизни — о котором именно в августе-октябре 1893 г. напомнит миру в концептуальной, великолепной новой своей статье «Религия и нравственность». Сформулированная в ней концепция трёх различных религиозных пониманий жизни, сменяющихся в ходе духовного роста и личности, и референтной ей культурной общности, и всего культурного человечества — "ключик" к пониманию едва ли не всех конфликтов с современниками и потомками Льва Толстого-христианина и его идей, его духовных писаний, фактов его жизни. В частности, "ключ" к ответу на вопрос о непонимании Софьей Толстой выраженной Л. Н. Толстым в устных беседах и дневнике мысли о контрпродуктивном *соперничестве* родителей в воспитании детей. Для своей семьи, как мы помним, она в мемуарах «Моя жизнь» (то есть, как минимум, до 1910 г.) напрочь отрицала такое «соперничество», встречно жестоко обвиняя мужа в судьбах детей — за недостаточное участие в воспитании, за заботу о славе и всенародной любви *(см., напр.: МЖ – 2. С. 316, 319-320)*. Выше мы показали, что

коренная причина этих несправедливых обвинений — как раз в различии религиозного понимания жизни у Сони и Льва: всемирно-божеского, христианского у Толстого и низшего, языческого и еврейского (иначе: общественного или государственного), у Софьи Толстой. Она искренне не понимала мужа. Поэтому и соперничество, отрицаемое ей — было, хотя и не носило со стороны Толстого никогда форму открытой личной вражды, характерной для психологии взаимоотношений носителей двух низших жизнепониманий: первобытно-личностного (эгоистического) и еврейского (общественного). В тогдашней России обрядоверы лжехристианства «православия» с детства, и большинство на всю жизнь, порабощались церковному учению, удерживавшему их в дохристианском, низшем, языческом и еврейском, понимании жизни, и с атавизмами жизнепонимания животно-эгоистического.

Но недаром гласит народная мудрость: «На всякого мудреца хватает простоты». Ахиллесовой пятой Толстого оставалась и после «Крейцеровой сонаты» проблема семьи и брака, социальных ролей и значения женщины в современном ему обществе. Эта слабость христианских позиций Толстого (а точнее: отступление от них, уступка мирским суевериям) проявлялась особенно резко в *различии* отношения Толстого к матримониальным судьбам своих мужских и женских ближайших родственников. Если «неровня» в браке сына или брата с болезненностию, но “проглатывалась” им, то к амурным отношениям дочерей с молодыми мужчинами он оказался строг безжалостно — и далеко не всегда справедливо и разумно. Один из сюжетов такого строгого вмешательства отразился в письмах супругов хронологически обозначенного нами Эпизода и будет достаточно подробно описан ниже.

* * * * *

В мемуарах «Моя жизнь» С. А. Толстая вспоминает об этих днях:

«9-го сентября я повезла Андрюшу и Мишу в гимназию <в Москве>. Тяжело мне было оставлять в Ясной Поляне больного сына Лёву, любимого мужа и Ваничку, на которого всегда с таким умилением смотрел Лев Николаевич, да и все. Тяжело было и покидать деревню, леса, природу, простор и тишину… […] Убеждала я себя, что делаю необходимое, воспитывая сыновей, и очень старалась делать наилучшее» *(МЖ – 2. С. 327)*.

Но в понятиях о «наилучшем» урождённой москвички Сони Берс, в замужестве графини Толстой, отразились все предрассудки и

страхи именно барские, а так же и городских, и притом зажиточных обитателей — что видно из такой, для примера, её сентенции на страницах мемуаров, которой она, в числе прочего, пытается истолковать мрачное и нервное своё настроение в ноябре-декабре 1893 г. из-за нежелания мужа переезжать на зиму в Москву и его обыкновенное тоскливое состояние в первые дни после вынужденного переезда в Хамовническую усадьбу:

«Переехать опять на житьё в Ясную Поляну — я не решалась, да никто об этом и не говорил. Я видела, как нелепо, как исключительно положение барчуков среди народа. Сверстники их, ребята, ждут от господских детей, чтобы с ними съездить в лавочку, в лучшем случае купить сладостей, в худшем — табак и водку. С крестьянскими девочками обращение барчат вольное, опасное. Учиться в деревне скучно, нет товарищей, нет соревнования. Потом охота, грубые нравы, отсутствие общества порядочного, искусства и всего того, что хорошего даёт город» *(Там же. С. 336)*.

Из дальнейшей переписки супругов мы увидим, что реальное влияние на детей Толстых омерзительной во все времена клоаки под названием Москва оказалось далёко от идеалов Софьи Андреевны.

Она делала казавшееся ей наилучшим для себя и детей — оставаясь в рабстве мирских установок предрассудков, до сего дня мотивирующих в России помыслы и поступки рабов и жертв цивилизации городской, и одновременно — пережиточно патриархальной и паразитарно-эксплуататорской, насильнической, грабительской в отношении деревни. Оттого и в нашем XXI веке в российской деревне (где она ещё осталась) и меньше доступа к культурному всечеловеческому достоянию, и пьянство с блудом не изжиты, и прочие слагаемые вековечной «власти тьмы», соприкасаться с которыми потомки деревенских жителей избегают, наезжая «на малую родину» лишь как на дачу — в летнее время.

А Лев Николаевич Толстой, в свою очередь, оставшись в Ясной Поляне — тоже, по давнему и любимому изречению, делал наилучшее из возможного и должного: но не перед людьми, а перед Богом. Он, например, с помощью дочери приютил недалеко от Ясной Поляны, в дер. Овсянниково, одну из самых преданных своих единомышленниц во Христе, Марию Александровну Шмидт, оставшуюся одинокой после смерти своей лучшей подруги (и тоже единомышленницы Толстого) Ольги Баршевой. И как раз около 9 сентября Толстой начал писанием большую статью с рабочим названием «Тулон» (известную читателям под названием «Христианство и патриотизм») — выражающую его скепсис по поводу франко-русского союза, заключённого якобы «во имя мира». Кстати сказать, статья, в частности, имела и

педагогическое значение: как протест против военно-патриотического оболванения детей и молодёжи. Продолжил Толстой работу и над статьёй «Религия и нравственность». Эта статья Льва Николаевича представляет собой ответ на полученное им в августе 1893 г. письмо профессора философии Берлинского университета Георга Гижицкого, в котором он просил ответить на два вопроса: 1) что Толстой понимает под словом «религия»; 2) считает ли он возможным существование независимой от религии морали? Эти вопросы совпали с логикой размышлений писателя, поэтому он постарался ответить на них со всею возможной обстоятельностью.

Столь же обстоятельно, упоминая и о работе над статьёй, сообщает Лев Николаевич жене немногие после её отъезда новости — почти сразу после отъезда, в письме от 9 сентября:

«Нынче с утра Ваничка опять кашлял тем же неприятным кашлем, но только утром. После завтрака мы его пустили гулять. Погода у нас совершенно летняя. Они ходили к поручику <к лесному сторожу. – *Р. А.*>. Таня поручила им снести деньги. Шли лесом и принесли и белых грибов и рыжиков. Он очень весел и мил. И надо надеяться, что кашель его пройдёт без лечений. Саша тоже в насморке. После обеда мы их не пускали.

Лёва жалуется, но наслаждается погодой, много ходил, и если ему не лучше, то наверное не хуже. Таня писала в мастерской […], и Лёва с нею. Маша ездила, отвезла Марью Александровну <Шмидт> в Овсянниково и пробыла там весь день. Писала, в лесу работала и, вернувшись в сумерках, тоже очень довольна своим днём.

Я писал так же, как и вчера, ответ немцу о том, что я полагаю под словом религия. Потом немного заснул и пошёл за рыжиками в дальние ёлочки. Набрал полну корзину. Вечером не рубил, не пилил, а писал письма, и теперь вот свезу их сам на Козловку.

Вчера вернулась с почтовым Таня Андреевна <Кузминская>, здоровая и очень довольная… […] Ходя за грибами, думал об Андрюше, об его отношениях с тобой и о том, как тебе тяжело главное от принятого им недоброго тона, когда ты обращаешься к нему. Прощай, целую тебя, Андрюшу, Мишу. Дружеский привет Павлу Петровичу» *(84, 191 - 192)*.

Павел Петрович Кандидов был нанятым Софьей Андреевной для Миши и Андрея домашним репетитором. Но не один он вошёл тогда в статьи крупных семейных расходов, своего рода дани заведённому порядку барской жизни. В эти же дни Софье Андреевне пришлось

искать нового музыкального учителя для детей — о чём, в числе прочего, сообщает она мужу в ответном письме из Москвы уже 10 сентября:

«Сейчас получила от вас письма, и сейчас же отвечаю и тебе, Лёвочка, и Тане, и вообще всем, хотя мало что можно рассказать об одном, прожитом в Москве, дне.

Встали все рано, Павел Петрович <Кандидов> не ночевал дома, и задержался у какого-то товарища, споря о толстовских идеях. Я ему советовала беречь свою душу, не тратя её в бесполезных прениях. Странный он человек: ребячливый и неотёсанный, но с хорошей натурой.

Как меня поразила твоя записочка к Андрюше, милый Лёвочка! Только что, ну, несколько минут перед этим, он мне отвечал грубым тоном и между нами произошло столкновение. Кажется, записка и это совпадение произвели на него некоторое впечатление.

Утром ездила везде неудачно, не заставая никого, не находя ничего, что нужно. Учителя скрипки искала, спросила Гржимали <Иван Войтехович Гржимали (1844 – 1915), чех, скрипач, заслуженный профессор Московской консерватории. – *Р. А.*>, он только указал на одного из молодых профессоров, которого очень хвалил, а именно Соколовского, у которого я и была сегодня же вечером. Но цена меня ужаснула: 5 рублей за час, и это он *уступил*, а обыкновенно он берёт 10 руб. Не знаю, на что решиться.

Дальнейшие мои поездки сопровождались такими болями в кишках, что я решила раньше ехать домой и дела отложить. С трёх часов сидела дома, обедала с детьми; после обеда приехал директор типографии, а артельщик исчез, деньги запер и явился ко мне уже поздно, мертвецки пьяный. В первый раз я его видела в таком виде, и когда он протрезвится, то я ему сделаю строгий выговор и погрожу тем, что разочту.

Мне всё время завидно всем вам, что вы в деревне, а я здесь, и никогда мне не было так безотрадно, как этот раз. Ни к чему не могу приложить души, ни к воспитанью мальчиков, ни к изданию, ни к делам, — всё кажется не для чего. Но это, вероятно, пройдёт. Андрюша вообще ужасно неприятен и со мной, и с Павлом Петровичем, и с Мишей, и с собакой, которая очень здесь несносна; лезет всюду с недоумением, скучает, голодает, гадит. Я очень жалею, что взяла её.

Как хорошо, что тепло; вчера Дунаев говорил, что в Нижнем он читал у своего знакомого доктора медицинский журнал и был поражён описанием нервно-желудочного катарра, до чего это картина

Лёвиного нездоровья. А лечение главное — укрепляющее нервы. Вот и хорошо, что Лёва может теперь брать ванны; хоть бы бог дал подольше тепла!

Теперь о масле. Я очень прошу Дуняшу сходить к скотницам посмотреть, как они бьют и моют масло и научить их. Мне отпустили такую мерзкую, жидкую, кислую гадость вместо масла, что бросить надо. А жаль добра: 8 вёдер молока дают коровы в сутки. И Ивану Александровичу скажите. — Извините за такое поручение.

Сейчас снесём письма и зайдём к Елене Павловне с мальчиками. Прощайте, целую всех. Я не в духе оттого, что живот мой что-то расстроен и воздух грозовой, завтра напишу получше.

С. Т.» *(ПСТ. С. 568 - 569).*

Здесь лучше ничего не сокращать, даже подробности о масле: так тесно сознание жены Толстого связано со всею этой рутиной повседневности! Но диалог супругов затрудняется с обеих сторон: дела повседневные и творческие заполняют и яснополянские дни Льва Николаевича. Е. И. Попов в письме к Т. Л. Толстой жалуется даже, что Толстой-де «в писании своём разбросался: на столе у него и Мопассан <дописываемое Предисловие к сочинениям Мопассана. – *Р. А.*>, и О религии <статья «Религия и нравственность»>, и Тулон <буд. статья «Христианство и патриотизм»>; кроме того, каждый вечер мы переводим и пишем с ним объяснения к Лаоцзы» *(Цит. по: Гусев Н. Н. Летопись… 1891 – 1910. С. 106).* Поэтому только 11 сентября Лев Николаевич отправляет супруге письмо, да и то в несколько строк (вероятно, на открытке):

«Нынче пишу в торопях, сейчас едут, а мы с Таней зачитались Мопасаном. Погода удивительная. Постоянно поминаю и жалею тебя. Что это от тебя нет писем. Мы все здоровы. Ваничка всё меньше и меньше кашляет. Целую тебя и детей.

Л. Т.» *(84, 193).*

Не дождавшись ещё с почтою этой открытки, любящая и оттого нетерпеливая Софья Андреевна начинает писать вечером 12 сентября новое большое письмо в Ясную Поляну — с последними новостями:

«Ни вчера, ни нынче не было от вас писем, но я надеюсь, что всё у вас благополучно. Здесь очень тепло, хотя всякий день дождь и ветер, иногда неприятный. Сегодня очень хотелось поехать за город, хоть немного походить по лесу и по траве; но дети второй год стремятся видеть скачки, и пришлось им уступить и поехать на скачки. Ещё Миша пригласил с собой Дмитрия Капниста. Им, кажется, было весело, тем более, что в первый раз; а мне показалось очень утомительно и скучно сидеть на месте четыре часа сряду. И странно бывает после деревни это впечатление города. Вся эта масса народа, беспрестанные поезда, вся Москва видна, загромождённая домами и церквами, тотализатор, грубые, с выражением дурных страстей, лица, особенно старые, женские, актрисы из Парадиза — всё это так тяжеловесно, не нужно, не чисто. Не могу скрыть, что очень тоскую по деревне, природе, рыжикам и всем, кого оставила. Андрюша всё более и более неприятен, груб и непоправим. То он в конногвардию пойдёт, то на миллионерке женится, то грубо оправдывает курение, то резиновые шины его идеал — просто тоска его слышать. Теперь ушёл один с собакой гулять, а пришёл Алексей Митрофаныч и играет в шахматы с Павлом Петровичем. Уроки мальчики приготовили, но у них так мало ещё уроков, что совсем не стоило так рано приезжать.

Ну вот, сейчас почталион принёс письма от вас. Слава богу, что всё благополучно и хорошо у вас; мне веселее, что вам всем хорошо и меня это утешает в том, что мне не хорошо и скучно.

Дама приехала к вам напрасно; терпеть не могу этих любопытных, экзальтированных дам. Ножичек Ване постараюсь найти тупой <о такой игрушке для младшего братца просила в письме к маме от 11 сентября дочь Саша. – *Р. А.*>; спасибо Саше за её письмо; ошибок сначала почти нет, и я порадовалась, а под конец пошло хуже. Про Лёву я так и думала, что с теплом он бодрее, и если такая погода продлится, то ванны ему помогут; начавши, можно будет немного продолжить и в худшую погоду.

Андрюша […] читал «Крейцерову сонату».

[…] Вчера я ездила по серьёзным делам, т. е. по банкам, с деньгами возилась и искала заказать бумагу для «Первой книги для чтения». Меня опять обманули с бумагой и опять приходится искать, какая фирма самая добросовестная. У Говарда встретила сияющего, здорового Сытина, просила о Петьке <Арбузове, сыне лакея>; он немедленно охотно согласился и сказал, что ничего не будет стоить <его обучение>, буквально ни копейки, ни платья, ни прачка, ни еда, ни квартира. Привозить его в октябре, и он очень рад способному к рисованью мальчику, их так мало, — говорил он. Порадуй Аришу, и

пусть не скучает его отдать, мы зимой его будем иногда брать и позаботимся о нём.

После обеда вчера приехала ко мне Елена Павловна <Раевская> с Гришей, и мы с ней в саду сидели и много по душе разговаривали. Особенно много говорила она о Маше. Вот, Маша, тебе интересно бы было слышать наш разговор! Результат его, что мне очень, очень жаль Петю <Раевского>. Неправда ли, *этого* вы никто не ожидали. Писать всё, что я слышала вчера от Елены Павловны, а сегодня от Алексея Митрофаныча — неудобно. Когда приеду, расскажу. Тут всё основано на таких тонкостях, на особенности характера семьи Раевских, что, пожалуй, всего и не передашь хорошо письменно.

Когда Елена Павловна с Гришей уехали, я позвала Андрюшу, Мишу и Павла Петровича <Кандидова, репетитора> погулять. Вот ночь-то была, прелесть! Но в городе и эта красота какая-то ненужная, грустная и путающая жизнь городскую. Мы шли по аллеям Девичьего Поля, дошли до Дунаева и зашли к нему. Сидят вдвоём муж и жена; он огородную книгу читает. Начались с Павлом Петровичем обычные разговоры *о принципах*, как я называю; поднялась между супругами опять та же, всегда существующая, но иногда затаённая до случая горечь, и мне стало тяжело. Пошли поскорей в садик и огород, который при луне показывал Дунаев, а затем домой. Завтра придут с образцами бумаги, придёт плотник кухню пристроивать, придёт маляр флигель оклеивать, и проч. и проч. В первый раз в жизни я ни на какое дело не кладу ни капли энергии и мне всё всё равно. Не знаю уж, к чему это. — Приехал Поша, я ещё его не видала, он был у нас в моё отсутствие, завтра придёт в 11 часов. Через три дня поедет он в Ясную; с ним пришлю образчики тёте Тане, ножичек Ване и всем винограду. […]

Алексей Митрофаныч уходит и забросит это письмо, потому кончаю и прощаюсь. Целую всех, не обижайтесь никто, что ни к кому не обращаюсь; знаю, что читать будут все вместе вечером, и всем будет спать хотеться, а почту надо ждать. Я пишу третье письмо. Будьте здоровы и веселы. Сегодня Фаддеевна меня испугала: корчи, спазмы, но прошло от иноземцевых капель. Мне лучше, а то всё живот болел.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 570 - 572)*.

Картина по приведённым письмам С. А. Толстой, с дополнением иными источниками, вырисовывается интересная. Дело в том, что из дома Толстых только что был изгнан музыкальный учитель и врач Зандер, в которого серьёзно влюбилась летом 1893 г. дочь Маша. В

связи с этим Софья Андреевна даже соглашается сперва на дорогого учителя и лишние расходы — только бы не было речи о возвращении Зандера! – но потом, разумеется, берётся найти более дешёвого музыканта. Одновременно поднимается старая тема отношений Марьи Львовны с Петром Раевским, так же грубо прекращённых волей родителей. В свете последовавшего сближения с Зандером, уже отвергнутый вариант с Раевским кажется Софье Андреевне, конечно же, более выгодным для семейства. Ведь сама она — дочка обрусевшего немца и мещанина А. Е. Берса, врача. Родись (представим такое) от брака Марии Львовны с доктором Зандером дочь — *кем* она будет для всей патриархальной России? Верно: дочкой обрусевшего немца, врача. Херовая карьера… А вот Петя Раевский — тот хотя бы аристократ. И Соничка всячески пытается оправдать своё уже непоправимое решение, отказ в руке дочери сыну покойного друга Толстого — отыскивая рационализации в «особенности характера» семьи Раевских и, надо полагать, лично П. И. Раевского. Напомним читателю, что в конце концов в июне 1897 г. Мария Львовна Толстая будет выдана замуж за князя Николая Леонидовича Оболенского (1872 – 1934), внука сестры Л. Н. Толстого Марии Николаевны, человека безденежного, простоватого (временами до глупости), но уж зато — и безусловного аристократа, и, главное, человека родственного и “ручного”, предсказуемого: без каких-либо настораживающих «особенностей».

К тому же 12-му сентября относится и письме Л. Н. Толстого жене: а если быть точным, большая “взрослая” приписка на обороте листочка, на котором Ваничка Толстой написал несколько слов для мамы. И вот что приписал к ним папа:

«Саша с Ваничкой принесли мне это письмо, и я рад, что не пропущу нынешнего дня, не написав тебе. Я ходил нынче за грибами по черте <«Чертой» называется часть казенного леса «Засеки», соприкасающаяся с имением Ясная Поляна. – *Р. А.*> и на пчельник — нашёл несколько белых и всё о тебе думал. Верно ты ездила нынче, воскресенье, за город. Красота и теплота необычайная. Что твоё здоровье? Будь, пожалуйста, осторожнее при перемене образа жизни, воды. И одна, некому о тебе позаботиться. Я знаю, что ты воздержна, но ты необдуманно ешь, что попало.

У нас дама, Минкевич, про которую, верно, Таня писала тебе. Дама умная, но лишняя. Она нынче уезжает.

[…] Ваничка по утру ещё кашляет, но только поутру. Сейчас лежал со мной на диване внизу. Я рассказывал ему сказки. Он очень мил. Целую мальчиков. Скажи им, что я прошу их заботиться о тебе.

Лёва нынче ездил на охоту и сейчас пришёл ко мне и жалуется, что объелся и изжога. Он дурно сделал, что ездил. Я сказал ему, и он согласен.

Мы, большие, здоровы и тебя любим и ждём уж скоро. Бог даст, погода постоит до тебя. Целую тебя, прощай.

Л. Т.» *(84, 193).*

В следующем своём письме, 14 сентября, С. А. Толстая хоть и не упоминает о получении вышеприведённого послания мужа от 12-го, но, по всей видимости, отвечает уже на него и на письма детей:

«Сегодня опять холодно, и моё стремление ехать за город и быть в лесу и в поле — понемногу улеглось и уже я никуда не стремлюсь, тем более, что всё нездорова, т. е. не совсем здорова. Сегодня и вчера совсем и не выезжала, только вечером побывала у тётеньки Веры Александровны, которая переехала и совсем одна. Андрюша и Миша были со мною. На минутку заезжали к Раевским, которые звали нас обедать, но мы не пошли обедать, в шесть часов поздно для нас. […]

Жаль, что холод может остановить ванны Лёвы; если будет ясно, не сыро и не ветрено, то, я думаю, что ванны с большой осторожностью можно продолжать, хоть не всякий день. Не давайте ему уставать; я помню, как Руднев толковал, почему не хорошо работать физически при болезни желудка: усиленная работа возбуждает усиленный голод, желудок же слабый не выносит большого количества пищи.

Сегодня опять было столкновение с Андрюшей за Мишу. Если Миша только позовёт Heddy, то Андрюша кричит на него неистово; а Мише, бедному, конечно, поиграть хочется, хотя бы с собакой. Сегодня я очень рассердилась и грозила ему отдать его в закрытый пансион. После этого он очень присмирел, учился усердно и был тих. На долго ли? Вчера ходил к Гильоме пальто заказывать, к Шенбруннеру ружьё чистить и к французскому парикмахеру *причесаться*; а волосы острижены под гребёнку. Вот и пойми его.

Сегодня у меня было много посетителей. Был Salomon, Дунаев, Алексей Митрофаныч, Ваня Раевский и <художник Леонид Осипович> Пастернак. Я пришлю с Пошей иллюстрацию «Войны и мира», очень интересное издание, хотя моменты выбраны не самые художественные. Пастернака рисунки, пожалуй что, лучше других. Вот

увидите. Он так много говорил, так смущало меня его присутствие при оценке его же картин, что я спуталась и не разберусь в оценке их, что хорошо и что дурно.

Намекал он мне на желание преподавать живопись Тане; он даёт просто уроки за деньги, и Николай Алексеевич Философов говорит, что его очень ценят, как учителя. Всё время он льстил всем нам, каждому в особенности, говорил, что у Тани всё есть для хорошей художницы, что ей надо больше рисовать, — вообще сидел долго и говорил много; что он просто влюблён в Льва Николаевича.

Ваня Раевский за лето спустил 37 фунтов, здоров и бодр; также прост, ясен и молчалив, как всегда. Очень интересовался Лёвой и выразил, насколько он это умеет, свою любовь к Лёве, вспоминал их первый медицинский курс. — Что-то Миша Кузминский? Сегодня писем не было, я и не жду всякий день, хотя сама пишу ежедневно, только раз пропустила.

[…] Не нужно было, столько манкировок учителей; это меня Лёва сбил. Учителя музыки до сих пор не нашла; не могу ездить, а без беготни ничего не добьёшься. Сегодня всё с артельщиком занималась, и ещё дня на два работы; это сидишь, так ещё ничего. — Миша очень тих, мил, уроки готовит усердно, а учителя не ходят, и заряды энергии пропадают. — Таня, моя дочь, ты не езди без моего приглашения; может быть я 23-го не могу приехать; надо непременно при себе выпустить издание и начать перестройку кухни. А здесь, по случаю праздников, никаких работ не добьёшься.

Прощайте, милые друзья, все вместе; целую вас всех. […]» *(ПСТ. С. 572 - 573).*

На письмо жены от 12 сентября Толстой хотел было отвечать 14-го, но не сложилось: лишь сделал к письму дочери Татьяны такую небольшую приписку:

«Хоть два слова припишу, что мы здоровы и были бы вполне благополучны, коли бы ты была с нами. Л. Т.» *(84, 194).*

И только 15 сентября для Софьи Андреевны было написано и отправлено по почте такое обстоятельное послание:

«Вчера не успел тебе написать хорошенько.

Нынче Ваничка пришёл за чай, и я ему рассказал, что ты нездорова. Я видел, как это огорчило его. Он сказал: а что, как она очень заболеет. Я говорю: мы тогда поедем к ней. Он говорит: и Руднева повезём с собой. Потом пришёл Лёва и послал его к Тане спросить

письма вчерашние. Надо видеть, как он всё понял, с какой радостью побежал исполнить, как огорчился, что Лёва думал, что он не так передал. Очень мил, больше чем мил — хорош.

Вчера была прекрасная, свежая погода, и я пошёл пешком в Тулу. Там мне хотелось видеть Булыгину, Давыдова и на почту. Я очень приятно и легко дошёл и встретил Давыдова, но мы не узнали друг друга. Но, узнав на его квартире, что он поехал к нам, я поспешил и взял извощика до Рудаковой горы, а тут встретил Казначеевского извощика, который предложил меня довезти. В Засеке же я встретил Давыдова и вернул его в Ясную. Он очень мил, рассказывал, что в «Figaro» напечатана выдержка из моей последней книги Царство Божие о рекрутском наборе. Это немножко неприятно.

Ещё мне неприятно то, что Маша опять завязала отношения с Зандером. Она отказала ему резко, слишком, кажется, резко. Он отвечал ей письмом, которое и меня тронуло. Я написал ему письмо, жалея его, и думал, что на этом кончится. Но она на это письмо написала ему другое, в котором говорит, что не отказывает, что всё остаётся на том, что было, когда он уехал, т. е. ждать до нового года. Она мне очень жалка. Я надеюсь, что она опомнится. Но надо, чтобы это сделалось в ней самой и в её отношениях с ним. Внешнее воздействие может только помешать хорошему и разумному исходу. Она не говорила этого ни Тане, ни Вере, но говорила мне под условием, чтоб я не говорил им. Я говорил ей нынче, чтоб она тебе написала. А она сказала, что уже написала во вчерашнем письме и нынче опять пишет. Не брюскируй её. [т. е.: «Не будь с ней резка»] Очень это жалко, но если она так болезненно настроена, то помочь ей можно только лаской и добром. То, что ты пишешь про Раевских, тоже очень тяжело. После Пети Раевского и Поши выбрать Зандера! — Когда увидимся, переговорим. Главное, надо как ей, так и нам, ничего не предпринимать. Я ей это говорю, а она написала другое письмо. Она точно больная. Воображаю, как это огорчит тебя. Дай Бог, чтобы меньше, чем меня. Целую тебя и детей.

Л. Т.» *(84, 194 - 195).*

Вот не нужен бы совершенно в этой переписке скрипач. С ним, как казалось родителям Толстым, всё было решено к исходу лета. Но сердцу не прикажешь… и нам придётся в комментарии воротиться из ранней осени 1893-го назад в лето этого года и некоторые события его. Бедный еврей, студент-медик Николай Августович Зандер (1868 – ?) был нанят в дом Толстых как учитель игре на скрипке, но сделался вскоре третьим (за два года!) «сердечным» увлечением Марии Львовны Толстой — после П. И. Раевского и П. И. Бирюкова

(“Поши”). Софья Андреевна отзывается о нём в мемуарах кратко и без малейшей приязни:

«Он кончал медицинский факультет, играл на скрипке и был недурной, но очень уже пошлый человек. Гордый барин, горячо привязанный к дочерям своим, Лев Николаевич очень страдал от этого увлечения, кончившегося, к счастью, ничем» *(МЖ – 2. С. 325)*.

Лукаво и хитро, указав на аристократические неизжитые Толстым предрассудки и повадки, Sophie обходит молчанием более глубокие причины неприязненного отношения Л. Н. Толстого к буржуазным «браку» и «семейному счастию» вообще. Между тем и «Крейцерова соната», и «Послесловие» к ней были Толстым уже написаны, а стараниями жены его — отправлены в российскую печать, и если бы семейная история с Зандером какой-нибудь несчастной случайностью сделалась достоянием сплетников — всякий из них без труда и справедливо совместил семейное событие, отказ жениху, с проповеданным Л. Н. Толстым в повести и особенно в «Послесловии» к ней христианским идеалом целомудрия и безбрачия, нравственной и трудовой жизни *(см.: 27, 30 – 31, 84, 386 и др.)*. Несомненно, дочерей Татьяну и Марию, как, в разной степени, но близких ему, он (тоже в разной степени) считал “кандидатками” на осуществление в его семье этого идеала. В особенности — Машу, такую трудолюбивую, такую… послушную, да к тому же и некрасивую по меркам *той* эпохи!

Эту нашу догадку подтверждает запись Л. Н. Толстого в Дневнике 1897 года, под 16 июля, касающаяся уже упомянутого нами события, замужества М. Л. Толстой:

«Маша вышла замуж, и жалко её, как жалко высоких, кровей лошадь, на которой стали возить воду. Воду она не везёт, а её изорвали и сделали негодной. Что будет, не могу себе представить. Что-то уродливое, неестественное, как из детей пирожки делать. […] Ужасно! Страсть, источник величайших бедствий, мы не то что <не> утишаем, умеряем, а разжигаем всеми средствами, а потом жалуемся, что страдаем» *(53, 147)*.

Вот такое «несчастье». Это дневниковое суждение Толстого сближается с другим, в одной из черновых редакций «Крейцеровой сонаты»:

«Девушка, обыкновенная, рядовая девушка какого хотите круга, не особенно безобразно воспитанная, – это святой человек, это лучший представитель человеческого рода в нашем мире, если она не испорчена особенными исключительными обстоятельствами. Да и обстоятельства эти только двух родов: свет, балы, тщеславие и несчастный случай, сближение с другим мужчиной, разбудившим в ней чувственность» *(27, 386)*.

В эти же дни 1897 года Толстой усиленно работал над трактатом «Что такое искусство?», и оттого проблема влияния искусства на помыслы и чувственность человека была для него не менее актуальна, чем в период работы над «Крейцеровой сонатой». По сюжету повести, выражаясь образно, «дьявол» — при посредстве чувства ревности и музыкальных впечатлений — похищает душу Позднышева, позволяя ему не только убить ложно обличённую в измене жену, но и подвести под своё дело зверя специфическую систему рационализаций, содержащую, помимо субъективного, даже болезненного, и неопровержимую (ибо вышла из-под пера Толстого!) — социально-критическую часть. «Послесловие» к повести дополнит и усилит эту критику — утверждением христианского идеала — и, как и можно было предвидеть, вызовет реакцию неприязненного отторжения лжехристианского мира и от повести, и от её автора.

Прозрение Позднышева — запоздалое прозрение раба и жертвы мирских влияний: обмана и разврата, олицетворяемых в повести в образе пианиста Трухачевского. Тех разврата и общественно оправданной лжи, которые 34-летний Лев Николаевич вполне явил в записях Дневника холостых лет юной, ещё грезившей об идеальном муже дочери врача Соничке Берс — отравив ей первые же дни замужества. И которые, как и жена, узрел в 24-летнем, уже нравственно испорченном, горожанине (хуже того — москвиче!), *враче и музыканте* Николае Зандере.

Понимала ли ход мыслей отца сама Мария Львовна? Безусловно. В своё время, помимо жены, Толстой и её усадил за переписывание черновиков своей скандальной повести. Для юной Марии это было испытанием — близким к испытаниям её мамы в 1862 году, принужденной Львом Николаевичем узнать по его Дневнику дурные подробности его холостой жизни. Но мы никогда не узнаем, что переживала сама Мария Львовна, как сочетала своё безоговорочное служение познанным через отца Истине и идеалу христианства со своим же неудержимым в юности стремлением нравиться мужчинам и быть любимой “земной” любовью.

Свою позицию Л. Н. Толстой изложил в письмах дочери и её жениху от 3 августа 1893 г. *(см.: 66, 372 – 374, 377 – 378).* Жениху, в частности — вот это:

«Вы знаете мои взгляды на брак вообще: лучше не жениться, чем жениться. Жениться можно только в том случае, когда есть полное согласие взглядов или непреодолимая страсть. Здесь же нет ни того ни другого: взгляды, хотя вам и кажется, что они одинаковы, – совершенно различны, как они и были различны месяц тому назад; а страсти, по крайней мере со стороны Маши, я знаю, что нет, а есть

самое странное, быстрое, случайное, ничем не оправдываемое увлечение. То, что я вам пишу, я сообщу Маше, зная её любовь и доверие ко мне и боясь, злоупотребив этой любовью, насиловать её» *(Там же. С. 372)*.

Так или иначе, но в сложившейся в августе 1893 г. (и реанимированной любовниками в сентябре) ситуации оба родителя оказались, пусть и с разных мировоззренческих позиций, но — единодушны. Это единодушие хорошо обозначает запись в Дневнике отца — от 16 августа 1893 года:

«Ещё и самое важное событие за это время было затеянное дело Маши с Зандером. Она была *очень жалка*. Теперь опомнилась и, кажется, отказала, но неприятности и путанная ложь во всём этом деле не кончена» *(52, 97. Выделение наше. – Р. А.)*.

Как видим, единодушное отвержение родителями бедного скрипача обозначено в записи Л. Н. Толстого даже лексически: как мы уже упомянули выше, определением «(очень) жалка/жалок» Софья Толстая характеризует в своих дневнике и мемуарах тех, кто нарушает себе во вред незыблемые, по её понятиям, порядки бытия, или же просто оказывается, по несчастному случаю, в «жалком» положении.

Приведённое нами письмо Л. Н. Толстого от 15 сентября супруга получила уже на следующих день, и тогда же, 16-го, отвечала, по обыкновению, достаточно пространно, в числе прочего недвусмысленно указывая на долю вины самого Толстого в состоянии “грешащей” влюблением Марии Львовны:

«Сейчас мальчики пришли из гимназии и учатся на скрипке с новым учителем; это первый урок. Что-то он очень много пока говорит, и я предубеждена против него за то, что очень дорог: это один из преподавателей в консерватории. Хотела я ещё поискать, узнавала адрес Кламрота, сказали: Георгиевский пер. Ходила, ходила по Георгиевскому пер., так и не нашла, вернулась домой. Буду ещё искать, а то я ещё не решила этого оставить. В доме рамы вставляют, холодно, беспорядок, полотёры. В саду всё желтеет с страшной быстротой. Мишу спрашивали несколько раз уроки, и он пока получал хорошие баллы, а Андрюша всё говорит: меня не спрашивали, и что-то он путается. Не верить, — опасно, да если и правда, то он всякий раз сердится, когда его спрашивают о баллах. Вчера вечером сидели поздно со счётами: Дунаев, артельщик и я. Потом долго не могла заснуть, что-то страшно было.

Писать не о чем, всё скучно. От вас тоже последние известия не радостные. Машино письмо меня всю привело опять в отчаяние. Жаль мне её очень, она точно не нормальная какая-то; да и трудно молодому существу жить без жизненных радостей. Всё в работе, в деле, никакого общения с людьми равными, молодыми. Вот бы кому проехаться хорошо за границу!

Начала письмо утром, а теперь вечером получила сразу три конверта серых: и от папá, и от тёти Тани, и Маши, и Лёвы, и Тани. Читала все с волнением, каждому хотелось ответить, сказать что-нибудь, Ваничку поцеловать, что он *хорош*; в первый раз я почувствовала нетерпение увидать всех. — Сегодня вышло новое издание, так что это дело кончено. Завтра напечатаю объявления. Если Тане действительно не трудно будет пожить здесь, то я думаю ехать отсюда 22-го в ночь, а она пусть приедет 22-го же курьерским. — Дела мои, кроме уборки дома, к тому времени придут к концу. А дом уберу тогда при себе, это и лучше, а то с переездом опять всё затопчут.

Известие о том, что «Figaro» перепечатал опять одно из самых резких мест, меня очень огорчило. Такое чувство, что над тобой какая-то невидимая рука махает ножом, и ты вот-вот попадёшь под удар. Вообще всё известия не спокойные. О Лёве я постоянно думаю, и, если ему не лучше, то это уж хуже; надо бы поправляться. С 15-го ему надо было опять пить Виши.

Сегодня был Коля Маклаков. […] Говорил, что Зандер хорошо действует на холере, но что Цуриков рассказывал с негодованием, что приехала баба к нему с другой болезнью, и он ни за что не стал лечить, говоря, что он *на холере*. Цуриков говорит: «хуже подёнщика». Так и прогнал бабу.

[…] Очень трудно тут без прислуги. Я всё сама делаю: платья, пальто, башмаки, калоши чищу; мету комнаты, чиню, пыль стираю, постели стелю, тазы выливаю и ещё хозяйничаю. Времени и сил берёт много при других, серьёзных делах.

[…] Пастернак опять намекал на то, что готов учить Таню живописи, что школа пустяки, ничего не даст, что нужно другое и, пожалуй, что он прав. Как нашли вы рисунки?

[…] Поберегайте Сашу и Ваничку. Саша легко простужается, и из здоровой девочки может вырасти нездоровая девушка, если её не беречь. Хорошо бы вставить рамы в их детские; если будет северный ветер, то у них будет страшно холодно. Здесь мы мёрзнем, и я всё вставляю.

Завтра напишу Маше, Саше и Ваничке, а сегодня больше не могу. Целую их всех; понравились ли детям лягушки, наклейки, виноград?

Ножичек Ваничке такой ли я купила, какой он хотел? Мне очень понравился. Ну, прощайте, будьте все здоровы.

С. Т. […]» *(ПСТ. С. 574 - 575).*

Зандер кончил учение и уже трудится «на холере», на врачебной практике — но *тень* его ещё не изгнана из толстовских пенат. Ещё не зная реакции жены на своё сообщение в письме от 15 сентября, Толстой следующее, от 18-го (приписка к письму Т. Л. Толстой), письмо, начинает снова с “опасной” темы:

«У нас, как видишь, всё хорошо, кроме Маши, состояние которой огорчает меня. Я не говорю с ней, и не знаю, что с ней. Хотя она довольно спокойна и весела. Всё то некогда, то я не в духе, и не сберусь поговорить с ней. Завтра поговорю» *(84, 195).*

И здесь же о других детях:

«Очень Ваничку люблю. Вчера пришёл утром и говорит: а я всё сидел в зале и думал, скоро ли мама приедет!

Как он тебя любит!

[…] Лёва умница, что раздумал ехать за границу. Я думаю, что ему лучше всего будет жить тихо в Москве под наблюдением доктора в хорошо топленных комнатах, а не переезжать из места в место за границей, и слушая в каждом городе новые и плохие докторские советы.

[…] Мише и Андрюше скажи, что я их прошу помнить о тебе и делать так, чтобы тебе не страдать от них» *(Там же. С. 195 - 196).*

Без сомнения, в следующих по хронологии двух письмах С. А. Толстой, от 17 и 18 сентября, тема отношений М. Л. Толстой с несчастным скрипачом была продолжена, но, как можно предположить, должная степень сдержанности отказала жене Толстого — и письма эти изъяты из общей, используемой нами, публикации 1936 г. В следующем же письме С. А. Толстой, от 19 сентября, есть и указание на вероятную причину такого раздражения: ей стали откровенные письма Л. Н. Толстого к Зандеру. В 1891 году она, как мы помним, сама посодействовала к публикации «Крейцеровой сонаты» — считая свой шаг мудрым, *упреждающим* светских сплетников, которые бы, рассчитывая на «разоблачение» и сенсацию, проводили параллели между сюжетом и идеями повести и личной жизнью четы Толстых. И вот 3 августа, а затем 6 сентября (второе письмо, более резкое, не сохранилось), в письмах к человеку, которому трудно было доверять, муж сам вполне откровенно сослался на скандальные идеи

своей повести как мотивацию для его отказа Зандеру в руке дочери. Отогнал *дважды* дерзкого любовника от Марии Львовны. Зандер вполне мог публично, даже в бульварной печати, отомстить, справедливо экстраполировав эти же идеи и на отношения Толстого с *женой* — приведя в доказательство располагаемый им текст толстовских писем. Нельзя сказать, что это было бы совершенным разоблачением некоей «семейной тайны» (ведь Толстой все эти годы и не делал тайны из *своих* воззрений на семью и брак), но определённо подогрело бы пыл и разожгло аппетиты сплетников. Вот отчего у Сонички лишь с третьей попытки получилось выразить свои чувства более-менее сдержанно, перенеся в письме от 19 сентября весь гнев на несчастного скрипача:

«*Читай лучше один.*

Милый друг Лёвочка, ты пишешь, как ты огорчён Машей и вообще всю её вновь затеянную историю мне описываешь. Но зачем ты дал себе расчувствоваться и написал письмо Зандеру? Ведь ты, по-видимому, в отчаянии, что всё это возобновилось; так, если твоё прямое чувство противится этому, то прямо надо действовать. Ведь нельзя же пустить Машу в её ненормальном состоянии броситься на шею этому жирному немцу только потому, что он сумел написать сантиментальное письмо? Нельзя себе представить Машу в этой немецкой, буржуазной среде с красноносым отцом, с ходьбой на рынок за сосисками и пивом, — с размножением белых Зандерят. Просто мерзость! Я не пишу ей, потому что не могу ничего другого опять написать, как то, что я говорила: семья или этот немец? Пусть выбирает; но пусть поймёт, что если не будет трагического, старинного проклятия родителей за непокорность дочери в браке, то будет холодное отчуждение, ненатуральные, снисходительные отношения, от которых ей будет во сто раз больнее, чем от самой резкой брани. И всё это променять, т. е. свою хорошую, ясную семью на неизвестного, по чужим толкам судя, — подленького человечка, который вроде Юнге <врач-окулист Эдуард Андреевич Юнге (1838 – 1898), женатый на Екатерине Фёдоровой, рожд. гр. Толстой. – *Р. А.*> через десять лет будет предпочитать жирную экономку своей исхудавшей в бедности и лишениях, подурневшей и постаревшей, интелигентной жене. — Вот что я думаю и не могу иначе. — И всё это будет делаться просто и даже добродушно, ибо с брюшком, спокойный, немецкий доктор всё должен производить благодушно, даже разврат. — Мне очень, очень жаль тебя, милый друг. Я думаю, что *тебе*

больнее, потому что мне противнее, а это легче, чем страдать с добротой.

Вот Ваничку ты полюбил, этому я рада. Тонко сотканный он ребёночек, боюсь только, что будет болезненный. Я думаю, он тебя утешал своей детской ясностью и любовью. — Маше я так и не могу написать, и не знаю, что и скажу. Всё то же. Целую тебя. Скоро теперь увидимся, чтоб расстаться потом ещё на более долгий срок. И Машу-то опасно в Москву везти в таком состоянии.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 576 - 577).*

Разумеется, Софье Андреевне, как дочери именно немца и доктора, было виднее… мещанскую жизнь подобных семейств она описала с не вызывающей сомнений достоверностью — не пощадив даже дальней родни, семейство Юнге. Но в целом излитые ею эмоции были излишни: муж был солидарен с нею в неприятии и этой среды, и лично скрипача Зандера. Дело было решено, на что и намекает Толстой в своём ответе 21 сентября, деликатно и своеобразно: *обходя молчанием* тему интимных отношений дочери, на которые мать только что излила в письмах столько праведного гнева. Хватало прочих известий, которыми давно нужно было затушить этот “пожар” родительской ярости:

«Вчера отвезли Пошу и получили твои два добрые письма <от 16 и 19 сентября>. Я ещё не спал и прочёл их. А все уж разошлись. Поша тебе рассказал про нас. Всё очень хорошо. И меня радует, что погода к твоему приезду, кажется, устроится. Таня очень занята письмами и приготовленьями к отъезду, даже не рисует. Дети маленькие ходят собирать по убранным садам яблоки. И няня с восторгом натаскала кучу. Лёва как будто пободрее. Евгений Иванович мне переписывает. И мы с ним перечитываем и исправляем перевод глубокомысленнейшего писателя, Лао-Дзи, и я всякий раз с наслаждением и напряжением вникаю и стараюсь передать, соображая по французскому <Жульена> и, особенно хорошему, немецкому переводу <Штрауса>. Не говорю о самых отвлеченных, но прелестных местах, вчера, например, переводили следующее: «Добрый человек есть воспитатель недоброго; недобрый человек есть Schaz, сокровище доброго. Если недобрый человек не уважает своего воспитателя, а добрый человек не любит своё сокровище, то, как бы эти люди не были учены, они в великом заблуждении» и т. п. Неправда ли, прекрасно? Или: делай добро в темноте ночи, как вор, чтобы никто не видал

тебя. Когда тот, кому ты сделаешь добро, не будет знать, кто его сделал, тебе будет та выгода, что ты не испытаешь неблагодарности, а ему и всем людям, что облагодетельствованный человек будет любить всех людей, про каждого человека думая, что это он сделал ему добро. Маша с Верой пошли пешком в Тулу, хотелось пройтись. Вернутся с поездом почтовым и тут же свезут Лиду. Какая она неполная — зачаток, $^1/_8$ человека, доброго человека. Я пишу всё свои ответы немцу о религии. Но нынче мало писал, — голова болела, и я пошёл гулять на Козловку, Ваныкино и домой. Так тепло было, что я всю дорогу шёл босиком.

Сейчас пришёл Лёва и зовёт наверх. Лида уезжает, и. Саша плачет, и няня тоже. Ваничка очень рад был твоим письмам. Его бедствие, что он с Митей хочет непременно, чтобы всё, что Митя, то и он. Что наши мальчики? Ils s'amusent tous seuls [Они увеселяются в одиночестве.]. Пусть они насчёт ученья помнят очень умное изречение их старшего брата, Серёжи, который говорит, что не стоит того дурно учиться, так мало нужно труда для того, чтобы избавиться от всех неприятностей и унижений, связанных с дурным учением.

Целую вас. Л. Т.» *(84, 196 - 197)*.

Мудрая (подсказанная, вероятно, Лао-Цзы) тактика Льва Николаевича сработала: Софья Андреевна больше не метала молний гнева ни в мужа, ни в дочь, ни в несчастного, окончательно изгнанного скрипача. Тому, кстати, нашлась требуемая замена: еврей Рывкинд, льстиво нахваливавший, к восторгу матери, «тонкий музыкальный слух» юного Михаила Львовича *(МЖ – 2. С. 327)*.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ФРАГМЕНТА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОГО ЭПИЗОДА

Фрагмент Четвертый.
ОСЕННЯЯ КАДРИЛЬ,
или ОДНА КОЛЕЯ НА ДВОИХ
(18 октября – 6 ноября 1893 г.)

Старшая дочь Татьяна в первых числах октября приняла на время у матери большое хозяйство Хамовнического дома и блюдение младших, учащихся детей, и Софья Андреевна на полмесяца смогла навестить милую Ясную: уже “завалившего” себя на всю зиму вперёд творческими проектами мужа, всё ещё болевшего нервами сына Льва и младшеньких. «Распорядившись хозяйственными делами, пожив с Львом Николаевичем и маленькими детьми Сашей и Ваней», она «с грустью уехала опять в Москву», забрав с собой джуниора для осмотра очередным врачом *(Там же. С. 330)*. Как повелось, Лев Николаевич не спешил за супругой на московскую зимовку, и дни, проведённые им в Ясной Поляне до вынужденного переезда, случившегося в этом году только 11 ноября, сопровождались перепиской супругов по самым разнообразным, преимущественно бытовым и личным, вопросам. Ниже, с некоторыми сокращениями и комментариями, мы знакомим читателя с письмами супругов этих дней.

Письма С. А. Толстой к мужу, написанные сразу по приезде в Москву, от 17 и 18 октября, не опубликованы. О письме 18 октября известно, что в нём сообщались подробности о состоянии здоровья Льва Львовича-младшего, которого осмотрел Захарьин, знаменитый доктор и давний друг семьи Толстых. В мемуарах «Моя жизнь» Софья Андреевна приводит из письма 18 октября такой характерный отрывок:

«Я ещё не привыкла, что мы опять расстались, и именно чувство отрезанной половины. Последнее время наше горе о Лёве было так одинаково, что это нас связывало ещё больше» *(МЖ – 2. С. 330)*.

Первое послание к жене Л. Н. Толстого — приписка 18 октября к письму В. А. Кузминской и М. Л. Толстой, для нас малоинтересная. К 20 сентября относится первый ответ на письмо С. А. Толстой от 18-го:

«Ждал известий о Лёве, о решении его и Захарьина. Вчера хотел ему написать, да был так вял и так зачитался вечером, что пропустил время. Зачитался я «Северным Вестником», повестью <Игнатия> Потапенко <«Семейная история»>, — удивительно! Мальчик 18 лет узнаёт, что у отца любовница, а у матери любовник, возмущается

этим и выражает своё чувство. И оказывается, что этим он нарушил счастье всей семьи и поступил дурно. Ужасно. Я давно не читал ничего такого возмутительного! Ужасно то, что все эти пишущие и Потапенки, и Чеховы, Зола и Мопасаны даже не знают, что хорошо, что дурно; большей частью, что дурно, то считают хорошим и этим, под видом искусства, угощают публику, развращая её. Мне эта повесть была coup de grâce [*фр.* решающий толчок], уяснившая то, что давно смутно чувствуется. Ещё там о сумашествии и преступности интересно было.

Вчера я много писал, — всё о религии, — и потом объелся за завтраком и весь вечер был вял. Нынче Маша с Верой поехали в Тулу. Маша повезла больных. Я утром много писал, всё тоже, — и пошёл им навстречу, дошёл до Басова и вернулся, они меня нагнали в засеке. И теперь пишу, и очень хорошо.

О Ваничке поминаю часто, скажи ему, что в корзинке мне некого носить. Как жаль, что Таня ковыряет себе зубы, пускай бы сами портились, а не дантист. Тулонские беснования, кажется, кончились, это утешительно. <Толстой имеет в виду празднества в Тулоне, которые происходили в 1893 г. по поводу заключения франко-русского союза. – *Р. А.*> Я перехожу завтра на верх, чтобы не топить совсем низа. Больше писать нечего. Письмо это верно тебе не нужно, но всё-таки посылаю. Целую Таню, Лёву, Андрюшу, Ми[шу], Сашу, Ваню и тебя. […] Л. Т.» *(84, 198 - 199).*

Толстой между тем, живя в Ясной Поляне из взрослых детей с одной только дочерью Машей, нашёл применение массе навещавших его гостей: он «распустил прислугу, и они всё делали сами, с помощью посетителей» *(МЖ – 2. С. 331).* Мария Львовна на тот момент, к большому удовольствию и матери и отца, «поборола в себе все страдания и сомнения и сосредоточила весь интерес жизни на отце. Всё делалось для его радости и удовлетворения. Она учила шесть дворовых детей, лечила народ и радовалась, что вылечила серьёзно больного воспалением лёгких мужика» *(МЖ – 2. С. 331).* Наверняка её вдохновлял пример «толстовки» М. А. Шмидт, фанатично обожавшей лично Льва Николаевича и, в отсутствие жены, ставшей в яснополянском доме постоянной гостьей.

На приведённое выше письмо мужа Софья Андреевна отвечала 23 октября следующим, начатым, как уже бывало, ещё до получения ожидаемой весточки:

«Что-то давно я тебе не писала, милый Лёвочка, и от вас три дня нет писем. Событий нет ни у вас, ни у нас, а обыденная жизнь, в которую впадаешь, как в старую колею, воображение всегда может восстановить и представить, вот и писать не хочется. Конечно, главное внимание моё направлено на то, чтоб следить за состоянием Лёвы; он вчера жаловался опять, что живот болит, и сегодня утром говорил, что ему не хорошо. Но это вновь меня не очень встревожило; здесь у всех осенний грипп, у Тани даже очень сильный, и она в грустном и угнетённом состоянии, а у Лёвы менее сильный. Таня вообще мне страшно жалка; я не пойму, огорчена ли она, что не едет за границу, или рада. Мне кажется, что скорее огорчена. Третьего дня провёл у нас вечер Миша Олсуфьев, приехавший на юбилей Поливановской гимназии. […]

Вчера я ездила, по просьбе своих детей, на юбилей Поливанова и прослушала все молебны, речи, адресы и телеграммы. Лучшая речь была <гр. П. А.> Капниста <попечитель Московского учебного округа. – *Р. А.*>; речь всегда льстива и фальшива, но он сказал так, что менее всех других это было заметно, а всё-таки было очень лестно для Поливанова. Мальчики всей гимназии были страшно возбуждены и сияли торжественностью.

Сейчас получила Таня твоё письмо, также Ваничка и Саша от Маши. Они были в восторге, и по лицу Ванички прошла целая гамма различных выражений. Он одобрил кивком, что мама винограду оставила; засмеялся, что вы с мышами друг друга не боитесь; ещё усмехнулся, что «письмо носить в корзине». На днях он случайно в углу около дивана гостиной увидал твой бюст. Надо было видеть его волнение и радость: он охорашивал руками и гладил голову (вот какое воображение, что он не чувствовал холода чугуна), потом обошёл кругом и начал целовать, забыв, что все мы смотрим на него. Удивительный мальчик пока; что-то будет.

Сегодня они немного гуляли; был град, дождь; вообще погода ужасная и у нас. Те дни мы всё сажали; выкапывали маленькие клёны и сажали вдоль забора от Олсуфьевского сада. Помогал Ваничка и артельщиковы мальчики, и было всем очень весело. Теперь и этого нельзя делать и наступает тоскливая *ноябрьская* пора. Сейчас мальчики играют на скрипке; Андрюшу берёт учитель в Симфоническое собрание; сегодня седьмая симфония Бетговена. Место даровое в оркестре. Утром они с Мишей ездили на Ходынское поле на своей лошади. Там садка была, т. е. пойманных раньше зайцев пускали в поле и пробовали резвость собак разные глупые и богатые господа. Мы с Таней доказывали Андрюше всю глупость этих занятий, он

очень обижался. И представь, — чтоб эти замученные зайцы бежали, а не сели, им охотник *откусывал* хвосты! Бог знает что!

[…] Что Маша? Как её интимные дела и опомнилась ли она наконец, поняла ли, что ей надо скорей спасать себя и свою репутацию. Здесь неприятно напомнили опять о тяжёлом событии с Зандером, о котором так хочется забыть. Флёров о Зандере как говорил презрительно и не уважительно, я даже удивилась. Даже Флёров! <Врач Фёдор Григорьевич Флёров, лечивший С. А. Толстую. – *Р. А.*> Сейчас Лёва пришёл обедать, он был у Раевских. Сама я эти дни дурно очень себя чувствовала и плохо спала. Сегодня у меня *первый день*, но я себя лучше чувствую. Как твоё здоровье?

О статье твоей тулонской я думала потому поместить к Сутнер, что тогда она будет иметь характер протеста войне, а не личного задора; не будет причины русским и французам обижаться; а это всегда лучше.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Речь идёт о пацифистском журнале Берты фон Зутнер «Die Waffen Nieder». Статья Л. Н. Толстого «Христианство и патриотизм» не была в нём опубликована: сношения по этому поводу с Б. фон Зуттнер не состоялись. С. А. Толстая вспоминает: «Когда впоследствии сын Лев поехал за границу, Лев Николаевич просил его заехать к Сутнер. Лёва искал её по всей Вене, но так и не нашёл, не заставая её там, где указывали» (МЖ – 2. С. 330). – *Р. А.* **]**

Отрывали от письма; был m-r Salomon. Он разделяет тулонские чувства вполне с теми, кто их выражает. Он очень удивился, что ты смотришь на все эти выражения чувства так скептически и несочувственно. Когда я сказала, что ты пишешь статью против, он сказал с ужасом: «c'est impossible!» [«это невозможно!»] Он хочет послать тебе какие-то газеты, а сегодня принёс критику на последнюю твою книгу <«Царство Божие внутри вас»> в «Женевском журнале», мы её прочтём и пришлём. Ну, прощай, пора и кончить письмо. Целую тебя, Машу и Веру. Ложусь сейчас, а то устала и вяла я всё время. Напиши мне опять.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 577 – 578, 581).*

Получив письмо «с нарочным» без задержки, Толстой отвечал на него уже на следующий день, 24 октября, в приписке к письму М. Л. Толстой (и так же, по хорошей традиции, доверил письмо надёжному человеку, а не почте России):

«О нас писать нечего, милая Соня. Все здоровы, всё по-старому. А вот ваши дела меня постоянно занимают, и из них твоё здоровье занимает не последнее место. Ты и поехала нездоровая, и писала, что не здорова и Флёров нашёл, что ты не хороша. Напиши о себе да получше. Москва с своими гостями, в которых ты не виновата, я знаю, должна суетить тебя и расстраивать нервы. Известия о Лёве хороши, т. е. не хуже, чем я ждал. Только жалко с ним расстаться и беспокойно.

Дунаев торопит и всё расскажет, хотя и нечего. Целую тебя и детей. Л. Т.» *(84, 199 – 200)*.

Так что уже на следующий день, 25 октября, Софья Андреевна могла ответить мужу на краткое его письмо с изустным прибавлением от верного «курьера», Александра Никифоровича Дунаева, друга, частого гостя семьи и единомышленника Толстого. Вот основной текст её письма:

«Сегодня утром прислал нам Дунаев ваши письма, милый друг Лёвочка и милая Маша, а вечером сам зашёл на минутку и принёс известие, что вы бодры, веселы и здоровы, чему я очень порадовалась. Мы тоже, славу Богу, пока благополучны; Лёва стал бодрее, говорит сегодня, что он совсем здоров, но у него переходы очень быстрые, как и в Ясной было, от крайнего уныния к бодрости и наоборот. Ваничка сегодня со мной ездил на Смоленский рынок, где я покупала мебель пироговским Толстым <семья гр. С. Н. Толстого. – *Р. А.*>; его я отправила оттуда с няней по конке, и он был в восторге.

Таня вчера лежала весь день с тёплым овсом на животе и с насморком, а сегодня ездила в <художественную> школу совсем бодрая на лекцию анатомии, а сейчас ушла к Страховым слушать пенье какой-то Кедриной, Илюшиной соседки. Совсем я не рада, что она туда ходит, я всё-таки желаю своим детям лучшего общества. […] …Узнали сегодня грустное событие — умер от холеры в Петербурге Чайковский композитор.

Посылаю тебе сегодня же под бандеролью «Женевский журнал», где пишут о твоей новой книге <«Царство Божие внутри вас»>; тебе, может быть, Лёвочка, это будет интересно.

Очень ты меня тронул своим участием к моему здоровью. Я очень себя дурно чувствовала всё это время и *красный пузырь* (как ты бывало говаривал) быстро стал выпускать дух и морщиться, — но теперь мне дня два получше. Болела прямо грудь и не было дыханья; это каждый год осенью, и с годами хуже. Холод мне стал тяжёл и

неприятен, совершенно как моей матери последние годы её жизни. — Болезнь мне совсем не мешает: только помогает серьёзнее смотреть на ту точку, которая будет конечная для перехода в вечность, и переход этот не только не страшен, а скорее радостен. Прежде была уверенность, что я для чего-то и для кого-то нужна; а теперь я вижу, что я всё меньше и меньше могу что-либо сделать, да и сил, энергии куда как меньше стало. Хотелось бы побольше спокойствия и одиночества, а это невозможно. Иногда такая потребность хоть на часок уйти в лес, куда-нибудь, где одна с Богом и природой, а не с драпировщиками, гостями, учителями, тёмными, прислугой и т. д.

Сегодня ждали Флёрова, но он не приехал. Лёва очень ждёт ответа от Горбачёва <«Молодой доктор, рекомендованный Флёровым». – *Прим. С. А. Толстой.*>, поедет ли он с ним за границу, и вообще Лёва очень спешит. Думаю, что дней через десять, а то и раньше, он уедет. Не хотелось бы мне, чтоб он уехал один.

Затем прощайте, милые, берегите своё здоровье, скоро и Вера <Кузминская> уедет, и вы останетесь одни. Правда ли, что Марья Александровна <Шмидт> переехала к вам? Я не успела спросить Дунаева. Кланяйтесь ей от меня. Воображаю, как она счастлива быть без нас с *дорогим* Львом Николаевичем и Машей. Целую вас.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 582 - 583).*

26 или 27 октября (точно не датируется) Л. Н. Толстой отвечал на это письмо жены следующим:

«Вчера уезжала от нас Марья Михайловна Халевинская, и поздно привезли письма. Мы с Машей ещё не спали и прочли, и оба долго не спали. Нынче она лежит. Вы все три вместе почти нездоровы. *[М. Л., С. А. и Т. Л. Толстые.]* Она хотела крепиться и не слечь, но не выдержала и теперь лежит, хотя самое больное уже прошло. Мне за тебя завидно себе, что я пользуюсь такой тишиной и досугом, тогда как ты в большой суете и тяготишься ею, как нельзя не тяготиться особенно пустою холостою суетою. — Но меня радует твоё стремление к сосредоточению, и я знаю, как по твоей быстро переменяющей свои настроения натуре эти стремления искренни. — Ты, мне всегда кажется, можешь удивить не только меня, но и самую себя.

Вчера мы читали «Мимочку», 2-ю часть. <Повесть Веры Микулич «Мимочка отравилась», напечатанная в «Вестнике Европы», 1893 №№ 9 – 10. – *Р. А.*> Хорошо, но есть преувеличения и подражание самой себе. Чтение это отравляла для меня Марья Александровна. Она в гриппе и так слаба и жалка, но всё сидела, не хотела уйти.

Нынче ей, кажется, лучше, хотя она всё время утверждает, что её здоровье превосходно. <Толстовец Б. Н.> Леонтьев кончает свою переписку, и мне жалко его. Он такой тихий, спокойный и серьёзный, мне очень симпатичный человек. Вчера мы, он, Поша и я, хорошо говорили по случаю занимающего меня вопроса о религии, о различии религии, философии и науки. [...]

Мне очень жаль Чайковского, жаль, что как-то между нами, мне казалось, что-то было. Я у него был, звал его к себе, а он, кажется, был обижен, что я не был на «Евгении Онегине». Жаль, как человека, с которым что-то было чуть-чуть неясно, больше ещё, чем музыканта. Как это скоро, и как просто и натурально, и ненатурально, и как мне близко. [...]

Если Таня соскучилась по мне, то и я по ней. Это хорошо, что Лёва чувствует себя лучше. Пожалуйста, напиши, застало ли это письмо его в этом улучшении. Одному ему не следует ехать ни в каком случае, хотя не для него, но для нас.

Статья <в «Женевском журнале»> о новой книге очень плохая, но интересная тем, что пишущий республиканец считает своим долгом противодействовать ей. А нынче я получил письмо от датчанина, который тоже по случаю книги пишет, что у них в Дании много молодых людей отказываются от военной службы, и их сажают в тюрьмы на время, которое они должны бы служить. Что-то ещё хотел написать, да в эту минуту забыл. Целую тебя и детей.

Л. Т.» *(84, 200 - 201).*

Есть сведения о написании С. А. Толстой к мужу ответного письма от 28 октября — текст которого, однако, не приводится в общем сборнике её писем к Л. Н. Толстому. Судя по всему, раздражённое, болезненное состояние взяло в эти дни верх над женой Толстого — катализируемое и физическими, сугубо женскими, недомоганиями, и задержкой в Ясной Поляне Льва Николаевича, вполне объяснимой необходимостью определённых условий для творческой работы. Приводим основной текст ответа Л.Н. Толстого на это письмо, написанного и уехавшего «с оказией» 30 октября.

«Лишаемся Верочки <Кузминской>, о чём очень жалеем. Она вам расскажет подробности о нашем житье. События из нашей жизни, неизвестные вам, следующие: Третьего дня был <М. В.> Булыгин <товарищ П. И. Бирюкова по учёбе в Пажеском корпусе. – *Р. А.*>, и я любовался на двух на «ты» товарищей пажского корпуса, теперь товарищей по жизни.

В этот же день пришёл, как он говорил, «из-за нарочно» крестьянин калужской, старообрядец, считающий теперешнее правительство царством антихриста, начавшимся со времени Петра, который был сам Сатана. Он сидел за свои речи в остроге, но продолжает говорить то же с диким упорством убеждения. Все его рассуждения очень дики, но выражения иногда поразительны. Антихрист всех царей примотал к табачной державе, всем людям велел клясться, что они, не щадя отца и матерь, будут защищать табачную державу. Всё основано на вычислениях 666 и т. п. Я читал и слыхал про таких, но в первый раз видел такого.

[ПРИМЕЧАНИЕ.
Старообрядец Михаил Максимович, по прозвищу «табачная держава», умер в 1910 г. Выведен Толстым в «Божеском и человеческом». – *Р. А.* **]**

Вчера я пошёл в Тулу: были дела к Давыдову, и на почту с тем, чтобы вернуться с поездом. В Туле у Давыдова встретил Серёжу. Он приезжал занимать денег, чтобы не продавать хлеб, для устройства завода картофельного и для того, чтобы развязаться с машинистом, обманувшим его. У Давыдова театр, играют Островского «Последнюю жертву», приезжают, — вчера и приехали: Алексеев, Федотов с женой, и я с ними обедал, а вечером по поезду благополучно приехал домой и привёз бугор писем, из которых интересно письмо «Дедушки» <прозвище в семье Толстых художника Николая Николаевича Ге. – *Р. А.*>. Он всю картину *[«Повинен смерти» («Суд синедриона»)]* опять переделал. И крестов уже нет. А есть тот момент, когда троих привели на распятие. Еще интересен № Die Waffen nieder, который посылаю. Это Поше <Бирюкову> к сведению. Это преинтересный и прекрасно ведомый журнал, который надо выписать и которым надо пользоваться.

[…] Девочки выздоровели, и Марья Александровна тоже. Я здоров, только рука так сильно болит, что писать больно. Верно будет или мятель, или дождь. — О религии я совсем кончил, завтра займусь Тулоном */*т. е. статьёй «Христианство и патриотизм». – *Р. А.]*.

Сведения о тебе, милый друг Соня, дошедшие до меня, не утешительны — о здоровьи. Одно утешенье, что ты вдруг опускаешься и вдруг справляешься. О Лёве всё время хорошо. Спасибо ему за письмецо. Напишу как-нибудь ему отдельно, а нынче всем вообще.

Одобрение Тани <новой гувернантки> m-lle Detraz мне очень приятно. Я согласен.

Л. Т.» *(84, 201 - 202).*

Под «сведениями» о нездоровьи жены Толстой, вероятно, разумел и общий раздражённый тон её предшествующего письма.

И ещё важная биографическая подробность. Под Федотовым и Алексеевым, с которыми познакомился Толстой в доме старого своего друга и театрала, судебного деятеля Н. В. Давыдова, скрываются от невнимательных читателей два выдающихся человека своей эпохи: артист Малого театра Александр Александрович Федотов (1864 - 1909), сын не менее известной Гликерии Федотовой, и… скромный режиссёр спектакля Константин Сергеевич Алексеев-Станиславский (1863 – 1938). Будущий «великий Станиславский», увидев в передней старика в крестьянском тулупе, не сразу догадался тогда, *кто* перед ним, опознав Толстого только по общему возгласу радости и восторга *(Станиславский К. С. Знакомство с Л. Н. Толстым // Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2-х тт. Т. 2. С. 110).*

Вместе с Верочкой Кузминской письмо Толстого от 30 октября быстро прибыло в Хамовнический дом, и уже 31-го Софья Андреевна отвечала мужу пространным, по обыкновению, письмом:

«Приехала Верочка, вся окоченевшая и усталая. Наконец-то получили и от вас известия, а то уж мы начали беспокоиться. И пришло мне в голову, Маша, что папа в отсутствии своём заболевал два раза: раз в Пирогове и раз в Бегичевке, и оба раза не ты меня уведомила, а в Туле случайно я встретила дядю Серёжу, а другой раз Елена Павловна мне дала знать. Пожалуйста, если один из вас двух захворает, — немедленно телеграфируйте, даже если не опасно. Приехать ничего не стоит так близко. — Это я пишу потому, что на меня сегодня нашло беспокойство. — Вера мне мало привезла вашего духа; не поймёшь её, а через неё — вас. — Но видно вы тихо и ровно живёте, и легко себе представить как.

Мы тоже живём однообразно и почти никого не видим. Вчера сидели со мной мои Geschwister [*нем.* Сёстры и братья] Лиза и Саша брат. К детям пришёл Северцев, а Таня пошла к Страховым слушать музыку. Сегодня она, сама того не замечая, рассказывала очень непривлекательно о посетителях Страховых. Жирный, с короткими пальцами тенор орал так, что всё время коробило; какая-то Кедрова ломалась и пела тоже дурно, глотая непременно сырые яйца; Шарапова ломалась с Пошей, и он её провожал домой (вышло: «позвольте

вас проводить-с»), жалко Пошу и его жалкую роль Шараповского кавалера. Я его люблю и мне неприятно видеть хороших людей в трущобном обществе, и потому и Таню неприятно туда пускать. Но она меня не послушалась, хотя, кажется, «elle en a assez» [«с неё довольно»].

[**ПРИМЕЧАНИЕ**.
В 1899 году Павла Николаевна Шарапова станет женой Павла Ивановича («Поши») Бирюкова — единственной на всю жизнь, любящей и любимой единомышленницей. Быть может, Софью Андреевну раздражали некоторые свойства характера Паши Шараповой, которых недоставало ей самой? – *Р. А.*]

Живёт тут у нас Верочка Толстая <дочь С. Н. Толстого. – *Р. А.*>, и я её всё больше и больше люблю. Какое у ней удивительное благородство; как она самоотверженно старается устроить всё, чтоб сёстрам и матери было приятно, и радуется, когда что им может понравиться и быть приятно. — Сегодня утром Таня с Бенедиктой писали дома лежачую девочку; и Таня пишет очень хорошо, а Беня плохо. У Ванички свинка меньше; Сашу рвало третьего дня весь вечер и голова болела страшно. Она всецело унаследовала мигрень Александры Ильиничны <Остен-Сакен> и твою, Лёвочка. На другое утро всё прошло и только осталась бледность. Бедная девочка взяла мою близорукость и твою мигрень. Когда она ест, мне ужасно напоминает тебя. У неё нет того предела, что *довольно*; она может долго и много есть, а потом мигрень от излишества. Таня говорит, что и она такая же. И это не жадность, она не разбирает, что лучше, а просто большой и очень растяжимый желудок.

Мальчики довольно исправны; сегодня Миша у Глебовых, а Андрюша в театре Корш в дешёвых местах. Дают «Женитьба Белугина» <А. Н. Островского>. Что же ты не пошёл посмотреть спектакль в Туле, раз ты там был?

О Лёве не пишу до конца, потому что это самое интересное и всё-таки грустное. Сегодня он опять в унынии. Пришёл утром, говорит: «мне от холода опять дурно». Флёров обещал быть с ответом молодого доктора Горбачёва в субботу или пятницу, а сегодня воскресение и ни духу, ни слуху. Завтра пошлю к нему; а это Лёву раздражает и он спешит уехать. Как только надо что-нибудь *предпринимать*, так Лёва поднимается духом, а как надо ждать и сидеть в бездействии, так сейчас его внутренний взгляд обращается на его болезнь. Сегодня, впрочем, очень холодно, северный ветер и даже я не решилась выдти. Ты пишешь, Лёвочка, что обо мне слухи, что я не хороша. Я

не больна, но всё то же осеннее состояние, от которого думала отделаться с годами, но, видно, нельзя. Дышать трудно, ночи не сплю; сегодня до шести часов совсем не спала, а в девять уже встала, шумно очень кругом. Нервы так расстроены, что расплакаться могу каждую минуту. Конечно, вид Лёвы и его состояние — главная причина моего расстройства. Изнашивается организм мой очень быстро в эти осенние месяцы. Но я не ропщу и очень благодарна судьбе за ту здоровую, молодую жизнь, которую прожила; а теперь надо уметь стареться, а не изображать из себя ужасающую личность какого-нибудь «Docteur Pascal'a». Я его дочла на днях, и точно я пьяна была; просто стыдно и гадко за такое чтение. <«Доктор Паскаль» — роман Э. Золя, пропагандирующий, в частности, нелюбимую Толстым теорию наследственности. – *Р. А.*>

Журнал «Die Waffen nieder» просмотрю, хотя трудно читать по-немецки, и отдам Поше. Мне, конечно, очень сочувственна мысль этого журнала и рада буду, если ты туда пошлёшь статью. Только, пожалуйста, не пиши резко и не обижай никого в своей статье.

Как себя чувствуешь, Маша? Скучно ли тебе, трудно ли одной? Ты давно не пишешь и вообще старательно себя умалчиваешь, что мне очень жаль. К вам поехал Буланже узнать, живы ли и здоровы ли вы? А то Вера приехала поздно, а Буланже был утром; он по делам едет в Тулу. — Вот что, Маша. Не хочет ли кто из тёмных заработать деньги, хотя бы Марья Александровна, и переписать последнее сочинение папа: «Царство Божие внутри вас есть». Мне очень нужно; когда-нибудь скажу, зачем, но если я заказываю, то в хорошие руки. Ответь, пожалуйста. А пока целую тебя и папа и кланяюсь Леонтьеву и Марье Александровне. Будьте здоровы и не оставляйте долго без известий.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 583 - 585).*

Насколько метко “зацепил” Лев Николаевич в своём трактате «Царство Божие внутри вас» мирские зло и ложь — видно по тому, что английская переводчица отказалась это сочинение переводить, а жена, многолетняя домашняя переписчица — переписывать.

Два важные для характеристики отношений супругов в эти дни письма: от 28 октября и от 5 ноября не опубликованы. Но одно из них Софья Андреевна цитирует немного в мемуарах — как раз повествуя о тогдашнем своём настроении. Обойти вниманием этот отрывок нам никак не получится:

«…И жили Лев Николаевич и Маша в Ясной Поляне вдвоём, как будто никогда в Москву и не собирались. К их пребыванию в деревне я относилась недоброжелательно, потому что очень скучала без мужа. Конечно, всем покажется естественным и законным, что Лев Николаевич искал для своих трудных работ уединения и тишины, но мне от этого не было легче. Одно, что я старалась — это не показывать своего недовольства и нетерпения свидеться с Львом Николаевичем. […] Но я не притерпелась, а нервное возбуждение моё стало переходить в какое-то озлобление, в мистицизм, и мне вдруг показалось, что дьявол овладел Львом Николаевичем и охладил его сердце» *(МЖ – 2. С. 333)*. С этим состоянием Софья Андреевна связывает свою запись в дневнике от 5 ноября 1893 года, которую сама же признаёт «безумной»:

«Я верю в добрых и злых духов. Злые духи овладели человеком, которого я люблю, но он не замечает этого. Влияние же его пагубно. И вот сын его гибнет, и дочери гибнут, и гибнут все, прикасающиеся к нему. А я день и ночь молюсь о детях, и это духовное усилие тяжело, и я худею, и я погибну физически, но духовно я спасена, потому что общение моё с Богом, связь эта не может оборваться, пока я не под влиянием тех, кого обуяла злая сила, кто слеп, холоден, кто забывает и не видит возложенных на него Богом обязанностей, кто горд и самонадеян. Я ещё не молюсь о меньших, их ещё нельзя погубить. Тут, в Москве, Лёва стал веселей и стал поправляться. Он вне всякого влияния, кроме моей молитвы. […] Господи, помилуй нас и избавь от всякого влияния, кроме твоего» *(ДСАТ – 1. С. 221 – 222; ср.: МЖ – 2. С. 333 – 334)*.

Сколь несправедливое “подведение итогов” и творческих, и благотворительных усилий Льва Николаевича — как минимум, с начала десятилетия 1890-х! Плод возбуждённого рассудка. Эта запись, кстати сказать, имеет параллели с апелляциями С. А. Толстой к действиям инфернальных сил в дневнике 1910 года — когда её психическое расстройство было уже вне сомнений и получило наконец медицинское подтверждение. Но там, как широко известно, у Сонички был злой враг, *Чертков* — единомышленник и конкурент её в контроле над личностью и творческим наследием Л. Н. Толстого. А запись от 5 ноября никак напрямую с Чертковым не связана. Однако при этом в «Моей жизни», комментируя другую свою дневниковую запись (от 2 августа 1893 г.), Софья Толстая характеризует распоряжение В. Г. Чертковым рукописями мужа как отношение «*деспотическое*, но крайне благоговейное и *любовное*» *(МЖ – 2. С. 326. Выделение наше. – Р. А.)*. Важное замечание! В том смысле, в каком жена

Толстого даже в 1910 г., когда писались воспоминания 1893 года, говорит о *любви* В. Г. Черткова к нему — можно говорить и о *такой же любви* и её самой к Толстому-мужу и отцу. Любви, взыскующей *контроля*, посягающей на свободу и даже человеческое достоинство Льва Николаевича. Конечно же, *себя* несчастная не готова была признать деспотом в отношениях с мужем — ни в 1893-м, ни в 1909-1910 годах. Но писался вышеприведённый нами отрывок в спокойный момент «просветления» и понимания, когда сама Софья Андреевна справедливо назвала свою запись от 5 ноября 1893 г. «безумной» и честно связала это безумство с собственным раздражением на задержку мужа в Ясной Поляне.

Удержанные от публикации раздражённые письма Софьи Андреевны могли бы стать контрастом с двумя последними перед отъездом в Москву письмами Льва Николаевича Толстого к ней — от 2 и от 5 (6?) ноября. В первом из них, кстати сказать, есть свидетельство против восходящих к жене Толстого нападок на него по поводу якобы раздуваемого им и поощряемого тщеславия. Приводим в хронологическом порядке значительные выдержки из обоих этих писем.

2 ноября пишет маме письмо М. Л. Толстая, сообщая, в частности, что «папа здоров совсем. Ездил на Козловку за письмами». Воротившись со станции, Толстой подписал:

«Но <семейных> никаких не получил, а зато получил из Тулы два приятных письма от Стасова о юбилее Григоровича, на котором написанное мною ему письмо было, кажется, ему приятно, и от Страхова, который пишет об отзыве обо мне философа Куно Фишера. Он пишет между прочим слова Куно Фишера, что желание славы есть последняя одежда, которую снимает о себя человек. Он говорит это про Шопенгауера, который будто бы не снял этой одежды до конца. Я чувствую постоянно всю силу этого соблазна. И постоянно борюсь с ним» *(84, 203)*.

И письмо от 5 (6?) ноября, в начале которого Толстой бодро сообщает:

«Сейчас написал кучу писем… Мы здоровы и благополучны всё в том же составе. Одна кадриль» *(Там же. С. 204)*.

Словом “кадриль” Толстой определил количество живущих с ним в яснополянском доме — четыре человека: он сам, дочь Маша, М. А. Цурикова и Б. Н. Леонтьев.

Далее Толстой сообщает коротко неприятное для него известие:

«Известие, полученное мною нынче от Хилкова, страшно удивило меня: его мать приехала к нему с приставом и, отобрав у него детей, увезла их. Трудно даже понять, на чем основываются такие поступки» *(Там же)*.

Дети у князя-толстовца Хилкова были отобраны полицией с ведения синода — как у сектанта. По тогдашним законам их надлежало крестить в православие и воспитать в церковной «вере», в православной семье родственников князя Хилкова. Все последующие хлопоты Л. Н. Толстого о возвращении детей не увенчались успехом.

Есть, наконец, в письме Л. Н. Толстого и такое:

«Мы живём без прислуги очень приятно. Забота о служении себе развлекает, и просто весело. Видел нынче Ваничку во сне. Что его свинка? А у меня вчера нашёлся во рту зуб и начал болеть до тех пор, пока я не открутил его. Нынче получил твоё письмо к Марье Александровне <Шмидт> <с просьбой переписать (за плату) «Царство Божие внутри вас». – *Р. А.*>. Когда едет Лёва? Вы верно известите меня нынче. Как твоё здоровье, Соня? Целую тебя.

[…] Целую всех целуемых и кланяюсь нецелуемым» *(Там же. С. 205)*.

Это всё. До конца первой ноябрьской декады других известных писем Толстого к жене нет. А 11 ноября он воссоединился с семьёй в Москве — успев как раз проводить за границу на лечение сына Льва.

КОНЕЦ ЧЕТВЁРТОГО ФРАГМЕНТА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОГО ЭПИЗОДА

КОНЕЦ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Тридцать Восьмой.

ЧТО ВЫРОСЛО, ТО ВЫРОСЛО

(23 января – 6 февраля 1894 г.)

Предыдущий эпизод аналитической презентации избранной Переписки супругов С. А. и Л. Н. Толстых завершился в ноябре 1893 года — очередной безусловной победой Софьи Андреевны: как ни основательны были причины для зимования Льва Николаевича в родной, доброй и вдохновительной атмосфере Ясной Поляны, как ни мало нужно было детям постоянное присутствие отца, часто совершенно забывавшего о них для своих размышлений и писаний — но отъезд его в ненавистный город ради успокоения нерв жены оказался неизбежен. Как следствие, неизбежно было и то мрачное настроение первого месяца жизни в Москве, которое сопровождало Толстого, как мы помним, с первой зимовки 1881 – 1882 гг. В Дневнике под 22 декабря 1893 г. им записано следующее:

«…Я уже более месяца в Москве. И ни разу не писал. Мне тяжело, гадко. Не могу преодолеть себя. Хочется подвига. Хочется остаток жизни отдать на служение Богу. Но Он не хочет меня. Или не туда, куда я хочу. И я ропщу. Эта роскошь. Эта продажа книг. Эта грязь нравственная. Эта суета. Не могу преодолеть тоски. Главное, хочу страдать, хочу кричать истину, которая жжёт меня. […] Соня так страдала, томилась, так видно это было по её письмам, что я приехал» *(52, 104 – 105)*.

Приведя выше, в предыдущем эпизоде, эти письма Сони, мы позволили читателю убедиться, что это правда. Но сама Софья Андреевна, цитируя в мемуарах данный отрывок из Дневника мужа, последнее предложение, о тоске своей, опускает, и цитата о желании *христианского духовного* (не тщеславного!) подвига приобретает смысл, искажаемый намеренно не правдивым комментарием мемуаристки:

«Льву Николаевичу хотелось подвига, мученичества, о котором кричал бы весь мир. Семейная, буржуазная жизнь, обязанности отца не отвечали его цели; его размах был широкий» *(МЖ – 2. С. 335)*.

Интересна для анализа духовного состояния Толстого и его отношений с женой и вот эта запись от 24 января уже 1894 года:

«Тяжесть от пустой, роскошной, лживой московской жизни и от тяжёлых или скорее отсутствующих каких-либо отношений с женой особенно давила меня. Она не могла, потом не захотела понять, и этот грех её мучает её и меня, главное, её. Девочки хороши. От них и от Лёвы радость. Последнее письмо от Лёвы. Он сердится на меня

за то, что я допускаю эту безобразную жизнь, портящую подрастающих детей. Я чувствую, что я виноват. Но виноват был прежде. Теперь же уже ничего не могу сделать. [...] Господи, помоги мне. Научи меня, как нести этот крест» *(52, 108)*.

И снова Софья Андреевна обрывает мысль мужа на половине, и сердито "разъясняет": «Крест состоял в жизни в Москве, где этот крест несут миллион жителей» *(МЖ – 2. С. 336)*.

Трагизма этим злым, продуманно лживым строкам «Моей жизни» Софьи Толстой добавляет то обстоятельство, что эти воспоминания конца 1893 и начала 1894 годов она писала осенью 1910-го, уже накануне главной катастрофы своей жизни, тайного ухода из дома и мученической гибели в дороге мужа. Накануне его побега, не в последней степени, от этих лжи и зла, от *барьера невосприятия*, от нежелания продуктивно понимать его. Такой барьер ставит мемуаристка и для своих читателей — искажая своими репликами смысл цитат и мешая понять мужа. Между тем строчке о кресте в оригинале Дневника Л. Н. Толстого предшествуют *вымаранные полторы строки*, что определённо указывает, что речь Толстой ведёт там не о Москве. Исследователям удалось разобрать слова: «Опять то же дёрганье, мучительство». Это явно о домашней обстановке... А дальше, уже без Сониной цензуры, следующее:

«Я всё готовлюсь к тому кресту, который знаю, к тюрьме, виселице, а тут совсем другой — новый, и про который я не знаю, как его нести. Главная особенность и новизна его та, что я поставлен в положение невольного, принужденного юродства, что я должен своей жизнью губить то, для чего одного я живу, должен этой жизнью отталкивать людей от той истины, уяснение которой дороже мне жизни. [...] Я не могу разорвать всех этих скверных паутин, которые сковали меня. И не от того, что нет сил, а от того, что нравственно не могу, мне жалко тех пауков, которые ткали эти нити» *(52, 108)*. Он жалел и любил её, терпя всё, ещё много лет.

Прекращение общего, понятного языческому жизнепониманию Софьи Андреевны, дела благотворительности деньгами в пользу крестьян уничтожило ставшие привычными было связи. *Разница* в отношении к окружающей действительности стала заметнее. И мучительнее для Сони уже тем, что и ей эта действительность родного и некогда любимого города сделалась почти несносна. Пенять же за выбор городской, и именно в Москве, жизни, последствия которого давно стали бесповоротны и малопривлекательны — надо было на *себя*. Тем несносней был Соне обычный ропот мужа на вынужденный переезд. Она вспоминает:

«На переезд свой в Москву Лев Николаевич роптал и сердился. Чувствуя это и избегая тяжёлых разговоров, я отдалялась от него всё больше и больше. Не помню в жизни времени более тяжёлого… […] Как быть с подрастающими детьми и их воспитанием? Переехать опять на житьё в Ясную Поляну — я не решалась…» *(МЖ – 2. С. 335 - 336)*. Этого было и нельзя — вырвать детей, и в разгар учебного периода, из привычной уже среды. Но *вовремя* выбрать для мужа жизнь в Ясной Поляне, а для себя и учащихся детей — скажем, в ближней Туле, где они могли бы учиться в Тульской мужской гимназии, ничуть не хуже Поливановской — было возможно. Напомним читателю, что Тульскую гимназию успел окончить в 1881 г. (т. е. до начала острого конфликта родителей) Сергей, старший сын Льва Николаевича. За самим Л. Н. Толстым, уже сиротой в своей юности, в своё время не поехали в Казань ни мама, ни папа — так что и ради студенчества Сергея жизнь его отца в Москве не была никогда необходима.

Вообще для всякого шага, разрывающего ментальные и поведенческие шаблоны окружающей социокультурной среды нужно доверие Истине, Богу — нужна вера, побеждающая нерешительность и страхи. Её у Сони так и не было.

В уже цитировавшейся нами выше записи в Дневнике под 22 декабря 1893 г. есть указания на круг творческих работ и интересов Толстого этого времени: «…Написал предисловие к Амиелю <к готовящемуся для «Посредника» изданию дневника Анри Амиеля. – *Р. А.*>. …Тяжёлая, не кончающаяся работа над Тулоном, которую я не могу бросить. Написал ещё притчи — не кончил» *(52, 105)*. Он имеет в виду свои знаменитые «Три притчи», уникальные тем, что именно в притчевой, евангельской форме он истолковал в этой вещице значимые и вызывавшие непонимание и споры аспекты своего христианского мировоззрения. А «Тулон» — это, конечно же, великая его статья «Христианство и патриотизм», проклятье военщине и военно-патриотической лжи, паразитирующей на безверии «христианского» мира.

В декабре 1893-го была опубликована в Германии, в журнале «Für ethishe kultur» статья Толстого «Религия и нравственность», содержавшая изложение, быть может, важнейшей во всей религиозной философии Толстого концепции трёх различных религиозных жизнепониманий.

Кроме того, в конце 1893-начале 1894 гг. Толстой продолжал медленно, любовно работать над Предисловием к русской публикации избранных сочинений Мопассана — постепенно, однако, по мере

углубления в тему, утрачивая прежнее благоволение к этому писателю. В письме 2 марта 1894 г. к дочери Татьяне, ловившей тогда культурный кайф в Париже, он констатировал: «Мне стал противен Мопассан своей нравственной грязью» *(67, 59)*. Публикация Предисловия состоялась в конце мая 1894 г.

Помимо Мопассана и Анри Амиеля, в круг интересов и занятий Толстого входили в это время св. Франциск Ассизский, чешский просветитель Пётр Хельчицкий, христианский социалист Ф. Р. де Ламеннэ, Лао-Цзы и др.

Тяжёлым осадком на душе Льва Николаевича, губившим рождественское и новогоднее настроение, стало уже упоминавшееся нами отобрание, с помощью полиции, детей и давнего и близкого единомышленника, князя Д. А. Хилкова. 2 – 3 января 1894 года Толстой написал по этому поводу письмо имп. Александру III, никем не отвеченное и не имевшее последствий *(см.: 67, 4 – 11; 52, 112)*. 24 января, однако, в Дневнике встречаем упоминание о личном общении Толстого с Цецилией, женой Хилкова и матерью отобранных детей, и разочаровании в ней: «Та же женщина без нравственного двигателя» *(52, 109)*. Софья Андреевна, читая в последующие годы Дневник мужа, всякий раз жестоко оскорблялась этим сравнением её, венчанной «в законе» жены, с какой-то «сожительницей» не признававшего церковных обрядов толстовца.

Великолепным новогодним подарком Льву Николаевичу стало посещение Хамовнического дома молодым Иваном Алексеевичем Буниным. С воспоминаниями этой краткой, но бесценной для обоих писателей встречи можно познакомиться в книге Бунина «Освобождение Толстого». Характерна судьба этого знакомства в сравнении с другим, состоявшимся в эти же дни — с М. О. Меньшиковым, в то время, по юной глупости, тоже толстовцем, но впоследствии консервативным публицистом и резким критиком христианской проповеди Льва Николаевича. И. А. Бунин же и в последующие, зрелые годы не стал ругателем Толстого, хотя уже не разделял *во всём* его теоретических построений. Это хорошо опровергает злой домысел С. А. Толстой о том, что в числе толстовцев всегда были лишь посредственные, неумные люди. Скорее, наоборот: возвыситься до сопутничества Льву Николаевичу в любви к Богу, ко Христу и искании Истины могли лишь самые выдающиеся из современников. Прочим бы надо — любить, да доверять, слушаться, но никак не спешить со скороспелыми критиками, ложью или руганью!

Наконец, следует упомянуть посещение Л. Н. Толстым 9-го Сьезда естествоиспытателей и врачей, проходившего в Москве с 3 по 11 января 1894 г. под руководством К. А. Тимирязева. Сделал визит он

не просто так, а по “наводке” Александра Васильевича Цингера (1870 – 1934), двоюродного брата покойного И. И. Раевского, заинтересовавшего Толстого предполагавшимся докладом его отца, профессора-математика В. Я. Цингера. Толстому при его появлении устроили овацию, и в целом обстановка съезда, которую Толстой назвал шутя «учёной масленицей», не располагала к знакомству с участниками, а с большинством докладов Лев Николаевич познакомился либо из рассказов А. В. Цингера, либо по печатному «Дневнику съезда» *(Опульская Л. Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1892 по 1899 гг. М., 1998. С. 89 - 90).*

Не имея возможности, на собрав на свою голову чёрных туч и зимнюю грозу, обсуждать своё состояние в Москве с супругой, Лев Николаевич пишет об этом в письмах духовно близким людям. Например, Н. С. Лескову 10 декабря 1893 г.: «Москва и её суета мешают мне работать столько и с такой свежей головой, как в деревне» *(66, 445).* Или В. Г. Черткову, уже 17 января 1894 года: «…Уехать очень хочется. Очень я устал от суеты» *(87, 251).* К этому времени отъезд из Москвы был делом решённым и определено место зимнего гостевания: имение Гринёвка Чернского уезда Тульской губ., где проживал с семейством сын Толстого Илья. В декабре семью постигло несчастье: умер младший сын Николенька. Сам Илья Львович уехал «развеяться» за границу, оставив в имении жену, Софью Николаевну — с её горем и заботами о двух других детях. Посещение Толстого было очень кстати. 23 января он выезжает из Москвы в имение сына на поезде.

Со стороны Льва Николаевича начало переписки с женой относится лишь к 25 января, когда он уже водворился в имении И. Л. Толстого. Зато Софья Андреевна, по обыкновению, отправила письмо прямо вослед мужу — вечером 23-го. Приводим ниже полный его текст.

«О вас ещё ничего не знаю, ждала сегодня письма, и нет. От Лёвы получено короткое письмо к Ваничке, а на последней странице как будто к отцу, без обращения, несколько слов, что ему чуть-чуть получше, что он негодует на статью Данилевского, что был в Ницце, на карнавале, что в Канн будет праздник: bataille des fleurs [*фр.* бой цветов], и больше ничего.

Вчера я съездила к сестре Машеньке, застала там приготовления к всенощной с отцом Валентином. Я его видела; лицо хорошее, но глаза не глядят ни на кого, а через, и когда меня назвали, он так

бегло и неохотно взглянул на меня, как будто он правилом себе поставил ни на кого на свете не глядеть. Какой это мир, где Машенька, удивительный! Всё женщины, худые, полные, покрытые головы у всех, ходят, как монахини, тихо и плавно, все обожают отца Валентина, все без семей, без дома, живут в этом «Петергофе» по углам и молятся, зажигают лампады, а кумир, радость жизни — отец Валентин и внешняя благообразная жизнь с осетриной, разговорами о еде и проч. Всякий по-своему спасается. Молятся почти весь день, и если бы это общение с Богом было не механическое, а вполне искреннее, настоящее, то было бы и это хорошо, т. е. хорошо молиться весь день и думать о Боге.

Мы нынче с утра ушли с Ваничкой и няней в сад и пытались каток расчистить, чтоб Сашу подучить на коньках. Но посреди дня опять стало теплеть и пошла крупа, которую вихрем крутило по улицам, так что света Божьего не видно. Что-то у вас было вчера? Тут была метель и холодно было весь день и ночь. Ездила я сегодня к m-me Юнге <Екатерина Юнге, троюродная сестра Толстого. – *Р. А.*> и не застала её. Нет, нельзя быть в сношениях с людьми, живущими на час расстояния. Лошадь устала, я иззябла, и всё напрасно. Как застали Соню и детей? Буду ждать известий. Серёжа обедает у <Александра Аркадьевича> Столыпина, вчера был в концерте. У нас ни души не было, да и не будет, и я отдыхаю, и детям лучше, усерднее учатся, серьёзнее и спокойнее.

Большая, большая ошибка и вред всей семье этот ежедневный приём. Надо серьёзно и строго держаться одного дня, или надо *звать*, когда хочешь видеть кого, а так — гибель нам всем. Лучшее доказательство, что эту гибель вносите вы, — это то, что без вас ни души нет. И жаль, что своей семейной жизни никогда нет, всё кто-нибудь торчит перед глазами; придут дети, помолчат и уйдут. Дунаева, Мишу Сухотина и проч. не перекричишь, и ничего от них не приобретёшь, кроме усталости.

Ну, прощайте, писать буду через день; а то пиши Лёве, вам, Маше, — а матерьялов нет.

Целую Соню, детей и всех вас. Серёжа собирается тоже в деревню денька на два, три.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 587 - 588).*

О бесконечных гостях, навещавших дом Толстых ради одного Льва Николаевича и мешавших семейной жизни, утомлявших всех С. А. Толстая критически отзывается и в мемуарах «Моя жизнь» *(см.: МЖ*

– 2. С. 344 – 345). Но, кажется, уже и сам Толстой в ту зиму постепенно разочаровывался в прежнем своём гостеприимстве, навязанном, с одной стороны, московской жизнью и «публичностью» своей персоны, с другой же — собственным его духовным поиском и сопряжённым с ним желанием отыскать человека среди людей. В Дневнике под 24 января находим такое суждение: «Никак не отделаешься от иллюзии, что знакомство с новыми людьми даёт новые знания, что чем больше людей, тем больше ума, доброты, как чем больше вместе углей горящих, тем больше тепла. С людьми ничего подобного: всё те же, везде те же. И прежние и теперешние, и в деревне и в городе, и свои и чужие, и русские и исландцы и китайцы. А чем больше их вместе, тем скорее тухнут эти уголья, тем меньше в них ума, доброты» *(52, 109).*

Очень интересен эпизод с посещением Софьей Андреевной сестры Толстого Марии Львовны, проживавшей тогда в духовном приюте известного в Москве священника, настоятеля кремлёвского Архангельского собора Валентина Николаевича Амфитеатрова (1836 - 1908), отца известного прозаика и фельетониста. В 1879 г. Мария Николаевна пережила утрату 18-летнего сына Николая Валерьяновича, погибшего от тифа. С этой поры начались её углублённые религиозные искания. Среди желанных гостей её московского дома появляется некто Трифоновский, врач-гомеопат (говоря проще: шарлатан) и религиозный мистик. Тот и привёл её к модному с 1880-х гг. проповеднику, «отцу Валентину», жившему со своими “ученицами” в роскошном и просторном номере гостиницы «Петергоф». Описание посещения, как видим, у Софьи Андреевны достаточно скептическое: ей не понравилась сама обстановка православного гарема в отеле, ни отец Валентин. Вообще именно в критическом отношении к Русской православной церкви и её духовенству, как белому, так и монастырскому, немка по отцу Софья Андреевна стояла к позиции мужа ближе, чем, скажем, в отношении к деньгам, собственности, семье, государству… Восходит этот скепсис, как мы полагаем, к впечатлениям ещё детских лет, времени посещения с семьёй «святых» мест. Сохранился её «Дневник девочки в поездку к Троице», писанный 13-тилетней Соней Берс карандашом во время самой поездки в августе 1857 г. *(см.: Толстая С. А. Моя жизнь. Том 1. М., 2014. С. 28 – 31, 33 - 34).* Главное, что в нём обращает на себя внимание – его *отвлечённо-светский,* можно сказать «туристический», характер. Взрослые, не без доли суеверного пиетета к «святыням» Троице-Сергиевого и Новоиерусалимского монастырей, отправляют своё обрядоверие; ребёнок – наблюдает совершенно

«извне», с равной подробностью и эмоциональностью замечая и отмечая записями в дневнике и роскошество Лавры («бриллианты, жемчуг и разные драгоценные каменья там ни почём»), и грязь, убожество «прегадкого» гостиничного номера, в котором предпочёл сперва поселить семейство мелочно-прижимистый лютеранин-папаша («бесчисленное множество мух, комаров и блох…»), и другую гостиницу, в которой номер оказался комфортней («чист и просторен, еда порядочная, а коридорный услужлив») *(Там же. С. 29, 30)*. Дневник производит впечатление записей юной иностранной туристки, путешествующей с русскими православными… не разделяя их веры. Пусть это пишет ребёнок – но *где* результаты православного воспитания? Где радость или восторг *религиозные*? Почтительные высказывания об убранствах храмов, богослужениях, самих монахах?..

О монахах, впрочем, есть… но – вполне реалистичное, а не почтительное. И не девочки уже, а пожилой Софьи Андреевны. Из её воспоминаний о позднейшей («когда мне было лет 14, 15») поездке с семьёй в Новоиерусалимский и Саввин монастыри:

«Я видела с удивлением, как монахи у гроба св. Сергия особенно изящно были одеты; как с двух сторон из-под клобука выпускали по два белокурых локона. Слышала, как молодой монах рассказывал моей тётке на прекрасном французском языке, что он, разорившись, пошёл в монастырь, потому что есть было нечего; что у них всегда есть прекрасная ветчина и вино. Рассказывая всё это, он пошло ухаживал за моей тёткой, болтая ей всякий вздор. И поднялись в душе моей разные сомнения и вопросы, и утратила я свою детскую наивность.

[…] Поразило меня в Новом Иерусалиме изображение Христа: во весь рост статуя, вся раскрашенная, одетая в чёрный бархатный халат, с цепями на руках сидящая в пещере. И жутко было смотреть на эту куклу, и тотчас же возникла мысль, что это идолопоклонство, а надо всё, тем более религию, идеализировать, и во всяком случае отношение к Христу должно оставаться в области отвлечённой» *(Там же. С. 33 – 34)*.

Все эти мемораты и суждения вполне сопрягаются с фундаментальной установкой, актуальной для Софьи Толстой на всю жизнь: её вожделением нравственной чистоты, идеала духовной красоты человека. К сожалению, в отношении мужа она была от начала брачной жизни куда более жестока за несоответствие его этому идеалу, нежели когда-либо — в отношении «жеребячьей породы», то есть типичных православных попов.

Наконец, в вышеприведённом письме Софьи Андреевны Толстой к мужу нам необходимо отметить упоминание ей «негодования» сына, Льва Львовича Толстого, на некую «статью Данилевского». Это был доклад «Чувство и жизнь», прочитанный Василием Яковлевичем Данилевским на съезде естествоиспытателей. Как водится в научной литературе, опубликован он был в «Дневнике съезда» в сильно сжатом виде, к глубокому недовольству автора. А дальше с Толстым произошла в поезде, по пути в Гринёвку, анекдотическая история, о которой он писал подробнее всего не жене, а сыну Льву в Париж, в письме от 28 января:

Василий Яковлевич Данилевский

«Представь себе, ехав сюда, я разговорился с господином. Он стал говорить про съезд естествоиспытателей. Я сказал, что мне особенно не понравилась речь Данилевского. Оказалось, что это сам Данилевский. Очень умный и симпатичный человек. Речь его получила такой резкий смысл потому, что она урезана. Мы приятно поговорили. И я вновь подтвердил себе, как не надо осуждать» *(67, 20)*.

Приехав в имение сына, Толстой на следующий день, 25 января, отсылает супруге первое в этом году и Эпизоде переписки письмо, небольшое открытое, с известием о приезде:

«Мы доехали очень хорошо. Шёл снег, но тёплый, и было светло, так что без малейших затруднений скоро доехали. Здесь тепло (в доме), просторно, тихо.

Мы с Таней чувствуем одинаково упадок приятный нервов. Я оба дня немного и не дурно работал [статью «Христианство и патриотизм»]. Выходил мало. Не хотелось. [...] Здесь никого не видали, кроме Сони и милых детей, особенно Миша <Михаил Ильич (1892—1919), сын Софьи Николаевны Толстой. – *Р. А.*>. Нынче посылают на почту. Ждём от вас писем. Как вы? — Соня ездила сейчас с Анночкой в Никольское. Нашла всё там прекрасным. Теперь 2 часа, мы пообедали, и я пойду походить. Кашляю всё так же — не больше, но и не проходит. Я берегусь. Целую тебя и детей.

Л. Т.» *(84, 206)*.

Рассказ о жизни в Гринёвке продолжает письмо Л. Н. Толстого к жене от 28 января. Из содержания его видно, что оно служит ответом на какое-то *не сохранившееся* письмо С. А. Толстой:

«Живём мы здесь очень тихо и хорошо. — Только нынче были гости Ивановы, — сестра Трескина с детьми и мужем <сестра В. В. Трескина, приятеля И. Л. Толстого. – *Р. А.*>. Они простые, обыкновенные люди. Я по утрам пишу, остальное время читаю или гуляю. Вчера ходил в Никольское; любовался на Серёжин [С. Л. Толстого] дом и intérieur. Домой меня привёз его помощник кучер на вороной кобыле...

Кашляю мало, — гораздо меньше, чем в Москве; но есть какая-то боль или скорее неловкость в груди, а главное — слабость, упадок энергии и физической и умственной, проявившийся с этим нездоровьем. Может быть, это новая ступень старости, к которой я ещё не привык. Надо привыкать.

Нынче получили Лёвино письмо и твоё. Поездка его в Париж ничего не представляет неприятного. Очень он только жаден к новым впечатлениям. То, что он расстался с доктором (я не вижу из письма, чтоб их отношения расстроились), очень хорошо. Мне это присутствие доктора не нравилось — не для меня, а для Лёвы. — Надо каждому итти своим особенным и всегда новым путём. И путь Лёвы меня интересует. А что выйдет из всего, никто не может знать. Здоровье его меня мало беспокоит, я как-то уверен, — дай Бог не ошибиться, — что оно в своё определённое время восстановится совершенно независимо от докторов и климата, разумеется, если не случится что-нибудь особенное. Меня интересует его душевная жизнь и внутренняя работа. Сейчас хочу написать и ему.

От Ильи было два письма из Берлина. Соня пишет ему, и мы уверены, что и без письма и телеграмм они не разминутся в Париже, так как у них точки соприкосновения <т.е. общие знакомые. – *Р. А.*>

Димер Бобринский и Саломон. Таня не совсем бодра, — то желудок, а то зябнет. Впрочем, нынче она лучше. По утрам она рисует, гуляет, по вечерам мне усердно переписывает.

Я читал Michel Teissier. *<«Жизнь Мишеля Тессье», роман Эдуарда Рода.>* Как бездарно! Как всё выдумано. Не видно той страсти, из-за которой он погубил всё, и ещё менее видна его, Тесье, талантливость. Рядом с этим читал старый роман Dumas отца Silvandère *<«Сильвандир», исторический роман А. Дюма>*. Какая разница. Бодро, весело, умно и талантливо, и sobre *[фр. сдержанно, трезво]* и без претензии. А этот с важностью мажет и воображает, что он психолог… Целую детей. Об Андрюше не могу вспомнить без неприятного чувства за его смело глупые речи о том, как немца убить штыком. Стараюсь забыть и забуду, но неприятно. Прощай, целую тебя. Что Поша, приехал ли? Письма ко мне пересылай. Иногда бывают нужные. А кроме того, если не пересылать, слишком много наберётся» *(84, 206 - 207)*.

Лев Николаевич недооценивал серьёзности заболевания сына, Л. Л. Толстого, носившее, как указывает семейный биограф, непосильный для медицины конца XIX столетия сложный психосоматический характер *(Толстой С. М. Дети Толстого. Тула, 1994. С. 141)*. Как всегда было и с Софьей Андреевной, он надеялся, что всё вот-вот “пройдёт само”. Между тем здоровье Софьи Андреевны, по её воспоминаниям, так же сделалось в эти, казалось бы, сравнительно спокойные дни заметно хуже. К прежним симптомам какой-то развивавшейся в ней душевной болезни добавились ночные галлюцинации: «мучила меня бессонница, во время которой то я слышала какие-то звуки, то видела мелькавшие мимо меня тени» *(МЖ – 2. С. 344)*.

Страдания матери усугублялись картиной страданий сына Льва:

«Он был худ, мрачен, говорил, что у него кишки парализованы и что он застрелится. Помню, какое страдание мне доставлял болезненный вид столь любимого мною сына, особенно когда он своими чёрными страдальческими глазами с упрёком и грустью смотрел на отца, когда тот не верил в болезнь сына и несправедливо упрекал его за неё, говоря, что надо себя взять в руки, не попускаться, заниматься и т. п. Лев Николаевич никогда не мог жить в атмосфере страданий других, особенно близких ему людей, и умышленно, а скорее даже инстинктивно, отрицал их, бежал от них. Так было всегда и со мной» *(Там же. С. 363)*.

К оправданию Льва Николаевича здесь можно заметить только то, что дети явно больной матери были столь же беспечны в блюдении

её здоровья, как и отец: путешествуя за границу, на лечения да развлечения, они ни в этом году, ни в последующие не настояли на заграничном отдыхе и лечении для мамы, которое в 1894-м году было ей уже явно и насущно необходимо.

Выезда сына в Париж Толстой не одобрял и с нравственных позиций. В уже цитировавшемся нами выше письме к сыну Льву от 28 января он называет Париж (который сам посетил в 1857 году) «великим соблазнителем» «в смысле прикрытия жестокости жизни и нравов», и развивает свою мысль, делая сопоставление давних своих впечатлений от Парижа с новейшими, от Гринёвки сына Ильи:

«Здесь, приехавши в Гринёвку и увидав заморышей мужичков ростом с 12-летнего мальчика, работающих целый день за 20 к. у Илюши, мне так ясно то учреждение рабства, которым пользуются люди нашего класса, особенно ясно, видя этих рабов во власти Илюши, который недавно был ребёнком, мальчиком, что рабство это, вследствие которого вырождаются поколения людей, возмущает меня, и я, старик, ищу, как бы мне те последние годы или месяцы, которые осталось мне жить, употребить на то, чтобы разрушить это ужасное рабство; но в Париже то же рабство, которым ты будешь пользоваться, получив 500 р. из России, то же самое, только оно закрыто» *(67, 19)*.

Здоровье самого Л. Н. Толстого в располагающих к хорошему самочувствию условиях усадьбы быстро пошло на поправку. В открытом письме к жене от 30 января он сообщает, что «чувствует себя совсем здоровым» *(84, 208)*. Загащиваться в семействе сына не стоило, так как, по уговору с женой, он собирался переехать оттуда не более чем через неделю в Ясную Поляну.

Ответом на приведённое нами письмо Толстого от 28 января служит письмо С. А. Толстой от 31-го, следующего содержания:

«Милый Лёвочка, спасибо, что написал мне длинное письмо; одно, что меня огорчило, это твоё ослабление, которое я замечала всё последнее время, и меня это пугало. Отчасти это твоё, хотя и лёгкое, но продолжительное нездоровье, отчасти это от совершенно постной еды, а то и оттепели зимой всегда на тебя дурно действовали. Как-то вы будете жить в Ясной? Очень уж там будет неудобно. Я рада на этот раз, что вы уехали, и не ропщу на своё одиночество. Вам всем это было нужно; да и мы отдохнули от толпы, от которой вы не хотите и не умеете избавляться.

Посылаю письмо Лёвы, не очень утешительное; видно, что он опять пугается одиночества и скучает без семьи. Вероятно он приедет с Ильёй; и пораньше, весной, уедет в Ясную, куда, думаю, выпишем кумыс; это глупости, что он вреден, но надо пить умеренно. Прошу Таню мне привезти обратно Лёвины письма. Что же это она себе тоже катарр желудка наживает? Мне это очень жаль, что она себя усиленно губит; и думается мне, что это горчишное масло вредно. Говорят, что оно самое жирное из всех постных. — Я написала Лёве, что ты о нём писал, это его утешит. Читала вчера «Чёрный Монах» Чехова. Очень хорошо написано, но как болезненно! Что это за грустное литературное настроение! — «Зарницы» Веселитской тоже прочла. Красиво написано, но мало содержательно пока. Но тон благородный, настроение не мрачное, — и за то спасибо. Теперь хочу читать «Жизнь» — Потапенки. — Пишу вам уже в Козловку, вы завтра должны быть в Ясной, но досадно, что письма пропадают. <Управляющий> Бергер пишет, что не получал моего письма, в котором я толково писала ему свои распоряжения.

Приехали вчера Денисенки; дружны и счастливы более, чем когда-либо. [...] Пробудут до 10 февраля, как раз до того времени, как вы проживёте в деревне, и их это огорчает.

Живу всё с детьми и другого ничего не успеваю делать. То на каток их вожу, то в гости, то за покупками они со мной ездят, то на танцкласс. А дома занимаюсь с ними, читаю им, учу добросовестно. Без них никуда ещё не ездила, только три визита сделала. Тут тепло всё время, только вот сейчас начало слегка морозить, градуса 2. Мальчики поливали каток для Саши, очень веселились. Серёжа ушёл с Колей к Толстым, видеть Леночку; маленькие играют в зале с mademoiselle [с гувернанткой]. С Серёжей очень приятно, и я огорчусь, когда он уедет.

Получили ли вы посылку с письмами из Черни? Таня поздно написала, чтобы не посылать, а раньше вы мне велели посылать в Гринёвку. Завтра ещё партию отсылаю на Ясенки, на имя Тани. Что за пропасть всякой бесполезной корреспонденции!

Хотелось мне тебе сказать, что если тебе не работается умственно, то может быть работа твоя в настоящем её виде (я совсем теперь не знаю, что ты пишешь) не то, что надо работать. Брось, отдохни, отодвинься от неё, возьми другую, но не тоскуй, что дело не идёт. Вижу, как ты иронически улыбнулся, но всё равно. Мне так не хочется, так наболело, что всем не по себе, все скучают, у всех энергия падает. В тебе я не привыкла к этому. Бог даст воспрянешь опять, и если тебе в деревне лучше, то обо мне не думай, делай, как тебе хорошо, только живите благоразумно.

Целую тебя и дочерей. В каком духе Таня? Маша, видно, очень довольна.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 588 - 590)*.

Письмо Л. Н. Толстого от 3 февраля, уже из Ясной Поляны, служит ответом на это письмо жены, а также и, как минимум, на одно из предшествующих ему, не сохранившихся. Ему, в свою очередь, предшествует небольшая толстовская приписка (последние строки Толстого, писанные в Гринёвке в эту поездку) к письму С. Н. Толстой и Т. Л. Толстой 1 февраля, где Толстой отмечает: «очень дурно, что ты не спишь» *(84, 208)*. В телеграмме, посланной 3 февраля по приезде в Ясную Поляну снова о том же: «всё хорошо, кроме твоих бессонниц» *(Там же. С. 209)*. О причине утраты писем, в которых Софья Андреевна обращает внимание мужа на свои бессонницы — и, вероятно, на сопровождающие их галлюциноидные явления — можно теперь догадаться.

Наконец, тема бессонниц жены затронута, помимо прочего, и в письме Толстого к Софье Андреевне от 3 февраля, посланном вослед телеграмме.

«Милый друг Соня,

Нынче в 2 часа я поехал верхом в Ясенки <в почтовую контору на станции. – *Р. А.*>, чтобы взять там посылки, и взял письмо к тебе от Тани, в котором сам приписал несколько слов; но в Ясенках заспешил и забыл отдать письмо; вспомнил только, ехавши назад, против лавки; не хотелось ворочаться, и я отдал письмо дворнику, прося его отдать на почту. Он обещался: но он не внушает мне доверия, а так как Иван Александрович едет сейчас на Козловку, я решил ещё раз написать тебе.

Мы приехали благополучно; очень жаль было покидать Соню и её детей, которых я всех трёх, — главное Соню, — больше узнал и полюбил. — Я совсем больше не кашляю и чувствую себя опять бодро. Здесь мы поместились прекрасно: я в Таниной комнате, Таня в Машиной, а Маша с Марьей Александровной <Шмидт> в девичьей. Под сводами топят, но ещё только 12°, и мы только там едим. Письмо твоё вчера же получил. Всё у вас хорошо и Серёжина забота о тебе и внушение, которое он делает Андрюше. — Ничто так не подействует, как внушение брата, — нехороши только твои бессонницы. Побольше будь на воздухе. Особенно такие прекрасные дни, как нынче.

Кроме пересланных тобою писем, я получил в Ясенках два интересных письма: одно от [американского пастора] Battersby с статьями, написанными разными reverend'ами [высокопочтенными духовными лицами] по случаю выдержек из «Царства Божия», которые печатались в одном журнале, а другое от издателя, который просит прислать ему русский текст для того, чтобы сделать 3-й перевод и издание.

Ты спрашиваешь, что я пишу? Всё тот же так называемый «Тулон», в котором я был вовлечён в разъяснения вопроса «патриотизма», и это очень интересно и, мне думается, ново и нужно, т. е. доказательство лжи и вреда этого патриотизма. Ты пишешь о том, что можно в Москве устроить уединение: страшно желаю этого и попытаюсь устроить это и быть как можно строже в этом. Девочки обе вполне здоровы. Здесь <толстовец Пётр Галактионович> Хохлов, который до нас ещё пришёл к Марье Александровне пешком из Москвы. Это было неприятно. Он завтра уйдёт к Булыгину.

Самое мне и тебе интересное под конец о Лёве. Письмо его <26 января из Парижа> огорчительно. Здоровье всё ещё не поправляется. То, что он в Париже, а не в Канне, всё равно. Страшно, что далеко очень от нас. Будем ждать и надеяться всего лучшего. Я ему писал раз длинное письмо из Гринёвки <письмо от 28 января. – *Р. А.*>. Прощай, целую тебя и детей, Серёжу особенно. Поклон Павлу Петровичу <Кандидову> и <гувернантке> m-lle Detraz.

<Повар> Пётр Васильевич <Бойцов> приехал. Хотел сам непременно, говоря, что скучно. И нынче пьян» *(84, 209 - 210)*.

Встречное письмо С. А. Толстой, от 2 февраля, с припиской 3 февраля:

«Я удивилась, милый друг, что ты не получал моих писем. Я писала, как обещала, через день. Сегодня пропускаю, потому что завтра едет Павел Иванович, а главное меня сбили с толку; говорят, что вы в Ясную уже не едете, а выписываете Машу, и Марью Александровну <Шмидт> в Гринёвку, и Пошу <Бирюкова>. Соскучились без людей?

Мы все продолжаем быть здоровы, только меня лихорадило раза три по ночам. И раз было очень страшно. Не то я сплю, не то нет, вижу входит Лёва. Я ему обрадовалась, обняла его, а у него в коже все кости сложились в кучку под моими руками; я чувствую, как они болтаются в коже и стучат, а лицо Лёвы улыбается и худое такое. Я проснулась, а мне показалось, что я и не спала, и ужас напал, что это было виденье, что Лёва ко мне приходил; а главное я испугалась,

что может быть с ним в эту ночь что-нибудь случилось. Это было с 31-го на 1-е.

Сегодня Саша нас напугала. Каталась в саду на коньках, и вижу я в окно, что она со всего размаха падает, не имея времени упасть безопасно. У ней подогнулась рука, она долго плакала, но потом прошло, и вечером они с Ваничкой уже отплясывали у Лизы на танцклассе. Андрюша и Миша тоже пляшут у Колокольцовых, под игру на фортепиано самой Маши.

С Андрюшей всё не ладим. Вчера я ездила к Гроту просить учителя для Андрюши. С Павлом Петровичем совсем не идёт; оба виноваты, один, Андрюша, ленив и груб, другой — не добросовестен. Спрашивала я Грота совета, как быть с таким малым, как Андрюша. Он говорит: спросите его самого, чего он хочет и что думает о своём положении? Я спросила вечером. Андрюша говорит: «если ты не хочешь, чтоб я был военный, мне всё безразлично». Стали рассуждать, он нагрубил и ушёл. А предоставить его самому себе нельзя; он слаб и погибнет без руководства. Серёжа уехал сегодня в Никольское на 5, 6 дней. Он испортился последние дни, ибо кутнул.

Очень рада, что ты и Таня здоровы. Маше давно не писала. Видаю здесь больше всего <сестру> Лизаньку и брата Серёжу, которого очень люблю. У них Маша опять объявила, что выйдет непременно за Бибикова, — туда всё сёстры ходили, — и брат Серёжа очень огорчён; не знаю, чем всё разрешится. Кончаю на сегодня; завтра ещё припишу. Жаль, что я не знаю, что вам послать. Посылаю немного консервов, испытанных пироговскими Толстыми; всё выходит очень хорошо, особенно крапивные щи.

Переводила сегодня Франциска, и теперь хочу опять за него приняться, пока свободно. <С. А. Толстая переводила книгу Поля Сабатье о Франциске Ассизском. Издана «Посредником». – *Р. А.*>

Сейчас вернулись дети.

Написано 3-го вечером.

Соня пишет, что Таня плоха; если так, то не давай ей много писать, вели больше гулять и спать. А то Соня пишет, что Таня весь день и вечер сидит и пишет. Где же отдых? Надо ею заняться вам с Машей» *(ПСТ. С. 590 – 591).*

Софья Андреевна, как мы видим, сама достаточно плоха. Страшное видение (или сон?), рассказанное ей — тому свидетельство. Как только кончилось общее дело помощи голодавшим крестьянам, несходство фундаментальных мировоззренческих ориентиров мужа и

жены явилось разительней прежнего. Её раздражало и нервировало в тот год многое — но всё по тем же, указанным нами многократно в предыдущих Эпизодах, причинам. Например, вполне интеллигентные гости Толстого из Америки — напоминали ей о проклятой «Крейцеровой сонате»: ибо именно её публикация в Североамериканских Штатах сделала Толстого не только популярным писателем, но и «голосом совести», как и в России — духовно-нравственным авторитетом… От неблизкой духовно супруги, от семьи, он, по эмоциональному ощущению Сонички, как будто уходил всё далее. Между тем *семена зла*, посеянные их разногласиями о жизни по вере, их конкуренцией за воспитательное влияние на детей — дали за прошедшую половину десятилетия 1890-х свой цвет, а ближе к середине — начали приносить и первые плоды. Это и страшные симптомы *какого-то* заболевания Софьи Андреевны — как минимум, нервного, если не психического характера. Это и рабство её у постылой Москвы — с её постоянной деловой (книгоиздание!) и хозяйственной суетой. Это и болезнь «младшего из старших» сыновей, Льва Львовича, развившаяся после его героического и безумного “соревнования” с отцом в благотворительной работе в голодавшей степной Патровке. Это и нравственное “заболевание” младших сыновей, отбившихся от рук не только отца, но и матери. Если из старших сыновей, росших ещё в Ясной Поляне, получились, в значительной степени, копии отца в его молодости, усадебные «господа», то младшие, развращённые в большей степени городом — превращались в городских прожигателей жизни и пленников мирского обмана, для которых, как предел мечтаний, была то военная служба, то выгодная женитьба…

В доступном нам сборнике писем Софьи Андреевны Толстой письма её от 4 и 5 февраля упомянуты, но не опубликованы. Осталась по хронологии только небольшая открытка, посланная Толстым за несколько дней до отъезда, такого содержания:

«У нас всё вполне благополучно; мы все здоровы, если не считать бывший у Тани нарывчик на десне, который прошёл, но её беспокоит, и я ей советую съездить завтра к Рудневу. В комнатах так тепло, что мы отворяем форточки. Я очень рад, что был у Сони и здесь пожил, но очень рад тоже и тому, что время скоро идёт, и мы через три [дня], если будем живы, приедем в Москву.

Л. Т.» *(84, 210 – 211).*

Важным творческим событием этих яснополянских дней явилась запись Толстого в Дневнике под 9 февраля, в которой он обозначил черты характера персонажей, близкие к выведенным позднее в драме «Живой труп» (Каренин и Протасов).

Из гостей Ясной Поляны в эти дни особенно нужно выделить художника Н. Н. Ге, заинтересовавшего Толстого новой своей картиной на христианский религиозный сюжет — «Распятие». Это тоже важная духовно-биографическая деталь: покидая 11 февраля родной дом, Толстой только отчасти (и трудно сказать, насколько большой) ехал к жене и детям, а в значительной мере — *к картине*, которую ему не терпелось увидеть.

КОНЕЦ ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Тридцать Девятый.
ПЛАЧЕВНЫЙ ИТОГ, или КАЖДЫЙ ПОЛУЧИТ СВОЙ АД
(18 октября – 5 ноября 1894 г.)

Году 1894-му в фундаментальной научной Биографии Льва Николаевича Толстого её автор, Л. Д. Опульская посвящает главу с характерным именованием: «Статья “Неделание” и многообразная деятельность 1894 года». Трудно деликатней указать на то, что обстоятельства жизни Льва Николаевича и собственные его настроения влекли его в тот год “по преданиям и суетам мира”, заставляя нравственно страдать в осознании своего духовного ослабления, несоответствия своим же, уже проповеданным миру, идеалам. Не дал этот год ни одного безусловного художественного шедевра из-под пера Толстого; создавалась преимущественно “тяжёлая” в освоении материала публицистика: как общественно-политическая (статья «Христианство и патриотизм»), так и сугубо религиозного плана, именно пресловутый «катехизис», забравший *львиную* долю сил писателя и публициста и так и не дописанный к концу 1894 года: Толстой лишь

убедится со временем, что катехизическая форма излишня, и впоследствии напишет своё “изложение веры” как обыкновенную религиозную статью, названную «Христианское учение».

17 марта завершается писанием статья «Христианство и патриотизм», а 23-го Толстой доверяет Дневнику сокровенное своё пожелание: закончить скорее вторую свою затяжную работу, Предисловие к сочинениям Ги де Мопассана, и писать «чисто художественное» *(52, 112)*. Но не судьба: к художественным работам этого года можно отнести разве что пьесу «Пётр Хлебник», готовившуюся Толстым для летнего домашнего театра и не оконченную им, написанный в конце года, по вдохновению от событий смены царствования, рассказ «Сон молодого царя», да начатую писанием в конце года повесть «Хозяин и работник». Последнюю Софья Андреевна с самого начала считала “своей”, и по очень интимной причине, о которой в 1911 г., то есть уже после гибели мужа, решилась рассказать деликатно в мемуарах «Моя жизнь». Она приводит там следующую цитату из Дневника покойного супруга, из записей на 6 сентября:

«После *дурной* ночи придумал очень живой рассказ о хозяине и работнике» *(МЖ- 2. С. 368; ср. 52, 137)*.

А «дурными» Толстой, очень обидно для жены, называл такие ночи, в которые не мог совладать с половым влечением. Соничка вспоминает, как тогда, перед отъездом с детьми (ради начавшегося учебного года) в Москву, она подарила ему в ночь на 6-е свои ласки, привычно и умело освободив от полового напряжения. Греховная страсть отхлынула — и явились на освободившееся место свежие замыслы и бесценное творческое вдохновение.

Толстой весь год много читает — однако новинки литературы в основном не приветственны ему, и последним значительным литературным открытием остаётся для него «Дневник» умершего более десяти лет до того Анри Амиеля, который он с неослабным удовольствием перечитывает в июле. Принимает славный яснополянец и массу гостей — но большинство, как и прежде, разочаровывают его. Уже с немалым скепсисом встречает он около 12 мая в Ясной Поляне очередного обожателя, американца Эрнеста Ховарда Кросби (1856 - 1907), и неожиданно обретает в нём многолетнего друга и помощника — в частности, в популяризации в Американских Штатах экономической теории Генри Джорджа, которой, через десятилетие после писания трактата «Так что же нам делать?» (в связи с которым он и познакомился с утопическими построениями Джорджа) Толстой снова забил тогда себе голову.

Кстати сказать, хотя Кросби был в то время уже толстовцем, отказавшимся от государственной службы и карьеры, от многих мир-

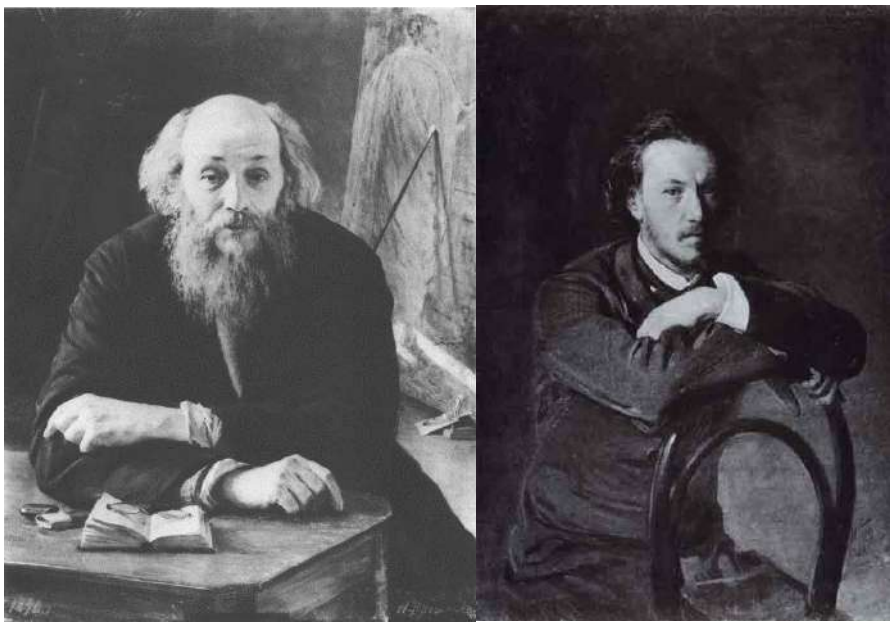
Эрнест Ховард Кросби.
Фото 1904 г.

ских благ и разошедшимся на этой почве с семьёй — Софья Андреевна, которую он навестил тогда же в Москве, отнеслась к нему благожелательно: в немалой степени благодаря похвале, которой хитрый льстец удостоил обожаемого матерью младшего сына, Ваничку *(МЖ – 2. С. 356)*.

Иван Львович Толстой. *1894 г.*

Страшной потерей для Толстого стала смерть преданного друга-художника Николая Николаевича Ге. Его последняя картина «Распятие», не понравившаяся Софье Андреевне, но вызвавшая восторг Толстого и многих близких к нему людей, была со скандалом снята с

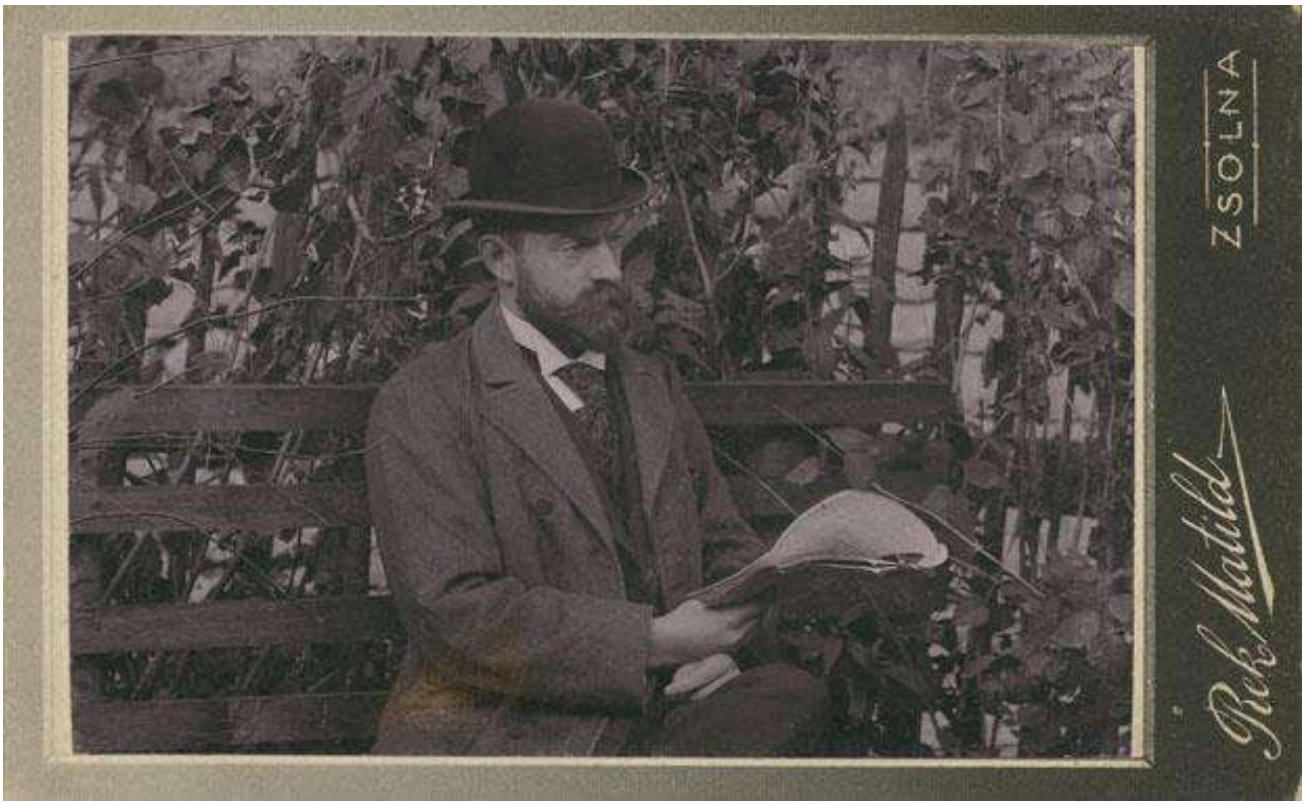
публичной выставки, и, по эффекту “запретного плода”, привлекла внимание молодых и не очень бунтарей, искавших встречи с художником. После серии публичных встреч и лекций, в сильнейшем изнурении старик вернулся наконец из проклятой душегубки, из Москвы, на свой маленький хутор Плиски в Черниговской губернии, где, однако, так и не сумев оправиться, 1 июня вдруг скоропостижно скончался. На следующий день Толстой получил известие о смерти друга в телеграмме, и записал в Дневнике: «Мне ужасно жалко его. Это был прелестный, гениальный старый ребёнок» *(52, 118)*. Вскоре Толстой потеряет, хотя и не смертью, и «Количку», Николая Николаевича Ге-сына (1857 – 1940): тот после смерти отца переживёт тяжёлый духовный кризис, жёстко разорвёт с христианским исповеданием Льва Николаевича, и, возненавидев Россию, навсегда проклятую страну убиваемых людей и надежд, уедет жить в Швейцарию, в которой и проживёт спокойно, медленно и мудро, благополучно и счастливо ещё без малого полвека.



Н. Н. Ге, отец и сын

Но, отнимая одних, судьба дарует таким людям, как Лев Николаевич, новых друзей и помощников. В этом отношении беспрецедентна судьба доктора-словака Душана Петровича Маковицкого (1866 - 1921), страстно полюбившего сначала Истину христианского учения, открывшуюся ему через духовные писания Льва Николаевича, а после первой встречи в Ясной Поляне, состоявшейся 21 августа 1894 года — и его самого. В качестве домашнего доктора ему суждено будет пробыть с Толстым с осени 1904 года до последних мгновений его земного бытия. «Погостил он тогда недолго и уехал 27-

го августа, — вспоминает в “Моей жизни” С. А. Толстая, — Не думали мы, что так долго потом проживём с ним» *(МЖ – 2. С. 367)*.



Душан Маковицкий. *1890-е гг.*

Не оставляет Лев Николаевич и своих занятий физического труда. Если в Москве зимой 1893-1894 гг. он, например, впрягал себя вместо лошади в бочку и привозил для всей семьи воду (водопровода в Хамовническом доме не было), то в Ясной Поляне от работает в июне и июле с крестьянами на косьбе, возит сено, осенью же — помогает для заготовки дров и хвороста. С покосом была связана в 1894 году одна история, весьма неприятная для жены Толстого:

«…Мои сыновья Андрюша и Миша вернулись раз, смущённые, с покоса, где мужики, указывая им на одного из них, Тимофея Базыкина, сказали моим детям, что это их братец, рождённый от бабы Аксиньи и Льва Николаевича. Мужик этот хотя и в грубой форме, но очень похож на своего отца графа. Прежняя ревность поднялась во мне и боль сердечная за детей. Был тяжёлый разговор с Львом Николаевичем… […] Я так его любила и так страстно не уступала его никому» *(МЖ – 2. С. 359, 360)*.

Всё та же, особая, соничкина любовь — смешанная с ревностью и с желанием безраздельного обладания. Причина бессчётных бед семьи во все годы совместной жизни супругов.

Несколько дней в августе и сентябре Лев Николаевич работает на лесоповале для нужд погорельцев из деревень Потёмкино и Колпны (это помимо нескольких сотен рублей, переданных им на обустройство). 24 сентября он вышел дробить камень: помогать дорожным рабочим в ремонте дороги на станцию Козлова Засека. Но Софья Андреевна, снова вовремя почуявшая беду, примчалась на следующий день из Москвы “с проверкой” и пресекла эту вреднейшую для здоровья трудовую деятельность мужа. Зато благословила любимое и ею самой занятие: посадку Л. Н. Толстым дерев, целого яблочного сада в имении дочери Тани, в Овсянниково. Этим Толстой занимался 26 и 27 сентября.

В целом для обоих супругов 1894-й год был непростым и… каким-то суетным, во многих отношениях контррезультативным. Он прошёл для семьи с «грустной ноткой», связанной с продолжавшейся болезнью Льва Львовича, способствовавшей, как вспоминает С. А. Толстая, сплочению семьи, так как «все единодушно жалели Лёву» *(Там же. С. 338)*. Но эта же домашняя атмосфера грусти порождала у Софьи Андреевны, и без того склонной к депрессиям и невротическим реакциям, очень нездоровые помыслы и состояния. Например, в связи с радостным для любой семьи, долгожданным событием, перестройкой и расширением на целое крыло яснополянского дома, она пишет сестре Тане вот что: «Пристраивать придётся два лета, а кто ещё будет жив? Точно могилу себе строю, а не дом» *(Цит. по: Там же)*. Как и у сына Льва, болезнь матери имела как невротические, так и сугубо физические симптомы: «кровь шла горлом – и много; и лихорадка по ночам, грудь болит, пот» *(ДСАТ – 1. С. 222)*. Даже в сплочённости семьи она находила основания для своих расстройств, всё то же, что и прежде: «…*как* иначе устроить жизнь — я не знала. Жили все вместе, а осуждали меня одну» *(МЖ – 2. С. 339)*. И персонально о муже: «Отрицал он всё, а жил, как и все мы, пользуясь всем» *(Там же. С. 363)*. В дневниковой записи 4 августа она подробно расписывает эту свою претензию к мужу. По версии Софьи Андреевны, причиной развивающейся в ней болезни стало именно отношение мужа к ней и к больному сыну:

«…Гнетущая меня отчуждённость мужа, бросившего на мои плечи всё, всё без исключения: детей, хозяйство, отношения к народу и делам, дом, книги, и за всё презирающего меня с эгоистическим и критическим равнодушием. А его жизнь? Он гуляет, ездит верхом, немного пишет, живёт где и как хочет и ровно ничего для семьи не делает, пользуясь всем: услугами дочерей, комфортом жизни, лестью людей и моей покорностью и трудом. И слава, ненасытная слава, для

которой он сделал всё, что мог, и продолжает делать. Только люди без сердца способны на такую жизнь. Бедный Лёва, как он мучился тем недобрым отношением отца к себе всё это последнее время. Вид больного сына мешал спокойно жить и сибаритствовать — вот это и сердило отца. Не могу вспомнить без боли эти чёрные, болезненные глаза Лёвы, с каким упрёком и горем он смотрел на отца, когда тот упрекал ему его болезнь и не верил страданиям. Он никогда их не испытал сам, а когда болел, то был нетерпелив и капризен» *(ДСАТ – 1. С. 223)*.

Впрочем, изведя себя тогда, в 1894-м, такими измышлениями, обычной смесью полуправды с злым вымыслом, к концу года Софья Андреевна будто что-то поняла или, во всяком случае, обрела временный покой. В одну из таких просветлённых и спокойных, но всё-таки наполненных грустью минут, 23 ноября, она записала в дневник следующее примирительное суждение:

«Я виновата, главное, тем, что после 32 лет ещё надеюсь, что Лёвочка может что-нибудь сделать для меня и для семьи. Надо радоваться и довольствоваться тем хорошим, что в нём было» (*Там же. С. 224)*.

«Свою семейную жизнь Лев Николаевич отживал совсем» — резюмирует Софья Андреевна в мемуарах о 1894-м годе. Но уже вовсю шла жизнь его *всемирная*, недосягаемая и во многом непонятная Софье Андреевне, которая продолжала «страдать от неудовлетворённости» ограниченным набором социальных ролей, отводимых ей тогдашней патриархально-традиционалистской Россией, игнорировавшей в женщине общечеловеческую потребность в творческой самоактуализации, к жизни за пределами рутинной повседневности. Не решаясь, даже и не думая возвысить свой голос до протеста общественной высоты и боясь навредить безусловно любимому мужу — она неизбежно становилась жертвой “самоугрызений”, агрессии и аутоагрессии и иных невротических состояний, со временем спровоцировавших развитие психического заболевания.

Страшным толчком к заболеванию стала московская зима 1894-1895 гг., унёсшая жизнь младшего, всеми горячо любимого сына, Ивана Львовича, Ванички. С тоской вспоминает Софья Андреевна в 1911 году, через несколько месяцев после гибели мужа, как расставался в сердечной тоске её младший гениальный сын с милой Ясной Поляной — будто понимая, что видит её в последний раз:

«Когда мы влезли на вышку (беседку в конце сада), мы с ним залюбовались видом. Был ясный, слегка морозный октябрьский день. Блестело всё от замёрзшей росы. Ваничка долго всматривался вдаль

и сказал: “Красота, и я с тобой. И ничего больше не надо”» *(МЖ – 2. С. 375)*. Несомненно, любящий и оттого чувствительный на пределе 6-тилетний малыш разделил настроение матери, отца и сестры Саши, которым совершенно не хотелось покидать место истинного блага, радости и добра — ради угождения мирским установлениям об «образовании» как условии успешности ради мирского же, лукавого «счастья». Но Софью Андреевну и малышей уже поджидали в Москве, и остановить фатальный ход событий не могли в ту грустную осень в равной степени ни муж, ни жена. Ваничка мог… но к нему, конечно же, не прислушались.

* * * * *

Помимо того эпизода переписки, который мы представим ниже во всех подробностях, а также презентованного нами выше, к 1894 году относятся ещё три. И хотя переписка супругов представлена в них скудно и, по преимуществу, малоинтересно для читателя, мы тем не менее не можем и совершенно обойти их молчанием.

К периоду с 25 марта по 2 апреля 1894 г. относится поездка Л. Н. Толстого с дочерью Марией на хутор Ржевск Воронежской губернии к В. Г. Черткову, в ходе которой он встретил и навестил в Воронеже другого тамошнего давнего товарища, Г. А. Русанова. К этим дням относятся четыре корреспонденции Толстого жене (26, 27, 28 марта и 1 апреля) и два её письма, от 26 и 30 марта.

Толстой отдохнул душой среди любивших и понимавших его, духовно близких людей. Было решено, что Чертковы переедут на лето поближе к Ясной Поляне. Впоследствии, в конце апреля, Толстой подобрал для ближайшего друга дачу в Дёменке, в 5 верстах от Ясной Поляны, и вызвал страшную досаду Софьи Андреевны, заказав *пристройку* для этого дома — в те самые дни, когда она хлопотала и шла на огромные траты ради пристройки в Ясной Поляне! А у Русановых 2 апреля Толстой наконец закончил свою затяжную и вдохновенную работу над статьёй о Мопассане *(Опульская Л. Д. Материалы к биографии Л. Н. Толстого с 1892 по 1899 гг. М., 1998. С. 102)*.

К серии из семи своих писем периода с 30 апреля по 13 мая 1894 г. С. А. Толстая сделала такое примечание: «Письма из Москвы в Ясную Поляну, где оставался Лев Николаевич с Машей» (и куда всей душой стремилась и Соня!). Толстой писал её за эти же дни восемь раз: 29, 30 апреля, 1, 2 и 9 мая, а затем ежедневно с 11 по 14 мая. 17 мая Софья Андреевна переехала в Ясную Поляну на всё лето.

В письме от 9 мая упоминается какой-то «неприятный разговор», состоявшийся у Толстого с женой, завёзшей в Ясную Поляну младших детей в ходе деловой своей поездки в Тулу с 5 по 7 мая. К несчастью, сразу три письма её, хотя бы в одном из которых, вне всякого сомнения, Соничка подробнейше и страстно излагает свою позицию в произошедшем конфликте, от 1, 2 и 9 мая — изъяты из общей книжной публикации её писем и недоступны нам. С величайшим вероятием, это был инициированный ею скандал по поводу заботы о даче с пристройкой для Владимира Григорьевича Черткова и его семьи. В прошедшем цензуру Дневнике Толстого есть только, в записях 15 мая, вот это осторожное упоминание конфликта:

«Целую неделю и больше нездоров. Началось это, мне кажется, с того дня, как меня расстроила печальная выходка Сони о Черткове. Всё это понятно, но было очень тяжело. Тем более, что я отвык от этого и так радовался восстановившемуся — даже вновь установившемуся — доброму, твёрдому, любовному чувству к ней. Я боялся, что оно разрушится. Но нет, оно прошло, и то же чувство восстановилось» *(52, 117 – 118)*.

Многое объясняет письмо Толстого от 12 мая к Чертковым, где Толстой объясняется по поводу посланного к ним женой 7 мая эмоционального письма с критикой (вероятно, уничтоженного получателями по просьбе Толстого). Накануне Толстой ездил покупать сруб на пристройку к летней даче Чертковых, и Софья Андреевна, ездившая по своим делам и вымотанная сволочной Тулой, не застала его вечером дома. В приватном разговоре Толстой не сумел разрешить стоявшую перед женой дилемму: как не оказаться летом в Ясной Поляне одинокой (обычные гости и родня, семейство Кузминских, после скандала с поведением кого-то из их детей в предыдущем году не были теперь приглашены), но и не приближать к мужу духовно близких ему и страшных ей людей; а кроме того совершил и такую “страшную” ошибку: «…Имел неосторожность сказать, что у вашего <маленького сына> Димы не так, как у Ванечки, нет игрушек» *(87, 277)*. А ведь Софья Андреевна уверила себя, как мы помним, что не доживёт до конца чудовищной по длительности и расходам пристройки к яснополянскому дому. Оправдывала она труды и расходы — как раз интересами Ванички и прочих детей. Последовал страшный припадок Софьи Андреевны, а затем — написание ею эмоционального письма Чертковым… Ни в чём, после улаживания скандала, не упрекнув жену, Лев Николаевич только выразил в письмах от 9 и 12 мая надежду, что у той не осталось эмоционального «осадка» или «недобрых и мрачных мыслей» после домашней ссоры — подчеркнув, что совершенно понимает естественность её чувств

«в теперешнем положении одиночества» и с доставлявшими хлопоты и расстройства детьми *(84, 217)*.

Наконец, довольно обильную, но преимущественно малоинтересную переписку содержит периоды с 17 по 22 августа и с 6 по 22 сентября. Уехав в Москву к лечившемуся там сыну Льву, Софья Андреевна писала оттуда мужу 17 и 20 августа, 8 сентября (письма не опубликованы), 11 сентября, 17 сентября (письмо не опубликовано), 21 сентября и 22 сентября (письмо не опубликовано). Наблюдавшему за семейством и работами с пристройкой Толстому в эти же дни принадлежат корреспонденции к супруге от 18, 19 20-21 августа, 7, 10, 12, 15, 18 и 19 (письмо и открытка) сентября. Первое из писем, от 18 августа, открывается словами ласки и заботы, очень порадовавшими Софью Андреевну:

«С первого же вечера, как ты уехала, дорогой друг Соня, мне сделалось и скучно без тебя, и жалко тебя за то, что покидаешь и деревню, и детей — Ваничку — и едешь на тяжёлую жизнь» *(84, 219)*.

Из дальнейшей переписки означенных дней мы возьмём только один характеристический и очень важный эпистолярный диалог Сони и Льва, по поводу художественного творчества. В письме от 7 сентября *(см.: 84, № 613)* Толстой обрадовал жену известием, что начал вчерне записывать новый рассказ — и это был будущий «Хозяин и работник», на писание которого, как мы помним, Толстой был вдохновлён общением с женой перед её отъездом. Софья Андреевна вспоминает, что очень обрадовалась этому известию от мужа, «так как всегда считала, что это <художественное творчество. – *Р. А.*> его настоящее призвание» *(МЖ – 2. С. 370)*. И в письме от 11 сентября она отвечала Льву Николаевичу следующее:

«Ни разу ещё не обращалась к тебе, милый Лёвочка, в своих письмах, но это всё равно: когда я пишу, да и вообще думаю, то равно обо всех, и благодарю, что пишете мне все, и часто. […] О тебе, Лёвочка, всё это время много думаю; я рада, конечно, что ты весел и бодр, но меня интересует твой задуманный рассказ. Мне почему-то казалось, по тону, с которым ты к нему относился, — что он был бы *настоящий*, т. е. очень хороший. Как это странно, эти художественные вспышки. Как красавица с годами всё реже и реже бывает красива, так и художественная красота вспыхивает реже и реже и потухает быстрее. И жаль это, надо дорожить этими проблесками, как дорожим мы теперь, в осеннюю дождливую пору, редкими лу-

чами солнца. Не могу я отрешиться от моей любви к твоей *художественной* деятельности; и сегодня я вдруг ясно поняла, что это от того, что я с тобой её пережила в лучшие годы моей жизни, т. е. просто в молодости. А дочери в своей молодости переживают другую сторону твоей деятельности авторской, и будут её любить больше всего другого.

Все эти рассуждения, может быть, тебе неприятны, и тогда жаль, что я их написала; мне просто хотелось с тобой поговорить.

[…] Напиши мне, милый друг, опять как-нибудь хорошее письмо, а не только о кафлях. […]» *(ПСТ. С. 598, 601)*.

Толстой тогда наблюдал за подвозом для пристройки строительного и особого печного (кафельного) кирпича.

В письме от 18 августа он, среди прочего, отвечал жене следующее:

«Я нисколько не нашёл неприятным то, что ты писала о твоём отношении к моему писанью и отношении к нему теперь девочек; напротив, нахожу это справедливым и с очень приятным чувством вспоминаю о том времени художественной работы».

Но тут же он дал понять жене всю необоснованность её надежд на то, что он забросит ради «художественного» свои религиозные писания:

«Теперь я написал начерно очень малоинтересный рассказ, но меня он на время занял. Поправлять же его, теперь по крайней мере, нет охоты. Над своей работой всё копаюсь» *(84, 224)*. Под «своей работой», ключевой, значительнейшей для него Толстой разумел, конечно же, свой “катехизис”, будущую статью «Христианское учение».

* * * * *

Теперь приступим непосредственно к анализу второго выделенного нами Эпизода (Тридцать Девятого в нашей книге) из переписки супругов Толстых в 1894 году. Это время с середины октября, когда в Москву уехала Соня с младшими детьми, до 7 ноября, отъезда туда на зиму Толстого. Первые письма супругов в данном Эпизоде переписки достаточно малоинтересны. Так, в письме от 17 октября Софья Андреевна сообщает обычные домашние новости (в числе прочего — и о здоровье сына Льва), которые отец и муж в ответном письме от 18 или 19 октября называет «не радостными» *(84, 226)*. Полный текст этого письма Софьи Андреевны не опубликован, но,

вероятно, именно из него цитирует Софья Андреевна в воспоминаниях эти жалостные строки:

«Самое моё лучшее, т. е. счастливое, осталось с вами, и в вашей тишине, и в серьёзной духовной атмосфере. И дети мои маленькие здесь не те, как не то ни небо, ни сад, ни люди, ни всё то, с чем живёшь. А кроме того, бедный Лёва очень плох и душой, и телом. Доктор советует тёплый климат» *(ПЖ – 2. С. 375)*.

Письма С. А. Толстой от 24 и 25 октября разделили участь предшествующего им: их полные тексты не опубликованы и недоступны нам. Обратимся к письмам Л. Н. Толстого этого же периода.

Припиской Л. Н. Толстого к письму Т. Л. Толстой от 20 октября открывается главная тема данного Эпизода: болезнь и кончина имп. Александра III и начало нового царствования. Приводим ниже полный текст приписки.

«Таня говорит, что написала это очень глупое письмо. Я не пытаюсь написать умнее, потому что вот уже 3-й день физически здоров, но в знакомом мне состоянии апатии. Погода бодрящая, еду в Овсянниково.

Лёва видно пободрее. Это хорошо. Жалко, что он не хочет взять мою комнату <в хамовнической усадьбе. – *Р. А.*>, впрочем, <там> воздуху мало.

Грот как мало философ. Пишет, что слышал, что мне царя очень жалко, и поэтому заключает, что он был очень прекрасный царь и что царствование его было прекрасное, полезное и т. п. Царствование было очень плохое, и тем более его жаль.

Я у маленькой Верки <Деевой>, читая последнюю телеграмму о Государе, говорю: Царь умирает, тебе жаль? Она говорит: нет, не жаль» *(84, 227 – 228)*.

В Овсянниково, в имение дочери Татьяны, Лев Николаевич ездил осенью 1894-го много раз, не всегда в гости, а и по серьёзному делу. Сам будучи увлечён теорией Генри Джорджа, он увлёк ей и дочь Татьяну, которой по семейному разделу принадлежали земли в Овсянниково. В сентябре было подписано соглашение с крестьянами, по которым они получали землю, пахотную, покосную и лесную, но обязаны были охранять сад и собирать в общественную кассу ежегодно по 425 рублей. Но разрешать спорные вопросы, учить хозяйствовать «по Джорджу» Толстому пришлось ещё долго.

Смерть 20 октября 1894 г. императора Александра III занимает важнейшее место в тематике переписки супругов рассматриваемого периода. Смерть всегда занимала и глубоко впечатляла Льва Николаевича. Но умно-глупый, как и положено либералу, профессор Н. Я. Грот, многолетний знакомый и собеседник Толстого, принял его сочувствие к царю как к больному, страдающему, тяжело нагрешившему в жизни и умиравшему в грехах человеку за одобрение итогов его царствования — и оплошно в письме от 16 октября дал свою положительную оценку именно политике Александра III. Толстой ответил ему так:

«Мне его очень жалко, как человека страдающего и умирающего в таких тяжёлых для души условиях, но эта жалость не заставляет меня изменить моё мнение о плачевном итоге его царствования. И от этого-то мне его особенно жалко» *(67, 250)*.

24 октября — снова от Толстого приписка к письму дочери Т. Л. Толстой: с мнением о лечении сына Льва («ему и нам лучше будет, если он будет в доме»), поведении сына Ильи («мне… очень мил, - добр очень, умильно добр»), и обещанием написать на следующий день большое письмо *(см.: 84, № 228)*. Обещание было, конечно же, выполнено, и вот текст письма 25 октября:

«Вчера возил письмо на Козловку и оттуда проехал в Овсянниково по делам Тани. Марья Александровна <Шмидт> всё также здорова, и благодушно-тепло, чисто у неё, и она радостна. Оттуда проехал навстречу <кучеру> Михайле <Егорову>, которого не было дома, до Басова. Встретил его и вернулся домой к 6-му часу. Маша всё ещё лежала, но ей легче было. Я посидел у себя внизу, пописал, а потом мы целый вечер — я читал — читали <Сенкевича> «Поланецких» с большим удовольствием. Прекрасный писатель, благородный, умный и описывающий жизнь, правда, одних образованных классов во всей широте её, а не одних нигилистов, фельдшериц и студентов, как наши.

По дороге в Козловку застал толпу мужиков, которая присягала священнику, который стоял на крыльце и смело — не понимая того, что он делает — обманывал людей. <Присяга на верность новому царю. – *Р. А.*> Мне всегда это больно и страшно видеть. Тут же уж стояли казаки и охрана, которые выехали для проезда. Это видеть ещё страшнее. Вообще при перемене царствования виднее вся та ложь, которая совершается, и больно и страшно видеть её. Впрочем, манифест <нового царя, Николая II> исключительно неприличен: «Россия сильна беспредельной преданностью к нам».

Нынче утром приехала Надя Иванова из Тулы. Маша звала её, и привезли письма, и твоё, Соня, к Тане. Спасибо, что пишешь, пиши почаще.

<Толстовец> Хохлов пробыл здесь день. Я уговорил его ехать назад к отцу и взять от меня 3 р. на дорогу. Это стоило мне большого нравственного усилия. Вообще все разговоры с ним. Он решительно душевно-болен и очень жалок. Он, очевидно, хотел видеть Таню. Всё время он сидел внизу в библиотеке и Таню не видел, но перед отъездом, вечером, он вошёл наверх без меня, и, когда Маша вышла, Таня сказала ему: получили вы мои письма? Он: — нет. — Ну, так вы слышали, что говорила вам Маша; всё, что она говорила, — правда. Надеюсь, что вы берёте назад свои слова? Это сказала Таня. Он — приходится. Он был очень сконфужен, но, по крайней мере, в этом отношении успокоился. Я всячески убеждал его поселиться у отца и там, отдохнув от той аскетической жизни, которую он ведёт, — он в лаптях, во вшах, — избрать себе какое-нибудь дело, а, главное, сделать так, чтобы люди не боялись его, как теперь, а любили бы его, постараться быть полезным и приятным людям. — Он слушается меня, когда я говорю ему, но потом опять — забывает. У него нет воли, — инициативы никакой.

Я эти дни писал одно письмо в английские газеты о том, что христианство не имеет целью разрушать существующий порядок и заменять его другим, а только спасение людей, и письмо баронессе Розен о том, нужно ли приводить в ясное сознание и выражать словами свои религиозные убеждения или не нужно. Оба кончил. Своё же изложение веры отложу пока. Всё хочется начать сначала и иначе. Писем никаких дня три не получали, вероятно, читают. Я очень хорошо себя чувствую физически и нравственно. Девочки, мне кажется, тоже. Тебя, Соня, как и всё это последнее время, очень люблю. Пишу это письмо к тебе и к Лёве вместе. Целую Лёву и надеюсь скоро увидать» *(84, 228 – 229)*.

Немного расскажем о тех сопутствующих эпистолярный диалогах, которые упоминает Лев Николаевич в вышеприведённом письме к супруге от 25 октября. Некий Ч. Н. Фойстер обратился к Толстому с письмом из Лондона от 9 сентября н. ст. 1894 г., в котором писал, что прочитанная им в газете «Daily Chronicle» статья Толстого «Христианство и патриотизм» вызвала в нём «настоящий энтузиазм», и он старается следовать выраженным в ней мыслям, но не понимает только того, как можно обойтись без правительства, и потому просит Толстого объяснить ему этот пункт своего учения. Ответное письмо,

писавшееся Толстым в несколько приёмов, с 17 по 26 октября, и сохранившееся в четырёх последовательных редакциях, не было отправлено адресату, а было переработано в статью под названием «Об отношении к государству» и послано для напечатания в лондонскую газету «Daily Chronicle». В нём между прочим Лев Николаевич писал:

«Христианское учение в его истинном смысле никогда не предлагает ничего разрушать и не предлагает никакого нового своего устройства, которое будто бы должно заменить прежнее. Христианское учение тем отличается от всех других и религиозных и общественных учений, что оно даёт благо людям не посредством общих законов для жизни всех людей, но уяснением каждому отдельному человеку смысла его жизни: того, в чём заключается зло его жизни и в чём его истинное благо. И этот смысл жизни, открываемый христианским учением человеку, до такой степени ясен, убедителен и несомненен, что раз человек понял его и потому познал то, в чём зло и в чём благо его жизни, он уже никак не может сознательно делать то, в чём он видит зло своей жизни, и не делать того, в чём он видит истинное благо её.

[…] Христианин не участвует в деятельности правительства и не подчиняется ему, не платит подати, не участвует в управлении, в судах, в государственной религии, в войске не потому, что он хочет разрушить что-либо и установить какой-либо новый порядок, а только потому, что он следует тому, что ему повелено от Того, кто послал его в жизнь, твёрдо веруя в то, что [ничего] кроме блага себе и всему миру от этого следования быть не может» *(67, 257, 260)*.

Анна Германовна Розен — помещица Эстляндской губ. Задумав издать в пользу прокажённых больных литературный сборник, обратилась к Толстому в письме от 8 мая 1894 г. с просьбой дать в этот сборник ответ на три вопроса, особенно значимых для самой баронессы, и так или иначе соотносящихся с проблемой *сознательности* духовной жизни человека. Толстой отвечал баронессе в письме от 26 октября следующее:

«…Всякий человек для исполнения своего назначения на земле и для достижения истинного блага (что всегда сходится) должен всегда все силы своего ума напрягать на уяснение для самого себя тех религиозных основ, которыми он живёт, т. е. смысла своей жизни.

[…] Если смысл жизни представляется человеку неясным, то это доказывает не то, что разум не годится для уяснения этого смысла, а только то, что допущено на веру слишком много неразумного, и надо откинуть всё то, что не подтверждается разумом. […] Единственный разумный смысл нашей жизни состоит в исполнении воли пославшего нас в эту жизнь Бога. Воля же Бога познаётся не каким-

либо необыкновенным чудом, написанием божественным пальцем закона на скрижалях, или составлением через посредство святого духа непогрешимой книги, или непогрешимостью какого-либо святого лица или собрания людей, а только деятельностью разума всех людей, передающих друг другу и делом и словом всё более и более уясняющееся им сознание истины. Познание это никогда не было и не будет полное, а постоянно увеличивается, по мере движения жизни человечества: чем дальше мы живём, тем яснее и полнее мы понимаем волю Бога и, следовательно, и то, что мы должны делать для исполнения её» *(67, 274, 277)*.

27 октября Софья Андреевна пишет большой ответ на вышеприведённое письмо Льва Николаевича. Ниже даём его текст с сокращениями. Первая часть письма — о самом насущном для Софьи Андреевны: о детях, следующая значительная, тоже очень “женская” – о слухах и страхах.

«Твоё письмо, милый друг Лёвочка, очень меня вчера утешило, именно потому, что особенно было вчера тяжело. Враждебность ко мне Лёвы увеличивается очень быстро и так непонятно почему, что никто, наверное, не нашёл бы тому никакой причины. Даже то, что называется *приставать* с своими заботами и нежностями — и того теперь совсем нет. Описывать все подробности его придирок — я не могу, но вчера, когда я носила ему во флигель твоё письмо, он довёл меня до слёз; я убежала, чтоб он не мог ещё сказать, что я ему *сцены* делаю. — Сейчас он пришёл, тихий, жалкий, — он так занят своими страданиями, бедный, что не чуток уж, как прежде, на всё окружающее. Вчера он не обедал у нас, а во флигеле, и сказал, что он от меня уходит из дому. Теперь он будет обедать во флигеле, опять один, мы уже отобедали.

Андрюша лежит совсем в постели; его ранки от вскрытых нарывов болят, сидеть нельзя, а на то горе ещё примешался понос, так что ему велели принимать опиум, чтоб не заразить вредно ранок в заднем проходе.

Миша тоже не обедал, у него сильный кашель, а нынче 10 градусов мороза и сильный северный ветер.

Очень я за Лёву боюсь, что он по этому морозу ходит взад и вперёд.

[…] Я никого почти не вижу, самой лень двигаться и потому ничего не знаю, что делается на свете и в нашей Москве. Только Павел Петрович, артельщик и няня приносят разные нелепые слухи, как например, что Захарьин отравился, значит он виноват, царя отравил, что в доме его окна все побили. А между тем от Раевских слухи,

что Клейн (московский профессор) анатомировал государя и нашёл именно то, что говорил Захарьин: ожирение, или скорее жировое перерождение сердца; почки не больные, но только слегка сморщенные.

Ещё нынче Варинька говорила, что в университете, на религиозном основании, отказались многие от присяги, что это замалчивают, но очевидно этих исключат. Ещё кто-то, не помню кто, болтал, что будто ты, Лёвочка, написал свой какой-то манифест и читал его в Хамовниках. Вообще есть какой-то тревожный подъём духа; как всегда чего-то ждут от нового царствования, и, пожалуй, не скоро ещё совсем все успокоятся.

В субботу ждут прибытия тела государя. Везде войска расставляются, везде караул, у ворот у всех, у церквей, у дворцов, — усиленный караул. От кого это караулят? Вероятно никому бы в голову не пришло сделать какой-нибудь беспорядок над телом умершего, если б не наводили на мысль, что это возможно — этим усиленным охранением. — Вероятно я ничего не увижу из всех церемоний погребальных, так как и лень, и не совсем здоровится, всё правый висок болит и правая рука; пожалуй, тоже нервная боль; а главное энергии нет, всё бы сидела, ничего не интересует и не волнует, и не радует. […]

Лёвочка, хотя это может быть я совсем напрасно пишу, но, пожалуйста, не пиши теперь ничего такого в английские или американские или другие иностранные газеты что-либо касающееся нового царствования. Я знаю, что все твои мысли и действия всегда основаны только на чистом христианстве; но теперь особенно рады будут придраться ко всему и перетолковать по-своему, и по подлому (как «Московские ведомости») всякое твоё слово. Покойный государь тебя знал и понимал, я это чувствовала, а этот — Бог ещё его, бедного, знает!

Очень мне тебя жаль, что ты опять не доволен своей работой, и опять хочешь всё начинать сначала. Это должно быть очень тяжело. А может быть её Бог не хочет, и оттого ты её и не полюбил и не можешь кончить. Может быть твои духовные силы нужны на другую работу. Хорошо, что ты здоров и весел; я совсем что-то разучилась тут и тому, и другому. Целую тебя, Таню и Машу. Что же Аннушка <Деева, кухарка>, приедет или нет? Она может места лишиться. Ответьте об этом, а то меня Страхов два раза об этом спрашивал. Прощай, милый друг, спасибо, что хоть на старости лет меня утешаешь словами, что любишь меня; и особенно это дорого именно на *старости* лет. Мне без тебя и девочек очень одиноко на свете, хотя Ваничка так любящ и нежен, что даже трогательно.

Твоя Соня Толстая» *(ПСТ. С. 603 - 605)*.

Письмо Софьи Андреевны буквально напитано печалью, страхом и грустью. Печалью из-за поведения развращённых городом младших детей (кроме милейшего Ванички, которого уже наметила себе в жертву похитительница лучших — смерть) и из-за продолжающейся болезни среднего сына, Льва. Грустью острее ощущаемого всегда по осени старения и стариковского одиночества среди ещё недавно так вожделенных светских знакомых. И страхом — за последствия возможного публичного выступления Толстого-публициста по поводу итогов прежнего царствования и первых дней нового. Эти же настроения ощутимы и в следующем письме Сони, от 28 октября:

«Посылаю чужое письмо, самой теперь мало будет времени писать; наладились корректуры и много работы. Сидим все дома, я как наседка с цыплятами. Всем лучше, у Андрюши нарывы заживают, у Миши кашель проходит. Лёва приходил на 5 минут, и завтрак уже стоял на столе, а он ушёл и ел во флигеле. Митя говорит, что Лёва ему сказал: «лучше я буду есть порциями, а то наставят много, и объешься». — Коля рассказывал, что в университете беспорядки: 40 человек отказались от присяги, а вчера положили на стол подписной лист на венок; какой-то естественник поднял грубый крик и, разорвав лист, обратился в постыдное бегство. — Как плоха молодежь! Что-то подлое и трусливое вместе с тем во всех их действиях. Как же не поступать с ними — если не сказать, как с животными — то как с неотёсанной, грубой, мальчишеской толпой. — Ведь подписка добровольная, что и заявил инспектор — к чему же рвать лист и бежать. Ждут и ещё беспорядков, это ужасно неприятно. — Всех церемоний приезда тела и т. д. я вероятно не увижу, так как стара стала сама для этого хлопотать и бегать, а детей никого нельзя взять по случаю холода. Мы два дня никто никуда не выходим, а Лёва точно пробует с любопытством, насколько он *может* выносить холод, — и это страшно. — Сегодня не думала писать, и теперь прощайте, целую вас всех. Я послала в *Ясенки* целый пакет ваших писем, *заказным* письмом, и уже давно.

С. Толстая.

Хотела ещё написать о нечто странном: заставляли присягать детей (Мишу) и женщин: классных дам, учительниц и т. д. Вот этого я совсем не понимаю!

Написала письмо утром, а теперь 4 часа и слёг Ваня: болит голова, зевает, попросился в постель. Ещё мне тревога. Лишь бы Лёва не свалился!» *(ПСТ. С. 605 - 606)*.

По поводу высказанных в письме 27 октября страхов Лев Николаевич отвечал жене в открытом письме от 31 октября коротко и честно: «Я ничего никуда не пишу и весь поглощён своей работой» *(84, 230)*. Позднее ряд поступков молодого царя вынудит Толстого всё же выступить с протестом в бесцензурной печати.

В тот же день, 31 октября, пишет большое письмо и Софья Андреевна. Его текст, с необходимыми комментариями, мы приводим полностью, по значительности описанных в нём событий: тело умершего в Крыму императора как раз провозили в те дни через Москву — в столицу, на похороны.

«Сегодня день полон событий по случаю отбытия тела Государя из Москвы. Детям ужасно хотелось посмотреть всю эту процессию, но так как никто не знал о дне и часе отбытия в Петербург, то и не хлопотали о том, чтоб это видеть. Но вчера вечером собрались у нас мальчики разные: Сухотин, Берс, Колокольцов, Дьяков, и вдруг приехала <А. Г.> Достоевская с дочерью. Они проездом из Крыма заехали в надежде увидать уже всю семью в сборе. Мать очень добродушная и шумная, а дочь довольно умненькая, похожа очень на отца; много читала и знает многое, живая, похожа типом на Россу Дельвиг. — Ну вот, Достоевские узнали, что дети желают видеть процессию и обещали выхлопотать нам места в Историческом музее.

Вдруг сегодня утром в 7 часов звон колокольчика. Слышу, приехала *эта самая* барышня, говорит: «скорей собирайтесь, в 10 часов уже везут тело обратно». Я вскочила с постели, накинула халат и принялась будить детей. Было половина восьмого, когда все встали, коляску в миг заложили, и мы поехали. Андрюшу взяла Достоевская на своего извозчика, к его большой радости, так как барышня эта ему очень понравилась; а он в мундире, с трауром и в чистейших перчатках имел вид безукоризненный. Но лицо у него ужасное стало: жёлтое, худое, измученное. Нарывы прошли, а общее состояние ещё плохо.

В Историческом музее нам дали окно прямо на Иверскую. Сидели мы на подмостках очень удобно и хорошо; Достоевская прислала целую корзину пирожков с мясом горячих, дети ели, ждали, волновались.

Наконец пошла процессия. Когда подъехал гроб, то всё остановилось у Иверской. Икона была вынесена на крылечко, обтянутое чёрным. На иконе цветы, духовенство в белых ризах, свечи горят. Молодой Государь сейчас же, как остановились, так взошел на крылечко, стал на колена и поцеловал икону, и так два раза. Принц Вельский <Эдуард VII, принц Уэльский (1841 – 1910). – *Р. А.*> толстый, красный, с шляпой с большим плюмажем, стоял тут же и дожидался. Потом приложился меньшой брат Государя — Михаил. Тоненький юноша повыше Государя. Молодой Государь очень худой, тонкий даже, имеет вид нездоровый; лицо красивое и робкое. Я прекрасно его рассмотрела. Одет в простое серое пальто и барашковую шапку. Волоса довольно тёмные. Из женского пола никого не было видно. Государыня, невеста и все — ехали в траурных каретах и не показывались.

Когда процессия проехала, Достоевские повели нас в музей Достоевского. Небольшая, восьмигранная очень светлая комнатка с шкапами книжными, с многими бюстами, портретами и рукописями, и вещами Достоевского. Такой весёлый, чистый и хороший уголок отвели ему, и жена всё туда ещё привозит и прибавляет писем, бумаг и проч.

Вернулись к завтраку домой. На дворе было тепло, солнышко выглядывало и пряталось. Лёва пришёл, и мы ему всё рассказывали; но он иронически отнёсся к нам и говорил, что важны не наши рассказы, а то, что в университете отказались от присяги, что была сходка на Девичьем Поле, и что арестовали более ста человек студентов, и на три дня закрыли университет. — А я в этом вижу не движение какое-нибудь, а просто полупьяные мальчишки бунтуют без причины. Коля Оболенский того же мнения.

В два часа я поехала по конке в Девичий монастырь. Я прочла в газетах, что во всех монастырях будут кормить бедных два дня обедами, и меня это заинтересовало. Подъехала я к монастырю, и, как всегда, на меня прежде всего весело повлияло то, что я увидала бесконечное пространство: — поля, реку, лес и простор. Пошла я от конки пешком к воротам монастыря. Вижу огромная толпа женщин самых разнообразных: с детьми грудными и маленькими, старухи, нищие, весёлые и даже нарядные девки в красных шалях, другие в рубищах — верно толпа вроде той, которая ждёт у ночлежных домов, но только одни женщины. Привратник впускает их в ворота

человек около и даже более 200 за раз, считая их приблизительно. Сначала их впускали во двор монастыря, а потом уж в ту низкую, каменную церковь, где и шёл обед. Меня спросили, кто я, и впустили даже с почётом; уж не думали ли они, что я прислана наблюдать. — Вот в низкой церкви накрыты были длинные, длинные столы с белыми скатертями; такие же длинные скамьи. С одной стороны стол для склада пирогов, хлеба, котлов с щами и чашек с киселём. Молодые монашки бегали с корзинами (как для белья) с хлебом и очень большими и прекрасными белыми пирогами с капустой. Всё чинно раздавали. Прежде всего ложки разносили. Перед обедом все вставали, и священник с хором монашенек читал заупокойные молитвы, «со святыми упокой» и «вечную память» государю Александру III. Мать-казначея разносила медные деньги и от игуменьи раздавала каждой женщине по 5 коп. Потом подавали пиво и мёд, каждой подносили. Всё чинно, тихо, ни звука от этой большой толпы. Направо был отдельный стол только для детей. Там было веселей, и там особенно радовались киселю с молоком. — В углу молодая монахиня в этой тишине громко и отчётливо высоким сопрано читала «Житие» (кажется св. Исидора). Когда отходил обед, опять читали молитвы, все вставали и благодарили двух старых монахинь, которые каждую женщину целовали и приговаривали: «ну, сыты, ну, славу Богу, ну Бог с вами», и т. д. Женщины крестились, опять благодарили и уходили в ворота, а в другие впускалась следующая серия в 200 человек, и все спешили, толкались и лезли друг на друга в дверях. — Разговаривала я и с монахинями и одна, лет 50-ти, всё плакала, когда я её о чём спрашивала и повторяла: «окаменело моё сердце, грехов много, ох, тяжкие у меня грехи; 30-ть лет молю, не отмолю никак, окаменело моё сердце!»

Вернулась домой к обеду, опять по конке; Суллержицкий пришёл; опять я им и Лёве всё рассказывала. Суллера рассерженный за что-то на него Львов исключил из училища. Там поднялось волнение, хотят бить и Львова, и стёкла, приходили к ним, т. е. к ученикам Мясницкой школы, студенты, предлагали помощь в бунте. Я обещала Суллеру съездить завтра к Львову, похлопотать о нём и велела ему поспешить сообщить это его товарищам и остановить волнение. Суллер и сам не желает бунта и обещал остановить товарищей и ждать, что мне скажет Львов. Теперь многое зависит от моего дипломатического красноречия с Львовым. Придрались к Суллеру за то, что он произвольно *фон* переставил какой-то. Прощайте, пришел Миша Сухотин и Катерина Ивановна. У нас все здоровы, всё по-старому. Вас целую.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 606 – 609).*

Л. А. Сулержицкий

Упомянутый в письме Софьи Андреевны *Леопольд Антонович Сулержицкий* (семейная кличка «Суллер»; 1872 – 1916), человек исключительных талантов, интеллектуальных и нравственных достоинств, будет упомянут в дальнейших Эпизодах нашей аналитической презентации ещё неоднократно. В 1889 – 1894 гг. юный Суллер учился в московском Училище живописи, ваяния и зодчества, и, конечно, сблизился с учившейся там же дочерью Толстого Татьяной, став частым и возлюбленным гостем и в доме Толстых. Как все умнейшие люди, он, напитавшись духовно от христианской проповеди Льва Николаевича, удержал в то же время полноту самостоятельности на своём пути жизни и никогда не примыкал к толстовцам. Но, как многие горячие сердцем юноши, прекрасный Леопольд прошёл в своём развитии через период бунта против вопиющих общественных несправедливостей. В оправдание ему следует подчеркнуть, что и больной Лев Львович, воспитанный в консервативном аристократизме семьи и при влиянии христианской проповеди отца — тоже в эти осенние дни 1894 года выражал симпатии студенческим беспорядкам. К сожалению, если у Сулера в голове всё скоро “устаканилось”, то Лев Львович от симпатий участникам беспорядков перейдёт вскоре на ультраконсервативные позиции, обвинив даже отца в дурном влиянии на молодёжь. Отношение Толстого к участникам

протестов, к оппозиционерам, как мы помним, всегда было сложным: он склонен был симпатизировать их искренности (пусть и в заблуждениях!) и той решимости, с которой они подвергали себя риску. Но всё же и для 1894-го, и для позднейших лет вполне справедливо свидетельство Софьи Андреевны Толстой в мемуарах:

«Лев Николаевич всегда негодовал на всякие студенческие беспорядки, говоря, что если студенты хотят заниматься политикой и всякими другими, кроме образования и учения, предметами, то прежде всего должны выйти из университета. В университете же они должны только добросовестно учиться, для того только и существует университет и студенты» *(МЖ – 2. С. 352)*.

Нам приходится на этом завершить наше презентование переписки С. А. и Л. Н. Толстых осени 1894 года. К 1 и 2 ноября относятся ещё два письма Софьи Андреевны — к сожалению, не публиковавшиеся. Со стороны же Льва Николаевича в нашем распоряжении только три малозначительных корреспонденции: большая приписка для детей к письму Т. Л. Толстой, М. А. Стаховича и Н. П. Ивановой от 1 ноября *(84, № 626)*; приписка от 3 ноября к письму Т. Л. Толстой *(Там же, № 627)*; наконец, несколько строк (в том числе оповещение о скором отъезде в Москву), датируемые 5 ноября *(Там же, № 628)*.

7 ноября Толстой покинул милую Ясную и выехал для воссоединения с семейством в Москву — навстречу тому домашнему аду, который ему и несчастной, явно нездоровой жене придётся пережить в 1895-м. Который долго зрел, то и дело являя себя миазмами домашних ссор и противоречий. Впрочем, этот, завершавшийся, 1894-й год отправил в ад, более или менее длинной дорогой, и многих других: и покойного имп. Александра III с его обычными для правителей грехами, и нового императора, Николая II, чей монарший путь завершится в пока далёком 1917-м, а жизненный человеческий — в 1918-м, жестокой расправой всемирных палачей над ним и его семьёй. Пожалуй, и вся Россия, шедшая по этому пути во ад ещё с 1881 г., со времён 1 марта и расправы террористов над императором Александром II, прошла в 1894-м значимую “точку невозврата”.

КОНЕЦ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Сороковой.
ГОД ПЕЧАЛЬНЫЙ, РОКОВОЙ
(1895 г.)

Переписка 1894 года завершается со стороны Софьи Андреевны двумя не опубликованными письмами от 1 и от 2 ноября, в первом из которых, как сообщает в Дневнике 4 ноября 1894 г. Толстой, она «отчаивается», а по второму «видно, что всё прошло» *(52, 153)*. Но снова жена добивается своего: вытягивает мужа *к себе* в Москву. В Москве ему снова «тяжело от множества людей» и «нет уже той свежести сознания присутствия Бога и нет той любовности, которая была прежде» *(Там же. С. 154)*. Это касается отношений не только с женой, но и с сыном Львом, переживавшим под влиянием болезни душевный и мировоззренческий кризис. Он побывал за границей, посмотрел на праздную и развратную, столь притягательную в молодости, жизнь буржуазии и аристократии, и ему всё более отвратительна становилась отцова «религия горшка», сводившаяся к тому, «чтобы не заставлять других служить себе в самых первых простых вещах», считая всех равными братьями *(Там же. С. 157 – 158)*. Мы знаем, и знал, без сомнения, Лев Львович, что со времени трактата «Так что же нам делать?», то есть с первой половины 1880-х гг. для христианского сознания Л. Н. Толстого этот выход представлялся единственно действенным для освобождения от эксплуатации народного труда и для уничтожения нищеты и голода в народе. И мы помним, что с этих же позиций осудил Толстой в 1891-93 гг. барскую «благотворительность» деньгами — в которой по нравственной необходимости участвовал он сам и на которой, участвуя вполне добровольно, надорвал силы и потерял здоровье, соревнуясь с отцом, Лев-младший. Поприще именно христианской деятельности, без тщеславия и конкуренции с кем-то, в смирении и простоте, уберегло бы его от болезни — такой простой, но запоздалый вывод, конечно же, был неприятен Льву Львовичу, вызвав потребность самооправданий, а значит и споров с отцом.

Дневник Л. Н. Толстого фиксирует и два, как минимум, конфликта мужа и жены Толстых. В ночь на 20 ноября — какое-то «тяжёлое столкновение», которое Лев Николаевич выдержал достойно, так как «всё время помнил о Боге» *(Там же. С. 154)*. И ещё в дни Рождества, перед самым Новым годом — «неприятное столкновение из-за портрета», в котором «Соня поступила решительно, но необдуманно и нехорошо» *(Там же. С. 157)*. Большего Лев Николаевич не мог доверить

своему, ещё недавно личному, Дневнику: Софья Андреевна уже довела его до того, что он стыдился своих, даже правдивых, но эмоциональных и критичных записей прошлых лет и *боялся* вносить новые. Но подробности второго конфликта утаить в семье не удалось. И Софье Андреевне, без особой надежды, пришлось кое-как оправдаться в своём поступке в мемуарах (писанных в этой их части, напомним, уже после гибели Толстого, горько-несчастной и запоздало кающейся вдовой):

«Часто я просто ревновала Льва Николаевича к его так называемым близким людям. Помню, я просила Льва Николаевича дать себя сфотографировать вместе со мной. Он отказал. А вскоре потом его упросили толстовцы сняться с ним в группе. Он согласился. Тогда я поехала в фотографию…, взяла, не помню под каким предлогом, негатив и разбила его. К счастью, Лев Николаевич не рассердился, а только рассмеялся. Но очень обиделись и огорчились его толстовцы» *(МЖ – 2. С. 385)*.

В своём дневнике, в записи от 8 января, Соня не сознаётся в ревности, а пытается рационализировать свой поступок иначе, и много эмоциональней:

«…Я пришла в злое отчаяние. Снимаются группами гимназии, пикники, учреждения и проч. Стало быть, толстовцы — это *учреждение*. Публика подхватила бы это, и все старались бы купить *Толстого с его учениками*. Многие бы насмеялись. Но я не допустила, чтоб Льва Николаевича стащили с пьедестала в грязь» *(ДСАТ – 1. С. 227)*.

Слишком много тут у Сонички умозрительных допущений, что сразу позволяет понять виноватость, понимание оной, и нервное, как минимум, нездоровье писавшей эти строки. Всё построение разрушается множеством других мест в том же дневнике С. А. Толстой, в которой она сетует как раз на то, что Толстой как христианский учитель возводит себя при жизни на этот самый «пьедестал» ради утоления личного «ненасытного» тщеславия *(см. напр.: ДСАТ – 1. С. 133, 153, 163, 210, 300, 419)*.

Более того, мемуары и дневник жены Толстого служили ей годами как раз в противном замысле, отнюдь не скрываемом ею: именно «стащить» мужа с этого пьедестала, при этом ещё и «развенчав», «разоблачив» его в глазах потомков как духовный авторитет. Строго с 1 января нового года она начала было снова вести свой скорбный и не правдивый дневничок… как документ, «изобличающий» супруга в глазах умозрительных «потомков». Но судьба покарала её уже тогда, да так, что остаётся только пожалеть несчастную жену и мать. Дневник 1895 года обрывается страшной записью 23 февраля, похожей на надрывный, в ужасе и в слезах, вопль:

«Мой милый Ванечка скончался вечером в 11 часов. Боже мой, а я жива!» *(Там же. С. 238)*.

Для сравнения приведём теперь и выдержки из Дневника Льва Николаевича Толстого до 1 января 1895 г., дающие представление как о его занятиях, так и о состоянии его сознания и чувств. 16 ноября:

«Писал «Катехизис» <т. е. статью «Христианское учение». – *Р. А.*> и стал думать с начала и испытал давно не испытанный восторг. Хочется сказать: Господи, благодарю тебя за то, что ты открываешь мне свои тайны. Пусть это заблуждение, я всё-таки благодарю Тебя. […] Господи, помоги мне. Вели делать дело Твоё. Укажи его» *(52, 154)*.

И продолжение, те же просветлённые радость и восторг в записи от 20 ноября:

«Как будто услышал мою молитву, и я чувствую — особенно нынче — во время прогулки чувствовал радость жизни. Нынче писал довольно успешно. Остальное время поправлял биографию Дрожжина» *(Там же)*.

25 декабря:

«…Писал «Сон молодого царя», а потом «Хозяин и работник». И кажется кончу. Катехизис всё так же люблю и думаю о нём беспрестанно. […] Был период радостный: сознания *[зач.:* необходимости*]* радости служения» *(Там же. С. 156)*.

В корпусе переписки супругов 1895 года трудно было бы выделить ярко и логически различающиеся между собой эпизоды. Весь почти год проходит для супругов под знаком беды, посетившей их семейной катастрофы: скоропостижной смерти от скарлатины младшего сына, Ивана Львовича, любимого Ванички, и траура по нём на фоне ярко вспыхнувшего в последние дни Ваничкиной жизни, выжегшего мукой сердечко этого гениального, чувствительного и очень физически слабого ребёнка, подтолкнувшего его к гибели, а после затаившегося до поры семейного противостояния. Так или иначе, но это горе матери и отца явит себе в строках их писем или между них на протяжении всего 1895 года. Активизация переписки в начале (январь) и конце года (октябрь — декабрь) при отсутствии или минимуме писем в остальные месяцы — заставляет буквально физически ощутить пропасть страдания, в которую бросила обоих гибель горячо любимого малыша: большую часть года они стремились быть вместе, а значит не обращались к переписке. В этой надрывающей

сердце картине трудно выделять какие-то фрагменты, и мы, несмотря на перерывы, будем рассматривать её как один Эпизод большой — Сороковой, а содержанием — страшный, роковой.

* * * * *

Домашний непокой, явно испорченное выходкой жены праздничное настроение — привели Толстого к решению ехать снова в усадьбу Никольское-Обольяново, к давним и хорошим знакомым, семейству Олсуфьевых. Только встретив с семьёй Новый год, Толстой с дочерью Татьяной выезжает туда 1 января. Судя по дневниковым записям, в удалении от эмоционально нездоровой атмосферы московского дома, в гостях, Толстой быстро приходит в себя и находит силы и для писательских работ, и для участия в праздничных развлечениях.

3 января:

«История с фотографией очень грустная. Все они <толстовцы. – *Р. А.*> оскорблены. […] Мне и перед этим нездоровилось, и поехал я нездоровый и слабый. Приехали прекрасно. На другой день и нынче ничего не делал — читал, гулял, спал» *(53, 3)*.

И из записи на 6 января:

«Я совсем здоров и начал опять работать над Катехизисом: вчера и нынче. Очень занимает и очень близко, но всё не нахожу формы и недоволен. Третьего дня вечером читал свой рассказ <«Хозяин и работник»>. Нехорошо. Нет характера ни того, ни другого. Теперь знаю, что сделать» *(Там же)*.

Парадный двор усадьбы Никольское-Обольяниново
в начале XX века

Супружескую переписку этих дней представляют четыре письма Л. Н. Толстого и два ответа на них Софьи Андреевны, о которых речь ниже.

Вот первое из писем Л. Н. Толстого, датируемое 2-3 января:

«Вот уже мы вторые сутки здесь, милой друг Соня. Доехали мы так хорошо, что жалко было приехать. Здесь были Адама Васильевича <граф Адам Васильевич Олсуфьев (1833—1901) — хозяин имения. – *Р. А.*> именины и были гости […]. Нас приняли очень радостно. Анна Михайловна лежит от расстройства желудка, но бодра и разговорчива и очень сокрушается о том, что Митя не разделяет её убеждений и предпочитает Александра III Александру II.

Я нынче чувствовал себя вялым и ничего не работал, только читал, разговаривал и походил. Таня что-то, здесь мне показалось, очень худа. Может быть, это от контраста с Лизой <Олсуфьевой>. Теперь 12-й час, они ещё сидят, а я ушёл наверх, куда меня перевели. То я был внизу, и там было холодно. Готовят нам точно также, как дома, и овсянка есть. — Что делается у вас? Пиши нам. Что Лёва? продолжает ли быть более бодрым, каким он мне казался предпоследние дни? Ты и все остальные? Маше я хочу написать, чтобы она не худела так же, как Таня, и была такая же, как была последнее время. — Мне очень хочется здесь написать нечто, давно задуманное, но видно это не в нашей власти, и нынче я был дальше от возможности писанья, чем когда-нибудь. Если будут письма интересные и важные, или и газеты, и книги, то пересылайте сюда.

Прощай пока, целую всех вас. Л. Т.» *(84, 233).*

По мнению комментаторов, в томе писем Л. Н. Толстого и в соответствующем томе писем С. А. Толстой, «нечто, давно задуманное» — это автобиографическая драма «И свет во тьме светит».

На это письмо мужа, посланное традиционно «с оказией», Софья Андреевна отвечала 6 января следующим:

«Ни разу я ещё не написала вам настоящего письма, милый друг Лёвочка, и очень была рада твоему, присланному с Михаилом Адамовичем. Жаль, что то́, на что ты надеялся, уезжая в Никольское, то и не удовлетворило тебя. Я говорю о твоём плане написать что-то, что ты задумал. Теперь, может быть, это обошлось, и ты вдохновишься природой, новой обстановкой и симпатичными людьми.

Как твоё здоровье и Танино в эту оттепель? Боюсь, что на ваши желчные организмы она плохо влияет. Теперь о нас. Вчера утром меня разбудила часов в 8 няня, говоря: «Ваничка заболел». Сколько раз в жизни у меня болезненно обрывалось сердце при этих двух словах: Таничка, Илюша, Серёжа, Петя, Алёша, и пр. и пр. ... *заболел*. Я очень хорошо и живо чувствую это наколоченное место в моём сердце, и к старости ещё оно больнее стало. — Жар так был велик у Вани, что я не решилась мерить, а сразу послала, по совету даже Маши, за Филатовым. Он сейчас же понял, что это желудочное засорение, дал ему касторки, и к вечеру жар прошёл, и сегодня он встал, только бледен немного. Я опять успокоилась. — У Лёвы и Маши сильнейший насморк, но Лёва не жалуется, напротив.

Вчера приехал Илья с Андрюшей, который влюблён в Илью до смешного. Илья шумен, употребляет грубые слова, добродушен, и очень со мной ласков; но вчера говорили о денежных делах, он очень осуждал Серёжу, и вообще это тяжёлые и неистощимые разговоры, которые не кончились и после раздела, и это очень тяжело. Жизнь они оба повели слишком широкую, и им придётся плохо, это ясно видно.

Сегодня у нас обедали Ваня и Петя Раевские и Ваня Цингер. Шумели за обедом, разговаривая о благотворительности по поводу попечительства о бедных, вновь учреждённого в Москве. Я тоже получила приглашение участвовать в этом деле, но ещё раздумываю, как к нему отнестись. […] Приезжала ещё проведать Ваничку Маша Колокольцова, и так как Ваня был весел, а Маша с гриппом должна была сидеть дома, то я уговорила Машу Колокольцову ехать со мной на ученическую выставку <в Школе живописи и ваяния. – *Р. А.*>, и мне было очень приятно и с ней, и на выставке. Нашла я её плохой […].

Получила приглашение от Глебовой на завтрашний вечер танцовальный для детей. Очень жаль, что Ваничка оплошал; они все праздники не веселились, и их жаль. Я знаю, что и ты, и все вы против *веселья*. Но я убеждена, что без смены труда с весельем жить не хорошо. И без того и без другого жизнь не полна.

Машу мне нынче было жаль. Она нервна и беспокойна в присутствии Пети <Раевского>, и вместе с тем ей как будто хочется общаться с ним. Ваня всё расспрашивал почему-то о Вере Кузминской.

Без вас мне не особенно скучно, я рада, что вам хорошо, что хоть вы наслаждаетесь тем, что я теперь к старости стала так любить — природой. А кроме того отсутствие забот всяких, общество милых людей — всё это так хорошо.

Ваничка подошёл, велел вас целовать и кланяться. И я вас целую с Таней, и теперь напишу следующий раз открытое, в телефон» *(ПСТ. С. 610 – 611).*

В усадьбе Никольское-Обольяново был телефон, с которого можно было позвонить на почтовую станцию. В ту эпоху содержание “открыток” (открытых писем) могло быть, по запросу адресата, продиктовано служащим станции по телефону. Так же надиктовывались и ответы.

О своём «двойном чувстве», вызванном тогда отъездом мужа, С. А. Толстая свидетельствует и в мемуарах:

«Странно, что, когда уезжал от меня мой муж, я испытывала двойное чувство: с одной стороны, мне одиноко и тоскливо было без него, потому что я его любила, с другой — я чувствовала себя вдруг свободной духом и одной перед Богом. Мне легче делалось разобраться в той путанице новых взглядов Льва Николаевича и вместе с тем сложной семейной жизни, в которой я жила, и чаще я молилась» *(МЖ – 2. С. 383).* Всё это, конечно же, последствия мировоззренческих расхождений с мужем, различий в религиозном понимании жизни. Его упорство в исповедании веры Христа воспринималось Соничкой как духовный деспотизм, из-под которого она выпрастывалась только наедине с собой. В общении же с ним, протестуя против мнимого этого деспотизма она «горячилась, плакала, говорила резкие вещи, в которых потом раскаивалась, но поздно» *(Там же).*

Между тем Толстой находил достаточное время и для своих текущих работ, что видим из следующего письма его, от 7 января. Письмо очень коротко, на конверте обычный адрес: «Москва. Хамовники, 15», но нет почтовых отметок: вероятно, как и предшествующее, оно было доставлено в Москву “с оказией”.

«Лошади поданы, 10-й час утра. Спешу написать тебе хоть несколько слов. Мы благополучны. Таня худа. О тебе очень сожалел. Надеюсь, что теперь прошла твоя тревога. […] Вчера была суета — ёлка. Но вообще тихо, ровно. Я немножко писал свой рассказ <«Хозяин и работник»> и неконченный прочёл им, а теперь опять взялся за свой Катихизис. Целую тебя, Лёву, Машу, Андрюшу, Мишу, Сашу и верно уж здорового Ваню, я думаю про него» *(84, 234).*

Прочитав вечером 4 января вслух «Хозяина и работника», Толстой остаётся недоволен проработкой характеров обоих главных персонажей и решает переработать рассказ. А 6 января Толстой, пешком

по снегу, как любил, ходил в земскую больницу и присутствовал при операции. Об этом и многом другом он рассказывает в очередном своём письме, датируемом исследователями приблизительно, 8 или 9 января. Обращаем внимание читателя, что начало письма писано внешне сумбурно: как своего рода «поток сознания», обращённый, как и в ряде других писем Толстого, не только к жене, но и к детям; здесь, в частности — к сыну Льву, которому соответствующее место из письма, вероятно, прочитывалось вслух. Вот полный его текст:

«Я просил Таню написать вам с Михаилом Адамовичем, но и самому хочется, хотя особенного писать нечего. Здесь много гостей соседей, которых видишь только за repas [*фр.* за завтраком], а наверху сидишь в одиночестве и утром, и вечером. Погода превосходная три дня, и я много хожу. Нынче ходил за 6 вёрст к Левицким с <Петром Ивановичем> Нерадовским, хотел и назад итти, но за нами прислали сани. Таня перестала быть так худа, и спит хорошо, я совершенно здоров, но пишется мало. Здесь две Майндорф <Дочери барона Ф. Е. Мейендорфа — Мария и Анна. – *Р. А.*> — девицы, одна, которая нравилась тебе, Лёва, слабая, малокровная, и другая, старшая, добродушная и простая. Читал твою «Paix du Coeur» <Роман Ж. Блэза «Мир сердца». – *Р. А.*> и мне не понравилось, — слишком искусственно. Как хорошо, что страх твой за Ваню был напрасен, но как нехорошо, что ты предаёшься таким страхам. Видно, хорошо, что у *старых* родителей-матерей нет детей, а то они, — матери, умирали бы от страхов до старости. Мне всё здесь хорошо, исключая того, что я должен воздерживаться от высказыванья всех своих мыслей.

Третьего дня был в больнице на операции — палец отрезали на ноге отмороженный. Мне очень жаль, что я не видал Илью, зачем он приезжал? Мы здесь как будто ближе от Москвы, чем в Ясной, а письма получаем гораздо реже. Давно не знаем о вас. Напиши поподробнее о всём важном: здоровьи Лёвы, твоём душевном состоянии и поведении мальчиков. Хотя и скоро вернёмся теперь, а всё хочется знать. И недостаёт этого.

Я всё это время вял, и не идёт работа, и я начинаю огорчаться этим и потом себя стыжу за это. Если нет сил и охоты писать, то значит и не нужно. Только бы жить получше, т. е. не делать худого, а это важнее всех писаний.

Ну, пока прощайте, целую вас. Маше отдельно не пишется, потому что очень хочется с ней поговорить, а в письме не выйдет.

Мне только очень жалко тебя, и часто о тебе думаю, что ты не весела и не бодра и капаешь. Грех это. Делай из всего радость, а если не можешь, то, по крайней мере, будь открыта ко всякой радости,

когда она придёт, и пользуйся ею, сколько можно. Толстых целуй. <Здесь имеется в виду семья С. Н. Толстого. – *Р. А.*>

Л. Т.

Болван продолжает быть болваном. И мне это жалко» *(84, 234 – 235)*.

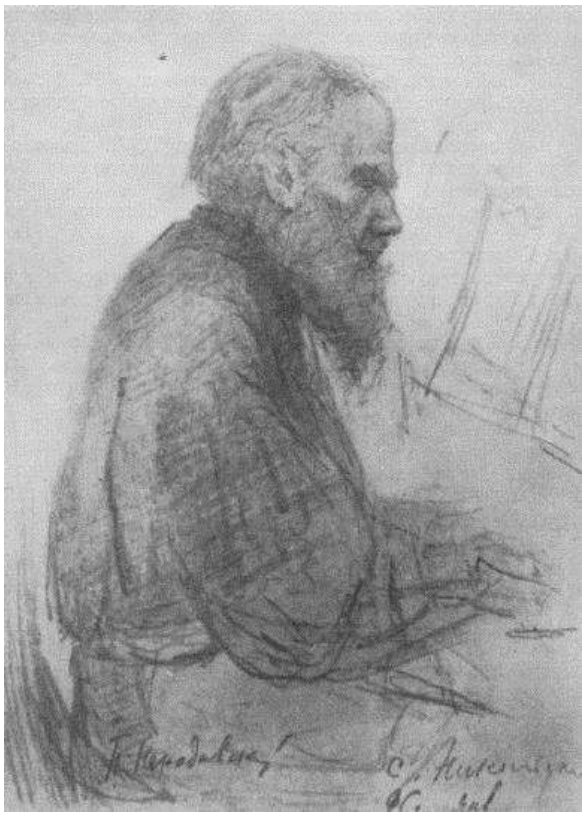
Последнее замечание Толстой относил к сыну хозяина имения, Михаилу Адамовичу Олсуфьеву (1860 – 1918), которому родители Толстые стремились сосватать засидевшуюся в девицах старшую дочь, Татьяну Львовну. Но у Миши была тайна, одинаковая с С. И. Танеевым (с которым, кстати, Татьяна Львовна была знакома ещё с 1881 г.): он был *гомосексуален*. Ему было суждено сделать блестящую карьеру как в родном Дмитровском уезде (предводитель дворянства), так и при дворе, быть членом Государственного совета. В своей городской усадьбе в Дмитрове он приютил в последние годы жизни проклявшего большевизм старца Петра Кропоткина. Одно лишь было не суждено блистательному Мише: он не женился. Вместе со своими друзьями и партнёрами он более 30 лет учил и воспитывал в усадьбе крестьянских ребятишек, родителям которых подарил в 1906 году всё имение, кроме участка леса и “школьного” дома. Но породниться и иметь общих потомков двум выдающимся родам России было в тот раз не суждено. Миша не был “болваном”: ему просто нравились не девушки, а мужчины и мальчики. Но перед лжехристианской, гомофобной Россией он за это был и остаётся виноват!

Михаил Адамович Олсуфьев и его дом в г. Дмитров

Примечателен и этот добрый совет, даваемый Толстым жене: «Делай из всего радость, а если не можешь, то, по крайней мере, будь

открыта ко всякой радости, когда она придёт, и пользуйся ею, сколько можно». Это именно то, чего недоставало Софье Андреевне, и об этом недостатке её характера мы уже неоднократно говорили выше.

Соничка действительно пишет мужу не активно. Даже её зарок в заключении письма от 6 января «написать <в> следующий раз открытое, в телефон», выдаёт её нежелание *интимно*, о сокровенном (именно как жена с мужем) общаться с Львом Николаевичем. Конечно же, это были прежние обиды: на “брошенность” её с детьми в Москве, да ещё на мнимую “непоследовательность”, с которой в гостях у Олсуфьевых Толстой не обличает их праздность и роскошества, а даже пользуется ими. Эта непонимающая обида нашла выражение в мемуарах, писанных спустя долгие годы:



«Толстой за роялем».
Рисунок П. И. Нерадовского.
Никольское-Обольяново.
Январь 1895 г.

«Хотя Лев Николаевич жаловался на вялость и слабость, жил он у Олсуфьевых весело и разнообразно. Ездил верхом, ходил пешком и ездил в санях на дальние прогулки к соседям… […] Гостей у Олсуфьевых всё время был полон дом, и я часто недоумевала, почему у себя

дома Лев Николаевич лишал себя всех благ, чуждался людей, воздерживался от игры, всё порицал, а у Олсуфьевых всем пользовался, на всё радовался и неохотно возвращался в Москву и семью» *(МЖ – 2. С. 384)*.

Ответ на эту “загадку” несложен, и на него указывают строки из приведённого нами выше письма Толстого: «Мне всё здесь хорошо, исключая того, что я должен воздерживаться от высказыванья всех своих мыслей». Толстому потребна была перемена обстановки: целительные “ванны” деревенской жизни и мажорного (пусть даже и глупого) светского общения. Он вёл себя так, как очень умный человек той эпохи вёл себя “на водах”: берёг нервы свои и окружающих. Даже не как “в гостях”, а именно как среди людей приятнейших в обхождении, но случайных на жизненном пути и чуждых его духовной и интеллектуальной жизни.

Но долго обиженно молчать или диктовать “дежурные” слова в телефон Соничке не удавалось: с отцом желали общаться в письмах и дети, а вместе с их письмами ей неодолимо хотелось послать и своё. Уже 9 января, навстречу письму супруга, она пишет своё, такого содержания:

«Только что сегодня принесла Маша Зубова ваши письма ко мне, Митя <Олсуфьев> был два раза и забыл передать.

Ты права, Таня, что я радуюсь, если тебе хорошо, и надеюсь, что ты поправишься. Не знаю чему приписать, но наша жизнь вообще стала какая-то нервная и на всех нас так действует. Я иногда думаю, что это от сложности различных возрастов. Всякий возраст заявляет свои потребности; общей гармонии семейной быть не может. А тут ещё подмешиваются различные элементы.

Был Дунаев в первый раз. «Когда я узнал о группе, меня в сердце кольнуло», — сказал он мне на мой вопрос, как он на это смотрит. <«Когда я просила Льва Николаевича сняться со мной, он мне отказал, а тайно снялся с толстовцами. Я обиделась и, взяв негатив, разбила его. Разбитый негатив изображал Льва Николаевича, Горбунова, Бирюкова, Черткова, Трегубова и ещё кого-то». – *Примечание С. А. Толстой.*>

Лидия Ивановна тоже была крайне удивлена. Я до сих пор не успокоилась и главное неприятно то, что была вызвана на грубый поступок. Его совершать всегда тяжело. — Маша пошла к Страховым <в семью толстовца Ф. А. Страхова. – *Р. А.*>; его вызвало жандармское управление, и если он не найдёт за себя поручителя, его схватят завтра и куда-то посадят. Что это за сумбур, все эти тёмные! И жаль их,

и досадно. — Сегодня уехал Илья, а Лидия Ивановна осталась до завтра. Мы все ей очень рады. — У Лёвы всё грипп, но он благодушен. Ну, прощайте, целую вас. Смотри же, Таня, потолстей. До чего Ваня похудел, это ужас! Лёгонький стал, ничего не ест. Сегодня дала хинин и лихорадки не было, так поломало. Письмо его плохо, но писал один» *(ПСТ. С. 612)*.

Отношение к духовным единомышленникам Л. Н. Толстого, обозванным в лжехристианском мире толстовцами, у Софьи Андреевны оставалось, как мы видим, несправедливо предубеждённым. С неприязнью древнеримской жены язычницы, сетующей на “увлечение” мужа Христом, Sophie характеризует толстовцев в дневнике 1895 г. как обречённых отщепенцев, жертв деструктивного и опасного лжеучения:

«…Люди, почему-либо болезненно сбившиеся с пути обыденной жизни, люди слабые, глупые, — те и бросаются на учение Льва Николаевича и уже погибают так или иначе — безвозвратно» *(ДСАТ – 1. С. 224)*.

И в “обоснование” этой своей дневниковой сентенции уже в мемуарах Толстая приводит довольно странные примеры таких “погибших”, всего нескольких “жалких” из тысяч российских единомышленников Иисуса и Льва:

«Леонтьев, сын генерала, застрелился. Иконников, Варнавский, Куртыш, Дрожжин и многие другие сидели в тюрьме за отказ от воинской повинности и многие там умерли. Хохлов сошёл с ума и умер в сумасшедшем доме. Новосёлов перешёл в православие. Фёдора Страхова вызвали тогда в жандармское управление, у Бирюкова в Костроме был обыск» *(МЖ – 2. С. 383)*.

Особенно нелепо в этом перечне смотрятся Павел Бирюков, благополучно доживший в эмиграции до 1931 года и обессмертивший своё имя превосходной Биографией Л. Н. Толстого, и Михаил Новосёлов, который, погибнув в 1938 г. за веру от рук большевистских палачей, был прославлен и в августе 2000 г. причислен к лику святых Русской православной церкви. Да и страдальцы за отказ от военной службы — такие ли уж “погибшие души”? Первые христиане в языческом мире были такими же отказниками от пользования оружием, участия в войнах. Будь Россия эпохи Толстого не столь варварской, откровенно чуждой Христу страной — разве бы погиб тот же Евдоким Дрожжин?

На приведённое нами выше письмо жены Лев Николаевич отвечал 12 января, уже в последнем перед отъездом из имения Олсуфьевых письме, а точнее приписке к письму Татьяны Львовны:

«Хотя Таня всё написала, хочется приписать. Очень жаль, что ты ложишься поздно спать и не перестала говорить об истории с фотографией. Видел тебя, Соня, нынче во сне: мы что-то вместе писали очень важное. Я последние дня три чувствую себя очень бодро и пишется, и хочется писать, хотя не то, что нужно. <Хорошо писался в эти дни «Хозяин и работник», но Толстой не забывал и об оставленном на время «Катехизисе». – *Р. А.*> Маша всё жалуется, что её письма дурные, а мне они очень, очень нравятся, переносят меня в мир, в котором я люблю жить, — мир мыслей и чувств. Таня, правда, что поправилась, и ей, кажется, приятно с Майндорф <девица А. Ф. Мейендорф. – *Р. А.*> и Лизой <Олсуфьевой>, которую я в первый раз понял и полюбил. Добрая, простая и очень благородная девушка. — Нас интересует очень, что будет в университете. <Осторожное упоминание о студенческом протестном движении, происходившем тогда. – *Р. А.*> Книжка, которую прислал <переводчик> Саломон, через <графа В. А.> Бобринского, очень хорошая и непременно пойдёт в Архив.

Прощай, до скорого свиданья. Л. Т.» *(84, 236)*.

Об «Архиве» стоит сделать особенное примечание. Описывая жизнь Толстого осенью 1894 г., П. И. Бирюков пишет: «Интересным событием в это время было начало нового периодического органа под редакцией Льва Николаевича, так называемого «Архива Л. Н. Толстого». Содержание его составляли те лучшие из присылаемых Льву Николаевичу статей и писем, которые, по его мнению, могли бы быть с пользою распространены, но которых, по цензурным условиям, нельзя было печатать в России. Журнал этот издавался в рукописи, переписанной в нескольких копиях на машинке реминг-тона» (*Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого: В 4-х тт. – М. – Пг., 1923. – Т. 3. – С. 239*).

Обещанное Л. Н. Толстым жене свидание состоялось 18 января. С этого дня до 26 апреля супруги вместе, и в этот период совершилась главная трагедия их семейной жизни, смерть 23 февраля от скарлатины младшего сына, Ивана Львовича.

* * * * *

Весь январь и до середины февраля 1895 года Лев Николаевич продолжает работу над рассказом «Хозяин и работник». Софья Андреевна уже ждала выгодной публикации рассказа в издаваемом ею в то время очередном (кажется, уже 9-м) собрании сочинений мужа.

Но Толстой желал сделать рассказ более доступным читателям… Масла в огонь подлил и факт, что редактором журнала «Северный вестник», которому предполагал отдать Толстой право на первую публикацию, была еврейка Любовь Яковлевна Гуревич. Так что Sophie Толстая-Берс не могла не учуять в её домогательствах о праве первой публикации рассказа конкурентный в отношении интересов берсовской семейной кубышки, сугубо материальный интерес (тот же хищный инстинкт, что и у теперешних, недостойных, потомков Л. Н. Толстого в бандитской, путинской России).

Любовь Яковлевна Гуревич

Главное же, что было ненавистно жене Толстого, это то *свободолюбие*, с которым Толстой, даже против логики, стремился отстоять своё *право выбора* издателей для своего сочинения. И она поступила так же, как поступила в 1891-м, когда, не жалея ни себя, ни детей отправилась из Ясной Поляны на станцию Козлова Засека, чтобы лечь под поезд *(МЖ – 1. С. 212 – 213)*. Как будет поступать ещё не раз и в будущем: опять же, не жалея ни мужа, ни детей, ни себя… «Ревность и оскорблённое самолюбие» Толкнули её к тому, чтобы «ценою жизни настоять на своём» *(Там же. С. 389)*. В ночь на 7 февраля Софья Андреевна в припадке бешенства, ища смерти, в первый раз бегает неодетая по Москве. Тогда её, выбежав следом в панталонах, догоняет и доставляет домой сам Толстой. Днём 7 и 8 февраля припадки повторяются — мать возвращают домой и уговаривают одеться старшие дети *(Там же. С. 390; ср. ДСАТ – 1. С. 235 - 238)*. Малыши дома с испуганными лицами встретили явно безумную мать, и Софья Андреевна запомнила, как «Ваничка, вероятно со слов няни, говорил кому-то: “Папа мучает маму из-за противной жидовки”» *(МЖ – 2. С. 390)*.

При более спокойном общении был достигнут консенсус: 14 февраля рассказ отослан в "Северный вестник", но с договорённостью о праве одновременной его публикации в издании Софьи Андреевны и в дешёвом издании для народа издательства «Посредник». Но Софья Андреевна продолжала проявлять болезненность поведения:

«Советам докторов я не стала следовать, тихо лежала, ничего не ела и желала только смерти. Бедные мои дети продолжали за меня страдать…» *(Там же. С. 392).*

И вот тяжелейшая психологическая атмосфера в хамовническом доме Толстых спровоцировала ещё одно жестокое событие, превратившее драму публикации «Хозяина и работника» в трагедию, сделавшую непреодолимым семейный раскол Толстых. 23 февраля умирает младший сын Иван Львович, обожаемый и не по-детски мудрый Ваничка. Вот что вспоминал о нём друг и частый гость семьи А. Г. Русанов:

Толстая Т.Л. Портрет Ванички Толстого
1894 г. Бумага, сангина

«Ваня был хрупкий мальчик, с продолговатым бледным лицом и длинными, до плеч, светлыми волнистыми волосами, очень похожий на Льва Николаевича. На этом детском личике поражали глубокие, серьёзные серые глаза; взгляд их, особенно когда мальчик задумывался, становился углублённым, проникающим, и тогда сходство со Львом Николаевичем ещё более усиливалось. Когда я видел их вместе, то испытывал своеобразное ощущение. Один старый, согнувшийся, постепенно уходящий из жизни, другой — ребёнок, а выражение глаз одно и то же. Лев Николаевич был убеждён, что Ваня после него будет делать “дело Божье”. Теперь эта надежда исчезла.

Лев Николаевич страдал ужасно, но видел в этом волю Бога и пытался покориться ей» *(Русанов Г.А., Русанов А.Г. Воспоминания о Л.Н. Толстом. Воронеж, 1972. С. 145)*.

5 марта Толстой писал Г. А. Русанову в Воронеж в ответ на его сочувственное письмо от 27 февраля:

«Смерть нашего меньшого сына, особенно нежного, любовного ребёнка, очень значительное событие в нашей жизни. Как всегда, смерть, особенно такого не прикрытого заблуждениями — грехами прекрасного существа, как ребёнок, приближает к Богу. И то же я чувствую и благодарен за это. То же чувствует и жена, но ей тяжело забыть телесную прелесть, прикрывавшую это божеское проявление. И она, бедная, тяжело борется, но я надеюсь, что духовная природа выйдет победительницей. Я рад, что могу сочувствовать ей в этом и облегчать хоть немного её положение. Помочь же ей может только Бог, т. е. та внутренняя сила, которая живёт в ней. И эта сила просится наружу. И я надеюсь и молю Бога, чтобы она восторжествовала» *(68, 42 - 43)*.

Под гнётом этой трагедии продолжится и эпистолярное общение супругов 1895 года.

* * * * *

Смерть сына сблизила супругов, успокоила и на время примирила с жизнью Софью Андреевну, обратившуюся после смерти Ванички в одном направлении с мужем — к Богу. Если Толстой перебарывал тоскливое состояние странным для него самого увлечением, ездой на велосипеде, равно как и творческими и общественными проектами (такими как «всемирный “Посредник”», т.е. издание литературы для народа на разных языках), то несчастная женщина-мать отдалась ей сполна. «Сама я никуда не ходила, — вспоминает она в мемуарах, — и с молитвенником в руках бродила по своему саду, громко взывая: “Где ты, Ваничка, где ты?” Садилась на лавочку, плакала и читала разные молитвы. Сестра <Толстого> Машинька подарила мне тогда два молитвенника. И только молитвы немного успокаивали меня» *(МЖ – 2. С. 407)*. Переезд в Ясную Поляну не радовал в этот раз: там бы тоже всё напоминало о Ваничке и о его последнем грустном прощании с домом и садом… Но тут добрая Соничкина сестра, Татьяна Андреевна Кузминская, приехала за ней в апреле, чтобы увести от мучительной обстановки к себе, в Киев. С 24 апреля по 2 мая у Софьи Андреевны, в продолжение её религиозных рефлексий, состоялось своего рода “светское паломничество” в город, в который многие годы шли в Киев мимо Ясной Поляны паломники

верующие. Сопровождать маму привелось дочери Маше, которая в это время снова хворала, так что было решено, что тёплый климат явится ей к пользе *(Там же. С. 406)*.

Из этой поездки мы располагаем двумя письмами, от Льва и от Сони, причём *встречными*, писанными в один день, 26 апреля — а это всегдашний, во все годы их брака и переписки, признак *сердечного чувствования* друг друга, любовного душевного союза! Дадим высказаться сперва Льву Николаевичу:

«Получили нынче письмецо от Ильи о том, что вы благополучно доехали до Орла. — Считаем часы, когда ты в Киеве. Я надеюсь, Соня голубушка, что эта поездка тебе будет очень полезна. Жить надо, милый друг, если Бог велит, а уж если жить, то как можно лучше, так, как Он хочет. Ты просила его, и я знаю, искренно и горячо, чтоб Он указал как, и Он наверное укажет. Перемена места и путешествия на меня всегда действовали, вызывая новые взгляды на вещи и новый ряд мыслей и намерений, и прибавляло бодрости. Уверен, что и на тебя также подействует.

У нас вчера, в день вашего отъезда, было следующее, кажущееся незначительным событие, но меня очень тронувшее, почти так же, как зубы Андрюши, которые продолжают умилять меня. <«Играя и бегая с товарищем вечером, Андрюша выбил себе два зуба о железную изгородь двора». – *Примеч. С. А. Толстой.*> […] Андрюше <дантист> Знаменский сказал, что два зуба ввинтить, а теперь надо беречь корни. […]

Обедали мы одни с Колей <Оболенским> и Дунаевым, который пришёл в манеж. После обеда ходил с Сашей к <брату> Сергею Николаевичу и к <бакалейщику> Выгодчикову за мёдом. Сергей Николаевич всё очень не в духе…

[…] Саша спит. Я один дома. — Моё душевное состояние мало деятельно, но не дурное. О тебе думаю с любовью и жалостью. Маша должна вернуться розовой и толстой. Целую её, Веру и всех Кузминских. Таню очень благодарю за то, что она приехала и увезла тебя. Я это забыл ей сказать.

Таня пришла сейчас от Толстых; говорит, дядя Серёжа очень раздражён. Как мне его жаль.

Л. Т.» *(84, 236 - 237)*.

В Киеве Софью Андреевну понятно и закономерно потянуло к церквам и кладбищам: она навестила Лавру, отстояла там службу, а на кладбище «Аскольдова могила» и вовсе «почувствовала себя в

своей сфере — в царстве слёз». Она искала недавние могилы умерших детей, где «на памятниках почти везде вделаны под стеклом фотографические портреты маленьких покойников», и облила слезами снимки этих деток, вероятно, напомнивших ей своими чертами её рано умиравших малышей, особенно Алёшу и Ваничку *(МЖ – 2. С. 407 – 408)*.

Вот и единственное её во время поездки письмо к мужу, 26 апреля:

«Милый друг Лёвочка, меня беспрестанно охватывает чувство, зачем я уехала от тебя и от всех вас и от дорогих мне воспоминаний о Ваничке, и иногда хочется немедленно бежать домой. Но и Таня сестра, и Саша, и Вера, и мальчики до того все ласковы, так ухаживают за мной, так бережно относятся к моему горю, что всё время чувствуешь себя растроганной и благодарной. Маша же, конечно, страшно бы огорчилась, если б я скоро уехала. Тем не менее мы выезжаем в воскресенье, а в понедельник с курьерским будем в Москве, если ничто не изменится ни у вас, ни у нас. Не переставая думаю и о тебе, и о Тане, и об Андрюшиных зубах, Сашиных пальцах, Мишином экзамене. Напуганной душой боюсь всего и всего жду от судьбы.

Здоровье моё должно быть поправляется; сегодня вечером Саша уговорил нас идти в Ботанический сад. Это пока было лучшее впечатление: огромный сад, весь в горах, каштановые аллеи, весь сад молодо-зелёный, ещё не тенистый, и соловьи во всех концах. Конечно, вся эта красота и радость весенней природы вызвала, как и всё теперь — отчаяние и слёзы. Мне жаль Таню, которая всё время плачет со мной; я стараюсь удерживаться, уходить с Митей в садик, — мне совестно Саши, но я ещё не могу владеть собой и никакая обстановка в мире, я ясно теперь это поняла, не только не излечит, но даже не облегчит моего горя.

Маша всюду бегает, восхищается, была сегодня в Лавре, любовалась Днепром, который теперь почти такое же производит впечатление, как Волга; но Маша говорит, что ещё в прошлую ночь она потела и ощущала лихорадочное состояние. Авось пройдёт до понедельника. С нами едет Вера в Москву, что очень облегчит дорогу; она весёлая и участливая, и очень развилась. Митя всё меня спрашивает про Ваничку, ласкает меня, водит за руку и занимает. <Маленький Дима Кузминский (1888 – 1937) был сверстником умершего Вани Толстого. – *Р. А.*> Когда я ему рассказываю о Ваничке, он всё приговаривает: «да, да», и вздыхает. К памяти Ванички у него благоговенье. Сегодня мы купили рамку, вазочку и живых фиалок, и в

рамку сунули Ваничкину карточку и поставили перед ним фиалки у Митички на столе. А вчера я ему отдала Ваничкину бронзовую собачку, а он, ложась спать, положил эту собачку на подушечку около себя, и покрыл её тряпочкой. Мы с ним много сидим и вспоминаем более радостные времена.

Чувствую себя ещё слабой, но конечно выздоравливающей телом, — но не душой. Хоть бы Бог помог меньше страдать! От вас ещё не было письма, да и не могло быть. Как ты живёшь, милый Лёвочка? Что Таня, в каком душевном настроении? Как мне вас стало жаль, что вы все не можете пользоваться таким садом, соловьями и свежестью воздуха и природы, какими сегодня вечером пользовались мы. Я понимаю, как здесь хорошо жить с этими садами, Днепром и тёплым климатом. Крепко и нежно целую всех вас. Уехали ли Маня и Вера в Англию? Не было ли известий от Лёвы? В неделю много может быть событий; ведь Ваничку в два дня унесло! Ну, прощай, мой друг. Не забывай меня.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 612 - 613).*

2 мая состоялось нерадостное возвращение в московский дом, в котором в это время года и в обстановке траура томились буквально все. Отъезд в Ясную Поляну, сулившую новые грустные воспоминания, Софья Андреевна всё откладывала. Ухудшалось нервное состояние сына Льва — и тот наконец 5 мая выехал для длительного лечения за границу, по советам врачей — в Швецию. Ту же “лихорадку”, которой прежде переболела Мария Львовна, подхватил и Лев Николаевич — и снова 19 мая бежал (с неразлучной Машей) в Никольское-Обольяново. У Олсуфьевых жил домашний врач, замечательный Пётр Васильевич Плавтов (? - 1899): именно он, кстати сказать, допустил Толстого на упомянутую им в письме 8(9?) января операцию по ампутации пальца ноги.

21 мая супруги обменялись *встречными* письмами. Лев Николаевич, обосновавшись в Никольском, писал:

«Милая Соня, поездка наша оказалась неудачной. Погода всё такая же холодная и неприятная, а главное, какое-то небольшое, но всё-таки мешающее пользоваться жизнью, нездоровье. Лихорадочное состояние было вчера, и сонливость, и слабость. Нынче жара нет, но всё ещё не совсем чувствую себя бодрым и не выхожу. Ничего не болит, кроме головы, и то немного. Желудок действует. Насморка, кашля нет. Не тиф, наверно, потому что нынче утром температура

была ниже нормы. Анна Михайловна <Олсуфьева>, Доктор <Плавтов> и весь дом ухаживали за мной. Я бы нынче вышел, но они не пустили. Лиза расскажет тебе, если ещё что не написал.

Получили ваше открытое письмо и очень ждём закрытого с большими подробностями о трогательной паре. <Сын Толстого Сергей готовился вступить в брак с М. К. Рачинской, дочерью старого знакомого Толстого, знаменитого педагога Сергея Александровича Рачинского. – *Р. А.*> Как из всех мирских жизненных событий резко выделяются по своей важности: рождение, смерть, брак. Все одного характера и все одинаково вызывают особенное чувство aw [*англ.* «ай!» – то есть застают врасплох] и напоминают о наших обязанностях перед Богом.

Здесь, как всегда, много народа, и, как всегда, все очень просты и добродушны. Нынче долго беседовал с Мишей <Олсуфьевым> об его земских делах и искренно сочувствовал его деятельности. Он хороший человек вполне.

Третьего дня начал было писать по свойственному мне суеверию, как в новый год, и пошло было хорошо. Ну, до свиданья. Целую тебя. Ты не пишешь о себе. Напиши. Целую Таню, Мишу, Сережу.

Решено ли, объявлен ли? Мне жутко. Каково же им.

Л. Т.» *(84, 238).*

Писанием, за которое, несмотря на слабость, пытался в эти дни приняться Толстой, был роман «Воскресение». Судя по записи в Дневнике от 26 мая, в период с 20-го было «набросано» вчерне больше половины его сюжета.

Нам предстоит теперь познакомить читателя со встречным, так же от 21 мая, письмом в Никольское из Москвы, от Софьи Андреевны Толстой. Оно любопытно и значительно потому, что в нём впервые в переписке Л. Н. и С. А. Толстых упомянут Сергей Иванович Танеев (1856 – 1915), вскоре ставший последним в жизни С. А. Толстой «любовником по искусству», или, привычней выражаясь — платоническим. Ему предстоит ещё неоднократно “всплыть” в переписке супругов — и при достаточно драматических обстоятельствах их жизни.

Временем знакомства С. И. Танеева с Толстыми называют часто 5 февраля 1889 года, когда Сергей Иванович давал свой первый концерт в доме Толстых. Однако С. А. Толстая упоминает в мемуарах Танеева как спутника на прогулках молодёжи с её дочерью Татьяной

уже в апреле 1882 г. *(МЖ – 1. С. 381)*. А знакомство с композитором следует отнести к концу 1881 г., когда Татьяна Львовна, начав обучение в Школе живописи, ваяния и зодчества, познакомилась там с художницей из интеллигентной семьи московских дворян, Варварой Ивановной Масловой, и стала частой гостьей дома Масловых, который посещали художники и композиторы — включая Чайковского, Аренского и Танеева. Встречное приглашение — дело недолгое, и уже в 1882-м 25-тилетний Сергей Танеев стал своего рода «другом молодёжи» в семье Толстых. Но в «Моей жизни» Софья Андреевна подчёркивает, что и в 1895 г. для неё он был «человеком малознакомым и довольно чуждым» *(Там же. С. 290)*. Толстой, вероятно, не обращал на Танеева внимания до 1889 г., когда тот вызвал в нём раздражение своими суждениями об искусстве и религии, которое 18 апреля 1889 г. Толстой излил в Дневник *(см.: 50, 69)*. Но, благодаря чудодействию своего исполнительского мастерства, Танеев преодолевал подобные кризисы в отношениях и всё больше становился в Хамовнической усадьбе “своим”. 28 ноября 1894 г. он давал уже *очередной* концерт для семейства и гостей Толстых.

А дальше — снова кое-что интересное из книги «Моя жизнь»: из своеобразной вставной новеллы «Три эпохи», в которой С. А. Толстая рассказывает о *трёх главных мужчинах* в своей жизни. Вот отрывок о Танееве:

«Вернувшись <из Киева> в Москву, сижу я раз в мае после болезни на балконе; в саду уже зеленело, было тепло. Приходит Сергей Иванович Танеев… Чтоб что-нибудь разговаривать, я спросила его, где он проводит лето. “Не знаю ещё, — сказал он, — ищу где-нибудь дачу в помещичьей усадьбе”. И вдруг мне пришло в голову, что наш флигель в Ясной Поляне пустой, и я ему его предложила… <В начале июня 1895 г.> Танеев переехал к нам в Ясную и послился во флигеле с своей милой старой нянюшкой Пелагеей Васильевной <Чижовой>» *(МЖ – 1. С. 290 — 291)*.

Ни с кем другим 38-летний уже к тому времени композитор приехать в Ясную Поляну и не мог: он был гомосексуален, и, живя в такой дрянной во все времена, жестокой, варварской, гомофобной стране, как Россия, не мог обзавестись постоянным и легальным спутником жизни и нормальной, полноценной однополой семьёй. Милая, добрая Ясная Поляна — усадьба с маминым, Софьи Андреевны, лицом — приютила этого гениального и одинокого в личной жизни человека, а несчастное его состояние нашло отклик нежности и любви в исстрадавшемся сердце Софьи Андреевны. Но главным связующим фактором было, конечно, искусство — музыка.

Обстоятельствам готовящегося переезда С. И. Танеева и посвящено частью письмо С. А. Толстой к мужу, написанное 21-го, или, если быть совершенно точными, в ночь на 22 мая. Приводим ниже полный его текст.

«Переписываться через телефон скучно, и я решила сегодня написать письмо. Получили вечером о вас известия и очень были рады. Сегодня была телеграмма от Андрюши, который передаёт содержание телеграммы Лёвы, что газеты пишут о нездоровье твоём, Лёвочка, и Лёва просит ответить ему скорей о здоровье папа, что мы и сделали. Вчера же было письмо, что в Ясной Лёва жить не будет, что флигель можно отдать. Вечером был Танеев, и мы с ним окончательно переговорили, и решили ему отдать флигель за 125 рублей. Он всё просил, чтоб ему назначили 150 р. Были и обычные братья Маклаковы, играли с Таней в tennis и катались на велосипедах. Сегодня Троицын день; с утра я очень грустила и обычно при таком настроении ходила по саду. Таня ещё спала, Серёжа уехал к Мане, Саша, няня и Верка ушли к обедне с цветами, а Коля спал до 12-ти часов. В доме была мёртвая тишина. Потом мы буднично читали с Таней корректуры, а потом она поехала с Марьей Кирилловной к дантисту, который дёргал ей корни, и скрёб десну и резал, и всё это её ужасно измучило, истомило нервы, так что в Петровское-Разумовское <к Рачинским> мы немного опоздали. Ко мне приходила Вера Северцова с miss Mackarthy <гувернантка у Кузминских. – *Р. А.*> и очень интересно рассказывала про Англию.

Рачинский встретил меня словом: «судьба», хотел что-то ещё сказать, но остановился. Я сказала: «что же, мы можем друг друга поздравить?» — Он сказал: «отчего же не поздравить?» Потом мы пошли в кабинет от всех присутствующих (Соня, Алик, Штакельберг, Коля Оболенский и проч.), и он мне сказал, что Бог послал Мане нашу семью и Серёжу, чтоб спасти Маню. Он, видно, так напуган английской историей, что брак с Серёжей ему кажется большим благополучием. <Под «английской историей» имеется в виду любовное увлечение М. К. Рачинской в Англии. – *Р. А.*>.

Из Петровского-Разумовского Маня ехала в коляске своей с Серёжей, а мы в своей. Очень было лунно, холодно и сурово; точно не май, а самый конец августа. Не хорошо, хотя лучше, чем тёплые, радостные дни с птицами, солнцем и жизнерадостной природой без радости, а напротив с горем на сердце. И особенно тяжело было ехать опять по той же грустной дороге, по которой ездили при совсем других тяжёлых обстоятельствах. <По этой дороге везли хоронить Ваню Толстого — на кладбище села Никольского, близ Покровского-Стрешнева. – *Р. А.*>

Как тебе живётся, милая Маша, в новом для тебя месте? Надеюсь, что и ты, Лёвочка, немного окрепнешь в любимом тобою Никольском. Если тебе хорошо, то не спеши приезжать в среду, а оставайся подольше. Серёжа пробудет тут до вторника вечера; буду заниматься Мишей и готовиться к отъезду в Ясную. Целую вас обоих и прошу Анне Михайловне передать мой сердечный привет. Остальные, верно, все уехали.

Будьте здоровы и веселы» *(ПСТ. С. 614 — 616)*.

Через несколько дней после отъезда Льва Николаевича, по вызову Марии Львовны с известием о тяжёлом жаре у Льва Николаевича, выехала в Никольское и Софья Андреевна. К сожалению, в своём несчастном состоянии она не привезла туда ни существенной пользы от самой себя, ни покоя гостям и хозяевам дома: из-за обыкновенного скепсиса Толстого в отношении медицины и лекарств у неё повторились нервные припадки со слезами, криками, выбеганиями из дома — к счастью, теперь уже не на улицу, а в прекрасный сад. Она признаёт в мемуарах, что «плохо владела собой»: страх потерять и мужа вслед за сыном соединился в её сознании с беспокойством за детей, оставленных в Москве *(МЖ – 2. С. 410)*.

31 мая Толстой возвращается из Никольского в Москву, но тут же сваливается с двухдневным приступом желчной болезни. Дождавшись облегчения, он уезжает с женой 6 июня в Ясную Поляну, куда тремя днями ранее прибыл С. И. Танеев.

Горе матери и отца подавляло не только всякую обыкновенную летнюю радость, но и самоё общение: «Весь день мы проводили каждый в своём уголке и сходились только за обедом, ужином и чаем» *(Там же. С. 412)*. Затем Соня ненадолго выезжает в Москву, на свадьбу сына Сергея с Маней Рачинской, состоявшуюся 10 июля. На венчании Софья Андреевна была в подавленном настроении и плакала, «вперёд оплакивая» судьбу сына *(Там же. С. 413)*. Ей тяжело было поверить в возможность счастья в браке, а после утраты Ванички — и в возможность *любого* человеческого счастья. После свадьбы все разъехались, а Соничка, оставшись одна в доме, долго не выходила из опустевшей детской, громко, вслух разговаривая с Ваничкой, как с живым *(Там же. С. 414)*. После посещения могил Ванички и Алёши, где Соня высадила цветы, ей определённо страшно стало оставаться в московском доме: она уже «везде и всюду видела и чувствовала только Ваничку» *(Там же)*. Почуяв любящим сердцем неладное, Толстой 12 июля отправил с кем-то в Москву записку такого содержания:

«Я очень об тебе тревожусь, милый друг Соня. Приезжай или напиши. Ты всем нужна и без тебя одиноко. […] Целую тебя» *(84, 239)*.

И Соничка с радостью отозвалась: в Ясной ей теперь казалось легче переживать утрату, «усыпляя своё горе прелестной музыкой Танеева» *(МЖ – 2. С. 414)*.

К 1 июля Лев Николаевич заканчивает первую редакцию романа «Воскресение», а 6 и 7 августа читает роман вслух домочадцам и гостям дома. На чтение это совсем немного не поспел А. П. Чехов, 8 – 9 августа впервые навестивший наконец великого яснополянца.

Из других значительных событий именно в творческой жизни Льва Николаевича лета и осени следует отметить его наблюдение за судьбой русских сектантов духоборов, с которыми он познакомился в Москве ещё в конце 1894-го. Вдохновлённые проповедью уже арестованного к тому времени своего духовного вождя Петра Веригина, в ночь с 28 на 29 июня кавказские духоборы торжественно сожгли всё своё оружие — в знак отказа от всякого насилия, и в частности от призыва на военную службу. Начались жёсткие репрессии, потребовавшие решительного вмешательства Льва Николаевича и многообразной, кропотливой его с помощниками работы по эвакуации духовных христиан из антихристовой имперской клоаки по имени «Россия».

Театральным событием года стало особое разрешение императором Николаем II к постановке драмы Толстого «Власть тьмы», написанной ещё в 1886 году.

Наполненное музыкой яснополянское лето закончилось, как обычно, отъездом Софьи Андреевны в начале сентября в Москву. Особую печаль переезду придавало то обстоятельство, что в этот раз ехала Соничка не с четырьмя детьми, как в 1894 году, а лишь с одним Мишей. О другом, старшем, сыне Андрее ей предстояло похлопотать о зачислении его, по его желанию, на военную службу — в кавалерийский полк. Супруги обменялись в эти дни письмами, одно из которых, 11 сентября от Софьи Андреевны, не опубликовано. В «Моей жизни» она приводит из этого письма следующие строки: «Очень одиноко без тебя, милый Лёвочка. Напиши мне, чтобы я чувствовала нашу хорошую за последнее время душевную связь» *(МЖ – 2. С. 415)*. В письме, датируемом 13 или 14 сентября — вероятно, всё-таки не ответном — Толстой признавался: «Не переставая помню тебя и люблю и видел во сне» *(84, 239)*.

Для Андрюши ей удалось выхлопотать зачисление в Новгородский кавалерийский полк, стоявший в то время в Твери. Для обустройства сына на месте службы она и сама, навестив в Ясной снова захворавшего желчью и коликами мужа, выехала к 1 октября в Тверь:

«Очутившись совсем одна в большой и совершенно пустой гостинице в Твери, мне стало жутко. Андрюша всё уходил, кроме прислуги и одного жильца, никого в гостинице не было. Помню я, как, сидя у окна, я смотрела на слетавшихся голубей, насыпала им на выступ за окном крошки белого хлеба. И я вспомнила прелестную картину Ярошенки «Всюду жизнь», где из вагона арестантов бледный ребёнок сквозь железную решётку протягивает свою худую ручку и сыплет корм слетевшимся голубям, и мне стало уже не так одиноко. 4-го октября Лев Николаевич написал мне хорошее письмо в Тверь, которое ободрило и утешило меня» *(МЖ – 2. С. 416)*.

По конверту письмо это датируется исследователями 3-м октября, но, видимо, получено Соней было именно 4-го. Приводим полный его текст.

«Третьего дня Таня писала тебе, а вчера я хотел написать, да пропустил время, нынче же непременно хочется поговорить с тобой, милый друг. Надеюсь, что оно застанет тебя в твоём тяжёлом одиночестве в Твери. У нас все здоровы. У меня была какая-то лихорадка, от того и на губе высыпало, и после тебя дни два было не по себе, но нынче совсем здоров. Вера с Сашей поехали в Тулу, и мы их ждём сейчас (3 часа). Нынче приехал Илья. Соня беспокоится об Андрее и везёт его к Рудневу. <Это уже внук Толстого, Андрей Ильич (1894 – 1920). – *Р. А.*> Завтра она будет в Туле. <Кобель> Султан лежит без ног в яблочном шалаше и умирает своей смертью.

Вот всё про нас. Думаю же я всё о тебе. Как тебе тяжело и одиноко, и тревожно будет в Твери. Могу тебе советовать только то, что сам себе советую в тяжёлые и трудные минуты. Fais ce que doit, advienne que pourra. [*фр*. Делай, что должно, и пусть всё будет так, как будет.] Если сделал то, что считаешь должным и что можешь, и делал всё не для себя, то больше ничего большего от себя не должно требовать, а надо успокоиться и отдыхать и молиться. Есть такое состояние, в котором чувствуешь, что дальше ничего делать путного не можешь, что всякая попытка продолжать делать в таком состоянии усталости, суеты или раздражения только повредит делу, а не подвинет его. И тогда надо остановиться, не волноваться и отдыхать. Для того же, чтобы не волноваться, надо молиться. Ты знаешь это, потому что сама теперь молишься. Только молиться я предпочитаю не по

книжке, не чужими словами, а своими. Молиться я называю обдумывать свое положение не в виду каких-нибудь мирских событий, а в виду Бога и смерти, т. е. перехода к нему или в другую обитель его. Меня это очень успокаивает и утверждает, когда я живо пойму и сознаю то, что я здесь только на время и для исполнения какого-то нужного от меня дела. Если я здесь делаю по силам своим это дело, то что же может со мной случиться неприятного? ни здесь, ни там? Знаю я, что для тебя главное горе разлуки с Ваничкой. Но и тут всё тоже спасение и утешение: сближение с Богом, а через Бога с ним. От того то и обращаемся мы в горе потерь, смертей к Богу, что чувствуем, что соединение с ними только через Него. Пишу, что думаю о тебе. Боюсь за твою тревогу в одиночестве и говорю, что, думаю, может утишить. Андрюшу целую. Помоги ему Бог найти путь, приближающий его к нему. Пусть, главное, жалеет и блюдёт свою душу бессмертную, Божескую, а не туманит её. Целую тебя нежно. […]

Л. Т.

На конверте: Г. Тверь. Европейская гостиница. Графине Софье Андревне Толстой» *(84, 240 – 241).*

Афористическую мысль о совершении должного часто возводят к Марку Аврелию, мыслителю языческого мира. У него она имеет, впрочем, иную формулировку и смысл: следует совершать то, что должно, хотя всё равно произойдёт то, что суждено. Это один из принципов философии стоицизма. Более близкий смысл — исполнения сакрального долга — имеет подобная мысль в древнем индийском эпосе «Махабхарата». Одна из сюжетных линий этого великого произведения описывает войну между двумя враждующими династиями. Персонаж эпоса, принц Арджуна, очень переживает из-за того, что его друзья и родственники находятся по обеим сторонам фронта. На что человек, который управляет его колесницей (на самом деле это был бог Кришна, воплощение Вишну), объясняет ему, что делом настоящего воина и верующего является прежде всего выполнение долга (дхармы). Наконец, данный афоризм присутствует среди девизов масонов ордена «Рыцарь Кадош». Можно сказать, что Иисус Христос в притче, где он призывает не заботиться о завтрашнем дне и не думать о том, что делать после, тоже является автором этой — если не фразы, то выраженной в ней идеи. Именно в полюбившемся Льву Николаевичу христианском осмыслении мы находим её в дневниковой записи от 25 января 1868 г. швейцарского мыслителя Анри Фредерика Амиеля, выше упоминавшегося нами в

связи с знакомством с его «Задушевным дневником» Льва Николаевича и совместным с ним переводом на русский язык дочерью его Марией Львовной отрывков из этого дневника. Мы подчеркнули в одном из предшествующих Эпизодов и тот факт, что Софья Андреевна не просто знала этот дневник, а знакомилась с ним, как и супруг, по французской его книжной публикации. Как скоро и при каких трагических обстоятельствах пришлось испытать ей справедливость грустных истин Амиелева дневника! Об одном из таких глубоких суждений, венчаемых афоризмом, часто приписываемым самому Толстому, и напомнил муж любимой жене, испытавшей в гостиничном одиночестве и вынужденном безделии в Твери нечто близкое экзистенциальному ужасу, пережитому им самим в 1869 году в гостинице Арзамаса:

«Когда внешний человек разрушается, тогда становится для него главным делом — верить в бессмертие своего существа и думать вместе с апостолом, что внутренний человек обновляется изо дня в день. А что же делать тем, которые сомневаются в этом и не имеют этой надежды? […] Ты хотел бы обойтись без надежды, а между тем очень вероятно, что у тебя на это нет уже силы и что тебе нужно, как и всякому другому, быть поддерживаемым, утешаемым верованием — верованием в прощение и бессмертие, т.е. религиозным верованием христианской формы.

Разум и мысль устают так же, как мускулы и нервы. Им нужен сон. И этот сон есть возвращение к детским преданиям, к обычной надежде. Так утомительно держаться на исключительной точке зрения, что впадаешь в предрассудок только потому, что опускаешься, так же как стоящий человек всегда кончит тем, что опустится на землю в горизонтальное положение.

Что делать, когда всё нас оставляет: здоровье, радость, привязанность, свежесть чувства, память, способность к труду, когда нам кажется, что солнце холодеет, а жизнь как будто теряет все свои прелести? Как быть, когда нет никакой надежды? Одурманиваться или каменеть?

Ответ всегда один: исполнение долга. Будь что будет, если чувствуешь спокойствие совести, если чувствуешь себя примирённым и на своём месте. Будь тем, чем ты должен быть, — остальное дело Божье. И если бы даже не было Бога, святого и доброго, а было бы только всеобщее, великое существо, закон всего, идеал без ипостаси и реальности, долг был бы всё-таки разгадкой тайны и полярной звездой для движущегося человечества.

Делай то, что должен, а будь, что будет» *(Из дневника Амиеля. СПб., 1894. С. 48 – 49).*

Такое письмо было необходимой и своевременной духовной поддержкой. Софья Андреевна исполнила свой родительский долг сполна, и ещё в первой декаде октября вернулась в Ясную Поляну, между тем «соскучившись в долгой разлуке с мужем» *(МЖ – 2. С. 417).*

* * * * *

Намеченная на 17 октября, постановка на сцене санкт-петербургского Театра Литературного кружка была историческим событием, конечно, и для семьи Толстого. С первых чисел октября готовилась поездка в Петербург. Но ещё до отъезда в доме Толстого совершилась иная, особая драма, вполне достойная быть представленной если не на сцене, то в книге. В нашей книге эта драма занимает особенное место и потому, что одной из “сцен” её, сольной и монологической, стало совершенно особенное письмо Софьи Андреевны Толстой к мужу, писанное в исключительной ситуации, и не в отъезде, а под одной с ним крышей. Сольность этого малого фрагмента огромного, трагического Эпизода эпистолярных сношений супругов Толстых в страшном 1895-м году заставляет нас и в комментировании совершившегося дать слово Софье Андреевне. Приведём большой, очень интимный отрывок из её воспоминаний.

«Поехал как-то раз Лев Николаевич верхом в Тулу. Оставшись одна, я вошла в его кабинет, тогда ещё внизу под сводами, и, увидев, что везде пыль и плохо убрана комната, я взяла щётку, полотенце и стала сама всё убирать и чистить. Когда я двинула большой письменный стол, откуда-то упал ключ от стола. Убрав комнату, я отперла стол и стала читать дневники Льва Николаевича. Право на это он мне дал раз навсегда, так же, как и я ему. По мере того как я читала, меня охватывал холод и ужас. Не верилось во многих местах, что это писал мой муж, человек, которого я любила больше всего на свете, с которым, казалось, мы жили столько лет одной жизнью, не изменяя друг другу. Сколько несправедливой злобы, сколько горьких мне упрёков! Какое местами презрение ко мне! За что? А я и без того была так несчастна!

Перелистав дневники, я положила их обратно в стол, заперла и положила ключ на то место, где, я предполагала, он был спрятан. Я ничего не сказала мужу, но опять горько плакала и затосковала ещё

больше. Лев Николаевич внимательно всматривался в меня и спрашивал, что со мной? Тогда я решилась написать ему письмо, которое перепишу в эту книгу…» *(МЖ – 2. С. 417 – 418)*.

Вот полный текст этого письма от 12 октября 1895 года, одного из важнейших во всей Переписке великих супругов:

«Все эти дни ходила с камнем на сердце, но не решилась заговорить с тобой, боясь и тебя расстроить и себя довести до того состояния, в котором была зимой в Москве. Но я не могу (в последний раз — постараюсь, чтоб это было в последний) не сказать тебе того, что так сильно меня заставляет страдать. Зачем ты в дневниках своих всегда, упоминая моё имя, относишься ко мне так злобно? Зачем ты хочешь, чтоб все будущие поколения и внуки наши поносили имя моё, как *легкомысленной, злой* и делающей тебя несчастным — женой? Ведь если это прибавит тебе славы, что ты был *жертвой*, то на сколько же это погубит меня! Если б ты меня просто бранил или даже бил за всё то, что я делаю по-твоему дурно, ведь и то мне было бы несравненно легче; — то прошло бы, — а это всё останется.

После смерти Ванички — (вспомни «папа, никогда не обижай мою маму») ты обещал мне вычеркнуть те злые слова, относящиеся ко мне в твоих дневниках. Но ты этого не сделал; напротив. Или ты в самом деле боишься, что посмертная слава твоя будет меньше, если ты не выставишь меня мучительницей, а себя мучеником, несущим крест в лице жены.

Прости меня, если я сделала подлость и прочла твой дневник. Меня на это натолкнула случайность. Я убирала твою комнату и обтирая твой письменный стол от пыли и паутины снизу, — я смахнула ключ. Соблазн заглянуть в твою душу был так велик, что я это и сделала. И вот я натолкнулась приблизительно, на такие слова: «Приехала С. из Москвы. Вторглась в разговор с Боль, выставила себя. Она стала ещё *легкомысленней* после смерти В. Надо *нести крест* до конца. Помоги, Господи» и т. д.…

Когда нас с тобой не будет в живых, то это *легкомыслие* будут толковать кто как захочет, и всякий бросит грязью в жену твою, благо ты всякого вызываешь на это своими словами.

И всё это за то, что я всю жизнь жила только для тебя и детей твоих, что любила тебя одного больше всех на свете (кроме Ванички), что *легкомысленно* (как ты это рассказываешь будущим поколениям) я себя не вела и что умру душой и телом только *твоей* женой. Я знаю, что *легкомыслие* относится к религиозному, но кто же это поймёт?

Стараюсь стать выше того страдания, которое так мучает меня теперь; стараюсь стать лицом только перед Богом и своей совестью, смириться перед злобой любимого человека и, помимо всего, оставаться в общении только с Богом: «любить ненавидящих нас», «яко же и мы оставляем должникам нашим», и «даждь ми видети *свои* прегрешения и не осуждати брата моего», и подставить правую щёку, когда бьют по левой … и я, Бог даст, достигну этого высокого настроения.

Но если тебе не очень трудно это сделать, — выкинь из всех дневников своих всё злобное против меня. Ведь это будет только *по-христиански*. Любить меня я не могу тебя просить, но пощадить моё имя, если не трудно, то сделай это, впрочем как хочешь и это. Ещё раз пытаюсь обратиться к твоему сердцу. Пишу это с болью и слезами. Говорить никогда не буду в состоянии. Прощай. Всякий раз как уезжаю, невольно думаю: увидимся ли?

Прости, если можешь.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 617 – 618)*.

Письмо это слёзное написалось Соничке не сразу: исследователям известны *четыре* его редакции. Позднейшая, которую мы здесь приводим, обнаружена в конверте, надписанном следующей комментирующей пометой:

«Это письмо писано до нашего разговора. Когда ты меня уверял, что *кроме хорошего* ничего не пишешь обо мне и детях, то точно ты нож ворочал в моём сердце. Могу ли я верить тебе теперь? Ну, да Бог с тобой, я сама виновата, что прочла тихонько твои мысли. Прости меня» *(Там же. С. 618)*.

Запись, на которую натолкнулась С. А. Толстая в Дневнике Льва Николаевича, относится к 6 октября 1895 г.; в настоящее время в подлиннике Дневника в данном месте 17 строчек, вымаранных Толстым.

По поводу приведённого выше письма имеется следующая запись в Дневнике Толстого под 13 октября 1895 г.: «Все эти дни видел, что что-то мучает Соню. Застал её за письмом. Она сказала: что скажет мне после. Нынче утром объяснилось. Она прочла мои злые слова о ней, написанные в минуту [раздражения]. Я как-то раздражился и тотчас же написал и забыл. В глубине души чувствовал, что что-то сделал дурное. И вот она прочла. И бедная, ужасно страдала и, милая, вместо озлобления написала мне это письмо. Никогда ещё я не

чувствовал себя столь виноватым и умилённым. Ах, если бы это ещё больше сблизило нас. Если бы она освободилась от веры в пустяки и поверила бы в свою душу, свой разум. Пересматривая дневник я нашёл место — их было несколько — в которых *я отрекаюсь от тех злых слов, которые я писал про неё. — Слова эти писаны в минуты раздражения. — теперь повторяю ещё раз для всех, кому попадутся эти дневники.* — Я часто раздражался на неё за её скорый необдуманный нрав, но, как говорил Фет, у каждого мужа та жена, которая нужна для него. Она, — я уже вижу как, была та жена, которая была нужна для меня. — Она была идеальная жена в языческом смысле — верности, семейности, самоотверженности, любви семейной, языческой и в ней лежит возможность христианского друга. Я увидал это после смерти Ванички. Проявится ли он в ней? Помоги Отец. Нынешнее событие мне прямо радостно. Она увидала и увидит силу любви — её любви на меня» *(53, 61; Выделения в тексте — Л. Н. Толстого).*

Но Соне нужно было не это. Не отречение. Ей нужно было *уничтожение компромата.* И она добилась его. В период с 28 октября по 3 ноября 1895 года Толстой вымарал или вырезал из личного своего Дневника 45 нежелательных для С. А. Толстой мест: 33 купюры было сделано в записях 1884 – 1889 гг. и 12 вымарок и вырезок листов — в записях 1890 — 1895 гг. *(Гусев Н. Н. Летопись... 1891 – 1910. С. 193).*

Значимая деталь: накануне экзекуции Толстого над собственным Дневником ему пришлось выпрашивать часть его тетрадок у В. Г. Черткова, жившего с семейством тогда на своём хуторе Ржевске в Воронежской губ. (*см.: 87, № 404).* А передал Толстой их Черткову как раз для той редакторской работы, которую в конце концов ему пришлось совершить самому, под надзором жены. Притом Чертков выразил в ответном письме недовольство таким решением «учителя», с жестокой справедливостью указав ему на то, что близость родственная, семейная, драгоценная для Толстого, не совпадает для него с близостью духовной, по христианской вере *(Там же. С. 338).* Толстой таки вырвал свои тетрадки из цепких лап ржевского «коллекционера», настояв, что для него важнее всего предотвратить страдания близких людей *(Там же. С. 337).*

В состоянии сломленного затяжным горем отца и понимая, ощущая, такую же болезненную обострённость чувств в Соне, Лев Николаевич, конечно же, встал на её точку зрения, умилился и пошёл на уступки, воспринятые им тоже как *совершение должного*: долга смирения перед Вышней волей и любви.

Нравственное поведение Толстого здесь безупречно: милость, уступка, даже *в ущерб справедливости*. Ибо, строго говоря, у Сонички не было никакого морального права ни требовать, на даже просить от мужа *вымарывать* целые страницы из его Дневника. Почему? А вот почему.

Замечательный современный московский толстовед Д. Еремеева подметила очень точно: «…Обычно мы пишем дневник в грустные минуты, когда хочется жаловаться на мир и людей, в то время как в счастливые дни нам некогда что-то писать, мы просто живём». Вот почему «дневники мужа и жены <Толстых> писались в том числе и *друг для друга* — то есть с мыслью, что супруг прочтёт их. Так было заведено в их семье ещё с той самой поры, когда Толстой-жених дал невесте почитать свой юношеский дневник, чтобы начать жизнь с чистого листа и чтобы между ними не было ничего тайного» *(Еремеева Д. Граф Лев Толстой. М., 2017. С. 52)*.

Но “тайное” неизбежно явилось с началом мировоззренческих расхождений супругов, и в том же самом дневнике Соничка жалуется на появившиеся перед ней тайны у мужа с его «новыми христианами», особенно с В. Г. Чертковым. Острый конфликт с мужем и В. Г. Чертковым в 1910 году будет связан отчасти с невозможностью контроля над Дневником Л. Н. Толстого; и, конечно, в этом можно понять чувства жены, которой через десятки лет брачной жизни муж перестал доверять свои чувства. Началось же это, напомним читателю, на рубеже 1880-1890-х гг., когда Толстой утратил надежду нравственно и проповеднически повлиять на членов семьи, когда была написана и опубликована травмирующая, оскорбительная для Сони «Крейцерова соната», и когда, в записи от 20 ноября 1890 г., она горевала в своём дневнике:

«Лёвочка порвал со мной всякое общение. За что? Почему? — совсем не понимаю. […] Всеми силами старалась и так сильно желала я взойти, хотя немного, с ним в общение внутреннее, духовное. Я читала тихонько дневники его, и мне хотелось понять, узнать — как могу я внести в его жизнь и сама получить от него что-нибудь, что могло бы нас соединить опять. Но дневники его вносили в мою душу ещё больше отчаяния; он узнал, верно, что я их читала, и стал теперь куда-то прятать» *(ДСАТ – 1. С. 124)*.

Трудно сказать, насколько в разные годы менялся доступ Л. Н. Толстого к мыслям из Сониного дневника. Но в личных письмах к ней он нигде прямо не ссылается на её дневник. Судя по массиву негативных суждений и эмоций, излитых в нём, с определённого момента (не позднее того же начала 1890-х) Sophie стала пользоваться тем, что Лев Николаевич *не просил* на чтение её дневника, понимая

моральную невозможность этого в условиях, когда он, пусть и ненадёжно («отыскание» в октябре 1895 г. было не последним и не первым), но прятал, запирал от жены свой Дневник.

Итак, de facto договорённость Сонички и Льва, влюблённых и молодожёнов начала 1860-х, о “праве на чтение” личных дневниковых записей друг друга давно утратила силу. Она это понимала. Именно поэтому ключ от ящика стола она, как сама сознаётся, стремилась положить точно на то же место, откуда он выпал: она тщетно надеялась не выдать себя и скрыть от мужа сам факт чтения Дневника, выполненного, выражаясь языком судов и канцелярий — «посредством несанкционированного доступа». Имела ли она право, пользуясь “размягчением” характера супруга, просить у него редактировать собственный Дневник? Конечно, *да* — если бы речь шла о восстановлении прежней договорённости. Если бы в те октябрьские дни, перед очередным расставанием, супруги, на правах семейной исповеди и покаяния, передали бы друг другу свои дневники. И помогли бы друг другу вымарать от глаз любопытных потомков всё действительно несправедливое и недоброе… Но дело в том, что это было невозможно. С одной стороны, Толстой, как христианин, был глубоко равнодушен к сплетням и пересудам даже современников, не говоря уже о поколении правнуков. С другой же, дневник Софьи Андреевны, как мы не раз подчёркивали, приобрёл в годы супружеской размолвки характер «обличительного документа», сочиняемого и составляемого ею именно *для потомков*. Там к 1895 году было *слишком много* не просто негативного, а и не правдивого — целая обдуманная *система* полуправд и неправд, подтасовок и лжи. Далеко не всё это писалось «в грустные минуты». Сама себя честно называвшая «язычницей», Софья Андреевна в своих заботах о мнении потомства следовала именно языческому жизнепониманию, двигателем которого, как мы помним, Толстой называл *славу* и угождение ради славы и материальных выгод общественным лидерам: семейным, корпоративным, религиозным, государственным… Добрую же славу в веках для себя спутница жизни Льва Николаевича не умела, к несчастью, обеспечить себе иначе, как созданием в дневнике и мемуарах “чёрного” мифа о Толстом-христианине как о семейном предателе и одновременно деспоте, похотливом себялюбце и эксплуататоре… Остановиться в творении этой неправдивой картины в 1895-м году было ей и поздно, и нежелательно. А вот заставить “молчать” о собственных её грехах Дневник мужа — оставалось актуальной задачей практически до конца её жизни. Не откликнись Толстой охотно на кроткую, политую слезами мольбу Сонички в письме от 12 октября — она могла вернуться к теме в этот же, или

любой следующий день, но уже в совершенно ином, грозном и болезненном, мучительном для неё самой, эмоциональном состоянии.

А для Льва Николаевича, как и положено в случае с людьми мудрыми и праведными, вынужденная цензура Дневника обернулась огромными добром и пользой. Перечитав свои записи за целый ряд лет, он как будто снова прошёл духовный путь, отразившийся на страничках Дневника, поверил и лучше понял самого себя и свои ближайшие задачи — не только духовные, но и творческие. 5 ноября он отметил в Дневнике:

«…Много пережил оттого, что, исполняя обещание Соне, перечёл все дневники за 7 лет. Как будто приближаюсь к ясному и простому выражению того, чем живу. Как хорошо, что я не кончил катехизиса <статьи «Христианское учение». – *Р. А.*>. Похоже, что напишу иначе и лучше» *(53, 69)*.

* * * * *

Вослед выехавшим 14-го в Петербург жене, дочери Татьяне и сыну Мише Толстой пишет 16 октября такое письмо:

«Как мне жаль, что Андрюша тебя опять будет мучать. У меня соединяется в одно и перевешивает одно другое: горе и тоска погибели Андрюши, хотя всё надеюсь воскресенья, и радости, и умиления наших отношений с тобой. Нынче много хорошо думал. Сейчас садимся ужинать. На дворе буря, дождь, а в доме и в душе хорошо. I hope, что твоё нездоровье прошло и что тебе будет хорошо, и главное — бодрая и такая же, как поехала, приедешь к нам. Начал писать Мише письмо. Не знаю, удастся ли кончить. Целую тебя и его.

Л. Т.» *(84, 241)*.

Под «мучениями» от сына Андрея Толстой подразумевал столичные хлопоты матери в связи с поступлением сына в военную службу и подготовкой его к экзамену на «вольноопределяющегося», а под «погибелью» его — вероятно, раскрывшуюся родителям связь А. Л. Толстого с яснополянской крестьянкой Акулиной Макаровой. Тогда же, в октябре, Толстой напишет сыновьям Андрею и Мише пространные нравоучительные письма *(см.: 68, 215 – 217, 239 — 245)*.

Для примера, вот довольно «пикантный» отрывок из отцова письма к Михаилу Львовичу, 30 октября. Поучение о том, сколь безнравственно влюбляться и любить девчонку не из «равных» себе, а из народа:

«Для того, чтобы влюбление было чисто и высоко, надо, чтобы оба влюблённые были на высокой, одинаковой степени духовного развития; кроме того, влюбление имеет благотворное влияние тогда, когда для достижения взаимности от предмета любви нужны большие усилия, подвиги со стороны влюблённого, а не тогда, как это в твоём случае, когда для достижения взаимности ничего не нужно, кроме гармонии и пряников и для уравнения себя с предметом любви нужно не поднятие себя до него, а принижение себя. Такое влюбление есть ничто иное, как скрытая похоть, усиленная прелестью первобытности жизни, народа» *(68, 240)*.

Конечно же, Лев Николаевич выводил это, опираясь на собственный сладкий, но и грустный по последствиям опыт общения с женскими половыми партнёрами — как «ровней», так и «из народа».

С первым представлением в Петербурге «Власти тьмы» совпало первое же представление в Оперном театре «Орестеи» С. И. Танеева. Так что отчасти визит С. А. Толстой с сыном и дочерью в Петербург был и знаком вежливой благодарности: им «хотелось сделать приятное Сергею Ивановичу, всё лето доставлявшему удовольствие своей прекрасной игрой на рояле» *(МЖ – 2. С. 420 - 421)*. Опера была именно тем, что было ненавистно Толстому: насквозь «академическим» сочинением, вымотавшим оркестрантов и артистов настолько, что дирижёр потребовал от Танеева сократить малоталантливый опус — разумеется, заключает Соничка, только «по злобе» *(МЖ – 2. С. 421)*. Ей опера, конечно же, «очень понравилась», а вот представление «Власти тьмы» не понравилось — не сюжетом, не образами, а именно халтурной их реализацией актёрами: «Актёры играли хорошо, но не *жили* тем, что представляли. Так и било в глаза, что всё это *игра*» *(Там же)*.

К этой поездке относится письмо С. А. Толстой к мужу от 17 – 18 октября, следующего содержания:

«Сейчас два часа ночи, только что все разошлись; после оперы собрались у нас чай пить все Масловы, <оперная певица Марья> Климентова и Сергей Иванович. Опера имела успех средний, вызывали автора раза четыре. Очень было странно видеть Сергея Ивановича на сцене в сюртуке, с актёрами и актрисами за руки, которые в греческих костюмах ему аплодировали тут же, на сцене. Приходил к нам в ложу Н. Н. Страхов, а то больше никого не видали.

Вчера в Москве с нами случилось то неприятное, что мы опоздали на скорый поезд и уехали с курьерским, что стоило дороже. Опоздали мы потому, что запоздавший из Курска передаточный поезд загородил путь извозчикам, а когда нас пропустили, продержав очень долго, — скорый поезд пять минут как ушёл.

Была я нынче у Александры Андреевны <Толстой>, но она ещё не вернулась из Царского. Потом заехала к m-me Менгден <урожд. Елизавета Ивановна Бибикова. – *Р. А.*> и посидела у ней.

[...] Хотела я завтра же уезжать, но завтра идёт в первый раз на казённом театре «Власть тьмы»; бенефициантка Васильева мне привезла ложу 1-й бельэтаж, и конечно мы поедем. С нами в ложе будет Н. Н. Страхов. Миша стремится в Ясную, но мы его уговорим остаться с нами. Очень интересно видеть «Власть тьмы», и всё-таки это часть тебя, и мне будет, наверное, приятно.

Выедем мы отсюда 19-го с почтовым, а в Ясной будем 20-го курьерским, т. е. скорым, вечером. Я тогда телеграфирую. [...] Завтра идём все на хор певчих, а потом в Ермитаж. Таня и Миша устали и легли. Я тоже ложусь с мыслями о вас, о Ясной, о желании скорей туда попасть и видеть вас. А пока целую всех, простите за несвязное письмо, очень устала.

С. Толстая.

Александр Михайлович Кузьминский пишет, что Серёжа с Маней были у них в Киеве. Серёжа потерял бумажник с паспортом, багажной квитанцией и 30 рубл. денег. Пришлось обо всём хлопотать, брать новый паспорт в Киеве; и вот они и попали к Кузминским. Ну вот и всё» *(ПСТ. С. 621)*.

19-го октября Софья Андреевна возвращается из Петербурга в Москву — где немедленно предала себя в руки гинеколога, проф. Владимира Фёдоровича Снегирёва, который умело врачевал не только её обострившееся в дороге женское воспаление, но и душу: «нежно утешал по поводу смерти Ванечки» *(МЖ – 2. С. 422)*. В её письме к мужу от 22 октября, вероятно, сообщены слишком интимные подробности о болезни: оно изъято из общего корпуса опубликованной переписки С. А. Толстой. Затем буквально за день Соничка съездила в Ясную Поляну: проведала мужа и забрала на зиму в Москву дочь Сашу. По возвращении — скорее опять к Снегирёву, и с описания визита к нему начинает своё письмо к мужу от 24-го:

«Милый Лёвочка, была у Снегирёва, он нашёл, что здоровье моё лучше, дал ещё советы, велел продолжать компрессы и горячее спринцование, но произвёл на меня впечатление, что он сам ничего хорошенько не понимает. Личное же ощущение всё то же: тяжесть, напряжение и слабость ног и спины.

Андрюша нынче тих, занимался усердно и опять собирается в Тверь. Он ушёл с Сашей Философовой в концерт. Миша зато сегодня противно нагрубил <домашнему учителю> Александру Антоновичу <Курсинскому>, не садился за уроки, не играл на скрипке, но со мной был хорош.

[...] Попались мне Ваничкины вещи и английские тетради, старательно и очень хорошо им написанные. И я вспомнила всю эту пишущую худенькими ручками фигурку и ужас и отчаяние опять нашли на меня, слёзы весь день в горле и очень грустно на душе. Здесь чувство, что я заперта с воспоминаниями и горем.

Был Петя Раевский, говорил как дурно поставлена у Корша «Власть тьмы». Всем интересовался и был очень разговорчив. Саша гуляла с Сашей Философовой. От Тани коротенькое письмецо, что она жива и здорова. И вам она писала.

Ну, прощай, Лёвочка, люби меня и помни, как я тебя. Как одиноко мне тут без тебя и девочек, которых целую.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 622 - 623)*.

«С Львом Николаевичем мы расстались дружелюбно, нежно и часто переписывались» — вспоминает С. А. Толстая свой отъезд 24 октября из Ясной Поляны *(МЖ – 2. С. 322)*. И тут же, как доказательство этого взаимного дружелюбия, приводит в «Моей жизни» выдержки из письма Л. Н. Толстого к ней от 25 октября и своего ответа 26-го. Приводим эти письма по порядку.

Л. Н. Толстой, 25 октября:

«Хотел тебе написать, милый друг, в самый день твоего отъезда, под свежим впечатлением того чувства, которое испытал, а вот прошло полтора дня, и только сегодня, 25-го, пишу. Чувство, которое я испытал, было странное умиление, жалость и совершенно новая любовь к тебе, — любовь такая, при которой я совершенно перенёсся в тебя и испытывал то самое, что ты испытывала. Это такое святое, хорошее чувство, что не надо бы говорить про него, да знаю, что ты будешь рада слышать это, и знаю, что от того, что я выскажу его, оно изменится. Напротив, сейчас начавши писать тебе, испытываю

тоже. Странно это чувство наше, как вечерняя заря. Только изредка тучки твоего несогласия со мной и моего с тобой уменьшают этот свет. Я всё надеюсь, что они разойдутся перед ночью и что закат будет совсем светлый и ясный.

Не писал же я тебе потому, что всё продолжаю быть не бодр мыслью. И не то, что глуп, а нет энергии, охоты писать. И знаю, что пересиливать себя не надо. Так нынче прекрасный, тёплый тихий день, и я поехал верхом в Тулу, только чтобы прокатиться. Сегодня же приехал Колаша <Н. Л. Оболенский. – *Р. А.*> и Илюша, который забросил в Козловке записку, чтобы за ним выехали. Я застал его ещё в Туле, был на почте и вместе с ним вернулись. Он бедствует, переводит свой залог в дворянский банк и хочет просить у тебя 1000 рублей.

Мы живём хорошо. Я завтра перейду наверх, чтобы не топить нижнюю комнату. […]

Как твоё здоровье и твои отношения с мальчиками? И то, и другое важно очень. Если бы они хоть в сотую долю жалели, и, главное, понимали тебя, входили в твоё душевное состояние, как я. — Только бы они не одуряли себя всякими дурманами, не спешили никуда, они никогда бы не сделали тебе больно, потому что оба любят тебя. Целую их и милую Сашу. Без неё пусто и без её смеха не так весело. Прощай пока.

Л. Т.» *(84, 241 – 242).*

Ответ Софьи Андреевны Толстой, в вечер 26 октября:

«Милый друг Лёвочка, только что собралась сегодня вечером затосковать, как получила сразу три письма самого разнообразного свойства, но все три как будто раскрыли мне куда-то двери, и я увидала и свет, и веселье, и движенье. Твоё, — это было свет, также потом Лёвино <из Стокгольма>, полное любви и умиленья ко мне; потом Стаховича Миши, — это веселье и движенье. Он весь полон «Властью тьмы». Не ест, не спит, ставит её в Ельце, приходит в самый экзальтированный восторг, вдаётся даже в пафос, спрашивает меня, как идёт в Петербурге, и вообще напустил на меня своим письмом такую душевную суету, что мне опять захотелось вмешаться в постановку этой драмы на Малом театре, чтоб было там вполне хорошо; а то я, было, раздумала. Вот, если б мы с тобой не доживали нашу *вечернюю зарю*, как ты так поэтично и хорошо определил наши настоящие отношения, — то можно бы очень радоваться и тщеславиться теперь

этим успехом «Власти тьмы». Идёт она везде: у Корша <Частный Русский драматический театр Корша существовал в Москве с 1882 по 1933 гг. – *Р. А.*>, в «Скоморохе» (народный), в двух в Петербурге, пойдёт в Москве ещё в Малом, а в провинциях тоже везде её играют, и все театры полны. — Сегодня Андрюша пошёл смотреть «Власть тьмы» к Коршу; приехал Илья курьерским, я и его уговорила, дала карточку свою к Коршу, чтоб дал Илье какое-нибудь местечко. Илья не хотел, было, меня оставлять, но я его уговорила.

С мальчиками сегодня совсем хорошо и дружно. Миша учился покорно, Андрюша деликатен и тоже занимается. К Саше пришли уже русская учительница и m-me Фридман. Нашла сегодня очень симпатичную швейцарку и вероятно возьму её. Время позднее, гувернанток совсем уж нет, а хороших подавно. Ездила сегодня по делам: заказывала бумагу для «Детства», кое-что покупала, получила вещи из починки. Дождь льёт с утра до ночи. У меня сильный насморк, а нездоровье моё всё в том же положении, но страдаю я от него мало.

Гостей никого не было. Много играла на фортепиано и сидела с детьми. Это правда, что они меня любят, и это мне большое счастье. Сегодня такая радость была и твоё письмо, и Лёвино, и отношение мальчиков ко мне.

Те облачка, которые, как тебе кажутся, ещё затемняют иногда наши хорошие отношения — совсем не страшны. Они чисто внешние, — результат жизни, привычек, лень их изменить, слабость, — но совсем не вытекают из внутренних причин. Внутреннее, самая основа наших отношений остаётся серьёзная, твёрдая и согласная. Мы оба знаем, что хорошо и что дурно, и мы оба любим друг друга. Слава Богу и за это! И оба мы смотрим на одну точку, — на выходную дверь из этой жизни, не боимся её, идём вместе, и стремимся к одной цели — божеской. Какими бы путями мы ни шли, это всё равно.

Радуюсь, что вы все здоровы и живёте хорошо. Мне немножко завидно, что у вас нет обойщиков, типографщиков, гувернанток, экипажного шума, городовых и траты денег с утра до вечера. Трудно в этом хаосе оставаться в созерцании Бога и мирном, молитвенном настроении. Буду и так стараться выбиваться из земной коры, чтоб не погрязнуть совсем. А трудно! Прощай, голубчик, пишу как будто не то, что хочу, — ну, да как вылилось. Целую Машу и Веру. Я всё вижу Таню во сне и очень дурно.

Твоя Соня Толстая.

Отдайте Верочке письмо её матери и велите им написать ей; она что-то очень затосковала тут» *(ПСТ. С. 623 — 624)*.

Трудно представить себе, что это глубокое, мудрое и доброе письмо писано той же женщиной, которая в начале февраля этого же года устроила мужу постыдный скандал из-за его несогласия отдать новый рассказ в её очередное собрание его сочинений. И создала дома ту невыносимую атмосферу, в которой всегда слабый и часто болевший Ваничка не смог пережить очередной болезни… Горе подломило (на время) свободолюбивый, независимый нрав Льва Николаевича, но успокоило (к несчастью, тоже лишь на время) Софью Андреевну — сразу открыв её сознанию высшие, достойные человеческого звания смыслы и задачи бытия. Конечно, супруги ошибались: именно *внутренние причины* в каждом из них сторожили их счастье, как затаившийся в кустах хищник или пламень, вожделеюще тлеющий до времени в потолочной балке.

Иногда возникает впечатление, что сама Софья Андреевна не прочь была подставить себя под удар этой хищной стихии. Письмо её от вечера 28 октября свидетельствует, что мирская суета и болезнь снова стали брать над нею верх — без видимого её сопротивления:

«Приехала сегодня утром Таня из Петербурга в расположении духа среднем. […] Петербургом она довольна, впрочем обо всём расскажет сама. Завтра едем в директорскую ложу Корша смотреть «Власть тьмы». Я тоже в растерянном и очень не весёлом настроении, в таком, в каком теряешь душевное равновесие и впадаешь в телесную суету. Моё нездоровье очень этому способствует. Я перестала лечиться и мне стало хуже. Ходить же к Снегирёву очень тяжело и совестно. Постараюсь найти опять своё хорошее настроение, хотя трудно здесь в Москве и с мальчиками. Спасибо тебе, Лёвочка, за письмо, в котором я нахожу и теперь утешение и почерпаю силы. Напиши ещё. Будьте все здоровы и бодры.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 625)*.

Из встречного письма Л. Н. Толстого, 28 октября, в ответ на письмо жены от 26-го:

«Вчера получил твоё письмо, радостное очень. Дай Бог только, чтобы всё так продолжалось, включая мальчиков.

[…] Нынче, 28, я хорошо думал, и кое-что писал, и окончательно бросил начатую повесть <«Коневскую», то есть роман «Воскресение». – *Р. А.*>. Совсем скверно. От Черткова получил дневники и займусь ими. […] У меня на душе очень хорошо. Целую всех […]» *(84, 243)*.

В этом письме — свидетельство кризиса в творческой работе Толстого: тех обычный для него сомнений и исканий, которые вели к открытию нового, к перемарыванию и пересмотру прежних черновиков. Так было и с романом «Воскресение». Уже в первых числах ноября Толстой отыщет это новое: «не только новое начало, но угол зрения, оставшийся таким до конца» *(Опульская Л. Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1892 по 1899 год. М., 1998. С. 165)*.

И в этом эпизоде так же ярко явилась непримиримость мировоззренческих позиций супругов. Софья Андреевна, имевшая опыт «Крейцеровой сонаты», невзлюбила новую “повесть” мужа уже на стадии её писания: от неё она ожидала, и не без оснований, такого же скандального общественного эффекта, как и от «Крейцеровой», так как Толстой не скрывал своего намерения писать новое художественное сочинение с позиций высшего, не принимаемого миром, раздражающего мирских людей христианского религиозного понимания жизни, с точки зрения надмирной остранённости. Вот почему, вопреки обычной своей поддержке именно художественного творчества супруга, теперь, получив от мужа признание в намерении забросить писание повести, она, в числе прочего в ответном письме от 29 октября выразила свою радость этим намерением и хитроумно подобрала рационализацию этой радости. Вот текст этого письма:

«Приехали от Корша, где давали «Власть тьмы». Много всё-таки значит хорошая игра и сочувственная публика, как в Петербурге. Здесь же игра средняя, публика холодная, и только я душу отводила со стариком Стаховичем, который весь горел восторгом к пьесе. Он был с женой и дочерью Огарёвой. Перед самым отъездом получила твоё письмецо <от 28 октября>. Оно коротенькое, но опять такое, что я тебя всего чувствую и близким мне, и доступным, и добрым, и понятным. Ещё мне очень совестно и жалко тебе это сказать, — но мне радостно почему-то стало, что ты разлюбил свою повесть. Мне казалось всё время, что она *выдумана*, а не вылилась из глубины твоего сердца и таланта. Ты *сочинял* её, а не *жил* ею. Мне хотелось бы от тебя что-нибудь такое, при чём я могла бы также на всякое слово твоего произведения одобрительно радоваться, как Аким радуется

на исповедь и раскаяние своего сына. Как хотелось бы мне поднять тебя выше, чтоб люди, читая тебя, почувствовали бы, что и им нужны крылья, чтоб долететь до тебя, чтоб умилялись, читая тебя, и чтоб то, что ты напишешь, не обидело бы никого, а сделало лучше, и чтоб произведение твоё имело *вечный* характер и интерес.

Вот целая страница рецепта, по которому ты должен писать. По этому рецепту написано «Детство». Буду теперь с наслаждением его перечитывать опять в корректурах. Я его печатаю в издании для детей.

Сегодня ездила на могилки Ванички и Алёши с няней на извозчике. […] Всегда из города мне хорошо уехать к этим тихим, серьёзным могилкам, куда я зарыла всё, что у меня было на свете дорогого. Опомнишься хорошо, хоть и больно; и так и воспрянешь душой к тому миру, куда ушли мои мальчики. Странно, что всякий раз, как я поеду на могилки, как бы ни был пасмурен день, но на те минуты, которые я там провожу, всегда хоть не на долго выглянет солнце. Так и сегодня было. А поля все белые, снегом покрыты, так как было в день похорон, только, конечно, гораздо меньше. Могилки тоже засыпаны снегом, из-под которого торчат яркие, крепкие цветы, которые мороз застал врасплох в полном цвету.

Таня сегодня нездорова, но поехала в театр и Вера Толстая тоже. Мальчики ничего, сносны. Миша вчера был плох, но когда я ушла и легла утомлённая ссорой с ним, он раскаялся, просил прощения.

Прощай, милый друг, Таня будет тебе всё рассказывать про события, а мне просто хотелось по душе поговорить с тобой. Спасибо и за дневники, спасибо и за то спокойствие душевное, которое ты теперь мне дал. Если б оно могло быть навсегда! Целую тебя.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 625 – 626)*.

Не так уж и мал был запас её здоровья и сил, если спорить с младшим непослушным сыном она готова была *до утомления*. Но на мужа она предпочитала теперь воздействовать не криком, а иначе: манипулятивно. Чем ещё сокрушить сердце отца, как не образом замерзающих на могилках детей цветов, застигнутых зимой столь же внезапно, как застигла смерть обоих малышей?

Не случайно и сравнение “идеального” писания, ожидаемого Соничкой от мужа, с «исповедью» и покаянием убийцы в драме «Власть тьмы». Здесь есть свой недобрый подтекст. Впору напомнить читателю, что уже в ноябре 1890 года охлаждение к ней мужа, скрывание Дневника и пр. Соничка воспринимала именно как её медленное убийство:

«Он убивает меня очень систематично и выживает из своей личной жизни, и это невыносимо больно» *(ДСАТ – 1. С. 124)*.

«Убийца» же должен покаяться и быть наказан! Исповедался Толстой миру немало, но *как познавший истину*, как тот, кто кается лишь в прошлых грехах — в том образе жизни до духовного переворота конца 1870-х гг., который был и оставался как раз близок и понятен Софье Андреевне. Чувствуя слабость «жертвы», она желала именно покаяния его в жизни по познанной истине учения Христа. Ждала воскресения *прежнего* «Лёвочки». Толстому было очевидно это состояние сознания жены. Ещё 13 июня 1895 года в письме к выехавшему в Швецию на лечение сыну Льву он точно характеризовал его:

«На ней поразительно видно, как страшно опасно всю жизнь положить в чём бы то ни было, кроме служения Богу. В ней теперь нет жизни. Она бьётся и не может ещё выбиться в область божескую, т. е. духовной жизни. Вернуться же к другим интересам мирской жизни, к другим детям, она хочет, но не может, потому что жизнь с Ваничкой, и по его возрасту и милым свойствам, была самая высокая, нежная, чистая. А вкусив сладкого, не хочется не только горького, но и менее сладкого. Один выход ей — духовная жизнь, Бог и служение ему ради духовных целей на земле. И я с волнением жду, найдёт ли она этот путь. Мне кажется, так бы просто ей было понять меня, примкнуть ко мне, но — удивительное дело — она ищет везде, но только не подле себя, как будто не то что не может понять, но не хочет, нарочно понимает превратно. А как бы ей легко было, тем более, что она любит меня. Но горе в том, что она любит меня такого, какого уже нет давно. А того, какой есть, она не признаёт, он ей кажется чужд, страшен, опасен. Мало того, она имеет rancune [*фр.* злопамятность] против него…» *(68, 105 – 106)*.

После февральского удара судьбы супруги нравственно «просели», каждый по-своему. У Толстого, например, это были не чуждые тщеславия фантазии о «всемирном “Посреднике”», то есть о проповедании своей веры на весь мир. Этот соблазн тут же поддержал, и разжёг в нём “ближайший друг” В. Г. Чертков, впоследствии много лет гнусно паразитировавший на нём, не щадя на своём пути издателя-пропагандиста, рупора и «голоса Толстого» судеб “мешающих” ему людей… среди которых неизбежно оказалась однажды и Софья Андреевна. Соня же нравственно «просела» в эти месяцы именно ресентиментализацией своего сознания, то есть актуализацией или усилением прежних раздражений и обид на мужа. На раздражительность отчасти влияло её возрастное женское состояние и заболевание, потребовавшее вмешательства гинеколога.

Одержав над уступчивым мужем абсолютную на тот момент (хотя и не окончательную в перспективе!) победу в вопросе цензурирования ради «будущих поколений» его Дневника, Софья Андреевна желала теперь новой: на поле столь же собственном и исключительно мужнином. Она стремилась контролировать его и манипулировать им и в сфере писательского его творчества — оказавшегося, по опыту «Крейцеровой сонаты», хотя и денежно-доходным для семейства, но вовсе не таким безобидным в сравнении с публицистическими и религиозными писаниями мужа, как полагала она в 1880-х. К этому именно клонится её «разговор по душе» с мужем в письме от 29 октября. Победа в случае с «Хозяином и работником» оказалась для неё пирровой: не столько потому, что Толстой в конце концов отдал рассказ на публикацию сразу троим издателям, а не ей одной, сколько потому, что лишь считанные дни отделяют эту “победу” от гибели любимого маленького сына, и связь этих событий, свою злую, греховную роль в них обоих она не могла не ощущать.

Хронологически на очереди — большое письмо 31 октября, так же от Софьи Андреевны.

«Опять пишу тебе, милый Лёвочка, хотя собиралась писать Маше и благодарить за её письмо ко мне. Но дело вот в чём: сегодня приехала ко мне актриса Никулина, на бенефис которой 28 ноября пойдёт «Власть тьмы». Она просила меня написать тебе просьбу от неё и артистов Малого театра, чтоб ты позволил им (пять человек) приехать к тебе в субботу скорым поездом (приходит в Тулу [в] 6 вечера) и уехать ночным (в 2 часа ночи поезд). Значит они пробыли бы всего один вечер, часа четыре, в течение которых они умоляют тебя прочесть им вслух «Власть тьмы». Режиссёр и декоратор приехали бы в субботу же утром на Козловку и за ними надо выслать в 8 ч. утра лошадь на Козловку. Режиссёр и декоратор желают видеть избы, дворы (им нужен день), купить и изучить костюмы, типы и т. д. Маша и Таня могли бы им помочь это сделать, а тебя бы не беспокоили. Ночевать никто не будет, а накормить двух в течение дня и напоить чаем пятерых вечером — совсем не так трудно.

К постановке «Власти тьмы» относятся артисты с таким трогательным благоговением и стараньем, что, право, грех им не помочь. И это не шутка поставить эту пьесу *сначала* как следует, потому что потом долго традиционно будет она идти так, как её сразу сыграют.

Пожалуйста, Лёвочка, прими актёров, прочти им и пусть девочки помогут режиссеру и декоратору. Одну субботу только надо на это посвятить, в другой день они не могут. Если успеешь мне написать

до пятницы, то напиши, а по-моему не успеешь, а лучше телеграфируй: «согласен», и тогда пришлите на Козловку в субботу утром, а актёры приедут на лабазовской тройке прямо из Тулы.

Сегодня весь день посетители, вчера тоже. Была Лиза Олсуфьева, Дурнов (Таня знает), Никулина, горбунчик Мусатов, — кланяется Тане и тебе, уезжает в Париж (тоже Таня его знает), француз с поэмой для оценки, князь Ростовский, просящий на бедность, Лиза Маклакова, Лёля Северцов, гувернантки, типографщики, и проч. и проч. Вот жизнь-то тут! То есть не жизнь, а просто смерть. Поневоле приходится говорить всем, что дома нет и никого не принимать, а то никакие нервы не вынесут. Буквально ничего не делала весь день, как принимала всех. Сегодня взяла наконец гувернантку-швейцарку с немецким, а то Саша всё одна и одна, и играет в карты с няней и Верочкой, что очень огорчительно. Гувернантка эта жила 8 лет в одном доме и теперь её ученицы выросли.

Миша получил твоё письмо; Андрюша и он читали его, когда я вошла к ним. Андрюша искал старательно в письме, с чем бы не согласиться и помнил одно, чтоб ему не унизиться согласием со всем. Миша этим немного заразился и говорил, что он не согласен с мнением о гармонии <гармони, гармошке. – *Р. А.*> и о женитьбе на неравной: что не он унизится до неё, а что он её возвысит до себя. Ещё говорил, что влюблённость не ослабляет, а увеличивает энергию и возвышает, и ободряет человека. А что во всём остальном он согласен.

О гармонии я ему говорила, что она не хороша своим одуряющим, а не развивающим музыкальное чувство — действием. Что для фортепиан и скрипки нужен *труд*, посредством которого можно понять музыкальную мысль великих музыкантов, вникнуть в их творчество и их душу. — На это Миша ничего не нашёл, что сказать.

И вообще, когда ушёл Андрюша, и я попыталась с письмом в руках растолковать, разъяснить Мише твои мысли, то он уже иначе начал говорить и иначе на всё смотреть. Вообще он довольно мягкий материал, и если не покладать рук в его воспитании, то, влияя на него, можно сделать из него порядочного малого. А сегодня учитель его скрипичный говорит, что чем больше он его учит, тем больше убеждается, что у Миши большой талант музыкальный. Жаль будет, если Миша засорит и зароет все свои способности, — надо и надо помочь ему.

Одно мне сегодня тяжело — это моё нездоровье. Вот уже три дня, что оно равномерно идёт хуже и хуже, и как ни скучно, а завтра я пойду к Снегирёву. Чувство внутреннего острого кола и раздутости и сильнейшего возбуждения и раздражения. И ничто не помогает,

даже не облегчает. После ванны стало легче немного, но теперь вдруг гораздо хуже. А хлопот пропасть, отраслей разных много: гувернантки, мальчики, книги, хозяйство, одежда всех, особенно Саши, конюшня и сарай, пришедшие в упадок, денежные дела, визиты и проч. и проч. Стараюсь себе сказать, что всё образуется и само собой устроится. Но ничего само не делается и Саша в дураки играет, а Андрюша плохо на Мишу влияет. Завтра посижу дома и опомнюсь. Музыкой только сама себя утешаю, вчера, после отъезда Тани, часа три играла. Как-то Таня доехала и здорова ли? Целую её, Машу, Веру и тебя очень нежно. Будь здоров, спокоен и весел. Я, бог даст, поправлюсь.

Твоя С. Толстая» *(ПСТ. С. 627 - 628)*.

По поводу гостей из Малого театра Толстой 2 ноября сообщил кратко телеграммой: «Пускай приезжают пишу» *(84, 243)*. Но почерк в очередной раз сыграл с Толстым шутку: телеграфист вместо «пишу» набрал в телеграмме «Тулу», и та в конце концов затерялась *(Там же. С. 144. Комментарий)*. К счастью, в тот же день Толстой отправил жене и письмо, из которого она догадалась о его согласии принять театральных деятелей:

«Послал телеграмму. Очень бы желал, чтоб миновала эта суета, но нельзя отказать. Важно твоё здоровье. Отчего ты оставила леченье — ванны и другое. Ради Бога, не оставляй. Ничто не важно, если ты и телесно и душевно страдаешь. Не приехать ли мне к тебе? Всё так ничтожно в сравнении с твоим состоянием. Разумеется не принимай никого. И ради Бога телеграфируй, и я тотчас же приеду к тебе. То, что пишешь о мальчиках, грустно, но я и не жду другого. И то хорошо.

Ради Бога, голубушка, не скрывай, не думай о других, а только о себе. Я бы рад пожертвовать тебе многим, но к сожалению тут и жертвовать ничем не придётся, потому что приехать к тебе будет радость.

Все два дня перечитываю дневники, с тем, чтобы уничтожить, что неправда, и нашёл только одно место, но и то далеко не такое гадкое, как то, которое огорчило тебя. <Речь идёт о вымаранной дневниковой записи в семнадцать строк под 6 октября 1895 г. – *Р. А.*> Целую тебя, голубушка, и жду письма,

Л. Т.» *(Там же)*.

С максимальной деликатностью, но вполне определённо и настойчиво Толстой даёт понять жене, что покушается, по её просьбе, на собственный Дневник отчасти как подневольный исполнитель, жалеющий её здоровье, а отчасти по причине раздражения или задора, с которыми высказывал он в личном Дневнике почти исключительно *правдивые* суждения о ней или о детях.

Забота Софьи Андреевны о судьбе будущих постановок пьесы мужа, об их аутентичности реальной жизни крестьян в Тульской губернии, была вполне искренна, отвечала пожеланиям мужа-автора, а оттого оказалась и результативна. 4 ноября в Ясной Поляне побывали художник-декоратор Малого театра К. Ф. Вальц, помощник декоратора и режиссёр С. А. Чернявский. Они осмотрели деревенские избы, дворы, костюмы, типы. Дочери Толстого помогли театральным деятелям закупить на деревне образцы одежд и домашней утвари. Очень кстати затерявшаяся телеграмма с прямым разрешением на приезд сделала то, что сами актёры, занятые в пьесе, не выехали в Ясную Поляну вместе с режиссёром. А это и было втайне желаемо Толстым: избежать в доме толпы и необходимости читать свою пьесу и консультировать артистов о том, что он сам, по признанию дочери Татьяне Львовне, уже почти совершенно забыл *(Опульская Л. Д. Указ. соч. С. 168)*.

В день приезда в Ясную Поляну малой театральной делегации, 4 ноября, супруги обменялись *встречными* письмами, а затем так же *встречно*, 7 ноября, ответили на них друг другу. Вот письмо от Софьи Андреевны, 4 ноября:

«Что ты, милый друг мой Лёвочка, как будто встревожен мною; а между тем я совсем ничего, никто даже не сказал бы, глядя на меня, что я нездорова. Снегирёв и тот встретил меня с словами: «что за роскошный (не люблю этого слова) и здоровый цвет лица». Сегодня я лучше спала, боль меньше, и была у Снегирёва. Он продолжает меня лечить, меры его очень энергичные и сильные, но на этот раз, видно, хуже под<д>аётся моя натура — всё ведь старше мы делаемся. По-видимому главное лечение направлено на усыпление больного органа. В сутки вместе с горячей водой в меня вливается шесть полных чайных ложек чистого опия. Кроме того компресс, свечки и проч.

Сегодня от доктора пошла пешком, солнце выглянуло, вспомнила Ваничку, и очень грустно стало. Теперь периодами на меня находит эта грусть больная, и я из чувства самосохранения сейчас же начинаю спасаться от неё, — большей частью молитвой, а то общением с людьми. С Соней <С. Н. Толстой, женой И. Л. Толстого. – *Р. А.*> мне

очень приятно и хорошо, мы вместе спим и по вечерам болтаем. У ней, у бедной, всё ухо болит, и она толкалась ко всем докторам и никого не застала. Лёля Маклаков ей устроил наконец сегодня вечером приём у какого-то Степанова, его знакомого. Вчера вечером мы с Лёлей играли в 4 руки симфонии Моцарта, и я сентиментально вспоминала, как мы с тобой их игрывали. Он играет хуже тебя, но с таким большим удовольствием, что мне не совестно было, что я его заставила с собой играть. Третьего дня вечером у меня сидели Буланже, Страхов и И. И. Горбунов. Вчера, позднее, приходил Ваня Раевский. У Елены Павловны <Раевской> я была, ходила пешком, чтоб не трястись. У нас в доме с детьми и людьми всё тихо и хорошо. Мне даже кажется, что без девочек и тебя, и Андрюша и Миша чувствуют на себе ответственность за меня и моё здоровье, и потому лучше, чем при вас — относятся ко мне, берегут меня. А при вас сложат с себя эту ответственность. Миша всё собирается писать к тебе, но его соблазняют всякие выезды и, как всегда, распущенность и тут мешает. Сейчас 5-й час, он играет на скрипке, а Митя Дьяков читает твоё письмо. У Андрюши учитель сидит. При Соне я бодрее, а письма твои ласковые и добрые, как свет изнутри мне всё освещают. Боюсь, что когда ты приедешь и почувствуешь всю тяжесть городской жизни, всю пустоту её и шум — тебе станет тяжело и на меня опять невольно досадно. На меня же всё внешнее как будто перестает влиять. Ни погода, ни люди (с тёмными было очень даже подушевно), ни время года, ничто уже не влияет на меня, как прежде. Я говорила, что из меня душа *вынута*, когда умер Ваничка, а теперь мне кажется, что я *расковала* душу с телом. Душа стала свободна, вне пространства и вне времени, и хотя тело продолжает свою грешную жизнь с соблазнами, желаньями и похотями, — я его не боюсь, я всякую минуту готова отречься от него и уйти туда, где уж не будет для души этого греховного жилища — тела, а будет свобода и близость Бога.

Сегодня у вас актёры. <К счастью, не приехали. – *Р. А.*> Тебе будет трудно, милый друг, читать опять эту драму, но я рада, что ты им прочтёшь. К вам собирается Ваня Раевский с Цингером, и если поедут, то свезут и письмо это, и шубу, и валенки, и яблоки девочкам. Что же они не написали, не нужно ли ещё чего? И зачем им валенки? Льёт и тает всё. Впрочем ещё будут морозы. Я не знаю совсем, на какой срок вы располагаете остаться в Ясной. Я думаю, тебе во всяком случае надо пожить, пока зима станет. Что за ад этот шум колёс и грохот. Я его совсем не выношу. Дела я свои понемногу привожу в порядок и радуюсь, что будет у меня досуг, который надо получше употребить, пока Бог велит жить.

Спасибо Марии Александровне <Шмидт> за её письмо. Неужели я не увижу больше Верочку? Целую всех вас, будьте все здоровы и веселы, и пусть девочки продолжают хохотать и радоваться. А ты? Как у тебя на душе? Должно быть мне не долго жить: как все свои и чужие стали ласковы со мной» *(ПСТ. С. 629 – 631)*.

Остаётся сожалеть, что своё высокое настроение, выразившееся в этом письме, С. А. Толстая снова удержала не надолго.

Толстой отвечал 7 ноября следующее:

«Поехал на Козловку с этим письмом, пустым, с тем, чтобы, получив твоё, на него ответить. И получил от тебя хорошее письмо, порадовавшее меня о твоём душевном состоянии, но физически нехорошо. Нехорошо, что такие средства <как опиум> употребляешь. Только могут они, — доктора, — портить, пройдёт болезнь только от того, что пройдёт ей время и организм преодолеет её. Вчера Маша с Верочкой ездили в Тулу и у Давыдовых *весело* танцовали вчетвером с Бухманом. Пишу это письмо от Марьи Александровны. Мы беспокоились о ней. Она уехала от нас такая слабая, больная, но нынче опять здорова и бодра, и искренно радостна. Я вчера хорошо обдумал своё писанье, — нашёл точку зрения настоящую, и мне весело. Целую тебя и детей. Очень хорошо всё, главное ты» *(84, 245 – 246)*.

Толстой, без сомнения, учёл данный Соничкой в письме от 29 октября «рецепт» для своего творчества. Но при этом всё же пошёл иным путём. В Дневнике его под 5 ноября находим знаменательную запись:

«Сейчас ходил гулять и ясно понял, отчего у меня не идёт “Воскресенье”. Ложно начато. […] Я понял, что надо начинать с жизни крестьян, что они предмет, они положительное, а то тень, то отрицательное. И то же понял и о «Воскресеньи». Надо начать с *неё*. Сейчас хочу начать» *(53, 69)*. И 7 ноября: «Немного писал эти два дня новое «Воскресение». Совестно вспомнить, как пошло я начал с него. До сих пор радуюсь, думая об этой работе так, как начал» *(Там же)*.

К преогромной досаде супруги, Лев Николаевич не только продолжил писать своё «Воскресение», но и поставил в центр повествования прелестную и грешную Катюшу Маслову, в образе которой соединились воспоминания писателя об отношениях — разной степени близости — с самыми разнообразными девушками из народа.

Теперь отступим в хронологическом порядке нашей презентации немного назад: снова 4 ноября и снова Лев Николаевич Толстой. Завершение темы пострадавшего цензурой Дневника и продолжение темы здоровья супруги в письме этого дня:

«Не покидает меня мысль о твоём нездоровьи, милый друг. Ради нас всех, не скажу лечись, а берегись.

Последнее письмо твоё к Маше утешительно тем, что ты хочешь беречься и сидеть. Пожалуйста, голубушка. Вчера кончил своё чтение своих дневников и вынес в том отношении, в котором мы говорили, самое хорошее впечатление — именно то, которое вынесет всякий, кто когда-либо будет читать их, что связывала нас и связывает самая неразрывная любовь, что различие верований, т. е. переворот, происшедший во мне, заставил нас страдать, но что победила любовь. Видно, как это понемногу делалось, делалось и совершилось. Вымарать пришлось не больше 2-х страниц. И те можно бы не марать.

Я очень рад, что ошибка телеграф[а] избавила меня от чтения <пьесы актёрам>. Эти же господа <режиссёр и декоратор с помощником. – *Р. А.*> делали дело полезное для них, и люди очень приятные. Целую тебя и детей. Таня была нездорова, теперь ей лучше, и мы все здоровы и дружны» *(Там же. С. 245)*.

Софья Андреевна на это письмо ответила 7 ноября так:

«Милый друг Лёвочка, ты всё о моём здоровье беспокоишься, и мне это очень грустно, я на больную и не похожа. Но то, что меня мучало, и теперь мучает. На два дня Снегирёв мне дал средство, от которого эти два дня мне было гораздо лучше. Через два дня велел употребить другое, — и от этого другого мне стало гораздо хуже. Сегодня просто ничего делать не могу от ноющей и раздражающей боли. Сегодня должна была быть у Снегирёва, но он прислал сказать, что никак не может принять — и до завтра 2-х часов. Буду сидеть сегодня дома, но и это тяжело. Чем больше сидишь, тем больше действует на нервы это внутреннее раздражение и хочется просто ходить, ездить, развлекаться, только бы не слышать в себе этого больного, раздражённого органа. Я, впрочем, очень хорошо себя чувствую нравственно и даже не тоскую, как бывало. Всё во мне притупилось, и так, пожалуй, лучше.

С Соней живём дружно и хорошо. Спим вместе, болтаем по вечерам. […] Вчера […] очень приятно провели вечер: говорили о школах,

о воспитании детей, что интересует очень Соню; в первый раз сидели и пили чай на верху.

Не помню, писала ли я вам, что третьего дня мы с Соней и мальчиками ездили в «Власть тьмы» в «Скоморох». Публики было 1 700 человек. Она меня интересовала больше пьесы. Гул сочувствия слышался всегда в лучшие моменты пьесы: «оставь, дедушка, свет в мышиный глазок». И в галлерее наверху одобрение. Или вдруг на хорошие слова Акима: «так!» во всё горло кричит кто-нибудь одобрительно. Играли совсем не дурно, особенно Митрич с Анюткой, много лучше театра Корша. Никиты на всех театрах слишком толсты, а в «Скоморохе» слишком вдавался он в мелодраму. Как-то будет в Малом.

[…] Прощай, Лёвочка милый, будь бодр и здоров; я проживу хорошо без вас, разумно. Живите пока живётся вам, теперь у меня дел особенных нет, и всё налажено хорошо, а с Соней и вовсе легко и весело живётся. Целую тебя и дочерей.

Твоя С. Толстая» *(ПСТ. С. 631 – 632)*.

«Соня» в данном письме — это Софья Николаевна, урожд. Философова, жена Ильи Львовича Толстого.

И. Л. и С. Н. Толстые

Тему здоровья Соничка продолжает в письме следующего дня — и не только описанием своего посещения врача, но и нотками раздражения, которые, быть может, она впустила в письмо и намеренно: как в прежние годы известия о болезнях малышей, так теперь собственное её выраженное настроение сделалось средством “вытянуть” мужа к себе, заставить скорее приехать…

Вот основной текст письма от 8 ноября:

«День пороши, а снегу нет.

Не читай вслух, а один.

Пишу сегодня главное о том, что тебя по-видимому очень интересует, милый Лёвочка, — о моём здоровье. Была у Снегирёва (всегда мне это так невыносимо нравственно тяжело), и он мне сказал, что объём м[атки] уменьшился, что опасность разрыва сосудов миновала, что она почти нормальной величины. Велел взять ванну сегодня, и потом опять как наружное — тёплый настой льняного семени и опять опий; я думаю, что этот последний совет подействует лучше всего, так как то, чем я больше всего мучаюсь — это раздражение и чувство раздутости. — Очень мне хотелось на денёк слетать к вам в Ясную и две ночи быть в дороге. Но боюсь, что погублю своё здоровье, если вместо ванны буду сидеть в вагоне. А весело бы было съездить к вам, погулять, посмотреть на природу и побыть в её успокоивающей тишине. Коля Оболенский говорит, что ты ничего не говоришь об отъезде и что девочкам очень не хочется ехать. А не хочется, — так и сидите. Мне помощи никакой не нужно теперь; мне совсем делать нечего, и если я для чего-нибудь тут нужна, то для мальчиков, которые очень со мной стали хороши и ведут себя исправно. Вчера вечером был Лёля Северцов, Лёля Маклаков, Коля Оболенский и m-me Юнге. Молодёжь собралась вся (и наши мальчики, конечно) вокруг Сони и толковали о назначении женщины и о других высоких предметах. Я видела, какая потребность у молодых высказываться, иметь право голоса. При нас, стариках и взрослых, им приходится всегда молчать и потому они скучают. Третьего дня тоже я вошла к Андрюше, а там Бочков и Миша толкуют все трое о пользе путешествия, о необходимости узнать иностранные языки и народы. Хоть бы они подольше оставались в таком настроении, т. е. рассуждать, обдумывать разные вопросы и, главное, сидеть дома. Надо их помнить постоянно, что я и делаю. — Гувернантка, кажется, попалась хорошая: тихая, худенькая, но образованная и кроткая. Саша ей очень довольна и Соня тоже хвалит. Приехал Поша, был у меня, но мы ещё с Соней спали. Соне лучше. Когда она уедет, мне будет жаль. У вас скоро образуется целая колония: Сяськина, Дунаев, — теперь ещё пожалуй Поша поедет, вам скучно не будет. Если до вечера что будет интересное, то припишу, а пока прощай, целую тебя. Что ты работаешь? Неужели бросил повесть? Что-то не верится. Мне скучно

без твоего общения; точно ты мне открыл свои душевные двери, которые долго были заперты от меня крепким замком; и теперь мне всё хочется входить в эти двери и быть душевно с тобой. В прежних наших разлуках нам часто хотелось сойтись для жизни совместной материальной; теперь же естественно и непременно должно придти к тому, чтоб нам врозь было душевно одиноко, и чтоб душевно хотелось жить одной жизнью.

Девочек целую, Марье Александровне кланяюсь, буду отвечать на её письмо.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 633 - 634).*

Если задачей реалистической для Софьи Андреевны было “вытянуть” скорее мужа из дома, из Ясной Поляны на московскую зимовку, то задачей идеальной было… самой уехать из Москвы. Но долго жить в Ясной Поляне — значит обязательно *вспоминать*… Метания и думы жены Толстого в состоянии нахлынувшей осенней депрессии нашли выражение в её письме от 9 ноября:

«Посылаю вам, милые друзья, разных гостинцев и еды: артишоки, томаты, брюссель, финики, печенья, виноград и проч. Что там съедите, а что на дорогу возьмёте. Поша <Бирюков> едет к вам, и мне самой так захотелось ехать, что я пишу это письмо, а не уверена, что и я не уеду с ним. Сегодня с утра на меня напала тоска в первый раз самая *моя* осенняя тоска; как проснулась, с Соней разговорилась о Ваничке, расплакалась, да так весь день и мечусь. Может быть, опять пройдёт и я буду бодра. К вам всё народу прибывает; боюсь, что плохо девочки от суеты всё уложат и плохо дом оставят, ничего не уберут и ничего не запрут. Я знаю, как трудно что-нибудь делать, когда гости, и надо утром убирать даже те постели, на которых спали, и ту посуду, в которой ели. Пусть Марья Кирилловна останется до вечера и на досуге одна всё приберёт и запрёт, а то ведь это на мою долю останется, когда я приеду весной для окончательной отделки дома.

Вчера разлетелась в баню, а бань нигде нет, только по морозной мостовой с грохотом напрасно растрясла себя, и мне стало хуже опять. Нездоровье и невозможность двигаться так мне надоели, что я хочу прекратить всякое лечение и начать всюду ездить, а то тоска если разойдётся, то хуже всякого нездоровья.

Овощи посылаю плохие, томаты уже отошли, артишоки стары; до Охотного не добралась, далеко, и я на конке на Арбат ездила, на конке очень хорошо, не тряско. Прощайте, целую всех.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 634 - 635).*

Лев Николаевич отвечал на это письмо 12 ноября:

«По последним твоим письмам чувствую, что тебе очень грустно и тяжело, и мне стало также грустно и хочется быть с тобою. Когда мы приедем, я не могу сказать сейчас, потому что не совещался ещё об этом с девочками. А вот вечером поговорю. Во всяком случае очень скоро. Я постараюсь, чтобы они ничего не забыли и уложились с аккуратностью. Ты права, что чужие люди мешают; а у нас их много […]. Всё-таки было бы лучше, спокойнее, если бы мы были одни. Хорошее бы вошло на ум. Но так это мне и тебе, но им хочется визжать и хохотать. И когда это так невинно, то пускай их. Вчера они […] с восторгом плясали мазурку, я играл им. Радуюсь, что мальчики хороши и помнят, и жалеют тебя (как бы не сглазить). — Очень благодарю их за это. Ты совершенно права, что им нужно самим рассуждать, а мы им мешаем. Только бы рассуждали, употребляли бы в дело данный им от Бога разум и доброе сердце.

Смотрел фотографию семьи: как Андрюша похож был на Ваничку. […]

Я совершенно одобряю то, что ты хочешь бросить леченье, но не одобряю, что ты хочешь двигаться и вообще нарушать гигиенические предписания. Я бы бросил только лекарства. Очень советую, прошу тебя, милый друг, беречься. Теперь я надеюсь, что скоро пройдёт.

Своим здоровьем тоже не могу похвалиться. То болела голова и теперь тяжела, и запоры, и общая чрезвычайная вялость и слабость, хотя веду себя самым благоразумным образом. Ничего не пишу уже с неделю, кроме писем, которые и то пишу с неохотой. Так до свидания, голубушка, целую тебя и детей.

Л. Т.» *(84, 246 – 247).*

Не в силах дождаться приезда мужа, Софья Андреевна между тем сговорилась с сестрой, Татьяной Кузминской, бывшей проездом в Москве, и обе они сделали Льву Николаевичу и детям добрый сюрприз своим приездом:

«Нам чрезвычайно все обрадовались, было так приятно и весело, и всех нас оживило это свидание. У Льва Николаевича всё время не сходила с лица улыбка, и он радостно шутил, говоря:

“Жили тихо, степенно, <и тут> приехали две легкомысленные мамаши, подняли дым коромыслом, развеселили всех и — исчезли”.

И правда, было что-то такое весёлое, поэтическое, дружное и хорошее в этой поездке; такая сувствовалась между всеми нами несомненная любовь и дружба, которых должно бы хватить всем нам до конца наших жизней» *(МЖ – 2. С. 427 - 428)*.

Всю первую половину ноября сам Лев Николаевич переживал приступы физической слабости, умственной утомлённости и упадок работоспособности. Несмотря на это именно в эти ноябрьские дни он смог не только радикально проработать будущий роман «Воскресение», но и определиться наконец со своим «Катехизисом», форма изложения которого его смущала целый год: к 18 ноября он окончательно решил отказаться от катехизической формы и переработать весь материал в более традиционный формат религиозной статьи, получившей скромное название «Христианское учение». Он был доволен. Судя по некоторым сведениям в мемуарах Софьи Андреевны, в первых числах ноября он хотел было задержаться в Ясной Поляне ещё на две недели *(Там же. С. 426)*. Но Софья Андреевна ошибается, называя в «Моей жизни» только начало декабря временем “возвращения” мужа с дочерьми в Москву *(Там же. С. 428)*. Биографы едины в указании даты этого переезда: 19 ноября. Эта точность связана с множеством подтверждающих материалов: записей в Дневнике, писем Толстого уже из Москвы различным адресатам, личных встреч. Среди последних стоит отметить долгожданное артистами Малого театра чтение драмы «Власть тьмы», таки состоявшееся, но уже в московском доме Толстых, в Хамовнической слободе — 23 ноября. 28-го Толстой благословил влюбившихся в него артистов на генеральной репетиции пьесы, а 29-го, после абсолютно триумфального представления, восторженная молодёжь устроила Льву Николаевичу овацию прямо в доме.

Но наблюдение репетиции заставило его вновь сломать голову над столько лет не дававшейся ему тяжелейшей проблемой настоящего и фальшивого искусства.

Важным “заочным” знакомством было для Толстого чтение записок словацкого врача Альберта Шкарвана, отказавшегося по убеждениям от военной службы.

Было много и “живых” посетителей, включая В. Г. Черткова, жившего с семейством с середины декабря в Москве. С Чертковым явилось и множество толстовцев, «тёмных», самым светлым и приятным из которых был замечательный, искренний английский “львёнок”

Льва Николаевича, переводчик и издатель его книг, пастор близкой по взглядам к толстовцам Братской церкви в Лондоне Джон Колеманн Кенворти (1861 – 1948).

Софья Андреевна заскучала. И посетители, и разговоры мужа с ними (о религии, политике, искусстве и пр.), и писания Толстого, такие как «Христианское учение» или набросанная в один день 6 декабря статья «Стыдно» (против телесных наказаний крестьян; С. А. Толстая в мемуарах затруднилась даже вспомнить её правильное название!) были чужды ей. И, конечно, снова подкрались грустные воспоминания… Она дотерпела до Рождества, которое традиционно надо встречать в семье, а затем, перед самым Новым годом, нашла выход: сын Андрей, выдержавший экзамены в кавалерию, хотел встретить Новый год с братом Ильёй в имении его Гринёвке. Туда, захватив маленькую Сашу, отправилась 27 декабря и Софья Андреевна. С её пребыванием в имении сына связан последний небольшой фрагмент этого затяжного и в основном очень трагического, а местами и светло-печального, Сорокового Эпизода нашей аналитической презентации.

На следующий день после отъезда жены Лев Николаевич посылает в Гринёвку такое письмо:

«Со вчерашнего вечера новостей у нас никаких. Я здоров, но осталась ещё слабость желудка, и я очень берегусь. Много нынче писал. За обедом были тёмные: Леонила Фоминична <Анненкова>, Марья Фёдоровна <Кудрявцева>, Чертков с женой, Kennworthy, Поша, и потом пришёл седун Василий <Маклаков>, и теперь 10 часов, — те все ушли не было восьми, — кажется, всё сидит один с Таней. Маша пишет мне. Она здорова. Как то вы доехали? Нынче целый день метель и очень сильная.

Вероятно, вследствие моего состояния желудка мне уныло, и потому очень приятно сидеть одному. Мишу пригласили на вечер к Лугининым, и он поехал очень довольный и веселый. Это хорошо. <Семья профессора химии Московского университета Владимира Федоровича Лугинина (1834 – 1912). – *Р. А.*>.

Письма были интересные: от японца <Иокаи>, знакомого Кониси христианина и писателя, — он присылает свою статью английскую, и от Страхова: жалуется на мертвенность Петербурга и на рабскую подлость людей. На него даже не похоже. Думаю, что вам хорошо, если только все здоровы. Целую тебя и по старшинству Илью, Соню,

Сашу, Анночку, Мишу, <внука> Андрюшу и особенно большого Андрюшу, если он с вами.

Сейчас хочу надеть большую шубу, и сам снести это письмо в ящик.

Л. Т.» *(84, 247 – 248).*

Единственное из Гринёвки, и последнее в 1895 году письмо к мужу Софьи Андреевны было написано 29 декабря и, конечно, не было ответом на ещё не полученное письмо мужа. Приводим ниже и его текст.

«Милый Лёвочка, Илюша послал своего кучера в Москву; с ним я должна была вам писать, а потом забыл обо мне и услал без письма. Но я надеюсь, что вы о нас забыли, а мы с Сашей доехали благополучно; и Серёжа, и Саша, и я — мы имели по длинному дивану и спали хорошо. Только в Бастыеве <станция Курской ж. д., ближайшая к Гринёвке. – *Р. А.*> лошадей не было, и мы ровно час сидели и ждали, очень было скучно и даже чаю захотелось; от самого нашего обеда мы с Сашей и горла не промочили, только Серёжа Саше два яблока дал.

Вчера, как приехали, начали ёлку украшать. Все здоровы и веселы. Андрюша после нас часа через два приехал, и уедет с нами же ко второму январю в Москву, а бал Глебовых хочет пропустить. К вечеру вчера съехались на ёлку разные соседи (очень средние), ужинали, пили, ели много свинины. Интересны были ряженые дворовые и рабочие, и трагедия: «Царь Максимилиан и непокорный сын Адольф».

Сегодня с Сашей гуляли довольно далеко; это лучше всего, и дети ещё хороши. Сегодня ясно, 17 гр. мороза, поля блестят, лошади лохматые на гумне, все белые от инея. На деревне празднично. Только леса мрачны и черны. Сейчас сидим с детьми, я шью Мише платье. Как девочки и Миша? Что твоё здоровье? Ещё нет письма от вас. Завтра пошлём в Бастыево. Целую вас всех, жду письма.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 635).*

И чуть-чуть, в прибавление, из Сониной книги «Моя жизнь»:

«Когда Соня с мужем уезжала к соседям, я ходила в детскую укладывать спать внуков и, уложив, садилась играть на рояле, иногда часа три подряд.

Провели мы с Сашей в Гринёвке дней 5, освежившись природой и детьми — этими вечными, живыми и умиротворяющими житейскими элементами, вносящими смысл и утешение в жизни человеческой» *(МЖ – 2. С. 430)*.

Учитывая общий драматизм событий рокового в судьбе семейства Толстых 1895 года, нам кажется, что, в завершение Эпизода, сложно отрадней картину нарисовать, не так ли, читатель? Ну, так пусть же, без дальнейших прибавлений, за ней воспоследует сразу

КОНЕЦ СОРОКОВОГО ЭПИЗОДА

КОНЕЦ ЧЕТВЁРТОЙ ЧАСТИ КНИГИ

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Эпизод Сорок Первый.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ
(Год 1896-й)

Фрагмент 41.1.
НАДО ЗАНОВО ПРИДУМАТЬ НЕКИЙ СМЫСЛ БЫТИЯ
(21 января – 8 марта 1896 г.)

Смерть 23 февраля 1895 года младшего сына Толстых Ивана стала семейной катастрофой и незаживающей душевной раной для обоих родителей. Вечно чуждая Христу и всему исконно-христианскому, церковно-православная и гнусно-патриархальная страна Россия давала в одной и той же семье мужчине больше возможностей для облегчения столь мучительного горя, нежели женщине, матери: больше возможностей на отвлечение в науке, политике, бизнесе, творчестве… Тем более если этим мужчиной и мужем был Лев Толстой, на тенденцию превращения которого в «человека мира» уже при анализе переписки 1880-х годов мы неоднократно указывали.

Глава Четвёртая «Материалов к биографии» Л. Н. Толстого с 1892 по 1899 годы, описывающая события года 1896-го, имеет характеристическое заглавие: «Автобиографическая драма, “Христианское учение”, начало “Хаджи-Мурата”», указывающее на основные творческие проекты, которые осуществил в этом году (драма «И свет во тьме светит»), продолжил (статья «Христианское учение») или же только начал в 1896 году писанием («Хаджи-Мурат») Лев Николаевич Толстой. Помимо указанных, продолжался уже второй десяток лет огромный проект — обдумывание и писание статьи об искусстве. Специально для неё Толстой набирается в 1896 г. различных культурных впечатлений: например, посещает несколько раз в январе постановки шекспировских пьес «Гамлет» и «Король Лир» в московском театре «Эрмитаж».

Конец 1895 и начало 1896 гг. принесли Толстому и потери, и обретения в плеяде близких семье людей, друзей, помощников и единомышленников. Тихо скончалась в Ясной Поляне 16 января старушка Агафья Михайловна, ровесница Бородинской битвы, служившая горничной ещё бабке Толстого. Но главной потерей этой зимы стала

смерть 24 января многолетнего и преданного друга Толстого, Николая Николаевича Страхова. Среди же новых живых знакомств начато в декабре 1895-го общение с крестьянином Михаилом Петровичем Новиковым (1871 – 1939). Молодой Новиков, прочитав духовные писания Льва Николаевича, сумел реально и навсегда развернуть свою жизнь к открывшейся ему Истине, к Богу и Христу, в большей степени, чем мог мечтать Толстой, скованный условиями семейной жизни и собственных возраста, здоровья и привычек. Этой дружбе суждено было продлиться до последних дней жизни Л. Н. Толстого и оборваться при очень драматических для них обоих обстоятельствах.

Михаил Петрович Новиков

Другим таким же пожизненным и преданным товарищем стал Александр Борисович Гольденвейзер (1875 – 1961), впервые навестивший дом Толстых 20 января 1896 г.

Встретил с семейством Толстых Рождество, Новый год и прогостил до 7 января добрый и кроткий английский пастор (в близкой к толстовству секте, т. н. Братской церкви, находившейся в лондонском Кройдоне), проповедник, просветитель и переводчик, Джон Колеманн Кенворти (1861 – 1948, *John* C. *Kenworthy*) — одна из самых первых и самых трагически-беззащитных жертв негодяя Черткова. Тот привёз его в Россию специально, как «полезного» для Толстого человека — для организации перевода и издания в Англии новых книг Льва Николаевича. Кенворти получил в эти дни на руки юридический документ: персональное письменное разрешение от Тол-

стого на переводы и издание этих сочинений в «Братском книгоиздательстве», основанном им в Лондоне. Но в следующем, 1897 году Чертков будет отправлен в ссылку, как раз в Англию, где сумеет не только отобрать явочным порядком права перевода и книгоиздания у Кенворти (тот не посмеет подавать в суд, чтобы не трепать там имени обожаемого им Толстого), но и ограбит, подтолкнёт к развалу, земледельческие толстовские колонии Кенворти, собрав в них, как бы «добровольно», но с психологическим нажимом, деньги для переселения из России «братьев» духоборов. Через несколько лет Джон Кенворти, уже не пастор Браской церкви и не книгоиздатель, так и не найдя себе иного жизненного поприща и потеряв семью, вероятно, действительно сойдёт с ума от горя и будет, при посредничестве Черткова, насильственно заточён в сумасшедший дом, где, всеми забытый, умрёт в 1948 году.

John C. Kenworthy

19 февраля буквально на пару часов Толстого навещает вновь А. П. Чехов — вместе с А. С. Сувориным и Б. Н. Чичериным, ровесником и старым (с декабря 1856 года) знакомым Толстого, но умнейшим и последовательным (то есть очень полезным) его оппонентом во взглядах на искусство. Продолжилось и заочное общение с такими единомышленниками, как Эрнест Кросби, доктор-словак Альберт Шкарван и другие.

Итак, возможностей для Толстого отвлечься от драмы семейной жизни было немало. А что же Софья Андреевна?

Декабрьский в 1895 году приезд мужа в хамовнический дом не дал ей уже прежнего удовлетворения. В мемуарах, вспоминая те дни, Софья Андреевна сетует: «Скучно как-то складывалась жизнь. Всё те же *тёмные* посетители, таинственные и чуждые, которые, проходя мимо нас в зале, шли в кабинет Льва Николаевича узеньким коридором, надоедали ему и утомляли его ужасно, что он высказывал неоднократно. …Если бы не музыка, светящая мне ярким огоньком, которой я жила всецело, жизнь была бы очень темна» *(МЖ – 2. С. 428)*. От “темноты” этой жизни с постоянными визитами к мужу “тёмных” (толстовцев) она уезжает 23 декабря с младшей дочерью Сашей в Гринёвку, к сыну Илье, вослед за другим из сыновей, Андреем, только что выдержавшим экзамен на вольноопределяющегося и зачисленным на военную службу. *Впервые* за долгие годы совместной жизни супруги были на Рождество и Новый год *не вместе*. Соня вспоминает, как «освежилась природой и детьми» в эту поездку *(Там же. С. 430)*. Но тут же она вспоминает, как в следующую, во второй половине января, поездку в Тверь по случаю заболевания служившего там в полку сына, она сама пережила суточный «сильный нервный припадок», с частым пульсом, удушьем и сердцебиением, начавшийся после рассказов сына о «жестокости» военного начальства. Осмотревший её доктор подтвердил, что у Сони началась какая-то серьёзная болезнь *(Там же. С. 431)*.

К сожалению, подробности этой поездки и болезни остаются нам неизвестны. Не опубликованы и письма Софьи Толстой из Твери от 16 и 22 января. На второе из этих писем Лев Николаевич, остававшийся с семейством в Москве и не знавший ещё о кратком заболевании жены, отвечал ей 23 января следующим:

«Нынче получил твоё письмо, милый друг. — Надеюсь, что Андрюша уже здоров и ты не тревожишься больше о нём. Поцелуй его за нас. По твоему письму <22 января> заключаю, что ты им довольна, и радуюсь этому. Офицер, о котором он писал <19-го>, родственник Маклаковых, по рассказам Маклаковых, нежелательный сожитель: и любит выпить, и бросил жену, и во всех влюбляется; а главное нет ничего приятнее, как жить независимо одному. И советую тебе, Андрюша, держаться этого.

У нас большое горе: Н. М. Нагорнов умер. <Муж племянницы Толстого Варвары, Н. М. Нагорнов, умер 23 января 1896 г. – *Р. А.*> Маша, которая была при его смерти, вероятно опишет тебе подробно всё. Доктор — Остроумов — определил, что камнем прободение кишки и от того перитонит. Очень жаль, и Вареньку и детей, в осо-

бенности Варю. У нас всё хорошо, хотя грустно. Таня осталась ночевать с Варей, а мы: Маша, Миша и Коля, сейчас отправив Сашу спать, сидели за чаем и задушевно и грустно говорили.

Миша кажется хорошо учится, сидит смирно дома. Вчера у нас вечером были Сухотин, Миша Олсуфьев, <Борис Николаевич> Чичерин и Дунаев и складно говорили.

У меня насморки, и я второй день не выхожу. И от этого даже не пошёл к Нагорновым. Девочки просили не ходить. Как всегда, смерть настраивает серьёзно и добро, и жалеешь, что не всегда это настроение, хотя в слабой степени. Сережи всё нет. И Маню не видали. Это очень жалко. Как только Серёжа приедет, я попытаюсь поговорить с ним, т. е. распросить его. Ни Сергея Ивановича <Танеева>, ни Веры Северцевой не было. Им, кажется, дали знать. Хоронить хотят в пятницу. Я думаю, ты будешь. А если не будешь, то всё равно. Ты дорога для Вареньки была бы теперь и будешь после. Прощай. Целую тебя и Андрюшу.

Л. Т.» *(84, 249 – 250).*

При внешнем семейном благополучии, супругам явно не уживалось подолгу вместе. В начале февраля, вспоминает Софья Андреевна, уже муж задумал отъезд из Москвы: всё в ту же деревенскую «ванну для чувств», в имение Олсуфьевых в Никольском:

«Более чем когда-либо это огорчило меня, и я упрашивала его не покидать меня. Он остался, но очень досадовал на меня и всё-таки вскоре уехал туда с Таней, ссылаясь на городскую суету и невозможность работать» *(МЖ - 2. С. 435).*

Отъезд Толстого с дочерью Татьяной Львовной состоялся 21 февраля, а пробыл там Толстой до 9 марта. Незадолго до отъезда, 7 марта, он пишет письмо В. Г. Черткову с супругой, в котором откровенно сознаётся, что, хотя «умственной энергии» ему для продолжения начатых творческих работ в эти прожитые у Олсуфьевых дни и недоставало, но в целом лечебная «ванна для чувств» состоялась. С чуждым ему по убеждениям и образу жизни, но предельно деликатным, благовоспитанным семейством он мог вести себя так, как ведёт себя человек во временной, но приятной компании — например, «на водах», на лечебном курорте. В письме Чертковым писатель признаётся: «Мне очень хорошо. Тишина и внешняя и внутренняя. Они такие простые, очень добрые люди, что различие их взглядов с моими и не различие, а непризнание того, чем я живу, не тревожит меня. Я знаю, что они не могут, а что они желают быть добрыми и в этом направлении дошли, докуда могли» *(87, 358 – 359).*

Уже к 22 февраля относится первое из писем Л. Н. Толстого, написанных из этой поездки жене. Вот основной его текст:

«Сажусь писать письма и прежде всего хочу написать тебе, милый друг, а то после других ещё не знаю, останется ли пороха. Я чувствую себя очень хорошо, совсем здоров, но не знаю от чего: реакция ли московского нервного возбуждения или просто старость, — слаб, вял, не хочется работать ни умственно, ни физически двигаться. Правда, нынче, 22-го, я утро провёл, если не пиша, то с интересом обдумывал и записывал... Не хочется признать, что состарелся и кончил, а, должно быть, надо. Стараюсь приучить себя к этому и не пересиливать себя и не портить. Ну, довольно о себе. Мне всё-таки очень хорошо, наслаждаюсь тишиной и добротой хозяев. — Как ты? Проведывают ли тебя Серёжа с Маней? Уехала ли Маша? <23 февраля М. Л. Толстая выехала в Крым к Бобринским, старым знакомым Толстых, для поправки здоровья. – *Р. А.*> Что твой глаз? Как ты проводишь ночи? Хорошо ли спишь? Здесь, когда мы приехали, никого не было, кроме стариков <А. В. и А. М. Олсуфьевых> и Матильды Павловны Молас. <Матильда Павловна Моллас (1857 - 1921) — педагог и переводчик, близкая подруга Е. А. Олсуфьевой, жившая как член семьи в Никольском. – *Р. А.*> Лиза даже была в Дмитрове в тамошней гимназии, которой она попечительница. Вчера она приехала.

Что Машинька сестра? Когда уедет? Про неё вспомнил потому, что сейчас испытываю ту холодность религиозного чувства, о которой с ней говорил. А нам, старикам, близким к смерти, очень неприятно испытывать эту холодность, особенно, когда знаешь это чувство расширения жизни, переступающей границы рождения и смерти, и недавно его испытывал.

[...] Фотографические снимки я забыл, пришли, пожалуйста. Пришли и письма и что ещё найдёшь нужным из получаемых брошюр и книг. Да пришли роман Aicard'a «Notre dame d'amour» [Экара «Богоматерь любви»] и ещё какие-то английские романы были с ними вместе. Всё это совсем не нужно, и потому, если не попадёт тебе под руку, то не трудись. Прощай пока, целую тебя, молодых, Мишу, Сашу. Что Андрюша, надеюсь, что не мучает тебя?

Л. Т.» *(84, 250 – 251).*

Ответное на это послание мужа письмо С. А. Толстой написано вечером 26 февраля. Как с ней часто бывает, вполне спокойное, духовно смиренное письмо от мужа, и с благополучными известиями, она исхитрилась воспринять как тревожащее и огорчительное:

«Милый Лёвочка, спасибо за длинное и хорошее, откровенное письмо; мне всегда дорого именно знать, в каком ты настроении, хотя на этот раз оно меня огорчило: ты пишешь, что вял и слаб на физическое и на духовное дело, что в холодном религиозном настроении, и по-видимому тебе даже не весело от деревенской природы и тишины. Мне всегда зимой в деревне не столько кажется всё хорошо, сколько торжественно-спокойно, особенно в лесах. Надеюсь, что ты проснёшься к жизни и не сдашься ещё. Ты сам говорил, что старости никакой нет, — так ты и не сдавайся, чтоб её не было. Может быть тебе неприятно это будет, если я тебе напишу, что я, напротив, от говенья ли, от воспоминаний ли о святом событии Ваничкиной смерти, — но во всю неделю моего строгого говенья я чувствовала себя удивительно хорошо, спокойно религиозно настроенной. В церкви я бывала от 2-х до 4-х раз в день. Прекрасные молитвы великопостные, и служба церковная особенная. Певчих у нас в церкви нет, и я это больше люблю, когда монотонно читает дьячёк, мне это детство напоминает. Дома я читала Евангелие и молитвенники. Мне всё казалось, что Ваничка из той небесной области со мной, и накануне причастного дня я видела его во сне, но грустного — всегда отчего-то я его вижу грустным.

В день причастия я встала в 6 часов утра и пошла к обедне. Оттого так рано служили, что в 9 часов священников позвали освящать Снегирёвскую <гинекологическую> клинику. В 9 я вернулась и легла до 11½ — спать. Точно я во сне видела всю причастную свою обедню. Когда я встала, Саша и люди — все меня поздравляли, — а я сразу не понимала, с чем.

Всю неделю моего говенья никого почти не видала; у меня страшно болели оба глаза, и я ходила в церковь с повязкой на глазу и с примочкой в кармане. И потому мало писала и мало читала, и порой очень скучала, ходя по комнатам без дела, без людей и без воздуха. Выходить в ветер и яркое солнце нельзя было. Я ведь была у Крюкова, и он мне дал ляпис и сулему, как примочку. <Александр Александрович Крюков, товарищ председателя Общества глазных врачей в Москве. – *Р. А.*> Теперь совсем прошло, и мы с Сашей завтра едем на коньки, хотя не совсем это благоразумно; я не совсем здорова женским, задержавшимся на три недели — нездоровьем. Это

тогда в Твери я захворала, у меня и остановилось, а теперь мне легко и хорошо физически стало; голова перестала болеть.

Завтра неделя, что вы уехали. Пожалуйста, будьте здоровы и веселы, чтоб поездка ваша вполне удалась. Мне совсем не трудно жить: я очень занята, и друзей много, мне не скучно пока, только пишите мне непременно. Я виновата, что редко писала, но телефонные, короткие и холодные вести как-то не удовлетворяют, а только досаду возбуждают, что не слышишь настоящего голоса сердечного. <Из Никольского-Обольянова возможно было отправить в Москву телефонограмму. – *Р. А.*>

Писем много вдруг пришло, и я их посылаю. Книгу посылаю «Notre dame de l'amour», привезите её назад. Английский же роман взяла у меня m-me Юнге и ещё не возвратила. Интересного ничего особенного не получено. От Лёвы писем ещё не было. Прочти моё письмо к Тане, оно дополнит это. А пока целую тебя; всё переписываю твою повесть <первые восемь глав будущего романа «Воскресение». – *Р. А.*>, но глаза задержали. Осталось меньше 3-х глав. Ну прощай, милый друг, поклонись всем от меня, особенно же Анне Михайловне <Олсуфьевой>, которую очень благодарю за вас.

Твоя Соня Толстая» *(ПСТ. С. 637 - 638).*

Этому письму С. А. Толстой предшествовали две затерявшиеся открытки, на которые Толстой пишет в тот же день 26 февраля свой ответ — довольно похожий на предшествующее его же, от 22 февраля, письмо как по меланхолическому спокойствию тона, так и по идиллическому содержанию:

«Мне очень грустно, милый друг Соня, что прошла неделя и я не получил от тебя ни одного письма, не считая тех открытых двух по две строчки, которые мы получили. Мне бы очень было хорошо, если бы не беспокойство о тебе. Напиши пожалуйста. Я всё также наслаждаюсь тишиной. Тане тоже очень хорошо. Вчера ходили до Милютиной, <Ольга Дмитриевна Милютина (1846 — 1912) — дочь бывшего военного министра гр. Д. А. Милютина, жила в 6 км. от Олсуфьевых. – *Р. А.*> откуда меня *привезла* Лизавета Адамовна <Олсуфьева>. Нынче никуда не выходил, только был в бане. Чувствую всё ту же слабость и всё не решу, старость ли это или последствия инфлуенцы. Чувствую, главное, слабость в коленках и боль даже, когда засижусь, и самое главное, нет энергии в умственной работе. Здесь никого нет, кроме доктора <Плавтова> и Михаила Адамовича.

Оба приятны. Я вчера и нынче читал Corneill'a и Racin'a, и очень интересные это чтение вызвало мысли.

Здесь они составляют септет на духовых инструментах, — учат и мальчиков, доктор дирижирует и устраивает, и очень этим занят.

Завтра вероятно приедет девушка <горничная Олсуфьевых. – *Р. А.*>, возившая кружева, и верно привезёт от тебя письмо. I hope [*англ.* я надеюсь], что меньшие мальчики не мучают тебя, а что девочка и Серёжа с женой радуют. Мне очень жаль, что не увижу Сергея Александровича Рачинского, хотя, может быть, это и лучше. Целую тебя и детей.

Л. Т.» *(84, 251 - 252).*

Скромная в письме обмолвка о чтении Толстым драматургии «классицистов» Корнеля и Расина — важное свидетельство продолжающегося им напряжённого обдумывания содержания своего трактата «Что такое искусство?» Подобно тому, как житие у Олсуфьевых было врачующей чувства «ванной», чтение классиков было для Толстого таким же отдыхом от негативных театральных впечатлений Москвы. Но и не только отдыхом… «Поучительно» — записывает Толстой в Дневнике 27 февраля о чтении Корнеля. Быть может, «поучительность» он почерпнул из характерной для названных драматургов «философии долга» коррелировавшей с собственными установками Толстого на «делание должного», на жизнь в смирении, в воле Отца? Это была значимая духовная помощь в условиях упадка сил и веры, обозначенного в Дневнике Толстого под 22 февраля следующим интимным обращением к Богу:

«Отец моей и всякой жизни! Если дело моё кончено здесь — как я начинаю думать — и испытываемое мною прекращение духовной жизни означает совершающийся переход в ту, иную, жизнь, что я уже начинаю жить там, а здесь понемногу убирается этот остаток, то укажи мне это явственнее, чтобы я не искал, не тужился. А то мне кажется, что у меня много задуманных хороших планов, а сил нет не только исполнить всё — это я знаю, что не нужно думать — но хоть делать что-нибудь доброе, угодное Тебе, пока я живу здесь. Или дай мне силы работать с сознанием служения Тебе. Впрочем, да будет Твоя воля. Если бы только я всегда чувствовал, что жизнь только в исполнении Твоей воли, я бы не сомневался. А то сомнение от того, что я закусываю удила и не чувствую поводьев» *(53, 80).*

27 февраля Толстой отвечает жене на полученное из Москвы письмо предыдущего дня:

«Письмо твоё неутешительно. Главное, сдержанность и как будто не то что недовольство, а грусть. Ты, пожалуйста, пиши хорошенько, в хорошем светлом расположении духа. Хотя я и врозь с тобою, но мне хорошо только тогда, когда я знаю, что тебе так хорошо, как может быть, и что мы вместе духом и не скрываем ничего друг от друга. Одно мне за тебя больно, милый друг, это то, что ты предоставлена на съедение мальчиков Андрюши и, оказывается, и Миши, и мне за это тебя очень жалко и хотелось бы тебя спасти от их жестокости. Вероятно получу от тебя хорошее письмо с посланным Анны Михайловны, а нет, то напиши.

Мы здесь наслаждаемся, главное, тишиной. Я [...] пишу усердно <драму>, насколько свойственно мне при моей старости. Тане, как я вижу, — тоже хорошо, — главное, спокойствие. Я совсем здоров.

Надеюсь, что ты не одинока, а что Серёжа, Маня и Машинька посещают тебя?

Глаза твои, как мне сказали здесь доктора, как-то особенно называется и не опасно. Бывает простуда, а то поветрие и проходит в неделю. Тяжела только тебе бездеятельность. Зато можешь успеть гаммы. К твоей музыке я из всех семейных отношусь более сочувственно. Во 1-ых, я сам прошёл через это в твои годы и знаю, как это отдохновляет.

Погода прекрасная, но я как-то мало пользуюсь ей. Сейчас пойду пройтись подальше. Прощай пока, целую тебя и детей.

Л. Т.» *(84, 252 - 253).*

Уже 28 февраля – такой же хороший ответ С. А. Толстой:

«Ты написал мне такое доброе письмо, милый Лёвочка, что я себя почувствовала недостойной его, и главное ты по-старому пишешь мне о своём настроении, чем я всегда очень дорожу. Мне жаль, если мои письма не хороши, но я к тебе чувствую то же самое, т. е. желание быть до конца откровенной, дружной и доверчивой.

Грусть моя была и прошла вместе с болезнью глаз. Остановленный поток моих дел — настоящих и выдуманных, — скорее моей деятельности, — теперь прорвался с новой силой и я очень занята: изданиями, перепиской, шитьём весенних кофточек и платьев Саше и мне, музыкой и посетителями, и мальчиками.

Пребывание Андрюши в Москве обошлось очень благополучно: я употребляла все усилия, чтоб он вечера сидел дома, и так и было. Третьего дня мы все с Сергеем Иванычем катались на коньках в нашем саду, и Андрюша на Мишиных коньках, пока Миша учился.

Дядя Костя, который обедал у нас, восседал на балконе. Вчера опять пришёл Сергей Иваныч с коньками, потом Миша Сухотин, Алексей Маклаков с Сашей. Опять катались с Сашей и Мишей, зажигали огарки в прорытых в снежных сугробах отверстиях, — и очень веселились дети. Потом пили чай на верху, и потом — очень это глупо, — но играли в карты, в дураки, все дети, Сухотин, Танеев, я, Маклаковы. Кто оставался дураком, тот должен был отвечать на всякий предложенный ему вопрос. Танеев так дико хохотал своим особенным смехом, что всех заражал. В результате было то, что Андрюша никуда не ушёл, а все решили, что было ужасно весело. Потом все пошли провожать друг друга, и кончилось тем, что нас с Андрюшей все, кроме Танеева, проводили опять до Хамовник.

Сегодня с утра взяла свой урок музыки, потом ездила с визитами, заезжала по одному делу хлопотать за описываемое имущество у учеников Сергея Ив<анови>ча, — Сабанеевых. Надо было просить одного Яковлева отсрочить опись имущества, чего я и достигла.

Сейчас была у меня Маня, одна. Она была нездорова бронхитом и потому не была у меня до сих пор, а Серёжа уехал в Никольское и ещё не возвратился. Маня пообедала и сейчас и уехала. Андрюша сейчас едет в Тверь, и мы благополучно расстаёмся, слава богу. Миша весь погрузился интересом в свою лошадь и довольно неприятен, хотя старателен, чтоб мне никогда не ответить грубо. Сейчас пришёл Вася Маклаков <*Василий Алексеевич Маклаков* (1870 - 1957) – будущий знаменитый политический деятель, член партии кадетов, юрист, публицист и эмигрант. Сын врача-окулиста А. Н. Маклакова (1837 - 1895), лечившего С. А. Толстую с 1885 г. – *Р. А.*>, и мы с ним поиграем в 4 руки, потом вместе выедем: он домой, а я к портнихе, к Вариньке, у которой так не была до сих пор, всё у меня гости и т. д. Были молодые Долино-Иванские, поправились и едут в Суздаль; завтра будут у меня обедать.

Немного я засуетилась, и моё спокойное, хотя немного грустное настроение, но несомненно очень религиозное и хорошее — теперь куда-то опять забилось, и мне его жаль. Тане напишу отдельно завтра или после завтра. Не знаю, уехала ли Люба, я с ней вам писала обоим длинные письма. Деньги гр. Анны Михайловны в Воспитательный дом внёс сегодня Коля, а завтра выдадут расписку, которую пришлю заказным или случаем. Целую тебя, милый друг мой, кланяйся всем, и мою Таню целую. Живите, пока вам хорошо, и я даже советую не очень спешить. Если стоскуюсь, напишу откровенно.

Твоя Соня Толстая» *(ПСТ. С. 641 - 642).*

Толстой продолжал обдумывать статью об искусстве и медленно, напряжённо работал над драмой «И свет во тьме светит». Сознание же супруги, помимо прежней боли от потери маленького сына, омрачилось в эти дни известием о намечающемся разрыве брачных отношений старшего сына, Сергея, с Марией («Маней») Рачинской (1865 - 1900), племянницей знаменитого педагога и многолетней подругой дочери Толстого Татьяны. Разрыв таки совершился, и по воле жены, которая с ноября 1896 г. отказалась жить с мужем, но Сергей Львович впоследствии винил в нём «больше себя, чем её» *(Толстой С.Л. Очерки былого. Тула, 1965. С. 196)*. Быть может, и было, за что… Софья Андреевна вспоминает в мемуарах о выборе невестки вполне снисходительно, и, кажется, даже не без скрытого понимающего сочувствия:

«Она была, по-видимому, и мила, и умна, и образованна. Но брак ей был ненавистен, она не выносила брачной жизни, ушла от мужа, не зная даже, что она была уже беременна, и потом вместе с своим маленьким сыном уехала в любимую ею Англию, где и умерла чахоткой» *(МЖ – 2. С. 439)*.

Не дождавшись к 1 марта более писем от мужа, Софья Андреевна пишет ему снова следующее, достаточно пространное, послание:

«Ты жалуешься, милый друг <в письме 26 февраля>, что от меня мало писем. Я три дня или больше тому назад писала и тебе, и Тане с девушкой и не знала, что она ещё не уехала, а всё-таки написала и ещё письмо тебе, закрытое. Потом я писала Тане <21 февраля> и послала письмо Лёвино ей и два открытых, для спокойствия, что у нас всё хорошо, и теперь продолжаем быть благополучны. Сегодня страшная метель, которая на меня наводит уныние и страх. Вы всё пишете о Мане и Серёже, что я их вижу, а я ни разу не видала Серёжу, не знаю даже, вернулся ли он из Тулы и Никольского; вчера должен был вернуться; и раз видела Маню часа на три. — Вообще же я до нынешнего дня не скучала, очень была занята всячески, а сегодня метель навела на меня тоску.

Что же это ты так слабо себя чувствуешь? Хорошо ли ты питаешься? А плохо быть на постной пище. Я 4-ую неделю пощусь очень строго, теперь совсем без рыбы, и очень тоже ослабла, и даже похудела. Нет той энергии и пружинности в ногах, когда бегаешь на коньках или бежишь на лестницу.

Одна я не бываю: вчера у меня обедала Варичка <Нагорнова>, очень грустная и жалкая, и Долино-Иванские молодые; вечером я соблазнилась и поехала на симфонический концерт, дирижировал

знаменитый Никиш. 5-я симфония Чайковского и неоконченная автором симфония Шуберта доставили мне много удовольствия; прелюдия-поэма Листа — меньше, а Вагнера вовсе было скучно. — Третьего дня просидела вечер у Варички; сегодня буду дома, и Алексей Маклаков придёт играть со мной со скрипкой. Я всё очень много занимаюсь музыкой и мне ещё это не надоело. Миша, глядя ли на меня, или просто, но стал охотнее и усерднее играть. Вообще, когда меньше суеты в доме, дети лучше и серьёзнее занимаются.

Прилагаю письмо Лёвы к Тане; удивляюсь, что он от нас ещё не имел известий. Представь себе, Лёвочка, что Самарин, Пётр Фёдорович, был секундантом у какого-то генерала, главы города Ялта. Какой-то студент ударил по лицу этого генерала за то, что генерал как градской глава удалил этого студента из клуба, откуда студента за что-то исключили. — Самарин убит и угнетён, говорят, ужасно, и теперь приехал сюда, но я его ещё не видала. Дуэль кончилась ничем, оба живы и здоровы.

От Маши было письмо <от 25 февраля> короткое после путешествия. Она очень разочарована Крымом, очень устала от дороги, очень же беспокоится о всех нас и, видно, не весела. Надеюсь, что это с открытием настоящей весны пройдёт, и ей будет хорошо. Философовы и Бобринские с ней очень ласковы.

Что тебе сказать, голубчик, о своей внутренней жизни? — Не знаю, и не смею признаться, потому что не хороша та суета, к которой я продолжаю стремиться, чтоб заглушить всё, что меня теперь в жизни мучает и что так до сих пор больно. Пока говела, было лучше; а теперь опять или ищу развлеченья и всяких ощущений — или чувствую наплыв тоски и нервности, и тогда бегу куда-нибудь — вон из дому или вон из себя. Последнее время дела, слава богу, всякого много.

Хотела написать Тане, и вот написала опять тебе. Всё равно, я её тоже люблю и помню, и целую крепко. Очень рада, если вам хорошо, но я уж не люблю тишины — увы! А ещё меньше люблю одиночество.

Наш дом кругом так занесло снегом, что ужас. Что же в деревне!

Ну, прощай, милый друг. Спасибо, что пишешь. Никогда я не считала более нужным для тебя отдых от людей, как именно теперь, а ты как уедешь от меня, так что-нибудь да не хорошо. Слабость твоя меня огорчает, хотя ведь лет тебе много, и хочешь, не хочешь, придётся признать себя старым. Грустно это!

Твоя Соня Толстая.

Целую тебя и Таню. Поклон всем» *(ПСТ. С. 642 – 644)*.

На это послание Лев Николаевич отвечал жене 3 марта следующим:

«Сейчас вечером 3 марта, воскресенье, получили ещё твоё письмо, милая Соня. Я знал, когда я писал тебе с упрёками, что упрёк будет несправедлив и что ты пишешь. У тебя всё хорошо, как я вижу, и внешне и внутренне. Хотел бы тебе сказать, что твоё желание забыться хотя и очень естественно, — не прочно, что, если забываешься, то только отдаляешь решение вопроса, а вопрос остаётся тот же, и всё так же необходимо решить его, — не на этом свете, так в будущем, т. е. после плотской смерти. Как говорят спириты, что если убьёшь себя, то придётся опять жить такою же жизнью, так и в этом: решить вопрос жизни и смерти своей и близких надо неизбежно, и от этого не уйдёшь. Хотел всё это сказать тебе, да не говорю потому, что надо самой это пережить и придти к этому. Одно скажу, что удивительно хорошо бывает, когда ясно не то что поймёшь, а почувствуешь, что жизнь не ограничивается этой, а бесконечна. Так сейчас изменяется оценка всех вещей и чувств, точно из тесной тюрьмы выйдешь на свет Божий, на настоящий.

Я бодрее, нынче поработал, хожу гулять и всё упиваюсь тишиной и свободой от требований людских. Тане, кажется, тоже хорошо. Лёва очень трогателен, хочу написать ему ещё. Целую тебя, милая, и Сашу, и Мишу.

Л. Т.» *(84, 253).*

26 февраля сын Толстого Лев Львович рассказал в письме к сестре Тане о своей жизни в Швеции с возлюбленной Дорой Вестерлунд, о подготовке свадьбы, а Татьяна Львовна переслала это письмо отцу.

На вышеприведённое письмо Толстой получил от жены пространный ответ, датируемый 5 марта:

«Милый друг Лёвочка, сегодня была гр. Милютина и меня не застала, я была на уроке музыки, и теперь свезу ей сама все письма. Книг тоже получено очень много, но их не посылаю. Было сегодня открытое письмо, что вы вернётесь в субботу, и я испугалась, что не я ли вас вызвала своим вопросом. Пожалуйста, милый, если тебе лучше в деревне и ты бодрее пишешь, то не спеши для меня, я живу хорошо и очень занята, и только изредка, когда прекращу свою лихорадочную деятельность и опомнюсь одна, сама с собой, с своими воспоминаниями, своей старостью и страхом перед будущим, — мне вдруг делается невыносимо тоскливо. Но это слабость, и вообще я

бодра. Только когда люди вокруг восхищаются моей *энергией*, так называемой, мне делается совестно, и я знаю сама про себя, что я не только не энергична, но слаба, слаба так, что могу в короткое время дойти до прошлогоднего февральского безумия, которое вспомнила с ужасом на днях, когда была на заупокойной обедне по Нагорном, в том самом Девичьем монастыре, который так врезался в моей памяти. — И вот всё о себе — это тоже слабость.

Сидит у меня Маня и читает твою повесть <главы будущего романа «Воскресение». – *Р. А.*>, которую я кончаю переписывать. Серёжа играет в 4 руки увертюры Мендельсона, которые я купила, с Васей Маклаковым. Саша только что пришла из сада, где каталась на коньках, а Миша ездил верхом и теперь сел учиться. От Лёвы очень озабоченное и суетливое письмо с порученьями о присылке документов, с вопросами о том, кто приедет на свадьбу, с известиями о том, где она и когда будет (1-го июня по новому стилю). Всё я ему устрою, но по мере приближения этого события, — я пугаюсь и волнуюсь немножко. Большой это шаг — женитьба.

Ты мне пишешь о том, что вопрос о жизни и смерти надо решать сейчас и не откладывать, и не стараться забываться. Но ведь дело не в решении вопроса: он для меня давно решён в том смысле, в котором и ты его решаешь, т. е. в смысле вечности и бесконечной жизни в Боге. Но на высоте этого настроения оставаться очень трудно, и ощущения боли потери, радости земных соблазнов, лихорадочная деятельность, — и все вообще чисто земные ощущения как сети опутывают со всех сторон, и вот где моя хвалёная энергия могла бы мне помочь, а её-то и не хватает, и в результате — тоска или суета.

Пришёл Дунаев; уезжают Маня с Серёжей, писать больше нет времени. Целую тебя, мой милый друг. Таню тоже целую, всё не приходится ей писать, но я её очень помню, и она мне часто недостаёт, несмотря на её строгость ко мне. Прощай, если приедешь в субботу, буду тебе очень рада, если нет, — Бог с тобой. Только не езди в метель или не совсем здоровый. Если отмените приезд, известите меня. Зачем в субботу, как бы гости не приехали. Впрочем, я отговариваю, а сама испугалась, что долго тебя не увижу.

Твоя Соня Толстая.

Прощай, теперь скоро вернёшься» *(ПСТ. С. 644 – 645)*.

Да, надо было возвращаться — несмотря на очевидную для Льва Николаевича пользу «деревенской ванны». Он не только поправил

здоровье, но и продвинулся серьёзно в эти дни в своих текущих работах: переделывалась пьеса «И свет во тьме светит», обдумывались «Христианское учение» и статья об искусстве и была начата новая антивоенная статья «К итальянцам». Но Софья Андреевна не без мастерства, ненавязчиво дала понять и почувствовать мужу своё состояние депрессии, о котором впоследствии даже сожалела в мемуарах:

«Совестно даже признаваться в том настроении, в котором я тогда находилась. Но не всегда зависишь от своей воли и страдаешь сам под гнётом этой тоски, а нет сил её преодолеть. Так было и тогда, так было и в то лето <1910 года>, после которого ушёл от меня Лев Николаевич» *(МЖ – 2. С. 440)*.

И Толстой наконец, чтобы быть с любимой женой, решительно покидает свою «ванну для чувств»: предварительно, 8 марта, известив о приезде телеграммой *(см.: 84, 254)*, 9 марта вечером он возвращается из Никольского в Москву.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ФРАГМЕНТА СОРОК ПЕРВОГО ЭПИЗОДА

Фрагмент 41.2.
«НЕЧЕМ ЖИТЬ», ИЛИ ВАННА НА ДВОИХ
(4 – 28 сентября 1896 г.)

До 29 апреля семейство жило уже без долгих разлук вместе, в Москве. За эти дни совершился ряд событий, значительных и для внешней, и для духовной биографий участников Переписки. Ещё будучи в олсуфьевском Никольском Толстой узнал об аресте давней знакомой семьи, верной подруги Татьяны и Марии Толстых, тульского врача Марии Михайловны Холевинской (1858 – 1920). И. П. Новикову, брату нового знакомого Толстого М. П. Новикова, она пыталась в ноябре 1893 г. передать запрещённое христианское писание Льва Николаевича «В чём моя вера?», но была арестована. Тогда Толстой привлёк к помощи ей влиятельного своего друга А. Ф. Кони, и Холевинскую отпустили. Но стоило Льву Николаевичу отвлечься и забыть о ней, как её, по доносу с работы, снова в феврале 1896 г. арестовали по обвинению в «хранении» запретных книг Толстого и заточили до суда в тюрьму. И Толстому несколько мартовских дней приходилось отвлекаться в Москве от своих работ, дабы новыми ходатайствами, вплоть до министра внутренних дел И. Л. Горемыкина

и министра юстиции Н. В. Муравьёва, выхлопотать Холевинской замену тюремного заключения ссылкой в Астрахань (то есть наказание тоже довольно страшное, но всё-таки *терпеть* уже можно, что жители Астрахани, конечно, подтвердят!).

Софья Андреевна вспоминает о этом эпизоде следующее:

«Эта прекрасная, трудящаяся, идейная девушка ничего не пропагандировала, не распространяла, а имела книги для себя, любя и почитая Льва Николаевича. В письмах он просил министров перенести преследование на него самого, а не трогать его последователей, так как корень зла, с их точки зрения, был в нём. Ни Горемыкин, ни Муравьёв не были даже настолько учтивы и благовоспитанны, чтобы ответить на письма графа Толстого, и Муравьёв даже сказал, что Толстого и его семью не тронут, а пусть ему служат наказанием те страдания, которые выносят его последователи — толстовцы. Хороша логика!» *(МЖ – 2. С. 442)*.

В марте же состоялось драгоценное для Льва Николаевича общение с американским экономистом-проповедником Генри Джорджем, чьё, базирующееся на текстах Библии и чистой христианской этике, благородное учение о «едином налоге» он давно знал и уважал. В ответ на письмо Джорджа 27 марта Толстой выразил пожелание видеться с ним. Встреча, к сожалению, не состоялась из-за скорой (в 1897 г.) смерти Джорджа.

АФРИКАН СПИР

ОСНОВЫ МОРАЛИ И РЕЛИГИИ

С предисловием
Е. А. КЛАПАРЕД-СПИР

Авторизованный перевод с немецкого
С. А. ЛОРИЕ

Под редакцией
Н. А. РУБАКИНА

С приложением портрета А. А. Спира

Издание
„ASSOCIATION PRESS" NEW-YORK
347, Madison Avenue.

Перепечатка воспрещается. All rights reserved.

Как некогда, в 1892 году, Анри Амиеля, весной 1896-го Толстой открывает для себя, чтобы уже никогда не закрывать, нового самобытного мыслителя: как и Амиель, уже умершего к тому времени

философа-неокантианца (жившего в Германии, но по происхождению россиянина) Африкана Александровича Шпира (1837 - 1890). Он снёсся в письме с дочерью покойного философа, и оказалось, что Шпир глубоко, в свою очередь, уважал писателя и мыслителя Толстого. От дочери же покойного Толстой получил ценнейшие четыре тома (на немецком языке) сочинений отца, в которых с радостью нашёл множество близких идей, направленных против модных в ту эпоху материализма и атеизма.

Помимо достаточно быстро написанной в марте статьи против пьянства «Богу или маммоне?», основными работами Толстого в весну 1896 г. было «изложение веры» (статья «Христианское учение») и статья об искусстве, для которой он посетил 18 апреля, ради собственных впечатлений, оперу Рихарда Вагнера «Зигфрид». Конечно же, впечатления не были положительными. В письме к С. Л. Толстому он 19 апреля писал об этом:

«Вчера был за городом на велосипеде, видел, что пашут, и слышал жаворонков, и как пахнет распаханной землёй. И очень захотелось другой жизни, чем ту, которую веду. Вчера же вечером был в театре, слушал знаменитую новую музыку Вагнера “Зигфрид”, опера. Я не мог высидеть одного акта и выскочил оттуда, как бешеный, и теперь не могу спокойно говорить про это. Это глупый [...] балаган, с претензией, притворством, фальшью сплошной, и музыки никакой. И несколько тысяч человек сидят и восхищаются» *(69, 82 - 83)*.

С 29 апреля Толстой поселяется на лето с семьёй в Ясной Поляне. Основными работами на май и июнь остаются «Христианское учение» и статья об искусстве. С 18 июля к ним присоединяется новый замысел, будущей повести «Хаджи-Мурат». О рождении его Толстой повествует в Дневнике, в записи 19 июля, там же давая себе своего рода творческую установку, о *чём и ком* следует писать:

«Вчера иду по передвоенному чернозёмному пару. Пока глаз окинет, ничего кроме чёрной земли — ни одной зелёной травки. И вот на краю пыльной, серой дороги куст татарина (репья), три отростка: один сломан, и белый, загрязнённый цветок висит; другой сломан и забрызган грязью, чёрный, стебель надломлен и загрязнён; третий отросток торчит вбок, тоже чёрный от пыли, но всё ещё жив и в серединке краснеется. — Напомнил Хаджи-Мурата. Хочется написать. Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля, хоть как-нибудь, да отстоял её.

[...] Вчера [...] вспомнил нашу в Ясной Поляне неумолкаемую в 4 фортепьяно музыку, и так ясно стало, что всё это: и романы, и стихи, и музыка не искусство, как нечто важное и нужное людям вообще, а баловство грабителей, паразитов, ничего не имеющих общего с

жизнью: романы, повести о том, как пакостно влюбляются, стихи о том же или о том, как томятся от скуки. О том же и музыка. А жизнь, вся жизнь кипит своими вопросами о пище, размещении, труде, о вере, об отношении людей..... Стыдно, гадко. Помоги мне, Отец, разъяснением этой лжи послужить Тебе» *(53, 99-100, 101)*.

Упомянутые музыкальные посиделки в Ясной Поляне связаны с проживанием там с 19 мая по 2 августа композитора С. И. Танеева, отношения с которым Софьи Андреевны приняли к тому времени характер своеобразного платонического увлечения. О нём она вспоминает в мемуарах, как и о раздражении, которое он, общий баловень и любимец, стал вызывать у Толстого:

«Не могла я это признать ревностью, сначала это и в голову не приходило. Мне было уже 52 года, и люди, как мужчины, не могли для меня существовать. Да и слишком горячо и твёрдо я любила своего мужа… Помню я, что мне очень нравились отношения чисто дружеские Танеева с Масловыми, и мне хотелось таких же со всеми ими, включая Танеева. […] С болью сердца прочла я впоследствии в дневнике Льва Николаевича, что ревность его к Танееву доставляла ему большие страдания» *(МЖ – 2. С. 448)*.

Да, это была ревность. Но ради справедливости следует признать, что и со стороны Софьи Андреевны было, хотя и на краткий момент, *увлечение любовное*, а не простая дружба семейств (у Танеева и не было тогда своей семьи). Любовь без возможности половых отношений, главной причиной которой были даже не 52 года Сонички, а, во-первых, абсолютная её преданность мужу, во-вторых же — *гомосексуализм* С. И. Танеева, по причинам дурацких табу той эпохи тщательно замалчивавшийся немногими сведущими наблюдателями начавшихся тем летом близких отношений супруги Льва Николаевича с молодым композитором. В единственной до сего дня биографии С. А. Толстой её автор Н. А. Никитина делает об интимной ориентации Танеева недвусмысленный намёк:

«…Она действительно ни разу не задумалась о том, что её кумир проходил мимо всех женщин, словно мимо стульев, с полным равнодушием. Он обожал только своего преданного ученика Юшу Померанцева. А Софья продолжала каждый раз надевать новое платье, когда должна была встретить Сергея Ивановича» *(Никитина Н. А. Софья Толстая. М., 2010. С. 202)*.

В своих выводах об основаниях для ревности мужа Софья Андреевна опирается на его же запись в Дневнике под 26 июля: «Всю ночь не спал. Сердце болит, не переставая. Продолжаю страдать и не могу покорить себя Богу. Одно: овладел похотью, но — хуже — не овладел гордостью и возмущением, и не переставая болею сердцем» *(53, 102)*.

«Ему невыносимо было, что кто-нибудь в доме играл какую-нибудь роль и был любим, кроме его самого» — наивно и несправедливо заключает выдающаяся из жён-язычниц. На деле же, помимо ревности *мужа*, так же очень унизительной для Льва Николаевича, значимую роль для автора готовившегося тогда трактата «Что такое искусство?» играло неприятие *эстетических* оснований танеевского мировоззрения, его взглядов на место и роль искусства в современном мире и особенно по отношению к христианству. Танеев являл себя вполне чуждым христианскому пониманию жизни человеком и даже о личности Иисуса Христа позволял себе намеренно ложные и часто дерзкие, с усмешкою, высказывания, как то, например, зафиксированное в Дневнике Толстого под 30 июля, что «Христос советовал скопиться» *(Там же)*. Стараться побеждать гордость и возмущение при таких намеренных провокациях физического и морального педераста, ошалевшего от всеобщих симпатий и поддержки, было для Толстого делом неблагодарным, а в сочетании с чувством ревности — практически неосуществимым. Упоминания о ревности в записях этих дней в Дневнике в том же году были потёрты, очевидно, по воле Софьи Андреевны, и тут же вписано замечание Толстого того же времени: «Испортили мне и дневник, пишу в виду возможности чтения живыми» *(Там же)*.

Страшным контрастом яснополянской культурно-музыкальной идиллии стало для Сони впечатление от поездки во второй половине мая в Москву для лечения зуба. Ужасы тогдашней стоматологии были перекрыты одним, уже совершенно незабвенным, от трагедии 18 мая на Ходынском поле, нечаянной свидетельницей которой стала и без того всегда испуганная и неспокойная нервами жена Толстого:

«Встречаю на Тверском бульваре ряд огромных фур и что-то на них странное, закрытое грязными, толстыми холстами, непривычное, нескладное. Близорукие глаза мои не различают, что это такое. Беру лорнет, приглядываюсь… О ужас! Торчат руки, ноги, головы, уродливые человеческие фигуры, и везут эти трупы, везут без конца…» *(МЖ – 2. С. 445 - 446)*. С Софьей Андреевной случился ужаснейший истерический припадок, успокаивать который довелось на этот раз её брату.

Здесь же Софья Андреевна приоткрывает тайну появления рассказа её мужа «Ходынка», написанного через много лет после трагедии, 25 февраля 1910 года. Ему, судя по записям в Дневнике 14 ноября 1909 г., предшествовал «прекрасный рассказ Сони о спасении девушки на Ходынке» *(57, 171)*. Легко понять, что он и послужил

сюжетной основой рассказа. Спасённой девушкой была дочь Владимира Танеева (старшего брата С. И. Танеева) Сашенька *(МЖ – 2. С. 446)*.

Среди других значимых событий семейной жизни Толстых следует выделить женитьбу 15 мая Льва Львовича Толстого на дочери шведского врача Доре Вестерлунд, а также поездку с 10 по 15 августа супругов в Шамординский монастырь и Оптину пустынь, в ходе которой Толстой пишет первый черновик «Хаджи-Мурата». Оптина же в эту поездку разочаровала Толстого больше прежнего: он нашёл там «большой упадок и во внешнем, и во внутреннем духе монастыря» *(Там же. С. 451)*.

Около начала сентября Лев Львович с Дорой переехали жить в Ясную Поляну, но именно в эти дни Софье Андреевне уже потребовалось везти в Москву на переэкзаменовку и перевод в лицей сына Михаила. «С огорчением в душе» *(МЖ – 2. С. 452)* она отправилась в эту нежеланную отлучку, сопровождавшуюся, конечно же, частой перепиской с супругом. Вот хронологически первое из писем, от Л. Н. Толстого, от 4 сентября 1896 года:

«Маша писала утром. Сейчас едет на Козловку Лопухин мальчик… У нас всё хорошо. Я здоров, у Саши насморк. Утром работал, играл в тенис, учил Доллан <*искаж.* Дору> по-русски. Молодые также милы. Жду от тебя писем и жалею тебя.

Л. Т. […]» *(84, 254)*.

Первое из писем Софьи Андреевны в этом Фрагменте — практически встречное, ибо писано было, по частому обычаю жены Толстого, *ночью*, с 4 на 5-ое сентября. И, как обычно в бессонных, ночных её письмах — в этом снова, всё теми же надрывными аккордами, звучит чуткая лютня вечно обнажённого навстречу страданию, трепещущего и любящего сердца:

«Вот и прошёл мой первый тоскливый день в Москве. Ехали в купе довольно удобно и спали. Но Иван соскочил на ходу поезда, когда внёс наши вещи в вагон, и я очень о нём тревожилась, благополучно ли он спрыгнул. Была <в гимназии> у <директора> Льва Ивановича Поливанова, он обещал не быть строгим к Мише, и очень участливо отнёсся к Лёве и вообще ко всей нашей семье.

Ужасное известие, что умер Мещеринов, муж Верочки <двоюродной сестры С. А. Толстой, урожд. Шидловской. – *Р. А.*>, сумасшед-

шим под конец, его тело везут из Крыма и хоронят в Девичьем монастыре послезавтра. Придётся ехать, и какое это терзание моему сердцу и нервам! Бедная Верочка с её тремя мальчиками! Очень мне её жаль, и очень я её любила всегда.

[…] Я всё убрала, устроила, наняла за 10 р. пианино, но ничего не хочется ещё делать, очень скучно; так и тянет на траву, в лес и в реку, где несмотря на холод, много приятнее, чем в нашем тёмном, сыром доме, где дрожишь мелкой дрожью весь день, а лицо горит, и не рассветает весь день. Миша ночевал у Берсов, и я за ним посылала Илью, чтоб приехал домой учиться. Ужасно у него легкомысленное отношение ко всему. Как жаль было от вас уезжать. Целую всех. Как твоё здоровье, милый друг? Не оставляй меня и пиши иногда о себе подробнее. Что наши милые молодые и девочки?

С. Толстая» *(ПСТ. С. 646)*.

Ответ Л. Н. Толстого на это письмо датируется 9 сентября, и хронологически ему предшествует ещё одно, более пространное, письмо от С. А. Толстой, продолжающее темы и настроение предшествующего и, хотя и дневное, но так же не чуждое определённого драматизма в изложении адресатом известий и собственных мыслей:

«Милый друг, мне всё хочется писать именно тебе, и потому опять адресую письмо тебе, а не девочкам, хотя очень благодарю Машу за скорое известие из дому. Прежде о событиях: Миша писал вчера греческое extemporale [от *лат.* extemporale — письменный перевод без приготовления с русского языка]; сегодня будет писать латинский; история завтра. <Экзамены для перевода в лицей. – *Р. А.*> Нам обоим страшно хочется уехать до 10-го в Ясную, но он не написал сочинения и тем наказал нас обоих. Я не ожидала, что будет так тоскливо в Москве. В саду я была, и вместо прежнего удовольствия от зелени и травы, опять нахлынули на меня воспоминания, и я больше одна не пойду; вообще одной быть трудно здесь. Но сегодня особенно тяжело. В 8 часов утра, в наёмной карете, я поехала на Рязанский вокзал встречать со всеми родственниками тело Мещеринова. Мать его и Верочка очень мне почему-то обрадовались: обе бросились мне на шею, принялись рыдать, благодарить и целовать меня. Верочка очень худа, измучена, очень уже беременна (6 месяцев) и жалка так, что без слёз её нельзя видеть. Она с Владикавказа ехала с телом мужа; а он уже несколько дней был в буйном бешенстве; то хотел среди ночи исповедоваться, то говорил о динамите, ломал, рвал и

бил всё, то воображал себя отцом Иоанном и всех в окна благословлял. У него был полный паралич мозга.

Сегодня вечером привезёт Ольга Северцова детей Мещериновых; они были у неё в деревне, и ничего про отца ещё не знают. Вера Александровна сидит всё так же прямо и торжественно в кресле, но видно, что страшно подавлена горем.

С вокзала я взяла к себе в карету дядю Костю, и мы час ехали и болтали. Хоронили в Девичьем монастыре; много военных, генералов; московского света кое-кто: Голицын (губернатор бывший), Катерина Петровна Ермолова, Тучковы. Это всё пишу для любопытства девочек.

Жалок был отец, 70-летний старик; он всё крепился, но когда стали в землю опускать, он весь затрясся, плечи так и прыгали, потом весь побледнел, как-то заторопился, откинул голову, глаза вытаращил и чуть не повалился, его сзади держали. Он так рыдал, что мы все разрыдались тоже. Вера была тиха и только кряхтела как-то, точно слёз уж больше не было. Все Ваничкины похороны восстали в памяти, хоть обстановка вся, — даже времени года, совсем иная. После похорон я съездила к ним на Поварскую, и теперь сижу дома; немного поиграла на фортепиано и этим только успокоила свои нервы хоть немножко. День мой весь пропал, ничего не хочу уже делать. Миша сейчас ушёл в гимназию.

[…] Я ещё ничего не успела сделать, а очень много дела. А главное тоскую очень. Сейчас яркий луч солнца в окно ударил, и мне захотелось сейчас же ехать в Ясную, всё бросить, выкупаться в Воронке и прогуляться со всеми вами, — и тогда, пожалуй, опять приехать сюда.

Но я стараюсь вспоминать ту индейскую мудрость, которая предписывает радостное настроение и велит, как нечто стыдное, скрывать уныние. Буду стараться. Но где же взять сил в одной себе для радостного настроения? Для него нужны люди, природа, дело и здоровье. Особенно жаль было опять с Лёвой расставаться. Хоть бы недельку пришлось пожить вместе с молодыми! А то едва только два дня. Что милая Доллан? Не тоскует ли она и здорова ли теперь? — Что постройки, дела разные ясенские? Как действует твой желудок и сильнее ли ты себя чувствуешь, милый друг? Надеюсь, что ты спокоен душой и бережёшь своё здоровье и что тебе хорошо работается. Целую тебя и всех своих детей, mademoiselle Ober кланяюсь.

Пожалуйста не оставляйте меня без писем. Миша был у Раевских, видел Петю: он выдержал 5 экзаменов и все с пятёрками. Придёт сегодня вечером ко мне. Заходил ещё Миша к Юше <*Юрий Николаевич Померанцев* (1878 – 1933), ученик С. И. Танеева, впоследствии

выдающийся дирижёр. – *Р. А.*>; его не застал дома. Данилевские, его друзья, приезжают 8-го. Няня варит варенье, перебирает бруснику и очень деятельна. — Теперь всё написала и кончаю письмо. Прощай, милый друг, не забывай меня и люби, как и я тебя.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 647 - 648).*

9 сентября Толстой отвечает с оказией — используя в роле вестника не кого-нибудь, а В. В. Стасова, тогдашнего своего гостя! — только на первое из приведённых выше писем жены, ночное, с 4 на 5 сентября:

«Хотя письмо это и не попадёт к тебе раньше понедельника вечером, а теперь суббота вечер, я всё-таки пишу тебе, милая Соня, потому что очень думаю о тебе, чувствую тебя. Как ты провела эти дни? Что главная твоя забота — Миша? Надеюсь, хорошо. От тебя было одно маленькое письмецо с грустным известием о Мещеринове. Как очевидно он сам погубил себя, и уже был не вполне нормален, когда, не переставая, через силу работал свою глупую работу. <Офицер *Александр Григорьевич Мещеринов* служил в Генеральном штабе. – *Р. А.*>

Как мне хочется знать всё про тебя: очень ли ты волнуешься? как? что огорчает тебя и что радует? Дай Бог, чтоб больше было радостного и, главное, чтобы ты ни на что не сердилась. Ты спорила со мной, а я всё-таки говорю, что всё житейское так неважно, и всё духовное, т. е. своя доброта, так важно, что нельзя позволять неважному расстроивать важное. Девочки по-прежнему — хороши. Таня дурно спит (у ней всё нет); молодые всё милы (нынче она лежит). — Но многого от них нельзя и не должно ждать. Они оба очень дети. Андрюша всё мало дома, хотя худого не знаю. Нынче он ездил в Тулу и вернулся рано и хорош. Саша учится, и Таня занимается ею. Стасов кричит. Хотел завтра ехать, но решил остаться ещё на день. В нём много доброты и настоящая любовь к искусству и понимание его. Я здоров, хотя ещё не позволяю себе распуститься. Вчера ездил верхом в Житовку к погорелым, нынче к Володе (Шеншину) и Рису <Директор Бельгийского чугунолитейного завода па Косой горе. – *Р. А.*>, чтоб поместить у них старшину. Володю не застал, он был в Туле.

Погода не хороша, дождь и грязно, но не холодно, и вечера оба последние были без дождя. Я очень занят своей работой, всё бьюсь над одним местом о грехах <Вторая часть трактата Толстого «Христианское учение». – *Р. А.*>: вчера как будто уяснил, нынче опять всё искромсал и спутал. Хочется писать другое, но чувствую, что должен

работать над этим, и думаю, что не ошибаюсь по спокойствию совести, когда этим занят, и неспокойствием, когда позволяю себе другое. Это большое благо иметь дело, в котором не сомневаешься. И у меня есть это счастье. Если кончу, то в награду займусь тем, что начато и хочется <Имеется в виду начатая повесть «Хаджи-Мурат». – *Р. А.*>.

Как твоя музыка? Я думаю, теперь в Москве, после трудов и в одиночестве, она ещё больше тебя успокаивает.

Письмо к тебе было только от Е. П. Раевской. Да, вели выслать собрание сочинений мне для Зисермана или при случае перешли. <*Арнольд Львович Зисерман* (1824 — 1897) — военный писатель, сосед Толстых. Лев Николаевич получал от него материалы для «Хаджи-Мурата». – *Р. А.*> Прощай, душенька, целую тебя и Мишу.

Л. Т.

Ты была такая кроткая, любящая, милая последние дни, и я тебя всё такой вспоминаю» *(84, 254 – 255)*.

Следом Толстой отправляет, на этот раз с С. И. Танеевым, ещё одно письмо к жене. О датировании его исследователи сомневаются, относя к 9, 10 или даже 11 сентября. Так как оно не служит ответом на очередное письмо С. А. Толстой, хронологически целесообразно привести его текст здесь.

«Милый друг,

Пишу несколько слов с Сергеем Ивановичем, чтоб сказать от себя, что мы все благополучны, кроме Андрюши, которого видишь в два дня раз. Где он бывает, не могу понять. Стасов вероятно был у тебя и отдал тебе моё письмо. Кажется, ему было настолько хорошо, насколько возможно. Он тронул меня своим ребяческим и искренним отношением к смерти, которой он боится, не понимает и не хочет понимать. Сергей Иванович играл сейчас сонату Бетховена, которая не доставила никому удовольствия, хотя он от искреннего добродушия желал сделать мне удовольствие. Работа моя два дня шла хорошо, и я от этого доволен. Приехал учитель немец колонист, умный малый.

Как-то тебе? Как бы хорошо было и тебе и всем, тебя любящим, кабы ты была всё такая же, как последние дни.

Погода два дня стоит чудная. Вспоминаю о тебе и жалею, что ты лишена осенней красоты деревни. Вчера ездил на Мишиной лошади. Опять стал ходить проездом. Нежно целую тебя.

Л. Т.» *(Там же. С. 256).*

Стасов по наивности пересказал Софье Андреевне содержание новой антивоенной статьи Толстого «Приближение конца» и его же «Письмо к либералам». Ответом её мужу стало бессонное, тревожное письмо от 9 сентября:

«Сейчас только проводила Стасова, милый друг Лёвочка, который привёз мне твоё письмо. И письмо твоё продлило бы то моё любящее, кроткое настроение и отношение к тебе, если б не его рассказы о тех статьях, которые ты ему читал. Сразу перемутило мне всю душу и тоскливое отчаяние мной овладело. Хотя Стасов усиленно и слишком громко хвалил твою речь и смелость, и всё, что ты пишешь, но я вывела из всего, что и письмо к фон-дер-Веру (кажется), и письмо к либералам, — всё это дерзкий вызов: «ну-ка, троньте меня!»

[ПРИМЕЧАНИЕ.
Статья Л.Н. Толстого «Приближение конца» была опубликована как послесловие к открытому письму к военному начальству голландца Ван дер Веера, объяснившего этические основания своего отказа от военной службы.
В основу «Письма к либералам» лёг ответ Л. Н. Толстого на письмо А. М. Калмыковой, в котором он критикует общественную деятельность либеральной оппозиции, в особенности религиозное безверие её деятелей и заигрывания с правительством. – *Р. А.* **]**

И этот вызов (особенно с христианской точки зрения) не только [не] полезен кому-нибудь, но прямо и вреден, и не добр, и опасен. Кроме того это мальчишество какое-то, бравада. Из художника, из философа, из серьёзного, религиозного учителя — сделаться задорным писакой. Если б ты знал, насколько такие выходки и статьи (как мне их излагал подробно Стасов) меня терзают, пугают, и насколько умаляют мою любовь и уважение к тебе. Я вдруг перестаю верить и в сердце твоё, и в учение твоё, и вижу того с вихрами юношу, полного задору, пороков и гордости, каким ты был, судя по дневникам твоим, в молодые годы. Брось ты этот задор, не посылай ты этих писем, ради бога, я прошу тебя. Ничего ты не изменишь в жизни людей, пусть останутся твои писанья после тебя, но не дразни ты

никого, не мучь меня, не рискуй всеми нашими жизнями и спокойствием.

Я никогда ещё ничего так горячо тебя не просила. По крайней мере подожди, я приеду в субботу, и покажи мне то, что ты хочешь послать. Писал бы свой катехизис и был бы кроток и смиренен; насколько это было бы лучше и достойнее. Пора утихнуть, любить, а не задирать людей.

Прощай; я очень взволнована, расстроена, и за мою боль не могу любить тебя сегодня.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 649 – 650)*.

Встречая в переписке подобные послания к мужу от Софьи Андреевны, каждый раз невозможно не сожалеть о том, *насколько* далёким от живой веры, от религиозного христианского жизнепонимания человеком была “спутница жизни” великого яснополянца. Хотя по чужому пересказу и нельзя этого понять, но пусть даже новые, готовимые тогда Толстым, публицистические выступления были написаны слишком резко и неосторожно в отношении цензуры. Но что за противопоставление, к которым прибегает Соня, этих, неотделимых от веры, манифестаций Толстого-публициста и христианина — его собственно религиозным сочинениям! Как будто «катехизис», то есть статья «Христианское учение» — уже *заведомо* что-то мертворождённое, судьба которого — *остаться после* автора, в общем большом собрании его сочинений, забытым и малочитаемым (так, к несчастью, и случилось, преимущественно из-за общего кризиса религиозности в христианском мире XX столетия), а вот сиюминутные по непосредственным мотивам создания отклики публициста на текущие события, на обращения к нему — значительнее изложения вечных истин веры и бытия человеческого! Разумеется, женой Толстого вся их значительность воспринималась в негативном ключе: как раздразнивание цензуры и правительства, за которым могли последовать репрессии.

Но, отправив 9-го своё тревожно-раздражённое письмо, к ночи Софья Андреевна немного успокоилась, договорившись с домашними о необходимой отлучке в Ясную Поляну, и написала мужу хотя и ночное, бессонное, но в этот раз более спокойное, нежели предшествующее ему дневное, такого содержания письмо:

«Милый друг, проводив Стасова, я написала тебе не доброе письмо под впечатлением его рассказов. Но как всегда, я скоро раскаялась и пожалела, что сделала тебе опять больно. Но я сама так больно

встревожилась, да ещё в одиночестве, что до сих пор тревога меня мучает, хотя злоба совсем прошла и я прошу меня простить.

Сейчас взглянула на часы: десять минут четвёртого ночи. Я проиграла на фортепиано, не вставая, часа четыре, да раньше часа полтора. Но это так я во второй раз только.

Благодарю Таню за предложение меня сменить. Теперь ещё нельзя мне уехать, я совсем не кончила свои дела; книжные — даже не начинала. Я приеду в гости к вам на два дня. А теперь целую всех. Прощай.

Соня» *(Там же. С. 650).*

Увлечение Софьи Андреевны после смерти младшего сына стало для неё психологическим «якорем спасения», а игра на фортепиано — способом самолечения, успокоения нерв.

В мемуарах «Моя жизнь» она вспоминает об эпизоде со статьями следующее:

«По приезде в Москву Стасов преувеличенно и подробно мне рассказывал, чем в моё отсутствие был особенно занят Лев Николаевич… Я страшно разволновалась, испугалась, что правительство потеряет терпение и начнёт карать Толстого за эти его смелые статьи. […] Может быть, рассказывая мне, Владимир Васильевич Стасов, по-своему обыкновенно громко крича, придал мыслям Льва Николаевича и его письмам слишком резкий характер и яркие краски, и потому мне так не по сердцу показались статьи. Предполагаю ещё, что приезжавшие в моё отсутствие *толстовцы* — Чертков, Бирюков, Горбунов, Дунаев, — хотя отчасти, но способствовали и поощряли Льва Николаевича к задорным статьям. На моё тревожное и недовольное письмо Лев Николаевич мне писал, что не может руководиться моими желаниями и советами и рассуждать о том, опасно или не опасно, а всегда будет писать то, что считает нужным по совести и своим убеждениям» *(МЖ – 2. С. 454 - 455).*

Письма мужа к ней Софья Андреевна готовила к изданию уже после его смерти, когда каждая его строчка стала для неё неприкосновенной и священной. Из рукописного эпистолярного наследия Толстого она могла что-то потаить от публичного издания, но не могла, не решилась бы уничтожить! Но между тем мы не располагаем ни текстом письма Толстого из дней, последующих за конфликтом 9-10 сентября, ни сведениями о письме, в котором содержалась бы пересказанная С. А. Толстой в мемуарах и выраженная мужем в письме

к ней зрелая христианская позиция. Быть может, сама Софья Андреевна не располагала текстом ответа Толстого и что-то напутала? Или же по какой-то причине письмо было утрачено тогда же, в 1896 году? Вероятнее всего, за этим письмом следовал и какой-то, достаточно резкий, ответ Софьи Андреевны.

Конечно же, это было ссорой и серьёзным «надрывом» отношений. Впрочем, на тот случай кратким: оба супруга шли на примирение, и вскоре, ко дню свадьбы 23 сентября, Софья Андреевна таки отправится в Ясную Поляну, и, кстати сказать, не пожалеет об этом! Но пока, ни словом стараясь не поминать о взаимной резкости предшествовавших писем, она в послеполуденном от 13 сентября письме к мужу выразила своё смятение, внутренне преодолённое ею апелляцией к семейному, к родительскому долгу:

«После больших колебаний я решила всё-таки не ехать сегодня в Ясную, милый друг. Я вижу, что именно эти-то дни я необходима Мише. Мы с ним не выходим из дому; я играю на фортепиано, он занимается усердно, беспрестанно требуя моего сочувствия в том, сколько он прочёл, как мало остаётся, и он надеется в понедельник снести сочинение и начать ходить в гимназию. Ещё как он напишет сочинение! От того, что я не еду сегодня, на меня нашла тревога и грусть; но я всегда была за исполнение *долга*, и *это* в моих руках, в моей воле. А то, что по личному чувству мне хочется съездить к вам, и по баловству хочется в деревню опять, — это во мне останется, и если б я жила по непосредственному чувству, то страдал бы долг. Так и на этот раз.

Если я увижу, что Миша хорошо наладился эти два дня, и дело его приготовлений очень подвинулось, я съезжу на неполный день в воскресение к брату Пете, и может быть посмотрю имение, которое там продаётся. Не хочет ли Лёва тоже, чтоб я слезла в Пахомове <В то время Алексинский уезд Тульской губ. – *Р. А.*> от поезда до поезда и там посмотрела бы именье Умецкого. Оно мне по описанию, по близости к нам, больше нравится. Думаю теперь поехать в Ясную 18-го или 19-го, когда Миша дня два уже наладится ходить в гимназию. Тогда я приеду на два дня, и уже не 23-го вернусь в Ясную вторично, а около 30-го. Пробуду с тобой и Лёвой до 10-го октября. Таня меня заменит в Москве, а 10-го уже перееду с Сашей совсем. Это мои теперешние планы, а там, что Бог даст!

Миша говорит, что, походив неделю в гимназию, он скажется больным и будет держать проверочный экзамен в лицей, куда поступит пансионером, чтоб непременно учиться и кончить 8 классов гимназии. Я на это молчу, думаю, что экзамена он в 6-й класс лицея

не одолеет. Что же спорить раньше? Пока я рада, что засадила его за летние работы.

Вчера весь вечер со мной сидела Варя, очень приятна и мила. Я её пешком проводила до дому её, а оттуда приехала на извозчике. Была чудесная лунная ночь, но везли вдоль бульваров бочки, — и запах! До слёз гадко. Только и стало легко, как заворотил извозчик в нашу сторону.

Ты давно мне не писал, Лёвочка, и мне одиноко и грустно. Или ты на меня рассердился за письмо?

Целую тебя и детей моих. M-lle Ober кланяюсь. Приехали ли Саша и Маша из Пирогова? Там ещё Машенька, и оттого Лизе Оболенской нельзя ехать в Ясную, куда ей очень хочется.

Сейчас начну свои счёты с артельщиком, трудное и скучное дело! Я всё отлынивала, да не уйдешь от дела. Прощай.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 651 - 652).*

Судя по очередному в хронологической последовательности письму Льва Николаевича от 14 сентября, он был извещён ещё раньше получения письма о решении жены не приезжать на день именин, 17 сентября. Приводим последовательно его письма к жене от 14 и 16 сентября.

14 сентября:

«Хотел написать тебе с Андрюшей, милый друг, да не успел. Сначала, вчера и третьего дня, когда я узнал, что ты не приедешь, я так этому огорчился, что хотел не писать из недоброго чувства к тебе; но потом опомнился и подумал, что справедливо или не справедливо ты рассудила, что тебе не должно приезжать, тебе очень должно быть тяжело, и потому надо пожалеть тебя и постараться облегчить тебе твоё положение. У нас было очень приятно, если бы не твоё отсутствие, которое все чувствовали, хотя, разумеется, и в сотой доле не так, как я. И сыновья, и их жёны были очень милы. Ближе всех мне Соня. С ней мне легко. Доллан чужда и молода, а Маня жалка. Ужасно жаль мне и её и Серёжу за то, что она выкинула. Я говорил и с ней, и с Серёжей, уговаривая их прощать больше друг другу. Мне Серёжа становится всё ближе, и я очень рад этому. Илюше 13 лет всё. И я вижу, что ему до зареза нужно денег, и он ждёт тебя. Что делать! и Дунаев, и Иван Иванович были очень приятны. Je n'en reviens pas [*франц.* Не могу опомниться от удивления,], как мог Стасов забыть передать тебе моё письмо <от 7 сентября>. Мне это

жалко, потому что я писал в самом хорошем расположении (может быть, оно не вышло) и хотел, чтоб тебе было приятно. Сейчас я ездил после обеда в Тулу на Мишиной лошади к ветеринару и вернулся уже при всходе луны; опять чудный вечер. Я ехал и думал: как хорошо! И бывало, когда подумаешь: как хорошо, сделается грустно от мысли, что скоро кончится, а теперь я думаю, как хорошо, и только ещё начинается, и будет ещё лучше, — и в этой жизни, и, главное, вне этой жизни.

Тебя мне жалко в особенности потому, что жертвы твои, боюсь, бесполезны. Можно Сониного Андрюшу <Андрей Ильич, внук Толстого, в то время 2,5 года от роду. – *Р. А.*> заставлять, но Мишу уж нельзя — с пользой. Хочет он избрать путь бедного нашего Андрюши, которого, когда вспомню об нём, до слёз жалко, ничего не сделаешь, хочет избрать путь добрый, нравственный путь усилия, труда — пойдёт по этому пути; а заставить его нельзя. Это только себя обманывать. Если он и подчинится на время, то потом наверстает. Хотел написать не отдавать в лицей, но подумал, что в этом области советовать можно только ему, а не тебе. А ему совет один: как можно меньше требовать трудов других, т. е. расходовать денег (а лицей — это опять большие расходы), потому что это безнравственно, и как можно больше самому трудиться (чего он совсем не делает), без чего невозможна ни нравственная, ни истинно радостная жизнь.

Прощай, милая Соня, целую тебя» *(84, 257 - 258).*

И от Толстого же — следующее по хронологии письмо, 16 сентября, содержащее любопытное воспоминание из 1866 года, когда в праздновании именин участвовал командир 65-го пехотного московского полка, стоявшего близ Тулы, полковник Юноша. Незадолго до праздника вместе с Толстым он стал участником неприятной для всех драмы: осуждения военно-полевым судом и казни солдата Василия Шабунина, повинного в оскорблении офицера.

Приводим полный текст и этого письма.

«Как мне тебя жалко, не могу сказать. Погода точно такая, какая была, когда праздновали твои имянины с музыкой от полковника Юноша и танцовали на терасе. Особенно жалко, что ты именно свои имянины не проведёшь с нами. Хорошо ли ты съездила к Пете? <Брат Софьи Андреевны Пётр Берс, служивший исправником в Клину. – *Р. А.*> Почти не переставая, думаю о тебе.

Л. Т.

Праздновали тогда твои имянины с музыкой в тот год, как привезена была Дагмара; это лет 20 тому назад. Очень хорошо было моё чувство к тебе. Я его очень помню.

[«Ровно 30» <лет тому назад>. – *Примеч. С. А. Толстой.*
Речь идёт о приезде в Россию в 1866 году принцессы Дагмары (1847—1928) — будущей императрицы Марии Фёдоровны, жены имп. Александра III. – *Примеч. Р. А.*]

Мы ходили гулять через засеку на завод <на Косую Гору. – *Р. А.*>, и было приятно; но [в] Д[оре] мало энергии, — устаёт, трясёт. Мне было бы очень хорошо, если бы тебя не недоставало.
Утром прекрасно работал своё изложение веры и очень был от того доволен.
По рассказам Маши, брат Серёжа испортился опять, ворчит и несчастлив. Мне это очень жаль. Вот Марья Александровна, та, не переставая, лучеиспускает истинную радость чистой души.
Ну, прощай пока. Жаль, что тебя завтра не будет. А погода будет такая же праздничная. Целую Мишу. Неужели он не встряхнётся и не повезёт когда-нибудь сам, а всё будет дожидаться, чтоб его по коленкам била накатываемая на него повозка?» *(Там же. С. 258).*

В этот же день, 16 сентября, встречное письмо пишет и Софья Андреевна:

«Милый друг Лёвочка, получила твоё письмо через Дунаева, спасибо за него; в нём одно место меня больно кольнуло, что ты имел неприятное ко мне чувство за то, что я не приехала. Уж откуда могло взяться *неприятное* чувство, я совсем не понимаю. Именно мне пришлось *пожертвовать* собой, ведь я веселья не могла видеть никакого, и эти два дня просидела растрёпанная, в кофточке дома, и до треска в голове занималась книжными делами с артельщиком, — пятницу и субботу, а вчера съездила к Пете <Берсу> на Клинскую его дачу, 6 вёрст от Москвы, рада была быть окружена детьми (меньшой 2 года) и природой. Было жарко, мы гуляли в лесу, ходили на ключ, рвали цветы, и я видела даже грибы, подосинники, которые дети рвали. Мальчик их мало симпатичный, ему 6 лет, но девочки славные. Кроме меня никого не было; вернувшись вечером, нашла Андрюшу дома, он расскажет, как его отпустили. В среду я выеду вечером, и приеду в *четверг утром* к вам; пришлите лошадей на Козловку, я уже телеграфировать не буду, а со мной будет сундучёк

Машин, я его должна ей свезти, потому лучше пришлите тележку парой.

Ну, до свиданья, милый друг. Андрюша спешит, все мешают, хотела написать хорошо, а написала дурно. Тут Маклаков ещё и Померанцев. Целую тебя.

Твоя Соня» *(ПСТ. С. 652)*.

В эпистолярном диалоге супругов наступает небольшой перерыв: Софья Андреевна исполнила своё обещание и на несколько дней, по 23-е включительно, приехала на годовщину свадьбы в гости в Ясную Поляну. О краткой этой поездке она вспоминает в «Моей жизни»:

«Было 34 года нашего супружества, и как мы ещё сильно любили друг друга! Точно ещё были молодые, а не такие пожилые. Льву Николаевичу было 68 лет, мне 52. Побыла я в Ясной недолго и скоро опять уехала. Помню, что муж провожал меня на Козловку-Засеку и что я была всё время очень нервна, так что я сама себя испугалась» *(МЖ – 2. С. 456)*.

Соничке до такой степени хотелось остаться в милой Ясной, с любящим и любимым своим мужем, что в дороге её нервное состояние породило приступы заболевания, о которых она сама рассказала мужу в письме от 24 сентября, писанном уже из Москвы, в полдень:

«Милый друг Лёвочка, едет Павел Иванович, и я хочу тебе написать с ним. Когда я вчера осталась одна в вагоне, я вдруг так затосковала, что хотела из Тулы вернуться опять в Ясную. Потом стало мне жутко, — не людей, а себя. Показалось, что я тут, в купэ, умру, что у меня голод сделался, а есть нечего, что я в темноте останусь, а зажечь нечего, что я упаду и убьюсь, дверь выхода так близко — и всякий вздор. Начала я читать свой глупый французский роман, стояла у открытого окна и озябла. Когда стало холодно и темно, я легла и стала вся дрожать и решила, что я простудилась и умру. Потом заснула до Серпухова, где пила чай.

Дома застала Мишу, меня ожидающего за чаем, охрипшего и в сильном насморке. Он очень интересовался, главное, твоим здоровьем и вообще всем и всеми. Сегодня я его видела утром, он спокоен и серьёзен. С Юшей пили кофе <Ю. Н. Померанцев жил с Мишей до приискания себе квартиры. – *Прим. С. А. Толстой*>, теперь еду по делам; в лицей очень было нужно поскорей, формы всё нет и не заказано, нужны деньги, прошение и проч. Я-таки немного простудилась или опять неловко повернулась, но вчера с вечера и всю ночь не могла спать от прострела в левую лопатку насквозь в левую грудь:

больно было и дышать, и двигаться, и лечь, и повернуться. Теперь ещё чувствительно, но настолько лучше, что я выезжаю. Жару нет, значит ничего. Няня меня растёрла вчера в ночь отлично. Всё думаю о тебе, милый друг, и в первый раз в жизни эту осень я признала, что действительно года идут наши, и старость несомненно наступила, что будущего уже нет, а есть прошедшее, за которое надо благодарить Бога, и есть настоящее, которым надо дорожить каждую минуту, и просить Бога, чтоб он помог нам ничем его не портить. — Целую тебя и детей.

Дела и дела — тяжела стала всякая суета, и жалею о мирной и прекрасно проведённой мной жизни в Ясной эти дни.

Твоя Соня.

Павел Иванович не пришёл, посылаю почтой» *(ПСТ. С. 653)*.

В письме Сони — и замечательные мысли о совместной прожитой жизни с Львом Николаевичем, но тут же — страшное свидетельство её хронического, и, к несчастью, прогрессировавшего с возрастом нездоровья, как физического, так и душевного.

Через два дня, 26 сентября, Толстой пишет ответ на это письмо:

«Получил нынче утром твоё письмецо, милый друг Соня, и немного огорчился на твою слабость, но потом порадовался на то, что ты её преодолела. В тебе много силы, не только физической, но и нравственной, только недостаёт чего-то небольшого и самого важного, которое всё-таки придёт, я уверен. Мне только грустно будет на том свете, когда это придёт после моей смерти. Многие огорчаются, что слава им приходит после смерти; мне этого нечего желать; — я бы уступил не только много, но всю славу за то, чтобы ты при моей жизни совпала со мной душой так, как ты совпадёшь после моей смерти.

На другой день после твоего отъезда думал о тебе и хотел писать тебе на твои слова, что тебе нечем жить. <То есть заняться в жизни чем-то, кроме обычной рутины. – *Р. А.*> Может быть, когда-нибудь напишу или скажу, что думаю об этом. Писать лучше, потому что всё лучше обдумаешь.

Ну, об этом довольно. Я совсем здоров; не только здоров, но дух очень бодр, как давно не был; прекрасно работал и, кажется, кончил начерно своё изложение веры, по крайней мере так, что если умру, не исправив, всё-таки поймут, что я хотел сказать. Теперь хочу писать другое, и начал. Мало того, что здоров телом и духом совер-

шенно спокоен, не так, как я был в то твоё отсутствие. Таня приехала нынче рано утром весела и бодра, и довольная своей поездкой.[3] Приехали тоже Колаша и Андрюша. С утра же приехали японцы. <Гостями из Японии были: *Токутоми*, редактор журнала «Кукумин-Шимбун», и сотрудник того же журнала *Фукай*. – *Р. А.*> Очень интересны: образованы вполне, оригинальны и умны и свободномыслящи. Один редактор журнала, очевидно очень богатый и аристократ тамошний, уже не молодой, другой, маленький молодой, его помощник, тоже литератор. Много говорили, и нынче они едут. Жаль, что ты их не видала. Погода всё хороша. Играют в тэнис, ездят верхом. Я вчера ездил в Тулу, да Давыдова нет, и я тотчас вернулся. Целую тебя и Мишу. Очень рад за него, если переход в лицей приведёт его в акуратность. — Хотя я и не одобряю того, чтобы для своей перемены внутренней полагаться на перемену внешнюю, но признаю, что иногда это бывает полезно. Дай Бог. О как бы хорошо было, если бы он много, много, много переменился, главное в том, чтобы понял то, что люди предназначены не на то, чтобы им все служили, а чтобы они служили, и что радость жизни не от того, что берёшь от людей, а от того, что даёшь им. Так несомненно устроена наша жизнь, и тот очень туп, кто не видит этого. Только до возраста внука Миши позволительно не видеть этого. Целую вас обоих.

Л. Т.

26 вечер. С японцами» *(84, 259 - 260)*.

В тот вечер, передаёт в мемуарах Софья Андреевна, японцы «пели свои национальные песни и даже плясали, показывая свои национальные танцы, что страшно всех смешило, особенно молоденькую Дору, хохотавшую, глядя на них, просто до слёз» *(МЖ – 2. С. 456)*.

Тем «немногим», на недостачу чего в жене указывал в письме Лев Николаевич, была, конечно же, вера: единение Софьи Андреевны с мужем в христианском понимании жизни, в христианских основаниях помыслов и поступков. Софья Андреевна понимала это и тогда, а в мемуарах, отметив «особенную нежность» писем Льва Николаевича осени 1896 года, с грустью говорит об этой, так и не удовлетворённой ею и до конца, потребности уже умершего мужа:

«…Он всё ждал от меня, бедный, милый муж мой, того духовного единения, которое было почти невозможно при моей материальной жизни и заботах, от которых уйти было невозможно и некуда. Я не сумела бы разделять его духовную жизнь на словах, а провести её в

жизни, сломить её, волоча за собой целую большую семью, было немыслимо, да и непосильно» *(Там же. С. 455)*.

При кратком визите Софьи Андреевны в Ясную Поляну супруги договорились, что, при возможности, Софья Андреевна приедет вскоре ещё, и на более длительный срок. Такая возможность появилась в конце сентября, когда дочь Татьяна смогла заменить Софью Андреевну в Москве при младшем сыне Мише. Последнее в данном Фрагменте переписки письмо к жене Льва Николаевича Толстого, от 28 сентября, уже не застало Софью Андреевну в Москве: утром 29-го она была в Ясной, и «деловую» часть этого письма супруги могли обсудить уже с глазу на глаз. Всё же, для полноты презентации, мы приводим, в заключение Фрагмента, и этот краткий текст.

«Хотя может и не поспеет письмо, всё-таки пишу с просьбами: 1) привези денег для пожарных <т. е. для крестьян погорельцев. – *Р. А.*> 300 р.; во 2-ых, моих портретов штук 5 надо послать кое-кому, а которые были, последние отдали японцам. У нас всё хорошо. Маша лежит от обычной, легко переносимой в этот раз, болезни. Из чужих: Поша, Колаша и Рахманов, который сейчас уезжает. Теперь вечер, и Андрюша, который приехал вчера и очень приятен, едет на Козловку. Надеемся от тебя получить письмо. Я немножко ослабел в своей деятельности писательской. Разбросался и нынче утром плохо работал.

Погода нынче чудная. Только купаться нельзя. Очень холодно по ночам.

Прощай, милая, целую тебя и Мишу.

Л. Т.» *(84, 260 – 261)*.

КОНЕЦ ВТОРОГО ФРАГМЕНТА
СОРОК ПЕРВОГО ЭПИЗОДА

Фрагмент 41.3.
СЧАСТЬЕ В ВОЗМОЖНОСТИ ПОБЫТЬ СЛАБОЙ
(13 октября – 12 ноября 1896 г.)

Из книги С. А. Толстой «Моя жизнь»:

«12-го октября мы с Сашей, её гувернанткой, прислугой, лошадьми, коровой и вещами переехали в Москву, где на время при Мише заменяла меня дочь Таня. И тогда, как и прежде, особенно грустно

было уезжать из Ясной Поляны и расставаться с Львом Николаевичем. Последнее время жили мы все так дружно и даже весело. Я ходила ежедневно до 3-го октября на речку Воронку купаться. 4-го речка замёрзла на поверхности, и я прекратила купанье. Учила Сашу и много играла на фортепианах» *(МЖ – 2. С. 457)*.

В приведённом выше, в предыдущем Фрагменте, письме к жене от 28 сентября Л. Н. Толстой упоминает, что прекратил купания из-за холодной погоды. Выходит, Софья Андреевна оказалась выносливей супруга — в полезном для здоровья деле, к которому наверняка подвигнул некогда её он сам!

Но наше внимание должно теперь сосредоточиться на другом: начавшейся со дня прибытия Софьи Андреевны в Москву переписке супругов. Первое из писем Софьи Андреевны, от 13 октября, отсутствует среди публикаций; по этой причине мы должны начать нашу аналитическую презентацию по Третьему Фрагменту Переписки 1896 года с письма Л. Н. Толстого 14 октября:

«Очень мне на себя досадно, милый друг Соня, что до сих пор не написал тебе. На другой день после тебя, т. е. вчера, я, пользуясь хорошей погодой, предложил Маше ехать в Пирагово, и мы, после моих утренних занятий и обеда, поехали верхами, она на Миронихе, я на Мальчике, и преприятно доехали, провели вечер и сегодняшнее утро, и пообедали, и вот сейчас вернулись, тоже очень приятно.

[…] Серёжа брат всё также разумен, серьёзен и добр. Мне было очень приятно порадовать его, и самому порадоваться, увидав его.

Лёва ездил вчера <в Тулу> в концерт с Дорой. Андрюша в день твоего отъезда был всё дома, и я, и Лёва, и Маша, все много говорили с ним. Со мной он говорил и хорошо, и дурно: соглашался, что надо воздерживаться от вина, и не соглашался в том, что его отношения…. отвратительны. Но всё-таки я рад, что поговорил — он ближе, и что-нибудь западёт. Об тебе вспоминаю радостно, опять также, как в тот твой отъезд. Да, Таня рассказывала, что Андрюша играл в тэнис с Черкасской, но потом кто-то приехал к нему с запиской. Таня думает, что от Бибикова <*Владимир Александрович Бибиков* (1874 – ?) — сын старинного знакомого Толстого А. Н. Бибикова. – *Р. А.*>, и его нет дома. Мишу и Сашу целую.

Прощай пока. Надеюсь получить от тебя письмо с этим посланным, и хорошее.

Л. Т.

14 Окт. 96. 9 часов вечера.

Работа моя шла один день прекрасно, другой день плохо, нынче в Пирогове писал письма. Каково твоё настроение? Дай Бог, чтоб было спокойное» *(84, 261 - 262)*.

Ответ С. А. Толстой, письмо от 15 октября:

«Сейчас получила сразу два письма, милый друг Лёвочка: одно от тебя, другое от Тани. Я рада, что узнала о твоей пироговской поездке уже после твоего возвращения, а то я бы тревожилась о тебе. Слава богу, что благополучно съездили, и что ты не захворал. У нас были два дня дожди, а сегодня такое яркое солнце, так тепло по-весеннему, что я опять затосковала по деревне, по природе, по яснополянской жизни вообще. Хотела ехать по делам и покупкам, и вместо этого пробегала, гуляя, по всем бульварам, по улицам, и наконец зашла до обеда к Елене Павловне и просидела с ней часа два. Она в субботу едет в Тулу и просит девочек, *если* она им телеграфирует о своём проезде, то приехать с ней повидаться у *Давыдовых*. Петя экзамены кончил, и Алексей Митрофаныч тоже, и уехали на три недели в деревню. Ко мне никто не приходил, только вчера зашёл Вася Маклаков на минутку. Самой тоже никуда не хочется, и сегодня особенно тоскливо, даже хотела ехать в Большой театр одна смотреть, т. е. слушать «Пиковую даму» Чайковского, да вряд ли поеду, слишком это сложно. — У Саши уже все учительницы, и вчера мы с ней были в бане. М-м Фридман дали бумагу о том, что дочь ей возвратят, но с условием, чтоб её отдали в какой-нибудь институт, а все вакации проводить у матери. Но она не знает, где её дочь и какими путями её вытребовать.

Серых лошадей проезжали, они довольно смирны, но я ещё не ездила, кучер не решается меня везти, просит ещё денька два, три.

Ты спрашиваешь, милый друг, о моём настроении? Меня тяготит моя праздность в том смысле, что на вешанье драпировок, заказыванье обеда, продажу книг и т. д. я уже не могу смотреть, как на *дело*. Меня это всё уж совсем не занимает; всё идёт по инерции, и только изредка требует от меня какого-нибудь направления или маленького усилия. Дела же настоящего, как воспитание детей, помощь тебе, хотя бы в виде переписыванья и т. д., — у меня теперь нет. *выдумывать* я никогда ничего не умела, жила непосредственно. Моё увлеченье музыкой — запоздалое, и всё-таки это единственное, что меня теперь интересует. Сегодня какая-то, почти физическая тоска, и это хуже всего, но я из неё как-нибудь выйду.

Миша почему-то раздумывает ехать в Ясную, и если Стаховичи не приедут, то я попозднее приеду к вам, а теперь ещё мало времени прошло, и это большое баловство уехать одной для себя, а детей именно <в> праздники бросить одних в Москве. Mademoiselle совсем ошалела, и её никогда дома нет, придётся ей делать выговор, а то она очень распустилась. — Хорошо, что вы с Андрюшей говорите, но он очень плох: дурные привычки уже укоренились, и я о нём очень часто скорблю. Дай-то бог ему в жизни как-нибудь выбраться.

Прощай, милый друг, будь здоров и спокоен, и не ленись мне писать, мне так нужен ты и твоя любовь.

Твоя Соня Толстая.

Таню, Машу, Лёву и Дору целую» *(ПСТ. С. 653 - 654)*.

Ответ из Ясной Поляны на это письмо имеет, как нередко у Л. Н. Толстого, приблизительную датировку, 16 или 17 октября:

«Сейчас получил твоё письмо, милый друг, хотя оно и грустное, ты тревожна и невесела, но и за то спасибо. На другой день после Пирогова я ездил в Тулу и просидел часа два у Давыдовых. Они одни: муж с женой <Николай Васильевич и Екатерина Михайловна>, отпустили дочь одну в Крым. Они очень милы. Мне нужно было Николая Васильевича по делам.

[...] Таня обычно нездорова, но занята, копирует и переписывает, и письма пишет, молодые ездили в концерт Фигнер <*Николай Николаевич Фигнер* (1857 – 1919) — певец, артист русской оперы, и его жена, *Медея Ивановна*, урожд. *Мей* (1859 - 1952) — артистка оперы. – *Р. А.*>, но никого не видали знакомых, и, кажется, самое приятное было поездка туда и назад при лунном свете. Погода всё удивительная, и её прелесть отравляется мне тем, что ты, которая так ценишь теперь природу, не пользуешься. Все эти дни было удивительно хорошо. Нынче только густой туман, но и это хорошо, — тихо и не холодно, и я люблю. Андрюша был хорош, но вчера вдруг явился наряженный в бабью одежду, похохотал и скрылся, и где-то пропадал. Рано утром нынче уехал к Звегинцевым на охоту, куда он ездил прежде и куда его звали, кажется, на два дня. Я с ним как-то помирился, какой он есть. Перестал страдать остро за него и радуюсь, когда нахожу в нём человеческое. И оно есть. Есть доброта. И я рад этому для него. Ему хорошо со мной. Я дня два хотя и здоров физически, очень умственно плох, запутался в своей работе, и ничего не

идёт, а недавно ещё я был так доволен. Читаю новооткрытого философа Шпира и радуюсь. Читаю по-русски, в переводе, который мне прислала дама и который очень хотелось бы напечатать, но наверное не пропустит цензура именно потому, что эта философия настоящая и вследствие этого касающаяся вопросов религии и жизни. Я бы напечатал у Грота <т. е. в журнале «Вопросы философии и психологии». – *Р. А.*> и написал бы предисловие, если бы он сумел провести через цензуру. Очень полезная книга, разрушающая много суеверий и в особенности суеверие матерьялизма.

Нынче рубил деревья на канаве и было хорошо. Я рад, что Миша хорош, даже рад тому, что его не тянет сюда, хотя очень будет жаль, коли ты не приедешь. Ну, прощай пока, целую тебя, Мишу, Сашу.

Л. Т.» *(84, 262 – 263)*.

Толстой наверняка бы удивился, если бы узнал, что столь поздно открытый им для себя мыслитель Африкан Шпир много ранее открыт и с тем же восторгом принят был немецким философом Фридрихом Ницше, чьи воззрения Толстой обыкновенно резко критиковал.

К большому нашему сожалению, мы снова не имеем в своём распоряжении и не можем представить читателю ответа С. А. Толстой от 18 октября на это интересное письмо Льва Николаевича. Но следующее, только от 23 октября, письмо Льва Николаевича не является непосредственным ответом жене на письмо от 18-го: за отсылкою письма последовал самоличный её краткий, «между 20 и 23-м октября», приезд в Ясную Поляну, с младшими детьми Мишей и Александрой *(МЖ – 2. С. 459)*. По воспоминаниям Сонички, Лев Николаевич сам провожал её обратно на поезд до Москвы, на станцию Козлова Засека. И не напрасно: на станции, при виде поезда, у Сони случился припадок страха и замешательства, и муж помог ей сесть в вагон. Об этом случае и многом другом — её письмо, уже из Москвы, от 23 октября, приоткрывающее некоторые душевные личные тайны Сонички Толстой:

«Как-то ты доехал с Козловки, милый друг Лёвочка? Наше, начавшееся с таких волнений, путешествие, в конце концов кончилось благополучно, если не считать того, что моё женское нездоровье дошло до такого состояния, что когда я приехала домой, то можно было подумать, что я выкинула; даже Дуняша пришла в ужас, раздевая меня. Я чувствую себя слабой и двигаться боюсь, так как движенье

усиливает моё нездоровье. Сегодня никуда не поеду, конечно, тем более, что погода ужасная.

До Тулы мы доехали стоя, и какой-то вольноопределяющийся болтал с нами без умолку и старался нам услужить. В Туле прицепили ещё 4 вагона: два второго, два третьего класса. Места брали с боя; но обер-кондуктор почему-то принял нас под своё покровительство, устроил нам в купе так, что и Саше, и мне дали по длинному дивану, а Мише вовсе отперли какое-то маленькое купе, и дали ему диван одному. Мы все отлично спали, спутницы ещё были; такая же седая мать с такой же 12-ти летней девочкой, обе приятные. Очень было мне кстати, что я хоть лежать могла. В вагоне всё вспоминала, как я растерялась глупо и как ты меня окружил рукой и повёл, как ребёнка, и сразу мне стало спокойно, и я отдалась в твою волю, потеряв свою. Как жаль, что в жизни моей мало мне приходилось так отдаваться твоей воле, это очень радостно и спокойно. Но ты неумело брался за это и не последовательно, а лихорадочно: то страстно, то вовсе забывая и бросая меня, то сердясь, то лаская, — обращался со мной.

Саша уже взялась за ученье, а Миша, к ужасу моему, разделся совсем голый и лёг спать. Теперь 1-й час, и он всё валяется, и что бы я ему ни говорила, он упорно молчит и лежит в постели. Мы и кофе пили утром, и завтракали, и занимались всякий своим делом, — он всё валяется. Пожалуй, что уж лучше пусть он поступает под дисциплину училища, когда дома мы не сумели его воспитать строго.

Тут Борис Нагорнов приходит завтракать; Юша с утра за фортепиано; был от Грота издатель киевский с иллюстрациями к «Войне и Миру», просит позволения от имени старого художника академика и бывшего профессора живописи Ковалевского приехать в Ясную Поляну, показать рисунки и просить тебя дать указания на те художественные моменты в романе, которые стоят того быть иллюстрированными. Он будет тебе писать. У него уже 60 больших рисунков.

Посадили ли мои деревца? Что Андрюша? Как будете теперь жить *скучную* тёмную осень после такой весёлой и светлой? — Я и теперь, освежившись своей поездкой и общением с тобой, чувствую себя бодрей для всякого дела и твёрже духом.

И прощай теперь, целую тебя крепко. Что-то у меня переменилось в моих душевных отношениях к тебе, и что-то стало хорошее. Иногда хорошо сделаться слабой, чтоб полюбить ту силу, которая тебя поддержит именно в ту минуту, когда это было нужно. И со мной так было в эти полтора года слабости души и тела со смерти Ванички. Целую Лёву и трёх дочерей, включая милую Дору.

Твоя Соня» *(ПСТ. С. 655 - 656).*

К тому же дню, 23 октября, относятся сразу две корреспонденции от Л. Н. Толстого: открытка и письмо. Открытка была деловая, писанная «вдогонку», но по серьёзному поводу. В Иркутском дисциплинарном батальоне находились приговорённые за отказ от военной службы крестьяне Пётр Ольховик и Кирилл Середа, за которых хлопотал Толстой. Софья Андреевна не симпатизировала этим новым в тогдашней России мученикам за веру. Быть может, и поэтому, а быть может, и действительно позабыв сказать, Лев Николаевич обращается с просьбой к жене:

«Это не письмо, а только напоминание того, что я забыл: пожалуйста, пожалуйста, — это не поручение, а просьба, при встрече с каждым человеком спрашивать: 1) нет ли знакомых в Иркутске таких, которые могли бы принять участие в заключённых и навестить их, и 2) не нужно ли кому хорошего, трезвого, презентабельного человека в швейцары, писаря (тоже спросить у Буланже) на жалованье от 8 р. до 30.

Л. Толстой.

Вчера доехал прекрасно. Как ты, моя милая?» *(84, 263 - 264).*

Устраиваемый в швейцары мог быть из мужиков, а мог быть и кем-то из «тёмных», неустроенных в жизни толстовцев, просьба за которых напрямую, устно, так же могла вызвать неприязненный отклик Софьи Андреевны.

Отправить открытку «с оказией» до почты не получилось, и, обретя неожиданно время для написания более пространного и личного письма, Толстой садится за написание его в тот же день, отправив затем, вместе с открыткой, жене следующее:

«Написал тебе это *«не письмо»*, милый друг, и хотел послать с Таней, уехавшей в Тулу, но не успел — она уехала, и вот пишу письмецо, которое сам свезу в Ясенки. Очень мне вчера было сердечно хорошо провожать тебя, только жалко было, что ты испугалась, и досадно было на бедного, лишённого главного человеческого чувства понимания жизни других людей и поэтому до идиотизма эгоистического Мишу. Пишу это отчасти, даже не отчасти, а совсем для него: ему нужнее всякой тригонометрии и Цицерона учиться понимать жизнь

других людей, понимать то, что для других несомненно и часто отравляет жизнь, а для него совершенно неизвестно, то, что другие люди также радуются, страдают, хотят жить так же, как и я. Он совершенно лишён этого чутья, и ему надо вырабатывать в себе это чутьё, потому что без него человек — животное и не простое, а страшное, ужасное животное. Говорю я это ему не потому, что он вчера в вагоне, как ты кротко выразилась, ворчал, а потому, что я никогда, исключая как в важных катастрофах, как твоя болезнь, не видал в нём ни искры сочувствия и интереса к чужой жизни — сестёр, братьев, твоей, моей. Сочувствие же истинное может выразиться только в обыденной жизни, а не в катастрофах; в исключительных случаях сочувствие не есть сочувствие страдающему, а опять эгоизм — страх перед нарушением привычного и приятного порядка жизни. Меня этот эгоизм ужасает и действует на меня как вид ужасной, гноящейся, вонючей раны.

Я давно набираю это чувство и вот высказал, только больно то, что знаю вперёд, что всё, что я сказал, будет спокойно откинуто, как нечто неприятное, нарушающее эгоистическое самодовольство. Если же нет, и ты, Миша, подумаешь и заглянешь в себя и согласишься и захочешь вызвать в себе недостающее, то я буду очень рад. Только признать свои несовершенства, и сейчас же выступят сами собой все хорошие свойства. А они есть в тебе.

Очень уж наболело у меня сердце от этих двух мальчиков. Андрюша, который вчера не пришёл к тебе, вернулся опять Бог знает когда. Я лёг во 2-м часу, его не было. И нынче доволен и горд и куда-то исчез опять.

Ужасно тяжело видеть в моей семье такое противуположное всему тому, что не только теперь, но всегда прежде считал хорошим.

Ну, довольно. Тебе и так скучно, а я ещё докучаю. Да хотелось излить горе. А кому же ближе, как тебе. Лёва нынче, смотрю, вставляет сам двойную раму с Дорой. Я всегда этому радуюсь. Маша ходила на деревню к больным; учит сейчас и переписывает письмо, которое я написал <22 октября> Иркутскому начальнику дисциплинарного батальона.

Я утро спал, писал, последние дни в своей работе запутался и был бы огорчён, если бы не знал, что это бывает и пройдёт и ещё лучше уяснится. Ты не скучай и не унывай. Ты говорила, что твой приезд мог быть для нас не так приятен, как прежний. Я, напротив, очень был тобой доволен, и очень хорошо было с тобой, и хотел бы тебя не покидать и для тебя и для себя в духовном отношении.

Таня решила переезжать, я не спорю, но я, если думал, то решил, когда выпадет снег; нынче ветрено и похоже на приближение снега.

Я нынче всё утро в постели сочинял стихи в роде Фета, в полусне. В полусне только это простительно.

Целую тебя, Мишу и Сашу.

Ещё событие у меня то, что читаю прекрасную, удивительную статью Carpenter, англичанина, о науке» *(Там же. С. 264 – 265).*

George Edward Carpenter

Эдвард Карпентер (1844 – 1929) – известный в своё время английский поэт-социалист, философ, публицист, публичный (не скрывавший своей ориентации) гомосексуалист и один из первых активистов движения «За права геев и животных». Как и Лев Николаевич, он был известным сторонником вегетарианства. Статья Э. Карпентера «Современная наука» так увлекла Толстого, что, по его просьбе, её перевёл на русский язык С. Л. Толстой, и в 1898 году она была напечатана с предисловием Толстого в журнале «Северный вестник», в № 3.

25 октября супруги вновь обмениваются письмами. Письмо Л. Н. Толстого, написанное утром, по необходимости короткое: он торопился отправить его мимо почты, вместе с сыном Андреем:

«Пишу несколько слов с Андрюшей, который всё так же огорчителен и жалок. Хотел уехать вчера, не простившись почему-то, — провёл ночь вне дома и теперь уезжает с скорым. Как ты перенесла своё

положение и дурную погоду? Не переставая думаю о тебе. Писем ещё не получали. Верно[?] нынче получим.

Вот просьба, но только чтоб из-за неё ты ничего не предпринимала. В прилагаемой книжке <Карпентера> вторая статья: «Modern science» очень хороша, и мне бы хотелось перевести её. Маня, в особенности с помощью своего отца, могла бы прекрасно перевести. Статья небольшая, и, если ей это улыбается, я очень прошу её это сделать. Но именно, если это ей приятно.

Целую тебя, Мишу и Сашу.

Л. Т.» *(84, 266)*.

Ко времени вечернего, 25 октября, писания С. А. Толстой ответного письма к мужу ею только от него были получены целых *три* корреспонденции: открытка и письмо от 23-го и вышеприведённое письмо, только что привезённое сыном Андреем. Ответила она одним большим письмом, следующего содержания:

«Сегодня сразу получила столько писем, что не знаю, кому и отвечать, потому уж всем вместе, милые друзья. Поручения ваши постараюсь завтра же все исполнить, и вещи послать, думаю, багажём на Козловку. Лёве я послала в Тулу три вещи: чек на 300 р., рукопись из его стола и бумагу из консульства с инструкцией от меня со слов артельщика, что надо делать, чтоб не платить пошлины за вещи, которые ещё не пришли ни на вокзал Николаевской дороги, ни на таможню, артельщик везде был.

Маню я вряд ли увижу, но напишу ей о переводе <статьи>. Говорить *всем* об Иркутске <о заключённых в дисциплинарном батальоне. – *Р. А.*> очень трудно, потому что я *никого* не видаю.

Вчера была на квартетном концерте и давно не испытала такой скуки, да ещё при Бетховенской сонате ор. 106! Длинно, дурно и бездарно сыграно, трудно страшно, — и всё это неизвестно зачем, только чтоб этот налитый кровью, толстый, здоровый шотландец показал, какие он может выделывать фокусы на фортепиано. <*Фредерик Ламонд* (*Frederic Lamond*, 1868 – 1948), исполнивший в тот вечер сочинения Бетховена и Брамса. – *Р. А.*> Еду домой, светло, как днём, от этого огромного зарева пожара. Спрашиваю: «где горит?» — «На Пресне». — Сбор был всем частям Москвы, и всё-таки сгорело 12 домов, потому что ветер был ужасный. — Сегодня в газетах читаю: Большой Конюшковский переулок горел. Я скорее оделась, побежала

к Варичке, ведь она там как раз живёт в этом переулке. Но их дом цел, а её, к сожаленью, не застала, только посидела с Истоминой, приехавшей с тою же целью. Перепугались и Нагорновы и Колокольцовы ужасно, искры летели очень далеко, но всё обошлось у них благополучно.

Вечером пришли Бутенёв <товарищ М. Л. Толстого. – *Р. А.*>, Бухман, приехал Андрюша, которого и я очень упрекала; но он притерпелся, молчит, но видно, ничто его не трогает уже. Мише тоже прочла твоё письмо <от 23 октября>, Лёвочка, и он слушал, как будто не протестовал, а потом говорит: «Папа́ в Ясной, только что я приехал, уже возненавидел меня и начал преследовать». Он всё болен, сегодня опять живот болел, теперь запор, и зубы болят у него. Сегодня Истомина говорит, что то, что у Миши, то в Москве эпидемично, и доктора это назвали: *желчный тифоид* и успокоились. Явления именно как у Миши: тошнота, иногда озноб, отсутствие аппетита, сонливость и вялость. Так три недели держит, и всё люди на ногах, а потом проходит. Хорошо бы если так, а то он и в лицей ни разу не ходил.

Как мне понятна во всём Дора. И этот детский восторг, что снег пошёл, я его часто испытывала. Целую её, и вас, девочки, и Лёву, и тебя, Лёвочка. Саша здорова, гуляла, играла с Бухманом в воланы, я им купила новые, а завтра мы с ней поедем кофточку заказывать. Я всё читала философию Шпира, совсем не играла ещё и всё устраиваюсь с домом, платьями и всякими скучными делами. — Ты мне внушаешь, Таня, что я самая счастливая женщина. А я тебе скажу, что счастье всё от своего внутреннего состояния, а не от внешних причин. А у меня мало внутреннего содержания.

Были у меня Горбунов и Маклаков. Завтра придёт Грот, и я ему отдам статью <Шпира>.

Теперь всё. Прощайте, иду спать.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 656 – 657).*

Огромный интерес Л. Н. Толстого к сочинениям малоизвестного в России философа Африкана Шпира вызвал особую настороженность цензуры, и публикация его сочинения в журнале «Вопросы философии и психологии» не состоялась.

По хронологической последовательности, на очереди — письмо Л. Н. Толстого от 26 октября (не являющееся, однако, ответом на вышеприведённое письмо Софьи Андреевны):

«От тебя ещё не было ни одного письма, милый друг Соня, а я пишу уже третье. Я знаю, что ты не виновата, но мне приятно самому себе похвастаться своим чувством к тебе. Не переставая думаю о тебе, и так хочется влить в тебя спокойствие и уверенность, которые сам чувствую в жизни и которых, я знаю, тебе недостаёт, и без которых жить и страшно и стыдно, точно мне дали хорошее приличное платье, а я всё надел навыворот и хожу, неприлично оголившись. — Знаю и утешаюсь тем, что это временно. Та сила жизни, энергия жизни, которая есть в тебе, запутавшись сначала, после потери привычного русла, и попадая, куда не надо, найдёт тот путь, который предназначен, — один и тот же всем нам. Я надеюсь и верю, потому что люблю тебя. Самыми странными и непредвиденными нами путями, но сила, жизнь найдёт предназначенное ей русло. Ну, довольно об этом.

У нас нового только то, что пошёл было снег и напал порядочно при 4-х°, так что Марья Александровна приезжала на санях, а теперь тает, и дурная, самая осенняя погода. Вчера вечером, — нынче 26, — приехал Серёжа. Нам всем он приятен. Если не давала Мане переводить, оставь книгу <Карпентера> и пришли сюда, я лучше дам её перевести Серёже.

Только ёлочки не успели посадить, а те хорошо посадили. Ещё будет тепло.

Я очень плох, — недоволен собой, — ничего не работается и в небодром настроении, — слаб, стар, главное желудок не действует. Стараюсь привыкать и переставлять букву *д* и *б*. Не бодр, так добр стараюсь быть, и отчасти удаётся, насколько это возможно в нашей роскошной, недоброй жизни.

Практический совет тебе хочется дать: вставать раньше для того, чтобы, главное, ложиться раньше и не сидеть по ночам. Это не помогает уяснять мысли, а напротив. — Мне всегда жалко слышать, когда ты рассказываешь, что не спала до 2-х, до 3-х.

Что Миша? Очень жалею, если письмо моё его обидело. Я написал это под впечатлением его таинственного исчезновения вечером и потом ворчанья на тормозе, да и многих прежних впечатлений. Правда, что в эгоизме и отсутствии чутья о жизни других нельзя упрекать, но можно только помогать развивать это чутье. Вот это то я желал бы сделать, но не умел. Нынче написал письмо Андрюше, послал в Тверь.

Ну, прощай, целую тебя. Мишу, Сашу.

Теперь 1-й час дня. Я и не садился за свою работу, а хочу свезти это письмо на Козловку.

Л. Т. […]» *(84, 266 – 267).*

В ответ — такое же доброе и грустное, «стариковское», но полное любовного участия письмо от Софьи Андреевны, датируемое приблизительно, 27 или 28 октября (Софья Андреевна проставила дату 26 октября, без сомнения ошибочную). Начинается оно со знакомого уже нашему читателю предупреждения адресату, указывающего на интимность содержания:

«*Читай один.*

Милый Лёвочка, твои частые письма для меня всё та же твоя рука, которая, обняв меня сзади, повела и поддержала меня насильно, когда я испугалась приближавшегося поезда и совершенно растерялась. Спасибо тебе за них; я совсем не достойна твоей доброты, чувствую себя настолько хуже тебя, что никогда не подняться мне до твоего душевного состояния. Но я постараюсь и надеюсь достичь того, что никогда уже не сделаю тебе больно ничем, даже в мелочах. Далеко мне ещё до того, чтоб приобрести полное спокойствие души, и не вижу я ещё ясно пути моей *будущей* энергической жизни. Всё назади, а вглядишься вдаль, вперёд, и только мрак. Лучше не глядеть. Сила же моей энергии, о которой ты говоришь, продолжает быть направлена на то, чтоб *забываться*. Если не достигаешь этого — сейчас болезненная тоска. Впрочем, после поездки в Ясную я живу лучше, бодрее и твёрже. Удивляюсь, что вы мои письма не получаете. Я писала два тебе, одно Лёве, и ещё, кажется, одно. В день моего приезда я писала, и ещё не помню, какое именно письмо, но одно сама в ящик опустила.

О переводе я писала Мане, но книгу ещё ей не посылала, ждала её ответа. Вчера вечером приходил ко мне Грот, я его вызвала запиской и передала Шпира. Он сидел со мной вдвоём до 12 часов, и мы отлично разговаривали; я люблю умных и живых людей, а он именно таков. До 11-го часу ещё сидела у меня Ольга Васильевна Алмазова с дочерью Любой, с которой Саше было очень весело; они ровесницы и играли вместе, а у Миши были мальчики: Дьяков, Глебов, два Данилевских <Андрей и Сергей, товарищи Михаила Львовича. – *Р. А.*> и два Берса <Сыновья Александра Андреевича Берса, Андрей и Александр. – *Р. А.*>. Андрюша вчера же уехал в Тверь, высказав мне самое горячее желание сделаться лучше, и, сам себя обманывая, красноречиво описал мне свои планы скромной и нравственной жизни. — Но я увы! уже ему не верю. — Ты пишешь, что посылаешь мне твоё письмо к нему, а я никакого не получала. Да что это с вами

сделалось? То вы наклеили 5 коп. марки, и с меня взяли 14 к.; а то сегодня опять 14 коп., письмо вовсе без марки.

Сегодня я вдруг решила, к великому восторгу Саши, везти её в Малый театр. Вот мы и поехали с ней на серых, вдвоём; взяли два сталя <откидные места в Малом театре, под амфитеатром. – *Р. А.*> и смотрели «Недоросль» и «Женитьба Бальзаминова» Островского. Обе пьесы очень смешные, весь театр полон подростками, которые так веселили слух своим детским весёлым хохотом на весь театр. Оттуда вернулись конкой. Обедали втроём — третий Юша; а Миша куда-то ушёл; кажется с Данилевским. Юша мне очень приятен; играет, пишет фуги, играет со мной в 4 руки, очень услужлив и внимателен, не то, что мои сыновья, и много он читал, всем интересуется. Потом Саша уроки готовила, а я читала и вот пишу, а Саша с Бухманом играет в столовой в воланы.

Очень мне грустно, что ты чувствуешь себя слабым и вялым. Надо тебя получше питать. Право, начни яйца есть, тебе и Дунаев очень советует; надо же себя поддержать, а одной растительной пищи мало уж теперь, когда старость пришла и энергии жизни меньше. Я теперь совсем здорова и сплю хорошо; совет твой очень хороший, но я без тебя не умею рано ложиться.

Ну прощай, мой друг милый, дай Бог тебе бодрости, спокойствия и сил духовных для любимой работы. Целую тебя и моих детей всех. Бедный Серёжа, как у меня за него сердце болит часто. <Из-за отношений сына с женой. – *Р. А.*> У вас ли ещё он?

Прощай и прости за всё, что тебя во мне огорчает.

Твоя Соня Толстая» *(ПСТ. С. 658, 661 - 662).*

28 октября Софья Андреевна удовлетворённо сообщала сестре Тане: «Лёвочка стал со мною необыкновенно ласков и терпелив (точно боится меня потерять). Я последнее время особенно чувствую на себе его влияние в смысле духовной охраны. Он понял потерю моего душевного равновесия и постоянно мне помогает добро и ласково» *(Цит. по: ПСТ. С. 459).*

Таким же хорошим, хотя и более коротким, было и следующее, от 29 октября, письмо Льва Николаевича, писанное ещё до получения последнего из приведённых писем Софьи Андреевны:

«Вот похвастался <в начале предыдущего письма. – *Р. А.*> и два — даже, кажется, три — дня не писал тебе. Вчера хотел сам свезти это письмо Маши в Ясенки, но выехал верхом на Мальчике и нашёл, что так бойко и скользко, что был благоразумен и вернулся. Спасибо за

письма, ты, кажется, строго исполняешь обещанное и пишешь через день. Мы так и получаем. Нынче должно быть. Я схожу за ними на Козловку. Погода прекрасная, — снежок прикрыл всё, — мороз и солнце. Дай Бог, чтобы письмо было хорошее, т. е. чтобы тебе за это время было хорошо и чтобы с тобой ни внутренно, ни внешне ничего не случилось дурного. Впрочем, внутренняя жизнь тем хороша, и потому она настоящая, что в ней всегда всё идёт — иногда и незаметно, и разными обходами, — а всегда к лучшему. И всё, что нехорошего случается в матерьяльной жизни, — в внутренней — всё вырабатывается в хорошее. Я здоров, но желал бы больше свежести головы. Целую Мишу, Сашу. О тебе всё также с любовью хорошей думаю.

Андрюшино настроение, как бы оно ни было мимолетно, всё-таки хорошо» *(84, 268)*.

Письмо С. А. Толстой от 31 октября не опубликовано. Из него в комментариях к встречному, тоже 31 октября, письму Л. Н. Толстого приведена в томе его писем к жене следующая цитата: «Едет к вам Маклаков... и говорят, что ему необходимо для защиты бабы побывать в Туле и Ясной» *(Цит. по: 84, 269)*. Старый знакомый семьи Толстых, юрист Василий Алексеевич Маклаков (1869 - 1957), принадлежал, по “классификации” Софьи Андреевны, «к людям *своего* круга» *(ДСАТ – 1. С. 468)*. Был он весьма полезен и Льву Николаевичу: защищал по его просьбе в суде разных лиц (в том числе крестьян) и часто консультировал писателя по юридическим вопросам.

О приезде Маклакова послана была, прежде письма, Софьей Андреевной телеграмма, также упоминаемая Толстым в ответе от 31 октября, но не сохранившаяся.

Кроме того, судя по письму Л. Н. Толстого от 31 октября, Софья Андреевна сообщала и о собственном готовящемся приезде в гости. Приводим теперь полностью это письмо Л. Н. Толстого:

«Хотел нынче писать тебе, милый друг, да сначала заснул, потом пошёл вечером гулять по снегу и так через силу устал, что не успел. Теперь же поехал встречать Таню на Козловку (так славно парочкой в санях по глубокому, мягкому снегу), и вот, дожидаясь её, взял у начальника станции бумаги и пишу тебе. Сейчас получил твою телеграмму о приезде Маклакова, и стало быть, если с московским поездом, который опаздывает и тоже не приходил, не будет от тебя письма, то будет с Маклаковым, и узнаю о тебе. Не переставая, мыслью живу с тобой. Вчера получил твоё письмо <28 октября> к Тане.

Я всё это время не хорош здоровьем — слабый желудок и унылость, и тупость мысли, — нет работы.

Вчера получил от Черткова и Трегубова письма с описанием бедствий, претерпеваемых духоборами. Одного, они пишут, до смерти засекли в дисциплинарном батальоне, а семьи их, раззорённые, как они пишут, вымирают от бездомности, голода и холода. Они написали воззвание за помощью к обществу <Знаменитое воззвание «Помогите!», за которое Чертков, Бирюков и Трегубов подверглись ряду правительственных репрессий. – *Р. А.*>, и я решил послать им из наших благотворительных денег тысячу рублей. Лучшего употребления не найдут эти деньги, и они тебя поблагодарят за то, что ты против моего желания выхлопотала эти деньги. <«Гонорар из театра автору за “Плоды просвещения” и “Власть тьмы”, сначала поступавший голодающим, потом погоревшим крестьянам; и из них Лев Николаевич взял и духоборам». – *Примечание С. А. Толстой.*> Поэтому, когда приедешь, привези эти деньги, или подожди, я спишусь с Чертковым, куда их послать. Передаются же деньги верно через одну всем знакомую княжну <Елену Петровну> Накашидзе, которая уже передавала им деньги от квакеров.

Это известие было для меня главным событием за это время. Я написал <в защиту духоборов> ещё письмо к кавказскому начальнику батальона. Поезд подходит. Целую тебя, милый друг, и жду от тебя всего радостного и хорошего. Наши здоровы. Дора скучает, что ещё месяц дожидаться возможности детей.

Л. Т.

31 Окт. 96» *(84, 268 – 269).*

За этим письмом снова следует небольшой перерыв в переписке супругов в «посткатастрофический» в их семейной жизни 1896 год.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ФРАГМЕНТА
СОРОК ПЕРВОГО ЭПИЗОДА.

Фрагмент 41.4.
ЗАШНУРОВАНО ПЛОТНО
(9 – 16 ноября 1896 г.)

В этот свой приезд Софья Андреевна застала мужа в характерном для него «невесёлом», углубленном в себя настроении размышлений о жизненном пути и смерти. Их хорошо иллюстрирует такая запись в его Дневнике под 1 ноября: «Вчера, ходя ночью в метель по снегу, натрудил сердце, и оно болит. Думаю, что я очень скоро умру. Затем и записываю. Думаю, что умру без страха и противления» *(53, 116)*. Жена вывела его из этой, медицинско-философического окраса, осенней депрессии, завязав 4 ноября разговор о насущном: в который раз уже — о передаче ей прав на *все* сочинения. Это, конечно, очень облегчило бы соничкин издательский бизнес, минимизировало бы «канцелярскую» рутинную работу для самого писателя и оптимизировало бы семейные доходы с книгоиздания. Но муж не изменил принципам:

«Он наотрез мне отказал недовольным тоном. Я огорчилась и упрекнула его за непоследовательность его принципов, за то, что я одна работаю, а все пользуются моими трудами. Наговорила ему много по этому поводу. Но это не расстроило наших отношений…» *(МЖ – 2. С. 461)*.

Катастрофа гибели младшего сына была ещё недавним прошлым, и ни физически, ни морально оба супруга не имели в себе пока достаточно “пороха” для сколько-нибудь ожесточённой ссоры. Всё лето и всю осень 1896 года тлела в Толстом тихая ревность к “музыкальному любовнику” Софьи Андреевны, Сергею Танееву — но так и не разразилась в это время никакой “грозой”.

Вернулась в Москву Соня 8 ноября, а 9-го известила о возвращении мужа — письмо это её не опубликовано. Лев Николаевич ответил письмом, датируемым приблизительно 9 или 10 ноября, такого содержания:

«Очень жалею, что не написал тебе вчера, милая Соня, хотя это был только второй день после твоего отъезда. Тебе, ты говорила, и приятны и полезны мои письма. А уж я как желаю, не переставая желаю, сделать тебе хорошо, лучше, облегчить то, что тебе трудно, сделать, чтоб тебе было спокойно, твёрдо, хорошо. Не переставая думаю о тебе. Как-то жутко за тебя: ты кажешься так нетверда и вместе с тем так дорога мне. Лёва уехал с Дорой, как хотел, и не приехал нынче. Видно, им там хорошо. Завтра за ним выедут опять. Вчера

приехала Марья Александровна Дубенская и Коля Оболенский. Девочки, кажется, очень рады им обоим. Они не стесняют и приятные собеседники. Вчера же была Шеншина вечером. Я ездил в Тулу, как и сказал тебе, в тот день, как ты уехала, а вчера на почту и нынче без цели катался верхом. Погода хороша. По утрам пишу и не жалуюсь, хотя, разумеется, недоволен собой. Сейчас девочки с Марьей Александровной и Колей едут на Козловку, может быть, привезут от тебя письмо, и хорошее.

Как ты нашла Мишу?

Целую Сашу. От Андрюши письмо в Ясную Поляну для передачи А. М. — это Акулине Макаровой. <Яснополянская крестьянка. – *Р. А.*> Удивительно это постоянство или упорство. Это неприятно, и для него, кроме дурного, из этого ничего выдти не может; но в этом постоянстве есть что-то хорошее. И я за это рад. По секрету скажу тебе, что моё столкновение с Лёвой оставило во мне тяжёлый, очень тяжёлый осадок, и мне нужно уничтожить его, и я буду очень стараться.

Ну, пока прощай.

Л. Т.» *(84, 270)*.

Упоминание Толстого о споре с сыном Львом возвращает нас к тому же роковому дню 4 ноября, когда произошла недолгая размолвка его с женой об издательских правах. В Дневнике под 5 ноября о том и другом Толстой сделал следующую запись:

«Вчера был ужасный день. Ещё 3-го дня я за обедом высказал горячо и невоздержно Лёве мой взгляд на неправильное его понимание жизни и того, что хорошо. Потом сказал ему, что чувствую себя виноватым. Вчера он начал разговор и говорил очень дурно с мелким личным озлоблением. Я забыл Бога, не молился, и мне стало больно, и я слил своё истинное я с скверным — забыл Бога в себе, и ушёл вниз. Пришла Соня, как вчера, и была очень хороша. Потом вечером, когда все ушли, она стала просить меня, чтобы я передал ей права на сочинения. Я сказал, что не могу. Она огорчилась и наговорила мне много. Я ещё более огорчился, но сдержался и пошёл спать. Ночь почти не спал, и тяжело» *(53, 116)*.

Утром 12 ноября Толстой пишет жене снова, теперь уже отвечая на Сонино письмо от 9-го:

«День не писал тебе, милый друг, и мне уже скучно. Писать лучше, чем думать, только больше сближает. Получил твоё маленькое письмецо, в котором ты пишешь, что измучалась и нездоровится, и не спала до 4-го часа. Это всё очень дурно. И то самое, что мне мучает в разлуке с тобой. У нас всё хорошо и мирно. Не скажу, чтобы особенно весело, но и не дурно. Коля и Мар[ья] Ал[ександровна] Дуб[енская] из чужих. По-моему, хоть и не мешающие, а всё-таки лишние, и без них лучше. Девочки были заняты, и им же веселее от этого. Но они работают много, и на них я всегда радуюсь.

От Ивана Михайловича Трегубова и Черткова получил ответ о том, куда послать деньги духоборам, и ещё подробности об их бедственном положении. Письмо это прилагаю. Я думаю, что скоро возбудится сочувствие к ним и помощь, и хорошо начать. Деньги послать вот как: Тифлис. Мало-Каргановская, № 11. Князю Илье Петровичу Накашидзе, а внутри конверта, на бумаге, в которую будут завернуты деньги, надписать: для Е. П. Н.— Е. П. Н. — это Елена Петровна Накашидзе, и она дала этот адрес. Пожалуйста, пошли эти деньги. Это нужно.

Я тебе говорил, кажется, про чернильницу какую-то дорогую, которую в подарок мне хотели прислать из какого-то клуба в Барцелоне. Я написал им через Таню, что предпочитал бы предназначенные на это деньги употребить на доброе дело. И вот они отвечают, что, получив моё письмо, они открыли в своём клубе подписку и собрали 22. 500 франков, которые предлагают мне употребить по усмотрению. Я пишу им, что очень благодарен, и как раз имею случай употребить их на помощь духоборам. Что из этого выйдет, не знаю. Очень это странно. А чернильница, говорят, — заказана, и мы её всё-таки пришлём, вы можете продать её и употребить деньги, как хотите.

[КОММЕНТАРИЙ.

Сохранилось пять писем к Толстому из Испании от некоего Деметро Занини. В последнем письме от 27 декабря 1896 г. он сообщал, что предполагает разыграть в лотерее заказанную чернильницу и надеется выручить за неё 50 000 франков в пользу духоборов. Дальнейших извещений из Испании не последовало, и ни денег, ни чернильницы Лев Николаевич так и не увидел. – *Р. А.* **]**

Я совершенно здоров и бодр. Езжу верхом после обеда. Вчера был у Гиля, хлопотал за мать умершего в шахте и за тех, с кого взыскивают судебные издержки, с одного 270, с другого 250 рублей за то,

что один сломал спину, а другой ногу. И кажется хлопоты мои не безуспешны.

[**КОММЕНТАРИЙ**.
Роберт Ричардович Гиль был владельцем угольных копей, цементного, кирпичного и химического известкового заводов в 8 км. от Ясной Поляны. Все предприятия Гиля были печально известны чудовищным условиями труда и огромным количеством искалеченных и погибших на них людей русского трудового народа. – *Р. А.*]

Работы — пишу во множественном числе, потому что у меня много начатых, идут не слишком успешно, но и не дурно. <В ноябре 1896 г. Толстой работал над произведениями «Христианское учение», «Что такое искусство?» и «О войне». – *Р. А.*> Начерно кончил статью об искусстве, и вот, когда Маша кончит переписку, постараюсь привести её в окончательный вид. — Что ты про таинственного Мишу мало пишешь. Нынче думал всё о нём. Как всё переменилось. Для меня в моей юности казалась чем-то ужасным жизнь вне дома, в казённом заведении, а ему это приятно. <М. Л. Толстой поступил с пансионом в гимназические классы Московского лицея им. цесаревича Николая. – *Р. А.*> Как он? Целую вас всех троих.

Л. Т.» *(84, 271 – 272).*

Живущая с отцом Татьяна Львовна получила 12 ноября письмо от матери, содержание которого довела и до сведения отца. И тот 13 ноября пишет жене ещё одно письмо:

«Ужасно грустно мне было, милая голубушка Соня, получить вчера твоё письмо к Тане, в котором ты жалуешься на то, что мы тебе не пишем. Я пишу теперь третье письмо. И они писали. Меня только огорчает, что я после твоего отъезда пропустил день. Надо было рассчитывать на промедление.
Ты спрашиваешь: люблю ли я всё тебя. Мои чувства теперь к тебе такие, что, мне думается, что они никак не могут измениться, потому что в них есть всё, что только может связывать людей. Нет, не всё. Недостаёт внешнего согласия в верованиях, — я говорю внешнего, потому что думаю, что разногласие только внешнее, и всегда уверен, что оно уничтожится. Связывает же и прошедшее, и дети, и сознание своих вин, и жалость, и влечение непреодолимое. Одним словом, завязано и зашнуровано плотно. И я рад.

У нас всё хорошо. Дружно, здорово. Мне очень хочется скорей соединиться с тобой. Работается плохо, а нынче решил, что не нужно себя насиловать, а отдыхать, и нынче чудный день, солнечный, поехал верхом к Булыгину утром, так что обедал один в 4. А Лёва с Дорой ездили в Тулу кастрюли покупать. Марья Александровна Дубенская нынче уехала.

Зовут ужинать. Что ты всё не бодра и письма твои нехорошие по духу. Очень, очень хочется поскорее с тобой быть, и без хвастовства, не столько для себя, сколько для тебя, но так как ты — я, то и для себя.

Не понравилось мне то, что тебе статья Соловьёва понравилась.

Ну, прощай пока.

Л. Т.» *(84, 272 - 273).*

Философ В. С. Соловьёв, подобно Н. Ф. Фёдорову (и примерно в те же годы), жёстко идейно разошёлся с Толстым, отстаивая собственные оригинальные воззрения на христианство и, в частности, на религиозную нравственность. И, как и в случае с «космизмом» Фёдорова, основная концепция Соловьёва о «всеединстве» была по существу значительно ближе к толстовским идеям, чем желали признать трое великих мыслителей. Их разногласия по фундаментальным идеям были в немалой степени вызваны как раз непростыми характерами всей троицы. Но разводила Соловьёва и Толстого, конечно же, и вера: то, что Лев Николаевич называл «религиозным пониманием жизни». В названной статье, напечатанная в двух номерах журнала «Вопросы философии и психологии» за вторую половину 1896 г. — №№ XXXIV и XXXV — Соловьёв явно держится за предрассудки древнейших, нежели христианское, языческого и еврейского жизнепониманий. Так, например, Соловьёв высказывает следующий взгляд на брак: «в истинном браке естественная половая связь не уничтожается, а пресуществляется. Для нравственной задачи этого пресуществления необходимыми данными служат естественные элементы полового отношения: 1) плотское влечение; 2) влюбленность, и 3) деторождение. Нормальная *семья* есть ближайшее восстановление нравственной целости человека в одном основном отношении — преемственности поколений». Толстой не признавал такой «модернизации» православного догмата о браке, как и самый этот догмат. О патриотизме Соловьёв утверждал там же: «Патриотизм, как добродетель, есть часть общего должного отношения ко всему, и эта часть в нравственном порядке не может быть отделена от целого и противопоставлена ему». О церкви и государстве:

«государство признаёт за вселенскою церковью принадлежащий ей высший духовный авторитет, обозначающий общее направление доброй воли человечества и окончательную цель её исторического действия, и церковь предоставляет государству всю полноту власти для соглашения законных мирских интересов с этою высшею волей». К несчастью, такие взгляды встретили симпатию Софьи Андреевны, которая, впрочем, и сама себя признавала «язычницей».

На искренние строки приведённого письма Льва Николаевича — о любви к жене и множественности “связей” с ней, о их нерасторжимости — мы обращаем особенное внимание читателя и просим запомнить их!

В тот же день 13 ноября пишет *два* встречных письма и Софья Андреевна. В нашем распоряжении только одно из них, служащее ответом на письмо Л. Н. Толстого от 12 ноября:

«Милый Лёвочка, то долго не получала писем, а то третьего дня сразу получила три письма: твоё — хорошее, длинное, такое, какое я люблю, потому что почувствую тебя, и одно Лёвино, другое Машино. Хочется и мне тебе написать хорошее письмо, но не смогу, так как очень в шальном настроении эти дни (сегодня лучше), плачу, бегаю часа по четыре по улицам до изнеможения (дело всегда найдётся) и дурно сплю. Плакала я вчера с утра, потому что поливали каток и я вспоминала особенно живо Ваничку, а ещё к тому Лиза и Варя о нём разговорились, и я совсем расстроилась. Это у меня бывает днями, особенно когда я не могу играть и не слышу музыки. Вчерашний концерт по болезни Гольденвейзера был отменён, и несмотря на моё плаксивое настроение, мне вчера было особенно приятно: пришли ко мне обедать Лизанька, Варичка и Маша Колокольцова, и Маша Маклакова с мужем (такие миленькие, молодые, влюбленные друг в друга и радостные), и ещё Маша Толстая. Миша тоже отпросился из лицея к обеду, так что было так много, как давно не было; мы всё больше четверо: m-lle Aubert, Саша, Юша и я. Юша после завтра съезжает, у меня была его мать третьего дня вечером и одновременно был С. И. Танеев и потом пришёл Дунаев. Мы с Танеевым и Дунаевым разбирали, т. е. местами перечитывали и обсуждали статью Соловьёва, и Дунаев кричал громким голосом, старательно придавая *свой* смысл всему и говоря, что я не понимаю задней мысли Соловьёва и придаю всему *свой* смысл, с которым он был бы согласен, если б он был действительно таков у Соловьёва. — Пили чай на верху; Сергей Иванович играл с Сашей, Мишей и Юшей в воланы, на фортепиано не играл, дети ещё кубари гоняли, и ушли одновременно Серг. Ив. и Дунаев довольно рано.

Сегодня брала свой урок музыки у мисс Вельш, и весь день буду сидеть дома, а вечером пойду к Шидловским, у которых ещё не была. Вчера была у меня Верочка Северцова с miss Mackarthy и упрекала мне, что я не была у родных. Завтра концерт Игумнова и я, может быть, возьму Сашу, если её учительницы ей довольны. Миша тоже хотел идти, завтра царский день, и он будет дома весь день; не знаю, отпустят ли его и вечером.

Вчера утром разбудил меня Андрюша; он поехал вчера же на Курский вокзал, очевидно опять к своей девке. Ужасно грустно, и зачем его отпускают только! Всего на два дня; ехал в 4-м классе, три ночи не будет спать, худ, бледен. Хочется мне написать в полк, чтоб его не пускали, да не знаю, лучше ли, как ты думаешь? Его-то приезд меня вчера и привёл в более нервное состояние, но сегодня мне легче, хотя опять жду его на обратном пути.

Вы не упоминаете ещё о приезде, а я не имею об этом никакого мнения. Если тебе лучше, а девочкам наверное лучше, то обо мне не думайте, как-то ко всему я притупилась, и только бы всем *моим* было хорошо. Работаешь ли ты, и какое настроение твоё, и что здоровье? Не помню, написала ли я тебе о Поше, что он был и поехал в Петербург. Был ещё у меня раз Петя Раевский. Завтра отдам визиты кое-каким дамам. Вчера была у m-me Юнге, она всё хворает, вроде Марии Александровны, и очень жалка. Была ещё у Грот, о статье <Шпира> ещё не знаю, его не было дома. Была у Варички, она с делами бьётся, ничего не умеет и волнуется. У ней кое-что украли, новое платье, она очень огорчена. Ну прощай, милый друг, подробное моё письмо, чтоб ты понял мою жизнь и чувствовал меня. Целую тебя и детей.

С. Т.

Сейчас вернулся Андрюша и остаётся таинствен насчёт своей поездки. Ужасно грустно!» *(ПСТ. С. 662 - 664)*.

Это письмо — последнее от Софьи Андреевны во всём Сорок Первом Эпизоде нашей презентации. В нашем распоряжении есть ещё два послания от Л. Н. Толстого, предшествовавшие его отъезду из дома в Москву: письмо от 14 ноября и приписка к письму Т. Л. Толстой, датируемая 16 ноября. Приводим и их в хронологической последовательности.

Письмо от 14 ноября:

«Надеюсь получить от тебя письмо и хорошее, милый друг. Едем провожать на Козловку Колю и <Л. Я.> Гуревич, приехавшую нынче утром, и встречать приезжающих Илью и <А. А.> Цурикова.

Я нынче целое утро не отрываясь писал статью всё о том же — о войне. Не знаю, что выйдет из неё, но не мог не высказать пришедших мне и, кажется, могущих пригодиться людям мыслей.

Я вчера только решил не заставлять себя писать, и как раз так и случилось. Вовсе не хотел писать, а написалось.

Собой я не похвастаюсь. Уныло, грустно и тоскливо всё это время. Верно, скоро пройдёт, и нравственных причин нет, кроме заботы и мыслей о тебе, самых хороших, любовных, но грустных. Завтра Лёва едет с Дорой к тебе. Тебе будет веселей, а я, как сказал, приеду 18-го. Девочки что-то не охотятся, ну да у них, как и у всех женщин, перемен бывает много.

Завтра скажу, что после завтра буду с тобою.

Прощай, милая, целую тебя, Сашу и Мишу.

Л. Т.» *(84, 273)*.

И наконец, приписка 16 ноября к письму Т. Л. Толстой:

«Хоть несколько слов прибавлю, чтобы сказать, что живу и думаю и чувствую по прежнему. Мало работается, но приятно и отдохнуть. Серёжа был у нас, очень приятен. Про Андрея не слыхать ничего. — Жалкий мальчик. Целую вас. До скорого свиданья после завтра, если буду жив» *(Там же. С. 274)*.

В эти дни Толстой, не окончив, остановил работы над статьями «Христианское учение» и (антивоенной) «Carthago delenda est» — и впоследствии более к ним не возвращался! Все силы он отдаёт теперь своему трактату об искусстве, продолжение которого писанием считает возможным и в условиях Москвы. Намечается и продолжение «Хаджи-Мурата», для которого Толстому нужны исторические материалы, так же доступные в Москве. К 17 ноября относится довольно известная запись в Дневнике Л. Н. Толстого о том, что жизнь с любящими дочерьми в деревне для него «баловство» и «тёплая ванна для чувств». Творческого оправдания для продолжения «баловства» на тот момент не стало и «тёплую ванну» необходимо было оставить! 18 марта 1896 года он с дочерью Марией переезжает на зиму к жене и остальному семейству — в Москву.

* * * * *

«Зашнуровано плотно» — пожалуй, лучшая по краткости и точности, данная Л.Н. Толстым, образная характеристика отношений обоих участников анализируемого нами эпистолярного диалога. Но центробежные, деструктивные силы не оставили семейства в покое: как мы указали выше, только физическое и моральное состояние супругов после семейной катастрофы не дало в 1896 году вспыхнуть губительным пламенем ни ссор по прежним поводам, ни по новому, особенно унизительному для Льва Николаевича: из-за ревности к С. И. Танееву, о гомосексуальности которого он, к несчастью, не догадывался. Никуда не делся и «злой гений» семьи, приближённый друг Толстого, толстовец № 1 В. Г. Чертков, которому предстоит в следующем, 1897 году отправиться в ссылку в Англию и вернуться оттуда через годы окончательно нравственно испорченным человеком, который, по причине фанатического обожания «учителя» и общего с ним проповеднического «дела», позволит себе стать мучителем, диктатором мужа и жены и разрушителем их и без того не простых отношений.

КОНЕЦ ЧЕТВЁРТОГО ФРАГМЕНТА
СОРОК ПЕРВОГО ЭПИЗОДА

КОНЕЦ СОРОК ПЕРВОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Сорок Второй.
ИСКУССТВО БЕСПРИЧИННОГО СТРАДАНИЯ
(1 февраля – 8 июля 1897 г.)

Снова, как и перед Новым 1896-м, накануне 1897 года супруги Толстые, встретив с семейством в Москве Рождество, на самое Новогодие расстались: Софья Андреевна встречала Новый год в Гринёвке, в имении и семье сына Ильи. С нею были дочери Марья и Александра и сын Андрей.

Лев Николаевич между тем оставался в Москве, где продолжал обдумывать и создавать два основных своих, на тот момент, сочинения: теоретическое, по эстетике, известное как трактат «Что такое

искусство?», и роман «Воскресение». Но так получилось, что весь последующий, 1897-й, год прошёл для Толстого под знаком эстетики: трактат об искусстве был окончен в 1898-м и отдан в печать, а вот роман прервался писанием аж до июля 1898 года, то есть до времени, когда Толстому остро понадобятся деньги для эвакуации из России духоборов.

Соня уехала — и роман вдруг “встал”, настроение пало, а прежде написанное, не в первый уже раз, не удовлетворило Толстого. В Дневнике под 5 января появляется такая запись:

«Всё нечего записать хорошего о себе. Нет потребности работы и бес не отходит. Был нездоров дней 6. Начал перечитывать «Воскресенье» и, дойдя до *его* <Нехлюдова> решения жениться, с отвращением бросил. Всё неверно, выдумано, слабо. Трудно поправлять испорченное. […] Едва ли кончу» *(53, 129)*.

Как ни томила Толстого вставшая художественная работа — кончить с удовлетворением хоть что-то не получалось: не было творческого настроя. В литературе приведённую нами жалобу из толстовского Дневника полюбили цитировать, опуская важные слова: «*Бес не отходит*». Имя же беса, который изводил в отсутствие жены Толстого, было — *ревность*. И персонаж, на которого направлена была ревность Толстого, оставался прежний: молодой композитор Сергей Иванович Танеев, с которым Софья Андреевна сблизилась в период особенного своего увлечения музыкой: сразу после семейной трагедии, смерти Ивана Львовича, младшего сына. Внешние отношения С. А. Толстой и С. И. Танеева никогда не переходили границ знакомства и дружбы. О пристрастии к себе со стороны С. А. Толстой Танеев долгое время не догадывался. Л. Н. Толстой сохранял спокойствие во внешних отношениях с Танеевым; слушал его музыку и исполнение, охотно беседовал с ним, играл в шахматы, но не мог, конечно, совершенно не отреагировать на психологическую тяжесть создавшегося положения. С этой ревностью, по состоянию на конец 1896 года ещё не высказанной жене Толстым, во многом была связана неприятная психологическая обстановка в доме. И о причине её Соничка, судя по мемуарным записям (дневника её на эти дни нет) догадывалась *до* главных конфликтных бесед, уже в конце 1896 и начале 1897 гг. Вот что вспоминает она о той зиме:

«Хотя на вид внешняя жизнь наша шла обычным течением […], чувствовалась какая-то тяжесть жизни. Всё умалчивалось, было непросто, невесело. Я бросила свои занятия музыкой и уже не играла по-прежнему по несколько часов в день» *(МЖ – 2. С. 466)*.

И далее, уже по воспоминаниям от позднейших объяснений с мужем:

Сергей Иванович Танеев

«Бедный, милый муж мой! Со слезами пишу эти строки. Он страдал от ревности, с отвращением относился к моим музыкальным занятиям и увлечениям. А это было единственное, что давало мне в моей трудовой, семейной, сложной жизни — успокоение и радость» *(Там же. С. 467)*.

“Между строк” в этой записи ощутимо проступает женское удовлетворение, даже чувство законного торжества и превосходства той, кто могла через полные 34 года семейной жизни вызвать ревность в муже — постарелом, но, как оказалось, способном на страстные свидетельства любви.

В дневнике 25 и 15 января Толстой квалифицирует жену как больную неким унизительным (для него) сумасшествием. Во сне в ночь на 15-е ему является какое-то «оскорбление» *(53, 132)*. Вероятнее всего, неприятное сновидение так же было связано с Сергеем Ивановичем Танеевым, о гомосексуализме которого Толстой слишком долго не догадывался.

Но были причины для неудовлетворённости Толстого условиями семейной жизни — и куда более глубокие и возвышенные, нежели ревность, причём застарелые. Среди записей Дневника того же 5 января есть и такая, относящаяся к прерванной в то время художественной работе над автобиографической драмой «И свет во тьме светит»:

«Отчаяние от безумия и бедственности жизни. Спасение от этого отчаяния в признании Бога и сыновности своей Ему. Признание сыновности есть признание братства. Признание братства людей и жестокий зверский, оправдываемый людьми небратский склад жизни — неизбежно приводит к признанию сумашедшим себя или всего мира» *(53, 129)*. Конечно же, в связи с этой записью Толстой вспоминает свои «Записки сумасшедшего» — сочинение уже отдалённого 1884 года, в который, как мы помним, Толстой впервые порывался *уйти из дома*, от духовно не близкой семьи, в которой, по страшной записи в Дневнике 8 мая 1884 г., ему показались «ближе всех золоторотец Александр Петрович и Лукьян-кучер» *(49, 91)*.

В целом конфликтная атмосфера 1897 года в отношениях супругов, как и некоторые их высказывания и шаги позднее, имеют сходство с ситуацией 1910 года — разрешившей, с опозданием в десятки лет, экзистенциальную и духовную драму сожительства Толстого-христианина с не разделившими его чистой евангельской веры женой и детьми.

В письмах к людям, которым мог открыться, Толстой высказывал пожелания изменить жизнь, близкие к тем, которые выскажет в 1910 году, накануне Ухода. Так, в письме к «третьему нелишнему» (с того же самого 1884 года, как мы помним!) в Переписке с женой, к ближайшему другу, В. Г. Черткову от 12 января он интимно сообщает:

«Жизнь, окружающая меня, становится всё безумнее и безумнее: еда, наряды, игра всякого рода, суета, шутки, швыряньe денег, живя среди нищеты и угнетения, и больше ничего. И остановить это, обличить, усовестить нет никакой возможности. Глухие скорее услышат, чем кричащие, не переставая. И мне ужасно, ужасно тяжело. Если бы я сказал, что несу терпеливо, делаю, что́ могу, я бы сказал неправду. Падаю духом, озлобляюсь, молюсь безнадежно, и отвратителен сам себе. Вот это правда.

[…] И нет того, что спасало прежде: напряженной, увлекающей, поглощающей работы. Пишу об искусстве, но эта работа отчасти, особенно теперь, учёная и не захватывающая, а на другие работы нет энергии. […] В хорошие минуты говорю себе, что то, что со мной, это мне нужно, что так нужно дожить до смерти, а потом — опять возмущение и желание и упрёк, зачем не дано мне хоть перед смертью пожить, хоть год, хоть месяц, свойственной мне жизнью, вне той лжи, в которой я не только живу, но участвую и утопаю» *(88, 4)*.

И о том же — в письме 12 января возлюбленной дочери Маше:

«Жизнь, окружающая меня и в которой я по какой-то или необходимости, или слабости, участвую своим присутствием, вся эта развратная отвратительная жизнь с отсутствием всяких не то что разумных или любовных к людям, но просто каких-либо, кроме самых грубых животных интересов нарядов, сладкого жранья, всякого рода игры и швырянья под ноги чужих трудов в виде денег, и это даже без доброты, а, напротив, с осуждением, озлоблением и готовностью раздражения на всё, что против шерсти, до такой степени временами становится противна мне, что я задыхаюсь в ней и хочется кричать, плакать и знаешь, что всё это бесполезно и что никто не то что не поймёт, но даже не обратит внимания на твои чувства, — постарается не понять их, да и без старания не поймет их, как не понимает их лошадь. Вчера, сидя за обедом, слушая эти разговоры без единого живого слова, с невеселыми шутками и недоброй друг к другу, эти бессвязные монологи, я взглянул на <гувернантку> m-lle Aubert и почувствовал, что мы с ней одинаковы лишни и нам одинаково неловко оттого, что мы это чувствуем. Ужасно гадко, и гадко то, что я не могу преодолеть себя и не страдать и не могу предпринять что-нибудь, чтобы порвать это ложное положение и последние года, месяцы или дни своей старости прожить спокойно и не постыдно, как я живу теперь» *(70, 16 – 17)*.

Если читатель теперь обратится в этой же нашей книге к знаменитому «прощальному» письму Л. Н. Толстого к жене от 28 октября ещё далёкого 1910 года — он увидит сходство не только идей, но и лексики, и даже синтаксических конструкций, посредством которых Толстой рационализировал свой роковой шаг.

Фрагмент 42.1.
СНОВА ПОБЕГ В ДЕРЕВЕНСКУЮ «ВАННУ»
(1 февраля — 2 марта 1897 г.)

Итак, к экзистенциальному дискомфорту и репрессиям друзей (в начале 1897 г. были отправлены в ссылку В.Г. Чертков и П.И. Бирюков) прибавился для Толстого в зиму 1896-1897 гг. и «бес» ревности. И здесь супруги повели себя в декабре 1896 и январе 1897 гг. близко к году 1910-му, то есть контрпродуктивно: слишком много говорилось о пустяках, и не высказывалось *главного*. Это главное (опять же, как будет и в 1910-м) было отчасти доверено *письмам*, эпистолярному диалогу. Повод для начала его у Л. Н. Толстого был: дружественное семейство Олсуфьевых зазывало его снова в гости, в полюбив-

шуюся ему усадебную «ванну для чувств», великолепное имение Никольское-Обольяново. 31 января Толстой выезжает туда вместе с дочерью Татьяной. Уже оттуда вечером 1 февраля он пишет к жене письмо, в котором высказывает наконец то, что оказалось трудно высказать в личной изустной беседе (зачёркнутое в подлиннике письма даётся в угловых скобках):

«1 Февр[аля] вечер.

Милый друг Соня,

Таня написала тебе о том, как мы доехали и живём, о внешнем, мне же хочется написать тебе о том, что тебя интересует — о внутреннем, о душевном моём состоянии.

Уезжал я грустный, и ты почувствовала это и от того приехала, но тяжёлого чувства моего не рассеяла, а скорее усилила. Ты мне говорила, чтоб я был спокоен, потом сказала, что ты не поедешь на репетицию.

[КОММЕНТАРИЙ.

Речь о репетиции в Петербурге концерта, в котором участвовал С. И. Танеев. Концерт состоялся 8 февраля. С. А. Толстая присутствовала на концерте, приехав в Петербург накануне вместе с Львом Николаевичем. Он же приехал в Петербург, чтобы проститься с ссылаемыми Чертковым и Бирюковым. – *Р. А.* **]**

Я долго не мог понять: какую репетицию? и никогда и не думал об этом. И всё это больно. Неприятно, больше, чем неприятно... мне было узнать, что несмотря на то, что ты столько времени рассчитывала, приготавливалась, когда ехать в Петербург, кончилось тем, что ты едешь именно тогда, когда не надо бы ехать. Я знаю, что это ты не нарочно делала, но всё это делалось бессознательно, как делается всегда с людьми, занятыми одной мыслью. Знаю, что и ничего из того, что ты едешь, теперь не может выдти, но ты невольно играешь этим, сама себя возбуждаешь; возбуждает тебя и ‹то› моё отношение к этому. И ты играешь этим. Мне же эта игра ‹признаюсь› ужасно мучительна ‹и унизительная и страшно нравственно утомительна›. Ты скажешь, что ты не могла иначе устроить свою поездку. Но если ты подумаешь и сама себя проанализируешь, то увидишь, что это неправда: во 1-ых, и нужды особенной нет для поездки, во 2-ых, можно было ехать прежде и после — постом.

Но ты сама невольно это делаешь. Ужасно больно и унизительно стыдно, что чуждый совсем и не нужный и ни в каком смысле не интересный человек руководит нашей жизнью, отравляет последние года или год нашей жизни, унизительно и мучительно, что надо справляться, когда, куда он едет, какие репетиции когда играет.

Это ужасно, ужасно, отвратительно и постыдно. И происходит это именно в конце нашей жизни — прожитой хорошо, чисто, именно тогда, когда мы всё больше и больше сближались, несмотря на всё, что могло разделять нас. Это сближение началось давно, ещё до Ваничкиной смерти, и становилось всё теснее и теснее и особенно последнее время, и вдруг вместо такого естественного, доброго, радостного завершения 35-летней жизни, эта отвратительная гадость, наложившая на всё свою ужасную печать. Я знаю, что тебе тяжело и что ты тоже страдаешь, потому что ты любишь меня и хочешь быть хорошею, но ты до сих пор не можешь, и мне <всё отвратительно и стыдно и> ужасно жаль тебя, потому что я люблю тебя самой хорошей не плотской и не рассудочной, а душевной любовью.

Прощай и прости, милый друг.

Целую тебя.

Л. Т.

Письмо это уничтожь.

Во всяком случае, пиши мне и почаще.

Зачем я пишу? Во 1-ых, чтобы высказаться, облегчить себя и, во 2-ых и главное, чтобы сказать тебе, напомнить тебе о всём значении тех ничтожных поступков, из которых складывается то, что нас мучает, помочь тебе избавиться от того ужасного загипнотизированного состояния, в котором ты живёшь.

Кончиться это может невольно чьей-нибудь смертью, и это во всяком случае, как для умирающего, так и для остающегося, будет ужасный конец, и кончиться может свободно, изменением внутренним, которое произойдёт в одном из нас. Изменение это во мне произойти не может: перестать видеть то, что я вижу в тебе, я не могу, потому что ясно вижу твоё состояние; отнестись к этому равнодушно тоже не могу. Для этого — чтоб отнестись равнодушно, я должен сделать крест над всей нашей прошедшей жизнью, вырвать из сердца все те чувства, которые есть к тебе. А этого я не только не хочу, но не могу. Стало быть, остаётся одна возможность, та, что ты проснёшься от этого страшного самнамбулизма, в котором ты ходишь, и вернёшься к нормальной, естественной жизни. Помоги тебе

в этом Бог. Я же готов помогать всеми своими силами, и ты меня учи, как?

Заезжать тебе на пути в Петербург, я думаю, лучше не надо. Лучше заезжай оттуда. Виделись мы недавно, а я не могу не испытывать неприятного чувства по отношению этой поездки. А я чувствую себя слабым и боюсь себя. Лучше заезжай оттуда. Ты всегда говоришь мне: будь спокоен, и это оскорбляет и огорчает меня. Я верю твоей честности вполне, и если я желаю знать про тебя, то не по недоверию, а для того, чтобы убедиться, насколько ты связана или свободна» *(84, 275 – 277)*.

Под 5-ое февраля С. А. Толстая по пути в Петербург таки заехала к Олсуфьевым. На следующий же день в Никольское прибыл из Петербурга И. И. Горбунов-Посадов, сообщивший Л. Н. Толстому грустные известия: за «вмешательство в дела сектантов» (т.е. за попытки помочь духоборам, преследуемым правительством) одного из друзей Толстого, П. И. Бирюкова, высылали в Курляндскую губернию, а другого, В. Г. Черткова — за границу. Из Никольского-Обольянова вместе с Толстым Софья Андреевна 7-го числа выехала в Петербург, где супруги остановились в доме А. В. Олсуфьева. На следующий день Соничка, конечно же, посетила желанную ей репетицию с участием Сергея Танеева. Толстой приехал преждевременно и вместе с женой 12 февраля выехал обратно из Петербурга — до отъезда Черткова в ссылку за границу.

Конечно, между супругами нашлось время и для общения на значимые для обоих темы — продолжением которого, после отъезда С. А. Толстой 16 февраля из Никольского в Москву, стала их переписка. Прямо к отъезду, а косвенно — к предшествовавшим ему непростым разговорам, относится следующая запись в Дневнике Л. Н. Толстого: «Нынче уехала Соня после огорчившего её разговора <о Танееве. – *Р. А.*>. Женщины не считают для себя обязательными и не могут двинуться вследствие требований разума. У них не натянут этот парус. Они идут на вёслах без руля» *(53, 137)*.

В этот же день, ощутив сходную психологическую потребность (а Лев Николаевич — ещё и физическое недомогание, как бывало с ним часто после грешного с женой, с другими любимыми людьми, поступка), оба супруга продолжили свой разговор в образцово-встречных письмах. Начнём с письма Л. Н. Толстого, написанного “в спину” Соне — то есть, вероятнее всего, хронологически на несколько часов раньше соничкина письма, которое отправлено было уже из Москвы. Вот полный его текст:

«Как только ты уехала, да ещё и до того, как ты уехала, мне сделалось ужасно грустно, — грустно за то, что мы так огорчаем друг друга, так не умеем говорить. Главное, потому, что у меня к тебе и вообще не было после Петербурга, а особенно в нынешнее утро, никакого другого, кроме самого хорошего любовного чувства и никаких других соображений, *меня* огорчающих. Их и теперь нет. Пишу это затем, чтобы сказать тебе, что это чувство осталось и ещё усилилось во мне после твоего отъезда, и я виню себя за то, [что] не могу выучиться обращаться с тобой не логикой, а другим — чувством. Ещё пишу затем, чтобы подтвердить то, что мы решили, чтобы ты вызвала меня, как скоро тебе это нравственно будет нужно. Я приеду с радостью. И только при этом условии могу здесь жить спокойно. Целую тебя нежно и просто.

Л. Т.» *(84, 277 – 278).*

Ненавязчиво, но вполне прозрачно ревнивец сообщает жене, что не желает возвращаться в семейный московский дом, в котором, пусть даже и незримо, поселился, как ему представилось, «третий лишний». Фраза о логике и чувствах, очевидно — продолжение их устного диалога: Соничка говорит о том же во встречном письме мужу, как будто отвечая — и очень умно! Приводим ниже и его полный текст:

«Если б я могла вчера, уезжая, написать всё то, что я думала о тебе и наших отношениях, то ты бы хорошо понял, что происходит в душе моей. Теперь же не могу ничего ни вспомнить, ни сказать, так жизнь вдруг охватила со всех сторон своими практическими требованиями — и письмо это будет только бумажкой от меня, и мне это жаль, а не мыслями и чувствами.

Я рада, что ты признал наконец, что я живу только чувством. Ты обращаешься всё к моему разуму, а я хорошо знаю, что до чего я не умела додуматься разумом, — всё поправляло сердце.

Прежде, чем ты измучил меня этим последним неприятным разговором, я написала детям очень горячо о том, как теперь, когда ты лишился стольких друзей, мы должны как можно ближе быть к тебе и стараться, чтоб ты не так больно чувствовал их отсутствие. И сколько раз в моей жизни было, что чем горячей я относилась к моим сердечным отношениям к тебе, тем холодней и больней ты отталкивал меня. В словах твоих не было ничего особенно оскорбительного, но в враждебности тона, в упрёках, которые чувствовались во всём,

было много злобной горечи, которая как раз попала на моё умилённое сердце и сразу охладило его. И как это жаль!

Как-то ты провёл этот весь день, как твоё здоровье? Не хотелось мне тебя оставлять, и теперь очень прошу тебя, извещай меня почаще о себе. У меня 26 листов корректур, пропасть писем, распоряжений, и Сашин костюм, чужие поручения, — дела так много, что не знаю, как буду справляться. <В 1897 г. Софья Андреевна выпустила уже десятое издание сочинений Толстого (в 14 томах). – *Р. А.*>

Опять понесётся жизнь с страшной быстротой и пустотой позади её. Таня расскажет тебе разные истории в роде свадьбы Тани Нагорной и др. <Дочь В. В. Нагорновой Татьяна Николаевна вышла замуж за Григория Эммануиловича Волькенштейна. Через 7 лет они разошлись. – *Р. А.*>.

Когда я ехала, из вагона 3-го класса в окно выскочил на ходу человек и убежал так быстро, что его нельзя было догнать. Я очень испугалась, когда вдруг остановили поезд.

От Андрюши отчаянное письмо, его не пускают и командир им недоволен, и я вижу, что он в отчаянии. Я уже написала командиру, прося отпустить его на 3 дня, не знаю пустит ли. Прощай, милый друг, целую тебя. Жду твоего письма.

Соня» *(ПСТ. С. 666 - 667).*

О сыне С. А. Толстая преувеличивала: Андрей Львович чувствовал себя на военной службе хорошо. Он писал ей из Твери следующее: «Полковой командир меня наказал, велел дежурить на конюшне кажется целые сутки, но это всё ничего. Вчера у меня было 5 человек вольно-определяющихся, и мы очень хорошо провели вечер» *(Цит. по: Там же. С. 667).*

И ни слова о Танееве… Всё сказано “между строк”: она любит *тебя*, не смей, не остужай это сердце!

Толстой более и не смел: письмо его от 17 февраля выдержано в “покаянных” настроениях. Написано оно, по выражению научного комментатора — «в два присеста». Разделяет части писем *телефонный звонок* Сони из Москвы (в роскошном усадебном доме Олсуфьевых был телефон!), благодаря которому мы можем считать письмо Толстого от 17-го *ответом* жене на высказанное в приведённом нами выше её письме и повторённое наверняка по телефону. Ниже следует полный текст ответа Льва Николаевича.

«Письмо моё вчера уехало. Посылаю то, что думал, и, главное, чувствовал. Нынче — вторник <ошибка Толстого: 17-го был понедельник. – *Р. А.*> — встал вялым, — не бодрым, но здоровым и надеюсь работать. Вообще как бы вернулся к моему состоянию, в котором был до Петербурга.

Ради Бога, не вини себя ни в чём, потому что я и не думаю винить тебя, а только себя виню и очень в отношении тебя. Ну, так прощай пока, целую тебя очень и прошу, главное, беречь себя, не мучать себя корректурами и выписать меня, если тебе не хорошо. — Напиши поподробнее о детях, я ничего не знаю, кроме вчерашних старых открытых писем. Ну вот.

Л. Т.

Хочется ещё писать тебе, после того, как ты поговорила в телефон. Грустно, грустно, ужасно грустно. Хочется плакать. Вероятно тут большая доля физической слабости, но всё таки грустно, и ничего не хочется и не можется делать. Но не думай, чтобы ты была чем-нибудь причиной. Я потому и пишу тебе, что в этом чувстве нет ни малейшей доли упрёка или осуждения тебя, да и не за что. Напротив, многое в тебе — твоё отношение к Черткову и Бирюкову — радует меня. Я пишу, что логикой нельзя действовать на тебя, да и вообще на женщин, и логика раздражает вас, как какое-то незаконное насилие. Но несправедливо сказать, что нельзя общаться с вами логикой, надо сказать: одной логикой, или на ней основывая свои требования к вам. Нельзя ставить логику впереди чувства, надо, напротив, впереди ставить чувство. Впрочем ничего не знаю, знаю, что мне больно, что тебе сделал больно, и хотел бы, чтобы этого не было, и мне кроме физических причин или вместе с физическими причинами от этого очень грустно. Это у меня пройдёт. А если у тебя будет, — напиши, милая, и мне будет большая радость чувствовать, что я тебе нужен. Ну и всё. Зовут обедать.

Л. Т.» *(84, 278 - 279).*

Софья Андреевна отвечала мужу 18 февраля из Москвы следующим:

«Чувствую себя всё время виноватой, что ты всё грустишь и грустишь, милый друг. Сейчас получила твоё второе письмо на двух листочках маленьких и даже удивилась, что вызов мой тебя в телефон — мог подействовать на тебя опять-таки огорчительно. Я вызвала

тебя опять по тому же чувству, что мне жалко было от тебя оторваться, хотелось льнуть к тебе душой и жить, опираясь нравственно на тебя. Кроме того мне жалко было тебя слабого физически и огорчённого всей петербургской историей и просто захотелось услыхать твой голос, ещё раз почувствовать тебя. Ты говоришь, что надо на нас женщин действовать не логикой, а чувством. Но со мной на этот раз нечего было никак *действовать*. Я вся была полна хороших чувств, я так мало — да и вовсе на этот раз — не чувствовала в себе ни вины, ни дурных мыслей, что, расставшись с тобой без последнего мучительного разговора, я донесла бы своё умилённое чувство от наших (моих скорее) хороших отношений и жила бы ими. Теперь прошла боль, я живу здесь спокойно, хорошо, и занята с утра до вечера теми требующими от меня непосредственного и необходимого решения и удовлетворения — делами практической жизни. Опять с утра приходит Мария Васильевна, читаем корректуры; потом выезды по делам; вечером были вчера Буланже и Дунаев, к ночи опять корректуры, счёты, письма.

Ты спрашиваешь о детях. Мало я ещё в них вникла. Саша всё кашляет, но меньше, мы с Машей решили показать её горловому и носовому специалисту, записались у доктора на четверг. Миша спокоен, много очень танцует, умеренно занят костюмом и учится, как он говорит, лучше. С Машей мы очень хороши, но ни слова не говорим о её деле. Вера <Кузминская> очень ровна, играет с няней иногда в дурачки, никуда не ходит и иногда болезненно говорит о необходимости замужества. Сегодня вечером Маша собирается к Колокольцовым, и там будет и Варя, и, может быть, и я поеду, если подвину дело корректур и если не будет трудно. Вчера вечером чувствовала себя такой слабой, что даже легла и лежала долго в гостиной на тахте. Это ещё остатки нездоровья. И болит спина немного, и всё в жар и пот бросает. — Только бы ты поправился и окреп поскорее. Масленицу, я знаю, что мы почти не заметим, как она пройдёт, всегда суеты много; а если нам покажется одиноко друг без друга дальше, то бог даст съедемся. Неужели тебе может быть не ясно, что наше обоюдное дёрганье за сердце есть несомненный признак нашей душевной близости. Ради бога не порть и не нарушай её такими разговорами и с доверием дай мне итти самой своим внутренним путём к хорошему и помоги мне, когда я оглянусь на тебя за помощью, а не упрекай мне.

Прощай, милый друг, если что в моём письме опять больно тебе, прости меня, я его написала, как и всегда, не *обдумывая*, только *чув-*

ствуя. Бери меня, какая я была всю жизнь, помирись наконец, через 35 лет с тем, что послала тебе судьба в моём лице, и постарайся любить и прощать, как и все мы должны это делать.

Твоя Соня» *(ПСТ. С. 667 - 668)*.

Этот свой ответ мужу, письмо от 18 февраля, в части его, упоминающей “петербургскую историю”, Софья Андреевна снабдила позднее, как будто в помощь исследователям, такой хитрой “пояснительной” пометкой: «Мы ездили с Львом Николаевичем прощаться с сосланными: семьёй Черткова, и Бирюковым и др.» (*Там же. С. 669)*. На деле же, как мы можем видеть по тексту письма, для *неё* всё значение поездки свелось к этому самому потаённому «и др.»: к свиданию с пусть платонически, но всё же обожаемым и возлюбленным Сергеем Ивановичем Танеевым, состоявшемуся на публичной репетиции 8 февраля. Менее всего от автора трактата о красоте могла ждать она парадоксального *непонимания* значения в её жизни музыкального и концертного великолепий, противостоящих тоске и рутине повседневности, а значит — и приближённого к семье дарителя этой красоты, композитора и пианиста С. И. Танеева. Но беда обоих платонических любовников была в том, во-первых, что Толстому не близки были, как мы уже говорили в предыдущем Эпизоде, ни религиозные (на христианство), ни модерновые эстетические воззрения Сергея Ивановича, и в значительной части как собственных сочинений Танеева, так и сочинений иных композиторов, входивших в его исполнительский концертный репертуар, он не находил красоты. Во-вторых же, вполне по толстовской эстетической теории, завлекательная красивость как оживляемой Танеевым музыки, так и его самого *нарушала*, по мнению Толстого, *добро*, и самое важное: чистоту брачной, семейной жизни его супруги. А значит Соничкина связь с тем и другим делалась в восприятии мужа не просто связью нежелательной, а абсолютным моральным злом.

«…С доверием дай мне идти самой своим внутренним путём к хорошему и помоги мне, когда я оглянусь на тебя за помощью, а не упрекай мне» — эти строки Сониного письма почти беспрецедентны в Переписке и по глубине, и по значительности для судеб обоих. Толстой ещё не окончил писанием знаменитый свой трактат об искусстве, а уже Высшее Разумение, удивительным образом, и не без иронии, указывало ему на то в его кабинетных умозрительных построениях, что было в них слабо, сомнительно и, быть может, ошибочно: на элементы рассудочности и схематизма, вызвавшие после публикации обоснованную и весомую критику, не прекращающуюся до

наших дней. И музыка, и всё Искусство мира тоже, как вверенная судьбой Льву Николаевичу мудрая женщина — «идёт своим внутренним путём к хорошему» и нуждается в помощи гения, а никак не “погромном” резонёрстве с позиций недостижимого пока для большинства человечества идеала! Парадоксальным образом утверждая в теории, в своём трактате для искусства его значение с позиций *высшего*, христианского религиозного понимания жизни — в отношениях своих как к экспериментам в искусстве, посредством сложнейшей и окказиональной, авторской диалектики ведущим к более глубокому пониманию высших смыслов человеческого бытия, так и к экспериментам, пробам себя в малопригодной для того патриархальной России незаурядной своей жены, Толстой относился, скорее, с позиций того понимания жизни, которое сам в своей концепции обозвал «первобытно-личным», эгоистическим. Между итогом многих усложнений и «первобытной» простотой произведения искусства он *всегда* готов был выбрать последнее, хотя не всегда и в его эпоху спутниками упрощённости были Истина, Добро и Красота. От влияния этой животной и языческой исконности он, как мы покажем в дальнейшем нашем анализе, не избавится до конца жизни: даже и в 1910-м году, когда между первобытной языческой *волей*, на которую, как лисица, отгрызающая из капкана свою лапу, можно бежать ценою жизни, и *свободой* христианской как сложнейшим плодом усилий любовной, братской жизни в терпении, смирении и страхе Божием (страхе самому нагрешить — и осознании *всегда* наличествующего *своего* греха!) Лев Николаевич, переживая духовный упадок, близкий такому же состоянию в 1884-м и 1897-м годах, выбрал, к несчастью, худшее из двух: побег к соблазнительно-сладкой, но недолгой и смертной *воле*.

Супруги в 1897 году много раз покидали семейный кров, но всё-таки и виделись достаточно для того, чтобы значительную часть тематики эпистолярного диалога перенести в менее доступный нам изустный дискурс. Кое-что всё же доступно: например, благодаря довольно скудным подённым записям в личных дневниках, известиям в письмах другим адресатам… Но всё же тематическая логика письменного диалога нарушается: оба берут на себя умалчивать в ответных письмах о том, что хочется сказать при встрече. Не будем забывать и о возможностях *телефона*, который так же ощутительно “отбирает” у нас в никольских письмах Льва Николаевича к жене ряд ценных его мыслей и признаний. Пишем об этом особо, дабы у читателя не возникло впечатление, исключительно на основании пи-

сем, некой “глупости” или “чёрствости” Толстого. На трудность принятия им позиции жены в отношении её связи с Сергеем Танеевым мы указали выше. Но она не тождественна совершенному непониманию, и дальнейшая переписка, надеемся, подтвердит это читателю.

Вот ответ Л. Н. Толстого жене от 21 февраля из Никольского-Обольянова:

«Сейчас, говорят, есть случай послать письмо. Пишу несколько слов, хотя Таня тоже написала. Что ты? Как здоровье? Как духом? спокойна ли, добра? Будь пожалуйста и то, и другое. Не мучай себя работой. Верь нам, близким, когда мы говорим тебе: перестань работать, передай работу другим, — найми. Главное не мучай себя. Важнее ничего нет жизни той, которой сейчас живём, и портить и грех, и глупо. — Что Серёжа? что Маша? Миша? Саша? Вера? Хочется мне послать тебе письмо Маши ко мне о своих отношениях к тебе. Если пошлю, не показывай ей и не говори. Послать же мне хочется потому, что ты из него увидишь, какая она хорошая. Здесь полон, битком набит дом, но для меня полное одиночество и спокойствие. Нынче прекрасная погода, и я под предлогом взять от портнихи платье для Над. Мих. <Надежда Михайловна Юшкова — учительница воспитывавшихся А. М. Олсуфьевой девиц, жила зимой 1897 г. в Никольском-Обольянове. – *Р. А.*>, куда посылали человека, поехал один на санках за 10 верст. Было очень хорошо. Я — духом совершенно спокоен и хорош, но желудок плох, — запор и изжога; с завтрашнего дня начинаю по твоему совету пить эмс. Прощай, мой милый друг; дай Бог, чтобы тебе также хорошо и спокойно было на душе, как и мне. Знать, что мне хорошо, тебе поможет быть покойнее. Целую тебя и детей.

Л. Т.» *(84, 279 – 280).*

Как мы уже говорили в своём месте, работа над корректурами для издаваемых ею книг имела для Софьи Андреевны не одно денежное, ради семейных доходов, значение, но и смысл заполнения жизни работой, отличной от обычной для той эпохи женской рутины. Оттого-то непросто ей было отказаться от этих занятий в пользу наёмных помощников…

Следующее по хронологии письмо Софья Андреевна пишет мужу 22 февраля, и, к сожалению, судя по содержанию его – *до* получения только что приведённого нами письма Льва Николаевича.

«Ты написал мне два письма <от 16 и 17 февраля. – *Р. А.*>, оба грустные, и замолк. Как ты себя чувствуешь, милый друг, окреп ли немного телом и духом, или всё тревожен и вял? Очень бы мне хотелось передать тебе ту свою душевную бодрость, которой я жила все эти дни. Как мне теперь редко приходится так жить! Просто, спокойно, с детьми дружно и очень занятой. С утра корректуры с Марьей Васильевной, потом общительность, как мы называем, с детьми, Верой, разными друзьями. Сегодня обедали у меня брат с женой, Сухотин и Варичка. Вечером […] играли в винт, потом в шахматы; потом Гольденвейзер играл, и превосходно сыграл балладу Chopin. Мне весь день было очень приятно. Завтра угощаю Верочку и Лёву с Дорой, и Серёжу — оперой «Генрих VIII» Сен-Санса <в январе 1897 г. состоялась премьера этой оперы на русской сцене. – *Р. А.*>, и тем закончим масленицу. Лёва с Дорой ездят и на выставки, и в манеж, и на балаганы, и на горы кататься, — чтобы исчерпать все московские удовольствия. Я с ними не езжу, и только была третьего дня у Глебовых на костюмированном бале, но дети мало веселились, было жарко, неудобно и не привычно в костюмах, и все были вялы. Но нам, большим, было забавно смотреть, и мне было весело. Были там <великие князья> Сергий и Павел Александровичи, и великая княгиня, но они были очень любезны и не мешали.

Одно, что я не налажу, это сон. Весь день столько суеты, что корректуры приходится вторично прочитывать ночью, и для сна остаётся часа четыре, пять, и это мало. Никак не нагоню работу, не сделанную во время моего отсутствия.

Много ли ты гуляешь и работается ли тебе? От Черткова к тебе есть письмо, оно у Маши. С Машей мы живём дружелюбно, но ни слова не говорим о том, чего я никак признать не могу, и что мне просто и противно, и страшно. <Об увлечениях М. Л. Толстой разнообразными мужчинами. – *Р. А.*> — Миша пляшет всякий день и осунулся от этой жизни. Я с радостью приветствую пост. Саша совсем перестала кашлять и всюду ездит с Дорой. Вчера они были все на спектакле в Поливановской гимназии, играли Шекспира отрывки: Лёвочка Сухотин, Вовик Голицын, Лопатин и другие, все поливановцы. Говорят, что очень хорошо было. Был ли ты на костюмированном бале в школе у вас в Никольском? Сшила ли Таня себе костюм? Что как поживает Таня? Я ей не пишу, потому что ей пишут Маша и Вера, но я её очень помню и иногда скучаю по ней, так же, как и по

тебе. Очень бы мне хотелось, чтоб наладилась твоя работа: я знаю, что ты только тогда счастлив, когда тебе пишется. Очень жалею, что не я буду переписывать твою статью, она меня очень заинтересовала. Если б не мои корректуры и не Лёва с Дорой, я бы приехала к тебе сменить Таню. Но у меня от своей работы уехать нельзя. Целую тебя и Таню и кланяюсь всем. Напиши мне хорошее, откровенное письмо, чтоб тебя почувствовать.

Твоя Соня Толстая» *(ПСТ. С. 669 – 670).*

Уникальные культурные, эстетические переживания Софьи Андреевны в это время и её интерес к трактату мужа «Что такое искусство?» связаны напрямую. Ум хорошо — два лучше. Если бы Лев Николаевич доверил Соничке даже не переписывание, а критическое толкование и корректирование его выкладок — возможно, трактат оставил бы меньше пищи для последовавших за его публикованием, отнюдь не снисходительных, критик.

До 25 февраля мы не имеем корреспонденций к С.А. Толстой от Льва Николаевича. По хронологии следует ещё одно её письмо из Москвы — от 24 февраля:

«Сейчас была А<нна> С<ергеевна> Губкина <знакомая Толстых, домашняя учительница М. Л. Толстой в 1880-е гг.; частая гостья в доме Толстых и в Никольском, где дружила с Лизой Олсуфьевой. Одна из постоянных переносчиц сплетен: услуга, всегда охотно востребовавшаяся Софьей Андреевной. – *Р. А.*> и много мне рассказывала про вас и про всю жизнь в Никольском. Хотя она и говорит, что ты здоров и бодр, милый Лёвочка, но я не совсем верю: сам себя ты иногда подбадриваешь, а потом вдруг придёшь в ещё более слабое состояние. Если б я была с тобой, я бы тебя попросила утром и вечером мерить температуру, пить эмс, и если печень плохо действует, — класть на ночь компрессы. — Я писала вчера Тане, чтоб везла тебя домой, если ты нездоров. Сегодня же, идя из Кремля, где отстояла вечерню в Архангельском соборе, я думала, что тебе в эту оттепель, туман, слякоть и вонь в Москве будет хуже, и если тебе лучше, то конечно оставайся лучше в деревне. Спасибо Олсуфьевым, что тебя соблюдают. Рассказывала мне Губкина о Танином костюме <на домашнем спектакле у Олсуфьевых. – *Р. А.*>, более комичном, чем красивом, и я огорчилась. Ещё она мне говорила, что <братья> Конюсы <Жюль скрипач и Лев пианист. – *Р. А.*> играли, и ты так умилялся,

трогался и восхищался, что она никак не ожидала видеть тебя в таком волнении от музыки. Без меня всё можно, т. е. можно любить музыку, можно завидовать танцам, можно всему радоваться.

<Т. Л. Толстая писала о том же матери 21 февраля: «Вчера папа говорит, что ему хотелось танцовать и он завидовал Адаму Васильевичу <Олсуфьеву>, который так со мной мазурку откалывал, точно он опять сделался офицером» *(Цит. по: ПСТ. С. 672). – Р. А.*>

Как жаль, что люди не умеют быть просты, искренни и радостны! Насколько легче и счастливее была бы жизнь! А те, которые не умеют быть неискренни, те проигрывают в жизни, на тех нападают и мучают их. Я только сегодня ясно поняла, почему тебе так много легче жить без меня. Ты можешь жить вовсю, т. е. просто. А насколько я тебя больше люблю, когда ты искренно сам весел и на веселье других смотришь снисходительно.

Мы вчера были в опере «Генрих VIII»: Лёва, Серёжа, Саша, Дора и я. Хотели взять Веру Кузминскую, но она заболела животом, и вместо неё взяли Соничку Колокольцову, которая случилась у нас. И она больше всех веселилась. Опера не дурна, местами музыкальна, поставлена великолепно, но певцы плохие. Сегодня с утра читала корректуры с Марьей Васильевной, Лёва с Дорой ездили за покупками; потом я ходила к вечерне, Лёва с Серёжей играли в шахматы. Потом пришли Губкина, Дунаев; утром завтракали у нас Сухотин и Федя Свербеев. Первый день поста, — а всё народ. Серёжа с Лёвой сначала повздорили за яснополянское хозяйство, но теперь дружны; Дора скучает, сидит прямо и шьёт что-то для подарка в Швецию. Лёва озабочен денежными делами и тревожится, что мало осталось денег прожить этот год. Саша эти дни изводила няню и mademoiselle, и сегодня я очень строго к ней отнеслась, после чего она стала лучше, добрей и веселей.

Ну, прощай, милый Лёвочка, я рада, что тебе работается хорошо над статьёй, которая меня очень интересует, и я желала бы любить её. — Пришли за корректурой, прощай, пока. Теперь дня два не буду писать, много мне работы, и я спокойнее немного, что тебе лучше. Но лучше ли? и правда ли?

Поцелуй Таню, очень её благодарю за письмо и следующее уже напишу ей. Маша всё недоумевает, хочет ли Таня, чтоб она её сменила или нет? И на всё готова: и охотно и поедет, и останется; ей всё равно.

Поклонись всем Олсуфьевым. Не надо ли что прислать?

Твоя С. Т.» *(Там же. С. 671 – 672).*

Жизнь Толстого в Никольском оказывалась, действительно, гармоничней: в ней находилось место и для творческих трудов, и для столь же благословенного, невинного досуга. Но Соничка напрасно подчёркивает разницу настроений мужа в имении Олсуфьевых и в её московском доме. Если нельзя натопить печкою весь мир — не значит, что не нужно заботиться о горнице. Так и Толстой-исповедник Христа: он не пытался воздействовать на людей пусть и милых, весёлых, умных, но — бесконечно далёких от его духовных исканий, да и не близких родственно. Не жить же своею истинною, серьёзною, пророческою и исповедническою жизнью и дома, среди гостей и семейных — он *не мог*, как не мог отречься от себя. Поэтому и роскошь, суету, траты денег родными детьми он воспринимал инако, нежели то, что мог наблюдать вовне: будь то никольская деревенская «ванна для чувств» или, скажем “воды” (курорт) с их незатейливым обществом… если бы Толстой надумал наградить таковое своим посещением.

Толстого как писателя, художника даже восхищал иногда открыто-языческий образ жизни (или безобразие жизни?) богатейших, радостнейших и всем довольных Олсуфьевых. В Дневнике под 1 марта 1897 г. он рассуждает об А.В. Олсуфьеве «как типе для драмы — добродушном, чистом, балованном, любящем наслаждения, но хорошем и не могущем вместить радикальные нравственные требования» *(53, 142)*.

25-го февраля, только получив через приехавшего сына Сергея письмо жены от 24-го, дохнувшее на него беспокойством любящего сердца, он, едва прочтя, срочно диктует в телефон успокоительную телефонограмму жене:

«Получил письмо. Мы здоровы. Пожалуйста пришлите письмо, главное, от Черткова» *(84, 280)*.

Если в прежние, дотелефонные времена Толстого при отправлении телеграмм подводил его удивительный почерк, то при отправлении телефонограммы подвело уже качество телефонной связи той эпохи: как ни надрывался в аппарат Лев Николаевич, служащий телеграфа вместо «Черткова» разобрал на слух «Сверечкова», да с тем и отправил телеграмму. Умнейшая и многоопытная Софья Андреевна, конечно же, сразу догадалась, что речь идёт о первом заграничном (из английского Кройдона) письме В. Г. Черткова от 18 февраля (2 марта), полученное ею в отсутствие мужа и упомянутое ею в приведённом выше письме к Л. Н. Толстому от 22 февраля. Конечно же, Толстой заботился о судьбе сосланного товарища. У того, впрочем, всё было хорошо: его сразу приютил в своей Братской церкви и во всём помог пастор-толстовец Джон Кенворти.

«Неприятное письмо от Сони. Или скорее я не в духе» — записывает Толстой в Дневнике на 25 февраля *(53, 141)*. Ему было, отчего быть не в духе: веселье в доме Олсуфьевых приостановилось, гости разъехались, а писание статьи шло “со скрипом”, и к началу марта встало совершенно: камнем преткновения оказался на этот раз «исторический ход искусства» *(Там же. С. 143)*. Снова пора было вылезать из усадебной «ванны для чувств»: ехать в зимнюю, промозглую, вонючую, постную Москву, к заждавшейся жене… Перед отъездом он пишет ещё одно (открытка) письмо к жене, датируемое исследователями приблизительно: 27 или 28 февраля. Приводим ниже его текст.

«Ты пишешь, что получила от меня только 2 письма, а я писал третье. <Толстой писал 16, 17 и 21 февраля. – *Р. А.*> В тот вечер, как послал открытое письмо, приехал Сережа и привёз письма. Немножко мне неприятно было, что ты почему то, по рассказу А. С. Губкиной, решила, что я как-то при тебе притворяюсь, а без тебя бываю особенно весел, что уж вовсе не подходило к моему настроению во время их бала и музыки, которая меня всегда физически трогает (как Аксинью А[нны] М[ихайловны]) до слёз, а вместе с тем тяготит. Письма были нужные и интересные, и надо было на них ответить, что я и сделал. <К 26 февраля относится первое из писем Толстого к В. Г. Черткову в Англию. – *Р. А.*>

Надеюсь, что Лёва поправится до нашего приезда (мы хотим ехать в воскресенье) и вместе с тем доживет до нас. Мне по немножку работается, менее энергично, чем я бы желал, но дело подвигается, и всё очень интересует меня. Что Маша не напишет? Мы с ней скоро забудем друг друга, так давно не видались. Я здоров совершенно. Хозяева, как всегда, милы до бесконечности. Прощай, милый друг, плохо очень, что ты не спишь. Целую всех» *(84, 280 – 281)*.

После обеда 3 марта 1897 г. Толстой возвращается от гостеприимного, весёлого и дружного семейства Олсуфьевых — в московский дом своего семейства, которое с сожалением застаёт «не дружным» *(53, 143)*. По поводу этого суждения Софья Андреевна рассуждает в мемуарах «Моя жизнь» следующим образом:

«Всё зависело от него же самого. Мы все так радостно и любовно относились к возвращению Льва Николаевича. Но какая же могла быть дружба, после того как Лев Николаевич особенно подчёркивал своё недоброжелательство к семье и свои умышленные отлучки из дому?

Андрюша служил вольноопределяющимся, а отцу хотелось, чтоб он отказался от военной службы. Миша учился в лицее, а отец отрицал

науку. Жили в городе, а Лев Николаевич предпочёл бы жить в деревне, и всё так. Бедный, добровольный мученик своих идей, он счастлив дома не мог быть. Страдали часто и мы. А могли бы быть все так счастливы!» *(ПСТ. С. 474)*.

Соничка изрядно слукавила в этом суждении. Она понимала хорошо, что к образу жизни своих детей, часто с негативными нравственными последствиями для них, муж и отец не мог относиться с тою же степенью равнодушия, как, скажем, к образу жизни семейства Олсуфьевых. Именно на ложь и зло этой жизни, а не на самих жену и детей, было направлено его “отрицание”. И “недружественность”, замеченная им, была никак не *его* недоброжелательством к семейным, а — множеством мелких и не очень конфликтов в семье, детей между собой и с матерью, которая сама, как мы увидим из её письма ниже, страдала от них и от создаваемой ими в доме негативной атмосферы.

Между тем рабство у учения мира, в плену мирской лжи, давало себя почувствовать и им. Готовя к 4 марта возвращение в московский семейный дом Толстой знал, что, возвратись он на пару дней ранее, он не застал бы в нём жены: она тогда ненадолго, буквально на день, выехала в Тверь, где проходил военную службу, ожидая экзамена на чин унтер-офицера, сын Андрей, а в юнкерском училище учился её племянник, Андрей Александрович Берс (1878 – 1939). Мы помним, что, не будучи отпущен со службы к семье на Масленицу Андрей Львович сильно огорчился, жаловался матери на тяжести службы и буквально “вытянул” её в эту поездку, о которой она вспоминает следующее:

«Какой-то безотрадной тоской повеяло от их <обоих Андреев. – *Р. А.*> рассказов о жизни и обстановке военных в полку и особенно в юнкерском училище… В Твери я почувствовала себя так далеко от Льва Николаевича, так грустно было, что не получала от него писем и так давно не видала его» *(Там же)*. В этом грустном настроении Софья Андреевна пишет 2 марта своё единственное в эту поездку письмо к мужу. Оно не имеет ответа, потому что, по всей видимости, уже не застало Толстого у Олсуфьевых и было переслано адресату позднее личной встречи и общения в Москве, по которым так изголодалась Соничка. В завершение данного Фрагмента Переписки приводим и его полный текст.

«Как далеко я себя чувствую от тебя, милый Лёвочка, и как давно, давно я тебя не чувствую: ни писем, ни личного общения, — ничего давно с тобой у меня не было. Пишу из гостиницы в Твери, где сидела целый вечер с двумя Андрюшами: своим и сыном брата — Берс.

Как всегда не дома и в необычной обстановке — на людей находит откровенность, так и сегодня эти два мальчика пришли в такое откровенное состояние, что наперерыв рассказывали мне с какой-то безотрадной тоской о жизни их в военной обстановке: мой Андрюша о жизни в полку (ещё сравнительно лучшей), а Андрюша Берс о жизни в Тверском юнкерском училище, откуда сегодня его отчислили, и которая просто ужасна. Этот Андрюша Берс очень жалок, жалок своей внутренней полнейшей бессодержательностью и вместе брезгливостью ко всему дурному без понимания хорошего. — Я очень рада, что приехала сюда; эти два мальчика сегодня говорили, что день проведённый со мной поможет им легче жить дальнейшее время службы. Ходили мы с Андрюшей к милейшим Петрункевич, и прекрасно поговорили часа два. Утро я провела у Андрюши на его квартире за Волгой, пила с ним чай, потом поправляла взятые с собой корректуры, а он читал, — и вникла в его жизнь. По какой-то тайной причине, о которой он мне ни за что не хочет сказать, Андрюша разошёлся с товарищами, говорит, что по его вине, и живёт у мещанки с 4-мя детьми, с которыми играет, возится, клеит домики, но вообще скучает, видно, очень. На унтер-офицера экзамена ещё не держал и всё ждёт назначения.

Из Москвы я тебе не писала последнее время, потому что всё как-то сложилось не хорошо. Болели у меня глаза, а корректуры не ждали, и я работала до 3-х ч. ночи. Наконец раз вечером, после того, как я упала на спину на грибном рынке и сильно ушибла локоть, голову, зуб и спину сбоку, — я целый вечер пролежала неподвижно на тахте в гостиной, и думала, что совсем заболею. Потом Маша, которая всё время была тиха, вдруг грубо и несправедливо, с визгом и злобными слезами мне страшно нагрубила, как только она это умеет делать — злобно и несправедливо. Она очень раскаивалась, поняла свою неправоту и просила прощения. Но есть вещи, — ты сам это знаешь, которые трудно забыть. — И Лёва, всё время бывший хорош, от болезни ли, или просто от голода перед обедом, тоже был неприятен на другой день после Маши, — и всё это меня очень расстроило, и я тебе не писала. Теперь всё прошло.

Посетители у нас были: один вечер Дунаев, Сухотин, Маша Свербеева и Бутенёв с Голицыным к Мише. На другой день пришёл: Алексей Маклаков и Танеев, который играл весь вечер в шахматы, сначала с Лёвой, потом с Маклаковым. Потом ещё вечером приходил Ф. А. Страхов и Грот, а потом вчера я уехала, и сегодня в 2 часа ночи <т.е. в ночь уже на 3-е марта. – *Р. А.*> еду домой, очень жду иметь известия о вас и о том, как вы живёте и когда вернётесь домой. У меня на этой неделе всё те же корректуры и два концерта: Гофмана

с Верой и Сашей, и Никиш, и мне это доставляет удовольствие, не могу этого скрыть. Надеюсь, что вы все здоровы, целую тебя и Таню и кланяюсь сердечно Олсуфьевым.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 673 - 674).*

Весьма прозрачно Соня снова даёт понять мужу, что её отношения с Танеевым — это общение не столько лично симпатизирующих друг другу любовников, сколько поклонников, соединившихся в любви *к музыке,* к искусству и к прекрасному вообще. И в этом аспекте для неё не менее ценны отношения с талантливым пианистом-евреем Иосифом Гофманом или полувенгром, скрипачом и дирижёром Артуром Никишем — в симпатиях к которым, как к мужчинам, её уже никак нельзя было заподозрить! К сожалению, намёки или не “срабатывали”, или забывались, а чувство ревности Толстого к красивому, молодому русскому композитору, как мы увидим из дальнейшего, только разрослось, принеся обоим супругам немало страданий.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ФРАГМЕНТА СОРОК ВТОРОГО ЭПИЗОДА

Фрагмент 42.2.
ВЕСНА ВЗЫСКУЕТ ДОБРОЖЕЛЮБНОСТИ
(3 – 19 мая 1897 г.)

Ровно два месяца, с 4 марта по 3 мая 1897 года, отделяют нас от 2-го Фрагмента Сорок Второго Эпизода нашей аналитической презентации. В этот период Л. Н. Толстой подвигается в писании статьи об искусстве и возвращается, буквально в первые дни после приезда, к планам будущей повести «Хаджи-Мурат». Помимо сбора исторического материала, обдумывалась и концепция: в Дневнике на 4 апреля появляется запись: «Думал очень хорошо о Хаджи-Мурате, о том, что в нём, главное, надо выразить обман веры. Как он был бы хорош, если бы не этот обман» *(53, 144).*

Обдумывалось и начато было писанием и новое публицистическое «воззвание» к общественному мнению, в конце принявшее форму статьи, известной под заглавием «Где выход?»

Статья об искусстве то “застревала” на очередной трудности, то “сходила с мели” в день очередного инсайта либо просто повышенных энергии и работоспособности писателя и публициста. 27 марта в письме к В.Г. Черткову М.Л. Толстая сообщала: «Папа здоров и бодр и очень много пишет свою статью об искусстве, говорит, что чувствует, что подходит к концу этой работы, и радуется этому. Последние дни после писания он приходит очень весёлый, шутит, подпрыгивает, и это всегда признак того, что ему хорошо работалось» *(Цит. по: 30, 525)*. В письме 30 апреля сам Толстой хвастался В. Г. Черткову: «Всё работаю — совестно говорить такое слово — вожусь с статьёй об искусстве и вижу уже не только конец, но вижу только lacunes, пустые места, которые надо заполнить» *(88, 22)*.

Софья Андреевна в этот же период упорно была занята своим доходным семейно-издательским бизнесом: с 1 апреля по 8 мая вышли в свет семь из 14-ти томов нового, уже 10-го по общему счёту, подготовленного её трудами Собрания сочинений Льва Николаевича. Находилось и немало иных рутинных дел, о которых она вспоминает в мемуарах:

«И вот жила я в Москве всё с той же работой над корректурами; шила Льву Николаевичу шёлковые шапочки на голову, шила и панталоны, так как он не хотел тратить на себя деньги и радовался, что всё я ему шью сама. Жизнь пролетала быстро, без мечты, без запросов и с одним желанием, чтоб все были довольны и чтоб не расставаться с Львом Николаевичем. […] Посещала я часто концерты… Когда никого не было дома, я сама много играла, и если не делала больших успехов, то выучивалась лучше понимать музыку. […] Пошла я раз на лекцию в Синодальное училище, на которой священник читал “О клятве” против Толстого. Всё время было досадно, и злоба кипела во мне, слушая эти нелепые, кощунственные поповские парадоксы…

[…] Приближалось лето, и то, что мы отказали Кузминским жить у нас <в Ясной Поляне, в знаменитом флигеле. – *Р. А.*> вследствие вредного влияния их сына Миши на наших мальчиков, очень огорчало меня. Всё, что любила, чем жила, — всё отпадало понемногу, и я чувствовала себя старым, корявым, облетевшим деревом, которое когда-то пышно, с густой листвой и цветами, росло бодро и весело» *(МЖ – 2. С. 476 – 477)*.

Весенняя депрессия посетила и Льва Николаевича: в том же, цитировавшемся нами выше, письме к В. Г. Черткову от 30 апреля он признаётся: «Не скажу, чтобы был упадок духа, потому что когда спрошу себя: кто я? зачем я? отвечаю всё себе удовлетворительно,

но нет энергии и чувствую, как лилипутские волоски <верёвки лилипутов, которыми был связан в сказке Гулливер. – *Р. А.*> накладываются на меня, и всё меньше и меньше предприимчивости и деятельности» *(88, 22)*.

Удивительна глубина образа опутанного Гулливера в Дневнике Толстого. В записи 10 ноября таким спящим Гулливером становятся уже все народы лжехристианского мира:

«Шёл по деревне, заглядывал в окна. Везде бедность и невежество, и думал о рабстве прежнем. Прежде видна была причина, видна была цепь, которая привязывала, а теперь не цепь, а в Европе волоски, но их так же много, как и тех, которыми связали Гюливера. У нас ещё видны верёвки, ну бичёвки, а там волоски, но держат так, что великану народу двинуться нельзя. Одно спасенье: не ложиться, не засыпать. Обман так силён и так ловок, что часто видишь, как те самые, которых высасывают и губят — с страстью защищают этих высасывателей и набрасываются на тех, кто против них. У нас царь» *(53, 160)*.

Начатое в противостоянии ревности мужа объяснение на словах Соничка продолжила в апреле 1897-го делом: она наполнила хамовнический дом музыкой, исполнявшейся самыми разнообразными, зачастую именитыми, гостями дома: А. Б. Гольденвейзером, К. Н. Игумновым, А. Н. Скрябиным, певицей М. Н. Муромцевой и другими *(Там же. С. 477)*. Сергей Танеев был лишь одной из ярких звёзд в этой плеяде… К сожалению, “излечения” не совершилось, и супруг позднее вернулся к своим ревнивым настроениям.

От рутины и городской депрессии оба к концу апреля устремлялись мыслями из Москвы — в милую Ясную Поляну. Толстому, не связанному доходным бизнесом, эти устремления было осуществить легче, и 2 мая он осуществил их, оставив Москву. 3-го он уже пишет жене первое письмо из Ясной Поляны, которое отчасти “отвечает” на встречное, тоже 3 мая, письмо жены. Приводим оба письма именно в логическом порядке: начиная с письма С. А. Толстой.

«3 мая 1897 г. вечер.

Когда вы доехали и как вам в Ясной, милый друг Лёвочка? Я думаю, очень хорошо. У меня с вашего отъезда тоже сделалась тоска по весне и потянуло по старым чувствам — в Ясную. Сижу за корректурами и работаю непосильно до 3 часов ночи. Сейчас пришла в изнеможение от тщетного искания «Мужиков» Чехова. Напишите мне, где эта книга, я просила её мне оставить прочесть. Ещё прошу написать о пианино Лёвы, оставит ли он мне ключ от дома? Уже

меня торопя «Герман и Гроссман» <магазин муз. инструментов. – *Р. А.*> с ответом о рояле, взятом на прокат. За Лёвино заплачено давно Гутхейлю. — Сегодня у Миши много мальчиков; вчера была у меня Анна Ивановна Маслова, а то больше никто. Сёстры мои: и Машенька, и Лиза с своими делами и личными заботами требуют моего сочувствия их делам, а я очень занята и далеко не весела. Завтра едем на пикник, опять с Глебовыми, Треповыми, Леонтьева и проч. в Сокольники. А в понедельник поеду на могилки детей. Прощай же, милый друг, целую Таню, Дору, Лёву и тебя.

Соня Толстая.

Напишите же о книге и пианино» *(ПСТ. С. 674 – 675)*.

Софья Андреевна интересуется здесь первой публикацией повести А.П. Чехова «Мужики» в апрельском номере журнала «Русская мысль» 1897 г.

Встречное письмо Л. Н. Толстого:

«Очень я себя чувствовал вялым и слабым в день отъезда и дорогой. Но необыкновенная красота весны нынешнего года в деревне разбудит мёртвого. Жаркий ветер ночью колышет молодой лист на деревьях, и лунный свет и тени, соловьи пониже, повыше, подальше, поближе, сразу и синкопами, и вдали лягушки, и тишина, и душистый, жаркий воздух — и всё это вдруг, не во время, очень странно и хорошо. Утром опять игра света и теней от больших, густо одевшихся берёз прешпекта по высокой уж, тёмнозелёной траве, и незабудки, и глухая крапивка, и всё — главное, маханье берёз прешпекта такое же, как было, когда я, 60 лет тому назад, в первый раз заметил и полюбил красоту эту. Очень хорошо и не грустно, потому что ничего позади этого не воображаю, а хорошо, как должно быть хорошо в душе и бывает хоть изредка.

Спал дурно, убирался, почти ничего не делал. Проехался верхом на Горелую поляну и кругом на пчельник, пообедал в 2 и пишу. Должно быть, займусь своей статьёй <«Что такое искусство?»> теперь. С Лёвой и Дорой приятно. Хозяйство, как кажется, Лёва ведёт хорошо. Он огорчился, что ты не дослала ему 50 рублей. Он говорит, что он сделает что может для экономии, и просил то, меньше чего нельзя. Пришли ему с Машей, если можно. Пожалуйста, пожалуйста, не увлекайся ты работой, т. е. не засиживайся ночами. Это ужасно нехорошо тебе. А езди за город, ходи по саду. И не говори, что нужно,

принесли 8 листов. Нельзя подчинять своё здоровье и потому жизнь типографии. Она может подождать. Прощай, целую тебя, Мишу и Машу, и Сашу, и особенно сестру Машеньку. Очень жаль, что мало видел её» *(84, 281 – 282)*.

Отклик С. А. Толстой на это письмо, 4 мая:

«Получила сегодня твоё письмо и встревожилась твоим нездоровьем головы и бессоницей. Если будет недомоганье, то померяй температуру; у Лёвы есть градусник максимальный, но его надо долго держать. Сегодня были в Сокольниках 26 человек, гуляли, пили чай, ели апельсины, — все как всегда, рвали нераспустившиеся ландыши. Весна уходит — и её жаль. Ты хорошо описал свои впечатления. Без тебя и Тани тут стало скучно. Сегодня уехала Лиза сестра с дочерью. Получил Миша письмо от Андрюши, он благополучен. Обедали с Машенькой и Мишей поздно; вечером корректуры, был Маклаков, теперь час ночи, все легли; скучно, что <Сидорков> Илья лакей пьян совершенно, и без двух Иванов — плохо <т.е. без двоих других слуг, один из которых, совершенно определённо — И. П. Арбузов. – *Р. А.*>. У меня глаза болят опять; пускаю капли, но работаю слишком много. Маша привезёт и книги, и деньги, которые для Лёвиного хозяйства нужны, и розовый фай. Целую всех.

С. Т.» *(ПСТ. С. 675)*.

Письмо Л.Н. Толстого от 5 мая, но, судя по содержанию, не служащее ответом на предшествующие письма Софьи Андреевны и демонстрирующее разве что быстроту включения Л.Н. Толстого в дела и заботы родной усадьбы:

«Продолжается безумная июльская погода: ландыши, жёлтые розаны, сирень, в лесу, как в июле, въедешь то в свежий, то в жаркий, стоячий воздух. Я пишу это с Козловки, куда приехал к почтовому поезду. […] Утром Таню разбудила с Груманта баба, прося помочь Дарье <Степановой>, сестре Пелагеи Морозовой, которая 3-й день не может разродиться. Таня послала за Рудневым. Я был там. Он побился с ней, но ничего не мог сделать и увезли её в Тулу. Положение правильно и опасного нет. Я все эти дни был очень слаб, и не работалось, а нынче хорошо, и подвинулся в работе, и в голове свежо, и в сердце добро. Что ты? Не получал ещё ничего от тебя. Ты, кажется, пишешь в Ясенки. Завтра побывают там. Таня хорошо. И

Лёва с женой недурно. Яблони цветут, точно хотят улететь на воздух. Сестру Машеньку целую и детей.

Прощай, голубушка, будь здорова душой и телом, и не мучай и то, и другое. […]» *(84, 282 – 283)*.

С образом жизни Льва Николаевича на эти дни, очень привычным и возлюбленным им, более-менее всё ясно. А вот о делах и днях Софьи Андреевны должна рассказать нам она сама — дабы облегчить понимание дальнейшего эпистолярного диалога её с мужем. Дадим же слово мемуаристке!

«2-го мая Лев Николаевич уехал с Таней в Ясную Поляну. Я ещё оставалась в Москве с <детьми> Мишей, Сашей и <сестрой Льва Николаевича> Марией Николаевной, сожительство с которой мне было чрезвычайно приятно.

Я была страшно занята печатанием нового издания и чтением корректур. Сидела за работой от шести до восьми часов в день, засиживалась до рассвета и страшно уставала. Помню, как, видя мои непосильные труды, зашедший к нам раз С. И. Танеев предложил мне свою помощь и исправил несколько листов корректур. Не подозревая недоброжелюбного отношения к себе Льва Николаевича, этот добрый человек иногда приходил к нам играть, зная музыкальность Марии Николаевны и мою любовь к музыке. Завидуя тишине в нашем доме и саде, он просил разрешения приходить по утрам заниматься в беседке в нашем саду, так как ему страшно мешали дома и, кроме того, в городе душно и жарко. Мы с Машинькой ему это разрешили, тем более что после занятий он нам иногда играл. Но дорого мне стоили эти невинные посещения, которые опять огорчили Льва Николаевича и доставили мне немало слёз и горя.

6-го мая я поехала на могилки своих мальчиков, Алёши и Ванички, похороненных в Никольском, в 12 верстах от Москвы, по Петербургскому шоссе. Взяла я с собой дочь Сашу, няню, Соню Колокольцову и Верочку Арбузову (девочку, ходившую за Ваничкой при няне).

Как всегда, собрались вокруг нас крестьянские девочки, которые помогали сажать на могилки цветы и поливать их. А мы раздавали им ситнички, пряники и сладости. Сфотографировала я тогда могилки в нескольких экземплярах и пошла с девочками гулять в Покровское-Глебово, где я родилась и провела всё своё детство до замужества, каждое лето.

После прогулки мы пили чай, ели яйца и привезённую нами провизию в садике избы Камоловых, крестьян, которых я знала с детства и которые помнили ещё моих родителей. Вернулись к обеду, и

девочки говорили, что это был самый счастливый день их в году. И у меня на душе было так хорошо и мирно!» *(МЖ – 2. С. 479 - 480).*

Об этой счастливой поездке и рассказывает Софья Андреевна в очень бодром письме к мужу 6 мая:

«Хотя Маша и расскажет тебе, милый друг, всё, как мы живём, но я по себе знаю, как приятно получить письмо, когда кто приезжает, и потому пишу тебе.

Провела сегодня прекрасный день, потому что была с детьми и с природой: с детьми и живыми, и умершими. С утра по конке я поехала к Арбатским воротам, наняла коляску и поехала на могилки детей своих с Сашей, Соней Колокольцовой и нашей Верочкой. Дорогой, в Всесвятском, купили пропасть цветов (высадков) и повезли всё на могилки. Там, по обыкновению, собралось много, много девочек вокруг меня; они с нашими девочками таскали землю и воду для насыпи и поливки цветов, которые мы и посадили. Затем я сняла 5 снимков фотографических с могилок. Потом мы у наших Камоловых пили чай, ели яйца; раздали детям конфеты, пряники и ситчики, и отправились в Покровское гулять. В Покровском очень грустно то, что везде видна злоба хозяйки: всё огорожено проволокой колючей, везде злые сторожа, и гулять можно только по пыльным, большим дорогам. Утром, когда мы уезжали, пришёл Сергей Иваныч <Танеев> заниматься, и мы оставили его с Мишей, обоих заниматься, к чему Мишу очень поощрял Сергей Иваныч.

Теперь 9-й час, мы вернулись и только что отобедали. Соня Колокольцова и Верочка говорят, что это самый счастливый день их жизни в этом году. Уж и веселы же они были! Мне тоже было хорошо; слышала соловья, видела и чувствовала только детей, и сегодня точно душа моя опять стала на место, а вчера вечером я мучительно тосковала; точно что-то внутри сошло с рельс, а сегодня опять покатилось правильно и спокойно.

Хотела ехать в Ясную, но воздержалась. Очень и тебя хочется видеть, да и пропускаешь что-то в этой чудной весне, что будет безвозвратно, и на всегда. А всё-таки и весеннее чувство хочется опять и опять приложить к яснополянской, привычной, любимой и полной воспоминаний — природе.

Корректур пропасть, даже ужас берёт. Сейчас будем читать с Марьей Васильевной, которая тоже ездила в Серпухов и вернулась днём.

Посылаю Лёве 50 р. Остальные поручения исполнила Маша. — Противный Сухотин, даже как человека ему не жаль жены. <Первая

жена М. С. Сухотина — Марья Михайловна, рожд. Боде, скончалась 23 июня 1897 г. – *Р. А.*> Сухая, подлая душа! Только бы за барышнями ухаживать. Я его когда-нибудь *полюблю* по-своему, благо он так старательно мне льстит, чтоб замазать глаза. Но моё правильное чувство он ничем не обманет, и я его всё-таки ненавижу.

Но за то целую тебя крепко и Таню, и Лёву с Дорой. Очень хочется вас всех повидать.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 676)*.

Следующее по хронологии письмо Л.Н. Толстого к жене датируется приблизительно — 12 или 13 мая. Ему предшествовали два события. Первым был приезд 8 мая в Ясную Поляну самарских сектантов «молокан» с целью просить у Толстого совета и помощи в деле возвращения детей, отнятых у них и устроенных в епархиальном «приюте» при монастыре для принудительного воспитания в “истинно-христианском”, то есть православном, духе. Толстой 10 мая пишет по этому поводу письма имп. Николаю II и ещё нескольким влиятельным лицам. Приятельские отношения с семейством Олсуфьевых оказались весьма кстати: письмо царю было передано через гр. А. В. Олсуфьева, помощника начальника императорской главной квартиры. Софья Андреевна вспоминает об исходе этого дела: «Письмо было оставлено тогда без внимания, а когда впоследствии дочь Таня лично хлопотала у Победоносцева о возвращении детей молоканам, Победоносцев немедленно сделал об этом распоряжение и сказал: “Да, это архиерей там перестарался”» *(МЖ – 2. С. 481)*.

Вторым же событием было — очень радостное для обоих супругов, хотя и краткое, около 11-12 мая, свидание в Ясной Поляне, о котором Софья Андреевна вспоминает в мемуарах так:

«Соскучившись в Москве по Льву Николаевичу и не имея ещё возможности уехать от дел издания и экзаменов <сына> Миши, я решилась съездить хоть на два дня в Ясную Поляну. Рано утром в прелестный весенний день я ехала со станции Козловки-Засеки, и сердце радостно билось при мысли, что сейчас увижу своего Лёвочку. Тихонько вошла к нему в спальню, он ещё не вставал, но тотчас же проснулся и вскрикнул от радости. Мы встретились точно молодые супруги…

Тот день, который я провела с Львом Николаевичем в Ясной Поляне, мы как молодые не расставались и вместе ходили гулять по любимым местам, собирали ландыши, зацветшие преждевременно. Не хотелось мне возвращаться в Москву, а нужно было» *(Там же. С. 481 – 482)*.

Под впечатлением этого визита Толстой и пишет вышеназванное письмо от 12 или 13 мая — в Москву, вослед отъехавшей жене:

«Читай одна.

Как ты доехала и как теперь живёшь, милый друг? Оставила ты своим приездом такое сильное, бодрое, хорошее впечатление, слишком даже хорошее для меня, потому что тебя сильнее недостаёт мне.

Пробуждение моё и твоё появление — одно из самых сильных, испытанных мною, радостных впечатлений; и это в 69 лет от 53-летней женщины.

Вчера отправил молокан с письмом и письмами. Кажется, что письмо не должно оскорбить Государя. То, что я тебе читал и что ты нашла рискованным, я выкинул. Нынче два раза была чудная гроза с ливнями. Лето спешит жить — сирень уж бледнеет, липа заготовливает цвет, в глуби сада в густой листве горлинки и иволга, соловей под окнами удивительно музыкальный. И сейчас ночь, яркие, как обмытые, звёзды, и после дождя запах сирени и берёзового листа.

Серёжа приехал в тот вечер, как ты уехала; он постучал под моё окно, и я с радостью вскрикнул: “Соня”. Нет, Серёжа. Все мы дружны, и всем приятно. Работается недурно. Нынче вечером чувствую себя как будто бодрее и почти не чувствую головы. Может быть, болезнь моя только старость.

Нынче была Марья Александровна. Маша с Таней едут завтра в Тулу. Если будет в “Русских ведомостях” статья Буланже о духоборах, пришли, пожалуйста.

Прощай, целую тебя, — Машу, Мишу, что Миша? Успокоился ли? Если он так влюблён и его любят, то ему надо было бы особенно хорошо заниматься, — потому что спокойно и радостно.

Ну вот и всё. Теперь 1-й час. 13-го.

Л. Т.» *(84, 283 – 284).*

Из последующих писем С.А. Толстой от 14 и 16 мая в нашем распоряжении только первое, от 14 мая — ответ на приведённое выше письмо Л. Н. Толстого. Ниже — полный его текст.

«Получила сегодня твоё ласковое письмо, милый Лёвочка, и потом всё радовалась, и когда шла по Пречистенке в Охотный ряд покупать вам, вегетарианцам, провизию, то всю дорогу мысленно с тобой разговаривала и думала, что напишу тебе сегодня вечером всё

то, что тогда думала. Но вот пришёл вечер, и я уже не могу с той ясностью и искренностью передать свои мысли и чувства; дневная, житейская суета их все перетолкла, и я не найду уж тех выражений, в которых мысленно высказывала тебе, идя по Москве, утром. Но я, конечно, помню их суть и передам её тебе, как могу. Я думала, что сколько раз в нашей супружеской жизни были эти волны: подъёма и упадка наших отношений. С какой сильной душевной энергией и радостью я всегда встречала эти подъемы. И мне казалось сегодня, что и на закате нашей жизни — он опять возможен и был бы опять радостен. И что теперь не надо портить наших хороших отношений ни чтением дневников жестоких, ни ревнивыми мыслями, ни упрёками, ни презрением к занятиям твоим или моим, надо *беречь* отношения; уже так многое безвозвратно утеряно, и так болезненно прикосновение ко всему наболелому в прошедшем … Всё это я думала, — а что сделает жизнь, — это ещё бог знает!

Сейчас разошлись: Машенька <М.Н. Толстая> ушла спать, приехавшая Лизанька <Е.В. Оболенская> уехала в Конюшки <к Дьяковым>, и Игумнов, который играл очень много и очень хорошо. Особенно хороша была баркаролла Шопена, которую он теперь учит. А вчера вечером Юша Померанцев много играл, а утром играл Танеев свою симфонию. Он приходил заниматься в беседку два раза по утрам. В монастырь он не уехал; я его не поняла; он сказал, едет в понедельник, и это и будет, но в следующий понедельник. <Танеев любил уединяться под Москвой в Гефсиманском скиту близ Троице-Сергиевской лавры для сосредоточенной композиторской деятельности. – *Р. А.*>

Продолжаю усиленно заниматься по утрам, часов до трёх читаю с Марьей Васильевной, потом до трёх ночи читаю одна. Ужасно утомляюсь; а тут укладка, покупки, посетители. Была <издательница> Гуревич, и у меня к ней всё не хорошее чувство, в роде как у детей к полу, о который они ушибаются, сами падая. Потом от <переводчика> Гальперина какой-то Жданов, потом разные портнихи, купцы, типографщики и т. д.

Миша, кажется, на греческом уже провалился, а латынь надеется завтра выдержать; он сегодня весь день дома занимался. Как холодно стало! Немного я боюсь за Сашу, тем более, она едет с довольно бестолковой mademoiselle Aubert.

Пришлите к почтовому за прислугой на Козловку: Дуняша, Вера, Иван, Семён с женой и двумя детьми и багаж. Пожалуйста, не забудьте. Не знаю, когда приеду сама; кроме корректур пропасть дел типографских, денежных, и зубы — необходимо. Устала и тоскливо,

что не живу с тобой, с природой и в тишине. Да уж так, видно, прогорит моя нынешняя весна в лихорадочной работе. Что Таня? Целую её, Машу, Лёву, Дору, и особенно тебя, мой друг. Прощай, берусь опять за дела и корректуру, хотя уже первый час ночи.

Твоя Соня Толстая» *(ПСТ. С. 677 - 678)*.

К сожалению, подать друг другу всегда разумный совет о бережении отношений супругам легче, нежели следовать ему. На этот раз нарушителем их стал Лев Николаевич, ревниво воспринявший известия о — хотелось бы верить! — чистых и исключительно с музыкой связанных отношениях жены с С. И. Танеевым. То, что думалось Толстому в эти месяцы, становится ясным из записи его Дневника от 12 января 1897 года (выше нами уже цитированной) с оценкой поведения С. А. Толстой как «старческого flirtation [флирта] или ещё хуже», «болезни, которую принимают за здоровье и поддерживают в ней, а не лечат» *(53, 132)*. (Страницу с этой записью Толстой впоследствии вырвал из тетрадки Дневника, но сохранился её снимок, сделанный В. Г. Чертковым).

И ещё, из Дневника на 15 января — судя по всему, о ней же, о Соничке:

«После того, как я всем божеским, служением Богу жизнью, раздачей именья, уходом из семьи, пожертвовал для того, чтобы не нарушить любовь, — вместо этой любви должен присутствовать при унизительном сумашествии» *(Там же)*. К чести Льва Николаевича следует добавить, что он здесь же аттестует эти свои мысли как «скверные, слабые».

Продолжением такого же бреда ревнивца стали записи в Дневнике от 16, 17 и 18 мая — в которых речь о, казалось бы, совершенно невинном по содержанию письме Софьи Андреевны от 14 мая. Вот как Толстой воспринял известие из него о продолжении отношений жены с С.И. Танеевым:

«*16 мая*. […] Вчера получил от неё письмо. Всё то же. Всю ночь не спал. Никогда страдания не доходили до такой силы. Отец, помоги мне. Научи. Войди, усильс во мне. Не могу придти ни к какому решению. Не думать? Нельзя. Решить же ничего не могу. Жалеть не могу и противодействовать не могу по жалости. Боже, помоги.

17 мая. Е[сли] б[уду] ж[ив], что очень сомнительно. Сердце ужасно болит. Слёзы стоят в горле. Только пуститься, и я разрыдаюсь. — Особенно днём.

18 мая. Всё так же не переставая болит сердце. Три ночи не спал и чувствую, что не буду спать и нынче. Не могу ничего работать.

Кажется, пришёл к решению. Трудно будет исполнить, но не могу и не должен иначе» *(Там же. С. 145 - 146)*.

Толстой решил уйти из Ясной Поляны, о чём и написал в письме к жене в бессонную ночь 18 мая. Письмо не было ни дописано, ни отправлено и сохранилось в черновике, в виде вот этого перечёркнутого фрагмента:

«Сближение твоё с Т[анеевым] мне отвратительно, и я не могу переносить его спокойно. Продолжая жить с тобою при этих условиях, я сокращаю и отравляю свою жизнь. Вот уж год, что я не живу. Ты это знаешь. Я говорил это тебе и с раздражением и с мольбой. Я пробовал последнее время молчание. Я всё испробовал и ничто не помогло: сближение продолжается, и я вижу, что так будет идти до конца. Я не могу больше переносить этого. Очевидно, что ты тоже не можешь прекратить этого — остаётся одно — расстаться. На что я твёрдо решился. Надо только обдумать, как лучше это сделать.

Я думаю, что лучше всего мне уехать за границу. Впрочем, обдумаем, как лучше. Одно несомненно, что оставаться в теперешнем положении нельзя» *(84, 284)*.

Письмо не было ни окончено, ни переписано начисто, а в следующую бдящую ночь, на 19 мая, Лев Николаевич на основе черновика 18 мая написал к жене — и тоже не отправил! — другое письмо, кажется, одно из самых длинных его писем во всей Переписке с женой. И в этом письме оценки ситуации и планы действий были уже не столь радикальны:

«Ночь. 19 мая.

Милая и дорогая Соня.

Твоё сближение с Т[анеевым] мне не то что неприятно, но страшно мучительно. Продолжая жить при этих условиях, я отравляю и сокращаю свою жизнь. Вот уже год, что я не могу работать и не живу, но постоянно мучаюсь. Ты это знаешь. Я говорил это тебе и с раздражением, и с мольбами, и в последнее время совсем ничего не говорил. Я испробовал всё, и ничего не помогло: сближение продолжается и даже усиливается, и я вижу, что так будет идти до конца. Я не могу больше переносить этого. В первое время после получения твоего последнего письма я было решил уехать. И в продолжении трёх дней жил с этой мыслью и пережил это и решил, что, как ни тяжела мне будет разлука с тобой, всё-таки я избавлюсь от этого

ужасного положения унизительных подозрений, дерганий и разрываний сердца и буду в состоянии жить и сделать под конец жизни то, что считаю нужным делать. И я решил уехать, но когда я подумал о тебе, не о том, как мне будет больно лишиться тебя, как это ни больно, а о том, как тебя это огорчит, измучит, как ты будешь страдать, я понял, что <я> не могу этого сделать, не могу уехать от тебя без твоего согласия.

Положение такое: продолжать жить так, как мы теперь живём, я *почти* не могу. <*Зач.*: Во всяком случае, если бы продолжать жить так, то я наверно не выдержу года. – *Р. А.*> Я говорю *почти* не могу, потому что всякую минуту чувствую как теряю самообладание и всякую минуту могу сорваться и сделать что-нибудь нехорошее: без ужаса не могу думать о продолжении тех почти физических страданий, которые я испытываю и которые не могу не испытывать.

Ты знаешь это, может быть забывала, хотела забывать, но знала, и ты хорошая женщина и любишь меня и всё-таки не хотела, я не хочу ещё думать, чтобы не могла избавить меня, да и себя от этих ненужных, ужасных страданий.

Как же быть? Реши сама. Сама обдумай и реши, как поступить. Выходы из этого положения мне кажутся такие: 1) и самое лучшее, это то, чтобы прекратить всякие отношения, но не понемногу и без соображений о том, как это кому покажется, а так, чтобы освободиться совсем и сразу от этого ужасного кошмара, в продолжении года душившего нас. Ни свиданий, ни писем, ни мальчиков, ни портретов, ни грибов Ан. Ив. <Масловой> <С. И. Танеев был давним другом всего семейства Масловых. – *Р. А.*>, ни Померанцева <Юрий Николаевич Померанцев (1878 - 1933), ученик и гомо-партнёр Танеева, стал позднее выдающимся композитором. – *Р. А.*>, а полное освобождение, как Маша освободилась от З[андера], Таня — от П[опова]. — Это одно и лучшее. Другой выход это то, чтобы мне уехать <одно или два слова густо замараны. – *Р. А.*> за границу, совершенно расставшись с тобой, и жить каждому своей независимой от другого жизнью. Это выход самый трудный, но всё-таки возможный и всё-таки в 1000 раз для меня более лёгкий, чем продолжение той жизни, которую мы вели этот год.

Третий выход в том, чтобы тоже, прекратив всякие сношения с Т[анеевым], нам обоим уехать за границу и жить там до тех пор, пока пройдёт то, что было причиной всего этого.

Четвёртый не выход, а выбор самый страшный, о котором я без ужаса и отчаяния не могу подумать, это тот, чтобы, уверив себя, что это пройдёт и что тут нет ничего важного, продолжать жить так же, как этот год: тебе самой, не замечая этого, отъискивать все способы

сближения, мне видеть, наблюдать, догадываться и мучаться — не ревностью, может быть есть и это чувство, но не оно главное. Главное, как я тебе говорил, стыд и за тебя и за себя. То самое чувство, которое я испытывал по отношению к Тане, с П[оповым], с С[тахо-вичем], но только ещё в 100 раз болезненнее. Пятый выход тот, который ты предлагала: мне перестать смотреть на это, как я смотрю, и ждать, чтобы это само прошло, если что и было, как ты говоришь. Этот пятый выход я испробовал и убедился, что не могу уничтожить в себе то чувство, которое мучит меня, до тех пор, пока продолжаются поводы к нему.

Я испытал это в продолжение года и старался всеми силами души и не мог и знаю, что не могу, а напротив, удары, всё по одному и тому же месту довели боль до высшей степени. Ты пишешь <в письме 14 мая. – *Р. А.*>, что тебе больно видеть Гуревич, несмотря на то, что чувство, которое ты с ней связала <в конфликте февраля 1895 г. – *Р. А.*>, не имело никакого подобия основания и продолжалось несколько дней. Что же должен я чувствовать после 2-х летних <т. е. в 1896 и 1897 гг. – *Р. А.*> увлечений и имеющих самые очевидные основания, когда ты после всего, что было, устроила в моё отсутствие ежедневные — если они были не ежедневные, то это было не от тебя — свидания? <С 1 по 20 мая С. А. Толстая виделась с С. И. Танеевым пять раз. – *Р. А.*>

А ты в том же письме пишешь как бы программу нашей дальнейшей жизни, чтобы не мешать тебе в твоих занятиях или радостях, когда я знаю, в чём они.

Соня, голубушка, ты хорошая, добрая, справедливая женщина. Перенесись в моё положение и пойми, что иначе чувствовать, как я чувствую, т. е. мучительную боль и стыд, нельзя чувствовать, и придумай, голубушка, сама наилучшее средство избавить, не столько меня от этого, сколько себя самое от еще худших мучений, которые непременно в том или другом виде придут, если ты не изменишь свой взгляд на всё это дело и не сделаешь усилие. — Я пишу тебе это третье письмо. Первое было раздражённое, вторую записочку оставляю. Ты увидишь из неё лучше моё настроение прежнее. Уехал я в Пирагово, чтобы дать и тебе и себе свободу лучше обдумать и не впасть в раздражение и ложное примирение.

Обдумай хорошенько перед Богом и напиши мне. Во всяком случае, я скоро приеду, и мы постараемся всё спокойно обсудить. Только бы не оставалось так, как есть; хуже этого ада быть не может для меня. Может быть мне так надо. Но тебе наверное не надо. Правда, есть ещё два выхода — это моя или твоя смерть, но оба они ужасны, если это случится прежде, чем успеем развязать наш грех.

Открываю письмо, чтобы прибавить ещё вот что: Если ты не изберёшь ни первого, ни второго, ни третьего выхода, т. е. не перервёшь совершенно всякие сношения, не отпустишь меня за границу с тем, чтобы нам прекратить всякие сношения, или не уедешь со мной за границу на неопределённое время, разумеется, с Сашей, а изберёшь тот неясный и несчастный выход, что надо всё оставить по-старому и всё пройдёт, то я прошу тебя никогда со мной про это не говорить. Я буду молчать, как молчал это последнее время, дожидаясь только смерти, которая одна может избавить нас от этой муки.

Уезжаю я тоже, потому что, не спав почти 5 ночей, я чувствую себя до такой степени нервно слабым, только попуститься и я разрыдаюсь, и я боюсь, что не вынесу свидания с тобой и всё, что может из него выдти.

Состояние моё я не могу приписать физическому нездоровью, потому что всё время чувствовал себя прекрасно и нет ни желудочных, ни желчных страданий» *(Там же. С. 285 – 287)*.

На этом текст письма прерывается. Обычной подписи нет, что указывает на незаконченность письма. Принято считать, что, как и первое, оно не было послано к адресату. Во всяком случае, судя по соответствующей части её воспоминаний, Софья Андреевна искренне не подозревала, какой её ждёт сюрприз при готовившемся переезде на лето в Ясную Поляну. С другой стороны — о *записке*, оставленной мужем, она тоже в связи с событиями 1897 года не упоминает. «Всплыла» она в 1899 году, о чём тогда же, под 21 июня, Софья Андреевна оставила в дневнике такой рассказ:

«Вчера было мне тяжёлое впечатление от следующего события: Лев Николаевич отдал одному самоучке крестьянину переплетать книги. В одной из них оказалось забытое письмо. Смотрю, на конверте синем рукою Л. Н. написано что-то, а конверт запечатан. Читаю и ужасаюсь: он пишет на конверте ко мне, что он решил лишить себя жизни, потому что видит, что я его не люблю, что я люблю другого, что он этого пережить не может… Я хотела открыть конверт и прочесть письмо, он его силой вырвал у меня из рук и разорвал в мелкие куски.

Оказалось, что он ревновал меня к Т… до такого безумия, что хотел убить себя. Бедный, милый! Разве я могла любить кого-нибудь больше его?» *(ДСАТ – 1. С. 451)*.

В литературе принято считать, что в порванном конверте была именно та самая *записка*, упомянутая Толстым в письме к жене от 19 мая (*Там же. С. 592. Комментарии; Опульская Л. Д. Материалы… 1892 – 1899. С. 251)*.

Вот её версия событий, вплоть до счастливого (хотя не окончательного) разрешения текущего супружеского конфликта:

«Танеев, не зная об отношении к себе Льва Николаевича и его ревности, о чём и сейчас так больно и совестно писать, — опять приходил к нам с сестрой Машинькой и прекрасно сыграл нам тогда свою симфонию. Он продолжал иногда по утрам приходить заниматься в беседке, в саду, но мы его редко видали.

[…] 15-го мая я отправила в Ясную Поляну дочь Сашу с её гувернанткой, мадам Обер, а 17-го я узнала, что Миша проваливается на экзаменах и мне придётся взять ему репетитора на лето, так как он оставлен в 6-м классе и надеялся на осенние переэкзаменовки. И в этом помог мне С. И. Танеев, рекомендовав мне воспитателя братьев Сабанеевых — И. В. Туркина, который был очень хорошим преподавателем… Миша впоследствии говорил, что Туркин в три недели выучил его математике лучше, чем во весь год учения в лицее.

18-го мая уехала в монастырь Мария Николаевна, и я страшно заспешила с своими делами, чтоб тоже уехать. […] Наконец, кончив всё, измученная, но радостная, я поехала 22-го мая в Ясную Поляну, послав предварительно телеграмму о высылке мне лошадей.

Приехав рано утром, меня как громом поразило, что Лев Николаевич, получив известие о моём приезде, немедленно уехал к брату в Пирогово. <Отъезд Л. Н. Толстого состоялся не позднее 20-го мая. По оставленной им записке Софья Андреевна могла узнать дату, так что, вероятнее всего, здесь ошибка её памяти: Толстой выехал к брату, ещё не зная точной даты приезда жены и независимо от её телеграммы. – *Р. А.*>. Я тотчас же поняла причину <! – *Р. А.*> и немедленно отправилась с скорым поездом в Лазарево и оттуда на ужасном ямщике в Пирогово. Там встретил меня, вглядываясь своими любопытными, испытующими глазами, брат Льва Николаевича, Сергей Николаевич.

— Что у вас произошло? — спросил он у меня. — Лёвочка так расстроен. Что же это? — как бы иронически допрашивал он.

— Да ровно ничего не произошло, — ответила я. — Даже совестно говорить о ревности к 53-летней старой женщине, а между тем причина всего что произошло, — это ревность Льва Николаевича к Танееву.

И я рассказала, как мы жили с сестрой Машинькой в Москве и Танеев приходил заниматься в беседке в саду, а это вызвало досаду в Льве Николаевиче и огорчило его, о чём очень сожалею.

— Где Лёвочка? — спросила я.

— В саду.

Я пошла в сад его искать. Вижу, лежит, бедный, на траве, прикрывшись полотняным халатом, сшитым мной, и в белой фуражке, тоже сшитой мной. Он спал. Увидав его, я заплакала. Как скучны, не нужны, ничтожны показались мне все люди, все события, вся музыка рядом с моей любовью к этому спящему, любимому человеку. Он открыл глаза.

— Зачем ты приехала? — спросил он меня недобрым голосом.

— Как зачем? Приехала за тобой…

Сначала Лев Николаевич был суров и строг. Но мы хорошо поговорили, я просила его простить меня, если я его огорчала, уверяла его в любви своей и смягчила его сердце.

23-го я уехала в Ясную Поляну, где ещё никого не видала. Ничего не разложила, а 25-го Лев Николаевич вернулся из Пирогова» *(МЖ – 2. С. 482 - 483)*.

Конечно же, на некоторое время отношения супругов после того стабилизировались. Но стабильность, всегда так соблазняющая простодушных, слишком часто бывает недоброй: состоянием отдыхающих в своём торжестве лжи и самообмана, состоянием затаившегося зла, а вовсе не победивших истины и добра. «Лев Николаевич был со мной необыкновенно нежен, и это составляло моё счастье…» — вспоминает с грустью Соня-мемуаристка *(Там же. С. 483)*. Такое же, недолгое и обманчивое, счастье обрела и дочь их Маша, женившаяся на “своём” для семейства Толстых, но безденежном, безвольном и глупом Николае Леонидовиче Оболенском. Поселившись с мужем в Пирогове, она годами тосковала по яснополянскому духовному приюту, в котором остался её отец, которому она была много лет ближайшей в семье христианской единомышленницей. Она старалась не пропускать ни одного повода навестить отца и милую Ясную. Очередная поездка в ноябре 1906 г. оказалась роковой… За 14-ть лет до отца дочь погибла от той же тяжелейшей простуды, которая убьёт и его в 1910-м.

На следующий день после свадьбы в Москве, 3-го июня, «молодые» прибыли в Ясную Поляну. С ними увязался и С.И. Танеев, привезший для младшего сына Толстых Миши обещанного им талантливого учителя, Николая Васильевича Туркина. Но уже через пару дней милейший Сергей Иванович, будто что-то почуявший, засобирался из Ясной Поляны к старым своим радушным друзьям Масловым в имение Селище — под предлогом, что он хочет там кататься на велосипеде. К его неудовольствию, велосипед нашёлся в Ясной Поляне: ведь Лев Николаевич уже успел освоить этот нехитрый транспорт. Поддавшись уговорам, музыкально одарённый гей оседлал толстовского железного коня… и, конечно, тут же свалился с него и ушиб

ногу. Пообижался, поплакал… и всё-таки уехал! Софья Андреевна приписала это падение и скорый за ним отъезд любимого музыканта “происка м” мужа-ревнивца и у неё случилась истерика:

«Я хотела убить себя, уехать, умереть, только бы не испытывать таких душевных терзаний. Упрёки, ссоры… Наконец, я раз поздно вечером убежала из дому. Шла одна по лесу, и плакала, и молилась. Плакала о Ваничке, о себе, о нашем разладе с мужем. […] Во сне я видела тогда Ваничку, точно он хотел меня утешить своим появлением хоть во сне; и рыдания разбудили меня и удивили Льва Николаевича» *(МЖ – 2. С. 485)*.

Толстой продолжал «долго и болезненно», как подметила жена, трудиться над своей статьёй об искусстве — идеи которой, как она почувствовала и поняла уже тогда, были в оппозиции эстетическим воззрениям и Танеева, и массы современных и близких ей «людей искусства». Мучения Льва Николаевича над этим трактатом были трудом, в чём-то близким женскому: трудом “вынашивания” и “рождения” в мир новой концепции — *христианского* искусства, служащего, посредством влияния на сознание и чувства, делу единения человечества в актуальном и спасительном христианском религиозном понимании жизни, в общей *вере живой*, руководящей помыслами и поступками человека как сознательного дитя и работника Божия в мире. Но Соничка — отчасти и вследствие недоверия ей мужем своих писаний — не постигала этого значения великого трактата, и судила по-своему: мужу просто хочется отрицать искусство из-за её увлечения музыкой *(Там же)*.

Лев Николаевич допустил и в этом недоверии Соне своих эстетических штудий жестокую ошибку. В дневнике на 21 июня 1897 г. и в мемуарах она признаётся, как именно в то лето она особенно тяготилась всем материальным, стремясь к духовным и дружеским отношениям с Львом Николаевичем: чтобы, например, вместе слушать и анализировать сложную музыку, «чтоб душа моя вся напрягалась от внимания и усилия понять, что хотел выразить композитор этим таинственным музыкальным языком, чем жил он в глубине своей души, когда сочинял такое или иное произведение» *(Там же)*. Академическая музыка осмысливалась ей, в продолжение её многолетних, восходящих к общению с Л. Д. Урусовым, увлечений философией, как «речь философская», интеллектуально насыщенный *культурный текст*, крайне интересный и имеющий, по своему жизнетворческому потенциалу, не меньше прав на уважительное внимание, чем простая мелодия или песня, «простые, разговорные слова, понятные мужику, ребёнку…» *(Там же. С. 486; ср.: ДСАТ – 1. С. 254 - 255)*. А вот с идеей мужа о «заразительности» (добрыми чувствами и мыслями)

как критерии значительности произведения искусства она не могла согласиться: «Вопрос: заразительности *кого*? уже уничтожает всё. Мужика заражает гармоника и песнь, меня соната Бетховена или “Песнь без слов” Мендельсона, Страхова — “Руслан и Людмила”, mme Гельбиг — Вагнер, башкирца — его дудка» *(ДСАТ – 1. С. 249)*.

Эту и подобные этой полезные остроумности Соничка готова была сообщить мужу — в обмен на простое внимание и доверие, на возможность не простого монотонного переписывания, а, как было когда-то, *сотворчества* с тем, кто был для неё, как бог. Увы! великий бог словесного искусства не понимал, не чувствовал, не доверял жене сотворчества в писании трактата. В записи уже от 28 августа 1897 г. Соничка, несостоявшийся соавтор, уже только сожалеет, что статья мужа «Что такое искусство» «могла бы быть так хороша, а в ней так много несправедли-вого, парадоксального и задорного» *(Там же. С. 289)*.

Не только по течению многолетнего конфликта супругов, но даже хронологически год 1897-й оказывается посередине, своеобразной «осью» между апофеозными по конфликтности 1882-1884-м и 1910-м годами — и, на наш взгляд, не напрасно. Софья Андреевна пережила период климакса и, значит, окончательного сексуального охлаждения. Записи её дневника свидетельствуют, что, как никогда, она вожделела от привычного спутника жизни отношений возвышенных, чистых. Но не простой дружбы:

«Что интересного в жизни Льва Николаевича? Что интересного в жизни Сергея Ивановича? Их любишь не за них, не за жизнь и внешность их, а за ту опять-таки *мечту* бесконечную, глубокую, из которой вытекает их творчество и которую любишь в них чувствовать и идеализировать» *(ДСАТ – 1. С. 311; запись 23 октября)*.

Ей справедливо, законно хотелось поменяться местами с супругом, своим «пигмалионом», который ещё до брака так же, как и юная Соничка, “вылепил” её в своих фантазиях, по своим идеалам, а после брака — и в реальной жизни воспитал по ним!

В Танееве Соня ценила сочетание мужской приятности с весёлостью и культурной элитарной просвещённостью *(ДСАТ – 1. С. 261)*. Мы помним, *кто* воплотил в её жизни этот идеал до Сергея Ивановича: князь Леонид Дмитриевич Урусов, которого у Сони забрала смерть ещё за десять лет до трагедии с младшим сыном. И покойный Урусов, и Ваничка, и Сергей Иванович, и, конечно, муж — в них всех она искала свой идеал чистоты. Но Танеев и Урусов были только желанными гостями дома и никогда не были *повседневно* близки ей — оттого в них этот умозрительный идеал было отыскивать легче, чем в муже.

«Барьер невосприятия» между супругами в 1897-м году и в 1910-м возникает при несколько схожих даже внешних обстоятельствах: например, *ревность* Сони в 1910 году к В. Г. Черткову, которого она заподозрила в гомосексуальных отношениях с супругом. И в обоих случаях ссоры катализируются записями в их личных дневниках: если Толстому удалось потаить тогда, в 1897-м, приводившиеся нами выше записи о жене, то у неё скрыть возобновление своих записей в дневнике летом 1897 года не получилось: муж взломал замок её рабочего стола, похитил дневник и прочитал его *(Там же)*. Конечно же, в сочетании с новым наездом 4 июля в Ясную Поляну С. И. Танеева, впечатления от Сониного дневника, какого-то очень "задиристого" в том году — породило бурю. Узнав 4 июля о приезде "любовника", Толстой обрушил на супругу «упрёки во лжи, требования искоренить какое-то особенное чувство к Сергею Ивановичу или прекратить всякие отношения». Соничка основательно и остроумно парировала эти наскоки мужа: и тем, что требование «искоренить чувство» глупо (в чувствах люди не властны), и тем, что не менее глупо с его стороны Танеева, отказав ему от дома, «оскорбить без всякой причины и компрометировать свою жену тоже без всякой причины, не говоря уже *вины*» *(Там же. С. 261)*. Ничего не сумев доказать ревнивцу, в следующие дни, 5 и 6 июля, она старалась лишь молчать, не принимая его вызовов и лишь беспокоясь о том, чтобы Танеев ничего не заметил *(Там же. С. 261 - 262)*. А вот 10 июля в дневнике её записано уже: «Мои отношения с Львом Николаевичем опять исправились» *(Там же. С. 262)*. Примирение состоялось накануне, 9 июля, но ещё за день до того Толстым было написано письмо, занимающее, как нам кажется, как сам 1897-й год, «осевое», главнейшее место в эпистолярном диалоге Л. Н. Толстого с супругой в период со времени духовного перелома конца 1870-х до ухода и смерти в 1910-м. Вот это письмо:

«Дорогая Соня,

Уж давно меня мучает несоответствие моей жизни с моими верованиями. Заставить вас изменить вашу жизнь, ваши привычки, к которым я же приучил вас, я не мог, уйти от вас до сих пор я тоже не мог, думая, что я лишу детей, пока они были малы, хоть того малого влияния, которое я мог иметь на них, и огорчу вас, продолжать жить так, как я жил эти 16 лет, то борясь и раздражая вас, то сам подпадая под те соблазны, к которым я привык и которыми я окружён, я тоже не могу больше, и я решил теперь сделать то, что я давно

хотел сделать, — уйти, во-первых, потому что мне, с моими увеличивающимися годами, всё тяжелее и тяжелее становится эта жизнь, и всё больше и больше хочется уединения, и, во 2-х, потому что дети выросли, влияние моё уж в доме не нужно, и у всех вас есть более живые для вас интересы, которые сделают вам мало заметным моё отсутствие.

Главное же то, что как индусы под 60 лет уходят в леса, как всякому старому, религиозному человеку хочется последние года своей жизни посвятить Богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, тенису, так и мне, вступая в свой 70-й год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения, и хоть не полного согласия, но не кричащего разногласия своей жизни с своими верованиями, с своей совестью.

Если бы открыто сделал это, были бы просьбы, осуждения, споры, жалобы, и я бы ослабел, может быть, и не исполнил бы своего решения, а оно должно быть исполнено. И потому, пожалуйста, простите меня, если мой поступок сделает вам больно, и в душе своей, главное ты, Соня, отпусти меня добровольно и не ищи меня, и не сетуй на меня, не осуждай меня.

То, что я ушел от тебя, не доказывает того, чтобы я был недоволен тобой. Я знаю, что ты *не могла,* буквально не могла и не можешь видеть и чувствовать, как я, и потому не могла и не можешь изменять свою жизнь и приносить жертвы ради того, чего не сознаёшь. И потому я не осуждаю тебя, а напротив, с любовью и благодарностью вспоминаю длинные 35 лет нашей жизни, в особенности первую половину этого времени, когда ты, с свойственным твоей натуре материнским самоотвержением, так энергически и твёрдо несла то, к чему считала себя призванной. Ты дала мне и миру то, что могла дать, <и> дала много материнской любви и сам[о]отвержения, и нельзя не ценить тебя за это. Но в последнем периоде нашей жизни, последние 15 лет мы разошлись. Я не могу думать, что я виноват, потому что знаю, что изменился я не для себя, не для людей, а потому что не могу иначе. Не могу и тебя обвинять, что ты не пошла за мной, а благодарю и с любовью вспоминаю и буду вспоминать за то, что ты дала мне. Прощай, дорогая Соня.

Любящий тебя Лев Толстой.

8 июля 1897 г.» *(84, 288 - 289).*

Биограф Толстого Л. Д. Опульская называет это письмо «прощальным» и справедливо замечает: «Если бы под ним не стояла авторская

дата…, можно было подумать, что оно относится к октябрю 1910 г.» *(Опульская Л. Д. Материалы… 1892 - 1899)*. Если сравнить это письмо с не менее знаменитым, оставленным Л. Н. Толстым жене в ночь рокового своего ухода, 28 октября 1910 года — можно увидеть целый ряд совпадений как на уровне высказанных идей и образов, так даже и текстовых: лексических форм и синтаксических конструкций. Становится понятным, что Толстой вспомнил и использовал этот текст при составлении того, последнего яснополянского, своего письма к жене.

Толстой спрятал своё письмо в кабинете за подкладку клеёнчатого кресла (там уже покоилась до времени другая тайна от жены, рукопись повести «Дьявол»). Во время тяжёлой болезни 1901 – 1902 гг. тайна была открыта дочери Марии Львовне. Толстой просил дочь вынуть письмо и надписать на конверте: «Вскрыть через пятьдесят лет после моей смерти, если кому-нибудь интересен эпизод моей автобиографии». Но тогда он выздоровел, и до 1907 г., когда Софья Андреевна решила переобить мебель, письмо пролежало в кресле.

О дальнейшей судьбе письма мы узнаём из сообщения вышеупомянутого Н. Л. Оболенского, мужа Марьи Львовны, которое тот сделал уже после смерти Толстого. В 1907 г. Толстой вынул письма и передал Н. Л. Оболенскому, надписав на сером конверте: «Если не будет особого от меня об этом письме решения, то передать его после моей смерти С. А.». «Это он мне велел взять, — пишет Н. Л. Оболенский, — и хранить пока у себя, что я и сделал, пока не отдал его Мих. С. Сухотину для передачи Софье Андреевне теперь. Когда после смерти Л. Н-ча С. А-не передали этот серый пакет, она вынула оттуда два письма, прочтя одно, она тотчас разорвала его; другое письмо именно было об уходе его, предполагавшемся в 1897 году» *(ПСТ. С. 289 – 290. Комментарий)*. Разорванное письмо, вероятнее всего, было “дублёром” оставленного, но более интимным: Л. Д. Опульская полагает, что речь в нём шла о Танееве, так как «в сохранившемся письме имя музыканта даже не упоминается» *(Опульская Л. Д. Материалы… 1892 – 1899. С. 252)*.

«Вероятно, тяжёлое состояние сердца Льва Николаевича побудило его написать то письмо, — комментирует С. А. Толстая в книге “Моя жизнь”, — То же желание уйти, бежать, как было и в конце его жизни. […] Но тогда он не ушёл, и всё прошло, всё обошлось, потому что мы были одни, никто не влиял на Льва Николаевича, никто его на меня не натравливал. <Намекает на В. Г. Черткова, который в 1897 г. жил в ссылке в Англии. – *Р. А.*> Он знал в глубине своей души мою любовь к нему, мою верность. […] И не ушёл тогда, слава Богу!

Прожили ещё вместе 13 лет. Жизнь шла тогда обычным порядком, и никто не подозревал ни о письме, ни о той тяжёлой драме, которая происходила в душе моего бедного милого мужа» *(МЖ – 2. С. 486 - 488).*

КОНЕЦ ВТОРОГО ФРАГМЕНТА
СОРОК ВТОРОГО ЭПИЗОДА

Фрагмент Третий.
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ
(14 сентября – 9 октября 1897 г.)

Эпопея конфликтных отношений супругов Толстых в 1881-1910 гг., перевалила в 1897-м, как мы уже заметили для читателей, через некую свою незримую, но ощутимую *ось*. Жизнь обоих в лето и осень этого года была до предела насыщена помыслами, впечатлениями и трудами весьма возвышенными, могущими обрести некий синтез. Но… такового не предвиделось. Соня продолжала бояться и не признавать христианской веры мужа, а муж — свыкся с тем, что не может раскрыть перед женой сердце и помыслы так же, как раскрывал их перед более близкими ему духовно дочерьми или даже такими спутниками его христианского исповедничества, как Бирюков, Дунаев, Мария Шмидт, Буланже, Чертков… Причинённые друг другу многолетние обиды усугубляли отторжение, ощутившееся чуткой и умной Софьей Андреевной как неустойчивое сопутничество двух параллельных миров. Вот что она записала об этом в дневнике на 19 сентября 1897 года:

«Ветер, пасмурно и грустно. Тянет к музыке и только к музыке. Нездоровится, одиноко, хочется любви, общения с людьми — а где их взять? И всякому хочется любви, а дать её редко кто может. А то отдаёшь её горячо, самоотверженно, а её не берут — не нужна любовь, а только в тягость. И большей частью так: линии любви параллельные и не сходятся…, а так <чтобы сошлись>, почти не бывает никогда. И всегда один *любит*, другой *позволяет* себя любить» *(ДСАТ – 1. С. 299 – 300).*

Жизнь стареющей, освободившейся от сексуальных влечений женщины — стала как никогда ей скушна и пресна. Позади, в недавнем прошлом, была страшная семейная трагедия: утрата любимого маленького сына. Впереди же… Печальный парадокс: писавший в

1897-м трактат *об искусстве* Лев Николаевич Толстой не мог понять и разделить с Соней её радостей от искусства, от музыки — и от игры гениального гомосексуала С. И. Танеева. Выслушать её размышления по музыкальным впечатлениям — полезные для его трактата, не менее замечательные, чем многие мысли Софьи Андреевны по прочтении в 1880-1890-х гг. очень “мужских” философических книг: древних мудрецов, А. Шопенгауэра, Н. Страхова, А. Шпира, А. Амиеля… С другой стороны, и она в глубине души отторгала и воскресший с высылкой в Англию В. Г. Черткова, так соблазнивший Толстого в 1880-е, проект «всемирного “Посредника”», и эпопею помощи сектантам духоборам, в которую в 1897 г. Толстой уже включился самым непосредственным образом, и массу гостей мужа со всего мира, осаждавших *их* семейный дом – но чтобы видеть *его*, говорить *с ним, а не с ней*. Даже для женского, и неглупого, меньшинства гостей Толстого она слишком часто была… только пресловутой *хозяйкой дома*: постановщицей столовых приборов, затейницей самовара, распорядительницей попутных угощений и развлечений… А она уже *второй десяток лет* хотела (и чувствовала, что *могла*) — большего: в писательстве, в философии, в музыке и ином творчестве… в науке, в общественной жизни. Но самостоятельный путь в эти сферы был женщине тогдашней России затруднён, а муж, изранив сердце неприятием Соней *главного*, открывшейся ему во всех значении и силе истинной, евангельской веры Христа — теперь уже искал иных спутников, помощников, друзей… искал и находил их во всём мире, но не в доме своём. И тоже хандрил, в особенности после ухода из отцовского дома близкой ему по убеждениям дочери Маши, чьё замужество он сравнивал в записи Дневника на 16 июля с порчей «высоких кровей лошади, на которой стали возить воду». И здесь же — запись о своём одиночестве без духовно близкой Маши: «Моя жизнь никому <из домашних. – *Р. А.*> не только не интересна, но скучно, совестно им, что я продолжаю заниматься такими глупостями» *(53, 147)*.

В то же время Толстого мало интересовала жизнь семьи, детей — огорчавших в те лето и осень Софью Андреевну и учёбой, и долгами, и здоровьем… С болью констатировала она, что, по возвращении её из поездки 25 – 31 августа в Москву муж, встретив её, о детях, занятый своими мыслями, не спросил ничего *(ДСАТ – 1. С. 290)*. Мучимые вместе с родителями, убиваемые тем летом дети духоборов беспокоили его разум и волновали христианское сердце значительно больше…

К «глупостям» прежним, писания статьи «Что такое искусство» и подступам обдумывания к «Хаджи-Мурату», добавились в те месяцы

ещё две, *опасные* с точки зрения Софьи Андреевны, «глупости» Толстого: открытые письма в газеты в защиту преследуемых в России сектантов, духоборов и молокан. Письмо о духоборах было написано 29 августа 1897 г. для шведской газеты «Stokholm Tagblatt». Софья Андреевна записывает о нём в дневнике на 31 августа следующее:

«Дело в том, что шведский керосиновый торговец Нобель оставил завещание, что всё его миллионное богатство он оставляет тому, кто больше всего сделает для мира (la paix) и, следовательно, против войны. […] Тогда сказали, что Лев Николаевич заслужил это наследство. Конечно, Лев Николаевич не взял бы денег, но он написал письмо, что больше всех сделали для мира духоборы, отказавшись от военной службы и потерпевши так жестоко за это.

Я ничего не имела бы против такого письма, но оказалось, что в письме этом Лев Николаевич грубо и задорно бранит русское правительство, и некстати, не к делу, а так, из любви к задору. Меня очень расстроило это письмо, на мои слабые нервы я просто пришла в отчаяние, плакала, упрекала Льва Николаевича, что он не бережёт своей головы и дразнит правительство без нужды. Я даже хотела уезжать, потому что не могу больше жить так нервно, так трудно и под такими вечными угрозами, что Лев Николаевич напишет что-нибудь отчаянное и злое против правительства и нас сошлют.

Он тронулся моим отчаянием и обещал письмо не посылать. Сегодня он опять решил, что пошлёт, но смягчённое» *(Там же. С. 299 - 300)*.

Софья Андреевна здесь имеет в виду изобретателя, инженера и предпринимателя Альфреда Нобеля, который, вместе со старшим братом своим, тоже инженером и изобретателем, нефтяным магнатом Людвигом Нобелем, действительно был широко известен продажей в России и странах Европы керосина — но, конечно же, отнюдь не был простым «керосинным торговцем»!

Поездка С. А. Толстой в Москву 25 – 31 августа 1897 г. сопровождалась краткой и малоинтересной перепиской супругов, которую мы здесь опустим *(см.: 84, 290; ПСТ. С. 678, 681)*. Гораздо интереснее для нас следующая поездка Сони в Москву, с 11 по 22 сентября, не исключительно хозяйственно-деловая: в день своих именин, 17 сентября, она снова принимала в доме С. И. Танеева и тот играл для неё… К этой же поездке, к дню 19 сентября, относится приведённая нами выше запись С. А. Толстой в дневнике о несходных «линиях любви» — её и мужа, как легко понять. От неё самой мы писем на эти дни не имеем, а вот два толстовских к жене, от 14 или 15 (точной датировке не поддаётся) и от 21 сентября, нам необходимо привести здесь — как подтверждение Соничкиных мыслей о расхождении с

мужем в повседневных интересах, о появлении двух самостоятельных “линий” их жизни и любви. Вот письмо от 14 или 15 сентября:

«Маша, вероятно, всё описала тебе и о себе, и о наших посетителях <из Англии, от В.Г. Черткова. – *Р. А.*>, милая Соня, я же только пишу, чтобы о себе сказать: посетители вместе с чирьем <на лице. – *Р. А.*>, который я не могу забыть, немного портят мне жизнь, т. е. не портят, а делают менее приятными досуги. St. John очень милый и хороший человек. Lodian совсем грубое существо и вовсе ненужное и чуждое мне, чирей же и вовсе ненужный и неприятный посетитель. Работаю всё по-прежнему над тем же и не скучаю этим, потому что подвигаюсь.

Погода чудная. Теперь I hope. I hope, что твои ноги, — ломота только случайное в связи с твоим состоянием недомогания, и главное, что в Москве тишина, хотя должно бы быть обратное, и ничто тебя не тревожит, что Миша хорош и зубы благополучны и скоро вставляются. Таня всё расскажет. Погодой я мало пользуюсь от чирья и гостей. Ну, прощай, целую тебя и Мишу.

Л. Т.

Сейчас вечер, засел писать письма» *(84, 290 - 291)*.

Упомянутый в письме *Артур Карлович Син-Джон* (St. John; ум. после 1907 г.) был незадолго до 1897 года офицером колониальной службы в Индии, но, познав через Льва Николаевича истину учения Христа, вышел в отставку и поселился сначала в аграрной общине в Перлее. Переписывался с Толстым и сумел заранее, заочно, произвести на него положительное впечатление. В 1897 г. Син-Джон приехал в Россию для передачи пожертвований духоборам от английских квакеров. При личной встрече Толстой быстро “раскусил” испорченную натуру Син-Джона, и записал о нём 19 сентября в *Дневнике*: «Был St. John, джентльмен и серьёзный, но боюсь, что больше для славы человеческой, чем для себя, для Бога» *(53, 151-152)*. Син-Джон, однако, стремился нравственно исправиться: принимал участие в переселении духоборов из России и в 1899 г. поселился вместе с ними в Канаде.

Что касается Лодиана, это был уже не первый (и не последний) случай, когда, под предлогом свидания с Толстым в Россию, предположительно, являлся шпион. По рассказу Н. Л. Оболенского, Лодиан выдавал себя за американского инженера, на самом же деле, по его убеждению, был японским шпионом, пробиравшимся осмотреть

Тульский оружейный завод: «Глаза косые, скулы выдаются, ничего не понимал… плохо говорил по-английски…» *(Маковицкий Д. П. У Толстого. Яснополянские записки: В 4-х кн. М., 1979. Кн. 1. С.196)*. Но Лодиану сразу не повезло: на фоне Син-Джона, хорошо “подготовившего” Толстого предшествовавшей перепиской, ему не удалось произвести на Толстого положительного впечатления и заручиться его влиятельной поддержкой. (А вот Син-Джона российскому правительству удалось арестовать и выслать из России лишь в июне 1900 г.).

И следующее, очень характерное, письмо Льва Толстого к жене — от 21 сентября:

«Милая Соня,

Я в этот твой отъезд не писал тебе — написал только раз, и то не от души, — потому что у меня было по отношению тебя неприятное чувство за письмо в шведские газеты. Я думал, что после того, как я согласился подождать и Буланже говорил с тобой, что ты сама пошлёшь его, хотя и сомневался. Я думал это тем более, что нигде не нашёл этого письма. Но когда написала мне <это письмо не сохранилось. – *Р. А.*>, что ты считаешь, что это дело покончено, мне стало очень неприятно. Рада Бога, Соня, пойми, и прими это раз навсегда, что опасно ли *это по твоему мнению* или не опасно, я руководиться тем, что, как, кому писать, не могу твоими желаниями и советами, могу принимать их в соображение и стараться как можно менее огорчать тебя, что я и делаю. Так вот и теперь, без тебя приехали опять молокане, прося помочь им выручить детей. Я написал было очень резкую статью в заграничные издания, потом решил, что этого ещё не следует делать, и написал довольно мягкое, — мягче прежнего письмо Государю и опять Олсуфьеву, Heath’у <Карл Осипович Хис (Charles Heath, 1826 – 1900), преподавал английский язык детям Александра III, в том числе Николаю II. – *Р. А.*> и Лизавете Ивановне Чертковой. Письмо посылаю тебе. Статью же в шведские газеты я должен написать, и вновь написал её, и теперь с тем шведом <Вольдемаром Ланглетом>, который был весной и который заехал опять и рассказал мне подробности про деньги Нобеля, перевожу её по-шведски. Ради Бога, милая Соня, будь благоразумна, отгони неосновательный страх, а если не можешь, то перенеси его спокойно, не нарушая наших хороших отношений, которыми мы оба так дорожим, потому что дорожим друг другом, потому что изменить этого нельзя, и я буду писать всегда то, что по своей совести и

внутреннему убеждению считаю и буду считать нужным и должным, не соображаясь ни с какими внешними соображениями, в том числе и с тем, что это тебе неприятно. Хотя делать тебе неприятное мне ужасно мучительно. Так вот, Соня, обдумай всё хорошенько, с Богом, и приезжай здоровая, весёлая и добрая. С любовью ожидаю тебя» *(84, 291 - 292)*.

Вряд ли Софье Андреевне могло понравиться такое письмо от мужа — больше похожее на манифест публициста и общественного активиста, порвавшего с узко-семейными привязанностями и интересами. В мемуарах она этот эпизод обходит, а в дневнике её на 22 сентября есть такие раздражённо-обиженные строки, несомненный отклик на заявленную Львом Николаевичем позицию:

«…И всё ему хочется шума, гласности, риска. А не верю я его доброте и человеколюбию. Знаю я источник всей его деятельности. Слава и слава, ненасытная, безграничная, лихорадочная. Как поверить любви, когда Лев Николаевич своих детей, своих внуков — всех *своих* не любит, а так вдруг полюбил молоканских и духоборческих детей» *(ДСАТ – 1. С. 300)*.

* * * * *

До конца сентября и в первые октябрьские дни Толстой всё так же озабочен трактатом об искусстве, Заключение к которому, постоянно перемарываемое мужем, Соничка переписала до своего отъезда из Ясной раз, как минимум, семь. Держит Толстой в поле зрения и судьбы сектантов, за которых взялся радеть, духоборов и молокан: 26 сентября отправлено письмо о детях молокан в «Русские ведомости» (редакция побоялась опубликовать его). В дневнике С.А. Толстой на 6 октября об этом же деле есть такая запись: «Ходила […] по делам Льва Николаевича в банк к Дунаеву, чтоб он передал письмо Льва Николаевича в газету об отнятых у молокан детях, взяв в “Русских ведомостях”, которые не согласились печатать, передать в “С.-Петербургские ведомости”, князю Ухтомскому» *(ДСАТ – 1. С. 306)*. (Кн. Эспер Эсперович Ухтомский (1861—1921), публицист и поэт, с 1896 г. редактор-арендатор «С.-Петербургских ведомостей».) О поручении передать письмо из одной редакции в другую пойдёт речь ниже, в письмах супругов 7 октября.

До 5 октября Софья Андреевна прожила с мужем в Ясной Поляне, с 5 по 12-е — в Москве, куда отвезла дочь Сашу и где, конечно, снова виделась с Сергеем Ивановичем, с 12-го по 18-ое — снова с мужем, и с 18-го по 27-ое снова в Москве. К этому периоду относятся только

четыре письма Софьи Андреевны к мужу, два из которых (от 6 и 22 октября) не опубликованы. К письмам этих дней Софья Андреевна сделала такое примечание: «Письма из Москвы, куда я переехала уже всем домом, в Ясную Поляну, где я побывала тогда на короткое время» *(ПСТ. С. 682)*. Вот первое из этих писем, доступное нам, от 7 октября:

«Милый Лёвочка, я Дунаеву ещё вчера передала твоё поручение и он, вероятно, сегодня уже послал письмо Ухтомскому. Вероятно он сейчас зайдёт. Бодлера «Fleurs du mal» <«Цветы зла»> запрещены в продаже, я постараюсь у знакомых найти, да вряд ли найду. Верлена завтра Готье магазин вышлет в Ясенки, почтой. Продают уже все сочинения Метерлинка, 5 р. 50 к., и объявление вывешено *особенное*, видно успех. Лидии Петровне писала, но ещё она не приходила: вот я уже два дня здесь, а ещё ничего тебе не переписала. Я забыла уже, что такое город. С утра у зубного врача, после завтрака бегаю по городу, после обеда вчера раскладывалась, сегодня делами занималась, самыми разнообразными. От утомления половина головы болит. Ещё горе: Сашина русская учительница отказалась, и теперь я всюду ей ищу другую. Была нынче у тульских Давыдовых, спрашивала о свадьбе Вани Раевского. Ещё неизвестно, когда будет, может быть 19-го. Что твоё здоровье и как одиночество тебе?
Целую тебя и детей. Вера Толстая тут.

С. Т.» *(Там же. С. 681 – 682)*.

Софья Андреевна похлопотала разыскать для мужа сочинения Бодлера и Верлена, что нужно было ему для работы над трактатом «Что такое искусство?» В главе X-й Толстой разбирает творчество П. Верлена по сборнику 1897 г. в переводе Коппе и Ш. Боделера, опираясь главным образом на тексты «Цветов зла». Что же касается письма о детях молокан, то, как следует из приводимого нами ниже письма Л. Н. Толстого от 7 октября, он после отъезда жены изменит своё решение и отправил 6 октября в «С.-Петербургские ведомости» другой, заново подредакти-рованный, текст. На этот раз письмо пройдёт внутреннюю «самоцензуру» редакции и будет опубликовано — 15 октября.

По хронологии завершающие данный Эпизод письма — все от Льва Николаевича, из Ясной Поляны, начиная с этого встречного письма 7 октября, переданного, очевидно, по оказии (на конверте вместо адреса только помета: «Софье Андревне»):

«Нового ничего нет у нас, милая Соня. — Погода ещё лучше была нынче, но сейчас пасмурно и темно. Дора мне принесла фонарь, чтобы ходить, и очень озабочена мною. — Скажи Дунаеву, что ничего не нужно. Я сказал глупость. Нельзя то письмо послать Ухтомскому. Я написал нынче <другое> и отсылаю. Ездил в Ясенки <на почтовую станцию. – *Р. А.*>, потому что было три объявленья <т.е. три почтовые повестки. – *Р. А.*>. Всё насморк и не так бодр, как прежде, но здоров и поправил утром 2 главы <трактата>. Филипп вступил в отправление своей обязанности и ставит сейчас самовар. От девочек <дочерей Марии, Татьяны и от Веры Кузминской, выехавших в Крым. – *Р. А.*> всё нет известий. Не привезут ли сейчас с почты. Ну вот я и весь вышел. Целую тебя и Мишу, и Сашу.

Л. Т.

Тебя вспоминаю при всех удобствах, которые ты устроила. Ключ мне дала Дора, чтобы отворять их парадную, и этим ключём я запер дверь на лестницу» *(84, 293)*.

Продолжение новостей в письме 8 октября:

«Живу я, милая Соня, как Марья Александровна <Шмидт> говорит: так хорошо, как только можно желать. Марья Александровна не была всё это время, и я нынче, после послеобеденного сна, поехал её проведать, а она сюда пришла и пила чай у Лёвы. Здоровье моё совсем хорошо, и шишка, и палец, и нос приходят в нормальное состояние. Как ты и твои — т. е. чужие зубы, которыми ты завладеваешь? <Софья Андреевна посещала тогда в Москве дантиста. – *Р. А.*> И здорова, спокойна ли. Я ещё ни одного письма не получил. Не привезут ли нынче, отвезя М[арью] А[лександровну]?

Нынче получил письмо от <П. А.> Буланже <единомышленник и помощник Толстого, высланный из России. – *Р. А.*> из Эссекса. Он ещё у <Эйльмера> Моода <английский переводчик и биограф Толстого. – *Р. А.*>, который очень добр к нему, но уж нанял себе дом и сделал смету, что жизнь обойдётся ему 1500 р. в год. Теперь у него есть эти деньги, но что будет дальше. Он не унывает, и письмо его дышит кроткой бодростью.

Я работаю не дурно. Сегодня окончил поправлять 17 главу. Так что осталось три главы, кроме заключения, — на 2 дня, если так будет работаться, как эти дни.

3-го дня ночью привёз мальчик из Ясенков телеграму от Грота, требующего немедленной присылки статьи, о чём пишет заказным письмом на Козловку. <Письмо Н. Я. Грота от 6 октября, в котором он просил дать «Что такое искусство?» в редактируемый им журнал «Вопросы философии и психологии». – *Р. А.*> За телеграму рубль заплатил, а письма, разумеется, не получил. Сейчас 8-й час, хочу ещё немножко заняться до ужина. Погода чудная, всё теплеет. Нынче было жарко, как летом. В комнатах не топим, потому что, несмотря на открытые форточки, 14°. Целую тебя и детей двух.

Л. Т.» *(Там же. С. 294).*

И, наконец, письмо 9 октября:

«Дора хочет написать тебе о моём здоровьи, и я боюсь, что ты не поймёшь как следует из её письма. У меня несколько дней не освобождается вполне желудок, и нынче немножко заныло во время работы под ложечкой, и я так испугался, что без тебя заболею, в том смысле, что тебя напугаю, что тотчас же принял решительные меры: компрес, эмс, и даже принял ревень, так что теперь вечер и не болит больше, и ем, и ещё хочу есть.

Бодлера и Верлена лучше взять у Стороженка. <Николай Ильич Стороженко (1836 – 1906) — профессор всеобщей литературы Московского университета; был знаком с Толстым с 1881 г. – *Р. А.*> Всё, что есть Бодлера [?].

Так, пожалуйста, не тревожься. Я наверно не заболею теперь животом» *(Там же. С. 295).*

Толстой в этом году несколько раз пугался болезни или травмы — быть может, не из одной только мнительности, которую замечала за ним Софья Андреевна, но и осознавая общественное значение своих текущих предприятий и писаний. Так или иначе, но и домашние лекарства, и слова поддержки от жены не раз в 1897-м оказывались ему как раз кстати. «Параллельные миры» двух великолепных судеб всё-таки иногда, если и не пересекались, то сближались очень интимно и тепло.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ФРАГМЕНТА
СОРОК ВТОРОГО ЭПИЗОДА

КОНЕЦ СОРОК ВТОРОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Сорок Третий.

ОХ, БОЛИТ, БОЛИТ СЕРДЕЧКО, ОЙ, ГОЛОВУШКА БОЛИТ: МИЛЫЙ МОЙ КО МНЕ НЕ ЕДЕТ — ТОЛЬКО ПИСЬМАМИ СОРИТ!

(19 октября — 6 декабря 1897 г.)

К концу сентября уехали в Крым для лечения дочери Толстых Татьяна и Мария. Софья Андреевна, по воспоминаниям, восприняла это максимально негативно, надрывно: как *распад семьи*, и ей «тем больше хотелось примкнуть к мужу» *(МЖ – 2. С. 491)*. Поэтому, разумеется, обмолвка Льва Николаевича в письме от 9 октября об очередном, давно привычном для супруги, расстройстве пищеварения, да ещё с мучительно пугающей просьбой: «не тревожься», конечно же, вытянула Софью Андреевну из Москвы. В Ясную Поляну она приехала в приподнятом настроении: сразу после слушания концерта, где исполнен был, помимо Бетховена, и квартет её музыкального возлюбленного — С. И. Танеева. Но дома она, придя в ужас, «насилу вычистила» комнаты, в которых жил без неё Лев Николаевич, «запущенные в высшей степени беспорядка и грязи» *(ДСАТ – 1. С. 308)*. Кроме того, пришлось снова переписывать мужу трактат «Что такое искусство?». Заключение к нему, в частности — уже в *девятый раз*. Измучила и руки, и глаза, и простудилась… «Лёвочка-муж был со мной ласков и добр. – записывает Соничка в дневнике на 20 октября. – Трогательно завязывал на больной руке и плече компрессы, благодарил за переписыванье и на прощанье поцеловал даже мою руку, чего давно не делал» *(Там же)*.

В Москве Софья Андреевна начала в те дни брать уроки музыки и, как и прежде, активно посещала концерты.

Муж, как выяснилось, хворал по нарастающей несколько дней — и она явилась “воскресить” его очень вовремя. Толстой вернулся к обычной, нормальной для себя трудовой жизни: «Сам рубил себе дрова, таскал воду, топил печи, убирал комнату… Работая физически, сдав статью об искусстве Гроту, в журнал «Философия и психология», поправлял в конце октября корректуру предисловия к статье «О науке» Карпентера, отданного «Северному вестнику»; брался и за «Хаджи-Мурата», но с этим дело не пошло и пришлось оставить» *(МЖ – 2. С. 493 – 494)*. Надо здесь уточнить, что названные здесь Соней-мемуаристкой работы Толстой производил всё-таки в ноябре, а не

октябре: например, первые главы трактата «Что такое искусство?» отправились в журнал Н. Я. Грота «Вопросы философии и психологии» около 18 ноября, а сбором материалов для «Хаджи-Мурата» по многотомному «Сборнику сведений о кавказских горцах» и правкой перевода статьи Э. Карпентера «Современная наука» и окончанием своего «Предисловия» к ней Толстой занимался ещё позднее, в 20-х числах ноября, и вплоть до 4 декабря 1897 г. Странный “сдвиг” времени этих работ в мемуарах Софьи Андреевны исключительно на октябрь трудно объяснить ошибкой её памяти: личных её архивов, тех же писем мужа к ней, было достаточно, чтобы определить как время этих работ и октябрь, и ноябрь. Но читательская судьба «Хаджи-Мурата» сложилась так, что впервые повесть была опубликована только в 1912 году, и подробности её создания, не говоря уже о подробностях работы Толстого над куда менее популярными и по сей день трактатом по искусству и «Предисловием» к вовсе забытой книге Э. Карпентера, не были доступны публике в годы писания С. А. Толстой мемуаров «Моя жизнь». Это, вероятно, и соблазнило её на хронологический “подлог”, обман читателя, с хорошо понятной целью: представить супруга эгоистическим домашним своевольным деспотом, который весь ноябрь и начало декабря 1897 г., не имея серьёзных занятий в Ясной Поляне, просто-напросто избегал её из-за беспричинной ревности к молодому композитору С. И. Танееву и из-за нежелания разделить с ней семейные обязанности и хлопоты.

Кстати сказать, были в Ясной и такие, помимо дома и хозяйства, дела, в которых нельзя было обойтись без Софьи Андреевны. Она вспоминает в мемуарах:

«В конце октября меня вызвал сын Лёва в Ясную Поляну по очень неприятному делу. Молодой сосед наш, Владимир Александрович Бибиков, поднял дело о земле, проданной его отцом Льву Николаевичу более 35-ти лет тому назад. Бибиков заявил, что Лев Николаевич незаконно оттягал эту землю, тогда уже подаренную мне мужем. Пришлось взять адвоката, и хотя я это дело и выиграла, оно стоило мне много денег и неприятностей» *(Там же. С. 494)*.

Наконец, Софье Андреевне посчастливилось узреть гостя, ставшего новым любимцем Льва Николаевича: поэта “из народа” Вячеслава Дмитриевича Ляпунова (1873 - 1905), который покорил Толстого стихотворением «Пахарь».

Таковы некоторые событийные вехи в жизни супругов, значимые для последующего анализа и понимания их переписки. Первое из писем, вослед выехавшей в Москву жене, отправляет Лев Николаевич — без точной датировки, 19 или 20 октября:

«Первое дело, что твой насморк и все твои недуги, которые показывались в Ясной Поляне? Надеюсь, что прошло, и что и платье и зубы, всё устроилось, что не расстроило твои планы. — Я совершенно здоров, и так хорошо, как только бывает в уединении, хотя это совсем не означает того, что с тобой не было хорошо. С тобой тоже было очень хорошо, но по-другому.

На другой день после тебя получил трогательное письмо от Серёжи-брата, который так трогательно огорчён, что я не приехал. Хотел сам ехать, но боится заболеть, так как не выходит из комнат целые месяцы. Ещё трогательнее озабочен о моём здоровье и присылает розовый пластырь от чирьев. — После тебя доправил сам 10-ю главу и очень легко — конец уж был тобой поправлен. В этот раз ты меня сглазила не в физическом, а в умственном отношении: ты говорила, что я всё работаю. А вот как раз никакой нет охоты к работе; только поправляю дальнейшие главы, а больше ничего не хочется. Вячеслав <Ляпунов> ночевал у меня, и он мне не мешает. Хочу попробовать дать ему работу переписки и внесения поправок. Сегодня получил письмо от Буланже <из Перлея>: оказывается, что в английских газетах было известие, что мне делали операцию в желудке. Прощай, милая Соня, целую тебя и детей. Изобилие у меня всех устроенных тобою благ земных огромное.

Л. Т.

Вчера ездили в Ясенки, где получил переписанное.
Нынче рубил дрова и приятно устал» *(84, 295 – 296)*.

Небольшое письмо Толстого от 21 октября логически дополняет предшествующее и содержит столь обычную для Толстого просьбу к жене — о деньгах:

«Пишу тебе, милая Соня, о деле, а вместе с тем рад писать. Дело в том, что два общества погорелых пришло ко мне. Одному, долговскому <из села Долгое, в 19 км. от Ясной Поляны. – *Р. А.*>, я давно обещал, а другие 3 двора. Я отдал свои деньги, оставив себе 10 р[ублей], но тебя прошу, если есть деньги, назначенные на этот предмет, то пришли мне 100 р[ублей].

<«Гонорар из театра за “Плоды просвещения” и “Власть тьмы”, который я выхлопотала, шёл в 1891 – 1892 гг. на голодающих, а впоследствии на помощь погорелым». – *Прим. С. А. Толстой.*>

Нынче лежу на диване, читаю во 2-м часу, слышу голос: папà, можно к вам? Оказывается Соня <С.Н. Толстая. – *Р. А.*> приехала, как говорит, проведать. Верно, надеялась тебя застать. Я и мы ей были очень рады. Она сейчас уезжает с почтовым, и я тороплюсь написать с нею. Я совершенно здоров, наслаждаюсь уединением. Вячеслав, кажется, наладится переписывать.

[…] Прощай пока, милая Соня, целую тебя и детей. Ездил нынче в Ясенки, получил письмо от Буланже и Черткова. Всё хорошо» *(84, 296 - 297)*.

Вечером того же 21 октября Софья Андреевна следующим образом ответила на первое, уже полученное ею, из вышеприведённых писем Л. Н. Толстого:

«Мне совестно, что ты написал мне, милый Лёвочка, а я тебе ещё нет. Но я всякий день пишу Лёве по этому противному бибиковскому делу, и потому ты всё обо мне знаешь.

Здоровье моё хорошо, я в Москве себя всегда лучше чувствую; ещё есть насморк, но боли прошли все бесследно. Так досадно, что в Ясной я была такая больная и неприятная! Оставила дурное впечатление — невольно. Надеюсь, что в следующий раз оно изгладится. Какая мне вышла досада с двумя праздниками: сегодня восшествие на престол, завтра — Казанская, и оба эти дня мой зубной врач не принимает. А вчера, в понедельник, я спешила с делами, покупками, и два раза была у нотариуса. Теперь не знаю, когда кончит мои зубы Знаменский, и могу ли я приехать в Ясную, когда хотела. Надеюсь всё-таки выехать во вторник вечером, и мы, может быть, поедем в Пирогово. Пожалуйста, не езди без меня. — Напрасно ты дрова рубишь, опять натрудишь печень и живот; право, ты точно меня подразнить хотел, написал о том, что опять себе вредишь.

Впечатление от тебя, твоего заботливого ко мне отношения во время боли, и впечатление от Лёвы и Доры у меня остались очень хорошие; но жизнь в Ясной Поляне очень сера, скучна, неудобна и грязна. Мыши, дымный самовар, грязный пол, темнота, переходы в тот дом с фонарём под мелким дождём, декадентские стихи, голые деревья, гудящий ветер, грызущая боль в голове, и потом плече, — всё это какие-то кошмарные воспоминания. Очень я избаловалась и не стала любить трудностей и неудобств жизни.

Жаль, что тебе не работается, а без работы и тебе покажется тяжело. Но каково, что нет ещё зимы! Здесь темно и довольно тепло. Была сегодня вечером с Сашей, по случаю приезда сестры Лизы у брата Саши. Завтра еду в первый раз в жизни смотреть “Свадьбу

Кречинского” в театре Корша. Взяли ложу за 4 р. 50 к. и беру с собой Сашу, Сашку Берс, Соню Колокольцову и Верочку горничную. Они все в восторге; и я хотела Саше доставить какое-нибудь удовольствие. Спектакль денной, по случаю праздника. Живу бестолково и собой не довольна. Была у меня нынче m-me Грот и не застала меня…

[…] Ну прощай, милый друг Лёвочка, целую тебя; пожалуйста береги себя, не руби дрова и извещай меня хоть коротко о себе.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 682 - 683).*

Следующее письмо С. А. Толстой, от 22 октября, не публиковалось. В Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого приводится цитата из этого письма: «Сегодня пришлось в 4 места послать: тебе, Тане, Андрюше и ещё в одно место. А всё денег не надо!» *(Щит. по: 84, 299).* Можно догадаться, что речь идёт о деньгах, просившихся Л. Н. Толстым в письме от 21 октября для погорельцев.

В следующем своём письме от 24-го Толстой, вероятно, отвечает на оба полученных от жены письма. Приводим ниже текст этого ответа.

«Получил твою посылку и твоё письмо нынче, милая Соня. Я совершенно здоров и доволен своею судьбою, понемногу работаю, всё над тем же. — Вячеслав хотя медленно и немного неправильно, но умно переписывает. Погода и дорога прекрасны, и я хотел ехать в Пирагово, но ты просишь не ехать без тебя, — подожду. M-me Грот была у тебя вероятно тоже о статье об искусстве. Грот пишет, что он согласен печатать всё сразу, и если я согласен, то прислать его жене, а он сам всё в Петербурге при больном дяде. Я почти решил отдать в их журнал, и отдал бы сейчас, если бы он был в Москве. Подожду, пока он вернётся. Вчера вечером, часов в 7, приехал Серёжа сын из Тулы, ездил по делам и завёз корректуру переведённой им статьи <Э Карпентера «Современная наука»>, которая мне была прислана из «Северного вестника» и которую я посылал ему с Соней. Я написал маленькое предисловие к этой статье, но ещё не кончил. С Серёжей было очень приятно. Он хотел в субботу быть в Москве, так что ты его увидишь, пожалуй, раньше этого письма. Пожалуйста, не торопись сюда ездить, поезжай только тогда, когда будешь совершенно свободна и зубами, и всем другим. Как ни приятно тебя видеть, неприятно знать, что ты из-за поездки не доделываешь чего-нибудь или лишаешься чего. У меня в комнате очень тепло, мышей стало

гораздо меньше: ловят уж не больше двух. Благодарю за карандаши. А икра и томаты так были дурно уложены, что испортились немного. Сейчас, собираясь писать тебе, перебрал полученные письма и такие, на которые надо ответить, и насчитал их 13.

Серёжа вчера мне сказал, что Генри Джордж умер. Как ни странно это сказать, смерть эта поразила меня, как смерть очень близкого друга. Такое впечатление произвела на меня смерть Александра Дюма. Чувствуешь потерю настоящего товарища и друга. Нынче в «Петербургских ведомостях» пишут о его смерти и даже не упоминают об его главных и замечательных сочинениях. Он умер от нервного переутомления спичей. Вот чего надо бояться хуже велосипеда. <Толстой не умел и не любил выступать с речами публично. – *Р. А.*>

Сейчас пришли звать ужинать. На дворе светло как днём, и я хочу сам свезти это письмо на Козловку и надеюсь получить от тебя. От дочерей, главное, от Маши, — ни слова. Мне это грустно.

Целую тебя и детей. Ты не пишешь о Мише. Стало быть, всё хорошо.

Л. Т.

24. 9 часов.

Нынче многое новое открылось, по отношению искусства, и с удовольствием переделал гл. 15, но не кончил, потому что надо это высказать, когда будешь в полной силе, а нынче не вполне.

Пришли или привези мне, пожалуйста, полушубок и толстую фуфайку, рукам холодно, а там длинные рукава» *(84, 297 - 298)*.

Хорошо известно, что Толстой особенно чтил квазинаучные, замешенные на религии, утопические воззрения американского экономиста-проповедника Генри Джорджа (1839 – 1897), посвящённые теме т.н. «единого налога» на землю. Оказавшись под обаянием генри-джорджиевых прожектов в феврале 1885 года, когда прочитал в оригинале его сочинения «Прогресс и бедность» и «Общественные задачи», Толстой, к несчастью, удержал зависимость от внешне логичных и привлекательных утопий Джорджа на многие годы; как, к примеру, и зависимость от пропаганды близкого революционерам В. И. Алексеева, которого в конце 1870-х называл «учителем» и который внушил Льву Николаевичу романтизированный и героизированный, во многих чертах положительный образ революционерства, обаяние которого сказалось даже в публицистических выступлениях Толстого 1900-х гг. Именно на таких противоречиях паразитировал негодяй В. Г. Чертков и революционаристская сволочь, с которой он

стакнулся в открытую в годы английской ссылки, под его с помощниками контролем и руководством печатавшая в “бесцензурной” заграничной печати писания Толстого-христианина в одних и тех же типографиях, а иногда и под одной обложкой со своими пропагандистами. Именно такие противоречия превращали для современников чистую евангельскую проповедь Толстого — в мутно-сомнительное «толстовство».

Толстой, всегда разумнро-скептически относившийся к «толстовцам», но примеривающий на себя пресловутую «толстовку», сшитою заботами жены — это ли не печальный символ 1897 года? Соня не права была, когда утверждала в записях своего дневника, в мемуарах, что мужем её движет тщеславие *по преимуществу*, либо даже исключительно. Но желание пусть и знаменитого, но стареющего, что-то уступающего молодым поколениям человека — сохранить себя в пространстве актуальных общественных дискурсов — конечно же, присутствовало в системе мотиваций публицистического и общественного активизма Льва Николаевича в этом и ряде последующих лет. Сколько в этом пожелании было именно тщеславия — знают Бог и старики. Но бесспорно, что вереница лет, начавшаяся с первых зимовок Льва Николаевича с семейством в Москве и закончившаяся тяжёлым, едва не смертельным заболеванием Толстого в Крыму, уже в 1901-1902 гг., может быть осмыслена как такая же уступка мирским преданиям и суете, как то, во что превратили всю свою жизнь такие общественные заботники и публичные витии, как “угоревший на работе” (языком) в 1897 году Генри Джордж.

Какие настроения и мысли порождали письма этих дней в жене — можно видеть из записи её дневника 21 октября, (по поводу письма Толстого от 19(20?) октября):

«Было письмо от Льва Николаевича, холодное и чуждое. Он постарался ласково отнестись ко мне — и не вышло. Ему, должно быть, досадно, что я живу в Москве, а не с ним, в Ясной, где бы с утра до ночи переписывала ему. А я не могу, не могу больше! Я устала, стара, разбита душой и, может быть, уже избалована. Вспомню неделю, проведённую там: грязь на дворе, грязь в тех двух комнатах, где мы теперь жили с Львом Николаевичем. Четыре мышеловки, беспрестанно щёлкавшие от пойманных мышей. Мыши, мыши без конца… холодный, пустой дом, серое небо, дождь мелкий, темнота; переходы из дома в дом к обеду и ужину к Лёве, с фонарём по грязи; писание, писание с утра до ночи; дымящие самовары, отсутствие людей, тишина мёртвая; ужасно тяжела, сера теперь была моя жизнь в Ясной. Здесь лучше, только надо *полезнее* жить и содержательнее» *(ДСАТ – 1. С. 310)*.

И ещё, из записей уже на 23 октября:

«Мы легко живём врознь, а прежде этого не было. Но мне не легко без друга, без человека, который бы интересовался моей жизнью, с которым бы можно жить душой вместе. А Лев Николаевич жил со мной вместе телом и любил меня только плотской любовью. Эта сторона стала отживать, и вместе с этим отживает желание жить не разлучаясь» *(Там же. С. 311)*.

В этих строках нет этического осуждения мужа: только усталая констатация *холодности* старца и его нового письма. А на главном месте — неприязнь *эстетическая* к удалённому от "высокой" культурной жизни «семейному гнезду». Мы вставили эту сентенцию на место отсутствующего в нашем распоряжении письма С. А. Толстой по той причине, что, судя по ответу на него Л. Н. Толстого, в этом письме Соничка как-то выразила ту же свою потребность в перемене образа жизни и отношений с мужем, которую высказала в дневнике. Она и пыталась осуществить её, не только посещая концерты и общаясь с С. И Танеевым, который, по справедливому выводу А. Самбурской, стал для неё не просто особенно близким мужчиной-«эпохой», но «олицетворением её любви к музыке, утешения, личной внутренней свободы, которой ей так недоставало» (http://www.alisa-samburskaya.ru/publ/lev_tolstoj_soprikosnovenija_s_muzykoj/1-1-0-59), но и взявшись в эти дни за «секретное» писание нового своего творческого ответа мужу: повести «Песня без слов», о чистых отношениях своих с музыкой и с С. И. Танеевым, о которой, в отличие от гениального мужа с его вечными метаниями и маранием черновиков, была заранее уверена, что «напишет её хорошо» *(ДСАТ – 2. С. 311)*.

Открытка Л. Н. Толстого от 26 октября, как и последовавшая за ним в тот же день вторая (первую Толстой, кажется, затерял и вовсе не отправил в тот день), не нуждаются, пожалуй, ни в каких дополнительных с нашей стороны комментариях. Приводим их тексты по порядку.

Открытое письмо («открытка») 26 октября:

«С полушубком, пожалуйста, пришли валенки — тонкие — толстые не влезают в стремя.

Мы по-прежнему живы и здоровы.

Л. Т.

Деньги получил, благодарю» *(84, 299)*.

И ещё одно открытое письмо 26 октября, уже наверняка отправленное:

«Получил сейчас с деньгами, милая Соня, твоё не в духе писанное письмо, в котором ты почему-то находишь, что тебе надо находить какие-то *свои* радости. Мне очень жалко тебя, что тебе так отчего-то неприятно, и рад бы был устранить эту неприятность, если бы знал как. Мы продолжаем быть живы и здоровы. Написал тебе сегодня письмецо, прося прислать тонкие валенки, да потерял. Утешаюсь тем, что твоё дурное расположение духа и причина его — невралгия прошли и что ты спокойна и счастлива. Ты пишешь: «главное, ты здоров». Совсем это не главное. Главное быть спокойным и добродушно настроенным к людям.

Что деньги у тебя просят с разных сторон, я тоже не виноват, так как просил выслать деньги для употребления их по назначению, если таковые есть» *(Там же)*.

Как ни холоден был муж в своих письмах, но Соничка, судя по записи в её дневнике 25 октября, тосковала по *главному из трёх* любимых ею в жизни мужчин и мечтала увидеть его, вместе навестить его брата в Пирогово *(ДСАТ – 1. С. 312)*. В Ясную Поляну она приехала солнечным морозным утром 28-го, радостно ощущая тот подъём, который вызывал в ней обыкновенно вид великолепного ковра первого, свежего, искрящегося на солнце снега: но только не в Москве, где накануне, 27-го, снег в саду, как печальный белый саван, оставил её равнодушной, лишь поддержав подавленное настроение последних дней *(Там же. С.312 - 313)*. Лев Николаевич, к сожалению, отчасти вернул её в эту депрессию, встретив «неласково, сурово» *(Там же. С. 313)*. Но злее всех поступила с Соней одна из мышеловок яснополянского дома — как будто уловившая неприязнь Софьи Андреевны к ней и её товаркам и решившая отомстить. В дневнике на 27 октября Соня жалуется на неё так: «она захлопнулась и палкой ударила меня в глаз, так что я упала и думала, что ослепну», а после этот и следующий за ним день пролежала «с компрессом на глазу», и, увы, «с мрачными мыслями». Невозможность быть полезной хотя бы переписыванием привела её в раздражение, вылившееся вечером 29 октября в конфликтное общение с супругом:

«На вопросы мои, приедет ли он в Москву и когда, он отвечал уклончиво и неопределённо; на желание моё ближе, дружнее быть с ним, помогать ему в деле его писания, переписывать, посещать его, обставляя его и здоровой вегетарианской пищей, и заботой обо всём,

— он брезгливо отвечал, что ему ничего не нужно, что он наслаждается одиночеством, что он ничего не просит, переписывать ему тоже не нужно — вообще он всячески хотел лишить меня радости думать, что я могу ему быть полезна, уж не говоря приятна.

[…] Сначала я плакала, потом со мной сделалась истерика, и я дошла до того крайнего предела отчаяния, когда, кроме смерти, ничего не желаешь.

[…] Кое-как совершилось примирение, когда я чуть не сошла с ума от напряжённого горя и слёз. На другой день, уже в Пирогове, я весь день писала и писала для Льва Николаевича. И всё стало нужно: и тёплая шапка, которую я догадалась взять, и фрукты, и финики, и моё тело, и мой труд переписыванья — всё это оказалось более чем необходимо» *(Там же. С. 313 - 314)*.

Случившуюся ссору Софья Андреевна характеризует в дневнике как «тот надрез в отношениях, которые не проходят даром, а ещё больше отдаляют людей, любивших друг друга, друг от друга» *(Там же. С. 313)*. И признаётся далее: «Что было? это неуловимо. Собственно ничего. Результат был тот, что я почувствовала опять тот лёд сердца его, который столько раз в жизни заставлял меня содрогаться; почувствовала равнодушие полное ко мне, к детям, к нашей жизни.

[…] Это ледяное отношение Льва Николаевича ко мне и порождает в сердце ту сильную потребность привязаться к кому-нибудь, заместить ту пустоту, которая остаётся в сердце от непринятой, отвергнутой нежности к тому, кого законно и просто можно любить. Это большой трагизм, который мужчины не понимают и не признают.

[…] Боже мой! Помоги мне до конца жизни Льва Николаевича исполнять мой долг перед мужем, т. е. служить ему терпеливо и кротко. Но не могу я заглушить в себе эту потребность дружеских, спокойно заботливых отношений друг к другу, которые должны бы быть между людьми близкими» *(Там же. С. 313 – 314)*.

Во имя справедливости следует заметить, что к переписыванию Толстой не допускал жены только один-два дня, в связи с травмой глаза: она, с удручающими результатами, пыталась переписывать, разбирая его удивительный почерк одним глазом! Отобрав непосильные вследствие травмы работы, он отпустил её в Москву на симфонический концерт 1 ноября, после чего прожил с ней спокойно, ничем не обременяя, до четверга, 6 ноября, и ласково проводил утром 7-го на поезд в Москву. Сам он, не один, а с сыном Львом и его супругой Дорой, остался в Ясной Поляне для своих писаний, обретя помощником в них старого, с почти 20-тилетним стажем своего переписчика — Александра Петровича Иванова.

Прочитав в дороге до Москвы биографию по-немецки (Ноля) Бетховена, Софья Андреевна между прочим заключила, что сумела через характер Бетховена лучше понять “эгоцентрические” интенции в характере и поведении мужа: «Для него тоже мир есть то, что окружает его гений, его творчество; *он* берёт от всего окружающего его только то, что служит… для его работы. Всё остальное он отбрасывает» *(ДСАТ – 1. С. 316)*.

Между тем уже 8-го ноября “эгоцентрик” отправляет жене письмо с такими признаниями:

«Вот пишу тебе, милая Соня, совершенно здоровым. И даже сам везу письмо это в Ясенки. Вчера весь день был поглощён письмами <т.е. отвечал разнообразным адресатам. – *Р. А.*>, только немного поработал. Заснул в 11 и проснулся в 7, нынче, кажется, кончил самую существенную работу над «Искусством», так что могу приняться за новое. Ещё сам не знаю что. Вчера получил от Моода умное, обстоятельное письмо с вопросами — более 20 — о переводе <на англ. яз. нового трактата>. Александр Петрович прекрасно взялся переписывать. Это не потому, что бы ты дурно переписывала, или чтобы мне не была приятна твоя переписка и чтобы я не был тебе благодарен за неё, но только, чтобы его похвалить.

Как ты доехала? Хорошо ли тебе? Дай Бог, чтобы было хорошо. Вчера подумал о тебе, и так тебя понял, и так мне тебя стало жалко. И я очень рад был этому чувству.

Нынче пришёл ко мне писарь, бывший военный, Новиков. Приятный. А вчерашний мужик, поэт, тоже очень интересный и хороший. Что будет через 30 лет, когда все эти искры света сольются в один свет? — Целую Сашу и Мишу. Жду девочек.

Л. Т.» *(84, 299 - 300)*.

Писарем, навестившим Л. Н. Толстого в тот день, был не иной кто, как Михаил Петрович Новиков (1871 – 1939), из крестьян села Боровково Лаптевской волости Тульского уезда Тульской губ. Один из умнейших, самостоятельно мысливших религиозных во Христе единомышленников Льва Николаевича, он уже не позволит нам забыть о нём и при анализе Переписки следующих лет, став на много лет другом Льва Николаевича, он сохранит с ним общение до последних дней его земной жизни, и именно к нему, в свободную избушку его села, будет желать отправиться Толстой, задумывая в 1910-м роковой уход из дому…

Явно не эгоистическое, заботливое содержание письма супруга от 8 ноября смутило Софью Андреевну в установках, вызванных чтением бетховенской биографии. Всё же, собравшись с мыслями, она внесла в записи дневника на 10 ноября такое суждение:

«…Пишет: думал о тебе и *понял тебя* (?) и мне стало тебя *жалко*. Во-первых, *как* он меня понял. Он никогда не трудился понять меня и совсем меня не знает. Когда я его просила указывать мне что читать, он указывал мне, что *ему* интересно, а не что мне может быть интересно и полезно. В этом, т. е. чтении, мне много помог покойный князь Л. Урусов, а теперь помогает Сергей Иванович. Когда я чему-нибудь огорчалась — он приписывал это тому, что желудок не в порядке (у меня, такой здоровой); когда я чего-нибудь желала — он или игнорировал, или говорил, что я капризна или не в духе. А теперь он что-то во мне *понял* и *пожалел*. Мне оскорбительна жалость, и я не хочу её. Если нет любви хорошей, настоящей, дружеской и чистой — мне ничего не надо, я окрепла и сама найду радости и смысл жизни» *(ДСАТ – 1. С. 317)*.

Этот образцовый бунт против положения не её одной, но множества женщин в лжехристианской, гнусно-патриархальной России, много лет с грустным постоянством несправедливо адресуемый Соней одному супругу, нашёл своё смягчённое выражение и в письме к нему, написанному вечером 8 ноября, открывающем корпус писем заключительного в данном, 42-м, Эпизоде фрагмента переписки супругов в 1897 году. Эти письма С. А. Толстая пометила следующим примечанием: «Письма в Ясную Поляну из Москвы, после того как я ездила туда к Льву Николаевичу и жившим там Лёве и Доре, и после моей поездки в Тверь к служившему там Андрюше» *(ПСТ. С. 685)*.

Вот полный текст письма С. А. Толстой 8 ноября:

«Сейчас вернулась из Твери, милый друг Лёвочка, куда уехала вчера утром. Андрюшу застала здоровым и бодрым, хотя ему придётся делать операцию. Рана затянулась и сделала плёнку, которую надо будет срезать. Андрюша вообще точно опомнился в жизни к лучшему. Миша же, напротив, пустился дурно жить, и я решительно не знаю, с какой стороны за него взяться.

Ты меня за что-то жалеешь. А если меня жалеть, то именно только за то, что я так одинока в воспитании сыновей и справиться не могу с ними, а они от этого гибнут один за другим.

Мои разъезды, это несносное существование в вагонах, с сальными щами на станциях, с прерываемым, коротким засыпанием в

полумраке, с курящими и плюющими пассажирами — всё это опротивело ужасно, и я больше никуда не поеду.

У Саши обрезан без меня очень сильно палец, нарывает и чернеет, и завтра её надо показать доктору. С Мишей был очень тяжёлый разговор, он начал грубо отвечать, как все виноватые.

От Тани телеграмма, что <внук> Андрюша захворал лихорадкой и потому задержал её, а Вера Кузминская приезжает завтра сюда со скорым. И письмо есть от неё, что она ужасно веселится и ведёт светскую жизнь. Маша совсем здорова и тоже много ездит.

Удивляюсь, что Таня ничего не пишет о заезде в Ясную и очевидно собирается прямо в Москву. Неужели она не получила моего письма!

Всю дорогу (5 часов) в Тверь и из Твери я читала биографию Бетховена. Как это интересно, как многое мне открылось и навело на разные мысли. Как много интереснее мне будет теперь слушать его музыку. Кстати, сейчас еду в квартетное <собрание>, которое почему-то не состоялось в четверг и назначено на сегодня. Будет квартет Моцарта, Бетховена и Сен-Санса. Это судьба мне услужила.

Радуюсь, что ты здоров, желаю тебе всего хорошего, и целую тебя, Лёву и Дору. Ей послано в Ясенки то, что из Швеции.

Твоя Соня Толстая» *(Там же. С. 684 - 685).*

Четвёртое квартетное собрание московского отделения РМО состоялось 10 ноября. В нём участвовали Ж. Ц. Нарбут-Грышкевич и постоянный состав квартета: Гржимали, Крейн, Соколовский и фон-Глен.

Не дождавшись от жены, своё следующее письмо шлёт Толстой 11 ноября:

«Пишу тебе, милая Соня, второе письмо. От тебя ещё не получал. No news, good news. [*англ.* Отсутствие новостей — это хорошие новости.] Вероятно, ты в Твери уж побывала. <С. А. Толстая снова ездила в Тверь к сыну Андрею, проходившему там военную службу. – *Р. А.*> Про себя сказать нечего. Простудиться я не простудился, чего ты боялась, а все эти дни был не совсем бодр. Спина болит между лопатками и чувствовал себя вялым, но всё-таки не так, чтобы не выходить и не работать. Нынче же гораздо бодрее. Погода тяжёлая. И Лёва и Дора жалуются. Только Марья Александровна, которая нынче приехала, бодра и оживлена за всех. Я всё поправляю «Искусство» по посылаемым Моодом замечаниям, кое-что новое начал и написал вчера 10 необходимых писем. Александр Петрович очень

хорош. Вчера он исправил главу с примерами французских стихов. Этакие стихи, говорит, писать очень легко. Я сам напишу: «Très malade mon coeur, voulez vous du beurre. Je suis triste, j'ai perdu mon Montecrist». [*фр.* «Очень болит моё сердце, хотите ли вы масла? Я печален, я потерял моё монтекристо».] Это больше для Миши.

Третьего дня получил письмо <из Крыма> от Тани, что она выезжает 8 и 10 будет проезжать с Верой прямо в Москву. Так не выеду ли я в Тулу? Я вчера и проехал в Ясенки к курьерскому, но её не было. Вернувшись, хотел уже ехать в Тулу к скорому, когда получил от неё телеграмму: лихорадка <внука> Андрея задержала, и остался дома, и дальше ничего не знаю. Про Машу ни слова. Письмо её хорошее, с самыми добрыми намерениями, но с сознанием своей слабости. <Т. е. грешна, что вышла замуж и покинула отца, общее с ним христианское служение. – *Р. А.*>

Да будет воля Божья.

У меня тепло, хорошо и во всём, благодаря твоей заботе преизобильно.

Если что узнаешь про Урусова, сообщи. <Князь Сергей Семёнович Урусов (1827 - 1897) был с октября тяжело болен. – *Р. А.*>

Прощай пока, целую тебя.

Л. Т.

Такая отвратительная погода: ветер, дождь, что Марья Александровна осталась ночевать, и потому письмо это не пойдёт. Открываю его, чтобы приписать, что я совершенно здоров и очень доволен своей работой. Надеюсь, что ты не огорчилась тем, что я писал о чувстве жалости, которую испытал к тебе. Это не унизительно, а самое любовное чувство, которое чувствуешь только к тому, кого любишь» *(84, 300 – 301)*.

Как мы видели из записи Сониного дневника и письма её 10 ноября, которое тогда Толстой не успел получить, надежды его не оправдались.

Письмо Л. Н. Толстого от 11 ноября С. А. Толстая оценила в дневнике как «доброе» *(ДСАТ – 1. С. 319)*. Но вместе с тем её вольное положение в Москве начинает не удовлетворять и даже раздражать её. Ещё 11 ноября она внушает себе в дневнике: «Я не одинока: целый мир новой жизни во мне, и мне никого и ничего не нужно *для развлечения*. Я рада видать своих…» *(Там же. С. 318)*. Но самые-преса-

мые “свои” в лице Сергея Ивановича Танеева вдруг стали недоступны: он, по известиям, снова ушиб себе ногу и лечился дома, никого не принимая. А без Танеева не только рутина московской повседневности показалась Соничке ещё рутинней, но и от музыки удовольствия стало меньше прежнего. И под 15-м ноября в дневнике её мы находим уже такую запись: «То, что Лёвочка не приезжает, делается и грустно и досадно. […] Досадно, что он со мной не живёт и радуется на своё одиночество без меня, а мои действия и привязанности стесняет. А на что я ему, если он не со мной?» *(Там же. С. 319)*.

Вот её ответ супругу на его письмо от 11-го, письмо того же дня, что и недовольная запись в дневнике — 15 ноября:

«Вчера получила твоё письмо, милый Лёвочка, в котором ты пишешь, что Марья Александровна задержалась по случаю дурной погоды. Сегодня ужасная метель, наводящая на меня ужас. Не поехал ли ты куда? И вообще, с самого Пирогова всё ветер и ветер и гололедица. Это я о погоде разговорилась, потому что сейчас вернулась с довольно скучного симфонического концерта.

Эти дни у нас люднее стало: приехала Вера Кузминская, а вчера Андрюша на три дня. После моего отъезда из Твери он почувствовал себя таким одиноким, что отпросился на три дня и сияет счастьем, что дома. — О бедной Верочке нельзя сказать, чтоб она была счастлива: она всякий день плачет. То письмо получила от отца, с которым у ней по-видимому жестокая ссора; а то мать ей написала, что женится М., тот, с которым у ней был роман, и которого она не разлюбила.

О наших она много рассказывала, но из слов её я никак не могла понять настроения своих дочерей, что в сущности самое интересное.

С Мишей идёт большая борьба. Сегодня он просил у меня прощения за то, что огорчает меня и даже прослезился. А завтра собирается на цыганский концерт, а утром на завтрак, и у меня сейчас опять был с ним тяжёлый разговор. Буду бороться до конца, т. е. пока не уяснится его положение: выгонят его из лицея или он перейдёт в 7-й класс.

Было письмо от Тани; у маленького Андрюши всё жар, и приезд её неопределённен. Сегодня меня очень взволновал Миша Олсуфьев. Он приехал ко мне и очень прямо и откровенно спросил, в каком положении дела Тани с Сухотиным. Я ему сказала, что она ему написала не писать ей и отнюдь не приезжать в Ялту. Он говорит: «вся Москва говорит, что она выходит за него замуж и что он поехал к ней в

Ялту». Я сказала, что это неправда. Слово за слово, разговорились о ней, он очень взволновался, говорил, что такие страстные, талантливые натуры, как Таня, страшны для мужа, что она очень переменчива, и видно, ему не всё равно было, а что-то его волновало. До конца мы не договорились; нельзя же прямо *всё* сказать. Но намёки были разные с обоих сторон, и мы друг друга, кажется, поняли.

Теперь, конечно, он бы на Тане не женился. Впрочем… от неё бы многое зависило.

По твоему письму я поняла, что у тебя спина болела от излишней усталости после 35 вёрст верховой езды <при поездке в Пирогово. – *Р. А.*>. Поняла, что ты очень боишься, что я начну тебя звать в Москву и нарушу твоё *наслаждение* одиночеством и твою работу. Поняла, что ноябрьская погода вас всех замучила. В городе не так замечаешь ненастье.

О приезде твоём я стараюсь не думать и никак к нему не относиться. Столько *наболелого* в жизни было по этому вопросу. А я так стала бояться всякой сердечной боли, что все те вопросы, которые можно обходить, — я уже не поднимаю. Всякий живи и делай, что хочет, лишь бы не было страданий, упрёков и сердечной боли.

Целую Лёву и Дору, получила ли она свои вещи? Желаю тебе здоровья, бодрости и хорошей работы. Прощай.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 685 – 686)*.

Соответствующая, о 1897-м годе, глава мемуаров Софьи Андреевны «Моя жизнь» была писана ею уже после утраты мужа, и в ней она пишет о его решении жить до самого декабря в Ясной Поляне без того раздражения, которое чувствуется в записях дневника ноября 1897-го — даже с некоей снисходительной попыткой понять… хотя всё-таки без подлинных понимания и сочувствия. Причиной своего тогдашнего настроения она называет в мемуарах не разлуку с Танеевым, как видно из дневника, а совершенно иное:

«Я начинала волноваться и сердиться, что Лев Николаевич не едет в Москву и совсем не хочет влиять на сыновей и их воспитание. Я была, конечно, не права. […] Но я очень скучала без него. […] Чтоб утешать меня, Лев Николаевич весь ноябрь писал мне много писем, прямо закидал меня ими» *(МЖ – 2. С. 497)*.

Вот очередное в этом потоке писем Толстого к жене — без точной датировки, 17(18?) ноября:

«Давно нет от тебя писем, милая Соня; последнее известие было твоё письмо к Доре. Боюсь, что ты досадуешь на меня за то, что я не приезжаю, и надеюсь, что ты понимаешь, как мне, несмотря на разлуку с тобой, хорошо и прямо нужно жить в тихом уединении, как теперь, чтобы сделать всё то, что я могу и должен сделать в последние, а, может быть, и последний год, — а может даже и не год, а месяцы моей жизни. Здесь я как будто и скучаю, и часто ничего не делаю, — делаю пасьянс, читаю газету, а результат тот, что и в голове уясняется, и на бумаге пишется то, что, думается, нужно. Написал я предисловие к статье Карпентера о науке, которая мне кажется очень важной, так что, может быть, я выкину её из статьи об искусстве, кончил об искусстве поправлять, — только придётся исправить кое-что по корректурам, и начал новое: художественный кавказский рассказ, который me hante [*фр.* преследует меня] уже давно.

Нынче или завтра пошлю Гроту об «*Искусстве*» 10 глав. Я бы послал всё, но хочу равномерно выпускать с <английским> переводчиком. Приятно, что кончил. Пока писал, казалось важно, а теперь кажется, что нужнее более важные вещи. Вчера видел Степан <Пелагеюшкин, яснополянский крестьянин. – *Р. А.*> Илюшу в Туле, и он велел за собой прислать в понедельник, видно, какие-нибудь у бедного денежные дела.

Погода у нас гадкая; точно такая же, как те дни, как мы были в Пирагове, с прибавкой такой гололёдки, что невозможно ехать. Я здоров, но желал бы побольше энергии, — а то вял. Да, вероятно, так надо. Что ты? Напиши же мне про себя хорошенько, чтоб я чувствовал тебя. Хочу Андрюше написать нынче. Жалко стало его. Надеюсь, именно надеюсь, что тот дурной дух Миши прошёл, и он больше не огорчает тебя. Прощай пока, милая Соня. Целую тебя. От Тани было письмецо от 13 <ноября>, что жар Андрюши затянулся уж 7 дней и не знают что. Верно, она тебе тоже пишет. Про Машу, к сожалению, ничего не знаю. Верно, она уже уехала» *(84, 302)*.

В дневнике Софьи Андреевны, на 19 ноября, по поводу этого письма находим такое суждение:

«Было письмо от Льва Николаевича; он пишет, что хотя скучает без меня, но ему хочется уединения для работы, так как он стар и жить и писать осталось недолго. Для человечества эти аргументы, может быть, и очень важны, но для меня лично — надо делать большие усилия, чтобы

думать, что писанье статей важнее моей жизни, моей любви и моего желанья жить с мужем, находить в этом счастье, а не искать его *вне* этого» *(ДСАТ – 1. С. 320)*.

На очереди у нас два подряд письма С. А. Толстой, от 18 и 19 ноября, первое из которых она написала и отправила, ещё не дождавшись вышеприведённого письма от мужа, написанного накануне или даже в тот же день, 18-го. Вот полный текст этого письма Софьи Андреевны Толстой:

«Почему-то сегодня всё ждала от тебя письма, милый Лёвочка, и так и не получила. От Тани было письмо и ещё её положение и отъезд остаются неопределённы, потому что у Андрюши всё жар.

У нас нового ничего нет. Льёт сильный дождь, тепло, грязно и скучно по-ноябрьски. Как выносишь ты эту погоду? Я очень плохо сегодня себя чувствую: бросает в жар и пот так часто, как никогда прежде, голова всё болит и сердце бьётся. Как будет мороз, вероятно это пройдёт. — У меня теперь гостят Серёжа, Стёпа и Вера Кузминская, и стало оживлённей, хотя я одиночеством не скучала. Да и не бываю никогда одна. Сегодня Маша Колокольцова вечер сидела, а обедала Наташа Ден. Я никуда почти не езжу и вечера сижу дома, и Миша сидит дома, ни разу в течение этой недели никуда не ушёл и уроки стал готовить немного лучше. Саша тоже благополучна. Только дела Стёпы с Серёжей меня очень тревожат. Покупают большое именье с целью заложить его в сумму почти всей стоимости именья. Всё это и гадко, и рискованно, и я это высказываю, но бесплодно. Серёжа очень кашляет, и давно, и говорит, что некогда поберечься. Удивительно! Хочет денег приобресть, а здоровье сберечь не хочет. Везде какое-то безумие на свете, и всё его яснее видишь.

Впрочем, других нечего осуждать, сама я живу довольно бесполезно на свете. Весь день как будто занята и что-то нужно делать, ложусь в 3 часа ночи, — а что делала день — и не вспомнишь. Кто-то <«кажется, Сенека». – *Прим. С. А. Толстой*> хорошо сказал про жизнь кого-то, что она: «laborieusement désoeuvrée» [*фр.* трудом жизнь сведена на нет] так и моя. Не много таких счастливых как ты, которые несомненно уверены, что делают полезное и хорошее дело. Извещай о себе почаще, и будь осторожен и здоров. Целую тебя и детей. Как тебе живётся и прошла ли вялость? Что ты пишешь и в каком положении «Искусство»? Всё ли отослано? Ну, прощай, 4-й час ночи.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 687)*.

Следующее по хронологии письмо С А. Толстой, от 19 ноября, очень честный и искренний ответ на письмо мужа:

«Удивительно, что я вчера *наверное* ждала письма от тебя, милый Лёвочка, и оно должно было прибыть вчера, а его почему-то принесли сегодня утром. И ты отвечаешь мне на те самые вопросы, которые я тебе делаю в том письме, которое я послала только вчера вечером, и которое ты ещё не мог получить. Т. е. *что* ты пишешь, в каком положении статья об искусстве и о твоём приезде. — Этот вопрос: сержусь ли я, что ты не едешь, мне разрешить всегда трудно. Ты совершенно прав, говоря, что тебе важно уединение для твоей работы, что тебе не долго, может быть, осталось жить и ты дорожишь и временем и досугом своим; весь мир, всё человечество, которому ты служишь своим писательством, — найдут, что ты совершенно прав.

Но мне, как отдельной личности, как жене твоей, надо делать большие усилия, чтоб признать, что то, что немного лучше или хуже, меньше или больше написано статей, — важнее моей личной жизни, моей любви к тебе, моего желанья жить с тобой и находить *в этом* счастье, а не *вне* этого.

Это я тебе пишу как рассужденье, а не как вызов. Теперь я приспособилась и не скучать и жить хорошо и без тебя. Мне даже часто кажется, что когда мы врознь телом, — мы больше вместе душою; а как сойдёмся материально, так, как будто, больше разойдёмся душевно. — Твой аргумент, что может быть не долго осталось жить, — и я могла бы в свою пользу сказать, — что тем более надо бы доживать последнее время *вместе*. Но последнее время, особенно после чтения биографии Бетховена, я прозрела уже окончательно, что люди, служащие человечеству и получающие за это высший дар — *славу*, уже не могут отказаться от этого соблазна и откидывают всё, что стоит на дороге к этой славе, и мешает этому служению. У Бетховена, к счастью, не было семьи, — и потому он был прав.

Всё это я передумываю и переживаю. Ты хотел меня *почувствовать*, и я боюсь, что тебе неприятно то, что я пишу. Но как-нибудь надо относиться ко всем обстоятельствам жизни, и не остановишь ни работы мысли, ни борьбы разных чувств.

Живу я внимательно к себе и другим. До настоящей минуты, с тех пор как мы расстались не было у меня ни злобы, ни досады на кого бы то ни было, и я нисколько не сердилась и не сержусь, что ты не едешь. Живи сколько тебе покажется нужным и приятным; здесь тебе будет всё досадно, и это тяжелей разлуки.

Например, я опять играю очень много на фортепиано; часов по 5 иногда; ложусь спать часа в три ежедневно; сегодня из дому не выходила, только вечером съездила часа на два к тётеньке Вере Александровне <Шидловской>, у которой ещё не была. Приехал из Ялты Борис Шидловский и говорил, что Таня, может быть, выезжает сегодня, в среду, что маленькому Андрею лучше. — Странно, сегодня я гадала на картах себе, и мне вышла два раза *смерть*. Увидим!

А пока я жива, целую тебя, и часто думаю о тебе, и чувствую, как мимо меня проходят все твои дни, и мысли, и интересы, и уходят в статьи, повести, в Англию, в чертковские письма и т. д. Прежде твои писанья сливались со мной, и я везде себя чувствовала. — Твои запасы, верно, все истощились, и у тебя нет ни фиников, ни сухариков, — ничего. Не прислать ли чего? Прощай.

С. Т.» *(Там же. С. 688 - 689).*

Опять налицо невозможность для Софьи Андреевны встать на одну высоту с мужем — христианского религиозного понимания жизни, смысл которой для христианина в служении Богу (даже совершенно бесславном, даже осуждаемом миром!), а никак не в славе перед людьми, перед «человечеством» — пусть даже и от добрых дел перед людьми, от той самой “благотвори-тельности”, на критическом отношении Толстого к которой, как явлению не христианскому, мы уже задерживали внимание читателя в Эпизодах, анализирующих переписку супругов начала 1890-х гг., в связи с темой организации Л.Н. Толстым дела помощи голодавшим крестьянам. Именно краткость и скорый финал обоим оставленной жизни и исполненность ими долга родительского, семейного перед миром — могли бы соединить их на этом пути жизни. К сожалению, надо констатировать, что даже трагедия утраты мужа не открыла Софье Андреевне высших, христианских смыслов его исповедничества, его жизни и проповеди во Христе в последние три десятилетия земной жизни. И в мемуарах С. А. Толстой «Моя жизнь» мы находим, в связи с перепиской, то же, по существу, экстраполированное ею с личности Бетховена (или, быть может, с *её понимания* этой личности, внушённого чтением биографии?) суждение о Льве Николаевиче, что и в вышеприведённом письме, и в дневниковых записях ноября 1897 г.:

«Он был призван к другому. Написав ряд статей о труде, об отречении от собственности, об упрощении жизни, ему надо было это показывать человечеству на деле. И в Ясной Поляне, в одиночестве, это было легче, чем в Москве.

[…] Весь дневник Льва Николаевича того времени был полон глубоких мыслей, внимательного анализа всех движений души. Недосягаема была для нас эта гениальная душа, по-своему одинокая и величественная. Ничто тогда извне не могло уже его сильно захватывать. Он весь жил жизнью *своей* души и своего творчества. Где же ещё заниматься внешним миром, семьёй, близкими и какими-либо делами, кроме благотворительных?» *(МЖ – 2. С. 496-497)*.

Следующим по хронологии письмом от 20 (21?) ноября Лев Николаевич отвечал на письмо жены от 18-го:

«Нынче получил твоё хорошее письмо, милая Соня, и был очень рад ему. Ты пишешь, что надеялась получить от меня письмо и не получила. А я, быстро читая (когда прочёл первый раз), понял, что ты уже получила, потому что я уж дня 4 как написал тебе 3-е письмо; это 4-е. Как жаль, что ты так поздно сидишь. Именно это тебе нехорошо. Как бы хорошо было, если бы ты это перебила. Ты спрашиваешь меня о моих работах и говоришь, что хорошо мне знать, что мои работы нужны. Этого я никогда не знаю, также, как и все мы. Я писал тебе в том письме о работах. От искусства пуповина уж оторвалась, и я обращаюсь, общаюсь скорее с ним уж извне, а не изнутри, как прежде. Я послал Гроту 10 глав набирать. Что-то будет: и в смысле цензуры и в смысле достоинства сочинения? — Я не знаю. Мысли же все и занятия мои направлены на кавказскую повесть, которой мне совестно заниматься, тем более, что она нейдёт, — но от которой не могу отстать. Здоровье хорошо; но погода, главное, дороги ужасны. Верхом нельзя ездить. Вчера был хороший день. Я уж пешком пошёл в Ясенки и упал много раз. Нынче опять тает и гололёдка. Александр Петрович хорош. Я очень рад, что Лёву я полюбил больше. Был разговор с ним, после которого я почувствовал его молодость и большую близость к нему. Как хорошо, что Миша пришёл в акуратность; не сглазить.

От Тани нового ничего не знаю. Про Машу ничего. Боюсь, что моё письмо <от 28 октября> её огорчило, это было бы очень больно.

Целую тебя, детей, Веру» *(84, 303)*.

О налажении отношений с сыном Львом в Дневнике Л. Н. Толстого, есть среди записей 20 ноября такая: «Вчера был раздражённый разговор с Лёвой. Я много сказал ему неприятного, он больше молчал, под конец и мне стало совестно и жалко его, и я полюбил его. В нём много хорошего. Я забываю, как он молод» *(53, 164)*.

Особняком в переписке данного Фрагмента стоят телеграмма С. А. Толстой 21 ноября, письмо того же дня, и, быть может, неизвестный нам какой-то телеграфический ответ Л. Н. Толстого — связанные с трагическим событием: смертью Сергея Семёновича Урусова, старого севастопольского друга Льва Николаевича, послужившего одним из прототипов героя его повести «Отец Сергий». Текст Сониной телеграммы таков: «Князь Сергей Семёнович Урусов скончался. Похороны воскресенье» *(ПСТ. С. 690)*, а за нею к Толстому отправилось и небольшое письмецо, такого содержания:

«Посылаю телеграмму с известием о смерти Урусова. Очень жаль, старые друзья уходят, а новых нет. И так мне грустно, что мы как будто отклонили его приезд в Ясную! Он любил нас больше, чем мы его, и за это ему на всегда в душе моей благодарность.

Была сегодня у Грота, он сидит над статьёй об искусстве, сам больной, но конечно очень довольный. Мы здоровы, только у меня правый глаз всё болит и мутнеет, и правая сторона головы подёргивается от невралгической боли иногда.

Писать не хочется, скучно вообще, и завидую Урусову.

Не обмануло меня моё гаданье: я тебе писала, что вышла по картам *смерть*. Я думала моя, а вышла Урусова.

С. Т.» *(Там же)*.

Даже в этом письме она чувствительно задевает мужа фразой: «старые друзья уходят, а новых нет» — тем самым исключая из числа друзей Толстого всех его единоверцев. Урусов был убеждённо православным: духовный переворот Толстого вызвал размолвку его со старым другом, в ходе которой Сергей Семёнович даже уничтожил в припадке религиозного гнева значительную часть писем к нему Толстого.

Ответ Толстого на эти письмо и телеграмму не известен. С. С. Урусов “позаботился” при жизни о том, чтобы стать не очень близким человеком для Льва Николаевича. Оттого, по всей видимости, тот больше заботился в эти дни о своих жене и детях и о повести «Хаджи-Мурат», для которой, счастливо отделавшись пока от трактата, снова стал собирать материалы и обдумывать планы. Ожидалась с беспокойством из Ялты дочь Татьяна. В ночь на 22-е отцу приснился о ней гадкий сон: «Видел во сне очень живо, что Таня упала с лошади, разбила себе голову, умирает, и я плачу о ней» *(53, 165)*. Вероятно, здесь как-то косвенно повлияли известия об С. С.

Урусове. Но Татьяна Львовна, к счастью, приехала 24 ноября благополучно, и, навестив отца, 25-го выехала к матери. Но до отъезда зашёл у неё вдруг с отцом разговор о том, что, дескать, хорошо поехать вместе: она и оба Льва, отец и сын. То-то была бы радость Софье Андреевне! Но Толстой постарался объяснить дочери, почему *для него* это не стало бы радостью… и уже после отъезда понял, что наболтал лишнего: «Дурно сделал, что говорил с ней про своё положение» *(Там же. С. 166)*. Таня, конечно же, всё должна была пересказать, отвечая на расспросы матери.

Так и вышло. В дневнике С. А. Толстой на 25 ноября находим следующую запись о разговоре с дочерью:

«Таня говорит, что Л. Н. о жизни в Москве говорил как о *само*убийстве. Так как он будто бы для меня приезжает в Москву, то значит Я его убиваю. Это ужасно! […] Моё желание сожительства с ним вытекает из моей любви к нему, а он ставит вопрос так, что я его *убиваю*. Я *должна* жить тут для воспитания детей, а он мне это всегда ставит в упрёк!» *(ДСАТ – 1. С. 322)*.

В довершении несчастия, Танюшино известие ударило по сердцу матери, и без того израненному накануне, только 23 ноября, поступком детей:

«Вчера вечером Андрюша и Миша собрали большое общество мальчиков и пошли караулить привиденье в доме Хилковой на Арбате. Под этим предлогом пропадали всю ночь и вернулись домой в 9 часов утра. Всю ночь, до 8 утра, я их ждала с таким волнением, что задыхалась просто. Потом плакала, сердилась, молилась… Когда они проснулись (в первом часу), я пошла к ним, делала им выговор, потом разрыдалась, сделалось у меня удушие и спазма в сердце и горле, и весь день я лежала, и теперь как разбитая. Мальчики присмирели…» *(Там же. С. 321)*.

И вот в тот же день, как приехала Таня, 25 ноября состоялась реакция Софьи Андреевны на пересказанный ею разговор с отцом — в письме к мужу следующего содержания:

«Приехала Таня и, по-видимому, очень поправилась и духовно и телесно, чему я очень рада. Только Маша, бедная, всё плоха. Я думала, Лёвочка, что ты приедешь с Таней, но ты, по-видимому, этого до такой степени не желаешь, что оттягиваешь свой приезд насколько можешь. Таня говорила даже, что ты говорил, будто жизнь твоя в Москве — *самоубийство*. Так как ты ставишь вопрос, что ты приезжаешь для меня, то это не *само*убийство, а я тебя убиваю, и вот я спешу тебе написать, что ради бога *не* приезжай; твой мучительный приезд лишит нас обоих спокойствия и свободы. Ты

будешь считать себя постепенно *убиваемым*, я буду считать себя *убийцей*. Хороша жизнь во имя любви! Если уедут Лёва и Дора, то я могу опять поехать в Ясную, к тебе на несколько дней, только не сейчас, потому что после последней истории с мальчиками я очень нервна и могу тебя расстроить.

История была тяжёлая, привела меня в ещё худшее состояние истерического удушия, чем то, которое у меня было в Ясной, когда ты меня так огорчил. Коротко сказать, что они пропадали *всю* ночь, до 8½ часов, утра, что я просидела в страшном беспокойстве и негодовании всю ночь, не ложась даже, а потом, после сцены с ними, пролежала больная весь день. Это так подкосило мои силы и нервы, что не скоро успокоюсь. Чем я больше теперь буду в одиночестве, тем мне легче; чем больше людей и шуму, тем мне хуже.

А уж слышать ещё тяжёлые, незаслуженные упрёки — тогда уже я куда-нибудь убегу. Мне и так жизнь очень тяжела, трудна и сложна. Все члены моей семьи страшные эгоисты, все требуют всего от меня, — а у меня сил нет, и последние надорвутся скоро. — Так вот, не будем друг друга *убивать* упрёками и требованиями, и будем дружелюбно переписываться и посещать я тебя буду, когда успокоюсь нервами.

Очень мне был приятен Серёжа всё время. Как был, так и остался самым деликатным членом моей семьи; и так он успокоительно и добро на меня действует.

Жду Дору и Лёву; в Москве очень плохо только отсутствием снега. Большая часть (извозчиков) на санях, а свои лошади на пролётках. Сегодня видела как упала лошадь в переулке между Ильинкой и Никольской. После двух дней инея, всё-таки стало получше.

Ну, прощай, теперь я тебя ждать больше не буду. Всякое напряжение душевное мне стало невыносимо. Буду проводить вечера в концертах сколько возможно. Это одиночество в толпе с слушаньем музыки я стала очень любить. Будь здоров и счастлив.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 690 - 691)*.

В Дневнике Толстого 28 ноября об этом письме кратко: «От Сони огорчённое письмо. Я дурно сделал, что сказал, а Таня дурно сделала, что передала» *(53, 166)*. Софья Андреевна, будем понимать, не сделала дурного ничего: её реакцию определяло не только подавленное настроение, но и давнее общее состояние нервной системы и психики, чаще всего это настроение и вызывавшее. К нарушениям же психики и нерв вели её с детских лет её темперамент и менталитет. Не вина, но беда, несчастие.

Очередной попыткой Толстого объяснить христианские смыслы своей жизни стало довольно пространное его письмо от 26 ноября. Кажется, он не получил ещё раздражённого её письма от 25-го: во всяком случае, отвечает он на более ранние письма. Вот в полноте ответ Льва Николаевича:

«Вчера проехала Таня, пробыв один день, и оставила мне радостное впечатление освобождения от своей одержимости. <В то время Т. Л. Толстая была сильно увлечена М. С. Сухотиным; в 1899 г. вышла за него замуж. – *Р. А.*> Дай Бог, чтобы только удержалось то хорошее свободное состояние, в котором она находится, и ещё чтобы она нашла себе по сердцу и хорошую работу.

Я нынче получил твоё письмо к Доре, из которого видно, что тебе тяжело и нехорошо. И это очень мне больно, главное потому, что я не могу помочь тебе.

Твоё рассуждение <в письме от 19 ноября. – *Р. А.*> о том, что гораздо важнее и нужнее мне быть в Москве с тобою, чем то, что что-то такое будет написано немножко хуже или лучше, поразительно своей несправедливостью. Во 1-х, вопрос совсем не в том, что важнее, во 2-х, живу я здесь не потому только, что будет немного лучше написано какое-нибудь сочинение; в 3-х, присутствие моё в Москве, как ты очень хорошо знаешь, не может помешать ни Андрюше, ни Мише жить дурно, если они этого хотят. Никакой строжайший отец в мире не может помешать людям с выросшими бородами жить так, как они считают хорошим; в 4-х, если бы даже вопрос так стоял, что важнее: написать то, что я пишу и что, я по крайней мере думаю и надеюсь (иначе бы я не работал), будет читаться милионами, а на милионы может иметь доброе влияние, или жить в Москве без всякого в Москве дела, суетно, тревожно и нездорово, то и тогда всякий решит вопрос в пользу не езды в Москву.

Это не значит то, что я не хочу приехать в Москву, не хочу сделать всё, что могу, чтобы сделать твою жизнь более хорошею, или что просто сам не желаю быть с тобой, напротив, я очень желаю этого, но это значит, что рассуждения твои очень несправедливы, так же как и рассуждения твои, которые ты почерпнула из чтения биографии Бетховена, что цель моей деятельности есть слава.

Слава может быть целью юноши или очень пустого человека. Для человека же серьёзного и, главное, старого цель деятельности не слава, а наилучшее употребление своих сил. Все мы призваны жить и действовать, как лошадь на колесе. Будем ли мы ездить в «Славянский базар» <ресторан в Москве. – *Р. А.*>, копать руду, играть на

фортепиано, что-нибудь мы должны делать. Человек же не глупый и поживший — я считаю себя таким — не может не видеть, что единственное благо, одобряемое совестью, есть работание той работы, которую я лучше всего умею делать и которую я считаю угодной Богу и полезной людям. Вот тот мотив, который руководит мною в моей работе, а про славу я уж давно спрашивал себя: что, буду ли я точно так же работать, если никогда не узнаю, одобрится ли моя работа людьми или нет, и искренно отвечаю, что, разумеется, что буду так же работать. Я не говорю, что я равнодушен к одобрению людей, одобрение мне приятно, но оно не есть причина, мотив моей деятельности.

Пишу я это особенно для того, что я тебе бы, милая Соня, желал такой деятельности, такой деятельности, при которой ты бы знала, что это лучшее, что ты можешь делать, и, делая которое, ты была бы спокойна и перед Богом, и перед людьми. У тебя была такая деятельность: воспитание детей, которое ты делала так самоотверженно и хорошо, и ты знаешь это сознание исполненного долга, и потому знаешь, что к этой деятельности побуждала тебя никак не слава. Вот этакой деятельности я желаю тебе, — страстно желаю, молился бы, если бы верил, что молитва может сделать это. Какая это деятельность, я не знаю и не могу указать тебе, но деятельность эта есть, свойственная тебе и важная, и достойная, такая, на которую положить всю жизнь, как есть такая деятельность для всякого человека, и деятельность эта для тебя никак уж не в играний на фортепиано и слушании концертов.

Как бы я хотел, милая Соня, чтобы ты приняла это письмо с той же любовью, бескорыстной, с полным забвением себя, и с одним желанием блага тебе, которую я испытываю теперь.

Работа моя опять вся в поправках «Искусства». Нужно послать и Мооду и Гроту. Кое-что обдумываю. Я совсем здоров, сейчас с Лёвой и деревенскими мальчиками катался на коньках. И хорошо! Весь большой пруд, как зеркало. Отчего ты не катаешься? Я уверен, что это тебе было бы очень хорошо. А ложиться в 3 очень дурно. Целую тебя крепко.

Л. Т.

Нынче очень важное, бывшее прежде никчёмным, уяснилось, в “Искусстве”» *(84, 304 – 306).*

Получив вскоре за тем письмо С. А. Толстой от 25-го, Толстой вовсе не стал отвечать на него — справедливо посчитав сказанное в своём ответе 26-го достаточным объяснением — или попыткой оного.

Что, если не погрязание в рутине и суете московской жизни, одно безумие на двоих, ждало бы Льва Николаевича, уступи он во все годы московской жизни, начиная с 1881-го, желанию Софьи Андреевны: жить постоянно при ней и детях, участвуя в воспитании? То высокое состояние сознания, ради которого с глубокой древности духовные учители человечества бежали, напротив, из городов в монастыри, и даже из ставших слишком людными, суетными и грешными монастырей в отшельнические скиты — стало бы едва достижимо ему. Да, он мог бы в большей степени участвовать в неоднородных и *разнообразных* воспитательных влияниях на “родных” детей, которые, как известно оказывают не одни родители, а *вся* воспитывающая среда. Но это влияние лишилось бы того именно христианского содержания, которое, начиная с первых бесед-проповедей с семейными, так раздражало и выбешивало не одних детей, а и взрослых, хотевших, «как все» в зажиточном сословии, делать карьеру, веселиться и тратить деньги, в числе же оных и Софью Толстую: огорчённую таким поведением детей, но вместе с тем мирящуюся с ним, как образом жизни вредным, но всё-таки менее страшным, нежели христианский Путь Жизни супруга. А так — трудненько *ей* было: в голове своей надо было состряпать негативный образ мужа и всячески его поддерживать, уловляя его, как сатана, на всякой слабости, фиксируя “для потомков” действительные и мнимые отступления в поступках от своего же проповеднического слова. Дабы можно было, со всеми натяжками, грубо вывести: смотрите, люди мира! муж мой *не* христианин, *а* обманщик и тщеславящийся эгоист!

На деле собственная её позиция в сложившейся ситуации не была чужда эгоизма. Всё та же любовь — нездоровая, взыскующая принадлежности и подконтрольности любимого и обязательной общности с ним тех мирских, суетных интересов, которые уже не могли быть актуальны для 70-тилетнего писателя. В записях дневника её этот эгоизм проступает ощутительней, нежели в соответствующих главах её мемуаров. Вот что читаем в дневнике на 27 ноября:

«О Льве Николаевиче известий нет. Какая-то глухая тоска и о нём сидит в моём сердце; но рядом и недоброе чувство, что он добровольно живёт врознь с семьёй и сложил с себя уже очень откровенно всякое участие и заботу о семейных. Я ему больше писать не буду; не умею я так жить врознь и общаться одними письмами. О Сергее Ивановиче очень скучаю» *(ДСАТ – 1. С. 323)*.

Получив письмо мужа от 26-го, она, конечно, выставила против идейного его христианского содержания обычный свой “барьер невосприятия”, *нежелания* понимать: поперёк последней страницы письма, будто перечёркивая, похеривая всё, сказанное в нём мужем, она написала: «Всё слова, а дела противные им» *(84, 306)*. Но, успокоившись и, вероятно, перечтя письмо, хотя бы *постаравшись* понять сказанное в нём, она таки восприняла его, чуждое ей, религиозное настроение, равно как и некоторые, напротив, близкие ей образы повседневности: Толстого, катающегося на волшебном, ещё не испорченном снегом, первом льду с детьми, чем он любил заниматься ещё с их родителями в их детстве — и сердце её оттаяло. Через годы, в мемуарах она только и вспомнит из этого письма — эту, радостную для неё, умозрительную картинку: Льва на льду с детьми *(МЖ – 2. С. 498)*. А тогда, в 1897-м, в дневнике на 29 ноября, она записала:

«Вчера получила длинное, доброе и благоразумное письмо от мужа. Я очень старалась проникнуться им; но от него повеяло таким старческим холодом, что мне стало грустно. Я часто забываю, что ему скоро 70 лет и несоразмерность наших возрастов и степени спокойствия. На тот грех моя наружная и внутренняя моложавость ещё больше мне мешает. Для Л. Н. теперь дороже всего *спокойствие*; а я жду от него порывистого желания приехать, увидать меня и жить вместе. Эти два дня я страшно по нём тосковала и мучительно хотела его видеть. Но опять я это пережила, что-то защёлкнулось в сердце и закрылось...» *(ДСАТ – 1. С. 323)*.

И на том спасибо, милая Соня, и слава Богу за всё!

В этот день она возобновила сладко-желанные встречи с С.И. Танеевым и продолжила читать одолженную им ранее многотомную биографию Бетховена. Когда позднее, от вернувшегося в Москву супруга, она “выжала” признание, что его нежелание ехать к ней было, в числе прочего, связано и с ревностью его к Танееву — уже это, лестное ей, обстоятельство, вышло для неё на первый план, и в ещё более лестном перетолковании:

«Какая теперь *ревность*, в наши-то годы, скорее *зависть*, что я полюбила ещё одно искусство, а не только его, литературное, и посредством человека постороннего, а не его» *(Там же. С. 325)*.

До 1 декабря мы не имеем более писем к Толстому от Софьи Андреевны: она, конечно же, постаралась исполнить своё обиженное обещание к мужу — более не писать. Уловив эту “установку”, Лев Николаевич в своём небольшом открытом письмеце от 30 ноября немного

“поддевает” благоверную, намекая, что и у него, помимо её писем, есть иные информаторы о делах и днях хамовнического дома:

«Вчера получил от Тани письмецо, и рад, что знаю про вас, и что [у] вас всё хорошо. Мы всё ждём снега, которого нет. Я здоров, что тебе передаст Маковицкий. Сейчас еду в Ясенки в санях и свезу эту записку. Надеюсь нынче получить от тебя.

Л. Т.» *(84, 306)*.

Врач из Словакии и убеждённый толстовец, Душан Петрович Маковицкий (1866 – 1921) нанёс 28 и 29 ноября Толстому уже второй (после августа 1894 г.) визит. «Милый, кроткий чистый», как охарактеризовал его Толстой в Дневнике на 28-ое, и беспредельно наивный, он как раз застал 29 ноября момент, когда Толстой отправил для набора в редакцию журнала «Северный вестник» готовое Предисловие к статье Карпентера. Отправившись от Толстого в Москву, нанести визит Софье Андреевне, он, конечно же, поведал ей об этом деле Толстого с ненавистным ей «еврейским» журналом. И грянул гром: Софья Андреевна припомнила в тот же день в дневнике, как в феврале 1895-го ей «чуть не стоила жизни и рассудка» история с рассказом «Хозяин и работник», которую Толстой решил отправить для первой публикации в этот журнал, а не отдать ей *(ДСАТ – 1. С. 324)*. Домашний скандал и напряжённая, много дней, тяжёлая психологическая обстановка спровоцировали тогда болезнь и смерть Ванички, любимого младшего сына… Но прошло почти три года, и Толстой, заклявшийся в тот страшный февраль отправлять свои, пригодные для доходных изданий Софьи Андреевны, произведения в этот журнал, ослабил бдительность: речь ведь в данном случае шла не о художественном произведении, даже не о большой статье Толстого, а о *предисловии* к сочинению совершенно другого человека, которое взялся опубликовать в русском переводе «Северный вестник» и без которого, само по себе, Предисловие выглядело бы в другом издании нелепо. Душан Петрович ещё худо знал русский язык, да и не разобрал обстоятельств дела, и *по ошибке* назвал статью Э. Карпентера (перевод которой Толстой лишь проверял) с толстовским небольшим Предисловием — «длинной статьёй» самого Л. Н. Толстого *(Там же)*. Но Софья Андреевна не стала разбирать подробности дела, задавать Маковицкому уточняющих вопросов или адресовать такие вопросы мужу, а сходу, в тот же день 30 ноября, предалась обычному своему болезненному состоянию:

«…Пережила я сегодня опять всю прошлую историю, всю боль, все страдания. В первую минуту я хотела лишить себя жизни, потом хотела уехать куда-нибудь, потом проиграла на фортепьяно часов пять, устала, весь день ничего не ела и уснула в гостиной, как спят только в сильном горе или возбуждении — как камень повалилась» *(Там же)*.

Затаившись в обиде и злости, готовя, по настроению, то ли побег из дома, то ли самоубийство, она на следующий день, 1 декабря, прервав самопровозглашённый “обет молчания”, пишет мужу письмо. Дочь Таня, вероятно, успела немного раньше, и именно из её письма, судя по записи в Дневнике, Толстой узнал 2 декабря о недовольстве супруги. Тогда же (беда не ходит одна!) Толстой получает письмо от Н. Я. Грота, в котором тот решительно отказывается от прежнего своего же решения: публиковать трактат «Что такое искусство?» в одном номере журнала. (А Толстому это было нужно из-за договора с Э. Моодом, по которому новое сочинение должно было быть опубликовано в России и Англии одновременно.) Толстой “накидал” в трактат столько дополнений, что потребовалось разделить публикацию на два номера журнала. Зная, что Толстой будет возражать, хитрая бестия Грот изложил свои аргументы в пользу разделения трактата и в одновременно написанном письме к Софье Андреевне, предположив в этом к ней письме, что Толстой, дабы поместить своё сочинение, по своему желанию, в *одном* номере журнала, согласится ужать текст трактата, а жена возьмётся за тяжелейшую, кропотливую работу корректора уже этой, сжатой, версии «Что такое искусство?». Не без оснований он рассчитывал, что Софья Андреевна, дабы избежать таких новых мученических трудов, может “надавить” своим характером на мужа — чтобы тот согласился нарушить договор с Моодом и разделить «Что такое искусство?» на две журнальные публикации. Но время для такого хода выбрано было неудачно, и Софья Андреевна, будучи 1 декабря в расстроенных чувствах, начала письмо к мужу с *жалобы на Грота*. Письмо это, кстати сказать, смогло бы всякого внимательного читателя насторожить — общим своим настроением сдавленной, плохо скрываемой неприязни. Вот полный его текст:

«Мне очень неприятно, что Грот обращается всё ко мне с своими сомнениями и, по-видимому, недовольством. Я совершенно не причём, а он чего-то ждёт от меня. Посылаю его записку. Корректуру я охотно буду держать, но нужно ли? Времени у меня много, и я люблю работу.

Ты, я думаю, рад, что нет снега и можно сидеть в деревне, ссылаясь на плохую дорогу. Хорошо, что ты здоров, желаю тебе хорошей работы и спокойствия. Таня опять не спокойна, получила письмо от С[ухотин]а, который просит *объяснения* отказа. Какая наглость!

А *фельдшера* она не видит и скучает по нём. <«Прозвание, данное Львом Николаевичем одному из близко знакомых молодых людей, симпатичному Тане». – *Примечание С. А. Толстой.*>

Бедная! как ей хочется любви. Кому её не хочется? А как мало её дают вообще.

Мы все здоровы; писать не хочется, я начинаю *третье* письмо и не пишется.

Помнишь, мы говорили: «не берёт»? И совсем не от того, что ты не едешь, нет, напротив, даже хорошо, что ты не едешь, твоё недовольство и нежеланье жить в Москве хуже, гораздо хуже твоего отсутствия. Пока хорошо, наслаждайся деревней, тишиной, работой; ведь ты опять теперь работаешь новое…

С. Т.» *(ПСТ. С. 691 - 692).*

Продолжение темы с Гротом и публикацией трактата — в уже совершенно “холодном”, деловом письме С. А. Толстой 3 декабря, заключительном в этом году и Эпизоде её письме к мужу, написанном после визита к ней С. Н. Трубецкого (1862 — 1905) — профессора философии Московского университета и одного из редакторов журнала Н. Я. Грота «Вопросы философии и психологии»:

«Сегодня был у меня князь Сергей Николаевич Трубецкой и просил меня написать тебе, что Грот очень болен, в постели, что до него не допускают ничего, что бы могло его тревожить, и что последние письма он писал уже в крайне нервном и возбуждённом состоянии.

Кроме того князь просит от всей редакции журнала, чтоб статью об искусстве *разделить*, выставляя следующие аргументы:

1) Статья так длинна, что займёт целую книгу.

2) Если цензура её запретит, то нечем будет наполнить книгу и заменить такую длинную статью.

3) Шрифту у них такого количества нет и быть не может, чтобы не разбирать набор целой книги.

4) Если желательно, чтоб её не перепечатал никто до появления английского перевода, то если выйдет сразу, то её немедленно перепечатают всё на свете, принимая во вниманье позволение печатанья всего написанного с 1881 года; если же статья выйдет частями, то

никто до выхода конца перепечатывать не будет, и английский перевод успеет выдти.

5) Цензура отнесется строже к *целой* книге, чем к разбитой на части статье, принимая даже во внимание то, что статья начата и должна быть кончена.

Все эти доводы приводил Трубецкой, а Грот так решительно стоит на невозможности печатать всё сразу, что прекратил занятие этой статьёй, и всё отдал мне, и я не знаю, что делать с ней.

Ещё Трубецкой велел передать благодарность от всей редакции за статью и надежду, что ты не лишишь их возможности её издать.

Кажется, всё. Надеюсь, что вы все здоровы, так же как и мы.

С. Т» *(Там же. С. 692 – 693).*

В Дневнике на 6 декабря (т.е. писанном уже в Москве), вспоминая события до 5 декабря, дня своего отъезда из Ясной Поляны в Москву, Толстой в числе прочего упоминает полученные «от Сони самые тяжёлые письма». Упоминаются здесь же и «глупые письма от Грота» *(53, 169)*. Дело, однако, закончилось тем, что Толстой уступил Трубецкому и Гроту! Да ему было не до Грота. Жена недобро воздала ему за недавнее, неожиданное при её возвращении, бегство в Пирогово: приехав 5 декабря в московский дом своего семейства, он… не застал её в доме. В Дневнике покаянная запись: «Она в страшном возбуждении уехала к Троице. Всё наделала моя статья в ”Северном вестнике”. Я нечаянно ошибся» *(Там же)*.

Воспоминания об этих событиях неприятно различаются в мемуарах С. А. Толстой и в записях её же дневника. По мемуарам, 2 декабря, после «чудесного бетховенского концерта» она сразу же поехала в Ясную Поляну, «со слезами» умоляла супруга вернуться с ней вместе в Москву, но тот «сурово отклонял мольбы», и якобы только необходимость «держания корректур и напечатания статьи» вызвала его в Москву — чему-де она, Соничка, была только рада, «что приезд его был вызван не ей» *(МЖ – 2. С. 498 - 500)*.

На деле, как мы показали, с Гротом и публикацией статьи об искусстве он мог, просто уступив ему, решить дела и из Ясной Поляны. Но вот *её* речи и всё поведение, о которых ему сообщали информаторы — вряд ли были не на первом месте в мотивах его возвращения. Не правдиво утверждает Софья Андреевна и о том, что была «довольно равнодушна» к публикации статьи Э. Карпентера с Предисловием Л. Н. Толстого в журнале с ненавистными ей «еврейскими редакторами», С. Гуревич и А. Флексером *(Там же. С. 499)*. Дневниковые записи её за 10 и 11 декабря, в которых она реконструирует

события предшествующих дней, свидетельствуют против её мемуарного мифотворчества. Приводим их ниже в выдержках.

10 декабря. «2 декабря я была в концерте “Бетховенский вечер”. Ауэр и д’Альбер играли четыре сонаты со скрипкой. Наслаждение было полное, и душа моя успокоилась на время. Но на другой день я увидала в газетах объявление «Северного вестника» о статье Л. Н. Кроме того, Таня со мной поссорилась, упрекая за моё мнимое отношение какое-то к С. И. <Танееву>, а я его месяц до того не видала. Я оскорбилась страшно…

На другой день получена была телеграмма от Доры и Лёвы, что они едут, от Л. Н. ничего. […] Известие о том, что после месяца разлуки он не едет ко мне да ещё печатает статью в «С<еверном> в<естнике>», привело меня в состояние крайнего отчаяния. Я уложила вещи и решила ехать куда-нибудь. Когда я села на извозчика, я ещё не знала, куда поеду. Приехала на Петербургский вокзал, хотела ехать в Петербург, отнять статью у Гуревич; но опомнилась и поехала к Троице. Вечером, одна, в гостинице, с одной свечой в грязном номере, я сидела как окаменелая и переживала всю горечь упрёков моему равнодушному к моей жизни и любви мужу. Я хотела себя утешить, что в 70 почти лет уже нельзя горячо чувствовать; но зачем же обман и тайные от меня сношения и статьи в «С. в.»? Я думала, что я сойду с ума.

Когда я легла и заснула, меня разбудил нянин и Танин голоса и стук в дверь. Таня почему-то догадалась, что я именно поехала к Троице, обеспокоилась и приехала ко мне. Я была очень тронута, но состояние моего отчаяния не изменилось. Таня мне сообщила о приезде Доры и Лёвы и о том, что Л. Н. приезжает на другой день. И это уж меня не тронуло. Я слишком долго и горячо его ждала, а тогда уж сломалось во мне опять что-то и я стала болезненно равнодушна ко всему.

Таня уехала, а я пошла к обедне. Весь день (девять часов) я провела в церкви. Я горячо молилась о том, чтоб не согрешить самоубийством или местью за эту боль, постоянно причиняемую мне мужем. […] На другое утро я причащалась в Трапезной церкви. Был царский день (6 декабря)… Телеграммы, которой я ждала от Тани о приезде Л. Н., не было. Поев, я поехала на телеграф, и там были две непосланные телеграммы: одна от Тани, другая длинная, трогательная от Л. Н., который меня звал домой.

Я немедленно поехала на поезд.

Дома Лев Николаевич встретил меня со слезами на глазах в передней. Мы так и бросились друг к другу. Он согласился (ещё в телеграмме упомянув об этом через Таню) не печатать статьи в «Северном вестнике», а я ему обещала совершенно искренно не видать нарочно С. И.»

11 декабря. «Была Гуревич, плакала и представлялась несчастной перед Таней. Л. Н. к ней не вышел. Статью пока он у неё спросил назад. Что дальше будет! Я утратила всякое доверие к правдивости Л. Н. после всей этой обманной истории печатания статьи в “Северном вестнике”.

Если б я не жила под семейным деспотизмом, поехала бы в Петербург на концерт…» *(ДСАТ – 1. С. 325 - 327).*

Вот текст телеграммы Л. Н. Толстого от 6 декабря, которую упоминает в своём рассказе Софья Андреевна и который уже совершенно завершает корпус Переписки данного Эпизода и всего 1897 года:

«Хотел ехать, но чувствую себя слабым. Приезжай, пожалуйста, нынче, причин страданий нет. Отвечай» *(84, 306).*

Конечно же, отношения разной степени “ненарочности” Сони с С. И. Танеевым продолжились. Даже в дневнике ей потребовалось както оправдаться перед собой, и она легко отыскивает такую возможность — в записях Дневника мужа на 6 и 7 декабря, в который не преминула заглянуть:

6 декабря. «Вечером приехала Соня, успокоенная. Поговорили и стало хорошо».

7 декабря. «Вчера ещё и ещё говорили и я слышал от Сони то, чего никогда не слыхал: сознание своей вины. Это была большая радость. Благодарю тебя, Отец. Что бы ни было дальше. Уж это было, и это большое добро» *(53, 169).*

И тут же всю напускную набожность, выказанную Соней при посещении «троицы», как рукой сняло. Возмущению её о возможном повреждении имиджа в глазах потомков не было предела:

«…В его дневнике написано, что я созналась в своей вине в первый раз и что это радостно!! Боже мой! Помоги мне перенести это! Опять перед будущими поколениями надо сделать себя мучеником, а меня виноватой! А в чём вина? Л. Н. рассердился, что я с дядей Костей зашла месяц тому назад навестить С. И., лежащего в постели по случаю больной ноги. По этой причине Л. Н. страшно рассердился, не ехал в Москву и считает это виной.

Когда я стала ему говорить, что за всю мою чистую, невинную жизнь с ним он может простить меня, что я зашла к больному другу навестить его, да ещё с стариком дядей, Л. Н. прослезился и сказал: “Разумеется, это правда, что чистая и прекрасная была твоя жизнь”. Но никто не видал ни слёз его умиления, никто не знает нашей жизни, а в дневнике сказано о вине моей! Прости ему Бог его жестокость ко мне и несправедливость» *(ДСАТ – 1. С. 327).*

Сравним эту запись с соответствующим местом в мемуарах С. А. Толстой «Моя жизнь», писанных, между прочим, тоже с оглядкой на “грядущие поколения”. Об опасениях её в 1897 году, что запись в Дневнике Толстого 7 декабря свяжут как-то с Танеевым — ни слова! Зато есть признание перед покойным мужем вины в том, «что мучила его своим беспокойным, горячим характером». А неправ супруг, по версии в мемуарах, лишь в том, что называет её покаяние 6 – 7 декабря первым в её жизни, тогда как она «всегда так охотно и легко винилась, когда расстраивала мужа, *лишь бы успокоить его» (МЖ – 2. С. 500. Выделение в тексте наше. – Р. А.).*

Муж, от усталости своих трудов этого года и пережива-ний, в значительной степени вызванных собственной его безобразной ревностью жены, охотно поддался этим, рассчитанным Соничкой, и обману, и самообману — и действительно на время успокоился и примирился, хотя вряд ли мог не знать, что “музыкальные” свидания супруги с С. И. Танеевым продолжаются. Успокоилась и она.

Но предрождественское перемирие без настоящего разрешения причин противоречий не сулило им мира и в новом, 1898-м, году. Предвестием его непокоя для обоих стало данное в последний день 1897 года, 31 декабря, министром внутренних дел разрешение для духоборов на переселение за границу без права возвращения. Сбор денег на это переселение и организация его в 1898-1899 гг. станут новым благотворительным предприятием Льва Николаевича, которое добавит в эти годы и славы, и беспокойства не одному ему.

КОНЕЦ СОРОК ТРЕТЬЕГО ЭПИЗОДА

Эпизод Сорок Четвёртый.

ЛЮБОВЬ ПРОШЛА, А ДРУЖБА НЕ СЛУЧИЛАСЬ

(20 марта – 30 мая 1898 г.)

Несмотря на новый успех Софьи Андреевны в “вытягивании” в декабре 1898 г. мужа из родной, любимой и вдохновлявшей его усадьбы для совместного проживания в Москве, празднования Рождества и встречи Нового года «по-старому», семейному, не получилось. В мемуарах, давая тем самым читателю установку на сочувствование, С. А. Толстая жалостливо вспоминает: «На праздники и в день Нового года наши дети покинули нас с Львом Николаевичем в Москве и уехали веселиться в деревню Гринёвку, к сыну Илье и его семье» *(МЖ – 2. С. 502)*. Это не совсем правдиво, судя по её же записям в дневнике 1 января 1898 г., где названы участники встречи Нового года: «Андрюша, Миша, Митя Дьяков, два мальчика Даниловские» *(ДСАТ – 1. С. 335)*. Вряд ли и до того, на Рождество, младшие дети могли сами куда-то уехать от родителей — как ни скверна была моральная обстановка в доме, “подогреваемая” их затяжным конфликтом. Кроме того, Соня проговаривается в дневнике, что она пила с гостями «русское донское шампанское», а Толстой, конечно, не поддержал их в этом — предпочтя любимый английский чай с молоком *(Там же. С. 337)*. Участники попойки не перечислены, но, надо полагать, это были не дети, а пришедшие с ними взрослые. Такому “одиночеству” некоторые и в наши дни могли бы позавидовать!

Достаточно неправдивы, а местами открыто ожесточены на мужа и последующие воспоминания, в особенности же дневниковые записи Софьи Андреевны этого года. Необходимо предупредить читателя, что даже то, что мы будем цитировать ниже из её дневника, надо воспринимать критически, то есть не буквально — скорее, как иллюстрацию “накала” в конфликте супругов и душевного состояния именно Софьи Толстой, а не источник достоверных фактов и — тем более — справедливых оценок.

Продолжая, как и прежде, отторгать душевное и духовное сокровище обретённой и исповедуемой Львом Николаевичем чистой, первоначальной веры Христа, презирая его религиозных единомышленников и помощников, «тёмных», она между тем продолжала в дневнике (а значит, периодически, и в изустных беседах) взыскивать с него той *дружбы* и того *доверия*, которых, после многих лет страстного ею же отторжения сокровищ его духовной жизни — он не не хотел, а действительно *не мог* уже ей дать. Мы помним, что в 1897-

м супруг не сразу доверил Соне даже обыкновенное рутинное переписывание трактата по искусству — а она между тем тайно грезила о *соавторстве*, обиженно затаив ряд ценных критических замечаний. Теперь, в конце 1897-начале 1898 года, когда трактат начал публиковаться и обсуждаться в обществе, она могла ликовать: критика нанесла удар именно по тем слабым (а также, конечно, и по не понятым критиками) местам сочинения, на которые она хотела указать мужу — *если бы* он взял её не в простые переписчицы, а в настоящие помощницы в своих писаниях! Несчастным образом Толстой превысил, как мы помним, журнальный лимит для одного номера (заключительного в 1897 г.) «Вопросов философии и психологии», и уже 3 января Соничка изругала мужа за то, что:

«…Публика должна подписаться на “Журнал философии и психологии” на два года, чтоб прочесть статью […]; а что если б его вещи печатала я при его полном собрании сочинений, то я бы продавала за 50 коп. и все могли бы читать» *(Там же)*.

И тут же ей злопамятно припомнилась и повесть «Хозяин и работник», отданная, мимо её книгоиздательских бизнес-интересов, в «Северный вестник», и «Предисловие» к книге Э. Карпентера, которое Толстому из журнала пришлось, после её скандалов, отозвать — несмотря на то, что только вместе с публикацией очерка Карпентера в «Северном вестнике» оно бы и было кстати, и совершенно нелепо в довольно дорогом (50 коп. стоил только один том) Собрании сочинений.

Она задела ему очень наболевшее место. Ещё 13 декабря 1897 г., в связи с притязаниями своих “доверенного” издателя В. Г. Черткова и переводчика Э. Моода на приоритетную публикацию «Что такое искусство?» в Англии, Толстой в ответ на «сердитое» письмо Черткова огорчённо сетовал:

«Удивительней всего то, что здесь на меня сердятся за то, что я непременным условием печатания в России ставлю то, чтобы в Англии вышло прежде (Грот из себя выходит за это и писал неприятности), а вы на меня сердитесь за то, что я здесь печатаю, как вам кажется, в ущерб вашему изданию. Как много легче поступать, как все, не стараясь поступать лучше. Пока я печатал за деньги, печатание всякого сочинения было радость; с тех пор же, как я перестал брать деньги, печатание всякого сочинения есть ряд страданий. Я так и жду: и от семьи, и от друзей, и от всяких издателей. Предисловие к Карпентеру я взял назад из «Северного вестника» и вовсе его

печатать не буду тоже вследствие целого ряда страданий, таких тяжёлых, что ваше недовольство уж мало подбавляет горечи» *(88, № 473. С. 67 - 68)*.

Так что можно понять, отчего упрёки жены в том, что он не даёт ей новых сочинений для её семейно-доходного издания, вывели Толстого из себя. Дождавшись срыва его в крик, она злобно упрекнула его и в этом, поворотив перебранку и не в свою даже пользу, а только бы — на утверждение совершенной лжи, и на самоутверждение, и на страдание и зло супругу: «он прав, *его* произведения — *его* неотъемлемая собственность, но не кричи уж на меня!» *(ДСАТ – 1. С. 337)*.

А вечером того же дня мстительность Сони была удовлетворена ещё больше: на музыкальном вечере в хамовническом доме: собравшиеся музыканты, и особенно Римский-Корсаков, атаковали автора «Что такое искусство?» настоящим “перекрёстным огнём” критики, предъявив ему именно те претензии к идеям и выводам сочинения (как они их могли вообразить, не имея возможности ещё до конца прочесть трактат), которые были в 1897-м “на кончике” соничкина языка *(Там же. С. 337 - 338)*.

Разумеется, обещаний не видеться с Танеевым Софья Андреевна не сдержала, а зная, что тайное всё равно сделается явным, она ловила себя в дневнике на том, что *боится* мужа, его «ревности и деспотизма» *(Там же. С. 339, 341, 350-351 и др.)*. Кстати, впервые характеристика мужа как “деспота”, вместе с кучей обиженных мыслей, появляется в Сонином дневнике ещё 22 сентября 1863 г. — в связи с его желанием отправиться на войну, в военную службу *(ДСАТ – 1. С. 62)*. Однако… удивительным образом Соня прожила после того с “деспотом” более 30-ти лет, этого слова более не вспоминая… до 11 декабря 1897 г., когда она жалуется, что ревность мужа, «семейный деспотизм», разлучает её с музыкой и делает невозможным поездку в концерт *(Там же. С. 327)*. В дальнейшем словцо «деспот» (и его вариации), явно полюбившееся ей, повторяется в дневнике несколько раз — для характеристики супруга, а в 1910 году — страстно ненавистного ею В. Г. Черткова.

Читатель может понять, отчего из этой обстановки предпочли на праздники уехать старшие дети. Толстой же, несмотря на град обвинений и нападок жены, оставался в хамовническом доме до конца апреля 1898 года, после чего выехал не в Ясную Поляну, куда направлялась «на лето», по привычкам городской дачницы, Софья Андреевна, а — туда же, где спасались в Рождество и Новогодие его дети: к сыну Илье, в имение Гринёвка.

Не теряя из внимания и супруги, вкратце обрисуем теперь его дела и дни вплоть до этого отъезда. На помощь нам придёт краткая академическая «Хронологическая канва», составленная для Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого замечательным исследователем его жизни и творчества, Н. С. Родионовым.

20 декабря 1897 г. «Толстой получил анонимное письмо от “старых, коренных дворян и в том числе орловских” с угрозой “исторгнуть его из жизни”, как “звероподобного человека”, если он к 1 января 1898 г. “не одумается”.»

Около 25-29 декабря. «Вторичная угроза убить Толстого 3 апреля 1898 г., как “врага царя и отечества”».

13, 18 января 1898 г. «Толстой пытается “найти удовлетворяющую форму” “Хаджи-Мурата”. Уяснение плана “Хаджи-Мурата” “больше, чем когда-либо”».

25, 26 января. «Хлопоты Толстого о сектантах-молоканах, у которых были отняты дети: написано прошение Николаю II от имени пострадавших молокан».

27 января — февраль. «Работа над корректурами “Что такое искусство?”».

24, 25 февраля. «Чтение материалов о Кавказе для “Хаджи- Мурата”».

Март — апрель. Работа над «Хаджи-Муратом».

14 марта. «Толстой слушает симфонию С. И. Танеева и критикует её» *(53, 405 - 407).*

Софья Андреевна вспоминала об этом исполнении в дневнике следующее:

«Л. Н. отнёсся серьёзно и с уважением и стал излагать свои впечатления. А именно, что и в этой симфонии, и во всей новой музыке нет ни в чём последовательности: ни в мелодии, ни в ритме, ни даже в гармонии. Только что начнёшь следить за мелодией — она обрывается; только что усвоишь себе ритм, он перебрасывается на дру-

гой. Чувствуешь неудовлетворённость всё время; между тем в настоящем художественном произведении чувствуешь, что иначе оно не могло быть, что одно вытекает из другого, и думаешь, что «я сам точно так бы это сделал». Сергей Иванович слушал внимательно и с уважением, но его всё-таки, кажется, огорчило, что его симфония не понравилась Л. Н.» *(ДСАТ – 1. С. 367)*.

Ещё, по краткой хронологии:

17, 18 марта. «Письма Толстого к В. Г. Черткову о переселении духоборов, как «самом главном, поглощающем всё его внимание деле» и о возможности основания за границей печатного органа, в котором бы «печатались все дурные дела, совершаемые русским правительством».

Письмо в «Русские ведомости» и «С.-Петербургские ведомости», с призывом о помощи переселяющимся духоборам.

Письма в редакции английских и американских газет с воззванием о помощи переселяющимся духоборам» *(53, 407)*.

К 20-22 марта относится незначительный эпизод в Переписке супругов, связанный с кратковременным отъездом С. А. Толстой из Москвы в столицу: «послушать Вагнера и симфонию Сергея Ивановича Танеева» *(ДСАТ – 1. С. 368)*. Это было продолжением Сониного саморазвития, культурного поиска — отчасти и назло мужу, недоступность благородных дружеских отношений с которым всё более раздражала её: его критическое отношение к сочинениям Рихарда Вагнера она знала, благодаря работам над лапописями трактата «Что такое искусство?», уже давно, а теперь ей стало известно такое же, сдержанно-неприязненное, отношение Льва Николаевича к симфонии С. И. Танеева. Но билеты на вагнеровского «Тристана и Изольду», как пишет она 20 марта мужу, было брать уже «опоздано», да к тому же Соню удержали от поездок в концерты ряд обстоятельств: болезнь любимой сестры Лизы, у которой в доме она остановилась, плюс мерзкая, слякотная погода и начавшееся расстройство желудка *(ПСТ. С. 694)*.

При этом незадолго до отъезда Соня, конечно же, поругалась с мужем о его отношении и к Вагнеру, и к симфонии Танеева, а в особенности к ней — из-за скептического его отношения к самой идее поездки в Петербург на эти концерты. Несмотря на то, что перед самым отъездом муж не смел сказать и слова против, уехала она недовольная и возбуждённая, и Толстой в «воскресенье 4 ч.» 22 марта, отчего-то ещё не получив Сониного письма, вопрошает в своём:

«Приятно ли тебе? Я очень боялся за твой переезд ночью при твоём нервном возбуждении. Иногда бывает хуже от железной дороги, а иногда усыпляет» *(84, 307)*.

Сам он пишет в письме о том, что *для него* было по-настоящему животрепещуще. В те дни умирал от рака печени давний его друг и умный (независимый — как, к примеру, и М. П. Новиков) религиозный единомышленник, московский купец Иван Петрович Брашнин. Он призвал к себе проститься двух ближайших своих друзей и единомышленников во Христе: А. Н. Дунаева и Л. Н. Толстого. В письме к супруге Толстой сообщает кратко (зная, что *ей* это малоинтересно): «Я пошёл к нему. Он вероятно нынче завтра умрёт, — водянка захватила уже рёбра. — И мы так славно, серьёзно, просто, трогательно простились, до скорого свидания» *(Там же)*.

И здесь же Толстой выражает беспокойство о судьбе своего открытого письма в газету кн. Э. Э. Ухтомского «Санкт-Петербургские» ведомости с призывом к обществу оказать посильную помощь в деле переселения в Америку гонимых православной Россией духовных христиан — духоборов. Софья Толстая встречалась с Эспером Эсперовичем в доме старшей сестры, где остановилась сама. Ухтомский «оказался очень приятным и умным, рассказывал, что у него образовалась коллекция из 200 изображений Будды <Ухтомский был большим знатоком буддизма, чем когда-либо сам Л. Н. Толстой. – *Р. А.*>, и удивлялся несходству моему с моей старшей сестрой» *(МЖ – 2. С. 510)*. Но, покорив даму, этот потомок Батыя оказался не в силах победить собственные страхи: князь решительно отказался публиковать в своей газете “крамольное” письмо Толстого.

Своё письмо к жене Лев Николаевич направил по петербургскому адресу: «Надеждинская, № 18, кв. Берс», но письмо воротилось, не застав уже по этому адресу Софьи Андреевны. Скепсис Толстого в целом оправдался: в письме 20 марта С. А. Толстая признаётся: «Сегодня мне казалось, что себя за что-то *наказала*, уехав в Петербург» *(ПСТ. С. 694)*. В дневнике под 2 апреля она поясняет, рассказывая о поездке:

«Была четыре дня в Петербурге. С осени запала у меня мысль поехать слушать симфонию Танеева, которую он мне несколько раз играл на фортепиано, — в оркестре. Мне казалось, что она будет великолепна. Кроме того, я давно мечтала услыхать Вагнера, а в Петербурге как раз его давала немецкая приезжая опера. Сначала меня Л. Н. не пускал; этот протест вызвал тоску, бессонные ночи и апатию. Потом меня охотно отпустил, и я не получила от этой поездки никакого удовольствия. Дождь лил не переставая, симфония Танеева была сыграна и дирижирована Глазуновым отвратительно; Вагнера

я не слыхала; здоровье расстроилось; жизнь у сестры Берс с её дурным отношением к мужу, к прислуге и с её односторонним интересом к направлению финансов в России (странный интерес у женщины) — всё это было скучно, неудачно, и я так счастлива была вернуться домой к Л. Н., к моей свободной по духу нашего дома жизни, что теперь не скоро нападёт на меня желание уехать» *(ДСАТ – 1. С. 369 - 370)*.

Важно здесь же заметить, что С. А. Толстая, разобравшись к этому времени в специфике толстовского «Предисловия» к статье Э. Карпентера, теперь не только не препятствовала его публикации в «Северном вестнике», но, судя по сообщению в том же письме 20 марта, сама отвезла его, будучи в Петербурге, в редакцию журнала. Следы обиды на мужа, однако, остались и проникли даже на страницы мемуаров, писанные уже в 1915 г. Обиды на то, что в очередном доходном её издании, собрании сочинений уже в 15-ти (!) томах, в последний том ей хотелось включить *всё новейшее* из его рук — дабы привлечь покупателей. Толстой же, пиша свои новые статьи, мыслил не как искатель доходов, а именно как публицист: думал об их общественном значении или духовной пользе читателю.

Снова кое-что из родионовской краткой хронологии:

16-23 апреля. «Скульптор П. П. Трубецкой работает над бюстом Толстого».

21 апреля. «Запрещение на два месяца «Русских ведомостей» за сбор, по инициативе и при живейшем участии Толстого, пожертвований для переселяющихся духоборов».

23 апреля. «Отъезд Толстого с женой в имение сына Ильи Львовича Гринёвку Чернского уезда Тульской губ.» *(53, 408)*.

Взаимные почтительные отношения со скульптором даже немного задержали Толстого в Москве: нужно было дождать окончания работ. Данная поездка не была, как ряд прежних, только досугово-творческой: в распоряжении Толстого были уже некоторые благотворительные деньги, которые он хотел употребить для организации, по опыту 1891-1893 гг., помощи крестьянам в голодавших снова в 1898 г. местностях. Конечно же, Софья Андреевна пожелала хоть на несколько первых дней составить компанию в поездке мужу, причём и это решение, если судить по дневнику её, далось ей не без метаний

и греха. Вот лишь несколько её записей, касающихся переезда в Гринёвку.

15 апреля. «Л. Н. объявил сегодня, что послезавтра он уезжает к Илюше в деревню, что ему в городе жить тяжело, что у него есть 1400 руб., которые он хочет раздать нуждающимся. Всё это правильно, но мне так показалось грустно и одиноко жить одной с плохой Сашей и Мишей, которого никогда дома нет, что я просто расплакалась и умоляла Льва Николаевича не уезжать ещё от меня, а пожить со мной хоть ещё недельку. Если б он знал, как я слаба душой, как я всячески боюсь себя; боюсь и самоубийства, и отчаяния, и желания развлечь себя — я всего боюсь, себя боюсь больше всего… Не знаю, послушает ли он мою просьбу» *(ДСАТ – 1. С. 375).*

Но 16-го состоялся первый сеанс у нового знакомого и желанного в доме гостя, гениального скульптора, князя Паоло Трубецкого (1866 - 1938), с первого взгляда полюбившегося обоим супругам. К радости Сони, решено было задержаться, дав поработать Трубецкому. Впрочем, и не без пользы для толстовского дела:

19 апреля. «Приезжал С. Т. Морозов, болезненный купец, кончивший курс в университете и желающий жить получше. Он дал для голодных крестьян Льву Николаевичу 1000 рублей» *(Там же. С. 376).*

Наконец, таки выехали. Побывав с мужем у сына и любовно, но неохотно и грустно расставшись со всеми, заглянув после и в весеннюю Ясную Поляну, где тоже так хотелось остаться, Софья Андреевна воротилась на время в Москву, и записала 29 апреля о поездке кое-что в дневник:

«23-го Трубецкой кончил бюст Льва Николаевича. Он очень хорош. Вечером мы выехали с Л. Н. в Гринёвку. […] В Гринёвке нас встретили верхами сыновья Илья и Андрюша и пешком внуки — Анночка и Миша. Очень было весело их видеть и приехать в деревню. Л. Н. тотчас же приступил к делу: стал объезжать деревни и исследовать, где голод. Хуже всего в Никольском, и ещё <ближе> к Мценскому уезду. Хлеб едят раз в день и то не досыта. Скотина или продана, или съедена, или страшно худа. Болезней нет. Л. Н. устраивает столовые» *(Там же. С. 378).*

Толстой пробыл в Гринёвке с 24 апреля по 27 мая. Сын Илья Львович, сопровождавший его во время поездок, позднее писал, что при обследованиях «самую трудную работу — распределение количества едоков из каждой крестьянской семьи — отец почти везде производил сам, поэтому целые дни, часто до глубокой ночи, разъезжал по деревням» *(Толстой И.Л. Мои воспоминания. – М., 1969. – С. 226).*

Всего было открыто 20 столовых. Об этой своей работе Лев Николаевич, помимо личных писем, расскажет в том же 1898 году и для читающей публики — в статье «Голод или не голод?».

Конечно же, в эти дни Толстой не забывал писать жене — и значительно чаще, нежели писала она, чаще, чем в 1891-93 гг. Это было связано, конечно же, с неучастием в этот раз супруги в благом предприятии мужа — а коренная причина, конечно же, была в её изменившихся под воздействием старения и климакса характере, поведении, взглядах на жизнь и приоритетах в ней.

* * * * *

Первое из писем данного Эпизода — от Софьи Андреевны Толстой, 28 апреля, из Ясной Поляны:

«Милый Лёвочка, давно мне не было так жалко и грустно расставаться с тобой, как этот раз, помимо того беспокойства оставить тебя, которое меня не оставляет всё время.

Но в Ясной так упоительно хорошо, такая красота, такое величественно-спокойное, хотя и медленное пробуждение настоящей весны, что я всё время в восторге и умилении.

Отчего это в Ясной всё лучше, чем где-либо? Трава уже зелёная, зеленя хорошие, на лугу пропасть тёмных фиалок, листики уже есть. В Гринёвке я нигде травы не видала, и так там уныла природа. В Гринёвке вся прелесть и радость — это дети маленькие, а дети большие: сыновья и невестки тут и там очень приветливы и милы со мной.

Вчера бегала всюду сначала с Дорой и Лёвой, потом одна. Обегала сад, Чепыж, посадки, рвала медунички с восторгом; сегодня кое-что убрала в доме, где не раз приходила в досадливое настроение. Гостившие мальчики оставили невылитыми большое количество ночной посуды, грязь, бумага, коробки, а главное, Миша, ища свои сапоги, сломал почему-то в моей спальне замок от двери. Это такая наглость, от которой я чуть не заплакала. Пришлось вывинчивать, чинить и т. д. Дно твоего не вылитого, новенького деревянного ведра покоробило, и оно теперь никуда не годно; в нём был большой кусок льда, который начал таять! — Но это всё маленькие досады от людей, а от Бога — природа, тепло, весна, — всё это прелестно. Ты можешь сюда переехать, когда хочешь, я сегодня выставила окно и убрала твою комнату, в которой будет совсем тепло и сухо дня через два, три.

Очень надеюсь, что ты мне написал в Москву. Ты всё время был уныл и точно чего-то не договаривал, а у меня всё время потому был какой-то камень на сердце. Если б я только могла, как я *хотела* бы тебя сделать веселей, счастливей, помочь тебе заниматься, быть весёлым, здоровым, спокойным. Видно я теперь уж не умею и не могу этого сделать, и это для меня большое страдание. Если б ты знал, как я всегда, всей душой *стараюсь*.

Из дому никаких нет известий, и я сомневаюсь, что и это письмо дойдёт. Я писала Андрюше на Бастыево, он письма не получил; мне писала Саша, и я не получила. Вчера Лёва послал тебе на Бастыево с кондуктором шпинат и яблоки. Сегодня вечером еду в Москву; в Тулу ехать не за чем. Дело <судебная тяжба о земле с соседом Бибиковым. – *Р. А.*> уже разобралось и теперь пошлют сюда члена суда вызвать свидетелей о владении землёй, и тем всё кончится.

Бегу сейчас опять гулять, сажать, ужасно не хочется уезжать отсюда. А с Лёвой и Дорой хорошо очень потому ещё, что они тоже любят сажать, украшать, чистить, и мы чудесно бы работали.

Как ваши дела со столовыми? Милый, пожалуйста, не уставай и береги себя. Целую тебя и всех Гринёвских. Напиши мне хорошее, *искреннее*, а не выдуманное письмо.

Твоя Соня Толстая» *(ПСТ. С. 695 - 696).*

Соня и получит на этот раз просимое: письма мужа, проникнутые вполне искренней заботой о тех, кому было в России в тот год по-настоящему бедственно и тяжело. Иное дело — порадует ли её *такая* искренность? Судя по небольшому числу ответов — порадовала *не очень*. Что можно было предвидеть уже по этому, 28 апреля, её письму — содержащему искренние сожаления о том, что возрастное уменьшение полового напряжения и чувственных влечений, менструаций и прочего животного отобрало у супругов то единение, которое так и не компенсировалось для Сони подлинно человеческим состоянием — христианской верой и единением в духе и Истине. И снова — никто из двоих и нисколько не виноват…

Будто услышав мысли Софьи Андреевны, желавшей, приехав в Москву, скорее получить там письмо от мужа, Толстой, не дожидавшись её известий, шлёт 29-го своё первое письмо, а уже следом, 30 апреля — ответ на полученное письмо жены. Приводим эти письма по порядку.

Письмо от 29 апреля:

«Посылаю Сашино <А.Л. Толстой. – *Р. А.*> письмецо. Шпинат и яблоки получили. Очень благодарны. Жаль, что ты не написала, как доехала. Ты очень была нервна, уезжая. Я здоров, только удивительно, или скорее не удивительно слаб для своих 70 лет. Делаем кое-какие распоряжения; сейчас 3 часа, хочу съездить в Никольское.

До свиданья. Пишу не совсем уверенно, что письмо дойдёт, Соня говорит, что посланный ненадёжен. Из Черни были нынче 3 письма и объявленье на посылку. Из Москвы только узнали по Сашиному письму. Целую тебя, Дору и Лёву.

Л. Т.

Писать ничего не пишу, кроме некоторых мыслей, которые мне показались интересными. Но я доволен и спокоен.

Илюша вчера ездил к Проташинскому, который протестует против столовых в его участке» *(84, 308)*.

Мы помним, что в 1891 году стараниями журналистов-доносчиков из «Московских ведомостей» был раздут, в связи с деятельностью Толстого на голоде, скандал с политической окраской. Многое забылось — но только не тому консервативному, патриотически-возбуждённому и слегка паранойяльному спецконтингенту, который и по сей день преизбыточествует в России. К таковым относился и Алексей Алексеевич Проташинский, помещик Мценского уезда и тамошний земский начальник: как и многие тогдашние контролёры земской деятельности из числа прежних крепостников, он был убеждённым противником любой общественной самоорганизации, неподконтрольной имперскому чиновничеству. Репутация Толстого в этой среде сразу стала играть с ним дурную игру: одними жалобами Проташинского дело в 1898-м не ограничится… К этому времени совершились репрессии и над печатным органом, согласившимся помочь Толстому. По распоряжению министра внутренних дел 21 апреля 1898 г. издание газеты «Русские ведомости» было принудительно остановлено на два месяца — «за сбор пожертвований в пользу духоборов и за уклонение от исполнения распоряжения московского генерал-губернатора», которое состояло в том, что пожертвования через редакцию в пользу духоборов подлежали передаче администрации, между тем как редакция разумно и смело отослала эти деньги лично Л. Н. Толстому.

В тот же день 29 апреля, доехав до Москвы, не застав от мужа желанного письма и не ожидая его, Софья Андреевна отправляет в Гринёвку своё уже второе в данном Фрагменте послание:

«Приехала в Москву, милый Лёвочка, и опять захотелось написать тебе. Сегодня висит что-то коричневое на стуле, мне кажется, что твоя фуфайка; несут что-то разогретое в твоей кастрюле, и мне кажется, что тебе овсянку принесли, и ты сейчас войдёшь. И мне очень тоскливо, что тебя нет. А принесли разогретое для дяди Серёжи, к ужину; он сегодня приехал с Машей своей на скором поезде по делам конверсии <изменение условий займа, с понижением платимого процента. – *Р. А.*> Дворянского банка, по которым и мне надо было быть здесь к 1-му маю и даже день раньше. Дядя Серёжа бодр, очень жалеет, что тебя не видит. Теперь 10 часов вечера; Миша учился весь день, а теперь играет в винт с дядей Серёжей, Колей Оболенским и Алексеем Маклаковым. А на другом столе играет Таня, Бутенёв, Бухман и Маруся. — Мне это не симпатично; после серьёзной жизни с детьми и вашей помощью народу в Гринёвке, после красивой, просторной, значительной деревенской жизни и работ в Ясной Поляне, — здесь так всё мелко, тесно, не важно и скучно.

Ездила по поручениям Сони, Ильи, Лёвы — весь день. Устала от всего, поясница лучше, но всякий раз как встану с места, так вскрикну от боли. Ехала я ночь и спала во 2-м классе, в купе с одной дамой — отлично. Села на Козловке.

Марье Александровне сегодня сделали операцию правого глаза в клинике и вполне благополучно. Она сегодня ночует в моей комнате со мной, потому что весь дом полон гостей.

Жду с нетерпением известий от тебя, и вообще из Гринёвки от всех. Здесь ещё ничего не узнала интересного. Был один из сотрудников «Русских Ведомостей», спрашивая твой адрес, чтоб послать, кажется, деньги. Коля его спрашивает: «деньги были посланы в редакцию?» — «Да, в редакцию *несчастных* «Русских Ведомостей».

Их запретили на два месяца с тем, чтоб потом сделать их подцензурными, на что они не согласятся, значит им конец. И все говорят, что это за духоборов, т. е. за эти деньги. Это жалко.

Прощай, милый друг, писать больше нечего, да и утомлена я. Дай Бог, чтоб ты был здоров и спокоен душой. Не утомляйся, пожалуйста, через силу, береги себя, ведь с прошлого голода 7 лет и 6 прошло, не те у тебя уж силы. Целую тебя.

Твоя Соня Толстая» *(ПСТ. С. 696 – 697).*

Следующее письмо Толстого и ответ жене на её письмо от 28 апреля, написано и послано было 30-го:

«Я написал тебе несколько слов в Ясную с карточкой от Саши, но вероятно тебя это уже не застало. Вчера получил твоё доброе письмо из Ясной. — Я чувствую себя хорошо, — не так слаб, как был при тебе, но и не так бодр, как бы желал и как бываю. Почти ничего не писал. Вчера ездил в Никольское, где окончательно устроил столовые, и к Вариньке. <Племянница Толстого, Варвара Валерьяновна Нагорнова, жившая в своём небольшом имении, в 9 км. от Гринёвки. – *Р. А.*> Она хлопочет, убирает дом. Её <дочь> Таня сидит в своей комнатке и читает. Мы просидели с Серёжей более часа, она так и не вышла. Муж её тут, но не был дома; поехал в село закупать керосин, гвозди. Насколько Варенька ясна, настолько темны её дети.

Илюша по случаю протеста Проташинского против столовых ездил 3-го дня во Мценск, в заседание красного креста, а вчера в Орёл к губернатору <А. Н. Трубникову>, от которого получено разрешение на столовые. Видел Стаховича, который хочет в субботу приехать сюда. Нынче он уехал с Андрюшей на ярмарку. Соня старательно занимается помощью, но не совсем основательно, так что, для добросовестности исполнения перед жертвователями их поручений, я рад, что приехал сюда.

Был 3-го дня в Лапашине <деревня в полутора км. от Гринёвки. – *Р. А.*>, где тоже надо открыть столовые. Нынче поеду через Бастыево <ж.-д. станция с почтой. – *Р. А.*>, где отдам это письмо, опять в сторону Спасского <-Лутовинова>, где устрою столовые. Муки всё не купили. Жду ответа из Воронежа.

Здесь мне во всех отношениях очень хорошо. Все мне приятны, и большие и дети. Илюша дома гораздо лучше, чем вне его.

Из Москвы ничего не знаю. Кажется, больше недели. И так покойно. Только про детей, в особенности про дочерей, хотя бы с их зубами, хочется знать. Теперь ты будешь писать. Нынче я утро писал письма, очищал старые, боясь, что явятся новые требования ответов.

Ну, вот всё существенное, кажется, написал. Просьбы мои к тебе следующие:

1) Книжка длинная на столе адресов, пожалуйста пришли поскорее. 2) Книжка должна быть, «25 лет на Кавказе», Зисермана, часть 2-я. <Книга историка Кавказа Арнольда Львовича Зисермана, нужная Толстому в связи с работой над повестью «Хаджи-Мурат». – *Р.*

А.> Она должна быть в книжном шкапу. 3) Ивану Ивановичу Горбунову скажи, что если желающая приехать барышня может жить на свой счёт, то пусть приезжает. Дела будет много, а Андрюшу заставлять не хочется. Он не откажет, но без охоты. 4) Миша обещал мне сходить в фотографию на Тверской, подле Филиппова, и спросить у ретушёра Краснова мои книги: «Царство Божие», и привезти с Сашей в Ясную. Ну вот сколько просьб.

Целую тебя. Надеюсь, что тебя не суетят и ты не суетишься, и спишь хорошо, и рано ложишься. Не засиживайся по ночам. Это ужасно вредно именно тебе.

Письмо моё не такое, какого ты желала, но не могу иначе; по почерку вижу, что я в слабом духе» *(84, 309 - 310)*.

С губернатором орловским Л. Н. Толстому повезло. Занимавший этот пост с 1894 года Александр Николаевич Трубников (1853 – 1922), из рода военных и ветеран русско-турецкой войны, остался в благодарной памяти орловчан как благоустроитель, благотворитель и просветитель края. Впрочем, и такой толковый человек — был всё же не без имперских замашек и суеверий и, как и тульский губернатор, поначалу, как вспоминает С. А. Толстая, «недоброжелательно посмотрел на участие *Толстых* в деле голода. Тогда сын Илья поехал сам с объяснениями к орловскому губернатору, и ему удалось выхлопотать позволение на открытие столовых. По-видимому, начальство заробело и не решилось препятствовать, боясь народа и высших сфер, более разумных и понимающих, чем господин Проташинский» *(МЖ – 2. С. 512)*.

В Дневнике Л. Н. Толстого этих дней мы находим откровения, подтверждающие основательность для недовольств жены его отъездом и оставанием без неё в имении сына. Например, под 29 апреля читаем следующее:

«Стал соображать о столовых, о покупке муки, о деньгах, и так нечисто, грустно стало на душе. Область денежная, т. е. всякого рода употребление денег, есть грех. Я взял деньги и взялся употреблять их только для того, чтобы иметь повод уехать из Москвы. И поступил *дурно*» *(53, 193)*.

Соничка же искренне, по-доброму радовалась своей новой возможности делать благое и общественное, значимое для многих дело. 1 мая она записывает в дневнике поступившие к ней суммы — с почтой и с посетителями. Светские гости и разговоры ей теперь «томительны, шумны, ничтожны», и на ум приходит постоянно «серьёзная жизнь в Гринёвке». Памятуя, как часто писал ей муж, когда она была “в деле” помощи крестьянам в 1891-93 гг., она ждёт таких же частых

писем и теперь, и уже наготове обида и слёзы, что письма от Льва Николаевича к 1 мая всё нет: «Всё моё горячее к нему отношение начинает остывать; я ему два письма написала, полные такой искренней любви к нему и желания духовного сближения; а он мне ни слова!» *(ДСАТ – 1. С. 380)*.

Она, конечно, не была права. Толстой выехал в нищую и голодавшую местность — что могло привлечь к нему полицейское внимание, усилившееся, как мы видели, в 1897 году, со времени высылки за границу В. Г. Черткова. Письма могли быть задержаны и прочитаны до передачи адресату. Толстой же в тот день, 1 мая, пишет жене уже третье в этой поездке письмо, которое мы и приводим теперь в его очерёдности:

«Милая Соня,

Сейчас получил посылку с письмами из Москвы и объявления, которые отсылаю. Вчера я писал тебе и возил сам письмо в Бастыево по дороге из Губаревки, куда я ездил. Очень было мне хорошо, потому что делаемое дело было нужное, и оно спорилось. Голода нет, но — нужда, усиленная неурожаем, очень тяжёлая, и видеть её полезно нам. Весна совсем открылась — зеленеет всё, и соловьи, и жуки. Нынче явились из Полтавы Линденберг и ещё бывший учитель Губонин — помогать. Я отказал им. Столовые две уже действуют.

Письмо это свезёт Линденберг, который уезжает завтра утром.

[КОММЕНТАРИЙ.

Учитель Губонин — лицо практически не известное, упомянут Толстым в Переписке всего дважды. А вот толстовец-общинник Герман Романович Линденберг (1862 – 1933), по профессии художник-резчик и гравёр, был старым знакомым Льва Николаевича — ещё по бегичевской “голодной” эпопее. К сожалению, самым ярким воспоминанием о нём у Толстого было негативное: о конфликте с другим толстовцем и бегичевским волонтёром, обожаемым Толстым писателем С. Т. Семёновым — то ли из-за дров, предназначавшихся для крестьян, то ли из-за денег на них. О ссоре их Толстой писал тогда жене в письмах от 9 и 14 февраля 1893 г. *(см.: 84, 182, 185)*. Толстой тогда успел приехать в Бегичевку и предотвратил отъезд необходимого ему Семёнова. Вероятно, по воспоминаниям об этом конфликте он и отказал Линденбергу в участии в новом предприятии помощи голодным. Учитель Губонин, вероятно, просто попал “под раздачу” за компанию с приятелем: ниже в Переписке Толстой жалеет, что прогнал и его.

Позднее Г. Р. Линденберг помогал в переселении в Канаду духоборов и, вероятно, сам долго жил в благословенных краях. В советское время жил в Харькове. – *Р. А.*]

Мука куплена, по 84 к.

Занятия писательские не идут, и я не тужу, потому что на досуге хорошо обдумываю и свои писанья и, главное, свою жизнь. Здоровье совершенно хорошо. Только бы желал, чтобы ты была не слишком засуечена и сама не торопилась и не тревожилась. Жду известий.

<Борис Николаевич> Леонтьев <тоже толстовец-общинник и бывший соратник Толстого по Бегичевке. – *Р. А.*> тоже предлагает свою помощь. Я в том письме писал, что приму Горбуновскую барышню; но теперь решил, что не нужно. Помогает покамест Вера Романовна <Миллер>, будет помогать Андрюша (я его постараюсь привлечь), а и не будет, то дела так мало, что Илюша, Соня и я всё управим. Целую тебя, Мишу, Таню, Сашу.

Л. Т.» *(84, 310 – 311).*

К 3 мая почта России таки просралась… либо просралась та структура, которая задержала для проверки письма Толстого. Так или иначе, но Соничка получила, по записям её дневника, одно за другим, два письма от супруга 3-го, и ещё два — 5 мая. Но настроение уже было испорчено ожиданием и накручиванием себе нерв. В дневнике её на 3 мая, следом за рвущим за душу суждением о «трагизме материнства», есть такое упоминание: «Получаю часто письма от Л. Н. Он, по крайней мере, теперь хоть несколько сот голодных прокормит. А то грех ему непростительный, что детей своих забросил» *(ДСАТ – 1. С. 380).*

Но полученные письма всё-таки успокоили Соню, и в ответе её 3 мая — только обычная её грусть весеннего одиночества, но уже не раздражение на мужа, столь недавно пережитое ей:

«Сейчас получила второе письмо от тебя, милый Лёвочка, и радуюсь, что у вас всё хорошо и что ты здоров. Едет домой Маша, с которой посылаю кое-что съедобное и книгу Зиссермана.

Таня нашла.

[После слова «Зиссермана» зачёркнуто: «но к сожалению — только. Ни книги адресов, ни внутренностей книжек я не нашла нигде. По одной перебрала все книги в шкапу, перерыла все столы — и не

нашла. Верно у тебя в коробе, который с книгами у двери». Слова: «Таня нашла» написаны между зачёркнутых строк.]

У нас несносная суета, которую устроивает Таня. Вчера у Миши экзамены, он прячется с книгами всюду, а у нас Свербеевы девочки, пропасть для них мальчишек, пенье, шум. Сегодня она хотела ехать к Олсуфьевым, да её тошнило всю ночь от сморчков. Я и вам посылаю немного, берегись их.

Спина у меня всё болит, но меньше. Делами всё занималась это время. Весна меня приводит в грустное состояние, что я всё *пропущу*. О тебе как раз думала, что нечего тебе огорчаться, что не пишется; ты и раньше не писал по летам, а теперь тебе столько дела! Береги себя, главное. Какое мне утешение, что ты со мной так хорош в письмах, мне не нужно (хотя бы и то хорошо) нежностей, а нужна искренность, натуральность. Теперь я тебя хорошо чувствую и мне это необходимо. Надеюсь, что встретимся не по-прошлогоднему. Как всё это наболело!

Таня сейчас нашла твои книжечки и мне стало стыдно. Я понять не могу, где они лежали. Искала я вчера вечером, стала слепа, и очень спина и рука болели. Всё-таки напиши мне, когда ты думаешь быть в Ясной? У Саши новая гувернантка, и я её с ней хочу перевезти 14-го или 15-го мая. Время очень идёт скоро, Миша очень пока усерден и очень нуждается в твёрдой и ласковой поддержке. Тут пикники беспрестанно, и его зовут, а он ни разу не был.

Ну что ещё сказать, Маша расскажет. Духом я совсем не суетлива, и только иногда грустно, по-весеннему, с сожалениями о непоправимом и желанием чего-то неопределённо счастливого. Целую тебя, детей, внуков. Уехал ли Серёжа?

Твоя С. Толстая.

“Ц<арствие> Б<ожие>” Миша забыл, я выручу» *(ПСТ. С. 698)*.

До 9 мая в письмах С. А. Толстой наступает довольно ощутимый перерыв, поэтому ниже мы приводим в хронологическом порядке только послания к жене Льва Николаевича, начиная с этого встречного, от 3 мая, его письма:

«Вчера получил другое твоё письмо, милый друг. <От 29 апреля. – *Р. А.*> Спасибо, что пишешь, продолжай так же. Я тоже пишу третье письмо, если считать маленькое, посланное в Ясную. <Ошибка Толстого: с 29 апреля это его четвёртое письмо. – *Р. А.*> У нас всё очень хорошо. Дай Бог, чтобы у вас всё было так же, в особенности твоё

здоровье и душевное состояние так же хорошо, как моё, которое прекрасно. Вот 2-й или 3-й день, что я перестал чувствовать и физическую и умственную слабость; и в голове укладывается суета многих впечатлений, и распреде-ляются, как должно, по степени важности, мысли и чувства.

Третьего дня я ходил с приезжим Линденбергом и другим в Каменку <деревня Мценского уезда, в 12 км. от Мценска. – *Р. А.*> и к сожалению нашёл большую нищету. Говорят, что причина её — пьянство; но детям, женщинам, старикам от этого не легче. Назад шли полями, заблудились и много исходили, славно устали. С этими гостями дружелюбно простился. Вчера утром читал, писал письма, а после обеда ездил в Сидорово и Никольское. Всё было хорошо. У Серёжи застал на террасе кучу гостей. Два брата Цуриковы, <Александр Александрович Цуриков и старший брат его — Сергей Александрович Цуриков, бывший морской офицер, помещик, мировой судья. – *Р. А.*> три сына Нарышкина, <Юрий, Борис и Пётр — сыновья Александра Алексеевича Нарышкина, женатого на сестре Цурикова. – *Р. А.*> учитель. Вернулся домой — тут <помещица> Ильинская, сестра Свечина, и Варинька <Нагорнова>, сам четверт. Вечером приехал твой фаворит <М. А.> Стахович. Он хорош как и всякий человек, когда перенесёшься в него и не требуешь от него того, чего он не может дать. Он здесь, и я с ним посылаю это письмо и обратно по почте статью Черткова о духоборах, обращённую к правительственным лицам, чрезвычайно умную, новую и, главное, по кроткому, рассудительному тону очень хорошую.

Сейчас открыто 8 столовых, человек около 400, и ещё две приготовлены. Больше открывать нельзя по средствам. Соня сейчас выдаёт приехавшим забирать. Андрюша помогает и очень мил.

Какая ужасная обида, что брат Серёжа приехал без меня. Я всю зиму только мечтал его видеть, и так неудачно. Непременно съезжу к нему, или отдельно, или по дороге. Также жаль очень, что не видал Марьи Александровны, но рад, что операция её удалась.

Нынче вероятно приедут из Никольска гости с Серёжей — 8, да здесь 2, так что у них суета. Соня и Илюша очень заботятся обо мне. Ну вот, кажется, всё описал. Опиши ты получше. Что ты? что Миша — экзамены? что Таня? Маша, мне думается, приедет сюда. —

Сплю я прекрасно и сны вижу хорошие. Прощай, целую тебя, и детей.

Л. Т.
3 мая.

Погода чудная, только сухо» *(84, 311 – 312).*

И ещё, открытое его письмо 4 мая:

«Вчера писал тебе с Стаховичем, но сейчас едет Андрюша во Мценск за капустой, пишу ещё словечко, чтоб сказать, что гости уехали, я работаю, здоров и тебя люблю» *(84, 313).*

Гости 3-го мая действительно очень засуетили Толстого, так что письмами его работы 3 мая и ограничились. Это и последующее ему, открытое, письмо были получены Софьей Андреевной к 5 мая, и об известиях, с ними полученных, в её дневнике на тот день находим следующую запись:

«Получила сегодня два письма от Л. Н. Он бодр и здоров, слава богу. Пишет, что открыл восемь столовых и что денег больше нет. Всегда мне казалось, что если одного, двух прокормить — и то хорошо, а не только несколько сот человек. А сегодня показалось так ничтожно девять столовых перед миллионами бедняков. Пожертвований мы не вызывали, Л. Н. уже не по силам много работать; а если б вызвать — денег нам дали бы много» *(ДСАТ – 1. С. 381).*

И о здоровье, силах, определяемых возрастом — тоже правда… Уезжая 12 апреля из Гринёвки, Софья Андреевна была расстроена не только разлукой с любимым, но и его настроению, не радостному и не спокойному. Собираясь с силами для хлопотного предстоящего дела, он как будто прислушивался к себе: достанет ли их, этих сил? В Дневнике его под 27 апреля есть запись: «Мне хорошо. Немного нездоров. Соня нынче утром уехала — грустная и расстроенная. Очень ей тяжело. И очень её жалко и не могу ещё помочь» *(53, 191).*

От слабости и сомнений в перспективах начатого дела панацеей оказалась — энергическая деятельность, и именно поэтому Толстой воспринимал перерывы в ней, как нежелательные. Его следующее, 5 мая, открытое письмо к жене, небольшое и явно писанное между делами — хорошо пердаёт эту торопливую энергичность Толстого к работе Богу:

«Еду на Бастыево свезти письмо англичанину, узнать, нет ли от тебя писем, и заехать в деревню, где открыли столовую, и вот пишу тебе два слова, чтобы сказать, что мы все благополучны вполне. Жара стоит летняя, всё распустилось вдруг: дуб, черёмуха. Я утром набрал фиалок (отцветают). Дождя нет, грозы ходят кругом. —

Л. Т.

<*P. S.*> Где мои все письма? Я ничего не получаю» *(84, 313)*.

Софья Андреевна, не работавшая в полиции и не занимавшаяся перлюстрацией чужих писем, вряд ли могла бы ответить мужу на этот вопрос.

Письмо Толстого от 6 мая писано было вечером, после всех дневных трудов, на остатках сил — но, несмотря на это, довольно длинно и обстоятельно. Но настроение его, конечно, уже совсем иное, именно вечернее, расслабленное, с созерцанием впечатлений дня и даже немного с философией:

«Нынче, 6-го, не писал тебе, милая Соня. Теперь вечер. 10 часов. Только что приехали <дочь> Маша с Колей <Оболенским>. Я им очень рад. Андрюша едет завтра в Москву, и вот я с ним пишу это. Нынче был сильный дождь с градом. Это важное событие, потому что жара была очень тяжёлая. Я нынче только после дождя съездил в деревню Каменку, где не дружное общество и столовая не ладится, так что я совсем отказал и перенесу в другую деревню. Зато вчера, после того, как я тебе написал письмо на станции, я поехал дальше, в дальние бедные две деревни, Губаревки, и там всё идёт прекрасно. Назад ехал через лес тургеневского Спасского вечерней зарёй: свежая зелень в лесу и под ногами, звёзды в небе, запахи цветущей ракиты, вянущего берёзового листа, звуки соловья, гул жуков, кукушка и уединение, и приятное под тобой, бодрое движение лошади, и физическое, и душевное здоровье. И я думал, как думаю беспрестанно, о смерти. И так мне ясно было, что так же хорошо, хотя и по-другому будет на той стороне смерти, и понятно было, почему евреи рай изображали садом. Самая чистая радость, радость природы. Мне ясно было, что там будет так же хорошо, — нет, лучше. Я постарался вызвать в себе сомнение в той жизни, как бывало прежде, — и не мог, как прежде, но мог вызвать в себе уверенность.

Если тебе сколько-нибудь неприятно моё желание дать денег на столовые, то посмотри на это желание comme non avenu [*фр.* как небывшее] и забудь.

Я управлюсь тем, что есть.

Хорошо, что Миша выдержал латынь. Очень бы за него обидно было, коли бы он опять остался.

Я совершенно здоров. Напрасно ты присылаешь эти горы провизии.

Много заняли время полученные письма, из которых многие интересны. Больше читаю, чем пишу, и не жалею, потому что совсем неожиданно приходят новые мысли, которые, думается, мне самому полезны. Ну прощай, целую тебя, Мишу, Сашу. Таня у Олсуфьевых, и прекрасно сделала.

Л. Т.

6 мая 1898.

Когда ты уезжаешь из Москвы? Я теперь жалею, что не оставил полтавского учителя. А то на Соню и Илюшу оставить всё — не прочно. Но во всяком случае приеду, когда ты приедешь. Потом можно будет съездить проведать» *(84, 314 – 315)*.

Письмо от Софьи Андреевны, которое можно бы было считать ответом на это письмо Льва Николаевича, датируется только 9-ым мая. Но остаётся неясным, получила ли она следовавшие за 30-м апреля письма мужа. Положение её усугублялось тем, что, не подозревая возможности полицейской задержки и перлюстрации писем, она связывала их от мужа неприбытие с собственным его решением не тратить, отрывая от “голодных” дел, времени на переписку, а это решение, в свою очередь, грустным образом связывала со своей “брошенностью” мужем — и в тех мучительных условиях, в которые ставила себе своим образом жизни, да с такими, осаждавшими её, мыслями и настроениями она, что немудрено, чувствовала себя всё хуже и хуже. В книге «Моя жизнь» Софья Андреевна вспоминает:

«Разлуки с Львом Николаевичем и дочерями, весна в городе, куда пришлось вернуться, усиленная работа над корректурами, — всё это мне страшно расстроило нервы. Невралгия спины и лица меня мучила по ночам. Днём всё меня расстраивало и я беспрестанно плакала. После смерти Ванички у меня делалась мучительная галлюцинация запаха. Мне казалось, что это запах трупа. Так случилось и в ту весну. Это меня всегда ужасало…» *(МЖ – 2. С. 515)*.

На эти состояния жалуется Соня и в письме к мужу от 9 мая:

«Мне кажется, что я так давно не писала тебе, милый Лёвочка; эти дни я совсем разладилась, бессонница мучила и боль в левой стороне шеи, спины, лопатки и руки. Сегодня же до 5½ часов, несмотря на все мои старания, даже глаз не замкнула, а когда заснула, разбудили судороги внутренние (у меня сколько раз это бывало). Я вскочила,

приняла все меры, какие могла, а когда опять заснула, разбудил этот нервный *запах*. Он так наполнил всю меня, и комнату, и весь воздух, что я схватила апельсин, приложила к носу и убежала из своей спальни. Это было так ужасно, что я плакала. Чем я лучше тех сумасшедших, которых видела 3-го дня на Канатчиковой даче, где навестила больного священника <из Никольского-Вяземского>? Я о нём писала подробно Александру Афанасьевичу. <А. А. Успенский, управляющий в имении С. Л. Толстого Никольском-Вяземском. – *Р. А.*> Он смирен, доволен судьбою, но худ, бледен, и какая-то улыбочка на устах, чего-то недосказанного. Местность довольно скучная, сливающаяся с Москвою, ничего не похоже на деревню.

Мы с Серёжей сегодня ходили всякий в свою сторону искать помощницу голодающим, но всё неудачно. Он не застал Матильду Павловну, а у Горбуновых *была* барышня, да уехала на голод, а о другой ничего неизвестно без Ивана Ивановича <Горбунова-Посадова>, а он приедет только во вторник.

Ещё ты просил взять книги у ретушёра Краснова. Я сама там была, и мне сказали, что этот Краснов давно уже уехал в Вятку совсем, а у кого он там — неизвестно. Всё это досадно и научит тебя не давать первому встречному книги, которыми ты дорожишь. Мне всё-таки грустно, что тебе это будет неприятно.

Я очень занята всё это время самыми разнородными делами; начались корректуры, которые читают мне Андрюша, Маруся и Саша. Потом нашла, после долгих усилий, няню для Лёвы; теперь ищу немку для Сони и продаю лошадь, и покупки, и книжные дела — всё скопилось к концу, как всегда. Сейчас получила ещё поручения от Доры и Лёвы.

Таня пишет, что старики Олсуфьевы так ей рады и так умоляют её остаться ещё, что она согласилась прожить у них до понедельника, 11-го. Пусть её! Ходит за сморчками и отдыхает от города, и обдумывает себя.

Миша выдержал устный греческий экзамен и очень усердно готовится к математике. Приходит какой-то студент утром, от 10 – 1 дня, и вечером от 8 – 10. Андрюша благоразумен, но легкомыслен в покупках нессесеров, бумажных воротничков и всякого вздору, нужных, будто бы, для дороги. Сегодня они с Мишей таки едут слушать цыган в каком-то театре «Фантазия», но я их провожала, Миша меня вдруг поцеловал в щёку и говорит: “не беспокойся, мама́, я вернусь рано и ничего предпринимать не будем”.

Андрюша едет с братом Сашей 16-го утром, сначала по Волге, потом Астрахань, Каспийское море, Баку, Владикавказ, Тифлис и Пятигорск.

Саша переезжает с гувернанткой, которая очень хороша, 15-го скорым в Ясную. Ей не особенно хочется. Я её свезу, пробуду 4, 5 дней и вернусь к Мише. У него 22-го очень трудный экзамен, и я хочу 21-го уже быть с ним. Может быть в последний раз я ему нужна. — Тут Соня Мамонова 5 дней, сегодня уезжает.

Стало холодно, чувствуешь ли ты перемену и здоров ли? Я избаловалась твоими частыми письмами и так и жду их. Спасибо. Целую всех. Ещё хочется писать, да негде. Напишу скоро ещё. Много писем послала на Чернь. Бедный ты, всё это отвечать. Ужасно ты занят, и я мучаюсь, что не помогаю тебе. Ведь и с моими детьми *МНЕ* никто не помогает! Увижу ли я тебя в Ясной? Неужели нет? А трудно опять ехать в Гринёвку. Я очень нервна и устаю легко. Ну, прощай.

С. Т.» *(ПСТ. С. 701 - 702).*

В свою очередь, письмо Л. Н. Толстого от следующего дня, 10 мая, очевидно не является ответом на только что приведённое нами письмо С. А. Толстой: супруг не успел ещё получить его, а получив, быть может, в тот же день — счёл ненужным писать ещё раз. Приводим полный текст письма Л. Н. Толстого к жене от 10-го мая.

«Это, кажется, самый длинный перерыв, что я не писал тебе, милая Соня, — третий день.

Нового у нас ничего. Каждый день всё прибавляем по столовой, за исключением вчерашнего дня, Николина дня. Всех столовых теперь 10, около 600 человек. Можно ещё прибавить человек 200, что я и сделаю нынче и завтра, если Бог даст, в двух деревнях: Михайлов брод и Плисково, и на том покончим. Вера Романовна <Цурикова> передаст тебе это письмо и расскажет про нас. Я совершенно здоров. Немного работаю. <Толстой в это время начал работать над «Воззванием», которое послужило началом для статей по рабочему вопросу: «Неужели это так надо?» и «Где выход?». – *Р. А.*> Нездоровье моё неисцелимое и неприятное — 70 лет дают себя чувствовать, и я привыкаю к нему. Нынче видел тебя во сне, а вчера целую ночь видел во сне Ваничку, и он такой маленький и миленький, и я ласкаю его, и радуюсь на него.

Нынче утром <внук> Миша, согнув спинку, озабоченно и махая согнутыми руками, бежит, спешит мне навстречу в дверь. Дверь стукнула: извини, милый дедушка, что я зашумел, и пробежал в спальню, не затворив дверь. И из спальни слышен заспанный грубый голос Ильи (не то, что я не люблю его, Илью, но контраст поразителен): *Дверь затворяй.* Через минуту выбегает назад Миша в слезах. Он

искал шляпу, чтоб бежать за Верой Романовной и Анночкой, которые только что поехали. Шляпа в передней, но он не может достать её, и спешит страшно, и плачет тихо. Я достал ему шляпу, он надел резинку и пустился во весь дух за ворота и по дороге. Я вышел посмотреть: — он догонял Веру Романовну и Анночку, догнал и поехал. Потом они остановились, и я вижу, что-то беленькое идёт по дороге; потом это беленькое пошло влево. Я решил, что это не он, а он уехал с ними. Оказывается, это он пошёл к стаду свиней и вернулся часа через $1^1/_2$ с рассказами, как хряк чужой победил нашего хряка. Как на другом конце <жизни> естественно чувствуешь свою близость с теми, кто на начале её. И странно и жалко, что неизбежно они должны нести все те грехи, которые набрали предшественники. Утешаешься тем, что меньше. И цель жизни, или, скорее, единственно разумное употребление её в том, чтобы помочь им меньше нести набранных предшественниками привычек лжи и зла.

Сейчас еду в Михайлов брод. Если ты не пришлёшь денег, то я обойдусь, если и пришлёшь, то я, может быть, возвращу их.

Прощай, милый друг.

Целую тебя и детей. Нынче верно получу от тебя известие. Что Миша?

Л. Т.
10 мая» *(84, 315 - 316)*.

В Дневнике Льва Николаевича на 11 мая есть такая запись об ощущении возраста: «С помощью моих гимнастических опытов убедился в первый раз, что я стар и слаб и физические упражнения надо совсем оставить. Это приятно даже» *(53, 195)*.

Следующим днём, 11 мая, датирован такой ответ С. А. Толстой на это письмо:

«Милый Лёвочка, привезла мне Вера Романовна твоё письмо, которое меня тронуло и моим милым внуком Мишей, и твоей добротой ко мне, и тем, что я не могу жить теперь этими простыми, настоящими радостями, которые делали меня всегда лучше, спокойнее, добрее и достойнее, — а именно общением с детьми и с тобой. Последнее время я всё хуже и хуже. Сегодня я весь день поминутно плачу. Надеюсь, что это пройдёт; это от бессонницы и боли в спине и виске, которые сегодня разошлись. Надо опять холодную ванну взять.

Приехала Таня от Олсуфьевых и сейчас же ко мне отнеслась не дружелюбно, и теперь слегла от живота. Как мы все слабы, что от физических причин делаемся строги и не добры к самым близким людям.

Миша сегодня выдержал математику и очень счастлив и он, и я, и няня. Теперь только русский страшен; их будет два. Андрюша эти дни был с нами; вчера ездили в «Freischütz» с ним, Серёжей и Сашей. Ей хотелось, да и очень уж опера хороша; а мне больше хотелось за город, такой был чудесный вечер. А сегодня Андрюша с утра пропал, и теперь вечер, а его нет. Готовят чай в саду.

Так как ты упорно умалчиваешь о своём приезде, то я уж больше не буду тебя спрашивать. Если ты не приедешь жить в Ясную к 15-му, с Сашей, то я съезжу с тобой повидаться на денёк в Гринёвку, вернусь к Лёве и Доре, пробуду с ними три дня, и во всяком случае вернусь к Мише 21-го. Первые дни моего отсутствия в Москве — тут будет Таня, т. е. до 17-го, потом она приедет к Саше в Ясную.

Совсем я приеду в Ясную 29-го или 30-го. У Миши 29-го последний экзамен. Может быть и ты к тому времени совсем переедешь.

Вчера была у Дунаева, и там все накинулись меня убеждать взять на помощь <толстовца> Ф. А. Страхова. Он с женой что-то решил, что лучше пожить врознь (чего я никогда не умела понять и решать всю жизнь) и лучше при деле. Я очень советую его взять, он сгоряча отлично будет работать и тебя заменить может.

Вера Романовна мало о тебе и о вас рассказывала, я не поняла и не почувствовала твоего настроения. Кажется оно хорошее и спокойное. Я часто думаю, что мне гораздо приятнее, что ты с внуками и детьми, чем с чужими. Как хорошо, трогательно ты мне описал Мишу! Я так его всего почувствовала, и всю ту сложную и часто трагически-значительную внутреннюю жизнь, которую переживает и Миша, переживал сильно Ваничка и переживают все хорошие дети. И я рада за Мишу, что он тебя познал, полюбил, и, верно, уж не забудет этого времени, хоть не по событиям, а по влиянию, которое ты внёс в их жизнь. Анночка менее чутка, а те малы. — Ты пишешь, чтоб я дала денег, а не пишешь сколько? Я уж дала 300 р., а теперь за проданную медаль посылаем 98 р. 99 коп. и ещё 4 р. от кого-то, и письма, и повестки. Денег и мне хочется дать, совестно не дать, а очень трудно теперь именно: уплаты разные, переезд, а я всё подобрала, что могла, и отдала за дом и издание.

Целую всех. Очень хочется тебя видеть, и *успокоение* мне только от тебя и есть на свете. И вот я опять плачу, совсем расшаталась.

Ну, прощай.

С. Т.» *(ПСТ. С. 703 – 704).*

Упомянутый в письме «Freischütz» — это, конечно же, опера Вебера «Волшебный стрелок». С. А. Толстая была на последнем повторном исполнении оперы в пользу пострадавших от неурожая. Пели учащиеся консерватории и играл оркестр из учеников под управлением Сафонова. Это был экзаменационный спектакль, состоявшийся в Малом театре.

Фраза «успокоение только от тебя», как и высказывавшаяся Соней в дневнике противоположная установка: искать успокоения в новых, отделённых от рутины впечатлениях жизни — хорошая иллюстрация эмоциональной неустойчивости Софьи Андреевны и даже (как призналась она сама в письме выше, описывая свои галлюцинации и пр.) душевного нездоровья.

Уловив настроение жены, Толстой выражает о нём своё сожаление в ответе 12 мая:

«Получил сейчас твоё письмо, через Серёжу. Как жалко мне тебя, что ты всё не здорова. Поскорее бы тебе деревня, гулянье, купанье и спокойствие. — Я писал тебе, что приеду в Ясную, когда ты совсем переедешь. Это почти необходимо, так как в те две недели, которые остались до 28, 29, дай Бог здесь всё наладить. Со вчерашнего дня дело усложнилось тем, что в Чернском уезде выдана земская ссуда мукою, большей частью на те самые семьи, которые ходят в наши столовые. Надо уменьшить в этих деревнях и увеличить помощь в других; особенно в Мценском уезде, где нет выдачи, и из которого ходят новые <т. е. не пользовавшиеся прежде столовыми. – *Р. А.*> деревни. Так нынче были из двух, в которых вероятно очень нужна помощь.

Вчера и нынче никуда не ездил, так как немного расстроился желудок — без всякой боли, — но я стараюсь быть осторожным, и нынче к вечеру совсем хорошо. Вчера довольно много работал <над «Воззванием»>, а, главное, увидал ясно, что нужно в начатых мною работах. Нет той неопределённости, которая бывает от неясности мысли, а ясно видишь, что должно быть, куда надо идти, и задерживает в работе не нерешительность и незнание как, а только время; есть спокойная уверенность, что если будет время, то сделаешь.

Приятно, что Миша выдерживает, очень рад этому за него и за себя. Соня мне очень хорошо переписывает, впрочем, два дня только, но очень хорошо и много.

Страхова я колеблюсь пригласить, хотя очень люблю его и с ним легко, и он хороший работник. Но дела так немного, что Соня почти управится. Помощник же для неё лучше женского пола, когда я уеду. Серёжа говорил про Муромцеву. И прекрасно. Соня хочет съездить в Паники, свезти Анночку и Андрюшу, впрочем она сама напишет. Если ты приедешь сюда во время её отсутствия, то будет прекрасно. Посылаю объявления. Если пожертвуешь сколько-нибудь денег, будет хорошо, и не пожертвуешь, ничего. Я рад узнать, что тебе и самой этого хочется.

То, что у тебя нынешний год много расходов, я знаю. Прощай, милая Соня. Целую тебя, Мишу, Сашу и Таню; но её верно нет с тобой.

Л. Т. 12 мая» *(84, 317 – 318)*.

В письме Лев Николаевич спутал фамилию помощницы С. Н. Толстой, которая должна была заступить на его место по отбытии из Гринёвки в Ясную Поляну. Ею была юная, прекрасная Елена Павловна Муравская, в ту пору студентка математического отделения. О ней С. Н. Толстая вспоминала в письме к А. И. Толстой от 13 февраля 1933 г.: Муравская «быстро освоилась с местностью и народом, аккуратно выдавала, отвешивала и записывала продукты; мы с ней просидели три дня перед отъездом Л. Н-ча днём и ночью, чтобы свести отчёт денежный» *(Цит. по: 84, 317 - 318)*.

И, наконец, письмо Л. Н. Толстого от 14-го, последнее перед небольшим перерывом, связанным с визитом 17 – 19 мая С. А. Толстой в Гринёвку:

«Ты, вероятно, уж в Ясной, милая Соня, и, судя по твоему письму <от 11 мая>, если всё будет хорошо, приедешь к нам, чему я очень радуюсь, хотя и беспокоюсь за то, что это утомит тебя. — Что Дора милая? <Д. Ф. Толстая, жена Л. Л. Толстого, готовилась к рождению ребёнка. – *Р. А.*> Как-то её здоровье и положение? Я об них, о ней и Лёве, давно не имею известий.

Иду сейчас пешком в Каменку и Бастыево. Боюсь, что в последнем письме, где я говорил о не совсем исправном желудке, я вызвал твоё готовое всегда поднять[ся] беспокойство. Я совсем здоров. Вчера ездил довольно далеко и открыл 4 столовые, в Мценск[ом] уезде. В Чернском выдает земство очень богато, так что естественно наше дело переносится в Мценс[кий] уезд, где и бедноты больше. Вчера я был в деревне, знаменитой Кукуевке. <Кукуевка в те времена была

памятна железнодорожной катастрофой 1882 г. – *Р. А.*> И нынче оттуда были мужики. Ужасная нищета! — Серёжа был у нас и всё рассказал, и всё у вас очень хорошо. Только твои бессонницы и запах <галлюцинации. – *Р. А.*> огорчают, мучают меня. Это тоже некоторого рода гипнотизация невольная; взята складка, и ты боишься этого состояния, представляешь себе его и потому легко впадаешь в него. Ты настолько энергична духом, что должна победить это. Сейчас пишу, и на столе букет ландышей, анемонов и сирени, и слишком сильный запах, но приятно.

Вчера и нынче ничего не писал, после того, как похвастался тебе. И не надо. Пока до свиданья. Целую Лёву и Дору. Дай Бог им хорошо пережить это важное время.

Л. Т. 14 мая.

Если можно будет, захвати мне белые фуражки.

От Тани получил хорошее письмо. Не пишу ей, надеясь скоро её увидеть» *(Там же. С. 318 - 319)*.

В «Моей жизни» Софья Андреевна вспоминает об этом послании супруга следующее:

«Лев Николаевич мне писал <о душевном расстройстве. – *Р. А.*>, что я настолько энергична, что должна победить в себе это чувство. И я старалась это сделать посредством разных занятий и развлечений. Писала я тогда очень усердно и с увлечением повесть; потом ездила с детьми и друзьями за город. […] В Кунцове гуляли, а вернувшись в хамовнический наш дом, упросили Сергея Ивановича нам поиграть. […] А в этот же день, 8-го мая, Лев Николаевич поехал в имение Раевских и там заболел своими обычными болями. <О них он пишет в письмах к жене 12 и 14 мая. – *Р. А.*> К счастью, это продолжалось очень недолго и мне не пришлось ехать к нему. […] Это новое беспокойство усилило моё нервное недомогание и мой страх за здоровье Льва Николаевича. Огорчало меня и то, что мы с ним работаем не вместе, а во всём врознь» *(МЖ – 2. С. 515)*.

Согласившись с завершением для неё домашней “карьеры” жены в патриархальной “семейной ячейке”, Соничка не могла примириться с ограничением её новых ролей при муже-старике — функциями “вспомогательного персонала”: няньки, лекаря, переписчицы… Это хорошо прослеживается по записям её дневника, относящимся к визиту в Гринёвку, и ряду последующих.

Она мечтала о муже-*друге*, о *равенстве* сотворческих и партнёрских прав в литературных и общественно-благотворительных его предприятиях. Но — могла ли она сама обеспечить такую именно систему отношений? Не слишком ли для этого принадлежала она сама своими мировосприятием, воспитанием — своему веку и своей проклятой стране?

О равенстве не могло быть речи. За внешним согласием супругов, выраженном в последних письмах, скрывалось у Софьи Андреевны всё то же раздражённое, на время только приглушённое недовольство отсутствием мужа постоянно при себе, неподконтрольностью его замыслов и поступков — рационализируемое серией стремительно год от года (с возрастанием детей) терявших даже видимость справедливости обвинений в “бросании” её и детей, неучастии в жизни семьи и детском воспитании. Именно эти обвинения маркируют для нас супругу Толстого как воспитанницу *патриархального* и лжехристианского, православного, поганого, дрянного и сволочного «русского мира» — с его вечным *чертковским* фарисейством, прикрывающим вожделеющее (денег ли, славы или чего-то иного) хищничество самого отвратительного на планете Земля животного: *человека без живой* (руководящей помыслами и поступками) *христианской веры*.

На деле из множества участников воспитания и социализации детей Толстого, судя по собственным, всех их, воспоминаниям об отце и даже по дневникам родителей, вряд ли кто-то, даже мать, оказал на них столь же огромное положительное влияние — именно тем незаурядным образом своей жизни и осмысления жизни окружающей, какие явил им отец на пути своего христианского исповедничества, во всех явленных поприщах: от художественных шедевров и манифестов всемирного значения до мельчайшей бытовой повседневности. Соничка была эгоистически не права, и эта её неправота разительно являет себя из сопоставления её сдержанных писем к мужу — с выпадами в его адрес и планами какой-то “независимой” от супруга жизни в дневнике 1897 – 1898 гг.

Раздражения чередовались с депрессивными состояниями, когда в дневнике появлялись умилённо-раскаянные строки. Так, например, о письме своём мужу от 9 мая она записывает:

«Написала письмо Льву Николаевичу и о нём болезненно думала. То наслаждение, которое я получаю от игры Сергея Ивановича, доставляет страдание моему мужу. <Это тоже неправда. – *Р. А.*> И это мучительно думать. Почему нельзя всего помирить, со всеми быть счастливой, любящей; от всякого брать ту долю радости, которую он

может дать» *(ДСАТ – 1. С. 381)*. Следом, 10 мая, новый позыв к раздражению она переносит с супруга на В. Г. Черткова, лицемерие которого замечала, как мы знаем, уже и лет за 10-ть до того *(см., напр., запись в её дневнике от 9 марта 1887 г. – ДСАТ – 1. С. 116)*:

«Прочла сегодня письмо Черткова к Л. Н. Всё письмо не натуральное, всё те же рассуждения о борьбе с плотью, о деньгах и грехе их иметь… Всё фальшь, фальшь, а я ЕЁ-ТО и не терплю» *(Там же. С. 381)*.

Вот она приезжает в Гринёвку и, крайне неудачно, два раза за один день, 17 мая, неделикатно прерывает духовно значимое для мужа общение с кем-то из сектантов-духоборов, тех самых, которым Лев Николаевич взялся уже помочь эвакуироваться из проклятой России. Духобор цитировал наизусть гимны своей общины, и Соня, прервав его лишь для того, чтобы вытащить на прогулку с ней и младшими детьми, была выпровожена Толстым «с досадой» и ушла в слезах; вероятно, духобор справедливо упрекнул Толстого в таком поведении, потому что тот скоро разыскал жену и помирился с ней *(ДСАТ – 1. С. 382)*.

Вот ещё ценные наблюдения Сони о том, что она читала в письмах мужа, а теперь увидела вживую или узнала “из первых уст”:

«В Гринёвке идёт горячая жизнь, и мне жаль было, что я не могу в ней участвовать. Открыто двадцать столовых, кроме того, раздача идёт муки; весь день народ с мешками на подводах: то привозят купленное: муку, картофель, пшено, то получают недельную выдачу и развозят по столовым. […] С начальством идёт какая-то глупая путаница: орловский губернатор Трубников выдал Илье официальную бумагу с позволением открыть столовые и даже выразил благодарность за них. Земский же начальник запрещает их открывать, говоря, что у него тайное предписание не допускать открытия столовых, а арестовать и выслать всех тех, кто вздумает жить среди народа и помогать ему. Каково правительство! И кто кого обманывает?» *(Там же. С. 382 - 383)*.

Вечная лукаво-лживая дрянь по имени государство Российское, вооружась специфическим “опытом” 1891-93 гг., стремилось скрыть от общественности, а особенно от “заграницы” масштабы нового голода и помешать благотворительной работе Толстого — за которой, как они знали, последует и работа публициста-обличителя, критика лжехристианского устройства жизни в России, имевшего теперь, в 1898-м, в сравнении с 1891-1893 годами, куда большие возможности именно для *заграничного* позорения российского режима — и, конечно же, готового, ради Божьей правды-Истины и народного

блага, устроить царю с помощничками такое, давно ими заслуженное, позорище в неподцензурной печати. В письме около 17 марта к В. Г. Черткову Толстой упоминает беседу с «богатым лицом» (по предположению исследователей, с купцом и меценатом К. Т. Солдатенковым) о том, «как устроить за границей печатный орган, в котором печатались бы все дурные дела, совершаемые русским правительством»: «Я сказал, что обличение зла есть одно из проявлений христианской деятельности и что если бы лицо это и не желало вполне служить своими средствами делу религиозному, люди наших верований могли бы вести такую обличительную газету…» *(88, 84)*.

Вот чем были вызваны противостояние Толстому, слежка за ним и, как мы предполагаем — задержание и чтение писем его к жене, бывшей в начале 1890-х его активной помощницей в тогдашней “голодной” эпопее.

В апреле 1898 г. орловский губернатор А. Н. Трубников дал разрешение И. Л. Толстому на открытие *одной* столовой для нуждающихся крестьян. В это же время он отправил мценскому уездному исправнику секретное предписание вести наблюдение за столовой. В своих донесениях исправник А. А. Иванов, сообщая о деятельности Л. Н. и И. Л. Толстых по оказанию помощи крестьянам, писал, что помещики встревожены возможными волнениями крестьян соседних деревень, которые будут завидовать кормимым в столовых, и утверждают, что голода в их местности нет *(Копелев В. Новые документы о Льве Толстом // Новый мир. – 1956. - № 7. – С. 275 - 276)*. Вероятно, и земская выдача муки именно тем крестьянам, которые уже посещали столовые, была сделана с целью, с одной стороны, продемонстрировать Толстым “излишнесть” их благотворительного вмешательства, с другой же — натравить голодавших, не получивших ещё совершенно никакой поддержки, на тех, кто получил её избыточно, из двух источников, дабы потом обвинить благотворителей в устроении «общественных беспорядков». Между тем, исходя из действительной ситуации, Толстой с сыном Ильёй и его женой, Софьей Николаевной, открыл куда больше столовых, чем было дозволено. 19 мая 1898 г. А. Н. Трубников направил И. Л. Толстому письмо с просьбой столовых больше не открывать.

Выехав 19-го из Гринёвки, Софья Андреевна 20-го была в Ясной Поляне, оставив в дневнике на этот день очень, очень характерные для неё и замечательные записи мыслей, тесно связанные с восприятием природной весенней красоты:

«Какой блеск, какая красота весны! Ясные, солнечпые дни, лунные ночи, пышное, необыкновенное нынешний год, цветение сирени,

особенно белой; осыпающийся цвет яблонь, соловьи… — всё это опьяняет, восхищает, и ловишь эти мимолётные впечатления красоты весенней природы, и бесконечно жаль их.

[…] Еду завтра в Тулу по делам противного Бибикова, который затеял отрезать у нас землю; а вечером еду в Москву. Сегодня отправила повара с провизией к Льву Николаевичу; написала ему длинное письмо.

[…] Передо мной портрет Льва Николаевича с таким выразительным взглядом, который всё меня к себе притягивает. И, глядя на него, я вспоминаю его упрёки, его поцелуи, но не могу припомнить искренне-ласковых слов, дружелюбно-доверчивого отношения…

Были ли они когда?.. У меня был порою страстный любовник или строгий судья в лице моего мужа, но у меня никогда не было друга — да и теперь нет, менее чем когда-либо.

Ах, как соловьи поют!

[…] Перечла жизнь и учение Сократа и с новой стороны поняла его. Все великие люди схожи: гениальность есть уродство, убожество, потому что она исключительна. В гениальных людях нет гармонии, и потому они мучают своей неуравновешенностью» *(ДСАТ – 1. С. 383 - 384)*.

По всей вероятности, С. А. Толстая читала книгу А. М. Калмыковой «Греческий учитель Сократ», которую Лев Николаевич подверг в 1885 году огромной редакции — по сути, выведя в ней *своего*, «толстовского» Сократа, до смешного напоминающего местами самого Толстого. Остаётся пожалеть, что на написана никогда была столь же подробная, как о Сократе, биография его *жены*, дабы Соня могла оценить степень уравновешенности и внутренней душевной гармонии и этой личности. Так или иначе, книга навсегда оставила в ней неприятный осадок: будучи не в силах изменить своего характера, она до конца дней своих будет бояться суждений о себе среди современников и памяти о себе среди потомков, как о “толстовской Ксантиппе”.

Мы не знаем, насколько мысли или настроения Софьи Андреевны этого созерцательного и почти волшебного дня нашли выражение в её письме к мужу, ею упомянутом — но, к сожалению, не имевшем общей с прочими письмами публикации и не доступном нам. В публикации дневника Софьи Андреевны есть следующая цитата из него:

«Милый Лёвочка, всё думаю о твоём нездоровье и мучаюсь, что ничего о тебе не знаю… Как ваши дела со столовыми? …Побывав у

вас, я опять втянулась в ваши интересы» *(Цит. по: ДСАТ – 1. С. 585. Комментарии).*

Встречное, тоже 20 мая, письмо своё Л. Н. Толстой направил в Москву, зная, что жена со дня на день будет там (она приехала в Москву 22-го утром). Вот его основное содержание:

«Пишу тебе в Москву, милый друг, 20-го, 5 часов вечера, надеясь, что ты туда уже благополучно приехала.

В Ясную не успел тебе написать, да ты, я думаю, и не ожидала. Новости у нас следующие: здоровье моё всё не так хорошо, как я привык — болит позвонок и большая вялость. Но кажется, что лучше. Я вчера довольно далеко тихим шагом ходил пешком по лесам, в Каменку и Бастыево, а нынче сижу дома и берегусь. Утром довольно усердно писал, а теперь берусь за письма, из которых первое пишу тебе.

Илюша вчера ездил в Бастыево и привёз замечательно глупое и жалкое письмо губернатора, который пишет ему, что он разрешил одну *или две* столовые, а не многие и потому просит больше не открывать, так как ему донёс земский начальник, т. е. Проташинский, что нужды нет, а Проташинский вчера же сам с Илюшей выбирал нуждающихся в своей деревне и признал их больше, чем записал Илюша. Барышню <Муравскую> нынче утром повёз Илюша к Ильинской, в Ефремовский уезд.

[…] Вот все новости наши. Да вчера еще получено из Черни объявление <денежный перевод. – *Р. А.*> на моё имя на 1000 р. Не знаю, откуда и зачем. Когда ты получишь это письмо, будет оставаться уже меньше недели до нашего соединения. Надеюсь, что ты проведёшь эту неделю, не слишком утруждая себя и сдерживаясь в своей поспешности. Целую тебя и Мишу. […]» *(84, 319 - 320).*

Дело Толстыми, отцом и сыном было поставлено хорошо, и Льву Николаевичу скоро можно было уехать к супруге. Как нельзя кстати, к окончанию денег для голодных у Толстого и у жены, подоспели частные пожертвования, о которых Лев Николаевич упоминает и в следующем письме к жене, датируемом 22-м мая. В начале его он упоминает, что писал ей днём раньше, однако такое письмо неизвестно. Вероятно, это простая ошибка памяти Льва Николаевича, и он имеет в виду своё письмо именно от 20-го.

Вот основное содержание письма от 22-го мая:

«Вчера писал тебе, милый друг, в Москву. Надеюсь, что ты получила, как ожидала. Вчера приехал <повар> Семён, и вчера же было от тебя письмо. <От 20 мая. – *Р. А.*> А сегодня приехала Таня и привезла кучу писем, на которые я сейчас отвечаю. Третьего дня ответил 13 писем. В числе этих писем есть известие от режиссёра, Петербургской драматической группы, которые собрали 2000 рублей для голодающих Тульской губ. Я отвечал и постараюсь поместить их в Ефремовском уезде или в здешней местности, но после урожая (который так дурен). Я так и написал режисёру. 1000 р. получил от Мансуровой и 500 р. от Кудашевой из Киева.

Вчера были здесь, т. е. у нас, студент и курсистка, которые приехали с деньгами от Вольно-экономического общества в Мценский уезд, за 40 вёрст от нас, и их высылают. Наша барышня Муромцева приехала — болезненная, но кроткая и усердная. Илюша нынче поехал к губернатору.

Я совершенно здоров. По утрам пишу и вечером бодр. Вчера ездил в бедную деревню, 10 дворов, 4 лошади и 4 коровы; денег во всей деревне нет ни копейки. Шубы и кафтаны заложены. И было радостно видеть, что можно помочь хоть немного, хоть на время. Оттуда заехал в Гущино, на ужин (тоже очень бедная деревня, 50 домов, 24 без лошадей). Застал 80 человек за столами под навесом-двором. Чинно и весело сидят старики с стариками, старухи с старухами, дети с детьми. Хозяин обходит с ковригой и ножом, подкладывая хлеб, у кого съеден. Удивительно чинно и трогательно. — Нынче никуда не ездил. Сейчас пойду пройдусь. Целую тебя и Мишу.

Л. Т.

Как ты доехала? […]» *(84, 320 – 321).*

И небольшое открытое письмо к С. А. Толстой от 24 мая, интересное главным образом упоминанием им о писании своей, о помощи голодающим, статьи «Голод или не голод?»:

«Ты, вероятно, уже получила мои последние два письма. С тех пор ничего нового. Я продолжаю быть здоров. Два дня был занят писанием отчёта и статьи об употреблении пожертвований. Не знаю, куда направить. Попробую <зачёркнуто: «Неделю», «Нов. вр[емя]» и «Сын [отечества]»> «Петербург[ские] Вед[омости]», а потом «Сын Отеч[ества]» или «Бирж[евые] [ведомости]»; поручу это Меншикову. <Публицист, сотр. газ. «Неделя», в то время близкий по взглядам к

Толстому. – *Р. А.*> — До скорого свиданья. Еду на почту в надежде получить от тебя письмо» *(Там же. С. 332)*.

Надежды Л. Н. Толстого в тот день не оправдались: следующее письмо к нему Соня написала только 25 мая, переехав уже в Ясную Поляну и поджидая туда, по уговору, супруга. По пути, по случаю праздника Троицы, она навестила на кладбище в Никольском могилки своих детей, Алёши и Ванечки: «Прочла “Отче наш” и попросила в душе моих младенцев молить Бога о моей грешной и больной душе» *(ДСАТ – 1. С. 385)*.

Вчитаемся в письмо С. А. Толстой 25 мая:

«Милый Лёвочка, я так рада была сегодня получить опять письмо <22 мая> от тебя, да ещё с известием, что ты здоров. Слава Богу! Сама я дурно себя чувствую, так, как бывает, когда у меня горлом кровь идёт, а второй день по утрам это происходит. Неправильное обращение крови.

Очень я занята тоже, хотя делами, не дающими, увы! никакого нравственного удовлетворения. Я думаю, что лошадь, которой не хочется везти на гору воз, а которая видит и чувствует, что иначе нельзя, а то воз этот потянет назад и она будет увлечена и разбита им, — лошадь эта должна испытывать то самое, что испытываю я, занимаясь делами, корректурами и даже Мишиными экзаменами. Миша огорчительно пропадал вчера до 5 часов утра, а теперь уехал на два дня к Мартыновым. У него ещё экзамен закона Божьего, французского, — а главное переэкзаменовка латинского, 29-го. Он собирается на Кавказ, хочет соединиться с Берсами и Андрюшей. Я боюсь, что это не выйдет. Он потеряет время, деньги на поиски их, удовольствия не найдёт и их может не найти.

Вчера (Троицын день) с утра мы поехали с няней на могилки детей, посадили цветы, обложили их дёрном. Потом у Камоловых пили чай, потом я пошла с девочкой за две версты в монастырь женский, построенный в бывшем имении гр. Анны Михайловны Олсуфьевой. Там лес, старинные аллеи липовые, монастырская чистота, застывшие старушки монахини; но в общем впечатление собственно монастыря — не хорошее; рядом совсем — деревня и дачи. <Казанский-Головинский женский монастырь при селе Головино, в семи верстах от ст. Химки. Уничтожен в 1920-е гг. Локация в современной Москве: Кронштадтский бульвар, д. 33. – *Р. А.*>

Вернувшись, поела и села читать корректуры. Читает их мне очень толково и хорошо — Жиляева. <Варвара Павловна Жиляева, урожд.

Арнаутова *(1851—1924)*, мать ученика С. И. Танеева, музыканта и композитора Николая Сергеевича Жиляева. – *Р. А.*> […] Спасибо, что я вспомнила о Жиляевой. Здесь этих корректур и 15-ой части и «Книг для чтения» накопилось без меня 8 больших листов. До 2 часов ночи два вечера я читала, даже глаза болят. Ни одной души не видала знакомых, да никого тут и нет. Иногда так тоскливо, что просто, по-детски, плакать хочется.

Теперь скоро съедемся, надеюсь, в Ясной, все. Грешный я человек, *не радуюсь*, что тебе столько денег голодающим посылают, это тебя затянет в дело, а я и так мало тобой и с тобой живу эти последние годы.

[…] Пришла Жиляева, опять будем читать корректуры. Теперь 11-ть ч. утра, понедельник. Целую тебя, детей моих, Таню, о здоровье которой и душевном, и физическом много думаю и тревожусь, и милых малышей. Напишу завтра Мише. Ну, прощай.

Твоя Соня Толстая» *(ПСТ. С. 705 - 706)*.

В сдержанной форме Софья Андреевна выражает всё то же своё раздражение двум главнейшим обстоятельствам, в одном из которых — разделении с мужем и его, в сравнении с началом 1890-х, недоверии ей общего дела христианского служения народу — она виновата была сама. В другом — в ограниченности для неё и большинства женщин в России доступных социальных статусов и поприщ — было, как мы не раз уже говорили, повинно то ложное устройство жизни, с которым боролся христианской проповедью Лев Николаевич. К сожалению, выраженная им ревнивая неприязнь к отношениям жены с С. И. Танеевым дало Соне новые основания винить в экзистенциальной пустоте своей повседневности одного мужа, а не те ложь и зло общественного строя и церковной эрзац-религии, с которыми боролся Лев Николаевич. Субъективная неприязнь к Толстому и современных, XXI столетия, борцов за женское равноправие, феминистов и феминисток, лишь указует на внутреннее, на уровне бессознательных инстинктов доминирования / подчинения, влечений и поганоподлых страстишек, приятие ими того нехристианского и насильнического строя жизни, с которым они, публично, гордо и декларативно, *якобы* «борются» за права и человеческое достоинство женщин.

Толстого “вытягивали” из Гринёвки не только её письма, но и воспоминания о её приезде и разговорах с ней — и, конечно, собственная усталость: ведь со служением народу он сочетал и труды своих

писаний. Затруднительно точно сказать, получил ли он приведённое выше письмо Сони к 27 мая, времени написания последнего своего письма к жене из Гринёвки, но были в этом письме известия, которые могли её порадовать:

«Я писал тебе, милый друг Соня, не совсем определённо о своей поездке в Ефремовский уезд, потому что не окончательно решил; но нынче, 27, решил, что необходимо это сделать и распределить поступающие ко мне деньги наилучшим образом, и мы сейчас с Соней <с С. Н. Толстой супругой И. Л. Толстого. – *Р. А.*> выезжаем к Цуриковым <в имение А. А. Цурикова Огничное, Чернского уезда, в 28 км. от Гринёвки. – *Р. А.*>, оттуда к Афремовым, <в их имение Гремячево, Чернского уезда, в 8 км. от Огничного. – *Р. А.*> оттуда к Левицким <имение Алексеевское, Чернского уезда. – *Р. А.*> уже завтра. Соня ухаживает за мною даже слишком, и я сам себя берегу, имея тебя в памяти. Я ждал нынче твоего письма, но к сожалению не получил. Я телеграфирую тебе и попрошу тебя телеграфировать в Караси <станция Елецкой ветки Сызрано-Вяземской ж. д. – *Р. А.*>, до востребованья, когда ты выезжаешь. Я могу окончить всё так, чтобы быть дома в Туле в 5 часов 29-го; но если ты не приедешь 29-го, то я лучше, не торопясь, приеду 30. Всё это, как я всегда люблю прибавлять, если мы все будем живы и здоровы. Очень рад за Мишу, что он кончил, и болею за тебя, что ты очень устаёшь и много трудишься скучными делами. Я, было, расстроился вчера и потому тоже отложил отъезд; нынче же чувствую себя совсем бодрым и здоровым. Всё время, последние дни, писал свою статью о голоде — кажется скромно и понятно, но боюсь, что не пропустят.

Письмо это сам свезу в Черни на почту. Прощай, голубушка, будь здорова и спокойна, насколько можешь. Соня оттуда едет в Паники, а Таня подхватывает меня, и мы с ней возвращаемся в Ясную.

Прощай, целую тебя и Мишу.

Л. Т.» *(84, 322 - 323).*

Случай, бог-изобретатель — сокрушил планы Толстого о благополучном возвращении к семье. В завершение данного Фрагмента нашей аналитической презентации восстановим ряд событий, с которыми будут связаны и последние, уже телеграфические, послания Л. Н. Толстого к жене из упомянутой выше станции Караси.

В ожидании мужа с 26 по 30 мая Софья Андреевна — снова в Москве, и, пока возможно — в общении с платоническим, «музыкальным» своим возлюбленным мужчиной:

«…Корректуры, одиночество, грусть. Раз вечером на этих днях играю в угловой комнате, и так мне захотелось видеть и послушать Сергея Ивановича, и через несколько времени вижу в окне три фигуры, не узнаю сначала, потом узнала и не удивилась. Это были Маслов, Танеев и Померанцев. Маслов ушёл раньше; потом Померанцев играл мне, потом и Сергей Иванович стал играть: играл свои романсы, свой квартет в четыре руки с Юшсй.

29-го он опять пришел ко мне вечером вместе с Гольденвейзером. Но просидел очень мало времени и, какой-то взволнованный, торопливо ушёл» *(ДСАТ – 1. С. 385)*.

Было ли общение, какие-то объяснения между любовниками Аполлона — неизвестно. О концерте же следующего дня — наверняка. Своё мастерство в Консерватории демонстрировали её юные воспитанники. Софья Андреевна, под стать погоде и юным музыкантам, оделась, как юная девочка — в «лёгкое, свежее, весеннее» бледно-лиловое кисейное платьице, и удостоилась комплиментов от всех сочувствовавших ей знакомых и самого Василия Ильича Сафонова (1852 – 1918), в те годы ректора Московской консерватории: «Вы точно сама весна!», «Какая свеженькая!» и под. *(Там же; ср.: МЖ – 2. С. 517)*.

А дома, по окончании концерта, Соничку ждало уже новое упоительное свидание:

«Приезжаю домой, выхожу на балкон, вижу — сидит на лавочке в саду Сергей Иванович и читает газету. Я страшно обрадовалась…» *(ДСАТ – 1. С. 385)*. Спровадив сына Мишу, Соничка осталась с возлюбленным наедине:

«…Мы сидели и разговаривали так, как разговаривают люди, до конца доверяющие друг другу: серьёзно, искренно, без застенчивости, без глупых шуточек; говорили только о том, что действительно нас интересует обоих. Ни разу не было неловко или скучно.

Какой был вечер! Последний в Москве, а может быть, и в моей жизни.

В девять часов он стал собираться уходить, и я не стала его удерживать. Он, прощаясь, только тихо и грустно сказал: «Когда-нибудь надо уходить». Я ничего не ответила, мне хотелось плакать. Я проводила его до двери и ушла в сад» *(Там же. С. 386)*.

Вероятно, именно в этот чудесный вечер любовники сообщили друг дружке необходимое: она — о ревности к их отношениям Льва Николаевича, а он, если бы набрался смелости — должен был, ради

справедливости, рассказать о той интимной причине, по которой ревность Л. Н. Толстого была неосновательна. Но, вероятнее всего, не рассказал, а Соня, привыкнув за долгие годы к периодически-прохладному отношению к ней мужа-бисексуала, находила в поведении С. И. Танеева лишь свойства застенчивого характера и глубочайшей воспитанности, не распознавая более потаённых, гомосексуальных причин.

Оба думали, что расстаются уже совершенно, и 11 июня, живя в Ясной Поляне, Софья Андреевна сделала в дневнике такую грустную запись:

«Поставила рояль в мастерской Тани. Играла сегодня часа три и плакала ужасно от бессилия, желания послушать ещё когда-нибудь музыку Сергея Ивановича. Ведь были же эти два счастливых лета! Зато после какого страшного несчастия — смерти Ванечки — послано мне было это утешение! Благодарю тебя, господи, и за то» *(Там же. С. 387)*.

Всё-таки отношения с С. И. Танеевым у неё продолжились, и, к несчастию, снова не без ревнивых выпадов со стороны Льва Николаевича.

Вернёмся теперь в тот тёплый, предпоследний вечер весны 1898 года. Проводив Танеева, Соня ушла в сад, чтобы выплакаться и прийти в себя. Тем же вечером, уложив вещи и захватив с собой освободившегося от экзаменов сына, она уехала на полуночном поезде в Ясную Поляну. И вот что ждало её там (по записи дневника 31 мая):

«Утром тяжёлый приезд в Ясную. Ни Тани, ни Льва Николаевича, и три телеграммы — он болен, лежит у Левицких! Он обещал никуда не ездить, а съехаться со мной в Ясной и вместо этого уехал с Соней (невесткой) в коляске странствовать по соседям и будто бы изучать положение страны в смысле голода и будущего урожая. Были они у Цуриковых, у Афремовых и у Левицких, где Л. Н. уже слёг в жару, с дизентерией» *(Там же. С. 386)*.

Приводим ниже тексты двух известных телеграмм от Л. Н. Толстого (со станции Караси на Козлову Засеку). Первая, утренняя:

«Задержался день. Буду 30» *(84, 323)*.

И вторая, того же 30 мая:

«Чувствую себя лучше. Благоразумнее день переждать» *(Там же)*.

Судя по информированности С. А. Толстой в этот день, сведения о болезни она получила из третьей телеграммы, неизвестной нам — и, вероятнее всего, не от Л. Н. Толстого.

Толстой слёг с дизентерией в Алексеевском, Чернского уезда, имении помещика П. И. Левицкого. «Проплакав весь день» 1 июня и сама заболев, сопровождаемая и утешаемая в пути аскетичной и строгой М. А. Шмидт, Софья Андреевна отправилась к Левицким:

«Прекрасная семья, занятая, либеральная в хорошем смысле, особенно он, умный, твёрдый человек.

Трудный уход и забота за больным Л. Н. в чужом доме, с сложной вегетарианской пищей. Посылала за доктором, давали висмут с опием, компрессы. Скучно, холодно, тоскливо и досадно. Лев Николаевич поехал уже больной. Что за легкомыслие, и как не совестно…» *(Там же. С. 386 - 387).*

Благодаря ли предпринятым врачевательным усилиям супруги, вопреки ли им, но Лев Николаевич в несколько дней поднялся на ноги и 6-го июня вечером воротился наконец домой — в Ясную Поляну.

КОНЕЦ СОРОК ЧЕТВЁРТОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Сорок Пятый.
КИЕВСКОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО СОНИ ТОЛСТОЙ
(13 - 17 июля 1898 г.)

Вернёмся к путеводной в веках академической Хронологии трудов и дней Льва Николаевича Толстого в 1898 году, по возможности давая слово и Софье Андреевне.

12 июня. «После трёхлетнего перерыва Толстой “совсем неожиданно стал доканчивать” “Отца Сергия”.

Запись Толстого в Дневнике: “Рассказ «Купон» («Фальшивый купон») очень хочется дописать”.».

13, 14, 28 – 30 июня. «Работа над повестью “Отец Сергий”»

18 июня. «В Ясную Поляну приехали из Харькова шестеро гимназистов и гимназисток с собранными 100 рублями нуждающимся крестьянам. Местная администрация запретила лавочнику отпускать им муку, а их самих выслала. Об этом Толстой написал статью — письмо в газеты» *(53, 408 – 409).*

Из дневника на 18 июня С. А. Толстой:

«Вернувшись <с прогулки>, застала Льва Николаевича, диктующего статью газетную Тане, которую, впрочем, раздумали посылать.
Дело вот в чём: приехали в Ясную шесть человек гимназисток и гимназистов, привезли 100 р. для нуждающихся крестьян. Л. Н. послал их к священнику, попечителю здешних мест, и священник указал на особенно бедных. Гимназисты купили в Ясенках муки, которую и выдавали беднейшим. Явился становой и урядник и строго запретили купцу в Ясенках выдавать муку мужикам по запискам от нас или гимназистов. Просто безобразие! Не смей никто в России милостыню подать бедным — становой не велит. Мы с Таней глубоко возмущались, и обе охотно бы поехали прямо к царю или его матери и предостерегли бы их от того возмущения, которое может подняться в народе от озлобления к подобным мерам» *(ДСАТ – 1. С. 391).*

Гадкий скандал с полицейской высылкой народных волонтёров повторился 20 июня *(Там же).*
Прекрасный, наследственно-немецкий, просвещённый и воспитанный ум Софьи Андреевны отторгал многое в стране воров, рабов и дураков, которой была и осталась по сей день Россия. Совсем скоро ей придётся столкнуться с другим неизбывным русским безобразием, о котором рассказывает в дневнике под 26 июня:

«Вчера провела тяжёлый очень вечер. Наш сосед, юный Бибиков, оттягал у нас купленную у его отца землю; теперь приходится защищаться, началось судебное дело. Вчера нужно было собрать окольных свидетелей, и собрали только из Телятинок, деревни Бибикова… По всему видно, что свидетели, судья, землемер — все подкуплены и угощены были вчера Бибиковым. Допрос тоже производили мошеннически. Сначала я горячилась, а потом просто пришла в недоумение: суд, допрос, присяга, — и всё это одно мошенничество.
Просидела из любопытства до самой ночи в избе старосты» *(Там же. С. 393).*

Это то самое недоуменное любопытство, с которым и в наши дни взирает на страну-мазохиста и народ-самоубийцу весь свободный и цивилизованный мир.

На несколько дней, примерно с 16 по 21 июня, к Толстому вернулись боли в животе и желудке и общая слабость — вероятные последствия перенесённой дизентерии. Работа над «Отцом Сергием» была до 28 июня вынужденно оставлена, и Толстой в эти дни по преимуществу писал ответы на скопившиеся письма. Это приводило в раздражение Соню, уже надеявшуюся заполучить повесть для своего доходного издания сочинений мужа. Подавленность и депрессии чередовались в её настроениях со вспышками энергической деятельности, растрачиваемой в немалой части на придирчивое раздражение повседневностью и супругом:

28 июня. «Жизнь моя идёт всё так же мучительно, скучно. Льва Николаевича я почти не вижу, он всё один в своём кабинете, пишет без конца письма во все стороны и ткёт усердно паутину своей будущей славы, так как эти письма будут составлять огромные томы. […] Дневник он уже неохотно пишет, он знает, что я могу его прочесть, а письма разлетаются по всему миру, а дома копируются дочерями» *(ДСАТ – 1. С. 395).*

1 июля. «Лев Николаевич сегодня первый день совсем хорошо себя чувствует, и спал хорошо, и что-то усердно писал.

Своей жизнью я очень недовольна: проходят дни в болтовне […], в мелких делах […], — без мысли, без чтения, без искусства, без настоящего дела…» *(Там же. С. 395 - 396).*

Она находит это дело тем же вечером, и до трёх часов ночи «пишет с удовольствием свою повесть “Песня без слов”» — заодно, как видим, придумав ей в эти часы творческого подъёма название. Но подъём сменился 4 июля новыми приступами депрессии и обонятельных галлюцинаций: «Только музыка меня спасает от тоски и от запаха этого» *(Там же. С. 396).* А музыка всегда может раздражить мужа, напомнив о связи жены с С. И. Танеевым, и она пугается, бедная, играть, затворяет рояль — и плачет, плачет… убегает в лес, и в лесу рыдает отчаянно, с таким смертным надрывом, что «птицы и те перепугались от её воплей и слёз»: «Самые больные — это одинокие слёзы и страдания, о которых никто никогда не узнает». Но и в

лесу ей не было покоя: с ней вдруг случались галлюцинации слуховые, и она «слышала чьи-то ещё другие стоны… умершие чьи-нибудь души мне вторили или отсутствующие» *(Там же. С. 392 - 393)*.

Спасительный, и такой лёгкий летом выход из этого положения — путешествие к родне, в гости, куда и отправляется Софья Андреевна 12 июля. Первым адресом её поездки было имение дочери Маши («жизнь крайне бедная, еда отвратительная» — *Там же. С. 397*), а второе — имение Селищи в Карачевском уезде Орловской губ., владения давних друзей семейства Толстых, гостеприимных, хлебосольных и высококультурных Масловых. Там Соничку ждало вожделенное ей свидание с Сергеем Ивановичем Танеевым, и вновь несчастная женщина, так утешаемая музыкой, услышала его «прелестную игру, лучше которой не считала никакой другой», и вдоволь нагулялась со своим возлюбленным в искусстве *(МЖ – 2. С. 519)*. К сожалению, фотографировавшая счастливых гостей, включая и Соню с Танеевым, хозяйка дома, добрая, но, вероятно, очень наивная Аннушка Маслова, имела неосторожность послать фотографии в Ясную Поляну, и Лев Николаевич получил их ещё до возвращения супруги *(Там же. С. 520)*. Уезжая 15 июля из Селищ в Киев, чтобы навестить жившую там с семейством сестру Татьяну (в замужестве Кузминскую), несчастная Соня не могла знать, *какая* её ждала встреча по возвращении домой!..

К этой поездке относятся по две корреспонденции каждого из супругов, но письмо С. А. Толстой от 17 июля, к сожалению, недоступно для нас. Приводим ниже тексты остальных писем в хронологической и логической последовательности.

Вот письмо Л. Н. Толстого от 13 июля 1898 г. в его основном содержании:

«Письмо это вероятно вместе с тобой приедет в Киев, но всё-таки ты узнаешь всё то, что у нас делалось в те 1½ сутки, которые прошли после твоего отъезда. Таня и я оба поправляемся. Мне вчера было лучше, а нынче уж совсем хорошо. И я сейчас целое утро писал письма и окончил все нужные ответы, счётом 8 без твоего. Таня вчера рисовала Дору в мастерской, вместе с барышнями.

[…] У меня вчера, воскресенье, было человек 7 посетителей интелигентов из Тулы.

[…] Как-то ты доехала? Там на месте тебе уходят. Передай мой поклон всем Кузминским старым и малым.

Страннее всех мне было бы видеть Митичку. Ну, покамест прощай, милая Соня. Не беспокойся ни о чём и не торопись. У нас всё хорошо. Сейчас получил гору писем ещё.

Да, вот просьба. Не знает ли Таня кн. Кудашеву, которая мне прислала 500 р. Деньги эти ещё не израсходованы — и будут употреблены на столовые в следующем году, т. е. урожайном году, если она этого хочет, если же она такая женщина, которая наверно сочувствует положению духоборов, то не разрешит ли она употребить эти деньги на помощь переселяющимся духоборам? Вопрос этот можно делать только, если наверное знаешь, что она сочувствует духоборам, не боится правительства и наверно даст утвердительный ответ.

Так не знает ли Таня?» *(84, 325)*.

Княгиня Екатерина Васильевна Кудашева — и посмертно остаётся жертвой большевицкой, палаческой эпохи в жизни России: многие сведения о ней затерялись; не известны, в частности, даты жизни и смерти. Известно, что в 1898-м она жила в Киеве с мужем-инженером и активно проявляла себя в благотворительности. Но, при всей прогрессивности многих её общественных воззрений, по вероисповеданию она оставалась ортодоксально православной — да и вряд ли желала бы втянуть *свою* семью в опасное предприятие: поддержание деньгами гонимых и *ненавидимых* «христианской» Россией людей. Это и в наши дни небезопасно… Сведений о её ответе на запрос, через жену, Л. Н. Толстого так же не уцелело. В 1930-е гг. она жила в СССР, и редакция Полного собрания сочинений Толстого направила «бывшей княгине» письменный запрос о судьбе запроса толстовского. Но в ответ «Е. В. Кудашева сообщила редакции 6 февраля 1934 г., что по этому поводу никто к ней не обращался и что она не была поставлена в известность о судьбе пожертвованных ею денег» *(84, 325)*. Забыла? Соврала ль от страха, что *государственная* (коммунистической гадины) редакционная комиссия что-то выясняет о её княжьей и богатой молодости в царской России? Или, что весьма вероятно, сама Софья Андреевна “бойкотировала” тогда, в 1898-м, исполнение просьбы супруга? Ведь она-то внутренне *очень* не сочувствовала трате денег и вообще всем вмешательствам мужа в дела духоборов. Ответа на остающиеся вопросы мы не узнаем, вероятно, уже никогда.

Местечко в Киеве, где поселились Кузминские и куда прибыла 18 июля к ним в гости Соня, именуется Китаїв. И в наши дни оно сохранило остатки своей красоты — приведшей тяготевшую к ней Софью Андреевну в абсолютный восторг. Конечно, встреча была не без пятнышка горечи… Толстой признавался в письме жене, что вид

подросшего сына Кузминских Митички, друга детства умершего Ванички, произвёл бы на него «странное» впечатление *(84, 324)*. Несчастную же мать, Софью Андреевну, он едва не довёл до слёз: «Митя уже большой, десятилетний мальчик, а Ванечки нет!» *(ДСАТ – 1. С. 398)*.

Но в целом, конечно, в благоустроенной летней даче Кузминских Соня оказалась «среди своих» и могла отдохнуть и телом, и душой. Вот её единственное, к сожалению, доступное нам письмо из Киева, написанное в день приезда, 16 июля, в ответ на письмо мужа от 13-го:

«Очень меня обрадовало твоё письмо, милый Лёвочка, и тем, что вы с Таней здоровы, и тем, что это показало твоё доброе ко мне чувство, которое всегда новая мне радость и новое желание самой его заслуживать. — До сих пор всё шло для меня прекрасно: и у Маши было подушевно, и у Масловых очень хорошо: они меня принимали и соблюдали, как только возможно лучше. Места там удивительно красивые: мы с Анной Ивановной всюду ездили и ходили, и в речке купались, и белые грибы (их ещё мало) в сосновом бору рвали, и фотографией занимались. Она же меня в карете на станцию свезла. Живут они относительно окружающих и народа — удивительно достойно и хорошо; поучительно было видеть.

Таня сестра меня вчера встретила ночью на станции, и мы с ней ночевали, и едем на дачу, в Китаев, а теперь утро, рано, и у Тани в городе дела. Детей и Сашу я ещё не видала. Здоровье моё всё не совсем, т. е. желудок, и я почти ничего не ем, и всё принимаю висмут с содой. — Вчера у нас сломался вагон, и его отцепили вовремя; вот как все под Богом ходим! Описывать, — т. е. писать о впечатлениях дороги, пассажиров и проч., или очень много можно или ничего. А мы с Таней спешим ехать, и потому я всех вас целую и прощаюсь. Дай бог вас всех увидать здоровыми и весёлыми.

Пробуду я здесь дня четыре, не меньше.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 706 - 707)*.

Соня пробыла у сестры по 20 июля включительно, успев получить от мужа ещё одно, тоже от 16 июля, письмо (точнее же — пространную *приписку* к письму А. Л. Толстой), следующего содержания:

«Ты говорила, что тебе приятно видеть мой почерк, и я, вспомнив это, сел приписать тебе, но, как всегда, прочтя письмо Саши, не

знаю, что ещё писать. Посетители были: странный богатый и образованный, но малоумный башкирский султан, потом Трескин <приятель С. Л. и И. Л. Толстых. – *Р. А.*>, потом нынче жалкий, бывший студент, без средств и денег, но женатый. Я совсем здоров и вчера работал так хорошо, как давно не было. Думал, что пойдёт также и нынче, но, напротив, ничего не мог делать умственно. Хотел бы посмотреть вас, бывши невидимым, и послушать, как вы с Таней беседуете. Хорошо бы, кабы удалась твоя смелая мечта привезти её. Письма за это время для меня интересные только от Чертковой о переселении духоборов, которое теперь, вероятно, началось. Суллержицкий просится помогать им, а Чертков пишет, чтобы послать им человека. Я написал Голицыну, прося его разрешения. <Кн. Григорий Сергеевич Голицын, главноначальствующий на Кавказе. – *Р. А.*> Что будет от него? Поклон всем Кузминским, старым и малым. Будь здорова, покойна и весела.

Л. Т.» *(84, 325)*.

Соня и была, сколь была вообще способна, и спокойна, и весела, отдыхая и от удивительного мужнина почерка в нескончаемых черновиках, и от корректур сочинений Льва Николаевича, и от прочих дел, и, главное, от атмосферы несогласия в родном доме, которому бы с радостью предпочла дом сестры, в котором «отец так заботится о сыновьях и вместе с тем так с ними дружен» *(ДСАТ – 1. С. 399)*.

Китаев стал *её* «деревенской ванной», а самый Киев — культурной и духовной Меккой. Отдав туристическую дань местным театрам, соборам, Хмельницкому и князю Владимиру, она навестила, конечно же, Пещеры, где пережила припадок страха, о котором упоминает в дневнике: «пришло мне в голову», что дьявол мне заграждает путь». Сопровождавший её монах сделал суровое внушение и велел молиться, и страх вдруг миновал, сменившись нормальным туристическим любопытством *(Там же. С. 398 - 399)*.

Сговорив ехать с собой сестру Таню, Соничка 22 июля вернулась в Ясную Поляну… угодив сразу под “контрастный душ” ледяного пламени мужниной ревности. В дневнике Соня потаила настоящую причину гнева Льва Николаевича и лукаво выразила недоумение о его ревности: ведь она предупредила перед отъездом, что навестит Масловых и даже получила совершенное на то согласие мужа *(Там же)*. А вот на страницах мемуаров, писанных в покаянном 1915-м году, когда Толстого уже не было в живых, она честно признаётся, что Льва Николаевича взбесили полученные от Анны Ивановны Мас-

ловой фотоснимки, на которых фигурировала она (снятая, например, в дупле дерева) и Сергей Иванович Танеев *(МЖ – 2. С. 520)*. Лукавство Соне не удалось сполна: супруг, жалея её и себя, постепенно, в несколько дней, “сдался”, простил ей и даже был с женою ласков, а вот разобравшаяся в ситуации умнейшая Таня Кузминская в приватной беседе с сестрой выразила ей порицание — как призналась Соня в дневнике: «за пристрастие и к Сергею Ивановичу, и к музыке, и за то, что огорчаю мужа» *(ДСАТ – 1. С. 399 - 400)*.

КОНЕЦ СОРОК ПЯТОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Сорок Шестой.
НА ЗАДВОРКАХ ДУХОБОРЧЕСКОЙ ЭПОПЕИ
(1 сентября - 1 декабря 1898 г.)

Как упоминалось выше, Софья Андреевна пугалась и не сочувствовала схватке мужа *со смертью за жизнь*: с Россией и её политическим режимом — за жизни духоборов, которых взялся эвакуировать из этой страны вечных мрака, рабства, страданий и гарантированной погибели как плоти, так и души. Чем «всемирней» он становился, чем больше обрастал связями, дискурсами и поддержкой передовых людей своей эпохи — тем всё меньше и меньше принадлежал хотя и критично воспринимавшемуся Софьей Андреевной, умной дочерью немца, но всё-таки привычному для неё «русскому миру», тем необратимее рвал с ним связи внушённых с детства обманов сословной эрзац-культуры и церковной эрзац-религии — в пользу всечеловеческого культурного и духовного самостроения и в пользу живой, руководящей поступками, веры Христа, учения Христа как познанной Божьей правды-Истины.

Но совершенно порвать с семейством — он не желал и не мог никогда. В эго эпистолярном диалоге с супругой предстоящих нашему презентованию и анализу месяцев — даже «между строк» не меньше христианского, смиренного и доброго содержания, чем в любом из “исторических” писем, посланных в эти же дни разным адресатам в связи с продолжением духоборческой кампании. Мы бы хотели, чтобы наш читатель, терпеливо прочтя с нами эти “скучные”, по поверхностной оценке, письма — увидел это и убедился в этом.

Далее — снова основные вехи в биографии Л. Н. Толстого промежуточных между Эпизодами великой Переписки дней.

17 июля. «Запись в Дневнике: “С[оня] уехала в Киев. Внутренняя борьба… Не радуюсь экзамену, признавая вперёд, что не выдержу… Всю ночь нынче не спал… Взялся за «Воскресение», и сначала шло хорошо, но с тех пор, как встревожился <отъездом жены. – *Р. А.*> — два дня ничего не мог сделать. […] Силы нет противустоять привычному соблазну» <мыслям об уходе. – *Р. А.*>

19 июля. «Разговор с приехавшим И. И. Горбуновым-Посадовым о возможности ухода из Ясной Поляны и временного приезда к нему в Калугу» *(Гусев Н. Н. Летопись… 1891 – 1910. С. 290 – 291).*

21 июля Толстой пишет письмо к В. Г. Черткову на ту же тему: о возможности ухода из Ясной Поляны. Страшная причина, по которой он не решился тогда совершить уход, была раскрыта Толстым в одной из бесед с Л. П. Никифоровым. Заключалась она «в боязни переступить через кровь, через труп» — то есть довести до гибели, до самоубийства жену, Софью Андреевну *(Никифоров Л. П. Воспоминания о Л. Н. Толстом // Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сборник. М., 1929. С. 225).*

Ночь с 28 на 29 июля. «Продолжительный разговор с женой об её увлечении С. И. Танеевым» *(Гусев Н. Н. Указ. соч. С. 292).* Позднее этот диалог был восстановлен в памяти и внесён Л. Н. Толстым в Дневник *(см. 53, 383 – 388).*

Результатом этого непродуктивного разговора был сильнейший нервный припадок у Софьи Андреевны, во время которого она «вся тряслась, рыдала, заговаривалась, пугалась», а кончилось всё тяжёлой, психотической «окоченелостью», во время которой Соня больше суток пролежала в тёмной комнате и «никого не любила, ни о чём не жалела, ничего не желала, кроме смерти» *(ДСАТ – 1. С. 400).*

31 июля – 4 августа. «Поездка Толстого верхом в Пирогово» *(Гусев).* «Толстой уехал в Пирогово к брату Сергею Николаевичу» *(53, 409).*

О последовавших за отъездом мужа днях 1 и 2 августа Соня записала в дневнике: «Чувствую радость одиночества и комфорта жизни с каким-то небывалым ещё во мне ощущением» *(ДСАТ – 1. С. 400).*

К началу августа супруги совершенно примирились, Софья Андреевна взялась переписывать чернового «Отца Сергия», а Лев Николаевич продолжил работу над «Воскресением». В Дневнике под 3 августа он внёс в Дневник такую поистине “эзоповскую” запись: «Пережил очень много. Экзамена не выдержал. Но не отчаиваюсь и хочу переэкзаменовки. Особенно дурно держал экзамен потому, что имел намерение перейти в другое заведение. Вот эти мысли надо бросить, тогда будешь лучше учиться» *(53, 205)*.

То есть: не рваться уйти из дома, а учиться смирению и — дарению доверия и свободы любимому существу. Соничка ли не заслужила их?

3 августа. «Приезд к Толстому (без паспортов) духоборов П. В. Планидина и Постникова за советами по делу переселения» *(Гусев, с. 293)*.

Софья Андреевна разместила тайных визитёров в знаменитом Павильоне — садовом домике близ большого яснополянского дома — и с тревогой, раздражением на мужа ожидала визита полиции. Всё тогда, однако, обошлось.

4, 5 августа. «Письмо Толстого к богатым людям с призывом сделать пожертвования на дело переселения духоборов» *(Гусев, с. 293)*.

Одному из первых Лев Николаевич написал богатейшему сахарозаводчику Л. И. Бродскому. Но тот, отстроив только что в родном Киеве роскошную синагогу (где через несколько лет его и будут отпевать), благоразумно эвакуировался из России в Швейцарию — заслуженно-*сладко*, спокойно и медленно дожить век, сколько Бог даст. Из сахарной конторы вместо денег пришла отписка: держитесь, Лев Николаевич, и всего вам наилучшего! К. Т. Солдатёнков промешкал на денежных мешках аж до конца января 1899 г., когда, 30-го числа, всё-таки занёс 5 тысяч рублей лично в ручки Софье Андреевне Толстой — тем самым наградив себя за финансовые “потери” общением с чудеснейшей женщиной! За богатейшего, но и жаднейшего золотопромышленника Сибирякова тысячу рублей прислала тайком его дочь Анна. С. Т. Морозов и ещё ряд толстосумов — просто послали мысленно Толстого нахуй и не ответили ему. А П. М. Третьяков отказал открыто и решительно — не сочувствуя, как православный россиянин, делу эвакуации из России гонимых сектантов.

7 августа. «Выехала из Батума на остров Кипр партия духоборов в количестве 1139 человек».

15 августа. «Написана статья «Две войны» *(Гусев, с. 293).*

Это единственное писание, на которое Толстой отвлёкся за месяцы своего “ударного” труда над будущим романом «Воскресение». В статье Л.Н. Толстой сравнил тогдашнюю испано-американскую войну с избиением сильным и молодым человеком (Америкой, ясный пень…) «выжившего из ума и сил старика». Восхваление американцев в прессе названо в статье «умственным повреждением» хвалителей *(31, 98).*

А «Второй войной» для Толстого было как раз противостояние русскому правительству выселенных им на Кавказ сектантов-духоборов, воздерживавшихся от греха повиновения властям, в частности — от призыва на службу в войско. Толстой называет духоборцев «героями войны против войны» за их отказ отношения оружия и от военной службы *(Там же. С. 99-100).*

Так что, как видим, отвлёкся Толстой от художественного сочинения не напрасно: публикацией через В. Г. Черткова статьи в бесцензурной заграничной печати он ещё раз — и отнюдь не лишний! — напомнил мировой общественности о гонимых в России духовных христианах и о необходимости помощи им.

27 августа. «Статья “Две войны” отправлена В. Г. Черткову для издания».

«Авторская дата третьей редакции “Воскресения”» *(Гусев, с. 294).*

28 августа. «Семидесятилетие Толстого. Получено около ста телеграмм от разных лиц» *(Там же. С. 295).*

Софья Андреевна записала в этот день в дневнике примечательную беседу с мужем о романе «Воскресение»:

«Утром Л. Н. писал «Воскресение» и был очень доволен своей работой того дня. «Знаешь, — сказал он мне, когда я к нему вошла, — ведь он на ней не женится, и я сегодня все кончил, т. е. решил, и так хорошо!» Я ему сказала: «Разумеется, не женится. Я тебе это давно говорила; если б он женился, это была бы *фальшь*» *(ДСАТ – 1. С. 405).*

Наконец, дневник С. А. Толстой сохранил свидетельства того, как первоначальный план Л. Н. Толстого подготовить для издания ради сбора средств духоборам три сочинения: «Отец Сергий», «Хаджи-Му-

рат» и «Воскресение» было скорректировано в пользу продажи на исключительных условиях одного «Воскресения», которое в последующие месяцы было расширено Толстым из повести до романа *(Там же. С. 401, 405)*. Откуда ни возьмись, как в “лучшие годы” продажи «Войны и мира», Толстой вновь явил и деловую хватку, и настойчивость в переговорах с будущим издателем «Воскресения» богатым евреем Адольфом Марксом. И, уже не имея пенять на нестяжательство мужа, Соничка только выражает обиду, что деньги уйдут мимо семьи, мимо “бедствующих” в своих поместьях детей Толстого *(Там же. С. 401)*. Но Толстой знал, что такое *настоящее* бедствие!

1 сентября Софья Андреевна, захватив с собой няню, уезжает из Ясной Поляны в Москву — по делам своего издания и к сыну Мише, перешедшему в лицее в 7-й класс. К этой поездке относятся два письма, которыми обменялись супруги. Вот, писанное вослед жене, небольшое открытое письмо Л. Н. Толстого от 1(2?) сентября:

«Серёжа, как ты знаешь, проспал и поэтому мог сообщить тебе, что мы все живы и здоровы. Так тепло, что Саша с Машиной Машей <«Машина Маша», предположительно, это кто-то из прислуги М. Л. Толстой. – *Р. А.*> купалась, а мы живём на дворе, и Машенька не жалуется. Жаль только тебя. Как-то прошло твоё вчерашнее оживление?

Л. Т.» *(84, 326)*.

Письмо становится понятней при чтении ответа на него С. А. Толстой, написанного 3 сентября из Москвы:

«Надеюсь, милый Лёвочка, что вы мне будете писать не на моё имя, а на Матвея Никитыча с передачей <М. Н. Румянцев, артельщик, заведывавший складом книг в хамовническом доме. – *Р. А.*>; очень боюсь, что опять все письма будут возвращаться, как Танины. Ждала сегодня с скорым Серёжу, но теперь 12 часов, и его нет. Он очень меня удивил, когда сунулся в наше купэ, и я узнала родной голос своего собственного сына. В каком он был волнении и отчаянии, что проспал Козловку и не видал тебя! Мы с няней его уговаривали не возвращаться в Ясную, а он всё-таки решил вернуться; очень мне интересно, как отнёсся к этому ты, и рад ли ты был, что Серёжа вернулся.

Я всё ещё живу интересами яснополянской жизни и никак не могу втянуться в деловитость московскую; всё это так скучно, надоело,

всё так, в сущности, меня мало интересует. И опять мрачное впечатление вывесок «Гробовая лавка Зверева», и «Перлов с сыновьями» на василькового цвета фоне; и мишурный грязный покров на бедняке покойнике, которого несли по Покровке, и за которым шли плачущие женщины в чёрных платочках, и всевозможные гимназисты, лицеисты, девочки в коричневых платьях, с отцами, матерями, одни, пешком и на резиновых шинах — всё это сразу навело тоску на меня; а Сашины астры так мне живо напоминают то, что я оставила, и особенно тот чудесный, летний день, в который я так весело бегала по Ясной с своим фотографическим аппаратом. Нужно бы и хотелось бы внести ту же энергию в московские дела, но это невозможно.

Впрочем я кажется пишу нечто в роде «Русского Вестника», как бывало милая Варичка <В. В. Нагорнова в молодые годы вела подробный дневник. – *Р. А.*>, а о Мише ни слова. Он говорит, что экзамен латыни устный выдержал хорошо, а письменный написал плохо; но что он ходит в 7-й класс, а летние работы обещал приготовить к субботе. — Он так мало правдив, что я не знаю, чему верить.

Здоровье моё так себе: я очень нервна и под ложечкой всё болит; а есть совсем не хочется. Чтоб не терять времени, я всё-таки ездила сегодня по таким делам, которые не требуют умственного усилия, но очень устала.

Таню могу порадовать, что у Гросман и Кнёбель говорили, что у них работы очень много и что им особенно приятно бы было её отдать дочери Льва Николаевича. Хозяин должен у меня быть завтра в 11 часов. <«Гросман и Кнёбель» — книжная фирма художественных изданий. Речь идёт о желании Т. Л. Толстой работать над иллюстрациями для изданий. – *Р. А.*>

Лёву же должна огорчить, что *пилки* не взяли назад, потому что они были уже в употреблении. Вообще покупки и поручения исполнять не скоро и не легко; и я, проездив до 6½ часов, ещё половины покупок не сделала, а артельщик говорит, что записи так много, что в три дня не отделаешься. В банках тоже ещё не была и *настоящие* дела никакие ещё не делала.

Очень мне жаль, что я не увижу Соню и Андрюшу, поцелуйте их от меня. И как жаль мне было, что увезли Мишу и Анночку!

Дядя Костя меня сегодня посетил, пришёл *на авось* меня застать, либо нет, как он выразился, и ахал, что не послал тебе телеграмму <на юбилей. – *Р. А.*>, а что будто у Шереметевых в этот день пили за твоё здоровье.

Ну, будет писать, пора спать, хотя не хочется, а эта леденящая тишина и одиночество в Москве — на меня привычно, но дурно влияет.

Целую тебя и всех вас. Пусть в воскресенье утром выедут за мной на Козловку в плетушке. Если не приеду, то в понедельник. Значит я не покончила дела с артельщиком и домом. Ну, прощай, милый друг.

С. Т.» *(ПСТ. С. 707 - 708).*

Помимо дел книжного издания и хозяйственных, Соня принимала много гостей, среди которых, к её досаде, совершенно почти затерялся её возлюбленный в искусстве — Сергей Иванович Танеев. Любовники не нашли в этот раз случая для уединённых сношений, и лишь в вечер 3 сентября «перекинулись несколькими фразами, им одним понятными» *(ДСАТ – 1. С. 408).* На следующий день, ещё грустя о любимом, Соничка гадала на картах, и вдруг выпало ей страшное: «смерть трефового короля», то есть мужа, Толстого:

«Я ужаснулась, и мне вдруг так захотелось к Лёвочке, опять быть с ним, не терять ни минуты жизни с ним, дать ему побольше счастья, — а между тем, когда ушёл Сергеи Иванович, мне стало грустно, что я долго его не увижу. И вот, измученная внутренним разладом, мне захотелось немедленно бежать куда-нибудь, чтоб лишить себя жизни. Я долго стояла в своей комнате с страшной борьбой… Если б кто мог в такие минуты заглянуть и понять, что делается в душе человека… Но постепенно страдание перешло в молитву, я долго молилась упорно, вызывая в себе лучшие мысли — и стало легче» *(Там же).*

Она поспешила завершить все дела, но 5-го опоздала на ночной поезд, и приехала скорым уже 6-го, в воскресенье — как и обещала в письме.

* * * * *

Новый отъезд Софьи Андреевны Толстой из Ясной Поляны в Москву — и новые дни переписки с мужем — относится к периоду с 16 по 28 сентября. С ним связан следующий ряд событий. В дни 12 и 13 сентября была плохая погода, да к тому же и много нежеланных Соне гостей в яснополянском доме — среди которых, конечно, не могло быть Сергея Ивановича. И некуда бежать: дождь, слякоть… А муж, прелестный муж, затеял в оба дня читать вслух гостям отрывки из нового своего сочинения — именовавшегося тогда ещё “повестью”

— «Воскресения». И не всё ей понравилось в этих отрывках: в интимных отношениях главных героев и героини ей явственно послышались отзвуки печально и мучительно памятных ей по Дневнику мужа “похождений” его холостой молодости. И каково ей это слушать при гостях! По их разъезде 13-го в вечер последовало конфликтное общение, о котором Соня рассказала в дневнике:

«Повесть эта привела меня в тяжёлое настроение. Я вдруг решила, что уеду в Москву, что *любить* и это дело моего мужа я не могу; что между нами все меньше и меньше общего... Он заметил моё настроение и начал мне упрекать, что я ничего не люблю того, что он любит, чем он занят. [...]

— Да вот и дело моё духоборов ты не любишь... — упрекнул он мне.

[...] Делу помощи голодающим в 1891 и 1892 году, да и теперь, я сочувствовала, помогала, работала сама и давала деньги. И теперь, если кому помогать деньгами, то только своим смиренным, умирающим с голоду мужикам, а не гордым революционерам — духоборам.

[...] Не могу я вместит в свою голову и сердце, что эту повесть, после того как Л. Н. отказался от авторских прав, напечатав об этом в газете, теперь почему-то надо за огромную цену продать в «Ниву» Марксу и отдать эти деньги не внукам, у которых белого хлеба нет, п не бедствующим детям, а совершенно чуждым духоборам, которых я никак не могу полюбить больше своих детей. Но зато всему миру будет известно участие Толстого в помощи духоборам, и газеты, и история будут об этом писать. Л внуки и дети чёрного хлеба поедят!» *(ДСАТ – 1. С. 411 - 412)*.

По поводу этой именно сентенции Софьи Андреевны в дневнике В. Б. Шкловский, биограф Толстого, высказал некогда ценное уточняющее замечание:

«Внуки и дети имели состояние больше, чем полмиллиона, и права на одиннадцать томов собрания сочинений, а белый хлеб стоил четыре копейки фунт, и они могли купить поезд ситного хлеба» *(Шкловский В.Б. Лев Толстой. М., 1963. С. 707)*.

Конечно, денег хотелось бесконечно больше... Но о настоящих, ещё менее приглядных причинах Соничкиных метаний читатель может догадаться из вышеизложенного.

14-го сентября состоялось примирение: «...Я по какому-то внутреннему, сердечному толчку пошла к нему вниз, в кабинет, и выразила ему сожаление о резких словах моих и желание быть вместе, быть дружными. И мы оба расплакались, и оба почувствовали, что, несмотря ни на какие внешние разъединения, внутренне мы были все эти тридцать шесть лет связаны любовью, а это дороже всего» *(ДСАТ – 1. С. 412)*.

Вечером 16 сентября Софья Андреевна вернулась в Москву. Письмо её, написанное тогда же, сразу по прибытии, не опубликовано. Первое же из писем Толстого к жене в те дни, от 18(19?) сентября, не содержит прямых сведений о его получении. По порядку хронологии приводим ниже его текст.

«Ни разу не написал тебе, милый друг, и не от того, чтобы не помнил тебя и не желал написать, а редко мне бывало так много дела, как эти дни. Дело, много дела, у меня не от того, что извне дела, а от того, что работается, и тогда жалеешь потерять хоть полчаса, а от того устаёшь. А жалеешь потерять потому, что знаешь, что таких полчасов осталось уж немного. Кроме того, и извне: Андрюша с Ольгой <Ольга Константиновна Дитерихс (1872 - 1951), с 8 января 1899 г. жена Андрея Львовича Толстого. — *Р. А.*>, и Самарины <давние знакомые Толстого, Пётр Фёдорович Самарин (1830 — 1901) и его жена Александра Павловна, урожд. Евреинова (1836 — 1905). – *Р. А.*>, и ещё кто-то. Я, впрочем, люблю это. Ещё поправлял немецкий перевод «Христианского учения», который мне прислали, прося поскорее просмотреть. <Статью прислал автору Эуген Генрих Шмит, немецкий издатель и переводчик. — *Р. А.*> Я поверял его два дня с Сашей, которая ко мне очень мила и которую я помню. Ещё духоборческие дела, которые находятся в очень напряжённом состоянии. Надо ехать 2000 человекам, а денег не хватает 50 тысяч. Верю, что устроится, а делаю, что могу, не волнуясь, но и не унывая.

Ну, тебе нечего жалеть о природе. Хороший день был только один, кажется. Машенька каждый день немножко покапризничает, а потом очень мила. Самарин был очень мне приятен, надеюсь, что [и] я ему. Серёжа уехал в Пари[ж] и вероятно скоро будет у нас.

Об Андрюше с Ольгой ничего не пишу, потому что знаю, что ты поступишь хорошо. Прощай, целую тебя.

Л. Т.

За книги благодари» *(84, 327)*.

Очевидно, суждение Л. Н. Толстого о природе как раз отвечает на какой-то фрагмент неизвестного нам письма С. А. Толстой. Сожаления о разлуке с Ясной Поляной и природой были нередки в её письмах.

Письмо привёз матери Михаил Львович, и 21 сентября Софья Андреевна отвечала на него из Москвы следующим:

«Милый друг Лёвочка, Миша приехал из Ясной и ровно ничего для меня интересного мне не рассказал. Только огорчил меня своим замечанием, что ты грустен, о чём и Машенька мне писала и что меня огорчило.

Что озабочивает тебя? Здоров ли ты? Как идёт твоя работа? Ты до сих пор мне ни слова не написал. Андрюшины дела меня тоже очень огорчают. Если когда и совершится этот несчастный брак, то наверное не на долго. Вообще весёлого мало: она его лет на пять старше, холодная, не симпатичная девушка, бедная, а Андрюша её не прокормит; дурной породы. Сочувствовать я не могу и лгать не умею. Жаль мне его, а могло бы быть ещё хуже.

Вчера с утра уехала в Петровское-Разумовское, и восхищалась своим внуком. <В Петровском-Разумовском у Рачинских жил сын Сергея Львовича Сергей Сергеевич Толстой. – *Р. А.*> Лучше, симпатичнее ребёнок не может быть. Своей деликатностью он мне напомнил Ваничку. Например: мать ему говорит: “Серёжа, поласкай маму”. Он гладит её по щекам ручками, и сейчас же, слегка конфузясь, бросился ко мне и меня погладил так же. Ему дали яблоко, он дал няне откусить, посмотрел, откусано ли, улыбнулся и сейчас же предложил мне, а потом осмотрел комнату, нет ли ещё кого. И здоровый, весёлый, очень сложением и головой похож на Серёжу, своего отца. <«Совсем как Ванечка, который, разнося конфекты, никогда не обносил лакеев и вообще прислугу, а всех угощал подряд. И всех ровно ласкал и любил». – *С. А. Толстая. Дневник. 20 сентября 1898 г.*>

Гуляли по саду, а в 8 вечера я была дома, одна; пришёл Гольденвейзер, пил со мной чай и рано ушёл. Третьего дня сидел весь вечер Сергеенко. <Пётр Алексеевич Сергеенко (1854—1930), знакомый Толстых с 1892 г., бывавший у них в Ясной Поляне и в Хамовниках. – *Р. А.*> Годились ли книги, которые он добыл? Если ещё что нужно, то напиши.

Как жаль, что я Самариных не видала.

Был ли ты в Пирогове? Миша мне не мог этого сказать. Сегодня весь день ездила, искала гувернанток у пасторов, в Евангелическом обществе и т. д. Узнать их — невозможно. Думаю взять молодую немку, учившуюся в высшей школе в Риге, и 8 лет жившую в Париже. Лучше ли молодую? Не знаю, на что решаться. Дождь льёт, и

я очень устала, огромные концы. Сейчас укладывала вещи Машеньки к отправке; буду кроить, потом грибы с няней чистить, и читать статьи о тебе.

Прощай, милый друг, напиши мне. Завтра сижу дома и буду принимать гувернанток отовсюду. Целую всех.

С. Т.» *(ПСТ. С. 709 – 710)*.

Ответ Л. Н. Толстого, 25 сентября:

«У нас всё хорошо. Напрасно Машенька написала, что я грустен. Я чувствую себя и физически и нравственно очень спокойно, хорошо. В работе равномерно подвигаюсь, кажется, не дурно. С Машенькой и Варей и своими очень приятно. Жаль, что тебя нет, особенно теперь, когда, как мне кажется, начнётся хорошая погода, которую я жду в октябре. Нынче, 25, я еду в Орёл к Стаховичу, где пробуду $1^1/_2$ дня, т. е. вернусь 27 с ночным поездом, так что застану ещё Машеньку, которая уезжает в понедельник, и встречу тебя, всё, если будем живы. <Толстой ездил по договорённости в Орёл, чтобы осмотреть тамошнюю тюрьму — для описания в романе «Воскресение». – *Р. А.*>

Нынче получил от Сони письмо, которая со слов Илюши описывает твой приём Андрюши и Ольги. Она для меня трогательна тем, что она несомненно неудержимо любит его. — Я как и знал, ты поступила хорошо. Прощай, целую тебя. Немножко грустно уезжать, ничего, или мало зная о тебе. Ты очень мало писала в этот отъезд. А Миша ничего, как тебе обо мне, так и мне о тебе, не рассказал» *(84, 327 - 328)*.

День 23 сентября был днём свадьбы Сони и Льва — уже не первым в их жизни, проведённым в разлуке. Вероятно, несмотря на договорённость на позднейшую дату, Толстой не терял надежды на её приезд в этот день — оттого и отложил писание письма на 25-е, получив её письмо из Москвы, вероятно, не позднее 22-го. Но Соня лишь выразила в дневниковой записи от 23-го сожаление в этой розни — как последствии душевного разъединения *(ДСАТ – 1. С. 414)*. С наслаждением она встречалась с любимым С. И. Танеевым — не только слушая его игру, но и обращаясь уже доверительно за моральной поддержкой и советами — «спокойной мудростью», даровавшей ей, вкупе с музыкой, «силу жить, бодрость духа и спокойствие души» *(Там же)*.

«Подкрепив» себя таким образом психологически и культурно, 28-го она выехала к мужу, в Ясную Поляну.

* * * * *

Следующая поездка Софьи Андреевны, к учившемуся сыну Мише и к накопившимся делам, в Москву, относится к периоду с 11 по 26 октября. За эти дни Толстой собрал более 15 тысяч денег для эвакуации из России духобор и договорился с художником Л. О. Пастернаком об иллюстрациях для «Воскресенья» — всё ещё повести, в понимании автора, хотя переговоры с будущим её издателем, с хитрым и жадным евреем Адольфом Марксом, подталкивали Льва Николаевича к переработке повести в большой роман, с которого издатель сорвал бы куш, но который бы (то есть права на его публикацию) и продать ему можно было очень дорого. Соня в связи с этими переговорами вспоминает в дневнике старый грех мужа, продажу в 1862-м в журнал Каткова повести «Казаки» из-за карточного долга, и сетует на «торговлю душой человеческой» *(ДСАТ – 1. С. 416)*. Вероятно, читателю не надо напоминать, что *тогда*, в 1860-х, и позднее, в 1870-е гг., когда денежки с продаж шли на обеспечение её с детьми барской, зажиточной жизни в Ясной Поляне, а не на убиваемых, ненавидимых её «отчизной» духовных христиан — Соня отнюдь не возражала против такой торговли!

С 11-го числа она с дочерью Сашей снова в Москве, а 12-го супруги обмениваются встречными письмами. Так как письмо Сони по обыкновению провидит зрячим, любящим сердцем и отвечает на вопросы супруга, начнём ниже с письма Льва Николаевича. На конверте письма снова только два слова: «Софье Андреевне», что указывает на его отсылку по оказии, минуя почту. С кем именно — делается ясным из текста письма:

«Пишу, милый друг, действительно для того, чтобы ты видела мой почерк. Гольденвейзер тебе всё расскажет. Мы все здоровы. Я только не похвалюсь работой за эти последние дни.

Марксу послал согласие, взяв только 12 тысяч под одну повесть. Суворин предлагал те же условия. Может быть, коли будет нужда и время, и силы, дам ему другую.

Как ты начала жить? Пожалуйста, ne veille pas [*фр.* не бодрствуй] до 3 часов. Это ужасно расстраивает. Таня весела. Едет провожать Стаховича. — Пиши. Целую тебя, Сашу и Мишу.

Л. Т.» *(84, 328)*.

Издатель газеты «Новое время» А. С. Суворин опоздал с переговорами о публикации «Воскресения», и 12 октября все права были выкуплены Адольфом Марксом для публикации в «Ниве».

Встречное, того же дня, письмо С. А. Толстой:

«Вот ровно сутки, милый Лёвочка, что мы с Сашей в Москве. Ехали просторно, дремали на длинных диванах, Саша всю дорогу ела, пила и читала. Я прочла перевод по рукописи, и ничего нового там не почерпнула — всё из твоих сочинений, и совсем не так уж хорошо изложено. <Исследователи делали предположение, что С. А. Толстая читала в пути рукопись Эрнеста Кросби с изложением взглядов Л. Н. Толстого. *См.: ПСС. С. 711. Примечания. – Р. А.*>

В Серпухове я вышла купить Саше клюквенного квасу, а сама съесть бульону (у меня всё желудок не хорош), и вдруг студент какой-то меня окликнул — это был Митя Дьяков <сын покойного Д. А. Дьякова. – *Р. А.*>. Он сел к нам и ехал до Царицына. В Москве туман и такая слякоть, что терпенья нет; резиновые колёса так и брыжжут в лицо грязью, сегодня мне глаз залепило, когда мы с Сашей ездили в Центральные бани и к “Мюр и Мерилиз” купить тетрадей, перьев и проч. принадлежности для ученья.

До бани же, т. е. до 4-х часов дня, и вчера до 4-х часов ночи мы раскладывали вещи и всё убирали. Кладовые у Дуняши были в таком виде, что пришлось всё мыть и чистить, прежде чем что поставить и положить. Уж и работали мы все! И Саша, и я, и няня, и Маша, и Никита с Аннушкой <муж и жена Воробьёвы, домашняя прислуга. – *Р. А.*>. Яблоки в подвал таскали, я в первый раз в жизни была в нашем подвале.

Теперь приблизительно всё убрано, кроме верха, где я ещё не буду ни топить, ни освещать, чтобы экономию делать.

Мальчики вчера нас ждали с обедом, Миша выразил радость, что мы приехали и тотчас же ушёл к Дьякову, где пропадал до 2-х часов, а сегодня ни тот, ни другой не обедали, уходили к знакомым. Хочу сегодня с Мишей иметь серьёзный и, постараюсь, строгий разговор. С Андрюшей вчера было крайне неприятно: когда он узнал, что истратил денег больше, чем у него было, он на меня рассердился и начал кричать, что я поставила его в фальшивое положение, обманув его. Я ему говорю: «извини меня, я наугад сказала, сама не знала, а книжки были в Ясной». Но моё извинение подействовало

ещё хуже. Потом он смирился, потому что Миша на него напал, говоря, что он несправедлив ко мне, и что: “мама́ ни в чём не виновата, если ты деньги истратил”. Стал у меня совета спрашивать, что ему делать, заложить ли ему Самарскую землю? Я не советовала, а говорила, чтоб, женившись, он пожил в Ясной до мая, потом ехал в Самару, а там — что бог даст. Это ему не понравилось. Советовала искать частную службу в Москве и пожить в Москве в меблированных комнатах до весны. И на это рассердился. Уж не знаю, что он сделает.

Очень мне грустно было расставаться со всеми вами, — промен вас на сыновей с Сашей — не выгоден. Целую всех и всё думаю: теперь обедают, теперь сидят вместе, чай собрались пить, читать. Ну, прощай, милый друг.

Твоя Соня

Пришёл дядя Костя» *(ПСТ. С. 710 - 711)*.

В дневнике на 17 октября Софья Андреевна прибавляет известий о своих занятиях в Москве: о продаже овса «по образцу», делах своего издания и… переписывании снова Дневника мужа. А это занятие, как мы помним, приобретало у неё характер своего рода влечения, всегда бывшего и ставшего и теперь «большим терзанием для души» *(ДСАТ – 1. С. 417)*. А второе, чем терзала себе душу Софья Андреевна, был небольшой, в несколько дней, перерыв в письмах супруга. Адольф Маркс “нагрузил” автора пожеланиями о своей недешёвой покупке, и, как назло, необходимость напряжённой работы совпала у Толстого с простудой и ослаблением сил. С письмом от Эйльмера Моода пришли известия о непростых переговорах его с канадским правительством об условиях переселения духобор в Канаду (остров Кипр привыкшие страдать и быть гонимыми сектанты отвергли из-за чрезмерного для них комфорта). И Толстой был в эти дни обременён сомнениями в том, как он пишет В. Г. Черткову в раздражённом письме 15 октября, «стоило ли столько трудов и отступлений от требований христианства для того, чтобы от одного бессердечного и жестокого хозяина перейти к другому, не менее, если ещё не более бессердечному» *(88, 133)*.

Этот упадок сил и уверенности был “эхом” споров с женой, недовольной продажей «Воскресенья» ради помощи духоборам.

Урвав всё-таки время от удовлетворения Маркса, Толстой написал жене вот такое, вполне приличное, содержательное письмо:

«Мне ужасно совестно, милая Соня, что так давно не писал тебе. Последнее время у меня насморк, — ещё с тех пор, или новый был, — и я был вял и не поспевал, или кто мешал. Нынче тепло и насморк прошёл, но голова болит, кажется, от угару. Работа идёт и хорошо, и дурно. Больше в воображении уясняется, а на бумаге ещё нет. Нет того состояния высшего обладания всеми своими силами, которое для этого нужно. Посетитель у нас был англичанин с Гавайских островов для переговоров о переселении туда духоборов. <Некто Марлсден. Вероятно, вербовщик от какой-нибудь крупной фирмы. – *Р. А.*> К сожалению, уж слишком поздно. Он всех нас пленил описанием этих чудных островов. Другой посетитель был только <сын> Андрюша, который тоже пленил нас, — меня, — той несомненной переменой, которая происходит в нём. Недаром по евангелию одна пропащая и найденная овца дороже 99. Ещё пришёл замечательный старик из Симбирской губернии, христианин, рационалист, который очень замечателен, если понимать его. Про тебя знаю от Анет <Анна Александровна Берс, жена Александра Андреевича Берса. – *Р. А.*> и по письмам, и кажется мне, что ты если не вполне покойном, то не в беспокойном состоянии духа. Наши девочки очень хороши, даже собой, что и тебе желаю. Шучу, совсем не желаю. Желаю тебе спокойствия, твёрдости, которыми бы ты сама была довольна. А то меня всегда и пугает и трогает, когда ты говоришь про свою расшатанность. — Не верь тому, что ты слаба, а верь, что ты всемогущественна и будешь всемогущественна в духовной области.

Я последнее время совсем не выхожу и верхом не езжу. Дивная по погоде осень.

Прощай, милая, целую тебя, хохочущую милую Сашу и могущего быть милым Мишу.

Л. Т.» *(84, 329).*

А 20-го октября от жидовина был получен аванс в 12 тысяч, и Толстой вовсе повеселел. Но для Сонички были уже поздны и это бодрое письмо, и последующие известия: чтением и переписыванием всегда страшных и ненавистных ей дневниковых записей мужа, суетой, недосыпом, а пуще всего раздражением на запаздывание от мужа ответа она расстроила снова своё нервное и душевное здоровье. 20-го она получила вожделенное письмо, но ответить мужу в тот день не могла: «голова болит, как-то застыла от напряжения всех нерв» *(ДСАТ – 1. С. 417)*. Возобновились обонятельные галлюцинации («запах трупа»), тревожность и осенняя депрессия, требовавшая постоянных усилий перебарывания: «Работаю страшно над собой, —

но чувствую, что скоро так или иначе погибну. Что-то назрело в сердце мучительное и безвыходное…» *(Там же. С. 418)*. Встретиться с С. И. Танеевым не удавалось, а другого достойного партнёра для досуга на горизонте не было. О Петре Алексеевиче Сергеенко *(1854 - 1930)*, секретаре, помощнике в духоборческой эпопее и будущем биографе Толстого, заходившем в гости и пригласившем было Соню на прогулку и в театр, она отзывается так: «Похоже, чтоб я *с ним* пошла! И скучно, и несимпатичен он» *(Там же)*. Вот княгиня Цертелева навестила её очень кстати: поплакаться о смерти её единственного сына и о безысходности горя в жизни *(Там же)*. К таким разговорам Соня тянулась с вожделенностью самоубийцы, но и чувствовала себя после них очень, очень худо.

21-го она написала-таки мужу письмо — «нехорошее», как признаёт в дневнике сама, следующего содержания:

«Наконец ты мне написал письмо <19 октября>, милый Лёвочка. А я уже сжалась сердцем в своём одиночестве и перестала ждать какого бы то ни было участия от вас, яснополянских жителей. Никак не могу отучить себя перестать многого ждать от любви людей и разочаровываться от того малого, что получаешь. Пишу, кажется, бессмыслицу, которая и будет выражением моего состояния духа. Вот три дня, как у меня болит голова (опять боюсь нервного удара), вероятно от оттепели и проливного дождя.

Как Серёжа играет сейчас хорошо! Надо бы перестать писать, но я боюсь, что если теперь не напишу, позднее вечером кто-нибудь помешает. Серёжа приехал вчера, был сегодня у жены, ничего не рассказал ещё, тут дядя Костя, при нём неудобно. Серёжа едет завтра в Волоколамск смотреть именья, у него целый список по уездам: Волоколамскому и Рузскому.

У Андрюши небольшой жар, сидит, пишет письма, и получил 3 карточки Ольги, на которые смотрит. Миша с лицеистами уехал в 4-ю женскую гимназию на бал и спектакль. После концерта я всё сижу дома, работаю, пишу (переписываю кое-что), играю мало, сплю мало, и уж надо признаться, — тоска такая напала, старая, знакомая, осенняя тоска, ничем не утолимая, безвыходная, с запахом трупа; всё, как следует *ей* быть. Это дня три только. Знаю я *её* и терплю, как-нибудь пройдёт. Оттого я и не писала эти дни, да боюсь, что ты подумаешь что-нибудь дурное обо мне, а дурного ничего кроме осени и истекающего из неё настроения.

Как мне жаль моей жизни и моего настроения последних проведённых мною дней в Ясной! Хотела приехать к вам на денёк, — да не

могу, воли нет, желанья нет, а большой страх очутиться одной на железной дороге. Приеду, вероятно, к 5-му ноябрю, как хотела.

Сергеенко вчера привозил свою дочь к Саше, завтра она проведёт у нас весь день, а вечером они поедут в театр. Вижу много Сергеенко и тягочусь им. Ещё много бывает дядя Костя.

Что твой насморк, не перешёл ли в кашель? Как здоровье Марьи Александровны? Что же Маша так капризничает и не пустила Колю? Что Танино душевное состояние? Верочку <Кузминскую> очень благодарю за письмецо. И оно было бы приятнее раньше, до приезда Андрюши, а то всё в один день, а раньше я тревожилась.

Прощай, милый Лёвочка, извини за плохое письмо, напишу получше, когда очнусь. Целую тебя, очень рада, что тебе хорошо пишется.

Твоя Соня» *(ПСТ. С. 711 - 712)*.

Ответ Льва Николаевича, отправленный 24 октября с оказией:

«Кроме живой грамоты, Маши, посылаю тебе и мой почерк, милая Соня. Жизнь наша идёт хорошо, и погода 2-й день тёплая и сухая. Жаль, что ты не приехала. Может быть, твоя осенняя тоска и прошла бы. Нынешняя осень и на всех действует удручающе. У меня, не переставая, болит голова и два дня не мог работать. Нынче опять работалось, но голова всё болит.

Твоё письмо ко мне <от 21 октября> было грустное и доброе, и трогательное, а нынешнее к Тане хуже. — Как жаль Серёжу. <21 октября С. А. Толстая писала Татьяне Львовне о размолвках С. Л. Толстого с женой, М. К. Толстой. – *Р. А.*> Я однако не перестаю надеяться, что она образумится. Что между ними, не знаю, но уверен, что самолюбие и гордость, отсутствие смирения с её стороны. Это может пройти с годами. Удивительно, как иные люди не чувствуют тех обязанностей, которые налагает на супругов сожительство и рождение детей. — Это не обязанность, а связь, которую нельзя разорвать. А она этого не чувствует.

Ты приписываешь, вероятно, неправильное значение моему ответу Андрюше на вопрос: хочется ли мне в Москву? Как может хотеться ехать в место, где хуже. Если еду, то потому, что ты там, и мне хочется с тобой быть, а место хуже и беспокойством, и отсутствием природы, и всем тем, чем деревня лучше города. Прощай, до свидания. Целую тебя.

Л. Т.» *(84. С. 330)*.

Соня писала в те дни сестре: «Без Лёвочки на меня находит тревога и безумие; при нём я, как при нянюшке, спокойна и разумна, и потому счастлива» *(Цит. по: МЖ – 2. С. 528)*. Толстой между тем снова чувствовал себя лучше за художественной работой, живя в родной усадьбе, нежели в Москве. Соня, в свою очередь, не могла надолго оставлять учащегося сына, издательских дел и желала для себя новых культурных, музыкальных впечатлений большого города. Она вспоминает: «Постоянные поездки мои из Москвы в Ясную Поляну и обратно утомляли меня, и страстно хотелось мне, чтоб Лев Николаевич приехал жить со мной» *(Там же)*.

Сергей Иванович таки навестил 21 октября хамовнический дом, и, как пишет С. А. Толстая в дневнике, «был нежен, вдохновлён», сочинил для Сони на предложенные стихи красивый романс и тут же исполнил его. И музыка вновь совершила своё волшебное действие: тоска, по выражению Софьи Андреевны, «отвалилась» от неё *(ДСАТ – 1. С. 418)*. Радостными были и возвращение 26 октября в Ясную Поляну, и следующий за ним день 27-го:

26 октября. «Вошла к Л. Н. Комната тёмная; он вскочил, начал меня целовать. …Говорит, что последние дни не мог работать, всё думал обо мне и утро моего приезда видел меня во сне»;

27 октября. «Мы дружны, просты друг с другом. Я много расспрашивала о “Воскресении” и одобрила перемены конца и других мест»;

28 октября. «Нежно и дружно простились сегодня…» *(ДСАТ – 1. С. 419)*.

Прибыла Соня в Москву к вечеру 28 октября, и даже успела написать в тот же день небольшое письмецо к мужу. Судя по его содержанию, родная Москва не в первый раз встретила её неприветливым контрастом в сравнении с милой Ясной Поляной:

«Доехала хорошо, но дома сразу тяжёлая атмосфера нравственная. Андрюша нагрубил за то, что я не даю ему 1000 рублей, которых нет, сказал, что он от *урода* рождён, оттого сам урод. У Миши вытаращенные преступные глаза и он сразу куда-то удрал; мрачный Митя Дьяков сидит. Илья Васильевич на именины ушёл, горничная сидит в сторожке, и все мрачные, виноватые какие-то. Сразу спало с меня Ясенское весёлое настроение и опять те же усилия душевные всё наладить, подобрать. Ох! — только и могу сказать» *(ПСТ. С. 712 - 713)*.

Этими и дальнейшими грустными известиями о поведении младших детей Софья Андреевна, конечно же, желала смутить мужа, как бы повторяя “между строк” давние свои упрёки Льву Николаевичу об “оставлении” семьи и неучастии в воспитании детей. 29 октября о своих столкновениях с сыновьями Михаилом и Андреем С. А. Толстая писала и Татьяне Львовне. На приведённое же выше письмо жены Л. Н. Толстой отвечал 30 октября следующим, переданным с оказией:

«Прочёл твоё письмо к Тане, милая Соня, и ужасно жалко тебя было и больно за тебя. Так ты полагаешь душу на то, чтобы помочь Мише, а он так жестоко, как могут только дети и находящиеся в сумасшествии эгоизма юноши, огорчает тебя. Мне всегда страшно за себя и за других, когда подумаешь, что умрёт тот, кому делаешь больно. Особенно молодым, как Мише, если у него есть сердце, надо помнить об этом. Да у него есть сердце, но он непробудно пьян, не вином, а эгоизмом удовольствий — похмелье и пьянство, пьянство и похмелье. А это плохо, — тратятся жизнь и силы не только телесные, но и духовные; берутся привычки, от которых потом не освободишься. Скажи ему это. Надеюсь, что он очнётся, или уж очнулся. Главное, из-за минутного удовольствия губит счастье истинное, всё счастье жизни.

У меня гости: Накашидзе И. П. и Archer, англичанин, живущий с Чертковым, привёз хорошие вести, т. е. разъяснения всего неясного. Чертков действует вполне хорошо, Archer очень хороший молодой человек. Я здоров, благодарю за посылку.

Тебя люблю и помню. Работаю порядочно. На душе хорошо. Целую тебя. Видел во сне немку и всех вас за обедом.

Л. Т.» *(84, С. 330- 331).*

Герберт Арчер — англичанин-учитель, ставший толстовцем под влиянием проповедей пастора Джона Кенворти, бывший его сподвижником и другом, но переманенный к себе В. Г. Чертковым в качестве сотрудника издательства; в те годы заведывал делом издания переводов «Воскресения».

Софья Андреевна отвечала на это письмо супруга уже на следующий день, 31 октября:

«Милый Лёвочка, спасибо за письмо тебе, и Машу тоже поблагодари. Мне стало очень грустно, когда я вдруг поняла, что долго её не увижу.

Твоё письмо больше относится к Мише, но я ещё не успела ему передать твоих слов; он куда-то ушёл, потому что сегодня суббота. Вчера он смягчился как будто и немного занимался; спасибо Серёже, что он его так хорошо, серьёзно увещевал и урезонивал.

Мне очень скучно живётся, такая потребность сердечная примкнуть опять к тебе и вдруг успокоиться, распуститься душой *во всю*, — не могу тебе хорошенько объяснить своё чувство, когда я при тебе, — но ты поймёшь. Во всяком случае оно очень хорошее, и я страшно боюсь его утратить, как часто утрачивала, когда жила слишком долго без тебя, и не хороша — эта утрата.

Сейчас Миша вернулся, я спросила, как он вечер проводит, он хотел со мной в квартетное ехать. Он говорит: “а я хочу в цирк”. Я говорю: это дикое удовольствие, а квартетное — эстетическое. Он с места начал кричать, что “я делаю, что хочу, оставь меня в покое”.

С ним не справишься, — этот вовсе как камень какой.

Возьму Сашу в квартетное сегодня; у меня была m-me Пастернак <жена Л. О. Пастернака. – *Р. А.*>, у неё лишний билет, она мне дала для Миши или Саши.

Тут Цуриков, Суллержицкий, Серёжа, — и все приятны. Твоё поручение Пастернаку я передала, он ждёт ответа из Парижа и тогда уж, по получении, заявит своё.

Писать нечего, стараюсь подняться, чтоб найти хоть в чём-нибудь интерес, и не могу. Даже музыка уж не замещает пустоты, хотя развлекает всё-таки.

Целую тебя, берегись здоровьем, soignez [*фр.* лечи] твой насморк, а то будет хронический, и это скучно. Таню, Машу, Веру, Колю, Лёву и Дору — всех целую, и тебя лучше всех.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 713)*.

И снова Толстой, о поведении и воспитании детей и о своих планах — в письме С. А. Толстой от 31 октября:

«Утешаюсь мыслью, что теперь Миша опомнился и приходит в естественное состояние. Это ужасно — его поведение. Меня это ужасно огорчает. И не могу тебе сказать, как мне тебя жалко, милая Соня. Я написал ему письмо <не сохранилось. – *Р. А.*>, но почти уверен, что оно не оставит на нём никакого следа. Слишком уж он затянулся в привычке одурения себя: табак, вино, песни и вероятно женщины.

С людьми в таком положении нельзя говорить — их надо лечить, дать слабительного, успокоительного, чистый воздух, движение, сон и только после этого у него начнёт действовать и настоящее человеческое чувство и разум.

Всё это я говорю отчасти затем, чтобы и тебя предостеречь и избавить от страданий. В том положении, в котором он теперь, с ним нельзя говорить и нельзя принимать его слова к сердцу. Есть пьянство резкое, — то, которое получается сейчас от выпитого вина, но человек, который пьёт, ненормален и на другой и на третий день и продолжает быть отравленным. Утешаюсь я только тем, что все они, почти все проходят через это. И что это проходит как-то своими средствами изнутри. И Сережа кутил. Ни на ком так не видно, как на Серёже, как изменяется человек от воздержной жизни. Он совсем стал другой. Правда, что это cercle vicieux [порочный круг]: сделается внутренняя перемена, — перестанет опьяняться, опомнится, — и сделается внутренняя перемена. — Перемена происходит изнутри, а извне слова очень мало действуют, а всё-таки мы не можем не пытаться воздействовать, и ты хорошо делаешь, что говоришь и действуешь. Только надо самому не раздражаться: fais ce que dois, advienne que pourra. [*фр.* Делай то, что должно, и пусть всё будет так, как будет].

Дай Бог, дай Бог, чтобы эти рассуждения были излишни и чтобы он сам за это время опомнился. У нас всё хорошо. Я с нынешнего дня чувствую себя лучше. Довольно хорошо и много работаю. Сейчас далеко ходил гулять. Вчера я искал у себя начатую историю «*Кто прав»,* чтобы послать из неё[?] для прочтения и не нашёл. И потому послал другой отрывок, который вчера тебе послала Таня.

Прощай, Соня, целую Сашу, Мишу. [...]» *(84, 331 - 332).*

В своём Дневнике Толстой записал под 2 ноября 1898 г.: «Дела очень много, но я весь поглощён “*Воскресением”*, берегу воду и пускаю только на “*Воскресение”*» *(53, 211).* Но на время он отвлёкся от романа на совершенно другое предприятие. Тогдашнее «Общество народных развлечений» в Москве известило Льва Николаевича о намерении устроить вечер в его честь и просило прислать для него «эксклюзивный», как сказали бы в наше время, отрывок из неизвестного публике сочинения. Толстой начал было искать неоконченную повесть «Кто прав?», создававшуюся им, как мы помним, в дни голодной эпопеи 1891-93 гг., но без Софьи Андреевны не нашёл, запутался в своих черновиках, но в конце концов отыскал отрывок из другого неоконченного сочинения, повести «История матери». Его отправила 3 ноября с письмом к матери дочь Татьяна Львовна. 7

ноября Софья Андреевна получала цензурное разрешение на его публичное чтение, а 8 ноября вечером, когда в хамовническом доме собрались гости (кстати и С. И. Танеев), прочла его сама, к огромному общему удовольствию *(ДСАТ – 1. С. 421 - 422)*. Отрывок её очень впечатлил — недвусмысленным сближением судьбы героини с собственной её нелёгкой судьбой:

«Сюжет тот, что мать восьми детей, прекрасная, нежная, заботливая мать остаётся одинока к старости и живёт при монастыре с горьким, непризнанным, драматическим сознанием, что вся жизнь убита на детей, и не только ей нет счастья от них, но и сами они несчастливы» *(Там же. С. 420)*.

19 марта состоялся в театре Корша долгожданный, “со скрипом” разрешённый цензурой Толстовский вечер, на котором «Историю матери» читал, по выбору и просьбе самого Л. Н. Толстого, гениальный Вл. Ив. Немирович-Данченко.

Умнейшая Татьяна Львовна, глубоко понимавшая отца, в своём письме к матери от 1 ноября нашла слова и для Миши, и для мамы — отчасти взяв брата под защиту. Прочитав её письмо перед отправкой и поразившись близости к собственным его воззрениям и мудрости оного, Толстой сделал к нему такую приписку:

«Чтобы ты видела мой почерк, а, главное, чтобы сказать тебе, что я тебя люблю, а ещё, чтобы сказать, что Танино письмо одобряю. Приписываю эти неск[олько] слов. Целую тебя и детей.

Л. Т.» *(84, 332 - 333)*.

И вот уже последнее перед очередным возвращением Сони в Ясную Поляну, письмо к ней Льва Николаевича от 2 ноября:

«Ты во всяком письме меня немного упрекаешь, милая Соня, а я, напротив, в эту нашу разлуку особенно часто и охотно тебе пишу. Ты говоришь, что ошибаешься, думая, что я отдал отрывок для того, чтобы тебе сделать приятное. Напрасно. Мне всегда всей душой хочется сделать всё, что тебе хорошо и приятно, и, разумеется, твоё желание для меня много значит.

Нынче было первое солнце, кажется за 2 месяца, прекрасный день. Я совершенно здоров и очень усердно и много работаю два последние дня.

Посетители у нас не переводятся. То были Маклаков с Плевако, Плевако даровитый и скорее приятный человек, хотя не полный, как

все специалисты. Вчера приехал Суллер и Арчер. Нынче Серёжа. Арчер передаст тебе это письмо. Я хотел, чтобы он познакомился с тобой. Он невзрачный, но очень хороший и замечательно деловито умный человек. Ты ничем к нему не обязана и не стесняйся им.

Твоё нездоровье, было, смутило нас, и мы с Таней подумывали ехать к тебе, но последнее письмо успокоило. Дай Бог, чтобы Мишино душевное состояние пришло в порядок. Я надеюсь и верю в его доброе чувство.

Теперь за душу тянет Маша. <В ней умер ребёнок, которого она и родила преждевременно — мёртвого». – *Примеч. С. А. Толстой.*> Видно, она не в силах была выносить. Очень жаль её, хотя она нравственно очень хорошо и разумно относится к своему положению. Положение её такое: были схватки (она говорит), потом прошло, и вот три дня ничего. То она лежала, нынче ходила гулять, и только тяжесть внизу живота и движений нет. Нет тоже и никаких истечений.

Милую Сашу целую и благодарю за письмо. Что-то её воспитанник, Андрюша? Он её осрамил своим обращением с тобой перед отъездом. Как это мне всегда больно слышать. Уж им ли тебе грубить? Марью Алексеевну Маклакову благодарю за груши. Необыкновенно вкусные.

Прощай, милая Соня, целую тебя.

Л. Т.» *(84, 333 - 334).*

Маклаков и Плевако помогали Толстому со “скоростным” теперь сбором материала для «Воскресения». Суллержицкий готовил переезд духоборов и только что воротился с новостями с Кавказа. Не напрасно в это же время явился в Ясную Поляну и Герберт Арчер, помощник Черткова и Моода в переводе и издании в Англии сочинений Л. Н. Толстого. В последующие месяцы ему суждено будет обеспечивать в Англии интересы, пожалуй, самого экстравагантного из писателей эпохи: желавшего получить деньги за издание переводов романа (пусть даже и для нужд духоборов!), не обеспечивая прав собственности на эти переводы. Надорвавшись на этом, Арчер в начале 1899-го сбежит сам в Канаду, помогать духоборам обустраиваться на месте — оставив титаническое, затяжное дело с романом В. Г. Черткову.

В переписке с Адольфом Марксом, в письме 17 ноября 1898 г., Толстой окончательно согласился называть «Воскресение» романом *(71, 491).*

Толстой рассчитывал кончить основные работы над романом до 1 декабря, уже дав обещание жене переехать около этого срока в Москву. В коротеньком письме 1 ноября духовно близким людям, Альберту Шкарвану и Хрисанфу Абрикосову, Толстой сообщал: «Я никогда не был так занят и делом духоборов, и отношениями самыми радостными с разными лицами, и, главное, своим Воскресением. Я так увлечён этим делом, что думаю о нём день и ночь. Думаю, что оно будет иметь значение» (*71, 477*).

Софья Андреевна выехала в Ясную Поляну только 13 ноября, но к 9-му относится уже последнее перед отъездом её письмо к мужу — судя по началу, ответ на его письмо от 2 ноября. Приводим ниже полный его текст.

«Это правда, милый Лёвочка, что ты мне часто теперь пишешь, за что очень благодарю тебя. Сегодня был Арчер и привёз твоё письмо, а его привезла барышня Генкина, и трудно было с Арчером разговаривать; спросишь, — он ответит и опять молчание. Чужие они какие-то эти англичане. Так Серёжа и уехал с Суллером? <«Серёжа уезжал в Канаду с духоборами». – *Примеч. С. А. Толстой*> Бедный, бессемейный Серёжа! *Все* дети за душу тянут, всякий по-своему; если нет настоящего острого несчастья, — то всё же всякий по-своему не — счастлив.

Переписала я для цензуры, а вчера вечером прочла кое-кому твой отрывок прекрасный и трогательный. Он мне очень понравился, и всем. И когда обрывается, то так страшно хочется знать: *что* же дальше, так хочется заглянуть в душу и в жизнь этой сразу симпатичной матери. Я один в субботу свезла в цензуру, потом другой экземпляр отдала попечителю на утверждение, а потом ещё через полицию должно пройти. Просто безобразие, до чего дошло у нас: прочесть беллетристический рассказ — и надо через десять мытарств его пропустить.

Прочти моё письмо к Маше, я там описала Мишу и Сашу. О себе же тебе только напишу: я помню, ты говорил, что есть старческий возраст, в котором остановишься и начнёшь колебаться, куда итти: в гору, т. е. к нравственному совершенствованию, или под гору, т. е. к пустой, пошлой, материальной жизни. Ты дал пример этого быстрого упадка нравственного — Васеньку Перфильева. И вот я с ужасом чувствую, что я быстро иду под гору. Иногда со слезами и мукой в сердце испытываю желание подняться, уметь опять молиться и быть мудрой, и не могу; сейчас же затоскую ужасно и ищу развлечений, и опять раскаяние, зачем платье сшила или в театр пошла,

или глупости болтала, — и так всё хуже и хуже. Неужели это непоправимо? Вчера, отчасти от скуки, отчасти, чтоб воскресенье для детей сделать занимательным, я — не позвала, а согласилась на предложение Лавровской мне петь. <Кн. Елизавета Андреевна Цертелева (Лавровская) (1845, по др. данным 1849 – 1919), певица, преподавательница пения в Московской консерватории. – *Р. А.*> И она пела весь вечер, а Танеев играл, а я читала твой отрывок. Были, кроме этих двух музыкантов — Саша брат с женой, дядя Костя, Маруся с братом, Померанцев для перевёртыванья страниц. Очень хороший, серьёзный провели вечер, — весь в искусстве. Саша никуда не выезжала эти дни и была в восторге; Саша брат тоже. Слыхал ли ты когда Лавровскую? У ней прекрасный голос, и она жалкая, убитая горем женщина, 50 лет, но когда поёт, вся оживает, музыку понимает прекрасно. Она мне осенью сделала визит, я ей его отдала, а потом мы в концертах встречались, и она мне всё говорила, что хочет мне за мою ласку к ней — чем-нибудь послужить, я её и позвала себя веселить, и было очень приятно. Разошлись раньше 12-ти и Миша нигде не пропадал эти дни, всегда был или дома или рано возвращался, со мной ласков.

Что ты ничего не пишешь о Тане? О Маше я ужасно сокрушаюсь, так мне жутко за неё, так всё не по-настоящему идёт её жизнь. И муж её не настоящий, и ребёнок, и здоровье, и положение, — как будто всё это *пока*, а вот будет *потом* лучше. А между тем всё хуже и хуже.

Очень радуюсь быть опять с вами. Но уж не может быть вторично так хорошо, как тот раз. Так было естественно весело, легко и любовно. — Ну, будем надеяться, что опять так же будет, а может быть и лучше ещё. Жду известий о дороге, куда ехать? Целую тебя, милый друг.

Твоя С. Толстая.

Сегодня головы половина болит очень. Представь себе, что я сплю всего три часа в ночь: от 3-х до 6-ти. Даже ошалела совсем. Это только эти две последние ночи. У вас снег, а у нас ни порошинки. Только чувствуется мороз в воздухе, а небо ясно» *(ПСТ. С. 714 – 714)*.

В Ясную Соня приезжала на этот раз с обоими младшими детьми, пробыла там до 16 ноября в радостном, душевном общении с мужем и с природой, и утром 16-го «проснулась в горьких слезах»:

«Страшно не хотелось возвращаться в Москву, главное, расставаться с Л. Н. […] Л. Н. удивился, что я плачу, и начал меня ласкать

и сам прослезился и обещал приехать сюда в Москву 1 декабря. Мне очень этого хочется, но это будет дурно — вызывать сюда его, отрывать от его успешных занятий, от той помощи, которую ему оказывают дочери, переписывая ему, и Александр Петрович, так хорошо помогающий ему своей перепиской. Постараюсь не быть эгоисткой и оставить Л. Н. в Ясной» *(ДСАТ – 1. С. 424)*.

К несчастью и сожалению, Соне не удалось исполнить этой благой установки: слёзы при отъезде (из-за невозможности забрать мужа и всё хорошее яснополянское с собой) знаменовали начало нового нервного и депрессивного расстройства здоровья супруги Льва Николаевича. Но сам Лев Николаевич продолжал недооценивать опасность для душевного здоровья супруги её «слёзных» состояний, что видим, в частности, и из письма его вослед Соне, в Москву от 17 ноября:

«Не могу отделаться от умилённого и грустного чувства, милая, дорогая Соня, когда вспоминаю твои утренние слёзы в день отъезда.

Я совершенно уверен, что-то хорошее, Божеское, которого так много в тебе, победит всё то, что тебя угнетает и томит, всю ту апатию и бессодержательность жизни, на которую ты жалуешься, и что ещё будешь жить радостной, твёрдой и спокойной жизнью.

Я только боюсь, как бы не помешать тебе, а помогать я не могу ничем иным, кроме увеличением любви к тебе, которое я последнее время постоянно чувствую.

У нас полон дом народа. Завтра не будет никого, кроме <Л. О.> Пастернака.

Я вчера далеко ездил верхом, нынче только гулял с Волкенштейном и мало работал. Оба дня болит немного голова, и чувствую себя не бодрым.

Пишу нынче <А. Ф.> Марксу, чтобы отложить печатание до марта. Это нужно и мне, и Пастернаку, и издателям за границей. Вчера получил остальные корректуры до 40 главы включительно. Пастернака наброски прекрасны. Пожалуйста, пиши, голубушка, почаще и не злоупотребляй своим здоровьем — ходи, не торопись никуда и раньше ложись.

Пока прощай. Я рад, что хоть немного поговорил с Мишей. Он произвел на меня своим разговором хорошее впечатление. Надеюсь, что это было искренно и твердо. Толстую, милую Сашу целую.

Л. Т.» *(84, 334 – 335)*.

Упомянутый в письме Толстого Александр Александрович Волкенштейн (1852 – 1925) со времён помощи Толстому в работе на голоде в 1892 году был связан с ним связями разнообразными и непростыми. Бывший под судом и оправданный «народник», Волкенштейн на рубеже 1880-1890-х гг. увлёкся «толстовством», и в своём желании “опрощения” встретил жестокий отпор второй жены — в отличие от первой, осуждённой революционерки, особы совершенно не романтической и не особо любимой. На почве затяжного конфликта с женой он и сблизился в начале 1894 г. с Толстым, до этого быв только адресатом переписки и жертвователем на голодных. В ноябре 1896 г. его первая, любимая жена вышла на свободу — под надзор полиции и без права покидать о. Сахалин. Волкенштейн долго, тяжело, но выхлопотал разрешение выехать к ней, и в тот ноябрьский день 1898 г. заглянул к Толстому для прощальной беседы. В результате Александр Александрович, выехав на Сахалин через Европу и Америку, смог исполнить ряд деликатных поручений Толстого, в частности — передал некое нецензурное (не могущее быть отправленным по почте) письмо для Эрнеста Ховарда Кросби, американского единомышленника Льва Николаевича. На Сахалине, а позднее во Владивостоке Волкенштейн работал по специальности, врачом и сожительствовал с возлюбленной. А Льву Николаевичу пришлось ещё успокаивать письменно вторую, оставленную с детьми, жену Волкенштейна, обратившуюся к нему в письме за разъяснениями.

В тот же день, 17 ноября, отправила мужу из Москвы письмо и Софья Андреевна. Для нас оно значимо упоминанием С. А. Толстой полицейской перлюстрации Переписки как известного и ей, и супругу факта. Вот полный текст письма:

«Милый друг, пишу тебе совсем не в том духе, который ты ждёшь от меня. Дело в том, что я узнала сегодня (не называю в письме никого, ввиду того, что наши письма читают), что в Петербурге ходят очень упорные слухи о том, что недавно в наших яснополянских окрестностях несли икону, и ты будто бы подъехал или подошёл и сказал: “что вы несёте?” Мужики ответили: “царицу небесную”, а ты будто сказал: “Если есть царица *небесная*, то на небе, а это доска”. И будто мужики возмутились и что-то тебе неприятное сказали или сделали. Так как я о таком событии ничего не слыхала, а мне нужно *поскорей и наверное* узнать от тебя: правда это или неправда,

то пожалуйста, напиши мне *немедленно* об этом, лучше с Пастернаком или ещё с кем, а не почтой. Что-то не похоже, чтоб ты с мужиками вёл такие беседы, этого никогда не было.

Приехав сюда, вошла в свою московскую скорлупу, грустную, одинокую. Сегодня весь день провела с Марусей в саду; мы сажали липки и берёзки, привезённые из Ясной с очень плохими, обрубленными кореньями, за что я совсем не благодарна садовнику. День тёплый, птицы пищали, солнце выглянуло, очень хорошо. Потом подстригали акации, сметали листья.

У Саши нога болит, она не в духе и точно не совсем здорова. Миша всё уходит, опять он в не твёрдом настроении; вчера, в тот же вечер, когда я вернулась, он пропадал до 3-го часа ночи, и сейчас, вечер, опять ушёл.

Из Ясной я, и все мы, женский пол, вынесли очень хорошее и даже трогательное впечатление. Теперь я его заглушаю, чтоб не очень грустить. Целую тебя и всех. — Как скучно, что так *злобно* заняты нами в высших сферах Петербурга! Ну, да это не нарушит того *настоящего* нашего внутреннего счастья, которым мы живём, как например, жили эти 2½ дня в Ясной. Прощай, напиши же мне непременно, и скорей.

Твоя С. Толстая» *(ПСТ. С. 716)*.

О взволновавшем Софью Андреевну, пересказанном ей неверно событии Л. Н. Толстой даёт достаточные пояснения в ответном, отправленном из Тулы, письме 20 ноября. Ему предшествовало ещё одно его письмо, от 18-го. Ниже приводим оба письма по порядку хронолого-диалогическому: за каждым письмом Л. Н. Толстого — ответ на него Софьи Андреевны.

18 ноября:

«Вчера писал тебе, милая Соня; но хочется ещё написать хоть несколько слов с Пастернаком. Вера <Толстая> и Пастернак уезжают, так что у нас остаётся только Лиза <Оболенская>. Как ты провела эти два или три дня? Надеюсь, что хорошо. Если бы ты хоть немного чувствовала себя лучше, то было бы прекрасно. По изречению Саши: «Paris n'a pas été bâti en un jour» [*фр.* «Париж не сразу строился»]. Только бы ты спокойно ждала успокоения, зная и твёрдо веря, что оно придёт.

Маша совсем здорова. Я чувствую, что переживаю период упадка: не [ра]ботается, как прежде, как я тебе похвалился. Спокойно ожидаю, когда вернётся, стараясь только не испортить то, что сделано в хорошее время. Так и в жизни надо.

От Серёжи телеграмма из Тифлиса: «*Получил разрешение, едем Батум 17-го*». <С. Л. Толстой сопровождал вторую партию духоборов в Америку. Пароход с духоборами, на котором ехал С. Л. Толстой, «Lake Superior», вышел из Батума с 2000 духоборов 23 декабря 1898 г. – *Р. А.*>

Читаю прекрасную книгу, присланную Crosby, о буддизме.

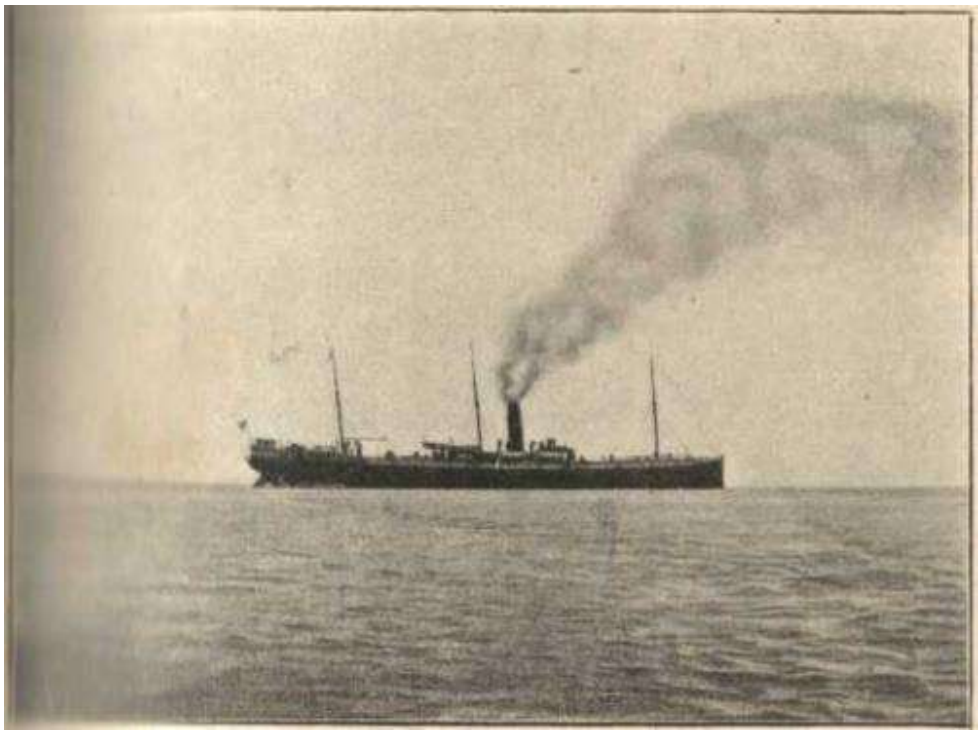
«Жизнь и смерть одно и то же. Жизнь постоянная перемена, смерть тоже только перемена».

«Роскошь, изнеженность мешают душе видеть, понять себя. Также мешает аскетизм, мучение своего тела. В обоих случаях человек думает о теле. А об нём надо забыть».

Прекрасная книга. <Речь идёт о присланной Э. Кросби книге Фильдинга «The soul of a people», переведённой по инициативе Толстого на русский язык П. А. Буланже: «Душа одного народа. Рассказ английского офицера Фильдинга о жизни его в Бирме», «Посредник», М., 1902. – *Р. А.*>

Целую тебя, и Сашу, и Мишу и жду письма нынче. Твой

Л. Т.» *(84, 335 – 336).*



Пароход «Lake Hurone», эвакуировавший духоборов.
Ноябрь 1898 г.

Вот что записано в дневнике С. А. Толстой о получении этого письма от мужа:

«Событие дня — письмо Льва Николаевича ко мне. Привезла Вера Толстая. Умилённое, полное любви письмо. А у меня *умиленье* прошло, поддерживать его — больно. Вперёд, вперёд в жизни, — и поскорее к концу. *Ничего* больше не даст жизнь. Листья опадают, старость — лучше уж скорее конец» *(ДСАТ – 1. С. 425)*.

В ответе 19 ноября С. А. Толстая указывает на внешнюю причину такого своего настроения:

«Сегодня утром привёз Пастернак ещё письмо от тебя, милый Лёвочка, а вчера Вера Толстая, которую мы видели, как всегда, одну секунду, в шубе и шапке, суетящуюся и стремящуюся куда-то: это всегда несносно и досадно, лучше бы вовсе не приходила. Твои письма такие ласковые и добрые и мне помогли эти дни тем, что я хоть издали чувствовала твоё участие; а мне было очень плохо эти дни. В тот самый день, как я тебе писала, Миша опять пропал до 3-х часов ночи; в воскресенье, без нас, он пропадал всю ночь, признался, что был кутёж, и его угощали; и так всякий день. Наконец, когда после вторника, в среду утром я встала после напролёт бессонной ночи, прямо все часы пересчитала, я решила ехать опять к директору <лицея>, написала прошение о принятии Миши на полный пансион. Он, как всегда, отнёсся умно, участливо и осторожно. Сказал, что «vous jouez gros jeu, comtesse» [*фр.* вы сильно рискуете, графиня] — этим подразумевая, что Миша вовсе уйдёт из лицея.

Когда я уехала, он показал моё прошение Мише, предложил хоть на неделю поступить в пансион. Миша говорил, что он вовсе не кутил, что учиться расположен и обещал поступить, если ослабеет. Когда он пришёл домой, я ему сказала, что или поступай, или уезжай из дому, а что всякая твоя ночь мне стоит год жизни, что я измучилась, что сиденье вечера у товарища слишком дорого обходится для моей жизни и здоровья. Он говорит: “я этого не умел сопоставить, теперь я буду помнить, ты во всём права, прости меня”.

Тот же вечер провёл дома, пошёл гулять и вдруг с виноватой улыбкой мне подаёт 3 груши, “это тебе, мама́, ты никогда их не ешь, вот и нашлась груша”. А у нас шутка была в вагоне, что пропала груша.

Вчера и сегодня он получил три пятёрки и в очень хорошем настроении, учится, а вечер проведёт с приехавшими из Орла Лопухиными, Анночка его прельстила <дочь С. А. и А. П. Лопухиных. – *Р. А.*>.

Саша, после Ясной, тоже поворчала, потосковала, нога болела, но теперь наладилась и опять очень мила. Я сижу дома, перешиваю Саше её кофту, пишу, немного играла. Вообще в спокойном и будничном расположении духа, рада, что опять не даром пропали мои очень тяжёлые усилия с Мишей.

Вчера была вечером Елена Павловна, Дунаев, Маруся, Сергеенко и Гольденвейзер, который принёс переписанный отрывок; очень сконфужен и трогателен. Никто у него не брал этой рукописи, и читали только в его семье. Он нам играл очень хорошо сонату Apassionata Бетховена, прекрасно сыграл первую балладу Шопена и ещё кое-что.

Очень мне жаль, милый друг, что твоё вдохновение ослабело, и меня мучает, что не я ли тому причиной и мой приезд? Что делать, и я живой человек с моими слабостями и жизненными требованиями, и некуда меня девать, такое назначение моё — быть твоей женой и мешать, а когда и помогать тебе.

Ещё меня огорчило, что ты второй раз уже с лошадью падаешь, лучше подожди ездить, а то *как* упадёшь. Прощай, милый друг, кончаю письмо, и так длинно. Целую тебя, Таню, Оболенских всех. Береги своё здоровье.

Твоя Соня Толстая» *(ПСТ. С. 717 – 718)*.

На очереди письмо Л. Н. Толстого, ответ жене на её беспокойства, от 20 ноября. Слово «событие» в начале письма подчёркнуто, обозначая таким образом ироническое отношение самого Льва Николаевича к «событию» с носильщиками иконы:

«*Событие* состоит в том, что я, наткнувшись на икону, объехал её полями, но на станции <опять> встретил смотрителя, шедшего ей на встречу. Я сказал ему, что не советую предаваться идолопоклонству и обману. Мужикам же, к сожалению, в этот раз не пришлось ничего сказать. Также и мужики, кроме ласковых приветствий, ничего мне не говорили. Я удивляюсь, что ты можешь интересоваться такими пустяками. Я 20 лет и словом, и печатью, и всеми средствами передаю своё отвращение к обману и любовь к истине, и даже министру писал, что, считая это своей обязанностью, я это буду делать, пока жив. <См. письмо Толстого министру юстиции Н. В. Муравьёву 20 апреля 1896 г. – *Р. А.*> Как же тебя может интересовать такой ничтожный случай. Какой дурак тебя напугал, и какое нам дело до того, что говорят в Петербурге или Казани? Целую тебя.

Л. Т.

Письмо это пишу на станции в Туле» *(Там же. С. 336)*.

Ответ С. А. Толстой, 20 ноября:

«Я не особенно *напугалась*, милый Лёвочка, как ты пишешь. Сведения эти просил Сергеенко для Ухтомского. Сейчас вернулись с Сашей из прекрасного симфонического концерта, Миша дома, сконфужен, но я с ним совсем не разговариваю.

Как трудно с ним! Ни с кем так не было. Может быть выберется на свет, — но может быть меня тогда уже не будет на свете.

Много думаю и скучаю по Серёже. Если будете иметь известия о нём, сообщите мне.

Идёт дождь, тепло и грязно. Целую всех, будьте здоровы и счастливее нас.

С. Т.» *(ПСТ. С. 718)*.

Как и многие письма С. А. Толстой, следующее её письмо к мужу, от 23 ноября — написано *ночью*. Бессонной и тоскующей… На причины укажет нам опять же дневниковая её запись, 22 ноября:

«Если стоны души можно передать дневнику, то могу только стонать и стонать. Миша совсем погибает. Раскаяния его минутные. Третьего дня опять пропадал всю ночь до седьмого часа утра у цыган, вчера посидел дома, сегодня опять пропал. Где он, с кем он — ничего не могу дознаться. Всякий день новые товарищи, какие-то дикие, неизвестные.

[…] Сергей Иванович играл свой квартет, ноктюрн Шопена. Он успокаивал мой гнев, он был ласков, добр со всеми, — добродушно весел. Но и он не успокоил моего страдающего о Мише сердца.

Недаром я плакала, уезжая из Ясной Поляны. Как мне не хотелось расставаться с Л. Н., как нужна была его помощь, защита от жизни, от самой себя… Он прав перед человечеством: он великий писатель. Но мне от этого не легче, он мне не муж, в смысле помощи, он, главное, не отец своих воспитывающихся детей, и это ужасно для матери» *(ДСАТ – 1. С. 426)*.

Текст ночного письма между тем сдержан и намеренно повествует более о *делах*, а не чувствах и проблемах Сони: можно догадаться, что она выполняла, пока было по силам, свою установку на то, чтобы не расстраивать Льва Николаевича и не отвлекать от писательских занятий.

Вот основной текст её письма от 23 ноября:

«…Миша опять вернулся домой рано, и опять с раскаяньем.
Очевидно мои душевные страданья из-за него, — и его тянут за душу, и это ещё хорошо, пока не совсем ещё огрубел.
Съездила в концерт Ауера с Есиповой <скрипач Леопольд Ауэр (1845 – 1930) и пианистка Анна Николаевна Есипова (1851—1914). – *Р. А.*>, играли 3 сонаты Бетховена со скрипкой, и очень хорошо. В том числе Крейцерову. Домой ехала с Алексеем Маклаковым, и всё советовалась о Мише. Думала, что он знает молодёжь и их жизнь. Но он плохо утешал, всё приговаривал: “ничего нельзя сделать”. А я всё надеюсь, что можно.
Вечер 28-го в театре Корша *не* Толстовский, и распорядители в отчаянии, что всё нет разрешения, и я злюсь на этих холопов московских, которые ни один не имеет ни воли, ни мнения, а как прикажут *господа* свыше. Завтра увижу часть этих хамов у Екатерины Петровны Ермоловой.
Вчера вернулся великий князь, и вот теперь ждут его решения. Стараюсь стать выше всего этого лакейства и не сердиться, и никак не могу. А главное, если б зло, но *умно*, а то всё и подло, и глупо что делается. […]
Извините, что душу вас, серьёзных людей, нашими московскими дрязгами. Я приехала под впечатлением толков публики. Целую всех» *(ПСТ. С. 721)*.

К тому же дню 23 ноября относится не опубликованное письмо Софьи Андреевны к дочери Тане, в котором она (зная, что Таня всё перескажет отцу) уже прямо отговаривает её и Льва Николаевича от спешки с переездом в Москву *(ДСАТ – 1. С. 427, 589. Комментарии)*. Письмо это пришло с запозданием, и супруги посчитали было его потерянным.
К 25 ноября относится ответ Л. Н. Толстого на письмо С. А. Толстой от 23 ноября, такого содержания:

«Сегодня получил твоё маленькое письмецо. Нам кажется, что одно твоё письмо к Тане пропало и не дошло. Ты упоминаешь о письме Тане, а она получила только коротенькую записку. Мы всё живём по-прежнему. Положение Маши всё то же. Я много опять работал, — не знаю только, хорошо ли, но много и охотно. Беспрестанно думаю о тебе, милый друг, и рад, что скоро приеду. По крайней мере буду видеть и знать и, может быть, и помогать твоему душевному состо-

янию. А то издалека следишь по тону писем и утешаешься или огорчаешься, может быть, без основания. О Серёже знаю только, что он 17-го поехал в Батум. Нынче пишу ему. Ботинки и калоши превосходны, в самую пору. Погода унылая. Тепло, сыро. Сейчас вечер, я вышел походить, темнота и грязь ужасные. Таня бодрится и хорошо занята. Маша с Колей переписывают. <Переписчик> Александр Петрович осрамился. Опять начал пить, и в пьяном виде был ужасно неприятен, не переставая злился и бранил всех: Авдотью Васильевну и меня, так что неприятно о нём вспомнить. Про Марью Александровну ничего не знаем. Очень хотелось мне съездить в Пирогово до отъезда, но погода и дорога так дурны, что едва ли исполню это. <Такая поездка состоялась 28 – 29 ноября. – *Р. А.*>

Напрасно ты сердишься на запрещение вечера. Меня это скорее радует. Уже так много про меня говорят и пишут, что я понимаю, как многих это должно совершенно справедливо раздражать. Мне бы невольно был противен человек, о котором столько бы говорили такого вздора.

Писем особенно интересных не получал. Читаю по вечерам книгу (о буддизме) и Дикенса. Скажи милой Саше, что радуюсь услыхать её смех, и до отъезда мне как раз остаётся 6 её груш.

Прощай, целую тебя, Мишу, Сашу.

Л. Т.» *(84, 337 - 338).*

27 ноября Софью Андреевну известили, что Толстовский вечер всё же разрешён, хотя и с массой чудовищных условий: запрещено было не только говорить речи о Льве Николаевиче, но даже упоминать о том, что вечер устроен в его *честь (ДСАТ – 1. С. 427).*

В дневниковых записях 27 ноября Соничка упоминает и о полученном из Ясной Поляны письме супруга, и тут же исхитряется радостное известие о его скором возвращении свести на негатив:

«Мне ужасно подумать, что он будет страдать от городской жизни: посетители, шум, уличная суета, отсутствие досуга, природы, дочерей и их помощи — все это ему ужасно. А мои интересы воспитания детей, музыка, мои знакомые, мои выезды, хотя и редкие, в концерты и театр — всё это прекратить мне трудно, а его раздражает. Переписывать же ему его переправляемые им без конца писания я уже и по зрению, и по приливам крови к голове — уже не могу, как прежде, и это тоже его будет сердить и огорчать» *(Там же).*

Но 28 ноября всё встало на свои места. Была получена открытка Льва Николаевича от 27-го, такого содержания:

«Нынче получили твоё письмо к Тане <23 ноября>. Я непременно приеду 1-го с курьерским, и радуюсь мысли быть с тобой.
У нас всё по-прежнему — хорошо.

Л. Т» *(84, 338).*

И радость была уже обоюдной, и полной, беспримесной: «Мы с Сашей обрадовались ужасно и даже прыгали и кружились вместе» *(ДСАТ – 1. С. 428).*

Но не могла Соня радоваться долго и чисто, не испортив себе своей же радости. Не терпя дождаться к 1-му декабря мужа, она вдруг, странным порывом, 29-го едет в Ясную Поляну к нему… а на деле — *за ним.* Чтоб уж не увильнул. Ох!.. и не любил же такого Лев Николаевич! Получилось в результате всё плохо и тяжело, безмерно хуже, чем могло бы быть. Записей в Дневнике Л. Н. Толстого на эти дни мы не имеем; придётся удовольствоваться Соничкиной версией событий, по её дневнику на 30 ноября и 1 декабря.

30 ноября. В Ясной Поляне. «Л. Н. ездил третьего дня в Пирогово (35 вёрст) верхом и верхом же на другой день вернулся, и оттого уставши и вял. Обещав приехать в Москву 1 декабря, он теперь как будто отвиливает от этого приезда. А я так приготовилась к радости привезти его в Москву и пожить с ним. Привезла и хлеба отрубного, и фиников, и спирт — всё для дороги; велела в Москве приготовить комнату, обед, фрукты, хотела сама ему уложить вещи, устроить ему переезд в Москву как можно незаметнее. К вечеру уже было решено, что он не едет; я плакала, и голова у меня разболелась, так что совсем слегла».

1 декабря. «Я опять в Москве. Не спала всю ночь от тяжёлого сомнения: “1-го приеду в Москву”, — писал мне Л. Н. Сегодня 1-е, я еду со скорым и думаю: неужели он не уложится утром и не поедет со мной? Сердце билось, всю меня бросало в жар, и утром он встал, пошёл вниз и слова мне не сказал. Я встала около 10 часов, узнаю, что Л. Н. не укладывается и не едет. Слёзы меня так и душат. Одеваюсь, велю запрягать — он ни слова. Поднимается суета: Марья Александровна Шмидт, Таня, Л. Н. — зачем я еду? Как зачем? Да я так и собиралась, и лошади за нами выедут, и дети, и внуки ждут в

Москве. Рыданья меня душат неудержимо. Беру свои мешочки, иду пешком, велю лошадям меня догонять, боюсь всех расстроить своим видом, не хочу дать Льву Николаевичу удовлетворения в том, чего он каждый год добивается, т. е. вида моего горя от его нежелания жить со мной в Москве. Но это делается невозможно: именно это-то его отношение жестокое и приводит меня в отчаяние. Вижу, с лошадьми и Лев Николаевич в полушубке “Не езди, погоди”. Возвращаемся домой. Он начинает мне мораль читать противным тоном, а меня рыданья душат. Посидели полчаса, во мне происходила адская боль и борьба с отчаянием. Таня пришла. “Я понимаю, что *вам* больно”, — говорит она. Наконец уехала, простившись со всеми и прося меня простить. Никогда во всю жизнь я не забуду этого переезда до Ясенков. Какой был ветер ужасный! Перегнувшись пополам, я так рыдала всю дорогу, что голова треснуть точно хотела. И как они все меня пустили в таком виде! Одно меня удержало от того, что я не легла под поезд, — это то, что меня не похоронили бы возле Ванечки, а это моя *idée fixe*. В вагоне все пассажиры на меня узрились — так я плакала всю дорогу, потом задремала. Ничего я весь день во рту не имела. Домой приехала — унылая встреча детей и внуков, и опять я плакала. Получила телеграмму от Л. Н.: «Как доехала Соня, приеду завтра» *(ДСАТ – 1. С. 428 - 429)*.

Телеграмму Толстой отправил на имя Софьи Николаевны Толстой, а жене в тот же день, 1 ноября, написал такое письмо:

«Сижу и мучаюсь о твоём физическом и, главное, духовном состоянии и упрекаю себя. Ты говоришь, что я хочу быть правым. Напротив, я хочу быть виноватым и чувствую себя виноватым за то, что не сумел сделать так, чтобы не огорчать тебя. Если ты страдаешь, и от меня, то, стало быть, я виноват. И жестоко каюсь в этой вине. Если ты была возбуждена и нервна, то тем более я виноват, что вовремя не перенёсся душой в тебя и не пожалел тебя. А жалею теперь, но поздно. Мне так, взвесивши все pour et contre [*фр.* за и против] московской жизни, равно где быть — так как там неудобства города, но преимущество быть с тобой совершенно уравновешиваются, что не было никакого основания мне не хотеть ехать. Если я сказал вчера, что мне лучше не ехать, то только потому, что <был> устал ещё и не хотелось суеты [?] переезда. — Ну, да всё равно; как бы ни было, — нет причины огорчаться, и я с радостью приеду, особенно теперь, потому что не буду спокоен за тебя.

Пишу, и не пишется, потому что ты так напугала меня тем, что все слова мои понимала так, что они огорчали тебя, что боюсь писать.

Ну, да что много говорить. Если я по недоразумению и дурному, усталому настроению огорчил тебя нечаянно, то прости меня. Я потому прибавляю: нечаянно, что не мог нарочно сделать тебе больно, так как, как я писал тебе и говорил, я в последнее время чувствовал всё только большую и большую любовь к тебе.

Ну вот, отвечай поскорее, а я поскорее приеду и, может быть, в этот промежуток съезжу в Пирогово, но главное дело в том, чтобы ты не страдала так, как ты страдала здесь и уезжая. — Страдая так, ты страдаешь не одна, а и я тоже. И не могу же я de gaité de coeur [*фр.* умышленно] себя мучить. Стало быть, если это случается, то по какому-нибудь несчастному подозрению.

Целую тебя. Напиши скорее.

Л. Т.» *(84, 338 – 339).*

Писать она вряд ли бы стала, но уже и не понадобилось: 2 декабря Л. Н. Толстой, конечно же, приезжает в Москву. Увы! его не встретила там та добрая, благожелательная обстановка, какую бы он застал, реши он неожиданно вернуться чуть ранее уговоренного дня: скажем, 28 ноября. Записи Софьи Андреевны в дневнике на 2 декабря сквозят горькой обидой и затаённой злостью:

«Вечером получила от Льва Николаевича письмо: он просит прощенья за свою якобы невольную жестокость, за недоразумение, за своё утомление и другие разные причины, почему он не поехал и так меня измучил. Потом он и сам приехал… У меня невралгия правого виска, у меня болит вся внутренность, я не спала всю ночь, всё во мне застыло, оцепенело как-то. Ни злобы, ни радости, ни любви, ни энергии жизни — ничего нет. Всё хочется плакать, и жаль мне даже своей свободы, своего здоровья и своих друзей, которых теперь, если и придётся видать, то не так, как когда я одна и когда они мне всецело принадлежат. Один день страданий убил во мне всё!» *(ДСАТ – 1. С. 429 – 430).*

В «Моей жизни» С. А. Толстая вспоминает тяжёлые в доме психологические последствия новой своей «пирровой победы» над супругом:

«…Я видела, что Лев Николаевич, приехавший 2-го декабря, как будто раскаялся в своём замедлении приезда в Москву. Но и приезд его принёс мало радости. Мы все поняли и почувствовали, что он был вынужден, и я жалела очень об этом. Перед приездом Льва Николаевича все жили бодро, дружно; молодёжь даже весело. А как только Лев Николаевич приехал, точно случилось что-то тяжёлое. Говорили шёпотом, ходили на цыпочках; какая разница настроения всего дома! Прожил Лев Николаевич в Москве до 19-го декабря и

снова уехал в Ясную Поляну, и я уже не удерживала его, тем более что мы все решили провести праздники в Ясной Поляне.

[…] Все были веселы, все радовались быть в деревне всем вместе. […] Прожив все праздники, мы вернулись в Москву уже 10-го января 1899 года» *(МЖ – 2. С. 534 - 535)*.

КОНЕЦ СОРОК ШЕСТОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Сорок Седьмой.
ВИРУС НЕЛЮБВИ — ОПАСНЕЙ ВСЕХ
(9 – 16 февраля 1899 г.)

Мы оставили супругов-участников Переписки, воссоединившихся к 20 декабря 1898 г. в Москве. Толстой вновь погружается в работу над «Воскресением» — настолько напряжённо, что оставляет до 2 января вести Дневник. Отправлены до конца года из Батума три партии духоборов, и нужно продолжать, и нужны деньги… Ближе к Рождеству, 23 декабря, семья перебралась в Ясную Поляну.

Начало нового года, судя по первой записи, было для него не слишком радостным: не столько собственной «желчной лихорадкой», сколько трагедией дочери Маши, буквально в новогоднюю ночь разродившейся недоношенным и скоро умершим ребёнком *(53, 217)*. Это событие болезненно восприняли оба родителя, а Соня к тому же пережила в последние декабрьские дни болезнь мужа (ту самую «лихорадку» с жаром), ухаживала, терпя обычное в этом состоянии ворчание и недовольство больного Льва Николаевича, и к Новогодию ей уже постыла Ясная Поляна. Этому способствовала и непривычная, депрессивная обстановка зимней деревни:

«Тяжёлые рассказы о яснополянских мужиках: брат обокрал брата, вдова убила незаконного своего ребёнка, отец просовал в тесную щель клети своего малолетнего сына и велел ему красть и подавать себе вещи… Всё досадно, всё больно. О, власть тьмы!» *(ДСАТ – 1. С. 434 - 435)*.

Не радовали её и святочные гуляния дикой деревенской русни: «…Душа иного просит и по другом тоскует. […] Гармонии, пляска, хор песен неудачный… Скука! В мои года и с моими требованиями духовными всё это тяжело. Жаждешь серьёзных отношений с

людьми, серьёзной музыки — а уж никак не гармоний, которые я всегда ненавидела» *(Там же. С. 438)*.

Для Льва Николаевича “понедельник начинался в субботу”, и, оправившись от желчного приступа, он не оставлял своих занятий и 31 декабря, и в первые январские дни. Отвечал много писем, среди которых был 31 декабря ответ отставному фельдфебелю М. П. Шалагинову, разросшийся позднее в новое антивоенное публицистическое сочинение — «Письмо к фельдфебелю» *(см. 90, 54 - 59)*. А ещё одно открытое письмо, тоже антивоенное — «Письмо к шведам» было начато Толстым в первой декаде января 1899 г. как ответ на обращение группы шведской интеллигенции в связи с созывавшейся, по инициативе Николая II, мирной конференцией в Гааге в мае 1899 г. *(см.: Там же. С. 60 – 66)*.

Толстой проявлял немалую работоспособность, был приветлив и ласков с семейными и гостями.

Другим, очень драматически воспринятым Софьей Андреевной событием, была женитьба 8 января в Туле сына её Андрея на Ольге Константиновне Дитерихс: «Настроение всех, а главное моё, было нерадостное; я предчувствовала, что счастья в этом браке не будет. Не с характером Андрюши можно было брать жену почти на шесть лет старше его» *(МЖ – 2. С. 535)*.

Но праздники отошли, и повседневные дела немного успокоили Соничку: «В деревне больше досугу, и я пользовалась им, переписывала дневники Льва Николаевича, шила ему блузу и радовалась на то, что он был в хорошем духе и даже любезен с приезжавшими гостями… Очень досадно мне было, что пришлось ехать в Москву, — отвозить подругу Саши, Соню Колокольцеву…» *(Там же)*.

В Москву Софья Андреевна выехала 10 января 1899 г. и пробыла там до 8 февраля. К огромной её радости, Лев Николаевич охотно согласился ехать с ней — быть может, для облегчения себе работы над «*городским*» в немалой степени романом? Краткая поездка была тут же обращена в *переезд* — с приятными для Сонички перспективами культурной, музыкальной жизни.

Но уже на следующий день после переезда, 11 января, она почувствовала недомогание: «грудь вся жжёт, голова болит» *(ДСАТ – 1. С. 440)*. Она тогда буквально “переходила на ногах” свою болезнь, посещала концерты, приглашала домой музыкантов и за февраль успела поссориться (очень глупо взревновав из-за упоминаний о другой женщине) и помириться со своим платоническим любовником, Сергеем Ивановичем Танеевым *(Там же. С. 447 - 449)*.

Толстой между тем собирает впечатления и нужные материалы для романа «Воскресение»: например, посещает в середине января

надзирателя в Бутырской тюрьме, чтобы расспросить о быте заключённых, а затем, для продолжения полезнейшего и взаимоприятного разговора, принимает Виноградова в своём хамовническом доме.

Целые два дня, 14 и 15 января, Лев Николаевич наслаждается маленьким литературным открытием — рассказом А. П. Чехова «Душечка», который до конца жизни будет считать одной из лучших “вещиц” своего собрата по перу. 24 января Толстой уже в третий раз, и опять с удовольствием, читает «Душечку» гостям.

Усиленная работа над романом «Воскресение», начатая 2 января, продлится практически весь 1899-й год — до 17 декабря.

В февральские дни, как раз между ссорой и примирением с Сергеем Ивановичем Танеевым, у Сони совершилась в жизни немалая, и настоящая, драма, лишь скупо отразившаяся в одной из записей её дневника, но гораздо подробней и ярче — в переписке с супругом и воспоминаниях «Моя жизнь».

Начнём с мемуарного известия:

«Судьба не баловала меня. …Вдруг я получила 7-го февраля телеграмму, что опасно заболела сестра моя в Киеве. Немедленно собралась я и, простившись с своими, с тяжёлым сердцем уехала к больной сестре» *(МЖ – 2. С. 539)*.

Уехала она 8 февраля, а на следующий день, 9-го, сообщила о почти безнадёжном состоянии сестры — вероятнее всего, в телеграмме, которая не опубликована. Мало сведений и в дневнике Софьи Андреевны, лишь это:

«В Киеве застала сестру Таню с ползучим воспалением обоих лёгких, слабую, с воспалённым лицом, красивую страдающую и обрадованную мне. Описывать её болезнь, моё влияние духовное на неё, мои чувства ужаса потерять лучшего друга и моё *открытие* неожиданное, *что такое смерть*? Всё это я не буду. Верно описать свои чувства и мысли можно только непосредственно, и это записано в моих письмах» *(ДСАТ – 1. С. 448)*.

К ним мы ниже и обратимся. В тот же день, 9 февраля, оправившись от поездки и первых ужаснувших впечатлений, Софья Андреевна пишет для мужа большое письмо, следующего содержания:

«Ну вот я и приехала, и совсем не знаю, что сказать о положении Тани; я не знаю, что в подобных болезнях опасно, и так всем нам страшно — ясно представить себе, что действительно опасно, и что, может быть, близок конец, — что мы все бодрим друг друга и сами себе не позволяем делать никаких заключений.

Дурно то, что воспаление оказалось сегодня ползучим, т. е. после вчерашнего кризиса, выразившегося сильнейшим потом, температура к ночи поднялась опять выше 39; но сегодня утром было 37 и 6, а сейчас 38 и 1. Процесс воспаления, значит, не кончился и никто не может знать, какой будет исход. Молодой доктор при Тане неотлучно, профессор бывает 3 раза в день. Чирков лежит с простреленным лёгким, вне опасности теперь, а не рукой, и потому его не могли позвать на консилиум, а очень желали, и только на него и указывал лечащий профессор. <Василий Васильевич Чирков, ассистент Захарьина, знакомый врач Толстых по Москве; в то время профессор Киевского университета. – *Р. А.*>

Мне Таня очень обрадовалась, несколько раз повторила: “я рада, как я рада тебе”. И вчера, и сегодня утром она всё говорила обо мне и просила меня вызвать. Я ужасно довольна, что я приехала; Саша зарыдал, когда увидал меня. Вчера, говорят, во время кризиса, Таня созвала всех детей, мужа, и стала со всеми прощаться; 3-го дня её причастили и исповедывали. Она сегодня мне говорит: “если я умираю, скажите мне, я так и буду знать и готовиться, я смерти не боюсь, но я хочу знать». Маше же она говорила, что “я не боюсь смерти, но не хотела бы умереть”. — Вообще сил у неё относительно ещё много, она пишет, например, свои желания на бумажке, чтоб не говорить, ей трудно говорить и дышать. Вид у неё, как у всякой больной, глаза только очень потухшие, жалкие. Ох, как больно мне на неё смотреть! Знаю я все её мысли, её чувства, знаю её отношение ко мне, к детям, к мужу, к жизни — и вдруг почувствуешь эту стену, которая всегда возникает между важностью, серьёзностью умиранья и легкомыслием нашей обыденной жизни. Если и поднимется Таня от этой болезни, то всё же теперь, в настоящую минуту, она в состоянии ближайшем к не жизни, чем к жизни, так она слаба, так вся сосредоточена на своей болезни, прислушиваясь к тому, что в ней происходит.

Маша тут, она распорядительна, хорошо ухаживает за матерью и очень мила. Саша в напряжённом состоянии, то рыдает, то бежит покупать ей вату, а то разговорится и даже посмеётся. Мальчики вовсе не угнетены и все четверо продолжают жить своими интересами.

Вера расстроена больше всех. Она страшно измучена, с отчаянием говорит о возможности кончины матери, и для неё и для Саши это, конечно, огромное было бы несчастье, ничем не поправимое и не утешное.

Что я думаю? Не знаю, пока. Меня пугает отчуждённость Тани от всех, пугает то, что принятое лекарство вырвало; дурно и то, что она

плохо стала слышать; это было у Насти Сафоновой накануне смерти. — Ну, да что Бог даст!

Ехала я очень хорошо, вагон прямого сообщения, дамы приятные. У Лёвы всё хорошо, он так был ласков со мной. Но голова какая-то шальная, и дорога и напряжение ожидания того, что я застану, и вид Тани, всё это что-то со мной сделало, чего я ещё в себе не разберу. — Берегитесь без меня, пишите. Целую всех, буду извещать.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 723 – 724)*.

Недостаток известий от того дня в Сонином дневнике компенсируют нам не одни письма, но и её воспоминания, написанные в годы после огромнейших её страданий и потери мужа, когда ужасное из прежних лет уже не столь ужасало, как прежде:

«Мы иногда не выдерживали вида страданий сестры, по очереди выбегали из комнаты и плакали. Обе мы исстрадались и страшно при этом утомлялись. Мальчики, сыновья сестры, ходили растерянные и вопросительно взглядывали на меня, как бы ожидая утешения от меня.

Настроение сестры было высокорелигиозное, она часто просила читать ей Евангелие и мысленно всё сочиняла письмо к Льву Николаевичу об отвлечённых, религиозных своих мыслях» *(МЖ – 2. С. 539)*.

Религиозно, даже покаянно восприняла испытание и Соня:

«Ходьба за любимым больным невыносимо тяжела. Эти сдавленные в груди и горле слёзы, эта сердечная боль от жалости к страданиям, нахлынувшие воспоминания о всём том, что пережила я с любимым и любящим существом — всё это ужасно! После довольно долгого времени моей праздной, эгоистической, греховной жизни хорошо то, что я хоть эти несколько дней послужу и пострадаю при близком и любимом существе» *(Там же. С. 540)*.

Так получилось, что письмо Л. Н. Толстого от 11 (12?) февраля имеет не ответный, а встречный характер: он не дождался задержавшегося письма от жены и написал, ещё не имея известий из Киева. Вот текст письма:

«Не писал тебе вчера, милая Соня, потому что встал с очень сильной болью в руке и с лихорадочным состоянием. Нынче совершенно здоров и могу писать, не боясь встревожить тебя.

С замиранием сердца ждём известий о милой, дорогой Тане. Я решил, что поеду, если только Саша <Александр Андреевич Берс, брат

С. А. Толстой. – *Р. А.*> поедет, но ему нельзя ехать, и мы остались. С одной стороны, это лучше, потому что и стар и слаб и могу стеснить тех, кого хочу видеть. Хотя я решил остановиться в гостинице. Спрашиваю я докторов: что, как ползучее воспаление? Говорят, что при сильном организме — ничего. Знаю, что все умрём, что в смерти нет ничего дурного, а больно. Очень я её люблю. Скажи ей это, если можно. Жаль и Александра Михайловича и детей.

У нас всё хорошо. Миша вчера и нынче не ходил <на занятия> от сильнейшей зубной боли, — нынче раздулась щека. Посетители одолевают. Но нынче в первый раз немного поработал хорошо.

Что ты? Нет ещё писем от тебя. Береги себя и помогай им. От Серёжи письмо к тебе. Всё ещё в карантине. Интересные подробности.

Целую тебя и всех Кузминских.

Л. Т.» *(84, 340)*.

На конверте надписан адрес: «Киев. Судебная палата. Александру Михайловичу Кузминскому» *(Там же)*.

Об обстоятельствах прибытия с партией духоборов в Америку и карантинной задержке из-за вспыхнувшей на корабле оспы С. Л. Толстой писал Софье Андреевне 26 января/7 февраля 1899 г. из Галифакса: «Мы теперь вот уже 12 дней в карантине. До сих пор около 700 духоборов живут на пароходе, а 1300 на острове Св. Лаврентия в бараках» *(Цит. по: Там же)*.

Нельзя говорить, что супругам в этот раз было “не до переписки”: “до переписки” им было *всегда*. Но разные, и уважительные, причины отвлекали обоих, и Толстой, получив ещё одно (третье в данном Эпизоде и, к несчастью, не сохранившееся) письмо, ответил жене только 15 февраля следующим:

«Очень жутко писать тебе, милая Соня; пишешь, не знаешь куда, в какое положение. Сейчас получил твоё 3-е письмо — письмо почти безнадежное, и были бы в отчаянии, если бы не третьегоднешняя телеграмма, обнадёживающая. <Телеграмма не сохранилась. – *Р. А.*> Письма твои не могу без слёз читать. Чувствую и всю напряжённость твоего положения, и только жалеешь, что не можешь сам быть с вами. Все наши новости так бледны в сравнении с тем, что происходит у вас. Как хорошо и верно она сказала о том, что религиозное чувство разрастается в те минуты, когда становишься лицом к лицу

с Богом. Кабы приучаться помимо смерти вызывать в себе это разрастание. Таня простужена, насморк. Миша был болен. Был директор <лицея>, я с ним говорил, стараясь поддержать его в его добром расположении к Мише. У меня болит спина и большая слабость и насморк — не выхожу. Ничего особенного не случилось. От Серёжи нет новых сведений. Приехал <Алексей Ильич> Бакунин из Канады. Он не видал Серёжу. Знаю только по вырезке из английских газет, присланной Чертковым, что они выехали из карантина и поехали в Винипегу <адм. центр штата Манитоба, Канада. – *Р. А.*>. Серёжа велел писать тебе в Нью-иорк, куда я нынче писал ему и Crosby, который, надеюсь, его там примет хорошо.

Очень ждём нынче телеграмму. Если не будет завтра — пошлю с вопросом. Я ничего не пишу. Имею отвращение к своей работе. Только окончил все письма и статью самую простую с отчётом об распределении денег.

Посетители всё не дают покоя. — Вот и невозможно писать тебе, потому что не знаешь, в каком положении дела и твоё душевное состояние.

Во всяком случае нежно целую тебя и разделяю душой твои чувства. Целую Машу, Веру и всех.

Л. Т.» *(84, 341)*.

В этот раз письмо пошло, для быстроты, по оказии: на конверте нет адреса, а только помета: «Для передачи гр. С. А. Толстой» *(Там же)*.

Духоборы в Канаде. Возделывание поля

Упомянутый в письме Алексей Ильич Бакунин (1874 - 1945), хирург, революционер, масон (ложа «Северная звезда») был племянником анархиста М. А. Бакунина и в декабре 1898 — феврале 1899

вместе с Л. Сулержицким сопровождал духоборов при их переезде из России в Канаду на грузовом пароходе «Лейк Гурон».

Это отвратительное свидетельство удалённости, чужести «православной» России и Христу, и всему христианскому: то, что даже близкими его, женой, его христианское служение страдающим понималось либо как служение своей славе, либо как внешнее выражение неких крамольных, радикальных, «антиправительственных» убеждений — и к делу этому, будь то печатная проповедь, или кормление голодного народа, или эвакуация гонимых, немедленно присасывались, с одной стороны, консервативные ругатели, а с другой — людишки тщеславные, как В. Г. Чертков, либо политически возбуждённые: разномастная интеллигентская либеральная или революционаристская сволочь и нечисть, часто связанная с такой же сволочью на Западе. Нельзя уж во *всём* винить Толстого, но приглядываться ему к своим “помощникам” следовало бы куда пристальней.

Получив от супруга почтою письмо от 11 (12?) февраля, Софья Андреевна отвечала ему встречным, того же 15 февраля письмом, следующего содержания:

«Милый друг Лёвочка, сегодня неделя, как я уехала от вас, и только вчера вечером я получила от тебя письмо и ужасно ему обрадовалась. Прочла его и Тане, она умилялась и очень хотелось ей, чтоб я ей это письмо оставила; а сегодня она просила написать тебе, чтоб ты ей разок написал, что это ей будет и радость и утешение. Наверное ты это сделаешь; если б ты видел её, как она это просила, шопотом, говоря слова с расстановкой и со слезами. Она нервна и слаба ужасно. Температура всё держится между 37 и 1 и 37 и 7. Сегодня профессор мне сказал: “подождите уезжать, графиня, завтра я вам всё скажу, сколько времени может продлиться это состояние; по-видимому воспаление будет так же медленно разрешаться, как медленно оно распространялось”. И это меня смутило; я думала вчера и третьего дня, что всё идёт к лучшему. Главное теперь её страданье в приступах кашля. Она пугается и днём, и ночью, когда подступает кашель; сегодня, т. е. прошлую ночь, я с ней сидела совсем одна до 4-х часов, потом пришла Вера. Мне очень жаль оставлять Таню; хотя я страшно утомлена, спина болит и руки, потому что я её поднимаю сама, только и даётся мне и доктору; но домой страшно тянет, боюсь постоянно за всех вас, и конечно, главное, за тебя, и скучаю по тебе очень. Думаю выехать после завтра в час дня; заехать к Лёве и Доре

от 1 часу до вечера, это будут его именины, — и быть в Москве 19-го утром, т. е. в пятницу.

Но всё это я в первый раз осмеливаюсь загадывать и в исполнении этого не ручаюсь; может быть не хватит духу уехать от Тани. Из Ясной я телеграфирую; это будет 18-го, в четверг, и если у вас что не ладно, то дайте мне знать, тогда я не остановлюсь у Лёвы. Очень уж трогательно он просил меня и лично, и письменно.

Надеюсь, что руке твоей продолжает быть лучше и что ты бережёшься. Меня очень смутило, что было лихорадочное состояние; эти лихорадочные ревматизмы хуже. Жалею я тебя всё время и душой, т. е. о том, что ты теперь не спокоен и не совсем здоров, в такое время, когда ты работаешь спешно, и когда тебе нужны всякие силы. Вот уже и март подходит, а февраля у меня и не было. Помнишь, Лёвочка, ты говорил, что ни один февраль для тебя не прошёл без дурного? Вот и опять тревожный этот месяц. Лишь бы бог дал всё кончилось благополучно!

Я ещё не выходила ни разу из дому. Сегодня солнечный день, два градуса мороза, и я еду покупать Тане тёплую кофточку, зернистую икру и проч. Ну, прощай, милый Лёвочка, целую своих девочек, Мишу, тебя, и мне иногда грустно думать, что вам без меня всем лучше и спокойнее, а мне так хочется домой.

Но всё время радуюсь, что хоть эту неделю я была *наверное* нужна и приятна здесь, и Тане, и всем. Когда я завариваю об отъезде, у всех такой непритворный ужас, точно они лишаются все главной опоры и физической, и нравственной. Это я не хвастаюсь, а правда.

Еще всё хочется сказать что-нибудь вам всем нежное, да так пусть во мне останется, не знаю, как выразить.

Твоя С. Толстая.

Вели артельщику выслать Тане книгу Сергеенки, и купите ей хорошее, переплетёное Евангелие крупным шрифтом, надпиши: «*Милой Тане от Л. Толстого*», как ты надписал на маленьком, и пришлите вместе обе книги. Эта её мечта. Пришлите на имя хоть Александра Михайловича, но поскорей. Евангелие купить в Евангел<ическом> Обществе, где-то на Никольской улице. Ей трудно читать мелкий шрифт, потому и нужно крупный» *(ПСТ. С. 725 - 726)*.

К данному Эпизоду относится ещё только одно послание Л. Н. Толстого жене: телеграмма 16 февраля («Всё благо-получно. Что больная»), интересная более всего указанием точного адреса, где вынесли

страдание болезни обе сестры: «Киев. Шуляпинская 9. Кузминскому. Толстой» *(84, 342)*.

В «Моей жизни» С. А. Толстая вспоминает:

«Когда сестре стало лучше, я стала поговаривать об отъезде, но и муж её, и дети приходили в ужас при мысли о моём отъезде. И то, что я была несомненно нужна, мне было приятно» *(МЖ – 2. С. 540)*.

Забрав написанное для Льва Николаевича карандашом письмо от сестры, она всё-таки уехала 17-го из Киева, и, заехав 18-го на именины Льва-младшего, сына, в Ясную Поляну, 19-го февраля 1899 г. воротилась в Москву — лишь для того, чтобы в пути (или уже в Москве?) таки подцепить тот вирус смертельной «инфлюэнцы» (коронавирус, штамм гриппа А подтипа H3N8), от которого уберегла её судьба в начале 1890-х. Пандемия «русского гриппа», нанесла первый удар в период с октября 1889 года по декабрь 1890 года с повторными вспышками в марте — июне 1891 года, ноябре 1891 года — июне 1892 года, зимой 1893—1894 годов и в начале 1895 года. Наконец, чудовищная вспышка заболевания, начавшаяся в январе 1899 г., сразу после рождественских и новогодних гуляний, унесла в 1899-1900 г. в Европе жизни более миллиона человек.

В дневнике С. А. Толстой на 10 и 11 марта 1899 г. остались о болезни такие записи:

«28 февраля я заболела инфлюэнцей, слегла в постель и пролежала восемь дней. Болезнь осложнилась воспалением верхушки левого лёгкого. […] У меня был очень сильный жар, и я задыхалась. И мне было приятно, что Лёвочка испугался и дорожит мной.

[…] 11 марта обморок в симфоническом концерте. Слегла до 8 апреля. И потом всё ложилась и была очень слаба. Собственно, здорова я и не была с самого приезда из Киева» *(ДСАТ – 1. С. 449 – 450)*.

В мемуарах датой начала «инфлюэнцы с частичным воспалением лёгких» назван тот же день, 28 февраля:

«Я так задыхалась, что Лев Николаевич в 3-м часу ночи ходил сам за доктором Усовым. […] Я угасала и чувствовала большую радость… Мучительно было только удушье. Никогда не могла я до конца вздохнуть, точно умирала при всяком усилии» *(МЖ – 2. С. 540 - 541)*.

Ни лечения, ни даже точной диагностики в ту эпоху не могли обеспечить даже самые дорогие врачи Москвы, но вызванный на консилиум профессор А. А. Остроумов, ровесник Софьи Андреевны, сообразил *открыть окно* в комнате страдалицы, и ей «был очень приятен весенний, свежий воздух» *(Там же. С. 541)*.

Длительная и тяжёлая болезнь вызвала в Соничке религиозное настроение и отношение к смерти, хорошо известное по христианским писаниям её мужа. Под 21 июня она подводит в дневнике итог едва не погубившей её болезни:

«Три почти месяца не писала дневника. Я не жила это время, я болела и душой и телом. Доктора говорили про *ослабление деятельности сердца*; пульс иногда был в минуту 48, я угасала и чувствовала тихую радость от этого медленного ухождения из жизни. Много было любви, участия ко мне всей семьи, и друзей, и знакомых во время моей болезни. Но я не умерла: Бог велел ещё жить. Для чего?.. Посмотрим.

[…] Жду и приветствую тебя, смерть, — не чувствую в ней никакого предела. Жду её, как смену одного момента (наша земная жизнь) вечности на другой; и этот другой *любопытен…*» *(ДСАТ - 1. С. 450 - 451)*.

Быть может, именно это религиозное настроение вкупе с праведной заботой, даже в полуживом состоянии, о семье, о Льве Николаевиче — уберегли её? Вирус, убивший в 1892 году друга семейства Толстых, знаменитого поэта, многогрешного Аф. Аф. Фета, отступил перед неспокойным и любящим сердцем этой выдающейся женщины.

КОНЕЦ СОРОК СЕДЬМОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Сорок Восьмой.
УСТАЛИ ОБА ОТ СВОИХ ПОБЕД
(16 сентября – 7 ноября 1899 г.)

Состояние личных отношений и восприятия окружающего у Софьи Андреевны и Льва Николаевича Толстых к осени 1899 г. лучше всего характеризуют слова: «усталость», «утомление» и даже «изнурение». Соню *трижды*, включая приступы в 20-х числах июня, посетила лёгочная вирусная инфекция, сопровождавшаяся болями и приступами «задушения» *(ДСАТ – 1. С. 451)*. Сильнее прежнего стало беспокоить зрение: результат жадной экономии на корректорах и переписчиках при многолетней работе над рукописями и корректурами мужа, подготовке доходных изданий его сочинений. От переутомления в работе над романом «Воскресение» заболевал тяжело и Лев Николаевич — обострениями хронической болезни печени — и Софья Андреевна сознавалась в дневнике своём:

«В первый раз в жизни я *ясно* себе представила, что могу лишиться мужа и остаться совсем одинока на свете» *(Там же. С. 455)*.

Без сомнения, такие же опасения посещали и Льва Николаевича, когда жена в моменты облегчения от приступов удушья делилась своим смиренным, религиозным настроением готовности к смерти.

Кроме того, Лев Николаевич сознавал свою ответственность как во взятых на себя обязательствах перед щедро плативши ему издателями по ещё не оконченному писанием, но уже публиковавшемуся в России и за рубежом роману, так и в судьбах духоборов, на завершение эвакуации которых из проклятой России в Канаду и первичное на новом месте обустройство всё ещё недоставало средств. Поэтому он не мог тратить время и силы даже на те конфликтные дискурсы с супругой, которые ещё годом-двумя ранее вполне мог поддержать. Как следствие и этого страха растраты времени и сил, и ослабления обоих от горестей прежних лет и болезней, которые обрушил на семейство Толстых год 1899-й — отношения двоих главных участников представляемого нами в этой книге эпистолярного диалога были в обозначенный временной период хороши так, как не было уже много лет до того:

«…Спокойные, участливые друг к другу, без упрёков и придирок, как бывало раньше. […] Ревность его <Л. Н. Толстого> к С. И. Танееву совсем улеглась. Он, наконец, помирился с тем и понял, что наши отношения были самые невинные, дружеские, доверчивые и простые» *(МЖ – 2. С. 543, 547)*.

А быть может, кто-нибудь всё-таки довёл до сведения Льва Николаевича, к глубочайшему его конфузу, что Танеев — убеждённый гомосексуал? Кто знает…

В Москве, помимо самой Москвы, изводили обоих сильно гости, от которых подальше Лев Николаевич был только рад свалить — сперва в Пирогово, где навестил дочь Машу с мужем (а заодно живущего неподалёку брата), а затем, конечно же, в милую Ясную Поляну. 18-го туда приехала и Софья Андреевна. К 14 и 15 мая относятся два небольших письма Толстого к жене *(см. 84, 342 – 343)* и одно от неё (не опубликовано), о которых, по незначительности эпизода, мы ограничимся только упоминанием здесь.

Пристальней мы приглядимся к письмам осени 1899 г., которые, несмотря на значительные временные промежутки между написанием, можно рассматривать как один Эпизод великой Переписки — по единству обстоятельств, в которых протекало эпистолярное общение супругов. Для Толстого это — почти постоянное проживание

в Ясной Поляне и напряжённая работа над романом, для Софьи Андреевны — многие суеты разъездов по делам семейным, личным и издательским. Об этих поездках и связанных с ними хлопотах вспоминает Софья Андреевна в мемуарах «Моя жизнь»:

«В августе сын Миша объявил мне, что учиться в лицее больше не будет, а поступит вольноопределяющимся в Сумской кавалерийский полк и, отбыв воинскую повинность, женится… Мешать ему в этом я не считала себя вправе, хотя чувствовала, как это было тяжело Льву Николаевичу видеть своих сыновей на военной службе.

Осенью я два раза приезжала в Москву по книжным делам, в которых мне много помогал Н. Н. Ге-младший <сын художника Николая Ге, покойного друга Л. Н. Толстого. – *Р. А.*>, этот милый человек, с которым мы дружно прожили вместе два года. Он помог мне поставить дело подписки на сочинения Л. Н. Толстого и продажи их на настоящее положение.

Лев Николаевич всё ещё жил в Ясной Поляне, по внешнему виду однообразно проводя время: утром писа́л, в 2 часа обедал, потом спал, гулял или ездил верхом, а вечером читал» *(МЖ – 2. С. 547)*.

С первым из названных дел и связано сентябрьское возобновление эпистолярного общения супругов. В дневнике Софьи Андреевна под 4 октября — воспоминания о двух поездках в Москву:

«Была два раза в Москве; в первый раз учитывала с Н. Н. Ге артельщика, прокравшегося в 6000 рублях. Во второй раз хлопотала об определении Миши в Сумской полк. Была у великого князя Сергея Александровича, просила принять Мишу сверх вакансий. Он был изысканно вежлив и любезен, и, несмотря на незаконность этого зачисления, Мишу приняли в Сумской полк» *(ДСАТ – 1. С. 453)*.

К первой из поездок относятся не опубликованные письма С. А. Толстой, от 18 и 20 сентября, и два послания к ней мужа: письмо от 16 сентября и телеграмма 17-го, оба содержащие поздравления с днём именин (17 сентября). Письмо от 16-го имеет небезынтересную адресацию на конверте: «Москва, Хамовники, 21, д<ом>. Толстой. Матвею Никитичу Румянцеву, передать гр. С. А. Толстой» *(84, 344)*. Матвей Никитич до 1907 г. был заведующим «конторой изданий» и складом книг, издаваемых С. А. Толстой. За множеством дел самой Сони могло не оказаться ни в конторе, ни во всём хамовническом особняке, и передача письма такому ответственному человеку, каким был М. Н. Румянцев, была гарантией, что оно не затеряется среди прочих писем и бумаг, а будет по возможности быстро передано Софье Андреевне.

Приводим ниже текст письма к жене Л. Н. Толстого от 16 сентября. Оно интересно уже хотя бы суждением Льва Николаевича о самоубийстве, по известию в одном из полученных им от жены писем: сын племянницы Толстого Варвары Нагорновой, Борис Николаевич Нагорнов, двадцати двух лет, покончил жизнь самоубийством.

«Поздравляю тебя с именинами. Очень жалею, милая Соня, что ты не в Ясной. Погода ещё лучше, чем была: ясно, жарко, красиво. У нас все здоровы, начиная с меня. Я совсем хорошо себя чувствую. Андрюша вчера вернулся: — спокойный, добродушный, как будто ни в чём не бывало. Будем надеяться, что с годами он станет лучше. Уж то хорошо, что он лучше, чем был. Мише передал твоё письмо. Его сейчас нет; он пошёл с Алёшей Дьяковым <сын покойного Д. А. Дьякова. – *Р. А.*> возить овёс и потому не могу тебе сказать его ответ. Марь[я] Александровна здесь — переписывает. Вчера был англичанин, редактор «Daily Chronicle», с женою — как большинство европейцев — очень cultivated [культурный], но нет серьёзности — веры в то, что надо делать то, что разумно, а что всё неразумное, как бы оно ни было старо и уважаемо, надо бросать.

Таня нынче не совсем здорова животом.

Твоя новость ужасна и не выходит у меня из головы. При таком самоубийстве всегда ужасна мысль, что, может быть, можно было помочь и не сделал то, что нужно. А с другой стороны, видишь в таком самоубийстве только завершение того, что давно начато — беспринципной жизнью. А с третьей стороны, вспоминаешь себя в юности: и тоже такая же была бестолковая, бессмысленная жизнь и выбрался из неё. И его жалко и Варю. Утешительно то, что Бог по силам людей посылает испытания. И у ней духовные силы большие, несмотря на её кажущуюся незначительность, и вот ей посылаются такие испытания, которые она перенесёт и которые просветляют ещё её душу.

Прощай, будь здорова физически и душевно и приезжай к нам здоровая и спокойная.

Л. Т.» *(Там же).*

Ко второй же поездке, совсем краткой, относится письмо С. А. Толстой от 26 сентября, 5 ч. вечера, без ответа на него адресата. К нему Софья Андреевна сделала следующее примечание: «Письмо в Ясную Поляну из Москвы, куда я ездила хлопотать о поступлении сына Миши вольно-определяющимся в Сумской полк в Москве, где я хотела, чтоб оставался Миша» *(ПСТ. С. 727).*

Письмо следующего содержания:

«Милые все мои семейные и друзья, рассталась я с вами с большим трудом и огорчением. В Ясенках, как всегда теперь — большая толпа.

Невозможно было добиться носильщиков. Подошёл поезд, ждём с Варей — нет никого. Слышим свисток. Тогда мы схватили вещи, Варя плэд, я чемодан, и бежать. Ввалились мы во 2-й класс, и вдруг я чувствую — конец мне. По биению сердца чувствую, что дышать невозможно. Варинька испугалась страшно, я только могла выговорить: умираю. Даже кондуктор испугался и растерянно смотрел на нас. Но я ожила, и легли мы, 4 дамы, в дамское отделение, и спала я дурно, осталась боль в сердце и под ложечкой до самого утра.

Приехала домой, — Миша и не был дома вовсе. Это меня опять взволновало. Нашла телеграмму, что великий князь меня просит в 10½ часов, в 11 у него обедня. Оделась, выпила приготовленный заботой няни кофе, наняла себе проездом карету и поехала.

Великий князь тотчас же меня принял. Он был удивительно любезен, спросил о здоровье Тани, Льва Николаевича и моём, говорил о бюсте Трубецкого, о Мише, что видел его, и на всё согласился и всё обещал, прибавив, что если ещё мне что нужно, то: “я всегда готов к вашим услугам, графиня, и рад исполнить вашу просьбу”.

Не знаю радоваться ли мне этому согласию, хорошо ли я сделала. Мне скорее стало грустно, и мои мечты в сторону жизни в Ясной разлетелись и мне это было жалко.

До великого князя я ещё поехала к Трепову и, не выходя из кареты, подала прошение и письмо моё по поводу дела Андрея Дмитриевича.

[КОММЕНТАРИЙ.

А. Д. Архангельский, студент, учитель Михаила Львовича; впоследствии академик, известный геолог. В 1899 г. Архангельский был за поддержку протестных акций своих товарищей был исключён из университета и лишён права жительства в Москве. Он приехал к Толстым в Ясную Поляну, потому что хлопоты ни к чему не привели. Только благодаря вмешательству в это дело С. А. Толстой Архан-гельский был восстановлен в правах студента. – *Р. А.*]

От великого князя поехала к полковому командиру, застала его; он очень любезен, научил, как дальше действовать и прислал старшего писаря, который написал все прошения, но ещё подавать их нельзя, пока не выйдет приказ великого князя. Мне же сейчас надо завезти памятную записку великому князю о том, чего я хочу.

Еду обедать к брату и завезу записку в генерал-губернаторский дом.

Миша за время моих разъездов вернулся. Был на охоте у товарища, Кузнецова, в деревне, убил 3-х вальдшнепов, в хорошем настроении и впивался мне в щёки, целуя и благодаря меня за хлопоты. Ну вот и всё. Не знаю ещё, когда всё кончу. Нужно свидетельствовать подписи, вносить денежный реверс, *подавать* прошения, их только ещё составили. Надеюсь, на всё не более 3-х или 4-х дней. Целую нежно всех.

С. Толстая» *(Там же. С. 726 – 727)*.

Почти все основные биографические известия этой осени о Льве Николаевиче так или иначе соотносимы с писанием им и публикованием романа «Воскресение». На частотность и характер переписки, как мы указали, влияли отъезды из Ясной Поляны Софьи Андреевны Толстой. В «Моей жизни» она вспоминает:

«2-го октября <дочь> Таня поехала в Москву сменить меня при Мише и Саше, а я с восторгом поехала в Ясную Поляну к Льву Николаевичу. На свиданье с Таней явился Михаил Сергеевич Сухотин. Таня тогда же решила что выйдет замуж за Сухотина.

[…] 13-го октября я опять поехала в Москву. Таня тогда решила съездить в Пирогово к дяде, Сергею Николаевичу, и к братьям своим, Серёже и Илье, в Никольское и Гринёвку. Туда прискакал и М. С. Сухотин… Эти поездки были как бы печальные прощанья со всем тем, с чем она расставалась, выходя замуж. Потом она оставалась одна в Ясной Поляне, а я с Сашей переехала в Москву уже совсем 22-го октября» *(МЖ – 2. С. 549)*.

Толстой переехал в этом году зимовать в Москву 9 ноября. К временному периоду от переезда Софьи Андреевны до его переезда относится нечастый обмен письмами супругов, который мы представляем читателю ниже.

Вот письмо из Москвы Софьи Андреевны Толстой, 24 октября, в сокращении:

«Не знаю, почему не писала вам до сих пор; эти дни прошли так скоро, в трудах, что и не заметила. Сегодня посадила с дворником 72 деревца <привезла из Ясной Поляны. – *Р. А.*> и пересаживала клёны, весь день хорошо провела в саду, хотя погода гадкая, дождь, грязь, темнота.

Вчера весь день раскладывала вещи и убиралась. Дела очень много скучного, грязного, а делать надо. Иван Павлович очень хорош с

Ольгой, и няня хороша, Денис *ужасен*, повар плох, но возможен, и если останется, я его налажу. Всё моё письмо не интересно, потому что я вся в неинтересной обстановке. Здоровье не очень-то хорошо. Вчера были сильные кишечные боли и расстройство, а ночью сегодня металась от бессонницы, а когда проснулась, чувствую в темноте что-то по лицу течёт горячее — оказалось струёй из носу кровь лила, и бог знает, отчего. Глаза тоже плохи по-прежнему.

Поступила француженка, болтушка, добродушная девушка.

[...] Слушали с Сашей и Серёжей <пианиста> Зилотти; а вчера, — грешный человек, поехала посмотреть, как шикали и свистали Сафонову. Зашикают и зааплодируют, опять шиканье громкое — Сафонов бледный, долго нельзя было начинать. Под конец концерта опять то же. Полный скандал. А купцы, в которых ещё дух крепостной не допускает неповиновенья и протест начальству, — поднесли венок, и Михаил Морозов, полуидиот жирный, сын Варвары Алексеевны, разослал приглашение желающим, вследствие неприятностей, сделанных Василию Ильичу, *почтить* его и приехать на ужин к Морозову.

Что за сумбур, какое рабство тому и тем, кто мерзее и подлее. Я очень злилась вчера. Сидела рядом с Татей Трубецкой, и мы сочувствовали друг другу. А муж её, князь Пётр Николаевич, так возмущён, что вернул билет и не посещает концертов.

[КОММЕНТАРИЙ.

Пианист и дирижёр *Василий Ильич Сафонов* (1852—1918) был освистан на первом симфоническом собрании РМО. Исполнялись: Глазунов, Берлиоз, Мендельсон и Вагнер.

Сафонов с 1889 г. был директором Московской консерватории. Как администратор он отличался деспотизмом. Софья Андреевна Толстая примкнула в конфликте к группе недовольных профессоров консерватории, возглавлявшихся её возлюбленным — Сергеем Ивановичем Танеевым. В октябре 1905 г., пользуясь, с одной стороны, знакомствами в Консерватории, а с другой — придворными связями, она накатала на Сафонова донос («докладную записку») против его деятельности в Консерватории на имя вел. кн. Константина Константиновича. Сафонова отправили в отставку, но С. И. Танеев, которого Соничка прочила на его место, от должности отказался: для заведования таким учреждением нужны были мужские “стальные яйца”, а С. И. Танеев был... – *Р. А.* **]**

Все эти дрязги меня захватили на минутку, а в сущности я всё думаю о Тане, о её грустном виде последние дни, думаю о тебе, Лёвочка, как твоё здоровье, и бережёшься ли ты, об Ольге похудевшей и жалкой, об Андрюше, Julie и всей Ясной Поляне.

Приеду непременно повидаться, а пока целую вас всех нежно.

Сашина молодая курочка снесла яйцо, и она в восторге. Куриный интерес её не иссяк, а пока ничего её больше не интересует.

Подали лошадь. Прощайте.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 728 – 729)*.

Упомянутая в письме *Julie* — это Юлия Ивановна Игумнова (1871 — 1940), кузина знаменитого пианиста, профессора Московской Консерватории К. Н. Игумнова, ученица школы живописи, ваяния и зодчества, где познакомилась с Т. Л. Толстой. В 1896 г. она училась в частной мастерской И. Е. Репина. С 1899 по 1907 г. — переписчица и секретарь в доме Толстых. В 1901 г. она будет ухаживать за больным Толстым в Гаспре.

На приведённое письмо Софьи Андреевны Толстой ответил вот таким небольшим посланием с приблизительной датировкой — 26 (27?) октября:

«О тебе давно не знаем, милая Соня. Серёжа ничего не мог сказать про твоё здоровье, а это главное. Что после кровотечения из носа? У нас всё хорошо. Я по-прежнему не болен, но и не вполне здоров, — всё угрожающее состояние и нет охоты работать. Только тем утешаюсь, что на душе хорошо. Целую тебя и Мишу и Сашу. Про Сашу сейчас говорили, осуждали её, что она очень неакуратна, также как и Миша, — оба самые неакуратные с тобой. Таня всё хворает и дурна, и стара, но духом бодра.

Прощай. Ожидаем тебя 1-го, как обещала.

Л. Т.» *(84, 345)*.

Не дождавшись этого письма, Софья Андреевна 28 октября отвечает на известия, полученные из открытки 26 октября от дочери Татьяны:

«Сейчас получила известие от Тани, милый Лёвочка, что твоё здоровье лучше и очень это меня обрадовало и подбодрило к жизни. Моё

здоровье тоже не важно. Как глаза не состоятельны стали для работы, так и тело для житейской суеты. Сегодня у Крюкова у меня сделался такой припадок удушия, что я принуждена была бросить там Сашу и ехать по близости на Тверской бульвар к брату Саше, где Аничка <жена А. А. Берса. – *Р. А.*> дала мне гофманских капель, и где я опомнилась немножко.

Крюков, как все доктора, сказал, что глаз новых он сделать не может, что действительно существует большое изменение зрения и предписал новые очки, души и ничего не делание. Т. е. не больше 3-х часов занятий и то *не вглядываясь* в мелкое, не читая мелкого, и проч., и с перерывами в 15 минут ничего не деланья и даже закрыванья глаз. — "Таким путём вам хватит зрения, хотя и плохого, на вашу жизнь, а то можете дойти до того, что нельзя будет видеть ни при чтении, ни писать — вовсе". — Всё это я и сама чувствую; чувствую, что эти последние два месяца мне стало тяжело и письмо написать. Сейчас пишу, а всё что-то заслоняет. — Ну, да на то воля Бога! — У Саши неправильность в глазах, сильнейшая близорукость, но глаза совершенно здоровые.

Сегодня едем с Сашей и Марусей в квартетное; мне уж не так совестно таскаться по концертам, потому что всё равно ничего делать не могу по вечерам. Не пишу Тане, так как она уехала, а в понедельник утром я надеюсь уже быть с вами, хотя очень неприятно оставлять Сашу и неоконченные дела. Приеду на два дня отдохнуть, с вами побыть. Благодарю Жюли за память. Целую тебя и детей.

С. Т.

28 октября
1899 г.

Что ты меня ни разу не порадовал своим почерком?

Варичка у меня пробыла ½ дня и её увёз Воля крестить новорождённую и очень слабенькую девочку <дочь В. Н. Нагорнова. - *Р. А.*>. Варя очень кашляет, по ночам пот» *(ПСТ. С. 729 - 730)*.

Ответное письмо Толстого — снова занятое, короткое, и снова без точной датировки, 3 или 4 ноября, в числе прочего — о деньгах, посылаемых на обустройство в Канаде переселившихся духоборов:

«Посылаем на Козловку, и я надеюсь получить от тебя известие, которое очень мне нужно, хочется знать, как ты себя чувствуешь. Мы с Таней ездили вчера в Тулу. Я видел Плевако и Маклакова, которых

встретил, они ехали к нам и сделали, что мне было нужно. Денег оказывается больше, чем я думал. Если ты не послала, то пошли 10 000, а остальные оставь. Если послала, то всё равно. Это не важно.

Я чувствую себя хорошо, благодаря своему воздержному режиму, и *порядочно* работал. Целую тебя, Сашу, Мишу, и радуюсь мысли скоро увидать тебя.

Л. Т.» *(84, 345 - 346).*

Речь в письме идёт о посылке денег духоборам из средств гонорара за «Воскресение», частью из пожертвований. Посылались деньги в то время на имя правительственного агента, ведавшего расселением духоборов в Канаде, Мак-Крири (см. письмо к нему Толстого от 12 ноября 1899 г. нового стиля. - *72, 233*). Духоборам Толстой писал об этом следующее 6 ноября: «Посылаю вам собранные деньги. Я полагаю, что хорошо бы было считать эти деньги, так же как и другие средства, которые вы получаете от добрых людей и от работающих братьев, общим достоянием и не делить по душам, а давать больше тем, у кого больше нужда» *(Там же. С. 238)*. При содействии Мак-Крири духоборы получали работу на железной дороге. При этом, однако, сам Мак-Крири смотрел на новоприбывших, как на продажный (работодателям) дешёвый трудовой скот, и скоро такие идеалисты дела переселения, как добросердечный и нравственно чуткий Леопольд Сулержицкий, порвали с ним отношения. Известясь о крайностях характеров и Мак-Крири, и Сулера, Толстой стал посылать деньги другому помощнику на месте, Герберту Арчеру (бежавшему, как мы помним, из Англии, от В. Г. Черткова и мороки с публикацией романа «Воскресение»), сочетавшему в себе чувство справедливости с английским практицизмом и сумевшему найти общий язык с Мак-Крири и подобными ему.

Соничка отвечала мужу письмом *ночным* с 5 на 6 ноября:

«Сегодня получила твоё письмо, милый Лёвочка, но уже поздно было изменить посылку денег. Из Тулы получено было 2822 р. 55 к. и от Маркса 6660 р. 90 к. С прежними выходило 10 900 р. с чем-то, забыла. Я подумала, подумала да и послала 9000 р., а 1900 с чем-то осталось. Можно опять послать, это очень не дорого и просто делается.

Сегодня, закутавшись, я выезжала, а вечер провела с Дунаевым вдвоём, а позднее играла.

Вчера Миша позвал солдата башкирца петь свои песни. Но никому особенно не понравилось: не характерно и голос плохой, наши в Самаре лучше пели.

Завтра еду в симфонический и жду, как гимназист какой, будут или нет свистать и шикать. Очень это глупо. А играть будут 8-ю симфонию Бетховена, и я радуюсь этому.

Саша здорова; мы продолжаем по вечерам читать Мольера, а по утрам она бегает к курам и собирает для тебя яйца. К её курам пришла чужая, оказалось от Жиро <т.е. из соседнего владения фабрикантов Жиро. – *Р. А.*>. Саша её хотела вернуть, а её просили пока оставить, и теперь курица зовётся *мадам Жиро* и несётся ежедневно. Ещё Саша интересуется Мариной <дочь П. А. Сергеенко. – *Р. А.*>, которой лучше.

Жду Таню после завтра. Гроза надвигается, и мне жутко с ней расставаться. Стараюсь не думать, развлекаться и забываться.

Я всё ещё хриплю немного и кашляю, но без жара. Благодарю Андрюшу за письмо, берегу глаза и потому не пишу ему отдельно. Всех целую и кланяюсь.

С. Т.» *(ПСТ. С. 730 - 731).*

Заключительное письмо Л. Н. Толстого к жене, от 7 ноября, по незначительности его мы приводить здесь не будем: в нём Толстой извещает жену, что работается плохо, что настроен уже на отъезд который отнюдь откладывать не будет: «едем послезавтра с курьерским, как хотели» *(84, 346)*. Обещание это было Львом Николаевичем исполнено.

Т. Л. Сухотина - Толстая с мужем М. С. Сухотиным

Торопился он не просто так, а — на свадьбу дочери Татьяны и М. С. Сухотина, состоявшуюся 14 ноября и воспринятую обоими родителями как новую потерю. В связи с этим браком и отъездом дочери с мужем Толстой записал в Дневнике: «Таня уехала зачем-то с Сухотиным. Жалко и оскорбительно. Я 70 лет всё спускаю и спускаю моё мнение о женщинах, и всё ещё и ещё надо спускать» *(МЖ – 2. С. 552)*.

Впоследствии Толстой привык к зятю и с удовольствием навещал его и дочь в их имении Кочеты. Но на тот момент волнение расставания с дочерью, вкупе с напряжением завершавшейся уже работы над романом «Воскресенье» и мерзейшими, после Ясной Поляны, впечатлениями от мировой во все времена клоаки из клоак, Москвы — заболел обычным своим желчным расстройством, весь обблевался и слёг на две недели со столь привычными Соничке болями в желудке и печени и капризами: «от боли кричал на весь дом, но докторов не хотел звать и не принимал ничего того, что ему предлагали» *(Там же. С. 553)*. Поправился совершенно он только к ближе концу декабря, к Рождеству, но это не помешало ему исполнить обязательства перед издателями романа: начав лишь с 5 декабря вставать с постели, он к 17-му не только завершил все основные работы по «Воскресению» (Дневник: «Нехорошо. Не поправлено. Поспешно. Но отвалилось и не интересует более»), но и написал довольно желчные письма духоборам (против «соблазна собственности») и студенту, желавшему стать народным учителем, А. И. Дворянскому (о религиозном воспитании детей — текст, воспринимающийся как остро нецензурный в России по сей день), а также задумался в последние дни года над началом новой публицистической статьи о капиталистическом наёмном «новом рабстве» народа, названной впоследствии «Рабство нашего времени».

КОНЕЦ СОРОК ВОСЬМОГО ЭПИЗОДА

Эпизод 49.
«СМЕРТЬ, ГОРЕ, СТАДАНЬЯ СО ВСЕХ СТОРОН»
(Обзор Переписки 1900 г.)

Ниже, в нескольких следующих Эпизодах нашей аналитической презентации, мы прибегнем к беспрецедентному во всей предыдущей книге соединению разных по времени и по содержанию эпизодов в

один объёмный обзор, который охватит промежуток времени с 1900 по 1909 годы. Мы находим это не только целесообразным, но и единственно разумным для хронологически обозначенного периода по ряду причин. К концу 1890-х гг. Соня сильнее прежнего стала бояться пережить, потерять мужа. Об этом её запись в дневнике 31 декабря 1899 года: «Душевно я много перестрадала. В первый раз в жизни я *ясно себе* представила, что могу лишиться мужа и остаться совсем одинока на свете» *(ДСАТ – 1. С. 455)*. Бережение друг другом супругов стало наконец взаимным. До чудовищной драмы 1910 г., связанная с которой Переписка будет рассмотрена ниже, в завершение нашей книги, в письмах Л. Н. и С. А. Толстых уже не выражается затянувшийся их семейный конфликт. Нет и тесной связи их эпистолярного дискурса с значимыми историческими событиями — как было с эпопеями "голодных" лет, с писанием «Воскресения» и сбором денег на помощь переселенцам-духоборам, то есть событиями, в центре которых был сам Лев Николаевич и в которые, с очень различной степенью добровольности, была втянута его жена. А, скажем, политические события, такие как Первая российская революция, Русско-японская война и другие не нашли в письмах супругов столь значимого и полновесного выражения, чтобы требовалось выделять соответствующий корпус Переписки в особенный Эпизод. Письма, которыми мы располагаем, могут показаться историкам малоинтересными — слишком "бытовыми".

Кроме того, оба пожилых человека часто болеют, и в письмах названных лет оказывается немало подробностей самочувствия, посещения врачей и описания процедур и результатов лечения. В этом плане Льву Николаевичу могло сильно не повезти: для Полного собрания его сочинений, тома 84-го, который мы продолжим задействовать в соединении и комментированной презентации читателю Переписки до конца нашей книги, его составители старались не изымать ничего, что только было отыскано ко времени выхода тома в свет (1949 г.). Другое дело, что Толстой, бережа чувства и слишком живое воображение супруги, да к тому же и скептически относясь (когда чувствовал себя хорошо или, напротив, когда готовился умереть при тяжёлой болезни) ко всяческим докторам и лечениям, не сообщал в письмах многих сугубо медицинских подробностей. А вот Софья Андреевна, не имея более, как много лет прежде, возможности вызывать беспокойство и сочувствие мужа известиями о болезнях детей, писала о своих делах с медициной в таких подробностях, которые сделали необходимым для составителей используемого нами, единственно доступного, сборника её писем 1936 г. изъять из публикации довольно много её писем 1900 – 1908 гг. Этим разрушается *диалоговость* — главный смысл нашей работы соединения и

презентования Переписки: ответы на изъятые письма Л. Н. Толстого, часто краткие и малоинформативные, не могут нам помочь. Как следствие, необходимо иногда опускать и их.

Итак, публикуем ниже лишь *меньшую часть* Переписки, полными текстами либо в отрывках, и уже без выделения в особенные очерки биографических сведений, но лишь с комментариями всего, что необходимо пояснить читателю — перед текстами писем, в письмах, после них.

* * * * *

Год 1900-й открывает письмо Софьи Андреевны Толстой к мужу из Ясной Поляны, написанное утром 13 апреля и имеющее следующее собственноручное её пояснение: «Письмо в Москву из Ясной Поляны, куда я ездила по случаю рождения у Ольги, первой жены Андрюши — маленькой дочери, Софьи Андреевны» *(ПСТ. С. 732)*. Здесь, полагаем, читателю всё понятно: внучка Соничка родилась 12 апреля в семье сына Толстого Андрея от брака к О. К. Дитерихс. Бабушка, в честь которой назвали внучку, согласилась быть её крёстной матерью. Вот текст её небольшого письма к мужу от 13 апреля:

«Сейчас едет в Тулу Александр Матвеевич Руднев, который пробыл здесь сутки. <*А. М. Руднев* — главный врач Тульской земской больницы. – *Р. А.*> Ольга благополучна и девочка, Софья Андреевна, тоже. Родилась вчера, в 7 часов вечера без всяких осложнений; 24 часа страдала, но терпеливо. Оболенской тут нет. <*Оболенская* — сестра О. К. Толстой Елена Константиновна, урожд. Дитерихс. – *Р. А.*> Слова, телеграммы, — и больше никогда ничего. Я доехала хорошо, в купэ 2-го класса, одна, и спала порядочно. Тут тихо, Андрюша мне рад, и мне будет тут хорошо, спокойно. Берегите всякий себя и друг друга. — Целую всех. Пасмурно, сыро и очень грустная природа. Дорога с Козловки очень сносная.

С. Т.» *(Там же)*.

Письмо С. А. Толстой от 14 апреля, к сожалению, не опубликовано. По краткости поездки Лев Николаевич не отвечал в эти дни жене.

* * * * *

Обратная ситуация — с поездкой Л. Н. Толстого и Т. Л. Толстой из Москвы в Малое Пирогово, к дочери Марии Львовне. Там он провёл,

по его признанию в письме к Г. А. Русанову, «чудные по спокойствию и тишине 15 дней» (с 3 по 18 мая), общаясь также с Н. Л. Оболенским, мужем своей дочери, и с братом Сергеем, чьё имение Большое Пирогово было рядом *(72, 369)*. Дни прошли в плодотворной писательской работе: над статьями «Патриотизм и правительство» и «Рабство нашего времени», драмой «Живой труп» (целые два акта которой были вчерне написаны Толстым именно в эти дни) и обдумыванием продолжения романа «Воскресение».

Сама С. А. Толстая выезжала с 3 по 10 мая с дочерью Сашей в Петербург — к крёстной матери Александры Львовны, графине Александре Андреевне (Alexandrine) Толстой. Вероятно, поэтому до 12 мая нет её писем в Пирогово, к мужу. Сам Л. Н. Толстой отправил за эти дни четыре послания к жене *(см.: 84, №№ 751 - 754)*. В открытом письме от 4 мая — преимущественно подробности дороги, прибытия и здоровья «опять готовящей выкидыш» дочери Марии *(Там же. С. 347)*. Несчастная, в маму, всегда болезненная и слабая, Марья Львовна, замужество которой отец оплакал, почти как смерть, так и не смогла родить живого и доношенного ребёнка. В письме 6 мая Толстой сообщает о прибытии для помощи Маше вышеупомянутого тульского доктора А. М. Руднева, а также о приезде двух англичан-«толстовцев», Син-Джона и Д. К. Кенворти.

Ещё в письме 6 мая Толстой сообщает жене, что «спит, работает и ест вдвое против Москвы и чувствует себя прекрасно» и выражает жене пожелание, чтобы и она «меньше тревожилась и принимала всё к сердцу» *(84, 348)*. На следующий день, 7 мая: «<Англичане> очень милы и интересны, но тяжелы. Руднев определил у Маши несомненно выкидыш. <…> У меня на столе фиялки. Скоро будут ландыши. Я здоров, но нынче немного хуже работал» *(Там же. С. 348 - 349)*. Наконец, в письме, датируемом неточно, 11 или 12 мая, Толстой сообщает: «…У нас всё очень хорошо. Маша нынче оделась и встала с постели, лежит на диване и поправляется. <…> Я совсем здоров. Беда моя только в том, что ем за троих. Сейчас ходил в лес, набрал незабудок (фиялки отошли) и иду домой. <…> Я очень полюбил обоих англичан» *(Там же. С. 349)*.

К 14 мая относится ответ Толстого на не опубликованное письмо С. А. Толстой и письмо Т. Л. Толстой. «Маша поправляется, я очень здоров и бодр, кончаю свою работу» — сообщает Толстой жене, обещая приехать в Ясную сразу после её приезда (готовившегося на 17 мая). Конечно же, это обещание Лев Николаевич исполнил!

* * * * *

Рассказывая мужу в неопубликованном полностью письме от 12 мая свои планы поездок, Софья Андреевна упомянула о желании навестить сына Мишу, служившего вольноопределяющимся в Сумском полку:

«Сегодня они — и пехота и кавалерия прошли и проехали мимо нашего дома <в Москве. – *Р. А.*> с музыкой и барабанами в лагерь. Дерфельден, полковой командир, увидав меня с лорнетом у ворот, особенно учтиво и старательно мне поклонился, а Миша долго оглядывался на всех нас, а няня плакала» *(ПСТ. С. 733)*.

В «Моей жизни» С. А. Толстая вспоминает о своих поездках мая-июня 1900 г. следующее:

«Тяжела становилась жизнь в Москве весной, тянуло в деревню, за город. […] 17-го мая я переехала всем домом в Ясную Поляну, а 18-го вернулся и Лев Николаевич из Пирогова в Ясную Поляну. Таня же уехала в Кочеты. Разобрав и разложив все вещи, устроив жизнь в Ясной Поляне, я снова поехала 23-го мая в Москву, где не кончила своих дел, а главное, мне хотелось навестить сына Мишу, который […] находился в то время в лагерях, в селе Владыкине <нынче его поглотила Москва: т. н. «Отрадное», Северо-Западный адм. округ. – *Р. А.*>. Жил он с товарищами в избе, так что пробыла я у него меньше дня, но рада была видеть его бодрым и здоровым.

[…] В конце июня мы ездили с Сашей в Никольское-Вяземское к сыну Серёже, ко дню его именин и рожденья, 28 июня. […] Из Никольского мы проехали к Сухотиным в Кочеты, повидаться с Таней» *(МЖ – 2. С. 568 - 569)*.

Из Никольского 29 июня Софья Андреевна пишет мужу в Ясную Поляну небольшое письмо, интересное для нас, в частности. упоминанием о совершившейся с помощью С. А. Толстой весьма доходной продаже детьми полученных ими в 1891 году по семейному разделу участков земли в Самарской губернии. Вот полный текст этого письма:

«Мы ещё у Серёжи, едем к Тане в 5 часов вечера. Сейчас, т. е. утром, приехали из Москвы Илья и Миша; Андрюша опоздал на поезд. В Мишином полку толки о походе; полковой командир уехал в Петербург, отточили шашки, и настроение воинственное. Имение Самарское продали по 73 рубля десятина. Вчера праздновали рождение Серёжи, была Варичка, приехала Соня с Анночкой и Мишей, все мы им очень обрадовались, и были соседи, гости. Серёжа очень хлопотал. Ходили далеко гулять.

Здоровье моё не очень хорошо: насморк, желудок, глаза, — всё хуже, чем было дома. Саша купается и весела. Целую всех, надеюсь, что вы все здоровы и веселы.

С. Т.» *(ПСТ. С. 732 - 733).*

В письме мы видим хорошую информацию к размышлению для тех, кто поддерживает в наши дни суждения об «ограбленной» Толстым-христианином семье. Напомним читателю, что самарские земли были куплены Толстым в 1870-х гг. Тучкову Толстой заплатил по 7 р. за десятину, Бистрому — по 10 р. 50 к. Земля за двадцать лет сильно возросла в цене, так что дети Толстого Андрей, Михаил и Александра, получившие самарские земли по разделу 1891 г. и продавшие свои участки в 1900 г., получили намного больше, чем предполагалось при разделе.

* * * * *

Толстой в 1900 году живёт до 3 ноября в Ясной Поляне, выезжая оттуда в гости к детям и их семьям. Софья Андреевна переехала с дочерью Сашей зимовать в Москву 20 октября, но месяцем ранее, 20 сентября, совершала туда же поездку по делам и для лечения зрения, которая её задержала до 23 сентября — годовщины свадьбы:

«…Я к огорчению своему не могла быть с мужем. Помню, как совершенно одинокая, я сидела в столовой, внизу, и по очень старинным нотам, принадлежавшим матери Льва Николаевича, я разбирала с чувством сентиментальности сонату Бетховена *d-moll*. Не зная, что это был мой свадебный день, пришёл ко мне Сергей Иванович Танеев и, поинтересовавшись, что я наигрываю, сел за пианино и великолепно сыграл мне эту сонату, которая навсегда осталась моей любимой» *(МЖ – 2. С. 572).*

Что касается мотивов задержки и случайности свидания с Танеевым — поверим на этот раз Соне на слово! Для нас интереснее письма, которыми супруги обменялись в тот день, 23 сентября (письмо С. А. Толстой от 20 сентября, к сожалению, не опубликовано). Письмо Толстого, впрочем, исследователи датируют приблизительно: 22 – 23 сентября. Поэтому с него и начнём. На конверте письма только два слова: «Софье Андреевне», что указывает на передачу его по оказии, минуя почту. Вот полный его текст:

«Не знаю, написала ли тебе Саша и что написала: она уехала в Овсянниково <к толстовке М. А. Шмидт. – *Р. А.*>. Я же и так хотел написать. У *нас* всё хорошо. Я совершенно здоров желудком. Если есть что, или скорее было, то насморк и какое-то унылое дурное расположение духа, которое началось ещё при тебе. Нынче же всё хорошо. Я говорю у *нас* всё хорошо, в противуположность того, что у Серёжи и Сони, как ты увидишь из грустных писем. <С. Л. Толстой писал, что 2 сентября умер управляющий и ему близкий человек Александр Афанасьевич Успенский. Софья Алексеевна Философова заболела тяжёлой формой астмы и через полгода скончалась. – *Р. А.*> Как мы все близки к смерти и как даже в старости, как я, недостаточно живо это помнишь. Недостаточно, потому что всегда делать лучше, когда живо вспомнишь и представить себе.

Что твой глаз? Я остановился на том, что ты едешь к Крюкову. Как и остальные дела, и скоро ли ты кончишь?

Целую тебя. Бывало писал: и детей, а теперь и при тебе нет, и при мне одна Саша. Дня три тому назад был у Андрюши с Сашей. У него очень хорошо по внешности, но и внутренно недурно» *(84, 350)*.

Об ослаблении зрения, вызванном огромными трудами с изданием сочинений мужа, в особенности же работой с его удивительным почерком, Софья Андреевна сделала такую запись в своём дневнике на 5 ноября 1900 г.:

«Самое тяжёлое было — ослабление зрения. Сделался в левом глазу разрыв жилки и, как говорил глазной профес-сор, внутреннее кровоизлияние, почти микроскопическое. У меня постоянно перед левым глазом чёрное кольцо, ломота в глазу и зрение отуманивается. Случилось это 27 мая, а затем запрещение чтения, писания, работы и всякого напряжения. Тяжёлые полгода бездействия, бесцельного лечения, отсутствие купанья, света, умственной жизни…» *(ДСАТ – 1. С. 456)*.

Вот и встречное, 23 сентября, письмо С. А. Толстой к мужу, из Москвы в Ясную Поляну:

«Сейчас встала, и первое, что мне захотелось сделать — это написать тебе, милый Лёвочка, и вспомнить тот день, который соединил нас на эти многие, прожитые вместе годы. Мне стало очень грустно, что мы не вместе сегодня, но за то я гораздо глубже, умилённее и лучше отношусь сердцем к воспоминаниям нашей жизни и к тебе, и мне захотелось благодарить тебя за прежнее счастье, которое ты мне

дал и пожалеть, что так сильно, полно и спокойно оно не продолжилось на всю нашу жизнь.

Очень досадно, что Саша мне не написала, я беспокоюсь о твоём здоровье; вероятно она забыла написать на имя артельщика или не вовремя послала письмо. Что твои чирьи, как подействовала на тебя перемена к холоду?

Здесь много скучного, суетливого дела; понемногу справляюсь. Два дня обедала у Маклаковых, два дня у брата Саши. Вечера́ так устаю, что сижу дома, кончаю счёты, записи и играю на фортепиано, немного. Вчера меня просила приехать Елена Павловна Раевская, и я провела очень приятный вечер с ней, её сестрой Давыдовой и двумя Самариными: Александрой Павловной и Петром Фёдоровичем. Вернулась к 11 часам, так как няне ждать долго меня — трудно. Сегодня опять буду дома, только хотелось бы съездить во время всенощной в дворцовую церковь, где нас венчали; не знаю, успею ли. Дома, в Ясной, я храбрилась, что поеду в театр, а тут так утомляюсь, что не до веселья.

Была у <доктора> Крюкова, он говорит, что *зренье* моё улучшилось, но чёрное пятно не скоро рассосётся, так как внутренний глаз имеет мало сообщения с организмом, и потому обмен материи глаза происходит страшно медленно. Дал мне мазь для массажа глаза; капли, когда глаз воспалён.

Завтра хочу съездить в Петровское-Разумовское с Марусей, поглядеть моего внука. Завтра воскресенье и потому дел делать нельзя. Завтра же утром пойду в приют. Вечером ещё не знаю, что буду делать. В понедельник буду делать покупки и, вероятно, во вторник вечером выеду домой, в Ясную. Пришлите за нами в среду утром на Козловку, к 8½ часам.

Что мои работы в Ясной, что копачи? Всё-таки в деревне работы веселей, чем в городе.

Надеюсь, милый Лёвочка, что и ты мне напишешь по старой памяти хоть один раз.

Целую тебя, береги себя и давай ещё подольше и получше поживём вместе.

Твоя Соня Толстая» *(ПСТ. С. 733 – 734).*

Упомянутое Софьей Андреевной заведение для бесприютных детей — это её, на пару с подружкой, графиней Эмилией Алексеевной Капнист (урожд. Лопухина, дочь В. А. Оболенской; 1848 - 1904), тогдашнее благотворительное предприятие. Соня стала попечительницей приюта. Очень помогло её, связанное с мужем, довольно популярное

среди благотворителей имя: на её публичные обращения тут же откликнулись многие из тех, кого ещё в начале 1890-х она “раскошелила” на помощь голодающим крестьянам. Купец Морозов, от одного восторга, что Соничка вспомнила про него, передал вместо просимых 5 рублей – пятьдесят. А Соня отдала в приют сокровеннейшие много лет свои деньги, 2000 рублей, собиравшиеся ей ещё для умершего младшего сына Ванички *(МЖ – 2. С. 558 - 559)*.

Конечно же, Соня понимала, *какими* глазами смотрел на эту барскую благотворительность и её в ней роль её муж, Лев Николаевич Толстой. От неё не укрывался ни общий нехристианский её характер, ни множество недостатков устроения приюта: например, то, что дети могли в нём содержаться только до 13-ти лет, после чего снова оказывались на улице (откуда девушки часто попадали в дома терпимости а юноши — в тюрьмы). В дневниковой записи от 12 ноября 1900 г. она размышляет о приюте и судьбах его обитателей довольно мрачно:

«…Вникала сегодня особенно в типы детей, собранных кое-как на улицах, в кабаках, детей, случайно родившихся от погибших <изнасилованных. – *Р. А.*> девушек, от пьяниц, с врождённым идиотизмом, припадками, пороками, истеричных, ненормальных… И пришло мне в голову, что не так прекрасно то дело, в котором я участвую. Нужно ли было спасать и оберегать те жизни, которые в будущем ничего не обещают?» *(ДСАТ – 1. С. 458 - 459)*.

Всегдашние, о любом почти предприятии, мрачные предчувствия Софьи Андреевны Толстой оправдались и в этот раз: приют со временем выродился из частно-благотворительного проекта в более единосущную окружавшему его поганому «русскому миру» казённую (городского подчинения) тюрьму для беспризорных детей. А на пути к этому состоянию, в 1901 году, когда Соня вынуждена была временно оставить своё добровольное участие в приюте для заботы в Крыму о тяжело болевшем муже, в приют было назначено некое высокопредседательствующее лицо, фамилией Бутенёв, который, по инерции какой-то предшествующей его должности, разослал «отлучным от исполнения должностей при приюте» (как он понимал) добровольным благотворителям письма-распоряжения: немедленно вернуться «к исполнению обязанностей» или подать, по установленному образцу, прошение об отставке. Потом, разобравшись, ему пришлось писать письма с извинениями… но было поздно: получив такое оскорбление, Софья Андреевна, разумеется, выбрала «отставку» *(МЖ – 2. С. 560)*.

* * * * *

Следующий малый фрагмент Переписки могли бы открыть не опубликованные, к сожалению, письма С. А. Толстой, приехавшей с младшей дочерью зимовать в Москву — от 18 и 20 октября. Накануне, 18-го, супруги разъехались: Лев Николаевич отправился из Ясной Поляны в Кочеты, имение М. С. Сухотина, навестить замужнюю за ним дочь Таню. Его сопровождает уже описанная нам выше молодая и прекрасная Юлия Ивановна Игумнова, известная художница, ставшая, вместо ослабевшей глазами и хронически усталой жены, секретарём и переписчицей Толстого.

Из Кочетов 18, 20 и 22 октября Лев Николаевич посылает супруге три письма. Вот письмо от 18 октября (в сокращении):

«Пишу тебе в тот же день, как приехали, т. е. 18-го, так как приехали мы в $3^1/_2$ утра. Поздно приехали только потому, что поезд позднее стал ходить. Ехали же прекрасно, с факелом, покойно, скоро, тепло и сухо, несмотря на дождь. Таня нас встретила, так что легли в 5-м. Я совершенно здоров. Дорогой ел твоими заботами овсянку и яйца. У Тани всё есть и всё удобно. Так что заботиться нужно не обо мне, а о тебе. Пожалуйста напиши мне поскорее. Ты была очень нехороша переутомлением и потому перевозбуждением, когда мы уезжали. Хочется советовать тебе меньше работать и меньше волноваться, но знаю, как это бесполезно: ты сама знаешь, что тебе нужно. Только напоминаю.

[…] Таня очень бодра для своего положения. Сейчас провел часа $1^1/_2$ в приятной и серьёзной беседе с Александром Михайловичем. <А. М. Сухотин, дядя М. С. Сухотина, мужа Татьяны Львовны. – *Р. А.*> Целую тебя нежно и успокоительно. […]» *(84, 351)*.

В открытом письме 20 октября Толстой сообщает уже, что в пути у него не всё было не так идеально, как следует из “успокоительного” письма от 18-го:

«[…] Я совершенно здоров, если не считать палец большой на правой руке, который я прищемил в вагоне, затворяя дверь. Он мне мешает писать хорошо, но с каждым днём лучше, и любезный доктор Иван Моисеевич перевязывает мне его. Таня необыкновенно свежа и здорова и слишком смело бегает в сапогах по грязи. Гостей никого нет, и идёт приятная, тихая семейная жизнь. Я […] серьёзно не принимался за работу.

Теперь I hope. Очень тревожусь о тебе. Видел тебя нынче во сне. Прощай пока, целую тебя и Сашу.

Пишу уж в Москву, но на всякий случай ещё на артельщика.

Л. Толстой» *(Там же. С. 349 – 350)*.

Напомним читателю, что за склонность использовать в письмах вводную конструкцию «I hope…», равно, как и русский её эквивалент («Надеюсь…»), супруги “поддевали” друг дружку в письмах много лет. К письму мужа от 9 апреля 1882 г. Соничка сделала о том следующее примечание: «Англичанки, с которыми я переписывалась в моей жизни, в письмах своих писали всегда: I hope you are well [я надеюсь, вы благополучны], I hope your dear children are well [я надеюсь, ваши дорогие дети здоровы] и т. д. О себе очень мало. И вот я просила Льва Ник<олаевича> писать только о себе без I hope’ов касательно меня» *(83, 334)*. Конечно же, Толстой не без задора нарушал иногда этот уговор — и получал в сониных письмах “отплату той же монетой”!

Наконец, письмо Л. Н. Толстого от 22 октября (в сокращении), ответ на письма от 18 и 20-го, судя по всему, наполненные описаниями бытовых и деловых сует:

«Пишу тебе третье письмецо, милый друг, и всё то же, что я совершенно здоров. Желудок действует, как у молодого здорового человека. Рука тоже поднимается и пришла почти в нормальное состояние. Палец поправляется, хотя, вероятно, сойдёт ноготь. Прищемил я так: подходя к Архангельскому <село на подъезде к Кочетам. – *Р. А.*>, я, выходя из клозета, одной рукой — правой опёрся о стенку, в том месте, где петли, а левой — дёрнул, торопясь закрыть. Нынче начал писать.

[…] Получил твои оба письмеца, за что очень благодарен. Только сведения о тебе не успокоительны. Надеюсь, что теперь всё устроено и ты отдохнёшь. Я хожу гулять утром и вечером. По вечерам читаем вслух.

[…] Целую тебя и Сашу.

Л. Т. […]» *(84, 351 - 352)*.

В тот же день 22 октября Софья Андреевна отвечает мужу на письмо от 18-го:

«Очень приятно было, милый Лёвочка, получить по приезде моём в Москву, тотчас же, твоё письмо, да ещё такое ласковое. Меня это сразу ободрило, и бодрость моя держалась до сегодняшнего дня. А нынче что-то очень тоскливо по всех вас. Вещи разложили, но в доме холодно, тёмно, везде мелкие починки и неудобства, и всё это *устроивать* так надоело! Сегодня весь день сидела со счётами, переводами денежными и проч., — писала, читала, и только всё практические необходимые дела, — глаза и внимание утомила, а для радости душевной — ничего.

[…] Александр Петрович <А. П. Иванов, переписчик. – *Р. А.*> всё пьёт, второй день, кричит и ругается с людьми, ничего не делает, спит, и, того и гляди, пропадёт. Я очень беспокоюсь за те бумаги, которые ты ему поручил.

Да, кстати, Лёвочка, что мне делать с твоими письмами? Их уже 30. Дать ли их читать и вписывать Марусе, прежде чем ты прочтёшь, или послать посылкой, или же оставлять до твоего приезда. Ответь поскорей. Я бы ими занялась, если б не глаза, а теперь это немыслимо, есть очень длинные.

В Москву я тебя не зову ещё. Тут грохот, сегодня мороз, скука, и мне жаль вас с Таней разлучать пока. Что́ я могу тебе дать теперь, даже помощи никакой с моим испорченным зрением! Может быть вы вместе приедете в начале ноября, так как все говорят, что Тане необходимо посоветоваться с акушером, а главное, я сама этого очень желаю.

Была вчера в симфоническом и вспоминала Наташу <Дочь М. С. Сухотина от первого брака, Наталья Михайловна (1882—1925), с 1907 г. вторая жена Н. Л. Оболенского. – *Р. А.*>, с которой я играла ту самую Итальянскую симфонию Мендельсона, над которой мы с ней старались в Ясной. Целую её и вспоминаю с нежностью. — Зала была почти пуста, все были на первом представлении оперы Римского-Корсакова <«Сказка о царе Салтане»>. Мне не было приятно, так как я очень устала и даже заснула в концерте. Саша была дома с Мариной и Марьей Васильевной, которая мне очень помогла с раскладкой. Сегодня я свезу Сашу к Мартыновым.

Напиши мне ещё, милый Лёвочка, береги своё здоровье. Не прислать ли тебе, — здесь твои валенки с новыми тёплыми калошами?

Целую тебя и Таню. Всем кланяйся и благодари Юлию Ивановну за письмо.

Твоя С. Толстая» *(ПСТ. С. 734 – 735).*

Продолжение — в письме С. А. Толстой к мужу от 24 октября, ответе на его письмо от 20-го:

«Как это хорошо, что мы по-старому так часто с тобой переписываемся, милый Лёвочка. Сегодня получили твоё и Алино <Алёши Сухотина, сына М. С. Сухотина от первого брака. – *Р. А.*> письмо к Мише, и у вас, по-видимому, всё хорошо, что на меня действует успокоительно.

Миша Сухотин <М. М. Сухотин, старший сын М. С. Сухотина от первого брака. – *Р. А.*> был у Соллогуб в деревне, когда мы переехали. Но, вернувшись, он тотчас же явился к нам, сначала только с маленькой подушечкой и с сияющим лицом, а сегодня уже с книгами, бельём и всеми своими пожитками. Вчера он всё радовался, что наконец согрелся, что у нас в доме тепло; сегодня он всё приговаривал, что в первый раз *дома* обедает, что никуда не надо бежать *есть*. Вообще и мне стало легче жить в Москве, когда я увидала, что хоть кому-нибудь от этого хорошо. Саша с ним играет в шахматы и сегодня дико хохотала, когда Миша ей сообщил о желании быть дипломатом. Саша тоже сегодня радовалась, что начнёт серьёзно учиться: “ты не знаешь, мама, *как* я рада начать серьёзные занятия”, — говорила она мне сегодня. Почти всех учительниц я ей уже собрала, завтра начнут ходить почти все прежние.

Александр Петрович, пропив 2 рубля, занятых у прислуги, всё спал, но теперь пришёл в аккуратность и начал переписывать. И Саша, и я, мы к нему заходим, он нам выражает свои мысли и чувства по поводу твоих сочинений, и наше общение с ним ему полезно. Поместили мы его в Дуняшиной комнате, на что она очень обижалась; но девичья наверху так велика, что в ней троим просторно.

Ужасаюсь на количество твоих писем, полученных на этих днях. Если б не мои слабые глаза, я бы что-нибудь с ними помогла тебе, а теперь и так сейчас чёрное кольцо застилает, и трудно писать. Жду ответа, посылать ли их? — Приехал Миша из своего именья с Алёшей и поселились пока у нас. Весёлые, поют, пошли к Мартыновым. А я вечера сижу дома, очень устаю днём; целые дни убираюсь или езжу, одеваю Сашу; столько ей всего нужно, и так всё это долго, дорого и скучно.

Резины на колёсах истёрлись, новых не сделали ещё, и я по этому морозу вчера ездила в своей коляске парой, а сегодня на извозчике. Мороз, и потому треск невыносимый на мостовых, всю голову разламывает.

От других детей известий не имею. Соня только пишет, что собирается в Москву на Наташины роды, а мы с Сашей собираемся на

28-е и 29-е к Мише, в его имение, он очень зовёт, и это будет весело, туда и Илья с Соней приедут. <«Сын Миша купил именье [Бегичево] в Калужской губернии, а потом продал его кн. Е. Н. Трубецкому». – *Примеч. С. А. Толстой.*> Тебя я не зову; трудно было расстаться, а теперь я о тебе успокоилась, слава богу, что ты так здоров, бодр, и только, пожалуйста, всё-таки берегись, тем более берегись, всё ведь 72 года, и это всегда надо помнить и стараться подольше пожить. Когда выпадет снег и будет тишина в Москве, когда мы очень соскучимся друг без друга, — тогда приезжай. Пока мне ещё времени на это не было, да и страшно тебя сюда звать. Целую тебя и Таню, и всех, кого можно, а прочим кланяюсь. У меня никого ещё не было, даже дяди Кости. Ну, прощай.

С. Толстая» *(Там же. С. 736 – 737).*

Составители сборника писем С. А. Толстой 1936 года ошибочно посчитали приведённое нами выше, в то время ещё не опубликованное, письмо Л. Н. Толстого от 22 октября (вероятно, и датированное так уверенно уже после 1936 г. – Толстой ведь, к несчастью, не подписывал на многих письмах дату!), ответом на письма С. А. Толстой от 22 и 24 октября *(см.: Там же. С. 737).* На самом деле Толстой отвечал на письмо жены от 24-го только 26 октября. Ему предшествует письмо от 25-го, где Л. Н. Толстой указывает дату и маршрут своего отъезда из имения Кочеты: 2 ноября, через Архангельское или Мценск, а также (по догадке, ещё не получив запроса жены) просит выслать письма *(84, 353).* В письме от 26-го — сообщает о получении накопившихся у Сони писем к нему, о приезде в Кочеты к сестре сына, Сергея Львовича и, в частности, о получении письма от жены, от 22 октября: «скоро после твоего приезда, после симфонического, где ты заснула, что нехорошо, означало чрезмерную усталость» *(Там же. С. 354).*

Наконец, в завершающем этот малый фрагмент переписки 1900 г. письме своём от 27 октября (ещё одно письмо её, от 29-го, не опубликовано) С. А. Толстая жалуется на ослабление здоровья и плохой сон — конечно же, последствия взваленного ею на себя воза повседневных забот:

«Я не скучаю, но эти дни мне нездоровится. Второй день такая боль в правой лопатке, плече и руке, что ни спать, ни двигаться не могу. Вероятно невралгия. Да и всё разладилось: и желудок, и голова, и

одышка. Как лошадь, которая если с осени собьёт тело, то уж не поправится к зиме, так и я переработала с осени и сбила сил слишком много. Постараюсь поправиться теперь, когда кое-что сделано.

[…] Видела сегодня во сне, что Таня, завернувшись в мою старую, чёрную бархатную шубку, — умирает, и я разбудила себя этим возгласом: “Танина душа отходит, а я ещё жива!”» *(ПСТ. С. 737 – 738).*

Приезд Л. Н. Толстого в Москву, по записям в дневниках супругов, совершенно точно можно отнести к 3 ноября. Софья Андреевна свидетельствует, что в пути Льву Николаевичу снова не повезло и приехал он уже нездоровым:

«Дороги все замёрзли после месяца дождя и слякоти, и езда сделалась невозможно тряска. Он шёл пешком к станции, заблудившись, по незнакомой дороге, четыре часа подряд, потный, потом сел на тряскую долгушу и так доехал до станции. Теперь опять боли в животе, усиленно растирание его и прочее.

И только и радости от его приезда. Он мрачен, мнителен, работать не мог всё время с тех пор, как мы расстались. А до нашей разлуки как он был бодр, весел, энергичен, с какой радостью писал свою драму “Труп” и вообще работал.

Когда я встретила его на железной дороге, он на меня пристально посмотрел, а потом сказал: “Как ты хороша, я не ожидал, что ты так хороша!”

[…] Вечером готовила клистир с касторовым маслом и желтком для Льва Николаевича, пока он, разговорившись, внушал Гольденвейзеру, подобострастно слушавшему его, что в Европе высшие власти стали беззастенчиво смелы и наглы в своих распоряжениях и действиях» *(ДСАТ – 1. С. 457 – 458. Запись 5 ноября. – Р. А.).*

* * * * *

Завершает 49-й Эпизод небольшой фрагмент Переписки супругов, касающихся двух трагических событий, двух детских смертей в семействе Толстых: новорождённого ребёнка у Татьяны Львовны и внука Льва, сына Доры и Льва Львовича Толстых. О последней смерти сам Лев Львович вспоминает в мемуарах, виня за гибель ребёнка во многом себя: и за недосмотр в одежде малыша, в которой его повезли на прогулку, и за акты жестокого, неуважительного отношения к природе и народу в Ясной Поляне (истребление ужей, расстрел в упор, при жене и детях, собаки лесника, залаявшей на барских деток…), по отношению к которым гибель Льва Третьего

представилась ему заслуженной расплатой *(Толстой Л. Л. Опыт моей жизни. М., 2014. С. 70, 72 – 73)*.

«Три Льва». Лев Толстой с сыном Львом и внуком Львом. 1898 г.

В середине декабря была ещё надежда на выздоровление ребёнка, и с нею Софья Андреевна навещала 15 и 16-го в Ясной Поляне злосчастного Льва-младшего, жену его Дору, в сознании которой не укладывался надвигающийся удушающий кошмар бесценной потери (столь много раз за семейные годы поразивший сердце Софьи Андреевны!) и обречённого уже смерти Льва Третьего.

Дневник Сони обрывается 23-го — горестными словами: «Как стало жутко, как страшно всего! Смерть горе страданья со всех сторон!» *(ДСАТ – 1. С. 468)*. Эти слова, вероятно, напомнят читателю Соничкин слёзный вопль о гибели младшего сына, оборвавший её дневник в 1895-м. Да и обстоятельства были — более чем схожи: умирал в Ясной Поляне внук Лев, «Лев Третий», маленький Лев Львович. И ей стало не до ведения дневника: с 25-го, она была в Ясной, в эпицентре горя… о котором сделала запись в дневнике уже 6 января нового, 1901 года:

«Кончила старый и начала новый год в большом горе. В день Рождества, 25 декабря, получила известие о смерти Лёвушки, скончавшегося накануне, в 9 часов вечера. Несмотря на нездоровье, я тотчас же уложила наскоро вещи и уехала в Ясную. Проводил меня Илья. Приехала вечером, Дора бросилась в мои объятья с страшным рыданьем, Лёва — худой, нервный, обвиняющий и себя, и жену, и всех за смерть сына. Виноваты, что простудили, что шубка плоха, что не усмотрели болезненность и нежное сложение Лёвушки. И это обвинение — самое тяжёлое в их горе. Но горе ужасное! Все мои душевные страдания при смерти Ванечки поднялись со дна души мучительно и за себя и за молодых родителей, детей моих. Помочь я им не могла; приезжал её отец, Вестерлунд, немного помог сиять с совести Лёвы тяжесть обвинения. Присутствовала всё время милая Мария Александровна Шмидт. Хоронить приезжал Андрюша. Опять эта отверзтая яма, восковое личико, окружённое гиацинтами и ландышами, это спокойствие смерти и безумное горе остающихся» *(ДСАТ – 2. С. 7)*.

Только 26-го в ночь Софья Андреевна написала мужу первое из писем в этой скорбной поездке, такого содержания:

«Очень трудно писать, милый друг, о том, что у нас тут происходит. Это — непрерывное страданье или разговоры, разговоры без конца о том, кто виноват, как простудили, как неправильно воспитывали, куда ехать, где жить, и проч. и проч. Ребёнка не хоронили, ждут Вестерлунда <отца Доры из Швеции. – *Р. А.*> завтра, в ночь, и похороны 28-го, в 12 часов дня. Состояние обоих родителей ужасно. Дора выбегает с криком или врывается в комнату, где лежит Лёвушка; кричит, бросается на него, зовёт его, говорит бессмысленные слова; а в комнате не топили три дня и окно настеж открыто. Дора очень похудела, молока почти нет, кашляет. Лёва на неё страдает, усаживает её возле себя, а сам точно полуумный. Ушёл сегодня гулять, яркое солнце, голубое небо, мухи огромные жужжат на окнах, где стоят гиацинты; на солнце 15 гр. тепла и что-то весеннее, пчёлы гудят тут под лестницей, куда их поставили на зиму. Напомнило ему и весну, когда они вернулись из-за границы, и Лёвушку, как бы он теперь гулял на солнышке, — прибежал домой, бросился на постель, где сидела и кормила Дора, она мне бросила на руки Павлика, и сама кинулась с воплями на Лёву, и начали они оба, обнявшись, рыдать, — ужас! Потом опять ничего, пьём чай, говорим. И вдруг Лёва вспомнит, как играл в прятки или мячик с Лёвушкой и Акулей, и опять плачет. Всё приговаривает: “обидно, обидно, кончена жизнь, нет опоры, нет цели”.

Не могу себе представить, какой будет исход их горю. Утешать я совсем не умею, хотя всякий момент моей жизни направлен на эту цель.

Дора беспрестанно льнёт ко мне, то обнимет меня, то сядет на пол и голову мне положит на колена, то рассказывает мне долго про Лёвушку и его слова, игры, крики, болезни, и проч. К маленькому она довольно равнодушна и говорит, что кормит его и будет его любить только потому, что Лёвушка ей это велел. И всё повторяет его слова: “мама́, возьми братика, корми братика”.

Моё здоровье не дурно, немного кашляю, немного болит висок. Я не выхожу и берегусь. Марья Александровна ещё тут, завтра уезжает.

Что твой озноб, Лёвочка? И что мозоль, показывал ли ты её докторам? Жду с нетерпением от вас известий. Как кашель Саши, и вообще очень о вас тревожусь и скучаю. Уехать же теперь немыслимо. Целую вас всех, берегите себя. Твоя

С. Толстая» *(ПСТ. С. 738, 741)*.

Малыш Павел Львович, только родившийся в июле 1900-го, был присмотрен Соничкой и убережён от опасности погибнуть из-за воистину безмерного горя отца и матери. Но с молоком её он впитал в те дни горечи — на 50 лет жизни вперёд… Легко можно понять его позднейший, взрослый и зрелый выбор: жить подальше от проклятой России, страны вечной подавленности, грусти, психологического удушья: в милой Швеции, на родине мамы… возлюбленной также и отцом.

Лев Николаевич записал в Дневнике под 29 декабря об этом событии следующее: «У Лёвы умер ребёнок. Мне их очень жаль. Всегда в горе есть духовное возмездие и огромная выгода. Горе — Бог посетил, вспомнил… Таня родила мёртвого и очень хороша, разумна. Соня в Ясной» *(54, 76 - 77)*.

От самого Льва Николаевича в эти дни нет ответных писем: он скорбел *молча*. Есть две его телеграммы из Москвы, первая из которых, 27 декабря, успокаивает Соню о его здоровье, а 28-го — касается дочери Татьяны и её неудачных родов *(см.: 84, №№ 764 и 765)*. А Соничка отправила ещё мужу из Ясной Поляны три письма: 27, 28 и 29 декабря. О последнем письме известно, что было оно открытым и послано было из села Архангельское, то есть уже по отъезде Софьи Андреевны из Ясной Поляны в Кочеты, к дочери Тане. Но все три письма изъяты из общего сборника 1936 года и нам не доступны.

Дополним поэтому немного о тех трагических днях по воспоминаниям С. А. Толстой.

«…Лёвушка не выздоровел. Тяжёлое воспаление мозга постепенно ухудшало его состояние. Ужасно было видеть, что бедная молодая мать Дора не хотела признавать опасность положения… Она готовила рождественскую ёлку, украшала её, готовила подарки Лёвушке и всем в доме и не видела, что скоро его не станет. Выписала тульского доктора, привезла и я из Москвы детского доктора, но всё было напрасно. Лёвушка скончался 24 декабря.

[…] И теперь прошло с тех пор более 15-ти лет, а когда вспоминаю это время, в ушах моих раздаются отчаянные крики матери: «Не может быть!! Не может быть!!!» Мы все плакали, глядя на бедную Дору. Лёва почти всё время сидел подле неё. […] Вспомнит он, как он гулял с Лёвушкой, как играл с ним и дворовой девочкой Акулей в прятки или в мяч, и плачет. А то бросятся они, бывало, в объятия друг друга и, обнявшись безумно, оба рыдают. Ужас! Я измучилась, глядя на их горе, плачу и теперь, вспоминая.

27-го приехал Вестерлунд, отец <Доры>, а 28-го хоронили Лёвушку. Дора хотела броситься в яму, куда опустили гробик, но мы все следили за ней и удержали её.

[…] После похорон Дора стала как будто немного спокойнее, и мне пришлось от одного горя поехать к другому» *(МЖ – 2. С. 576)*.

Другим горем было, конечно, рождение у Татьяны Львовны мёртвой девочки. Она была оставлена в то тяжёлое время мужем, уехавшим за границу от проклятых русских зимы и тоски. С Таней в трагические дни оказался брат Серёжа, которому, однако, хотелось сбежать из дома скорби в своё имение. Скоро это ему удалось: 29-го Соня приехала в Кочеты с сыном Андреем, который, оценив ситуацию, быстро слинял оттуда с Сергеем, напросившись в гости. Две мамы, старая и молодая, остались делить горюшко. Соня вспоминала в мемуарах:

«Таня, зная, как я глубоко огорчена и сочувствую её несчастью, очень взволновалась при свидании со мной. И вообще она много плакала, хотя старалась храбриться. Тяжела ей была потеря мечты иметь девочку» *(МЖ – 2. С. 577)*.

30 декабря супруги обменялись встречными письмами, причём от Льва Николаевича их было в тот день даже два: в Ясную Поляну и в Кочеты. Просто Лев Николаевич не знал точно, застанет ли первое из писем жену в Ясной Поляне. Приводим оба по порядку их научного публикования.

Письмо 30 декабря в Ясную Поляну:

«Очень меня огорчило твоё намерение ехать к Тане, милая Соня. По последним известиям, которые должен был тебе сообщить Дунаев, проезжая в Козловке, она совершенно благополучна, и уход за ней прекрасный. Дунаеву даны были письма Серёжи и самой Тани (она диктовала и сама приписала), в которых всё описывалось, и были самые успокоительные известия. На беду Дунаеву сказал телеграфист самым определённым образом, что ты в Москве, и он провёз письма в Москву. Я тотчас же тебе телеграфировал и послал письма. Но 28-го они ещё не дошли до тебя, и я боюсь, что ты уедешь. Боюсь за твоё душевное и телесное здоровье. Слишком тяжело то, что ты переживаешь, а переживаешь ты всё очень сильно. Пишу это письмецо в Ясную. Маша писала тебе в Кочеты, и я напишу другое в Кочеты.

Очень, очень жалею бедных Лёву и Дору. Выеду нынче на Курский вокзал в надежде встретить Вестерлунда и узнать от него, в каком положении он всех оставил. Я совсем здоров, Саша тоже меньше кашляет и с разрешения Усова — выходит немного. […]

Целую тебя и милых Лёву и Дору.

30 дек. утро.

Л. Т.»

Текст письма дополняет приписка, обращённая к Л. Л. и Д. Ф. Толстым:

«Всем сердцем чувствую ваше горе, милые Дора и Лёва, и желаю и надеюсь, что вы найдёте утешение и опору там, где она только и есть, в Боге. Пишу мамà. Если она уехала, перешлите ей» *(84, 355)*.

И письмо того же утра 30 декабря в Кочеты:

«Сейчас написал тебе, милая Соня, в Ясную, а теперь пишу в Кочеты. Очень боюсь за тебя и огорчаюсь тому, что письмо Серёжи и Тани, которое поручено было Дунаеву, он провёз в Москву, так как телеграфист ему решительно сказал, что тебя нет в Ясной. Я тотчас же телеграфировал тебе и послал письма, но, как видно, ты 28 ещё ничего не получала. Получив эти письма, ты, может быть, не поехала бы и хорошо бы сделала. Это сверх твоих сил. Разумеется, Таня будет рада, и ты будешь спокойнее у неё. Но как ты доехала и как это отзовётся на тебе? У нас всё вполне благополучно: я вполне здоров.

[…] Целую голубушку Таню. Я радуюсь на нее: какая она умница, как спокойно, разумно (Дунаев рассказывал) перенесла всё. Дай Бог, чтобы и дальше так же.

Прощай.

Л. Т.» *(Там же. С. 356).*

И та же искренняя досада на то, что, за праздниками, совпавшими со стремительно сменившими друг друга трагическими событиями, Софья Андреевна не успевала получить обнадёживающих известий, была выражена Толстым в его последнем в 1900 году письме к супруге, 31 декабря. И там же эти строки: «Хорошо, что у меня суеверия совсем не осталось. То, что мы врозь встречаем новый год, нисколько не огорчает меня, только бы мы были духом близки. Целую тебя и милую умницу Таню» *(Там же. С. 356 - 357).*

Встречным, от 30 декабря, письмом Софьи Андреевны мы завершим презентование читателю переписки супругов 1900-го года. Вот его текст:

«Таня состоянием здоровья вполне благополучна. Всё идёт хорошо: сокращение, убыль молока, нормальная температура. Она очень разумна, держит себя в руках, но грустное положение дел не может не влиять на расположение её духа. Мой приезд, который она ждала с нетерпением, всё-таки взволновал её. Вид только мой, измученный событиями в Ясной, — уже произвёл на неё то впечатление, которое вынесла я из горя Лёвы и Доры. Кроме того она иногда плачет, что мечта ребёнка, особенно девочки, не осуществилась. Забота о муже, о том, что он будет предпринимать, тоже её не оставляет ни на минуту. Если он приедет, он повредит себе; если нет, то как же мало он её любит. Этого она не говорит, но не может не думать. Очень её жаль, она сегодня даже ночь не спала, и ей мерещилось, то, что Наташа взошла и она её видела ясно, то шум, шелест, разговоры.

Днём происходит большая суета, которую мы теперь будем устранять от неё; а первые дни её в этом отношении мало берегли. Теперь будем сидеть по одной, по очереди. Сейчас уехали Серёжа с Андрюшей в Никольское. Оттуда Андрюша уедет домой, а Серёжа на днях в Москву. Я думаю уехать отсюда 1-го вечером или 2-го вечером, смотря по состоянию Тани и по погоде, которая теперь великолепна: солнце, иней, тихо и 10 гр. мороза. Вчера ехала и восхищалась, как давно не приходилось. До Орла проводит меня Юлия Ивановна, где

будет покупать для Тани провизию. В Туле меня встретит Андрюша, который поедет со мной в Москву, ему необходимо там быть по своим денежным делам.

Скучно писать, милый друг, не получив ни от кого из дому *ни единого слова*. Отчего никто не умеет *вовремя* помочь друг другу, и так устроить, чтоб облегчить страданья? То, что я пережила это время, *видя* и горюя на скорби своих детей, гораздо тяжелее, чем если б всё это произошло за глаза. И тяжело бессилие помочь...

Звонят к обеду. Целую тебя и Сашу; если б я получила от вас телеграмму на Архангельское, что всё у вас хорошо, мне легче бы было ехать. Прощай.

Твоя Соня Толстая» *(ПСТ. С. 741 - 742)*.

Вернулась Софья Андреевна в Москву уже 3 января 1901 года.

КОНЕЦ СОРОК ДЕВЯТОГО ЭПИЗОДА

Эпизоды 50 – 57.

НАЕДИНЕ ВДВОЕМ СО СТАРОСТЬЮ

(Обзор Переписки в 1902 – 1909 гг.)

Год 1901-й, первый год XX столетия, был в жизни супругов Толстых образцовым годом если не во всём дружного то, во всяком случае, почти безотлучного проживания. Вместе в Москве они встретили известие о пресловутом «Определении» св. Синода, экземпляр которого, как документ безусловно «исторический», Соня подклеила себе в дневник, следом приложив своё протестное письмо «митрополитам» и описав, под 6 марта, ряд обстоятельств, сопровождавших «отлучение» *(ДСАТ – 2. С. 15)*. Вместе переехали супруги в мае в Ясную Поляну, где Лев Николаевич начал летом серьёзно болеть, и вместе переехали в первых числах сентября в Крым, где Толстой разболелся совершенно и где не чаяли зимой удержать его к весне в живых. Только к 26 и 27 мая относятся два небольших и малоинтересных письма Л. Н. Толстого к жене в Москву — в связи с краткой её туда поездкой *(см.: 84, №№ 770 и 771. С. 358 – 359)*. На оба письма, по краткости своей отлучки, Софья Толстая не писала ответов. В эту поездку, стоит заметить, у Сони «разладились», хотя и не навсегда,

отношения с платоническим любовником её, Сергеем Ивановичем Танеевым: «…Нет больше ни сил, ни желания поддерживать прежнее. Да и не такой он человек, чтоб дружить с ним. Как все талантливые люди, он ищет постоянно в жизни нового и ждёт от других, не давая почти ничего от себя» *(ДСАТ – 2. С. 19)*. В дальнейших их отношениях стало меньше личного, но сохранился восторг Софьи Андреевны перед музыкой и игрой Танеева и, с другой стороны — тщеславное удовольствие гения-гомосексуала от интереса к нему умной, просвещённой и талантливой женщины.

Год 1902-й

1902-й год семейство встречало в крымской Гаспре, ожидая возможной смерти Льва Николаевича. Только после некоторого улучшения весной его самочувствия С. А. Толстая позволила себе выехать ненадолго, утром 22 апреля, по делам в Ясную Поляну и Москву. Своё письмо 22 апреля из Севастополя С. А. Толстая пометила такой архивной справкой: «4 сентября 1901 года мы уехали в Крым, где Лев Николаевич всё время болел и мы не расставались. Только раз я съездила в Москву в апреле 1902 года по разным делам и скоро вернулась» *(ПСТ. С. 742)*.

Вот самый текст письма:

«Ехали мы до Балаклавы необыкновенно легко и незаметно. Байдарская долина так веселила взор своей чисто весенней, свежей зеленью; всюду зелено, и глаза отдыхали от серых, тяжёлых камней нашей Гаспры. От Балаклавы подул ветер и стало жарко, а вдоль Севастопольских пустырей и в самом городе буквально жгло лицо и голову. Билеты взяты, и мы едем через час. Переживаю всё, что делается в Гаспре, беспокоюсь, но стараюсь не распускаться в этом смысле.

Целую всех. […]» *(Там же)*.

Среди “дел” её в Москве была новая, но, конечно, уже сугубо музыкальная, встреча с С. И. Танеевым *(ДСАТ – 2. С. 65)*. Сообщение с Гаспрой, помимо одного маленького её дорожного письма 22 апреля,

велось телеграммами, которые со стороны Льва Николаевича посылали другие лица. Им самим была подписана только одна телеграмма, от 27 апреля:

«Передайте графине погода прелестная 19 тени третий день выезжаю терасу это я особо телеграфируй» *(84, 360)*.

Фразой «это я особо» Толстой подчёркивал, что эта телеграмма — именно от него.

По возвращении вечером 1 мая в Гаспру она застала у супруга ухудшение, снова жар, так что отъезд из Крыма в Ясную Поляну задержался в том году до 27 июня. В связи с возвращением Софья Андреевна записала в дневнике: «Благодарю Бога, что привелось привезти Льва Николаевича ещё раз домой! Дай Бог больше никуда не уезжать!» *(ДСАТ – 2. С. 70)*. Она всё-таки выезжала в июле, в частности — в связи с болезнью М. С. Сухотина, мужа Татьяны Львовны: «гнойное воспаление левого лёгкого» *(Там же. С. 71)*. Супруги обменялись малоинтересными письмами: 17 июля Соня — о состоянии дочери и её мужа, 18 июля Лев Николаевич — конечно же, о своём… Усталость от более чем годичного ухода за больным мужем вылилась

у неё к концу 1902 года в болезненное раздражение, и примерно с 14 по 25 ноября она поехала культурно отдохнуть (вторая дата зафиксирована в её дневнике: *ДСАТ – 2. С. 80)*. То, что поездка имела цели уже не столько деловые, сколько досуговые, видно из небольшого письма Л. Н. Толстого, отправленного с А. Б. Гольденвейзером вослед жене, в котором он пишет: «Желаю тебе наслаждаться музыкой. Прощай, будь спокойна и здорова» *(84, 361)*. А Соничка из Москвы отправляет 15 ноября мужу содержательное письмо 15 ноября:

«Милый Лёвочка, у меня здесь в Москве так разболелись руки и пальцы, что я сегодня утром отправилась к <доктору> Усову, чтоб помог мне. Он, как всегда, внимательно и добро отнёсся ко мне и нашёл, что у меня подагра приняла значительные размеры, и причина: малое питанье (manque de nutrition) почему-то сказал он по-французски. Лечение предписал на 6 недель, воды, солёные ванны с содой, иодистую мазь, большое тепло рук и ног, и проч. Всё это скучно, но я буду делать, приехав в Ясную, и 6 недель никуда не поеду.

Самое тяжёлое то, что это время руками я ничего не должна делать, суставы больные бинтовать. И вот и живи: глазами нельзя ничего делать, руками ничего не делать — чем же жить? Теперь и на фортепиано играть никак не советует Усов. Всё это меня повергло в уныние, и так как я теперь засяду дома на долго, то я решилась остаться ещё на некоторое время в Москве, т. е. до среды. Во вторник концерт Гофмана, последний, а во весь сезон — это для меня лучшее удовольствие, и если у вас всё будет хорошо, то ведь я дома не нужна никому, всё равно буду без дела сидеть в углу или лежать на кушетке. Утешаюсь, что надо с годами уметь выносить «жизни холод», и что: «la vraie sagesse de l'homme c'est de savoir vieilliir», [«истинная мудрость человека — уметь состариться»] но я ещё не совсем приспособилась к этому, и тоскую.

Мне очень приятно было в Москве то, что я здесь видаюсь и с Соней и Анночкой, и с Мишей и Линой, которые очень со мной хороши, я вчера у них обедала, родители Глебовы уехали за границу, а Миша с Линой и <внуком> Ваничкой живут на Молчановке. Ваничка прелестен, но толст и огромен. Вчера вечером многие ко мне пришли, и было очень приятно. Серёжа, верно, вам говорил о нашем житье.

Сегодня поеду в филармонический концерт, Шаляпин поёт, а завтра, если не очень будет холодно, поеду навестить сына Серёжи с Марусей, которая пойдёт к своей сестре.

Не сердитесь на меня, что я остаюсь ещё на три дня, и если что у вас будет плохо, умоляю мне сейчас же телеграфировать. Радуюсь, что у Маши оказалось не серьёзное нездоровье; здесь все в гриппе и 10, 12 гр. мороза. Целую всех, благодарю тебя за письмо.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 743 – 744).*

Московский врач Павел Сергеевич Усов (1867 – 1917) появляется в Переписке супругов только второй (после 1900 г.) раз. Но ему предстоит появиться в ней ещё неоднократно. Он будет в составе консилиума докторов и во время последней, роковой болезни Льва Николаевича в 1910 году в Астапово, и останется рядом с ним в последние часы его жизни.

Год 1903-й

В 1903-м году Лев Николаевич, вопреки опасениям жены и ожиданиям ненавидевшего его «православного русского мира», не только не умер, но оправился от затяжной крымской болезни настолько, насколько вообще это можно было ожидать от старца, приближавшегося к своему 75-тилетию. Он продолжал и активное писательское, в том числе художественное («Хаджи-Мурат»!) творчество, и духовный диалог со всем миром. А ещё Лев Николаевич превратил свой Дневник в настоящую философскую лабораторию: многократно и ранее, и больше прежнего в этом, 1903-м, году, и позднее он пытался вывести в нём некое совершенное «определение жизни», осмысленной с недогматических христианских позиций. Независимо от итогов этих попыток (которые пока не нашли у учёных философов достаточного внимания, не говоря уже о понимании), такие упражнения объективно были полезны для стариковского ума и одновременно свидетельствовали о мощи и даже огромном неисчерпанном потенциале его работы.

И по-прежнему ему радостней и плодотворней писалось и творилось в милой и родной Ясной Поляне, где Соничка встретила с мужем Новый год, заботясь о необходимой ему для восстановления сил эмоциональной «деревенской ванне» и откуда, при отъезде её очередном в Москву (по делам и, особо отметим, на продолжившиеся музыкальные свидания с С. И. Танеевым) писал ей 2 мая 1903 г. такие известия:

«С удовольствием исполняю обещание — писать тебе, милый друг Соня, тем более, что могу дать тебе хорошие сведения о себе и всех нас. Я здоровее гораздо, чем был при тебе, хотя, как всегда, слаб желудком. Погода сырая, — я немного гуляю и не мокну. Работаю <над «Хаджи-Муратом»> и читаю. Хорошо нынче обдумалась ночью моя давнишняя внутренняя работа об определении жизни. Сейчас иду чай пить с Лёвой, Сашей, Юлией Ивановной <Игумновой> и доктором, голоса которых слышу в зале. Сегодня милое письмо от Нарышкиной-Чичериной. Что Борис Николаевич, поклонись ему через Серёжу от меня.

Прощай, целую тебя.

Л. Т.» *(84, 363).*

Александра Николаевна Нарышкина, урожд. Чичерина (1839—1918?), статс-дама, сестра ровесника и давнего (с 1856 г.) приятеля Льва Николаевича, Бориса Николаевича Чичерина (1828 - 1904), с 1871 г. жена Э. Д. Нарышкина, прислала Толстому письмо от 29 апреля 1903 г., в котором благодарила его за мысли о Боге, прочитанные ею в мартовском 1903 г. в «Журнале для всех», опубликовавшем тогда собрание цитат “из Толстого”, которые, по её утверждению, вновь привели её в «юный восторг, напоминающий светлое прошедшее!». Как и тёзка её, тоже придворная, А. А. Толстая, Нарышкина к старости стала мистически настроена и приобрела духовника, некоего «отца дю-Лака». Мысли Толстого затмили в глазах милой дамы всю болтовню наставника с довольно неудачной для «духовной особи» фамилией. (Французские легенды о маньяке Луи Дю-Лаке, жившем в XVIII веке, сошедшем с ума после братоубийства и ставшем после смерти вампиром, могли быть известны в России через пересказы в французских же бульварных романах, читавшихся в «свете».) Обиженный духовник, дабы восстановить имидж, озадачил придворный мозг Шурочки таким вопросом: «Когда вы спросите себя в ваши последние минуты: “Хорошо ли это, что я существую”, — что ответите вы?» *(74, 117).* Потужившись над ответом, Нарышкина переадресовала этот вопрос “самому” Толстому. И вот что он ответил ей в письме от 6 мая:

«Вопрос вашего друга я не совсем понимаю. Ответ на него может дать только Тот, Кто послал меня в жизнь. Обычный же и понятный вопрос в том: сделал ли я всё то, что хотел от меня Пославший. Но и этот вопрос возникает перед людьми, когда они далеки ещё от

смерти. Когда же она близка, нет уже вопроса, а одно сознание своего приближения к справедливому, милосердному, любящему Богу. И в этом сознании, для меня по крайней мере, распускаются (как соль в воде) все вопросы» *(Там же)*.

В 1903-м Соня выезжала в Москву часто — награждая себя за месяцы напряжённого бдения у постели тяжелобольного мужа и каторжного служения общему с близкими и с консилиумом врачей делу его выздоровления. Лев Николаевич отпускал Соню в поездки смиренно, любовно, прощаясь с ласкою и совершенно не ревнуя уже о встречах её в Москве с Сергеем Ивановичем Танеевым и другими привлекательными для неё мужчинами. Мы не располагаем текстами двух её писем из таких кратких поездок, от 24 февраля и от 30 апреля 1903 г., но имеем в распоряжении *встречные* письма супругов от 8 октября. Вот что писал тогда в Москву, вослед выехавшей жене, Лев Николаевич:

«Хочется написать тебе, дружок, чтобы ты была спокойна и не торопилась. Жаль, что про тебя ничего не знаем. Несмотря на гадкую погоду — вчера ветер, а нынче туман и дождь — ездил с Павлом Александровичем верхом. Нынче доехали до Марьи Александровны. Она здорова. Вчера я был очень бодр и спал прекрасно: нынче, вероятно, от дурной погоды, сонливость, но здоров, — нет болей, и изжога только чуть-чуть. У нас вчера был <кн. Дмитрий Иванович> Шаховской с либеральной сотрудницей по газете <Это была писательница Ариадна Тыркова, сотрудничавшая с газетой «Речь». – *Р. А.*> и милый <Хрисанф> Абрикосов. Я всё не могу освободиться от Шекспира. Ну вот и всё, целую тебя.

Л. Т.» *(84, 363 – 364)*.

Это Льва Николаевича увлекло писание статьи «О Шекспире и о драме». Трудоёмкая и не маленькая статья была написана Толстым в довольно короткие сроки: с начала сентября по 15 декабря 1903 года. Сказались здесь и многие годы обдумывания Толстым своего отношения к творчеству Шекспира, и опыт литературного и искусствоведческого анализа при прежней, тяжелейшей работе над трактатом «Что такое искусство?»

Упомянутый в письме Хрисанф Николаевич Абрикосов (1877 – 1957) был одним из лучших младших “толстовцев” и немногих настоящих, преданных друзей Льва Николаевича. Как и для многих других “толстовцев”, для него исповедание Христа началось с чтения

книги Л. Н. Толстого «В чём моя вера?», за которым последовала личная встреча с писателем 7 февраля 1898 г., перевернувшая всю жизнь Абрикосова. Ему, по собственным воспоминаниям, стало хотеться, чего прежде не хотелось: «хотелось в основе изменить свою жизнь, хотелось жить по новым открывшимся» ему законам *(Абрикосов Х.Н. Двенадцать лет около Толстого // Летописи. Кн. 12. Т. 2. С. 379)*. В 1898 году он стал свидетелем короткого расцвета земледельческой колонии Д. К. Кенворти в Перлее. Но в 1899 г. Абрикосов предпочёл воротиться в Россию, а с осени 1902 г., поселившись в Ясной Поляне, стал добровольным вспомогательным секретарём Льва Николаевича. В награду за помощь в 1905 году Толстой женит его на богатенькой и знатной невесте, Н. Л. Оболенской, внучке своей сестры, М. Н. Толстой. После роскошнейшей свадьбы умница Хрисанф резко порвёт с секретарством Л. Н. Толстому, мудро сохранив полезные дружеские отношения и с ним, и с «верхушкой» толстовского движения, и заживёт своей независимой, долгой и очень счастливой, жизнью с любимой и любящей женой. В советское время он стал известен как выдающийся пчеловод. Дочь Абрикосова, Вера Хрисанфовна, в 1927 г. выйдет замуж за Сергея Сергеевича Толстого, внука Толстого, сына Сергея Львовича.

Вернёмся, однако, к переписке 1903 г. Вот встречное, с датой «8 октября 2 ч. дня», письмо к мужу С. А. Толстой:

«Получила сегодня утром вашу телеграмму, милый Лёвочка, что всё хорошо и приехал Абрикосов. Славу богу, что ты здоров. Как я и предполагала — кончить дела в три дня невозможно. Сейчас 1½ дня прошло, и я так мало успела. Вчера долго продержали в банке […].

Из банка уже в 4-м часу сделала кое-какие покупки по поручению Ольги и свои; обедала с <Масловыми> Варварой Ивановной и Фёдором Ивановичем втроём и поехала в Художественный театр смотреть «Юлия Цезаря», в 7½ час. начало. В партере зябла и порой скучала, но не могу не сказать, что поставлено и играно великолепно. Тогда расскажу. Сидела часть спектакля с старушкой Стрекаловой <«Известная московская благотворительница». – *Примеч. С. А. Толстой*> и <внучкой её> кн. Ливен в директорской ложе. Сегодня всё утро считалась с артельщиком и Макаренко <«Молодой юрист, занимавшийся моими делами». – *Примеч. С. А. Толстой*> и с 3-х часов опять будем делать то же. К вечеру кончим, и если успею, съезжу к тётеньке. Вот и сегодня весь день. Завтра надо выбирать обои в дом, побывать в своём доме и вещи взять, Маклакову глаза показать, которые очень воспалились опять, покупки, Мясоедова и проч. — Всё

это успеть невозможно и потому я вероятно приеду *в субботу утром*, так и высылайте за мной. Если же почему-нибудь управлюсь, то телеграфирую. Разумеется, если ты будешь нездоров или я понадоблюсь дома, то всё брошу и приеду.

Масловы необычайно милы, и кроме их я видела ещё Дунаева в банке <А. Н. Дунаев, директор Московского торгового банка, старый знакомый Толстых и поверенный в денежных делах. – *Р. А.*> и больше никого. Целую тебя, и Юлье Ивановне, и Павлу Александровичу, и Хрисанфу Николаевичу кланяюсь.

Твоя Соня» *(ПСТ. С. 745)*.

Вышеприведёнными письмами исчерпывается вся значительная переписка супругов в 1903 году.

Год 1904-й

С 9 по 15 января 1904 г. Софья Андреевна снова в Москве, где, помимо культурной программы (Гольденвейзер, Шаляпин), она произвела некоторые уникальные по ценности для грядущего яснополянского Музея манипуляции с рукописями Льва Николаевича и ценными вещами, дабы уберечь их от возможного домашнего, детьми и внуками, расхищения и уничтожения *(ДСАТ – 2. С. 100)*. Таким образом, Соню стопроцентно можно назвать *самой первой*, и очень способной, сотрудницей и хранительницей нашего Музея, а начало его работы возводить не к большевистскому декрету 1921 года, а ко времени, значительно более раннему.

Конечно же, Соня обо всём писала мужу, и мы представим ниже эту недлинную переписку — всего в три письма.

Но обо всём по порядку… Как всегда, Софья Андреевна более порадовалась в праздники не самим праздникам, а дорогим для неё праздничным гостям: обеим Татьянам, сестре и дочери, «мальчикам Сухотиным» и, конечно, своим мальчикам — сыновьям Сергею и Андрею. Но уже 8 января в Ясную Поляну добрались и гости нежданные, не радовавшие: три студента Петербургского горного института с приветственным адресом Льву Николаевичу *(Там же. С. 98)*. С ними, возвращавшимися в столицу, и надумала ехать до Москвы вечерним поездом 8 января Софья Андреевна. Добравшись до ха-

мовнического дома уже 9-го ночью, к следующей ночи, на 10 января, как ни утомилась, она нашла в себе силы написать мужу такое и пространное, и информативное, и очень доброе письмо:

«Весь день о тебе думаю, милый Лёвочка, так ясно себе представляю, как ты ходишь по пустой зале и тихо, тихо в доме. И совестно немножко, что мы все уехали. Как твоё здоровье? Завтра жду известий. Ехали мы хорошо; в Туле сели в наш вагон ещё Андрюша, виноватый и ласковый, Димер Бобринский и Миташа Оболенский.

Горные студенты трогательно благодарили и, кажется, остались очень довольны своим посещением.

В Москве, напившись кофею, все разъехались по своим делам. Была в банке и посидела с Дунаевым, пока делались бумажные, денежные дела. Читал он мне очень трогательное письмо Ольги <жена А. Л. Толстого, окончательно оставленная им в 1904 г. – *Р. А.*>, в котором она пишет, что если б не дети, она жить бы не стала, так её тоска заела. Просит, чтоб никто не бранил Андрюшу; что-то материнское она к нему чувствует. Удивительно! за что любят?

Была я в Историческом музее. Щербатова <кн. Николай Сергеевич Щербатов, егермейстер двора, состоял председателем Исторического музея в Москве. – *Р. А.*> не застала, он только в субботу, в 5 часов вечера будет дома. Пошла к Забелину. <Иван Егорович Забелин (1820—1908), историк и археограф. С 1879 г. товарищ председателя Исторического музея. – *Р. А.*> Ему 84 года, он совсем почти без ног, шмыгая ходит, и то только по своим комнатам. Головой свеж, был очень любезен и, разумеется, рукописи все возьмёт на хранение. Завтра в 2 часа дня я должна буду их перевозить, но меня очень смущает формальная сторона дела. Кто будет её делать, насколько сохранны будут ящики, запрут ли их? Может быть до понедельника не буду их перевозить, завтра справлюсь в Румянцевском музее, можно ли ещё оставить дня на два ящики и, поговорив с кн. Щербатовым, сделать всё окончательно в понедельник.

В воскресение буду весь день считаться с артельщиком.

Обедали мы в ресторане “Прага”, пришёл к нам Илюша на короткое время; потом Буланже и Маруся. — После обеда поехали домой, оделись, и в театр, с Буланже в виде охраны, так как ни один из сыновей не приехал, и Андрюша с утра до ночи пропал. Бог знает, какую он теперь жизнь поведёт, страшно подумать. В оперу приехала и оттуда же уехала тётя Таня. Суета мешала вникать в музыку, но общее впечатление хорошее; грация и оригинальность в восточном вкусе. <Это была премьера оперы Аренского «Наль и Дамаянти». – *Р. А.*>

Ну вот и всё, мой милый Лёвочка. — Видели Гольденвейзера с женой, приходили Масловы, — мы сидели в бельэтаже, а они в бенуаре. Дела мне здесь ещё очень много, а я устаю ужасно, задыхаюсь и просто голова кружится. Саша здорова, но девочки не так веселы тут, как дома. Целую тебя, кланяюсь Юлии Ивановне и Григорию Моисеичу. <«Г. М. Беркенгейм, доктор, живший тогда при Льве Николаевиче». – *Примеч. С. А. Толстой.*>

Твоя Соня» *(ПСТ. С. 747 - 748).*

Отчего-то нет на эти дни ответных писем жене Л. Н. Толстого. Можно предположить, что между супругами состоялась о том договорённость: *не отвечать*, т.к. поездка Сони предполагалась краткой, по преимуществу деловой, но при этом заполненной таким количеством треволнений, к которым она не желала прибавлять необходимость чтения и ответа домашних писем. Как прежде, о здоровье семейных она извещалась в телеграммах. Так или иначе, нам остаётся только перейти к следующему по времени, от Сонички же, письму для Льва Николаевича — снова ночному, с 10 на 11 января:

«Опять пишу тебе, милый Лёвочка. Получила успокоительную телеграмму и рада, но почему-то мне кажется, и я боюсь, что ты от скуки и одиночества уедешь к Маше или к Ольге. Сегодня мокрый снег и тепло. Как-то твоё здоровье, хотелось бы знать подробнее.

Саша начала своё лечение зубов сегодня, и ей сказали, что надо лечиться и пломбировать целую неделю. Они с Анночкой здоровы и веселы; ходили смотреть картины в Историческом музее, а вечером мы все ездили в концерт: Саша, Анночка, я, Серёжа, Андрюша и Буланже, и все в восторге от Шаляпина и вообще концертом довольны. Дома весело пили чай и теперь все спят.

Обедали у Масловых все три, и Фёдор Иваныч, очутившись один кавалер среди 6-ти дам, очень старательно занимал девочек и шутил с ними.

Была я сегодня в Румянцевском музее и в Историческом, куда и решила перевезти рукописи; но мне хочется прежде посмотреть помещение; в понедельник, в 12½ часов дня назначил мне кн. Щербатов осмотр помещения, и тогда во вторник свезу ящики.

Впечатление от администрации с Цветаевым во главе — очень противное в Румянцевском музее. В Историческом же Щербатов и особенно его милая жена и дочь и старик Забелин произвели на меня очень хорошее впечатление.

Серёжа, Фёдор Иваныч и Павел Александрович, — все советуют отдать рукописи на хранение в Исторический музей.

Книги из Румянцевского музея тебе посылают, по моей просьбе, следующие:

1) Творения св. Василия Великого. Ч. 3 и 5.

2) Творения св. Иоанна Златоустого. Том III. Кн. 1 и 2.

3) Св. Василия Великого избранные нравственные правила.

4) Изречения св. отцов об охранении души и тела в чистоте целомудрия.

И больше ничего не прислали. Видно без Фёдорова там ничего никто не знает, а вместо Фёдорова какой-то молодой человек. <Философ-мистик и аскет Н. Ф. Фёдоров был гениальным библиотекарем в Румянцевском музее. В середине февраля 1898 г. он уволился со службы, чтобы посвятить последние годы жизни совершенствованию и пропаганде своего учения. – *Р. А.*>

Ну, и прощай, милый друг, пора ложиться; завтра весь день буду в работе с учётом артельщика и сама не знаю, где мы будем обедать в вечер.

Хотели к брату Саше, да не дали ему знать; пошлю завтра утром спросить.

Поклон твоим телохранителям. Вернуться думаю в четверг утром, раньше не управлюсь с разными делами.

Твоя Соня Толстая» *(ПСТ. С. 748 – 749).*

О делах своих в Румянцевском и историческом музеях Софья Андреевна сообщает Льву Николаевичу достаточно сдержанно и кратко, так что, для сочности и полноты картины, имеет смысл дополнить письма её сведениям из дневника. Вот фрагмент из записи на 18 января 1904 г., повествующей о тех же событиях:

«Главное дело моё в Москве было: перевозка девяти ящиков с рукописями и сочинениями Льва Николаевича из Румянцевского в Исторический музей. Меня просили взять ящики из Румянцевского музея по случаю ремонта. Но мне странно показалось, что в таком большом здании нельзя спрятать девять ящиков в один аршин длины. Я обратилась к директору музея, бывшему профессору Цветаеву. Он заставил меня ждать полчаса, потом даже не извинился и довольно грубо начал со мной разговор.

— Поймите, что мы на то место, где стоят ящики, ставим новые шкапы, нам нужно место для *более ценных рукописей*, — между прочим говорил Цветаев.

Я рассердилась, говорю:

— Какой такой хлам ценнее дневников всей жизни и рукописей Толстого? Вы, верно, взглядов «Московских ведомостей»?

Мой гнев смягчил невоспитанного, противного Цветаева, а когда я сказала, что я надеялась получить помещение лучшее для всяких предметов, бюстов, портретов и всего, что касалось жизни Льва Николаевича, Цветаев даже взволновался, начал извиняться, говорить льстивые речи, и что он меня раньше не знал, что он всё сделает, и так я уехала, прибавив, что если я сержусь, то потому, что слишком высоко ценю всё то, что касается Льва Николаевича, что я тоже львица, как жена Льва, и сумею показать свои когти при случае.

Отправилась я после этого в Исторический музей к старичку восьмидесяти лет — Забелину. Едва передвигая ноги, вышел ко мне совсем белый старичок с добрыми глазами и румяным лицом. Когда я спросила его, можно ли принять и поместить рукописи Льва Николаевича в Исторический музей, он взял мои руки и стал целовать, приговаривая умильным голосом:

— Можно ли? Разумеется, везите их скорей. Какая радость! Голубушка моя, ведь это история!

На другой день я отправилась к князю Щербатову, который тоже выразил удовольствие, что я намерена отдать на хранение в Исторический музей и рукописи и вещи Толстого. Милая его жена, княгиня Софья Александровна, рождённая графиня Апраксина, и очень миленькая дочь Маруся. На следующий день мы осматривали помещение для рукописей, и мне дают две комнаты прямо против комнат Достоевского.

Весь персонал Исторического музея, п библиотекарь Станкевич, и его помощник Кузминский, и князь Щербатов с женой, все отнеслись с должным уважением и почетом ко мне, представительнице от Льва Николаевича» *(ДСАТ – 2. С. 99 - 100)*.

Об этом же, в числе прочего, по трудам и заслугам счастливом завершении ответственного и трудного предприятия — в третьем, и заключительном в эту поездку, письме С. А. Толстой к мужу, от 12 января:

«Вчера не писала тебе, милый Лёвочка, да и не знаю, рад ли ты, что я тебе пишу. Мы здоровы, но Саша всё жалуется, что зуб очень болит, и потому бывает мрачна, и всё говорит, что ей хочется домой.

Серёжа сегодня празднует университетский праздник, и теперь 2 часа ночи, а его ещё нет. Андрюша, как птица беззаботен и весел, тратит пропасть денег, говорит, что влюблен в Толмачёву, и никогда, ни за что не вернётся к жене. Очень мне её, бедную, жаль.

[…] До 3-х часов с 12-ти мы перевозили ящики из Румянцевского в Исторический музей, куда прислали библиотекаря и солдата. У подъезда стояли сторожа и городовые, охраняя трёх извозчиков с ящиками, и мой артельщик с солдатами переносил их. Помощник библиотекаря, который приезжал, воспитан в корпусе, был артиллерийский офицер; начитавшись твоих книг, он не мог продолжать быть военным и вышел в отставку. Поступил в университет, на историко-филологический факультет, был оставлен при университете и поступил библиотекарем в Исторический музей. Говорил, что день передачи твоих рукописей в Исторический музей есть самый счастливый в его жизни и что он всё на свете будет делать, чтоб помочь разобрать, переписывать всё, что нужно. Но на это я, конечно, не согласилась.

Дали мне превосходное помещение, в башне, и предлагают ещё и рядом комнату отдать мне. Вчера Щербатов водил меня всюду, и вот как расположены комнаты:

[После этих слов в оригинале нарисован план помещения.]

Когда Щербатов доложил вел. кн. Сергию Александровичу о моём намерении, он велел мне сказать, что благодарит меня за честь и радость, которую я делаю Историческому музею, отдавая рукописи Льва Николаевича туда на хранение, и кроме того сказал, что это большая радость для всех служащих в музее. И правда, они все там в восторге.

Купили они для музея «Горе от ума» Грибоедова к его столетию, рукопись подлинную, и заплатили за неё шесть тысяч рублей.

Я могла бы завтра уехать, мне мало осталось дела для этого раза, но не решаюсь оставить Сашу. Мои опасения насчёт её отношения сердечного к Б. всё более и более подтверждаются и очень меня мучают. Сегодня с утра записка к ней, что он «занят в «Посреднике», совсем близко от вашего дома»; — я ему написала, что сейчас уезжаю и потому его *не зову*. А Саша написала, чтоб он пришёл; но он понял меня.

Когда мы с ним ездили в театр, Саша всячески хитрила, чтоб ехать с ним. Я делала вид, что не понимаю и сажала её с Анночкой. Вообще я наблюдаю всё время, и вижу, что весь интерес её жизни: придёт или не придёт Б.

Слава богу, что у вас всё хорошо. Как тепло и какой ветер гадкий, точно такой, какой был, когда ты ездил в Пирогово. Целую тебя и желаю, чтоб ты не был недоволен моим долгим, на этот раз, отсутствием.

С. Т.» *(ПСТ. С. 750 – 751).*

К свидетельствам той же охранительной и музеефикаторской деятельности С. А. Толстой относятся два её письма к мужу, так же безответные, из февральской поездки в Москву — от 17 и 19 февраля. К письмам Софья Андреевна сделала позднее следующее примечание: «Из Москвы, куда я в то время свезла все рукописи свои и отданные мне бумаги [Льва Николаевича], — в Исторический музей на хранение. Сопровождали меня А. С. Бутурлин и П. А. Буланже» (*ПСТ*. С. 752).

Приводим соответствующие отрывки из писем ниже по порядку.

Из письма 17 февраля:

«…Главное моё дело я делаю хорошо и успешно: […] в музее два дня разбираем и записываем вещи, бумаги, портреты, письма; и пожилой библиотекарь, Алексей Иванович Станкевич <старший библиотекарь Исторического музея. – *Р. А.*> толково, с любовью всё сортирует, раскладывает в великолепную витрину, всё запирает, прибирает и до педантизма акуратен. Его давно знают Масловы и очень одобряют.

Завезли мы всё с Павлом Александровичем прямо с вокзала в музей, который уже был отперт, так как мы не спешили, да и поезд опоздал. Когда я, умывшись, вышла в вагонный салон, Бутурлин и Павел Александрович благодушно распивали чай, и потом поехали все вместе, но на 3-х извозчиках с вещами. Завтра буду опять в музее с 11 ч. до 3-х, и завтра разбор писем, — самое трудное, сортировка и счёт их» *(Там же. С. 752).*

И из письма 19 февраля:

«В музее работала одна — все библиотекари ушли, и мне было очень трудно. Телеграфировала я Абрикосову, чтоб пришёл помочь, но видно он уехал на Клязьму свою. Зато 4 часа времени в одинокой башне с яркой полосой солнечного луча — прошли так быстро, что когда пришёл библиотекарь сказать, что пора запирать, — очень удивилась, что уже 3 часа. Ещё осталось много разборки бумаг; я очень аккуратно всё делаю» *(Там же. С. 753).*

Ещё в письме 17 февраля — первое упоминание Сонички о начавшейся 8-го числа Русско-Японской войне, пока что задевшей её только некоторыми рассказами и слухами:

«В музей приходил ко мне Mr Salomon; Серёжа с ним и Мишей Стаховичем завтракали в Славянском базаре. Миша Стахович едет представителем от дворянства русского на войну с Красным крестом. Масловы рассказывали, как провожали санитарный поезд, 60 барышень, много из высшего круга поехали сестрами милосердия, доктора, фельдшеры и проч. Поезд был огромный, и при отъезде мертвая тишина, несмотря на огромную толпу. Вообще чувствуется мрачное настроение от войны, и что-то не высказанное, не ясное. Извозчики, как и мужики, глубоко верят в победу русских» *(Там же. С. 752)*.

* * * * *

Переписка Л. Н. и С. А. Толстых 10 – 15 марта 1904 года касается драматического семейного эпизода: разрыва отношений сына, Андрея Львовича, с первой его женой, О. К. Дитерихс. Напомним читателю, что А. Л. Толстой женился на Ольге Дитерихс 8 января 1899 г., при скептическом отношении к перспективам брака обоих родителей. Двое детей, Соня и Илья, не спасли отношений супругов. Помимо разницы в возрасте (Ольга была старше мужа на 5 лет), сказалась и несхожесть характеров. Софья Андреевна приехала в Москву к сыну около 10 марта, с намерением, как следует из небольшого письма к ней этого дня от Льва Николаевича, «поддержать его в его добром настроении» *(84, 365)*. Письмо Софьи Андреевны от 11 марта изъято из доступного нам сборника, поэтому трудно судить, намеревалась ли Софья Андреевна как-то примирительно повлиять на отношения решившихся к разрыву супругов. Во всяком случае, судя по следующему, от 14 марта, письму Л. Н. Толстого (точнее — приписке к письму Ю. Н. Игумновой), для него разрыв и уход Ольги Константиновны из толстовского дома был делом решённым и, быть может, даже втайне желательным:

«Ты нынче зажилась, милая Соня. Но дело, которым ты занята, самое важное и хорошее. Я сомневаюсь, хорошо ли я сделал, согласившись с Ольгой, что ей лучше ехать <уехать в Англию к своей сестре А. К. Чертковой. – *Р. А.*> и не возобновлять сношений. Во всяком случае, судить между мужем и женой невозможно и не должно. Это я ещё раз видел на этом случае.

Одно, что можно советовать, это то, чтобы жить хорошо и тому и другому. А отношения между собой они определят сами. У нас всё хорошо. Абрикосов едет завтра в Пирогово, и я очень рад, просил

его телеграммой известить меня о Маше. До свиданья, будь здорова и покойна. Целую тебя.

Лев Толстой» *(Там же)*.

Вмешательство Л. Н. Толстого подтолкнуло развязку в пользу окончательного разрыва и развода супругов и, судя по встречному, тоже 14 марта, письму С. А. Толстой, повлияло несколько негативно на настроение сына, Андрея Львовича. Это единственное доступное нам письмо Сони из той её поездки, так что вот оно, без сокращений, полным текстом:

«Ты не можешь себе представить, милый Лёвочка, как Андрюша нас здесь изводит. Его хороший порыв исчез тотчас же после того, как он увидал, что Ольга ему легко не даётся и требует нравственно от него совсем другого, чем то, что он ей хочет дать. Узнав, что она уехала в Ясную, он пришёл в такую ярость, что кричал вчера на меня бог знает как, говоря, что мы с тобой толкаем её на то, чтоб она уехала, а не на то, чтоб осталась с ним. Накричав, он уехал кутить, и до утра не возвращался. А я, буквально шатаясь, вышла из дому и пошла обедать к Масловым, которые всегда умеют меня и утешить и сердечно приласкать.

Когда сегодня Ольга пришла и объявила, что по совету папа она едет в Англию, Андрюша не хотел её видеть и опять неистово кричал на меня охрипшим совсем голосом. Я уехала в концерт денной, на который мне прислали почётный билет и на котором я, сидя рядом с ним, познакомилась с <композитором> Кюи. Ольга так и ушла домой, а без меня Андрюша написал ей письмо и куда-то ушёл. — Разговаривать с ним совсем нельзя, он ничего не понимает и одно кричит: “это моё дело!” Я ему говорю: “да ты скажи, чего ты хочешь, как будешь жить, твои планы”. — “Ничего не хочу говорить, это моё дело. А если Ольга уедет, то чорт с ней, я никогда с ней не сойдусь. Если она меня любит, должна итти со мной жить и ничего не спрашивать”.

Вот и думай, что с ним делать. У меня в душе то мрачное чувство, которое бывало перед смертью детей, когда видишь ясно, как болезнь неумолимо ведёт к смерти. Так и с Андрюшей: его душевное состояние неумолимо ведёт его к духовной смерти.

Радостное то, что в четверг на страстной Таня приезжает с мужем в Ясную. А перед этим остановится на два дня в нашем доме в Москве.

Дела я свои кончила все вчера и сегодня могла бы быть дома; но хочу проводить во вторник Ольгу с детьми, а на среду останусь для концерта, в котором играет Сергей Иваныч <Танеев> трио Чайковского. А кроме того возня с кофточками, шляпами, башмаками и проч. очень затянулась и много всякой мелкой заботы.

В Москве эту пору года я очень люблю. Совсем весна, сухо, солнце греет, и забываешь зиму.

Соскучилась я по тебе и Саше, но только; в остальном здесь теперь лучше. А по вас я очень скучаю, особенно в тяжёлые минуты. Серёжа тих, сидит у себя и занимается. Я эти дни тоже буду тихо сидеть, только в понедельник поеду в концерт филармонический послушать 5-ю симфонию Бетховена.

Целую тебя, милый друг, и надеюсь, что ты будешь продолжать быть здоров. Аренские очень довольны, но он простудился от открытого окна.

Твоя Соня Толстая» *(ПСТ. С. 754 - 755).*

Эта история имела значительное в жизни родителей последствие Разорвав с женой и помирившись с родителями, Андрей Львович, как и тёзка его из отцовского романа, ощутил, что «эта жизнь — не по нём!», и 5 августа Софья Андреевна проводила его добровольцем на Русско-японскую войну. В дневнике её, в записи 8 августа 1904 г., читатель может отыскать эмоциональное, умное, психологически проницательное описание этих проводов, указывающее, однако, на

непонимание и неприятие Соничкой ни тех аспектов христианских воззрений мужа, которые уже выражены были им в антивоенной его публицистике, в его проницательном анализе коренных причин войны как общественного феномена, ни его указания путей преодоления этого общественного зла. Предсказуемо она при этом сближается с воззрениями её мужа *до* обретения им христианской веры — теми, которые он выразил в романе «Война и мир». Война, по её мнению, зависит он незримых стихий, движущих личностями и народами:

«Что-то ещё раз оборвалось в моём сердце. Ещё новая полоса отделила значительный период моей жизни от прежней к последующей — проводы сына на войну, и ужасное впечатление проводов солдат вообще. Что такое война? Неужели один глупый человечек, Николай II, незлой, сам плачущий, мог наделать столько зла?

Мне вдруг представилось, что война, как буря — явление стихийное, и мы только не видим той злой силы, которая так беспощадно и несомненно крушит насмерть столько человеческих жизней. Когда человек палкой раскапывает муравейник и муравьи погибают, таскают яйца свои и разный сор, они не видят ни палки, ни руки, ни человека, разоряющих их; так и мы не видим той силы, которая произвела убийство войны» *(ДСАТ – 2. С. 106 - 107).*

Андрей Львович вернулся домой лишь в следующем году, 10 января — пережив контузию и получив в награду Георгиевский крест.

* * * * *

Безусловно печальны обстоятельства и заключительного в 1904-м году значительного фрагмента переписки супругов. В 1902 – 1903 гг. старший брат Льва Николаевича уже сильно болел, а лето 1904-го стало последним для него. В двадцатых числах июля его проведал в его имении Пирогово Хрисанф Николаевич Абрикосов, религиозный единомышленник Льва Николаевича, и нашёл в очень тяжёлом состоянии: «Худой, жалкий, с подвязанной щекой, он ходил, охая и стоная, по мрачной гостиной пироговского дома. Марья Михайловна <жена С. Н. Толстого. – *Р. А.*> была всё так же тиха и кротка, но в душе, видимо, ещё больше мучилась за своего старика. Из Шамординского монастыря приехала <сестра С. Н. и Л. Н. Толстых> монахиня Мария Николаевна и своим присутствием несколько скрашивала мрачную жизнь в Большом Пирогове» *(Абрикосов Х. Н. Двенадцать лет около Толстого: (Воспоминания) // Л. Н. Толстой: К*

120-летию со дня рождения. (1828—1948). - М.: Гос. лит. музей, 1948. Т. II. С. 458. (Летописи Государственного литературного музея; Кн. 12). При этом старик был раздражителен и, вполне в духе толстовских аскезы и скепсиса в отношении медицины, «ненавидел, когда его жалели, и отказывался от всякой помощи» *(Толстой С. М. Сергей Николаевич Толстой // Древо Жизни. Толстой и Толстые. М., 2002. С. 176).* Впрочем, помочь ему, с раковой опухолью на лице, медицина той эпохи могла не много.

В начале августа стало понятно, что Сергей Николаевич умирает. В период с 11 по 21 августа Толстой предпринял прощальную поездку в Пирогово. Там уже была с дядей и самая аскетичная, строгая из дочерей Л.Н. Толстого, Мария Львовна, соседка Сергея Николаевича, жившая с мужем в имении Малое Пирогово. На следующий день, 12 августа, М.Л. Толстая пишет письмо к матери, а Лев Николаевич делает в нём для жены следующую приписку:

«Пишу от Серёжи. Он очень страдает и слаб. Я ничего не решаю. Но вероятнее, что скоро приеду, т. е. 14 или 15-го. Целую тебя, Сашу и всех.

Л. Т.» *(84, 366).*

За парой строк приписки — довольно неприятная домашняя история. 22 августа у Софьи Андреевны должен был быть день рождения, и даже хуже того — юбилей. И ей, конечно же, хотелось, чтобы к тому времени в Пирогове всё закончилось и муж, похоронив брата, успел бы в Ясную Поляну на праздник. К личности и к надвигавшейся кончине Сергея Николаевича Соничка относилась сочувственно, но, судя по записи её в дневнике от 17 августа, не без доли столь присущего ей негативизма:

«Он, бедный, очень страдает, но хуже всего его душевное состояние: ни терпенья, ни веры, ни любви к людям… Спаси всякого от такого умиранья!» *(ДСАТ – 2. С. 107).* К сожалению, Соня не была здесь далека от правды.

Вот отчего Лев Николаевич успокаивал Соню в приписке от 12 августа о времени своего возвращения.

Следующее, уже самостоятельное, письмо Льва Николаевича к жене, от 14 августа, продолжает ту же животрепещущую для неё тему:

«Я пробуду ещё здесь, милая Соня, дня два или три. Сам не знаю. Уехать не хочется, потому что думаешь, что можешь быть ему полезен в самом главном — в душевном состоянии, а вместе с тем очень тяжело быть с ним и чувствовать своё бессилие помочь ему. Лошадей отсылаю, так как Маша обещает отвезти меня. Во всяком случае, пробуду не больше 3-х дней, считая с нынешнего 14.

Положение его ужасно тем, что он не видит или не хочет видеть своего положения и всем волнуется и капризничает, кроме страданий. Слаб он ужасно: шатается, но всё одевается и ходит.

Скажи пожалуйста Юлии Ивановне, что Чертков пишет, что, получив всё посланное, предисловие к статье о революции он не получил. Очевидно, перехватили. Очень прошу её послать другое с обратной распиской.

Прощай, целую тебя.

У меня была сильная изжога, теперь лучше, и погода чудесная.
Л. Т.

Я забыл записную книжечку на столе, спрячь её.

Я занимаюсь всё “Календарём”. Лёгкая и приятная работа» *(84, 366 - 367)*.

«Календарём» здесь Лев Николаевич назвал составлявшийся им с января 1904 г., понемногу и с удовольствием, будущий «Круг чтения». А «Предисловие», о котором делал запрос В. Г. Чертков, было перехвачено почтовыми цензорами не напрасно: Толстой написал его к довольно нецензурной, готовившейся к печати за границей статье В. Г. Черткова «О революции. Насильственная революция или христианское освобождение? Обращение к верующим в Бога русским людям».

Лев Николаевич, по свидетельству семейного биографа, С. М. Толстого, действительно в эти, предсмертные, как и в прежние дни был духовно полезен брату, которого «преследовало чувство вины за прошлые ошибки и дурно прожитую жизнь». Толстой «советовал ему провести остаток дней в любви — преодолеть, например, неприязнь к незаконнорожденному сыну… Оба старика были прекрасны — у Сергея Николаевича эта красота была прирождённая, а Лев Николаевич обрёл её с годами, всё более проникаясь светом духовности и доброты» *(Толстой С.М. Указ. соч. С. 177)*.

Повторяя часто за братом Львом критические суждения о религии и церкви православия, С. Н. Толстой на деле не имел в себе христианской чистой веры брата — устойчивой и независимой от внушённых с детства церковных суеверий и догм. Понимая это, Лев Николаевич убедил брата, ради душевного покоя, принять священника для исповеди и причащения, как того хотела жена Сергея Николаевича и, конечно же, как хотела общая их сестра, монахиня Мария *(Там же)*. Сергей Николаевич, по воспоминаниям Х. Н. Абрикосова, настоял на причащении без прочтения обыкновенной при этом молитвы: «Верую, господи, и исповедую, яко сие есть самое честное тело твое и сия есть самая честная кровь твоя». Как и брат Лев, он не мог верить в подобную глупость, гадость и ерунду. По счастью, священник в усадебной церкви Пирогова «был молодой, доброй души человек, но горький пьяница», и он легко согласился причастить Сергея Николаевича, не читая предпричастной молитвы *(Абрикосов Х. Н. Указ. соч. С. 459)*.

Вот, наконец, и третье письмо Л. Н. Толстого к жене из Пирогова, от 15 августа:

«Думаю получить от тебя известие, как ты живёшь в своей тихой жизни, здорова ли, не случилось ли что?

Завтра будут на почте. У Серёжи открывается другая язва, и есть опасение, что рак перейдёт на другую сторону. Он подозревает, что рак, но не видит близости смерти. Мне он рад, но просит не приезжать. Я не был у него вчера и нынче. Завтра пойду. Хочется вызвать его на серьёзный разговор, но до сих пор не удалось. И это очень тяжело, видя всю серьёзность положения, говорить о пустяках, и с таким усилием, — и слушать, и говорить ему трудно. — Варя тебе всё расскажет. У Маши мне очень хорошо. Особенно приятна тишина. Я вчера написал то, что пытался начинать несколько раз; разумеется, не написал, а начал <статья «Единое на потребу». – *Р. А.*>. Маша болеет головой, и я нынче не так хорошо расположен, как вчера, но здоровье не дурно. Прощай. Целую тебя. Пиши.

Л. Толстой.

Если не приеду 17-го, не тревожься. Значит отложил на день или два. Очень уж напряжённое положение» *(84, 367 - 368)*.

На это письмо Софья Андреевна ответила — и по причине выраженного мужем в письме желания получить от неё какое-нибудь известие, и по возобновившейся тревоге о том, что Лев Николаевич не успеет завершить с братом и приехать к её юбилею. Вот текст ответа С. А. Толстой, *ночного* письма её от 17 августа из Ясной Поляны:

«Ты как будто ждёшь от меня письма, милый Лёвочка, а я всё как будто жду тебя, так как ты писал, что приедешь 14 или 15-го, а теперь пишешь: “если не приеду 17-го, то задержусь ещё на день или на два”. Но, по-видимому, ты и теперь не приедешь, и может быть это к лучшему, так как пришлось в твоей спальне ломать печь, и она не скоро будет готова. Из комнаты Юлии Ивановны нельзя было ломать, потому что пришлось бы и её печь ломать, а она ещё хороша. Вообще ничего не двигается. Было два праздника, и после них всё-таки рабочие не пришли, и мы с Сашей всё без комнат. Ужасно мне это надоело.

У нас всё гости: был Алексей Николаевич Тургенев <двоюродный племянник И. С. Тургенева. – *Р. А.*> с двумя девочками и племянником. Вчера были Гольденвейзеры; мы в сумерках, на балконе говорили и о бессмертии и вечной жизни, а потом он играл нам сонату Бетховена.

Сегодня вдруг вечером явились: Илья, Сашенька Офросимов на веселе и Вака Философов. Они были шумны и веселы, а мне от них делалось всё грустнее и грустнее. Балалайки, гитары, пенье и шуточки … Стара я стала на всё это.

Хожу одна ежедневно на Воронку и купаюсь в ледяной воде, а дорогой беру грибы, которых стало мало. — Натянула вчера холст, и завтра начну писать копию с Крамского.

Вчера вернулись от Стахович Лёва и Саша, им было очень весело. От Андрюши из Уфы с дороги весёлое и слишком бодрое письмо. Он *старательно* не смотрит вперёд и не оглядывается назад. Ко мне он относится более чем нежно в своём письме. <«Андрюша добровольно уехал на японскую войну. Его жена и дети приезжали из Англии его провожать». – *Примеч. С. А. Толстой.*>

От Доры мрачное письмо; в Швеции холод и дожди, Хульда <нянька. – *Р. А.*> её не едет в Россию, здоровье хуже, и она жалеет, что Лёву отговорила с ней ехать. Лина и её дети по-прежнему очень милы и приятны, Миша уехал в своё именье. Ольга тиха и очень много трудилась эти дни над твоим «Календарём» <сб. «Круг чтения». – *Р. А.*>.

Мне очень жаль Сергея Николаевича, и тебя жаль, что тебе приходится смотреть на его страданья физические и нравственные. И

правду ты говоришь, что тяжело бессилие всех окружающих в невозможности помочь и облегчить его страдания. Целую тебя и Машу и Коле мой привет. Всё-таки, как мне ни страшно, что тебе будет беспокойно без твоей спальни, — я рада буду, когда ты вернёшься домой. Береги своё здоровье.

Твоя Соня Толстая» *(ПСТ. С. 755 – 756)*.

Намёк Толстым был понят. 20 августа к Соничке отправились сразу телеграмма и письмецо — с оказией, минуя почту, для быстроты… В телеграмме было сообщено следующее: «Приеду субботу <21 августа> поездом Козловку двенадцатом часу ночи. Толстой» *(84, 368)*. А в вечернем 20-го же августа письме из Пирогова пояснялось:

«Остался дольше предполагаемого, милая Соня, потому что, как я писал, тут тяжело, а уехать, оставить его, когда могу быть нужен (духовно), ещё более тяжело. Телеграмму ты, вероятно, получила. Я приготовил её с утра, но поручил Вере <дочь С. Н. Толстого. – *Р. А.*>, в чём сам виноват, и она пошла только вечером. Во всяком случае, намереваюсь приехать с вечерним, в ½12, в Козловку.

Так до свиданья, целую тебя.

Всё расскажу.

Л. Т.» *(Там же)*.

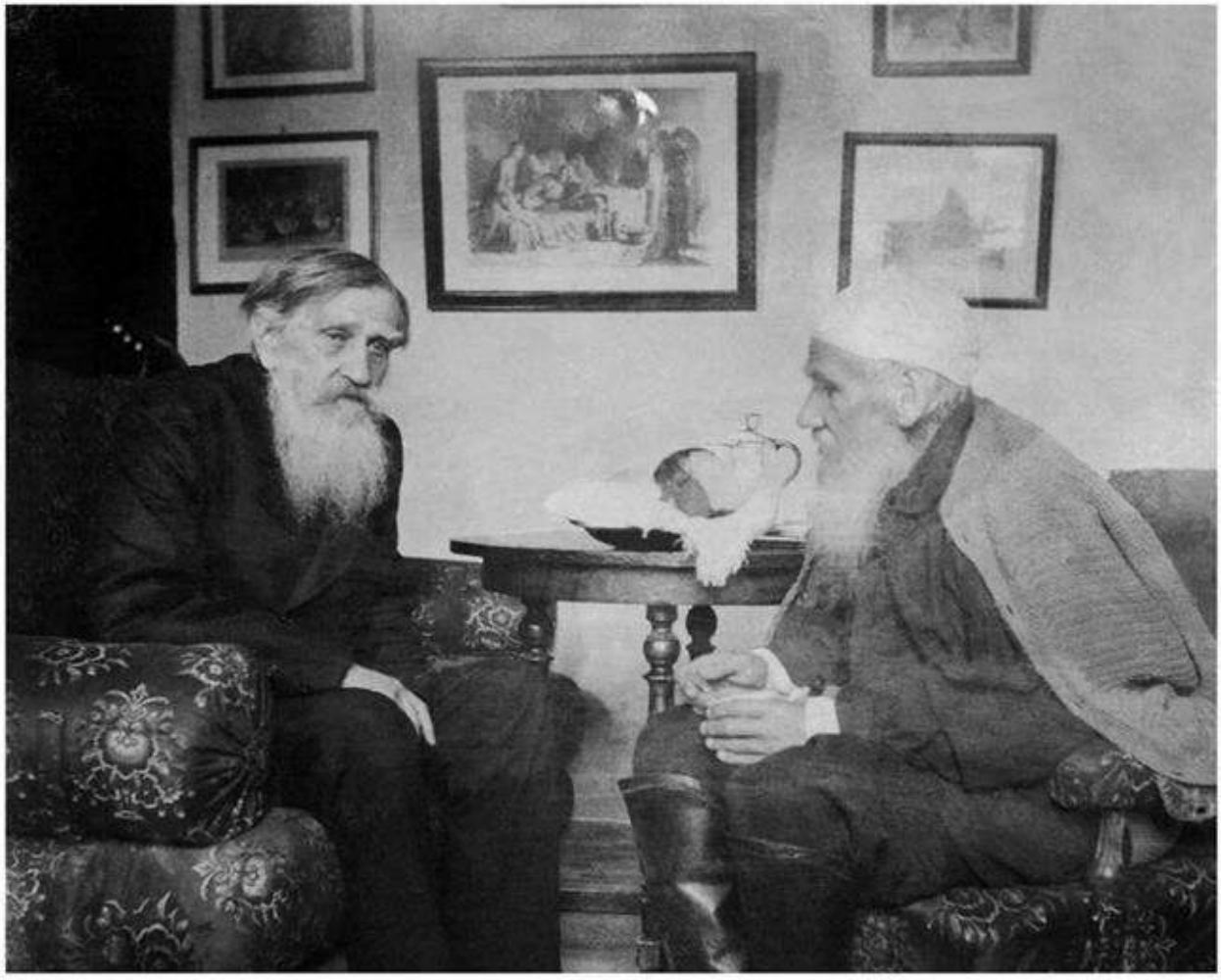
Находившийся в те дни там же, в Большом Пирогово, Хрисанф Николаевич Абрикосов определённо свидетельствует, что причиной отъезда Толстого, не дожидаясь исхода с братом, была Софья Андреевна с её юбилейным эгоизмом:

«Сергею Николаевичу становилось всё хуже и хуже. Софья Андреевна стала требовать возвращения Льва Николаевича в Ясную ко дню их свадьбы <ошибка памяти Х. Н. Абрикосова. – *Р. А.*>, и Лев Николаевич, уступая ей, как уступал во многом всю жизнь, уехал от умирающего брата» *(Абрикосов Х. Н. Указ. соч. С. 459)*.

Кажется, эти дни оказались духовно полезней для самого Льва Николаевича, чем для Сергея. В Дневнике его на 22 августа, по возвращении в Ясную Поляну, явилась любопытная запись:

«Вчера вернулся из Пирогова. Серёжа кончается. Я был не нужен ему. С него снимается последний покров, скрывавший в этой жизни от него сущность его души, или, вернее: то проявление действи-

тельно сущего, τὸ ὄν, *сущее*, перестаёт проявляться в нём. Дома хорошо, и мне хорошо. Разобрался в письмах и в календаре. И на душе хорошо» *(55, 82)*.



Нет худа без добра. Своей настойчивостью Соня, как оказалось, избавила мужа от самых тяжёлых впечатлений:

«В его отсутствие Сергей Николаевич скончался. Умирал он в больших страданиях, но сознательно. Перед самым концом он уже ничего не говорил и ослеп. Окружающие поняли, что он ослеп, по тому, что он знаками потребовал зажженную свечу, ощупал её и вёл по ней рукой вверх до пламени, точно желая убедиться, горит ли она. Ужас и страх его не оставляли. Умирая он издавал звуки: “Ах, ах!”, и две старушки, сидевшие поодаль в гостиной на диване, говорили, что ему что-то видится. Когда дыхание прекратилось, монахиня Мария Николаевна перекрестилась и прошептала молитву, а Марья Михайловна прослезилась и сказала:

— Умер мой бурчалочка» *(Абрикосов Х. Н. Указ. соч. С. 459)*.

Развязавшись с юбилеем Сони, Лев Николаевич 25 августа вернулся в Пирогово, а 27 августа отнёс простой еловый гроб с телом брата до церкви. Сергей Николаевич завещал похоронить его в простом гробу на сельском кладбище, среди крестьянских могил. Только в 1946 г. прах его был перенесён в некрополь Толстых при церкви села Кочаки.

В Дневнике на 26 августа Лев Николаевич подвёл понятные только ему духовные итоги прощальных дней с братом:
«Серёжа умер. Тихо, без сознания, выраженного сознания, что умирает. Это тайна. Нельзя сказать, хуже или лучше это. Ему было недоступно действенное религиозное чувство… Но хорошо и ему. Открылось новое, лучшее. Также, как и мне. Дорога, важна степень просветления, а на какой она ступени в бесконечном кругу, безразлично» *(55, 83)*.

Год 1905-й

1905-й год понятен своей значительностью для нашей аналитической презентации: это год начала Первой российской революции, которая так или иначе затронула сознание и образ жизни каждого просвещённого, а тем более общественно-активного человека в России. К сожалению, именно на этот год в Переписке изъяты издателем более половины писем Софьи Андреевны Толстой; что же касается писем Толстого Льва Николаевича, то их издание готовилось в столь специфические времена, что изъятия в «полном» собрании сочинений могли быть даже не оговорены. Снова, с сожалением, будем работать с тем, что нам оставлено…

Записи в дневнике Софьи Андреевны на 14 января, вспоминающей новогоднее утро, можно порадоваться вместе с супругами: она свидетельствует о спокойном поведении Сони, нервы и душевная болезнь которой, после катализированных климаксом эксцессов середины-второй половины 1890-х, конечно же, не вылечились, но и не являли себя в поведении. С другой стороны, Лев Николаевич, совершенно уже дряхлея после смертной крымской болезни, стал сентиментальней и слезливей — под стать как раз нервическому жизневосприятию супруги. И вот он, лаская жену, со слезами просит у неё прощения за её столь частую «несчастливость», в которой был

виноват в наименьшей степени, а она, конечно тоже расплакавшись, приходит к «моменту истины», и утверждает о себе, тоже не вполне справедливо, что:

«…Если я иногда не умею быть счастлива, то я сама виновата и прошу его простить меня в моём неустойчивом настроении» *(ДСАТ – 2. С. 108)*. Так как речь о болезненных явлениях эмоций и поведения, свидетелями которых у Сони мы делали читателя на протяжении большей части книги, то речи о «вине» быть не может. Ему не за что было прощать её, несчастную…

Не в лучшую сторону на эмоциях жены и матери сказалось возвращение в ночь на 11 января с военной службы и с Русско-японской войны сына Андрея, наивно пересказавшего взбудораженной маме колоритные ужастики о способах японских расправ и казней пленных *(Там же)*. Наконец, ужаснули известия о Кровавом воскресении в Петербурге *(Там же. С. 109)*. Ей не нужно было в столицу, но поездки в Москву, конечно же, намечались, и совсем скоро…

Толстой смиренно принимает, как необходимое зло, новогодних гостей, а 2 января записывает в дневнике, по обыкновению кратко и ёмко, искренно, от сердца: «Гости свалили. На душе радостно» *(55, 114)*. За первую половину января, в которую и современные нам соотечественники, в дурной массе своей, лишь понемногу “просыхают” от буйного Новогодия, Толстой продолжил работу над остронецензурной, «анархистской» статьёй «Единое на потребу», над «Кругом чтения», написал целиком Послесловие к полюбившемуся ему рассказу А. П. Чехова «Душечка» (которое, вместе с самим рассказом, вошло позднее в «Круг чтения») и ещё отклик на начавшуюся революцию, статью «Об общественном движении в России». Писем писалось не много, и среди них не могло быть его писем к жене — до первой её в 1905-м году московской поездки. Но не забыты были старые письма, которые для супругов имели совершенно бесценное значение живой и живящей, овеществлённой памяти. Софья Андреевна, как настоящая деловая леди, завела с Нового года новую книжечку «Ежедневника», в котором, одной из первых записей, под 3 января, значится следующее:

«Переписывала вечером письма свои к Л. Н. Сколько мне было труда и дела в жизни!» *(ДСАТ – 2. С. 229)*. Переписывание было не случайной прихотью Сони, а делом необходимым: оригинальные автографы Переписки должны были, вместе с прочими ценными материалами, перекочевать из яснополянского дома в хранилища Исторического музея. Помогать ей должен был биограф и многолетний друг Толстого, Павел Иванович («Поша») Бирюков. Об этом была и

январская поездка Сони в Москву, начало которой отмечено встречными письмами супругов 15 января.

Вот письмецо от Льва Николаевича:

«Хотя Андрюша, всё не сидящий на месте, расскажет тебе про нас, пишу, чтоб сказать, что я здоров, о тебе очень жалею, и I hope, что ты скоро благополучно вернёшься. Тане я написал письмецо. Здесь Литвиновы. <Елизавета Николаевна Литвинова с. братом Вячеславом Николаевичем — дети двоюродной сестры С. А. Толстой. – *Р. А.*> Саша обещала приехать. Кроме них приезжает Жозя с англичанином, и боимся наплыва гостей. Последние известия — третьего дня — о Маше хорошие. Целую тебя.

Л. Т.» *(84, 370)*.

«Жозя» — это Иосиф Константинович Дитерихс (1868 — 1932) — брат О. К. Толстой и А. К. Чертковой, бывший офицер царской армии, пожертвовавший карьерой ради помощи духоборам. А «англичанин», вероятно — Гарольд Вильямс (1876 — 1928), корреспондент английской газеты «Manchester Guardian», посетивший Толстого 20 января. Персоналия эта по-своему выдающаяся: за годы до встречи с Толстым он выучил русский язык, чтобы читать «Анну Каренину» в оригинале, сделался убеждённым вегетарианцем и анархистом. Как сотрудник «Таймс», освещал события в России — с английских позиций. В 1905 году, на волне революционных событий, приехал открыто в Россию, где «освещал» события начавшейся революции, брал интервью у попа Гапона и пр. Вместе с женой своей, писательницей и либеральшей Ариадной Тырковой, стал сооснователем партии кадетов. Впоследствии не скрывал своей связи с английскими разведывательными спецслужбами.

Это не первый, а уже *очередной раз*, когда влиятельной авторитетностью и одновременно наивностью Л. Н. Толстого пытались воспользоваться весьма специфические заграничные работодатели и распорядители молодого журналиста. По счастью, Толстой, быть может, что-то заподозрив, не поддержал в общении с Г. Вильямсом злободневно-политических тематик и в целом, как сообщает нам деликатно мировая Википедия, незваный гость «was disappointed with Tolstoy's withdrawal from the world of political reality» <«был разочарован уходом Толстого из мира политической реальности»> (https://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Williams_(linguist)).

В тот же день, 15 января, написала в Москве своё письмо и С. А. Толстая:

«В Москве всё спокойно, милый Лёвочка. Кое-какие фабрики забастовали, но и те стали работать. <Фабриканты> Бахрушин и Морозов сказали рабочим, что за прогульные дни вычета не будет, и им стало совестно и пошли работать. Газеты сегодня вышли. Поши Бирюкова ещё нет […], а я собираюсь в концерт.

Была в банке, видела Дунаева, он сегодня едет в деревню на отдых, очень измучен и ужасается на дела в Петербурге. Я чувствую себя довольно хорошо, хотя уныло; никто теперь не может быть спокоен и весел, нигде.

Будь здоров, целую тебя, Сашу, Юлию Ивановну <Игумнову> и Веру <Кузминскую>, поклон Душану Петровичу.

А что Илья Васильевич? <Сидорков, лакей и слуга Толстых, заболел тогда пневмонией. – *Р. А.*>

Твоя Соня» *(ПСТ. С. 756)*.

Душан Петрович Маковицкий осенью 1904 г. принял предложение С. А. Толстой стать домашним врачом и поселился постоянно в яснополянском доме. Он лечил не только писателя и его домочадцев, но и крестьян окрестных деревень. Кроме того, он стал секретарём Толстого и хорошим переводчиком. Самое же известное из деяний Душана Петровича — обширнейший дневник, «Яснополянские записки», ставший бесценным источником сведений о жизни Л. Н. Толстого с 26 октября 1904 года до её последних секунд.

Почта у супругов давно уже ходила, при каждой возможности, оказией, минуя почтовое ведомство. Вероятно, поэтому уже 16 января Лев Николаевич имел удовольствие прочесть письмо жены и ответить на него:

«У нас всё благополучно, милая Соня. Вчера был <писатель Иван> Наживин с женою. Оба приятные люди, и <художник> Орлов. Илья Васильевич всё тяжёл и имеет страшный вид, хотя Душан не видит особенной опасности.

У нас же Жозя, вчера приехавшая Вера и Надечка Иванова. Я здоров, но очень стар, чем, несмотря на противное мнение Авдотьи Васильевны, не огорчаюсь. Вчера получил письмо от твоего хвалителя Bourdon, он опять приезжает в Россию. <Французский писатель Жорж Бурдон, бывший у Толстого в 1904 г., в том же году выпустил в Париже книгу «En écoutant Tolstoï» [«Внимая Толстому»] с лестными отзывами о С. А. Толстой. В письме от 22 января (н. с.) 1905 г. Бурдон просил разрешения вновь посетить Ясную Поляну. – *Р. А.*>

Сильная мятель, но я всё-таки сделал свои обычные две прогулки вблизи дома. Как ты наслаждаешься музыкой? Я на днях думал о музыке вот что: Музыка есть стенография чувств. Когда мы говорим, мы возвышением, понижением, силою, быстрой или медленной последовательностью звуков выражаем те чувства, которыми сопровождаем то, что говорим: выражаемые словами мысли, образы, рассказываемые события. Музыка же передаёт одни сочетания и последовательность этих чувств без мыслей, образов и событий. — Мне это объясняет то, что я испытываю, слушая музыку.

Пиши же, прощай. Целую тебя и сыновей.

Л. Т.» *(84, 370 – 371)*.

Суждение Л. Н. Толстого о музыке из этого письма пополнило собой в наши дни в интернете и книжных сборниках печальный сонм цитат, верная источниковая “локализация” которых памятна не многим.

Софья Андреевна отвечала на это письмо от Льва Николаевича письмом от 19 января:

«Очень ты меня обрадовал письмом, милый Лёвочка [...]. Нам с Серёжей очень понравилось твоё определение музыки, что это *стенография чувств*. К сожалению музыки всю эту неделю не будет, только опера с Шаляпиным в пятницу, я собираюсь поехать. Ежедневно мы с Павлом Ивановичем <Бирюковым> в музее; он от 11—3-х, а я от 12-ти, так как утром меня на части рвут по разным делам. Теперь их почти не осталось. В музее беспорядок, три ящика с рукописями рассохлись, и даже дно в одном вывалилось. Пришлось рукописи перетаскивать в шкап, ящики чинить отдавать, и я хочу шкап заказать ещё для ящиков.

Повсюду в Москве идут совещания, сборища, разговоры. Завтра открываются выборы дворянские и составлены две противуположные записки: Самарина и Трубецкого, и все о том говорят, кто кого победит. В «Посреднике» тоже сегодня сборище и совещание было, и у Маклакова, и Серёжа ещё куда-то ездил.

У меня очень болит рот, язык, горло, нёбо — всё распухло, горит. Я знаю, чем лечить, но тут рецепта нет и очень мучительно.

Андрюша уехал в Петербург, прокутив три дня. Я его и не видела. Лину и Мишу тоже не вижу, только раз была у них. Сегодня обедала дома с Серёжей и двумя Марусями: Маклаковой и Нарышкиной. А вечером собрались у меня: Лизанька, Наташа, Хрисанф, брат Саша,

Маруся, К. Ф. Юнге с сыном, Анна Александровна Горяинова, Гольденвейзер с женой, — и опять разговоры о положении дел в России. Засиделись до 2-х часов, а теперь три часа ночи.

Завтра утром поеду в Третьяковскую галлерею, потом в музей, обедаю дома, а вечером придёт скрипач со мной поиграть. Мне очень хочется уехать в пятницу вечером, и приехать утром в субботу домой; не знаю, удастся ли, так как в музее мы с Пошей ещё не кончим наши работы. Тогда наверное в воскресенье.

Ты жалуешься на старость, я сама очень её чувствую, а эти дни метели — совсем плохо. И я с мнением Дуняши согласна, не то, что ты (что старо, то хорошо быть не может). — Как вы все живёте? Что Илья Васильевич? Как метели, не вредят ли кому? Надеюсь, что ты бережёшься. Целую тебя, всем мой привет.

Твоя Соня Т.» *(ПСТ. С. 757 – 758).*

На этом переписка супругов января 1905 года останавливается. 21 января запись в книжечке Ежедневника: «…Опера: “Борис Годунов” с Шаляпиным. Уехала из театра в Ясную» *(ДСАТ – 2. С. 229)*. Следующие малые эпизоды переписки 1905 года: письмо С. А. Толстой от 14 февраля (не опубликовано); письма её же к мужу от 1, 2, 3 и 4 апреля (не опубликованы), от 7 апреля из Москвы, и ответы Толстого 3 и 6 апреля из Ясной Поляны; письмо Толстой из Москвы от 27 апреля и ответ Л. Н. Толстого 28 апреля из Ясной Поляны; наконец, её письма от 10 мая из Москвы, от 11 мая (не опубликовано) и 15 ноября (не опубликовано). Доступная часть переписки малоинтересна и связана с лечением С. А. Толстой в Москве и иными семейными и бытовым подробностями. Это может объяснить изъятие значительной части её писем, вынуждающее нас закончить на этом презентацию переписки супругов Л. Н. и С. А. Толстых в 1905 году.

Год 1906-й

1906-й год — это два маленьких эпизода Переписки, связанные, конечно же, снова с поездками Софьи Андреевны в Москву, имевшими комбинированную систему личных и деловых мотивов. Ездила она в январе и феврале, но от этих поездок в нашем распоряжении нет писем. Помимо концертов и домашних, с гостями, литературных чтений, была огромная работа в Историческом музее, в хранилище жизнетворческих сокровищ мужа: написание «реестра

ящиков» и подобная этому рутина *(ДСАТ – 2. С. 244)*. Вечером 11 марта — снова в Москву: «Концерт памяти Аренского. Играл С. И. Танеев» *(Там же. С. 245)*. Но, конечно же, и не ради одного Танеева: 15 марта Соня «в музее делала выписки из писем к гр. А. А. Толстой Льва Николаевича» *(Там же)*. 17-го и 18-го марта — снова в Историческом музее… Но в эту поездку Соничка обменялась с мужем письмами. Она нашла — вероятно, через кого-то, посланного в Ясную Поляну — способ донести до мужа своё желание письмеца, и он немедленно откликнулся, хотя и небольшим, письмом 13 марта:

«Очень рад тому, что ты так напомнила мне, чтобы я писал. Вот и пишу утром 13-го. Ничего не работается. Даже гулять ещё не ходил, хотя уже 3 часа. Но здоров и сейчас пойду. Вчера были Сергеенко с дочерью <Наташей>, милая мордашка, пленный Русанов. <Николай Гаврилович Русанов (1879—1920). В Русско-японскую войну пошёл добровольцем в эскадру Небогатова и попал в плен. – *Р. А.*> Я с ним пошёл гулять и встретил Серёжу. Он вчера в ночь уехал с Русановым. Андрюша тоже приехал. Так что стол был большой, была и Марья Александровна, а нынче нас только 5, так как Саша вчера уехала.

Вчера читал свои письма к Александре Андреевне и вынес из них смирение и терпимость к молодым. Так много в этих письмах глупого и ничтожного. Есть кое-что и порядочное.

Погода прекрасная, совсем тает. Прощай пока, милая Соня, работай и утешайся и отдыхай музыкой. Целую тебя.

Л. Т.» *(84, 375)*.

Ответ Софьей Андреевной написан был в ночь с 14 на 15 марта. При этом усталость, вероятно, вызвала ошибку датировки: Софья Андреевна указала ночь с 15 на 16 марта. Точная дата была установлена благодаря почтовому штемпелю и упоминанию Софьей Андреевной в письме о концерте памяти Аренского.

Вот текст самого письма:

«Ну вот я и рада, что ты мне написал, милый Лёвочка, хоть коротенькое письмецо. Хочу и я сегодня написать, что жива, но не совсем здорова, боли мои беспрестанно дают о себе знать, да ещё и дорога по Москве ужасная! Сегодня хотела экономить, не взяла извозчика на резинах и очень повредила себе.

Спешу дела свои кончить, но пока серьёзных дел точно и не начинала.

Пришёл сегодня с 11 часов Сергеенко, тут у меня сидели получатели денег из типографии, бумажной фабрики и пр. Сергеенко поехал со мной в Исторический музей. Там у меня дела с Станкевичем серьёзные по реэстру и проч., а Сергеенко с своими требованиями пристаёт. И три часа полных он меня измучил своими разговорами и уговорами дать ему чуть ли не всё, что там есть: дневники, письма, портреты. Я твёрдо отклоняла то, чего не хотела дать.

Так почти день и пропал. Приехал Серёжа, но я его видела одну минуту.

Из музыкальных удовольствий вчера было лучшее. Концерт Бетховена с оркестром захватил своей красотой всю залу. И играл его Танеев великолепно. Успех был очень большой, подносили венки, хлопали без конца.

Сегодня был концерт памяти Аренского, но после Бетховена — это муха перед слоном. Играли и сюиту Аренского, как у нас, и это было лучшее. Сюита эта прелестна.

В пятницу поеду обедать к Гагариной <Княгиня Мария Александровна Гагарина, урожд. Голицына-Прозоровская (1855 - 1931), хорошая подруга Софьи Андреевны. – *Р. А.*>, а вечером в консерваторию, ученический концерт.

Сегодня по всей Москве собирали последние твои напечатанные вновь сочинения, но они все, говорят, исковерканы ввиду цензуры. <Софья Андреевна очень осторожно упоминает о публикациях Толстого издательством «Обновление», жестоко преследовавшихся цензурой: «Солдатская памятка», «Приближение конца», «Николай Палкин» и «Патриотизм и правительство». – *Р. А.*> А мне этого бы не хотелось. Завтра обо всём переговорю с Горбуновым. — Здесь туман, 1 гр. тепла, к вечеру мороз, вообще гадко. Треск и шум. Ну, прощай, милый Лёвочка. Я сегодня тоже читала твои письма к Alexandrine. И там много умного и хорошего. Напрасно ты их унижаешь. Поблагодари Таню за письмецо <от 12 марта>; может быть завтра вечером ей напишу. О дне своего приезда ещё ничего не могу сказать. Так много ещё дела! Целую всех.

Твоя Соня Толстая» *(ПСТ. С. 417)*.

К сожалению, в эту поездку писем супругами больше не писалось. После 18 марта в ежедневнике Софьи Андреевны нет записей о работах в Историческом музее. Вероятно, скоро после этой даты она возвратилась в Ясную Поляну.

В середине мая она ездила в Москву ещё разок, по делам книгоиздания и для лечения зубов — и оказалась в самой гуще революционных слухов и неспокойствия, которые сообщала супругу. По этой причине письмо её к мужу от 14 мая, единственное из опубликованных из этой поездки, имевшее смыслы сообщения лечебных и иных личных подробностей, всё-таки интересно и достойно быть помещено в нашей книге. Приводим его текст с сокращениями.

«Приехала с могилок моих детей, сижу одна в своём доме и очень что-то стало и грустно, и беспокойно о всех вас, так как не было ещё от вас известий, а сегодня завернул страшный холод и северный ветер. Чего я боялась, то и случилось: Лёва с семьёй переехал к дурной погоде, пропустив всю прелестную, жаркую весну.

С могилок я заезжала к становому, в Всесвятское, прося его попугать в Никольском народ, так как памятник Ванички опять разбит камнями. Оказался очень любезный, умный, пожилой человек (и становые бывают хорошие люди), и вот он мне рассказал, что на сегодня ждали и ещё ждут, — теперь 8 часов вечера, — очень больших беспорядков; Сумской полк вернули из лагерей; все городовые и дворники вооружены; полиции столько, что по 4 человека стоят вместе. А дети артельщика мне сообщили, что с сегодняшней ночи будет опять всеобщая политическая забастовка, что такое возбуждение везде, какого ещё и не было. В школах исчезла всякая дисциплина; здесь, в Земледельческой, на Смоленском рынке, чуть ли не бунт.

Становой говорил, что если б не Дубасов, то в то же время разгромили бы всю Москву и какой-то Фидлинг начал бы ей управлять. <Фёдор Васильевич Дубасов (1845 – 1912) был в 1905 – 1906 г. московским генерал-губернатором и суровыми мерами сумел подавить беспорядки в городе; «Фидлинг» - вероятно, искаж. Фидлер. Иван Иванович Фидлер (1864 – 1934), директор реформатского реального училища Фидлера в Москве, предоставлял помещения для сходок революционных партий. В декабре 1905 г. школа была взята штурмом, Фидлер ранен и арестован, но до суда бежал в Швейцарию, где вместе с Н. Н. Ге-младшим открыл школу для детей русских эмигрантов. – *Р. А.*> Вообще очень тревожно, и революция чувствуется в воздухе. На Думу не надеется никто; ещё говорили здесь эти самые ребята — артельщика и Ильиничны, что будто Трепов будет диктатор и тогда всех к рукам приберут, а Думу разгонят. Извозчик же с вокзала мне с злобой говорил, что командующим всеми войсками назначен Трепов; что это безобразие, разве можно из полиции назначать на такое место. Оказалось он солдат, был на турецкой и на последней, японской войне и рассказывал так: “Уж и генералы были теперь на войне!

Навезли баб и девок, жили в удовольствии, весь день коньяк дули, а мы, солдаты, в поле с голоду и холоду мёрли. Вот я у Скобелева служил, так тот отец нам был: мы голодны, и он с нами; мы холодны, и он с нами мёрзнет. Где солдаты, там и он". Он тоже в Думу не верит, говорит "разгонят, не позволят землю мужикам давать". — У всякого своя точка зрения, но отношение одно и то же: "разгонят".

Вчера обедали мы в "Метрополе"... Потом Серёжа внук меня проводил до моего дома, весь его осмотрел, приговаривал: "ах как уютно, как хорошо! Я желал бы жить в Ясной Поляне и здесь с папой".

Вечером пришли ко мне: Анна Ивановна Маслова, Юлия Афанасьевна Юрасова, баронесса Таубе с старшим сыном, моряком, только что вернувшимся с войны и много рассказывавшим о безобразии распоряжений и правительства, и Рождественского. Все они под судом, эти моряки. <З. П. Рождественский (1848 – 1908), адмирал, командовавший второй эскадрой Тихоокеанского флота в русско-японскую войну; был разгромлен под Цусимой и вместе с флотом сдался в плен. – *Р. А.*>

Всю пятницу я просидела по банкам, кое-что купила [...]. Вчера учитывала продажу книг и сегодня кончили. Ночью, с пятницы на субботу в 3 часа меня разбудили сильные боли в желудке, сделалось расстройство, я приняла энергические меры: опиум, мята, голодовка, — ну и прошло, хотя чувствую себя плохо. Да и зуб, доживая свои последние часы, разболелся ужасно. Зубной врач не взялся ничего делать до понедельника (завтра), так много у него дела, и вот завтра решится моя судьба, сколько я тут проживу ещё. Кроме зубов и уборки вещей, которую и не могли сделать по случаю дождя, — я всё кончила. В забастовку я не верю, не может ничего повторяться в той же форме. Был ли у нас дождь в Ясной?

Ну вот и всё. Надеюсь хоть завтра иметь от вас известия. Так мне грустно было уезжать от всех, и главное от внуков новеньких, и не мочь оказать им помощь и ласку. Бог даст, ещё поживём мы вместе. Если меня теперь задержат зубы, за то я уже до августа никуда не двинусь, такое счастье!

Целую всех и пишу всем без обращения, так как и сердцем обращаюсь ко всем.

Ваша общая жена, мама, свекровь, бабушка и пр.

С. Толстая.

(Как царь пишет: император Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский, и проч. и проч. Так и я.)» *(ПСТ. С. 764 - 766).*

Вот, тоже в сокращении, ответ Толстого 16 мая:

«[…] Нынче утром получил твоё письмо об общем — о Думе, и о частном — о зубах и нездоровьи твоём. Последнее меня больше интересует, чем первое. У нас всё очень [хорошо], живём все дружно, дети <семья Л. Л. Толстого. – *Р. А.*> очень милы. Завтра приезжает Леночка, вероятно одна. Я ем простоквашу Мечникова, и до сих пор хорошо. Только ничего не работаю, только читаю. Нынче был старичёк старого, исчезающего типа крестьянина. Это было мне очень приятное событие. Прощай, пиши по чаще и по подробнее. Письма твои всегда интересны. Особенно теперь. Что решит дантист?» *(84, 375 - 376).*

Ни в дневниках супругов, ни в ежедневнике С. А. Толстой не отмечена дата её возвращения из этой поездки, но писем из неё больше нет, а на Троицу (21 мая) Соня упоминает, что была с внуками и наблюдала пение, пляски и хороводы крестьянок — то есть наверняка была уже дома, в Ясной Поляне.

Год 1907-й

В корпус переписки супругов Толстых следующего, 1907-го, года входят следующие эпистолярные источниковые материалы: письмо Л. Н. Толстого к С. А. Толстой из Ясной Поляны в Москву от 4 апреля и ответ её 6 апреля; письмо Толстого 16 июля из Ясной Поляны в Москву; письмо С. А. Толстой из Москвы (?) от 7 ноября (не опубликовано) и ответ на него Л. Н. Толстого 10 ноября; письма С. А. Толстой из Москвы от 12 декабря и 14 декабря (не опубликовано) и письмо Л. Н. Толстого от 13 декабря из Ясной Поляны.

В 1906 году двумя главными ударами судьбы для супругов стали тяжёлое воспалительное заболевание, едва не сведшее в могилу С. А. Толстую, и смерть самой духовно близкой к Толстому из дочерей, Марьи Львовны. Конечно, супруги в эти трагические моменты были рядом друг с другом — соответственно, они-то, при всей их биографической значительности, и не могут быть отражены в нашей переписке. А вот в 1907 году совершилось событие, хотя и не трагическое, и не болезненное для *обоих* супругов, но вполне значительное,

и нашедшее себе место в их переписке. Мы имеем в виду первый арест единомышленника во Христе, секретаря и друга Толстого, Николая Николаевича Гусева. Вот, достаточное для наших задач, сообщение о событии биографа Толстого, тоже единомышленника, многолетнего друга и секретаря, П. И. Бирюкова:

«Арест секретаря Л<ьва> Н<иколаеви>ча, Н. Н. Гусева, очень волновал Л. Н-ча. Он ездил к нему в тюрьму, говорил со становым, был у губернатора, писал письма, удостоверения и, как всегда, каялся и мучился, что за него страдают близкие ему люди. Повод к аресту Гусева был комичен. На него был донос, что он ведёт антиправительственную пропаганду. У него сделали обыск и нашли русское издание брошюры "Единое на потребу", соч. Л. Н-ча. Так как в этом издании были цензурные сокращения, то Гусев достал полное заграничное издание и — вставил на полях карандашом пропущенные места. Конечно, эти места были наиболее резкими осуждениями тогдашнего правительства, и вот создалась легенда, что Гусев "ругает царя". За это пришлось ему отсидеть около месяца в тюрьме в Крапивне, пока не добились его освобождения» *(Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого: В 4-тт. М.-Пг., 1923. С. 139 - 140).*

Гусев вернулся в яснополянский дом, как рождественский подарок Льву Николаевичу, незадолго до Рождества — 21 декабря.

Попутно возьмём из этой же Биографии некоторые подробности для объяснения читателю содержания писем супругов.

Год 1907-й стал годом педагогической активности Льва Николаевича — занятий с яснополянскими детьми. П. И. Бирюков приводит в Биографии рассказ И. Ф. Наживина об одном из толстовских уроков:

«…Он рассказывал детям что-нибудь из Евангелия, а потом заставлял их пересказывать. Целью этих занятий было, во-первых, обучение детей религии, если можно так выразиться, и во-вторых, составление Евангелия по пересказу самих детей. Об этих своих занятиях он говорить без слёз не мог и часто повторял: "дети приходят заниматься и я учусь с ними…"» *(Там же. С. 132).*

И ещё важный биографический эпизод:

«…Озлобление некоторых местных крестьян против Л. Н-ча <было> вызвано главным образом тем, что теперь <с сентября 1907 г. – *Р. А.*>, по вызову С<офьи> А<ндреев>ны, в усадьбе живут двое стражников, которые делают разные неприятности крестьянам. Стражники были вызваны С. А-ной после какого-то странного нападения на яснополянского садовника крестьянских парней, будто бы сделавших даже несколько выстрелов из револьверов, причём несколько пуль попало в стены риги.

Указанные садовником парни были арестованы и посажены на один месяц при полиции.

Н. Н. Гусев прибавляет, что когда он потом был сам арестован, он виделся с одним из этих парней в Крапивенском полицейском управлении. Он уверял его, что с их стороны не было сделано ни одного выстрела, они только полезли за овощами, а стрелял садовник, который и оговорил их.

Это происшествие было в начале сентября. Оно дало повод газетам напечатать сенсационные статьи под заглавием "Обстрел дома Л. Н. Толстого", в которых не было почти ни одного слова правды.

Враждебные же Л. Н-чу издания напечатали по этому поводу статьи, в которых со злорадством объявляли, что вот-де проповедник непротивления, а когда дело коснулось его шкуры, сам закричал "караул" и позвал полицию.

“Какую нужно иметь силу духа, — добавляет Н. Н. Гусев, — чтобы терпеливо нести этот крест всеобщего озлобления, клевет, насмешек”.

Эти стражники долго тревожили душу Л. Н-ча» <Чтобы быть точным: до лета 1909 г., когда Соня всё-таки удалила их. – *Р. А.*> *(Там же. С. 140).*

Теперь к переписке. Нас опять обокрали составители сборника писем Софьи Андреевны Толстой 1936 года. Мы не имеем в распоряжении текста письма С. А. Толстой к супругу от 7 ноября, а только ответ на него Толстого, датируемый 10 ноября, который, приготовив читателя к его пониманию, уже без дополнительных пояснений приводим теперь ниже:

«Здравствуй, милая Соня.

Как-то ты, а у нас всё вполне благополучно, несмотря на стражников. Пора бы их уволить — этих двух праздных мужиков. Моего Стражника, да и всех нас настоящего Стражника не видать и не слыхать, а стережёт Он нас так, что лучше нельзя. Я очень, очень занят, полон мыслями, которые кажутся мне очень важными, но нет сил и энергии, чтобы их выразить, как надо. Так это хорошо устроено, что, когда в старости всё ясно, сил уже нет выразить это. Чтоб молодым была работа. Про Гусева нового ничего не знаю. Саша, Душан, Юлия Ивановна — всё милые помощники и сожители и такие хорошие люди. И тебе должно быть приятно у Серёжи, Маши — не люблю sobriquet [*фр.* прозвищ] — Толсто-Зубовых. <Жена С. Л. Тол-

стого была урождённая гр. Зубова. – *Р. А.*> Поцелуй их от меня. Завтра приезжает С. А. Стахович. Вероятно не знает, что тебя нет. Одно письмецо твоё получил, ждём ещё. Будь здорова, целую тебя.

Л. Т.

10 вечером» *(84, 378 – 379)*.

Это, к сожалению, и всё… А вот из следующей поездки С. А. Толстой в Москву, с 12 по 17 декабря, мы имеем в распоряжении её письмо из Москвы от 12 декабря, о котором она сделала запись в Ежедневнике: «Была в Историческом музее, в банке и по покупкам. Писала Л. Н. в Ясную» *(ДСАТ – 2. С. 276)*.

Вот полный текст этого письма:

«Милый Лёвочка, холод оказался гораздо менее страшен, чем я думала. До станции было даже приятно ехать: лунно, светло, дорога прекрасная. Сегодня утром в Москве было 28 град. и такой туман, что ничего не видно, и это было неприятно. Когда я села в Засеке в вагон, в маленьком купэ оказался жандармский офицер, в руках которого дело Гусева. Оно перешло к нему по болезни другого офицера, и по-видимому эта болезнь задержала выпуск Гусева. Началось моё знакомство с жандармом с того, что я спросила, едет ли он только до Тулы. И когда получила утвердительный ответ, то села в маленькое купэ и разговорилась с ним; очень я убедительно его просила скорее выпустить Гусева, и он сказал с какой-то улыбочкой “дня через три, четыре — выпустим”.

В Москве прочла в газетах, что сегодняшний камерный концерт не состоится, и опять причина — смерть. Умер отец скрипача, который играл бы в этом концерте. Немного досадно. Поехала я в музей и там за своим любимым занятием просидела до 3-х. Потом была в банке, перевела в Тулу проценты, повидала беспокойного Дунаева, приходящего в отчаяние от положения дел в России и от вновь грозящей бурной революции. Сердце у него всё плохо, он лечится, и собирается в Ясную 6-го января.

Серёжа и Маша благополучны, своими делами заняты и дружны. <С. Л. Толстой с женой, Марией Николаевной, жили в то время в хамовническом доме, где останавливалась С. А. Толстая, приезжая из Ясной Поляны. – *Р. А.*> Нога болит всё так же.

Теперь *I hope*, что всё у вас хорошо, и что благоразумно бережёшь себя. Целую Сашу и Юличку, кланяюсь Душану Петровичу и остаюсь

по гроп жизни твоя любящая и верная жена старая Соня» *(ПСТ. С. 768).*

Выражение «по гроп» в письме подчёркнуто: вероятно, Софья Андреевна высмеяла таким образом речь кого-то из общих с мужем светских знакомых.

О встреченном в поезде С. А. Толстой жандармском офицере комментатор тома писем С. А. Толстой сообщает нам, что это был: «ротмистр Отдельного корпуса жандармов Корсаков, согласно отношению которого Н. Н. Гусев был освобождён, поскольку, по сообщению ротмистра, к формальному дознанию “по обвинению его [Гусева] в преступлении, предусмотренном 129 Угол<овного> Ул<ожения>, привлечён не будет”» (<отношение> от 20 дек. 1907 г.) *(Там же. Комментарий).*

Как говорится — и на том спасибо, товарищи коллеги…

На очереди письмо к жене Л. Н. Толстого от 13 декабря. Приводим только следующий значимый отрывок из него:

«[…] Мороз жестокий, в зале только холодно. У меня тепло. Я здоров. Хожу степенно два раза в день гулять. Et je m’en trouve très bien. [*фр.* Я себя чувствую хорошо.] Посетителей нет. Марья Александровна нынче уехала. Как-то ты? Я думаю, что что бы ты не делала в Москве, всё будет легче твоего стояния последнее время. Целую тебя, Серёжу и Машу.

Л. Т.» *(84, 379 – 380).*

«Стояние» Софьи Андреевны было связано с работой её над копиями портретов, от которой она очень уставала.

И под конец нас снова обокрали товарищи из 1936 года: изъято из общего тома ещё одно письмо С. А. Толстой из той поездки, от 14 декабря. Поэтому данным отрывком из письма Л. Н. Толстого к жене от 13 декабря мы вынуждены завершить презентацию читателю переписки супругов Толстых в 1907 году.

Год 1908-й

О своей январской 1908 г. поездке в Москву Софья Андреевна не делала записей в дневнике. Легко догадаться, что основной целью было лечение — уже по ответу 15 января Л. Н. Толстого на письмо жены предыдущего дня (не опубликованное):

«Очень нехорошие известия о твоём здоровьи, милый друг Соня. Хотя это и не лихорадка, а нечто внутреннее, я всё-таки надеюсь, что твой энергический организм победит болезнь. Саша, верно, писала тебе о том, как у нас дом полон народа, и всё очень хорошего. Я чувствую себя очень хорошо. Нынче был Андрюша и, к сожалению, произвёл на меня нехорошее, недоброе впечатление. Саша исполняет заботливо обязанности хозяйки. Чертков мне очень, как всегда, приятен. […]

Целую тебя. До свиданья.

Л. Т.» *(84, 381)*.

О лечении (у дантиста) по преимуществу — и единственное доступное нам письмо С. А. Толстой, написанное в ночь с 17 на 18 января в ответ на данное выше письмо Л. Н. Толстого. Вот полный его текст:

«Спасибо, милый Лёвочка, за письмецо. Я рада, что ты здоров и что тебе приятно с Чертковым. Очень желала бы его застать. А я заехала сегодня к Ел. Вл. Молоствовой и вдруг вижу там Пошу Бирюкова; и он, и сын Илья, и Бутурлин сегодня у нас обедали, и было очень приятно.

Вчера я была в очень тяжёлом настроении: у моей дантистки переменился техник, и теперь какой-то немец. Стал он мне снимать мерку с нижней челюсти гипсом и дал так затвердеть гипсу, что не мог снять. Тащили вдвоём — не могли ничего сделать; и этот коновал дёрнул изо всех сил и вытащил с страшной болью совсем здоровый коренной зуб, на котором держались фальшивые. Я кричала от боли и мне на минуту сделалось даже дурно. Работа зубная двигается медленно, и я в отчаянии не вижу конца, и конец будет, пожалуй, так плох, что придётся обратиться к другому дантисту.

Здоровье тоже плохо: я два дня просидела дома (кроме утра у дантистки), и ничего не стало лучше. Сегодня опять лихорадка среди дня, 37 и 9. К вечеру прошло. <Врач> Усов был два раза и теперь велел усиленно принимать хинин и непременно повидать Снегирёва. Но Снегирёв в деревне и приедет, может быть, в субботу. Не

знаю, что и делать. И тоскливо, и домой хочется, и глупо не кончить начатого, т. е. зубов и лечения.

Мы хотим выехать вместе с Молоствовой в воскресенье вечером, но вряд ли придётся, так как на мои мольбы скорей кончить зубы, — дантистка красноречиво молчит.

Ну вот, Лёвочка, всё я о себе пишу, даже совестно. Я всё-таки на выставки забежала и в концерте сегодня была. Всё равно от этого не хуже.

Целую тебя и Сашу, и благодарю очень всех, и Юлию Ивановну, за частые известия из дому.

Твоя Соня Толстая» *(ПСТ. С. 770 – 771)*.

В письме её из февральской поездки, от 12 февраля, уже не одни медицинские известия:

«Милый Лёвочка, что-то у вас, как Сашино здоровье? Я ещё из дому известий не имею и по старой привычке беспокоюсь; особенно жутко от этих страшных ветров и метелей. Сегодня 12 гр. мороза и снежная буря даже в Москве. Жутко, и ничего не хочется делать, всё как-то тяжело.

Эти два утра меня терзали опять зубными гипсовыми примерками, нервы расстроивает это ужасно. Потом идёт примерка и переделка бандажей, и всё это, чтоб кое-как донашивать своё противное тело!

Серёжа с Машей приехали, но Серёжа по вексельным делам едет в Тулу, а мы с Машей пойдём настроивать нервы завтра вечером — слушать пианиста Годовского, который играет удивительно. А вчера вечером я пошла к Масловым почитать больному Фёдору Ивановичу свои записки, и туда пришёл Танеев и играл часа полтора, целый концерт, и очень хорошо. Сегодня еду к Екатерине Фёдоровне Юнге, тоже всё ещё больной; а потом навещу и больного Дунаева.

Завтра от 11 до 3-х буду заниматься в музее. Перевела я тебе в Тулу 1600 рублей с «Плодов просвещения» <гонорар за постановку пьесы на сцене. Толстой раздавал эти деньги неимущим – *Р. А.*>, и там ещё твоих денег около 1500 р., точно не помню.

Как трудно делать всякие дела и покупки потому, что везде жарко невыносимо в шубе, а на воздухе холод и ветер страшный. Я очень берегусь и вас умоляю делать то же. Здесь больных пропасть. Цуриков лежит в инфлуенце, и разные знакомые.

Меня не просили вы писать, но когда мне взгрустнётся по дому, всегда тянет хоть самой написать и всех заочно поцеловать. […] Прощай, Лёвочка.

Соня Толстая» *(ПСТ. С. 771)*.

Наконец, вот хороший, интимно-личный отрывок из письма к жене Л. Н. Толстого от 25 марта:

«Целую тебя и чувствую, что недостаёт чего-то, когда тебя нет. Это я говорю, чтобы сказать тебе то, что испытываю, но прошу, чтобы это не заставило тебя ускорить свой приезд и отказаться от исполнения твоих намерений» *(84, 381 – 382)*.

Всего в корпусе переписки супругов этого года — пять писем Л. Н. Толстого (от 15 января, 25 и 30 марта, 16 и 18 мая) и шесть писем С. А. Толстой (от 14 января, 17 – 18 января, 20 января, 12 февраля, 29 марта и 30 апреля), большинство из которых, однако, не опубликованы. Это уничтожает для нас возможность представления читателю переписки супругов этого года как диалога, что останется нашей задачей во всей книге.

Год 1909-й

Переписка 1909 года представлена значительно большим количеством писем супругов и, что особенно важно для нас, не имеет лакун в публикациях. Остановимся на ней значительно подробней.

Март 1909-го был тяжёл — каким и бывает март для стариков. Практически с первого числа у Льва Николаевича стала болеть и распухать нога, а 12 марта, по сведениям в ежедневнике С. А. Толстой, к болям ноги добавился жар, и Толстой слёг.

Оставив с больным мужем доктора Д. В. Никитина, старого друга семьи, бывшего в 1902-1904 гг. домашним врачом у Толстых, Соня вечером 13 марта уехала в Москву, поработать в Музее, надеясь на скорые известия об улучшении самочувствия Льва Николаевича. Но 16-го Дмитрий Васильевич явился к ней сам, «смутив известием, что сердце Л. Н. нехорошо», и Соня спешно выехала в Ясную Поляну *(ДСАТ – 2. С. 281)*.

К этой поездке относится только одно письмо, Л. Н. Толстого, переданное, минуя почту, как раз с Никитиным. И оно такого содержания:

«Пишу тебе, милая Соня, в 11 часов вечера. Не скрою, что и нынче был жар от 5-го часа до 10-го, но теперь сижу с градусником (Никитин скажет, сколько) и чувствую себя очень бодро. Никитин всё расскажет. Чертков был нынче. Ему гораздо лучше. <Чертков тогда переболел гриппом. – *Р. А.*> Как ты? Главное — твоё здоровье. Пожалуйста не беспокойся обо мне — мне кажется, завтра должно пройти. Нога же совсем хороша.

Л. Т.» *(84, 385)*.

Толстому казалось не зря: уже утром 17 марта ему стало, действительно, лучше, а 18-го он был «опять бодр и даже весел», так что Соничке пришлось пожалеть, что она не поверила мужу в его письме: «напрасно ехала, хотелось кончить дела и быть в концерте Керзина» *(ДСАТ – 2. С. 282)*. Следующий музыкальный праздник у неё состоялся лишь при кратком пребывании в Москве 24 – 27 апреля.

Следующий же, и значительный, фрагмент переписки супругов относится к периоду с 17 июня по 3 июля 1909 года. 8 июля Толстой выезжает в гости к дочери Татьяне, то есть в имение зятя, М. С. Сухотина, то есть в Кочеты, Новосильского уезда, Тульской губернии. Его сопровождали в дороге: сама Софья Андреевна, желавшая навестить родных, личный секретарь Н. Н. Гусев, доктор Д. П. Маковицкий и лакей И. В. Сидорков. Сначала, до ближней к Кочетам железнодорожной станции Благодатная, ехали поездом, и Толстой попи-сал в вагоне новую статью свою «Единая заповедь» и почитал с увлечением книжицу Эррико Малатесты «Краткая система анархизма в десяти беседах». От станции же Благодатная до имения Сухотиных ехали на высланной Михаилом Сергеевичем четвёрке лошадей. День-другой Толстой отдыхал в столь потребной и радостной ему «деревенской ванне», но, конечно же, быстро восстановил свой критический настрой по отношению к окружающей «барской» роскоши, а рядом — нищете народа (см. записи в его Дневнике на 11 и 12 июня).

В Кочетах и Софья Андреевна разделила с супругом на несколько дней приятность «деревенской ванны»: «Прогулки с <внучкой> Танюшкой, работа, разговоры вечером» *(ДСАТ – 2. С. 286)*. 16-го засобиралась домой и вернулась в Ясную Поляну рано утром 17-го июня *(Там же. С. 287)*.

Уже на следующий день после отъезда жены, 17 июня, Толстой взялся за письмо к ней, и вот каким оно написалось:

«Вот и пишу тебе, милая Соня, чтоб ты не беспокоилась. Вчерашнюю ночь с 16 на 17 очень болела голова, но нынче, 17, лучше, и лучше и гулял и ел, а, главное, работал хорошо. <Над статьёй «Единая заповедь». – *Р. А.*> Получил письмо Саши и от Ольги к Тане. Пишите мне чаще. Сюда приехала Лёвина <Льва Михайловича Сухотина. – *Р. А.*> жена с сестрой. Они скромные. Мне понравились. Жаль, что Лёва наш не приезжает и что я с ним мало вижусь. Надеюсь, что он поживёт ещё у нас и я застану его и послужу ему моделью. <Лев Львович Толстой в то время увлёкся скульптурой и взялся лепить бюст отца. – *Р. А.*>

Сейчас 10 часов, я посидел с ними, смотрел, как едят ягоды и простоквашу без всякой зависти. Ты меня упрекаешь, что я не берегусь, а я je suis payé pour [*фр.* взымал бы плату за то, чтобы] беречься, потому что только при береженьи могу работать. А думаю, что не очень заблуждаюсь, предполагая, что то, что пишу, может быть нужно людям, главное же то, что это моя обязанность перед Богом — высказать то, что мне даёт спокойствие и радость, как можно понятнее и яснее.

Целую тебя, Сашу, Леву. Жду писем. У Танички Танюша и очень ей рада.

Л. Т.» *(84, 385 – 386).*

Таничка — это, конечно же, внучка, «Татьяна Татьяновна». А Танюша — это другая малышка, Татьяна Алексеевна Фохт, внучатная племянница М. С. Сухотина и (конечно, гораздо позднее) мама популярного советского актёра Всеволода Ларионова.

19-го Толстой продолжил делиться с женой новостями и впечатлениями Кочетов:

«От вас нет известий, милая Соня, а я пишу, чтоб сказать вам, что я здоров, только голова всё ещё немного болит. Но ездил нынче очень приятно верхом по прекрасным местам — Камушки и прелестном Кочетке <названия ближних к усадьбе лесов. – *Р. А.*>. А ещё заехал в деревню к 100-летнему старику и беседовал с ним. Вчера, кроме молодых Сухотиных и её сестры, было пропасть народа: <соседка> Матвеева, жена того <Матвеева>, с которым я ехал, с своим племянником консулом. — Он был в Индии и Персии и рассказывал интересное; и Свербеева и доктор незнакомый <соседа-помещика> Голи-

цына. <По «Яснополянским запискам» Д. П. Маковицкого установлена фамилия врача, служившего у помещика Голицына и бывшего в Кочетах 16 июня, — Малиновский. – *Р. А.*> Нынче я почти ничего не работал, не хотелось. От Ч[ерткова] жду известий тоже. Целую всех» *(84, 386)*.

От Черткова Толстой ждал в тревоге известий потому, что правительство, на основании нескольких доносов, приговорило Владимира Григорьевича к высылке из Тульской губернии — ввиду «вредного влияния» на окрестное население. Софья Андреевна, которая всего через год возненавидит Черткова болезненной ненавистью, в марте 1909-го вступилась за него, опубликовав в газете открытое письмо в его защиту *(ДСАТ – 2. С. 281)*.

Не дожидаясь от мужа, написала 18 июня письмецо в Кочеты и Софья Андреевна:

«Милый Лёвочка, живём без тебя в Ясной, как тело без души. Посетителей нет, но зато нищих — ужасно много, не наготовишься мелочи. Мы благополучны, но нашла своих двух детей: Лёву и Сашу

нервными и не радостными. Лёва лепит Сашу в крестьянском костюме; твой бюст, по-моему, испортил немного. Он ждёт твоего возвращения, чтоб ещё поработать с натуры, и не хочет уезжать, не повидав тебя.

Квартиру свою в Петербурге он сдал на два года и решил, теперь уже твёрдо, раз негде там будет жить, — не возвращаться в Петербург эти два года.

Сегодня рожденье Саши, и она уехала с утра тройкой в Тулу с Варварой Михайловной, и я невольно её обидела, не заказав завтрака получше, чего она ждала, а я думала, что она к завтраку не вернётся совсем. И жалко её было, и тяжела её грубость. Ну, да не привыкать!

Принялась я за хозяйство, и увидала, что очень многое без меня шло дурно. Да и просто, когда вернёшься домой после отсутствия, — всё виднее, и энергичнее за всё берёшься.

Я всё ещё живу воспоминаниями Кочетов и всё мне слышится Танюшкин голосок, и всё кажется, что я о тебе должна что-то хлопотать и заботиться.

Дорога на Благодатную на этот раз мне показалась гораздо легче и короче.

<Всеволод Саввич> Мамонтов говорил, что на Мценск совсем ездить нельзя, делают огромные объезды, вязнут в бродах, опаздывают и страшно утомляются от длинного пути и ужасных дорог. Дождь и сегодня шёл.

От Орла до Засеки можно поспать, приехать на рассвете и опять лечь, — и вполне хорошо отдохнёшь. Я советую ехать на Благодатную, а впрочем, дело ваше.

Таню и внучку и тебя целую, всем мой привет. Как-то твоё здоровье?

Твоя Соня Толстая» *(ПСТ. С. 773)*.

На последний свой вопрос она получила ответ уже скоро, с прибытием письма 17 июня, на которое отвечала 20-го следующим:

«Спасибо за письмо, милый Лёвочка, я рада, что тебе лучше. Погода стала сноснее, и это всегда на здоровье влияет хорошо. Ты просишь чаще писать: но о чём? У нас так тихо, однообразно идёт жизнь, что и писать не о чем. В Кочетах гораздо оживлённее и люднее, и вообще движения жизни больше.

Эти дни я принялась энергично за разные хозяйственные дела: проверяла книги и счёты приказчика, чинила дороги и мосты, отво-

дила ещё иначе воду из-под флигеля, рубила вокруг усадьбы и привела Сашу с Лёвой по этому поводу в оживлённое состояние, результатом которого было исчезновение целого сиреневого куста перед окнами Саши. Она жалуется на сырость и радуется, что стало светлей.

Но сегодня мне уже надоела эта деятельность; хочу съездить в Телятинки <к Черткову. – *Р. А.*>; ничего о тамошних жителях не знаю. А потом сяду писать свою «Жизнь». Много времени провожу с Лёвой; вечерами сидели вдвоём и много беседовали. Мне его почему-то очень жаль; в ожидании возвращения твоего он лепит Сашу, но что-то не нравится мне. Вчера он заговорил об отъезде; так как пароход из Риги только по субботам, то ему надо уезжать в четверг. Сдав свою квартиру в Петербурге жизнь его на эти два года остаётся не определённа; в Россию он уже в этот срок не вернётся, и ему, по-видимому, больше всего жаль расстаться с нами. <Л. Л. Толстой в то время увлекался скульптурой; в связи с этим он уехал на год во Францию, где работал в Париже под руководством Родена и Верде. – *Р. А.*>

Стараюсь его бодрить и приласкать, но он грустен. Помню, когда во время операции я была близка к смерти <в начале сентября 1906 года Софья Андреевна перенесла сложную и опасную операцию по удалению гнойной кисты. – *Р. А.*>, мне всё в жизни показалось ничтожно, нелепо, и выступило одно, несомненное и ясное — это помогать людям жить, облегчать им тяжесть жизни; и не словами, а делом, личным участием. А это мы меньше всего умеем делать, а хочу стараться.

Прощай, не забывай нас.

Твоя Соня.

Двух Таничек поцелуй, они мне многое дали своей лаской и любовью.

Поклон остальным.

Андрюша зачем-то уехал в Петербург» *(ПСТ. С. 774)*.

Лев Николаевич из Кочетов, письмо от 21 июня:

«Получил нынче твоё письмо <от 18 июня>, милая Соня, и нынче же отвечаю. Живётся мне здесь очень хорошо. Здоровье не дурно, головная боль прошла. Занятия подвигаются. Кончил статью об Единой Заповеди, но за новое, художественное, не берусь. Поглощают всё время письма, дневник… Ну да что о себе. Не могу не советовать

тебе *как можно меньше приписывать важности хозяйству.* Самое дело такое, что вызывает дурные, не добрые чувства. А добрые чувства к людям *несравненно* важнее *всех* дел.. Вчера ездил верхом много, нынче с тремя Таничками ездили на дрожках за грибами. Они нашли огромные белые, а я серьёзно и приятно говорил с косцами мужиками всей деревни. [...] Привет Варваре Михайловне <Феокритовой, секретарю С. А. Толстой. – *Р. А.*>. Целую тебя и с любовью помню тебя.

Л. Т.» *(84, 387).*

Как продолжение — письмо 23 июня:

«Получили нынче твоё письмо <от 22 июня> Тане, милая Соня. Мне здесь очень хорошо, но хочется и домой и для тебя, и для Лёвы, и для Саши, так как она не приезжает сюда, и для самого себя. Определять времени вперёд не люблю, но думаю, что скоро.

Нынче получил письмо от Черткова со вложением копии письма тебе. <В письме к С. А. Толстой от 18 июня В. Г. Чертков сообщал, по её просьбе, сведения о том, когда была написана повесть «Дьявол», которую Толстой прятал от жены. – *Р. А.*> Он предлагает отдать рассказ Дьявол в литературный фонд, который просит об этом. <То есть в сборник, посвященный исполнившемуся в 1909 г. 50-летию «Общества пособия нуждающимся литераторам и ученым», обычно называвшегося «Литературным фондом». Это не было осуществлено. – *Р. А.*> Я ещё не решил. Рассказ мне не нравится. Надо будет перечитать его.

У нас теперь довольно тихо, гораздо тише, чем в Ясной, в смысле посетителей. Нынче приехал сын Михаила Сергеевича Миша. Я себя чувствую хорошо. Кое-что работаю, и хочется столь многого, что ясно, что это обычные старческие неосуществимые мечты. Хочется только не даром провести оставшиеся месяцы, дни, часы, когда так многое, непонятное и скрытое прежде, стало ясно. [...] Повторяю совет не придавать важность хозяйству, а тому, как ты верно пишешь <в письме от 20 июня>, чтоб быть доброй. Только одно это нужно. И доказательство, что это одно нужно, то, что это одно всегда можно.

Целую тебя, Сашу, Леву, привет В[арваре] М[и]х[айлов]не.

Л. Т.» *(84, 387 - 388).*

Ответ С. А. Толстой, от 24-го, на письмо мужа от 21 июня:

«Вчера получила твоё письмо, милый Лёвочка, с наставлениями: *как можно меньше приписывать важности хозяйству* и ещё, что *добрые чувства к людям несравненно важнее всех дел*. На это можно много ответить. Добрые *чувства* на словах, а не на деле — не имеют никакой цены. Хозяйничаю же я сама только потому, что желаю никого не обидеть, вести дело справедливо и снисходительно там, где могу. Три дня ко мне ходили грумонтские мужики. Их 15 дворов, и я написала старосте бумагу, чтоб отдаваемые мною 37 десятин разделить поровну. Староста и самый дерзкий мужик, Григорий Матросов, делили землю по кумовству, и себе так, что им доставалось гораздо больше, чем бедным. Ни за что не хотели сделать по-моему, т. е. поровну. Тогда я сказала, что со всем не отдаю землю, и нечего делать — разделили по-моему, и бедняки приходили меня благодарить.

Это один пример. А их много других: квитки не принимают у бедных в уплату аренды, часть лугов скрывают, чтоб отдать потом кому удобнее, и кто поднесёт … Да всего не пересчитаешь, не говоря уже о разных простых хозяйственных, разумных распоряжениях.

Тяжёлый был день вчера сплошь. Приехал Андрюша, запутался в долгах, нужно 8 тысяч, плачет, просит прощенья; долги старые, ждать не хотят те, кто давал. Я отказывала, он говорил: “остаётся убить себя” и рыдает. Так и уехал. А ты знаешь, как это меня расстроивает всю жизнь.

За обедом к террасе подошла молодая баба, просит помочь ребёнку на втором году: упал в окно, страшная рана на голове, до кости, страшно смотреть. Саша свезла её к фельдшерице у Чертковых, но та ничего не могла сделать, и завтра ребёнка везут в Тулу. Вообще отсутствие доктора очень чувствуется здесь; уж привыкли к помощи от нас, и всё приходят. Потом, после обеда, в довершение всему, письмо от Димы <сына В. Г. Черткова. – *Р. А.*>, что Чертков был у Столыпина, и тот ему отказал окончательно возвращение домой. Чертков просил навестить больную жену, и на это Столыпин сказал, что это дело полиции допустить или нет. Что за безобразный деспотизм!

Всё это нас с Лёвой расстроило; он говорит: “уеду в Швецию поскорей”. Вот и ты уехал, живёшь, наслаждаешься; а я давно забыла, что такое радость жизни. Всё от чего-нибудь сердце болит, и всё давит мои навьюченные жизнью плечи. Ну прощай, будь здоров и весел.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 777 – 778)*.

Конечно же, Соничка и в этом споре с мужем была не на высоте христианского религиозного понимания жизни. Это её непонимание — сродни непониманию христианского непротивления злу насилием людьми, смешивающими его с «несопротивлением», потворством злу. Дело не в том, чтобы испытывать добрые чувства только на словах, а попускать дела, а в том, чтобы в делах с миром, и злом его, и лжами его — удерживать *остранённость* своего восприятия, руководствование не мирскими смыслами, не расчётами, а *идеалом* и *чувством справедливости*. Знание идеала и чувство справедливости доступно не мудрым мира сего, доступно ребёнку. «Не станете как дети — не войдёте в Царство Божие» — учил Иисус. И Льву Николаевичу с его верой Христа в сердце и с его дряхлостью, близостью того неотмирного состояния Птицы Небесной, которое когда-то было описано им, в сцене умирания князя Андрея, в романе «Война и мир», эта остранённость в делах и отрешённость в созерцании, когда не требовалось вмешательств, мироустройства — было хорошо известно и почти естественно. Интересное в этом смысле признание занесла со слов мужа в ежедневник Софья Андреевна 12 июня, блаженствуя в Кочетах:

«Вечером читали вслух стихотворения в прозе Тургенева. Был разговор о старости. Лев Николаевич говорил: “Я не знаю, какая там внешняя перемена у старика, а во внутренней жизни я всё тот же я, Лёвочка, каким был вот в его возрасте”, — прибавил Л. Н., указывая на 13½-летнего Дорика» <Сухотин Фёдор Михайлович (Дорик) (1896–1921), сын М. С. Сухотина от первого брака. – *Р. А.*> *(ДСАТ – 2. С. 287)*.

На самом деле это не всегдашнее, не всякого человека состояние: оно даруется Свыше ребёнку, но недёшево приобретается взрослым: большой духовной и интеллектуальной работой над собой. Этим долгим путём совершенствования во Христе хотел, мечтал повести Софью Андреевну Толстую муж её за 28 лет до того… но Соничка возмутилась, испугалась, и заупрямилась, и не пошла.

Вот встречное, тоже 24 июня, письмо Л.Н. Толстого жене, всё так же из Кочетов:

«Едут на почту, пользуюсь, чтоб написать словечко. Я здоров, сейчас 2 часа 24, еду верхом к 100-летнему старику. Утром получил грустную телеграмму об отказе Вл[адимиру] Г[ригорьевичу]. Пишите.

Л. Т.» *(84, 388)*.

Софья Андреевна между тем, провожая в дальний путь Льва-младшего, уже заранее предчувствуя одиночество, затосковала за мужем, и отписала, вместе с подробностями о Черткове, об этом в следующем, от 25 июня, письме к Льву Николаевичу:

«Я уже писала тебе, милый Лёвочка, что Черткову окончательно отказано не только в возвращении в Телятинки, но и в свидании с женой. Галя решила немедленно ехать в именье Пашковых <Крёкшино>, под Москвою, куда едет и Ольга ещё раньше, чтоб исследовать, насколько удобно там жить. Галя говорила, что уедет через неделю; значит теперь через пять дней. Бедный Димочка ужасно огорчён, не знает ещё, что будет делать. В Телятинках налажено и его хозяйство, идут и работы по постройкам, по покосу, по огороду и проч. Вообще уныние на всех большое, даже на мне. Тем более, что Лёва сегодня вдруг взял и сломал твой бюст, проработав страшно напряженно над ним месяц, уложил свои вещи и сегодня в ночь уезжает в Швецию. Мне жаль его и грустно с ним расстаться. Он очевидно никак не думал, что после 8 лет ты вдруг уедешь из дому так на долго. Но он ни разу не возроптал и говорил, что благодарен за то, что ты ему посидел немного <т. е. попозировал. – *Р. А.*>, когда был дома. Мне приятно было пожить с ним; теперь мы остаёмся три женщины в одиночестве.

Сейчас была страшная гроза и ливень. Такого сухого, резкого удара грома, какой был пять минут тому назад, — я ещё в жизни никогда не слыхала. А у нас вчера и сегодня скосили лучшие луга и ужасно досадно, что всё так основательно смочило, и, пожалуй, ещё снесло траву этим ливнем. Одна тучка — и столько порчи.

Получила длинное письмо <от 19 июня> от Машеньки сестры, она здорова и очень умиляется своей монашеской жизнью. Посетителей у нас не бывает никого, и я занимаюсь своими записками, хозяйством и разными делами, хотя на душе очень тоскливо и одиноко.

Вся моя жизнь сложилась для тебя и тобой, и, конечно, когда остаёшься одна, то и одиноко. Когда же ты вернёшься? Как нарочно, об этом умалчивается. […]

Если б я была добра, я бы радовалась, что тебе весело и хорошо. Я и стараюсь этому радоваться, а всё-таки, независимо от рассуждений, тоскует сердце. Да и обстоятельства так плохо сложились. Целую тебя и Таничек.

Твоя С. Толстая» *(ПСТ. С. 778 – 779)*.

К ответам на письма С. А. Толстой от 24 и 25 июня следует отнести *две* корреспонденции от Л. Н. Толстого из Кочетов, обе от 28 июня. Это большая приписка к письму Т. Л. Сухотиной к матери, а также открытое письмо Толстого. Приводим их по порядку.

Приписка к письму дочери:

«Хотел писать тебе отдельно, милая Соня, но Таня принесла своё письмо, предлагая писать. Я здоров, и хотя и совестно быть довольным и счастливым, не могу не быть им. Нынче ходил по прелестному парку (у меня сделалась одна обычная чудная прогулка) и всё благодарил Бога за всё то, что он дал мне — не вещественное, а духовное, которое одно даёт истинное благо.

Всей душой сочувствую твоим тревогам и огорчениям <выраженным в письме 24 июня. – *Р. А.*> и рад бы помочь, да не знаю, чем. Мои планы неопределённы, потому что не знаю, где придётся увидеться с Чертковым, чего я очень желаю, также и он, бедный. Мы было думали, что он приедет сюда, в Орловскую губернию, за 3 версты, но не знаю его решения на этот план и ожидаю решения. Если ему этого нельзя, о чём, вероятно, узнаю с нынешней почтой — теперь утро, 11 часов — то через день или два приеду. Разумеется, телеграфирую. До свиданья, целую тебя.

Л. Т.» *(84, 389)*.

И открытка, того же дня:

«Прежде чем наше с Таней письмо пошло тебе, получил от Черткова известие, что он готов приехать в наше соседство за 4 версты в Орловскую губ. Во всяком случае думаю около четверга, 3-го, выехать. Получил твое письмо и очень жалею о Лёве.

Л. Т.» *(Там же)*.

Свидание с Чертковым произошло 30 июня в деревне Суворове.

К сожалению, обе вышеприведённые корреспонденции Л. Н. Толстого от 28 июня должны оставить у читателя впечатление, что судьбой В. Г. Черткова, своей возможностью встреч и общения с ним, Лев Николаевич озабочен был более, нежели одиночеством и настроением жены. Тем более и Соничка записала в ежедневнике 29 июня: «Печальное известие, что Лев Николаевич не приедет ещё 4 дня.

Чертков поехал к нему на свидание в Орловскую губ. в 5 верстах от Кочетов» *(ДСАТ – 2. С. 288)*.

В этой, ясно выказанной здесь, психологической зависимости Толстого от многолетнего «одноцентренного друга» и «толстовца № 1» — корни и отдалённое предвестие семейной его трагедии, которая разразится всего через год.

Однако, утолив потребность общения с «лучшим другом», Толстой вспомнил и о жене. К 3 июля относится две телеграммы от него, и вторая — извещает о намерении вернуться в тот же день *(см. 84, №№ 816, 817)*. Софья Андреевна с облегчением записала в ежедневнике на 3 июля: «Вечером вернулся Лев Николаевич с доктором Д. П. Маковицким и слугой Ильёй Васильевичем. Стало легче жить» *(ДСАТ – 2. С. 288)*.

Лев Толстой с невесткой Ольгой Толстой, внуками Соней и Ильей и знакомыми в парке имения Крёкшино. *Фото Т. Тапселя. 1909 г.*

Другим местом свидания Л. Н. Толстого с опальным своим другом стало вышеупомянутое имение Крёкшино Звенигородского уезда Московской губ., куда Толстой отправился, по ежедневнику С. А.

Толстой, 3 сентября, а Соня приехала 8-го и оставалась там с мужем по 18-е сентября включительно *(ДСАТ – 2. С. 292 - 293)*. К первым, до воссоединения, дням и относятся два эпистолярных документа от супругов: письмо Софьи Андреевны от 5 сентября и телеграмма Льва Николаевича от 8-го, — которые мы приводим по порядку ниже.

С. А. Толстая, письмо в Крёкшино мужу от 5 сентября:

«Сегодня днём проводила я, милый Лёвочка, сестру Машеньку с Лизой. Отъезд её был без суеты, спокойный и трогательный. Она всем была довольна, и завтраком, и пирожками на дорогу, и экипажем, прощаясь, за всё меня благодарила и даже расплакалась. И так она мне была мила в своей монашеской, остроконечной шапочке, с добрыми, наивными, полными слёз — глазами.

Пошли мы с Варварой Михайловной <Феокритовой> гулять; она купалась. Потом вдвоём обедали на балконе. Погода чудесная и я любуюсь и природой, и небом, и молодым месяцем, и звёздами, и цветами — и никуда не хочется двигаться.

Вечером приехали Гольденвейзеры супруги, и Ал<ександр> Бор<исович> мне очень интересно рассказывал о твоём путешествии и похождениях по Москве. <В книге А. Б. Гольденвейзера «Вблизи Толстого» под 3 сентября 1909 г. описан выезд Толстого из Ясной Поляны, пребывание в Москве и отъезд в Крёкшино. – *Р. А.*> Давно ты не был в городе! А меня совсем не тянет в Москву, и не знаю ещё, когда поеду, нога болит левая, и вообще энергии нет, не хочется опять хлопотать, трудиться, заниматься скучными делами, от которых нет никакой радости, а много неприятностей и недовольства детей, что всё им мало и мало дают денег. Получила от Сони, жены Ильи, очень дерзкое открытое письмо, и так стало грустно и больно! <С. А. Толстая в продолжение многих лет добровольно высылала семье И. Л. Толстого по 100 руб. в месяц. В письме из Калуги от 3 сентября жена И. Л. Толстого упрекнула Софью Андреевну за *неравномерность* присылки денег и потребовала высылать «всякое первое число» месяца. – *Р. А.*>

Сегодня был посетитель с корзинкой — из Оренбурга; потом дама из своего именья где-то около Рвов <в 8 верстах от Ясной Поляны. – *Р. А.*> поговорить о сыне, который собирается к духоборам; потом 4 мужика, у которых сгорели в Крыльцове <а это в 5 верстах; точнее: Кривцово, по фамилии прежнего помещика. – *Р. А.*> сараи с хлебом и гумна. Ещё нищие, цыганки и проч. Немного жутко по ночам, и у нас ночуют ещё поочередно оба кучера.

Скажи Саше, что по всей вероятности кусала наших собак *не* бешеная собака. Сегодня вечером мимо нашей террасы прошёл охотник с ружьём и собакой, по описанию той самой, которая напала на наших.

Целую Сашу, Ольгу, внуков, Галю, тебя и всем мой дружеский привет.

Твоя Соня Толстая» *(ПСТ. С. 779 - 780).*

Телеграмма 8 сентября Л. Н. Толстого:

«Совершенно здоров. Очень ожидаю тебя и все Чертковы» *(84, 390).*

Адрес телеграммы: «Засека, графине Толстой», но, судя по записи Софьи Андреевны в ежедневнике о том, что утром 8-го она была уже в Москве, телеграмма уже не застала адресата в Ясной Поляне.

В Крёкшино её встретили «ласково», и было ей там «очень хорошо, приветливо, красиво» *(ДСАТ – 2. С. 293).* Сильнейший контраст с её же отношениями с семейством Черткова через год, когда закрывать глаза на образ действий «лучшего друга» Толстого станет уже невозможно!

Усадьба Крёкшино. Главный дом.

Завершает наш обзор переписки супругов в 1909 году единственное письмо С. А. Толстой к мужу из поездки 12 – 14 декабря: в Музей, по делам издания своей книги детских рассказов «Куколки-Ске-

летцы» и прочим делам и, конечно же, на концерты: «с Вандой Ландовской, концерт Гайдна с оркестром — прелестно, и клавесин» *(Там же. С. 298)*. И снова кайф Софье Андреевне обломало и вызвало её в Ясную Поляну известие о болезни мужа («страшная телеграмма от Саши, у Льва Николаевича жар и озноб»), и снова, приехав после бессонной ночи, она застала у мужа улучшение *(Там же)*.

«Куколки-Скелетцы»
Обложка издания 1910 г.

Приводим в заключение письмо С. А. Толстой от 13 декабря:

«12 час. дня.

Милый Лёвочка, исполняю с радостью твоё желанье и пишу тебе. Я вполне благополучна и еду сейчас в денной концерт памяти Гайдна <на 100-летие со дня смерти. – *Р. А.*> — весь из его сочинений, и Ванда Ландовска играет на клавесине. Вчера я ужасно устала, главное от бессонной ночи в чрезмерно натопленном вагоне. Книжечка моя <«Куколки-Скелетцы»> выйдет завтра, в 9 часов утра, и её развезёт артельщик по магазинам. Мне говорили, что был уже о ней отзыв в «Русских Ведомостях», но я его не нашла, а очень, говорят, расхвалили. Но мне гораздо приятнее, например, то, что я сейчас прочла маленькому Серёже рассказ мой «Ваничка» вслух, и он умилялся и всё повторял: “как мило”; тоже умилялся и сын Стёпы, похожий ужасно на отца.

На прогулке в Крёкшино. *1909 г.*

Теперь вот что, Лёвочка. Прошу *тебя*, потому что не хочется писать отдельно, Саше. Вся семья Серёжи и двое Берсов приедут на все праздники. Прикажи Илье Васильевичу, чтоб велел сейчас же протапливать флигель; я распорядилась у приказчика, какого рабочего для этого отрядить и какими дровами топить. Прости за поручение. Морозы большие, и если не топить сейчас, стены очень промёрзнут и тогда труднее согреть дом.

Здесь всё благополучно, из знакомых видела только в банке цветущего Дунаева. Дела сделала мало, очень трудно: жаркие помещения после резкого ветра и мороза, и тяжёлая шуба.

Целую вас всех, и постоянно думаю о вас и озабочена тобой. Береги себя, милый друг.

Твоя Соня старая» *(ПСТ. С. 781)*.

На этом завершаются материалы переписки супругов Л. Н. и С. А. Толстых в последний полный, и *относительно* благополучный год их жизни и эпистолярного общения.

КОНЕЦ ОБЪЕДИНЁННЫХ ЭПИЗОДОВ 50 – 57

Эпизод Восьмидесятый.
SWEET, SWEET FREEDOM!
(2 мая – 23 июня 1910 г.)

INTRODUCTIO. Adagio

На протяжении всей аналитической презентации переписки Л. Н. и С. А. Толстых в 1862 – 1910 гг. мы стремились дать понять и почувствовать читателю, что все периоды «затиший» в довольно сложных, а временами и бурных отношениях великих супругов были иллюзией — которой к сожалению, обманывался и Лев Николаевич, и окружающие его лица, в том числе семейно-близкие к нему. Кризис отношений носил сложно-системный характер, и лишь главным внешним поводом к многочисленным распрям (принимаемым многими за причину) был мировоззренческий переворот в сознании Льва Николаевича на рубеже 1870 – 1880-х гг. и последовавшие за ними эволюции индивидуальных дискурсивных и поведенческих структур во взаимоотношениях Толстого с миром и с семьёй; главной же, внутренней причиной, стали, к великому несчастью — сложные характеры обоих супругов, в особенности же Софьи Андреевны, у которой, как мы можем наблюдать по Переписке и ряду других источников, «надрывы» в отношениях с мужем начались уже в 1860-х, довольно скоро после брака, а позднее, по крайней мере за 20-ть лет до финальной семейной катастрофы 1910 года, стало развиваться некое, не поддававшееся в ту эпоху точной диагностике, нервное или психическое заболевание, проявлявшее себя головными болями, удушьем, склонностью к истерикам, суицидальным и иным деструктивным фантазированиям и пр. Его развитие было катализировано, с одной стороны, страхами, внушаемыми чуждому подлинной христианской вере сознанию дочери немца-лютеранина как устными и печатными высказываниями Толстого-мыслителя и христианского публициста, вкупе с изнуряющим повседневным раздражением от его бытового (посты, физический труд, неразборчивость в приёме гостей и многое другое) и делового (по отношению к книгоизданию, авторским правам, гонорарам и пр.) поведения и идейно-образного строя некоторых его художественных сочинений (в особенности «Крейцеровой сонаты»), с другой же — образом городской (хуже того: московской!) жизни, избранным Софьей Андреев-

ной, в её многочисленных суетных слагаемых: воспитание детей, хозяйство, бизнес, культурно-творческие притязания, светская жизнь и многое иное.

Долгие годы, как мы видели, Соничка была справедливо недовольна как рутинностью, так особенно ограниченным характером социальных ролей и поприщ, открытых в России для неё и в целом для женщин — даже таких просвещённых и многоталантливых, какой была она! Но, будучи сама с детства беззащитным объектом воспитания и инкультурации в городской привилегированной страте российской гнусно-патриархальной и *лже*христианской (церковно-православной) социокультурной общности, она во многом разделила предрассудки изуверского "мужского" окружения и, как следствие, не смогла впоследствии, в статусе супруги, матери, хозяйки и пр., найти возможных даже в тогдашней России консенсусов с общественным строем. Как ни печально, «виноват» в таком зависимом состоянии, по её суждениям, оказывался чаще всего муж и близкие к нему по вере люди, то есть как раз те, кто знали *истинный, христианский путь освобождения* и женщины, и всякого человека, путь к истинным равенству и братству, и призывали современников встать на этот спасительный Путь Жизни.

Главным парадоксом и наиболее мучительно-трагическим обстоятельством в отношениях Сони и Льва была именно *взаимность* их любви — от начала и до конца. Но если у Льва она была сильнейше (и неприятно для Сони) акцентуирована на интимной стороне супружеской жизни, то для Сончики стали роковыми её попытки заполнения мужем и детьми "вакуума" её общественного бытия, детерминируемого указанными несправедливостями устройства общей жизни. Без малышей, а позднее без старика-мужа *рядом* — она не представляла себе жизни. Её любовь, как не раз мы указывали выше, была заметно акцентуирована на *потребности обладания и контроля* над любимыми. Сирота Толстой, в свою очередь бессознательно искавший в отношениях с женщинами материнского отношения — вряд ли мог что-то противопоставить таким контрпродуктивным мотивациям супруги.

Страшной катастрофой, подлинным мучительнейшим *надрывом*, едва ли не разрывом, стала для обоих гибель в феврале 1895 года от скоротечной детской болезни младшего любимого сына. Но эта же трагедия сделала для Толстого-христианина нравственно невозможным мечтаемый им уже за годы до того уход из семьи. Сложности отношений он стремился воспринимать как испытания стойкости в вере, посылаемые Свыше.

И всё-таки в 1910-м случилось практически неизбежное, назревавшее очень-очень давно: исход Л. Н. Толстого из Ясной Поляны, за которым трагической цепочкой последовали болезнь в пути и уход Льва Николаевича из известных нам условий бесконечной жизни в Боге.

Особость нашей книги как репрезентирующего и комментированного сборника именно — и только — *писем* супругов Толстых исключает возможность подробного представления, а тем более глубокого анализа всех аспектов внешней и духовной биографий Л. Н. Толстого, так или иначе связанных с роковыми событиями. За этими сведениями мы отсылаем читателя к давно и подробно выполненным, научно комментированным публикациям по теме — прежде всего, к публикациям источников, таким как подготовленный в 2010 году коллективом специалистов сборник современных материалов об уходе Толстого *(Уход Льва Толстого. – Тула., 2011)*, или же к новейшему сборнику-реконструкции, составленному старцем советского и российского толстоведения, В. Б. Ремизовым, книге «Уход Толстого. Как это было» *(2017)*. А ниже мы только набросаем обыкновенную биографическую зарисовку, долженствующую помочь читателю глубже понять эпистолярный дискурс супругов Толстых в хронологических рамках, указанных нами в начале Эпизода.

* * * * *

Начало 1910 года застало Л. Н. Толстого за продолжением двух важных писательских работ: художественного цикла о народной жизни, объединённого впоследствии названием «Три дня в деревне» и сборника мудрых мыслей «На каждый день». Последний останется у Толстого незавершённым: с 30 января начнётся работа над новым, сходным замыслом: книгой «Путь жизни», построенной по иному принципу, нежели предшествующие, составленные Толстым, книги мудрости. В феврале Толстой возьмётся за писание рассказа «Ходынка», о чудовищном событии в Москве 18 мая 1896 года, несчастной свидетельницей которого оказалась, как мы помним, и Софья Андреевна Толстая.

Сама она в эти же зимние дни продолжает работу над мемуарами «Моя жизнь», и, к сожалению, не ведёт дневника, так что о её настроениях, помимо писем, нам приходится узнавать из записей супруга и иных источников.

К ценнейшим знакомствам, человеческим и литературным, первых месяцев 1910 г. относится чтение Толстым в мае новых сочинений «народного» писателя Сергея Терентьевича Семёнова (1868 – 1922),

личное знакомство с которым состоялось у Льва Николаевича ещё в конце 1886 г., и какого-то сочинения В. В. Вересаева — вероятнее всего, «Записок врача», очень понравившихся тогда дочери Толстого Татьяне. Другое радостное литературное знакомство — с прекрасной статьёй В. Г. Короленко «Бытовое явление», направленной против смертных казней и явно инспирированной предшествующими выступлениями в печати на эту тему самого Льва Николаевича. Не менее радостными были личные знакомства с гостившим 21-22 марта в Ясной Поляне финским писателем и толстовцем Арвидом Ернефельтом (Arvid Järnefelt, 1861 – 1932) и с новым личным секретарём, Валентином Фёдоровичем Булгаковым (1886 – 1966). Особняком стоит историческая переписка Л. Н. Толстого с Мохандасом Карамчандом Ганди (Mohandas Karamchand "Mahatma" Gandhi, 1869 – 1948), начатая письмом Ганди к Толстому от 1 октября 1909 года и оконченная (со стороны Толстого) знаменитым письмом от 7 сентября 1910 г., содержащем ключевые для духовной биографии Ганди идеи любви и ненасилия.

16 января Толстой в Туле посещает заседание выездной сессии Московской судебной палаты, слушавшей два дела: неких крестьян, обвинявшихся в ограблении почты, и социалиста-революционера И. И. Афанасьева, обвинявшегося в пропаганде (как записал о нём Толстой в Дневнике) «более справедливых и здравых мыслей об устройстве жизни, чем то, которое существует» *(39, 9)*. Благодаря присутствию Толстого эсеру вынесли мягкий приговор, а крестьян — и вовсе оправдали.

По впечатлениям от суда Толстой занёс в Дневник следующие строки: «…Адвокаты, судьи, солдаты, свидетели. Всё очень ново для меня. […] Присяга взволновала меня. Чуть удержался, чтобы не сказать, что это насмешка над Христом. Сердце сжалось и оттого промолчал» *(Там же)*.

К этой поездке относится небольшое письмо, а точнее записка, Льва Николаевича в адрес жены, написанное перед отъездом, ранним утром 16-го. Так точно датировать записку учёным удалось благодаря Софье Андреевне, сделавшей к ней пометку: «16 января 1910 г. Поехал в Тулу на суд крестьян, которых оправдали. Уехал до моего вставанья и потому написал это» *(Щит. по: 84, 391)*.

Вот текст самой записки:

«Пишу, чтобы ты не беспокоилась. Погода прекрасная, и я себя хорошо чувствую.

Еду на санях, буду во всех отношениях осторожен и вернусь к обеду или, скорее, к 5 часам, если всё будет, как я предполагаю» *(Там же)*.

Пожалуй, даже более значительна, чем текст самой записки, пометка, выведенная позднее рукой Толстого на обороте листка: «К статье анархизм» *(Там же)*. Она относится к впечатлениям Толстого от суда и некоторым размышлениям, включённым им позднее в текст статьи «Пора понять», имевшей черновое заглавие — «Анархизм». В этой статье Толстой, вспоминая ёмкий образ А. И. Герцена, остроумно именует государство Российское Чингис-Ханом, которого деятели общественных реформ, не изменив его сущности, лишь немного украсили виньетками буржуазно-демократических институций да некоторых технических новшеств, примет прогресса:

«И он продолжает спокойно делать своё дело, надеясь, что, как это произошло и происходит во всех, так называемых, христианских странах, народ привыкнет, сам втянется и запутается в эти дела, и Чингис Хан останется Чингис Ханом только не с ордой диких убийц, а с благовоспитанными, учтивыми, чистоплотными убийцами, которые так сумеют устроить разделение труда, что грабёж и убийство людей будет одно удовольствие и доступно самому утончённо чувствительному человеку. Так смертоубийства, называемые казнями, совершаются не просто, а перед каждым таким убийством сходятся человек 5 в мундирах, садятся на креслы и на столе, покрытом сукном, что-то пишут и говорят, и хотя они знают, что их разговор не изменяет судьбы того, кого хотят повесить, они делают вид, что они судят и приговаривают. И с этой процедурой убивают от 3 до 7 человек в день» *(38, 162)*.

К несчастью, повседневность домашней жизни в Ясной Поляне вызывала у Толстого зачастую не менее негативные впечатления и мучительные эмоции, нежели тульский суд. В Дневнике за 1910 г. немало записей об этом: см. записи от 5 и 7 января, 9, 12, 13, 16 и 19 апреля, 4 и 19 мая, 26 августа, 4, 12, 15 сентября (№№ 1 и 9) и 22 сентября. Значительная часть записей, увы, так или иначе связана с Софьей Андреевной и семьёй.

Вот, ради примера, запись от 5 января: «Ходил по саду. Всё тяжелее и тяжелее становится видеть рабов, работающих на нашу семью» *(58, 4)*.

11 февраля у супругов случился спор по поводу желания Софьи Андреевны продавать «Книги для чтения» по более высокой, нежели

прежняя, цене. Толстому пожаловался в письме кто-то из покупателей, что «Первая книга для чтения» выросла в цене на 2 коп. Напомним читателю, что право на издание и доходы с книг до 1881 г., включая народные «Книги для чтения», Толстой передал жене. Но разговор с ней о снижении цены не склеился: «она стала говорить, что у неё ничего не останется, и решительно отказала» *(Там же. С. 16)*.

К 21 февраля относится важное воспоминание в дневнике М. С. Сухотина (запись от 24-го) о разговоре с Л. Н. Толстым за вечерним чаем, в котором тот взволнованно говорил о том, как тяжело ему жить в условиях Ясной Поляны и, вероятно, о возможном уходе. От себя М. С. Сухотин проницательно добавлял в дневнике:

«Несмотря на то, что прошли десятки лет с тех пор, как Л. Н., начав свою проповедь, решил тем не менее оставаться в семье в прежних условиях жизни, всё-таки до сих пор сознание того, что что-то недоделано и что-то завершено не так, как следовало бы, сидит в душе учителя жизни, и от этого сознания он мучается и, несмотря на охватившую его старость, мысль о бегстве из дома, об исчезновении не покидает его» *(Цит. по: Гусев Н. Н. Летопись… 1891 – 1910. С. 748)*.

Обыкновенная для гениев и для стариков весенняя краткая депрессия излилась на страницы апрельского Дневника такими записями:

«Одно из самых тяжёлых условий моей жизни, это то, что я живу в роскоши. Все тратят на мою роскошь, давая мне ненужные предметы, обижаются, если я отдаю их. А у меня просят со всех сторон, и я должен отказывать, вызывая дурные чувства. Вру, что тяжело. Тяжело оттого, что я плох. Так и надо. Это хорошо. Очень хорошо. Целый день d'une humeur de chien, [*фр.* зол, как собака] особенно, где надо бы быть добрым. Только всё-таки помню, что одобрение нужно только Его» *(58, 35 – 36. Запись от 9 апреля)*.

Конечно же, конечно Лев Николаевич — своеобычно для исповедальных, интимно-личных его текстов — преувеличил свою «собачью» злость. Но остаётся фактом мучительность для великого яснополянца, для Толстого-христианина того, чему в «барской» жизни Ясной Поляны так завидуют в наши дни некоторые современные её посетители и даже интеллигентные писатели о Толстом. (Чем, кстати сказать, и пользуются современные, путинские оккупанты Ясной Поляны, кощунственно устраивающие в Духовном Заповеднике Льва-христианина для таких глупых посетителей и почитателей вполне «барские» развлечения: катания, спектакли, концерты, дегустации жранья, различные игры и т. п.).

Вот запись в Дневнике Л. Н. Толстого под 10 апреля:

«Какой большой грех я сделал, отдав детям состояние. Всем повредил, даже дочерям. Ясно вижу это теперь» *(Там же. С. 38)*.

Дочери всегда были ближе к отцу, стараясь словом и делом разделить и облегчить его Христово исповедничество. Но и они, по мысли Толстого, «сорвались», предпочтя замужество и мирское, лукавое и суетное, «счастье». К чему их, якобы, подтолкнул семейный раздел капиталов и владений… Конечно же, не эта причина была решающей в выборе дочерей, а главное: не в воле отца тогда, в начале 1890-х, было отказать жене и детям в столь вожделенном (хотя и ощущавшемся как грех) семейном разделе. Как и в случае с переездом 1881 года в Москву, Толстому пришлось даже проявить в том деле свою инициативу, но — только мнимо добровольную, на деле же — *вынужденную*.

Ещё, из записей на 12 апреля:

«Не обедал. Мучительная тоска от сознания мерзости своей жизни среди работающих для того, чтобы еле-еле избавиться от холодной, голодной смерти, избавить себя и семью. Вчера жрут 15 человек блины, человек 5, 6, семейных людей бегают, еле поспевая готовить, разносить жраньё. Мучительно стыдно, ужасно. Вчера проехал мимо бьющих камень, точно меня сквозь строй прогнали. Да, тяжела, мучительна нужда и зависть, и зло на богатых, но не знаю не мучительней ли стыд моей жизни» (*Там же. С. 37)*.

Конечно же, лицезрение семейного жранья рядом с нищетой и подневольным трудом крестьян и соседей вызвало в Льве Николаевиче потребность обличения, встретившего отпор жены. Осторожная запись в Дневнике следующего дня, 13 апреля — вероятное эхо грома прошедшей накануне семейной грозы:

«Проснулся в 5 и всё думал, как вытти, что сделать? И не знаю. Писать думал. И писать гадко, оставаясь в этой жизни. Говорить с ней? Уйти? Понемногу изменять?.… Кажется, одно последнее буду и могу делать. А всё-таки тяжело. […] Помоги, помоги Тот, Кто во мне, во всём, и Кто есть, и Кого я молю и люблю. Да, люблю. Сейчас плачу, любя. Очень» *(Там же)*.

Как видим, в христианском сознании Толстого торжествовала, до самой роковой ночи октября 1910-го, установка ещё начала 1880-х гг.: не оставлять семьи и отвечать на зло в речах, в поведении жены — любовным воздействием на Божественное, светло-разумное в ней.

Кроме сложных семейных отношений, по сведениям Дневника, Толстому досаждали ежедневные просители: люди, полностью чуждые христианского понимания жизни и оттого полагавшие Толстого не исповедником Истины Бога и Христа, а «размякшим» от религии

богатым буржуазным благотворителем. Пользуясь известным непротивлением Толстого, попрошайки не просто ловили его на прогулках, а часто дерзко, грубо, настойчиво, с матом и угрозами вымогали у него подачку: как, например, мужик, шедший за ним на прогулке 16 апреля и ругавший за отказ дать 5 копеек *(Там же. С. 39)*. Особо омерзительна была эпистолярная ситуация, когда в некоторые дни Толстой получал от «соотечественников» и читал подряд то грубую ругань, «обличения» и пожелания гибели, то, следом — снова слезливое (и часто очевидно лживое) блеяние очередного попрошайки в овечьей шкурке… а следом, в третьем письме, третьего, чаще анонимного, адресата-ругателя — опять «обличения», пожелания смерти и проклятия. Такова была и есть мерзкая *сущность* «народной» России — чудовищно контрастировавшая с благодушными толстовскими идеализациями абстрактного «народа»!

И от этой мерзости, от этого контраста с идеалами хотелось и *было, куда* сбежать. Впереди маячил уже близкий по здоровью и по возрасту Уход — из известных нам условий бытия…

Finale dell'introduzione

Фрагмент Первый.
СНОВА В КОЧЕТАХ. Allegro non troppo.
(2 – 7 мая 1910 г.)

Пока же, в конце апреля, Толстой пользовался, как передышкой, отъездом Софьи Андреевны (с 27 апреля по 1 мая) по делам в Москву и обдумывал очередной визит в Кочеты, имение Михаила Сергеевича Сухотина, супруга дочери, Татьяны Львовны. 1-го мая возвращается из Москвы Софья Андреевна, а 2-го Толстой отбывает в желанную для него, как отдых, как спасение, поездку. Спутниками его были новый, молодой личный секретарь (и единомышленник во Христе) Валентин Фёдорович Булгаков и личный врач (так же, как мы помним, религиозный единомышленник) Душан Петрович Маковицкий.

Это было побегом от общих мучительных условий жизни в Ясной Поляне, но никак не должно быть рассматриваемо как «бегство» Л.

Н. Толстого от жены: супруги договорились, что, отдохнув от московской поездки, Софья Андреевна приедет скоро вслед за мужем — навестить М. С. Сухотина и дочь.

По приезде 2 мая на ближайшую к имению Кочеты железнодорожную станцию Благодатное (Орловско-Грязевской ж. д.) доктор Маковицкий начертал на открытке в Ясную Поляну следующее краткое сообщение: «Доехали благополучно в Благодатную», а Толстой присовокупил к этому сообщению такую собственноручную приписку:

«Что и я свидетельствую. Было немного жарко, но за всю дорогу ни разу не было изжоги. Таня прислала телеграму в Орёл и сама выехала в Благодатную.

Целую тебя. […] *Л. Т.*» *(84, 392)*.

Следующее, от 3 мая, письмо, уже из Кочетов — передаёт великолепно настроение Толстого человека, начавшего физически и морально воскресать в гостях после длительного домашнего мучительства:

«Пишу тебе, милая Соня, чтобы самолично известить о себе.

Доехали прекрасно, а здесь не верю действительности, что можно вытти на крыльцо, не встретив человек 8 всякого рода просителей, перед которыми больно и совестно, и человек двух, трёх посетителей, хотя и очень хороших, но требующих усилия мысли и внимания, и потом можно пойти в чудный парк и, вернувшись, опять никого не встретить, кроме милых Таничек и милого Михаила Сергеевича. Точно волшебный сон. Здоровье хорошо — 2-й день нет изжоги. Как ты, отдохнула ли? С кем приедешь? Скажи Андрюше и Кате, <Екатерина Васильевна Толстая, урожд. Горяинова (1876 — 1960), по первому мужу Арцимович, вторая (с 1907 г.) жена Андрея Львовича Толстого. – *Р. А.*> что жалею, что они меня не застали. Сейчас ложусь спать. Таня так заботлива, что хочется только удерживать её. Гуляю по парку, ничего серьёзного не писал. Целую тебя.

Л. Т.» *(84, 392)*.

В ответном письме (почт. штемпель — 5 мая), единственном от неё в этом Фрагменте, Софья Андреевна сообщала мужу, прежде прочего, о приезде сына, Андрея Львовича, с женой его от второго брака Екатериной Васильевной (1876 – 1960) и дочерью Марией Андреевной (1908 – 1993?):

«Приехал Андрюша с женой и девочкой, и мы только что обедали. Андрюша очень огорчён, что дом пустой, обо всех спрашивает, сентиментально относится к Ясной Поляне, и как будто чем-то невысказанным — взволнован. Своим назначением доволен <А. Л. Толстой получил место непременного члена тамбовского отделения дворянского и крестьянского банка. – *Р. А.*>, уедет дней через 9 в Тамбов. Я зову его в пятницу в Кочеты, но он не решил ещё, поедет ли со мной.

Прилагаю присланную на имя Душана Петровича какую-то бумагу и два иностранных письма Льву Николаевичу.

Завернул холод, и я боюсь, что дурно это на тебе, милый Лёвочка, отзовётся. Пожалуйста, берегись и пищей, и холод принимай во внимание. Жаль для семьи Андрюши, что так уныло. Я очень, очень занята. Прислали пропасть корректур, весь день их исправляла, просматриваю опять и «Отрочество», и готовлю счёты к годовому отчёту книжной продажи.

В хозяйстве неприятности; третьего дня в саду, перед флигелем привязали на время лошадь, Бурого мерина; я убиралась во флигеле. И среди дня, перед моими глазами почти, лошадь исчезла, и двое суток её нет; вероятно увели. Вернулся Алексей Копылов <яснополянский крестьянин. – *Р. А.*> из острога, где сидел четыре раза; уж не он ли?

Ну, прощайте, всем привет, целую тебя, Лёвочка, и двух Таничек. Трогательно отношение милой моей внучки, Танички, ко мне. Скоро её, душку, увижу.

Ваша старая, одинокая С. Толстая» *(ПСТ. С. 782)*.

Вероятно, Андрей Львович не скоро надумал ехать с матерью в Кочеты, предпочитая остаться с женой и дочерью в Ясной Поляне. И Софья Андреевна, сожалевшая о “пустоте”, в отсутствие Льва Николаевича, большого яснополянского дома, задержала, в свою очередь, свой отъезд в Кочеты, к мужу и дочери. Толстой известился об этом в неизвестной нам корреспонденции и ответил жене 7 мая кратко, телеграммой:

«Жалею, что отложила все здоровы» *(84, 393)*.

Толстой оставался в Кочетах ещё до 20 мая и много работал. Много читал книг, в частности — о самоубийствах, так как готовил в это время по этой теме особую статью, названную «О безумии». С 7 мая

в Кочетах живёт вместе с ним, помимо личных доктора и секретаря, неизменный и преданный друг и помощник, В.Г. Чертков. Наконец, 9 мая в час дня в Кочеты приехала Софья Андреевна с сыном Андреем.

Жизнь в Кочетах у М. С. Сухотина была всё той же по внешности барской жизнью, которая вскоре начала тяготить Толстого, о чём он записывал в Дневнике под 4 и 19 мая:

«Думал, что напишу о самоубийстве, но сел за стол, и слабость мысли и неохота. Опять мучительно чувствую тяжесть роскоши и праздности барской жизни. Все работают, только не я. Мучительно, мучительно» *(58, 44; Запись 4 мая)*.

И 19 мая, накануне отъезда:

«Последний день в Кочетах. Очень было хорошо, если бы не барство, организованное, смягчаемое справедливым и добрым отношением, а всё-таки ужасный, вопиющий контраст, не перестающий меня мучить» *(Там же. С. 54)*.

Приехавшей 9 мая жене он, по сведениям В. Ф. Булгакова, впервые искренне рассказал о тяжести для него условий жизни и в Кочетах, и в Ясной Поляне: «Горячо говорил, хотя спокойно… И, кажется, она поняла. Впрочем, не знаю, надолго ли» *(Цит. по: 58, 383)*. К несчастью, этот разговор воскресил страхи Софьи Андреевны по поводу того, что муж может бросить её и семью. Эти страхи, как мы увидим уже в следующем Эпизоде, приведут к последствиям поистине трагедийным для всей семьи.

20 мая Толстой со своей «свитой» возвращается, вослед ранее выехавшей жене, в Ясную Поляну.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ФРАГМЕНТА

Фрагмент Второй.
ОТРАДНОЕ: ПРЕРВАННОЕ СЧАСТЬЕ. Allegro con gracia
(14 – 23 июня 1910 г.)

После возвращения 20 мая в Ясную Поляну Толстой работает над комедией «Долг платежом красен» (не окончена) и над корректурами книги «Путь жизни». От сына Сергея он узнаёт историю о солдате,

убившем пытавшегося бежать арестанта и сошедшем с ума на этой почве — и хочет писать об этом художественное. Уже не удалось.

Вообще тема самоубийств, над которой он работал в связи со статьёй «О безумии» навела его на ряд мучительных воспоминаний об угрозах и даже попытках (или симуляциях попыток?) самоубийства Софьи Андреевны в периоды их ссор. А от этих воспоминаний один шаг — к теме сумасшествия как такового, в буквальном, не метафорическом смысле. И эта тема, как мы увидим, стала очень интересна Толстому — несомненно, в связи с поведением жены, которое отнюдь не становилось ни спокойнее, ни терпимей. Об одной из ссор, 29 мая, она сама вспомнила почти через месяц и записала в дневнике следующее:

«На днях, до отъезда Льва Ник. к Черткову, он негодовал на нашу жизнь, и когда я спросила: “Что же делать?”, он негодующим голосом закричал: “Уехать, бросить всё, не жить в Ясной Поляне, не видать нищих, черкеса <конного охранника. – *Р. А.*>, лакеев за столом, просителей, посетителей, — всё это для меня ужасно!”

[…] Слушала я, слушала всю эту гневную речь, взяла 30 рублей и ушла; хотела ехать в Одоев и там поселиться. Была страшная жара, я добежала до шоссе, задохнулась от волнения и усталости, легла возле ржи в канаву на травке. Слышу, едет кучер в кабриолете. Села, обессиленная, вернулась домой. У Льва Николаевича на короткое время сделались перебои в сердце. Что тут делать? Куда деваться? Что решать? Это был первый надрез в наших отношениях.

Приехала домой. Опять тяжесть жизни. Муж сурово молчит, а тут корректуры, маляры, приказчик, гости, хозяйство… Всем надо ответить, всех удовлетворить. Голова болит; что-то огромное, разбухающее распирает голову, и что-то напухшее, сдавливающее — в сердце.

И вот сегодня вечером, обходя раз десять аллеи в саду, я решила без ссор, без разговоров нанять угол в чьей-нибудь избе и поселиться в ней, бросив все дела, всю жизнь, стать бедной старушкой в избе, где дети, и их любить. Надо попробовать.

Когда я стала говорить, что на перемену более простой жизни с Льв<ом> Ник<олаевичем> я не только готова, но смотрю на неё, как на радостную идиллию, только прошу указать, где именно он хотел бы жить, он сначала мне ответил: “На юге, в Крыму или на Кавказе…” Я говорю: “Хорошо, поедем, только скорей…” На это он мне начал говорить, что прежде всего нужна *доброта*» *(ДСАТ – 2. С. 123)*.

В своём странном подсчёте «надрезов» в отношениях с мужем Софья Андреевна либо “обсчиталась”, либо, что вероятнее, нечаянно

выдала себя: понимание своей роли и степени ответственности в этих «надрезах».

Это подсчитывание восходит, если ещё помнит наш читатель, к самым первым месяцам брачной жизни супругов, когда Лев Николаевич записал в Дневнике января 1863 г., обращаясь к читавшей его жене: «…Мы дружны. Последний раздор оставил маленькие следы (незаметные) или может быть — время. Каждый такой раздор, как ни ничтожен, есть надрез — любви. Минутное чувство увлечения, досады, самолюбия, гордости — пройдёт, а хоть маленький надрез останется навсегда и в лучшем, что есть на свете, в любви. Я это буду знать и беречь наше счастье, и ты это знаешь» *(48, 50)*.

Она много лет старалась помнить этот образ — «надрезанной» любви — и беречь к себе любовь мужа. Об этом свидетельствуют возвращения её к этому образу, и не в диалоге, не в письмах к мужу, а — в дневниковом «монологе», разговоре с собой и с воображаемыми «будущими» читателями (см., напр. записи 17 января и 22 мая 1863 г., 6 марта 1865 г., 12 марта 1866 г., 19 сентября 1891 г. и 2 ноября 1897 г.). Но теперь, роковым вечером 26 июня 1910 года, она сама поняла, что не только не бережёт мужа и любовь её, а — разрушает отношения сама.

Семейной распре способствовали и распоряжения С. А. Толстой как «собственницы». После гибели Ванички, юридически бывшего совладельцем с мамой Ясной Поляны, Софья Андреевна распоряжалась всем уже единолично, и действительно наняла, не ставя в известность мужа, черкеса Ахмета, хорошего охранника, очень грубо обходившегося с крестьянами, нарушавшими «права» владелицы. 4 июня Толстой был особенно мучительно задет за живое, когда черкес схватил бывшего воспитанника яснополянской школы Льва Николаевича, крестьянина П. В. Власова: «Ужасно стало тяжело, прямо думал уйти» *(58, 60)*.

Черкес продолжал свою работу, и 7 июня в ходе нового тяжёлого разговора — повторились и раздражённая злость Софьи Андреевны, и, позднее, в ночь, приступы с сердечными перебоями и обмороком Льва Николаевича.

После этой новой ссоры он решает ехать — недалеко, но один. 12 июня 1910 г. в половине двенадцатого дня Толстой с Маковицким, Булгаковым и лакеем выезжает в имение Отрадное (Мальвинское), располагавшееся в Лопасненской волости Серпуховского уезда Московской губ., которое снял на лето Владимир Григорьевич Чертков. Следом, в тот же день, выехала за отцом и дочь Александра. Софья

Андреевна была по видимости спокойна, но вряд ли забыла и простила мужу установку на чаемый им отъезд из Ясной Поляны — и, как она понимала, чаемый *без неё*!

Это были блаженные одиннадцать дней в кругу близких Льву Николаевичу людей. Толстой повторял в дневнике и письмах: «Провели одиннадцать дней прекрасно»; «на душе хорошо»; «было очень интересно и хорошо, и я не устал». Писателю нравилась красивая местность, пришлись по сердцу и окружавшие его люди. Толстой смог спокойно поработать здесь, написав рассказы «Благодарная почва», «Нечаянно», отделы «Излишество» и «Тщеславие» для книги «Путь жизни», письмо-послание к славянскому съезду в Софии…

Дописав до конца старую тетрадку Дневника, 14 июня начал новую, *последнюю*, отдав на сохранение В. Г. Черткову семь тетрадей, с 19 мая 1900 г. по 13 июня 1910 года. Роковой шаг — если памятовать неспокойное, подозревающее отношение Софьи Андреевны к Дневнику мужа в целом. Конечно же, Соничка обыскала кабинет мужа, хватилась несчастных тетрадок и была возмущена их отсутствием и недоступностью.

Из записей в Дневнике 13 июня, первые впечатления от Отрадного и окрестностей:

«Утром опять предисловие. Ходил утром и середь дня в Мещерское. Очень приятно. […] Очень поразительно здесь в окрестностях — богатство земских устройств, приютов, больниц, и опять всё та же нищета <крестьян>» *(58, 63)*.

Из записей 14 июня:

«Ходил в Лебучане к сумашедшим. Один очень интересный. «Не украл, а взял». Я сказал: «На том свете». Он: «Свет один». Много выше этот сумашедший многих людей, считающихся здоровыми» *(Там же. С. 65)*.

Продолжая интересоваться феноменом «безумия», Толстой навестил в тот день земский патронаж для спокойных и выздоравливающих больных в селе Любучаны. Беседу с одним из больных, шизофреником С. П. Данилиным, он впоследствии неоднократно вспоминал как образец глубоких и близких ему рассуждений о Боге и мироздании.

В этот же день Толстого «отыскал» в Отрадном чешский педагог Карл Велеминский (1880 – 1934), со вторым уже визитом (первый был в августе 1907 г.). Около часа вечером проговорили два выдающихся педагога на близкие им темы.

Такими же были и последующие дни в Отрадном: насыщенные и писательской работой, и прогулками, и общением… Вероятно, именно по этой причине с Толстым случилось в те дни одно роковое, если учитывать специфичность ситуации в отношениях супругов, обстоятельство, имеющее самое прямое касательство к нашей комментированной презентации. По оплошности написанное Толстым жене письмо от 14 июня не было отправлено им — аж до 21-го! А она, конечно же, ждала… ждала!.. ЖДАЛА!!!!!

Вот текст этого, первого в анализируемом Фрагменте, письма, традиционно (и с непоправимым опозданием) посланного Толстым минуя почту, с «оказией»:

«Пользуюсь отъездом Димочки <В. В. Чертков, сын В. Г. Черткова. – *Р. А.*>, чтобы написать тебе, милая Соня. Саша писала тебе о нашем путешествии и приезде. Нового с тех пор не совсем хорошего только то, что Саша где-то схватила сильнейший насморк, но кашля нет, и она бодра и хороша. Я совершенно здоров. Живу точно также, как в Ясной Поляне, с той только разницей, что посетителей и просителей нет — что очень приятно. Здесь очень интересный край своей необыкновенной земской деятельностью. Тут в 3-х верстах огромная психиатрическая больница на 700 человек и другая, правительственная, на 1500 человек, тоже психиатрическая; тюрьма, больница для политических; кроме того, выздоравливающие больные сумашедшие распределены по деревням. Я нынче был в одной такой, где 50 человек. Я говорил с многими, и один очень интересен. До сих пор ничего особенного не работаю. Всё копаюсь над старым. <13 и 14 июня Толстой исправлял предисловие к «На каждый день» и «Путь жизни», над которым он работал с 1907 г. – *Р. А.*> Но надеюсь воспользоваться досугом. — Как ни хорошо в гостях, а дома лучше. И я приеду, как хотел, уже никак не позже 24-го, если всё будет хорошо у меня и у тебя. Как ты и твои дела и издательские <С. А. Толстая готовила в то время в печать уже 12-е (!) издание сочинений Льва Николаевича. – *Р. А.*>, и хозяйственные? Не слишком ли тревожат тебя? Это главное. Главнее всех матерьяльных дел. Очень жалею, что Илья не застал меня. Каков он?

Прощай, милая, старая жена. Целую тебя. Надеюсь, до свиданья.

Твой муж - Л. Т.

14-го вечером» *(84, 393)*.

Отрадное, 17—23 июня 1910 г.

Жестокая, поистине *страшная* ирония судьбы… Пока великий яснополянец безмятежно редактирует свои сборники мудрой мысли и даже ходит в гости к специфическим «соседям», наблюдая интересующее его «безумие» — тучи ужаснейшей из гроз над его головой незаметно сгущались и истинное безумие, от самого семейно-близкого и любимого человека, готово было обрушиться на него. Как мы уже сказали, по роковой ошибке это письмо было забыто в Отрадном, отправлено лишь 21 июня и получено С. А. Толстой в страшный день 22 июня, день начала одной из безумнейших в истории человечества войн: душевно нездоровой жены с великим старцем-мужем. *Что* совершалось в предшествующие дни мучительного ожидания письма в её воспалённом воображении? Это навсегда останется её тайной с Богом. Но уже позднее, перечитывая в нездоровом состоянии долгожданное письмо, она подчеркнула в нём, как ей казалось, «улики» против супруга. Слова «уже никак не позже» подчёркнуты С. А. Толстой дважды чернилами и красным карандашом. Текст со слов: «Как ни», кончая: «как хотел», тоже подчёркнут красным карандашом её же рукой и на полях тем же красным карандашом написано: «И всё ложь, а я дома одна умираю. *22 июня 1910 г.*» *(Там же. С. 394. Примечания).*

Не дождавшись от мужа запамятованного им отправлением письма, Софья Андреевна пишет 17 июня своё, по внешности довольно спокойное:

«Сегодня нет от вас известий, милый Лёвочка; надеюсь, что это означает, что всё хорошо. Как-то Сашин насморк разрешился и не перешёл ли в кашель?

Вчера мы ездили с Варварой Михайловной в Тулу, и обе очень устали. У зубной дамы Поповой починила зубы; у докторши, престарелой Кидаловой получила полезные советы; в банке устроила денежные дела и кое-что купила. Пришлось долго быть в Туле, потому что докторша только в 5 часов откуда-то вернулась.

Вечером пришла Николаева, и приехали меня навестить Гольденвейзеры. Анна Алексеевна мне всегда приятна; она умная и очень хорошая женщина.

[КОММЕНТАРИЙ.

Лариса Дмитриевна Николаева жила в 1910 г. в деревне Ясная Поляна со своим мужем, переводчиком сочинений и популяризатором учения Генри Джорджа, Сергеем Дмитриевичем Николаевым (1861 – 1920). – *Р. А.* **]**

В доме нигде пройти нельзя: везде поставлены козла, и одни скоблят, другие красят. Две верхние комнаты будут готовы через два дня.

К Чертковым я не могу ехать: и по не совсем хорошему здоровью и по тому, что впуталась в такую сеть разных дел, что выбраться трудно.

Разумеется, если б ты, сохрани бог, захворал, или я бы зачем-нибудь была нужна, — я приехала бы немедленно. Но, надеюсь, что первое не случится, — а последнего давно уже я не чувствую. Спасибо судьбе и тебе и за то, что было.

Прочла сегодня заявление Черткова о том, чтоб спрашивали его позволения люди, желающие тебя видеть. Зачем? Ведь ты 24-го хочешь вернуться; а это скорее вызовет посетителей. У нас их совсем не бывает; был только какой-то депутат, приглашать тебя лично на конгресс мира; но я его не видала, он тотчас же уехал. Нищих тоже мало; подаём всем.

Пока прощай, милый, будь здоров и спокоен. Целую Сашу.

Твоя Соня Толстая» *(ПСТ. С. 783)*.

Ещё в августе 1909 г. Толстой приготовил для конгресса доклад. Жена высказалась против поездки, и Толстой раздумал ехать туда под давлением именно супруги. Да и самый конгресс в 1909 г. не состоялся. В 1910 г. на конгрессе представителем от России был кн.

П. Д. Долгорукий. Речь, присланная Л. Н. Толстым, прочитана не была, ибо, как пишет биограф Толстого П. И. Бирюков, умеренная и либеральная среда пацифистов, собравшихся на конгрессе, была скандализирована «выходкой» Л. Н-ча, считавшего, что для того, чтобы люди не воевали, — «не должно быть войска» *(Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого. М. – Пг., 1923. Т. IV. С. 191)*.

Софью Андреевну можно и до́лжно понять. С неё хватало страхов из-за отлучек мужа к близким ему по вере людям. А ревновать она Льва Николаевича к ним, особенно к В. Г. Черткову, как мы видим, не только продолжала, но ревновала сильнее прежнего. В письме этом многое нехорошо: и повторение старой лжи о том, что муж не любит её и она ему не нужна, и ревность к организаторской активности Черткова, вкупе с выраженным “между строк” подозрением мужа в неправде при указании даты возвращения либо же в перемене, тайной от неё, своих планов. Чертков действительно отправил 13 июня заявление для прессы, в котором пишет о загруженности Л. Н. Толстого в Отрадном и работой, и посещениями, о том, что, по этой причине, «Льву Николаевичу нежелательно посещение здесь посторонних лиц, не имеющих до него определённого дела» и о том, чтобы «лица, раньше чем предпринимать поездку, списывались» лично с ним «относительно наиболее удобного для Льва Николаевича дня их посещения» *(Цит. по: ПСТ. С. 784)*. Понятно, что такая опека больно напомнила Соничке собственные её многолетние усилия ограждения мужа от нежелательных и слишком многочисленных визитёров и вызвала новую волну гнева и ревности. С высоким вероятием отсутствие тетрадок Дневника уже было замечено ею, хотя запись об этом в *её* дневнике появляется только 26 июня. Нам не раз предстоит возвращаться к ней, а здесь приведём только начало записей этого дня, напрямую относящихся к настроениям жены Толстого, пробившимся в строках внешне сдержанного её письма 17 июня, и к их причинам:

«Лев Николаевич, муж мой, отдал все свои дневники с 1900 года Вл. Гр. Черткову и начал писать новую тетрадь там же <в Отрадном, имении Чертковых. - *Р. А.*>, в гостях у Черткова, куда ездил гостить с 12-го июня.

[…] Жизнь моя с Львом Николаевичем делается со дня на день невыносимее из-за бессердечия и жестокости по отношению ко мне. И всё это постепенно и очень последовательно сделано Чертковым. Он всячески забрал в руки несчастного старика, он *разлучил* нас,

он убил художественную искру в Л. Н. и разжёг осуждение, ненависть, отрицание, которые чувствуются в статьях Л. Н. последних лет, на которые его подбивал его глупый злой гений.

Да! если верить в дьявола, то в Черткове он воплотился и разбил нашу жизнь!

Все эти дни я больна. Жизнь меня утомила, измучила, я устала от трудов самых разнообразных; живу одиноко, без помощи, без любви, молю Бога о смерти; вероятно, она не далека. Как умный человек, Лев Николаевич знал способ, как от меня избавиться, и с помощью своего друга — Черткова убивал меня постепенно, и теперь скоро мне конец» *(ДСАТ – 2. С. 119 – 120)*.

15 – 18 июня Толстой активно работал: поправлял «На каждый день» — «Декабрь» и предисловия к книгам «На каждый день» и «Путь жизни», читал корректуры четырёх отделов «Пути жизни» и продиктовал письмо-послание Славянскому съезду в Софии.

По состоянию на 18-е Толстой был ещё убеждён, что написанное им письмо от 14-го отправлено жене и ждал ответа. Между тем роковые обстоятельства вмешались снова, о чём Софья Андреевна сделала позднейшую пометку к следующему своему по хронологии письму 18 июня: «В Ясной Поляне была получена срочная телеграмма от редакции “Петерб[ургских] вед[омостей]” с запросом о здоровье Льва Николаевича. Я очень испугалась и запросила об этом телеграммой к Чертковым» *(ПСТ. С. 784 – 785)*. Невозможно представить, *что* означал для Сонички этот испуг в её болезненно возбуждённом состоянии и насколько он усугубил его. Оба супруга обменялись телеграммами и последовавшими за ними письмами того же дня, 18 июня. Телеграмма Софьи Толстой не сохранилась. Вот текст её письма того же дня:

«Очень извиняюсь, милый Лёвочка, что встревожила вас телеграммой. Жила я спокойно, старалась не нарушать своего внутреннего равновесия для той усиленной работы, которую пришлось это время делать. Поездка в Тулу меня очень утомила, я опять перестала спать ночи, а эта глупая петербургская телеграмма меня ужасно испугала, именно потому, что она *срочная*. То, что создавало в этот вечер моё встревоженное воображение, с страшной быстротой сменяя картины, события и различные положения, — составило бы интересную повесть какого-то полубреда. Я думала, что в Петербурге узнали раньше о твоём внезапном нездоровье или даже смерти, — и я всю ночь не спала до утра, пока получила письма и телеграмму, за которую благодарю.

Приехала Ольга <Константиновна Толстая> с <детьми> Соней и Илюшком на один день, и я им очень рада. Пойдём на купальню. Целую тебя и новорождённую Сашу.

С. Толстая» *(ПСТ. С. 784)*.

Толстой отвечал из Отрадного 18 июня сперва упомянутой выше телеграммой («Не понятна причина беспокойства всё обстоит вполне благополучно» — *84, 394*), а следом и небольшим, такого содержания, письмом:

«Собирался и так тебе нынче, 18-го, писать тебе, милая Соня, а вдруг утром пришёл Чертков с твоей непонятной для нас, полученной ночью, телеграммой. У нас решительно ничего хоть мало мальски неприятного, не хорошего не было и нет. У меня желудок хорош, а бывшая слабость — если уж всё замечать — прошла, и у Саши насморк проходит, и она весела и бодра. Понемногу занимаюсь, о тебе думаю с любовью и кроме хорошего ничего не испытываю. Ездил вчера верхом и нынче поеду с Чертковым. — Чертков говорит, что «О жизни» напечатано всё, что есть, и вариантов нет. Привет твоим милым сожителям и благодарность. Целую тебя,

Л. Т.» *(84, 394)*.

Софья Андреевна просила мужа перед поездкой справиться о возможных не опубликованных частях или рукописных вариантах большого сочинения Льва Николаевича 1887 года — трактата «О жизни». Это было нужно ей для готовившегося ею нового, уже 12-го по счёту, издания собрания сочинений Льва Николаевича.

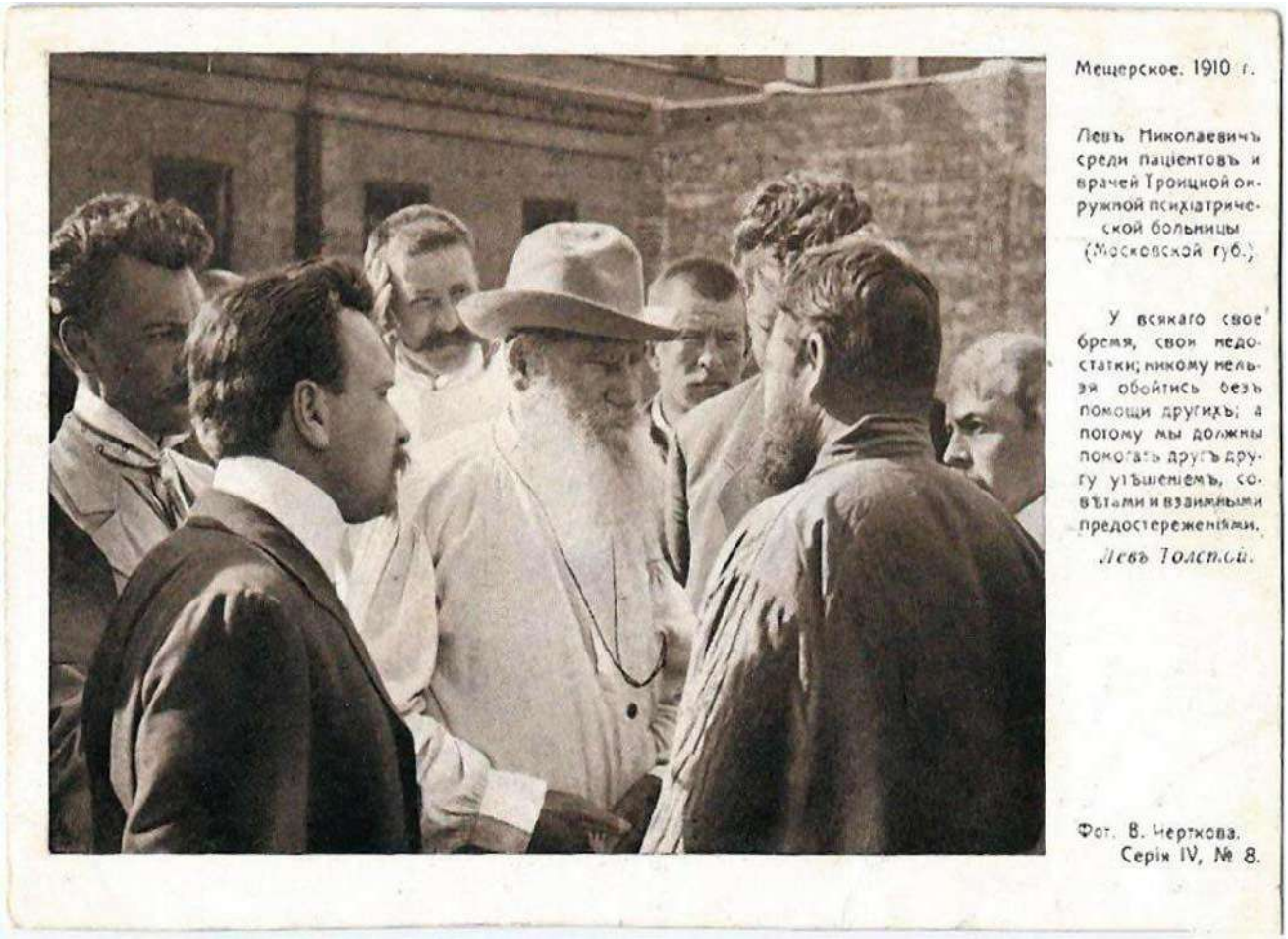
На следующий день вечером Лев Николаевич пишет жене ещё одно, довольно большое, письмо. Но увы! он повторяет в нём психологическую ошибку письма 18 июня: он мало обращается к Соне и, хотя и называет условленную дату возвращения, не обнадёживает её в скорости и желанности для него возвращении от Чертковых — к ней, к ней, к ней! Вот текст этого, какого-то болтливо-рассеянного, не сердечного, *несчастливого* письма:

«Ожидаю от тебя письма, милая Соня, а пока пишу, чтоб известить тебя о себе и поговорить с тобой.

У нас всё хорошо. Вчера ездил верхом в деревню, где душевно больные женщины. Встретил меня знакомый крестьянин, который

12 лет тому назад был в Москве и поступил тогда в моё общество трезвости и с тех пор не пьёт. И больные женщины были интересны. А дома пришли из Троицкого в 3-х верстах врачи пригласить к себе на спектакль синематографа. Троицкое это окружная больница для душевно больных самых тяжёлых. Их там 1000 человек. Я обещал им приехать, а нынче еду к ним осматривать больницу. Завтра же кинематограф в Мещёрской больнице. Мы поедем с Сашей. Саша <здоровьем> не дурна. Как всегда, работает мне, и бодра и весела. Время летит. И не успел оглянуться, и прошла уж неделя. Какой неделя — остаётся уж только 5 дней до отъезда. Мы решили ехать 25-го. И в гостях хорошо, и дома хорошо. Как ты поживаешь? Как твои работы? Хотел сюда приехать Эрденко — скрипач. Гольденвейзер едва ли приедет. До свиданья, милая Соня, целую тебя. Привет Колечке и Варе. Сейчас свистят. Это завтрак или обед. Я нынче много спал и чувствую себя бодрым. Кое-что поделал. <19 июля Л. Н. Толстой работал над Предисловием к книге «Путь жизни» и над письмом-посланием «Славянскому съезду в Софии». – *Р. А.*>

Л. Т.



Был в окружной больнице. Было очень интересно и хорошо, и я не устал.

Сейчас был в ванне и чувствую себя хорошо. Вернувшись домой, получил от всех Чертковых очень обрадовавшее известие, что ему <В. Г. Черткову, подвергавшемуся полицейскому надзору, высылкам и ограничениям в правах передвижения. – *Р. А.*> «разрешено» быть в Телятинках во время пребывания там его матери. И они едут 27-го. Это извещает Михаил Стахович. — Как удивительно странно это «разрешение» на время пребывания матери.

Ещё раз целую тебя.

Л. Т.» *(84, 395 – 396).*

В деревне Ивино писатель встретил старого знакомого, крестьянина Сергея Тимофеевича Кузина, писавшего рассказы из крестьянской жизни, корреспондента московских и петербургских газет. История их знакомства такова. В 1887 году Кузин вступил в созданное Толстым общество, которое, как мы помним, называлось «Согласие против пьянства». В нём предлагалось, в числе мер борьбы с пьянством, обменивать бутылку на книгу. Кузин быстро пристрастился к чтению, стал скоро вместо вина покупать книги и в результате, собрал библиотеку, в которой насчитывалось свыше тысячи томов. Теперь он смог показать её самому Толстому!

Соня, кажется, ничего не ответила на все эти известия, по преимуществу чуждые и ненужные ей. Если что-то было ответом от неё — вряд ли хорошее, доброе и муж, либо она сама, могли уничтожить позднее это письмо. Но вероятнее — письма и *не было*. Бодрая болтовня Льва Николаевича как будто повисла в напряжённом, предгрозовом затишье… Но муж, прелестный муж не восклонил головы от своих работ — чтобы узреть свинец туч. Накануне удара, 21-го, он пишет очерк, получивший впоследствии название «Благодатная почва» и исправляет черновики сразу трёх тематических отделов из книги «Путь жизни». Горькая, горькая ирония судьбы! Пока в Ясной Поляне “доходила” до сумасшедшей кондиции родная жена, Толстой снова навещал ближние к Отрадному сумасшедшие дома, а кроме того принимал гостей, среди которых был чудаковатый, на всю голову пригламуренный актёр Павел Орленёв (1869 – 1932), дурно “прославившийся” своим первым визитом к Толстому в Ясную Поляну в экстравагантном наряде, колоритно описанном В. Ф. Булга-

ковым: «Живописно драпируется в плащ, в необыкновенной матросской куртке с декольте и в панаме…; изящнейшие, как дамские, ботинки, трость — всё дорогое» *(Булгаков В. Ф. Последний год жизни Л. Н. Толстого. М., 1989. С. 240)*. В таком наряде Орленёв вызвал в Ясной Поляне немалый скепсис, в особенности в связи с его задумкой спектаклей для народа.

22 июня, в первый день катастрофы, Л. Н. Толстой, ещё ничего не подозревая, снова пишет жене:

«Через три дня буду с тобой, милая Соня, а всё-таки хочу написать словечко. Написанное мною тебе письмо <от 14-го> залежалось по ошибке, и ты, верно, только что получила его. С тех пор у нас продолжает быть всё очень хорошо. Вчера был Беркенгейм, слушал Сашу и сказал, что она может смотреть на себя, как на здоровую. Советует купаться. Хотя и не верю докторам, мне это было приятно. Я тоже здоров. Вчера даже был необыкновенно здоров — много работал и книжки для Ивана Ивановича <«Путь жизни» печатался в издательстве «Посредник», которым руководил И. И. Горбунов-Посадов. – *Р. А.*> и ещё пустой рассказец той встречи и беседы с молодым крестьянином. <«Благодатная почва». – *Р. А.*> Вчера же съехалась бездна народа: Страхов, Бутурлин, скопец из Кочетов, Беркенгейм, Орленьев (одет по-человечески). Два рабочих — они были в Ясной из Москвы — и ещё кто-то. И мне было легко, потому что был совсем здоров. Вечером ездил в Троицкое в Окружную больницу душевно больных на великолепное представление кинематографа. Доктора все очень милы. Но кинематограф вообще мне не нравится, и я, жалея Сашу, у которой была мигрень, и себя, просидел там меньше часу и уехал. Это было в 10-м часу вечера. Нынче, только что вышел в 8 часов гулять, первое — встреча — Александр Петрович <переписчик рукописей Толстого. – *Р. А.*> с узлом. Я был рад ему особенно потому, что он рассказал мне про тебя, что мог знать. И то хорошо.

Нынче ничего не предвидится, и я сижу у себя, работаю <над корректурами «Пути жизни»> и отдыхаю. Может быть, поеду верхом с провожающим меня Чертковым.

Как ты? Надеюсь, что не было новых неприятностей, а что если были, ты перенесла их, спокойно, насколько могла. У тебя есть два дела, которые занимают тебя и в которых ты хозяйка. Это твоё издание и твои записки <мемуары «Моя жизнь». – *Р. А.*>.

Целую тебя, милый друг. Привет Варе и Колечке.

Все, какие были у меня здесь сношения с народом, очень приятные. Они ласковее наших и более воспитаны. Дни два назад поехал

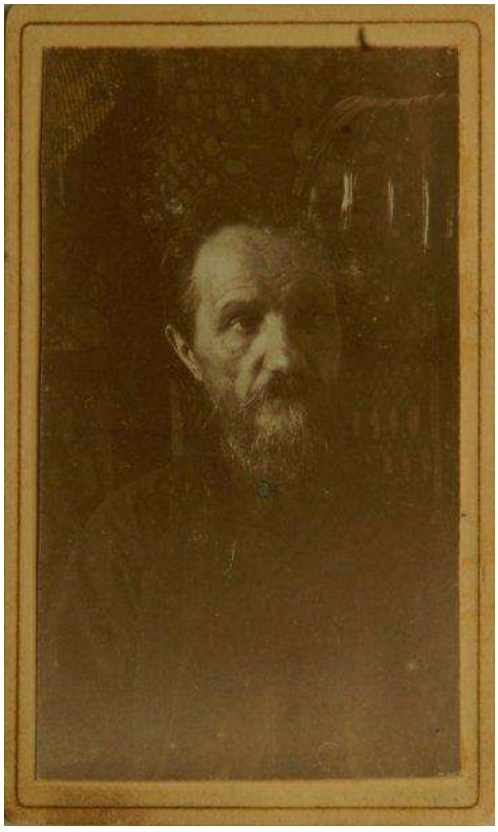
в деревню, где выздоравливающие больные помещаются у крестьян. И первое лицо — крестьянин, встречает меня словами: здравствуйте, Лев Николаевич. Оказывается, он 12 лет тому назад был у меня в Москве, поступил в наше общество трезвости и с тех пор не пил. Живёт богато. Повёл меня смотреть свою библиотеку — сотни книг, — которой гордится и радуется. — Ну, до скорого свиданья.

Лев Толстой» *(84, 396 - 397).*

Александр Петрович Иванов (1836 – 1912), упоминаемый в письме — удивительный в судьбе Толстого человек, уже не раз фигурировавший в текстах Переписки супругов. Появился он в Ясной Поляне где-то между 1878 и 1880 годами: точнее трудно установить, потому что Александру Петровичу не сиделось на месте, и он часто уходил бродить по России. Служил он у Толстого переписчиком и иногда секретарём. Он часто пил спиртное и знал ту «волшебную» дозу любимого напитка, при которой начинал без труда разбирать удивительный почерк Льва Николаевича. Именно он переписал многое из того, что несведущие люди приписывают «титаническим трудам» одной С. А. Толстой. А ещё он служил Толстому — вдохновительным дурным примером жизни бессемейного бродяги. В записи 8 мая 1884 г. Толстой назвал его, в паре с кучером Лукьяном, человеком более близким, нежели члены семьи. 21 августа 1900 г. находим в Дневнике такую запись: «Нынче поднялся старый соблазн. А. П. ушёл». Наконец, в уже упоминавшемся выше дневнике В. Ф. Булгакова записано под 25 сентября 1910 г. такое интимное признание Толстого, высказанное на прогулке:

«…Как тяжело это моё особенное положение! Никак не могу понять, почему видят во мне что-то особенное, когда я положительно такой же человек, как и все, со всеми человеческими слабостями!.. И уважение моё не ценится просто, как уважение и любовь близкого человека, а этому придаётся какое-то особенное значение. […] Вот у Софьи Андреевны боязнь лишиться моего расположения… Мои писания, рукописи вызывают соревнование из-за обладания ими. Так что имеешь простое, естественное общение только с самыми близкими людьми… И <дочь> Саша попала в ту же колею… Я очень хотел бы быть, как Александр Петрович: скитаться, и чтобы добрые люди поили и кормили на старости лет… А это исключительное положение ужасно тягостно!» *(Булгаков В. Ф. Указ. соч. С. 344).*

Через месяц, как мы знаем, Толстой ушёл из Ясной Поляны.



А.П. Иванов,
переписчик Л.Н. Толстого

К сожалению, верный Александр Петрович, проживший довольно долгую для пьяницы жизнь сытым на чужих хлебах, весёлым, свободным и многими любимым, редко был достаточно трезв и никогда — достаточно внимателен, чтобы заметить, ощутить в родном доме многолетнего своего друга, кормильца и работодателя в те дни что-нибудь необычное, мрачное, грозное.

А между тем удар грянул — практически сразу после отъезда Иванова с его узелком. Возвращаемся снова к скорбному дневнику Софьи Андреевны, к записи от 26 июня:

«Заболела я внезапно. Жила одна с Варварой Михайловной <Феокритовой> в Ясной Поляне, Лев Никол<аевич>, Саша и вся свита: доктор, секретарь и лакей — уехали к Чертковым. Для Сашиного здоровья после её болезни, для чистоты и уничтожения пыли и заразы, меня вынудили в доме всё красить и исправлять полы. Я наняла всяких рабочих и сама таскала мебель, картины, вещи с помощью доброй Варвары Михайловны. Было и много и корректур, и хозяйственных дел. Всё это меня утомило ужасно, разлука с Л. Н. стала тяжела, и со мной сделался нервный припадок, настолько сильный, что Варвара Михайловна послала Льву Никол<аевичу>, телеграмму: «Сильный нервный припадок, пульс больше ста, лежит, плачет, бессонница» *(ДСАТ – 2. С. 120)*.

Авторство С. А. Толстой в этой телеграмме несомненно, а потому нам следует здесь привести её полный, не искажённый памятью автора, текст:

«Софье Андреевне [плохо,] сильное нервное расстройство, бессонницы, плачет, пульс сто, просит телеграфировать. Варя» *(Цит. по: 84, 398)*.

До сих пор надёжно скрыты от читателя, не опубликованы в полном виде нелицеприятные для Софьи Андреевны и семейки Толстых (т.е. современных нам потомков Л. Н. Толстого) мемуары домашней переписчицы и секретаря, работавшей по найму у С. А. Толстой, скромной Варвары Михайловны Феокритовой (1875 – 1950), доброй подруги младшей дочери Толстого Саши. Опубликован лишь фрагментами и её дневник под названием, почти совпадающим с названием дневника В. Ф. Булгакова: «Последний год жизни Л. Н. Толстого». Между тем сам В. Ф. Булгаков считал его хотя и по-женски односторонним, но ценным источником *(Полосина А.Н. Феокритова Варвара Михайловна // Лев Толстой и его современники. Энциклопедия. М., 2010. С. 572)*. Он вряд ли бы возражал, если дневник Варвары Михайловны был бы издан под одной обложкой с переизданным недавно его дневником!

Пока же нам приходится удовольствоваться ссылками на эти источники в работах других исследователей, которым были доступны в советское время кое-какие архивы. В частности, Н. И Азарова в комментариях к дневнику С. А. Толстой сообщает свидетельство В. М. Феокритовой, что Софья Андреевна *продиктовала* ей текст телеграммы и *настояла* на её отправке! *(ДСАТ – 2. С. 495)*.

Сведения В. М. Феокритовой имеет в виду и П. С. Попов, подготовитель и комментатор писем к мужу С. А. Толстой в особом (используемом нами) сборнике и писем к жене Л. Н. Толстого в 84-м томе Полного (юбилейного) собрания его сочинений. В последнем, приведя настоящий и полный текст злосчастной телеграммы, он сообщает: «Телеграмма эта, кроме двух последних слов, составлена была С. А. Толстой; но, боясь, что дочь и муж, зная её истеричность и склонность к преувеличению, ей не поверят, она просила В. М. Феокритову поставить под телеграммой своё имя» *(84, 398)*. Кроме того, и направлена телеграмма была на имя не Льва Николаевича, а дочери Александры — так же, вероятно, для отвода подозрений.

Как мы помним, Толстой собирался и планировал изначально вернуться 25-го. У него были гости, к которым добавились накануне приезжие доктор Беркенгейм, философ Фёдор Страхов, музыкант

Эрденко, а также особенно дорогой для Толстого человек, только что освободившийся из тюрьмы толстовец Молочников. На моральную тяжесть для Толстого ожидавшейся встречи с женой мы уже указали, её он тоже имел в виду, сделав 22 июня, по получении телеграммы, такую, предельно краткую, но ёмкую по смыслам, запись в Дневнике: «Телеграмма из Ясной — тяжело» *(58, 68)*.

По этому поводу Софья Андреевна сообщает в дневнике: «На эту телеграмму он написал в дневнике: “Получил телеграмму из Ясной. Тяжело”. И не ответил ни слова и, конечно, не поехал» *(ДСАТ – 2. С. 120)*.

Это совершенная неправда. Как ни тяжело было Толстому бросать друзей и гостей и ехать навстречу непосильному в его годы, разрушительному стрессу, а решение было принято, что и выразилось в ответной, отправленной сразу, 23-го днём, телеграмме Толстого — формально на имя Феокритовой, в реальности — жене:

«Удобнее приехать завтра днём но если необходимо приедем ночью» *(84, 398)*.

В сборник документов «Уход Толстого. Как это было» его автор и составитель, В. Б. Ремизов включил ряд отрывков из записок В. М. Феокритовой, в том числе и воспоминания о нездоровой реакции С. А. Толстой на ответную телеграмму от супруга:

«Как только она прочла телеграмму, начала рыдать, бросилась с постели и кричала: “Разве вы не видите, что это слог Черткова, он его не пускает, они хотят меня уморить, но ведь у меня есть опиум… вот он”. Она побежала к шкафу и показала мне склянку с опиумом и нашатырным спиртом и кричала, что отравится, если не приедет Лев Николаевич» *(Цит. по: Ремизов В. Б. Уход Толстого. Как это было. М., 2017. С. 18)*.

Это, несомненно, был уже серьёзно больной человек — могущий быть опасным даже для самой себя. В «Ежедневнике» С. А. Толстой, после отвратительных «обличений» мужа в «старческой влюблённости» в лицемера и «разлучника» Черткова, следуют страшные слова: «Хочется смерти и боюсь самоубийства; но, вероятно, воспитаю в себе эту мысль» *(Там же. С. 16)*.

На болезненное состояние С. А. Толстой указывает описание ею самой в дневнике её состояния вечером 22-го и её реакции на полученный телеграммой от мужа ответ — в записи всё того же 26 июня:

«К вечеру мне стало настолько дурно, что от спазм в сердце, головной боли и невыносимого какого-то отчаяния я вся тряслась, зубы стучали, рыданья и спазмы душили горло. Я думала, что я умираю.

В жизни моей не помню более тяжёлого состояния души. Я испугалась и, как бы спасаясь от чего-то, естественно бросилась за помощью к любимому человеку и вторично ему телеграфировала уже сама: “*Умоляю* приехать завтра, 23-го”. Утром 23-го вместо того, чтоб приехать с поездом, выходящим в 11 часов утра, и помочь мне, была прислана телеграмма: “*Удобнее* приехать 24-го утром, если необходимо, приедем ночным”.

В слове *удобнее* я почувствовала стиль жесткосердого, холодного деспота Черткова» *(ДСАТ – 2. С. 120)*.

Толстой никогда не был психиатром, так что объективно непонятно, чем он мог помочь жене, даже если бы мог успеть на поезд 23-го. Как ни справедлива Соничка в своих — запоздалых, к несчастью! — характеристиках В. Г. Черткова, но судить о муже по одному холодному слову — чрезмерно, и намекает на паранойю. Несчастная запуталась сама в последствиях своих «расчётов»:

«У Чертковых всё разочли, что я не могу успеть и получить, и ответить телеграммой, но я тоже разочла и предвидела их хитрость, и мы послали телеграмму от имени Варвары Михайловны: “Думаю необходимо”, но не простой, а *срочной*» *(ДСАТ – 2. С. 121)*.

В её восприятии *все три* телеграммы были — *её* единым воплем к мужу, выраженным вожделением близости, обладания, безраздельного контроля… Но ведь Лев Николаевич отвечал телеграммой с “крамольным” словцом на *первую* из телеграмм, которая пришла от имени и с подписью В. М. Феокритовой. Если попытаться представить себя на месте Льва Николаевича, который уже *не мог* успеть на дневной поезд… и не был уверен, не получив *ни слова* от жены, в необходимости срочно оставить всех и ехать ночным…

Но вот его настигает в постели вторая телеграмма, за подписью уже самой Софьи Андреевны Толстой. Записано в Дневнике утром 23 июня:

«Теперь 7 часов утра. Вчера только что лёг, ещё не засыпал, телеграмма: “Умоляю приехать 23”. Поеду и рад случаю делать своё дело. Помоги Бог» *(58, 69)*.

Мы видим, что третья (срочная) телеграмма — опять с подписью несчастной Соничкиной секретарши — была излишня: Толстой понял *всё*, и поехал навстречу домашнему аду, понимая своё положение не только как исполнение семейного долга, но и как *мученичество, христианское служение*.

Смысл этого служения раскрывает столь же краткая запись, сделанная Толстым в Дневнике *накануне* страшного удара судьбы, ещё 20 июня, и трагически ложно, искажённо понятая С. А. Толстой:

«Хочу попытаться сознательно бороться с Соней добром, любовью. Издалека кажется возможным. Постараюсь и вблизи исполнить. Душевное состояние очень хорошее. Молитва благодарности уже не так действует. Теперь молитва всеобщей любви. Не то, что с тем, с кем схожусь, а со всеми, всем миром. И действует. И те молитвы: незаботы о людском суждении и о благодарности — оставили осязательные, радостные следы» *(58, 67 – 68)*.

Речь о том, что выражено во всех сборниках мудрой мысли составлявшихся Толстым: с заблуждением, с грехом, со злом в человеке можно и нужно бороться — любя этого человека, и даже именно *вследствие* этой любви! Но всё христианское содержание этой записи мужниного дневника, к сожалению, прошло мимо понимания Софьи Андреевны: она сосредоточила озлобленный ум на слове «бороться», и не раз вспоминала впоследствии о “крамольной” записи…

Перед отъездом он отправил телеграмму, которая завершает Переписку данного Фрагмента:

«Приезжаем сегодня пятеро Засека девять вечера» *(84, 398*).

На дневной поезд сутками раньше он не мог успеть, даже если бы Соничка написала о себе и от своего имени — сразу и честно. По причине же странной первой телеграммы с подписью не Сониной, а её секретаря, Толстой, занятый с гостями, оплошно отложил отъезд до 23-го. Да и прочитал её Толстой с некоторым опозданием, что подтверждают дополняющие картину событий, хотя и не вполне точные сведения из дневника сопровождавшей его дочери Александры, из записей 25 июня:

«Третьего дня вернулись в Ясную от Черткова из Московской губернии […]. Хорошо было там! Жизнь тихая, серьёзная, полная любви и стремления к одной и той же истине, в которую веруют все. […] Отец спокойный, радостный, написал две художественные вещи […]. Прожили до 22-го. И вдруг 22-го в пять часов получаю на моё имя телеграмму: “Софьи Андреевны сильное нервное расстройство, бессонница, плачет, пульс сто, просит телеграфировать. Варя”.

Телеграмма эта (кроме двух последних слов), как оказалось потом, написана была матерью, которая и подписалась сама именем Вари. Телеграмму эту я не тотчас же показала папаше, так как он пошёл спать и я не хотела перебить его сон такими дурными вестями. В семь я пошла к нему, дала телеграмму и просила его не беспокоиться, так как была уверена, что это обычная истерия, которая бывала и раньше.

(Пожалуй, слово истерия не совсем правильное, так как истерия бывает болезненная, неумышленная, а у матери бывает истерия, когда она хочет добиться чего-нибудь и начинает обкладывать себя ядами, уверять, что убьёт себя и т. п.).

Мы посылаем запрос о здоровье и вечером получаем телеграмму: “Умоляю приехать 23-го, скорее. Толстая”. Мы опять-таки, зная, что всё это делается нарочно, и думая, что лучше оттянуть приезд, дав ей опомниться, телеграфируем: “Необходим ли приезд, удобнее приехать завтра”. […] На эту телеграмму получаем срочную, написанную опять-таки матерью: “Думаю, необходимо, Варя”. И в тот же день в 6 часов вечера мы выехали домой» *(Толстая А.Л. Дневники. М., 2015. С. 56)*.

Здесь же, как и в дневнике С. А. Толстой под 26 июня, передаётся “обвинение” Софьей Андреевной старика во *влюблённости* в «красивого идола» Черткова *(Там же. С. 57; ср. ДСАТ – 2. С. 121, 124)*. Позднее С. А. Толстая не выдержит и, в качестве «доказательства» гомосексуальной связи мужа с «разлучником» Чертковым будет ссылаться на известную запись из Дневника Толстого 1851 года.

Соня не желала прощать и малого промедления мужа с возвращением.

Дневник Толстого, запись того же 23 июня:

«Нашёл хуже, чем ожидал: истерика и раздражение. Нельзя описать» *(58, 69)*.

Можно, Лев Николаевич! Соня это охотно сделала в своём дневнике — конечно же, всюду оправдывая себя перед умозрительными читателями из будущего. В завершение Второго Фрагмента и всего Восьмидесятого Эпизода нашей аналитической Презентации приведём несколько характеристичных отрывков из её дневника, записей 26 июня.

«Вечером 23-го, Лев Николаевич — с своим хвостом <т.е. спутниками. – *Р. А.*> — вернулся недовольный и не ласковый. Насколько я считаю Черткова нашим *разлучником*, настолько Л. Н. и Чертков считают *разлучницей* меня!

Произошло тяжёлое объяснение, я высказала всё, что у меня было на душе. Сгорбленный, жалкий сидел Лев Николаевич на табуретке и почти всё время молчал. И что бы он мог сказать? Минутами мне было ужасно жаль его. Если я не отравилась эти дни, то только потому, что я *трусиха*. Причин много, и надеюсь, что Господь меня приберёт и без греховного самоубийства.

Во время нашего тяжёлого объяснения вдруг из Льва Николаевича выскочил зверь: злоба засверкала в его глазах, он начал говорить что-то резкое, я ненавидела его в эту минуту и сказала ему: “А! вот когда ты настоящий!”, и он сразу притих.

[КОММЕНТАРИЙ.
Вот *чем* оборачивается любовь, замешанная на желании контроля, обладания. Намеренно, с ненавистью и злобой, она «будит зверя», провоцирует мужа! – *Р. А.* **]**

На другое утро моя неугасимая любовь взяла верх. Он пришёл, и я бросилась ему на шею, просила простить меня, пожалеть, приласкать. Он меня обнял, заплакал, и мы решили, что теперь всё будет по-новому, что мы будем помнить и беречь друг друга! Надолго ли?

Но я не могла уже оторваться от него; мне хотелось сблизиться, срастись с ним; я стала его просить поехать со мной в Овсянниково, чтобы побыть с ним.

[…] Блеснул маленький луч радости быть *вместе*. Расстроило известие, что Л. Н. *все* дневники свои до 1900 года отдал Черткову, якобы делать выписки, а у Черткова работает сын хитрого Сергеенко и, по всей вероятности, переписывает всё целиком для будущих целей и выгод, а в дневниках Льва Николаевича, везде с умыслом, он выставляет меня, как и теперь — мучительницей, с которой надо как-то «бороться» и самому «держаться», а себя — великодушным, великим, любящим, религиозным…

[…] А мне надо подняться духом, понять, что перед смертью и вечностью так не важны интриги Черткова и мелкая работа Л. Н. унизить и убить меня.

Да, если есть Бог, — Ты видишь, Господи, мою ненавидящую ложь душу, и мою не умственную, а сердечную любовь к добру и многим людям!

ВЕЧЕР.
Опять было объяснение, и опять мучительные страдания. Нет, так невозможно, надо покончить с собой!

Я спросила: “С чем во мне Л.Н. хочет бороться?” Он говорит: “С тем, что у нас во всём с тобой разногласие: и в земельном, и в религиозном вопросе”. Я говорю: “Земли не мои, и я считаю их семейными, родовыми”. — “Ты можешь *свою* землю отдать”. Я спрашиваю: “А почему тебя не раздражает земельная собственность и миллионное состояние Черткова?” — Сразу: “Ах! ах, я буду молчать, оставь меня…”. Сначала крик, потом злобное молчание.

[КОММЕНТАРИЙ.
Снова отвратительно, жестоко *провоцирует* мужа. Далее – не верит правдивому утверждению Льва Николаевича, что дневники взяты у В. Г. Черткова и отданы на сохранение в банк. – *Р. А.***]**

Правду ли говорит Лев Николаевич? Кто его знает; всё делается скрытно, хитро, фальшиво, во всём заговор против меня. И давно он ведётся, и не будет этому конца до смерти несчастного, опутанного дьяволом Чертковым старика.

[…] Пишу ночью, одна, в зале. Рассвело, птицы начали петь и возятся в клетках канарейки.

Неужели я не умру от тех страданий, которые я переживаю…

Сегодня Лев Николаевич упрекал меня в розни с ним во *всём*. В чём? — В земельном вопросе, в религиозном, да во всём… И это неправда. Земельный вопрос по Генри Джорджу я просто не понимаю, отдать же землю, помимо моих детей, считаю высшей несправедливостью. Религиозный вопрос не может быть разный. Мы оба верим в Бога, в добро, в покорность воле Божьей. Мы оба ненавидим войну и смертную казнь. Мы оба не любим роскоши… Одно — я не люблю Черткова, а люблю Льва Николаевича. А он — не любит меня и любит своего идола» *(ДСАТ – 2. С. 121 – 124)*.

КОНЕЦ ВТОРОГО ФРАГМЕНТА

КОНЕЦ ВОСЬМИДЕСЯТОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Восемьдесят Первый.

ТРИУМФ ВОЛИ. Allegro Molto Vivace

(14 июля – 14 октября 1910 г.)

Фрагмент Первый.

LIBERTAD O MUERTE - 1.

Суета вокруг наследства

(14 – 25 июля 1910 г.)

Последующие за возвращением из Отрадного дни дались Толстому непросто. Они не сопровождались до середины июля какой-либо перепиской супругов, а потому не могут в рамках нашей темы быть освещены подробно. В Комментарии (Н. С. Родионова) к тому 58 Полного собрания сочинений Толстого дана краткая хронологическая канва событий с 24 июня, из которых мы приведём здесь, с небольшими пояснениями, самое для нас существенное. Вот что пережил в те дни несчастный старик подле больной жены:

25 июня. «Припадок раздражения С. А. Толстой на почве ревности к Черткову. Её симуляция отравления настойкой опия».

26 июня. «Новая вспышка раздражения С. А. Толстой на почве прочтения в Дневнике записи от 20 июня о борьбе любовью с нею. Её настойчивые требования Дневников Толстого за последние 10 лет, которые хранились у В. Г. Черткова.

Требование С. А. Толстой, чтобы Толстой переселился вдвоём с ней «в избу или куда угодно» *(58, 255).*

Наш читатель легко может понять, *что* здесь внешняя причина, или даже повод, а что — причина внутренняя, главная, поведения Софьи Андреевны. Основной была — *ревность* жены. Угроза упустить Льва Николаевича из-под того (конечно, всё же благого и даже необходимого при его здоровье и в его годы!) контроля, к которому Соня так привыкла. На это указывают снова воспоминания В. М. Феокритовой об ужасном поведении Софьи Андреевны 24 июня (то есть уже после первых скандальных объяснений с мужем, о которых она рассказала сама в дневнике):

«“*Удобнее* от меня отделаться… Удобнее!” — подхватила она слово из телеграммы.

Она опять подошла к столу и стала писать Льву Николаевичу: “Хорошо ли изучил дома для сумасшедших женщин, куда вы с Чертковым хотите меня засадить? Не дамся… убили…”

— Нет, вы посмотрите, — кричала она, — какой он лжец: в то время, как мне пишет ложно-любовные письма, он занимается своим гнусным романом со своим красивым идолом! [...] Мне бы только Льва Николаевича вырвать из его лап, я только теперь этого добиваюсь, а то я Льва Николаевича приберу к своим рукам. Я не выпущу его больше из глаз. Он гулять, — и я за ним, он к Черткову, — и я за ним. Чертков ко Льву Николаевичу в кабинет, — и я за ним... минуты не оставлю...» *(Цит. по: Ремизов В. Б. Указ. соч. С. 28).*

Из этой возбуждённой речи несчастная секретарша могла лишь с облегчением заключить, что все экзерциции Софьи Андреевны со склянкой опиума в руках — только симуляция, и она не только не хочет самоубийства, но хочет жить и быть своего рода "победительницей" над мужем как участником воображаемого ею заговора. Эта цитата должна указать читателю и на важнейший мотив Л. Н. Толстого в системе мотиваций, подвигших его скоро на уход из Ясной Поляны. Контроль со стороны супруги становился напористей, мелочней, а для мужа — ощутимо унизительней. Витальной необходимости его для 80-тилетнего старика никто не отрицает, но... свобода и человеческое достоинство для людей, подобных Толстому, *всегда* были самоценны, и притом — дороже самой жизни!

Секретарь и биограф Толстого Н. Н. Гусев в «Летописи жизни и творчества Толстого» так же причиной раздражения Софьи Андреевны называет совершенно определённо «ревность к В. Г. Черткову» *(Гусев Н.Н. Летопись... 1891 – 1910. С. 781).*

Вернёмся теперь к хронологической канве важнейших событий конца июня и первой половины июля 1910 г.

27 июня. «Получение известия о приезде в Телятинки Черткова, с которого временно снято запрещение проживать в Тульской губернии. Письмо Толстого к Черткову с просьбой пока не приезжать в Ясную Поляну, чтобы не вызвать раздражения С. А. Толстой».

Раздражение у несчастной вызвало само известие о переезде Владимира Григорьевича в ближнюю к Ясной Поляне деревню. Тогда же она принимает решение увезти мужа хоть ненадолго из Ясной Поляны — подальше, на день рождения сына Сергея, в его имение Никольское-Вяземское.

28 июня. «Утром свидание Толстого с Чертковым в яснополянском саду.

Поездка Л. Н., С. А. и А. Л. Толстых с Н. Н. Ге и Д. П. Маковицким к Сергею Львовичу в Никольское-Вяземское. В ночь с 29 на 30 июня возвращение в Ясную Поляну».

30 июня. «Приезд в Ясную Поляну В. Г. Черткова, в связи с этим сильное волнение С. А. Толстой».

В последние июньские дни Софья Андреевна не оставляла надежд вытребовать вожделенные тетрадки Дневника у Черткова — напрямую, помимо мужа. В связи с этим возникла отвратительная, унизительная для обоих супругов, переписка С. А. Толстой с В. Г. Чертковым, в которой тот пытался объясниться и выставить себя другом всей семьи Толстых, а Софья Андреевна, к примеру, позволила себе весьма личные суждения всё о той же, ложно понятой ею, записи в Дневнике мужа 20 июня:

«Когда я <24 июня. – *Р. А.*> со слезами упрекала Льву Николаевичу, что ему Эрденко и жизнь у Чертковых дороже больной жены, он мне предложил прочесть в его дневнике, как он любовно ко мне относился за глаза. В дневнике была только одна фраза: “хочу *бороться* с С. любовью и…” чем-то ещё, не помню.

Бороться? Бороться с чем? Ведь не злодейка же я, любя его 48 лет нашей супружеской жизни. Мне было больно…» *(Цит. по: Ремизов В.Б. Указ. соч. С. 33).*

30 июня Толстой, чувствуя недомогание, лёжа принимал духовно близких ему людей, среди которых был толстовец Николай Григорьевич Сутковой (1872 – 1930?). Софья Андреевна подслушивала все беседы, и была за это неприятно вознаграждена, когда Толстой интимно признался Сутковому, что совершил ошибку, женившись:

«Ошибкой он считает <женитьбу> будто оттого, что женатая жизнь мешает духовной жизни» *(ДСАТ – 2. С. 125).*

Вечером 1 июля Софья Андреевна взяла было злой реванш… и тут же нарвалась на новую боль — на этот раз от главного объекта своей ненависти. Она прервала беседу мужа с Чертковым и быстро сумела вывести Владимира Григорьевича из эмоционального равновесия:

«…Он кричал: “Вы боитесь, что я вас буду обличать посредством дневников. Если б я хотел, я мог бы, сколько угодно *напакостить* […] вам и вашей семье. У меня довольно связей и возможности это сделать, но если я этого не делал, то только из любви к Льву Николаевичу”.

[…] Кричал ещё Чертков и о том, что если б у него была такая жена, как я, он застрелился бы или бежал в Америку. Потом, сходя с сыном

Лёвой с лестницы, Чертков со злобой сказал про меня: “Не понимаю такой женщины, которая *всю жизнь* занимается убийством своего мужа”» *(Там же. С. 127)*.

Негодяй мучительно психологически травмировал больную женщину и неприятно поразил своего “друга и учителя”. В результате тем вечером жена одержала своего рода “пиррову победу”:

«По поводу похищенных дневников я добилась от Черткова записки, что он обязуется их отдать Л. Н. после его работ, которые поспешит окончить. А Лев Николаевич словесно обещал *мне* их передать» *(Там же)*. Это словесное обещание не было Толстым исполнено.

Следуем дальше по академической хронологии:

2 июля. «Приезд Льва Львовича Толстого».

4 июля. «Исправление корректур книжек “Пути жизни”».

11 июля. «В ночь с 10 на 11 июля истерическое состояние С. А. Толстой, на почве невозвращения ей Дневников Толстого от Черткова. Резкое столкновение с отцом Л. Л. Толстого, ставшего на сторону матери.

Запись Толстого в Дневнике по этому событию: «Жив еле-еле. Ужасная ночь. До 4 часов… Соня, бедная, успокоилась. Жестокая и тяжёлая болезнь. Помоги, Господи, с любовью нести. Пока несу кое-как» *(58, 78)*.

Утром приезд С. Л. Толстого.

Семейный совет детей Толстого: Сергея Львовича, Льва Львовича и Александры Львовны, как оградить отца от мучительного для него поведения матери».

13 июля. «В ночь на 13 июля приезд, вызванной в Ясную Поляну В. Г. Чертковым и А. Л. Толстой, Т. Л. Сухотиной» *(58, 255 – 256)*.

За этими событиями последовала краткая и грустная переписка супругов: двух людей, живших *рядом*, в одном доме, но не могших спокойно общаться вживую! Это, пожалуй, своего рода завершающая (почти в самом конце великой Переписки!) «антитеза» схожей по внешнему обстоятельству (близости адресатов по расстоянию) переписки молодых супругов в 1862 – 1863 годах. Но вот обстоятельства личные, интимные — были теперь радикально иные, и ужасные: ненависть жены и ужас перед её болезнью любящего, и усталого и физически тоже не здорового мужа.

Софья Андреевна утром 14 июля, грозя самоубийством, добилась-таки своего:

«Вошёл Лев Никол<аевич>, и я ему сказала в страшном волнении, что на весах с одной стороны возвращение дневников — с другой моя жизнь, пусть выбирает. И он выбрал, спасибо ему, и вернул дневники от Черткова» *(ДСАТ – 2. С. 144)*. К этой записи она подклеила письмо мужа, написанное тем же утром, текст которого, исторический и часто цитируемый, мы приводим ниже.

«14 Июля 1910.

1) Теперешний дневник никому не отдам, буду держать у себя.

2) Старые дневники возьму у Черткова и буду хранить сам, вероятно, в банке.

3) Если тебя тревожит мысль о том, что моими дневниками, теми местами, в которых я пишу под впечатлением минуты о наших разногласиях и столкновениях, что этими местами могут воспользоваться недоброжелательные тебе будущие биографы, то не говоря о том, что такие выражения временных чувств, как в моих, так и в твоих дневниках никак не могут дать верного понятия о наших настоящих отношениях — если ты боишься этого, то я рад случаю выразить в дневнике или просто как бы в этом письме моё отношение к тебе и мою оценку твоей жизни.

Моё отношение к тебе и моя оценка тебя такие: как я с молоду любил тебя, так я, не переставая, несмотря на разные причины охлаждения, любил и люблю тебя. Причины охлаждения эти были — (не говорю о прекращении брачных отношений — такое прекращение могло только устранить обманчивые выражения не настоящей любви) — причины эти были, во 1-х, всё бóльшее и бóльшее удаление моё от интересов мирской жизни и моё отвращение к ним, тогда как ты не хотела и не могла расстаться, не имея в душе тех основ, которые привели меня к моим убеждениям, что очень естественно и в чём я не упрекаю тебя. Это во 1-х. Во вторых (прости меня, если то, что я скажу, будет неприятно тебе, но то, что теперь между нами происходит, так важно, что надо не бояться высказывать и выслушивать всю правду), во вторых, характер твой в последние годы всё больше и больше становился раздражительным, деспотичным и несдержанным. Проявления этих черт характера не могли не охлаждать — не самое чувство, а выражение его. Это во 2-х. В третьих. Главная причина была роковая та, в которой одинаково не виноваты ни я, ни ты, — это наше совершенно противуположное понимание смысла и цели жизни. Всё в наших пониманиях жизни было прямо противуположно: и образ жизни, и отношение к людям, и средства к жизни — собственность, которую я считал грехом, а ты

— необходимым условием жизни. Я в образе жизни, чтобы не расставаться с тобой, подчинялся тяжёлым для меня условиям жизни, ты же принимала это за уступки твоим взглядам, и недоразумение между нами росло всё больше и больше. Были и ещё другие причины охлаждения, виною которых были мы оба, но я не стану говорить про них, потому что они не идут к делу. Дело в том, что я, несмотря на все бывшие недоразумения, не переставал любить и ценить тебя.

Оценка же моя твоей жизни со мной такая: я, развратный, глубоко порочный в половом отношении человек, уже не первой молодости, женился на тебе, чистой, хорошей, умной 18-летней девушке, и несмотря на это моё грязное, порочное прошедшее ты почти 50 лет жила со мной, любя меня, <*зач.* честной> трудовой, тяжёлой жизнью, рожая, кормя, воспитывая, ухаживая за детьми и за мною, не поддаваясь тем искушениям, которые могли так легко захватить всякую женщину в твоём положении, сильную, здоровую, красивую. Но ты прожила так, что я ни в чём не имею упрекнуть тебя. За то же, что ты не пошла за мной в моём исключительном духовном движении, я не могу упрекать тебя и не упрекаю, потому что духовная жизнь каждого человека есть тайна этого человека с Богом, и требовать от него другим людям ничего нельзя. И если я требовал от тебя, то я ошибался и виноват в этом.

Так вот верное описание моего отношения к тебе, и моя оценка тебя. А то, что может попасться в дневниках (я знаю только, ничего резкого и такого, что бы было противно тому, что сейчас пишу, там не найдётся).

Так это 3) о том, что может и не должно тревожить тебя о дневниках.

4) Это то, что если в данную минуту тебе тяжелы мои отношения с Ч[ертковым], то я готов не видаться с ним, хотя скажу, что это мне не столько для меня неприятно, сколько для него, зная, как это будет тяжело для него. Но если ты хочешь, я сделаю.

Теперь 5) то, что если ты <*зач.* всё-таки не успокоишься> не примешь этих моих условий доброй, мирной жизни, то я беру назад своё обещание не уезжать от тебя. Я уеду. Уеду наверное не к Ч[ерткову]. Даже поставлю непременным условием то, чтобы он не приезжал жить около меня, но уеду непременно, потому что дальше так жить, как мы живём теперь, невозможно.

Я бы мог продолжать жить так, если бы я мог спокойно переносить твои страдания, но я не могу. Вчера ты ушла взволнованная, страдающая. Я хотел спать лечь, но стал не то что думать, а чувствовать тебя, и не спал и слушал до часу, до двух — и опять просыпался и слушал и во сне или почти во сне видел тебя. Подумай спокойно,

милый друг, послушай своего сердца, почувствуй, и ты решишь всё, как должно. Про себя же скажу, что я с своей стороны решил всё так, что иначе *не могу, не могу.* Перестань, голубушка, мучить не других, а себя, себя, потому что ты страдаешь в сто раз больше всех. Вот и всё.

Лев Толстой.

14 июля утро.

1910» *(84, 398 – 400).*

Значимая подробность: письмо сохранилось в нескольких рукописных вариантах, и в черновом Толстой довольно оплошно (ведь рано или поздно супруга добиралась до *всех* его рукописей!) зачеркнул, характеризуя брачную жизнь Сони с ним, слово «честная». Софья Андреевна разобрала зачёркнутое, и своей рукой аккуратно восстановила это, такое значимое для неё, слово *(Там же. С. 400. Комментарии).*

Письмо было прочитано Софье Андреевне сперва устно — конечно же, его автором. По сведениям В. М. Феокритовой, она сначала не хотела принимать письма и выражала бурный протест в процессе чтения. «Она требует того самого, что я обещаю и даю» — недоумевает по этому поводу Лев Николаевич в Дневнике под 14 июля. Можно предположить, что Соню возмутило не столько содержание, сколько внешняя структура письма, уже самое его начало, воспринимавшееся на слух как изложение некоего ультиматума: «первое… второе… третье…».

Учитывая страшный урон и своему, и старца-мужа здоровью, “победа” больной, несчастной женщины, конечно же, была пиррова: дневники отправились в банк, и доступа к ним Софья Андреевна не получила, а угроза того, что муж покинет, уедет от неё — не только сохранилась, но и была подтверждена Львом Николаевичем, и очень умно: не как осуществление желания жить с Чертковым, а как следствие невозможности жить *с ней,* при ненормальности её поведения. Такой расклад не принёс Софье Андреевне успокоения: *главная* из причин её волнения не была устранена! И уже 15 июля в дневнике её появляется новая взбудораженная запись:

«Всю ночь не спала, всё думала, что если Лев Ник. так легко взял назад в своём письме обещание не уехать от меня, то он так же легко

будет брать назад все свои слова и обещания, и где же тогда *верные правдивые* слова? Недаром я волнуюсь! Ведь обещал же он мне при Черткове, что отдаст дневники мне, и обманул, положив их в банк. Как же успокоиться и выздороветь, когда живёшь под угрозами: “уйду и уйду”.

Как жутко голова болит — затылок. Уж не нервный ли удар? Вот хорошо бы — только совсем бы насмерть. А больно душе быть убитой своим мужем. Сегодня утром, не спав всю ночь, я просила Льва Ник<олаевич>а отдать мне расписку от дневников, которые завтра свезут в банк, чтоб быть спокойной, что он опять не возьмёт своё слово назад и отдаст дневники Черткову, раз он так скоро и легко это делает, т. е. берёт слово назад.

Он страшно рассердился, сказал мне: «Нет, это ни за что, ни за что», и сейчас же бежать. Со мной опять сделался тяжелый припадок нервный, хотела выпить опий, опять струсила, гнусно обманула Льва Ник<олаевич>а, что выпила, сейчас же созналась в обмане, — плакала, рыдала, но сделала усилие и овладела собой. Как стыдно, больно, но… нет, больше ничего не скажу; я больна и измучена.

[…] Дорого мне досталось отнятие дневников у Черткова; но если б сначала — опять было бы то же самое; и за то, чтоб они никогда не были у Черткова, я готова отдать весь остаток моей жизни и не жалею той потраченной силы и здоровья, которые ушли на выручку дневников…

Положены они будут на имя Льва Н<иколаевич>а, с правом их взять только ему. Какое недоброе по отношению к жене и неделикатное, недоверчивое отношение! Бог с ним!

[…] Я так устала от всех осложнений, хитростей, скрываний, жестокости, от признаваемого моим мужем его охлаждения ко мне! За что же я-то буду всё горячиться и безумно любить его? Повернись и моё сердце и охладей к тому, который всё делает для этого, признаваясь в своём охлаждении» *(ДСАТ – 2. С. 145 – 147)*.

К этому же дню, 15 июля, относится письмо Софьи Андреевны к мужу, к которому она позднее сделала такую пометку: «После пребыванья у Черткова Лев Николаевич переменился ко мне, грозил уходом и измучил меня, расстроив и так надорванный трудной работой организм» *(ПСТ. С. 786)*. Приводим ниже полный текст этого письма.

«Лёвочка, милый, пишу, а не говорю, потому что после бессонной ночи мне говорить трудно, я слишком волнуюсь и могу опять всех расстроить, а я хочу, *ужасно* хочу быть тиха и благоразумна. Ночью я всё обдумывала, и вот что мне стало мучительно ясно: одной рукой

ты меня приласкал, в другой показал нож. Я ещё вчера смутно почувствовала, что этот нож уж поранил моё сердце. Нож этот — это угроза, и очень решительная, взять слово обещания назад и тихонько от меня уехать, если я буду такая, как теперь. Тогда чему же верить, если можно на другой день брать назад свои слова.

Такая я, как теперь, я несомненно *больная*, потерявшая душевное равновесие и страдающая от этого. Значит, всякую ночь, как прошлую, я буду прислушиваться, не уехал ли ты куда? Всякое твоё отсутствие, хотя слегка более продолжительное, я буду мучиться, что ты уехал навсегда. Подумай, милый Лёвочка, ведь твой отъезд и твоя угроза равняются угрозе убийства. Разве я могу жить без тебя. Разве я вынесу, что ты, без всякой вины с моей стороны, бросишь меня несчастную, безумно — более чем когда-либо горячо любящую тебя? Как же я теперь под такой угрозой выздоровлю, день и ночь боясь твоего бегства? И опять я всё плачу, и сейчас вся дрожу, и у меня всё, всё болит. Подожди уходить, ведь я надеюсь сама скоро уйти, Господь на меня оглянется же. Теперь я за свои грехи страдаю.

Потом в письме Черткова, над которым ты почему-то плакал, он видно надеется, что ты ему отдашь, когда захочешь, дневники свои для работы. Опять день и ночь терзанья, что ты их ему отдашь *тихонько* от меня. Одна надежда, что ты дашь мне хранить бумагу и ключ от ящика в банке. Отдай, голубчик. Я ведь ровно ничего не могу сделать, всё будет на твоё имя. Сними с меня эти два тяжёлые, постоянно гложущие меня подозрения: 1) что ты *тихонько* от меня уйдёшь, 2) что ты *тихонько* от меня опять отдашь Черткову дневники. Ведь я, право, не обманывая говорю тебе, что я совсем, совсем ещё больна, надо же это признать, что делать? что я пока на твой взгляд сошла с ума, простить и помочь мне... Не иду с тобой здороваться, чтоб своим видом не раздражить тебя. Не буду ничего больше говорить; я боюсь себя и мучительно *жалею* тебя, милый, бедный мой, любимый, отнятый у меня, оторванный от моего сердца — муж мой! И как эта огромная рана болит! Самое больное то, что я, страдая, мучаю тебя. Надо уехать мне, и я, может быть, решусь на время!

С. Т.» *(Там же. С. 785 – 786).*

Понимая состояние жены, Толстой принял письмо, но говорить в тот день ни о чём с нею не стал. Просьба её о выдаче тетрадок Дневника исполнена не была.

Вернёмся к академической хронологии событий 1910 года в жизни Л. Н. Толстого, прямо относящихся до нашей темы.

16 июля. «Т. Л. Сухотина положила в Тульское отделение Государственного банка семь тетрадей Дневника Толстого».

17 июля. «Последняя поездка Толстого к Черткову, где Толстой переписывал своё Завещание» *(58, 257)*.

Эпопею с «последней волей» Толстого открывает известная его запись в Дневнике 27 марта 1895 г., продолжает вариант 18 сентября 1909 г., составленный во время пребывания Л. Н. Толстого в Крёкшине, завершает же и кульминирует — подписанное тайно, в лесу близ деревни Грумант, Завещание 22 июля 1910 г., по отношению к которому текст от 17 июля оказался из-за вкравшихся ошибок “черновым”.

19 июля. «Письмо П. И. Бирюкову о состоянии С. А. Толстой.

Приезд профессора-невропатолога Г. И. Россолимо и врача Д. В. Никитина. Диагноз проф. Россолимо о состоянии С. А. Толстой» *(Там же)*.

Не только Софья Андреевна, но многие близкие Льву Николаевичу люди, включая домашнего врача Д. П. Маковицкого, относились к решению детей об освидетельствовании матери медиками довольно скептически. Григорий Иванович Россолимо (1860 – 1928) в этой истории производит впечатление человека, постаравшегося если не с выгодой, то с безопасностью для себя «отделаться» от непростого, не исчерпывающегося медициной, случая. Судя по воспоминаниям В. М. Феокритовой, Россолимо, кажется, старался «подхватить» настроения домашних, окружения супругов Толстых, и явно промахнулся, когда позволил себе, после врачебного осмотра Софьи Андреевны и беседы с больной, вот такие о ней суждения:

«Я поражён той низкой степенью развития, на которой стоит Софья Андреевна… Она прямо страдает слабоумием и паранойей с детства, и теперь ничего сделать нельзя, а теперь ещё и истерией, а потом эта ненависть к Черткову, эти дневники… Ничего нельзя сделать» *(Цит. по: Ремизов В. Б. Указ. соч. С. 55)*. И далее проф. Г. И. Россолимо изрёк одну из тех сентенций на учёно-медицинском жаргоне, над которыми привык смеяться Лев Николаевич: «Софья Андреевна, страдая психопатической нервно-психической организацией (истерической), под влиянием тех или иных условий может

представлять такие припадки, что можно говорить о кратковременном, преходящем душевном расстройстве» *(Там же. С. 57)*.

В комментариях к вышеприведённому “безумному” письму С. А. Толстой от 15 июля 1910 г. в сборнике её писем 1936 г. замечательный исследователь-толстовед П. С. Попов приводит некоторые сведения и свои замечания об очевидной ошибочности выводов проф. Г. И. Россолимо, достаточно значимые и глубокие, чтобы быть приведёнными здесь в их существенной части:

«Позднее в диагнозе, данном уже после смерти Толстого в связи со спором о его литературном наследстве, Россолимо высказался вообще о характере Толстой, сводя его к сочетанию двух дегенеративных конституций (истерической и паранойяльной) и полагая, что первая сказывается в «сосредоточении всех интересов вокруг собственной личности вплоть до принесения в жертву интересов истины и лучших чувств, до полной неразборчивости средств для достижения своих целей» [...]. Помимо того, что для характера Толстой, взятого в целом на протяжении всей её жизни, неверно, будто все её интересы были исключительно сосредоточены вокруг собственной личности, диагноз Россолимо признаётся биографами и близкими людьми Толстой ошибочным в части, констатирующей у Толстой наличность выраженного паранойяльного характера [что, впрочем, не исключает возникновения у С. А. в этот период отдельных параноидальных (бредовых) установок]. [...] С. Л. Толстой подтверждает: “Вероятно доктор Россолимо был введён в заблуждение потому, что видел её только один раз во время обострения её болезни”.

[...]. Что касается истерии Толстой, то болезненные черты истеричности неоспоримо окрашивают весь её эмоциональный тон и повседневное поведение за тяжёлый 1910 г. Основными болезненными установками в психике Толстой, определявшими её не всегда правильное поведение, были: навязчивый страх прослыть Ксантиппой и, в связи с этим, постоянное и упорное стремление разъяснять свою роль даже перед посторонними <в письменной форме — и перед умозрительными “потомками” из будущего. – *Р. А.*>, что не всегда бывало уместно, а также доходившая до навязчивости неприязнь к Черткову, являвшемуся в её глазах главным виновником её обострённых взаимоотношений с мужем. Конкретно Толстая стремилась изъять из рук Черткова дневники Толстого, в которых были выявлены многие интимные стороны жизни супругов, и не отдавать в распоряжение Черткова литературное достояние Льва Николаевича. В первом пункте Толстой пошёл навстречу жене и, несмотря на сопротивление Черткова [...], настойчиво просил его вернуть дневники (записка Черткову от 14 июля: «[...] чтобы вы сейчас же

отдали дневники Саше»), после чего они были положены на хранение в Тульском банке. Но и тут многие обстоятельства выбивали из колеи Софью Андреевну. По второму кругу навязчивых установок С. А. Толстой Лев Николаевич частично удовлетворил её, обещав, по мере возможности, не видаться с Чертковым. Но последний, оставаясь в Телятинках близ Ясной Поляны, продолжал письмами и сношениями через ряд лиц вмешиваться во взаимоотношения супругов, не щадя больной женщины и самого престарелого Льва Николаевича... И, наконец, Чертковым было организовано тайком от Толстой подписание завещания Львом Николаевичем (22 июля) с лишением Софьи Андреевны прав на литературное наследие мужа.

Таким образом подозрительность Толстой определялась не столько фиктивными идеями, сколько совершенно конкретной ситуацией. Для разжигания подозрительности со стороны давалась обильная пища; это было причиной того, что Толстая начинала вслушиваться в разговоры, ища в них скрытый смысл, подчас подслушивала и заглядывала в то, что от неё пряталось. Всё домашнее окружение Толстых в 1910 г. не успокаивало, а нервировало Софью Андреевну; этому содействовали передачи сказанного и слышанного третьими лицами, недостаточное внимание со стороны окружающих и отсутствие постоянного медицинского присмотра; домашний врач Толстого, Маковицкий, отрицательно относившийся к Софье Андреевне, усматривал в её действиях только «притворство», не считаясь с тем, что притворство и даже симуляция являются одним из ингредиентов болезненного истерического состояния и что притворство, даже сознательно обдуманное больным, в условиях неуравновешенной психики в свою очередь становится симптомом болезни.

Единственный человек в доме, кто психологически вполне понимал положение Софьи Андреевны, был сам Лев Николаевич, постоянно указывавший, что Толстая, как больной человек, может вызывать только жалость. [...] В условиях сложившегося окружения однако и сам Толстой ничего поделать не мог» *(ПСТ. С. 786 - 788)*.

Но болезнь оказалась из таковых, которые в принципе нелегко переносить окружению больной, каким бы оно ни было. В. М. Феокритова замечает в воспоминаниях:

«Доктора ничего не изменили и дела не поправили; да и как можно было здесь помочь, когда дело было не в болезни физической или душевной, а в эгоистических требованиях и в достижении своих целей какими бы то ни было путями!» *(Цит. по: Ремизов В. Б. Указ. соч. С. 55)*.

И в этом Вера Михайловна не до конца права. Она же вспоминает дальше, как доктора, что называется, “умыли руки”, дав вполне соответственный ситуации совет мужу и жене — «разъехаться… хотя бы на время», «но совет этот вызвал целую бурю со стороны Софьи Андреевны», с обвинениями в том, что доктора «подкуплены» её врагом *(Там же. С. 56)*.

Вернёмся к хронологии роковых событий лета 1910 г.

22 июля. «Толстой переписывает в окончательной форме своё юридическое Завещание в лесу, близ деревни Грумонт.

Нездоровье Толстого: озноб, пульс 90, температура 37,4. Запись в Дневнике: «Очень тяжело, очень нездоров, но нездоровье ничто в сравнении с душевным состоянием» *(58, 258)*.

Как и при последующем тайном отъезде из Ясной Поляны, после подписания этого тайного завещания Толстой чувствовал психологический дискомфорт: его благородной личности претила навязанная обстоятельствами и В. Г. Чертковым скрытность. Впоследствии П. И. Бирюков в приватной беседе открыл ему эту, коренную, причину внутренней неудовлетворённости, но В. Г. Чертков и лица, психологически подчинённые ему, зависимые от него (включая младшую дочь Толстого Александру) достаточно быстро убедили Льва Николаевича в “правильности” его действий *(Бирюков П. И. Биография Л. Н. Толстого: В 4-х тт. М., - Пг., 1923. Т. 4. С. 226 – 230)*.

23 июля. «Разговор с Д. П. Маковицким о возможности ухода. Запись Толстого в Дневнике: “Я врежу и себе и ей уступчивостью. Хочу попытать иной приём”.

Разговор с А. Л. Толстой об уходе» *(58, 258; ср. 83)*.

«Иной приём» — это, конечно же, страшный для Сони отъезд мужа из дома. Эта жестокая мысль Толстого в Дневнике — явное свидетельство манипулятивного влияния В. Г. Черткова! Но свободолюбивые интенции, выказанные Толстым в конфликтном диалоге с женой 24 июля — пусть и окрашенные некоторым, навязанным со стороны Черткова, ожесточением — надо всё-таки относить к *его*, Льва Николаевича, личностным ценным свойствам. Соничка, к несчастью, не умела отделить их от последствий влияния В. Г. Черткова, что мы видим по её изложению в дневнике событий 24 июля:

«*24 июля*. Опять вечером приезжал Чертков, и Лев Ник<олаевич> с ним перешептался, а я слышала. Лев Ник<олаевич> спрашивал: “Вы

согласны, что я вам написал?” А тот отвечал: “Разумеется, согласен”. Опять какой-нибудь заговор. Господи, помилуй!

[КОММЕНТАРИЙ.

Софья Андреевна пыталась подслушать разговор, в котором Толстой и Чертков обсуждали подписанное ранее, 22 июля, Толстым тайное Завещание. В окончательной его редакции свои рукописи Толстой завещал, как собственность, младшей дочери, А. Л. Толстой (а в случае её смерти — дочери Татьяне), но с правом ближайшего друга, В. Г. Черткова, просматривать и готовить к изданию рукописное наследие. – *Р. А.***]**

Когда я стала просить со слезами опять, чтоб Лев Ник<олаевич> мне сказал, о каком согласии они говорили, Лев Ник<олаевич> сделал опять злое, чуждое лицо и во всём отказывал упорно, зло, настойчиво. Он неузнаваем! И опять я в отчаянии, и опять стклянка с опиумом у меня на столе. Если я не пью ещё его, то только потому, что не хочу доставить им всем, в том числе Саше, радость моей смерти. Но *как* они меня мучают! […] Как хочется выпить эту стклянку и оставить Льву Ник<олаевичу> записку: “Ты свободен”.

Сегодня вечером Лев Ник<олаевич> со злобой мне сказал: “Я сегодня решил, что желаю быть свободен и не буду ни на что обращать внимание”.

Увидим, кто кого поборет, если и он мне открывает войну. Моё орудие — смерть, и это будет моя месть и позор ему и Черткову, что убили меня. Будут говорить: *сумасшедшая*! а кто меня свёл с ума?

[…] Спаси Господи, я, кажется, решилась… И всё ещё мне жаль моего прежнего и любящего Лёвочку… И я плачу сейчас…

И осмеливаться писать о *любви*, когда так терзать самого близкого человека — свою жену!

И он, мой муж, мог бы спасти меня, но он не хочет…» *(ДСАТ – 2. С. 156).*

Но, по иронии судьбы, снова и снова являвшей себя в великой яснополянской драме, первую после этих разговоров попытку ухода предпринял не Лев Николаевич, а его жена.

Перед уходом она оставила для мужа письмо, написанное в ночь с 24 на 25 июля и прикреплённое к дневниковым записям 26-го. Письмо плачущее, жалостное, такого содержания:

«Прощай, Лёвочка! Спасибо тебе за моё *прежнее* счастье. Ты променял меня на Черткова; о чём-то вы оба тайно сегодня согласились,

и вечером ты говорил, что ты решил предоставить себе свободу действий и ничем не будешь стесняться. Что это значит? Какая *свобода*?

Доктора советовали мне уехать, и вот я уехала и ты совсем свободен иметь всякие тайны, à parte [отдельно] и свидания с Чертковым. А я всего этого больше видеть не могу, не могу... Я измучилась от ревности, подозрений и горя, что ты у меня отнят на всегда. Пыталась помириться с своим несчастием, видать Черткова, и не могу. — Оплёванная дочерью, оттолкнутая мужем, я покидаю свой дом, пока в нём моё место занимает Чертков, и я не вернусь, пока он не уедет. Если же правительство оставит его в Телятинках, я вероятно не вернусь никогда. Будь здоров и счастлив своей *христианской* любовью к Черткову и всему человечеству, исключая почему-то твоей несчастной жены» *(ПСТ. С. 789)*.

Этим письмом исчерпывается переписка данного Фрагмента. Но до его завершения — приводим, для полноты картины, хронику краткого отъезда С. А. Толстой по её же дневниковым записям 25 июля:

«[...] Во всяком случае, все теперешние распоряжения Льва Ник<олаевич>а вызовут жестокую борьбу между его детьми и этим хитрым и злым фарисеем — Чертковым. И как это грустно! Зачем Лев Ник<олаевич> устраивает себе такую посмертную память и такое зло!

[...] Встревоженная 24-го вечером, я села к своему письменному столу и так просидела в лёгкой одежде всю ночь напролёт, не смыкая глаз. Сколько тяжёлого, горького я пережила и передумала за эту ночь! В пять часов утра у меня так болела голова и так стесняло мне сердце и грудь, что я хотела выйти на воздух. Было очень холодно и лил дождь. Но вдруг из комнаты рядом выбежала моя невестка (бывшая жена Андрюши), Ольга, схватила меня сильной рукой и говорит: “Куда вы? Вы задумали что-нибудь нехорошее, я вас теперь не оставлю!” Добрая, милая и участливая, она сидела со мной, не спала, бедняжка, и старалась меня утешить... Окоченев от холода, я пересела на табурет и, сидя, задремала, и Ольга говорила, что я жалостно стонала во сне. Утром я решила уехать из дому, хотя бы на время. Во-первых, чтоб не видать Черткова и не расстраиваться его присутствием, тайными заговорами н всей его подлостью и по страдать от этого. Во-вторых, просто отдохнуть и дать Льву Николаевичу отдых от моего присутствия с страдающей душой. Куда я поеду жить, — я не решила ещё; уложила чемодан, взяла денег, вид, работу письменную и думала или поселиться в Туле, в гостинице, или ехать в свой дом в Москву.

Поехала в Тулу на лошадях, которых выслали за семьёй Андрюши. На вокзале я его окликнула и решила, проводив их в Ясную, ехать вечером в Москву. Но Андрюша, сразу поняв моё состояние, остался со мной, твёрдо решив, что не покинет меня ни на одну минуту. Делать нечего, согласилась и я вернуться с ним в Ясную, хотя дорогой часто вздрагивала при воспоминаниях о всём том, что пережила за это время, и при мысли, что всё опять пойдёт то же, сначала.

Езда взад и вперёд, волнение — всё это меня очень утомило, я едва взошла на лестницу и прямо легла, боясь встретить мужа и его насмешки. Но неожиданно вышло совсем другое и очень радостное. Он пришёл ко мне добрый, растроганный; со слезами начал благодарить меня, что я вернулась.

— Я почувствовал, что не могу решительно жить без тебя, — говорил он плача, — точно я весь рассыпался, расшатался; мы слишком близки, слишком сжились с тобой. Я так тебе благодарен, душенька, что ты вернулась, спасибо тебе…

И он обнимал, целовал меня, прижимал к своей худенькой груди, и я плакала тоже и говорила ему, как по-молодому, горячо и сильно люблю его, и что мне такое счастье прильнуть к нему, слиться с ним душой, и умоляла его быть со мной проще, доверчивее и откровеннее, и не давать мне случая подозревать и чего-то бояться… Но когда я затрагивала вопрос о том, какой у него заговор с Чертковым, он немедленно замыкался и делал сердитое лицо и отказывался говорить, не отрицая тайны их заговора. Вообще он был странный: часто не сразу понимал, что ему говорят, пугался при упоминании Черткова.

Но слава богу, что я опять почувствовала его сердце и любовь. Права же свои после смерти моего дорогого мужа пусть отстаивают уж дети, а не я.

Вечер прошёл благодушно, спокойно, в семье, и — слава богу — без Черткова. Здоровье и Льва Ник<олаевич>а и моё нехорошо» *(ДСАТ – 2. С. 156 – 158).*

Судя по записям 25 июля (частично здесь нами опущенным), Софья Андреевна стала догадываться, что «заговор» мужа с Чертковым касается некоего завещательного распоряжения и наследственных прав её и детей, а вовсе не готовящегося тайного побега мужа из семьи с «возлюбленным» В. Г. Чертковым, как ей прежде мерещилось. Быть может, именно это удержало её в ночь с 24 на 25-ое июля от самоубийства и подвигло на написание вышеприведённого ночного письма — в котором, впрочем, она ещё ничем не выдаёт этих своих догадок, явственно проступивших в записи её дневника 25 июля.

Лев Николаевич, кажется, “стряхнул” с себя чертковское наваждение, которому отдался накануне и, в свою очередь, был рад непоминовению женой его настроения накануне, записав в тот день в Дневнике:

«Соня всю ночь не спала. Решила уехать и уехала в Тулу, там свиделась с Андреем и вернулась совсем хорошая, но страшно измученная. Я всё нездоров, но несколько лучше. [...] Ложусь спокойным, потому что, благодаря Бога, любовный» *(58, 83)*.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ФРАГМЕНТА

Фрагмент Второй.
LIBERTAD O MUERTE – 2.
«Твоя жена для тебя всегда только Соня»
(29 августа – 22 сентября)

От хронологических рамок следующего Фрагмента Переписки нас снова отделяет с лишком месяц — который, по его значительности, невозможно обойти вниманием. Возвращаемся к краткой хронологии значимых в нашей теме событий.

26 июля. «Письмо Толстого к Черткову о необходимости прекращения между ними личного общения ради успокоения С. А. Толстой.

Запись в Дневнике: «Не могу привыкнуть к необходимости вечной осторожности. Пишу и то с опасением».

Отказ Толстого отвечать на прямо поставленный вопрос Андрея Львовича: есть ли Завещание.

Получение письма от Т. Л. и М. С. Сухотиных с приглашением приехать в Кочеты».

28 июля. «Запись в Дневнике о необходимости завести “Дневник для одного себя”, который бы никто не читал».

29 июля. «Первая запись Толстого в “Дневнике для одного себя”».

31 июля. «Толстой подписывает Объяснительную записку к Завещанию, гласящую о том, что все его писания после его смерти не

должны составлять ничьей собственности, и что издание и редактирование их предоставляется В. Г. Черткову».

2 августа. «Запись Толстого в “Дневнике для одного себя” о том, что Софья Андреевна “копается” в его бумагах.

Требование Софьи Андреевны, чтобы Толстой прочёл выдержки из его Дневника молодости, о его любви к мужчинам, с её комментариями. Сильное волнение Толстого: «чувствовал такой прилив к сердцу, что не только жутко, но больно стало». (Дневник.) Пульс больше ста, сильные перебои. Намерение Толстого немедленно уехать из Ясной Поляны».

6 августа. «Приезд В. Г. Короленко, и рассказы его о своих впечатлениях от многочисленных странствований по России.

Запись в “Дневнике для одного себя”: “Думаю уехать, оставив письмо и боюсь за неё, хотя думаю, что ей было бы лучше”».

8 августа. «Намерение поехать в Кочеты к Т. Л. Сухотиной».

14 августа. «Решение Толстого уехать в Кочеты к Сухотиным, чтобы отдохнуть от яснополянской обстановки.

Решение С. А. Толстой ехать туда же».

15 августа. «Отъезд в Кочеты Л. Н., С. А. и А. Л. Толстых, Т. Л. Сухотиной и Д. П. Маковицкого.

Слова Толстого, сказанные А. Б. Гольденвейзеру в вагоне по дороге в Кочеты: “Скажите Владимиру Григорьевичу, что я совсем подавлен... Я чувствую, что это не может так долго продолжаться; я думаю, что это должно кончиться катастрофой, и очень скоро”.

Дорòгой в Кочеты обдумывание своего ухода».

19 августа. «Обещания Толстого, вновь данные С. А. Толстой, по её требованию: 1) не видать совсем Черткова, 2) Дневников не давать и 3) больше не давать себя фотографировать».

20 августа. «Мысли об уходе. Запись в «Дневнике для одного себя»: “Вид этого царства господского так мучает меня, что подумываю о том, чтобы убежать, скрыться”.

Запись там же: “Нынче думал, вспоминая свою женитьбу, что это было что-то роковое. Я никогда даже не был влюблён. А не мог не жениться”».

26 августа. Запись в Дневнике: «Очень тяжела роскошь — царство господское и ужасная бедность — курных изб».

28 августа. «День рождения Толстого: исполнилось 82 года».

29 августа. «Отъезд Софьи Андреевны с Александрой Львовной в Ясную Поляну.

Получение письма В. Г. Черткова от 27 августа, в котором Чертков убеждал Толстого отложить своё возвращение в Ясную Поляну» *(58, 258 – 262).*

Мы берём на себя смелость ограничиться перед презентованием и анализом Переписки Л. Н. и С. А. Толстых хронологически обозначенного Фрагмента — именно этой краткой хронологической канвой, отсылая вновь читателя за подробностями к источниковой и биографической литературе. По изложенной выше хронологии видно, что болезненное состояние не отпускало Софью Андреевну, поведение её продолжало причинять страдание Льву Николаевичу, и отъезд его из Ясной Поляны становился делом практически решённым. Новое приглашение в имение Кочеты от семейства дочери Татьяны было как нельзя кстати. Ему не удалось “оторваться” от жены, поехавшей вместе с ним и пробывшей непрерывно в Кочетах вплоть до дня рождения, 82-летия мужа, 28 августа. Перед кратким и вынужденным отъездом Соничка просила прощения за своё поведение — со слезами и, как показалось Толстому, вполне искренно *(89, 210).* Толстой наконец может отдохнуть несколько дней до возвращения жены, с которой, рассчитывая на влияние на её болезненное состояние окружающих, остаётся в Кочетах с 5 по 11 сентября, а после её окончательного отъезда — гостит в имении дочери ещё до 22 сентября. Между супругами в периоды отъездов Софьи Андреевны, конечно же, возникает в эти три недели довольно активная переписка, к изложению и анализу которой мы и переходим теперь.

Вот письмо Льва Николаевича вослед выехавшей в Ясную Поляну жене, написанное поздним вечером 29 августа — под впечатлением от прощания:

«Ты меня глубоко тронула, дорогая Соня, твоими хорошими и искренними словами при прощаньи. Как бы хорошо было, если бы ты могла победить то — не знаю, как назвать — то, что в самой тебе мучает тебя. Как хорошо бы было и тебе, и мне. Весь вечер мне

грустно и уныло. Не переставая думаю о тебе. Пишу то, что чувствую, и не хочу писать ничего лишнего. Пожалуйста пиши. Твой любящий муж.

Л. Т.

Ложусь спать 12-й час» *(84, 401)*.

Толстой сильно идеализировал настроение жены при прощании и *слишком* многого ждал от него. Если бы он мог заглянуть в дневниковые её записи в дни её проживания в Кочетах — он бы ужаснулся. Она не собиралась каяться в злобных, мелочных домогательствах своих относительно общения Льва Николаевича с духовно близкими ему людьми и с В. Г. Чертковым. Само это общение она считала разыгрыванием неискренней роли “духовного учителя”, а своим записям в дневнике приписывала значение разоблачения перед потомками «фарисейства» Льва Николаевича. Он пытался вести ту же жизнь «в деревенской ванне», которую привык вести, например, гостя в прежние годы у Олсуфьевых. Но озлобленная Софья Андреевна всему его образу жизни с прогулками, играми, светским общением приписывала смысл духовного отступничества мужа от прежних идеалов, свидетельствуя в своём дневнике, что он в Кочетах «откровенно веселится, любит и хорошую еду, и хорошую лошадь, и карты, и музыку, и шахматы, и весёлое общество, и сниманье с себя сотен фотографий» *(ДСАТ – 2. С. 190)*. Вместе с обещанием не видеться с Чертковым и не отдавать никому своего Дневника она вытребовала с мужа и обещание *не разрешать делать с себя фотографий* и до отъезда жёстко следила за соблюдением обещания. В тетрадку *своего* дневника она вклеила выписку из Дневника мужа от 29 ноября 1851 года, которую она продолжала произвольно трактовать как “уличающую” Л. Н. Толстого в гомосексуальной связи с Чертковым *(Там же. С. 192)*. Несчастная продолжала мучительно ревновать и, вероятно, была намерена, при случае, использовать эту выписку как “оружие” против Льва Николаевича: публично прочесть эту запись или как-то иначе опорочить мужа с её помощью в глазах обитателей имения. И, хотя она и сумела это скрыть, даже сентиментальность Сонички при прощании 29 августа была окрашена ревностью и омрачённостью сознания и чувств:

«Прощались мы с Л. Н. любовно и трогательно, и даже плакали оба и просили друг у друга прощение. Но эти слёзы и это прощание — были как будто прощанием с прежним счастьем и любовью; точно, проснувшись ещё раз, любовь наша, как любимое дитя, хоронилась

навсегда, пораненная, убитая и убивающая горем от её исчезновения и перехода к другому лицу. Мы с Лёвочкой оплакивали её в объятиях друг друга, целуясь и плача, но чувствуя, что всё безвозвратно! Он *не мог* разлюбить Черткова и чувствовал это сам, мучаясь!» *(Там же. С. 193)*.

Для лучшего понимания читателем содержания и настроений последующих писем Софьи Андреевны нам пришлось привести и такую цитату… Вернёмся теперь к Переписке: к письму С. А. Толстой от 31 августа, служащему ответом на письмо к ней Л. Н. Толстого от 29-го. Начинается письмо с упоминания об отъезде сына Льва Львовича из Ясной Поляны в Петербург на суд. Софья Андреевна сделала позднее для этого места объясняющую пометку: «Суд был над изданной сыном Львом статьёй его отца “Восстановление ада”, которую арестовали» *(ПСТ. С. 790)*. Народная легенда Льва Николаевича «Разрушение ада и восстановление его» попадала в цензурные передряги начиная с самого 1902 года, года своего создания Толстым, и Лев Львович не мог не знать об опасности переиздания этой вещицы отца. Но желание *доходности*, денег и внимания к изданию пересилило опасения. Вот что он вспоминает об этом сам:

«У меня было в то время собственное книжное дело в Петербурге… Петербургская судебная палата должна была судить меня за издание двух запрещённых брошюр отца — “Восстановление ада” и “Где выход?”, которые я издал целиком, не выпуская противоцензурных мест. […] Во-первых, они мне нравились самому, во-вторых, их спрашивали. […] Палата вынесла мне оправдательный приговор…» *(Толстой Л.Л. Опыт моей жизни. М., 2014. С. 106)*. После этого дела Лев Львович укатил в Париж, и живым отца уже не застал.

Приводим ниже полный текст письма С. А. Толстой от 31 августа, имеющий в основной части очевидные пересечения с сентиментальной записью в её дневнике 29 августа.

«Сейчас проводила Лёву, милый Лёвочка, и очень мне его жаль; он, конечно, не спокоен и со мной так нежно прощался. Обещал 3-го мне сюда телеграфировать о решении суда.

Получила утром и твоё, и Танины письма, которые меня очень обрадовали. На меня здесь навалилось столько дела и забот, что я немного ошалела, тем более, что встала так же рано, как в Кочетах, а вчера легла так же поздно.

Погода восхитительная, но какое-то странное впечатление произвела на меня Ясная Поляна. Всё совершенно изменилось, т. е. конечно *мой* взгляд на всё изменился. Точно что-то похоронила на веки

и надо по-новому начать жизнь. И как после похорон (хотя бы Ванички) долго, долго болело сердце от утерянного любимого существа, так и теперь болит та рана, которую так неожиданно послала мне судьба от утерянного счастья и спокойствия.

Здесь, пока, я как будто стала спокойнее в привычной обстановке и без множества устремлённых на меня посторонних глаз, перед которыми совестно, так как никому не известен и не интересен источник моего горя.

Искренна я была всегда, несмотря ни на какие другие, бесчисленные мои недостатки. Искренно любила и люблю тебя, и глубоко сожалею, что причиняю тебе страданья, что горячо и искренно выразила тебе.

Твоя С. Толстая.

Очень меня огорчило в письме твоём опять всё то же: желанье, чтоб я себя *победила*, т. е. чтоб опять можно было по-прежнему общаться с любимым человеком, и не скрою, что я очень плакала, что делать. И ты не можешь *победить* себя, как и я» *(ПСТ. С. 790)*.

Итак, по версии Софьи Андреевны, Толстой не может победить, преодолеть своё гомосексуальное влечение к Черткову, а она, ревнуя — не может, в свою очередь, позволить ему общаться с возлюбленным. Конечно, такое “видение” женой их положения снова потрясло и оскорбило Льва Николаевича. А его якобы “уход” к гомо-любовнику Соня уже прямо и кощунственно сопоставляет по трагизму для себя — с гибелью в 1895 году младшего сына, Ивана Львовича, Ванечки! В длинном, писанном в период с 11 по 18 сентября в ответ на его предложение примирения, письме к В. Г. Черткову она, изложив все оскорбления и обиды, как ей Чертковым нанесённые, так и *якобы* нанесённые, начиная с «цыгана-скрипача» Эрденко, ради привечивания которого *якобы* Толстой задержался в Отрадном у Черткова в июне (а к скрипачам у Софьи Андреевны можно заметить некую особенную нелюбовь — восходящую, вероятно, к временам «Крейцеровой сонаты»), даже полагает свои страдания от действий Владимира Григорьевича большими, чем от смерти младшего сына в 1895-м:

«Смерть Ванички я легче пережила, потому что в ней была *воля Божья*. В отнятии же у меня любви Льва Николаевича и во вмешательстве постороннего человека в нашу супружескую, любовную жизнь я чувствую *волю злую*» *(Цит. по: Ремизов В. Б. Указ. соч. С. 158. Выделения в тексте – С. А. Толстой)*.

О полученном письме от Сони Лев Николаевич сделал в “Дневнике для одного себя” 2 сентября такую запись: «Получил очень дурное письмо от неё. Те же подозрения, та же злоба, то же комическое, если бы оно не было так ужасно и мне мучительно, требование любви» *(58, 135)*.

Ещё 28 августа он проницательно отметил в Дневнике о состоянии Сони следующее: «Не любовь, а требование любви, близкое к ненависти и переходящее в ненависть. Да, эгоизм — это сумасшествие. Её спасали дети… А когда кончилось это, то остался один животный эгоизм» *(58, 135)*.

Записи эта имеет глубокие пересечения с тогдашними размышлениями Толстого к статье «О безумии», которая под его пером превратилась в размышления об эгоизме христиански неверующих людей как внешне парадоксальном, но вполне реальном основании для самоубийства.

15 сентября Толстой в записной книжке продолжит эту свою догадку о Соничке следующим откровением:

«Не говоря уже о любви ко мне, которой нет и следа, ей не нужна и моя любовь к ней, ей нужно одно: *чтобы люди думали, что я люблю её*» <Курсив Л. Н. Толстого. – *Р. А.*> *(58, 217)*.

Приведённой нами записи Толстого 2 сентября предшествует в тайном Дневнике следующая: «Я написал из сердца вылившееся письмо Соне» *(58, 135)*. Здесь Толстой имеет в виду своё письмо к ней 1 сентября, которое не является, таким образом, ответом на письмо жены от 31 августа. Да и что мог ответить любящий муж на совершенный бред больной жены?

Приводим текст письма Л. Н. Толстого к жене от 1 сентября.

«Ожидал нынче от тебя письмеца, милая Соня, но спасибо и за то коротенькое, которое ты написала Тане.

Не переставая думаю о тебе и чувствую тебя, несмотря на расстояние. Ты заботишься о моём телесном состоянии, и я благодарен тебе за это, а я озабочен твоим душевным состоянием. Каково оно? Помогай тебе Бог в той работе, которую, я знаю, ты усердно производишь над своей душой. Хотя и занят больше духовной стороной, но хотелось бы знать и про твоё телесное здоровье. Что до меня касается, то если бы не тревожные мысли о тебе, которые не покидают меня, я бы был совсем доволен. Здоровье хорошо, как обыкновенно по утрам делаю самые дорогие для меня прогулки, во время которых записываю радующие меня, на свежую голову приходящие мысли,

потом читаю, пишу дома. Нынче в первый раз стал продолжать давно начатую статью <«О безумии»> о причинах той безнравственной жизни, которой живут все люди нашего времени. Потом прогулка верхом, но больше пешком. Вчера ездил с Душаном к Матвеевой, и я устал не столько от езды к ней, она довезла нас назад в экипаже, сколько от её очень неразумной болтовни. Но я не раскаиваюсь в своей поездке. Мне было интересно и даже поучительно наблюдение этой среды, грубой, низменной, богатой среди нищего народа. Третьего же дня был Mavor. Он очень интересен своими рассказами о Китае и Японии, но я очень устал с ним от напряжения говорить на мало знакомом и обычном <т.е. разговорном. – *Р. А.*> языке. Нынче ходил пешком. Сейчас вечер. Отвечаю письма и прежде всего тебе.

Как ты располагаешь своим временем, едешь ли в Москву и когда? Я не имею никаких определённых планов, но желаю сделать так, чтобы тебе было приятно. Надеюсь и верю, что мне будет так же хорошо в Ясной, как и здесь.

Жду от тебя письма. Целую тебя.

Лев.

1 Сент. 1910» *(84, 401 - 402)*.

Упоминаемый в письме Джемс Мэвор (*Mavor*, 1854 – 1925) — профессор политической экономии в Торонто (Канада). Был в переписке с Толстым с 1898 г. и лично знаком с ним с 1899 г. Помогал духоборам при их переселении в Канаду.

С. А. Толстая, похоже, оставила не эти несколько дней отсутствия дочь Таню своего рода блюстительницей над мужем и отцом. В письме к Т. Л. Сухотиной от 30 августа, не случайно упоминаемом 1 сентября Толстым, написанном в 5 ч. утра (!), Софья Андреевна, пиша внешне “невинно”, якобы о погоде, между прочим подчёркивает: «Поразителен мороз <в августе! – *Р. А.*> и зимний, северный ветер. Берегите папа от простуды, чтоб он не *ездил* никуда», намекая очевидно на возможность поездки мужа к Черткову *(Цит. по: Ремизов В. Б. Указ. соч. С. 127)*. А в следующем письме к дочери, 31 августа, пишет уже вполне откровенно, не сдерживаясь:

«Успокоюсь же я только тогда, когда пойму, что отец твой *твёрдо* и *добро* утвердит мои права и моё место любящей жены при себе и не променяет меня на теперь так безумно любимого им человека» *(Там же. С. 129)*.

Вот почему надежды Льва Николаевича на покой по возвращении в Ясную Поляну, выраженные в письме 1 сентября, следует считать хотя и искренними, но вполне несбыточными.

В этот же день 1 сентября пишет, тоже не дождавшись ответа, своё письмо к мужу и Софья Андреевна:

«Мне нечего писать тебе хорошего, милый Лёвочка; я чувствую себя всё так же, больной и несчастной. Ничего не предпринимаю, потому что ничто не ладится, и ничего не готово для моей поездки в Москву. Болит голова, болит невралгически нерв под правой лопаткой, и даже писать больно, а ночью спать не даёт.

У нас Надичка Иванова <Надежда Павловна Иванова, дочь тульской купчихи, приятельница А. Л. Толстой. – *Р. А.*> и Марья Александровна, а утром был <В. Ф.> Булгаков… Мне здесь не хочется гулять, я больше дома, за своими делами. Я испортила себе впечатления прекрасного Кочетовского парка, поливая его две недели своими слезами и наполняя своими страданьями. Я не хочу того же делать с Ясной Поляной и вносить то же в те светлые, счастливые воспоминанья моей долгой здесь жизни, когда я лёгкой походкой и с лёгким сердцем обходила счастливая и радостная все те места, которые в настоящее время при ярком, солнечном и лунном освещении так необыкновенно красивы.

С Сашей жили хорошо и дружно, но сегодня вечером она влетела в залу и, услыхав мой разговор с Марьей Александровной <Шмидт>, с места начала на меня кричать, и своей обычной, резкой грубостью, к сожаленью, и во мне вызвала гнев. Произошёл тяжёлый разрыв и я всё-таки не могу согласиться испрашивать у дочери позволения, о чём мне беседовать с моими друзьями. Марья Александровна ходила ей выговаривать за её выходку. Да её уже не исправишь, натура не мягкая и не нежная. Но это обстоятельство только ещё больше меня расстроило, и сделало нездоровой.

Как ты живёшь, здоров ли? Сколько поставил ремизов и сколько партий проиграл или выиграл в шахматы? Так и слышу ваши оживлённые голоса в столовой. А у нас грустно, грустно! Но когда я одна, в своей комнате, и за работой, тогда лучше.

Ну, прощай, ты просил писать, вот и пишу, не сочиняя, а как вышло.

Твоя несчастная, одинокая жена» *(ПСТ. С. 791)*.

Строгая аскетка, единомышленница Льва Николаевича М. А. Шмидт всегда с недоверием относилась к очень не аскетичному по внешности и образу жизни В. Г. Черткову. Теперь, болезненно возненавидев его, Софья Андреевна включила несчастную «старушку Шмидт» в число союзников в своей безумной войне.

В дневнике С. А. Толстой под 1 сентября читаем: «Тяжёлый был инцидент с грубой Сашей. Она вошла в залу в то время, как я рассказывала Марье Александровне, как Лев Николаевич ещё летом по приказанью Черткова заставил в овраге, где Чертков фотографировал Льва Николаевича и они зачем-то слезали с лошадей, — искать всех нас: Давыдова, Саломона, меня и других — потерянные Чертковым часы, и как нам всё это было неловко, совестно и досадно за унижение Льва Николаевича и всех нас за него.

Я уже кончала рассказ, как вошла за чаем Саша и с места начала на меня кричать, что я опять говорю о Черткове. Я тоже рассердилась, заразившись, к сожалению, её злобой и произошла тяжёлая перебранка, о которой я сожалею» *(ДСАТ – 2. С. 195)*.

Традиционное противопоставление своей “занятости” “безделью” мужа с играми в карты и шахматы — печально дополняет содержание “больного” письма Софьи Андреевны 1 сентября. В. М. Феокритова, характеризуя эти всегдашние, подаваемые как упрёк окружающим, сетования С. А. Толстой на необыкновенную загруженность делами, свидетельствует:

«В чём состоял этот огромный труд, этот воз, по её словам, который она везла не по силам, мы никто не знаем. Она жила, как живут многие и многие богатые барыни. Вставала в 11 или в 12 часов, пила кофе, шла гулять, собирала цветы, гнала всех, кто к ней приходил что-нибудь спрашивать или за деньгами. Потом обедала, что-нибудь шила себе, иногда поправляла корректуры для своего же издания, писала свой дневник, отвечала на письма — вот и всё, что мы видели, и потому не понимали, о каком непосильном труде она так много говорит и за что она себя так жалеет» *(Цит. по: Ремизов В. Б. Указ. соч. С. 53)*.

Конечно, только Лев Николаевич, любя, мог уразуметь, что и эта особенность поведения Софьи Андреевны связана была с неоднократно упоминавшимися нами в предыдущих Эпизодах нашей книги свойствами её характера, а в 1910 году во многом — и с её душевным заболеванием.

На следующий день, 2 сентября — ещё одно письмо от Софьи Андреевны, суетливое, но, быть может, именно поэтому более свободное, чем предыдущие, от результатов её болезненных рефлексий в другие дни:

«Милый Лёвочка, Саша меня не хочет ждать и едет завтра утром. А для меня завтра тревожный день, потому что будет в Петербурге суд над Лёвой, который ещё неизвестно чем кончится; он мне телеграфирует.

Предполагаю ехать в Кочеты в воскресенье, на Мценск, совсем одна, и до среды, после чего очень надеюсь, что мы вместе вернёмся домой и заживём спокойной, дружной и мирной жизнью. Не долго нам остаётся жить, и грустно быть врознь, и так хорошо вместе, когда мы дружны и чувствуем, как тогда, при прощаньи, как глубоко и крепко мы с тобой связаны сердцем и любовью.

Если я не приеду в воскресенье, значит что-нибудь случилось, или я просто от своей нервности не решилась пускаться опять в такой дальний и утомительный путь. Да и работы очень много дома, по изданию; нельзя никак на долго уезжать, или надо всё бросить.

В Москву я не поехала, потому что ничего не успела приготовить, для чего ехала; эти дни чувствовала себя очень дурно во всех отношениях и работать не могла. Только сегодня немного занялась и чувствую себя лучше.

Целую тебя, милый друг мой, надеюсь, что ты здоров и по-прежнему весел в Кочетах, каким был всё время там. Может быть до свиданья, или как бог даст!

Твоя старая Соня Толстая» *(ПСТ. С. 792)*.

Далее, в связи с возвращением 5 сентября, в воскресенье, Софьи Андреевны в Кочеты и вплоть до её отъезда 12 сентября, в переписке супругов наступает перерыв. Дни эти, судя по сопутствующим источникам, снова не были для них обоих ни спокойными, ни радостными. Основания для новых распрей можно видеть в последнем, внешне довольно безобидном, письме С. А. Толстой: она надеялась в 2-3 дня выманить Л. Н. Толстого из Кочетов и уехать в Ясную Поляну *вдвоём* с ним. Иллюстрациями “накала” в отношениях пусть послужат избранные записи из дневников обоих.

Софья Андреевна, 8 сентября:

«Приехала в Кочеты более спокойная, а теперь опять всё сначала. Не спала ночь, рано встала. […] Когда я днём решилась наконец

спросить Льва Николаевича, *когда* он вернётся домой <в Ясную Поляну. - *Р. А.*>, он страшно рассердился, начал на меня кричать, некрасиво махать руками с злыми жестами и злым голосом, говоря о какой-то свободе. В довершение всего злобно прибавил, что раскаивается в обещании мне не видеть Черткова.

Я поняла, что *всё* в этом раскаянии. Он мстит мне за это обещание и будет ещё долго и упорно мстить. Вина моя на этот раз была только в том, что я спросила о *приблизительном* сроке возвращения Л. Н. домой.

Конечно, я не обедала, рыдала, лежала весь день, решила уехать, чтоб не навязывать себя в огорчённом состоянии всей семье Сухотиных» *(ДСАТ – 2. С. 198)*.

Лев Николаевич Толстой. Дневник, 8 сентября:

«Софья Андреевна становится всё раздражительнее и раздражительнее. Тяжело. Но держусь. Не могу ещё дойти до того, чтобы делать, что должно спокойно. […] …Был тяжелый разговор о моём отъезде. *Я отстоял свою свободу. Поеду, когда я захочу*. Очень грустно, разумеется потому, что я плох» *(58, 101; Выделение в тексте наше. – Р. А.)*.

Софья Андреевна Толстая, дневник, 9 сентября:

«Плакала, рыдала весь день, всё болит… душа разрывается от страданий! Лев Николаевич *старался* быть добрее, но эгоизм его и злоба не позволяют ему ни в чём уступить, и он *ни за что*, упорно не хочет сказать мне, вернётся ли и когда в Ясную Поляну» *(ДСАТ – 2. С. 198)*.

Л. Н. Толстой, «Дневник для одного себя»:

11 сентября. «К вечеру начались сцены беганья в сад, слёзы, крики. Даже до того, что, когда я вышел за ней в сад, она закричала: это зверь, убийца, не могу видеть его и убежала, нанимать телегу и сейчас уезжать. И так целый вечер. Когда же я вышел из себя и сказал ей son fait [*франц.* “правду о её поведении”], она вдруг сделалась здорова, и так и нынче 11-го. Говорить с ней невозможно, потому что, во 1-х, для неё не обязательна ни логика, ни правда, ни правдивая передача слов, которые ей говорят или которые она говорит.

Очень становлюсь близок к тому, чтобы убежать. Здоровье нехорошо стало» *(58, 136 – 137)*.

Софья Андреевна, 12 сентября:

«Опять утром волновалась, плакала горько, тяжело, мучительно. Голова точно хотела вся расскочиться. <…> Я избегала этот день

встречи с Льв<ом> Ник<олаевиче>м. Его недоброе упорство сказать *приблизительно* хотя что-нибудь о своём приезде измучило меня. Окаменело его сердце! Я так страдала от его холодности, так безумно рыдала, что прислуга, провожавшая меня во время моего отъезда, заплакала, глядя на меня. На мужа, дочь и других я и не взглянула. Но вдруг Лев Ник<олаевич> подошёл ко мне, обойдя пролётку с другой стороны, и сказал со слезами на глазах: "Ну, поцелуй меня ещё раз, я скоро, скоро приеду..."» *(ДСАТ – 2. С. 199).*

Л. Н. Толстой, «Дневник для одного себя»:

12 сентября. «Софья Андреевна после страшных сцен уехала. Понемногу успокаиваюсь» *(58, 136 – 137).*

А. Л. Толстая в письме к В. Ф. Булгакову от 17 сентября сообщает: «Перед отъездом матери Л. Н. сказал Софье Андреевне: когда ты хочешь, чтобы я приехал? Она сказала: завтра. — Нет, это невозможно. — Ну, к 17-му [день именин Толстой]. — И это рано. — Ну, так, как хочешь. И отец сказал: я приеду к 23-му» *(Цит. по: ПСТ. С. 794. Примечания).*

Решив, весьма по-женски, после серии скандалов с мужем и морального проигрыша в них, любой ценой оставить-таки за собой «последнее слово», Соничка пишет 11 сентября и поручает М. С. Сухотину передать Льву Николаевичу после её отъезда письмо такого содержания:

«Мне хотелось, милый Лёвочка, перед прощанием нашим сказать тебе несколько слов. Но ты при разговорах со мной так раздражаешься, что мне грустно бы было расстроить тебя.

Я тебя прошу понять, что все мои не *требованья*, как ты говоришь, а *желанья* имели один источник: мою любовь к тебе, моё желанье как можно меньше расставаться с тобой, и моё огорчение от вторжения постороннего, не доброго по отношению ко мне влияния на нашу долгую, несомненно любовную, интимную супружескую жизнь.

Раз это устранено, хотя ты, к сожаленью, и раскаиваешься в этом, а я бесконечно благодарна за ту большую жертву, которая вернёт мне счастье и жизнь, то я тебе клянусь, что сделаю всё от меня зависящее, чтоб мирно, заботливо и радостно окружить твою духовную и всякую жизнь.

Ведь есть сотни жён, которые *требуют* от мужей действительно многое: “поедем в Париж за нарядами, или на рулетку, принимай

моих любовников, не смей ездить в клуб, купи мне бриллианты, узаконь прижитого бог знает от кого ребёнка", и проч. и проч.

Господь спас меня от всяких соблазнов и *требований*. Я была так счастлива, что ничего мне и не нужно было, и я благодарила только Бога.

Я в первый раз в жизни — не требовала, а страдала ужасно от твоего охлаждения и от вмешательства Черткова в нашу жизнь, и в первый раз *пожелала* всей своей страдающей душой, может быть уж невозможного, — возврата прежнего.

Средства достижения этого, конечно, были самые дурные, неловкие, не добрые, мучительные для тебя, тем более для меня, и я очень скорблю об этом. Не знаю, была ли я вольна над собою; думаю, что нет; всё у меня ослабело: и воля, и душа, и сердце, и даже тело. Редкие проблески твоей прежней любви делали меня безумно счастливой за всё это время, а моя любовь к тебе, на которой основаны все мои поступки, даже ревнивые и безумные, никогда не ослабевала, и с ней я и кончу свою жизнь. Прощай, милый, и не сердись за это письмо.

Твоя жена для тебя всегда только *Соня*» *(Там же. С. 793)*.

Под «большой жертвой» Соня разумела всё то же нехорошее своё предположение — об отношениях Л. Н. Толстого и В. Г. Черткова как возлюбленных. К письму в этом месте она сделала помету, скрывавшую, однако, *глубинную* причину её неприязни к многолетнему «одноцентренному другу» мужа: «Черткову был воспрещён приезд в наш дом, вследствие его крайне грубых выражений по отношению ко мне» *(Там же. С. 794)*.

И даже завершение письма, подпись её, несёт смысл некоего напоминания и одновременно — безоговорочного утверждения: «Твоя жена для тебя всегда только *Соня*».

По поводу этого письма и ответа на него Л. Н. Толстого в дневнике Софьи Андреевны есть такая, сделанная позднее, приписка к записям 12 сентября: «На это письмо Лев Ник. мне ответил коротко и сухо, и в следующие 10 дней мы уже не переписывались, чего не было ничего подобного во все 48 лет нашей супружеской жизни» *(ДСАТ – 2. С. 200)*. На самом деле, перерывы в переписке были, и мы в течение нашей аналитической презентации не раз обращали внимание читателя на них и их очевидные, либо возможные, причины. Здесь Соничка была потрясена не самым фактом перерыва в пере-

писке и не его продолжительностью, а *обстоятельствами* его: жестокой ссорой с мужем и его, в этот раз действительно суровым, обхождением с ней перед отъездом.

Средства, которыми выражено пожелание, может обратить его для адресата в самое неприемлемое, морально неисполнимое требование. Это понимала Соня, понимал и Лев Николаевич — но лишь в самом деликатном виде выразил в коротеньком ответном своём письме к жене, датируемом 14 сентября:

«Прочёл твоё письмо, оставленное Михаилу Сергеевичу, и очень благодарен за него. Как я сказал, не хочу говорить о наших отношениях, буду только стараться о том, чтобы улучшить их, и вполне уверен, что достигну этого, если ты будешь помогать мне. Пользуюсь случаем писать тебе, так как Михаил Сергеевич посылает во Мценск. Вчера я был слаб и плох и телесно и душевно. Нынче хорошо спал и бодр. Написал письмо <воспоминания. – *Р. А.*> о <Н. Я.> Гроте. Не знаю ещё, пошлю ли. Как ты доехала? Пожалуйста извести меня, милая Соня. Целую тебя. До свиданья.

Л. Т.

14 С<ентября>. 1910» *(84, 403)*.

Ответного письма Софья Андреевна, по всей видимости, не писала — и вообще более не писала в Кочеты, полагая, быть может, таким средством скорее “выманить” мужа в Ясную Поляну — из последних его не счастливых, но хоть относительно спокойных дней, из последней дальней поездки — если не считать ближайшей уже, роковой…

16 сентября Толстой отправил жене телеграмму — от своего имени и от имени обитателей гостеприимной усадьбы поздравил с именинами:

«Муж дочери зять молодые Сухотины внучка внук Анюточка поздравляют именинницу» *(84, 403)*.

Дальше — недельное грустное затишье… И только в день отъезда, 22 сентября — ещё одна краткая телеграмма Толстого: «Приедем нынче одиннадцать вечера Ясенки» *(Там же)*. Отстояв свою свободу и право выбрать день возвращения — Лев Николаевич выполнил и своё обещание, данное жене.

КОНЕЦ ВТОРОГО ФРАГМЕНТА

Фрагмент Третий.
LIBERTAD O MUERTE – 3.
Тайное мстит, сделавшись явным
(14 октября 1910 г.)

Этот, заключительный в Восемьдесят Первом Эпизоде нашей книги Фрагмент удивит читателя краткостью: он состоит из *одного*, но очень значительного письма Софьи Андреевны Толстой к мужу, писанного, как и некоторые прежние, к человеку, находившемуся рядом, в яснополянском доме, но — недоступному по причине трудности для больной женщины спокойного общения с ним. Удивительная специфика всех Фрагментов данного Эпизода — в роковом сочетании их домашне-бытовой и исторической значимости. Поэтому и в данном случае нам придётся вернуться по времени назад и проследить ряд биографических фактов в жизни супругов, с которыми внешне-событийно и содержательно связано самым непосредственным образом это письмо. Обратимся для этого снова к академической Хронологии, составленной Н. С. Родионовым и данной в Томе 58-м Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

22 сентября. «Запись в “Дневнике для одного себя”: “Еду в Ясную и ужас берёт при мысли о том, что меня ожидает…”»;

22— 23, ночь. «В 12½ ч. ночи приезд в Ясную Поляну. Упрёки и раздражение С. А. Толстой».

23 сентября. «48 лет со дня свадьбы Л. Н. и С. А. Толстых. Потеря Записной книжки, в которой писался “Дневник для одного себя” с 29 июля по 22 сентября». <Софья Андреевна обыскала личные вещи Льва Николаевича, и, найдя “тайную” книжицу в голенище сапога, унесла к себе. – *Р. А.*>

24 сентября. «Толстой начинает новый “Дневник для одного себя” на вынимающихся листочках.

Запись в “Дневнике для одного себя”: «Они разрывают меня на части. Иногда думается: уйти ото всех». <Написано в связи с письмом от В. Г. Черткова, упрекавшего Толстого в уступках Софье Андреевне. – *Р. А.*>

Неприятное Толстому снимание фотографий с Софьей Андреевной, по её просьбе производившееся В. Ф. Булгаковым». <«В позе любящих супругов» — назвал позднее Толстой такие снимки, выполненные по желанию Софьи Андреевны. — *Р. А.*>

25 – 27 сентября. «Работа над корректурами глав сборника “Путь жизни”».

26 сентября. «С. А. Толстая в раздражении на мужа дважды стреляет в комнатах из пистолета-пугача.

Вследствие резкого столкновения с матерью, переселение А. Л. Толстой вместе с В. М. Феокритовой из Ясной Поляны в Телятинки.

Во время верховой поездки Толстой случайно встретился на пути с В. Г. Чертковым…». <Случайности не случайны: негодяй наверняка искал встречи с Толстым, ошиваясь вокруг Ясной Поляны — чтобы снова психологически “надавить” на старца. – *Р. А.*>

1 октября. «Запись Толстого в “Дневнике для одного себя” о том, что причина невозможности отдаться творческой, художественной работе — тяжёлые отношения с женой».

3 октября. «Глубокий обморок Толстого с судорогами во время предобеденного сна, длящийся с 8 ч. вечера до 10 ч. 15 м. вечера. Было пять судорожных припадков».

[**КОММЕНТАРИЙ** *В. Б. Ремизова.*

«Близкие хорошо знали, что Толстой был болен аффективной эпилепсией, такой формой болезни, которая вызывалась стрессом, скандалом, и несмотря на то, что окружавшие его люди знали об этом, каждый день, не щадя старика, они подливали масла в огонь.

Он любил семью, потому так долго терпел и не уходил от неё» — *Ремизов В. Б. Указ. соч. С. 670*]

5 октября. «Начало записей “Дневника для одного себя” на обороте последней Записной книжки».

7 октября. «Последнее посещение В. Г. Чертковым Ясной Поляны».

8 октября. «Отъезд из Ясной Поляны Т. Л. Сухотиной».

12 октября. «С. А. Толстая догадалась о Завещании Толстого из найденной ею в голенище сапога первой тетради “Дневника для одного себя”.

Тяжёлое объяснение Толстого по этому поводу с Софьей Андреевной» *(58, 263 – 266).*

На этом месте мы остановим хронологическое изложение, ибо письмо С. А. Толстой от 14 октября, которое, несмотря на его единичность, по значительности его мы поместили в отдельный Фрагмент (и по связности с предшествующей перепиской — в общий с нею Эпизод), имеет содержанием как раз реакцию Софьи Андреевны на сведения о тайном Завещании мужа, полученные из похищенного у него «Дневника для одного себя».

Чтение Соней “тайного” Дневника мужа и последующая её больная реакция на полученные сведения готовили страшнейшее горе ей самой и мученический венец и смерть Льву-христианину.

Вот некоторые предшествующие письму записи в дневнике С. А. Толстой.

12 октября. «Понемногу узнаю ещё разные гадости, которые делал Чертков. Он уговорил Льва Н<иколаевич>а сделать распоряжение, чтоб после смерти его права авторские не оставались детям, а поступили бы на общую пользу, как последние произведения Л. Н. И когда Лев Ник<олаевич> хотел сообщить это семье, господин Чертков огорчился и не позволил Л. Н. обращаться к жене и детям. Мерзавец и деспот! Забрал бедного старика в свои грязные руки и заставляет его делать злые поступки. Но если я буду жива, я отмщу ему так, как он этого себе и представить не может. Отнял у меня сердце и любовь мужа; отнял у детей и внуков изо рта кусок хлеба, а у своего сына в английском банке миллион шальных денег, не то, что у Л<ьв>а Н<иколаевич>а им заработанных вместе со мной, — я во многом ему помогала. Сегодня я сказала Льву Никол<аевичу>, что я знаю о его распоряжении. Он имел жалкий и виноватый вид и всё время отмалчивался.

[…] Узнала я и о нелюбви Льва Никол<аевич>, теперь ко мне. Он всё забыл, — забыл и то, что писал в дневнике своём: “Если она мне откажет, — я застрелюсь”. <Соня вспомнила запись молодого Л. Н. Толстого в Дневнике от 12 сентября 1862 г.: «Я сумасшедший, я застрелюсь, ежели это так продолжится» *(48, 44). – Р. А.*>. А я не только не отказала, но прожила 48 лет с мужем и ни на минуту его не разлюбила.

Спешу выпустить издание, пока ещё Лев Ник<олаевич> не сделал ничего крайнего, чего каждую минуту можно от него ожидать…» *(ДСАТ – 2. С. 212 – 213).*

Любовь Софьи Андреевны к мужу, повторимся здесь, *безусловна*, не подлежит во все годы изложенной и проанализированной нами переписки никакому сомнению. Но за “барьером” её понимания так и осталось христианское религиозное руководство жизни, ставшее со второй половины 1870-х важнейшим для Льва Николаевича. Вера Христа чудотворна, и чудо её, в числе многого иного — как раз в победе над эгоистическими, как животными, «витальными», так и социально обусловленными *страхами* человека: теми, которые влекут к наживе и заботе о деньгах… или к тому, чтобы бояться потерять из своей жизни человека, разделить его с *кем-либо*. Эти страхи разрушали Соничкину жизнь — в особенности с той поры, когда В.

Г. Чертков, так же христиански безверный и оттого одержимый теми же страстями и фобиями, стал её мерзким конкурентом в *законных* перед всем миром правах!

Но болезненное состояние Софьи Андреевны ослабляло её, делая невозможной победную борьбу с деспотизмом Черткова. Запись же Толстого в Дневнике, совершенно не справедливая, о том, что он не мог не жениться, хотя никогда не влюблялся — мучительно оскорбила её и при том даже по внешней синтаксической конструкции неприятно напомнила ей *ту*, изводившую её, «страшную» тифлисскую запись в Дневнике супруга из 29 ноября 1851 года, начинавшуюся “признанием” Толстого самому себе, что он «никогда не был влюблён в женщин», а любил некоторых мужчин *(46, 237)*.

Судя по дневнику С. А. Толстой, день 13 октября она прометалась, периодически задумываясь о самоубийстве: «опий, или пруд, или река в Туле, или сук в Чепыже» *(Там же. С. 214)*. Здесь же она сетует о невозможности (ею же созданной!) общения, устного диалога с мужем: «Мы говорим о погоде, о книгах, о том, что в меду много мёртвых пчёл, — а то, что в душе каждого, — то умалчивается, то сжигает постепенно сердце, укорачивает наши жизни, умаляет нашу любовь» *(ДСАТ – 2. С. 215)*.

И вот утром 14 октября, в преодоление этого коммуникативного “барьера” (достаточно тесно связанного с “барьером” неприятия Софьей Толстой христианской проповеди мужа), она пишет и приносит ему письмо, текст которого мы приводим ниже. Сказать устно ничего не получилось — по “вине” Льва Николаевича. Судя по письму, она ожидала от мужа обычного вопроса, как она провела ночь, но тот на приход жены неожиданно отреагировал раздражённо, почти болезненно, сразу упрёком: «Ты не можешь оставить меня в покое?» *(Там же. С. 216)*. И вот что оставлено было Толстому в письме:

«Ты каждый день меня как будто участливо спрашиваешь о здоровье, о том, как я спала, а с каждым днём новые удары, которыми сжигается моё сердце, которые сокращают мою жизнь и невыносимо мучают меня, и не могут прекратить моих страданий.

Этот новый удар, злой поступок относительно лишения авторских прав твоего многочисленного потомства, судьбе угодно было мне открыть, хотя сообщник в этом деле и не велел тебе его сообщать мне и семье.

Он грозил мне *напакостить*, мне и семье, и блестяще это исполнил, выманив бумагу от тебя с отказом. Правительство, которое во

всех брошюрах вы с ним всячески бранили и отрицали, — будет по *закону* отнимать у наследников последний кусок хлеба и передавать его Сытиным и разным богатым типографиям и аферистам, в то время как внуки Толстого по его злой и тщеславной воле будут умирать с голода.

Правительство же, *государственный* банк хранит от *жены* Толстого его дневники.

Христианская любовь последовательно убивает разными поступками самого близкого (не в твоём, а в моём смысле) человека — жену, со стороны которой во всё время *поступков* злых не было никогда, и теперь кроме самых острых страданий — тоже нет. Надо мной же висят и теперь разные угрозы. И вот, Лёвочка, ты ходишь молиться на прогулке — помолясь, подумай хорошенько о том, что ты делаешь под давлением этого злодея, — потуши зло, открой своё сердце, пробуди любовь и добро, а не злобу и дурные поступки, и тщеславную гордость (по поводу своих авторских прав), ненависть ко мне, к человеку, который любя отдал тебе всю жизнь и любовь ....

Если тебе внушено, что мною руководит *корысть*, то я лично официально готова, как дочь Таня, отказаться от прав наследства мужа. На что мне? Я очевидно скоро так или иначе уйду из этой жизни. Меня берёт ужас, если я переживу тебя, какое может возникнуть зло на твоей могиле и [в] памяти детей и внуков. Потуши его, Лёвочка, при жизни! Разбуди и смягчи своё сердце, разбуди в нём Бога и любовь, о которых так громко гласишь людям.

С. Т.» *(ПСТ. С. 794 – 795).*

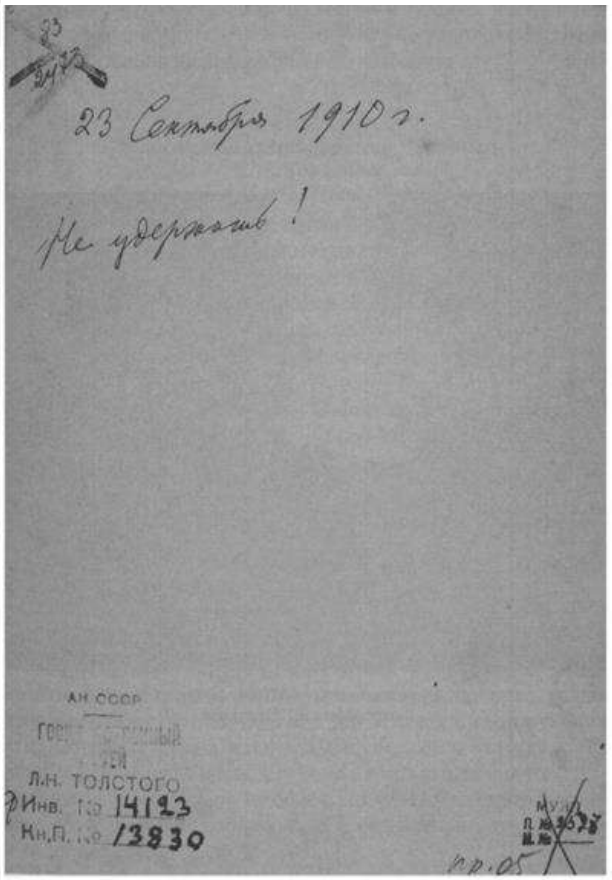
Конечно же, это письмо не могло ничего изменить, а только дополнительно измучило Льва Николаевича. Соничка откровенно демонизирует в нём Черткова и приписывает ему *слишком многое* из того, что было решено Толстым хотя уже и в годы общения с Владимиром Григорьевичем, но совершенно без его влияния, а только в связи с чистой Христовой верой, которую обрёл Лев Николаевич задолго до знакомства с В. Г. Чертковым, читая евангелия и размышляя над ними. Христианское отношение к труду и плодам его, материальным и духовным, исключает самую возможность скоплений результатов труда (в т. ч. в виде «капитала», денег), отнятия их людьми друг у друга, торговли ими (или иного обмена с “эквивалентом”, счётами), а в том числе и *завещания.* Само юридически оформленное Завещание было для Толстого-христианина нежеланной уступкой чуждому Христу и его учению социальному окружению «православной» Рос-

сии, а тайность его — уступка собственной слабости, желанию уберечься от конфликтов. Желанию, которое (именно по причине его генезиса в ослаблении веры, в *слабостях Толстого-человека*) хорошо понял, и поддержал, и *использовал* тогда и впоследствии для себя В. Г. Чертков!

Ничего не удалось утаить — только себе сделал хуже! В Дневнике того рокового дня Толстой записывает: «На столе письмо от Софьи Андреевны с обвинениями и приглашением, от *чего* отказаться? Когда она пришла, я попросил оставить меня в покое. Она ушла. У меня было стеснение в груди и пульс 90 с лишком [...] Пошёл к Софье Андреевне и сказал ей, что советую ей оставить меня в покое, не вмешиваясь в мои дела. Тяжело» *(58, 118)*.

Но она *не могла*, по психическому своему состоянию, «оставить в покое»!

Л.Н. и С.А. Толстые в 48-ю годовщину их свадьбы. 23 сентября 1910 г. Ясная Поляна. Фотография С.А. Толстой



На обороте автограф С.А. Толстой: «23 сентября 1910 г. Не удержать!»

* * * * *

На правах комментирующего исследователя, скажем, в дополнение анализа всей Переписки Восемьдесят Первого Эпизода, два слова и

от себя. В русском языке слова “свобода” и “воля” имеют не тождественное лексико-семантическое наполнение, или проще сказать, они *не всегда* синонимы. Для уха русского человека, слышавшего с первого детства о «цыганской воле» или о «разбойничьей вольнице», нелепо прозвучит сочетание: «цыганская свобода», а «свобода разбойничья» справедливо приобретёт негативные смыслы “свободы разбойничать”, то есть служить своим грехам, смерти и злу. «Воля» — это очертя-головное состояние, для примера, «комсомольца-ударника» в советском таёжном лагере 1950-х годов, в изнурённом состоянии чудом вырвавшегося из лагеря смерти на «свободу», в тайгу, но обречённого сгинуть там раньше, чем настигнет его пущенная по следу охранницкая стая собак. Состояние горожанина, заблудившегося в ночной пустыне — под прекрасным, не изгаженным засветкой, звёздным небом… но без запаса воды. Состояние путника, сани которого обступила в степи мгла смертной пурги, которая лишь только начала заносить снегом и замораживать его. Состояние ребёнка малыша, отбившегося от родителей и радующегося, в отсутствии опеки, новым ощущениям, но… доживающего уже, до попадания под колёса автомобиля, последние минуты. Состояние человека, под давлением мирских лжи и зла не удержавшего в себе Христово понимание жизни, памятование о том, что он *дитя, и посланник, и работник Бога в мире* — и утверждающего некоторую *свою* волю, своего гордого, возмущённого, отделяющего себя от других, от Бога, животного «я».

Милая сердцу молодого (да и зрелых лет!) Льва Толстого «воля» цыганская, горская, воинская (храбро не кланяться пулям и снарядам!), путническая в метели… всё это только «намёки Свыше», указания мирскому, животному и чувственному человеку на *возможность и отраду блага истинной Свободы — в воле Отца.* Блажен тот, кто вовремя созрел, навсегда и без возврата отринув мирской соблазнительный идеал!

Свобода, в христианском понимании — это сокровище и награда Свыше человекам за **усилия** *братской* жизни, за **усилия** удержать возможную степень *равенства.* Она, как вкусняшка от ребёнка под ёлочкой, “спряталась” среди тех Блаженств, которыми открыл Иисус Христос свою Нагорную проповедь, и, как и вкусняшка дитю — обретается *усилиями исполнить* те *малые правила,* которые, в так хорошо составленной речи Христа, на брачном торжестве явления народу Слова спасения, следуют за вступительным “салютом” Блаженств.

Не смотри ни на какого человека как “низшего”, как “недостойного”, как на средство только своих целей. В частности — не смотри

на женщину как средство утоления похоти. И не унижай *себя*, как дитя и работника в мире Бога — связывая себя клятвами, обещаниями, любыми отношениями зависимости с людьми мира.

В этом Малые Три – из пяти Малых Правил величайшей из обращённых по сей день к человечеству речей.

Два имени для Блаженств, "ключик" человекам к их возможности: Смирение и Страх Божий (страх своего греха). А два имени как для Малых Трёх, так и для Двух, последующих им: Братство и Равенство.

Смирение и Страх — "вешки", свидетельствующие обретение человеками соединяющего их в Церковь истинную, первоначальную Христову, христианского жизнепонимания. "Вешки" освобождения людей христиан от многих ложных, навязываемых миром, "смирений" перед силой, а не правдой: многих *страхов*, порабощающих власти человеческой разбойничьей *воли*, собирающих обманутых, ограбленных, разобщённых людей в "гражданские" стада разбойничьих гнёзд — государств. В стены военных крепостей, в города, охраняемые вооружёнными правительственными разбойниками… и прочие центры «цивилизации», подменяющей ослабляющим себя и друг друга, мешающим друг другу, скученным в них людям — *культуру*, то есть единый для разумных существ Божьего мира Путь к совершенствованию и со-творчеству великому Творцу: к единению в Боге сначала на планете Земля, как "учебной мастерской" человека *сотворца*, а в космическом общем грядущем, в совершенном грядущем единении в Боге — и во Вселенной.

Братство и Равенство, открывающиеся в своей доступности людям христовой Церкви, отказавшимся от разобщённых воль, ради иллюзорных благ своих животных личностей и стремящимся не отделять своей воли от воли Бога — такие же, не заносимые и самой яростной метелью, "вешки" на пути к Свободе: к исполнению и *двух последних из пяти* — заповедей непротивления и любви к враждующим, *не дающихся* личностям и общностям людей, ещё не соединивших себя в Истине Бога, в жизнепонимании Христа. Свобода — третье, сокровенное общее имя для последних Двух, вот этих, Малых Правил, по Евангелию от Матвея:

«Вы слышали, что было сказано: "око за око, и зуб за зуб".

Я же говорю вам: злому не противься, но если кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему другую,

и если кто хочет отсудить у тебя рубаху, отдай ему и плащ,

и если кто возложит на тебя повинность сопровождать его на версту, иди с ним две.

Тому, кто просит у тебя, дай, и от того, кто хочет у тебя занять, не отворачивайся.

Вы слышали, что было сказано: “возлюби ближнего твоего, и возненавидь врага твоего”.
Я же говорю вам: любите врагов ваших и молитесь за тех, кто гонит вас,
чтобы стать вам детьми Отца вашего, Который на небесах; ибо Он являет солнце Свое над злыми и добрыми, и посылает дождь для праведных и неправедных.
Ведь если вы будете любить тех, кто вас любит, какая у вас заслуга? Разве мытари не делают того же?
И если вы дружелюбны только со своими, что в том особенного? Разве язычники не делают того же?
А вы будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» *(Мф., 5: 38 – 48).*

Соничка и Лев родились, воспитались, выросли в *лже*христианской, церковно-православной России, в которой означенный нами духовный Путь Жизни проходили и проходят единицы: монастырские православные аскеты или последователи иных, проверенных сотнями, иногда тысячами лет, духовных практик человечества. Им не могло быть помощи от той единой, самим Христом основанной, Церкви, которая никогда и не приживалась, и была гонима не в одной России, а во всём лжехристианском мире. Единственный им путь был: *совместное* обдумывание консенсусов с миром, как семьи *христианской*. А это подразумевало последование жены — не мужу, но Истине первоначального христианства, пророческим и проповедническим усилием реконструированной, “расчищенной” Толстым из-под грязи мирских и церковно-догматических искажений. То же самое *Слияние Своей Воли С Волей Бога, Отца*, известной по евангелиям. Не последовав, не доверившись Истине, оставшись в плену обманов и страхов — Соня невольно стала мучительницей себя и мужа и помехой Льву Николаевичу на первом в человеческой истории *общем*, общекультурном Пути к Свободе и Творчеству, к высшему благу Разума во всех Божьих мирах.

С сожалением, но и с долей злорадства фиксировала эта язычница в ужасном своём дневнике 1910 года, как муж, слабея физически, “проседал” от ударов семейной вражды и нравственно… не понимая, *что* готовило ей это, чуявшееся ей столь вожделенным (опека, контроль!..) ослабление духа и плоти Божьего и Христова исповедника и мученика Льва.

Хорошо известен факт, что сразу после подписания вынужденного мирской ложью и слугой её, В. Г. Чертковым, тайного Завещания Толстой почувствовал себя подавленным и нездоровым — как человек, сделавший сильный грех. Накануне, 21 июля, Толстой фиксирует только духовную свою немощь — «недоброе чувство» в “поединке” с открыто выразившим свою неприязнь сыном Львом *(58, 82)*. В Дневнике под 22 июля 1910 г. (день подписания Завещания) запись о том же, но в отношениях “меж двух огней”, Чертковым и Соней: «Дома опять раздражение, волнение. За обедом ещё хуже. […] Был Чертков. Натянуто мучительно тяжело. Терпи казак» *(Там же. С. 83)*. А уже 23 июля: «Очень тяжело, очень нездоров; но нездоровье ничто в сравнении с душевным состоянием. […] Что- то в животе, не мог устоять против просьб лечения. Принял слабительное. Не действует. Справил письма и целый день лежал» *(Там же)*. Тело отреагировало кратким (на один день), но резким ослаблением на “вывих” души: малое, совершённое и потаённое, зло нескольким близким, любящим людям!

Уходя ночью 28 октября тайно из дома — он так же, по наблюдениям сопровождавшего его доктора Д. П. Маковицкого, был нервен («Пульс — 100. Может, что приключится») и «молчалив, грустен» — то есть, лучше сказать, подавлен и недоволен собой *(Маковицкий Д.П. У Толстого. Яснополянские записки: В 4-х кн. М., 1979. Кн. 4. С. 397 – 398)*. Только отъехав от станции в поезде, “оторвавшись” от “страшной” Софьи Андреевны, опьянённый ощущением самоубийственной *воли*, казавшейся в то мгновение свободой, он стал вдруг уверен в себе и даже радостен *(Там же. С. 399)*.

В монастыре Шамордина его встретили сестра-монахиня, Мария Николаевна и гостившая у неё дочь её, Е. В. Оболенская, которая в воспоминаниях свидетельствует об усилении к вечеру 29 октября немощей Толстого и попутно высказывает глубокое убеждение, что Толстой был измотан, физически и душевно, именно сочетанным влиянием мирского, атаковавшего его, зла и собственных просчётов:

«Софья Андреевна совершенно измучила его ревностью к Черткову и подозрениями, что от неё что-то скрывают. Поводом к ревности были дневники, которые Лев Николаевич отдал на хранение Черткову, а не ей; поводом же к подозрениям было тайно от неё написанное духовное завещание, о чём она подозревала. Я того мнения, что это была большая ошибка, которая и ему доставила много страданий. *Его мучила тайна, совершенно несвойственная его крупной, благородной душе*. Жалею, что его друзья не удержали его от этого.

Достаточно было взглянуть на него, чтобы видеть, до чего этот человек был измучен и телесно и душевно. Сильное волнение вызывало обмороки, сопровождавшиеся судорогами такими сильными, что его приходилось держать, чтобы он не упал с постели. После таких припадков он на короткое время терял память» *(Оболенская Е. В. Моя мать и Лев Николаевич // Летописи Государственного литературного музея. Кн. 2. Л. Н. Толстой. М., 1938. – С. 314 – 315. Выделение в тексте наше. – Р. А.).*

По воспоминаниям той же Е. В. Оболенской, дочь Александра, настигшая следующим, 30 октября, вечером отца в Шамордине, переговорив с ним, вышла от него озадаченная, недовольная, бормоча:

«— Мне кажется, что папа уже жалеет, что он уехал» *(Там же. С. 317).* При этом, свидетельствует Оболенская, Толстой «был уже покойнее душевно, но физически слаб и в подавленном состоянии» *(Там же. С. 316).*

Это было необходимое Льву Николаевичу духовно-целебное влияние сестры и монастырской атмосферы… к сожалению, слишком краткое! “Капля камень точит” – и нервы Льва Николаевича не выдержали к утру: он эмоционально заразился от *одержимой страхами* дочери, уступил её настояниям, и рано выехал из Шамордина – даже не попрощавшись с М. Н. Толстой и её дочерью… Не домой, к жене — как если бы успел подлечить плоть и укрепить дух, но — увы! — прочь… прочь от Ясной Поляны. И скоро захворал в пути болезнью — как оказалось, смертельной.

Значимые для нашей темы события дней Ухода, и в особенности сопровождавшая эти дни переписка супругов, равно и некоторые предшествующие ей события, найдут себе место уже в следующем, и заключительном в нашей книге, Восемьдесят Втором Эпизоде.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ФРАГМЕНТА

КОНЕЦ ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВОГО ЭПИЗОДА

Эпизод Восемьдесят Второй.

ERROR 404:
THE RECIPIENT IS NO LONGER AVAILABLE.

Adagio molto vivace

(28 октября – 3 ноября 1910 г.)

События дней, к которым относится заключительный Эпизод великой Переписки Л. Н. и С. А. Толстых, давно прослежены биографами не то, что по дням — по часам, даже минутам… Вряд ли кто-то из читателей, обратившихся к этой книге, может не знать, хотя в самых общих чертах, обстоятельства Ухода великого яснополянца. Огромность и сложность событийного “пласта” практически исключает для нас возможность предварить этот, заключительный в книге, Эпизод очерком внешней и духовной биографий участников Переписки в рамках означенной в заглавии Эпизода хронологии, но его же известность — делает такой очерк и не нужным. За подробностями мы снова отсылаем читателя к источниковой и биографической литературе, а далее, обещая только достаточные комментарии к сведениям в текстах писем, прочее доверим краткой академической Хронологии из тома 58 Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого. Начнём оттуда же, где прервались: с середины октября 1910 г.

19 октября. «Ночью С. А. Толстая, обеспокоенная отсутствием Дневника Толстого, который находился у А. Л. Толстой, приходила спрашивать, где он находится».

20 октября. «Ночной разговор Толстого с <крестьянином-толстовцем> М. П. Новиковым, в котором Толстой подробно рассказывал о своих трудных отношениях с женой, о мучительных для него условиях яснополянской жизни и сообщил своё намерение в скором времени уйти».

21 октября. «Решение бросить работать над статьёй “О социализме”.

Запись в “Дневнике для одного себя”: “Ночью думал об отъезде”».

24 октября. «Письмо Толстого к М. П. Новикову с извещением о решении своего ухода и с просьбой подыскать для него хату».

25 октября. «Запись в “Дневнике для одного себя”: “Всё то же тяжёлое чувство. Подозрения, подсматривания и грешное желание,

чтобы она подала повод уехать. Так я плох. А подумаю уехать и об её положении и жаль, и тоже не могу”».

26 октября. «Поездка верхом с Д. П. Маковицким в Овсянниково к М. А. Шмидт. Разговор с ней о своём намерении уйти. <Мария Александровна Шмидт, суровая аскетка, настраивала Толстого на то, чтобы *терпеть до спасения*, до победы, до конца — и не покидать дома, семьи и больной супруги. – *Р. А.*>

Запись в Дневнике: “Мне очень тяжело в этом доме сумасшедших”.

Запись в «Дневнике для одного себя»: “Всё больше и больше тяготящусь этой жизнию. Марья Александровна не велит уезжать, да и мне совесть не даёт. Терпеть её, терпеть, не изменяя положения внешнего, но работая над внутренним. Помоги Господи”.

Толстой спрашивает у Д. П. Маковицкого, когда идут на юг поезда».

27 октября. «Запись в “Дневнике для одного себя”: «Всю ночь видел мою тяжёлую борьбу с ней [с С. А. Толстой]. Проснусь, засну и опять то же.

Толстой **пишет черновик прощального письма к жене**.

Запись в Дневнике: «Тяжесть отношений всё увеличивается».

“Лёг в половине двенадцатого” *(Дневник)*».

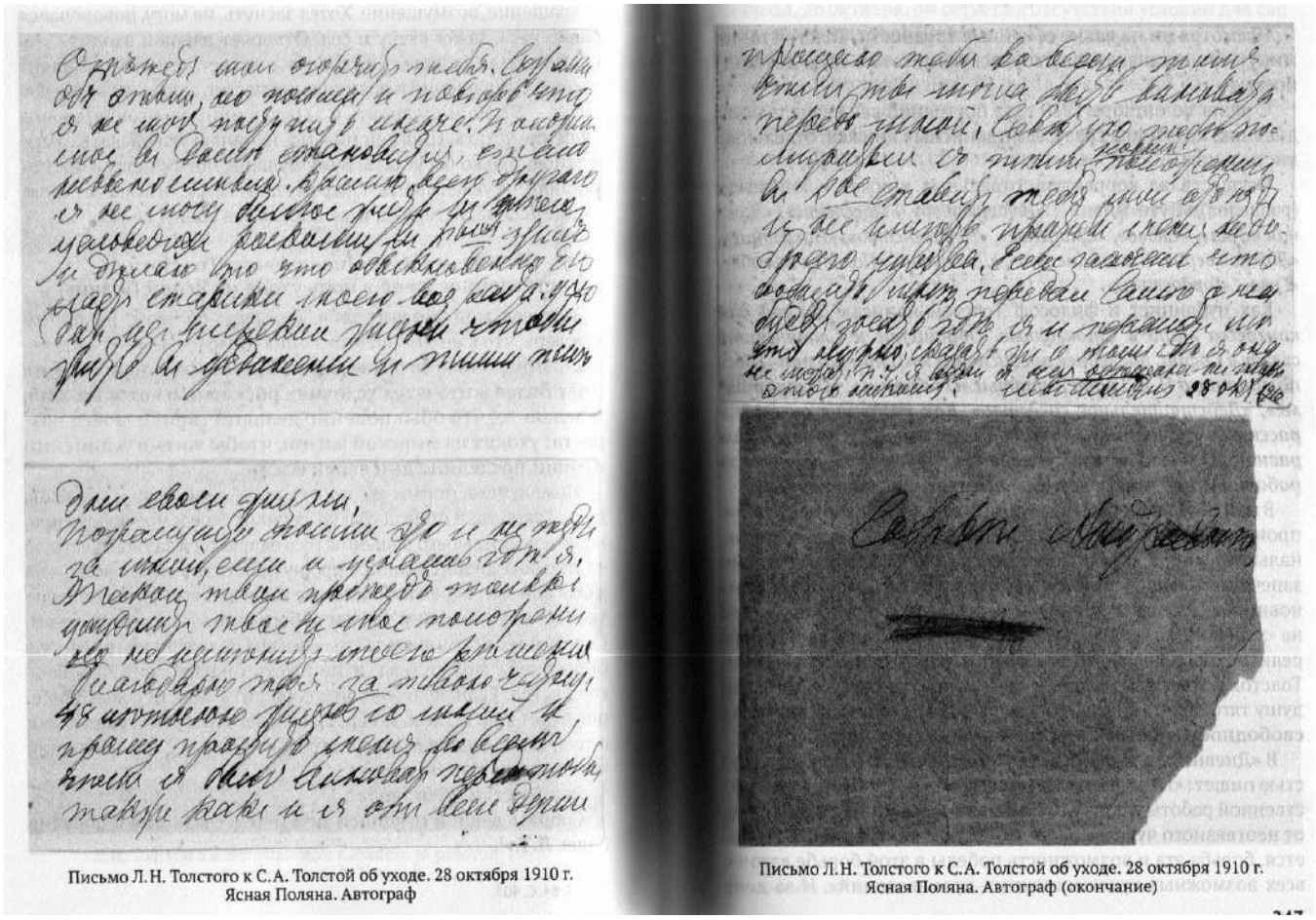
28 октября. «“Спал до третьего часа” *(Дневник)*.

Под впечатлением ночного появления в третьем часу ночи в кабинете Толстого Софьи Андреевны и её обыска в бумагах, и вторичного её появления около 4 часов ночи, Толстой принял решение уехать навсегда из Ясной Поляны.

Прощальное письмо к С. А. Толстой, написанное в 4 часа утра, по накануне заготовленному черновику.

Между 4 и 5 час. утра отъезд Толстого с Д. П. Маковицким на ст. Щёкино. В 7 ч. 55 м. утра Толстой вместе с Д. П. Маковицким уезжает в поезде № 9, идущем на юг» *(58, 266 - 269)*.

Такова основная канва событий — приведшая нас строго по хронологии к первому из писем Эпизода, и… одному из известнейших и часто цитируемых писем в истории человечества. Как отмечено в Хронологии, в черновиках Толстой готовил прощальное письмо к жене ещё накануне ночи ухода, днём 27 октября, а окончательный вариант был оставлен перед самым уходом, в 4 утра 28 октября. Дабы читателю нетрудно было наглядней представить ход мыслей Льва Николаевича в прощальном письме к жене, приводим ниже как основной, так и черновые варианты, в порядке их создания Л. Н. Толстым.



Письмо Л. Н. Толстого к С. А. Толстой об уходе. 28 октября 1910 г. Ясная Поляна. Автограф

Письмо Л. Н. Толстого к С. А. Толстой об уходе. 28 октября 1910 г. Ясная Поляна. Автограф (окончание)

1) *Черновое*. Первый вариант.

«<Я ушёл от> Сожалею о том, <как> что мой уход из дома <буд[ет]> доставит тебе огорчение. <Но> Пожалуйста прости меня за это. Но пожалуйста пойми, ч[то] я не мог поступить иначе. Положение моё <стало для>, человека, сознающего всю тяжесть греха моей жизни <богатых среди нищих> и продолжающего жить в этих преступных условиях безумной роскоши среди нужды всех окружающи[х], стало мне стало невыносимо. Я делаю только то, что <делали и> обыкновенно делают старики, тысячи стариков, люди, близкие к смерти, (уходящих в более) уходя от ставших противными им прежних условий в более близкие к их настроению. Большинство уходят в монастыри, и я ушёл бы в монастырь, если бы <вера монахов> верил тому, чему верят в монастырях. Не веря же так, я <просто> ухожу просто в уединение. Мне необходимо быть одному. Пожалуйста не ищи меня и не приезжай ко мне, если узнаешь, где я. Такой твой приезд только утягчит твоё и моё положение. Прощай, <48-летняя подруга моей жизни> благодарю тебя за твою честную 48-летнюю жизнь со мною и за твои заботы обо мне и о детях. <Оч[ень] прошу тебя помириться с тем новым положением, в к[оторое] ставит тебя

мой уход, и не поминать меня лихом.> Прошу тебя простить меня во всём том, чем я б[ыл] виноват перед тобой, также я от всей души прощаю тебя во всём том, чем ты могла быть виновата передо мною, и оч[ень] прошу тебя помириться с тем новым положением, в к[отором] ставит тебя мой уход из дома, и не иметь против меня, также, как и я против тебя, ни малейшего недоброго чувства.

Если захочешь что сообщить мне, передай Саше, она будет знать, где я, хотя я и взял с неё обещание *никому* не говорить этого» *(84, 404 - 405)*.

2) *Черновое*. Второй вариант.

«Сожалею о том, что мой уход из дома доставит тебе огорчение. <Пожалуйста> Прости меня за это. Но пожалуйста пойми то, что я не мог поступить иначе. Положение моё, человека, сознающего всю тяжесть греха моей жизни и продолжающего жить в этих <преступных> условиях <безумной> преступной роскоши среди нужды всех окружающих, мне стало невыносимо, и я делаю только то, что обыкновенно делают старики, <тысячи стариков,> близкие к смерти, уходящие от ставших противными им прежних условий мирской жизни в условия более <близкие> подходящие к их настроению. Большинство уходит в монастыри, и я ушёл бы в монастырь, если бы верил тому, чему верят в монастырях. Не веря же так, я ухожу просто в уединение. Мне необходимо быть одному. Пожалуйста не ищи меня и не приезжай ко мне, если узнаешь, где я. Такой твой приезд только утягчит твоё и моё положение.

Прощай, благодарю тебя за твою честную 48-летнюю со мной жизнь, и за твои заботы обо мне и о детях. Прошу тебя простить меня во всём том, чем был виноват перед тобою, также я от всей души прощаю тебя во всём том, чем ты могла быть виновата передо мною. Прошу тебя помириться с тем новым положением, в которое ставит тебя мой уход из дома и не иметь против меня так же, как и я против тебя, ни малейшего недоброго чувства.

Если захочешь что сообщить мне, передай Саше, она будет знать, где я, (хотя я и взял с) и перешлёт мне всё, что нужно. Сказать же о том, где я, она не может, п[отому] ч[то] я взял с неё обещание никому не говорить этого» *(Там же. С. 405 - 406)*.

3) *Окончательный вариант*.

«Отъезд мой огорчит тебя. Сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение моё в доме становится,

стало невыносимым. Кроме всего другого, я не могу более жить, в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают [*В подлиннике*: делает] старики моего возраста: уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни.

Пожалуйста пойми это и не езди за мной, если и узнаешь, где я. Такой твой приезд только ухудшит твоё и моё положение, но не изменит моего решения. Благодарю тебя за твою честную 48-летнюю жизнь со мной и прошу простить меня во всём, чем я был виноват перед тобой, так же как и я от всей души прощаю тебя во всём том, чем ты могла быть виновата передо мной. Советую тебе помириться с тем новым положением, в которое ставит тебя мой отъезд, и не иметь против меня недоброго чувства. Если захочешь что сообщить мне, передай Саше, она будет знать, где я, и перешлёт мне, что нужно; сказать же о том, где я, она не может, потому что я взял с неё обещание не говорить этого никому.

Лев Толстой.

28 Окт<ября>.

Собрать вещи и рукописи мои и переслать мне я поручил Саше.

Л. Т.» *(Там же. С. 404)*.

И на конверте спешным, особо ужасным почерком краткое: «Софье Андреевне».

Если вспомнит читатель, в письме 14 июля, переданном в Ясной Поляне из рук в руки Софье Андреевне, Толстой совершил “ужасную” оплошность: награждая эпитетами супружескую жизнь, которой Соня прожила с ним («трудовая, тяжёлая…»), он написал было: «честная» — да отчего-то кощунственно зачеркнул! Сколько раз в последующие дни, в устных беседах, выразила Софья Андреевна праведный свой гнев по этому поводу — знает один Бог… да и то уже подзабыл. Но результат налицо: во *всех трёх*, включая «чистовой», вариантах письма 28 октября Толстой благодарит супругу именно за *честную* 48-летнюю жизнь! Этот эпитет семантически соединил в себе многие прочие, оставленные “между строк”.

В основном, однако, варианты письма близки между собой. Важное отличие: Толстой убрал из окончательного варианта сопоставление своего ухода из яснополянского дома с удалением верующих в

монастырь. Сделано это было не столько для того, чтобы не навести Софью Андреевну на мысль о любимой обоими Оптиной Пустыни или Шамординском женском монастыре, в котором жила сестра Льва Николаевича и о котором, как очень вероятном месте укрытия беглеца, жена в любом случае скоро догадалась бы, сколько из-за незнания на момент написания письма самим Толстым и всеми, с кем он мог консультироваться, точных условий, на которых он, без пресловутого "покаяния", не разделяя с монахами их религиозной православной веры, мог бы поселиться при монастыре. Узнав об этих условиях, уничтоживших для него надежды на монастырское уединение, а чуть позднее, не успев ничего обдумать, от дочери Александры — и о неизбежности преследования его членами семьи, полицаями и журналистами, он продолжил путь, обратив свой отъезд уже в подлинное бегство, закончившееся на станции Астапово — скоро и трагически.

Но даже в связи с упоминанием Л. Н. Толстым в черновиках письма именно монастырей и монахов, речь нужно вести не о «покаянии» Толстого и его желании вернуться к православию, а всего только об искании им *уединения*, которое просто-напросто легче всего было обрести в ту эпоху, укрывшись в монастыре. Этот наш вывод подтверждается *параллелизмом* идей и образов в приведённых нами текстах 27 – 28 октября 1910 года — со значительно более ранним письмом Л. Н. Толстого, на котором мы уже задерживали внимание читателя при анализе Переписки его с женой в 1897 году. Речь идёт о письме от 8 июля 1897 года, написанном Львом Николаевичем в час отчаяния и огромного охлаждения отношений с женой — когда он *в очередной раз в жизни* обдумывал уход из дома. Напомним читателю наиболее значимые для нас места из него:

«Уж давно меня мучает несоответствие моей жизни с моими верованиями. […] Всё больше и больше хочется уединения… Как индусы под 60 лет уходят в леса, как всякому старому, религиозному человеку хочется последние года своей жизни посвятить Богу, […] так и мне, вступая в свой 70-й год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения…» *(84, 288 – 289)*.

Обратим внимание, что Толстой, по всем вероятиям, и в письме 28 октября к жене имел в виду именно *индусское* уединение, а не русско-православное и даже не собственно монастырское (послушническое, схимническое). Из ответа С. А. Толстой от 30 октября, который мы приведём ниже, читатель увидит, что С. А. Толстая не поняла, *чью* духовную традицию уединения имел в виду муж. Ведь,

как мы знаем, письмо от 8 июля 1897 годы было передано ей трагически поздно: только после смерти супруга!

В связи с этим же, от 28 октября, письмом Толстого не лишним будет дать здесь иллюстрацию того, как оперативно орудовали в доме Толстых агенты В. Г. Черткова — во главе с Александрой Львовной, симпатизировавшей ему, как старшему возрастом, но *очень* красивому мужчине. Уже 28 октября Чертков в письме к матушке, Елизавете Ивановне, сообщал следующее:

«…Сегодня утром Лев Николаевич покинул Ясную Поляну в 5½ утра, оставив Софье Андреевне очень трогательное письмо, в котором говорит, что давно тяготится жизнью в безумной роскоши среди всеобщей нищеты, что делает только то, что делают многие старики, ища уединения перед смертью, уходя большею частью в монастырь, что сделал бы и он, если бы верил в обряды, а, не веря, просто удалился в уединение. […] Благодарит её за её честную многолетнюю супружескую жизнь и заботы о детях…» *(Цит. по: Ремизов В.Б. Указ. соч. С. 275 - 276).*

Внимательный читатель не может не заметить, что Чертков довольно точно пересказывает — но явно не окончательный вариант толстовского письма, который утром 28-го был “честно” передан Александрой Львовной матери. Но едва ли не одновременно с этим (а быть может, и раньше, пока несчастная Соня ещё спала?) с оставленных Толстым на столе *черновиков* были, очевидно, сняты копии и безотлагательно переправлены В. Г. Черткову — потому что только из них он мог “выудить” рассуждение Толстого об уходе стариков в монастыри (в окончательном варианте от него осталась только фраза: «уходят из мирской жизни») и о невозможности такого ухода по причине неверия в ту веру, в которую верят монахи. И там же, в черновиках, осталась формулировка благодарности Толстого жене за «заботу о нём и *о детях*». В окончательном варианте *дети* не упоминаются, а заботу Софьи Андреевны о муже Чертков в пересказе для маменьки “аннулировал” собственноручно: ведь сам он полагал, что эту заботу “перевесило” зло, сказывавшееся в разные годы, и особенно в последние, в отношениях супругов.

Менее знаменитый, но так же часто, по делу и не очень, цитируемый ответ Софьи Андреевны Толстой на прощальное письмо мужа написан был ей только на следующий день, 29 октября. Написанию этого письма предшествовала масса драматических событий, которые чрезвычайно хорошо известны просвещённому читателю и которым, в их подробностях, не место на этих страницах. Всё-таки

вкратце приводим ниже ключевые и наиболее значимые из них по академической Хронологии.

28 октября. «В 7 ч. 55 м. утра Толстой вместе с Д. П. Маковицким уезжает в поезде № 9, идущем на юг.

В 10 ч. 04 м. утра пересадка на ст. Горбачёво на переполненный товаро-пассажирский поезд № 37, по направлению к Сухиничам, с одним третьим классом. «Очень мучительный» переезд в этом вагоне, большей частью на открытой площадке.

В 4 час. 50 м. дня прибытие на ст. Козельск. Телеграммы Толстого В. Г. Черткову и А. Л. Толстой за подписью: «Т. Николаев». Письмо к А. Л. Толстой.

В Ясной Поляне около 11 ч. утра А. Л. Толстая объявила матери об отъезде отца. Попытка С. А. Толстой окончить жизнь самоубийством: бросилась в пруд.

Между 7 и 8 ч. вечера прибытие Толстого с Д. П. Маковицким в монастырь Оптину Пустынь».

29 октября. «Около 7 ч. утра приезд в Оптину Пустынь А. П. Сергеенко с письмами от В. Г. Черткова и А. Л. Толстой, с известиями из Ясной Поляны. <Неточность: дочь с письмами из дома “настигла” отца лишь 30 октября, уже в Шамордине. – *Р. А.*>

В 6 ч. вечера отъезд Толстого с Д. П. Маковицким и А. П. Сергеенко в Шамардино, к сестре М. Н. Толстой» *(58, 269 - 270)*.

Да кроме того, 29 октября Толстой продиктовал Сергеенко свой ответ на письмо К. Чуковского о смертных казнях — позднее опубликованный как статья «Действительное средство». О прибавлении хоть пары слов к “прощальному” письму жене — не было, вероятно, и мысли.

Вернёмся теперь к утру 28-го, моменту передачи А. Л. Толстой матери злосчастного письма. О связанном с его содержанием поведении адресата нам необходимо рассказать… передоверим это, однако, А. Л. Толстой, изложившей подробности в своих мемуарах и дневнике.

«Моя мать, не спавшая почти всю ночь, проснулась поздно, около 11 часов, и быстрыми шагами вбежала в столовую.

— Где папа́? — спросила она меня.

— Уехал.

— Куда?

— Я не знаю, — и я подала ей письмо отца.

Она быстро пробежала его глазами, голова её тряслась, руки дрожали, лицо покрылось красными пятнами.

<Дальше в мемуарах А. Л. Толстая приводит текст письма — конечно же, по окончательному его варианту, который прочла мать. – *Р. А.*>

Но С. А. не дочитала письма. Она бросила его на пол и с криком: “Ушёл, ушёл совсем, прощай, Саша, я утоплюсь”, — бросилась бежать.

Я крикнула Булгакову, чтобы он следил за матерью, которая в одном платье выскочила на двор и по парку побежала вниз, по направлению к среднему пруду. Видя, что Булгаков отстаёт, я, что есть духу, помчалась матери наперерез, но догнать её не могла. Я подбежала к мосткам, где обычно полоскали бельё, в тот момент, когда моя мать поскользнулась на скользких досках, упала и скатилась в воду, в сторону, где, к счастью, было неглубоко. В следующую секунду я была уже в воде и держала мать за платье. За мной бросился Булгаков, и мы вдвоём подняли её над водой и передали толстому запыхавшемуся Семёну, повару, и лакею Ване, которые бежали за нами.

В продолжение всего этого дня мы не оставляли матери. Она несколько раз порывалась снова выбегать из дома, угрожала, что выбросится в окно, утопится в колодце на дворе.

Сестре Тане и всем братьям я послала телеграммы, извещая их о случившемся и прося немедленно приехать, вызвала врача-психиатра из Тулы. Весь день и всю ночь я не переставая следила за матерью.

Но в то время, как я меняла свою мокрую одежду, она успела послать Ваню, лакея, на станцию, чтобы узнать, с каким поездом уехал отец, и послала ему телеграмму. “Вернись немедленно — Саша”. Вдогонку этой телеграмме я послала вторую: “Не беспокойся, действительны телеграммы, только подписанные Александрой”. Эти телеграммы к счастью, не были получены отцом — он успел пересесть на другой поезд.

[…] Тульский доктор мало меня утешил. Он не исключал возможности, что С. А. в припадке нервного возбуждения могла бы покончить с собой» *(Толстая А.Л. Отец. Жизнь Льва Толстого. М., 1989. С. 468 - 469).*

В дневнике А. Л. Толстой в рассказе о тех же событиях добавлена значимая для нас деталь. Только что вытащенная из пруда, в мокрой одежде, Софья Андреевна тут же просит дочь: «Пожалуйста, Саша, напиши сейчас же отцу, что я топилась» *(Толстая А. Л. Дневник. М.,*

2015. С. 198). Сама она писать к мужу не будет в силах до следующего дня, но эпистолярное общение и в столь критической ситуации остаётся для неё, как десятки лет прежде, средством повлиять на Льва Николаевича: “вытащить” мужа из поездки, *вернуть к себе*.

Валентин Фёдорович Булгаков, личный секретарь Льва Николаевича, прибывший утром же от *уже всё знавшего* (благодаря Шуркиной телеграмме) Черткова, уточняет обстоятельства как суицидальных попыток Софьи Андреевны, так и не менее важных для нашей темы попыток её снестись с мужем, ехавшем в поезде, телеграммой:

«С мостков ещё вижу фигуру Софьи Андреевны: лицом кверху, с раскрытым ртом, в который уже залилась, должно быть, вода, беспомощно разводя руками, она погружается в воду… Вот вода покрыла её всю…

К счастью, мы с Александрой Львовной чувствуем под ногами дно. Софья Андреевна счастливо упала, поскользнувшись. Если бы она бросилась с мостков прямо, там дна бы не достать. Средний пруд очень глубок, в нём тонули люди… Около берега нам — по грудь.

С Александрой Львовной мы тащим Софью Андреевну кверху, подсаживаем на бревно-козёл, потом — на самые мостки.

Подоспевает лакей Ваня Шураев. С ним вдвоём мы с трудом подымаем тяжёлую, всю мокрую Софью Андреевну и ведём её на берег.

[…] Ваня, я, повар увлекаем потихоньку Софью Андреевну к дому. Она жалеет, что вынули её из воды.

[…] С ним <Ваней. — *Р.* А.> на поезд № 9, с которым уехал Лев Николаевич, она отправила телеграмму такого содержания: “Вернись скорей. Саша”. Телеграмму эту Ваня показал Александре Львовне, — не из лакейского подхалимства, а из искреннего сочувствия Льву Николаевичу и привязанности к нему. Прислуга вообще не любила Софью Андреевну. Тогда Александра Львовна послала другую телеграмму, вместе с этой, где просила Льва Николаевича верить только телеграммам, подписанным “Александра”.

Между тем Софья Андреевна всё повторяла, что найдёт другие способы покончить с собой. Силой мы отобрали у неё опиум, перочинный нож и тяжёлые предметы, которыми она начала колотить себя в грудь…

Не прошло и часа, как снова бегут и говорят, что Софья Андреевна опять убежала к пруду. Я догнал её в парке и почти насильно увёл домой.

На пороге она расплакалась.

— Как сын, как родной сын! — говорила она, обнимая и целуя меня…» *(Булгаков В. Ф. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. М., 1989. С. 386 – 388).*

О посланных телеграммах, фальшивой и подлинной, узнала по дороге в Ясную Поляну вызванная сестрой Александрой Татьяна Львовна Толстая. Тексты обеих телеграмм передал ей на орловском вокзале знакомый швейцар, и умница Таня сразу поняла, что первая из них ложная *(Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1976. С. 420).*

В ежедневнике Софьи Андреевны появились 28 октября такие строки:

«Лев Ник<олаевич> неожиданно уехал. О, ужас! Письмо его, чтоб его не искать, он исчезнет для мирной, старческой жизни — навсегда. Тотчас же, прочтя часть его, я в отчаянии бросилась в средний пруд и стала захлёбываться; меня вытащили Саша и Булгаков; помог Ваня Шураев. Сплошное отчаяние. И зачем спасли?» *(ДСАТ – 2. С. 325).*

На следующий день, впрочем, она чувствовала себя гораздо уверенней: приехавшие по вызову сыновья (все, кроме жившего в Париже Льва-младшего) горячо поддержали её пожелание как можно скорее вернуть больного, престарелого мужа и отца под её опеку и контроль. Они так или иначе выразили это своё мнение в письмах к отцу — и только старший сын, Сергей Львович, как отмечает в дневнике Александра Львовна, «написал краткое, но сочувствующее отцу письмо, в котором пишет, что отцу следовало уйти ещё 26 лет тому назад» *(Толстая А. Л. Дневник. М., 2015. С. 200).* Здесь же Александра Львовна отмечает изменившееся настроение матери: «На другой день мать была всё так же взволнована, так же истерически рыдала, восклицала: “Лёвочка, Лёвочка, что ты со мной наделал”, — но в этот день к её горю присоединилась ещё и злоба, которая утешила меня в том смысле, что она ничего над собой не сделает. […] Собрались все, за исключением Лёвы. Вечером пришли в мою комнату и стали спрашивать меня: что делать. Все, за исключением Сергея, считали, что отцу следует вернуться домой. Илья говорил очень резко о том, что отец, который всю жизнь проповедовал христианство, здесь не выдержал и сделал злой поступок, что он не прав в этом. Другие братья, все, кроме Сергея, поддерживали. Особенно горячился Андрей, и, к удивлению моему и огорчению, то же говорила и Таня. Они спрашивали меня, уеду ли я к отцу, и я сказала, что непременно

поеду, но когда, не скажу. Они все написали мне письма <для передачи Льву Николаевичу. – *Р. А.*>.

Написала и мать истерическое, умоляющее письмо с угрозами убить себя, если отец не вернётся» *(Там же)*.

Теперь время для текста этого письма:

«Лёвочка, голубчик, вернись домой, милый, спаси меня от вторичного самоубийства. Лёвочка, друг всей моей жизни, всё, всё сделаю, что хочешь, всякую роскошь брошу совсем; с друзьями твоими будем вместе дружны, буду лечиться, буду кротка, милый, милый, вернись, ведь надо *спасти* меня, ведь и по Евангелию сказано, что не надо ни под *каким предлогом* бросать жену. Милый, голубчик, друг души моей, спаси, вернись, вернись хоть проститься со мной перед вечной нашей разлукой.

Где ты? Где? Здоров ли? Лёвочка, не истязай меня, голубчик, я буду служить тебе любовью и всем своим существом и душой, вернись ко мне, вернись; ради Бога, ради любви Божьей, о которой ты всем говоришь, я дам тебе такую же любовь смиренную, самоотверженную! Я честно и твёрдо обещаю, голубчик, и мы всё опростим дружелюбно; уедем, куда хочешь, будем жить, как хочешь.

Ну прощай, прощай, может быть, навсегда.

Твоя Соня.

Неужели ты меня оставил *навсегда*? Ведь я не переживу этого несчастья, ты ведь убьёшь меня. Милый, спаси меня от греха, ведь ты не можешь быть счастлив и спокоен, если убьёшь меня.

Лёвочка, друг мой милый, не скрывай от меня, *где* ты, и позволь мне приехать повидаться с тобой, голубчик мой, я не расстрою тебя, даю тебе слово, я кротко, с любовью отнесусь к тебе.

Тут все мои дети, но они не помогут мне своим самоуверенным деспотизмом; а мне одно нужно, нужна твоя любовь, *необходимо* повидаться с тобой. Друг мой, допусти меня хоть проститься с тобой, сказать в последний раз, как я люблю тебя. Позови меня или приезжай сам. Прощай, Лёвочка, я всё ищу тебя и зову. Какое истязание моей душе» *(ПСТ. С. 795 – 796)*.

Письмо это С. А. Толстая считала утраченным, приписав к следующему своему, от 30 октября, письму: «Первое, после ухода Льва Николаевича письмо моё пропало в Шамардине, в келье сестры Льва

Николаевича — Марии Николаевны; в нём я просила его вернуться… 28 октября Лев Николаевич ушёл, и я писала ему» *(ПСТ. С. 796)*.

Текст письма Софьи Андреевны сохранился благодаря А. Л. Толстой, не преминувшей “копирнуть” украдкой и его для Черткова.

В письме ощутимы и ужасающее, неспокойное, так мучавшее Льва Николаевича настроение жены, чреватое новыми истериками и руганью, и одновременно — некий психологический контекст: Соня явно ощутила моральную опору в поддержке детей. В сочетании с самыми текстами писем от детей, с волнением Александры Львовны, столь контрастирующем с покоем Шамординской женской обители, и с “ободряющим” письмом, которое ещё 29 октября поспешил написать и переслать “учителю” В. Г. Чертков, всё это произвело на ещё не успевшего прийти в себя, отдохнуть Льва Николаевича самое не желательное для Софьи Андреевны впечатление.

Дочь Александра вспоминает «Прочитав все письма, он сказал: “Да, да, но как мне ни страшно, я не могу вернуться, не вернусь”.

[…] Отец остался бы в Шамордине. Он уже на деревне присмотрел себе квартиру — избу за три рубля в месяц. Но привезённые мной известия и письма встревожили его.

Мы сидели в тёплой, уютной келье тёти Маши <М. Н. Толстой, сестры Толстого, послушницы монастыря, которую Толстой и навещал в Шамордине. – *Р. А.*> и разговаривали. Отец молча слушал. И вдруг, упершись рукам на ручки кресла, быстрым движением встал и ушёл в соседнюю комнату. Видно было, что он принял какое-то твёрдое решение. Через некоторое время он меня позвал. “Перешли это письмо матери” — сказал он» *(Толстая А. Л. Отец. Указ. изд. С. 471 – 472)*.

Это, всего-навсего второе в Эпизоде, письмо Л. Н. Толстого к жене, датируемое исследователями 30 – 31 октября 1910 г. — *заключительное* письмо Л. Н. Толстого в этом Эпизоде, потому что — *последнее* в Переписке Льва Николаевича с женой, *последнее* в жизни письмо к Соне! Оно так же, как и письмо 28 октября, существует в двух, на этот раз очень различных вариантах, представленных ниже в хронологическом порядке.

1) *Неотправленное*.

Свидание наше может только, как я и писал тебе, только ухудшить наше положение: твоё — как говорят все и как думаю и я, что же до меня касается, то для меня такое свидание, не говорю уж: возвращение в Ясную, прямо невозможно и равнялось бы самоубийству. Я

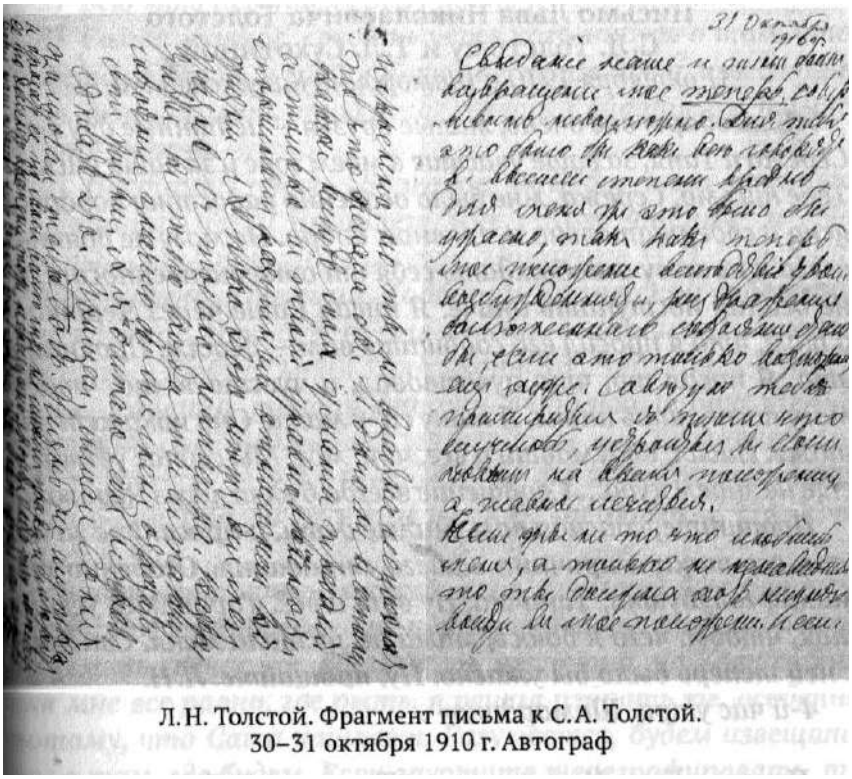
и теперь и все эти дни чувствую себя очень дурно. Главное же, это свидание и возвращение моё ни на что не нужно и может быть только вредно тебе и мне. Постарайся, если ты не то что любишь, а если не ненавидишь меня, успокоиться, устроить свою жизнь без меня, лечиться, и тогда, если точно жизнь твоя изменится и я найду возможным жить с тобою, вернусь. Но вернуться теперь это значит итти на самоубийство, потому что такой жизни при теперешнем моём состоянии я не вынесу и недели.

Я уезжаю из Шамардина и не говорю, куда. Сношения между нами считаю нужным прервать на время совершенно.

От всей души жалею тебя. И себя за то, что не могу помочь тебе.

Л. Т.

30 Ок<тября>» *(84, 406)*.



Л. Н. Толстой. Фрагмент письма к С. А. Толстой.
30–31 октября 1910 г. Автограф

Толстой остался не удовлетворён этим своим письмом и не послал его. Сразу за этим он пишет другое письмо к жене, которое по отношению к первому является и переработанным, и очень многим, важнейшим, дополненным «чистовым» вариантом. По сведениям Д. П. Маковицкого, отправлено письмо было уже с пути, со станции Горбачёво (*Маковицкий Д. П. Указ соч. Кн. 4. С. 414)*. Вот и его полный текст:

«Свидание наше и тем более возвращение моё *теперь* совершенно невозможно. Для тебя это было бы, как все говорят, в высшей степени вредно, для меня же это было бы ужасно, так как теперь моё положение, вследствие твоей возбуждённости, раздражения, болезненного состояния стало бы, если это только возможно, ещё хуже. Советую тебе примириться с тем, что случилось, устроиться в своём новом, на время, положении, а главное — лечиться.

Если ты не то что любишь меня, а только не ненавидишь, то ты должна хоть немного войти в моё положение. И если ты сделаешь это, ты не только не будешь осуждать меня, но постараешься помочь мне найти тот покой, возможность какой-нибудь человеческой жизни, помочь мне усилием над собой и сама не будешь желать теперь моего возвращения. Твоё же настроение теперь, твоё желание и попытки самоубийства, более всего другого показывая твою потерю власти над собой, делают для меня теперь немыслимым возвращение. Избавить от испытываемых страданий всех близких тебе людей, меня и, главное, самое себя никто не может, кроме тебя самой. Постарайся направить всю свою энергию не на то, чтобы было всё то, чего ты желаешь, — теперь моё возвращение, а на то, чтобы умиротворить себя, свою душу, и ты получишь, чего желаешь.

Я провёл два дня в Шамардине и Оптиной и уезжаю. Письмо пошлю с пути. Не говорю, куда еду, потому что считаю и для тебя и для себя необходимым разлуку. Не думай, что я уехал потому, что не люблю тебя. Я люблю тебя и жалею от всей души, но не могу поступить иначе, чем поступаю. Письмо твоё — я знаю, что писано искренно, но ты не властна исполнить то, что желала бы. И дело не в исполнении каких-нибудь моих желаний, и треб[ов]аний, а только в твоей уравнове[ше]нности, спокойном, разумном отношении к жизни. А пока этого нет, для меня жизнь с тобой немыслима. Возвратиться к тебе, когда ты в таком состоянии, значило бы для меня отказаться от жизни. А я [не] считаю себя в праве сделать это. Прощай, милая Соня, помогай тебе Бог. Жизнь не шутка, и бросать её по своей воле мы не имеем права, и мерять её по длине времени тоже неразумно. Может быть, те месяцы, какие нам осталось жить, важнее всех прожитых годов, и надо прожить их хорошо.

Л. Т.» *(Там же. С. 407 – 408).*

Это было последнее письмо Льва Николаевича Толстого к жене, Софье Андреевне Толстой. Полувековой диалог прервался. Великий яснополянец был бессилен изменить своё решение или хоть чем-то дополнить сказанное в последние дни октября в письмах к жене. Он

достаточно ослаб нравственно, религиозно, чтобы быть гонимым из родного дома тем же самым *страхом*, который столь недавно толкал на невротические, контрпродуктивные поступки его супругу. Скоро же он и физически не сможет ничего изменить… Его голос в нашей Переписке теперь замолчал — *навсегда*. Но одинокий голос любящей и не могущей ни вместить, ни уразуметь своего горя женщины ещё недолго будет звучать — с тем же слабеющим постепенно напором жизненного воления, с теми же наивностью, тщетностью и безнадёжностью, с которыми звучит голос обречённого птенца уже убитой охотником куропатки.

Это печальные дни и письма, но для полноты нашей аналитической презентации мы никак не можем обойти вниманием и их.

Вот Софья Андреевна, в неведении ещё о месте пребывания и состоянии мужа (при том что подружки-заговорщицы, Т. Л. Толстая и В. М. Феокритова, уже отбыли накануне в Шамордино!), в пространном письме, глухой ночью 30 октября, выговаривается перед ним — пытаясь и оправдать себя, и объяснить ему и себе совершившееся:

«4 ч. ночи.

Ещё нет от тебя, милый мой Лёвочка, никаких известий и сердце раздирается от страданий. Голубчик мой, неужели ты не чувствуешь отклика их в себе? Неужели один мой глупый жест погубит всю мою жизнь? <«Жест этот такой: ночью, относя письмо и корректуры в почтовую сумку, я зашла в кабинет Льва Николаевича затворить дверь от собачки новой, бежавшей за мной. В бумагах (которых и не было), я *не рылась*, а дотронулась до запертого в портфеле дневника, чтоб удостовериться, что его не взял Чертков». – *Примеч. С. А. Толстой.* > Ты велел мне сказать через Сашу, что то, что я с подозрительностью шарила в твоих бумагах в ту ночь, было переполнением, которое заставило тебя уехать. В ту ночь я носила свои письма вниз; жёлтая собака вбежала за мной, я поспешила затворить все двери, чтоб она не разбудила тебя, и не знаю, право, что меня заставило войти в твой кабинет и только дотронуться до твоего дневника, <«Дневник был всегда заперт на ключ в портфеле». – *Примеч. С. А. Толстой.* > что делала раньше и чего уже не делала совсем в последнее время — чтоб удостовериться, что он на месте. <«А не увезён Чертковым» — *Примеч. С. А. Толстой.* >

Не от подозрительности я иногда смотрела на тебя, а часто просто, чтоб с любовью взглянуть на тебя. Моя глупая ревность к Черткову,

заставлявшая иногда искать, насколько ты его любишь, — подтверждения этого, стала проходить последнее время, и я хотела несколько раз тебе это сказать, но было совестно, как будто унизительно для тебя разрешать *мне* эти свиданья.

Лёвочка, друг мой, ведь всё, что ты писал великого, художественного и духовного, — всё ты писал, живя со мной. Если моя нервная болезнь мешала тебе теперь работать, — прости меня, голубчик. Я начала усиленно лечиться вчера; ежедневно, два раза по целому часу я должна сидеть в тёплой ванне с холодными компрессами на голове и почти весь день лежать. Буду слушаться тем более, что я дошла до ужасного состояния вследствие твоего поступка, — т. е. отъезда, до тебя, верно, дошли слухи, что в ту минуту, как Саша мне сказала, что ты уехал *совсем*, я, не дочитав твоего письма, — убежала, и прямо навзничь, чтоб не было спасенья — бросилась в средний пруд.

И как это я, чуткая, не слыхала твоего отъезда? Когда я убежала, я, верно, имела ужасный вид, потому что Саша немедленно созвала Булгакова, <лакея> Ваню и повара, и они пошли за мной. Но я уже добежала, вода меня всю закрыла, и я почувствовала с наслаждением, что вот, вот — и конец моим душевным страданиям — навсегда. Но Богу не угодно было допустить нас с тобой до этого греха; бедная Саша и Булгаков бросились совсем одетые в воду и с трудом вытащили меня с помощью Вани и повара и снесли домой.

Ты, конечно, рассердишься, узнав про это, но я, как тогда, так и теперь не помнила себя от отчаяния. Я сплю в твоей комнате, т. е. сижу и лежу ночью, и твои подушки обливаю слезами и молю Бога и тебя простить меня, вернуть мне тебя. — Рядом, на диване спит добрая, кашляющая всю ночь — Марья Александровна. Бедная Саша простудилась и кашляет сильно. Все дети, пожалев меня, приехали, спасибо им, лечат, утешают меня. Таничка такая худенькая! Она опять приедет в начале ноября на месяц к нам, с мужем и девочкой. Неужели ты и тогда не приедешь? Миша и Илья, увидав меня, так горько плакали, обнимая меня и глядя на мой страдальческий вид, что радость была мне от их любви. То же и Серёжа.

Лёвочка, милый, неужели ты навсегда ушёл от нас? Ведь любил же ты меня раньше? Ты пишешь, что старики уходят из мира. Да где ты это видал? Старики крестьяне доживают на печке, в кругу семьи и внуков свои последние дни; то же и в барском и всяком быту. Разве естественно слабому старику уходить от ухода, забот и любви окружающих его детей и внуков?

Вернись, мой милый, дорогой муж. Вернись, Лёвочка, голубчик. Не будь жесток, позволь хоть навестить тебя, когда я после леченья немного поправлюсь.

Не будь и мучителем моим в том, чтобы скрывать, именно от меня, место своего пребывания. Ты скажешь, что моё присутствие будет мешать тебе писать. Разве ты можешь работать, зная, как я мучительно страдаю.

Но ведь и в Евангелии сказано: “возлюби ближнего, как самого себя”. И нигде не сказано возлюбить больше человека — какие бы то ни было писанья. Если б ты мог чувствовать, как я люблю тебя, как я всем своим существом готова на всякие уступки, на всё, — чтоб служить тебе. Лёвочка, прости меня, вернись ко мне, *спаси* меня! Не думай, что всё это слова, *полюби* меня, умились ещё раз душой своей, пренебреги тем, что о тебе будут писать и говорить, — стань выше этого, — ведь выше *любви* ничего нет на свете, — и доживём *вместе* свято и любовно последние дни нашей жизни! Сколько раз ты поборол свои стремления, сколько раз, любя меня, ты оставался со мной, и мы любовно и дружно жили долгую жизнь. Неужели теперь вина моя так велика, что ты не можешь простить меня и вернуться ко мне? Ведь я же, право, была больна.

Милый Лёвочка, твои уступки, твоё совместное со мной житьё не уменьшили, не умалили твоё величие, твою славу до сих пор. И твоё прощение и любовь ко мне возвеличат твою душу перед Богом, возвеличат и тем, что ты *спасёшь* меня, жену твою, спасёшь просто человека и пренебрежёшь своей славой и желаньем *себе* блага. Если б ты меня видел теперь, если б ты мог заглянуть в мою душу, ты ужаснулся бы, какое страдание я переживаю, какое истязание всего моего духовного и физического существа! Я уже писала тебе, милый мой Лёвочка, не знаю, дошло ли моё письмо. Андрюша взялся его послать каким-то способом, — не знаю.

Прочти внимательно это письмо; больше я о чувствах своих писать не буду. В последний раз призываю к тебе, мой муж, мой друг, мой милый, любимый Лёвочка, прости, спаси меня, *вернись* ко мне.

Твоя Соня» *(ПСТ. С. 799 – 801).*

В научном толстоведении это письмо известно как *первое безответное* письмо к мужу Софьи Андреевны Толстой. События сложились так, что оно, как и следующее за ним, «догнало» адресата только в Астапове… где он сильно болел, и писем этих ему *не прочли*… быть может, и к лучшему! Данное письмо, конечно же, подкупает возвышенностью и эмоциональностью тона — и многим его читателям так

хочется присовокупить сожаление в духе: вот, прочти его Толстой — обязательно вернулся бы к жене, на этот «зов любви». Но в том-то и дело, что этот зов оставался зовом именно *той* любви, жаждущей принадлежности любимого, контроля над ним — и соблазнявшей много лет Толстого искать себе вольной воли в поездках на кумыс, к голодающим в голодные годы, гостем в усадьбы знакомых и родни, в пеших путешествиях из ненавистной Москвы… И, помимо эгоизма, в письме — немалая "порция" попыток оправдать себя: как, например, сведение многочисленных посягательств на кабинет и бумаги мужа — к одному «глупому жесту», с приплетанием безответной собачки. Как, например, характеристика унизительной и кощунственной ревности к подозреваемому «любовнику» мужа В. Г. Черткову — как просто «глупой». «Просочились» в письмо и старые, стойкие, но всегда бывшие несправедливыми в отношении Льва Николаевича, соничкины убеждения — как, например, о славолюбии мужа, с заботой его об "играния роли" христианского учителя и публициста-проповедника. В целом можно сделать вывод, что, помимо неспокойного настроения письма, которое могло в той ситуации только оттолкнуть Л. Н. Толстого, напомнив о многолетних терпевшихся им припадках Софьи Андреевны, и самый текст письма вряд ли мог подвигнуть Толстого на возвращение к жене.

Не соврав, в критической ситуации Софья Андреевна пошла и на примирение с только что горячо ненавидимым ей В. Г. Чертковым. Об этом она составила было для мужа текст вот этой телеграммы:

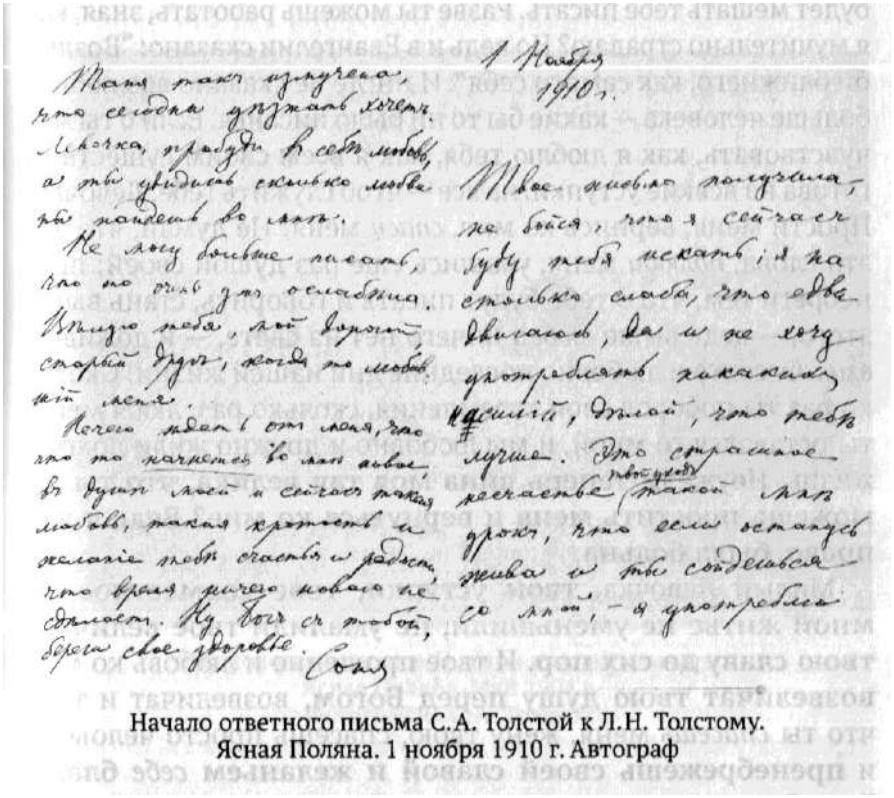
«Помирилась с Чертковым, причастилась. Быстро слабею от голодовки, если хочешь спасти, приезжай скорей, а то прощай, прости, не могла больше страдать

Соня» *(Там же. С. 803).*

Несмотря на справедливость включённых в текст телеграммы известий, отправлена она не была, и даже была разорвана, уничтожена Софьей Андреевной. И вот снова иллюстрация того, как мастерски "работала" в доме Толстого чертковская агентура. Текст сохранился в архиве Черткова в виде *фотокопии обрывков*, тайно изъятых из мусорной корзины. При фотокопии есть надпись, сделанная рукой секретаря Черткова А. П. Сергеенко: «Фотография телеграммы С. А. к Л. Н. между 28 октября — 1 ноября 1910 г. Черновик найден разорванным и выкинутым в корзине в кабинете Л. Н. 8 ноября 1910 г. Неизвестно, посылалась ли телеграмма Л. Н-чу» *(Там*

же). Исследователями установлено доподлинно, что такая телеграмма послана не была.

К 1 ноября относится *последний ответ* С. А. Толстой — на последнее к ней письмо Льва Николаевича от 30-31 октября. Приводим ниже и его полный текст:



Начало ответного письма С.А. Толстой к Л.Н. Толстому.
Ясная Поляна. 1 ноября 1910 г. Автограф

«Твоё письмо получила, не бойся, что я тебя сейчас буду искать; я настолько слаба, что едва двигаюсь, да и не хочу употреблять никаких насилий; делай, что тебе лучше. Это страшное несчастье, твой уход — такой мне урок, что если я останусь жива и ты сойдёшься со мной, я употреблю всё на свете, чтоб тебе было вполне хорошо.

Но почему-то мне кажется, что мы больше не увидимся! Лёвочка, милый, я тебе это пишу очень сознательно, искренно, и несомненно исполню. Вчера мирилась с Чертковым, сегодня буду исповедываться в том грехе самоубийства, которым хотела прекратить свои страданья.

Не знаю, что писать тебе, не знаю ничего, что будет вперёд. Твои слова, что свиданье со мной будет *ужасно* для тебя, убедили меня, что оно невозможно. А как кротко, благодарно и радостно я встретила бы тебя! Милый мой, пожалей меня и детей, прекрати наши страданья!

Серёжа уехал, здесь Андрюша и сейчас приехал Миша. Таня так измучена, что сейчас уезжать хочет. Лёвочка, пробуди в себе любовь и ты увидишь, сколько любви ты найдёшь во мне.

Не могу больше писать, что-то очень уж ослабела. Целую тебя, мой дорогой, старый друг, когда-то любивший меня. Нечего ждать от меня, что что-то *начнётся* во мне новое. В душе моей и сейчас такая любовь, такая кротость, желанье тебе счастья и радости, что время ничего нового не сделает. Ну, Бог с тобой, береги своё здоровье.

Соня» *(Там же. С. 802 – 803).*

Письмо написано в последний день безвестности семьи о месте пребывания Л. Н. Толстого. На следующий день в половине восьмого утра, благодаря телеграмме от хорошо исполнившего свою работу репортёра газеты «Русское слово», последний приют Льва Николаевича раскрылся, и без четверти полночь 2 ноября Софья Андреевна прибыла на экстренном поезде в Астапово — с дочерью Татьяной, сыновьями Андреем и Михаилом и наблюдавшими её состояние психиатром и фельдшером. Вероятно, она и сама догнала, а может быть и «опередила» прибытием второе из «безответных» своих писем.

Упомянутое в письме 1 ноября «примирение» её с В. Г. Чертковым, весьма по видимости охотное с его стороны, состоялось эпистолярно: Чертков отказался беседовать лично с женой Толстого. Не исключено что он боялся нового конфликта, учитывая сведения, поступавшие от следящих агентов, о настроениях и поведении Софьи Толстой — тех самых, из-за которых и личный доктор Толстого Д. П. Маковицкий, и психиатр Софьи Андреевны П. И. Растегаев, и сопровождавшие мать дети согласно и наотрез отказали ей после прибытия в Астапово в немедленном свидании с мужем, ослабленным, больным и, вероятно, именно из-за этого состояния продолжавшим и в Астапове по-детски бояться, что Соня “нагонит” его. Решение в данном случае, как и позднее, было исключительно медицинским и семейным. Заблуждаются те, кто и в наши дни озвучивают вымысел о *происках Черткова и толстовцев*: Владимир Григорьевич в Астапове вполне искренно заботился об общем деле, подчиняясь воле членов семьи и обстоятельств — боясь, вероятно, быть выгнанным из астаповского дома и потерять тем самым место в истории, “у одра смерти” Толстого. А дети молчаливо, деликатно приняли волю отца, выраженную вот в этом письме из Астапова от 1 ноября (к Сергею и Тане, то есть лучше других понявшим его *членам семьи*, но уже не лично Соне, которая понять *не могла!*):

«Надеюсь и уверен, что вы не попрекнёте меня за то, что я не призвал вас. Призвание вас одних без мама́ было бы великим огорчением для неё, а также и для других братьев. Вы оба поймёте, что Чертков, которого я призвал, находится в исключительном по отношению ко мне положении. Он посвятил свою жизнь на служение тому делу, которому и я служил в последние 40 лет моей жизни. Дело это не столько мне дорого, сколько я признаю, ошибаюсь или нет — его важность для всех людей, и для вас в том числе. […] Прощайте, старайтесь успокоить мать, к которой я испытываю самое искреннее чувство сострадания и любви» *(82, 222 – 223)*.

«…Если я останусь жива и ты сойдёшься со мной, я употреблю всё на свете, чтоб тебе было вполне хорошо. […] В душе моей и сейчас такая любовь, такая кротость, желанье тебе счастья и радости…» — пишет Софья Андреевна мужу 1 ноября. Но вряд ли это указывает на иные перспективы для Толстого, вернись он в Ясную Поляну, нежели новые страхи Софьи Андреевны (навязывавшиеся и мужу, как нам представляется, неким “психическим заражением”) и новый деспотический контроль. Ведь накануне, 31 октября, в потаённом «Ежедневнике», Софья Андреевна чертила для себя совершенно иные, страшные и не похожие на декларации в письмах к мужу, установки:

«…Дети хотят снять с себя *ответственность*. Чего? Моей жизни? Захочу — и при всех уйду из этой тяжёлой, мучительной жизни… Не вижу просвета, если даже вернётся Л. Н. когда-нибудь. За те страдания, которые он мне причинил, никогда не будет прежнего. Мы не по-прежнему будем просто, легко любить друг друга, а будем *бояться* друг друга» *(ДСАТ – 2. С. 326)*.

Замысел самоубийства и чувства неприязни к «жестоким» мужу и его близким друзьям выразился и в «примирительном» письме Софьи Андреевны к В. Г. Черткову от 31 октября. Она и примиряться-то решила не просто так, а извещая, что готовит самоубийство:

«Если бы ещё мы дружно, добром расстались, а то *злоба* Льва Николаевича ко мне заставила его уехать. И это больнее всего, и я *не могу* больше жить. Никакие доводы не помогут, и если мой муж после 48-летней жизни со мной хочет теперь отнять у меня жизнь — дело его. Он один мог бы *спасти меня от смерти*, приехав ко мне хотя бы только для того, чтобы проститься со мной. Если это невозможно — да простит <Господь> ему и всем вам грех моего убийства» *(Цит. по: Ремизов В.Б. Указ. соч. С. 423)*.

Чертков получил это письмо, и, дежуря у астаповского ложа, хорошо знал, от *каких* излишних волнений берёг, согласно с членами

семьи, Льва Николаевича. Т. Л. Сухотина вспоминает поведение матери в день 2 ноября, когда, получив телеграмму о месте остановки в пути Л. Н. Толстого, семья засобиралась в срочную поездку: «Она везла с собою всё, что могло понадобиться отцу, она ничего не забыла. Но если голова её была ясна, то в сердце не было доброты. В те дни мы, дети, сердились на неё […], не обнаруживая в ней и следа раскаяния…» *(Сухотина-Толстая Т.Л. Указ. соч. С. 422)*.

Наконец, уже в Астапове, 3 ноября, по сведениям Д. П. Маковицкого, совершенно не близкие к толстовству сыновья Льва Николаевича Илья, Андрей и Михаил были «единодушны в том, чтобы убедить Софью Андреевну, что нельзя ей теперь к Л. Н.», и сами видели отца только во время его сна, стоя в дверях комнаты дома начальника станции, сделавшейся последним приютом Толстого *(Маковицкий Д. П. Указ. соч. – Кн. 4. С. 423 - 424)*. Здесь же Маковицкий упоминает, что, не получив доступа к мужу, Софья Андреевна совершенно “сорвалась” и, собрав в вагоне газетчиков, «в возбуждённом состоянии говорила им — и они строчили, — что Л. Н. ушёл ради рекламы (оправдывала себя)» *(Там же. С. 424)*. При этом она не сомневалась, что муж, “убивая” её, сам обязательно выздоровеет *(Там же. С. 420)*.

На высказывание психиатра П. И. Растегаева, в виде приписки к письму 1 ноября Т. Л. Сухотиной к отцу, часто любят ссылаться непрошенные “защитники” С. А. Толстой, цитируя (а чаще искажённо пересказывая) всё одно и то же, удобное для их спекуляций, место из этой записи: «Каких-нибудь психопатологических черт, указывающих на наличность душевного заболевания, ни из наблюдения, ни из бесед с Софьей Андреевной я не заметил» *(Цит. по: Ремизов В. Б. Указ. соч. С. 465)*. Но это только мнение одного врача, который мог слишком мало, и при довольно сложных для медика обстоятельствах, *наблюдать* Софью Андреевну — в медицинском смысле этого слова. Возможно, он ошибся в некоторых своих выводах… тем более, что об особенностях характера Софьи Андреевны, влиявших на её эмоции и поведение, знала с детства и она сама, и сёстры её, и родители… В связи с этим довольно значительна другая часть той же самой записи психиатра, обыкновенно поклонниками С. А. Толстой опускаемая:

«Вообще неустойчивая нервно-психическая организация Софьи Андреевны благодаря возрасту и последним событиям теперь представляет ряд болезненных явлений, которые требуют продолжительного и серьёзного лечения. Самым тяжёлым симптомом является отказ от пищи […], отказ этот так может ослабить организм, что самое незначительное вредное внешнее влияние может вызвать серьёзное

заболевание» *(Там же)*. Современным психиатрам хорошо известны голодовки пациентов — как часть *клинической картины* серьёзного, тяжёлого заболевания. Растегаев же либо ошибся либо… как и Россолимо до него — что-то осторожно скрыл, недоговорил, чтобы без потерь “выкарабкаться” из тяжёлой, “всемирно-публичной”, грозившей его репутации и карьере, ситуации.

Так или иначе, причина для разрыва даже эпистолярных сношений Толстого с женой — была. По этой же причине не удостоена была ни призванием к себе, ни письменным ответом Софья Андреевна даже в роковой день 3 ноября — последний день, в котором Лев Николаевич провёл ещё во вполне сознательном состоянии. Вот значительный для нас отрывок из воспоминаний того дня Д. П. Маковицкого:

«Л. Н. отдыхал. […] Потом с Владимиром Григорьевичем говорил о дневнике и, кажется, диктовал <начало письма к переводчику Э. Мооду. – *Р. А.*>. Владимир Григорьевич прочёл отобранные письма из полученных на имя Л. Н. после его ухода. […] Л. Н. внимательно слушал и на словах отвечал. […] Владимир Григорьевич слишком утомил Л. Н. разговорами и чтением писем, на которые Л. Н. диктовал ответ» *(Маковицкий Д.П. Указ. соч. – Кн. 4. С. 422)*.

Конечно же, среди этих писем, *отобранных* Чертковым, не нашлось места письмам к Толстому от жены. Видеть же лично, вызвать её, Толстой и 3-го ноября не пожелал, продиктовав для детей (не зная, что они уже в Астапово), такую телеграмму: «Состояние лучше, но сердце так слабо, что свидание с мама́ было бы для меня губительно» *(82, 224)*. Больше ни к семье, ни к жене он ни с чем обратиться не успел…

Совершенно завершает и Эпизод, и Переписку супругов, и нашу книгу ещё одно письмо С. А. Толстой, о котором она упоминает в собственноручной приписке к письму от 1 ноября:

«Следующее письмо от 2-го ноября до Льва Николаевича не дошло; оно и не кончено. В 7½ часов утра мы получили из редакции “Русское слово” телеграмму, что Лев Николаевич заболел на станции Астапово», температура 40 гр. Мы взяли в Туле экстренный поезд и отправились туда. 7-го ноября 1910 г. Лев Николаевич скончался» *(ПСТ. С. 803)*.

Приводим ниже и этот, уже самый заключительный в великой Переписке, но совсем не великий, а *не правдивый и очень грустный* текст. (В ломаных скобках — то, что Софья Андреевна в письме зачеркнула и то, что отсутствует в издании 1936 г.; воспроизводим по книге В. Б. Ремизова).

«2 ноября 1910 г., 5½ ч. утра. Ясная Поляна.

Прежде чем нам расстаться, может быть навсегда, я хочу не оправдаться, а только *объяснить* тебе моё то поведение, в котором ты обвинил меня в письме к Саше <перед отъездом или вскоре после>.

[КОММЕНТАРИЙ.
29 октября Толстой писал Александре Львовне: «Очень надеюсь на доброе влияние Тани и Серёжи. Главное, чтобы они поняли и постарались внушить ей, что мне с этим подглядыванием и подслушиванием, вечными укоризнами, распоряжением мною как вздумается, вечным контролем, напускной ненавистью к *самому* близкому и нужному мне человеку, с этой явной ненавистью ко мне и притворством любви, — что такая жизнь мне не неприятна, а прямо невозможна, что если кому-нибудь топиться, то уж никак не ей, а мне; что я желаю одного — свободы от неё, от этой лжи, притворства и злобы, которой проникнуто всё её существо. […] Видишь, милая, какой я плохой, не скрываюсь от тебя» *(82, 217)*. **]**

Если я смотрела на тебя в дверь балкона, когда ты делал пасьянсы, если я встречала тебя и провожала на верховую езду, и хотела встретить на прогулке, или бежала в залу, когда ты приходил или завтракал, то всё это совсем не от подозрительности, а от какого-то в последнее время безумно-страстного отношения к тебе. Верно я предчувствовала то, что случилось. Смотрю в окно и думаю: “вот он, мой Лёвочка, ещё тут, со мной, спаси его Бог”. Часто, проводив тебя на верховую езду, я, входя в дом, перекрещусь и скажу: “Спаси его Бог, верни домой благополучно”. Я дорожила каждой минутой с тобой, радовалась, когда ты меня о чём-нибудь попросишь, или просто скажешь, назвав меня: “Соня”. Каждый день я брала на себя сказать тебе, что я хотела бы, чтоб ты видел Черткова, но как-то совестно было вторично как бы *разрешать* тебе что-то. А ты всё делался мрачнее и суровее, ты передо мной протягивал чашку, прося у других налить тебе чаю или земляники, ты перестал разговаривать со мной и ты жестоко отмстил мне за своего друга. И я болезненно это предчувствовала.
Что касается дневника, то я сделала глупую привычку, проходя, пощупать, там ли, на столе дневник; но ведь я это делала молча. В ту ужасную, последнюю ночь я затворила двери от пришедшей наверх жёлтой собачки, чтоб она тебя не разбудила, заглянула и в твой кабинет, отнеся вниз письма, и по глупой привычке *коснулась*

только рукой дневника. Я ничего не *шарила*, ничего не искала, не читала, и тогда же почувствовала, что сделала ошибку и глупость.

Но ты всё равно уехал бы, я это предчувствовала и страшно боялась.

[ПРИПИСКА С. А. ТОЛСТОЙ:

«Между Львом Николаевичем и мной был договор с первых лет супружества, что мы оба имеем право друг у друга читать всё. Договор этот никогда не был нарушен ни одним из нас. Почему же была боязнь Льва Николаевича, что я что-то у него искала? — Его мучило завещание». **]**

Я лечусь, беру ванны, другого делать нечего. Тяжело выношу присутствие чужих людей — глупого очень доктора и болтливой сиделки. Но этого хотят дети, я не смею противиться, хотя даже совестно, до чего им совсем делать нечего. Пытаюсь немного заниматься, но трудно. Вчера начала немного есть, — дети так трогательно радуются на это, — я их измучила моих любимых: Таничку и Андрюшу; но остановить мои терзания душевные не в их власти. Не то может ещё спасти меня! День и ночь думаю о том, здоров ли ты, где ты, что думаешь, что делаешь. Неужели тебе легко так истязать меня? Как я скоро и радостно поправилась бы, как бы дала тебе слово никогда не следить за тобой, ничего не читать и не трогать, если ты не хочешь, делать всё, что ты хочешь... Но я чувствую, что мы никогда не увидимся, и это убивает меня! Хоть бы не сойтись пока *жить* вместе, а только повидаться. Я бы приехала на несколько часов, и обещала бы уехать. Без твоего позволенья, не бойся, я не поеду, да надо еще немного окрепнуть. Не бойся меня, лучше умереть, чем увидать *ужас* на твоём лице при моём появлении.

Мы переписались с Чертковым дружелюбно, сегодня он ко мне приедет, вероятно; я хочу возбудить в себе не одно примирение при свидании, а хорошее доброе чувство к нему, которое было и в Крёкшине и раньше. Это будет облегчение душе, — и врагов у меня теперь перед смертью не останется, а ты уже в письме простил меня. Ну, прощай, устала, Соня.

Ты вызываешь во мне желанье тебе блага. Но всё моё сердце полно этим желаньем. Что может быть сильнее любви?

Урок от жизни мне был такой тяжкий, что мне легко изменить всё то, что тебе было тяжело, но как тяжело сейчас! Лёвочка, милый, пробуди в себе любовь — прости не словом, а делом!» *(Там же. С. 803 – 804; Ремизов В. Б. Указ. изд. С. 413, 415).*

Пометка С. А. Толстой: «Письмо это я дописать не успела, и оно уже послано не было. Переписываю, чтоб было видно моё тогдашнее настроение» *(ПСТ. С. 804)*.

Великий Диалог завершился.
Дальше — тишина.

КОНЕЦ ВОСЕМЬДЕСЯТ ВТОРОГО ЭПИЗОДА

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
(Вместо Заключения)

Вся наша книга от начала не претендовала на характер исчерпывающего тему исследования. *Всё* её значение — в последовательном презентовании самих писем супругов Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых, их *эпистолярного диалога* — в контекстах внешней и духовной биографий обоих. Неизбежно, однако, составитель этой книги выразил в ней и себя: как своё отношение к ряду так или иначе соотносимых с текстами писем перипетий жизни Льва и Сони, так и особенность своих профессиональных познаний, по причине коей образ одного из основных участников переписки, Льва Николаевича, оказывается прорисованней и рельефней. Надеемся, что для читателей это в достаточной степени компенсируется той пространностью с которой “говорила” с этих страниц за себя и о себе Софья Андреевна Толстая. Равновесие здесь недостижимо: Толстой, хоть и менее многословен, как правило, в своих письмах, равно как в Дневнике, в то же время неизмеримо “публичней” как историческая персоналия: так что нам было легче дополнить по сопутствующим источникам именно его эпистолярный образ, по возможности представляя и Соничку во всей яркости и самостоятельности её личности. Сколь удовлетворительной гармонии достигли мы в этом коллективном “портрете” — оставим судить только нашему читателю.

Выводы же наши вынесены в Заключение и повторены здесь — не будут.

Потому что знакомство с нашими, как исследователя, выводами не заменит знакомства с Перепиской и не компенсирует незнания её главного содержания. Оттого, вплетя наши наблюдения и выводы в разнообразные *укромные* места этой большой книги, мы здесь, в

конце её, не будем повторять *ничего*, отсылая даже самых нетерпеливых из читателей именно к основному её содержанию — к источникам, лишь достойное их по вдумчивости и усидчивости ознакомление с которыми позволит читателю понять, поддержать нашу, именно так «высиженную», слушая Соню и Льва, позицию — а быть может, и дополнить, и скорректировать её.

Роман Алтухов, составитель.
Ясная Поляна, 7 февраля 2021 г.

КОНЕЦ ЧАСТИ ПЯТОЙ
и последней.

Научное издание

Л.Н. Толстой,
С.А. Толстая.

ПЕРЕПИСКА

1862 - 1910

Составитель
и научный комментатор
Р. Алтухов

Редактор О. А. Дорофеев
Корректор Д. В. Романова
Оформление, компьютерная верстка М. Е. Белой

Подписано в печать 04.12.2020 г. Гарнитура Academy. Формат 60×90 1/16.
Бумага офсетная. Печать трафаретная. Тираж 100 экз.

РИО Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
Тула, ул. Октябрьская, 14

Отпечатано в РИО Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
Тула, ул. Октябрьская, 14